

# Николай Костомаров



## Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей

### Первый отдел: Господство дома Св. Владимира

#### Выпуск первый: X—XIV столетия

#### Глава 1 Князь Владимир Святой

Наша история о временах, предшествовавших принятию христианства, темна и наполнена сказаниями, за которыми нельзя признать несомненной достоверности. Этому причиною то, что наши первые летописцы писали не раньше второй половины XI в. и о событиях, происходивших в их отечестве в IX и X веках, за исключением немногих письменных греческих известий, не имели других источников, кроме изустных народных преданий, которые, по своему свойству, подвергались вымыслам и изменениям. С достоверностью можно сказать, что, подобно всем северным европейским народам, и русский только с христианством получил действительные и прочные основы для дальнейшей выработки гражданской и государственной жизни, основы, без которых, собственно, для народа нет истории. С давних времен восточная половина нынешней Европейской России была населена народами племени чудского и тюркского, а в западной половине, кроме народов литовского и чудского племени, примыкавших своими поселениями к балтийскому побережью, жили славяне под разными местными названиями, держась берегов рек: Западной Двины, Волхова, Днепра, Припяти, Сожи, Горыни, Стыри, Случи, Буга, Днестра, Сулы, Десны, Оки с их притоками. Они жили небольшими общинами, которые имели свое средоточие в городах – укрепленных пунктах защиты, народных собраний и управления. Никаких установлений, связующих между собой племена, не было. Признаков государственной жизни мы не замечаем. Славяно-русские племена управлялись своими князьями, вели между собой мелкие войны и не в состоянии были охранять себя взаимно и общими силами против иноплеменников, а потому часто были покоряемы. Религия их состояла в обожании природы, в признании мыслящей человеческой силы за предметами и

явлениями внешней природы, в поклонении солнцу, небу, воде, земле, ветру, деревьям, птицам, камням и т.п. и в разных баснях, верованиях, празднествах и обрядах, создаваемых и учреждаемых на основании этого обожания природы. Их религиозные представления отчасти выражались в форме идолов, но у них не было ни храмов, ни жрецов; а потому их религия не могла иметь признаков повсеместности и неизменяемости. У них были неясные представления о существовании человека после смерти; замогильный мир представлялся их воображению продолжением настоящей жизни, так что в том мире, как и в здешнем, предполагались одни рабами, другие господами. Они чествовали умерших прародителей, считали их покровителями и приносили им жертвы. Верили они также в волшебство, т.е. в знание тайной силы вещей, и питали большое уважение к волхвам и волхвицам, которых считали обладателями такого знания; с этим связывалось множество суеверных приемов, как-то: гаданий, шептаний, завязывания узлов и тому подобного. В особенности была велика вера в тайное могущество слова, и такая вера выражалась в множестве заговоров, уцелевших до сих пор у народа. Сообразно такому духовному развитию было состояние их житейской умелости. Они умели строить себе деревянные жилища, укреплять их деревянными стенами, рвами и земляными насыпями, делать ладьи и рыболовные снасти, возделывать землю, водить домашних животных, прясть, ткать, шить, готовить кушанья и напитки – пиво, мед, брагу, – ковать металлы, обжигать глину на домашнюю посуду; знали употребление веса, меры, монеты; имели свои музыкальные инструменты; на войну выходили с метательными копьями, стрелами и отчасти мечами. Все познания их переходили от поколения к поколению, подвигаясь вперед очень медленно, но сношения с Византийской Империей и отчасти с арабским Востоком мало-помалу оказывали на русских славян образовательное влияние. Из Византии заходило к ним христианство. В половине IX века русские, после неудачного похода на Византию, когда буря истребила их суда, приняли крещение, но вслед за тем язычество опять взяло верх в стране; однако и после того многие из русских служили на службе византийских императоров в Греции, принимали там христианство и приносили его в свое отечество. В половине X века киевская княгиня Ольга приняла Св. Крещение. Все это, однако, были только предуготовительные явления. При князьях, так называемого Рюрикава дома, господствовало полное варварство. Они облагали русские народы данью и, до некоторой степени подчиняя их себе, объединяли; но их власть имела не государственные, а наезднические или разбойничьи черты. Они окружали себя дружиною, шайкою удальцов, жадных к грабежу и убийствам, составляли из охотников разных племен рать и делали набеги на соседей – на области Византийской Империи, на восточные страны прикаспийские и закавказские. Цель их была приобретение добычи. С тем же взглядом они относились и к подчиненным народам: последние присуждались платить дань; и чем более можно было с них брать, тем более брали; за эту дань бравшие ее не принимали на себя никаких обязательств оказывать какую-нибудь выгоду со своей стороны подданным. С другой стороны, князья и их дружинники, имея в виду только дань и добычу, не старались вводить чего-нибудь в жизнь плативших дань, ломать их обычаев и оставляли их внутренним строем, лишь бы только они давали дани и поборы.

Такой варварский склад общественной жизни изменяется с принятием христианской религии, с которой из Византии – самой образованной в те времена державы – перешли к нам как понятия юридические и государственные, так и начала умственной и литературной деятельности. Принятие христианства было переворотом, обновившим и оживотворившим Русь и указавшим ей историческую дорогу.

Этот переворот совершен Владимиром, получившим наименование Святого, человеком великим по своему времени. К сожалению, жизнь его нам мало известна в подробностях, и летописи, сообщающие его историю, передают немало таких черт, в достоверности которых можно скорее сомневаться, чем принимать их на веру. Откидывая в сторону все, что может подвергаться сомнению, мы ограничимся короткими сведениями, которые, при всей своей скудости, все-таки достаточно показывают чрезвычайную важность значения Владимира в русской истории.

Владимир был сын воинственного Святослава, киевского князя, который предпринял поход на хазар, господствовавших в юго-восточной России, взял их город Саркел на Дону, победил прикавказских народов: ясов и касогов, завоевал Болгарию на Дунае, но должен был после упорной защиты уступить ее греческому императору. На возвратном пути из Болгарии в Русь он был убит печенегами, народом тюркского племени. Будучи еще в детском возрасте, Владимир был призван новгородцами на княжение и уехал в Новгород вместе со своим дядей Добрыней, братом его матери Малуши, ключницы его бабки Ольги. По смерти Святослава между детьми его началось междоусобие. Киевский князь Ярополк убил брата своего, древлянского князя Олега. Владимир со своим дядей убежал в Швецию и возвратился в Новгород с чужеземной ратью. Вражда у них с Ярополком возникла оттого, что дочь князя полоцкого Рогнеда, которой руки просил Владимир, отказала ему такими словами: «не хочу разуть (разуть жениха – обряд свадебный; разуть – вместо выйти замуж) сына рабы», попрекнув его низостью происхождения по матери, и собиралась выходить за Ярополка. Владимир завоевал Полоцк, убил Рогволода, полоцкого князя, и женился насильно на Рогнеде. Вслед за тем он овладел Киевом и убил своего брата Ярополка. Летописец наш изображает вообще Владимира жестоким, кровожадным и женолюбивым; но мы не можем доверять такому изображению, так как по всему видно, что летописец с намерением хочет наложить на Владимира-язычника как можно более черных красок, чтобы тем ярче указать на чудотворное действие благодати крещения, представить того же князя в самом светлом виде после принятия христианства.

С большею достоверностью можно принять вообще известие о том, что Владимир, будучи еще язычником, был повелителем большого пространства нынешней России и старался как о распространении своих владений, так и об укреплении своей власти над ними. Таким образом он повелевал новгородскую землю – берегами рек: Волхова, Невы, Меты, Луги, – землей белозерскою, землей ростовскою, землей смоленскою в верховьях Днепра и Волги, землей полоцкою на Двине, землей северскою по Десне и Семи, землей полян или киевскою, землей древлянскою (восточную часть Вольни) и вероятно, также западную Вольню. Радимичи, жившие на Сожи и вятичи, жители берегов Оки и ее притоков, хотели отложиться от подданства и были укрощены. Владимир подчинил дани даже отдаленных ятвягов, полудикий народ, живший в лесах и болотах нынешней Гродненской губернии. Не должно, однако, думать, чтобы это обладание имело характер государственный: оно ограничивалось сбором дани, где можно было собирать ее, и такое собрание имело вид грабежа. Сам Владимир укрепился в Киеве с помощью чужеземцев-скандинавов, называемых у нас варягами, и роздал им города, откуда со своими вооруженными дружинами они могли собирать дани с жителей.

В 988 году Владимир принял христианство. Обстоятельства, предшествовавшие этому событию и сопровождавшие его, рассказываются с баснословными чертами, которые вполне свойственны изустным преданиям, записанным уже довольно долгое время спустя после означенного события. Достоверно только то, что Владимир крестился и в то же время вступил в брак с греческою царевною Анной, сестрою императоров: Василия и Константина. Крещение его, по всем вероятностям, происходило в Корсуне или Херсоне, греческом городе на юго-западном берегу Крыма; и оттуда Владимир привез в Киев первых духовных и необходимые принадлежности для христианского богослужения. В Киеве он крестил своих сыновей и народ. Жители без явного противодействия крестились в Днепре, отчасти потому, что в самом Киеве уже значительно распространено было христианство и христиане не составляли там незначительного меньшинства, а более всего оттого, что у русских язычников не было жреческого сословия, которое бы разъяснило народу преступность такого переворота с языческой точки зрения и возбуждало бы толпу к сопротивлению. Самое древнее русско-славянское язычество не имело определенного характера, общего для всех, в смысле положительной религии, и состояло из множества суеверий и представлений, которые при невежестве и впоследствии легко уживались с наружным принятием христианства. Большинство вступало в новую веру и совершало обряд крещения, не

понимая, что делает. Борьба язычества с христианством выражалась в продолжительном соблюдении языческих приемов жизни и сохранении языческих суеверий; такая борьба происходила многие века после Владимира: но она не мешала русскому народу принять крещение, в котором сначала он не видел ничего противного, потому что не понимал его смысла. Только постепенно и для немногих открывался действительно свет нового учения.

Владимир деятельно занимался распространением веры, крестил народ по землям, подвластным ему, строил церкви, назначал духовных. В самом Киеве он построил церковь Св. Василия и церковь Богородицы, так называемую «Десятинную», названную так оттого, что князь назначил на содержание этой церкви и духовенства ее десятую часть княжеских доходов. Для прочного укрепления новопринятой веры Владимир вознамерился распространить книжное просвещение и с этой целью в Киеве и в других городах приказал набирать у значительных домохозяев детей и отдавать их в обучение грамоте. Таким образом на Руси, в каких-нибудь лет двадцать, возросло поколение людей, по уровню своих понятий и по кругозору своих сведений далеко шагнувших вперед от того состояния, в каком находились их родители; эти люди стали не только основателями христианского общества на Руси, но также проводниками переходившей вместе с религией образованности, борцами за начала государственные и гражданские. Эта одна черта уже показывает во Владимире истинно великого человека: он вполне понял самый верный путь к прочному водворению начал новой жизни, которые хотел привить своему полудикому народу; и проводил свое намерение, несмотря на встречаемые затруднения. Летописец говорит, что матери, отпуская детей в школы, плакали о них, как о мертвых.

Владимир после крещения является чрезвычайно благодушным. Проникнутый духом христианской любви, он не хотел даже казнить злодеев и, хотя сначала согласился было на увещания корсунских духовных, находившихся около него в Киеве, но потом, с совета бояр и городских старцев, установил наказывать преступников только денежной пеней – вирую, по старым обычаям, рассуждая при этом, что такого рода наказание будет способствовать умножению средств для содержания войска.

Сохраняя племенную славянскую веселость, Владимир примирял ее с требованиями христианского благочестия. Он любил пиры и празднества, но пировал не с одними своими боярами, а хотел делиться своими утешениями со всем народом – и со старыми и малыми; он отправлял пиршества преимущественно в большие церковные праздники или по случаю освящения церквей (что в то время было памятным событием). Он созывал народ отовсюду, кормил, поил всех пришедших, раздавал неимущим потребное и, даже заботясь о тех, которые почему-нибудь сами не в состоянии были явиться на княжий двор, приказывал развозить по городу пищу и питье. Но такое мирное препровождение времени не мешало ему, однако, воевать против врагов. Тогда Киевскую Русь беспокоили печенеги, народ кочевой и наезднический. Уже около столетия нападали они на русский край и при отце Владимира, во время его отсутствия, чуть было не взяли Киев. Владимир отразил их с успехом и, заботясь как об умножении ратной силы, так и об увеличении населения в крае, прилежащем Киеву, населял построенные им по берегам рек Сулы, Стугны, Трубежа, Десны города или укрепленные места переселенцами из разных земель не только русско-славянских, но и чудских. В 992 году он отнял у польского короля червенские города, нынешнюю Галицию и присоединил к Руси этот край, населенный хорватами, ветвью русско-славянского племени.

Перед концом жизни Владимир понес сильное огорчение: сын его Ярослав оказал непослушание отцу, и Владимир готовился идти на него. «Теребите путь и мостите мосты», – приказывал он; но смерть застигла его в этих сборах. Он умер 15 июля 1015 года в своем подгородном селе Берестове.

## Глава 2 Киевский князь Ярослав Владимирович



Княжение Ярослава может назваться продолжением Владимирово как по отношению киевского князя к подчиненным землям, так и по содействию к расширению в Руси новых начал жизни, внесенных христианством.

Ярослав является в первый раз в истории мятежным сыном против отца. По известиям летописи, будучи на княжении в Новгороде в качестве подручника киевского князя, Ярослав собирал с новгородской земли три тысячи гривен, из которых две тысячи должен был отсылать в Киев к отцу своему. Ярослав не стал доставлять этих денег, и разгневанный отец собирался идти с войском наказывать непокорного сына. Ярослав убежал в Швецию набирать иноплеменников против отца. Смерть Владимира помешала этой войне. По соображениям с тогдашними обстоятельствами, можно, однако, полагать, что были еще более глубокие причины раздора, возникшего между сыном и отцом. Дети Владимира были от разных матерей.<sup>1</sup>

Владимир пред кончиною более всех сыновей любил Бориса. Вместе со своим меньшим братом Глебом он в наших летописях называется сыном «болгарыни», а по другим, позднейшим, известиям – сыном греческой царевны. Наши историки, желая сочетать эти известия, полагали, что царевна, отданная в замужество за Владимира Святого, была не родная, а двоюродная сестра греческих императоров, дочь болгарского царя Петра. Была ли она двоюродная сестра Василия и Константина или же родная – до сих пор не решено, но, во всяком случае, очень вероятно, что Борис и Глеб были дети этой царевны, и Владимир, как христианин, оказывал им предпочтение перед другими сыновьями, считая их более законными по рождению, так как с их матерью он был соединен христианским браком, и они, кроме того, предпочтительно перед другими, имели право на знатность происхождения по матери от царской крови.

Владимир, разместивши сыновей по землям, держал близ себя Бориса, явно желая передать ему после себя Киевское княжество. Это, как видно, и вооружало против отца Ярослава, который летами был старше Бориса, но еще более вооружало это обстоятельство Святополка, князя, который был по летам старше Ярослава. В летописи Святополк признается сыном монахини гречанки, жены Ярополка, которую Владимир взял себе после брата, как говорят, беременною, и потому неизвестно, был ли Святополк сын Ярополка или Владимира; но в том или в другом случае Святополк по возрасту был старше всех прочих сыновей Владимира. Смерть не допустила Владимира до войны с сыном. Бориса в то время не было в Киеве: он был отправлен отцом на печенегов. Бояре, благопритствовавшие Борису, три дня скрывали смерть Владимира, вероятно, до того времени, пока может возвратиться Борис, но, не дождавшись Бориса, должны были похоронить Владимира.

---

<sup>1</sup> Одни летописные известия называют Ярослава сыном Рогнеды, но другие противоречат этому, сообщая, что Владимир имел от несчастной княжны полоцкой одного только сына Изяслава и отпустил Рогнеду с сыном в землю отца ее Рогволода; с тех пор потомки Рогнеды княжили особо в Полоцке, и между ними и потомством Ярослава существовала постоянно родовая неприязнь, поддерживаемая преданиями о своих предках. Из рода в род переходило такое предание: приживши от Рогнеды сына Изяслава, Владимир покинул ее, увлекаясь другими женщинами. Рогнеда, из мщениия за своего отца и за себя, покусилась умертвить Владимира во время сна, но Владимир успел проснуться вовремя и схватил ее за руку в ту минуту, когда она заносила над ним нож. Владимир приказал ей одеться в брачный наряд, сесть в богато убранном покое и ожидать его: он собственноручно обещал умертвить ее. Но Рогнеда научила малолетнего сына своего Изяслава взять в руки обнаженный меч и, вышедши навстречу отцу, сказать: «Отец, ты думаешь, что ты здесь один!» Владимир тронулся видом сына: «Кто бы думал, что ты будешь здесь!» – сказал он и бросил меч, затем, призвавши «бояр», передал на их суд свое дело с женою. «Не убивай ее, – сказали бояре, – ради ее дитяти; возврати ей с сыном отчину ее отца». Так рассказывает предание, без сомнения, общераспространенное в древние времена. Внуки Рогволода, помня, по преданию, об этом событии, находились во враждебных отношениях к внукам Владимирово сына, Ярослава, которым, кроме полоцкой земли, оставшейся в руках потомков Рогволода с материнской стороны, досталась в княжение вся остальная русская земля. При существовании такого предания, подтверждаемого вековым обособлением полоцких князей от Ярославова рода, едва ли можно считать Ярослава сыном Рогнеды. Но, не будучи единоутробным братом полоцкого князя, уже при жизни Владимира отделенного, Ярослав не был единоутробным братом и других сыновей своего отца.

Святополк дарами и ласкательством расположил к себе киевлян; они признали его киевским князем: хотя старшинство рождения давало ему право на княжение, но нужно было еще утвердить его и народным согласием, особенно в такое время, когда существовали другие соискатели. Положение его, однако, и при этом было не твердо. Купленное расположение киевлян могло легко измениться. Дети христианской царевны имели перед ним нравственное преимущество, могли, кроме того, призвать чужеземцев, и особенно Борис мог, во всяком случае, быть для него опасным соперником. Святополк избавился от обоих, подослав тайных убийц. Борис был умерщвлен на берегах Альты, близ Переяславля; Глеб – на Днепре, близ Смоленска. Такая же участь постигла и третьего брата Святослава Древлянского, который, услышав об опасности, бежал в Венгрию, но был настигнут в Карпатских горах и убит. Двое первых впоследствии причислены к лику святых: описание их смерти послужило предметом риторических повествований. Эти князья долго считались покровителями княжеского рода и охранителями русской земли, так что многие победы русских над иноплемениками приписывались непосредственному вмешательству Святых сыновей Владимира. Третий брат Святослав не удостоился такой чести, вероятно, оттого, что первых возвысило в глазах церкви рождение от матери, принесшей с собой христианство в русскую землю.

Ярослав, ничего не зная о смерти отца, привел в Новгород варягов и расставил их по дворам.<sup>2</sup> Пришельцы начали бесчинствовать; составилась против них заговор, и последовало избиение варягов во дворе какого-то Поромони. Ярослав, в отмщение за это, зазвал к себе в Раком (близ Новгорода, за Юрьевым монастырем) зачинщиков заговора под видом угощения и приказал перебить. В следующую ночь за тем пришло ему из Киева известие от сестры Предславы о смерти отца и об избиении братьев. Тогда Ярослав явился на вече (народная сходка), изъявлял сожаление о своем вероломном поступке с новгородцами и спрашивал: согласятся ли ему помочь. «Хотя, князь, ты и перебил нашу братию, но мы можем за тебя бороться», – отвечали ему. Новгородцам был расчет помогать Ярославу; их тяготила зависимость от Киева, которая должна была сделаться еще тягостнее при Святополке, судя по его жестокому нраву; новгородцев оскорбляло и высокомерное поведение киевлян, считавших себя их господами. Они поднялись за Ярослава, но вместе с тем поднялись и за себя, и не ошиблись в расчете, так как впоследствии Ярослав, обязанный им своим успехом, дал им льготную грамоту, освобождавшую их от непосредственной власти Киева и возвращавшую Новгороду с его землею древнюю самобытность.

Ярослав выступил в поход против киевского князя в 1016 году с новгородцами, которых летописец считает до 40000; с ним было также до 1000 варягов под начальством Эймунда, сына норвежского князя Ринга. Святополк выступил против него осенью с киевлянами и печенегами. Враги встретились под Любечем и долго (по летописям, три месяца) стояли друг против друга на разных берегах Днепра; ни те, ни другие не смели первые перебраться через реку; наконец киевляне раздражили новгородцев презрительными насмешками. Святополков воевода, выехавши вперед, кричал: «Ах вы, плотники этакие, чего пришли с этим хоромцем (охотником строить); вот

мы заставим вас рубить нам хоромы!» – «Князь, – закричали новгородцы, – если ты не пойдешь, то мы сами ударим на них», – и они перевезлись через Днепр. Ярослав, зная, что один из воевод киевских расположен к нему, послал к нему ночью отрока и приказал сказать ему такого рода намек: «Что делать? Меду мало варено, а дружины много». Киевлянин отвечал: «Хотя меду мало, а дружины много, но к вечеру нужно дать». Ярослав понял, что

---

<sup>2</sup> Варягами (Varingiar) назывались жители скандинавских полуостровов, служившие у византийских императоров и переходившие из отечества в Грецию через русские земли водяным путем по рекам от Балтийского моря до Черного. Так как русские в образе этих людей познакомились с скандинавами, то перенесли их сословное название на название вообще обитателей скандинавских полуостровов, а впоследствии это название расширилось в своем значении, и под именем варягов стали понимать вообще западных европейцев, подобно тому, как в настоящее время простой народ называет всех западных европейцев немцами.

следует в ту же ночь сделать нападение, и двинулся в битву, отдавши такой приказ своей дружине: «Повяжите свои головы платками, чтобы отличать своих!» Святополк заложил свой стан между двумя озерами и, не ожидая нападения, всю ночь пил и веселился с дружиною. Новгородцы неожиданно ударили на него. Печенеги стояли за озером и не могли помочь Святополку. Новгородцы притиснули киевлян к озеру. Киевляне бросились на лед, но лед был еще тонок, и многие потонули в озере. Разбитый Святополк бежал в Польшу к своему тестю Болеславу, а Ярослав вступил в Киев.

Болеслав, прозванный Храбрым, стремился к расширению своих польских владений. Он увидел благоприятный случай вмешаться в междоусобия русских князей для своих выгод и в 1018 году пошел вместе со Святополком на Ярослава. Ярослав, предупреждая врагов, двинулся против них на Волынь и встретился с ними на берегах Буга. Тут опять повторился русский обычай поддразнивать врагов. Кормилец и воевода Ярославов, Будый, езда по берегу, кричал, указывая на Болеслава: «Вот мы тебе щепкою проколем череву твою толстую». Не стерпел такого оскорбления храбрый Болеслав: «Если вас не трогает такой укор, – сказал он своим, – я один погибну», – и бросился вброд через Буг, а поляки за ним. Ярослав не был готов к бою, не выдержал напора и убежал с четырьмя из своих людей в Новгород.

Болеслав овладел Киевом, не возвратил его Святополку, а засел в нем сам и приказал развести свою дружину по городам. Киев представлял много привлекательного для завоевателей. Дань с подчиненных русских земель обогащала этот город; торговля с Грецией и Востоком скопляла в нем произведения тогдашней образованности. Жить в нем было весело. Болеслав хотел, пребывая в Киеве, править своим государством и отправлял оттуда посольства в Западную и Восточную империю. Но такое поведение скоро раздражило как Святополка, так и киевлян. Святополк очутился в своем княжении подручником иноземного государя, а поляки начали обращаться с киевлянами, как господа с рабами. Тогда, с согласия Святополка, русские начали избивать поляков. Расставленные по городам, поляки не в силах были помогать друг другу. Болеслав убежал, но успел захватить с собою княжеское имущество и сестер Ярославовых. Он прежде сватался за одну из сестер Ярослава, Предславу, но, получив отказ, в отмщение взял ее теперь к себе насильно.

Тем временем Ярослав, прибежавши впопыхах в Новгород, хотел бежать дальше, за море. Но бывший тогда новгородским посадником Коснятин, сын Добрыни, не пустил его и велел разрубить лодки; новгородцы кричали: «Будем еще биться за тебя с Болеславом и Святополком». Наложили поголовную подать, с каждого человека по четыре кун; но старосты платили по 10 гривен, а бояре по восемнадцати, наняли варягов, собрали многочисленную рать и двинулись на Киев.<sup>3</sup>

Святополк, освободившись от Болеслава вероломным образом, не мог уже более на него надеяться. Не в силах будучи удержать Киев, Болеслав все-таки захватил червенские города, отнятые от Польши Владимиром. Святополк обратился к печенегам: на помощь киевлян, как видно, он также не рассчитывал. Ярослав стал на берегу Альты, на том месте, где был убит брат его Борис. Там, в одну из пятниц 1019 года, на восходе солнца, произошла кровавая сеча. Святополк был разбит и бежал. По известиям нашей летописи, на него нашел какой-то безумный страх; он так расслаб, что не мог сидеть на коне и его тащили на носилках. Так достиг он Берестья (Брест). «Бежим, бежим, за нами гонятся!» – кричал он в беспамятстве. Бывшие с ним отроки посылали проведать, не гонятся ли кто за ними; но никого не было, а Святополк все кричал: «Вот, вот, гонятся, бежим!» – и не давал остановиться ни на минуту; и забежал он куда-то «в пустыню между чехов и ляхов» и там кончил жизнь. «Могила его в этом месте и до сего дня, – говорит летописец, – и из нее

---

<sup>3</sup> Куна, первоначально куница; куний мех, так как меха были мерилем ценности вещей, отсюда слово «куна» стало означать монетную единицу. Гривна – собственно весовая единица, но в перенесении понятия сделалась крупной монетной единицей вроде английского фунта стерлингов. Первоначально гривна серебра – фунт, потом, уменьшаясь – около полфунта, гривна кун приблизительно в семь с половиной раз менее гривны серебра.

исходит смрад».<sup>4</sup> Память Святополка покрылась позором между потомками, и прозвище «Окаянного» осталось за ним в истории.

Ярослав сел на столе в Киеве и должен был выдержать борьбу и с другими родичами.<sup>5</sup> Полоцкий князь Брячислав, сын брата его Изяслава, в 1021 году напал на Новгород, ограбил, взял в плен многих новгородцев и ушел к Полоцку; но Ярослав догнал его на реке Судомири, отбил новгородских пленников, отнял награбленное в Новгороде, но потом помирился с ним, уступив ему во владение Витебск и Усвят.

В 1023 году Ярославу пришлось бороться с братом Мстиславом. Этот князь, по древним известиям, плотный телом, краснолицый, с большими глазами, отважный в битве, щедрый к дружине, получил от отца удел в отдаленной Тмутаракани, прославился своей богатырской удалью и в особенности единоборством с касожским князем Редедю, которое долго помнилось на Руси и составляло один из любимых предметов старинных песнопений. Русские, владея тмутараканской страной, часто воевали с соседями своими касогами. Князь касожский, по имени Редедя, предложил Мстиславу единоборство с тем, чтоб тот из них, кто в борьбе останется победителем, получил имущество, и жену, и детей, и землю побежденного. Мстислав принял предложение. Редедя был исполинского роста и необыкновенный силач; Мстислав изнемогал в борьбе с ним, но взмолился к Пресв. Богородице и дал обет построить во имя ее церковь, если одолеет своего врага. После того он собрал все силы свои, повалил Редедю на землю и зарезал ножом. По сделанному условию, Мстислав после того овладел его имуществом, женою, детьми и наложил на касогов дань, а в благодарность Пресв. Богородице, оказавшей ему в минуту опасности помощь свыше, построил храм во имя ее в Тмутаракани. Этот-то князь-богатырь поднялся на своего брата Ярослава с подчиненными ему касогами и призвал на помощь хазар. Сначала он, пользуясь отъездом Ярослава в Новгород, хотел было овладеть Киевом, но киевляне его не приняли; насильно покорять их он, как видно, не хотел или не мог. Ярослав пригласил из-за моря варягов. Достоинно замечания, что почти всегда в междоусобиях князей этого времени они принуждены были приглашать каких-нибудь чужеземцев. Так было и теперь. Приглашенными варягами предводительствовал Якун (Гакон), который оставил по себе на Руси память тем, что на нем был плащ, затканый золотом. Ярослав и Мстислав вступили в бой в северской земле близ Листвена. Была ночь и страшная гроза. Бой был жестокий. Мстислав выставил против варягов северян; варяги одолевали северян, но бросился на варягов отважный князь Мстислав со своею удалою дружиною – и побежали варяги; Якун потерял даже свой золототканый плащ. Утром, обозревая поле битвы, Мстислав говорил: «Ну как этому не порадоваться! Здесь лежит варяг, там северянин, а своя дружина цела!» Русские князья еще долго проявляли свое древнее значение предводителей воинственных шаек, и только принятое христианство мало-помалу преобразовало их в земских правителей.

Победитель не стал более вести войны с братом. Он послал Ярославу, убежавшему в Новгород, такое слово: «Ты, старейший брат, сиди в Киеве, а мне пусть будет левая сторона Днепра!» Ярослав должен был согласиться. Мстислав избрал себе столицей Чернигов и заложил там церковь Св. Спаса. С тех пор братья жили между собою душа в душу и в 1031 году, пользуясь слабостью преемника Болеслава Храброго, Мечислава, возвратили отнятые Болеславом червенские города (Галичину); тогда Ярослав привел из Польши много пленников и поселил их у себя по берегам Руси; Мстиславу также достались пленники для поселения в своем уделе. Таким образом в народонаселение киевской земли вливалась, между прочим, польская народная стихия.

В 1036 году Мстислав умер, выехавши на охоту. Он не оставил по себе детей. Удел его достался Ярославу, и с тех пор киевский князь остался до смерти единым властителем русских земель, кроме полоцкой. Был, кроме него, в живых еще один сын Владимира

<sup>4</sup> По скандинавским известиям, Святополк погиб в пределах Руси, убитый варягами.

<sup>5</sup> С этих пор о вступающем на княжение князе почти всегда в летописях говорится, что «он сел на стол». Выражение это согласовывалось с обрядом: нового князя действительно сажали на стол в главной соборной церкви, что и знаменовало признание его князем со стороны земли.

Святого, Судислав, живший в Пскове, но Ярослав по какому-то оговору, тотчас по смерти Мстислава, засадил его в тюрьму в том же Пскове, и несчастный сидел там безвыходно до кончины Ярослава. В Новгород сначала Ярослав сам часто наезжал и жил там подолгу, а в отсутствии своем управлял через посадников. Коснятин, сын Добрыни, не пустивший Ярослава бежать за море, впоследствии подвергся его гневу, был сослан в Ростов, а потом убит в Муроме. В 1038 году Ярослав посадил в Новгород сына своего Владимира, а после его смерти в 1052 году посажен был сын Ярослава Изяслав, и с тех пор в Новгороде постоянно уже были особые князья; преимущественно же в первое время выбирались старшие сыновья киевского князя.

Ярослав расширял область русского мира подчинением новых земель. Кроме приобретения червенских городов от Польши, он счастливо воевал с Чудью и в 1030 году основал в чудской земле город Юрьев, названный таким образом по христианскому имени Ярослава, нареченного Юрием в крещении. В 1038 и 1040 годах он предпринимал походы на ятвягов и Литву и заставил их платить дань. Червенские города все еще составляли спорную область между Польшей и Русью, но Ярослав укрепил их за Русью тем, что помирился и породнился с польским князем Казимиром. Ярослав отдал за него сестру свою. Казимир возвратил вместо вена<sup>6</sup> восемьсот русских пленных, некогда захваченных Болеславом: в те времена очень дорожили людьми по скудости рук, необходимых для обработки полей и для защиты края. По всем вероятностям, в это время Казимир уступил русскому великому князю окончательно и червенские города, а за то Ярослав пособил ему подчинить себе Мазовию. Не так счастливо кончилась у Ярослава морская война с Грецией, последняя в русской истории. Раздор произошел по поводу ссоры между русскими купцами и греками, во время которой убили одного русского. Ярослав в 1043 году отправил против Византии сына своего Владимира и воеводу Вышату, но буря разбила русские суда и выбросила на берег Вышату с шестью тысячами воинов. Греки окружили их, взяли в плен и привели в Царьград. Там Вышате и многим русским выкололи глаза. Но Владимир на море счастливо отбил нападение греческих судов и воротился в отечество. Через три года заключен был мир; слепцов отпустили со всеми пленными, а в утверждение мира греческий император Константин Мономах отдал дочь свою за сына Ярославова Всеволода. Это было не одно родство Ярослава с иноземными государями своего времени. Одна дочь его, Елисавета, была за норвежским королем Гаральдом, который даже оставил потомству стихотворение, в котором, воспевая свои бранные подвиги, жаловался, что русская красавица холодна к нему. Другая дочь, Анна, вышла за французского короля Генриха I и в новом отечестве присоединилась к римско-католической церкви, тогда еще только что отпавшей от единения с восточною. Сыновья Ярослава (вероятно, Вячеслав и Святослав) были женаты на немецких князьях.

Ярослав более всего оставил о себе память в русской истории своими делами внутреннего устройства. Недаром во время борьбы со Святополком киевляне называли его «хоромцем», охотником строить. Он действительно имел страсть к сооружениям. В 1037 году напали на Киев печенеги. Ярослав был в Новгороде и поспешил на юг с варягами и новгородцами. Печенеги огромною силою подступили к Киеву и были разбиты наголову. (С тех пор уже набеги их не повторялись. Часть печенегов поселилась в русской земле, и мы в последующие времена видим их наравне с русскими в войсках русских князей.) В память этого события создана была Ярославом церковь Св. Софии в Киеве на том месте, где происходила самая жестокая сеча с печенегами.

Храм Св. Софии построен был греческими зодчими и украшен греческими художниками. Несмотря на все последующие перестройки и пристройки, храм этот до сих пор может служить образцом византийского зодчества того времени не только на Руси, но и во всей Европе. У нас это единственное здание XI века, сохранившееся сравнительно в большей целостности. В первоначальном своем виде это было продолговатое каменное здание,

---

<sup>6</sup> Плата, даваемая женихом родителям или братьям невесты по древнему обычаю.

сложенное из огромных кирпичных плит и отчасти дикого камня; оно длиною в пятьдесят два аршина и шириною около семидесяти шести аршин. Вышина его была от шестидесяти до семидесяти аршин. На северной, западной и южной сторонах сделаны были каменные хоры, поддерживаемые толстыми столбами с тремя арками внизу и вверху на южной и северной сторонах; алтарь троеступный, полукруглый, с окнами, а рядом с ним было два придела. Здание освещалось пятью куполами, из которых самый большой приходился над серединой церкви, а четыре над хорами. Алтарные стены, алтарные столбы и главный купол были украшены мозаикой, а прочие стены стенной живописью.<sup>7</sup> Снаружи церковь была обведена папертью, из которой на двух сторонах: южной и северной, шли две витые лестницы на хоры. Эти лестницы были расписаны изображениями разных случаев из светской жизни, как-то: княжеской охоты, княжеского суда, народных увеселений и т.п. (фрески эти существуют и до сих пор, хотя несколько подправленные).

Кроме Св. Софии, Ярослав построил в Киеве церковь Св. Ирины (теперь уже не существующую), монастырь Св. Георгия, распространил Киев с западной стороны и построил так называемые Золотые Ворота с церковью Благовещения над ними. По его повелению, в Новгороде, сын его Владимир в 1045 году воздвиг церковь Св. Софии в Новгороде, по образцу киевской, хотя в меньших размерах. Церковь эта сделалась главной святынею Новгорода.

Время Ярослава ознаменовалось распространением христианской религии по всем русским землям. Тогда уже выросло поколение тех детей, которых Владимир отдавал в книжное учение. Ярослав в этом отношении продолжал дело своего отца; по крайней мере, мы имеем известие, что он в Новгороде собрал 300 детей у старост и попов и отдавал их «учиться книгам». В суздальской земле в 1024 году сам Ярослав боролся против язычества. Сделался в этой стране голод. Волхвы научали людей, будто старые бабы скрывают в себе жито и всякое обилие. Народ волновался, и несколько женщин было убито. Ярослав прибыл в Суздаль, казнил волхвов, их соумышленников засадил в тюрьмы и поучал народ, что голод происходит от кары Божией, а не от чародейства старых баб. Христианство сильнее стало распространяться в этой земле между Мерею. Всего глубже пустила свои корни новая вера в Киеве, и потому там строились один за другим монастыри. Умножение епископских кафедр потребовало установления главной кафедры над всеми, или митрополии. Ярослав положил начало русской митрополии вместе с основанием Св. Софии. Первым митрополитом при нем является Феопемпт, освящавший в 1039 году Десятинную церковь, вновь перестроенную Ярославом. В 1051 году, вместо Феопемпта, поставлен был собором русских епископов Иларион, родом русский, человек замечательно ученый по своему времени, как показывает оставшееся от него сочинение «о благодати и законе». Сам Ярослав любил чтение и беседы с книжными людьми: он собрал знатоков и поручил переводить с греческого на русский язык разные сочинения духовного содержания и переписывать уже переведенные; таким образом составила библиотека, которую Ярослав приказал хранить в Св. Софии. Киевский князь, как видно, имел намерение освятить в глазах народа свой княжеский род и с этой целью, вскоре по утверждении своем в Киеве, перенес тело Глеба и положил рядом с телом Бориса в Вышгороде: с этих пор они начали привлекать к себе народ на поклонение; говорили, что тела их были нетленны и у гроба их совершались исцеления. В 1044 году Ярослав совершил странный обряд: он приказал выкопать из земли и крестить в Десятинной церкви кости своих дядей Олега и Ярополка, а потом похоронить их в церкви.

Ярославу принадлежит начало сборника древних законов под названием «Русской

---

<sup>7</sup> В настоящее время от прежней мозаики осталось на главном алтарном своде изображение Богородицы с поднятыми руками, а внизу на той же стене часть Тайной Вечери, а еще ниже под нею часть изображений разных святых. На алтарных столбах изображение Благовещения: на левой стороне Ангел с ветвью, а на противоположном столбе прядущая Богородица. Кроме того, уцелела часть мозаики в куполе. Древняя стенная живопись в XVII веке была заштукатурена, и на штукатурке нарисованы были другие изображения, в XIX столетии новая штукатурка была отбита, открыта старая и подправлена, но не совсем удачно и в некоторых местах слишком произвольно.

Правды». Сборник этот, существующий в нескольких различных, то более, то менее полных редакциях, включает законоположения, установленные в разные времена и в разных местах, чего в точности определить невозможно. Самая старейшая дошедшая до нас редакция не восходит ранее конца XIII века. Несомненно, что некоторые из статей были составлены при сыновьях и внуках Ярослава, о чем прямо говорится в самих статьях. Ученые признают принадлежащими времени Ярослава первые семнадцать статей этого сборника, хотя нельзя отрицать, что, быть может, многие из последующих статей первоначально относятся к его же времени.

Главный предмет Ярославовых законоположений – случаи обид и вреда, наносимых одними лицами другим. Вообще, как за убийства, так и за увечье и побои предоставлялась месть; за убийство могли законно мстить брат за брата, сын за отца, отец за сына и племянник за дядю. Если же мести не было, тогда платилась князю «вира», имевшая разные размеры, смотря по свойству обиды и по званию обиженного: таким образом, за убийство всякого свободного человека платилось 40 гривен, а за княжеского мужа 80. Вероятно, ко временам Ярослава можно отнести постановление о «дикой» вире, которая платилась князю всей общиной или вервью (от веревки, которою обмерялась принадлежавшая общине земля) в том случае, когда на земле общины совершено было убийство, но на убийцу не было предоставлено иска. Нашедший у кого-нибудь украденную у него вещь мог взять ее тотчас, если объявил предварительно о покраже на торгу, а если не объявил, то должен был вести вора на свод, т.е. доискиваться, каким путем пришла к нему вещь. Такой же порядок соблюдался по отношению к беглому или украденному холопу. В случае записательства ответчика, дело решалось судом 12 выбранных человек.

Еще до своей смерти Ярослав разместил по русским землям своих сыновей. В Новгороде был старший сын его Владимир, умерший еще при жизни отца в 1052 году. В Турове был второй сын Ярослава, Изяслав, которому отец по смерти Владимира отдал новгородское княжение и назначил после своей смерти киевское; в Чернигове – Святослав, в Переяславе – Всеволод, во Владимире Волынском – Игорь, а в Смоленске – Вячеслав.

Ярослав скончался 20 февраля 1054 года на руках у любимого сына Всеволода и погребен в церкви Св. Софии в мраморной гробнице, уцелевшей до сих пор.

### Глава 3 Преподобный Феодосий Печерский

В эпоху, когда Русь приняла христианство, православная церковь была пропитана монашеским духом, и религиозное благочестие находилось под исключительным влиянием монастырского взгляда. Сложилось представление, что человек может угодить Богу более всего добровольными лишениями, страданиями, удручением плоти, отречением от всяких земных благ, даже самоотчуждением от себе подобных, – что Богу приятна печаль, скорбь, слезы человека; и напротив, веселое, спокойное житье есть угождение дьяволу и ведет к гибели. Образцом богоугодного человека сделался отшельник, отрешившийся от всякой связи с людьми; в пример высокой христианской добродетели ставили затворников, добровольно сидевших в тесной келье, пещере, на столбе, в дупле и т.п., питавшихся самую скудную, грубую пищу, налагавших на себя обет молчания, истязавших тело тяжелыми железными веригами и предававших его всем неудобствам неопрятности. Если не все должны были вести такого рода жизнь, то все, по крайней мере, обязаны были, в видах благочестия, приближаться к такому идеалу. Слово *спасение* в христианском смысле тесно связывалось с приемами, выражавшими более или менее такое стремление. Весь строй богослужения сложился так, как будто был создан для монастырской жизни: продолжительные чтения, стояния, множество молитв и правил, чрезвычайно сложная символика и обрядность – все принаравливалось к такому людскому обществу, где бы человек мог исключительно быть занят молением. Самое содержание молитв, вошедших в церковный обиход и сочиненных отшельниками, более подходило к признакам

монастырской, чем мирской жизни. Совершенный отшельник был самым высшим идеалом христианина; за ним, в благочестивом воззрении, следовала монастырская община – общество безбрачных постников и тружеников, считавшееся настоящим христианским обществом, а за пределами его был уже «мир», спасавшийся только молитвами отшельников и монахов и посильным приближением к приемам монастырского житья. Оттого-то пост, как один из этих приемов, пользовался и до сих пор продолжает пользоваться в народе важнейшим значением в деле спасения. Оттого-то хождение в монастыри считалось особенно богоугодным делом, тем более, когда к этому присоединялись лишения и трудности; оттого-то благочестивый мирянин думал перед смертью избавиться от вечной муки, записавши в монастырь свое имущество, или сам спешил постричься. Хотя брак в церкви и признавался священным делом, но, вместе с тем, монашеское безбрачие ставилось гораздо выше брачной жизни; и благочестивый человек, в назидательных житиях и проповедях, мог беспрестанно встречать примеры, выставляемые за образец, когда святой муж избегал брака или даже убегал от жены для отшельнической или монастырской жизни. Народный благочестивый взгляд шел в этом случае далее самого учения церкви и всякое сближение полов, даже супружеское, называл грехом: известно, что до сих пор многие из народа толкуют первородный грех Адама и Евы половым сближением, хотя такое толкование давно отвергнуто церковью. Тем не менее, однако, безбрачная жизнь признавалась самой церковью выше брачной и семейной.

Монастырю, с его уставами, с его благочестивыми воспоминаниями и преданиями, суждено было сделаться средоточием духовной жизни, высшим центром просвещения, которого лучи должны были падать на грешный мир. По религиозному воззрению, если Божие долготерпение щадило этот грешный мир, достойный кары, за все свои пороки и беззакония, то этим он был обязан именно заступничеству тех подвижников, которые отреклись от него и презрели его широкий путь со всеми временными наслаждениями. Они молились за грешный мир, и в этом состояла их любовь и служба обществу человеческому.

В те времена, когда духовная деятельность вращалась почти исключительно в религиозной сфере или, по крайней мере, находилась под сильным влиянием религии, понятно, что монастырь сделался школой для народа; монахи были его наставниками; в монастырях сосредоточивалось книжное учение, и значительная часть дошедшей до нас письменности носит на себе характер монашеский.

Так было в византийском мире; то же перешло и к нам; хотя рядом с этим заимствованным направлением проявлялись проблески самобытной духовной деятельности свежего и даровитого народа, но для потомства они не выдержали соперничества с монастырским духом: печерский патерик, содержащий жития Святых иноков Печерского монастыря, в течение веков оставался творением, известным всему русскому народу, даже неграмотному, тогда как поэтическое произведение XII века «Слово о Полку Игоря», уцелевшее случайно в одном списке, служит печальным свидетельством о гибели другого рода литературы, не имевшей в книжном мире той крепости, какую обладали монастырские произведения.

Понятия об отречении от мира, об удручении плоти, отшельничестве и монастырском житии пришли к нам, конечно, разом с крещением. Хотя во времена Владимира в старинных списках летописи не говорится о монастырях, но это, конечно, оттого, что христианство только что водворялось; однако, вероятно, и тогда уже появились начатки монашеского житья. О временах Ярослава существует положительное известие, что в его княжение начались монастыри и умножились черноризцы: этот князь любил духовных и в особенности монахов; при нем в Киеве явилось несколько монастырей; но первые начатки, по недостатку людей сильных волей, оказались слабыми. Истинными утвердителями монастырского житья были: Антоний, а более всего Феодосий, основатели Печерского монастыря. Обычай выкапывать пещеры и поселяться в них, в видах спасения, возник в Египте и существовал на всем Востоке. Вместе с религиозными преданиями зашли к нам и повествования об угодивших Богу пещерниках: явились подражатели. Первый, начавший копать пещеру близ



Киева, был Иларион, священник в селе Берестове, получивший потом сан митрополита. В покинутой им пещере поселился молодой Антоний, родом из Любеча, который ходил на Афонскую гору и получил там монашеское пострижение. По возвращении в отечество он не был доволен жизнью в монастырях, построенных в Киеве, поселился в пещере, изнурял себя воздержанием, вкушал только хлеб и воду, и то через день. Скоро, однако, слава его разнеслась по Киеву, и благочестивые люди приносили ему потребное для жизни. Пример его подействовал на какого-то священника по имени Никона: он пристал к Антонию и стал жить с ним в пещере. За ним явился к нему третий сподвижник; это был Феодосий.

Нам осталось житие этого Святого. Оно, несомненно, старое, так как известно по рукописям XII века, и, как значится в нем, написано Нестором, печерским летописцем. По этому житию Феодосий был уроженец города Василева (ныне Васильков), в детстве с родителями переселившийся в Курск. Он лишился отца в тринадцатилетнем возрасте и остался под властью матери, женщины сурового нрава и упрямой. С детства заметна была в нем молчаливость и задумчивость; он удалялся от детских игр; религия стала привлекать к себе эту сосредоточенную натуру: благочестивое чувство рано пробудилось в нем и овладело всем его бытием. Первое, чем выразилось оно, было стремление к простоте; ему противны казались внешние отличия, которые давало ему перед низшими его общественное положение; он не терпел блестящих одежд, надевал на себя такое же платье, какое было на рабах, и вместе с ними ходил на работу. Мать сердилась на это и даже била своего сына. Какие-то странствующие богомольцы пленили его рассказами об Иерусалиме, о местах, где жил, учил и страдал Спаситель, и Феодосий тайно ушел с ними. Но мать догнала его, прибила, заковала и держала в оковах до тех пор, пока он не дал ей обещания не убежать из дому. Оставшись на свободе, Феодосий начал печь просфоры. И за это мать сердилась на него, так как считала такое занятие неприличным его роду. Материнский деспотизм вывел другой раз из терпения отрока: он убежал от нее в какой-то город, пристал к священнику; но мать опять нашла его и опять подвергла побоям. Такое недовольство матери благочестием сына объясняется тем еще языческим состоянием, в каком были тогда русские люди, так как христианство проникло к ним недавно; в Курске, городе глухом, не первоклассном, не было ни одного монастыря; жители, хотя крещенные, не ознакомились еще с монастырским бытом; приемы монашества для них казались странными и дикими. Лицо, которое «Житие» называет властителем города – вероятно, княжий муж, посадник Ярославов, он полюбил Феодосия, взял его к себе в дом, одевал в хорошее платье, но Феодосий отдавал нищим это дареное платье, сам ходил в простом и наложил себе на тело железные цепи: он, конечно, слышал, что святые отшельники носили вериги, и стал подражать им. Мать нечаянно увидела эти цепи, которые до крови разъедали тело ее сына, сняла их и опять прибила его.

Тогда юноша решился бежать во что бы то ни стало. Он слышал, что в Киеве есть монастыри, и туда направил путь, чтобы там постричься. Путь был не короткий; дороги Феодосий не знал; к счастью, он встретил купеческий обоз, шедший с товарами в Киев, и, не теряя его из виду, шел за ним следом, останавливаясь тогда, когда обоз останавливался, и снова продолжал путешествие, когда обоз снимался с места. Так добрался он до Киева. Но киевские монастыри еще менее оказались удовлетворительными для Феодосия, чем для Антония. Юноша был беден; нигде в монастырях не хотели принять его. Он услышал об Антонию, отправился к нему и просил принять к себе.

«Чадо, – сказал Антоний, – пещера – это место скорбное и тесное, ты же молод: я думаю, не вытерпишь скорби в сем месте».

«Честный отче, – ответил Феодосий, – ты все проразумеваешь, ты знаешь, что Бог привел меня к твоей святости. Все, что велишь, буду творить».

«Чадо, – сказал Антоний, – благословен Бог, укрепивший тебя к такому намерению. Пребывай здесь».

Он приказал Никону постричь Феодосия. То было при князе Ярославе. Мать только через четыре года нашла след пропавшего без вести сына, приехала в Киев и с большим трудом добилась, при посредстве Антония, свидания с сыном.

Феодосий остался непреклонен ко всем молениям и просьбам матери и уговорил ее принять пострижение.

Она решилась на это, лишь бы иметь возможность видеть иногда сына, и постриглась в монастыре Св. Николая (на так называемой Оскольдовой могиле).

Мало-помалу число отшельников увеличивалось. Один молодой человек, сын боярина, приходил слушать поучения отшельников и, наконец, решился присоединиться к ним. Никон постриг его. За ним постригся другой, принадлежащий к княжескому двору, скопец Ефрем. Эти случаи вооружили против пещерников киевского князя Изяслава Ярославича до того, что он грозил раскопать их пещеру. Князь посердился, но оставил в покое отшельников; зато сын боярина, постриженный под именем Варлаама, вытерпел большую борьбу со своим семейством. Он был женат. Отец взял его силой из пещеры, употреблял все средства, чтобы отвлечь его от монашества, и поручил его жене подействовать на него своею любовью. Повествователь изображает ласки жены точно так, как будто дело шло об уловках блудницы. Варлаам сидел в углу, не вкушая предлагаемой пищи и не обращая внимания на ласки жены: так пробыл он три дня, молчал и только мысленно просил Бога, чтобы укрепил и избавил его от женской прелести. Наконец родители, видя, что ничего с ним не поделают, отпустили его со слезами; оплакивала его овдовевшая жена, плакали служители, любившие его; Варлаам не тронулся ничем. Место это в жизнеописании может служить образчиком много раз встречаемого в сочинениях монахов чрезмерного предпочтения монашеского одиночного жития брачному союзу и семейным связям, всегда одобряемым и освящаемым духом Христовой религии и уставами православной церкви.

Варлаам построил над пещерой церковь и был игуменом после того, как Никон ушел из Киева в Тмутаракань. С этих пор здесь положено было начало монастырского жития. Скоро Варлаам, по желанию князя, был переведен игуменом в монастырь Св. Димитрия в Киеве, а вместо него, по благословению Антония, братия избрала игуменом Феодосия.

До сих пор все пещерники жили в тесноте, чрезвычайно скудно, питались хлебом и водой, разрешая себе сочиво по субботам и воскресным дням, но часто, вместо сочива, по недостатку, довольствовались вареным зельем. Феодосий превосходил всех своими подвигами, так как он был очень крепкого телосложения. Он всем служил, носил воду, таскал дрова: все жили ручною работою и на вырученные деньги покупали себе муку; каждый должен был измолоть свою часть; когда другие, уставши, отдыхали, Феодосий молот за них. В летние ночи он выходил из пещеры, обнажал до пояса свое тело, плел шерсть на копытца (чулки) и клобуки (шапочки), которые потом продавал для своего пропитания, а сам во время работы пел псалмы, между тем как мошки и комары кусали его до крови. Первым приходил он в церковь к богослужению, последним уходил из церкви и во все время богослужения простаивал на одном месте, не двигаясь ни шагу. Такое подвижничество и смирение внушали к нему уважение и прославили его.

Феодосий, сделавшись игуменом, выказал в высокой степени талант устроителя и правителя. Внешние знаки власти не только не пленяли его, но были ему противны; зато он умел властвовать на самом деле, как никто, и своим нравственным влиянием держал монастырь в безусловном повиновении. Он отыскал удобное для построения церкви место, неподалеку от пещеры, и в короткое время построил там другую церковь во имя Пресв. Богородицы, выстроил около нее кельи, переселился туда с братией из пещер и послал одного из братии к Ефрему-скопцу в Константинополь с просьбою прислать для новоустроенного монастыря устав. Ефрем-скопец, бывший постриженник печерский, прислал Феодосию устав Студийского монастыря в Константинополе, славившегося как святостью своих сподвижников, так и ревностью их к православию во времена иконоборства. Этот устав и послужил на многие века уставом Печерского монастыря.

Феодосий был очень строг, требовал от братии точного исполнения устава, постоянно наблюдал, чтобы братия не облегчала себе монашеских подвигов. Он по ночам обходил кельи, нередко подслушивал у дверей, и если слышал, что монахи разговаривают между собою, то ударял палкой в дверь. Никому не позволял он иметь никакой собственности, и

если находил что-либо подобное в келье монаха, то бросал в огонь. Никто из братии не смел ничего съесть кроме того, что предлагалось на трапезе. Главное, чего требовал он – это беспредельное послушание воле игумена, послушание без всякого размышления. Оно ставилось выше поста, выше всяких подвигов изнурения плоти, выше молитв. Всякое переименование приказания игумена объявлялось грехом. Однажды келарь предложил братии на трапезе хлебы, которые игумен велел предложить в предшествовавший день; келарь допустил это изменение потому, что в предшествовавший день в монастыре были уже другие хлебы. Феодосий приказал предложенные не в указанный день хлебы бросить в воду, а келаря подвергнул епитимии. Братия была приучена к строжайшему, буквальному исполнению воли игумена: однажды вратарь не пустил в монастырь князя Изяслава, потому что этот князь приехал в такое время, когда Феодосий запретил вратарю пускать посторонних в монастырскую ограду. Требуя от братии строгой нищенской и постной жизни, он сам показывал другим пример: ел обыкновенно один ржаной хлеб, вареную зелень без масла и пил одну воду; в великую четырехдесятницу, от заговенья до пятницы вербной недели, запирался в тесной пещере; всегда носил на теле власяницу, а сверх власяницы худую свитку и, кроме рук, никогда не мыл своего тела.

Предписывая своим монахам строгое удаление от мира, который представлялся гнездилищем всех зол, Феодосий соприкасался с мирскими людьми делами христианской любви: он устроил близ монастыря двор для увечных, слепых, хромых и давал на них десятую часть монастырских доходов, а по субботам посылал хлебы в тюрьмы. Хотя в монастырь поступали беспрестанно приношения, но Феодосий не скоплял богатств, тратил их на добро другим, и нередко бывали дни, когда монастырь внезапно находился в большой скудости. Феодосий в этом отношении предавался воле Божией, и часто в оправдание такой надежды неожиданные приношения выручали братию. К Феодосию обращались мирские люди с просьбами о заступлении перед князьями и судьями, и он помогал им своим ходатайством, так как князья и судьи уважали голос Феодосия, считая его праведником.

Нередко князья приходили к нему, а также приглашали к себе. Однажды, пришедши к князю Святославу Ярославичу, он застал там большое веселье: одни играли на гусях и органах, другие пели песни. Феодосий сидел и слушал их с печальным видом и, наконец, проговорил: «Будет ли так на том свете!» Князь приказал немедленно остановить веселье, из уважения к присутствию отшельника, и на будущее время Феодосий уже не встречал у него таких забав; но это не мешало князю предаваться забавам в отсутствие Феодосия.

Добрые отношения к князьям не мешали Феодосию обличать их за несправедливые деяния. Когда Святослав изгнал брата своего Изяслава, Феодосий порицал его и в своем послании к нему уподоблял его Каину, убившему брата своего Авеля. Святослав так рассердился за это, что грозил послать печерского игумена в заточение. «Я этому рад, – сказал Феодосий, – для меня это самое лучшее в жизни. Чего мне страшиться: потери ли имущества и богатств? Разлучаться ли мне с детьми и селами? Нагими пришли мы в мир, нагими и выйдем из него!» Князь не стал более преследовать Феодосия, всеми уважаемого, но и Феодосий перестал обличать Святослава, а только при всяком случае просил его возвратить княжение брату, и в своем монастыре повелел поминать на ектеньях сперва Изяслава как великого князя, а за ним, уже в виде снисхождения, Святослава.

К нам дошло несколько поучений игумена Феодосия: одни из них обращены собственно к монахам и касаются более вопросов богослужения и монашеской жизни; другие – вообще к христианам. В одном из поучений последнего рода «О казнях Божиих», – в котором Феодосий признает общественные бедствия, как-то: голод, болезни, нашествие врагов, последствиями наших грехов, влекущих за собой кару небесную, – он порицает, между прочим, разные языческие суеверия, господствовавшие в обществе, еще недавно принявшем христианство. Таким образом, встреча с чернецом, черницею, лысым конем и свиньею считались дурным предвестием и побуждали идущего возвращаться назад. Феодосий нападает также на верование в чихание, на чародейство, гадания, приметы, взимание процентов, на светские забавы, на музыку, состоявшую тогда из гуслей и сопелей,

на скоморохов, на языческий обычай целоваться с женщинами во время пиров; более всего распространяется о пьянстве, как о пороке, господствовавшем в тогдашнем обществе, но позволяет, впрочем, пить умеренно. Достоин замечания, что в ответе своему князю Изяславу о некоторых предметах благочестия Феодосий относится снисходительнее к правилам о посте, чем обыкновенно церковные учителя последующих времен. В среды и пятки он предписывает мирянам воздержание только от мяса и одним чернецам от молочного. Самое воздержание от мяса в среды и пятки не было безусловно обязательным и могло как налагаться, так и разрешаться духовным лицом («аще связан еси отцем духовным в среду и пяток мясо не ясти, от того же и разрешение приими»). Вообще никто не должен сам налагать на себя постов, но следует поститься тогда, когда велит духовный отец. В господские и богородичные праздники, также в день 12-ти апостолов, если они приходятся в среду и пяток, Феодосий разрешает есть мясо. Феодосий сурово относится к иноверцам: «Живите мирно не только с друзьями, – поучает он, – но и с врагами, однако только со своими врагами, а не с врагами Божиими; свой враг тебе тот будет, кто убил бы перед твоими очами твоего сына или брата, прости ему все; но Божие враги – жида, еретики, держащие кривую веру... Нет лучше веры нашей, чистой, честной, святой; живучи в этой вере, можно избавиться от грехов, сделаться причастником вечной жизни, а тем, которые пребывают в вере латинской, армянской, срацинской, тем нет жизни вечной, ни части со святыми». Он вооружался против веротерпимости: «Кто хвалит чужую веру, тот свою хулит, а кто хвалит и свою веру, и чужую разом, – тот двоеверец; и кто тебе скажет: и ту, и другую веру Бог дал – ты скажи ему: разве Бог двоеверен? Писание говорит: един Бог, едина вера, едино крещение». По отношению к латинянам Феодосий запрещает православным давать за них дочерей и брать у них жен, брататься с ними, кумиться, целовать их, есть с ними и пить из одного сосуда: если будет латинянин просить есть или пить, то дать ему из особого сосуда, а потом выполоскать и сотворить молитву. Тем не менее, он приказывает князю всякого неверного, как и правоверного, накормить, одеть и избавить от беды. Более всех ненавидел Феодосий жидов, и жизнеописатель его говорит, что он ходил к жидам укорять их, досаждал им, называл беззаконниками и отступниками и хотел быть от них убитым за Христа.

Уже незадолго до кончины Феодосия положено было начало основанию каменной церкви на том месте, где находится и теперь главный храм Печерской обители. Средства для этого, на первый раз, доставлены были одним варягом, по имени Шимон. Об нем сохранился такой поэтический рассказ:

Шимон был изгнан из отечества своими дядями и отправился на корабле служить в Русь. Был у него оставшийся от отца крест в десять локтей с поясом – по одним известиям в 50, по другим в 8 гривен – и с золотым венцом на главе Распятого. Шимон захватил с собою пояс и венец, когда уходил из родины. Тогда был ему такой глас: «Не возлагай этого на главу свою, а неси на уготованное место, где строится церковь Матери Моей, и отдай в руки преподобного Феодосия, а он повесит над жертвенником». После этого видения, во время плавания его по Балтийскому морю в русскую землю, сделалась буря. Шимон испугался и полагал, что Бог наказывает его за то, что он взял украшение с Христова образа, и стал в этом каяться; тогда увидел он на воздухе изображение церкви и услышал голос: «Вот церковь, которая будет создана во имя Божией Матери, а ты будешь положен в ней. Размер поясом двадцать локтей в высоту, тридцать в длину и тридцать в ширину». Несмотря на это, по прибытии в Киев, Шимон долго не строил церкви, но ему было снова чудное видение. Уже по смерти Ярослава, при котором он приехал в Русь, Шимон с его сыновьями: Изяславом, Святославом и Всеволодом, отправляясь против половцев, обращался к Антонию за благословением.

Преподобный Антоний сказал: «О, чадо! Многие падут от острия меча, многие будут попираемы и уязвляемы, многие потонут в воде, а ты останешься спасен; тебе суждено лежать в печерской церкви, которая здесь построится». Русские были поражены на Альте. Шимон был ранен, лежал на поле посреди трупов и умирающих и вдруг увидел в воздухе

изображение той же церкви, которая являлась ему над балтийскими водами. Он исцелился от ран, рассказал Антонию о видениях и отдал ему венец и пояс, Антоний переименовал Шимона в Симона и передал его дар Феодосию. Симон очень полюбил Феодосия и доставил ему много средств для постройки новой церкви. Это было в 1073 году.

Симон явился после того к Феодосию и сказал ему: «Дай мне, отче, слово, что душа твоя благословит меня не только в этой жизни, но и по смерти моей и твоей».

«Это прошение выше силы моей, – отвечал Феодосий. – Но если по моем отшествии от мира устроится эта церковь, если будут уважать в ней предания и мои уставы, то это будет тебе знаком, что я имею дерзновение у Бога».

«Господь свидетельствовал о тебе, сказал Симон, – я сам слышал от пречистых уст Его образа. Помолись также, как ты молишься о своих чернецах, обо мне, и о сыне моем Георгии, и о потомках моих».

«Я не об одних чернецах молюсь, – возразил ему Феодосий, – но и о всех любящих это место». Симон поклонился до земли и сказал:

«Отче! Не изыду от тебя, дай мне на письме свое благословение». Феодосий дал ему молитву, какую теперь вкладывают в руки покойникам. С этих-то пор пошел на Руси обычай вкладывать в руки покойникам рукописание.

Но Симон, готовясь строить храм, попросил еще у Феодосия отпустить грехи его родителям.

Феодосий, воздвигнув руки, сказал: «Да благословит тебя Господь от Сиона и да увидите вы красоты Иерусалима во все дни жизни вашей в третьем, в четвертом роде до последнего».

Симон оставил латинскую веру и перешел к восточному православию.

Церковь заложена была в 1073 году Феодосием и епископом Михаилом во время бытности в Царьграде митрополита Георгия. Основание ее также подало повод к составлению рассказов о том, как четыре мастера в Царьграде получили от самой Богородицы приказание идти на Русь и построить церковь, что икона, которая впоследствии сделалась местною, принесена из Греции, вручена была самою Богородицею и есть произведение небесного искусства. Это было началом того благоговейного почитания икон явленных, так распространенного впоследствии на Руси. Отыскание места для церкви также сопровождалось чудесами, подобными чудесам Ветхого Завета в истории Гедона и Илии. Феодосий, желая узнать, какое место угодно будет Богу для постройки церкви, молился, чтобы везде была роса, а на том месте, где следует быть церкви, росы не было, а на другую ночь просил обратного: чтобы там была роса, когда повсюду не было росы, – и все исполнилось по его желанию. На том месте, где высшее знамение указало быть церкви, росли кустарники; они были истреблены огнем, низведенным с неба силой молитв Феодосия. Когда нужно было копать ров для закладки храма, эту работу первым предпринял князь Святослав. Богатые люди жертвовали вклады, волости и села на создание храма с тем, чтобы быть погребенными на этом месте. Варяг Симон первый удостоился этой чести.

В следующем 1074 году 2 мая скончался преподобный Феодосий, назначив по выбору братии, даже против своего собственного желания, преемником себе Стефана, приказав после своей смерти не омыwać свое тело и похоронить в пещере, в той бедной одежде, которую он носил и в которой отошел в вечность.

Предание говорит, что Феодосий перед смертью просил Святослава, чтобы церковь пещерская была освобождена от власти и князей, и владык, потому что создала ее Богородица, а не люди; и обитель надолго пребывала независимою общиною. Мудрый Феодосий установил твердую нравственную связь между всеми, принадлежавшими к обители. Если кто будет призван на какое-нибудь высшее духовное место на Руси, то он может принимать его и выходить из обители только с позволения старших, но всегда должен искать успокоения в Пещерской обители, и только за таких святой основатель монастыря обещал молиться пред Богом. В силу такого завета основателя, многие пещерские иноки, занимавшие впоследствии высокие места в русской церкви, где бы они ни были, не теряли

связи с монастырем. Напутствуемый мысленными благословениями Св. Феодосия, духовный питомец Печерской обители, был ли он в Ростове, Владимире, Новгороде, Полоцке, всегда обращался сердцем к Киеву, к заветной обители, как обетованной земле спасения, хранил правила, которые получал в этом монастыре, и распространял их везде, куда простиралось его влияние. Это ярко проявляется в одном памятнике духовной литературы XII века, а именно: в послании владимирского епископа Симона к печерскому монаху Поликарпу; «Кто не знает меня, грешного епископа Симона, и соборной церкви красы владимирской, и другой, суздальской, которую я создал сам. Сколько у них городов и сел, и собирают десятину со всей этой земли, и всем этим владеет наша худость! Скажу тебе, что всю эту славу и честь я признаю калом (грязью) и хотел бы лучше щепкой торчать за воротами или сором валяться в Печерском монастыре и быть попираемым людьми, или быть одним из тех убогих, что просят милостыню пред вратами честной лавры: лучше сей временной чести для меня один день в доме Божьей Матери, нежели тысяча лет в селениях грешников».

Тот же дух, который проявил Феодосий в своей жизни и устройстве монастыря, надолго оставался в его обители. За ним появился целый ряд подвижников, деяния которых записывались, передавались изустно, служили примером для других монастырей и распространяли в русском народе известное направление религиозных воззрений. Оттуда истекало, там окрепло и утвердилось то господствующее понятие, что Бог любит в христианине: добровольное терпение, самоизнурение постом, удаление от половой связи, утомительное богомоление, слезы, скорбь, воздыхание, сетование, нищета, – что монастырь есть путь к спасению и в мире, если не совсем невозможно, то очень трудно спастись: только надежды на молитвы подвижников могут давать утешение; а потому следует давать в монастыри вклады и наделять их богатствами, чтобы в них молились за грешников.

В этом направлении были светлые стороны. Они состояли уже в том, что монастыри были главными проводниками христианства; а в благодетельном влиянии христианства едва ли могут сомневаться самые неверующие люди. Но, с другой стороны, предпочтение монашеского звания и уважения к иноческой жизни вносили односторонность в религиозное воззрение. Мысль, что Богу всего угоднее одиночная, подвижническая жизнь инока и человек тем ближе к спасению, чем дальше от мира, вытесняла христианскую добродетель из этого мира: благочестивые люди стремились не к тому, чтобы в людском обществе, в мире, совершать подвиги любви Христовой; их идеал богоугодной жизни был не в среде человеческих отношений, а, напротив, вне их. Спасение удобнее казалось одинокому, оторванному от людей затворнику; и напротив, обращение с людьми приводило к неизбежному греху, – так думали русские, тогда как по духу Евангелия следовало наоборот. Словам Христа, – что тот недостоин Его, кто ради Его и Евангелия не оставит отца, матери, жены и всего, что есть для него дорогого в мире, – давали смысл вступление в монастырь, тогда как они означали требование от последователя Христова предпочитать всяким родственным и кровным отношениям правду, возвещенную учением Спасителя и подкрепленную примером его жизни и смерти. Высокий подвиг страдания за правду, за ближних обратился в подвиг страдания ради самого страдания; средство стало целью; борьба с дьяволом в образе зла и растления человеческого общества заменялась борьбой с призраками, тревожившими расстроенные нервы истязавшего себя пустытника. Безбрачие, – некогда предлагаемое апостолом как состояние более удобное, и то временно, для некоторых, ему подобных, в тяжелую эпоху гонений, – возведено было само по себе в доблесть, и тем унижен был семейный союз; то, что могло быть уделом только очень немногих, одаренных способностью «вместить», становясь если не обязательной, то все-таки высшей добродетелью, достойною стремления, превращалось в чудовищное насиливание природы; наконец, уважение к слезам, скорби, болезни, нищете, вообще к несчастью, завещанное учителем в видах облегчения от горести, для счастья человеческого, превращалось в умышленное искание слез, скорби, болезни, нищеты. Таким образом логически выходила бесцельность дел любви Христовой; если страдание являлось само по себе целью, то незачем было стремиться к уменьшению его на земле; напротив, нужно,

казалось, заботиться, чтобы люди страдали: к этому приводила односторонность, вытекавшая из господства монашеского направления в христианстве. Так как идеал христианской доблести поставлен был вне гражданского общества и под условием насилования человеческой природы, то он не мог достигаться не только всеми, но и большей частью тех, которые исключительно ему отдавались; отсюда вытекло, что последствием стремления к такому идеалу являлось именно то, что более всего было противно духу Христова учения: лицемерство, самообольщение, ханжество и отупение. За исключением немногих личностей, которым дано было свыше достигать высшего монашеского идеала, за исключением бедняков, слабых духом и телом, неспособных к труду в обществе, – монастыри наполнялись людьми, возмечтавшими о себе то, чего в них не было, жалкими самоистязателями, воображавшими, что Богу угодно насилие данной Богом же духовной и телесной природы человека, а более всего эгоистами, тунеядцами и лицемерами, надевавшими на себя личину святости. За пределами же монастырей весь мир пребывал в грубейшей чувственности и в темнейшем невежестве, продолжали в нем господствовать и развиваться пороки, совершались насилия и злодеяния, лилась реками кровь человеческая, люди терзали друг друга; а благочестивое чувство утешало себя тем, что так неизбежно должно быть на свете по воле Божией, и искало примирения с совестью и божеством в соблюдении кое-каких видимых приемов, приближающих жизнь к монашескому идеалу, поставленному вне мира и гражданского общества.

## **Глава 4**

### **Князь Владимир Мономах**

Между древними князьями дотатарского периода после Ярослава никто не оставил по себе такой громкой и доброй памяти, как Владимир Мономах, князь деятельный, сильный волей, выделявшийся здравым умом среди своей братии князей русских. Около его имени вращаются почти все важные события русской истории во второй половине XI и в первой четверти XII века. Этот человек может по справедливости назваться представителем своего времени. Славяно-русские народы, с незапамятных времен жившие отдельно, мало-помалу подчинились власти киевских князей, и, таким образом, задачей их совокупной истории стало постепенное и медленное образование государственной цельности. В каких формах и в какой степени могла проявиться эта цельность и достигнуть полного своего осуществления – это зависело уже от последующих условий и обстоятельств. Общественное устройство у этих народов имело те общие для всех признаки, что они составляли земли, которые тянули к городам, пунктам своего средоточия, и в свою очередь дробились на части, хотя сохраняли до известной степени связь как между частями дробления, так и между более крупными единицами, и отсюда происходило, что города были двух родов: старейшие и меньшие; последние зависели от первых, но с признаками внутренней самобытности. Члены земли собирались в городах совещаться о своих делах, а творить расправу, защищать землю и управлять ею должен был князь. Сперва политическая власть киевских князей выражалась только тем, что они собирали дань с подчиненных, а потом шагом к более прочному единству и связи между землями было размещение сыновей киевского князя в разных землях, а следствием этого было разветвление княжеского рода на линии, более или менее соответствовавшие расположению и разветвлению земель.

Это размещение княжеских сыновей началось еще в язычестве, но грубые варварские нравы не допускали развиваться какому-нибудь новому порядку; сильнейшие братья истребляли слабейших. Так, из сыновей Святослава остался только один Владимир; у Владимира было много сыновей, и всех их он разместил по землям; но Святополк, по образцу языческих предков, начал истреблять братьев, и дело кончилось тем, что за исключением особо выделенной полоцкой земли, которая досталась старшему сыну Владимира Изяславу как удел его матери, вся остальная Русь была под властью одного киевского князя Ярослава. Это не было единодержавие в нашем смысле слова и вовсе не

вело к прочному сцеплению земель между собой, а напротив, чем более земель могло скопиться под властью единого князя, тем менее было возможности этой единой власти наблюдать над ними и иметь влияние на течение событий в этих подвластных землях. Напротив, когда после принятия христианства вместе с одной верою входил в Русь и единый письменный язык и одинаковые нравственные, политические и юридические понятия, если в различных землях и пребывали свои князья, то эти князья – происходя из единого княжеского рода, сохраняя более или менее одинаковые понятия, привычки, предания, воззрения, руководимые при этом единой церковью – своим управлением способствовали распространению таких свойств и признаков, которые были одинаковы во всех землях и, следовательно, вели их к единению между собою.

После Ярослава начинается уже непрерывно тот период, который обыкновенно называют удельным. Особые князья явились в земле северян или черниговцев, в земле смоленских кривичей, в земле волынской, в земле хорватской или галицкой. В земле новгородской сначала соблюдалось как бы правило, что там князем должен быть старший сын киевского князя, но это правило очень скоро уступило силе народного выбора. Земля полоцкая уже прежде имела особых князей. В земле русской или киевской выделилось княжение переяславское, и к этому княжению по разделу Ярослава присоединена отдаленная Ростовская область. Собственно, не было ни правил для размещения князей, ни порядка их преемственности, ни даже прав каждого лица из княжеского рода на княжение где бы то ни было, а потому, естественно, должен был возникать ряд недоразумений, которые приводили неизбежно к междоусобиям. Само собой разумеется, что это задерживало ход развития тех начал образованности, которые Русь получила вместе с христианской верой. Но еще более препятствовало этому развитию соседство с кочевыми народами и непрестанные столкновения с ними. Русь как будто приговором судьбы осуждена была видеть у себя приходивших с востока гостей, сменявших друг друга: в X веке и в первой половине XI в. она терпела от печенегов, а с половины XI их сменили половцы. При внутренней безладности и княжеских усобицах, Русь никак не могла оградить себя и избавиться от такого соседства, тем более, когда князья сами приглашали иноплеменников в своих междоусобицах друг против друга.

При таком положении дел важнейшею задачею тогдашней политической деятельности было, с одной стороны, установление порядка и согласия между князьями, а с другой – дружное обращение всех сил русской земли на свою защиту против половцев. В истории дотатарского периода мы не видим ни одной такой личности, которой бы удалось совершить прочно и плодотворно такой великий подвиг; но из всех князей никто не стремился к этой цели с такой ясностью взгляда и с таким, хотя временным, успехом, как Мономах, и потому имя его долго пользовалось уважением. Кроме того, о его жизни сложилось понятие, как об образцовом князе.

Владимир родился в 1053 году, за год до смерти деда своего Ярослава. Он был сыном Всеволода, любимейшего из сыновей Ярослава; тогда как прочих сыновей Ярослав разместил по землям, назначив им уделы, Всеволода отец постоянно держал возле себя, хотя дал ему в удел близкий от Киева Переяславль и отдаленный Ростов. Старик Ярослав умер на руках у Всеволода. Мать Владимира, последняя супруга Всеволода, была дочь греческого императора Константина Мономаха; Владимир по деду со стороны матери получил имя Мономаха. Таким образом, у него было три имени: одно княжеское – Владимир, другое крестное – Василий, третье дедовское по матери – Мономах.

Будучи тринадцати лет от роду, он принялся за занятия, которые, по тогдашним понятиям, были приличны княжескому званию – войною и охотою. Владимир в этом случае не был исключением, так как в те времена князья вообще очень рано делали то, что, по нашим понятиям, прилично только возмужалым; их даже женили в отроческих летах. Отец послал Владимира в Ростов, и путь его лежал через землю вятичей, которые еще тогда не хотели спокойно подчиняться княжеской власти Рюрика дома. Владимир недолго был в Ростове и скоро появился в Смоленске. На Руси тем временем начинались одна за другой две



беды, терзавшие страну целые века. Сначала поднялись княжеские междоусобия. Начало им было положено тем, что сын умершего Ярослава сына, Владимира, Ростислав бежал в Тмутаракань, город, находившийся на Таманском полуострове и принадлежавший тогда черниговскому князю, поместившему там своего сына Глеба. Ростислав выгнал этого Глеба, но и сам не удержался после него. Это событие, само по себе одно из множества подобных в последующие времена, кажется замечательным именно потому, что оно было тогда первым в этом роде. Затем прорвалась вражда между полоцкими князьями и Ярославичами. В 1067 году полоцкий князь Всеслав напал на Новгород и ограбил его; за это Ярославичи пошли на него войной, разбили и взяли в плен.

В следующем 1068 году настала беда другого рода. Нахлынули с востока половцы, кочевой народ тюркского племени; они стали нападать на русские земли. Первое столкновение с ними было неудачно для русских. Киевский князь Изяслав был разбит и вслед за тем прогнан самими киевлянами, с которыми он и прежде не ладил. Изяслав возвратился в Киев с помощью чужеземцев-поляков, а его сын варварски казнил и мучил киевлян, изгнавших его отца; потому-то киевляне при первой же возможности опять избавились от своего князя. Изяслав снова бежал, а вместо него сел на киевский стол его брат Святослав, княживший прежде в Чернигове; тогда черниговской землей стал управлять Всеволод, а сына его Владимира Мономаха посадили на княжение в Смоленске.

Во все продолжение княжения Святослава Владимир служил ему, как старейшему князю, так как отец Владимира, Всеволод, находился в согласии со Святославом. Таким образом, Владимир по поручению Святослава ходил на помощь полякам против чехов, а также в интересах всего Ярослава племени воевал против полоцких князей. В 1073 году Святослав умер, и на киевский стол опять сел Изяслав, на этот раз, как кажется, поладивший с киевлянами и со своим братом Всеволодом. Этот князь вывел прочь из Владимира-Волынского сына Святослава Олега, с тем, чтобы там посадить своего собственного сына. Олег, оставшись без удела, прибыл в Чернигов к Всеволоду: Владимир находился тогда в дружеских отношениях с этим князем и, приехав из Смоленска в Чернигов, угощал его вместе с отцом своим. Но Олегу досадно было, что земля, где княжил его отец и где протекло его детство, находится не у него во власти. В 1073 году он убежал из Чернигова в Тмутаракань, где после Ростислава жил уже подобный ему князь, беглец Борис, сын умершего Вячеслава Ярославича. Не должно думать, чтобы такого рода князья действительно имели какие-нибудь права на то, чего добивались. Тогда еще не было установлено и не вошло в обычай, чтобы все лица княжеского рода непременно имели удел, как равным образом не утвердилось правило, чтобы во всякой земле были князьями лица, принадлежавшие к одной княжеской ветви в силу своего происхождения. В самом распоряжении Ярослава не видно, чтобы, размещая своих сыновей по землям, он имел заранее в виду распространить право посаженных сыновей на их потомство. Сыновья Ярослава также не установили такого права, как это видно в Смоленске и на Волыни.<sup>8</sup> Только ветвь полоцкая держалась упорно и последовательно в своей кривской земле, хотя Ярославичи хотели ее оттуда вытеснить. При совершенной неопределенности отношений, при отсутствии общепринятых и освященных временем прав князей на княжение, понятно, что всякий князь, как только обстоятельства давали ему силу, старался устроить своих ближних, – главное сыновей, если у него они были, – и в таком случае не стеснялся столкнуть с места иного князя, который был ему менее близок: от таких поступков не могла останавливать князей мысль о нарушении чужого права, потому что такого права еще не существовало. Со своей стороны очень естественно было князю искать княжения так же, как

---

<sup>8</sup> Еще раньше Вячеслав, княживший в Смоленске, умер; князья перевели туда из Волыни Игоря, а по смерти Игоря назначили туда князем Владимира Мономаха помимо детей Игоря. Равным образом на Волыни не было наследственной преемственности между князьями, а киевские князья помещали там своих сыновей; так что, когда княжил в Киеве Изяслав, на Волыни был его сын, а когда Святослав овладел Киевом, то поместил там своего сына; когда же Святослав умер и Изяслав опять сделался князем в Киеве, на Волыни стал княжить сын Изяслава.

княжили его родители и родные, и преимущественно там, где был князем его отец, где, быть может, он сам родился и где с детства привыкал к мысли заступить место отца. Такой князь легче всего мог найти себе помощь у воинственных иноплеменников. И вот бежавшие в Тмутаракань Олег и Борис обратились к половцам. Не они первые вмешали этих врагов Руси в ее внутренние междоусобия. Сколько нам известно, первый, показавший им дорогу к такому вмешательству, был Владимир Мономах, так как по собственному его известию, помещенному в его поучении, он еще прежде них, при жизни своего дяди Святослава Ярославича, водил половцев на полоцкую землю.

Олег и Борис с половцами бросились на северскую землю. Всеволод вышел против них из Чернигова и был разбит. Олег легко овладел Черниговым; черниговцы приняли его сами, так как знали его издавна: вероятно, он и родился в Чернигове. Когда после того Всеволод вместе с киевским князем Изяславом хотел отнять Чернигов у Олега, черниговцы показали себя преданными Олегу, и после того, как Всеволод и Изяслав успели овладеть стенами окольного города и сожгли строения, находившиеся в черте, образуемой этим окольным городом, жители не сдавались, ушли во внутренний город, так называемый «большой», и защищались в нем до последних сил. Олега с ними в городе не было: упорство, с которым тогда стояли за него черниговцы, не поддерживалось его присутствием или стараниями, и, вероятно, происходило от искренней привязанности к нему черниговцев. Владимир был тогда с отцом. Услышавши, что Олег с Борисом идет против них на выручку Чернигова и ведет с собой половцев, князья оставили осаду и пошли навстречу врагам. Битва произошла на Нежатиной Ниве близ села этого имени. Борис был убит, Олег бежал. Но их победители дорого заплатили за свою победу. Киевский князь Изяслав был убит в этой сече.

Смерть Изяслава доставила Киев Всеволоду. Чернигов, потеряв надежду на Олега, сдался, и в этом городе посадили Владимира Мономаха. Олег и брат его Роман Святославич в 1079 году попытались выгнать Владимира из Чернигова, но безуспешно. Владимир предупредил их, вышел с войском к Переяславлю и без битвы избавился от соперников; он заключил мир с половцами, помогавшими Святославичам. Половцы и находившиеся с ними хазары предательски поступили со своими союзниками: Олега отправили в Царьград, а Романа убили. Уменье рассорить своих противников показывает большую сметливость Владимира.

Оставшись на княжении в Чернигове, Владимир со всех сторон должен был справляться с противниками. Тмутаракань опять ускользнула из-под его власти: там утвердились два другие безудельные князья, сыновья Ростислава Владимировича. Половцы беспрестанно беспокоили черниговскую землю. Союз с ними, устроенный Владимиром под Переяславлем, не мог быть прочен: во-первых, половцы – народ хищнический, не слишком свято держали всякие договоры; во-вторых, половцы разбивались на орды, находившиеся под предводительством разных князьков или ханов и называемых в наших летописях «чадью»; тогда как одни мирились с русским князем, другие нападали на его область. Владимир справлялся с ними сколько это было возможно. Таким образом, когда двое половецких князьков опустошили окрестности северского пригорода Стародуба, Владимир, пригласив на помощь другую орду, разбил их, а потом под Новым Городом (Новгородом-Северским), рассеял орду другого половецкого князя и освободил пленников, которых половцы уводили в свои становища, называемые в летописях «вежами». На севере у Владимира были постоянные враги – полоцкие князья. Князь Всеслав напал на Смоленск, который оставался во власти Владимира и после того, как отец посадил его в Чернигове. В отмщение за это Владимир нанял половцев и водил их опустошать землю полоцкую: тогда досталось Минску; там, по собственному свидетельству Владимира, не оставлено было ни челядина (слуги), ни скотины. С другой стороны Владимир воевал с вятичами: этот славянский народ все еще упорно не поддавался власти Рюрика дома, и Владимир два раза ходил войной на Ходоту и сына его – предводителей этого народа. По приказанию отца, Владимир занимался делами и на Волыни: сыновья Ростислава овладели этой страной; Владимир выгнал их и посадил Ярополка, Изяславова сына, а когда этот князь не поладил с

киевским, то Владимир, по велению отца, прогнал его и посадил на Волыни князя Давида Игоревича, и в следующем году за тем (1086) опять посадил Ярополка. Тогда власть киевского князя в этом крае была еще сильна, и князья ставились и сменялись по его верховной воле.

В 1093 году умер Всеволод. Владимир не захотел воспользоваться своим положением и овладеть киевским столом, так как предвидел, что от этого произойдет междоусобие; он сам послал звать на киевское княжение сына Изяслава Святополка (княжившего в Турове), который был старше Владимира летами и за которого, по-видимому, была значительная партия в киевской земле. Во все продолжение княжения Святополка Владимир оставался его верным союзником, действовал с ним заодно и не показал ни малейшего покушения лишить его власти, хотя киевляне уже не любили Святополка, а любили Владимира.

Владимир сделался, так сказать, душой всей русской земли; около него вращались все ее политические события.

Едва только уселся Святополк в Киеве, как половцы прислали к нему послов с предложением заключить мир, Святополк привел с собой из Турова дружину, людей ему близких. С ними он во всем совещался, и они посоветовали ему засадить половецких послов в погреб; когда после того половцы начали воевать и осадили один из пригородов киевской земли – Торцкий, Святополк выпустил задержанных послов и сам предлагал мир, но половцы уже не хотели мира. Тогда Святополк начал совещаться с киевлянами; советники его разделились во мнениях: одни, более отважные, порывались на бой, хотя у Святополка было наготове с оружием только восемьсот человек; другие советовали быть осторожнее, наконец порешили на том, чтобы просить Владимира помогать в обороне киевской земли от половцев.

Владимир отправился со своею дружиною, пригласил также своего брата Ростислава, бывшего на княжении в Переяславле. Ополчение трех князей сошлось на берегу реки Стугны, и там собрался совет.

Владимир был того мнения, что лучше, как бы ни было, устроить мир, потому что половцы были тогда соединены силами; то же доказывал боярин по имени Ян и еще кое-кто из дружины, но киевляне горячились и хотели непременно биться. Им уступили.

Ополчение перешло реку Стугну, пошло тремя отрядами, сообразно трем предводительствовавшим князьям, прошло Триполье и стало между валами. Это было 20 мая 1093 года.

Здесь половцы наступили на русских, гордо выставив в их глазах свои знамена. Сначала пошли они на Святополка, смяли его, потом ударили на Владимира и Ростислава. У русских князей силы было мало в сравнении с неприятелем; они не выдержали и бежали. Ростислав утонул при переправе через Стугну; Владимир сам чуть не пошел ко дну, бросившись спасать утопавшего брата. Тело утонувшего привезли в Киев и погребли у Св. Софии. Смерть Ростислава была приписана к Божию наказанию за жестокий поступок с печерским иноком старцем Григорием. Встретив этого старца, о котором тогда говорили, что он имеет дар предвидения, Ростислав спросил его: от чего приключится ему смерть. Старец Григорий отвечал: от воды. Ростиславу это не понравилось, и он приказал бросить Григория в Днепр; и за это злодеяние, как говорили, Ростислава постигла смерть от воды.

Дело этим не окончилось. Половцы дошли до Киева и между Киевом и Вышгородом на урочище Желани в другой раз жестоко разбили русских того же года 23 июля.

После этой победы половцы рассеялись по русским селам и пленили много людей. Современник в резких чертах описал состояние бедных русских, которых толпами гнали враги в свои вежи: «Печальные, измученные, истомленные голодом и жаждою, нагие и босые, черные от пыли, с окровавленными ногами, с унылыми лицами шли они в неволю и говорили друг другу: я из такого-то города, я из такой-то деревни, рассказывали о родных своих и со слезами возводили очи на небо к Всевышнему, ведущему все тайное».

В следующем 1094 году Святополк думал приостановить бедствия русского народа, заключил с половцами мир и женился на дочери половецкого хана Тугоркана. Но и этот год

был не менее тяжел для русской земли: саранча истребила хлеб и траву на полях, а родство киевского князя с половецким не спасло Руси и от половцев. Когда одни половцы мирились и роднились с русскими, другие вели на Владимира его неумолимого соперника Олега. Олег, засланный византийцами в Родос, недолго там оставался. В 1093 году он уже был в Тмутаракани, выгнал оттуда двух князей, таких же безместных, как и он (Давида Игоревича и Володаря Ростиславича), и сидел некоторое время спокойно в этом городе, но в 1094 году, пригласивши половцев, пустился добывать ту землю, где княжил его отец. Владимир не дрался с ним, уступил ему добровольно Чернигов, вероятно и потому, что в Чернигове, как и прежде, были сторонники Олега. Сам Владимир уехал в Переяславль.

Тогда уже, как видно, выработался вполне характер Владимира и в нем созрела мысль действовать не для личных своих выгод, а для пользы всей русской земли, насколько он мог понимать ее пользу; главное же – энергически соединенными силами избавить русскую землю от половцев. До сих пор мы видели, что Владимир, насколько было возможно, старался устроить мир между русскими и половцами, но с этих пор он становится постоянным и непримиримым врагом половцев, воюет против них, подвигает на них всех русских князей и с ними все силы русских земель. Вражду эту он открыл поступком с двумя половецкими князьями: Китаном и Итларем. Князья эти прибыли к Переяславлю договариваться о мире, разумеется, с намерением нарушить этот мир, как делалось прежде. Китан стал между валами за городом, а Итларь с знатнейшими лицами приехал в город: с русской стороны отправился к половцам заложником сын Владимира Святослав.

Тогда же прибыл от Святополка киевлянин Славята и стал советовать убить Итларя, приехавшего к русским. Владимир сначала не решался на такое вероломство, но к Славяте пристали дружинники Владимира и говорили: «Нет греха в том, что мы нарушим клятву, потому что сами они дают клятву, а потом губят русскую землю и проливают христианскую кровь».

Славята с русскими молодцами взялся проникнуть в половецкий стан за городом и вывести оттуда Мономахова сына Святослава, посланного к половцам заложником. С ним вместе взялись за это дело торки (народ того же племени, к которому принадлежали и половцы, но, будучи поселены на киевской земле, они верно служили Руси). В ночь 24 февраля они не только счастливо освободили Святослава, но убили Китана и перебили его людей.

Итларь находился тогда во дворе у боярина Ратибора; поутру 24 февраля Итларя с его дружиною пригласили завтракать к Владимиру; но только что половцы вошли в избу, куда их позвали, как за ними затворили двери, и сын Ратиборов Ольбег перестрелял их сверху через отверстие, сделанное в потолке избы. После такого вероломного поступка, который русские оправдывали тем, что их враги были так же вероломны, Владимир начал созывать князей против половцев, и в том числе Олега, от которого потребовал выдачи сына убитого Итларя. Олег не выдал его и не шел к князьям.

Киевский князь Святополк и Владимир звали Олега в Киев на совет об обороне русской земли. «Иди в Киев, – говорили ему князья, – здесь мы положим порядок о русской земле перед епископами, игуменами, перед мужами отцов наших и перед городскими людьми, как нам оборонять русскую землю». Но Олег высокомерно ответил: «Не пристало судить меня епископам, игуменам и смердам» (т.е. мужичью, переводя на наш способ выражения).

Тогда князья, пригласившие Олега, послали ему от себя такое слово: «Если ты не идешь на неверных и не приходишь на совет к нам, то, значит, ты мыслишь на нас худое и хочешь помогать поганым. Пусть Бог нас рассудит».

Это было объявление войны. Итак, вместо того чтобы идти соединенными силами на половцев, Владимиру приходилось идти войною на своих. Владимир со Святополком выгнали Олега из Чернигова, осадили его в Стародубе и держали в осаде до тех пор, пока Олег не попросил мира. Ему даровали мир, но с условием, чтоб он непременно прибыл в Киев на совет. «Киев, – говорили князья, – старейший город на русской земле; там надлежит нам сойтись и положить порядок». Обе стороны целовали крест. Это было в мае 1096 года.

Между тем раздраженные половцы делали на Русь набеги. Хан половецкий Боняк со своею ордою жег окрестности Киева, а тесть Святополка Тугоркан, несмотря на родство с киевским князем, осадил Переяславль. Владимир со Святополком разбили его 19 мая; сам Тугоркан пал в битве, и его зять Святополк привез тело тестя в Киев: его похоронили между двумя дорогами: одною, ведущею в Берестово, и другою – в Печерский монастырь. В июле Боняк повторил свое нападение и 20 числа утром ворвался в Печерский монастырь. Монахи, отстояв заутреню, почивали в кельях; половцы выломали ворота, ходили по кельям, брали что попадалось под руки, сожгли церковные южные и северные двери, вошли в церковь, таскали из нее иконы и произносили оскорбительные слова над христианским Богом и законом. Тогда половцы сожгли загородный княжеский двор, называемый красным, построенный Всеволодом на выдубичском холме, где впоследствии выстроен был Выдубицкий монастырь.

Олег не думал исполнять договора и являться в Киев на княжеский съезд. Вместо того он явился в Смоленск (где тогда неизвестно каким путем сел брат его Давид), набрал там войска и, вышедши оттуда, пошел вниз по Оке, ударил на Муром, который достался в управление сыну Мономаха Изяславу, посаженному на княжение в соседней ростовской земле. (Отец Олега Святослав, сидя в Чернигове, был в то же время на княжении и в Муроме, и потому Олег считал Муром своею отчиною). 6 сентября 1096 года Изяслав был убит в сече. Олег взял Муром и оковал всех найденных там ростовцев, белозерцев и суздальцев: видно, что князь Изяслав управлял муромцами при помощи людей своей земли. В Муроме и его волости в то время еще господствовало язычество; край был населен народом финского племени, муромою, и держался за князьями только посредством дружины, составлявшей здесь, вероятно, еще единственное славянское население в те времена. В Ростове, Суздале и Белозерске, напротив, славяно-русская стихия уже прежде пустила свои корни, и эти края имели свое местное русское население.

Олег, отвоевавши Муром, взял Суздаль и поступил сурово с его жителями: одних взял в плен, других разослал по своим городам и отнял их имущество. Ростов сдался Олегу сам. Возгордившись успехами, Олег затевал подчинить своей власти и Новгород, где на княжении был другой сын Мономаха Мстислав, молодой князь, очень любимый новгородцами. Новгородцы предупредили покушение Олега и, прежде чем он мог встать с войском на новгородской земле, сами отправились на него на ростовско-суздальскую землю. Олег убежал из Суздаля, приказав в досаде сжечь за собою город, и остановился в Муроме. Мстислав удовлетворился тем, что выгнал Олега из ростовско-суздальской земли, которая никогда не была уделом ни Олега, ни его отца; предложил Олегу мир и предоставлял ему снестись со своим отцом. Мстислава располагало к уступчивости то, что Олег был его крестным отцом. Олег притворно согласился, а сам думал внезапно напасть на своего крестника; но новгородцы узнали об его намерении заблаговременно и вместе с ростовцами и белозерцами приготовились к бою. Враги встретились друг с другом на реке Колакше в 1096 году. Олег увидел у противников распущенное знамя Владимира Мономаха, подумал, что сам Владимир Мономах пришел с большою силою на помощь сыну, и убежал. Мстислав с новгородцами и ростовцами пошел по его следам, взял Муром и Рязань, мирно обошелся с муромцами и рязанцами, освободил людей ростовско-суздальской области, которых Олег держал в городах Муроме и Рязани пленниками; после того Мстислав послал к своему сопернику такое слово: «Не бегай более, пошли с мольбой к своей братьи; они тебя не лишат русской земли». Олег обещал сделать так, как предлагал ему победитель.

Мономах дружелюбно обошелся со своим соперником, и памятником тогдашних отношений его к Олегу осталось современное письмо его к Олегу, очень любопытное не только потому, что оно во многом объясняет личность князя Владимира Мономаха, но и потому, что вообще оно составляет один из немногих образчиков тогдашнего способа выражения: «Меня, – пишет он, – принудил написать к тебе сын мой, которого ты крестил и который теперь недалеко от тебя: он прислал ко мне мужа своего и грамоту и говорит так: сладимся и примиримся, а братцу моему суд пришел; не будем ему мстителями; возложим

все на Бога; пусть они станут пред Богом, мы же русской земли не погубим. Я послушался и написал; примешь ли ты мое писание с добром или с поруганием, – покажет ответ твой. Отчего, когда убили мое и твое дитя перед тобою, увидавши кровь его и тело его, увянувшее подобно едва распустившемуся цветку, отчего, стоя над ним, не вник ты в помыслы души своей и не сказал: зачем это я сделал? Зачем ради кривды этого мечтательного света причинил себе грех, а отцу и матери слезы? Тебе было бы тогда покаяться Богу, а ко мне написать утешительное письмо и прислать сноху мою ко мне... она тебе не сделала ни добра, ни зла; я бы с нею оплакал мужа ее и свадьбу их вместо свадебных песен. Я не видел прежде их радости, ни их венчания; отпусти ее как можно скорее, я поплачу с нею заодно и посажу на месте, как грустную горлицу на сухом дереве, а сам утешусь о Боге. Так было и при отцах наших. Суд пришел ему от Бога, а не от тебя! Если бы ты, взявши Муром, не трогал Ростова, а прислал бы ко мне, мы бы уладились; рассуди сам, тебе ли следовало послать ко мне или мне к тебе? Если пришлешь ко мне посла или попа и грамоту свою напишешь с правдою, то и волость свою возьмешь, и сердце наше обратится к тебе, и будем жить лучше, чем прежде; я тебе не враг, не мститель».

Тогда, наконец, состоялось то, что долго замышлялось и никак не могло прийти к исполнению. В городе Любече съехались князья Святославичи – Олег, Давид и Ярослав, киевский Святополк, Владимир Мономах, волынский князь Давид Игоревич и червонорусские князья Ростиславичи: Володарь и Василько. С ними были их дружинники и люди их земель. Цель их совещания была – устроить и принять меры к охране русских земель от половцев. Всем делом заправлял Мономах.

«Зачем губим мы русскую землю, – говорили тогда князья, – зачем враждуем между собою? Половцы разоряют землю; они радуются тому, что мы друг с другом воюем. Пусть же с этих пор будет у всех нас единое сердце; соблюдаем свою отчину».

На этом съезде князья решили, чтобы все они владели своими волостями: Святополк Киевом, Владимир уделом отца своего Всеволода: Переяславлем, Суздалем и Ростовом; Олег, Давид и Ярослав – уделом Святослава, отца их: северскою землею и рязанскою; Давид Игоревич – Волынью, а Василько и Володарь городами: Теребовлем и Перемышлем с их землями, составлявшими тот край, который впоследствии назовется Галичиною. Все целовали крест на том, что если кто-нибудь из князей нападет на другого, то все должны будут ополчиться на зачинщика междоусобия. «Да будет на того крест честный и вся земля русская». Такой приговор произнесли они в то время.

До сих пор Владимир находился в самых приятельских отношениях к Святополку киевскому. Последний был человек ограниченного ума и слабого характера и подчинялся Владимиру, как вообще люди его свойств подчиняются лицам, более их сильным волей и более их умным. Но известно, что такие люди склонны подозревать тех, которым они невольно повинуются. Они им покорны, но в душе ненавидят их. Давид Игоревич был заклятый враг теребовльского князя Василька и хотел присвоить себе его землю. Возвращаясь на Волынь из Любеча через Киев, он уверил Святополка, что у Василька с Владимиром составился злой умысел лишить Святополка киевской земли. Сам Василько был человек предприимчивого характера; он уже водил половцев на Польшу; затем, как он сам потом признавался, думал идти на половцев, но, если верить ему, не думал делать ничего дурного русским князьям.

Натравленный Давидом Святополк звал к себе Василька на именины в то время, когда последний, возвращаясь из Любеча домой, проезжал мимо Киева и, не заезжая в город, остановился в Выдубицком монастыре, отославши свой обоз вперед. Один из слуг Василька, или подозревая коварство, или, быть может, даже предостерегаемый кем-то, не советовал своему князю ехать в Киев: «Тебя хотят схватить», – говорил он. Но Василько понадеялся на крестное целование, немного подумал, перекрестился и поехал.

Было утро 5 ноября. Василько вошел в дом к Святополку и застал у него Давида. После первых приветствий они сели. Давид молчал. «Оставайся у меня на праздник», – сказал Святополк. «Не могу, брат, – отвечал Василько, – я уже отослал свой обоз вперед». – «Ну так

позавтракай с нами», – сказал Святополк. Василько согласился. Тогда Святополк сказал: «Посидите здесь, а я пойду велью кое-что приготовить». Василько остался с Давидом и стал было вести разговор с ним, но Давид молчал и как будто ничего не слышал. Наконец Давид спросил слуг: «Где брат?» – «Стоит на сеньях», – отвечали ему. «Я пойду за ним, а ты, брат, посиди», – сказал он Васильку и вышел. Тотчас слуги наложили на Василька оковы и приставили к нему стражу. Так прошла ночь.

На другой день Святополк созвал вече из бояр и людей киевской земли и сказал: «Давид говорит, что Василько убил моего брата Ярополка и теперь совещается с Владимиром; хотят убить меня и отнять мои города». Бояре и люди киевские сказали: «Ты, князь, должен охранять свою голову. Если Давид говорит правду, пусть Василько будет казнен, а если неправду, то пусть Давид примет месть от Бога и отвечает перед Богом».

Ответ был двусмысленный и увертливый. Игумены были смелее и стали просить за Василька. Святополк ссылался на Давида. Сам Святополк готов был отпустить Василька на свободу, но Давид советовал ослепить его и говорил: «Если ты егопустишь, то не будет княжения ни у меня, ни у тебя». Святополк колебался, но потом совершенно поддался Давиду и согласился на гнусное злодеяние.

В следующую ночь Василька повезли в оковах в Белгород, ввели в небольшую избу. Василько увидел, что ехавший с ним торчин стал точить нож, догадался, в чем дело, начал кричать и взывать к Богу с плачем. Вошли двое конюхов: один Святополков, по имени Сновид Изечевич, другой Давидов – Дмитрий; они постлали ковер и взялись за Василька, чтобы положить его на ковер. Василько стал с ними бороться; он был силен; двое не могли с ним справиться; подоспели на помощь другие, связали его, повалили и, сняв с печи доску, положили на грудь; конюхи сели на эту доску, но Василько сбросил их с себя. Тогда подошли еще двое людей, сняли с печи другую доску, навалили ее на князя, сами сели на доску и придавили так, что у Василька затрещали кости на груди. Вслед за тем торчин Беренда, овчар Святополка, приступил к операции: намереваясь ударить ножом в глаз, он сначала промахнулся и порезал Васильку лицо, но потом уже удачно вынул у него оба глаза один за другим. Василько лишился чувств. Его взяли вместе с ковром, на котором он лежал, положили на воз и повезли дальше по дороге во Владимир.

Проезжая через город Звиждень, привезли его к какой-то попадье и отдали ей мять окровавленную сорочку князя. Попадья вымыла, надела на Василька и горько плакала, тронутая этим зрелищем. В это время Василько очнулся и закричал: «Где я?» Ему отвечали: «В Звиждене городе». – «Дайте воды!» – сказал Василько. Ему подали воды, он выпил – и мало-помалу совсем пришел в себя, вспомнил, что с ним происходило и, ощупав на себе сорочку, спросил: «Зачем сняли? Я бы в этой окровавленной сорочке принял смерть и стал перед Богом».

Пообедавши, злодеи повезли его во Владимир, куда прибыли на шестой день. Давид поместил Василька на дворе какого-то владимирского жителя Вакея и приставил к нему тридцать сторожей под начальством двух своих княжеских отроков, Улана и Колчка.

Услышал об этом прежде других князей Владимир Мономах и ужаснулся. «Этого не бывало ни при дедах, ни при прадедах наших», – говорил он. Немедленно позвал к себе черниговских князей Олега и Давида на совещание в Городец. «Надобно поправить зло, – говорил он, – а иначе еще большее зло будет, начнет брат брата умерщвлять, и погибнет земля русская, и половцы возьмут землю русскую». Давид и Олег Святославичи также пришли в ужас и говорили: «Подобного не бывало еще в роде нашем». Действительно не бывало: в княжеском роде прежде случались варварские братоубийства, но ослеплений еще не бывало. Этот род злодеяния принесла в варварскую Русь греческая образованность.

Все три князя отправили к Святополку своих мужей с таким словом: «Зачем наделал ты зла в русской земле, зачем вверх нож в братью? Зачем ослепил брата? Если бы он был виноват перед тобою, ты бы должен был обличить его перед нами и доказать вину его: он был бы наказан, а теперь скажи: в чем его вина?» Святополк отвечал: «Мне сказал Давид Игоревич, что Василько убил брата моего Ярополка и меня хочет убить, чтобы захватить

волость мою: Туров, Пинск, Берестье и Погорынье, говорил, что у него положена клятва с Владимиром: чтобы Владимиру сесть в Киеве, а Васильку в городе Владимире. Я поневоле оберегал свою голову. Не я его ослепил, а Давид; он его и увез к себе».

«Этим не отговаривайся, – отвечали князья, – Давид его ослепил, но не в Давидовом городе, а в твоём».

Владимир с князьями и дружинами хотел переходить через Днепр против Святополка; Святополк в страхе собирался бежать, но киевляне не пустили его и послали к Владимиру его мачеху и митрополита Николая с таким словом:

«Молим тебя, князь Владимир, и вместе с тобою братию твою князей, не губите русской земли; если вы начнете воевать между собою, поганые возрадуются и возьмут землю нашу, которую приобрели отцы ваши и деды ваши трудом и храбростью; они боролись за русскую землю и чужие земли приобретали, а вы хотите погубить русскую землю».

Владимир очень уважал свою мачеху и склонился на ее мольбы. «Правда, – сказал он, – отцы и деды наши соблюдали русскую землю, а мы хотим ее погубить».

Княгиня, возвратившись в Киев, принесла радостную весть киевлянам, что Владимир склоняется на мир.

Князья стояли на левой стороне Днепра, в бору, и пересылались со Святополком. Наконец последнее их слово было таково: «Если это преступление Давидово, то пусть Святополк идет на Давида, пусть либо возьмет его, либо сгонит с княжения».

Святополк целовал крест поступать по требованию Владимира и его товарищей.

Князья собрались идти на Давида, а Давид, узнав об этом, стал пытаться поладить с Васильком и заставить его самого отклонить от Давида опасность, которой подвергался Давид за Василька.

Призвал ночью Давид какого-то Василия, которого рассказ включен в летопись целиком. Давид сказал ему:

«Василько в эту ночь говорил Улану и Колчке, что ему хочется послать от себя мужа своего к князю Владимиру. Посылаю тебя, Василий, идти к одноименнику своему и скажи ему от меня: если ты пошлешь своего мужа к Владимиру и Владимир воротится, я дам тебе какой хочешь город: либо Всеволожь, либо Шепель, либо Перемиль». Василий отправился к Васильку и передал ему речь Давида. «Я ничего такого не говорил, – сказал Василько, – но готов послать мужа, чтобы не проливали из-за меня крови; дивно только, что Давид дает мне города свои, а мой Тереволь у него. Ступай к Давиду и скажи, пусть пришлет ко мне Кульмея. Я пошлю его к князю Владимиру». Василий сходил к Давиду и, воротившись, сказал, что Кульмея нет.

Василько сказал: «Посиди со мной немного». Он велел слуге выйти вон и говорил Василию:

«Слышу, что Давид хочет меня отдать ляхам, не насытился он еще моей кровью; еще больше хочет упиться ею. Я много зла наделал ляхам и хотел еще наделать и мстить им за русскую землю. Пусть выдает меня ляхам, смерти я не боюсь. Скажу только тебе по правде. Наказал меня Бог за мое высокомерие; ко мне пришла весть, что идут ко мне берендичи, печенеги, торки, и я сказал себе в уме: как будут у меня берендичи, печенеги, торки, скажу я брату своему Володарю и Давиду: дайте мне свою меньшую дружину, а сами пейте себе и веселитесь; я же зимою пойду на ляхскую землю, а на лето завоюю ляхскую землю и отомщу за русскую землю. Потом я хотел овладеть дунайскими болгарями и поселить их у себя, а потом хотел проситься у Святополка и Владимира идти на половцев: либо славу себе найду, либо голову сложу за русскую землю; иного помышления у меня в сердце не было ни на Святополка, ни на Давида. Клянусь Богом и его пришествием, не мыслил я никакого зла братии; но за мое возношение низложил меня Бог и смирил!» Неизвестно, чем кончились эти сношения Давида с Васильком, но, вероятно, Василько остановил Владимира, потому что в этом году не было от него нападения на Давида. Наступала Пасха. Давид не выпустил Василька и, напротив, хотел захватить волость ослепленного; он пошел туда с войском, но у Божска встретил его Володарь. Давид был такой же трус, как и злодей. Он не осмелился



вступить в бой и заперся в Божске. Володарь осадил его и послал к нему такое слово: «Зачем наделал зла и еще не каешься. Опомнись!» – «Разве я это сделал, – отвечал Давид, – разве в моем городе это случилось? Виною всему Святополк: я боялся, чтобы и меня не взяли и не сделали со мною того же; поневоле пришлось мне пристать к нему в совет, был у него в руках».

Володарь не перечил ему, стараясь только о том, как бы выручить брата из неволи. «Бог свидетель всему этому, – послал он сказать Давиду, – а ты выпусти моего брата, и я с тобой примирюсь».

Давид обрадовался, приказал привести слепого и отдал его Володарю. Они заключили мир и разошлись.

Но на другую весну (1098) Володарь и Василько с войском шли на Давида. Они подошли к городу Всеволожу, взяли его приступом и зажгли; жители бежали, Василько приказал всех их истребить и мстил за себя невинным людям, замечает летописец, Василько показал, что хотя он и был несчастен, но вовсе не любил русской земли в той мере, как говорил. Братья подошли к Владимиру. Трусливый Давид заперся в нем. Братья князя послали к владимирцам такое слово:

«Мы пришли не на ваш город и не на вас, а пришли мы на врагов своих: на Туряка, Лазаря и Василия, – они подговорили Давида; он их послушал и сделал зло. Если хотите биться за них, – и мы готовы; а не хотите, – так выдайте врагов наших».

Владимирские граждане собрались на вече и так сказали Давиду:

«Выдай этих мужей, мы за них не бьемся; за тебя же биться можем; если не выдашь, – мы отворим город, а ты сам о себе промышляй как знаешь».

Давид отвечал: «Их нет здесь, я послал их в Луцк; Туряк бежал в Киев, Василий и Лазарь в Турийске».

«Выдай тех, кого они хотят, – крикнули горожане, – а не то – мы сдадимся!»

Давиду нечего было делать. Он послал за своими любимцами: Василием и Лазарем, и выдал их.

Братья Ростиславичи по заре повесили Василия и Лазаря перед городом, а сыновья Василька расстреляли их стрелами. Совершивши казнь, они отступили от города.

После этой расправы на Давида пошел Святополк, который до сих пор медлил исполнением княжеского приговора наказать Давида за его злодеяние. Давид искал помощи у польского князя Владислава Германа, но последний взял с него деньги за помощь и не помог. После семинедельной осады во Владимире Давид сдался и уехал в Польшу.

В великую субботу 1098 года Святополк вошел во Владимир. Овладев Вольтыню, киевский князь думал, что не худо таким же способом овладеть и волостями Ростиславичей, за которые он начал войну с Давидом. Володарь, предупреждая нападение, вышел против киевского князя и взял с собою слепого брата. Враги встретились на урочище, называемом Рожново поле. Когда рати готовы были ударить друг против друга, вдруг явился слепой Василько с крестом в руке и кричал, обращая речь свою к Святополку:

«Вот крест, который ты целовал перед тем, как отнял у меня зрение! Теперь ты хочешь отнять у меня душу. Этот честный крест рассудит нас!»

Произошла жестокая битва. Ростиславичи победили. Святополк бежал во Владимир. Победители не погнались за ним. «С нас довольно стать на своей меже», – говорили они.

Тогда у Ростиславичей и у их врага Давида явилось общее дело: защищать себя от Святополка, тем более, что киевский князь не думал оставлять их в покое и, посадив одного из своих сыновей, Мстислава, во Владимире-Вольтынском, другого, Ярослава, послал к уграм (венграм) подвигать их на Володаря, а сам ушел в Киев, вероятно, замышляя посадить этого самого Ярослава в уделе Ростиславичей, выгнавши последних, подобно тому, как он уже выгнал Давида. Святополк хотел воспользоваться вспыхнувшей враждою между Давидом и Ростиславичами для того, чтобы доставить на их счет владения своим сыновьям. Давид прибыл из Польши и сошелся с Володарем. Заклятые враги помирились, и Давид оставил свою жену у Володаря, а сам отправился нанимать половецкую орду, которою управлял

воинственный и свирепый хан Боняк. Вероятно, Давид успел уверить Володаря, что в самом деле виной злодеяния, совершенного над Васильком, был не он, а Святополк.

Володарь сидел в Перемышле. Пришли венгры со своим королем Коломаном, приглашенные Ярославом Святополковичем, и осадили Перемышль. На счастье Володаря Давиду не пришлось далеко ездить за половцами: он встретил Боняка где-то недалеко и привел его в Перемышль.

Накануне ожидаемой битвы с венграми, Боняк в полночь отъехал от войска в поле и стал выть по-волчьи. Ему вторили голоса множества волков. Таково было половецкое гаданье. «Завтра, – сказал Боняк, – мы победим угров». Дикое предсказание половецкого хана сбылось. «Боняк, – говорит современный летописец, – сбил угров в мяч так, как сокол сбивает галок». Венгры бежали. Много их потонуло и в Вагре и в Сане. Давид двинулся к Владимиру и овладел Владимирскою волостью. В самом городе сидел Мстислав Святополкович с засадой (гарнизон), состоявшей из жителей владимирских пригородов: берестьян, пинян и выгошевцев. Давид начал делать приступы: дождем сыпались с обеих сторон стрелы: осаждающие закрывались подвижными вежами (башнями); осажденные стояли на стенах за досками; таков был тогдашний способ войны. В одну из таких перестрелок, 12 июня 1099 года, стрела сквозь скважину доски поразила насмерть князя Мстислава. Осажденные после его смерти терпели тягостную осаду до августа, наконец Святополк прислал к ним на выручку войско. Августа 5 Давид не устоял в битве с присланным войском и бежал к половцам. Победители ненадолго овладели Владимиром и Луцком. Давид, пришедши с Боняком, отнял у них и тот и другой город.

Намерение Мономаха соединить князей на единое дело против половцев не только не привело к желанной цели, а, напротив, повело к многолетней войне между князьями; для русской земли от этого умножилось горе. Однако на следующий 1100 год Мономаху таки удалось опять устроить между князьями совещание и убедить Давида Игоревича отдаться на княжеский суд. Давид сам прислал к князьям послов по этому делу. К сожалению, мы не знаем подробностей подготовки к этому делу. 10 августа князья: Владимир Мономах, Святополк, Олег с братом Давидом сошлись в Витичеве, а через двадцать дней, 30 августа, они снова сошлись на том же месте, и уже тогда был с ними Давид Игоревич.

«Кому есть на меня жалоба?» – спросил Давид Игоревич. «Ты присылал к нам, – сказал Владимир, – объявил, что хочешь жаловаться перед нами за свою обиду. Вот теперь ты сидишь с братьею на одном ковре. На кого у тебя жалоба?» Давид ничего не отвечал.

Тогда князья сели на лошадей и стали врознь каждый со своею дружиною. Давид Игоревич сидел особо. Князья рассуждали о Давиде: сначала каждый князь со своею дружиною, а потом совещались между собою и послали Давиду от каждого князя мужей. Эти мужи сказали Давиду такую речь:

«Вот что говорят тебе братья: не хотим тебе дать стола Владимирского за то, что ты вверг нож между нас, сделал то, чего еще не бывало в русской земле: но мы тебя не берем в неволю, не делаем тебе ничего худого, сиди себе в Бужске и в Остроге; Святополк придает тебе Дубен и Чарториск, а Владимир дает тебе 200 гривен да еще Олег и Давид дают тебе 200 гривен». Потом князья послали к Володарю такое слово: «Возьми к себе брата своего Василька; будет вам обоим Перемышль. Хотите, живите вместе, а не хотите-отпусти Василька к нам; мы будем его кормить!»

Володарь с гневом принял такое предложение; Святополк и Святославичи хотели выгнать Ростиславичей из их волости и послали приглашать к участию в этом предприятии Владимира, который после съезда в Витичеве поехал в северные свои области и был на Волге, когда пришел к нему вызов от Святополка идти на Ростиславичей: «Если ты не пойдешь с нами, то мы будем сами по себе, а ты сам по себе». Видно, что и на витичевском съезде Владимир не ладил с князьями и не совсем одобрял их постановления: «Я не могу идти на Ростиславичей, – отвечал он им, – и преступать крестное целование. Если вам не нравится последнее, принимайте прежнее» (т.е. постановленное в Любече). Владимир был тогда огорчен, как показывают и слова в его духовной, касающиеся описываемого события.

По этому поводу он счел уместным привести выражение из псалтыря: «Не ревнуй лукавствующим, не завиди творящим беззаконие!» В самом деле, то, чем покончили князья свои междоусобия, мало представляло справедливости. Владимир не противоречил им во многом, потому что желал как бы то ни было прекратить междоусобия, чтобы собрать силы русских земель против общих врагов половцев.

Святополку, как киевскому князю, хотелось, подобно своим предшественникам, власти над Новгородом, и для этого желал он посадить в Новгороде своего сына, между тем там уже был князем сын Мономаха Мстислав. Владимир уступил Святополку, а вместо новгородского княжения Святополк обещал Мстиславу Владимирское.

Мономах призвал Мстислава из Новгорода в Киев, но вслед за Мстиславом приехали новгородские послы и повели такую речь Святополку:

«Приславшие нас велели сказать: не хотим Святополка и сына его; если у него две головы, то посылай его. Нам дал Мстислава Всеволод, мы его вскормили, а ты, Святополк, уходил от нас».

Святополк не мог их переспорить и не в состоянии был принудить новгородцев исполнить его волю. Мстислав опять вернулся в Новгород. Новгород, по своему местоположению за неприступными болотами и дремучими лесами, чувствовал свою безопасность. Туда нельзя было навести ни половцев, ни ляхов; нельзя было с иноземною помощью овладеть Новгородом.

С тех пор Владимир непрерывно обращал свою деятельность на ограждение русской земли от половцев. В 1101 году Владимир поднял князей против них, но половцы, услышав о сборах русских князей, одновременно от разных орд прислали просьбу о мире. Русские согласились на мир, готовые наказать половцев за первое вероломство. В 1103 году этот мир был нарушен половцами, и Мономах побудил русских князей предпринять первый наступательный поход на половецкую землю соединенными силами. В летописи этот поход описан с большим сочувствием, и видно, что он сделал впечатление на современников. Киевский князь со своею дружиною и Владимир со своею сошлись на Долобске (на левой стороне Днепра близ Киева). Князья совещались в шатре. Святополкова дружина была против похода. Тогда раздавались такие голоса: «Теперь весна, как можно отрывать смерда от пашни; ему надобно пахать».

Но Владимир на это возразил: «Удивительно, что вы не жалеете смерда, а жалеете лошадь, на которой он пашет. Начнет смерд пахать, прибежит половчин и отымет у него лошадь, и его самого ударит стрелою, и ворвется в село, и жену и детей его возьмет в полон».

Дружина Святополкова ничего на это не могла возразить, и Святополк сказал: «Я готов».

«Ты много добра сделаешь», – сказал ему на это Мономах. После долобского совещания князья стали приглашать черниговских князей принять участие в походе, а за ними и других князей. Давид послушался, а Олег отговорился нездоровьем. Он неохотно ссорился с половцами, которые помогли ему взять Чернигов, и, быть может, рассчитывал, что дружба с ними пригодится ему и его детям. Прибыл со своею дружиною полоцкий князь Давид Всеславич, прибыли и некоторые другие князья. Русские шли конные и пешие: последние на ладьях по Днепру до Хортицы. После четырехдневного пути степью от Хортицы на урочище, называемом Сутень, русские 4 апреля встретили половцев и разбили их наголову. Половцы потеряли до двадцати князей. Один из их князей Белдюзь попался в плен и предлагал за себя большой выкуп золотом, серебром, лошадьми и скотом, но Владимир сказал ему: «Много раз поставляли вы с нами договор, а потом ходили воевать русскую землю; зачем ты не учил сынов своих и род свой не преступать договора и не проливать христианской крови?» Он приказал затем убить Белдюзя и расчленил его тело. Русские набрали тогда много овец, скота, верблюдов и невольников.

В 1107 году воинственный Боняк и старый половецкий князь Шарукан задумали отомстить русским за прежнее поражение, но были разбиты наголову под Лубнами. В 1109

году Владимир посылал воеводу Димитрия Иворовича к Дону: русские нанесли большое разорение половецким вежам. За это на другой год половцы опустошили окрестности Переяславля, а на следующий Владимир опять с князьями предпринял поход, который более всех других облекся славою в глазах современников. Предание связало с ним чудодейственные предзнаменования. Рассказывают, что февраля 11 ночью над Печерским монастырем появился огненный столб: сначала он стал над каменною трапезою, перешел оттуда на церковь, потом стал над гробом Феодосия, наконец поднялся по направлению к востоку и исчез. Явление это сопровождалось молнией и громом. Грамотеи растолковали, что это был ангел, возвещавший русским победу над неверными. Весной Владимир с сыновьями, киевский князь Святополк со своим сыном, Ярослав и Давид с сыном на второй неделе поста отправились к Суле, перешли через Псёл, Ворсклу и 23 марта пришли к Дону, а 27 в страстной понедельник разбили наголову половцев на реке Сальнице и воротились обратно со множеством добычи и пленников. Тогда, говорит летопись, слава о подвигах русских прошла ко всем народам: грекам, ляхам, чехам и дошла даже до Рима. С тех пор надолго половцы перестали тревожить русскую землю.

В 1113 году умер Святополк, и киевляне, собравшись на вече, избрали Владимира Мономаха своим князем; но Владимир медлил; между тем киевляне, недовольные поборами своего покойного князя, напали на дом его любимца Путяты и разграбили жидов, которым потакал Святополк во время своего княжения и поверял собрание доходов. В другой раз послали киевляне к Владимиру послов с такой речью: «Иди, князь, в Киев, а не пойдешь, так разграбят и княгиню Святополкову, и бояр, и монастыри; и будешь ты отвечать, если монастыри ограбят». Владимир прибыл в Киев и сел на столе по избранию киевской земли.

Время его княжения до смерти, последовавшей в 1125 году, было периодом самым цветущим в древней истории Киевской Руси. Уже ни половцы и никакие другие иноплеменники не беспокоили русского народа. Напротив, сам Владимир посылал своего сына Ярополка на Дон, где он завоевал у половцев три города и привел себе жену, дочь ясского князя, необыкновенную красавицу. Другой сын Владимира Мстислав с новгородцами нанес поражение Чуди на балтийском побережье, третий сын Юрий победил на Волге болгар. Удельные князья не смели заводить междоусобиц, повиновались Мономаху и в случае строптивости чувствовали его сильную руку. Владимир прощал первые попытки нарушить порядок и строго наказывал вторичные. Так, например, когда Глеб Мстиславич, один из кривских князей, напал на Слуцк и сжег его, Владимир пошел на Глеба войною, но Глеб поклонился Владимиру, просил мира, и Владимир оставил его княжить в Минске; но несколько лет спустя, вероятно, за такой же проступок, Владимир вывел Глеба из Минска, где он и умер. Точно так же в 1118 году Владимир, собрав князей, пошел на волынского князя Ярослава Святополковича, и когда Ярослав покорился ему и ударил челом, он оставил его во Владимире, сказав ему: «Всегда иди, когда я тебя позову». Но потом Ярослав напал на Ростиславичей и навел на них ляхов; кроме того, он дурно обращался со своею женою; Владимир сердился на него и за это. Владимир выгнал Ярослава, отдавши Владимир-Волынский своему сыну Андрею. Ярослав покушался возвратить себе Владимира с помощью ляхов, венгров и чехов, но не успел, и был изменнически убит ляхами.

Не так удачны были дела Мономаха с Грецией. Он отдал свою дочь за Леона, сына византийского императора Диогена, но вслед за тем в Византии произошел переворот. Диоген был низвергнут Алексеем Комнином. Леон с помощью тестя хотел приобрести себе независимую область в греческих владениях на Дунае, но был умерщвлен убийцами, подосланными Комнином. Леон оставил сына, для которого Мономах хотел приобрести то же самое владение в Греции, которого добивался Леон, и сначала воевода Владимиров Войтишич, посадил было Владимировых посадников в греческих дунайских городах, но греки прогнали их, а в 1122 году Владимир помирился с преемником Алексея, Иоанном Комнином и отдал за него свою внучку, дочь Мстислава.

Владимир Мономах является в русской истории законодателем. Еще ранее его, при детях Ярослава, в «Русскую Правду» вошли важные изменения и дополнения. Важнейшее из

изменений было то, что месть за убийство была устранена, а вместо того введено наказание платежом вир. Это повлекло к усложнению законодательства и к установлению многих статей, касающихся разных случаев обид и преступлений, которые влекли за собой платеж вир в различном размере. Таким образом, различные размеры вирных платежей назначались за разного рода оскорбления и побои, наносимые одними лицами другим, как равно и за покражу разных предметов. Независимо от платежа виры за некоторые преступления, как например, за разбойничество и зажигательство, виновный подвергался потоку и разграблению – древнему народному способу наказания преступника. Убийство вора не считалось убийством, если было совершено при самом воровстве, когда вор еще не был схвачен. При Мономахе, на совете, призванном им и составленном из тысячских: киевского, белгородского, переяславского и людей своей дружины, постановлено было несколько важных статей, клонившихся к ограждению благосостояния жителей. Ограничено произвольное взимание рез (процентов), которое при Святополке доходило до больших злоупотреблений и вызвало по смерти этого князя преследование жидов, бывших ростовщиками. При Владимире установлено, что ростовщик может брать только три раза проценты и если возьмет три раза, то уже теряет самый капитал. Кроме того, постановлен был дозволенный процент: 10 кун за гривну, что составляло около трети или несколько более, если принимать упоминаемую гривну гривною кун.<sup>9</sup>

Частые войны и нашествия половцев разоряли капиталы, являлись неоплатные должники, а под видом их были и плуты. Торговые предприятия подвергали купца опасностям; от этого и те, которые давали ему деньги, также находились в опасности потерять свой капитал. Отсюда и высокие проценты. Некоторые торговцы брали у других купцов товары, не платя за них деньги вперед, а выплачивали по выручке с процентами; по этому поводу возникали обманы. При Владимире положено было различие между тем неоплатным купцом, который потерпит нечаянно от огня, от воды или от неприятеля, и тем, который испортит чужой товар, или пропьет его, или «пробьется», т.е. заведет драку, а потом должен будет заплатить виру или «продажу» (низший вид виры). При несостоятельности купца следовало принимать во внимание: от какой причины он стал несостоятелен. В первых случаях, т.е. при нечаянном разорении, купец не подвергался насилию, хотя не освобождался от платежа долга. Некоторые брали капитал от разных лиц, а также и у князей. В случае несостоятельности такого торговца его вели на торг и продавали его имущество. При этом гость, т.е. человек из иного города или чужеземец, имел первенство перед другими займодавцами, а за ним князь, потом уже прочие займодавцы получали остальное. Набеги половцев, проценщина, корыстолюбие князей и их чиновников – все способствовало тому, что в массе народа умножались бедняки, которые, не будучи в состоянии прокормить себя, шли в наемники к богатым. Эти люди назывались тогда «закупами». С одной стороны, эти закупы, взяв от хозяина деньги, убегали от него, а с другой – хозяева взводили на них разные траты по хозяйству и на этом основании притесняли и даже обращали в рабство. Закон Мономаха позволял закупу жаловаться на хозяина князю или судьям, налагал определенную пеню за сделанные ему обиды и притеснения, охранял его от притязания господина в случае пропажи или порчи какой-нибудь вещи, когда на самом деле закуп был не виноват; но зато с другой стороны – угрожал закупу полным рабством в случае, если он убежит, не выполнив условия. Кроме закупов, служащих во дворах хозяев, были закупы «ролейные» (поселенные на землях и обязанные работою владельцу). Они получали плуги и бороны от владельца, что показывает обеднение народа; хозяева нередко придирались к таким закупам под предлогом, что они испортили данные им земледельческие орудия, и обращали в рабство свободных людей. Отсюда возникла необходимость определить: кто именно должен считаться холопом. Законодательство Владимира Мономаха определило только три случая обращения в

---

<sup>9</sup> Гривна была – гривна серебра и гривна кун. Гривна серебра была двоякая: большая, состоявшая в серебряных кусках, которые попадают весом от 43 до 49 золот., и гривна малая – в кусках от 35 до 32 золот. Семь гривен кун составляло гривну серебра, следовательно, гривна кун составляла приблизительно от 6 до 7 или от 5 до 6 золотников серебра.

холопство: первый случай, когда человек сам добровольно продавал себя в холопы или когда господин продавал его на основании прежних прав над ним. Но такая покупка должна была непременно совершаться при свидетелях. Второй случай обращения в рабство – принятие в супружество женщины рабского происхождения (вероятно, случалось, что женщины искали освобождения от рабства посредством замужества). Третий случай, когда свободный человек без всякого договора делается должностным лицом у частного человека (тиунство без яра, или привяжет ключ к себе без яра). Вероятно, это было постановлено потому, что некоторые люди, приняв должность, позволяли себе разные беспорядки и обманы, и, за неимением условий, хозяева не могли искать на них управы. Только исчисленные здесь люди могли быть обращаемы в холопы. За долги нельзя было обращать в холопство, и всякий, кто не имел возможности заплатить, мог отработать свой долг и отойти. Военнопленные, по видимому, также не делались холопами, потому что об этом нет речи в «Русской Правде» при перечислении случаев рабства. Холоп был тесно связан с господином: господин платил его долги, а также выплачивал цену украденного его холопом. Прежде, при Ярославе, за побои, нанесенные холопом свободному человеку, следовало убить холопа, но теперь постановили, что в таком случае господин платил за раба пеню. Холоп вообще не мог быть свидетелем, но когда не было свободного человека, тогда принималось и свидетельство холопа, если он был должностным лицом у своего господина. За холопа и рабу вира не полагалась, но убийство холопа или рабы без вины наказывалось платежом князю «продажи». По некоторым данным ко временам Мономаха следует отнести постановления о наследстве.

Вообще, по тогдашнему русскому обычному праву, все сыновья наследовали поровну, а дочерям обязывались выдавать приданое при замужестве; меньшому сыну доставался отцовский двор. Каждому, однако, предоставлялось распорядиться своим имуществом по завещанию. В правах наследства бояр и дружинников и в правах смердов существовала та разница, что наследство бояр и дружинников ни в каком случае не переходило к князю, а наследство смерда (простого земледельца) доставалось князю, если смерд умирал бездетным. Женино имение оставалось неприкосновенным для мужа. Если вдова не выходила замуж, то оставалась полной хозяйкой в доме покойного мужа, и дети не могли удалить ее. Замужняя женщина пользовалась одинаковыми юридическими правами с мужчиной. За убийство или оскорбления, нанесенные ей, платилась одинаковая вира, как за убийство или оскорбления, нанесенные мужчине.

Местом суда в древности были: княжеский двор и торг, и это означает, что был суд и княжеский, но был суд и народный – вечевой, и, вероятно, постановления Русской Правды, имеющие главным образом в виду соблюдение княжеских интересов, не обнимали всего вечевого суда, который придерживался давних обычаев и соображений, внушенных данными случаями. Доказательствами на суде служили: показания свидетелей, присяга и, наконец, испытание водою и железом; но когда было введено последнее – мы не знаем.

Эпоха Владимира Мономаха была временем расцвета состояния художественной и литературной деятельности на Руси. В Киеве и в других городах воздвигались новые каменные церкви, украшенные живописью: так, при Святополке построен был в Киеве Михайловский Золотоверхий монастырь, стены которого существуют до сих пор, а близ Киева – Выдубицкий монастырь на месте, где был загородный двор Всеволода; кроме того, Владимир перед смертью построил прекрасную церковь на Альте, на том месте, где был убит Борис. К этому времени относится составление нашей первоначальной летописи. Игумен Сильвестр (около 1115 года) соединил в один свод прежде существовавшие уже отрывки и, вероятно, сам прибавил к ним сказания о событиях, которых был свидетелем. В числе вошедших в его свод сочинений были и писания летописца Печерского монастыря Нестора, отчего весь Сильвестров летописный свод носил потом в ученом мире название Несторовой летописи, хотя и неправильно, потому что далеко не все в ней писано Нестором, и притом не все могло быть писано одним только человеком. Мысль описывать события и расставлять их последовательно по годам явилась вследствие возникшего знакомства с византийцами-

летописцами, из которых некоторые, как, например, Амартол и Малала были тогда известны в славянском переводе. Сильвестр положил начало русскому летописанию и указал путь другим после себя. Его свод был продолжаем другими летописцами по годам и разветвился на многие отрасли, сообразно различным землям русского мира, имевшим свою отдельную историю. Непосредственным и ближайшим по местности продолжением Сильвестрова летописного свода была летопись, занимающаяся преимущественно киевскими событиями и написанная в Киеве разными лицами, сменившими одно другое. Летопись эта называется «Киевскою»; она захватывает время Мономаха, идет через все XII столетие и прерывается на событиях начальных годов XIII столетия. Во времена Мономаха, вероятно, было переведено многое из Византийской литературы, как показывают случайно уцелевшие рукописи, которые относят именно к концу XI и началу XII века. Из нашей первоначальной летописи видно, что русские грамотные люди могли читать на своем языке Ветхий Завет и жития разных святых. Тогда же по образцу византийских жизнеописателей стали составлять жития русских людей, которых уважали за святость жизни и смерти. Так, в это время уже написано было житие первых основателей Печерской обители: Антония и Феодосия и положено было преподобным Нестором, печорским летописцем, начало Патерика, или сборника житий печерских святых, сочинения, которое, расширяясь в объеме от новых добавлений, составляло впоследствии один из любимых предметов чтения благочестивых людей. В этот же период написаны были жития Св. Ольги и Св. Владимира монахом Иаковом, а также два отличных одно от другого повествования о смерти князей Бориса и Глеба, из которых одно приписывается тому же монаху Иакову. От современника Мономахова, киевского митрополита Никифора, родом грека, осталось одно Слово и три Послания: из них два обращены к Владимиру Мономаху, из которых одно обличительное против латин. Тогда уже окончательно образовалось разделение церквей; вражда господствовала между писателями той и другой церкви, и греки старались привить к русским свою ненависть и злобу к Западной церкви. Другой современник Мономаха, игумен Даниил, совершил путешествие в Иерусалим и оставил по себе описание этого путешествия. Несомненно, кроме оригинальных и переводных произведений собственно религиозной литературы, тогда на Руси была еще поэтическая самобытная литература, носившая на себе более или менее отпечаток старинного язычества. В случайно уцелевшем поэтическом памятнике конца XII века: «Слово о полку Игоря» упоминается о певце Бояне, который прославлял события старины и между прочим события XI века; по некоторым признакам можно предположить, что Боян воспевал также подвиги Мономаха против половцев. Этот Боян был так уважаем, что потомство прозвало его Соловьем старого времени. Сам Мономах написал «Поучение своим детям», или так называемую Духовную. В ней Мономах излагает подробно события своей жизни, свои походы, свою охоту на диких коней (зубров?), вепрей, туров, лосей, медведей, свой образ жизни, занятия, в которых видна его неутомимая деятельность. Мономах дает детям своим советы как вести себя. Эти советы, кроме общих христианских нравоучений, подкрепляемые множеством выписок из Священного Писания, свидетельствующих о начитанности автора, содержат в себе несколько черт любопытных, как для личности характера Мономаха, так и для его века. Он вовсе не велит князьям казнить смертью кого бы то ни было. «Если бы даже преступник и был достоин смерти, – говорит Мономах, – то и тогда не следует губить души». Видно, что князья в то время не были окружены царственным величием и были доступны для всех, кому была до них нужда: «Да не посмеются приходящие к вам ни дому вашему, ни обеду вашему». Мономах поучает детей все делать самим, во все вникать, не полагаться на тиунов и отроков. Он завещает им самим судить и защищать вдов, сирот и убогих, не давать сильным губить слабых, приказывает кормить и поить всех приходящих к ним. Гостеприимство считается у него первую добродетелью: «Более всего чтите гостя, откуда бы он к вам ни пришел: посол ли, знатный ли человек или простой, всех угощайте брашном и питием, а если можно, дарами. Этим прославится человек по всем землям», завещает им посещать больных, отдавать последний долг мертвым, помня, что все смертны, всякого встречного обласкать добрым

словом, любить своих жен, но не давать им над собою власти, почитать старших себя как отцов, а младших как братьев, обращаться к духовным за благословением, отнюдь не гордиться своим званием, помня, что все поручено им Богом на малое время, и не хоронить в земле богатств, считая это великим грехом. Относительно войны Мономах советует детям не полагаться на воевод, самим наряжать стражу, не предаваться пирам и сну в походе, и во время сна в походе не снимать с себя оружие, а проходя с войском по русским землям ни в каком случае не позволять делать вред жителям в селах или портить хлеб на полях. Наконец, он велит им учиться и читать и приводит пример отца своего Всеволода, который, сидя дома, выучился пяти языкам.

Мономах скончался близ Переяславля у любимой церкви, построенной на Альте, 19 мая 1125 года, семидесяти двух лет от роду. Тело его было привезено в Киев. Сыновья и бояре понесли его к Св. Софии, где он и был погребен. Мономах оставил по себе память лучшего из князей. «Все злые умыслы врагов, – говорит летописец, – Бог дал под руки его; украшенный добрым нравом, славный победами, он не возносился, не величался, по заповеди Божией добро творил врагам своим и паче меры был милостив к нищим и убогим, не щадя имения своего, но все раздавая нуждающимся». Монахи прославляли его за благочестие и за щедрость монастырям. Это-то благодушие, соединенное в нем с энергической деятельностью и умом, вознесло его так высоко и в глазах современников, и в памяти потомства.

Вероятно, народные эпические песни о временах киевского князя Владимира Красное Солнышко, так называемые былины Владимирового цикла, относятся не к одному Владимиру Святому, но и ко Владимиру Мономаху, так что в поэтической памяти народа эти два лица слились в одно. Наше предположение может подтверждаться следующим: в Новгородской летописи под 1118 годом Владимир с сыном своим Мстиславом, княжившим в Новгороде, за беспорядки и грабежи призвал из Новгорода и посадил в тюрьму сотского Ставра с несколькими соумышленниками его, новгородскими боярами. Между былинами Владимирового цикла есть одна былина о Ставре боярине, которого киевский князь Владимир засадил в погреб (тюрьмами в то время служили погреба), но Ставра освободила жена его, переодевшись в мужское платье. Имя Владимира Мономаха было до того уважаемо потомками, что впоследствии составила сказка о том, будто византийский император прислал ему знаки царского достоинства, венец и бармы, и через несколько столетий после него спустя московские государи венчались венцом, который называли «шапкою» Мономаха.

Рассуждая беспристрастно, нельзя не заметить, что Мономах в своих наставлениях и в отрывках о нем летописцев является более безупречным и благодушным, чем в своих поступках, в которых проглядывают пороки времени, воспитания и среды, в которой он жил. Таков, например, поступок с двумя половецкими князьями, убитыми с нарушением данного слова и прав гостеприимства; завещая сыновьям умеренность в войне и человеколюбие, сам Мономах, однако, мимоходом сознается, что при взятии Минска, в котором он участвовал, не оставлено было в живых ни челядина, ни скотины. Наконец, он хотя и радел о русской земле, но и себя не забывал и, наказывая князей действительно виноватых, отбирал их уделы и отдавал своим сыновьям. Но за ним в истории останется то великое значение, что, живя в обществе, едва выходявшем из самого варварского состояния, вращаясь в такой среде, где всякий гонялся за узкими своекорыстными целями, еще почти не понимая святости права и договора, один Мономах держал знамя общей для всех правды и собирал под него силы русской земли.

## **Глава 5** **Князь Андрей Боголюбский**

Во второй половине XII-го века русской истории появляются зародыши того хода событий, который развился и установился уже под влиянием татарского завоевания. Наш древний летописец, перечисляя ветви славяно-русского племени, указывает на полян,



древлян, северян и т.д., но уже говоря по преданиям о событиях IX-го и X-го века, причисляет к системе русского мира Мерю, страну, населенную финским племенем того же имени, занимавшую пространство в нынешних губерниях: Владимирской, Ярославской, Костромской и части Московской и Тверской, относя наравне с этим народом соплеменные и соседние ему племена: Мурому на юг от Мери и Весь на севере от той же Мери по течению Шексны и около Белоозера. Уже в незапамятные времена славянские поселенцы проникали в страны этих народов и селились там, как это показывают славянские названия города Ростова в земле Мери и Белоозера в земле Веси. Нам, к сожалению, неизвестен ход славянской колонизации в этих землях; несомненно, что с принятием христианства она усиливалась, возникали города с русскими жителями, а самые туземцы, принимая христианство, утрачивали вместе с язычеством свою народность и постепенно сливались с русскими, некоторые же покидали свое прежнее отечество и убегали далее к востоку. Недавние раскопки могил, произведенные гр. Уваровым в земле Мери, показывают, что язычество и древняя народность уже угасали в XII веке, по крайней мере, позднейшие могилы с признаками мерянской народности могут быть отнесены к этому периоду. По письменным памятникам в XII столетии мы встречаем в этих местах значительное число городов, без сомнения, русских: Ростов, Суздаль, Переяславль-Залесский, Дмитров, Углич, Зубцов, Молога, Юрьев, Владимир, Москву, Ярославль, Тверь, Галич-Мерьский, Городец и др. Беспокорства в южной Руси побуждали ее тамошних жителей переселяться в эту страну. Народ Меря стоял на низкой степени образованности, не составлял самобытного политического тела и притом не был воинственным, как показывает скудость оружия в его могилах: оттого-то он легко подчинился власти и влиянию русских. В этом-то крае, колонизованном пришельцами из разных славяно-русских земель, образовалась новая ветвь славяно-русской народности, положившая начало великорусскому народу; ветвь эта в течение последующей истории охватила все другие народные ветви в русской земле, поглотила многие из них совершенно и слила с собою, а другие ветви подчинила своему влиянию. Недостаток сведений о ходе русской колонизации в этом крае составляет важнейший, ничем незаменимый пробел в нашей истории. Тем не менее, однако, можно уже в отдаленные времена подметить те свойства, которые вообще составляли отличительные признаки великорусской народности; сплочение сил в собственной земле, стремление к расширению своих жительство и к подчинению себе других земель. Это проглядывает уже в истории борьбы Юрия суздальского за Киев с Изяславом Мстиславичем. То был первый зачаток стремления подчинить русские земли первенству восточно-русской земли. Юрий хотел утвердиться в Киеве, потому что, по-видимому, тяготился пребыванием в восточной стране; но если мы вникнем в смысл событий того времени, то увидим, что уже тогда вместе с этим соединялось стремление русских жителей суздальской земли властвовать в Киеве. Это видно из того, что Юрий, овладев Киевом, держался в нем с помощью пришедших с ним суздальцев. Киевляне смотрели на княжение Юрия, как на чуждое господство, а потому, после смерти Юрия, в 1157 году, перебили всех суздальцев, которым Юрий поверил управление края. Впоследствии сын Юрия Андрей не думал уже переселяться в Киев, а хотел, оставаясь в суздальской земле, властвовать над Киевом и прочими русскими землями таким образом, чтобы суздальская земля приобрела то значение первенствующей земли, какое было прежде за Киевом. С Андрея начинает обозначаться яркими чертами самобытность суздальско-ростовской земли и вместе с тем стремление к первенству в русском мире. В эту-то эпоху выступил в первый раз на историческое поприще народ великорусский. Андрей был первый великорусский князь; он своею деятельностью положил начало и показал образец своим потомкам; последним, при благоприятных обстоятельствах, предстояло совершить то, что намечено было их прародителем.

Андрей родился в суздальской, или, точнее, ростовско-суздальской земле, там провел он детство и первую юность, там усвоил он первые впечатления, по которым сложились у него взгляды на жизнь и понятия. Судьба бросила его в омут безвыходных междоусобий, господствовавших в южной Руси. После Мономаха, который был киевским князем по

выбору земли, в Киеве княжили один за другим два сына его, Мстислав и Ярополк; спора у них за землю не было, и их можем мы причислить к истинным земским избранным князьям, как и отца их, потому что киевляне дорожили памятью Мономаха и любили сыновей его. Но в 1139 году черниговский князь Всеволод Ольгович выгнал третьего сына Мономахова, слабого и ограниченного Вячеслава, и овладел Киевом посредством оружия. Этим открыт был путь нескончаемой неурядице в южной Руси. Всеволод держался в Киеве при помощи своих черниговцев. Ему хотелось упрочить за своим родом Киев: Всеволод предложил киевлянам выбрать брата его Игоря. Киевляне поневоле согласились. Но как только Всеволод умер, в 1146 году, киевляне избрали себе князем сына старшего Мономаховича, Изяслава Мстиславича, низложили Игоря; потом, когда за последнего подняли войну его братья, киевляне убили Игоря всенародно, несмотря на то, что он уже отрекся от мира и вступил в Печерский монастырь.

Изяслав счастливо разделался с Ольговичами, но против него поднялся новый неугомонный соперник, дядя его, князь суздальский Юрий Долгорукий, младший сын Владимира Мономаха. Началась долголетняя борьба, и в этой борьбе участвовал Андрей. Дела запутывались так, что междоусобию, казалось, не будет конца. Киев несколько раз переходил то в руки Изяслава, то в руки Юрия; киевляне совершенно сбились с пути: уверят Изяслава в своей готовности умирать за него, а потом перевозят Юрия через Днепр к себе и заставляют бежать Изяслава; принимают к себе Юрия и вслед за тем сносятся с Изяславом, призывают Изяслава к себе и прогоняют Юрия; вообще, однако, легко уступают всякой силе. Киевляне, несмотря на такое непостоянство, вынуждаемое обстоятельствами, неизменно любили Изяслава и ненавидели Юрия с его суздальцами. В течение этой усобицы Андрей не раз показывал храбрость в битвах, но также не раз пытался установить мир между раздраженными спорившими сторонами: все было напрасно. В 1151 году, когда Изяслав временно взял решительный перевес, Андрей убеждал отца удалиться в суздальскую землю и сам прежде него поторопился уйти в этот край – во Владимир-на-Клязьме, пригород, данный ему отцом в удел. Но Юрий ни за что не хотел оставлять юга, опять начал добиваться Киева, наконец, по смерти Изяслава, в 1154 г. овладел им и посадил Андрея в Вышгороде. Юрию хотелось иметь этого сына близ себя, вероятно, с тем, чтобы передать ему киевское княжение, и с этою целью он назначил отдаленные от Киева города Ростов и Суздаль меньшим своим сыновьям. Но Андрея не пленяли никакие надежды в южной Руси. Андрей был столько же храбр, сколько и умен, столько же расчетлив в своих намерениях, сколько и решителен в исполнении. Он был слишком властолюбив, чтобы поладить с тогдашним складом условий в южной Руси, где судьба князя постоянно зависела и от покушений других князей, и от своенравия дружин и городов; притом соседство половцев не давало и вперед никакого ручательства на установление порядка в южнорусском крае, потому что половцы представляли собою удобное средство князьям, замышлявшим добывать себе силою города. Андрей решил самовольно бежать навсегда в суздальскую землю. Шаг был важный; современник летописец счел нужным особенно заметить, что Андрей решился на это без отцовского благословения.

У Андрея, как видно, созрел тогда план не только удалиться в суздальскую землю, но утвердить в ней средоточие, из которого можно будет ворочать делами Руси. Летопись говорит, что с ним в соумышлении были его свойственники бояре Кучковы. Мы думаем, что у него было тогда много сторонников как и в суздальской земле, так и в киевской. Первое оказывается из того, что в ростовско-суздальской земле любили его и скоро потом выказали эту любовь тем, что посадили князем по избранию; о втором свидетельствуют признаки значительного переселения жителей из киевской земли в суздальскую; но Андрею, действовавшему в этом случае против отцовской воли, нужно было освятить свои поступки в глазах народа каким-нибудь правом. До сих пор в сознании русских для князей существовало два права – происхождения и избрания, но оба эти права перепутались и разрушились, особенно в южной Руси. Князья, мимо всякого старейшинства по рождению, добивались княжеских столов, а избрание перестало быть единодушным выбором всей земли

и зависело от военной толпы – от дружин, так что, в сущности, удерживалось еще только одно право – право быть князьями на Руси лицам из Рюрикова дома; но какому князю где княжить, – для того уже не существовало никакого другого права, кроме силы и удачи. Надобно было создаться новому праву. Андрей нашел его; это право было высшее непосредственное благословение религии.

Была в Вышгороде в женском монастыре икона Св. Богородицы, привезенная из Цареграда, писанная, как гласит предание, Св. евангелистом Лукою. Рассказывали о ней чудеса, говорили, между прочим, что, будучи поставлена у стены, она ночью сама отходила от стены и становилась посреди церкви, показывая как будто вид, что желает уйти в другое место. Взять ее явно было невозможно, потому что жители не позволили бы этого. Андрей задумал похитить ее, перенести в суздальскую землю, даровать таким образом этой земле святыню, уважаемую на Руси, и тем показать, что над этою землею почует особое благословение Божие. Подговоривши священника женского монастыря Николая и диякона Нестора, Андрей ночью унес чудотворную икону из монастыря и вместе с княгиней и соумышленниками тотчас после того убежал в суздальскую землю. Путешествие этой иконы в суздальскую землю сопровождалось чудесами: на пути своем она творила исцеления. Уже в голове Андрея была мысль поднять город Владимир выше старейших городов Суздаля и Ростова, но он хранил эту мысль до поры до времени втайне, а потому проехал Владимир с иконою мимо и не оставил ее там, где, по его плану, ей впоследствии быть надлежало. Но не хотел Андрей везти ее ни в Суздаль, ни в Ростов, потому что, по его расчету, этим городам не следовало давать первенства. За десять верст от Владимира по пути в Суздаль произошло чудо: кони под иконою вдруг стали; запрягают других посильнее, и те не могут сдвинуть воза с места. Князь остановился; раскинули шатер. Князь заснул, а поутру объявил, что ему являлась во сне Божия Мать с хартиєю в руке, приказала не везти ее икону в Ростов, а поставить во Владимире; на том же месте, где произошло видение, соорудить каменную церковь во имя Рождества Богородицы и основать при ней монастырь. В память такого видения написана была икона, изображавшая Божию Мать в том виде, как она явилась Андрею с хартиєю в руке. Тогда на месте видения заложено было село, называемое Боголюбовым. Андрей построил там богатую каменную церковь; ее утварь и иконы украшены были драгоценными камнями и финифтью, столпы и двери блистали позолотою. Там поставил он временно икону Св. Марии; в окладе, для нее сделанном Андреем, было пятнадцать фунтов золота, много жемчуга, драгоценных камней и серебра.

Заложенное им село Боголюбово сделалось его любимым местопребыванием и усвоило ему в истории прозвище Боголюбского.

Мы не знаем, что делал Андрей до смерти отца, но, без сомнения, он в это время вел себя так, что угодил всей земле. Когда отец умер в Киеве после пира у какого-то Петрила, 15 мая 1157 года, ростовцы и суздальцы со всею землею, нарушив распоряжение Юрия, отдававшего Ростов и Суздаль меньшим сыновьям, единодушно избрали Андрея князем всей своей земли. Но Андрей не поехал ни в Суздаль, ни в Ростов, а основал свою столицу во Владимире, построил там великолепную церковь Успения Богородицы с позолоченным верхом<sup>10</sup> из белого камня, привезенного водою из Болгарии. В этом храме поставил он похищенную из Вышгорода икону, которая с тех пор начала носить имя Владимирской.

С тех пор Андрей явно показал свое намерение сделать Владимир, бывший до того времени только пригородом, главным городом всей земли и поставить его выше старых городов, Ростова и Суздаля. Андрей имел в виду то, что в старых городах были старые предания и привычки, которые ограничивали власть князя. Ростовцы и суздальцы избрали Андрея на вече. Они считали власть князя ниже своей вечевой власти; живя в Ростове или Суздале, Андрей мог иметь постоянные пререкания и должен был подлаживаться к горожанам, которые гордились своим старейшинством. Напротив, во Владимире, который ему обязан был своим возвышением, своим новым старейшинством над землею, воля

---

<sup>10</sup> По одним известиям, был один купол, по другим – пять; вероятнее первое, потому что в те времена обыкновенно строились церкви с одним верхом.

народная должна была идти об руку с волею князя. Город Владимир, прежде малый и незначительный, сильно разросся и населился при Андрее. Жители его состояли в значительной степени из переселенцев, ушедших к Андрею из южной Руси на новое жительство. На это явно указывают названия урочищ во Владимире; там были река Лыбедь, Печерный город, Золотые Врата с церковью над ними, как в Киеве, и Десятинная церковь Богородицы: Андрей из подражания Киеву дал построенной им во Владимире церкви десятину от своих стад и от торгового города Гороховец и села. Андрей строил много церквей, основывал монастыри, не жалел издержек на украшение храмов. Кроме церкви Успения, возбуждавшей удивление современников великолепием и блеском иконостаса, паникадил, сменной живописью и обильною позолотою, он построил во Владимире монастыри Спасский, Вознесенский, соборный храм Спаса в Переяславле, церковь Св. Федора Стратилата, которому он приписывал свое спасение во время одной битвы, когда он вместе с отцом участвовал в княжеских междоусобиях на юге, церковь Покрова при устье Нерли и много других каменных церквей. Андрей приглашал для этого мастеров с Запада, а между тем начало развиваться и русское искусство, так что при Андрее преемнике русские мастера уже без пособия иностранцев строили и расписывали свои церкви.

Построение богатых церквей указывает столько же на благосостояние края, сколько и на политический такт Андрея. Всякая новая церковь была важным событием, возбуждавшим внимание народа и уважение к ее строителю. Понимая, что духовенство составляло тогда единственную умственную силу, Андрей умел приобрести любовь его, а тем самым укреплял свою власть в народе. В приемах его жизни современники видели набожного и благочестивого человека. Его всегда можно было видеть в храме на молитве, со слезами умиления на глазах, с громкими воздыханиями. Хотя его княжеские тиуны и даже покровительствуемые им духовные позволяли себе грабительства и бесчинства, но Андрей всенародно раздавал милостыню убогим, кормил чернецов и черниц и за то слышал похвалы своему христианскому милосердию. Нередко по ночам он входил в храм, сам зажигал свечи и долго молился перед образами.

В то время к числу благочестивых подвигов князя, составлявших его славу, относились и войны его с неверными. По соседству с волостью Андрея, на Волге, было царство Болгарское. Болгары, народ финского, или, вероятнее, смешанного племени, еще в десятом веке приняли магометанство. Они давно уже жили не в ладах с русскими, делали набеги на русские области, и русские князья не раз ходили биться против них: такие битвы считались богоугодным делом. Андрей два раза воевал с этим народом и первый раз отправился с войском против него в 1164 году. Он взял с собою Св. икону Богородицы, привезенную из Вышгорода; духовенство шло пешее и несло ее под знаменами. Сам князь и все войско перед походом причащались Св. Тайн. Поход кончился удачно; князь болгарский бежал; русские взяли город Ибрагимов (в наших летописях Бряхимов). Князь Андрей и духовные приписывали эту победу чудотворному действию иконы Богородицы; событие это поставлено было в ряду многочисленных чудес, истекавших от этой иконы, и в память его было установлено празднество с водосвящением, совершаемое до сих пор 1 августа. Патриарх цареградский, по желанию Андрея, утвердил этот праздник тем охотнее, что русское торжество совпало с торжеством греческого императора Мануила, одержавшего победу над Сарацинами, которую приписывали действию Животворящего Креста и хоругви с изображением Христа Спасителя.

Но не так благосклонно отнесся к желаниям Андрея патриарх Лука Хризоверх, когда Андрей обратился к нему с просьбою посвятить в митрополиты во Владимир своего любимца Феодора. Этим нововведением Андрей хотел решительно возвысить Владимир, зависевший от ростовской епархии; тогда Владимир не только стал бы выше Ростова и Суздаля, а получил бы еще первенствующее духовное значение в ряду русских городов иных земель. Но патриархи, следуя давнему обычаю восточной церкви, не легко и не сразу соглашались на всякие изменения в порядке церковного управления. И на этот раз не согласился патриарх на такую важную перемену, тем более что ростовский епископ Нестор

был еще в живых и, преследуемый не любившим его Андреем, бежал тогда в Цареград. Через несколько лет, однако, 1168 года, любимец Андрея Феодор, съездив в Цареград, выхлопотал себе посвящение если не в сан митрополита, то в сан епископа Ростовского. По желанию Андрея, он хотя числился ростовским, но должен был жить во Владимире, так как на это патриарх дал дозволение. Таким образом, его любимый Владимир, если не мог в духовном управлении получить того первенства в Руси, которое принадлежало Киеву, по крайней мере, делался выше Ростова, как местопребывание епископа. Любимец Андрея Феодор до того возгордился, что подобно своему князю, ни во что ставившему Киев, не хотел знать киевского митрополита: не поехал к нему за благословением и считал для себя достаточным поставление в епископы от патриарха. Так как это было нарушение давнего порядка на Руси, то владимирское духовенство не хотело ему повиноваться: народ волновался. Феодор затворил церкви и запретил богослужение. Если верить летописям, то Феодор по этому поводу, принуждая повиноваться своей верховной власти, позволял себе ужасные варварства: мучил непокорных игуменов, монахов, священников и простых людей, рвал им бороды, рубил головы, выжигал глаза, резал языки, отбирая имена у своих жертв. Хотя летописец и говорит, что он поступал таким образом, не слушая Андрея, посылавшего его ставиться в Киев, но трудно допустить, чтобы все это могло происходить под властью такого властолюбивого князя против его воли. Если подобные варварства не плод преувеличения, то они могли совершаться только с ведома Андрея, или, по крайней мере, Андрей смотрел сквозь пальцы на проделки своего любимца и пожертвовал им только тогда, когда увидел, что народное волнение возрастает и может иметь опасные последствия. Как бы то ни было, Андрей, наконец, отправил Феодора к киевскому митрополиту, который приказал отрубить злодею правую руку, отрезать язык и выколоть глаза. Это – по византийскому обычаю.

Андрею не удалось возвысить свой Владимир в церковном отношении на степень митрополии. Тем не менее Андрей в этом отношении наметил заранее то, что совершилось впоследствии, при его преемниках.

Андрей был посажен на княжение всею землею, в ущерб правам меньших братьев, которые должны были княжить там по распоряжению родителя. Решительный в своих действиях, Андрей предупредил всякие со стороны их попытки к междоусобиям, разом выгнал своих братьев Мстислава, Василька, восьмилетнего Всеволода (1162) и удалил от себя двух племянников Ростиславичей. Братья вместе со своею матерью, греческою царевною, отправились в Грецию, где греческий император Мануил принял их дружелюбно. Это изгнание не только не было событием, противным земле, но даже в летописях оно приписывается как бы земской воле. Андрей выгонял также и бояр, которых не считал себе достаточно преданными. Такие меры сосредоточивали в его руках единую власть над всею ростовско-суздальскою землею и через то самое давали этой земле значение самой сильнейшей земли между русскими землями, тем более что, будучи избавлена от междоусобий, она была в то время спокойна от всякого внешнего вторжения. Но с другой стороны, эти же меры увеличивали число врагов Андрея, готовых, при случае, погубить его всеми возможными средствами.

Забравши в свои руки власть в ростовско-суздальской земле, Андрей ловко пользовался всеми обстоятельствами, чтобы показывать свое первенство во всей Руси; вмешиваясь в междоусобия, происходившие в других русских землях, он хотел разрешать их по своему произволу. Главною и постоянною целью его деятельности было унижить значение Киева, лишить древнего старейшинства над русскими городами, перенести это старейшинство на Владимир, а вместе с тем подчинить себе вольный и богатый Новгород. Он добивался того, чтобы, по своему желанию, отдавать эти два важнейших города с их землями в княжение тем из князей, которых он захочет посадить и которые, в благодарность за то, будут признавать его старейшинство. Когда по смерти Юрия Долгорукого возник спор за Киев между черниговским князем Изяславом Давидовичем и Ростиславом, братом Изяслава Мстиславича, Андрей мирволил Изяславу, хотя прежде этот князь был врагом отца его. В

1160 году он съехался с ним на Волоке и умыслил выгнать Ростислава сына Святослава из Новгорода. В Новгороде уже несколько лет происходила безурядица; призывали и выгоняли то тех, то других князей. Незадолго до того, еще при Юрии, княжил там брат Андрея Мстислав. В 1158 году новгородцы прогнали его и призвали сыновей Ростислава, Святослава и Давида: из них первого посадили в Новгороде, а другого в Торжке, но и против них скоро образовалась в Новгороде враждебная партия. Рассчитывая на помощь этой партии, Андрей послал в Новгород такое требование: «Да будет вам ведомо, я хочу искать Новгорода добром или злом; чтобы вы целовали мне крест иметь меня своим князем, а мне вам добра хотеть». Такой отзыв усилил волнение в Новгороде, часто стали собираться бурные вече. Сначала новгородцы, руководимые благоприятелями Андрея, придрались к тому, что Новгород содержит разом двух князей, и требовали удаления Давида из Торжка. Святослав исполнил требование и выслал брата из Новгородской земли, но после того противники его не оставили Святослава в покое, подушали против него народ и довели до того, что толпа схватила Святослава на Городище, отравила под стражею в Ладогу; его жену заключили в монастырь Св. Варвары; перековали лиц, составлявших княжескую дружину, имение их разграбили, а потом послали просить у Андрея сына на княжение. Андрей рассчитывал давать им по возможности не тех князей, каких они пожелают, а тех, каких он сам им дать захочет. Андрей послал им не сына, а своего племянника Мстислава Ростиславича. Но в следующем году (1161), когда Изяслав Давидович был побежден Ростиславом и убит, а Ростислав укрепился в Киеве, Андрей поладил с ним и приказал новгородцам взять опять к себе на княжение того Святослава Ростиславича, которого они недавно выгнали, и притом, как выражается летописец, «на всей воле его». Андрею, очевидно, было все равно, тот или другой князь будет княжить в Новгороде, лишь бы только этот князь был посажен от его руки, чтобы таким образом для новгородцев вошло в обычай получать себе князей от суздальского князя. В 1166 году умер киевский князь Ростислав, человек податливый, под конец поладивший с суздальским князем и угождавший ему. На киевское княжение был избран Мстислав Изяславич. Кроме того, что этот князь был сын ненавистного Андрею Изяслава Мстиславича, с которым так упорно боролся отец его, Андрей лично ненавидел этого князя, да и Мстислав был не из таких, чтобы угождать кому бы то ни было, кто бы вздумал показать над ним власть. У покойного Ростислава было пять сыновей: Святослав, княживший в Новгороде, Давид, Роман, Рюрик и Мстислав. Сначала Мстислав Изяславич был с этими своими двоюродными братьями заодно, но потом, к большому удовольствию Андрея, между ними дружба стала нарушаться. Началось из-за Новгорода. Новгородцы по-прежнему не поладили со своим князем Святославом и прогнали его, а потом послали к киевскому Мстиславу просить у него сына. Мстислав, не желая ссориться с Ростиславичами, медлил решением. Тем временем оскорбленный Святослав обратился к Андрею; за Святослава стали смоленские князья, его братья. К ним присоединились и полочане, которые прежде не ладили с Новгородом. Тогда Андрей решительно потребовал от новгородцев, чтобы они вновь приняли изгнанного ими Святослава. «Не будет вам иного князя, кроме этого», – приказал он сказать им и прислал на помощь Святославу и его союзникам войско против Новгорода. Союзники сожгли Новый Торг, опустошали новгородские села и перерезали сообщение Новгорода с Киевом, чтобы не дать новгородцам сойтись с Мстиславом киевским. Новгородцы почувствовали оскорбление своих прав, увидели чересчур решительное посягательство на свою свободу, разгорячились и не только не сдались на требования Андрея, но убили посадника Захария и некоторых других лиц, сторонников Святослава, за тайные сношения с этим князем, выбрали другого посадника по имени Якуна, нашли возможность дать знать обо всем Мстиславу Изяславичу и еще раз просили у него сына на княжение. В это время, кстати, киевские бояре Бориславичи успели поссорить Мстислава с двумя Ростиславичами: Давидом и Рюриком.<sup>11</sup> Когда вслед за тем

---

<sup>11</sup> Ссора началась из-за того, что слуги Ростиславичей украли Мстиславовых коней и наложили на них свои клейма. Бояре Бориславичи, Петр и Нестор, уверили Давида, что Мстислав в отмщение за то хочет, зазававши их на обед, взять под стражу. Через несколько времени Мстислав действительно

новгородцы снова прислали к Мстиславу просить сына, он уже не колебался и послал к ним сына своего Романа. Ростиславичи после этого поступка сделались отъявленными врагами Мстислава. Андрей тотчас воспользовался этим, чтобы идти на Мстислава. Рязанские и муромские князья уже прежде были с Андреем заодно, соединенные войною против болгар. Полочане вошли с ним в союз по вражде к Новгороду; на Волыни был у него союзник дорогобужский князь Владимир, дядя Мстислава, бывший его соперник за Киев. Андрей тайно снесся с князьями северскими Олегом и Игорем: в Переяславле Русском княжил брат Андрея Глеб, неизменно ему преданный; с Глебом был также другой брат, молодой Всеволод, вернувшийся из Цареграда и получивший княжение в Остерском Городце в южной Руси. Всего, таким образом, было до 11-ти князей с их дружинами и ратью. Суздальским войском предводительствовал сын Андрея Мстислав и боярин Борис Жидиславич. На стороне Мстислава был брат Андрея Михаил, княживший в Торжке; не предвидя против себя ополчения, Мстислав Изяславич отправил его с берендеями на помощь к сыну в Новгород; но Роман Ростиславич перерезал ему путь и взял в плен.

Подручники Андрея с войсками разных русских земель сошлись в Вышгороде и в начале марта заложили стан под Киевом, близ Кирилловского монастыря, и, раздвигаясь, окружили весь город. Вообще киевляне никогда и прежде не выдерживали осады и обыкновенно сдавались князьям, приходившим добывать Киев силою. И теперь у них достало выдержки только на три дня. Берендеи и торки, стоявшие за Мстислава Изяславича, склонны были к измене. Когда враги стали сильно напирать в тыл Мстиславу Изяславичу, киевская дружина сказала ему: «Что, князь, стоишь, нам их не пересилить». Мстислав бежал в Василев, не успевши взять с собою жену и сына. За ним гнались; по нем стреляли. Киев был взят 12 марта, в среду на второй неделе поста 1169 года, весь разграблен и сожжен в продолжение двух дней. Не было пощады ни старым, ни малым, ни полу, ни возрасту, ни церквам, ни монастырям. Зажгли даже Печерский монастырь. Вывезли из Киева не только частное имущество, но иконы, ризы и колокола. Такое свирепство делается понятным, когда мы вспомним, как за двенадцать лет перед тем киевляне перебили у себя всех суздальцев после смерти Юрия Долгорукова; конечно, между суздальцами были люди, мстившие теперь за своих родственников; что же касается до черниговцев, то у них уже была давняя вражда к Киеву, возраставшая от долгой вражды между Мономаховичами и Ольговичами.

Андрей достиг своей цели. Древний Киев потерял свое вековое старейшинство. Некогда город богатый, заслуживавший от посещавших его иностранцев название второго Константинополя, он уже и прежде постоянно утрачивал свой блеск от междоусобий, а теперь был ограблен, сожжен, лишен значительного числа жителей, перебитых или отведенных в неволю, поруган и посрамлен от других русских земель, которые как будто мстили ему за прежнее господство над ними. Андрей посадил в нем своего покорного брата Глеба, с намерением и наперед сажать там такого князя, какого ему будет угодно дать Киеву.

Разделавшись с Киевом, Андрей последовательно хотел разделаться и с Новгородом. Те же князья, которые ходили с ним на Киев, с теми же ратями, которые уничтожили древнюю столицу русской земли, пошли на север с тем, чтобы приготовить ту же судьбу и Новгороду, какая постигла Киев. «Не будем говорить, рассуждает суздальский летописец, преданный Андрею и его политике, – что новгородцы правы, что они издавна от прародителей князей наших свободны; а если б и так было, то разве прежние князья велели им преступать крестное целование и ругаться над внуками и правнуками их?» Уже в трех

---

призвал на обед Давида и Рюрика. Эти князья, возбужденные наговорами бояр, прежде всего потребовали, чтобы Мстислав поцеловал крест, что им не будет ничего дурного. Мстислав обиделся; оскорбилась за него и его дружина. «Не годится тебе крест целовать, – говорили его дружинники, – без нашего ведома тебе нельзя было ни замыслить, ни сделать того, что они говорят, а мы все знаем твою истинную любовь к братьям, ведаем, что ты прав перед Богом и людьми. Пошли им и скажи: я целую вам крест в том, что не мыслил ничего дурного против вас, только вы мне выдайте того, кто на меня клеветает». Обе стороны поцеловали на этом друг другу крест, но Давид потом не исполнил желания Мстислава. «Если я выдам тех, которые мне говорили, – сказал он, – то вперед мне никто ничего не скажет». От этого возникла холодность между Мстиславом и Ростиславичами.

церквах новгородских на трех иконах плакала Пресв. Богородица: она предвидела беду, собиравшуюся над Новгородом и его землю; она молила Сына своего не предавать новгородцев погибели, как Содом и Гоммору, но помиловать их, как ниневитян. Зимой 1170 года явилась грозная рать под Новгородом – суздальцы, смольняне, рязанцы, муромцы и полочане. В течение трех дней они устраивали острог около Новгорода, а на четвертый начали приступ. Новгородцы бились храбро, но потом стали ослабевать. Враги Новгорода, надеясь на победу, заранее в предположениях делили между собою по жребию новгородские улицы, жен и детей новгородских подобно тому, как это сделали с киевлянами; но в ночь со вторника на среду второй недели поста – как гласит предание – новгородский архиепископ Иоанн молился перед образом Спаса и услышал глас от иконы: «Иди на Ильину улицу в церковь Спаса, возьми икону Пресвятой Богородицы и вознеси на забрало (платформу) стены, и она спасет Новгород». На другой день Иоанн с новгородцами вознес икону на стену у Загородного конца между Добрыниной и Прусской улицами. Туча стрел посыпалась на него; икона обратилась назад; из глаз ее потекли слезы и упали на фелонь епископа. На суздальцев нашло одурение: они пришли в беспорядок и стали стрелять друг в друга. Так гласит предание. Князь Роман Мстиславич к вечеру 25 февраля с новгородцами победил суздальцев и их союзников. Современный летописец, рассказывая об этом событии, ничего не говорит об иконе, но приписывает победу «силе честного креста, заступлению Богородицы и молитвам владыки». Враги бежали. Новгородцы наловили так много суздальцев, что продавали их за бесценок (по 2 нагаты).<sup>12</sup> Легенда об избавлении Новгорода имела важное значение на будущие времена, поддерживая нравственную силу Новгорода к борьбе его с суздальскими князьями. Впоследствии она приняла даже общее церковное во всей Руси значение: икона, которой приписывали чудотворное избавление Новгорода от рати Андрея, сделалась под именем Знаменской одною из первоклассных икон Божией Матери, уважаемых всей Русью. Праздник в честь ее был установлен новгородцами 27 ноября; праздник этот и до сих пор соблюдается православною русскою церковью.

Вскоре, однако, вражда простыла, и новгородцы поладили с Андреем. На следующий же год они невзлюбили Романа Мстиславича и прогнали от себя. Тогда был неурожай и сделалась дороговизна в Новгороде. Новгородцам нужно было получать хлеб из Суздальской области, и это было главною причиною скорого мира с Андреем. С его согласия они взяли себе в князья Рюрика Ростиславича, а в 1172 году, прогнав его от себя, выпросили у Андрея сына Юрия. Новгород все-таки остался в выигрыше в том отношении, что Андрей должен был показывать уважение к правам Новгорода и хотя посылал ему князей, но уже не иначе, как на всей воле новгородской.

Несмотря на поражение, нанесенное Киеву, Андрею пришлось еще раз посылать туда войско с целью удержать его в своей власти. Посаженный им князь Глеб умер. С согласия Ростиславичей Киев захватил было дядя их Владимир Дорогобужский, бывший союзник Андрея, но Андрей приказал ему немедленно выехать и объявил, что уступает Киев Роману Ростиславичу, князю кроткого и покорного нрава. «Вы назвали меня своим отцом, – приказал Андрей сказать Ростиславичам, – хочу вам добра и даю Роману, брату вашему, Киев». Через несколько времени Андрей задумал прогнать Романа Ростиславича: был ли он недоволен Ростиславичами, находя, что они зазнаются, или же просто намеревался посадить туда брата, и потому нужно было ему их выгнать, – как бы то ни было, только он придрался к этим князьям, послал к ним своего мечника Михна с требованием выдачи Григория Хотовича и двух других лиц. «Они, – говорил он, – уморили брата моего Глеба; они все нам враги». Ростиславичи, зная, что со стороны Андрея это не более как придирка, не решились выдать людей, которых считали невиновными, и дали им средства спастись. Этого только и нужно было Андрею. Он писал им такое грозное слово: «Если не живете по моей воле, то ты, Рюрик, ступай вон из Киева, а ты, Давид, ступай из Вышегорода, а ты, Мстислав, из Белагорода; остается вам Смоленск: там себе делитесь как знаете». Роман повиновался и

<sup>12</sup> В гривне 20 нагат. По исчислению Карамзина, 6 нагат приблизительно равняются 50 к. Т. II. прим. 79.



уехал в Смоленск. Андрей отдал Киев брату Михаилу, с которым помирился. Михаил остался пока в Торческе, где находился прежде на княжении, и послал в Киев брата своего Всеволода с племянником Ярополком Ростиславичем. Но другие Ростиславичи не были так безгласны, как Роман. Они отправили к Андрею посла с объяснениями; но Андрей не дал ответа. Тогда они ночью вошли в Киев, схватили Всеволода и Ярополка, осадили самого Михаила в Торческе, принудили его отказаться от Киева и довольствоваться Переяславлем, который ему уступили, а сами возвратились в Киев и посадили на киевском столе одного из своей среды: Рюрика Ростиславича. Сам непостоянный, Михаил, которого Андрей прочил в Киев, отступил снова от Андрея и пристал к Ростиславичам, так же как он против Андрея и Ростиславичей уже стоял за Мстислава Изяславича. Андрей, услышавши обо всем этом, сильно разгневался, а тут кстати пришло к нему предложение подать помощь против Ростиславичей: черниговский князь Святослав Всеволодович, помышлявший во время сумятицы овладеть Киевом, подстрекал Андрея на Ростиславичей; заодно с ним были и другие князья Ольговичи. Посол, присланный от имени этих князей, говорил Андрею: «Кто тебе ворог, тот и нам ворог; мы с тобой готовы».

Гордый Андрей призвал своего мечника Михна и сказал: «Поезжай к Ростиславичам, скажи им вот что: вы не поступаете по моей воле; за это ты, Рюрик, ступай в Смоленск к брату в свою отчину, а ты, Давид, ступай в Берлад, не велю тебе быть в русской земле; а Мстиславу скажи так: ты всему зачинщик: я не велю тебе быть в русской земле».

Михно передал Ростиславичам поручение своего князя. Всех более не стерпел этой речи Мстислав. «Он, – говорит современник, – от юности своей не привык никого бояться, кроме единого Бога». Он приказал остричь Михну волосы на голове и бороде и сказал: «Ступай к своему князю и передай от нас своему князю вот что: мы тебя до сих пор считали отцом и любили, ты же прислал к нам такие речи, что считаешь меня не князем, а подручником и простым человеком; делай что замыслил. Бог всему судья!»

Андрей пришел в ярость, когда увидел остриженного Михна и услышал, что сказал Мстислав. Большое ополчение Суздальской земли – ростовцы, суздальцы, владимирцы, переяславцы, белозерцы, муромцы и рязанцы, под главным начальством сына Андрея Юрия и боярина Жидиславича, пошло в путь. Андрей, отправляя их, говорил: «Изгоните Рюрика и Давида из моей отчины, а Мстислава возьмите: ничего ему не делайте и привезите ко мне». К ним пристали новгородцы. Они шли через смоленскую землю; бедный Роман, видя у себя таких гостей, не мог сопротивляться и должен был, по требованию Андрея, послать с ними своих смольнян. Вся эта сила вступила в черниговскую землю, и там соединился с нею Святослав Всеволодович с братьями. С другой стороны Андрей подвинул на Киев силы полоцкой земли: туровских, пинских и городенских князей, подчиненных Полоцку. Михаил Юрьевич отступил от Ростиславичей и вместе со Всеволодом и двумя племянниками поспешил овладеть Киевом. Ростиславичи не препятствовали ему. Рюрик заперся в Белгороде, Мстислав в Вышгороде, а Давида послали в Галич просить помощи у Ярослава (Осмомысла). Все ополчение главным образом напирало на Вышгород, чтобы взять Мстислава, как приказал Андрей. Много было крику, шуму, треску, пыли, мало убитых, но много раненых. 9 недель стояло это ополчение. Двоюродный брат Ростиславичей, Ярослав Изяславич Луцкий, пришедший со всею волынскою землею, искал для себя старейшинства и киевского стола, чего добивался также Святослав Всеволодович черниговский, старейший князь в ополчении. Самого Андрея здесь не было, чтобы решить этот спор своею могучею волею; а все эти князья, сами того не сознавая, только затем и явились под Вышгород, чтобы дать возможность Андрею назначить в Киев такого князя, какого ему будет угодно. Ярослав, не поладивши со Святославом Всеволодовичем, отступился от союзников, передался к Ростиславичам и двинулся к Белгороду, чтобы, соединившись с Рюриком Ростиславичем, ударить на осаждающих. В то же время союзникам угрожало прибытие галичан, по призыву Давида, на помощь Ростиславичам. Со своей стороны большая часть союзников не имела ни поводов, ни охоты продолжать упорную войну. Смольняне завлечены были совершенно поневоле. Новгородцы, всегда беспокойные и переменчивые, легко охладели к делу, к

которому приступили мимоходом; вероятно, также полочане и другие ополчения из белорусских городов не отличались особенным рвением, так как для них в то время был совершенно безразличен вопрос о том, кому будет принадлежать Киев. Все это вместе было причиною того, что как только союзники увидели, что сила их врагов возрастает, то в стане их сделался переполох, и они ночью, перед рассветом, бежали в таком беспорядке, что многие, переправляясь через Днепр, утонули. Мстислав сделал вылазку, погнался за ними, овладел их обозом и захватил пленных. Эта победа над двадцатью князьями и силами стольких земель прославила Мстислава Ростиславича между своими современниками и дала ему название Храброго. «Так-то, – говорит летописец, – князь Андрей какой был умник во всех делах, а погубил смысл свой невоздержанием: распалился гневом, возгордился и напрасно похвалился; а похвалу и гордость дьявол вселяет в сердце человеку».

Киев был уступлен Ростиславичами Ярославу Луцкому, который, как и следовало ожидать, недолго просидел в нем, и бедная старая столица опять начала переходить из рук в руки. Но судьба ее не зависела уже от воли суздальских князей, как это хотелось Андрею. В следующем году Ростиславичи готовы были помириться с Андреем, если только на киевском престоле сядет брат их Роман. Андрею, конечно, было бы приятнее видеть там покорного себе Романа, чем ненавистную ветвь Изяслава Мстиславича или Ольговичей, родовых врагов Мономахова племени; вероятно, и Ростиславичи имели это в виду, вступивши с Андреем в сношения. Но Андрей медлил решительным ответом. «Подождите немного, – сказал он, – пошлю к братьям своим на Русь». Андрей, как видно, не решил в своем уме, в чью пользу высказать приговор. Неожиданная насильственная смерть пресекла все его планы.

При всем своем уме, хитрости, изворотливости, Андрей не установил ничего прочного в русских землях. Единственным побуждением всей его деятельности было властолюбие: ему хотелось создать около себя такое положение, в котором бы он мог перемещать князей с места на место, как пешки, посылать их с дружинами туда и сюда, по своему произволу принуждать дружить между собою и ссориться и заставить их всех волею-неволею признавать себя старейшим и первенствующим. Для этой цели он довольно ловко пользовался неопределенными и часто бессмысленными отношениями князей, существовавшей рознь между городами и землями, возбуждал и разжигал страсти партий; в этом случае ему оказывали услуги и новгородские внутренние неурядицы, и неурожаи новгородской земли, и давнее отчуждение полоцкой земли от других русских земель, и родовая неприязнь Ольговичей и Мономаховичей, и неожиданные вспышки вроде ссоры Ростиславичей со Мстиславом Изяславичем, и более всего те дикие противогражданственные свойства еще неустановившегося общества, при которых люди не умеют согласить личные цели с общественными, и легко можно расшевелить страсти надеждою на взаимный грабеж: все это, однако, были временные средства и потому имели временный характер. Кроме желания лично властвовать над князьями, у Андрея едва ли был какой-нибудь идеал нового порядка для русских земель. Что же касается до его отношений к собственно Суздальской-ростовской волости, то он смотрел на нее как будто на особую землю от остальной Руси, но которая, однако, должна властвовать над Русью. Таким образом он заботился о благосостоянии своей земли, старался обогатить ее религиозною святынею и в то же время предал на разорение Киев со всем тем, что было там исстари святого для всей Руси. В какой степени оценила его заботы сама суздальско-ростовская земля, показывает его смерть.

Властолюбивый князь, изгнавши братьев и тех бояр, которые недостаточно ему повиновались, правил в своей земле самовластно, забывши, что он был избран народом, отягощал народ поборами через своих посадников и тиунов и по произволу казнил смертью всякого, кого хотел. Ужасные варварства, сообщаемые летописями об епископе Феодоре, его любимце, достаточно бросают мрачную тень на эпоху Андреева княжения, если бы даже половина того, что рассказывалось, была правда. Андрей, как видно, час от часу становился более и более жестоким. Он постоянно жил в селе Боголюбове: там постиг его конец. Был у него любимый слуга Яким Кучкович. Князь приказал казнить его брата. Яким стал говорить

своим приятелям: «Сегодня того, другого казнил, а завтра казнит и нас: разделаемся-ка с этим князем!» В пятницу, 28 июня 1175 года, собрался совет в доме Кучкова зятя Петра. Было там человек 20 и в числе их ключник Андрея Амбал, родом ясин (ясы – народ кавказского племени: полагают, что это кабардинцы), и еврей Ефрем Моизич. Замечательно (как вообще черта подобных людей), что приближенными Андрея были иноземцы: чувствуя, что свои имеют повод не любить его, он, конечно, думал обезопасить себя этим средством – и ошибся. На совете порешили убить князя в эту же ночь. Андрей, по известию одной летописи, спал один, заперши дверь, а по другим, близ него находился кощей (мальчик). Заговорщики, отправляясь на свое дело, зашли прежде в медушу (погреб), напились для смелости вина и потом направились к ложнице Андрея.

«Господине, господине!» – сказал один, толкаясь в дверь. «Кто там?» – откликнулся Андрей.

«Прокопий», – отвечали ему. Прокопий был верный слуга Андрея.

«Нет, паробче, ты не Прокопий», – ответил, догадавшись, Андрей и бросился искать меча. Был у него меч Св. Бориса, которому он приписывал особую силу, но меча при нем не оказалось: Амбал ключник заранее унес его.

Заговорщики выломали дверь и бросились на Андрея. Князь был силен, начал бороться с ними. Впотьмах убийцы ранили одного из своих, но потом, различивши князя, поражали его мечами, саблями и копьями. Думая, что уже покончили с ним, они ушли, но князь, собравши последние силы, выскочил за ними, спустился с лестницы и спрятался под сени. Убийцы слышали его стоны. «Князь сошел с сеней вниз», – закричал один. «Посмотрим», – сказали другие и бросились назад в ложницу. Князя там не было.

«Мы погибли, – закричали они, – скорее, скорее ищите его!» Зажгли поспешно свечи и по следам крови на лестнице нашли князя: он сидел, прижавшись за лестничным столбом, и молился.

Петр Кучкович отсек ему правую руку. Князь успел проговорить: «Господи, в руки твои передаю дух мой!» – и окончил жизнь.

Уже рассветало. Убийцы нашли Прокопия, княжеского любимца, и убили его. Оттуда опять взошли они на сени, набрали золота, драгоценных камней, жемчуга, разного имущества и отправили, взложивши на приготовленных их соумышленниками коней, а сами, надев на себя княжеское вооружение, собрали своих: «Что, – говорили они, – если на нас приедет дружина владимирская?» – «Пошлем во Владимир», – порешили злоумышленники.

Они послали к владимирцам, извещали о случившемся и велели сказать: «Если кто из вас что-нибудь помыслит на нас, то мы с теми покончим. Не у вас одних была дума; и ваши есть в одной думе с нами».

Владимирцы отвечали: «Кто с вами в думе, тот с вами пусть и будет, а наше дело сторона».

Весь дом Андрея был разграблен. Так поступали, сообразно тогдашним обычаям и понятиям. Имущество казненного общею волею все отдавалось на «поток и разграбление». Обнаженное тело князя было выброшено в огород.

Был между слугами князя один киевлянин Кузьмище. Узнавши, что князь убит, он ходил и спрашивал то того, то другого: «Где мой господин?» Ему отвечали: «Вон там в огороде лежит, да не смей его трогать. Это тебе все говорят; хотим его бросить собакам. А кто приберет его, тот наш враг и того убьем».

Но Кузьмище не испугался угроз, нашел тело князя и начал голосить над ним. К нему шел Амбал.

«Амбал, враг, – закричал, завидевши его, Кузьмище, – сбрось ковер или что-нибудь – постлать или чем-нибудь прикрыть нашего господина!»

«Прочь, – сказал Амбал, – мы его выбросим псам». «Ах ты еретик, – воскликнул Кузьмище, – как псам выбросить? А помнишь ли, жид, в каком платье ты пришел сюда? Ты весь в бархате стоишь, а князь лежит голый! Сделай же милость, брось что-нибудь».

Амбал бросил ему ковер и корзно (верхний плащ). Кузьмище обернул ими тело убитого

и пошел в церковь.

«Отоприте божницу!» – сказал Кузьмище людям, которых там встретил. Эти люди были уже на радости пьяны. Они отвечали: «Брось его тут в притворе. Вот нашел еще себе печаль с ним!»

Кузьмище положил тело в притворе, покрыв его корзном, и причитывал над ним так:

«Уже, господине, тебя твои паробки не знают, а прежде, бывало, гость придет из Царьграда или из иных сторон русской земли, а то хоть и латинин, христианин ли, поганый, ты, бывало, скажешь: поведите его в церковь и на полаты, пусть видят все истинное христианство и крестятся; и болгары, и жида, и всякая погань – все, видевшие славу Божию и церковное украшение, плачут о тебе; а эти не велят тебя в церкви положить».

Тело Андрея лежало два дня и две ночи в притворе. Духовенство не решалось отпереть церковь и совершать над ним панихиды. На третий день пришел игумен монастыря Козьмы и Дамиана, обратился к боголюбским клирошанам и говорил:

«Долго ли нам смотреть на старейших игуменов? Долго ли этому князю так лежать? Отомкните божницу, я отпою его; вложим его в гроб, пусть лежит здесь, пока злоба перестанет: тогда приедут из Владимира и понесут его туда».

По совету его, отперли церковь, положили тело в каменный гроб, пропели над ним панихиду. Этому, как видно, никто уже не мешал.

Между тем оказалось, что убийцы совершили поступок, угодный очень многим. Правление Андрея было ненавидимо. Народ, услышавши, что его убили, бросился не на убийц, а напротив, стал продолжать начатое ими. Боголюбцы разграбили весь княжий дом, в котором накоплено было золота, серебра, дорогих одежд, перебили его детских и мечников (посыльных и стражу), досталось и мастерам, которых собирал Андрей, заказывая им работу.

Грабеж происходил и во Владимире, но там одно духовное лицо, по имени Микулица (быть может, тот самый поп Никола, который помог в 1155 году Андрею похитить в Вышгороде икону Богородицы), в ризах прошел по городу с чудотворною иконою; это произвело такое впечатление, что волнение улеглось. Весть об убиении Андрея скоро разошлась по земле: везде народ волновался, нападал на княжеских посадников и тиунов, которые всем омерзели способами своего управления; их дома ограбили, а иных и убили.

Не ранее как через шесть дней после смерти князя, владимирцы, как бы опомнившись, порешили привезти тело убитого. 5 июля они отправили игумена Богородицкого монастыря Феодула с деместником (уставщиком) Лукою и с носильщиками за телом в Боголюбово, а Микулице сказали: «Собери всех попов, облачитесь в ризы, станьте с образом Богородицы перед Серебряными воротами и ждите князя!» Серебряными воротами назывались те ворота города, которые выходили на дорогу в Боголюбово; с противоположной стороны были Золотые ворота.

Народная толпа вышла из города. Когда похоронное шествие стало приближаться, показалось княжеское знамя, послышалось погребальное пение, тогда злоба уступила место печали; вспомнили, что за умершим были не одни дурные дела, но были и добрые, вспомнили его усердие к храмам и оплакивали князя.

Его погребли в церкви Св. Богородицы. Несомненно, что ненависть к Андрею не была уделом одной незначительной партии, но была разделяема народом. Иначе нельзя объяснить того обстоятельства, что тело князя оставалось непогребенным целую неделю, и народ, услышавши о насильственной смерти своего князя, обратился не на убийц его, а на его доверенных и слуг. Но, с другой стороны, если поступки этого князя, руководимого безмерным властолюбием, возбудили к себе злобу народа, то все-таки его деятельность в своем основании согласовалась с духом и характером той земли, которой он был правителем. Это всего яснее можно видеть из последующих событий и всей истории ростовско-суздальского края до самого татарского нашествия.

Ростовцы и суздальцы, в особенности первые, были недовольны Андреем за предпочтение, оказываемое городу Владимиру, и чувство досады тотчас прорвалось после смерти Андрея. Первые пригласили племянников Андрея, Ростиславичей, которые, не смея

явиться во владениях дяди, проживали в рязанской земле; а владимирцы пригласили брата Андреева Михаила, проживавшего в Чернигове. Дошло было дело до междоусобия: ростовцы взяли верх, принудили владимирцев принять одного из Ростиславичей, Ярополка, и отзывались о владимирцах так: «Они наши холопы и каменьщики: мы их город сождем или посадника в нем от себя посадим». Но посаженные князья Ростиславичи, угождая одним ростовцам, вооружили против себя несправедливыми поборами и владимирцев, и всю землю. «Мы вольных князей принимаем к себе», – говорили владимирцы. По этой причине, когда владимирцы прогнали от себя Ярополка Ростиславича и снова пригласили к себе Михаила, то вся земля была на стороне города Владимира. Михаил вскоре умер, и владимирцы на вече выбрали меньшого сына Юрия Долгорукого Всеволода (крестное имя его было Димитрий). Ростовцы попытались подняться против него с Ростиславичами, но неудачно. За Ростиславичей пошел против Всеволода рязанский князь Глеб, однако был разбит наголову и взят в плен вместе с Ростиславичами и ростовскими боярами, которые их поддерживали. Глеб умер в тюрьме. Озлобление владимирцев против Ростиславичей было так велико, что они покусились было ослепить их против воли Всеволода. Причина этого озлобления объясняется тем, что Ростиславичи, вместе с рязанцами, навели на землю половцев. С тех пор волнения надолго утихают в ростовско-суздальской земле. По всему видно, что и в Ростове партия, ненавидевшая город Владимир, искавшая власти и первенства над всюю землею, состояла главным образом из бояр, которые не могли приобрести любви всего народа и увлечь его за собою. В самом Ростове жители вязали бояр и отдавали их Всеволоду. После того как с поражением рязанцев рассеяна была партия ростовских бояр, враждебная Всеволоду, Ростов оставался спокоен. Всеволод княжил долго (до 1212 года) и во многом продолжал политику Андрея, хотя поступал с гораздо большею умеренностью и мягкостью. В ростовско-суздальской земле он был вообще любим народом. По отношению к Новгороду он пользовался всеми обстоятельствами, чтобы поддерживать свое первенство и влияние над ним. Но он уступал новгородцам в случае крайнего упорства с их стороны и всегда показывал вид, что уважает новгородскую волю. Замечательно при этом, что Всеволод в делах с Новгородом должен был прибегать к крутым мерам не по личному побуждению, а по желанию дружины. Таким образом, когда он, не поладивши с новгородцами, осадил Торжок и уже готов был отступить и помириться, дружина кричала: «Князь, мы не целоваться с ними пришли», – и Торжок был взят и сожжен. По многим чертам видно, что мысль о подчинении Новгорода была мыслью всей ростовско-суздальской земли, а не одних князей ее, и оттого-то впоследствии новгородцы с таким озлоблением воевали не с одними князьями, а вообще с суздальцами и ненавидели их даже тогда, когда ладили с их князьями. С другой стороны, Всеволод поддерживал первенство над рязанскими князьями, а в 1208 году, воспользовавшись безурядицей в рязанской земле, посадил там сына своего Ярослава. Но так как разом с этим князем наводнили рязанскую землю суздальцы и взяли в свои руки все управление, то рязанцы, которые сами прежде выдали Всеволоду своих князей и добровольно выбрали Ярослава, вышли из терпения, поднялись всею землею, заковали суздальцев и засадили в погреба, где многие задохлись. Поэтому Всеволод не в состоянии был удержать рязанской земли за собою.

Князь Всеволод пользовался уважением и в южной Руси, мирил между собою ссорившихся южнорусских князей, и даже в отдаленном Галиче один князь отдавался ему под покровительство. По смерти Всеволода произошло короткое междоусобие, возбужденное главным образом новгородцами. Но в 1219 году, по смерти старшего сына Всеволода, Константина, посажен был во Владимире на княжение второй сын его, Юрий, и ростовско-суздальская земля до самого татарского нашествия была избавлена от княжеских междоусобий. Достоинно замечания, что в этой земле княжило разом несколько князей, братьев и племянников Юрия, но все они действовали заодно. Все они управляли в согласии с народом, и самая власть их зависела от народа. Таким образом, когда Всеволод распределил уделы между своими сыновьями и Ярославу отдал Переяславль-Залесский, то Ярослав, приехавши в этот город и созвавши народ в соборной церкви Св. Спаса, сказал:

«Братья переяславцы! Отец мой отошел к Богу, вас отдал мне, а меня отдал вам на руки. Скажите, братья, желаете ли иметь меня своим князем?» Переяславцы отвечали: «Очень хотим, пусть так будет. Ты наш господин». И все целовали ему крест.

Это был период благосостояния восточной Руси. Земля населялась; строились церкви и монастыри; искусство поднялось до такой степени, что русские не нуждались более в иностранных мастерах: у них были свои зодчие и иконописцы. Вместе с тем распространялось там и книжное просвещение. Ростовский владыка Кирилл составил книгохранилище; под его руководством переводились с греческого и переписывались разные сочинения, принадлежащие духовной литературе. Несколько рукописей, уцелевших от этой эпохи, показывают, что искусство переписывания доходило до значительного изящества. Княжна черниговская Евфросинья, дочь Михаила Всеволодовича, завела в Суздале училище для девиц, где учила грамоте, письму и церковному пению. Правда, книжная образованность была односторонняя и вела к монастырской жизни, а потому вращалась только в избранном кругу духовных, мало проникала в народную массу, не обнимала жизненных потребностей, но при всем том нельзя не заметить, что ростовско-суздальская земля и с этими бедными начатками просвещения стояла тогда выше южных земель, где прежде появившиеся зачатки всякой умелости погибали от внутренних неурядиц и половецких разорений. Время Юрия было также периодом значительного расширения Руси на северо-востоке. На месте соединения рек: Сухони и Юга построен был город Устюг, вскоре получивший важное торговое значение. Камские болгары были завладели им, но Юрий разбил их, заставил заключить мир, отпустить всех пленников, дать заложников и утвердить мир клятвою. С другой стороны русские двигались по Волге, вошли в землю мордовскую и при слиянии Оки с Волгою основали Нижний Новгород. Управляемая многими князьками, Мордва не в силах была устоять против натиска русского племени; тогда как одни мордовские князьки искали помощи болгар против русских, другие, захваченные врасплох, отдавались русским князьям в подручники и назывались «ротниками» (потому что произносили «роту», т.е. присягу). Так, в 1228 году князья двух мордовских племен Мокши и Эрзи, Пуреша и Пургас, отчаянно воевали между собою. Пуреша сделался ротником князя Юрия и просил у него помощи против своего соперника, а Пургас приглашал к себе на помощь против Пуреша болгарского князя, но болгарский князь не успел ничего сделать, а русские вошли в землю Пургаса Эрзю (называемая в летописи Русь Пургасова), опустошили ее и загнали Мордву в неприступные дремучие леса. В 1230 году Пургас покусился было на Нижний Новгород, но был отбит, а сын Пуреша напал на него с половцами и вконец опустошил его волость. Эти события сильно способствовали русской колонизации на востоке. Инородцы покидали свои прежние жилища, бежали на юг или удалялись за Волгу, а остатки их, удерживаясь в прежней земле, принимали крещение и скоро переделывались в русских. Восточно-русская народная стихия, расширяясь далее на восток, вместе с тем принимала в себя иноплеменную кровь и, таким образом, сохраняя основание славянской народности, являлась все более и более смешанною с другими. Так развивался и устанавливался тип великорусского народа.

## **Глава 6**

### **Князь Мстислав Удалой**

В первой четверти XIII века выдается блестящими чертами деятельность князя Мстислава Мстиславича, прозванного современниками «Удатным», а позднейшими историками «Удалым». Эта личность может по справедливости назваться образцом характера, какой только мог выработаться условиями жизни дотатарского удельно-вечего периода. Этот князь приобрел знаменитость не тем, чем другие передовые личности того времени, которых жизнеописания мы представляем. Он не преследовал новых целей, не дал нового поворота ходу событий, не создавал нового первообраза общественного строя. Это был, напротив, защитник старины, охранитель существующего, борец за правду, но за ту правду, которой образ сложился уже прежде. Его побуждения и стремления были так же

неопределенны, как стремления, управлявшие его веком. Его доблести и недостатки носят на себе отпечаток всего, что в совокупности выработала удельная жизнь. Это был лучший человек своего времени, но не переходивший той черты, которую назначил себе дух предшествовавших веков; и в этом отношении жизнь его выражала современное ему общество.

В те времена сын наследовал в глазах современников честь или бесчестие своего отца. Каков был отец, таким заранее готовы были считать сына. Этим определялось нравственное значение князя при вступлении его в деятельность. От него всегда ожидали продолжения отцовских дел, и только дальнейшая судьба зависела от его собственных поступков. Отец этого князя Мстислав Ростиславич приобрел такую добрую память, какой пользовались редкие из князей. Он был сын Ростислава Мстиславича, смоленского князя, правнук Мономаха, прославился богатырской защитой Вышгорода, отбиваясь от властолюбивых покушений Андрея Боголюбского, а потом, будучи призван новгородцами, одержал блестящую победу над чудью, храбро и неумолимо отстаивал свободу Великого Новгорода и пользовался восторженной любовью новгородцев. В 1180 году он умер в молодых годах в Новгороде и был единственный из выбранных новгородских князей, которым досталась честь быть погребенным в Св. Софии. Память его до такой степени была драгоценна для новгородцев, что гроб его стал предметом поклонения, и он впоследствии причислен был к лику святых. Современники прозвали его «Храбрым», и это название осталось за ним в истории. И не только храбростью – отличался он и благочестием и делами милосердия, – всеми качествами, которыми в глазах его века могла украшаться княжеская личность. До какой степени современники любили этого князя – показывает отзыв летописца; кроме общих похвал, воздаваемых и другим князьям по летописному обычаю, говоря о нем, летописец употребляет такие выражения, которые явно могут быть отнесены только к нему одному: «Он всегда порывался на великие дела. И не было земли на Руси, которая бы не хотела его иметь у себя и не любила его. И не может вся земля русская забыть доблести его. И черные клобуки не могут забыть приголубления его». Эта-то слава родителя, эта-то любовь к нему новгородцев и всей русской земли проложили путь к еще большей славе его сыну.

Мстислав Мстиславич делается известен в истории тем, что, помогая дяде своему Рюрику против черниговского князя Всеволода, храбро защищал против него Торческ, но принужден был уйти из южной Руси. Он получил удел в Торопце, составлявшем часть смоленской земли, и долго проживал там, не выказав себя ничем особенным. Он был уже не первой молодости и имел замужнюю дочь, когда новгородские смятения вывели его на блестящее поприще.

Великий Новгород давно вошел в тесную связь, но вместе и в столкновение с суздальско-ростовской землей и с владимирскими князьями, получившими первенство в этой земле. Со времени Андрея Боголюбского князья эти стремились наложить руку на Новгород, стараясь, чтобы в Новгороде были князья из их дома и оставались их подручниками. Новгород упорно отстаивал свою свободу, но никак не мог развязаться с владимирскими князьями, потому что в самом Новгороде была партия, ради выгод тянувшая к суздальской земле. К этому побуждали новгородцев их торговые интересы. Новгородская земля была до крайности бедна земледельческими произведениями. Благополучие Новгорода опиралось единственно на торговлю. Поэтому для Новгорода было насущной потребностью находиться в добрых отношениях с такой землей, откуда он мог получать хлеб для собственного продовольствия и разные сырые произведения, служившие предметом вывоза за границу, особенно воск, и куда со своей стороны новгородцы могли сбывать заморские товары. Киевская Русь приходила в упадок: она была беспрестанно опустошаема кочевниками и сильно расстроена как княжескими междоусобиями, так и поражением, нанесенным Киеву Андреем Боголюбским; суздальско-ростовская земля, напротив, сравнительно с другими землями, более удалена была от нападения иноплеменников, менее страдала от междоусобий, приходила в цветущее состояние, наполнялась жителями и,

естественно, стала удобным краем для торговли. Притом же она была сравнительно ближе к Новгороду других плодородных земель, и сообщение с нею представляло более удобств. Всякая вражда Новгорода с князьями этой земли отзывалась пагубно на хозяйстве Новгорода и его торговых интересах; поэтому-то в Новгороде были всегда богатые и влиятельные люди, хотевшие, во что бы то ни стало, находиться в ладах с этим краем. Суздальские князья хорошо понимали такую зависимость новгородских интересов от их владений и потому смело позволяли себе насильственные поступки по отношению к Новгороду. Во все время продолжительного княжения суздальского князя Всеволода Юрьевича Новгород не любил этого князя, ссорился с ним, но отвязаться от него не мог. Со своей стороны, Всеволод, чтобы не ожесточить новгородцев, временами льстил их самолюбию, оказывал наружное уважение к свободе Великого Новгорода, а потом, при случае, заставлял их чувствовать свою железную руку. В 1209 году, угождая благоприятствующей ему партии, он вывел из Новгорода старшего своего сына Константина и послал другого сына, Святослава, без вольного избрания, как будто желая показать, что имеет право назначать в Новгород такого князя, какого ему будет угодно. Но в Новгороде, кроме партии, которая склонялась ради собственных выгод к суздальскому князю, была постоянно противная партия, которая ненавидела вообще князей суздальской земли и не хотела, чтоб оттуда приходили князья на княжение в Новгород. Эта партия взяла тогда верх и обратилась на своих противников – сторонников суздальских князей. Народ низложил посадника Дмитра, обвинил его в отягощении людей, разграбил и сжег дворы богачей, державшихся из корысти суздальской партии; а Всеволод, в отмщение за такую народную расправу, приказал задерживать новгородских купцов, ездивших по его волости, отбирать у них товары и не велел пускать из своей земли хлеба в Новгород. Это было в 1210 году.

В это время как бы внезапно является в новгородской земле торопецкий князь Мстислав. В древних известиях не видно, чтобы его призывал кто-нибудь. Мстислав является борцом за правду, а правда для Новгорода была сохранение его старинной вольности. Зимой нежданно напал Мстислав на Торжок, схватил дворян Святослава Всеволодовича и новоторжского посадника, державшегося суздальской стороны, заковал, отправил в Новгород и приказал сказать новгородцам такое слово:

«Кланяюсь Св. Софии и гробу отца моего, и всем новгородцам: пришел к вам, услышавши, что князья делают вам насилие; жаль мне своей отчины!»

Новгородцы воодушевились, умолкли партии, притаились корыстные побуждения. Все волей-неволей стали заодно. Князя Святослава, сына Всеволодова, с его дворянами посадили под стражу на владычнем дворе и послали к Мстиславу с честною речью: «Иди, князь, на стол».

Мстислав прибыл в Новгород и был посажен на столе. Собралось ополчение новгородской земли: Мстислав повел его на Всеволода, но когда он дошел до Плоской – к нему явились послы Всеволода с таким словом от своего князя: «Ты мне сын, я тебе отец; отпусти сына моего Святослава и мужей его, а я отпущу новгородских гостей с их товарами и исправлю сделанный вред».

Всеволод был осторожен и умел вовремя уступить. Мстиславу не за что было драться. С обеих сторон целовали крест. Мстислав воротился в Новгород победителем, не проливши ни капли крови.

В следующем году (1211), по настоянию Мстислава, был сменен новгородский владыка Митрофан, сторонник князя суздальского. Хотя он был поставлен и с согласия веча, но по предложению Всеволода; и потому его выбор казался тогда несвободным. Его низложили и сослали в Торопец, наследственный удел Мстислава. На его место избрали Антония из Хутынского монастыря. В мире он был боярин и назывался Добрыня Ядрейкович, ходил в Цареград на поклонение святыни и описал свое путешествие, а по возвращении постригся в монахи; это был человек противный суздальской партии. Мстислав ездил по новгородской земле, учреждал порядок, строил укрепления и церкви; потом предпринимал два похода на Чудь вместе со псковичами и торопчанами. В первый – взял он чудский город Оденпе. Во



второй – подчинил Новгороду всю чудскую землю вплоть до моря. Взявши с побежденных дань, он дал две трети новгородцам, а треть своим дворянам (дружине).

По возвращении Мстислава из чудского похода, к нему пришло приглашение из южной Руси решить возникшее там междоусобие. Киевский князь Рюрик Ростиславич, дядя Мстислава, умер. Черниговский князь Всеволод, прозванный Чермным, выгнал с киевской земли Рюриковых сыновей и племянников и сам овладел Киевом: за несколько лет перед тем в Галиче народным судом повесили его родственников Игоревичей; Всеволод обвинял изгнанных киевских князей в соучастии и принял на себя вид мстителя за казненных. Изгнанники обратились к Мстиславу. Снова представился Мстиславу случай подняться за правду. Линия Мономаховичей издавна княжила в Киеве; народная воля земли не раз заявляла себя в их пользу. Ольговичи, напротив, покушались на Киев и овладевали им только с помощью насилия. Мстислав собрал вече и стал просить новгородцев оказать помощь его изгнанным родственникам.

Новгородцы в один голос закричали: «Куда, князь, взглянешь ты очами, туда обратимся мы своими головами!»

Мстислав с новгородцами и своею дружиною двинулся к Смоленску. Там присоединились к нему смольняне. Ополчение пошло далее, но тут на дороге новгородцы не поладили со смольнянами. Одного смольнянина убили в ссоре, а потом несогласие дошло до того, что новгородцы не хотели идти далее. Как ни убеждал их Мстислав, новгородцы ничего не слушали; тогда Мстислав поклонился им и, распростившись с ними дружелюбно, продолжал путь со своей дружиной и смольнянами.

Новгородцы опомнились. Собралось вече. Посадник Твердислав говорил: «Братья, как наши деды и отцы страдали за русскую землю, так и мы пойдем со своим князем». Все опять пошли за Мстиславом, догнали его и соединились с ним.

Они повоевали города черниговские по Днепру, взяли приступом Речицу, подошли под Вышгород. Тут произошла схватка. Мстислав одолел. Двое князей Ольгова племени попались в плен. Вышегородцы отворили ворота. Тогда Всеволод Чермный увидел, что дело его проиграно, и бежал за Днепр, а киевляне отворили ворота и поклонились князю Мстиславу. На киевском столе был посажен его двоюродный брат Мстислав Романович. Установивши ряд в Киеве, Мстислав отправился к Чернигову, простоял под городом двенадцать дней, заключил мир и взял со Всеволода дары, как с побежденного.

Он со славою вернулся в Новгород, и сам великий Новгород возвышался его подвигами, так как новгородская сила решала судьбу отдаленных русских областей.

Но у Мстислава было слишком много охоты к трудам и подвигам, притом не по душе ему было и то, что в Новгороде не исчезала партия, расположенная к суздальской земле. Явилось ко Мстиславу посольство из Польши, куда уже проникла его слава. Краковский князь Лешко приглашал его отнять Галич у венгров, которые, пользуясь смутами на галицкой земле, посадили там своего королевича.

Мстислав на вече поклонился Великому Новгороду и сказал: «Есть у меня дела на Руси; а вы вольны в князьях». Затем он уехал в Галич с дружиною.

В Галиче именем несовершеннолетнего венгерского королевича Коломана правили венгерский воевода Бенедикт Лысый и боярин Судислав, глава боярской партии, призвавшей венгров. Мстислав выгнал их обоих из Галича, сел в этом городе и обручил дочь свою Анну за Данила, княжившего во Владимире-Волынском. Данило был сын Романа, два раза княжившего в Галиче, и сам в юности уже не раз был призываем и изгоняем галичанами.

Скоро пришлось Мстиславу поссориться с Лешком, который пригласил его в Галич. Князь Данило обратился к Мстиславу с жалобой на Лешка, что он захватил себе часть волынской земли, и просил содействия, чтоб отнять у него свое достояние. Мстислав, всегда верный данному слову, отвечал: «Лешко мой друг, я не могу подняться на него; ищи себе иных друзей!» Тогда Данило расправился сам и отнял у польского князя присвоенный им край. Лешко думал, что Мстислав мирволит поступкам своего зятя, заключил союз с венграми и стал воевать разом и против Мстислава, и против Данила. Мстиславовы воеводы,

которые должны были первые отражать врагов, вели дела плохо и сдали венграм и полякам Перемышль и Городок (Гродек). Мстислав оставил оборонять Галич князя Данила и его двоюродного брата Александра Бельзского, а сам стал на Зубри. Александр не послушал и ушел, а Данило храбро отбивался в городе; но когда враги, оставивши осаду, двинулись на Мстислава, Мстислав приказал Данилу выйти из Галича. Данило геройски пробивался сквозь неприятельскую силу с боярином Глебом Зеремеевичем и другими и с большим трудом, терпя при этом голод, соединился с Мстиславом. Похвалив зятя за мужество, Мстислав сказал ему: «Иди, князь, теперь в свой Владимир, а я пойду к половцам, будем мстить за свое посрамление».

Но Мстислав отправился не к половцам, а на север. Пришла к нему весть, что князья опять творят насилие над его дорогим Новгородом, и он поспешил выручить его из беды.

По уходе Мстислава из Новгорода, там взяла верх суздальская партия: руководимая торговыми интересами, она решила призвать к себе князем одного из сыновей Всеволодовых Ярослава, человека нрава крутого. К нему отправились посадник, тысяцкий и десять старейших купцов. Владыка Антоний, хотя и не расположенный внутренне к такой перемене, должен был встречать нового князя с почетом.

Этот князь тотчас же начал расправляться с недоброжелателями и противниками, приказал схватить двух из них, Якуна Зуболомича и Фому Доброщинича, новоторжского посадника, и отправил их в оковах в Тверь; затем, по наущению Ярослава на вече, сторонники его разграбили дом тысяцкого Якуна, схватили жену его, и князь взял под стражу его сына. Противная ему партия взволновалась. Пруссы (жители прусской улицы) убили Евстрата и сына его Луготу, вероятно, сторонников Ярослава. Рассерженный такою народною расправою, Ярослав оставил на Городище наместника Хотя Григоровича, а сам ушел в Торжок и задумал большое дело – «обратить Торжок в Новгород».

Город Новый Торг или Торжок, новгородский пригород, в предшествовавшее время получил важное торговое значение. Новоторжцы стали соперничать с новгородцами и, естественно, желали большей или меньшей независимости от Новгорода. Положение Торжка было таково, что добрые отношения с суздальской землей были для его жителей крайней необходимостью. Как только у Новгорода наступал разлад с суздальскими князьями и начинались враждебные действия со стороны последних против Новгорода, прежде всего доставалось Торжку: суздальские князья захватывали этот пограничный город новгородской земли. Так в 1181 году Всеволод Юрьевич, рассорившись с новгородцами, не в силах был добраться до самого Новгорода, но взял Новый Торг и разорил его. И прежде бывали примеры, что те новгородские князья, которые были подручниками суздальских князей, будучи изгнаны из Новгорода, уходили в Торжок и находили себе там упор, чтобы с помощью, получаемой из суздальской земли, вредить Новгороду. (Так в 1196 году поступил князь Ярослав Владимирович). На этот раз Ярослав Всеволодович поступал решительнее. У него уже был пример в суздальской земле, где князья подняли значение пригорода Владимира и унизили достоинство старых городов: Ростова и Суздаля. По примеру отца и дяди, Ярослав хотел произвести то же на новгородской земле: сделать Новый Торг столицей земли, а Новгород низвести на степень пригорода. Обстоятельства помогали ему. На новгородской земле мороз побил хлеб; сделалась дороговизна, страшная для бедных людей. Ярослав не пускал в Новгород ни одного воза с хлебом. В Новгороде начался голод. Родители из-за куска хлеба продавали детей своих в рабство. Люди умирали с голоду на площадях, на улицах; мертвые валялись по дорогам, и собаки терзали их. Новгородцы послали к князю Ярославу просить его к себе, но Ярослав ничего не отвечал им и задержал посланных. Новгородцы вторично послали к этому князю с такою речью: «Иди в свою отчину к Св. Софии, а не хочешь идти – так скажи». Ярослав снова задержал посланных и ничего не сказал Новгороду, но на этот раз только позаботился о том, чтобы вывезти оттуда свою жену, дочь Мстислава Мстиславича. Он велел останавливать на дорогах новгородских гостей и держал их в Торжке. Тогда, по словам летописца, в Новгороде была великая печаль и вопль.

В таких стесненных обстоятельствах снова явился Мстислав выручать Великий Новгород, счастливо избегнув отряда из ста новгородцев, посланного Ярославом не допускать Мстислава до города. Этот отряд сам передался Мстиславу. 11 февраля 1216 года Удалой прибыл в Новгород, приказал схватить и заковать Ярославовых дворян, приехал на Ярославов двор на вече, поцеловал крест Великому Новгороду и сказал: «Либо возвращу новгородских мужей и новгородские волости, либо голову свою повалю за Великий Новгород!» – «На жизнь и на смерть готовы с тобой!» – отвечали новгородцы.

Прежде всего Мстислав отправил к Ярославу священника Юрия, из церкви Иоанна на Торговище, с такой речью: «Сын мой, отпусти мужей и гостей новгородских, уйди из Нового Торга и возьми со мною любовь!» Ярослав не только отпустил священника без мирного слова, но, как бы в поругание над требованием своего тестя, приказал заковать захваченных новгородцев и отправить в заточение по разным городам, а товары и имущество роздал своей дружине. Число таких узников, вероятно, преувеличенное, летописец простирает до двух тысяч.

Когда весть об этом дошла в Новгород, Мстислав велел звонить на вече на Ярославовом дворе, явился посреди народа и сказал:

«Идем, братья, поищем мужей своих, вашу братью, вернем волости ваши, да не будет Новый Торг Великим Новгородом, ни Новгород Торжком! Где Св. София – тут и Новгород; и во многом Бог и в малом Бог и правда!»

Новгородцы были не одни. По призыву Мстислава за них шли псковичи с братом Мстислава Владимиром, а впоследствии присоединились и смольняне с племянником Мстислава Владимиром Рюриковичем. На счастье новгородцам, в самой суздальской земле после смерти Всеволода Юрьевича шел тогда спор между старшим сыном его Константином ростовским и меньшим Юрием, которому отец, вопреки правам старшего брата, завещал старейшинство на суздальской земле. Мстислав объявил, что, защищая новгородское дело, он в то же время заступает за правду и в суздальской земле хочет восстановить права старейшего брата.

1-го марта 1216 года ополчение двинулось в поход через Селигер, а дня через два несколько знатных новгородцев бежало к Ярославу, забрав с собою свои семьи, которым бы пришлось плохо от народного негодования. Проходя через торопецкую землю, Мстислав позволил своим воинам собирать корм для себя и лошадей, но строго запрещал трогать людей. Брат Ярослава Святослав прибыл было помогать брату, но Мстислав прогнал его от Ржева. Следуя далее, Мстислав взял Зубцов, на реке Вазузе соединился со смольнянами и, ставши на реке Холохольне, послал, от имени своего, союзных князей и Новгорода предлагать Ярославу мир и управу.

Ярослав отвечал: «Не хочу мира; пошли, так идите – сто наших будет на одного вашего!» «Ты, Ярослав, с силой, а мы с крестом!» – сказали тогда между собою союзные князья.

Новгородцы кричали: «Идти к Торжку!» – «Нет, не к Торжку, – отвечал Мстислав. – Если пойдем к Торжку, то опустошим новгородскую землю; пойдем лучше к Переяславлю; есть у нас там третий друг».

Новгородцы не знали, где Ярослав: в Твери или Торжке; пошли к Твери и начали разорять и жечь села. Ярослав услышал об этом и ушел в Тверь, но, узнавши, что враги идут дальше на суздальскую землю, убежал в Переяславль. Мстислав отправил боярина Явольда к Константину ростовскому с вестью, а сам с новгородцами шел в санях по льду. На этом пути они сожгли городки Шешю и Дубну, а псковичи и смольняне взяли город Коснятин. По дороге к ним прибыл посланный от Константина с поклоном. Он посылал союзникам 500 человек ратников в помощь. Скоро лед стал таять. Они побросали сани, сели на лошадей и поехали к Переяславлю, проведавши, что Ярослав уже там. У городища на реке Саре апреля 9-го, в великую субботу, пришел к ним Константин со своими ростовцами. Князья взаимно целовали крест, отрядили псковичей к Ростову, а сами, отпраздновав Пасху, подошли к Переяславлю. Ярослава уже там не было: он ушел к брату Юрию во Владимир, где

готовилось большое ополчение.

Вся суздальская земля вооружилась; из сел погнали на войну земледельцев. К суздальцам пристали муромцы, городчане и бродники (последним именем назывались сбродные шайки восточных степей). «Сын шел на отца, брат на брата, рабы на господ», – говорит летописец, намекая на то, что в суздальском ополчении были новоторжцы и даже новгородцы, с новгородцами против суздальской земли шли ростовцы со своим князем.

Собранное суздальское ополчение расположилось на реке Гзе; Мстислав с новгородцами и Владимир со псковичами стали у Юрьева, а Константин с ростовцами стал на реке Липице. Мстислав послал сотского Лариона к Юрию:

«Кланяемся тебе, от тебя нам нет обиды. Обида нам от Ярослава».

Князь Юрий отвечал: «Мы один человек с братом Ярославом». Тогда Мстислав послал того же Лариона к Ярославу с таким словом: «Освободи мужей моих новгородцев и новоторжцев, верни волости новгородские, что ты занял, Волок отдай; возьми с нами мир и целуй нам крест, а крови проливать не будем».

Ярослав отвечал: «Мира не хотим; мужи ваши у меня; издалека вы пришли, а вышли, как рыбы на сухо».

Услышали от Лариона речь эту новгородцы, и Мстислав опять послал сказать князьям: «Братья Юрий и Ярослав! Мы пришли не кровь проливать; не дай Бог дойти до этого; мы пришли управиться между собою; мы одного племени: дадим старейшинство Константину и посадим его во Владимире, а вам вся суздальская земля».

«Скажи братьям нашим Мстиславу и Владимиру, – отвечали Ярослав и Юрий, – прийти-то вы пришли, а куда-то думаете уйти? А брату Константину скажи: пересиль нас – твоя будет вся земля!»

Самонадеянные суздальские князья заранее хвалились будущей победой и учредили у себя в шатре пир с боярами. Некоторых из старых бояр смущало то, что на стороне противников была правда, освященная старыми обычаями. Один из них, Творимир, обратился к князьям с такою речью:

«Князья Юрий и Ярослав! Меньшие братья в вашей воле; но как по моему гаданию, – то лучше бы вам взять мир и дать старейшинство Константину! Не смотрите, что их меньше, чем наших; Ростиславова племени князья мудры, рядны и храбры, и мужи их новгородцы и смольняне дерзки в бою; а про Мстислава Мстиславича сами знаете, что храбрость дана ему паче всех; подумайте, господа».

Молодым князьям не понравилась такая речь. Зато другие бояре, помоложе, льстили им и говорили так: «Князья Юрий и Ярослав! Никогда того не бывало, ни при отцах ваших, ни при дедах, ни при прадедах, чтобы кто вошел ратью в сильную суздальскую землю и вышел бы из нее цел; да хоть бы вся русская земля пошла на нас: и галицкая, и киевская, и смоленская, и черниговская, и новгородская, и рязанская, да и тогда ничего с нами не поделяют; а что эти полки, – там мы их седлами закидаем!»

Понравились такие слова князьям. Они созвали бояр и начальных людей и сказали им такую речь:

«Сам товар пришел в руки: достанутся вам кони, брони, платье; а кто человека возьмет живьем, – сам убит будет; хоть у кого и золотом будет шито оплечье, – и того бей; двойная от нас будет награда! Не оставим живым никого. А кто из полку убежит, да поймает его, того прикажем вешать и распинать; а кто из князей попадет к нам в руки, так уж мы о них тогда потолкуем».

Отпустивши людей, князья вернулись в свой шатер и в несомненной надежде на победу стали делить между собою волости побежденных; и сказал Юрий: «Мне, брат Ярослав, володимирскую и ростовскую землю, а тебе Новгород, а Смоленск брату нашему Святославу, а Киев дадим черниговским князьям, а Галич нам же!» Летописец говорит, что они даже писали грамоты в таком смысле, и эти грамоты, после одержанной над ними победы, попали в руки смольнянам.

Мстислав с новгородцами, псковичами и смольнянами стоял все еще у Юрьева. Он не

совсем доверял ростовскому князю; хотя общие виды соединили ростовского князя с новгородцами, но он все-таки был один из суздальских князей, и если бы братья с ним поладили, то и он, быть может, пошел бы заодно с ними, когда дело приняло бы исключительно смысл борьбы всей суздальской земли с новгородской.

Вечером после пира, происходившего у суздальских князей, прибыл от них ко Мстиславу гонец с приглашением выступать на бой к Липице. Война имела вид как бы поединка; враги сходились на бой в заранее условленное место.

Мстислав и его союзники пригласили тотчас Константина, потолковали с ним обстоятельно и привели к крестному целованию: он присягнул в том, что не перейдет к братьям и не изменит союзникам. Вслед за тем ночью новгородцы и их союзники двинулись к Липице.

Суздальские полки также выступили ночью; в стане Константина заиграли на трубах, и ратники его дружно крикнули. Тогда, если верить новгородскому сказанию, на суздальцев нашел переполох и сами князья, так недавно в воображении делившие между собою волости побежденных, чуть было не побежали.

На рассвете новгородцы с союзниками были уже на Липице. Врагов, вызывавших их на бой в это место, где была равнина, там не было: они перешли через лес и стали на горе, которая называлась Авдова гора. Тогда новгородцы и их союзники также пошли от реки Липицы в сторону и стали на горе, которая называлась Юрьева. Внизу под нею протекал ручей, называемый Тунег, а на другой стороне долины была гора Авдова, где стояли суздальцы. Несколько времени враги смотрели друг на друга при утреннем солнце и не начинали битвы. Мстислав все еще сохранял вид, что вышел на брань только по крайней необходимости, что виной всему упрямство и несправедливость суздальских князей и что он сам всегда предпочитает мир брани. Он еще раз отправил к Юрию трех мужей с таким словом:

«Дай мир, а не дашь мира, то либо вы отсюда отступите на ровное место и мы на вас пойдем, либо мы отступим к Липице, а вы на нас нападайте». Юрий отвечал:

«Мира не принимаю и не отступлю; вы прошли через нашу землю, так разве этой заросли не перейдете».

Суздальские князья приказали внизу заплести плетень и вбить кольев: они думали, что враги ударят на них ночью.

Получив ответ от Юрия, Мстислав вызвал охотников, удалую молодежь, и пустил их открывать битву. Молодцы бились усердно до вечера: тогда был большой ветер и сделалось очень холодно. Воины Мстислава досадовали, что враги уклоняются от решительного боя.

Утром союзники решили идти к Владимиру и начали сниматься. Суздальцы заметили в неприятельском лагере суету и стремительно стали сходить с горы, думая ударить новгородцам и их союзникам в тыл; но новгородцы тотчас обратились на них.

Тут князья начали держать совет. Ростовский князь сказал: «Когда мы пойдем мимо них, они нас возьмут в тыл, а люди мои не дерзки на бой: разойдутся в города».

В ответ на это Мстислав возразил: «Братья, гора нам не может помочь и гора не победит нас; воззрите на силу честного креста и на правду: пойдем к ним!»

Воодушевленные его словами союзные князья стали устанавливать ратных в боевой порядок. Со своей стороны, суздальцы, видя, что противники не идут далее, сами стали устанавливаться. Новгородцы со Мстиславом и псковичи со своим князем занимали середину, на одном крае стояли смольняне, на другом – ростовцы с Константином. У Константина были славные витязи Александр Попович со слугою Торопом и Добрыня Резанич, по прозвищу «Золотой Пояс». Напротив псковичей стал Ярослав со своими полками: в ряду их были бежавшие новгородцы и новоторжцы, с ними стояли муромцы, городчане и бродники. Против Мстислава и новгородцев стояла вся суздальская земля с князем Юрием, а против Константина и ростовцев его меньшие братья.

Мстислав, проезжая перед рядами новгородцев, говорил: «Братья! Мы вошли в землю сильную: воззрим на Бога и станем крепко; не озирайтесь назад: побежавши, не уйдешь;

забудем, братья, жен, детей и дома свои: идите на бой, как кому любо умирать, кто на коне, кто пеший!»

«Мы на конях не хотим умирать, мы будем биться пешие, как отцы наши бились на Колокше!» – говорили новгородцы.

Новгородцы сбросили с себя верхнее платье, сапоги и босые побежали вперед с криком. Их примеру последовали смольняне, но, сбросив сапоги, обвили себе ноги. Смольнянами предводительствовал Ивор Михайлович; он ехал верхом, так, чтобы его видели ратные. За ним следовали князя с дружиною, также на конях. С противной стороны устремились в бой пешие Ярославовы люди. Ивор проезжал через заросль и под ним споткнулся конь; пешие новгородцы опередили его и сцепились с неприятелем: пошли в дело дубины и топоры. Поднялся страшный крик. Суздальцы побежали; новгородцы подсекли стяг (знамя) Ярослава. Затем подоспел Ивор со смольнянами. Добрались до другого стяга. Князя с дружинами оставались позади. Тут Мстислав, увидя, что молодцы зашли слишком далеко и неприятельская сила может окружить и смять их, закричал: «Не дай Бог, братья, выдавать этих добрых людей!» И он пустился вперед сквозь свою пехоту: за ним последовали другие князя. Настала жестокая сеча. Юрий и Ярослав бежали, бросив свой обоз. Быть может, это было сделано в надежде, что противники бросятся на грабеж, а тем временем можно будет обратиться и ударить на них. Но Мстислав закричал: «Братья новгородцы, не бросайтесь на обоз, а бейте их; не то – они вернуться и сметут нас». Новгородцы послушались и продолжали крепко сражаться, а смольняне оставили бой и начали грабить обоз. Сам Мстислав трижды проехал сквозь неприятельские полки, поражая направо и налево топором, который был у него привязан к руке поворозкою (шнурком).

Все пошло врассыпную; много суздальцев пало под ударами топоров новгородских и смоленских, много утонуло во время бегства, много раненых прибежало во Владимир, Переяславль, Юрьев и там умерло. «Такова-то была, – говорит летописец, – слава Юрия и Ярослава; напрасна была их похвальба: в прах обратились сильные полки их». Семнадцать знамен Юрия, тринадцать Ярослава и до ста труб и бубен достались победителям. Шестьдесят человек было взято в плен; убитых врагов летописец насчитывает 9203, а у новгородцев и смольнян было убито только 5 человек: цифры, разумеется, баснословные. Несомненно только то, что суздальцы были разбиты наголову.

Эта замечательная битва происходила в четверг 21 апреля 1216 года.

Прежде всех бежал Ярослав; Юрий последовал за ним: он загнал трех коней, прискакал без седла на четвертом во Владимир в полдень того же дня, босой и в одной рубашке. В городе оставались одни попы, чернецы, женщины и дети, народ невоинственный. Увидя своих, они обрадовались: думали, что возвращаются победители; ведь и прежде уверяли их: «Наши одолеют!» Но не победителем вернулся Юрий; растерянный ездил он вокруг стен города и кричал: «Укрепляйте город». Тогда вместо веселья поднялся плач. К вечеру усилилось смятение, когда с несчастного побоища стали собираться беглецы: кто был ранен, а кто наг и бос. И всю ночь продолжали они сходитьсь один за другим.

Наутро князь собрал вече и говорил: «Братья владимирцы, затворимся в городе и станем отбиваться».

«С кем затворимся? – возражали ему. – Братья наши избиты, другие в плен взяты, а те, что прибежали, безоружны: с кем станем на бой?»

«Все это я знаю, – оворил Юрий. Прошу только, не выдавайте меня, не выдавайте меня ни Мстиславу, ни брату моему Константину! Лучше я сам по своей воле выеду из города». Владимирцы обещали.

Союзники подступили к городу в воскресенье 29 апреля и объехали его кругом.

В ночь с воскресенья на понедельник загорелся княжеский двор во Владимире. Новгородцы хотели взять город приступом, но Мстислав не пустил их; на другую ночь опять сделался пожар; смольняне хотели идти на приступ, но их остановил князь Владимир Рюрикович. Неизвестно, что было причиной этих пожаров: случай ли, зажигательство в пользу осаждающих или метание огня через стену. Но после второго пожара Юрий прислал

поклон князьям и велел сказать: «Не делайте мне зла сегодня; завтра я выеду из города». Наутро Юрий с двумя меньшими братьями явился к Мстиславу и его союзникам и сказал: «Братья, кланяюсь вам и челом бью: живот оставьте и хлебом накормите; а брат мой Константин в вашей воле!» Юрий поднес дары князьям, и они помирились с ним.

Мстислав дал такое решение: Константину взять Владимир, а Юрию отдать Радиллов-Городец.

Немедленно изготовили ладьи и насады. В них села дружина князя Юрия; одна ладья ожидала самого князя с его женой. Юрий помолился в последний раз в церкви Богородицы, поклонился гробу отца и сказал: «Суди Бог брату моему Ярославу: он меня довел до этого!» С ним отправился владыка.

Во Владимир въехал Константин. Граждане вышли к нему навстречу с крестами и целовали ему крест в верности. Он щедро одарил своих союзников: новгородцев, псковичей и смольнян.

Упрямый и жестокий Ярослав с побоища бежал в Переяславль так скоро, что загнал четырех коней, а на пятом прискакал в город. В порыве досады он приказал перековать всех новгородцев и смольнян, какие только были в городе по торговым и другим делам. Новгородцев велел он бросить в погреба и тесные избы; их было человек полтора, и многие из них задохлись; пятнадцать человек смольнян держали в заключении особо, и они все остались живы.

Мстислав с союзниками 3 мая подходил к Переяславлю. Рядом с ним шел со своим полком и Константин. Не допустивши их до Переяславля, Ярослав сам добровольно вышел и явился к брату своему Константину.

«Брат и господин, – сказал он, – я в твоей воле; не выдавай меня ни тестю моему Мстиславу, ни Владимиру, сам накорми меня хлебом».

Константин взялся примирить Мстислава с Ярославом. Ярослав послал щедрые дары князьям и новгородцам. Но Мстислав не пошел к городу, не хотел видеть Ярослава, а потребовал только, чтобы дочь его, жена Ярослава, приехала к нему и чтобы все задержанные новгородцы, какие остались в живых, были немедленно отпущены на свободу и доставлены к нему. Требование победителя было исполнено. Напрасно после того Ярослав посылал ко Мстиславу с мольбой отпустить жену. «По правде меня крест убил!» – сознавался он. Мстислав оставался непреклонен и уехал с дочерью в Новгород.

Этою победоносною войною Мстислав утвердил за Новгородом высокое нравственное значение и показал, что нельзя безнаказанно нарушать его права и самостоятельность; вместе с тем он с новгородцами установил ряд в суздальской земле, как прежде сделал он это в киевской с теми же новгородцами. Ни один князь не сделал того для новгородцев, что сделал для них Мстислав Удалой; но они, как показывает последующая история, мало воспользовались его заслугами.

В следующем году, оставив жену и сына в Новгороде, Мстислав ходил с новгородскими боярами в Киев, быть может, для приготовления к будущему походу в Галич, а по возвращении из Киева в Новгород, взял под стражу Станимира с сыном. Вероятно, суздальская партия оживала, и против Мстислава замышлялись козни. Мстислав, впрочем, вскоре отпустил его. То же вслед за тем произошло в Торжке, где посажен был сын Мстислава Василий. Мстислав взял там под стражу Борислава Некуришинича, но также простил его и отпустил. Эти случаи показывают, что и Мстислав, после всего сделанного им для Новгорода, не мог надеяться долго оставаться там в ладу со всеми: у него были зложелатели. В это время скончался в Торжке сын его Василий: тело его привезли в Новгород и погребли близ дедовского гроба в Св. Софии. Оплакавши сына, удалой князь вскоре после того явился на вече и сказал:

«Кланяюсь Св. Софии, гробу отца моего и вам! Хочу поискать Галича, а вас не забуду. Дай Бог лечь у гроба отца моего, у Св. Софии!»

Новгородцы упрашивали его остаться с ними. Все было напрасно. Мстислав уехал, и навсегда. Не привелось ему лечь у Св. Софии.

Галич, оставленный Мстиславом, находился в это время в руках венгров. Там снова был посажен королевич Коломан, а главным воеводою был назначен бан Фильний, который в летописях наших называется «Филья прегордый». Он относился с крайним презрением к русским, сравнивал их с глиняными горшками, а себя с камнем, приговаривая: «Один камень много горшков побивает». Была еще у него и другая поговорка: острый меч, борзый конь – много Руси! (т.е. покорю). Высокомерие его раздражало галичан, и он не доверял им. Мстислав Удалой между тем пригласил половцев и шел на Галич (1218). С ним был Владимир Рюрикович, недавно помогавший ему в борьбе с суздальской землей. Услыхавши об этом, Фильний укрепил Галич и внутри города обратил в крепость церковь Св. Богородицы, что еще более раздражило против него русских, видевших в этом оскорбление святыни. Поляки помогали венграм. Не допуская Мстислава до города, Фильний, взявши с собой галицкого боярина Судислава и других, вышел навстречу Мстиславу. Поляки составляли правую сторону его войска, а галичане и венгры левую. Русская рать также разделилась на две половины. Одною начальствовал Мстислав, другою – Владимир, а половцы стали в отдалении, чтобы ударить на неприятеля тогда, когда сцепятся с ними русские. Мстислав заметил, что поляки стоят на довольно далеком расстоянии от венгров, сообразил, что следует делать, вдруг отделился от Владимира и отошел на возвышение, там он укреплял свою рать именем честного креста. Владимир сильно роптал на него за это и говорил, что Мстислав погубит все русское войско. Поляки стремительно ударили на Владимира, обратили его в бегство и погнались за ним, так что венгерское войско скрылось у него из глаз. Но тогда-то Мстислав и половцы разом бросились на венгров. Сеча была злая, русские победили венгров. Сам Фильний был взят в плен; все его венгры упали духом. Поляки, прогнавши Владимира, набравши добычи, возвращались со множеством пленных и пели победные песни, не зная, что сделалось с союзниками, как вдруг наткнулись на победителей, а с другой стороны бежавшие русские обратились на них же. Поляки были совершенно разбиты. Половцы забирали побежденных в плен, жадно бросались на лошадей, оружие и одежды, но русские, по приказанию Мстислава, не кидаясь на добычу, били врагов без всякой пощады. Вопль и крики убиваемых достигали до Галича. По всему полю валялись тела, никем не погребаемые; вода в реке побагровела от крови.

Мстислав, взявши с собою пленного Фильния, требовал сдачи Галича и обещал полную пощаду. Сам Фильний послал со своей стороны совет сдаться, так как никакой надежды на победу не было. Три раза посылал Мстислав и предлагал сдаться. Но венгры, сидевшие в Галиче, упорствовали и даже выгоняли из города галичан с женами и детьми из боязни измены и вместе для того, чтобы не кормить их во время осады. Тогда Мстислав объявил, что теперь уже не будет никакой пощады осажденным. Венгры, при своей самонадеянности, так были оплошны, что обращали внимание только на одни ворота, а между тем русские сделали подкоп, подземным путем проникли в город, отбили от ворот венгров, ошеломленных внезапностью, и отворили Мстиславу ворота.

Рано утром Мстислав вступил в Галич. Коломан с женою и знатнейшие венгры со своими женами заперлись в церкви Св. Богородицы. Мстислав подошел к церкви и требовал сдачи. Венгры не сдавались. Жажда томила их. Мстислав сам послал Коломану сосуд холодной воды. Венгры благодарили за такое великодушие, делили между собой воду чуть ли не по капле, но все-таки не сдавались. Наконец, когда их стал одолевать голод, они отворили церковные двери, умоливши Мстислава даровать им, по крайней мере, жизнь. Венгерские бароны со своими женами и несколько поляков достались в плен половцам и русским. Самого пленного Коломана с женою Мстислав отправил в Торческ. Галицкая земля с восторгом признала победителя своим князем. Поселяне добивали разбежавшихся с битвы венгров. Русские величали Мстислава «своим светом», называли «сильным соколом», говорили, что сам Бог поручил ему меч для усмирения гордых иноплеменников. Бояре, державшиеся венгров, отдавались на милость победителя. Главнейший из них, Судислав, пришел к Мстиславу, обнимал его колена и просил помилования. Мстислав не только простил его, но даже дал в управление Звенигород. Данило приехал к тестю с малою



дружиною и поздравлял его. Они пировали и радовались; и радовалась с ними вся галицкая земля.

Венгерский король Андрей, услышавши о несчастье, постигшем сына, отправил к Мстиславу требование отпустить пленника, в противном случае грозил послать огромное войско. Но Мстислава нельзя было испугать угрозами. Он отвечал, что победа зависит от Бога и он, Мстислав, надеясь на Бога, готов встретить неприятельские силы. Король малопомалу оставил свой горделивый тон: супруга его особым посольством умоляла Мстислава сжалиться и отпустить сына. Со своей стороны, бояре, вскоре заметившие слабые стороны характера Мстислава, приобрели на него влияние и всячески располагали к миру с венгерским королем. Мстислав, при всей своей храбрости и воинственности, всегда был расположен к миру и прибегал к войне только тогда, когда противники не хотели мириться на условиях, которые он признавал согласными с правдой. В 1221 году Мстислав не только помирился с венграми и поляками, но заключил дружественный договор с венгерским королем, обручил дочь свою Марию с его сыном Андреем и отдал будущему зятю во владение Перемышль.

Но через два года судьба призывала Мстислава к иному подвигу. В то время как русские князья и дружины их тратили силы в междоусобиях, в неведомых восточных странах совершались великие перевороты. На северной границе китайской империи хан Темучин, властитель монголов, народа, прежде подвластного татарам-ниучам, сделался сам повелителем многочисленных татарских племен, разорил часть китайской империи и взял Пекин, потом обратился на запад, завоевал и разорил могущественную и цветущую империю турков харазских<sup>13</sup> и положил основание обширнейшей империи, когда-либо существовавшей в Азии. Он владел неизмеримыми пространствами от Амура до Волги, повелевал множеством народов, составлявших его военную силу, и был прозван Чингис-Ханом, т.е. великим ханом. Его завоевательные движения достигли до половцев. Татары столкнулись с половцами на восточном берегу Каспийского моря, где половцы были заодно с аланами (жителями Дагестана). Чтобы отвлечь половцев от этого союза, предводители полчища, посланного Чингис-Ханом, сначала коварно сдружились с ними, уверивши их, что татары, будучи одного с ними племени, не хотят действовать против них враждебно. Половцы доверились им и отстали от аланов; но потом монголы, разделившись с аланами, покорили и половцев. Половецкие князья, уже крещеные, Юрий Кончакович и Данило Кобякович были убиты. Татары гнались за их товарищами до вала Половецкого, отделявшего землю половецкую от русской.

Половецкий хан Котян, тесть Мстислава Удалого, прибежал в Галич к зятю со страшным известием, что идет с востока несметная сила неведомых завоевателей. «Сегодня отняли нашу землю, завтра ваша взята будет», – говорил он.

Мстислав разослал вестников к разным русским князьям и созывал их для совета об общем деле в Киеве. Много князей съехалось туда. Там были Мстислав Романович киевский, Мстислав Удалой галицкий, Мстислав черниговский, Даниил Романович волынский, Михаил Всеволодович, сыны Всеволода Чермного и многие другие. Только суздальский Юрий не приехал на совет. Хан Котян щедро одарил русских князей: конями, верблюдами, буйволами и невольницами, а другой князь половецкий, Бастый, принял Св. крещение. Мстислав Удалой умолял русских князей спешить на помощь половцам. «Если мы им не поможем, – говорил он, – то половцы пристанут к врагам, и сила их станет больше». После долгих совещаний князья решили соединенными силами идти в поход. «Лучше встретить врага на чужой земле, чем на своей», – говорили русские.

Сборное место назначено было на днепровском острове, называемом Варяжский (вероятно, Хортица). Туда стекались со своими князьями киевляне, черниговцы, смольняне, галичане, волынцы. Весь Днепр покрылся их ладьями. Из Курска, Трубчевска, Путивля шли туда князья со своими дружинами, сухопутьем на конях, а тысяча галичан с воеводами

---

<sup>13</sup> Бухара, Самарканд, Герат, Балк, Хива и проч.

Юрием Домажиричем и Держикраем Володиславичем проплыли по Днестру в море и, вступивши в Днепр, стали у реки Хортицы.

У Заруба явились к русским князьям татарские послы с таким словом: «Слыхали мы, что вы идете против нас, послушавши половцев, а мы вашей земли не трогали, ни городов ваших, ни сел ваших; не на вас пришли, но пришли по воле Божией на холопов и конюхов своих половцев. Вы возьмите с нами мир; коли побегут к вам, – гоните от себя и забирайте их имение; мы слышали, что и вам они наделали много зла; мы их и за это бьем».

Но князья вместо ответа перебили послов. Без сомнения, они поступили таким образом оттого, что половцы рассказали им, как татары коварно обманули их: предложили дружбу, чтобы разъединить с аланами, потом напали на них самих.

Сбор происходил в апреле 1224 года. Когда все сошлись, ополчение двинулось вниз по Днепру и стало станом, не доходя Олешья. Тут пришли к ним другие татарские послы и говорили так: «Вы послушали половцев и перебили послов наших; теперь идете на нас, ну так идите; мы вас не трогали: над всеми нами Бог».

Князья на этот раз отпустили послов невредимыми. Передовые татарские отряды стали появляться у Днепра. Мстислав Удалой перешел через Днепр с 1000 человек воинов. С ним пошли Данило Романович, Мстислав Немой, Олег Курский и другие молодые князья. Они разбили и обратили в бегство сторожевой отряд. Беглецы спрятали своего воеводу Гемебега в яму в каком-то половецком кургане. Половцы отыскивали его там и упростили Мстислава позволить им убить его. Мстислав шел далее.

Между тем в стане русских на Днепре происходили толки о том, каковы враги. Юрий Домажирич говорил: «Они отличные стрелки и отличные воины». Другие же возражали ему: «Нет, это народ простой, хуже половцев». Молодые князья торопили старых идти вперед: «Мстислав, и ты, другой Мстислав, пойдемте на них».

Во вторник 21 мая русские снялись со стана и пошли в степь. Они вскоре встретились с татарским отрядом. Русские стрелки рассеяли его, и им досталось в добычу множество скота. Восемь дней шли они до реки Калки, где снова встретили татарский отряд, который, побившись с ними, скрылся. Мстислав Удалой, опередивши князей, приказал Данилу перейти Калку и сам перешел вслед за ним с задней стражей. Вдруг перед ними предстали татарские полчища. «Вооружайтесь», – закричал Мстислав. Русские вступили в бой. Двадцатитрехлетний Данило бросился вперед и был ранен в грудь, но, не заметивши этого, продолжал сражаться. Храбро бились и Мстислав Немой, и Олег Курский. Но сила татарская одолела их; Данило обратил своего коня назад; за ним побежали другие. Бежал и Мстислав Удалой в первый раз в своей жизни.

Между тем остальные русские князья перешли через Калку, расположились станом и выслали вперед Яруна с половцами. Татары стремительно ударили на половцев. Половцы бросились назад, обратились на русский стан и смяли его. Русские еще не успели вооружиться, началась страшная резня; русские, приведенные в беспорядок половцами, бежали.

Во время этого всеобщего бегства русских один Мстислав Романович не двигался с места, стал на высоком каменистом берегу Калки с зятем своим Андреем и дубровицким князем Александром. Большая часть татар преследовала бегущих, а один отряд с бродниками окружил трех храбрых князей, которые огородили себя кольями и отбивались от них неустанно три дня и три ночи. Трудно стало татарам одолеть их силой, и они прибегли к коварству. Какой-то Плоскыня, воеводствовалый над бродниками, уговорил князей сдаться татарам на выкуп и целовал крест на том, что они останутся живы. Князья поверили и вышли, но Плоскыня тотчас связал их и выдал татарам. Татары, взявши укрепление, перебили всех бывших там русских воинов, а связанных князей положили под доски, и сами сели на досках обедать. Так кончили жизнь свою несчастные князья.

Татары гнались за бегущими до самого Днепра и по дороге убили шестерых князей, и в том числе Мстислава черниговского. Мстислав Удалой избежал погони и, достигши Днепра, истребил огнем и пустил по реке стоявшие у берега ладьи, чтобы не дать возможности

татарам переправиться через реку, а сам с остатками разбитых вернулся в Галич.<sup>14</sup>

Поражение князей навело на Русь всеобщий ужас, который усиливался от внезапности появления неведомого врага. Впечатление, произведенное на умы этим событием, наглядно отражается в словах современного летописца: «Пришли, – говорит он, – неведомые народы, о которых никто хорошо не знает, кто они такие, и откуда пришли, и каким языком говорят, и какого они племени, и какая у них вера; одни говорят, что их зовут татары, а иные – таурмены, а другие – печенеги». Книжники толковали, что это те самые народы, о которых говорил Мефодий Патарский: «Гедеон когда-то загнал их в пустыню Етриевскую, между востоком и севером, и они должны выйти оттуда перед концом света и попленить много земель».

После несчастья, постигшего Мстислава на Калке, положение его в Галиче не было прочным; бояре не любили его и строили козни против него, да и он сам, по своему простодушию, делался не раз жертвою их козней. В следующем 1225 году его чуть было не поссорили с зятем его Данилом. Князь Александр бельзский, человек коварный, ненавидевший Данила, наговорил Мстиславу, будто зять хочет убить его и подстрекает на него ляхов. Вспыльчивый Мстислав поддался клеветнику. Дошло дело до войны. Данило, в отмщение Александру, опустошил бельзскую землю и разбил отряд Мстислава, посланный на помощь Александру. Раздраженный Мстислав приглашал уже было половецкого хана Котяна, но, к счастью, клевета открылась. Подосланный к Мстиславу Александром какой-то Ян начал пред ним лгать так неискусно, что Мстислав увидел обман. Тесть и зять помирились, и Мстислав, в знак дружбы, подарил Данилу редкого жеребца и одарил Данилову жену Анну, свою дочь. С этой поры он уже не ссорился с Данилом.

Но в Галиче беспокойства не кончались. Во 1226 году один боярин, Жирослав, наговорил своей братье боярам, будто Мстислав приглашает своего тестя Котяна с тем, чтобы побить бояр. Бояре поверили и скрылись в Карпатские горы, откуда известили Мстислава о том, что им сказал Жирослав. Мстислав послал к ним духовную особу по имени Тимофей. Тимофей поклялся боярам, что князь ничего не замышляет против них и первый раз слышит об этом. Он убедил бояр приехать к Мстиславу. Мстислав обличил перед ними Жирослава и прогнал его от себя.

Наконец, бояре успели-таки выжить Мстислава из Галича. Королевич Андрей, которому Мстислав обручил свою дочь и отдал Перемышль, по наущению боярина Семьюнка, бежал к отцу и подстрекал его отнять у Мстислава Галич. Бояре, со своей стороны, представляли королю, что они не хотят Мстислава, а желают Андрея. Король пошел с войском в Галичину. Поляки с воеводою Пакославом помогали ему. Взявши Перемышль и Звенигород, король не посмел ехать в Галич: волхвы предрекли ему, что если он увидит Галич, то не будет жив. Король начал забирать галицкие пригороды. Ему удалось взять Теревовль, Тихомлю, но под Кременцом он был отбит и повернул назад к Звенигороду. Здесь вышел против него Мстислав, вступил в бой и разбил его. Король быстро убежал восвояси. Мстислав сообразил, что ему не ужиться с боярами, и хотел отдать Галич Данилу, но бояре Судислав и Глеб Зеремеевич, игравшие тогда главную роль между боярами, остановили его. «Ни тебя, ни Данила не хотят бояре, – говорили они, – отдай обрученную

---

<sup>14</sup> Летописец представляет Мстислава как бы виновником бедствия русских на Калке, говоря, что он из зависти не известил обоим Мстиславов о татарах в то время, когда Даниил схватился с ними, но это обвинение едва ли можно признать справедливым. Не говорим уже о том, что такая черта противоречит характеру Мстислава, насколько он нам известен из прежних его деяний, самый ход событий таков, что поведение Мстислава в этот день легко объясняется побуждениями. Мстислав, шедши впереди прочих князей, несколько дней уже не имел с ними сношений. Перейдя через Калку, он встретил татарские полчища неожиданно, ему пришлось сразиться с неприятелем так внезапно и его отряд был так малочислен, что, прежде чем давать знать князьям, нужно было думать о собственном спасении. Справедливее можно было бы поставить в упрек Мстиславу излишнюю удаль и неблагоприятное, при котором он, человек уже немолодой и опытный, пошел вперед с горячей молодежью, не раздумывая о том, что может встретить на пути, и наткнулся на силы неприятеля, далеко превосходящие его собственные.

дочь твою за королевича Андрея и посади его в Галич: от него всегда можешь взять его обратно, когда захочешь, а отдашь Данилу – вовеки не будет тебе Галича!»

Мстислав, всегда уважавший волю земли, поступил так, как желали эти люди, бывшие тогда, по своей силе, представителями земли. Мстислав отдал дочь свою Андрею и вместе с нею Галич, а сам удержал за собою Понизье и уехал в Торческ. Вскоре он раскаялся в своей доверчивости, так как Данила ненавидели только бояре, а простой галицкий народ желал его. Сознавши это, Мстислав через посла Данилова Демьяна послал такое слово Данилу: «Сын! Согрешил я, не дал тебе Галича». Глеб Зеремеевич старался всеми силами не допустить Мстислава видаться с Данилом и передать в руки его землю, и дом, и детей.

На следующий после того год (1228) Мстислав скончался: из Торческа поехал он в Киев, заболел в пути и умер, успевши постричься в схиму по тогдашнему обычаю благочестивых князей. По известию польского историка, тело его погребено было в Киеве в церкви Св. Креста, им построенной.<sup>15</sup>

## **Глава 7**

### **Князь Данило Романович Галицкий**

В XIII веке весь ход исторических событий в юго-западной Руси долгое время вращается около личности Даниила Галицкого. Чтобы понять значение этой личности в свое время, необходимо бросить взгляд на предшествовавшие события в этом крае.

Юго-западная Русь, Галичина, как во внутреннем строе своей жизни, так и по внешней обстановке, находилась в таких условиях, при которых все более и более слабела связь, соединявшая ее с остальными русскими землями. Хотя и здесь не угасало сознание народного сродства с последними; но история указывала им различные между собой пути: это видно уже в XII веке.

Галицкая земля до 1188 года находилась в княжении рода Ростислава Владимировича (внука Ярослава I). Володарь, сын Ростислава, по смерти несчастного Василька, сделался единым князем и передал после себя (1141) власть сыну своему Владимиру, обыкновенно называемому Владимирком. Ему наследовал сын Ярослав, названный в полку Игореве «Осмомыслом». Соединенная в одних руках, галицкая страна была долго избавлена от внутренних княжеских междоусобий и, благодаря счастливым условиям своей природы, находилась, сравнительно с другими русскими землями, в цветущем состоянии. Власть княжеская совсем не имела здесь монархической силы. Князь был князем по старой славянской идее; видно, что завоевание русскими князьями этой хорватской земли и присоединение ее к общей системе русских земель под властью единого княжеского рода не изменили древних общественных привычек. Князья, правившие Галичем, были избираемы и зависимы от веча. Но само вече находилось в руках богатых и сильных владетелей земель – бояр. Они, как видно, успели до того возвыситься над остальной массой народа, что исключительно управляли делами страны. Впрочем, есть известия о том, что люди незнатного происхождения попадали в бояре, из чего надобно полагать, что галицкая аристократия основывалась не столько на знатности родов, сколько на удаче и богатстве. Галицкие князья находились в такой зависимости от веча, что оно судило не только их политическую деятельность, но и домашнюю жизнь. Таким образом, когда Ярослав, не влюбивши своей жены Ольги, взял себе в любовницы какую-то Анастасью, галичане не стерпели такого соблазна, сожгли Анастасью и принудили князя жить с законною женою. Все попытки Ярослава удалить своего законного сына и передать наследство незаконному остались напрасны. Ярослав умер в 1187 году. Галичане, вопреки его завещанию, изгнали этого незаконного сына, Олега, и поставили князем законного – Владимира. Но и этот князь вскоре подвергся строгому суду веча за свое соблазнительное поведение; он был предан пьянству, не любил советников, насиловал чужих жен и дочерей, взял себе в жены попадью

---

<sup>15</sup> В настоящее время этой церкви нет и могила Мстислава неизвестна.

от живого мужа и прижил с нею двоих сыновей. Галичане так вознегодовали, что некоторые хотели взять князя под стражу и казнить: но другие потребовали от него развода с попадьей, предлагая ему достать жену по нраву. Владимир, опасаясь за жизнь своей возлюбленной попадьи, убежал вместе с нею и детьми в Венгрию, а галичане призвали вместо него князя из соседней волынской земли – Романа Мстиславича (1188).<sup>16</sup> Говорят, что сам Роман тайно действовал в Галиче в свою пользу, добиваясь избрания. Этот князь, умный и сильный волею, недолго удержался в Галиче: король венгерский Бела I, к которому было обратился изгнанный Владимир за помощью, заключил последнего в башню, завоевал Галич, посадил там сына своего Андрея. Роман принужден был бежать в свой Владимир-Волынский. Успехам венгров способствовало то, что в самом Галиче образовалась партия, искавшая себе выгод от венгерской власти. Непрочно, однако, оказалось там и могущество иноземцев: будучи католиками, они очень скоро успели раздражить против себя народ неуважением к православной религии. Владимир, между тем, убежал из своего заключения и с помощью польского короля Казимира Справедливого снова овладел Галичем в 1190 году. Тогда Владимир, чувствуя свое положение до крайности шатким, обратился к суздальскому князю Всеволоду и отдавался ему под начало, обещая навсегда быть в его воле со всем Галичем: устанавливалась, по-видимому, тесная связь между противоположными окраинами тогдашнего русского мира; но это явление не имело никаких прочных последствий, так как ничего прочного не было тогда в отношениях русских князей между собою. По смерти Владимира, Роман, уже не по вольному избранию, а с помощью польской рати и оружия, добыл себе снова Галич в 1198 году.

По известию польского писателя Кадлубка, Роман жестоко отомстил своим недоброжелателям в Галиче: он их четверил, расстреливал, зарывал живьем в землю и казнил другими изысканными муками, а тех, которые успевали убежать, приглашал воротиться, обещая разные милости. Но когда некоторые вернулись, то Роман, сдержав сначала данное слово и осыпавши ласками и милостями лековерных, находил предлог обвинить их в чем-нибудь и предавал мучительной казни. «Не передавши пчел, меду не есть», – приговаривал Роман. Он навел такой страх на галичан, что те просили польского короля, чтобы он управлял ими сам или через своих наместников. Все эти известия о жестокостях Романа находятся исключительно у польского историка, но не встречаются в русских летописях, в которых Роман поэтически представляется удалым богатырем, страшным, подобно Мономаху, только для неверных иноплеменников. «Он ходил по заповедям Божиим, – говорит о нем русский современник, – побеждал поганых язычников, устремлялся на них как лев, гневен как рысь, губителен как крокодил, пролетал по их земле как орел...» И в самом деле этот князь и в других случаях показал свою силу и деятельность. После долгой борьбы и междоусобий в Киевской Руси, он наконец успокоил ее, на время удержав в своей власти; сам он не сделался киевским князем, но посадил в Киеве своим подручником племянника. Не раз побивал он половцев, побеждал ятвягов и литву.<sup>17</sup> Многого еще можно было ожидать от такого князя для судьбы юго-западной Руси. Но в 1205 году Роман поссорился с польским князем Лешком и был убит в сражении под Завихвостом.

Роман оставил по себе молодую вдову с двумя малолетними сыновьями. Старшему Данилу было тогда четыре года, а младший Василько был еще на руках кормилицы.

На первых порах галичане признали князем старшего сына Романова и клялись верно охранять его. Но удержаться младенцу в такой беспокойной стране было решительно

---

<sup>16</sup> Внука киевского князя Изяслава Мстиславича, известного в истории своей упорной борьбой сначала с суздальцами, а потом с Юрием Долгоруким. Род Романа шел от Мстислава, старшего сына Мономаха.

<sup>17</sup> У польско-литовских историков сохранилось сказание, будто он запрягал побежденных литовцев в плуги, заставлял их расчищать леса и обрабатывать землю, и будто, по этому поводу, на Руси о нем составилась пословица: «Зле Романе робишь, что литвином орешь». Но это известие, передаваемое уже в XVI веке, более чем через 300 лет после Романа, не имеет никакой исторической достоверности, тем более, что у русских того времени, смотревших на Литву, как на врагов, не могла удержаться пословица, осуждавшая суровость Романа над врагами.

невозможно. Галичина представляла слишком лакомый кусок как для русских князей, так и для иноплеменных соседей, а галицкие бояре не отличались постоянством, были падки на выгоды и далеко не все могли любить племя Романово. Покушения на Галичину начали следовать за покушениями. Сперва попытался овладеть ею отец первой жены Романа, князь Рюрик Ростиславич киевский, которого Роман, после варварского разорения Киева наведенными Рюриком половцами, заманил к себе на совет и постриг в монастыре. Теперь этот самый Рюрик, услышавши, что Романа нет на свете, снял с себя монашеское одеяние, собрал свою киевскую дружину, нанял половцев и бросился на Галич. Вдова Романа обратилась под защиту названного брата и друга ее покойного мужа. Этот названный брат был прежний соперник Романа – тот венгерский королевич Андрей, который некогда вместе со своим отцом прогнал его из Галича; впоследствии, когда Роман в другой раз овладел Галичем, они подружились, назвали братьями и постановили между собою такой уговор: если кто из них умрет прежде, то другой будет заботиться о его семье.

Андрей только что получил теперь венгерскую корону и не забыл своего обещания, данного Роману. Он свиделся с княгиней в Саноке и обласкавши Данила, как родного сына, дал ему войско на помощь против Рюрика. Рюрик бежал обратно в Киев.

Но в следующем году семье Романа грозила новая беда. В Чернигове собрался княжеский съезд: стеклись на совещание потомки Олега черниговского: к ним пристал смоленский князь с сыновьями; порешили они нанять половцев и идти добывать галицкую землю. По пути пристал к ним Рюрик с сыновьями и племянниками, поднявши с собою живших на киевской земле берендеев.<sup>18</sup> Союзники вошли в совет и с поляками, с которыми еще не был у галичан заключен мир по смерти Романа. Вдова опять обратилась к Андрею, но пока из Венгрии пришла вспомогательная сила, она увидела себя в таком положении, что оставаться на месте казалось опасным. С одной стороны русские и половцы, с другой – поляки, да и сам Галич заволновался, и много в Галиче было таких, от которых можно было ждать, что ее выдадут вместе с детьми. Она убежала с детьми во Владимир-Волынский, наследственный удел ее мужа. Галичане разделились на партии. Верх в Галиче взял тогда боярин Володислав: изгнанный некогда Романом, он проживал в северской земле, спознался с тамошними князьями Игоревичами и теперь подал галичанам совет пригласить их на княжение. Игоревичи находились тогда в том ополчении, которое шло на Галич; получивши приглашение, ночью скрылись они из союзного стана и явились в Галич. Старший брат Владимир Игоревич посажен был на галицком столе; другому брату Роману дали Звенигород. Оставался третий, Святослав, без места. Тогда Игоревичи послали какого-то попа во Владимир-Волынский с такою речью к владимирцам: «Выдайте нам Романовичей и примите князем Святослава, а то города вашего на свете не будет!» Владимирцы, услышавши это, пришли в такую ярость, что хотели убить попа, присланного к ним с этим предложением. Нашлись благоразумные, говорившие, что нельзя убивать посла. Однако эти благоразумные говорили так потому, что готовы были исполнить требование Игоревичей. Княгиня это провела и, посоветовавшись с боярином Мирославом, дядькою Данила, убежала из города ночью, тайком через стенное отверстие, боясь выйти через ворота. Мирослав нес Данила, кормилица – Василька. С ними был еще какой-то священник. Они бежали к Лешку, отдавались под покровительство человека, который еще считался с ними во вражде. Польский князь принял их с рыцарским великодушием; княгиню с Васильком оставил у себя, а Данила с польским боярином Вячеславом Лысым отправил к Андрею венгерскому и приказал сказать так: «Я не помянул злобы Романа, а ты был его друг; ты клялся защищать их; они теперь в изгнании: пойдем, вернем их достояние».

Но Лешко, однако, на деле оказал для Романовичей менее участия, чем на словах: правда, он выгнал из Владимира Святослава Игоревича, приехавшего туда после бегства княгини, но отдал княжение не детям Романа, а родному племяннику Романа Александру Всеволодовичу, так как Лешко был женат на дочери его Гремиславе; Василька Лешко

---

<sup>18</sup> Ветвь тюркского племени, близкая к торкам, печенегам, черным клобукам.

отпустил с матерью в Брест. Берестяне сами выпросили его себе князем, были довольны и говорили, что «они как будто видят у себя великою Романа».

Андрей венгерский после бегства вдовы Романа рассудил, что нельзя удержать Данила на княжении, и не мешал водворению Игоревичей в Галиче: но Игоревичи сами вскоре поссорились за свою добычу: Роман Игоревич с помощью другого брата своего прогнал третьего, Владимира, и овладел Галичем, но потом, по приказанию Андрея, венгерский воевода Бенедикт Бора схватил Романа в бане, отправил в Венгрию и стал сам управлять Галичем. В короткое время Бенедикт раздражил галичан разными насилиями и своим распутством так, что, по приглашению галичан, опять явились Игоревичи, прогнали Бенедикта и разделили между собой Галичину, на этот раз уже не ссорясь между собою как прежде, и уступили княжение в Галиче старшему из своей среды брату Владимиру. Тогда, думая упрочить за собою власть, Игоревичи составили план истребить тех бояр, которые, по своему непостоянству, казались им опасными. Коварный замысел над некоторыми удался, но в числе обреченных на убийство был их прежний благодетель боярин Володислав, по милости которого они получили княжение в стране, Володислав впопыхах узнал о грозившей беде, с другими боярами успел убежать к Андрею и просил теперь на княжение в Галич Данила, проживавшего у венгерского короля. Король дал войско на помощь Данилу. Прежде всех сдался Перемышль и выдал Святослава Игоревича. Звенигород защищался, но сдался после того, как Роман Игоревич, бежавши оттуда, был схвачен на мосту. Князь Владимир Игоревич счастливо убежал из Галича. Отрока Данила посадили на отеческом столе.

Пленных Игоревичей осудили народным судом и повесили – событие, выходящее из ряда обычных событий на Руси в то время. Малолетний Данило недолго мог удержаться среди бояр, хотевших править его именем. В Галич прибыла мать Данила, которую он не узнал после долгой разлуки. Бояре поспешили ее выпроводить, из боязни, чтобы она не отняла у них власти. Когда Данило в слезах бросился за матерью, один из них схватил за повод коня его. Раздраженный отрок ударил мечом коня и ранил. Мать сама вырвала из рук его меч и убедила его остаться в Галиче, а сама уехала в Бельз. Услыхав об этом король Андрей, поспешил с войском и привел обратно мать Данила в Галич, а боярина Володислава, главного виновника ее изгнания, увел с собою в Венгрию в оковах. Но как только Андрей удалился, бояре опять составили заговор против Данила и призвали на княжение пересопницкого князя Мстислава. Данило должен был бежать. Андрей на этот раз не мог уже помочь ему, потому что в это время в самой Венгрии произошло возмущение, стоившее жизни королеве.

Призванный Мстислав пересопницкий в свою очередь не усидел в Галиче. Из Венгрии прибыл отпущенный Андреем Володислав, и тогда в Галиче, после недавней казни князей, произошло событие, также небывалое на Руси со времени утверждения Рюрика дома: боярин Володислав, не принадлежавший к княжескому роду, назвался князем в Галиче. Но ему не дано было начать нового княжеского дома. Лешко, приняв сторону Данила, согнал с княжения Володислава и заточил. Володислав умер в заточении. Галич остался без правителя.

Казалось тогда, что ни Данилу и никакому другому русскому князю невозможно было усидеть в этом беспокойном городе. Лешко предложил Андрею посадить там малолетнего сына Андреева Коломана, обручив его с трехлетней дочерью Лешка Соломиею. Это дело устроил воевода Пакослав, показывавший до сих пор расположение к Романову семейству. В удовлетворение Романовичей, наследственный удел Романа Владимир был отнят у Александра бельзского и отдан Данилу (1214), которого хотели иметь князем и владимирские бояре. Таким образом, в руках Данила была теперь значительная часть Волыни. Города: Камянец, Тихомля и Перемиль отошли к Романовичам.

С тех пор Данило надолго был лишен Галича. Им овладел Мстислав Удалой, который отдал за Данила дочь свою Анну.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> См. жизнеописание Мстислава Удалого.

Данило собирал под свою власть волынскую землю и возвратил от поляков Берестье, Угровеск, Верещин, Столпье, Комов и всю так называемую тогда «Украину», т.е. часть Волыни, прилегавшую к Польше по левой стороне Буга. Следствием этого была война, в которую невольно впутался Мстислав Удалой. Хотя она велась сначала неудачно для Данила и Мстислава, но приобретенный Данилом край все-таки остался за ним.

Вслед за тем Данило помирился с Лешком и обратился на Александра бельзского, который отступил от него во время обороны Галича и всячески вредил ему. За вероломство князя по тогдашним понятиям должна была отвечать его земля. Данило и Василько напали на Бельз ночью и произвели там страшное опустошение. В памяти жителей надолго осталась эта ночь под именем «злой». По просьбе Мстислава Данило оставил Александра в покое.

В 1224 году Данило, вместе с другими князьями, участвовал в страшной для русских битве при Калке, вел себя геройски и был ранен в грудь. Он так увлекся тогда битвой, что долго не замечал своей раны и заметил ее только тогда, когда, бежавши, стал пить.

Вернувшись домой и оправившись от ран, Данило вновь принялся расширять свои владения. Князь Мстислав пересопницкий, владевший Луцком, отдал Данилу свою отчину, поручивши ему сына, который вскоре умер. Луцком поспешил овладеть Ярослав, сын двоюродного брата Романа Ингваря, некогда княжившего в Луцке. Данило, едучи на богомолье в Жидичин, встретил Ярослава Ингварича на дороге. Бояре подавали совет схватить его. Данило с негодованием отверг такую коварную меру. «Я еду на богомолье – этого не сделаю», – отвечал он. Но возвратившись во Владимир, он послал своих бояр в Луцк. Они схватили Ярослава, а потом овладели Луцком. Данило хотя и дал в другом месте удел Ярославу, но уже в качестве своего подручника. В это же время Данило отнял у него Дорогобуж, а у пинских князей – Чарторыйск, пленивши сыновей пинского князя Ростислава. Во всех этих делах Данило действовал заодно с Васильком, с которым он всю жизнь был неразделен и неразлучен – пример очень редкий в истории русских князей.

В 1228 году, по смерти Мстислава Удалого, Данило овладел Понизьем.

Такое возвышение Данила возбудило против него целый союз русских князей. Ростислав пинский сердился на него за отнятие Чарторыйска, за плен сыновей и возбуждал против него Владимира Рюриковича; последний помнил насильственное пострижение своего отца Романом. К союзу пристали черниговские и северские князья. Но Данило услышал об этом вовремя и пригласил ляхов, которыми начальствовал расположенный к нему воевода Пакослав. Союзные князья осадили Каменец и ничего не могли сделать, тем более что приглашенный ими половецкий князь Котян перешел на сторону Данила. Они принуждены были отступить. Данило погнался за ними, но киевские и черниговские бояре приехали к нему от своих князей и убедили помириться. Таким образом Данило уничтожил все замыслы соперников, и этот успех еще более поднял его в ряду русских князей: не только все прежние области остались за ним, но и пинские князья сделались его подручниками, а Владимир Рюрикович с этих пор является постоянным другом и союзником Данила.

В 1229 году убит был в Польше союзник Данила Лешко. Данило отправился помогать брату его Конраду против Владислава (князя опольского), оставив подручника своего князя пинского оберегать пределы Волыни от вторжения ятвягов. Русские зашли вглубь Польши так далеко, как еще никогда не заходили: они вместе со сторонниками Конрада осадили Калиш и почти без боя принудили его сдаться Конраду. Тогда русские и поляки заключили между собою такое условие: «Если между ними будут вперед усобицы, то русские не должны брать в плен польских простых людей (челяди), а поляки – русских».

На возвратном пути из этого похода Данило услышал, что боярин Судислав, властвовавший в Галиче именем королевича, думал воспользоваться тем, что Данило зашел так далеко в Польшу, и в его отсутствие хотел овладеть Понизьем. Но как только Судислав вышел из Галича, недовольные им галичане отправили посольство к Данилу и просили прибыть к ним как можно скорее, пока не вернулся Судислав. Данило, отправивши против Судислава тысяцкого Демьяна с войском задерживать его, сам с многочисленною дружиною поспешил на зов галичан, стараясь предупредить Судислава, и на третий день достиг Галича.



Но как ни спешил Данило, Судислав успел избежать стычки с Демьяном, ранее Данила вошел в Галич и затворился в нем. Данилу приходилось добывать Галич осадой. К счастью, Данило успел овладеть загородным двором Судислава и нашел там много продовольствия для своего войска: это дало ему возможность решиться на продолжительную осаду. Он расположился станом в Углиничях, на другой стороне Днестра. Тысяцкий Демьян и старик Мирослав привели к нему нескольких бояр галицкой земли, склонившихся на его сторону; прибыли к нему свежие силы из волынской земли. Данилу нужно было перейти на другой берег, чтоб окружить город. Осажденные старались не допустить его до этого, делали вылазки и бились на льду; но в это время река стала вскрываться; напрасно Семьюнко, которого современник по наружному виду сравнивает с красной лисицей, зажег мост на Днестре, чтобы затруднить Данилу переход через реку. К счастью Данила пожар угас при самом конце моста, Данило с усиленною ратью перешел реку и обложил город со всех сторон. Тем временем, по его призыву, стекался к нему народ из галицкой земли от Боброка до Ушицы и Прута. Видимо земля была за Данила. Это заставило осажденных сдаться. Данило вошел в город. Помня давнюю дружбу с королем венгерским Андреем, он отпустил королевича, свояка своего, домой и сам проводил его до Днестра. С королевичем ушел и Судислав. Народ метал на него камни и кричал: «Вон, вон, мятежник земли!» Таким образом, Данило, после долгих лет отсутствия, снова был признан князем в городе, откуда был изгнан еще будучи ребенком. Оскорбительно было для венгерской чести удаление королевича. Судислав усиленно подстрекал венгров возвратить потерянный Галич. И вот, сын Андрея, Бела, собрал большое войско и пошел через Карпаты. Но тут начались непрерывные дожди. Лошади вязли в грязи, люди бросали лошадей и пробирались высокими местами. С большим трудом добрались они до Галича. Данила там не было; он наперед вышел из города приглашать на помощь поляков и половецкого хана Котьяна, оставивши в Галиче тысяцкого Демьяна. Венгерский посол, подъехав к городу, громко возгласил галичанам: «Люди галицкие! Вам велит сказать великий король венгерский: не слушайте Демьяна; пусть Данило не надеется на Бога и свои силы. Столько стран победил наш король, и не удержится против него Галич!» Демьян держался крепко; галичане стояли за Данила: Данило уже подходил к Галичу с собранным войском. Между тем дожди не переставали, у венгерцев от постоянной сырости развалилась обувь, открылись болезни и смертность. Иные умирали, сидя на коне, другие – у разведенных огней; иной испускал дыхание, поднося кусок мяса ко рту... От дождей сильно разлился Днестр. «Злую игру сыграл он венграм», – говорили современники. Король снял осаду и пошел к Пруту. Дожди преследовали его. Венгерцы погибали на дороге.

Но едва только, благодаря непогоде, Данило избавился от врагов, как опять начались против него в самом Галиче боярские крамолы. Зачинщиком и подстрекателем бояр был все тот же Александр бельзский, постоянно тайный враг Данила. Бояре обращались так неуважительно с князьями, что однажды на пиру какой-то боярин залил Данилу лицо вином. Данило стерпел это. Вслед за тем произошел такой случай. Василько, находясь в собрании бояр, в шутку обнажил меч на одного, называемого в летописи «слугою королевским». Тот схватился за щит. Бояре после этого бежали. Князья удивились этому бегству, не понимая в чем дело. Через несколько времени, когда Василько уехал во Владимир, один боярин, по имени Филипп, приглашал Данило к себе на пир в Вишню. Данило поехал, но на дороге его встретил посланный от Демьяна с такими словами: «Не ездь, князь, на пир; боярин Филипп с князем Александром хотят убить тебя». Данило вернулся. Говорили, будто бояре Молибоговичи, подстрекаемые Александром бельзским, совещались произвести пожар, чтобы в суматохе убить Романовичей, но приключение с Васильком внушило им опасение, что Романовичи проведали о заговоре, и оттого-то они разбежались. Василько, по приказанию Данила, занял Бельз (удел Александра), а посланный седельничий его, Иван Михайлович, схватил Молибоговичей с их соучастниками, всего 28 человек. Данило простил им; быть может, улики были недостаточны, и все ограничивалось подозрениями.

Великодушие не помогло Данилу. Узнал он, что бояре опять строят против него козни с

Александром. Данило с восемнадцатью верных себе «отроков» созвал вече и спрашивал галичан: «Хотите ли быть верными мне? Я пойду на врагов моих!» Все закричали: «Мы верны Богу и тебе, господин!» Сотский Микула привел при этом пословицу Романа, отца Данила: «Не передавивши пчел, меду не есть». Данило пошел в Перемышль, но те, которые шли за ним, не были на деле ему верны. Князь Александр с боярами уже успел бежать в Венгрию, где ждал его Судислав. По их подстрекательству, король Андрей с сыновьями, Белою и Андреем, двинулись на Галич. Боярин Давид Вышатич, по убеждению своей тещи, преданной Судиславу, сдал королю Ярославль. Затем другой боярин, Климята, посланный с войском против венгров, передался врагам; за ним изменили и прочие бояре.

Данило должен был покинуть Галич и ушел в Киев набирать войско у своего союзника, киевского князя Владимира, а король водворил снова сына своего Андрея в Галиче, но ненадолго. Данило с Владимиром киевским и половцами два раза разбил венгров и пошел прямо к Галичу. Бояре, видя, что успех клонится на сторону Данила, стали переходить к нему. Первый пример подал боярин Глеб Зеремеевич. Данило обласкал их, раздавал им волости, думал хотя на время привязать их себе. Князь Александр бельзский отступил от венгров, пристал к Данилу и испросил у него прощения. Данило осадил Галич, стоял под ним 9 недель, ожидая заморозков, когда можно будет перейти по льду через Днестр. Осажденные стали терпеть голод. Судислав, находясь с королевичем, успел соблазнить коварного Александра: прельщенный обещаниями получить Галич, Александр, недавно приславший к Данилу, опять изменил ему и передался к осажденным: но осажденным от этого не стало легче. Королевич Андрей умер в осаде. Тогда все галичане порешили на вече призвать Данила, и один из прежних врагов его, Семьюнко Красный, выехал к Данилу просить его в город. Судислав и князь Александр успели убежать: Судислав – к венграм, Александр хотел было искать защиты у тестя своего, киевского князя, но Данило гнался за ним три дня и три ночи, не зная сна, догнал его у Полонного и схватил в Хоморском лесу. Неизвестно, что сделал Данило с этим человеком, так бесчестно поступавшим с ним много раз, но с тех пор имя его не упоминается в летописях.

В это время в нашей истории являются мимоходом загадочные и до сих пор необъясненные бологовские князья, владевшие берегами Буга. Так как край этот совершенно ускользает из летописных повествований о прежних событиях и нет возможности отыскать происхождения этих князей в разветвлении Рюрикова дома, то, по всему видно, это были князья иных древних родов, остававшиеся неподвластными Рюриковичам. В этом нас убеждает еще и то, что сам Данило в переговорах о них с поляками называет их «особными» князьями. Овладевши Понизьем, Данило хотел подчинить их своей власти; они были постоянно ею противниками и при всяком случае принимали сторону его врагов.

Избавившись от венгров, Данило должен был еще долго бороться с русскими князьями за Галич. Тогда как князь киевский Владимир помогал Данилу, черниговский князь Михаил, вступивший в союз с бологовскими князьями, напал на киевские владения и подошел к Киеву. Данило поспешил на выручку союзника. Четыре месяца вместе с Владимиром Рюриковичем воевал он черниговскую землю и, возвращаясь назад через Полесье, услышал, что враги его навели половцев на киевскую землю. Войско Данила было очень утомлено, и старый Мирослав, бывший дядька его, отсоветовал ему идти на них. Даже сам князь киевский разделял мнение старика; но верный себе, Данило сказал им: «Воину, устремившемуся на брань, следует или победить или пасть. Не говорил ли я вам прежде сам, что надо дать отдых усталым войскам? А теперь – нечего бояться! Пойдем!» У Торческа произошла кровопролитная битва (в 1234). Данило дрался отчаянно, пока под ним не убили его гнедого коня. Его воины обратились в бегство; сам Данило должен был последовать за ними. Киевский князь и Мирослав были взяты в плен. Летописец приписывает это несчастье тайной измене бояр Молибоговичей.

Проведавши о несчастье Данила, бояре галицкие пригласили на княжение Михаила черниговского, и тот занял Галич. Несмотря на добродушие Данила, бояре галицкие никак не могли полюбить его.

Они видели в нем князя, который, как только утвердится, тотчас сломит их силу, и это будет тем удобнее, что простой народ оказывал Данилу расположение. Бояре, захвативши в свои руки всю Галичину, поделили между собою все доходы, хотели или лучше быть вовсе без князя или иметь такого, который находился бы у них совершенно в руках. Но того и другого достигнуть им было трудно, потому что хотя все они и дорожили своим сословным могуществом, но жили между собою в несогласии. Один теснил и толкал другого: у каждого являлись свои виды, и потому один хотел того князя, другой – иного; всякий надеялся посредством князя возвыситься над своими соперниками.

Михаил недолго удержался в Галиче. Отправившись по своим делам в Киев, оставил он в Галиче сына своего Ростислава (1235). Данило находился в построенном им Холме, когда к нему пришла весть из Галича, что Михаил выехал из города и галичане хотят Данила. Простым жителям чересчур опротивели боярские смуты, и они приняли твердое решение не поддаваться более наущению бояр, а держаться крепко за Данила для собственной пользы. Данило смело подъехал к Галичу. Жители стояли толпою на стене. Данило обратился к ним: «О мужи галицкие, долго ли еще будете терпеть державу иноплеменных князей?» Все они в один голос закричали: «Вот он наш держатель, Богом данный!» – «И все, – говорит летописец, – пустились к нему, как пчелы к матке». Епископ Артемий и дворский<sup>20</sup> Григорий сначала удерживали народ, но видя, что ничего не сделают, со слезами на глазах, и, по выражению того же летописца, «ослабляясь и облизывая губы», вышли к князю Данилу, поклонились и сказали: «Приди, князь Данило, прими город!» Данило вошел в город и воткнул знамя свое на немецких воротах в знак победы. С торжеством вступил он в церковь Богородицы и принял стол отца своего. Бояре кланялись ему в ноги и просили прощения: «Согрешили, – говорили они, – чужого князя держали». Данило отвечал: «Вы получите милость, только вперед так не делайте, чтобы вам не было хуже». Ростислав бежал в Венгрию.

Таким образом Данило, после многолетних трудов и непрестанной борьбы, сделался властителем всей Галичины и Волыни. Он понял, что в Галиче нельзя ему иметь постоянного пребывания, и поселился в построенном им Холме. Однажды, ранее этого времени, ездивши на любимую им охоту, приехал Данило на место, которое ему очень понравилось. «Как называется это место?» – спросил он. «Холм», – отвечали ему. «Пусть здесь будет город Холм», – сказал он и посвятил будущий город Св. Иоанну Златоусту, так как в те времена всякий новый город посвящался какому-нибудь святому. Здесь построил он себе усадьбу и красивую церковь Св. Иоанна. По его призыву начали стекаться туда жители с разных сторон. Здесь власть Данила была тверже и безопаснее, не то, что в старом городе; здесь не было преданий, противных княжеским видам. Все получали свое жительство по милости князя и потому были привязаны к нему ради собственных выгод. Удалиться из старого города в новый было в то время удобным средством князю для своего спокойствия и безопасности. Здесь мог он жить, окруженный верною дружиною, не страшась боярских козней, от которых было трудно уберечься, живучи среди бояр.

Власть Данила распространялась и на киевскую землю; наконец, он подчинил себе и самый Киев, который, будучи отнят у Владимира Рюриковича (умершего в 1236) Ярославом суздальским, переходил потом из рук в руки, наконец был захвачен Данилом, но это было уже накануне страшного потрясения, переворотившего весь строй русской истории.

Уже татары под предводительством монгольского хана Батыея, внука Чингисханова, опустошили и завоевали восточную Русь. Русские везде защищались геройски: не сдался ни один город, ни один князь; но защита эта была бестолковая и потому совсем безуспешная. Прежде всего в 1237 году совершенное опустошение постигло рязанскую землю. Все города этой земли были истреблены дотла; страна обезлюдела, а между тем суздальско-ростовская земля не выручала ее из беды и вслед за нею подверглась тому же жребью. Татары сожгли Москву (тогда еще бывшую только пригородом Владимира) и истребили в ней старого и

---

<sup>20</sup> Выборная городская правительственная должность.

малого. 7 февраля 1238 года истреблен был Владимир. Здесь в соборной церкви погибла семья князя Юрия Всеволодовича со множеством бояр и народа. Татарские полчища рассеялись по земле, разоряли города и села, везде истребляли жителей. 4 марта того же года князь Юрий Всеволодович с другими князьями своей земли вступил в отчаянную битву с татарами на берегу Сити, но был поражен и убит. Опустошивши восточную Русь, Батый хотел идти на Новгород, но дремучие леса и болота не допустили его. Татары разорили один только Торжок и поворотили на юг. Везде Батый встречал отчаянное сопротивление. Небольшой городок Козельск защищался семь недель и когда был взят, то в нем татары пролили столько крови, что малолетний тамошний князь Василий захлебнулся кровью. В 1239 году они взяли и сожгли Чернигов и приближались к Киеву. Племянник Батые Менгу-Тимур любовался красотой Киева из Песочного городка на левой стороне Днепра. Каменная стена верхнего города, из-за которой мелькали позолоченные верхи Десятинной церкви, Св. Софии и Михайловского монастыря, цветные черепичные кровли княжеских теремов, направо, внизу, вдоль Днепра Подол со множеством церквей, налево – Никольский монастырь, величественная Печерская обитель и Выдубицкий монастырь, отрезанные от города и друг от друга дремучим лесом, раскинувшимся по крутой горе – вот что поражало тогда глаза степного хищника. Он отправил в Киев послов требовать сдачи. Послы были убиты. Завоеватели отступили с намерением прийти на следующий год и наказать киевлян.

В конце 1240 года прибыла страшная сила Батые, перейдя, вероятно, по льду через Днепр. Татарское полчище облегло верхний город (занимавший место нынешнего старого города). За пределами его к реке Лыбеди были посады, конечно, тогда дотла истребленные. На юг по направлению к Никольскому и Печерскому монастырям был густой лес. Летописец говорит, что полчище врагов было до того огромно, что в городе нельзя было расслышать слов от скрипа телег татарских, рева верблюдов и ржания коней. Батый начал свой приступ к Лядским воротам, находившимся на южной стороне. Татары день и ночь били пороками стены и, наконец, пробили их. Киевляне отчаянно защищали остаток стен, пока, наконец, татары не сбили их со стен и сами не вошли на стены. Тогда киевляне столпились у Десятинной церкви и в одну ночь возвели около нее укрепление. Когда завоеватели стали разрушать и эти укрепления, киевляне, со своим имуществом, кто что успел схватить, взбирались на верх церкви и отбивались оттуда до последней возможности: наконец, под ними рухнули стены церковные, по сказанию летописца, от тяжести, но вероятнее всего подбитые татарскими пороками.

О разрушении Подола мы не имеем известий, но несомненно, что весь город Киев превращен был тогда в кучу развалин. Надобно также полагать, что значительная часть жителей заранее бежала, так как прихода татар давно ждали.

Оставленный Данилом в городе тысяцкий Дмитрий, весь израненный, достался татарам, но Батый велел его пощадить, вероятно для того, чтобы воспользоваться им при дальнейших походах.

Завоевательные полчища Батые двинулись от Киева на запад, истребляя и разрушая все на пути своем. Город Колодяжный (нынешний Ладыжин), вопреки примеру других русских городов, сдался добровольно, в надежде быть пощаженым. Но татары истребили в нем всех жителей, хотя нередко в подобных случаях они оказывали побежденным пощаду. Все волынские города подверглись разорению; только Кременец, расположенный на неприступной горе, не поддавался татарам. Во Владимире истреблены были поголовно все жители. Застигнутые врасплох, русские кидали свои жилища в городах и селах, скрывались в лесах или бежали, сами не зная куда. Данило в это время был в Венгрии: еще не слышав ничего о приближении татар, он отправился в Венгрию для сватовства своего сына, которое на тот раз не удалось ему. В его отсутствие татары разорили опустелый Галич. Тысяцкий Дмитрий, желая спасти свою землю от дальнейшего разорения, убедил Батые спешить в Венгрию и представлял, что, в противном случае, венгры и немцы соберутся на него с большою силою. Завоеватели разделились на две части: одни через Карпаты пошли в Венгрию, другие через Польшу в Силезию и Моравию, откуда через три года вернулись

назад в свои степи.

Данило приехал из Венгрии, не зная, где находится его семья и брат, и отправился в Польшу. Там свиделся он с княгиней и Васильком, которые укрывались в Польше от татар. Мазовский князь Болеслав предоставил изгнанникам город Вышгород, где Данило пробыл до тех пор, пока не узнал, что татар уже нет в его волости. Возвращаясь на свою землю, он хотел остановиться в Дрогичине, но тамошний наместник не пустил своего князя; вероятно, он был заодно с боярами, которые думали воспользоваться общим смятением, чтобы опять начать свои козни против князя. Данило с братом Васильком отправился затем к Берестью, но не мог приблизиться к городу от смрада гниющих тел. То же представилось им во Владимире; там не встретили они ни одной души; все церкви были наполнены горами трупов. Видно, что жители, во время нашествия татар, искали убежища в церквях и там погибли. Данилу пришлось отстраивать жилища и собирать разогнанные остатки населения.

Между тем галицкие бояре, захвативши в свои руки всю землю, думали править ею самовольно. Но теперь они уже не сладили с волею Данила. Боярин Доброслав и Судьич, попов внук, самовольно захватили Понизье, а Григорий Васильевич овладел горной страной перемышльской. Эти бояре от себя раздавали волости и доходы разным своим подручникам: так у Доброслава было двое подручников: Лазарь Домажирич и Ивор Молибожич, люди низкого происхождения (как говорит летописец), которым этот боярин поручил Коломью, дававшую прежде князю большой доход солью. К счастью Данила, эти бояре жили между собою во вражде и, ненавидя своего князя, доносили ему друг на друга. Таким образом Доброслав обвинял перед Данилом Григория. Пользуясь их враждою, Данило, не веря ни тому ни другому, приказал схватить обоих и послал своего печатника Кирилла сделать опись всем грабительствам и злоупотреблениям бояр во время их управления.

Неугомонный, задорный сын черниговского князя Ростислав Михайлович в свою очередь продолжал беспокоить Данила. В то время, когда Кирилл производил осмотр в Понизье, Ростислав, соединившись с князьями бологовскими, пытался было овладеть Бакотою в Понизье, но не успел. За это Данило расправился с бологовскими князьями, которые вывели его наконец из терпения. Он в особенности был зол на них за то, что они поладили с татарами. Татары оставили покойно этих князей на земле их для того, чтобы они сеяли на них пшеницу и просо. Продолжая злобствовать против Данила, они надеялись на покровительство татар. Данило имел право упрекать их в неблагодарности к себе, так как ранее этого времени он избавил их из рук мазовецкого князя Болеслава и даже чуть было не воевал из-за них с Болеславом. Теперь, наказывая их за союз с Ростиславом, он вступил с войском на их землю, взял и предал огню города их: Деревич, Губин, Кобуд, Кудин, Городец, Божьский и Дядьков. Ростислав беспокоил Данила до самого 1249 года. Он женился на дочери венгерского короля Белы и с помощью тестя надеялся овладеть Галичем. В эти распри вмешались и поляки, так как другая дочь Белы была за князем Болеславом; на этом основании Данило помогал сопернику Болеслава Конраду, женатому на его родственнице. Наконец, после долгих мелких драк произошло решительное сражение 1249 года.

Ростислав с войском, составленным из русских, венгров и болеславовых поляков, подступил к городу Ярославлю. Венграми начальствовал воевода Фильний, прозванный русскими «прегордый Филя», тот самый, который был некогда разбит Мстиславом Удалым. Хвастливый Ростислав говорил: «Если бы я знал, где теперь Данило и Василько, с десятью воинами поехал бы на них!» Между тем он устроил военную игру (турнир) и сразился с каким-то Воршем. Под ним споткнулся конь: Ростислав упал и повредил себе плечо. Это сочтено было дурным предзнаменованием. Тем временем Данило с Васильком шли против него. За ними на помощь следовали литва и поляки конрадовой стороны; тут было также несколько русских князей, пришедших на службу к Данилу. Им на дороге также было предзнаменование: над их войском собралась целая туча орлов и воронов и с криком кружилась над войском. «Это знамение на добро», – говорили русские. Битва произошла 17 августа. Венгерский воевода Фильний находился в заднем полку и, держа в руках знамя,

кричал: «Русь плохо бьется: выдержим их первый напор: они не вытерпят сечи на долгое время». Но Данило ударил своим полком и смял его. Знамя Фильния было отнято и разодрано пополам. Молодой сын Данила, Лев, изломил об его доспехи копье свое. С другой стороны поляки, указывая на русских, кричали: «Погоним великие бороды!» – «Лжете, – закричал им Василько, – Бог нам помощник!» Поляки по своему обычаю закричали «керылеш» (кириэ элейсон) и дружно бросились на Василька, но русские отбили их и обратили в бегство. Ростислав увидел, что и венгры и поляки бегут, побежал сам. Победа была вполне на стороне Данила. Воевода Фильний был схвачен Андреем дворским, приведен к Данилу и убит. Тогда же был казнен взятый в плен боярин Володислав, зачинщик смут. Ростислав с тех пор уже не делал более покушения на галицкий стол. Тесть его Бела дал ему в удел Мачву на Саве, и после того его имя уже не встречается в русской истории.

На следующий год Данило примирился с венгерским королем, при посредстве митрополита Кирилла, и король отдал за сына Данилова Льва дочь свою. Свадьбу праздновали в Изволине, и Данило, в знак мира, привел с собою и отдал королю венгерских пленников, взятых во время ярославской битвы.

Так, наконец, Данило успокоил и себя и свои земли, как от венгров, так и от русских князей. Много труда и усилий, много тяжелых лет и неутомимого терпения стоило ему это успокоение. Теперь он был один из сильнейших владетелей в славянском мире. До сих пор он не считал себя данником хана. Монгольские полчища пока только прошли по южной Руси разрушительным ураганом, оставивши по себе, хотя ужасные, но скоро поправимые следы. Участь других русских князей, казалось, миновала Данила. Но не так вышло на деле, как казалось. В 1250 году прибыли послы от Батые с грозным словом: «Дай Галич!»

Данило запечалился. Занятый беспрестанными войнами со своими соперниками, он не успел укрепить городов своих и не был в состоянии дать отпор татарскому полчищу, если бы оно пошло на него. Обсудивши свое положение, Данило сказал: «Не дам полуотчины своей, сам поеду к хану». В самом деле Данилу приходилось, уступивши Галич, не только потерять землю, приобретенную такими многолетними кровавыми усилиями, но ему угрожала большая беда: отнявши Галич, монголы не оставили бы его в покое с остальными владениями; и потому благоразумнее было заранее признать себя данником хана, чтобы удержать свою силу на будущее время, когда, при благоприятных обстоятельствах, можно будет заговорить иначе с завоевателями Руси. 26 октября выехал Данило в далекий путь.

Проезжая через Киев, Данило остановился в Выдубицком монастыре, созвал к себе соборных старцев и монахов, просил помолиться о нем, отслужил молебен Архистратигу Михаилу, и напутствуемый благословениями игумена сел в ладью и отправился в Переяславль. Здесь встретили его татары. Ханский темник<sup>21</sup> Куремса проводил его в дальнейший путь. Тяжело и страшно было ехать Данилу. С грустью смотрел он на языческие обряды монголов, владычествовавших в тех местах, где прежде господствовало христианство. Его страшили слухи, что монголы заставят православного князя кланяться кусту, огню и умершим прародителям. Следуя по степи, доехал он до Волги. Здесь встретил его некто Сунгур и сказал: «Брат твой кланялся кусту, и тебе придется кланяться». – «Дьявол говорит твоими устами, – сказал рассерженный Данило, – чтоб Бог загородил твои уста и не слышал бы я такого слова!»

Батый позвал его к себе, и, к утешению Данила, его не заставляли делать ничего такого, что бы походило на служение идолам.

«Данило, – сказал ему Батый, – отчего ты так долго не приходил ко мне? Теперь ты пришел и хорошо сделал. Пьешь ли наше молоко, кобылий кумыс?»

«До сих пор не пил, а прикажешь – буду пить». Батый сказал ему: «Ты уже наш татарин, пей наше питье». Данило выпил и сказал, что пойдет поклониться ханьше. Батый ответил: «Иди».

Данило поклонился ханьше, и Батый послал ему вина со словами: «Не привыкли вы

---

<sup>21</sup> Предводитель десяти тысячного войска.

пить кумыс, пей вино».

Данило пробыл 25 дней в Орде и был отпущен милостиво. Батый отдал ему его владения в вотчину. Родные и близкие встретили его по возвращении с радостью и вместе с грустью: они радовались, видя, что он воротился жив и здоров, и скорбели об его унижении. Вместе со своим князем вся русская земля чувствовала это унижение, и оно-то прорвалось в возгласе современника-летописца: «О злее зла честь татарская! Данило Романович, князь великий, обладавший русскою землею, Киевом, Волынью, Галичем и другими странами, ныне стоит на коленях, называется холопом, облагается данью, за жизнь трепещет и угрозы страшится!»

Подчинение хану, хотя, с одной стороны, унижало князей, но зато, с другой, укрепляло их власть. Хан отдавал Данилу, как и другим князьям, земли его в вотчину. Прежде Данило, как и прочие князья, называл свои земли отчинами, но это слово имело другое значение, чем впоследствии слово вотчина. Прежде оно означало не более, как нравственное право князя править и княжить там, где княжили его прародители. Но это право зависело еще от разных условий: от воли бояр и народа, от удачи соперников, в которых не было недостатка, от иноплеменного соседства и от всяких случайностей. Князья должны были постоянно беречь и охранять себя собственными средствами. Теперь князь, поклонившись хану, предавал ему свое княжение в собственность, как завоевателю, и получал его обратно как наследственное владение; теперь он имел право на покровительство и защиту со стороны того, кто дал ему владение. Никто не мог отнять у него княжения, кроме того, от кого он получил его. Вечевое право, выражаемое волею ли бояр, волею ли всего народа, необходимо должно было смолкнуть, потому что князь мог всегда припугнуть непокорных татарами. Соседний князь не отваживался уже так смело, как прежде, выгонять другого князя, потому что последний мог искать защиты в сильной Орде. Князья становились государями. Это положение сразу поняли восточные князья и потому так легко примирились с новым порядком вещей. Но Данило слишком привык к прежнему строю жизни, чтобы примириться с новым положением. Он был гораздо ближе к европейским понятиям, чем восточные князья. Стыд рабского положения не мог для него ничем выкупаться. Его задушевною мыслью стало освобождение от постыдного ига.

Цель эта могла быть достигнута в будущем как материальным усилением Данила, так и возвышением его нравственного значения в ряду европейских владетелей. Вся остальная жизнь Данила была посвящена этой идее и, как увидим, неудачно.

Дружба и союз с королем венгерским вовлекли Данила в дела западной Европы. После смерти австрийско-штирийского герцога Фридриха, венгерский король хотел не допустить немецкого императора взять себе Австрию и Штирию, страны, остававшиеся теперь без владетеля. Король в 1252 году пригласил на помощь Данила. Дело уладилось было через императорских послов в Пожге. Здесь Данило виделся с немецкими послами, которые удивлялись необычному для них вооружению русских: их коням, одетым в кожаные доспехи, и их блестящему, татарскому, оружию. Сам Данило ехал рядом с королем, одетый по-русски; седло под ним было обито чистым золотом, стрелы и сабля позолоченные с узорами. На нем был «кожух» (конечно, не тулуп, так как тогда был знойный день) греческой материи, украшенный кружевами и золотой тесьмой; и был князь обут в зеленых сафьянных сапогах, вышитых золотом. Его превосходный породистый конь возбуждал удивление и похвалы. «Твой приезд, по обычаю русских князей, дороже мне тысячи серебра», – сказал ему в приветствие венгерский король. Вскоре после того поднялся новый спор за австрийско-штирийское наследство. У покойного Фридриха было две дочери: одна из них была за Оттокар, сыном чешского короля Вацлава, а другая, по имени Гертруда, была вдова маркграфа баденского. Оттокар, с согласия партии, державшей его сторону в Австрии, хотел овладеть всем наследством. Гертруда обратилась к покровительству Белы. Здесь при дворе его познакомился с нею сын Данила, Роман, и женился на ней. Таким образом у Данила возникло притязание утвердить сына в обладании Австриею и Штириею. Для заветных целей Данила удача в том случае имела бы большое значение. В союзе с Белою

и зятем Белы Болеславом Стыдливым, польским князем, Данило совершил против Оттокара поход в чешские владения, на землю опавскую (Троппау). Поход этот, бесплодный по своим последствиям, замечателен только тем, что, по выражению летописца, ни один русский князь не заходил так далеко на запад.

Даниловы союзники, поляки, в этой войне вели себя очень не храбро, так что Данилу пришлось усовещевать их. Наконец, потерявши терпение, он сказал им: «Если хотите, идите прочь, а я останусь с малою дружиною». Сам Данило страдал тогда сильною главною болезнью, но все-таки неумоимо разъезжал с обнаженным мечом, собирал и ободрял воинов. Союзники, не взявши города Опавы, овладели только городком Насилье (Носельт), потом заставили чешского воеводу Герберта прислать меч Данилу в знак покорности. Война эта, по всеобщему тогдашнему обычаю, сопровождалась варварским разорением края, но Данило смягчал ее жестокость. Таким образом, взявши город Насилье, он только освободил своих пленников и не велел никому делать зла.

Роману Даниловичу и впоследствии не удалось овладеть Австриею. Бела изменил своим видам относительно Романа. Оставивши у себя при дворе сына Гертруды от первого брака, он задумал женить его на своей дочери и предоставить ему спорные владения, а потому и покинул без помощи Романа, боровшегося в Австрии с Оттокараром. Осажденный в Нейбурге близ Вены, Роман вместе с женою терпел недостаток, напрасно ожидая выручки от Белы. Тогда Оттокар сделал ему такое предложение: «Оставь короля угорского: он тебе много обещает, но ничего не исполнит; ты мне свояк: разделим землю пополам; а что я говорю правду, в том ставлю тебе свидетелей: папу и двенадцать епископов». Но Роман следовал нравственным правилам отца своего, никогда не изменявшего своим союзникам, и сказал: «Я дал обещание королю угорскому, своему тестю: не могу тебя послушать. Стыдно и грешно не исполнять данного слова». Сама жена вооружала его против Белы: «Он взял моего сына к себе, – говорила она, – хочет забрать нашу землю, а мы за него здесь голод терпим». Роман был непреклонен. Преданная им женщина тайком пробиралась из Нейбурга в Вену и приносила им пищу. Наконец какой-то Веренгер вывел их из осады, и Роман отправился к отцу.

План Данила с этой стороны окончательно рушился.

Удачнее шли дела Данила на севере. Ятвяги, народ воинственный, дикий и жестокий, живший в лесах и болотах нынешней Гродненской губернии, делали опустошительные набеги на русские области и уводили множество пленников, которых держали в тяжелом рабстве. Данило проник в их тущобы, разорил их поселения и освободил всех русских пленников, наконец, умертвил в битве их князя Стеконта, подчинил их своей власти и наложил на них дань.

Удачно также шли дела его с Литвою. Этот народ, когда-то покорный русским князьям, был выведен из терпения немецкими рыцарями, хотевшими жестокими мерами распространить между ним крещение. Столкновение с этими новыми врагами пробудило спящие силы литвинов, и они не только упорно и мужественно отбивались от врагов, но сделались воинственным и завоевательным народом. Литва начала расширяться за счет Руси. Один из ее князей, Миндовг, заложил свою столицу Новогородок на русской земле и сделался сильнейшим князем во всей Литве. Двое племянников его: Тевтивилл и Эдивид сделались князьями – один полоцким, другой смоленским, а дядя их Викинг витебским. Миндовг хотел подчинить их своей власти; тогда они обратились за помощью к Данилу. Данило, после смерти первой жены своей Анны, женился на сестре Тевтивилла и Эдивиды и теперь горячо принял их сторону. Чтобы усмирить Миндовга, Данило заключил союз с Ригою, вооружил против Миндовга половину жмуди (ветвь литовцев) и ятвягов и стеснил Миндовга так, что последний, с намерением разорвать союз Данила с немцами, изъявил желание принять католическую веру. В 1252 году он крестился в присутствии папского легата и магистра немецкого ордена и был коронован королем. Крещение его было притворное: он в душе оставался язычником. Вскоре Миндовг убедился, что союз его с немцами приведет его к порабощению и что гораздо лучше будет сойтись с русскими. Он помирился с племянниками



и предложил мир и родственный союз Данилу, отдавши свою дочь за сына Данилова Шварна. Союз этот устроил сын Миндовга, знаменитый Воишелк: сперва кровожадный и жестокий, этот литовский князь потом принял христианство, постригся в монахи и сделался строгим отшельником. Преданный Данилу, он привел к нему сестру свою, будущую жену Шварна. Мир был закреплен тем, что старшему сыну Роману предоставили Новогородок, Слоним и Волковскийск, с обязанностью, однако, признавать первенство Миндовга.

Но все эти успехи были недостаточны для целей Данила. Ему нужно было приобрести значение и силу в Европе, заручиться надеждой на помощь со стороны Запада в то время, когда он открыто решится действовать против татар. Для этой цели нужно было сойтись ему с такою центральной силою, которая двигала всем западным миром. Такой центральной силой казался ему папа. Постоянные и долгие сношения с западными католическими государями неизбежно должны были внушить ему высокое мнение о могуществе духовного римского престола, хотя в то время это могущество в сущности не могло произвести того, что производило столетием ранее. Сношения с папою начались еще с 1246 года. Данило изъявлял желание отдать себя под покровительство Св. Петра, чтобы идти под благословением римского престола, вместе с западным христианством, на монголов. Последствием этого обращения был целый ряд папских посольств и булл. Желая прежде всего устроить присоединение русской церкви, папа Иннокентий IV послал к Данилу доминиканских монахов Алексея Гецелона и других для совещания о вере и для постоянного пребывания при русском князе, писал целый ряд булл, называл в них Данила королем, позволял русским сохранять ненарушимо служение литургии на просфорах и соблюдать все обряды греческой церкви и предлагал, между прочим, короновать его королем. Но Данило имел в виду только одно: существенную помощь Запада для освобождения Руси от монголов, а потому не поддавался ни на какие уловки. «Что мне в королевском венце? – говорил он папскому послу. – Татары не перестают делать нам зло; зачем я буду принимать венец, когда мне не дают помощи!» В 1249 году, потерявши надежду на помощь папы, Данило изгнал епископа Альберта, которого папа назначил главою духовенства в южной Руси. Папский легат с неудовольствием выехал из Галиции. Тем и кончились тогда сношения Данила с папою. В 1252 году король венгерский помирил Данила с Римом, и сношения с папою возобновились. В 1253 году папа издал буллу ко всем христианам Богемии, Моравии, Сербии и Померании, призывающую их к крестовому походу против татар, а в следующем 1254 году буллу к архиепископу, епископам и другим духовным особам Эстонии и Пруссии, чтобы они проповедовали крестовый поход против татар. В глазах Данила вся восточная Европа готова была подняться против завоевателей Руси. Тогда же папа отправил послов к Данилу с королевскою короною, но Данило не очень горячо хватался за эту папскую милость. Когда он, возвращаясь из чешского похода, свиделся с этими послами в Кракове, то сказал им: «Не годится мне видеться с вами в чужой земле. После!» В следующем году приехал в Русь папский легат Опизо с королевским венцом, скипетром и с щедрыми обещаниями помощи против татар. Данило и теперь еще колебался; но его убедили принять предложение папы, с одной стороны – его мать, а с другой – польские князья Болеслав и Земовит. Последние со своими вельможами обещали Данилу, как только он примет венец, тотчас идти против татар. Данило был торжественно коронован в Дрогичине и помазан папским легатом (1255). Его успокоили уверения легата, что «папа уважает греческую церковь, проклинает тех, кто осуждает ее обряды, и намерен скоро собрать собор для соединения церквей».

В том же году начались неприязненные действия с татарами. Неизвестно, дошел ли до монголов слух, что на западе собираются идти на них, или же их раздражило то, что Данило укреплял свои города. Ханский темник Куремса подступил к Бакоте. Ее сдал татарам Милей, вероятно, русский, и назначен был в ней от татар баскаком. Данило, занятый в то время делами в Литве, послал в Бакоту сына своего Льва. Лев отвоевал Бакоту и привел пленного Милея к отцу. Изменник успел умиловить князей. Лев сам поручился за него, и Данило, понадеявшись на его уверения в верности, отпустил Милея, а последний тотчас же отдал

Бакоту опять татарам. Куремса подступил к Кременцу, но не взял его. Нашелся русский князь, увидавший возможность воспользоваться гневом татар против Данила для своих выгод: то был Изяслав, князь новгород-северский, племянник тех Игоревичей, которые некогда были повешены в Галиче; он предложил татарам овладеть Галичем и просил их помощи. Куремса сказал ему: «Как ты пойдешь на Галич? Лют князь Данило, убьет тебя!» Изяслав не послушался совета и пошел в Галич. Услышавши об этом, Данило послал туда с отрядом сына своего Романа, а сам у Грубешова со своими людьми охотился за вепрями, собственноручно убил троих зверей рогатиной и отдал мясо воинам. «Если встретятся вам хотя бы татары, – говорил он им, – не бойтесь!» Видно, что татары своим одним именем наводили ужас на русских. Роман напал на Изяслава так неожиданно, что тот, не будучи в силах ни защищаться, ни убежать, взобрался на церковь и там сидел три дня, а на четвертый, не стерпев жажды, сдался и был приведен к Данилу.

Куремса, человек слабый и недеятельный, не трогал долго Данила. Это ободрило русского князя. Он решился отобрать у татар русские города до самого Киева. Литовский князь Миндовг дал обещание действовать с ним заодно. Данило отправил войско под начальством сыновей своих: Шварна и Льва и воеводы Дионисия Павловича. Дионисий взял Межибожье; Лев занял берега Буга и выгнал оттуда татар; отряды Данила и Василька завоевали Бологовский край, а Шварно овладел всеми городами на восток по реке Тетереву до Жидичева. Белобережцы, чернятинцы, бологовцы со своей стороны прислали послов своих к Данилу, но город Звягель, обещавший принять к себе Данилова тиуна, изменил и не сдавался. Данило сам отправился вслед за своим сыном Шварном, взял Звягель приступом и расселил его жителей. В это время литовцы, вместо того, чтобы помогать Данилу и идти с ним по обещанию к Киеву, начали грабить и разорять его владения около Луцка, совершенно неожиданно для Данила. Посланный против них дворский Олекса наказал их жестоко, загнав и потопивши в озеро. Но измена литовцев остановила дальнейшие движения Данила.

Вражда татарам была объявлена. Силы Куремсы двигались на Луцк, но этот город стоял на острове и жители заранее истребили мост; татары через реку Стырь хотели пускать камни в город, но поднялась сильная буря и изломала их пороки. С тех пор Куремса не нападал на Данила. Но в 1260 году на место Куремсы был назначен другой темник, по имени Бурандай, человек суровый, воинственный.

Вот уже пять лет прошло с тех пор, как Данилу обещали на помощь силы крестового похода, но обещание не исполнялось: Данило, между тем, понадеявшись на помощь с Запада, раздражил татар и был теперь предоставлен собственным силам. Бурандай явился с огромным войском на Волынь, не делал никаких укоров Данилу за его последние действия, а послал приказание идти с ним на Литву. Данило рад был и тому, что мог на время избавиться от таких гостей, и отправил на Литву к Бурандаю брата своего Василька. Недавняя измена литовцев, остановившая успехи Данила, оправдывает поступок его. Татары рассеялись по Литве, жгли и опустошали ее. Бурандай, как будто довольный послушанием Василька, ласково отпустил его во Владимир. Но в следующем 1261 году, возвратившись из Литвы, Бурандай послал к Романовичам такое грозное послание: «Встречайте меня, если вы в мире со мною, а кто меня не встретит – с тем я в войне». Василько в то время справлял свадьбу своей дочери с черниговским князем и, оставивши свадебный пир, должен был ехать на поклон к грозному темнику. Данило не поехал к нему и послал на место себя сына Льва и холмского владыку Ивана.

Посланные явились к Бурандаю под Шумском и принесли ему дары. Бурандай встретил их грозно и начал кричать на Василька и Льва. Владыка совершенно оторопел от страха. Наконец Бурандай сказал князьям: «Если хотите жить с нами в мире, размечите все ваши города».

Помощи надеяться было неоткуда; при малейшем упорстве Бурандай задержал бы князей и пустил бы татар истреблять в крае старых и малых. Приходилось уступить.

Лев разметал укрепления города Львова, им самим построенного, и города Стожка, недавно воздвигнутого Данилом, а Василько послал приказание уничтожить укрепления

Кременца и Луцка. Сам Бурандай отправился с Васильком во Владимир, желая быть свидетелем разрушения укреплений столицы волынского края. Не дойдя до этого города, татарский темник остановился ночевать на Житане и сказал Васильку: «Иди и размечи свой город».

Василько, прибывши к Владимиру, увидел, что в скором времени нельзя разобрать всех стен до приезда Бурандая, и потому приказал зажечь их. Бурандай, приехавши вслед за ним, с радостью смотрел, как потухали сгоревшие стены, обедал затем у Василька, обошелся с ним милостиво и на ночь выехал из города, а утром послал к Васильку татарина Баймура, который сказал ему так: «Василько, приказал мне Бурандай раскопать твой город». «Делай то, что тебе приказано!» – отвечал Василько. Баймур раскопал владимирские окопы: это знаменовало победу татар над русскими.

Вслед за тем Бурандай призвал Василька и приказал, собрав бояр и слуг, идти на Холм.

Данила уже не было тогда в его столице. Владыка Иван приехал туда вперед и рассказал Данилу о том, что слышал от Бурандая в Шумске. Данило бежал в Венгрию. Спротивляться ему против татар было невозможно, а унижаться и раболепствовать было слишком невыносимо.

Город Холм был хорошо укреплен пороками и самострелами; бояре и горожане готовы были отражать приступ. Бурандай сказал Васильку: «Это город твоего брата, ступай к горожанам, уговори их сдаться». Вместе с ним отправил он троих татар и толмача с приказанием наблюдать, что будет говорить Василько с русскими.

Василько набрал в руки камешков и, придя под город с татарами, начал кричать так: «Эй ты, холоп Константин, и ты, другой холоп Лука Иванович, это город брата моего и мой, сдавайтесь!» – и с этими словами трижды бросил камни оземь.

Боярин Константин, стоя на стене с горожанами, понял, что означало это бросание камней: Василько, не смея сказать словами того, что хотел, давал им знак, чтобы они не делали того, что он им приказывал на словах.

«Ступай прочь, – закричал боярин Константин, – а то мы тебя хватим камнем в лицо; ты уже теперь не брат своему брату, а враг его».

Татары рассказали Бурандаю то, что слышали, и Бурандай был очень доволен Васильком. Брать укрепленные города осадой было не в духе татар, и потому-то татары так настаивали, чтобы в покоренной ими земле не было укрепленных мест. Татары отступили.

Бурандай приказал Васильку идти с собой на Польшу. Василько поневоле должен был опять повиниться и быть свидетелем и участником разорения края. Татары взяли приступом Судомир (Сендомир) и перебили всех жителей, не щадя ни пола, ни возраста, когда последние выбежали в поле из разоренного города. Наделавши опустошений в Польше, Бурандай удалился в свои становища в приднепровской Украине.

Итак, все душевные предположения Данила разрушились. Запад обманул его. Он должен был понять, что с этой стороны нельзя ждать Руси спасения от татар. Его сношения с папой не привели ни к какому желанному результату, ни для него, ни для папы. Данило хотел помощи против завоевателей и только ради этой помощи искал покровительства папы; папская политика имела в виду одно: обольстить русских и подчинить их церковь своей власти, в каком бы материальном положении они ни оставались. Понятно, что Данило, видя себя обманутым со стороны Запада и видя бессилие папы для своих целей, не хотел более знать его. Папа Александр IV еще в 1257 году писал ему буллу с горькими укорами за то, что он не оказывает никакого повиновения папскому престолу, и грозил церковным проклятием. Данило уже не обращал внимания на эти угрозы. В этом деле Данило вел себя вполне честно и безукоризненно: он не хитрил, а говорил открыто, что ему нужна действительная помощь против врагов, и только под этим условием обещал признать духовную власть римского первосвященника, притом не иначе, как тогда, когда будет созван собор, долженствующий установить соединение церквей. Ни того, ни другого не было сделано со стороны папы, который, в сущности, не в состоянии был исполнить того, что обещал. Понятно, что Данило мог считать свою совесть спокойною, отвернувшись от папы.

Обнаженная от своих укреплений, Русь стала более прежнего открытой для литовских набегов. Литовцы, отмщая русским за татарский поход, сделали вторжение на их землю, но были прогнаны и разбиты Васильком. Вслед за тем в 1262 г. в Литве произошел переворот: Миндовг, обратившийся опять к язычеству, был убит. Сын его Войшелк, оставив на время монашеский чин, принял звание литовского князя, перебил врагов Миндовга и готовился снова идти в монастырь, предоставляя княжение сыну Данила Шварну. Среди этих событий в 1264 году Данило, еще прежде впавший в болезнь, скончался в Холме и погребен там в построенной им церкви Богородицы.

В судьбе этого князя было что-то трагическое. Многого добился он, чего не достигал ни один южнорусский князь, и с такими усилиями, которых не вынес бы другой. Почти вся южная Русь, весь край, населенный южнорусским племенем, был в его власти: но не успевши освободиться от монгольского ига и дать своему государству самостоятельного значения, Данило тем самым не оставил и прочных залогов самостоятельности для будущих времен. По отношению к своим западным соседям, как и вообще во всей своей деятельности, Данило всегда отважный, неустрашимый, но вместе с тем великодушный и добросердечный до наивности, был менее всего политик. Во всех его действиях мы не видим и следа хитрости, даже той хитрости, которая не допускает людей попадаться в обман. Этот князь представляет совершенную противоположность с осторожными и расчетливыми князьями восточной Руси, которые, при всем разнообразии личных характеров, усваивали от отцов и дедов путь хитрости и насилия и привыкли не разбирать средств для достижения цели.

Не прошло ста лет после Данила, и в то время, как в восточной Руси возникали прочные начала государственного единения, южная Русь – явившись еще в XIII веке на короткое время в образе государства под властью князя, получившего титул монарха между европейскими государями – не только распалась, но сделалась добычей чужеземцев. К такой судьбе бесспорно приводило ее географическое положение, близкое соседство с Европой. Восточную часть южной Руси завладели литовцы, западную – поляки, и, по соединении последних между собою в одну державу, южная Русь на многие века была оторвана от русской земли, подвергаясь насильственному давлению чуждых стихий и выбиваясь из-под их гнета тяжелыми, долгими и кровавыми усилиями народа. Но личность Данила Галицкого тем не менее остается благородною, наиболее возбуждающею к себе сочувствие личностью во всей древней русской истории.

## **Глава 8**

### **Князь Александр Ярославич Невский**

XIII век был периодом самого ужасного потрясения для Руси. С востока на нее нахлынули монголы с бесчисленными полчищами покоренных татарских племен, разорили, обезлюднили большую часть Руси и поработили остаток народонаселения; с северо-запада угрожало ей немецкое племя под знаменем западного католичества. Задачею политического деятеля того времени было поставить Русь по возможности в такие отношения к разным врагам, при которых она могла удержать свое существование. Человек, который принял на себя эту задачу и положил твердое основание на будущие времена дальнейшему исполнению этой задачи, по справедливости может назваться истинным представителем своего века.

Таким является в русской истории князь Александр Ярославич Невский.

Отрочество и юность его большею частью протекли в Новгороде. Отец его Ярослав всю жизнь то ссорился с новгородцами, то опять ладил с ними. Несколько раз новгородцы прогоняли его за крутой нрав и насилие и несколько раз приглашали снова, как бы не в состоянии обойтись без него. Князь Александр уже в молодых годах подвергался тому же вместе с отцом. В 1228 году, оставленный со своим братом Федором, с двумя княжескими мужами, в Новгороде, он должен был бежать, не выдержав поднявшегося в то время междоусобия – явления обычного в вольном Новгороде. В 1230 году юноша снова вернулся в Новгород с отцом и с тех пор, как кажется, долго не покидал Новгорода. С 1236 года

начинается его самобытная деятельность. Отец его Ярослав уехал в Киев; Александр посажен был князем в Великом Новгороде. Через два года (1238) Новгород праздновал свадьбу своего молодого князя: он женился на Александре, дочери Брячислава полоцкого, как кажется, последнего из Рогволодовичей, скоро замененных в Полоцке литовскими князьками. Венчание происходило в Торопце. Князь отпраздновал два свадебных пира, называемых тогда «кашею» – один в Торопце, другой в Новгороде, как бы для того, чтобы сделать новгородцев участниками своего семейного торжества. Молодой князь был высок ростом, красив собою, а голос его, по выражению современника, «гремел перед народом как труба». Вскоре важный подвиг предстоял ему.

Вражда немецкого племени со славянским принадлежит к таким всемирным историческим явлениям, которых начало недоступно исследованию, потому что оно скрывается во мраке доисторических времен. При всей скудости сведений наших, мы не раз видим в отдаленной древности признаки давления немецкого племени над славянским. Уже с IX века в истории открывается непрерывное многовековое преследование славянских племен; немцы поработали их, теснили к востоку и сами двигались за ними, поработая их снова. Просторный прибалтийский край, некогда населенный многочисленными славянскими племенами, подпал насильственному немецкому игу для того, чтобы потерять до последних следов свою народность. За прибалтийскими славянами к востоку жили литовские и чудские племена, отделявшие первых от их русских соплеменников. К этим племенам в конце XII и начале XIII века проникли немцы в образе воинственной общины под знаменем религии, и, таким образом, стремление немцев к поработлению чужих племен соединилось с распространением христианской веры между язычниками и с подчинением их папскому престолу. Эта воинственная община была рыцарским орденом крестоносцев, разделявшимся на две ветви: орден Тевтонский, или Св. Марии, и, позже ею основанный в 1202 году, орден Меченосцев, предназначенный для поселения в чудских и леттских краях, соседних с Русью. Оба эти ордена, впоследствии, соединились для совокупных действий.

Полоцкий князь Владимир, по своей простоте и недалекости, сам уступил пришельцам Ливонию (нынешние прибалтийские губернии) и этим поступком навел на северную Русь продолжительную борьбу с исконными врагами славянского племени.

Властолюбивые замыслы немцев после уступки им Ливонии обратились на северную Русь. Возникла мысль, что призыванием ливонских крестоносцев было не только крестить язычников, но и обратить к истинной вере русских. Русские представлялись на западе врагами Св. отца и римско-католической церкви, даже самого христианства.

Борьба Новгорода с немцами была неизбежна. Новгородцы еще прежде владели значительным пространством земель, населенных чудью, и постоянно, двигаясь на запад, стремились к подчинению чудских племен. Вместе с тем они распространяли между последними православие более мирным, хотя и более медленным путем, чем западные рыцари. Как только немцы утвердились в Ливонии, тотчас начались нескончаемые и непрерывные столкновения и войны с Новгородом; и так шло до самой войны Александра. Новгородцы подавали помощь язычникам, не хотевшим креститься от немцев, и потому-то в глазах западного христианства сами представлялись поборниками язычников и врагами Христовой веры. Такие же столкновения явились у новгородцев с католической Швецией по поводу Финляндии, куда с одной стороны проникали новгородцы с православным крещением, а с другой шведы с западным католичеством; спор между обеими сторонами был также и за земное обладание финляндской страной.

Папа, покровительствуя ордену, возбуждал как немцев, так и шведов к такому же покорению северной Руси, каким уже было покорение Ливонии и Финляндии. В завоеванной Ливонии немцы насильно обращали к христианству язычников; точно так же приневоливали они принимать католичество крещенных в православную веру туземцев; этого мало: они насильствовали совесть и тех коренных русских поселенцев, которых отцы еще прежде прибытия рыцарей водворились в Ливонии.

Силы ордена Меченосцев увеличились от соединения с Тевтонским орденом. Между

тем рыцари, по решению папы, должны были уступить датчанам часть Ливонии (Гаррию и Вирландию), а папа предоставил им вознаградить себя за это покорением русских земель. Вследствие этого, по призыву дерптского епископа Германа, рыцари и с ними толпа немецких охотников бросились на Псков. Один из русских князей Ярослав Владимирович вел врагов на своих соотечественников. В 1240 году немцы овладели Псковом: между псковитянами нашлись изменники; один из них, Твердила Иванкович, стал управлять городом от немецкой руки.

Между тем на Новгород ополчились шведы. Папская булла поручала шведам начать поход на Новгород, на мятежников, непокорных власти наместника Христова, на союзников язычества и врагов христианства. В Швеции, вместо больного короля, управлял тогда зять его Биргер. Этот правитель Биргер сам взял начальство над священным ополчением против русских. В войске его были шведы, норвежцы, финны и много духовных особ с их вассалами. Биргер прислал в Новгород к князю Александру объявление войны надменное и грозное: «Если можешь, сопротивляйся, знай, что я уже здесь и пленю землю твою».

У новгородцев война также приняла религиозный характер. Дело шло о защите православия, на которое разом посягали враги, возбужденные благословением папы. Александр Ярославич помолился у Св. Софии и выступил с новгородскою ратью к устью Волхова. К нему пристали ладожане, подручники Великого Новгорода. Шведы вошли в Неву и бросили якорь в устье Ижоры. Вероятно, это был роздых: они намеревались плыть через озеро и достигнуть Ладоги врасплох; прежде всего следовало взять этот новгородский пригород, а потом вступить в Волхов и идти на Великий Новгород. В Новгороде уже знали о них. Александр не медлил и, предупредивши их, приблизился к Ижоре в воскресенье 15-го июля (1240). Шведы не ждали неприятелей и расположились спокойно; их шнеки стояли у берега; раскинуты были на побережье шатры их. Часов в одиннадцать утра новгородцы внезапно появились перед шведским лагерем, бросились на неприятелей и начали их рубить топорами и мечами, прежде чем те успевали брать оружие. Немало было молодцов, которые отличились здесь своею богатырскою удачью: между ними новгородец Савва бросился на шатер Биргера, что красовался посреди лагеря своим золотым верхом. Савва подсек столб у шатра. Новгородцы очень обрадовались, когда увидели, как упал этот шатер золототерхый. Сам Александр нагнал Биргера и хватил его острым копьем по лицу. «Возложил ему печать на лицо», – говорит повествователь. У шведов было много убитых и раненых. Схоронили они наскоро часть убитых на месте, свалили остальных на свои шнеки, чтобы похоронить в отечестве, и в ночь до света все уплыли вниз по Неве в море.<sup>22</sup>

Велико было торжество новгородцев. Но вскоре не поладил с ними Александр и ушел в Переяславль.

А тем временем на Новгород шли другие такие же враги. Немцы, завоевавши Псков, заранее считали уже своим приобретенным достоянием Водь, Ижору, берега Невы, Карелию (края нынешней Петербургской, отчасти Олонецкой губернии); они отдавали страны эти католичеству, и папа присудил их церковному ведомству эзельского епископа. 13-го апреля 1241 года эзельский епископ по имени Генрих заключил с рыцарями договор: себе брал

---

<sup>22</sup> У новгородцев был обычай ставить стражу при впадении Невы в море. Начальство над этой стражей было тогда поручено какому-то крещеному вожанину (принадлежавшему к Води народу чудского или финского племени, населявшему нынешнюю Петербургскую губернию) Пельгусию, получившему в крещении имя Филиппа. Пельгусий был очень благочестив и богоугоден, соблюдал посты и потому сделался способным видеть видения. Когда шведы явились, он пошел к Александру известить о их прибытии и рассказал ему, как стали шведы. «Мне было видение, – сказал он, – когда я еще стоял на краю моря; только что стало восходить солнце, услышал я шум страшный по морю и увидел один насад; посреди насада стояли Святые братья Борис и Глеб; одежда на них была вся красная, а руки держали они на плечах: на краю их ладьи сидели гребцы и работали веслами, их одевала мгла, и нельзя было различить лика их, но я услышал, как сказал Борис мученик брату своему Св. Глебу: „Брате Глебе! Вели грести, да поможем мы сроднику своему, великому князю Александру Ярославичу!“ И я слышал глас Бориса и Глеба; и мне стало страшно, так что я трепетал; и насад отошел из глаз у меня». – «Не говори же этого никому другому», – сказал ему Александр. Такое благочестивое предание осталось об этом событии.

десятину от десятины со всех произведений, а им отдавал все прочее, рыбные ловли, управления и все вообще мирские доходы с будущих владений.

Немцы и покоренные ими латыши и эсты бросились на новгородские земли, предавали их опустошению, взяли пригород Лугу, Тесово, построили укрепление в погосте Копорье. Вожане поневоле приставали к ним; те, которые не хотели, – разбежались в леса и умирали с голода. Неприятельские шайки металась в разные стороны, достигали тридцати верст от Новгорода и убивали новгородских гостей, ездивших за товарами. В таких обстоятельствах новгородцы послали к Ярославу просить князя. Ярослав прислал им сына Андрея. Немцы причиняли им все более и более зла: у поселян по Луге отобрали всех коней и скот, и не на чем было пахать поселянам. Новгородцы рассудили, что один Александр может их выручить, и отправили к нему владыку Спиридона. Дело касалось не одного Новгорода, а всей Руси, – Александр не противился.

Немедленно отправился он с новгородцами очищать новгородскую землю от врагов, разогнал их отряды, взял Копорье, милостиво обращаясь с пленниками, перевешал, однако, изменивших Новгороду вожан и чуд. Затем он достиг Пскова, освободил его от немцев, отправил в оковах в Новгород двух немецких наместников Пскова.

Оставаясь во Пскове, Александр ждал против себя новой неприятельской силы и вскоре услышал, что она идет на него. В первых числах апреля 1242 года Александр двинулся навстречу врагам, и у скалы, называемой Вороний камень на Узмени, произошла другая битва, не менее знаменитая Невской, известная в истории под названием: «Ледовое побоище». Враги встретились в субботу 5 апреля при солнечном восходе. Увидя приближающихся врагов, Александр поднял руки вверх и громко сказал: «Рассуди, Боже, спор мой с этим высокомерным народом!» Битва была упорная и жестокая. С треском ломались копья. Лед побагровел от крови и трескался местами. Многие потонули. Потерявшие строй немцы бежали: русские с торжеством гнали за ними семь верст до Суболичского берега.

С торжеством возвращался Александр в освобожденный Псков. Близ коня его вели знатных рыцарей, за ним гнали толпу простых пленных. Навстречу ему вышло духовенство. Народ приветствовал победителя радостными кликами.

Эти две победы имеют важное значение в русской истории. Правда, проявления вражды немцев с русскими не прекращались и после того, в особенности для Пскова, который не раз вступал с орденом в кровавые столкновения, но уже мысль о покорении северных русских земель, о порабощении их наравне с Ливонией, которое подвергло бы их участи прибалтийских славян, – навсегда оставила немцев. Сами папы, вместо грозных булл, возбуждавших крестовые походы на русских наравне с язычниками, избрали другой путь, в надежде подчинить себе Русь, – путь посольств и убеждений, оказавшийся, как известно, столько же бесплодным, как и прежние воинственные буллы.

Таким образом, папа Иннокентий IV прислал к Александру в 1251 (булла писана в 1248) двух кардиналов Гальда и Гемонта. Папа уверял Александра, будто отец Александра изъявлял обещание монаху Плато-Карпини подчиниться римскому престолу, но смерть не допустила его до исполнения этого намерения. Папа убеждал Александра идти по следам отца, представлял выгоды, какие русский князь и Русь получают от этого подчинения, и обещал против татар помощь тех самых рыцарей, от которых недавно Александр освобождал русские земли. В летописях есть ответ Александра папе, явно сочиненный впоследствии, но не подлежит сомнению, что Александр не поддавался увещаниям и отказал наотрез. Посольство это повлекло за собою в последующей русской истории множество подобных посольств, также бесполезных.

Александр мог оружием переведаться с западными врагами и остановить их покушения овладеть северною Русью: но не мог он с теми же средствами действовать против восточных врагов. Западные враги только намеревались покорить северную Русь, а восточные уже успели покорить прочие русские земли, опустошить и обезлюдить их. При малочисленности, нищете и разрозненности остатков тогдашнего русского населения в восточных землях

нельзя было и думать о том, чтобы выбиться оружием из-под власти монголов. Надобно было избрать другие пути. Руси предстояла другая историческая дорога, для русских политических людей – другие идеалы. Оставалось отдаться на великодушные победителей, кланяться им, признать себя их рабами и тем самым, как для себя, так и для своих потомков, усвоить рабские свойства. Это было тем легче, что монголы, безжалостно истреблявшие все, что им сопротивлялось, были довольно великодушны и снисходительны к покорным. Александр, как передовой человек своего века, понял этот путь и вступил на него. Еще отец его Ярослав отправился в Орду, но не воротился оттуда. Его путешествие не могло служить образцом, потому что не могло назваться счастливым: говорили даже, что его отравили в Орде. Александр совершил свое путешествие с таким успехом, что оно послужило образцом и примером для поведения князей.

Наши летописцы говорят, что Батый сам приказал Александру в качестве князя новгородского явиться к себе и дал приказ в таких выражениях: «Мне покори́л Бог многие народы: ты ли один не хочешь покориться державе моей? Но если хочешь сохранить за собою землю свою, прийди ко мне: увидишь честь и славу царства моего». Александр приехал в Волжскую Орду вместе с братом Андреем в 1247 году. Тогда, по смерти Ярослава, достоинство старейшего князя оставалось незанятым и от воли победителей зависело дать его тому или другому.

Монголы жили тогда еще совершенно кочевую жизнью, хотя и окружали себя роскошью цивилизации тех стран, которые они покори́ли и опустошили. Еще постоянных городов у них на Волге не было; зато были, так сказать, подвижные огромные города, состоявшие из разбитых по прихоти властелина кибиток, перевозимых на телегах с места на место. Где пожелает хан, там устраивался и существовал более или менее долгое время многолюдный кочевой город. Являлись ремесла и торговля; потом – по приказанию хана – все укладывалось, и огромный обоз в несколько сот и тысяч телег, запряженных волами и лошадьми, со стадами овец, скота, с табунами лошадей, двигался для того, чтобы, через несколько дней пути, опять расположиться станом. В такой стан прибыли наши князья. Их заставили, по обычаю, пройти между двумя огнями для очищения от зловредных чар, которые могли пристать к хану. Выдержавши это очищение, они допускались к хану, перед которым они должны были явиться с обычными земными поклонами. Хан принимал завоеванных подручников в разрисованной войлочной палатке, на вызолоченном возвышении, похожем на постель, с одною из своих жен, окруженный своими братьями, сыновьями и сановниками; по правую руку его сидели мужчины, по левую женщины. Батый принял наших князей ласково и сразу понял, что Александр, о котором уже он много слышал, выходит по уму своему из ряда прочих русских князей.

По воле Батыея Ярославичи должны были отправиться в Большую Орду к великому хану. Путь нашим князьям лежал через необозримые степные пространства Средней Азии. Ханские чиновники сопровождали их и доставляли переменных лошадей. Они видели недавно разоренные города и остатки цивилизации народов, поработанных варварами. До монгольского погрома многие из этих стран находились в цветущем состоянии, а теперь были в развалинах и покрыты горами костей. Поработанные остатки народонаселения должны были служить завоевателям. Везде была крайняя нищета, и нашим князьям не раз приходилось переносить голод; немало терпели они там от холода и жажды. Только немногие города, и в том числе Ташкент, уцелели. У самого великого хана была столица Кара-Корум, город многолюдный, обнесенный глиняной стеной с четырьмя воротами. В нем были большие здания для ханских чиновников и храмы разных вероисповеданий. Тут толпились пришельцы всевозможных наций, покоренных монголами; были и европейцы: французы и немцы, приходившие сюда с европейским знанием ремесел и художеств – самая пестрая смесь племен и языков. За городом находился обширный и богатый ханский дворец, где хан зимою и летом на торжественные празднества являлся как божество, сидя с одною из своих жен на возвышении, украшенном массою золота и серебра. Но оседлое житье в одном месте было не во вкусе монголов. Являясь только по временам в столицу, великий хан, как и



волжские ханы, проводил жизнь, переезжая с места на место с огромным обозом: там, где ему нравилось, располагались станом, раскидывались бесчисленные палатки, и одна из них, обитая внутри листовым золотом и украшенная драгоценностями, отнятыми у побежденных народов, служила местопребыванием властелина. Возникал многолюдный город и исчезал, появляясь снова в ином месте. Все носило вид крайнего варварства, смешанного с нелепой пышностью. Безобразные и нечистоплотные монголы, считавшие опрятность даже пороком, питавшиеся такой грязной пищей, которой одно описание возбуждает омерзение, безвкусно украшали себя несметными богатствами и считали себя по воле Бога обладателями всей вселенной.

Нам неизвестно, где именно Ярославичи поклонились великому хану, но они были приняты ласково и возвратились благополучно домой. Андрей получил княжение во Владимире, Александру дали Киев; по-видимому, в этом было предпочтение Александру, так как Киев был старше Владимира, но киевская земля была в те времена до такой степени опустошена и малолюдна, что Александр мог быть только по имени великим князем. Вероятно, монголы сообразили, что Александр, будучи умнее других, мог быть для них опасен, и потому, не испытавши его верности, не решились дать ему тогда Владимир, с которым соединялось действительное старейшинство над покоренными русскими землями.

Посещение монголов должно было многому научить Александра и во многом изменить его взгляды. Он познакомился близко с завоевателями Руси и понял, с какой стороны с ними ужиться возможно. Свирепые ко всему, что сопротивлялось им, монголы требовали одного – раболепного поклонения. Это было в их нравах и понятиях, как и вообще у азиатских народов. Чрезвычайная сплоченность сил, безусловное повиновение старшим, совершенная безгласность отдельной личности и крайняя выносливость – вот качества, способствовавшие монголам совершать свои завоевания, качества, совершенно противоположные свойствам тогдашних русских, которые, будучи готовы защищать свою свободу и умирать за нее, еще не умели сплотиться для этой защиты. Чтобы ужиться теперь с непобедимыми завоевателями, оставалось и самим усвоить их качества. Это было тем удобнее, что монголы, требуя покорности и дани, считая себя вправе жить на счет побежденных, не думали насиловать ни их веры, ни их народности. Напротив, они оказывали какую-то философскую терпимость к вере и приемам жизни побежденных, но покорных народов. Поклоняясь единому Богу, с примесью грубейших суеверий, естественно свойственных варварскому состоянию умственного развития, они не только дозволяли свободное богослужение иноверцам, но и отзывались с известным уважением о всех верах вообще. Проницательный ум Александра, вероятно, понял также, что покорность завоевателю может доставить такие выгоды князьям, каких они не имели прежде.

До тех пор князья наши волею-неволею должны были разделять власть свою с народною властью веча или подбирать себе сторонников в рядах народа. Собственно, они были только правителями, а не владельцами, не вотчинниками, не государями. Монголы, как по своим понятиям, так и по расчету, естественно, усиливали власть и значение князей за счет веча: легче и удобнее им было вести дело с покорными князьями, чем с непостоянными собраниями веч. Вот отчего все русские князья, побивши челом хану, получали тогда свои княжения в вотчину, и власть их в большей части русских земель очень скоро подавила древнее вечевое право. Звание старейшего князя было прежде почти номинальным: его слушались только тогда, когда хотели, теперь же это звание вдруг получило особую важность потому, что старейшего сам хан назначал быть выше прочих князей.

Александр не поехал в данный ему Киев, а отправился в Новгород. Пока он не был старейшим, еще он ладил с новгородской вольностью. Новгородцы считали себя независимыми от татар, но через два года произошел на Руси переворот.

Андрей не удержался на владимирском княжении. Этот князь не мог так скоро изменить понятий и чувствований, свойственных прежнему русскому строю и шедших вразрез с потребностями новой политической жизни. Ему тяжело было сделаться рабом. В это время он женился на дочери Данила Галицкого, который еще не кланялся хану, не

признал себя его данником и искал средств избавиться от этой тяжелой необходимости. Летописные известия об этих событиях до того сбивчивы, что не дают нам возможности выявить, как и чем Андрей вооружил против себя победителей. Но известно, что в 1252 году Александр отправился в Волжскую Орду и там получил старейшинство и владимирское княжение от Сартака, управлявшего делами за дряхлостью отца своего Батыя. Андрей, посоветовавшись со своими боярами, счел лучшим бежать в чужую землю, нежели «служить царю». Но татары уже шли на него под начальством Неврюя и других предводителей, догнали его под Переяславлем и разбили. Андрей убежал в Новгород, но там его не приняли: изгнанник через Псков и Колывань (Ревель) убежал с женою в Швецию. Татары опустошили Переяславль и рассеялись по земле, истребляя людей и жилища, увозя пленных и скот, так как по правилу монгольскому, да и вообще как везде делалось в те времена, за вину князя должна была расплачиваться вся земля. В это время схвачена была и убита жена князя Ярослава Ярославича. Александр, получив старейшинство, сел во Владимире, и на первый раз пришлось ему отстраивать церкви и людские жилища, разоренные полчищем Неврюя.

С этих пор Александр, чувствуя свое старейшинство и силу, готовый найти поддержку в Орде, поднял голову и иначе показал себя, что в особенности видно в его отношениях к Новгороду. Живя во Владимире, Александр поставил князем в Новгороде сына своего Василия. В 1255 году новгородцы невзлюбили Василия и прогнали его, призвавши вместо него брата Александрова Ярослава, князя тверского, жившего тогда во Пскове. Явление совершенно обычное, множество раз повторявшееся; и сам Александр, испытывая то же в былое время, уходил из Новгорода, когда его прогоняли, и опять являлся в Новгород по призыву и мирился с новгородцами. Но на этот раз Александр уже не спустил Великому Новгороду. Василий убежал в Торжок, где жители были за него. Отец тотчас собрал в своей владимирской земле рать и отправился в Торжок с тем, чтобы по своей воле опять восстановить сына на княжении. Призванный князь Ярослав убежал из Новгорода. Новгород остался без князя, и какой-то переветчик Ратишка дал об этом знать великому князю. Александр с Василием пошел на Новгород.

Между тем внутри Новгорода происходила безледица. Прорвалась не раз проявлявшаяся в его истории вражда лучших, или вящих людей и меньших, – иначе бояр и черни. Посадником был тогда Анания, представитель и любимец меньших людей, прямодушный ревнитель новгородской старины и вольности. Ожидая приближения великого князя, новгородцы вооружились и выставили полки за церковью Рождества и от Св. Ильи против Городища, ограждая Торговую (на правом берегу Волхова) сторону, которая была главным образом местопребыванием меньших людей. Но некоторые вящие люди замыслили иное: из них составила партия под начальством Михалки Степановича, человека коварного и своекорыстного, смекнувшего, что наступают иные времена, и сообразившего, на чьей стороне сила. В тревоге собрались новгородцы на вече на обычном месте у Св. Николая (Дворищенского). «Братья, – говорили они между собою, – а что если князь скажет: выдайте моих врагов?» Тогда меньшие по прадедовскому обычаю «целовали Богородицу» на том, чтобы стоять всем на живот и на смерть за правду новгородскую, за свою отчину. Но Михалка, замышлявший убить Ананию и какими бы то ни было путями сделаться самому посадником, убежал со своими единомышленниками в Юрьев монастырь. Разнеслась весть, что вящие хотят напасть на Новгород и бить меньших. Новгородцы кричали, что нужно убить Михалку и ограбить его двор, но тут заступился за него посадник Анания. Он послал предостеречь своего тайного врага, и когда расвирепевшие новгородцы кричали: убить Михалку, Анания сказал им: «Братья, если его убьете, убейте прежде меня».

Приехал в Новгород посол от Александра с такими словами: «Выдайте мне Ананию посадника, а не выдадите, я вам не князь: иду на город ратью!» Новгородцы послали к Александру владыку Далмата и тысяцкого Клима: «Князь, иди на свой стол, а злодеев не слушай: не гневайся на Ананию и на всех мужей новгородских».

Владыка и тысяцкий возвратились с отказом. Александр упорно добивался своего. Тогда новгородцы приговорили на вече: «Если князь такое задумал с нашими

клятвопреступниками, – пусть их судит Бог и Св. София, а на князя мы не кладем греха!» Все вооружились и три дня стояли наготове. Выдавать миром своих было для новгородцев неслыханным бесчестным делом. Александр рассудил, что раздражать далее народ и доводить дело до драки нет нужды, когда главная цель его может быть достигнута более мирным соглашением, и послал сказать новгородцам: «Я не буду держать на вас гнева; пусть только Анания лишится посадничества».

Анания лишился посадничества, и новгородцы примирились с Александром. Александр прибыл в Новгород и был радушно встречен народом, издавна знавшим его. Василий был восстановлен на княжении. Новгородцы в угодность Александру поставили посадником Михалка.

Это событие, несмотря на черты, слишком обычные в новгородском строе жизни, имело, однако, важное и новое значение в новгородской истории. Новгородцы выгоняли князей своих, иногда терпели от них и, забывая старое, опять приглашали, как напр., было с Ярославом, отцом Александра, но то делалось по новгородской воле, при обычном непостоянстве новгородцев. Не было еще примера, чтобы великий князь силою заставил принять только что изгнанного ими князя. Александр показал новгородцам, что над их судьбою есть внешняя сила, повыше их веча и их партий – сила власти старейшего князя всей Руси, поставленного волею могущественных иноземных завоевателей и владык русской земли. Правда, что Александр, вступивши в Новгород, обласкал новгородцев, заключил с ними мир на всей вольности новгородской, но в проявлении его могучей воли слышались уже предвестники дальнейшего наложения на Новгород великокняжеской руки.

Через несколько времени Новгород увидел в своих стенах того же Александра, уже не так мирно улаживающего свои недоумения с новгородской вольностью. В Орде произошел переворот: Батый умер. Сын его Сартак был умерщвлен дядею Берке, объявившим себя ханом. Последний вверил дела Руси своему наместнику Улагчи. Тогда пришла весть, что хан посылает своих чиновников для переписи народа и собирания дани. Александр поспешил в Орду, думая предотвратить грядущие бедствия: русских страшил не самый платеж дани; они покорялись необходимости платить ее через своих князей, но долгое пребывание татар в земле русской наводило всеобщий страх. Александр не успел умиловить хана. В землю рязанскую, муромскую и суздальскую явились татарские численники, ставили своих десятников, сотников, тысячников, темников, переписывали жителей для обложения их поголовною данью, не включали в перепись только духовных лиц. Вводилось, таким образом, чуждое управление внутри Руси. Народу было очень тяжело. В следующем 1257 году Александр вновь отправился в Орду с братьями своими: Ярославом тверским и суздальским Андреем, с которыми, недавно не ладивши, помирился. Улагчи требовал, чтобы Новгород также подвергся переписи и платежу дани. Как ни близок был Александру Новгород, но он счел за лучшее покориться. Между тем в Новгород уже достигла весть о том, что туда идут татарские численники. Все лето там была тревога и смятение. Новгород не был до сих пор покорен, подобно прочим русским землям, татарским оружием и не помышлял, чтобы ему добровольно пришлось платить постыдную дань, наравне с покоренными. Вящие люди, и в том числе посадник Михалка, готовые угождать силе для своих выгод и сохранения своих богатств, уговаривали новгородцев покориться, но меньшие слышать об этом не хотели. Их любимец Анания скончался в августе. Волнение после его смерти усилилось, и, наконец, ненавистный для меньших, насильно поставленный против их воли, Михалко был убит. Князь Василий разделял чувства новгородцев. Наконец, прибыл в Новгород Александр с татарскими послами требовать десятины и тамги. Василий, с одной стороны, не смел противиться отцу, с другой – стыдился изменить новгородскому делу и бежал во Псков. Новгородцы наотрез отказались платить дань, но ласково приняли ханских послов и отпустили домой с честью и дарами. Этим Великий Новгород заявлял, что он относится с уважением к ханской власти, но не признает ее над собою. Тогда Александр выгнал своего сына из Пскова и отправил на суздальскую землю, а некоторых новгородских бояр, стоявших заодно с меньшими и имевших, по его мнению, влияние на Василия, схватил

и наказал бесчеловечным образом: иным обреза́л носы, другим выколо́л глаза и т.п.

Такова была награда, какую получили эти защитники новгородской независимости в угоду поработителям от того самого князя, который некогда так блистательно защищал независимость Новгорода от других врагов.

Зимой (с 1258 на 1259 год) прибыл с низу Михайло Пинецинич и объявил новгородцам, что ханские полки идут на Новгород и будут добывать его оружием, если новгородцы не согласятся на перепись. Весть эта была несправедлива, но правдоподобна. Само собою разумеется, что хан не согласился бы удовольствоваться дарами. Весть эта нагнала такой страх, что с первого раза новгородцы согласились. Вероятно, об этом было дано знать в Орду, потому что тою же зимою прибыли в Новгород ханские чиновники: Беркай и Касачик, с женами, и множество татар. Они остановились на Городище<sup>23</sup> и стали собирать тамгу по волости. Новгородцы, увидя необычное зрелище, снова возмутились. Бояре, наблюдая свои корыстные цели, уговаривали народ смириться и быть покорным, но меньшие собирались у Св. Софии и кричали: «Умрем честно за Св. Софию и дома ангельские». Тогда татары стали бояться за свою жизнь, и Александр приставил посадничьего сына и боярских детей стеречь их по ночам. Такое положение скоро наскучило татарам, и они объявили решительно: «Давайте нам число, или мы побежим прочь». Вящие люди стали домогаться уступки. Тогда в Новгороде распространилась молва, что вящие хотят вместе с татарами напасть на Новгород. Толпы народа собирались на Софийской стороне поближе к Св. Софии и кричали: «Положим головы у Св. Софии». Наконец, на другой день Александр выехал из Городища с татарами. Тогда вящие люди убедили наконец меньших не противиться и не навлекать на Новгород неминуемой беды. Они, – говорит летописец, – себе делали добро, а меньшим людям зло: дань одинаково распределялась как на богатых, так и на бедных! Александр прибыл в город с татарами. Ханские чиновники ездили по улицам, переписывали дворы и, сделав свое дело, удалились. Александр посадил на княжение сына своего Дмитрия и уехал во Владимир.

С тех пор Новгород, хотя не видал после у себя татарских чиновников, но участвовал в платеже дани, доставляемой великими князьями хану от всей Руси. Эта повинность удерживала Новгород в связи с прочими русскими землями.

Но не в одном Новгороде – и в покоренных русских землях прежние свободные привычки не вынесли еще рабства и утеснения. Монгольскую дань взяли тогда на откуп хивинские купцы, носившие название бесермен – люди магометанской веры. Способ сбора дани был очень отяготителен. В случае недоимок, откупщики насчитывали большие проценты, а при совершенной невозможности платить, брали людей в неволю. Кроме того, они раздражали народ неуважением к христианской вере. Народ вскоре пришел в ожесточение; в городах: Владимире, Суздале, Ростове, Переяславле, Ярославле и других по старому обычаю зазвонили на вече и по народному решению перебили откупщиков дани. В числе их в Ярославле был один природный русский по имени Изосим. Прежде он был монах, пьяный и развратный, съездивши в Орду, принял там магометанство и, воротившись в отечество, сделался откупщиком дани, безжалостно утеснял своих соотечественников и нагло ругался над святынею христианской церкви. Ярославцы убили его и бросили труп па растерзание собакам и воронам. Зато в Устюге один природный татарин, будучи также сборщиком дани, спасся от общей беды. Его звали Буга. В Устюге он взял себе наложницу, дочь одного тамошнего обывателя, по имени Мария, которая полюбила его и заранее известила о грозившей ему опасности. Буга изъявил желание креститься. Народ простил его. Он был назван в крещении Иоанном, женился на Марии, навсегда остался на Руси и приобрел всеобщую любовь. Память его осталась навсегда в местных преданиях, а воспоминание о бесерменах до сих пор слышится в бранном слове: басурман, которым русский человек называл некрещеных, а иногда только неправославных людей.

Само собою разумеется, что это событие возбудило гнев властителей Руси. В Орде уже

---

<sup>23</sup> В двух с половиною верстах от Новгорода, где, по преданию, был город прежде Новгорода.

собирали полки наказывать мятежников; Александр поспешил в Орду. Кроме сбора дани, русским угрожала еще иная тягость помогать войском татарам в их войнах с другими народами.

Тогда в Волжской Орде происходило важное преобразование. Хан Берке принял магометанство, которое быстро распространилось в его народе, тем легче, что и прежде в полчищах монголов большинство народов, им покоренных и за них воевавших, исповедывало магометанство. В то же время кочевая жизнь мало-помалу начала сменяться оседлою. На Волге строился Кипчак, обширный город, который хан украшал всем великолепием, какое только было возможно при его могуществе. Хан Берке оказался более милостив к русским, чем можно было даже ожидать. Он не только простил русским избиение бесерменов, (которых погибель, как народа подвластного, не могла раздражать его в той мере, в какой подействовало бы на него избиение ханских чиновников), но по просьбе Александра освободил русских от обязанности идти на войну. Александр, однако, прожил тогда в Орде всю зиму и лето, и это заставляет предполагать, что не сразу удалось ему приобрести такую милость для своих соотечественников. Возвращаясь оттуда по Волге большим, он остановился в Нижнем Новгороде, через силу продолжал путь далее, но, приехав в Городец, окончательно слег и, приняв схиму, скончался 14 ноября 1263 года. Тело его встречено народом близ Боголюбова и было похоронено во Владимире в церкви Рождества Богородицы. Говорят, что митрополит Кирилл, услышавши во Владимире о смерти Александра, громко сказал: «Зашло солнце земли русской». Духовенство более всего уважало и ценило этого князя. Его угодливость хану, умение ладить с ним, твердое намерение держать Русь в повиновении завоевателям и тем самым отклонять от русского народа бедствия и разорения, которые постигали бы его при всякой попытке к освобождению и независимости, — все это вполне согласовалось с учением, всегда проповедуемым православными пастырями: считать целью нашей жизни загробный мир, безропотно терпеть всякие несправедливости и угнетения, покоряться всякой власти, хотя бы иноплеменной и поневоле признаваемой.

## **Глава 9**

### **Московские князья братья Даниловичи**

У Александра Невского было четыре сына: старший, Василий, княжил в юности в Новгороде, а впоследствии в Костроме, где и умер. Димитрий и Андрей вели между собою кровавый спор за великое княжение; последний отличился тем, что дважды наводил на Русь татар, которые произвели в ней ужаснейшие опустошения (1282 и 1294 гг.), отозвавшиеся на целые десятилетия. Четвертый сын Невского, Даниил, остался после отца ребенком. Ему в удел досталась Москва. Даниил был первый князь, поднявший значение этого города, бывшего до сих пор незначительным пригородом Владимира. Участвуя в междоусобиях своих братьев, Даниил хитростью взял в плен рязанского князя Константина, воспользовавшись изменою рязанских бояр, и держал его в неволе. Это событие было первым проявлением тех приемов самоусиления, которыми так отличалась Москва, теперь только что возникавшая. Вместе с тем Даниил положил зачаток тому расширению владений, которое так последовательно вели все его преемники. Племянник Даниила Иван Дмитриевич переяславский, умирая бездетным, завещал ему Переяславль. Даниил тотчас захватил его и отстоял от посягательств брата своего Андрея. Даниил умер в 1303 году, приняв перед смертью схиму. По летописным известиям он погребен был в деревянной церкви Св. Михаила, которая стояла на месте нынешнего Архангельского собора в Москве; а предание, записанное в его Житии, помещает его могилу в Данииловом монастыре, будто бы им основанном. Как бы то ни было, имя Даниила было в большом уважении у его потомков, как родоначальника дома московских князей.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Рассказывают, что после того, как сын Даниила Иван перенес построенную отцом его обитель

Даниил оставил сыновей: Юрия, Ивана, Александра, Бориса и Афанасия. Из них Юрий и Иван по своей деятельности были важнейшими людьми в истории Руси в XIV веке. Они подняли значение Москвы и твердо поставили историческую задачу, которую предстояло постепенно разрешить их преемникам в последующие времена.

Великий князь Андрей Александрович умер в 1304 году. Звание великого князя, которое при новых условиях татарского господства сделалось гораздо важнее и знаменательнее, чем было прежде, зависело исключительно от воли хана, верховного повелителя и истинного государя русской земли. Собственно, никаких прав, принадлежащих в этом отношении тому или другому князю, той или другой княжеской ветви – не существовало. Князья могли считаться между собою старейшинством; но эти счета уже и в прежние времена, до татар, перестали быть обязательными, так что действительное старейшинство признавалось несомненным только по отношению к возрасту. В Орде эти счета еще менее могли быть обязательными. Кто приходился по нраву властителю, того он, не стесняясь ничем, мог назначить великим князем. Но в Орде, как вообще в азиатских деспотических государствах, милость властителя и доступ к нему покупались угождением и задариваньем близких к царю вельмож; и русский князь, искавший в Орде какой бы то ни было ханской милости, а тем более первенствующего сана, должен был достигать своей цели, во-первых, обещанием большого выхода (дани) хану, а во-вторых, подарками и подкупом разных лиц, имевших при ханском дворе влияние. От этого выходило, что собственно звание великого князя было продажным. Его мог приобрести тот из князей, у кого в руках было более богатств и кто обладал умением употребить эти богатства кстати. Не переставая зависеть от произвола хана, звание великого князя могло, однако, утвердиться в одной княжеской линии и сделаться фактически наследственным. Нужно было только, чтобы овладевший этим званием умел скоплять в руках своих богатства, поддерживать постоянно дарами доброе расположение к себе влиятельных лиц в Орде и подготовить своему сыну приобретение этого звания после своей смерти. Вместе с таким возвышением одной княжеской ветви неизбежно поднималась бы и получала в ряду русских земель первенство и та земля, где княжила эта более счастливая княжеская ветвь. Город Владимир почти потерял уже признаки первенства: князья, получавшие от хана старейшинство, не обязаны были пребывать во Владимире; они могли быть великими князьями и жить в прежних своих уделах. Теперь-то для Руси предстоял важный вопрос: в каком городе утвердится великокняжеское достоинство, переходя от одного князя к другому князю той же земли. В будущем – этому городу предстояло великое значение. Орда, несмотря на все свое видимое могущество, уже пошатнулась, признаки разложения были ощутительны. Уже на берегах Черного моря возникла другая Орда, отложившаяся от Волжской, иначе Золотой, Орда Нагая, не хотевшая признавать власти волжских ханов. Это было началом дальнейших отложений и распада монгольской монархии. В самой Волжской Орде достоинство хана перестало переходить правильным путем и подвергалось насильственным переворотам. Хан Тудай-Менгу был умерщвлен своими племянниками, которые в свою очередь были умерщвлены их двоюродным братом Тохтою, сыном Менгу-Тимура. Эти события были уже предвестниками того, что впоследствии сделалось в Орде обычным делом. Пока еще Орда была сильна, власть великого князя могла утвердиться в одной княжеской ветви и в одной из русских земель, именно только при посредстве этой ордынской силы: но раз получивши в Руси твердость, великокняжеская власть не должна была уже потерять ее и тогда, когда Орда

---

внутри Кремля при сооруженной им церкви Спаса на Бору, могила Даниила оставалась неизвестною до самого Ивана III. Этот великий князь ехал однажды со своею дружиною вдоль Москвы-реки, мимо того места, где прежде был положен Даниил; вдруг под одним из отроков споткнулся конь, и перед ним явился неведомый ему князь и сказал: «Я господин месту сему, князь Даниил Московский, здесь положенный, скажи великому князю Ивану: ты сам себя утешаешь, а меня забыл». С этих пор московские князья начали совершать панихиды по своему прародителю. Вслед за тем, как рассказывает предание, были и другие видения. Князь Иван Васильевич построил Данилов монастырь на месте, где считали погребенным Даниила и где по преданию стоял прежде монастырь, поставленный Даниилом, а при царе Алексее Михайловиче открыты были его мощи.

совершенно ослабнет, потому что в самой Руси должен был устроиться такой порядок, который получит значение обычая. Одним из способов усиления такой власти было то непереносимое условие, что с возвышением князей неизбежно должны были приливать в их землю военные силы из других земель, а следовательно, другие земли ослабевали и князья их невольно должны были уступать тому, кто делался сильнее их средствами. Русские бояре приняли обычай переходить туда, где князь был сильнее и где, следовательно, им предстояло более выгоды. Бояре приходили в таком случае не одни, но тянули за собою и людей, составлявших их дружину и получивших в эти времена название детей боярских. С падением Орды естественно должно было заменить для Руси хана то лицо, которому прежние ханы во время своего могущества передали свою силу, лишь бы только те, которые получали эту силу, умели усвоить от поколения к поколению искусство поддерживать свое значение. Начало XIV века было той роковой эпохой, когда был поставлен к разрешению вопрос: какая из княжеских линий выдвинется выше всех и какая русская земля со своим главным городом сделается средоточием русского мира и будет стягивать к себе разрозненные его части?

По смерти Андрея тотчас начал добиваться великокняжеского достоинства двоюродный брат его Михаил Ярославич тверской, сын Ярослава, брата Александра Невского. Но ему явился соперник – московский князь Юрий Данилович. Тверские бояре, по повелению своего князя, хотели заступить Юрию путь в Орду и схватить его на дороге, но не успели в этом; Юрий пробрался в Орду иным путем. Пока два соперника тягались в Орде за великое княжение, на Руси во имя их уже происходили усобицы. Князь Иван Данилович отстаивал Переяславль от тверичей. Против него пошел с тверичами бывший его боярин Акинф, который не захотел в Москве быть ниже другого боярина Родиона Нестеровича, прибывшего в Москву из Киева с тысячью семьями человек дружины, или детей боярских. Акинф с сыновьями перешел к тверскому князю. Произошла кровопролитная свалка; москвичи одержали верх, и боярин Родион собственноручно убил своего личного врага Акинфа, воткнул голову его на копье и принес своему князю Ивану Даниловичу.

В Орде взял верх тверской князь Михаил; Юрий тогда не в состоянии был обещать хану выходу более своего соперника. По возвращении в Русь Михаил (1305) тотчас пошел войною к Москве на Юрия: вероятно, его побуждали к этому и дети убитого Акинфа. Тверской князь не мог взять Москвы и заключил мир с московскими князьями. Но взаимная злоба от этого не улеглась.

Не успевши добиться великого княжения, Юрий избирал другие пути к усилению своей власти и своей Москвы. Уже тотчас после смерти отца он захватил Можайск и привел пленным в Москву тамошнего князя Святослава. В 1306 году он удушил рязанского князя Константина, взятого в плен отцом его Даниилом и содержавшегося в Москве в неволе. Московский князь думал вместе с тем присвоить себе и Рязань: но это не удалось ему: молодой рязанский князь Ярослав выпросил у хана ярлык на рязанское княжение. Юрий все-таки не остался в проигрыше и присоединил к Москве Коломну, принадлежавшую до того времени рязанской земле. С братом своим Иваном Юрий всю жизнь жил дружно, но с другими братьями, Александром и Борисом, не поладил до того, что они убежали в Тверь к его непримиримому врагу. Этот враг в 1308 году еще раз покусился на Москву и опять не взял ее. Взаимная злоба еще более усилилась после нового нападения на Москву и, наконец, прорвалась отчаянною борьбою по поводу Новгорода.

Со времени татарского завоевания Новгород, пользуясь своею внутреннею самостоятельностью, принужден был допускать у себя пребывание на Городище великокняжеских наместников и платить великому князю дань в качестве участия в общем платеже выхода хану. С этих пор отношения между Новгородом и великим князем всегда были натянутые и нередко делались открыто враждебными. Великие князья, пользуясь правом взимания выхода, старались как можно больше сорвать с Новгорода и как можно тяжелее наложить на него свою руку. Со своей стороны, Новгород старался допустить у себя как можно менее влияния и власть великого князя. Отсюда ряд договоров Новгорода с великими князьями; в этих договорах мы видим постоянное стремление Новгорода всеми

силами избавиться от притязаний великих князей и оградить свою самостоятельность. Вопросы были до того усложнены, что кто бы ни был великим князем, отношения между им и Новгородом были, в сущности, почти одинаковы, и до самого падения Великого Новгорода в конце XV века не было ни одного великого князя, за исключением Юрия Даниловича, с которыми бы новгородцы находились в дружелюбной и искренней связи. С Михаилом тверским трудно было поладить Новгороду по причине его придиричливого и корыстолюбивого характера. Как видно, они с самого начала не любили этого князя, не хотели, чтобы он получал великое княжение, и выразили это нежелание перед поездкой его в Орду. Когда Михаил возвратился из Орды, новгородцы приняли его наместников и заключили с ним договор, по которому великому князю, по старине, не дозволялось управлять новгородскими волостями посредством своих, а не новгородских мужей, не дозволялось, кроме того, приобретать в Новгородской области как князю, так его княгине, боярам и всем подданным сел и угодий, выводить новгородских людей в свою волость, брать их в залог, давать без посадника грамоты, раздавать волости, творить суд без посадника, отнимать волости у новгородских мужей, стеснять новгородскую торговлю и т.п. Эта грамота определяла также и доходы, собственно предоставленные великому князю.

Но в 1312 году Михаил тверской поссорился с Новгородом, вывел оттуда своих наместников, захватил пограничные новгородские волости: Торжок и Бежичи (Бежецк), и не пропускал в Новгород подвоз хлеба, в котором была большая нужда в Новгороде, недавно пострадавшем от сильного пожара. Новгородцы послали своего владыку Давида в Тверь. Михаил согласился на мир только тогда, когда новгородцы заплатили ему 1500 гривен (около 700 фунтов серебра). По заключении мира Михаил вновь отправил к новгородцам своих наместников. Новгородцы, поплатившись такою данью, окончательно озлобились против Михаила и в следующем 1313 году, когда Михаил поехал в Орду поклониться новому хану Узбеку, решились поступить так, как дельвалось у них встарь: призвать к себе иного, вольного князя; они обратились к Юрию Даниловичу. Московский князь отправил к ним предварительно своего боярина Феодора ржевского, который схватил Михайловых наместников, посадил их под стражу на владычнем дворе, а сам повел новгородцев на Волгу против Твери. За отсутствием Михаила вышел против них с войском сын его Дмитрий. Обе стороны, простояв до заморозов друг против друга на противоположных берегах Волги, заключили мир. Условия этого мира неизвестны, но они были выгодны для Новгорода. Перед заговеньем прибыл в Новгород избранный князь Юрий с братом своим Афанасием. Новгородцы посадили его на стол и радовались; в этом видели они возрождение своей вольности.

Но недолго довелось им радоваться. Весною 1315 года пришло от хана Юрию приказание явиться в Орду. Должно быть, Михаил пожаловался на него хану. Юрий не смел ослушаться и поехал, а в Новгороде оставил брата своего Афанасия.

Тем временем Михаил возвращался на Русь не только обласканный ханом, но и вел с собою татар карать непокорный Новгород. К ним присоединилась, по приказанию ханскому, рать низовской земли. Михаил осадил Торжок. Новгородцы с князем Афанасием отправились к Торжку. Произошла кровопролитная сеча. Новгородцы потеряли много убитых и, наконец, не выдержав, заперлись в Торжке. «Выдайте мне князя Афанасия и князя Феодора ржевского, а потом я с вами стану мириться», – послал сказать новгородцам Михаил. Новгородцы отвечали: «Не выдадим князя Афанасия, но умрем честно за Святую Софию». Михаил вторично послал к ним требование: «Так выдайте князя Феодора ржевского». Новгородцы, говорит летописец, не хотели выдавать его, а выдали поневоле и заключили мир, обязавшись заплатить двенадцать тысяч гривен серебра. После заключения мира Михаил пригласил к себе князя Афанасия и новгородских бояр и вероломно отправил их в Тверь заложниками платежа. Вдобавок Михаил ограбил остальных новгородцев и новоторжцев, отняв у них доспехи, оружие и коней. После такого притеснения новгородцы отправили своих послов в Орду жаловаться на Михаила, но тверичи переловили этих послов на дороге.



Такой мир мог только еще больше раздражить новгородцев. Война с тверским князем вспыхнула в 1317 году. Наместники Михаила выехали из Новгорода. Михаил пошел на Новгород со всею низовскою землею<sup>25</sup>, а новгородцы укрепили свой город острогом по обеим сторонам Волхова и подняли на ноги свою землю: вооружились псковичи, ладожане, корела, жители Руси, ижора и воль. Но до Новгорода по неудобству путей Михаилу было добраться трудно. Дойдя до Устьян, Михаил повернул назад и был жестоко наказан за свою смелость. Войско его заблудилось среди озер и болот и умирало от голода. Воины поели всех своих лошадей, грызли ремни, голенища, кожу со щитов, многие перемерли от стужи, и только жалкие остатки вернулись домой со своим князем, пешие и больные. Думая, что великий князь будет теперь сговорчивее, новгородцы отправили к нему владыку Давида и умоляли отпустить их коварно задержанных братьев. Михаил сначала упрямылся, но потом помирился с новгородцами в Торжке, когда услышал, что Юрий возвратился из Орды и идет на него. Новгородцы со своей стороны заключили мир, потому что не знали, где Юрий, и не догадывались, что он близко. В договоре, заключенном в это время, говорится о возвращении пленных, но не упоминается о платеже серебра, так что, вероятно, дань, наложенная Михаилом на Новгород под Торжком, не была ему никогда уплачена.

Юрий, отправившись в Орду по приказанию Узбека, еще в 1315 году, прожил там более двух лет. К сожалению, мы не знаем, что он там делал, но последствием такого долгого пребывания было то, что Юрий вошел в милость к Узбеку и женился на его сестре Кончаке, которая приняла в крещении имя Агафии. Сам Узбек был магометанин, но, верный преданиям предков, оказывал уважение ко всяким верам, а с христианами был особенно милостив; при нем в Сарае жило много христиан: они отправляли свободно свое богослужение и имели там местного епископа. С такою терпимостью вполне согласовалось то обстоятельство, что он породнился с русским князем и позволил своей сестре принять веру своего мужа.

Юрий вел теперь (1317 г.) на своего врага татар под начальством татарского князя Кавгадыя, ехавшего с ним в качестве татарского посла. Послы от хана бывали часто на Руси в те времена, – иные только под видом послов шатались по Руси. Все они были настоящими бичами жителей. Когда им со своими татарами приходилось идти посреди русского населения, они на каждом шагу желали показать, что они господа, а русские рабы, грабили, делали всякого рода насилия жителям. Так было и теперь. Суздальские князья, сообразивши, что Юрий в милости у царя, пристали к нему; но это не помешало татарам бесчинствовать на пути в Костроме, Ростове, Дмитрове и Клине. С татарами были хивинцы и мордва. Путь их лежал в тверскую землю. Юрий хотел наказать своего противника. Если, проходя по суздальской земле, татары не слишком уважали собственность и личность русского человека, то, вступивши в тверскую землю, они без разбора жгли всякое жилье, попадавшееся на пути, и мучили разными муками людей, которых захватывали в свои руки. Михаил выступил против них и 22 декабря 1317 года встретился с ними за сорок верст от Твери на урочище, называемом Бортенево. Рать Юрия была разбита. Сам Юрий ушел в Торжок, брат его Борис, жена Агафия и Кавгадый попались в плен.

Юрий из Торжка прибежал в Новгород. Если известие о походе Юрия на Тверь не могло прийти в пору к новгородцам и побудить их подать помощь Юрию, то теперь они дружно принялись за дело своего союзника; к ним присоединились псковичи. С новгородским ополчением пошел и новгородский владыка Давид. Недавно был заключен новгородцами мир с Михаилом; нападать на Михаила было бесчестно: поэтому новгородцы решили прежде послать к Михаилу требование сделать все угодное Юрию, а вступить с ним в войну предполагали только тогда, когда он откажет.

Михаил был сговорчив, потому что боялся ханского гнева. Отпустить жену Юрия было невозможно: она умерла в плену; говорили, что ее там умили зельем. Михаил выдал

---

<sup>25</sup> Низовскою землею назывался в собственном смысле край вниз по течению Волги, но новгородцы давали этому названию более широкое значение, включая в него суздальско-ростовскую землю с разветвлениями, а впоследствии даже Москву.

Юрию только тело ее, которое отвезено было для погребения в Ростов, в церковь Пресв. Богородицы. При посредстве новгородцев, соперники порешили на том, чтобы им обоим идти в Орду. Кавгадый, находясь в плену у Михаила, уверил его, что он помогал Юрию и напал на Михаила без ханского дозволения.

По своем освобождении из тверского плена, Кавгадый соединился с Юрием, и они положили между собою совет собрать всех князей низовских (т.е. суздальско-ростовской земли), пригласить бояр от русских городов, в особенности от Новгорода, и ехать в Орду с обвинением на Михаила. Так и сделалось. Все они поехали к Узбеку. Михаил, услышавши, что на него собирается такая гроза, послал в Орду сына своего Константина, а сам несколько времени раздумывал, что ему делать, и наконец решился пуститься в путь. Он отправился с сыновьями: Димитрием и Александром. Во Владимире встретил он ханского посла Ахмыла, который ехал к нему.

«Зовет тебя царь, – сказал Ахмыл, – ступай скорее. Если не поспеешь через месяц, то хан уже назначил послать войско на тебя и на твой город. Кавгадый оговорил тебя перед ханом, уверяет, что ты не приедешь в Орду».

Бояре и сыновья уговаривали Михаила не ездить, а послать в Орду еще одного из сыновей. «Не вас, детей моих, требует царь к себе, – сказал Михаил, – головы моей он хочет. Если я уклонюсь, вотчина моя будет полонена и множество христиан перебито. И после того придется мне умереть, так уж лучше положить свою душу за многие души!» Он отправился и 6-го сентября 1318 года достиг устья Дона; там был тогда хан Узбек с ордою, по обычаю предков странствовавший передвижными городами. Там встретил Михаила сын его Константин. Михаил по обычаю поднес дары царю, царице и вельможам. Узбек приказал приставить к Михаилу, как к подсудимому, приставов, но велел обращаться с ним почтительно.

Так прошло полтора месяца. Наконец, хан приказал князьям рассудить дело Михаила Ярославича с Юрием и представить хану: тогда хан оправданного пожалует, а виновного казнит. И вот, по такому повелению, собрались в кибитку князья и положили разные грамоты, свидетельствующие о преступности Михаила. Его обвиняли в том, что он брал дани с городов, управляемых этими князьями, и не отдавал царю.<sup>26</sup> На этом суде был и Кавгадый и старался всеми способами очернить Михаила. Через неделю Михаила поставили на другом суде (должно быть, уже чисто татарском) и тут ему произнесли такое обвинение: «Не давал царевой дани, бился против царского посла и уморил княгиню жену Юриеву».

После этого осуждения к Михаилу приставили стражу, состоящую из семи человек от семи князей. Князю Михаилу на шею надели тяжелую колоду, которая столько же причиняла мучения, сколько означала поругание. Хан отправился в поход против Персии; Михаила потащили за ним в обозе. Когда хан на степи во время похода расположился станом и в стане открылся торг, Кавгадый приказал поставить всенародно Михаила с колодою и созвать заимодавцев, т.е. тех, которые жаловались на его несправедливые поборы. Это был правож, обычай, который, впоследствии, вошел в русское судопроизводство: неисправного должника выставляли на торгу и били по ногам. Не видно, чтоб Михаила при этом били; но колода на шее имела смысл муки правежа. «Знай, Михаил, – сказал ему Кавгадый, – таков у нашего царя обычай: как рассердится на кого-нибудь, хоть бы на своего племянника, прикажет положить на него колоду, а как гнев его минет, то по-прежнему чтит его; так и с тобой будет: минет твоя тягота, и ты будешь у царя еще в большей чести». Кавгадый велел сторожам поддерживать колоду, висевшую на шее Михаила, чтобы облегчить его. Наконец, после

---

<sup>26</sup> Хотя в сказании об убиении Михаила эти князья называются ордынскими и наши историки полагают, что Михаила судили татарские вельможи, но по смыслу выходит, что слово «ордынские» прибавлено после, и здесь идет речь о русских князьях. Татарские князья не могли обвинять Михаила в том, что он брал с их городов дань, так как Михаил не мог брать дани ни с каких татарских городов, тогда как, действительно, с русских городов брал Михаил дань в звании великого князя для выхода в Орду. Кроме того, в этом же сказании говорится, что Юрий, уезжая судиться с Михаилом, пригласил князей низовских и бояр от городов, которые должны были судить Михаила.

двадцатishестидневного томления за рекою Тереком, по ту сторону гор, 22-го ноября в среду, Кавгадый и Юрий Данилович с людьми своими подъехали к веже (кибитке), где находился несчастный Михаил; в кибитку вошли убийцы, повалили князя на землю, и один русский, по имени Романец, вонзил нож в сердце страдальца. Когда Юрий и Кавгадый вошли в кибитку и увидели обнаженное тело Михаила, Кавгадый с суровым видом сказал Юрию: «Ведь он тебе старейшим братом был, словно отец; для чего же тело его лежит брошенное и голое!» Юрий приказал прикрыть труп епанчею. Видно, что хан колебался исполнить приговор суда, но Юрий настаивал и добивался смерти Михаила.

Юрий мстил Михаилу и после смерти его: Юриевы бояре, которые повезли на Русь тело убитого, не допускали ставить это тело в церквах, а ставили в хлеву. Его привезли в Москву и погребли в Спасском монастыре.

Юрий, получив от хана великое княжение, возвратился в Русь с большою честью; он вез с собою, как пленных, сына Михайлова Константина, его бояр и слуг. Вдова Михаила и другие сыновья его, узнавши о печальном конце тверского князя, обратились к Юрию с просьбою отдать им тело убитого для погребения в Твери. Юрий согласился, но прежде поломался над ними. Один из сыновей убитого князя, Александр, ездил за телом отца в Москву. Михаила погребли в церкви Спаса в Твери.

Старший сын Михаила Димитрий (названный в родословной: Грозные Очи) злобствовал на Юрия за смерть отца, но принужден был до поры до времени смириться. В 1321 году, при посредстве тверского епископа Варсонофия, между Димитрием и Юрием заключен был мир: тверской князь заплатил две тысячи гривен серебра и обязался не искать великого княжения.

Юрий, сделавшись великим князем, послал в Новгород брата своего Афанасия, но после смерти последнего в 1322 году сам переехал в Новгород и остался в нем. Он, по видимому, уступил Москву брату Ивану и, считаясь великим князем, жил в Новгороде. Юрий любил Новгород, и новгородцы любили Юрия. Он воевал за новгородцев со шведами, построил город Орешек (ныне Шлиссельбург), заключил от имени Новгорода мир с шведским королем и счастливо прогонял литву, делавшую частые набеги на новгородские владения; в 1324 году, по поводу оскорблений, причиненных новгородским промышленникам устюжанами, Юрий с новгородцами ходил в Устюг, взял этот город и заключил с устюжанами мир, выгодный для новгородцев. Здесь он навсегда простился с ними: они отправились домой, а Юрий, доехав до Камы, спустился вниз этой рекой в Орду. Его позвали.

Димитрий Михайлович тверской обвинял Юрия в том, что он, взявши выход с тверских князей, не отдал его татарскому послу, а уехал с деньгами в Новгород.<sup>27</sup> Юрий, прибывший в Орду 21-го ноября 1325 года, был умерщвлен князем Димитрием Михайловичем. Тело Юрия было привезено в Москву и предано земле митрополитом Петром и архиепископом новгородским Моисеем. Хан казнил убийцу, но не ранее, как спустя десять месяцев после убийства.

Брат Юрия Иван, по прозванию Калита (от обычая носить с собою кошелек с деньгами для раздачи милостыни), оставался долго в тени при старшем брате, но когда Юрий получил великое княжение и уехал в Новгород, Москва оставлена была в полное управление Ивана; с этих-то пор он вступает на историческое поприще. Восемнадцать лет его правления были эпохою первого прочного усиления Москвы и ее возвышения над русскими землями. Главным способом к этому усилению было то, что Иван особенно умел ладить с ханом, часто ездил в Орду, приобрел особенное расположение и доверие Узбека и оградил свою московскую землю от вторжения татарских послов, которые, – как уже сказано выше, – называясь этим именем, ездили по Руси, делали бесчинства и опустошения. В то время,

---

<sup>27</sup> Вообще события этого времени и отношения к Орде, как Юрия, так и Димитрия, для нас остаются неясными по причине скудости источников. Есть известие, что Димитрий получил великое княжение: мы не знаем наверно: утвердил ли хан Узбек на княжении Димитрия, рассердившись на Юрия, сам ли Димитрий присвоил себе имя великого князя, или его ошибочно так называли летописцы.

когда другие русские земли поражены были этим несчастьем и, кроме того, подвергались другим бедствиям, владения московского князя оставались спокойными, наполнялись жителями и, сравнительно с другими русскими землями, находились в цветущем состоянии. «Перестали поганые воевать русскую землю, – говорит летописец. – перестали убивать христиан; отдохнули и опочили христиане от великой истомы и многой тягости, и от насилия татарского; и с этих пор наступила тишина по всей земле».

Город Москва расширился в княжение Ивана. Кроме Кремля, составлявшего ее центр или внутреннее укрепление, посад за пределами Кремля уже при Иване был обнесен дубовою стеною. Вокруг Москвы одно за другим возникали села.

Бояре оставляли других князей, переходили к московскому князю и получали от него земли с обязанностью службы; за боярами следовали вольные люди, годные к оружию. Таким образом, соседние князья слабели и поневоле должны были угождать московскому князю и подчиняться ему. В Москву переселялись и иноземцы, и даже татары приходили на поселение не врагами, не господами, а принимали крещение и становились русскими. В числе таких татарских выходцев был мурза Чет, родоначальник фамилии Годуновых и предок Бориса, царствовавшего на русском престоле. Иван заботился о внутренней безопасности, строго преследовал и казнил разбойников и воров: и тем самым он дал возможность ездить торговым людям по дорогам. Москва тогда уже наполнялась торговцами с разных сторон. На устье Мологи возникла славная в те времена молодежская ярмарка, куда съезжались купцы с востока и запада. Оживляя народное благосостояние, эта ярмарка доставляла доходы великому князю.

В первых же годах своего правления Иван дал Москве нравственное значение переводом митрополичьей кафедры из Владимира в Москву. Еще в XIII столетии русские первосвятители нашли невозможным оставаться в Киеве, в крае малолюдном, в опустошенном и обнищавшем городе, где древняя святыня находилась в запустении, где Десятинная церковь лежала в развалинах, где от Св. Софии оставались одни стены, а Печерская обитель стояла безлюдная. Митрополиты: Кирилл и Максим, хотя и считались киевскими, но не жили в Киеве, вели странническую жизнь и более всего пребывали во Владимире. По смерти митрополита Максима было два соискателя митрополичьего престола. Один из северной Руси, владимирский игумен Геронтий, другой из южной Руси – Петр, игумен ратский, родом волынец. Галицкий князь Юрий Львович, внук Данила, послал Петра в Константинополь для посвящения, с целью утвердить у себя митрополию в Галичине. Петр был предпочтен Геронтию, получил сан митрополита (1308), но вместо того, чтобы жить в южной Руси, удержав титул киевского митрополита, переселился на север во Владимир; однако и тут не жил постоянно, а переезжал с места на место, поставляя духовных. Вместе с князем Михаилом Ярославичем тверским Петр совершил поездку в Орду к Узбеку и получил от него знаменитую грамоту, по которой православное русское духовенство со своими семействами и со всеми лицами, принадлежащими к духовному ведомству, освобождалось от всякой дани и ограждалось от каких бы то ни было обид и притеснений со стороны ханских чиновников и подданных.

Во время своих обычных переездов с места на место Петр сошелся с князем Иваном Даниловичем и полюбил более всех других городов его Москву. Здесь он стал проживать подолгу, заботился об украшении Москвы святынею храмов и 4 августа 1325 года, вместе с князем Иваном, заложил первую каменную церковь в Москве Успения Богородицы (нынешний Успенский собор). Этот храм должен был сделаться главною святынею Москвы и перенести на нее то благословение, которое некогда давала городу Владимиру построенная Андреем подобная церковь Богоматери во Владимире. Близ места, на котором должен был стоять жертвенник, Петр собственноручно устроил себе гроб. «Бог благословит тебя, говорил он Калите, – и поставит выше всех других князей, и распространит город этот паче всех других городов; и будет род твой обладать местом сим вовеки; и руки его взйдут на плечи врагов ваших; и будут жить в нем святители, и кости мои здесь положены будут». Эти пророческие слова, переходя по преданию от поколения к поколению, помнились и

приводились для поддержания могущества и величия Москвы. В следующем 1326 году 21 декабря Петр скончался, оставшись навсегда в воспоминании потомков святым покровителем Москвы, первым виновником ее нравственного возвышения. Иван, исполняя завещание Петра, окончил постройку храма Успения: кроме этого храма он построил каменную церковь Архангела Михаила, на месте прежней деревянной, и завещал себя похоронить в ней: это был нынешний Архангельский собор, послуживший местом погребения для всех потомков Ивана. Близ своих палат Иван основал монастырь Св. Преображения и построил в нем каменную церковь (единственную из московских церквей, которой стены до сих пор существуют от тех времен в церкви Спаса на Бору) и, кроме того, церковь Иоанна Лествичника, на месте нынешней колокольни Ивана Великого. Стремлению Ивана поднять церковное значение Москвы способствовало то, что преемник Петра, Феогност, поселился в Москве, а за ним, впоследствии, все митрополиты один за другим пребывали в этом городе и таким образом сообщили ему значение столицы всей русской церкви.

Иван Данилович во все продолжение своего княжения ловко пользовался обстоятельствами, чтобы, с одной стороны, увеличить свои московские владения, а с другой – иметь первенствующее влияние на князей в прочих русских землях. В этом случае помогла ему более всего вновь вспыхнувшая вражда с Тверью. Там княжил другой сын Михаила тверского, Александр. После казни брата, Александр – как говорит летописец – носил имя великого князя.<sup>28</sup> Татары, как видно, не доверяли Александру и находили нужным особенно наблюдать над Тверью. В 1327 году приехал в Тверь ханский чиновник Чолкан с вооруженною толпою татар, выгнал Александра с его двора и расположился в нем, как хозяин. Это, естественно, возбудило страх и ропот в народе. Начали толковать, что татары хотят перебить русских князей, управлять Русью посредством своих чиновников и насильно обращать христиан в басурманскую веру. Татары, по привычке обращаться с русскими, как с рабами, делали в Твери разные бесчинства. 15 августа поднялся мятеж против татар. По одним известиям, сам Александр возбуждал тверичей из мести за своего отца и брата, по другим же – он, напротив, приказывал им терпеть, но неожиданный случай произвел вспышку в народе. Татары хотели отнять у диакона Дюдка молодую и жирную кобылу. Диакон сделал клич к народу, который уже прежде был раздражен наглостью татар. Ударили в вечевой колокол, народ собрался и перебил Чолкана и его татар. Только немногие табунщики успели уйти и дали знать в Орде о происшествии.

Мишение было неизбежно. Князь Иван Данилович, услышавши о том, что сделалось в Твери, наскоро побегал в Орду и оттуда в звании старейшего князя шел с татарами наказывать Тверь. Татарская рать была под предводительством пяти темников. Иван Данилович потребовал, чтобы суздальский князь присоединился к нему, суздальский князь не посмел послушаться. Рать зимою вошла в тверскую землю, жгла города, села, убивала жителей и старых, и малых; иных брала в неволю; другие, лишенные приюта, замерзали. Так разорены были Кашин и Тверь. Князь Александр с братом Константином ушел в Новгород; новгородцы не приняли Александра; он бежал в Псков. Тем временем татары, вероятно не зная, что новгородцы прогнали Александра, напали на новоторжскую землю, принадлежащую Новгороду, и опустошили ее. Дело разъяснилось тогда, когда монгольские послы прибыли в Новгород и получили там 2000 гривен серебра и много даров.

Тверская область была до того опустошена и обезлюдела, что целое полстолетие носила на себе следы этого погрома.

---

<sup>28</sup> Факт этот представляется нам до крайности странным: каким образом Узбек, убивши отца и брата Александра, мог поверить этому князю старейшинство на Руси? Так как более старые редакции наших летописей ничего ровно не говорят о назначении его великим князем, а известия об этом назначении находятся только в позднейших редакциях, то мы бы отвергли этот факт как ложный, если бы нас в этом случае не останавливала новгородская грамота, из которой видно, что новгородцы в 1327 году признавали над собою власть Александра в качестве старейшего или великого князя. Во всяком случае, в этом есть что-то для нас неизвестное и непонятное.

Расправившись с Тверью, Иван поехал в Орду явиться к Узбеку. Узбек очень хвалил его, и с тех пор положение Ивана стало еще крепче. Тогда же явился к Узбеку с поклоном брат Александра Константин. Узбек принял и его милостиво, не помянул вины, которую считал за братом его, утвердил на тверском княжении, но приказал Ивану, и с ним всем русским князьям, отыскать Александра и представить в Орду на расправу. По ханскому приказу, Иван, в 1329 году, с митрополитом, суздальским князем и двумя тверскими князьями братьями Александра, прибыл в Новгород и оттуда послал к Александру послов. Во Псков поехал сам новгородский владыка Моисей с некоторыми знатными новгородцами; он убеждал Александра ехать добровольно в Орду, «не давать христиан на погибель поганым». Александр совсем было согласился, но псковичи удержали его и говорили: «Не езд, господине, в Орду; что бы с тобою ни было, заодно умрем с тобою!»

Иван Данилович, получивши отказ, поднял всю землю новгородскую и пошел ратью на Псков, а митрополит Феогност в угождение Ивану наложил на псковичей проклятие и отлучение от церкви.

Тогда Александр сказал псковичам: «Братья и друзья мои! Пусть не будет на вас из-за меня проклятия и отлучения; я уеду, а вы целуйте крест не выдавать моей княгини».

Александр уехал в Литву, а псковичи послали послов к Ивану с таким словом: «Князь Александр уехал, весь Псков кланяется тебе, князю великому, от мала до велика: и попы, и чернецы, и черницы, и сироты, и жены, и малые дети». Это было первое заявление покорности Пскова Москве, новый шаг к возвышению значения московского князя.

Иван удовольствовался этим заявлением, и митрополит снял со псковичей проклятие, употребивши свою духовную власть в пользу видов московского князя. Обстоятельства продолжали благоприятствовать Москве. Александр хотя вернулся во Псков и прожил там десять лет, но был уже бессилён; его брат Константин, управляя разоренною тверскою землею, угождал московскому князю, любимцу царя, так как страшился повторения над своею областью того, что она испытала при его брате. В собственно московской земле Иван уже владел Можайском, Коломною, Рузою, Звенигородом, Серпуховым, к ней присоединился и Переяславль со своею волостью. Князья других русских земель поставлены были в такое положение, что должны были подчиняться Ивану со своими землями. Суздальский князь Александр Васильевич и все другие удельные князья ростовско-суздальской земли стали его подручниками. По смерти Александра Васильевича Иван удержал за собою Владимир, а новый суздальский князь Константин Васильевич должен был довольствоваться тем, что ему оставил московский князь. Иван отдал одну из своих дочерей за Василия Давидовича ярославского, а другую за Константина ростовского и самовластно распоряжался уделами своих зятьев. «Горе, горе городу Ростову и князьям его, – говорит одно старинное сказание, – отнялась у них власть и княжение; и немало было ростовцев, которые поневоле отдавали москвичам имущество свое, терпели побои и язвы на теле своем». Посланный в Ростов от Ивана Даниловича боярин Кочева свирепствовал над жителями, как будто над завоеванными, и одного старейшего боярина, по имени Аверкия, приказал всенародно повесить за ноги и нещадно бить палками. Подобные поступки совершались не в одном Ростове, но и во всех местах, подпавших под власть москвичей, которые, где только могли, показывали себя высокомерными господами над прочими русскими людьми. Эти поступки вывели из терпения ярославского князя; несмотря на родство свое с московским князем, он соединился против него с Александром Михайловичем тверским. Князья рязанские поневоле должны были повиноваться Ивану Даниловичу и ходить со своею ратью, куда он им прикажет: Иван был в чести у хана, а рязанская земля находилась на пути из Орды в Москву и за строптивость своих князей первая могла подвергнуться жестокой каре от Орды, требовавшей повиновения Москве. Города: Углич, Галич и Белозерск были приобретены Иваном посредством купли от князей. Кроме того он покупал и променивал села в разных местах: около Костромы, Владимира и Ростова, на реке Масае, Киржаче и даже в новгородской земле вопреки новгородским грамотам, запрещавшим князьям покупать там земли. Он заводил в новгородской земле

слободы, населял их своими людьми и таким образом имел возможность внедрять там свою власть и этим путем.

Новгород, находившийся пока в дружбе с Москвою, скоро испытал на себе плоды ее усиления, которому он так содействовал. Новгородцы слишком много оказали услуг московским князьям: казалось, нужно было пройти долгому времени и явиться очень важным причинам и непредвиденным столкновениям, чтобы между Новгородом и Москвою могло вспыхнуть несогласие. Но Иван не задумывался в выборе средств для своих выгод. В 1332 году возвратился он из Орды, где достаточно поистратился на подарки, и стал приискивать средств, как бы и чем ему вознаградить себя. Он вспомнил, что у новгородцев есть закамское серебро. В сибирских странах с незапамятных времен велось добывание руды и обработка металлов. До сих пор так называемые чудские копи по берегам Енисея служат памятниками древней умелости народов алтайского племени. Новгород, владевший северо-востоком нынешней европейской России, под названием Заволочья (берегов Двины), Печоры и Перми, и частью азиатской России под именем Югры, получал оттуда серебро отчасти путем торговых сношений, отчасти же посредством дани, вносимой туземцами подчиненной Новгороду пермской страны. Иван Данилович потребовал от Новгорода этого серебра, которое в то время называлось закамским серебром, и, чтобы иметь в руках своих залог своего требования, захватил Торжок и Бежецкий-Верх с их волостями неожиданно и вероломно, не объявивши Новгороду, что он считает мирный договор почему-нибудь нарушенным. В Новгороде тогда происходили внутренние смятения: в один год сменили двух посадников, ограбили дворы и села двух бояр: вероятно, эти волнения состояли в связи с тогдашними неприязненными поступками московского князя, так как всегда во время размолвок с великими князьями в Новгороде были лица, считавшиеся их сторонниками и благоприятелями и за то испытывавшие озлобление раздраженного народа. На другой год Иван Данилович повторил свое требование, вошел в Торжок с подручными себе князьями земель суздальской и рязанской и сидел в Торжке около двух месяцев. Новгородцы посылали к нему дружелюбное посольство, просили приехать в Новгород мирно, но Иван не хотел слушать их и уехал прочь. Новгородским волостям нелегко было от его посещения. Иван вывел своих наместников из Городища, и таким образом находился уже в открытой вражде с Новгородом, «в розратье», как тогда говорили.

Тогда новгородцы принялись укреплять свой город: владыка строил каменные стены детинца: юрьевский архимандрит возводил около своего монастыря стены, а между тем еще раз новгородцы пытались поладить с московским князем. Владыка Василий поехал к нему с двумя новгородскими боярами и застал его в Переяславле. От лица Новгорода он предлагал великому князю пятьсот рублей серебра и просил, чтобы великий князь отступился от слобод, заведенных им на новгородской земле, противно договору, им же утвержденному крестным целованием. Иван Данилович не послушал его.

Тогда новгородцы пожалели, что в угоду московской власти так преследовали тверского князя. Александр жил в Пскове: новгородцы из-за него были не в ладах со Псковом; новгородский владыка семь лет не бывал в Пскове и наказывал своим пастырским неблагословием Псков, непослушный Новгороду и великому князю; теперь он отправился в Псков, был там принят с честью, благословил князя Александра и крестил у него сына Михаила. Этого было недостаточно. Новгороду нужен был сильный союзник, который бы мог составить противовес могуществу московскому, и Новгород сошелся тогда с литовским князем Гедимином, завоевавшим почти всю западную Русь: он, заступившись за Новгород, один мог остановить Ивана. В октябре 1333 года приехал в Новгород сын Гедимины Наримонт, нареченный при крещении Глебом и избранный новгородцами на княжение. По обычаю своих дедов новгородцы посадили его на столе у Св. Софии и дали ему в отчину и днину Ладогу, Ореховский город, Корельск и половину Копорья.

Иван Данилович между тем снова съездил в Орду и, воротившись назад в 1334 году, стал податливее. Если путешествие московского князя в Орду пугало новгородцев, так как они думали, что князь хочет подвинуть на них татарскую силу, то со своей стороны Иван,

человек характера невоинственного, хотя и хитрый, тревожно смотрел на дружбу новгородцев с его заклятым врагом Александром и еще более на союз их с Гедимином. Новгород, хотя и готовился отразить насильственные покушения Москвы, был не прочь помириться с нею: новгородцы не могли быть уверены, что Гедимин заступится за них в такой мере, чтобы воевать с ханом, да и при помощи Гедимины нелегко было отважиться Новгороду на борьбу с Ордою и с силами русских земель, находившихся под рукою Ивана Даниловича; притом же призванный новгородцами Наримонт оказывался малоспособным к доблестным подвигам и к героической защите земли, пригласившей его так радушно. Владыка Василий, еще до возвращения Ивана из Орды, ездил к митрополиту Феогносту, виделся с ним во Владимире и располагал его действовать на Ивана примирительно. По своем возвращении из Орды Иван Данилович, кроме других соображений, побуждаемый к миру и митрополитом, принял новгородского посла Варфоломея Юрьевича уже не так, как он принимал прежних послов, не высокомерно, а любовно, и вслед за тем сам приехал в Новгород 16 февраля 1334 года. В Новгороде примирение с великим князем произвело большую радость. Люди, расположенные к Москве и не смевшие до сих пор проявить своего расположения, теперь взяли верх и оказывали влияние на народ. В угоду московскому князю новгородцы готовы были вместе с москвичами идти войною на Псков и доставать оттуда князя Александра Михайловича. Они забыли и недавно показанное неуважение московского князя ко всякого рода договорам и крестному целованию, и свою недавнюю дружбу со псковичами, вынужденную поступками московского князя. До войны со Псковом не дошло, но после этого новгородцы со псковичами остались не в мирных отношениях. Иван Данилович позвал к себе в Москву новгородского владыку, посадника, тысяцкого, бояр и оказывал им большие почести. Казалось, восстановились самые прочные дружелюбные отношения между Новгородом и Москвою.

Но прошло три года, и в 1337 году Иван Данилович, опять нарушивши договор, послал войско свое в двинскую землю с целью овладеть этим важным краем; покушение его не удалось; посланное войско вернулось оттуда пораженное со срамом. Новгородцы тогда опять обратились к псковичам, владыка Василий отправился в Псков, но уже его приняли там не так, как прежде; псковичи научены были опытом, как новгородцы в беде обращаются к ним, а потом, когда думают, что беда для них минула, готовы идти на них вместе с теми, против которых прежде искали опоры. Они не хотели дать владыке «подъезда» или части судных пошлин, которые собирал владыка в свою пользу. Архиепископ проклял псковичей.

Десять лет прожил Александр Михайлович во Пскове, и несносна была ему изгнанническая судьба. Думал он и передумывал, что делать ему. Жаль ему было детей и потомков своих, которые должны были не только лишиться владения, но мало-помалу выйти из рода князей. Продолжало, вероятно, томить его и то, что псковичи, даровавшие ему приют у себя, из-за него подвергались проклятию от своего архиепископа. Еще в 1336 году отправил он в Орду сына своего Феодора, узнать: есть ли надежда ему получить прощение и милость хана Узбека. Феодор, возвратившись из Орды, принес утешительные известия. Тогда в 1337 году Александр отправил посольство к митрополиту Феогносту и просил от него благословения идти в Орду. Феогност дал ему благословение, вероятно в то время, когда не было близко него Ивана Даниловича, иначе последний не допустил бы до этого. Александр отправился в Орду и явился прямо перед Узбеком.

Наши летописи представляют Александра произносящим такую речь перед царем своим: «Господин самовластный (вольный) царь! Если я и много дурного сделал тебе, то теперь пришел к тебе принять от тебя либо жизнь, либо смерть. Как Бог тебе на душу положит, а я на все готов!»

Узбеку очень понравилась такая прямота и вместе рабская покорность. «Видите ли, – сказал Узбек окружающим его (так передают летописи), – как Александр Михайлович смиренною мудростью избавил себя от смерти».

Узбек простил Александра, оказал ему большой почет у себя и отпустил на Русь с правом сесть на столе в отеческой Твери. Двое вельмож татарских, Киндяк и Авдул,



проводили его. Брат Константин, владевший Тверью, добровольно уступил ее Александру.

Возвращение Александра было страшным ударом для московского князя. Если его заклятый враг, которого он по приказанию хана преследовал и добивался взять живьем для казни, теперь приобрел милость того же хана, то отсюда могло произойти то, что помилованный князь подделается к хану и постарается в свою очередь насолить своему сопернику. Иван Данилович поспешил в Орду, взял с собою сыновей, чтобы представить хану как будущих вернейших слуг его, и старался всеми мерами очернить и оклеветать тверского князя. Ему удалось. Узбек послал одного из своих приближенных, по имени Истрочей, звать Александра.

Истрочей, по приказанию Узбека и по наставлению Ивана, принял перед Александром самый ласковый вид и говорил:

«Самовластный царь Узбек зовет тебя с сыном Феодором; царь сделает для тебя много хорошего; ты примешь великое княжение, и большой почет тебе будет». Но Александр догадался, что тут что-то не так. «Если я пойду в Орду, – говорил он своим, – то буду предан смерти, а если не пойду, то придет татарская рать и много христиан будет убито и взято в плен, и на меня вина падет: лучше мне одному принять смерть».

И он начал снаряжаться в Орду и послал вперед сына своего Феодора узнать, что значит этот призыв и чего может он ждать в Орде. А между тем тверские бояре, рассудив, что служить московскому князю выгоднее, отъезжали от Александра к его врагу. К этому, быть может, побуждало их еще и то, что Александр воротился из Пскова с новыми боярами и между прочим с иноземцами; так был у него в чести немец Матвей Доль; и старым боярам не по сердцу было стать ниже этих новичков и пришельцев.

Феодор не приехал обратно; его удержали в Орде, но он известил отца, что царь Узбек гневается на него. Возврата не было Александру. Если он решится бежать куда-нибудь по-прежнему, то сын в Орде должен будет выпить за него горькую чашу. Он поехал в Орду. Иван Данилович, обделав свои дела, воротился домой и наблюдал, что станется с его соперником, которому он, насколько сил его было, подготовил гибель.

Осталось предание, что когда Александр Михайлович плыл по Волге, тогда поднимался противный ветер и относил его судно назад, как будто давая несчастному князю предсказание, что будет ему беда там, куда он держит путь. Когда Александр Михайлович проплыл с большим трудом через русские земли, ветер перестал обращать его судно назад. Поехали одновременно с ним князья: ярославский и белозерский, ненавидевшие Ивана Даниловича и готовые защищать Александра Михайловича; но никто не мог ему тогда пособить: Ивану Даниловичу более всех верил властитель Руси, и, вероятно, Иван Данилович представил этому властителю какие-то убедительные доводы против тверского князя, если Узбек так скоро изменил к последнему свою милость.

Когда заранее осужденный на смерть князь прибыл в Орду, сын Феодор первый со слезами известил его, что дела плохи. Затем татары, расположенные к нему, сказали: «Царь хочет тебя убить! Тебя крепко оклеветали перед ним!» – «Что же я буду делать!» – отвечал Александр. – «Если Бог захочет предать меня смерти, кто же может меня избавить?»

Александр привез дары царю, царице, вельможам. Прошел месяц в тревожном ожидании. 26 ноября 1338 года сказали Александру, что через три дня ему будет конец. Александр употребил это время на молитву. Наконец настал роковой день. Отслушав заутреню, Александр послал к царице узнать, что его ожидает, а сам сел на коня и ездил, расспрашивая: долго ли ему ждать смерти. Ему сообщили, что через час придет ему смерть. Александр воротился в свой шатер, обнял сына и своих бояр и причастился Св. Тайн. Слуги его прибежали с известием, что идут палачи, посланцы ханские: Беркан и Черкас. Александр вышел к ним навстречу. Его схватили, сорвали с него одежды и повели нагого со связанными руками к ханскому вельможе Тавлугбегу, сидевшему на коне. «Убейте!» – крикнул Тавлугбег. Татары повалили на землю Александра и сына его Феодора, убили их, а потом отрубили им головы. Александровы бояре и слуги в страхе разбежались, но потом, с дозволения татар, взяли тела убитых своих князей и повезли в Тверь, где оба князя положены

были рядом с другими двумя, также убитыми в Орде.

Иван Данилович радовался. Смерть Александра не только избавляла его от непримиримого врага, но была новым свидетельством чрезвычайного доверия к нему хана Узбека. Иван Данилович мог быть надежен не только за себя, но и за сыновей своих. Он оставил их в Орде. После смерти Александра они воротились из Орды с большой честью. Великая радость, великое веселье было тогда в Москве. Иван Данилович, унижая ненавистную Тверь, приказал снять с церкви тверского Спаса колокол и привезти в Москву.

Когда Александр Михайлович вошел было в милость у хана, Иван Данилович, испугавшись этого, постарался поладить с новгородцами и отправил к ним сына Андрея. Все притязания его на Заволочье были тогда оставлены; но когда Александра убили, Иван, уверившись, что он более, чем когда-нибудь, крепок ханским благоволением, опять заговорил иным языком с новгородцами. Новгородцы привезли ему свою часть ордынского выхода. «Этого мало, – сказал им Иван, – царь с меня еще больше запросил, так вы мне дайте запрос царев!» – «Так и сначала никогда не бывало, – отвечали новгородцы. – Ты, господин, целовал крест Новгороду поступать по старым пошлинам новгородским, по грамотам прадеда своего Ярослава Владимировича». Иван не слушал, приказал своим заместникам уехать с Городища и готовился идти на Новгород. Призванного новгородцами князя Наримонта (Глеба) уже не было там; ему не по вкусу был новгородский хлеб; он ушел в свою Литву и утвердился князем в Пинске. Новгородцам надобно было искать другого князя. Но опасность войны с Москвою на этот раз миновала Новгород.

Пришло Ивану ханское приказание идти с войском в другую сторону, против смоленского князя Ивана Александровича (племени Ростислава Мстиславича от сына его Давида), не хотевшего повиноваться хану. С этой целью прибыл в Москву ханский посол Тавлугбег. По его требованию Иван Данилович послал на Смоленск разных подручных князей и московскую рать под начальством своих воевод, но сам не пошел на войну. Этот поход окончился ничем; хорошо укрепленный Смоленск не был взят; осаждавшее его полчище отступило через несколько дней осады. Иван опять стал помышлять о Новгороде, но тут постигла его смертельная болезнь. 31 марта 1341 года он умер, приняв перед смертью схиму, и на другой день был погребен в построенной им церкви Архангела Михаила, оставивши своим преемникам из рода в род завет продолжать прочно поставленное им дело возвышения Москвы и распространения ее власти над всеми русскими землями.

## **Глава 10** **Преподобный Сергей**

Монашество после Феодосия продолжало расширяться: где только распространялось христианство, там возникали и монастыри. Одни из них строились и поддерживались князьями и богатыми частными лицами, другие, по образцу, оставленному Киево-Печерским монастырем, созидались отшельниками, которые сначала уходили в пустынные места, а потом славой своих подвигов невольно привлекали к себе товарищей и после обыкновенно делались настоятелями образуемых таким образом обителей. Последнего рода монастыри представляют особенную важность для истории, потому что такие монастыри привлекали население в пустынные места и были одними из главных двигателей русской колонизации. Где являлся монастырь, там около него образовывалось село или даже многолюдный посад; расчищались дикие лесные места, обрабатывались поля, а около некоторых монастырей учреждались ярмарки, образовывалось средоточие промысла и торговли. Вместе с тем пролагались новые пути сообщения. Сами монахи вначале подавали пример трудолюбия и хозяйственности. Благочестивый обычай отдавать монастырям села делал монастыри не только религиозными, но и хозяйственными учреждениями. Надобно вообще заметить, что этот обычай, ослаблявший впоследствии строгость монашеской жизни и даже развращавший монастыри, имел в свое время благодетельные последствия: жители монастырских волостей пользовались сравнительно большей безопасностью, так как с одной стороны князья, воюя

между собой, из религиозного страха нередко щадили их, не щадя других волостей, а при монгольском владычестве монастырские волости находились в наиболее благоприятном положении: огражденные ханами, насколько исполнялись ханские повеления, от поборов и разорений, монастыри умножались непрерывно: но с половины XIV века умножение их является в несравненно большем размере против прежних времен; на Руси делается заметным сильное стремление к монастырской жизни, и это стремление избирает для себя преимущественно последний из указанных нами способов основания монастырей. Отшельники убегают от людей в дикие места; к ним присоединяются другие; основывается обитель; народ стремится туда на поклонение, возникает около обители поселение; в свою очередь из этой обители выходят отшельники, удаляются в новые дикие места, основываются там другие обители и также привлекают к себе население и т.д. Этим путем весь дикий, неприступный север с его непроходимыми лесами и болотами до самого Ледовитого моря усеивается монастырями, и к ним, как к средоточиям жизни, приливают колонии смелых и трудолюбивых жителей, готовых на тяжелую борьбу с негостеприимной природой. Независимо от общего аскетического духа, всегда господствовавшего в религиозных воззрениях православной Руси, в XIV столетии были причины, особенно способствовавшие распространению и процветанию монашества. В это именно время кипчакские ханы выразили свою милость к русской церкви; Узбек и Чанибек оградили своими грамотами не только собственно духовенство, но вообще всех людей, принадлежащих к церковному ведомству. Тогда было приманчиво быть причисленным к церкви; это был единственный путь достигнуть более спокойной жизни. В то время как суровые отшельники осуждали себя на произвольную нищету, к основанным ими обителям стремились люди, желавшие сохранить свое скромное достояние или безопасно пользоваться плодами тяжелого труда своего. Одни, надевая на себя монашеское платье, действительно или же только видимо удалялись от семейной жизни, другие отдавали себя монастырям с семьями. Была еще и другая временная причина, увлекавшая многих к монашеству. То была страшная зараза, опустошавшая несколько раз русские земли в XIV веке и описываемая современниками такими ужасными красками, что едва ли даже можно принимать буквально их известия: во всяком случае, при всех преувеличениях, несомненно, что эта зараза, несколько раз повторявшаяся, долго наводила ужас на русских людей и обращала их чувства и помышления к благочестию. И прежде было в обычае, что русский человек, чувствуя приближение смерти, думал загладить свои грехи пострижением в монахи и даже в схиму; теперь, когда никто не мог быть уверенным, что на другой день не подвергнется внезапной смерти, многие и в молодых летах поступали так, как отцы их поступали, чувствуя смертельную болезнь: постригались в монахи и отдавали в монастыри свои имущества. Об этом сохранились положительные известия в наших летописях. «Тогда, – говорит летописец, описавший мор 1352 года, – многие, промышляя о своем животе и душе, шли в монастырь и постригались в мнишеский чин, сподобляясь ангельскому чину, и так предавали душу свою пришедшим за ними Ангелам, а тела свои отдавали гробу; другие же, готовясь в домах своих на исход души, отдавали имущества свои церквам и монастырям... Иные от богатства давали монастырям и церквам села, рыбные ловли, исады, чтобы иметь по себе вечную память». Наконец, пример одних увлекал других; усилившееся в XIV веке стремление к основанию монастырей сделалось обычаем на долгое время; оно уже продолжалось и в последующие века, и русская жизнь усвоила себе этот способ колонизации сплошь до XVII века. Этот способ отразился и в истории раскола. Монастыри оказывали великое нравственное влияние на народную жизнь; многие из их основателей приобрели по смерти повсеместное уважение; толпы народа стекались у их мощей, и это в известной степени способствовало сплочению нравственных сил народа, что в особенности оказывалось там, где святые чествовались не местно, не одной какой-нибудь семьей, а всю Русью. Такое значение прежде всего имела святыня киевская; после нее второе место занимала святыня московской земли.

Ранее всех и более всех святых, явившихся в московской земле, приобрел народное уважение всей Руси преподобный Сергей, основатель знаменитой Троицко-Сергиевской

Лавры, получивший в глазах великорусского народа значение покровителя, заступника и охранителя государства и церкви. Кроме того, личность Сергия представляется исторически важной потому, что он был отцом множества обителей; некоторые из них были основаны при его жизни, а еще больше возникло их после смерти Сергия, основанных его сподвижниками и учениками, или же учениками его учеников.

Жизнь Сергия, можно сказать, служит самым полным образцом жизни и деятельности всех подобных ему основателей монашеских общин его времени. Все они в главных чертах представляют с ним подобие, при всех отличиях личных характеров и условий местности и времени. Замечательно, что этот святой муж, сделавшийся впоследствии покровителем Москвы и ее властителей, происходил из рода, искавшего спасения в бегстве из родной земли от начинавшихся проявлений московской власти. В биографии «братьев Даниловичей» мы говорили о притеснениях, которые терпел при Иване Калите подчиненный Москве Ростов. Тогда в числе бежавших от начальства москвичей был боярин Кирилл, человек знатного и богатого рода, обедневший подобно многим от поборов, от платежа выходов, от разорительных посещений ханских послов и невольных путешествий с князьями в Орду. Кирилл с супругою своею Мариєю и сыновьями: Стефаном, Варфоломеем и Петром перешел в Радонеж (в 12-ти верстах от нынешней Лавры), удел, оставленный Иваном Калитой сыну своему Андрею. В тот век владельцы старались привлечь к себе население из других волостей и давали пришедшим разные льготы; так поступал и князь Андрей. Двое сыновей Кирилла, Стефан и Петр, женились, но средний Варфоломей, одаренный поэтическим воображением и склонностью к созерцательной жизни, с отрочества порывался в монастырь. Тяжелые труды подвижника, неустанная молитва и внутренняя борьба с искушениями молодой жизни представлялись привлекательными его горячей и крепкой натуре. Родители удерживали его: «Потерпи немного, – говорили они ему, – мы стары, бедны и немощны, братья твои более заботятся о своих женах, нежели о нас. Послужи нам, проводи нас в гроб, а там делай, что хочешь». Вскоре они, чувствуя приближение кончины, постриглись и умерли. Старший брат Стефан лишился жены и пошел в монастырь. Варфоломей уступил женатому брату Петру свою часть наследства, покинул отцовский дом и отправился по окрестностям искать места для пустынного жития. Он сначала уговорил идти с собою брата своего Стефана и, вместе с ним, построил деревянную келью и церковь в лесу, на том месте, где теперь стоит богадый Троицкий собор Сергиевской Лавры; по просьбе Стефана митрополиг Феогност отправил священников освятить новую церковь во имя Св. Троицы. Но вскоре Стефан оставил своего брата: ему тяжело показалось одинокое житие. Он уехал в Москву в Богоявленский монастырь и скоро сделался там игуменом, затем духовником великого князя Симеона, тысяцкого и разных бояр. Варфоломей обратился к какому-то игумену Митрофану, принял от него пострижение под именем Сергия, так как в день, когда совершилось это пострижение, праздновалась память мучеников: Сергия и Вакха. Ему было тогда двадцать три года. Событие это совершилось в первых годах княжения Симеона.

Сергий остался один в лесу, пробыл там более года, подвергаясь чрезвычайным лишениям, опасности быть растерзанным зверями, страдая от видений, неразлучных с мукою подобного уединения. Между тем сделалось известным, что в таком-то месте в лесу спасается труженик, начали приходить к нему монахи один за другим и строили около него келии. Они служили в деревянной церкви заутреню, вечерню и часы, для литургии приглашали по временам соседнего священника, а через несколько времени убедили Сергия принять игуменство над ними, угрожая разойтись, если он не согласится. Сергий, после долгих отказов, был рукоположен в священники и назначен игуменом от переяславского епископа Афанасия. Так положено было начало Троицко-Сергиевского монастыря.

Сначала новооснованный монастырь был крайне беден: в нем было всего двенадцать братий, и, но скудости средств к содержанию, больше этого числа братий не допускалось; положено было правилом принимать нового брата только тогда, когда выбудет кто-нибудь из числа двенадцати. Богослужение нередко отправлялось у них при свете березовой лучины, а

иногда литургия не могла совершаться по недостатку вина. Игумен, однако, строго запретил ходить и просить милостыню и постановил правилом, чтобы все жили от своего труда или от добровольных, невыпрошенных даяний. Сам Сергей показывал собой пример трудолюбия: пек хлеб, шил обувь, носил воду, рубил дрова, во всем служил братии, ни на минуту не предавался праздности, а питался хлебом и водой. Чрезвычайно крепкое и здоровое телосложение способствовало ему переносить такой образ жизни. Вместе с тем он был строг и к другим, требовал от братии такой же суровой жизни, какую вел сам. Через несколько времени, однако, положение монастыря улучшилось. Молва о святой жизни Сергея и его братии расходилась все более и более, и вот пришел к ним из Смоленска архимандрит Симон. Он принес с собою значительное имущество, которое пожертвовал в монастырь Сергея. За ним прибыл брат Сергея, Стефан, и привел двенадцатилетнего сына своего Ивана, которого отдал под начало Сергея; последний тотчас постриг его, назвавши Феодором. С этих пор Сергей не ограничивал числа братий в своем монастыре, постригал всякого желающего, подвергнув предварительно строгому испытанию. В монастырь все более и более стало приходиться богомольцев: были между ними нищие странники, которых нужно было кормить, но были князья, воеводы и богатые люди, дававшие на монастырь богатые вклады. О Сергии распространилось мнение, что он одарен свыше даром пророчества. Несмотря на эту славу, Сергей продолжал вести прежний простой образ жизни и с равной любовью обращался как с князьями, которые обогащали монастырь, так и с бедняками, питающимися от монастыря.

Между тем пустынные окрестности обители стали заселяться: уже во времена княжения Ивана Ивановича возник около монастыря посад, а за ним заводились села и починки; люди вырубали леса и обращали дикую землю в обработанную. Эти новопоселенцы в своих взаимных делах обращались к Сергию, как к судье и миротворцу. Жизнеописатель Сергея, замечая, что вообще в обычае сильных было обижать убогих и присваивать чужое у соседей, рассказывает такой случай: один житель монастырского посада взял у другого кабана себе на пищу и не заплатил за него денег. Обиженный прибежал к Сергию. Сергей призвал к себе обидчика и сказал ему так: «Чадо мое, веришь ли ты, что есть Бог? Знай же, что он отец сиротам и вдовицам, судья праведным и грешным; те, кто грабят других и недовольны дарованным от благодати Божией, беспрестанно желают чужого, те сами обнищают, и дома их опустеют, и забудется сила их, и в будущей жизни ждет их бесконечное мучение. Отдай же тому сироте то, что ему следует, и вперед так не поступай». Виновный послушался.

При княжении Донского о Сергии знали уже в Константинополе, и патриарх Филофей прислал ему крест, параманд и схиму и грамоту на введение общежития. С этих пор Троицкий монастырь сделался общежительным.

Уважение к Сергию побуждало великого князя Дмитрия несколько раз обращаться к нему. В 1365 году, по поводу спора Дмитрия Константиновича суздальского с его братом Борисом за Нижний Новгород, по повелению Дмитрия московского и митрополита Алексия, Сергей ездил в Нижний Новгород, затворил в нем все церкви и тем принудил Бориса уступить брату. В 1385 году Сергей, уже престарелый, устроил вечный мир между непримиримыми до того врагами: Дмитрием московским и Олегом рязанским. Но самую громкую славу приобрело его отношение к Куликовской битве. Дмитрий, собираясь идти на Мамай, ездил к нему за благословением. Сергей предрек ему победу и возбуждал как великого князя, так и весь русский народ на священную брань за свободу Руси. Когда предсказание сбылось и русские победили, святость Сергея возвысилась еще более. Впоследствии сложилось предание, будто святой игумен благословил идти на брань двух иноков своей обители: Александра Пересвета, бывшего боярина, и Ослябя; и оба они пали в битве. Так как об этом событии нет известия ни в древнем Житии Сергея, ни в старых летописных редакциях, то едва ли можно признать его исторически верным; но оно, утвердись в воображении потомков, имело важное нравственное влияние, возвышавшее в памяти потомков как Сергея, так и его монастырь.

Митрополит Алексей перед смертью призвал Сергия к себе и хотел передать ему после себя митрополию. Сергий решительно отказался и даже долго не хотел принять золотую креста от Алексея: «Я от юности не носил золота, а в старости тем более подобает мне пребывать в нищете», – говорил Сергий. Несмотря на все свое смирение, Сергий, однако, возвышал свой голос в церковных делах. Когда по смерти Алексея Димитрий хотел возвести на митрополичий престол своего любимца Митяя, Сергий открыто говорил против него.

Кроме Троицкой обители, Сергий еще при своей жизни был основателем нескольких монастырей. Однажды у него произошла размолвка со старшим братом Стефаном во время вечернего богослужения. Стефан, стоя на левом клиросе, спросил канонарха: «Кто тебе дал эту книгу?» – «Игумен», – отвечал канонарх. «Кто здесь игумен, – сказал Стефан, – не я ли первый сел на этом месте?» Сергий услышал эти слова и, окончивши вечерню, не зашел в келью, а направил путь в Махрищенский монастырь к своему другу киевлянину Стефану, основателю Махрищенского монастыря; посоветовавшись с ним, Сергий вознамерился поселиться на пустынном берегу реки Киржачи и основать там новый монастырь. Братья Троицкого монастыря принялись искать своего игумена, и когда сделалось известным, где он находится, то некоторые из них, один за другим, стали переселяться к нему. Сергий испросил у митрополита Алексея разрешения построить церковь во имя Благовещения. Когда разнеслась весть, что Сергий основывает другую обитель, к нему стеклось много людей, и монахов и мирских: они добровольно работали над постройкою церкви и келий: князья и бояры давали денежные пособия на устройство нового монастыря; но по усиленной просьбе троицкой братии митрополит Алексей приказал Сергию возвратиться к Троице, а в новопостроенном монастыре поставить одного из своих учеников. Сергий поставил там игуменом Романа, и с тех пор основался монастырь Благовещения на Киржаче (Покровского уезда во Владимирской губернии). Из нынешних московских монастырей Андроньев и Симонов основаны были Св. Сергием. Первый построен был на берегах реки Яузы по желанию митрополита Алексея, в память его избавления от морской бури во время плавания из Цареграда, и посвящен во имя Нерукотворенного Спаса. Сергий поставил в нем своего любимого ученика и земляка Андроника. Этот монастырь сделался вскоре знаменитой школой иконописания для всей Руси. Симонов монастырь во имя Успения Богородицы был основан, по благословию Сергия и под его руководством, племянником его Феодором, который впоследствии был владыкой в Ростове. Преподобный Сергий посещал свою родину Ростов и в окрестностях его (в 15 верстах) устроил на берегах реки Устья Борисоглебский монастырь. В 1365 году, путешествуя в Нижний по делу между Димитрием и Борисом, он основал монастырь Георгиевский на реке Клязьме (в Гороховском уезде). В 1374 году, по желанию князя Владимира Андреевича, Сергий в двух верстах от Серпухова заложил Зачатейский Высоцкий монастырь на реке Нара и поставил там настоятелем ученика своего Афанасия. По желанию Димитрия Донского Сергий в 1378 году основал монастырь Дубенский на Стромени (в 30 верстах на юго-восток от Лавры), а в 1380 (в 40 верстах от Лавры и на северо-западе от нее) другой Дубенский Успенский, в память Куликовской битвы. В Коломне был им построен монастырь Голутвенский в честь Богоявления Господня. Во все эти монастыри он поставил настоятелями своих учеников.

Несколько знаменитых монастырей в разных местах Руси было воздвигнуто его учениками. Один из учеников Павел, происходивший из знатного московского рода, по благословию Сергия, удалился из Троицкого монастыря в дремучий Комельский лес на реке Грязовице и долгое время жил «в липовом дупле наподобие птицы», а потом перешел на реку Нурму (Вологодской губернии) и там основал Обнорскую обитель. Другой ученик Сергия Авраамий, с его благословения, основал четыре монастыря близ Галича (Костромской губернии): Успенский на Озере, Поясоположенский, Покровский чухломской и Собора Богоматери на реке Виче. В тех же местах после смерти Сергия, в 40 верстах от Галича, ученик его Лаков основал Железно-Борский Предтеченский монастырь. Ученик Сергия Мефодий основал Николаевский монастырь на реке Песноше (в 15 верстах от Дмитрова). После смерти Сергия, один из любимых учеников его Савва, бывший несколько лет

преемником Сергия на игуменстве в Троицком монастыре, вышел оттуда и основал свой собственный монастырь на горе Стороже (в Звенигородском уезде), который сделался одним из уважаемых на Руси монастырей под именем монастыря Саввы Сторожевского. Св. Димитрий прилуцкий, хотя не был учеником Св. Сергия, но живя в Переяславской Горицкой обители, приходил беседовать с Сергием и с его благословения удалился на север, где близ Вологды основал монастырь Прилуцкий, который сделался рассадником монашеского житья в северо-восточных странах. Собеседником Св. Сергия был также знаменитый Стефан, просветитель Перми. Об отношениях его к Сергию осталось такое предание: когда Стефан ехал из Перми в Москву мимо Троицкого монастыря, хотя вдалеке от него, то поклонился в ту сторону, где был монастырь. Сергей сидел тогда за трапезой и, будучи прозорлив, встал и поклонился в ту сторону, где тогда находился Св. Стефан. В память этого события до сих пор в Троицкой Лавре остался обычай братии вставать с места после третьей перемены кушанья за трапезой.

Из Сергиевых учеников мы укажем на Ферапонта и в особенности на Кирилла белозерского: оба они были основателями монашества в пустынных северных краях, соседних с Белоозером. Первый основал монастырь Ферапонтов, второй – Кирилло-Белозерский монастырь, приобретший особенную знаменитость в XV и XVI в., славный своею богатою библиотекою. Ученики Кирилла белозерского были в свою очередь важными распространителями монашества. Таковы были между прочими Дионисий глушицкий и Корнилий комельский, основатели монастырей в диких вологодских странах. Не говорим уже о многих других, которые, не будучи учениками Сергия или его учеников, были возбуждаемы его примером и всеобщим распространившимся стремлением к основанию монастырей в пустынных странах.

Сергий скончался, по некоторым известиям, в 1392 году, а по некоторым – в 1397 году. Последнее вероятнее, так как он, говорят, дожил до 78 лет. Непосредственным преемником его был Никон, а за ним Савва сторожевский, о котором было говорено выше.

Основанная Сергием Троицкая обитель осталась до сих пор первенствующею среди всех других, построенных как им и его учениками, так и последующими основателями монастырей. Великие князья и цари имели обычай ежегодно ездить к Троице на праздник Пятидесятницы и, кроме того, считали долгом отправляться туда перед каждым важным делом, нередко пешком, и просить содействия и заступничества чудотворца Сергия. Великие события смутного времени в особенности возвысили историческое значение Троицкой Лавры.

## **Глава 11**

### **Великий князь Димитрий Иванович Донской**

Первенство Москвы, которому начало положили братья Даниловичи, опиралось, главным образом, на покровительство могущественного хана. Иван Калита был силен между князьями русскими и заставлял их слушаться себя именно тем, что все знали об особенной милости к нему хана и потому боялись его. Он умел воспользоваться как нельзя лучше таким положением. При двух преемниках его условия были все те же. Хан Узбек, а по смерти сын его Чанибек, давали старейшинство московским князьям одному за другим. С 1341 года по 1353 был великим князем старший сын Калиты Симеон, а с 1353 по 1359 другой сын Иван. Оба князя ничем важным не ознаменовали себя в истории. Последний как по уму, так и по характеру был личностью совершенно ничтожной. Но значение Москвы для прочих князей держалось в эти два княжения временною милостью хана к московским князьям. По смерти Ивана Москва подверглась большой опасности потерять это значение. Преемником Ивана был девятилетний Димитрий; тут-то оказалось, что стремление к возвышению Москвы не было делом одних князей, что понятия и поступки московских князей были выражением той среды, в которой они жили и действовали. За малолетнего Димитрия стояли московские бояре; большею частью это были люди, по своему происхождению не принадлежавшие

Москве; отчасти они сами, а отчасти их отцы и деды пришли с разных сторон и нашли себе в Москве общее отечество; они-то и ополчились дружно за первенство Москвы над Русью. То обстоятельство, что они приходили в Москву с разных сторон и не имели между собою иной политической связи, кроме того, что всех их приютила Москва, – способствовало их взаимному содействию в интересах общего для них нового отечества. В это время в Орде произошел перелом, с которого быстро началось ее окончательное падение. Чанибека убил сын его Бердибек, а Бердибека убил полководец Наврус и объявил себя ханом. Суздальский князь Димитрий Константинович отправился в Орду и получил там великое княжение. За него стояли новгородцы, чувствовавшие тягость московского первенства, так как по следам Калиты сын его Симеон теснил Новгород и обирал, выдумавши новый род поборов с черных людей новоторжской волости под именем «черного бора» (т.е. побора). Суздальский князь, приехавши с ханским ярлыком, сел на великокняжеском столе во Владимире, и этому городу опять, по-видимому, предстояло возвратить себе отнятое Москвою первенство. Но покровитель суздальского князя Наврус был в свою очередь убит другим полководцем Хидырем, и последний объявил себя ханом. Московские бояре повезли к нему десятилетнего Димитрия Ивановича. Было естественно новому повелителю изменить распоряжения прежнего: он дал ярлык на княжение Димитрию. Таким образом, на этот раз уже не лицо московского князя, неспособного по малолетству управлять, а сама Москва, как одна из земских единиц, приобретала первенствующее значение среди других земель и городов на Руси: прежде ее возвышало то, что ее князь был по воле хана старейшим, а теперь наоборот – малолетний князь делался старейшим именно потому, что был московским князем. Но Хидырь был вскоре умерщвлен своим сыном, которого также немедленно убили. Орда разделилась. Сильный темник Мамай выставил ханом какого-то Абдула, а сарайские вельможи – Хидырева брата Мюрида. Москвичам показалось сначала, что партия Мюрида сильнее, и они выхлопотали у него ярлык для Димитрия, но в следующем 1362 году они увидели, что партия Мамай берет верх, и тотчас обратились к нему и получили для Димитрия ярлык на великое княжение от имени Абдула. Таким образом, несовершеннолетний московский князь был утвержден разом двумя соперниками, готовыми растерзать друг друга. Мюрид, узнавши, что московский князь получил ярлык от его врага, послал ярлык суздальскому князю. Началась было междоусобная война между двумя соискателями. Но у Димитрия суздальского в то же время началась ссора со своим братом Борисом за Нижний Новгород, и Димитрий Константинович, желая по смерти брата своего Андрея овладеть Нижним Новгородом, помирился с Москвою: при ее помощи он утвердил за собой Нижний Новгород. В 1365 году пятнадцатилетний Димитрий сочетался браком с его дочерью Евдокией.

Уже во время несовершеннолетия Димитрия бояре от его имени распоряжались судьбою удельных князей. В 1363 году они стеснили ростовского князя и выгнали князей: галицкого и стародубского из их волостей. Гонимые и теснимые Москвою, князья прибегали к суздальскому князю, но, после примирения с Москвою, сам суздальский князь признал над собою первенство московского.

В числе тогдашних руководителей делами бесспорно занимал важное место митрополит Алексей, уважаемый не только Москвою, но и в Орде, так как еще прежде он исцелил жену Чанибека, Тайдулу, и на него смотрели как на человека, обладающего высшею чудотворною силою. Под его благословением составлен был в 1364 году договор между Димитрием московским и его двоюродным братом Владимиром Андреевичем, получившим в удел Серпухов. Этот договор может до известной степени служить образчиком тогдашних отношений зависимых князей к старейшему: Владимир Андреевич имел право распоряжаться своею волостью, как вотчинник, но обязан был повиноваться Димитрию, давать ему дань, следуемую хану, считать врагами врагов великого князя, участвовать со своими боярами и слугами во всех походах, предпринимаемых Димитрием, получая от него во время походов жалованье. Бояре из уделов обоих князей могли переходить свободно; но это позволение не простиралось на остальных жителей; князья не имели права покупать



имений в чужом уделе, и в случае тяжб между жителями того и другого удела, производился совместный суд, как бы между особыми государствами, а если судьи обеих сторон не могли между собою согласиться, то назначался суд третейский. Таким образом, в то время, когда Москва возвышалась над прочими русскими землями и распоряжалась их судьбою, в самой московской земле возникало удельное дробление, естественно замедлявшее развитие единовластия, но в то же время и принимались меры, чтобы, при таком дроблении, сохранялась верховная власть лица, княжившего в самой Москве.

Личность великого князя Димитрия Донского представляется по источникам неясною. Мы видим, что в его отрочестве, когда он никак не мог действовать самостоятельно, бояре вели дела точно в таком же духе, в каком бы их вел и совершеннолетний князь. Летописи, уже описывая его кончину, говорят, что он во всем советовался с боярами и слушался их, что бояре были у него как князья; также завещал он поступать и своим детям. От этого невозможно отделить: что из его действий принадлежит собственно ему, и что его боярам; по некоторым чертам можно даже допустить, что он был человек малоспособный и потому руководимый другими; и этим можно отчасти объяснить те противоречия в его жизни, которые бросаются в глаза, то смешение отваги с нерешительностью, храбрости с трусостью, ума с бестактностью, прямодушия с коварством, что выражается во всей его истории.

Из всех князей других русских земель всех опаснее для Москвы казался Михаил, сын Александра Михайловича тверского. Он естественно питал родовую ненависть к московским князьям и был при этом человек предприимчивый, упрямого и крутого нрава. Бывши сначала князем в Микулине, он овладел Тверью, назывался великим князем тверским и, в качестве старейшего, хотел подчинить своей власти своих ближайших родственников, князей тверской земли. Между ним и его дядей Василием кашинским возник спор за владение умершего князя Семена Константиновича, который завещал его Михаилу Александровичу. Так как дело по завещанию касалось церкви, то дело это разбирал тверской епископ Василий и решил в пользу Михаила Александровича. Первопрестольник русской церкви митрополит Алексей, сильно радевший о величии Москвы и ее выгодах, был очень недоволен таким решением и призвал Василия в Москву. Современники говорят, что тверской епископ потерпел там большие «протори». Между тем Василию кашинскому послали из Москвы рать на помощь против Михаила Александровича, и Василий отправился силою выгонять своего племянника из Твери, но у Михаила Александровича также был могучий покровитель, зять его, литовский великий князь Ольгерд, женатый на сестре его Иулиании. Кашинцы и москвичи не взяли Твери, а только успели наделать разорения Тверской волости, как явился Михаил с литовскою помощью. Дядя и стоявший за дядю племянник князь Иеремий уступили во всем Михаилу и целовали крест повиноваться ему, но Иеремий немедленно после того бежал в Москву и умолял московского князя распорядиться тверскими уделами.

Москвичи придумали иным способом расправиться с Михаилом. Митрополит Алексей и великий князь приглашали «любовно» Михаила приехать в Москву на третейский суд. Митрополит уверил его своим пастырским словом в безопасности. Михаил приехал: его взяли под стражу и разлучили с боярами, которых также заточили. Но Москва не воспользовалась этим поступком, а напротив, только повредила себе. Вскоре после того прибыли из Орды татарские послы: неизвестно, требовали ли они освобождения Михаила или же москвичи боялись, что татарам будет неприятен этот поступок: только Михаил был выпущен и, как говорят, его принудили целовать крест на том, чтобы повиноваться московскому князю. Москва тем временем овладела Городком (на реке Старице). Московский князь послал туда князя Иеремию, а вместе с этим князем и своего наместника.

С этих пор Михаил решился во что бы то ни стало отомстить Москве и нанести ей жестокий удар. Он в особенности обвинял митрополита Алексея: «Я всего больше любил митрополита и доверял ему, говорил Михаил, – а он так посрамил меня и поругался надо мною».

Михаил отправился в Литву к Ольгерду и побудил его идти на Москву. Раздраживши Михаила, москвичи не сообразили, что он может навести на Москву опасного врага, и не

приняли никаких мер обороны. В Москве узнали о нашествии Ольгерда только тогда, когда литовский князь уже приближался с войском к границе вместе с братом своим Кейстутом, племянником Витовтом, разными литовскими князьями, смоленскою ратью и Михаилом тверским. В обычае этого воинственного князя было: не говорить заранее никому, куда собирается идти на войну, совершать походы скорые и нападать внезапно. Князья, подручные Дмитрию, не успели по его призыву явиться на защиту Москвы. Оставалось обороняться силами одной московской земли: Дмитрий выслал против врага воеводу Дмитрия Минина, а Владимир Андреевич – Акинфа Шубу. Литовцы на пути своем жгли, грабили селения, истребляли людей; высланная московская рать была ими разбита в прах, 21 декабря 1368 года на реке Тростне воеводы пали в битве. «Где есть великий князь со своею силою?» – спрашивал Ольгерд пленных. Все в один голос давали такой ответ: «Князь в городе своем Москве, а рати не успели собраться к нему». Ольгерд поспешил прямо к Москве. Великий князь Дмитрий, князь Владимир Андреевич, митрополит, бояре со множеством народа заперлись в Кремле, который был только что перед тем укреплен каменною стеною. Москвичи сами сожгли посад около Кремля. Ольгерд три дня и три ночи простоял под стенами Кремля. Взять его приступом было трудно, а морить осажденных голодом Ольгерд не решался, так как зимою стоять долгое время в открытом поле было бы слишком тяжело для осаждающих; притом же на выручку Москве могли подоспеть рати подручных князей. Ольгерд приказал сжечь кругом Москвы все, что еще не было сожжено самими русскими. Тогда, кроме посада, обнесенного дубовою стеною, за пределами этого посада было поселение, носившее название Загородье, а за Московью-рекою другое, называемое Заречье. Литовцы сожгли все, не щадя ни церквей, ни монастырей; возвращаясь назад, они разоряли Московскую волость, жгли строения, грабили имущества, забирали скот, убивали или гнали в плен тех людей, которые не успевали спастись от них в леса. По известию современника, Москва потерпела от Ольгерда такое бедствие, какого не испытывала со времени нашествия Батыя. Таковы были последствия неловкой московской политики: хотя москвичи и действовали в духе, указанном Калитою, но способами до крайности неудачными; думая сломить силу опасного тверского князя, они сделали его еще опаснее для себя и легкомысленно навлекли на свою землю беду от нового врага, который, до этого времени постоянно занятый другими войнами и делами собственной страны, не делал никаких покушений на московскую землю.

Этим дело не окончилось. Москва за разорение, нанесенное ей литовцами, хотела вознаградить себя разорением земель: тверской и смоленской. Сначала москвичи и с ними волочане (то есть Волока-Ламского) пограбили Смоленскую волость в отмщение за то, что смольняне ходили с литовцами на Москву; а потом великий князь московский послал объявить войну тверскому. Михаил Александрович тотчас убежал в Литву. Московская рать два раза вступала в тверскую землю, разоряла села и волости, взяла, под начальством самого Дмитрия, Зубцов и Микулин. Москвичи погнали тогда из тверской земли множество пленных и скота в свою разоренную литовцами землю. Пленные из тверской земли заменяли в московской земле тех людей, которых угнали литовцы в свою сторону. Тверичи были «смирены до зела», по выражению летописца.

Ольгерд на этот раз не мог дать скорой помощи шурина, потому что занят был войной с Орденом. Михаил тверской, услышавши о бедствии своей земли, сильно опечалился и принял намерение, вероятно, с согласия Ольгерда, иным путем отомстить своему врагу. Он отправился в Орду и без труда выхлопотал себе там великокняжеское достоинство от Мамант-Салтана, хана, посаженного Мамаем, но об этом узнали в Москве и поставили заставы, чтобы изловить Михаила на возвратном пути. К счастью, у Михаила были доброжелатели в Москве; они дали ему знать, и он опять пробрался в Литву. По усиленной просьбе жены своей, Ольгерд решился наконец помогать ее брату. Он двинулся на московскую землю с братом Кейстутом, литовскими князьями, Святославом смоленским и Михаилом тверским. Простояв несколько дней у Волока и не взявши его, литовцы пришли к Москве 6 декабря 1370 года. Дмитрий заперся в Кремле, но Владимир Андреевич, собрав

свою рать, стоял в Перемышле. С ним были заодно рати: рязанская и пронская. Литовцы пожгли часть только что возобновленного посада и окрестные села, но, простояв 8 дней под Кремлем, Ольгерд заключил с московским князем перемирие до Петрова дня; он хотел даже вечного мира и предлагал родственный союз, обещая выдать дочь свою Елену за князя Владимира Андреевича. Но дело на этот раз пока ограничилось одним перемирием. В этот год была необыкновенно теплая зима, преждевременно наступила оттепель и распустились реки; пути испортились: отступить было трудно; а между тем на Ольгерда русские готовились ударить с тыла. Кроме того, Ольгерда торопили домой дела с немецким Орденом. Все эти обстоятельства побудили его оставить дело Михаила.

Лишенный помощи зятя, тверской князь опять отправился в Орду. На этот раз ему предлагали там татарское войско, но он не решился подвергать русские земли разорению, соображая, что в таком случае возбудит к себе всеобщую ненависть русских. Михаил думал, что достаточно будет одного ханского посла с ярлыком, повелевающим русским признавать Михаила великим князем, но Орда до того ослабела от внутренних междоусобий, что ее уже не боялись, как прежде, и Димитрий московский приводил к присяге владимирцев и жителей других городов сохранять ему верность, не обращая внимания на татарские ярлыки, повелевающие повиноваться тверскому князю; сам Димитрий стал с войском в Переяславле вместе с Владимиром Андреевичем. Михаил с ханским послом Сарыходжою прибыл к городу Владимиру; владимирцы не пустили их. Сарыходжа звал Димитрия во Владимир слушать ярлык; Димитрий отвечал ему так: «К ярлыку не еду, на великое княжение не пушу, а тебе, послу цареву, путь чист». Вместе с тем он послал дары Сарыходже. Сарыходжа оставил Михаила и поехал в Москву. Его приняли там с таким почетом и так щедро одарили, что он совершенно перешел на сторону Димитрия, уговорил его ехать к Мамаю и обещал ходатайствовать за него.

Михаил с досады разорил Мологу, Углич, Бежицкий-Верх и вернулся в Тверь, а в Орду выслал сына своего Ивана. Тогда, по общему совету с митрополитом и боярами, Димитрий сам отправился вместе с Андреем ростовским и московскими боярами и слугами искать милости Мамаю. Митрополит Алексей проводил его до Оки и благословил на путь. Несмотря на то, что Димитрий уже раздражал Мамаю, еще нетрудно было приобрести его благосклонность, потому что Мамай был милостив к тому, кто давал ему больше. Димитрий привез ему обильные дары; притом же Сарыходжа настраивал его в пользу Димитрия. Москва, несмотря на разорение, нанесенное Ольгердом, была все еще очень богата в сравнении с прочими русскими землями; сборы ханских выходов обогащали ее казну. Димитрий не только имел возможность подкупить Мамаю, но даже выкупил за 10000 рублей серебра<sup>29</sup> Ивана, сына Михайлова, удержанного в Орде за долг, и взял его себе в заложники в Москву: там этот князь находился в неволе на митрополичьем дворе до выкупа. Димитрий получил от хана ярлык на княжение, и даже Мамай сделал ему такую уступку, что положил брать дань в меньшем размере, чем платилось при Узбеке и Чанибеке; а Михаилу Мамай послал сказать так: «Мы дали тебе великое княжение; мы давали рать и силу, чтобы посадить тебя на великом княжении; а ты рати и силы нашей не взял, говорил, что своею силою сядешь на великом княжении; сиди теперь с кем любо, а от нас помощи не ищи!»

Михаил снова обратился в Литву. На Ольгерда была, по-видимому, надежда плоха: во время поездки Димитрия в Орду прибыли в Москву послы Ольгердовы и обручили с Владимиром Андреевичем Ольгердову дочь Елену, а следующей зимою совершилась их свадьба. Зато Михаил уговорил Кейстута, сына его Витовта, Андрея Ольгердовича полоцкого и других литовских князей идти с ним на московскую землю. Димитрий в это время расправлялся с Олегом рязанским, вероятно, благоприятствовавшим Михаилу. Этот князь не менее тверского питал родовую неприязнь к московскому княжескому роду, преемственно переходившую от прадеда, некогда задушенного в Москве Юрием Даниловичем. Рязанцы ненавидели москвичей за их надменность и высокомерное

---

<sup>29</sup> Тогдашний рубль приблизительно равнялся гривне, т.е. полуфунту серебра.

обхождение с русскими других земель. Москвичи называли их «полуумными людищами»; рязанцы обзывали москвичей «трусами» и говорили, что «против них надо брать на войну не оружие, а веревки, чтоб вязать их». Олег потерпел поражение при Скорнице; Дмитрий овладел Рязанью и отдал ее князю Владимиру пронскому в надежде, что новый князь будет ему повиноваться, но от этого не произошло никакой пользы для Москвы: Дмитрий должен был обратиться на Михаила, который приближался с литовскою ратью, а Олег, воспользовавшись этим обстоятельством, выгнал пронского князя и стал по-прежнему княжить в Рязани.

Весной 1372 года Михаил с литовцами захватил по дороге у новгородцев Торжок, посадил там своего наместника, а потом ворвался в московскую землю, покушался взять Переяславль, но был отбит, взявши, однако, Дмитров. Литовцы сожгли много селений, наловили пленников... Тем дело кончилось.

Михаил возвратился в тверскую землю и принудил кашинского князя действовать с ним заодно, потом двинулся на Торжок, узнавши, что новгородцы выгнали оттуда его наместников, которых он там только что посадил. Его союзники литовцы не слишком дружелюбно обращались с тверской землей, когда проходили через нее: Михаил должен был все терпеть и спешил только скорее вывести их из своих владений в новоторжскую волость.

У новгородцев были с Михаилом давние недоразумения. Тверские бояре покупали земли в новгородской земле, а тверской князь, считая себя господином над этими боярами, показывал притязания на их владения, несмотря на то, что они находились в черте Новгородской волости. Новгород долго и напрасно добивался прекращения этих злоупотреблений. Кроме того, когда Михаил собирался искать великого княжения в Орде, новгородцы, недовольные Москвою, обещали признать его великим князем, если его утвердит хан, но теперь не хотели знать его, когда услышали, что великим князем остается Дмитрий. По этим-то поводам Михаил захватил Торжок. Когда до него дошла весть, что новгородцы не только выгнали его наместников, но и пограбили тверских купцов, Михаил сильно озлобился на Новгород и, оставивши войну с Москвою, устремил все свои силы против новгородцев. 31 мая 1372 года он подошел к Торжку, требовал выдать тех, которые ограбили тверских купцов, и принять вновь его наместников. Начальствовал в Торжке новгородский воевода Александр Абакумович, удалой предводитель ушкуйников<sup>30</sup>; он отказал Михаилу наотрез, вышел в битву против него и пал в ней со многими товарищами. Новгородцы покинули Торжок и бежали в Новгород, а тверичи и литовцы в это время успели зажечь посад. Случилась буря, множество новоторжцев погибло в пламени, другие бросались в воду, а тех, которые попадались в плен неприятелю, убивали и мучили с особенным поруганием. «Тверичи, – говорит летописец, – обнажали честных женщин и девиц и заставляли их от стыда бросаться в воду». Тогда ограбили и сожгли все церкви, и весь Торжок был стерт с лица земли. Варварски мстил Михаил новгородцам, но зато нажил себе в них опасных мстителей на будущее время.

Михаил возвратился с добычею в Тверь, должен был дожидаться прихода Дмитрия и опять умолял Ольгерда о помощи. Сестра его еще раз уговорила мужа заступиться за брата, несмотря на родство его с московским князем, тем более, что выданная за Владимира Андреевича Елена была дочь Ольгерда от первого брака. Ольгерд пошел с войском на Москву летом 1373 года. Этим походом он временно остановил поход Дмитрия на Тверь. Михаил присоединился к Ольгерду. Москвичи на этот раз не были так оплошны, как прежде, и не допустили врагов к Москве. Они встретили Ольгерда у Любутска (близ Калуги). Обе рати долго простояли по обеим сторонам крутого оврага, но битвы между ними не произошло. Великие князья московский и литовский заключили перемирие. Дмитрий обязался не беспокоить Михаила в Твери, а Михаил не должен был искать великого княжения, обязался возвратить все похищенное в земле Дмитрия и вывести оттуда своих наместников, а если тверской князь не выполнит своих обещаний и если на него окажется

---

<sup>30</sup> Ушкуйники были удалые новгородские молодцы, ездившие разбойничать по Каме и Волге.

какая-нибудь жалоба в Орде, то Ольгерд не будет за него заступаться.

Михаил, лишившись в другой раз помощи Ольгерда, по-видимому, не мог уже скоро надеяться на нее; а все-таки он не оставил своей борьбы с Москвою. Случилось, что люди, пришедшие из Москвы, сами подстрекали его. В Москве умер последний тысяцкий Василий Вельяминов. Великий князь решил упразднить этот важный древний сан вечевого Руси. Тысяцкий выбирался землею мимо князя, предводительствовал земскою ратью, был представителем земской силы, опорой вечевого строя. Эта старинная должность с ее правами стояла вразрез с самовластными стремлениями князей; она также не по сердцу была и боярам, которые окружали князя, хотели быть его единственными советниками и разделять с ним управление землею, не обращаясь к воле народной громады. У последнего тысяцкого остался старший сын Иван, недовольный новыми распоряжениями. С ним заодно был богатый купец Некомат, торговавший так называемым суровским товаром (то есть дорогим, красным). Они оба убежали в Тверь к Михаилу и побуждали его опять добиваться великого княжения. Михаил препоручил им же выхлопотать для него новый ярлык в Орде, а сам уехал в Литву, пытаясь все-таки найти там себе пособие. Из Литвы Михаил скоро вернулся с одними обещаниями, но 14 июля 1375 года Некомат привез ему ярлык на великокняжеское достоинство, и Михаил, не думая долго, послал объявить войну Димитрию. Он надеялся сокрушить московского князя силами Орды и Литвы и обманулся жестоко.

За Димитрия, кроме сил Московской и Владимирской волостей, ополчились подручные Москве князья, обязанные помогать ей на войне. Его тесть, князь суздальский, с братьями и детьми вел рати суздальские, нижегородские и городецкие, шли князья: ростовские, ярославские: кроме того, к Москве пристали тогда князья: смоленский и южные, из древней земли вятичей, – новосильский, оболенский, тарусский. Последние не хотели подчиняться власти литовской и потому добровольно признали над собою первенство Москвы и вступили в число ее подручников. Были еще в этом ополчении и князья только по имени, называвшиеся именами бывших уделов, так как их уделы находились в руках других князей, поставленных Ольгердом: так, например, стародубский и брянский; а иные, как белозерский и моложский, не были уже владельцами своих уделов, непосредственно присоединенных к Москве, и находились на службе у великого московского князя: эта участь впоследствии постигла безразлично и всех удельных князей. Наконец, за Димитрия был тогда Новгород, с радостью увидевший возможность отомстить Михаилу за разорение Торжка. Новгородцы так горячо бросились помогать Москве, что на призыв Димитрия в три дня собрали свою рать. Русские князья, как и вообще русские люди в то время, негодовали на тверского князя за то, что он поднимает смуту, призывает на Русь литовцев и, главное, возбуждает Мамаю; уже тогда на Руси созрело сознание, что приходит пора не кланяться татарам, а померяться с ними силами. «Мамай дышит яростью на всех нас, – говорили тогда. – Если мы спустим тверскому князю, то он, соединившись с Мамаем, наделает нам беды».

В августе 1375 года Димитрий с союзниками вступил в тверскую землю, взял Микулин, осадил Тверь. Он простоял там четыре недели, а между тем его воины жгли в Тверской области селения, травили на полях хлеб, убивали людей или гнали их в плен. Михаил, не дождавшись ниоткуда помощи, выслал владыку Евфимия к Димитрию просить мира. Казалось, пришла самая благоприятная минута покончить навсегда тяжелую и разорительную борьбу с непримиримым врагом, уничтожить тверское княжение, присоединить тверскую землю непосредственно к Москве и тем самым обеспечить с этой стороны внутреннее спокойствие Руси. Но Димитрий удовольствовался вынужденным смирением врага, который в крайней беде готов был согласиться на какой угодно унижительный договор, лишь бы оставалась возможность его нарушить в будущем. Михаил обязался за себя и своих наследников находиться в таких отношениях к Москве, в каких был Владимир Андреевич, считать московского князя старейшим, ходить на войну или посылать своих воевод по приказанию московского князя, не искать и не принимать от хана великокняжеского достоинства, отречься от союза с Ольгердом и не помогать ему, если он пойдет на смоленского князя за его участие в войне против Твери. Михаил обязывался не

вступаться в дела кашинской земли, и, таким образом, тверская земля разделялась с этих пор на две независимые половины, и власть Михаила Александровича простиралась только на одну из этих половин. В удовлетворение Новгороду, тверского князя обязали возвратить церковное и частное имущество, пограбленное в Торжке, и освободить всех новгородских людей, которых он закабалил себе посредством грамот. Михаил обязался возвратить Новгороду все земли, купленные его боярами, и все товары, когда-либо захваченные у новгородских гостей. Наконец, что всего важнее в этом договоре, постановлено было по отношению к татарам, что если решено будет жить с ними в мире и давать им выход, то и Михаил должен давать, а если татары пойдут на Москву или на Тверь, то обеим сторонам быть заодно против них; если же московский князь сам захочет идти против татар, то и тверской должен идти вместе с московским. Таким образом, Москва, возвысившись прежде исключительно татарскою силою, теперь уже имела настолько собственной силы, что обязывала князей других земель повиноваться ей и в войне против самих татар.

Несчастные беглецы, подстрекнувшие Михаила на новую борьбу с Димитрием, были, по договору, преданы Михаилом на произвол судьбы. Всем другим боярам и слугам обеих земель предоставлялся вольный отъезд, и князья не должны были «вступаться» в их села, а имения Ивана и Некомата предоставлялись без изъятия московскому князю. Через несколько лет после того их самих заманили хитростью и привезли в Москву. Там, на Кучковом поле (где теперь Сретенский монастырь), 30-го августа 1379 года над ними была совершена публичная смертная казнь, насколько известно – первая в Москве. Народ с грустью смотрел на смерть Ивана, красивого молодца; вместе с головой Ивана отсекались для него все заветные предания старинной вечевой свободы. Казнь его, однако, не помешала братьям его служить Димитрию и воеводствовать у него.

Усмирение тверского князя раздражило Ольгерда, но не против Димитрия, а против смоленского князя, за то, что последний, которого он считал уже своим подручником, участвовал в войне против Михаила. Ольгерд опустошил в отмщение смоленскую землю и взял много людей в плен. Гораздо сильнее раздражился за Тверь Мамай и притом на всех вообще русских князей: он видел явное пренебрежение к своей власти; его последний ярлык, данный Михаилу, был поставлен русскими ни во что. Тогда один татарский отряд напал на нижегородскую землю, объявляя ей наказание за то, что рать ее ходила на тверскую землю; другой отряд за то же самое опустошил землю новосильскую. Вслед за тем, в 1377 году, татарский царевич Арапша из Мамаевой Орды сделал опять нападение на нижегородскую землю. Соединенная суздальская и московская рать по собственной оплошности была разбита у реки Пьяны, и последствием этого поражения было взятие и разорение Нижнего Новгорода. Наконец, в 1378 году Мамай послал мурзу Бегича на великого князя. Ополчение его шло через рязанскую землю. Великий князь предупредил Бегича, перешедши Оку, вступил в рязанскую землю; здесь, на берегах реки Вожи, 11-го августа, татары были разбиты наголову.

Здесь сподвижником Димитрия явился Ольгердов сын Андрей. Ольгерда уже не было в живых. Воинственный князь не только принял христианство, но перед смертью постригся в монахи и умер, как говорят, схимником. Андрей Ольгердович не поладил с преемником отца, своим единокровным братом Ягеллом, и бежал в Псков, где был посажен князем, а потом со псковичами служил Москве против татар. После вожской битвы этот князь, вместе с Владимиром Андреевичем и с воеводою (называемым в летописях иногда и князем) Димитрием Михайловичем Боброком, волынцем, взяли бывшие под властью Литвы города Трубчевск и Стародуб в северской земле с их волостями. Брат Андрея, князь Димитрий Ольгердович, княживший в Брянске и Трубчевске, также недовольный Ягеллом, отдался добровольно под руку великого князя, который дал ему Переяславль-Залесский со всеми пошлинами, т.е. доходами княжескими. Эти враждебные отношения к Литве вызвали со стороны преемника Ольгердова Ягелла вражду против Москвы и заставили его войти в союз против нее с Мамаем.

После вожской битвы Мамай прежде всего подвергнул каре рязанскую землю, за то,

что поражение татар произошло в рязанской земле. Татарские полчища ворвались туда, разорили много сел, угнали в плен много людей и сожгли Переяславль рязанский. Олег не успел собрать своих сил и убежал, а потом, чтобы не подвергать вновь опасности своей волости, поехал к хану, поклонился ему и обещал верно служить Мамаю против Москвы.

Мамай перестал уже возводить на престол призрачных ханов для того, чтоб управлять под их именем: сам он назвался ханом. Димитрий не повинился ему: русские оказывали явное пренебрежение к татарскому могуществу: это раздражало Мамаю до крайности. Он замыслил проучить непокорных рабов, напомнить им батыевщину, поставить Русь в такое положение, чтоб она долго не посмела помышлять об освобождении от власти ханов. Мамай собрал всю силу Волжской Орды, нанял хивинцев, буртасов, ясов, вошел в союз с генуэзцами, основавшими свои поселения на Черном море, и заключил с литовским князем Ягеллом договор заодно напасть на московского великого князя. И Олег рязанский посылал от себя своего боярина к Ягеллу, совещался о том, чтобы литовский князь прибыл в срок на Дон для соединения с Мамаем: но в то же время Олег рязанский посылал известить Димитрия о замыслах Мамаю и Ягелла. Димитрию уже прежде было известно об этих замыслах. Когда Мамай, летом 1380 года заложив свой стан при устье реки Воронежа, назначал там сборное место для своих полчищ и ждал Ягелла, Димитрий собирал подручных князей на общее дело защиты Руси. Желание разделаться с поработителями настолько уже созрело и овладело народными чувствами русского народа, что московскому князю не предстояло необходимости ждать ратных и понуждать к скорейшему прибытию. Кроме тверского князя, непримиримого врага Москвы, да кроме Олега, который поневоле должен был держаться Мамаю из расчета спасти свою землю, все русские князья и все русские земли охотно готовы были участвовать в предстоявшей борьбе русского народа с татарами. С Димитрием были силы земли московской, владимирской, суздальской, ростовской, нижегородской, белозерской, муромской, псковичи со своим князем Андреем Ольгердовичем, брянцы с братом Андрея Димитрием Ольгердовичем. Летопись говорит, что у Димитрия набралось тогда 150000 воинов. Если это число и преувеличено, то все-таки ополчение, готовое выступить против Мамаю, было, вероятно, очень велико, как можно судить по всеобщему сочувствию русских к этому делу.

Митрополита Алексия уже не было в живых. Он скончался в 1378 году. Этот архипастырь, главнейший советник Димитрия, во все время своего первосвященства употреблял свою духовную власть для возвышения Москвы и служил ее интересам. Такой образ действий навлек на него врагов: После задержания Михаила Александровича в Москве тверской князь жаловался на коварство Алексия цареградскому патриарху Каллисту и требовал над ним соборною суда. Со своей стороны, Ольгерд жаловался тому же патриарху, что Алексий, посвятив себя исключительно Москве, не хочет вовсе знать ни Киева, ни всего литовского княжества. Патриарх требовал Алексия к себе на суд, но вместе с тем советовал ему, для избежания такого суда, помириться с Михаилом и с Ольгердом. «Мы, – писал он Алексию, – рукоположили тебя митрополитом всей Руси, а не одной какой-нибудь ее части». Митрополит не обращал внимания на эти убеждения. После смерти Каллиста такие же жалобы на Алексия обращались и преемнику Каллиста патриарху Филофею. Ольгерд, между прочим, обвинял митрополита в том, что он разрешает от крестного целования тех, которые убегают из Литвы в Москву, наоборот, предает проклятию тех, которые не хотят служить московскому князю и благословляет последнего на кровопролитие. Филофей и писал к Алексию увещания, и требовал его на суд: все было напрасно. Алексий твердо служил московским видам, не хотел посещать ни Киева, ни литовских владений, наконец, по просьбе Ольгерда, в 1376 году патриарх посвятил в сан киевского митрополита серба Киприана, который еще прежде, будучи послан от патриарха для проверки жалоб на Алексия, заявил себя недоброжелателем последнему. Новый митрополит покушался было оторвать Новгород от власти Алексия, но это не удалось ему: новгородцы сказали, что они тогда признают митрополитом Киприана, когда его признает великий князь московский. Киприан жил в Киеве, управлял церковью в областях, подчиненных литовскому великому князю, а по

смерти Алексия попытался было приехать в Москву, но Димитрий прогнал его. Великий князь представил для рукоположения в митрополиты природного москвича, давнего своего любимца архимандрита Михаила, известного под именем «Митяя». Московскому князю не хотелось иметь в Москве иных первосвященителей, кроме таких, каких само московское правительство будет представлять патриарху для посвящения. Но тогдашнее московское духовенство не терпело Митяя; сам преподобный Сергей не благоволил к нему; несмотря, однако, на это, все-таки Димитрий отправил Митяя в Цареград в полной надежде на успех, потому что преемник Филофея патриарх Макарий не терпел Киприана и готов был исполнить желание московского великого князя. Таким образом, в то время, когда приходилось Димитрию идти на войну, Москва оставалась без митрополита: и это обстоятельство лишало предпринимаемый поход обычного первосвященительского благословения; но Димитрий обратился за благословением к преподобному Сергию, хотя и был с ним в размолвке по поводу Митяя. Сергей пользовался всеобщим уважением; его молитвам приписывали большую силу; за ним признавали дар пророчества. Сергей не только ободрил Димитрия, но и предсказал ему победу. Такое предсказание, сделавшись известным, сильно возбудило в войске отвагу и надежду на победу.

Димитрий выступил из Москвы в Коломну в августе; русские силы отовсюду приставали к нему. В это время пришли к нему послы от Мамаю с требованием «выхода» в том размере, в каком русские платили дань при Узбеке и Чанибеке, но Димитрий отвечал, что он готов дать только такую дань, какую постановил в свою последнюю поездку в Орду. 20 августа коломенский епископ Герасим благословил Димитрия идти против «окаянного сыроядца Мамаю, нечестивого Ягелла и отступника Олега», и Димитрий двинулся из Коломны на устье Лопастны; здесь пристали к нему Владимир Андреевич и остальные отряды московского ополчения. 26 и 27 августа русские перевезлись через Оку и пошли по рязанской земле к Дону. На пути прискакал к Димитрию гонец от преподобного Сергия с благословенной грамотой: «Иди, господин, – писал Сергей, – иди вперед. Бог и Св. Троица поможет тебе!»

6 сентября русские увидели Дон. Мамай уже шел от Воронежа навстречу русской рати. Все русские полки с своими князьями и воеводами выстроились в боевом порядке, в своих местных одеждах. Тогда князья, бояре и воеводы стали держать совет. Одни говорили: «Перейдем через Дон», другие: «Не ходи, князь, враг силен; с татарами литва и рязанцы». Больше всех побуждали русских идти вперед литовские князья Андрей и Димитрий Ольгердовичи. «Если, – говорили они, – останемся здесь, то слабо будет войско русское, а перейдем через Дон, так все будут биться мужественно, не надеясь спастись бегством: одолеем татар – будет тебе, князь, и всем слава, а если они перебьют нас, то все умрем одною смертью!» Димитрий согласился с ними. 7 сентября он приказал наскоро мостить мосты через Дон и искать броду, а 8-го в субботу на заре русские уже были на другой стороне реки и при солнечном восходе двигались стройно вперед к устью реки Непрядвы.

День был пасмурный; густой туман расстилался по полям, но часу в десятом стало ясно. Около полудня показалось несметное татарское полчище. Сторожевые (передовые) полки русских и татар сцепились между собою, и сам Димитрий выехал вместе со своею дружиной «на первый суйм» открывать битву. По старинному прадедовскому обычаю следовало, чтобы князь, как предводитель, собственным примером возбуждал в воинах отвагу. Побившись недолго с татарами, Димитрий вернулся назад устраивать полки к битве. В первом часу началась сеча, какой, по выражению летописца, не бывало на Руси. На десять верст огромное Куликово поле было покрыто воинами. Кровь лилась, как дождевые потоки; все смешалось; битва обратилась в рукопашную схватку, труп валился на труп, тело русское на татарское, татарское на русское; там татарин гнался за русским, там русский за татаринном. В московской рати было много небывалых в бою; на них нашел страх и пустились они в бегство. Татары со страшным криком ринулись за ними и били их наповал. Дело русских казалось проигранным, но к трем часам пополудни все изменилось.

В дубраве на западной стороне поля стоял избранный русский отряд, отъехавший туда



заранее для засады. Им предводительствовали князь Владимир Андреевич и волинец Дмитрий Михайлович Боброк, приехавший из литовских областей служить Москве. Увидевши, что русские пустились бежать, а татары погнались за ними, Владимир Андреевич порывался ударить на врагов, но рассудительный Боброк удержал его до тех пор, пока татарская рать, стремившись в погоню за русскими, не повернулась к ним окончательно тылом. Тогда, на счастье русским, ветер, дувши до того времени в лицо сидевшим в засаде, изменил свое направление. «Вот теперь час пришел, господин князь, – сказал Боброк, – подвизайтесь, отцы и братья, дети и друзья». Весь отряд стремительно бросился на татар, которые никак не ожидали нападения сзади.<sup>31</sup> Бегущие русские ободрились и бросились на татар. Тогда в свою очередь на полчище Мамай нашел панический страх. Поражаемые с двух сторон татары бросали свое оружие, покинули свой стан, обоз и бежали опрометью. Множество их перетонуло в реке. Бежал сам тучный Мамай, бежали все его князья. Русские гнали татар верст на тридцать до реки Красивой Мечи.

Победа была совершенная, но за то много князей, бояр и простых воинов пало на поле битвы.<sup>32</sup> Сам великий князь хотя не был ранен, когда открывал битву с татарами «на первом суйме», но доспех на нем был помят.<sup>33</sup> Похоронивши своих убитых, великий князь со своим ополчением не преследовал более разбитого врага, а вернулся с торжеством в Москву и хотел немедленно послать войско в рязанскую землю, чтобы разорить ее за измену Олега; но рязанцы приехали к нему с поклоном, извещали, что князь их бежал, и изъявляли желание быть в послушании у московского князя. Дмитрий отправил к ним своих наместников.

---

<sup>31</sup> Известие о засаде взято из повести о Мамаевом побоище, которая существует во множестве отдельных списков и также вошла целиком в никоновский свод летописи. Повесть эта заключает в себе множество явных выдумок, анахронизмов, равным образом и преданий, образовавшихся в народном воображении о Куликовской битве уже позже. Эта повесть вообще в своем составе никак не может считаться достоверным источником, но известие о засаде мы считаем себя вправе признавать достоверным не только по своему правдоподобию, но по соображению с рассказом в старейших списках летописи. В последних, так же как и в повести, говорится, что русские обратились в бегство и татары гнались за ними, а потом в девятом часу дня (т.е. в третьем или в три часа по нашему времяисчислению) дело изменилось внезапно, и, неизвестно по какой причине, татары в свою очередь обратились в бегство. Летописец приписывает такую перемену заступничеству Ангелов с Архистратигом Михаилом и Св. воинам: Георгию, Дмитрию, Борису и Глебу. Рассматривая события с земной точки зрения, мы невольно должны прийти к такому заключению, что подобная перемена обстоятельств могла всего скорее произойти от движения русских в тыл неприятеля, и, таким образом, известие о засаде дополняет для нас то, о чем мы и без того должны были догадываться, тем более, что в описании самой битвы по старейшим спискам ничего не говорится о действиях Владимира Андреевича, тогда как и по предыдущим событиям мы знаем, что он был храбрый из тогдашних князей.

<sup>32</sup> Князь Федор Романович белозерский и сын его Иван, князь Федор тарусский, брат его Мстислав, князь Дмитрий Монастырев, Семен Михайлович Микула, сын Василья тысяцкого, Михайло, Иван, сыны Акинфовичи, Иван Александрович, Андрей Серкизов, Тимофей Васильевич (другой сын тысяцкого), Акатьевичи, называемые Волуи, Михайло Бренок, Лев Морозов, Семен Мелисов, Дмитрий Минич, Александр Пересвет, бывший прежде боярин брянский, и многие другие.

<sup>33</sup> В «Повести о Мамаевом побоище» рассказывается, будто Дмитрий еще пред битвою надел свою княжескую «подволоку» (мантию) на своего любимца Михаила Бренка, сам же в одежде простого воина замешался в толпе, а впоследствии, когда Бренок в великокняжеской одежде был убит и битва кончилась, Дмитрий был найден лежащим в дубраве под срубленным деревом, покрытый его ветвями, едва дышащий, но без ран. Такое переряживание могло быть только из трусости, с целью подставить на место себя другого, во избежание опасности, грозившей великому князю, которого черное знамя и особая одежда издали отличали от других: естественно, врагам было всего желательнее убить его, чтобы лишить войско главного предводителя. Если принимать это сказание, то надобно будет допустить, что Дмитрий переряжился в простого воина под предлогом биться с татарами зауряд с другими, а на самом деле для того, чтобы скрыться от битвы в лесу. Судя по поведению Дмитрия во время случившегося позже нашествия татар на Москву, можно было бы допустить вероятие такого рассказа: но следует обратить внимание на то, что в той повести говорится, что русские гнали татар до реки Мечи и начали искать великого князя уже возвратившись с погони. Искали его долго, наконец нашли лежащим под ветвями срубленного дерева. От места побоища до реки Мечи верст тридцать с лишком: неужели, пока русские гнали татар до Мечи и возвращались оттуда (вероятно, возвращались они медленно вследствие усталости и обремененные добычей), Дмитрий, не будучи раненым, все это время пролежал под «срубленным деревом»? Очевидная нелепость!

Мамай, бежавши в свои степи, столкнулся там с новым врагом: то был Тохтамыш, хан заяицкой Орды, потомок Батыя. Он шел отнимать у Мамаю престол Волжской Орды, как похищенное достояние батыевых потомков. Союзник Мамаю Ягелло, не поспевши впору помогать ему против Дмитрия, услышал о куликовском поражении, поспешно вернулся в Литву и оставил Мамаю на произвол судьбы. Тохтамыш разбил Мамаю на берегах Калки и объявил себя владетелем Волжской Орды. Мамай бежал в Кафу (нынешняя Феодосия на восточном берегу Крыма) и там был убит генуэзцами.

Тохтамыш, воцарившись в Сарае, отправил дружелюбное посольство к Дмитрию объявить, что общего врага их нет более и что он, Тохтамыш, теперь владыка Кипчакской Орды и всех подвластных ей стран. Дмитрий отпустил этих послов с большою честью и дарами; но не изъявлял знаков рабской покорности. На другой год Тохтамыш отправил ко всем русским князьям царевича Акхозя с требованием покорности и дани; Акхозя, доехавши до Нижнего, не посмел ехать в Москву. Это показывает, что в Москве считали дело с Ордою поконченным и не боялись ее, но между тем там по сокрушении Мамаю не брали никаких мер ни к дальнейшему истреблению, ни даже к собственной обороне.

В следующем 1382 году Тохтамыш двинулся наказывать Русь за попытку освободиться от татар. Он начал с того, что послал слуг своих в Болгары, приказал ограбить там русских купцов и задержать, чтобы они не дали вести в Москву, а суда их привезти к себе на перевоз. Переправившись через Волгу, Тохтамыш намеревался сделать такой быстрый набег, чтобы захватить Москву врасплох; по всему видно, он принял в соображение оплошность русских, слишком возгордившихся своими победами. Путь татар шел к рязанской земле; князь суздальский, чтобы избавить свою нижегородскую землю от разорения, отправил к Тохтамышу двух сыновей своих Василия и Семена изъявить покорность; но Тохтамыш не позволял своим татарам тратить время на обычные разорения по пути и так спешил, что нижегородские князья с трудом успели догнать его. На границах рязанской земли встретил Тохтамыша рязанский князь Олег, бил ему челом и изъявлял готовность вести татарское войско, указывать ему пути и переправы: он уверял, что есть полная возможность взять Москву и захватить в ней Дмитрия. Ставши проводником у татар, Олег намеренно повел их так, чтобы миновать рязанскую землю; он навел их на Серпухов, который был истреблен.

Весть о походе Тохтамыша, однако, хотя поздно, но все-таки дошла к Дмитрию прежде, чем татары приблизились к Москве. Дмитрий с воеводами и ратью выехал из столицы, соединился с некоторыми князьями и совещался, как им отражать врага.

Внезапность нашествия произвела такое впечатление, что князья, воеводы и бояре совсем потеряли голову. Между ними началась рознь, взаимное недоверие; великий князь убоился идти навстречу хану, поворотил назад и, покинув Москву на произвол судьбы, бежал в Переяславль, оттуда в Ростов, а оттуда в Кострому.

Отправленный Дмитрием в Царьград для посвящения в митрополиты, Митяй утонул на пути, а один из его спутников Пимен, составив подложную грамоту от имени великого князя, был посвящен цареградским патриархом, но по прибытии в Москву подвергся гневу Дмитрия и был сослан в Чухлому. Тогда великий князь пригласил в Москву Киприана и признал его первосвятителем: это было в 1381 году. Теперь, во время нашествия татар, этот митрополит оставался в Москве. Киприан был чужеземцем, не мог иметь на народ такого влияния, какое оказал бы митрополит, русский по происхождению, да и сам Киприан был чужд национальных русских интересов и думал прежде всего о себе. Когда в Москву дошла весть о том, что великий князь убежал, народ пришел в ужас и смятение. Грозный враг не сегодня-завтра должен появиться, а в столице не было ни князя, ни воевод. Одни кричали, что надобно затвориться в Кремле, другие хотели бежать. Зазвонили во все колокола на вече. Поднялся вопль. Народ кричал: затворять ворота и не пускать никого из города. Митрополит и бояре бросились первые из города: их выпустили, но ограбили; а когда за ними стали убегать другие, то ворота затворили; одни встали у ворот с рогатинами и обнаженными саблями, угрожали бить бегущих, а другие метали на них камни со стен. Наконец это смятение несколько утихомирил приехавший в Москву князь Остей, Ольгердов внук. Он

убедил москвичей выпустить часть народа и затворился в Кремле с теми, кто решил остаться; бояре, купцы, суконники и сурожане сносили в Кремль свои товары; кроме москвичей, в город набежал народ из окрестностей: все надеялись на крепость каменных стен и спешили в Кремль со своими пожитками; женщины с детьми толпами бежали туда же. По позднейшим спискам летописи, сами москвичи сожгли тогда посад около Кремля.

23 августа, в понедельник, подъехали передовые татарские конники к кремлевским стенам. Москвичи смотрели на них со стен. «Здесь ли великий князь Димитрий?» – спрашивали татары. Им отвечали: «Нет». Татары объехали вокруг Кремля, осматривали рвы, стены, бойницы, заборолы, ворота. В городе благочестивые люди молились Богу, наложили на себя пост, каялись во грехах, причащались Св. Тайн, а удалые молодцы вытаскивали из боярских погребов меда, доставали из боярских кладовых дорогие сосуды и напивались из них для бодрости. «Что нам татары, – говорили они во хмелю, – не боимся поганых; у нас город крепок, стены каменные, ворота железные. Недолго простоят под городом! Страх на них найдет с двух сторон: из города мы их будем бить, а сзади князья наши на них устремятся».

Пьяные влезали на стены, кричали на татар, ругали, плевали и всячески оскорбляли их и их царя; а раздраженные татары махали на них саблями, показывая вид, как будут рубить их. Москвичи расхрабрились так, думая, что татар всего столько и пришло, сколько они их видели под стенами. Но к вечеру появилась вся ордынская громада с их царем, и тут многие храбрецы пришли в ужас. Началась перестрелка; стрелы в изобилии летали с обеих сторон, словно дождь. Татарские стрелки были искуснее русских: наездники на своих легких конях скакали взад и вперед, то приближаясь к стенам, то удаляясь от них, на всем скаку пускали стрелы в стоявших на стенах москвичей и не делали промаха; много русских на заборолах падало от стрел татарских. Другие татары тащили лестницы, приставляли к стенам и лезли на стены; москвичи обдавали их кипятком, бросали на них камни, бревна, поражали самострелами. Один москвич, суконник, по имени Адам, заметив татарина, знатного по виду, ударил его из самострела стрелой прямо в сердце. Этот татарин был сыном одного мурзы, любимец хана. Его смерть нанесла большую скорбь Тохтамышу. Три дня повторяли татары свои приступы; граждане упорно отбивали их. Наконец Тохтамыш сообразил, что не взять ему Кремля силой: он решил взять его коварством. На четвертый день в полдень подъехали к стенам знатнейшие мурзы и просили слова. С ними стояли двое сыновей суздальского князя, шурины великого князя. Мурзы сказали: «Царь наш пришел покаznить своего холопа Димитрия, а он убежал; приказал вам царь сказать, что он не пришел разорять своего улуса, а хочет соблюсти его и ничего от вас не требует, – только выйдите к нему с честью и дарами. Отворите город; царь вас пожалует!» Суздальские князья говорили: «Нам поверьте: мы ваши христианские князья; мы ручаемся за то, что это правда». Москвичи положились на слово русских князей, отворили ворота и вышли мерным ходом; впереди князь Остей, за ним несли дары, потом шли духовные в облачении, с иконами и крестами, а за ними бояре и народ. Татары, дав москвичам выйти из ворот, бросились на них и начали рубить саблями без разбора. Прежде всех пал Остей. Духовные, умирая, выпускали из рук кресты и иконы: татары топтали их ногами. Истребляя кого попало направо и налево, ворвались они в середину Кремля: одни через ворота, другие по лестницам через стены. Несчастные москвичи, мужчины, женщины, дети метались в беспомощности туда и сюда; напрасно думали они избавиться от смерти; множество их искало спасения в церквях, но татары разбивали церковные двери, врываются в храм и истребляли всех от мала до велика. По известию летописца, резня продолжалась до тех пор, пока у татар не утомились плечи, не иступились сабли. Все церковные сокровища, великокняжеская казна, боярское имущество, купеческие товары – все было ограблено. Тогда истреблено множество книг, снесенных со всего города в соборные церкви; вероятно, в это время погибло безвозвратно много памятников древней литературы, которые представили бы нам в гораздо более ясном свете нашу прошедшую духовную жизнь, если бы уцелели до нашего времени. Наконец город был зажжен. Огонь истреблял тех немногих, которые успели избежать татарского меча. Так

покаравши Москву, татары отступили от нее.

Страшное зрелище представляла теперь русская столица, недавно еще многолюдная и богатая. Не было в ней ни одной живой души; кучи трупов лежали повсюду на улицах среди обгорелых бревен и пепла, и растворенные церкви были завалены телами убитых.

Некому было ни отпевать мертвых, ни оплакивать их, ни звонить по ним.

Татары рассеялись и по другим городам: одни разоряли волости Звенигорода, Юрьева, другие шли к Дмитрову, иные к Волоку и Можайску; полчище татарское зажгло Переяславль: жители, покинув свой город, спаслись в судах посреди озера. Повсюду татары убивали людей или гнали их толпами в плен. Припомнились давно забытые времена Батыя с той разницей, что в батыевщину русские князья умирали со своим народом, а теперь глава Руси сидел запершись в Костроме со своею семьею, другие князья или также прятались, или спешили раболепством получить пощаду у разгневанного владыки. Только один Владимир Андреевич не изменил себе: выехав из Волока, ударил он на татарский отряд, разбил его наголову и взял много пленников. Этот подвиг так подействовал на хана, что он начал отступать назад к рязанской земле, опасаясь, чтобы русские, собравшись с силами, не ударили на него: вот доказательство, что это нашествие не имело бы такого печального исхода для Москвы и всей Руси, если бы русские не были так оплошны и великий князь своим постыдным бегством не предал своего народа на растерзание варварам. Татары, возвращаясь в Орду через рязанскую землю, не пощадили владений своего союзника, разорили их и увели из рязанской земли много пленных. Олег бежал.

Димитрий вместе с Владимиром Андреевичем, прибывши в Москву, тотчас занялся погребением мертвых, чтобы предупредить заразу. Он давал от восьмидесяти погребенных тел по рублю, и пришлось ему заплатить 300 рублей. Этот счет показывает, что в Кремле погибло от татарского меча 24 000 человек, не считая сгоревших и утонувших. Потом мало-помалу начали собираться остатки населения и отстраивать сожженный город. Тогда, за невозможностью мстить татарам, Димитрий обратил мщение на рязанскую землю: московская рать вступила на эту землю и вконец разорила ее без всякого милосердия, хуже татар. Олега в ней не было.

Киприан был вызван из Твери. Он явился 7 октября; великий князь Димитрий укорял митрополита за малодушное бегство, хотя сам был виновен в этом более Киприана. Прежняя ненависть великого князя к этому митрополиту возобновилась не столько оттого, что Киприан бежал, как оттого, что он бежал именно в Тверь к заклятому врагу Димитрия. Киприан покинул Москву и уехал в Киев, а Димитрий позвал на русскую митрополию сосланного Пимена; но через несколько месяцев, опять невзлюбивши Пимена, отправил для посвящения в митрополиты епископа суздальского Дионисия и вместе с ним послал просьбу о низложении Пимена. Здесь в первый раз является произвол великого московского князя в духовных делах. Он, как самовластный государь, считает себя вправе выбирать себе по нраву кандидатов в митрополиты, отправлять в заточение, возводить их на кафедру снова, когда захочет почтить своей милостью, и опять подвергать опале.

Князья русские, напуганные страшною карою под Москвою, один за другим ездили в Орду кланяться хану. Надежда на свободу блеснула для русских на короткое время и была уничтожена малодушием Димитрия. Хан, уходя из Москвы, задержал при себе одного из сыновей суздальского князя Василия, а другого отправил к отцу; он, как видно, не доверял покорности Димитриева тестя и потому счел нужным взять к себе его сына в заложники. Димитрий Константинович, чтобы показать свою покорность, по весне отправил Симеона к хану с поклоном и дарами. Туда же поехал сын Бориса городецкого Иван, а за ним поехал и отец его Борис и выпросил себе нижегородское княжение после скончавшегося в это время Димитрия Константиновича (1383). Затем Михаил Александрович тверской с сыном Александром отправился в Орду окольною дорогою, чтобы не попасться в руки Димитрия: он надеялся вновь выпросить себе великое княжение. Но Димитрий весною отправил к хану своего сына Василия. Василий был удержан в Орде заложником верности и 8000 рублей долга, насчитанного на Димитрия. Московский князь так усердно унижался тогда перед

ханом, что Тохтамыш объявил ему свою царскую милость, но в наказание наложил на его владения тяжелую дань в таком большом размере, что со всякой деревни приходилось платить по полтине, а в те времена деревня состояла из двух дворов, а иногда из одного. Городам приходилось давать золото. Но этого было мало: по-прежнему стали шататься на Руси ханские послы и бесчинствовать над жителями. Уступчивость московского князя была причиной, что тверской князь, несмотря на все свои старания, не мог добиться великого княжения. «Я свои улусы знаю сам, – сказал ему хан, – каждый князь русский пусть служит мне по старине, а что мой улусник провинился предо мною, так я его поустрашил, а теперь он мне служит правдою». Тохтамыш никому не хотел давать потачки и не доверял тверскому князю, несмотря на все его поклоны; отпустив его в Тверь, он удержал в Орде его сына Александра. Должно быть, Тохтамыш рассчитывал, что Дмитрий, заявивший себя таким малодушным трусом во время нашествия татарского хана на Москву, управляя разоренною землею, менее представлял опасности, чем предприимчивый и упрямый тверской князь. Через несколько лет (в 1385 году) сын Дмитрия Донского Василий убежал из Орды, пробрался в Молдавию, а оттуда в Литву; но не так удалась попытка Василия, сына суздальского князя: он был пойман татарами, приведен в Орду и там, по выражению летописца, «принял большую истому».

Вражда московского князя с Олегом прекратилась в 1385. Поводом к уступчивости со стороны Дмитрия было то, что Олег, овладев снова рязанскою землею, взял Коломну, и посланная против него московская рать ничего не могла с ним сделать. Мир был заключен при посредстве преподобного Сергия. В утверждении этого мира, названного «вечным», сын Олега Феодор женился на дочери Дмитрия. Летописцы наши постоянно рисуют этого Олега самыми черными красками и наделяют его всякими ругательствами, но рассуждая беспристрастно, мы должны признать, что этот князь был ничем не хуже других. Он скорее был несчастен, чем преступен перед судом истории. Ни одна русская земля в то время не терпела столько разорений, как рязанская. Ее, как мы видели, беспрестанно опустошали то татары, то москвичи. Олегу приходилось избирать из двух зол меньшее. После того, как рязанскую землю разорили татары за поражение при Воже, нанесенное им москвичами, Олег пристал к Мамаю поневоле, потому что иначе, прежде чем бы пришли к нему на помощь русские из других земель, он был бы вынужден с одними силами своей земли выдерживать напор всей Мамаевой Орды. То же повторялось и с Тохтамышем. Заботливость, с какою Олег удалил от своей земли татар во время этого нашествия, показывает его любовь к своим подчиненным. За то рязанцы и любили его.

Татарское разорение Москвы и обязанность платить тяжелую дань, естественно, довели казну великого князя до скудости, и Дмитрий задумал поправить ее за счет Новгорода. Были благовидные причины напасть на новгородцев. В последнее время сильно разгулялась новгородская вольница: ушкуйники два раза ограбили Кострому, нападали на Ярославль, на Нижний, на Вятку, и не только наживались чужим добром, но хватали людей и продавали в неволю восточным купцам. Эти поступки возбуждали по всей Руси негодование, и потому-то под знаменами великого князя с охотою встали против Новгорода рати 29-ти городов; даже из волостей новгородских: Торжка, Бежичей, Вологды были рати с Дмитрием, и только большие люди новоторжские (вероятно, и из других волостей) оставались верны Новгороду и убежали в Новгород. Поход был предпринят зимой перед праздником Рождества Христова в 1386 году. Великий князь двинулся со всеми своими ратями, на пути сжигая и разоряя села новгородской земли. Новгородцы выслали к нему своих послов просить мира. Дмитрий не хотел их слушать, шел далее и в начале января 1387 года расположился за пятнадцать верст от Новгорода. Новгородцы в отчаянии зажгли около города посады. Сгорело 24 монастыря. Сам город наскоро укрепили острогом по земляному валу. Новгородцы еще раз послали к великому князю посольство с владыкою Алексием. «Господин князь, – говорил Алексей, – я тебя благословляю, великий Новгород бьет тебе челом: пусть не будет кровопролития между нами, а за вину людей своих, что ходили на Волгу, Новгород заплатит тебе 8000 рублей». Дмитрий не принял просьбы, грозил идти далее и взять Новгород. Страшный переполох

произошел тогда в Новгороде, когда прибыл туда владыка с таким известием. Все решились защищаться до последнего. В Новгороде начальствовал тогда призванный новгородцами на княжение литовский князь Патрикий Наримонтович (племянник Ольгерда). 10 января разнесся слух, что великий князь приблизился к Жилотугу (одному из протоков Волхова на восточной стороне города). Все годные к войне, и пешие и конные, бросились за город, а между тем еще раз послали к Димитрию двух архимандритов, семь попов и пять человек житейных людей от пяти концов города. Димитрий, рассудивши, что его упорство доведет Новгород до отчаяния, перестал ломаться и согласился на мир. Новгород положил заплатить 8000 рублей, из которых 3000 отсчитали тотчас же, а остальные предоставили великому князю взять с Заволочья (двинская земля), потому что заволочане также участвовали в поволжских разбоях и посылали туда своих новгородских бояр для собирания этих денег. Это была пеня за разбой, но, кроме того, великий князь выговорил для себя еще и черный бор (каждогодную подать с черных людей, собираемую великокняжескими наместниками через особых чиновников, называемых «черноборцами»). Заключивши мир на таких условиях, великий князь повернул назад, но его посещение тяжело отозвалось на всей новгородской земле: много мужчин, женщин и детей увели москвичи в неволю; много ограбленных ратными людьми и выгнанных из своих пепелищ новгородцев погибло от стужи.

Тогда как Москва прикрепляла к себе Новгород наложением на него дани, на западе отнимали у Москвы власть над Смоленском. В Литве произошел важный переворот: сын Ольгерда, литовский великий князь Ягелло, в 1386 году женился на польской королеве Ядвиге, принял католичество, крестил в римско-католическую веру своих языческих литовских подданных и сделался главой как Польши, так и всей Литвы и западной Руси с ее удельными князьями. С этих пор начинается постепенное соединение великого княжества литовского с Польшею и распространение католичества в западной Руси в ущерб православию. Подручник Ягелла, брат его Скыргайло, человек свирепый, получивши от Ягелла право на Полоцк, схватил находившегося там князя Андрея Ольгердовича и убил его сына; тогда друг Андрея, Святослав, смоленский князь, стал мстить за Андрея и производить жестокие разорения в Литве, но потом был разбит Скыргайлом и его братьями и пал в битве. Победители хотя и дали княжение на смоленской земле сыну Святослава Юрию, но с тем, чтобы он был подручником Ягелла. Это было предвестием дальнейшего покорения Смоленска: оно совершилось уже по смерти Димитрия (в 1404 году), когда Витовт прогнал князя Юрия и посадил в Смоленске своих наместников. (При Димитрии Смоленск со своею землею некоторое время признавал первенство Москвы, но со вступлением на княжение Василия Москва надолго лишилась его.)

Димитрий скончался 19 мая 1389 года на сороковом году от рождения. Он оставил великим князем сына Василия, наделил других сыновей уделами и обязал их находиться под рукой старейшего брата, великого князя.

Княжение Димитрия Донского принадлежит к самым несчастным и печальным эпохам истории многострадального русского народа. Беспрестанные разорения и опустошения то от внешних врагов, то от внутренних усобиц следовали одни за другими в громадных размерах. Московская земля, не считая мелких разорений, была два раза опустошена литовцами, а потом потерпела нашествие Орды Тохтамыша; рязанская – страдала два раза от татар, два раза от москвичей и была приведена в крайнее разорение; тверскую – несколько раз разоряли москвичи; смоленская – терпела и от москвичей, и от литовцев; новгородская – понесла разорение от тверичей и москвичей. К этому присоединялись физические бедствия. Страшная зараза, от которой русская земля страдала в сороковых и пятидесятых годах XIV века, наравне со всею Европою, повторялась и в княжение Димитрия с большою силою в разных местах Руси. В 1363—64 годах она поражала Нижний Новгород с его волостью, потом Переяславль, Владимир, Тверь, Суздаль, Дмитров, Ростов, Можайск, Волок и другие города. Из описаний признаков, сопровождавших смерть пораженных заразой, видно, что в те времена свирепствовало разом несколько эпидемических болезней. У одних больных

делалась опухоль желез на разных частях тела; у других являлось кровохарканье; третьи чувствовали сначала жар, потом озноб. Смерть постигала больного обыкновенно в течение одного или двух дней болезни: редкие доживали до третьего дня. Живые не успевали хоронить мертвых. В одну могилу приходилось сваливать по сто и полтора ста трупов. В Белозерске вымерли все жители; земля опустела. Подобное бедствие повторялось и в другие годы. В 1387 году, в Смоленске, – если только верить рассказу летописи, вероятно, преувеличенному, – был такой сильный мор, что осталось всего пять человек, которые вышли из города и затворили за собою ворота. Вслед за тем мор поразил Псков, а потом Новгород. К заразе присоединялись неоднократные засухи, как, например, в 1365, 1371 и 1373 г., которые влекли за собою голод и, наконец, пожары – обычное явление на Руси. Если мы примем во внимание эти бедствия, соединявшиеся с частыми разорениями жителей от войн, то должны представить себе тогдашнюю восточную Русь страной малолюдной и обнищавшей. Сам Димитрий не был князем, способным мудростью правления облегчить тяжелую судьбу народа; действовал ли он от себя или по внушениям бояр своих, – в его действиях виден ряд промахов. Следуя задаче подчинить Москве русские земли, он не только не умел достигать своих целей, но даже упускал из рук то, что ему доставляли сами обстоятельства; он не уничтожил силы и самостоятельности Твери и Рязани, не умел и поладить с ними так, чтоб они были заодно с Москвою для общих русских целей; Димитрий только раздражал их и подвергал напрасному разорению ни в чем не повинных жителей этих земель; раздражал Орду, но не воспользовался ее временным разорением, не предпринял мер к обороне против опасности; и последствием всей его деятельности было то, что разоренная Русь опять должна была ползать и унижаться перед издыхающей Ордой.

## **Глава 12**

### **Соловецкие чудотворцы Савватий и Зосима**

Стремление к основанию новых монастырей путем отшельничества, показавшее себя в XIV столетии, направилось в XV столетии на крайний север. Обитатели возникали за обителями, передавая в грядущие поколения память о святости и подвигах своих основателей. Но ни одна из обителей того времени не достигла такого важного значения для русского народа, как соловецкая. Ее основание относится к половине XV века.

На севере Руси, при немногочисленном и рассеянном населении, в некоторых деревнях возник обычай строить деревянные часовни с образами, где народ молился за неимением церквей. Иногда в такую часовню приезжал издалека священник или иеромонах со святыми дарами, исповедывал и причащал народ. Близ такой часовни обыкновенно проживал какой-нибудь благочестивый старец, внушавший к себе уважение своим постничеством и благочестием. У одной из таких часовен при устье реки Выга, на месте, называемом Сороки, жил старец по имени Герман, который прежде бывал на Белом море и знал Соловецкий остров или Соловки, куда жители поморья приезжали летом ловить рыбу. К этому старцу, после многих лет его уединенной жизни, прибыл другой старец. Назывался он Савватий. Происхождение его неизвестно. Он давно уже постригся в Кирилло-Белозерском монастыре, но недовольный житием тамошних монахов, ушел на каменистый остров на Ладожском озере, где уже существовала Валаамская обитель, в которой иноки отличались чрезвычайным постничеством и терпением в лишениях. Савватий пожил там некоторое время и задумал, по примеру многих подвижников, уйти в совершенное уединение и вести «безмолвное» житие. Он направился к северу и сошелся с Германом. Узнавши от него о Соловецком острове, он подал ему мысль идти вдвоем на отшельнический подвиг. Старцы отправились туда на лодке и достигши Соловецкого острова, построили себе хижину на версту от моря, близ озера, богатого рыбой. До тех пор на Соловки только наезжали временно рыбаки, но теперь два семейства с поморья близ Кеми, узнавши, что на Соловках поселились постоянные обитатели, задумали основаться рядом с отшельниками близ озера. Это было не по душе старцам, и впоследствии сложился такой рассказ: один раз в

воскресенье Савватий вместе с Германом отправлял всю ночь и вышел покадить крест, который они воздвигли близ озера. Вдруг услышал он женский вопль, сказал Герману, Герман пошел на голос и увидел плачущую женщину. Это была жена одного из поселившихся на острове рыбаков. «Мне, – говорила она, – встретились двое светлых юношей и сказали: сойдите с этого места. Бог устроил его для иноческого жития, для прославления имени Божьего. Бегите отсюда, а не то – смерть вас постигнет». После этого рыбаки удалились с острова, и уже никто не осмеливался заводить поселения на Соловках. Через некоторое время, однако, старцы оставили Соловецкий монастырь один за другим. Сначала Герман отошел на реку Онегу, а затем и Савватий отправился на устье Выга к часовне, куда в это время прибыл один игумен, ездивший со святыми дарами по деревням. Савватий причастился Св. Тайн и на другой день скончался. Причастивший его игумен и какой-то новгородец Иван, ездивший по торговым делам и случайно попавший сюда, похоронили его.

Между тем Герман перешел на устье реки Сумы и там поселился. Туда пришел к нему новый подвижник. Это был Зосима, сын богатых земцев (собственники земельных участков) Гаврила и Марии, из селения Толвуй, на берегу Онежского озера. Будучи еще молодым, он лишился родителей и роздал нищим все свое имение, а сам обрек себя на пустынное житье. Скитаясь по северным странам, он нашел Германа и, услышавши от него о Соловецком острове, уговорил его опять идти с ним туда. Они обходили остров; у Зосимы явилась мысль основать тут со временем монастырь. Они выбрали место близ озера, неподалеку от морского берега, построили келью, ловили рыбу и молились Богу. Мало-помалу начали приходить к ним еще такие же труженики, строили кельи и также занимались рыбной ловлей. Наконец, когда их число увеличилось, они построили деревянную церковь во имя Преображения Господня, отправили одного из своей среды в Новгород к архиепископу Ионе просить у него антиминс, церковную утварь для новой церкви и просили назначить им игумена для обители. Зосима принял монашество. Двое игуменов, посланных один за другим из Новгорода, не ужились на пустынном острове. Потом братия упросила Зосима принять игуменство. Он долго отрекался, наконец отправился в Новгород и был рукоположен. Тогда многие из новгородских бояр пожертвовали в новый монастырь серебряные сосуды, богатые церковные ризы и съестные припасы. Вскоре монастырь начал входить в славу именно потому, что был основан в таком необитаемом месте, которое казалось неприступным. В монастырь стали стекаться богомольцы, давать вклады, а Зосима отличался гостеприимством и этим еще более привлекал посетителей. Через несколько времени сооружена была новая, более простая, церковь Преображения, а потом другая – Успения. Вспомнили они тогда Савватия; Зосима слышал о нем от Германа, но никто не знал, где он похоронен, как неожиданно кирилло-белозерский игумен известил их об этом, узнавши о кончине Савватия от того новгородского Ивана, которому случилось похоронить преподобного. Сам Зосима отправился на Выг, отрыл тело Савватия и перевез в Соловки. Говорили, что мощи Св. Савватия не только оказались нетленными, но источали из себя благовонное миро.

Монастырь не избег столкновений: монастырь считал остров, на котором находился, своим достоянием, а жители поморья, привыкшие приезжать временно на остров для рыбной ловли, продолжали свои посещения. В числе посетителей, оспаривавших монастырское достояние, были люди знаменитой посадницы Марфы Борецкой. Зосима сам отправился в Новгород хлопотать у веча о грамоте на неприкосновенность владений острова, являлся по этому делу к владыке и к разным важнейшим лицам. Когда он пришел к боярине Марфе жаловаться на ее людей, она не приняла его и велела прогнать. Тогда Зосима покачал головою и сказал сопровождавшим его ученикам: «Вот наступают дни, когда на этом дворе исчезнет след жителей его, и затворятся двери дома сего и уже никогда не отворятся, и будет двор этот пуст». Тем временем владыка выхлопотал ему грамоту на владение островом за печатями: владыки, посадника, тысяцкого и пяти концов Великого Новгорода. Бояре щедро одарили соловецкого игумена. Тогда раскаялась и Марфа: «Я напрасно на него гневалась, – сказала она, – мне наговорили, что он мою вотчину отнимает». Она послала просить



прощения у Зосима и умоляла прибыть к ней в дом на обед. Преподобный согласился.

Марфа по этому поводу устроила пир и назвала гостей. Она встречала преподобного с большим уважением, принимала от него благословение вместе с сынами и дочерьми. Марфа посадила Зосима на первое место. Вдруг, посреди пира, Зосима взглянул на шестерых бояр, сидевших за столом, затрепетал и заплакал. Можно было понять, что он видел что-то страшное. Он больше не принимал пищи. По окончании стола Марфа еще раз просила у него прощения, завещала ему молить Бога за нее и за детей, поднесла ему дары и пожертвовала на монастырь свою деревню на реке Суме. Зосима простил Марфу, благодарил ее, но был очень грустен.

По выходе из дома Марфы, один ученик, по имени Даниил, спросил его: «Отче! Что значит, что ты, взглянувши на бояр, ужасался, плакал и не вкушал пищи?»

«Я видел страшное видение, – сказал Зосима. – Шестеро этих бояр сидели за трапезой, а голов на них не было; и в другой раз я взглянул на них и то же увидел, и третий раз взглянул – и все то же. С ними сбудется это в свое время, ты сам еще увидишь это, но никому не разглашай неизреченных судеб Божиих!» Один из обедавших у Марфы бояр, по имени Памфилий, пригласил Зосиму к себе на другой день обедать. Он также заметил смущение Зосимы. Он спрашивал Зосиму о причине. И ему открыл преподобный тайну видения. Памфилий принял иночество, убегая от беды, угрожавшей Великому Новгороду. Через некоторое время в уединенную обитель Зосимы дошли страшные вести. Новгородцы, защищавшие свою свободу, были поражены на Шелони; бояре, сидевшие с ним за столом у Марфы, были обезглавлены. Прошло еще несколько лет. Зосима, чуждый всего земного, ослабевал и уже заблаговременно сделал себе гроб; новая, еще страшнейшая, весть возмутила его покой: Великий Новгород лишился своей самостоятельности; его богатства были разграблены; владыка Феофил был низложен; множество бояр и богатых жителей, лишившись своего состояния, были взяты в неволю и отправлены на чужбину. В их числе отвезли из Новгорода в оковах боярыню Марфу с детьми. Пророчество Зосимы сбылось: ее двор опустел и пропал след его обитателей.

Недолго пережил Зосима горе, постигшее Новгород в начале 1478 года. В тот же год 17 апреля он скончался, завещавши братии мир и соблюдение устава, назначивши после себя игуменом одного из братии по имени Арсений.

Зосима был погребен за алтарем церкви Преображения, и его гроб сделался предметом поклонения благочестивых людей. Составилась целая книга о чудесах Зосимы.

Монастырь его всегда имел важное значение в истории. Он был распространителем христианства между поморскими язычниками. В половине XVI века игумен Филипп Колычев, впоследствии бывший митрополитом при Иване Грозном, построил в Соловецком монастыре каменные здания и своими стараниями привел хозяйство острова в процветающее состояние. При царе Феодоре Соловецкий монастырь был обнесен крепкими каменными стенами и бойницами. При Алексее Михайловиче Соловецкий монастырь играл важную роль в истории раскола: в нем старообрядцы долго защищались от царских войск. По своей отдаленности от средоточия государства этот монастырь постоянно был местом заключения опальных. Но тем не менее, благодаря щедрости царей и частных лиц, Соловецкий монастырь всегда отличался богатством и гостеприимством к многочисленным богомольцам, стекавшимся в него ежегодно со всех концов России. Имена Савватия и Зосимы сделались одними из особенно известных и уважаемых всем русским народом. Неизвестно почему, в народном благочестии оба эти святые считаются покровителями пчеловодства.

## **Выпуск второй: XV-XVI столетия**

### **Глава 13**

## Великий князь и государь Иван Васильевич

Эпоха великого князя Ивана Васильевича составляет перелом в русской истории. Эта эпоха завершает собой все, что выработали условия предшествовавших столетий, и открывает путь тому, что должно было выработаться в последующие столетия. С этой эпохи начинается бытие самостоятельного монархического русского государства.

После смерти Димитрия Донского великим князем был сын его Василий (1385—1425), который, насколько мы его понимаем, превосходил отца своего умом. При нем значительно двинулось расширение московских владений. Москва приобрела земли: суздальскую и нижегородскую. Получив от хана великое княжение, Василий Димитриевич так впал к нему в милость, что получил от него еще Нижний Новгород, Городец, Мещеру, Тарусу и Муром. Москвичи взяли Нижний изменой: нижегородский боярин Румянец предал своего князя Бориса Константиновича; Василий Димитриевич приказал взять под стражу этого князя, его жену и детей; Нижний Новгород навсегда был присоединен к московским владениям. Племянники Бориса, суздальские князья, были изгнаны, и Суздаль также достался Василию. Впоследствии, хотя суздальские князья помирились с московским великим князем и получили от него вотчины, но уже из рода в род оставались московскими слугами, а не самобытными владетелями. В 1395 году случилось событие, поднявшее нравственное значение Москвы: по поводу ожидаемого нашествия Тамерлана, которое, однако же, не состоялось, Василий Димитриевич приказал перенести из Владимира в Москву ту знаменитую икону, которую Андрей некогда унес из Киева в свой любимый город Владимир; теперь эта икона служила освящением первенства и величия Москвы над другими русскими городами.

По следам своих предшественников, Василий Димитриевич притеснял Новгород, но не достиг, однако, цели своих замыслов. Два раза он покушался отнять у Новгорода его двинские колонии, пользуясь тем, что на двинской земле образовалась партия, предпочитавшая власть великого московского князя власти Великого Новгорода. Новгородцы благополучно отстояли свои колонии, но заплатились за это недешево: великий князь произвел опустошение в новгородской волости, приказал передуть новгородцев, убивших в Торжке одного доброжелателя московского великого князя, заставил новгородцев давать черный бор, захватил в свою пользу имения в волости Бежецкого Верха и Вологды; а главное, Новгород сам не мог обойтись без великого князя и должен был обращаться к нему за помощью, так как другой великий князь, литовский, покушался овладеть Новгородом.

Орда в это время до того уже разлагалась от внутренних междоусобий, что Василий несколько лет не платил выхода хану и считал себя независимым; но в 1408 году на Москву неожиданно напал татарский князь Эдиги, который, подобно Мамаю, не будучи сам ханом, помыкал носившими имя хана. Василий Димитриевич не остерегся, рассчитывая, что Орда ослабела, и не предпринял заранее мер против хитрого врага, обольстившего его лицемерным благорасположением. Подобно отцу, Василий Димитриевич бежал в Кострому, но лучше своего отца распорядился защитой Москвы, поручив ее храброму дяде, серпуховскому князю Владимиру Андреевичу. Москвичи сами сожгли свой посад. Эдиги не мог взять Кремля, зато Орда опустошила много русских городов и сел. Москва испытала, что если Орда не в силах была держать Русь в порабощении, как прежде, зато еще долго могла быть ей страшной своими внезапными набегами, разорениями и уводом в плен жителей. Впоследствии уже, в 1412 году, Василий ездил в Орду, поклонился новому хану Джелаледдину, принес ему выход, одарил вельмож, и хан утвердил за московским князем великое княжение, тогда как перед тем намеревался отдать его изгнанному нижегородскому князю. Власть ханов над Русью висела уже на волоске; но московские князья еще несколько времени могли пользоваться ею для усиления своей власти на Руси и прикрывать свои поползновения значением ее старинной силы, а между тем должны были принимать меры обороны против татарских вторжений, которые могли быть тем беспокойнее, что делались с разных сторон и от разных обломков разрушающейся Орды.

На западе литовское могущество, возникшее при Гедимине, выросшее при Ольгерде, достигло своих крайних пределов при Витовте. По праву, верховная власть над Литвой и покоренной ею Русью находилась в руках Ягелла, польского короля; но Литвой в звании его наместника самостоятельно управлял двоюродный его брат Витовт, сын Кейстута, некогда задушенного Ягеллом. Витовт, по примеру своих предшественников, стремился расширить пределы литовского государства за счет русских земель и постепенно подчинял себе последние одни за другими. Василий Димитриевич был женат на дочери Витовта Софии: во все свое княжение он должен был соблюдать родственные отношения и вместе с тем был настороже против покушений тестя. Московский князь вел себя с большою осторожностью, насколько возможно было уступал тестю, но охранял себя и Русь от него. Он не помешал Витовту овладеть Смоленском: это происходило главным образом оттого, что последний смоленский князь Юрий был злодей в полном смысле слова, и сами смоляне предпочитали лучше отдаться Витовту, чем повиноваться своему князю. Когда же Витовт показал слишком явно свое намерение овладеть Псковом и Новгородом, московский великий князь открыто вооружился против тестя, так что дошло было до войны, однако в 1407 году дело окончилось между ними миром, по которому река Угра поставлена была гранью между московскими и литовскими владениями.

Тесть пережил зятя, и при малолетнем наследнике Василии спор за первенство над Русью некоторое время склонялся на сторону Литвы. Татарское порабощение образовало между русскими княжениями такой строй, который несколько походил на феодальный, господствовавший в Западной Европе: князья, получившие свои владения от ханов в качестве вотчин, находились в подчинении одни другим, и само это подчинение, смотря по обстоятельствам, имело разные степени. Московский князь сделался великим князем всей Руси, но на его земле, в его княжении были князья подручные, обязанные ему повиноваться: одни сохраняли больше самостоятельности над своими уделами, другие становились уже его слугами. За пределами московского княжения были князья, также называвшиеся великими, считавшие своими подручниками князей своей земли. Таким образом, после уничтоженного великого княжества суздальского, оставались еще довольно сильные великие князья – тверской и рязанский; кроме того, подручник рязанского, князь пронский также начал называться великим. Тот же титул носил старейший из ярославских князей. Эти так называемые великие князья, будучи старейшими над подручными князьями, сами должны были признавать над собой старейшинство московских великих князей и, видя со стороны Москвы дальнейшее посягательство на свою независимость, естественно искали ей противовес в Литве. Таким образом, после смерти Василия Димитриевича рязанский великий князь Иван Федорович, а за ним и князь пронский отдалась на службу Витовту (1427). Одновременно с ними великий князь тверской Борис также отдался литовскому великому князю, выговорив себе право власти над своими подручниками, князьями тверской земли. Сама Москва, находясь под властью несовершеннолетнего князя, которого мать была дочерью Витовта, очутилась под рукой литовского великого князя; по крайней мере, сам Витовт именно так смотрел на нее и писал немцам, что София с сыном и со всем великим княжеством московским отдалась ему в опеку и охранение. Витовту недоставало только полной независимости и королевского венца; он усиленно добивался его и склонил уже на свою сторону императора Сигизмунда, но польские прелаты и вельможи не допустили до такой опасной новизны, представив папе, что отделение Литвы и Руси от Польши может поставить преграду распространению римского католичества между православными. Папа отказал дать корону Витовту. Витовт умер в 1430 году, не достигнув своих целей, а после его смерти в Литве начались междоусобия. Долгое время и в Москве происходили беспорядки. Преемник Василия Димитриевича, Василий Васильевич, был человеком ограниченных дарований, слабого ума и слабой воли, но вместе с тем способный на всякие злодеяния и вероломства; члены московского княжеского дома находились в полном повиновении у Василия Димитриевича, а после его смерти подняли голову. Дядя Василия Васильевича, Юрий, добивался в Орде великого княжения. Хитрый и ловкий боярин Иван Димитриевич

Всеволожский в 1432 году сумел устранить Юрия и доставить великое княжение Василию Васильевичу. Когда Юрий ссылался на свое родовое старейшинство, как дядя, и когда, по этому поводу, он указывал на прежние примеры предпочтения дядей племянникам, как старших летами и степенью родства, Всеволожский указал хану, что Василий уже получил княжение по воле хана, и эта воля должна быть выше всяких законов и обычаев: ничем не стесняясь, хан может кому угодно отдать свой улус. Это признание безусловной воли хана понравилось последнему; Василий Васильевич оставлен великим князем. Через некоторое время тот же боярин, рассердившись на Василия за то, что он, обещав жениться на его дочери, женился на внучке Владимира Андреевича серпуховского, Марии Ярославне – сам побудил Юрия отнять у племянника княжение. Тогда возобновились на Руси междоусобия, ознаменованные на этот раз гнусными злодеяниями. Юрий, захватив Москву, снова был изгнан из нее и скоро умер. Сын Юрия Василий Косой заключил с Василием мир, а потом, вероломно нарушив договор, напал на Василия, но был побежден, взят в плен и ослеплен (1435). Через несколько лет в Золотой Орде случилось такое событие: хан Улу-Махмет лишился престола и искал помощи великого князя московского. Великий князь не только не подал ему помощи, но еще прогнал его из пределов московской земли; тогда Улу-Махмет со своими приверженцами основался на берегах Волги в Казани и положил начало татарскому казанскому царству, которое в продолжение целого столетия причиняло Руси опустошения. Улу-Махмет, уже в качестве казанского царя, мстил московскому государю за прошлое, победил его в битве, взял в плен. Василий Васильевич освобожден от плена не иначе, как заплатив огромный выкуп. Вернувшись на родину, он поневоле должен был облагать народ большими податями и, кроме того, начал принимать в свое княжество татар и раздавать им поместья. Это возбудило против него ропот, которым воспользовался брат Косого, галицкий князь Димитрий Шемяка; соединившись с тверским и Можайским князьями, он в 1446 году приказал вероломно схватить Василия в Троицком монастыре и ослепить. Шемяка овладел великим княжением и держал слепого Василия в заточении, но, видя в народе волнение, уступил просьбе рязанского епископа Ионы и отпустил пленного Василия, взяв с него клятву не искать великого княжения. Василий не сдержал клятвы: в 1447 году приверженцы слепого князя опять возвели его на княжение.

Примечательно, что характер княжения Василия Васильевича с этих пор совершенно изменяется. Пользуясь зрением, Василий был самым ничтожным государем, но с тех пор, как он потерял глаза, все остальное его правление отличается твердостью, умом и решительностью. Очевидно, что именем слепого князя управляли умные и деятельные люди. Таковы были бояре: князья Патрикеевы, Ряполовские, Кошкины, Плещеевы, Морозовы, славные воеводы: Стрига-Оболенский и Феодор Басенок, но более всех митрополит Иона.

Духовные власти всегда благоприятствовали стремлению к единодержавию. Во-первых, оно сходилась с их церковными понятиями: церковь русская, несмотря на политическое раздробление русской земли, была всегда единая и неделимая и постоянно оставалась образцом для политического единства. Во-вторых, духовные, как люди, составлявшие единственную умственную силу страны, лучше других понимали, что раздробление ведет к беспрестанным междоусобиям и ослабляет силы страны, необходимые для защиты против внешних врагов: только при сосредоточении верховной власти в одних руках представлялась им возможность безопасности для страны и ее жителей. Пока сан митрополита возлагаем был на людей нерусских, понятно, что, будучи чужды русскому краю по рождению и по связям, они не принимали слишком горячо к сердцу его интересов, ограничиваясь преимущественно областью церковных дел; но не так относились к русской земле природные русские, достигшие высшей духовной власти. Митрополиты Петр и Алексей показали уже себя политическими деятелями; еще более проявил себя в этом отношении умный митрополит Иона, которому пришлось занимать важное место при слепом и ничтожном Василии.

Иона был родом из костромской земли, по прозвищу Одноуш. Достигнув рязанского епископа, он не сделался, однако, приверженцем местных рязанских видов; сочувствие его

клонилось к Москве, потому что Иона, сообразно тогдашним условиям, в одной Москве видел центр объединения Руси. В 1431 году, по смерти митрополита Фотия, Иона был избран митрополитом, но цареградский патриарх вместо него, еще раньше, назначил грека Исидора. Этот Исидор в звании русского митрополита был на Флорентийском соборе, где провозглашена была уния, или соединение греческой церкви с римской на условиях признать римского первосвященника главой вселенской церкви. Исидор вместе с цареградским патриархом и византийским императором подчинился папе: Исидор был грек душою; все цели его были обращены на спасение своего погибающего отечества; он, как и некоторые другие греки, надеялся при посредстве папы возбудить силы Европы против турок. Эти виды и побуждали тогдашних греков жертвовать вековой независимостью своей церкви. Русь в глазах Исидора должна была служить орудием греческих патриотических целей. Но в Москве не приняли унии и прогнали Исидора. Несколько лет звание московского митрополита оставалось незанятым. В Киеве, после учреждения Витовтом отдельной митрополичьей кафедры, были свои митрополиты, но Москва не хотела знать их. Рязанский епископ Иона, как уже нареченный русскими духовными митрополит, имел между ними главенствующее значение и влияние, а наконец в 1448 году этот архиерей был возведен в сан митрополита собором русских владык помимо патриарха. Событие это было решительным переворотом: с этих пор восточно-русская церковь перестала зависеть от цареградского патриарха и получила полную самостоятельность. Средоточие ее верховной власти было в Москве. Обстоятельство это окончательно подняло то нравственное значение Москвы, которое намечено было еще митрополитом Петром, поддерживалось Алексием, получило большой блеск от перенесения иконы Богородицы из Владимира. С этих пор русские земли, еще непокорные Москве и думавшие оградить от нее свою самобытность – Тверь, Рязань, Новгород, привязывались крепче к Москве духовною связью.

Усевшись в Москве, слепой великий князь назначил своим соправителем старшего сына Ивана, который с тех пор стал называться, как и отец его, великим князем: так показывают тогдашние договорные грамоты. Тогда началась и постепенно расширялась политическая деятельность Ивана: достигнув совершенного возраста, он, без сомнения, вместо слепого родителя, еще при жизни его руководил совершавшимися событиями, которые клонились к укреплению Москвы. Князь Димитрий Шемяка, вынужденный дать так называемую «проклятую грамоту», в которой клятвенно обещал отказаться от всяких покушений на великое княжение, не переставал оказывать вражду к Василию Темному. Духовенство писало Шемяке увещательную грамоту, Шемяка не слушал нравоучений, и московское ополчение, напутствуемое благословениями Ионы, двинулось на Шемяку в Галич вместе с молодым великим князем. Шемяка потерпел поражение и бежал в Новгород, где новгородцы дали ему приют. Галич со своей волостью был вновь присоединен к Москве. Шемяка продолжал злоумышлять против Василия, взял Устюг и там было утвердился, но молодой великий князь Иван Васильевич выгнал его оттуда; Шемяка опять бежал в Новгород. Митрополит Иона своею грамотою объявил Шемяку отлученным от церкви, запрещал православным людям с ним есть и пить и обвинял новгородцев за то, что они приняли его к себе. Тогда в Москве решили расправиться с Шемякой тайным убийством: дьяк Степан Бородатый, при посредничестве Шемякина боярина Ивана Котова, в 1453 году подговорил повара Шемяки приготовить ему курицу ядом. Вслед за тем, в 1454 году, союзник Шемяки князь Иван Андреевич Можайский, не дожидаясь прибытия московского войска, бежал в Литву. Двое великих князей: тверской и рязанский, искавшие против Москвы опоры в Литве, увидели, что на Литву надежды мало, и пристали к Москве заблаговременно, прежде чем Москва употребила против них насилие. Первый отдал свою дочь Марию за молодого московского великого князя Ивана Васильевича, а в 1454 году, при посредничестве митрополита Ионы, заключил договор, которым обещался с детьми своими быть во всем заодно с Москвою; последний в 1456 году, перед своею смертью, отдал восьмилетнего сына на попечение великому князю московскому: московский великий князь перевез отрока в Москву, а в рязанскую землю послал своих наместников. Тогда же князь московской земли,

серпуховской, Василий Ярославич, ревностный слуга и товарищ в несчастье Василия Темного, по какому-то наговору был схвачен и заточен в Вологду, где и умер со своими детьми: его старший сын убежал в Литву. Затем суздальские князья, получив от московского великого князя вотчины, чуя над собою беду, сами убежали из дарованных им вотчин, чтобы избежать опасных столкновений с Москвою.

В 1456 году расправилась Москва с Новгородом. Еще ранее этого времени великий князь наложил на Новгород 8000 рублей. Прием, оказанный Шемяке Новгородом, раздражал московских великих князей. Новгородцы досадовали на то, что Москва их обирает, не хотели платить наложенной по договору суммы; кроме того, между Москвой и Новгородом возникали поземельные недоразумения: новгородские бояре покупали себе земли в ростовской и белозерской землях, а Новгород оказывал притязание, чтобы эти владения новгородцев тянули (подчинялись) к Новгороду. Великий московский князь объявил Новгороду войну. Московские подручные князья: Стрига-Оболенский и Федор Басенок овладели Русою; новгородцы, поспевшие на выручку Русы, были разбиты. Великий князь с сильным войском пошел к Новгороду и стал в Яжелбицах. Тогда Новгород выслал к нему епископа Евфимия со старыми посадниками, тысячскими и житыми (т.е. зажиточными домовладельцами) от пяти концов Новгорода. Был заключен договор. Новгород, кроме прежних 8000 рублей, должен был заплатить великому князю еще 8500 рублей, возвратить все земли, приобретенные новгородцами в областях, тянувших к Москве, давать великому князю черный бор в своих волостях и судные пени; но главное – Новгород обязался отменить «вечные» (вечевые, исходившие от веча) грамоты, писать грамоты от имени великого князя и употреблять великокняжескую печать. Последним условием поражалась сущность новгородской свободы и предвещалось скорое падение независимости Новгорода.

Новгородцы чувствовали свою близкую беду и ненавидели московского государя. В 1460 году Василий Темный прибыл в Новгород с сыновьями Юрием и Андреем. Новгородцы собрались на вече у Св. Софии и собирались убить его с детьми, но владыка новгородский Иона отговорил их: «Из этого нам не будет пользы, – представлял он, – останется еще один сын, старший, Иван: он выпросит у хана войско и разорит нас».

Притесняя Новгород, Москва налагала тяжелую руку и на две его самостоятельные колонии: Псков и Вятку.

Псков не оказывал против Москвы никакой вражды, хотя московским князьям не могло понравиться то, что псковичи в 1459 году встретили Шемякина сына с крестным ходом и в продолжение трех недель оказывали ему почести. Псков, как земля вольная, по-прежнему принимал к себе князей отовсюду, и таким князем был там Александр Черторижский, из литовского княжеского рода.

В 1460 году московский великий князь потребовал, чтобы Черторижский, если хочет оставаться псковским князем, присягнул в верности Москве. Черторижский не захотел присягать и уехал из Пскова, а псковичи с тех пор стали принимать себе князьями наместников московского государя.

Вятка, новгородская колония, основанная в XIII веке выходцами, недовольными Новгородом, и потому постоянно остававшаяся независимо от Новгорода и даже враждебною к нему, помогала Шемяке в его борьбе с Василием Темным. За это она понесла наказание, когда Василий вышел из борьбы победителем. Два раза отправлено было против нее московское войско – в 1458 и в 1459 годах. Первый поход был неудачен; во второй – московские воеводы, князья Ряполовский и Патрикеев, взяли вятские города: Орлов и Котельнич, и заставили вятчан признать над собою верховную власть Василия.

Василий Темный скончался 5 марта 1462 года от неудачного лечения тела зажженным трупом. Он на один год пережил своего важнейшего советника, митрополита Иону, умершего 31 марта 1461 года.

Сын Василия Иван, и без того уже управлявший государством, остался единым великим князем. Начало его единовластия не представляло в сущности никакого нового поворота против прежних лет. Ивану оставалось идти по прежнему пути и продолжать то,

что было им уже сделано при жизни отца. Печальные события с его отцом внушили ему с детства непримиримую ненависть ко всем остаткам старой удельно-вечевого свободы и сделали его поборником единовластия. Это был человек крутого нрава, холодный, рассудительный, с черствым сердцем, властолюбивый, непреклонный в преследовании избранной цели, скрытный, чрезвычайно осторожный; во всех его действиях видна постепенность, даже медлительность; он не отличался ни отвагой, ни храбростью, зато умел превосходно пользоваться обстоятельствами; он никогда не увлекался, зато поступал решительно, когда видел, что дело созрело до того, что успех несомненен. Забирание земель и возможно прочное присоединение их к московскому государству было заветною целью его политической деятельности; следуя в этом деле за своими прародителями, он превзошел всех их и оставил пример подражания потомкам на долгие времена. Рядом с расширением государства Иван хотел дать этому государству строго самодержавный строй, подавить в нем древние признаки земской раздельности и свободы, как политической, так и частной, поставить власть монарха единым самостоятельным двигателем всех сил государства и обратить всех подвластных в своих рабов, начиная от близких родственников до последнего земледельца. И в этом Иван Васильевич положил твердые основы; его преемникам оставалось дополнять и вести дальше его дело.

В первые годы своего единовластия Иван Васильевич не только уклонялся от резких проявлений своей главной цели полного объединения Руси, но оказывал при всяком случае видимое уважение к правам князей и земель, представлял себя ревнителем старины, и в то же время заставлял чувствовать как силу тех прав, какие уже давала ему старина, так и ту степень значения, какую ему сообщал его великокняжеский сан. У Ивана Васильевича, как показывают его поступки, было правилом прикрывать все личиною правды и законности, казаться противником насильственного введения новизны; он вел дела свои так, что полезная для него новизна вызывалась не им самим, а другими.

Решительный и смелый, он был до крайности осторожен там, где возможно было какое-нибудь противодействие его предприятиям. Он не затруднился вскоре после смерти отца, в 1463 году, покончить с ярославским княжением, потому что там не могло быть никакого сопротивления. До тех пор Ярославль со своею волостью находился во власти особых князей, хотя уже давно подручных московскому великому князю. Князья эти происходили из рода Федора Ростиславича, князя племени смоленских князей, жившего в XIII веке и причисленного к лику святых; в описываемое нами время род их разделился на многие княжеские фамилии, как-то: Курбские, Засекины, Прозоровские, Львовы, Шехонские, Сонцевы, Щетинины, Сицкие, Шаховские, Кубенские, Троекуровы, Шастуновы, Юхотские и пр. Все владения их составляли ярославскую землю, и над всеми ими, точно как в других землях, например в тверской или в рязанской, был из их рода главный старейший князь, носивший титул великого: ему принадлежал Ярославль. Таким великим князем ярославской земли был в то время князь Александр Федорович. Этот великий князь ярославский был столько же бессилен, как и его многочисленные подручники. Иван Васильевич приобрел Ярославль со всей землею старанием дьяка Алексея Полуэктова; неизвестно, все ли князья ярославской земли подчинились московскому государю добровольно: мы не знаем обстоятельств этого события; само собой разумеется, что волею-неволею эти князья должны были делать все, чего хотел от них сильный властитель, и все они поступили в число его слуг.

Но не так относился Иван Васильевич к более сильным князьям: тверскому и рязанскому. С тверским, своим шурином, он тотчас по смерти отца своего заключил договор, в котором положительно охранялось владетельное право тверского князя над своею землею; не в политике Ивана Васильевича было раздражать без нужды соседа, жившего на перепутье между Москвой и Новгородом, в то время, когда московский великий князь предвидел неминуемую разделку с Новгородом и должен был подготавливать союзников себе, а не Новгороду против себя. Рязанский великий князь уже прежде был в руках Москвы. Иван Васильевич не отнял у него земли его, а в 1464 году женил его на своей сестре, признал

самостоятельным владельцем, но совершенно взял в свои руки; никогда уже после того Иван Васильевич не имел повода обращаться со своим зятем иначе, так как рязанский князь не выходил из повиновения у московского.

Возникло у Ивана дело со Псковом; и тут-то Иван столько же показал наружного уважения к старине, сколько и заставил псковичей уважать свою власть и значение своего сана. В 1463 году псковичи прогнали от себя присланного к ним против их воли великокняжеского наместника и отправили к Ивану послов просить другого. Иван Васильевич гневался, три дня не пускал к себе на глаза псковских послов; наконец на четвертый день как бы смиловался и, допустивши их, сначала пригрозил им, а потом сказал: «Я хочу жаловать отчину Псков по старине: какого князя хотите, такого вам и дам!» И отдал им тогда того самого (звенигородского) князя, которого псковичи сами желали. Иван Васильевич в этом случае, хотя и сделал угодное псковичам, по обычаям старины, однако вместе с тем внушил им, что они обязаны этим соблюдением их старинных прав единственно его воле и милости, а если б он захотел, то могло быть и иначе. Сделавши псковичам угодное как бы из уважения к старине, он потом поступил и против их желания, также из уважения к старине. Псковичи, недовольные новгородским владыкой, затевали отложиться от этого владыки и просили себе особого епископа. Иван Васильевич, опираясь на старину, отказал им в их просьбе вместе с митрополитом Феодосием, заступившим место Ионы. Не в видах московской политики было вооружать против московского великого князя высшую новгородскую духовную власть, которая, напротив, склоняясь, в силу своих интересов, к Москве, могла обессиливать новгородские стремления, противодействовавшие московскому единовластию. Псковичи в этом деле принуждены были сообразоваться с волею великого князя и отказались от своих планов именно потому, что в Москве решили так великий князь и митрополит. Но не давал московский государь по этому делу слишком зазнаться и Новгороду. Когда Новгород попросил у него воевод, чтобы действовать оружием против Пскова, за то, что Псков не повинуетя новгородскому владыке. Иван Васильевич сделал новгородцам выговор за такую просьбу.

В 1467 году наступило тяжелое время для Руси. Открылась повальная болезнь, так называемая в те времена «железа» (чума); она свирепствовала в новгородской и псковской земле, захватила зимою и московскую землю: множество людей умирало и по городам, и по селам, и по дорогам. На умы нашло уныние и страх. Толковали о близком конце мира; говорили, что скоро окончится шестая тысяча лет существования мира и тогда настанет страшный суд; рассказывали о чудных явлениях в природе, предзнаменующих что-то роковое: ростовское озеро две недели выло ночью, не давая спать людям, а потом был слышен в нем странный стук. Среди этой всеобщей тревоги и уныния умерла жена Ивана, тверская княжна Мария. Говорили, что она была отравлена.<sup>34</sup> Смерть этой княгини остается темным событием: она развязала Ивана и дала ему скоро возможность вступить в другой брак, важный по своим последствиям.

Был у Ивана в то время какой-то итальянец; его называют в современных летописях Иван Фрязин<sup>35</sup>; он занимал при дворе московского великого князя должность денежника (т.е. чеканщика монет). По всем вероятностям, ему принадлежала первая мысль сочетать великого князя с греческою царевною, и он дал знать в свое отечество, что московский государь овдовел. Через два года, в 1469, явилось в Москву посольство от римского кардинала Виссариона. Кардинал этот, природный грек, был прежде митрополитом никейским и на

---

<sup>34</sup> Видели доказательство этому в том, что ее труп необыкновенно раздулся, так что положенный на него покров сначала висел до земли, а потом оказался недостаточным для прикрытия трупа. После погребения ее в Вознесенском монастыре в Кремле, великий князь разгневался на жену дьяка Алексея Полуэктова Наталью, которая посылала к ворожее пояс покойной княгини, и самого мужа ее Алексея Иван Васильевич не пускал к себе шесть лет на глаза.

<sup>35</sup> Прозвище фрязин означало не более как принадлежность к западным европейцам: фрягами называли вообще последних, и название это, как кажется, было не что иное, как переименованное с течением веков древнее название варяг, сначала означавшее северных скандинавов, а впоследствии перешедшее в значение европейца вообще.



Флорентийском соборе вместе с русским митрополитом Исидором принял унию. Тогда как товарищ его Исидор воротился в отечество и пал, сражаясь против турок, в роковой день взятия Константинополя, Виссарион остался в чести в Риме. От него в посольстве приехал грек именем Юрий и два итальянца: один Карл, старший брат денежника Ивана, а другой их племянник, по имени Антоний. Они от имени своего кардинала сообщали великому князю, что в Риме проживает племянница последнего греческого императора Константина Палеолога, дочь его брата Фомы, который, державшись несколько времени в Пелопонесе со званием деспота морейского, был принужден, наконец, по примеру многих своих соотечественников, искать убежища в чужой земле, перешел в Италию с двумя сыновьями Андреем и Мануилом и умер в Риме. Дочь его, по имени Зинаида-София (впоследствии известная под последним именем), не хотела выходить замуж за принца римско-католической веры. Ее сватали французский король и миланский герцог, но она отказала обоим: и было бы подручно – представляли послы кардинала – великому князю московскому, как государю православной восточной церкви, сочетаться с нею браком. Иван Васильевич в 1469 году послал сватом к папе Павлу II и кардиналу Виссариону своего денежника Ивана, прозываемого Фрязином.

Между тем политическая деятельность московского государя обратилась тогда на восток. Казанское царство, недавно еще основанное и так грозно заявившее себя при Василии Темном, сильно беспокоило Русь: из его пределов делались беспрестанные набеги на русские земли; уводились русские пленники. Набеги эти производили татары и подвластные татарам черемисы – самое свирепое из финско-татарских племен, населявших восток нынешней Европейской России. Иван отправлял отряды разорять черемисскую землю, а в 1468 году ему представлялся случай посадить в Казани своего подручника и таким образом сделать ее подвластной себе. Некоторые казанские вельможи, недовольные тогдашним своим ханом Ибрагимом, приглашали к себе Касима, одного из тех царевичей, которым еще Василий Темный дал приют и поместья на русской земле.

Иван Васильевич отправил два войска против Казани. Предприятие не удалось, отчасти потому, что Вятка боялась усиления Москвы и не хотела помогать ей против Казани, а стала на сторону последней. Иван не остановился на первых неудачах и в 1470 году послал снова под Казань рать со своими братьями. Хан Ибрагим заключил мир с Москвой, освободивши всех русских пленников, какие находились в неволе за протекшие сорок лет. Современные известия сообщают, что Ибрагим заключил мир на всей воле великого князя; условия этого мира нам неизвестны, но, вероятно, мир этот служил подготовкой к тому, что с большим успехом достигнуто было Иваном позже.

Затем обстоятельства обратили деятельность Ивана Васильевича к северу. Целые полтора века Москва подтачивала самостоятельность и благоденствие Новгорода: Новгород терпел частые вымогательства денег, захваты земель, разорение новгородских волостей, и потому вполне было естественно, что в Новгороде издавна ненавидели Москву. Озлобление к Москве дошло до высокой степени в княжение Василия Темного. Самостоятельность Великого Новгорода висела на волоске. Была пора прибегнуть к последним средствам. В Новгороде, как часто бывало в купеческой республике, было очень велико число тех, которые личную выгоду предпочитали всему на свете и подчиняли ей патриотические побуждения. Еще за двадцать пять лет перед тем летописец жаловался, что в Новгороде не было ни правды, ни суда; ябедники сталкивались между собою, поднимали тяжбы, целовали ложно крест; в городе, по селам и волостям – грабеж, неумеренные поборы с народа, вопль, рыдания, проклятие на старейших и на весь Новгород, и стали новгородцы предметом поругания для соседей. Такие явления неизбежны там, где выше всего ценятся своекорыстные интересы. Но когда слишком очевидно приближалась опасность падения независимости, в Новгороде образовался кружок, соединившийся во имя общего дела, думавший во что бы то ни стало спасти свое отечество от московского самовластия. Душой этого кружка была женщина, вдова посадника, Марфа Борецкая. К сожалению, источники дают нам чрезвычайно мало средств определить ее личность; во всяком случае, несомненно,

что она имела тогда важнейшее влияние на ход событий. Она была мать двух взрослых женатых сыновей, имела уже внука.<sup>36</sup> Марфа была очень богата; в своем новгородском дворе на Софийской стороне, который современники прозвали «чудным», она привлекала своим хлебосольством и собирала около себя людей, готовых стоять за свободу и независимость отечества. Кроме сыновей Марфы, с ней заодно были люди знатных боярских фамилий того времени: Арбузовы, Афанасьевы, Астафьевы, Григоровичи, Лошинские, Немиры и др. Люди этой партии имели влияние на громаду простого народа и могли, по крайней мере до первой неудачи, ворочать вечем. Так как им ясно казалось, что Великий Новгород не в силах сам собою защитить себя от Москвы, которая могла двинуть на него, сверх сил своей земли, еще силы других, уже подчиненных ей земель, то патриоты пришли к убеждению, что лучше всего отдаться под покровительство литовского великого князя и короля польского Казимира.

Иван Васильевич узнал обо всем, что делается и замышляется в Новгороде, не заявил гнева Новгороду, напротив, кротко послал сказать: «Люди новгородские, исправьтесь, помните, что Новгород – отчина великого князя. Не творите лиха, живите по старине!»

Новгородцы на вече оскорбили послов великого князя и дали такой ответ на увещание Ивана Васильевича: «Новгород не отчина великого князя, Новгород сам себе господин!»

И после того не показал гнева великий князь, но еще раз приказал сказать Великому Новгороду такое слово:

«Отчина моя, Великий Новгород, люди новгородские! Исправьтесь, не вступайтесь в мои земли и воды, держите имя мое честно и грозно, посылайте ко мне бить челом, а я буду жаловать свою отчину по старине».

Бояре замечали великому князю, что Новгород оскорбляет его достоинство. Иван хладнокровно сказал:

«Волны бьют о камни и ничего камням не сделают, а сами рассыпаются пеной и исчезают как бы в посмеяние. Так будет и с этими людьми новгородцами».

В конце 1470 года новгородцы пригласили к себе князя из Киева, Михаила Олельковича. Это был так называемый «кормленный» князь, каких прежде часто приглашали к себе новгородцы, уступая им известные доходы с некоторых своих волостей.

В это время скончался владыка новгородский Иона. Избранный на его место по жребию Феофил был человек слабый и бесхарактерный; он колебался то на ту, то на другую сторону; патриотическая партия взяла тогда верх до того, что заключен был от всего Великого Новгорода договор с Казимиром: Новгород поступал под верховную власть Казимира, отступал от Москвы, а Казимир обязывался охранять его от покушений московского великого князя.

Узнавши об этом, Иван Васильевич не изменил своему прежнему хладнокровию. Он отправил в Новгород кроткое увещание и припоминал, что Новгород от многих веков знал один только княжеский род, Св. Владимира: «Я князь великий, – приказал он сказать Новгороду через своего посла, – не чиню над вами никакого насилия, не налагаю на вас никаких тягостей более того, сколько было налагаемо при моих предках, я еще хочу больше вас жаловать, свою отчину».

Вместе с этим послал новгородцам увещание и митрополит Филипп, заступивший место Феодосия, удалившегося в монастырь. Архипастырь представлял им, что отдача Новгорода под власть государя латинской веры есть измена православию. Это увещание зашевелило было религиозное чувство многих новгородцев, но ненависть к Москве на время взяла верх. Патриотическая партия пересилила. «Мы не отчина великого князя, – кричали новгородцы на вече, – Великий Новгород извека вольная земля! Великий Новгород сам себе государь!»

Великокняжеских послов отправили с бесчестьем. Иван Васильевич и после этого не разгневался и еще раз послал в Новгород своего посла, Ивана Федоровича Торопкова, с

---

<sup>36</sup> Ее двое других сыновей утонули в море, и в память этого грустного события Мария основала монастырь на Белом море (Корельский, в 34 верстах от Архангельска).

кротким увещанием: «Не отступай, моя отчина, от православия: изгоните, новгородцы, из сердца лихую мысль, не приставайте к латинству, исправьтесь и бейте мне челом; я вас буду жаловать и держать по старине».

И митрополит Филипп еще раз послал увещание; насколько хватало у него учености, обличал он латинское неверие и убеждал новгородского владыку удерживать свою паству от соединения с латинами.

Это было весной 1471 года. Ничто не помогло, хотя в это время призванный новгородцами из Киева князь ушел от них и оставил по себе неприятные воспоминания, так как его дружина позволяла себе разные бесчинства. Партия Борецких поддерживала надежду на помощь со стороны Казимира.

Только тогда решился Иван Васильевич действовать оружием. 31 мая он отправил рать свою под начальством воеводы Образца на Двину отнимать эту важную волость у Новгорода; 6 июня двинул другую рать в двенадцать тысяч под предводительством князя Данила Дмитриевича Холмского к Ильменю, а 13 июня отправил за ним на побережье реки Меты третий отряд под начальством князя Василия Оболенского-Стриги. Великий князь дал приказание сжигать все новгородские пригороды и селения и убивать без разбора и старых, и малых. Цель его была обессилить до крайности новгородскую землю. Разом с этими войсками подвигнуты были великим князем на Новгород силы Пскова и Твери.

Московские ратные люди, исполняя приказание Ивана Васильевича, вели себя бесчеловечно; разбивши новгородский отряд у Коростыня, на берегу Ильменя, московские военачальники приказывали отрезывать пленникам носы и губы и в таком виде отправляли их показаться своим братьям. Главное новгородское войско состояло большей частью из людей непривычных к битве: из ремесленников, земледельцев, чернорабочих. В этом войске не было согласия. 13 июля, на берегу реки Шелони, близ устья впадающей в Шелонь реки Дряни, новгородцы были разбиты наголову. Иван Васильевич, прибывши с главным войском вслед за высланными им отрядами, остановился в Яжелбицах и приказал отрубить голову четвертым, взятым в плен, предводителям новгородского войска и в числе их сыну Марфы Борецкой Димитрию Исаакиевичу.<sup>37</sup> Из Яжелбиц Иван двинулся в Русу, оттуда к Ильменю и готовился добывать Новгород оружием.

Поражение новгородского войска произвело переворот в умах. Народ в Новгороде был уверен, что Казимир явится или пришлет войско на помощь Новгороду; но из Литвы не было помощи. Ливонские немцы не пропустили новгородского посла к литовскому государю. Народ завопил и отправил своего архиепископа просить у великого князя пощады.

Владыка с послами от Великого Новгорода прежде всего одарил братьев великого князя и его бояр, а потом был допущен в шатер великого князя и в таких выражениях просил его милости:

«Господине великий князь Иван Васильевич всея Руси, помилуй, Господа ради, виновных перед тобою, людей Великого Новгорода, своей отчины! Покажи, господине, свое жалованье, уйми меч и огонь, не нарушай старины земли своей, дай видеть свет безответным людям твоим. Пожалуй, смилуйся, как Бог тебе на сердце положит».

Братья великого князя, а за ними московские бояре, принявшие подарки от новгородцев, кланялись своему государю и просили за Новгород.

Перед этим Иван Васильевич получил от митрополита грамоту: московский архипастырь просил оказать пощаду Новгороду. Как бы снисходя усиленному заступничеству за виновных митрополита, своих братьев и бояр, великий князь объявил новгородцам свое милосердие:

«Отдаю нелюбие свое, унимаю меч и грозу в земле новгородской и отпускаю полон без окупа».

Заклучили договор. Новгород отрекся от связи с литовским государем, уступил великому князю часть двинской земли, где новгородское войско было разбито московским.

---

<sup>37</sup> Кроме него, Василию Селезневу-Губе, Киприану Арбузьеву (или Арзубьеву) и Иеремею Сухощюку, архиепископскому чашнику.

Вообще в двинской земле (Заволочье), которую Новгород считал своей собственностью, издавна была чересполосица. Посреди новгородских владений были населенные земли, на которые предъявляли права другие князья, особенно ростовские. Это было естественно, так как население подвигалось туда из разных стран Руси. Великий князь московский, как верховный глава всех удельных князей и обладатель их владений, считал все такие спорные земли своей отчиной и отнял их у Новгорода, как бы опираясь на старину. Новгород, кроме того, обязался заплатить «копейное» (контрибуцию). Сумма копейного означалась в пятнадцать с половиною тысяч, но великий князь скинул одну тысячу. Во всем остальном договор этот был повторением того, какой заключен при Василии Темном. «Вечные» грамоты также уничтожались.

Верный своему правилу действовать постепенно, Иван Васильевич не уничтожил самобытности новгородской земли, а предоставил новгородцам подать ему вскоре повод сделать дальнейший шаг к тому, чего веками домогалась Москва над Великим Новгородом. Ближайшим последствием этой несчастной войны было то, что новгородская земля была так разорена и обезлюдена, как еще не бывало никогда во время прошлых войн с великими князьями. Этим разорением московский государь обессилил Новгород и на будущее время подготовил себе легкое уничтожение всякой его самобытности.

Иван Васильевич удержал за собою Вологду и Заволочье, а в следующем 1472 году отнял у Великого Новгорода Пермь. Эта страна управлялась под верховною властью Новгорода своими князьями, принявшими христианство, которое с XIV века, со времени проповеди Св. Стефана, распространилось в этом крае. В Перми обидели каких-то москвичей. Иван Васильевич придрался к этому и отправил в пермскую землю рать под начальством Федора Пестрого. Московское войско разбило пермскую военную силу, сожгло пермский город Искор и другие городки; пермский князь Михаил был схвачен и отослан в Москву. Пермская страна признала над собой власть великого князя московского. Иван Васильевич и здесь поступил согласно своей обычной политике: он оставил Пермь под управлением ее князей, но уже в подчинении Москве, а не Новгороду; по крайней мере, до 1500 года там управлял сын Михаила, князь Матвей, и только в этом году был сведен с княжения и заменен русским наместником.

Между тем посланный в Рим Иван Фрязин обделал данное ему поручение. Папа отпустил его, давши полное согласие на брак московского великого князя с греческой царевной, и вручил грамоту на свободный проезд московских послов за невестой. Возвращаясь назад, Иван Фрязин заехал в Венецию, назвал там большим послом великого князя московского и был принят с честью венецианским правителем (дожем) Николаем Троно. Венеция вела тогда войну с Турцией; представилось соображение отправить вместе с московским послом посла от венецианской республики к хану Золотой Орды, чтобы подвигнуть его на турок. Послом для этой цели избран был Джованни Баттиста Тревизано. Иван Фрязин почему-то счел за лучшее скрыть перед великим князем цели этого посольства и настоящее звание посла, которого назвал купцом, своим родственником. Он отправил его частным образом в дальнейший путь.

Иван Васильевич, получивши с Фрязином от папы согласие на брак, немедленно отправил за невестой в Рим того же Ивана Фрязина с другими лицами. Когда же Иван Фрязин уехал, вдруг открылось, что Тревизано не купец, а посол: за ним отправили погоню, догнали в Рязани и привезли в Москву. Великий князь естественно подозревал, что тут кроется что-то дурное, и приказал посадить Тревизано в тюрьму. Ивану Фрязину, по возвращении в Москву, готовилась заслуженная кара за обман.

Иван Фрязин явился в Рим уполномоченным представлять лицо своего государя. Папой, вместо недавно умершего, был тогда Сикст IV. Этот папа и все его кардиналы увидели в сватовстве московского великого князя случай провести заветные цели римской церкви: во-первых, ввести в русской земле флорентийскую унию и подчинить русскую церковь папе, во-вторых – двинуть силы русской земли против турок, так как в тот век мысль об изгнании турок из Европы была ходячею мыслью на Западе. У римского двора было

вообще в обычае, что если к нему обращались, или хотели с ним сблизиться те, которые не признавали власти папы, то это толковалось готовностью со стороны последних добровольно подчиниться власти римского первосвященника. И теперь достаточно было одного сватовства московского великого князя и, по поводу этого сватовства, отправки посольства в Рим, чтобы в таком событии видеть не только желание присоединения, но уже как бы совершившееся присоединение московского государя к римско-католической церкви. Папа в своем ответе Ивану Васильевичу прямо хвалил его за то, что он принимает флорентийскую унию и признает римского первосвященника главой церкви: папа, как будто по желанию великого князя московского, отправлял в Москву легата исследовать на месте тамошние религиозные обряды и направить на истинный путь великого князя и его подданных. Вероятно, Иван Фрязин со своей стороны подал к этому повод неосторожным заявлением преданности папе от лица великого князя: наши летописи уверяют, что он сам прикидывался католиком, тогда как, находясь в русской земле, уже принял восточное православие.

24-го июня 1472 года, нареченная невеста, под именем царевны Софии, выехала из Рима в сопровождении папского легата Антония. С ней отправилась толпа греков: между ними был посол от братьев Софии, по имени Димитрий. Она плыла морем, высадились в Ревеле и 13-го октября прибыла во Псков, а оттуда в Новгород. В обоих городах встречали ее с большим почетом; во Пскове пробыла София пять дней, благодарила псковичей за гостеприимство и обещала ходатайствовать перед великим князем о их правах; но псковичи с удивлением смотрели на папского легата в красной кардинальской одежде, в перчатках; более всего поражало их то, что этот высокопоставленный духовный сановник не оказывал уважения к иконам, не полагал на себя крестного знамения, и только, подходя к образу Пречистой Богородицы, перекрестился, но и то, как было замечено, сделал это по указанию царевны.

Такое поведение легата еще соблазнительнее должно было показаться в Москве, где менее, чем во Пскове и в Новгороде, имели возможность знать приемы западных католиков. Уже невеста приближалась к Москве, как в Москву дошла весть о том, что везде, где невеста останавливается, перед папским легатом, который сопровождал ее, несли серебряное литое распятие – «латинский крыж»; великий князь стал советоваться со своими боярами: можно ли допустить такое шествие легата с его распятием по Москве? Некоторые полагали, что не следует ему препятствовать; другие говорили: на земле нашей никогда того не бывало, чтобы латинская вера была в почете. Великий князь послал спросить об этом митрополита. «Нельзя тому стать, – сказал митрополит, – чтоб он так входил в город, да и приближаться к городу ему так не следует: если ты его почтишь, то он – в одни ворота в город, а я в другие ворота вон из города! Не только видеть, и слышать нам о том не годится; кто чужую веру хвалит, тот над своей верою ругается». Тогда великий князь послал к легату сказать, чтоб он спрятал свое литое распятие. Легат, подумавши, повиновался. Иван Фрязин при этом усиленно доказывал, что следует оказать честь папе в лице его легата, так как папа оказывал у себя честь русскому посольству. Бедный итальянец был слишком смел, надеялся на свои услуги, оказанные великому князю, и не знал, что его ожидает. За пятнадцать верст от Москвы выехал навстречу невесте боярин великого князя Федор Давидович: тут Ивана Фрязина заковали и отправили в Коломну; его дом и имущество разграбили, его жену и детей взяли в неволю.

12-го ноября прибыла невеста в Москву; там все уже было готово к бракосочетанию. Митрополит встретил ее в церкви; он благословил крестом как царевну, так и православных людей, сопровождавших ее. Из церкви она отправилась к матери великого князя; туда прибыл Иван Васильевич. Там происходило обручение. Летописец говорит, что и венчание совершилось в тот же день.<sup>38</sup> Митрополит служил литургию в деревянной церкви Успения, поставленной временно вместо обвалившейся каменной, до постройки новой, а после литургии коломенский протопоп Иосия обвенчал московского великого князя с греческою

---

<sup>38</sup> День был четверг.

царевною.

Посольство пробыло в Москве одиннадцать недель. Великий князь угощал его, честил и щедро дарил, но легат увидел, что не было надежды на подчинение русской церкви папе. Великий князь предоставлял это церковное дело митрополиту: митрополит выставил против легата для состязания о вере какого-то Никиту, книжника поповича. Но из этого состязания не вышло ничего. Русские говорили, будто легат сказал книжнику: «Нет книг со мною», и потому не мог с ним спорить.

Иван Васильевич отправил в Венецию Антона Фрязина за объяснением по поводу Тревизано: «Что это делают со мной, – укорял он венецианское правительство, – с меня честь снимают: через мою землю посылают посла, а мне о том не объявляют!» Венецианский дож отправил Антона назад с извинениями и с убедительной просьбой отпустить задержанного Тревизано. Иван Васильевич по этой просьбе освободил венецианского посла и не только отпустил его исполнить свое поручение в Орде, но еще придал ему и своего собственного посла: вступивши в брак с греческой царевной, Иван Васильевич, так сказать, взял с нею в приданое неприязнь к Турции, и потому со своей стороны желал побуждать Ахмата к войне против Турции. Посольство это не имело успеха.

Иван Васильевич, отпуская венецианского посла, дал ему на дорогу семьдесят рублей, а потом отправил своего посла в Венецию и велел сказать, что венецианскому послу дано семьсот рублей. Этот посол Ивана Васильевича, Толбузин, был первый московский посол русского происхождения на Западе и открыл собою ряд русских посланников. Посольство это еще замечательно и тем, что Иван Васильевич поручил Толбузину найти в Италии мастера, который бы мог строить церкви. Много было тогда в Италии архитекторов, но не хотели они ехать в далекую неведомую землю: сыскался один только Фиоравенти, названный Аристотелем за свое искусство, родом из Болоньи. За десять рублей жалованья в месяц отправился он в Москву с Толбузиным и взял с собой сына Андрея и ученика по имени Петр. Этот Аристотель был первый, открывший дорогу многим другим иноземным художникам. Ему поручили строить Успенский собор. Церковь эта была построена еще при Калите; она обветшала, была разобрана; вместо нее русские мастера Кривцов и Мышкин взялись строить новую, да не сумели вывести свод. Аристотель нашел, что русские не умеют ни обжигать кирпичей, ни приготавливать извести. Он приказал все построенное разбить стенобитной машиной, которая возбуждала простодушное удивление русских. «Как это, – говорили они, – три года церковь строена, а он ее меньше чем в неделю развалил!» Еще более удивлялись русские колесу, которым Аристотель поднимал камни при постройке верхних стен здания. Церковь окончена была в 1479 году и освящена с большим празднеством. Аристотель был полезным человеком в Москве не только по строительному делу: он умел лить пушки, колокола и чеканить монету.

Брак московского государя с греческой царевной был важным событием в русской истории. Собственно, как родственный союз с византийскими императорами, это не было новостью: много раз русские князья женились на греческих царевнах и такие браки, кроме первого из них, брака Св. Владимира, не имели важных последствий, не изменяли ничего существенного в русской жизни. Брак Ивана с Софией заключен был при особых условиях. Во-первых, невеста его прибыла не из Греции, а из Италии, и ее брак открыл путь сношениям московской Руси с Западом. Во-вторых – Византийского государства уже не существовало; обычаи, государственные понятия, приемы и обрядность придворной жизни, лишенные прежней почвы, искали себе новой и нашли ее в единой Руси. Пока существовала Византия, Русь хотя усваивала всю ее церковность, но в политическом отношении оставалась всегда только Русью, да и у греков не было поползновения переделать Русь в Византию; теперь же, когда Византии не стало, возникла мысль, что Греция должна была воплотиться в Руси и русское государство будет преемственно продолжением византийского настолько, насколько русская церковь преемственно была костью от костей и плотью от плоти греческой церкви. Кстати, восточная Русь освобождалась от порабощения татарского именно в ту эпоху, когда Византия порабощена была турками. Являлась надежда,

что молодая русская держава, усилившись и окрепши, послужит главным двигателем освобождения Греции. Брак Софии с русским великим князем имел значение передачи наследственных прав потомства Палеологов русскому великокняжескому дому. Правда, у Софии были братья, которые иначе распорядились своими наследственными правами: один из ее братьев, Мануил, покорился турецкому султану; другой, Андрей, два раза посещал Москву, оба раза не ужился там, уехал в Италию и продавал свое наследственное право то французскому королю Карлу VIII, то испанскому – Фердинанду Католику. В глазах православных людей передача прав византийских православных монархов какому-нибудь королю латиннику не могла казаться законною, и в этом случае гораздо более права представлялось за Софиею, которая оставалась верна православию, была супругой православного государя, должна была сделаться и сделалась матерью и праматерью его преемников, и при своей жизни заслужила укор и порицания папы и его сторонников, которые очень ошиблись в ней, рассчитывая через ее посредство ввести в московскую Русь флорентийскую унию. Первым видимым знаком той преемственности, которая образовалась в отношении московской Руси к Греции, было принятие двуглавого орла, герба восточной Римской империи, сделавшегося с тех пор гербом русским. С этих пор многое на Руси изменяется и принимает подобие византийского. Это делается не вдруг, происходит во все время княжения Ивана Васильевича, продолжается и после смерти его. В придворном обиходе является громкий титул царя, целование монаршей руки, придворные чины: ясельничего, конюшего, постельничего (явившиеся, впрочем, к концу княжения Ивана); значение бояр, как высшего слоя общества, падает перед самодержавным государем; все делались равны, все одинаково были его рабами. Почетное наименование «боярин» становится саном, чином: в бояре жалует великий князь за заслуги; кроме боярина был уже другой, несколько меньший чин – окольничего. Таким образом положено было начало чиновной иерархии. К эпохе Ивана Васильевича, как думать должно, следует отнести начало учреждения приказов с их дьяками. По крайней мере, тогда уже был «разряд», наблюдавший над порядком службы, был и посольский приказ: последнее можно заключать из того, что существовал посольский дьяк. Но всего важнее и существеннее была внутренняя перемена в достоинстве великого князя, сильно ощущаемая и наглядно видимая в поступках медлительного Ивана Васильевича. Великий князь сделался государем самодержцем. Уже в его предшественниках видна достаточная подготовка к этому, но великие князья московские все еще не были вполне самодержавными монархами: первым самодержцем стал Иван Васильевич и стал особенно после брака с Софиею. Вся деятельность его с этих пор была последовательнее и неуклоннее посвящена укреплению единовластия и самодержавия.

И ближайшие к его времени потомки сознавали это. При его сыне Василии, который так последовательно продолжал отцовское дело, русский человек Берсень сказал греку Максиму: «Как пришла сюда мати великого государя, то наша земля замешалася». Грек заметил, что София была особа царского происхождения. Берсень на это сказал: «Максиме господине, какая бы она ни была, да к нашему нестроению пришла; а мы от разумных людей слышали: которая земля переставляет свои обычаи, и та земля не долго стоит, а у нас князь великий обычаи переменил». Главная сущность таких перемен в обычаях, как показывают слова того же Берсеня, состояла во введении самодержавных приемов, в том, что государь перестал по старине советоваться со старейшими людьми, а запершись у постели, все дела сам – третьей делал. Позже Берсеня, спустя столетие после брака Ивана Васильевича с Софиею, Курбский, ненавидевший самовластие внука этой четы, приписывал начало противного ему порядка вещей Софии, называл ее чародейницею, обвинял в злодеяниях, совершенных над членами семьи великого князя. Несомненно, что сама София была женщина сильная волей, хитрая и имела большое влияние как на своего мужа, так и на ход дел в Руси.

Одним из важнейших событий после брака с Софиею была окончательная расправа с Новгородом. Иван воспользовался давним правом княжеского суда, чтоб лишить Новгород некоторых лиц, в которых видел противников своих самодержавных стремлений. В 1475

году он отправился в Новгород и был принят там с большим почетом. В Новгороде, как всегда бывало, происходили несогласия, и не было недостатка в таких лицах, которые готовы были своими жалобами возбуждать великого князя к производству суда над новгородскими людьми. Явились жалобщики (старосты Славковой и Никитиной улицы и два боярина); случилось, что они жаловались на тех именно лиц, которые были особенно ненавистны великому князю по прежней его ссоре с Новгородом. Великий князь, как будто уважая новгородскую старину, давши на обвиняемых своих великокняжеских приставов, велел дать на них же еще приставов от веча и, назначив день суда на Городище, приказал быть при суде своем новгородскому владыке и посадникам. Иван Васильевич признал тех, которых противная сторона обвиняла, виновными в наездах на дворы, в грабежах и убийствах и приказал своим боярам взять под стражу из числа обвиненных четырех человек (Василья Онаньина, Богдана Есипова, Федора Борецкого и Ивана Лошинского), противников Москвы, какими они показали себя в 1471 году. Великий князь тут же приказал присоединить к ним еще двух человек, не подвергавшихся его суду (Ивана Афанасьева и сына его Елевферия), припомнивши им, что они затевали отдать Новгород польскому королю. Но на этом суде только для вида присутствовали посадники, и только по форме суд этот был, сообразно старине, двойственным, то есть и княжеским и вместе народным; на самом деле суд этот был судом одного только великого князя, как видно из того, что впоследствии и владыка, и посадники несколько раз просили московского великого князя, чтобы он выпустил задержанных новгородцев. Великий князь был неумолим: шестерых взятых под стражу приказал отправить в Москву, а оттуда на заточение в Муром и Коломну; прочих же обвиненных этим судом отдал на поруки, наложивши на них в уплату истцам и себе за их вину большую сумму в полторы тысячи рублей. Затем Иван Васильевич пировал у новгородцев, и эти пирушки тяжело ложились на их карманы: не только те, которые устраивали пиры для великого князя, дарили его деньгами, вином, сукнами, лошадьми, серебряною и золотою посудой, рыбьим зубом; даже те, которые не угощали его пирами, приходили на княжеский двор с подарками, так что из купцов и житых людей не осталось никого, кто бы тогда не принес великому князю от себя даров. По возвращении Ивана Васильевича в Москву, в конце марта 1476 года, приехал к нему новгородский архиепископ с посадниками и житыми людьми бить челом, чтоб он отпустил задержанных новгородцев. Иван Васильевич взял от них дары, но не отпустил взятых в неволю новгородцев, о которых они просили. Великокняжеский суд, произведенный на Городище, естественно понравился тем, которые были оправданы этим судом; это побуждало некоторых новгородцев явиться в Москву и также искать великокняжеского суда на свою братию. Издавна одним из важнейших прав новгородской вольности было то, что великому князю нельзя было вызывать новгородца из его земли и судить не в новгородской земле. Это право теперь нарушалось. Великий князь выслушивал новгородских истцов в Москве и отправлял в Новгород своих московских, а не новгородских приставов за ответчиками. В числе таких челобитчиков и ответчиков было двое чиновников новгородского веча: подвойский (чиновник по поручениям) по имени Назар и дьяк веча (секретарь) Захар Овинов. В Москве их разумели как послов от веча. Вместо того, чтобы по старине назвать великого князя и его сына (которого имя уже ставилось в грамотах как имя соправителя) господами, они назвали их государями. Великий князь ухватился за это, и 24 апреля 1477 года отправил своих послов спросить: какого государства хочет Великий Новгород, так как об этом государстве говорили в Москве приехавшие от всего Великого Новгорода послы.

Новгородцы на вече отвечали, что не называли великого князя государем и не посылали к нему послов говорить о каком-то новом государстве: весь Новгород, напротив, хочет, чтоб все оставалось без перемены по старине.

Еще послы великого князя не успели уехать из Новгорода, как там поднялось волнение: 31 мая вече казнило троих лиц – Василия Никифорова, Захара Овинова и брата его Козьму. Услыхавши об этом, великий князь испросил благословения у митрополита Геронтия, заступившего место умершего Филиппа, и в начале октября 1477 года двинулся с войском



наказывать Новгород огнем и мечом. И Тверь, и Псков должны были посылать свою рать на Новгород. К ополчению московского великого князя пристали люди из новгородских волостей, бежечане, новоторжцы, волочане (жители Волока-Ламского), так как в этих пограничных волостях были в чересполосности владения неновгородские. Неприятельские отряды распушены были по всей новгородской земле от Заволочья до Наровы и должны были жечь людские поселения и истреблять жителей. Для защиты своей свободы у новгородцев не было ни материальных средств, ни нравственной силы. Они отправили владыку с послами просить у великого князя мира и пощады.

Послы встретили великого князя в Сытынском погосте близ Ильменя. Великий князь не принял их, а велел своим боярам представить им на вид вину Великого Новгорода: «Сами новгородцы послали в Москву послов, которые назвали великого князя государем, а теперь Новгород отрекается от этого!» В заключение бояре сказали: «Если Новгород захочет бить челом, то он знает, как ему бить челом».

Вслед за тем великий князь 27 ноября переправился через Ильмень и стал за три версты от Новгорода в селе, принадлежавшем опальному Лошинскому, близ Юрьева монастыря. Новгородцы еще раз послали послов своих к великому князю, но московские бояре, не допустивши их, как и прежде, до великого князя, сказали им все те же загадочные слова: «Если Новгород захочет бить челом, то он знает, как ему бить челом».

Великокняжеские войска, захвативши подгородные монастыри, окружили весь город; Новгород очутился замкнутым со всех сторон.

Опять отправился владыка с послами. Великий князь и на этот раз не допустил их к себе; но бояре теперь не говорили им загадок, а объявили напрямик; «Вечу и колоколу не быть, посаднику не быть, государство новгородское держать великому князю точно так же, как он держит государство в Низовой земле, а управлять в Новгороде его наместникам». За это их обнадеживали тем, что великий князь не станет отнимать у бояр земель и не будет выводить жителей из новгородской земли.

Шесть дней прошло в волнении. Новгородские бояре, ради сохранения своих вотчин, решились пожертвовать земскою свободою, хотя, в сущности, с потерей этой свободы не оставалось никакого ручательства в целостности достояния частных лиц. Народ не в силах был защищаться оружием; не у кого было просить помощи, и не могла она ниоткуда прийти к Новгороду: город был отрезан от всего.

Владыка с послами снова поехал в стан великого князя и объявил, что Новгород соглашается на все. Послы предложили написать договор в этом же смысле и утвердить его с обеих сторон крестным целованием. Но бояре сказали, что великий князь не станет целовать креста.

«Пусть бояре поцелуют крест», – сказали новгородские послы. «И боярам не велит государь целовать креста», – отвечали бояре, доложивши прежде об этом великому князю.

«Так пусть наместник великого князя поцелует крест», – говорили новгородцы.

«И наместнику не велит государь целовать креста», – отвечали бояре.

Новгородские послы с таким ответом хотели идти в Новгород, но их задержали, не сказавши причины, за что задерживают.

Иван Васильевич нарочно медлил для того, чтобы тем временем новгородцы в осаде дошли до крайнего положения от голода и распространившихся болезней, а новгородская земля потерпела бы еще сильнее от его рати. Наконец, в январе 1478 года потребовали от послов, чтобы Новгород отдал великому князю половину владычных и монастырских волостей и все новоторжские волости, чьи бы они ни были.

Новгород на все согласился, выговоривши только льготу для бедных монастырей. Условились, чтоб с каждой сохи, т.е. с пространства в три обжи или в три раза более того, сколько один человек может спяхать одной лошадью, брать дань по полугривне.

15-го января все новгородцы были приведены к присяге на полное повиновение великому князю. По этой присяге каждый новгородец был обязан доносить на своего брата новгородца, если услышит от него что-нибудь о великом князе хорошего или худого. В этот

день снят был вечевой колокол и отвезен в московский стан.

Несмотря на обещание никого не выводить с новгородской земли, великий князь в феврале того же года приказал схватить, заковать и отправить в Москву несколько лиц, стоявших еще прежде во главе патриотического движения. В числе их была Марфа Борецкая с внуком, сыном, уже умершего тогда в заточении в Муроме, Федора. Имущество опальных досталось великому князю – было «отписано на государя», как тогда начали выражаться.

Великий князь назначил в Новгороде четырех наместников и уехал в Москву. Современники говорят, что по его приказанию отправилось туда триста возов с добычей, награбленной у новгородцев. Повезли в Москву и вечевой колокол Великого Новгорода; и вознесли его на колокольницу, – говорит летописец, – с прочими колоколами звонити.

Москва, расширяя пределы своей волости, со времен Ивана Калиты еще не приобретала такой важной добычи: все огромное пространство севера нынешней Европейской России, от Финского залива до Белого моря, теперь принадлежало ее государю. Но этот успех навлек на нее бурю. Казимир пропустил удобное время, не помог Новгороду тогда, когда бы еще мог овладеть им и тем поставить преграду распространяющемуся могуществу Москвы; теперь, казалось, он испугался этого могущества и думал исправить испорченное дело. Он отправил посла к хану Золотой Орды возбуждать его на Москву, обещал действовать с ним заодно со своими силами литовскими и польскими. В то же время он стал ласкать и обнадеживать новгородцев. Естественно, в Новгороде, после покорения, должна была оставаться партия, готовая на всякие покушения к восстановлению павшего здания. Составился заговор. Заговорщики вошли в сношения с Литвой. У новгородцев явились союзниками даже братья великого князя, Андрей Старший и Борис; они были недовольны Иваном Васильевичем: с ним заодно покоряли они Новгород, но Иван Васильевич присоединил покоренную землю к своей державе, а братьям не дал части в добыче.<sup>39</sup> Иван Васильевич узнал в пору об опасности и поспешил в Новгород осенью 1479 года. Он утаивал свое настоящее намерение и пустил слух, будто идет на немцев, нападавших тогда на Псков; даже сын его не знал истинной цели его похода. Новгородцы, между тем понадеявшись на помощь Казимира, прогнали великокняжеских наместников, возобновили вечевой порядок, избрали посадника и тысяцкого.

Великий князь подошел к городу со своим иноземным мастером Аристотелем, который поставил против Новгорода пушки; его пушкари стреляли метко. Тем временем великокняжеская рать захватила посады, и Новгород очутился в осаде. Поднялась в Новгороде безладица; многие сообразили, что нет надежды на защиту и поспешили заранее в стан великого князя с поклоном. Наконец, патриоты не в силах будучи обороняться, послали к великому князю просить «опаса», т.е. грамоты на свободный проезд послов для переговоров. Но времена переговоров с Москвой уже минули для Новгорода.

«Я вам опас, – сказал великий князь, – я опас невинным; я государь вам, отворяйте ворота, войду – никого невинного не оскорблю».

Новгород отворил ворота; архиепископ вышел с крестом; новый посадник, новый тысяцкий, старосты от пяти концов Новгорода, бояре, множество народа, все пали на землю и молили о прощении. Иван пошел в храм Св. Софии, молился, потом поместился в доме новоизбранного посадника Ефрема Медведева.

Доносчики представили Ивану Васильевичу список главных заговорщиков. По этому списку он приказал схватить пятьдесят человек и пытаться. Они под пытками показали, что владыка с ними был в соумышлении; владыку схватили 19-го января 1480 года и без церковного суда отвезли в Москву, где заточили в Чудовом монастыре. «Познаваю, – написал он, – убожество моего ума и великое смятение моего неразумения». Архиепископская казна досталась государю. Обвиненные наговорили на других, и таким

---

<sup>39</sup> Кроме того, он не дозволил боярам отъезжать к его братьям: одного из них, князя Оболенского-Лыка, приказал схватить во владениях Бориса. Меньший брат Андрей не пристал к своим братьям, когда они сговаривались против Ивана; он задолжал великому князю 30000 р. и впоследствии завещал ему за это свой удел.

образом схвачено было еще сто человек; их пытали, а потом всех казнили. Имение казненных отписано было на государя.

Вслед за тем более тысячи семей купеческих и детей боярских выслано было и поселено в Переяславле, Владимире, Юрьеве, Муроме, Ростове, Костроме, Нижнем Новгороде. Через несколько дней после того московское войско погнало более семи тысяч семей из Новгорода на московскую землю. Все недвижимое и движимое имущество переселяемых сделалось достоянием великого князя. Многие из сосланных умерли на дороге, так как их погнали зимой, не давши собраться; оставшихся в живых расселили по разным посадам и городам; новгородским детям боярским давали поместья, а вместо них поселяли на новгородскую землю москвичей. Точно так же вместо купцов, сосланных на московскую землю, отправили других из Москвы в Новгород.

Расправившись с Новгородом, Иван спешил в Москву; приходили вести, что на него движется хан Золотой Орды. Собственно говоря, великий князь московский на деле уже был независим от Орды: она пришла тогда к такому ослаблению, что вятские удалыцы, спустившись по Волге, могли разграбить Сарай, столицу хана. Великий князь перестал платить вынужденную определенную дань, ограничиваясь одними дарами; а это не могло уже иметь смысл подданства, так как подобным образом дары от московских государей и впоследствии долго давались татарским владетелям во избежание разорительных татарских набегов. Таким образом, освобождение Руси от некогда страшного монгольского владычества совершилось постепенно, почти незаметно. Бывшая держава Батыея, распавшись на многие царства, была постоянно раздираема междоусобиями, и если одно татарское царство угрожало Москве, то другое мешало ему поработить Москву; хан Золотой Орды досадовал, что раб его предков, московский государь, не повинуется ему; но Иван Васильевич нашел себе союзника в крымском хане Менгли-Гирее, враге Золотой Орды. Только после новгородского дела обстоятельства сложились временно так, что хан Золотой Орды увидел возможность сделать покушение восстановить свои древние права над Русью. Союзник Ивана Васильевича Менгли-Гирей был изгнан и заменен другим ханом – Зенибеком. Литовский великий князь и польский король Казимир побуждал Ахмата против московского государя, обещая ему большую помощь, да вдобавок московский государь поссорился со своими братьями<sup>40</sup>; для Ахмата представлялись надежды на успех; но многое изменилось, когда Ахмат собрался в поход; Менгли-Гирей прогнал Зенибека и снова овладел крымским престолом; московский государь помирился с братьями, давши им обещание сделать прибавку к тем наследственным уделам, которыми они уже владели; наконец, когда хан Золотой Орды шел из волжских стран степью к берегам Оки, Иван Васильевич отправил вниз по Волге на судах рать под начальством звенигородского воеводы Василия Ноздреватого и крымского царевича Нордоулата, брата Менгли-Гирея, чтобы потревожить Сарай, оставшийся без обороны.

Несмотря на все эти меры, показывающие благоразумие Ивана Васильевича, нашествие Ахмата сильно беспокоило его: он по природе не был храбр; память о посещении Москвы Тохтамышем и Эдиги сохранялась в потомстве. Народ был в тревоге; носились слухи о разных зловещих предзнаменованиях: в Алексине, куда направлялись татары, люди видели, как звезды, словно дождь, падали на землю и рассыпались искрами, а в Москве ночью колокола звонили сами собою; в церкви Рождества Богородицы упал верх и сокрушил много икон: все это сочтено было предвестием беды, наступавшей от татар.

Иван Васильевич отправил вперед войско с сыном Иваном, а сам оставался шесть

---

<sup>40</sup> Существуют такие известия: ханы, посылая своих послов в Москву, отправили с ними свое изображение, так наз. «басма»; великие князья должны были кланяться этому изображению и выслушивать ханскую грамоту, стоя на коленях. Иван Васильевич уклонялся от этой церемонии, сказываясь больным; наконец, когда Ахмат послал потребовать дани, Иван Васильевич изломал ханскую басму, растоптал ее ногами и велел умертвить послов: вследствие этого Ахмат пошел на Москву. Сказание это не имеет достоверности, и гораздо правдоподобнее, что Ахмат был возбужден на московского государя Казимиром, как объясняют другие современные известия.

недель в Москве, между тем супруга его выехала из Москвы в Дмитров и оттуда водяным путем отправилась на Белоозеро. Вместе с ней великий князь отправил свою казну. Народ с недовольством узнал об этом; народ не терпел Софии, называл ее римлянкой; тогда говорили, что от сопровождавших ее людей и боярских холопов, «кровопийц христианских», хуже было русским жителям, чем могло быть от татар. Напротив того, мать великого князя инокиня Марфа изъявила решимость остаться с народом в осаде, и за то приобрела общие похвалы от народа, который видел в ней русскую женщину в противоположность чужеземке. Побуждаемый матерью и духовенством, Иван Васильевич оставил Москву под управлением князя Михаила Андреевича Можайского и наместника своего Ивана Юрьевича Патрикеева, а сам поехал к войску в Коломну; но там окружили его такие же трусы, каким он был сам: то были, как выражается летописец, «богатые сребролюбцы, брюхатые предатели»; они говорили ему: «Не становись на бой, великий государь, лучше беги; так делали прадед твой Димитрий Донской и дед твой Василий Димитриевич». Иван Васильевич поддался их убеждениям, которые сходились с теми ощущениями страха, какие испытывал он сам. Он решил последовать примеру прародителей, уехал обратно в Москву и встретил там народное волнение; в ожидании татар толпы перебирались в Кремль; народ с ужасом увидел нежданно своего государя в столице, в то время, когда все думали, что он должен был находиться в войске. Народ и без того не любил Ивана, а только боялся его; теперь этот народ дал волю долго сдержанным чувствам и завопил: «Ты, государь, княжишь над нами так, что пока тихо и спокойно, то обираешь нас понапрасну, а как придет беда, так ты в беде покидаешь нас. Сам разгневал царя, не платил ему выходу, а теперь нас всех отдаешь царю и татарам!»

Духовенство, со своей стороны, подняло голос; всех смелее заявил себя ростовский архиепископ Вассиан Рыло: «Ты боишься смерти, – говорил он Ивану, – но ведь ты не бессмертен! Ни человек, ни птица, ни зверь не избегнут смертного приговора. Если боишься, то передай своих воинов мне. Я хотя и стар, но не пощажу себя, не отвращу лица своего, когда придется стать против татар». Невыносимы были эти обличительные слова великому князю: он и в Москве трусил, но уже не врагов, а своих, боялся народного восстания, уехал из столицы в Красное Село и послал к сыну Ивану приказание немедленно приехать к нему. К счастью, сын был храбрее отца и не послушался его. Иван Васильевич, раздраженный этим непослушанием, приказал князю Холмскому силой привезти к нему сына; но и Холмский не послушался его и не решился употребить насилия, когда сын великого князя сказал ему: «Лучше здесь погибну, чем поеду к отцу». Время было роковое для самодержавных стремлений Ивана; он чувствовал, что народная воля способна еще проснуться и показать себя выше его воли. Опаснее было оставаться или куда-нибудь бежать, чтобы скрыться от татар, чем отправиться на войну с татарами. Иван уехал к войску, в сущности побуждаемый той же трусостью, которая заставила его покинуть войско.

Между тем хан Ахмат шел медленно по окраине литовской земли, мимо Мценска, Любутска, Одоева, и стал у Воротынска, ожидая себе помощи от Казимира. Литовская помощь не пришла к нему; союзник Ивана Васильевича Менгли-Гирей напал на Подол и тем отвлек литовские силы. Великий князь московский пришел с войском в Кременец, где соединился с братьями. Ахмат двинулся к реке Угре: начались стычки с передовыми русскими отрядами; между тем река стала замерзать. Великий князь перешел от Кременца к Боровску, объявивши, что здесь на просторном поле намерен вступить в бой; но тут на него опять нашла боязнь. Были у него приближенные советники, которые поддерживали в Иване Васильевиче трусость и побуждали вместо битвы просить милости у хана. Иван Васильевич отправил к Ахмату Ивана Товаркова с челобитьем и дарами, просил пожаловать его и не разорять своего «улуса», как он называл перед ханом свои русские владения. Хан отвечал: «Я пожалую его, если он приедет ко мне бить челом, как отцы его ездили к нашим отцам с поклоном в Орду». В это-то время пришло к Ивану послание от ростовского архиепископа Вассиана, один из красноречивых памятников нашей древней литературы: пастырь ободрял Ивана Васильевича примерами из Св. Писания и из русской истории, убеждал не

поддаваться коварным советам трусов, которые покроют его срамом. Видно, что тогда некоторые представляли великому князю такой довод, что татарские цари – законные владыки Руси, и русские князья, прародители Ивана Васильевича, завещали потомкам не поднимать рук против царя. Вассиан по этому вопросу говорит: «Если ты рассуждаешь так: прародители заклинали нас не поднимать руки против царя, – то слушай, боголюбивый царь: клятва бывает невольная, и нам повелено прощать и разрешать от таких клятв; и святейший митрополит, и мы, и весь боголюбивый собор разрешаем тебя и благословляем идти на него, не так как на царя, а как на разбойника, и хищника, и богоборца. Лучше солгать и получить жизнь, нежели истинствовать и погибнуть, отдавши землю на разорение, христиан на истребление, святые церкви на запустение и осквернение, и уподобиться окаянному Ироду, который погиб, не хотя преступить клятвы. Какой пророк, какой апостол, какой святитель научил тебя, христианского царя великих русских стран, повиноваться этому богостудному, скверному и самозванному царю? Не только за наше согрешение, но и за нашу трусость и ненадеяние на Бога попустил Бог на твоих прародителей и на всю землю русскую окаянного Батая, который пришел, разбойнически попленил нашу землю, поработил нас и воцарился над нами: тогда мы прогневали Бога и Бог наказал нас. Но Бог, потопивший Фараона и избавивший Израиля, все тот же Бог вовеки! Если ты, государь, покаешься от всего сердца и прибегнешь под крепкую руку Его и дашь обет всем умом и всею душою своею перестать делать то, что ты прежде делал, будешь творить суд и правду посреди земли, любить ближних своих, никого не будешь насиловать и станешь оказывать милость согрешающим, то и Бог будет милостив к тебе в злое время; только кайся не одними только словами, совсем иное помышляя в своем сердце. Такого покаяния Бог не принимает: истинное покаяние состоит в том, чтобы перестать делать дурное».

Не знаем, подействовала ли эта смелая обличительная речь, или, быть может, гордое требование Ахмата задело за живое Ивана, или, как говорят летописцы, страх опасности лично явиться к хану не допустил Ивана до последнего унижения. Сам Ахмат прислал к нему с таким словом: «Если не приедешь сам, то пришли сына или брата». Иван не сделал этого. Тогда Ахмат прислал к нему еще раз: «Если не пришлешь ни сына, ни брата, то пришли Никифора Басенкова». Этот Никифор бывал в Орде, и хан знал его. Великий князь не послал Басенкова, а быть может только не успел послать его, прежде чем пришла к нему неожиданная весть: хан бежал со всеми татарами от Угры. В то время, когда великий князь и его советники были одержимы страхом перед татарскими силами, сами татары боялись русских. Ахмат решился предпринять свой поход потому, что надеялся на помощь Казимира; но Казимир не приходил, наступали морозы: татары – по выражению современников – были и босы, и ободраны. Челобитье великого князя сначала ободрило Ахмата, но когда после того московский князь не исполнил его требования, Ахмат понял дело так, что русские не боятся его, а между тем посланный вниз по Волге отряд под начальством Ноздреватого и Нордоулата напал на Сарай, разграбил его, и до Ахмата, быть может, дошли об этом слухи. Ахмат, повернувшись назад, шел по литовской земле и с досады разорял ее за то, что Казимир не помог ему вовремя.

Иван Васильевич с торжеством вернулся в Москву. Москвичи радовались, но говорили: «Не человек спас нас, не оружием избавили мы русскую землю, а Бог и Пречистая Богородица». Тогда воротилась и София с Белоозера со своей толпой. «Воздай им, Господи, по делам их и по лукавству их», – говорит по этому поводу летописец.

К большому торжеству Москвы скоро пришла весть, что у реки Донца на Ахмата напал Ивак, хан шибанской или тюменской орды, соединившись с ногайскими мурзами; он собственноручно убил сонного Ахмата 6 января 1481 года и известил об этом великого князя московского, который за то послал ему дары.

Эту эпоху обыкновенно считают моментом окончательного освобождения Руси от монгольского ига, но в сущности, как мы заметили выше, Русь на самом деле уже прежде стала независимой от Орды. Во всяком случае событие это важно в нашей истории, как эпоха окончательного падения той Золотой Орды, которой ханы держали в порабощении Русь и

назывались в Руси ее царями. Преемники Ахмата были уже совершенно ничтожны. Достоинно замечания, что Казимир, подвигнувший последние силы Золотой Орды, не только не достиг цели своего желания – остановить возрастающее могущество Москвы, но еще навлек на свои собственные области двойное разорение: и от Менгли-Гирея, и от самого Ахмата, а тем самым способствовал усилению враждебного московского государства. Скоро после того, думая поправить испорченное дело, Казимир пытался поднять на Москву бессильных сыновей Ахмата, и в то же время выставил против Москвы свое войско в Смоленске; но прежде чем он мог нанести московским владениям какой-либо вред, союзник Москвы Менгли-Гирей напал на Киев, опустошил его, сжег, между прочим, Печерский монастырь, ограбил церкви и прислал в дар своему приятелю, московскому государю, золотую утварь – потир и дискос из Софийского храма. Между тем подручные Казимиру князья передавались Ивану Васильевичу. Трое из них: Ольшанский, Михаил Олелькович и Федор Бельский намеревались отторгнуть от Литвы русские северские земли вплоть до Березины и передать во владение московскому великому князю. Казимир успел схватить двух первых и казнил, а Бельский ушел в Москву и получил от Ивана Васильевича в вотчину на новгородской земле Демон и Мореву; Казимир отомстил беглецу тем, что задержал его жену, с которой Бельский только что вступил в брак.

Тогда же неприятель Казимира, венгерский владетель Матфей Корвин, завел сношения с московским государем, и великий князь московский, через посланного к Матфею дьяка Курицына, просил его прислать в Москву инженеров и горных мастеров: в последних московский государь видел нужду, потому что узнал о существовании металлических руд на севере, но не было у него в московском государстве людей, умеющих добывать руду и обращаться с нею. В то же время молдавский господарь Стефан, который боялся Казимира и хотел оградить свое владение от властолюбивых покушений Литвы и Польши, вступил в родственную связь с Иваном Васильевичем. Он предложил свою дочь Елену за сына московского государя Ивана Ивановича. Иван Васильевич послал за Еленой боярина своего Плещеева. Елена ехала через Литву, и Казимир не только не остановил ее, но послал ей дары. Таким образом, втайне покушаясь делать вред московскому государю и терпя за такие покушения вред, наносимый своим областям, Казимир явно боялся своего соперника и оказывал ему наружно знаки дружбы.

Сын Ивана Васильевича обвенчался с Еленой 6 января 1483, а в октябре того же года родился у них сын по имени Димитрий: Иван Васильевич очень радовался рождению внука, не предвидя, что настанет время, когда он сделается мучителем этого внука.

Заметно возрастала жестокость характера московского государя по мере усиления его могущества. Тюрмы наполнялись; битье кнутом, позорная торговая казнь, стало частым повсеместным явлением; этого рода казнь была неизвестна в древней Руси; сколько можно проследить из источников, она появилась в конце XIV века и стала входить в обычай только при отце Ивана Васильевича; теперь от нее не избавлялись ни мирские, ни духовные, навлекшие на себя гнев государя. Страшные пытки сопровождали допросы. Иван Васильевич сознавал нужду в иноземцах, и вслед за Аристотелем появилось их уже несколько в Москве; но московский властитель не слишком ценил их безопасность, когда что-нибудь было не по его нраву. Был у него врач немец по имени Антон; он пользовался почетом у великого князя, но в то время, когда совершалась свадьба Иванова сына, этот врач лечил одного татарского князька Каракуча, находившегося при царевиче Даниаре, служившем Москве: вылечить его не удалось. Великий князь не только выдал этого бедного немца сыну умершего князька, но когда последний, помучивши врача, хотел отпустить его, взявши с него окуп, Иван Васильевич настаивал, чтоб татары убили Антона; и татары, исполняя волю великого князя московского, повели Антона под мост на Москву-реку и там на льду зарезали ножом как овцу, по выражению летописца. Это событие навело такой страх на Аристотеля, что он стал проситься у Ивана Васильевича отпустить его на родину, но московский властитель считал своим рабом всякого, кто находился у него в руках; он приказал ограбить все имущество архитектора и засадил в заключение на дворе немца

Антоня. Итальянец был выпущен для того, чтобы поневоле продолжать службу на земле, на которую он имел легкомыслие захватить добровольно.

Чем далее, тем последовательнее и смелее прежнего Иван Васильевич занялся расширением пределов своего государства и укреплением своего единовластия. Разделался он с верейским князем по следующему поводу: по рождении внука Димитрия, Иван Васильевич хотел подарить своей невестке, матери новорожденного, жемчужное украшение, принадлежавшее некогда его первой жене Марии. Вдруг он узнал, что София, которая вообще не щадила великокняжеской казны на подарки своим родным, подарила это украшение своей племяннице гречанке Марии, вышедшей за Василия Михайловича верейского. Иван Васильевич до того рассвирепел, что приказал отнять у Василия все приданое его жены и хотел взять под стражу его самого. Василий убежал в Литву вместе с женой. Отец Василия, Михаил Андреевич, вымолил себе самому пощаду единственно тем, что отрекся от сына, обязался не сноситься с ним и выдавать великому князю всякого посланца, которого вздумает сын его прислать к нему, наконец, написал завещание, по которому отказывал великому князю по своей смерти свои владения – Ярославль, Верею и Белоозеро, с тем, чтобы великий князь со своим сыном поминали его душу. Смерть не замедлила постигнуть этого князя (весной 1485 г.); говорили впоследствии, что Иван Васильевич втайне ускорил ее.

Упрочив за собою владения верейского князя, в 1484 г. великий князь обратился еще раз к Новгороду: нашлись такие новгородцы, которые подали ему донос на богатых людей, будто они хотят обратиться к Казимиру. Московскому властелину хотелось приобрести имущество обвиненных: предлог был благовиден. По такому доносу привезли из Новгорода человек тридцать самых «больших» из житых людей и отписали на государя их дома и имущества в Новгороде. Привезенных посадили во дворе Товаркова, одного из приближенных Ивана Васильевича; великокняжеский подьячий Гречневик, по приказанию государя, принялся мучить их, чтобы вынудить сознание в том, в чем их оговорили. Новгородцы под пытками наговорили друг на друга. Великий князь приказал их перевешать. Когда их повели к виселице, они стали просить взаимно друг у друга прощения и сознавались, что напрасно наклепали одни на других, не в силах будучи вытерпеть мук пытки. Услышав об этом, Иван Васильевич не велел их вешать; он поступил тогда так, как часто поступали самовластители, когда, отменяя смертную казнь и заменяя ее томительным пожизненным заключением, на самом деле усиливали кару своим врагам, а чернь прославляла за то милосердие своих владык. Иван Васильевич приказал засадить новгородцев в тюрьму в окопах, и они, вместо коротких смертных страданий на виселице, должны были многие годы томиться в тюрьме; жен их и детей Иван отправил в заточение.

В 1485 году, похоронивши мать свою, инокиню Марфу, Иван Васильевич разделался с Тверью. Зимой в начале этого года великий князь московский обвинил великого князя тверского в том, что он сносится с Казимиром. Сперва Иван Васильевич взял с тверского князя договорную запись, в которой еще как будто признавал тверского князя владельческим лицом, только обязал его не сноситься с Литвой. Потом дело умышленно ведено было так, чтоб можно было опять придраться. Князя тверской земли, подручники тверского великого князя Андрей микулинский и Иосиф дорогобужский оставили службу своему великому князю и передались московскому: Иван Васильевич обласкал их и наделил волостями: первому дал город Дмитров, другому – Ярославль. По их примеру тверские бояре один за другим стали переходить к Москве: им нельзя уже было, – говорит современник, – терпеть обид от великого князя московского, его бояр и детей боярских: где только сходились их межи с межами московскими, там московские землевладельцы обижали тверских, и не было нигде на московских управы; у Ивана Васильевича в таком случае свой московский человек был всегда прав; а когда московские жаловались на тверских, то Иван Васильевич тотчас посылал к тверскому великому князю с угрозами и не принимал в уважение ответов тверского. Наконец, в конце августа того же года Иван Васильевич двинулся на Тверь ратью вместе со своими братьями; он взял и своего поработанного итальянца Аристотеля с

пушками. Предлог был таков: перехватили гонца тверского с грамотами к Казимиру. Михаил Борисович присылал оправдываться подручного своего князя Холмского, но московский государь не пустил его к себе на глаза. 8 сентября Иван Васильевич подступил к Твери; 10 числа тверские бояре оставили своего великого князя, приехали толпой к Ивану Васильевичу и били челом принять их на службу. Несчастный Михаил Борисович в следующую за тем ночь бежал в Литву, а 12 сентября остававшийся в Твери его подручник князь Михаил Холмский со своими братьями, с сыном и с остальными боярами, с земскими людьми и с владыкой Кассианом приехал к Ивану Васильевичу; они ударили московскому государю челом и просили пощады. Иван Васильевич послал в город своих бояр и дьяков привести к целованию всех горожан и охранить от разорения. Потом московский государь сам въехал победителем в Тверь, так долго соперничествовавшую с Москвой. Он отдал Тверь своему сыну Ивану Ивановичу и тем как будто все еще сохранял уважение к наследственным удельным правам: Иван Иванович был сын тверской княжны и по матери происходил от тех тверских князей, которых память еще могла для тверичей быть исторической святыней. Михаил Борисович напрасно просил помощи у Казимира; польский король дал приют изгнаннику, но отрекся помогать ему и заявил об этом Ивану Васильевичу.

В 1487 году московский государь снова обратился на Казань и на этот раз удачнее, чем прежде. Партия вельмож, недовольная своим царем Алегамом, обратилась к московскому великому князю. Она хотела возвести на престол меньшого брата Алегамова Махмет-Аминя, которого мать Нурсалтан, по смерти своего мужа, казанского царя Ибрагима, вышла за крымского хана Менгли-Гирея, друга и союзника Иванова. По приказанию московского государя русские после полуторамесячной осады взяли Казань и посадили там Махмет-Аминя. Это подчинение Казани, еще далеко не полное, сопровождалось со стороны московского государя жестокостями; он приказал передуть князей и уланов казанских, державшихся Алегамы; самого плененного Алегамы с женой заточил в Вологде, а мать его и сестер сослал на Белоозеро.

Овладевая новыми землями, Иван Васильевич продолжал добывать Новгород. Там составилась заговор против наместника Якова Захарьевича; подробности его неизвестны, но по этому поводу множество лиц было схвачено: иным отрубили головы, других повесили, а затем более семи тысяч житых людей было выведено из Новгорода. На другой год вывели и поселили в Нижнем еще до тысячи житых людей. Иван Васильевич вывел с новгородской земли тамошних землевладельцев и раздавал им поместья в Нижнем, Владимире, Муроме, Переяславле, Юрьеве, Ростове, Костроме, а в новгородскую землю переводил так называемых детей боярских с московской земли и там раздавал им поместья. Первоначально дети боярские были действительно потомки бояр, обедневшие и лишенные возможности поддерживать значение, какое имели их предки, но помнившие свое знатное происхождение, и потому вместо того, чтобы по примеру предков называться боярами, назывались только детьми их. Впоследствии этим именем стали называться служилые люди, получавшие земли с обязанностью нести службу; такое получение земли называлось «испомещением». Этою системою испомещений Иван Васильевич устроил новый род военного сословия; получавшие земли от великого князя приобретали их не в потомственную собственность, а пожизненно, с условием являться на службу, когда прикажут. Учреждение поместного владения не было новостью: по своему основанию оно существовало издавна, но Иван Васильевич дал ему более широкий размер, заменяя таким образом господство вотчинного права господством поместного. Мера эта была выгодна для его самодержавных целей: помещики были обязаны куском хлеба исключительно государю; земля их каждую минуту могла быть отнята; и они должны были заботиться заслужить милость государя для того, чтобы избежать несчастья потерять землю; дети их не могли по праву наследства надеяться на средства к существованию, и, подобно своим отцам, должны были только в милости государя видеть свою надежду. В 1489 году окончательно присоединена была Вятка. Сначала митрополит написал вятчанам грозное пастырское послание, в котором укорял их за образ жизни, несообразный с христианской нравственностью; потом великий князь отправил



туда войско под начальством Данила Щени (из рода литовских князей) и Григория Морозова. Они взяли Хлынов почти без сопротивления. Иван Васильевич приказал сечь кнутом и казнить смертью главных вятчан, которые имели влияние на народ и отличались приверженностью к старой свободе; с остальными жителями московский государь сделал то же, что с новгородцами: он вывел с вятской земли землевладельцев и поселил в Боровске, Алексине, Кременце, а на их место послал помещиков московской земли; вывел он также оттуда торговых людей и поселил в Дмитрове.

Иван Васильевич щадил Псков, потому что Псков боялся его. Не раз испытывал он терпение псковичей и приучал их к покорности. Перед покорением Новгорода псковичи были очень недовольны московским наместником князем Ярославом Васильевичем: «От многих времен, – говорит местный летописец, – не бывало во Пскове такого злосердного князя». Четыре года тяготились им псковичи, умоляли Ивана Васильевича переменить его: долго все было напрасно: Иван Васильевич то нарочно тянул дело и откладывал свое решение, то брал сторону своего наместника. Когда вражда к этому наместнику во Пскове дошла наконец до драки между его людьми и псковичами, тогда великий князь обвинил псковичей, хотя и видел, что виноват был наместник. Вслед за тем он вывел этого наместника и положил на него свой гнев, но давал псковичам знать, что делает это по своему усмотрению, а не по просьбе псковичей. После покорения Новгорода Иван Васильевич обещал псковичам держать их по старине; «а вы, наша отчина, – прибавил он, – держите слово наше и жалование честно над собою, знайте это и помните». И действительно, псковичи старались помнить это и заслужить милость великого князя. Братья великого князя, призванные псковичами для защиты от немцев, прибыли во Псков со своими ратями. Вдруг псковичи узнали, что они поссорились со старшим братом. Тогда псковичи не только просили их удалиться, но даже не позволили оставить во Пскове их жен и детей. Иван, однако, не выказал псковичам большой благодарности за такое послушание: псковичи жаловались на бесчинные поступки великокняжеских послов, а Иван Васильевич сделал псковичам же за эту жалобу строгий выговор и оправдал своих послов.

В 1485 году возникло во Пскове волнение между черными и большими людьми. Наместник великого князя князь Ярослав Владимирович с посадниками составил грамоту, как кажется, определявшую работу смердов. Грамота эта не понравилась черным людям. Они взволновались, убили одного посадника, на лиц, убежавших от народной злобы, написали мертвую грамоту, т.е. осуждавшую их на смерть, опечатали дворы и имущества своих противников, а несколько человек посадили в тюрьму. Иван Васильевич, по жалобе больших людей и своего наместника, рассердился за такое самовольство, приказал немедленно уничтожить постановления веча, состоявшего из черных людей, и всем велел просить прощения у наместника. Черные люди не поверили, что действительно такое решение дал великий князь, и отправили к нему посольство со своей стороны. Иван Васильевич не хотел слушать никаких объяснений, требовал, чтобы псковские черные люди немедленно исполнили его волю и просили прощения у наместника. Псковичи сделали все угодное князю, а потом послали в Москву просить у него прощения. Дело это тянулось целых два года и стоило Пскову до тысячи рублей. Таким образом, Иван давал чувствовать псковичам, как разорительно для них ослушиваться распоряжений московских наместников. После того – псковичи приносили жалобы на великокняжеского наместника и на наместников последнего, которых тот рассадил по пригородам и волостям. Жалоб этих было такое множество, что, по словам летописца, и счесть их было невозможно. Иван Васильевич не принял этих жалоб, а сказал, что пошлет бояр разузнать обо всем. Великокняжеский наместник вслед за тем умер от мора, свирепствовавшего во Пскове, и дело это прекратилось само собою; но с тех пор великий князь назначал и сменял наместников уже не по просьбе псковичей, а по своей воле, и псковичи не смели на них жаловаться; так было до самой смерти великого князя. Во всей русской земле единственно в одном Пскове существовало еще вече и звонил вечевой колокол, но то была только форма старины: она была в сущности безвредна для власти Ивана над Псковом. Псковичам дозволялось совещаться об одних

внутренних земских делах, но и то в своих решениях они должны были сообразоваться с волею наместников. Присылаемые против воли народа, эти наместники и их доверенные по пригородам позволяли себе разные насилия и грабительства, подстрекали ябедников подавать на зажиточных людей доносы, самовольно присваивали одним себе право суда, вопреки вековым местным обычаям, обвиняли невинных с тем, чтобы сорвать что-нибудь с обвиненных, при требовании с жителей повинностей обращались с ними грубо; их слуги делали всякого рода бесчинства, и не было на их слуг управы. Даже те, которые были менее нахальны в своем обращении с жителями, не приобретали их любви. Псковичи не могли освоиться с московскими приемами, но с болью терпели тяжелую руку Ивана Васильевича.

Утверждая свою власть внутри русской земли, великий князь заводил первые дипломатические сношения с немецкой империей. Русская земля, некогда известная Западной Европе в дотатарский период, мало-помалу совершенно исчезла для нее и явилась как бы новооткрытою землею, наравне с Ост-Индией. В Германии знали только, что за пределами Польши и Литвы есть какая-то обширная земля, управляемая каким-то великим князем, который находится, как думали, в зависимости от польского короля. В 1486 году один знатный господин, кавалер Поппель, приехал в Москву с целью узнать об этой загадочной для немцев стране. Но в Москве не слишком любили, чтоб иноземцы наезжали туда узнавать о житье-бытье русских людей и о силах государства. Несмотря на то, что Поппель привез грамоту от императора Фридриха III, в которой Поппель рекомендовался как человек честный, ему не доверяли и выпроводили от себя. Через два года тот же Поппель явился уже послом от императора и сына его римского короля Максимилиана. На этот раз его приняли ласково, хотя все-таки не совсем доверчиво. Поппель облакал свое посольство таинственностью, просил, чтобы великий князь слушал его наедине, и не мог добиться этого. Иван Васильевич дал ему свидание не иначе, как в присутствии своих бояр: князя Ивана Юрьевича Патрикеева, князя Данила Васильевича Холмского и Якова Захарыча.

Поппель предлагал от имени императора и его сына дружбу и родственный союз: отдать дочь московского государя за императорского племянника маркграфа баденского. На это отвечал не сам государь, а от имени государя дьяк Федор Курицын, что государь пошлет к цезарю своего посла. Поппель еще раз просил дозволения сказать государю несколько слов наедине и на этот раз добился только того, что государь отошел с ним от тех бояр, которые до этих пор находились вместе с ним, однако все-таки был не один на один с Поппелем, а приказал записывать своему посольскому дьяку Курицыну то, что будет говорить иноземный посол. Тайна, с которою тогда носился Поппель, заключалась в следующем: «Мы слышали, – говорил посол, – что великий князь посылал к римскому папе просить себе королевского титула, а польский король посылал от себя к папе большие дары и упрашивал папу, чтобы папа этого не делал и не давал великому князю королевского титула. Но я скажу твоей милости, что папа в этом деле власти не имеет; его власть над духовенством, а в светском имеет власть возводить в короли, князья и рыцари только наш государь цезарь римский: так если твоей милости угодно быть королем в своей земле, и тебе, и детям твоим, то я буду верным служебником твоей милости у цезаря римского. Только прошу твою милость молчать и ни одному человеку об этом не говорить, а иначе твоя милость и себе вред сделаешь и меня погубишь. Если король польский об этом узнает, то будет денно и ночью посылать к цезарю с дарами и просить, чтоб цезарь этого не делал. Ляхи очень боятся, чтоб ты не стал королем на Руси; они думают, что тогда вся русская земля, которая теперь находится под польским королем, от него отступит».

Поппель рассчитывал на простоту московского государя и очевидно пытался вкрасься в его доверенность, но ошибся, не понявши ни местных обычаев и преданий, ни характера Ивана Васильевича. Великий князь похвалил его за готовность служить ему, а насчет королевского титула дал такой ответ: «Мы, – говорил он, – Божиею милостию государь на своей земле изначала, от первых своих прародителей, и поставление имеем от Бога, как наши прародители, так и мы, и просим Бога, чтоб и вперед дал Бог и нам и нашим детям до века так быть, как мы теперь есть государи на своей земле, а поставления ни от кого не хотели и

теперь не хотим».

В переговорах с Курицыным Поппель еще раз заговорил о сватовстве и предлагал в женихи двум дочерям великого князя – саксонского курфюрста и маркграфа бранденбургского, но на это не получил никакого ответа. 22 марта 1489 года Иван Васильевич отправил к императору и к сыну его Максимилиану послом Юрия Траханиота, грека, приехавшего с Софиеном: своих русских людей, способных отправлять посольства к иноземным государям, у великого князя московского было немного; нравы московских людей были до того грубы, что и впоследствии, когда посылались русские послы за границу, нужно было им писать в наказе, чтобы они не пьянствовали, не дрались между собой и тем не срамили русской земли. И на этот раз только в товарищах с греком отправились двое русских. Подарки, отправленные к императору, были скупы и состояли только в сороке соболей и двух шубах, одной горностаевой, а другой беличьей. Грек повез императору от великого князя московского желание быть с императором и его сыном в дружбе, а относительно предложения о сватовстве грек должен был объяснить, что московскому государю отдавать дочь свою за какого-нибудь маркграфа не пригоже, потому что от давних лет прародители московского государя были в приятельстве и в любви с знатнейшими римскими царями, которые Рим отдали папе, а сами царствовали в Византии; но если бы захотел посватать дочь московского государя сын цезаря, то посол московский должен был изъявить надежду, что государь его захочет вступить в такое дело с цезарем. Иван Васильевич перед чужеземцами ценил важность своего рода и сана более, чем у себя дома, так как он впоследствии отдал дочь свою за своего подданного князя Холмского.

Посольство Траханиота имело еще и другую цель. Великий князь поручил ему отыскивать в чужих землях такого мастера, который бы умел находить золотую и серебряную руду, и другого мастера, который бы знал, как отделять руду от земли, и еще такого хитрого мастера, который бы умел к городам приступать, да такого, который бы умел стрелять из пушек; сверх того – каменщика, умеющего строить каменные палаты, и наконец «хитрого» серебряного мастера, умеющего отливать серебряную посуду и кубки, чеканить и делать на посуде надписи. Юрий Траханиот имел поручение подрядить их и дать им задаток: для этой цели, за недостатком в тогдашнем московском государстве монеты, он получил два сорока соболей и три тысячи белок; если же не найдется таких мастеров, которые бы согласились ехать в Москву, то посол мог продать меха и привезти великому князю червонцев, которыми тогда дорожили, как редкостью.

Еще Траханиот не возвратился из своего посольства, как в семье Ивана Васильевича произошла важная перемена: старший сын его, тридцати двух лет от роду, его соправитель и наследник, заболел болезнью ног, которую тогда называли «камчюгом». Был тогда при дворе лекарь, незадолго перед тем привезенный из Венеции, мистер Леон, родом иудей. Он начал лечить царского сына прикладыванием сткляниц, наполненных горячей водой, давал ему пить какую-то траву и говорил Ивану Васильевичу: «Я непременно вылечу твоего сына, а если не вылечу, то вели казнить меня смертною казнью». Больной умер 15 марта 1490 года, а сорок дней спустя Иван Васильевич приказал врачу за неудачное лечение отрубить голову на Болвановке. Через три недели после такого поступка, служившего образчиком тому, чего могли ожидать приглашаемые иностранцы в Москве, вернулся Траханиот из Германии и привез с собою нового врача и с ним разных дел мастеров: стенных, палатных, пушечных, серебряных и даже «арганного играца». Вместе с ним прибыл посол от Максимилиана Юрий Делатор с предложением дружбы и сватовства Максимилиана на дочери Ивана Васильевича. Ивану Васильевичу было очень лестно отдать дочь за будущего императора, но он не показал слишком явно своей радости, а напротив, по своему обычаю, прибегнул к таким приемам, которые только могли затягивать дело. Когда посол пожелал видеть дочь Ивана и заговорил о приданом, государь приказал дать ему такой ответ через Бориса Кутузова: «У нашего государя нет такого обычая, чтобы раньше дела показывать дочь, а о приданом мы не слыхивали, чтобы между великими государями могла быть рязда об этом». Московский государь за всю свою жизнь любил брать, но не любил давать. Со своей стороны, Иван

Васильевич задал послу такое условие, которое поставило последнего в тупик. Он требовал, чтобы Максимилиан дал обязательство, чтобы у его жены была греческая церковь и православные священники. Делатор отвечал, что у него на это нет наказа. Тогда был заключен между Максимилианом и московским государем дружественный союз, направленный против Литвы и Польши. Посольство Делатора повело к дальнейшим сношениям. Траханиоту еще два раза приходилось ездить в Германию, а Делатор еще раз приезжал в Москву. Максимилиан между тем посватался к Анне Бретанской, и московский государь так сожалел о прежнем, что наказывал Траханиоту узнать: не расстроится ли как-нибудь сватовство Максимилиана с бретанскою принцессою, чтобы снова начать переговоры о своей дочери; но Максимилиан женился на Анне и с 1493 года сношения с Австрией прекратились надолго. Достоин замечания, что в этих сношениях великому князю давали титул царя и даже цезаря, и он сам называл себя «государем и царем всея Руси», но иногда титул царя опускался, и он называл себя только государем и великим князем всея Руси.

Во время этих сношений Иван разделался со своим братом Андреем. Помирившись с братьями после их возмущения, Иван долго не трогал их, но не доверял им, обязывал новыми договорными грамотами и крестным целованием сохранять ему верность и не сноситься ни с внутренними, ни с внешними врагами. Братья боялись его и постоянно ждали над собой беды. Однажды Андрей Васильевич готовился было бежать, но при посредстве боярина князя Патрикеева объяснился с братом: Иван Васильевич успокоил его и приказал высечь кнутом слугу, предостерегавшего Андрея. Но великий князь ждал только предложения, чтобы сделать с Андреем то, чего Андрей боялся. В 1491 году разнесся слух, что сыновья Ахмата идут на союзника Иванова Менгли-Гирея. Государь послал против них свои войска и приказал братьям послать против них своих воевод. Борис повиновался, Андрей не исполнил приказания. Этого послушания было достаточно. Андрея пригласили в Москву. Великий князь принял его ласково: целый вечер они беседовали и расстались дружески. На другой день дворецкий князь Петр Шестунов пригласил Андрея на обед к великому князю вместе с его боярами. Когда Андрей вошел во дворец, его попросили в комнату, называемую «западнюю», а бояр Андреевых отвели в столовую гридню: там их схватили и развели по разным местам. Андрей ничего не знал о судьбе своих бояр. Великий князь, вошедши в западную, повидался с братом очень ласково, потом вышел в другую комнату, называемую «повалушу», а вместо него вошел в западную боярин князь Ряполовский и сквозь слезы сказал: «Государь князь Андрей Васильевич, пойман еси Богом и государем великим князем Иваном Васильевичем всея Руси, твоим старшим братом!» Андрей на это ответил: «Волен Бог да государь, Бог нас будет судить, а я неповинен». Его оковали цепями и посадили в тюрьму. Иван Васильевич послал в Углич боярина Патрикеева схватить двух сыновей Андреевых: Ивана и Димитрия, заковать и отправить в Переяславль в тюрьму. Андрей умер в темнице в 1493 году; сыновья его томились долго в тяжелом заключении, никогда уже не получивши свободы. Другой брат был пощажен, потому что во всем повиновался великому князю наравне с прочими служебными князьями и боярами, но пребывал постоянно в страхе.

Со времени сношений с Австрией развились дипломатические сношения с другими странами; так в 1490 году чагатайский царь, владевший Хивою и Бухарою, заключил с московским государем дружественный союз. В 1492 г. обратился к Ивану иверский (грузинский) царь Александр, прося его покровительства в письме, в котором, рассыпаясь на восточный лад в самых изысканных похвалах величию московского государя, называл себя его холопом. Это было первое сношение с Москвою той страны, которой впоследствии суждено было присоединиться к России. В том же году начались сношения с Данией, а в следующем заключен был дружественный союз между Данией и Московским государством. Наконец, в 1492 году было первое обращение к Турции. Перед этим временем Кафа и другие генуэзские колонии на Черном море подпали под власть Турции; русских купцов стали притеснять в этих местах. Московский государь обратился к султану Баязету с просьбою о покровительстве русским торговцам. То было началом сношений; через несколько лет, при посредстве Менгли-Гирея, начались взаимные посольства. В 1497 году Иван посылал к

Баязету послом своим Плещеева. Тогда, хотя Баязет и заметил Менгли-Гирею, что московский посол поразил турецкий двор своею невежливостью, но в то же время отвечал Ивану очень дружелюбно и обещал покровительство московским купцам.

Все эти сношения пока не имели важных последствий, но они замечательны, как первые, в своем роде, в истории возникшего московского государства.

Важнее всех были сношения с Литвою. Казимир во все свое царствование старался, насколько возможно, делать вред своему московскому соседу, но уклонялся от явной открытой вражды: под конец его жизни враждебные действия открылись сами собой между подданными Москвы и Литвы. Несмотря на крутое обращение Ивана со служебными князьями, власть Казимира для некоторых православных князей не казалась лучше власти Ивана, и вслед за князем Бельским передались московскому государю со своими вотчинами князья Одоевские, князь Иван Васильевич Белевский, князья Иван Михайлович и Димитрий Федорович Воротыньские: сделавшись подданными московского великого князя, они нападали на владения князей своих родичей, остававшихся под властью Казимира, отнимали у них волости. Противники их делали с ними то же. Кроме этих пограничных столкновений, были еще и другие: в пограничных местах как московского государства, так и литовского развелось такое множество разбойников, что купцам не было проезда, а в то время вся торговля московского государства с югом шла через литовские владения и через Киев, так как прямой путь из Москвы к Азовскому морю лежал через безлюдные степи, по которым бродили хищнические татарские орды, и был совершенно непроходим. Москвичи жаловались на литовских разбойников, литовские подданные на московских. Эти взаимные жалобы, продолжаясь уже значительное время после смерти Казимира, в 1492 году привели наконец к войне. Польша и Литва разделились между сыновьями умершего Казимира: Альбрехт избран польским королем; Александр оставался наследственным литовским великим князем. Иван рассчитал, что теперь держава Казимира ослабела, послал на Литву своих воевод и направил на нее своего союзника Менгли-Гирея с крымскими ордами. Дела пошли счастливо для Ивана. Московские воеводы взяли Мещовск, Серпейск, Вязьму; Вяземские и Мезецкие князья и другие литовские владельцы волею-неволею переходили на службу московского государя. Но не всем приходилось там хорошо: в январе следующего 1493 года один из прежних перебежчиков, Иван Лукомский, был обвинен в том, будто бы покойный Казимир присылал ему яд для отравления московского государя; Лукомского сожгли живьем в клетке на Москве-реке вместе с поляком Матвеем, служившим латинским переводчиком. С ними вместе казнили двух братьев Селевиных, обвинивши в том, что они посылали вести на Литву: одного засекли кнутом до смерти, другому отрубили голову. Досталось и прежнему беглецу Федору Бельскому, обласканному Иваном: его ограбили и заточили в тюрьму в Галич.

Литовский великий князь Александр сообразил, что трудно будет ему бороться разом с Москвою и с Менгли-Гиреем: он задумал жениться на дочери Ивана, Елене, и, таким образом, устроить прочный мир между двумя соперничающими государствами. Переговоры о сватовстве начались между литовскими панами и главнейшим московским боярином Иваном Патрикеевым. Эти переговоры шли вяло до января 1494 года; наконец, в это время присланные от Александра в Москву послы заключили мир, по которому уступили московскому государю волости перешедших к нему князей. Тогда Иван согласился выдать дочь за Александра, с тем, чтобы Александр не принуждал ее к римскому закону. В январе 1495 года Иван отпустил Елену к будущему мужу с литовскими послами, но с условием, чтобы Александр не позволял ей приступить к римскому закону даже и тогда, когда бы она сама этого захотела, и чтобы построил для нее греческую церковь у ее хором.

Для Ивана Васильевича выдача дочери замуж была только средством, которым он надеялся наложить свою руку на литовское государство и подготовить в будущем расширение пределов своего государства за счет русских земель, подвластных Литве. С этих пор начался ряд разных придирок со стороны Ивана. Александр не стеснял своей жены в вере и жил с нею в любви, но не строил для нее особой православной церкви, предоставляя

ей посещать церковь, находившуюся в городе Вильне; светские паны-католики, а преимущественно католические духовные и без того были недовольны, что их великая княгиня не католичка, и пуше бы зароптали, если б король построил для нее особую православную церковь. Кроме того, Александр не хотел держать при Елене московского священника и московскую прислугу, как этого требовал тесть с явною целью иметь при дворе зятя соглядатаев. Сама Елена не только не жаловалась отцу на мужа, как бы этого хотелось Ивану, но уверяла, что ей нет никакого притеснения, что священника московского ей не нужно, что есть другой православный священник в Вильне, которым она довольна; что ей также не надобно московской прислуги и боярынь, потому что они не умеют себя держать прилично, да и жаловать их нечем, так как она не получила от отца никакого приданого. Иван этим не довольствовался, придирался по-прежнему ко всему, к чему только мог придраться, и, между прочим, требовал, чтобы зять титуловал его государем всея Руси. Само собою разумеется, что Александру нельзя было согласиться на последнее, потому что сам Александр владел значительною частью Руси, а Иван, опираясь на титул, мог заявить новые притязания на русские земли, состоявшие под властью Литвы. В то же время Иван сохранял прежние отношения с Менгли-Гиреем и не только не жертвовал ими для зятя, но давал своим послам, отправляемым в Крым, наказ не отговаривать Менгли-Гирея, если он захочет идти на литовскую землю, и объяснить ему, что у московского государя нет прочного мира с литовским, потому что московский государь хочет отнять у литовского всю свою отчину русскую землю. Таким образом, относясь двоедушно к зятю, Иван Васильевич был искреннее и откровеннее с крымским ханом, который платил ему верной службой.

Таковы-то были отношения Ивана Васильевича к зятю и Литве вплоть до 1500 года.

Последние годы XV века особенно ознаменовались многими новыми явлениями внутренней жизни. Дипломатические сношения сближали мало-помалу с европейским миром Восточную Русь, долгое время отрезанную и отчужденную от него: являлись начатки искусств, служившие главным образом государю, укреплению его власти, удобствам его частной жизни, а также и благолепию московских церквей. Вслед за церковью Успения, построенной Аристотелем, построены были одна за другой каменные церкви в Кремле и за пределами Кремля в Москве. В 1489 году окончен и освящен был Благовещенский собор, имевший значение домового храма великого князя; около того же времени построена была церковь Риз Положения. До тех пор великие князья московские жили не иначе, как в деревянных домах, да и вообще на всем русском севере каменными зданиями были только церкви: жилые строения были исключительно деревянные. Иван Васильевич, заслушавши, что в чужих краях, куда ездили его послы, владельцы живут в каменных домах, что у них есть великолепные палаты, где они дают торжественные празднества и принимают иноземных послов, приказал построить и себе каменную палату для торжественных приемов и собраний: она была построена венецианцем Марком и другими итальянцами, его помощниками (1487—1491) и до сих пор сохранилась под названием Грановитой палаты. В следующем 1492 году Иван Васильевич приказал построить для себя каменный жилой дворец, который вскоре после того был поврежден пожаром, а в 1499 году возобновлен миланским мастером Алевизом.<sup>41</sup> Кремль был вновь обведен каменной стеной; итальянцы построили в разные годы башни и ворота и устроили посреди Кремля подземные тайники, в которых государи скрывали свои сокровища. Между Москвою-рекою и Неглинною проведен был ров, выложенный камнем. Следуя примеру государя, митрополиты Геронтий и Зосима строили себе кирпичные палаты, а также трое бояр сделали для себя каменные дома в Кремле. Но это было исключение: каменные дома не вошли в обычай у русских. На Руси образовалось убеждение, что жить в деревянных домах – полезнее для здоровья. Сам государь и преемники его долго разделяли это мнение и держали у себя каменные дворцы только для пышности, а жить предпочитали в деревянных домах.

---

<sup>41</sup> Достоинно замечания, что во время построек дворца государь некоторое время проживал в частных домах: в доме боярина Патрикеева и в домах московских жителей у Николы Подкопай и близ Яузы.

Иван Васильевич имел особую любовь к металлическому делу во всех его видах. Иноземные мастера лили для него пушки (таковы были между прочим итальянцы Дебосис, Петр и Яков; Дебосис в 1482 г. слил знаменитую царь-пушку, которая и теперь изумляет своею огромностью). В 1491 году Траханиот вывез из Германии рудокопов Иогана и Виктора. Вместе с русскими людьми они нашли серебряную и медную руду на реке Цильме в трех верстах от Печоры; но местонахождение этих руд было невелико – не более десяти верст.

Тогда же начали плавить металлы и чеканить серебряные мелкие монеты из русского серебра. Великий князь любовался серебряными и золотыми изделиями, и при его дворе было несколько иноземных мастеров серебряных и золотых дел: итальянцев, немцев и греков.

Но собственно для распространения всякого рода уместности в русском народе не сделано было ничего. Достойно замечания, что в тот век, когда греки, рассеявшись по Западной Европе, обновляли ее, знакомя с плодами своего древнего просвещения, и положили начало великому умственному перевороту, известному в истории под именем эпохи Возрождения, в московском государстве, где исповедовалась греческая вера и где государь был женат на греческой царевне, они почти не оказали образовательного влияния. Долговременное азиатское варварство не давало для этого плодотворной почвы; к тому же деспотические наклонности Ивана Васильевича и бесцеремонное обращение с иноземцами не привлекали последних в значительном числе в Москву и не предоставляли им необходимой свободы для деятельности. Торговля при Иване вовсе не была в цветущем состоянии; хотя в Москву и приезжали иноземные купцы, привлекаемые желанием великого князя иметь редкие изделия, неизвестные в Руси, но народ русский почти не покупал их товаров. Торговля вообще в это время упала против прежнего. На юге Кафа, бывшая некогда средоточием черноморской торговли, досталась в руки турок. При новых владетелях она не могла уже быть в таком цветущем состоянии, как при генуэзцах; купцы не пользовались там прежнюю безопасностью, а сообщение Москвы с Черным морем чрезмерно было затруднительно по причине татарских орд и враждебных столкновений Литвы с Москвою. На севере Новгород лишился своего прежнего торгового населения, своей свободы, благоприятствовавшей торговле, и наконец в 1495 году Иван Васильевич окончательно добил тамошнюю торговлю. Придравшись к тому, что немцы в Ревеле сожгли русского человека, пойманного на совершении гнусного преступления, Иван Васильевич приказал схватить в Новгороде всех немецких купцов, и притом не из одного Ревеля, а из разных немецких городов, засадить в погреба, запечатать новгородские гостиные дворы (их было два, готский и немецкий), все имущество и товары этих купцов отписать на государя. Через год их выпустили в числе 49 человек и отпустили на родину, совершенно ограбленных. Само собою разумеется, что подобные поступки не могли благоприятствовать ни развитию торговли, ни благосостоянию русской страны.

Московское государство при Иване получило правильное земельное устройство: земли были разбиты на сохи. Эта единица не была новостью, но теперь вводилась с большею правильностью и единообразием; таким образом, в 1491 году тверская земля была разбита на сохи, как московская; в новгородской оставлена своя соха, по размеру отличная от московской. Московская соха разделялась на три вида, смотря по качеству земли. Поземельною мерою была четь, т.е. такое пространство земли, на котором можно было посеять четверть бочки зерна. Таким образом, на соху доброй земли полагалось 800, средней 1000, а худой 1200 четвертей. Сообразно трехпольному хозяйству, здесь принималось количество земли тройное. Так, напр., если говорилось 800 четей, то под этим разумелось 2400. Сенокосы и леса не входили в этот расчет, а приписывались особо к пахотной земле. В сохи входили села, сельца и деревни, которые были очень малолюдны, так что деревня состояла из двух, трех и даже одного двора. Населенные места, где занимались промыслами, назывались посадами: это были города в нашем смысле слова. Они также включались в сохи, но считались не по «четям», а по дворам. Для приведения в известность населения и

имущества посылались чиновники, называемые писцами: они составляли писцовые книги, в которых записывались жители по именам, их хозяйства, размер обрабатываемой земли и получаемые доходы. Сообразно доходам, налагались подати и всякие повинности; в случае нужды с сох бралось определенное число людей в войско, и это называлось пососною службою. Кроме налагаемых податей, жители платили чрезвычайное множество различных пошлин. Внутренняя торговля обложена была также множеством мелких поборов. При переезде из земли в землю, из города в город торговцы принуждены были платить таможенные и проезжие пошлины, так называемые тамгу и мыта, не считая других более мелких поборов, взимаемых при покупке и продаже разных предметов. Все устраивалось так, чтобы жители, так сказать, при каждом своем шаге доставляли доход государю. Иван Васильевич, уничтожая самобытность земель, не уничтожал, однако, многих частностей, принадлежавших древней раздельности, но обращал их исключительно в свою пользу. Оттого соединение земель под одну власть не избавляло народ от многих тех невыгод, которые он терпел прежде вследствие раздробления русской земли.

1497 год ознаменовался в истории государствования Ивана Васильевича изданием Судебника, заключающего в себе разные отрывочные правила о суде и судопроизводстве. Суд поручался от имени великого князя боярам и окольным. Некоторым детям боярским давали «кормление», т.е. временное владение населенною землею с правом суда. В городах суд поручался наместникам и волостелям с разными ограничениями; им придавались «дворские», старосты и выборные из так называемых лучших людей (т.е. зажиточных). При судьях состояли дьяки, занимавшиеся делопроизводством, и «недельщики» – судебные приставы, исполнявшие разные поручения по приговору суда. Судьи получали в вознаграждение судные пошлины с обвиненной стороны в виде известного процента с рубля, в различных размерах, смотря по существу дела, и не должны были брать «посулы» (взятки). Тяжбы решались посредством свидетелей и судебного поединка или «поля», а в уголовных делах допускалась пытка, но только в том случае, когда на преступника будут улики, а не по одному наговору. Судебный поединок облагался высокими пошлинами в пользу судей; побежденный, называемый «убитым», считался проигравшим процесс. В уголовных преступлениях только за первое воровство, и то кроме церковного и головного (кража людей), назначалась торговая казнь, а за все другие уголовные преступления определялась смертная казнь. Свидетельство честных людей ценилось так высоко, что показание пяти или шести детей боярских или черных людей, подтверждаемое крестным целованием, было достаточно к обвинению в воровстве. Относительно холопов оставались прежние условия, т.е. холопом был тот, кто сам себя продал в рабство или был рожден от холопа, или сочетался браком с лицом холопского происхождения. Холоп, попавшийся в плен и убежавший из плена, делался свободным. Но в быте сельских жителей произошла перемена: Судебник определил, чтобы поселяне (крестьяне) переходили с места на место, из села в село, от владельца к владельцу только однажды в год в продолжение двух недель около осеннего Юрьева дня (26 ноября). Это был первый шаг к закрепощению.

В 1498 году начался в великокняжеском семействе раздор, стоивший жизни многим из приближенных Ивана. Протекло более семи лет после смерти старшего его сына, оставившего по себе сына Димитрия. Мы не знаем подробностей, как держал себя великий князь по отношению к вопросу о том, кто после него должен быть наследником: второй ли сын его Василий от Софии или внук Димитрий, которого отец уже был объявлен соправителем государя. Всеобщее мнение современников и потомков приписывало смерть старшего сына великой княгине Софии: несомненно, что она не любила ни сына первой супруги Ивана, ни ее внука и желала доставить престол своему сыну Василию. Но против Софии существовала сильная партия, и во главе ее было два могучих боярина: князь Иван Юрьевич Патрикеев и зять его князь Семен Иванович Рязанский; они были самыми доверенными и притом самыми любимыми людьми государя: все важнейшие дела переходили через их руки. Они употребляли все усилия, чтобы охладить Ивана к жене и расположить к внуку. Со своей стороны действовала на Ивана невестка Елена; свекор в то



время очень любил ее. Но и противная сторона имела своих ревностных слуг. Когда Иван, еще не делая решительного шага, оказывал большие ласки Димитрию, сторонники Софии стали пугать Василия, что родитель его вскоре возведет на великое княжение внука и от этого Василию придется со временем плохо. Составился заговор: к нему пристали князь Иван Палецкий, Хруль, Скрыбин, Гусев, Яропкин, Поярок и др. Решено было, что Василий убежит из Москвы; у великого князя, кроме Москвы, сберегалась казна в Вологде и на Белоозере: Василий захватит ее, а потом погубит Димитрия. Заговор этот, неизвестно каким образом, открылся в декабре 1497 года; в то же время государь узнал, что к жене его Софии приходили какие-то лихие бабы с зельем. Иван Васильевич рассвирепел, не хотел видеть жены, приказал взять под стражу сына; всех поименованных выше главных заговорщиков казнили, отрубали сперва руки и ноги, потом головы; женщин, приходивших к Софии, утопили в Москве-реке и многих детей боярских заточили в тюрьмы. Наконец, назло Софии и ее сыну, 4 января 1498 года Иван Васильевич торжественно венчал своего пятнадцатилетнего внука в Успенском соборе так называемую шапку Мономаха и бармами. Это было первое коронование на Руси.

Но прошел год, и все изменилось. Иван Васильевич помирился с женою и сыном, охладел к Елене и внуку, разгневался на своих бояр, противников Софии. Самолюбие его было оскорблено тем, что Патрикеев и Ряполовские взяли большую силу; вероятно, Иван Васильевич хотел показать и себе самому и всем другим свою самодержавную власть, перед которою все без изъятия должны поклоняться. 5 февраля 1498 года князю Семену Ряполовскому отрубили голову на Москве-реке за то, что он «высокоумничал» с Патрикеевым, как выражался Иван. Та же участь суждена была Патрикеевым, но митрополит Симон выпросил им жизнь. Князь Иван Юрьевич Патрикеев и старший сын его Василий должны были постричься в монахи, а меньшой Иван был посажен под стражу.

После того Иван Васильевич провозгласил своего сына великим князем государем Новгорода и Пскова. Такое странное выделение двух земель поразило псковичей, недавно признавших своим будущим государем Димитрия Ивановича. Они не понимали, что все это значит, и решили послать троих посадников и по три боярина с конца к великому князю за объяснениями. «Пусть, – били они челом, великий государь держит свою отчину по старине: который будет великий князь на Москве, тот и нам был бы государем». В то же время псковичи не дозволили приехавшему к ним владыке Геннадию поминать на ектеньях Василия. Великий князь принял псковских послов гневно и сказал: «Разве я не волен в своих детях и внуках? Кому хочу, тому и дам княжение». С этим ответом он послал назад во Псков одного из посадников, а прочих послов засадил в тюрьму. Псковичи покорились, позволили поминать в церкви Василия и послали новых послов с полною покорностью воле великого князя. Тогда Иван Васильевич переменял тон, сделался ласковым и отпустил заключенных.

Венчанный Димитрий продолжал несколько времени носить титул великого князя владимирского и московского, но находился с матерью в отдалении от деда; наконец, 11 апреля 1502 года государь вдруг положил опалу на него и на его мать. Как видно, в этом случае действовали внушения не только Софии, но и духовных лиц, обвинявших Елену в том, что она принимала участие в явившейся в то время «жидовской ереси». Василий объявлен был великим князем всея Руси. Запретили поминать Димитрия на ектеньях. Через два года Елена умерла в тюрьме в то самое время, когда только что в Москве совершены были (1504 г.) жестокие казни над еретиками. Несчастный сын ее должен был пережить мать и деда и изнывать в тяжком заключении по воле своего дяди, преемника Иванова. Событие с Димитрием и Василием было проявлением самого крайнего, небывалого еще на Руси самовластия; семейный произвол соединялся вместе с произволом правительственным. Ничем не осенялся тот, кто был в данное время государем: не существовало права наследия; кого государь захочет, того и облечет властью, тому и передаст свой сан; венчанный сегодня преемник завтра томился в тюрьме; другой, сидевший в заключении, возводился в сан государя; подвластные земли делились и соединялись по произволу властелина и не смели заявлять своего голоса. Государь считал себя вправе раздать по частям русскую землю кому

он захочет, как движимое свое имущество. В это время Иван Васильевич, привыкший так долго повелевать и приучивший так долго и многообразно всех повиноваться себе, выработался окончательно в восточного властелина: одно его явление наводило трепет. Женщины – говорят современники – падали в обморок от его гневного взгляда; придворные, со страхом за свою жизнь, должны были в часы досуга забавлять его, а когда он, сидя в креслах, предавался дремоте, они раболепно стояли вокруг него, не смея кашлянуть или сделать неосторожно движения, чтоб не разбудить его. Таков был Иван Васильевич, основатель московского единоначалия.

В последние годы XV века Иван Васильевич, заключивши союз с Данией, в качестве помощи союзникам, вел войну со Швецией: война эта, кроме взаимных разорений, не имела никаких последствий. Важнее был в 1499 поход московского войска в отдаленную Югру (в северо-западный угол Сибири и восточный край Архангельской губернии). Русские построили крепость на Печоре, привезли взятых в плен югорских князей и подчинили югорский край Москве. Это было первым шагом к тому последовательному покорению Сибири, которое решительно началось уже с конца XVI века.

В 1500 году вспыхнула война с Польшею и Литвою. Натянутые отношения между тестем и зятем разразились явною враждою по поводу новых переходов на сторону Москвы князей, подручных Литве. Сначала отрекся от подданства Александру и поступил на службу к Ивану Васильевичу князь Семен Иванович Бельский, за ним передались потомки беглецов из московской земли, – внук Ивана Андреевича Можайского Семен и внук Шемяки Василий; они отдавали под верховную власть московского государя пожалованные их отцам и дедам владения: первый владел Черниговом, Стародубом, Гомелем и Любечем, второй Новгород-Северским и Рьльском. Так же поступили князья Мосальские, Хотетовские, мценские и серпейские бояре. Предлогом выставлялось гонение православной веры. Александр дозволял римско-католическим духовным совращать православных и хотел посадить на упраздненный престол киевской митрополии смоленского епископа Иосифа, который был ревностным сторонником флорентийского соединения церквей вопреки прежним митрополитам, которые, кроме преемника Исидорова, Григория, все сохраняли восточное православие. Иван Васильевич нарушил договор с зятем; по этому договору запрещено было принимать с обеих сторон князей с вотчинами, а Иван Васильевич их принял.

Иван Васильевич послал зятю разметную грамоту и вслед за тем отправил на Литву войско. Русская военная сила в те времена делилась на отделы, называемые полками: большой или главный полк, по бокам его – полки правой и левой руки, передовой и сторожевой.

Ими начальствовали воеводы. Между начальниками уже в то время существовал обычай местничества: воеводы считали долгом своей родовой чести находиться в такой должности, которая бы не была ниже по разряду другой, занимаемой лицом, которого отец или дед были ниже отца или деда первого. Это счет переходил и на родственников, а также принимались во внимание случаи, когда другие, посторонние, но равные по службе, занимали места выше или ниже. В татарский период между князьями нарушилось древнее равенство: одни стали выше, другие ниже; то же, вероятно, перешло и к боярам; когда же князья и бояре сделались слугами московского государя, тогда понятие об их родовой чести стало измеряться службою государю. Обычай этот, впоследствии усложнившийся в том виде, в каком мы застаем его в период московского государства, мог быть еще недавним при Иване Васильевиче. С одной стороны, он был полезен для возникавшего самодержавия, так как потомки людей свободных и родовитых стали более всего гордиться службой государю, и потому понятно, отчего все государи до конца XVII века не уничтожали его; но, с другой стороны, этот обычай приносил также много вреда государственным делам, потому что начальники спорили между собою в такое время, когда для успеха дела нужно было дружно действовать и сохранять дисциплину. Иван Васильевич, конечно, мог бы уничтожить местничество в самом его зародыше. Он этого не сделал, но умерял его своею самодержавною волею. Таким образом, когда в походе против Литвы боярин Кошкин,

начальствуя сторожевым полком, не хотел быть ниже князя Даниила Щени, то государь приказал ему сказать: «Ты стережешь не Даниила Щеню, а меня и мое дело. Каковы воеводы в большом полку, таковы и в сторожевом. Это тебе не позор». И так, Иван Васильевич на этот раз лишил местничество своей силы на время войны. Этим он оставил пример своим преемникам в известных случаях прекращать силу местничества, объявляя наперед, что все начальники будут без мест, но все-таки не уничтожая местничества в своем основании. Кроме русского войска, московский государь отправил на Литву татарскую силу под начальством бывшего казанского царя Махмет-Аминя, которого он, по желанию казанцев, недавно заменил другим. Со своей стороны, неизменный союзник Ивана Менгли-Гирей сделал нападение на южную Русь. Война шла очень успешно для Ивана; русские брали города за городами; многие подручные Александру князья попались в плен или же сами предавались Москве: так сделали князья трубчевские (Трубецкие). 14 июля 1500 года князь Даниил Щеня поразил наголову литовское войско и взял в плен гетмана (главного предводителя) князя Острожского, потомка древних волынских князей: Иван силою заставил его вступить на русскую службу. Владения Александра страшно потерпели от разорения. Мало помогло Александру то, что в следующем году, по смерти брата своего Альбрехта, он был избран польским королем и заключил союз с ливонским орденом. Ливонские рыцари под начальством своего магистра Плеттенберга сначала, вступавши в русские края, одерживали было верх над русскими, но потом в их войске открылась жестокая болезнь: рыцари, потерявши множество людей, ушли из псковской области, а русские воеводы, вслед за ними, ворвались в ливонскую землю и опустошили ее. Так же мало оказал Александру помощи союз с Шиг-Ахметом, последним ханом, носившим название царя Золотой Орды. Шиг-Ахмет колебался и, служа Александру, в то же время предлагал свои услуги московскому государю против Александра, если московский государь отступит от Менгли-Гирея. Но Иван Васильевич естественно нашел более выгодным дорожить союзом с крымским ханом. Менгли-Гирей поразил Шиг-Ахмета и вконец разорил остатки Золотой Орды. Шиг-Ахмет бежал в Киев, но Александр, вероятно, узнавший об его предательских намерениях, заточил его в Ковно, где он и умер.

Положение дочери Ивана, жены Александра, было самое печальное. Она не могла отвратить войны, несмотря на все благоразумие, которое она до сих пор выказывала в сношениях с отцом, всеми средствами стараясь уверить его, что ей нет никакого оскорбления и притеснения в вере, что ему, следовательно, нет необходимости защищать ее. Польские и литовские паны не любили ее, называли причиною несчастья страны, подозревали ее в сношениях с отцом, вредных для Литвы. До нас дошли ее письма к отцу, к матери и братьям, очень любопытные, так как в них высказывается и личность Елены, и ее отца, и дух того времени, когда они были писаны. «Вспомни господин государь, отец, – писала она, – что я служебница и девка твоя и ты отдал меня за такого же брата, как и ты сам. Ведаешь государь, отец мой, что ты за мною дал и что я ему принесла; однако, государь и муж мой король и великий князь Александр, ничего того не жалуячи, взял меня с доброю волею и держал в чести и в жаловании и в той любви, какая прилична мужу к своей подруге; и теперь держит в той же мере, ни мало не нарушая первой ласки и жалованья, позволяет мне сохранять греческую веру, ходить по своим церквам, держать на своем дворе священников, дьяконов и певцов для совершения литургии и другой службы божией как в литовской земле, так и в Польше, и в Кракове, и по всем городам. Мой государь, муж не только в этом, да и в других делах, ни в чем перед тобой не отступил от своего договора и крестного целования; слыша великий плач и доуку украинских людей своих, он много раз посылал к тебе послов, но не только, господин, его людям никакой управы не было, а еще пущена тобою рать, города и волости побраны и пожжены. Король, его мать, братья, зятья, сестры, паны, рада, вся земля – все надеялись, что со мною из Москвы в Литву пришло все доброе, вечный мир, любовь кровная, дружба, помощь на поганство; а ныне, государь отец, видят все, что со мной все лихо к ним пришло: война, рать, осада, сожжение городов и волостей; проливается христианская кровь, жены остаются вдовами, дети сиротами, плен, плач, крик, вопль. Вот

каково жалованье, какова любовь твоя ко мне... Чего на всем свете слыхом не слышать, то нам, детям твоим, от тебя, государя христианского, деется: если бы государь мой у кого другого взял себе жену, то оттого была бы дружба и житье доброе и вечный покой землям... Коли, государь отец, Бог не положил тебе на сердце жаловать своей дочери, зачем меня из земли своей выпускал и отдавал за такого брата, как ты сам? Люди бы из-за меня не гибли и кровь христианская не лилась бы. Лучше бы мне под ногами твоими в твоей земле умереть, нежели такую славу о себе слышать; все только то и говорят: затем отдал дочь свою в Литву, чтобы беспечнее было землю высмотреть... Писала бы я и шире, да от великой беды и жалости ума не могу приложить, только с горькими и великими слезами тебе, государю отцу, челом бью. Опомнись Бога ради, помяни меня, служебницу и кровь свою. Оставь гнев безвинный и нежитье с сыном и братом своим, соблюди прежнюю любовь и дружбу, какую сам записал ему своим крепким словом в докончальных грамотах, чтобы от вашей нелюбви не лилась христианская кровь и поганство бы не смеялось, и не радовались бы изменники предатели ваши, которых отцы изменяли предкам нашим в Москве, а дети их делают то же в Литве. Дай Бог им, изменникам, того, что родителю нашему было от их отцов. Они-то промеж вас государей замутили, а с ним Семен Бельский иуда, который, будучи здесь на Литве, братью свою князя Михаила и князя Ивана переел, а князя Феодора на чужую сторону загнал. Сам смотри, государь, годно ли таким верить, которые государям своим изменили и братью свою перерезали, и теперь по шею в крови ходят, вторые каины, а между вас государей мутят... Вся вселенная, государь, ни на кого, а только на меня вопиет, что это кровопролитие случилось от моего прихода в Литву, будто я государю моему пишу и тебя на это привожу; коли б, говорят, она хотела, никогда бы того лиха не было! Мило отцу дитя; какой отец враг детям своим! И сама разумею и вижу по миру, что всякий печалуется детками своими, только одну меня по моим грехам Бог забыл. Слуги наши через силу свою, трудно поверить какую, казну дают за дочерьми своими, и не только дают, но потом каждый месяц навещают и посылают, и дарят, и тешат, и не одни паны, все простые люди деток своих утешают: только на одну меня Господь Бог разгневался, что пришло твое нежалование. Я, господин государь, служебница твоя, ничем тебе не согрubiла, ничем перед тобою не согрешила и из слова своего не выступила. А если кто иное скажет – пошли, господин, послов своих, кому веришь: пусть обо всем испытно доведаются и тебе откажут... За напрасную нелюбовь твою нельзя мне и лица своего показать перед родными государя моего мужа, и потому с плачем тебе, государю моему, челом бью, смилуйся над убогою девкою своею. Не дай недругам моим радоваться о беде моей и веселиться о плаче моем. Когда увидят твое жалованье ко мне, то я всем буду и грозна и честна, а не будет ласки твоей – сам, государь отец, можешь разуместь, что все родные и подданные государя моего покинут меня... Служебница и девка твоя, королева польская и великая княгиня литовская Олена со слезами тебе государю отцу своему низко челом бьет».

В таком же смысле и почти в таких же выражениях писала она матери своей Софии и братьям. Письма доставлены были через королевского посла, канцлера Ивана Сапегу. Ответ Ивана Васильевича также очень характеристичен. «Что ты, дочка, к нам писала, то тебе не пригоже было нам писать, – отвечал Иван. – Ты пишешь, будто тебе о вере греческого закона не было от мужа никакой посылки, а нам гораздо ведомо, что муж твой не раз к тебе посылал отметника греческого закона владыку смоленского и бискупа виленского и чернецов бернардинов, чтобы ты приступила к римскому закону. Да не к тебе одной посылал, а ко всей Руси посылал, которая держит греческий закон, чтоб приступали к римскому закону. А ты бы, дочка, помнила Бога и наше родство и наш наказ, и держала бы греческий закон крепко, и к римскому закону не приступала, и римской церкви и папе не была бы послушна ни в чем, и не ходила бы к римской церкви, и не норовила бы никому душою, и мне и себе и всему роду нашему не чинила бы бесчестия. Хотя бы тебе, дочка, пришлось за это и до крови пострадать – пострадай. Бей челом нашему зятю, а своему мужу, чтобы тебе церковь греческого закона поставил на сенех и панов и паней дал бы тебе греческого закона, а панов и паней римского закона от тебя отвел. А если ты поползнешься и приступишь к римскому

закону волею или неволею, погибнет душа твоя от Бога и быть тебе от нас в неблагоговении, и я тебя не благословлю и мать тебя не благословит, а зятю своему мы того не спустим. Будет у нас с ним непрерывная рать».

Одновременно с Еленою, папа Александр VI и король венгерский Владислав, брат Александра, ходатайствовали у московского государя о примирении с Литвою. Польские послы от имени Александра просили вечного мира с тем, чтобы Иван возвратил Александру завоеванные места. Иван отказал. Заключено было только перемирие на шесть лет. Иван Васильевич удержал земли князей, передавшихся Москве, и тогда уже ясно заявил притязание на то, что Москва, сделавшись средоточием русского мира, будет добиваться присоединения древних русских земель, доставшихся Литве. «Отчина королевская, – говорил он, – земля польская и литовская, а русская земля наша отчина. Киев, Смоленск и многие другие города давнее наше достояние, мы их будем добывать». В том же смысле через год отвечал он послам своего зятя, приехавших хлопотать о превращении перемирия в вечный мир: «когда хотите вечного мира, отдайте Смоленск и Киев».

7-го апреля 1503 скончалась София, а 27 декабря того же года произведена была в Москве жестокая казнь над приверженцами жидовской ереси (о ней мы расскажем в биографии Геннадия). В числе пострадавших был один из способнейших слуг Ивана, дьяк Курицын, один из немногих русских, которым можно было давать дипломатические поручения. Между тем Иван слабел здоровьем и, чувствуя, что ему жить недолго, написал завещание. В нем он назначил преемником старшего сына Василия, а трем остальным сыновьям: Юрию, Семену и Андрею, дал по несколько городов, но уже далеко не на правах независимых владетелей. Братья великого князя не имели права в своих уделах ни судить уголовных дел, ни чеканить монеты, ни вступаться в государственный откуп; только старший брат обязан был давать меньшим по сто рублей с таможенных сборов. Меньшие братья должны были признавать старшего своим господином *честно* и *грозно*. Младшие братья московского государя являлись теперь не более как богатыми владельцами, такими же подданными, как прочие князья и бояре. Единственное, чем обеспечивал их отец, было то, что великий князь не должен был покупать в их уделах земель и вообще не вмешиваться в управление их владениями. Но то же предоставлялось по духовной всем боярам и князьям и детям боярским, которым государь дал свои жалованные грамоты: и в их села не должен был вступаться новый государь. Таким образом, при укреплении единовластия и самодержавия, не уничтожалось, однако, право свободной частной собственности, хотя на деле самодержавный государь всегда имел возможность и всегда мог иметь поползновение под всяким предлогом нарушить его. Назначив определенным способом достояние своим меньшим сыновьям, Иван Васильевич отдавал исключительно старшему сыну все свое богатое движимое имущество, состоявшее в дорогих камнях, золотых, серебряных вещах, мехах, платье и вообще в том, что тогда носило название *казны*. Все это хранилось у разных лиц: у казначеев, дворецких, дьяков, приказчиков и, кроме Москвы, в Твери, Новгороде и Белоозере.

Василию между тем приходило время жениться. Отцу хотелось женить его на какой-нибудь особе царственного рода. В этих видах он поручал своей дочери, королеве Елене, найти для ее брата невесту. Но Елена прежде всего заметила, что ей самой трудно взять на себя хлопоты по этому делу, так как отец не заключил с ее мужем прочного мира, а кроме того извещала, что на Западе не любят греческой веры, считают православных нехристями и не отдадут дочери за православного государя. Иван Васильевич пытался сватать за сына дочь датского короля, своего постоянного союзника, которому в угоду он делал вторжение в Швецию. Но датский король, сделавшись и шведским королем после Кольмарской унии, отказал ему. Пришлось брать Василию жену из числа дочерей его подданных. Говорят, что первый совет к этому дал один из греков, живших при дворе Ивана, Юрий, по прозванию Малый (вероятно, Траханиот). Пример им был взят из византийской истории: византийские императоры не раз собирали ко двору девиц для выбора из них себе жены. Грек Юрий надеялся, что Василий женится на его дочери. Вышло не так. Ко двору велели привезти 1500

девиц на смотр. Из них выбрали наилучших; их приказано было осмотреть повивальным бабкам; вслед за тем из числа таким образом освидетельствованных Василий выбрал Соломонию, дочь незнатного дворянина Юрия Сабурова. Этот брак имеет вообще важное историческое значение по отношению к положению женщины в московской стране. Брак этот способствовал тому унижению и затворничеству, которое составляло резкий признак домашней жизни высших классов в XVI и XVII в. Прежде князья женились на равных себе по сословию, но с тех пор, как государи стали выбирать себе жен стадным способом, жены их, хотя и облекались высоким саном, а в сущности не были уже равны мужьям; брак не имел значения связи между двумя равными семействами, не существовало понятия о приличии или неприличии соединиться браком с особой того или иного рода, не знали того, что на Западе называлось *mésalliance*. Жена государя, взятая из какой бы то ни было семьи, отрешалась от своих родных; отец не смел называть ее дочерью, братья сестрою. Она не приносила с собою никакого родового достоинства: с другой стороны, о выборе жены по сердцу не могло быть и речи. Государь не знал ее нравственных качеств и не нуждался в этом; свидетельствовали только ее тело; она была в сущности не более, как самкой, обязанной производить детей для государя. Как подданная по происхождению, она постоянно чувствовала себя рабой того, кто был ее супругом. Государь выбирал ее по произволу, государь мог и прогнать ее: вступаться в ее права было некому. Но будучи вечною рабою своего мужа, вместе с тем она была царица и, по возложенному на нее сану, ей не было ровни между окружающими; таким образом, она всегда была одинока и находилась в затворничестве. Зато самовластный супруг ее был так же одинок на своем престоле; избранная жена не могла быть ему равной подругой. В монархических государствах приемы и нравы двора всегда перенимаются подданными, преимущественно высшими классами. В Москве, где все уже начали называться холопами государя, такое влияние придворных нравов было неизбежнее, чем где-нибудь. Кроме того, это время вообще было эпохой, когда утвердилось всеобщее порабощение, обезличение и крайнее самоунижение русских людей: понятно, что и женщина должна была переживать период своего крайнего семейного порабощения.

Брак Василия совершился 4 сентября 1505 года; сам митрополит Симон венчал его в Успенском соборе, а 27 октября умер Иван Васильевич на 67 году своей жизни, прогосударствовавши 43 года и 7 месяцев. Тело его погребено было в каменной церкви Михаила Архангела, которую он в последние годы своего царствования построил на месте прежней.

Русские историки называют Ивана Великим. Действительно, нельзя не удивляться его уму, сметливости, устойчивости, с какою он умел преследовать избранные цели, его умению кстати пользоваться благоприятными обстоятельствами и выбирать надлежащие средства для достижения своих целей; но не следует, однако, упускать из вида, при суждении о заслугах Ивана Васильевича, того, что истинное величие исторических лиц в том положении, которое занимал Иван Васильевич, должно измеряться степенью благотворного стремления доставить своему народу возможно большее благосостояние и способствовать его духовному развитию: с этой стороны государственное правление Ивана Васильевича представляет мало данных. Он умел расширять пределы своего государства и скреплять его части под своею единою властью, жертвуя даже своими отеческими чувствами, умел наполнять свою великокняжескую сокровищницу всеми правдами и неправдами, но эпоха его мало оказала хорошего влияния на благоустройство подвластной ему страны. Сила его власти переходила в азиатский деспотизм, превращающий всех подчиненных в боязливых и безгласных рабов. Такой строй политической жизни завещал он сыну и дальнейшим потомкам. Его варварские казни развивали в народе жестокость и грубость. Его безмерная алчность способствовала не обогащению, а обнищанию русского края. Покоренный им Новгород был ограблен точно так, как будто его завоевала разбойничья орда, вместо того, чтобы, с приобретением спокойствия под властью могучего государя, ему получить новые средства к увеличению своих экономических богатств. Поступки Ивана Васильевича с немецкими купцами, как и с

иноземцами, приглашаемыми в Москву, могли только отстранять от сношений с Русью и от прилива в нее полезных людей, в которых она так нуждалась. Ни малейшего шага не было сделано Иваном ко введению просвещения в каком бы то ни было виде, и если в последних годах XV и в первой четверти XVI века замечается некоторого рода оживленная умственная и литературная деятельность в религиозной сфере, то это вызвано было не им. На народную нравственность Иван своим примером мог оказывать скорее злобное, чем благотворное влияние. Был единственный случай в его жизни, когда он мог показать собою пример неустрашимости, твердости и готовности жертвовать жизнью за отечество; но тут он явился трусом и себялюбцем: он отправил прежде всего в безопасное место свою семью и казну, а столицу и всю окрестную страну готов был отдать на расхищение неприятелю, покинул войско, с которым должен был защищать отечество, думал униженным миром купить себе безопасность, и за то сам вытерпел нравственное унижение, выслушивая резкие замечания Вассиана. До какой степени он понимал честные отношения между людьми и какой пример мог подавать своим подданным в их взаимных делах – показывает его проделка с представителем венецианской республики, когда, давши ему 70 рублей, приказал сказать посланному его государству, что дал 700 – плутовство, достойное мелкою торгаша. Бесчисленные случаи его грабительства прикрывались разными благовидными предложениями, но современники очень хорошо понимали настоящую цель их. Поступки государя распространялись в нравах подданных пороки хищничества, обмана и насилия над слабейшим. Возвышая единовластие, Иван не укреплял его чувством законности. По произволу заключил он сначала в тюрьму сына, венчал на царство внука, потом заточил внука и объявил наследником сына: этим поступком он создал правило, что престол на будущее время зависит не от какого-нибудь права, а от своенравия лица, управляющего в данное время государством, правило, сродное самому деспотическому строю и вовсе не представлявшее прочного залога государственного благоустройства и безопасности. При таких порядках мог господствовать бессмысленный рабский страх перед силою, а не сознательное уважение к законной власти. Можно было бы поставить в похвалу ему то, что он, как пишут иностранцы, хотел уменьшить пьянство в народе; но этот факт неясен, так как из сообщающих его иностранцев один говорит, что Иван совсем запретил частным лицам варить пиво и мед с хмелем, а другой – что он позволял это не всем. Мы знаем, что впоследствии в московской земле продажа хмельных напитков производилась от казны, а в виде исключения дозволялось разным лицам и при разных случаях варить их в частных домах; это дает нам повод предположить, что и при Иване стеснительные меры, по отношению к производству горячих напитков, вероятно, предпринимались более в видах обогащения казны, чем с целью улучшения народной нравственности. Да и самое известие о господствовавшем тогда пьянстве едва ли не преувеличено, так как в то время еще не было распространено хлебное вино, которое впоследствии спoiло русский народ.

Истинно великие люди познаются тем, что опережают свое общество и ведут его за собою; созданное ими имеет прочные задатки не только внешней крепости, но духовного саморазвития. Иван в области умственных потребностей ничем не стал выше своей среды; он создал государство, завел дипломатические сношения, но это государство, без задатков самоулучшения, без способов и твердого стремления к прочному народному благосостоянию, не могло двигаться вперед на поприще культуры, простояло два века, верное образцу, созданному Иваном, хотя и дополняемое новыми формами в том же духе, но застывшее и закамелое в своих главных основаниях, представлявших смесь азиатского деспотизма с византийскими, выжившими свое время, преданиями. И ничего не могло произвести оно, пока могучий ум истинно великого человека – Петра, не начал пересоздавать его в новое государство уже на иных культурных началах.

## **Глава 14**

### **Новгородский архиепископ Геннадий**

Конец XV века представляет перелом в области русской мыслительности, направленной главным образом на религиозные предметы: с одной стороны, здесь являются начала тех споров и толков об обрядах и букве, которые, развившись впоследствии, произвели явление громадной важности – раскол старообрядчества со всеми его видоизменениями; с другой – в это время ярко выказываются признаки религиозного свободомыслия, стремившегося к отпадению от основных догматов православия. В истории того и другого направления играл важнейшую роль новгородский архиепископ Геннадий, человек стойкого характера и с замечательным образованием по своему времени. К сожалению, многое в жизни и деятельности этого человека нам остается неизвестным. Мы не знаем ни места его рождения, ни его юности. Осталось только известие, что фамильное его прозвище было Гонозов или Гонзов и что, вступивши в монашество, он был учеником преподобного Савватия Соловецкого, а потом возведен в сан архимандрита Чудовского монастыря в Кремле. В это время он явился участником в споре митрополита Геронтия с великим князем.

До сих пор, как мы видели, высшая духовная власть шла рука об руку с высшею мирской властью и содействовала возвышению и усилению последней. При Иване Васильевиче мирская власть достигла своей полной силы. Теперь уже она не нуждалась в опеке со стороны духовной власти в такой степени, как это было прежде; теперь мирская власть могла не только показать перед духовною властью свою самостоятельность, но и покуситься на господство над нею, когда представится случай. Такая попытка ощутительна в споре между митрополитом Геронтием и Иваном Васильевичем. Геронтий был, как видно, человек, чувствовавший вековую силу своего первосвятительского сана, но Иван Васильевич, как мирской государь, также не расположен был уступать своего права. Прежде всего у них произошло столкновение в 1478 году по поводу Кирилло-Белозерского монастыря. Новопоставленный игумен этого монастыря, Нифонт, с некоторыми из монастырской братии, тяготился зависимостью от ростовского архиепископа Вассиана и просил своего удельного князя Михаила верейского взять монастырь в свое непосредственное ведение. Митрополит Геронтий, по просьбе верейского князя, изъявил на это свое согласие и выразил его в своей грамоте. Но в монастыре были другие старцы, которые вовсе того не хотели и были расположены к ростовскому епископу. Последний обратился к великому князю. Иван Васильевич принял сторону Вассиана. Митрополит сначала попытался послушаться великого князя, но Иван приказал своему подручнику Михаилу верейскому отдать ему данную митрополитом грамоту и грозил созвать собор духовных для решения дела между митрополитом и епископом. Митрополит испугался, не допустил до созвания собора и уступил во всем великому князю. Иван Васильевич, однако, не простил митрополиту попытки к послушанию своей воле и в следующем 1479 году нашел повод придрататься к нему. Было освящение Успенской соборной церкви. Митрополит ходил вокруг церкви против солнца, от запада к востоку. Тогда великий князь, по чьему-то наущению, заявил, что следует ходить крестным ходом от востока к западу, как тогда называлось «посолонь», (т.е. по солнцу). Таким образом, был брошен вопрос, который сильно занял духовенство и некоторых мирян. Книжники принялись отыскивать правду по книгам. В это время великий князь призвал участвовать в возникшем споре архимандрита Геннадия, который, как видно, и тогда был уже известен своею ученостью. Ответ, данный им вместе с ростовским епископом Вассианом, хотя как будто и склонялся на сторону митрополита, но был до крайности темен и уклончив.<sup>42</sup> Видно было, что Геннадий не хотел раздражать ни ту, ни другую из споривших сторон; быть может, он рассчитывал, что вопрос этот сам собою забудется. Действительно, в продолжение трех лет спор не возобновлялся, но в 1482 году великий князь опять поднял его и требовал, чтобы вперед при освящении церковей митрополит ходил «посолонь». Митрополит упорствовал. Великий князь, желая поставить на своем, не давал ему освящать новопостроенных храмов. Тогда Геронтий

---

<sup>42</sup> «Солнце праведное Христос на ада наступи и смерть связа и души освободи, и того ради, рече, исходит на Пасху, то же преобразуют на утрени».



оставил в Успенском соборе свой посох, забравши, однако, с собой ризницу, и уехал в Симонов монастырь, думая наказать великого князя тем, что церковь останется без главного правителя. Геронтий говорил, что не вернется на свою кафедру до тех пор, пока сам князь не станет бить ему челом. Все иноки, священники и книжники миряне стояли за митрополита; только двое духовных были против всех за великого князя: ростовский владыка князь Иоасаф (преемник Вассиана) и наш Геннадий. Видно, они рассчитывали, что если сторона митрополита и возьмет верх, то все-таки они найдут себе сильного покровителя в великом князе на будущее время. Иван Васильевич умел всегда уступать вовремя и на этот раз сообразил, что невозможно идти против всего тогдашнего книжного мира. Сперва послал он своего сына просить митрополита возвратиться. Митрополит отказал. Тогда Иван вынужден был сам ехать к митрополиту, просил его вернуться и предоставлял ему совершать крестные ходы по своей воле. Состязание между духовной и светской властями окончилось, таким образом, к торжеству первой. Митрополит, однако, озлобился на Геннадия за то, что последний осмелился заявить себя против него; митрополит искал случая отомстить ему, архимандриту, и нашел предлог в том, что Геннадий, в канун Богоявления, случившийся в воскресный день, дозволил своей братии пить богоявленскую воду после трапезы. Митрополит приказал представить Геннадия к себе. Геннадий, опасаясь гнева митрополита, бежал к великому князю. Митрополит сам отправился к великому князю, требовал выдачи архимандрита. Великий князь и на этот раз уступил митрополиту. Геронтий поступил с Геннадием со всею жестокостью, обычною в то время: чудовского архимандрита заковали и посадили в ледник под палатою; великий князь заступился за Геннадия настолько, что просил пощадить его и не делать с ним ничего хуже, и митрополит отпустил заключенного, удовольствовавшись тем, что случилось так, как он хотел.

С 1485 года открылась новая, более широкая область деятельности для Геннадия; он получил сан новгородского владыки. Еще в 1482 году, после низложения Феофила, Иван Васильевич хотел поместить на эту кафедру Геннадия, вероятно, полюбивши его за то, что, в споре великого князя с митрополитом, чудовский архимандрит, вразрез со всем духовенством, сам-друг стоял за мнение великого князя. Но Иван Васильевич действовал и в этом вопросе с обычною постепенностью, не разрушая сразу старых форм, хотя уже решил в своем уме изменить или уничтожить эти формы со временем. В старину новгородские владыки выбирались из трех кандидатов по жребию. Иван Васильевич не доверял более архиепископского сана в Новгороде природному новгородцу и положил посылать туда москвичей, но соблюл на первый раз форму, обычною издавна при выборе новгородских владык. Имена трех лиц, из которых один должен был получить сан архиепископа, были положены в церкви на престоле; в числе их было имя чудовского архимандрита. Жребий пал не на него. Владыкою новгородским сделался троицкий монах Сергей (бывший прежде протопопом), но через несколько месяцев сошел с ума. После него Геннадий был уже без выбора назначен владыкою 12 декабря 1484 года. С этих пор о жребию при поступлении новгородских владык уже не говорится в летописях.

В своей епархии Геннадий встретил церковные толки, подобные тем, какие были в Москве. Здесь умы книжников заняты были спором об аллилуйе. В Пскове был поднят вопрос (как говорят, игуменом Ефросином) о том, следует ли на всенощной петь: «аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе Боже!», или «аллилуйя, аллилуйя, слава тебе Боже!» Принимавшие первый способ «трегубили» аллилуйю, а принимавшие второй – «сугубили» ее. Сугубившие опирались на то, будто аллилуйя в переводе значит: слава тебе Боже! (между тем аллилуйя, как известно, означает: хвалите Господа) и укоряли своих противников, что они, произнося аллилуйю вместо трех раз четыре раза, четверят Троицу и, таким образом, впадают в ересь. Ожесточение между партиями дошло до того, что трегубившие, составлявшие большинство, запрещали на рынке продавать съестные припасы сугубившим. Книжники или так называемые «философы», державшиеся трегубия, толковали, что их противники заимствовали от латин свое сугубие. Спор этот из Пскова перешел и в Новгород. Геннадий принял в нем участие и поручил переводчику Димитрию Герасимову, ездившему

за границу, исследовать: действительно ли в западной церкви двоят аллилуйю? Но Герасимов привез ему ответ, что по воззрению западной церкви все равно, что двоить, что троить аллилуйю. Спор этим, конечно, не порешился: сугубившие со своей стороны обвиняли трегубивших не только в латинстве, но в жидовстве и даже в язычестве. Вопрос об аллилуйе перешел в грядущие столетия и соединился со многими другими вопросами, составившими в свое время сущность старообрядческого раскола.

В православной церкви во все времена господствовала обширная обрядность, сложная символика, поклонение священным предметам и монашеский взгляд на богоугодную нравственность. При невежестве народа это, естественно, давало русской религиозности характер перевеса формы над содержанием, выражения над мыслью. Все это перешло к нам с византийской литературой, но принесло у нас своеобразные плоды: такие явления, как споры о «хождении посолонь» или об «аллилуйе» исключительно принадлежат русской жизни. Но с той же византийской литературой заходили к нам и взгляды совершенно противоположные: их можно проследить в разных переводных и подражательных сочинениях, доступных в свое время только немногим, по причине малограмотности. Взгляды эти клонились обратно, к перевесу содержания над формой, ставили внутреннее благочестие выше внешнего, христианскую нравственность выше многомоления и поста и обличали бесплодность обряда самого по себе, неосмысленного. В то время, когда монашествующая набожность боялась дьявола, находились люди, писавшие: «Все в человеке, как доброе, так и злое – от самого человека; а дьявол не может отвлечь человека от добра и привлечь на зло». Тогда как большинство проповедовало, что для спасения души нужно беспрестанно читать молитвы, удручать плоть постом, подвергать себя добровольной нищете и лишениям, раздавались такие смелые речи: «Ты думаешь, что молишься Богу, а на самом деле молишься воздуху; Бог внимает уму, а не словам. Ты думаешь найти себе спасение в том, что не ешь мяса, не моешься и лежишь на голой земле, но ведь и скот не ест мяса и лежит на голой земле, без постели...» Или: «Какой успех человеку морить себя голодом и не делать добрых дел? Угоднее Богу – кормить голодного, чем иссушать свою собственную плоть, оказывать помощь вдовицам, нежели изнурять свои члены, избавлять от томления бедняков, чем томиться самому... Старайся лучше внутренний пост хранить, чем воздерживаться от яств по внешнему образу. Как тело без духа мертво, так и внешнее подвижничество без внутреннего хранения и соблюдения. Лучше съесть кусок сухого мяса, запрещаемого святыми отцами, чем из тщеславия, воздерживаясь от мяса, искать другого рода вкусной пищи...» В то время, когда большинство нравоучителей говорило, что для умилоствления Бога и отпущения грехов надобно строить церкви и давать вклады в монастыри, встречались в книгах суждения о том, что «кто даст село монастырю, тот устраивает пагубу душе своей...», или что «нет пользы созидать неправдою и украшать церкви, и Богу не приятны богатства, жертвуемые в церковь, если они приобретены порабощением сирот и насилем убогих»; что церкви украшать никому не запрещено, но надобно помнить прежде всего, что за утеснение убогих обещана огненная мука. Подрывалась мысль, что монашеский образ жизни особенно угоден Богу: «Если бы иноческое жительство действительно было угодно Богу, то сам Христос и божественные апостолы носили бы иноческий образ, но мы видим и Христа и апостолов его в мирском, а не в иноческом образе». Даже против раздачи милостыни нищим встречаются резкие обличения: «Ты, богач, даешь милостыню убогим, но посмотри, вон рабы твои, которые пасут твоих волов, потравили ниву твоих бедных соседей: ты мучишь злым томлением и несправедливыми наказаниями работающих тебе; о безумный, лучше тебе миловать домочадцев твоих, не творить им насилия и томления, чтобы они не ходили печальные, чем рассыпать милостыню, собранную несправедливым томлением других». Тогда как духовные проповедовали слепую веру к священным книгам, появлялись намеки, которые зароняли подозрение в справедливость того, что вошло целою массою в церковную письменность: «О том не ведают и не догадываются, что многие книжники иноки выписывают места из божественных книг и из житий святых и, вместо них, вписывают то, что считают для себя

лучшим и полезным, и уверяют других, что это подлинное писание святых». Вопреки общему верованию о силе молитв и заступлении святых перед Богом, встречались такие умствования: «Если человек сам не делает добра, то святые, хотя бы молились за него, не сделают ему пользы: сбудется только пословица: один строит, другой разоряет».

Все это не заключало в себе в сущности ничего неправославного, но все это показывает, что в самой благочестивой письменности были семена противодействия тому строю понятий о благочестии, который был усвоен веками и принят большинством: злоупотребления в духовенстве всегда могли обращать эти семена в противодействие самой церкви. Так и сделалось. Нигде это противодействие не могло так легко прорваться, как во Пскове. Псковичи тяготились зависимостью от новгородского владыки по церковному управлению и суду, а между тем отсутствие епархиального начальника давно уже лишало во Пскове область благочестия правильного надзора. Во Пскове свободнее, чем где-нибудь, могло воспитаться противодействие против существующего церковного порядка, были постоянные причины к этому. С одной стороны, духовенство роптало на вмешательство веча в церковные дела, с другой – новгородский владыка и его софийский двор подавали постоянный повод к жалобам как на свою бездейственность в деле управления и суда, так и на свою жадность в собирании пошлин: псковская земля в церковном отношении казалась какою-то оброчною статьею новгородского владыки. Духовные, посвящаясь в сан и получая места, платили пошлыны. Нередко добрые отношения к чиновникам владыки, пошлыны и подарки пролагали путь к священническому сану удобнее, чем личные достоинства ищущего этого сана. Могло всегда случиться, что бедный человек, достойный быть священником по своим качествам и способностям, не получал места потому только, что не мог заплатить, тогда как другой, имевший состояние, покупал священный сан. Нападки на эти пошлыны, упреки, делаемые духовному управлению в том, что оно посвящает священнослужителей за деньги, положили начало ереси, известной под названием «стригольников».

Нам неизвестно ни точное время явления этой ереси, ни обстоятельства, служившие ближайшим поводом к ее возникновению; знаем только, что около 1374 года из Пскова в Новгород бежали от преследования трое главных проповедников этой ереси: один из них неизвестен по имени, другой был дьякон Никита, третий – мирянин по имени Карп. В сочинении конца XV века, в «Просветителе» Иосифа Волоцкого, Карп назван художеством «стригольник». <sup>43</sup> Что такое «стригольник», мы не знаем, но ересь эта получила кличку стригольников. Трое проповедников нашли себе в Новгороде последователей, но вскоре возмутили против себя народ и были сброшены с моста в Волхов в 1375 году. Посеянное ими семя ереси, однако, не пропало бесследно. В продолжение XV века еретики не раз подвергались преследованию во Пскове и Новгороде; их умерщвляли, запирали в тюрьмы; другие из них разбежались и разносили с собою свои еретические мнения. Достоинно замечания, что православные до того озлобились против них, что митрополит Фотий, в 1427 году, хотя и повелевает не есть и не пить с еретиками, но сдерживает фанатизм псковичей и порицает их за то, что они казнили смертью стригольников. Как всегда бывает, гонимая секта укреплялась и распространялась от гонений. В Новгороде, в последних годах XV века, Геннадий, несмотря на громадное выселение прежних жителей и прилив новых, указывал, что между чернецами есть стригольники.

Ересь стригольников своею исходною точкою имела порицание обычая платить пошлыны при посвящении, а затем еретики нападали на жадность и корыстолюбие духовенства, употребляя такие выражения, какие до сих пор можно слышать в народе: «попы

---

<sup>43</sup> В современном послании патриарха константинопольского Антония (Акты Ист. т. I, стр. 9) говорится об этом довольно темно: «взвешено мне бысть о вас моему смирению и всему священному сбору, председающу о прежеваривших вас ересях, яже суть расколы, занеже сблазнитесь во время онаго Карпа, дьякона отлученного от службы, стригольника, и глаголете, недостойны суть презвитеры по мзде поставляемы» и пр. Во-первых, неизвестно, говорится ли здесь об одном лице Карпе, который был разом и дьяконом и стригольником, или же имелось намерение сказать о трех лицах: Карпе, отлученном дьяконе и стригольнике, а если об одном, то в таком случае не значило ли стригольник – название той ереси, к которой принадлежал Карп, название, уже прежде существовавшее.

пьяницы, дерут с живого, с мертвого!» Стригольники начали учить, что таинства, совершенные недостойными священниками, недействительны, а затем дошли до того, что признали все существующее и прежнее духовенство не имевшим дара Духа Святого, отвергали вселенские соборы, дозволяли, вместо священников, учить и проповедовать каждому, вооружались против монастырей, против вкладов по душам, поминок, и вообще против того, что на благочестивом языке называлось «строить душу». Они, как видно, как-то по-своему толковали таинство причащения, а вместо исповеди перед священником вводили свой обряд покаяния припаданием к земле. Отвергая церковные постановления, сами стригольники, однако, уважали произвольный пост, отличались суровым воздержанием, молитвою и книжностью.

Как всегда бывает со всякого рода сектами, и ересь стригольников, распространяясь, разветвилась и разбилась на многие толки, так что в XV веке люди различных мнений назывались общим именем «стригольников». Одни, например, не расходились совершенно с церковью, а только вольнодумствовали над ее постановлениями, и таких-то стригольников разумел митрополит Фотий, предписывая духовным не брать от них приношений: конечно, здесь идет речь не об отпадших от церкви совершенно, так как подобные люди не приносили бы уже ничего в церковь. Другие, соблазняясь способом поставления духовных лиц, разошлись с существующею в их время церковью, но не отвергали необходимости православной церкви и готовы были присоединиться к существующей, если бы в ней не было того, что им казалось злоупотреблением. Третьи отвергали монашество; говорили, что иноки выдумали себе сами житие, отступили тем самым от евангельских и апостольских преданий, и что ангел, который, как гласит монашеское предание, дал Пахомию иноческий образ – схиму, был не ангел, а бес, и потому-то явился не в светлом, а в черном виде. Четвертые, оторвавшись от церкви, учреждали свое собственное богослужение. Пятые, не признавая ни соборов, ни церковных уставов и преданий, опирались на одно только Св. Писание, как делали впоследствии протестанты. Шестые доходили до чистого деизма, отвергали уже евангельские и апостольские писания и поклонялись одному Отцу, Богу Небесному: наконец – уже самые крайние отрицали воскресение мертвых и будущую жизнь. Были еще и такие, которых учение Иосиф Волоцкий называет «массалианскою ересью»: из этого видно, что были такие, которые признавали творение мира делом злого духа». <sup>44</sup>

Такое брожение умов господствовало в пятнадцатом веке на русском севере, когда, перед падением независимости Новгорода, занесена была туда ересь рационалистического жидовства. В 1470 году, вместе с князем Михаилом Олельковичем, прибыл в Новгород из Киева ученый иудей Схария. В Новгороде в то время были во всеобщем ходу религиозные толки: люди всякого сословия, и мужчины, и женщины сходились не только в домах, но и на торжищах, говорили о духовных предметах и часто с желанием критиковать существующее в церкви предание и постановление. Во всеобщем хаосе споров и толков удобно было и ученому иудею пустить в ход еще одно еретическое учение, имевшее целью распространение основ иудейской веры. Он совратил сперва одного попа, по имени Денис, потом последний привел к нему другого попа, по имени Алексей, имевшего приход на Михайловской улице. Это были люди мыслящие и начитанные по тогдашнему времени. Они приняли иудейство. Семейства этих священников последовали их примеру. Увидевши, что пропаганда может идти успешно, Схария пригласил в Новгород еще двух иудеев: Шмойла Скарявого и Моисея Хапуша. Вслед за Денисом и Алексием обратились к новой ереси зять Алексея Иван Максимов, отец его поп Максим, зять Дениса Васька Сухой, софийский

---

<sup>44</sup> Быть может, эти представления зашли в древнюю Русь через влияние болгарской секты богумилов, составлявшей почти одно и то же с мессальянскою, а может быть, образовались и позже при всеобщем брожении умов. Тем не менее, однако, достойно замечания, что следы таких представлений, чисто в духе мессальянской или богумильской ереси, до сих пор существуют в народных суевериях на русском Севере. Таким образом, существует легенда о том, что Бог и дьявол творили человека: дьявол создал тело, а Бог вдунул в него душу; от этого человек плотью покусается угодить бесу, а духом стремится к Богу.

протопоп Гавриил и еще много других лиц духовных и светских. Новообращенные хотели было обрезаться, но их иудейские учителя велели держать иудейство втайне, а явно прикидываться христианами. Сделавши свое дело, иудеи исчезли бесследно: вероятно, они уехали из Новгорода. Когда Иван III был в Новгороде, то взял попов Дениса и Алексия к себе в Москву: как книжные люди, они вскоре заняли видные места: Алексий сделан протопопом Успенского собора, а Денис – Архангельского. Никто не мог подозревать в них и тени какого бы то ни было неправоверия.

Учение, проповеданное иудеями, имело чисто еврейские основания. Они учили отвергать Св. Троицу, божество Иисуса Христа и все церковные постановления: неизвестно только, передавали ли они новообращенным Талмуд и принадлежали ли сами к верующим в Талмуд, но зато учили астрологии и кабалистическим гаданиям: этим, вероятно, они в особенности и привлекали к себе. Но по отшествии иудеев, учение их в русской земле не могло сохраниться во всей своей старозаконной чистоте. Русские последователи смешали его с разными вольнодумными толками, и отсюда-то произошло явление, приводившее в недоумение многих ученых. Иосиф, игумен волоколамский, оставивший нам описание жидовствующей ереси, употребляет против нее такие обличения, которые скорее показывают заблуждения, несообразные с чистым иудейством, и заставляют предполагать или оттенки христианской секты, или чистый материализм. Таким образом, он обличает между ними таких, которые, опираясь на пример Иисуса Христа и апостолов, отвергали в принципе монашество и думали подкрепить свои мнения теми же текстами из апостола Павла (напр., посл. к Тимоф. IV, 1—3), которыми в XVI веке обыкновенно западные протестанты доказывали несообразность учреждения монашества с духом христианского учения. Для последователей иудейства не нужно было ссылаться на Павла, так как он им ни в каком отношении не мог быть авторитетом. Ясно, что Иосиф Волоцкий, ратуя против жидовствующих, поражал вместе с ними и другие существовавшие в его время еретические мнения. Согласно с этим и Геннадий жаловался, что в Новгороде, кроме «мудрствующих по-жидовски», есть еретики, держащие ереси маркианскую (отвергающую Троицу), мессальянскую, саддукейскую (отвергающую будущую жизнь) и др. Для ревнителя православия все эти ереси равным образом были ненавистны и достойны истребления.

Ознакомившись со своею епархиєю, и заметивши, что в ней гнездятся ереси, Геннадий деятельно принялся их отыскивать. Нелегко ему это было. Еретики вели себя хитро и распространяли свои лжеучения, пользуясь благоприятными обстоятельствами, а перед людьми, твердыми в православии, казались сами не только православными, но и свирепыми врагами ересей и щедро рассыпали на них проклятия; клясться и уверять в своем православии у них не считалось грехом. Зато при всяком случае они совращали слабого и потакали разным порокам, чтобы привлечь к себе. Главною целью их было проводить на священнические места своих единомышленников, и это удавалось им. Не только в городах, но и в селах были на священнослужительских местах заклятые еретики, и они завлекали мирян, несведущих в делах веры, прельщали их ласковым обращением и делали им всякого рода послабления, чтобы привлечь к себе. Согрешит ли кто и придет каяться, – такой поп прощает грешника, не страшит его вечными муками; напротив, иной успокаивал встревоженную совесть кающегося тем, что на том свете ничего не будет. Еретики выказывали себя глубокими книжниками и мудрецами; они хвалились, что у них есть такие священные книги, которые, при всеобщем невежестве, были незнакомы большинству: им легко было приводить из них места и давать произвольные толкования. Понятно, что с такими врагами предстояла трудная борьба, и не ранее, как в 1487 году Геннадию удалось попасть на явный след. Случилось, что еретики в пьяном виде стали болтать и упрекать друг друга. Дали знать об этом Геннадию; тот известил митрополита Геронтия и приступил к обыску. Один из попавшихся, поп Наум, открыл Геннадию все и принес ему псалмы, которые пели еретики в своих тайных собраниях по иудейскому способу. Геннадий отдал подозреваемых на поруки до окончания следствия и прислал митрополиту и великому князю свой первый обыск; он извещал, что трое еретиков: попы Григорий и Герасим и дьяк Самсон

обличаются, по показаниям духовных и светских лиц, в том, что хвалили жидовскую веру, хулили Сына Божия и Пречистую Богородицу и всю православную веру, и ругались над иконами, а против четвертого, дьяка Гриди, находится одно только свидетельство попа Наума. Между тем четверо из отданных на поруки бежали в Москву. Геннадий еще не подозревал, что в самой Москве ересь уже пустила корни, Денис и Алексей совратили в Москве любимца великокняжеского, дьяка Феодора Курицына, архимандрита Симоновского монастыря Зосиму, крестовых дьяков Истоуму и Сверчка и других лиц. Эти лица действовали на великого князя и на митрополита, вероятно, представляли им, что Геннадий преувеличивает дело, и новгородский архиепископ долго не получал из Москвы никакого ответа. Это заставило Геннадия усиленно добиваться от великого князя и митрополита приказания преследовать еретиков. Геннадий хлопотал через епископов, находившихся в Москве. Он писал сначала к сарскому (сарайскому) епископу (носившему этот титул и жившему постоянно в Москве на Крутицах), а потом к епископам суздальскому и пермскому; указывал, что в Москве послабляют еретикам, а между тем в Новгороде они становятся отважнее и ругаются над святынею: привязывают к воронам и воронам деревянные и медные крестики: «вороны и вороны садятся на стерво и на кал и крестом по нем волочат». Настойчивость Геннадия привела, наконец, к тому, что великий князь приказал созвать собор, и на соборе постановили троих обвиненных предать торговой казни в Москве, а потом послать к Геннадию на покаяние; если же они не покаются, то отослать их к наместникам великого князя в Новгород для «градской» казни. Кроме того, Геннадию поручалось делать дальнейший обыск, и тех, которые окажутся виновными, предавать наместникам для «градской» казни. Такому же обыску подлежал и дьяк Гридя. Соображаясь с этим решением собора, Геннадий продолжал обыск (следствие) и хватал подозрительных. Те, которые приносили покаяние и сами на себя писали признание, подвергаемы были церковной эпитимии; Геннадий оставил их на свободе, запретивши им только ходить в церковь, а нераскаявшихся и продолжавших хвалить жидовскую веру отсылал к наместникам для предания их торговой казни. Но все те, которые принесли пред ним притворное покаяние, бежали потом в Москву и там не только жили на свободе, но и распространяли ересь. Духовные лица, которых Геннадий уже считал несомненно еретиками, совершали в Москве богослужение; поп Денис, взятый Иваном в Москву вместе с Алексием, дошел до крайней дерзости, и если верить известию, сообщаемому Геннадием, во время богослужения плясал за престолом и ругался над крестом. Сильно возмущала Геннадия безнаказанность еретиков, да и последние более всего ненавидели новгородского владыку. Но особенным врагом Геннадия был чернец Захар. Был он прежде на новгородской земле в монастыре, называемом Немчинов. Однажды явились к Геннадию чернецы этого монастыря и донесли ему, что чернец Захар сманил их к себе в монастырь от князя Феодора Бельского, у которого они служили в детях боярских, и вот уже три гола не допускает их до святого причащения, да и сам не причащается. Геннадий призвал к себе Захара и спрашивал: точно ли правда то, что говорят чернецы. «Грешен есмь, владыка», – сказал Захар. Геннадий стал его укорять и наставлять, а Захар сказал: «Да у кого причащаться-то? Ведь все попы, и владыки, и митрополиты по мзде поставлены!» «Как! И митрополит?» – спросил Геннадий. Захар отвечал: «Прежде митрополиты ходили в Цареград к патриарху за посвящением и патриарху деньги давали, а теперь митрополиты дают боярам тайно посулы: и владыки митрополиту дают деньги». Геннадий за такие отзывы признал Захара стригольником и сослал его в пустынь на Горнечно, но вскоре после того он получил от великого князя грамоту о том, чтобы наказать Захара и отпустить в его монастырь. Геннадий опять призвал Захара и взял с него запись в том, что он вперед будет причащаться Св. Тайн и изберет себе духовного отца. Захар, давши такую запись, ушел в Москву и не только остался там цел и невредим, но водился со знатными людьми и был в состоянии вредить самому Геннадию. Он обвинял его самого в ереси и рассылал в Новгород и в другие места письма, в которых старался всякими способами очернить новгородского владыку. Этот Захар был, вероятно, человек знатного происхождения и с большими связями. Немчинов монастырь, в котором он

жил, был, вероятно, его собственностью, и этим объясняется: почему он, не будучи сам в священническом сане, начальствовал над монахами.

В 1489 году скончался митрополит Геронтий, человек несомненно православный по своим убеждениям, но дававший потачку еретикам: быть может, ненавидя Геннадия, он неохотно принимался за дело, поднятое последним, и не доверял справедливости всего, что выставлял новгородский владыка. Еретики до того взяли верх при дворе Ивана Васильевича, что своим ходатайством могли доставить митрополичью кафедру такому лицу, какое им было нужно. Протопоп Алексей, взятый Иваном Васильевичем из Новгорода в Москву, скончался. Незадолго до своей смерти он указывал на архимандрита Симоновского монастыря Зосиму, как на самого достойного быть преемником Геронтия. Великий князь очень любил Алексея и поддавался его внушениям. В сентябре 1490 года состоялся выбор: духовные власти избрали митрополитом Зосиму, зная, что этого хочет «державный», как они величали великого князя. Геннадия не пригласили на собор: он хотел ехать, но великий князь приказал ему оставаться на месте: от него потребовали только письменного согласия, так называемой «повольной» грамоты. Геннадий не противился выбору Зосимы, потому что еще не имел ничего сказать против него, но сильно оскорбился тем, что его не пустили лично присутствовать на выборе.

Как только Зосима уселся на митрополичьем столе, тотчас потребовал от Геннадия исповедания веры. Это значило, что Геннадия подозревают в неправоверии. Геннадий ясно видел, что к нему придираются, что враги составляют против него козни: враги эти – еретики, и главным из них считал он Захара, – и новгородский владыка усилил против них свою ревность. Геннадий не послал Зосиме исповедания, объяснивши, что он уже дал его, по обычаю, при своем поставлении в архиерейский сан, а со своей стороны настоятельно требовал приняться немедленно за строжайший обыск над еретиками и казнить их без милосердия. Геннадий напоминал митрополиту, что он обязан настаивать перед великим князем на преследовании еретиков: «Если великий князь того не обыщет и не казнит этих людей, то как нам тогда свести срам с своей земли! Вон фряги какую крепость держат по своей вере; сказывал мне цезарский посол про шпанского короля, как он свою землю-то очистил!» Геннадий указывал на государева дьяка и любимца Феодора Курицына, как на корень всего зла: «От него вся беда стала; он отъявленный еретик и заступник еретиков перед государем». Геннадий этим не ограничивался: он смело обличал распоряжения самого великого князя, касающиеся церкви. По поводу перестроек в Москве были разобраны ветхие церкви и перенесены на другие места; кости мертвых свезены были на Дорогомилово, а на месте церковной ограды, служившей для погребения, разведен был сад. Этот поступок Геннадий называл «бедою земскою» и «нечестью государскою» и сообщал свои рассуждения, очень любопытные как образчик умствований того времени. «Кости мертвых, – писал Геннадий, – вынесены, а тела остались на прежнем месте, рассыпавшись в прах: и на них сад посажен: а Моисей во Второзаконии не велел садить садов и деревьев подле требника Господа Бога. Гробокопателям какова казнь писана: а ведь это оттого, что будет воскресенье мертвых; не велено мертвых с места двигать, опричь тех великих святых, коих Бог чудесами прославил. Где столько лет стояли Божьи церкви, где стоял престол и жертвенник, – эти места не огорожены: собаки ходят по ним и всякий скот!..» Зосима требовал от Геннадия согласия на поставление коломенского владыки, но не сообщал ему имени того, кто будет этим владыкою. Геннадий догадывался, что могут на это место посадить такое лицо, которое станет мирволить еретикам, и наотрез отказал. «Не управивши дела еретического, писал он, нельзя ставить владыку; не из иной земли добывать нам человека на владычество, а тутошним нашим нужно обыск учинить и тем, что с еретиками служили или с ними были в общении, назначить разные эпитимии, кому отлучение, а кому до конца извержение».

Настойчивые требования Геннадия, обращаемые к митрополиту, могли остаться без внимания, так как и прежде того Геннадий не раз уже писал в Москву, присылал разные доносы и улики на еретиков, а им в Москве не давали ходу: очевидно, люди,

принадлежавшие к ереси и приближенные к государю, представляли Геннадия вздорным, беспокойным человеком. Но Геннадий, защищая православие, защищал разом и самого себя от подкопа, который вели против него враги. Вслед за письмом к митрополиту разразился он посланием, обращенным к русским архиереям: ростовскому, суздальскому, тверскому и пермскому; он убеждал их всех не соглашаться на поставление коломенского владыки, требовать немедленного созыва собора и суда над еретиками, и притом суда самого строгого. По мнению Геннадия, современных ему еретиков следовало наказывать строже, чем наказывали проклятием прежних еретиков на соборах. «От явного еретика человек бережется, – писал он, – а от сих еретиков как уберечься, если они зовутся христианами. Человеку разумному они не объявятся, а глупого как раз съедят!» Геннадий давал своим товарищам владыкам совет ни под каким видом не допускать на предстоящем соборе прений о вере. «Люди у нас просты, – писал он, – не умеют по обычным книгам говорить, так лучше о вере никаких речей не плодить, только для того и собор учинить, чтобы еретиков казнить, жечь и вешать. Они, еретики, взяли у меня было покаяние и эпитимию, а потом убежали: надобно их пытать накрепко, чтоб дознаться: кого они прельстили, чтобы искоренить их совсем и отрасли их не оставить». Уликами для еретиков должны были служить показания, отобранные Геннадием под пытку у тех, которых прежде выслали к нему из Москвы. Уже он посылал эти показания в Москву, но им не верили, говорили, что они вынуждены были муками; и на это недоверие горько жаловался Геннадий архиереям. «При допросе, – писал он, – был я, святитель, двое бояр великого князя, да мой боярин, да опричь того несколько детей боярских, да игумены и священники, и все-таки тому не верят, да еще и на меня солжю. Говорят, что я Самсонка мучил; не я его мучил, а сын боярский великого князя; мои сторожи только стояли, чтоб кто-нибудь посула не взял. Самсонко объявил, как он бывал у Федора Курицына, как приходили к нему Алексей протопоп, да Истома, да Сверчок, да Ивашка Черный, что книги пишет, и ругались над православием. Как бы тот смерд Самсонко знал, что у Курицына делается, если бы к Курицыну не ходил? Вот он знает, что у Курицына живет венгерец Мартынка, что из угорской земли с ним приехал: почем бы Самсонко знал это, если бы не был вхож в дом к Курицыну?» Геннадий убеждал архиереев стараться, чтобы великий князь непременно послал за новгородским архиепископом, и убеждал их без него не начинать никакого дела.

В показаниях Самсонка и других были признания в том, что еретики изрекали хулу на Христа, Пречистую Богородицу и всех Святых, ругались над иконами и над другими священными вещами. Сам Самсонко сознавался, что он с попом Наумом расщепляли святые иконы, а Наум, проходя мимо иконы Богородицы, показал ей кукиш. Другой еретик, Алексей Костев, вытащивши из часовни икону Успения, бросил на землю и начал поливать скверною водою. Третий, Юрка, бросил икону в лохань. Иные спали на иконах, другие мылись на них. Макар дьяк, который ел в пост мясо, плевал на икону, а Самсонко вырезывал из просфор кресты и бросал кошкам и собакам и пр.

Геннадиево послание оказало немедленное действие. Зосима не хотел собирать собора, но не мог противиться общему требованию архиереев и большинства духовенства, которое единогласно домогалось суда над еретиками. Собор открылся 17-го октября. Геннадия опять не пригласили, и архиереи решились приступить к делу без Геннадия, хотя он просил их добиваться, чтоб его непременно пригласили на собор. Кроме архиереев здесь было несколько монастырских настоятелей, священников и старцев, и между ними знаменитый в свое время Нил Сорский. До нас, к сожалению, не дошли подробные известия о ходе дел на этом соборе; мы знаем только его приговор. Основываясь на показаниях, присланных Геннадием, и на некоторых свидетельствах, собранных в Москве, собор обвинил новгородского протопопа Гавриила, священников: Дениса, Максима (ивановского), Василия (покровского), дьякона Макара, зятя Денисова Васюка, чернеца Захара и дьяков Гридю и Самсона в том, что они не поклонялись иконам, ругались над ними, называя их, зауряд с идолами, делами рук человеческих, признавали тело и кровь Христову простым хлебом и вином с водою. Уличили ли их при этом в прямом «жидовстве» – мы не знаем. Еретики



упорно отпирались от обвинений, а в том, в чем нельзя было отпереться, калялись и просили прощения. Собор лишил их духовного сана, предал проклятию и осудил на заточение. Некоторых из них – неизвестно кого именно, но, вероятно, тех, которые были из Новгорода, – отправили к Геннадию в Новгород. Архиепископ приказал встретить их за 40 верст от города, надеть на них вывороченную одежду, посадить на вьючных лошадей лицом к хвосту, в берестовых шлемах с мочальными кистями, в соломенных венцах с надписью: се есть сатанино воинство. В таком виде ввезли их в город. Со связанными руками, они сидели, обращенные лицом на запад, по выражению Иосифа Волоцкого, смотря в ту сторону, где их ожидал вечный огонь. Владыка велел народу плевать на них, ругаться над ними и кричать: вот враги Божии, хулители христианские! После такого обряда на головах их зажжены были берестовые шлемы. По известию Иосифа, Денис скоро умер, за месяц перед смертью лишившись рассудка. Подобная участь постигла и Захара.

Но для искоренения еретического духа этим еще сделано было немного. Соборное осуждение постигло указанных нами лиц собственно не за жидовскую или какую-нибудь определенную ересь, а за противные церкви поступки и выражения, которые могли одинаково быть последствием разных заблуждений и даже просто беспутной жизни и пьянства. Важные еретики оставались без преследования и жили в Москве, пользуясь покровительством властей. Таковы были Федор Курицын, брат его Волк, Сверчок, Семен Кленов, Максимов и другие. Иван Максимов нашел возможность совратить в ересь невестку великого князя вдову Елену. Распространению всякого рода безверия, а тем самым и всяких еретических толкований, способствовало то обстоятельство, что в это время окончилась седьмая тысяча лет, считаемая от сотворения мира. Уже долгое время было в ходу верование, не только на Руси, но и на православном Востоке, что миру должно существовать только 7000 лет. Верование это чрезвычайно древнее и исходит еще от первых веков христианства: один из ранних отцов церкви, Иринея, конца II века писал, что во сколько дней создан мир, через столько тысяч лет последует его конец: с тех еще пор это мнение повторялось многими и в различных видах. Сообразно с этим мнением, пасхалия, которою руководствовались для преходящих праздников, составлена была на 7000 лет, и русские сроднились с мыслью, что конец пасхалии согласуется с концом мира. Но пасхалия была на исходе, конец мира не приходил, и надобно было составлять дальнейшую пасхалию. Митрополит Зосима изложил пасхалию только на следующие двадцать лет, но в то же время поручил Геннадию, приехавшему для того в Москву, составить свою пасхалию, чтобы согласие между тою и другою послужило мерилем истины. Геннадий написал пасхалию на семьдесят лет. Она оказалась дословно сходною в тех годах, на которые составил пасхалию Зосима, и Геннадиева пасхалия была разослана по всей Руси с предисловием, где объяснялся процесс составления пасхалии и проводилась мысль, что нельзя человеку знать времени кончины мира. «Мы написали это для простых людей, говорит Геннадий, думающих о скончании мира; пугаться его не должно, а следует ждать пришествия Христова во всякое время, потому что оно никому не ведомо, как установлено. Как седьмая тысяча изошла и пасхалия рядовая окончилась, а тут еще кто-то написал: вот будет страх, скорбь как при распятии Христовом; вот последний год, кончина явится, ожидаем всемирного пришествия Христова; и сделалась тревога не только между простыми, но и не простыми, и многих взяло сомнение. Вот мы и написали это в обхождение временам, поставили круги солнечные и лунные и „рукам числа“: по чем можно знать и лунное течение, и пасху, и мясопусты и все праздники».

Но составление пасхалии не отняло у еретиков возможности пользоваться для своих целей исходом семитысячных годов. «Как же это, – говорили они, – апостолы написали, что Христос родился в последнее лето, а вот уже 1500 лет проходит по Рождестве Христове, миру же все конца нет, стало быть, апостолы неправду писали. Говорили, что Христос скоро придет, а его все нет! Ефрем Сирийский давно уже написал: пророчества и писания скончались и ничего не осталось дожидаться, кроме второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Но вот уже 1100 лет прошло с тех пор, как писал Ефрем Сирийский, а второго пришествия все

нет!» Такие замечания вызывали со стороны православных необходимость опровергать их и вдаваться в объяснения как Священного Писания, так и Св. отцов. Геннадий опровергал эти замечания, ходившие в то время в народе, и, кроме книг, признаваемых церковью, ссылался даже на апокрифические или отреченные сочинения, которые были тогда в большом ходу между духовными, не всегда умевшими отличать их от канонических. Страсть к религиозным рассуждениям все более и более усиливалась. Иные, не завлекая людей ни в жидовство, ни в какую-либо другую определенную ересь, возбуждали только в народе сомнение в вере; толковали по-своему места Св. Писания и сочинений Св. отцов и говорили, что в искусстве наблюдать течение звезд и по ним отгадывать судьбу человеческую можно найти более мудрости, нежели в писаниях, признаваемых церковью, которые оказываются ложными, так как их пророчества о скончании мира и втором пришествии Христа не сбылись. Митрополит Зосима явно показывал вид, что защищает православие, а на самом деле был опорой для еретиков.

Это был человек, преданный обжорству, пьянству, всяким чувственным удовольствиям, и потому склонный к безверию и материализму. В те минуты, когда вино делало его откровенным, он высказывал самые соблазнительные мнения: что Христос сам себя назвал Богом, что евангельские, апостольские и церковные уставы и предания – все вздор; иконы и кресты, все равно что болваны. «Что такое царство небесное, что такое второе пришествие, что такое воскресение мертвых? – говорил он. – Ничего этого нет: кто умер, тот умер, и только; дотоле и был, пока жил на свете». Его причисляли также к последователям жидовства, но едва ли было так на самом деле: отрицание будущей жизни несогласимо было с общепринятыми иудейскими верованиями, и, кажется, Зосима не принадлежал ни к какой ереси, а просто ничему не верил, потому что ни о чем не заботился, кроме чувственных удовольствий. От этого он готов был смотреть сквозь пальцы на всякую ересь и говорил: не следует наказывать еретиков и отыскивать их. В том же духе говорили не только сами еретики, но и православные, побуждаемые добродушием: «Зачем осуждать и истязать еретиков и отступников; Господь сказал: не судите, да не судимы будете; и Св. Иоанн Златоуст говорит: не следует никого ненавидеть и осуждать, ни неверного, ни еретика, а тем более не убивать их, – если же надобно судить их и казнить, то пусть судят их цари, князья и земские судьи, а не иноки и не простые люди; притом же еретик и отступник только тот, кто сам исповедал свою ересь и отступление, а доискиваться: нет ли в ком ереси, и предавать человека пытке из-за этого – не следует». Такие рассуждения направлены были против доносчиков и соглядатаев; хотя и не отымалось у верховной мирской власти право судить еретиков, но отымалась возможность их отыскивать и предавать светскому суду, если они сами будут осторожны. Против таких-то мнений вооружались в то время строгие ревнители православия, и главным из них был неутомимый Геннадий. Он, напротив, доказывал, что не только следует всеми возможными средствами отыскивать еретиков, но даже не верить их покаянию, когда оно приносится поневоле обличенными в ереси. Геннадий требовал, чтобы их жгли и вешали. Тогда вопрос о том, как относиться к еретикам, занимал умы. Геннадий придавал ему огромную важность и для противодействия своим противникам нашел себе деятельного и энергического товарища в игумене волоколамского монастыря Иосифе. Он был сын землевладельца близ Волоколамска, по прозвищу Санина, и происходил из крайне благочестивой семьи. Его дед и бабка, отец и мать окончили жизнь в монашестве. Его все братья были монахами, а двое из них епископами. Сам Иосиф в молодости постригся в Боровском монастыре у знаменитого и уважаемого за свою святую жизнь игумена Пафнутия, а впоследствии, еще при жизни последнего, сделался его преемником. Он хотел ввести в монастыре чрезвычайную строгость, но вооружил против себя всю братию, и потому удалился из Боровска, скитался около года по разным монастырям, наконец, основал собственный монастырь на своей родине, близ Волоколамска. Великий князь лично знал его и уважал за строгое постничество и необыкновенную по тому времени ученость. С Иосифом сошелся Геннадий, знакомый с ним еще прежде и пожертвовавший в волоколамский монастырь свое село Мечевское.

Зосима недолго мог скрываться. Ревнители благочестия скоро разгадали его, соблазнились его поведением, его двусмысленными выходками, о которых слух расходился в народе, и стали обличать его. Митрополит, прежде проповедовавший милость ко всем, теперь сам стал жаловаться великому князю на своих врагов, и великий князь подверг некоторых заточению; но в 1493 году смело и решительно поднялся против Зосимы Иосиф Волоцкий, написавший в самых резких выражениях послание к суздальскому епископу Нифонту, призывая его со всеми товарищами, русскими иерархами, стать за православную веру против отступника митрополита. «В великой церкви Пречистой Богородицы, на престоле Св. Петра и Алексия, – писал он, – сидит скверный, злобесный волк в пастырской одежде, Иуда Предатель, бесам причастник, злодей, какого не было между древними еретиками и отступниками». Затем, изобразивши развратное поведение митрополита и упомянувши о соблазнительных речах, которые он произносил в кругу приближенных, Иосиф убеждал всех русских иерархов свергнуть отступника и спасти церковь. «Если не искоренится этот второй Иуда, – писал он, – то мало-помалу отступничество утвердится и овладеет всеми людьми. Как ученик учителя, как раб государя, молю тебя: поучай все православное христианство, чтоб не приходили к этому скверному отступнику за благословением, не ели и не пили с ним». Это послание, вероятно, написанное заодно с Геннадием, произвело свое действие. В 1494 году митрополит, увидевши, что вся церковь против него вооружается, добровольно отказался от митрополии, всенародно положил свой омофор на престол в Успенском соборе, объявил, что по немощи не может быть митрополитом, и удалился сначала в Симонов, а потом в Троицкий монастырь. Великий князь не стал его преследовать, быть может, потому, что считал его только пьяницей, но человеком, безвредным для веры по удалении своем от управления делами церкви. Не ранее, как на следующий год, в сентябре следующего года, избран был новый митрополит Симон, бывший игуменом Троицко-Сергиевого монастыря. Геннадий и на этот раз не участвовал в поставлении нового митрополита. Достоин замечания, как вел себя великий князь в этом случае: предшествовавшие события показали ему, что церковь, так сильно содействовавшая усилению верховной мирской власти, способна была, однако, заявлять свою независимость против этой власти. Мысль эта уже тяготила Ивана, и этим-то, должно быть, пользовались приближенные к нему еретики, отклоняя его от слишком ревностного преследования вольнодумцев. Иван был отчасти доволен: охлаждение к духовенству, распространявшееся в народе, могло содействовать видам Ивана. Во-первых, он видел в этом средство поставить свою власть выше всякого противодействия со стороны представителей церкви; во-вторых – возможность осуществить со временем свое тайное желание овладеть церковными имуществами, желание, которое уже давно он выказал своими поступками, отнявши у новгородского владыки и у новгородских монастырей значительную часть их имений: в дополнение к прежнему, он в последнее время запретил Геннадию приобретать куплею новые земли. Чтобы приучать русских к мысли о первенстве государя над церковью, после наречения Симона митрополитом, Иван в Успенском соборе всенародно взял нового митрополита за руку и «предал его епископам», знаменуя тем, что соизволение государя дает церкви первопрестольника. Подобное повторилось и при посвящении: государь громогласно «повелел» митрополиту «принять жезл пастырства и взойти на седалище старейшинства». Это был новый, невиданный до сих пор обряд, имевший тот ясный смысл, что поставление митрополита, а тем самым и всех духовных властей, исходит от воли государя.

При таком настроении Ивана Васильевича, еретикам удобно было подделываться к нему и пользоваться его покровительством, уверяя, что все обвинения в ереси есть не что иное, как следствие изуверства духовных. Иван Васильевич давно уже не любил Геннадия; Иосифа Волоцкого он уважал, но когда последний начал докучать ему просьбами об отыскании и преследовании еретиков, государь и ему велел замолчать. Еретическое направление в особенности укрепилось тогда, когда государь охладил к своему сыну Василию и оказывал расположение к своей невестке и ее сыну. В это время Курицын вместе со своим братом Волком, назло ненавистному Геннадию, упростили государя послать в

Юрьевский новгородский монастырь архимандритом своего единомышленника Кассиана. В Новгороде, благодаря Геннадию, ереси совершенно было замолкли: теперь, после прибытия Кассиана, Юрьев монастырь сделался средоточием всякого рода отступников от церкви. Там происходили еретические совещания и совершались поругания над священными предметами, и Геннадий не в силах был преследовать их. Московские еретики, а вместе с ними и бояре Патрикеевы, благоприятели Елены и ее сына, подстрекали великого князя присвоить себе церковное имущество, что было очень по душе Ивану Васильевичу, и государь начал с имений новгородского владыки: он отнял у Геннадия часть архиепископских земель и отдал своим детям боярским.

Между тем Геннадий, ведя неутомимую войну против еретиков, первый понял, что православию нельзя бороться с ересями только теми средствами насилия, какие до сих пор употреблялись. В ереси уходило из православия то, что по умственному развитию стояло выше общего уровня; еретики были все люди начитанные и книжные. Глубокое невежество господствовало между духовенством. Во всяком свободном споре еретика с православным первый всегда мог взять верх. Геннадий понял это и требовал заведения училищ. Несколько раз бил он об этом челом великому князю, просил ходатайствовать и митрополита Симона. В своем любопытном послании к митрополиту Геннадий изложил тогдашнее состояние просвещения духовенства. «Вот, – пишет он, – приведут ко мне мужика на посвящение: я ему дам читать апостол, а он и ступить не умеет; я ему дам псалтырь, он и тут едва бредет. Я его прогоню, а на меня за это жалуются. Земля, говорят, такова; не можем достать человека, который бы грамоте умел: всю землю, видишь ты, излял, нет человека на земле, кого бы избрать на поповство. Бьют мне челом: пожалуй, господин, вели учить! Я прикажу ему учить ектеньи, а он и к слову не может пристать. Ты говоришь ему то, а он тебе иное. Велю я ему учиться азбуке, а он поучится мало азбуке, да просится прочь. Не хотят учиться азбуке, а иные учатся, да не от усердия, и долго дело идет. Меня бранят за их нерадение, а моей силы нет. Вот я и бью челом государю, чтоб велел училище устроить, чтоб его разумом и грозою, а твоим благословением это дело исправилось. Попечалуйся, господин отец, перед государями нашими великими князьями, чтоб велели училища устроить. Мой совет таков, чтоб учить в училище сперва азбуку с истолкованием, потом псалтырь со следованием хорошенько, чтобы потом могли читать всякие книги; а то мужики невежды ребят учат, только портят; первое, выучат его вечерне; за это мастеру принесут кашу и гривну денег, потом заутреню – за это еще поболее; а за часы особенно; да кроме того магарыч, как рядятся. А от мастера отойдет – ничего не умеет, только по книге бредет! Такое нерадение в землю вошло; а как пошлют, что государь укажет учить все, что выше писано, и сколько за это брать, так и учащимся будет легко, и никто не посмеет отговариваться, и с усердием примутся за учение...» Мы не знаем, в какой степени приняты были эти советы.

Вместе с тем Геннадий видел необходимость распространения Св. Писания. До этих пор книги Ветхого Завета составляли редкость. Геннадий собрал разные части Ветхого Завета, существовавшие в древних переводах, и присовокупил к ним новые переводы других частей. Таким образом, кроме внесенных в его свод книг древних переводов, переведены были вновь с латинской Vulgata две книги Паралипоменон, три книги Эздры, Неэмии, Товита, Иудифь, Соломонова Премудрость, Притчи, Маккавейские книги; четыре книги Царств носят на себе следы нового перевода с греческого, а книга Есфири прямо переведена с еврейского. Равным образом, в древних переводах, где были пропуски, встречаются новые переводы. Главными сотрудниками Геннадия в этом деле были: переводчик великого князя Димитрий Герасимов и доминиканец, принявший православие, по имени Веньямин. Библия эта носит на себе сильный отпечаток влияния латинского текста. Несмотря на недостатки этого перевода, Геннадий совершил очень важный подвиг в деле умственного развития на Руси, так как во всех христианских странах переводы священного писания на язык страны и распространение его имели более или менее важное влияние на дальнейший ход умственной деятельности. Хотя, при малограмотности русского народа, священное писание очень долго еще оставалось достоянием немногих, но эти немногие, после Геннадия, имели возможность

познакомиться со Священным Писанием в его целом объеме, приобретали сравнительно большую широту и правильность взгляда на отвлеченные предметы и получали средства к возбуждению работы мысли.

Торжество еретиков было недолговременно. В 1499 году опала поразила Патрикеевых и их партию; Иван охладил к невестке и внуку, примирился с Софьей и с Василием; это делалось медленно, и не прежде как в апреле 1502 года дело приняло решительный оборот: Елена с сыном были посажены в темницу: Василий объявлен государем всея Руси; в Елене потеряли еретики свою важнейшую опору. Но настроение, сообщенное Ивану еретиками в прежнее время, все еще оставалось в нем и после того. Еретики первые возбуждали Ивана против духовенства, нападали на разные злоупотребления, на соблазнительное поведение духовных, в особенности выставляли на вид старинные обвинения, поднятые стригольниками обвинения в том, что духовные поставляются за деньги, «по мзде». Во многом нападки еретиков невольно сходились с требованиями самой противоположной для них стороны, требованиями ревностных православных, желавших улучшения нравственности духовенства. В 1503 году состоялся собор под председательством митрополита Симона. На нем были русские епископы и в числе их Геннадий, затем многие архимандриты и игумены, и между ними знаменитые в свое время лица: Иосиф Волоцкий, Нил Сорский, Паисий и Ярослав игумен троицкий. Этот собор сделал постановление, отсекавшее, по-видимому, у вольнодумцев исходный пункт нападков на духовенство: собор запретил брать какие бы то ни было пошлины от поставлений на священнослужительские места. «И от сего дня вперед, – сказано в соборном определении, – кто из нас или после нас во всех землях русских дерзнет преступить это уложение и взять что-нибудь от поставления или от священнического места, тот будет лишен своего сана по правилам Св. апостолов и Св. отец: да извержется и сам, и тот, кого он поставил, без всякого ответа». Для избежания наперед укора в безнравственности, падавшего на духовенство, собор подтвердил уже прежде бывшие распоряжения русских митрополитов о том, чтобы чернецы и черницы не жили вместе в одном монастыре, а овдовевшие священники и дьяконы лишались права священнослужения: из них тем, которые, после смерти жен, вели себя целомудренно, давалось право причащаться в алтаре в епитрахиях и стихарях, а те, которые обличались в держании наложниц, записывались в разряд мирских людей с обязанностью отпустить от себя наложниц, в противном случае предавались гражданскому суду. Чтобы священнослужительские должности не доставались людям слишком молодым, собор постановил, чтобы в священники поставлять не ранее 30 лет от роду, а в дьяконы не ранее 25. Это строгое распоряжение относительно вдовцов вызвало энергический протест со стороны одного вдового священника города Ростова, Георгия Скрипицы, замечательный памятник современной литературы.<sup>45</sup> При окончании этого собора Нил Сорский поднял вопрос об отобрании имений у монастырей, о чем мы будем говорить в биографии последнего.

Лицо, которое первое подверглось строгости постановления соборного о бесплатном поставлении священников, был архиепископ Геннадий. Едва он прибыл в Новгород, как его обвинили в том, что он брал «мзду» со священников еще в большем размере, чем прежде. Это сделалось по совету Геннадиева любимца, дьяка Михаила Алексева. Великий князь и

---

<sup>45</sup> «Господа мои, вы знаете божественное писание и знать вам его подобает, но странно, что вы, зная, не хотите знать. Господь сказал: „Осуждайте без лицепрятия, судите праведно»; а вы, господа, всех иереев и дьяконов без испытания осудили: у какого попа есть жена, тот чист, у которого нет, тот нечист; а у чернеца нет жены, тот все-таки чист. Что же, господа, вы духом прозрели, кто чист, кто нечист? Как вы это испытали: свят ли поп с женой, или без жены? Чернец свят или белец? Как вы можете знать человека без свидетелей? Ваше дело, господа, обличать явные грехи, а тайным грехам Бог судья. Чернецам попам можно служить в городах и селах, а вдовцам попам, хотя бы чистым, не следует служить и в пустынях, не только в городах; если у попа жена есть, он достоин служить: стало быть, он освящается женой! Кто не подивится, кто не посмеется вашему собору и в других землях. Если бы вы одного человека неповинно осудили, так и тогда дали бы ответ Богу в день судный, а вы всех иереев Божьих без свидетелей признали нечистыми...»

митрополит произвели обыск и свели Геннадия в Москву. Вероятно, во избежание соблазнительного суда над Геннадием, ему позволили или велели подать от себя митрополиту «отреченную грамоту» (в июне 1504 года). В ней он отказывался от управления, как будто по причине немощи. Дело это остается для нас темным. Геннадий имел столько врагов, что взводимое на него обвинение могло быть несправедливым или, по крайней мере, преувеличенным. Геннадий поселился в Чудовом монастыре, где и умер через полтора года (в декабре 1505).

В то время, когда уже Геннадий доживал свой век в уединении, дело, начатое им, доканчивал друг его Иосиф Волоцкий. После собора, будучи в Москве, он виделся с Иваном Васильевичем наедине и до того подействовал на него своими речами, что великий князь стал говорить откровенно:

«Прости меня, отче, как митрополит и владыки простили. Я знал про новгородских еретиков». «Мне ли тебя прощать?» – сказал Иосиф. «Нет, отче, пожалуй, прости меня».

«Государь, – сказал ему на это Иосиф, – если ты подвигнешься на нынешних еретиков, то и за прежних Бог тебе простит».

Через несколько времени государь опять призвал к себе Иосифа и стал говорить о том же. Видно, что религиозная совесть Ивана Васильевича была возмущена:

«Митрополит и владыки простили меня», – сказал Иосифу государь.

«Государь и великий князь, – возразил Иосиф, – в этом прощении нет тебе пользы, если ты на словах просишь прощения, а делом не ревнуешь о православной вере. Пошли в Великий Новгород и в другие города, да вели обыскать еретиков».

«Этому быть пригоже, – сказал Иван Васильевич, – а я знал про их ересь».

Иван Васильевич рассказал при этом Иосифу, какой ереси держался протопоп Алексей и какой – Федор Курицын. «У меня, – говорил великий князь, – Иван Максимов и сноху мою в жидовство свел». Тут открылось Иосифу, что Ивану давно уже было известно, как еретики хулили Сына Божия, Пресвятую Богородицу и святых, как жгли, рассекали топором, кусали зубами и бросали в нечистые места иконы и кресты. «Теперь, – говорил Иван, – я непременно пошлю по всем городам обыскать еретиков и искоренить ересь».

Но после данного обещания Иван долго ничего не делал, и снова, призвавши к себе Иосифа обедать, спросил: «Как писано: нет ли греха еретиков казнить?»

На это Иосиф сказал, что у апостола Павла в послании к евреям написано: «Кто отвергнется Моисеева закона, тот при двух свидетелях умрет. Кольми паче тот, кто попирает Сына Божия и укоряет благодать Святого Духа!» Иван замолчал и не велел Иосифу более говорить об этом.

Из этого можно заключить, что Иван отчасти сам подпадал влиянию еретиков и склонялся к ереси, а потом, хотя и раскаивался, но все еще колебался. Лета брали свое. Иван слабел здоровьем и приближался к гробу. Страх замогильной жизни побуждал его искать примирения своей души с церковью; но в нем еще боролись прежние еретические внушения, нашедшие к нему доступ, потому что были согласны с его практической натурой. Вероятно, их поддерживали и православные, предпочитавшие кроткие меры жестоким. Иосиф действовал на Ивана через его духовника, андрониковского архимандрита Митрофана. «Я много раз, – писал к нему Иосиф, – бил челом государю, чтобы послал по городам обыскивать еретиков. Великий князь говорил: пошлю, сейчас пошлю! Но вот уже от велика дня другой год наступает, а он все не посылал. Еретики же по всем городам умножились, и православное христианство гибнет от их ереси!» Иосиф представлял Митрофану множество примеров из византийской истории, когда православные императоры мучили и убивали еретиков, и убеждал доказать великому князю, что нет греха мучить их. «Стоит только схватить двух-трех еретиков, – замечал он, – и они обо всех скажут». Но против Иосифа ополчалась и православная партия, смотревшая на дело иначе. Ее главой был преподобный Нил Сорский. Его последователи, старцы Кирилло-Белозерского монастыря и вологодских монастырей, доказывали противное в своем послании к Иосифу. Они упрекали его в том, что он руководствуется примерами Ветхого Завета, а забывает Евангелие и христианское

милосердие. «Господь, – писали они, – не велел осуждать брату брата, а одному Богу надлежит судить человеческие согрешения; Господь сказал: не судите и не осуждены будете, и когда к нему привели жену, взятую в прелюбодеянии, тогда премилостивый судья сказал: кто не имеет греха, тот пусть на нее первый бросит камень; потом, преклонивши главу, Господь писал на земле прегрешения каждого и тем отвратил от нее убийственную жидовскую руку. Пусть же каждый примет от Бога по своим делам в день судный! Если ты, Иосиф, повелеваешь брату убивать согрешившего брата, то значит: ты держишься субботства и Ветхого Завета. Ты говоришь: Петр Апостол Симона волхва поразил молитвою: сотвори же сам, господин Иосиф, молитву, чтобы земля пожрала недостойных еретиков или грешников! Но не услышана будет от Бога молитва твоя, потому что Бог спас кающегося разбойника, очистил милостию мытаря, помиловал плачущую блудницу и назвал ее дочерью. Апостол написал, что готов получить анафему от Христа, т.е. быть проклятым, лишь бы братья его Израильтяне спаслись: видишь ли, господин, апостол душу свою полагает за соблазвившуюся братию, а не говорит, чтобы огонь их пожег или земля пожрала. Ты говоришь, что катанский епископ Лев связал епитрахилью волхва Лиодора и сжег при греческом царе. Зачем же, господин Иосиф, не испытываешь своей святости: свяжи архимандрита Кассиана своею мантиею, чтобы он сгорел, а ты бы его в пламени держал, а мы тебя извлечем из пламени, как единого от трех отроков!.. Петр апостол спрашивал Господа: можно ли прощать своего согрешившего брата семь раз на день? А Господь сказал: не только семь, но семью семьдесят раз прости его. Вот каково милосердие Божие!»

Несмотря на этот протест, настойчивость Иосифа и государева духовника Митрофана взяла верх. Иван Васильевич, долго колебавшись, в декабре 1504 года созвал собор и предал на его решение дело об ереси. Собор обвинил и предал проклятию нескольких уличенных еретиков. Иосиф настаивал, чтобы не обращали внимания на их раскаяние, потому что оно вынужденное, и требовал самой жестокой казни над наиболее виновными. Иван Васильевич не мог уже, если бы даже хотел, спасти их против воли всего собора, уступившего во всем убеждениям Иосифа. Дьяк Волк Курицын, Димитрий Коноплев и Иван Максимов были сожжены в клетках 28 декабря в Москве. Некрасу Рукавому отрезали язык и отправили в Новгород: там сожгли Рукавого, архимандрита Кассьяна, его брата и с ними многих других еретиков. Менее виновных отправили в заточение в тюрьмы, а еще менее виновных в монастыри. Но Иосиф вообще не одобрял отправления еретиков в монастыри. «Этим ты, государь, – говорил он, – творишь мирянам пользу, а инокам погибель». Впоследствии, когда в его монастырь прислан был еретик Семен Кленов, он роптал на это и доказывал, что не следует предавать покаянию еретиков, а надлежит их казнить. Спор с последователями Нила Сорского об обращении с еретиками продолжался долго после, даже и по смерти Иосифа, у его последователей, носивших на Руси название «Осифлян».

После казни, совершенной над еретиками в 1504 году, все они, как и их соумышленники и последователи, преданы были церковному проклятию. Спустя почти два столетия, в неделю православия предавались анафеме имена: Кассиана, Курицына, Рукавого, Коноплева и Максимова со «всеми их поборниками и соумышленниками». Со времени казней, совершенных в последнее время царствования Ивана, в официальных памятниках не упоминается более о жидовствующей ереси. Но она не была истреблена совершенно и продолжала существовать в народе из поколения в поколение, в ряду других уклонений от господствующей церкви: это ясно из того, что до сих пор существует в русском народе жидовствующая ересь, которой последователи признают себя преемниками новгородских еретиков.

## **Глава 15**

### **Московский государь великий князь Василий Иванович**

Историки называют царствование Василия продолжением Иванова. В самом деле, мало в истории примеров, когда бы царствование государя могло назваться продолжением

предшествовавшего в такой степени, как это. Василий Иванович шел во всем по пути, указанном его родителем, доканчивал то, на чем остановился предшественник, и продолжал то, что было начато последним. Самовластие шагнуло далее при Василии. Если при Иване именовались все «государевыми холопами», и приближенные раболепно сдерживали дыхание в его присутствии, то современники Василия, сравнивая сына с отцом, находили, что отец все-таки советовался с боярами и позволял иногда высказывать мнение, несогласное с его собственным, а сын (как выражался Берсень, один из его любимцев, подвергнувшийся опале), не любил против себя «встречи», был жесток и не милостив к людям, не советовался с боярами и старыми людьми, допускал к себе только дьяков, которых сам возвышал, приблизивши к себе, и которых во всякое время мог обратить в прежнее ничтожество. «Государь, – говорил Берсень, – запершись сам – третей, у постели все дела делает». Посещавший Москву императорский посол Герберштейн, оставивший нам подробное и правдивое описание тогдашних русских нравов и внутреннего быта, также подметил эту черту в Василии. Он не терпел ни малейшего противоречия; все должны были безмолвно соглашаться с тем, что он скажет; все были полными рабами и считали волю государя волею самого Бога, называли государя «ключником и постельничьим Божиим»; все, что ни делал государь, по их понятию, все это делал сам Бог; и если говорилось о чем-нибудь сомнительном, то прибавлялось в виде пословицы: «об этом ведаёт Бог да государь».

Никто не смел осуждать поступков государя; если что явно было дурное за ним – подданные обязаны были лгать, говорить не то, что было, и хвалить то, что в душе порицали. Так, когда Василий, сам лично вовсе неспособный к войне, возвращался из похода с большой потерей, все должны были прославлять его победоносные подвиги и говорить, что он не потерял ни одного человека. Жизнь и имущество всех подданных находились в безотчетном распоряжении государя. Василий не стеснялся присваивать себе все, что ему нравилось, и вообще в бесцеремонности способов приобретения не только не уступал своему родителю, но даже в ином и превосходил его. Так, например, по возвращении русских послов от императора Карла V, он отобрал у них себе все подарки, которые собственно им дали император и его брат. Своим служилым людям он большею частью не давал ни пособий, ни жалованья. Каждый должен был отправляться на службу, исполнять безропотно всякие поручения на собственный счет; только одни дети боярские, люди бедные, получали от великого князя поместья; кроме того, иным из них давалось денежное жалованье, но и то с обязанностью иметь собственное оружие и лошадей. Число детей боярских, которым велся список и разверстка через год и через два, значительно увеличилось против прежнего, так что при Василии их насчитывали уже до 300000, и большая часть из них довольствовалась одною землею, не получая денежного жалованья; земля их, данная в пожизненное пользование, за всякое упущение по службе, могла быть отнята и отдана другому. В отличие от таких пожизненных участков, называемых поместьями, люди родовитые владели наследственными имениями, называемыми вотчинами; но в отношении к произволу государя собственно не было различия между тем и другим родом поземельного владения, потому что Василий, положивши опалу на вотчинника, лишал его вотчины так же легко, как и поместья. Так поступил он с одним из полезнейших людей своих, дьяком Далматовым: отправляемый государем к императору Максимилиану, он осмелился заявить, что у него нет средств на путешествие: за это Василий Иванович приказал отобрать у него все движимое и недвижимое имущество, оставив его наследников в нищете, а самого Далматова заслал на Белоозеро в тюрьму, где он и умер. Впрочем, смертных казней мы не встречаем слишком много при Василии. Он прощал знатных лиц, обвиненных им в намерении учинить побег: от его времени осталось несколько записей, даваемых князьями (Бельскими, Шуйским, Мстиславским, Воротынским, Ростовскими и другими), о том, что они не убегут из московского государства. В случае попыток к побегу, он брал с них значительные денежные пени и отдавал провинившихся на поруки другим, которые обязывались платить за того, за кого они поручились. Василий не отнимал уделов у своих братьев: Семена, Андрея, Дмитрия и Юрия, и даже одного из них, Семена, простил, когда тот хотел бежать в Литву;



но при этом Василий не давал братьям ни в чем воли, держал в строгом повиновении, так что они были наряду с прочими владельцами вотчин, и, кроме того, окружал их шпионами, которые доносили ему о каждом шаге братьев. Будучи, по-видимому, расположен и милостив к подданному, он нежданно поражал его опалю, когда тот вовсе не чаял этого, и с другой стороны, иногда подвергши опале, вдруг возвращал опальному милость. Таким образом, один из самых приближенных ему людей, Шигона, был несколько лет в опале, а под конец жизни Василия сделался у него первым человеком. Где Василий видел для себя помеху или опасность, там он не отличался снисходительностью: его племянник Димитрий (сын Ивана Молодого) содержался в строгом заключении и умер в 1509 году, по сказанию летописца, «в нуже, в тюрьме», хотя духовное завещание, оставленное Димитрием, показывает, что дядя оставлял за ним в законном владении не только движимое имущество, но и села. Не менее сурово поступил Василий Иванович с мужем сестры своей, князем Василием Холмским: неизвестно за что великий князь засадил его в тюрьму, где тот и умер.

Таков был по своему характеру преемник Ивана III. Василий от отца своего наследовал страсть к постройкам, и в первые годы своего царствования воздвиг в Москве несколько церквей, между ними церковь Николы Гостунского и Благовещенский собор, обе церкви поражали современников своею позолотою, серебряными и золотыми окладами икон, а Благовещенский собор своими позолоченными куполами. К последнему примыкал новый дворец, внутри расписанный, открытый для жилья в мае 1508 года. Наибольшее число построек относится к 1514 году. Тогда разом воздвигнут был в Москве целый ряд каменных церквей. В 1515 году был расписан Успенский собор такою чудною живописью, что Василий и бояре его, вошедши первый раз в церковь, сказали, то им кажется «будто они на небесах». При Василии в начале его царствования окончен был каменный Архангельский собор и перенесены были туда гробы всех великих московских князей. Но более всего Василий отличился постройками многих каменных стен в городах, где были прежде только деревянные, как, например, в Нижнем Новгороде, Туле, Коломне и Зарайске. В Новгороде, кроме стен, перестроены были улицы, площади и ряды. В самой Москве выложен был камнем ров около Кремля, а гостиный двор обведен каменною стеною.

В августе 1506 года умер литовский великий князь Александр, и смерть его открыла Василию предлог продолжать по отношению к Литве то, что начал отец. Василию блеснула мысль разом достигнуть цели, намеченной родителем; через своего посланника Наумова он сообщил Елене свою мысль: «Нет ли возможности, чтобы пань польские и литовские избрали на упраздненный престол Польши и Литвы московского государя? В таком случае он даст клятву покровительствовать римскому закону». Наумову было дано поручение передать то же самое виленскому епископу Войтеху, князю Радзивиллу и другим знатым панам. Намерение Василия не удалось. Сама Елена, как кажется, не расположена была содействовать брату. Она известила Василия, что преемником Александра назначен брат его Сигизмунд, по воле покойного короля. Василию было досадно; в Сигизмунде он видел себе соперника и искал благоприятного случая, чтобы начать с ним ссору. Случай тотчас представился. Был в Литве знатный и могучий вельможа православного исповедания, князь Михаил Глинский. Он был любимцем покойного Александра, носил сан придворного маршалка и имел так много приверженцев между русскими, что возбуждал даже у литовских панов римской веры опасение, чтобы он со временем не овладел всем литовским княжеством. Новый король Сигизмунд не имел к нему такого расположения, как его покойный брат, и не хотел давать ему предпочтения перед другими панам, как делал Александр. Глинский требовал перед королем суда со своим заклятым врагом паном Яном Заберезским. Король медлил судом, явно склоняясь на сторону соперника Глинского. Тогда Глинский сам расправился со своим врагом, – напал на него в его усадьбе близ Гродно, отрубил ему голову, а вслед за тем сделал наезды на других панов, враждебных ему, и перебил их. После такого самоуправства, Глинскому ничего более не оставалось, как поднять открытый мятеж против короля, и Глинский начал набирать войско, вступил в союз с Менгли-Гиреем и молдавским господарем, а тут кстати пришло к нему от московского

государя предложение милости и жалованья со всеми его родными и приверженцами. В Москве знали, что происходит в Литве, и увидели возможность сделать вред Сигизмунду. Михаил Глинский приехал в Москву, был принят с большим почетом, наделен селами на московской земле и двумя городами: Ярославцем и Медынью. Это послужило поводом к войне между Москвою и Литвою. Война эта, однако, ограничивалась взаимными разорениями и тянулась недолго. С обеих сторон была надежда на татар, и обе стороны обманулись. Литва надеялась на то, что казанский царь Махмет-Аминь взбунтовался против московской власти, а московский государь надеялся на Менгли-Гирея. Но хотя московские войска действовали против Казани плохо и потерпели неудачу, однако взбунтовавшийся казанский царь Махмет-Аминь, боясь внутренних врагов, сам принес повинную московскому государю, и, таким образом, Москва со стороны Казани была уже спокойна; с другой стороны, надежда Москвы на Менгли-Гирея не оправдывалась: этот верный союзник Ивана явно охладевал, его крымские татары безнаказанно делали набеги на русские области. Вообще, в это время Крым усваивал ту хищническую политику, которой следовал постоянно впоследствии: стравливать между собой Литву и Москву, манить ту и другую своим союзом и разорять волости обоих государств. На этот раз между Василием и Сигизмундом, в 1508 году, заключен был союз, по которому король отказывался от всех отчин, принадлежавших князьям, перешедшим при Иване III под власть Москвы, а Глинским словесно позволил выехать из Литвы в московское государство.

По окончании этой первой размолвки с Литвою, Василий покончил с Псковом.

Покойный Иван Васильевич, как мы видели, исподволь приучал Псков к холопскому повиновению, но не уничтожал признаков старинного свободного порядка. По примеру родителя, назначавшего во Псков наместников и не принимавшего от псковичей жалоб на этих наместников, Василий Иванович в 1508 году назначил туда наместником князя Ивана Михайловича Оболенского, выбравши нарочно такое лицо, которое бы не ужилось со псковичами и, раздражив их, дало повод московскому государю уничтожить псковскую вечевую старину. Этот новый наместник, когда прибыл во Псков, не дал вперед знать о себе, чтоб его встретили с крестами, как всегда делалось в подобных случаях, а остановился в загородном дворе, так что псковичи, узнавши о его приезде, сами нашли его там, привели к Св. Троице, где посадили на княжение по давнему обычаю, и прозвали его по этому поводу «найденном». Наместник на первых же порах возбудил к себе ненависть – стал судить и распорядиться без воли веча, рассылал по волостям своих людей, которые грабили и притесняли жителей, да вдобавок отправил великому князю на псковичей донос, будто они держат его нечестно, вступаются в доходы и пошлины, принадлежащие наместнику, и наносят бесчестье его людям. На первый раз великий князь только отправил к псковичам нравоучение, чтоб они так вперед не делали.

Но в сентябре 1509 года Василий Иванович отправился в Новгород и повел за собою значительный отряд войска, состоявшего из детей боярских. Псковичи, услышавши об этом, стали побаиваться, догадываясь, что государь замыслил что-то против них. Они отправили к нему послов с челобитною. В этой челобитной псковичи прежде всего благодарили великого князя за то, что он жалует их и держит по старине, а потом просили оборонить от наместника и от его людей, которые причиняли псковичам обиды.

Государь через своих бояр отвечал: «Мы хотим держать нашу отчину Псков, как и прежде, по старине, и оборонять ее отовсюду, как нам Бог поможет; а что вы били челом на вашего наместника и на его людей, будто он у вас сидит не по старине и делает вам насильства, так и наш наместник прислал нам бить челом на вас в том, что вы ему творите бесчестье и вступаетесь в его суды и пошлины. Я посылаю своего окольного и дьяка во Псков выслушать и его и вас и управить вас с нашим наместником».

Присланные вслед за тем великим князем лица во Псков, по возвращении в Новгород, донесли государю, что не могли учинить никакой управы между наместником и псковичами. За ними прибыли в Новгород новые псковские послы и били челом избавить их от наместника.

Великий князь приказал через бояр сказать такой ответ псковичам:

«Жалую свою отчину Псков, мы велим быть перед вами нашему наместнику, а Псков пусть пришлет к нам людей, которые жалуются на обиды от наместника; мы выслушаем и наместника и обидных людей и учиним управу. Когда мы увидим, что на него будет много челобитчиков, тогда обвиним его перед вами». Псковичи, услышав такое, по-видимому, благоразумное и беспристрастное решение, рассчитали, что чем больше будет жалоб на их наместника, тем больше надежды, что великий князь сменит его; посадники и бояре, ненавидевшие наместника, оповестили по всем десяти псковским пригородам<sup>46</sup>, чтобы собирались все, кто только может в чем-нибудь пожаловаться на наместника и его людей. Этим воспользовались и такие, которые ссорились не с наместником, а между собой, и отправились к великому князю с жалобами друг на друга. Каждый день прибывало их больше и больше в Новгород: великий князь не выслушивал из них никого, а говорил им через своих бояр: копитесь, копитесь, жалобные люди, придет Крещение Господне; вот тогда я всем дам управу! Псковичи в простоте сердца ждали Крещения и писали на свою землю, чтобы как можно больше приезжало челобитчиков с жалобами на наместника. Между тем прибыл сам наместник; государь выслушал его и поверил ему во всем, или, по крайней мере, счел уместным поверить.

Наступило наконец Крещение. Великий князь приказал всем псковичам быть на водоосвящении, и когда, после окончания обряда, духовенство шло к Св. Софии, великокняжеские бояре крикнули псковичам: «Псковские посадники, бояре и все псковичи жалобные люди! Велел вам государь собраться на владычный двор. Сегодня государь даст вам управу всем». Все пошли как было приказано: посадники, бояре, купцы, вообще люди познатнее и побогаче, так называемые лучшие люди, вошли во владычную палату; а так называемые младшие люди, то есть простые, встали толпой во владычном дворе. Когда уже псковичи перестали входить во двор, великокняжеские бояре спросили: сполна ли все собрались? – Все сполна, – отвечали псковичи. Тогда им провозгласили: – Поимани есте Богом и великим князем Василием Ивановичем всея Руси!

Вслед за тем двор затворили и начали поименно переписывать стоявших на дворе младших людей, а по окончании переписи развели их по домам и приказали стеречь домохозяевам. К тем, которые были во владычной палате, то есть к лучшим людям, вошли от имени великого князя его бояре и дьяки и объявили им, что тогда, как они бьют челом на наместника, другие псковичи бьют челом на посадников, бояр и земских судей и жалуются, что от них людям нет никакой управы. Поэтому следовало бы наложить на них великую опалу, но государь хочет показать им милость и жалованье, если они сотворят государеву волю: снять прочь вечевого колокол и более не быть вечам в Пскове, а быть во Пскове и по пригородам и держать суд государевым наместникам. «Если же вы, – было им прибавлено, – не учините государевой воли, то государь будет свое дело делать, как ему Бог поможет, и кровь христианская взыщется на тех, которые презирают государево жалованье и не творят государевой воли».

Невольникам ничего не оставалось делать, как благодарить за такую милость, и они в первый раз назвали себя государевыми холопами. Их заставили еще написать от себя в Псков убеждение исполнить государеву волю. В заключение они поцеловали крест на верность государю и были допущены к великому князю. Василий Иванович принял их ласково и пригласил на обед. Их отпустили свободно в свои помещения, но не велели выезжать из Новгорода до конца дела. Пожертвовав свободой своей земли, они надеялись, что не потеряют своей личной свободы, и думали, что их благополучно отпустят восвояси.

Между тем в Пскове все скоро узнали. Один псковский купец ехал с товаром в Новгород и, услышав, что сделалось с его земляками, бросил свой товар, а сам поспешно возвратился в Псков и кричал по улицам: великий князь наших переловил в Новгороде!

Началась тревога; у псковичей от ужаса и горло пересохло, и уста слиплись – говорит

---

<sup>46</sup> Пригороды псковские в это время были: Изборск, Опочка, Выбор, Вревь, Вороноч, Велье, Красный, Остров, Гдов, Владимирец.

современный повествователь. Зазвонили на вече; смельчаки кричали: «Ставьте щит против государя! Запремте город!» Но благоразумные останавливали их и говорили: «Ведь наша братия, посадники и бояре и все лучшие люди у него в руках!» Среди суматохи приехал посланец от задержанных в Новгороде псковичей и привез увещание не противиться и не доводить до кровопролития. После многих толков умеренные взяли верх, и в Новгород был отправлен гонец с такими словами: «Мы не противны тебе, государь; Бог волен и ты, государь, над нами, своими людишками!»

12 января 1510 года приехал в Псков дьяк Третьяк Далматов. Зазвонили на вече. Дьяк взошел на ступени веча и объявил, что государь велит снять вечевой колокол, а иначе у него наготове много силы и начнется кровопролитие над тем, кто не сотворит государевой воли. Передав псковичам государево слово, дьяк сел на ступени веча. Псковичи отвечали, что дадут ответ завтра.

На другой день опять зазвонили на вече, и уже последний раз. Третьяк взошел на ступени. Посадник от имени всех псковичей сказал:

«У нас в летописях записано такое крестное целование с прародителями великого князя. Псковичам от государя, который будет на Москве, не отходить ни к Литве, ни к Польше, ни к немцам, никуда, а иначе будет на нас гнев Божий, и глад, и огонь, и потоп и нашествие неверных; а если государь не станет хранить крестного целования, то и на него тот же обет, что на нас. Теперь Бог и государь вольны над Псковом и над нашим колоколом; мы не изменили крестному целованию».

Дьяк ничего не отвечал на такую знаменательную речь и приказал спустить вечевой колокол. Псковичи плакали по своей воле; разве только грудной младенец не плакал – говорит современник. Колокол отвезли к государю в Новгород.

Сам великий князь приехал в Псков с вооруженной силой: вероятно, он не доверял покорности псковичей. Через два дня после приезда, 27 января, государь созвал так называемых лучших людей в «гридню» (место сбора дружины), а простой народ на двор. Боярам объявили первым, что государь их жалует, не вступается в их имущества, но так как были государю жалобы на их неправды и обиды, то им жить в Пскове не пригоже: государь их жалует на Московской земле и им следует тотчас ехать в Москву со своими семействами. Простому народу объявили, что его оставят на месте прежнего жительства под управлением великокняжеских наместников, которым псковичи должны повиноваться.

До трехсот семейств было отправлено немедленно в Москву; женам и детям их дали срок собраться в путь один только день. Отправлены были также жены и дети тех псковичей, которые прежде были задержаны в Новгороде. Хотя великий князь и объявил, что он не вступается в их достояние, но дело у него расходилось с обещанием: изгнанники потеряли свои дворы, свои земли, все было роздано московским людям, которых Василий Иванович перевел в Псков вместо сосланных, а последних водворили на Московской земле и частью в самой Москве. Но он не тронул, подобно своему отцу, церковных имений.

Московское управление казалось невыносимым для псковичей, пока они с ним не свыклись. Наместники и дьяки судили их несправедливо, обирали их без зазрения совести, а кто осмеливался жаловаться и ссылаться на уставную великокняжескую грамоту, того убивали. Иноземцы, жившие прежде в Пскове, удалились оттуда. Многие из псковичей, не в силах более сжиться с московским порядком вещей, разбежались или постригались в монастырях. Торговля и промыслы упали. Псковичи пришли в нищету; только переселенцы из московской земли, которым наместники и дьяки покровительствовали, казались несколько зажиточными. На обиду от москвича негде было псковичу найти управы: при московских судьях, говорит летописец, правда улетела на небо, а кривда осталась на суде. Впрочем, и правители Пскова поневоле работали не для себя, а для великого князя. Был в Пскове, после уничтожения вечевого устройства, в течение семнадцати лет дьяк Михаил Мунехин, и, когда умер, государь захватил его имущество и начал разыскивать, что кому он был должен при жизни; его родные и приятели по этому поводу подвергались пыткам. После него, говорит летописец, было много дьяков, и ни один поздорову не выезжал из Пскова; каждый доносил

на другого; дьяки были «мудры», казна великого князя размножалась, а земля пустела. Черты эти не были принадлежностью одного Пскова, но составляли характер московского строя, в Пскове же казались более, чем где-нибудь, поразительными, по несходству старых нравов и воззрений с московскими. Современник Герберштейн замечает, что прежние гуманные и общительные нравы псковичей, с их искренностью, простотой, чистосердечием, стали заменяться грубыми и развращенными нравами.

Разделавшись со Псковом, Василий опять обратился на Литву. Тотчас после мира с Сигизмундом возникли взаимные недоразумения. Сигизмунд домогался, чтобы ему выдали Михаила Глинского, а сообщников последнего казнили перед королевскими послами. Вдовствующая королева Елена, со своей стороны, просила о том и сообщала брату, что Михаил своими чарами был причиной смерти ее мужа Александра. Великий князь московский не удовлетворил этим требованиям. Глинский сносился с датским королем и возбуждал его против Сигизмунда. Письма его были перехвачены. Сигизмунд жаловался и снова просил казнить Глинского. Василий не только не сделал угодное Сигизмунду, но держал Глинского в большой милости. На границах двух государств происходили между подданными разные столкновения, подававшие повод к беспрестанным жалобам. Наконец, в 1512 году, в октябре, Василий придрался к Сигизмунду, будто его сестра Елена терпит оскорбления от воевод виленского и троцкого, будто бы они взяли у нее казну, отослали от нее людей, не дают воли управлять городами и волостями, данными ей покойным мужем. Сигизмунд отрицал все это и говорил московскому послу: «Поезжай с нашим писарем к невестке нашей и спроси ее сам; пусть она при нем и при тебе скажет, правда ли это или нет, и что от нее услышишь, передай нашему брату». Грамоты Елены, писанные около этого времени, показывают, что Елена невозбранно управляла и судила в жмудских волостях, которые были даны ей во владение. Но Василию нужно было к чему-нибудь прицепиться. Нашелся еще один повод. Менгли-Гирей заключил союз с Сигизмундом, а сыновья хана сделали набег на южные области московского государя. Хотя Менгли-Гирей уверял, что сыновья поступали без его повеления и ведома, Василий объявлял, что этот набег сделан с подущения Сигизмунда, и отправил к польскому королю «складную» грамоту, т.е. объявление войны, выставляя самым благовидным предлогом к этому оскорблению, нанесенные сестре его Елене.

В распоряжении московского государя было большое количество войска (он мог выставить далеко более 100000). Главная сила состояла в детях боярских, специально составлявших военное служилое сословие. Они выходили на войну на своих малорослых, слабоуздых конях и на таких седлах, на которых нельзя было поворачиваться на сторону. Оружие у них составляли главным образом стрелы, бердыши и палицы. Кроме того, за поясом у московского воина заткнут был большой нож, а знатные люди носили и сабли. Русские воины умели ловко обращаться, держа в руках в одно и то же время и узду, и лук, и стрелы, и сабли, и плеть. Длинный повод с прорезью был намотан вокруг пальца левой руки, а плеть висела на мизинце правой. У некоторых были и копыя. Для защиты от неприятельских ударов, те, которые были побогаче, носили кольчуги, ожерелья, нагрудники, и немногие – остроконечный шлем. Другие подбивали себе платье ватой. При Василии учреждался новый отряд войска, называемый «пищальники», вооруженные огнестрельным оружием. Артиллерия (наряд) употреблялась, собственно, при осаде или защите городов; но Василий начал вводить мало-помалу как артиллерию, так и пехоту в битвах. Кроме пищальников была еще «посоха» из жителей разного рода, набранных по особым распоряжениям. У воина были свои запасы, обыкновенно на вьючных лошадях, которых он вел с собой. Запасы состояли чаще всего из пшена, солонины и толокна; иные бедняки дня по два, по три говели; но воеводы и вообще начальники часто кормили наиболее бедных. В битвах русские того времени были очень смелы и порывисты и выходили в бой под музыку, которая состояла у них из труб и так называемых сурьм или сурьн, на которых они играли не переводя дух. Но вообще русские неспособны были выдерживать долгого боя и, по выражению Герберштейна, вступая в бой, будто хотели сказать неприятелю: бегите или мы

побежим; они легко поддавались паническому страху и, захваченные в бегстве неприятелем, отдавались ему в руки без сопротивления или просьбы о пощаде.

Московский государь рассчитывал на успех в войне, главным образом, потому, что, при посредничестве Михаила Глинского, вошел в сношения с императором Максимилианом, который надеялся овладеть, после смерти Сигизмундова брата Владислава, венгерской землей. Еще не дождавшись формального договора с императором, Василий начал войну и, главным образом, домогался овладеть Смоленском. В течение 1513 года он два раза подступал к этому городу, но безуспешно. В феврале 1514 года императорский посланник Сницер-Памер заключил в Москве договор, по которому австрийскому двору уступались прусские области, прежние владения тевтонского ордена, принадлежавшие со времен Казимира Польше, а Москве – Киев и прочие русские города. Это был первый в истории договор о разделе польских земель между соседями, предвестник того, чем должна была решиться судьба Польши в отдаленном будущем. В связи с дружелюбными отношениями Московского государства состоит договор, заключенный с ганзейским союзом немецких городов, по которому возобновлялась старинная торговля. В июле того же года Василий в третий раз подступил к Смоленску и так сильно начал палить в него из пушек, что на осажденных нашел страх. Начальствовавший там Юрий Сологуб был человек неспособный, не мог утишить волнения и сдал город. Смоленский владыка Варсонофий со всем духовенством, наместником и многими из народа прибыл в стан московского государя и просил принять свою вотчину с тихостью. Василий въехал в Смоленск. Радость для Москвы была чрезвычайная. В противоположность обычной своей бережливости, московский государь жаловал не только своих служилых, но даже дал по рублю литовцам и отпустил их всех с их начальником Сологубом, которому в Литве тотчас отрубили голову. Взятие Смоленска внушило такое уважение к силе московского государя, что князь мстиславский добровольно поддался Москве, а за ним мещане и черные люди Дубровны и Кричева. Василий никого не переводил из Смоленска в московскую землю, дарил смольнянам меха, бархаты, камки, ковши и утверждал все уставы литовских князей, к которым смольняне уже привыкли. Только Глинский в это время сделался недоволен Василием. Польские историки преимущественно его внушения приписывают сдачу Смоленска. Он надеялся, что Василий даст ему Смоленск в удел, но московский государь, получив от прародителей завещание уничтожать уделы, не расположен был плодить их вновь. Глинский написал к Сигизмунду, приносил повинную за прежнее преступление, предлагал свои услуги, обещал снова привести Смоленск под власть короля и подвести на погибель московское войско. Сигизмунд согласился на его предложения; но кто-то из близких Глинского дал об этом знать московскому воеводе Булгаку, который поймал Глинского и доставил великому князю московскому, а Василий отправил его в Москву. Вслед за тем Азовское войско, шедшее по приглашению Глинского, напало на московское войско под Оршей. Предводительствовал им князь Константин Острожский, в начале царствования Васильева убежавший в Литву из Москвы, где он был связан насильно данной присягой служить московскому государю. Острожский, хотя русский по вере и предкам, ненавидел Москву, страстно желал отомстить ей и теперь достиг своей цели. Все московское войско поражено было наголову. Пало до 30000 человек. Воеводы, знамена, пушки – все досталось победителю. Острожский шел к Смоленску. Весть о его победе произвела там переворот. Смольняне составили заговор сдать город Литве. Владыка Варсонофий был в сговоре с ними. Но оставленный в Смоленске воеводой князь Василий Васильевич Шуйский узнал об этом заранее, и как только Острожский подступил к городу, приказал повесить в виду его на стенах всех заговорщиков и надеть на них те самые подарки, которые они получили от московского великого князя. Поощрен был владыка Варсонофий, которого Шуйский отправил потом в Москву. Острожский отошел от Смоленска, не взяв его, но победа, одержанная им под Оршей, поднимала в деле войны сторону Литвы. Недавно передавшийся Москве князь Мстиславский, а также жители Дубровны и Кричева опять присягнули Сигизмунду. Видно, тогдашнему населению этого края было все равно: что Москва, что Литва, и оно

преклонялось перед силой.

После оршинской битвы война с Литвой долго не представляла ничего замечательного. Сигизмунд подстрекал на Москву крымского хана Махмет-Гирея, наследовавшего после Менгли-Гирея в 1515 году, а великий князь московский заключил договор с магистром тевтонского ордена Альбрехтом, обещая ему давать деньги за содействие против Польши. Но Альбрехт не принес никакой пользы Москве. Прежний союзник Василия, Максимилиан, вместо того чтобы воевать против Сигизмунда, как ожидали в Москве, взял на себя роль посредника и прислал в Москву в 1517 году известного барона Герберштейна, автора драгоценного сочинения «О Московском государстве», написанного по его личным наблюдениям. Герберштейн не успел примирить врагов, так как Москва добивалась древних русских городов: Киева, Витебска, Полоцка и других, а Герберштейн уговаривал Василия вернуть Смоленск. Неудаче в заключении мира способствовала смерть королевы Елены. В Москве твердили, будто ее отравили ядом. Но Максимилиан, после того как примирение не состоялось, не расположен был усиливать Московское государство, удерживал тевтонского магистра от войны с Польшей и писал к нему, что нехорошо будет, если польский король унижится, а московский возвысится.

Тем временем Василий покончил с Рязанью. Рязанская земля во все царствование Ивана III была покорна московскому государю. В начале царствования Василия там управляла тетка его Агриппина именем своего малолетнего сына Ивана. Но когда вырос этот князь, по имени Иван Иванович, то вспомнил о прежней независимости своих предков и стал тяготиться зависимостью от Москвы. Донесли московскому государю, что рязанский князь сходится с татарами и хочет жениться на дочери крымского хана Махмет-Гирея. Московский князь позвал его к себе и посадил под стражу, а его мать – в монастырь. Рязань утратила свою отдельность и была присоединена к Москве. По общей московской политике, и с Рязанью сделали то же, что с Новгородом, Тверью, Вяткой и Псковом: и оттуда было выселено множество жителей, а вместо них переведены были в Рязань на жительство московские люди. Несколько лет спустя (в 1521 году) рязанскому князю удалось убежать в Литву.

Уничтожая земскую самобытность Рязани и Пскова, Василий возвращал Новгороду некоторые признаки старины. Великокняжеские наместники и их тиуны в Новгороде управляли так неправосудно, и Василий слышал столько жалоб на них, что для ограждения их произвола приказал выбрать так называемых целовальников, которые должны были сидеть на суде вместе с наместниками. Выбиралось 48 лучших людей из новгородских улиц, и из них каждый месяц 4 человека должны были по очереди заседать на суде. При вступлении в должность они приводились к крестному целованию, отчего и получили свое название. Это было, однако, не в полной мере выборное начало, потому что избрание предоставлялось не народу, а правительственным лицам: дворецкому и дьякам.

Поворот к миру Москвы с Литвой произвел крымский хан. В декабре 1518 года умер казанский хан Махмет-Аминь, изъеденный, как тогда говорили, заживо червями. Еще до его смерти крымский хан Махмет-Гирей, желая посадить в Казань своего брата Саип-Гирея, предлагал дружбу Москве, обещал воевать Литву с тем, однако, чтобы великий князь московский воевал против Ахматова потомства – заклятых врагов Гиреев. Московский государь обещал, но, как только Махмет-Аминя не стало, он назначил в Казань одного из внуков Ахмата, по имени Шиг-Алея, который со своим отцом выехал из Астрахани на службу московскому государю и получил в поместье Мещерский городок. Крымский хан, естественно, был озлоблен и решил отомстить московскому государю. Прежде всего брат его Саип-Гирей отправился с войском к Казани. Казанцы изменили Шиг-Алею и признали своим царем Саип-Гирея. Шиг-Алея и всех русских, находившихся в Казани, ограбили и выгнали, никого, однако, не убив. Вслед за тем крымский хан с многочисленной ордой двинулся на московское государство. С ним шел знаменитый Евстафий Дашкович с днепровскими казаками, только что начинавшими свою историческую деятельность. В то же время брат крымского хана Саип-Гирей, избранный в казанские цари, выступил со своими

казанцами. Московское войско, выставленное против крымского хана под начальством брата великого князя Андрея и боярина князя Дмитрия Бельского, бежало. Другие, более мужественные воеводы (князя Курбский, Шереметев) пали в бою. Великий князь покинул столицу и ушел на восток собирать силы: в столице он оставил начальствовать крещеного татарского царевича Петра, своего зятя. В этом случае Василий Иванович пошел буквально по стопам своих прародителей и поступил так, как поступали его отец, прадед и прапрадед, убегая из Москвы, когда приближались к ней татарские полчища. Много народу побежало в Кремль, спасаясь от неприятеля: наступил июль – время очень знойное: опасались, чтобы от тесноты не открылась зараза.

Махмет-Гирей подошел за несколько верст к Москве и послал требование, чтобы великий князь обязался платить ему дань. В ответ на это требование Махмет-Гирею привезли письменное обязательство платить дань, скрепленное великокняжеской печатью. Неизвестно, с ведома ли государя дано было это обязательство. Скорее нужно полагать, что с ведома, потому что едва ли бы решились царевич Петр и бояре сделать такой важный шаг самовольно. Махмет-Гирей, отступив от Москвы, подошел к Рязани и приказал его воеводе явиться к нему в стан, так как его государь, великий князь, уже сделался данником хана. Начальствовавший в Рязани воевода Хабар Симский просил представить ему доказательство того, что великий князь действительно обязался платить дань. Хан послал ему грамоту. Хабар Симский удержал грамоту у себя, а потом рассеял пушечными выстрелами толпу Татар, собравшуюся под городом, и заставил удалиться Махмет-Гирея: крымский хан должен был спешить назад: он услышал, что на Крым идут астраханцы. Унизительная грамота, попавшись в руки Хабарова Симского, была таким образом уничтожена; но русской земле нелегко отзывалось посещение Махмет-Гирея, потому что татары набрали много пленников и продавали их в Кафе. То же делали и казанцы, и продавали толпы русских невольников в Астрахани.

Эти печальные события, происходившие в 1521 году, побудили Василия прекратить войну с Литвой, и в марте следующего 1522 года было заключено перемирие на пять лет без отпуска пленных. В 1526 году это перемирие было продолжено до 1533 года при старании Герберштейна, вторично приезжавшего в Москву и на этот раз послом от императора Карла V. Пленники обеих сторон оставались в неволе, носили цепи и питались Христовым именем. Московский государь не хотел ни за что отдавать назад Смоленска и, в противность своему обещанию не переводить оттуда жителей, перевел из Смоленска в Москву значительное их число, дав одним из них дворы и лавки, а другим поместья.

Казань ускользнула из-под прежней власти Москвы. Саип-Гирей перебил там русских купцов, умертвил и великокняжеского посла.

Старания великого князя посадить там Шиг-Алея были неудачны; русские потерпели поражение. К счастью, сам Саип-Гирей ушел в Крым, где после смерти Махмет-Гирея, убитого нагаями, царствовал его брат Сайдет-Гирей. Казанцы выбрали их тринадцатилетнего брата Сафа-Гирея и предложили Москве мир. Василий должен был принять его, но в то же время он предпринимал меры к стеснению Казани, построил в казанской земле на устье реки Суры город Васильсурск и, чтобы ослабить благосостояние Казани, завел ярмарку близ монастыря Макария Унженского (в 1524 году), приказав русским купцам съезжаться туда вместо Казани, куда они прежде ездили на летнюю ярмарку. Таким образом было положено начало знаменитой макарьевской ярмарке (теперь переведенной в Нижний). Впоследствии она имела благодетельное влияние на торговлю, но в первые годы возбуждала жалобы торговых людей, потому что вздорожали многие товары, которые в то время получались из Казани, и в особенности соленая волженская рыба.

Около того же времени Василий покончил и с последним удельным князем, Василием Шемячичем (внуком Шемяки), князем северским. Князь этот в продолжение многих лет верно служил Василию, храбро бился против поляков и крымцев, но в 1523 году Василий потребовал его к себе. Шемячича обвиняли в тайных сношениях с Литвой. Он боялся ехать в Москву, но митрополит Даниил (преемник Варлаама, заточенного великим князем в



монастырь) заверил его своим словом, что ему не будет ничего дурного. Шемячич поехал, был закован в цепи, посажен в тюрьму; там он и скончался. Троицкий игумен Порфирий решился было ходатайствовать за него. Воспользовавшись приездом Василия в Троицкий монастырь на храмовой праздник, он сказал ему смело: «Если ты приехал сюда в храм Безначальной Троицы просить милости за грехи свои, будь сам милосерд над теми, которых гонишь ты безвинно, а если ты, стыдясь нас, станешь уверять, что они виновны перед тобой, то отпусти по Христову слову какие-нибудь малые деяния, если сам желаешь получить от Христа прощения многих талантов». Василий сначала приказал выгнать его из монастыря, а потом, по доносу некоторых монахов, велел привезти из пустыни, куда он удалился, в Москву и засадил в тюрьму в оковах. Жена темничного стража, сжалившись над Порфирием, освободила его от оков и доставила ему возможность убежать, но Порфирий, выжидая удобного времени для бегства, спрятался в потаенном месте и увидел, что сторож, не найдя его в темнице, хотел зарезаться, боясь гнева Васильева. Тогда Порфирий вышел к нему и сказал: «Не убивай себя, господин Павел (так звали сторожа), я цел, делай со мной, что хочешь!» Василий, узнав об этом, отпустил Порфирия на свободу, но не возвратил ему игуменства. Порфирий удалился в белозерские пустыни, где жили его друзья: Артемий, которому суждено было играть такую видную роль при Иване Грозном, и Феодорит, просветитель лопарей. Митрополит Даниил поступил в этом деле не так, как Порфирий; несмотря на свое святительское слово, данное Шемячичу, он, всегдашний угодник власти, одобрял поступки великого князя со своей жертвой.

Противно такому христианскому человеколюбивому взгляду существовал, однако, другой взгляд в русском народе на уничтожение уделов. По поводу заключения того же Шемячича, какой-то юродивый кричал на улице: «Время очистить московское государство от последнего сора». Юродивые в то время выражали то, что думал народ. Шемячич был последний из удельных князей со старыми преданиями. Владения братьев великого князя не могли уже называться уделами в прежнем смысле.

Государство окончательно образовалось в это время, но будущность его подвергалась неизвестности. У Василия не было детей, хотя он уже двадцать лет был женат. Было у Василия в обычае путешествовать по своим владениям. Это называлось на тогдашнем языке «объездом». Государь отправлялся в объезд в сопровождении своих бояр и вооруженного отряда боярских детей. Ездил он на ямских лошадях, для чего, как и вообще для всяких служебных сношений, устроены были «ямы» и существовал особый класс людей, называемых ямщиками, обязанный в виде государственной повинности доставлять едущим по государеву повелению готовых лошадей и за это освобожденный от других повинностей. В один из таких объездов Василий, едучи, как говорит летописец, в позолоченной колеснице, окруженный воинами, увидел на дереве птичье гнездо, прослезился и сказал: «Тяжело мне! Кому уподоблюсь я? Ни птицам небесным – они плодовицы, ни зверям земным – и они плодовицы, ни даже водам – и они плодовицы: они играют волнами, в них плещутся рыбы». Взглянул он на землю и сказал: «Господи! И земле я не уподоблюсь: земля приносит плоды свои на всякое время и благословляют они тебя, Господи!» Вернувшись из объезда в Москву, Василий начал советоваться с боярами о том, что супруга его неплодна, и спрашивал: «Кому царствовать после меня на русской земле и во всех городах и пределах? Братьям ли отдам их? Но они и своих уделов не умеют устраивать!» Бояре отвечали ему: «Государь, неплодную смоковницу отсекают и выбрасывают из винограда!» Государь решил развестись с Соломонией. Повод к этому представлялся государственный: отсутствие прямого законного наследника угрожало смутами государству; но на самом деле Василию приглянулась другая женщина. Соломония уже видела, что государь не любит ее. Через посредничество своего брата, Ивана Юрьевича Сабурова, она беспрепятственно отыскивала себе «и женок и мужиков», чтобы какими-нибудь чародейственными средствами привлечь к себе любовь мужа. Одна такая женка из Рязани, по имени Стефанида, осмотрев Соломонию, решила, что у нее детей не будет, но дала ей наговорную воду, велела ею умываться и дотрагиваться мокрой рукой до белья великого князя. Другая, безносая черница, давала ей

наговоренного масла или меда, велела натираться им и уверяла, что не только великий князь полюбит ее, но она будет иметь детей. Государь созвал духовных и бояр и предложил им рассудить: следует ли ему развестись с Соломонией? Это было сказано с уверенностью, что все должны дать ответ, согласно с его желанием. Митрополит Даниил, ученик Иосифа Волоцкого, успокоил совесть великого князя, сказав, что возьмет его грех на свою душу. Но тут против него поднялся инок Вассиан Косой, бывший князь Патрикеев. Он смело заявлял, что великий князь хочет совершить незаконное и бессовестное дело. Василий сильно ошибся в этом человеке: он приблизил его к себе, уважал за ум и ученость, думал, что он будет потакать ему во всем, и теперь в таком близком для него деле Вассиан оказался его противником. Мнение Вассиана стал поддерживать другой духовный, известный Максим Грек. Из бояр вместе с ними вооружался против развода князь Семен Федорович Курбский, почтенный благочестивый старик, некогда славный воин, покоритель Перми и Югры, теперь уже несколько лет не евший мяса и только три раза в неделю позволявший себе употреблять рыбу, что в то время считалось большой добродетелью. Голос этих ревнителей справедливости не был уважен. Василий Иванович не стал их прямо преследовать за противодействие разводу, а отомстил Вассиану и Максиму другим путем: он предал их злобе Даниила и прочих «осифлян», которые нашли возможность обвинить их в неправославии, а Василий, после того, заточил их.

Заручившись одобрением митрополита и большей части духовенства, Василий повелел постричь свою супругу. В наших летописях есть известие, будто сама Соломония добровольно согласилась удалиться в монастырь. Но это известие, очевидно ложное, внесено в летопись из страха разгневать государя. Все другие современные известия единогласно говорят, что Соломония была пострижена насильно. Герберштейн передает в таком виде обстоятельства этого пострижения:

Когда великой княгине начали стричь волосы – она голосила и плакала; митрополит поднес ей монашеский кукуль; она вырвала его из рук, бросила на землю и стала топтать ногами.

Стоявший тут близкий советник Василия, Иван Шигона, ударил ее плетью и сказал: «Так ты еще смеешь противиться воле государя и не слушать его повелений?»

«А ты, – сказала Соломония, – по какому праву смеешь бить меня?»

«По приказанию государя», – ответил ей Шигон.

«Свидетельствуюсь перед всеми, – громко сказала тогда Соломония, – что не желаю пострижения и на меня насильно надевают кукуль. Пусть Бог отомстит за такое оскорбление!»

Пострижение произошло в Москве в Рождественском девичьем монастыре. По русским известиям, постригал ее никольский игумен Давид, но, вероятно, в присутствии митрополита, как видно из Герберштейна. Оттуда ее отправили под именем Софьи в Покровский суздальский монастырь (где она прожила семнадцать лет и умерла в 1542 году). В январе 1526 года великий князь женился на Елене Глинской, дочери Василия, брата Михаила Глинского, тогда еще сидевшего в тюрьме за попытку бежать в Литву. Никакого выбора невесте в то время не было; это показывает, что Василий уже прежде решил жениться на Елене и потому развелся с прежнею женою.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Сохранилось описание свадьбы великого князя Василия с Еленой, любопытное, потому что представляет картину тогдашних обрядов. В средней царской палате построено было возвышенное место, обтянутое бархатом и камками, с широкими изголовьями, на которых положено было по сороку соболей. Перед местом поставлен был стол, накрытый скатертью, с калачами и солью. У жениха и невесты был свой свадебный поезд: у великого князя, так называемый свадебный тысячник с боярами (тысяцким был брат Василия, Андрей) и дружка со своими слугами; у княжны Елены – жена тысяцкого, дружка, свахи и боярыни. Невесту одевали в ее покоях. По присланному приказу великого князя невеста со своими слугами отправилась в среднюю палату. Перед нею несли свечи жениха и невесты и каравай, на котором лежали золотые монеты. Княгиню посадили на приготовленное место, а близ нее, на месте, которое должен был потом занять великий князь, посадили ее меньшую сестру Анастасию. Все боярыни сели на лавке, а на левой стороне от невесты стали несшие свечи и каравай.

Через некоторое время после бракосочетания в Москве разнесся слух, будто насильно постриженная Соломония беременна. Народу не нравился новый брак Василия, а потому легко выдумалось то, что желалось. Придворные женщины начали об этом поговаривать, но их речи услышал великий князь и одну из них, вдову Траханиота, приказал высечь, а сам между тем послал своих дьяков навести справки. Неизвестно, чем закончилось следствие, но и после того в Москве носились слухи, будто Соломония родила сына Георгия, которого она бережно укрывала, в надежде, что когда он вырастет, то отомстит за свою мать.

Новая супруга Василия была совсем другого воспитания и свойств, чем тогдашние русские женщины. Ее отец и дядя были люди западных понятий. Михаил Глинский провел всю юность в Германии и Италии. Без сомнения, Елена усвоила от родных иноземные понятия и обычаи и, вероятно, своими свойствами, представлявшими новизну для великого князя, пленила его. Желание понравиться ей было так велико, что, как говорят, Василий Иванович обрил для нее свою бороду, а это по тогдашним понятиям было большим отклонением от обычаев не только с народной, но и с религиозной точки зрения. Свидетельством этого могут служить современные сочинения благочестивых наблюдателей старины: «Смотрите, – говорится в одном из таких сочинений, – вот икона страшного пришествия Христова: все праведники одесную Христа стоят с бородами, а ошуюю басурманы и еретики, обритые, с одними только усами, как у котов и псов. Один козел сам себя лишил жизни, когда ему в поругание обрезали бороду. Вот, неразумное животное умеет свои волосы беречь лучше безумных брадобрейцев!» Такие обличения не сдерживали, однако, тогдашних записных щеголей: они не только брили себе бороды, но выщипывали волосы на лице, стараясь уподобиться женщинам; подобные щеголи не менее возбуждали негодование суровых нравоучителей и своим нарядом: они носили красные сапоги, расшитые шелком, до того узкие, что ноги болели у них; навешивали на себя пуговицы, ожерелья, на руках носили множество перстней, мазались благовониями, притирали себе

---

Вслед за тем, по приказанию великого князя, вошел в палату брат его Юрий Иванович с боярами и детьми боярскими, рассажал их по местам, а сам сел на так называемом «большом месте», и послал звать великого князя, ожидавшего в брусняной столовой избе. Великий князь вошел с тысяцким и со своими свадебными боярами, поклонился образам, а потом приподнял с места сестру невесты и сел на место ее возле невесты. Священник читал молитву; свечи с обручами, перевязанные соболями, зажигались богоявленской свечой. Жена тысяцкого расчесывала волосы жениху и невесте и возлагала на голову невесте «кику» с навешенным на ней покровом, а потом осыпала великого князя хмелем из большой золотой мисы, в которой, кроме хмеля, положены были в трех местах соболи и шелковые платки в знаменательном числе трижды девять. Другка великого князя резал «перепечю» и сыр, ставил перед новобрачными и рассылал присутствующим, а дружка невесты раздавал ширинки.

Посидевши немного, великий князь отправился в церковь к венчанию со всеми своими боярами, а на месте, на котором он перед тем сидел, положил сорок соболей. За ним вслед отправилась Елена со всеми своими поезжанами в санях, а перед ее санями несли свечи и каравай. Венчание совершал в Успенском соборе сам митрополит Даниил. Когда после венчания новобрачным дали пить вино, великий князь бросил скляницу на землю, разбил и потоптал ногами. Никто не смел после того ступить ногой на эти стекла. После венчания митрополит, а за ним бояре, поздравляли новобрачных. Они возвращались тем же порядком порознь. Свечи и каравай унесены были к постели и поставлены у изголовья в кадь с пшеницею. Комната, где приготовлялась постель на тридцати снопах, называлась «сенник», облекалась тканями и по четырем углам втыкались стрелы с сорока соболями на каждой, а под ними на лавках ставился пивной мед. Великий князь со своим поездом, на возвратном пути из церкви, объезжал монастыри, а потом посылал звать великую княгиню со всем ее поездом к столу. Конь, на котором ездил по монастырям великий князь, передавался конюшему. Последний должен был в продолжение всего стола и всей ночи ездить вокруг спальни с обнаженною саблей. Важную должность конюшего исполнял тогда князь Федор Васильевич Овчина-Телепнев-Оболенский, отец Ивана, бывшего потом любимцем Елены, который и сам участвовал в свадебном чине. Во время стола ставили перед новобрачными жареную курицу. Дружка обвертывал ее скатертью и уносил в спальню. Это служило знаком, что великой княгине с поезжанами следует идти в спальню. За нею шел великий князь, и неслись иконы. У постели жена тысяцкого, одевши на себя две шубы, и верхнюю шерстью вверх, осыпала новобрачных. На другой день великий князь с особыми обрядами ходил в мыльню. Для этого по свадебному чину наряжены были знатные особы и в числе их молодой Иван Телепнев-Оболенский, которому тогда пришлось «колпак держать, с князем в мыльне мыться и у постели с князем спать». Близость этого человека к царственной чете объясняет, почему он мог впоследствии сойтись с Еленой.

щеки и губы и щеголяли вычурными манерами, состоявшими в известного рода кивании головы, расставлении пальцев, подмигивании глаз, выставлении вперед ног, особенного рода походке и т.п. Василий, женившись на Елене, начал также щеголять. Вообще заметно, что Василий склонялся к сближению с Западом и к усвоению его обычаев, хотя, по скудости источников, мы должны ограничиваться в этом отношении отрывочными чертами. Папский двор, с большой надеждой на Василия, делал свои обычные попытки к присоединению русской церкви. При посредстве тевтонского магистра Альбрехта, папа Лев X подделывался к Василию и внушал ему надежду на обладание Литвой и даже Константинополем: «У Сигизмунда нет наследника, – говорил он, – после его смерти великое княжество Литовское не захочет государя из поляков и отдастся под власть московского государя. Константинополь – вотчина московского государя, и если московский государь захочет стоять за нее, то у нас для этого готовы и пути, и средства».

Папа изъявлял готовность дать Василию королевский титул, русского митрополита возвести в патриархи и принять русскую с римскою так в единение церковь, чтобы отнюдь не умалять и не менять обычаев восточной церкви. После того, в 1519 году, тот же папа писал Василию и выражался в своем письме о желании Василия признать папскую власть, как о деле решенном. «Достойные веры лица, – писал он, – известили нас, что твое благородие, по божественному внушению свыше, возжелал соединения со святою римскою церковью и хочешь быть ей покорным, со всеми своими землями, областями и подданными, после многих лет разделения, оставляя тьму и возвращаясь к свету истинного учения православной веры». Вместе с тем папа обнадеживал его помощью в исполнении намерения воевать с неверными. После смерти Льва X, папа Климент VII отправил к Василию послом одного генуэзца капитана Павла. Еще ранее того капитан Павел был в Москве по торговым делам. Его занимала мысль найти сообщение Европы с Индией через области московского государства с целью подорвать торговую монополию португальцев, которые, после открытия пути в Индию вокруг Африки, снабжали из своих рук всю Европу индийскими товарами. Мысль эта, хотя небесплодная для будущих поколений, основывалась в те времена на незнании географии, так как сам Павел полагал, что река Оксус или Аму-Дарья впадает в то же море, в какое впадает Волга. Ему хотелось проверить собственным опытом свои предположения, но Василий не пустил его ездить по своим областям, так как в то время вообще полагали, что не следует знакомить иноземцев со своей страной. Однако Василий дал ему грамоту к папе с выражением самого дружеского расположения. Этому-то капитану Павлу папа Климент VII дал свою грамоту к Василию, узнавши, что капитан Павел опять собирается в Москву с прежними целями. В своей грамоте Климент VII, по примеру Льва X, убеждал присоединиться к римской церкви и заключить с римским двором дружеский союз, обещал королевский титул, регалии и помощь против неверных. Василий вместе с этим капитаном Павлом отправил к папе (в 1526) переводчика Димитрия Герасимова, человека ученого, который некогда помогал Геннадию в его работах над Библией. Василий изъявлял желание быть с папой в дружественном союзе, воевать вместе с христианскими государями против неверных, но ничего не говорил о вере – не изъявлял желания соединения, однако и не отвергал предложения и давал свободный пропуск на московскую землю подданным всех европейских христианских государей. Эта благосклонность к папскому престолу, как и вообще ко всему Западу, была поводом к тому, что католическое духовенство считало Василия сильно расположенным к унии, негодовало на Польшу, которой, по его расчету, было бы неприятно такое соединение, потому что угрожало признанием со стороны папы прав московского государя на русские области, и даже в последующие времена смотрело на эпоху Василия, как на время самое благоприятное и близкое к достижению заветных целей римского престола.

Несмотря на брак Василия с Еленой, дядя ее, Михаил, еще некоторое время сидел в тюрьме и был освобожден только по усиленной просьбе великой княгини. Но зато, вскоре после освобождения, все прежнее простилось Михаилу Глинскому и более не поминалось; он сделался приближенным человеком Василия. Великая княгиня все более и более

овладевала своим супругом; но время проходило, а желанная цель Василия – иметь наследника, не достигалась. Было опасение, что и Елена будет также бесплодна, как Соломония. Великий князь вместе с нею беспрестанно совершал путешествия по разным русским монастырям. В сопровождении новгородского владыки Макария, был он у Тихвинской Божией матери, ездил по монастырям: в Переяславль, Ростов, Ярославль, в Спасов-Каменный монастырь на Кубенском озере, в Кирилло-Белозерский монастырь, устраивал братии «велие утешение», раздавал милостыню нищим. Во всех русских церквях молились о чадородии Василия. Из монастырей доставляли ему и его великой княгине хлеб и квас – ничто не помогало. Прошло таким образом четыре года с половиною, пока, наконец, царственная чета не прибегла в своих молитвах к преподобному Пафнутию Боровскому. Только тогда Елена сделалась беременной. Радость великого князя не имела пределов. Еще не родился ребенок, а уже о нем заранее составлялись предзнаменования. Духовные говорили, что «когда отроча во чреве матери растяше, то печаль от сердца человеком отступаше: когда отроча во чреве матери двигалось, то стремление иноплеменной рати на царство низлагалось». Один юродивый, по имени Дементий, на вопрос беременной Елены: кого она родит? отвечал: «Родится сын Тит, широкий ум». Наконец 25 августа 1530 года Елена разрешилась от бремени сыном: и в час ее разрешения, как рассказывали, по русской земле прокатился страшный гром, молния блеснула, земля поколебалась! Новорожденный наречен был Иоанном в честь ближайшего ко времени его рождения праздника Усекновения главы Иоанна Предтечи. Восприемниками его были монахи осифляне: Кассиан Босый и Даниил переяславский. Мамкою к новорожденному царевичу была приставлена боярыня Аграфена Челяднина, родная сестра князя Ивана Овчины-Телепнева-Оболенского, который все больше входил в милость и около этого времени, по смерти отца, получил важный сан конюшего. Через два года после рождения Ивана Елена родила другого сына, Юрия.

В последние годы царствования Василия Казань снова отдалась под прежнюю власть Москвы. Сами казанцы выгнали Сафа-Гирея, заклятого врага Москвы, и изъявили желание принять царя от руки московского государя, но просили не посылать к ним прежнего, Шиг-Алея, опасаясь от него мести за изгнание. Василий Иванович в 1531 году послал им в цари брата Шиг-Алеева Еналея, а Шиг-Алею дал Коширу и Серпухов, но в январе 1532 года, за сношения с Казанью без его ведома, государь лишил Шиг-Алея этих городов и сослал вместе с женою на Белоозеро, где велел держать под стражей. Изгнание Сафа-Гирея из Казани усилило неприязненные отношения с Крымом, где царствовал его брат Саип-Гирей, бывший некогда царем в Казани. Крымцы сделали набег на пределы московского государства в 1533 году, но были отбиты. Против них отличился Иван Овчина-Телепнев-Оболенский.

Кончина великого князя Василия на пятьдесят пятом году жизни послужила поводом к ее подробному описанию в наших летописях, замечательному по обилию черт нравов и быта того времени.

Летом 1533 года отправился Василий с женой и детьми к Троицкой обители, а оттуда на охоту в Волок Ламский, и тут постигла его болезнь: на левой ноге сделался у него подкожный нарыв. Однако Василий послал за ловчими и, переезжая из села в село, охотился. Доехав до Колпя, он послал пригласить на охоту своего брата Андрея Ивановича, который тотчас же прибыл на зов его. Желая скрыть от него болезнь, Василий выехал с ним на поле с собаками, но, отъехав версты две, совершенно изнемог, принужден был вернуться обратно в Колпь и слечь в постель. Тут велел он послать в Москву за Михаилом Глинским и своими лекарями: Николаем Булевым и Фефилом. Те приехали и с общего совета принялись лечить его припарками; но пользы было мало. Так прошло две недели. Василий послал в Москву стряпчего своего Мансурова и дьяка Меньшого Путятина за своею и отцовскою духовною, настрого приказав им ничего не говорить митрополиту, княгине и боярам. Они исполнили приказ. Василий тайком от всех велел сжечь свою духовную и стал думать со своими боярами, как бы ему вернуться в Москву. Из бояр были с ним тогда: князь Димитрий Бельский, Иван Васильевич Шуйский, Михаил Глинский и дворецкие его князь Иван Кубенский и Иван Шигона. Великий князь решил ехать из Волока в Иосифов монастырь.

Больного повезли в каптане (возке); с ним сели двое людей, которые переворачивали его с боку на бок. В монастыре у ворот встретил Василия игумен с братиею, с образами и свечами. Великого князя взяли под руки и повели в церковь, где уже ждала его великая княгиня с детьми. Василий слушал литургию, лежа на одре, на паперти церковной. На другое утро великий князь отпустил брата своего Андрея и собрался в Москву. Его повезли тем же порядком. Остановки были частые. Великому князю становилось все хуже, и стал он думать с боярами, как бы ему приехать тайком в Москву, так как там было много иноземцев и послов. Наконец доехали они до Москвы. Великий князь велел призвать всех своих бояр, стал говорить им о своем малолетнем сыне Иване, о том, как строиться царству после него; и тут же приказал своим дьякам писать новую духовную. В это время съехались и братья его. Василий поручал им великую княгиню и детей, напоминая им крестное целование, и приказывал служить верно сыну его, «неподвижно», как ему служили. С тем же обращался он многократно к митрополиту и боярам и молил митрополита постричь его. К боярам своим он, кроме того, обратился с такой речью: «Поручаю вам Михаила Львовича Глинского; человек он приезжий, и вы бы того не говорили, что он приезжий; держите его за здешнего уроженца, потому что он мне верный слуга...»

Василий между тем испытывал страшные мучения: рана его воспалилась; от нее шел сильный смрад. Боязнь за будущность сына усиливала его мучения. В тоске обратился он к своему лекарю Николаю Булову и сказал ему: «Брате Миколае! Ты видел мое великое жалованье к себе: можно ли тебе сделать мазь или иное что, чтобы облегчить болезнь мою».

Николай отвечал великому князю: «Видел я, государь, твое государево жалованье великое; если бы можно, тело свое раздробил бы тебя ради, государя, но дума моя немощна без Божьей помощи».

Великий князь отвернулся и, обратившись к окружающим, сказал: «Братие! Миколай гораздо понял болезнь мою, ей ничто не пособит; нужно, братие, думать, чтобы душа не погибла вовеки».

Василий начал готовиться к смерти, причастился Св. Тайн. К нему приехал троицкий игумен Иосаф; он и его просил о жене и детях.

К Василию пришли братья и стали понуждать его вкусить пищи: великий князь поднес к губам миндальной каши, но тотчас же оставил ее. Кроме братьев, были еще при нем: Михайло Юрьев, князь Михайло Глинский и Шигона. Василий сказал им: «Вижу сам, что живот мой к смерти приближается, хочу послать за сыном моим Иваном и благословить его крестом Петра Чудотворца, хочу послать за женой своей великой княгиней и наказать ей, как ей быть по моей смерти», но потом одумался и сказал: «Не хочу посылать за сыном моим за великим князем за Иваном: сын мой мал, а я лежу в великой немочи, а то – испугается меня сын мой».

Князь Андрей и бояре начали уговаривать его, чтобы он послал за сыном и княгиней. Великий князь велел себе принести наперед сына и надел на себя крест Петра Чудотворца. Малолетнего Ивана принес его шурин князь Иван Глинский; за ним шла мамка Аграфена Челяднина. Великий князь снял с себя крест Петра, благословил сына и отпустил, сказав Челядниной: «Чтобы ты, Аграфена, от сына моего Ивана не отступала ни пяди». Затем ввели великую княгиню; она громко плакала, билась, едва держась на ногах. Великий князь стал утешать ее, говоря, что ему легче и у него ничего не болит. Поуспокоившись, Елена спросила мужа: «Государь князь великий! На кого меня оставляешь и кому, государь, детей приказываешь?» Великий князь ответил: «Благословил я сына своего Ивана государством и великим княжением: а тебе написал в духовной своей грамоте, как в прежних духовных грамотах отцов наших и прародителей, по достоянию, как прежним великим княгиням». Елена стала просить мужа благословить второго сына. Великий князь послал за Юрием, благословил его Паисавским крестом, а о вотчине, назначенной ему, сказал: «Приказал я, и в духовной грамоте написал об этом по достоянию». Хотел было Василий наказать жене о житье ее после него, но она так кричала и вопила, что не дала ему сказать ни слова, и он отослал ее. Тут великий князь сделал еще некоторые посмертные распоряжения, и, наконец,

призвав к себе митрополита Даниила и владыку коломенского Вассиана, сказал им: «Видите сами, изнемог и к концу приблизился, а желание мое давно было постричься: постригите меня». Митрополит Даниил и боярин Михайло Юрьевич похвалили его за намерение, но некоторые из бояр стали отговаривать великого князя, напоминая, что не все великие князья преставились в чернецах, и сам святой князь Владимир киевский умер не в чернецах. И был между ними большой спор. Василий стоял на своем. Над ним совершили обряд пострижения. Когда обряд заканчивался, Василий отошел в вечность.

Тогда митрополит Даниил повел братьев великого князя, Юрия и Андрея, в переднюю избу и привел к крестному целованию на том, чтобы они служили великому князю Ивану Васильевичу всея Руси и матери его великой княгине Елене и жили бы в своих уделах; чтобы государства им под великим князем Иваном не хотеть, ни людей им от великого князя Ивана к себе не отзывать, и чтобы стоять им заодно против недругов великого князя и своих: латинства и бесерменства. Затем Даниил привел к крестному целованию бояр, боярских детей и княжат и пошел к Елене утешать ее. Елена – рассказывает летописец – видя идущих к ней митрополита, Васильевых братьев и бояр, упала на землю как мертвая и, пролежавши два часа, насилу очнулась. Троицкий игумен Иосаф и старцы Иосифова монастыря наряжали усопшего: расчесали ему бороду, подстлали под него черную тафтяную постель, положили тело на одре, начали над усопшим служить заутреню, часы и каноны, как делалось при живом. Приходило к нему прощаться много народу: и боярские дети, и княжата, и гости, и другие люди, и был плач великий. Наконец, митрополит велел звонить в большой колокол. Троицкие и иосифовские старцы понесли тело великого князя на головах в переднюю избу, а оттуда на крыльцо и вынесли на площадь. Дети боярские вынесли великую княгиню Елену из ее хором в санях; позади шли князья Василий и Иван Шуйские, Михайло Львович Глинский. Василия схоронили возле отца, в каменном гробу, в Архангельском соборе.

## **Глава 16**

### **Преподобный Нил Сорский и Вассиан, князь Патрикеев**

Тогда как еретическое направление, начавшееся нападками на злоупотребления в иерархии, дошло, наконец, до отрицания основных начал веры, в недрах строго верного догматам православия явилось направление, расходившееся с усвоенным на Руси складом религиозных воззрений. Направление это преимущественно нашло себе приют и развивалось в северном крае, соседнем Белоозеру, отчего последователи его в XVI столетии носили название белозерских или заволжских старцев. Первым представителем этого направления был преподобный Нил Сорский. Родился он в 1433 году. Жизнь его чрезвычайно проста и несложна. Родители его нам неизвестны; знаем только, что мирское прозвище его было Майков, и сам он называет себя поселянином. В юности он постригся в Кирилло-Белозерском монастыре и, проживши там несколько времени, отправился странствовать на Восток вместе с другом своим Иннокентием Охлябининым; пробыл, между прочим, несколько лет на Афоне, изучил, как показывают его сочинения, греческий язык, основательно познакомился с творениями Св. отцов и со многими произведениями духовной литературы. После многих лет странствования он возвратился в Кирилло-Белозерский монастырь, но не ужился там. Его поэтическая натура не могла довольствоваться тем господством внешности, которое он встречал в русском монашестве и вообще в русском благочестии. Он удалился за пятнадцать верст от монастыря, к реке Соре, соорудил себе часовню и келью, а потом, когда к нему примкнули несколько братьев, построил церковь. Таким образом основалось монашеское товарищество, но – совсем на других началах, чем все русские монастыри. Нил взял себе за образец так называемое «скитское житье», существовавшее в некоторых местах на Востоке, но неизвестное до той поры на Руси. В своих сочинениях Нил изложил сущность отшельничества по своим понятиям.<sup>48</sup> Нил имеет в

---

<sup>48</sup> Из сочинений его известны: «Послание к брату, вопросившему его о помыслах»; «Послание к

виду одних только монахов, до мира ему нет дела. В своем послании к князю Вассиану он представляется человеком, который пришел к убеждению, что в мире все обманчиво и не стоит того, чтобы дорожить им. «Мир, – говорит он, – ласкает нас сладкими вещами, после которых бывает горько. Блага мира только кажутся благами, а внутри исполнены зла. Те, которые искали в мире наслаждения, все потеряли: богатство, честь, слава – все минет, все опадет как цвет. Того Бог возлюбил, кого изъял от мира» (то есть – в иночество). Но иноческий идеал у Нила внутренний, а не внешний. Все внешнее благочестие у него занимает место менее, чем второстепенное. Цель инока – внутренняя переработка души. Нил опирается на слова Св. Варсонофия: если внутреннее делание не поможет человеку, напрасно он трудится во внешнем. Тогда как другие подвигоположники для спасения души предписывают продолжительное моление, пост, всяческое изнурение плоти, Нил не придает этому никакого значения без внутреннего духовного подвига. «Напрасно, – говорит он, – думают, что делает доброе дело тот, кто соблюдает пост, метание, бдение, псалмопение, на земле лежание – он только согрешает, воображая, что все это угодно Богу. Чтение молитв и всякое прилежное богослужение не ведет само по себе к спасению без внутреннего делания», и для этого у Нила есть готовая опора в словах апостола Павла: лучше пять слов сказать умом, нежели тьму слов языком. «Тот не только не погубляет своего правила, кто оставит всякие псалмопения, каноны и тропари, и все свое внимание обращает на умственную молитву; тот еще более умножает его». Пост у Нила есть только воздержание и умеренность. Всякий богоугодный человек может вкушать всякую хорошую пищу, но только с воздержанием. Кто с разумом вкушает и с разумом удаляется от пищи, тот не грешит... «Лучше, – говорит он, – с разумом пить вино, чем пить глупо воду. Если человек замечает, что та или другая пища, утучняя его тело, возбуждает в нем дурные наклонности, воспитывает в нем сластолюбие, он должен удаляться от нее; а если тело его требует поддержки, то он должен принимать всякую пищу и питье, как целебное средство. Безмерный пост и пресыщение равным образом предосудительны... Но, – говорит Нил, – безмерный пост и безмерное воздержание приносят еще более вреда, чем ядение до сытости». Заглядывая в человеческую душу, Нил понял, что исполнение внешних подвигов благочестия ведет к тщеславию, самому ненавистному для него греху. Весь монашеский подвиг у него сосредоточивается на «умном делании», которое есть не что иное, как борьба с дурными помыслами, которых он насчитывает восемь (чревообъедение, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие и гордость).

Всякий помысел незаметно входит в душу, и это называется у него «прилогом». Если человек останавливается над дурным помыслом – это «сочетание»; если человек склоняется в пользу его – это «сложение». Если помысел овладевает душою – такое состояние называется у него «пленением», а если человек совершенно и надолго предается ему – это страсть. В этих-то различных состояниях души следует иноку вести с собою внутреннюю борьбу, стараясь более всего пресекать влияние дурных помыслов в самом их зародыше. Победа над помыслами приводит к высочайшему, блаженному, спокойному состоянию души и приближает к божеству; Нил представляет в самом поэтическом образе такое состояние души, подкрепляя свое описание выписками из разных греческих сочинений о созерцательной жизни. Он требует, чтобы монах постоянно читал священное писание и духовные сочинения и руководствовался ими. «Ничего, – пишет он Вассиану, – не твори без свидетельства писания. Так и я, когда что хочу делать, то прежде поищу в божественных писаниях, и если не найду согласия моему разуму в начинаемом деле, отлагаю его до тех пор, пока найду, а когда найду, то с благодатью Божию смело приступаю к делу; сам собою я ничего не смею творить: я невежда и поселянин».

Сообразно с таким взглядом на значение иночества, Нил составил и свой устав скитского жития. В церкви было три способа иноческой жизни: общежитие, скитское житие и совершенное уединение. Общежитие господствовало во всех русских монастырях и довело

---

брату о пользе души»; «Послание от божественных писаний во отце скорбящему брату»; «Предание о жительстве скитском ученикам своим»; завещание преподобного Нила «Послание иноку о пользе».



до таких злоупотреблений, с которыми Нил не мог помириться. Уединенное житье годилось только для немногих. Напротив, тот, кто не вполне отрешился от всяких страстей, по мнению Нила, приобретает в уединении только злобу и воспитывает внутри себя пороки, которые тотчас проявятся наружу, как только отшельник войдет в общение с людьми. «Аспид ядовитый и лютый зверь, – говорил Нил, – укрывшись в пещере, остается все-таки лютым и вредным. Он никому не вредит, потому что некого кусать ему, но он не делается добронравным оттого, что в пустынном и безлюдном месте не допускают его делать зла: как только придет время, он тотчас выльет свой сокровенный яд и покажет свою злобу. Так и живущий в пустыне не гневается на людей, когда их нет, но злобу свою изливает над бездушными вещами: над тростью, зачем она толста или тонка, на тупое орудие, на камень, нескоро дающий искру. Уединение требует ангельского жития, а неискусных убивает». Третий род жития, скитский, состоял в том, что иноки поселялись вдвоем или втроем, питались и одевались от трудов собственных рук, каждый по своим заработкам, и друг друга поддерживали во внутренней борьбе и «умном делании»; такой способ жизни Нил считал самым удобным для той цели, которую он видел в монашестве. Скит мог состоять из нескольких особых келий, где жило отдельно по два или по три пустытника. Из среды их избирался ими же настоятель; но он был не более, как руководитель, к которому они добровольно обращались. Нил позволял принимать подаяния только в самом незначительном размере и, притом, в случае крайней нужды или болезни. Недвижимое имущество и капиталы никак не могли быть достоянием скита, так как в ските не было никакого общего имения. Церковь в ските отнюдь не должна была иметь никаких богатств и украшений; серебро и золото изгонялось из нее строго. «Лучше бедным помогать, чем церкви украшать», – говорил Нил. Хотя находились другие, желавшие присоединиться в скит преподобного Нила, но он принимал их с большим выбором и охотно отпускал из скита, так что в его ските, даже после его смерти, оказалось не более двенадцати старцев. Женщинам не дозволялось входить в скит. Нелюбовь Нила к роскоши была так велика, что по смерти его составилось такое предание: когда царь хотел построить в его пустыне каменную церковь, то преподобный явился ему во сне и приказал не строить каменной церкви, а велел воздвигнуть деревянную.

С такими понятиями естественно было Нилу сделаться противником Иосифа Волоколамского и заявить протест против любостяжания монахов и монастырских богатств. Великий князь Иван уважал старца Нила и призывал на соборы. В 1503 году, в конце бывшего тогда собора, Нил сделал предложение отобрать у монастырей все недвижимые имущества. По его воззрению вообще, только то достояние и признавалось законным и богоугодным, которое приобреталось собственным трудом. Иноки, обрекая себя на благочестивое житье, должны были служить примером праведности для всего мира; напротив, владея имениями, они не только не отрекаются от мира, но делают участниками всех неправд, соединенных с тогдашним вотчинным управлением. Так поставлен был вопрос о нестяжательности. Ивану III было по душе такое предложение, хотя из своекорыстных побуждений. Иван Васильевич распространял вопрос о владении недвижимым имением не только на монастырские, но и на архиерейские имущества. Собор, состоящий из архиереев и монахов, естественно вооружился против этого предложения всеми силами и представил целый ряд доказательств законности и пользы монастырской власти над имениями, доказательств, составленных, главным образом, Иосифом Волоцким. В его сочинении указывалось на то, что монастыри на собственные средства содержат нищих, странников, совершают поминовения по тем, которые давали вклады, и потому для них нужны свечи, хлеб и ладан; автор приводил примеры из Ветхого Завета, из византийских законов, из соборных определений; вспоминал о том, что русские князья, начиная с самых первых, давали в монастыри вклады, записывали села и, наконец, приводил самые убедительные доказательства, что если за монастырями не будет сел, то нельзя постригаться в них знатным и благородным людям, а в таком случае неоткуда будет взять на Руси митрополитов и прочих архиереев. Собор взял верх. Иван ничего не мог сделать против его решения. С этих

пор Иосиф сделался отъявленным и непримиримым врагом Нила. К вопросу о монастырских имуществах присоединился вопрос об еретиках. Нил, сообразно своему благодушию, возмущался жестокими мерами, которые проповедовал Иосиф против еретиков, в особенности же тем, что последний требовал казни и таким еретикам, которые приносили покаяние. Тогда, конечно, с ведома Нила, а может быть, и им самим, написано было от лица белозерских старцев то остроумное послание, обличавшее Иосифа, о котором мы говорили в биографии Геннадия. Иосиф разразился обличительным посланием против Нила, укорял его и его последователей в мнениях, противных православию, в том, что он, сострада еретикам, называет их мучениками, не почитает и хулит древних чудотворцев русских, не верует их чудесам, научает монахов чуждаться общежителства, не велит заботиться о благолепии церкви и украшать иконы золотом и серебром. Таким образом, Иосиф хотел дать преступный смысл тому предпочтению, которое оказывал Нил внутреннему благочестию перед внешним. Иосиф обвинял Нила в неуважении к чудотворцам, на том основании, что действительно Нил, как и его ученики, опираясь на сочинения древних святых отцов, особенно на Никона Черной Горы, вооружался против ханжей, распускавших известия о ложных чудесах, знамениях и сновидениях. В своем (неизданном до сих пор) коротком сочинении «О мнихах кружающихся» (т.е. шатающихся) Нил обличал тех бродяг, в виде монахов, которые всюду скитались и нагло надоедали домохозяевам своим попрошайством. Этим задевались вообще старцы, ходившие из монастырей за милостынею, и игумены, выпрашивавшие от сильных мира сего разных вкладов и даяний. Кроме того, Нил подавал повод к толкованию в худшую сторону его поступков и тем, что относился критически к разным житиям святых и выбрасывал из них то, что считал позднейшею прибавкою. Нил не отвечал своим врагам и скоро потом скончался (в 1508). Но за него вел ожесточенную письменную борьбу с Иосифом его ученик князь Патрикеев, инок Вассиан, бывший боярин Василий Иванович, постриженный насильно Иваном Васильевичем, прозванный Косым, внук сестры великого князя Василия Димитриевича. Находясь в Кирилло-Белозерском монастыре, он познакомился с Нилом и предался его учению. Великий князь Василий Иванович перевел его в Симонов монастырь и очень уважал его за ученость и нравственную жизнь. Вассиан оставил несколько любопытных сочинений, направленных против Иосифа и монашеских злоупотреблений своего времени, преимущественно против любостяжания. Верный основным взглядам своего наставника Нила, Вассиан за исходную точку зрения на монашеское благочестие принимает то правило, что для разумеющих истину благочестие познается не в церковном пении, не в быстром чтении, не в седальнях, тропарях и гласах, а в умилении молящихся, в изучении божественных пророков, евангелистов, апостолов, творений Святых отец и в согласном с учением Христа образом жизни. Обладание селами влечет монахов к порокам, противным духу евангельскому. «Входя в монастырь, – говорил он, – мы не перестаем всяким образом присваивать себе чужое имущество. Вместо того, чтобы питаться от своего рукоделия и труда, мы шатаемся по городам и заглядываем в руки богачей, раболепно угождаем им, чтоб выпросить у них село или деревеньку, серебро или какую-нибудь скотинку. Господь повелел раздавать неимущим, а мы, побеждаемые сребролюбием и алчностью, оскорбляем различными способами убогих братьев наших, живущих в селах, налагаем на них лихву на лихву, без милосердия отнимаем у них имущество, забираем у поселянина коровку или лошадку, истязуем братьев наших бичами или прогоняем их с женами и детьми из наших владений, а иногда предаем княжеской власти на конечное разорение. Иноки, уже поседелые, шатаются по мирским судилищам и ведут тяжбы с убогими людьми за долги, даваемые в лихву, или с соседями за межи сел и мест, тогда как апостол Павел укорял коринфян, людей мирских, а не иноков, за то, что они ведут между собой тяжбы, поучал их, что лучше было бы им самим сносить обиды и лишения, чем причинять обиды и лишения своим братьям. „Вы говорите, что благоверные князья дали вклады в монастыри ради спасения душ своих и памяти родителей и что, давши, сами они уже не могут взять обратно данное из рук Божиих. Но какая польза может быть благочестивым князьям, принесшим Богу дар, когда вы неправедно устраиваете их

приношение: часть годовых сборов с ваших имений превращаете в деньги и отдаете в рост, а часть сберегаете для того, чтобы во времена скудости земных произведений продать по высокой цене? Сами богатеете, обжираетесь, а работающие вам крестьяне, братья ваши, живут в последней нищете, не в силах удовлетворить вас тягостной службой, изнемогают от лихвы вашей и изгоняются вами из сел ваших, нагие и избитые! Хорошее воздаяние даете вы благочестивым князьям, принесшим дар Богу! Хорошо исполняете вы заповедь Христову не заботиться об утреннем дне!..“ Иосиф написал очень строгий устав для своего монастыря и, во избежание того, чтобы монахов не обвиняли в занятиях мирскими делами, постановил, чтобы все управление и расправы над монастырскими подданными происходили не в самом монастыре. Вассиан, делая намек на это распоряжение, громит противника такими словами: „Отвергшись страха Божия и своего спасения, повелевают нещадно мучить и истязать неотдающих монастырские долги, только не внутри монастыря, а где-нибудь за стенами, перед воротами!.. По-ихнему казнить христианина вне монастыря не грех! О законоположитель! Или лучше назвать тебя – законопреступник! Если считаешь грехом внутри монастыря мучить братию свою, то и за монастырем также грех! Область Бога, почитаемого в монастыре, не ограждается местом. Все концы земли в руках Его. Откуда же взял ты власть нещадно мучить братий, а особенно несправедливо? Какой же ты хороший хранитель евангельской заповеди и апостольских правил!..“

Вассиан, поражая современные монастыри, касался и святителей. Правда, он предоставлял им, сообразно священным правилам соборов, некоторые «движимые и недвижимые стяжания», но приводил в пример древних святых иерархов, отличавшихся нестяжательностью, и между прочим Василия Великого, который сказал грозившему ему императорскому чиновнику: «Что ты можешь взять у меня, кроме бедных одежд и книг моих, для тебя ненужных, а в них вся моя жизнь!» В противоположность этим примерам, Вассиан изображал современных ему святителей так: «Наши же предстоящие, владея множеством церковных имений, только и помышляют о различных одеждах и яствах, о христианах же, братьях своих, погибающих от мороза и голода, не прилагают никакого попечения; дают бедным и богатым в лихву церковное серебро, а если кто не в состоянии платить лихвы, не покажут милости бедняку, – а до конца его разорят. Вот сколько нарядных батононосных слуг стоят перед ними, готовые на мановение владык своих! Они бьют, мучат и всячески терзают священников и мирян, ищущих суда перед владыками». По мнению Вассиана, монахи, как люди, отшедшие от мира, должны жить в молитве и уединении, питаясь исключительно от трудов рук своих, а святительские имения должны быть управляемы экономами и доходы с них, кроме отлагаемого на содержание святителей, и то с согласия всего собора духовенства, должны идти на приют сиротам, вдовам, калекам и на выкуп пленных.

Эти обличения вызывали со стороны Иосифа, а потом, после смерти его, со стороны его последователей не менее горячие опровержения<sup>49</sup>, в которых старались уличить Вассиана в ереси. Вассиан снова писал против них, опровергал их доводы, пункт за пунктом, между прочим касаясь и давнего вопроса относительно преследования еретиков. Очевидно, остерегаясь раздражить великого князя, он не осмеливался отрицать власти государя казнить нераскаянных еретиков, но горячо стоял за тех из еретиков, которые приносили покаяние, смело называл таких казненных мучениками; впрочем, и относительно милосердия над еретиками вообще приводил, по возможности, места из древних духовных сочинений. «Что же, – писал он, – по-вашему и блаженный Иоанн Златоуст достоин осуждения, когда он возбраняет смерть еретиков, опираясь на притчи о плевелах? Он сказал вот что: „Не следует убивать еретика, потому что от этого вводится в мир бесконечная вражда. Если вы поднимете оружие и начнете убивать еретиков, то неизбежно погубите вместе с ними и многих святых людей. Притом же самые плевелы могут обратиться в пшеницу“. И в другом

---

<sup>49</sup> Самое веское из этих опровержений было то, что обитель Волоколамская пропитывала толпу народа во время голода. Это служило несомненным доводом того, что если обличения Вассиана были справедливы, то не во всем и не относительно всех монастырей, владевших имениями.

месте он же говорит: „Не следует стеснять еретиков, заушать их и ссылатъ“.

Преследуя свою любимую идею о монастырских вотчинах, Вассиан обратил внимание на Кормчую книгу или Номоканон – свод церковных законоположений, к которым присоединялись разные гражданские законы византийской империи, а также и русские статьи. От разных дополнений естественно вошли в Кормчую разные противоречия. Вассиан заметил это относительно занимавшего его вопроса. В одних правилах запрещалось инокам держать села, в других – дозволялось. Вассиан доложил об этом митрополиту Варлааму и духовному собору и говорил: «Чему же верить, и как разрешить, когда в святых правилах есть супротивное Евангелию и Апостолам?» Митрополит Варлаам дал благословение Вассиану составить новый свод правил, но с условием ничего не выкидывать. Вассиан выбрал один сербский список Кормчей, в котором было меньше статей, благопритествовавших защитникам монастырских вотчин, а потом, сошедшись с приехавшим тогда в Россию ученым Максимом Греком, сделал сличение с греческим подлинником, нашел неправильности в славянском переводе (состоявшие, между прочим, в том, что словом «села», под которым разумелись населенные местности, переведено было то, что соответственно означало «угодья», т.е. пашни, поля, виноградники и т.д.). Это было в 1518 году. Вассиан приложил к своей Кормчей так называемое «Собрание», направленное против своих противников. Кормчая была поднесена самому великому князю. Василий Иванович ласкал Вассиана, однако не делал никакого шага в его духе. Правда, присвоение богатых монастырских имений было соблазнительно для верховной светской власти, но Василий соображал, что, обогатившись временно захватом имений, он потеряет нравственную поддержку со стороны большинства духовенства. Притом же «осифляне», ратовавшие о сохранении монастырских имений, отличались угодливостью светской власти и готовностью поддерживать самовластные стремления московского государя, тогда как их противники показывали более или менее нерасположение к той безусловной власти, которая не знает нигде себе предела.<sup>50</sup>

Наступило важное в свое время событие – развод великого князя. Василий обратился за разрешением к духовенству. Митрополита Варлаама уже не было. Василий не любил его за то, что он во все вмешивался, давал советы и хлопотал за опальных. Он удалил Варлаама. Место его заступил Даниил из волоколамских игуменов, ученик Иосифа Волоцкого. Этот «осифлянин», взявши себе за правило ни в чем не противоречить власти, а восхвалять все, что от нее исходит, беспрекословно одобрил желание Василия; но когда великий князь спросил о том же Вассиана, то бывший боярин смело сказал государю: «Ты мне, недостойному, даешь такое вопрошение, какого я нигде в священном писании не встречал, кроме вопрошения Иродиады о главе Иоанна Крестителя». Он доказывал великому князю несообразность его намерения с евангельскими и апостольскими правилами.

Сделалось не так, как говорил Вассиан, а так, как хотел князь и как одобрили «осифляне».

Василий был осторожен и не мстил тотчас тем, на кого был недоволен; ему не хотелось, чтобы все видели и понимали, за что он мстит; в таком случае Василий откладывал мщение до возможности придаться к чему-нибудь другому. Уже Максим Грек был обвинен в порче книг и сослан в Волоколамский монастырь. Вассиан оставался пока в покое. Между тем, после своего второго брака, Василий окончательно стал на сторону «осифлян». Не имея долго детей от второй жены, великий князь беспрестанно ездил по монастырям, давал вклады и жаловал имения. Его расположение к партии «осифлян» еще больше увеличилось, когда беременность Елены приписана была чудотворной силе Пафнутия Боровского, у которого в монастыре Иосиф Волоцкий принял пострижение и где он был некоторое время преемником Пафнутия. Благодаря монашеским молитвам, Василий наконец получил то, чего так долго желал: у него родился сын Иван. Вскоре после того, в 1531 году, Вассиан был

---

<sup>50</sup> Это в особенности видно из того, что впоследствии Курбский, явный враг самодержавия, до крайности враждебно относится к «осифлянам» и с большим уважением и любовью – к их противникам.

предан соборному суду под председательством его заклятого врага митрополита Даниила, одновременно со вторичным судом над Максимом Греком. Тогда ему пришлось поплатиться за все свои спорные писания, за все смелые речи, произнесенные десять или даже двадцать лет тому назад. И обвинителем и судьей Вассиана был Даниил, во всем угождавший мирскому властелину.

«Ведома ли тебе, – сказал Даниил, – великая книга, священные правила апостольские и отеческие, и семи вселенских соборов, и поместных, и градских законов, к ним присоединенных. Этой книги никто не смел поколебать от седьмого собора до русского крещения, а в нашей русской земле эта книга больше пятисот лет содержит соборную церковь и все православное христианство просвещает и спасает; от равноапостольного Владимира до нынешнего царя Василия, она была непоколебима и неразрушена; все святые по тем правилам жили и спасались, и людей учили. А ты дерзнул: ты малую часть из этой книги, угодную твоему малоумию, написал, а иное все разметал. Ты не апостол, не святитель, не священник. Как смел ты дерзнуть на это?»

«Меня, – отвечал Вассиан, – побудил на это митрополит Варлаам с освященным собором».

Он сослался на трех свидетелей архиереев, из которых двух уже не было на свете<sup>51</sup>, а третий, крутицкий епископ Досифей, спрошенный митрополитом, показал, что Вассиан лжет: митрополит ему не приказывал, и епископы не были ему советниками.

«Волен Бог, да ты, господин митрополит!» – сказал тогда Вассиан.

«Ты, – говорил митрополит, – в своих сотворениях написал, что в правилах есть противное Евангелию, Апостолу и Святым отец жительство; ты писал и говорил, что правила писаны от дьявола, а не от Святого Духа, называл правило – кривилом, а чудотворцев – смутотворцами за то, что они позволяли монастырям владеть селами и людьми».

«Я, – сказал Вассиан, – писал о селах: в Евангелии не велено держать сел монастырям».

Митрополит велел ему прочесть ряд доводов и примеров, свидетельствующих о том, что дозволялось монастырям держать села, и святые мужи их держали.

Вассиан сказал: «Если они и держали, то пристрастия к ним не имели.»

«А почему же ты нынешних чудотворцев считаешь пристрастными?» – спросил митрополит.

«Я не знаю, были ли они чудотворцы», – отвечал Вассиан. Митрополит продолжал: «От семи соборов и доньше не бывало в священных правилах еллинского учения, а ты написал в своих правилах еллинских мудрецов: Омира, Аристотеля, Филиппа, Александра, Платона».

«Я этого не помню – зачем написал, – сказал Вассиан, – если что не гораздо, исправь».

Митрополит укорял его за то, что он писал, будто божественное писание и священные правила называют отступниками тех, которые, будучи иноками, не хранят своего обещания не держать сел и не владеть ими.

«Ты, – говорил митрополит, – оболгал тем божественное писание и священные правила».

«Я писал себе, на воспоминание своей душе, – сказал Вассиан, – но тех не похваляю, что села держат».

После того митрополит стал придираться к разным опискам, чтоб обвинить Вассиана в явно еретических мнениях.

«У тебя, – говорил митрополит, – в правилах приведено правило Кирилла Александрийского: Аще кто не нарицает Пречистую Деву Марию, да будет проклят и вместо: не нарицает, сказано: нарицает». Вассиан на это сказал:

«Я Госпожу Богородицу не хую; верно, писец описался». Подобно тому указано было на житие Св. Богородицы Метафраста, переведенное Максимом Греком, где также от неисправности в переписке оказались такие ошибки, которые давали еретический смысл написанному. Поставленный на очную ставку монах (Вассиан Рушанин) обличал Вассиана,

<sup>51</sup> Ростовского Вассиана и суздальского Симеона.

будто он, вместе с Максимом Греком, об этих ошибках сказал: «Так и надобно». Вассиан на это сказал: «Я этого не говорил; он лжет на меня». «Ты, – продолжал митрополит, – живучи в Симонове, в разговоре с одним старцем назвал Христа тварию, а когда тебе старец сказал: Святые отцы на всех соборах Святым Духом писали, ты ответил: дьявольским духом они писали, а не святым».

«Никогда этого я не говорил, – сказал Вассиан, – покажи мне того старца, который на меня наговаривает». «Ты говорил со старцем Иосифова монастыря», – сказал Даниил. «У меня, – отвечал на это Вассиан, – не бывали в келье старцы Иосифова монастыря: я их к себе не пускаю; мне до них дела нет». Тут митрополит указал на одного старца по имени Досифей.

«Досифей старец великий, добрый; он у меня в келье бывал не раз», – сказал Вассиан.

Этот «великий добрый старец» явился обличителем Вассиана, показывал, будто Вассиан называл Христа тварью и говорил: Святые отцы писали не святым духом, а дьявольским.

«Я ничего этого не говорил, – сказал Вассиан, – душа твоя пусть подымет (это). Бог меня с тобой рассудит».

«Ты, Вассиан, – продолжал Даниил, – говорил про Макария Колязинского: что это за чудотворцы? Макар чудеса творит, а мужик был сельский!»

«Я его знал, – сказал Вассиан, – простой был человек; а если он чудотворец, – пусть будет как вам любо. Чудотворец ли он или не чудотворец – не знаю».

Митрополит объяснял бывшему боярину, что могут быть святые мужи и из рабов, из самого низкого звания, что следует уважать не телесное благородие, а духовное.

«Про то знает Бог, да ты со своими чудотворцами», – сказал Вассиан.

Митрополит далее продолжал: «Все православные поклоняются гробу и честным мощам митрополита Ионы, а ты не поклоняешься ему и не почитаешь его». «Я не знаю: чудотворец ли Иона», – сказал Вассиан. «Ты, – говорил митрополит, – и сам мудрствовал и других поучал мудрствовать несправедливо, говоря: плоть Господня до воскресения была нетленною». Вассиан подтвердил это.

«Где ты слыхал и видал то, что говоришь: будто плоть Господня была нетленною от Воплощения до Воскресения?» «И слыхал и видал, – сказал Вассиан. – А то ведает Бог да ты». Тогда последовало длинное обличение Вассиана в том, что его мнение о Христовой плоти сходно с древней ересью, которая признавала плоть Иисуса Христа только кажущейся, а не действительною.

В силу всего этого, Вассиан был осужден на заточение в Иосифов Волоколамский монастырь. Злоба врагов его, и в том числе великого князя, не могла выдумать большего наказания, как отдать Вассиана под власть тех, с которыми борьба составляла главную задачу всей его деятельности.

Он скоро умер в заточении. Курбский говорит, что «осифляне», по повелению великого князя, умили его.

## **Глава 17** **Максим Грек**

С судьбою Вассиана Патрикеева связана судьба другого лица, не русского по происхождению, но знаменитого в истории умственной деятельности древней Руси, лица, известного под именем Максима Грека.

Вольнодумство, задевавшее то с той, то с другой стороны непоколебимость церковного предания и так напугавшее благочестивую Русь жидовствующею ересью, вызывало со стороны православия потребность противодействия путем рассуждения и словесных состязаний. Сожжения и пытки не искореняли еретического духа. Еретики делались только осторожнее и совращали русских людей втайне: им было это тем удобнее, что они сами были лучшими книжниками и говорунами, чем те, которые хотели бы с ними вести споры.

Ревнителям православия предстояло обличать еретические мнения, указывать их неправильность, защищать истину вселенской церкви, но для этого необходимы были знания, нужна была наука. На Руси был недостаток как в людях, так и в книгах. Глубокое невежество тяготило русский ум уже много веков. Остатки прежней литературы, которыми могли руководствоваться книжники и грамотеи, пострадали от невежественных переписчиков, от умышленных искажителей, а иногда переводы сами по себе носили признаки неправильности. Много важное не находилось в распоряжении у благочестивых книжников на славянском языке: оно оставалось только на греческом, для них недоступном. Уже они чувствовали, что одной обрядности мало для благочестия и благоустройства церкви; нужно было учение, но где взять ученых? Не на Западе же было искать их: Запад давно разошелся с христианским Востоком. Русь могла только пытаться идти по своей давней стезе, протоптанной Св. Владимиром и его потомками – обратиться к Греции, которая, лишившись самобытности, была почти в таком же состоянии невежества, как и Русь, с той разницей, что греки, при всей неприязни к Западу, ездили туда учиться, а потому между ними можно было найти ученых людей, которых на Руси напрасно было искать.

В этих видах, конечно, по совету книжников, Василий Иванович отправил посольство на Афон, к которому русские еще со времен Антония печерского питали благоговение и где уже в XII веке был русский монастырь. В Москве узнали, что в афонском Ватопедском монастыре есть искусный книжник Савва, и приглашали его прибыть в Москву, для переводов и, главным образом, для перевода Толковой Псалтыри, т.е. сборника объяснений и примечаний к псалмам Давида, составленных разными древними отцами церкви. Такой перевод казался тогда необходимостью первой важности. Псалтырь была издавна любимую книгою русских грамотеев, но смысл ее был во многих местах непонятен, и это давало повод к разгулу фантазии, увлекавшей читателей в еретические заблуждения. Знакомые того времени русским книжным людям толкования были недостаточны. Надобно было доставить благочестивым читателям такое сочинение, которое помогало бы им понимать любимую часть священного писания, согласно с древним учением церкви. Кроме этой причины, великий князь нуждался в ученом греке для разбора греческих книг в своей библиотеке. В старину на Руси было довольно людей, знакомых с греческим языком, не только между духовными, но и между князьями. Поэтому греческие книги не были редкостью. В период татарского порабощения оскудело всякого рода знание: рукописи греческие, как и славянские, исчезали в разных местах от разных печальных обстоятельств. В Москве погибла книгохранилище во время нашествия Тохтамыша, но Москва забирала себе сокровища других русских земель, и потому неудивительно, если великокняжеская книгохранилище опять наполнилась; быть может, и приехавшие с Софией греки привезли с собой кое-что из образцов своей старой литературы.

Инок Савва не поехал в Москву, одолеваемый старостью: афонский игумен предложил московскому государю другого ученого грека, по имени Максим, из той же Ватопедской обители. Этот монах по-славянски не знал, но при своей способности к языкам мог скоро выучиться. С ним вместе отправились монахи Неофит и Лаврентий болгарин. Они примкнули к другим духовным, которые ехали в Москву за милостынею, и, пробывши несколько времени, по неизвестной нам причине, в Крыму, прибыли в Москву в 1518 году.

Максим был родом из албанского города Арты, сын знатных родителей эллинского происхождения по имени Эммануил и Ирина. В молодости он отправился учиться в Италию, пробыл там более десяти лет, учился во Флоренции и Венеции, слушал знаменитого филолога, своего соотечественника Ласкариса, был близок со многими учеными и в том числе с Альдом Мануччи, типографом и издателем древних классиков, который образовал около себя кружок ученых и образованных людей. Молодой грек увлекался на первых порах тогдашним просвещением, но впоследствии начал к нему охладевать. Оно не могло наполнить его честной, сердечной натуры, склонной к идеализму и с младенчества пропитанной духом отечественного православия. Европа тогда искала для себя обновления в просвещении античного мира. Все, что только интересовалось умственной деятельностью,

устремлялось к изучению этого мира и прилеплялось к нему всею душою; но увлечение классическою древностью скоро дошло до сумасбродства, особенно в Италии. В древнем мире видели идеал совершенства общественных отношений, науки, искусства, нравственности. Христианская религия потеряла свою цену. Почитание святых уступало место богам Греции и Рима; языческие философы стали выше отцов церкви; распространилось легкомысленное модное неверие и кощунство; знатные и образованные люди, не только светские, но и духовные, подобно древним римским философам, считали религию только пригодною для черни, которую, ради выгод, следует держать в заблуждении. Из подражания древнему образу жизни стали предаваться грязному разврату; эгоизм, бессердечие к ближнему – самые неудержимые пороки и злодеяния находили для себя оправдание в примерах из классических писателей. Ко всему этому присмотрелся Максим в Италии и возненавидел от всей души такое направление просвещения. Умственные успехи Италии не выкупали для него зловредного влияния древности на общественную нравственность. Искусство, при всем совершенстве техники, служило чувственности и снабжало самые церкви соблазнительными картинами. Философия приводила только к диалектике, доставлявшей умение сделать из черного белое, из белого черное; наука, мало опираясь на положительных знаниях природы, при всем вольномыслии в отношении религии, не отрешалась от грубейших суеверий; астрология со всеми своими нелепостями, облеченная в научную форму, была самою модною наукою века и возбуждала к себе веру и уважение ученых людей того времени. Понятно, что вся сфера тогдашней образованности стала наконец душною и смрадною для Максима, и он бежал от нее, подобно тому, как лучше люди последних веков Рима убегали от образованности своего времени под сень гонимого и презираемого христианства.

Максим воротился на родину, но, вероятно, увидел, что со всем тем запасом знаний, который он принес с собою из чужого края, нечего было делать в поработанном отечестве, где, по его словам, наука была доведена до последнего издыхания. В Италии он не ужился с западным просвещением, потому что не вынес безнравственности и лживости; не сделался он папистом, потому что, зная греческую литературу, слишком был сведущ в истории церкви и смотрел на нее прямее, чем западные люди. Еще меньше мог он в Греции ужиться с поработителями своего племени и, в угоду им, утеснять своих собратий, как делали иные его соотечественники. Максим был, с одной стороны, слишком образован, с другой, слишком прямодушен, чтобы играть какую-нибудь роль в тогдашнем мирском обществе на своей родине. Он ушел в монастырь на Афон; он был очень религиозен и принадлежал к той церкви, которая давно уже ставила иночество высшим идеалом. Монашеский обет чистоты соответствовал его целомудренной душе: он ни за что не хотел допустить, подобно другим, чтобы род человеческий размножался обычным животным способом, если бы первая чета не подверглась грехопадению; подобие человека с остальными животными в этом отношении казалось ему унижающим человеческое достоинство.

Но Максим не сделался, однако, безусловным врагом просвещения и науки; он уважал знание. Вооружаясь против астрологии, он, однако, не смешивал ее с астрономическими изысканиями, со стремлением изведать течение небесных тел и уразуметь законы природы. Как ни возмущало его увлечение классическою древностью, доводившее Италию до уродства, но все это не мешало ему ценить светлые стороны антического мира, ссылаться на греческих поэтов и философов. По примеру отцов церкви, он, уважая земную мудрость, хотел подчинить ее религии, выше всего ставил богословие: оно было для него внутреннею мудростью, а все прочие науки – внешнею.

Из своей жизни в Италии вынес он одно заветное воспоминание – воспоминание об Иерониме Савонароле. Среди всеобщего развращения нравов в Италии, в виду гнуснейшего лицемерия, господствовавшего во всей Западной церкви, управляемой папой Александром VI, чудовищем разврата и злодеяния, смелый и даровитый доминиканский монах Иероним Савонарола начал во Флоренции грозную проповедь против пороков своего века, во имя нравственности, Христовой любви и сострадания к униженным классам народа. Его слово



раздавалось пять лет и оказало изумительное действие. Флорентийцы до такой степени прониклись его учением, что, отрекаясь от прежнего образа жизни, сносили предметы роскоши, соблазнительные картины, карты и т.п. в монастырь Св. Марка и сжигали перед глазами Савонаролы, жертвовали своим состоянием для облегчения участи неимущих братьев, налапали на себя обеты воздержания, милосердия и трудолюбия. Один разве пример библейского пророка Ионы в Ниневии мог сравниться с тем, что делалось тогда во Флоренции. Но обличения Иеронима вооружили против него сильные земли. Его обвинили в ереси, и в 1498 году он был сожжен по повелению папы Александра VI. Максим знал Иеронима лично, слушал его проповеди, и надолго остался впечатленным в душе Максима образ проповедника-обличителя, когда тот, в продолжение двух часов, стоя на кафедре, расточал свои поучения и не держал в руках книги для подтверждения истины своих слов, а руководствовался только обширною своею памятью и «богомудрым» разумом. «Если бы, – говорит Максим в одном из своих сочинений, – Иероним и пострадавшие с ним два мужа не были латыны верою, я бы с радостью сравнил их с древними защитниками благочестия. Это показывает, что хотя латыны и во многом соблазнились, но не до конца еще отпали от веры, надежды и любви...»

Иероним Савонарола как обличитель людских неправд остался на всю жизнь идеалом Максима: он везде готов был подражать ему, везде хотел говорить правду сильным, разоблачать лицемерие, поражать ханжество, заступаться за угнетенных и обиженных. С таким настроением духа прибыл он в Москву, где управлял государь, отличавшийся тем, что не терпел ни малейшего себе противоречия, где христианство для массы существовало только во внешних обрядах, где духовенство отличалось грубостью нравов, ревниво держалось за свои земные выгоды и не в состоянии было, при своем невежестве, ни учить народа, ни руководить его пользою.

Василий принял Максима и его товарищей очень радушно, и ничто, по-видимому, не могло лишить пришельцев надежды возвратиться в отечество, когда они исполнят свое поручение. Говорят, что Максим, увидавши великокняжескую библиотеку, удивился изобилию в ней рукописей и сказал, что такого богатства нет ни в Греции, ни в Италии, где латинский фанатизм истребил многие творения греческих богословов: быть может, в этих словах было несколько преувеличения, по свойственной грекам изысканной вежливости.

Максим приступил к делу перевода Толковой Псалтыри; так как он по-русски еще не знал, то ему дали в помощники двух образованных русских людей: один был знакомый нам толмач Димитрий Герасимов, другой – Власий, исправлявший прежде того дипломатические поручения. Оба знали по-латыни, и Максим переводил им с греческого на латинский, а они писали по-славянски. Для письма приставлены были к ним иноки Сергиевой Лавры: Силуан и Михаил Медоварцев. Через полтора года Максим окончил свой труд; кроме того, перевел несколько толкований на Деяния Апостольские и представил свою работу великому князю с посланием, в котором излагал свой взгляд и правила, которыми руководствовался. Затем он просил отпустить его на Афон вместе со своими спутниками. Василий Иванович отпустил спутников, пославши с ними и богатую милостыню на Афон, но Максима удержал для новых ученых трудов. Не так легко было иностранцу выбраться из Москвы, как въехать в нее, если этого иностранца считали полезным в московской земле или почему-либо опасным для нее по возвращении его домой.

С этих пор судьба Максима, против его воли, стала принадлежать русскому миру. Он продолжал заниматься переводами разных сочинений и составлял объяснения разных недоразумений, относившихся к смыслу священных книг и богослужебных обрядов; например, объяснял, что слова в конце Иоаннова Евангелия о невместимости в целом мире книг, в которых были бы подробно изложены деяния Иисуса Христа, следует понимать не буквально, а в смысле преувеличения; объяснял, что в ектеньях о свышнем мире не следует понимать мира ангельского, но должно понимать мир в смысле спокойствия и т.п. Научившись достаточно по-русски, он принялся за исправление разных неправильностей, замеченных им в богослужебных книгах. Это уже было дело не безопасное, так как русские

держались упорно буквы и противопоставляли Максиму такой довод: «Ты своим исправлением досаждаешь воссиявшим в нашей земле преподобным чудотворцам; они в таком виде священными книгами благоугодили Богу и прославились от Него святостью и чудотворением». – «Не я, – говорил им Максим, – а блаженный Павел научит вас: каждому дается явление Духа в пользу; тому слово премудрости, тому вера, тому дар исцеления, тому пророчество, действие сил, а тому языки; все же это дарует один и тот же Дух. Видите, не всякому даются все духовные дарования; святым чудотворцам русским, за их смиренномудрие, кротость и святую жизнь, дан дар исцелять, творить чудеса, но дара языков и сказания они не принимали свыше; иному же, как мне, хотя и грешен паче всех земнородных, дано разуметь языки и сказание (дар выражения), и потому не удивляйтесь, если я исправляю описки, которые утаились от них». Как возражение, так и ответ Максима знаменательны в нашей истории; здесь мы видим зародыш того громадного явления, взволновавшего русскую жизнь уже в XVII веке, которое называется расколом. И до сих пор у раскольников служит важнейшею опорой довод, приведенный противниками Максима, а равным образом и против них на разные лады повторяется ответ, данный Максимом своим противникам.

Но если не безопасно было для приезжего грека посягать на букву богослужебных книг, то гораздо опаснее сделалось для него то, что, выучившись русскому языку, он начал подражать своему старому идеалу, Савонароле, и разразился обилием обличений всякого рода, касавшихся и духовенства, и нравов, и верований, и обычаев, и, наконец, злоупотреблений власти в русской земле. Превратившись поневоле из грека в русского, Максим оставил по себе множество отдельных рассуждений и посланий, которые, за небольшим исключением, носят полемический и обличительный характер. О многих из его сочинений трудно решить: написаны ли они прежде или после опалы, постигшей Максима, тем более, что, подвергнутый заключению, он продолжал писать свои обличения и в числе других причин был позван вторично на суд и за это. Некоторые его полемические сочинения обращены против иноверцев, латин, иудеев, магометан, армян, лютеран и язычников. Обличения против латин писаны по поводу «писаний Николая Немчина» о соединении церквей.<sup>52</sup> Они имеют обычный догматический характер такого рода сочинений. Обличения против иудеев, вызванные появившимися на русском языке писаниями, не обширны и поверхностны; одно из них, слово против Исаака волхва и чародея и прелестника, есть воззвание к собору духовенства о том, чтобы с жидовствующими еретиками поступать как можно суровее. Максим в этом вопросе совершенно расходится со своим почитателем Вассианом и, вместо снисхождения к еретикам, советует святителям предавать еретиков внешней (то есть мирской) власти на казнь, чтобы соблюсти русскую землю от бешеных псов. Максим подкрепляет свой суровый совет такими же примерами, на какие указывал прежде него Иосиф Волоцкий. Его обличения против лютеран касаются иконопочтения и почитания Божией Матери и могли в свое время иметь прямое отношение к русской жизни, так как на Руси, мимо всякого непосредственного влияния западного протестантизма, являлись мнения, сходные с протестантизмом, особенно относительно иконопочтения. В обличениях против армян Максим повторяет выражения той злобы, которую уже давно греки старались посеять на Руси к армянам, внушая русским всеми способами отвращение к армянскому народу, а полемика Максима против древнего классического язычества не имеет к Руси прямого отношения и есть плод воспоминаний его об Италии, где Максим видел увлечение язычеством. Максим писал также против астрологии, которая стала понемногу заходить в Русь и совращать умы даже грамотеев. Максим доказывал, что верить, будто

---

<sup>52</sup> Существует мнение, что этот Николай Немчин есть папский легат Николай Шомберг, но г. Иконников в своем исследовании о Максиме Греке приводит довольно убедительные доводы, что под этим именем следует разуметь Люева, иначе Булева, иноземного врача и любимца великого князя Василия. Это мнение подтверждается и старинною припискою на рукописи сочинения Максима Грека, в которой объясняется, что Николай Немчин есть не кто иной, как Николай Булев, который «от государя превелику честь получил врачебная ради хитрости».

человеческая судьба зависит от звезд и будто они имеют влияние на образование таких или других свойств человека, – противно религии, так как этим, с одной стороны, подрывается вера в промысел и всемогущество Божие, с другой, отнимается свободная воля у человека. На основании астрологических вычислений, в Европе образовалось предсказание, что будет новый всемирный потоп. Это ожидание заходило и в тогдашнюю Русь. Максим опровергал его, как основанное на суеверной астрологии, и подтверждал смыслом Божия обещания Нюю свои доказательства о невозможности нового потопа.

Важнее всех сочинений этого рода те, в которых Максим имел целью обличать признаки, принадлежавшие исключительно или преимущественно стране, куда бросила его судьба, и здесь-то сочинения Максима Грека заключают драгоценные сведения о нашей духовной жизни и ее пороках, обративших на себя внимание обличителя. На Руси издавна ходило множество так называемых апокрифических сочинений, зашедших к нам с Востока и заключающих в себе разные выдумки, касавшиеся событий Ветхого и Нового Завета; они были любимы читателями, представляя много заманчивого для воображения. Их называли у нас отреченными; церковь запрещала читать их. К ним во времена Максима присоединились апокрифы, заходившие с Запада в появившемся тогда на русском языке сочинении под названием «Люцидария». Максим коснулся немногих из апокрифов, вероятно, попавшихся ему под руку и обративших его особенное внимание по причине своей распространенности. Так Максим обличал сказание, приписываемое Афродитиану о волхвах, поклонявшихся Христу, где благочестивого Максима особенно соблазняло то, что идолы в персидском языческом храме разыгрались при рождении Спасителя; опровергал он сказание об Иуде, будто бы жившем много лет после Христа, и сказание о том, будто бы Адам дал на себя рукописание дьяволу, обязавшись вечно служить и работать ему. Максим также доказывал несправедливость распространенного издавна у нас мнения, будто бы во время воскресения Христова солнце не заходило целые восемь суток. Достоин замечания, что здесь Максим установил приемы критики, которыми следует руководствоваться при оценке подобного рода сочинений; необходимо, по учению Максима, чтобы сочинение было составлено известным церкви писателем, было согласно со священным писанием и само в себе не заключало противоречия. Подвергая суждению разные богословско-космографические бредни, заключающиеся в «Люцидарии», Максим опровергает их несходством со священным писанием и отцами церкви, которые для него были авторитетами в области не только веры, но и естествознания: «Держись крепко Дамаскиновой книги и будешь великий богословец и естествословец». Между благочестивыми, на основании апокрифических сказаний, были толки о том, кому прежде всех была послана с небес грамота. Максим разрешает этот вопрос, говоря, что никогда и никому не было послано такой грамоты, ссылаясь на то, что об этом нигде не упоминается в Св. Писании.

Рядом с апокрифами Максим писал против разных суеверий, замеченных им в русском обществе: так, например, на Руси распространилось верование, будто от погребения утопленных или убитых происходят неурожаи. Бывали случаи, когда выкапывали из земли тела и бросали на поле. Максим убеждает скрывать всех в недрах земли, общей матери, и доказывает, что гнев Божий посылается за грехи, а не за погребение утопленных. Он порицал веру в сновидения, а также в существование добрых и злых дней и часов, веру, истекавшую из астрологии; нападал на разные суеверные приметы, наблюдения птичьего полета, движения глаза, явления облаков, на веру во встречу, в оклик, на разные гадания: на бобах, на ячмене; в особенности вооружался он против ворожбы, допускаемой по случаю судебного поединка (поля), причем осуждал самый этот обычай. «Наши властители и судьи, отринувши праведное Божие повеление, не внимают свидетельству целого города против обидчика, а приказывают оружием рассудиться обидчику с обиженным, и кто у них победит, тот и прав; решают оружием тяжбу: обе стороны выбирают хорошего драчуна полевщика; обидчик находит еще чародея и ворожея, который бы мог пособить его полевщику... О беспримерное беззаконие и неправда! И у неверных мы не слышали и не видали такого безумного обычая».

Самое большое значение из обличительных сочинений Максима Грека имеют для нас

те, которые относятся непосредственно к нравам тогдашнего русского общества. Максим был недоволен духовенством. «Кто может достойно оплакать мрак, постигший род наш! – говорит он. – Нечестивые ходят как скимны рыкающие и удаляют от Бога благочестивых, а наши пастыри бесчувственнее камней; они устроились себе и думают только о том, как бы самим себя спасти... Нет ни одного, кто бы прилежно поучал и вразумлял бесчинных, утешал малодушных, заступался за бессильных, обличал противящихся слову благочестия, запрещал бесстыдным, обращал уклонявшихся от истины и честного образа христианской жизни. Никто по смиренномудрию не откажется от священнического сана, никто и не ищет его по божественной ревности, чтобы исправлять беззаконных и бесчинствующих людей; напротив того, все готовы купить его за большие дары, чтобы прожить в почете, в удовольствии».

Максим оставался всегда иноком и был пропитан отшельническим взглядом на жизнь: «Возлюби, – говорит он, – душа моя, худые одежды, худую пищу, благочестивое бдение, обуздай наглость языка своего, возлюби молчание, проводи бессонные ночи над боговдохновенными книгами... Огорчай плоть свою суровым житьем, гнушайся всего, что услаждает ее... Не забывай, душа, что ты привязана к лютому зверю, который лает на тебя; укрощай его душегубительное устремление постом и крайней нищетою. Убегай вкусных напитков и сладких яств, мягкой постели, долговременного сна. Иноческое житие подобно полю пшеницы, требующему трудолюбия; трезвься и тружайся, если хочешь принести Господу твоему обильный плод, а не терние и не сорную траву». Но при этом отшельническом взгляде Максим требовал от иноков действительно сурового подвига, отречения от мира; и потому во многих своих сочинениях он с жаром нападает на лицемерие русских монахов. Не отделяя себя от всего монашества, он делает своей душе упреки, в которых обличает дурной образ жизни в монастырях: «Убегай губительной праздности, ешь хлеб, приобретенный собственными трудами, а не питайся кровью убогих, среброрезоимством (взыманием процентов)... Не пытайся высасывать мозги из сухих костей, подобно псам и воронам. Тебе велено самой питать убогих, служить другим, а не властвовать над другими. Ты сама всегда веселишься и не помышляешь о бедняках, погибающих с голоду и морозу; ты согреваешься богатыми соболями и питаешь себя всякий день сладкими яствами. Тебе служат рабы и слуги. Ты, противясь божественному закону, посылаешь на человекогубительную войну ратные полки, вооружая их молитвами и благословениями на убийство и пленение людей. Ты страшишь вкусить вина и масла в среду и пяток, повинуюсь отеческим уставам, а не боишься грызть человеческое мясо, не боишься языком своим тайно оговаривать и клеветать на людей, показывая им лицемерно образ дружбы. Ты хочешь очистить мылом от грязи руки свои, а не бережешь их от осквернения лихоимством. За какой-нибудь малый клочок земли тащишь соперников к судилищу и просишь рассудить свою тяжбу оружием, когда тебе заповедано отдать последнюю сорочку обижающему тебя! Ни Бога, ни ангелов ты не стыдишься, давши обещание нестяжательного жития. Молитвы твои и черные ризы только тогда благоприятны Богу, когда ты соблюдаешь заповеди Божьи... А ты, треокаянная, напиваясь кровью убогих, приобретаешь в изобилии все тебе угодное лихвами и всяким неправедным способом, развезжаешь по городам на породистых конях, с толпой людей, из которых одни следуют за тобой сзади, а другие впереди и криком разгоняют народ. Неужели ты думаешь, что угодишь Христу своими долгими молитвами и черной власяницей, когда в то же время собираешь неправильным лихоимством жидовское богатство, наполняешь свои амбары съестными запасами и дорогими напитками, накопляешь в своих селах высокие стога жита с намерением продать подороже во времена голода?» Вопрос о владении монастырскими имениями, занимавший умы еще прежде Максима, разработан им в сочинении об иноческом жительстве, в форме разговоров между любостяжательным (Филоктимом) и нестяжательным (Актионом). Здесь Максим привел доказательства как в защиту права монастырей владеть имениями, так и против этого права. Нестяжательный, которого доказательства представляются сильнее доказательств противника, главным образом, нападает на то, что монахи, владея

населенными имениями, обременяют крестьян тяжелыми работами, дают деньги в рост и потом расхищают имение должников, продают и доводят до последней нищеты, тогда как иноки, по своему званию, вступая в монастырь, отрекаются от всякого имущества и стяжания. Сочинение Максима имеет почти тот же смысл, как и обличение Вассиана, касающееся того же самого предмета, но написано с меньшею резкостью.

Как ни уважал Максим монашеское житье, если оно было согласно своему идеалу, но порицал тех, которые пренебрегали семейною жизнью, думая, что только в монашеском чине можно получить спасение. В числе сочинений Максима есть одно «Слово», обращенное «к хотящим оставлять жену свою без вины законныя и идти в иноческое житие». Оно замечательно не только потому, что Максим считал возможным угодить Богу и получить спасение в мире с женою и детьми, но и потому, что самому иноческому житию давал высший внутренний смысл. «Если кто из вас, – говорит он, – задумает предаться иноческому житию, то пусть прежде испытает себя в мирском житии: может ли он быть добродетельным и жить праведно со страхом Божиим и истиною; и если может, то, не разлучаясь со своею женою, пусть благодарит Бога и пребывает в исправлении добрых дел. Пусть он знает, что иноческое житие, которого он желает, есть не что иное, как прилежное исполнение евангельских заповедей... Тот, кто исполняет заповеди Христа с желанием угодить Богу, а не людям, тот у Него назовется настоящий инок; христианское благоверие состоит не в изменении одежды, не в воздержании от пищи, а в воздержании от всякой злобы и душегубительных страстей плоти и духа». По отношению к посту Максим Грек произносит такое суждение: «Истинный пост, приятный Богу, состоит в воздержании от душегубительных страстей, а одно воздержание от пищи не только не приносит пользы, но еще более меня осуждает и уподобляет бесам... Не достойно ли слез, что некоторые обрекаются не есть мяса в понедельник ради большого спасения, а на винопитии сидят целый день, и только ищут: где братчина или пирование, упиваются допьяна и бесчинствуют; лучше бы им отречься от всякого питья, потому что лишнее винопитие причина всякому злу; от мясоедения ничего такого не бывает. Всякое создание Божие добро, и ничто не отвергается, принимаемое с благодарением.

Самое сильное слово в этом роде написано было Максимом уже после его заточения, по поводу происшедшего в это время пожара в Твери. Тверской епископ Акакий представляется беседующим с самим Христом. «Мы всегда, Господи (говорит епископ), радели о твоей боголепной службе, совершали тебе духовные праздники с прекрасным пением и шумом dobroгласных колоколов, украшали иконы твои и Пречистой твоей Матери золотом, серебром и драгоценными камнями, думали благоугодить тебе, а испытали твой гнев; в чем же мы согрешили?» – «Вы (отвечает ему Господь) наипаче прогневали меня, предлагая мне dobroгласное пение и шум колоколов, и украшение икон и благоухание мирры... Вы приносите мне все это от неправедной и богомерзкой лихвы, от хищения чужого имущества; ваши дары смешаны со слезами сирот, с кровью убогих. Я истреблю ваши дары огнем или отдам на расхищение скифам, как и сделал с иными. Пусть примером вам послужит внезапная погибель всеславного и все сильного царства Греческого. И там всякий день приносилось мне боголепное пение, со светлошумящими колоколами и благовонной миррой, совершались праздничные торжества, строились предивные храмы с целебноносными мощами апостолов и мучеников, и скрывались в храмах сокровища высокой мудрости и разума; и ничто это не принесло им пользы, потому что они возненавидели убогих, убивали сирот, не любили правого суда, за золото оправдывали обидящего; их священники получали свой сан через подкуп, а не по достоинству. Что мне в том, что вы меня пишите с золотым венцом на голове, когда я среди вас погибаю от голода и холода, тогда как вы сладко насыщаете себя и украшаете разными нарядами? Удовлетвори меня в том, в чем я скуден; я не прошу у тебя золотого венца; посещение и довольное пропитание убогих, сирот и вдовиц – вот мой кованный золотой венец... Не для dobroшумных колоколов, песнопений и драгоценных мирр сходил я на землю, принял страдание и смерть. Моя вся поднебесная; я исполняю небо и землю всеми благами и благоуханиями; я отверзаю руку

свою и насыщаю всякую тварь земную!.. Я оставил вам книгу спасительных заповедей, поучений и наставлений, чтобы вы знали, чем можете угодить мне; вы же украшаете книгу моих слов золотом и серебром, а силу написанных в ней повелений не принимаете и исполнять не хотите, но поступаете противно им. Я не приказал вам скрывать на земле сокровища и прилагать к ним сердца свои, а вы расхищаете, убогих, нещадно, без сострадания, обижаете, убиваете, всяким способом мерзкого лихоимства; сами пируете с богачами, а бедным, стоящим у ваших ворот, изнемогающим от холода и голода, кидаете кусок гнилого хлеба... Я нарек сынами Божиими рачителей мира, а вы, как дикие звери, бросаетесь друг на друга с яростью и враждою! Священники мои, наставники нового Израиля! Вместо того, чтобы быть образцами честного жития, – вы стали наставниками всякого бесчиния, соблазном для верных и неверных, объедаетесь, упиваетесь, друг другу досаждаете; во дни божественных праздников моих, вместо того чтобы вести себя трезво и благочинно, показывать другим пример, вы предаетесь пьянству и бесчинству... Моя вера и божественная слава делается предметом смеха у язычников, видящих ваши нравы и ваше житие, противное моим заповедям» и пр.

Обличения Максима коснулись мирской власти и суда. В одном из своих поучений он говорит: «Страсть иудейского сребролюбия и лихоимания до такой степени овладела судьями и начальниками, посылаемыми от благоверных царей по городам, что они приказывают слугам своим вымышлять разные вины на зажиточных людей, подбрасывают в дома их чужие вещи; или: притащат труп человека и бросят на улице, а потом, как будто отмщая за убитого, начнут истязать не только одну улицу, но всю часть города по поводу этого убийства, и собирают себе деньги таким несправедливым и богомерзким способом. Слышан ли когда-нибудь у неверных язычников такой гнусный способ лихоимания? Разжигаемые неистовством несытого сребролюбия, они обижают, лихоимствуют: расхищают имущества вдовиц и сирот, вымышляют всякие обвинения на невинных, не боятся Бога, страшного мстителя обиженных, не срамятся людей, окрест их живущих, ляхов и немцев, которые хоть и латынники по ереси, но управляют подручниками своими с правосудием и человеколюбием». Указать на превосходство латин перед православными в то время было до крайности резкой выходкой. Решившись так смело обличать лиц, посылаемых верховной особой, он делал обличения и самой верховной особе, хотя гораздо мягче и в более утонченной форме, в виде общих нравоучений, в которых, однако, чувствовался прямой укор. Так в поучении «начальствующим правоверно», которое обращено к лицу государя, Максим изображает идеал доброго правителя, указывая на разные примеры Священного Писания, но вместе с тем порицает и пороки, свойственные государям: властолюбие, славолюбие, сребролюбие, и делает, между прочим, намек на тех, которые, узнавши, что кто-нибудь из подданных подсмеивается над ними или порицает их поступки, неистовствуют хуже всякого дикого зверя и хотят тем, которые их злословили, отмстить. Порок этот, как известно, был за Василием. Равным образом, московский государь мог видеть свои качества и в образе ненасытного государя-сребролюбца, собирающего всяким способом богатства, не останавливаясь ни перед хищением, ни перед неправдой, ни перед клеветой.

«Что может быть гнуснее, – говорит поучитель, – когда тот, кто думает владеть знаменитыми городами и бесчисленными народами, сам находится под властью бессловесных страстей, руководится ими и именуется рабом от святых уст Спасителя? Разумевающий пусть разумеет сказанное ясно».

В другом своем слове «о нестроении и бесчинии царей и властей» Максим делается обличителем вообще всякой верховной власти безотносительно к месту. Максим рисует государство в образе женщины, которая сидит на распутье; она в черной одежде, положила голову на руку, опирающуюся на колени; она безутешно плачет; кругом ее дикие звери. На вопрос Максима: кто она? женщина отвечает: «Мою горькую судьбу нельзя передать словами, и люди не исцелят ее; не спрашивай, не будет тебе пользы: если услышишь, только навлечешь на себя беду». Но когда Максим упорно желал знать, кто она, женщина сказала ему: «Имя мое не одно: называют меня начальство, власть, владычество, господство. Самое

же настоящее мое имя „Василия“ (ΒΑΣΙΛΕΙΑ) – государство.

Максим пал к ногам ее, и Василия проговорила ему длинное обличение на царей и властителей, подкрепляя его примерами и изречениями из Священного Писания. «Меня, – говорила она, – дочь Царя и Создателя, стараются подчинить люди, которые все славолубцы и властолубцы; и слишком мало таких, которые были бы моими рачителями и украсителями, которые устраивали бы, сообразно с волей Отца моего, судьбу живущих на земле людей; но большая часть их, одолеваемая сребролюбием и лихоимством, мучат своих подданных всякими истязаниями, денежными поборами, отяготительными постройками пышных домов, вовсе ненужных к утверждению их державы и только служащих к угоде и веселью их развратных душ... Нет более мудрых царей и ревнителей Отца моего небесного. Все только живут для себя, думают о расширении пределов держав своих, друг на друга враждебно ополчаются, друг друга обижают и льют кровь верных народов, а о церкви Христа Спасителя, терзаемой и оскорбляемой от неверных, нимало не пекутся! Как не уподобить окаянный наш век пустынной дороге, а меня – бедной вдове, окруженной дикими зверями: более всего меня ввергает в крайнюю печаль то, что некому заступиться за меня по Божьей ревности и вразумить моих бесчинствующих обручников. Нет великого Самуила, ополчившегося против преступного Саула; нет Нафана, исцелившего остроумной притчей царя Давида, нет Амвросия чудного, не убоявшегося царственной высоты Феодосия: нет Василия Великого, мудрым поучением ужаснувшего гонителя Валента; нет Иоанна Златоуста, избличившего корыстолюбивую Евдоксию за горячие слезы бедной вдовицы. И вот, подобно вдовствующей жене, сижу я на пустынном распутье, лишённая поборонок и ревнителей. О прохожий, безгодна и плачевна судьба моя».

Мы указали на более сильные места в обличениях Максима, но вообще его послания загромождены риторическим многословием, множеством излишних текстов и примеров, частыми повторениями и вычурными оборотами. Слог его нередко вял, язык его крайне тяжел и во многих местах темен; видно на каждом шагу, что автор думал на ином языке, а не на том, на котором писал; поэтому можно сомневаться, чтобы в свое время Максимовы сочинения могли иметь много читателей и были для всех удобопонятны. Только в последующее время, когда сам Максим остался в памяти народа как богоугодный страдалец за правду, его сочинения переписывались и пользовались уважением между русскими книжниками. Но они не могли укрыться от среды, окружавшей двор и высшее духовенство. Неудивительно, что с таким направлением Максим навлек на себя преследования от власти. Обыкновенно признают, что великий князь Василий возненавидел его за то, что он не одобрял его решимости развестись с Соломонией и жениться на другой жене. Быть может, и вероятно, это было одной из причин гонения, но Максим должен был раздражить против себя как великого князя, так и многих московских начальных людей, духовных и светских, той ролью обличителя, которую он взял на себя из подражания Савонароле.

В феврале 1525 года Максим Грек был притянут к следственному делу политического характера. Его обвиняли в сношениях с опальными людьми: Иваном Беклемишевым-Берсенем и Федором Жареным. Первый был прежде любимцем великого князя и навлек на себя гнев его тем, что советовал ему не воевать, а жить в мире с соседями. Такое миролюбивое направление было совершенно в духе Максима, который и в своем послании государю советовал не внимать речам тех, которые будут подстрекать его на войну, а хранить мир со всеми. Видно, что Берсень с Максимом соединяла одинаковость убеждений. Максимов келейник показал, что к Максиму ходили многие лица, толковали с ним об исправлении книг, но беседовали с ним при всех: а когда приходил Берсень, то Максим высылал всех вон и долго сидел с Берсенем один на один. Максим на допросе высказал меньшую твердость, чем можно было ожидать по его писаниям; он сообщил о всем, что говорил с ним Берсень, как порицал влияние матери великого князя, Софьи, как скорбел о том, что великий князь не слушает никаких советов; как жаловался, что великий князь отнял у него двор в городе; как упрекал великого князя за то, что ведет со всеми войну и держит землю в нестроении. На этом допросе Максим говорил: «То, что у меня на сердце, о том я ни

от кого не слыхал и ни с кем не говаривал; а только держал себе в сердце такую думу: идет государь в церковь, а за ним идут вдовы и плачут, а их бьют! Я молил Бога за государя и просил, чтобы Бог положил ему на сердце и показал над ним свою милость». Максим этими сообщениями повредил Берсеню: последний сначала запирался, потом во всем сознался. Берсеня и дьяка Жареного казнили, а Максима снова притянули к следствию по другим делам: его обвиняли в сношении с турецким послом Скиндером; он знал похвальбы турецкого посла, знал, что этот посол грозил Москве нападением турок; Максима даже обвиняли в писании грамоты в Турцию с целью поднять турок на Русь. Его уличали в том, что он называл великого князя Василия гонителем и мучителем, порицал за то, что Василий предал землю свою татарскому хану на расхищение, и предсказывал, что если на Москву пойдут турки, то московский государь из трусости обяжется или платить дань, или убежит. Кроме того, великий князь предал его суду духовного собора под председательством митрополита Даниила, и на этом соборе присутствовал сам. До какой степени Василий был озлоблен против него, показывают слова опального дьяка Жареного, который говорил Берсеню, что великий князь через троицкого игумена приказывал ему наклепать что-нибудь на Максима и за то обещал его пожаловать. Максима обвиняли в порче богослужебных книг и выводили из слов, отысканных в его переводе, еретические мнения, находя важным то, что он вместо: «Христос седе одесную Отца», написал «седев одесную Отца».<sup>53</sup> Максим не признал себя виновным, но был сослан в Иосифов Волоколамский монастырь, под надзор старца Тихона Лелкова; дали ему в духовные отцы старца Иону. Так как Максим уже успел раздражить монахов своими обличениями и проповедью о нестяжательности, то его содержали умышленно дурно. «Меня морили дымом, морозом и голодом за грехи мои премногие, а не за какую-нибудь ересь», – писал он. Отправляя Максима в монастырь, собор обязал его никого не учить, никому не писать, ни от кого не принимать писем и велел отобрать привезенные им с собой греческие книги. Но Максим не думал каяться и признавать себя виновным, продолжал писать послания с прежним обличительным характером. Это вызвало против него новый соборный суд в 1531 году. На этот раз, кроме прежнего вопроса «о седении одесную Отца», его обвиняли в том, будто он в переводе Жития Св. Богородицы Метафраста употребил выражение, заключающее смысл хулы на Св. Богородицу, что он приказал «загладить» (выбросить) из Деяний Апостольских разговор Филиппа Апостола с кажеником (Деяния Апос. гл. VIII ст. 37), и кроме того, еще из богослужебной книги велел заглазить отпуск троицкой вечерни. Максим от всего этого отпирался и уверял, что никогда не имел еретических мнений, какие на него взваливали. На Максима, между прочим, показывал его бывший писец Медоварцев и, желая оправдать себя самого, выражался, что «на него дрожь великая нападала», когда Максим велел заглаживать слова троицкого отпуста. Все это были не более, как недобросовестные придирки. Характер всего суда ясно свидетельствует об этом: таким образом, на том же суде Максима обвиняли в волхвовании, показывали на него, будто он хвалился, что все знает, где что делается; будто говорил, что на нем нет ни единого греха; будто хвалился «еллинскими и жидовскими хитростями и чернокнижными волхвованиями», будто, при посредстве волшебных эллинских хитростей, писал водкой на своих ладонях и протягивал ладони, волхвуя против великого князя и других лиц. Если в этом суде было что-нибудь справедливого, то разве то, что Максим действительно укорял монастыри в любостыжании, порицал русское духовенство, выбросил из Символа Веры выражение «истинного» о Св. Духе (чего действительно не было в греческом подлиннике, хотя Максим в этом на первый раз и заперся от страха) и, наконец, то, что Максим находил нужным, чтобы русские митрополиты ставились с патриаршего благословения. По поводу последнего вопроса Максим объяснил: «Я спрашивал, зачем митрополиты русские не ставятся по-прежнему патриархами? Мне сказали, что патриарх дал благословенную грамоту на то, чтоб русский митрополит ставился

---

<sup>53</sup> Отсюда выходил такой смысл, что «Христово седение одесную Отца мимо шедшее есть». Максим подтвердил это, вероятно, разумея исторический евангельский факт Вознесения Христова, а не бесконечного пребывания с Отцом, но не умел выразить это ясно.



по избранию своих епископов, но я этой грамоты не видал». И здесь Максим был опять-таки прав. Несмотря на сознание своей правоты, Максим думал покорностью смягчить свою судьбу; он, по собственному выражению, «падал трижды ниц перед собором» и признавал себя виновным, но не более, как в «неких малых описях». Самоунижение не помогло ему. Его отослали в оковах в новое заточение, в Тверской Отрочь-монастырь. Несчастный узник находился там двадцать два года. Напрасно он присылал исповедание своей веры, доказывал, что он вовсе не еретик, сознавался, что мог ошибаться невольно, делая описки, или по забывчивости, или по скорби, или, наконец, от «излишнего винопития»; уверял, что он не враг русской державы и десять раз в день молится за государя. Сменялись правительства, сменялись митрополиты: Даниил, враждебно относившийся к Максиму на соборе, сам был сослан в Волоколамский монастырь, и Максим, забыв все его оскорбления, написал ему примирительное послание. Правители Москвой бояре во время малолетства царя Ивана – Максим умолял их отпустить его на Афон, но на него не обратили внимания. Возмужал царь Иван, митрополитом сделался Макарий; за Максима хлопотал константинопольский патриарх, – Максим писал юному царю наставление и просился на Афон; о том же просил он и Макария, рассыпаясь в восхвалениях его достоинств – все было напрасно. Макарий послал ему «денежное благословение» и писал ему: «Узы твои целуем, но пособить тебе не можем». Максим добился только того, что ему, через семнадцать лет, позволили причиститься Св. Тайн и посещать церковь. Когда вошли в силу Сильвестр и Адашев, Максим обращался к ним и, по-видимому, находился с ними в хороших отношениях, но не добился желаемого, хотя и пользовался уже лучшим положением в Отрочь-монастыре. Наконец, в 1553 году его перевели в Троицкую Лавру. Говорят, что, вместе с боярами, ходатайствовал за него троицкий игумен Артемий, впоследствии сам испытавший горькую судьбу заточения. Максим оставался у Троицы до смерти, постигшей его в 1556 году. Не довелось ему увидеть Афона: Москва боялась его отпустить, потому что он узнал в Московском государстве «все доброе и лихое» и был слишком склонен к обличению. В Москве не любили, чтоб о русских порядках и нравах дурно толковали за границей, а этого от Максима, конечно, можно было ожидать после той горькой чаши, которую он выпил в земле, на пользу которой посвятил свою жизнь.

## **Глава 18**

### **Сильвестр и Адашев**

По смерти Василия, за малолетством нового государя, правление перешло в руки вдовствующей великой княгини; дела решались, под ее властью, боярской думой. В Московском государстве еще в первый раз верховная власть сосредоточилась в руках женщины. Это, однако, не противоречило русским понятиям, по которым, по смерти отца семейства, вдова вполне заменяла мужа на время малолетства детей. Елена совершенно отдалась своему любимцу Ивану Овчине-Телепневу-Оболенскому. Он был человек крутого нрава, не останавливался ни перед какими злодеяниями. Именем Елены правил он государством; бояре должны были сносить его произвол. Совершались варварства, превосходившие все, что представляла в этом отношении прежняя московская история. Одного брата покойного государя, Юрия, по подозрению засадили в тюрьму и там уморили голодом. Другой брат, Андрей, испугавшись той же участи, убежал; ради собственного спасения он замыслил восстание, но был схвачен и задушен; жену его и сына засадили в тюрьму. Вместе с ним было казнено много бояр и детей боярских, которых обвинили в расположении к Андрею; других били кнутом. Дядя Елены, Михаил Львович Глинский, стал укорять племянницу за ее связь с Телепневым; за это его посадили в тюрьму и уморили голодом. Знатные бояре за противоречие любимцу тотчас подвергались тяжелому тюремному заключению. Но во внешних делах Телепнев поддерживал достоинство Московского государства. Открывшаяся, по истечении перемирия, война с Литвой ведена была счастливо и окончилась в 1537 году новым перемирием на пять лет, с уступкой Москве

двух крепостей: Себежа и Заволочья, построенных на литовской земле. Татарские нападения были отражены. Такие успехи еще больше возвышали любимца Елены, но это возвышение ускорило его гибель. Враги отравили Елену 3 апреля 1538 года.

Правлением овладели князья Шуйские. Телепнева уморили в тюрьме голодом. Сестру его Аграфену заковали и засадили в тюрьму. Вслед за ними низложили митрополита Даниила, угрождавшего Елене, а на место его возвели троицкого игумена Иосафа.

В 1540 году, при содействии нового митрополита, благодетель его, глава правительства, Иван Шуйский был низвержен. На место Шуйского поставлен враг его боярин князь Иван Бельский, сидевший до того времени в тюрьме. Этот новый правитель не поступал подобно прежнему, оставил на свободе своих врагов Шуйских, выпустил из тюрьмы племянника покойного государя Владимира Андреевича с матерью, освободил других узников, возвратил Пскову его старинный самосуд, дозволивши судить уголовные дела выборным целовальникам, мимо великокняжеских наместников и их тиунов. Крымский хан Саип-Гирей, услышавши, что в Москве нет больше единой державной власти, попытался было сделать нашествие на пределы Московского государства, но был отбит. Правление Бельского обещало много хорошего, но скоро пало. Князь Иван Шуйский, склонивши на свою сторону некоторых бояр и детей боярских, 3 января 1542 года схватил Бельского и потом велел задушить, а его сторонников засадил в тюрьму. Митрополит Иосаф был низложен; на место его возведен новгородский архиепископ Макарий, один из знаменитых духовных русской истории.

Князь Иван Шуйский, захвативший верховную власть, по болезни скоро удалился от двора, передавши правление своим родственникам Ивану и Андрею Михайловичам Шуйским и Федору Ивановичу Скопину-Шуйскому.<sup>54</sup> Но недолго пришлось править и этим Шуйским. Молодому государю исполнилось в 1544 году тринадцать лет. Он находился под влиянием братьев Елены: Юрия и Михаила Васильевичей Глинских. Митрополит Макарий стал на их сторону, изменивши Шуйским, подобно тому, как им изменил его предшественник. По наущению своих дядей, отрок Иван приказал схватить Андрея Шуйского и отдать своим псарям, которые тотчас же растерзали его. Федора Скопина-Шуйского и других бояр его партии сослали. Правлением овладели Глинские.

Следствием смут, происходивших в малолетство Ивана, было то, что отрок-государь получил самое дурное воспитание. Он от природы не имел большого ума, но зато одарен был в высшей степени нервным темпераментом, и, как всегда бывает с подобными натурами, чрезмерной страстностью и до крайности впечатлительным воображением. В младенчестве с ним как будто умышленно поступали так, чтобы образовать из него необузданного тирана. С молоком кормилицы всосал он мысль о том, что он рожден существом высшим, что со временем он будет самодержавным государем, что могущественнее его нет никого на свете; и в то же время его постоянно заставляли чувствовать свое настоящее бессилие и унижение. Его разлучили с мамкой, к которой он был привязан, убили Телепнева, к которому он привык; на его глазах, его именем, бояре свергали друг друга, а зазнавшиеся Шуйские обращались с ним высокомерно и нагло. «Помню, – писал впоследствии Иван Васильевич, – как бывало мы с братом Юрием играем по-детски, а князь Иван Шуйский сидит на лавке, локтем опершись на постель отца нашего, да еще ногу на нее положит, а с нами не то породительски, а по-властелински обращается, как с рабами. Ни в одежде, ни в пище не было нам воли; а сколько-то казны отца нашего и деда они перебрали, да на наш счет сосуды себе золотые и серебряные поделали и на них имена родителей своих подписали, будто это их родительское достояние! Всем людям ведомо, как, при матери нашей, у князя Ивана Шуйского была шуба кунья, покрыта зеленым мухояром, да и та ветха: если бы у них было прежде столько богатств, чтобы сделать сосуды, так лучше было шубу переменить!» Отрок-государь привязался было к боярину Семену Воронцову. Андрей Шуйский, из опасения, чтобы Воронцов не взял на себя слишком многого, приказал схватить его в присутствии

---

<sup>54</sup> Деду знаменитого героя смутного времени, Михаила Скопина-Шуйского.

государя, и только слезные прошения Ивана да ходатайство митрополита спасли Воронцова от смерти, но все-таки его сослали. Раздражая такими поступками отрока, бояре в то же время позволяли ему усваивать самые вредные привычки: молодой Иван для забавы бросал с крыльца или с вышек животных и тешился их муками; а когда власть перешла в руки Глинских, то Иван набрал около себя отроков из знатных семейств и с их толпой скакал верхом во всю прыть по городу, топтал и бил людей, а опекуны и их угодники похваливали его за это и говорили: «Вот будет храбрый и мужественный царь!» Со вступлением в юношеский возраст все более и более развивались в Иване дикие наклонности. К делу его никто не приучал. Он-то ездил по монастырям, предпринимая для этой цели даже отдаленные путешествия, как, например, на Белоозеро, в Новгород, Вологду, Тихвин, Псков и т.п., то увлекался охотой, или же пьянствовал и буйствовал со своими удалцами. Его шатания по русской земле, как благочестивые так и грешные, тяжело отзывались на жителях. Между тем, отведавши крови на Шуйском, он получал к ней вкус, а Глинские пользовались этим и подстрекали его давать волю своей впечатлительной натуре. По минутному расположению духа он то клал опалы на сановников, то прощал их. Однажды, когда четырнадцатилетний Иван выехал на охоту, к нему явились пятьдесят новгородских пищальников жаловаться на наместников. Ивану стало досадно, что они прерывают его забаву; он приказал своим дворянам прогнать их; но когда дворяне принялись их бить, пищальники стали им давать сдачи, и несколько человек легло на месте. Взбешенный Иван приказал исследовать, кто подуцал пищальников. Дьяк Василий Захаров, сторонник Глинских, которому дано было это поручение, обвинил князя Кубенского и двух Воронцовых; один из последних был Федор, любимец царя. Иван немедленно приказал отрубить им головы. Иван неспособен был к долгим привязанностям, и для него ничего не значило убить человека, которого еще не так давно считал своим другом. Молодым сверстникам государя, разделявшим его забавы, была небезопасна его милость. Иван, рассердившись на них, не затруднялся изрекать им смертные приговоры. По его приказанию были удушены: один из князей Трубецких и сын любимца Елены, Федор.

Так достиг Иван семнадцати лет. 16 января 1547 года он венчался царским венцом в Успенском соборе. Уже прежде московские властители считали себя преемственно царями, с одной стороны, потому что заступили для Руси место ханов Золотой Орды, которых русские в течение веков привыкли называть царями, а с другой, потому что считали себя по женской линии преемниками византийских императоров, которых титул по-русски издавна переводился словом «царь». Выдумана была сказка о присылке царского венца византийским императором, Константином Мономахом, внуку своему Владимиру Мономаху, на которого будто бы возложил царский венец, цепь и бармы ефесский митрополит. Говорили, что Владимир Мономах завещал эти регалии своему сыну Юрию Долгорукому и приказал хранить из поколения в поколение, до тех пор, пока Бог не воздвигнет на Руси достойного самодержца. Митрополит Макарий венчал на царство Ивана так наз. шапкою, бармами и цепью Мономаха. Для придания большей важности царскому роду придумали вывести происхождение прадеда Св. Владимира, Рюрика, от цезаря Августа. Для этого воспользовались сочиненной в Литве сказкою, будто брат римского императора Октавия Августа переселился в Литву; признали потомками этого вымышленного Августа брата трех братьев, Рюрика, Синеуса и Трувора, которых, по нашим древним летописям, новгородцы, вместе с другими русскими племенами, призвали к себе на княжение в половине IX века.

Сказания эти составлялись, вероятно, с участием митрополита Макария: его время особенно отпечатлелось составлением всяких подложных сказаний о событиях давних веков. Вслед за венчанием Ивана, Макарий с собором причислил к лику святых целый ряд русских князей, епископов и отшельников, уважаемых более или менее народной памятью; и так как жизнь многих из них оставалась неизвестной или малоизвестной, то сочинены были разными духовными лицами их биографии. Сам Макарий был большой любитель старины, собирал памятники древней письменности и древней истории, сам продолжал Степенную Книгу – историческое сочинение, начатое митрополитом Киприаном – и составил огромный сборник

биографий, сказаний, поучений и богословских сочинений, как оригинальных, так и переводных, расположив их по месяцам и дням года, и дал этой книге название Минеи Четых. В своих ученых трудах Макарий не только не руководствовался ни малейшей критикой в признании подлинности собираемых сочинений, но допускал всякие вымыслы и не заботился о правильности редакции сочинений, помещенных в его Великих Минеях. В начале 1547 года по царскому повелению собраны были со всего государства девицы, и молодой царь выбрал из них дочь умершего окольного Романа Юрьевича Захарьина. Имя царской невесты было Анастасия. Свадьба происходила 3 февраля. Женильба не изменила характер царя. Он продолжал свою буйную, беспорядочную жизнь, не занимался делами правления, но постоянно заявлял, что он самодержавный государь и может делать, что ему угодно. Всем заправляли родные его Глинские, повсюду сидели их наместники, не было нигде правосудия, везде происходили насилия и грабежи. Сам царь не терпел, чтоб его беспокоили жалобами. 3-го июня семьдесят псковских людей прибыли в Москву жаловаться на своего наместника князя Турунтая-Пронского, угодника Глинских. Они явились к царю в его сельце Острове. Ивану Васильевичу до того не понравилось это, что он велел раздеть псковичей, положить на земле, поливать горячим вином и палить им свечами волосы и бороды. Во время такого занятия государю пришла неожиданная весть, что в Москве, когда начали благовестить к вечерне, упал колокол. Иван бросил свои жертвы и поспешил в Москву.

Падение колокола считалось на Руси – как и теперь считается – предвестием общественного бедствия. Последовало и другое предвестие пред совершением ожидаемой уже беды. Был в Москве юродивый, по имени Василий. О нем ходили чудные слухи. Он являлся на московских улицах, и в летний зной и в зимнюю стужу, нагишом «как Адам первозданный». 20 июня в полдень увидели его близ церкви Воздвижения на Арбате. Он смотрел на церковь и горько плакал. Все догадывались, что он чувствует что-то недоброе. На другой день, 21 июня, в этой самой церкви вспыхнул пожар и распространился с чрезвычайной быстротой по деревянным зданиям города: сильная буря помогла ему. В продолжение часа все Занеглинье<sup>55</sup> и Чертолье (нынешняя Пречистенка) обратились в пепел. Буря понесла пламя на Кремль: загорелся верх соборной церкви, а потом занялись деревянные кровли на царских службах (палатах); сгорели: оружейная палата, постельная палата с домашней казной, царская конюшня и разрядные избы (где велось делопроизводство о всяких назначениях по службе); огонь даже проник в погреба под палатами. Пострадала придворная церковь Благовещения: внутри ее сгорел иконостас работы знаменитого русского художника Андрея Рублева. Успенский собор и митрополичий двор остались целы. Митрополит чуть было не задохся в церкви и едва успел убежать из Кремля через подземный ход (тайник). Сгорели монастыри и многие дворы в Кремле. Пожар сделался еще ужаснее, когда дошел до пороха, хранившегося в стенах Кремля, и произошли взрывы. Огонь распространился по Китай-городу: и эта часть города сгорела, исключая двух церквей и десяти лавок. Пожар охватил большой посад вплоть до Воронцовского сада на Яузе. Тогда, говорят, сгорело тысяча семьсот взрослых людей и несчетное множество детей. Царь с супругой и с приближенными не был в Москве во время пожара, а после пожара проживал в своем загородном селе Воробьево; он мало заботился о потерпевших жителях столицы и велел прежде всего поправлять церкви и палаты на своем царском дворе.

Между тем большая часть москвичей находилась в ужасном положении, без хлеба, без крова; многие не могли отыскать своих ближних, пропавших без вести. Отчаяние овладело народом. В те времена всегда готовы были приписать общественное бедствие лихим людям и колдовству. Разнеслась молва, что лихие люди вражьиим наветом вынимали из человеческих трупов сердца, мочили их в воде и этою водою кропили московские улицы, и оттого Москва сгорела. Донесли об этом царю. Царь сам поверил такой причине пожара и приказал своим боярам сделать розыск.

---

<sup>55</sup> Место по ту сторону от Кремля, за рекой Неглинной, теперь заложенной сводом и застроенной зданиями.

Тогда знатные люди, ненавидевшие Глинских, воспользовались случаем погубить их. Эти враги Глинских были – брат царицы Анастасии Григорий, благовещенский протопоп Федор Бирлин, боярин Иван Федоров, князь Федор Скопин-Шуйский, князь Юрий Темкин, Федор Нагой и другие. Они пустили в народе слух, что злодеи, учинившие своим чародейством пожар в Москве, были не кто иные, как Глинские. Легко было уверить народ, так все не любили Глинских и были недовольны их могуществом. У Глинских в милости было много людей не московского происхождения – переселенцев из северской земли и южной Руси; Глинские некоторым из них раздавали должности. Любимцы эти пользовались своим возвышением; где только могли, доставляли они себе выгоды на счет народа: другие, опираясь на покровительство Глинских, позволяли себе в Москве разные своеволия и бесчинства. На пятый день после пожара настроенная заговорщиками народная толпа бросилась к Успенскому собору и кричала: «Кто зажигал Москву?» На этот вопрос последовал из толпы такой ответ: «Княгиня Анна Глинская со своими детьми и со своими людьми вынимала сердца человеческие и клала в воду, да тою водою, ездячи по Москве, кропила, и оттого Москва выгорела». Толпа, услышавши такую речь, пришла в неистовство. Из двух Глинских, братьев умершей великой княгини Елены, Михайло с матерью Анною, бабкою государя, был во Ржеве, а другой, Юрий, не подозревая, какие сети ему сплели бояре, приехал к Успенскому собору вместе со своими тайными врагами. Услышал он страшные крики и вопли против его матери и всего их рода и скрылся в церкви. Народ вломился за ним в церковь. Его вытащили оттуда, убили дубьем, повлекли труп его по земле и бросили на торгу.

Истребили всех людей Глинских. Досталось и таким, которые вовсе не принадлежали к числу их. В Москве были тогда на службе дети боярские из Северской земли. Народ перебил их потому только, что в их речи слышался тот же говор, как и у людей Глинского. «Вы все их люди, – кричала толпа, – вы зажигали наши дворы и товары».

Так прошло два дня. Народ не унимался. Из Глинских погиб только один; народу нужны были еще жертвы. Раздались такие крики: «Государь спрятал у себя на Воробьеве княгиню Анну и сына ее Михаила!» Толпа хлынула на Воробьево.

Событие было поразительное. Самодержавие верховной власти, казалось, в эти минуты утрачивало свое обаяние над народом, потерявшим терпение. Иван до сих пор слишком верил в свое всемогущество, и потому держал себя нагло и необузданно; теперь он впал в крайнюю трусость и совершенно растерялся. Тут явился перед ним человек в священнической одежде, по имени Сильвестр. Нам неизвестна прежняя жизнь этого человека. Говорят только, что он был пришлец из Новгорода Великого. В его речи было что-то потрясающее. Он представил царю печальное положение Московской земли, указывал, что причиною всех несчастий пороки царя: небесная кара уже висела над Иваном Васильевичем в образе народного бунта. В довершение всего Сильвестр поразил малодушного Ивана какими-то чудесами и знаменьями. «Не знаю, – говорит Курбский, – истинные ли то были чудеса... Может быть, Сильвестр выдумал это, чтобы ужаснуть глупость и ребяческий нрав царя. Ведь и отцы наши иногда пугают детей мечтательными страхами, чтобы удержать их от зловредных игр с дурными товарищами». Царь начал каяться, плакать и дал обещание с этих пор во всем слушаться своего наставника.

Толпу разогнали выстрелами, несколько человек убили. Остальные разбежались.

С тех пор Иван Васильевич очутился под опекою Сильвестра и в то же время сдружился с Алексеем Адашевым, одним из молодых людей, уже известных царю. Адашев случайно попал в число тех, которых Иван приближал к себе ради забавы. Это был человек большого ума и в высокой степени нравственный и честный. «Если бы, – говорит Курбский, – все подробно писать об этом человеке, то это показалось бы совсем невероятным посреди грубых людей; он, можно сказать, был подобен ангелу». Под влиянием Сильвестра, Иван предался Адашеву всею душою. Сильвестр и Адашев подобрали кружок людей, более других отличавшихся широким взглядом и любовью к общему делу. То были люди знатных родов: князь Дмитрий Курлятов, князь Андрей Курбский, Воротынский,

Одоевский, Серебряный, Горбатый, Шереметевы и другие. Кроме того, Адашев и Сильвестр стали извлекать из толпы людей незнатных, но честных, и поверяли им разные должности. Таким образом, из детей боярских возвышались люди, каких нужно было Сильвестру и Адашеву: для этого употребили они существовавший уже обычай раздавать поместья и вотчины; а владея всеми помыслами царя, любимцы могли приближать к царю и возвышать кого хотели. Несмотря на то, что в кругу людей, окруживших тогда царя, были знатные потомки удельных князей, возвышение новых людей вначале не оскорбляло их гордости. Сам Алексей Адашев, всеми уважаемый и несколько лет всеми заправлявший, был человек незнатного происхождения и небогатый. «Я из батожников его поднял, от гноища учинил наравне с вельможами», – говорил о нем впоследствии Иван.

И вот, государство стало управляться кружком любимцев, который Курбский называет «избранною радою». Без совещания с людьми этой избранной рады Иван не только ничего не устраивал, но даже не смел мыслить, Сильвестр до такой степени напугал его, что Иван не делал шагу, не спросившись у него совета; Сильвестр вмешивался даже в его супружеские отношения. При этом опекуны Ивана старались по возможности вести дело так, чтобы он не чувствовал тягости опеки и ему бы казалось, что он по-прежнему самодержавен. Впоследствии, когда Иван сбросил с себя власть этих людей, он в таких словах изображал горькое унижение своего самодержавия: «Они отняли у нас данную нам от прародителей власть возвышать вас, бояр, по нашему изволению, но все положили в свою и вашу власть; как вам нравилось, так и делалось; вы утвердились между собою дружбою, чтобы все содержать в своей воле; у нас же ни о чем не спрашивали, как будто нас на свете не было; всякое устройство и утверждение совершалось по воле их и их советников. Мы, бывало, если что-нибудь и доброе посоветуем, то они считают это ни к чему не нужным, а сами хоть что-нибудь неудобное и развращенное выдумают, так ихнее все хорошо! Во всех малых и ничтожных вещах, до обувания и до спанья, мне не было воли, а все по их хотению делалось. Что же тут неразумного, если мы не захотели остаться в младенчестве, будучи в совершенном разуме?»

«Избранная рада» не ограничивалась исключительно кружком бояр и временщиков; она призывала к содействию себе и целый народ. «Царь, – говорит один из членов этой неофициальной избранной рады, Курбский, – должен искать совета не только у своих советников, но у всенародных человеков». С таким господствующим взглядом тогдашние правители именем государя собрали земский собор или земскую думу из выборных людей всей русской земли. Явление было новое в истории. В старину существовали веча в землях поодиночке, но никто не додумался до великой мысли образовать одно вече всех русских земель, вече веч. Раздоры между землями и князьями не допускали до этого. Теперь, когда уже столько русских земель собрано было воедино, естественно было явиться такому учреждению. К большому сожалению, мы не знаем не только подробностей, но даже главных черт этого знаменитого события. Мы не знаем, как избирали выборных, кого выбирали, с каким полномочием посылали – все это для нас остается безответным; перед нами только блестящая картина народа, собранного на площади, и образ царя посреди этого народа. Было это в один из воскресных дней. После обедни царь с митрополитом и духовенством вышел на площадь, кланялся народу, каялся в том, что правление его было дурно, приписывал это боярам и вельможам, пользовавшимся его юностью, и говорил: «Люди Божии, дарованные нам Богом! Умоляю вас ради веры к Богу и любви к нам! Знаю, что нельзя уже исправить тех обид и разорений, которые вы понесли во время моей юности, и пустоты и беспомощества моего, от неправедных властей, неправосудия, лихоимства и сребролюбия; но умоляю вас: оставьте друг к другу вражды и взаимные неудовольствия, кроме самых больших дел: а в этом, как и во всем прочем, я вам буду, как есть моя обязанность, судьей и обороною». Тогда Иван пожаловал в окольных Адашева и повелел ему принимать и рассматривать челобитные, сказавши (вероятно, по мысли других): «Не бойся сильных и славных, насилующих бедняков и погубляющих немощных. Но не верь и ложным слезам бедного, который напрасно клеветает на богатого. Все рассматривай с

испытанием и доноси мне истину».

Тогда были избраны и «судьи правдивые»: вероятно, под этим следует понимать составителей будущего Судебника. Мы, к сожалению, не знаем: как и кем составлялись последовавшие за этим земским собором законоположения. Нам остались только редакция Судебника (собрания светских законоположений), Стоглав и Уставные грамоты – плод законодательной деятельности этого славного времени.

Недаром Иван жаловался на неправду, укorenившуюся в управлении. Летописцы того времени свидетельствуют то же. И в Судебнике и в Уставных грамотах видно, что составление их вызвано насущною потребностью охранить народ от произвола правителей и судей. Более всего резко поражает нас в этих памятниках развитие двоевластия и двоесудия, что в очень малых признаках видно даже в Судебнике Ивана III, но что глубоко заметно во всей жизни древней удельно-вечевой Руси. Являются две отличные, хотя взаимно действующие стихии: государство и земщина. Дело может быть государское, но может быть и земское. Свадьба государя или венчание его на царство есть дело государево, поход под Казань – дело земское. Служба может быть государева, может быть земская. Много раз можно встретить и в последующие времена эту двойственность общественной жизни; но она является всего ярче в то время, когда самовластие Ивана подпало под влияние Адашева и Сильвестра.

В Судебнике ощутительны два источника судопроизводства: государственный и земский.

Государственное правосудие и управление сосредотачивается в столице, где существуют чети или приказы, к которым приписаны русские земли. В них судят бояре или окольные; дьяки ведут дела, а под ведомством дьяков состоят подьячие. В областях – судебное и административное деление на города и волости. При городах обыкновенно посады (города в нынешнем смысле); иногда и без города посады: они составляли до известной степени особое управление, так как посадские люди, занимающиеся ремеслами, промыслами и торговлей, отличались от волостных. Волости были собранием земледельческих сел. Город с волостями составлял уезд, разделявшийся в полицейском отношении на станы. Уезд заменил старинное понятие о земле: как прежде городу нельзя было быть без земли, так теперь городу нельзя было быть без уезда, по выражению одного акта XVI века, подобно тому, как деревне нельзя быть без полей и угодьев. В городах и волостях управляли наместники и волостели, которые могли быть и с боярским судом (с правом судить подведомственных им людей, подобно боярам в своих вотчинах) или без боярского суда. Они получали города и волости себе «в кормление», т.е. в пользование. Суд был для них доходною статьею, но это был собственно доход государя, который передавал его своим слугам вместо жалованья за службу. Там, где они сами не могли управлять, посылали своих доверенных и тиунов. На суде наместников были дьяки и разные судебные приставы с названиями: праветчиков (взыскателей), доводчиков (завших к суду и также производивших следствие), приставов (которые стерегли обвиненных) и недельщиков (посылаемых от суда с разными поручениями).

Рядом с этим государевым судебным механизмом существовал другой, выборный, народный. Представителями последнего были в

городах городовые приказчики и дворские, а в волостях (впоследствии и в посадах) старосты и целовальники. Старосты были двоякого рода: выборные полицейские и выборные судебные. Общества были разделены на сотни и десятки и выбирали себе блюстителей порядка: старост, сотских и десятских; они распоряжались раскладкою денежных и натуральных повинностей и вели разметные книги, где записаны были все жители с дворами и имуществами. Старосты и целовальники, которые должны были сидеть на суде наместников и волостелей, выбирались волостями или же вместе с ними и теми городами, где не было дворского. Всякое дело, производившееся в суде, писалось в двух экземплярах, и в случае надобности поверялось тождество между ними; как у наместников и волостелей были свои дьяки, так у старост – свои земские дьяки, занимавшиеся письмоводством, а у

этих дьяков – свои земские подьячие.

Важные уголовные дела подлежали особым лицам – губным старостам, избранным всем уездом из детей боярских; в описываемое время их суду подлежали только разбойники. Это учреждение явилось в некоторых местах еще в малолетство Ивана и вызвано было усилившимися разбоями. В некоторых уездах было по два губных старосты. Власть их была велика, и все равно должны были подчиняться их суду.

Судебник заботился об ограждении народа от тягости государственного суда и от произвола наместников и волостелей; последние, в случае жалоб на них, подвергались строгому суду. Выборные судьи могли посылать приставов за людьми наместников и волостелей; и если бы наместники и волостели взяли кого-либо под стражу и заковали, не заявивши о том выборным судьям, последние имели право силою освободить арестованных. Только служилые государевы люди подлежали одному суду наместников и волостелей.

При желании обезопасить народ от произвола, законодатели, составляя Судебник, уже имели в виду постепенно устранить земство от суда наместников и волостелей и заменить чем-нибудь другим отдачу им в кормление городов и волостей. Это, отчасти, видно из того, что в 1550 году раздавали во множестве детям боярским земли в поместья, разделяя их на три статьи и принимая во внимание, чтобы получали поместья те, которые своих отчин не имели. Современное известие объясняет, что это делалось именно для того, чтобы заменить доходы кормления наместников и волостелей дачею им земельных угодий. Мера эта, принятая в то время, вообще значительно увеличила военную силу. К этому времени относится и образование стрельцов из прежних пищальников; они составляли особый военный класс, жили при городах слободами, разделялись на приказы и вооружены были огнестрельным оружием и бердышами.

Что намечено было Судебником, то продолжали и доканчивали Уставные грамоты того времени. Судебник пока только вводил двоесудие. Уставные грамоты дали перевес в суде выборному началу. Это доказывается историей Уставных грамот. По одной из них, устюженской, видно, что прежде наместники и волостели судили-рядили произвольно. При Василии Ивановиче дана Уставная грамота, определяющая обязанности волостелей; в 1539 году – при боярском управлении – дана другая грамота, где доходы волостелей определялись несколько точнее; а в 1551 году, сообразно Судебнику, волостелям запрещалось творить суд без участия старосты и целовальников. Мало-помалу управление наместников и волостелей совершенно заменялось предоставлением жителям права самим управляться и судиться посредством выборных лиц, за взносимую в царскую казну, как бы откупную, сумму оброка. В 1552 году дана грамота важской земле. Заметим, что в этом крае древнее понятие о выборном праве могло укорениться более, чем во многих местах, так как это была исстари новгородская земля. Жители сами подали об этом челобитную, жаловались на тягости, которые терпели они от наместников и волостелей; последние в этой челобитной изображаются покровителями воров и разбойников; многие из жителей, не находя возможным сносить такое управление, разбежались, а на оставшихся ложилось все бремя налогов, в которых уже не участвовали убежавшие. Жители просили дозволить им избрать десять человек излюбленных судей, которые бы, вместо наместников, судили у них как уголовные дела (в душегубстве и татьбе и в разбое с поличным и костьюрем<sup>56</sup>), так и земские, а за это жители будут ежегодно взносить в царскую казну оброка полторы тысячи рублей за все судные наместничьи пошрины, не отказываясь, однако, при этом от исполнения государственных повинностей и взносов (посошной службы, т.е. обязанности идти в рать; городского дела, т.е. постройки укреплений; денег полоняночных, т.е. на выкуп пленных, и ямских, т.е. на содержание почт). Правительство дало согласие на такую перемену управления с тем, что весь валовой сбор оброка будет разложен по имуществу и по промыслам жителей как посадских, так и волостных. Вместо наместников явились излюбленные головы или земские старосты, имевшие право суда и смертной казни, а для

---

<sup>56</sup> Судить игроков в кости и карты.



предотвращения злоупотреблений должны были выбираться целовальники, заседавшие в суде – свидетели и участники суда. Управление в крае поручалось сотским, пятидесятским и десятским, которые обязаны были наблюдать за благочинием, хватать подозреваемых и отдавать суду излюбленных судей или голов. Вслед за тем одни уезды за другими стали получать подобные грамоты. Так, в той же Устюжне, упомянутой выше, вместо прежнего двоесудия по Судебнику, явилась грамота, по которой устюжане вовсе освобождались от суда волостеля. Наконец, в 1555 году, эта мера сделалась всеобщей, как показывает одна грамота того времени, в которой говорится, что правительство совсем изъяло посадских и волостных людей от суда наместников и волостелей, предоставив им выбрать излюбленных старост с платежом за то оброка в казну. Но разбойные дела были изъяты от нового выборного суда и оставлялись за другими выборными судьями – губными старостами. Впоследствии мы опять встречаем признаки строя противного этому нововведению, из чего следует заключить, что распространение выборного самосуда не на долгое время принялось в своей полноте, хотя измененные признаки его видимы и позже того, даже в XVII столетии. Во время господства этого учреждения оно неодинаково применялось в вотчинных владениях – монастырей, церковных властей и частных собственников; видоизменения его зависели от местных владельцев, которые вводили между крестьянами, поселенными в их землях, выборное самоуправление с разными отличиями.

Выборное право суда и управления развивало общественные сходбища, которые, по закону, отправлялись в уездах с целью принятия мер общей безопасности. Все сословия – князья, дети боярские, крестьяне всех ведомств – присылали из своей среды выборных на сходбища, где председательствовал губной староста. Каждый мог и должен был говорить на этих сходбищах, указывать на лихих людей и предлагать меры к их обузданию. Дьяк записывал такие речи, и они принимались в руководство при поисках и следствиях. Все члены общества обязаны были принимать деятельное участие в благоустройстве и содействовать своим выборным лицам в отправлении их должности. Очень важное значение получил тогда обыск. От него зависел способ суда над подсудимым. Если по обыску показывали, что подсудимый человек дурного поведения, то его подвергали пытке; также показание преступника о соучастии с ним в преступлении какого-нибудь лица поверялось обыском, и обвиняемый предавался пытке в таком случае, если по обыску оказывался худым человеком, а в противном случае речам преступника не давали веры. В сомнительных положениях судебного дела, когда не было ни сознания, ни улики, дело, по жалобе истца, решалось в его пользу тогда, когда обыск давал неудовлетворительный отзыв о поведении ответчика.

Судебник допускал поле, или судный поединок, но обыск в значительной степени вытеснял его из судопроизводства, так как во многих случаях, когда прежде прибегали к полю, теперь решали дело посредством обыска. Несмотря, однако, на уважение к форме обыска, законодатели сознавали, конечно по опыту и по близкому знакомству с нравами своего народа, что обыск будет производиться со злоупотреблениями, а потому, для предотвращения этих злоупотреблений, установлено было жестокое наказание наравне с разбойниками (следовательно, смертная казнь<sup>57</sup> тем, которые окажутся солгавшими по обыску, кроме того, самим старостам и целовальникам обещано наказание, если они окажутся нерадивыми в преследовании и открытии такого рода преступления; в той же степени отвечали бояре и дети боярские за своих людей (холопов и служителей) и крестьян, живших на их землях, если последние окажутся виновными в даче ложного показания по обыску. Впоследствии, когда уже минуло господство Сильвестра и Адашева, значение обыска совершенно упало, хотя форма его не уничтожалась, отзывы, собранные по обыску, не служили уже главною нитью для избрания способов суда и почти не имели значения, так как одобренных по обыску можно было предавать пытке и казнить на основании показаний,

---

<sup>57</sup> По Судебнику наказания за уголовные преступления были: денежная пеня, заключение в тюрьму, торговая (кнут) казнь и смертная, постигавшая разбойников, государевых изменников, зажигателей, церковных татей и пр.

вынужденных пыткой. В описываемую нами эпоху пытка допускалась единственно только в том случае, когда приговор по обыску признавал подсудимого худым человеком, если не причислять к пытке (так как не причислялся он к пытке в свое время) правежа – варварского обычая, возникшего в татарские времена, по которому неоплатного должника в определенное время всенародно били палками по ногам, чтоб истребовать лежащий на нем долг: по Судебнику самый высший срок держания на правеже мог продолжаться месяц за сто рублей долга, а по истечении этого срока должник выдавался займодавцу головою и должен был отслуживать свой долг работою. Вскоре, вместо месяца, за сто рублей долга назначено было два месяца правежа. Одним из отличительных признаков выборного судопроизводства было то, что здесь не существовало никаких судебных пошлин; правосудие уделялось прибегавшим к нему безденежно.

Из всего этого можно видеть, что характер законодательной деятельности этой эпохи отличается духом общинности, намерением утвердить широкую общительность и самодеятельность русского народа и дать ему возможно большие льготы, способствующие его благоденствию. При ближайшей оценке этих учреждений нельзя не заметить влияния старых земских преданий, подавленных предшествовавшими обстоятельствами, но еще не совершенно исчезнувших из народной жизни. Тогдашнее земское самоуправление было не чем-нибудь новым, а старым, существовавшим прежде повсюду и долее сохранявшимся в землях новгородской и псковской. В Судебнике Ивана III уже видно участие земских лиц на суде наместников и волостелей: но это участие не имело силы, так как мы встречаем постоянные жалобы на то, что наместники и волостели судили произвольно. Василий Иванович возвратил Новгороду тень его прежних учреждений, установив в нем судебных целовальников, хотя назначаемых, а не выбираемых; а во Пскове сделал подобное князь Иван Бельский во время своего непродолжительного правления государством (при малолетстве Ивана) и в большем размере, чем то было сделано Василием для Новгорода. Наконец, как мы видели, первая грамота такого рода дана была земле, некогда принадлежавшей Новгороду, и притом по просьбе жителей: само собою разумеется, что этим жителям уже было известно то, о чем они просили, а из этого можно заключить, что сущность того устройства, которое вводилось грамотами, еще ранее существовала в землях, подвластных Новгороду. Недаром Сильвестр, дававший всему почин в то время, был новгородец.

По Судебнику, кроме духовных, все прочие составляли два отдела: служилых и неслужилых. Первые делились на два разряда: высших и низших. К высшим принадлежали князья, бояре, окольные, дьяки и дети боярские. Ко вторым – простые ратные люди, ямщики и все казенные служители разных наименований (пушкарники, воротники, кузнецы и т.п.). К неслужилым или земским причислялись: купцы, посадские и волостные крестьяне, жившие как на казенных землях (черносошные), так и на дворцовых и на частных землях. Служилые первого разряда пользовались явными преимуществами. Они занимали видные места и должности, владели поземельною собственностью, имели преимущество в судебных процессах: так, если кто в суде ссылался на их свидетельство, то оно считалось сильнее свидетельства простых людей. Бояре, окольные и дьяки освобождались от позорной торговой казни. Оттенки сословий изображались установленными размерами «бесчестия» за оскорбление. Боярин получал 600 руб., дьяк 200; дети боярские – сообразно получаемому на службе доходу. Из торговых людей гость (первостатейный купец) считался вдесятеро выше обыкновенного торговца и получал 50 р., тогда как всякий посадский получал только 5 р. Волостной человек, крестьянин, был поставлен в пять раз ниже посадского, получая «бесчестия» всего один рубль; но находясь на должности, получал наравне с посадским. Женщине платилось «бесчестие» вдвое против мужчины ее звания.

Во всяком судебном иске бралось в соображение имущество истца и ответчика и количество платимых ими податей. В тяжбах между посадскими и крестьянами вовсе не допускались иски на такую сумму, которой не имел тот, кто подавал жалобу или искал на том, кто не мог ее иметь. Это совпадало со способом наложения податей и повинностей.

Облагались не лица, а имущества и доходы, причем руководством служили писцовые книги, в которых в точности приводились в известность промыслы, средства и доходы жителей. Старое значение боярина, как землевладельца, еще удерживалось в это время, хотя слово боярин имело смысл сановника. Как владетель вотчины, назывался боярином тот, кто не носил боярского сана в царской службе. Вотчины были боярские (вообще частных служилых владельцев) и монастырские; к ним следует причислить еще и владения новгородских земцев (крестьяне-собственники). Поземельные владения, как боярские вотчины, так и все поместья, делали службу обязательною для их владельцев. Кроме последних, все земледельцы не владели землями в качестве частной собственности: у черносошных земли были в общинном владении. Крестьянам вообще предоставлялось прежнее право перехода с земли на землю в Юрьев день.

Относительно холопства в это время сделано было несколько распоряжений, видимо, клонившихся к уменьшению числа холопов. Таким образом, отменилось древнее правило, что поступивший в должность к хозяину без ряда делался его холопом. Детям боярским запрещалось продаваться в холопство не только во время службы, но и ранее. (Впоследствии это распоряжение было отменено для тех из них, которые еще не поступили в действительную службу.) Судебник запрещал отдаваться в холопство за рост, следовательно, предотвращал случаи, когда человек в нужде делался рабом. Впрочем, неоплатный должник после правежа отдавался головою займодавцу, но, чтобы меньше было таких случаев, постановлено было давать на себя кабалы не более, как на пятнадцать рублей. Кроме того, при всякой отдаче головою, излюбленные судьи должны были делать особый доклад государю. Наконец, беглый кабальный холоп не был возвращаем прямо хозяину, а ему предлагали прежде заплатить долг, и только в случае решительной несостоятельности выдавали его головою.

Замечательно, что в совете людей, правивших тогда на деле государством, очевидно были разногласия, проистекавшие от различных взглядов. Это в особенности ощутительно по вопросу о местничестве. Таким образом, в 1550 году являются распоряжения, показывающие намерение вовсе уничтожить местничество: так, напр., было постановлено, чтобы в полках князьям, воеводам и детям боярским ходить без мест, «и в том отечестве их унижения нет». Один только первый воевода большого полка считался выше прочих: все же остальные были между собою равны. Но в следующем году другим распоряжением устанавливалась разница в достоинстве воевод между собою, и в одном современном списке летописи по этому поводу сказано: «а воевод государь прибирает, рассуждая отечество» (т.е. подбирает воевод, принимая во внимание службу их отцов). Видно, что люди с более широким взглядом не могли сразу сладить с предрассудками: впоследствии, когда господство Сильвестра и Адашева кончилось, местничество водворилось опять во всей силе.

Выборное земское начало, так широко развившееся в этот короткий промежуток времени, естественно, не могло достигнуть полной независимости, и только с течением времени могли разрешиться чрезвычайно сложные вопросы по управлению, вызывавшие вмешательство царских чиновников. Еще большая масса служилых подлежала суду наместников и волостелей. Когда происходили ссоры между волостями и частными владельцами, и волости обращались с жалобой к царю, то царь, естественно, возлагал разбирательство дела на таких лиц, от которых выборное право освобождало посадских и крестьян. То же было и тогда, когда волостные крестьяне тягались между собою; тогда малые деревни, не будучи в состоянии противостать большинству, обращались сами под защиту суда наместников. Наконец, люди, управлявшиеся выборными властями, находились во власти царских чиновников по государственным повинностям, какими, например, были: городовое дело, посошная служба и т.п. При этом следует заметить, что везде принимались во внимание местные условия, права и обязанности, чрезвычайно разнообразившие отношения жителей как к государству, так и взаимно между собою.

Вслед за земскими учреждениями приступлено было к церковному устройству. В 1551 году собрался собор для пересмотра порядков церкви, ее управления и религиозных обычаев.

При открытии собора Иван говорил длинную речь, каялся в своем прежнем поведении и приглашал содействовать ему в управлении государством как духовенство, так и светских людей. Иван был настроен тогда в духе крайнего смирения и говорил совершенно противоположное тому, что он высказывал впоследствии в защиту своего самодержавия. Выше всего он почитал тогда церковь и отдавал ей на рассмотрение даже все земское устройство, составленное по Судебнику и Уставным грамотам. Акты этого знаменитого собора дошли до нас в форме вопросов, предлагаемых от имени царя на соборе, и ответов на эти вопросы, заключающих в себе соборные приговоры. Так как этих вопросов и ответов было сто, то и собор получил в истории название Стоглава.

По отношению к церковному управлению предложено было исправить порядок, схожий с управлением наместников и волостелей в земском деле. Владыка в своей епархии в соборе напоминал собою удельного князя. У него был совет из собственных бояр, которые управляли и судили в епархии с докладом владыке. Судьями от владыки были его наместники и десятильники; при них были, так как и в земстве, недельщики и доводчики. Белое духовенство и монастыри были обложены множеством разнообразных пошлин<sup>58</sup>, от которых некоторые освобождались по благоволению владыки. Владыки раздавали свои земли в поместья детям боярским – эти земли переходили от владельца к владельцу не по наследству, а по воле архиерея. Дети боярские были обязаны службою владыке, хотя в то же время призывались и на государственную службу. Суд у святителей, соответственно подлежащим этому суду предметам, был двух родов, духовный – в делах, относившихся к области веры и благочестия, как над духовенством, так и над мирскими людьми, и мирской – над лицами, исключительно состоявшими в церковном ведомстве. Вообще, как суд, так и управление в церковном ведомстве страдали в те времена большими злоупотреблениями. Владычные бояры, дьяки и десятильники всеми неправдами притесняли сельских священников. Собор не решился отменить суда бояр и десятильников, потому что и при великих чудотворцах: Петре, Алексие и Ионе, были десятильники, но учредил из священников, старост и десятских, которые, между прочими обязанностями, должны были присутствовать на суде десятильников; да кроме того, на этот суд допускались еще и земские старосты и целовальники вместе с земским дьяком. Всякое дело писалось в двух экземплярах, и одна сторона поверяла другую. Избираемые из священников поповские старосты и десятские должны были, каждый в своем пределе, наблюдать за церковным благочинием и за исполнением обязанностей духовенства. Они же собирали и доставляли к владыке все установленные сборы и пошлины. Собор обратил внимание и на книги. Издавна переводились книги с греческого языка, отчасти с латинского, переписывались старые сочинения и переводы и продавались. Как переводы, так и переписки исполнялись плохо.<sup>59</sup> Тогда все письменное без разбора относили к церкви; и оттого-то книги отреченные и апокрифы считались, по невежеству, наравне с каноническими книгами Священного Писания, и нередко приписывалось отцам церкви то, чего те никогда не писали. Это неизбежно вело к заблуждениям. Собор устанавливал род духовной цензуры, поверяя ее поповским старостам и десятским. Книгописцы состояли под их надзором. Старосты и десятские имели право просматривать и одобживать переписанные книги и отбирать из продажи неисправленные. Так как в те времена во всеобщем понятии учение грамоте связывалось с благочестием, то это учение вообще поставлено было в зависимость от духовных властей. Во времена Стоглава оставалась память, что некогда на Руси существовали училища, но потом исчезли: немногие теперь знали вполне грамоту, учились

---

<sup>58</sup> Например, дани зимняя и летняя, заездничье, въездное, благословенная куница (подать со священника при вступлении в должность), переходная куница (при переходе из одного прихода в другой), явленная куница (при явке ставленной грамоты), соборная куница, людское, полюдная пшеница, казенные алтыны, венечная пошлина (с невесты), новоженный убрис (с жениха), десятильничьи пошлины и пр.

<sup>59</sup> До сих пор в наших библиотеках можно видеть старые переводы с греческого, в которых нельзя добраться смысла.

как-нибудь, и святители поневоле посвящали в священники людей малограмотных. Собор постановил завести училища и поверил их устройство избранным духовным, которые должны были открывать училища в своих домах; православные христиане приглашались отдавать детей своих в обучение грамоте, письму и церковному пению. Занимаясь вопросом о писании книг, Стоглавный собор коснулся вопроса об иконописании, заметил большие злоупотребления и определил установить особый класс иконописцев под надзором святителей так, чтобы, кроме них, никто не смел заниматься иконописанием.

Монастыри с существовавшими в них злоупотреблениями составили одну из главных забот Стоглавного собора. Наделенные селами и пользуясь большими доходами, монастыри были земным раем для своих начальствующих лиц, которые всегда могли принудить к молчанию своих подчиненных лиц, если бы со стороны последних раздавались обличения. Архимандриты и игумены окружали себя своими родными и клеветами и превращали монастырское достояние в выгодные для себя аренды. Их родня под именем племянников поселялась в монастырях; настоятель раздавал им монастырские села, посылая их туда в качестве приказчиков. Управление монастырскими имениями, вместо того чтобы производиться собором старцев, зависело от произвола одного настоятеля. В его безусловной власти находились и братия, и священнослужители монастырских сел и часто терпели нужду, хотя и находились в ведомстве очень богатого монастыря, так как никто из них не пользовался доходами и не смел требовать участия в пользовании. Зато настоятели жили в полном удовольствии. В редких монастырях удерживалось общежитие в строгой его форме: если где и была скудная трапеза, то разве для бедняков, питавшихся от крупы, падавших со стола властей. Нередко вкладчики, в порыве благочестия, отдавали в монастырь все свое достояние с тем, чтобы там доживать свою старость; лишившись добровольно имущества, они терпели и голод, и холод, и всяческие оскорбления от властвующих, которые не дорожили ими, зная, что с них, после отдачи всего в монастырь, уже более нечего взять. Зато те, которые хотя и отдали в монастырь часть своего достояния, но оставили значительный запас у себя, пользовались вниманием и услужливостью. В монастырях курили вино, варили пиво и меды, отправлялись пиры; в монастыри приезжали знатные и богатые господа, и настоятели раболепствовали пред ними, стараясь что-нибудь выманить от них. Вольное обращение с женским полом доходило до большого соблазна: были монастыри, в которых чернецы и черницы жили вместе. Нередко можно было встретить в монастырях мальчиков, «ребят голо-усых», как выражались в то время.

От деспотизма и алчности настоятелей, вообще снисходительных к себе и строгих к другим, нередко братия уходила из монастыря; бедняки иногда скитались с места на место, не находя приюта; в других монастырях их принимали неохотно; иные находили себе убежище у мирских церквей, построенных христороубами не для прихода, а для себя. Таких церквей было множество, но большая часть их стояла пустою. То была своеобразная черта русского благочестия: соорудить церковь ради спасения своей души вследствие какого-нибудь сна или видения, назначить «ругу» на содержание ее, то есть на свечи, просфоры и вино, договорить какого-нибудь бродячего монаха, а то и светского иерея, которых тогда также скиталось немало на Руси, а впоследствии порывы благочестия минуют, – в церкви нет служения, и договоренный священник не может служить и жить при церкви, потому что ему перестали давать содержание! Часто бродячие чернецы и в особенности черницы промышляли пророчествами и видениями; нагие, босые, с отрошенными и нечесаными волосами ходили они по селам и погостам, привлекали своим появлением толпу, всенародно тряслись, бились, кричали, что им являлись Святая Пятница или Святая Анастасия и будто бы заповедали им объявить всем христианам, чтобы в среду и пятницу ничего не делали, чтоб женщины не пряли, белья не мыли и камня не разжигали и т.п. Случалось, что бродяга-чернец строил маленькую деревянную церковь, ходил просить милостыню, выпрашивал себе ругу, постоянное содержание, а потом пропивал все собранное им.

У нас часто думают, что в древности господствовало благочестие, по крайней мере, наружное; но Стоглав представляет нам в этом отношении совсем иной образ. При

невежестве духовенства, богослужение происходило самым нестройным образом, особенно заутреня и вечерня; в одно и то же время один читал канон, другой кафизмы; духовные машинально исполняли заученное, не имея никакого внутреннего благочестия, и потому позволяли себе во время богослужения непристойные выходки, приходили в церковь пьяные, ругались и даже дрались между собою. Глядя на них, миряне не оказывали никакого уважения к церкви: входили в храм в шапках, громко разговаривали между собою, смеялись, перебранивались, даже нередко среди божественного пения можно было услышать срамные слова. В поминальные дни церковь представляла совершенный рынок – приносились туда яйца, калачи, пироги, печеная рыба, куры, блины, караваи; попы уносили все это в алтарь и ставили даже на жертвенник. В монастырях в этом отношении было не лучше; ожиревшие от изобилия настоятели часто вовсе не священнодействовали, братия пьянствовала, и по целым неделям не бывало в монастыре богослужения. Собор осудил все эти злоупотребления, между прочим, совсем запретил держать в монастырях пьянственное питье, кроме «фрязских вин»; запрещалось совместное жительство чернецов и черниц; для сохранения монастырской казны собор определил давать по книгам отчеты царским дворецким. Издано постановление против заводителей новых пустынь, которые тогда сильно размножились: велено было такие мелкие пустыни соединять между собою, подчинять монастырям или даже уничтожать их вовсе. Собор поставил предел увеличению церковных вотчин; хотя право владения за владыками и монастырями было оставлено, но вперед церковные власти без особого царского разрешения не могли уже покупать земель. Постановлено было также, чтобы люди служилые не давали по душе своих вотчин без воли государя, и все вотчины, отданные боярами в монастыри со смерти великого князя Василия, велено отобрать. Кроме того, оказывалось, что владыки и монастыри незаконно присвоили у детей боярских земли под предлогом долгов, и такие земли велено обратить в собственность тех лиц, за кем они были прежде.

Из Стоглава видно, что в то время в церковном порядке и в приемах благочестия существовали многие особенности, отличные от того, что мы видим в настоящее время. При крещении в некоторых местах соблюдалось, вместо погружения, обливание, которое и воспрещено было правилами Стоглавного собора. Обычай брать восприемниками мужчину и женщину, кума и куму, – в настоящее время всеобщий – тогда только начал входить и был запрещен Стоглавным собором, постановившим, чтобы восприемником было одно лицо: мужского или женского пола. Венчание положено было совершать непременно после обедни и венцы полагать только на первобрачных. Жениху должно было быть не менее пятнадцати, а невесте не менее двенадцати лет от роду. Языческий обычай наговаривания применен к христианским обрядам: просфирни наговаривали на просфоры, и таким просфорам приписывалась особая врачевная сила; подобно тому в великий четверг приносили в церковь соль, которую священники клали под престол и держали до седьмого четверга по Пасхе – день народного праздника семика: этой соли приписывали целебную силу против болезни скота. Такие суеверия воспрещены были Стоглавным собором, как равно различные гадания и гадательные книги: рафли, Аристотелевы врата, наблюдения по звездам и «планидам», «шестокрыл, воронограй, альманах» и иные «составные и мудрости еретические и коби бесовские».

В вопросах, предложенных на этом соборе, встречается много любопытных черт, указывающих на языческие обычаи, еще довольно сильные в то время, как, например: на поминках сходились мужчины и женщины на кладбищах; туда приходили скоморохи и гудцы (музыканты); справлялось веселье, шла попойка, пляска, песни. Таким веселым днем была в особенности суббота перед пятидесятницею; в великий четверток отправлялся языческий обычай «кликать мертвых», теперь уже совершенно исчезнувший; он сопровождался сожжением соломы. В этот же день клали трут в расселину дерева, зажигали его с двух концов, полагали в воротах домов или раскладывали там и сям перед рынком и перескакивали через огонь с женами и детьми. Ночь накануне Рождества Иоанна Предтечи повсеместно проводилась народом в плясках и песнях: то было древнее празднество Купалы.

Подобные языческие празднества указываются, кроме того, накануне Рождества Христова и Богоявления и в понедельник Петрова поста: в последний из этих дней был обычай ходить в рошу и там отправлять «бесовские потехи». Запрещая эти языческие увеселения, собор вообще осуждал всякие забавы – шахматы, зернь (карты), гусли, сопели, всякое гуденье, позорища (сценические представления), переряживание и публичное плясанье женщин.

Стоглавный собор узаконил выкуп русских людей, попадавших в плен татарам. Прежде таких пленников выкупали греки, армяне, а иногда и турки, и приводили в Московское государство, предлагая выкупить, но если не находилось охотников, то уводили их назад. Теперь же постановлено было выкупать их из казны, и издержки на выкуп разложить по сохам на весь народ. Никто не должен увольняться от такой повинности, потому что это общая христианская милостыня. Мы не знаем, в какой мере введены были и удержались все преобразования Стоглава, тем более, что до нас не дошли его ранние списки, а те, которыми мы принуждены довольствоваться, писаны уже в XVII веке, и в них есть разноречия.<sup>60</sup>

После внутренних преобразований правители занялись покорением Казанского царства. Прежде подручное московскому государю, это царство находилось теперь в руках злейшего врага русских – Сафа-Гирея. Тогда Казань, по выражению современников, «допекала Руси хуже Батыева разорения; Батый только один раз протек русскую землю словно горящая головня, а казанцы беспрестанно нападали на русские земли, жгли, убивали и таскали людей в плен». Их набеги сопровождалась варварскими жестокостями; они выкалывали пленникам глаза, обрезавали им уши и носы, обрубали руки и ноги, вешали за ребра на железных гвоздях. Русских пленников у казанцев было такое множество, что их продавали огромными толпами, словно скот, разным восточным купцам, нарочно приехавшим для этой цели в Казань. Но Сафа-Гирей не крепко сидел в Казани, которая была постоянно раздираема внутренними партиями. В 1546 году враждебная ему партия выгнала его и опять пригласила в цари Шиг-Алея, освобожденного Еленю из заточения. Не мог ужиться с казанцами этот новый царь и скоро бежал от них. Сафа-Гирей опять сел на престол, но не надолго. Напившись пьян, он зацепился за умывальник и расшиб себе голову. Казанцы провозгласили царем его малолетнего сына Утемиш-Гирея, под опекой матери Сююн-Беки.<sup>61</sup> В это время русские последовали примеру Василия, построившего Васильсурск, и построили в 1550 году, в тридцати семи верстах от Казани, крепость Свияжск. Последствием такой постройки было полное покорение горной черемисы, или чувашей. Этот народ, хотя и единоплеменный луговой черемисе или настоящим черемисам, был, однако, совершенно отличен от последних по нравам. Тогда как черемисы, жившие на левой стороне Волги, отличались дикостью и воинственностью, чуваша был народ смирный и земледельческий. Чуваша легко покорился русской власти, особенно когда им дали льготу на три года от платежа ясака, а царь в Москве подарил их князьям шубы, крытые шелковой материей. Близость русского поселения и подчинение правого берега Волги, находившегося прежде под властью Казани, произвели такое волнение в столице Казанского царства, что казанцы в августе 1551 года выдали Сююн-Беку с сыном, отпустили часть содержавшихся у них русских пленников и снова призвали Шиг-Алея, в надежде, что русские возвратят им владение над горным берегом Волги. Русские посадили Шиг-Алея на казанском престоле, но не думали отдавать горной страны. Шиг-Алей через то не ладил с казанцами; они беспрестанно требовали от него, чтобы он старался восстановить прежние пределы царства, не хотели отпускать оставшихся у них русских пленников и, наконец, составили заговор убить своего царя за его преданность Москве, но этот царь предупредил врагов, зазвал значительнейших из них к себе и приказал их перебить находившимся при нем русским стрельцам. Тогда многие казанцы поспешили в Москву жаловаться на Шиг-Алея, и

<sup>60</sup> Сюда, например, включено постановление о сугубой аллилуйе, которое, очевидно, внесено раскольниками, так как в сочинениях Макария, председательствовавшего на этом соборе, признавалась правильной трегубая аллилуйя и т.п.

<sup>61</sup> До сих пор в Казани уцелела башня, называемая ее именем.

вследствие этих жалоб в Казань приехал Адашев.

«Мне в Казани нельзя оставаться, – сказал Шиг-Алей Адашеву, – я согрубил казанцам: я обещал им выпросить у царя нагорную сторону; пусть государь пожалует нам нагорную сторону, тогда мне можно будет оставаться здесь; а пока я жив – царю Казань будет крепка».

«Тебе уже сказано, – отвечал Адашев, – что горной стороны государю тебе не отдавать, Бог нам ее дал. Сам знаешь, сколько бесчестия и убытка наделали государям нашим казанцы; и теперь они держат русский полон у себя, а ведь когда тебя на царство посадили, то с тем, чтобы весь полон отдать».

«Если горной страны не отдадут, – сказал Шиг-Алей, – то мне придется бежать из Казани».

«Коли тебе из Казани бежать, – возразил Адашев, – то лучше укрепи Казань русскими людьми».

«Я своему государю не изменю, – сказал Шиг-Алей, – но я мусульманин: на свою веру не встану. Если мне не в меру будет жизнь в Казани, я лихих людей еще изведу и сам поеду к государю».

Адашев с тем и уехал. Но вслед за тем прибыли в Москву враждебные Шиг-Алею казанские князья и просили, чтобы царь удалил Шиг-Алея, а на место его прислал своего наместника. В Москве это предложение, естественно, понравилось.

Адашев снова поехал в Казань, свел Шиг-Алея с престола, захватил восемьдесят четыре человека противной Шиг-Алею партии и уехал в Свияжск, объявивши казанцам, что к ним будет прислан царский наместник. Казанцы показали вид согласия, но когда, вслед за тем, из Свияжска их известили, что к ним едет назначенный воеводою в Казань князь Семен Микулинский, они заперли город, не пустили русских и кричали им со стен: «Ступайте, дураки, в свою Русь, напрасно не трудитесь; мы вам не сдадимся, мы еще и Свияжск у вас отнимем, что вы поставили на чужой земле».

Пробудилось чувство национальности и веры. В крайнюю минуту все партии примирились. Вся земля казанская вооружалась, даже чувашаи изменили Москве, испытавши над собою управление воевод московских. Казанцы пригласили к себе в цари нагайского царевича Едигера, который прибыл в Казань с десятью тысячами нагайцев.

Опыт показывал, что Москве невозможно управлять Казанью посредством подручных князей, а предоставить ее на волю – значило подвергать восточную Русь нескончаемому разорению. В Москве решили идти с сильным ополчением, покончить навсегда с неприязненным царством и обратить его земли в русские области. Собрано было войско, огромное по тому времени, более 100000. Сам царь должен был идти в поход, хотя ему этого очень не хотелось, как он сам впоследствии сознавался в письме своем к Курбскому: «Вы меня, как пленника, посадивши в судно, повезли сквозь безбожную и неверную землю. Если бы не всемогущая десница Божия защитила мое смирение, то я бы непременно лишился жизни».

Крымский хан Девлет-Гирей хотел было помогать Казани и напасть на Москву с юга, но был отбит от Тулы. Русские осадили Казань 20 августа 1552 года и вели осаду до 1 октября. Способ осады состоял в том, что русские кругом города поставили деревянные туры на колеса и все ближе и ближе подвигались к стенам города; между тем их беспокоили с тыла отряды черемисов и чувашей, а казанцы со стен пугали своими чарами, будто бы наводившими дождь, докучавший осаждавшим. «Бывало, – говорит Курбский, – солнце восходит, день ясный; мы и видим: взойдут на стены старики и старухи, машут одеждою, произносят какие-то сатанические слова и неблагочинно вертятся; вдруг поднимется ветер и прольется такой дождь, что самые сухие места обратятся в болото». Против бесов оставалось употребить духовное оружие. Послали в Москву за крестом, в котором была вделана частичка Животворящего Древа. Дух войска ободрился, когда чрез двенадцать дней привезли это сокровище. Дело решил немецкий розмысл (инженер), который сделал подкоп и заложил под стены порох, 1-го октября разрушена была взрывом стена; русские ворвались в город и взяли его. Сам царь не участвовал в битвах, а только торжественно въехал в



покоренную Казань, наполненную трупами. Пленный казанский царь Едигер поклонился победителю, просил прощения и изъявил намерение креститься. Русские обращались милостиво с побежденными, но казнили тех, которые оказались виновными в вероломстве. В Казани найдено было несколько тысяч христианских пленников, удержанных казанцами вопреки договору, по которому давно уже они были обязаны их отпустить. Иностранцы: черемисы и чувашы, покорились и обещали платить наложенный на них ясак. Замечательно, что бояре старались удержать на всю зиму Ивана в Казани, и находили это необходимым для того, чтобы приучить к повиновению разнородные племена, населявшие обширное Казанское царство: мордву, чувашей, черемисов, вотяков и башкирцев. Но Иван на этот раз впервые не послушал своих опекунов. Царица Анастасия была на последних днях беременности; Ивану хотелось домой; шурья поддерживали его желание; и тут-то между ними и боярами произошло столкновение. «Шурья государя, – говорит Курбский, – направили к нему еще и других ласкателей, вместе с попами». Иван не только уехал вопреки желанию бояр, но еще распорядился против их воли: он отправил конницу в осеннее время по такой дороге, на которой пропали чуть не все лошади.

В Москве царя ожидали торжественные встречи, поздравления. Царица Анастасия благополучно разрешилась от бремени сыном Димитрием. Царь Едигер принял крещение и наречен Симеоном. Тогда же крестилось много казанских князей, увеличивших собою число татарских родов в русском дворянстве. В память завоевания Казани был заложен в Москве храм Покрова Богородицы на Красной площади, храм очень своеобразной и затейливой архитектуры (теперь известный под именем Василия Блаженного, от мощей этого юродивого, почивающих в этом храме). Строитель его, без сомнения, человек с большим талантом, остался неизвестен. В народе сохранилось предание, что царь в награду за построение храма приказал выколоть ему глаза для того, чтобы он уже не мог построить чего-нибудь подобного в ином месте. Покорение Казанского царства подчинило русской державе значительное пространство на востоке до Вятки и Перми, а на юг до Камы, и открыло путь дальнейшему движению русского племени. Но много еще нужно было труда, чтобы усмирить беспокойные племена этой страны. Русь должна была несколько раз бороться с восстаниями татар и черемисов; но уже в следующем 1553 году учреждение казанской епархии послужило важным залогом господства русской стихии в новопокоренном крае. Первым архиепископом назначен был всеми уважаемый игумен селижарский<sup>62</sup> Гурий. Начали строиться церкви, монастыри, стали переселяться русские люди, и Казань мало-помалу приняла характер русского города.

В душе царя уже шевелилось чувство недовольства своим зависимым положением. Иногда, в минуты своенравия, он проявлял его: так, однажды, скоро после завоевания Казани, по поводу этого события, он сказал своим опекунам: «Бог меня избавил от вас!» Наступили обстоятельства, которые еще более развивали и поддерживали это долго сдерживаемое чувство.

В 1553 году Иван заболел горячкою и, пришедши в себя после бреда, приказал написать завещание, в котором объявлял младенца Димитрия своим наследником. Но когда в царской столовой палате собрали бояр для присяги, многие отказывались присягать. Отец Алексея Адашева смело сказал больному государю: «Мы рады повиноваться тебе и твоему сыну, только не хотим служить Захарьиным, которые будут управлять государством именем младенца, а мы уже испытали, что значит боярское правление». Спор между боярами шел горячий. В числе не хотевших присягать был двоюродный брат государя Владимир Андреевич. И это впоследствии подало царю повод толковать, что отказ бояр в присяге происходил от тайного намерения по смерти его возвести на престол Владимира Андреевича. Спор о присяге длился целый день и ничем не решился. На другой день Иван, призвавши к себе бояр, обратился к Мстиславскому и Воротынскому, которые прежде всех присягнули и уговаривали присягнуть других; «Не дайте боярам извести моего сына, бегите

---

<sup>62</sup> Селижарский монастырь в Тверской губернии в Осташковском уезде.

с ним в чужую землю», а Захарьиным царь сказал: «А вы, Захарьины, чего испугались? Думаете, что бояре вас пощадят? Нет, вы будете первые у них мертвецы!» После этих слов царя все бояре один за другим присягнули. Владимир Андреевич – тоже. Трудно решить: действительно ли было у некоторых намерение возвести Владимира на престол в случае смерти царя, или упорство бояр происходило от нелюбви к Захарьиным, от боязни подпасть под их власть, и бояре искали только средства, в случае смерти Ивана, устроить дело так, чтобы не дать господства его шурыям. Владимиру Андреевичу поставили в вину то, что в то время, когда государь лежал больной, он раздавал жалованье своим детям боярским. Не любившие его бояре стали тогда же подозревать его и вздумали не пускать к больному государю. За Владимира заступился всемогущий тогда Сильвестр, и этим поступком подготовил враждебное к себе отношение царя Ивана на будущее время.

Иван не умер, как ожидали; он выздоровел и показывал вид, что ничего не помнит, ни на кого не сердится, но в сердце у него заронилась ожесточенная злоба. Люди такого склада, как Иван Васильевич, столько же боязливы в начале всякого предприятия, пока не уверены в удаче, сколько неупорно наглы впоследствии, когда перестают бояться. Зато – чем долее боязнь заставляет их сдерживать свою страсть, тем сильнее эта страсть прорывается тогда, когда они освободятся от страха. Иван уже ненавидел Сильвестра и Адашева, не любил бояр, не доверял им, но у него не изглаживались еще воспоминания ужасных дней московского пожара, когда расвирепевший народ не поцеремонился с государевою роднею и не далек был, по-видимому, от того, чтоб идти на самого государя. Иван не был еще уверен, что с ним не сделают чего-нибудь подобного, если он пойдет против своих опекунов и раздражит их. Притом Сильвестр внушал ему суеверную боязнь и умел постоянно оковывать его волю «детскими страшилами», как сам царь сознавался после. Бояре, хотя уже не отличались прежним согласиём, не заявляли себя ничем таким, за что можно было бы их укорить в измене царю; напротив, когда один из них, князь Семен Ростовский, слишком резко говоривший против присяги во время болезни царя, испугался, бежал и был пойман, бояре единогласно осудили его на смертную казнь, и сам царь (вероятно, по ходатайству Сильвестра) ограничил ему наказание ссылкой в Белозерск. Иван еще несколько лет повиновался Сильвестру и его кружку, хотя все более и более ненавидел их, пока, наконец, уверившись в своей безопасности, мог дать своей злобе полную волю. Между тем произошли случаи, развившие в Иване сознание своего унижения и усилившие в нем желание освободиться от опеки.

По выздоровлении своем, царь Иван Васильевич поехал с женою и ребенком по монастырям с целью, посещая их один за другим, доехать до отдаленного Кирилло-Белозерского монастыря. У Троицы жил тогда знаменитый Максим Грек, освобожденный при Иване из заточения. Иван посетил его. Максим откровенно сказал царю, что не одобряет его путешествия по монастырям. «Бог везде, – говорил он, – угождай лучше ему на престоле. После казанского завоевания осталось много вдов и сирот; надобно их утешать». Эти слова говорил Максим, вероятно, в согласии с Адашевым, Сильвестром и их сторонниками, которые все любили и уважали старца. Они боялись, чтобы царь, скитаясь по монастырям, не наткнулся на ненавистных для них осифлян, которые умели льстить и угождать властолюбию и щекотать дурные склонности сильных мира сего. Адашев и Курбский говорили Ивану, будто Максим им предрекал, что государь потеряет сына, если не послушает его и будет ездить по монастырям. Опасение их было не напрасно. Иван не послушался Максима Грека, продолжал свое набожное странствие и в Песношском монастыре (в нынешнем Дмитровском уезде) увидался с одним из самых первостатейных осифлян – бывшим коломенским владыкою Вассианом.

Этот Вассиан был когда-то в большой милости у Василия Ивановича; но во время боярского правления его удалили. «Если хочешь быть настоящим самодержцем, – сказал царю Вассиан, – не держи около себя никого мудрее тебя самого; ты всех лучше. Если так будешь поступать, то будешь тверд на своем царстве, и все у тебя в руках будет, а если станешь держать около себя мудрейших, то поневоле будешь их слушаться». Замечание

попало в самое сердце. Царь поцеловал его руку и сказал: «Если бы отец родной был жив, так и тот не сказал бы мне ничего лучшего!» Предсказание Максима сбылось. Сын Ивана умер; это, без сомнения, должно было поразить Ивана и снова подчинить его своим опекунам, хотя он не переставал ими тяготиться. Пользуясь этим, они еще успели именем государя совершить несколько важных дел.

Необходимость сблизиться с Европою и усвоить ее культуру чувствовалась русскими. Еще в 1547 году, когда уже наступило влияние Сильвестра и Адашева, следовательно с их участием, от имени царя, поручено было одному саксонцу Шлитту, знавшему по-русски, вызвать из немецкой земли всякого рода умелых людей: ремесленников, художников, медиков, плавильщиков, юристов, аптекарей, типографов и даже богословов. Поручение это не удалось по зависти Ганзейского Союза и Ливонского ордена, которые полагали, что введение европейского образования, возвысив силы московской земли, сделает ее опасною для Европы. Любекские сенаторы не пустили Шлитта в Москву, засадили его в тюрьму и разогнали толпу немцев, которых он вез с собою (123 чел.). Обстоятельства неожиданно открыли путь к сближению с Европою совсем иным путем. В Англии образовалось общество под названием «The Mistery». Его основателем был знаменитый Себастьян Кабат, открывший материк Северной Америки. Ближайшею целью этой компании было открытие пути в Китай и Индию через северные страны старого полушария. Общество это снарядило три корабля: два из них были заперты льдом, экипаж их погиб вместе с адмиралом Гуго Виллоуби; третий корабль «Эдуард Бонавентура», под начальством Ричарда Ченслера, пристал, 24 августа 1553 года, к русским берегам у посада Неноксы в устье Двины. Ченслер с людьми отправился в Москву и представил грамоту Эдуарда VI, написанную вообще ко всем владыкам северных стран. Англичане были приняты и обласканы как нельзя лучше. Царь отвечал Эдуарду дружелюбною грамотою, которою позволял англичанам приезжать свободно в его государство для торговли. В марте 1554 года Ченслер возвратился в отечество. Англичане смотрели на его путешествие как на открытие новой страны, наравне с открытиями, совершавшимися в Америке. Явились самые блестящие надежды на выгоды от торговли с неведомою московскою землею. Устроилась компания, уже специально с целью «торговли с Московиею, Персиею и северными странами»; она сокращенно называлась «русскою компаниею». Ее правление состояло из *governor'a* (первым пожизненно был назначен Кабат) и из двадцати восьми правительствующих членов, выбираемых ежегодно. Она получила право покупать земли, но не более как на 60 фунтов стерл. в год, иметь свой самосуд, строить корабли, нанимать матросов, приобретать земли в новооткрытых странах и, торгуя в России при покровительстве русского государя, противодействовать совместничеству не только торгующих иностранцев, но и английских подданных, не принадлежащих компании. В 1555 году Ченслер снова прибыл в Москву, но уже в качестве посла, и выхлопотал льготную грамоту для английской компании. Ей дозволялась беспошлинная торговля оптом и в розницу, давалось право заводить дворы в Холмогорах и в Вологде, а в Москве ей был подарен двор от царя у церкви Максима исповедника: в каждом дворе члены компании могли держать у себя по одному русскому приказчику: они имели свой суд и расправу: никакие царские чиновники не могли вмешиваться в их торговые дела, кроме царского казначея, которому принадлежал суд между компаниею и русскими торговцами. Когда Ченслер отправился в отечество, то с ним вместе отправился русский посол по имени Непея. У берегов Шотландии Ченслер потерпел кораблекрушение, а Непея благополучно избег опасности и был принят королевою Мариюю со знаками особенного внимания. С тех пор между Англией и Россией завязались дружественные отношения. С тех пор каждый год приходили к устью Двины английские корабли с товарами. Пустынные и дикие берега Северного моря оживлялись, населялись; Московская Русь разом познакомилась со множеством предметов, о которых не имела понятия; закипела новая торговая жизнь. Права английской компании и ее деятельность расширялись с каждым годом и превращались в монополию, которая отзывалась уже неприятно для русских, потому что выгода от торговли клонилась преимущественно на сторону иноземцев, особенно вследствие

распоряжений, сделанных в позднейшее время царствования Ивана и после него. Во всяком случае, завязавшаяся торговля с Англией имела чрезвычайно важное значение в истории русской культуры и составляет в ней перелом.

Между тем правители продолжали расширение пределов государства за счет татарского племени и, как видно, признали настоятельной задачей Руси подчинить татарские народы одних за другими. Покончили с Астраханью. Царство Астраханское было в руках ногайских князей, к которым принадлежал и Едигер, последний царь казанский. В Астрахани царем был Ямгурчей. Он дружил с Девлет-Гиреем и нанес оскорбление московскому послу. За это, весной 1554 года, отправлено было в Астрахань русское войско под начальством князя Пронского-Шемякина и Вешнякова. Они изгнали Ямгурчея и посадили в Астрахани царем другого нагайского князя, Дербыша, но уже в качестве московского подручника и оставивши при нем русское войско. Дербыш на другой же год сошелся с Девлет-Гиреем и начал открытую войну против Москвы, но в марте 1556 русские, находившиеся в Астрахани с головою Черемисиновым, разбили и прогнали Дербыша. Астрахань была непосредственно присоединена к Московскому государству и туда были назначены московские наместники. Это завоевание передало Московской державе огромные степи Поволжья, и вся Волга от истока до устья вошла во владение Москвы.

Оставалось разделаться с Крымом. Это было труднее, чем покорение Казани и Астрахани, но дело все-таки возможное. Удаче этого предприятия помешало то, что между советниками Ивана началась рознь. Тогда как Сильвестр и некоторые его единомышленники, в числе их Адашев и Курбский, были того мнения, что следует, не отвлекая ни чем сил, обратиться исключительно на Крым и уничтожить Крымское царство, подобно Казанскому и Астраханскому, представилась возможность владеть Ливониею. Ливонский орден был в полном разложении: немцы, избалованные долгим миром, отвыкли от войны, а большинство народонаселения, состоя из порабощенных чухон и латышей, готово было безропотно покориться власти Москвы. Иван Васильевич колебался между тем и другим предприятием и решился на то и другое разом, хотя сам более склонялся к последнему. Это раздвоение военных сил вредило расправе с Крымом, несмотря на то, что обстоятельства благоприятствовали русским. В союзе с Москвою были днепровские казаки, которые тогда усиливались с каждым годом. Предводителем у них был князь Димитрий Вишневецкий, один из потомков Гедимины, человек храбрый, предприимчивый и до чрезвычайности любимый подчиненными. Он просил прислать ему войско и предлагал московскому царю свою службу со всеми казаками, с Черкасами, Каневом, с казацкою Україною на правом побережье Днепра, составлявшую ядро той Малой России, которая через столетие поклонилась другому московскому царю. Вишневецкий хотя считался подданным великого князя литовского и короля польского Сигизмунда-Августа, но не обращал внимания на запрещение последнего воевать с татарами, и действовал совершенно независимо со своими казаками. В это время в Крыму и в степях между нагаями свирепствовали разные естественные бедствия: сначала жестокий холод, потом засуха, скотский падеж и, наконец, мор на людей. Современники говорили, что во всей Орде не осталось десяти тысяч лошадей. Из Москвы в 1557 году к казакам был послан дьяк Ржевский с отрядом. Он соединился с тремястами казаков, разорил Ислам-Кермень и Очаков, разбил татар и бывших с ними турок. По удалении Ржевского, Девлет-Гирей пошел с ордою на Вишневецкого, который тогда укрепился на острове Хортице. (То был зародыш Запорожской Сечи, которая через несколько лет утвердилась ниже Хортицы, на другом острове, Томаковке.) Вишневецкий двадцать четыре дня отбивался от хана и наконец прогнал его. В следующем 1558 году Сильвестр и бояре его партии убеждали Ивана двинуть все силы на Крым и самому идти во главе. Сильвестр, желая отвлечь его от ливонской войны, резко осуждал ее, особенно за варварский образ, с каким она велась, за истребление старых и малых, за бесчеловечные муки над немцами, совершаемые татарами, распущенными по Ливонской земле под начальством Шиг-Алея: Сильвестр называл Ливонию «бедною, обижаемою вдовицею». Иван, как прежде, колебался, слушал с большею охотою советы противников Сильвестра, не

думал в угождение последнему щадить Ливонии, однако не совсем решался действовать вразрез с ним и людьми его партии; он ограничился полумерами. Царь принял в свою службу Вишневецкого, подарил ему город Велев, но приказал ему сдать королю Черкасы и Канев, не желая принимать в подданство Украины и ссориться с королем. Он отправил брата Адашева Данила с 5000 чел. на Днепр против крымцев для содействия Вишневецкому, отправленному на Дон, но сам не двинулся с места и не посылал более войска. Между тем обстоятельства стали еще более благоприятствовать Москве. Черкесские князья, отдавшиеся московскому государю после завоевания Астрахани, собрались громить владения Девлет-Гирея с востока. В Крыму, в довершение всех несчастий, поднялось междоусобие. Недовольные Девлет-Гиреем мурзы хотели его низвергнуть и возвести на престол Тохтамыш-Гирея. Покушение это не удалось. Тохтамыш бежал в Москву. Удобно было московскому государю покровительствовать этому претенденту и найти для себя партию в Крыму. Царь Иван этим не воспользовался. Данило Адашев спустился на судах по Пселу, потом по Днепру, вошел в море и опустошил западный берег Крыма, а черкесские князья завоевали Таманский полуостров. Весь Крым был поражен ужасом. Но ТАК как новых московских сил не было против него послано, то дело этим и ограничилось. Царь Иван имел тогда возможность уничтожить Девлет-Гирея, но только раздражил его и приготовил себе со стороны врага мщение на будущее время. Самая удобная минута к покорению Крыма была пропущена. Надобно заметить, что для удержания Крыма в русской власти в те времена представлялось более удобства, чем впоследствии, потому что значительная часть тогдашнего населения Крыма состояла еще из христиан, которые естественно были бы довольны поступлением под власть христианского государя. Впоследствии потомки их перешли в мусульманство и переродились в татар.

Крымский вопрос еще более разъединил царя Ивана с людьми Сильвестровой партии. Их влияние, видимо, упало. Ливонская война велась против желания многих, хотя некоторые из них, исполняя долг службы, не только участвовали в ней, но даже своими подвигами решали ее в пользу Москвы. Рыцари претерпевали поражение за поражением, город сдавался за городом; наконец в 1559 году Ливонский орден заключил договор с Сигизмундом-Августом, по которому отдавал ему часть своих владений и просил содействия против московского государя. Это событие готовило неизбежное столкновение с Польшей, и уже Сигизмунд-Август в следующем 1560 писал царю Ивану, что должен будет оружием защищать страну, которая отдалась ему в подданство. Царь отвечал на это высокомерно: называл ливонцев, отдавшихся Сигизмунду-Августу, изменниками и требовал, чтобы Сигизмунд-Август вывел своих воевод с ливонской земли. Русские между тем продолжали счастливо войну с Ливонией. В этой войне отличались преимущественно друзья Сильвестра: Курбский и Данило Адашев.

В это время в московском правительстве совершился решительный перелом. Враги Сильвестра и Адашева постепенно довели царя до того, что он решился сбросить с себя опеку. Главными врагами Сильвестра были Захарьины и вооружили против него сестру свою царицу Анастасию. «Царь, нашептывали Ивану, – должен быть самодержавен, всем повелевать, никого не слушаться: а если будет делать то, что другие постановят, то это значит, что он только почтен честию царского председания, а на деле не лучше раба. И пророк сказал: горе граду тому, им же мнози обладают. Русские владетели и прежде никому не повиновались, а вольны были подданных своих миловать и казнить. Священнику отнюдь не подобает властвовать и управлять; их дело священнодействовать, а не творить людского строения». В довершение всего Ивана убедили, что Сильвестр чародей, силою волшебства опутал его и держит в неволе. Сторонники Сильвестра сознаются, что Сильвестр обманывал царя, представлялся в глазах его богоугодным человеком, облеченным необыкновенною силою чудотворения, что он, одним словом, дурачил царя ложными чудесами, и оправдывают его поступки только тем, что все это делалось для хороших целей. Враги Сильвестра также представляли его царю чудотвором, но только получившим силу не от Бога, а от темных властей. Такой путь мог всего скорее поколебать суеверного царя.

Сильвестра не терпели многие за его пронизательность и желали удалить его для того, чтобы невозбранно можно было брать посулы и умножать всякими способами свое достояние. Уже охладевший к Сильвестру, царь решительно разошелся с ним по случаю своего путешествия по монастырям с больною женою, предпринятого зимою в конце 1559 года. Тогда произошло у царя с Сильвестром и Адашевым какое-то крупное столкновение: подробностей его мы не знаем<sup>63</sup>; известно только, что Сильвестр и его друзья старались удержать Ивана от путешествия по монастырям и от принесения благочестивых обетов; но, после этого столкновения, и Сильвестр и Адашев сами нашли невозможным оставаться при царе. Сильвестр (вероятно, тогда уже овдовевший) удалился в какой-то отдаленный, пустынный монастырь, а Алексей Адашев отправился к войску в Ливонию. В этом деле участие Анастасии почти несомненно; сторонники Сильвестра, по поводу его удаления, сравнивали его с Иоанном Златоустом, потерпевшим от злобы царицы Евдоксии. До царя доходили все эти толки и еще более раздражали его против прежних опекунов. Но примирение с ними было бы еще возможно, если бы не случилось рокового обстоятельства: в июле 1560 года царица Анастасия, уже давно хворавшая, перепугалась пожара, опустошившего всю арбатскую часть в Москве. Болезнь ее усилилась, и она умерла 7-го августа, оставивши после себя двух сыновей: Ивана и Федора. Царь был в отчаянии: народ сожалел об Анастасии, считая ее добродетельною и святою женщиною, так как она отличалась набожностью и благотворительностью. Понятно, что с потерей любимой особы стали царю ненавистнее те, которые не любили ее при жизни. Этим воспользовались враги и начали уверять царя, что Анастасию извели лихие люди, Сильвестр и Адашев, своими чарами. Друзья сообщили об этом тотчас тому и другому; последние, через посредство митрополита Макария, просили суда над собою и дозволения прибыть в Москву для оправдания. Но враги не допустили до этого. «Если ты, царь, – говорили ему, – допустишь их к себе на глаза, они очаруют тебя и детей твоих; да кроме того, народ и войско любят их, взбунтуются против тебя и нас перебьют камнями. Хотя бы этого не случилось – опять обойдут тебя и возьмут в неволю. Эти негодные чародеи уже держали тебя, как будто в оковах, повелевали тебе в меру есть и пить, не давали тебе ни в чем воли, ни в малых, ни в больших делах. Не мог ты ни людей своих миловать, ни царством своим владеть. Если бы не было их при тебе, при таком славном, храбром и мудром государе, если бы они не держали тебя, как на узде, ты бы почти всею вселенною обладал, а то они своим чародейством отводили тебе глаза, не давали тебе ни на что смотреть, сами желали царствовать и всеми нами владеть. Только допусти их к себе, тотчас тебя ослепят! Вот теперь, отогнавши их от себя, ты истинно пришел в свой разум; открылись у тебя глаза; теперь – ты настоящий помазанник Божий; никто иной – ты сам один всем владеешь и правишь».

Так говорили не только шурыя царя и некоторые бояре, но и те духовные, которые проповедовали из своекорыстных видов деспотизм всякого рода и старались угождать земной власти ради личных выгод. Это были все так называемые «осифляне». Всего более ярились против Сильвестра: Вассиан, чудовский архимандрит Левкий и какой-то Мисаил Сукин. Царь созвал собор для осуждения Сильвестра. Епископы, завидовавшие возвышению Сильвестра, пристали к врагам его, когда увидели, что и царю угодно было, чтоб все выказали себя противниками павшего любимца. Один митрополит Макарий заявил, что нельзя судить людей заочно и что следует выслушать их оправдание. Но угодники царя завопили против него: «Нельзя допускать ведомых злодеев и чародеев: они царя околдуют и нас погубят». Собор осудил Сильвестра на заточение в Соловки. Он был взят из своей пустыни, отвезен туда на тяжелое заключение. Но положение его там не могло быть очень тяжелым: игуменом в Соловках был Филипп Колычев, впоследствии митрополит, человек, как оказывается, сходявшийся в убеждениях с Сильвестром. С тех пор имя Сильвестра уже не встречается в памятниках того времени. От Сильвестра осталось сочинение «Домострой», заключающее в себе ряд наставлений сыну – религиозных, нравственных, общежительных и

---

<sup>63</sup> На него намекает царь в одном из писем своих к Курбскому.

хозяйственных. В этом сочинении, которое драгоценно как материал для знакомства с понятиями, нравами и домашним бытом древней Московской Руси, встречаются любопытные черты, объясняющие личность Сильвестра. Мы видим человека благодушного, честного, строго нравственного, доброго семьянина и превосходного хозяина. Самая характеристическая черта Домостроя – это заботливость о слабых, низших, подчиненных и любовь к ним, не теоретическая, не лицемерная, а чуждая риторике и педантизму, простая, сердечная, истинно христианская. «Как следует свою душу любить, – поучает он, – так следует кормить слуг своих и всяких бедных. Пусть хозяин и хозяйка всегда наблюдают и расспрашивают своих слуг и подчиненных об их нуждах, об еде и питье, об одежде, о всякой потребности, о скудости и недостатке, об обиде и болезни; следует помышлять о них, пещись сколько Бог поможет, от всей души, все равно как о своих родных». Вот такие-то правила внушались и царю по отношению к подвластным ему людям. Отсюда-то истекают грамоты и распоряжения лучших лет Иванова царствования, в которых явно видно желание дать народу как можно более льгот и средств к благосостоянию. Автор «Домостроя» сознает гнусность рабства, сам лично уже отрешился от владения рабами и то же заповедует сыну: «Я не только всех своих рабов освободил и наделил, но и чужих выкупал из рабства и отпускал на свободу. Все бывшие наши рабы свободны и живут добрыми домами; а домочадцы наши, свободные, живут у нас по своей воле. Многих оставленных сирых и убогих мужского и женского пола и рабов в Новгороде, и здесь в Москве, я вскормил и воспоил до совершенного возраста и выучил их, кто к чему был способен: многих выучил грамоте, писать и петь, иных писать иконы, иных книжному рукоделию, а некоторых научил торговать разной торговлею. Твоя мать воспитала многих девиц и вдов, оставленных и убогих, научила их рукоделию и всякому домашнему обиходу, наделила приданым и замуж поывадала, а мужеский пол поженила у добрых людей. И все те, дал Бог, – свободны: многие в священническом и дьяконском чине, во дьяках, в подьячих, во всяком звании, кто к чему способен по природе, и чем кому Бог благословил быть; те рукодельничают, те в лавках торгуют, а иные ездят для торговли в различные страны со всякими товарами. И Божьею милостью всем нашим воспитанникам и послуживцам не было никакой срамоты, ни убытка, ни продажи от людей; и людям от нас не бывало никакой тяжбы: во всем нас до сих пор соблюдал Бог; а от кого нам, от своих воспитанников, бывали досады и убытки – все это мы на себе понесли; никто этого не слыхал, а нам Бог все пополнил! И ты, дитя мое, так же поступай: всякую обиду перетерпи – Бог тебе все пополнит!» Нигде у Сильвестра не видно того поклонения монастырю и безбрачию, которое, как известно, проповедовали благочестивцы. Если он советует давать милостыню в монастыри, то только на заключенных там, равно как на содержащихся в тюрьмах и больницах: но он враг всякого разврата и бесчинства. «Я, – пишет он, – не знал никакой женщины, кроме твоей матери. Как мы с ней обещались, так я и сдержал свое обещание; и ты, дитя мое, храни законный брак, и кроме жены своей не знай никого, берегись пьянственного недуга: от этого порока все зло». И царю Ивану, без сомнения, подавал Сильвестр такие советы; и они, конечно, тягостны были для горячей и порывистой натуры Ивана. Идеалом государя, до которого хотел возвести Сильвестр Ивана, был трезвый, строго нравственный, деятельный и благодушный человек; по освобождении от уз Сильвестрова учения, Иван, пьяный, развратный, кровожадный, как мы увидим, показал собою прямую противоположность этому идеалу.

Вместе с падением Сильвестра постиг конец и Адашева. Сначала ему велено было оставаться в недавно завоеванном Феллине, но вскоре царь приказал перевести его в Дерпт и посадить под стражу. Через два месяца после своего заключения он заболел горячкою и скончался. Естественная смерть избавила его от дальнейшего мщения царя, но клеветники распустили слух, будто он от страха отравил себя ядом. Долговременная близость его к царю и управление государственными делами давали ему возможность приобрести большие богатства, но он не оставил после себя никакого состояния: все, что приобретал, раздавал он нуждающимся.

## Глава 19

### Матвей Семенович Башкин и его соучастники

Направление, данное Нилом и Вассианом, не обошлось, однако, без того, чтобы не выработаться в учение, действительно противное православной церкви. Они ставили сущность выше формы, внутреннее выше внешнего, ополчались против злоупотреблений существующего порядка, возбуждали к мысли и к самобытному изучению основ веры и своей снисходительностью к еретикам, хотя даже, быть может, против собственной воли, требовали уважения к полной свободе мысли. Такое направление не могло остановиться на полдороге. Всегда и везде подобные зародыши несогласия с существующим порядком в области религии, порядком, освященным веками, открывали путь к дальнейшим попыткам критики, приводившим, наконец, к полному отпадению от авторитета, к тому, что на церковно-историческом языке называется ересью. Прежде чем в XVI веке образовалось протестантство, выражавшее явную борьбу с католической церковью и полное отпадение от последней, являлись один за другим ученые и благочестивые люди, недовольные как злоупотреблениями церкви, так и господством формы над содержанием в области религии, хотя эти люди всею глубиной души были преданы этой же католической церкви. Тот же путь должен был последовать и у нас, хотя в незначительной степени в сравнении с Западом. Уже «осифляне» старались набросить тень неправославия на самого Нила. Ученика его Вассиана и единомышленника Максима Грека они обвинили в ереси, хотя и неосновательно с нынешней точки зрения. Но с тех пор образовалось мнение, что в Ниловой пустыне и в других монастырях Белозерья гнездятся еретические мнения между старцами и оттуда распространяются по всей Руси. Возникло очень любопытное дело, объясняющее нам способ тогдашнего вольномыслия – это суд над сыном боярским Матвеем Семеновичем Башкиным и его соумышленниками. К большому сожалению, дело, производившееся об этом лице и его соумышленниках, не сохранилось вполне и известно только по отрывкам. Из них мы узнаем, что в Великий пост 1554 года Башкин явился к священнику Благовещенского собора, Симеону, на исповедь, объявил себя православным христианином, верующим в Св. Троицу и поклоняющимся иконам, но вместе с тем стал задавать такие вопросы, которые показались священнику «недоуменными»: Симеона поразило то, что Башкин сам же начал разрешать перед ним вопросы, которых не мог разрешить священник. В заключение Матвей напомнил ему высокую обязанность духовного сана в таких словах: «Великое дело ваше, сказано в писании; ничто же сия любви больше, еже положить душу свою за други своя; вы за нас души свои полагаете и печетесь о душах наших и за нас будете отвечать в день судный». После этой исповеди Башкин приехал на дом к священнику, привез «Беседы Евангельские» и говорил: «Ради Бога, пользуй меня душевно, надобно читать написанное в Евангельских беседах, но на одно слово не надеяться, а совершать его делом. Все начало от вас, священники, вам следует показать собою пример и нас научать. Видишь ли, в Евангелии стоит: научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем; иго мое бо благо и бремя мое легко есть. Все это на вас лежит». После того Башкин пригласил к себе священника на дом и показал ему Апостол, измеченный восковыми пятнами по тем текстам, которые возбуждали в нем размышления. Симеон становился в тупик; Башкин сам ему предлагал собственные объяснения, которые казались Симеону подозрительными. Между прочим Башкин сказал: «Написано: весь закон заключается в словах – возлюби искреннего своего, как сам себя; если вы себя грызете и терзаете, то смотрите, чтобы вы не съели друг друга. Вот, мы Христовых рабов держим у себя рабами, а Христос всех называет братиею; а у нас на иных кабалы нарядные (фальшивые), на иных полные, а другие беглых держат. Благодарю Бога моего, у меня были кабалы полные, да я их всех изодрал, держу людей у себя добровольно; кому хорошо у меня – пусть живет, а не нравится, пусть идет куда хочет; а вам, отцам, надобно посещать нас, мирян, почаще да научать нас, как самим жить и как людей у себя держать, чтобы их не томить». – «Я этого не знаю», – сказал Симеон. «Так спроси Сильвестра, – ответил Башкин, – он тебе скажет, а ты пользуй этим душу мою. Я сам знаю: тебе некогда об



этом думать, ты в суете мирской и день и ночь покоя не знаешь».

Симеон передал об этом Сильвестру: «Пришел, – говорил он, – ко мне духовный сын необычный, спрашивает у меня недоуменное, да сам меня и учит; а мне показалось это развратно». – «Не знаю, какой это духовный сын, – отвечал Сильвестр, – только про него нехорошо говорят».

Через несколько времени разнесся между духовными слух, что около Башкина собирается кружок людей, которые неправильно умствуют о существовании Сына Божия, о таинствах, о церкви, о всей православной вере. Царя в то время не было в Москве. Он ездил в Кирилловский монастырь. Когда он воротился, то ему донесли, что «прозябе ересь и явился шатание в людях».

У Башкина вытребовали Апостол, измеченный восковыми пятнами: сам Башкин, уверенный в правоте своих толкований, подал его Симеону. Царь рассматривал книгу, но, как видно, в ней не было еще явных улик. Башкина не трогали. Он продолжал сходить со своими приятелями и толковать о религиозных предметах. Духовные узнали об этом и требовали преследования Башкина и его друзей, говорили, что все это выходит из Белозерских монастырей, которые сделались гнездом всякого еретичества. Башкина взяли под стражу с двумя братьями Борисовыми: Григорием и Иваном Тимофеевичами и захватили еще двух лиц, по имени Тимофей и Фома. На все вопросы они отвечали, что они православные христиане. Царь приказал поместить их в подклети своих палат. Решили созвать собор. Собор состоялся под председательством митрополита Макария.<sup>64</sup> Подсудимых обличали в том, что они признавали Иисуса Христа неравным Отцу, называли тело и кровь Господню простым хлебом и простым вином, отрицали святую соборную и апостольскую церковь, выражаясь, что церковь есть только собрание верных, а созданная ничего не значит: отвергали поклонение иконам, называя их идолами; отрицали силу покаяния, выражаясь так: как перестанет грех творить, так хоть у священника не покается, так не будет ему греха; считали церковные предания и жития святых баснословием: отзывались с пренебрежением о постановлениях семи соборов, говоря: это все они для своих выгод написали; наконец и в самом Священном Писании видели баснословие, излагали Евангелие и Апостол так, как бы эти книги содержали истину в неправде.

До нас не дошли ответы Башкина и его соумышленников, а из соборной грамоты того времени видно, что с Башкиным сделалось на соборе какое-то расстройство или припадок, что он говорил какую-то бессмыслицу, что ему потом представлялся голос Богородицы, и он в испуге во всем сознался и открыл своих единомышленников. За неимением подлинных ответов подсудимого, мы не можем сделать об этом никакого заключения.

Собор признал его виновным. Дальнейшая его участь неизвестна; соумышленников его сослали по монастырям на вечное заточение, «посудиша их неисходно им быти».

К делу Башкина привлечен был троицкий игумен Артемий. Об этом человеке мы знаем то, что он был родом из Пскова, избран в игумены Троицкого монастыря, приобрел там общую любовь, но вскоре на него пало подозрение в вольнодумстве. Он снял с себя игуменство и удалился в Нилову пустынь вместе с другом своим Порфирием. Когда началось дело Башкина, их обоих вызвали оттуда, как будто за тем, чтобы присутствовать на соборе, а на самом деле за тем, что считали их подозрительными. Еще Башкин, как видно, не сознавался, а Артемия побуждали спорить с ним и обличать его. Артемий уклонялся от спора и говорил: «Это не мое дело». Но когда Башкин пришел в расстройство и начал оговаривать и себя, и других, Артемий ушел из Москвы в свою пустыню, но был возвращен и предан соборному суду. Ему ставили в вину эту самовольную отлучку. Он сказал, что убежал от «наветующих на него», но не хотел указывать, кто эти наветующие. По-видимому, Артемий не признавал Башкина еретиком и говорил только, что Матвей делает ребячество. «Меня, – говорил он, – призвали судить еретиков, а еретиков нет». – «Как же Матвей не еретик, –

<sup>64</sup> На нем были: архиепископ ростовский Никандр, суздальский епископ Афанасий, рязанский Кассиан, тверской Акакий, коломенский Феодосий, сарский и подонский Савва и многие архимандриты, игумены и протопопы.

сказал митрополит, – когда он написал молитву единому началу, Богу Отцу, а Сына и Святого Духа отставил?»

«Нечего ему и врать, сказал Артемий, – такая молитва готова, молитва Манассии к Вседержителю».

«То было до Христова пришествия, – отвечали ему, – а теперь кто напишет молитву к единому началу, тот еретик. Ты виноват, кайся».

«Мне нечего каяться, я верую в единосущную Троицу», – сказал Артемий.

Эти ответы Артемия поставили ему в обвинение. Затем явился доносчик на Артемия, игумен Ферапонтова монастыря, Нектарий, который обвинял Артемия в том, что он в постные дни ел рыбу.

«Я ел рыбу, – отвечал Артемий, – когда мне приходилось быть у христолюбцев, и у царя ел за столом рыбу».

«Это ты чинил не гораздо, – сказал митрополит от лица собора, – это тебе вина: значит, ты сам вопреки божественных уставов и священных правил разрешаешь себе пост, а на тебя смотря, и люди соблазняются».

«Артемий, – продолжал Нектарий, – ездил из Псково-Печерского монастыря в немецкий Новый Городок, говорил там с немецким князем и хвалил там немецкую веру».

«Я спрашивал, – отвечал Артемий, – не найдется ли у немцев человека, кто бы поговорил со мною книгами. Хотелось мне узнать: у них христианский закон такой ли, как у нас; но мне не указали тогда такого книжного человека».

«А зачем тебе его? – сказали на соборе. – Сам ведаешь, что наша вера греческого закона сущая православная вера, а латинская вера Св. отцами отречена и проклятию предана. Это ты чинил не гораздо, это тебе вина».

Нектарий обвинял Артемия еще в разных богохульствах и ссылался на старцев Ниловой пустыни; но старцы, призванные на собор, не подтвердили доноса Нектария.

Другой обвинитель, троицкий игумен Иона, поднялся на Артемия. «Артемий, – показывал он, – произносил такие слова: нет в том ничего, что не положишь на себя крестное знамение. Прежде клали на челе иное знамение, а нынче большие кресты кладут; на соборе о крестном знаменнии много толковали, да ни на чем не порешили».

Артемий отвечал: «Я только говорил о соборе, что на нем ничем не порешили о крестном знаменнии, а про самое крестное знамение так не говорил».

Собор дал такой приговор: «Ты сам сознаешься, что говорил о соборе; стало быть, и то говорил, что в крестном знаменнии нет ничего; надобно верить Ионе. Это тебе вина».

Третий обвинитель, троицкий келарь Адриан Ангелов, доносил следующее:

«Артемий в Корнилиевом монастыре говорил: нет помощи умершим, когда по ним поют панихиду и служат обедню; тем они муки не минуют на том свете».

«Я говорил, – объяснял Артемий, – что если люди жили растленным житием и грабили других, а потом после их смерти, хоть и станут петь за них панихиду и служить обедню, Бог не принимает за них приношения; нет пользы от того: тем им не избавиться от муки». Артемию на соборе объявили так:

«Это ты говорил не гораздо; значит, ты отсекал у грешников надежду спасения и уподобился Арию. Надобно верить во всем Адриану. Это тебе вина».

Четвертый обвинитель, троицкий старец Игнатий Курачев, доносил: «Артемий говорил про Иисусов канон: такой Иисусе; и про акафист Богородице говорил: радуйся! да радуйся!»

Артемий сказал: «Я говорил так: в каноне читают: Иисусе сладчайший! А как услышал слово Иисусово и о его заповедях, как Иисус велел пребывать и как житие вести, так горько делается заповеди Иисусовы исполнять; а про акафист я так говорил: читают: радуйся да радуйся, Чистая! А сами не радят о чистоте и пребывают в празднословии; стало быть, только наружно обычай исполняют, а не истинно».

«Это ты говорил не гораздо, – произнесли на соборе, – ты про Иисусов канон и акафист говорил развратно и хульно; всякому христианину подобает Иисусов канон и акафист Пречистой Богородицы держать честно и молиться всякий день, сколько силы достанет».

Пятый обвинитель, кирилловский игумен Симеон, объявил: «Когда Матвея Башкина поймали в ереси, Артемий был в Кирилловском монастыре; я ему сказал о том, а он мне отвечал: “Не знаю, что это за ереси; вот сожгли Курицына и Рукавого, а до сих пор сами не знают, за что и сожгли”».

«Не могу вспомнить, – отвечал Артемий, – был ли разговор о новгородских еретиках; не на моей памяти сожгли их; и точно я не знаю, за что их сожгли. Может быть, я так и сказал, но я не говорил, что другие этого не знали, а говорил только про себя одного».

С Артемия сняли сан и приговорили сослать на тяжелое заключение в Соловецкий монастырь. Он должен был жить одиноко и безвыходно в келье, не иметь ни с кем сообщения и ни с кем не переписываться. Ему позволяли причаститься Св. Тайн только в случае смертельной болезни. Но Артемий недолго пробыл в Соловках, убежал оттуда и очутился в Литве. Там он ратовал за православие и писал опровержения против еретика Симона Будного<sup>65</sup>, отвергавшего божество Иисуса Христа: это оправдывает отзыв о нем князя Курбского, называющего Артемия «мудрым и честным мужем», жертвой лукавства злых и любостыжательных монахов, оклеветавших его из зависти за то, что царь любил Артемия и слушал его советы.

Вместе с Артемием приговорен был монах Савва Шах, человек ученый, и сослан в Суздаль.

К делу Башкина и Артемия привлечены были: архимандрит суздальского Спасо-Евфимьева монастыря Феодорит и дьяк Иван Висковатый. Первый прославился обращением в христианскую веру лопарей, жил некогда в белозерских пустынях и был давний приятель Артемия, по ходатайству которого получил сан архимандрита в Суздале. Он был человек строгой жизни и обличал монашеские пороки. За это монахи не терпели его, в особенности злобствовал на Феодорита суздальский владыка, потому что Феодорит обличал его в сребролюбии и пьянстве. Хотя Феодорит ни в чем не был уличен, но тем не менее, как согласник и товарищ Артемия, был сослан в Кирилло-Белозерский монастырь, где ему делали всякие поругания приятели суздальского владыки, бывшего прежде кирилло-белозерским игуменом. Через полтора года, по ходатайству бояр, Феодорит был освобожден. Дьяк Висковатый подпал суду в том же деле, но совсем по иному вопросу. Он изъявлял разные сомнения по поводу приемов тогдашнего иконописания, между прочим, соблазнился тем, что Христа изображали в ангельском образе с крыльями, что писали образ Бога Отца, тогда как, по его мнению, не следовало вовсе изображать невидимого Божества, как равно и бесплотных сил; не одобрял также человековидных изображений добродетелей и пороков. Его осудили на трехлетнее церковное покаяние. Это обвинение замечательно особенно тем, что в нем видна злоба духовенства, хотевшего запретить мирянам свободное суждение о предметах религии. «Вам, – сказал Висковатому митрополит, – не велено о божестве и божьих делах испытывать. Знай свои дела, которые на тебя положены. Не разроняй своих списков» (дьяческих дел). В соборном приговоре о Висковатом сказано: «Всякий человек должен ведать свой чин; когда ты овца, не твори из себя пастыря. Когда ты нога, не воображай, что ты голова, но повинуйся установленному от Бога чину; отвержай свои уши на слушание благодатных учительских словес».

Во время производства этого дела или, быть может, тотчас по окончании его, привезен был в Москву из белозерских монастырей монах Феодосий Косой с несколькими товарищами, также обвиняемыми в еретических мнениях. Их посадили под стражу в одном из московских монастырей; но Косой склонил на свою сторону стражей и бежал вместе со своими товарищами. Он нашел себе убежище в Литве, женился на еврейке и проповедывал ересь с большим успехом, тем более, что в литовско-русских владениях распространялись тогда с Запада так называемые арианские мнения. Об этом еретике мы знаем из сочинения отенского монаха Зиновия (Отен – монастырь в 50 верстах от Новгорода), под названием «Истины Показание». Автор представляет, что к нему приходят три последователя ереси

---

<sup>65</sup> Будный был автором арианского Катихизиса на латинском и русском языке и переводчиком Св. Писания на польский язык.

Косого и излагают учение своего наставника, а Зиновий опровергает их. Из этого сочинения мы узнаем, что Косой был раб, убежавший от своего господина на господском коне и захвативший с собой одежду и еще кое-какие вещи. Последователи его доказывали, что это было не воровство, а напротив, вознаграждение, которое следовало бежавшему за его службу господину. Феодосий постригся в одном из монастырей Белозерья и своим умом приобрел к себе такое уважение, что даже прежний господин, узнавши о нем, относился к нему с приязнью. По известиям, передаваемым книгой Зиновия, Феодосий отвергал Св. Троицу, божество Иисуса Христа, считая его только богоугодным человеком, посланником свыше. «Вы толкуете, – говорил Косой, – что Бог создал рукой своей Адама, а обновить и исправить создание свое пришел Сын Божий и воплотился. Зачем ему приходиться в плоть: если Всемогущий Бог создал все своим словом, то словом же мог обновить свой образ и подобие и без вочеловечения. Никакого обветшания и падения образа и подобия Божьего в человеке не было. Человек создан смертным, как и все другие животные – рыбы, гады, птицы, звери. Как до пришествия Христова, так и после пришествия человек все был одним человеком, так же рождался, пользовался здоровьем, подвергался недугам, умирал и истлевал». Косой называл иконы идолами и подводил к ним разные изречения Ветхого Завета, направленные против богослужения, вооружался против поклонения мощам, и по этому поводу указывал на Антония Великого, который порицал египетский обычай сохранять тела мертвых. Монастыри он называл человеческим изобретением и указывал, что ни в Евангелии, ни в апостольских сочинениях нет о них ни слова. «Плотское мудрование, – говорил он, – господствует у ваших игуменов, митрополитов, епископов. Они повелевают не есть мяса, вопреки словам Христа: не входящее во уста сквернит человека. Они запрещают жениться, прямо против слов Апостола, который заранее называл „сожженными совестью“ тех, которые будут возбранять жениться и удаляться от разной пищи. Они знают только пение да каноны, чего в Евангелии не показано творить, а отвергают любовь христианскую; нет у них духа кротости; они не дают узнать нам истину, гонят нас, запирают в тюрьмы. В Евангелии не велено мучить даже и неправых. Господь сам указал это в своей притче о плевелах, а они нас гонят за истину».

В Литве Феодосий и его соучастники успешно распространяли свою ересь. Конец Феодосия неизвестен.

Направление, данное Нилом и Вассианом, не обошлось, однако, без того, чтобы не выработаться в учение, действительно противное православной церкви. Они ставили сущность выше формы, внутреннее выше внешнего, ополчались против злоупотреблений существующего порядка, возбуждали к мысли и к самобытному изучению основ веры и своей снисходительностью к еретикам, хотя даже, быть может, против собственной воли, требовали уважения к полной свободе мысли. Такое направление не могло остановиться на полдороге. Всегда и везде подобные зародыши несогласия с существующим порядком в области религии, порядком, освященным веками, открывали путь к дальнейшим попыткам критики, приводившим, наконец, к полному отпадению от авторитета, к тому, что на церковно-историческом языке называется ересью. Прежде чем в XVI веке образовалось протестантство, выражавшее явную борьбу с католической церковью и полное отпадение от последней, являлись один за другим ученые и благочестивые люди, недовольные как злоупотреблениями церкви, так и господством формы над содержанием в области религии, хотя эти люди всею глубиной души были преданы этой же католической церкви. Тот же путь должен был последовать и у нас, хотя в незначительной степени в сравнении с Западом. Уже «осифляне» старались набросить тень неправославия на самого Нила. Ученика его Вассиана и единомышленника Максима Грека они обвинили в ереси, хотя и неосновательно с нынешней точки зрения. Но с тех пор образовалось мнение, что в Ниловой пустыне и в других монастырях Белозерья гнездятся еретические мнения между старцами и оттуда распространяются по всей Руси. Возникло очень любопытное дело, объясняющее нам способ тогдашнего вольномыслия – это суд над сыном боярским Матвеем Семеновичем Башкиным и его соумышленниками. К большому сожалению, дело, производившееся об этом лице и его

соумышленниках, не сохранилось вполне и известно только по отрывкам. Из них мы узнаем, что в Великий пост 1554 года Башкин явился к священнику Благовещенского собора, Симеону, на исповедь, объявил себя православным христианином, верующим в Св. Троицу и поклоняющимся иконам, но вместе с тем стал задавать такие вопросы, которые показались священнику «недоуменными»: Симеона поразило то, что Башкин сам же начал разрешать перед ним вопросы, которых не мог разрешить священник. В заключение Матвей напомнил ему высокую обязанность духовного сана в таких словах: «Великое дело ваше, сказано в писании; ничто же сия любви больше, еже положить душу свою за други своя; вы за нас души свои полагаете и печетесь о душах наших и за нас будете отвечать в день судный». После этой исповеди Башкин приехал на дом к священнику, привез «Беседы Евангельские» и говорил: «Ради Бога, пользуй меня душевно, надобно читать написанное в Евангельских беседах, но на одно слово не надеяться, а совершать его делом. Все начало от вас, священники, вам следует показать собою пример и нас научать. Видишь ли, в Евангелии стоит: научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем; иго мое бо благо и бремя мое легко есть. Все это на вас лежит». После того Башкин пригласил к себе священника на дом и показал ему Апостол, измеченный восковыми пятнами по тем текстам, которые возбуждали в нем размышления. Симеон становился в тупик; Башкин сам ему предлагал собственные объяснения, которые казались Симеону подозрительными. Между прочим Башкин сказал: «Написано: весь закон заключается в словах – возлюби искреннего своего, как сам себя; если вы себя грызете и терзаете, то смотрите, чтобы вы не съели друг друга. Вот, мы Христовых рабов держим у себя рабами, а Христос всех называет братиею; а у нас на иных кабалы нарядные (фальшивые), на иных полные, а другие беглых держат. Благодарю Бога моего, у меня были кабалы полные, да я их всех изодрал, держу людей у себя добровольно; кому хорошо у меня – пусть живет, а не нравится, пусть идет куда хочет; а вам, отцам, надобно посещать нас, мирян, почаще да научать нас, как самим жить и как людей у себя держать, чтобы их не томить». – «Я этого не знаю», – сказал Симеон. «Так спроси Сильвестра, – ответил Башкин, – он тебе скажет, а ты пользуй этим душу мою. Я сам знаю: тебе некогда об этом думать, ты в суете мирской и день и ночь покоя не знаешь».

Симеон передал об этом Сильвестру: «Пришел, – говорил он, – ко мне духовный сын необычный, спрашивает у меня недоуменное, да сам меня и учит; а мне показалось это развратно». – «Не знаю, какой это духовный сын, – отвечал Сильвестр, – только про него нехорошо говорят».

Через несколько времени разнесся между духовными слух, что около Башкина собирается кружок людей, которые неправильно умствуют о существовании Сына Божия, о таинствах, о церкви, о всей православной вере. Царя в то время не было в Москве. Он ездил в Кирилловский монастырь. Когда он воротился, то ему донесли, что «прозябе ересь и явися шатание в людях».

У Башкина вытребовали Апостол, измеченный восковыми пятнами: сам Башкин, уверенный в правоте своих толкований, подал его Симеону. Царь рассматривал книгу, но, как видно, в ней не было еще явных улик. Башкина не трогали. Он продолжал сходить к своим приятелям и толковать о религиозных предметах. Духовные узнали об этом и требовали преследования Башкина и его друзей, говорили, что все это выходит из Белозерских монастырей, которые сделались гнездом всякого еретичества. Башкина взяли под стражу с двумя братьями Борисовыми: Григорием и Иваном Тимофеевичами и захватили еще двух лиц, по имени Тимофей и Фома. На все вопросы они отвечали, что они православные христиане. Царь приказал поместить их в подклети своих палат. Решили созвать собор. Собор состоялся под председательством митрополита Макария.<sup>66</sup> Подсудимых обличали в том, что они признавали Иисуса Христа неравным Отцу, называли тело и кровь Господню простым хлебом и простым вином, отрицали святую соборную и

---

<sup>66</sup> На нем были: архиепископ ростовский Никандр, суздальский епископ Афанасий, рязанский Кассиан, тверской Акакий, коломенский Феодосий, сарский и подонский Савва и многие архимандриты, игумены и протопопы.

апостольскую церковь, выражаясь, что церковь есть только собрание верных, а созданная ничего не значит: отвергали поклонение иконам, называя их идолами; отрицали силу покаяния, выражаясь так: как перестанет грех творить, так хоть у священника не покается, так не будет ему греха; считали церковные предания и жития святых баснословием: отзывались с пренебрежением о постановлениях семи соборов, говоря: это все они для своих выгод написали; наконец и в самом Священном Писании видели баснословие, излагали Евангелие и Апостол так, как бы эти книги содержали истину в неправде.

До нас не дошли ответы Башкина и его соумышленников, а из соборной грамоты того времени видно, что с Башкиным сделалось на соборе какое-то расстройство или припадок, что он говорил какую-то бессмыслицу, что ему потом представлялся голос Богородицы, и он в испуге во всем сознался и открыл своих единомышленников. За неимением подлинных ответов подсудимого, мы не можем сделать об этом никакого заключения.

Собор признал его виновным. Дальнейшая его участь неизвестна; соумышленников его сослали по монастырям на вечное заточение, «посудиша их неисходно им быти».

К делу Башкина привлечен был троицкий игумен Артемий. Об этом человеке мы знаем то, что он был родом из Пскова, избран в игумены Троицкого монастыря, приобрел там общую любовь, но вскоре на него пало подозрение в вольнодумстве. Он снял с себя игуменство и удалился в Нилову пустынь вместе с другом своим Порфирием. Когда началось дело Башкина, их обоих вызвали оттуда, как будто за тем, чтобы присутствовать на соборе, а на самом деле за тем, что считали их подозрительными. Еще Башкин, как видно, не сознавался, а Артемия побуждали спорить с ним и обличать его. Артемий уклонялся от спора и говорил: «Это не мое дело». Но когда Башкин пришел в расстройство и начал оговаривать и себя, и других, Артемий ушел из Москвы в свою пустыню, но был возвращен и предан соборному суду. Ему ставили в вину эту самовольную отлучку. Он сказал, что убежал от «наветующих на него», но не хотел указывать, кто эти наветующие. По-видимому, Артемий не признавал Башкина еретиком и говорил только, что Матвей делает ребячество. «Меня, – говорил он, – призвали судить еретиков, а еретиков нет». – «Как же Матвей не еретик, – сказал митрополит, – когда он написал молитву единому началу, Богу Отцу, а Сына и Святого Духа отставил?»

«Нечего ему и врать, сказал Артемий, – такая молитва готова, молитва Манассии к Вседержителю».

«То было до Христова пришествия, – отвечали ему, – а теперь кто напишет молитву к единому началу, тот еретик. Ты виноват, кайся».

«Мне нечего каяться, я верую в единосущную Троицу», – сказал Артемий.

Эти ответы Артемия поставили ему в обвинение. Затем явился доносчик на Артемия, игумен Ферапонтова монастыря, Нектарий, который обвинял Артемия в том, что он в постные дни ел рыбу.

«Я ел рыбу, – отвечал Артемий, – когда мне приходилось быть у христороубцев, и у царя ел за столом рыбу».

«Это ты чинил не гораздо, – сказал митрополит от лица собора, – это тебе вина: значит, ты сам вопреки божественных уставов и священных правил разрешаешь себе пост, а на тебя смотря, и люди соблазняются».

«Артемий, – продолжал Нектарий, – ездил из Псково-Печерского монастыря в немецкий Новый Городок, говорил там с немецким князем и хвалил там немецкую веру».

«Я спрашивал, – отвечал Артемий, – не найдется ли у немцев человека, кто бы поговорил со мною книгами. Хотелось мне узнать: у них христианский закон такой ли, как у нас; но мне не указали тогда такого книжного человека».

«А зачем тебе его? – сказали на соборе. – Сам ведаешь, что наша вера греческого закона сущая православная вера, а латинская вера Св. отцами отречена и проклятию предана. Это ты чинил не гораздо, это тебе вина».

Нектарий обвинял Артемия еще в разных богохульствах и ссылался на старцев Ниловой пустыни; но старцы, призванные на собор, не подтвердили доноса Нектария.

Другой обвинитель, троицкий игумен Иона, поднялся на Артемия. «Артемий, – показывал он, – произносил такие слова: нет в том ничего, что не положишь на себя крестное знамение. Прежде клали на челе иное знамение, а нынче большие кресты кладут; на соборе о крестном знамении много толковали, да ни на чем не порешили».

Артемий отвечал: «Я только говорил о соборе, что на нем ничем не порешили о крестном знамении, а про самое крестное знамение так не говорил».

Собор дал такой приговор: «Ты сам сознаешься, что говорил о соборе; стало быть, и то говорил, что в крестном знамении нет ничего; надобно верить Ионе. Это тебе вина».

Третий обвинитель, троицкий келарь Адриан Ангелов, доносил следующее:

«Артемий в Корнилиевом монастыре говорил: нет помощи умершим, когда по ним поют панихиду и служат обедню; тем они муки не минуют на том свете».

«Я говорил, – объяснял Артемий, – что если люди жили растленным житием и грабили других, а потом после их смерти, хоть и станут петь за них панихиду и служить обедню, Бог не принимает за них приношения; нет пользы от того: тем им не избавиться от муки». Артемию на соборе объявили так:

«Это ты говорил не гораздо; значит, ты отсекал у грешников надежду спасения и уподобился Арию. Надобно верить во всем Адриану. Это тебе вина».

Четвертый обвинитель, троицкий старец Игнатий Курачев, доносил: «Артемий говорил про Иисусов канон: такой Иисусе; и про акафист Богородице говорил: радуйся! да радуйся!»

Артемий сказал: «Я говорил так: в каноне читают: Иисусе сладчайший! А как услышал слово Иисусово и о его заповедях, как Иисус велел пребывать и как житие вести, так горько делается заповеди Иисусовы исполнять; а про акафист я так говорил: читают: радуйся да радуйся, Чистая! А сами не радят о чистоте и пребывают в празднословии; стало быть, только наружно обычай исполняют, а не истинно».

«Это ты говорил не гораздо, – произнесли на соборе, – ты про Иисусов канон и акафист говорил развратно и хульно; всякому христианину подобает Иисусов канон и акафист Пречистой Богородицы держать честно и молиться всякий день, сколько силы достанет».

Пятый обвинитель, кирилловский игумен Симеон, объявил: «Когда Матвея Башкина поймали в ереси, Артемий был в Кирилловском монастыре; я ему сказал о том, а он мне отвечал: “Не знаю, что это за ереси; вот сожгли Курицына и Рукавого, а до сих пор сами не знают, за что и сожгли”».

«Не могу вспомнить, – отвечал Артемий, – был ли разговор о новгородских еретиках; не на моей памяти сожгли их; и точно я не знаю, за что их сожгли. Может быть, я так и сказал, но я не говорил, что другие этого не знали, а говорил только про себя одного».

С Артемия сняли сан и приговорили сослать на тяжелое заключение в Соловецкий монастырь. Он должен был жить одиноко и безвыходно в келье, не иметь ни с кем сообщения и ни с кем не переписываться. Ему позволяли причаститься Св. Тайн только в случае смертельной болезни. Но Артемий недолго пробыл в Соловках, убежал оттуда и очутился в Литве. Там он ратовал за православие и писал опровержения против еретика Симона Будного<sup>67</sup>, отвергавшего божество Иисуса Христа: это оправдывает отзыв о нем князя Курбского, называющего Артемия «мудрым и честным мужем», жертвой лукавства злых и любостыжательных монахов, оклеветавших его из зависти за то, что царь любил Артемия и слушал его советы.

Вместе с Артемием приговорен был монах Савва Шах, человек ученый, и сослан в Суздаль.

К делу Башкина и Артемия привлечены были: архимандрит суздальского Спасо-Евфимьева монастыря Феодорит и дьяк Иван Висковатый. Первый прославился обращением в христианскую веру лопарей, жил некогда в белозерских пустынях и был давний приятель Артемия, по ходатайству которого получил сан архимандрита в Суздале. Он был человек строгой жизни и обличал монашеские пороки. За это монахи не терпели его, в особенности

---

<sup>67</sup> Будный был автором арианского Катихизиса на латинском и русском языке и переводчиком Св. Писания на польский язык.

злостовал на Феодорита суздальский владыка, потому что Феодорит обличал его в сребролюбии и пьянстве. Хотя Феодорит ни в чем не был уличен, но тем не менее, как согласник и товарищ Артемия, был сослан в Кирилло-Белозерский монастырь, где ему делали всякие поругания приятели суздальского владыки, бывшего прежде кирилло-белозерским игуменом. Через полтора года, по ходатайству бояр, Феодорит был освобожден. Дьяк Висковатый подпал суду в том же деле, но совсем по иному вопросу. Он изъявлял разные сомнения по поводу приемов тогдашнего иконописания, между прочим, соблазнился тем, что Христа изображали в ангельском образе с крыльями, что писали образ Бога Отца, тогда как, по его мнению, не следовало вовсе изображать невидимого Божества, как равно и бесплотных сил; не одобрял также человековидных изображений добродетелей и пороков. Его осудили на трехлетнее церковное покаяние. Это обвинение замечательно особенно тем, что в нем видна злоба духовенства, хотевшего запретить мирянам свободное суждение о предметах религии. «Вам, – сказал Висковатому митрополит, – не велено о божестве и божьих делах испытывать. Знай свои дела, которые на тебя положены. Не разроняй своих списков» (дьяческих дел). В соборном приговоре о Висковатом сказано: «Всякий человек должен ведать свой чин; когда ты овца, не твори из себя пастыря. Когда ты нога, не воображай, что ты голова, но повинуйся установленному от Бога чину; отверзай свои уши на слушание благодатных учительских словес».

Во время производства этого дела или, быть может, тотчас по окончании его, привезен был в Москву из белозерских монастырей монах Феодосий Косой с несколькими товарищами, также обвиняемыми в еретических мнениях. Их посадили под стражу в одном из московских монастырей; но Косой склонил на свою сторону стражей и бежал вместе со своими товарищами. Он нашел себе убежище в Литве, женился на еврейке и проповедывал ересь с большим успехом, тем более, что в литовско-русских владениях распространялись тогда с Запада так называемые арианские мнения. Об этом еретике мы знаем из сочинения отенского монаха Зиновия (Отен – монастырь в 50 верстах от Новгорода), под названием «Истины Показание». Автор представляет, что к нему приходят три последователя ереси Косого и излагают учение своего наставника, а Зиновий опровергает их. Из этого сочинения мы узнаем, что Косой был раб, убежавший от своего господина на господском коне и захвативший с собой одежду и еще кое-какие вещи. Последователи его доказывали, что это было не воровство, а напротив, вознаграждение, которое следовало бежавшему за его службу господину. Феодосий постригся в одном из монастырей Белозерья и своим умом приобрел к себе такое уважение, что даже прежний господин, узнавши о нем, относился к нему с приязнью. По известиям, передаваемым книгой Зиновия, Феодосий отвергал Св. Троицу, божество Иисуса Христа, считая его только богоугодным человеком, посланником свыше. «Вы толкуете, – говорил Косой, – что Бог создал рукой своей Адама, а обновить и исправить создание свое пришел Сын Божий и воплотился. Зачем ему приходиться в плоть: если Всемогущий Бог создал все своим словом, то словом же мог обновить свой образ и подобие и без вочеловечения. Никакого обветшания и падения образа и подобия Божьего в человеке не было. Человек создан смертным, как и все другие животные – рыбы, гады, птицы, звери. Как до пришествия Христова, так и после пришествия человек все был одним человеком, так же рождался, пользовался здоровьем, подвергался недугам, умирал и истлевал». Косой называл иконы идолами и подводил к ним разные изречения Ветхого Завета, направленные против богослужения, вооружался против поклонения мощам, и по этому поводу указывал на Антония Великого, который порицал египетский обычай сохранять тела мертвых. Монастыри он называл человеческим изобретением и указывал, что ни в Евангелии, ни в апостольских сочинениях нет о них ни слова. «Плотское мудрование, – говорил он, – господствует у ваших игуменов, митрополитов, епископов. Они повелевают не есть мяса, вопреки словам Христа: не входящее во уста сквернит человека. Они запрещают жениться, прямо против слов Апостола, который заранее называл „сожженными совестью“ тех, которые будут возбранять жениться и удаляться от разной пищи. Они знают только пение да каноны, чего в Евангелии не показано творить, а отвергают любовь христианскую; нет у них



духа кротости; они не дают узнать нам истину, гонят нас, запирают в тюрьмы. В Евангелии не велено мучить даже и неправых. Господь сам указал это в своей притче о плевелах, а они нас гонят за истину».

В Литве Феодосий и его соучастники успешно распространяли свою ересь. Конец Феодосия неизвестен.

## **Глава 20**

### **Царь Иван Васильевич Грозный**

Иван Васильевич, одаренный, как мы уже сказали, в высшей степени нервным темпераментом и с детства нравственно испорченный, уже в юности начал привыкать ко злу и, так сказать, находить удовольствие в картинности зла, как показывают его вычурные истязания над псковичами. Как всегда бывает с ему подобными натурами, он был до крайности труслив в то время, когда ему представлялась опасность, и без удержу смел и нагл тогда, когда был уверен в своей безопасности: самая трусость нередко подвигает таких людей на поступки, на которые не решились бы другие, более рассудительные. Пораженный московским пожаром и народным бунтом, он отдался безответно Сильвестру, который умел держать его в суеверном страхе и окружил советниками. С тех пор Иван надолго является совершенно безличным; русская держава правится не царем, а советом людей, окружающих царя. Но мало-помалу, тяготясь этой опекой, Иван сначала робко освобождался от нее, подчиняясь влиянию других лиц, а наконец, когда вполне почувствовал, что он сильнее и могущественнее своих опекунов, им овладела мысль поставить свою царскую власть выше всего на свете, выше всяких нравственных законов. Его мучил стыд, что он, самодержец по рождению, был долго игрушкой хитрого попа и бояр, что с правом на полную власть он не имел никакой власти, что все делалось не по его воле; в нем загорелась свирепая злоба не только против тех, которые прежде успели стеснить его произвол, но и против всего, что вперед могло иметь вид покушения на стеснение самодержавной власти и на противодействие ее произволу. Иван начал мстить тем, которые держали его в неволе, как он выражался, а потом подозревал в других лицах такие же стремления, боялся измены, создавал в своем воображении небывалые преступления, и, смотря по расположению духа, то мучил и казнил одних, то странным образом оставлял целыми других после обвинения. Мучительные казни стали доставлять ему удовольствие: у Ивана они часто имели значение театральных зрелищ; кровь разлакомила самовластителя: он долго лил ее с наслаждением, не встречая противодействия, и лил до тех пор, пока ему не приелось этого рода развлечение. Иван не был безусловно глуп, но, однако, не отличался ни здравыми суждениями, ни благоразумием, ни глубиной и широтой взгляда. Воображение, как всегда бывает с нервными натурами, брало у него верх над всеми способностями души. Напрасно старались бы мы объяснить его злодеяния какими-нибудь руководящими целями и желанием ограничить произвол высшего сословия; напрасно пытались бы мы создать из него образ демократического государя. С одной стороны, люди высшего звания в московском государстве совсем не стояли к низшим слоям общества так враждебно, чтобы нужно было из-за народных интересов начать против них истребительный поход; напротив, в период правления Сильвестра, Адашева и людей их партии, большею частью принадлежавших к высшему званию, мы видим мудрую заботливость о народном благосостоянии. С другой стороны, свирепость Ивана Васильевича постигала не одно высшее сословие, но и народные массы, как показывает бойня в Новгороде, травля народа медведями для забавы, отдача опричникам на расхищение целых волостей и т.п. Иван был человек в высшей степени бессердечный: во всех его действиях мы не видим ни чувства любви, ни привязанности, ни сострадания; если, среди совершаемых злодеяний, по-видимому, находили на него порывы раскаяния и он отправлял в монастыри милостыни на поминовение своих жертв, то это делалось из того же, скорее суеверного, чем благочестивого, страха Божьего наказания, которым, между прочим, пользовался и Сильвестр для обуздания его диких наклонностей.

Будучи вполне человеком злым, Иван представлял собою также образец чрезмерной лживости, как бы в подтверждение того, что злость и ложь идут рука об руку. Таким образом, Иван Васильевич в своих письмах сочинял небывалые события, явно опровергаемые известным нам ходом дел, как, например, в своем завещании он говорил: «Изгнан есмь от бояр, самовольства их ради, от своего достояния и скитаюся по странам»; или в послании в Кирилло-Белозерский монастырь обвинял в измене своих бояр, которым в то же время поручал важные должности; или же перед польским послом сваливал вину разорения Москвы татарами на своих полководцев, а себя выставлял храбрецом, когда на деле было совсем не то.

Обыкновенно думают, что Иван горячо любил свою первую супругу; действительно, на ее погребении он казался вне себя от горести и, спустя многие годы после ее кончины, вспоминал о ней с нежностью в своих письмах. Но тем не менее оказывается, что через восемь дней после ее погребения Иван уже искал себе другую супругу и остановился на мысли сватать сестру Сигизмунда-Августа, Екатерину, а между тем, как бы освободившись от семейных обязанностей, предавался необузданному разврату: так не поступают действительно любящие люди. Царь окружил себя любимцами, которые расшевеливали его дикие страсти, напевали ему о его самодержавном достоинстве и возбуждали против людей адашевской партии. Главными из этих любимцев были: боярин Алексей Басманов, сын его Федор, князь Афанасий Вяземский, Малюта Скуратов, Бельский, Василий Грязной и чудовской архимандрит Левкий. Они теперь заняли место прежней «избранной рады» и стали царскими советниками в делах разврата и злодеяний. Под их наитием царь начал в 1561 г. свирепствовать над друзьями и сторонниками Адашева и Сильвестра. Тогда казнены были родственники Адашева: брат Алексея Адашева Данила с двенадцатилетним сыном, тесть его Туров, трое братьев жены Алексея Адашева, Сатины, родственник Адашева Иван Шишкин с женою и детьми и какая-то знатная вдова Мария, приятельница Адашева, с пятью сыновьями: по известию Курбского, Мария была родом полька, перешедшая в православие, и славилась своим благочестием. Эти люди открыли собою ряд бесчисленных жертв Иванова свирепства. Сватовство Ивана Васильевича на польской принцессе не удалось. Король Сигизмунд-Август, хотя не отказывал решительно московскому государю в руке сестры, но оговаривался под разными предложениями и, наконец, приславши своего посла, поставил условием брака мирный договор, по которому Москва должна уступить Польше: Новгород, Псков, Смоленск и Северские земли. Само собою разумеется, что подобные условия не могли быть приняты и заявление их могло повести не к союзу, а к вражде. Иван Васильевич перестал думать о польской принцессе и, намереваясь в свое время отомстить соседу за свое неудачное сватовство, 21 августа 1561 года женился на дочери черкесского князя Темрюка, названной в крещении Мариною. Брат новой царицы, Михайло, необузданный и развратный, поступил в число новых любимцев царя.

Женитьба эта не имела хорошего влияния на Ивана, да и не могла иметь: сама новая царица оставила по себе память злой женщины. Царь продолжал вести пьяную и развратную жизнь и даже, как говорят, предавался разврату противоестественным образом с Федором Басмановым. Один из бояр, Димитрий Овчина-Оболенский, упрекнул этим любимца. «Ты служишь царю гнусным делом содомским, а я, происходя из знатного рода, как и предки мои, служу государю на славу и пользу отечеству». Басманов пожаловался царю. Иван задумал отомстить Овчине, скрывши за что. Он ласково пригласил Овчину к столу и подал большую чашу вина с приказом выпить одним духом. Овчина не мог выпить и половины. «Вот так-то, – сказал Иван, – ты желаешь добра своему государю! Не захотел пить, ступай же в погреб, там есть разное питье. Там напьешься за мое здоровье». Овчину увели в погреб и задушили, а царь, как будто ничего не зная, послал на другой день в дом Овчины приглашать его к себе и потешался ответом его жены, которая, не ведая, что случилось с ее мужем, отвечала, что он еще вчера ушел к государю. Другой боярин, Михаил Репнин, человек степенный, не позволил царю надеть на себя шутовской маски в то время, когда пьяный Иван веселился со своими любимцами. Царь приказал умертвить его. Люди

адашевского совета исчезали один за другим по царскому приказу: князь Димитрий Курлятов, один из влиятельнейших людей прежнего времени, вместе с женою и дочерьми, был сослан в каргопольский Челмский монастырь (в 1563 г.), а через несколько времени, как говорит Курбский, царь вспомнил о нем и приказал умертвить со всею семьею. Другой боярин, князь Воротынский, также один из влиятельных лиц адашевского кружка, был сослан со всею семьею на Белоозеро: к нему царь был милостивее, приказывал содержать его хорошо и впоследствии освободил, чтоб снова замучить, как увидим ниже. Третий из опальных бояр, князь Юрий Кашин, был без ссылки умерщвлен вместе с братом. Тогда же Иван начал преследовать семейство Шереметевых: один из них, Никита, был умерщвлен, другой, Иван Васильевич (старший), был сначала засажен в тюрьму, но потом выпущен; вместе с братом Ив. Вас. Шереметевым (меньшим) он оставался в постоянном страхе: царь подозревал их в намерении бежать и изменить.<sup>68</sup>

Неудовольствия с Польшею, естественно возникавшие после неудачного сватовства Иванова, усилились от политических обстоятельств. Ливонский орден не в силах был бороться с Москвою; завоевывая город за городом, русские взяли крепкий Феллин, пленили магистра Фирстенберга и овладели почти всею ливонскою странюю. Тогда новый магистр Готгард Кетлер, с согласия всех рыцарей, архиепископа рижского и городов Ливонии отдался польскому королю Сигизмунду-Августу. Ливония признала польского короля своим государем; Орден прекращал свое существование в смысле военно-монашеского братства (секуляризировался); сам Кетлер вступал в брак и делался наследственным владельцем Курляндии и Семигалии; Ревель с Эстляндией не захотел поступать под власть Польши и отдался Швеции: кроме того, остров Эзель, в значении епископства эзельского, отдался датскому королю, который посадил там брата своего Магнуса. Сигизмунд-Август, сознавая себя государем страны, которая ему отдавалась добровольно, естественно возымел притязания на города, завоеванные Иваном. Уже в 1561 году, до формального объявления войны, начались неприязненные действия между русскими и литовцами в Ливонии. Сигизмунд-Август подстрекал на Москву крымского хана, а между тем показывал вид, что не хочет войны с Иваном, и только требовал, чтобы московский государь оставил Ливонию, так как она отдалась под защиту короля. Московские бояре не только отвечали от имени царя, что он не уступит Ливонии, но припомнили польскому посольству, что все русские земли, находившиеся во власти Сигизмунда-Августа, были достоянием предков государя, киевских князей, и самая Литва платила дань сыновьям Мономаха, а потому все Литовское Великое княжество есть вотчина государя. После таких заявлений началась война.

В начале 1563 года сам царь двинулся с войском к Полоцку. В городе начальствовал королевский воевода Довойна. Замечая, вероятно, в народе сочувствие к московскому государю, он приказал сжечь посад и выгнал из него холопов, или так называемую чернь, т.е. простой тамошний русский народ. Эти холопы перебежали в русский лагерь и указали большой склад запасов, сохраняемых в лесу, в ямах. Овладев этим складом, московское войско приступило к замку, и вскоре от стрельбы произошел там пожар. Тогда Довойна, в совете с полоцким епископом Гарабурдою, решились отдаться московскому царю. Находившиеся в городе поляки под предводительством Вершхлейского упорно защищались, наконец сдались, когда московский государь обещал выпустить их с имуществом. 15 февраля 1563 года Иван въехал в Полоцк, именовал себя великим князем полоцким и милостиво отпустил поляков в числе пятисот человек с женами и детьми, одарил их собольими шубами, но ограбил полоцкого воеводу и епископа и отправил их в Москву пленными с другими литовцами. Иван не упустил здесь случая потешиться кровопролитием и приказал пере топить всех иудеев с их семьями в Двине.<sup>69</sup> Тогда же, по приказанию Ивана,

---

<sup>68</sup> Иван Васильевич (старший) спасся тем, что постригся в Кирилло-Белозерском монастыре, но и там царь не оставлял его в покое и ставил на вид игумену, что Шереметеву делают послабления: и по прошествии многих лет царь не мог забыть в нем прежнего друга Сильвестрова.

<sup>69</sup> Уже прежде Иван был предубежден против этого народа и не терпел его: когда-то в Москве приехавшие для торговли иудеи были выгнаны за то, что торговали «мумией», продавали отравные

татары перебили в Полоцке всех бернардинских монахов. Все латинские церкви были разорены.<sup>70</sup> Царь оставил в Полоцке воеводой Петра Шуйского с товарищами, приказал укреплять город и не впускать в него литовских людей, но дозволил последним жить на посаде, находясь под судом воевод, которые должны были творить суд, применяясь к местным обычаям.

Царь Иван, сообразно своему характеру, тотчас же возгордился до чрезвычайности этой важной, но легко доставшейся победой, и, в переговорах с литовскими послами, искавшими примирения, по прежнему обычаю, запрашивал и Киева, и Волыни, и Галича; потом великодушно уступал эти земли, ограничиваясь требованием себе Полоцка и Ливонии, и чванился своим мнимым происхождением от Пруса, небывалого брата римского Цезаря Августа.

Примирение надолго не состоялось; война продолжалась, но шла очень вяло, так что несколько лет ни с той ни с другой стороны не произошло ничего замечательного. Между тем произошли события, подействовавшие на Ивана и усилившие его кровожадные наклонности. Раздраженный против бояр, сторонников Адашева и Сильвестра, он боялся измены от всех тех, кого подозревал в дружбе со своими прежними опекунами. Ему казалось, что, за невозможностью овладеть снова царем, они перейдут к Сигизмунду-Августу или к крымскому хану или же будут в соумышлении с врагами действовать во вред царю. При такой подозрительности царь брал с них поручные записи в том, чтобы служить верно государю и его детям, не искать другого государя и не отъезжать в Литву и иные государства. Подобные записи взяты были еще в 1561 году с князя Василия Глинского, с бояр: князя Ивана Мстиславского, Василия Михайлова, Ивана Петрова, Федора Умного, князя Андрея Телятевского, князя Петра Горенского, Данила Романова и Андрея Васильева. Всего замечательнее дошедшие до нас поручные записи князя Ивана Димитриевича Бельского. В марте 1562 года царь заставил за него поручиться множество знатных лиц, с обязанностью уплатить 10000 рублей в случае его измены, а в апреле 1563 года с этого же боярина взята новая запись, в которой он сознается, что преступил крестное целование, ссылаясь с Сигизмундом-Августом и хотел бежать к нему. Едва ли Бельский справедливо показал на себя; едва ли бы Иван мог простить такую измену, которую не простил бы и более добрый государь! Судя по тому, что делалось и после, вероятно, в угоду подозрительному и жадному Ивану, боярин сам наговорил на себя, а поручники поплатились за него; царь же простил его, зная, что он не виноват. Подобная запись взята была с князя Александра Ивановича Воротынского, и в числе поручителей был обвиненный Иван Димитриевич Бельский: но за самых поручителей Воротынского, в случае несостоятельности в уплате за него 15000 рублей, взята еще запись с разных других лиц в качестве поручителей за поручителей. Подозрительность и злоба царя естественно усилились, когда произошли случаи действительного, а не только воображаемого отъезда в Литву. Князь Димитрий Вишневецкий, прибывший в Московское государство с целью громить Крым, увидел, что цель его не достигается, ушел к Сигизмунду-Августу и примирился с ним.<sup>71</sup> Иван притворялся, будто это бегство нимало его не тревожило, и в наказе своему гонцу велел говорить в Литве, когда спросят про князя Вишневецкого: «Притек он к нашему государю, как собака, и утек, как собака, и нашему государю и земле не причинил он никакого убытка». Но тогда же царь приказал разведывать о Вишневецком под рукою. В то же время бежали в Литву Алексей и Гаврило Черкасские. Царь так был занят их отъездом, что стороною разведывал, не захотят ли они опять воротиться, и обещал им милость. Все это показывает, как сильно тревожила его мысль о побегах из его государства. Более всего подействовало на Ивана бегство князя Курбского. Этот боярин, один из самых даровитых и влиятельных

---

зелья и отводили людей от христианства.

<sup>70</sup> В числе убитых в Полоцке Иваном был тогда Фома, товарищ известного проповедника ереси Феодосия Косого, бежавший с ним из Москвы в Литву.

<sup>71</sup> Через два года со своими казаками пустился на турок, овладел Молдавией, но был разбит, взят в плен и умер мученической смертью в Константинополе.

членов адашевского кружка, начальствуя войском в Ливонии, в конце 1563 года бежал из Дерпта в город Вольмар, занятый тогда литовцами, и отдался королю Сигизмунду-Августу, который принял его ласково, дал ему в поместье город Ковель и другие имения. Поводом к этому бегству было (как можно заключить из слов Курбского и самого Ивана) то, что Иван глубоко ненавидел этого друга Адашевых, взваливал на него подозрение в смерти жены своей Анастасии, ожидал от него тайных злоумышлений, всякого противодействия своей власти, и искал только случая, чтобы погубить его. Курбский не ограничился бегством, но посылал из нового отечества к царю укоризненные, едкие письма, дразнил его, а царь писал ему длинные ответы, и хотя называл в них Курбского «собакою», но старался оправдать перед ним свои поступки. Переписка эта представляет драгоценный материал, объясняющий более, чем все другое, характер царя Ивана. Поступок Курбского, но более всего его письма и невозможность наказать «беглого раба» за дерзость довели раздражительного и подозрительного царя до высшей степени злости и тиранства, граничившего уже с потерей рассудка. В 1564—65 годах царь продолжал брать поручные записи со своих бояр в том, чтобы они не бегали в Литву (см. записи, взятые с Ив. Вас. Шереметева-Большого, бояр: Яковлева, Салтыкова, князя Серебряного и других, в С. Г. А. ч. 1, стр. 496—526), а между тем происходили новые побегии; бежали уже не одни знатные люди. Убежали в Литву первые московские типографы: Иван Федоров и Петр Мстиславец; бежали многие дворяне и дети боярские, между прочим, Тетерин и Сарыхозин. Последние написали дерптскому наместнику боярину Морозову замечательное письмо, показывающее, какие перемены в тогдашнем управлении возбуждали неудовольствие. Поставляя на вид боярам, что царь плохо ценит их службу и окружает себя новыми людьми, дьяками, Тетерин говорит: «Твое юрьевское наместничество не лучше моего Тимохина невольного чернечества (т.е., что Тетерин был также неволей пострижен в монахи, как Морозов посажен наместником), тебя государь жалует так, как турецкий султан Молдавского: жену у тебя взял в заклад, а дохода тебе не сказал ни пула (мелкая монета), повелел еще 2000 занять себе на еду, а заплатить-то нечем; невежливо сказать: чай не очень тебе верят. Есть у великого князя новые верники, дьяки: они его половиной кормят, а большую половину себе берут. Их отцы вашим отцам и в холопство не годились, а ныне не только землею владеют, а и головами вашими торгуют. Бог, видно, у вас ум отнял, что вы за жен и детей и вотчины головы свои кладете, а их губите, а себе все-таки не пособите! Смею, государь, спросить: каково тем, у кого мужей и отцов различною смертью побии несправедно?..» Действительно, это была эпоха, когда значение породы уступало сильно значению службы. Из сословия детей боярских выдвигались прежде называемые дети боярские дворовые и стали называться дворянами: они составляли высший слой между детьми боярскими и скоро образовали отдельное сословие. Их значение состояло в относительной близости к царю; в звание дворян возводились из детей боярских по царской милости. Дьяки, прежде занимавшиеся письмоводством под начальством бояр и окольничьих, стали важными людьми: царь доверял им более, чем родовитым людям.

Курбский между тем давал Сигизмунду-Августу советы, как воевать московского царя, и сам предводительствовал отрядом против своих соотечественников. В конце 1564 года разнесся слух, что огромная сила двигается из Литвы к Полоцку; а между тем Девлет-Гирей, побуждаемый Сигизмундом-Августом, идет в южные пределы Московского государства. Крымцам на этот раз не посчастливилось: они подходили к Рязани и отступили; но царь ожидал с двух сторон нового нашествия врагов, а внутри государства ему мерещились изменники. Он желал проливать кровь, но трусил и измыслил такое средство, которое бы в народных глазах придавало законность самым необузданным его неистовствам. Трусость привела Ивана к мысли устроить, так сказать, комедию, в которой народу выпало бы на долю просить царя мучить и казнить кого угодно царю.

В конце 1564 года царь приказал собрать из городов в Москву с женами и детьми дворян, детей боярских и приказных людей, выбрав их поименно. Разнесся слух, что царь собирался ехать неизвестно куда. Иван вот что объявил духовным и светским знатым

лицам. Ему сделалось известным, что многие не терпят его, не желают, чтобы царствовал он и его наследники, злоумышляют на его жизнь; поэтому он намерен отказаться от престола и передать правление всей земле. Говорят, что с этими словами Иван положил свою корону, жезл и царскую одежду. На другой день со всех церквей и монастырей духовные привозили к Ивану образа; Иван кланялся перед ними, прикладывался к ним, брал от духовных благословение, потом несколько дней и ночей ездил он по церквам; наконец, 3 декабря приехало в Кремль множество саней; начали из дворца выносить и укладывать всякие драгоценности: иконы, кресты, одежды, сосуды и пр. Всем прибывшим из городов дворянам и детям боярским приказано собираться в путь с царем. Выбраны были также некоторые из бояр и дворян московских для сопровождения царя, с женами и детьми. В Успенском соборе велено было служить обедню митрополиту Афанасию, заступившему место Макария (31 декабря 1563). Отслушавши литургию в присутствии всех бояр, царь принял благословение митрополита, дал целовать свою руку боярам и прочим, присутствовавшим в церкви; затем сел в сани с царицею и двумя сыновьями. С ним отправились любимцы его: Алексей Басманов, Михайло Салтыков, князь Афанасий Вяземский, Иван Чоботов, избранные дьяки и придворные. Вооруженная толпа выборных дворян и детей боярских сопровождала их. Все в Москве были в недоумении. Ни митрополит, ни святители, съехавшиеся тогда в столицу, не смели просить у царя объяснения. Две недели, по причине оттепели, царь должен был пробыть в селе Коломенском, потом переехал со всем своим обозом в село Тайнинское, а оттуда через Троицкий монастырь прибыл в Александровскую слободу, свое любимое местопребывание.

Никто из Москвы не осмелился обратиться к удалившемуся государю. Наконец, 3 января приехал от него в столицу Константин Поливанов с грамотою к митрополиту. Иван объявлял, что он положил гнев свой на богомольцев своих, архиепископов, епископов и все духовенство, на бояр, окольных, дворецкого, казначея, конюшего, дьяков, детей боярских, приказных людей; припоминал, какие злоупотребления расхищения казны и убытки причиняли они государству во время его малолетства; жаловался, что бояре и воеводы разобрали себе, своим родственникам и друзьям государевы земли, собрали себе великие богатства, поместья, вотчины, не радят о государе и государстве, притесняют христиан, убегают от службы; а когда царь, – сказано было в грамоте, – захочет своих бояр, дворян, служилых и приказных людей понаказать, архиепископы и епископы заступаются за виновных; они заодно с боярами, дворянами и приказными людьми покрывают их перед государем. Поэтому государь, от великой жалости, не хочет более терпеть их изменных дел и поехал поселиться там, где его Господь Бог наставит.

Гонец привез от государя другую грамоту к гостям, купцам и ко всему московскому народу. В ней государь писал, чтобы московские люди нимало не сомневались: на них нет от царя ни гнева, ни опалы.

Понятно, что такое посольство произвело неописанный ужас в Москве; не говоря уже о том, что государство оставалось без главы в то время, когда находилось в войне с соседями, внутри его можно было ожидать междоусобий и беспорядков. Одним Иван объявлял гнев, другим милость и, таким образом, разъединял народ, вооружал большинство против меньшинства, чернил перед толпою народа весь служилый класс и даже духовенство, и, таким образом, заранее предавал огулом и тех и других народному суду, которого исполнителем должен быть он сам. Царь как бы становился заодно с народом против служилых. Само собою разумеется, что ни служилые, ни духовные не могли ни оправдываться, ни возвышать за себя голоса. Весь народ возопил: «Пусть государь не оставляет государства, не отдает на расхищение волкам, избавит нас из рук сильных людей. Пусть казнит своих лиходеев! В животе и смерти волен Бог и государь!...» Бояре, служилые люди и духовные, волею-неволею должны были произносить то же, и говорили митрополиту: «Все своими головами едем за тобою бить государю челом и плакаться». Некоторые из простого народа говорили: «Пусть царь укажет своих изменников и лиходеев; мы сами их истребим».

Положили, чтобы митрополит остался в столице, где начинался уже беспорядок. Вместо него поехали святители, а главным между ними новгородский архиепископ Пимен; в числе этих духовных был давний Иванов наушник, архимандрит Левкий; с духовенством отправились бояре, князя Иван Димитриевич Бельский, князь Иван Феодорович Мстиславский и другие. Были с ними дворяне и дети боярские. Как только они появились, то были тотчас, по царскому приказанию, окружены стражею. Царь принимал их как будто врагов в военном лагере. Посольство в льстивых выражениях восхваляло его заслуги, его мудрое правление, величало его грозой и победителем врагов, распространителем пределов государства, единым правоверным государем по всей вселенной, обладающим богатою страной, над которою почиет свыше благословение Божие и явно показывающее свою силу во множестве святых, их же нетленные тела почивают в русском царстве.

«Если, государь, – говорили они, – ты не хочешь помыслить ни о чем временном и преходящем, ни о твоей великой земле и ее градах, ни о бесчисленном множестве покорного тебе народа, то помысли о святых чудотворных иконах и единой христианской вере, которая твоим отшествием от царства подвергнется если не конечному разорению и истреблению, то осквернению от еретиков. А если тебя, государь, смущает измена и пороки в нашей земле, о которых мы не ведаем, то воля твоя будет и миловать и строго казнить виновных, все исправляя мудрыми твоими законами и уставами».

Царь сказал им, что он подумает, и через несколько времени призвал их снова и дал такой ответ:

«С давних времен, как вам известно из русских летописцев, даже до настоящих лет, русские люди были мятежны нашим предкам, начиная от славной памяти Владимира Мономаха, пролили много крови нашей, хотели истребить достославный и благословенный род наш. По кончине блаженной памяти родителя нашего, готовили такую участь и мне, вашему законному наследнику, желая поставить себе иного государя; и до сих пор я вижу измену своими глазами; не только с польским королем, но и с турками и крымским ханом входят в соумышление, чтоб нас погубить и истребить; извели нашу кроткую и благочестивую супругу Анастасию Романовну; и если бы Бог нас не охранил, открывая их замыслы, то извели бы они и нас с нашими детьми. Того ради, избегая зла, мы поневоле должны были удалиться из Москвы, выбрав себе иное жилище и опричных советников и людей».

Иван подал им надежду возвратиться и снова принять жезл правления, но не иначе, как окруживши себя особо выбранными, «опричными» людьми, которым он мог доверять и посредством их истреблять своих лиходеев и выводить измену из государства.

2-го февраля царь прибыл в Москву и явился посреди духовенства, бояр, дворян и приказных людей. Его едва узнали, когда он появился. Злоба исказила черты лица, взгляд был мрачен и свиреп: беспокойные глаза беспрестанно перебегали из стороны в сторону: на голове и бороде вылезли почти все волосы. Видно было, что перед этим он понес потрясение, которое зловредно подействовало на его здоровье. С этих пор поступки его показывают состояние души, близкое к умопомешательству. Вероятно, такой перемене в его организме содействовала и его развратная жизнь, неумеренность во всех чувственных наслаждениях, которым он предавался в этот период своего царствования. Иван объявил, что он, по желанию и челобитью московских людей, а наипаче духовенства, принимает власть снова с тем, чтобы ему на своих изменников и непослушников вольно было класть опалы, казнить смертью и отбирать на себя их имущество, и чтобы духовные вперед не надоедали ему челобитьем о помиловании опальных. Иван предложил устав Опричнины, придуманный им или, быть может, его любимцами. Он состоял в следующем: Государь поставит себе особый двор и учинит в нем особый приход, выберет себе бояр, окольных, дворецкого, казначея, дьяков, приказных людей, отберет себе особых дворян, детей боярских, стольников, стряпчих, жильцов: поставит в царских службах (во дворцах – Сытном, Кормовом и Хлебном) всякого рода мастеров и приспешников, которым он может доверять, а также особых стрельцов. Затем все владения Московского государства

раздвоились: государь выбирал себе и своим сыновьям города с волостями<sup>72</sup>, которые должны были покрывать издержки на царский обиход и на жалованье служилым людям, отобранным в Опричнину. В волостях этих городов поместья исключительно раздавались тем дворянам и детям боярским, которые были записаны в Опричнину, числом 1000: те из них, которых царь выберет в иных городах, переводятся в опричные города, а все вотчинники и помещики, имевшие владения в этих опричных волостях, но невыбранные в Опричнину, переводятся в города и волости за пределами Опричнины. Царь сделал оговорку, что если доходы с отделенных в Опричнину городов и волостей будут недостаточны, то он будет брать еще другие города и волости в Опричнину. В самой Москве взяты были в Опричнину некоторые улицы и слободы, из которых жители, не выбранные в Опричнину, выводились прочь.

Вместо Кремля царь приказал строить себе другой двор за Неглинной (между Арбатской и Никитской улицами), но главное местопребывание свое назначал он в Александровской Слободе, где приказал также ставить дворы для своих выбранных в Опричнину бояр, князей и дворян. Вся затем остальная Русь называлась Земщиною, поверялась земским боярам: Бельскому, Мстиславскому и другим. В ней были старые чины, таких же названий, как в Опричнине: конюший, дворецкий, казначей, дьяки, приказные и служилые люди, бояре, окольный, стольники, дворяне, дети боярские, стрельцы и пр. По всем земским делам в Земщине относились к боярскому совету, а бояре в важнейших случаях докладывали государю. Земщина имела значение опальной земли, постигнутой царским гневом. За подъем свой государь назначил 100000 рублей, которые надлежало взять из земского приказа, а у бояр, воевод и приказных людей, заслуживших за измену гнев царский или опалу, определено было отбирать имения в казну.

Царь уселся в Александровской Слободе, во дворце, обведенном валом и рвом. Никто не смел ни выехать, ни въехать без ведома Иванова: для этого в трех верстах от Слободы стояла воинская стража. Иван жил тут, окруженный своими любимцами, в числе которых Басмановы, Малюта Скуратов и Афанасий Вяземский занимали первое место. Любимцы набирали в Опричнину дворян и детей боярских, и вместо 1000 человек вскоре наверстали их до 6000, которым раздавались поместья и вотчины, отнимаемые у прежних владельцев, долженствовавших терпеть разорение и переселяться со своего пепелища. У последних отнимали не только земли, но даже дома и все движимое имущество; случалось, что их в зимнее время высылали пешком на пустые земли. Таких несчастных было более 12000 семейств; многие погибали на дороге. Новые землевладельцы, опираясь на особенную милость царя, дозволяли себе всякие наглости и произвол над крестьянами, жившими на их землях, и вскоре привели их в такое нищенское положение, что казалось, как будто неприятель посетил эти земли. Опричники давали царю особую присягу, которой обязывались не только доносить обо всем, что они услышат дурного о царе, но не иметь никакого дружеского сообщения, не есть и не пить с земскими людьми. Им даже вменялось в долг, как говорят летописцы, насиловать, предавать смерти земских людей и грабить их дома. Современники иноземцы пишут, что символом опричников было изображение собачьей головы и метла в знак того, что они кусаются как собаки, оберегая царское здравие, и выметают всех лиходеёв. Самые наглые выходки дозволяли они себе против земских. Так, например, подошел опричник своего холопа или молодца к какому-нибудь земскому дворянину или посадскому: подосланный определится к земскому хозяину в слуги и подкинет ему какую-нибудь ценную вещь; опричник нагрянет в дом с приставом, схватит

---

<sup>72</sup> Города Можайск, Вязьму, Козелеск, Перемышль. два жеребья, Белев, Лихвин обе половины, Ярославец и с Суходровью, Медынь и с Товарковою, Суздаль и с Шуею, Галич со всеми пригородки, с Чухломою и с Унжею, и с Коряковым и с Белогородьем, Вологду, Юрьевец Повольской, Балахну и с Узолою, Старую Русу город, Вышегород на Поротве, Устюг со всеми волостями, гор. Двину, Каргополе, Вагу, а волости: Олешню, Хотунь, Гусь, Муромское сельцо, Аргуново, Гвоздну, Опаков на Угре, Круг Клинской, Числяки, Ординские деревни и стан Пахрянской в Московском уезде, Белгороде в Кашине, да волости Вселунь, Ошту, Порог Ладожской, Тотму, Прибут и иные волости.



своего мнимо беглого раба, отыщет подкинутую вещь и заявит, что его холоп вместе с этой вещью украл у него большую сумму. Обманутый хозяин безответен, потому что у него найдено поличное. Холоп опричника, которому для вида прежний господин обещает жизнь, если он искренно сознается, показывает, что он украл у своего господина столько-то и столько и передал новому хозяину. Суд изрекает приговор в пользу опричника; обвиненного ведут на правез на площадь и бьют по ногам палкой до тех пор, пока не заплатит долга, или же, в противном случае, выдают головою опричнику.

Таким или подобным образом многие теряли свои дома, земли и бывали обобранны до ниточки; а иные отдавали жен и детей в кабалу и сами шли в холопы. Всякому доносу опричника на земского давали веру; чтобы угодить царю, опричник должен был отличаться свирепостью и бессердечием к земским людям; за всякий признак сострадания к их судьбе опричник был в опасности от царя потерять свое поместье, подвергнуться пожизненному заключению, а иногда и смерти. Случалось, едет опричник по Москве и завернет в лавку; там боятся его как чумы; он подбросит что-нибудь, потом придет с приставом и подвергнет конечному разорению купца. Случалось, заведет опричник с земским на улице разговор, вдруг схватит его и начнет обвинять, что земский ему сказал поносное слово; опричнику верят. Обидеть царского опричника было смертельным преступлением; у бедного земского отнимают все имущество и отдают обвинителю, а нередко сажают на всю жизнь в тюрьму, иногда же казнят смертью. Если опричник везде и во всем был высшим существом, которому надобно угождать, земский был – существо низшее, лишенное царской милости, которое можно как угодно обижать. Так стояли друг к другу служилые, приказные и торговые люди на одной стороне в Опричнине, на другой в Земщине. Что касается до массы народа, до крестьян, то в Опричнине они страдали от произвола новопоселенных помещиков: состояние рабочего народа в Земщине было во многих отношениях еще хуже, так как при всяких опалах владельцев разорение постигало массу людей, связанных с опальными условиями жизни, и мы видим примеры, что мучитель, казнивши своих бояр, посылал разорять их вотчины. При таком новом состоянии дел на Руси чувство законности должно было исчезнуть. И в этот-то печальный период потеряли свою живую силу начатки общинного самоуправления и народной льготы, недавно установленные правительством Сильвестра и Адашева: правда, многие формы в этом роде оставались и после; но дух, оживлявший их, испарился под тиранством царя Ивана. Учреждение Опричнины, очевидно, было таким чудовищным орудием деморализации народа русского, с которым едва ли что-нибудь другое в его истории могло сравниться, и глядевшие на это иноземцы справедливо замечают: «Если бы сатана хотел выдумать что-нибудь для порчи человеческой, то и тот не мог бы выдумать ничего удачнее».

Свирепые казни и мучительства возрастали со введения Опричнины чудовищным образом. На третий день после появления царя в Москве казнен был зять Мстиславского, одного из первых бояр, которому поверена была Земщина, – Александр Горбатый Шуйский с семнадцатилетним сыном и другие. Иные были насильно пострижены; другие сосланы. С некоторых Иван Васильевич брал новые записи в верности, а Михаила Воротынского освободил из ссылки, чтобы впоследствии замучить. Царский образ жизни стал вполне достоин полупомешанного. Иван завел у себя в Александровской слободе подобие монастыря, отобрал 300 опричников, надел на них черные рясы сверх вышитых золотом кафтанов, на головы тафьи или шапочки; сам себя назвал игуменом, Вяземского назначил келарем, Малюту Скуратова пономарем, сам сочинил для братии монашеский устав и сам лично с сыновьями ходил звонить на колокольню. В двенадцать часов ночи все должны были вставать и идти к продолжительной полунощнице. В четыре часа утра ежедневно по царскому звону вся братия собиралась к заутрени к богослужению, и кто не являлся, того наказывали восьмидневной эпитимией. Утреннее богослужение, отправляемое священниками, длилось по царскому приказанию от четырех до семи часов утра. Сам царь так усердно клал земные поклоны, что у него на лбу образовались шишки. В восемь часов шли к обедне. Вся братия обедала в трапезной; Иван, как игумен, не садился с нею за стол,

читал перед всеми житие дневного святого, а обедал уже после один. Все наедались и напивались досыта; остатки выносились нищим на площадь. Нередко, после обеда, царь Иван ездил пытать и мучить опальных; в них у него никогда не было недостатка. Их приводили целыми сотнями, и многих из них перед глазами царя замучивали до смерти. То было любимое развлечение Ивана: после кровавых сцен он казался особенно веселым. Современники говорят, что он всегда дико смеялся, когда смотрел на мучения своих жертв. Сама монашеская братия его служила ему палачами, и у каждого под рясою был для этой цели длинный нож. В назначенное время отправлялась вечерня, затем братия собиралась на вечернюю трапезу, отправлялось повечерие, и царь ложился в постель, а слепцы попеременно рассказывали ему сказки. Иван хотя и старался угодить Богу прилежным исполнением правил внешнего благочестия, но любил временами и иного рода забавы. Узнает, например, царь, что у какого-нибудь знатного или незнатного человека есть красивая жена, прикажет своим опричникам силой похитить ее в собственном доме и привезти к нему. Поигравши некоторое время со своей жертвой, он отдавал ее на поругание опричникам, а потом приказывал отвезти к мужу. Иногда из опасения, чтобы муж не вздумал мстить, царь отдавал тайный приказ убить его или утопить. Иногда же царь потешался над опозоренными мужьями. Ходил в его время рассказ, что у одного дьяка (у историка Гвагини он называется Мясоедовским) он таким образом отнял жену, потом, вероятно, узнавши, что муж изъяснял за это свое неудовольствие, приказал повесить изнасилованную жену над порогом его дома и оставить труп в таком положении две недели; а у другого дьяка была повешена жена по царскому приказу над его обеденным столом. Нередки были также случаи изнасилования девиц, и он сам хвастался этим впоследствии. Царю особенно хотелось уличить своих главных бояр в измене. И вот князя Бельский, Мстиславский, Воротынский и конюший Иван Петрович Челяднин получили от короля Сигизмунда и литовского гетмана Хоткевича письма, приглашавшие их перейти в Литву на службу. Бояре доставили эти письма Ивану и отвечали королю с ведома царя не только отказом, но даже с бранью и насмешками, вроде следующих: «Будь ты на польском королевстве, – пишет Бельский Сигизмунду, – а я на великом княжестве Литовском и на русской земле, и оба будем под властью царского величества»; или как написал конюший Иван Петрович: «Я стар для того, чтобы ходить в твою спальню с распутными женщинами и потешать тебя „машкарством“ (от слова маска)». Ответы эти от четырех лиц обличают одну и ту же сочинившую их руку и, вероятно, писаны под диктовку царя; сомнительно, чтобы в самом деле существовали пригласительные письма к московским боярам, они, по крайней мере, не сохранились в польских делах, тогда как в последних есть боярские (разумеется, черновые) ответы; видно, все это была хитрость Ивана, желавшего испытать своих бояр и при малейшем подозрении погубить их. Но бояре представили письма царю. Царю не было повода придрататься к ним; но нетрудно было ему выдумать другой повод погубить конюшого, которого он особенно не терпел. Царь обвинил несчастного старика, будто он хочет свергнуть его с престола и сам сделаться царем; царь призвал конюшого к себе, приказал одеться в царское одеяние, посадил на престол, сам стал кланяться ему в землю и говорил: «Здрав буди, государь всея Руси! Вот ты получил то, чего желал; я сам тебя сделал государем, но я имею власть и свергнуть тебя с престола». С этими словами он вонзил нож в сердце боярина и приказал умертвить его престарелую жену. Вслед за тем Иван приказал замучить многих знатных лиц, обвиненных в соумышлении с конюшим. Тогда погибли князя Куракин-Булгаков, Дмитрий Ряполовский, трое князей Ростовских, Петр Щенятев, Турунтай-Пронский, казначей Тютин, думный дьяк Казарин-Дубровский и много других. По приказанию царя, опричники хватили жен опальных людей, насиловали их, некоторых приводили к царю, врывались в вотчины, жгли дома, мучили, убивали крестьян, раздевали донага девушек и в поругание заставляли их ловить кур, а потом стреляли в них. Тогда многие женщины от стыда сами лишали себя жизни.

Земщина представляла собой как бы чужую покоренную страну, преданную произволу завоевателей, но в то же время Иван допускал поразительную непоследовательность и

противоречие, вообще отличавшее его характер и соответствовавшее нездоровому состоянию души. Ту же Земщину, в которой он на каждом шагу видел себе изменника, царь собирал для совещания о важнейших политических делах. В 1566 году, по поводу литовских предложений о перемирии, царь Иван созвал земских людей разных званий и предложил им, главным образом, на обсуждение вопрос: уступать ли, по предложению Сигизмунда-Августа, Литве некоторые города и левый берег Двины, оставивши за собою город Полоцк на правой стороне этой реки? Мнения отбирались по сословиям. Сначала подали свой голос духовные, начиная с новгородского архиепископа Пимена, три архиепископа, шесть епископов и несколько архимандритов, игуменов и старцев, потом – бояре, окольниковы, казначеи, печатник и дьяки, всего 29 человек; из них печатник Висковатый подавал особое мнение, впрочем, в сущности схожее в главном с остальными, за ними 193 человека дворян, разделенных на первую и вторую статью; за ними особо несколько торопецких и луцких помещиков, потом 31 человек дьяков и приказных людей, и наконец, торговые люди, из которых отмечено 12 гостей, 40 торговых людей и несколько смольнян, спрошенных особо, вероятно, по причине их близости к границе. Все они говорили в одном смысле: не отдавать ливонских городов и земли на правом берегу Двины, принадлежавшей Полоцку, но, в сущности, предоставляли государю поступить по своему усмотрению («ведает Бог да государь: как ему, государю, угодно, так и нам, холопом его»). В заключение все должны были целовать крест на том, чтобы служить царю, его детям и их землям, кто во что приходится, и стоять против государевых недругов. Дума эта, как нам кажется, была плодом подозрительности Ивана; везде видел он тайных изменников, мерещились ему тайные доброжелатели Литвы, и он пытался этим путем как-нибудь отыскать их по их словам, если кто нечаянно проговорится, иначе трудно объяснить совещание с народом того царя, который предал уже этот народ своей опале. По крайней мере, нельзя предполагать, чтобы на соборе этом была одна Опричнина без Земщины. Созванные говорили то, что, по их соображению, было угодно Ивану.

Замечательно, что во время сумасбродства московского царя в соседней стране, в Швеции, царствовал также полупомешанный сын Густава-Вазы, Эрик. Из страха за престол, он засадил в тюрьму брата своего Иоанна, женатого на той самой польской принцессе Екатерине, за которую некогда сватался московский царь. Иван не мог забыть своего неудачного сватовства; неуспех свой он считал личным оскорблением. Он сошелся с Эриком, уступал ему навеки Эстонию с Ревелем, обещал помогать против Сигизмунда и доставить выгодный мир с Данией и Ганзою, лишь бы только Эрик выдал ему свою невестку Екатерину. Эрик согласился, и в Стокгольм приехал боярин Воронцов с товарищами, а другие бояре готовились уже принимать Екатерину на границе. Но члены государственного совета в Швеции целый год не допускали русских до разговора с Эриком и представляли им невозможность исполнить такое незаконное дело: наконец, в сентябре 1568 года – низложили с престола своего сумасшедшего тирана, возвели брата его Иоанна. Русские послы, задержанные еще несколько месяцев в Швеции, как бы в неволе, со стыдом вернулись домой. Иван был вне себя от ярости и намеревался мстить шведам; а чтобы развязать себе руки со стороны Польши, он решился на перемирие с Сигизмундом-Августом, тем более, что война с Литвою велась до крайности лениво и русские не имели никаких успехов. Иван на этот раз сделал первый шаг к примирению, выпустил из тюрьмы польского посланника, которого задержал прежде, вопреки народным правам, и, отправляя в Польшу своих гонцов, приказал им обращаться там вежливо, а не так грубо, как бывало прежде.

В это время Ивану пришлось вступить в борьбу с церковною властью за свой произвол, доведенный до сумасбродства. Иван задался убеждением, что самодержавный царь может делать все, что ему вздумается, что не должно быть на земле права, которое бы могло поставить преграды его произволу или даже осуждать его деяния, как бы они ни были безнравственны и неразумны. Митрополит Макарий был человек уклончивый. В былое время он был заодно с адашевской партией, но когда государь разогнал ее, Макарий скромно глядел на то, что делал царь, и хотя не пристал из подобострастия к врагам своих прежних

друзей, но, однако, и не пошел с последними. Когда заочно судили Сильвестра, Макарий возвысил было за него голос, но очень слабый. Сильвестр был заточен, его друзья и сторонники были истребляемы или подвергались гонению, Макарий оставался митрополитом и только скромно и смиренно дерзал просить Ивана о милосердии к опальным; царю и это было не по сердцу. Преемник Макария Афанасий, бывший царский духовник, был, как кажется, еще покорнее, но царь был недоволен и им; и он осмеливался иногда печалиться об опальных. Когда Иван оставлял Москву для Александровской Слободы и прикидывался, будто хочет покинуть престол, то в числе причин, побуждавших его к отречению, выставлял и то обстоятельство, что митрополит и епископы бьют ему челом за опальных. Опричнина была введена; Афанасий не смел прекословить. Но недолго этот пастырь выносил новый порядок вещей и удалился в Чудов монастырь на покой. Это было в 1566 году. Надлежало выбрать нового первопрестольника. Выбор пал на казанского архиепископа Германа, из рода бояр Полевых, старца святой жизни, прославившегося своими подвигами распространения христианства в казанской земле. Представившись первый раз царю, нареченный митрополит хотя не укорял Ивана прямо за его жизнь, но начал с ним беседу о христианском покаянии; беседа его очень не понравилась царю. Воспользовавшись этим, Алексей Басманов досказал царю то, что было в душе Ивана: этот Герман походил на Сильвестра, говорил с царем как Сильвестр. Иван прогнал Германа. Старец вскоре умер. Разнесся слух, будто царь приказал тайно спровадить его.

Тогда царь предложил в митрополиты соловецкого игумена Филиппа. Духовные и бояре единогласно говорили, что нет человека более достойного.

Филипп происходил из знатного и древнего боярского рода Колычевых. Отец его, боярин Стефан, был важным сановником при Василии Ивановиче. Мать его Варвара наследовала богатые владения новгородской земли. Во время правления Елены Колычевы держались стороны князя Андрея, и трое из них были казнены с падением этого князя.

Молодой сын умершего Стефана, Федор, служил в ратных и земских делах. Царь Иван, будучи малолетним, видал его и, как говорят, любил. Достигши тридцатилетнего возраста, Федор Колычев удалился от мира и постригся в Соловецком монастыре. Что собственно побудило его к этому – неизвестно, но так как, вопреки всеобщему обычаю жениться рано, он оставался безбрачным, то должно думать, что причиною этого было давнее недовольство тогдашнею жизненною средою и расположением к благочестию. Через десять лет Филипп был поставлен игуменом Соловецкой обители.

Во всей истории русского монашества нет другого лица, которое бы, при обычном благочестии, столько же помнило обязанность заботиться о счастье и благосостоянии ближних и умело соединять с примерною набожностью практические цели в пользу других. Филипп был образцовый хозяин, какого не было ему равного в русской земле в его время. Дикие, неприступные острова Белого моря сделались в его время благоустроенными и плодородными. Пользуясь богатством, доставшимся ему по наследству, Филипп прорыл каналы между множеством озер, осушил их, образовал одно большое озеро, прочистил заросли, засыпал болота, образовал превосходные пастбища, удобрил каменистую почву, навозил, где было нужно, землю, соорудил каменную пристань, развел множество скота, завел северных оленей и устроил кожевенный завод для обделки оленьих кож, построил каменные церкви, гостиницы, больницы, подвинул производство соли в монастырских волостях, ввел выборное управление между монастырскими крестьянами, приучал их к труду, порядку, ограждал от злоупотреблений, покровительствуя трудолюбию, заботился о их нравственности, выводил пьянство и тунеядство, одним словом, был не только превосходным настоятелем монастыря, но выказал редкие способности правителя над обществом мирских людей.

Неудивительно, что этого человека везде знали и уважали, а потому естественно было всем считать его самым достойным человеком для занятия митрополичьего престола. Но выбор со стороны подозрительного царя человека из боярского рода, который некогда заявлял себя против его матери Елены, может быть отнесен к тем противоречиям, которые

были так нередки в поступках полоумного Ивана. Как бы то ни было, Филипп был призван в Москву. Когда он проезжал через Новгород, к нему сошлись жители и молили ходатайствовать за них перед царем, так как носился слух, что царь держит гнев на Новгород. При первом представлении царю Филипп только просил отпустить его назад в Соловки. Это имело вид обычного смирения. Царь, епископы и бояре уговаривали его. Тогда Филипп открыто начал укорять епископов, что они до сих пор, молча, смотрят на поступки царя и не говорят царю правды. «Не смотрите на то, – говорил он, – что бояре молчат; они связаны житейскими выгодами, а нас Господь для того и отрешил от мира, чтобы мы служили истине, хотя бы и души наши пришлось положить за паству, иначе вы будете истязаемы за истину в день судный». Епископы, непривычные к такой смелой речи, молчали, а те, которые старались угодить царю, восстали на Филиппа за это.

Никто не смел говорить царю правды; один Филипп явился к нему и сказал: «Я повинуюсь твоей воле, но оставь Опричнину, иначе мне быть в митрополитах невозможно. Твое дело не богоугодное; сам Господь сказал: аще царство разделится, запустеет! На такое дело нет и не будет тебе нашего благословения».

«Владыка святой, – сказал царь, – воссташа на меня „мнози“, мои же меня хотят поглотить».

«Никто не замышляет против твоей державы, поверь мне, – ответил Филипп. – Свидетель нам всевидящее око Божье; мы все приняли от отцов наших заповедь чтить царя. Показывай нам пример добрыми делами, а грех влечет тебя в геенну огненную. Наш общий владыка Христос повелел любить Бога и любить ближнего как самого себя: в этом весь закон».

Иван рассердился, грозил ему своим гневом, приказывал ему быть митрополитом.

«Если меня и поставят, то все-таки мне скоро потерять митрополию, – говорил Филипп. – Пусть не будет Опричнины, соедини всю землю воедино, как прежде было».

Царь разгневался. Епископы, с одной стороны, умоляли Филиппа не отказываться, с другой – кланялись царю и просили об утолении его гнева на Филиппа. Царь требовал, чтобы Филипп непременно ставился в митрополиты и дал запись не вступаться в Опричнину. Филипп наконец согласился. Неизвестно, что было поводом к этой уступке, но всего менее ее можно объяснить трусостью, так как это не оправдывается ни предыдущим, ни последующим поведением Филиппа. Вернее всего, царь подал ему какую-нибудь надежду на свое исправление. Филипп дал грамоту не вступаться в царский домовый обиход и был поставлен в митрополиты 25 июля 1566 года. Несколько времени после того царь действительно воздерживался от своей кровожадности, но потом опять принялся за прежнее, опять начались пытки, казни, насилия и мучительства. Филипп не требовал уже больше уничтожения Опричнины, но не молчал, являлся к царю ходатаем за опальных и старался укротить его свирепость своими наставлениями. Царь оправдывал себя тем, что кругом его тайные враги. Филипп доказывал ему, что страх его напрасен. «Молчи, отче, – говорил Иван, – молчи, повторяю тебе, и только благословляй нас по нашему изволению!» – «Наше молчание, – отвечал Филипп, – ведет тебя к греху и всенародной гибели. Господь заповедал нам душу свою полагать за други свои». – «Не прекословь державе нашей, – сказал царь, – а не то – гнев мой постигнет тебя, или оставь свой сан!» – «Я, – отвечал Филипп, – не просил тебя о сани, не посылал к тебе ходатаев, никого не подкупал; зачем сам взял меня из пустыни? Если ты дерзаешь поступать против закона, – твори, как хочешь, а я не буду слабеть, когда приходит время подвига».

Царь вскоре невзлюбил настойчивого митрополита и не допускал его к себе. Митрополит мог видеть царя только в церкви. Царские любимцы возненавидели Филиппа еще пуще царя. 31 марта 1568 года, в воскресенье, Иван приехал к обедне в Успенский собор с толпою опричников. Все были в черных ризах и высоких монашеских шапках. По окончании обедни царь подошел к Филиппу и просил благословения. Филипп молчал и не обращал внимания на присутствие царя. Царь обращался к нему в другой, в третий раз. Филипп все молчал. Наконец царские бояре сказали: «Святой владыка! Царь Иван

Васильевич требует благословения от тебя». Тогда Филипп, взглянув на царя, сказал: «Кому ты думаешь угодить, изменивши таким образом благолепие лица своего? Побойся Бога, постыдись своей багряницы. С тех пор как солнце на небесах сияет, не было слышно, чтобы благочестивые цари возмущали так свою державу. Мы здесь приносим бескровную жертву, а ты проливаешь христианскую кровь твоих верных подданных. Доколе в русской земле будет господствовать беззаконие? У всех народов, и у татар, и у язычников, есть закон и правда, только на Руси их нет. Во всем свете есть защита от злых и милосердие, только на Руси не милуют невинных и праведных людей. Опомнись: хотя Бог и возвысил тебя в этом мире, но и ты смертный человек. Взыщется от рук твоих невинная кровь. Если будут молчать живые души, то каменя возопиют под твоими ногами и принесут тебе суд».

«Филипп, – сказал царь, – ты испытываешь наше благодушие. Ты хочешь противиться нашей державе; я слишком долго был кроток к тебе, щадил вас, мятежников, теперь я заставлю вас раскаиваться». «Не могу, – возразил ему Филипп, – повиноваться твоему повелению паче Божьего повеления. Я пришлец на земле и пресельник, как и все отцы мои. Буду стоять за истину, хотя бы пришлось принять и лютую смерть».

Иван был взбешен, но отвел свой гнев на других и на другой же день, как бы в досаду Филиппу, замучил князя Василия Пронского, только что принявшего монашество. Свирепость царя в это время все более и более возрастала. В июле того же года происходили описанные нами выше отвратительные сцены разорения вотчин опальных бояр. Царь с пьяною толпою приехал в Новодевичий монастырь. Там был храмовой праздник и совершался крестный ход. Служил митрополит. Когда, по обряду, читая Евангелие, митрополит обратился, чтоб сказать: «Мир всем!», то, заметив, что один опричник стоял в тафье, митрополит воскликнул: «Царь, разве прилично благочестивому держать агарянский закон?» – «Как? что? кто?» – завопил ему в ответ царь. «Один из ополчения твоего, из лика сатанинского», – сказал всенародно Филипп. Опричник поспешно спрятал свою тафью. Царь был вне себя от злости и, воротившись домой, собрал духовных для того, чтобы судить митрополита. Царский духовник протопоп Евстафий, враг Филиппа, чернил митрополита, стараясь угодить Ивану. Составился план произвести следствие в Соловках и собрать разные показания монахов, которые бы могли уличить бывшего игумена в разных нечистых делах. Царю хотелось, чтоб митрополит был низложен как будто за свое дурное поведение. В Соловки отправился за этим суздальский епископ Пафнутий с архимандритом Феодосием и князем Темкиным. Соловецкие иноки сначала давали только хорошие отзывы о Филиппе. Но Пафнутий соблазнил игумена Паисия обещанием епископского сана, если он станет свидетелем против митрополита. К Паисию присоединилось несколько старцев, склоненных угрозами. Пафнутий привез их к царю. Собрали собор. Первенствовал на нем из духовных Пимен новгородский: из угождения царю он заявил себя врагом Филиппа, не подозревая, что через два года и его постигнет та же участь, какую теперь готовил митрополиту. Призван был митрополит, и, не дожидаясь суда, сказал: «Ты думаешь, царь, что я боюсь тебя, боюсь смерти за правое дело? Мне уже за шестьдесят лет; я жил честно и беспорочно. Так хочу и душу мою предать Богу, судье твоему и моему. Лучше мне принять безвинно мучение и смерть, нежели быть митрополитом при таких мучительствах и беззакониях! Я творю тебе угодное. Вот мой жезл, белый клобук, мантия! Я более не митрополит. А вам, архиепископы, епископы, архимандриты, иереи и все духовные отцы, оставляю повеление: пасите стадо ваше, помните, что вы за него отвечаете перед Богом; бойтесь убивающих душу более, чем убивающих тело! Предаю себя и душу свою в руки Господа!» Он повернулся к дверям, намереваясь уйти, но царь остановил его и сказал: «Ты хитро хочешь избегнуть суда; нет, не тебе судить самого себя; дожидайся суда других и осуждения; надевай снова одежду, ты будешь служить на Михайлов день обедню». Митрополит, молча, повиновался, надел одежду и взял свой жезл. В день архангела Михаила Филипп в полном облачении готовился начинать обедню. Вдруг входит Басманов с опричниками; богослужение приостанавливается; читают всенародно приговор церковного собора, лишаящий митрополита пастырского сана. Вслед за тем воины вошли в алтарь, сняли с митрополита

митру, сорвали облачение, одели в разодранную монашескую рясу, потом вывели из церкви, заметая за ним след метлами, посадили на дровни и повезли в Богоявленский монастырь. Народ бежал за ним следом и плакал: митрополит осенял его на все стороны крестным знаменем. Опричники кричали, ругались и били едущего митрополита своими метлами.

Через несколько дней привезли на телеге низложенного митрополита слушать окончательный приговор. Игумен Паисий проговорил ряд обвинений. Пимен также говорил против Филиппа. Филипп сказал: «Да будет благодать Божья на устах твоих. Что сеет человек, то и пожнет. Это не мое слово – Господне». Его обвиняли, между прочим, в волшебстве и приговаривали к вечному заключению. Филипп не оправдывался, не защищался, а только сказал царю: «Государь, перестань творить богопротивные дела. Вспомни прежде бывших царей. Те, которые творили добро, и по смерти славятся, а те, которые дурно правили своим царством, и теперь вспоминаются недобрым словом. Смерть не побоится твоего высокого сана: опомнись, и прежде ее немилостивого пришествия принеси плоды добродетели и собери сокровище себе на небесах, потому что все собранное тобою в этом мире здесь и останется».

Его увели. По царскому приказанию ему забили ноги в деревянные колодки, а руки в железные кандалы, посадили в монастыре Св. Николая Старого и морили голодом.

Рассказывают, что царь приказал отрубить голову племяннику его Ивану Борисовичу Колычеву, зашить в кожаный мешок и принести к Филиппу. «Вот твой сродник, – сказали ему, – не помогли ему твои чары».

Через несколько дней царь приказал отправить Филиппа в Отрочь-монастырь в Тверь: с досады он казнил еще нескольких Колычевых. Вместо Филиппа царь велел избрать в сан митрополита троицкого архимандрита Кирилла. Бедному Пимену не удалось сесть на митрополичий престол, чего он надеялся.

Мужество Филиппа раздражило Ивана; оно подействовало на него не менее писем Курбского; оно усилило в нем склонность искать измены и лить кровь мнимых врагов своих. В характере царя, как мы уже заметили, было медлить гибелью тех, которых он особенно ненавидел; его воображение как бы тешилось образами будущих мук, которые ожидали ненавистных ему людей, а между тем он срывал злобу на других. Уже давно не терпел он своего двоюродного брата Владимира Андреевича: последний в глазах подозрительного царя был для изменников готовым лицом, которого бы они, если б только была возможность, посадили на престол, низвергнув Ивана, но Иван не решался с ним покончить, хотя уже в 1563 году положил свою опалу как на него, так и на мать его; после того мать Владимира постриглась. Иван держал Владимира под постоянным надзором, отнял у него всех его бояр и слуг, окружил своими людьми, с тем чтобы знать о всех его поступках и замыслах. В 1566 году царь отнял у него удел и дал вместо него другой. Наконец, в начале 1569 года, после суда над Филиппом, царь покончил с Владимиром. Было подозрение, быть может и справедливое, что Владимир, постоянно стесняемый недоверием царя, хотел уйти к Сигизмунду-Августу. Царь заманил его с женою в Александровскую Слободу и умертвил обоих. О роде смерти этих жертв показания современников не сходятся между собою: по одним – их отравили, по другим – зарезали. Во всяком случае, несомненно, что они были умерщвлены.<sup>73</sup> Вслед за тем была утоплена в Шексне под Горицким монастырем мать Владимира монахиня Евдокия. Та же участь вместе с нею постигла инокиню Александру, бывшую княгиню Иулианию, вдову брата Иванова Юрия, какую-то инокиню Марию, также из знатного рода, и с ними двенадцать человек.

Прошло еще несколько месяцев. Жажда крови усиливалась в Иване. Его рассудок все более и более затмевался. В сентябре 1569 года умерла вторая жена его Мария Темрюковна, никем не любимая. Ивану вообразилось, что и она, подобно Анастасии, отравлена лихими людьми. Постоянный ужас, каждоминутная боязнь за свою жизнь все более и более

---

<sup>73</sup> Иностранцы говорят, что с ними были убиты их дети, но это известие неверно: двое дочерей Владимира и единственный сын были живы через несколько лет после того. Правдоподобнее известие о том, что вместе с Владимиром и его женой были истреблены их слуги.

овладевали царем. Он был убежден, что кругом его множество врагов и изменников, а отыскать их был не в силах; он готов был, – то истреблять повально чуть не весь русский народ, то бежать от него в чужие края. Уже и своим опричникам он не верил; уже он чувствовал, что Басмановы, Вяземские и братья их овладели им не хуже Адашева и Сильвестра; ненавидел он и их: уже близок был конец их. В это время царь приблизил к себе голландского доктора Бомелия. Из угождения Ивану, этот пришелец поддерживал в нем страх астрологическими суевериями, предсказывал бунты и измены: он-то, как говорят, внушил Ивану мысль обратиться к английской королеве. Иван писал к Елизавете, что изменники составляют против него заговоры, соумышляют с враждебными ему соседями, хотят истребить его со всем родом. Иван просил английскую королеву дать ему убежище в Англии. Елизавета отвечала, что московский царь может приехать в Англию и жить там сколько угодно, на всем своем содержании, соблюдая обряды старогреческой церкви. Но в то же время, готовясь убежать от русского народа, Иван нашел предлог досыта удовлетворить своей кровожадности и совершить над русским народом такое чудовищное дело, которому равного мало можно найти в истории.

Московский царь давно уже не терпел Новгорода. При учреждении Опричнины, как выше было сказано, он обвинял весь русский народ в том, что, в прошедшие века, этот народ не любил царских предков. Видно, что Иван читал летописи и с особенным вниманием останавливался на тех местах, где описывались проявления древней вечевой свободы. Нигде, конечно, он не видел таких резких, ненавистных для него черт, как в истории Новгорода и Пскова. Понятно, что к этим двум землям, а особенно к Новгороду, развилась в нем злоба. Новгородцы уже знали об этой злобе и чуяли над собою беду, а потому и просили Филиппа ходатайствовать за них перед царем. Собственно, тогдашние новгородцы не могли брать на себя исторической ответственности за прежних, так как они происходили большею частью от переселенных Иваном III в Новгород жителей других русских земель; но для мучителя это обстоятельство проходило бесследно. В 1569 году Иван начал выводить из Новгорода и Пскова жителей с их семьями: из Новгорода взял сто пятьдесят, из Пскова пятьсот, Новгород и Псков были в большом страхе. В это время какой-то бродяга, родом волынец, наказанный за что-то в Новгороде, вздумал разом и отомстить новгородцам и угодить Ивану. Он написал письмо, как будто от архиепископа Пимена и многих новгородцев к Сигизмунду-Августу, спрятал это письмо в Софийской церкви за образ Богородицы, а сам убежал в Москву и донес государю, что архиепископ со множеством духовных и мирских людей отдается литовскому государю. Царь с жадностью ухватился за этот донос и тотчас отправил в Новгород искать указанных грамот. Грамоты, действительно, отыскались. Чудовищно развитое воображение Ивана и любовь к злу не допустили его до каких-нибудь сомнений в действительности этой проделки.

В декабре 1569 года предпринял Иван Васильевич поход на север. С ним были все опричники и множество детей боярских. Он шел как на войну: то была странная, сумасбродная война с прошлыми веками, дикая месть живым за давно умерших. Не только Новгород и Псков, но и Тверь была осуждена на кару, как бы в воспоминанье тех времен, когда тверские князья боролись с московскими предками Ивана. Город Клин, некогда принадлежавший Твери, должен был первый испытать царский гнев. Опричники, по царскому приказанию, ворвались в город, били и убивали кого попало. Испуганные жители, ни в чем не повинные, не понимавшие, что все это значит, разбежались куда ни попало. Затем царь пошел на Тверь. На пути все разоряли и убивали всякого встречного, кто не нравился. Подступивши к Твери, царь приказал окружить город войском со всех сторон, и сам расположился в одном из ближних монастырей. Малюта Скуратов отправился, по царскому приказу, в Отрочь-монастырь к Филиппу и собственноручно задушил его, а монахам сказал, что Филипп умер от угара. Иноки погребли его за алтарем.<sup>74</sup>

<sup>74</sup> В первый год по смерти Ивана гроб Филиппа перевезен был в Соловки, где он долго был предметом народного почитания, а в 1652 году, при царе Алексее Михайловиче, он был причислен к лику святых и открытые мощи его были поставлены в московском Успенском соборе, где они



Иван стоял под Тверью пять дней. Сначала ограбили всех духовных, начиная с епископа. Простые жители думали, что тем дело и кончится, но, через два дня, по царскому приказанию, опричники бросились в город, бегали по домам, ломали всякую домашнюю утварь, рубили ворота, двери, окна, забирали всякие домашние запасы и купеческие товары: воск, лен, кожи и пр., свозили в кучи, сжигали, а потом удалились. Жители опять начали думать, что этим дело кончится, что, истребивши их достояние, им, по крайней мере, оставят жизнь, как вдруг опричники опять врываются в город и начинают бить кого ни попало: мужчин, женщин, младенцев, иных жгут огнем, других рвут клещами, тащут и бросают тела убитых в Волгу. Сам Иван собирает пленных полочан и немцев, которые содержались в тюрьмах, частью помещены были в домах. Их тащат на берег Волги, в присутствии царя рассекают на части и бросают под лед. Из Твери уехал царь в Торжок; и там повторялось то же, что делалось в Твери. В помяннике Ивана записано убитых там православных христиан 1490 чел. Но в Торжке Иван едва избежал опасности. Там содержались в башнях пленные немцы и татары. Иван явился прежде к немцам, приказал убивать их перед своими глазами и спокойно наслаждался их муками; но, когда оттуда отправился к татарам, мурзы бросились в отчаянии на Малюту, тяжело ранили его, потом убили еще двух человек, а один татарин кинулся было на самого Ивана, но его остановили. Все татары были умерщвлены.

Из Торжка Иван шел на Вышний Волочек, Валдай, Яжелбицы. По обе стороны от дороги опричники разбегались по деревням, убивали людей и разоряли их достояние.

Еще до прибытия Ивана в Новгород приехал туда его передовой полк. По царскому повелению тотчас окружили город со всех сторон, чтоб никто не мог убежать из него. Потом нахватили духовных из новгородских и окрестных монастырей и церквей, заковали в железа и в Городище поставили на правеж; всякий день били их на правеже, требуя по 20 новгородских рублей с каждого, как бы на выкуп. Так продолжалось дней пять. Дворяне и дети боярские, принадлежащие к Опричнине, созвали в Детинец знатнейших жителей и торговцев, а также и приказных людей, заковали и отдали приставам под стражу, а дома их и имущество опечатали. Это делалось в первых числах января 1570 года.

6 января, в пятницу вечером, приехал государь в Городище с остальным войском и с 1500 московских стрельцов. На другой день дано повеление перебить дубинами до смерти всех игуменов и монахов, которые стояли на правеже, и развезти тела их на погребение, каждого в свой монастырь. 8 января, в воскресенье, царь дал знать, что приедет к Св. Софии к обедне. По давнему обычаю, архиепископ Пимен со всем собором, с крестами и иконами стал на Волховском мосту у часовни Чудного креста встречать государя. Царь шел вместе с сыном Иваном, не целовал креста из рук архиепископа и сказал так: «Ты, злочестивец, в руке держишь не крест животворящий, а вместо креста оружие; ты, со своими злыми соумышленниками, жителями сего города, хочешь этим оружием уязвить наше царское сердце; вы хотите отчину нашей царской державы Великий Новгород отдать иноплеменнику, польскому королю Жигимонту-Августу; с этих пор ты уже не назовешься пастырем и сопрестольником Св. Софии, а назовешься ты волк, хищник, губитель, изменник нашему царскому венцу и багру досадитель!» Затем, не подходя к кресту, царь приказал архиепископу служить обедню.

Иван отслушал обедню со всеми своими людьми, а из церкви пошел в столовую палату. Там был приготовлен обед для высокого гостя. Едва уселся Иван за стол и отведал пищи, как вдруг завопил. Это был условный знак (ясак): архиепископ Пимен был схвачен; опричники бросились грабить его владычную казну; дворецкий Салтыков и царский духовник Евстафий с царскими боярами овладели ризницею церкви Св. Софии, а отсюда отправились по всем монастырям и церквам забирать в пользу царя церковную казну и утварь. Царь уехал в Городище.

Вслед за тем Иван приказал привести к себе в Городище тех новгородцев, которые до его прибытия были взяты под стражу. Это были владычные бояре, новгородские дети

боярские, выборные городские и приказные люди и знатнейшие торговцы. С ними вместе привезли их жен и детей. Собравши всю эту толпу перед собою, Иван приказал своим детям боярским раздевать их и терзать «неисповедимыми», как говорит современник, муками, между прочим поджигать их каким-то изобретенным им составом, который у него назывался поджар («некоею составною мудростью огненной»), потом он велел измученных, опаленных привязывать сзади к саням, шибко везти вслед за собою в Новгород, волоча по замерзшей земле, и метать в Волхов с моста. За ними везли их жен и детей; женщинам связывали назад руки с ногами, привязывали к ним младенцев и в таком виде бросали в Волхов; по реке ездили царские слуги с баграми и топорами и добивали тех, которые всплывали. «Пять недель продолжалась неукротимая ярость царева», – говорит современник. Когда наконец царю надоела такая потеха на Волхове, он начал ездить по монастырям и приказал перед своими глазами истреблять огнем хлеб в скирдах и в зерне, рубить лошадей, коров и всякий скот. Осталось предание, что, приехавши в Антониев монастырь, царь отслушал обедню, потом вошел в трапезную и приказал побить все живое в монастыре. Расправившись таким образом с иноческими обителями, Иван начал прогулку по мирскому жительству Новгорода, приказал истреблять купеческие товары, разметывать лавки, ломать дворы и хоромы, выбивать окна, двери в домах, истреблять домашние запасы и все достояние жителей. В то же самое время царские люди ездили отрядами по окрестностям Новгорода, по селам, деревням и боярским усадьбам, разорять жилища, истреблять запасы, убивать скот и домашнюю птицу. Наконец, 13 февраля, в понедельник на второй неделе поста, созвал государь оставшихся в живых новгородцев; ожидали они своей гибели, как вдруг царь окинул их милостивым взглядом и ласково сказал: «Жители Великого Новгорода, молитесь всемилостивого, всещедрого человеколюбивого Бога о нашем благочестивом царском державстве, о детях наших и о всем христоролюбивом нашем воинстве, чтоб Господь подаровал нам свыше победу и одоление на видимых и невидимых врагов! Судит Бог изменнику моему и вашему архиепископу Пимену и его злым советникам и единомышленникам; на них, изменниках, взыщется вся пролитая кровь; и вы об этом не скорбите: живите в городе сем с благодарностью; я вам оставляю наместника князя Пронского». Самого Пимена Иван отправил в оковах в Москву. Иностранцы говорят, что он предавал его поруганию, сажал на белую кобылу и приказывал водить, окруженного скоморохами, игравшими на своих инструментах. «Тебе пляшущих медведей водить, а не сидеть владыкою», – говорил ему Иван. Несчастный Пимен был отправлен в Венев в заточение и жил там под вечным страхом смерти.

Число истребленных показывается современниками различно и, вероятно, преувеличено.<sup>75</sup> Псковской летописец говорит, что Волхов был запружен телами. В народе до сих пор осталось предание, что Иван Грозный запрудил убитыми новгородцами Волхов и с тех пор, как бы в память этого события, от обилия пролитой тогда человеческой крови, река никогда не замерзает около моста, как бы ни были велики морозы. Последствия царского погрома еще долго отзывались в Новгороде. Истребление хлебных запасов и домашнего скота произвело страшный голод и болезни не только в городе, но в окрестностях его; доходило до того, что люди поедали друг друга и вырывали мертвых из могил. Все лето 1570 года свозили кучами умерших к церкви Рождества в Поле вместе с телами утопленных, выплывавших на поверхность воды, и нищий старец Иван Жегальцо погребал их.<sup>76</sup>

До сих пор Новгород, оправившись после Ивана III, был сравнительно городом богатым; новый торговый путь чрез Белое море не убил его; англичане сами посещали его и

---

<sup>75</sup> Таубе и Крузе назначают до 15000; Курбский говорит, будто бы он в один день умертвил 15000 чел.; у Гванини показано число 2770, кроме женщин и простого народа. В Псковском летописце число казненных увеличено до 60000; в Новгородской «повести» говорится, что царь топил в день по 1000 чел., и в редкий по 500. В помяннике глухо записано 1505 чел. новгородцев, но ничто не дает повода заключить, что это была полная сумма убитых.

<sup>76</sup> Место погребения (скудельницу) и теперь легко приметить у церкви Рождества; стоит только слегка покопать палкой землю и тотчас оказывается, что она вся переполнена человеческими костями.

имели в нем, как в Пскове, Ярославле, Казани и Вологде, свое подворье. Новгород отправлял значительный отпуск воска, кож и льна. Новгородские купцы (а именно купцы из новгородских пригородов Орешка и Корелы) в большом числе ездили в Швецию. Таким образом, в Новгороде были люди с капиталами и жители пользовались благосостоянием; с этим обстоятельством, конечно, совпадает и то, что Новгород пред другими краями русскими и в этот период славился преимущественно признаками умелости: так, в предшествовавшие годы, приглашали в Москву из Новгорода каменщиков, кровельщиков, резчиков на камне и дереве, иконописцев и мастеров серебряных дел. С Иванова посещения новгородский край упал, обезлюдил: недобитые им, ограбленные, новгородцы стали нищими и осуждены были плодить нищие поколения. Из Новгорода царь отправился в Псков с намерением и этому городу припомнить его древнюю свободу. Жители были в оцепенении, исповедывались, причащались, готовились к смерти. Псковский воевода князь Юрий Токмаков велел поставить на улицах столы с хлебом-солью и всем жителям земно кланяться и показывать знаки полнейшей покорности, как будет въезжать царь. Иван подъехал к Пскову ночью и остановился в монастыре Св. Николая на Люботове. Здесь он услышал звон в псковских церквях и понял, что псковичи готовятся к смерти. Когда утром он въехал в город, его приятно поразила покорность народа, лежавшего ниц на земле, но более всего подействовал на него юродивый Никола по прозвищу Салос (что значит по-гречески юродивый). Этого рола люди, представлявшие из себя дурачков и пользовавшиеся всеобщим уважением, часто осмеливались говорить сильным людям то, на что бы не решился никто другой. Никола поднес Ивану кусок сырого мяса. «Я христианин, и не ем мяса в пост», – сказал Иван. «Ты хуже делаешь, – сказал ему Никола, – ты ешь человеческое мясо». По другим известиям, юродивый предрекал ему беду, если он начнет свирепствовать во Пскове, и вслед за тем у Ивана издох его любимый конь. Это так подействовало на царя, что он никого не казнил, но все-таки ограбил церковную казну и частные имущества жителей.

По возвращении Ивана в Москву заключено было, наконец, перемирие с Литвою литовскими послами. Срок перемирия назначен был три года, и в продолжение этого времени предполагали заключить окончательный мир. Один из находившихся в этом посольстве<sup>77</sup> описывает выходки московского царя, подтверждающие наше убеждение, что он был тогда не в полном уме. Так, например, когда послы шли к нему на аудиенцию, государь стоял у окна с жезлом в руках, окруженный стрельцами, и громко закричал: «Поляки, поляки, если не заключите со мною мира, прикажу всех вас изрубить в куски». Взявши у одного из литовской свиты соболью шапку, он надел ее на своего шута, приказывал ему кланяться по-польски, приказал изрубить приведенных ему в подарок лошадей. Послы были свидетелями, как он возвращался в Москву из своего новгородского похода: он сидел на коне с луком за спиною, а к шее коня была привязана собачья голова; возле него ехал шут на быке. Как бы желая опохмелиться от новгородской крови, он, во время пребывания послов, топил татарских пленников.

После новгородской бойни Ивану взбрело на ум, что в Москве были соучастники новгородской измены. Он начал розыск. Уже, как мы сказали, он ненавидел Вяземского и Басмановых. Первый был перед тем до того любим царем, что Иван иногда ночью, вставши с постели, приходил к нему побеседовать, а когда царь бывал болен, то от него только принимал лекарство. Когда царь изменился к нему, человек, благодетельствованный Вяземским и порученный им царской милости, некто Федор Ловчиков, донес на своего благодетеля, будто он предупредил архиепископа Пимена о грозившей Новгороду опасности от царя. Иван призвал к себе Вяземского, говорил с ним очень ласково, а в это время по его приказанию были перебиты домашние слуги Вяземского. Вяземский ничего не знал, воротившись домой, увидел трупы своих служителей и не показал вида, чтоб это производило на него дурное впечатление. Вслед за тем его схватили, засадили в тюрьму, убили нескольких его родственников, а его самого подвергли пытке, допрашивая, где у него

---

<sup>77</sup> Английский приор, итальянец Джерио.

сокровища.

Вяземский отдал все, что награл и нажил во времена своего благополучия, кроме того, показал на многих богатых людей, что они ему должны. Последние были ограблены царем. Вяземский умер в тюрьме, в невыносимых муках. Другой любимец, Иван Басманов, вместе с сыном также подверглись обвинению. Иван приказал сыну убить своего отца. К сыскному делу привлечено было множество лиц и в том числе знатные государственные люди, думный дьяк Висковатый, казначей Фуников, князь Петр Оболенский-Серебряный, Воронцов и другие.

25 июля на Красной площади поставлено было 18 виселиц и разложены разные орудия казни: печи, сковороды, острые железные когти («кошки»), клещи, иглы, веревки для перетирания тела пополам, котлы с кипящей водой, кнуты и пр. Народ, увидевши все эти приготовления, пришел в ужас и бросился в беспамьятстве бежать куда попало. Купцы побросали в отворенных лавках товар и деньги. Выехал царь с опричниками, за ними вели 300 человек осужденных на казнь в ужасающем виде от следов пытки; они едва держались на ногах. Площадь была совершенно пуста, как будто все вымерло. Царю не понравилось это; царь разослал гонцов по всем улицам и велел кричать: «Идите без страха, никому ничего не будет, царь обещает всем милость». Москвичи стали выползать, кто с чердака, кто из погреба, и сходиться на площадь. «Праведно ли я караю лютыми муками изменников? Отвечайте!» – закричал Иван народу. «Будь здоров и благополучен! – закричал народ. – Преступникам и злодеям достойная казнь!» Тогда царь велел отобрать 180 человек и объявил, что дарует им жизнь по своей великой милости. Остальных всех казнили мучительными казнями. Изобретательность царя была так велика, что почти каждому была особая казнь; так, например, Висковатого повесили вверх ногами и рассекали на части, Фуникова обливали попеременно то кипящею, то ледяною водой и т.п. На другой же день после казни потоплены были жены казненных<sup>78</sup>, и некоторые перед тем подвергались изнасилованию и поруганию. Тела казненных лежали несколько дней на площади, терзаемые собаками.

Безумное бешенство, овладевшее Иваном, в это время доводило его до того, что, как говорят иностранцы, он для забавы пускал медведей в народ, собравшийся на льду. Сказание это вероятно, так как нам известно, что Иван прибегал к такому способу мучений.<sup>79</sup>

Русская земля, страдая от мучительства царя Ивана, терпела в то же время и от других причин: несколько лет сряду были неурожаи, свирепствовали заразительные болезни, повсюду была нищета, смертность, всеобщее уныние («туга и скорь в людях велия»). Ливонская война истощала силы и труд русского народа. Посошные люди, сгоняемые в Ливонию, погибали там от голода и мороза. Их высылали из далеких замосковских краев с запасами, заставляли тянуть байдаки и лодки, а средств к содержанию не давали. Они бросали работу, разбегались по лесам и погибали. Толпы русских были насильно переселяемы в ливонские города на жительство, заменяя переведенных в Московское государство немцев, и пропадали на новоселье от недостатка средств или от немецкого оружия. Народ русский проклинал ливонскую войну, и современник летописец замечает по этому поводу, что через нее чужие города наполнялись русскими людьми, а свои пустыли. К довершению всех бедствий, недоставало давнего бича русского народа – татарского нашествия; и это суждено было испытать русскому народу.

Не послушавшись своих советников и Вишневецкого, Иван пропустил удобный случай покончить с Крымом, но раздражил Девлет-Гирея. Крымский хан с тех пор постоянно злобствовал против Москвы и дожидался случая отомстить ей за прежнее самым чувствительным образом. Несколько лет он уговаривал турецкого падишаха Солимана Великолепного нагрянуть на Москву с турецкими и татарскими силами, отнять Казань и Астрахань. Солиман был слишком занят другими делами, но сын его Селим в 1569 году послал вместе с крымцами турецкое войско для завоевания Астрахани. Этот поход был веден

<sup>78</sup> Число их, по словам Гванини, доходило до восьмидесяти.

<sup>79</sup> Над архиепископом Леонидом, как мы увидим позже.

до того нелепо, что не мог иметь успеха. Турки доходили до Астрахани, но по недостатку припасов, при безлاديце, господствовавшей между ними и татарами, чуть все не погибли. Девлет-Гирей после этого хотел во что бы то ни стало поправить неудачу успехом другого рода и нашел, что лучше всего последовать примеру предков и напасть прямо на Москву. Разбойник Кудеяр Тишенков да несколько детей боярских, вероятно, его шайки (в числе их были природные татары), сообщили хану о плачевном состоянии русской земли, о варварствах Ивана, о всеобщем унынии русского народа, указывали ему, что наступает самое удобное время напасть на Москву. Тогда как силы Руси истощались, Орда, бывшая прежде в расстройстве, поправилась. Девлет-Гирей с необыкновенной скоростью собрал до ста двадцати тысяч крымцев и нагаев и весной 1571 года бросился в середину Московского государства. Земские воеводы не успели загородить ему путь через Оку. Хан обошел их, направился к Серпухову, где был в то время царь с опричниками.

Иван Васильевич бежал и предал столицу на произвол судьбы, как в подобных случаях поступали и все предшественники Ивана, прежние московские государи.

Земские воеводы (князя Бельский, Мстиславский и другие) приготовились было отстаивать столицу. Но татары успели пустить огонь в слободы; пожар распространился с изумительной быстротой по сухим деревянным строениям; в какие-нибудь три-четыре часа вся Москва сгорела. Уцелел один Кремль, куда не пускали народ, – там сидел митрополит Кирилл с царскою казною. Тогда в Москве погибло такое множество людей, что современники в своих известиях преувеличивали число погибших до 80000. Трудно было бежать из обширного города, куда, кроме жителей, набилось много народа из окрестностей; тех захватил пламень, другие задохлись от дыма и жара. В числе последних был главный воевода, князь Иван Бельский. Огромные толпы народа бросились в ворота, находившиеся в той стороне, которая была удалена от неприятеля; толпа напирала на толпу, передние попадали, задние пошли по ним, за ними другие повалили их, и таким образом многие тысячи были задавлены и задушены. Москва-река была запружена телами. «В два месяца, – говорил англичанин очевидец, – едва можно будет убрать кучи людских и конских трупов». Татары не могли ничего награть; все имущество жителей Москвы сгорело. Хан не стал осаждать Кремль, отступил и послал Ивану Васильевичу письмо в таком тоне:

«Жгу и пустошу все за Казань и за Астрахань. Будешь помнить. Я богатство сего света применяю к праху, надеюсь на величество Божье, на милость для веры Ислама. Пришел я на твои земли с войсками, все пожег, людей побил; пришла весть, что ты в Серпухове, я пошел на Серпухов, а ты из Серпухова убежал; я думал, что ты в своем государстве, в Москве, и пошел туда; ты и оттуда убежал. Я в Москве посады сжег и город сжег и опустошил, много людей саблей побил, а других в полон взял, все хотел венца твоего и головы; а ты не пришел и не стал против меня. А еще хвалишься, что ты московский государь! Когда бы у тебя был стыд и способность (дородство), ты бы против нас стоял! Отдай же мне Казань и Астрахань, а не дашь, так я в государстве твоём дороги видел и узнал: и опять меня в готовности увидишь».

Иван Васильевич был унижен, поражен, но, сообразно своему характеру, столько же падал духом, когда постигало его бедствие, сколько чванился в счастье. Иван послал к хану гонца с челобитьем, предлагал деньги, писал, что готов отдать ему Астрахань, только просил отсрочки; он хотел как-нибудь хитростью и проволочкой времени оттянуть обещаемую уступку земель. Это ему и удалось. Ни Казани, ни Астрахани не пришлось отдать; на следующий год хан, понявши, что Иван Васильевич волочит дело, опять пошел на Москву, но был отбит на берегу Лопасни князем Михаилом Воротынским. Эта победа не могла, однако, загладить бедствия, нанесенные в 1571 году. Русская земля потеряла огромную часть своего народонаселения, а столица помнила посещение Девлет-Гирея так долго, что даже в XVII веке, после новых бедствий смутного времени, это событие не стерлось из памяти потомства. Иван, всегда подозрительный, боязливый, всегда страшившийся то заговоров, то измен и восстаний, теперь более чем когда-нибудь вправе был ожидать вспышки народного негодования: оно могло прорваться, подобно тому, как это сделалось некогда после

московского пожара. Иван Васильевич, вероятно, из желания оградить себя на случай, подставить других вместо себя в жертву народной злобы, взял с воеводы, начальствовавшего земским войском, князя Мстиславского (второго после Бельского, лишившегося жизни при московском пожаре во время нашествия хана) запись в том, что он и воеводы, его товарищи, изменнически сносились с ханом и подвели последнего на разорение русской земли и ее столицы. Давши на себя такую странную запись, Мстиславский и его товарищи остались не только целы и невредимы, но потом начальствовали войсками. Нелепость этого обвинения видна сама собой, но царь после того мог уже без удержу объявлять даже иноземцам, что русские бояре, изменники, навели на него крымцев.

Бедствие, постигшее тогда Москву, повело, однако, к принятию на будущее время лучших мер безопасности. С этих пор в южных пределах государства образовалась сторожевая и станичная служба: из детей боярских, казаков, стрельцов, а частью из охотников, посадских людей выбирались сторожи и станичники; первые, товариществами, попеременно держали сторожу на известных местах; вторые, также товариществами, ездили от города до города, от сторожи к стороже. Тогда на юге возникали новые города; так появились Венев, Епифань, Чернь, Данков, Ряжск, Волхов, Орел. Города эти были сначала небольшие острожки, с деревянными стенами и с башнями, окруженные рвами. Они мало-помалу привлекали к себе население людей смелых и отважных. Туда стекались так называемые гулящие и вольные люди, то есть незаписанные в тягло и не обязанные нести повинностей: то были молодые сыновья и племянники людей всякого звания, и служилых, и посадских, и крестьян.

Но Иван, оставивши живыми тех, которых принудил сознаться в небывалом преступлении, все-таки тогда же нашел себе повод мучить и убивать других людей. В это время он задумал жениться в третий раз и из собранных двух тысяч девиц выбрал себе в жены Марфу Васильевну Собакину. Прежде чем совершен был брак, царская невеста занемогла: тотчас явилось подозрение в отравлении, в порче. Подозрение это прежде всего пало на родственников прежних цариц, так как с новой супругой царя обыкновенно возвышались и новые люди, ее родные, а родственники прежних царских супруг должны были терять свое близкое к царю положение. Иван Васильевич посадил на кол брата предшествовавшей жены своей Марии, Михайла Темрюковича, одного из кровожадных исполнителей царских приговоров; умерщвлен был и другой любимец Григорий Грязной; казнено было несколько знаменитых лиц. Царь женился на своей больной невесте, но Марфа умерла через несколько дней после брака. Царь вопил, что ее извели лихие люди. На другой день Иван Васильевич собрал духовенство на собор и принудил его составить странную грамоту – грамоту, разрешающую царю вступить в четвертый брак, издавна запрещенный церковными уставами, но с тем, однако, чтобы никто из подданных не осмелился поступать по примеру царя. Митрополит Кирилл тогда умер; на соборе председательствовал преемник Пимена новгородский архиепископ Леонид, трус, корыстолюбец, низкопоклонный льстец. Никто не осмелился поднять голоса за непоколебимость церковных постановлений; задумали только для вида устроить сделку с церковью. Собор дозволял царю противозаконный брак, но налагал на него эпитимию, да и ту отчасти брали на себя духовные, разрешая от нее царя на время военных походов. Царь женился в четвертый раз на Анне Алексеевне Колтовской. Через год она ему надоела; царь постриг ее под именем Дарьи. С тех пор царь, ободренный разрешением собора на четвертый брак, разрешал себе сам несколько супружеств одно за другим. По известию одного старого сказания, в ноябре 1573 года Иван Васильевич женился на Марье Долгорукой, а на другой день, подозревая, что она до брака любила кого-то иного, приказал ее посадить в колымагу, запречь диких лошадей и пустить на пруд, в котором несчастная и погибла. «Этот пруд, – замечает современник англичанин Горсей, – был настоящая геенна, юдоль смерти, подобная той, в которой приносились человеческие жертвы; много жертв было потоплено в этом пруду; рыбы в нем питались в изобилии человеческим мясом и оказывались отменно вкусными и пригодными для царского стола». В память события с Долгорукой царь велел провести черные полосы на

позолоченном куполе церкви в Александровской Слободе. Вслед за тем царь женился на Анне Васильчиковой; она не долго прожила с ним; конец ее неизвестен; царь после нее женился на Василисе Мелентьевой, которая также скоро исчезла.

Между тем в управлении государства явилось еще новое сумасбродство. Вместо того, чтобы, как прежде, оставлять Земщину в управление боярам, Иван поверил ее крещеному татарскому царю Симеону Бекбулатовичу, и нарек его великим князем всея Руси; это произошло в 1574 году. Нам неизвестен ближайший повод к этому событию, но, верно, оно связано с другим событием: царь на кремлевской площади казнил многих бояр, чудовского архимандрита и благовещенского протопопа – своих прежних любимцев; вслед за тем он создал из пленного татарина призрачного русского государя. Писались грамоты от имени великого князя всея Руси Симеона. Сам Иван титуловал себя только московским князем и наравне с подданными писал Симеону челобитные с общепринятыми унижительными формами, например: «Государю, великому князю Симеону Бекбулатовичу Иванец Васильев со своими детишками с Иванцем, да с Федорцем челом бьет. Государь, смилуйся пожалуй!» Через два года Иван низложил этого великого князя всея Руси и сослал в Тверь.

В эти годы в Польше и Литве совершались события чрезвычайной важности по своим последствиям. В июле 1572 года скончался король Сигизмунд-Август, и с ним прекратилась мужская линия Ягеллонов. Незадолго до своей смерти, в 1569 году этот король с большим трудом устроил вечное соединение Великого княжества Литовского с Польским королевством в одно федеративное государство. Много было препятствий, которые приходилось преодолеть, много их еще оставалось для того, чтобы это дело вполне окрепло. Литовско-русские паны, еще в то время сохранявшие и православную веру и русский язык (хотя уже начинавший значительно видоизменяться от влияния польского), боялись за свою народность, как равно и за свои владетельские права; они хотя согласились на соединение, но все еще не доверяли полякам и хотели держаться особо. В самом акте соединения Великому княжеству Литовскому оставлялось устройство вполне самобытного государства и даже особое войско. Правда, всякое упорство литовско-русского высшего сословия в охранении своей веры и народности, по неизбежному стечению обстоятельств, никак не могло быть продолжительным, так как превосходство польской цивилизации перед русской неизбежно должно было тянуть к себе русско-литовский высший класс и смешать его с польским, что и сделалось впоследствии. Но во времена Ивана стремление к удержанию своей особенности было еще сильно. Предстояло выбрать нового государя. Русско-литовские паны находили выгодным для своих стремлений избрать государя из московского дома, преемником последнему из дома Ягеллонов. С этим соединялись и другие виды: кроме православных, естественно желавших иметь государя своей веры, и Польше было много протестантов, которые боялись посадить католика на престол. Люди с широким политическим взглядом видели, что избрание короля из московского дома повлекло бы впоследствии к такому же сближению, а впоследствии и к такому соединению Московской Руси с Польшей, какое последовало уже с литовской Русью, вследствие воцарения династии Ягеллонов. Наконец, паны были падки на деньги и подарки, а московского государя считали богачом. Иван Васильевич сам очень желал этого, но, как увидим, не сумел достигнуть цели своих желаний и воспользоваться обстоятельствами.

Вскоре после смерти Сигизмунда-Августа, Федор Зенкевич-Воропай приехал в Москву и объявил, что польско-литовская рада (совет) желает иметь королем сына Иванова Федора. Это Ивану не понравилось: ему хотелось, чтобы избрали не сына, а его самого. «Если бы вы, – сказал послу московский государь, – избрали меня своим государем, то увидели бы, какой добрый государь и защитник был бы у вас. Не зазнавались бы уже поганые! Да что я говорю, поганые? Ни Рим, ни другое какое-нибудь королевство не могло бы ничего сделать против нас, если бы ваши земли стали с нашими заодно. Я знаю, что у вас говорят, будто я злой и запальчивый человек; правда, я гневлив и зол, не хвалю себя за это. Но спросите, на кого я зол? На того, кто против меня зол. На злых и я злой, а кто добрый, тому я не пожалею снять цепь и одежду с себя». Тут стоявший близ царя Малюта Скуратов сказал:

«Благочестивый царь, преславный государь, казна твоя не убога: найдешь, чем кого жаловать!» Иван продолжал: «Литовские и польские паны знают, как богаты были мои предки, а я вдвое их богаче. Неудивительно, что ваши государства милуют своих людей; ведь и ваши люди любят своих государей! А мои люди подвели на меня крымского хана и татар: их было 40000, а у меня только 6000. Ну равные ли силы, сами посудите! Я ничего не знал; вперед отправил шесть воевод с большими полками, а они мне не дали знать о крымцах; положим, трудно было им справиться с большими неприятельскими силами: пусть бы несколько тысяч людей потеряли, да мне принесли хотя бы одну плеть татарскую; я бы им и за то спасибо сказал! Я и тут ни на волос не испугался татар, а только увидел, что мои люди мне изменяют и предают меня, и потому немного свернул в сторону от татар. Тем временем татары напали на Москву: если бы в Москве была только тысяча человек для обороны, и тогда бы Москву отстояли; а то когда большие не хотели обороняться, то куда уж было обороняться меньшим? И что же? Москву сожгли, а меня об этом даже не оповестили! Видишь, какие изменники мои люди! После этого, если кто и казнен, то за свою вину. А у вас разве милуют изменников? Верно знаю, что их казнят. Скажи же панам польским и литовским, чтобы они, посоветовавшись, поскорее послали ко мне послов. Если Бог даст, я буду вашим государем, то обещаюсь перед Богом не только в целости сохранять ваши права и вольности, но еще умножу их. Не стану много говорить о своей доброте и злости. Если Бог даст, пусть литовские и польские паны пошлют своих сыновей на службу ко мне и детям моим. Тогда узнают, каков я – злой государь или добрый и милосердый? А что изменники мои говорят обо мне, то это у них уж такой обычай, чтобы говорить дурно о своих государях. Почти его, одари как только возможно, а он все-таки не перестанет говорить про тебя дурное!»

Царь просил только, чтобы ему уступили Ливонию по Двину, и за то соглашался отдать назад Полоцк со всей его областью. «Если бы только паны захотели меня избрать своим государем, тогда и Ливония, и Новгород, и Псков, и Москва – все будет едино». Он отклонял намерение избрать в короли своего сына: «У меня, – говорил он, – их два, как два глаза в голове. Если мне отдать вам одного из них в короли – это все равно, что из человека сердце вырвать».

Предложение московского царя не понравилось многим панам, особенно польским. Те, которые готовы были избрать царевича Феодора, совсем неохотно мирились с мыслью избрать в короли свободного народа государя, который так ославился своим тиранством. Горячих католиков соблазняло и то, что царь исповедует греческую веру, хотя, впрочем, в этом отношении многие ласкали себя надеждой, что царь соединит греческую веру с латинской. Прошло шесть месяцев. В Польше не остановились ни на каком выборе. Литовско-русские паны начали уже отчасти склоняться к выбору отдельного государя от Польши и хотели его искать непременно в единой Москве. Папский легат и вся католическая партия видели с этой стороны большую опасность. Но московский царь, так сказать, и пальцем не шевельнул в пользу дела, которого исполнения он прежде так добивался. Литовско-русские паны в феврале 1573 года отправили в Москву из своей среды пана Михаила Гарабурду изъяснить царю желание выбрать по воле самого Ивана или его, или его сына, но с тем, чтобы царь уступил Литве Смоленск, Полоцк, Усвят и Озерище, а если он отпустит в короли сына, то пусть даст ему несколько волостей. Иван говорил ни то, ни се, явно колебался, хотя не считал невозможным отпустить сына, но замечал, что он «не девка», чтобы давать за ним приданое, и прибавлял, по-прежнему, что лучше бы было, если б не сына, а его самого выбрали в короли. Гарабурда, видя, что Ивану самому хочется быть королем, сказал ему, что паны и все шляхетство склонны к тому, чтобы выбрать его на престол Великого княжества Литовского, но пусть он покажет средства, как сделать это, Иван требовал Ливонии, отдавал Полоцк, просил Киева, говоря при этом, что он добивается его только ради имени; хотел, чтоб в титуле Москва стояла выше Польши и Литвы, чтобы венчал его на королевство православный митрополит, и в то же время делал странные замечания, противоречившие одно другому: он изъяснял подозрение, что поляки и литовцы



для того-то и хотят взять у него сына, чтобы выдать турецкому государю; что он сам в старости пойдет в монастырь, и тогда паны польские и литовские должны будут выбрать одного из его сыновей; что лучше было бы, если бы само Великое княжество Литовское без Польши избрало его, а еще лучше было бы, если б поляки и литовцы выбрали себе в короли австрийского принца Эрнеста, Максимилианова сына. Все это перепутывалось в речи Ивана несвязным образом. В заключение Иван требовал, чтобы не выбирали французского принца, грозя в таком случае войной.

Понятно, что такой способ поведения не мог умножить в Польше и Литве число сторонников Ивана. Между тем хитрый и ловкий французский посол Монлюк красноречием и подарками составил в пользу французского принца сильную партию в Польше. Случилось то, чего особенно не хотел московский государь: избран был французский принц Генрих д'Анжу.

Недолго пришлось быть этому государю в Польше. Не зная ни по-польски, ни по-латыни и плохо объясняясь по-итальянски, этот государь неспособен был к управлению и играл самую жалкую роль. Польские нравы были ему не под стать. Проскучал он со своими французами около четырех месяцев в Польше и услышавши, что бездетный брат его Карл IX умер, Генрих 18 июня 1574 года убежал тайно из Кракова во Францию, где и получил французский престол. Теперь в Польше и Литве, по поводу выбора другого короля, снова складывалась партия в пользу московского дома. Главой ее был человек очень сильный, примас королевства, гнездинский архиепископ Яков Уханский. Он сносился с царем и научал его, как следует расположить обещаниями и дарами знатнейших панов. Но Иван действовал очень лениво, а в это время император Максимилиан прислал к нему посольство с просьбой ходатайствовать в Польше, чтобы в короли был выбран эрцгерцог Эрнест. Иван думал было сначала устроить так, чтобы в Польше был выбран Эрнест, а в Литве он. Но такой план не нашел сочувствия в большинстве панов Литвы, не говоря уже о польских панах; план этот не был по сердцу и самому австрийскому дому; и там было желание владеть совокупно Польшей и Литвой; притом же Иван, намекая на такое разделение, противоречил себе, говоря, что он будет доволен, если Эрнест будет вместе королем польским и литовским. Такое колебание было причиной, что партия, желавшая избрания короля из московского дома, совершенно исчезла. Одни паны хотели Эрнеста, другие – седмиградского князя Стефана Батория. Большинство осталось за последним. В апреле 1576 года избранный Стефан Баторий прибыл в Краков и получил польскую корону на условиях, явно враждебных Московскому государству – отнять все, что в последнее время было захвачено царем. Таким образом, вместо желанного соединения и мира, Ивану Васильевичу со стороны Польши и Литвы угрожала упорная решительная война, тем более опасная, что теперь в соседней стране власть сосредоточивалась не в руках вялого и слабого телом и душой Сигизмунда-Августа, а в руках воинственного, деятельного и умного Стефана Батория.

По восшествии своем на престол, новый король отправил посольство в Москву. Иван Васильевич рассердился за то, что Баторий называл сам себя ливонским государем и не давал московскому государю ни царского титула, ни титула смоленского и полоцкого князя. Мало этого, Иван поставил себе в оскорбление и то, что польский король назвал царя своим братом. Иван заметил, что Стефан Баторий ничуть не выше каких-нибудь князей Острожских, Бельских и Мстиславских.

Гордый вызов был этим сделан со стороны московского государя. Мечь была уже решена в уме Батория; он отложил ее только до укрощения внутренних беспорядков в польских владениях.

Иван тем временем поспешил покончить с Ливонией. Уже несколько лет дело покорения этой страны шло очень вяло. Еще в 1570 году, вскоре после бойни в Новгороде, по призыву Ивана, приехал в Москву владетель острова Эзеля, Магнус, брат датского короля. Иван женил его на своей племяннице Марье Владимировне, дочери убитого им Владимира Андреевича, и назвал Магнуса королем ливонским, с тем, чтобы Магнус со своим королевством оставался под верховной властью московского государя. Сначала Иван

Васильевич покушался было отнять для него у шведов Эстонию. Покушение не удалось.

В 1577 году приступил Иван Васильевич к решительным действиям в Ливонии. Так как эта страна отдалась частью шведам, частью полякам, то московский государь снова вооружал против себя разом и тех, и других. Начали с Ревеля, принадлежавшего Швеции. Русские, под начальством князя Федора Мстиславского и Ивана Васильевича Шереметева Меньшого, зимой, в продолжение шести недель пытались овладеть этим городом – и не успели. Не только шведы и немцы, но чухны дрались против русских. Крестьянское население, терпевшее утеснения от немецких баронов, было прежде расположено признать власть Москвы, но свирепость, с какою по приказанию царя русские обращались вообще с жителями Ливонии без различия их происхождения, до того раздражила чухон, что они составили большое ополчение под начальством Ива Шенкенберга, прозванного Аннибалом за свою храбрость, и отличались против русских бесчеловечной жестокостью: не было пощады ни одному русскому, попавшемуся им в плен. Русские, не взявши Ревеля и потерявши под этим городом своего воеводу Шереметева, вышли из Ливонии. Вслед за тем, весной, сам Иван вступил в Ливонию с таким огромным войском, какого еще не посылал на эту землю. Царь направился не в шведскую, а в польскую Ливонию. Успех был чрезвычайный. Город за городом сдавались. Одни города взял сам царь, другие – Магнус: в числе взятых последним были: Кокенгузен, Венден и Вольмар. Тогда Магнус, которого Иван хотя и величал королем, но держал в черном теле, не давая ему ни в чем воли, написал царю из Вендена письмо, и в письме заметил, что пора уже отдать ему королевство его во владение. Царь отвечал Магнусу со злой насмешкой: «Не хочешь ли в Казань, а не то – ступай себе за море!» Вслед за тем он приказал призвать к себе Магнуса из Вендена, обвинил его в измене, в сношениях с курляндским герцогом и с поляками, обругал его и посадил под стражу. Преданные Магнусу немцы, услышавши, что сделалось с их королем, заперлись в венденском замке, страшась свирепства московских людей; они начали было стрелять в них, за это царь приказал взять замок приступом и осудил на избиение всех жителей Вендена. Все, сидевшие в замке, не видали возможности устоять против русских и сами взорвали себя на воздух. Жители города Вендена подверглись жестоким мукам и смерти, ратные люди, по царскому приказанию, изнасиловали всех женщин и девиц.

Взявши, между прочим, город Вольмар, Иван вспомнил Курбского, бежавшего в этот город, написал ему письмо, в котором величался своими успехами; вместе с тем чванился своим смирением, называл себя блудником и мучителем и советовал Курбскому покаяться. С торжеством воротился царь в Александровскую Слободу, простил Магнуса, но обложил его на будущее время данью, и не думал о том, какие последствия может иметь то обстоятельство, что он раздражил польского короля своим нашествием на польскую Ливонию.

Царь опять принялся за казни – свое любимое занятие. Еще перед отъездом в Ливонию он пригласил к себе новгородского архиепископа Леонида, человека корыстолюбивого, возбудившего против себя ненависть в своей епархии, приказал зашить его в медвежью шкуру и затравить собаками. Идя в Ливонию или возвращаясь оттуда, Иван Васильевич заехал в Псково-Печерский монастырь: тамошний игумен Корнилий встретил его; Ивану бросились в глаза сильные укрепления монастыря, сооруженные за свой счет Корнилием, происходившим из боярского рода. Ивану это показалось подозрительно; вспомнилось бывшее, закипело сердце, и он убил Корнилия жезлом своим – «предпослал его царь земной царю небесному», как гласит надгробная надпись над Корнилием. Прибывши в Слободу, царь разделялся с боярами. Холоп князя Михаила Воротынского обвинил своего господина в чародействе. Иван давно уже ненавидел этого боярина. Его недавние успехи над татарами только увеличивали подозрительность Ивана. Царь приказал его подвергнуть пытке огнем в своем присутствии, сам, как рассказывают, подгрел жезлом своим уголья под его тело, а потом отправил измученного Воротынского в ссылку на Белоозеро. Воротынский умер в пути. Тогда же казнены были князь Никита Романович Одоевский, Петр Куракин, боярин Иван Бутурлин, несколько окольных и других лиц: в числе их были

дядя и брат одной из бывших цариц, Марфы, Собакины. В это же время замучен был любимец Ивана, князь Борис Тулупов: его посадили на кол и перед глазами его с варварским бесстыдством истязали старую мать его. Несколько позже замучен был любимец Ивана, врач Елисей Бомелий. Очевидец англичанин рассказывает, что ему выворотили из суставов руки, вывихнули ноги, изрезали спину проволочными плетями, потом в этом виде привязали к деревянному столбу и поджаривали, наконец, еле живого посадили на сани, повезли через Кремль и бросили в тюрьму, где он тотчас умер.

Ливонский поход не мог остаться без отомщения со стороны Батория, давшего при своем восшествии на польский престол обещание возвратить Польше то, что еще прежде было в руках московского царя. Баторий отправил к царю посольство с требованием возвратить отнятые ливонские города. На это отвечали в Москве, что царь не только требует Ливонию и Курляндию, но еще Киев, Витебск, Канев и другие города. Послам объявили, что бывший дом Ягеллонов происходил от полоцких князей Рогволодовичей и на этом основании московский государь, как родич последних, считает Великое княжество Литовское и королевство Польское своим наследием. Царь не хотел называть Батория братом, а называл его только соседом и приказывал через своих бояр перед польскими послами говорить разные оскорбительные речи его именем. «Ваш король Стефан не равня нам и братом быть не может. Мало кого выберете вы себе в короли! Носились слухи, что вы хотите посадить себе на королевство Яна Костку или Николая Радзивилла. Что ж, по вашему избранию разве и этих считать нам братьями? Ваш король недостойн такого великого сана; можно бы и хуже что-нибудь сказать про него, да не хотим для христианства».

После такого приема война была решена. Вести ее Баторию было нелегко; поляки и литовцы вовсе не отличались воинственным духом и не давали королю денег. Баторий, при помощи канцлера и гетмана Яна Замойского, преодолел большие трудности, употребил на военные издержки собственные деньги, пригласил опытную пехоту венгерскую и немецкую, снарядил исправную артиллерию. К счастью Польши, Швеция также взялась за оружие против Ивана. Первое столкновение произошло в Ливонии. Магнус, которому Иван, простивши его, дал Оберпален, переданся Баторию. Русские воеводы по царскому приказу двинулись на Венден, но были окружены и разбиты наголову соединенными польскими и шведскими войсками. Главные предводители пали в битве<sup>80</sup>; другие попались в плен; иные бежали. Царь Иван тем временем с большим войском выступил в Новгород и вдруг услышал, что его войска разбиты и Баторий подступает к Полоцку. 29 августа 1579 года венгерская пехота зажгла стены Полоцка. Один из бывших там русских воевод Петр Волынский со стрельцами послал сказать Баторию, что они сдаются. Другие воеводы, и с ними полоцкий владыка Киприан, не соглашались и хотели взорвать себя на воздух, но их не допустили до этого, вытащили из церкви Св. Софии и привели к королю. Многие перешли тогда на службу Баторию; другие были отпущены в отечество и ворочались с полной уверенностью, что царь казнит их. Вслед за Полоцком был взят приступом город Сокол; воевода Федор Шереметев был взят в плен, другой воевода, Борис Шеин, убит. Кровавое пролитие было сильное, русские бросали оружие, молили о пощаде, но их кололи и били. В то же время князь Константин Острожский забирал города в Северной области, а Кмита опустошил Смоленскую область. Баторий давал своим военачальникам строгое приказание не позволять мучить мирных жителей, не истреблять их полей, объявлял в своем манифесте, что воюет с московским царем, а не с народом. К довершению несчастий для русских, шведы захватили Корелию и Ижорскую землю.

Царь находился с войском во Пскове и услышал там о новом поражении своих войск. Все его высокомерие исчезло. Он пришел в ужас и ушел в Москву. На этот раз он не казнил беглецов; он боялся восстания народного и приказал в Москве дьяку Щелкалову успокаивать народ. Назло ему и к большей его досаде Курбский прислал ему тогда язвительное письмо: противопоставлял прежнюю славу своего отечества с настоящим посрамлением: «Вместо

---

<sup>80</sup> Князь Василий Сицкий, окольный Василий Воронцов и др.

храбрых и опытных мужей, избитых и разогнанных тобою, ты посылаешь войско с каликами, воеводишками твоими, и они, словно овцы или зайцы, боятся шума листьев, колеблемых ветром; вот ты потерял Полоцк с епископом, клиросом, войском, народом, а сам, собравшись с военными силами, прячешься за лес, хороняка ты и бегун! Еще никто не гонится за тобой, а ты уже трепещешь и исчезаешь. Видно, совесть твоя вопиет внутри тебя, обличая за гнусные дела и бесчисленные кровопролития!»

В январе 1583 года царь созвал собор из всех главнейших церковных сановников, представил им, что неверные соседние государи – литовский, турецкий, крымский, шведский, нагаи, поляки, угры, ливонские немцы, как дикие звери, распалившись гордостью, хотят истребить православие, а между тем множество сел, земельных угодий находятся у епископий и монастырей, служат только для пьянственного и непотребного жития монахов; иные остаются в крайнем запустении, а через это служилое военное звание терпит недостаток. Собор не смел противоречить, постановлено было, чтобы вперед епископии и монастыри не принимали вотчин по душам, не брали их в залог, а равным образом не продавали вотчин и не давали на выкуп тех из них, которые уже за ними утверждены крепостями. Это уже было не первое распоряжение в таком роде, и замечательно, что сам царь, делая постановления об ограничении прав епископий и монастырей приобретать вотчины, сам нарушал свои постановления и давал то тому, то другому монастырю грамоты на вотчины. Главное, чего добивался Иван, было намерение попользоваться временно за счет церкви. Таким образом, постановлением того же собора царю предоставлялось забрать на себя все княжеские вотчины, какие прежде были отданы или проданы церковному ведомству, также и все заложенные земли, а денежное вознаграждение за них предоставлялось милости государя. Наконец, приговорено было в виде проекта составить подробный инвентарь доходов епископов и монастырей и оставить им по равной части, сообразно их сану, т.е. одинаковую часть всем архиепископам и одинаковую всем епископам, а также всем монахам и монахиням оставить поровну, столько, чтобы они имели достаточное одевание и пропитание и ни в чем не терпели скудости, а все излишнее брать на устройство войска. Но для этого нужно было время. Современник англичанин говорит, что после этого собора, кроме многих недвижимых имений, которые по соборному постановлению переходили на государя, царь взял с духовенства огромную сумму на военные издержки.<sup>81</sup>

Такими мерами доискивался Иван Васильевич средств для ведения войны, а между тем отправил к Баторию посольство, но уже не приказывал своим послам каких-нибудь оскорбительных выходов, напротив, велел им не обращать внимания, если король не спросит о царском здоровье и не встанет с места, когда они будут отдавать ему поклон от московского государя. В другое время по общепринятым обычаям это было бы сочтено большим оскорблением. Мало того: если послов станут бесчестить и бранить, то им следовало на это жаловаться приставу слегка, а не говорить «прытко». Унижение не помогло. Баторий обращался с послами гордо и готовился снова идти на Ивана. Поляки, как и прежде, не давали своему королю денег, даже упрекали его и не хотели вовсе войны. Замоискому с трудом удалось уговорить сейм не заключать мира. Баторий и теперь жертвовал в пользу Польши свои собственные деньги; и Замоиский дал ему на войну свои средства. Из Венгрии выписали еще пехоты. Наконец, Баторий и Замоиский выдумали новое средство набрать войско: они объявили крестьянам королевских имений со всем их потомством свободу от всяких повинностей, если те пойдут в военную службу: положили таким образом взять с двадцати человек одного.

Прошла зима и весна в приготовлениях, и только 16 июня 1580 года Баторий выступил с войском из Вильны. Московские послы являлись одни за другими. Их не слушали; над ними ругались. Баторий требовал Новгорода, Пскова и Великих Лук со всеми их землями, само собою разумеется, не ожидая удовлетворительного ответа на свой запрос. Поход

---

<sup>81</sup> До 300000 ф. стер. Вероятно, англичанин преувеличивает эту сумму.

Батория был успешен, как нельзя более. Замойский взял Велиж; покорены были и другие города. В августе сам Баторий осадил Великие Луки. 6-го сентября этот город был взят, затем взяты были: Невель, Озерище, Заволочье, Торопец. Шведский полководец Делагарди отнял у русских Везенберг и начал покорять другие ливонские города. С наступлением осени Баторий уехал в Польшу, но партизанская война продолжалась и зимою. Литовцы взяли Холм и Старую Русу, а запорожские казаки со своим гетманом Оришевским врывались в южные пределы Московского государства и опустошали их.

В то время, когда Баторий брал у Ивана город за городом, сам Иван отпраздновал у себя разом два брака. Сначала женился сын его Федор на Ирине Федоровне Годуновой (вследствие этого брака был приближен к царю и получил боярство знаменитый в будущем Борис Федорович Годунов). Затем Иван выбрал из толпы девиц себе в жены Марию Федоровну Нагую.<sup>82</sup> Торжества по поводу свадеб (имевших в истории печальные последствия) вскоре заменились скорбью и унижением, когда царь узнал, что делается с его войском. Еще раз отправил он посольство просить приостановки военных действий для заключения мира, и не только называл Стефана Батория братом, но дал своим гонцам наказ терпеливо сносить всякую брань, бесчестие и даже побои. Иван отказывался от Ливонии, но Баторий требовал 400000 червонцев контрибуции. Польский король, потешаясь унижением и малодушием врага, отправил к московскому царю своего гонца Лопатинского с письмом, очень характеристичным: «Как смел ты попрекать нас басурманством, – писал он московскому властелину (т.е. тем, что Баторий был вассалом турецкого султана), – ты, который кровью своей породнился с басурманами, твои предки, как конюхи, служили подножками царям татарским, когда те садились на коней, лизали кобылье молоко, капавшее на гривы татарских кляч! Ты себя выводишь не только от Пруса, брата Цезаря Августа, но еще производишь от племени греческого; если ты действительно из греков, то разве – от Тиэста, тирана, который кормил своего гостя телом его ребенка! Ты – не одно какое-нибудь дитя, а народ целого города, начиная от старших до наименьших, губил, разорял, уничтожал, подобно тому, как и предок твой предательски жителей этого же города перемучил, изгубил или взял в неволю... Где твой брат Владимир? Где множество бояр и людей? Побил! Ты не государь своему народу, а палач; ты привык повелевать над подданными, как над скотами, а не так как над людьми! Самая величайшая мудрость: познать самого себя; и чтобы ты лучше узнал самого себя, посылаю тебе книги, которые во всем свете о тебе написаны; а если хочешь, еще других пришлю: чтобы ты в них, как в зеркале, увидел и себя и род свой... Ты довольно почувствовал нашу силу; даст Бог почувствуешь еще! Ты думаешь: везде так управляют, как в Москве? Каждый король христианский, при помазании на царство, должен присягать в том, что будет управлять не без разума, как ты. Правосудные и богобоязненные государи привыкли сноситься во всем со своими подданными и с их согласия ведут войны, заключают договоры; вот и мы велели созвать со всей земли нашей послов, чтоб охраняли совесть нашу и учинили бы с тобою прочное установление; но ты этих вещей не понимаешь...» Баторий предлагал Ивану во избежание пролития крови сразиться с ним на поединке. «Курица, – писал между прочим Баторий, – защищает от орла и ястреба своих птенцов, а ты, орел двуглавый, от нас прячешься» и пр.

Иван стал себе искать посредников и отправил гонца Шевригина в Вену и в Рим просить ходатайства императора и папы о заключении мира с Баторием. Император Рудольф отклонил свое посредничество, но папа Григорий XIII с радостью ухватился за это дело, потому что увидел возможность попытаться: нельзя ли склонить московского царя к соединению церквей и к признанию папской власти. Папа выбрал для этой цели знаменитого в свое время ученого богослова Антония Поссевина.

Пока составлялись планы примирения, Баторий и Замойский всеми силами старались склонить сейм к продолжению войны; они представляли необходимость воспользоваться

---

<sup>82</sup> Замечательно распределение свадебных чинов на этой царской свадьбе: посаженным отцом царя был сын его Федор, будущий московский царь, а друзьями со стороны жениха князь Василий Иванович Шуйский, а со стороны невесты Борис Федорович Годунов: оба московские цари.

счастливым временем, чтобы надолго сломить силу Московского государства и остановить завоевательные стремления царя. Поляки хотя и расхваливали короля за его военные доблести, но по-прежнему нерасположены были вести долгой войны и дали позволение своему королю еще на один поход, но не иначе, как с условием, чтобы этот поход против Москвы был последний и после него непременно было заключено перемирие. Баторий занял денег у прусского герцога и у других владельцев немецких, вызвал из Европы свежее наемное войско, числом до ста семидесяти тысяч, и летом 1581 г. двинулся на Псков. Со своей стороны, Московское государство ополчалось до последних сил, так что у Ивана могло набраться, как показывают современники, ратных людей тысяч до трехсот; но это войско непривычное к бою и неопытное, притом же тогда боялись нашествия крымского хана, а потому невозможно было сосредоточить всех сил против Батория, а нужно было составить оборону против татар. Сверх того, приходилось защищаться и против шведов.

В Пскове было до 30000 русских. Главное начальство над ними было поручено князьям Василию Федоровичу Скопину-Шуйскому и Ивану Петровичу Шуйскому.

Поход Батория был сначала очень успешен. Он взял псковские пригороды Опочку и Красный; 20-го августа поляки и венгры пробили каменную стену Острова, разрушили башню, и старый воевода, начальствовавший в Острове, сдался на милосердие короля. В конце августа 1581 года Баторий появился под стенами Пскова. Удобное время уже было пропущено; весна и лето прошли в приготовлениях и сборах: иначе и быть не могло, так как поляки не давали королю своему никаких средств. Началась продолжительная осада. Русские на этот раз защищались упорно, 8-го сентября Баторий сделал пролом в стене, взял две башни, войско его уже врвалось в город; но русские, ободряемые князем Шуйским, выгнали врагов и подняли на воздух Свиную башню, которою овладели было королевские воины.

Баторий потерял разом до 5000 человек. После этой неудачи король и Замойский с большим трудом поддерживали дисциплину в войске. Наступила глубокая осень; началась дурная погода; еще другой-третий раз делали приступ, рыли подкопы – ничто не удавалось! Баторий отправил отряд овладеть Псково-Печерским монастырем; и там не было удачи. Король объявил, что решается во что бы то ни стало взять Псков осадой и будет зимовать под городом, приказывал копать землянки и строить избы для воинов; а тем временем в его стане ощущался недостаток съестных припасов, сделалась дороговизна, падали лошади, убегали люди. Отойти от Пскова, не взявши его и не заключивши мира, было бы срамом для Батория: ропоту в Польше не было бы и предела. Баторий потерял бы свою воинскую честь и свое нравственное влияние.

Но и положение московского государя от неудач Батория не улучшалось. Шведы одерживали над русскими победу за победой. Шведский генерал взял Нарву, захватил часть новгородской земли, овладел Корелюю, берегами Ижоры, городами Ямою и Копорьем. Магнус взял Киремпель; ливонские города были отняты у русских почти все. Радзивилл, сын виленского воеводы, с казаками и литовскими татарами, вступивши в глубину неприятельской земли, доходил почти до Старицы, где находился тогда Иван Васильевич. Долгие мучительства и развращение, посеянное в народе опричиною, приносили свои плоды: русские легко сдавались неприятелю и переходили на службу к Стефану Баторию; один Псков представлял счастливое исключение, благодаря тому, что там находился умный и деятельный Иван Петрович Шуйский. Иван Васильевич трепетал измены, боялся посылать от себя войско: ему представлялось, что его самого схватят и отвезут к Баторию. Понятно, что Ивану Васильевичу нужен был мир как можно скорее. Упорство Пскова и нежелание поляков давать средства своему королю на продолжение войны невольно приводили и Стефана Батория к тому же.

Посредник, назначенный папою, иезуит Антоний Поссевин, посетил сначала Батория, дал ему как католику свое благословение на бранные подвиги, а потом прибыл к московскому государю и виделся с ним в Старице. Как духовное лицо и как посланник папы Поссевин сразу заявил, что его гораздо более занимает вопрос о соединении церквей, чем о

примирении с поляками. В числе подарков, привезенных им от папы, была книга о флорентийском соборе, которому Западная церковь придавала смысл великого вселенского собора, уже соединившего Восточную церковь с Западной. Поссевин представлял царю Ивану Васильевичу большие выгоды от соединения, указывал на возможность всеобщего ополчения христианских держав против турок. Царь принял иезуита чрезвычайно ласково и почтительно, не лишил его надежды на предполагаемое церковное соединение, но не обещал ничего положительного и просил его прежде всего о заключении мира, сколько-нибудь выгодного для московского государя. Антоний уехал от царя с надеждой опять приехать к нему после заключения мира, уже исключительно по делам веры.

При посредстве Антония, в деревню Киверова Горка, в пятнадцати верстах от Запольского Яма, в декабре 1581 г. съехались с обеих сторон уполномоченные.<sup>83</sup> Им пришлось жить в крестьянских курных избах, терпеть зимний холод и недостаток, даже пить снежную воду. Кругом все было опустошено.

Антоний Поссевин явно мирволил польской стороне; московские послы упрямились, желая выговорить себе более выгодные условия; шли споры о титулах и словах, так что однажды иезуит разгорячился, вырвал у них из рук бумагу, даже схватил одного из них за воротник шубы, повернул, пуговицы оборвал на шубе и сказал: «Ступайте вон! Я с вами ничего не буду говорить!» Наконец, после трех недель бесполезных споров, 6-го января 1582 года обе стороны подписали перемирие на десять лет. По этому перемирию московский государь отказался от Ливонии, уступил Полоцк и Велиж, а Баторий согласился возвратить взятые им псковские пригороды.

По заключении мира Поссевин отправился в Москву с давно желанной целью привести царя к соединению с Западной церковью.

В Александровской Слободе случилось между тем потрясающее событие: в ноябре 1581 года царь Иван Васильевич в порыве запальчивости убил железным посохом своего старшего сына, уже приобретшего под руководством отца кровавые привычки и подававшего надежду, что, по смерти Ивана Васильевича, будет в его государстве совершаться то же, что совершалось при нем. Современные источники выставляют разную причину этого события. В наших летописях говорится, что царевич начал укорять отца за его трусость, за готовность заключить с Баторием униженный договор и требовал выручки Пскова; царь, разгневавшись, ударил его так, что тот заболел и через несколько дней умер. Согласно с этим повествует современный историк ливонской войны Гейденштейн; он прибавляет, что в это время народ волновался и оказывал царевичу особое перед отцом расположение, и через то отец раздражился на сына. Антоний Поссевин (бывший через три месяца после того в Москве) слышал об этом событии иначе: приличие того времени требовало, чтобы знатные женщины надевали три одежды одна на другую. Царь застал свою невестку, жену Ивана, лежащую на скамье в одной только исподней одежде, ударил ее по щеке и начал колотить жезлом. Она была беременна и в следующую ночь выкинула. Царевич стал укорять за то отца: «Ты, – говорил он, – отнял уже у меня двух жен, постриг их в монастырь, хочешь отнять и третью, и уже умертвил в утробе ее моего ребенка». Иван за эти слова ударил сына изо всех сил жезлом в голову.<sup>84</sup> Царевич упал без чувств, заливаясь кровью. Царь опомнился, кричал, рвал на себе волосы, вопил о помощи, звал медиков... Все было напрасно: царевич умер на пятый день и был погребен 19 ноября в Архангельском соборе. Царь в унынии говорил, что не хочет более царствовать, а пойдет в монастырь: он собрал бояр, объявил им, что второй сын его Федор неспособен к правлению, предоставлял боярам выбрать из среды своей царя. Но бояре боялись: не испытывает ли их царь Иван Васильевич и не перебьет ли он после и того, кого они выберут, и тех, кто будет выбирать

---

<sup>83</sup> От Батория: Ян Збаранский, князь Альбрехт Радзивилл и секретарь В. К. Литовского Гарабурда. От Ивана Васильевича князь Елецкий и Алферьев.

<sup>84</sup> Царевич был три раза женат: первая жена его была Евдокия Сабурова, вторая – Соловая, третья – Шереметева, по имени Елена Ивановна. По русскому известию, царь отколотил Бориса Годунова, который вздумал защищать царевича.

нового государя. Бояре умоляли Ивана Васильевича не идти в монастырь, по крайней мере, до окончания войны. С тех пор много дней царь ужасно мучился, не спал ночей, метался как в горячке. Наконец мало-помалу он стал успокаиваться, начал посылать богатые милостыни по монастырям, отправлял дары и на Восток, чтобы молились об успокоении души его сына. В это время усиленно припоминал он погубленных и замученных им, вписывал имена их в синодики, а когда не мог пересчитать их и припомнить по именам, писал просто: «их же ты, Господи, веши!»

Антоний приехал в Москву три месяца спустя после убийства царевича; он застал еще царя и весь двор в черных одеждах, с отрошенными волосами, по придворному обычаю. Иезуиту хотелось устроить религиозное прение о вере с царем и убедить его силой своих доводов. Но Иван не изъявлял на то большой охоты. «Что спорить о вере, – говорил он, – каждый свою веру хвалит. Мне уже пятьдесят первый год, воспитался я в истинной христианской вере и переменять мне ее не годится! Придет страшный суд, и тогда Господь рассудит: какая вера правая, наша или латинская?» – «Святой отец, – сказал Антоний, – вовсе не хочет, чтобы ты менял древнюю греческую веру, основанную на учении Св. отцов и постановлениях Св. соборов. Он хочет только, чтоб ты исследовал: что есть истинного, и то утвердил в своем царстве. Он хочет, чтобы во всем мире была одна церковь; и мы бы ходили в греческую к вашим священникам, и ваши ходили бы к нашим». Антоний распространился об истории церкви, а в особенности о флорентийском соборе, и заключил свою речь такими словами: «Если ты, великий государь, вступишь с папой в соединение, то не только будешь государем на прародительской отчине своей в Киеве, но и в царствующем граде Константинополе; и папа, и цезарь, и все государи будут об этом стараться». – «Не сойтись нам с тобою, – сказал на это Иван, – наша вера христианская, а не греческая, была издавна сама по себе, а римская сама по себе; греческой наша вера называется оттого, что пророк Давид за много лет до Рождества Христова пророчествовал: от Ефиопии предварит рука ее к Богу, а Ефиопия то место, что Византия, а Византия первое государство греческое просияло в христианстве».

Показавши таким образом свою ученость, царь повторил, что не хочет спорить о вере, дабы через то не сделалась рознь с папой и не порвалась бы взаимная любовь между папой Григорием и московским государем.

Антоний уверял, что розни не будет, и просил государя вести с ним прение о вере. Иван Васильевич сказал: «О больших делах мы с тобой говорить не хотим, чтобы тебе не было досадно, а вот малое дело. У тебя борода подсечена, а бороды подсекать и подбривать не велено ни попу, ни мирским людям. Ты в римской вере поп, а бороду сечешь. Откуда это взял и по какому учению?» «Я бороды не секу и не брею», – сказал Антоний. Иван продолжал: «Сказывал нам наш паробок Шевригин, что папа Григорий сидит на престоле и носят его, и целуют ногу; а на сапоге крест, а на кресте распятие. Прилично ли это?»

Посевин распространялся о достоинстве и величии папы, об особенной благодати над Римом, о которой свидетельствовало множество мощей в этом городе; доказывал, что папа садится на престол не для гордости, а для благословения многочисленного народа, что поклонение ему делается в воспоминание того, как в древние времена народ падал к ногам апостолов, проповедывавших ему веру, заключил, наконец, речь свою тем, что и государя следует величать, славить и припадать к его ногам. С этими словами иезуит поклонился Ивану Васильевичу в ноги.

Но Иван Васильевич на это сказал: «Нас, великих государей, пригоже почитать по царскому величеству, а святителям надо смирение показывать и не возноситься выше царей. Папа Григорий называется сопрестольником Петру Апостолу, а по земле не ходит и велит себя на престоле носить; значит – он хочет Христу подобиться! Папа не Христос, и престол, на чем папу носят, не облако, и те, что носят его, не ангелы! Который папа поступает по Христову учению и по апостольскому преданию, – тот сопрестольник великим папам и апостолам; а который папа начнет жить не по Христову учению и не по апостольскому преданию, – тот папа волк, а не пастырь».



«Если папа волк, а не пастырь, – сказал Антоний, – то мне и говорить нечего; зачем же ты и посылал к нему о своих делах? И ты, и его предшественники всегда называли его пастырем церкви».

Царь начинал сердиться. Зная его нрав, Поссевин и его товарищи боялись, чтобы он не хватил кого-нибудь своим жезлом, и потому Поссевин старался успокоить его льстивыми словами. Царь тогда сказал: «Вот я говорил, что нам нельзя говорить о вере. Без раздорных слов не обойдется. Оставим это».

4 марта, в воскресенье Великого поста, царь пригласил Антония идти в церковь смотреть богослужение. Иезуит догадался, что царь это делает для того, чтобы присутствие папского посла в церкви служило для народа доказательством уважения иноверцев к русской вере. Антоний отвечал, что ему известны обряды греческой церкви, а участвовать в них наравне с митрополитом он не может до тех пор, пока митрополит не будет укреплен в вере тем, кто сидит на престоле Петра, которому Господь сказал: утверждай братью свою. «Вы, – говорил он, – упрекаете нас в том, что святой отец сидит на престоле, а у вас митрополит моет себе руки, и этой водой люди окропляют себе глаза и другие части тела, и перед вашими епископами кланяются в землю».

«Это вода, – отвечал царь, – знаменует воскресение Христово».

Поссевин, однако, должен был из уважения к царю идти в церковь, причем Иван сказал: «Смотри, чтобы за тобой лютеране не вошли».

«Мы с лютеранами общения не имеем», – отвечал иезуит. Приблизившись к церкви, Антоний постарался тотчас улизнуть. Все думали, что царь рассердится, но Иван Васильевич потер себе лоб и сказал: «Ну, пусть делает как знает».

Антоний никак не мог добиться не только обещания подчиниться папе, но даже и дозволения строить для католиков костелы, хотя позволялось приезжать священникам римско-католической веры. Антоний уехал.

Запольский мир, заключенный с Баторием, оставил войну царя Ивана Васильевича со Швецией нерешенною. Мало этого: Баторий готов был сам воевать со шведами, так как считал всю Ливонию достоянием Польши и Литвы, а Швеция удерживала в своей власти Эстонию. Сейм не допустил Батория до войны, потому что поляки не хотели воевать ни с кем. Неприязненные отношения Московского государства со Швецией продолжались до мая 1583 года, без всяких важных успехов с той и другой стороны, наконец прекратились перемирием на три года, заключенным на р. Плисе. Швеция оставалась в выигрыше и удерживала за собой не только Эстонию, но и русские города Яму и Копорье с их землями, захваченные во время войны. Таким образом, западные пределы государства суживались, терялись плоды долговременных усилий: на востоке, за Волгой было беспокойно. Черемиса, с начала покорения Казани, не хотела повиноваться русской власти, беспрестанно восставала, а в последнее время горячо и единодушно поднялась за свою свободу и вела войну с упорством. Воеводы с ратьми посылались одни за другими и долго не могли укротить черемис, которые защищались от их покушений в своих дремучих лесах, не хотели и слышать о платеже наложенного на них ясака, а при случае делали набеги и разорения. Покорить их можно было только построением русских городов: тогда с этой целью был построен Козьмодемьянск.

Мало-помалу стал освобождаться Иван от своей тоски по убитому сыну, а с нею вместе начали проходить угрызения совести, и царь начал опять проявлять признаки обычного свирепства. Ратные люди, так трусливо сдававшиеся Баторию, оставались на первых порах без наказания, но по заключении мира вспомнил об них Иван, собрал и казнил мучительнейшим образом. По сказанию одного иностранного историка, их погибло до 2300 человек. Царь страдал под гнетом своего унижения. Ливония, которой он так добивался, ускользнула из рук его; он хотел вылить свою злобу над ливонскими пленниками, которых у него было очень много. Он приказал привести толпу этих несчастных, пустил на них медведей и сам, стоя у окна, любовался, как пленники напрасно старались отбиться от зверей и как медведи рвали их на куски. Иван Васильевич тогда и над близкими к себе людьми

придумывал затейливые мучительства. Так, однажды царский тесть Федор Нагой наговорил на Бориса Годунова, что тот не является ко двору, притворяясь больным после того, как Иван отколотил его своим железом. Царь сам внезапно прибыл к Борису, который показал ему свои раны и заволоки, сделанные врачом. Тогда царь Иван приказал сделать заволоки на руках и груди царского тестя, совершенно здорового.

Женившись на Марии Нагой, Иван вскоре невзлюбил ее, хотя она уже была беременна. Он задумал жениться на какой-нибудь иностранной принцессе царской крови. Англичанин медик, по имени Роберт, сообщил ему, что у английской королевы есть родственница Мария Гастингс, графиня Гоптингтонская. Иван отправил в Лондон дворянина Федора Писемского узнать о невесте, поговорить о ней с королевой и вместе с тем изъявить желание от имени царя заключить тесный союз с Англией. Условием брака было то, чтобы будущая супруга царя приняла греческую веру и чтобы все, приехавшие с ней, бояре и боярыни также последовали ее примеру. Хотя царь и заявлял у себя дома о неспособности царевича Федора, но Писемскому не велел говорить этого королеве; напротив, приказывал объявить, что детям новой царицы дадутся особые уделы. Достоинно замечания, что на случай, если бы королева заметила, что у царя уже есть жена, Писемский должен был сказать, что она не какая-нибудь царевна, а простая подданная и для королевичины племянницы можно ее и прогнать.

Писемский был принят с почестями, но королева на вопрос о невесте сказала, что она была недавно в оспе, видеть ее и списывать портрета скоро нельзя, и не прежде как в мае 1583 года доставила послу случай увидеть невесту в саду. Мария Гастингс, тридцатилетняя дева, сначала соблазнилась было честью быть московской царицей, но потом, когда услышала о злодеяниях Ивана, то наотрез отказалась от этой чести. Королева отпустила Писемского, а вместе с тем отправила послом к Ивану Жерома Боуса. Этот посол должен был объявить, что девица, на которой хотел жениться Иван, больна и притом не хочет перемещать веры. Королева добивалась исключительной и беспошлинной торговли для англичан, а царь, соглашаясь на это, хотел, чтобы Елизавета помогла ему завоевать снова Ливонию. Между тем мысль жениться на иностранке не оставляла царя, и он все разведывал: нет ли у английской королевы какой-нибудь другой родственницы, с которой он мог бы вступить в брак.

То было в конце 1583 года. Царь мечтал о женитьбе. Бедная женщина, носившая имя царицы и недавно родившая сына Дмитрия, каждый час трепетала за свою судьбу, а между тем здоровье царя становилось все хуже и хуже. Развратная жизнь и свирепые страсти расстроили его. Ему только было пятьдесят лет с небольшим, а он казался дряхлым, глубоким стариком. В начале 1584 года открылась у него страшная болезнь: какое-то гниение внутри; от него исходил отвратительный запах. Иноземные врачи расточали над ним все свое искусство; по монастырям раздавались обильные милостыни, по церквам велено молиться за больного царя, и в то же время суеверный Иван приглашал к себе знахарей и знахарок. Их привозили из далекого севера; какие-то волхвы предрекли ему, как говорят, день смерти. Иван был в ужасе. В эти, вероятно, дни, помышляя о судьбе царства и находя, что Федор, по своему малоумию, неспособен царствовать, Иван придумывал разные способы устроить после себя наследство и составлял разные завещания. Тогда из близко стоявших к нему людей, кроме Бориса Годунова, были: князь Иван Мстиславский, князь Петр Шуйский, Никита Романов, Богдан Бельский и дьяк Щелкалов. Все не любили Бориса Годунова, опасаясь, что он, как брат жены Федора, человек способный и хитрый, неизбежно овладеет один всем правлением. Сначала Иван составил завещание, в котором объявлял наследником Федора, а около него устраивал совет; в этом совете занимал место Борис Годунов. Потом Богдан Бельский, вкравшийся в доверенность царя, настроил его против Бориса Годунова, и царь (как впоследствии открылось) составил другое завещание: оставляя престол полоумному Федору, он назначал правителем государства эрцгерцога Эрнеста, того самого, которого прежде он так хотел посадить на польский престол. Эрнест должен был получить в удел: Тверь, Вологду и Углич, а если Федор умрет бездетным, то сделаться наследником русского престола. К этому располагало его уважение, какое он питал к знатности

Габсбургского дома. Он считал членов его наследниками Священной Римской Империи, в которой родился сам Иисус Христос. Тайна этого завещания не была им открыта Борису, но ее знали вышеупомянутые бояре. Дьяк Щелкалов изменил своим товарищам и тайно сообщил об этом Борису. Они вдвоем составили план уничтожить завещание, когда не станет Ивана.<sup>85</sup>

Иван то падал духом, молился, раздавал щедрые милостыни, приказывал кормить нищих и пленных, выпускал из темниц заключенных, то опять порывался к прежней необузданности... Но болезнь брала свое, и он опять начинал каяться и молиться. Была половина марта. Иван с трудом мог ходить: его носили в креслах. 15 марта он приказал нести себя в палату, где лежали его сокровища. Там перебирал он драгоценные камни и определял таинственное достоинство каждого сообразно тогдашним верованиям, приписывая тому или другому разное влияние на нравственные качества человека.

Ему казалось, что его околдовали, потом он воображал, что это колдовство было уже уничтожено другими средствами. Он то собирался умирать, то с уверенностью говорил, что будет жив. Между тем тело его покрывалось волдырями и ранами. Вонь от него становилась невыносимее. Наступило 17 марта.<sup>86</sup> Около третьего часа царь отправился в приготовленную ему баню, мылся с большим удовольствием; там его тешили песнями. После бани царь чувствовал себя свежее. Его усадили на постели; сверх белья на нем был широкий халат. Он велел подать шахматы, сам стал расставлять их, никак не мог поставить шахматного короля на свое место, и в это время упал. Поднялся крик; кто бежал за водкой, кто за розовой водой, кто за врачами и духовенством. Явились врачи со своими снадобьями, начали растирать его; явился митрополит и наскоро совершил обряд пострижения, нарекая Иоанна Ионою. Но царь уже был бездыханен. Ударили в колокол на исход души. Народ заволновался, толпа бросилась в Кремль. Борис приказал затворить ворота.

На третий день тело царя Ивана Васильевича было предано погребению в Архангельском соборе, рядом с могилой убитого им сына. Имя Грозного осталось за ним в истории и в народной памяти.

## **Выпуск третий: XV—XVI столетия**

### **Глава 21 Ермак Тимофеевич**

В старинной Руси мирские люди, по отношению к государству, делились на служилых и неслужилых. Первые обязаны были государству службой воинской или гражданской (приказной). Вторые – платежом налогов и отправлением повинностей: обязанности этого рода назывались тяглом; исполнявшие их «тянули», были «тяглые» люди. Но тягло определялось не ручной силой и, следовательно, не числом душ, а размером имущества, приносящего доход, определяемого писцовыми книгами. Тяглые были посадские (горожане) и волостные или крестьяне; первые облагались по своим промыслам, вторые по землям, которыми владели. Ответственность перед правительством возлагалась не отдельно на хозяев, а на целые общины, которые уже сами у себя делали распределения: сколько какой из членов общины должен был участвовать в исполнении обязательств целой общины перед правительством. Внутреннее раздробление всего дающего доход имущества целой общины

---

<sup>85</sup> Так сообщает Лука Павлюс, бывший в Москве при Борисе, знавший хорошо русский язык и положение русских дел.

<sup>86</sup> Англичанин Горсей говорит, что это был день, в который, по предсказанию волхвов, его должна была постигнуть смерть. Чувствуя себя лучше, Иван послал Бельского объявить колдунам, предсказавшим ему смерть, что он зароет их живьем или сожжет за ложное предсказание. «Не гневайся, боярин, – отвечали волхвы, – день только что наступил, а кончится он солнечным закатом».

совершалось по вытям. Каждое тягло составляло часть общего тягла и называлось вытью<sup>87</sup>; но тягло лежало собственно только на хозяевах, записанных в писцовых книгах. Одни хозяева несли на себе обязательства к миру. В семьях были лица, не входившие в тягло; они могли со временем быть записаны в тягло и получать особые выти: до тех же пор они были нетяглые или гулящие люди. Эти нетяглые люди имели право переселяться, наниматься, поступать в холопы, закладываться, верстаться в служилые люди и вообще располагать собою, как угодно. В грамотах о населении новых жилых местностей обыкновенно дозволялось набирать таких гулящих людей. В XVI веке из этих гулящих людей начал образовываться класс, принявший название «казаков». В половине этого столетия мы видим появление казаков в разных краях русского мира, противоположных по местоположению и принадлежащих разным государствам. Таким образом, мы видим казаков в украинских староствах Великого княжества Литовского на берегах Днепра, сначала в звании промышленников, ходивших на пороги ловить рыбу, потом в звании военных людей, составлявших дружины Дашковича и Димитрия Вишневецкого, потом – организованных литовским правительством в виде военного сословия под особой командой и в то же время самовольно основавших за днепровскими порогами вольное военное братство, под названием Запорожской Сечи. То же явление мы встречаем в восточной Руси. Казаки являются и на отдаленном севере, и на юге. На севере, в странах, прилегавших к морю, жители начинают делиться на тяглых, бобылей и казаков. Тяглые были хозяева, владевшие вытями, приносящими доход, с которого они вносили в казну налоги. Бобыли – бедные люди, бывшие не в состоянии держать целой выти и владевшие только дворами, с которых вносили небольшой налог. Казаками же назывались люди совершенно бездомные, не имевшие постоянного места жительства и переходившие по найму от одного хозяина к другому, из одного села в другое. На юге казаки имели другое значение; тут они были люди военные, подобные тем, которые появились в днепровских странах. Различие это понятно. На севере, где все было спокойно, гулящие нетяглые люди могли заниматься мирными промыслами, шатаясь с места на место; на юге, где беспрестанно можно было ожидать татарских набегов, подобные гулящие люди должны были ходить с оружием и приучиться к воинскому образу жизни. По разрушении Золотой Орды и по раздроблении ее на множество кочевых орд, привольные степи Дона представляли приманку для русских людей; удалые головы, не только не боявшиеся опасностей, но находившие в них особую прелесть жизни, стали удаляться туда, селились и образовали воинское братство, подобное тому, которое явилось на Днепре под именем Запорожской Сечи. Должно думать даже, что последняя имела большое влияние на образование подобного же братства на Дону, как показывает одинаковость устройства запорожских и донских казаков во многих чертах. Так, мы видим и там и здесь одни и те же названия выборных начальников: атаманов, есаулов, одинакое управление, суд, казну, строгое товарищество. У тех и других ошутительно – стремление удержать свою корпоративность против государственной власти, но вместе с тем и готовность служить государству с сохранением своей вольности. Московское правительство вскоре само завело казаков в своих южных городах, в смысле особого военного сословия. Таким образом, образовалось два рода военных казаков: одни, в большей зависимости от правительства, стали населять южные города и уже перестали быть бездомными, гулящими людьми, а получали земли, не платя за них налогов, но обязываясь отбывать воинскую службу и поступая в этом отношении в разряд служилого сословия. С казацкой службой, в отличие от службы других разрядов служилых людей, соединялось понятие о легкости и удобоподвижности; особенным занятием казаков было держать караулы, провожать послов и гонцов, проводывать о неприятеле, нападать на него врасплох, переносить вести из одного города в другой и исполнять разные поручения, требующие скорости. Но, кроме этих казаков, на дальнем юге продолжали умножаться казаки в смысле самостоятельного братства вольных военных людей, которые управлялись сами собою, считали себя независимыми, и

---

<sup>87</sup> Слово «выть» употреблялось вообще в смысле части целого, принимаемой в известных отношениях в самостоятельном значении.

если изъявляли готовность служить царю, то как бы добровольно. Такие казаки распространялись не только на Дону, но и на Волге; оказывая иногда услуги правительству, они уже в это время заявляли себя к нему неприязненно: вопреки царскому запрещению вели войны с соседями, нападали на царских посланцев, грабили царские товары и купцов и давали у себя приют опальным и беглым.

Самое раннее начало казачества для нас теряется в истории. Вероятно, однако, что это название возникло на юге при столкновении с татарами. Слово «казак» чисто татарское и означало сперва вольного бездомного бродягу, а потом низший род воинов, набранных из таких бродяг. На юге Руси, как литовской<sup>88</sup>, так и московской, прежде появления русских казаков существовали казаки татарские, в том же значении вольных бродячих удальцов. Если в глазах правительства казачество получало значение военного сословия, то в глазах народа слово «казак» долго имело более широкий смысл. Оно соединялось вообще со стремлением уйти от тягла, от подчинения власти, от государственного и общественного гнета, вообще от того строя жизни, который господствовал в тогдашнем быту. Издавна в характере русского народа образовалось такое качество, что если русский человек был недоволен средою, в которой жил, то не собирал своих сил для противодействия, а бежал, искал себе нового отечества. Это качество и было причиной громадной колонизации русского племени. В древние времена, когда существовали отдельные земли и княжения, русские переходили из одного в другое или заходили на новые, не населенные прежде места; так населялся отдаленный север и северо-восток: Вятка, Пермь, Вологда и пр. Монастыри, как мы уже говорили, были одним из важных двигателей такой колонизации. Русский человек искал воли и льгот, сообразно своей пословице: «рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше». При раздельности земель переход из одной в другую естественно удовлетворял многих: нужны были люди, и новым людям давались льготы. Но когда земли и княжения соединились под властью московских государей и, вследствие этого, быт народа получал сравнительно более однообразия, такие переходы уже не могли представлять прежних выгод; притом образование двора, усиление государственных нужд, внутренняя и внешняя безопасность и частые войны повлекли за собой несравненно больше поборов и повинностей, а потом неизбежно было большее отягощение народа. Между тем желание «отбыть» всяких тягостей, искать льготных мест не только не исчезло, но еще усилилось с увеличением государственных тягостей. Гулящие люди, не поступившие в тягло, искали заранее возможности избавиться от него на будущее время, за ними – и записанные в тягло покидали свои выти или жребии и также разбегались. В писцовых книгах то и дело, что встречаются пустые дворы в посадах и селах. От этих побегов остававшимся на месте делалось еще тяжелее, так как оставшиеся должны были нести повинности и за бежавших. Побег был самым обычным, самым укоренившимся явлением жизни старинной Руси. В жалобах правительству на отягощения жители постоянно угрожали разбежаться «врознь». Одни перебегали внутри государства с места на место: из тяглых черных волостей в монастырские или боярские вотчины и поместья, закладывались частным лицам, поступали в «холопы»; их нередко ловили и водворяли на прежние места жительства. Служилые люди таким же образом убегали от службы: всегда, как только собирали в поход детей боярских и стрельцов, непременно следовало распоряжение ловить нетчиков, т.е. не являвшихся на службу. Более смелые и удалые стремились вырваться совсем из прежней общественной среды и убежать туда, где им приходилось или пользоваться большими льготами, как например в казаки «украинных» (южных) московских городов, или туда, где уже не было для них никаких государственных повинностей: таким притоном были степи. Там образовалось

---

<sup>88</sup> Южная Русь, или Малороссия, т.е. Волынь, Подоль и Украина, только до 1569 года принадлежала Великому княжеству Литовскому, а в этом году, когда последовало вечное федеративное соединение Литвы с Польшей, южнорусские земли были присоединены непосредственно к Польскому королевству, к которому уже прежде, со времен Казимира Великого, в XIV веке, присоединена часть южной Руси (населенной малорусским племенем), именно Червоная Русь под названием воеводства русского.

вольное казачество. Но казак, по народному понятию, был не только тот, кто шел на Дон или в Сечь и поступал в военное братство, для всех открытое: всякий удалец, который искал воли, не хотел подчиняться власти и тягостям, всякий шатавшийся беглец был в народном смысле казак. От этого собирались разбойничьи шайки и называли себя казаками, а предводителей своих атаманами, да и само правительство называло их казаками, только «воровскими». В глазах народа не было строгой черты между теми и другими. Казачество стало характеристическим явлением народной русской жизни того времени. Это было народное противодействие тому государственному строю, который удовлетворял далеко не всем народным чувствам, идеалам и потребностям. Народ русский, выбиваясь из государственных рамок, искал в казачестве нового, иного общественного строя. Появление казачества порождало раздвоение в русской общественной жизни. Одна часть стояла за государство и вместе с ним за земство, хотя и подавляемое государством. Другая – становилась враждебно к государству и стремилась положить своеобразные зачатки иного земства. Идеалом казачества была полная личная свобода, нестесняемое землевладение, выборное управление и самосуд, полное равенство членов общины, пренебрежение ко всяким преимуществам происхождения и взаимная защита против внешних врагов. Этот идеал ясно выказывается в истории малорусского казачества в ту эпоху, когда оно уже успело разлиться на целый народ. В московской Руси черты такого идеала выразились слабее, но здесь и там, пока этот идеал мог быть достигнут, казачество не иначе должно было проявиться, как в форме военной, наезднической и даже разбойнической. С одной стороны, соседство татар вызывало необходимость беспрестанно вести войны; защищаясь против врагов, казаки неизбежно стали и нападать на них. Удачные нападения давали им добычу, а приобретение добычи увлекало их к тому, чтобы, вместо мирных земледельческих и промышленных занятий, жить и обогащаться войною; к этому присоединялись и религиозные воззрения: так как враги их были не христиане, то нападения на них и грабежи считались не только нравственно позволительным, но и богоугодным делом. С другой стороны, так как казачество составлялось из людей, недовольных государственным строем, то отсюда вытекала вражда и к государственному управлению и ко всему обществу, признававшему это управление. В казаки шли люди бездомные, бедные, «меньшие», как говорилось тогда, и вносили с собой неприязнь к людям богатым, знатным и большим. Отсюда-то происходило, что казаки или шайки, называвшие себя казаками, со спокойной совестью нападали на караваны и грабили царских послов и богатых московских гостей. Но казаки, несмотря на все это, были русские люди, связанные верой и народностью с тем обществом, из которого вырывались: государству всегда оставалась возможность с ними сойтись, и если не сразу подчинить их, то до известной степени войти с ними в сделку, дать уступки и, по возможности, обратить их силы в свою пользу. Недовольные государственным строем казаки были все-таки не более как беглецы, а не какая-нибудь партия, стремившаяся сделать изменения или переворот в обществе. Убежавши с прежних мест жительства на новые, казаки могли быть довольны, если в этом новом жительстве им не мешали и оставляли с приобретенными льготами; до остальной Руси им уже было мало дела, по крайней мере, до тех пор, пока какие-нибудь новые потрясения не поворачивали их деятельности к прежнему их отечеству. От этого, как только царская власть обращалась с ними дружелюбно, они готовы были служить ей, но только остерегаясь, чтобы у них не отняли их льгот.

Шайки, составленные из донских казаков и разных русских беглецов, нашли себе приют на Волге, нападали на послов, на купцов, не щадили царских судов, брали казну и товары. Разбои эти возрастали с каждым годом. Правительство посылало против них отряды, приказывало хватать и вешать, но нелегко было с ними расправиться, потому что, заслышав приближение царских сил, они скрывались в ущельях и пустынях. В 1579 году они напали, под предводительством атаманов Кольцо, Барбоши и других, на нагайский город Сарайчик и разорили его до основания. По жалобе нагаев царь осудил Кольцо с товарищами на смерть, но поймать главных предводителей не могли и казнили только нескольких попавшихся.

Вслед за тем толпа казаков – и с нею осужденный на смерть Кольцо – явилась в пермской стране.

В половине XVI века на северо-востоке нынешней России ярко обозначается широкая деятельность фамилии Строгоновых. Отечество этого рода была в старину Ростовская земля. Уже около половины XV века Строгоновы являются людьми очень богатыми: они содействовали своими средствами выкупу Василия Темного. В XVI веке Аникий Строгонов водворился в Сольвычегодске, завел там соляные варницы, вел большой торг мехами с инородцами, привлекал к себе русских переселенцев и нажил громадное состояние. Он оставил двух сыновей: Якова и Григория. В 1558 году, по ходатайству Григория Строгонова, царь подарил ему, ниже Перми в 88 верстах, по обе стороны Камы до Чусовой, пустое пространство на 146 верст, с правом населять его пришлыми людьми, но только не тяглыми и не письменными (т.е. значившимися по каким-нибудь спискам), не ворами и не разбойниками, со льготой для новых поселенцев от государственных налогов и повинностей на двадцать лет; позволял ему также построить город, снарядить его пушками и пищальями, прибрать военных людей и открыть в нем для приезжающих купцов беспошлинный торг. Для вооружения своего города Строгоновы имели право варить селитру. В тот век, когда в народе сильно господствовало стремление переселяться с целью найти более льготную жизнь, земли Строгоновых быстро населялись. В 1564 году, кроме прежде построенного города Канкара, Строгоновы с царского дозволения построили другой город Кергедан. В 1568 году царская жалованная грамота прибавила к владениям Строгоновых берега реки Чусовой на 20 верст протяжения. Новые поселения Строгоновых не оставались в покое: на них начали нападать разные инородцы: остяки, вогуличи, черемисы, нагаи, и в 1572 году царь дозволил Строгоновым набирать себе охочих казаков и ходить войной против враждебных инородцев. Вскоре Строгоновы вошли в столкновение с зауральским краем. На берегах рек Тобола, Иртыша и Туры существовало татарское царство, носившее название Сибири, с главным городом того же имени, иначе наз. Искер. История этого царства представляет однообразные черты, общие всем татарским царствам: ханы свергали и убивали друг друга; один из них, Едигер, после завоевания русскими Казани и Астрахани, добровольно поддавался Ивану Грозному с целью оградить себя от соперников. Но Едигер был низвержен и убит воинственным киргиз-кайсацким ханом Кучумом. Это было около 1556 года. Кучум сделался сибирским царем, покорил своей власти остяков и частью вогуличей и усиленно заботился о распространении магометанской веры в своем государстве. Вопреки своему предшественнику, он не думал уже отдавать сибирской страны русскому государю, хотел, напротив, утвердить ее независимость и потому с неудовольствием услышал, что Строгоновы населяют и укрепляют города по близости к его границе и держат в повиновении русскому царю остяков, которых сибирский царь считал своими подданными. В 1573 году сын Кучума, царевич Махметкул, принуждал к повиновению русских данников, остяков, угрожал городкам Строгоновых и возбуждал черемисов к бунту. Это нападение вызвало со стороны русского царя в 1574 году грамоту, по которой Строгоновым предоставлялось перейти за Урал, строить крепости на реке Тоболе и населять тамошнюю страну русскими со льготой на двадцать лет. После этой грамоты естественно возникла у Строгоновых необходимость увеличить свои военные силы. Казаки были самыми подручными людьми для такого предприятия. Прошло несколько лет, Яков и Григорий умерли, оставивши продолжать свое дело брату Семену и детям: Максиму, сыну Якова, и Никите, сыну Григория.

Мы не знаем, делали ли Строгоновы какие-нибудь покушения на Зауральский край до 1581 года, но в этот год на их чусовской городок напали остяки, данники сибирского царя, и царь своею грамотою по жалобе Строгоновых приказывал пермскому воеводе вооружать земских людей и подать помощь Строгоновым. Затем мы узнаем, что в следующем 1582 году в сентябре Строгоновы посылали за Урал на вотяков и вогуличей, подвластных сибирскому царю, волжских атаманов и казаков Ермака с товарищами, а между тем пелымский князь, данник сибирского царя, делал нападение на Чердынь. Когда царь узнал об этом, то изъявил

свой гнев Строгоновым, приказал Ермака отослать в Пермь, где прежде велено было ему находиться на службе, и отнюдь не затевать ссор с сибирским «салтаном». Но грамота эта пришла поздно, тогда уже, когда казаки совершили наполовину свой подвиг.

Вместе с Ермаком был тогда опальный, осужденный на смерть Иван Кольцо и казацкие атаманы Никита Пан и Василий Мещеряк. Неизвестно, были ли последние из разбойников. Что касается до Ермака Тимофеевича, то нет основания предполагать, чтобы он принадлежал к разряду волжских удалцов, навлекших на себя опалу своими разбоями. Напротив, оказывается, что в качестве казацкого атамана он находился на царской службе и в конце июня 1581 вместе с русскими силами был под Могилевом на Днепре. Вслед за тем в 1582 году он находился в Перми на царской службе, и это доказывается царской грамотой Строгонову, в которой, делая выговор последнему за посылку казаков за Урал, царь приказывал возвратить Ермака в Пермь на место его службы.<sup>89</sup>

Как бы то ни было, только 1 сентября 1582 г. казаки, снаряженные Строгоновым, поплыли по Чусовой вверх. О числе их разногласят источники. С казаками было несколько пушек. Они взяли с собой «вожей» (вожатых) и толмачей. В те времена реки были обычным и очень часто единственным путем. Где плавание предстояло по глубокой воде, там употребляли струги и челны, на мелководье плавали на плотках; по мере надобности, на волоках – то есть на пунктах сближения реки одной системы с рекой другой – бросали суда или плоты и переволакивались, то есть переезжали к реке другой системы, а иногда переходили пешком и переносили с собой свою поклажу, чтобы снова на другой реке доставать суда и плыть. В крае, более или менее заселенном, на волоках были и судопромышленники и извозчики, готовые к услугам для проезжающих, но в таком диком крае, куда отправлялся Ермак со своими товарищами, казакам, вероятно, самим приходилось делать себе суда. Казаки, плывя вверх по быстрой и каменистой Чусовой, повернули в р. Серебряную, потом волоком перевезлись в реку Жаравлю, впадающую в Тагил; проплывши Тагилом, казаки поплыли вниз по Туре; на месте нынешнего Туринска встретили они городок, где властвовал князек Епанча, данник Кучума. Этот Епанча и его люди никогда не слыхали огнестрельного оружия: как только казаки дали залп, они тотчас бежали. Казаки разорили городок Епанчи. При соединении рек Туры и Тауды казаки выстрелами разогнали другую толпу сибиряков и взяли в плен предводителя их, Кучумова мурзу Тавзака.

Беглецы принесли весть Кучуму о нашествии русских людей. «Пришли, – говорили они, как пишут русские летописи, – воины с такими луками, что огонь из них пышет, а как толкнет, словно гром с небеси. Стрел не видно, – а ранит и на смерть бьет, и никакими сбруями нельзя защититься! И панцыри и кольчуги наши навывлет пробивают».

Казаки плыли вниз по Тоболу, везде устрашали и разгоняли толпы туземцев выстрелами. Кучум собрал свое войско: и татар и подвластных остяков. Он стал на берегу Иртыша, недалеко от устья Тобола, близ нынешнего Тобольска, на горе, называемой Чувашево, а вперед выслал царевича Махметкула: одни называют его сыном, другие племянником Кучума. Махметкул устроил засеку и дожидался казаков. Казаки увидели против себя такое множество врагов, что приходилось тридцать сибиряков на одного казака. Тогда собрался казачий круг и рассуждали, что им делать. Некоторые стали советовать уклониться от боя, другие же, и сам Ермак, говорили: «Куда нам бежать? Уже осень; реки начинают замерзать. Не положим на себя худой славы. Вспомним обещание, что мы дали честным людям (Строгоновым) перед Богом. Если мы воротимся, то срам нам будет и преступление слова своего: а если Всемогущий Бог нам поможет, то не оскудеет память наша в этих странах и слава наша вечна будет». Все единогласно решили пострадать за православную веру и послужить государю до смерти. 23 октября произошла битва. Стрелы ничего не могли сделать против ружей и пушек, хотя сибиряки дрались так отчаянно, что казаки потеряли сто семь человек, которых до сих пор поминают в синодиках тобольского собора. Татары бежали. За ними и сам Кучум, – который, по сказанию татарских историков,

---

<sup>89</sup> По одной летописи, у Ермака было 840 человек, по другой – 540, по третьей – 5000—6000 чел.



тогда уже был слеп, – скрылся в ишимских степях, едва успевши захватить часть своей казны. 26 октября Ермак с казаками вступил в столицу сибирского царства Искер, или Сибирь, и захватил там достаточный запас мехов, азиатских тканей и разных драгоценностей. В городе не осталось ни одного сибиряка: быстрый успех русских навел всеобщий страх на подданных Кучума. Татары, остяки и вогуличи со своими князьками приходили бить челом победителю, приносили дары и привозили запасы. Ермак приводил их к шерти на имя государя, обращался с ними ласково, отпускал в их юрты и строго запретил своим казакам делать малейшее насилие туземцам.

Наступившая зима не позволила Ермаку продолжать завоевание Сибири. Он оставался в Искере. О Кучуме не было никакого слуха. Казаки спокойно ездили по окрестностям ловить рыбу; Махметкул напал было на них и умертвил двадцать человек, но сам был разбит Ермаком. С наступлением весны Махметкул подбирался к Искеру, но Ермак узнал об этом заранее, выслал 60 человек, которые напали на сонных татар, схватили Махметкула и привезли к своему предводителю. Ермак обошелся с ним очень ласково. Неизвестно, зимою ли или еще весною отправил он своего товарища, опального Ивана Кольцо к царю известить, что Бог покорил ему государю сибирскую землю, и просить присылки воевод и ратных людей на сибирскую землю. Между тем сам Ермак с наступлением зимы продолжал подчинять разных данников Кучума и, между прочим, взял остяцкий город Назым, под которым потерял одного из атаманов, Никиту Пана.

Иван Грозный принял Кольцо милостиво, объявил ему прощение в прежних его преступлениях и отправил с ним в Сибирь воеводу князя Семена Волховского и Ивана Глухова со значительным отрядом ратных людей. Говорят, что царь в то же время послал Ермаку в подарок два панциря, серебряный ковш, камки и шубу со своего плеча.

Ермак передал прибывшему в Сибирь царскому воеводе пленного Махметкула, который был немедленно отправлен в Москву, где обязался служить царю. С этих пор счастье начало изменять завоевателям Сибири. Сделался недостаток в съестных припасах; распространились болезни; воевода Волховской умер. С наступлением весны 1584 года татары, остяки и вогуличи подвезли русским запасы; нужда миновалась, но казаков постигла новая беда. Один из данников Кучума, Карача-Мурза, притворился верным слугой русского царя и просил у Ермака помощи против нагайцев. Ермак послал к нему Ивана Кольцо с небольшой дружиной в сорок человек. Татары перебили их всех до последнего. Другой атаман, Яков Михайлов, отправился проведывать вестей о пропавших товарищах и был сам взят и убит. Вслед за тем Карача с большой татарской силой осадил Ермака и атамана Мещеряка в самом Искере, думал принудить их к сдаче голодом, но атаман Мещеряк сделал вылазку и рассеял осаждающих. Ермак отправился по следам Карачи вверх по Иртышу и счастливо покорил несколько улусов. В августе<sup>90</sup> проведал он, что в Сибирь идет бухарский караван с товарами и сам Кучум хочет перерезать ему путь и захватить товары. Ермак отправился со своей дружиной<sup>91</sup> на устье реки Вагая, впадающего в Иртыш, с тем, чтобы дать каравану свободный путь по Иртышу. Целый день ожидал он каравана, не видал его и, утомившись, расположился с казаками на отдых на берегу Иртыша. Ночь была дождливая и бурная. Все казаки заснули глубоким сном. Татары напали на них и начали резать сонных. Ермак, пробудившись, бросился к своему стругу, но струг стоял далеко от берега. Ермаку нужно было проплыть до него несколько шагов. Он бросился в своей броне в воду и утонул. Татары двинулись на Искер. Атаман Мещеряк вместе с присланным из Москвы товарищем князя Волховского, Иваном Глуховым, не в состоянии были при малом числе воинов держаться против Кучума, покинули город Сибирь и поплыли на стругах вниз по Иртышу, с тем, чтобы войти в Обь, а оттуда через югорские горы пробраться в Печору. Таким образом, Сибирь была покинута и, казалось, все плоды подвига Ермака погибли.

Но Ермак сделал свое дело. По следам его двинулась Русь в неизмеримые страны северной Азии, покоряя страну за страной, подчиняя русским царям один татарский народец

<sup>90</sup> Вероятно, это было уже в 1585 году.

<sup>91</sup> По одним известиям, с ним было 50 чел., по другим – 150, по третьим – триста.

за другим, оставляя повсюду следы своего поселения. Еще в Москве не знали о гибели Ермака, как снова послали в Сибирь воеводу Мансурова, который, услышавши, что сделалось с казаками, отправился не вверх, а вниз по Иртышу, при впадении Иртыша в Обь основал большой Обский городок и принудил окрестных остяков платить ясак. В 1586 году воевода Сукин основал Тюмень на реке Туре, а в следующем (1587) воевода Чулков заложил Тобольск близ бывшего города Сибири: последний был с тех пор заброшен окончательно. Кучум, одолевши Ермака, не удержался на царстве, был изгнан Сейдяком, племянником свергнутого им прежнего сибирского царя, а сам Сейдяк был схвачен Чулковым и отправлен в Москву. Кучум несколько лет еще боролся с русскими. В 1598 году воевода Воейков разбил его наголову и взял в плен его семейство. Сам Кучум убежал к нагаям и был убит ими. С тех пор русские воздвигали город за городом, подвигаясь все дальше в глубь Сибири. В 1592 году построен был Пелым, за ним Березов и Обдорск близ Ледовитого моря, а в 1601 – Туринск на реке Туре. Но главным образом движение русских шло к востоку в нынешнюю Томскую губернию. Так, в 1594 году построена была Тара, в 1596 – Нарым, в 1597 – Кецк, а в 1604 – Томск на реке Томи. Вместе с построением городов переходили в Сибирь русские поселенцы. Правительство приказывало собирать охочих нетяглых людей и раздавать им в Сибири земли для пашни со льготами и набирать в казаки. Уже при Годунове Сибирь начинала делаться местом ссылки, но в те времена эта новая страна не только не пугала русского народа, а, напротив, привлекала его. В Сибирь уходили не одни гулящие люди; бежали туда и тяглые и служилые. Казаки составляли самую деятельную часть русского населения в этих странах, и в ряды их входили не одни природные русские, но также татары, пленные литовцы, немцы. Это сословие проникалось одним духом, увлекалось одним стремлением отыскивать «новые земли», подчинять новые народы и заставлять их платить ясак. Их удальство, предприимчивость и необыкновенная устойчивость в перенесении всевозможных трудностей и лишений представляется в наше время почти невероятной: идти на лыжах сотни верст по снегам в неведомую землю, зимовать где-нибудь в пещере, вырытой в сугробе, питаясь только скудным запасом сухарей, было для них делом обычным. Вслед за ними приходили земледельцы, пролагались новые дороги, строились мосты, возникали села, церкви, водворялась русская жизнь. Иностранцы всегда почти сперва не в силах были противиться русским, так как у последних было незнакомое для них огнестрельное оружие, и обязывались платить ясак мехами; но потом, выходя из терпения от разных грабительств и притеснений со стороны русских, обыкновенно изменяли и нападали на русских врасплох. Все новопостроенные городки выдерживали с ними беспрестанную упорную борьбу. Тем не менее Сибирь сразу открыла для русского государства неизмеримое богатство пушных зверей. Лучшие меха доставлялись царю и раздавались в огромном размере в качестве подарков, жалованья, по воле государя, заменяя денежные выдачи. Образовалась в Москве богатая, так называемая сибирская казна. За сборщиками ясака позволяли ездить по Сибири купцам для покупки мехов. Торговля с иностранцами была меновая. Купцы платили за меха русскими произведениями, так, например: холстом, сукном, разными изделиями, представлявшими новизну для дикарей. Вслед за тем русские познакомили их с водкой, которая самым губительным образом действовала на иностранцев. Возвращаясь назад из Сибири, купцы обязаны были платить пошлины лучшими мехами в казну государеву. Вообще русские люди с такой жадностью бросались на меха, что скудость зверей скоро давала себя чувствовать в тех местах, с которыми русские знакомились, и только постоянное движение казаков к востоку открывало новые богатства. Весь XVII век меха были главнейшим материалом, доставляемым из Сибири, но с половины этого столетия важную, хотя второстепенную роль начали играть моржовые кости, так называемый рыбий зуб. С Петра Великого Сибирь начала доставлять России металлические богатства, составляющие до сих пор важнейшее достоинство края, которого обладанием Россия обязана Ермаку.

## Глава 22

## Князь Константин Константинович Острожский

В XIV веке, когда в восточной Руси Москва полагала собою зародыши единого русского государства, на западе совершались перевороты, склонявшие другую половину Руси к политическому и общественному отчуждению от русского мира. В первой четверти этого столетия литовский князь Гедимин, сын Витенеса, человек необыкновенных дарований, покорил белорусские и волынские города, с их землями, изгнал из Луцка главного князя в волынской земле Льва, потом в 1319—20 гг. на реке Ирпени (Киевской губернии) разбил соединившихся против него князей дома Св. Владимира, овладел Киевом и Переяславом с их землями. Последствием этих завоеваний было то, что княжеский дом Св. Владимира совершенно потерял свое значение на западе. Иные князья бежали, другие были низведены на степень подчиненных владетелей, а место их в смысле удельных князей заменили князья литовского происхождения. Гедимин разделил между своими детьми и родственниками покоренные им русские владения; на Волыни сделался князем Любарт, в Новгороде Кориат, в Пинске Наримунт; в Киеве поставлен был подручником Гедиминова князь Монтвид и т.д. Эти литовские князья приняли православие и русскую народность, а ближайшее их потомство до такой степени обрусело, что в нем не оставалось никаких признаков прежнего происхождения. Этот переворот, в сущности, был только династический; но разница между порядком дел при князьях дома Св. Владимира и при князьях Гедиминова дома состояла в том, что князья литовского дома зависели от великого князя, который находился в Литве, и со своими уделами состояли у него в ленном подчинении. Полоцкая и витебская земли уже прежде находились под властью князей литовского племени, вероятно, достигших княжения по выбору, а впоследствии эти земли подчинились Гедимину, и потом уже находились под властью князей его рода.

Вслед за покорением русских земель Гедимином, в Червоной Руси произошел иной переворот. По смерти главного князя этой земли, прямого потомка короля Данила, Юрия II, галицкие и владимирские бояре призвали к себе князя Болеслава Мазовецкого, потомка Данила Галицкого по женской линии; но этот князь принял католичество, оказывал вследствие этого пренебрежение к православной вере, окружил себя чужеземцами и дурно обращался с русскими; его отравили, и в 1340 году польский король Казимир в качестве мстителя за Болеслава овладел Львовом и всею галицкою землею, а также и Волынью, но должен был после этого выдержать продолжительную борьбу с русскими, отстаивавшими свою независимость. Главным деятелем в этой борьбе с русской стороны явился князь Острожский, по имени Данило, иначе Данко: он был потомком Романа, одного из сыновей Данила Галицкого; его ненависть к польскому владычеству была так велика, что Данило Острожский наводил татар на Польшу. С ним заодно был сын Гедиминова Любарт, крещенный под именем Феодора. После долгого кровопролития Казимир удержал только часть Волыни. С тех пор земли, поступившие под власть Польши, остались за ней навсегда и начали мало-помалу принимать во внутреннем строе жизни и языке польское влияние.

Сын Гедиминова, великий князь Ольгерд, расширил русские владения, унаследованные от отца: он присоединил к своей державе подольскую землю, выгнав оттуда татар. Подвластная ему Русь разделялась между князьями, которых, однако, Ольгерд, человек сильного характера, держал в руках. В Киеве он посадил своего сына Владимира, который дал начало новому роду киевских князей, господствовавших там более столетия и называемых обыкновенно Олельковичами, от Олелька, или Александра Владимировича, Ольгердова внука. Сам Ольгерд, два раза женатый на русских княжнах, позволял своим сыновьям креститься в русскую веру и, как говорят русские летописи, сам крестился и умер схимником. Таким образом, князья, заменившие в Руси род Св. Владимира, сделались такими же русскими по вере и по усвоенной ими народности, какими были и князья предшествовавшего им рода. Литовская держава носила название Литвы, но, конечно, была чисто русская и не переставала бы на будущее время оставаться вполне русской, если бы сын и преемник Ольгерда на великокняжеском достоинстве Ягелло (иначе Ягайло) в 1386

году не соединился браком с польскою королевою Ядвигою. Вследствие этого брака он принял католичество, сделался ревностным поборником новопринятой веры и, потакая полякам, покровительствовал как распространению католической веры в русских землях, так и внедрению польской народности на Руси. В это время был положен зародыш явлению, которое впоследствии на многие века составляло отличительную черту взаимных отношений Руси и Польши. Понятие о вере тесно сливалось с понятием о народности. Кто был католиком, тот был уже поляком; кто считал себя и назывался русским, тот был православным, и принадлежность к православной вере была самым наглядным признаком принадлежности к русскому народу. Ягелло был человек мягкого сердца, слабой воли и ограниченного ума. Он предоставил Литву с Русью управлению своего двоюродного брата Александра Витовта, который отличался честолюбивыми замыслами, но вместе с тем неумением доводить их до конца. Витовт постоянно колебался и впадал в противоречия, помышлял о самостоятельности своего русско-литовского государства, но сам принял католичество в разрезе с русским народом, крепко стоявшим за православие, уступал во всем полякам и мирволил их притязаниям. Ягелло даровал литовским и русским землевладельцам те свободные независимые права, снимавшие с них ленные обязанности, – права, которыми пользовались поляки у себя в отечестве. Но Ягелло распространил эти преимущества в Литве и Руси только на тех, кто принял римскую веру. В 1413 году состоялось первое соединение Литвы с Польшей. Поляки и литовцы обязались советоваться одни с другими при выборе властителей, не предпринимать войн одним без других и съезжаться на съезды для общих советов о своих взаимных делах. Заключивши такой договор, Витовт после того беспрестанно делал попытки к его уничтожению, мечтал о русско-литовском государстве, но не добился до него и все-таки остался в истории одним из важнейших подготовителей порабощения Руси Польшею. Русские не терпели его, понимая, что государство, которое он хотел создать, не было бы русским. Не так относился к русской народности брат Витовта Свидригелло (иначе Свидригайло), сохранивший православную веру и женатый на тверской княжне Иулиании Борисовне. Этот человек, как и Витовт, руководился собственно честолюбием, но превосходил первого умом и верностью взгляда. Цель его была – сделаться самостоятельным государем русско-литовским, независимым от польского короля, но он сообразил, что для этого нужно идти заодно с русским народом. В продолжение полустолетия Свидригелло боролся с Польшею, находясь во главе русского народа, который был к нему долгое время очень привязан. Борьба эта происходила еще при жизни Витовта; по смерти последнего, Свидригелло сделался великим князем литовским, также в качестве подручника Ягелла, каким был Витовт, но не стал двоить и колебаться, подобно Витовту, а тотчас же начал открыто действовать, как самостоятельный русский государь, и покусился отнять у Польши те русские владения, которые были присоединены к ней непосредственно. Поляки, в соумышлении с литовскими панами, принявшими католичество, свергли Свидригелла, и вместо него великим князем литовским был назначен брат Витовта, католик Сигизмунд, признавший себя в ленной зависимости от Польши. Но за Свидригелла была Русь. Упорная, кровопролитная борьба продолжалась несколько лет не только против поляков, но и против литовцев, сторонников Сигизмунда; наконец, сам Свидригелло, уже вступивший в старческий возраст, устал вести ее, и притом как его поступки, так и обстоятельства лишили его опоры в русском народе.

Свидригелло вооружил против себя литовцев и русских жестокими казнями над своими недоброжелателями, иногда совершаемыми по одному подозрению; так, между прочим, он, подозревая в сношениях с Сигизмундом смоленского епископа Герасима, своего прежнего любимца, приказал сжечь его живьем. Во всей этой борьбе русских с поляками неумоимо действовал заодно со Свидригеллом один из русских князей Федор, или Федько Острожский, но Свидригелло стал подозревать и его в измене; этого товарища долгих лет борьбы и скитаний Свидригелло велел посадить в тюрьму. Федько, освобожденный поляками, помирился с польским королем. Свидригеллу остался один Луцк. Новый польский король, сын Ягелла, Владислав (называемый в истории Варнским, по случаю своей смерти в бою с

турками под Варною, в 1444 году) нанес покушениям Свидригелла решительный удар своими отношениями к русскому народу и к русской вере. До сих пор поляки год от года захватывали силу на Руси путем насилия. Король Владислав Ягелло строил костелы, наделял их именьями, раздавал католикам земли и должности, заводил на Руси города и села, населял их поляками и давал им привилегии, каких не имели жители старых русских городов и сел. Тогда явилось так называемое магдебургское право, состоявшее в разных льготах, вводившее известный строй самоуправления и вместе с ним немецкое разделение городских ремесленников и торговцев на цехи, сообразно их занятиям. Это право давалось только новым городам, населенным католиками – поляками и немцами. Последних в то время селилось много на Руси. Поселенцы новых сел освобождались от разных платежей и повинностей, от которых не было изъятия для старых русских сел. Земляне (бывшие бояре землевладельцы) уравнились были в правах с польскими шляхтичами и освобождались от разных платежей, но только тогда, когда принимали католичество; в таком случае они служили в войске с жалованьем, а оставаясь в православии, не получали его. Принимая католическую веру, русские, как и литовцы, теряли свою народность и почти переделывались в поляков. Все население западной Руси разделялось таким образом на привилегированных и непривилегированных, и последними были православные жители русских земель. Преемник Владислава Ягелла, Владислав II (1434 г.), стал действовать в ином духе, чем его отец, хотя для одной и той же цели. Он распространил привилегии и льготы, которыми пользовались русские земляне латинской веры, на всех русских землян без изъятия. Это-то и было началом примирения Руси с Польшей и главнейшею причиною того, что замыслы Свидригелла не могли уже находить прежнего сочувствия, так как русские земляне, составлявшие силу края, почувствовали для себя выгоды от сближения с Польшей, вместо того, чтобы видеть в ней враждебное начало, как было до того времени. В 1443 году король Владислав II дал грамоту, по которой во всех правах сравнял русскую церковь и русское духовенство с римско-католическим. Таким образом и со стороны православного духовенства прекратились неприязненные движения. Сигизмунд, бывший великим князем литовским, в 1443 г. был убит князьями Черторижскими; но Свидригелло не мог уже возратить себе великого княжения, оставался в Луцке бездейственно и умер в глубокой старости (в 1452 году). Новым литовским князем после Сигизмунда был сын Ягелла Казимир. В следующем 1444 году он был избран польским королем, и во все продолжение его долгого царствования в Литве уже не было отдельною великого князя. Казимир действовал во всем в духе польской политики; хотя он не преследовал открыто насильными путями православной веры, но способствовал распространению католичества и вводил все признаки польского устройства в русские земли. Земляне получили самые широкие права: они делались, так сказать, полными государями в своих имениях. Вместо удельных князей, подручных великому князю, введены были, по образцу польскому, воеводы и каштеляны, назначаемые пожизненно. Таким образом, между прочим, и в Киеве, в 1476 году, после смерти князя Михаила из рода Владимира Ольгердовича, начались воеводы. Должность эту получали знатные лица. Князья, потомки Гедимины и Св. Владимира, сделались самостоятельными владетелями в своих имениях наравне с польскими панами: они обладали огромными богатствами, и вся земля русская, особенно южная, находилась во владении немногочисленных родов, каковы были Острожские, Заславские (составлявшие другую ветвь одного дома с Острожскими), Вишневецкие и Збаражские – потомки Ольгерда, Черторижские, Сангушки, Воронежские, Рожинские, Четвертинские и другие. На Руси начала господствовать аристократия. Остальной народ все более и более зависел от нее. Владельцы имели право суда над своими подданными и не допускали короля вмешиваться в свое управление. Города, наполняемые в значительной степени иудеями, один за другим получали магдебургское право, но, при силе аристократии, не могли быть огражденными от произвола сильных вельмож. Польские порядки более и более приходились по праву высшему классу, и это повлекло русских землян к большему сближению с Польшей. После Казимира Литва и Польша некоторое время имели отдельных владетелей в лице польского

короля Яна Альбрехта и брата его, великого князя литовского Александра. Но это продолжалось короткое время; скоро по смерти Альбрехта Польша и Литва опять соединились под властью Александра, избранного польским королем, и с тех пор отдельных великих князей в Литве уже не было. В это время состояние низшего класса народа, так называемых кметей или хлопов, делалось тяжелее. Паны не стеснялись более древним обычаем не переводить хлопов с одной земли на другую и нередко вовсе лишали их земли; таким образом, низший класс, земледельцы, оказались безземельными, а тем самым в порабощении у владевших землями. Поземельное владение могло быть только достоянием людей шляхетского звания. В XVI веке Польшею и Литвою правили один за другим короли: Сигизмунд I и сын его Сигизмунд-Август. Права шляхетства дошли до крайних пределов. Панские подданные были совершенно изъяты от покровительства короля. Положение нешляхетного человека до такой степени было унижено, что по литовским законам, вошедшим в сборник, называемый Литовским Статутом, шляхтич, убивший чужого хлопа или даже вольного человека, но не шляхтича, наказывался только платежом пени (годовщина). Хотя одинаковое право предоставлялось всем людям шляхетского происхождения, как богатым, так и бедным, однако на деле не могло удержаться это равенство, при несоразмерности достояния землевладельцев: масса вольных шляхтичей делалась, в сущности, подчиненною знатным панам, которые обладали огромными пространствами земель и сотнями, даже тысячами поселений. В это время Польша, как по географическому положению, так и по условиям жизни, стоявшая ближе Руси к Западной Европе, где наступила эпоха духовного возрождения, по умственному образованию была гораздо выше Руси, и русское шляхетство естественно подчинялось ее цивилизирующему влиянию. Тогда как у поляков существовала краковская академия, много училищ, появлялись замечательные по своему времени ученые и поэты, распространено было знакомство с латинской литературой, не прерывалось общение с западным просвещением, – в польской и литовской Руси господствовал мрак, не предпринималось почти никаких мер по образованию в области своей народности. Южная и западная Русь стояли в этом отношении даже ниже северо-восточной, где, по крайней мере, сохранялись древние памятники славянской литературы и где время от времени появлялись, как мы видели, более или менее замечательные плоды умственной работы. В польской и литовской Руси мы долгое время не видим ничего, кроме официальных бумаг, написанных на языке, который свидетельствует о постоянно увеличивавшемся влиянии и господстве польского языка. Таким образом, в XVI столетии сложился особый русский письменный язык, представляющий смесь древне-славяно-церковного с народными местными наречиями и польским языком. Польское влияние все более и более господствовало над этим языком и, наконец, довело его до того, что он стал почти польским языком, только с удержанием русской фонетики. Влияние польское отразилось и на простонародной речи: польские слова, выражения и обороты стали входить в простонародный язык малорусской и белорусской ветвей. Вместе с тем начали проникать в русское высшее общество польские нравы и воззрения; таким образом, польско-литовская Русь принимала особую физиогномию, отличавшую ее от северо-восточной Руси уже не одними издревле существовавшими этнографическими отличиями, но сильною близостью к Польше, и в будущем, очевидно, подготовлялось совершенное слияние западной и южной Руси с Польшею.

Потомки Федора Острожского, так долго боровшегося за независимость Руси<sup>92</sup>, оставались верны Польше, как и вообще русский высший класс, видевший для себя в соединении с Польшей неисчерпаемую выгоду, был ей верен. Кроме безусловного права владеть своими родовыми имениями, почти ничего не платя в казну, русские паны, сообразно польскому обычаю, получали еще в пожизненные владения государственные имущества, называемые староствами, с обязанностью давать с них четвертую часть дохода на содержание войска и поддержку укреплений. Все это естественно привязывало их к

---

<sup>92</sup> Русские высоко ценили память этого борца за свою народность; до сих пор тело его поживает в киевских пещерах в ряду киевских печерских угодников.

стране, откуда истекали для них такие выгоды.

Правнуком Федора Острожского, знаменитого своей борьбой за Русь против Польши, был знаменитый Константин Иванович, гетман литовский, верный слуга польского короля, бывший в плену у Ивана III и потом отомстивший за свой плен поражением, нанесенным московскому войску под Оршею. Вражда к православной Москве и верная служба королю-католику не мешали ему славиться православным благочестием.<sup>93</sup> Он щедро строил и украшал православные церкви, вместе с тем заводил при церквях школы для детей и, таким образом, полагал начаток русского просвещения.

Сын его Константин Константинович был киевским воеводою и одним из знатнейших и влиятельнейших панов Польши и Литвы долее чем в продолжение полустолетия, и притом в самую славную и богатую событиями эпоху польской истории. Он не отличался ни воинскими подвигами, ни государственными деяниями; напротив, из современных писем польских королей мы узнаем о нем, что он навлек на себя упреки в нерадении о защите вверенного ему воеводства, оставлял киевский замок в печальном положении, так что Киев мог беспрестанно подвергаться разорению от татар; кроме того, он не платил податей, следовавших с его староств. В молодости своей, как рассказывают, он заявлял себя в домашней жизни не совсем благовидным образом: так, между прочим, он помог князю Димитрию Сангушке увезти насильно свою племянницу Острожскую. Некоторые черты его жизни показывают в нем суетного и тщеславного пана. Он обладал огромным богатством: кроме родовых имений, заключавших в себе до восьмидесяти городов с несколькими тысячами сел, у него во владении находились пожалованные ему огромные четыре староства в южной Руси; доходы его простирались до миллиона червонных злотых в год. При такой обстановке Константин Константинович платил большую сумму одному каштеляну только за то, что тот два раза в год должен был стоять за его креслом во время обеда; ради своеобразности, он держал при дворе своем обжору, который удивлял гостей тем, что съедал невероятное количество пищи за завтраком и обедом. Не столько личные способности князя Константина Константиновича, сколько его блестящее положение давало ему важное значение и поставило его в средоточие возникавшей в то время умственной деятельности на Руси. Подобно вельможам своего времени, и он показал себя сторонником Польши, на знаменитом сейме 1569 года подписал присоединение Волыни и киевского воеводства к польскому королевству на вечные времена, и своим примером много содействовал успеху этого дела. Будучи русским, и считая себя русским, он, однако, подчинился влиянию польской образованности и употреблял польский язык, как показывают его семейные письма. Оставаясь в вере своих отцов, Острожский, однако, склонялся к иезуитам, пустил их в свои владения и особенно ласкал одного из них, по имени Мотовил: это ясно видно из писем к нему Курбского. Московский изгнанник укорял Острожского за то, что Острожский прислал к нему сочинение Мотовила и дружился с иезуитами. «О государь мой превозлюбленный, – писал к нему Курбский, – зачем ты прислал ко мне книгу, написанную неприятелем Христа, помощником Антихриста и верным слугой его? С кем ты дружишься, с кем общаешься, кого на помощь призываешь!.. Прими от меня, слуги своего верного, совет с кротостью: перестань дружиться с этими супостатами, прелукавыми и злыми. Никто не может быть другом царя, если ведет дружбу с его неприятелями и держит, как за пазухою змея; трикратно молю тебя, перестань так поступать, будь подобен праотцам твоим по ревности благочестия». Таким образом, этот русский пан поддавался иезуитским козням. Впоследствии заметно, что Острожский поддался влиянию и протестантства. В одном из своих писем к внуку, сыну дочери своей, Радзивиллу, он писал наставление, чтобы тот не ходил в костел, но советовал ему ходить в собрание кальвинистов и называл их последователями истинного закона Христова. Увлечение протестантством происходило у него, однако, оттого, что прославленный князь видел христианские поступки протестантов.

---

<sup>93</sup> Он умер 70 лет от роду в 1533 году. Тело его погребено было в главной церкви Киево-Печерской Лавры, где до сих пор сохранился в нише северной стены его мраморный памятник со статуей прекрасной работы, изображающей спящего героя.

Острожский с уважением указывал на то, что у них были школы и типографии, что их пасторы отличались благонаравием и противопоставлял им упадок церковного благочиния в русской церкви, невежество священников, материальное своеволие архипастырей, равнодушие мирян к делам веры. «Правила и уставы нашей церкви, – говорил он, – в презрении у иноземцев; наши единоверцы не только не могут постоять за Божью церковь, но даже смеются над нею; нет учителей, нет проповедников Божьего слова; повсюду глад слышания слова Божия, частое отступничество; приходится сказать с Пророком: кто даст воду главе моей и источник слез очам моим!»

Таким настроением знатного пана воспользовались некоторые русские люди и побудили Острожского сделаться до некоторой степени двигателем умственно-религиозного возрождения в польской Руси. Вероятно, убеждения и упреки Курбского много содействовали такому настроению. Острожский уважал Курбского; Острожский посылал ему на просмотр разные сочинения и, между прочим, замечательную книгу иезуита Скарги «О Единой Церкви», писанную нарочно с целью подготовки унии. Курбский возвратил Острожскому эту книгу с такими же упреками, как и сочинение Мотовила; со своей стороны, Курбский послал переведенную им с латинского языка «Беседу Иоанна Златоуста о Вере, Надежде и Любви», и сердился на князя Острожского, когда последний сообщил перевод Курбского какому-то поляку, которого Курбский называл «неученым варваром, воображавшим себя мудрецом». Московский изгнанник, видя в своем новом отечестве усиливавшееся влияние иезуитов, старался всеми силами противодействовать им, как равно и господству польского языка. Когда Острожский, которому понравилось писание Курбского, советовал для большего распространения перевести его на польский язык, то Курбский отверг это предложение: «Если бы и не мало ученых сошлось, – писал он, – то не в силах они буквально переложить грамматические тонкости славянского языка на их „польскую барбарию“. Не только с речью славянскою или греческою, и с любимую ими латинскою они не сладят». Тогда между русскими панами вошло в обычай, ради просвещения, поверять воспитание детей иезуитам. Курбский с похвалою отзывался вообще о желании учить детей наукам, но не видел никакого проку от иезуитов. «Уже многие из родителей (писал он княгине Черторижской) родов княжеских, шляхетских и честных граждан отдали детей своих учиться наукам, но иезуиты ничему их не научили, а только, пользуясь их молодостью, отвратили от правоверия». Судя по письмам Курбского к разным лицам, можно, наверное, полагать, что этот московский беглец имел сильное влияние на деятельность князя Острожского в области охранения веры и возрождения книжной образованности, так как он с Острожским находился постоянно в близких отношениях.

Зародыши умственного и религиозного движения в польско-литовской Руси появились в начале XVI века. Полочанин Скоринна перевел на русский язык Библию и напечатал ее в чешской Праге, за отсутствием типографии на Руси. В половине XVI века распространившееся в Литве протестантство способствовало литературному пробуждению русской речи. В 1562 году в Несвиже была типография, и знаменитый в свое время Симон Будный, человек большой учености, напечатал протестантский катехизис на русском языке.<sup>94</sup> Немного позже гетман литовский Григорий Александрович Ходкевич основал в своем имении Заблудове типографию; туда прибыли к нему ушедшие из Москвы типографщики Иван Федоров и Петр Мстиславец: они напечатали там, в 1569 году, толковое Евангелие, большой фолиант. Это был труд знаменитого Максима Грека, перепечатанный впоследствии в том же виде в Москве. Но типография Ходкевича была, как видно, только временная панская прихоть. По смерти Григория Ходкевича наследники не поддерживали заведения. Типографщик Иван Федоров перешел во Львов, а затем в Острог, и здесь-то основана была типография, положившая более твердое основание литературному и книгопечатному делу в южной Руси. В 1580 году была напечатана в первый раз славянская Библия по приказанию Острожского. В предисловии к Библии от лица князя Константина

<sup>94</sup> Впоследствии этот Будный перешел в арианство, написал арианский катехизис и издал на польском языке перевод Библии.



Константиновича Острожского говорилось, что он побужден был к этому делу печальным положением церкви, отовсюду попираемой врагами и терзаемой без милосердия нещадными волками, и никто не в силах противустать им по недостатку духовного оружия – слова Божия. Во всех странах славянского рода и языка Острожский не мог найти ни одного правильного списка Ветхого Завета и получил его наконец только из Москвы через посредничество Михаила Гарабурды. Вместе с тем князь Острожский общался с Римом, с островами греческого архипелага (с кандийскими), с константинопольским патриархом Иеремию, греческими, болгарскими и сербскими монастырями с целью добыть оттуда списки Св. Писания как эллинские, так и славянские, и желал руководствоваться советами людей, сведущих в писании. Изданная Острожским первая печатная Библия составляет эпоху в русской литературе и вообще в истории русской образованности. За Библией последовал целый ряд изданий, как богослужебных книг, так и разных сочинений религиозного содержания. Между ними важное место занимает книга: «О единой истинной и православной вере и святой апостольской церкви», написанная священником Василием и напечатанная в 1588 году: книга эта служила опровержением сочинения Скарги, вышедшего на польском языке почти под тем же названием, и имела целью защитить восточную церковь против упреков, делаемых сторонниками латинской церкви. Здесь рассматриваются вопросы, составлявшие сущность различия церквей: об исхождении Св. Духа, о власти папы, об опресноках, о безбрачии духовных, о субботнем посте. Книга эта имела в свое время важное значение, потому что знакомила с сущностью тех вопросов, которые должны были сделаться предметом живых состязаний; православные читатели могли поучиться из этой книги: что и как возражать им следует против убеждений западного духовенства, которое тогда пустило в ход свою пропаганду в русском народе. В острожской типографии напечатано также несколько книг религиозного содержания: «Листы патриарха Иеремии» и «Диалог патриарха Геннадия» (в 1583), «Исповедание о исхождении Св. Духа» (1588). В 1594 году издана большим фолиантом книга Василия Великого «О постничестве», а в 1596 «Маргарит» Иоанна Златоустого. В одно время с типографией, в 1580 году Острожский основал у себя в Остроге главную школу и, кроме того, несколько школ в своих владениях. Ректором главной острожской школы, родоначальницы высших учебных заведений на русской земле, был ученый грек Кирилл Лукарис, впоследствии получивший сан константинопольского патриарха. Кроме Острога, князь Острожский завел типографию в Дерманском монастыре.

В то же время другим важным двигателем пробуждения умственной жизни на Руси было заведение братств, товариществ с нравственно-религиозными целями, куда входили без различия люди всяких сословий, но непременно принадлежавшие к единой церкви. Такие братства стали возникать из подражания западным. Первое из этих братств в польской Руси, получившее историческое значение, было львовское, основанное по благословию антиохийского патриарха Иоакима, посещавшего русский край в 1586 году. Главные цели его были воспитание сирот, призрение убогих, пособие потерпевшим разные несчастья, выкуп пленных, погребение и поминовение умерших, помощь во время общественных бедствий, – вообще дела благотворения. Члены имели свои определенные сходы и вносили каждый по шести грошей в общую кружку. Тогда при братстве была заведена мещанами школа, типография и больница. В школе преподавалась, кроме Священного Писания, славянская грамматика вместе с греческою, и для этой цели составлена была и напечатана эллино-славянская грамматика, в которой сравнительно излагались правила обоих языков. Частное обучение было стеснено: каждый мог обучать только своих детей и домашних. По образцу львовского братства заведено было в Вильне троицкое братство, а потом стали основываться братства и в других городах. Из них львовскому было предоставлено старейшинство. Уже одно то, что люди всех сословий сходились между собою во имя отеческой веры, улучшения нравственности и расширения круга понятий, действовало на поднятие народного духа. Патриарх Иоаким, учреждая львовское братство, поручил ему надзор над исполнением духовными их обязанностей, равно как над благочестием и добронравием как духовенства, так и мирян; таким образом духовенство стало зависимым от

общественного суда светских людей: это было совершенно противоположно воззрениям западного духовенства, которое всегда ревниво хлопотало о том, чтобы люди, не принадлежащие к духовному званию, слепо повиновались наставлениям духовных, и отнюдь не смели рассуждать о делах веры, иначе как под руководством духовных, и не дерзали осуждать их поступков. Но и русским высшим духовным сановникам пришлось не по сердцу основание братств. Львовский владыка Гедеон тотчас вошел в неприязненные отношения к львовскому братству.

Строй православной церкви на Руси, подвластной Польше, был в печальном положении. Высшие духовные сановники, происходя из знатных родов, вместо того, чтобы сообразно православным обычаям проходить лестницу монашеских чинов, получали свои места прямо из светского звания, и притом не по испытанию, а по связям, благодаря покровительству сильных или посредством подкупа, расположив к себе королевских придворных. Архиереи и архимандриты управляли церковными имениями со всеми привилегиями суда и произвола светских панов своего времени, держали у себя вооруженные отряды, по обычаю светских владельцев, в случае ссор с соседями позволяли себе буйные наезды и в домашнем своем быту вели образ жизни, совсем неподобающий их сану. Были примеры, что знатные паны спрашивали для себя у короля епископские и настоятельские места и, оставаясь непосвященными, пользовались церковным хлебом, как тогда выражались. Один современник замечает: «Правила Св. отец не дозволяют посвящать в священники моложе тридцати лет от роду, а у нас допускают иногда пятнадцатилетнего. Он по складам читать не умеет, а его посылают проповедывать слово Божие; он своим домом не управлял, а ему церковный порядок поручают». У владык, архимандритов, игуменов были братья, племянники, дети, которым раздавали в управление церковные имущества. Роскошная жизнь высших сановников повела к утеснению подданных в церковных имениях. «Вы, – обличал русских архиереев афонский монах, – отнимаете у бедных поселян волов и лошадей, выдираете у них денежные дани, мучите, томите работою, кровь из них сосете». Низшее духовенство находилось в крайнем унижении. Бедные монастыри обращаемы были в хутора, владыки устраивали в них псарни для своей охоты, и монахам приказывали содержать собак. Приходские священники терпели и от владык, и от светских людей. Владыки обращались с ними грубо, надменно, обременяли налогами в свою пользу, наказывали тюремным заключением и побоями. Светский владелец села назначал в нем такого священника, какого ему было угодно, и этот священник ничем не рознился от хлопа по отношению к владельцу; господин посылал его с подводкою, гонял на свою работу, брал в услужение его детей. Русский священник, – замечает современник, – по своему воспитанию был совершенный мужик; не умел держать себя прилично; не о чем было поговорить с ним. Звание пресвитера дошло до такого презрения, что честный человек стыдился вступать в него и трудно было сказать: где чаще бывал священник, в церкви или в корчме. Нередко богослужение отправлялось им в пьяном виде с соблазнительными выходками, и обыкновенно священник, совершая богослужение, вовсе не понимал того, что читал, да и понимать не пытался. При таком состоянии духовенства понятно, что простой народ жил своею древнею языческою жизнью, сохранял языческие воззрения и верования, отправлял по прадедовским обычаям языческие празднества и не имел ни малейшего понятия о сущности христианства, а высший класс начинал стыдиться своей принадлежности к православной религии; католики всеми силами поддерживали этот ложный стыд. Иезуит Скарга, любимец короля Сигизмунда III, глумился даже над богослужебным языком русской церкви в таких выражениях: «Что это за язык? На нем нигде не преподают ни философии, ни богословия, ни логики; на нем даже грамматики и риторики быть не может! Сами русские попы не в силах объяснить, что такое они в церкви читают, и бывают принуждены спрашивать у других объяснений по-польски. От этого языка – одно невежество и заблуждения».

При тогдашних условиях, поднять падающую церковь и народное благочестие только и можно было, образовавши средоточие возрождения не в духовенстве, а вне его, в мирском быту. Братства и должны были сделаться главным орудием этого возрождения. Патриарх

Иеремия, проезжая через южную Русь в 1589 году, утвердил права львовского братства и даже расширил их: освободил братство от зависимости местного владыки и от всякой другой светской и духовной власти, не позволял в Львове быть иному православному училищу, кроме братского, оставил за ним надзор над судом епископским и, по жалобе братства, наложил запрещение на львовского епископа Гедеона Балабана. Балабан обратился к львовскому римско-католическому епископу, и первый из тогдашних русских епископов заявил желание подчиниться папе.

Во время пребывания своего в южной Руси, патриарх Иеремия низложил киевского митрополита Онисифора Девочку под тем предлогом, что он был прежде двоеженец, и вместо него посвятил Михаила Рагозу, уже, как видно, подстроенного иезуитами. Патриарх ошибся в этом человеке. Но еще более ошибся он тем, что, не давши полной власти митрополиту, назначил экзархом своим (наместником) луцкого епископа Кирилла Терлецкого, человека безнравственного и даже обвинявшегося в самых гнусных злодеяниях, как, например, в грабежах, изнасилованиях и убийствах.

Русское духовенство было сильно недоволено патриархом за то, что он дал братствам такую власть и поставил духовных под надзор мирян: кроме того, на него жаловались и за разные поборы с русского духовенства: подчиняясь турецкой власти, патриархи и вообще греческие святители находились в таком положении, что нуждались в подавнии, собираемом в православных землях. «Мы у них такие овцы, – говорили русские духовные, – которых они только доят и стригут, а не кормят».

На другой год после отъезда Иеремии, митрополит собрал в Бресте синод из православных архиереев. Все начали жаловаться на тягость зависимости от патриарха и роптали на братства, в особенности на львовское, которое, по грамоте патриарха Иеремии 1593 года, находилось под непосредственным ведением патриарха. «Как, – говорили архиереи, – какой-нибудь сходке пекарей, торгашей, седельников, кожевников, неучам, ничего не мыслящим в богословских делах, дают право пересуживать суд установленных церковью властей и составлять приговоры о делах, касающихся церкви Божией!» Все пришли к тому, что лучше всего подчиниться, вместо константинопольского патриарха, римскому папе.

В 1593 году, на место скончавшегося владимирского епископа, был поставлен Адам Потий, бывший до того времени светским паном и носивший титул брестского каштеляна. Он был уже совращен из православия в католичество, потом притворно обратился в православие с намерением посвятить себя делу унии. Он был человек безукоризненной нравственности, казался благочестивым и сам завел братство в Бресте. Острожский уважал его, притом же Потий был в родстве с Острожским. Король, давши ему место епископа, имел в виду именно то, что Потий может уломать могучего русского вельможу.

Потий вступил с Острожским в переписку и, не заводя сам речи об унии, повел дело так, что князь Константин Острожский первый заговорил об ней. Перебирая всякие средства к исправлению церковного порядка, Острожский остановился на соединении восточной церкви с западною. Но Острожский хотел совсем не такой унии, о какой помышляла римская пропаганда. Острожский признавал православную церковь вселенскою, а не национальною; Острожский считал правильным соединении церквей только в таком случае, когда и в других православных странах приступят к нему, и потому предлагал владимирскому епископу отправиться в Москву, а львовского послать к волохам для совещания по вопросу о соединении церквей. В видах Острожского целью предполагаемого соединения было – основание школ, образование проповедников и вообще распространение религиозного просвещения. Острожский не мог утаить перед Потием своей давней склонности к протестантизму; Острожский замечал, между прочим, что следует изменить многое в церковных обрядах, таинствах, в церковном управлении, отделить, как он выражался, человеческие вымыслы. Потий отвечал на это Острожскому: «Восточная церковь совершает свои таинства и обряды правильно; ни осуждать, ни охуждать нечего; в Москву же я не поеду: с таким поручением там под кнут попадешь. Лучше вы, как первый человек нашей

веры, обратитесь к своему королю».

Не успевши склонить Острожского, владыки несколько раз съезжались толковать, и в 1595 году составили предложение к папе об унии и избрали по этому делу послами в Рим Потия и луцкого епископа Кирилла Терлецкого. Потий известил об этом Острожского и напомнил, что Острожский сам же первый и поднял речь об унии.

Острожский рассердился, писал Потию, что владимирский епископ изменник и недостойн своего сана, а 24 июня написал и разослал (вероятно, печатное) послание ко всем православным обывателям Польши и Литвы, восхвалял греческую веру как единственную в мире истинную, извещал, что главнейшие начальники истинной веры нашей, мнимые пастыри: митрополит и епископы, обратились в волков, отступили от восточной церкви, «приложились к западным» и умыслили отторгнуть от веры всех благочестивых «здешней области» и вринуть в погибель. «Многие, – выражался Острожский, – из обывателей здешней области государства его величества моего короля, послушные святой восточной церкви, меня считают начальным человеком в православии, хотя я сам считаю себя не большим, но равным другим по правоверию; по этой-то причине, опасаясь не оказаться виновным перед Богом и вами, я извещаю вас о том, о чем наверное узнал, желая вместе с вами заодно стоять против супостатов, чтобы с Божией помощью и при вашем старании те, которые приготовили на нас сети, сами в эти сети попались. Что может быть постыднее и беззаконнее, если шесть или семь злодеев отверглись своих пастырей, от которых они поставлены, считают нас за бессловесных скотов, дерзают самовольно отрывать нас от истины и вводить нас в пагубу с собой?»

Острожский просил короля открыть собор, на котором присутствовали бы не одни духовные, но и светские. Король, заботясь об успехе унии, писал Острожскому убедительное письмо, склонял его пристать к унии и более всего указывал на то, что греческая церковь находится под властью такого патриарха, который получает свой сан по воле неверных магометан. Сообразно господствующему римско-католическому взгляду, что дела духовные должны быть достоянием одних духовных, Сигизмунд не хотел допустить съезда светских особ по делам веры, чего не только хотел Острожский, но и сами епископы, поддельваясь к Острожскому, заявляли просьбу королю о том же. Король писал: «Такой съезд только будет затруднять дело; заботиться о нашем спасении есть обязанность наших пастырей, а мы должны, не допрашиваясь, поступать так, как они велют, потому что Дух Господень дал нам их вождями в жизни». Но такого рода убеждения только раздражали Острожского, так как все это оскорбляло, между прочим, его панское самолюбие, внушавшее ему стремление быть первым между своими единоверцами.

Добываясь от короля дозволения на съезд или собор светских людей по делам веры, Острожский с одним из своих придворных отправил в Торунь к протестантскому собору приглашение к совместному противодействию папизму. Православный князь писал в таких выражениях: «Все, признающие Отца, Сына и Св. Духа, люди одной веры. Если бы у людей было более терпимости друг к другу, если бы люди с уважением смотрели, как их собратия славят Бога каждый по своей совести, то меньше было бы сект и толков на свете. Мы должны сойтись со всеми, кто только отдаляется от латинской веры и сочувствует нашей судьбе: все христианские исповедания должны защищаться против „папешников“. Его королевское величество не захочет допустить нападения на нас, потому что у нас самих может явиться двадцать, по меньшей мере, пятнадцать тысяч вооруженных людей, а гг. папешники могут превзойти нас разве числом тех кухарок, которых ксендзы держат у себя вместо жен».

Королю сделалось известным это послание, и он приказал написать Острожскому выговор за неуважительные отзывы о той вере, которую исповедует король, а особенно за намек на кухарок.

Угрозы насчет возможности явиться тысячам вооруженных людей имели важный смысл. В Польше господствовал дух своеволия. Законы действовали слабо, и вместо того, чтобы прибегать к их защите, люди, чувствовавшие за собой силу, сами расправлялись со

своими соперниками. Знатные паны держали у себя вооруженные отряды из шляхты: наезды на имения и дворы были обычным делом. Паны самовольно вмешивались даже в дела соседних государств. Удальцы всякого рода составляли шайки, так называемые «своевольные купы», и производили разные бесчинства. В южной Руси год от году усиливалось казачество, особенно развившееся после удачных походов на Крым и на Молдавию. Оно пополнялось русскими людьми из имений: наследственных панских и коронных (отдаваемых панам в виде староств), и через такой наплыв беглецов, уходивших в казаки в противность воле панов, приобретало враждебное настроение к панам и шляхетству вообще. Кроме казаков, признаваемых в этом звании и состоявших под начальством старшего или гетмана, составлялись шайки из простонародия, называвшие себя казаками, под начальством особых предводителей; такие шайки, при удобном случае, легко примыкали к настоящим казакам и готовы были заодно с ними действовать в ущерб владельцам. В 1593 году казацкий гетман Криштоф (Христофор) Косинский поднял восстание. Казаки напали на владельческие дворы, разоряли их, уничтожали шляхетские документы. Косинский овладел украинскими городами и самим Киевом, благодаря нерадивости Острожского, бывшего киевским воеводою: его, как мы сказали, давно уже, но безуспешно, упрекали короли в том, что киевский замок остается в небрежении. Косинский вторгся в имения Острожского и требовал от шляхты и от народа присяги себе: у Косинского явно выражалось намерение отторгнуть Русь от Польши, разрушить в ней аристократический порядок и ввести казацкое устройство, при котором не было бы различия сословий, все были бы равны и владели с одинаковым правом землею. Опасность угрожала Польше политическим и социальным переворотом. Король взывал к шляхте южнорусских воевод брацлавского, киевского и волынского, чтобы все люди шляхетского звания ополчились против врага, который требует себе присяги и попирает права короля и государства. Острожский собрал всю, находившуюся в его обширных имениях, шляхту, поручил ее начальству своего сына Януша и двинул на мятежника. Косинский потерпел неудачу, обязался отречься от начальства над казаками, а освободившись от беды, снова затевал восстание, но был убит под Черкасами. Преемником ему в достоинстве гетмана был избран Григорий Лобода. Тогда, кроме казаков, состоявших под начальством гетмана Лободы, явилось другое казацкое ополчение, своевольное, под начальством Северина Наливайка, которого брат Дамиан был священником в Остроге. Наливайко питал закоренелую ненависть к панству, вследствие того, что пан Калиновский в местечке Гусятине отнял у Наливайкова отца хутор и самого хозяина так отколотил, что тот умер от побоев. Наливайко задумал продолжать дело Косинского в такое время, когда епископы собирались подчинить русскую церковь папе и когда Острожский в своем послании убеждал всех православных обывателей королевства польского противостоять козням епископов. Наливайко начал с Волыни, и его восстание на этот раз получило несколько религиозный оттенок. Он напал на имения епископов и мирян, благоприятствовавших унии, взял Луцк, где злоба казаков обратилась на сторонников и слуг епископа Терлецкого, повернул в Белую Русь, овладел Слуцком, где запасся оружием, взял Могилев, который был тогда сожжен самими жителями, захватил в Пинске ризницу Терлецкого и достал важные пергаментные документы с подписями духовных и светских лиц, соглашавшихся на унию; Наливайко ограбил имения брата епископа Терлецкого, отмщая на нем поездку епископа в Рим. Некоторые православные паны мирволили Наливайку из ненависти к возникавшей унии. Падало подозрение на самого князя Острожского, так как у него в имении жил брат Наливайки и у этого брата, священника Дамиана, оказались лошади, принадлежавшие пану Семашку, ограбленному Наливайком. Сам Острожский в своих письмах к своему зятю Радзивиллу писал: «Говорят, будто я Наливайка высылал... Уж если кому, то мне более всего допекли эти разбойники. Поручаю себя Господу Богу! Надеюсь, что он, спасающий невинных, и меня не забудет». Нет основания полагать, чтобы в самом деле Острожский покровительствовал этому восстанию, тем более, что перед самым появлением Наливайка на волынской земле, Острожский предостерегал панов насчет своевольников, жаловался, что они разоряют его имения, давал

советы Речи Посполитой принимать скорее деятельные меры и гасить пожар, прежде чем он успел распространиться.

Зимой 1595—1596 г. Наливайко соединился с казацким гетманом Лободою, и восстание начало принимать угрожающие размеры. Король выслал против казаков гетмана Жолкевского. Война с ними упорно продолжалась до конца мая 1596 года: казаки, теснимые польскими войсками, перешли на левый берег Днепра и были осаждены близ Лубен: между ними поднялись раздоры; Наливайко низвергнул с гетманства Лободу, умертвил его, сам сделался гетманом, и был в свою очередь низвергнут, выдан полякам и казнен смертью в Варшаве.

Когда, таким образом, поляки занимались укрощением восстания русских, принимавшего отчасти характер борьбы против унии, в Риме посланники от русского духовенства, владимирский и луцкий епископы, были приняты с подобающей честью, удостоились поцеловать папскую ногу и 2 декабря 1595 г. от лица русского духовенства прочитали исповедание веры по римско-католическому учению. В начале 1596 года они возвратились на родину. Здесь ожидало их противодействие от братств и от Острожского. В виленском братстве напечатана была «Книга Кирилла об Антихристе», сочиненная Стефаном Зизанием. Книга была направлена против папизма; в ней доказывалось ни более ни менее как то, что папа есть тот антихрист, о котором сохранялось предречение, а время унии есть время антихристового царства. Книга эта с жадностью читалась духовенством и грамотными мирянами. Король, услышавши об ее успехе, был очень разгневан, приказал запретить книгу, схватить и заключить в тюрьму ее автора и его двух сообщников. Львовское братство, с своей стороны противодействуя затеям унии, так напугало своего епископа, что Гедеон решился отступить от унии и подал в суд протестацию, в которой уверял, что если и подписывал наравне с другими архиереями согласие на унию, то не знал сам, в чем дело, потому что подписывал белую бумагу, а на этой бумаге, уже после его подписи, написано было то, чего ему и не хотелось.

Острожский известил восточных патриархов; по просьбе его назначены были протосинкеллы (наместники): от константинопольского патриарха Никифор, от александрийского – Кирилл. Король оповестил, чтобы русские епископы собрались на собор в Бресте к 6 октября 1596 года для окончательного утверждения унии.

К назначенному королем времени Острожский подготовил и свой собор в Бресте же.<sup>95</sup> Собор этот состоял из двух патриарших протосинкеллов, двух восточных архимандритов, двух русских епископов, Гедеона львовского и Михаила Копытенского, сербского митрополита Луки, нескольких русских архимандритов, протопопов и двухсот особ шляхетского звания, которых пригласил с собою Острожский.

Протосинкелл Никифор председательствовал на этом православном соборе. Сообразно древним обычаям церковного суда, он послал к киевскому митрополиту трехкратный вызов к собору для оправдания, но митрополит не явился и объявил, что он с епископами подчинился западной церкви; тогда православный собор лишил сана как митрополита, так и епископов: владимирского, луцкого, полоцкого (Германа), холмского (Дионисия) и пинского Иону.

Со своей стороны, принявшие унию духовные отплатили не принявшим ее тем же самым: они лишили сана епископов львовского и перемышльского, архимандрита печерского Никифора Тура и всех русских духовных, бывших на православном соборе. Приговор каждому из них был послан в такой форме: «Кто тебя, от нас проклятого, будет считать в прежнем сане, тот сам проклят будет от Отца, и Сына, и Святаго Духа!»

Обе стороны обратились к королю. Православные ссылались на существовавшие постановления, просили не считать низложенных духовных в их прежнем сане, отнять у них церковные имения и отдать тем лицам, которые, вместо них, будут избраны. Король взял сторону униатов и приказал арестовать Никифора, на которого принявшие унию особенно

---

<sup>95</sup> Брестский собор подробно описан в книге «Эктезис», изданной православными на польском языке в 1597 году.

злили. Острожский взял его на поруки. Дело о нем отложили до 1597 года.

В этом году, по требованию короля, Острожский сам привез Никифора и предал суду сената. Никифора старались обвинить и в шпионстве со стороны турок, и в чернокнижничестве, и в дурном поведении. Сам гетман Замойский обвинял его. Обвинить Никифора было невозможно, да поляки и не имели права судить его как иноземца. Тогда Константин Острожский проговорил королю резкую речь: «Ваше величество, – сказал он, – нарушаете права наши, попираете свободу нашу, насилуете совесть. Будучи сенатором, я не только сам терплю оскорбления, но вижу, что все это ведет к гибели королевства польского: после этого, ничьи права, ничья свобода не ограждены; скоро наступят беспорядки; быть может, тогда додумаются до чего-нибудь иного! Предки наши, принося присягу на верность своему государю, и от него также принимали присягу в соблюдении правосудия, милости и защиты. Между ними была обоюдная присяга. Опомнитесь, ваше величество! Я уже в преклонных летах и надеюсь скоро покинуть этот мир, а вы оскорбляете меня, отнимаете то, что для меня всего дороже – православную веру! Опомнитесь, ваше величество! Поручаю вам этого духовного сановника; Бог взыщет на вас кровь его, а мне дай Бог не видать более такого нарушения прав, напротив, пусть Бог сподобит меня на старости лет услышать о добром здравии его и о лучшем сохранении вашего государства и наших прав!»

Проговоривши эту речь, Острожский вышел из сената. Король послал зятя Острожского, Криштофа Радзивилла, воротить взволнованного старика. «Король, – сказал Радзивилл, – сожалеет о вашем огорчении; Никифор будет свободен». Рассерженный Острожский не хотел вернуться и сказал: «Нехай же соби и Никифора зыість». Князь ушел, оставивши бедного протосинкелла Никифора на произвол короля. Никифора заслали в Мариенбург, где он и умер в заточении.

В 1599 году Острожский с прочими панями и шляхетством русской веры устроил конфедерацию с протестантами для взаимной защиты против католического насилия. Но эта конфедерация не имела важных последствий.

Гораздо важнее было по своим последствиям литературное движение, усилившееся после унии. В острожской типографии были напечатаны (в 1598) «Отпись на лист отца Ипатия» (Потия) и Листы, т.е. послания: из них восемь Мелетия, патриарха александрийского, в которых излагалась сущность православия и народ православный побуждался к защите своей религии. Одно из этих посланий (третье) касается вопроса об изменении календаря, вопроса, тогда очень занимавшего умы. Православным пастырям не нравилось это изменение именно потому, что оно было нововведением: «новость суетных мужей непостоятельных душ, яко же сырость приражением ветров зыблемых». По мнению честных пастырей, изменение пасхалии приносит за собою обуревание и мятеж в церкви, крамолы, раздоры, приближение к жидовству; но если бы этого и не случилось, то все-таки не нужно вносить «неотеризма», а лучше держаться старины и слушаться стариков. (Что же не благочестивейше и не благоговейнейше есть в различных вещах вкупе пребывать со старцы.) При этом замечалось, что вычисления, на которых основан новый календарь, не имеют прочности и, по прошествии трехсот лет, придется снова «астрономствовать» и выдумывать новые перемены. Девятый из напечатанных в этой книге листов заключает послание, писанное Острожским к православным христианам при самом начале унии (о нем мы говорили выше), а десятый – увещательное послание афонских монахов. В ряду напечатанных тогда в Остроге книг особенно важна книга «Апокризис» (изд. в исходе 1597 г.)<sup>96</sup> под псевдонимом Филалета, написанная, как говорят, Христофором Вронским, человеком, подобно Острожскому, склонявшимся к протестантизму. Вместо строгого подчинения духовным властям в деле веры, она проповедывала равное свободное участие светских людей в церковных делах, учение о безусловном повиновении церкви называла жидовством и доказывала, что светские люди могут, по своему усмотрению, не слушаться

<sup>96</sup> Против «Апокризиса» издан был в 1600 г. «Антирризис», соч. греком-униатом Петром Аркудием.

духовных и низлагать их. В 1598 году священником Василием был издан Псалтырь с воследованием, другой Псалтырь с часословом, в 1605 и 1606 сочинения патриарха Мелетия по поводу унии, переведенные Иовом Борецким, а в 1607 священник Дамиан, брат Наливайка, издал «Лекарство на оспальный умысел человечесий», где поместил послание Златоуста к Феодору

Падшему и некоторые слова и стихи, отчасти приуроченные к своему времени. В Вильне явились замечательные сочинения, не только полемические, но и научные, показывающие возникавшую потребность воспитания юношества; в 1596 году издана была грамматика славянского языка Лаврентием Зизанием, Азбука с кратким словарем, Толкование на молитву «Отче наш» и Катехизис, излагавший основания православной веры. Затем русские богослужебные и религиозно-политические сочинения печатались и в других местах.

Так положено было начало той южнорусской и западнорусской литературы, которая впоследствии, в половине XVII в., развилась до значительной степени.

Сам Острожский, несмотря на защиту, которую оказал православию в деле возникавшей унии, как аристократ, для которого польский строй слишком много представлял дорогого, был далек до какого-нибудь решительного противодействия насилию власти: он сдерживал и других, поучая их терпению. Таким образом, в 1600 году он писал львовскому братству: «Посылаю вам декрет, составленный на прошлом сейме, в высокой степени противный народному праву и более всего святой правде, и даю вам не иной какой-нибудь совет, как только такой, чтобы вы были терпеливы и ожидали Божия милосердия, пока Бог, по своей благодати, не склонит сердце его королевского величества к тому, чтобы никого не оскорблять и каждого оставить при своих правах».

В этом совете сквозило уже будущее бессилие русской аристократии в деле защиты отеческой веры.

По жалобе киевского и брацлавского воеводств король назначил на сейме суд между униатами и православными.

Тогда умер Рагоза: место его в звании киевского митрополита заступил Ипатий Потий. Явившись вместе с Терлецким на суд, назначенный королем, он представлял, что духовные дела не подлежат приговору светского суда, что, согласно божественному праву, законам королевства и правам христианским, они подлежат только суду духовному. Униаты указывали на всякие существовавшие до того времени привилегии, данные греческой церкви, как на документы, исключительно принадлежащие по праву теперь только тем, которые признали главою своей церкви римского первосвященника. Король, с совета своих радных панов, признал их доводы вполне справедливыми и обнародовал грамоту, по которой новому митрополиту и епископам, состоящим под первенством митрополита, предоставлял право пользоваться своим саном, согласно прежним привилегиям, данным сановникам греческой веры, управлять церковными имениями и творить духовный суд. Король не признавал другой восточной церкви в польской Речи Посполитой, кроме уже соединенной с римскою. Все непризнающие унии были в его глазах уже не исповедники греческой веры, но отщепенцы от нее. Тот же взгляд разделяла с королем вся католическая Польша и Литва.

Острожский окончил жизнь в феврале 1608 года в глубокой старости. Сын его Януш еще при жизни родителя перешел в католичество; другой сын, Александр, оставался православным, но дочери его все приняли католичество, и одна из них, владевшая Острогом, Анна-Алоизия, отличалась фанатической нетерпимостью к вере своих праотцов.

Высший класс в Польше был всемогущ, и конечно, если бы русское шляхетство оставалось твердо в вере и крепко решилось стать за отеческую веру, никакие козни короля и иезуитов не в состоянии были ее ниспровергнуть.

Но в том-то и заключалось несчастье, что это русское шляхетство, – этот высший русский класс, которому слишком выгодно было находиться под властью Польши, – не мог устоять против нравственного гнета, тяготевшего тогда над православной верою и русскою народностью. Породнившись с польским шляхетством, усвоив польский язык и польские



обычай, сделавшись поляками по приемам жизни, русские люди не в силах были удержать веру отцов своих. На стороне католичества был бросающийся в глаза блеск западного просвещения. В Польше на русскую веру и русскую народность смотрели презрительно: все, что было и отзывалось русским, в глазах тогдашнего польского общества казалось мужичьим, грубым, диким, невежественным, таким, чего следует стыдиться образованному и высокопоставленному человеку. У католиков средств к образованию было несравненно более, чем у православных, и потому дети православных панов учились у католиков. Настроенные своими учителями, которые внушали им предпочтение к католичеству, выйдя в свет, в котором они, при господствовавшем духе пропаганды, повсюду слышали о том же предпочтении, русские юноши неизбежно усваивали тот взгляд на веру и народность своих праотцов, какой обыкновенно имеют на свое родное те, которые заимствуют что-нибудь чужое с полным убеждением, что это чужое служит признаком образованности и дает почет и уважение в той житейской среде, в которой им суждено обращаться. Перешедшие в католичество потомки православных знатных родов, оглядываясь назад на нравственное деяние своих праотцов, очутились в таком же настроении, в каком были за много веков их предки, когда, покидая язычество, усваивали христианство. Одни за другими принимали новую веру и стыдились старой. Правда, как всегда бывает в переходных эпохах, и в эпоху окатоличения русского шляхетства, в продолжение полустолетия и даже несколько долее, оставались из русского высшего класса приверженцы старины и заявляли свой голос, но ряды их все более и более редели, и наконец их не стало; в польской Руси особа, принадлежавшая по происхождению и по состоянию к высшему классу, стала немыслима, иначе как с римско-католическою религиею, с польским языком и с польскими понятиями и чувствами. Со времен унии в Руси обнаружилось стремление поднять русскую церковь и русскую народность – создать русское образование, по крайней мере, на первый раз, религиозное, но это стремление опоздало для высшего класса русских земель, соединенных с Польшею. Этот высший класс не нуждался больше ни в чем русском и смотрел на него с отвращением, враждебно. Оказалось, что уния, вымышленная сначала для приманки русского высшего класса, также для него не пригодилась; паны без нее сделались чистыми католиками; уния осталась только средством для уничтожения в громаде остального народа признаков православной веры и русской народности. Уния стала орудием более национальных, чем религиозных целей. Принять унию – значило сделаться из русского поляком или, по крайней мере, полуполяком. Это направление проявилось с первого же раза и неуклонно преследовалось в грядущие времена до самого конца существования унии. Несмотря на то, что вначале папа, согласно постановлениям флорентийской унии в XV веке, утвердил неприкосновенность обрядов восточной церкви, уже в начале XVII века униатские духовные стали изменять богослужение, вводили разные обычаи, свойственные западной церкви и не существовавшие в восточной или положительно отвергаемые последней (как, например, тихую обедню, служение нескольких обеден в один и тот же день на одном престоле, сокращение богослужений и т.п.). Сближаясь все более и более с католичеством, уния перестала быть восточною церковью, а стала чем-то посредствующим и в то же время оставалась достоянием простого народа: в стране, в которой простой народ был низведен до крайнего порабощения, вера, существовавшая для этого народа, не могла пользоваться равным почетом с верою, которую исповедовали господа; поэтому уния в Польше стала верою низшею, простонародною, недостойною высшего класса: что же касается до православия, то оно в общественном мнении стало верою отверженною, самую низкою, достойною крайнего презрения: то была вера не только хлопков вообще, как уния, но вера негодных хлопков, непохожих или неспособных, по своей дикости и закоснелости, стать на несколько высшую ступень религиозного и общественного уразумения, то было не более как жалкое исповедание презренных недоверков, которым и за гробом нет спасения.

## Глава 23

### Борис Годунов

По смерти Ивана Грозного, восемнадцать лет судьба русского государства и народа была связана с личностью Бориса Годунова. Род этого человека происходил от татарского мурзы Чета, принявшего в XIV в. в Орде крещение от митрополита Петра и поселившегося на Руси под именем Захарии. Памятником благочестия этого новокрещеного татарина был построенный им близ Костромы Ипатский монастырь, сделавшийся фамильною святынею его потомков; они снабжали этот монастырь приношениями и погребались в нем. Внук Захарии Иван Годун был прародителем той линии рода мурзы Чети, которая от клички Годун получила название Годуновых. Потомство Годуна значительно разветвилось. Годуновы владели вотчинами, но не играли важной роли в русской истории до тех пор, пока один из правнуков первого Годунова не удостоился чести сделаться тестем царевича Федора Ивановича. Тогда при дворе царя Ивана явился близким человеком брат Федоровой жены Борис, женатый на дочери царского любимца Малюты Скуратова. Царь Иван полюбил его. Возвышение лиц и родов через посредство родства с царицами было явлением обычным в московской истории, но такое возвышение было часто непрочным. Родственники Ивановых супруг погибали наравне с другими жертвами его кровожадности. Сам Борис по своей близости к царю подвергался опасности; рассказывают, что царь сильно избил его своим жезлом, когда Борис заступился за убитого отцом царевича Ивана. Но царь Иван сам оплакивал своего сына и тогда стал еще более, чем прежде, оказывать Борису благосклонность за смелость, стоившую, впрочем, последнему нескольких месяцев болезни. Под конец своей жизни, однако, царь Иван, под влиянием других любимцев, начал на Годунова коситься, и, быть может, Борису пришлось бы плохо, если бы Иван не умер внезапно.

Со смертью Ивана, Борис очутился в таком положении, в каком не был еще в Московском государстве ни один подданный. Царем делался слабоумный Федор, который ни в коем случае не мог править сам и должен был на деле передать свою власть тому из близких, кто окажется всех способнее и хитрее. Таким в придворном кругу тогдашнего времени был Борис. Ему было при смерти царя Ивана 32 года от роду; красивый собой, он отличался замечательным даром слова, был умен, расчетлив, но в высокой степени себялюбив. Все цели его деятельности клонились к собственным интересам, к своему обогащению, к усилению своей власти, к возвышению своего рода. Он умел выжидать, пользоваться удобными минутами, оставаться в тени или выдвигаться вперед, когда считал уместным то или другое, – надевать на себя личину благочестия и всяких добродетелей, показывать доброту и милосердие, а где нужно – строгость и суровость. Постоянно рассудительный, никогда не поддавался он порывам увлечения и действовал всегда обдуманно. Этот человек, как всегда бывает с подобными людьми, готов был делать добро, если оно не мешало его личным видам, а напротив – способствовало им; но он также не останавливался ни перед каким злом и преступлением, если находил его нужным для своих личных выгод, в особенности же тогда, когда ему приходилось спасать самого себя.

Ничего творческого в его природе не было. Он неспособен был сделаться ни проводником какой бы то ни было идеи, ни вожаком общества по новым путям: эгоистические натуры менее всего годятся для этого. В качестве государственного правителя, он не мог быть дальнзорким, понимал только ближайшие обстоятельства и пользоваться ими мог только для ближайших и преимущественно своекорыстных целей. Отсутствие образования суживало еще более круг его воззрений, хотя здравый ум давал ему, однако, возможность понимать пользу знакомства с Западом для целей своей власти. Всему хорошему, на что был бы способен его ум, мешали его узкое себялюбие и чрезвычайная лживость, проникавшая все его существо, отражавшаяся во всех его поступках. Это последнее качество, впрочем, сделалось знаменательной чертой тогдашних московских людей. Семена этого порока существовали издавна, но были в громадном размере воспитаны и развиты эпохой царствования Грозного, который сам был олицетворенная ложь. Создавши Опричнину, Иван вооружил русских людей одних против других, указал им путь искать

милостей или спасения в гибели своих ближних, казнями за явно вымышленные преступления приучил к ложным доносам и, совершая для одной потехи бесчеловечные злодеяния, воспитал в окружающей его среде бессердечие и жестокость. Исчезло уважение к правде и нравственности, после того как царь, который, по народному идеалу, должен быть блюстителем и того и другого, устраивал в виду своих подданных такие зрелища, как травля невинных людей медведями или всенародные истязания обнаженных девушек, и в то же время соблюдал самые строгие правила монашеского благочестия. В минуты собственной опасности всякий человек естественно думает только о себе; но когда такие минуты для русских продолжались целыми десятилетиями, понятно, что должно было вырасти поколение своекорыстных и жестокосердых себялюбцев, у которых все помыслы, все стремления клонились только к собственной охране, поколение, для которого, при наружном соблюдении обычных форм благочестия, законности и нравственности, не оставалось никакой внутренней правды. Кто был умнее других, тот должен был сделаться образцом лживости; то была эпоха, когда ум, закованный исключительно в узкие рамки своекорыстных побуждений, присущих всей современной жизненной среде, мог проявить свою деятельность только в искусстве посредством обмана достигая личных целей. Тяжелые болезни людских обществ, подобно физическим болезням, излечиваются не скоро, особенно когда дальнейшие условия жизни способствуют не прекращению, а продолжению болезненного состояния; только этим объясняются те ужасные явления смутного времени, которые, можно сказать, были выступлением наружу испорченных соков, накопившихся в страшную эпоху Ивановых мучительств.

Замечательно, что лживость, составляющая черту века, отразилась сильно и в современных русских источниках той эпохи до того, что, руководствуясь ими и доверяя им, легко можно впасть в заблуждения и неправильные выводы; к счастью, явные противоречия и несообразности, в которые они впадают, обличают их неверности.

Непрочность престолонаследия чувствовалась народом. Русские знали, что из двух сыновей царя Ивана старший был неспособен к самобытному царствованию, а меньшей был еще младенец: кого бы из них ни провозгласили царем – все равно; на деле власть должна была бы находиться в иных, а не в царских руках. Эта мысль охватила московский народ, как только разнеслась по столице весть, что царь Иван скончался. Сделалось волнение. Богдан Бельский, которому Иван поручил Дмитрия в опеку, был негласным виновником этого волнения в пользу Дмитрия. Как оно происходило, не знаем, но кончилось оно на тот раз тем, что бояре в ночь после смерти царя Ивана приказали отправить малолетнего Дмитрия с матерью и ее родственников, Нагих, в Углич; разом с их отсылкою схвачено было несколько лиц, которым покойный государь перед своею кончиною оказывал милости: некоторых разослали по разным городам, в заточение, других заперли в тюрьму, отобрали у них поместья и вотчины, разорили их дома. Имена их неизвестны, но эти люди были, вероятно, сторонниками Дмитрия, покушавшиеся провозгласить его царем. Вся власть находилась тогда в руках дяди Федора Ивановича – Никиты Романова, шурина Бориса Годунова, и двух князей: Ивана Мстиславского и Петра Шуйского. Первые два естественно стояли за Федора как его близкие свойственники; два последние также не находили для себя выгодным пристать на сторону Дмитрия, так как в то время, в случае успеха, властвовали бы не они, а Нагие и Богдан Бельский. На самого Богдана Бельского в то время не решались наложить рук. Быть может, он ловко умел остаться в стороне во время расправы, хотя прежде заправлял делом, за которое другие отвечали. Но прошло несколько дней: Богдан Бельский был схвачен и сослан в Нижний Новгород. Это произошло после смуты, о которой сохранились противоречивые известия. Иностранцы говорят, что между Бельским и боярами произошло открытое междоусобие; Бельский со своими сторонниками был осажден в Кремле и вынужден был сдаться. Одно русское известие показывает, что народ, вообразивши, будто Бельский хочет известить царя и бояр, бросился на Кремль с оружием и даже хотел пушечными выстрелами разрушить запертые Фроловские ворота, но бояре вышли к мятежникам и уверили, что царь и бояре все целы и никому нет опасности, а потом

сослали Бельского, как бы в угоду народу; другое известие повествует, что сами бояре перессорились между собою, взволновали народ и Бельскому грозила смерть, но Годунов за него тогда заступился. Как бы то ни было, верно только то, что в Москве вскоре после погребения Грозного происходило междоусобие; тогда был поставлен к решению вопрос, кому царствовать: слабоумному ли Федору или малолетнему Димитрию, и сторона Димитрия на этот раз снова проиграла. За Бельским сосланы были другие. Но вопрос еще не решался: волнение не утихало, и бояре положили созвать земских людей в думу для того, чтобы эта дума утвердила Федора на престоле.

Дума, состоявшая, как кажется, из служилых людей, собралась 4 мая 1584 г. и признала царем Феодора Ивановича. Русские люди, как выражались в то время, молили его со слезами сесть на Московское государство. Ход этой думы нам неизвестен. На празднике Вознесения новый царь венчался царским венцом.

Царствовал Федор, но он не мог властвовать; властвовать могли за него другие.

Царь Федор Иванович был человек небольшого роста, опухлый, с бледным лицом, болезненный; он ходил нетвердыми шагами и постоянно улыбался. Когда польский посланник Сапега представился ему – Федор, одетый в царское облачение с короной на голове, сидел на возвышенном месте и с улыбкою любовался своим скипетром и державным яблоком, а когда проговорил несколько слов тихим и прерывистым голосом, то Сапега сделал такое заключение: «Хотя про него говорили, что у него ума немного, но я увидел как из собственного наблюдения, так и из слов других, что у него вовсе его нет». Весть об этом скоро дошла до соседей; в Польше надеялись, что при таком государе в Московском государстве начнется безурядица, откроются междоусобия и государство придет в упадок.

Ожидание это, вероятно, сбылось бы скоро: Годунов отвратил его или, по крайней мере, отсрочил.

Тотчас после венчания на царство Федора, Борис постарался возможно лучшим способом устроить свое материальное состояние. Когда, по обычаю, новый царь после венчания рассыпал свои милости вельможам, Борис получил всю Важскую область, приносящую большие доходы с поташу, сбываемого англичанам; кроме того, получил он луга на берегах Москвы-реки вверх на тридцать, а вниз на сорок верст, с рощами и пчельниками, доходы с Рязани, Твери, с Северной земли, Торжка и со всех московских бань и купален: все это, с доходами, получаемыми из его родовых вотчин, давало Борису огромную сумму ежегодного дохода в 93 700 р., а владения его были так многолюдны, что он мог выставить до 100000 вооруженных людей. До этих пор он носил важный сан конюшего; теперь он получил наименование ближнего государева боярина и титул наместника царств: Казанского и Астраханского.

Царь Федор находился под влиянием своей жены, а Борис был постоянно дружен с нею, а потому стоял ближе всех к царю, и никто не в силах был оттеснить его. Единственным опасным соперником мог быть дядя царя Никита Романов, но этот старик в тот же год был поражен параличом и хотя жил до апреля 1586 года, но уже не принимал участия в делах. Из двух оставшихся соправителей Бориса Мстиславский был человек ограниченный и мог играть роль только по наущению других, благодаря своей знатности; более опасности представлял для Бориса князь Петр Иванович Шуйский: конечно, ему нельзя было приобрести более Бориса расположения царя и царицы, зато у него была сильная партия не только между знатными людьми, но и между московскими купцами. Кроме того, князь Петр Шуйский имел поддержку в митрополите Дионисии. Вначале, как видно, Борис был с ним в хороших отношениях, как можно видеть из того, что в день царского венчания Шуйский получил в дар доходы со всего Пскова.

Полтора года Годунов уживался со своими товарищами, но уже захватил в свои руки управление всеми делами, так что иностранцы обращались мимо этих товарищей к нему, как к единому правителю государства. В это время Годунов начал свое любимое дело, постройку городов, чем отличался во все продолжение своей жизни, справедливо сознавая пользу этой меры для государства. Таким образом, для укрощения черемисов, Борис приказал строить по

берегам Волги Цивильск, Уржум, Царево-Кокшайск, Царево-Санчурск, а ниже по течению Волги Саратов, Переволоку, Царицын. Астрахань была обведена каменной стеною. На севере в 1584 построен Архангельск, сделавшийся тотчас же важнейшим торговым пунктом. В самой Москве в 1586 году построена была каменная Белгородская стена. На юге в 1586 году построены были Ливны, возобновлены Курск и Воронеж. От города до города устраивались станицы, зазывались жители для поселения на привольных, но пустых местах. Таким образом вызывались для поселения черкасы (малороссияне), которые поступали в число украинских служилых людей, отправляли сторожевую станичную службу, получая за это поместья и жалованье деньгами, сукнами и хлебом. Им посылали также свинец и селитру.

Вскоре после царского венчания в июле 1584 года был созван собор, на котором вновь подтверждено было запрещение владыкам и монастырям приобретать вотчины и вместе с тем уничтожались все так называемые тарханские грамоты, которыми предоставлялись монастырским и владычным имениям разные льготы и изъятия от общих платежей и повинностей. Поводом к уничтожению этих привилегий ставилось то, что крестьяне убегали в тарханские вотчины из вотчин и поместий служилых людей, а через это последние лишались своих доходов, не в состоянии были отправлять военной службы. Но мера эта, несмотря на приговор, утвержденный подписями и печатями лиц знатнейшего духовенства, не была приведена в исполнение; набожный царь продолжал раздавать тарханские грамоты, да и сам Борис не настаивал на их отмене, потому что нуждался в расположении духовенства для своих видов. Это событие осталось наглядным примером той лживости, которая, как мы сказали выше, проникла все ветви Московской общественной жизни. Писались законы, постановления, а на деле не исполнялись и были нарушаемы теми же, которые составляли их.

Борис был милостив к тем, которые были с ним заодно, и в это время особенно приблизил к себе двух братьев, дьяков Щелкаловых, из которых Андрей был посольским, а Василий разрядным дьяком. Но Борис не допускал долгое время проживать спокойно тем, в которых видел себе соперников и недоброжелателей. Борису, как говорят, донесли, будто Иван Мстиславский, по наущению других, хочет позвать Бориса на пир и предать его в руки убийц. Трудно решить: действительно ли было так на самом деле или же обвинение было выдуманно. Борис именем царя приказал сослать Мстиславского в Кирилло-Белозерский монастырь и постричь. Затем схватили Воротынских, Головиных, Колычевых и отправили в ссылку по разным местам. Один из Головиных, Михайло, успел убежать в Литву, подстрекал Батория идти на Москву, уверяя, что Бориса все не терпят и не станут защищать существующего правительства. Баторий давно только и думал о том, как бы снова начать войну; он поверил рассказам беглеца. Но Борис, узнавши об этом впору, отправил в Польшу послов Троекурова и Безнина, которые разгласили, что Головин вовсе не беглец, что он нарочно подсланный московскими боярами лазутчик и умышленно пытается вовлечь Батория в войну: они говорили, что Московское государство имеет теперь достаточно силы дать отпор Польше. Хитрость эта удалась не столько потому, чтобы верили словам московских послов, сколько потому, что поляки тем или другим способом, но всеми силами старались отклонить своего короля от всяких воинских предприятий. Польский сенат продолжил с московскими послами перемирие еще на два года и отправил в Москву знакомого там Михаила Гарабурду с предложением, которое показалось странным для русских: заключить договор, по которому бы, в случае, если умрет прежде Баторий, возвести на польско-литовский престол Федора, и наоборот, если Федор умрет прежде бездетным, то ему преемником будет Баторий. Бояре отвечали, что им не годится рассуждать о кончине живого государя; дело кончилось ничем, но оно представляет своего рода важность, потому что послужило началом подобных сношений после кончины Батория. Расправившись со Мстиславским, Годунов дожидался случая разделаться с Шуйскими. Им были преданы многие из московских торговых людей; ожидая от Годунова чего-нибудь враждебного к Шуйским, они заранее кричали, что побьют Годунова камнями, если он тронет кого-нибудь

из этого рода. Митрополит Дионисий пытался было примирить и сдружить между собою Годунова и Ивана Петровича Шуйского; он пригласил того и другого к себе. Они наружно помирились. Когда Шуйский сказал об этом купцам, стоявшим толпою на площади, двое из них выразились так: «Помирились вы нашими головами, и нам и вам от Бориса пропасть». Оба эти купца в ту же ночь исчезли неизвестно куда. Тогда Шуйские сообразили, что они погибнут, если не предупредят Годунова и не погубят его самого; они, в соумышлении с митрополитом, зазвали к себе гостей, купцов, некоторых служилых людей и уговорили их подписать царю челобитную, чтобы царь, как бы по просьбе всего русского народа, развелся с бесплодною Ириною и выбрал себе другую жену, чтобы иметь наследника. Заговорщики предполагали женить царя на княжне Мстиславской, дочери насильно постриженного боярина князя Мстиславского. Но, прежде чем успели подать царю такую челобитную, Борис через своих лазутчиков узнал обо всем; вместо того чтобы гневаться, он кротко обратился к митрополиту и представлял ему, что развод есть незаконное дело, притом и бесполезное; Федор и Ирина еще молоды и могут иметь детей, а если бы и не было их, то у Федора есть брат Димитрий. Митрополит послушал этого совета и стал уговаривать Шуйских оставить предпринятое намерение. Годунов обещал не мстить за него никому. Спустя несколько времени холопы Шуйских, Федор Старов с товарищами, подали донос, будто существует заговор против государя, которым руководят князья Шуйские. Летописцы говорят, что сам Борис подучил доносчиков; в этом случае он действовал по примеру царя Ивана, который не раз пользовался такими же ложными доносами, чтобы придать личину справедливости своим убийствам. По доносу Старова взяли под стражу князя Ивана Петровича и Андрея Ивановича Шуйских, князя Василия Скопина-Шуйского, разных их друзей, князей Татевых, Урусовых, Быковых, Колычевых и множество гостей и купцов. Происходили допросы и пытки. В заключение, князей Ивана Петровича и Андрея Ивановича Шуйских сначала приговорили только удалить в их вотчины, но когда они туда приехали, то их схватили, увезли одного на Белоозеро, другого в Каргополь и удавили. Прочих знатных людей разослали в ссылку по городам, а Федору Нагаю и шестерым его товарищам отрубили головы. Княжну Мстиславскую, за то что ее хотели посадить царицею на место Ирины, насильно постригли в монахини; наконец, Годунов не простил и митрополиту; приказал сослать его в Хутынский монастырь; такая же участь постигла крутицкого архиепископа Варлаама за то, что он настраивал царя против Бориса. Вместо Дионисия посадили на митрополию ростовского архиепископа Иова, во всем покорного Борису и, для сохранения своего положения, готового угождать во всем земной власти. С этих пор Борис сделался вполне единым и самовластным правителем в Московском государстве. Опыт должен был научить всех, как неудобно покушаться отнимать у него власть. На будущее время беспокоили воображение Бориса потомки царской линии: царевич Димитрий и Мария, вдова короля Магнуса (дочь Владимира Андреевича) с малолетнею дочерью Евфимиею. Расправу с первым осторожный Борис отложил до удобного случая, а прежде разделался с последними. Еще в 1585 году он поручил английскому купцу Горсею уговорить Марию Владимировну переехать с дочерью в Москву из Риги, где поляки содержали ее очень скудно. Горсей уверил ее от имени Бориса, что в Москве ее примут хорошо и наделят вотчинами. Королева с дочерью убежала из Риги и прибыла в Москву на почтовых лошадях, нарочно расставленных для этого Борисом. Сначала Борис принял ее, как обещал, наделил вотчинами, деньгами, а через несколько времени именем царя ее разлучили с дочерью, увезли и постригли в Пятницком монастыре близ Троицы. В 1589 году маленькую дочь ее похоронили у Троицы с почестями, как королевну. Все твердили, что Борис приказал тайно умертвить ее.

В декабре 1586 года умер Стефан Баторий. В следующем году в Польше началось обычное избрание нового короля, в котором важное участие приняло Московское государство. Предложение Гарабурды, хотя было отвергнуто в том виде, в каком было сделано, произвело, однако, сильное впечатление на правителя. Борис увидел возможность посадить на польско-литовский престол Федора, сообразно давнему желанию литовских панов соединиться с Московским государством посредством возведения на свой престол

московского государя. Вероятно, Борис рассчитывал, что расположение к нему Польши и Литвы пригодится со временем, и потому-то при венчании Федора он выпустил его именем всех польских пленников. Слабоумие Федора не казалось большим препятствием; напротив, можно было рассчитывать, что панам будет тем лучше, чем их король меньше будет иметь возможности показывать свою власть. В начале 1587 года Борис отправил в Польшу дворянина Ржевского. Этот посланец повез царскую грамоту ко всем панам вообще и, кроме того, письма к отдельным духовным и светским сановникам от имени царя. Каждого приглашали хлопотать, чтобы на престоле был Федор. Давалось обещание свято сохранять все шляхетские права и вольности и, сверх того, наделить панов вотчинами и деньгами. В Польше в то время образовалось три партии: одна, под предводительством Зборовских, хотела выбрать австрийского принца Максимилиана. Другая, – во главе которой был канцлер и гетман Замоиский, – склонялась к избранию шведского королевича Сигизмунда, сына короля Иоанна и польской принцессы Екатерины. Третья, состоявшая преимущественно из литовских панов, хотела московского государя. Вслед за Ржевским послы Степан Васильевич Годунов и князь Федор Троекуров, с думным дьяком Василием Щелкаловым, отправились в Польшу и повезли сорок восемь писем к разным панам с самыми лестными предложениями. Русский царь обещал защищать польско-литовские владения московскими силами, строить на свой счет крепости, отвоевать у шведов и отдать Речи Посполитой Эстонию, обязывался заплатить на 100000 червонцев долги Стефана Батория ратным людям, предоставить свободную торговлю польско-литовским людям в Московском государстве; а главное, обещал не вступаться вовсе в королевские доходы и все отдать панам в управление, так что если новый государь приедет в Польшу, то не только не потребует от них никаких денег на свое содержание, но еще будет раздавать им свою казну. Борис наказывал своим послам соглашаться, если паны потребуют, чтобы царь был у них королем только по имени, а они бы управлялись сами собою: пусть бы только Польша и Литва оставались в мире и соединении с Москвою, готовые действовать против общего недруга.

Предложения были действительно соблазнительны, но послы приехали с одним обещанием денег, и без них. Литовские паны объявили им, что надобно, по крайней мере, готовых 200 000 рублей, дабы склонить на московскую сторону Зборовских и их партию, а также, чтобы переманить деньгами людей от партии Замоиского. У послов денег не было. Несмотря на это, на избирательном сейме большинство избирателей заявило себя на стороне московского царя. Когда выставили три значка избирателей: австрийской стороны – немецкую шляпу, шведской – сельдь и русской – Мономахову шапку, то под русским значком оказалось более всего избирателей. Выбрали пятнадцать человек депутатов для переговоров с послами. Депутаты предложили московским послам, чтобы царь приступил к соединению с римскою церковью, прибыл в Варшаву через десять недель, венчался от гнезненского епископа: царь должен был написать в своем титуле польское королевство выше Московского государства. Послы отказали наотрез, но уверяли, что царь не будет вмешиваться в дела римско-католической церкви. Замечательно, что послы, допуская свободный проезд польских и литовских людей в Московское государство, не хотели обещать такую же свободу приезда в Польшу и Литву московских людей; они говорили: «Это противно московским обычаям, чтобы московские люди ездили всюду по своей воле без государева повеления». Этим в Польше были недовольны.

Главное препятствие к выбору Федора заключалось в денежном вопросе. После решительных ответов московских послов, паны еще говорили им, что нужны деньги, чтобы подкрепить царскую сторону на сейме, указывали на щедрость к ним императора и испанского короля, просили немедленно 200000. Послам негде было достать этих денег. Паны потом требовали немедленно хотя 100000 – послы и этого не могли им дать!

Тогда на сейме одна польская партия выбрала Максимилиана, другая – Сигизмунда. Литовцы не приставали ни к той, ни к другой и еще раз пытались сойтись с московскими послами. Виленский воевода Христофор Радзивилл и троцкий Ян Глебович заявляли им, что царю можно быть польским королем, не приступая к римской вере; нужно только поманить

папу надеждою в будущем на соединение церквей; но эти паны во всяком случае требовали наличными 100000 рублей для поддержки партии в пользу московского государя и наконец спросили: захочет ли государь взять одну Литву, если поляки не согласятся на его избрание? Они вместе с тем подавали надежду, что и южнорусские области, уже присоединенные к Польше, перейдут под власть московского государя. Ничего не могло быть приятнее Москве, как это предложение, и Борис, узнавши о том от послов, отправил панам литовским дары на 20 000 рублей, обещая дать еще деньгами 70000. Но уже было поздно; поляки успели сойтись с литовцами и склонить их на сторону Сигизмунда. «Не надобно было, – говорили после того московским послам паны, писать в грамотах, что царю непременно короноваться по греческому закону: если бы паны радные на это и согласились, то архиепископы и епископы ни за что до того не допустят; а они у нас большие люди». Паны тем не менее приняли подарки, за исключением одного Христофора Радзивилла. Следуя прежним дружеским отношениям к Австрии, московские послы, увидя, что дело об избрании Федора не клеится, по силе своего наказа, начали было давать совет об избрании Максимилиана: перед тем только Максимилиан посылал в Москву просить ее содействия в достижении польского престола. На речь русских послов поляки отвечали, что они не требуют ни от кого указаний: кого им избрать в короли, а литовцы выразились, что «они ни за что не возьмут себе немца в государя, потому что немецкий язык никогда славянскому добра не мыслит». Послы московские успели только в том, что заключили перемирие на пятнадцать лет. Избрание кончилось в пользу Сигизмунда. Он короновался 16 декабря 1587 года. Максимилиан пытался было добывать польскую корону оружием, но был разбит Замоиским, взят в плен и выпущен под условием отказа от всяких притязаний на польский престол.

Таким образом Борис затевал великое дело, но у него не стало ума и умения добиться своей цели. В Польше сел на престоле государь, которого особенно не желали в Москве; сын шведского короля, с которым Московское государство находилось в недружелюбных отношениях. Политика Бориса, однако, была не воинственна; он думал достигать политических целей хитростью и хотел находиться, насколько возможно, в мире со всеми соседями. Со Швецией существовало еще прежнее перемирие, продолженное на четыре года в 1585 году. В отношениях к Крыму Москве помогали междоусобия, возникшие в этой стране. Двое крымских царевичей, Сайдет и Мурат, враги крымского хана Ислам-Гирея, нашли приют в Московском государстве. Их поместили на астраханской земле и предполагали ими держать в страхе Ислам-Гирея, чтобы выставить против него опасных соперников, когда он вздумает относиться неприязненно к московскому государю. Это не избавило южные пределы Московского государства от набегов татарских мурз; по крайней мере, сам хан не смел делать нападения. Заступивший место этого хана в 1588 году Казы-Гирей избрал для своих набегов польские области и извещал о том московское правительство, а Борис за это посылал ему подарки, несмотря на то, что находился тогда в перемирии с Польшей. Борис, скоро по восшествии Федора на престол, отправлял посольство в Турцию с изъявлением своего миролюбия. Там приняли московского посла хотя миролюбиво, но довольно надменно; в Константинополе не верили уверениям в дружбе и жаловались на буйство казаков, а московский посол объяснял, что казаки – воры, беглые люди и не находятся в послушании у государя. На юго-востоке, в 1586 году, кахетинский царь Александр отдался в подданство московскому государю. Это подданство могло быть полезно для грузинов, так как из Москвы отправили к ним для исправления тамошних обрядов несколько монахов, священников и иконописцев, которые оказались очень учеными и сведущими людьми в сравнении с грузинским духовенством; но для Московского государства оно влекло за собою только хлопоты и опасности, втягивало Москву в опасное столкновение с Турцией, Персией и горскими народами, так как Александр был тесним со всех сторон и потому искал опоры в Москве. Власть над его землями оспаривали и персы, и турки. Борис уклонился от всякого разрыва с Турцией из-за царя Александра, а Персия, находясь в ожесточенной вражде с Турцией, сама предлагала союз Москве, думая вооружить ее против Турции. Но Борис ограничивался только словами и неясными обещаниями, из



которых ничего не выходило. Между тем русские, приняв на себя обязанность защищать Александра, послали ему помощь против его врага, тарковского Шевкала, и напрасно потеряли до 3000 своих людей. Тогда на берегу Терека был укреплен Борисом еще прежде основанный и покинутый казаками город Терк, и с тех пор постоянно имел ратных людей и управлялся воеводами.

В 1587 году Борис заключил договор с Англией. Елизавета, узнавши о силе Бориса, сама писала к нему письмо, называла своим дорогим родственником и просила дать такую привилегию членам английской компании, чтобы они не только могли во всей России торговать беспошлинно, но чтобы, кроме их, не позволялось торговать никаким иноземцам; чтобы, сверх того, им было разрешено, при пособии со стороны русских, искать Китайской земли и пр. Требуя таких выгод для своих, Елизавета никак не хотела допустить московским купцам ездить для торговли в Англию. Борис отклонил излишние требования, как, например, исключительное право английской компании на торговлю в русских краях с изъятием всех других иноземцев; он указал на несообразность позволения искать новых земель, но дал право беспошлинной торговли одной английской компании, тогда как все другие иноземцы и даже англичане, не принадлежавшие к компании, облагались пошлинами. Торговля англичан в русских землях была оптовая; розничная продажа не была им дозволена. Способ торговли был преимущественно меновой, хотя англичанам предоставлялось право чеканить монету, платя за то пошлину, подобно тому, как в то время монету дозволялось вообще бить денежным мастерам по определенной форме с платежом пошлин в казну. Главные предметы вывоза были лен, пенька, рыба, икра, кожи, деготь, поташ, сало, воск, мед, меха. Воск не иначе дозволялось менять как на порох, селитру и серу – предметы, необходимые для ратною дела. По известию англичан, в начале царствования Федора чувствовался упадок вывоза против давнего времени, свидетельствующий об уменьшении производительности в стране. Так, воску вывозилось прежде до 50000 пудов, а в начале царствования Федора только до 10000; количество же вывозимого сала упало со 100000 пудов на 3000; очень упала тогда торговля льном и пенькой после утраты Нарвы и нарвской пристани, зато количество мехов, которых ценность означена англичанами на 500000 руб. в год, увеличилась после открытия пути в Сибирь и с каждым годом возрастала по мере движения русских на восток.

Известия англичан об упадке вывозной торговли, относящемся, собственно, к последним годам царствования Грозного, показывают в числе других данных, что народ обеднел в это тяжелое время. Иначе и быть не могло при больших налогах и обременительных повинностях, вынуждаемых продолжительными войнами, при свирепствах царя Ивана и произволе его слуг и любимцев. Вообще в Московском государстве устроено было все так, что преимущественно богатела царская казна, да те, кто так или иначе служил казне и пользовался ею; и неудивительно, что иноземцы удивлялись изобилию царских сокровищ и в то же время замечали крайнюю нищету народа. Тогдашняя столица своим наружным видом соответствовала такому порядку вещей. Иноземца, въезжавшего в нее, поражала противоположность, с одной стороны, позолоченных верхов кремлевских церквей и царских вышек, с другой – кучи курных изб посадских людишек и жалкий грязный вид их хозяев. Русский человек того времени, если имел достаток, то старался казаться беднее, чем был, боялся пускать свои денежки в оборот, чтобы, разбогатевши, не сделаться предметом доносов и не подвергнуться царской опале, за которой следовало отобрание всего его достояния «на государя» и нищета его семьи; поэтому он прятал деньги где-нибудь в монастыре или закапывал в землю про черный день, держал под замком в сундуках вышитые золотом дедовские кафтаны и охабни, собольи шубы и серебряные чарки, а сам ходил в грязной потертой однорядке из грубого сукна или в овчинном тулупе и ел кое-что из деревянной посуды. Неуверенность в безопасности, постоянная боязнь тайных врагов, страх грозы, каждую минуту готовой ударить на него сверху, подавляли в нем стремление к улучшению своей жизни, к изящной обстановке, к правильному труду, к умственной работе. Русский человек жил как попало, приобретал средства к жизни как попало; подвергаясь всегда опасности быть ограбленным, обманутым, предательски погубленным, он и сам не

затруднялся предупредить то, что с ним могло быть, он также обманывал, грабил, где мог поживлялся на счет ближнего ради средств к своему, всегда непрочному существованию. От этого русский человек отличался в домашней жизни неопрятностью, в труде ленью, в сношениях с людьми лживостью, коварством и бессердечностью. Состояние народа при Борисе было лучше, чем при Грозном уже потому, что хуже времен последнего мало можно найти в истории. Но основные воззрения на государственный порядок и общественный строй не изменялись. Внутренняя торговля была по-прежнему стесняема бесчисленным множеством сборов и пошлин, а трудность и неудобства путей по-прежнему препятствовали легкости сношений. Притом правительство само тогда вело торговлю, и с ним невозможна была никакая торговая конкуренция. Казна иногда присваивала себе на время торговлю каким-нибудь производением (так было и весной в 1589 г.), и никому не дозволялось торговать им. Накупивши по дешевым ценам товару, казна продавала купцам этот товар с барышом, принуждая их брать даже испорченный. Торговые привилегии англичан способствовали на время оживлению торговли, но влекли за собою эксплуатацию народной промышленности. Русским купцам запрещалось ездить свободно за границу; исключение допускалось только по особому царскому позволению; для иностранцев это было выгодно, и они сами не желали этого, кроме поляков, которые не имели замыслов истощать Русь путем торговли. Таким образом, русские не могли ознакомиться ни с лучшим бытом, ни с приемами европейской торговли; в то же время не предпринималось ни малейших средств к народному образованию, при таком состоянии торговля западных европейцев с русскими имела печальный вид сношений ловких и сведущих торгашей с невеждами, когда последние всегда бывают в проигрыше, а первые наживаются за их счет беззащитным образом.

Борис щеголял своей кротостью и тем благоденствием, какое будто бы испытывал народ под его управлением; он приказывал московским послам, отправлявшимся к соседям, разглашать, что в Московском государстве не то, что было прежде: все живут во льготах. Вести были преувеличены; если они и были на сколько-нибудь справедливы, то разве относительно владычных и монастырских вотчин, да, может быть, имений самого Бориса. Правда, Борис уже тем облегчал народ, что избегал войн, в чем сходилась с желаниями русского народа, роптавшего, когда правительство начинало войну. Но иностранцы, вглядываясь в народный быт, говорили, что в это время налоги и повинности все-таки были обременительны. Заметим, что тогда уже существовала казенная продажа вина, учреждены были кабаки и кружечные двory (неизвестно только, везде ли); первые известия о их существовании относятся к последним годам царствования Грозного, и, кажется, способ увеличивать казну за счет людского пьянства принадлежит ему. При Федоре это учреждение было уже так тягостно для народа, что Борис в некоторых местах, в виде милости и особой льготы, по просьбе жителей уничтожал кабаки. Управление тогдашнего времени не представляет ручательств для того, чтобы народу было под ним очень хорошо. Тогда уже образовалась система управления посредством приказов<sup>97</sup>, в которых сидели бояре или окольничьи и дьяки, последние, собственно, всем заправляли. Эта система приказного управления имела отличительное свойство, вовсе не облегчавшее судьбу народа: все сосредотачивалось в Москве; часто люди должны были по своим нуждам обращаться издалека в столицу, а дьяки тогда уже славились своей алчностью и взяточничеством; посулы (взятки) и поминки сделались неизбежными признаками приказного управления. По многим городам назначались воеводы, которые обыкновенно пребывали на одном месте не более года, а при воеводах были дьяки, и последние, хотя и были ниже дворян, обыкновенно посылаемых в звании воевод, но как люди грамотные, более имели силы, чем воеводы, часто безграмотные. Воеводы и дьяки, получая места в городах, должны были давать взятки в

---

<sup>97</sup> Главных было четыре, называемых четями: посольская, разрядная, поместная и казанского дворца; им подведомственны были части или страны Московского государства. Кроме них, существовали еще избы или приказы: разбойный, холопий, приказ большого прихода (куда собирались пошлины), дворцовый, стрелецкий, ямской. Вероятно, существовали такие, о которых первые известия случайно сохранились от несколько позднего времени.

приказах, а себя за то вознаграждали всяким образом за счет подчиненных. Награбленное ими не всегда шло им впрок; нередко их, по лишении должности, обвиняли, в виде наказания ставили на правож и вымучивали у них то, что они успели высосать с народа. Земское самоуправление сохранялось не везде; мы его встречаем в большей силе на севере, а в других местах ощутительна власть наместников и воевод, и если формы самоуправления существовали, то были под сильным давлением приказного порядка. Страх, который наводили опричники Ивана Грозного, в глазах народа оставался и в это время вообще за царскими чиновниками. Посадский или волостной человек, завидя издали дворянина или дьяка, убегал от него, а если встречался с ним или имел к нему дело, то валялся у него в ногах; зато, по замечанию англичан, всякий убогий крестьянин, ползающий пред дворянином, делался жестоким мучителем своих братьев, если только возвышался над ними и получал какое-нибудь начальство.

Вообще Борис в делах внутреннего строения имел в виду свои личные расчеты и всегда делал то, что могло придать его управлению значение и блеск. Такой смысл имело преобразование, совершенное им в порядке церковной иерархии. Борис задумал учредить в Московском государстве патриархию. Он воспользовался приездом константинопольского патриарха Иеремии, который со своим греческим духовенством разезжал для сбора милостыни и привез царю Федору икону с каплями Христовой крови. Гостям оказали очень блестящий и вместе с тем чванный прием. Греки поражены были блеском золототканых одежд царя и царицы, униженных жемчугом, усыпанных дорогими камнями, богатством окладов на бесчисленных иконах, огромными серебряными сосудами, изображавшими зверей, птиц, деревья, стенною мозаикою, блиставшею золотом и изображениями из священной истории. Борис сообщил патриарху свое намерение насчет учреждения патриаршества. Иеремия одобрил это намерение. Борис предложил самому Иеремии быть в Москве патриархом, но с тем, чтобы он жил не в Москве, а во Владимире, так как Борис ни за что не хотел удалять из столицы или оставлять в ней не первым, а вторым своего любимца Иова. Иеремии не слишком было хорошо в Турции, он готов был променять ее на Русь, но не хотел жить иначе как в Москве. Поэтому обе стороны сошлись на том, что Иеремия, наделенный богатою милостынею, согласился на возведение митрополита Иова в сан патриарха. Для соблюдения законности созвали собор и архиереи представили трех кандидатов, предоставляя царю избрать из них по своему усмотрению. Разумеется, избран был Иов, и 26 января 1589 года совершилось его посвящение. Вместе с тем архиепископы: новгородский, казанский, ростовский и крутицкий (иначе сарский и подонский, живший в Москве на Крутицах) возведены были в сан митрополитов, а шесть епископов получили архиепископский сан. Посещение Москвы константинопольским патриархом было первым событием в своем роде и повлекло к некоторому приливу греков духовного сана в Московское государство и к большему сближению с православным Востоком. Бывший в Москве вместе с Иеремиею элассонский епископ Арсений, возвратившись с ним в Грецию, приехал опять в Русь и получил суздальскую епархию; архиепископ кипрский Игнатий проживал в Москве. От царя посылались постоянно богатая милостыня на Восток.

Борису нужно было ласкать духовенство и возвышать его, чтобы при всякой нужде опираться на него и находить в нем для себя могучую поддержку. Учреждение патриаршества давало русской церкви блеск, сообщало этот блеск и самому государству, которое у тогдашних риториков называлось третьим Римом, но более всего возвышало Бориса, получавшего через то и славу благодетеля русской церкви и более ручательства в содействии своим видам со стороны духовенства: патриарх был как бы государь; его титул возбуждал благоговейный страх, в особенности сначала, пока был новым для русских: что скажет патриарх, то должно быть истиною; а такой патриарх, каким был Иов, всегда и во всем был готов потакать Борису. В сущности, патриаршество мало приносило церкви внутренней силы; самостоятельность русской церкви и независимость от всякой другой церковной власти и без того утвердилась уже временем, а ручательства от произвола светских властей патриаршество ей не давало более того, чем мог бы дать собор при нравственной силе своих

членов. Для истинной пользы русской церкви в то время нужны были не титулы, не наружный блеск, а образованные и нравственные пастыри: патриаршество, как показали последствия, напротив, ставило преграду внутренним преобразованиям как в церкви, так и в гражданском обществе, и в свое время было уничтожено, как один из признаков, наиболее препятствовавших культурному движению русского общества.

Как ни старался Годунов избегать всякой войны с соседями, но в 1590 году, по истечении перемирия со Швецией, принужден был начать неприязненные действия. Шведы удерживали отнятую при Грозном часть Вотской пятины и не хотели возвращать ее, хотя Борис и предлагал за нее деньги. Московскому государству было особенно тяжело, что у него отняли море. В январе 1590 года началась война.

Самого царя взяли в поход, находя полезным, чтобы он был при войске. Шведы действовали плохо, не более как через месяц сами предложили перемирие на год и уступили царю Яму, Копорье и Иван-город. Русским этого было недостаточно. Они хотели также вернуть Нарву и Корелу, но приступ их к Нарве был неудачен, и осторожный Борис, побоявшись подвергнуться опасностям дальнейшей войны, поспешил взять то, что давалось, отлагая на будущее время возвращение остального. С тех пор несколько лет съезжались между собою русские и шведские уполномоченные; не могли сойтись, начинались опять военные действия, вообще незначительные; потом опять съезжались послы толковать о примирении, и только уже в 1595 году заключили мир. Шведы воротили русским Корелу, а русские отказались от Нарвы и от всех притязаний на Эстонию.

Между тем в те годы, когда происходили толки со шведами о границах, в Московском государстве совершались важные трагические события. Дмитрий рос в почетном изгнании в Угличе и представлял в будущем большую опасность для Бориса. Федор был бездетен, слаб здоровьем, и, в случае его смерти, царевич Дмитрий был бы провозглашен его преемником на престоле. Борису, естественно, грозила гибель. Нагие и люди Дмитриевой партии, конечно, не простили бы ему ни его прошлого величия, ни их удаления от царя. Этого мало; Дмитрий, пришедши в возраст, мог быть опасен и для самого Федора. Если были люди, которые тотчас же по смерти Грозного думали вместо Федора посадить на престоле малолетнего Дмитрия, то тем скорее сам Дмитрий, достигши совершеннолетия, мог собрать около себя партию людей, которые были недовольны тем, что на престоле сидит слабоумный царь, а всем управляет временщик, и легко пристали бы к намерению низложить Федора. Рассказывали, что малолетний Дмитрий уже в детстве показывал отцовские наклонности, любил смотреть, как убивают домашних животных, и сам, ради потехи, убивал их палкой. Говорят, однажды, играя с детьми, он сделал из снега несколько человекоподобных фигур; одну из них назвал Борисом Годуновым, других – именами разных бояр, приятелей Годунова, бил их палками, говорил, что рубит им головы, руки, ноги, и прибавлял: «Вот как будет, когда я стану царствовать!» Смерть этого ребенка казалась не только полезной для видов Годунова, но и необходимой для его существования.

В 1592 году Годунов отправил в Углич надзирать за земскими делами и над домашним обиходом царицы Марфы своих доверенных людей: дьяка Михаила Битяговского с сыном Данилом и племянником Качаловым. Нагие и сама царица не терпели этих людей. Нагие беспрестанно с ними ссорились.

15 мая 1591 года в полдень пономарь соборной углицкой церкви ударил в набат. Народ сбежался со всех сторон во двор царицы и увидел царевича мертвого с перерезанным горлом. Исступленная мать обвиняла в убийстве людей, присланных Борисом. Народ убил Михаила и Данила Битяговских и Никиту Качалова, а сына царевичевой мамки Волоховой притащил в церковь к царице и убил по ее приказанию пред ее глазами. Умертвили еще несколько человек по подозрению в согласии с убийцами.

Дали знать в Москву. Борис отправил на следствие боярина князя Василия Ивановича Шуйского и окольникя Андрея Клешнина. Последний был человек, вполне преданный и покорный Борису. Первый принадлежал к роду, не расположенному к Борису, но, при стечении тогдашних обстоятельств, волею-неволею должен был действовать в его видах.

Свидетелей убийства не было. Преступников тоже. Шуйский, человек хитрый и уклончивый, рассчитал, что если он поведет следствие так, что Борис будет им недоволен, то все-таки Борису ничего не сделает, потому что верховным судьей будет тот же Борис, а себя подвергнет впоследствии его мщению. Шуйский решил вести следствие так, чтобы Борис был им вполне доволен.

Следствие произведено было бессовестным образом. Все натягивалось к тому, чтоб выходило, будто царевич зарезался сам. Осмотра тела не сделали: людей, убивших Битяговского с товарищами, не допросили. Царицу также не спрашивали. Показания, снятые с разных лиц, кроме показания одного Михаила Нагого, гласили одно, что царевич зарезался в припадке падучей болезни. Одни явно лгали, показывая, что сами видали, как происходило дело, другие показывали то же, не выдавая себя очевидцами. Тело царевича было предано земле в углицкой церкви Св. Спаса.

Годунов подал это следствие на обсуждение патриарха и духовенства. Патриарх, всем обязанный Борису, произнес такое мнение, какое угодно было его покровителю; ему не противоречили и прочие святители, а заявили только, что это дело земское, не церковное. Бояре не могли сопротивляться не только из страха перед Борисом, но и потому, что не имели никаких данных к сопротивлению. Борис сослал всех Нагих в отдаленные города в заключение; царицу Марию постригли под именем Марфы и сослали в монастырь Св. Николая на Выксе (в Череповецком уезде). Над углицкими жителями совершена жестокая расправа: обвиненных в убийстве Битяговского с товарищами казнили смертью; другим за смелые речи отрезали языки, и многих жителей сослали в Сибирь для заселения города Пелыма. Предание говорит, что Годунов сослал в Сибирь даже тот колокол, в который били в набат в день убиения Димитрия, и его до сих пор показывают в Тобольске.

Правительство объявило и приказывало народу верить, что смерть царевича произошла от самоубийства, но в народе сохранилось убеждение, что царевич был зарезан, по тайному приказанию Бориса. Ходили об этом разные рассказы и были вносимы в летописи. К счастью для истории, сохранился один рассказ, носящий на себе явные признаки того, что он составлен современником, и притом близко знавшим об этом событии. По этому рассказу царевич Димитрий в день своей смерти чувствовал себя нездоровым, но, по обычаю, отслушал обедню, пришедши домой, переменял платье; ему принесли богородицын хлебец (просфору). Царевич съел просфору и потом попросил пить, а после того пошел со своей кормилицей Тучковой-Ждановой погулять. Матери с ним не было. Дяди Нагие разъехались обедать. Когда царевич с кормилицей подошел к церкви Св. Константина и Елены, появились Качалов и Данило Битяговский, ударили кормилицу палкой, чтобы ошеломить ее, и в то же мгновение перерезали царевичу горло, а сами стали громко кричать... Прибежала царица, схватила царевича на руки... он умер. Царица велела ударить в набат, сбежался народ; царица с воплем кричала, что царевича зарезали, указывала на убийц... народ в остервенении побил камнями тех, на кого она указала.

Из этого рассказа видно, что свидетелей убийства, собственно, не было. Сама кормилица не могла прямо сказать, что видела, как его зарезали; она могла только возбудить подозрение рассказом о том, как ее ударили. За то кормилицу, вместе с ее мужем, приказано было взять «бережно», наблюдая, чтобы они с дороги не убежали, и привезти в Москву. Неизвестно, куда делась эта несчастная супружеская чета.

Остается неизвестным, в какой степени с согласия Бориса убийцы совершили это дело: был ли им дан положительный намек, или же, быть может, они сами поняли, что если ловко обделают это дело, то Борис сумеет их наградить, не сказавши, за что он награждает. Им не удалось получить награды; Борис только благодетельствовал их семейства.

Вскоре после смерти царевича, 23 мая, на праздник Троицы, во время отсутствия царя, уехавшего в Сергиев монастырь, вспыхнул в Москве пожар, обративший в пепел значительную часть Белого города. Борис тотчас начал раздавать пособие погоревшим и за собственный счет отстраивал целые улицы. Несмотря на такую щедрость, в народе ходили слухи, что пожар произведен был людьми Годунова, по его приказанию, для того, чтобы

отвлечь внимание столицы от совершенного убийства. Годунов, со своей стороны, обвинял в поджигательстве людей Нагих.

Менее чем два месяца спустя, столица испытала новую тревогу. Крымский хан Казы-Гирей долго обманывал Москву, уверял, что будет посылать татар на Литву, а на Москву не пошлет, и вдруг неожиданно бросился с громадной силою в русские пределы. Тогда ожидали разрыва со Швецией и сосредотачивали военные силы на севере. Хан так скоро очутился на Оке, что русские думали только о защите столицы. Осторожный Борис не взял на себя главного начальства над войском, оборонявшим Москву, а поручил его князю Федору Мстиславскому, сам же занял после него второе место. 4-го июля хан подошел к селу Коломенскому; русские стояли в обозе. Татары побились с русскими и потеряли несколько мурз. Хан ввечеру приблизился к селу Воробьеву и смотрел с вершины горы на Москву. Годунов приказал без умолку палить из пушек, а русские пленники сказали хану, что в Москве стреляют от радости, потому что туда пришли новые силы из Новгорода и других мест, и готовы на другой день утром ударить на хана. Хан немедленно бежал со всеми своими силами. Мстиславский и Годунов погнались за неприятелем, разбили его отставшие полчища близ Тулы, но хана не могли нагнать. Он ускакал в простой телеге в Бакчисарай, растерявши по дороге множество своих воинов.

Хотя Годунов, ожидая хана, сдал главное начальство Мстиславскому, но этот последний получил от имени царя выговор за то, что в своем донесении не упомянул имени Бориса. Вся честь победы должна была приписываться Борису: об этом велено было рассказывать и на чужих землях. Борис принял тогда титул «слуги», который, по тогдашнему придворному обычаю, давался за важные победы. В память спасения Москвы заложен был монастырь, названный Донским, от имени иконы Богородицы, находившейся с Димитрием на Куликовом поле; она же была и с Годуновым при защите Москвы от Казы-Гирея.

Тогда, – говорит современное повествование, – писатели сплетали безмерные, несказанные похвалы правлению Бориса, желая угодить ему и расположить к себе. Люди хоть и видели, что все это ложь, но не смели не только ничего сделать, но даже чего-нибудь помыслить против Годунова. Он отнял у всех власть и всех держал в страхе. В Алексине начали ходить толки, что Борис сам навел хана, чтобы отвлечь русских от убийства Димитрия. Годунов тотчас приказал разыскать злословивших его, предавать пыткам, заключать в темницы, резать языки, но действовал так, как будто бы все это шло не от него. Случится, – говорит то же повествование, – что кого-нибудь надобно казнить, тогда писали: «Приговорили князь Федор Мстиславский с товарищи», а если кого-нибудь жаловали или прощали, то писали: «Пожаловал царь по прошению Бориса Федоровича».

В следующем, 1592 году, у царя Федора родилась дочь Феодосия. Борис показывал вид радости, именем царя выпускал из темниц узников, раздавал милостыню духовенству, но никто не верил его искренности, и когда через несколько месяцев маленькая царевна умерла, в народе пошли толки, что Борис отправил ее на тот свет.

Борис, однако, делал свое дело и приобретал себе всеми мерами сторонников. Уже он заручился расположением духовенства. Тарханы, уничтоженные соборным приговором, оставались в прежней силе и постоянно давались новые. Духовенство видело, что Борис защищает его материальные выгоды; нужно было Борису также расположить к себе служилых людей. И вот Борис издал закон, уничтожавший Юрьев день – право перехода крестьян с земли одного владельца на землю другого. Все крестьяне обязаны были навсегда оставаться в повиновении своим помещикам и вотчинникам. Этим законом Борис до чрезвычайности угождал всей массе незнатных землевладельцев, обязанных службою и постоянно нуждавшихся в рабочих руках для достижения средств благосостояния и для исправности на службе. Надобно заметить, что к этому располагало еще и следующее обстоятельство. С открытием Сибири, с занятием земель на юге Московского государства последовало движение народа на новоселье. Пустели целые посады и волости. Один англичанин, проехавший от Вологды до Ярославля, видел по дороге до пятидесяти деревень, оставленных жителями. Если не поставит пределов такому движению, то предстояла

опасность, что середина государства лишится большей части своего населения, а оставшиеся не в состоянии будут нести налогов и придут в нищету. Притом же льготы, предоставленные именным монастырским и владычным, естественно приманивали туда крестьян от служилых землевладельцев. Борис нуждался в опоре со стороны духовенства и потому не решался огорчить его действительным отнятием у него привилегий, но, с другой стороны, он нуждался также в расположении служилого сословия. Борис прибегнул к уничтожению крестьянского перехода, мере, которая, удовлетворяя выгодам служилого сословия, вместе с тем казалась выгодною для государства. Что касается до бояр, владевших большими вотчинами, то мера эта не представляла для них на первых порах особенных выгод, так как они имели возможность давать крестьянам большие льготы и тем приманивать их к себе.

Но мера эта не по душе была народу, и с этих пор, вместо законно переходивших от владельца к владельцу крестьян, явились беглые, и число их усиливалось с каждым годом. Владельцы преследовали их, искали на них суда, заводили тяжбы, требовали возвращения крестьян; а те из крестьян, которые были поудалее, бежали в казаки или же умножали собою разбойничьи шайки. Сам Борис, стараясь удержать народонаселение в середине государства, нуждался, однако, и в расширении его на окраинах. Нашествие крымского хана убеждало его в необходимости умножать число городов на юге и населять ратными людьми. Таким образом, в конце 1593 года, Борис построил крепости вниз по реке Осколу: Белгород, Оскол, Валуйки. Хан Казы-Гирей, испытавши неудачу под Москвой, в 1594 году заключил мир и дал шертную грамоту, обещаясь не беспокоить русских пределов, но этот мир был куплен: русские заплатили 10000 рублей и одарили хана тканями и мехами, – такой мир был непрочен, потому что крымцы дружили до тех пор, пока брали подарки, а переставши получать, считали разорительные набеги лучшим средством заставить платить им снова. Чтобы обуздать крымского хана, Борис отправлял посольство в Константинополь, просил султана запрещать татарам беспокоить русские пределы, уверял, что русский государь питает любовь к султану и не слушает советов императора, папы, короля польского и короля испанского и персидского шаха, которые убеждают его идти войною на Турцию; но турецкий визирь с гордостью отвечал московскому послу, что Турция никого не боится, а если московский государь желает дружбы султана, то пусть отдаст ему Астрахань и Казань, отступится от грузинского царя, который есть подданный султана, пусть, сверх того, сведет с Дона казаков. В Турции очень хорошо понимали лживость уверений в дружбе. Действительно, московское правительство называло перед турками казаков разбойниками, однако посылало к казакам воинские снаряды и готово было пользоваться их услугами против мусульман. С императором велись несколько лет сношения: главным предметом были переговоры насчет предполагаемой войны с турками. Сношения эти ничем не кончились, кроме подарков с обеих сторон, довольно значительных, так что однажды со стороны русских было послано на воинские издержки мехов на 44000 рублей. Столько же бесплодны были сношения с персидским шахом Аббасом; толковали о том, что следует русским сообща с персиянами воевать против турок, но ни те, ни другие ничего не предпринимали. Также мало имели значения два посольства папы Климента VIII, дважды отправлявшего в Москву своего легата Комулея с целью убедить московского царя действовать против турок, а вместе с тем поговорить и о соединении церквей. Более искренни со стороны Бориса были сношения с Англией, в особенности, когда не стало дьяка Андрея Щелкалова: хотя последний был всегда во всем заодно с Борисом, но по отношению к англичанам не питал того расположения, какое оказывал к ним Годунов. Замечательно, что Елизавета до того дорожила добрым расположением к себе московского правительства, даровавшего купцам такие выгоды, что подвергла запрещению книгу Флетчера о русском государстве, где представлен в черном виде государственный строй и сам Борис является не в выгодном свете.

Всякое общественное бедствие и всякое общественное предприятие давали Борису повод показывать свою заботливость о судьбе народа. В Москве в 1595 году случился пожар в Китай-Городе, и Борис способствовал скорейшему возобновлению сгоревших дворов;

вслед за тем открылось покушение зажечь Москву, и Борис, к удовольствию народа, предал казни виновных. Происходили пожары и в других городах и там Борис подавал помощь погоревшим. В некоторых местах были неурожаи: Борис посылал туда хлебные запасы. Посетило Русь также нередкое в ее истории бедствие – заразные болезни, сильно опустошавшие тогда Псков; Борис учреждал заставы, чтобы не дать им распространиться в других областях. В 1596 г. задумал Борис строить каменные стены в Смоленске и, вместо того, чтобы, по обычаю, гонять людей на городское дело, устроил работы наймом. Он сам отправился на место постройки, чтобы показать себя тамошним жителям: они находились близко к литовским пределам; у них еще свежо было предание, что их деды принадлежали Литве; им особенно полезно было показать, что в Москве правительство доброе и вперед можно ожидать от него всякого добра. Борис останавливался в городах и селах, с участием выслушивал челобитные, поил, кормил тамошних людей, раздавал бедным милостыню.

Но более всего Борис, кроме духовенства, рассчитывал на служилое сословие и в этих видах, в 1597 году, подтвердил закон о прикреплении крестьян к земле, установил, чтобы все, убежавшие из поместий и вотчин в течение предшествовавших пяти лет, были отыскиваемы и возвращаемы к повиновению помещикам и вотчинникам; сверх того, он узаконил, чтобы все те, которые прослужили и прослужат у господ не менее полугода, делались через то самое их вечными холопами и были записаны в книги посольского приказа. Такое узаконение, конечно, было приятно для служилых, нуждавшихся в рабочих руках, но не могло быть приятным для народа, из которого множество лиц, не ждавши, не ведавши, вдруг очутились в рабстве. Много было обязанных Борису и готовых стоять за него ради собственных интересов, но мало было истинно любивших его. Все щедроты и благодеяния правителя толковались в дурную сторону, а злые языки беспрестанно приписывали ему новые злодеяния. Ослеп Симеон Бекбулатович, которого некогда Грозный сделал на время игрушечным русским государем: распространился слух, будто Борис испортил его посредством волшебного питья.

Царь Федор Иванович был чужд всего, соответственно своему малоумию. Вставал он в четыре часа, приходил к нему духовник со святою водою и с иконою того святого, чья память праздновалась в настоящий день. Царь читал вслух молитвы, потом шел к царице, которая жила особо, вместе с нею ходил к заутрене, потом садился в кресло и принимал близких лиц, особенно же монахов; в 9 часов утра шел к обеду, в одиннадцать часов обедал, потом спал, потом ходил к вечерне, иногда же перед вечернею в баню. После вечерни царь до ночи проводил время в забавах: ему пели песни, сказывали сказки, шуты потешали его кривляньями. Федор очень любил колокольный звон и сам иногда хаживал звонить на колокольню. Часто он совершал благочестивые путешествия, ходил пешком по московским монастырям, посещал, вместе с царицею, Троицкую обитель, монастырь Пафнутия Боровского и другие. Но кроме таких благочестивых наклонностей, Федор показывал и другие, напоминавшие нрав родителя: он любил смотреть на кулачные бои и на битвы людей с медведями. Челобитчики, обращавшиеся к нему, не видели от него участия; «избегая мирской суеты и докуки», он отсылал их к Борису. Царица Ирина от своего имени иногда давала милостивые повеления и в день своего ангела выпускала узников из темниц. Слабоумие Федора не внушало, однако, к нему презрения: по народному воззрению, малоумные считались безгрешными и потому назывались «блаженными». Монахи восхваляли благочестие и святую жизнь царя Федора; ему заживо приписывали дар прозрения и прорицания: рассказывали, между прочим, что во время нападения Казы-Гирея на Москву блаженный царь молился и предрек бегство крымцев. Болезненность склонила его к преждевременной смерти. Он скончался 7 января 1598 года, на сорок первом году своей жизни.

Борис объявил, что умерший царь передал державу свою царице Ирине и поручил «строить свою душу» патриарху Иову и с ним шурина своему Борису и двоюродному брату Федору Никитичу Романову-Юрьеву.

Это была неслыханная новость: никогда еще женщина не царствовала самобытно, не



будучи опекуншею детей; притом жена после мужа не могла быть преемницею ни по какому праву. Но права престолонаследия уже не существовало. Еще Иван III своими речами и поступками показал, что государь может отдавать свое государство кому захочет. Грозный приучил не рассуждать ни о каких правах. Единственное, что сохранилось еще в воззрении народа – это воля земли, которую призывал Иван Грозный для освящения своей опричнины и в которой оказалась необходимость для утверждения Федора на престоле. Ирине муж при смерти передал державу, но Ирина имела только временное значение правительницы государства, пока не установится выбор всей землей. Через девять дней Ирина постриглась в Новодевичьем монастыре.

Тогда собрались бояре и постановили, что правление остается в руках бояр. Созвали народ целовать крест боярской думе, но созванная толпа состояла в большинстве из доброжелателей Бориса. Они закричали, чтобы царем был Борис.

Иов тотчас воспользовался этим и стал говорить, что следует идти просить Бориса принять царство.

Духовенство было с ним заодно, толпа служилых одобрила предложение; между боярами были родственники и сторонники Годунова, его воцарение обещало им выгоды и почести: Шуйским, Мстиславскому, Романовым, Черкасским не по сердцу оно было, но они не в силах были противостать общему желанию. Все отправились в Новодевичий монастырь, где находился Борис с сестрой, которая уже приняла имя инокини Александры. Борис показывал вид, будто весь погрузился в богомыслие.

Патриарх просил сначала бывшую царицу благословить на царство брата своего, потом обратился к Борису и говорил:

«Будь нам милосердным государем, царем и великим князем, не дай в поспание православной веры и в расхищение христиан православных». Борис на это отвечал:

«И в разум мне никогда не приходило и в мысли того не будет, чтобы мне царствовать; как можно, чтобы я помыслил на такую высоту! Да теперь нам время помышлять, как бы устроить праведную и беспорочную душу государя царя и великого князя Федора Ивановича, а о государстве и земских делах радеть и промышлять тебе, отцу святейшему патриарху и боярам вместе с тобой. А если моя работа пригодится, так я рад голову положить за Святые Божии церкви и за одну пядь земли».

Патриарх приводил ему примеры из Ветхого Завета и византийской истории, когда лица не царского происхождения приобретали славу своими заслугами и были избираемы на царство. Но Борис не поддавался риторике и силе исторических примеров и отказывался.

Патриарх еще устраивал такие же путешествия, и для большей наглядности служилые, расположенные к Борису, взяли с собой жен и детей. Но и это не помогло. Борис говорил, что думает о спасении души, а не о земном величии.

Тогда патриарх сказал народу, что надобно подождать окончания сорокоуста: Борис Федорович со своим обычным благочестием весь предался молитве за своего благодетеля, царя Федора Ивановича, а тем временем надобно созвать земский собор из людей всякого чина; когда всей землей начнут его просить – он не дерзнет противиться.

Пособники Борисовы поехали по городам содействовать, чтобы в Москву съехались такие люди, которые благоприятствуют Борису. К началу масленицы собрались в Москве выборные люди.

Собор этот устроен был заранее в видах Бориса. Всех членов было 474 человека, из них 99 было из духовного звания, а 272 из служилых, из которых 119 небогатых помещиков, всем обязанных Борису; на долю собственно народа приходилось немного: из них надобно отнести к сторонникам Годунова гостей, связанных с ним интересами торговли, так как, владея большими имениями, он продавал им свои произведения. В числе собравшихся были, однако, и недоброжелатели Бориса, да ничего не могли они сделать, им даже и говорить не дали.

17 февраля в первый раз собрались выборные люди в Кремле. Патриарх, спросивши их, кому быть в государстве царем, не дождался от них ответа, не допустил их ни рассуждать, ни

спорить, а сказал, что у патриарха, у всего духовенства, у бояр, дворян, приказных и служилых людей и у всех православных христиан, которые были в Москве прежде, одна мысль: молить Бориса Федоровича, чтобы он был на царстве, и не хотеть иного государя. Сторонники Бориса стали тотчас восхвалять его добродетели, а патриарх затем объявил: кто захочет искать иного государя, кроме Бориса Федоровича, того предадут проклятию и отдадут на кару градскому суду.

После такого заявления никто не посмел и заикнуться против воли патриарха.

Патриарх назначил три дня молиться, поститься, а на четвертый день, 20 февраля, в понедельник на сырной неделе, двинулся со всеми выборными людьми в Новодевичий монастырь. За выборными людьми пошла громада московской черни: мужчины, женщины, дети. Пособники Бориса ходили между чернью и объявляли, что, кто не пойдет просить Бориса на царство, с того возьмут пени два рубля. Борис вышел и наотрез сказал, что не помышляет о высоте царства. Тогда, возвратившись в Кремль, патриарх объявил, что нужно вновь на другой день просить Бориса Федоровича и нести к нему икону Богородицы из Вознесенского монастыря. «Если Борис Федорович не согласится, – говорил патриарх, – то мы со всем освященным собором отлучим его от церкви Божьей, от причастия Св. Тайн, сами снимем с себя святительские саны и за ослушание Бориса Федоровича не будет в церквах литургии, и учинится святыня в попрании, христианство в разорении, и воздвигнется междоусобная брань, и все это взыщет Бог на Борисе Федоровиче».

Во вторник, 21 февраля, зазвонили во всех московских церквах и народ, вслед за патриархом, огромной толпой двинулся к Новодевичьему монастырю. Борис вышел навстречу чудотворной иконе и поклонился до земли. «Не мы сей подвиг сотворили, – говорил патриарх, – а Пречистая Богородица с Предвечным Младенцем и святыми чудотворцами возлюбила тебя и изволила прийти напомнить тебе волю Сына своего Бога нашего; повинись Его святой воле, не наведи на себя своим ослушанием гнева Божия».

Борис ушел к сестре в келью; патриарх отслужил обедню, потом пошел в келью с несколькими боярами, приверженцами Бориса. Толпа стояла на дворе кругом кельи. Бояре из окон кельи давали знак приставам, а приставы заставляли народ кланяться, вопить и плакать. Здесь было много женщин с младенцами. Многие москвичи из раболепства и страха, за недостатком слез, мочили глаза слюнями, а тех, которые неохотно вопили и кланялись, Борисовы пособники понуждали в спину пинками. «И они, – говорит летописец, – хоть не хотели, а поневоле выли по-волчьи». Патриарх, истощивши старания тронуть сердце Бориса зрелищем плачущего русского народа, стал, наконец, грозить ему, что он принесет Богу ответ, если в безго-сударное время будет в попрание святая вера и православные христиане в расхищении от иноземцев.

Инокня Александра стала уговаривать Бориса. «Неужели, – сказал он, – и тебе, моей государыне, угодно возложить на меня такое невыносимое бремя, о котором у меня никогда и на мысли не было и на разум не приходило».

«Это Божье дело, а не человеческое, – сказала Александра, – как будет воля Божья, так и твори».

Тогда Борис с видом скорби залился слезами и поднявши глаза к небу, сказал: «Господи Боже мой, я твой раб, да будет воля твоя!»

Патриарх благословил Бориса, сестру и жену его, затем вышел к народу и провозгласил: «Борис Федорович нас пожаловал, хочет быть на великом российском царствии». – «Слава Богу», – кричали все, а приставы толкали людей, чтобы те кричали погромче и повеселее.

26 февраля Борис прибыл в Москву, поклонился святыне, а потом опять уехал в Новодевичий монастырь, как будто на постный подвиг, и не прежде прибыл в столицу, как после Пасхи. Венчание на царство происходило 1 сентября. Тогда Борис сказал громко патриарху: «Бог свидетель, отче, в моем царстве не будет нищих и бедных». Затем, взявшись за воротник рубашки, он прибавил: «И эту последнюю разделю со всеми!»

Борис рассчитал, что нужно на первых порах расположить к себе народ, приучить

любить себя и повиноваться себе. С этой целью он освободил весь сельский народ от податей на один год, а равно и всех инородцев от платежа ясака. Всем торговым людям Борис дал право беспошлинной торговли на два года, служилым людям выдал одновременно годовое жалованье. В Новгороде (и быть может, в других местах) он закрыл кабаки. Выказываясь блюстителем нравственности, Борис преследовал бесчинное пьянство, что нравилось добронравным людям. Сидевшие в тюрьмах получали свободу, опальным прежнего царствования давалось прощение; вдовы, сироты, нуждающиеся получали от щедрот царя вспоможение. Борис непрестанно кормил и одевал неимущих. Казней не было. Борис даже воров и разбойников не наказывал смертью. Но все это была только мишура. Все благие стремления Бориса клонились только к одной цели – утвердить себя и род свой на престоле; он сочинил особую молитву о своем здравии, которую заставлял всех подданных непременно произносить во время заздравных чаш. Борису хотелось, чтобы русские во что бы то ни стало и какими бы то ни было путями привыкли к нему и полюбили его. Цель мало достигалась. Только духовенство и служилые были действительно за Бориса; народ не любил его. Законы о прикреплении к земле и о холопстве стали источниками смут и беспорядков. Крестьяне беспрестанно бегали от помещиков; те искали их, преследовали, возникали из-за них тяжбы. Закон о холопстве приводил ко всевозможным насилиям. Не только прослужившие шесть месяцев попадали в рабство; иногда судья, в угоду богатому, приговаривал к холопству и такого, который несколько дней прослужит у господина, и это делалось на том основании, что господин на него издержался. Призовут мастерового работать в дом, а господин дома изъявит притязание, что он его холоп. Начнется суд, судья потакает господину, взявши с него взятку. Иного зазывают в гости, обласкают, покормят, а потом вымучат у него кабалу. Даже детей боярских, которые имели поместья и поступали к боярам и к богатым дворянам служить в ратном деле, сильные господа при случае принуждением обращали в холопов. Хватали иногда прохожих по дороге, затаскивали в дом и вымогали с них кабалу муками и насилиями. Богатый на бедняка подает иск, и бедняка присуждают в рабство богатому. Зато ловкие пройдохи пользовались обстоятельствами – продадут себя в одном доме, поживут и обокрадут хозяина; бегут в иной дом или город и там сделают то же, перейдут к третьим и т.д. Таким образом, между господами и холопами была круговая порука – то господин обращает насильно свободного человека в холопа, то последний, сделавшись добровольно холопом, разоряет господина.

Но минули льготные годы, возобновились кабаки, пьянство опять сделалось источником казенных доходов и причиной народного развращения. И вот в то время, когда Борис рассыпал свои щедроты, по дорогам нападали на проезжих, разбойничьи шайки умножались и увеличивались, и в самой Москве, стоило выйти ночью со двора, можно было опасаться, что кто-нибудь свистнет кистенем в голову. Каждое утро привозили в земский приказ убитых и ограбленных на улицах.

По отношению к соседям Борис держался прежней своей политики: сохранять сколько возможно мир, хотя при случае не гнушался и коварством. Польско-литовский посол Лев Сапега предлагал дружески тесный оборонительный союз Москвы с Польшей. Но это намерение не состоялось, потому что русские ни за что не хотели допустить постройку костелов для поляков в своем государстве. Заключено было только перемирие на двадцать лет. Борис, вопреки этому перемирию, думал исподтишка возбудить ливонцев против поляков, он хотел расположить их, между прочим, тем, что освободил всех бывших в плену ливонцев и пораздавал им поместья. Как бы в досаду Сигизмунду, Борис принял к себе Густава, изгнанного сына Эрика XIV, дал ему в удел Калугу, хотел женить на своей дочери, а потом, рассердившись на него за то, что он не хотел расстаться со своей любовницей, сослал его в Углич. С Елизаветой Борис продолжал находиться в самых приязненных отношениях, но, предоставляя право беспошлинной торговли для англичан, сбавил, однако, наполовину пошлины и с ганзейских торговцев. Папа обращался к Борису с просьбой о пропуске его послов в Персию, и Борис велел дать им суда до Астрахани. Борис вел сношения с тосканским герцогом и просил доставить ему искусных медиков и разных художников. С

крымским ханом подтвержден был мирный договор. Только дела в Закавказье шли неудачно. Кахетинский царь Александр, поддавшийся Москве, был умерщвлен сыном своим Константином. Русские должны были оставить Кахетию. Турки вытеснили русских из Тарков с большой потерей для последних.

Никто из прежних московских царей не отличался такой благосклонностью к иностранцам, как Борис. Он пригласил на свою службу ливонских немцев, принимал также к себе иностранцев, приезжавших из Германии, Швеции, Франции, составил особый отдел войска из иноземцев, дал всем ливонцам, поселенным еще при Грозном в Москве, льготы от податей и повинностей, а для некоторых из них предоставил право беспошлинной торговли, позволил построить в немецкой слободе протестантскую церковь, пригласил к себе несколько иностранных врачей и аптекарей, впрочем, для собственного обихода: запрещая лечить кого бы то ни было иначе, как с царского дозволения. Иностранцы, довольные обхождением с ними Бориса, говорят, что он даже помышлял выписывать из-за границы ученых людей и заводить в Москве высшую школу, но духовенство воспротивилось этому. Борис ограничился тем, что отправил учиться в Англию четырех русских дворян: это были первые русские, поехавшие для образования за границу; замечательно, что никто из них не захотел вернуться домой. Несколько позже Борис посылал еще несколько молодых людей для той же цели в Австрию и Германию. Эти поступки не дают, однако, права видеть в Борисе какого-то преобразователя и ревнителя народного просвещения, как некоторые полагали. Борису нужно было несколько образованных людей для своего придворного обихода: доказательством служит то, что Борис запрещал своим иностранным медикам лечить подданных.

Воспитанный при дворе Грозного, сам будучи человеком лживым и хитрым, Борис был всегда подозрителен, недоверчив и окружал себя шпионами, но в первые годы его царствования ему не представлялось необходимости преследовать своих врагов, несмотря на то, что у него их было много. Пока Борису ничего не угрожало, он казался щедрым, добрым, снисходительным. Вдруг в конце 1600 года стал в народе ходить слух, что Димитрий царевич не убит, а спасенный друзьями, где-то проживает до сих пор. Этот слух доходил тогда до служившего в Борисовом войске француза Маржерета и, следовательно, должен был дойти до Бориса. С этих пор нрав Бориса изменяется, исчезает мягкосердечие. У него была одна цель – утвердить себя и свой род на престоле. Для этой цели он был некогда жестоким гонителем Шуйских и всех своих врагов, истребителем Углича; для этой цели он сделался добродушным и милосердным, для той же цели ему опять приходилось сделаться мрачным и свирепым, потому что кроткие средства, по-видимому, не удавались. Из слуха о Димитрии он понял, что у него есть опасные враги, а у этих врагов может быть страшное орудие. Надобно было, во что бы то ни стало, найти это орудие, истребить своих врагов, или же приходилось потерять плоды трудов всей жизни. Его положение было таково, что он не посмел разглашать, чего он ищет, что преследует, какого рода измены страшится. Заикнуться о Димитрии, – значило вызывать на свет ужасный призрак. Притом Борис не мог быть вполне уверен, что Димитрия точно нет на свете. Оставалось хватать всех, кого можно было подозревать в нерасположении к воцарившемуся государю, пытаться, мучить, чтобы случайно напасть на след желаемой тайны. Так и поступал Борис.

Он напал на Богдана Бельского: этот человек был ближе всех к Димитрию. Сосланный при воцарении Федора, он через несколько лет был возвращен и вел себя очень сдержанно. Борис всегда считал его для себя опасным, а потому удалил из Москвы, поручив ему строить в украинских степях город Царев-Борисов. Бельский зажил там богато и содержал за свой счет ратных людей. Когда разнесся слух о Димитрии, Борис придрался к Бельскому за то, что последний, как доносили царю, произнес под веселый час такие неосторожные слова: «Царь Борис в Москве царь, а я в Цареве-Борисове!» Бельского привезли в Москву, а потом сослали куда-то в низовскую землю. Говорят даже, что Борис приказал ему выщипать его черную густую бороду, которой он щеголял. С ним вместе ссылка постигла и других лиц.

След Димитрия не был отыскан. Борис принялся за бояр Романовых. Этот род был

самый близкий к прежней династии, они были двоюродными братьями покойного царя Федора. Романовы не были расположены к Борису. Борис мог подозревать Романовых, когда ему приходилось отыскивать тайных врагов. По известиям летописей, Борис придрался к Романовым по поводу доноса одного из их холопов, будто они посредством кореньев хотят извести царя и добыть «ведовством» (колдовством) царство. Четырех братьев Романовых – Александра, Василия, Ивана и Михаила разослали по отдаленным местам в тяжелое заключение, а пятого Федора, который, как кажется, был умнее всех их, насильно постригли под именем Филарета в монастыре Антония Сийского. Затем сослали их свойственников и приятелей – Черкасского, Сицкого, Репниных, Карповых, Шестуновых, Пушкиных и других. Ссылка постигла даже дьяка Василия Щелкалова, несмотря на прежнюю к нему милость и дружбу Бориса с его братом Андреем. Поместья и вотчины сосланных отбирались в казну, имущество продавалось, доносчики получали награды. Шпионство развилось до крайних пределов. По московским улицам, – говорят современники, – «то и дело сновали мерзавцы, да подслушивали», и чуть только кто заведет речь о царе, о государственных делах, сейчас говорунов хватают – и в пытку... Где только люди соберутся, там являются соглядатаи и доносчики. Все пустилось на доносы, потому что это было выгодно. Доносили друг на друга попы, дьяконы, чернецы, черницы, жены на мужей, отцы на детей; бояре и боярыни доносили одни на других: первые царю, вторые царице. У холопов вошло в обычай составлять на господ доносы, и чуть извет казался правдоподобным, господ поражала опала, а холопам давали свободу, записывали в число служилых, наделяли поместьями. Случалось и напротив, что холопы стояли за своих опальных господ и хотели оправдать их. Таких холопов предавали пыткам, и если они не выдерживали горячих угольев и кнута и путались в показаниях, то им резали языки. Вообще достаточно было одного обвинения в недоброжелательстве государю: подозреваемых тотчас подвергали пыткам, и если они под пыткой оказывались сколько-нибудь виновны, их заключали в темницы или отправляли в ссылку. Обыкновенно обвиняли опальных в ведовстве. Борис упорно скрывал то, что он действительно искал, но высказывал другого рода страх, чтобы его и семью его не испортили чарами, наговорами, зельями. Донесли Борису, что уже в Польше поговаривают, будто законный наследник прежних государей московских жив. Борис, не упоминая имени Димитрия, приказал поставить на западной границе караулы, всех задерживать и доносить ему. Так прошло несколько месяцев. Трудно было переезжать из города в город. Все знали, что ищут каких-то важных преступников, но никому не объявляли, кого ищут. По всему Московскому государству было схвачено и перемучено множество невинных людей, а того, кого нужно было Борису, не находили.

В эти тяжелые времена доносов и пыток постиг Русь страшный голод, довершивший подготовку к потрясениям. Уже в 1601 году, от дождливого лета и от ранних морозов произошел во многих местах неурожай: зимою в Москве цена хлеба дошла до пяти рублей за четверть. В следующем 1602 году был такой же неурожай. Тогда постигла Московское государство такая беда, какой, говорят современники, не помнили ни деды, ни прадеды. В одной Москве, куда стекались со всех сторон толпы нищих, погибали десятки тысяч, если верить русским и иностранным известиям. Бедняки ели собак, кошек, мышей, сено, солому и даже, а припадке бешенства, с голоду, пожирали друг друга. Вареное человеческое мясо продавалось на московских рынках. Дорожному человеку опасно было заехать на постоялый двор, потому что его могли зарезать и съесть. Тем не менее, современники свидетельствуют, что в то время не было на Руси недостатка в хлебе. В окрестностях Курска и на Северной земле урожаи были очень хороши. Около Владимира на Клязьме и в разных уездах украинских городов стояли полные одонья немолоченого хлеба прошлых годов. Но мало было людей, готовых жертвовать личными выгодами для общего дела. Напротив, большая часть старалась извлечь себе корысть из общего бедствия. Нередко зажиточный крестьянин выгонял на голодную смерть свою челядь и близких сродников, а запасы продавал дорогою ценою. Иной мужик-скряга боялся везти свое зерно на продажу, чтобы у него по дороге не отняли голодные, и зарывал его в землю, где оно сгнивало без пользы. Другому удавалось

продать хлеб и взять огромные барыши, но потом он трясся над деньгами от страха, чтобы на него не напали. Московские торговцы заранее накупили множество хлеба и держали под замками в своих лабазах, рассчитывая продать тогда, когда цены подымутся донельзя. Борис преследовал их, велел отбирать у них хлеб и отдавать беднякам, а хозяевам выплачивал по умеренным ценам. Но посланные сталкивались с хлебопродавцами, иногда не показывали найденного у них хлеба, а иногда хлебопродавцы отдавали на продажу по установленной тогда цене гнилой хлеб. Сам Борис приказал отворить все свои житницы, продавать хлеб дешевле ходячей цены, а бедным раздавать деньги. Но на московской земле, по замечанию современников, должностные лица оказались плутами: они раздавали царские деньги своей родне, приятелям и тем, которые делились с ними барышами. Их сообщники, одевшись в лохмотья, приходили зауряд с нищими и получали деньги, а настоящих нищих разгоняли палками. Раздача милостыни продолжалась с месяц, потом Борис рассудил, что она только обогащает плутов, накапливает голодный народ в столице; может явиться зараза; притом подозрительный царь боялся большого стечения народа, чтоб не произошло бунта. Он запретил раздачу. Это было в такое время, когда весть о щедрости царя распространилась по отдаленным областям и в Москву шли отовсюду толпы народа за пропитанием: вдруг разразилось над ними прекращение раздачи милостыни. Многие погибали на дороге: голодные их собратия терзали их трупы наравне с волками и собаками. Борис, однако, не оставил народа совершенно без внимания, но вместо раздачи милостыни в Москве, посылал чиновников забирать немолоченый и молоченый хлеб у землевладельцев в разных местах, покупать его по установленной правительством цене и доставлять в места, где был голод. Но посланные от царя лица брали с землевладельцев взятки и не показывали, что у них сохраняется хлеб. Притом же и доставка хлеба с одного места в другое была затруднительна, потому что голод разогнал ямщиков, трудно было доставать подводы и лошадей.

Современники говорят, будто в эти ужасные годы в одной Москве погибло до 127000 человек, погребенных в убогих домах (так назывались общие кладбища для бедных и также для найденных убитыми), не считая тех, которые были погребены у церквей.

Борис, однако, не хотел, чтобы весть о таком печальном положении народа в его государстве дошла за границу, и воображал, что можно утаить его. Поэтому, когда, по окончании голода, в Москву приехали иноземные послы, то Борис приказал всем наряжаться в цветные платья, а беднякам запрещено было в своих лохмотьях являться на дорогу. Смертная казнь обещана была тому, кто станет рассказывать приезжим иноземцам о бедствиях Московского государства. Между тем в это время сам царь Борис перенес семейную невзгуду. После удаления Густава, принца шведского, в Углич, Борис стал приискивать другого жениха своей дочери между иностранными принцами, и вот, брат короля датского Иоанн, в августе 1602 года, очень понравился Борису, но в октябре того же года умер от горячки. Борис и вся семья его тосковали по нем, а в народе стал носиться слух, будто сам Борис отравил его из боязни, чтобы москвичи, любивши зятя Борисова, не избрали его царем вместо Борисова сына. Русские готовы были тогда всякое злодеяние приписать своему царю; ненависть к нему возрастала. Никто не любил его, дорожили им только те, которых соединяла с ним личная выгода, а главное – шпионы, которым он платил за их гнусное ремесло. Возникло в народе убеждение, что царствование Бориса не благословляется небом, потому что, достигнутое беззаконием, оно поддерживается неправдою; толковали, что если утвердится на престоле род Бориса, то не принесет русской земле счастья. Люди родовитые оскорблялись и тем, что на царском престоле сел потомок татарина. Становилось желательным, чтобы нашелся такой, который имел бы в глазах народа гораздо более прав перед Борисом. Таким лицом был именно Димитрий, сын прежнего государя. Мысль о том, что он жив и скоро явится отымать у Бориса похищенный престол, все более и более распространялась в народе, а суровые преследования со стороны Бориса скорее поддерживали ее, чем искореняли. И вот, в начале 1604 года, перехвачено было письмо, писанное одним иноземцем из Нарвы: в этом письме было сказано, что явился сын московского царя Ивана Васильевича, Димитрий, находится будто бы у казаков, и

московскую землю скоро постигнет большое потрясение. Вслед за тем пришли в Москву люди, взятые в плен казаками под Саратовом и отпущенные на родину: они принесли весть, что казаки грозят скоро прийти в Москву с царем Дмитрием Ивановичем.

Народ ожидал чего-то необычайного. Давно носились рассказы о разных видениях и предзнаменованиях. Ужасные бури вырывали с корнем деревья, опрокидывали колокольни. Там не ловилась рыба, тут не видно было птиц. Женщины и домашние животные производили на свет уродов. В Москву забегали волки и лисицы; на небе стали видеть по два солнца и по два месяца. Наконец, летом 1604 года явилась комета, и астролог немец предостерегал Бориса, что ему грозят важные перемены.

Царь Борис, услышавши, что в Польше явился какой-то человек, выдававший себя за Дмитрия, начал с того, что под предлогом, что в Литве свирепствует какое-то поветрие, велел учредить на литовской границе крепкие заставы и не пропускать никого, ни из Литвы, ни в Литву, а внутри государства умножил шпионов, которые всюду прислушивались: не говорит ли кто о Дмитрии, не ругает ли кто Бориса. Обвиненным резали языки, сажали их на колья, жгли на медленном огне и даже, по одному подозрению, засылали в Сибирь, где предавали тюремному заключению. Борис становился недоступным, не показывался народу. Просителей отгоняли пинками и толчками от дворцового крыльца, а начальные люди, зная, что до царя на них не дойдут жалобы, безнаказанно совершали разные насильства и увеличивали вражду народа к существующему правительству. Между тем в Москву давали знать, что в польской Украине под знаменем Дмитрия собирается ополчение и со дня на день нужно ждать вторжения в московские пределы, а в июле посланник немецкого императора сообщил от имени своего государя, по соседской дружбе, что в Польше проявился Дмитрий и надобно принимать против него меры. Борис отвечал цесарскому посланнику, что Дмитрия нет на свете, а в Польше явился какой-то обманщик, и царь его не боится. Однако, посоветовавшись с патриархом, царь находил, что нужно же объяснить и самим себе, и народу, кто такой этот обманщик. Стали думать и придумали, что это, должно быть, бежавший в 1602 году Григорий Отрепьев. Он был родом из галицких детей боярских, постригся в Чудовом монастыре и был крестовым дьяком (секретарем) у патриарха Иова. Стали распространять исподволь в народе слух, что явившийся в Польше обманщик – именно этот беглый Григорий Отрепьев, но не решались еще огласить об этом во всеуслышание. В сентябре послали в Польшу гонцом дядю Григория, Смирного-Отрепьева, и распространили в народе слух, что его посылают для обличения племянника, но на самом деле послали его с грамотой о пограничных недоразумениях и не дали никакого поручения о том человеке, который назывался Дмитрием. Царь Борис, вероятно, рассчитывал, что лучше помедлить с решительным заявлением об Отрепьеве, так как сам не был уверен в его тождестве с названным Дмитрием. Он приказал привезти мать Дмитрия и тайно допрашивал ее: жив ли ее сын или нет? «Я не знаю», – ответила Марфа. Тогда царица, жена Бориса, пришла в такую ярость, что швырнула Марфе горящую свечу в лицо. «Мне говорили, – сказала Марфа, – что сына моего тайно увезли без моего ведома, а те, что так говорили, уже умерли». Рассерженный Борис велел ее отвезти в заключение и содержать с большой строгостью. Между тем, 16 октября, названный Дмитрий с толпой поляков и казаков вступил в Московское государство. Города сдавались ему один за другим. Служилые люди переходили к нему на службу. В ноябре он осадил Новгород-Северск, но был отбит посланным туда воеводой Басмановым. После того царь выслал против Дмитрия войско под главным начальством Федора Мстиславского. Это войско 20 декабря потерпело неудачу. Долее скрываться перед народом было невозможно. Послушный Борису патриарх Иов взялся объяснить русской земле запутанное дело. Первопрестольник русской церкви, покрывая благоразумным молчанием вопрос о том, как не стало Дмитрия, уверял в своей грамоте народ, что называющий себя царевичем Дмитрием есть беглый монах Гришка Отрепьев; патриарх ссылался на свидетельство трех бродяг: чернеца Пимена, какого-то Венедикта и ярославского посадского человека иконника Степана; первый провожал Отрепьева вместе с товарищами: Варлаамом и Мисаилом в Литву; а последние два видели его в Киеве и знают,

что Гришка потом назвался царевичем. Патриарх извещал, что он с освященным собором проклял Гришку и всех его соучастников, повелевал во всех церквях предавать анафеме его и с ним всех тех, кто станет называть его Димитрием. Вслед за тем, в феврале 1605 года, из Москвы отправили в Польшу гонца Постника Огарева уже с явным требованием выдачи «вора». Борис заявлял королю и всей Польше, что называющий себя Димитрием – есть ни кто другой, как Гришка Отрепьев. На сейме в то время Ян Замоиский сильно осуждал Мнишка и Вишневецких, подавших помощь претенденту, говорил, что со стороны короля поддерживать его и из-за него нарушать мир с московским государем бесчестно, доказывал, что называющему себя Димитрию верить не следует. «Этот Димитрий называет себя сыном царя Ивана, – говорил Замоиский. – Об этом сыне у нас был слух, что его умертвили. Он же говорит, что на место его умертвили другого! Помилуйте, что это за Плавтова или Теренцева комедия? Возможное ли дело: приказали убить кого-то, да притом наследника, и не посмотрели, кого убили! Так можно зарезать только козла или барана! Да если бы пришлось возводить кого-нибудь на московский престол, то и кроме Димитрия есть законные наследники – дом Владимирских князей: право наследства приходится на дом Шуйских. Это видно из русских летописей». Большинство панов также нерасположено было поддерживать Димитрия, но как его уже не было в Польше, то царский гонец получил такой ответ, что этого человека легче всего достать в Московском государстве, чем в польских владениях.

Ни патриаршая грамота, ни обряд проклятия не расположили к Борису народного сердца. Московские люди считали все уверения патриарха ложью. «Борис, – говорили они, – поневоле должен делать так, как делает, а то ведь ему придется не только от царства отступить, но и жизнь потерять». Насчет проклятия говорили: «Пусть, пусть проклинают Гришку! От этого царевичу ничего не станет. Царевич – Димитрий, а не Гришка». Борисовы шпионы продолжали подслушивать речи, и не проходило дня, чтобы в Москве не мучили людей кнутом, железом и огнем.

21 января 1605 года Борисово войско под начальством Мстиславского и Шуйского одержало верх над Димитрием и сам Димитрий ушел в Путивль. Борис был очень доволен, щедро наградил своих воевод, особенно ласкал Басманова за его упорную защиту Новгород-Северска; но народ, услышавши о неудаче названного Димитрия, пришел в уныние. Борис вскоре понял, что сила его врага заключается не в той военной силе, с которой этот враг вступил в государство, а в готовности и народа, и войска в Московском государстве перейти при первом случае на его сторону, так как все легко поддавались уверенности, что он настоящий царевич. Когда Димитрий оставался в Путивле, украинные города Московского государства один за другим признавали его, а в Путивль со всех сторон приходили русские бить челом своему прирожденному государю. Имя Гришки Отрепьева возбуждало один смех. Сам Борис не мог поручиться, что враг его обманщик. Борис, областавши Басманова, уверял его, что названный Димитрий обманщик, и сулил ему золотые горы, если он достанет злодея. Говорят, Борис даже обещал выдать за Басманова дочь свою и дать за нею в приданое целые области. Басманов сказал об этом родственнику Бориса, Семену Никитичу Годунову, а тот из зависти, что Борис слишком возвышает Басманова, выразил ему сомнение: не в самом ли деле этот Димитрий настоящий царевич? Слова эти запали в сердце Басманова; несмотря на все уверения Бориса, он стал склоняться к мысли, что соперник Бориса действительно Димитрий и рано или поздно возьмет верх над Борисом. Басманов не верил ни уверениям, ни обещаниям Бориса: он знал, что этот лживый человек способен давать обещания, а потом не сдержит их.

Борис был в страшном томлении, обращался к ворожеям, предсказателям, выслушивал от них двусмысленные прорицания, запирался и целыми днями сидел один, а сына посылал молиться по церквям. Казни и пытки не прекращались. Борис уже в близких себе лицах подозревал измену и не надеялся сладить с соперником военными силами; он решил попытаться тайным убийством избавиться от своего злодея. Попытка эта не удалась. Монахи, которых в марте подговорил Борис ехать в Путивль отравить названного Димитрия, попались с ядом в руки последнего. Неизвестно, дошла ли до Бориса об этом весть, но вскоре



ему пришел конец.

13 апреля, в неделю мироносиц, царь встал здоровым и казался веселее обыкновенного. После обедни приготовлен был праздничный стол в золотой палате. Борис ел с большим аппетитом и переполнил себе желудок. После обеда он пошел на вышку, с которой часто обзирал всю Москву. Но вскоре он поспешно сошел оттуда, говорил, что чувствует колотье и дурноту. Побежали за доктором; пока успел прийти доктор, царю стало хуже. У него выступила кровь из ушей и носа. Царь упал без чувств. Прибежал патриарх, за ним явилось духовенство. Кое-как успели причастить царя Св. Тайн, а потом совершили наскоро над полумертвым пострижение в схиму и нарекли Боголепом. Около трех часов пополудни Борис скончался. Целый день боялись объявить народу о смерти царя, огласили только на другой день и начали посылать народ в Кремль целовать крест на верность царице Марии и сыну ее Федору. Патриарх объявил, что Борис завещал им престол свой. Тотчас пошли рассказы, что Борис на вышке сам себя отравил ядом в припадке отчаяния. Этот слух распустили немцы, доктора Бориса. На следующий день останки его были погребены в Архангельском соборе между прочими властителями Московского государства.

Новый царь был шестнадцатилетний юноша, полный телом, бел, румян, черноглаз и, как говорят современники, «изучен всякого философского естествословия». Ему присягнули в Москве без ропота, но тут же говорили: «Не долго царствовать Борисовым детям! Вот Димитрий Иванович придет в Москву».

17 апреля отправился к войску, назначенный главным предводителем его, Петр Федорович Басманов с князем Катыревым-Ростовским. Мстиславского и Шуйского отозвали в Москву. Басманову оказывали больше всех доверия. Но этот человек уже давно поколебался. Надобно было приводить к присяге войско. Для этого приехал новгородский митрополит Исидор с духовенством. Собрали войско произносить присягу сыну Бориса. Вдруг поднялся шум. Рязанские дворяне Ляпуновы первые закричали, что «знают одного законного государя Димитрия Ивановича». С ними заодно были все рязанцы: к ним пристали служилые люди всех украинских городов; наконец, имя Димитрия Ивановича заглушило имя Федора, и митрополит Исидор со своим духовенством обратился вспять. Басманов написал повинное письмо Димитрию и послал с гонцом, а сам собрал воевод: братьев Голицыных, Василия и Ивана, и Михаила Глебовича Салтыкова и объявил им, что признает Димитрия настоящим государем: «Все государство русское приложится к Димитрию, – говорил он, – и мы все-таки поневоле покоримся ему, и тогда будем у него последними; так лучше покоримся ему, пока время, по доброй воле и будем у него в чести». С ним согласились и Голицыны и Салтыков; но зазорно казалось некоторым из предводителей самим объявить об этом войску. Василий Голицын сказал Басманову: «Я присягал Борисову сыну; совесть зазрит переходить по доброй воле к Димитрию Ивановичу; а вы меня свяжите и ведите, как будто неволею». 7 мая Басманов собрал вторично войско и объявил, что признает Димитрия законным наследником государей русской земли. Священники начали приводить к присяге на имя Димитрия Ивановича. Некоторые стали упрямыться, и их прогнали. Товарищ Басманова Катырев-Ростовский и князь Андрей Телятевский убежали в Москву.

В Москву пришло известие о переходе войска на сторону Димитрия. Несколько дней в столице господствовала глубокая тишина. На иностранцев она навела страх: они поняли, что это затишье подобно тому, какое бывает в природе перед сильной бурей. Годуновы сидели в кремлевских палатах и, по изветам доносчиков, которых подкупали деньгами, приказывали ловить и мучить распространителей Димитриевых грамот.

30 мая в Москве начался шум, суетня. Народ валил на улицы. Два каких-то молодца говорили, что видели за Серпуховскими воротами большую пыль. Разнеслась весть, что идет Димитрий. Москвичи спешили покупать хлеб-соль, чтобы встречать законного государя. Годуновы пришли в ужас, выслали из Кремля бояр узнать: что это значиг? Народ молчал. Но Димитрия не было. Обман открылся. Народ стал расходиться. Многие еще стояли толпой на Красной площади; какой-то боярин начал им говорить нравоучение и хвалить царя Федора. Народ молчал.

На другой день, 31 мая, по приказанию Годуновых стали взводить на кремлевские стены пушки; народ глядел на это с кривляньями и насмешками.

1 июня дворяне Плещеев и Пушкин привезли Димитриеву грамоту и остановились в Красном селе. Народ, узнавши об этом, подхватил гонцов и повез на Красную площадь. Ударили в колокола. Посланцев поставили на лобном месте. На Красной площади сделалась такая давка, что невозможно было протиснуться. Вышли было из Кремля думные люди и закричали: «Что это за сборище, берите воровских посланцев, ведите в Кремль!»

Народ отвечал неистовыми криками и приказывал читать грамоту. Димитрий извещал о своем спасении, прощал московским людям, что они по незнанию присягали Годуновым, припоминал всякие утеснения и насилия, причиненные народу Борисом Годуновым, обещал всем льготы и милости и приглашал прислать к нему посольство с челобитьем.

В толпе поднялось сильное смятение. Одни кричали: «Буди здрав царь Димитрий Иванович!» Другие говорили: «Да точно ли это Димитрий Иванович? Может быть, это не настоящий». Наконец раздались голоса: «Шуйского! Шуйского! Он разыскивал, когда царевича не стало. Пусть скажет по правде: точно ли похоронили царевича в Угличе?» Шуйского взвели на лобное место. Сделалась тишина. Шуйский громко сказал: «Борис послал убить Димитрия царевича; но царевича спасли; вместо него погребен попов сын».

Тогда вся толпа неистово заревела: «Долой Годуновых! Всех их искоренить! Нечего жалеть их, когда Борис не жалел законного наследника! Господь нам свет показал. Мы доселева во тьме сидели. Буди здрав, Димитрий Иванович!»

Толпа без удержу бросилась в Кремль. Защищать Годуновых было некому. Стрельцы, стоявшие на карауле во дворце, отступились от них. Федор Борисович бежал в Грановитую палату и сел на престол. Мать и дочь стали подле него с образами. Но ворвался народ; царя стащили с престола. Мать униженно плакала и просила не предавать смерти ее детей. Годуновых отвезли на водовозных клячах в прежний Борисов дом и приставили к ним стражу. Тогда схватили и посадили в тюрьму всех родственников и сторонников Годуновых, опустошили их дома, ограбили также немецких докторов и перепились до бесчувствия, так что многие тут же лишились жизни.

От Москвы поехали к Димитрию выбранные люди: князь Иван Михайлович Воротынский и Андрей Телятевский с повинной грамотой, в которой приглашали законного царя на престол. Грамота была написана от лица всех сословий, а впереди всех поставлено было имя патриарха Иова. Невозможно решить: в какой степени участвовал в этом Иов; но по свержении Годуновых патриарх не удалялся и священнодействовал.

10 июня приехали в Москву князь Василий Голицын и князь Рубец-Масальский с приказанием устранить Годуновых и свести с престола патриарха Иова. Патриарха на простой тележке отвезли в Старицкий Богородицкий монастырь. Всех свойственников Годуновых отправили в ссылку по разным городам. Говорят, что таким образом сослано было тогда 24 семейства. Наконец, Голицын и Рубец-Масальский поручили дворянам: Михайле Молчанову и Шеферединову, разделаться с семейством Бориса. Посланные взяли с собой троих дюжих стрельцов, вошли в дом и развели Годуновых по разным комнатам. Вдову Бориса удавили веревкой. Молодой Годунов, сильный от природы, стал было защищаться, но его ударили дубиной, а потом удавили. Царевна Ксения лишилась чувств и оставлена была живою на безотрадную жизнь.

Голицын и Масальский объявили народу, что Борисова вдова и сын отравили себя ядом. Тела их были выставлены напоказ. В заключение вынули из Архангельского собора гроб Бориса и зарыли в убогом монастыре Варсонофьевском (между Сретенкой и Рождественкой). Там же похоронили рядом с ним жену и сына без всяких обрядов, как самоубийц. Мы не знаем, действительно ли названный Димитрий приказал совершить это убийство, или же бояре без его приказания постарались услужить новому царю и сказали ему, что Годуновы сами лишили себя жизни, а он, хотя и понимал, как все сделалось, но показывал вид, что верит их рассказам о самоубийстве Годуновых.

## Глава 24

### Названный Димитрий

Первое появление личности, игравшей такую важную роль под именем царя Димитрия и оставшейся в нашей истории с именем первого самозванца, остается до сих пор темным. Есть много разноречивых сведений в источниках того времени, но нельзя остановиться ни на одном из них с полной уверенностью. Необходимо иметь в виду то обстоятельство, что перед тем в польской Украине казаки, вместе с польскими удальцами, помогали уже нескольким самозванцам, стремившимся овладеть молдавским престолом. Так, в 1561 году некто грек Василид, с острова Крита, выдававший себя за племянника Самосского герцога Гераклида, с помощью украинской вольницы изгнал из Молдавии тирана Александра, овладел молдавским престолом, два года был признаваем за того, за кого себя выдавал, и погиб от возмущения, вспыхнувшего впоследствии за то, что он хотел вводить в Молдавии европейские обычаи и жениться на дочери одного польского пана, ревностного протестанта, что для молдаван казалось оскорблением религии. В 1574 году казаки помогали другому самозванцу Ивонии, который назвался сыном молдавского господаря, Стефана VII; а в 1577 году те же казаки выставили третьего самозванца Подкову, называвшегося братом Ивонии. Оба эти самозванца имели успех, но только на короткое время. В 1591 году у казаков явился четвертый самозванец, которого они, однако, выдали полякам. В самом конце XVI века казаки стекались под знамена одного сербского искателя приключений Михаила, овладевшего Молдавией. Украинские удальцы постоянно искали личности, около которой могли собраться; давать приют самозванцам и вообще помогать смелым искателям приключений у казаков сделалось как бы обычаем. Король Сигизмунд III, для обуздания казацких своевольств, наложил на казаков обязательство не принимать к себе разных «господарчиков». Когда на московской земле стал ходить слух, что царевич Димитрий жив, и этот слух дошел на Украину, ничего не могло быть естественнее, как явиться такому Димитрию. Представился удобный случай перенести на московскую землю украинское своевольство под тем знаменем, под которым оно привыкло разгуливать по молдавской земле.

Современные известия рассказывают, что молодой человек, назвавшийся впоследствии Димитрием, явился сначала в Киеве, в монашеской одежде, а потом жил и учился в Гоше, на Волыни. Были тогда два пана, Гавриил и Роман Гойские (отец и сын), ревностные последователи так называемой Арианской секты, которой основания состояли в следующем: признание единого Бога, но не Троицы, признание Иисуса Христа не Богом, а боговдохновенным человеком, иносказательное понимание христианских догматов и таинств и вообще стремление поставить свободное мышление выше обязательной веры в невидимое и непостижимое. Гойские завели две школы с целью распространения арианского учения. Здесь молодой человек успел кое-чему поучиться и нахвататься вершков польского либерального воспитания; пребывание в этой школе свободомыслия наложило на него печать того религиозного индифферентизма, который не могли стереть с него даже иезуиты. Отсюда, в 1603 и 1604 годах, этот молодой человек поступил в «оршак» (придворная челядь) князя Адама Вишневецкого, объявил о себе, что он царевич Димитрий, приехал потом к брату Адама, князю Константину Вишневецкому, который привез его к тестю своему Юрию Мнишку, воеводе сендомирскому, где молодой человек страстно влюбился в одну из дочерей его, Марину.<sup>98</sup> Этот пан<sup>99</sup>, сенатор Речи Посполитой, подвергся самой дурной репутации в

---

<sup>98</sup> Способ, каким этот человек назвал себя Димитрием, рассказывается различно. По одному известию, он притворился больным или в самом деле заболел, призвал духовника и просил похоронить его по смерти, как хоронят царских детей, а для объяснения этого дал прочитать бумагу, которая была у него под постелью. Бумагу эту тотчас достали и из нее узнали, что он Димитрий. Князь Адам Вишневецкий тотчас окружил его царскими почестями. Так рассказывают наши летописи. По другому известию, в современной хронике Буссова, рассказывается, что князь Адам Вишневецкий взял его с собой в баню в качестве слуги, и, рассердившись за что-то, обругал его и ударил. Слуга

своем отечестве, хотя был силен и влиятелен по своим связям. В молодости, вместе со своим братом, он был близок к королю Сигизмунду-Августу и, пользуясь умственным ослаблением короля, доведившим его до ребячества, оказывал ему предосудительные услуги доставлением любовниц и колдуний; а в день смерти короля так обобрал его казну, что не во что было одеть смертные останки короля. По жалобе королевской сестры поступки Мнишка были подвергнуты следствию; но сильные люди, бывшие с ним в свойстве, заступились за него, и следствие было прекращено по недостатку доказательств. Тем не менее, при короле Генрихе, когда Мнишек за торжественным обедом исполнял должность крайнего, один из королевских придворных, Заленский, гласно заявил, что Мнишек человек дурного поведения и не достоин исполнять своей должности. Но зять Мнишка, Фирлей, уговорил короля оставить этот извет без внимания. С тех пор никто уже не преследовал Мнишка, хотя ничто не могло смыть с него дурных воспоминаний. Огромное богатство, награбленное у короля Сигизмунда-Августа, сделало его значительным и влиятельным человеком. Мнишек был воеводой сендомирским, старостой львовским и получил в управление (в аренду) королевские экономии в Самборе. Суетная и роскошная жизнь уже значительно истощила его состояние; наживши от пресыщения подагру, он вошел в большие долги и хотел поправить свои денежные дела, пристраивая своих дочерей. Одну из них он уже выдал за чрезвычайно богатого пана Вишневецкого. Теперь представилась ему соблазнительная надежда отдать другую за московского царя, и он ревностно стал поддерживать названного Димитрия. Так как его дом, более или менее подобно всем домам тогдашних знатных панов, был открыт для множества гостей, то весть о чудесно спасенном Димитрии разнеслась повсюду и возбуждала искателей приключений к надежде сделать для себя из этого карьеру. Вишневецкие дали знать об этом королю. Сигизмунд III находился под сильным влиянием иезуитов, а иезуиты увидели в явлении московского царевича самый удобный случай проложить путь к осуществлению заветных целей римского престола, – подчинению русской церкви папскому владычеству. Сигизмунд приглашал Вишневецкого и Мнишка привезти царевича в Краков. В конце марта 1604 года названного Димитрия привезли в польскую столицу и окружили иезуитами, которые старались убедить его в истинах римско-католической веры. Названный царевич понял, что в этом состоит его сила, представлялся, что поддается их увещаниям и, как рассказывают иезуиты, принял св. причастие из рук папского нунция Рангони, был помазан от него миром и обещал ввести римско-католическую веру в Московском государстве, когда получит престол. Король Сигизмунд допустил его к себе, объявил, что верит ему, назначил на его нужды 40 000 золотых в год и позволил ему пользоваться помощью и советом поляков. Тогда с Димитрия взяли условие, что, по восшествии на престол, он должен возратить польской короне Смоленск и северскую землю, дозволить сооружать в своем королевстве костелы, ввести иезуитов, помогать Сигизмунду в приобретении шведской короны и содействовать на будущее время соединению Московского государства с Польшей. Сам Мнишек взял с него условие, по восшествии на престол, непременно жениться на Марине, заплатить долги Мнишка, дать ему пособие на поездку в Москву, записать своей жене Новгород и Псков, с правом раздавать там своим служилым людям поместья и строить костелы, наконец самому Мнишку дать в удельное владение Смоленск и северскую землю: Димитрий обещал разом эти земли и польской короне и Мнишку, в надежде, как оказалось впоследствии, не дать их ни тому, ни другому.

---

горько заплакал и сказал: «Если бы ты знал, кто я таков, то не ругал бы и не бил меня; я московский царевич Димитрий», и в доказательство истины своих слов показал ему крест, осыпанный драгоценными камнями, будто бы данный ему при крещении. По третьему известию, сохраненному итальянцем Бизачьони, претендент открылся не у Адама, а у Константина Вишневецкого, куда он приехал со своим паном Адамом в качестве слуги. Там он увидел сестру княгини Вишневецкой панну Марину Мнишек, страстно влюбился в нее и положил ей на окно записку, в которой объяснял, что он по рождению совсем не тот, чем принужден быть по несчастным обстоятельствам, и подписался: царевич Димитрий. Вишневецкие узнали об этом и поверили ему.

<sup>99</sup> Юрий Мнишек по отцу был родом чех.

Сигизмунду и его друзьям иезуитам хотелось гласно объявить себя за Дмитрия, но многие польские паны тогда же воспротивились этому. Ян Замойский, враг иезуитских козней, резко называл опасным и бесчестным делом всякое содействие претенденту и открыто именовал названного Дмитрия обманщиком. Король должен был ограничиться только тем, что тайно побуждал своих подданных помогать Дмитрию и сложил временно с Мнишка платеж денег, следовавших с самборских королевских имений, для того, чтобы Мнишек мог обратить эту сумму на помощь московскому царевичу.

Возвратясь к сендомирскому воеводе, Дмитрий написал письмо папе, но так ловко, что в нем не было ни явного принятия католичества, ни положительного обещания за свой народ: все ограничивалось двусмысленными изъявлениями расположения. Таким образом, если католики могли толковать его слова в свою пользу, то Дмитрий оставлял себе возможность толковать их в смысле терпимости римско-католического исповедания зауряд с другими исповеданиями в своем государстве. Тогда он написал грамоты московскому народу и казакам. Все, что было в южной Руси буйного, удалого, отозвалось дружелюбно на воззвания названного московского царевича. Когда у него набралось до 3000 охочего войска и до 2000 запорожцев, он двинулся к московским пределам; а между тем силы его увеличивались с каждым днем. В октябре сдались ему Моравск и Чернигов. Везде жители берегов Десны и ее притоков выходили к нему с хлебом-солью, и способные к оружию приставали к нему как к законному государю. 11 ноября 1604 года Дмитрий подступил к Новгороду-Северску, но воевода Басманов, расторопный и храбрый, умел держать в повиновении подчиненных, заранее сжег посад, чтобы не дать неприятелю утвердиться в нем в ненастное время, и несколько раз так отразил все нападения Дмитрия, что поляки, бывшие с ним, начали уходить от него. Зато русские прибывали к нему с разных сторон. Города: Рыльск, Путивль, Курск, Севск, Кромы признали его власть; некоторые воеводы сами добровольно объявляли себя за Дмитрия; других вязали подчиненные и приводили к царевичу; но связанные тотчас освобождались и присягали служить Дмитрию. Таким образом, у Дмитрия набралось до 15000 человек. Посланное Борисом войско под начальством Мстиславского потерпело поражение. Но поляки все-таки были недовольны Дмитрием, потому что нечего было грабить, и расходились. Дмитрий оставил осаду Новгород-Северска и перешел к Севску, где народонаселение заявляло ему свою преданность, но здесь, 21 января, присланное Борисом войско нанесло ему поражение; он убежал в Путивль. Неудача под Севском не испортила дело претендента. Русские города сдавались ему и изменяли Борису один за другим. Силы Дмитрия увеличились. Три месяца сидел он в Путивле, который принял тогда вид многолюдной столицы. Дмитрий приказал привезти из Курска чудотворную икону Божьей Матери и говорил, что отдает себя и свое дело покрову Св. Девы. Между прочим, он приглашал к себе на обеды русских и поляков, православных священников и ксендзов, старался сблизить между собой тех и других. Сам он был очень любознателен, много читал, беседовал с образованными поляками, сообщал им разные замечания, которые удивляли их своей меткостью, а русским он внушал уважение к просвещению и стыд своего невежества. «Как только с Божьей помощью стану царем, говорил он, – сейчас заведу школы, чтобы у меня во всем государстве выучились читать и писать; заложу университет в Москве, стану посылать русских в чужие края, а к себе буду приглашать умных и знающих иностранцев, чтобы их примером побудить моих русских учить своих детей всяким наукам и искусствам». Несколько монахов, явившихся в Путивль с ядом, по приказанию Бориса, были схвачены и заключены в тюрьму, но после Дмитрий простил их. Названному царевичу помогало то обстоятельство, что когда в Москве его проклинали под именем Гришки Отрепьева, Дмитрий всенародно показывал лицо, называвшее себя Григорием Отрепьевым. Это обстоятельство еще более уверило народ, что Дмитрий настоящий царевич. Наконец, в мае, войско, которое стояло под Кромами и осаждало донских казаков, запершихся в этом городе, присягнуло Дмитрию в верности, и воеводы явились к нему с повинной. Тогда Дмитрий, 24 мая, прибыл к Кромам и, предводительствуя сдавшимся войскам, двинулся к Орлу, где встретили его выборные от

всей рязанской земли с поклоном. Из Орла Дмитрий отправился в Тулу. В каждом селении его встречали с хлебом-солью. Люди сбегались на большую дорогу смотреть на своего царя. Из Тулы Дмитрий послал в Москву Гаврила Пушкина и Наума Плещеева с грамотой, а сам, оставаясь в Туле, занимался, как царь, государственными делами, разослал грамоты, в которых возвещал о своем прибытии, вместе с ними разослал форму присяги себе на верность, приказал воротить английского посла Смита, уехавшего с письмами Бориса, принял его ласково и дал ему письмо от своего имени, извещая английского короля о своем воцарении, обещал англичанам дать такие выгоды, какие даровал его отец. Среди этих занятий прибыли к нему московские бояре и в их числе трое братьев Шуйских и Федор Иванович Мстиславский. Дмитрий принял их на первый раз сухо, сделал им замечание, что казаки и простой народ предупредили их в верности и ранее отторглись от крамольников. Их приводил к присяге в соборной церкви рязанский архиепископ грек Игнатий. Дмитрий полюбил его и назначил патриархом, вместо Иова: Игнатий был человек нрава веселого, снисходительный к себе и другим, разделял с Дмитрием его веротерпимость и расположение к западному просвещению. Наконец, объявляя, что идет в свою столицу, Дмитрий послал в Москву князя Василия Васильевича Голицына и князя Рубца-Масальского с приказанием устранить из Москвы всех его опасных врагов; а вслед за ними выступил сам и медленно прибыл в Серпухов. Он беспрестанно останавливался, говорил с народом, расспрашивал об его житье-бытье и обещал льготы. В Серпухове, на берегу Оки, на лугу ожидал его привезенный из Москвы огромный шатер, богато разукрашенный, в котором можно было поместить несколько сот человек. Одновременно с шатром прибыла из Москвы царская кухня и множество прислуги. В этом шатре Дмитрий давал первый пир и угощал бояр, окольных и думных дьяков. Когда его известили, что Годуновы отравили себя ядом, Дмитрий изъявлял сожаление, а относительно сосланных из Москвы приверженцев Годуновых, говорил, что готов помиловать их.

Из Серпухова Дмитрий ехал уже в богатой карете, в сопровождении знатных особ, и остановился в селе Коломенском. Здесь, на просторном лугу, окаймляющем Москву-реку, его ожидал новый шатер. Попы, монахи, гости, посадские люди, крестьяне приходили поклониться своему царю. То была, по старому обычаю, почетная встреча. Царю подносили подарки: ткани, меха, золото, серебро, жемчуг, а бедняки – хлеб-соль. Дмитрий особенно ласково принимал хлеб-соль от бедняков. «Я не царем у вас буду, – говорил он, – а отцом, все прошлое забыто; и вовеки не помяну того, что вы служили Борису и его детям; буду любить вас, буду жить для пользы и счастья моих любезных подданных».

Наконец, 20 июня 1605 года, молодой царь торжественно въехал в столицу при радостных восклицаниях бесчисленного народа, столпившегося в Москву с разных сторон. Он был статно сложен, но лицо его не было красиво, нос широкий, рыжеватые волосы; зато у него был прекрасный лоб и умные выразительные глаза.<sup>100</sup> Он ехал верхом, в золотом платье, с богатым ожерельем, на превосходном коне, убранном драгоценной сбруей, посреди бояр и думных людей, которые старались перещеголять один другого своими нарядами. На кремлевской площади ожидало его духовенство с образами и хоругвями, но здесь русским показалось кое-что не совсем ладным: польские музыканты во время церковного пения играли на трубах и били в литавры; а монахи заметили, что молодой пан прикладывался к образам не совсем так, как бы это делал природный русский человек. Народ на этот раз извинил своего новообретенного царя. «Что делать, – говорили русские, – он был долго на чужой земле». Въехавши в Кремль, Дмитрий молился сначала в Успенском соборе, а потом в Архангельском, где, припавши к гробу Грозного, так плакал, что никто не мог допустить сомнения в том, что это не истинный сын Ивана. Строгим ревнителям православного благочестия тогда же не совсем понравилось то, что вслед за Дмитрием входили в церковь иноземцы.

Вступивши во дворец, Дмитрий принимал поздравления с новосельем; а Богдан

<sup>100</sup> До нас дошел его современный портрет в гравюре Луки Килияна.

Бельский вошел на лобное место, снял с себя образ, на котором был крест и изображение Николая Чудотворца, и сказал: «Православные! Благодарите Бога за спасение нашего солнышка, государя царя, Димитрия Ивановича. Как бы вас лихие люди не смущали, ничему не верьте. Это истинный сын царя Ивана Васильевича. В уверение я целую перед вами Животворящий Крест и Св. Николу Чудотворца». Народ отвечал громкими восклицаниями: «Боже, сохрани царя нашего, Димитрия Ивановича! Подай ему, Господи, здравия и долгоденственного жития. Покори под ноги его супостатов, которые не верят ему». Московские колокола без умолку гремели целый день так сильно, что иезуиты, приехавшие с Димитрием, думали, что оглохнут. Иноземцев особенно поражал огромный колокол в 55 футов шириной и 15 вышиной.

Первым делом нового царя было послать за матерью, инокинею Марфой: выбран был князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, которого Димитрий наименовал мечником. Царь отложил свое царское венчание до приезда матери.

Едва только прошло несколько дней после приезда Димитрия в столицу, как Басманов, вошедший в милость нового царя, поймал купца Федора Конева и несколько торговых людей, которые показали, что князь Василий Шуйский давал им наставление вооружить против царя народ, указать на то, что царь дозволяет некрещеным иноземцам входить в церковь, что он подослан Сигизмундом и польскими панами, что царь не Димитрий, а Гришка Отрепьев, что он хочет разорить церкви, искоренить веру. Такие возбуждения приходились тогда отчасти кстати, потому что поляки, пришедшие с Димитрием, вели себя нагло, особенно в обращении с женщинами. Царь отстранил себя от дела, касавшегося его чести и престола, и отдал Шуйского с братьями суду, составленному из лиц всех сословий. Ход этого суда нам неизвестен; но суд приговорил Василия Шуйского к смерти, а братьев его к ссылке. Когда осужденного привели к плахе на Красную площадь, прискакавший из Кремля вестовой остановил казнь и объявил, что государь, не желая проливать крови даже важных преступников, заменяет смертную казнь Василия Шуйского ссылкой в Вятку. Народ был в восторге от такого великодушия. Современники рассказывают, что Димитрий показывал народу в Москве настоящего Гришку Отрепьева, о котором впоследствии объясняли, что это был не настоящий, а подставной Отрепьев. Димитрий не преследовал вообще тех, которые сомневались в его подлинности. Астраханский владыка Феодосий упорно держался Годунова и усердно проклинал Гришку Отрепьева, пока наконец народ изругал его и отправил к воцарившемуся Димитрию. «За что ты, – спросил его царь, – прирожденного своего царя называешь Гришкой Отрепьевым?» Владыка отвечал: «Нам ведомо только то, что ты теперь царствуешь, а Бог тебя знает, кто ты такой и как тебя зовут». Димитрий не сделал ему ничего дурного.

18 июля прибыла царица, инокиня Марфа. Царь встретил ее в селе Тайнинском. Бесчисленное множество народа побежало смотреть на такое зрелище. Когда карета, где сидела царица, остановилась, царь быстро соскочил с лошади. Марфа отдернула занавес, покрывавший окно кареты. Димитрий бросился к ней в объятия. Оба рыдали. Так прошло несколько минут на виду всего народа.

Потом царь до самой Москвы шел пешком подле кареты. Марфа въезжала при звоне колоколов и при ликованиях народа: тогда уже никто в толпе не сомневался в том, что на московском престоле истинный царевич; такое свидание могло быть только свиданием сына с матерью. Царица Марфа была помещена в Вознесенском монастыре. Димитрий ежедневно посещал ее и при начале каждого важного дела спрашивал ее благословения.

30 июля Димитрий венчался царским венцом от нового патриарха Игнатия. Посыпались милости. Возвращены все опальные прежнего царствования. Филарет Романов сделан митрополитом ростовским. Димитрий возвратил из ссылки Шуйских к прежним почестям. Все Годуновы, их свойственники и приверженцы, сосланные при начале царствования, получили прощение. «Есть два способа царствовать, – говорил Димитрий, – милосердием и щедростью, или суровостью и казнями; я избрал первый способ; я дал Богу обет не проливать крови подданных и исполню его». Когда кто-нибудь, желая подслужиться

Димитрию, заговаривал дурно о Борисе, царь замечал: «Вы ему кланялись, когда он был жив, а теперь, когда он мертвый, вы хулите его. Другой бы кто говорил о нем, а не вы, когда сами выбрали его». Всем служилым удвоено было содержание; помещикам удвоили их земельные наделы, все судопроизводство объявлено бесплатным: всем должностным лицам удвоено содержание и строго запрещено брать посулы и поминки. Для того чтобы при сборе податей не было злоупотреблений, обществам предоставлено самим доставлять свои подати в казну. Димитрий воспретил давать потомственные кабалы: холоп мог быть холопом тому, кому отдавался, и тем самым подходил к наемнику, служившему господину по взаимному соглашению. Помещики теряли свое право на крестьян, если не кормили их во время голода; постановлено было не давать суда на беглых крестьян далее пяти лет. Всем предоставлено было свободно заниматься промыслами и торговлей; всякие стеснения к выезду из государства, к въезду в государство, к переездам внутри государства уничтожены. «Я не хочу никого стеснять, – говорил Димитрий, – пусть мои владения будут во всем свободны. Я обогащу свободной торговлей свое государство. Пусть везде разнесется добрая слава о моем царствовании и моем государстве». Англичане того времени замечают, что это был первый государь в Европе, который сделал свое государство в такой степени свободным. Димитрий преобразовал боярскую думу и назвал ее сенатом. Каждый день он присутствовал в сенате, сам разбирал дела, иногда самые мелочные, и удивлял думных людей быстротой своего соображения. Два раза в неделю, в среду и в субботу, царь лично принимал челобитные и всем представлялась возможность объясниться с ним по своим делам. Вопреки обычаям прежних царей, которые после сытных обедов укладывались спать, Димитрий, пообедавши, ходил пешком по городу, заходил в разные мастерские, толковал с мастерами, говорил со встречными на улицах. Прежние цари, когда садились на лошадь, то им подставляли скамьи, подсаживали под руки, а Димитрию подведут ретивого коня: он быстро схватит одной рукой за повод, другой за седло, вмиг вскочит на него и заставит идти по своей воле. Никто лучше Димитрия не ездил верхом. Любил он охоту, но не так, как прежние цари. Прежде бывало наловят медведей, держат в подгородных селах, а когда царю будет угодно, то подданные потешали его борьбой с лютыми зверьми, нередко жертвуя собственной жизнью. Димитрий, напротив, лично ходил на медведей и удивлял подданных своей ловкостью. Он более всего любил беседовать со своими боярами о том, что нужно дать народу образование, убеждал их путешествовать по Европе, посылать детей для образования за границу, заохочивал их к чтению и приобретению сведений. Сам Димитрий хорошо знал Св. Писание и любил приводить из него места, но не терпел исключительности. «У нас, – говорил он духовным и мирянам, – только одни обряды, а смысл их укрят. Вы поставяете благочестие только в том, что сохраняете посты, поклоняетесь мощам, почитаете иконы, а никакого понятия не имеете о существе веры, – вы называете себя новым Израилем, считаете себя самым праведным народом в мире, а живете совсем не по-христиански, мало любите друг друга; мало расположены делать добро. Зачем вы презираете иноверцев? Что же такое латинская, лютерская вера? Все такие же христианские, как и греческая. И они в Христа веруют». Когда ему заговорили о семи соборах и о неизменяемости их постановлений, он на это сказал: «Если было семь соборов, но отчего же не может быть и восьмого, и десятого и более? Пусть всякий верит по своей совести. Я хочу, чтоб в моем государстве все отправляли богослужение по своему обряду».

Димитрий не любил монахов, называл их тунеядцами и лицемерами, приказал сделать опись всем монастырским имениям и заранее заявлял, что хочет оставить им необходимое на содержание, а все прочее отберет в казну. По этому поводу он говорил: пусть богатства их пойдут на защиту св. веры и православных христиан. Наслушавшись позже толков о всеобщем христианском ополчении против турок, о котором во всей Европе говорили, не приступая к делу, Димитрий хотел привести эту мысль в исполнение, тем более, что русских она касалась ближе, чем других народов, во-первых, по духовному родству с поработанными греками, а во-вторых, по соседству с крымским хищническим гнездом, от которого московская Русь находилась постоянно в страхе и в бедственном положении: ее



лучшие земли оставались малонаселенными, ее жители постоянно уводились в плен; их приходилось выкупать дорогой ценой; пока существовало такое соседство, русский народ должен был оставаться в бедности и всякое стремление к его улучшениям встречало с этой стороны препятствие и замедление. С самого прибытия в Москву намерение воевать с турками и татарами не сходило с языка у Дмитрия. На пушечном дворе делали новые пушки, мортиры, ружья. Дмитрий часто ездил туда, сам пробовал оружие и устраивал военные маневры, которые вместе были и потехой, и упражнением в военном деле. Царь, забывая свой сан, работал вместе с другими, не сердился, когда его в давке толкали или сбивали с ног. Дмитрий надеялся на союз с немецким императором, с Венецией, с французским королем Генрихом IV, к которому Дмитрий чувствовал особое расположение. Война с Турцией побуждала его вести дружеские сношения с папой, но он не поддавался панским уловкам по вопросу о соединении церквей, и на все заявления со стороны папы в своих ответах искусно обходил этот вопрос. Таким образом, в дошедших до нас письмах Дмитрия к папе нет даже намека, похожего на обещание вводить католичество в русской земле. Московский государь толковал с папой только о союзе против турок, и вскоре иезуиты совершенно разочаровались насчет своих блестящих надежд, а папа писал ему выговор за то, что он окружает себя еретиками и не слушается благочестивых мужей. В самом деле, предоставляя католикам свободу совести в своем государстве, Дмитрий, равным образом, представлял ее протестантам всех толков. Домашний секретарь его, Бучинский, был протестант. Относясь к папе дружелюбно, Дмитрий посылал денежную помощь и ласковую грамоту русскому львовскому братству, которого задачей было охранять в польско-русских областях русскую веру от покушений папизма. Ясно было, что Дмитрий не думал исполнять тех обещаний иезуитам, которые он поневоле давал, будучи в Польше. Также мало расположен был он исполнять свои вынужденные обещания отдавать Польше Смоленск и Северскую обласгь. Приехал к нему посол от Сигизмунда Корвин-Гонсевский. Дмитрий напрямик объявил ему, что отдача русских земель решительно невозможна, но обещал, что, вместо этих земель, он, по дружбе, в случае нужды, готов помочь Сигизмунду денежной суммой. И это обещание давалось, вероятно, только потому, что невеста царя находилась пока в Польше и он не хотел раздражать Сигизмунда. Объявляя, что он предоставляет всем иноверцам одинаковую свободу совести в своем государстве, Дмитрий отказал польскому королю в требовании заводить костелы и вводить римско-католическое духовенство, особенно иезуитов, во вред православной вере. Увидевши, что Сигизмунд хочет обращаться с ним как с вассалом, он принял гордый тон и требовал, чтобы его называли цезарем; ни за что не хотел он в угоду Сигизмунду удалить Густава, сына Ерика, короля шведского.

С деятельностью Дмитрий соединял любовь к веселой жизни и забавам. Ему не по душе был старый дворец царей с его мрачными воспоминаниями. Он приказал построить для себя и для будущей жены два дворца деревянные. Его собственный дворец был невелик, хотя высок, и заключал всего четыре комнаты с огромными сенями, уставленными шкафами с серебряной посудой, комнаты были обиты персидскими тканями, окна занавешаны золототкаными занавесями, изразцовые печки с серебрянными решетками, потолки кидались в глаза превосходной резной работой, а пол был устлан богатыми восточными коврами. Близ этого дворца Дмитрий приказал поставить медное изваяние цербера, устроенное так, что челюсти его, раздвигаясь и закрываясь, издавали звук. За обедом у Дмитрия была музыка, чего не делалось при прежних царях. Он не преследовал народных забав, как это бывало прежде: веселые «скоморохи» с волынками, домрами и накрами свободно тешили народ и представляли свои «действия»; не преследовались ни карты, ни шахматы, ни пляска, ни песни. Дмитрий говорил, что желает, чтобы все кругом его веселилось. Свобода торговли и обращения в каких-нибудь полгода произвела то, что в Москве все подешевело и небогатым людям стали доступны такие предметы житейских удобств, какими прежде пользовались только богатые люди и бояре. Но современники рассказывают, что благодушный царь был слишком падок до женщин и позволял себе в этом отношении грязные и отвратительные

удовольствия. В особенности бросает на него тень его отношение к несчастной Ксении: и русские, и иноземные источники говорят об этом, и сам будущий тесть Дмитрия Мнишек писал к нему, что носятся слухи, будто Дмитрий держит близко себя дочь Бориса. В заключение, несчастную девушку отвезли во Владимир и постригли в монахини под именем Ольги.<sup>101</sup>

Исполняя обещание вступить в брак с Мариной, Дмитрий отправил в Краков послом дьяка Афанасия Власова, который, представляя лицо своего государя, 12 ноября совершил за него акт обручения в присутствии Сигизмунда. Последний внутренне не совсем был доволен этим, так как по всему видно, что король надеялся отдать за царя свою сестру.

Между тем в Москве враги уже вели подкоп под своего царя. Во главе их был прощенный им Василий Шуйский. Беда научила его. Теперь он повел заговор осторожно. Шуйский понял, что нельзя уже произвести переворота одними уверениями, что царь не настоящий Дмитрий. На это всегда был готовый ответ: «Как же не настоящий, когда родная мать признала его!» Шуйский возбуждал ропот тем, что царь любит иноземцев, ест, пьет с ними, не наблюдает постов, ходит в иноземном платье, завел музыку, хочет от монастырей отобрать достояние, тратит без толку казну, затевает войну с турками, раздражает шведов в угоду Сигизмунду и намерен жениться на поганой польке. К Шуйскому пристали: князь Василий Васильевич Голицын, князь Куракин, Михайло Татищев и кое-кто из духовных сановников, особенно ненавидели царя казанский митрополит Гермоген и епископ коломенский Иосиф, строгие противники всякого общения с иноверцами. Сообщники Шуйского распространили неудовольствие между стрельцами, и в январе 1606 года составилась умысел убить царя: убийцей вызвался быть тот самый Шереметев, который вместе с Молчановым извел Федора Борисовича с матерью.

8 января они проникли было во дворец, но сделался шум... Шереметев бежал и пропал без вести. Семерых схватили, и они повинились. Тогда Дмитрий созвал всех стрельцов к крыльцу и сказал: «Мне очень жаль вас, вы грубы и нет в вас любви. Зачем вы заводите смуты? Бедная наша земля и так страдает. Что же вы хотите ее довести до конечного разорения? За что вы ищете меня погубить? В чем вы можете меня обвинить? спрашиваю я вас. Вы говорите: я не истинный Дмитрий! Обличите меня, и вы тогда вольны лишить меня жизни! Моя мать и бояре в том свидетели. Я жизнь свою ставил в опасность не ради своего возвышения, а затем, чтобы избавить народ, упавший в крайнюю нищету и неволю под гнетом гнусных изменников. Меня призвал к этому Божий перст. Могучая рука помогла мне овладеть тем, что принадлежит мне по праву. Говорите прямо, говорите свободно: за что вы меня не любите?»

Толпа залилась слезами, упала на колени и говорила: «Царь государь, смилуйся, мы ничего не знаем. Покажи нам тех, что нас оговаривают».

Тогда Басманов по царскому приказанию вывел семерых сознавшихся, и Дмитрий сказал: «Вот, они повинились и говорят, что все вы на меня зло мыслите».

С этими словами он ушел во дворец, а стрельцы разорвали в клочки преступников.

С тех пор страшно было заикнуться против царя. Народ любил Дмитрия и строже всякой верховной власти готов был наказывать его врагов; в особенности донские казаки, бывшие тогда в Москве, свирепо наказывали за оскорбление царского имени. «Тогда, – говорит современник, – назови кто-нибудь царя не настоящим, тот и пропал: будь он монах или мирянин – сейчас убьют или утопят». Сам царь никого не казнил, никого не преследовал, а суд народный и без него уничтожал его врагов. Но, к его несчастью, погибали менее опасные, а те враги, от которых все исходило, находились близ него и пользовались его расположением. Услыхавши, что Сигизмунд не любит Дмитрия, бояре поручили гонцу Безобразову передать втайне польским панам, что они недовольны своим царем, думают его свергнуть и желают, чтобы в Московском государстве государем был сын Сигизмунда,

---

<sup>101</sup> Во время троицкой осады Сапегою Ксения находилась в Троицком монастыре. Она умерла в Суздале в 1622 году. Перед смертью она просила положить ее тело рядом с отцом и матерью в Троицком монастыре, что и было исполнено.

королевич Владислав. Тогда же через какого-то шведа было сообщено польским панам, будто мать Дмитрия велела передать королю, что на московском престоле царствует не сын ее, а обманщик. Сигизмунд, узнавши об этом, приказал дать ответ, что он не загоразивает московским боярам дороги и они могут промышлять о себе; что же касается до королевича Владислава, то король не такой человек, чтобы увлекаться честолюбием. Но в то время, когда Сигизмунд коварно одобрял козни бояр, надеясь извлечь из них для себя выгоду, в самой Польше люди, недовольные поступками Сигизмунда, имели намерение низвергнуть его с престола и посадить на нем Дмитрия. В числе их был один из родственников Мнишка Станислав Стадницкий. Говорят, что он сносился об этом с Дмитрием. Кроме него, канцлер Лев Сапега в собрании сенаторов указывал на кого-то из Краковской академии, который писал к московскому государю, что Сигизмундом недовольны и поляки желают возложить на Дмитрия корону. «Если, – говорил Лев Сапега, – такие послания будут перелетать из польского королевства в Москву, то нам нечего ждать хорошего...»

Царь всю зиму ждал своей невесты, а Мнишек медлил и беспрестанно требовал с нареченного зятя денег. Уже Дмитрий передал ему 300000 злотых, подарил его сыну 50000 злотых. Мнишек все еще водил царя, и царь переслал ему еще около 19000 рублей. Этого мало, Мнишек без церемонии забирал у московских купцов товары, занимал у них деньги, и все на счет царя. Когда Мнишек написал, что он приедет только спустя несколько дней после Пасхи, Дмитрий потерял терпение и написал ему, что если он так опоздает, то не застанет его в Москве, потому что царь намерен тотчас после Пасхи выступить в поход. Это заставило Мнишка поторопиться.

В ожидании прибытия невесты царь стягивал войско, назначая сбор под Ельцом, чтобы тотчас после свадьбы ударить на Крым. Он постоянно приглашал к себе иноземцев и составил около себя стражу из французов и немцев.

Приближенные русские все более и более оскорблялись предпочтением, которое царь оказывал иностранцам. Дмитрий резко говорил о превосходстве западных европейцев перед русскими, насмехался над русскими предрассудками, наряжался в иноземное платье, даже умышленно старался показывать, что презирает русские обычаи. Так, например, русские не ели телятины; Дмитрий нарочно приказывал подавать ее к столу, когда обедали у него бояре. Однажды Татищев сказал ему по этому поводу какую-то дерзость. Дмитрий вспылал и отдал приказ отправить его в Вятку, но тотчас же опомнился и оставил при всех почестях. Но Татищев был мстителен и утвердился в мысли так или иначе погубить Дмитрия.

24 апреля прибыл в столицу Мнишек с дочерью. С ним приехали знатные паны: братья Адам и Константин Вишневецкие, Стадницкие, Тарлы, Казановские, с толпой всякого рода челяди и со множеством служивших у них шляхтичей. Всех гостей было более 2000 человек. Кроме того, в Москву приехали от Сигизмунда паны: Олесницкий и Гонсевский со своими свитами. Начались роскошные обеды, балы, празднества. Дмитрий, сохраняя свое достоинство, чуть было не поссорился с польскими послами, требуя, чтобы Сигизмунд называл его не иначе, как цезарем, да еще непобедимым. 8 мая Марина была предварительно коронована царицей, а потом совершилось бракосочетание. С тех пор пиры следовали за пирами. Царь в упоении любви все забыл, предавался удовольствиям, танцевал, не уступая полякам в ловкости и раздражая чопорность русских; а между тем шляхтичи и челядь, расставленные по домам московских жителей, вели себя до крайности нагло и высокомерно. Получив, например, от царя предложение вступить в русскую службу, они хвастались этим и кричали: «Вот вся ваша казна перейдет к нам в руки». Другие, побрякивая саблями, говорили: «Что ваш царь! Мы дали царя Москве». В пьяном разгуле они бросались на женщин по улицам, врываются в дома, где замечали красивую хозяйку или дочь. Особенно нагло вели себя панские гайдуки. Следует заметить, что большая часть этих пришельцев только считались поляками, а были русские, даже православные, потому что в то время в южных провинциях Польши не только шляхта и простолюдины, но и многие знатные паны не отступили еще от предковской веры. Сами приехавшие тогда в Москву братья Вишневецкие исповедывали православие. Но московские люди с трудом могли признать в

приезжих гостях единоверцев и русских по разности обычаев, входивших по московским понятиям в область религии. Притом же все гости говорили или по-польски или по-малорусски. Если мы вспомним, что польское правительство то и дело что издавало распоряжения о прекращении своеволий в южных областях Польши, то не трудно понять, почему прибывшие с панами в Москву отличались таким буйством. Благочестивых москвичей, привыкших жить со звоном колоколов замкнутой однообразной жизнью, видеть нравственное достоинство в одном монашестве, соблазняло то, что в Кремле, между соборами, по целым дням играли 68 музыкантов, а пришельцы скакали по улицам на лошадях, стреляли из ружей на воздух, пели песни, танцевали и безмерно хвастались своим превосходством над москвичами. «Крик, вопль, говор неподобный! – восклицает летописец. – О, как огонь не сойдет с небес и не поглотит сих окаянных!» Но, как ни оскорбляла наглость пришельцев русский народ, он все-таки настолько любил своего царя, что не поднялся бы на него и извинил бы ему, ради его свадьбы. Погибель Димитрия была устроена путем заговора.

В ночь со вторника на среду с 12-го на 13-е мая Василий Шуйский собрал к себе заговорщиков, между которыми были и служилые и торговые люди, раздраженные поступками поляков, и положили сначала отметить дома, в которых стоят поляки, а утром рано, в субботу, ударить в набат и закричать народу, будто поляки хотят убить царя и перебить думных людей: народ бросится бить поляков, а заговорщики покончат с царем.

В четверг, 15 мая, какие-то русские донесли Басманову о заговоре. Басманов доложил царю. «Я этого слышать не хочу, – сказал Димитрий, – не терплю доносчиков и буду наказывать их самих».

Царь продолжал веселиться: в воскресенье готовили большой праздник. Царский деревянный дом, построенный самим Димитрием, и дворец обставляли лесами для иллюминации.

В пятницу, 16 мая, немцы подали Димитрию письменный извет о том, что в столице существует измена и следует как можно скорее принять меры. Димитрий сказал: «Это все вздор, я читать этого не хочу».

И Мнишек, и Басманов советовали не пренебрегать предостережениями. Димитрий ничему не верил и вечером созвал гостей в свой новый, красиво убранный дворец. Заиграло сорок музыкантов, начались танцы; царь был особенно весел, танцевал и веселился; а между тем Шуйский именем царя приказал из сотни немецких алебардчиков, державших по обыкновению караул у дворца, удалиться семидесяти человекам и оставил только тридцать. По окончании бала Димитрий удалился к жене в ее новопостроенный и еще неоконченный дворец, соединенный с царским дворцом переходами, а в сенях царского дворца расположилось несколько человек прислуги и музыкантов.

На рассвете Шуйский приказал отворить тюрьмы, выпустить преступников и раздать им топоры и мечи. Как только начало всходить солнце, ударили в набат на Ильинке, а потом во всех других московских церквях стали также звонить, не зная, в чем дело. Главные руководители заговора: Шуйские, Голицын, Татищев, выехали на Красную площадь верхом с толпой около двухсот человек. Народ, услышавши набат, сбегался со всех сторон, а Шуйский кричал ему: «Литва собирается убить царя и перебить бояр, идите бить Литву!» Народ с яростными криками бросился бить поляков, многие с мыслью, что в самом деле защищают царя; другие – из ненависти к полякам за своеволие; иные просто из страсти к грабежу. Василий Шуйский, освободившись такой хитростью от народной толпы, въехал в Кремль: в одной руке у него был меч, в другой – крест. За ним следовали заговорщики, вооруженные топорами, бердышами, копьями, мечами и рогатинами.

Набатный звон разбудил царя. Он бежал в свой дворец и встретил там Димитрия Шуйского, который сказал ему, что в городе пожар. Димитрий отравился к жене, чтоб успокоить ее, а потом ехать на пожар, как вдруг неистовые крики раздались у самого дворца. Он снова поспешил в свой дворец; там был Басманов. Отворивши окно, Басманов спросил: «Что вам надобно, что за тревога?» Ему отвечали: «Отдай нам своего вора, тогда поговоришь

с нами». – «Ахти, государь, – сказал Басманов царю, – не верил ты своим верным слугам! Спасайся, а я умру за тебя!»

Тридцать человек немецких алебардщиков стали было у входа, но по ним дали несколько выстрелов. Они увидели, что ничего не могут сделать, и пропустили толпу. Царь искал своего меча, но меча не было. Царь схватил у одного алебардщика алебарду, подступил к дверям и крикнул: «Прочь, я вам не Борис». Басманов выступил вперед царя, сошел вниз и стал уговаривать бояр, но Татищев ударил его ножом в сердце. Дмитрий запер дверь. Заговорщики стали ломать ее. Тогда Дмитрий бросил алебарду, бежал по переходам в каменный дворец, но выхода не было; все двери были заперты, он глянул в окно, увидел вдали стрельцов и решился выскочить в окно, чтобы спуститься по лесам, приготовленным для иллюминации, и отдаться под защиту народа. Бывший в то время в Москве голландец замечает, что если бы Дмитрию удалось спуститься благополучно вниз, то он был бы спасен. Народ любил его и непременно бы растерзал заговорщиков. Но Дмитрий споткнулся и упал на землю с высоты 30 футов. Он разбил себе грудь, вывихнул ногу, зашиб голову и на время лишился чувств. Стрельцы, державшие караул, подбежали к нему, облили водой и положили на каменный фундамент сломанного Борисова дома. Пришедши в чувство, Дмитрий упрашивал их отнести его к миру на площадь перед Кремлем, обещал отдать стрельцам все имущество мятежных бояр и даже семьи их в холопство. Стрельцы стали было защищать его, но заговорщики закричали, что они пойдут в стрелецкую слободу и перебьют стрелецких жен и детей. Стрельцы оставили Дмитрия.

Заговорщики внесли его во дворец. Один немец вздумал было подать царю спирту, чтоб поддержать в нем сознание, но заговорщики убили его за это.

Над Дмитрием стали ругаться, приговаривая: «Латинских попов привел, нечестивую польку в жену взял, казну московскую в Польшу вывозил». Сорвали с него кафтан, надели какие-то лохмотья и говорили: «Каков царь всея Руси, самодержец! Вот так самодержец!» Кто тыкал пальцем в глаза, кто щелкал по носу, кто дергал за ухо... Один ударил его в щеку и сказал: «Говори такой-сякой, кто твой отец? Как тебя зовут? Откуда ты?..»

Дмитрий слабым голосом проговорил: «Вы знаете, я царь ваш Дмитрий. Вы меня признали и венчали на царство. Если теперь не верите, спросите мать мою; вынесите меня на лобное место и дайте говорить народу».

Но тут Иван Голицын крикнул: «Сейчас царица Марфа сказала, что это не ее сын».

«Винится ли злодей?» – кричала толпа со двора. «Винится!» – отвечали из дворца. «Бей! Руби его!» – заревела толпа на дворе. «Вот я благословлю этого польского свистуна», – сказал Григорий Валуев и застрелил Дмитрия из короткого ружья, бывшего у него под армяком.

Тело обвязали веревками и потащили по земле из Кремля через Фроловские (Спасские) ворота. У Вознесенского монастыря вызвали царицу Марфу и кричали: «Говори, твой ли это сын?»

«Не мой», – отвечала Марфа.<sup>102</sup> Тело умерщвленного царя положили на Красной площади на маленьком столике. К ногам его приволокли тело Басманова. На грудь мертвому Дмитрию положили маску, а в рот воткнули дудку. В продолжение двух дней москвичи ругались над его телом, кололи и пачкали всякой дрянью, а в понедельник свезли в «убогий дом» (кладбище для бедных и безродных) и бросили в яму, куда складывали замерзших и опившихся. Но вдруг по Москве стал ходить слух, что мертвый ходит; тогда снова вырыли тело, вывезли за Серпуховские ворота, сожгли, пепел всыпали в пушку и выстрелили в ту сторону, откуда названный Дмитрий пришел в Москву. Вопрос о том, кто был загадочный человек, много занимал умы и до сих пор остался неразрешенным. Его поведение было таково, что скорее всего его можно было признать за истинного Дмитрия; но против этого существуют следующие важные доводы: если бы малолетнего Дмитрия успели заблаговременно спасти от убийства, то невозможно предположить, чтобы спасители

<sup>102</sup> По другому, польскому, известию, она сказала: «Было бы меня спрашивать, когда он был жив, а теперь, когда вы его убили, он уже не мой»; но первое известие вероятнее.

пустили его ходить по монастырям, а потом шататься на чужой земле по панским дворам. Их прямой расчет побудил бы увезти его в Польшу и отдать тому же Сигизмунду, к которому названный Димитрий явился изгнанником. Без сомнения, Сигизмунд, имея в руках такой важный залог, щедро наградил бы тех лиц, которые ему доставили царского сына. Кроме того, если предположить, что Димитрия укрывали в отечестве, то почему же не объявили о нем тотчас по смерти Федора, когда в продолжение нескольких недель Борис Годунов ломался и отказывался от предлагаемой ему короны?

Некоторые ученые, обращая внимание на искренний и открытый характер царствовавшего под именем Димитрия, приходили к такому заключению, что подобного характера человек неспособен на гнусный обман, и хотя не признавали его настоящим Димитрием, сыном Грозного, но думали, что сам он был внутренне убежден в том, что он сын царя Ивана Васильевича, и был настроен в этой мысли боярами. Мнение это представляет много вероятия, но есть обстоятельства, возбуждающие сомнение в его достоверности. Из писем Сигизмунда видно, что этот человек рассказывал о себе, что его спасли именно в то время, когда совершилось убийство в Угличе. Но тогда Димитрию было уже восемь лет. Нам кажется едва ли возможным уверить кого-нибудь, что он на восьмилетнем возрасте был обставлен такими лицами и обстоятельствами, которых он не помнил. Одно только можно сказать по этому поводу, что, быть может, ему описали углицкое событие происходившим ранее того времени, в каком оно действительно происходило, и он повторял рассказы со слов других с полною к ним верою, не помня сам происходившего. Но если таким образом он был подготовлен, то едва ли русскими боярами в московской земле, а скорее всего в польских владениях или какими-нибудь русскими выходцами, которых и при Грозном и при Борисе было много, или теми же Мнишками и Вишневецкими, среди которых мы застаем его. Последнее тем более может показаться вероятным, что, по низвержении его с престола, эти паны сейчас же создавали и подставляли других самозванцев с именем Димитрия; следовательно, могли выдумать и первого. Оставляя пока нерешенным вопрос о том: считал ли он себя настоящим Димитрием или был сознательным обманщиком, мы, однако, не должны слишком увлекаться блеском тех светлых черт, которые проглядывают не столько в его поступках, сколько в словах. В течение одиннадцати месяцев своего правления Димитрий более наговорил хорошего, чем исполнил, а если что и сделал, то не следует забывать, что властители вообще в начале своего царствования стараются делать добро и выказывать себя с хорошей стороны: история представляет много примеров, когда самые дурные государи сначала являлись в светлом виде. Притом же, если в поступках названного Димитрия есть черты, несообразные со свойствами сознательного обманщика, то есть и такие, которые достойны этого призвания; таковы его развратные потехи, о которых рассказывает голландец Масса, вовсе невооруженный против его личности, поступок со злополучной Ксенией, наконец следует принять во внимание его лживость и притворство, с которыми он показывал вид, будто сожалеет о смерти Годуновых и верит в их самоубийство, а между тем приближал к себе убийцу их, Молчанова, доставлявшего ему женщин для гнусных удовольствий.

Борис и патриарх Иов провозгласили его Григорием Отрепьевым. Впоследствии то же сделал Шуйский и подтверждал это показаниями монаха Варлаама, странствовавшего с Григорием Отрепьевым. Против этого можно сделать следующие возражения:

1) Если бы названный Димитрий был беглый монах Отрепьев, убежавший из Москвы в 1602 году, то никак не мог бы в течение каких-нибудь двух лет усвоить приемы тогдашнего польского шляхтича. Мы знаем, что царствовавший под именем Димитрия превосходно ездил верхом, изящно танцевал, метко стрелял, ловко владел саблей и в совершенстве знал польский язык: даже в русской речи его слышен был не московский выговор. Наконец, в день своего прибытия в Москву, прикладываясь к образам, он возбудил внимание своим неумением сделать это с такими приемами, какие были в обычае у природных москвичей.

2) Названный царь Димитрий привел с собою Григория Отрепьева и показывал его народу. Впоследствии говорили, что это не настоящий Григорий: одни объясняли, что это

был инок Крыпецкого монастыря, Леонид, другие, что это был монах Пимен. Но Григорий Отрепьев был вовсе не такая малоизвестная личность, чтоб можно было подставлять на место его другого. Григорий Отрепьев был крестовый дьяк (секретарь) патриарха Иова, вместе с ним ходил с бумагами в царскую думу. Все бояре знали его в лицо. Григорий жил в Чудовом монастыре, в Кремле, где архимандритом был Пафнутий. Само собою разумеется, что если бы названный царь был Григорий Отрепьев, то он более всего должен был бы избегать этого Пафнутия и прежде всего постарался бы от него избавиться. Но чудовский архимандрит Пафнутий в продолжение всего царствования названного Димитрия был членом учрежденного им сената и, следовательно, виделся с царем почти каждый день.

3) В Загоровском монастыре (на Волыни) есть книга с собственноручною подписью Григория Отрепьева; подпись эта не имеет ни малейшего сходства с почерком названного царя Димитрия.

## **Глава 25** **Марина Мнишек**

Женщина, в начале XVII века игравшая такую видную, но позорную роль в нашей истории, была жалким орудием той римско-католической пропаганды, которая, находясь в руках иезуитов, не останавливалась ни перед какими средствами для проведения заветной идеи подчинения восточной церкви папскому престолу. Мы уже говорили выше о нравственных качествах отца Марины, Юрия Мнишка. С наступлением господства иезуитов, овладевших польским королем Сигизмундом, Мнишек, прежде находившийся в дружеских связях с протестантскими панами, сделался горячим католиком, готов был отдать и себя, и свою семью на служение иезуитским целям, ожидая от этого выгод и возвышения для себя. Появление Димитрия подало ему удобный повод выказать себя вполне. Мы не знаем, до какой степени вначале названный Димитрий сам пленился красотой его дочери Марины и в какой степени должен был обязаться будущим браком с дочерью пана, который так горячо поддерживал его предприятие. Существует несколько романтических рассказов того времени о знакомстве Димитрия с Мариною, об его любовных объяснениях с нею, об ее гордости и кокетстве, с которым она разжигала страсть молодого человека, наконец, о поединке, который имел будто бы Димитрий с каким-то польским князем за прекрасную дочь Юрия: все это могли быть вымыслы, не имеющие для нас исторической достоверности. Марина была одна из нескольких дочерей Юрия Мнишка.<sup>103</sup>

Судя по старым портретам и современным описаниям, она была с красивыми чертами лица, черными волосами, небольшого роста. Глаза ее блистали отвагою, а тонкие сжатые губы и узкий подбородок придавали что-то сухое и хитрое всей физиономии. Мнишек свозил Димитрия в Варшаву, уверился в том, что и духовенство, и король благосклонно относятся к названному царевичу, и тогда взял с последнего запись на очень выгодных для себя условиях, о которых мы уже говорили. Названный Димитрий, именем Св. Троицы обещая жениться на панне Марине, наложил на себя проклятие в случае неисполнения этого обещания; кроме тех сумм, которые он обязывался выдать будущему тестю, он обещал еще, сверх всего, выслать своей невесте из московской казны для ее убранства и для ее обихода разные драгоценности и столовое серебро. Марине, будущей царице, предоставлялись во владение Новгород и Псков с тем, что сам царь не будет уже управлять этими землями, а в случае если царь не исполнит такого условия в течение года, Марине предоставлял право развестись с ним.

---

<sup>103</sup> По гербовнику Несецкого, Юрий Мнишек был два раза женат. От первой жены по фамилии Тарло, кроме двух сыновей Яна и Станислава, у него были две дочери: Марина и Урсула (Вишневецкая); от второй жены, княжны Головинской – четыре сына и три дочери: Анна, Августина и Евфросина, которые в описываемое нами время были все несовершеннолетними. По родословной книге Долгорукова у Мнишка было четыре сына и пять дочерей: старшая из них Христина была монахиня, вторая Анна, вышедшая замуж за пана Шишковского, третья Урсула Вишневецкая, четвертая Марина, пятая Евфросина в супружестве с паном Иорданом.

Наконец, в этой записи, которою названный царевич так стеснял себя для своей будущей жены, было выразительно сказано и несколько раз повторено, также в числе условий брака, что царь будет промышлять всеми способами привести к подчинению римскому престолу свое Московское государство. Таким образом, будущая царица принимала в глазах католиков высокое, апостольское призвание. Мнишек советовал Димитрию держать свое намерение в тайне, пока не вступит на престол. Мнишек не доверял Сигизмунду и опасался, что король захочет отдать за Димитрия свою сестру. Сама Марина, как говорят, вела себя сдержанно и давала понять названному Димитрию, что она тогда только осчастливит его своею любовью, когда он добудет себе престол и тем сделается ее достойным.

Димитрий сделался царем, но не тотчас обратился со своим сватовством. Прошло лето. Димитрий занимался делами и развлекался женщинами: это до известной степени заставляет подозревать, что Димитрий мог к обещанию, данному сендомирскому воеводе, отнестись так, как относился ко многим обещаниям, данным в Польше; быть может, он бы и не погиб, если бы нарушил это обещание. Не знаем вполне, что побуждало Димитрия исполнить его, но кажется, что Марина оставила впечатление в его сердце. В ноябре 1605 года дьяк Афанасий Власьев, отправленный послом в Польшу, заявил Сигизмунду о намерении своего государя сочетаться браком с Мариною в благодарность за те великие услуги и усердие, какие оказал ему сендомирский воевода. Во время обручения, 12 ноября, Власьев, представлявший лицо государя, удивил поляков своим простодушием и своими московскими приемами. Когда по обряду совершавший обручение кардинал Бернанд Мациевский спросил его: не давал ли царь прежде кому-нибудь обещания, посол отвечал: «А почему я знаю? Он мне не говорил этого». Все присутствующие рассмеялись, а Власьев как будто для большей потехи прибавил: «Коли б кому обещал, то меня бы сюда не прислал». Благоговение его к будущей своей государыне было так велико, что он не решился надеть, как следовало, обручальное кольцо и прикоснуться обнаженной рукой до руки Марины. После обручения был обед, а потом бал. «Марина, – говорит один из очевидцев, – была дивно хороша и прелестна в этот вечер в короне из драгоценных камней, расположенных в виде цветов». Московские люди и поляки равно любовались ее стройным станом, быстрыми изящными движениями и роскошными черными волосами, рассыпанными по белому серебристому платью, усыпанному камнями и жемчугом. Посол не танцевал с нею, говоря, что он не достоин прикоснуться к своей государыне. Но после танцев этого посла поразила неприятная для московского человека сцена. Мнишек подвел дочь к королю, приказал кланяться в ноги и благодарить короля за великие его благодеяния; а король проговорил ей поучение о том, чтоб она не забывала, что родилась в польском королевстве и любила бы обычаи польские. Власьев тогда же заметил канцлеру Сапеге, что это оскорбительно для достоинства русского государя.

Димитрий отправил через своего секретаря Бучинского к сендомирскому воеводе требование, клонившееся к тому, чтобы его будущая супруга, по крайней мере наружно, соблюдала религиозные приемы, обычные в Московском государстве, дабы не вводить в соблазн русских, а именно: чтоб она причащалась в русской церкви и соблюдала ее уставы, оказывала всякое почтение греческому богослужению, не ходила бы после замужества с открытыми волосами и постилась бы в среду, а в субботу ела мясо; вместе с тем, у себя дома Димитрий предоставлял ей исполнять как угодно обязанности благочестия. Требование это очень не нравилось римско-католическому духовенству. Собственно, Димитрий требовал совсем противное тому, чего желали папа и католические духовные, т.е. он домогался, чтоб его жена в глазах всего русского народа присоединилась к православию. Что касается до позволения выражать как угодно у себя благочестие, то это не показывало в нем особого расположения к распространению католичества: то была свобода совести, которую он проповедовал всем своим подданным. Требование насчет исполнения православных обрядов пришло в такое время, когда папа заботился о том, чтобы сделать Марину своим орудием, и написал ей письмо, в котором, поздравляя с обручением, выражался так: «Теперь-то мы ожидаем от твоего величества всего того, чего можно ждать от благородной женщины,



согретой ревностью к Богу. Ты, вместе с возлюбленным сыном нашим, супругом твоим, должна всеми силами стараться, чтобы богослужение католической религии и учение Св. апостольской церкви были приняты вашими подданными и водворены в вашем государстве прочно и незыблемо. Вот твое первое и главнейшее дело». Папский нунций в Польше, Рангони, на требование Димитрия отвечал, что он не может исполнить желания царя относительно его невесты, что это требует власти больше той, какую облечен нунций, убеждал оставить свои домогательства и устранить все затруднения силою своей самодержавной власти. Римский двор, получивши известие о требовании Димитрия, догадался, что московский царь обращается совсем не в ту сторону, куда надеялись направить его отцы иезуиты; там нашли недозволительным, чтобы Марина соблюдала обряды греческой церкви, и кардинал Боргезе писал к папскому нунцию в Польше: «Пусть Марина остается непременно при обрядах латинской церкви, иначе Димитрий будет находить новое оправдание своему упорству». Весьма может быть, что замедление приезда Марины в Москву зависело, между прочим, от недоразумений, возникших по этому религиозному вопросу. Обе стороны, не сошедшись между собою, решились на хитрости: Димитрий надеялся, что его жена, живучи в Москве, свыкнется с необходимостью делать уступки народным обычаям, а католическая пропаганда отпускала Марину в Москву, надеясь, что она силою женской прелести сумеет все переделать сообразно папским видам.

Марина, со множеством сопровождавших ее лиц, переехала границу 8 апреля. Паны ехали не на короткое время и надеялись попировать на славу. Мнишек вез за собою одного венгерского несколько десятков бочек. Тысячи московских людей устраивали для них мосты и гати. Везде на московской земле встречали Марину священники с образами, народ с хлебом-солью и дарами. Мнишек с роднею несколькими днями ранее ее прибыл в Москву. Нареченная царица ехала за ним медленно и, приблизившись к Москве, остановилась в заранее приготовленных для нее шатрах. Здесь московские гости и купцы приносили ей поклоны и подносили подарки. 3-го мая Марина самым пышным образом въехала в столицу. Народ в огромном стечении приветствовал свою будущую государыню. Посреди множества карет, ехавших впереди и сзади и нагруженных панами и паньями, ехала будущая царица, в красной карете с серебряными накладками и позолоченными колесами, обитой внутри красным бархатом, сидя на подушке, унизанной жемчугом, одетая в белое атласное платье, вся осыпанная драгоценными камнями. Звон колоколов, гром пушечных выстрелов, звуки польской музыки, восклицания, раздававшиеся разом и по-великорусски, и по-малорусски, и по-польски, сливались между собою. Едва ли еще когда-нибудь Москва принимала такой шумный праздничный вид. Молодая царица, въезжая в ворота Кремля, казалось, приносила с собою залог великой и счастливой будущности, мира, прочного союза для взаимной безопасности славянских народов, роскошные надежды славы и побед над врагами христианства и образованности. Но то был день оболъщения; ложь была подкладкою всего этого мишурного торжества.

Марина остановилась в Вознесенском монастыре у матери царя, принявшей невестку, как говорят, радушно.

Но тяжела показалась польке обстановка русского почета. Марина с первого раза не сумела переломить себя настолько, чтобы скрыть неуважение к русским обычаям. Прискорбно ей было, что ее лишали возможности слушать католическую обедню; ее тяготило то, что она должна была жить в схизматическом монастыре, а народ, не допускавший сомнения в приверженности своего царя к отеческой вере, думал и говорил тогда, что царскую невесту для того и поместили в монастыре, чтоб познакомить с обрядами православной церкви, к которой она присоединится. Шляхтянки, окружавшие Марину, подняли вопль, побежали к панье сохачевской Старостине слушать обедню, которую отправлял приехавший с этою паньею ксендз в ее помещении, и Димитрий должен был утешать этих женщин, обещая им скорое возвращение на родину. Когда Марине принесли кушанье – она объявила, что не может сносить московской кухни, и царь прислал к ней польского повара. Царь угощал у себя родственников невесты, а невеста должна была из

приличия сидеть в монастыре, но чтоб ей не было скучно, царь послал ей для развлечения польских музыкантов и песенников, не обращая внимания, что русские соблазнялись: неслыханное для них было явление – песни и музыка в святой обители; и Димитрий и Марина отнеслись к этому с достойным друг друга легкомыслием. Не только песнями и музыкой забавлял Димитрий свою будущую подругу: он прислал ей для развлечения еще шкатулку, в которой было много драгоценностей, говорят даже, будто ценность их простиралась до 500000 р. Марина могла утешаться, пересматривая их и примеривая к себе то, что служило для женского украшения. Ее родитель, не знавший границ любви своей к деньгам, в то же время для своего утешения получил также сто тысяч золотых.

Между тем у духовенства поднялся вопрос: следует ли допустить к бракосочетанию Марину католичку или необходимо крестить ее в православную веру как нехристианку? Царь, верный своему всегдашнему взгляду, что все христианские религии равны и следует предоставить веру внутренней совести каждого, требовал от своей жены только наружного исполнения обрядов и уважения к церкви; патриарх Игнатий потакал ему; но поднялся тогда казанский митрополит Гермоген и коломенский епископ Иосаф, оба суровые ревнители православия, оба ненавистники всего иноземного. Димитрий выпроводил Гермогена в его епархию. В четверг 8 мая назначен был день свадьбы.

По русскому обычаю не венчались накануне постных дней; правда, это собственно не составляло церковного правила, а только благочестивый обычай: царь не хотел оказывать уважения к обычаям. С приездом Марины Димитрием чересчур овладело польское легкомыслие.

Свадьба устроена была по заветному прадедовскому чину с караваями, с тысячским, с дружками, со свахами. Марина, не любившая русской одежды, должна была на этот раз переломить себя и явилась в столовую избу в русском бархатном платье с длинными рукавами, усаженном дорогими камнями и жемчугом до того густо, что трудно было распознать цвет материи; она была обута в сафьянные сапоги; голова у ней была убрана по-польски, повязкою, переплетенной с волосами. После обычных церемоний новобрачные со свадебным поездом отправились в Успенский собор; пришлось целовать иконы; польки, к соблазну православных, целовали изображения святых в уста. Прежде венчания царь изъявил желание, чтоб его супруга была коронована. Неизвестно: было ли это желание самого царя из любви к своей невесте или же, что вероятнее, следствие честолюбия Марины и ее родителя, видевших в этом обряде ручательство в силе титула: если Марина приобретет его не по бракосочетанию с царем, подобно многим царицам, из которых уже не одну цари спроваживали, по ненадобности, в монастырь, а вступит в брак с царем уже со званием московской царицы. После коронавания Марина была помазана на царство и причастилась Св. Тайн.

Принятие Св. Тайн по обряду восточной церкви уже делало ее православною: так думал царь и с ним те русские, которые, отрешаясь от строгих взглядов, были снисходительнее к иноверию; но в глазах таких, для которых католики были в равной степени погаными, как жида и язычники, это было оскорбление святыни.

Совершилось венчание. Ксендз проговорил в Успенском соборе проповедь или речь: она тем более была неуместною, что произносилась на латинском языке, ни для кого из русских непонятном. Свадьба, однако, как началась, так и окончилась во дворце по всем правилам русского свадебного чина.

Потекли веселые дни пиров и праздников. Марина, по требованию царя, хотя и являлась в русском платье, когда принимала поздравления от русских людей, но предпочитала польское, и сам царь одевался по-польски, когда веселился и танцевал со своими гостями. Марину пленял ряд готовившихся удовольствий. В воскресенье готовился маскарад с великолепным освещением дворцов, а за городом устраивали примерную крепость, которую царь прикажет одним брать приступом, а другим защищать. Поляки затевали рыцарский турнир в честь новобрачной четы. Много иных веселых планов представлялось для суетной и избалованной судьбою Марины.

Но вместо ожидаемых празднеств и забав настало 16 мая. Разбуженная набатным звоном, не нашедши подле себя супруга, царица наскоро надела юбку и с растрепанными волосами бросилась из своих комнат, сбежала в нижние покои каменного дворца и хотела было укрыться в закоулке. Но ее уши поражали звон набата, треск выстрелов, неистовые крики. Марина выскочила из своего убежища, поднялась опять на лестницу; тут встретили ее заговорщики, искавшие царя, убежавшего из деревянного дворца. Ее не узнали и только столкнули с лестницы. Она вбежала в свои покои, к своим придворным дамам. Толпа московских людей бросилась туда с намерением найти ненавистную еретичку. Из мужчин был один только юноша, паж Марины Осмольский. Двери заперли. Осмольский стал с саблею в руке и говорил, что убийцы только по его трупу доберутся до царицы. Двери разломали. Осмольский пал под выстрелами; тело его изрубили в куски. Испуганные польки сбились в кружок. Если Шуйский, для пополнения своих соумышленников, выпустил из тюрем преступников, то неудивительно, что ворвавшиеся к женщинам москвичи начали прежде всего отпускать непристойные выходки и с площадною бранью спрашивали, где царь и где его еретичка царица. Бедная Марина, как рассказывают, будучи небольшого роста, спряталась под юбкою своей охмистрины. К счастью, прибежали бояре и разогнали неистовую толпу.

С тех пор Марина оставалась во дворце до среды будущей недели; к ней приставили стражу. Шуйский был внимателен к ней: зная, что она не любит московского кушанья, приказал носить ей кушанье от отца. Ее собственный повар был умерщвлен. В среду пришли к ней московские люди от бояр и сказали: «Муж твой, Гришка Отрепьев, вор, изменник и прелестник, обманул нас всех, назвавшись Димитрием, а ты знала его в Польше и вышла за него замуж, тебе ведомо было, что он вор, а не прямой царевич. За это отдай все и вороти, что вор тебе в Польшу пересылал и в Москве давал». Марина указала им на свои драгоценности и сказала: «Вот мои ожерелья, камни, жемчуг, цепи, браслеты... все возьмите, оставьте мне только ночное платье, в чем бы я могла уйти к отцу. Я готова вам заплатить и за то, что проела у вас с моими людьми».

«Мы за проесть ничего не берем, – сказали москвичи, – но вороти нам те 55000 руб., что вор переслал тебе в Польшу».

«Я истратила на путешествие сюда не только то, что мне присылали, но еще и много своего, чтоб честнее было вашему царю и вашему государству. У меня более ничего нет. Отпустите меня на свободу с отцом; мы вышлем вам все, что требуется».

В то же время у Мнишка забрали десять тысяч рублей деньгами, кареты, лошадей и вино, которое он привез с собою.

Марину, обобранную дочиста, отослали к отцу, а на другой день прислали ей, как будто на посмеяние, пустые сундуки. К отцу и дочери приставили стражу.

Итак, недавнее царственное величие, радость родных, поклонение подданных, пышность двора, богатство нарядов, надежды тщеславия – все исчезло! Из венчанной повелительницы народа, так недавно еще встречавшего ее с восторгом, она стала невольницею; честное имя супруги великого монарха заменилось позорным именем вдовы обманщика, соучастницы его преступления.

Часть поляков отпущена была домой, но знатные паны со своею ассистенцией оставлены под стражею. Новый царь задержал также и польских послов, а в Польшу отправил своих. Он опасался, что Сигизмунд начнет мстить за резню, произведенную в Москве над поляками; царь хотел, до поры до времени, удержать в своих руках заложниками и послов с их свитами, и свадебных гостей низверженного царя, и его супругу с тестем. Марина с отцом помещены были в доме, принадлежавшем дьяку Афанасию Власьеву, которого новый царь сослал за верную службу Димитрию, приказав, как велось, все его имущество отписать на себя.

Между тем на Шуйского готовился идти другой Димитрий. Михайло Молчанов, убежавши из Москвы, прибыл в Самбор и в соумышлении с женою Мнишка начал приискивать нового самозванца. Ему самому сначала хотелось разыгрывать Димитрия, но

наружность его чересчур не подходила к этой роли; он мог сказаться только Дмитрием перед Болотниковым, русским пленником, возвращавшимся в отечество, никогда не выдавшим прежнего названного Дмитрия. Он поручил ему собирать против Шуйского силы русского народа, уверяя всех и каждого, что Дмитрий спасся от смерти в Москве и явится снова отнимать свой престол у похитителя. Шуйскому показалось опасным оставлять поляков в Москве. В столице стали появляться подметные письма, извещавшие, что Дмитрий жив.<sup>104</sup> Не все могли удостовериться собственными глазами, что прежний царь был убит: труп его, выставленный на Красной площади, был до такой степени обезображен, что нельзя было распознать в нем черт человеческого лица. Начали ходить толки о том, что выставленный труп совсем не был трупом царя. Шуйский боялся мятежа: тогда поляков могли освободить. Он рассудил за благо отправить их подальше и в августе 1606 года разослал по разным городам. Марину с отцом, братом, дядею и племянником Мнишка послали в Ярославль. Там они пребывали под стражею до июня 1608 года. Между тем совершились важные перевероты. Болотников именем спасшегося в другой раз от смерти Дмитрия успел поднять на ноги русский народ; Шуйский едва-едва удержался, но Дмитрий, которого все ждали, не явился; народ, утомившись ожиданием, оставил Болотникова; Шуйский, после упорной борьбы, уничтожил его. Но вдруг новый названный Дмитрий явился в Стародубе. Об его личности сохранились до крайности противоречивые известия. По всему видно, он был только жалким орудием партии польских панов, решившейся во что бы ни стало произвести смуту в Московском государстве. Здесь несомненно участие жены Мнишка, мстившей за плен своего мужа. Рассказывают, что самозванец, вышедший из литовских владений в Московское государство, по внушению агента жены Мнишка, Меховецкого, не решился сразу назвать себя царем, а назвался дядею Дмитрия Нагим. Пришедши в Стародуб, вместе с подьячим Алексеем Рукиным, он объявлял, что сам он Нагой, а за ним идет Дмитрий с паном Меховецким. Рукин отправился в Путивль и там объявлял, что Дмитрий уже в Стародубе. Путивльцы с ним отправились в Стародуб, приступили к названному Нагому, спрашивали: «Где Дмитрий?» Мнимый Нагой отвечал: «Не знаю». Тогда путивльцы вместе со стародубцами напали на Рукина за то, что он ложно сказал, будто Дмитрий в Стародубе, стали бить его кнутом, приговаривая: «Говори, где Дмитрий?» Рукин, не стерпя муки, указал на того, кто назвался Нагим, и сказал: «Вот Дмитрий Иванович, он стоит перед вами и смотрит, как вы меня мучите. Он вам не объявил о себе сразу, потому что не знал, рады ли вы будете его приходу». Новопоказанному Дмитрию не оставалось ничего, как только назваться Дмитрием или подвергнуться пытке. Он принял повелительный вид, грозно махнул палкою и закричал: «Ах вы сякие дети, я государь!» Стародубцы и путивльцы упали к его ногам и закричали: «Виноваты, государь, не узнали тебя; помилуй нас. Рады служить тебе и живот свой положить за тебя». С тех пор он остался Дмитрием. Немедленно к нему стеклось до трех тысяч русских с северской земли. Пришел выславший его, Меховецкий, с отрядом украинской вольницы, дожидавшийся на границе, что станется с самозванцем, когда он объявит о себе русским. Потом пристал к нему донской атаман Заруцкий, родом из Червоной Руси, отправленный Болотниковым искать Дмитрия. Меховецкий разослал в Польшу письма и извещал, что Дмитрий явился, что пришла для поляков пора военной славы и мщенья за убитых в Москве. По этим письмам один за другим прибыли к самозванцу паны: Адам Вишневецкий, Хруслинский, Хмелевский, Валавский, Самуил Тишкевич и самый сильный, князь Роман Рожинский. У всех их было по значительному отряду вольницы, человек до тысячи в каждом, а у Рожинского более четырех тысяч; кроме того, князь Рожинский был человек с весом, и его войско увеличивалось с каждым днем новыми пришельцами. Тут были преступники, так называемые «банниты», осужденные за разные своевольства и избегавшие законной казни,

<sup>104</sup> По одним известиям, он назывался Богданом и был литвин, по другим – крещеный, по третьим – некрещеный еврей, по четвертым – сын Курбского, по пятым – его отыскал в Киеве путивльский поп Воробей, по шестым – его выслала в Московское государство жена Мнишка, по седьмым – он был родом стародубец и учил детей сначала во Шклове, а потом в Могилеве.

проигравшиеся и пропившиеся шляхтичи, которым, ради насущного хлеба, надобно было приняться за какое-нибудь ремесло, а, по тогдашним польским понятиям, только военное ремесло и было достойно шляхетского звания. Были здесь и неоплатные должники, бежавшие от заимодавцев, наконец, были такие молодцы, для которых было все равно в какую бы сторону ни отправиться, лишь бы весело пожить; а, по их понятиям, весело пожить значило грабить, разорять и вообще делать кому-нибудь вред. Польская вольность произвела чрезвычайное множество таких, о чем свидетельствуют и современные акты и горькие жалобы польских моралистов. Все это бросилось в московскую землю под знамя новоотысканного Димитрия. Никто не верил, чтоб он был настоящим. Князь Рожинский отстранил Меховецкого, принял звание гетмана и начал так помыкать названным царем, что последний два раза хотел убежать от чести называться царем, но его возвращали и принуждали снова играть взятую роль. В третий раз в отчаянии он начал пить водку, которой он прежде не пил, хотел допить до смерти; но это ему не удалось, и он решился предаться своему жребию.

Дела нового самозванца пошли успешно. Весть о том, что Димитрий жив, быстро разносилась по Руси. Поляки с ним двинулись – и города сдавались за городом. Взятые были Карачев, Брянск, Орел. Отсюда, остановившись, самозванец разослал грамоту, в которой убеждал русский народ – с одной стороны, отступить от Шуйского, а с другой, не верить царевичам, которые тогда появлялись один за другим в разных местах. «Ведомо нам учинилось, – писал он, – что, грех ради наших и всего Московского государства, объявилось в нем еретичество великое: вражбим наветом, злокозненным умыслом, многие стали называться царевичами московскими». Он приказывал таких царевичей ловить, бить кнутом и сажать в тюрьму до царского указа. Выступивши весною из Орла, самозванец со своею шайкою разбил войско Шуйского под Волховом и беспрепятственно шел до самой Москвы. Первого июня он прибыл к Москве, а на другой день поляки заложили лагерь в восьми верстах от Москвы, в селе Тушине, между Москвою-рекою и впадающею в нее рекою Восточною.<sup>105</sup> С тех пор каждый день шайка увеличивалась и поляками, и русскими. Пришли к самозванцу паны: Млоцкий, Александр Зборовский, Выламовский, Стадницкий и отважный богатырь Ян Сапега, племянник канцлера Льва, осужденный в отечестве за буйство. Все они привели с собою отряды вольницы, под названием гусар и казаков. Толпы русских стекались в Тушино; приехали к самозванцу с поклоном и люди знатного рода: стольник князь Димитрий Тимофеевич Трубецкой, князь Димитрий Черкасский, князь Алексей Сицкий, князь Василий Мосальский, князь Засекины и другие. Люди, чувствовавшие за собою мало значения в государстве Шуйского, желая подняться в чинах, увидели возможность возвышения, примкнувши к иному государю. Города за городами стали отпадать от Шуйского и провозгласили царем спасенного Димитрия; сторонники Шуйского прозвали его Тушинским вором, и это имя осталось за ним в истории.

В это время Шуйский, после двухлетних недоразумений и споров, заключил с польскими посланцами перемирие на три года и одиннадцать месяцев. По этому перемирию, всех задержанных поляков следовало отпустить и дать все нужное до границы. Марину с семьею привезли в Москву. Она должна была отказаться от титула московской царицы, а Мнишек дал обязательство не называть вора зятем. Так как затруднительно было ехать прямо на Смоленск, то их повезли в Углич, оттуда на Тверь, а из Твери на Белую. Мнишек как-то успел дать знать в Тушино, что они едут в Польшу, с тем, чтоб их перехватили на дороге. Провожал их князь Владимир Долгорукий с тысячею ратных людей. Рожинский из тушинского лагеря послал в погоню отряд под начальством Зборовского; с ними поехали и русские люди под начальством Мосальского. Так как поляки, наверно, не знали, согласится ли Марина признать обманщика за прежнего мужа, то отправили погоню только для того, чтоб русские повсюду узнали, что царь посылает за женою. На самом же деле они не желали, чтоб она была захвачена. Но Мнишек нарочно ехал медленно, так что 16 августа его нагнали

---

<sup>105</sup> На этом месте донныне уцелел вал.

под деревнею Любеницами, уже недалеко от границы. Провожатые разбежались. Марина, страшась за неизвестность своей судьбы, отдалась под защиту Яна Сапеги, который с 7000 удалцов шел к Тушину; Сапега уверил Марину, что муж ее действительно спасся, и повез ее с собою. Марина не видала трупа названного царя Димитрия, поверила и так была рада, что, едуци в карете, веселилась и пела. Тогда к ней подъехал князь Мосальский и сказал: «Вы, Марина Юрьевна, песенки распеваете, оно бы кстати было, если бы вы в Тушине нашли вашего мужа; на беду, там уже не тот Димитрий, а другой». Марина стала вопить и плакать. Князь Мосальский, страшась за это мщения от поляков, бежал с дороги к Шуйскому.

Марину 1 сентября привезли против воли в Тушино. Рожинский явился к ней и пригласил в обоз. Марина кричала, что не поедет ни за что. Везти ее насильно оказывалось неудобным, потому что нужно было, чтобы все видели нежную радость супругов при свидании. Пять дней уговаривал Марину Сапега: она не поддавалась. Но Мнишек вместе с Рожинским и Зборовским отправился к вору, и тот обещал ему 300000 руб. и северскую землю с четырнадцатью городами. Мнишек продал свою дочь.

Вор на другой день приехал к Марине. Марина отвернулась от него с омерзением. Паны принуждены были приставить к ней стражу. Но при помощи нежного родителя наконец уговорили Марину. К этому присоединились убеждения какого-то иезуита, который уверял, что с ее стороны это будет высокий подвиг в пользу церкви. Марина согласилась играть комедию с условием, что называвший себя Димитрием не будет жить с нею как с женою, пока не овладеет московским престолом. Замечательно, что польский посол Олесницкий, также захваченный на дороге и привезенный в тушинский лагерь, ездил с вором в одной коляске к Марине и, вероятно, уговаривал ее играть позорную комедию, а при отъезде получил от вора грамоту на владение городом Белою. На другой день Сапега с распущенными знаменами повез Марину в воровской табор; и там, посреди многочисленного войска, мнимые супруги бросились друг другу в объятия и благодарили Бога за то, что дал им соединиться вновь.

Мнишек пробыл в таборе вора около четырех месяцев и потом уехал в Польшу. Между Мнишком и дочерью возникли холодные отношения. Мнишек сносился с вором, а дочери не писал. В январе 1609 года Марина писала к отцу: «Я нахожусь в печали как по причине вашего отъезда, так и потому, что простилась с вами не так, как хотелось; я надеялась услышать из уст ваших благословение, но, видно, я того недостойна. Слезно и умиленно прошу вас, если я когда-нибудь по неосторожности, по глупости, по молодости или по горячности оскорбила вас, простите меня и пошлите дочери вашей благословение... Как будете писать его царской милости, упомяните и обо мне, чтоб он оказывал мне любовь и уважение, а я обещаю вам исполнить все, что вы мне поручили, и вести себя так, как вы мне повелели». Но ответа не получила Марина. Она просила у отца черного бархата на платье. Ответа не было. Вскоре и вор начал жаловаться, что Мнишек ему не пишет. В марте того же года Марина писала к отцу и жаловалась, что с нею поступают не так, как было обещано при отъезде Мнишка, припоминала, как отец ее вместе с нею кушал вкусных лососей и пил старое вино, скорбила о том, что в Тушине нет ни того, ни другого, и просила прислать. Отец не отвечал. Наконец, в августе она опять писала ему, жаловалась, что, несмотря на множество писем, не получала никакого ответа и только от чужих узнавала о родителях. Видно, Мнишек сообразил, что дело тушинского вора в Польше не может обратиться в его пользу, так как Сигизмунд не намерен был поддерживать самозванца, а затевал сам овладеть Московским государством; поэтому сендомирский воевода играл роль, будто не участвует в обмане, не одобряет поступков дочери и оставил ее на произвол судьбы.

Признание Мариною нового Димитрия своим мужем сильно подняло его сторону. Русские города с землями один за другим признавали его. Южные области, кроме Рязани, уже прежде были за него; после того как разошлась весть о соединении его с Мариною, сдались ему: Псков, Иван-Город, Орешек, Переяславль-Залесский, Суздаль, Углич, Ростов, Ярославль, Тверь, Бежецкий Верх, Юрьев, Кашин, Торжок, Белоозеро, Вологда, Владимир, Шуя, Балахна, Лух, Гороховец, Арзамас, Романов и другие. Новгород едва держался;

Нижний и Смоленск стояли за Шуйского, но мордва беспокоила Нижний, и многие из этого города бежали к Дмитрию. Сапега осаждал Троицу, но не мог взять, несмотря ни на какие усилия. В таком положении были дела вора несколько месяцев. Тушинский лагерь беспрестанно наполнялся и поляками и русскими. В нем было до 18000 конных и 2000 пеших поляков, более 40000 разных казаков: и запорожских, и донских, и неопределенное число московских людей. Сами предводители не знали, сколько их было, потому что одни убывали, другие прибывали. Польское войско у Дмитрия состояло из сбродных команд, составленных на свой счет панями или же образовавшихся в виде товариществ; во всякой команде были правила, и все присягали повиноваться предводителю; кроме того, в обозе было множество всякого рода слуг. Поляки надевали на голову железный шпашак, на теле, сверх жупана, большею частью белого цвета, носили сетку из плетеной проволоки или из железных колец, а иные – панцири из блях. Сверх вооружения накидывали синий плащ. У гусаров оружием был «концер» (короткий палаш), маленькое ружье и длинное копье, воткнутое у луки седла с двухцветным значком; конец копья волочился по земле, и оттого такие копья назывались «влочнями». Гусарские седла покрывались звериными шкурами, а к бокам коней привязывались крылья. Запорожцы, вооруженные самопалами и копьями, узнавались по широким красным шароварам, черным киреям и высоким бараньим шапкам. Донцы и московские люди были одеты чрезвычайно разнообразно: иные были вооружены луками и колчанами, но их можно было по наружности отличать по колпакам, высоким воротникам и длинным рукавам, собранным в складки. Главная сила вора состояла тогда в казачестве, которое стремилось к ниспровержению прежнего порядка и установлению казачьей вольности. «У нашего царя, – писал один из служивших у него поляков, – все делается, как по Евангелию, все равны у него по службе». Но когда стали приставать к нему люди родовитые, в Тушине начали возникать споры о старшинстве, явилась зависть и соперничество друг с другом.

С наступлением осени начались постройки; для жилья вырыли землянки, и в них устроили печи, для лошадей сплели из хвороста с соломой загоны. Те, которые были познатнее и побогаче, ставили себе избы. Особым обозом от военного стояли торговые люди, которых было до трех тысяч. Отовсюду привозили: печеный хлеб, масло, гнали быков, баранов, гусей, водки и пива было изобильно. Поляки приказывали русским в окрестностях курить вино, варить пиво и доставлять в лагерь. Из Литвы, Польши и Московского государства стеклись толпами в Тушино распутные женщины; сверх того, удалцы хватили русских жен и девиц, привозили в лагерь и не иначе отпускали, как за деньги, но часто, отпустивши, гнались за отпущенными и снова хватили, и в другой и в третий раз брали за них деньги. Иные женщины до того осваивались с веселою жизнью в лагере, что когда отцы и мужья выкупали их, то они снова бежали в Тушино. Игра в карты и кости забавляла удалцов и доводила до частых драк и убийств.

Поляки и русские воры, которых отправлял Рожинский по городам, скоро вооружили против себя русских. Сначала вор обещал тарханные грамоты, освобождавшие русских от всяких податей, жители вскоре увидели, что им придется давать столько, сколько захотят с них брать. Из Тушина посылались сборщики запасов, а Сапега из-под Троицы туда же посылал своих сборщиков. Итак, с одного и того же места брали вдвое. Потом являлись предводители команд и еще собирали с крестьян запасы. Разорительна была также доставка подвод, потому что ратные люди, взявши лошадей, не возвращали их хозяину. Наконец, поляки и русские сами собою составляли шайки, нападали на села и неистовствовали над людьми; для потехи истребляли они достояние русского человека, убивали скот, бросали мясо в воду, насиловали женщин и даже недорослых девочек. Были случаи, что женщины, спасаясь от бесчестия, резались и топились на глазах злодеев, а другие бежали от насилия и замерзали по полям и лесам. Поляки умышленно оказывали пренебрежение к святыне, загоняли в церкви скот, кормили собак в алтарях, шили себе штаны из священнических риз, клали мясо на церковную утварь и, разгулявшись, для забавы приказывали монахам и монахиням петь срамные песни и плясать.

Такие поступки ожесточили русский народ; уверенность в том, что в Тушине настоящий Димитрий, быстро исчезала. Спустя три месяца после признания Тушинского вора города с землями одни за другими присягали Шуйскому, собирали ополчения; началась народная война; стали убивать, хватать и топить тушинцев. Из Тушина посылались для умирения народа отряды, которые своими злодеяниями еще более озлобили народ против вора. Между тем с севера шел Скопин с шведской помощью, одерживал верх над тушинцами и своими успехами ободрял народное восстание, а с Волги пришло к нему на помощь другое ополчение, Шереметева. Тушинцы увидели, что их дело проиграно, и старались каким-нибудь образом взять поскорее Москву, где Василия Шуйского не терпели, как и во всей остальной Руси. Они подкупали изменников зажечь город, но покушение это не удалось. С другой стороны им грозил польский король.

Сигизмунд подступил к Смоленску осенью 1609 года и требовал сдачи, прямо заявляя о своем намерении овладеть Московским государством. В ноябре он послал депутатов к войску вора, в Тушино, с тем, чтобы отвлечь поляков от самозванца и привлечь их к своему войску.

Не обращаясь ни к вору, ни к Марине, королевские комиссары вступили в переговоры с Рожинским, Зборовским и другими панами, убеждали оставить обманщика и служить своему королю. Поляки, служившие вору, запросили с короля 20 миллионов злотых, которые им обещал заплатить Димитрий. Начался торг. Несчастный вор, узнавши об этом, попробовал было спросить Рожинского: зачем приехали королевские комиссары? Но Рожинский отвечал ему на это: «А тебе... сын, что за дело? Они ко мне приехали, а не к тебе. Черт тебя знает, кто ты таков! Довольно мы уже тебе служили». Поляки в глаза обзывали самозванца обманщиком и вором и кричали на него так, что он прятался от них. Не приставая пока к королю всем составом войска, находившегося в Тушине, поляки поодиночке переходили на его сторону. Бояре, находившиеся с вором, вместе с митрополитом Филаретом Романовым, которого, взявши в Ростове силою, поневоле держали в Тушине, отрекались разом и от самозванца, и от Шуйского, и заявляли желание отдаться Сигизмунду, с тем только, чтобы православная вера была сохранена ненарушимо.

Когда вор увидел, что ему нет надежды и его могут не сегодня-завтра лишить свободы, – переделся в крестьянское платье, бежал из табора, вместе со своим шутком Кошелевым, в Калугу, и оттуда разослал грамоты, возбуждая русских везде по городам бить поляков, а их имущество свозить в Калугу. Одни говорят, что он сделал это с согласия Марины; другие, – что тайно от нее.

Сначала бегство его произвело большое волнение в таборе, но потом оно содействовало тому, что поляки стали податливее к предложениям комиссаров. Общее волнение всего лучше утишили бывшие в Тушине московские бояре, объявив, что они желают иметь царем Сигизмундова сына Владислава. Поляки решили послать к своему королю депутацию с тем, чтобы выторговать побольше выгод, а московские люди послали из своей среды митрополита Филарета и боярина Салтыкова с товарищами, в числе сорока двух человек, просить на царство Владислава.

После этого Стадницкий написал Марине письмо, не называл ее ни царицею, ни великою княгинею, а просто сендомирскою воеводянкою, уговаривал оставить честолюбивые замыслы и возвратиться в Польшу. Марина отвечала: «Я надеюсь, что Бог, мститель неправды, охранитель невинности, не дозволит моему врагу, Шуйскому, пользоваться плодами своей измены и злодеяний. Ваша милость должны помнить, что кого Бог раз осиял блеском царского величия, тот не потеряет этого блеска никогда, так как солнце не потеряет блеска оттого, что его закрывает скоропреходящее облако».

5-го января Марина отправила письмо из Тушина к королю и писала так: «Если кем на свете играла судьба, то, конечно, мною; из шляхетского звания она возвела меня на высоту московского престола только для того, чтобы бросить в ужасное заключение; только лишь проглянула обманчивая свобода, как судьба ввергнула меня в неволю, на самом деле еще злополучнейшую, и теперь привела меня в такое положение, в котором я не могу жить



спокойно, сообразно своему сану. Все отняла у меня судьба: остались только справедливость и право на московский престол, обеспеченное коронацией, утвержденное признанием за мною титула московской царицы, укрепленное двойною присягою всех сословий Московского государства. Я уверена, что ваше величество, по мудрости своей, щедро вознаградите и меня, и мое семейство, которое достигало этой цели с потерей прав и большими издержками, а это неминуемо будет важною причиною к возвращению мне моего государства в союзе с вашим королевским величеством».

Бояре уехали к Сигизмунду просить Владислава: депутаты от тушинского войска поехали торговаться со своим королем о вознаграждении; они не забыли Марины, и король обещал ей дать удел в Московском государстве.

Но в тушинском лагере началось полное разложение: вор из Калуги требовал казни Рожинского и других, приказывал доставить в Калугу для казни изменников бояр, обратившихся к польскому королю, убеждал служивших ему поляков ехать в Калугу вместе с Мариною и расточал разные обещания. Тогда Марина явилась перед войском с распущенными волосами, плачущая, перебежала от одной ставки к другой, умоляла, заклинала не оставлять ее; «она, – говорит современник, – не останавливалась ни перед какими средствами, противными женской стыдливости». Ее появление довело волнение до междоусобия. Донские казаки и часть польских удальцов вышли из табора, с тем, чтобы идти в Калугу; атаман Заруцкий, впоследствии соединивший свою судьбу с Мариною, был тогда противником ее, он стал останавливать казаков, донес об их намерении Рожинскому, а Рожинский приказал ударить на уходящих казаков оружием. Произошла драка, стоившая жизни двум тысячам людей. Казаки все-таки ушли в Калугу, а с ними отправился князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой и князь Засекин.

Тогда Марина оставила у себя в шатре письмо такого содержания: «Без родителей, без кровных, без друзей и покровителей мне остается спасать себя от последней беды, что готовят мне те, которые должны были бы оказывать защиту и попечение. Меня держат как пленницу. Негодяи ругаются над моею честью: в своих пьяных беседах приравнивают меня к распутным женщинам, за меня торгуются, замышляют отдать в руки того, кто не имеет ни малейшего права ни на меня, ни на мое государство. Гонимая отовсюду, свидетельствуюсь Богом, что буду вечно стоять за мою честь и достоинство. Бывши раз московскою царицею, повелительницею многих народов, не могу возвратиться в звание польской шляхтянки, никогда не захочу этого. Поручаю честь свою и охранение храброму рыцарству польскому. Надеюсь, оно будет помнить свою присягу и те дары, которых от меня ожидают».

Ночью с 16-го на 17-е февраля Марина ускакала из Тушина, переодетая в гусарское платье, с одною служанкою и несколькими казаками. Путь ее лежал в Калугу, но она сбилась с дороги и попала в Дмитров, где был Сапега, который принял ее вежливо. В это время Скопин послал против Сапеги отряд под начальством князя Куракина. Ехать дальше Марине было нельзя. Она поневоле должна была запереться вместе с Сапегою в Дмитрове, и, когда, от сильного напора, осажденные начали падать духом, тогда Марина вышла на стену и сказала: «Смотрите и стыдитесь, я женщина, а не теряю мужество!» К счастью Сапеги и Марины, сами русские не могли долго оставаться под Дмитровом по недостатку запасов. Тогда Марина решила ехать в Калугу к самозванцу.

Сапега сначала ее удерживал: «Не безопаснее ли вам, – говорил он, – воротиться в Польшу к отцу и матери, а то вы попадете в руки Скопина или Делагарди».

«Я царица всей Руси, – отвечала Марина. – Лучше исчезну здесь, чем со срамом возвращусь к моим ближним в Польшу». «Я вас не пушу против вашей воли», – сказал Сапега. «Никогда этого не будет, – ответила Марина. – Я не позволю собою торговать. Если вы меня не пустите, то я вступлю с вами в битву; у меня 350 казаков».

Сапега не стал ее удерживать. Она надела польский красный бархатный кафтан, сапоги со шпорами, вооружилась саблею и пистолетом и отправилась в дорогу. Она ехала до Калуги то верхом, то в санях. Казаки провожали ее до Калуги.

Вслед за тем, спустя месяц, Рожинский, оставшийся еще в Тушине, боялся, что, при

всеобщей неурядице, если нападет на табор Скопин, то будет ему плохо. 15 марта он объявил, что всякий может идти куда хочет, зажег табор и ушел в Волок. Часть казаков тогда же ушла к вору в Калугу; другая, тысяч до трех, пошла за Рожинским. Под Иосифовым монастырем произошло новое междоусобие. В этой суматохе Рожинский упал на каменную лестницу монастыря, зашиб себе бок, заболел и вскоре умер. Большая часть из бывших с ним поляков перешла к королю. Немногие ушли в Калугу. Сапега поехал также к королю, а от короля отправился к вору, и там служившие самозванцу поляки избрали его гетманом.

Недолго оставался вор с Мариною в Калуге, живя сначала в монастыре, а потом в построенном для него дворце. Скопина не стало. Польский гетман Жолкевский разбил наголову войско Шуйского. Народ явно не терпел своего царя. Как только весть об этом дошла в Калугу, вор с Мариной быстро двинулся к Москве. Сапега предводительствовал его полчищами. Высланное Василием войско, под начальством князей Воротынского и Лыкова, не вступало против него в битву; отряд союзных татар, выставленный вперед, бежал. Вор взял Боровск. Кашира и Коломна сдались добровольно. Полчище подошло к Москве. Марина поместилась в монастыре Николая на Угреше, а самозванец, 11 июня, расположился в селе Коломенском. Это было в то время, когда, с другой стороны, шел к столице победитель войск Шуйского, Жолкевский.

Василий был сведен с престола. Гетман Жолкевский расположился с войском на Девичьем поле, на стороне, противоположной той, где стоял вор. Сапега начал колебаться и вместе со сторонниками самозванца попытался в последний раз сойтись с Сигизмундом в пользу самозванца и Марины. Отправили посольство в Смоленск к королю. Вор и Марина делали Сигизмунду выгодные предложения, с условием, что он не станет мешать им овладеть столицей. Они обещали в течение десяти лет платить королю по 300 000 злотых, а королевичу Владиславу по 100 000 злотых, уступить Польше северскую землю, возвратить Польше Ливонию, помогать казною и войском против шведов и быть в готовности против всякого неприятеля, по приказанию польского короля. Паны смеялись над таким предложением; нелепо казалось им оказывать помощь вору во владении Москвою, когда уже Москва отдалась Польше. Тогда послы вора, природные поляки, сказали им: «Мы не запираемся, что человек, который называет себя Димитрием, вовсе не Димитрий, и мы сами не знаем, кто он таков. Было много примеров, когда Бог возвышал людей из низшего звания, как например, Саула или Давида. Он Божие оружие. Больше будет славы и пользы для Польши тогда, когда вы посадите его на московский престол, чем тогда, когда сядет на этот престол Владислав. Бояре выбирают Владислава, а попробуйте заикнуться им, чтобы они уступили Польше московские провинции, увидите, что они вам скажут; а наш князь московский будет совершенный данник Польши и отдаст ей северскую и рязанскую земли, которые и теперь в наших руках. Московский народ привык жить под рабством. Ему нужно такого царя, как наш, а не Владислава, который примет царство с условиями. Мы своего Димитрия посадим на престол без всяких условий, и он будет делать все, что вы захотите». На это паны отвечали:

«Как вы можете сравнивать своего вора с Давидом? Это мерзко и гнусно. Правда, московский народ не любит свободы и готов переносить всякое тиранство, но от природных своих государей, а не от воров. Вы уже видели пример на первом воре. Если вашего вора возвести на престол, то придется вести войну; разве легко усмирить такое пространное государство? А Владиславу оно добровольно отдается!»

Послы объявили, что поляки отступят от вора, пусть только Речь Посполитая заплатит им за прежние услуги; но паны отвечали:

«Невозможно платить вам за то, что вы, без воли Речи Посполитой, нарушая народные права, вторглись в чужое государство и служили у обманщика. Условия вы бы могли предлагать, если бы за вами была какая-нибудь сила!»

Поляки, служившие у вора, получивши такой ответ, рассердились до того, что хотели брать столицу приступом и биться хотя бы с Жолкевским. Между тем сторона вора усиливалась. Из Суздаля, Владимира, Галича стали присылать в его обоз с повинною; в

самой Москве чернь, страшась польского владычества, склонялась к вору. Бояре московские стали умолять Жолкевского, чтобы он вместе с московскими людьми расправился окончательно с вором. Жолкевский обогнул Москву и шел на битву. Сапега вывел против него свое войско. Вор ушел к жене, в Угрешский монастырь. Но прежде чем дошло до битвы между Жолкевским и Сапегою, оба предводителя съехались между собою в виду двух войск. Жолкевский успел склонить Сапегу обещаниями удовлетворить служивших у вора поляков, и Сапега дал слово отступить от самозванца и Марины, но с тем, однако, чтобы вор был обеспечен. Вожди разъехались, и вечером, в тот же день, Жолкевский послал Сапеге письменное условие, в котором обещал именем короля дать самозванцу и Марине в удел Самбор или Гродно, если названный Димитрий удовлетворится этим. Все поляки, служившие у Сапеге, порешили оставить Димитрия и перейти в королевскую службу. Со своей стороны, московские бояре отправили к Сапеге боярина Нагого отвести от вора русских людей и привести к присяге Владиславу. Тогда князья: Федор Долгорукий, Алексей Сицкий, Федор Засекин, а также Михайло Туренин и разные дворяне оставили вора и прибыли в Москву. Только Димитрий Тимофеевич Грубецкой остался при воре.

Когда представили вору и Марине условия, предложенные Жолкевским, Марина сказала польским депутатам:

«Пусть король Сигизмунд даст царю Краков, а царь из милости уступит ему Варшаву». Вор прибавил:

«Лучше я буду служить где-нибудь у мужика и добывать трудом кусок хлеба, чем смотреть из рук его польского величества».

Когда такой ответ передан был Жолкевскому, гетман, с дозволения бояр, двинулся с войском через Москву, с тем, чтобы захватить вора и Марину в монастыре. Но какой-то изменник москвич сообщил об этом вору заранее. Вор с Мариною и ее женскою прислугою, не успевши ничего захватить с собою, убежал в Калугу в сопровождении отряда донцов под начальством атамана Заруцкого. Сапега остался под Москвою; через несколько времени, по настоянию Жолкевского, он отправился в северскую землю приводить ее в подданство Владиславу, где его шайка вооружала против себя жителей своим бесчинством и своеволием. С тех пор Жолкевский, стоя под Москвою, не преследовал более вора, посылал его уговаривать согласиться на предложения Сигизмунда и грозил усмирить его оружием только в случае совершенного непокорства королевской воле. Многим московским людям не нравилось такое великодушие и было одним из поводов к неудовольствию против поляков. К концу 1610 года взаимные недоразумения между поляками и русскими возросли уже до сильной степени. Во многих городах не хотели признавать королевича и признавали Димитрия, не потому, чтобы в самом деле верили в последнего, а потому, чтобы иметь какой-нибудь значок против поляков. Вор и Марина послали в Москву какого-то попа Харитона возмущать бояр. Этот поп попался в руки поляков, был подвергнут пытке и наговорил на князей Воротынского и Андрея Голицына, которых Гонсевский, заступивший место Жолкевского, посадил под стражу. Это обстоятельство усилило раздражение русских против поляков и способствовало успеху партии Димитрия. Но в декабре с вором случилось трагическое событие.

Касимовский царь Ураз-Махмет (называемый у нас Ур-Мамет) пристал к вору еще в Тушине, а когда вор убежал из Тушина, он приехал служить Жолкевскому, но его сын и бабка поехали за вором в Калугу. Касимовскому царю понравилось у поляков, и он, поживши несколько недель под Смоленском, отправился в Калугу, с намерением отвлечь сына от вора. Убеждая сына перейти к полякам, сам он прикидывался перед вором, будто предан ему по-прежнему; но сын подружился с вором искренно и сообщил ему правду о своем родителе. Вор пригласил касимовского царя на охоту и в присутствии двух приверженцев своих убил его собственноручно. Тело было брошено в Оку. Вор после этого кричал, что касимовский царь хотел убить его, но не успел и убежал куда-то. После того вор подавал делу такой вид, будто Ураз-Махмет пропал без вести. Но за касимовского царя явился мстителем его друг, крещеный татарин Петр Урусов. Он упрекнул вора убийством

касимовского царя. Вор посадил Урусова в тюрьму и держал шесть недель, а в начале декабря 1610 г., по просьбе Марины, простил, обласкал и приблизил к себе. 10 декабря вор, вместе с Урусовым и несколькими русскими и татарами, отправился на прогулку за Москву-реку. Некогда трезвый, в это время вор страшно пьянствовал и, едучи в санях, беспрестанно кричал, чтобы ему подавали вино. Урусов, следовавший за ним верхом, ударил его саблей, а меньшей брат Урусова отсек ему голову. Тело раздели и бросили на снег. Урусовы с татарами убежали. Русские, провожавшие вора, прискакали в Калугу и известили Марину.

Марина, ходившая тогда на последних днях беременности, привезла на санях тело вора и ночью, с факелом в руке, бегала по улицам, рвала на себе волосы и одежду, с плачем молила о мщении. Калужане не слишком чувствительно отнеслись к ней. Она обратилась тогда к донцам. Ими начальствовал Заруцкий: он воодушевил казаков; они напали на татар и перебили до 200 человек. Через несколько дней Марина родила сына, которого назвала Иваном. Она требовала ему присяги как законному наследнику русского престола. Ян Сапега, узнавши, что вора не стало, подступил к Калуге и требовал сдачи на имя короля. Донцы вступили с ним в бой, а калужане известили его, что они целуют крест тому, кто на Москве будет королем. Марина написала Сапеге такое письмо: «Ради Бога избавьте меня. Мне, быть может, каких-нибудь две недели осталось жить на свете. Избавьте меня, избавьте, Бог вам заплатит!»

Сапеге нечего было делать под Калугою, так как Калуга признала Владислава. Он оставил Марину.

Смерть вора лишила многие города знамени, под которым они сопротивлялись полякам, и это послужило к возрождению нравственной силы народа. Прокопий Ляпунов взывал к русскому народу во имя спасения отечества уже без всякого обмана, и русские люди присягали стоять за православную веру и Московское государство, с тем, чтобы впоследствии, очистивши свою землю от поляков и литовцев, служить тому царю, кого, по Божьему соизволению, выберут всею землею. Но предводитель восстания принимал к себе всех без исключения, лишь бы только было побольше ратной силы: поэтому он не отказал и Заруцкому и Трубецкому, когда они изъявили согласие служить русскому делу. Заруцкий, выехавши из Калуги с Мариною, оставил Марину в Туле, а сам прибыл в Рязань, где условился с Ляпуновым, возвратился в Тулу и стал собирать казаков. Неизвестно: была ли Марина с Заруцким под Москвою во время страшного пожара, истребившего столицу в конце марта 1611 года, но, вероятно, она находилась впоследствии в стане под Москвою в то время, когда Ляпунов, Заруцкий и Трубецкой избраны были главными предводителями и правителями русской земли. Ляпунов был руководителем всего дела, и ни Заруцкий, ни Марина не смели заикнуться о присяге малолетнему сыну Марины. Заруцкий не терпел Ляпунова и вооружал против него казаков. Еще более не терпела его Марина. 25 июля Ляпунов был убит казаками.

С тех пор Марина смело уже могла заявлять о правах своего сына. Заруцкий и Трубецкой провозгласили этого младенца наследником престола, присягнули ему, требовали от русских людей ему верности и именем его бились с поляками. Они со своим полчищем стояли под Москвою; Марину поместили в Коломне. Казацкие шайки свирепствовали по русской земле. Между тем в Астрахани убийца Тушинского вора Урусов подставил какого-то еще Димитрия, а в Иван-городе провозгласил себя Димитрием вор Сидорка, бывший московский дьякон, был признан во Пскове и утвердился в этом городе. Казаки под Москвою, услышавши о псковском Димитрии, провозгласили его царем. Заруцкий тотчас пристал к ним; и князь Трубецкой, из угождения казакам, также признал псковского самозванца, желая сохранить влияние на дела.

Но в Нижнем, осенью, начало составляться новое земское ополчение с целью освобождения Москвы как от поляков, так равно и казаков, воевавших с поляками. Предводителем избран князь Димитрий Михайлович Пожарский. Всю зиму составлялось это ополчение, а раннею весною двинулось медленно, присоединяя к себе город за городом, и в апреле остановилось в Ярославле. Марина и Заруцкий чувствовали, что на них идет гроза. В

грамотах, которые рассылал Пожарский, выразительно было заявлено, чтобы отнюдь не признавать ни Маринкина сына, ни того вора, который проявился во Пскове. Марина отправила посла в Персию, чтобы заключить союз и вооружить Персию против русских, но этот посол попался в руки Пожарского. В мае псковичи, недовольные своим воровым насилием и распутством, посадили его в тюрьму, а в июле отправили в кандалах в Москву: по одним известиям, его убили дорогой казаки, а по другим – его казнили под Москвою. Князь Трубецкой открыто отступил от Заруцкого и Марины и звал Пожарского в Москву. Заруцкий с Мариною прибегли к последнему средству, подкупили убийцу извести Пожарского, но казак Стенька, взявший на себя это поручение, вместо того, чтобы зарезать в толпе Пожарского, промахнулся, обрезал ногу казаку Роману, своему товарищу, был схвачен и сознался. Пожарский не казнил убийцу, а приказал везти их к Москве для обличения Заруцкого. Земское ополчение по частям прибывало к Москве. В казацком таборе господствовало несогласие. Не дожидаясь прибытия Пожарского, Заруцкий с отрядом верных ему казаков 17 июня убежал в Коломну, где жила Марина. Остальные казаки перешли под начальство Трубецкого.

Когда земское ополчение приближалось к Москве и в Коломне казалось небезопасным, Заруцкий с Мариною ограбили город, убежали в Михайлов и там оставались несколько месяцев.

В октябре 1612 года Москва была освобождена от поляков. В феврале 1613 года съехавшиеся в Москву для избрания царя выборные люди прежде всего заявили единодушно, чтобы отнюдь не выбирать законопреступного сына Марины. На престол был избран Михаил Федорович Романов: Заруцкий и Марина между тем рассылали грамоты, требуя присяги малолетнему сыну Марины, Ивану Димитриевичу. Великорусские казаки в большинстве обращались к новоизбранному землею Михаилу; но на московской земле бродило тогда много черкас (малорусских казаков): они были чужды Московскому государству и готовились терзать его. Они теперь составили силу Заруцкого.

Еще с дороги, едуци из Костромы в Москву, новый царь назначил против Заруцкого главным воеводою князя Ивана Никитича Одоевского и приказал сходить к нему из разных городов воеводам с их силами. Заруцкий с Мариною перешли из Михайлова в Лебедянь. Одоевский двинулся против него с войском. Заруцкий со своею неизменною спутницею бежали в Воронеж, Одоевский погнался за ними. Под Воронежем, в конце 1613 года, произошла кровопролитная битва, продолжавшаяся два дня. Воровское полчище было разбито, потеряло весь свой обоз и знамена. Заруцкий с Мариною убежали за Дон. Одоевский не преследовал их и сделал тем большую ошибку.

Заруцкий с Мариною убежали в Астрахань; там нашли они последний притон. Они убили астраханского воеводу Хворостинина, склонили на свою сторону нагайских татар и затевали широкое дело: вооружить против Руси персидского шаха Аббаса, втянуть в войну и Турцию, поднять волжских казаков, возбудить всех удалцов на Руси, привыкших к смутам и потому недовольных восстановившимся порядком. С этой целью они разослали так называемые «прелестные письма» к волжским и донским казакам. Но донские казаки решительно не поддались их увещаниям. Из волжских пришли к ним только два атамана, для которых, по их собственным словам, было все равно куда ни идти, лишь бы зипуны наживать. Другие выманивали у них деньги, давали обещания, но не думали исполнять обещаний. Всю зиму Заруцкий готовил лошадей и запасы, намереваясь весною идти вверх по Волге. Марина жила в каменном городе (кремле) в постоянном страхе: она не приказывала звонить рано к заутрени, под предлогом, чтобы ее сын не пугался звона, а на самом деле боялась набата.

В марте снаряжено было большое войско, под начальством того же князя Одоевского, а в товарищи ему придан был окольный Семен Головин, шурина и сподвижник Михаила Скопина-Шуйского. Но перед началом решительных действий царь отправил к Заруцкому грамоту, в которой исчислил преступления его и Марины, и в заключение говорил:

«Вспомни Бога и душу свою и нашу православную христианскую веру; сам видишь

Божью милость на нас, великом государе, и на всем великом государстве и над врагами нашими победу и одоление, отстань от своих непригожих дел, не учиняй кровопролития в наших государствах, не губи души и тела своего, добей челом и принеси вину свою нам, великому государю, а мы, государь, по своему царскому милостивому нраву, тебя пожалуем, вины свои все тебе простим и покроем нашим царским милосердием; и вперед вины твои никогда помянуты не будут; а вот тебе и наша царская опасная грамота!» Такая же грамота послана была Заруцкому от собора, где подробнее исчислялись вины Заруцкого, а в заключение все духовенство ручалось за истину царского слова. Без сомнения, писавшие были уверены, что эти увещания ни к чему не послужат, а потому, в то же время, послали грамоты донским и волжским казакам и жителям Астрахани, с убеждением отстать от Заруцкого и Марины, которую называли «главною заводчицею» всего зла, нанесенного русской земле.

Но прежде чем снаряженному войску пришлось укрощать Заруцкого в Астрахани, на страстной неделе в 1614 году произошло междоусобие между волжскими казаками, пришедшими служить сыну Марины, и астраханцами. Астраханцы отступились от «воровства» и провозгласили царем Михаила Федоровича. Заруцкий с 800 человек заперся в каменном городе. Город Терск, приставший было также к Марине, отступил от нее, и тамошний воевода Головин отправил астраханцам на помощь стрельцов, под начальством Василия Хохлова. Заруцкий, сообразивши, что ему не сдобровать, перед прибытием Хохлова прорвался ночью, вместе с Мариною, из каменного города, сел на струги и поплыл из Астрахани вверх по Волге, потому что снизу плыл в Астрахань Хохлов. 13 мая, утром, Хохлов прибыл в Астрахань, и все жители, при звоне колоколов, целовали крест царю Михаилу. 14 мая, на заре, Заруцкий с Мариною думали проскользнуть по Волге мимо Астрахани и убежать в море; но Хохлов вместе с астраханцами и стрельцами ударил на них; бывшие с Заруцким воровские казаки разбежались по камышам: многие попались в плен; тогда взяли также польку Варвару Казановскую, подругу Марины, но Заруцкого и Марины не успели схватить; они воспользовались извилистым руслом Волги, и стрельцы не могли скоро сообразить, куда они скрылись.

29 мая один стрелец, бывший на рыбном учуге, известил, что видел Заруцкого с Мариною. По этому известию Хохлов отправил на указанное место погоню, но узнал, что беглецы, выплывши в море, повернули в Яик. 1 июня прибыл в Астрахань Одоевский и тотчас отправил самого Хохлова с вестью в Москву, а 7 июня выслал на Яик отряд под начальством стрелецких голов: Гордея Пальчикова и Севастьяна Онучина. Посланные, плывя вверх по Яику, нападали на след, где останавливались Заруцкий с Мариной, и 24 июня наткнулись на воровской табор: он стоял на Медвежьем острове, посреди лесистых берегов Яика. С Заруцким и Мариною было до 600 волжских казаков. Они сделали на острове острог. Всем заправлял атаман Треня Ус, ни в чем не давал никакой воли Заруцкому и Марине; он даже отнял у последней сына и держал при себе.

Стрельцы осадили воров. Казаки не ожидали гостей, не вступили в битву со стрельцами, на другой же день связали Заруцкого и Марину и выдали с сыном да с каким-то чернецом Николаем, а сами объявили, что целуют крест царю Михаилу Федоровичу. Треня Ус убежал и несколько времени после того разбойничал.

Пленников привезли в Астрахань, а 13 июля Одоевский отправил их поодиночке вверх по Волге. Марину с сыном вез стрелецкий голова Михайло Соловцов с 500 человек самарских стрельцов. Марину везли связанною. В наказе, данном Соловцову, приказано было убить ее вместе с сыном, если нападут на них воровские люди, с целью отбить преступницу. В таком виде прибыла Марина в Москву, куда восемь лет тому назад въезжала с таким великолепием в первый раз в жизни, надеясь там царствовать и принимать поклонение.

Четырехлетнего сына Марины повесили всенародно за Серпуховскими воротами; Заруцкого посадили на кол. По известию русских, сообщенному поляками при размене пленных, Марина умерла в Москве, в тюрьме, от болезни и «с тоски по своей воле». В

народной памяти она до сих пор живет под именем «Маринки безбожницы, еретицы». Народ воображает ее свирепую разбойницу и колдуньей, которая умела, при случае, обращаться в сороку.

## Глава 26 Василий Шуйский

Печальные обстоятельства предшествующей истории наложили на великорусское общество характер азиатского застоя, тупой приверженности к старому обычаю, страх всякой новизны, равнодушие к улучшению своего духовного и материального быта и отвращение ко всему иноземному. Но было бы клеветой на русский народ утверждать, что в нем совершенно исчезла та духовная подвижность, которая составляет отличительное качество европейских племен, и думать, что русские в описываемое нами время неспособны были вовсе откликнуться на голос, вызывающий их на путь новой жизни. Умные люди чувствовали тягость невежества; лица, строго хранившие благочестивую старину, сознавали, однако, потребность просвещения, по их понятиям, главным образом религиозно-нравственного; думали о заведении школ и распространении грамотности. Люди, с более смелым умом, обращались прямо к иноземному, чувствуя, что собственные средства для расширения круга сведений слишком скудны. Несмотря на гнет того благочестия, которое отплевывалось от всего иноземного, как от дьявола, в Москве, по известию иностранцев, находились лица, у которых стремление к познаниям и просвещению было так велико, что они выучивались иностранным языкам с большими затруднениями, происходившими как от недостатка руководств и руководителей, так и от преследования со стороны тех, которые готовы были заподозрить в этом ересь и измену отечеству. Так, Федор Никитич Романов, нареченный по пострижении Филаретом, учился по-латыни; поляки в Москве видели людей, выучившихся тайком иностранным языкам и с жадностью хватавшихся за чтение. Афанасий Власов, рассмешивший поляков своими простодушными выходками, в то же время удивил их чистым латинским произношением, показывавшим, что язык латинский был ему знаком. О многих из Ивановых жертв Курбский говорит как о людях ученых и начитанных по своему времени, и сам Курбский своим собственным примером доказывает, что московские люди XVI-го века не оставались совершенно неспособными понять пользу просвещения и необходимость сближения с иноземцами. У нас думали, что названный царь Димитрий вооружил против себя русский народ своей привязанностью к иноземцам, пренебрежением к русским обычаям и равнодушием к требованиям тогдашнего благочестия. Но взглядываясь ближе в смысл событий, увидим не то: поведение Димитрия действительно не могло нравиться строгим блюстителям неподвижности, но никак не большинству, не массе народа; так же, как и впоследствии великий преобразователь Руси, хотя и встретил против себя сильное, упорное и продолжительное противодействие, но никак не от всех, а, напротив, нашел немало искренних сторонников и ревнителей своих преобразовательных планов: иначе бы, конечно, он и не успел. Гибель названного Димитрия была делом не русского народа, а только заговорщиков, воспользовавшихся оплошностью жертвы; это доказывается тем, что народ русский тотчас же обольстился вестью, что царь его, спасенный раз в детстве в Угличе, спасся в другой раз в Москве; народ русский почти весь последовал за тенью Димитрия, до тех пор, пока не убедился, что его обманывали и Димитрия нет на свете. Самый способ убийства показывает, что народ был далек от того, чтоб погубить своего царя за его приемы, несогласные с приемами прежних царей. Шуйский вооружил народ против поляков именем того же царя и таким обманом отвлек его внимание от Кремля. Число участников Шуйского не могло быть велико; оттого-то Шуйский накануне убийства поспешил удалить из сотни караульных семьдесят человек: очевидно, он боялся не сладить с целой сотней. Таким образом, убийство Димитрия было вовсе не народным делом.

Кто бы ни был этот названный Димитрий и что бы ни вышло из него впоследствии, несомненно, что он для русского общества был человек, призывавший его к новой жизни, к

новому пути. Он заговорил с русскими голосом свободы, настежь открыл границы прежде замкнутого государства и для въезжавших в него иностранцев и для выезжавших из него русских, объявил полную веротерпимость, предоставил свободу религиозной совести: все это должно было освоить русских с новыми понятиями, указывало им иную жизнь. Его толки о заведении училищ оставались пока словами, но почва для этого предприятия уже готовилась именно этой свободой. Объявлена была война старой житейской обрядности. Царь собственным примером открыл эту борьбу, как поступил впоследствии и Петр, но названный Димитрий поступал без того принуждения, с которым соединялись преобразовательные стремления последнего. Царь одевался в иноземное платье, царь танцевал, тогда как всякий знатный родовитый человек Московской Руси почел бы для себя такое развлечение крайним унижением. Царь ел, пил, спал, ходил и ездил не так, как следовало царю по правилам прежней обрядности; царь беспрестанно порицал русское невежество, выхвалял перед русскими превосходство иноземного образования. Повторяем: что бы впоследствии ни вышло из Димитрия – все-таки он был человек нового, начинающегося русского общества.

Враг, погубивший его, Василий Шуйский был совершенною противоположностью этому загадочному человеку. Трудно найти лицо, в котором бы до такой степени олицетворялись свойства старого русского быта, пропитанного азиатским застоём. В нем видим мы отсутствие предприимчивости, боязнь всякого нового шага, но в то же время терпение и стойкость – качества, которыми русские приводили в изумление иноземцев; он гнул шею пред силою, покорно служил власти, пока она была могуча для него, прятался от всякой возможности стать с ней в разрезе, но изменял ей, когда видел, что она слабела, и вместе с другими топтал то, перед чем прежде преклонялся. Он бодро стоял перед бедою, когда не было исхода, но не умел заранее избегать и предотвращать беды. Он был неспособен давать почин, избирать пути, вести других за собою. Ряд поступков его, запечатленных коварством и хитростью, показывает вместе с тем тяжеловатость и тупость ума. Василий был суеверен, но не боялся лгать именем Бога и употреблять святыню для своих целей. Мелочной, скупой до скряжничества, завистливый и подозрительный, постоянно лживый и постоянно делавший промахи, он менее, чем кто-нибудь, способен был приобрести любовь подвластных, находясь в сане государя. Его стало только на составление заговора, до крайности грязного, но вместе с тем вовсе не искусного, заговора, который можно было разрушить при малейшей предосторожности с противной стороны. Знатность рода помогла ему овладеть престолом, главным образом оттого, что другие надеялись править его именем. Но когда он стал царем, природная неспособность сделала его самым жалким лицом, когда-либо сидевшим на московском престоле, не исключая и Федора, слабоумие которого покрывал собой Борис. Сама наружность Василия была очень непривлекательна: это был худенький, приземистый, сгорбленный старичок, с большими подслеповатыми глазами, с длинным горбатым носом, большим ртом, морщинистым лицом, редкою бородкою и волосами.

Василию, при вступлении на престол, было уже за пятьдесят лет. Молодость свою провел он при Грозном и решительно ничем не выказал себя. Когда родственники его играли важную роль в государстве, Василий оставался в тени. Опала, постигшая его родного брата Андрея, миновала Василия. Борис не боялся его, вероятно, считая его ничтожным по уму и притом всегдашним угодником силы; говорят, однако, Борис запрещал ему жениться, как и Мстиславскому. Василий все терпел и повиновался беспрекословно. Посланный на следствие по поводу убийства Димитрия, Василий исполнил это следствие так, как нужно было Борису и как, вероятно, ожидал того Борис. Явился Димитрий. Борис послал против него Шуйского, и Василий верно служил Борису. Бориса не стало. При первом народном восстании против Годуновых в Москве, Василий выходил на площадь, уговаривал народ оставаться в верности Годуновым, уверял, что царевича нет на свете и человек, назвавшийся его именем, есть Гришка Отрепьев. Но когда после того воззвание, прочитанное Пушкиным с лобного места, взволновало народ до того, что можно было ясно видеть непрочность



Годуновых, Шуйский, призванный решить вопрос о подлинности Дмитрия, решил его в пользу претендента и окончательно погубил несчастное семейство Годуновых.

Само собою разумеется, что если кто из бояр был вполне уверен, что названный Дмитрий не действительный сын царя Ивана, то, конечно, Василий Шуйский, видевший собственными глазами труп убитого царевича. С Шуйским были в приязни московские торговые люди: это была старая фамильная приязнь; и в то время, когда Шуйские хотели развести Федора с женою, они опирались на торговых людей. Торговые люди были вхожи в дом Василия, и вот одному из них Федору Коневу с товарищами Шуйский сообщает, что царь вовсе не Дмитрий, возбуждает опасение, что этот царь изменяет православию, что у него с Сигизмундом и польскими панами поставлен уговор разорить церкви и построить вместо них костелы, указывает на то, что некрещеные поляки и немцы входят в церковь, что при дворе соблюдаются иноземные обычаи, что настанет великая беда старому благочестию. Торговые люди начали болтать о том, что слышали от большого боярина, попались и выдали Шуйского. Не царь, а народный суд всех сословий приговорил Василия к смерти. С терпением и мужеством Василий пошел на казнь и, не ожидая спасения, бестрепетно сказал народу: «Умираю за веру и правду!» Палач хотел с него снять кафтан и рубаху с воротом, унизанным жемчужинами. Князь, потомок Св. Владимира, с гордостью и достоинством воспротивился, говоря: «Я в ней отдам Богу душу». Великодушие названного Дмитрия спасает его от смерти. Он отправлен в Вятку, но только что успел прибыть в этот город, как царский гонец привозит ему известие о возвращении ему боярского сана и всех прежних вотчин. Шуйский притворяется верным слугою Дмитрия, склоняется перед ним так же, как склонялся перед Годуновым, и кто знает, как долго оставался бы он в этом положении, если бы сам Дмитрий своею крайнею неосторожностью не подал ему повода составить заговор. Не обладая способностью давать почин важному делу, Шуйский составил заговор потому, что уже чересчур было легко его составить. Приезд поляков, наглое поведение пришельцев и чересчур явное нарушение обычного хода жизни в Москве, соблазнившее строго благочестивых людей, естественно образовали кружок недовольных. Старым боярам не нравилось стремление царя к нововведениям и к иноземным обычаям, при котором им, детям старой Руси, не представлялось играть первой роли. Торговые, зажиточные люди свыклись со своим образом жизни; их беспокоило то, что делалось перед их глазами и грозило нарушить вековой застой; притом же, в их домах поставили «нечестивую Литву», которая нахально садилась им на шею. Наконец, можно было найти недовольных и между служилыми, которых пугала предпринимаемая война с турками и татарами. Шуйскому легко было собрать их к себе, когда над его действиями не только не было надзора, но даже запрещалось иметь его. Голос Шуйского не мог остаться без внимания, когда он говорил собранным у него гостям то, что у них самих шевелилось на душе. Знатность его рода, как старейшей отрасли Св. Александра Невского, содействовала уважению к его речам, также как и достоинство боярина, старого по летам и по службе. При всем том, однако, он нашел очень мало соумышленников; видно, что находились между ними и такие, которые тогда же думали предать его с заговорщиками. За недостатком соумышленников, Шуйский выпустил из тюрем преступников: подобные товарищи естественно готовы были исполнять всякое дело. Малейшее внимание царя к тому, что делалось вокруг него, уничтожило бы все замыслы Шуйского. Разделавшись с Дмитрием, Шуйский бросился умирять народ, возмущенный им же против поляков во имя царя, но москвичи успели уже перебить до четырехсот человек пришельцев, сопровождая свое убийство самыми неистовыми варварствами, нападали на сонных и безоружных и не только убивали, но мучили: отсекали руки и ноги, выкалывали глаза, обрезали уши и носы, ругались над женщинами, обнажали их, гоняли по городу в таком виде и били. С большим трудом Шуйский и бояре остановили кровопролитие и всякие неистовства. Народ в этот день до того перепился, что не мог долго дать себе отчета в происходившем. Волей-неволей народ сделался участником убийства названного Дмитрия. Возвратить потерянного уже нельзя было. Народ молчал в каком-то оцепенении. Через три дня бояре согласились выбрать Шуйского в цари, с тем, что он будет

править не иначе, как с согласия бояр. Созвали народ на площадь звоном колокола. Приверженцы Шуйского немедленно «выкрикнули» его царем. Некоторые заявили, что следует разослать во все московские города грамоты, чтобы съехались выборные люди для избрания царя; но бояре решили, что этого не нужно, и сейчас же повели Василия в церковь, где он дал присягу управлять согласно боярским приговорам, никого не казнить без воли бояр, не отнимать у родственников осужденных служилых людей вотчин, а у гостей и торговых людей лавок и домов, и не слушать ложных доносов. После произнесения Шуйским этой присяги, бояре сами присягнули ему в верности.

Немедленно разослана была по всем городам грамота, извещавшая, будто, по приговору всех людей Московского государства, и духовных и светских, избран на престол князь Василий Иванович Шуйский, по степени прародителей происходящий от Св. Александра Невского и суздальских князей. О бывшем царе сообщалось, что богоотступник, еретик, чернокнижник, сякой-такой сын Гришка Отрепьев, прельстивши московских людей, хотел, в соумышлении с папой, Польшей и Литвой, поправить православную веру, ввести латинскую и лютерскую и вместе с поляками намеревался перебить бояр и думных людей. Одновременно разослана была грамота от имени царицы Марфы, извещавшая о том, что ее сын убит в Угличе, а она признала вора сыном поневоле, потому что он угрожал ей и всему ее роду смертным убийством. В заключение, вдовствующая царица объявляла, что она, вместе с другими, била Василию челом о принятии царского сана. До какой степени на самом деле уважал царь Василий мать Дмитрия, показывает ее просьба к польскому королю, писанная по низложению Шуйского, в которой инокиня Марфа жалуется, что Шуйский держал ее в неволе и даже не кормил, как следует.

Первым делом Шуйского, после рассылки грамот, было перевезти тело царевича Дмитрия в Москву. За этим телом в Углич поехал митрополит Филарет Никитич с двумя архимандритами, двое Нагих: Григорий и Андрей, князь Иван Михайлович Воротынский и Петр Никитич Шереметев. 1-го июня Василий венчался на царство, а 3-го июня перевезены мощи Дмитрия и поставлены в Архангельском соборе. В грамоте, разосланной по поводу явления нового святого, было сказано, что царица Марфа всенародно каялась в том, что поневоле признавала вора Гришку сыном, а смерть царевича Дмитрия прямо приписана была Борису Годунову. Для большего убеждения народа на лобном месте показывали родных Гришки Отрепьева. Но всему этому не верили тогда в Московском государстве, и, в день открытия мощей, народ чуть было не взбунтовался и не убил камнями Шуйского. Даже те, которые сомневались в подлинности бывшего царя Дмитрия, не верили, чтоб он был Гришка, а считали его поляком, которого подготовили иезуиты, научили по-русски и пустили играть роль Дмитрия. На патриаршеский престол, вместо низверженного Игнатия, был поставлен казанский митрополит Гермоген, отличавшийся в противоположность прежнему патриарху фанатической ненавистью ко всему иноверному. Страшась мести со стороны Польши за перебитых в Москве поляков, Шуйский с боярами рассудили, что лучше всего задержать у себя всех поляков и даже послов Сигизмунда, Олесницкого и Гонсевского, а между тем послать своих послов в Польшу и выведать там, что намерены делать поляки.

Не долго Шуйскому пришлось утешаться безопасностью. В Москве происходили волнения; 15 июня, в воскресенье, сделался шум и бунт. Шуйский подозревал, что это происходит от козней знатных лиц, созвал в Кремль думных людей и стал спрашивать: «Кто это из вас волнует народ? Зачем вымышляете разные коварства? Коли я вам нелюб, я оставлю престол, возьмите мой царский посох и шапку, выбирайте, кого хотите». Думные люди уверяли, что они верны в своем крестном целовании. «Так наказывайте виновных», – сказал Шуйский. Думные люди вышли на площадь и уговорили народ разойтись. Пятерых крикунов схватили, высекли кнутом и сослали.

Но то было только начало смуты. Через два месяца на юге разнесся слух, что Дмитрий жив и убежал в Польшу. Вся северская земля, Белгород, Оскол, Елец провозгласили Дмитрия. Ратные люди, собранные под Ельцом прежним царем, не хотели повиноваться Шуйскому, избрали предводителем Истому Пашкова и присягнули все до единого стоять за

законного царя Дмитрия. В Комарницкой волости Болотников возвестил, что он сам видел Дмитрия и Дмитрий нарек его главным воеводой. Болотников был взят еще в детстве в плен татарами, продан туркам, освобожден венецианцами, жил несколько времени в Венеции и, возвращаясь в отечество через Польшу, виделся с Молчановым, который уверил его, что он Дмитрий. Болотников, никогда не выдавший царя Дмитрия, действовал с полной уверенностью, что стоит за законного государя. Он начал возбуждать боярских людей против владельцев, подчиненных против начальствующих, безродных против родовитых, бедных против богатых. Его грамоты произвели мятеж, охвативший Московское государство подобно пожару. В Вене, Туле, Кашире, Алексине, Калуге, Рузе, Можайске, Орле, Дорогобуже, в Зубцове, Ржеве, Старице провозгласили Дмитрия. Дворяне Ляпуновы подняли, именем Дмитрия, всю рязанскую землю. Возмутился город Владимир со всей своей землей. Во многих поволжских городах и в отдаленной Астрахани провозгласили Дмитрия. Только Казань и Нижний Новгород еще держались кое-как за Шуйского. В пермской земле отказали Василию давать ратных людей, служили молебны о спасении Дмитрия и пили чаши за его здоровье. Новгород и Псков оставались пока верными Шуйскому, но псковские пригороды стояли за Дмитрия. Если бы в это время на самом деле явился человек с именем Дмитрия, то вся русская земля пошла бы за ним. Но он не являлся, и многие сомневались в справедливости слухов об его спасении, а потому и не решались открыто отпасть от царствовавшего в Москве государя. Тем не менее к Болотникову стеклась огромная толпа. Он из северской земли двинулся к Москве: города сдавались за городами. 2 декабря Болотников был уже в селе Коломенском. К счастью Шуйского, в полчище Болотникова сделалось раздвоение. Дворяне и дети боярские, недовольные тем, что холопы и крестьяне хотят быть равными им, не видя притом Дмитрия, который бы мог разрешить между ними споры, стали убеждаться, что Болотников их обманывает, и начали отступать от него. Братья Ляпуновы первые подали этому отступлению пример, прибыли в Москву и поклонились Шуйскому, хотя не терпели его. Болотников был отбит Скопиным-Шуйским и ушел в Калугу.

Избавившись от осады, Шуйский, по совету с патриархом Гермогеном, пригласил в Москву бывшего патриарха Иова. 20 февраля 1607 года последний разрешил народ от клятвы, наложенной им за нарушение крестного целования Борису. Еще прежде того Шуйский приказал перевезти тела Бориса, его жены и сына и похоронить в Троицко-Сергиевом монастыре. Этими поступками хотел Шуйский примириться с прошлым и тем придать своей власти более законности. Но с наступлением лета силы Болотникова опять начали увеличиваться пришедшими казаками. Явился новый самозванец, родом муромец, незаконный сын «посадской женки», Илейка, ходивший прежде в бурлаках по Волге. Он назвал себя царевичем Петром, небывалым сыном царя Федора; с волжскими казаками пристал он к Болотникову. После нескольких битв, Шуйский осадил Болотникова и названного Петра в Туле. Какой-то муромец Мешок Кравков сделал гать через реку Упу и наводнил всю Тулу: осажденные сдались. Шуйский, обещавши Болотникову пощаду, приказал ему выколоть глаза, а потом утопить. Названного Петра повесили; простых пленников бросали сотнями в воду, но бояр, князей Телятевского и Шаховского, бывших с Болотниковым, оставили в живых.

Воротившись в Москву, Шуйский думал, что теперь для него наступила пора успокоиться, и женился на княжне Марье Петровне Буйносовой-Ростовской, с которой обручился еще при жизни названного царя Дмитрия. Новые тревоги не давали ему отдохнуть: вместо повешенного названного Петра явилось несколько царевичей. В Астрахани явился царевич Август, называвший себя небывалым сыном царя Ивана Васильевича от жены Анны Колтовской; потом там же явился царевич Лаврентий, также небывалый сын убитого отцом царевича Ивана Ивановича. В украинских городах явилось восемь царевичей, называвших себя разными небывалыми сыновьями царя Федора (Федор, Ерофей, Клементий, Савелий, Семен, Василий, Гаврило, Мартын). Все эти царевичи исчезли так же быстро, как появились. Но в северской земле явился наконец долгожданный Дмитрий и, весной 1608

года, с польской вольницей и казаками двинулся на Москву. Дело его шло успешно. Ратные люди изменяли Шуйскому и бежали с поля битвы. Новый самозванец, в начале июля 1608 года, заложил свой табор в Тушине, от чего и получил у противников своих название Тушинского вора, оставшееся за ним в истории. Города и земли русские одни за другими признавали его. Полчище его увеличивалось с каждым часом.

Переговоры Шуйского с Польшей должны были решить, чего нужно было Московскому государству ждать от польского правительства. Переговоры эти шли очень медленно. Задержавши в 1606 году польских послов Олесницкого и Гонсевского, Василий отправил князя Григория Волконского с объяснениями. Волконский пробыл в Польше больше года и натерпелся там всяких упреков и оскорблений. Вслед за тем, в октябре 1607 года, прибыли новые польские послы (Друцкий-Соколинский и Витовский) в Москву. Переговоры с ними шли до июля 1608 года и наконец кончились тем, что обе стороны заключили перемирие на три года и одиннадцать месяцев, а в продолжение этого времени Польша обязалась не помогать никаким самозванцам и запретить всем полякам поддерживать Тушинского вора. Со своей стороны, царь Василий отпускал всех задержанных поляков, с условием, чтобы они не сносились с теми из своих соотечественников, которые находились в тушинском таборе; Марина не именовала бы себя царицей, а Мнишек не называл бы своим зятем Тушинского вора.

Но в противность этим условиям, Мнишек с Мариной и другими поляками очутились в тушинском таборе. Марина всенародно признала вора своим мужем, большая часть русских городов и земель опять отпала от Шуйского и провозгласила Дмитрия. В таких печальных обстоятельствах Шуйский обратился за помощью к шведам. Положение царя Василия в Москве было самое жалкое. Никто не уважал его. Им играли, как ребенком, по выражению современников. Шуйский то обращался к церкви и к молитвам, то призывал волшебниц и гадалщиц, то казнил изменников, но только незнатных, то объявлял москвичам: «Кто мне хочет служить, пусть служит, а кто не хочет служить – пусть идет: я никого не насилую». Москвичи уверяли своего царя в верности, а потом многие перебежали в Тушино; побывавши в Тушине, ворочались в Москву: поживши в Москве, опять бежали в Тушино; беглец, явившийся в Тушино, целовал крест Дмитрию и получал от него жалованье, а вернувшись в Москву, целовал крест Василию и от него получал также жалованье. Чтобы отвадить народ от вора, Шуйский постановил давать свободу тем холопам, которые уйдут из Тушина, но выходило, что многие холопы из Москвы бежали в Тушино, чтобы после, вернувшись, получить от царя свободу. Московские торговцы без зазрения совести возили в Тушино всякие товары, разживались и копили копейку про черный день, не пускали своих денег в оборот и от этого в Москве делался недостаток: он стал особенно чувствителен зимой, когда тушинцы отрезали путь из Рязани в Москву.

17-го февраля 1609 года толпа, под начальством князя Романа Гагарина, Григория Сумбулова, бросилась в Кремль; она состояла из многих служилых людей разных городов и, обратившись к боярам, кричала: «Надобно переменить царя! Василий сел самовольством, не всей землей выбран». Некоторые бояре уже были не в ладах с Шуйским, особенно Голицыны, так как князь Василий Васильевич Голицын сам помышлял о престоле. Но они не решились стать заодно с мятежниками, потому что за Шуйского был патриарх Гермоген. Замечательно, что патриарх сам постоянно не ладил с царем, но из чувства законности стоял за него, как уже за существующую верховную власть. Толпа мятежников вышла из Кремля на Красную площадь. Ударили в набат. Явился патриарх.

«Князь Василий Шуйский нелюб нам на царстве, – кричала толпа. – Он тайно убивает и сажает нашу братию в воду!» «А кого же казнил Шуйский?» – спросил патриарх. Мятежники не назвали имен, но кричали:

«Из-за Василия кровь льется, и земля не умирится, пока он будет на царстве. Его одна Москва выбрала, а мы хотим избрать иного царя!» Патриарх на это сказал:

«До сих пор Москва всем городам указывала, а ни Новгород, ни Псков, ни Астрахань и никакой другой другой город не указывал Москве; а что кровь льется, то это делается по

воле Божьей, а не по хотению вашего царя».

Убеждения патриарха спасли на этот раз Василия; но дороговизна увеличилась; в апреле боярин Крюк-Колычев составил заговор убить Василия. Умысел был открыт. Зачинщика казнили. Положение царя становилось все ужаснее: до него доходили слухи, что его убьют то на Николин день, то на Вознесенье. Народ врывается к нему во дворец и кричал: «Чего еще нам дожидаться! Разве голодной смертью помирать?» Царь обнадеживал москвичей скорым прибытием Скопина со шведскими людьми и убеждал купцов не поднимать цены на хлеб. Но московские купцы поступали так же, как некогда при Борисе: припрятывали хлеб, чтобы продавать его по дорогой цене. На счастье Василию в это время дела Тушинского вора пошли неудачно. Города, прежде признававшие его, выведенные из терпения бесчинством поляков и русских воров, один за другим отпадали и признавали царя Василия. Крестьяне собирались шайками, били и топили шатавшихся тушинцев. Сапега ничего не мог сделать с Троицким монастырем. Он беспрестанно палил по его стенам из 90 орудий; монастырь не сдавался, несмотря на то, что начальствующие в монастыре воеводы Долгорукий-Роцца и Голохвастов были во вражде между собой, а осажденные, при большой тесноте и недостатке, умирали от цинги. Ратные люди, оборонявшие монастырь, делали частые вылазки и наносили неприятелю много вреда. Наконец, и попытки тушинцев овладеть Москвою не имели успех. 25 июня москвичи отбили их нападение на Ходынку и взяли в плен двести человек. Прокопий Ляпунов очистил от воров рязанские города. Стоявший под Коломною отряд тушинцев ушел оттуда. Но более всего поправились дела Василия после успехов Скопина. Зимой тушинский лагерь пришел в совершенное расстройство. 12 января 1610 года Сапега отступил от Троицы; в феврале убежал вор в Калугу, а в начале марта Тушино совершенно опустело. Почти вся Русь покорилась Василию; но с запада на него наступала беда: Сигизмунд стоял под Смоленском, а русские, бывшие в Тушине, явились к польскому государю просить на Московское царство Владислава. Судьба, казалось, не давала Василию ни минуты отдыха. Одна беда проходила, другая, погрознее, наступала. В конце апреля скоростижно скончался Скопин, и это приблизило падение Василия. Народная молва считала царя участником его смерти. Уже поляки и запорожцы забирали южные города: Стародуб, Почеп, Чернигов взяты были приступом и ограблены. Новгород-Северский и Рославль целовали крест Владиславу.

Вместо Скопина царь назначил главным предводителем войска своего брата Димитрия, но русские не терпели его, а жену его Екатерину считали убийцей Скопина. Шведский полководец Делагарди презирал Димитрия Шуйского за неспособность. Московские пленники сообщили под Смоленском полякам, что народ не любит Василия, что войско не захочет за него биться и вся Русь охотно признает Владислава царем. По этим известиям, Сигизмунд отправил к Москве войско под начальством коронного гетмана Жолкевского. Войско Шуйского, тысяч в тридцать, двинулось к Можайску; с ним шел и Делагарди со своей ратью, состоящей из людей разных наций. В московском войске было много новобранцев, в первый раз шедших на бой. Охоты защищать царя Василия не было ни у кого. Враги встретились 23 июня между Москвой и Можайском, при деревне Клушино. От первого напора поляков побежала московская конница, смяла пехоту: иноземцы, бывшие под начальством Делагарди, взбунтовались и стали предаваться неприятелю. Тогда начальники московского войска, Димитрий Шуйский, Голицын, Мезецкий, убежали в лес, а за ними и все бросились врассыпную. Жолкевскому досталась карета Димитрия Шуйского, его сабля, булава, знамя, много денег и мехов, которые Димитрий намеревался раздать войску Делагарди, но не успел. Делагарди, оставленный своими подчиненными, изъявил желание переговорить с гетманом Жолкевским, и когда гетман приехал к нему, то Делагарди выговорил у него согласие уйти беспрепятственно из пределов Московского государства. «Наша неудача, – сказал Делагарди, – происходит от неспособности русских и вероломства моих наемных воинов. Не то было бы с теми же русскими, если бы ими начальствовал доблестный Скопин. Но его извели, и счастье изменило московским людям».

Жолкевский принудил сидевших в Цареве-Займище Елецкого и Валуева присягнуть

Владиславу, присоединиться к нему с их пятитысячным отрядом и пошел прямо на Москву. Можайск сдался ему без сопротивления. Волок-Ламский, Ржев, Погорелое Городище, Иосифов монастырь покорились добровольно. По совету Валуева, Жолкевский послал агентов своих в Москву с грамотами, в которых обещал русской земле тишину и благоденствие под правлением Владислава, если русские изберут королевича царем. Эти грамоты разбрасывались по улицам, ходили по рукам, всенародно читались на сходках. Царь Василий не мог ничего сделать.

С другой стороны подходил Тушинский вор из Калуги и 11 июля стал в Коломенском селе. Тогда Прокопий Ляпунов написал своему брату Захару и боярину Василию Васильевичу Голицыну, что следует удалить и Шуйского и вора.

17 июля Захар Ляпунов собрал сходку дворян и детей боярских за Арбатскими воротами и сказал:

«Наше государство доходит до конечного разорения. Там поляки и Литва, тут калужский вор, а царя Василия не любят. Он не по правде сел на престол и несчастен на царстве. Будем бить ему челом, чтобы он оставил престол, а калужским людям пошлем сказать, пусть они своего вора выдадут; и мы сообща выберем всей землей иного царя и встанем единомысленно на всякого врага». Послали в Коломенское.

Русские, бывшие при воре, сказали: «Сведите Шуйского, а мы своего Димитрия свяжем и приведем в Москву».

После такого ответа толпа отправилась к царю Василию. Выступил вперед дюжий плечистый Захар Ляпунов и сказал царю:

«Долго ли за тебя кровь христианская будет литься? Ничего доброго от тебя не делается. Земля разделилась, разорена, опустошена; ты воцарился не по выбору всей земли; братья твои окормили отравой государя нашего Михаила Васильевича, оборонителя и заступника нашего. Сжался над нами, положи посох свой! Сойди с царства. Мы посоветуем сами о себе иными мерами».

Василий вышел из себя, обнажил большой нож, который носил при себе, бросился на Ляпунова и закричал:

«Как ты смеешь мне это говорить, когда бояре мне того не говорят?»

Ляпунов погрозил ему своей крепкой рукой и сказал: «Василий Иванович! Не бросайся на меня, а то я тебя вот так тут и изотру!»

Бывшие с Ляпуновым дворяне сказали: «Пойдем, объявим народу».

Они вышли на Красную площадь и зазвонили в колокол. Народ сбежался. Захар Ляпунов с лобного места приглашал патриарха, духовенство, бояр, служилых людей и всякого чина православных христиан за Серпуховские ворота на всенародную сходку. Народ повалил за Серпуховские ворота. Приехали патриарх, бояре.

«Вот три года – четвертый сидит Василий Шуйский на царстве, – говорили народу, – неправдой сел, не по выбору всей земли, и нет на нем благословения Божьего; нет счастья земле! Как только его братья пойдут на войну, так и понесут поражение: сами прячутся, а ратные разбегаются! Собирайтесь в совет, как нам Шуйского отставить, а иного выбрать всей землей».

Патриарх хотел было защищать Шуйского, которого не любил, но потом уехал.

Бояре отправились к царю. Свояк царя Василия, Иван Мих. Воротынский сказал ему:

«Вся земля бьет тебе челом; оставь свое государство ради междуусобной брани, затем, что тебя не любят и служить тебе не хотят».

Царю Василию ничего не осталось, как повиниться. Он положил свой царский посох и переехал из царских палат в свой княжий дом.

Верховное правление на время перешло к боярскому совету под председательством князя Федора Мстиславского.

На другой день, 18 июля, толпа москвичей вышла к Данилову монастырю и послала в Коломенское сказать:

«Мы свое клятвенное слово совершили – Шуйского свели; теперь ведите к нам своего

вора». Но из Коломенского села им дали такой ответ: «Дурно, что вы не помните крестного целования своему государю, а мы за своего помереть рады».

Тогда многим в Москве стало жаль Шуйского, а Шуйский, узнавши это, послал денег стрельцам, которых было тысяч до восьми в Москве, чтобы с их помощью возвратить себе престол. Патриарх начал осуждать низложение царя.

Тогда, 19 июля, Захар Ляпунов подобрал себе товарищей, подговорил чудовских иеромонахов. Они пришли в дом к Василию Шуйскому, разлучили его с женой, увезли ее в Вознесенский монастырь и объявили, что Василию следует постричься в монахи.

«Люди московские, что я вам сделал, – сказал Шуйский. – Какую обиду учинил? Разве мне это за то, что я воздал мечь тем, которые содеяли возмущение на нашу православную веру и хотели разорить дом Божий?»

Ему повторили, что надобно постричься. Шуйский наотрез сказал, что не хочет.

Тогда иеромонахам велено было совершать обряд пострижения, и когда, по обряду, спросили его: желает ли он? Василий громко закричал: «не хочу»; но князь Тюфякин, один из соумышленников Ляпунова, произносил за него обещание, а Ляпунов крепко держал Василия за руки, чтоб он не отмахивался. Его одели в иноческое платье и увезли в Чудов монастырь.

В то же время в Вознесенском монастыре постригли жену Василия. Марья Петровна также не дала обета и твердо говорила, что никто не может разлучить ее с мужем, с которым соединил Бог. Патриарх Гермоген вопиал против такого беззакония и говорил, что иноком стал теперь тот, кто за Василия отрекался от мира.

Василий был последний государь из дома Св. Владимира, слишком шесть веков господствовавшего в русской земле со времени принятия христианства. Москвичи вспомнили тогда, что, за несколько времени перед его низвержением, в Архангельском соборе, где почивали остатки всех потомков Даниила Александровича московского, в полночь слышали люди плач великий, чтение сто восемнадцатого псалма и пение вечной памяти. Плачем началось, плачем окончилось. Этот плач в усыпальнице московских государей предвещал низвержение царя Василия и грядущие бедствия, после которых уже иному роду суждено было господствовать в русской земле.

Через три дня после пострижения царя Василия прибыл гетман Жолкевский к Москве с польским войском. Бояре волей-неволей должны были соглашаться на избрание Владислава и показывать вид, будто поступают добровольно. Патриарх Гермоген сначала сильно противился, всегда верный своему неизменному отвращению ко всякой иноземщине; но потом, видя, что невозможно устоять против печальных обстоятельств, соглашался, но по крайней мере с тем, чтобы новый царь принял православие и крестился. Переговоры с Жолкевским шли три недели. Жолкевский был один из немногих в то время благороднейших и честнейших людей в Польше, чуждый иезуитских козней, уважающий права не только своего народа, но и чужих народов, ненавистник насилия, столько же храбрый, сколько умевший держать в порядке войско, великодушный, обходительный и справедливый. Он не мог согласиться на требование Гермогена, но заключил такой договор, который показывал, что гетман вовсе не думал о порабощении Руси Польше, напротив, уважал и даже ограждал права русского народа. Московское государство избирало царем своим Владислава, с тем, что власть его была ограничена по управлению боярами и думными людьми, а по законодательству думою всей земли. Владислав не имел права изменять народных обычаев, отнимать имущества, казнить и ссылать без боярского приговора, обязан был держать на должностях только русских, не должен был раздавать по польским обычаям полякам и литовцам староств, но мог жаловать их деньгами и поместьями наравне с иноземцами, не мог строить костелов и не должен был дозволять насилеи и хитростью совращать русских в латинство, обязывался оказывать уважение к греческой вере, не отнимать церковных имений и отнюдь не впускать жидов в Московское государство. Бояре поставили в договор условие, чтобы крестьяне не переходили с земли одного владельца на земли другого. 17 августа трое главнейших бояр князей: Федор Иванович Мстиславский, Василий Васильевич Голицын и

Данило Иванович Мезецкий с двумя думными дьяками: Телепневым и Луговским, взяли на себя право заключить этот договор от имени всех чинов Московского государства. То была ложь: участия всей земли не было и выборные люди не съезжались.

Простой московский народ недоволен был избранием Владислава. В Москве усиливалась партия, хотевшая снова возвести на престол Шуйского. Бояре, приписывая эти волнения козням Василия и его братьев, до такой степени раздражились против Шуйских, что поднимали вопрос: не перебить ли всех Шуйских? Но за сверженного царя заступился Жолкевский. Он объявил, что Сигизмунд приказал ему беречь Василия и не допускать над ним насилий. Бояре отдали Жолкевскому в распоряжение сверженного царя и его родственников. Гетман отправил братьев Василия Шуйского, Ивана Пуговку и Димитрия с женой, в Польшу, самого сверженного царя – в Иосифов монастырь, а супругу его на время в Суздальско-Покровский монастырь. Жолкевский не хотел признавать их пострижения, так как оно было насильное, и дозволил им ходить в мирском платье.

Вслед за тем, 19 сентября, гетман вступил с войском в Москву: он так умел держать в повиновении свое войско и обращаться с русскими, что даже сам суровый патриарх Гермоген начал смотреть на него более дружелюбными глазами. Русские города один за другим присягали Владиславу, кроме некоторых, все еще державшихся вора. Достоинно замечания, что Прокопий Ляпунов, в руках которого была вся рязанская земля, не только без противоречия одобрил избрание Владислава, но послал к Жолкевскому сына своего Владимира, хлопотал о доставке съестных припасов полякам в Москву и был самым ревностным их приверженцем. Бояре, по настоянию Жолкевского, снарядили послов к Сигизмунду.

Жолкевский не долго остался в Москве. Сигизмунд был вовсе не доволен договором, постановленным Жолкевским. Сигизмунд не хотел давать Московскому государству сына, а думал сам завладеть этим государством и присоединить его к Польше. Управлявшие им иезуиты не видели для своих планов никакой пользы из того, что Владислав сделается московским царем, когда при этом не дозволено будет ни строить костелов, ни совращать православных в латинство и унию. Полякам вообще не нравилось запрещение давать им староства и должности в московской земле, тогда как они надеялись пожить при новом порядке вещей. Сигизмунд отозвал Жолкевского из Москвы. В конце октября гетман сдал начальство над войском, оставшимся в Москве, Александру Гонсевскому, а сам выехал под Смоленск, взявши с собою сверженного царя Василия и жену его.

Сигизмунд принял Жолкевского с гневом, с презрением бросил представленный гетманом договор и сказал: «Я не допущу сына моего быть царем московским».

С тех пор пленный царь находился под Смоленском до взятия этого города. Русские послы, находившиеся под Смоленском, заметили, что гетман Жолкевский поступил вопреки договору, по которому не следовало ни одного человека выводить в Польшу и Литву, и находили, что Жолкевский нанес оскорбление православной вере тем, что дозволил Василию и жене его ходить в мирском платье. «Я сделал это, – сказал Жолкевский, – по просьбе бояр, чтобы отстранить смятение в народе. Притом же Василий в Иосифовом монастыре чуть с голода не умирал... Я привез его в мирском платье, потому что он сам не хочет быть монахом; его постригли насильно, а насильное пострижение противно и вашим, и нашим церковным уставам. Сам патриарх это утверждает».

Смоленск защищался упорно, благодаря мужеству воеводы Шеина. И воевода, и все смоляне охотно присягали Владиславу, но не хотели ни за что, по требованию Сигизмунда, сдавать польскому королю русского города, который король хотел присоединить к Польше, тем более, что Сигизмунд показывал явное пренебрежение ко всем правам русских и к особам послов, прибывших к нему от всей русской земли: он приказал заключить их в оковы и отправить в Польшу.

Много приступов к Смоленску было отбито. Наконец, 3 июня 1611 года, взорвана была часть смоленских стен; поляки ворвались в город. Владыка смоленский Сергей, с толпой народа, был взят в полуразрушенном соборе; русские бросались в огонь, решаясь лучше



погибнуть, чем терпеть поругание от победителей. Шеин с женой, малолетним сыном, товарищем своим князем Горчаковым и несколькими дворянами заперся в башне и храбро защищался до тех пор, пока один из польских военачальников, Потоцкий, не убедил его сдаться, обещая от короля милость. «Я всем сердцем был предан королевичу, – сказал Шеин полякам, – но если бы король не дал сына своего на царство, то земля не может быть без государя и я бы поддался тому, кто был бы избран царем на Москве». Сигизмунд не оценил ни прямоты, ни храбрости этого человека. Его подвергли пытке, желая дознаться, где спрятаны в Смоленске сокровища, но не добились ничего. После пытки Шеина отправили в Литву в оковах, разлучивши с семьей.<sup>106</sup>

После взятия Смоленска Сигизмунд уехал в Варшаву и приказал везти за собой Шуйского и его братьев. Успехи Польши над Русью произвели радость во всем католическом мире. В Риме празднества шли за празднествами. Иезуиты надеялись, что они теперь достигли своей цели и овладели московской землей. В Варшаве, по обыкновению, побаивались, чтобы успехи короля не послужили к стеснению шляхетских вольностей, но дали на время волю патриотическому восторгу и восхищались торжеством своей нации над давними врагами.

Королю устроили торжественный въезд. Жолкевский вез за собой пленного низверженного царя. Поляки сравнивали его с римским Павлом Эмилием. Сослуживцы Жолкевского щеголяли блеском своих одежд и вооружения. Сам коронный гетман ехал в открытой, богато убранной коляске, которую везли шесть турецких белых лошадей. За его коляской везли Шуйского в открытой королевской карете. Бывший царь сидел со своими двумя братьями. На нем был длинный, белый, вышитый золотом кафтан, а на голове высокая шапка из черной лисицы. Поляки с любопытством всматривались в его изможденное сухощавое лицо и ловили мрачный взгляд его красноватых больных глаз. За ним везли пленного Шеина со смольнянами, а потом: послов – Голицына и Филарета с товарищами. Это было 29 октября 1611 года. Поезд двигался по Краковскому предместью в замок, где в сенаторской «избе» был в сборе весь сенат, двор, знатнейшие паны Речи Посполитой. На троне сидел король Сигизмунд с королевой, а по бокам члены королевской фамилии. Ввели пленных: Василия с братьями поставили перед тронem. Жолкевский выступил вперед и громко произнес латинскую цветистую речь, в которой упомянул разных римских героев. Указывая на Василия, он сказал: «Вот он, великий царь московский, наследник московских царей, которые столько времени своим могуществом были страшны и грозны польской короне и ее королям, турецкому императору и всем соседним государствам. Вот брат его, Димитрий, предводитель 60-тысячного войска, мужественного, храброго и сильного. Недавно еще они повелевали царствами, княжествами, областями, множеством подданных, городами, замками, неисчислимыми сокровищами и доходами, но, по воле и по благословению Господа Бога над вашим величеством, мужеством и доблестью польского войска, ныне стоят они жалкими пленниками, всего лишены, обнищавые, поверженные к стопам вашего величества и, падая на землю, молят о пощаде и милосердии». При этих словах низложенный царь поклонился и, держа в одной руке шапку, прикоснулся пальцами другой руки до земли, а потом поднес их к губам; Димитрий поклонился в землю один раз, а Иван, по обычаю московских холопов, отвесил три земных поклона. Иван Пуговка горько плакал. Василий сохранял тупое спокойствие. Гетман продолжал: «Ваше величество, я вас умоляю за них, примите их не как пленных, окажите им свое милосердие, помните, что счастье непостоянно и никто из монархов не может назвать себя счастливым, пока не окончит своего земного поприща». По окончании этой речи, пленники были допущены до руки королевской. После этого произнесены были еще две речи, одна – канцлером, другая – маршалом посольской избы в похвалу Сигизмунду, гетману и польской нации.

В заключение всего, встал со своего места Юрий Мнишек, вспоминал о вероломном убийстве Димитрия, коронованного и всеми признанного, говорил об оскорблении своей

---

<sup>106</sup> Впрочем, впоследствии судьба его улучшилась и в продолжение его долгого плена он пользовался свободой и сошелся с паном Новодворским, главным виновником взятия Смоленска.

дочери, царицы Марины, о предательском избиении гостей, приехавших на свадьбу, и требовал правосудия. Василий стоял молча. Мнишек проговорил свою речь; но никто из панов Речи Посполитой не произнес ни слова, никто не обратил на него внимания, напротив, все глядели с состраданием и участием на пленного царя. Король отпустил Василия милостиво.

Василия с братьями отправили в Гостынский замок, где назначили ему пребывание под стражей. Содержание давали им нескучное, как это видно из описи вещей и одежд, оставшихся после Василия и пожалованных пленным по милости Сигизмунда. Неволья и тоска свела Василия в могилу на следующий же год. Над могилой его поставили памятник с латинской надписью, восхваляющей великодушие Сигизмунда. Брат его Димитрий и жена последнего Екатерина умерли после него в неволе, в плену. Супруга царя Василия значится умершей, по русским летописям, в Новодевичьем монастыре, в 1625 году, под именем Елены. Иван Пуговка, вскоре по заключении в Гостыни, изъявил желание служить Польше, присягнул Владиславу, и, когда в 1619 году был размен пленных, Иван не решился возвращаться в отечество и объявил, что придет только тогда, когда Владислав разрешит его от данной ему присяги. Через несколько лет, однако, он был отпущен.

Прошло двадцать три года с тех пор, как Василия привезли в Варшаву. Тогда Московское государство заключило с Польшей уже не перемирие на известный срок, как бывало столько раз до этого времени, а так называемый вечный мир. Тогда царь Михаил Федорович попросил у польского короля Владислава прислать в Москву гроб пленного царя и его родных. Сначала паны Речи Посполитой воспротивились было этому, потому что считали для Польши славой то обстоятельство, что тело пленного московского царя лежит в их земле, но согласились, когда московские послы одарили их соболями. Отрывши могилу, нашли каменную палатку, в которой гроб Василия стоял одиноко, а гроб Димитрия был поставлен на гроб его жены. Король Владислав приказал покрыть новые гробы, в которые поставлены были старые, атласом, бархатом и камкой. Гробы привезли в Москву, Московские дети боярские и дворяне несли гроб бывшего царя Василия на плечах от Дорогомилова до Кремля, при многочисленном стечении народа. Сам царь встретил его у собора Успенского, со всеми боярами и ближними людьми, одетыми в смиренное (траурное) платье. Тело несчастного Василия погребено 11 июня 1635 года в Архангельском соборе в ряду других потомков Св. Владимира, правивших Москвой.

## **Глава 27**

### **Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский**

Личность эта быстро промелькнула в нашей истории, но с блеском и славой, оставила по себе поэтические, печальные воспоминания. Характер этого человека, к большому сожалению, по скудости источников, остается недостаточно ясным: несомненно только то, что это был человек необыкновенных способностей.

В старинных родовых обычаях нередко случалось, что кто-нибудь из членов рода получит прозвище, которое остается за его прямыми потомками, и таким способом образуется двойная фамилия, состоящая из этого прозвища и родового древнего наименования. Так, в потомстве суздальских князей, получивших наименование Шуйских, был князь, прозванный Скопа, давший начало ветви Шуйских, носивших названия Скопиных-Шуйских: эта ветвь окончилась правнуком Скопы Михаилом Васильевичем. Во время царствования названного Димитрия Михаил Васильевич имел не более двадцати лет от роду, но Димитрий отличил его и приблизил к себе. Он дал ему сан своего царского мечника и возложил на него важное поручение привезти в Москву царицу Марфу. В каких отношениях был Михаил к заговору Шуйского – мы вполне не знаем, хотя есть известие, что Димитрий, во время нападения заговорщиков, не нашел своего меча, который хранился у Михаила. Когда Болотников стоял под Москвою и 26 ноября собирался брать приступом столицу, царь Василий поверил Скопину охранение Серпуховских ворот. Михаил исполнил

превосходно свое поручение и не только отбил мятежников, но 2 декабря ударил на Коломенское село и заставил Болотникова бежать от столицы. Несмотря на то, что князь Скопин заявил уже свои способности, Шуйский не дал ему главного начальства над войском против Тушинского вора, а поручил своему бездарному брату, Димитрию, который постыдно бежал и допустил самозванца до Москвы. Видно было, что подозрительный царь не доверял Михаилу Васильевичу и выдвинул его на дело только тогда, когда большая часть государства отпала от московского царя и сам Василий, со дня на день, дожидался гибели. В это время Скопин отправился в Новгород для заключения союза со шведами.

Еще в феврале 1607 года шведы через корельского воеводу предлагали Василию свою помощь, но Василий, верный прадедовскому обычаю скрывать перед чужими свои затруднительные обстоятельства и представлять свое положение в самом лучшем виде, приказал выразить шведам негодование за такое предложение. Шведский король сделал вторично подобное же предложение, когда Василий стоял под Тулой. Василий отвечал, что он помощи ни от кого не требует и у него есть несчетные рати. Тогда только, когда самозванец уже угрожал столице, Василий должен был укротить свою гордость и ухватиться за средство, которое ему предлагали прежде. Он поручал это важное дело Скопину.

Прибывши в Новгород, Скопин отправил в Швецию своего шурина, Семена Васильевича Головина, а сам оставался в Новгороде; но тут он увидел, что новгородцы волнуются и в большинстве готовы провозгласить Димитрия. Уже Псков и другие соседние города отпали от Шуйского. Войска у Скопина было немного. Он вышел из города, но кругом его все было враждебно; пограничные города Иван-город и Орешек были уже за Димитрия. Скопин хотел уйти в Швецию, как при устье Невы явились к нему новгородские старосты и просили воротиться в Новгород, обещая верность Василию. Такую перемену настроения в Новгороде произвели убеждения тамошнего митрополита Исидора. Но когда Скопин возвратился в Новгород, то услышал неожиданную весть, что из Тушина идет на Новгород полковник Кернозицкий с толпой поляков и русских воров. Новгородский воевода Михайло Игнатьевич Татищев вызвался идти против Кернозицкого. Татищева не любили в Новгороде; его недоброжелатели пришли к Скопину и сказали: «Татищев затем идет на Литву, чтобы изменить Василию и сдать Новгород».

Скопин вместо того, чтобы защищать Татищева или разбирать справедливость доноса, собрал ратных новгородских людей и сказал: «Вот что мне говорят против Михаила Татищева, рассудите сами». Враги Татищева подняли крик и так вооружили всех, что толпа бросилась на него и растерзала. Скопин похоронил тело Татищева, а имущество велел продать с публичного торга, как поступали в старину в Новгороде после народного суда. Сам Скопин взял себе несколько вещей. Это дело остается темным как по отношению к личности Татищева, так и самого Скопина. Станным должно показаться, чтобы в самом деле мог покуситься пристать к самозванцу Татищев, один из главных виновников убийства названного Димитрия, фанатический приверженец русских обычаев; но тогда всех подозревали и редкий мог за себя поручиться. Кернозицкий подступил к Хутынскому монастырю; многие из служилых новгородских людей после смерти Татищева перебежали к неприятелю, а против Кернозицкого вышли собравшиеся крестьяне; некоторые из них попались в плен и под пытками наговорили, что в Новгород идет большое войско. Кернозицкий испугался и отступил в Старую Русу.

Между тем Головин заключил договор, по которому Швеция обязывалась доставить Московскому государству на первый раз пять тысяч войска, за плату 32 000 рублей, да кроме того, Московское государство должно было дать Швеции 5000 рублей не в зачет. Сверх того, шведы обещали прибавить еще вспомогательного войска безденежно, с условием, чтобы и московский государь отпускал безденежно свое войско в Швецию в случае нужды. За это Московское государство уступало Швеции Корелу со всем ее уездом. По силе этого договора, весной 1609 года, прибыло в Новгород 5000 шведов, а за ними должно было прийти еще 10000 разноплеменных охочих людей, но число пришедших, на самом деле, оказалось не полным. Шведским войском начальствовал Яков Понтус Делагарди, сын

французского выходца реформата. Скопин встретил его в Новгороде 30 марта с пушечными и оружейными выстрелами. Оба предводителя были молоды: Делагарди было 27 лет, Скопину всего 23 года. Народ любовался ими. Иноземцы, описывая русского вождя, говорят, что он, при своей молодости, был необыкновенно красив, статен, приветлив и привлекал всех своим умом и той силой души, которая выказывалась во всех его приемах. По московскому обычаю, Скопин, благодаря шведского короля за помощь, старался, однако, скрыть перед Делагарди крайнее положение отечества. «Наш великий государь, – говорил он, – находится в благополучии и все подданные ему прямят; есть каких-нибудь тысяч восемь русских бездельников, которые пристали к полякам и казакам». Скопин выдал шведскому предводителю деньги, следуемые шведами не в зачет, а из суммы, назначенной на жалованье войску, мог дать только три тысячи, да и то собольими мехами; звонкой монеты не хватило. Он успокаивал союзников обещаниями; между тем рассылал грамоты в северо-восточные города, менее других разоренные, умолял скорее собирать и присылать деньги и вместе с тем приглашал отправлять к нему ратных людей. План его был таков, чтобы идти прямо к Москве, не останавливаясь под городами, потому что все города, по его расчету, должны будут изъявить покорность, когда Москва освободится.

Первое дело соединенного русско-шведского войска было под селом Каменкой, 5 мая. Кернозицкий был разбит наголову отрядом, которым начальствовал Горн и Чулков. Победители взяли у него пушки, порох, лошадей; набрали множество пленников и в том числе толпу женщин. Скопин, после этой победы, отправил отряды по соседним городам. Весть о победе над Кернозицким произвела такое впечатление, что города: Торopez, Невель, Холм, Великие Луки, Ржева, отступили от самозванца. Порхов избавился от осаждавших его воров. Псков держался Димитрия, потому что в этом городе захватили власть черные люди, вопреки желанию лучших людей, расположенных отступить от вора. Затем Торжок, а за ним другие соседние города прислали к Скопину повинную и признали царя Василия. Скопин и Делагарди выступили из Новгорода и шли отдельно; к досаде Скопина, Делагарди шел медленнее, чем хотелось русскому вождю. Быть может, шведский предводитель рассчитывал, что русские не в состоянии будут уплатить жалованья, которого сумма возвысится от долгого времени службы шведов в Московском государстве, и тогда будет предлог захватить северные области, как сделалось впоследствии.

Вор отправил против них Зборовского с поляками и князя Шаховского с русскими людьми. Воровское войско истребило город Старицу, не взяло Торжка, отступило и заперлось в Твери. Скопин и Делагарди, соединившись, напали на Тверь; сначала они были отбиты, но потом, 13 июля, возобновили нападение, выгнали неприятеля из Твери, погнались за ним и разбили наголову.

Скопин, после этой победы, торопился идти к Москве, но иноземное войско взбунтовалось, требовало уплаты жалованья и не хотело идти далее. Делагарди должен был уступить, сам остался под Тверью и, со своей стороны, стал требовать уплаты жалованья и отдачи Корелы по условию. Заплатить было нечем. Делагарди воротился к Торжку, и его наемные воины стали обращаться с русскими поселянами не лучше поляков.

В этом затруднительном положении Скопин не упал духом. Он пригласил, по особому договору, отряд шведского войска под начальством Христиерна Зоме и стал под Колязиным. Отсюда он беспрестанно рассылал гонцов по городам и просил присылки денег и ратных людей. Монастыри: Соловецкий, Печенский, Устюжский, Спасо-Прилуцкий снабдили его деньгами. Пермская земля приводила его в досаду своей медлительностью; зато усердными показали себя вологжане и сольвычегодцы, особенно Строгановы, которые, кроме присылки денег, снаряжали и отправляли на свой счет к Скопину много ратных людей. Прибывавшие в Колязин ратные люди были хорошо вооружены, но не знали военного дела, и Христиерн Зоме занимался их обучением. В половине августа тушинцы, осаждавшие Троицу под начальством Сапеги и Зборовского, пошли на Скопина, но Скопин предупредил их и на реке Жабне, впадающей в Волгу, поразил и обратил в бегство. Получивши деньги, Скопин выплатил еще часть жалованья шведскому войску, отправил, от имени царя, Федора Чулкова

сдать шведам Корелу и тем побудил Делагарди прибыть к нему с войском 26 сентября. Союзники очистили от воров Переяславль и в октябре взяли Александровскую слободу. Тогда не только Сапега и Зборовский, но и сам главный военачальник Тушинского вора Рожинский двинулся на Скопина; после кровопролитного боя под Александровской слободой они воротились назад с большой потерей. Скопин и Делагарди составили план строить засеки одну за другой и таким способом приближаться к Москве. Сам Скопин порывался к столице, но Делагарди удерживал его, представляя, что не следует оставлять в тылу неприятеля, а нужно очистить соседнюю страну от воров. Таким образом, Скопин простоял всю зиму в Александровской слободе.

Слава его распространилась повсюду. Царя Василия не терпели, и русские стали поговаривать, что следует его низложить, а царем сделать Михаила Васильевича. Прокопий Ляпунов прислал к Скопину посольство от всей рязанской земли и извещал, что вся русская земля хочет его избрать в цари и признает, что кроме Михаила Васильевича никто не достоин сидеть на престоле. Скопин не вошел по этому поводу ни в какие объяснения, удалил от себя посольство, но никого не казнил, не разбирая дела и не известил об этом царя Василия.

Между тем тушинский лагерь разошелся. Москва освободилась от осады. Отовсюду повезли припасы к столице. Скопин с Делагарди отправились в Москву и въехали в нее 12 марта 1610 года. Толпа московского народа обоюбого пола встречала его за городом. Бояре подносили ему хлеб-соль. Скопин ехал верхом рядом с Делагарди. Народ падал перед ним ниц, называл освободителем и спасителем земли. Сам царь Василий всенародно со слезами обнимал и целовал его. Начались пиры за пирами. Москвичи, наперерыв один за другим, приглашали шведов в свои дома и угощали их. Скопин хотел отдохнуть в Москве до просухи, а потом идти на Сигизмунда. Но Василий уже ненавидел Михаила Васильевича. Торжественная встреча, беспрестанные знаки народного расположения, сопровождавшие каждое появление Скопина среди народа, внушали ему страх. Русские люди открыто говорили, что надобно низложить Василия и избрать царем Скопина. Василий решился прямо объяснить с последним и изъяснить ему свои опасения. Князь Михаил Васильевич уверял, что не помышляет о короне, но Василия этим нельзя было уверить: Василий сам помнил, как он, в былые времена, клялся в своей верности Борису и Димитрию. К большому страху Василия, какие-то гадатели напроорочили ему, что после него сядет на престол царь Михаил; и Василий воображал, что этот Михаил есть Скопин. Но всего более ненавидел Скопина неспособный брат царя, Димитрий Шуйский. Зависть точила его. В то время, когда все московские люди расточали восторженные похвалы князю Михаилу Васильевичу, Димитрий Шуйский подал на него царю обвинение, что он самовольно отдал шведам Корелу с областью. Царь Василий умел лучше сдерживать себя, чем брат, и не только оправдал Скопина, но замахнулся палкой на брата. Тем не менее везде говорили, что царь готовит Михаилу Васильевичу тайную гибель; и сам Делагарди советовал ему поскорее выбраться из Москвы, в поле, чтобы избежать худа.

23 апреля князь Иван Воротынский, свояк царя Василия, пригласил Скопина крестить своего младенца. На пиру Михаилу Васильевичу сделалось дурно. Его отвезли домой. Делагарди прислал к нему медика: ничто не помогло. Михаил Васильевич скончался на руках своей матери и жены.<sup>107</sup> Когда тело его лежало готовое к погребению, приехал Делагарди; москвичи не хотели было допустить к мертвецу неправославного, но Делагарди сказал, что покойный был его друг и товарищ, и был пропущен. Он взглянул на мертвого, прослезился и сказал:

«Московские люди, не только в вашей Руси, но и в землях государя моего не видать уже мне такого человека!»

Всеобщая молва приписывала смерть Скопина отраве, которую будто бы поднесла ему на пиру «в чаше на перепивании» жена Димитрия Шуйского, Екатерина, дочь Малюты

---

<sup>107</sup> Жена Скопина была Анастасья Васильевна, урожденная Головина.

Скуратова, «кума крестная, змея подколотная», как выражается народная песня. Народ до того взволновался, что чуть не разорил двора Димитрия Шуйского. Царь Василий военной силой охранил его от ярости толпы. Современные иностранцы положительно утверждают, что Скопин был отравлен по приказанию царя Василия.<sup>108</sup>

Гроб Михаила Васильевича несли товарищи его подвигов. За ними следовали вдовы, сестры и матери убитых в бою. Они поддерживали мать и вдову Скопина, которые почти лишились памяти и чувства от горя. Был тут и царь Василий, разливался в слезах и вопил. Ему не верили. Не удалось Скопину сесть на московском престоле, на котором его так хотел видеть народ русский. Зато гроб его опустили в землю в Архангельском соборе, посреди царей и великих князей московского государства.

## Глава 28 Патриарх Гермоген и Прокопий Ляпунов

Эти две личности, совершенно с различным призванием, во многом одна другой противоположные, были, так сказать, сведены судьбою для взаимодействия в самую бедственную и знаменитую эпоху русской истории, и потому вполне уместно, для связи событий, изложить их жизнеописание вместе.

Ранняя жизнь патриарха Гермогена неизвестна, как равно его происхождение и место рождения. Поляки впоследствии говорили, что он некогда служил в донских казаках, а потом был попом в Казани; они ссылались на дела казанского дворца, где будто бы находились обвинения на Гермогена в предосудительных поступках, совершенных им в то время. Это известие не может быть принято за достоверное. Историческая деятельность Гермогена начинается с 1589 г., когда, при учреждении патриаршества, он был поставлен казанским митрополитом. Находясь в этом сане, Гермоген заявил себя ревностию к православию. В казанской земле были крещеные инородцы, только по имени считавшиеся христианами; чуждые русских, они водились со своими одноплеменниками татарами, чувашами, черемисами, жили по-язычески, не приглашали священников в случае рождения младенцев, не обращались к духовенству при погребениях, а их новобрачные, обвенчиваясь в церкви, совершали еще другой брачный обряд по-своему. Другие жили в незаконном супружестве с немецкими пленницами, которые для Гермогена казались ничем не отличавшимися от некрещеных. Гермоген собирал и призывал таких плохих православных к себе для поучения, но поучения его не действовали, и митрополит в 1593 г. обратился к правительству с просьбою принять со своей стороны понудительные меры. Вместе с тем, его возмущало еще и то, что в Казани стали строить татарские мечети, тогда как в продолжение сорока лет, после завоевания Казани, там не было ни одной мечети. Последствием жалоб Гермогена было приказание собрать со всего Казанского уезда новокрещеных, населить ими слободу, устроить церковь, поставить над слободою начальником надежного боярского сына и смотреть накрепко, чтобы новокрещеные соблюдали православные обряды, держали посты, крестили своих пленниц немецких и слушали бы от митрополита поучения, а непокорных следовало сажать в тюрьму, держать в цепях и бить. Суровый и деятельный характер Гермогена проявляется уже в этом деле.

С восшествием на престол названного Димитрия, был устроен сенат, где надлежало заседать и знатному духовенству: Гермоген был членом этого сената и потому был приглашен в Москву. По случаю бракосочетания царя с Мариною, Гермоген резко начал требовать крещения католички, и за это был удален в свою епархию. Царь Василий Шуйский приказал возвести его на патриаршество, но скоро не поладил с ним. Гермоген был человек

---

<sup>108</sup> «Procul, dubio jussu Suischii» (без всякого сомнения, по приказанию Шуйского), говорит шведский историк Видекинд. В немецкой хронике Буссова говорится: Suiski demselben ein Gift beybringen und damit ertödtet liess. Из русских источников псковская летопись положительно приписывает смерть Скопина царю Василию. Другие летописцы, сообщая об этом как о слухе, прибавляют: а подлинно то единому Богу известно.

чрезвычайно упрямый, жесткий, грубый, неуживчивый, притом слушал наушников и доверял им. Подчиненные его не любили: он был человек чересчур строгий. Но при всем том, это был человек прямой, честный, непоколебимый, свято служивший своим убеждениям, а не личным видам. Находясь постоянно в столкновениях с царем, он, однако, не только не подавал руки его многочисленным врагам, но всегда защищал Василия. Строгий приверженец формы и обряда, Гермоген уважал в нем лицо, которое, какими бы путями ни достигло престола, но уже было освящено царским венцом и помазанием. Он выходил на площадь усмирять толпу, вооружавшуюся против Шуйского, заступался за него во время низложения, проклинал Захара Ляпунова с братиею, не признавал насильственного пострижения царя, так как оно не могло освящаться даже и правильностью совершенного над ним обряда, наконец, и тогда, когда уже Шуйский был в Чудовом монастыре, советовал возвести его снова на престол. Гермоген не обращал тогда внимания на обстоятельства, делавшие такой шаг решительно невозможным. Для Гермогена существовало одно – святость религиозной формы. Когда уже Жолкевский стоял под Москвой и бояре поневоле предлагали корону Владиславу, Гермоген противился, осуждал намерение призывать на московский престол иноплеменника и соглашался на то в крайности, только с тем, чтоб Владислав крестился в православную веру. Жолкевский не соглашался; дело тянулось; наконец, когда Жолкевский дал боярам заметить, что может прибегнуть и к силе, если мирным путем ничего не добьется, бояре составили договор, стараясь, по возможности, оградить православную веру, и пошли просить благословения патриарха. «Если, – сказал патриарх, – вы не помышляете нарушить православную веру, да пребудет над вами благословение, а иначе: пусть на вас ляжет проклятие четырех патриархов и нашего смирения; и примете вы месть от Бога, наравне с еретиками и богоотступниками!» Увидевши в церкви с боярами Михаила Молчанова, убийцу Борисова сына, недавно игравшего роль Димитрия в Самборе, Гермоген прогнал его такими словами: «Прочь отсюда, окаянный еретик, ты недостойн входить в церковь Божию!»

Посольство Филарета и Голицына отправилось от всей земли русской в Смоленск с просьбою о даровании в цари русские Владислава на условиях договора, заключенного с Жолкевским. Патриарх, верный своему желанию признать Владислава, не иначе как после принятия им православной веры, написал Сигизмунду письмо, в котором выражался так:

«Великий самодержавный король, даруй нам сына своего, которого возлюбил и избрал Бог в цари, в православную греческую веру, которую предрекли пророки, проповедали апостолы, утвердили святые отцы, соблюдали все православные христиане, которая красуется, светлеет и сияет, яко солнце. Даруй нам царя, с верою принявшего св. крещение во имя Отца и Сына и Св. Духа в нашу православную греческую веру; ради любви Божией, смилуйся, великий государь, не презри этого нашего прошения, чтобы и вам Богу не погрубить и нас, богомольцев, и неисчетный народ наш не оскорбить».

Послы, отправленные под Смоленск к королю, обязаны были всеми силами добиваться, чтобы будущий царь принял православную веру. Когда, после того, возник вопрос о допущении польского войска в Москву, Гермоген сильно этому противился и возбуждал других к противодействию так, что один из бояр сказал ему: «Твое дело, святейший отче, смотреть за церковными делами, а в мирские тебе не следует вмешиваться!»

Польское войско вошло в столицу, несмотря на ропот, возбуждаемый Гермогеном. Жолкевский, зная его крутой нрав, не поехал к нему сначала, но стал писать вежливые и почтительные письма с уверениями в своем уважении к православию и наконец посетил его и так ловко держал себя, что суровый патриарх обращался с ними дружелюбно, хотя все-таки неискренно: не было на свете латинника, с которым бы мог сойтись строгий архипастырь.

Жолкевский не долго пробыл в Москве. Александр Гонсевский, заступивший на его место, был сам по себе человек, который мог бы сойтись с московскими людьми; он держал подчиненных в дисциплине, говорил хорошо по-русски, был знаком с русским народом и русскою землею, но, исполняя предписания своего короля, начал распоряжаться и судом и

казною. Сигизмунд явно показывал вид, что не хочет посадить на московском престоле сына, а помышляет сам царствовать в Московском государстве, раздавал на Руси поместья, должности, возвысил торгового человека Федора Андронова, за готовность служить его видам, и посадил его в боярскую думу. В то время, когда вся земля Московского государства избирала в государи сына польского короля, Сигизмунд требовал сдачи Смоленска, русского города; польское войско метало в этот город ядра, лилась русская кровь; король настаивал, чтобы послы, прибывшие в его стан по делу об избрании Владислава, понуждали Смоленск сдаться королю; а когда послы отговаривались неимением уполномочия и послали в Москву спрашивать, то в Москве преданные Сигизмунду бояре, Салтыков и Федор Андронов, нахально объявляли патриарху и боярам, что следует во всем положиться на королевскую волю.

Понятно, как все эти обстоятельства возмущали патриарха. В одинаковой степени возмутился всем этим и Прокопий Петрович Ляпунов.

Фамилия Ляпуновых происходила из дома Св. Владимира; давно уже лишившись владетельных прав, «захудавши», как говорилось в старину, она потеряла и княжеское достоинство. Оставаясь только дворянами, Ляпуновы были, однако, богаты и влиятельны в рязанской земле. Два брата Ляпуновых, Прокопий и Захар, по своему произволу ворочали всеми делами этой земли. По смерти Грозного, Ляпуновы вместе с Кикиными участвовали в московском мятеже, предпринятом с целью отстранить слабоумного Федора и возвести Дмитрия; за то они подверглись ссылке. Впоследствии прощенные, они ненавидели Бориса, и в 1603 году царь Борис приказал высечь кнутом Захара Ляпунова за то, что последний посылал донским казакам боевые запасы. Во время перехода войска на сторону названного Дмитрия под Кромами, Ляпуновы были из первых, провозгласивших имя Дмитрия, и увлекли за собою все рязанское ополчение.

В описываемое наше время Прокопию Петровичу было лет под пятьдесят; он был высокого роста, крепко сложен, красив собою; чрезвычайно пылкого, порывистого нрава, а потому легко попадался в обман, но вместе настойчивый и деятельный. Он в высокой степени обладал способностью увлекать за собою толпу и, под влиянием страсти, не разбирая людей, стараясь только направить их к одной цели. После убийства названного Дмитрия, которого он искренно считал настоящим, он пристал к Болотникову, поверив, что Дмитрий жив, но отстал тотчас же, как убедился в обмане. Не терпя Шуйского, Ляпунов признал его царем ради спокойствия земли, служил ему, но видел его неспособность, и, как только Скопин заявил о себе своими подвигами, Ляпунов смело, не долго думая, послал князю Михаилу Васильевичу предложение принять корону. Скоропостижная смерть Скопина окончательно сделала его врагом Шуйского. Согласно своей увлекающейся натуре, он вполне поверил молве об отраве. По его подущению Шуйский был сведен с престола. Избрание Владислава казалось Прокопию Ляпунову самым лучшим средством успокоить русскую землю. Условия, на которых избрали Владислава, были ему по сердцу. Ляпунов отправил к Жолкевскому сына своего Владимира, хлопотал о подвозе припасов для польского войска, расположенного в Москве, и уговаривал всех и каждого соединиться под знамя Владислава для спасения русской земли. Но как только дошло до него известие о том, что делает Сигизмунд под Смоленском, Ляпунов понял, что со стороны поляков один только обман, что Сигизмунд готовит Московскому государству порабощение; Ляпунов написал в Москву боярам укорительное письмо и требовал, чтобы они объяснили, когда прибудет королевич и почему нарушается договор, постановленный Жолкевским. Письмо это было отправлено боярами к Сигизмунду, а Гонсевский, зная, что Ляпуновым пренебрегать нельзя, обратился к патриарху и требовал, чтобы Гермоген написал этому человеку выговор. Но Гермоген понимал, что из этого выйдет, и отказал наотрез.

5 декабря 1610 года пришли к Гермогену бояре. Во главе их был Мстиславский. Они составили грамоту к своим послам под Смоленск в таком смысле, что следует во всем положиться на королевскую волю. Они подали патриарху эту грамоту подписать и, вместе с тем, просили его усмирить Ляпунова своей духовной властью. Патриарх отвечал:



«Пусть король даст своего сына на Московское государство и выведет своих людей из Москвы, а королевич пусть примет греческую веру. Если вы напишете такое письмо, то я к нему свою руку приложу. А чтоб так писать, что нам всем положиться на королевскую волю, то я этого никогда не сделаю и другим не приказываю так делать. Если же меня не послушаете, то я наложу на вас клятву. Явное дело, что, после такого письма, нам придется целовать крест польскому королю. Скажу вам прямо: буду писать по городам, – если королевич примет греческую веру и воцарится над нами, я им подам благословение; если же воцарится, да не будет с нами единой веры, и людей королевских из города не выведут, то я всех тех, которые ему крест целовали, благословлю идти на Москву и страдать до смерти».

Слово за слово; спор между патриархом и боярами дошел до того, что Михайло Салтыков замахнулся на Гермогена ножом.

«Я не боюсь твоего ножа, – сказал Гермоген, – я вооружусь против ножа силою креста святого. Будь ты проклят от нашего смирения в сем веке и в будущем!»

На другой же день патриарх приказал народу собраться в соборной церкви и слушать его слово. Поляки испугались и окружили церковь войском. Некоторые из русских успели, однако, заранее войти в церковь и слышали проповедь своего архипастыря. Гермоген уговаривал их стоять за православную веру и сообщать о своей решимости в города. После такой проповеди приставили к патриарху стражу.

Ляпунов узнал обо всем и, не думая долго, написал боярам письмо такого содержания: «Король не держит крестного целования; так знайте же, я сослался уже с северскими и украинскими городами; целуем крест на том, чтобы со всею землею стоять за Московское государство и биться насмерть с поляками и литовцами».

Ляпунов разослал по разным городам свое воззвание и присовокупил к нему списки с двух грамот: с присланной из-под Смоленска дворянами и детьми боярскими, да с грамоты, доставленной из Москвы.

В грамоте из-под Смоленска говорилось в том смысле: «Мы пришли из разоренных городов и уездов к королю в обоз под Смоленск и живем тут другой год, чтоб выкупить из плена, из латинства, из горькой работы бедных своих матерей, жен и детей. Никто не жалеет нас. Иные из наших ходили в Литву за своими матерями, женами и детьми и потеряли там свои головы. Собран был Христовым именем окуп – все разграбили... во всех городах и уездах, где завладели литовские люди, поругана православная вера, разорены Божии церкви! Не думайте и не помышляйте, чтоб королевич был царем в Москве. Все люди в Польше и Литве никак не допустят до того. У них в Литве положено, чтобы лучших людей от нас вывести и овладеть всею московскою землею. Ради Бога, положите крепкий совет между собою. Пошлите списки с нашей грамоты в Нижний, в Кострому, в Вологду, в Новгород и свой совет отпишите, чтобы всем было ведомо, чтобы всею землею стать нам за православную веру, покамест мы еще свободны, не в рабстве и не разведены в плен».

В московской грамоте указывалось первенство Москвы; она называлась корнем древа, упоминалась ее местная святыня, образ Богородицы, писанный евангелистом Лукою, мощи Петра, Алексия, Ионы и, между прочим, говорилось: «У нас святой патриарх Гермоген прям, яко сам пастырь, душу свою за веру полагает несомненно, и ему все православные христиане последствуют, только неясвенно стоят».

«Встанем крепко, – писал Ляпунов, – примем оружие Божие и щит веры, подвигнемся всею землею к царствующему граду Москве и со всеми православными христианами Московского государства учиним совет: кому быть на Московском государстве государем. Если сдержит слово король и даст сына своего на Московское государство, крестивши его по греческому закону, выведет литовских людей из земли и сам от Смоленска отступит, то мы ему государю, Владиславу Жигимонтовичу, целуем крест и будем ему холопами, а не захочет, то нам всем за веру православную и за все страны российской земли стоять и биться. У нас одна дума: или веру православную нашу очистить, или всем до одного помереть».

В городах уже кипело негодование против поляков. В каждом городе списывались и

читались в соборной церкви грамоты, присланные Ляпуновым, списывались с них списки и отправлялись с гонцами в другие города; каждый город передавал другому городу приглашение собраться со всем своим уездом и идти на выручку русской земли. Из каждого города бегали посыльщики по своему уезду, созывали помещиков, собирали даточных людей с монастырских и церковных имений. Везде, по прибытии таких посыльщиков, собирались сходки, постановлялись приговоры, люди вооружались, чем могли, спешили в свой город, кто верхом, кто пешком, везли в город порох, свинец, сухари, всякие запасы. В городе звоном колокола собирали сходку людей своего уезда. Тут постановлялся приговор, произносилось крестное целование. Русские люди обещались дружно и крепко стоять за православную веру и за Московское государство, не целовать креста польскому королю, не сноситься ни с ним, ни с поляками, ни с Литвою, ни с русскими сторонниками короля, а идти ополчением вместе с другими своими соотечественниками выручать Москву, и во время похода не делать смут, пребывать в согласии, не грабить, не делать дурного русским людям и единодушно заступаться за тех русских, которых пошлют в заточение или предадут наказанию московские бояре. Таким способом восстание быстро охватило Нижний Новгород, Ярославль, Владимир, Суздаль, Муром, Кострому, Вологду, Устюг, Новгород со всеми новгородскими городами; везде собирались ополчения и, по приказанию Ляпунова, стягивались к Москве. С другой стороны, с Ляпуновым вошли в соглашение сторонники убитого Тушинского вора и даже сам Ян Сапега несколько времени манил Ляпунова готовностью сражаться за русское дело. Все украинские города пристали к Ляпунову. В своем увлечении Ляпунов везде преследовал только одну свою высокую цель, спасение погибающего отечества, и простодушно брался с такими людьми, как Заруцкий и Сапега, для будущей гибели своей и своего дела.

В начале марта Ляпунов уже шел к Москве, соединяясь по дороге с разными ополчениями городов.

В Москве давно уже происходила тревога. Смельчаки позволяли себе над поляками оскорбительные выходки, ругались над ними, давали разные бранные клички. Гонсевский сдерживал своих людей и старался не допускать до кровопролития. Приближалась страстная неделя. Поляки через своих лазутчиков узнали, что силы восставшего народа приближаются к Москве. Салтыков, по приказанию Гонсевского, явился вместе с боярами к Гермогену и сказал:

«Ты писал по городам; видишь, идут на Москву. Отпиши же им, чтоб не ходили». Патриарх отвечал:

«Если вы, изменники, и с вами все королевские люди выйдете из Москвы вон, тогда отпишу, чтобы они воротились назад. А не выйдете, так я, смиренный, отпишу им, чтоб они совершили начатое непременно. Истинная вера попирается от еретиков и от вас, изменников; Москве приходит разорение, святым Божиим церквам запустение; костел латины устроили на дворе Бориса. Не могу слышать латинского пения!»

Наступил вторник страстной недели. Уже русские ополчения с разных сторон подходили к Москве. В Москве русские показывали вид, будто ничего не ждут и все обстоит обычным порядком. Московские торговцы отворили свои лавки. Народ сходился на рынках. Одно только было необычно: на улицах съехалось очень много извозчиков. Поляки смекнули, что это делается для того, чтобы загородить улицы и не дать полякам развернуться, когда придет русское ополчение. Поляки стали принуждать собравшихся извозчиков стаскивать пушки на стены Кремля и Китай-города.

Извозчики отказались. Поляки давали им денег – извозчики не брали денег. Тогда поляки начали бить извозчиков; извозчики стали давать сдачи; за тех и за других заступились свои. Поляки обнажили сабли и начали рубить и старого и малого.

Народ бежал в Белый город, поляки бросились за ним, но в Белом городе все улицы были загромождены извозничьими санями, столами, скамьями, бревнами, кострами дров; русские из-за них, с кровель, заборов, из окон стреляли в поляков, били их камнями и дубьем. По всем московским церквам раздавался набатный звон, призывавший русских к

восстанию. Вся Москва поднялась, как один человек, а между тем ополчения русской земли входили в город с разных сторон.

Поляки увидели, что с их силами невозможно устоять, прибегли к последнему средству и зажгли Белый город в разных местах, потом зажгли также и Замоскворечье, а сами заперлись в Китай-городе и Кремле. С ними были бояре: как Мстиславский, князь Куракин, князь Борис Мстиславович Лыков, Федор Иванович Шереметев, Иван Никитич Романов, Салтыков и другие, многие боярыни, дворяне с женами и пр. Большая часть должна была сидеть там поневоле. Русские войска никак не могли прорваться сквозь пылающую столицу.

В продолжение трех дней большая часть Москвы сгорела. Торчали только стены Белого города с башнями, множество почерневших от дыма церквей, печи уничтоженных домов и каменные подклети. Поляки успели нахватать кое-чего в церквах и богатых домах, и многие так обогатились, что иной, войдя в Белый город в изодранном кунтуше, воротился в Китай-город в золоте, а жемчуга набрали они такое множество, что заряжали им ружья и стреляли в москвичей. Затворившись в Китай-городе, польские воины с досады перебили оставшихся там русских, пощадили только красивых женщин и детей и проигрывали их друг другу в карты.

С тех пор ополчение стояло под Москвою и вело ожесточенную драку с поляками. Редкий день проходил без боя. Бояре и Гонсевский принялись за патриарха.

«Если ты, – говорил ему Салтыков, – не напишешь Ляпунову и его товарищам, чтоб они отошли прочь, то сам умрешь злою смертью».

«Вы мне обещаете злую смерть, – сказал Гермоген, а я надеюсь через нее получить венец и давно желаю пострадать за правду. Не буду писать – я вам уже сказал, и более от меня ни слова не услышите!»

Гермогена посадили в Чудов монастырь, не позволяли ему переступить через порог своей кельи, дурно содержали и неуважительно обращались с ним.

Но русское ополчение не могло достигнуть своей цели, потому что в нем начались раздоры. Неразборчивость Ляпунова в наборе товарищей скоро возымела печальные последствия. Подмосковное войско составило приговор, по которому правителями не только войска, но и всей русской земли временно назначили трех предводителей: Димитрия Трубецкого, Прокопия Ляпунова и Заруцкого. Первым считался Трубецкой, как более знатный по рождению, но всем распоряжался Ляпунов; он был крут нравом и настойчив, не разбирая лиц родовитых и не родовитых, богатых и бедных. Когда к нему разные лица обращались за делами, он заставлял их дожидаться очереди, стоя у его избы, а сам занимался делами и никакому знатному лицу не оказывал предпочтения, чтоб выслушать его вне очереди. Он строго преследовал неповиновение, своевольство и всякое бесчинство, а иной раз, не сдерживая своего горячего нрава, попрекал тех, которые служили в Тушине и Калуге ведомому вору; но более всего вооружил он против себя казаков и их предводителя Заруцкого. Ляпунов не позволял им своевольничать и за всякое бесчинство казнил жестоко. Раздор усиливался через раздачу поместий; одни получали право поместий от Ляпунова, другие от Заруцкого, и так как Заруцкий раздавал поместья тем, кто был в шайке вора, то Ляпунов отнимал эти поместья и отдавал тем, кто не служил в Тушине и Калуге.

Однажды за казнь двадцати восьми казаков, утопленных за своевольства, все казацкое полчище поднялось против Ляпунова, и он должен был уйти из стана, но земские люди возвратили его. Об этом происшествии узнал Гонсевский и отправил с одним пленным казаком письмо, подписанное под руку Ляпунова, где говорилось, что казаки – враги и разорители Московского государства и что казаков, куда только они придут, следует бить и топить. 25 июля это письмо было прочтено в казацком круге. Позвали Ляпунова.

Он отправился к казакам оправдываться, заручившись обещанием, что ему не сделают ничего дурного. «Ты это писал?» – спросили его.

«Нет, не я, – отвечал Ляпунов, – рука похожа на мою, но это враги сделали, я не писал».

Казаки, озлобленные уже прежде против него, не слушали оправданий и бросились на него с саблями. Тут некто Иван Ржевский, прежде бывший врагом Ляпунова, понял, что

письмо фальшивое, заступился за Ляпунова и кричал: «Прокопий не виноват!» Но казаки изрубили и Ляпунова и Ржевского.

Ни Трубечкого, ни Заруцкого на этом собрании не было. С этого времени ополчение, хотя находилось под Москвою, но состояло главным образом из казаков. Заруцкий смело провозгласил тогда будущим царем сына Марины, но Гермоген, несмотря на свое заключение, успел переслать тайным образом через двух бесстрашных людей грамоту в Нижний, в которой увещевал, чтобы во всех городах отнюдь не признавали царем Маринкина сына: «Проклят от святого собора и от нас», – выражался патриарх. Грамота эта по его приказанию была разослана по разным городам и подготавливала русский народ к новому восстанию.

Под Москвою земские люди переносили от казаков оскорбления всякого рода и насилия и убегали из табора. Казаки расходились из-под Москвы по окрестностям и разоряли русские земли. Повсюду шатались польские шайки, жгли селения, убивали и мучили жителей; в особенности свирепствовали шайки Лисовского и Сапеги. Последнего уже в то время не было в живых, но шайка, в которой он предводительствовал, носила его имя. Зимой положение народа стало еще ужаснее. Лишившись жилищ, многие русские замерзали по полям и дорогам. Те, которые были поудалее, образовали шайки удальцов, называемых «шишами»; они нападали на поляков неожиданными налетами, вели с ними партизанскую войну.

«Было тогда, – говорит современное сказание, – такое лютое время Божья гнева, что люди не чаяли себе спасения; чуть не вся земля русская опустела; и прозвали старики наши это лютое время – лихолетье, потому что тогда на русской земле была такая беда, какой не бывало от начала мира».

В довершение бедствий северные области отпали от Московской державы: шведский полководец Делагарди, бывший союзник русских, 8 июля 1611 года взял приступом Новгород, и новгородцы поневоле избрали своим государем шведского королевича Карла Филиппа, изъявляя надежду, что и прочие части Московского государства выберут его к себе в цари. Делагарди заключил договор, которым Швеция обязалась не нарушать православного исповедания и сохранять все права, законы и обычаи новгородского государства.

В феврале окончил Гермоген свой подвиг. Поляки, услышавши, что в Нижнем собирается новое восстание по воззванию Минина, потребовали от патриарха, чтобы он написал увещание нижегородцам и приказал им оставаться в верности Владиславу. Гермоген резко и твердо отвечал: «Да будет над ними милость от Бога и благословение от нашего смирения! А на изменников да излиется гнев Божий и да будут они прокляты в сем веке и в будущем!»

За эти слова Гермогена заперли еще теснее, и 17 февраля он умер, как говорят современники, голодною смертью.

## Глава 29

### Троицкий архимандрит Дионисий и келарь Авраамий Палицын

В городе Ржеве жил некто по имени Федор с женою Иулианиею и сыном Давидом. Из Ржева он перешел в Старицу, и был там старостою в ямской слободе. Он отдал своего единственного сына учиться грамоте у монахов, как обыкновенно делалось. Давид оказался очень способным, любил чтение и был посвящен в попы в одном из сел Старицкого Богородицкого монастыря. Через шесть лет Давид лишился жены, оставившей ему двух сыновей и, по обычаю того времени, постригся в монахи в том же Богородицком монастыре, под именем Дионисия. Он был еще молод, чрезвычайно красив и статен, глаза его блистали постоянною веселостью, спокойствием и добротою, русая окладистая борода его спускалась до пояса. Он обладал звучным, прекрасным голосом, хорошо пел, с чувством читал на богослужении и увлекательно говорил. Рассказывают, что однажды он поехал из своего монастыря в Москву и рассматривал книги в книжном ряду. Кто-то стал подшучивать над

ним, делая намеки на то, что подобный монах-красавец едва ли способен удержаться от соблазнов плоти. Слышавшие эту выходку напустились на шутника, назвали его невежею, но Дионисий сказал ему: «Ты прав, брат, если бы я был хороший монах, то не шатался бы по торжищам, а сидел бы в келье». Насмешнику стало стыдно, и он просил прощения у Дионисия. Через несколько времени Дионисий был поставлен архимандритом в том же монастыре, пробыл в этом сане около двух лет и бывал часто в Москве; здесь он сошелся с патриархом Гермогеном, который полюбил его. Оба они были совершенно противоположны по характеру: Гермоген – вечно суровый, сердитый, всем недовольный, подозрительный, тяжелый в обращении с людьми, Дионисий – всегда спокойный, кроткий, благодушный. Но оба сходились между собою потому, что как тот, так и другой одинаково были прямодушны, честны, благочестивы, одинаково любили отечество. Во все продолжение осады Москвы тушинцами, Дионисий пробыл в столице и вместе с Гермогеном выходил для увещания народа, возмущавшегося против царя Василия. В 1610 году, уже после того, как шайки Сапеги и Лисовского отступили от Троицкого монастыря, скончался троицкий архимандрит Иосаф, и в июле, за несколько недель до падения Шуйского, Дионисий возведен был в звание троицкого архимандрита. С этих пор началась его высокая, доблестная деятельность как христианина, так и гражданина.

Наступило то ужасное время, которое русский народ в своей памяти прозвал «лихолетьем». Бесчисленное множество народа страдало и погибало от зверства польских и казацких шаек. Толпы русских людей обоего пола, нагие, босые, измученные, бежали к Троицкой обители. «Некоторые, – говорит очевидец, – были все испечены огнем; у иных вырваны на голове волосы; множество калек валялось по дорогам, у иных были вырезаны полосы кожи на спине, у других отсечены руки и ноги, у кого были следы ожогов на теле от распаленных камней». Архимандрит Дионисий посылал подбирать их по окрестностям, привозить в монастырь и лечить. Для этой цели он приказал построить больницы, странноприимные дома как в самом монастыре, так и в монастырских селах (в Служней и в селе Клементьеве). Монахи и служки по его приказанию беспрестанно ездили по окрестностям, подвергаясь сами смерти от разбойников, привозили раненых и голодных. Дионисий всех приказывал кормить, поить, лечить, давать им одежду и обувь, а женщины беспрерывно мыли и шили им белье. Кроме того, собирали мертвых, привозили их и предавали христианскому погребению. «Я помню, – говорит один из участников, Иван ключарь, – как в один день похоронили 860 человек в Клементьеве селе, кроме других мест, а по смете в течение тридцати недель погребли более 3000; случалось по десяти и пятнадцати трупов зарывали в одну могилу». Дионисий решился употребить на доброе дело всю монастырскую казну, все, что давали туда вкладчики на поминовение своих душ. «От осады большой Бог избавил нас, – говорил он, – а за леность и скупость может хуже еще смирить. Видим все, что Москва в осаде, а литовские люди рассыпались по земле, что у нас ни есть хлеба ржаного и пшеницы и квасов в погребе, – все отдадим раненым людям, а сами будем есть хлеб овсяной; и без кваса, с одной водой не умрем». Сам Дионисий за всем смотрел, наблюдал, чтобы у людей, которым давали приют, был мягкий хлеб и свежая пища, сам осматривал больных, давал лекарство, причащал умирающих, ни день ни ночь не зная покоя. Этого мало, он заботился о том, чтобы русский народ не оставлял борьбы с врагами, посадил у себя в келье писцов и приказывал им переписывать списки с грамот, которые беспрестанно рассылал с гонцами по всем городам, возбуждал ратных людей к мужеству, стыдил за леность и беспрестанно служил молебны о спасении отечества. Еще летом, когда жив был Ляпунов, Дионисий рассылал грамоты в Казань, Новгород, Вологду, Пермь и другие города, убеждал посылать к Москве ратных людей и доставлять казну. Когда уже Ляпунова не стало, в ополчении под Москвою господствовали казаки. Дионисий вместе с келарем Авраамием от 6 октября 1611 года отправил по разным городам новую грамоту. Желая соединить все силы русской земли, троицкие власти не стали раздражать казаков, и потому не поминали об убийстве Ляпунова и с похвалою отзывались о Трубецком и Заруцком за то, что они стояли под Москвой против поляков и русских изменников. Вся

вражда обращена была на последних. Русские призывали действовать заодно с казаками. «Видите, – писалось в этой грамоте, – что приходит нам конечная погибель. Все разорено, поругано, бесчисленное множество народа в городах и селах кончили жизнь под лютыми, горькими муками. Нет пощады ни сединам многолетних старцев, ни сосущим молоко младенцам. Сжальтесь над нашею погибелью, чтобы и вас самих не постигла лютая смерть. Бога ради, пусть весь народ положит подвиг страдания, чтоб всем православным людям быть в соединении, а вы, служилые люди, поспешайте без малейшего замедления к Москве в сход, к боярам и воеводам и ко всему множеству христианского народа. Сами знаете, что всякому делу есть свое время, а безвременное начинание бывает суетно и бездельно. Если между вами есть и будут недоволы (что-нибудь неладное), Бога ради, отложите это до времени, чтоб нам всем заодно положить свой подвиг и пострадать для избавления христианской православной веры. Если мы прибегнем к прещедрому Богу, и пречистой Богородице, и ко всем святым и обещаемся сообща сотворить наш подвиг, то милостивый владыка, человеколюбец, отворотит праведный свой гнев и избавит нас от лютой смерти и латинского порабощения».

Это воззвание ободряло народный дух, падавший под гнетом ужасных бедствий. В посылке воззваний участником Дионисия является также келарь Авраамий Палицын, имя которого вместе с именем Дионисия ставилось в этих грамотах. Он происходил из знатного рода малорусских выходцев, прибывших в Москву в XIV веке и принявших фамилию Палицыных от одного своего предка, прозванного Палицею. В конце XVI века он вступил в монашество; а во время осады Лавры Сапегою носил важное звание келаря – заведующего монастырскими делами. Он в это время не находился в монастыре, жил в Москве на Троицком подворье и во время скудости, происшедшей от осады, пустил в продажу по заниженной цене запасы хлеба, находившиеся в столице, впрочем, воспользовавшись этим и в свою пользу. Царь Василий утвердил за ним спорную вотчину его двоюродного брата, хотя, собственно, по соборным постановлениям в подобных случаях ему, как монаху, следовало получить из казны вместо вотчины деньги, а не саму вотчину. По низвержении Шуйского келарь Авраамий был послан под Смоленск одним из членов посольства. Когда поляки стали притеснять это посольство, подозревая его в соумышлении с Ляпуновым, некоторые дворяне, бывшие в посольстве, стали выходить из него. Подобным образом поступил и Авраамий Палицын; он поклонился Сигизмунду, выпросил у него для своего монастыря грамоту на собиране пошлин с Конской Площадки в Москве и уехал в Москву. Этот поступок едва ли можно поставить ему в вину: он только показывает благоразумие. Авраамий предвидел, что послов за их упорство возьмут в неволю и отправят в Польшу, а потому рассудил заранее уехать, чтобы иметь возможность служить русскому делу.

Во все время похода Пожарского и Минина к Москве, Дионисий и Авраамий писали к ним грамоты, торопили их идти скорее к столице, чтобы предупредить Ходкевича, который должен был привести свежие силы и запасы польскому гарнизону, остававшемуся в Кремле, а когда услышали, что в Ярославле в русском ополчении происходят раздоры и беспорядки, то послали сначала жившего у Троицы на покое ростовского митрополита Кирилла, а потом отправился туда келарь Авраамий водворять согласие и убеждал Пожарского спешить скорее к Москве. Авраамий в своем рассказе о событиях этого времени порицает Пожарского за его медленность и неспособность удерживать в войске порядок. Двинувшись наконец к Москве, Пожарский 14 августа остановился под Троицею. Дионисий служил молебен, кропил войско святою водою, и Авраамий, вместе с Пожарским, отправился к Москве. Если верить рассказу самого Палицына, то он больше всего способствовал успехам казаков, убедивши и воодушевивши их своим красноречием. Впоследствии, во время пребывания русского ополчения под Москвою, несколько раз возобновлялись недоразумения между земскими людьми и казаками. Казаки требовали жалование. Келарь Авраамий отправился к Троице, и архимандрит Дионисий с братиею, не имея денег, послали казакам в виде залога богатые церковные одежды, но казаки, тронутые этим, не взяли такого залога и дали обет не отходить от Москвы прежде, чем ее не очистят от поляков.

В феврале 1613 года под Москвою происходил выбор нового царя. Авраамий Палицын, вместе с другими духовными, был отправлен в посольстве для приглашения новоизбранного царя на престол.

Смуты улегались. На престоле сидел избранный государь, но, по молодости и по недавности своей власти, находился под влиянием бояр. В это время был восстановлен был печатный двор (типография) в Москве и предпринято печатание церковного требника. Дело это поручено Дионисию. Ему дали для работ двух монахов Троицкого монастыря, Арсения и Антония, и священника Ивана из монастырского Клементьевского села. Царь выбрал этих людей потому, что им известно было книжное учение, грамматика и риторика. Рассматривая напечатанный прежде «Потребник» (требник), Дионисий заметил в нем неправильности, а равным образом нашел в старых рукописных экземплярах много ошибок, вкравшихся в них от невежества. Таким образом, в конце многих молитв встречались неправильные выражения, имевшие смысл смещения лиц Св. Троицы савелианской ереси. В молитве, читаемой при водоосвящении, «Прииди, Господи, и освяти воду сию Духом Твоим святым», прибавлялось «и огнем». Прибавка эта вошла во всеобщее употребление, а между тем она вкралась в требник единственно по невежеству. Дионисий приказал выбросить ее из новопечатаемого требника. Но в Троицком монастыре, как вообще в русских монастырях, между монахами господствовало невежество, а некоторые из них воображали себя при этом людьми учеными и пользовались уважением в среде своей братии. Такими были у Троицы головщик (управляющий пением в церкви) Логин и уставщик Филарет. Дионисий был человек до чрезвычайности кроткий, а они отличались безмерным нахальством. Дионисий, глубоко проникнутый христианским чувством, видел бесплодность одного бессмысленного соблюдения обрядов и ввел чтение бесед евангельских и апостольских, некогда переведенных Максимом Греком и остававшихся без употребления. Дионисий приказывал их списывать и рассылал по другим монастырям и соборным церквям. Это до крайности не нравилось монахам; Логин и Филарет возбуждали против Дионисия братию и дерзко говорили ему: «Не твое это дело читать и петь: стоял бы ты, архимандрит, с твоим мотовилом на клиросе как болван немой». Дионисий переносил такие выходки. Логин и Филарет хвастались своим пением и умением читать, называли еретичеством «хитрость грамматическую и философство» и пускались в умствования самым нелепым образом. Так, опираясь на слова Св. Писания, что Бог сотворил человека по образу своему и подобию, они представляли себе Бога с членами человеческого тела. Дионисий должен был напрасно объяснять этим невеждам первичные понятия о том, что духовные предметы выражаются телесным образом. Обличая укorenившуюся привычку довольствоваться только формой и не внимать в смысл, Дионисий говорил им: «Что толку из этого, что ты поешь и читаешь сам, не разумея, что произносишь? Видишь ли, апостол Павел говорит: „Воспою языком, восхваляю же умом“. Тот же апостол говорит: „Если не знаю силы слова, какая из того польза? Бых яко кимвал“, т.е. все равно что бубен или колокол. Человек, не знающий смысла слова, которое произносит, похож на собаку, лающую на ветер; впрочем, и умная собака не лает напрасно, а подает лаяньем весть господину. Только безумный пес, слыша издалека шум ветра, лает всю ночь!» Надменные враги Дионисия возражали ему на это: «Пропали места святые от вас дураков, неученых сельских попов. Людей учите, а сами ничего не знаете». Наглость их наконец дошла до того, что однажды Логин вырвал у него в церкви книгу из рук; архимандрит махнул на него своим жезлом и сказал: «Перестань, Логин! Не мешай богослужению, не смущай братию». Но Логин вырвал у него из рук жезл и изломал.

Так обращались эти нахалы со своим архимандритом, пользуясь его кротостию. Наконец, Логин и Филарет подали на Дионисия донос в Москву и обвиняли в ереси за то, что он выбросил из требника слово «и огнем». Патриарха в Москве еще не было. Главным духовным сановником был крутицкий митрополит Иона, грубый и корыстолюбивый невежда. Собрав вокруг себя таких же невежд, он стал рассуждать с ними; и нашли они, что Дионисий еретик, вооружили против него и мать царя Михаила, инокиню Марфу Ивановну, женщину набожную в старом смысле слова.

Дионисий был призван в Москву и в Вознесенском монастыре в присутствии матери царя защищался от обвинений; но все было напрасно. Его признали еретиком, потребовали уплаты пятисот рублей пени. Но у Дионисия денег не было: он все растратил на дело спасения отечества. Его поставили на правеж в сенях, на патриаршем дворе, заковали, глумились над ним, плевали на него. Дионисий не только не падал духом, но смеялся и шутил с теми, кто ругался над ним. «Денег нет, – говорил он, – да и давать не за что. Эка беда, что расстричь хотят! Это значит не расстричь, а достричь. Грозят мне Сибирью, Соловками. Я не боюсь этого. Я тому и рад. Это мне и жизнь». Правеж продолжался несколько дней. За Дионисием посылали, приводили его пешком или привозили на кляче. В народе распространился слух, что явились такие еретики, которые хотят огонь из мира вывести. Раздражились против Дионисия особенно те, которые по роду своих занятий постоянно обращались с огнем, как например, разного рода мастера и повара. Когда Дионисия вели на правеж, они бежали за ним, ругались и кидались в него песком и грязью, а он, вместо того чтобы сердиться или унывать, смеялся над своим положением и острил над невеждами. Уважавшие его люди говорили: «Ах, какая над тобою беда, отче Дионисий!» – «Это не беда, – говорил им Дионисий, – это притча над бедою. Это милость на мне явилась: господин мой, первосвященный митрополит Иона паче всех человек творит мне добро». Раздражение против Дионисия усиливалось оттого, что в это время подступал к Москве Владислав, и в народе возникал страх, что Бог посылает свою кару за проявившуюся ересь. Не взявши ничего с Дионисия, его отправили в заточение в Кирилло-Белозерский монастырь, но не могли провезти его туда, потому что в это время Москву окружали неприятели. Дионисия засадили в Московский Новоспасский монастырь на покаяние.

Но не долго приходилось страдать ему. Царь заключил перемирие с поляками в Деулине. Последовал размен пленных. Отец царя, митрополит Филарет, возвратился в отечество в июне 1619 года, а находившийся в это время иерусалимский патриарх Феофан посвятил его в сан московского патриарха. Филарет знал Дионисия и через семь дней после своего посвящения принялся разбирать его дело вместе с Феофаном. Голос восточного патриарха считался авторитетом на Руси в подобных вопросах. Феофан объявил, что Дионисий совершенно прав, что прибавка «и огнем» неупотребительна на Востоке. Дионисия воротили в Троицкий монастырь с честью.

Во время заключения Дионисия в лавре оставался келарь Авраамий Палицын, вместе с воеводами, поставленными у Троицы, готовился отражать нападение Владислава на монастырь и принужден был сжечь монастырский посад. Со стен Троицкого монастыря встретили Владислава пушечные выстрелы. Королевич отступил и в трех верстах от Троицы, в селе Деулине, 1 декабря 1618 года, было заключено перемирие, после которого дело о размене пленных тянулось до половины июня 1619 года.

Дальнейшая жизнь Дионисия по возвращении его в Троицкий монастырь не прошла, однако, без новых испытаний. Троицкие монахи не отличались благонравием, были корыстолюбивы, заводили тяжбы за земли и за людей. Дионисий не терпел этого, старался искоренить пороки, но был слишком кроток, прямодушен и гнушался всякою хитростью. Архимандрит вообще, по правилам, не имел в монастыре безусловной власти: все далось с согласия келаря и братии; Дионисий строго уважал законный порядок, не употреблял никаких кривых мер для захвата власти и оттого был бессилен. Его ласковое, учтивое обращение развивало между монахами только наглость и непослушание. Русские люди того времени исполняли приказания властей только тогда, когда они внушали страх. Дионисий, если что приказывал монаху, говорил: «Сделай это, если хочешь, брат». Монах, выслушавши такого рода приказание, не исполнял сказанного и говорил: «Архимандрит мне на волю дал: хочу делаю, хочу нет». Какой-то эконоом поссорил Дионисия и с Филаретом. Этот эконоом выпросил без ведома архимандрита у Филарета право променять свою лесную пустопорожную землю на монастырскую вотчину и назвал монастырскую вотчину ненаселенною, тогда как она была жилая. Филарет согласился, если вотчина действительно окажется пустою. Но архимандрит, зная, что вотчина населена и если будет отдана эконоому,



то вместе с нею под власть эконома должны будут перейти поселенные в этой вотчине люди, воспротивился и хотел обличить обман. Эконом, испугавшись обличения, умолил архимандрита не начинать дело. Вслед за тем эконом через своих благоприятелей, сам оставшись в стороне, оклеветал Дионисия разными способами и, между прочим, бросил на него подозрение, будто бы Дионисий стал помышлять о патриаршестве. Филарет призывал Дионисия в Москву, держал его три дня в тюрьме, а потом отпустил. Этот эконом, злобствуя на Дионисия, однажды на одном монастырском соборе, при всей братии, ударил его по щеке. Дионисий не жаловался на него, но до самого царя дошла весть об оскорблениях, наносимых Дионисию. Царь приказал сделать обыск, но Дионисий, не желая, чтобы кто-нибудь пострадал из-за него, сам покрыл виновного.

В 1633 году скончался Дионисий. Патриарх Филарет приказал привезти его тело в Москву, сам отпевал его и отправил назад в Лавру, где оно было предано земле 10 мая.

О судьбе Авраамия Палицына известно то, что он умер в 1627 году, 13 сентября, проживши в Соловках семь лет. Из дел Соловецкого монастыря видно, что существовала царская грамота о его погребении, в которой он назван «присланным». Это выражение в старину употреблялось о сосланных и дает повод заключить, что келарь Авраамий попал в Соловецкий монастырь недобровольно. Самое существование грамоты о погребении указывает, что он находился под каким-то особым надзором.<sup>109</sup>

Должно быть, он подвергся опале, и так как отправка его в Соловецкий монастырь произошла вскоре после возведения Филарета на патриарший престол, то, вероятно, ссылка эта была делом Филарета, быть может припомнившего ему то время, когда он под Смоленском покинул посольство, поклонился Сигизмунду и, осыпанный милостями польского короля, вернулся в Москву.

Келарь Авраамий оставил потомству повествование о событиях своего времени, посвятив большую часть его описанию осады Троицкого монастыря Сапегою и Лисовским. Сочинение это носит название «Сказание о осаде Троицкого-Сергиева монастыря от поляков и литвы, и о бывших потом в России мятежах». Это сочинение составляет один из важнейших русских источников о смутном времени, хотя имеет недостатки. Оно в высшей степени загромождено многословием и в некоторых местах заключает в себе известия сомнительной достоверности: это тем естественнее, что келарь Авраамий не был очевидцем осады монастыря и писал по слухам и преданиям. Кроме того, нельзя не заметить, что сочинитель выставляет на вид важность собственного участия в делах, в особенности во время освобождения Москвы, известия этого рода невольно внушают сомнение, хотя, с другой стороны, при настоящем положении науки, нельзя доказать их недостоверности.

## **Глава 30**

### **Козьма Захарыч Минин-Сухорук и князь Димитрий Михайлович Пожарский**

Движение, поднятое Гермогеном и Ляпуновым, не было задавлено неудачами. Города продолжали переписываться с городами и убеждали друг друга действовать взаимно для спасения веры и государства. Шиши отдельными отрядами повсеместно дрались с врагами. Духовенство старалось всеми средствами благочестия ободрять народ. В разных городах, в знак покаяния, для умилоствления Божия гнева, налагались особые строгие посты, совершались молебны о спасении отечества, ходили утешительные вести о разных видениях и откровениях с целью поддержать падающий дух народа; троицкие власти рассылали свои призывные грамоты одна за другой. Но в народном противодействии не было уже ни

---

<sup>109</sup> Нет основания думать, чтоб это было следствием уважения царя к его личности, так как мы не знаем, чтобы при этом дан был по душе его какой-нибудь вклад или приказано было записать имя его в синодик. Напротив, царь приказал его похоронить зауряд с прочею братиею. (Грамота царя Михаила Федоровича к игумену Макарию о погребении присланного старца Авраамия Палицына на его обещании с прочею братиею.)

порядка, ни определенного плана. Все шло врознь. Начало распространяться уныние и недоверие к собственным силам. Так, когда в Нижнем Новгороде, в соборной церкви, прочитана была грамота троицких властей, народ, прослушав ее, пришел в умиление, плакал над погибелью государства, но выражал отчаяние такими словами: «Верно нам не будет избавления! Чаять нам большей гибели».

Тогда в том же Нижнем Новгороде выступил перед народом выборный нижегородский земский староста Козьма Захарыч Минин-Сухоруков, ремеслом «говядарь».<sup>110</sup> На всенародной сходке у собора он говорил народу в таком смысле: «Православные люди, похотим помочь Московскому государству, не пожалеем животов наших, да не токма животов – дворы свои продадим, жен, детей зложим и будем бить челом, чтоб кто-нибудь стал у нас начальником. Дело великое! Мы совершим его, если Бог поможет. И какая хвала будет всем нам от русской земли, что от такого малого города, как наш, произойдет такое великое дело: я знаю, только мы на это подвинемся, так и многие города к нам пристанут, и мы избавимся от иноплеменников».

Нижегородцам показались любы такие речи, но не сразу решились они на великое дело. Еще несколько раз они сходились слушать Минина и наконец проговорили: «Будь ты нам старший человек; отдаем себя во всем на твою волю».

Стали нижегородцы думать: кого избрать им в предводители, кто бы в ратном деле был искусен и прежде не объявлялся в измене. По совету Минина, все остановились на стольнике князе Димитрии Михайловиче Пожарском. Этот князь происходил из стародубских князей суздальской земли, потомков Всеволода Юрьевича, и принадлежал к так называемым «захудалым» княжеским родам, т.е. не игравшим важной роли в государственных делах в предшествовавшие времена. Сам Димитрий Пожарский не выдавался никакими особенными способностями, исполнял в военном деле второстепенные поручения, но зато в прежние времена не лежало на нем никакой неправды, не приставал он к Тушинскому вору, не просил милостей у польского короля. В царствование Шуйского, Пожарский удачно разбивал отдельные воровские шайки, а в 1610 году, будучи зарайским воеводою, упорно держался стороны Шуйского, не поддавался убеждениям Ляпунова провозгласить царем Скопина и удерживал, на сколько мог, свой город в повиновении существующей власти. Возмутившиеся посадские люди города Зарайска хотели убить его за то, что не поддается Калужскому вору, и он выдержал от них осаду в каменном городе (кремль) Зарайска. Но Шуйского свели с престола. Законного государя не стало на Руси; тогда Пожарский объявил, что станет целовать крест тому, кто на Москве будет выбран царем, и присягнул Владиславу, которого в столице тогда избрали в цари.

Вскоре после того русским людям стало ясно, что поляки обманывают, не думают присылать Владислава, а намереваются завладеть Московским государством. Пожарский сошелся с Ляпуновым и вместе с ним двинулся на Москву. Пожарский, первый из товарищей Ляпунова, вступил со своим отрядом в стены зажженного уже Белого города, укрепился было около церкви Введения Богородицы на Лубянке, но огонь вынудил его отступить. Пожарский был при этом ранен и, упав на землю, кричал: «Ох, хоть бы мне умереть, только бы не видеть того, что довелось увидеть!» Ратные люди подняли его, положили на повозку и вывезли из пылающей столицы по троицкой дороге.

С этой поры князь Пожарский находился в своей вотчине Линдех за 120 верст от Нижнего и едва оправился от ран, полученных в Москве, как к нему прибыли архимандрит нижегородского Печерского монастыря Феодосий и дворянин Ждан Болтин с посадскими людьми приглашать его сделаться начальником ополчения, которое затевалось в Нижнем Новгороде. Князь Пожарский отвечал: «Рад за православную веру страдать до смерти, а вы из посадских людей изберите такого человека, который бы мог со мною быть у великого дела, ведал бы казну на жалованье ратным людям. У вас есть в городе человек бывалый: Козьма Минин-Сухорук; ему такое дело за обычай».

<sup>110</sup> Быть может, мясник или же торговец скотиною – гуртовщик.

По возвращении посланцев в Нижний, мир, услышавши, на кого указал князь Пожарский, стал выбирать Козьму к такому важному делу. Минин сначала отказывался, а потом как бы нехотя принял предлагаемую должность и сказал: «Если так, то составьте приговор и приложите к нему руки, чтоб слушаться меня и князя Димитрия Михайловича во всем, ни в чем не противиться, давать деньги на жалованье ратным людям; а если денег не станет, то я силою стану брать у вас животы, жен и детей отдавать в кабалу, чтобы ратным людям скудости не было!»

Приговор был составлен, и Минин поспешил отослать его к Пожарскому, опасаясь, чтобы нижегородцы не одумались и не переделали своего приговора. По этому мирскому приговору земский староста Минин обложил всех пятою деньгою, т.е. отбирал пятую часть достояния на земское дело. Для этого избраны были оценщики имущества. Не допускалось ни льгот, ни отсрочек. Были такие, что давали охотно и больше. Одна вдова принесла сборщикам десять тысяч рублей и сказала: «Я осталась после мужа бездетною, у меня двенадцать тысяч: десять отдаю вам, а две себе оставляю!» Кто скупился, у тех отнимали силою. Не спускали ни попам, ни монастырям. Неимущих людей отдавали в кабалу тем, кто за них платил. Конечно, покупать имущество и брать в кабалу людей могли только богачи; таким путем вытягивались у последних спрятанные деньги. Без сомнения, такая мера должна была повлечь за собою зловредные последствия; изгнав чужеземных врагов, Русь должна была испытать внутреннее зло – порабощение, угнетение бедных, отданных во власть богатым. Меры Минина были круты и жестоки, но время было чересчур жестокое и крутое: приходилось спасать существование народа и державы на грядущие времена.

По прибытии в Нижний Пожарского, отправлены были во все стороны гонцы с грамотами; описывалось несчастное положение Московского государства, русские всех городов призывались стать заодно с нижегородцами. В этих грамотах говорилось: «Будем над польскими и литовскими людьми промышлять все за один, сколько милосердный Бог помочи даст. О всяком земском деле учиним крепкий совет, а на государство не похотим, ни литовского короля, ни Маринки с сыном, ни того вора, что стоит под Псковом».

Нижегородские грамоты повсюду читались на народных сходках, потом постановлялись приговоры, собирали деньги на жалованье ратным людям. Затем из ближних городов приходили в Нижний и ополчения. Пришли туда дети боярские из Арзамаса, пришло рязанское ополчение; в Казани медлили, потому что там стряпчий Биркин и дьяк Шульгин, люди, прежде служившие вору, умышленно противодействовали Минину.

Нижегородское ополчение вышло из Нижнего вверх по Волге. Балахна, Юрьевец, Решма, Кинешма дали Минину свою казну и присоединились к нижегородцам со своими ополчениями.

В Костроме воевода Иван Шереметев, оставаясь верным Владиславу, хотел было сопротивляться, но костромичи выдали его Пожарскому и присоединились к нижегородцам.

В начале апреля ополчение прибыло в Ярославль. Ярославцы встретили Пожарского с образами и предложили все имущество, какое у них есть, на общее дело. В знак почета они поднесли Минину и Пожарскому подарки, но те ничего не взяли.

Здесь ополчение оставалось несколько месяцев, пополняясь новоприбывавшими силами. Минин значился выборным человеком всей русской земли, а за его безграмотностью подписывался князь Пожарский. Сам князь Пожарский держал в своих руках управление не только войском, но и землею, назывался «по избранию всех чинов и людей Московского государства многочисленного войска у ратных и земских дел», давал именем своим суд всей земле русской, определял награды и наказания, раздавал поместья, распоряжался постройкою городов и требовал денежных пособий. Троицкие власти, следившие за тем, что делалось у поляков, торопили князя Пожарского идти скорее к Москве на соединение с князем Трубецким. Польский гарнизон в Кремле был немногочислен и от дурных распоряжений постоянно терпел нужду. Жолнеры (солдаты) роптали, что им не дают жалованья; часть буйных сапежинцев самовольно ушла в Польшу грабить королевские имения. На место Гонсевского, в мае, прислан был туда другой предводитель, Струсь, а

литовский гетман Ходкевич ходил со своим войском по московской земле собирать запасы. Силы поляков в русской земле были тогда немногочисленны и разрознены, но могли в непродолжительное время значительно увеличиться, так как носились слухи, что в Москву придет король с сильным войском. Надобно было предупредить прибытие короля и овладеть столицей. В этих-то видах троицкий архимандрит Дионисий и келарь Авраамий убеждали Пожарского идти скорее из Ярославля, и даже сердились на него за медленность. Но Пожарский не имел таких качеств, которые бы внушали к нему всеобщее повиновение. Его мало слушали: в ярославском ополчении была безладица, происходили даже драки. Сам князь Пожарский сознавался в своей неспособности. К нему пришли новгородцы толковать о призвании на русский престол шведского королевича. Пожарский подавал им надежду на признание королевича, если он примет православную веру, но при этом заметил: «Был бы у нас такой столп как Василий Васильевич Голицын, все бы его держались и слушались, а я к такому великому делу мимо его не принялся. Меня к тому делу насильно приневолели бояре и вся земля».

Князь Пожарский боялся идти под Москву, пока там были казаки, и хотя Трубецкой убеждал его поспешить, Пожарский все не решался и только высылал вперед к Москве отряды. Когда Заруцкий, после неудачного покушения избавиться от Пожарского посредством подосланных убийц, в половине июля 1612 года убежал из-под Москвы, Пожарский стал смелее, но все-таки не доверял Трубецкому. Выступивши из Ярославля, он шел к Москве очень медленно. Оставив свое войско в Ростове, Пожарский ездил в Спасский Суздальский монастырь молиться Богу и поклониться гробам своих предков. Готовясь к битве с поляками, Пожарский ослаблял свое войско, отправляя в одиночку свои отряды в разные стороны. 14 августа прибыл Пожарский к Троице и опять остановился там на несколько дней, а между тем из-под Москвы дворяне и казаки торопили его идти как можно скорее, потому что Ходкевич приближался к столице с усиленным войском. Наконец, 20 августа, Пожарский и Минин со своим ополчением прибыли к Москве. Трубецкой выехал к ним навстречу и приглашал стать в одном таборе с казаками. Но Пожарский и Минин отвечали, что не будут стоять в одном таборе с казаками.

Земское ополчение стало вдоль Белгородской стены до Алексеевской Башни на Москве-реке. Главное ядро его было у Арбатских ворот: там стояли Пожарский и Минин. Заложивши стан, ратные люди стали окапывать его рвом. Казаки занимали восточную и южную часть Белого города и Замоскворечья, которое все нарочно было изрыто рвами, в которых должна была сидеть казацкая пехота. 22 августа русские увидели идущее с западной стороны литовское войско. То был Ходкевич со свежими силами. За ним тянулись огромные ряды нескольких сот возов с набранными запасами, которые нужно было провезти польскому гарнизону в Кремль и Китай-город. Ходкевич стал переправляться через Москву-реку у Девичьего поля. Часть литовцев успела переправиться через реку, сбив московскую конницу, которая стерегла переправу. В то же время осажденные в Кремле поляки сделали вылазку; земское московское войско очутилось среди двух огней; казаки не хотели из зависти помогать ему. Но дело поправилось и без них. Воины Ходкевича погнали московских людей до Тверских ворот. Тогда, с одной стороны, московские стрельцы отбили вылазку польского гарнизона и заставили его уйти обратно в Кремль, а с другой – из-за печей и церковей разрушенного Земляного города русские так начали поражать выстрелами литовское войско Ходкевича, что оно повернуло назад за Москву-реку. Гетман стал у Донского монастыря. Следующий день прошел без боя. 24 августа, на рассвете, Ходкевич решился со всем своим войском пробиться через Замоскворечье и во что бы то ни стало доставить осажденным привезенные запасы. Путь был труден по причине развалин и множества прорытых рвов. Конные должны были спешиться; на возах медленно везли запасы, расчищая путь. Казаки Ходкевича успели выгнать казаков московских из рвов. Ходкевич настиг их на Пятницкой улице, и здесь-то завязался ожесточенный бой с казаками. Между тем Минин, взявши с собою передавшегося поляка Хмелевского и три сотни дворян, ударил на две литовские роты, оставленные в тылу, и смял их, потерявши племянника,

убитого на его глазах. В полдень московские казаки у церкви Св. Клементя отбили литовцев, отрезали и захватили из их обоза четыреста возов с запасами. Тогда Ходкевич увидел, что цель, для которой он прибыл на этот раз в Москву, не достигнута: продовольствия гарнизону он доставить не может. Он приказал спасти остаток возов и ушел к Воробьевым горам. Поражение, нанесенное ему, было так велико, что у него оставалось только четыреста коней.

Ходкевич с трудом сообщил осажденным, что он уходит с целью набрать запасы, и обещал возвратиться через три недели. 28 августа Ходкевич ушел.

После победы над литовским войском, Пожарский с Трубецким помирились и положили вести осаду сообща, съезжаясь для совещаний на Неглинной, на Трубе. Казаки все еще не ладили с земскими людьми, однако действовали заодно с ними против поляков с еще большею злобою к последним. Кремль и Китай-город были осаждены со всех сторон. Русские устроили туры и палили с них из своих пушек.

15 сентября Пожарский, минуя Струся, отправил к полковникам Стравинскому и Будзиле письмо: убеждал осажденных сдаться, обещал отпустить весь гарнизон в отечество невредимым. На это великодушное предложение польские предводители написали Пожарскому надменный ответ, восхваляли в нем мужество и доблести поляков, называли московский народ самым подлейшим на свете, выражали надежду на скорое прибытие Владислава и грозили жестокой карой Пожарскому и его товарищам. Осажденные были еще убеждены, что гетман вернется, но проходили недели – гетмана не было. Запасы их приходили к концу. 6 октября они послали двух воинов известить гетмана, что если пройдет еще неделя, то им придется умереть с голоду. Все было напрасно. В половине октября голод достиг ужасающих размеров. Осажденные переели лошадей, собак, кошек, мышей, грызли ремни, выкапывали из земли гнилые трупы и пожирали. От такого рода пищи смертность увеличилась. Живые стали бросаться на живых, резали друг друга и пожирали. 22 октября Трубецкой ударил на Китай-город; голодные поляки были не в состоянии защищать его, покинули и ушли в Кремль. Первое, что увидели русские в Китай-городе, были чаны, наполненные человеческим мясом. Поляки, потерявши Китай-город, выгнали из Кремля русских женщин и детей. Пожарский выехал к ним навстречу. Казаки зашумели и кричали, что надо бы ограбить боярынь, но земские люди окружили боярынь, спасли от ярости казаков и благополучно провели в свой стан. Тогда в Китай-город торжественно внесли икону Казанской Божьей Матери и дали обет построить церковь, которая позже действительно была построена и до сих пор существует на Кремлевской площади против Никольских ворот. В память этого дня 22 октября установлен праздник иконы Казанской Богоматери, до сих пор соблюдаемый православною русскою церковью.

Стали в Кремле поляки советоваться, что им делать дальше. Михаила Салтыкова уже не было. Он убрался заблаговременно с Гонсевским, но оставался его товарищ Федор Андронов с некоторыми, подобными ему, служившими Сигизмунда; они сильно противились сдаче, зная, что от своей братии русских им придется еще хуже, чем от голода. Весь гарнизон зашумел и порывался отворять ворота. Тогда Струсь отправил к Пожарскому просить пощады, умоляя оставить осажденным жизнь. Зная свирепство казаков, поляки уговаривались, чтобы начальствующие лица сдались только Пожарскому. Оба русских предводителя дали обещание, что ни один пленник не погибнет от меча.

24 октября поляки отворяли кремлевские ворота, выходящие на Неглинную (ныне Троицкие); прежде всего выпустили русских людей, бояр, дворян, купцов, сидевших в осаде. Казаки тотчас закричали: «Надобно убить этих изменников, а животы поделить на войско». Но земские люди стали в боевой порядок, готовясь защищать своих братьев против казаков. Выпущенные русские стояли на мосту, ожидая, что из-за них начнется бой. Вид их возбуждал сострадание. Но до междуусобного боя не дошло. Казаки покричали, погрозили и отошли. Пожарский и Минин проводили русских в свой земский стан.

25-го октября все кремлевские ворота стояли уже настежь отворенными; русские войска входили в Кремль, предшествуемые крестным ходом, впереди которого шел архимандрит Дионисий, а из Кремля вышел к нему навстречу элассонский архиепископ, грек

Арсений с Владимирскою Богородицею в руках. Поляки побросали оружие. Их погнали в русский стан. Струся заперли в Чудовом монастыре. Все имущество пленных сдали в казну, и Минин раздавал его казакам в виде награды.

Казаки не вытерпели и, в противность крестному целованию, перебили многих пленных. Но те пленники, которые достались Пожарскому и земским людям, уцелели все до одного. Их разослали по разным городам: в Нижний, Ярославль, Галич, Вологду, на Белоозеро и посадили в тюрьмы. Народ был сильно ожесточен против них. В Нижнем, куда был послан Будзило с товарищами, служивший прежде в войске Сапеги, пленных чуть не разорвали, и едва-едва мать Пожарского своими убеждениями спасла их от смерти.<sup>111</sup>

Вскоре, однако, услышали русские, что на Московское государство идет король Сигизмунд с сыном. Действительно, в ноябре Сигизмунд подошел под Волок Ламский и отправил двух русских, бывших в посольстве Филарета и остававшихся в плену у поляков: князя Данила Мезецкого и дьяка Грамотина. Их сопровождал польский отряд в 1000 человек. Они должны были уговаривать московское войско признать Владислава царем. Но подмосковные воеводы выслали против них войско и объявили, что не хотят вступать ни в какие толки о Владиславе. Поляки повернули назад, а князь Мезецкий успел убежать к своим под Москву.

Король пытался было взять Волок Ламский, но это не удалось ему, и он удалился со своим сыном в Польшу.

21-го декабря извещалось по всей Руси об избавлении Москвы, а вслед за тем послана была грамота во все города, чтобы отовсюду посылали в Москву лучших и разумных людей для избрания государя.

К большому сожалению, мы не знаем подробностей этого важного события. По некоторым известиям видно, что под Москвою происходило несколько съездов, на которых дело избрания царя не удалось. По всей московской земле наложен был трехдневный строгий пост, служились молебны, чтобы Бог вразумил выборных, чтобы дело царского избрания совершилось не по человеческим козням, но по воле Божией. Когда, после таких благочестивых приготовлений, съехались снова все выборные люди, явился из Новгорода некто Богдан Дубровский с предложением выбрать шведского королевича; но выборные люди в один голос закричали: «У нас того и в уме нет, чтобы выбирать иноземца; мы, с Божьей помощью, готовы идти биться за очищение новгородского государства». Некоторые из бояр домогались получить венец и подкупили голоса. Есть известие, что были голоса в пользу Василия Голицына: иные некстати упоминали о возвращении венца Шуйскому. Были мнения в пользу Трубецкого, Воротынского и даже, как говорили после, в пользу Пожарского: впоследствии обвиняли его в том, будто он истратил до двадцати тысяч рублей, подкупая голоса в свою пользу.<sup>112</sup>

Дворяне и дети боярские начали подавать письменно извещения, что они хотят царем Михаила Романова; за ними выборные люди от городов и волостей, а также и казаки стали за Романова. В народном воспоминании свежи были страдания семейства Романовых при Борисе, заточение Федора (Филарета) и его супруги. Народ в последнее время слишком много перенес бедствий, и потому естественно его сочувствие обращалось к такому роду, который заодно с народом много пострадал. Последний подвиг Филарета, его твердое поведение в деле посольства, его пленение, незаконно совершенное врагами, все давало ему в народном воображении значение мученика за веру и за русскую землю. Наконец, в народе сохранились более давние предания о царице Анастасии, жившей в лучшее для русского народа время, о Никите Романовиче, о котором говорили и даже пели в песнях, что он по своему благодушию заступался за жертвы Иванова сумасбродства. Все это вместе располагало русских избрать Михаила Романова.

В неделю православия собрали всех выборных на Красную площадь. Кроме них было

<sup>111</sup> Впоследствии новоизбранный царь приказал их содержать так милостиво, что они позволяли себе даже буянить. Через посредство Струся царь отправлял своему пленному отцу деньги.

<sup>112</sup> Это известие нельзя считать несомненно справедливым.

множество народа обоего пола. Рязанский архиепископ Феодорит, новоспасский архимандрит Иосиф, келарь Авраамий и боярин Василий Морозов взошли на лобное место, чтобы спросить у выборных людей решительного приговора об избрании царя. Прежде чем они начали свою речь к народу, все многочисленное сборище в один голос закричало: «Михаил Феодорович Романов будет царь-государь Московскому государству и всей русской державе». Тотчас в Успенском соборе пропели молебен с колокольным звоном, провозгласили многолетие новонареченному царю, а потом произнесена была царю присяга, начиная от бояр до казаков и стрельцов. Во все города были посланы известительные грамоты; в Кострому отправилось от всего земского собора посольство к Михаилу Федоровичу с приглашением на царство.<sup>113</sup>

Посольство это, прибывши в Кострому, явилось 13 марта в Ипатьевский монастырь, где жил шестнадцатилетний Михаил с матерью. Мать и сын удалились туда после освобождения из кремлевской осады. На другой день, 14 марта, собрали толпу народа; духовенство несло чудотворную икону Федоровской Богоматери. Инокня Марфа с сыном встретила их за воротами. После молебна в соборной церкви посольство вручило им грамоту земского собора, извещавшую об избрании Михаила на царство, и просило ехать в царствующий град.

На это последовал отказ. Михаил и его мать вспоминали измену Годуновым, службу Тушинскому вору, насильное пострижение Шуйского. «Московские люди измалодушествовались, – говорили они, – а государство от польских и литовских людей и от непостоянства русских разорено до конца. Царская казна расхищена. Дворцовые села и черные волости розданы в поместья. Служилые люди бедны, – чем их жаловать? Как стоять против недругов?» – «Мне, – сказала Марфа, – нельзя благословить своего сына на царство: отец его Филарет в плену. Сведает король, что сын его на царстве: велит над отцом какое-нибудь зло сделать!»

Послы объясняли им, что прежние государи не так получали престол, как теперь получает Михаил; Борис сел на государстве по своему хотению, убив Димитрия; расстрига принял мечь по своим делам; Василия выбрали на государство немногие люди; а Михаила выбирают не по его желанию, а единомышленно, всюю землею, по соизволению Божию, и если он откажется, то Бог взыщет на нем конечное разорение государства.

Тогда мать благословила сына; Михаил согласился и принял из рук Феодорита царский посох, как знак власти.

11 июля венчался на царство Михаил Федорович. Князь Димитрий Михайлович Пожарский был пожалован боярином, а Минин возведен в звание думного дворянина.

Новому думному дворянину не долго пришлось оставаться в этом сане. В 1616 году Минин скончался, оставивши после себя сына Нефедя, умершего бездетным около 1632 года.

Димитрий Михайлович Пожарский жил долго, но не играл важной роли, как можно было бы ожидать. Он не был ни особенно близким к государю советником, ни главным военачальником. Ему не поручали особенно важных государственных дел. Служба его ограничивалась второстепенными поручениями. В переговорах с послами мы встречаем его не более трех или четырех раз и только товарищем других.

Через год после восшествия Михаила, по поводу пожалования боярином родственника матери царской, Бориса Михайловича Салтыкова, царь показал ему немилость. Пожарский не хотел сказывать (объявлять) Салтыкову боярство, потому что считал себя по роду выше Салтыкова; на основании прежних служебных случаев царь требовал от него исполнения своей воли; Пожарский не послушался и притворился больным. Царь приказал одному думному дьяку сказывать боярство Салтыкову, а в разряде написал, будто сказывал Пожарский. Салтыков бил челом государю на Пожарского, что он его обесчестил своим

---

<sup>113</sup> Рязанский епископ Феодорит, келарь Авраамий, ново-спасский и симоновский архимандриты, бояре: Федор Иванович Шереметев и князь Владимир Иванович Бахтиаров-Ростовский, окольничий Федор Васильевич Головин и многие служилые люди разных наименований.

отказом, и царь приказал выдать Пожарского Борису головою. Из этого видно, что царь не считал за Пожарским особых заслуг, которые бы выводили его из ряда других. В 1617 году Пожарский был отправлен воеводою в Калугу по просьбе жителей, где удачно отразил нападение поляков; в 1618 году Пожарский послан был в Боровск против Сагайдачного, но заболел на дороге, а его товарищ Волконский пропустил врагов через Оку. Только по возвращении Филарета в 1619 году Пожарский получил от царя несколько вотчин, да и то незначительных<sup>114</sup>, тогда как Димитрий Тимофеевич Трубецкой, долгое время служивший ворами, владел богатейшею областью Вагою, некогда принадлежавшею Борису, по грамоте, данной ему собором еще до избрания Михаила. В 1621 году Пожарский управлял разбойным приказом, затем с 1628—31 он был воеводою в Новгороде, а в 1632 участвовал во вспыхнувшей войне с Польшею, но в звании второго воеводы, товарищем князя Мамстрюка-Черкаского. В 1635 он управлял судным приказом, а в 1638 был один год воеводою в Переяславле-Рязанском. С тех пор до 1641 года мы его встречаем большею частью в Москве. В числе других бояр он был приглашаем к царскому столу, но не особенно часто: проходили месяцы, когда его имя не упоминается в числе приглашенных, хотя он находился в столице. В местнических спорах, в удовлетворение его родовой чести, царь сажал в тюрьму Волконского и Пушкина. С осени 1641 года его имя больше нигде не упоминается: вероятно, около этого времени он скончался. Он погребен в Суздальском Спасо-Евфимиевском монастыре, где покоились и его предки. Заметим в заключение, что князь Пожарский, как гласит современное известие, страдал «черным недугом»: меланхолией. Быть может, это и было причиной того, что Пожарский при Михаиле не играл первостепенной роли, так как люди с подобным настроением духа не бывают искательны и стараются держаться в тени. Сам подвиг освобождения Москвы был предпринят им против собственного желания, по настоянию земства.

## Глава 31 Филарет Никитич Романов

Родоначальником дома Романовых был выехавший из прусской земли выходец Андрей Иванович Кобыла с родным братом своим Федором Шевлягой. Он оставил после себя пять сыновей, от которых, кроме третьего бездетного, пошло многочисленное потомство, давшее начало очень многим родам, как-то: Шереметевым, Колычевым, Неплюевым, Кокоревым, Беззубцовым, Лодыгиным, Коновницыным. Пятый сын Андрея Кобылы был Федор Кошка, знаменитый в свое время боярин, оставивший четырех сыновей; из них у старшего Ивана было четыре сына, последний из них, Захарий, дал своему потомству наименование Захарьиных. Из трех сыновей Захария средний, Юрий, оставил потомство, которое носило название Захарьиных-Юрьиных. Один из этих сыновей Захария Роман был отец царицы Анастасии (первой жены Грозного) и брата ее Никиты. С этого Никиты Романовича род стал называться Романовыми. Близкое свойство детей Никиты с царским домом и добрая память, которую оставил по себе Никита, поставили подозрительного Бориса во враждебное отношение к его детям. Он решил уничтожить этот род и всех сыновей Никиты разослал в тяжелое заключение. Александр, Василий и Михаил Никитичи не пережили царской опалы. Летописцы говорят, что Александра удавили в ссылке, у берегов Белого моря. Василий и Иван были посланы в Пелым. Борис велел их содержать строго, однако не мучить. Но слуги Бориса показывали ему более усердия, чем он, по-видимому, того требовал. Василий скоро умер от дурного обращения с ним приставов. Михаила Никитича держали в земляной тюрьме в Нырбской волости в окрестности Чердыни. До сих пор показывают там в церкви его тяжелые цепи. Более всех братьев выказывался дарованиями и умом Федор Никитич. Он отличался приветливым обращением, был любознателен, научился даже по латыни. Никто лучше его не умел ездить верхом; не было в Москве красивее и щеголеватее мужчины.

---

<sup>114</sup> Село, проселок, сельцо и четыре деревни.



Современник голландец говорит, что если портной, сделавши кому-нибудь платье и примерив, хотел похвалить, то говорил своему заказчику: теперь ты совершенный Федор Никитич. Этого-то первого московского щеголя насильно постригли в Сийском монастыре под именем Филарета и приставили к нему пристава Воейкова, который должен был наблюдать за каждым его шагом, прислушиваться к каждому его слову и о всем доносить Годунову. Жену его Ксению Ивановну, происходившую из незнатного рода Шестовых, постригли под именем Марфы и сослали в Заонежье в Егорьевский погост Толвуйской волости. Малолетних детей их, Михаила с сестрою, сослали на Белоозеро с теткою их, девицею Анастасиею, сестрою Романовых. Филарет, как доносил пристав Воейков, сильно тосковал о семье и говорил: «Милые мои детки, маленькие бедные остаются, кто-то будет их кормить, поить! А жена моя бедная, на удачу жива ли? Чаю, где-нибудь туда ее замчали, что и слух не пойдет. Ох, мне лихо, что жена и дети, как помянешь их, так словно рогатиною в сердце кольнет. Хоть бы их раньше Бог прибрал. Чаю, жена сама тому рада, чтобы им Бог дал смерть, а мне бы уже не мешали. Я бы стал промышлять один своею душою!..» Между тем, при всей строгости надзора за Филаретом, поп Ермолай и некоторые крестьяне Толвуйской волости сообщали ему о жене его, а ей переносили вести о нем.<sup>115</sup>

В 1605 году, когда борьба Бориса с самозванцем была во всем разгаре, Филарет вдруг изменился и смело отгонял от себя палкою монахов, которые приходили следить за ним. Воейков доносил на него в таких словах: «Живет старец Филарет не по монастырскому чину, неведомо чему смеется, все говорит про птиц ловчих, да про собак, как он в мире живал. Старцев бранит и бить хочет и говорит им: Увидите, каков я вперед буду».

Воцарение названного Димитрия избавило оставшихся в живых двух братьев Романовых от тяжелой ссылки и сделало их знатными людьми в государстве. Иван Романов возведен был в сан боярина, Филарет – в сан ростовского митрополита. Мы не знаем отношений последнего к названному Димитрию, но после его убиения Филарет, еще до избрания Гермогена в патриархи, ездил за мощами царевича Димитрия в Углич. Потом он оставался в своей епархии, в Ростове.

Когда уже русские города один за другим начали признавать Тушинского вора, Филарет удерживал Ростов в повиновении Шуйскому. Вор приказал, во что бы то ни стало, достать Филарета и привезти в свой стан. 11 октября 1608 года переяславцы с московскими людьми, присланными Сапегою из-под Троицы, напали врасплох на Ростов. Филарет облачился в архиерейские одежды и стал в церкви с народом. Когда переяславцы ворвались в церковь, Филарет стал уговаривать их не отступать от законной присяги. Но переяславцы не послушались, сорвали с него святительские одежды, надели на него сермягу, покрыли ему голову татарской шапкой и повезли в Тушино, в насмешку посадивши с ним на воз какую-то женщину. Тушинский вор принял его с почетом и нарек патриархом. «Филарет, – говорит Авраамий Палицын, – был разумен, не склонялся ни направо, ни налево». Он отправлял богослужение, поминал Тушинского вора Димитрием. Тем не менее, однако, патриарх Гермоген, строгий к изменникам, в своих воззваниях к народу отзывался о Филарете, что он не своею волею, а по нужде находится в Тушине, что за это патриарх не порицает его, а молит за него Бога. Когда тушинский стан начал разлагаться, Филарет вместе с Михаилом Салтыковым, сыном его Иваном и князем Рубцом-Масальским, князьями Юрием Хворостининым, Федором Мещерским, дьяком Грамотиным отправился к Сигизмунду бить челом о даровании русской земле в цари Владислава. Мы не знаем, где находился Филарет после уничтожения тушинского лагеря до низложения Шуйского. Но после этого события он был в Москве, и бояре, по благословию Гермогена, назначили его во главе посольства вместе с боярином князем Василием Васильевичем Голицыным и окольным князем Данилом Мезецким. Здесь-то Филарету предстояло выдержать трудный подвиг.

Сначала поляки приняли русское посольство очень любезно, но потом стали требовать, чтобы послы от себя приказали смольнянам сдать город Смоленск королю. Споры об этом

---

<sup>115</sup> За эту услугу впоследствии царь Михаил наградил их, освободив их потомство на вечные времена от всяких государственных податей и повинностей.

были продолжительны, Филарет с товарищами доказывал, что это противно заключенному уже договору с Жолкевским, а более всего напирал на то, что посольство не имеет права поступать так без совета с патриархом и со всею русскою землею. Никакие принуждения и угрозы поляков не заставили посольство исполнить волю короля: Филарет более всего утверждал своих товарищей быть стойкими. Поляки хитро предлагали дозволить пустить хотя небольшое количество своих воинов в Смоленск. «Если мы, – говорил Филарет своим товарищам, – пустим хотя одного королевского человека в Смоленск, то нам Смоленска не видать более. Пусть лучше король возьмет Смоленск силою против договора и крестного целования, а мы слабостью своею не отдадим Смоленска». Поляки перестали совещаться с послами и в глазах их делали приступы к Смоленску. В феврале 1611 года паны, получив от бояр грамоту, в которой послам приказывалось сдать Смоленск и присягать на имя короля вместе с сыном, показали ее послам. «Эта грамота написана без патриаршего согласия, – сказал Филарет, – хотя бы мне смерть принять, я без патриаршей грамоты о крестном целовании на королевское имя никакими мерами ничего не буду делать». Паны стали им грозить, что их отправят в Вильну, и опять прекратили совещание с послами.

Когда поляки, стоя под Смоленском, узнали, что русская земля ополчается под знаменем Ляпунова, они вообразили себе, что все это делается с ведома послов, и 26 марта канцлер Лев Сапега сказал им: «Мы знаем ваши коварства, неприличные званию послов. Вы нарушили народное право, пренебрегли указом московских бояр, от которых посланы, поджигали народ к неповиновению и мятежу, возбуждали ненависть к королю, отклоняли Шеина от сдачи Смоленска, обнадеживая его помощью от Ляпунова. Вы отправитесь в Польшу 1. Их посадили под стражу. После того, когда зашла речь о сожжении Москвы, их призвали снова и объявили о том, что случилось со столицею, Филарет сказал: „Мы сами не знаем, что мы такое и что нам теперь делать. Нас отправила вся русская земля и, во-первых, патриарх. Теперь патриарх, наш начальный человек, под стражею, а Московского государства люди пришли под Москву и бьются с королевскими людьми. Одно средство – отойдите от Смоленска и утвердите договор, с которым мы приехали; тогда мы напишем подмосковному войску, чтобы оно разошлось“.

Их опять оставили под стражею. Между тем случилось такое событие: Иван Никитич Салтыков, ревностный угодник Сигизмунда и испытанный за то строгие упреки от Филарета, получивши от Сигизмунда поручение не допускать к соединению с Ляпуновым ополчение, составившееся в Дорогобуже, раскаялся в своей измене, объявил себя явно сторонником восстания и написал смольнянам увещание не сдаваться. Это еще более озлобило поляков. 12 апреля Лев Сапега призвал Филарета и угрожающим тоном потребовал от него, чтобы он немедленно написал от себя московскому войску об отступлении от столицы, а к Шеину в Смоленск о сдаче города.

Филарет отвечал: «Я все согласен перетерпеть, а этого не сделаю, пока не утвердите всего, что вам подано в договоре». «Ну так вы завтра поедете в Польшу», – сказал Сапега. На другой день, 13 апреля, послов отправили водою в Польшу, все их имущество ограбили, а слуг перебили. Послов сопровождали польские жолнеры с заряженными ружьями, как военнопленных. Когда они плыли мимо имения Жолкевского, коронный гетман, внутренне уважавший их за твердость, послал спросить их о здоровье.

С этих пор надолго прекратилась свободная деятельность Филарета. Его взял к себе в дом Лев Сапега. По избрании Михаила земский собор хотел обойти поляков и, умолчавши об избрании нового царя, в марте 1613 года предлагал размен пленных, надеясь освободить царского родителя. Но это не удалось. По восшествии на престол Михаила, отправлен был послом в Варшаву Желябужский и повез Филарету грамоту от сына.

«Вы не хорошо сделали, – сказал Филарет Желябужскому, – меня послали от всего государства послом просить Владислава, а сына моего государем выбрали. Могли бы выбрать и другого, кроме моего сына. За это вы передо мною неправы, что сделали так без моего ведома». Посол сказал ему:

«Царственное дело ничем не останавливается, хотя бы и ты был у нас, – так и тебе

нельзя было бы переменить этого. На то воля Божия. Сын твой сам не хотел этого». Тогда Филарет, обратившись к Сапеге, сказал:

«Вот, говорят, сын мой очутился государем не по моему хотению, да и как было это сделать моему сыну? Он остался после меня молод, всего шестнадцати лет!»

Поляки ни за что не соглашались сноситься с новоизбранным царем Михаилом. Московское правительство отправило еще в Польшу князя Воротынского, но и тот не мог устроить примирения.

Пропустивши удобное время, Сигизмунд в 1617 году решил отпустить сына Владислава, достигшего уже двадцатидвухлетнего возраста, добывать оружием престол, на который его избрали уже семь лет тому назад. Владислав успел взять Дорогобуж и Вязьму, воеводы этих городов передались ему. В следующем 1618 году Владислав пригласил идти на Московское государство 20 000 днепровских казаков под начальством гетмана Сагайдачного. Казаки удачно овладели многими украинскими городами; королевич шел на Москву от Смоленска, и 20 сентября 1618 года оба войска, и польское, и казацкое, стояли уже под Москвою.

Положение царя Михаила было опасное. Русские начинали склоняться к Владиславу. К счастью, московское войско храбро отбило приступ к столице с большим уроном для поляков. Приближалось холодное время. Стоять под Москвою было трудно, тем более, что запорожцы не терпели продолжительных осад и могли разойтись; покушение на Троицкий монастырь также не удалось полякам. Все это побудило Владислава вступить в переговоры.

В трех верстах от Троицы, в селе Деулине, после нескольких съездов, заключили перемирие на 14 лет и 6 месяцев. По этому перемирию положено было с обеих сторон разменяться пленными. Однако дело о пленных затянулось до июня. Поляки жаловались, что русские, и особенно князь Пожарский, неволею обратили многих пленных в холопов, а многих, выпустивши из тюрьмы, отпустили в мороз чуть не нагих и босых. Бояре клялись, что этого никогда не бывало. Спор дошел было до того, что поляки, по условию привезши Филарета и прочих пленных к речке Поляновке, с целью возвратит русским, хотели отправить их назад. Чтобы избавить царского отца из плена, бояре должны были согласиться на требование поляков сыскивать и возвращать своих соотечественников, которые не были сданы в числе пленных.

14 июня Филарет прибыл в Москву. Царь встретил его за городом при бесчисленном множестве народа и поклонился ему в ноги, а Филарет поклонился в ноги царю, и оба лежали на земле, проливая слезы. В то время в Москве гостил патриарх иерусалимский Феофан. По царскому прошению он посвятил 24 июня Филарета в сан московского патриарха.

До сих пор царь Михаил, человек очень кроткого характера, мягкосердечный, был только по имени самодержцем. Окружавшие его бояре дозволяли себе своевольства. Все управление государством зависело от них. Но Филарет, человек с твердым характером, тотчас захватил в свои руки власть и имел большое влияние не только на духовные, но и на светские дела. Без его воли ничего не делалось. Иностранные послы являлись к нему, как к государю. Сам он, как и сын, носил титул великого государя. В его личности было что-то повелительное, царственный сын боялся его и ничего не смел делать без его воли и благословения. Бояре и все думные и близкие к царю люди находились у него в повиновении; правдивый и милостивый с покорными, он был грозен для тех, кто решался идти против него, и тотчас отправлял в ссылку строптивых. Во всей патриаршей епархии, которая обнимала большую часть Московского государства, кроме Казани и Новгорода, все монастыри со всеми их имениями отданы были его управлению, исключая уголовных дел. Все важные указы царя писались, не иначе как с совета отца его. Одним из первых дел периода власти Филарета в области светского управления было собрание земской думы, которая должна была представить полное изображение разоренного состояния государства, сообщить меры, «чем Московскому государству полниться, и устроить Московское государство так, чтобы пришли все в достоинство», а государь при содействии отца своего

обещал «промышлять, чтобы во всем поправить и как лучше». Тогда, по настоянию Филарета, были посланы в те города Московского государства, которые уцелели от разорения, писцы, а в разоренные города «дозорщики», привести в известность состояние государства и возвратить разбежавшихся посадских и волостных людей на прежние места жительства, чтобы они правильно платили государству подати. В духовном управлении Филарет был строг, старался водворить благочиние как в богослужении, так и в образе жизни духовенства, преследовал кулачные бои и разные народные игры, отличавшиеся непристойностью, наказывал как безнравственность, так и вольнодумство. Образчиком случаев первого рода может служить дело об одном боярском сыне, Нехорошке Семичеве, которого патриарх за развратную жизнь приказал сослать на Белое море, в Корельский монастырь, держать скованного в хлебне, велеть ему сеять муку и выгребать золу из печи, а кормить одним хлебом, и то половиною того, что дается каждому брату. В таком положении несчастный узник должен был находиться до смерти. Как пример второго рода можно привести суд Филарета над князем Иваном Хворостининым. Этот князь был одним из приближенных названного Димитрия и, следуя его примеру, вольнодумствовал относительно религиозных предметов: говорил, что все равно образа, что римские, что греческие, не хранил постов, читал еретические книги. Василий Шуйский сослал его в Иосифов монастырь. Михаил воротил его, но Хворостинин дошел еще до большего вольнодумства: говорил, что молиться не для чего, что воскресенье мертвых – ложь, смеялся над угодниками Божьими, бил своих слуг за то, что ходят в церковь, пил вино и ел мясо на страстной неделе, не захотел идти на Пасху к царю, замышлял уйти из отечества и уже начал с этою целью продавать свои вотчины. «Для меня, – говорил он, – нет людей в Москве, не с кем слова сказать, народ глуп, буду просить у царя отпустить меня в Рим, или в Литву, или куда-нибудь». Пока царствовал один Михаил, Хворостинину все сходило с рук. Но Филарет скоро принялся за него. У Хворостинина нашли сатирическое стихотворение, в котором он смеялся над благочестием москвичей: «Они кланяются иконам только по подписи, а образ неподписанный у них и не образ». Между прочим, он выразился: «Московские люди сеют всю землю рожью, а живут все ложью». За все это Филарет приказал сослать Хворостинина в Кириллов монастырь, держать его безвыходно в келье, давать читать только церковные книги и заставлять молиться. Это было в 1623 году. Хворостинин просидел там девять лет и был отпущен в 1632 г., когда дал обещание и клятву соблюдать уставы греческой церкви и не читать никаких еретических книг.

Что касается до степени церковной учености Филарета, то современники говорят, что он только отчасти разумел Священное Писание. Филарет скончался в октябре 1633 года и был погребен в Успенском соборе.

Его патриаршество было важною эпохою в истории русской иерархии. Как родитель царя, Филарет естественно имел более власти, чем всякий другой имел бы, находясь в его звании, и как патриарх управлял независимо в церковных делах. Это вообще подняло и возвысило сан патриарха и для преемников Филарета.

Менее относящееся к личности Филарета заключается в биографии царя Михаила Феодоровича.

## Николай Костомаров



### Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей

#### Второй отдел: Господство дома Романовых до вступления на престол Екатерины II

#### Выпуск четвертый: XVII столетие

#### Глава 1 Царь Михаил Федорович

Мало в истории найдется примеров, когда бы новый государь вступил на престол при таких крайне печальных обстоятельствах, при каких избран был шестнадцатилетний Михаил Федорович. С двумя государствами: Польшей и Швецией, не окончена была война. Оба эти государства владели окраинами Московской державы и выставляли двух претендентов на московский престол – двух соперников новоизбранному царю. Третьего соперника ему провозглашала казацкая вольница в Астрахани в особе малолетнего сына Марины, и Заруцкий во имя его затевал двинуть турок и татар на окончательное разорение Московского государства. Ожидали было еще соперника царю и в габсбургском доме. В 1612 году цезарский посланник Юсуф, проезжая через Московское государство из Персии, виделся в Ярославле с Пожарским, и, услышавши от него жалобы на бедственное состояние Московского государства, заметил, что хорошо было бы, если бы московские люди пожелали избрать на престол цезарского брата Максимилиана. На это Пожарский, как говорят, отвечал, что если бы цезарь дал на Московское государство своего брата, то московские люди приняли бы его с великою радостью. Об этом узнали в Германии; император прислал Пожарскому похвальное слово; но Максимилиан, отговариваясь старостью, отказывался от русского престола. Императорский посланник прибыл в Москву с грамотою к боярам в то время, как уже избран был Михаил, и предлагал боярам в цари другого императорского брата. Это встревожило новое правительство, и царь отправил послов в Австрию с таким объяснением: мы никогда этого не слышали, да и в мысли у бояр и воевод и всяких чинов людей Московского государства не было, чтобы выбирать государя не греческой веры. Если Пожарский так говорил, то он поступал без совета всей земли, а быть

может, ваш посланник Юсуф или переводчик сами это выдумали, чтобы выманить жалование у своего государя.<sup>1</sup>

Внутри государства многие города были сожжены дотла, и самая Москва находилась в развалинах. Повсюду бродили шайки под названием казаков, грабили, сжигали жилища, убивали и мучили жителей. Внутренние области сильно обезлюдели. Поселяне еще в прошлом году не могли убрать хлеба и умирали от голода. Повсюду господствовала крайняя нищета: в казне не было денег и трудно было собрать их с разоренных подданных. Одна беда вела за собою другие, но самая величайшая беда состояла в том, что московские люди, по меткому выражению матери царя, *измалодушествовались*. Всякий думал только о себе; мало было чувства чести и законности. Все лица, которым поверялось управление и правосудие, были склонны для своих выгод грабить и утеснять подчиненных не лучше казаков, наживаться за счет крови бедного народа, вытягивать из него последние соки, зажимать общественное достояние в то время, когда необходимо было для спасения отечества крайнее самопожертвование. Молодого царя тотчас окружили лживые и корыстолюбивые люди, которые старались захватить себе как можно более земель и присваивали даже государевы дворцовые села. В особенности родственники его матери, Салтыковы, стали играть тогда первую роль и сделались первыми советниками царя, между тем как лучшие, наиболее честные деятели смутного времени, оставались в тени зауряд с другими. Князь Дмитрий Пожарский, за нежелание объявлять боярство новопожалованному боярину Борису Салтыкову, выдан был ему головою.<sup>2</sup> Близ молодого царя не было людей, отличавшихся умом и энергией: все только одна рядовая посредственность. Прежняя печальная история русского общества приносила горькие плоды. Мучительства Ивана Грозного, коварное правление Бориса, наконец, смуты и полное расстройство всех государственных связей выработали поколение жалкое, мелкое, поколение тупых и узких людей, которые мало способны были стать выше повседневных интересов. При новом шестнадцатилетнем царе не явилось ни Сильвестра, ни Адашева прежних времен. Сам Михаил был от природы доброго, но, кажется, меланхолического нрава, не одарен блестящими способностями, но не лишен ума; зато не получил никакого воспитания и, как говорят, вступивши на престол, едва умел читать.

В высшей степени знаменательно суждение одного голландца о тогдашнем состоянии России: *Царь их подобен солнцу, которого часть покрыта облаками, так что земля московская не может получить ни теплоты, ни света... Все приближенные царя-несведущие юноши; ловкие и деловые приказные – алчные волки; все без различия грабят и разоряют народ. Никто не доводит правды до царя; к царю нет доступа без больших издержек: прошения нельзя подать в приказ без огромных денег, и тогда еще неизвестно, чем кончится дело: будет ли оно задержано или пущено в ход*. Смутное время, однако, сделало большую перемену в строе государственного правления против прежних времен: оно выдвинуло значение собора всей земли русской. В половине XVII века русский эмигрант Котошихин Писал, что царя Михаила Федоровича, как и всех царей после Грозного, выбрали с записью, в которой избранный государь обязывался никого без суда не казнить и все дела делать сообща с боярами и думными людьми. Такой записи не сохранилось и нет основания

---

<sup>1</sup> Важных последствий из этого не было никаких, но тем не менее до 1616 года отношения к императору были холодные, в особенности по причине неумения русских послов вести себя прилично, и только в этом году император приказал уверить московского государя, что он не будет помогать польскому королю войском и деньгами и не дозволит полякам нанимать ратных людей в своих владениях.

<sup>2</sup> Обычай этот соблюдался таким образом: по царскому приказанию дьяк или подьячий вел выдаваемого головою пешком (что уже составляло бесчестие) во двор соперника, ставил его на нижнем крыльце и объявлял, что царь выдает такого-то головой. Пожалованный бил царю челом за милость и дарил дьяка или подьячего подарками, а выданного себе головою отпускал домой, но не позволяя ему садиться на лошадь у себя на дворе. Выданный головою обыкновенно при этом ругался всеми способами, и пожалованный не обращал на то никакого внимания. Иногда же царь за послушание, кроме выдачи головою, приказывал наказывать виновного батогами.

предполагать, что она существовала; но на деле происходило действительно так, как бы и на самом деле существовала эта запись; во все свое царствование, а в первых годах в особенности, царь Михаил Федорович в важных делах собирал земскую думу из выборных всей земли и вообще во всех делах действовал заодно с боярским приговором, как и значится в законодательных актах того времени. Это объясняется новостью династии и тем, что Михаил был посажен на царство волею собора; при смутных обстоятельствах он должен был, для собственной безопасности, опираться на волю земли. Такое участие земской силы в правлении не могло обратиться во что-нибудь прочное, как по грубости нравов и невежеству, не дававшему народу достигнуть ясного сознания разделения властей, так еще более по причине того *малодушества*, которое тогда господствовало в народе, особенно в высших его слоях. До какой степени были грубы в то время нравы, показывает то, что близкие к царю люди почти на глазах его ругались и дрались между собою и не смущались тем, когда их били по щекам или батогами.<sup>3</sup> Участие земских соборов в правлении не могло остановить лихоимства, неправосудия и всякого рода насилий, дозволяемых себе воеводами и вообще начальными людьми, потому что как бы их ни смещали, кем бы их ни заменяли, все-таки неизбежно происходили одни и те же явления, коренившиеся во всеобщей порче нравов. Поэтому-то Масса, голландец, чужой человек, наблюдавший и близко знавший русскую жизнь, говоря о начале царствования Михаила, выразился так: *Надеюсь, что Бог откроет глаза юному царю, как то было с прежним царем Иваном Васильевичем; ибо такой царь нужен России, иначе она пропадет; народ этот благоденствует только под дланью владыки и только в рабстве он богат и счастлив*. Суждение голландца довольно поверхностно: иностранец не вник в то обстоятельство, что эпоха Ивана Грозного способствовала тому состоянию общественной нравственности, какое он видел в России; но какими бы путями ни дошла Русь до тогдашнего состояния нравственности, приговор этот, высказанный свободным гражданином республики о необходимости сурового самодержавия для русского народа, очень знаменателен. Иностранцам, жившим в России, оно было по сердцу, потому что при безусловной силе верховного правительства им легче было добывать себе такие привилегии, каких бы им не дал никакой собор, составленный, между прочим, из лиц торговых и промышленных, чувствовавших на себе невыгоду льгот и преимуществ, даваемых иностранцам перед русскими. По уверению того же голландца, молодой Михаил Федорович сознавал свое положение. Когда ему доложили об одном господине, которого следовало наказать за важный учиненный им проступок, то царь ответил: «Вы разве не знаете, что наши московские медведи в первый год на зверя не нападают, а начинают только охотиться с летами».

Первою заботою нового правительства был сбор казны. Это было естественно, потому что как только новый царь вступил на престол, так к нему обратились всяких чинов служилые люди, представляли, что они проливали кровь свою за Московское государство, терпели всякую нужду и страдания, а между тем их поместья и вотчины запустели, разорены, не дают никаких доходов; недостает им ни платья, ни вооружения. Они просили денег, хлеба, соли, сукон и без обиняков прибавляли, что если им царского денежного и хлебного жалованья не будет, то они от бедности станут грабить, воровать, разбивать проезжих по дорогам, убивать людей, и не будет никакой возможности их унять. Царь и собор разослали повсюду грамоты, приказывали собирать скорее и точнее подати и всякие доходы, следуемые в казну, сверх того умоляли всех людей в городах, монастырях давать в казну займы все, что что может дать: денег, хлеба, сукон и всяких запасов. Приводилось в худой пример то, что московские гости и торговые люди в прошлые годы пожалели дать ратным людям денег на жалованье и через то потерпели страшное разорение от поляков. Такие грамоты посылались преимущественно в северовосточный край, менее других

---

<sup>3</sup> Так, например, одного, по имени Леонтьева, за жалобу на князя Гагарина думный дьяк бил по щекам, а другого, Чихачева, за жалобу на князя Шаховского, бояре приговорили высечь кнутом, но думный дьяк Луговский и боярин Иван Никитич Романов сами собственноручно тут же во дворе отколотили его палками.

пострадавший, и в особенности к богатым Строгоновым, оказавшим важное пособие Пожарскому и Минину.

То, что поступало в казну, оказывалось недостаточным. А между тем нужно было много чрезвычайных усилий для поддержания порядка и ограждения государства, части которого с трудом подчинялись единству власти. В Казани некто Никанор Шульгин затевал, при помощи казаков, возмутить поволжский край; ему это не удалось; казанцы остались верны Михаилу; Шульгин был схвачен и сослан в Сибирь, где и умер. Но понадобилось несколько лет, чтобы расправиться с Заруцким и с буйными казацкими шайками, бродившими по России. В 1614 году правительство снова просило денег и должно было бороться со всякого рода сопротивлением. Дворяне и дети боярские бегали со службы; их принуждены были ловить и в наказание отбирать треть имущества на государя. Иные приставали к казакам. Посадские люди не платили положенных на них податей по 175 руб. с сохи и других поборов, тем более, что сборщики и воеводы наблюдали при этом свои противозаконные выгоды.<sup>4</sup> Но в то время, когда тяглых, посадских и волостных людей доводили до ожесточения сборами и правезами, монастыри один за другим выпрашивали для себя и своих имений льготы, жаловались на разорение и действовали в этом случае через посредство богомольной матери государя, которая тогда записывала им и вотчины.<sup>5</sup>

Так, 1614—15 годы проходили в усиленной борьбе с внутренним неустройством. На юго-востоке в июне 1614 года порешили с Заруцким. Но множество других казацких шаек продолжали разорять государство почти во всех его пределах. В Осташковском уезде бесчинствовали черкасы и литовские люди под начальством Захария Заруцкого<sup>6</sup>, в Пусторжеве – под начальством полковника Яська: в уездах: Ярославском, Бежецком, Кашинском, Пошехонском, Белозерском, Углицком, свирепствовала огромная шайка, состоявшая из казаков и русских воров, преимущественно боярских холопей. Между атаманами отличался особенным зверством Баловень: разбойники его шайки не только грабили где что могли и не давали правительственным сборщикам собирать денег и хлебных запасов в казну, но с необыкновенною свирепостью мучили людей. У них было обыною забавою насыпать порох людям в уши, рот и т.п. и зажигать. Шайка, состоявшая также на половину из черкас, литовских людей и русских воров, в числе более 7000 чел., разбойничала на севере около Холмогор, Архангельска, на Ваге, около Каргополя, и наконец была истреблена в заонежских погостах и близ Олонца. Однако эта шайка оставила по себе печальные следы: во всем крае по р. Онеге и Ваге, как доносили царю воеводы, осквернены были Божьи церкви, выбит скот, сожжены деревни; на Онеге нашли 2325 трупов замученных людей, и некому было похоронить их; другие найдены были еще дышащими, но страшно искалеченными; многие, разбежавшись по лесам, погибли от холода и голода, а после усмирения разбойников жителям нечего было есть. В Вологде буйствовал сибирский царевич Араслан, грабил у жителей запасы и вешал людей вверх ногами. Были тогда разбойничьи шайки и около Перми. В Казанском крае по усмирении Шульгина поднялись татары и черемисы, брали в плен и убивали русских людей, захватили дорогу между Казанью и Нижним и покушались даже напасть на города. Другие разбойники, также

---

<sup>4</sup> Так, в Белозерске посадские люди не давали собирать положенную на них дань, и когда воеводы по обычаю поставили их за то на правез, то они ударили в набат и чуть не побили воевод и сборщиков. То же делалось и в других местах. В отдаленной Чердыни жители не хотели давать ратного сбора и прибили присланного за этим делом князя Шаховского.

<sup>5</sup> Таким образом в Белозерском уезде вымучивали подати с тяглых крестьян, а вотчины Кирилло-Белозерского монастыря были изъяты от них. Такую же свободу получили тогда все вотчины Волоколамского монастыря. Иным монастырям в это время всеобщей нужды и безденежья давались права на беспощинную торговлю солью и другими предметами.

<sup>6</sup> Таким образом в Белозерском уезде вымучивали подати с тяглых крестьян, а вотчины Кирилло-Белозерского монастыря были изъяты от них. Такую же свободу получили тогда все вотчины Волоколамского монастыря. Иным монастырям в это время всеобщей нужды и безденежья давались права на беспощинную торговлю солью и другими предметами.



называвшие себя казаками, бродили и бесчинствовали в украинских городах.<sup>7</sup> Напрасно правительство предписывало воеводам строить засеки, собирать ратных людей, вооружать жителей и всеми мерами ловить и истреблять разбойников; разбойников стало очень много; они нападали внезапно: пограбят, пожгут, перемучат людей в одном месте и исчезают, чтобы появиться в другом; ратные люди, прибывшие в то место, где, по слухам, объявились воры, заставляли там пепелища да обезображенные трупы людей, а о ворах уже шли слухи из других мест.

Для прекращения бед в сентябре 1614-го земский собор постановил послать к ворам духовных, бояр и всякого чина людей уговаривать их прекратить свои бесчинства и идти на царскую службу против шведов. Всем объявлялось прощение. Обещали давать им на службе жалованье, а крепостным людям, которые отстанут от воровства, обещана была свобода. Часть воров поддавалась увещаниям и отправилась к Тихвину на царскую службу против шведов; другие упорствовали и пошли вниз по Волге, но были наголову разбиты в Балахонском уезде боярином Лыковым; третьи, с которыми был сам Баловень, двинулись к Москве, в огромном количестве, под видом, как будто идут просить прощения у государя, но на самом деле оказалось, что у них были коварные намерения. Их отогнали от Симонова монастыря, преследовали и окончательно разбили на реке Луже. Более 3000 пленных приведено было в Москву. Простым казакам объявили прощение; Баловня с несколькими товарищами, особенно отличавшимися злодеяниями, повесили; других атаманов разослали по тюрьмам. Этот успех ослабил разбои, но не искоренил их. По разным местам продолжали появляться отдельно разбойничьи шайки, чему способствовало то, что правительство пыталось возвращать на прежние места жителей, которые в смутное время вышли с этих мест.<sup>8</sup>

Между тем в северской земле начал свирепствовать Лисовский с несколькими тысячами разного сброда, носившими общее название лисовчиков. Быстрота, с которою в продолжение 1615 года прогуливался Лисовский по обширному пространству Московского государства, изумительна. Сначала Пожарский гонялся за ним в северской земле. Лисовский, не успевши ничего сделать Пожарскому под Орлом, отступил к Кромам; Пожарский – за ним, Лисовский – к Болхову, потом к Белеву, к Лихвину и Перемышлю. Лисовский имел обыкновение оставлять утомленных лошадей, брал свежих и бросался с невероятною быстротою туда, где не ожидали его, а на пути все истреблял, что попадалось. Пожарский, утомившись погоней, заболел в Калуге. Лисовский со своею шайкой проскочил на север между Вязьмой и Смоленском, напал на Ржев, перебил на посаде людей и, не взявши города, повернул к Кашину и Угличу, а потом, прорвавшись между Ярославлем и Костромю, начал разорять окрестности Суздаля: оттуда прошел в рязанскую землю, наделал там разорений; из рязанской земли прошел между Тулою и Серпуховым в Алексинский уезд. Воеводы по царскому приказанию гонялись за ним с разных сторон и не могли догнать; только князь Куракин вступил с ним в бой под Алексиным, но не причинил ему большого вреда. Наконец, Лисовский, наделавши Московскому государству много бед, ушел в Литву. На следующий 1616 год Лисовский снова появился в северской земле, но нечаянно упал с лошади и лишился жизни. Его шайка избирала других предводителей и долго еще существовала под старым именем *лисовчиков*, производя бесчинства не только в московской, но впоследствии и в своей, польской, земле.

Таким образом русская земля, пострадавшая и обедневшая в смутное время, потерпела новое разорение от разбойников и Лисовского, а между тем угрожающее положение со

---

<sup>7</sup> Замечательно, что за многими из разбойничьих шаек следовала толпа жен венчаных и невенчаных.

<sup>8</sup> Таким образом ведено было отыскивать разных тяглых людей, приписанных к Москве и другим городам; то же постановлялось и о вотчинных крестьянах: в этот год двумя грамотами ведено было возвращать на прежнее место жительства троичких крестьян, выбывших с 1605 года. Крестьяне сопротивлялись, не хотели возвращаться, а иногда и землевладельцы, к которым они приставали, не отпускали их. Такие-то, сбежавшие с прежних мест, не желая подвергаться тяглу, наполняли разбойничьи шайки.

стороны Швеции и Польши требовало увеличения ратных сил и, вследствие этого, умножения денежных средств. Сделаны были распоряжения о новых поборах. Строгоновы обещали давать деньги в казну и с их приказчиков велено было взять 13810 рублей. Положено было брать во всех городах со двора по гривне, а с уездов всех волостей – с сохи по 120 рублей; но когда дело дошло до сбора, то в разных местах опять началось сопротивление. Воеводы должны были употреблять на ослушников ратных людей, в то же время сами воеводы, сборщики и разные приказные люди, приезжавшие для царских дел, брали прежде всего с народа на себя то, чего им не следовало брать лишнее, отягощали жителей кормами (сбором продовольствия) в свою пользу, а потом уже правили с нищих посадских и крестьян государственные подати: многих забивали и замучивали до смерти на правежах и доносили в Москву, что нечего взять. Посадские из городов посылали челобитчиков жаловаться на утеснения в Москву, но это стоило также лишних денег. В Москве, в приказах, с челобитчиков брали взятки; да и сами челобитчики, приезжавшие в столицу от своих обществ, присваивали себе порученные им мирские деньги. Тогда правительство думало усилить свои доходы продажей напитков, приказывало везде строить кабаки, курить вино, запрещало служилым и посадским держать напитки для продажи; и это средство не могло принести много пользы: для того, чтоб пить, нужен был достаток; те же, которые пропивали последнюю деньгу, могли доставить только ничтожный доход казне и за то менее были в состоянии платить прямые налоги. Эти сборы были недостаточны, а служилым надобно было платить; и дети боярские, вытребованные на службу, роптали, что не получают жалованья, и разбежались. В это время правительство старалось умножить и усилить в войске отдел стрельцов, как более организованное войско; на них тогда полагались все надежды, и потому по городам приказано было набирать в стрельцы охочих вольных людей, умеющих стрелять. Состоя под управлением своих голов, стрельцы пользовались правом собственного суда, кроме разбойных дел.

Правительство, не в силах будучи сладить с поборами, созвало в 1616 году земский собор. Приказано было выбрать лучших уездных посадских и волостных людей для *великого государева земского дела на совет*. Этот собор постановил всемирный приговор: собрать со всех торговых людей пятую деньгу с имущества, непременно деньгами, а не товарами, а с уездов по 120 рублей с сохи. Со Строгоновых, по расчету, приходилось взять 16000 рублей, но, кроме того, собор наложил на них еще 40000. «Не пожалейте своих животов, – писал к Строгоновым царь, – хоть и себя приведете в скудость. Рассудите сами: если от польских и литовских людей будет конечное разорение Российскому государству, нашей истинной вере, то в те поры и у вас, и у всех православных христиан, животов и домов совсем не будет».

Нужно было так или иначе покончить со шведами. Новгород оставался в их руках. Вместе с Новгородом захвачена была водская пятина, города Корела (Кексгольм), Ивангород, Ям, Копорье, Ладога, Порхов, Старая Руса. Шведы поставили везде своих воевод, но, вместе со шведскими, были и русские начальники. Избрание Михаила подавило новгородцев в затруднительное положение относительно шведов: волей-неволей они присягнули на верность королевичу Филиппу с тем, что он будет царем всей Руси; но теперь в Москве избран другой царь, и шведский наместник, Эверт Горн, заступивший место Делагарди, объявил новгородцам, что так как Москва не хочет королевича Филиппа, то королевич не желает быть на одном государстве новгородском; по этой причине Новгород, со своей землей, должен присоединиться к шведскому королевству. Новгородцы не были согласны на присоединение к Швеции; и, спрошенные через своих пятиконецких старост, они упирались, отвиливали, говорили, что, давши раз присягу королевичу Филиппу, желают оставаться верны своей присяге. Некто князь Никифор Мещерский возбуждал тогда новгородский народ ни за что не присягать шведскому королю, не соглашаться на присоединение Новгорода к Швеции и ни в каком случае не отлучать его от Московского государства. Шведы за это засадили под стражу Мещерского. Народ не успокаивался, не давал требуемого согласия на присоединение к Швеции, и, наконец, митрополит Исидор попросил у шведского наместника дозволения отправить в Москву посольство для убеждения бояр

признать царем королевича Филиппа. Шведы согласились. Послом от Новгорода поехал хутынский архимандрит Киприан, который прежде участвовал в посольстве новгородцев к шведам в Выборг и казался расположенным к Швеции; с ним поехали двое дворян.<sup>9</sup> Вместо того, чтоб уговаривать бояр отступить от Михаила (что было слишком опасно для посланных), новгородские послы били челом боярам, чтоб царь Михаил Федорович простил новгородцам невольное целование креста и заступился за Новгород, который ни за что не хочет отрываться от русской державы. Царь допустил новгородских послов к себе, обласкал и приказал дать им две грамоты: одну от бояр, явную, с суровым выговором всем новгородцам за то, что они отправили к ним посольство с советом изменить царю, а другую, тайную – от царя; в ней царь Михаил Федорович прощал новгородцам все их вины и обнадеживал своей милостью. Царскую грамоту стали раздавать в списках тайком между новгородцами для поддержания упорства, но в Москве нашелся изменник, благоприятель шведов – думный дьяк Третьяков: он написал об этой тайной грамоте шведскому наместнику. Тогда Эверт Горн посадил под стражу ездивших послов и принялся за Киприана: его мучили на правеже, морили голодом и морозом.

Военные попытки против шведов были неудачны для русских. Князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой, подобравши с собой казаков, обещавшихся верно служить царю, потерпел поражение. Но сам шведский король не был намерен добиваться слишком многого. Завязываться в долговременную и упорную войну было опасно для Швеции, так как она находилась тогда в неприязненных отношениях и с Польшей и с Данией; самое обладание Новгородом представляло для Швеции более затруднений и хлопот, чем пользы. Новгородцы не хотели добровольно быть под шведским владычеством; Швеции надобно было держать их насильно, и через то находиться во всегдашних неприязненных отношениях к Москве: понятно, что тогда Новгород, ненавидя шведское правление, будет постоянно обращаться к Москве и вооружать ее против Швеции. Густав Адольф хотел только воспользоваться запутанным состоянием Московского государства, чтоб отнять у него море и тем обессилить опасного для Швеции на будущее время соседа. Он обратился к английскому королю, Иакову I, с просьбой принять посредничество в споре с Московским государством. К тому же Иакову еще прежде, в 1613 г., послал новоизбранный царь, Михаил Федорович, дворянина Алексея Зюзина с просьбой заступиться за Московское государство против шведов и снабдить его оружием, запасами и деньгами тысяч на сто рублей.<sup>10</sup> Англия намеревалась добиться от России новых торговых выгод, и потому для нее был большой расчет оказать России услугу, чтобы иметь право требовать возмездия. Английский король обещал прислать уполномоченного с тем, чтобы примирить русского царя с шведским королем. В 1614 году с такою же целью отправлены были московские послы, Ушаков и Заборовский, в Голландию. Эти послы были так бедны, что в Голландии принуждены были дать им 1000 гульденов на содержание. Голландские штаты также обещали свое посредничество в деле примирения России с Швецией. Голландцы надеялись через это получить ущерб англичанам, с которыми они находились тогда в сильном соперничестве.

В Москву приехал от английского короля, в качестве посредника, Джон Мерик, известный русским купец, пожалованный английским королем в рыцари. Со стороны голландцев прибыл в Россию Николай Ван-Бредероде с товарищами.

При посредстве этих послов состоялось совещание между русскими и шведами в селе Дедерине. Со стороны русских были: окольный князь Даниил Мезецкий и дворянин Алексей Зюзин с товарищами. Со стороны шведов – Яков Делагарди, Генрих Горн и другие. Шведский король осаждал Псков, но неудачно, и, потерявши Эверта Горна, отступил от города.

---

<sup>9</sup> Яков Бабарыкин и Матвей Муравьев.

<sup>10</sup> Иаков принял московского посла отлично и, зная щепетильность русских в соблюдении внешних обрядов, во время приема дозволил московскому послу надеть шапку, когда сам был без шапки, из уважения к царскому имени. Посол отказался от предоставленной ему чести, но был очень доволен: и в Москве, когда узнали об этом, то были также очень довольны.

Голландские посланники в своих донесениях оставили любопытные черты тогдашнего бедственного состояния России. Край был сильно обезлюден. Иностранцы должны были ехать зимой по пустыне, где встречались разоренные деревни; в избах валялись непогребенные мертвые тела. Волки и другие хищные звери бродили стаями. В лесах скрывались казаки и шиши. Они вели партизанскую войну со шведами и убивали всякого шведского воина, которого случалось им схватить на дороге, если он был отправлен с каким-нибудь поручением от своего начальства. Старая Руса представляла кучу развалин каменных церквей и монастырей. Город, прежде многолюдный, в это время опустел до того, что в нем оставалось не более 100 чел., едва имевших насущный хлеб. Вся окрестность была опустошена, негде было найти продовольствия, и оно доставлялось послам с большим трудом из отдаленных мест. Шведские и русские послы поместились в отдельных селах и съезжались на переговоры в Дедерино к английскому послу. Сопрошения происходили в шатре, разбитом среди поля на снегу, потому что нельзя было найти для этого довольно просторной избы. Сначала русские упрекали Делгарди за прежнее его поведение. Тот защищался и сваливал вину на русских. Наконец приступили к делу. Шведы пытались поднять вопрос о выборе в московские цари королевича Филиппа; русские и слышать об этом не хотели. Переставши толковать о королевиче Филиппе, шведы потребовали больших уступок земель или огромной суммы денег. Русские объявили, что скорее лишатся жизни, чем уступят горсть земли.<sup>11</sup> Шведы несколько раз грозились уехать ни с чем; англичанин удерживал их, наконец русские согласились отдать одну Корелу, а вместо других городов, которых домогались шведы, предлагали сто тысяч рублей. Не порешивши окончательно на этом, обе стороны заключили перемирие от 22 февраля до 31 мая 1616 года, и по истечении срока положили снова съехаться для заключения мира. Не ранее, однако, как в конце декабря 1616 года съехались шведские послы с русскими в селе Столбове, все-таки при посредничестве Мерики. Новгородцы умоляли русских послов поскорее окончить дело, потому что шведы и их угодники из русских жестоко теснили новгородцев, требуя присяги шведскому королю, и мучили праведными, вымогая у них корм и подводы для войска. Эти жалобы новгородцев побудили наконец русское правительство к уступчивости. Пропоривши почти два месяца, 27 февраля 1617 года, подписали договор вечного мира, по которому шведы возвращали русским Новгород, Порхов, Старую Русу, Ладугу, Гдов и Сумерскую волость; а русские уступали Швеции приморский край: Иван-город, Ям, Копорье, Орешек и Корелу с уездами; кроме того, обязались заплатить 20 000 рублей готовыми деньгами. По выходе шведов из Новгорода, 14 марта русские послы вступили туда с чудотворной иконой, взятой из Хутынского монастыря. Митрополит Исидор встречал их со всем народом, который громко плакал. Новгород был в самом жалком состоянии. Более половины домов было сожжено. Жителей оставалось уже не много. Иные разбежались, другие померли от голода, который свирепствовал в Новгороде, его окрестностях и в псковской земле, в такой степени, что жители питались нечистой пищей и даже ели человеческие трупы.

Как ни тяжелы были для Московского государства условия Столбовского мира, отнимавшего у России море и потому носившего в себе зародыш неизбежных кровавых столкновений в будущем, но в то время и такой мир был благодеянием, потому что оставлял теперь Московское государство в борьбе с одной только Польшей.

Устроив примирение, Джон Мерик прибыл в Москву и заявил со стороны Англии требование важных торговых привилегий. Он просил, между прочим, позволить англичанам ходить для торговли Волгой в Персию, рекой Обью в Индию и Китай. Русское правительство отдало эти вопросы на разрешение думы, составленной из торговых людей. На основании приговора этих торговых людей, бояре отказали в главном, чего домогался Мерик, под

---

<sup>11</sup> Английский посол держал себя хладнокровно и беспристрастно, и когда русские пытались вооружить его против шведов и указывали ему, что шведы не воздают ему должной чести, англичанин отвечал, что честь дана ему от своего государя и ее никто отнять у него не может, а до почета со стороны шведов ему нет дела.

благовидными предложениями отсрочки на будущее время. «Теперь русские торговые люди оскудели», – говорили бояре Мерикю. «Они у англичан покупают в Архангельске товары и продают в Астрахани персиянам: от этого прибыль и им и казне, а если англичане сами начнут торговать в Персии, то этой прибыли не будет. Притом же в Персии теперь небезопасно: персидский шах воюет с турецким царем, да и на Волге плавать опасно. Надобно отложить до другого времени». Что касается до пути в Индию и Китай через Сибирь, то бояре сказали английскому послу, что «Сибирь страна студеная и трудно через нее ходить: по реке Оби все лед ходит, по Сибири кочевые орды бродят, ходить опасно, да и про китайское государство говорят, что оно не велико и не богато, а потому государь, по дружбе к английскому королю, прикажет прежде разузнать, какими путями туда ходить и каково китайское государство: стоит ли туда добиваться». Таким образом, благодаря силе торговых людей, Мерик, при всех своих услугах России, не добился цели стремлений англичан на восток, хотя получил от царя в знак благодарности и внимания золотую цепь с царским портретом и разные подарки, преимущественно мехами.

Голландцы, также добивавшиеся для себя торговых льгот, получили некоторые выгоды, но не в такой степени, как англичане. Еще в 1614 году компании голландских гостей подтверждена была грамота царя Василия Ивановича на свободную торговлю во всем государстве, а во внимании к разорению, понесенному голландскими купцами, позволено им торговать беспошлинно на три года. Когда срок этот минул, голландцы не добились такого расширения своих торговых прав, которое бы могло подорвать английскую торговлю, однако, по собственному их сознанию, в 1616—17 годах, русские так снисходительно смотрели за голландцами, что последние платили за свои товары гораздо менее пошлин, чем с них следовало.<sup>12</sup> Шведам по Столбовскому договору предоставлена была свободная торговля, но с платежом обычных полных пошлин.

В то время, когда шли переговоры о мире со шведами, в жизни царя произошло печальное семейное событие. Молодой царь находился в покорности инокини матери, которая жила в Вознесенском монастыре, имела свой двор и была окружена монахинями: самой приближенной из них к царской матери была мать Салтыковых, старица Евникия, Царь не смел ничего начинать без благословения матери, а главная сила ее состояла в том, что царь приближал к себе и слушал совета тех людей, которым она благоприятствовала. Вместе с матерью Михаил часто совершал благочестивые богомолья к Троице, к Николе на Угреше и в разные святые места, как в самой Москве, так и в ее окрестностях. Жизнь царя была опутана множеством обрядов, носивших на себе более или менее церковный или монашеский характер. Это приходилось по нраву Михаила, который вообще был тих, незлобив и сосредоточен. В 1616 году, когда ему наступил двадцатый год, решено было женить его. Созвали по давнему обычаю толпу девиц – дочерей дворян и детей боярских; Михаилу приглянулась более всех Марья, дочь дворянина Ивана Хлопова. Немедленно выбранная невеста была взята «на верх» (во дворец, собственно в теремные хоромы цариц) и велено было ей оказывать почести как царице, дворовые люди ей крест целовали, и во всем Московском государстве велено поминать ее имя на ектениях. Ее нарекли Анастасией. Отец и дядя нареченной, невесты были призваны во дворец, государь лично объявил им свою милость. Таким образом род Хлоповых, совершенно незначительный до того времени, вдруг возвысился и стал в приближении у царя. Это возбудило во многих зависть, как и прежде всегда бывало в подобных случаях. Более всех не взлюбили Хлоповых могущественные Салтыковы, опасавшиеся, чтобы Хлоповы не вошли в доверие царя и не оттеснили их самих на задний план.

Однажды царь ходил в своей оружейной палате и рассматривал разное оружие. Михаил Салтыков показал ему турецкую саблю и похвастался, что такую саблю и в Москве сделают.

---

<sup>12</sup> Предметами привоза у голландцев были: вина, сукна, нюрнбергские изделия, мелочные товары и более всего холст, который славился тогда во всей Европе. Из России голландцы вывозили преимущественно восточные товары: сырой шелк, краски, москательные товары, камлот, парчи, штофные изделия (дамасты) и др.

Царь передал саблю Гавриле Хлопову, дяде царской невесты, и спросил: «Как ты думаешь, сделают у нас такую саблю?» Хлопов отвечал: «Чаю, сделают, только не такова будет, как эта!» Салтыков с досадой вырвал у него из рук саблю и сказал: «Ты говоришь не знаючи!» Они тут же побранились крупно между собой.

Салтыковы не простили Хлоповым, что они смеют им перечить, решились удалить их от двора и расстроить брак государя. Они очернили Хлоповых перед царской матерью и разными наговорами внушили ей неприязнь к будущей невестке. При нареченной царевне находились постоянно: бабка ее Федора Желябужская и Марья Милюкова, одна из придворных сенных боярынь. Другие родные навещали ее сначала изредка, потом каждый день. Вдруг нареченная невеста заболела. С ней началась постоянная рвота. Сперва родные думали, что это сделалось с ней от неумеренного употребления «сластей», и уговаривали есть поменьше. Она послушалась, и ей стало как будто получше, но потом болезнь опять возобновилась, и родные должны были донести об этом царю. Тогда царь приказал своему крайчому Салтыкову позвать доктора к своей невесте; Михаил Салтыков привел к ней иноземца-доктора, по имени Валентин, который нашел у больной расстройство желудка и объявил, что болезнь излечима и «плоду де и чадородию от того порухи не бывает». Такое решение было не по сердцу Салтыкову; прописанное лекарство давали царской невесте всего два раза, и доктора Валентина более к ней не призывали. После того – Салтыков призвал другого, младшего врача, по имени Балсырь, который нашел у больной желтуху, но не сильную, и сказал, что болезнь излечима. Лекарств у него не спрашивали и к больной более не звали. Салтыковы вздумали потом сами лечить царскую невесту: Михаиле Салтыков велел Ивану Хлопову взять из аптеки стлянку с какой-то водкой, передать дочери и говорил, что «если она станет пить эту водку, то будет больше кушать». Отец отдал эту стлянку Милюковой. Пила ли его дочь эту водку-неизвестно; но ей стали давать святую воду с мощей и камень безуй, который считался тогда противоядием. Царской невесте стало легче.

Между тем Салтыков донес царю, будто врач Балсырь сказал ему, что Марья неизлечима, что в Угличе была женщина, страдавшая такою же болезнью и, проболевши год, умерла. Царь не знал, что ему делать. Мать настаивала удалить Хлопову. Просто сослать ее с «верху» казалось зазорно, так как она уже во всем государстве признана царской невестой. Созван был собор из бояр для обсуждения дела. Напрасно Гаврило Хлопов на этом соборе бил челом не отсылать царской невесты с «верху», уверял, что болезнь ее произошла от сладких ядей и теперь уже почти проходит, что Марья скоро будет здорова. Бояре знали, что царская мать не любит Хлопову и желает ее удалить; в угоду ей произнесли они приговор, что Хлопова «к царской радости непрочна», т. е. что свадьбы не должно быть.

Сообразно этому приговору, царскую невесту свели с «верху». Это было в то время, когда во дворце происходили суетливые приготовления к ее свадьбе. Хлопову поместили у ее бабки на подворье, а через десять дней сослали в Тобольск с бабкой, теткой и двумя дядями Желябужскими, разлучив с отцом и матерью. Каково было в Тобольске изгнанникам – можно догадываться из того, что в 1619 году, уже как бы в виде милости, они были переведены в Верхотурье, где должны были жить в нарочно построенном для них дворе и никуда не отлучаться с места жительства, а царская невеста, испытавшая в короткое время своего благополучия роскошь двора, получала теперь на свое скудное содержание по 10 денег на день.

Этот варварский поступок не был делом царя Михаила Федоровича. Царь, по-видимому, чувствовал привязанность к своей невесте и грустил о ней, но не смел послушаться матери. Тем не менее он не соглашался жениться ни на какой другой невесте. Это событие показывает, что в то время молодой царь был совершенно безвластен и всем управляли временщики, угождавшие его матери, которая, как видно, была женщина хотя богомольная, но злая и своенравная.

Уладивши дело со шведами, Москва должна была покончить и с Польшей. Но это было гораздо труднее. Сигизмунд сожалел об утраченном Московском государстве. Сын его

Владислав, придя в совершенный возраст, также пленялся мыслью быть московским царем и затевал попытку вернуть себе утраченный престол.

Русское правительство искало противодействия Польше в Турции и в Крыму и думало было воспользоваться недоразумениями, возникавшими тогда между Турцией и Польшей. Турки злобствовали на поляков, но не вполне дружелюбно смотрели и на Московское государство, за нападение донских казаков. Русские посланники несколько лет сряду в Константинополе раздавали меха визирям и другим султанским вельможам и терпеливо выслушивали от турок колкости и упреки за казаков; зато, по крайней мере, утешались обещаниями турок начать войну с Польшей. Крымский хан, со своей стороны, брал с русских деньги и меха и за это обещал им тревожить поляков, но медлил. Московское правительство обращалось, кроме того, к немецкому императору и просило о посредничестве в деле примирения Москвы с Польшей. Император отправил от себя посредником Ганделиуса. При старании этого посредника съехались под Смоленском русские послы, князь Иван Михайлович Воротынский и его товарищи, с польскими послами: киевским епископом Казимирским, литовским гетманом Ходкевичем и канцлером Львом Сапегой. Ганделиус явно мирволил польской стороне: он не только считал правильной уступку Речи Посполитой земель, завоеванных ей от Руси, но полагал, что русские, признавши Владислава царем, обязаны были вознаградить его за утрату царского достоинства. Воротынский вел себя настойчиво; им за это был недоволен царь, потому что естественно боялся за своего родителя, находившегося в плену у поляков, более всего желал его возвращения и готов был на большие уступки, лишь бы добиться освобождения Филарета. Несмотря на уступчивость своего царя, русские послы не поддались излишним притязаниям поляков, и съезды под Смоленском прекратились. Война была неизбежна.

В 1616 году королевич Владислав издал окружную грамоту ко всем жителям Московского государства: напоминал, как его выбрали на московский престол всей землей; обвинял митрополита Филарета, который будто бы поступал вопреки наказу, данному всей землей; изъявлял сожаление о бедствиях Московского государства; объявлял, что, пришедши в совершенный возраст, идет сам добывать Московское государство, данное ему от Бога, и убеждал всех московских людей бить ему челом и покориться, как законному московскому государю; обещал, наконец, поступить с Михаилом, Филаретовым сыном, сообразно своему царскому милосердию, по прошению всей земли.

Притязания польского королевича грозили внести новое междоусобие в несчастное государство.

Но правильные военные действия между Польшей и Москвой начались не ранее 1618 года (как мы указали в жизнеописании Филарета). Война эта требовала крайнего напряжения сил, а между тем Московское государство еще не успело поправиться от прежних бедствий и испытывало новые в том же роде, как в предшествовавшие годы. Разбойничьи шайки продолжали бродить и разорять народ; самый образ ведения войны с Владиславом увеличивал число такого рода врагов, потому что главные силы польского королевича состояли из казаков и лисовчиков, а те и другие вели войну разбойническим способом. Литовские люди, заодно с русскими ворами, проникали на берега Волги и Шексны и разбойничали в этих местах. Города были так дурно укреплены и содержимы, что не могли служить надежным убежищем для жителей, которым небезопасно было оставаться в своих селах и деревнях.<sup>13</sup> Между тем правительство принуждено было усиленными мерами собирать особые тяжелые налоги с разоренного народа. То были запросные деньги,

---

<sup>13</sup> Состояние города Углича, напр., представляется, по современным известиям, в таком жалком виде: «Мосты погнили, башни стоят без кровли, ров засыпался, а кое-где и вовсе не копан. Ратных людей почти нет, стрельцов и воротников ни одного человека, пушкарей только шесть человек, и те голодные. Пороха нет. хлебных запасов нет. Посадские люди от нестерпимых правей почти все разбежались с женами и детьми. Волости кругом выжжены, опустошены, а между тем в Угличе сидели в тюрьме более сорока человек разбойников». Те же черты можно было встретить и в других городах большей части государства.

наложенные временно, по случаю опасности, которые должны были платить все по своим имуществам и промыслам, и, кроме того, разные хлебные поборы для содержания служилых людей; наконец, народ должен был нести и посошную службу в войске. Правительство приказывало не давать народу никаких отсрочек и править нещадно деньги и запасы. Воеводы, исполняя такие строгие повеления, собирали посадских и волостных людей, били их на правеже с утра до вечера; ночью голодных и избитых держали в тюрьмах, а утром снова выводили на правеж и очень многих забивали до смерти. Жители разбежались, умирали от голода и холода в лесах или попадали в руки неприятелям и разбойникам. Бедствия, которые народ русский терпел в этом году от правительственных лиц, были ему не легче неприятельских разорений. Монастыри же, как и прежде, пользовались своими привилегиями и если не вовсе освобождались от содействия общему делу защиты отечества, то гораздо в меньшем размере участвовали в этом деле; некоторые из них тогда же получали новые льготные грамоты. Служилые люди неохотно шли на войну; одни не являлись вовсе, другие бегали из полков: в новгородской земле служилые люди в то время имели повод особенно быть недовольными, потому что правительство отбирало у них поместья, розданные при шведском владычестве из дворцовых и черных земель.

В таком состоянии был народ, когда Владислав, идя к Москве, в августе 1618 г., снова возмущал русских людей своей грамотой, уверял, что никогда не будет ни разорять православных церквей, ни раздавать вотчин и поместий польским людям, что поляки не станут делать никаких насилий и стеснений русскому народу; напротив – сохраняемы будут их прежние права и обычаи. «Видите ли, – писал Владислав, – какое разорение и стеснение делается Московскому государству, не от нас, а от советников Михайловых, от их упрямства, жадности и корыстолюбия, о чем мы сердечно жалуем: от нас, государя вашего, ничего вам не будет, кроме милости, жалования и призрения».

Избранный народной волей царь противопоставил этому покушению своего соперника голос народной воли. 9 сентября 1618 года собран был земский собор всех чинов людей Московского государства, и все чины единогласно объявили, что они будут стоять за православную веру и своего государя, сидеть с ним в осаде «безо всякого сомнения, не щадя своих голов будут биться против недруга его, королевича Владислава, и идущих с ним польских и литовских людей и черкас». Грамоты Владислава прельстили немногих из русских людей. Как ни тяжело было русскому народу от тогдашнего своего правительства, но он слишком знал поляков, познакомившись с ними в смутное время. Дружба с ними была невозможна. Дело Владислава было окончательно проиграно.

В сентябре и октябре русские дружно отстояли свою столицу, и отбили приступы неприятеля, и не поддались ни на какие предложения принять Владислава. Когда неприятельские действия по временам прекращались и начинались переговоры, Лев Сапега, со свойственным ему красноречием, исчислял русским уполномоченным все выгоды, какие получит Русь от правления Владислава; русские отвечали ему: «Вы нам не дали королевича, когда мы его избрали; и мы его долго ждали; потом – от вас произошло кровопролитие, и мы выбрали себе другого государя, целовали ему крест; он венчан царским венцом, и мы от него не отступим. Если вы о королевиче не перестанете говорить, то нечего нам с вами и толковать». В конце концов поляки должны были отказаться от мысли посадить на московском престоле Владислава, 1-го декабря 1618 года подписано было деулинское перемирие на 14 лет и 6 месяцев. Правда, Московское государство много потеряло от этого перемирия, но выигрывало нравственно, отстоявши свою независимость. Теперь уже недоразумения могли возникать только о тех или о других границах государств, но уже Московское государство решительным заявлением своей воли отразило всякие поползновения Польши на подчинение его тем или другим путем.<sup>14</sup>

В июне 1619 года прибыл Филарет, отец государя, и был посвящен в патриархи. Дела

---

<sup>14</sup> Замечательно, что, по окончании перемирия, русское правительство не наказывало смертью тех русских, которые поддавались Владиславу, а только ссылало их, наказавши предварительно некоторых из них кнутом.



пошли несколько иначе, хотя система управления осталась одна и та же. Стала заметной более сильная рука, управлявшая делами государства. Господствующим стремлением было вернуть государство в прежний строй, какой оно имело до смутного времени, и, несмотря на стремления назад, новые условия жизни вызывали новые порядки. Наступило невиданное еще в истории Московского государства явление. Главой духовенства сделался отец главы государства. Отсюда на время патриаршества Филарета возникло двоевластие. Царь сам заявлял, что его отцу, патриарху, должна быть оказываема одинаковая честь, как и царю. Все грамоты писались от имени царя и патриарха. Царь во всех начинаниях испрашивал у родителя совета и благословения и, часто разъезжая со своей благочестивой матерью по монастырям, на то время поручал отцу своему все разные государственные дела. В церковных делах Филарет был полным государем. Область, непосредственно подлежащая его церковному управлению, обнимала все, что прежде ведалось в приказе Большого Дворца, и заключала в себе все московские владения, кроме архиепископии новгородской; но и архиепископ новгородский, хотя имел свое отдельное управление, находился, однако, в подчинении у Филарета. Собственно для себя Филарет, в год своего посвящения в патриархи, в 1619 году, получил в вотчину на Двине две трети волости Варзуги с правом полного управления над тамошними крестьянами, кроме разбойных дел и татьбы с поличным. По известию иностранцев, с прибытием Филарета переменены были должностные лица во всех ведомствах и с этих пор начинается ряд правительственных распоряжений, клонящихся к исправлению законодательства, к пресечению злоупотреблений, к установлению порядка по управлению и мало-помалу к облегчению народных тягостей. Одной из важнейших мер была посылка писцов и дозорщиков для приведения в известность состояния всего государства, но эта мера не достигала полного успеха по причине нравственного зла, таившегося в московских людях. Писцам и дозорщикам, за крестным целованием, вменялось в обязанность поступать по правде, делать опись государства так, чтобы сильные и богатые с себя не сбавляли государственных тягостей, а на мелких и убогих людей не накладывали лишних; но писцы и дозорщики, работая полтора-два года, писали «воровством», не по правде, с сильных сбавляли, а на убогих накладывали, потому что с сильных и богатых брали взятки. Правительство приказало их посадить в особую избу для исправления своих писцовых книг под надзором окольных и дьяков. Но и эта мера, как показывают последствия, не достигла своей цели: жалобы на неправильность распределения податей и повинностей долго и после того не прекращались. Изъятия одних в ущерб другим видны и в это время. Так, для сбора ямских денег разосланы были денежные сборщики; слушников велели бить на правее нещадно, а между тем вотчины Филарета, его монастырей и его детей боярских, вотчины митрополитов и многих важнейших монастырей освобождались от этих поборов. Обратили внимание на то, что воеводы и приказные люди делали невыносимые насилия посадским и крестьянам. Царская грамота запрещала воеводам и приказным людям брать посулы и поминки, не позволяла вымогать для себя безденежное продовольствие, гонять людей на свои работы. Угрожали за нарушение этих правил пеней вдвое против того, что виновные возьмут неправильно, если челобитная, на них поданная, окажется справедливой. Но, мимо всяких угроз, воеводы и приказные люди продолжали поступать по-прежнему, тем более, что правительство, делая им угрозы за злоупотребления, поверяло им большую власть в управляемых ими областях, потому что оно только через их посредство и при их старании могло надеяться на собиранье налогов с народа. Некоторым городам и уездам (напр. Ваге, Устюжне) подтвержден был старый порядок самоуправления; в других его уже не было, да и там, где он существовал, он имел разные степени размера<sup>15</sup>, но везде он более или менее стеснялся властью воевод; впрочем, самые выборные старосты делали утеснения бедным

<sup>15</sup> Например в Новгороде выборные старосты и целовальники могли судить всякие иски, исключая уголовных дел. В Пскове суд их простирался на иски не свыше 100 р., но в 1633 и псковские сравнены были с новгородскими: в других местах земские старцы и целовальники занимались только раскладкою податей и разверстку повинностей.

людям, и правительство приказывало своим воеводам охранять от них народ.<sup>16</sup> Вообще в это время, продолжая стараться всеми мерами добывать себе деньги, правительство, однако, давало народу и облегчения в разных местах.<sup>17</sup> Покончено было дело с англичанами. Еще во время осады Москвы Владиславом, царь занял у них 20000 р., а в июле 1620 года приехал в Москву известный там Джон Мерик: он поздравлял Филарета с освобождением, потом снова начал просить пропуска англичан в Персию по Волге. Правительство снова отдало этот вопрос на обсуждение торговых людей, которые дали такой совет, что англичан не следует пускать в Персию иначе, как за большую пошлину. Мерик имел у себя инструкцию добиваться беспошлинного проезда в Персию. Видя, что не добьется этого, он сам отказался от всяких прав на этот проезд с платежом пошлин и сказал: «Если от нашей торговли будет убыток, государевой казне и вашим торговым людям, то и говорить больше нечего. Мой король не желает убытка вашей казне и московским людям». Долг англичанам был выплачен. Московское государство осталось с Англией в самых лучших, дружеских отношениях.

Обогащение казны составляло главную заботу московского правительства. Постановили, чтобы впредь все, живущие в посадах, служилые люди несли тягло наравне с посадскими, а посадские впредь не смели бы продавать своих дворов таким лицам, которые по своему званию освобождались от тягла. Установлены были таможенные и кабацкие головы для сбора доходов с таможен и продажи напитков, а к ним придавались выборные из местных жителей целовальники. В пограничных торговых городах: в Архангельске, Новгороде, Пскове, все дорогие товары, так называемые узорочные (к ним причислялись золотые и серебряные вещи), не прежде могли поступать в продажу, как после того, как таможенный голова отберет и купит в казну все, что найдет лучшего. То же соблюдалось и по отношению к иноземным напиткам. В некоторых местах, вместо того, чтобы держать голов, таможенные и кабацкие сборы стали давать на откуп; и такая мера была особенно отяготительна для жителей, тем более, что откупщики были большей частью люди дурные. Кабаки развелись повсюду; правительство постоянно приказывало стараться, чтоб люди побольше пили и доставляли казне выгоды. Очень многим лицам давались привилегии готовить для себя, но никак не на продажу, напитки пред большими праздниками или по поводу разных семейных торжеств. Эти дозволения служили поводом к беспорядкам, потому что подавали возможность тайно продавать вино или же обвинять в тайной продаже. Торговцы и промышленники, кроме таможенных пошлин, облагались разными поборами: в городах платили полавочное, на дорогах и перевозах – мыто. За продажу запрещенных товаров (напр. соли, отправленной за границу, или за провоз в Сибирь оружия, железных изделий и вина) брали заповедные деньги.<sup>18</sup> Самые повседневные занятия облагались различными мелкими поборами, напр. за водопой скотины и за мытье белья на реке бралось пролубное, и для такого сбора из жителей выбирались особые целовальники, которые клали собираемые деньги в ящик за казенной печатью. Выбор целовальников к разным казенным сборам и работам, отправляемым с тягла, в значительной степени отягощал народ; казенная служба отвлекала выбранных от собственных занятий, а общество должно было платить за них подати.

---

<sup>16</sup> В 1621—1622 г. в Чердыни и Соликамске воеводам ведено было оберегать народ от злоупотреблений посадских и волостных старост и целовальников, которые в своих мирских книгах делали «бездельные приписки», налагали неправильно повинности и брали себе лишние деньги в посулы; за такое воровство им угрожали смертною казнью.

<sup>17</sup> Так, калужанам дана льгота от государственных повинностей на три года. В разных местах давались разные льготы, напр., в платеж ямских денег вместо 1000 руб. с сохи – только 468 руб.

<sup>18</sup> Тягло обнимало в то время много налогов, поборов и повинностей, как-то: подводные, ямские деньги, стрелецкие деньги и прочее. К числу повинностей, отправляемых тяглами, принадлежало тогда устройство деревянных мостовых в городах и меры предупреждения пожаров: с последнею целью в Москве выбирались из жителей «ярыжные»; жители должны были доставлять им на свой счет огнеспасительные принадлежности. Продажа табака и карт строго преследовалась: за употребление табака резали носы.

При расстроеном состоянии Московского государства, Сибирь была тогда важным источником поправления финансов. Сибирские меха выручали царскую казну в то время, когда невозможно было много собирать налогов с разоренных жителей внутренних областей. Государь отделялся соболями повсюду, где только нужно было платить и дарить. Правительство старалось преимущественно захватить в свои руки меха перед частными торговцами, и хотя последним дозволялось ездить в Сибирь для покупки мехов, но они были стесняемы разными распоряжениями, отнимавшими у них время и предававшими их произволу воевод.<sup>19</sup>

Русские подвигались шаг за шагом на восток и с каждым захватом новых земель, строили остроги и облагали туземцев ясаком. Но чтобы Сибирь была прочно привязана к Московскому государству, необходимо было заселить ее насколько возможно русским народом. Правительство принимало к этому свои меры в описываемое нами время.

Кроме служилых, преимущественно казаков, ядро тогдашнего русского населения в Сибири составляли пашенные крестьяне, которые набирались из охотников вольных, гулящих людей, – им давали земли, деньги на подмогу и льготы на несколько лет. Эти пашенные крестьяне обязаны были пахать десятую часть в казну, и этот хлеб, называемый десятинным, шел на продовольствие служилых.

При водворении пашенных крестьян, землю, отводимую им, меряли на десятины, на три поля, и присоединяли к ней сенные покосы и разные угодья. Это дало немедленно повод к тому, что некоторые захватывали земель более, чем следовало, и стали продавать. Так было в западной Сибири, напр. в Верхотурском уезде, где население было сравнительно гуще; правительство, узнавши об этом, приказывало делать пересмотры земель и за владельцами оставлять только ту землю, которую они действительно обрабатывали. Таким образом положено было препятствие к захвату сибирских земель в частную собственность. Так как движение русской власти на восток совершалось быстро, то потребность в пашенных крестьянах превышала число охотников поступать в это звание, и тогда правительство приказывало насильно сводить поселенных уже пашенных крестьян с мест более близких на места более отдаленные: так переводились крестьяне из Верхотурья и Тобольска в Томск, и это насильное передвижение подавало повод к побегам: явление, чересчур обычное в европейских странах Московского государства, очень скоро показалось и в Сибири. Кроме пашенных крестьян, позволяли заниматься земледелием всем вообще, как то: духовным, торговым людям, посадским; с них брали так называемый выдельный сноп. Пашенные крестьяне и работавшие с выдельного снопа не могли доставить казне хлеба в таком количестве, в каком нужно было для продовольствия служилых в Сибири; поэтому хлеб доставлялся из пермской земли на счет тамошних жителей, что называлось сибирским отпуском – повинность эта была тяжелая, хлеб скупался по таксе, по 25 алтын за четверть ржи (алтын = 6 денег, а в рубле = 200 денег или 33 алтына 4 д.), а постройка судов и доставление подвод лежали на жителях.

В Сибири, как в стране более отдаленной, сильно проявлялись пороки тогдашних русских людей. Воеводы с особенной наглостью брали взятки и делали всем насилия, служилые люди обращались дурно с туземцами и накладывали на них лишний ясак, сверх положенного, в свою пользу: наконец, пьянство в Сибири дошло до таких пределов, что правительство принуждено было поступать вопреки общепринятым мерам и велело уничтожить кабаки в Тобольске.<sup>20</sup> Церквей в Сибири было мало; переселенцы удалены были

<sup>19</sup> Меха дорожили до такой степени, что когда не доискались пары соболей между мехами, посланными из Сибири в царскую казну, то производили по этому поводу следствие.

<sup>20</sup> Способ собирания выдельного снопа, а также и десятинного хлеба с казенных крестьян приносил большие неудобства земледельцам. Последние не смели складывать в клады сжатого хлеба, пока служилые люди не придут и не возьмут того, что следует в казну, а так как село от села отстояло верст на сто пятьдесят и более, то служилые люди не успевали приезжать вовремя и хлеб пропадал в полях от непогоды или был расхищаем птицею. От этого народ терпел нередко голод. Однако в Верхотурье оно не решилось этого сделать, потому что там была главная сибирская таможня и всегда находилось скопление торговых людей; они доставляли казне слишком много дохода потреблением вина.

и от богослужения и от надзора духовных и вели совсем неблагочестивый образ жизни. Патриарх Филарет в 1621 году посвятил в Сибирь первого архиерея архиепископа Киприана. Но на следующий же год оказалось, что русские сибиряки не хотели его слушать и отличались крайней распущенностью нравов. Филарет послал в Сибирь обличительную грамоту, с приказанием читать ее всенародно в церквях. Он укорял русских поселенцев в Сибири, особенно служилых людей, за то, что они не соблюдали положенных церковью постов, ели и пили с иноверцами, усваивали их обычаи, находились в связи с некрещеными женщинами, впадали в кровосмешения, брали себе насильно чужих жен, закладывали, продавали, перепродавали их друг другу; приезжая в Москву с казною, сманивали и увозили в Сибирь женщин и, в оправдание своих безнравственных поступков, показывали грамоту, будто данную им каким-то дьяком Андреем. Сибирское духовенство до крайности снисходительно относилось к такому поведению своей паствы, да и сами духовные нередко вели себя не лучше мирских людей. Мы не знаем, в какой степени повлияло на сибиряков послание Филарета, но с этих пор стало заводиться в Сибири более церковью и монастырей. Таково было положение в Сибири, стране, как мы сказали, имевшей наибольшее значение для обогащения казны Московского государства.

Важен был для России и край приволжский, но значение его оставлялось еще будущим временам, нижняя часть его была при Михаиле Федоровиче еще очень мало заселена. Начиная от Тетюшей вниз, берега широкой реки были пусты: только три города: Самара, Саратов<sup>21</sup> и Царицын, представлялись путнику, плывшему по Волге; эти города были заселены исключительно стрельцами и были скорее сторожевыми острожками, чем городами. Оседлых земледельцев в этом крае не было. Встречались кое-где только временно проживавшие рыбаки, приманиваемые необыкновенным изобилием рыбы в Волге. В ущельях гор, окаймляющих правый берег реки, гнездились воровские казаки и, при удобном случае, нападали на плывущие суда. Самое опасное в этом отношении место было в Жигулевских горах, около впадения реки Усы в Волгу, где оба берега значительно высоки и были покрыты дремучим лесом. Поэтому плавать по Волге было возможно только под прикрытием вооруженных людей. В описываемое время от Нижнего до Астрахани и обратно ходили, так называемые, караваны-вереницы судов, плывших в сопровождении стрельцов, которые находились на передовом судне. Караваны сверху в Астрахань проходили весной, а снизу из Астрахани осенью, и привозимые в Нижний восточные товары развозились уже с наступлением зимнего пути на санях. Плавание вверх по Волге было очень медленно, и, в случае противного ветра, гребцы и рабочие выходили на берег и тянули суда лямкой: кроме судов, отправлявшихся с караваном, некоторые смелые хозяева пускались отдельно на своих стругах и носадках, но нередко платились достоянием и жизнью за свою смелость. Город Астрахань возрастал, благодаря торговле с Персией. Кроме персиян в Астрахани торговали бухарцы, но турецких подданных не пускали в город. Персидская торговля в это время была меновая. Важной ветвью торговой деятельности в Астрахани была торговля татарскими лошадьми, но правительство, желая взять ее в свои руки, стесняло ее в Астрахани и приказывало татарам пригонять лошадей прямо в Москву, где для царя отбирались лучшие лошади. Этот пригон лошадей в столицу назывался ордобазарной станцией.

Влияние Салтыковых при дворе ослабело тотчас с прибытием Филарета, но они держались несколько лет, благодаря покровительству Марфы Ивановны. Жертва их злобы, Марья Хлопова, жила в Верхотурье до конца 1620 года. В этот год ее перевезли в Нижний, означивши в грамоте под именем Анастасии, данным ей при взятии во дворец, Филарет думал было женить сына на польской королевне, потом на датской, но сватовство не удалось. Царь, из угождения к матери, долго сдерживал свои чувства, наконец объявил родителю, что не хочет жениться ни на ком, кроме Хлоповой, которая ему указана Богом. Произвели следствие о бывшей болезни царской невесты, Призваны были отец и дядя Марьи Хлоповой. При боярине Шереметеве, чудовском архимандрите Иосифе, ясельничем Глебо

---

<sup>21</sup> Саратов был построен не на том месте, где теперь, а на противоположной стороне Волги в четырех верстах от нее.

и дьяке Михайлове царь сделал допрос врачам, лечившим Хлопову. Эти врачи показали царю совсем не то, что доносили ему за семь лет пред тем Салтыковы будто бы со слов этих самых врачей. Эти врачи никогда не говорили Салтыковым, что царская невеста больна неизлечимо и неспособна к деторождению. Изобличенные на очной ставке с докторами Салтыковы, боярин Борис и окольный Михайле, были сосланы в их далекие вотчины, впрочем, без лишения чинов. Но это не помогло несчастной Хлоповой. Мать царя упорно вооружилась против брака Михаила с Хлоповой и поклялась, что не останется в царстве своего сына, если Хлопова будет царицей. Царь Михаил Федорович и на этот раз уступил воле матери. В грамоте от ноября 1623 года было объявлено Ивану Хлопову, что великий государь не соизволил взять дочь его Марью в супруги, приказано Ивану Хлопову жить в своей коломенской вотчине, а Марье Хлоповой вместе с дядей своим Желябужским оставаться в Нижнем (где ей дан был двор, некогда принадлежавший Козьме Минину и после смерти бездетного сына его, Нефедя, взятый в казну, как выморочное владенье). Говорят, что Филарет сильно укорял сына за малодушие, выказанное последним в деле Хлоповой.

В сентябре 1624 года царь, по назначению матери, женился на дочери князя Владимира Тимофеевича Долгорукова Марии, против собственного желания. 19 сентября было совершено бракосочетание, а на другой день молодая царица оказалась больной. Говорили, что ее испортили лихие люди. Неизвестно, кто были лихие люди и действительно ли царица была жертвой тайного злодеяния; только через три месяца с небольшим, 6 января 1625 года, она скончалась. Современник летописец указывает на это, как на Божие наказание за насилие, совершившееся над Хлоповой. 29 января 1626 года царь вступил во второй брак с дочерью незнатного дворянина Евдокией Лукьяновной Стрешневой, будущей матерью царя Алексея. Замечательно, что ее ввели в царский дворец и нарекли царицей только за три дня до брака, как бы в предупреждение придворных козней, уже погубивших двух царских невест.

Вскоре после бракосочетания царя последовал указ Филарета такого содержания: в марте 1625 года прибыл в Москву посланник шаха Аббаса, грузинец Урусамбек, и привез золотой, осыпанный драгоценными камнями ковчег, в котором находился кусок старой льняной ткани, выдаваемой персидским шахом за срачицу Иисуса Христа. Так как признать на веру справедливость свидетельства иноверного государя казалось соблазнительным, то Филарет, для узнания истины, прибегнул к такому способу: наложил на неделю пост, повелел носить присланную святыню к болящим и наблюдать: будут ли чудеса от этой ризы Господней? От марта до сентября 1625 года оказалось 67 чудес, а от сентября до марта 1626 года – 4 чуда. На этом основании риза признана подлинной; учреждено было празднество в честь ее 27 марта; начались строиться церкви во имя Ризы Господней.

Время от второго бракосочетания царя до второй польской войны ознаменовалось некоторыми законодательными мерами к исправлению делопроизводства и к устройству благочиния. Самой важнейшей из этих мер было возобновление в 1627 году губных старост. Это учреждение, общее в XVI веке, не было формально уничтожено, но значение его упало; уже во многих местах не было вовсе губных старост, в других они были, но часто не по выбору, а по назначению, и возбуждали против себя жалобы за свои злоупотребления: выпускали за взятки воров и разбойников, научали колодников оговаривать невинных. Между ними и воеводами происходили пререкания: губные старосты обличали воевод, а воеводы-губных старост в вопиющих злоупотреблениях. Власть их вообще была не разграничена от власти других должностных лиц. Часто по возникавшим уголовным делам посылались из Москвы нарочные сыщики, ненавидимые народом за свои злоупотребления и насилия. Разбои не прекращались. Теперь ведено было во всех городах произвести выбор (людьми всех званий) губных старост из зажиточных дворян, хорошего поведения и умеющих грамоте, «которым бы можно в государевых делах верить»: им поручалось сыскивать всякие уголовные дела, но отписывать об них в Москву. Затем постановлено было не рассылать более сыщиков по уголовным делам. Но восстановление значения губных

старост не удовлетворило, однако, вполне общественной безопасности. Суд губных старост не был независим: они должны были относиться за решением дел в Москву, в разбойный приказ; раз выбранные. они могли быть сменяемы, не иначе как по воле правительства; иногда даже они (как делалось перед тем) назначались без выбора; наконец, в их дела и управление вмешивались воеводы. Неточность в разграничении обязанностей была делом обычным в Московском веке государстве. Иногда, вместо губного старосты, заведывал уголовным делом воевода, а в другом месте губным старосте ИВМ поручались неуголовные дела. Были случаи (напр. в 1644 г. в Дмитрове и Кашине), что жители жаловались правительству на губных старост и просили быть у них, вместо старост, воеводам.

Жалобы на разбой не прекращались после этого учреждения. В особенности разбойничали люди и крестьяне дворян и приказных людей, а владельцы их укрывали. Подобное случалось тоже и в тяглых обществах. Поэтому, через несколько лет после учреждения губных старост, правительство установило брать пени с обществ, сотен, улиц, сел и пр. в таких случаях, когда жители покажут, что у них нет разбойников, а разбойники окажутся; или же когда будет дознано, что люди не поспешили на крик людей, разбиваемых разбойниками. Но у людей того времени господствовали старинные сбивчивые понятия о преступлениях: на уголовное дело смотрели, как на частную обиду; родственник, подавший иск на убийцу своего кровного, зачастую заключал с ним мировую, и дело прекращалось. Такие мировые и прежде запрещались законом, но продолжали совершаться. Новое запрещение последовало при Михаиле Федоровиче, но и после этого вторичного запрещения видны примеры старого обычая. За убийство и разбой обыкновенно казнили смертью; тому же подвергались церковные воры, а равным образом и всякий вор, трижды попавшийся в краже. (За вторую и первую кражу обыкновенно отсекали руку.) Но были случаи, когда убийство не влекло за собой казни: дворянин, сын боярский или их приказчик, убивши чужого крестьянина и сказавши под пыткой, что он убил его неумышленно. отвечал за убийство не сам; из его поместья брали лучшего крестьянина и отдавали тому, у кого убит крестьянин. Боярский человек, убивший чужого боярского человека, отдавался с женой и детьми господину убитого. В 1628 году было установлено, чтобы кабалы, даваемые людьми на себя, были действительны только в продолжение пятнадцати лет, а рост на занятые деньги только в продолжение пяти лет, потому что в этот срок проценты равнялись занятому капиталу. Относительно правежа сделано было распоряжение, указывающее замечательную черту тогдашних нравов. Многие, задолжавши, хотя владели именьями, но соглашались лучше подвергать себя правежу и позволять себя бить палками, чем отдать за долги свое имущество; и правительство постановило, чтобы впредь таких должников не держать на правеже более месяца, а сыскивать долги на их именьях. Новые меры против пожаров предприняты были после того, когда Москва два раза в 1626 и 1629 годах подверглась опустошительным пожарам, но эти меры, однако, были мало действительны, так как пожары и после того повторялись и в Москве, и в других местах.

В это время сложилась и развилась правильная система государственного управления посредством приказов; по крайней мере, с этих годов постоянно упоминаются многие приказы, о которых прежде нет известий.<sup>22</sup>

Срок перемирия с Польшей истек, и в 1631 году правительство начало готовиться к войне, так как во все прежние годы непрерывные недоразумения с Польшей показывали, что война неизбежна. Ведено было дворянам и детям боярским быть готовыми.<sup>23</sup> С монастырских имений, со всех вотчин и поместий за даточных людей положены были

---

<sup>22</sup> Патриарший дворец, патриарший судный приказ, патриарший разряд, новгородская четь, новая четь, устюжская четь, владимирская четь, галицкая четь, костромская четь, московский судный приказ, казенный двор, мастерская государева палата, сбору ратных и даточных людей приказ, дворцовый судный приказ, полоняничный приказ (вероятно, существовавший раньше), приказ сыскных дел и пр., кроме прежде существовавших.

<sup>23</sup> Они были разделены на статьи: принадлежащие к первой статье получали 25 р. жалованья, к средней 20, а к меньшей 15.

деньги: по 25 р. на конного и по 10 р. на пешего. Между тем сознавалась потребность водворения правильного обученного войска на иностранный образец, и так как из русских людей такого войска нельзя было составить в скором времени, то поневоле решено было пригласить иностранцев. Узнавши об этом желании, начали являться в Россию разные иноземцы с предложениями нанимать за границей ратных людей. Правительство дало поручение такого рода полковнику Лесли и подполковнику Фандаму, служившему некогда французскому королю; правительство приказало им нанять за границей полк ратных людей всяких наций, но только не католиков, с платой вперед на 4 месяца и с правом, по желанию, удалиться в отечество, оставивши, однако, в России свое оружие; раненым обещана была награда. Лесли и Фандам, кроме наема людей, имели также поручение купить за границей 10000 мушкетов с фитилями, для вооружения иноземных солдат. Кроме того, выписано было из Голландии несколько людей, знающих городское дело, и сделана была закупка пороху, ядер и сабельных полос. Правительство так дорожило наемными иноземными воинами, что, заслышав о прибытии Лесли с ратными людьми, выслало им навстречу воеводу Стрешнева с приказом продовольствовать их харчевникам на пути пивом и съестными припасами; велело выбрать особых целовальников для наблюдения, чтобы харчевники не брали с них лишнего.

В апреле 1632 года скончался польский король Сигизмунд. В Польше принялись за избрание нового короля. Пользуясь междуцарствием, которое у поляков всегда сопровождалось беспорядками, царь и патриарх приказали начать неприязненные действия против Польши и прекратить сношения с Литвой, из опасения какого-нибудь зла от литовских людей. Не ведено было покупать у них хмель, потому что «баба-ведунья наговаривает на хмель и они провозят моровое поветрие».

Созван был земский собор. На нем решено было отомстить полякам за прежние неправды и отнять у них города, неправильно захваченные ими у русских. На жалованье ратным людям положено собрать по-прежнему с гостей и торговых людей пятую деньгу, а бояре, окольные и думные люди, стольники, дворяне и дети боярские, дьяки, архиереи и все монастырские власти обязались давать, смотря по своим пожиткам, вспоможение, которое называлось «запросными деньгами», и доставлять в скором времени в Москву князю Пожарскому с товарищами, которым поручен был этот сбор. Главное начальство над войском в 32000 человек поручено было боярину Михаилу Борисовичу Шеину и окольному Артемию Измайлову (всего войска было более 66000 и 158 орудий). Шеин и Измайлов должны были идти добывать Смоленск, а прочие воеводы-другие города. Дела пошли удачно для Московского государства; воеводы успели захватить несколько городов и посадов; сам Шеин окружил себя окопами под Смоленском на Покровской горе. Поляки в Смоленске отбивались 8 месяцев и уже, по недостатку припасов, готовились сдать, как в августе 1633 года, в ту пору неожиданно, подошел к городу Владислав с 23 000 человек войска. В это время, по наущению Владислава, казаки и крымцы напали на украинные города Московского государства. Услыхали об этом служилые люди, помещики украинских городов, бывшие в войске Шеина, вообразили себе, как в их отсутствие враги станут убивать и брать в плен жен и детей, и стали разбегаться. Войско Шеина значительно уменьшилось; он не мог устоять против Владислава на Покровской горе, отступил и заперся вблизи в острожке. Поляки осадили его. Шеин выдерживал осаду до февраля 1634 года. Войско его страдало от цынги. Сделался мор, а из Москвы не посылали ему ни войска, ни денег. Царь, 28 января 1634 года, узнавши о бедственном состоянии Шеина, снова созвал земский собор и жаловался, что сбор запросных и пятинных денег шел хуже, чем в прежние годы, хотя русская земля с тех пор и поправилась. Собор постановил новый сбор запросных и пятинных денег, который и поручен был боярину Лыкову. Но пока могли быть собраны эти деньги и доставлено продовольствие Шеину, его войско под Смоленском пришло в крайнее положение. Между тем иностранцы, бывшие при Шеине, начали сноситься с королем. Это побудило наконец Шеина испросить у царя дозволение вступить в переговоры с поляками о перемирии. Шеин заключил условие, по которому русскому войску дозволялось беспрепятственно вернуться в отечество, с тем оружием, какое оно имело на себе,

положивши все пушки и знамена перед королем, а желающим предоставлялось вступить в польскую службу: но из русских людей нашлось таких только 8 человек, а иноземцев перешло довольно. 2 004 человека больных воинов было оставлено под Смоленском. С Шейным ушло 8056 человек. Шейн с товарищами вернулся в Москву.

В то время когда Шейн стоял под Смоленском, в Москве произошли большие перемены. Филарет скончался в октябре 1633 года. Вместо него возведен был на патриаршеский престол псковский епископ Иосиф, прежде гонимый Филаретом, а под конец назначенный им самим себе в преемники. С кончиной Филарета подняли голову бояре, которые до того времени боялись строгого патриарха, но нисколько не боялись добродушного царя. Немедленно возвращены были Салтыковы и снова стали близкими к царю людьми.

Бояре вообще ненавидели Шеина. Он раздражал их своей гордостью, озлобил заносчивостью: Шейн, где только мог, не затруднялся выказывать свое превосходство перед другими и выставлять неспособность своих товарищей; Михаил Борисович не считал никого себе равным. Летописцы говорят, что и в войске, как начальник, он не был любим ратными людьми за то, что обращался с ними надменно и жестоко. Бояре увидели случай отомстить ему за все оскорбления, которые он позволял себе по отношению к ним. Царь Михаил Федорович, по смерти родителя, не имел силы воли противостать боярам, а может быть, и сам находился под их влиянием. Над Шейным и его товарищами произвели следствие и 23 апреля 1634 г. в приказе сыскных дел приговорили казнить смертью Михаила Шеина, Артемия Измайлова и сына последнего, Василия.

Когда осужденных вывели за город на «пожар», место казни преступников, то дьяк Дмитрий Прокофьев всенародно прочитал приговор, подробно исчислил воровство и измену приговоренных к смерти. Прежде всего поминалось большое жалование царское бывшему боярину Шеину: царь, пред отправкой его в поход, дал ему из дворцовых волостей большое село Голенищево с проселками и деревнями и не велел брать никаких податей с поместий и вотчин Шеина и Измайлова. Шеину поставили в первую вину то, что, еще не уходя на службу, он пред государем исчислил с большой гордостью свои прежние заслуги и выразился о других боярах, что в то время, когда он служил, они «за печью сидели и сыскать их нельзя было». Царь для своего государского и земского дела не хотел его оскорбить и смолчал, а бояре, слыша такие грубые и поносные слова и видя, что государь к нему милостив, не хотели государя раскручинить. Здесь проглядывает настоящая причина злобы против Шеина: опираясь на покровительство сильного Филарета, он был слишком смел, и в то же время, отправляясь на войну, слишком надеялся на самого себя: вышло ему назло: он проиграл в войне, а Филарета не стало, и некому было защитить его. Ему с Измайловым поставили в вину разные военные распоряжения, между прочим и то, что они велели свести в один острожок ратных людей, находившихся по разным острожкам, отдали королю пушки и обесчестили имя государя тем, что клали перед королем царские знамена. Припомнили Шеину, как он, пятнадцать лет тому назад, воротившись из Польни, где был пленником, не объявил государю о том, что целовал крест польскому королю. Его поступок под Смоленском толковался так, как будто Шейн хотел исполнить свое прежнее крестное целование королю. Сын Артемия Измайлова, Василий, был обвинен в том, что пировал с поляками и русскими изменниками, находившимися у Владислава, и произносил такие слова: «Как может наше московское плюгавство биться против такого монарха? Каков был царь Иван, да и тот против литовского короля своей сабли не вынимал!» Им троим отрубили голову 27 апреля. Другого сына Измайлова и с ним двух человек наказали кнутом и сослали в Сибирь в тюрьму за произнесение перед литовскими людьми непристойных слов. Сослан был сын Шеина и через несколько дней умер. Ссылка постигла совершенно безучастного в этом деле брата Измайлова Тимофея, единственно за измену Артемия.

Трудно решить: были ли виноваты Шейн и его товарищи в ошибках, в которых обвинялись. Мы не знаем, что представляли они в свое оправдание, но, без сомнения, измены за ними не было, иначе они бы и не воротились в Москву. Шейн заключил перемирие не



добровольно, а с дозволения царя. Невозможность спасти пушки объясняется крайним положением войска. Приговор, произнесенный над Шейным, противоречит фактам; Шеина обвиняли в том, что он стянул все войско в один острожок, а между тем царь за это хвалил Шеина в свое время.

Несчастье под Смоленском, за которое поплатился Шеин с товарищем, оказало печальные последствия. Московскому государству теперь уже чрезвычайно трудно было собрать ратные силы и деньги для ведения войны. Оставалось просить мира, но, к счастью, Польша предупредила в этом Москву. Король из-под Смоленска отправился к Белой и никак не мог взять ее, а между тем в его войске открылся большой недостаток жизненных запасов: в то же время к королю приходили угрожающие вести, что турецкий султан намеревается напасть на Польшу, а с другой стороны, шведы хотят отказаться от участия в немецкой тридцатилетней войне и устремиться на Пруссию, принадлежавшую в то время Польше. Поэтому польские сенаторы первые прислали русским боярам предложение о мире. Тогда из Москвы отправлены были в марте 1644 года боярин Федор Шереметев и Алексей Львов-Ярославский. Они съехались с польскими комиссарами: хельминским епископом Яковом Жадиком и другими панами, на речке Поляновке. Переговоры затянулись до 4 июня. Поляки хотели сорвать с Московского государства 100000 рублей за отказ Владислава от царского титула. Московские послы долго упирались, наконец согласились дать 20 000 рублей. На этой сумме и порешили. Обе стороны согласились заключить «вечный мир». Поляки добивались самого тесного союза, предлагали проект, чтобы по смерти короля избрание совершалось вместе с чинами Московского государства, чтобы царь был избран польским королем и, в знак совершенного равенства, короновался отдельно в Москве и Польше, но так, чтобы польский посол возлагал на царя в Москве корону московскую, а московский в Польше – польскую, наконец, чтобы царь, для соблюдения равенства между его державами, жил попеременно по году в Москве, Польше и Литве. Московские послы отклонили эти предложения. Поляки просили дозволить строить в Московском государстве костелы, подданным обоих государств вступать между собой в брак и приобретать вотчины полякам в Московском государстве, а русским в Польше. Московские послы наотрез отказали, понявши, вероятно, 410 поляки этими путями хотели восאתся в Московскую Русь и мало-помалу приобрести там нравственное господство, как это сделалось в западной и южной Руси. Составили договор, по которому царь уступал Польше навсегда земли, находившиеся у поляков по Деулинскому договору.<sup>24</sup> Обе стороны постановили не помогать врагам которой-либо из двух держав, решили дозволить свободную торговлю в обоих государствах, выпустить обоюдно всех пленных и вперед выдавать беглых преступников. Польский король признавал Михаила Федоровича царем и братом.

Для предосторожности на будущие времена поляки домогались, чтобы Михаил Федорович не писался царем «всей Руси», а только «своя Руси» на том основании, что часть Руси находится под польским владением. Московские послы уперлись и заставили поляков отказаться от этого требования. Поляки легкомысленно сами требовали, чтобы московский царь ежегодно давал запорожским казакам жалованье, не предвидя того, что такие дружелюбные отношения Московского государства к запорожским казакам приведут через двадцать лет к роковым последствиям для Польши. Как черты различия в понятиях двух народов можно привести некоторые частности этих переговоров. Поляки хотели, чтобы мир утвержден был присягою всех чинов Московского государства. «Это дело нестаточное, – отвечали послы, – мы холопы государя нашего и во всей его царской воле». По заключении договора поляки сказали: «Мы такое великое и славное дело совершили, чего прежние государи никак сделать не могли. Для вечного воспоминания на том месте, где стояли наши шатры, нужно насыпать два кургана и поставить два каменных столба, и на них написать имена государей наших, год и месяц и имена послов, совершивших такое великое дело».

---

<sup>24</sup> Черниговскую землю с городами: Черниговом и Новгородом-Северским уступали собственно Польше, а Смоленскую с городами: Смоленском, Рославлем, Белою, Трубчевском, Невлем, Себежем, Стародубом и др. Литве.

Шереметев отвечал: «У нас таких обычаев не повелось, да и делать этого незачем: все сделалось волею Божиею с повеления наших великих государей и записано на память в посольских книгах». Царь похвалил за это Шереметева и прибавил, со своей стороны, что «доброе дело совершилось по воле Божией, а не для столпов и бугров бездушных».

Государи самолично подкрепили этот мир: польские послы прибыли в Москву в начале февраля 1635 года. Им был сделан торжественный прием, сообразно обычаям того времени. Сначала послы в грановитой палате представлялись царю, который сидел на троне в царском наряде и венце: по бокам трона стояли рынды в длинных белых одеждах, белых сапогах, в рысьих шапках, с топорами на плечах и золотыми цепями на груди. Послов допустили к целованию царской руки<sup>25</sup> и затем окольниковый явил их подарки. В другой день послов позвали в ответную палату на dokonчание. Обряд этот происходил таким образом: сначала послы говорили с боярами в ответной палате и читали договор; затем их позвали к царю в золотую палату. Царь был в полном царском облачении. По его приказанию, царский духовник принес из Благовещенского собора Животворящий Крест на золотой мисе, под пеленою. Царь велел спросить послов о здравии и приказал сесть. Немного погодя, царский печатник приказал послам и боярам подойти поближе. Царь встал: с него сняли венец, взяли у него скипетр. Утвержденную грамоту положили под крест; царь приложился ко кресту, велел печатнику отдать грамоту послам и отпустить их. В конце марта послов пригласили к царскому столу в грановитой палате. Царь сидел за особым серебряным столом, в нагольной шубе с кружевом и в шапке. Бояре и окольниковые сидели в нагольных шубах и черных шапках, дворяне в чистых охабнях. Для послов был особый стол. У столов: царского, боярского и посольского, были особые поставцы с посудой, которыми заведывали во время пиров придворные по назначению. Дворецкий, крайчий, чашники и стольники, разносившие кушанье и напитки, были в золотном платье и высоких горлатных шапках. Царь, по обычаю, посылал послам со своего стола подачи. Подали красный мед. Государь встал и сказал послам: «Пью за здоровье брата моего, государя вашего, Владислава короля». Затем царь посылал послам в золотых братинах пиво, и послы, приняв чашу, вставали со своих мест, пили и опять садились за стол.

Дня через два польских послов после царского стола отпустили домой.

В том же году 23 апреля, в присутствии московского посла князя Алексея Львова-Ярославского, король с шестью сенаторами присягнул в костеле на хранение договора, а затем дал послам веселый пир, за которым пил за здоровье брата своего царя московского. Великолепная иллюминация заключила это празднество.

В 1634 году приезжало в Москву голштинское посольство, описанное известным Олеарием, оставившим подробное и драгоценное путешествие по тогдашней России. Царь дозволил голштинским купцам торговать с Персией на десять лет с платежом в казну 600000 ефимков, считая в фунте по 14 ефимков.<sup>26</sup> Вообще по окончании польской войны возрастало сближение Московского государства с иностранцами. Правительство приглашало знающих иностранцев для разных полезных учреждений. Так, в 1634 году переводчик Захария Николаев отправлен был в Германию для найма мастеров медноплавильного дела. Иноземец Фимбрандт получил на десять лет привилегию поставить в поместных и вотчинных землях, где придется, но вдали от распашных полей, мельницы и сушилы для выделки лосиных кож, причем запрещалось всем другим торговать этими предметами. Другой иноземец, швед Коэт, получил право устроить стеклянный завод близ Москвы. В 1644 году гамбургцу Марселису с детьми (получившему еще в 1638 году право на оптовую торговлю на севере государства и

<sup>25</sup> По русскому обычаю, царь, давши поцеловать руку иноверцам, тотчас же умывал руки из стоявшего тут рукомойника с полотенцем. Обычай этот сильно не нравился иноземцам и оскорблял их.

<sup>26</sup> Компания голштинских купцов имела право возить беспошлинно свои товары в Персию, но не развязывая их в России, а из Персии привозить сырой шелк, драгоценные краски и другие товары, исключая тех, которые предоставлены были русским торговцам, а именно: разные ткани, крашеный шелк, хлопчатую бумагу, ковры, доспехи, клинки, шатры, нашивки, пояса, ладан и всякие москательные товары. Главным предметом торговли голштинцев были краски.

в Москве), и голландцу Филимону Акему позволено устроить по рр. Шексне, Костроме и Ваге и в др. местах железные заводы с правом беспошлинной продажи изделий, на 20 лет, внутри и вне государства.

По свидетельству Олеария, в то время в Москве жило много иноземцев и в том числе 1000 протестантских семейств. Они сначала невозбранно селились в Москве, повсюду ставили на своих дворах молитвенные дома (кирки), закупами у русских дворовые места по хорошей цене; но против этого вооружились священники в тех видах, что сближение русских с немцами вредно действует на религиозность русских. По таким соображениям было запрещено немцам покупать и брать в заклад дворы и велено сломать кирки, которые немцы завели близ русских церквей. Вместо этого в Москве отведено им было особое место под кирку. Около царя были иноземцы, доктора, аптекари, окулист, алхимист, лекари, переводчики, часовых и органных дел мастера – все под ведомством аптекарского приказа.<sup>27</sup> Им давалось жалованье деньгами или мехами; кроме того, они получали известное количество пива, вина, меду, овса и сена. Лекарей посылали иногда для лечения ратных людей. Царь Михаил Федорович сознавал пользу науки, как видно из его желания пригласить на службу Адама Олеария, о котором царю «известно учинилось, что он гораздо научен и извычен астрономии, и географус, и небесного круга, и землемерию, и иным многим надобным мастерствам и мудростям, а нам, великому государю, такой мастер и годен». Михаил Федорович вообще интересовался географией и велел сделать дополнение и объяснение к карте Московского государства, составленной по приказанию Бориса Годунова, известной под названием: «Большой чертеж русской земли».<sup>28</sup> Иноземные солдаты с этих пор составляли уже неизменную принадлежность русского войска: они вели себя дурно и делали разные насильства жителям. Правительство хлопотало о приезде в Россию иноземных, как служилых, так и торговых людей. Русские купцы с неохотой смотрели на такой наплыв торговавших иноземцев. Еще в 1632 г. псковичи просили государя, чтобы немцам запретили торговать во Пскове, но их просьбу не уважили. Подобные челобитные поддавались и от других городов: роптали на иноземных купцов, которые ездили по всему государству в силу жалованных грамот, повсюду торговали и при этом вели тайно беспошлинную торговлю такие иноземные купцы, которые и не имели жалованных грамот. Русским торговцам делался подрыв.

Позволяя иноземцам торговать по государству с большими льготами, правительство старалось забирать, по возможности, разные предметы торговли исключительно в свои руки, в ущерб русским торговцам. В 1635 году правительство взяло себе монополию торговли льном и прислало из Москвы гостя скупать во Пскове лен по той цене, какая была указана в Москве. «Тогда, – говорит современный летописец, – было много насилия и грабежа: деньги дают дурные, цены невольные, купля нелюбовная, и во всем скорбь великая, вражда несказанная, ни купить, ни продать никто не смеет мимо гостя, присланного из Москвы». Подобное делалось в 1642 году по производству селитры, присвоенному себе казной. Посланный для этой цели Андрей Ступишин покупал для селитры золу и не додавал за нее денег, да еще, стакнувшись с таможенными откупщиками, задерживал крестьян, привозивших золу, придирался к ним под разными предлогами, сажал в тюрьму и бил на правеже.

Разные городские занятия подвергались отдаче на откуп в пользу казны. В том же Пскове, например, где казенная торговля льном возбуждала такие жалобы, – квасники, дегтяры, извозчики и байники (банщики) были на откупу и притом с торгов – с наддачею.

<sup>27</sup> Царь, по-видимому, особенно любил часы, так как во время торжественных обедов возле него всегда стояло двое часов. Органный мастер Мельхарт доставил ему двух часовых дел мастеров, которые обязались выучить русских своему мастерству. Мельхарт сделал такой искусный орган, что как он заиграет, то запоют сделанные на нем птицы; соловей и кукушка, Царю очень понравилась такая выдумка, и он подарил мастеру 2676 рублей.

<sup>28</sup> Сношение с восточными народами указало царю на необходимость людей, знакомых с восточными языками; и с этою целью в 1644 году ведено было послать подьячего Полуэкта Зверева в Астрахань для обучения арабскому, татарскому и персидскому языкам и грамоте на бухарском дворе.

Иногда и монастыри брали казенные откупы.<sup>29</sup> На откуп от казны отдавались сборы на мостах и перевозах. Это были тяжелые для народа сборы. Откупщики брали лишнее, против того, что им следовало брать по грамоте. Правительство приказывало таких откупщиков бить кнутом, но уследить их было трудно, особенно, когда воеводы, наблюдавшие над ними, брали с них взятки и покрывали их злоупотребления. Подражая правительству, некоторые частные владельцы на своих землях заводили мосты и мостовщины и отдавали на откуп. Хотя правительство и запретило им такие сборы под страхом пени в пятьдесят рублей, но, видно, запрещение это действовало плохо: такие самовольные стеснительные для народа учреждения существовали и по смерти Михаила Федоровича.

Правительство пыталось производить поиски руды, с целью обратить найденное в свою пользу. В Соликамске начали добывать медную руду, работали русские мастера плавильщики, а им приданы были сосланные делатели фальшивой монеты (денежные воры). Дело пошло неудачно; заводы были плохо устроены, мастера были неумелые, а между тем этот новый промысел тотчас же пал тягостью на народ, как всякое казенное предприятие, потому что для народа, по этому поводу, являлись новые повинности, как, например, возка лесу и т.п.

По-прежнему и в эти годы правительство старалось об удержании жителей на своих местах, гонялось за беглыми, водворяло на прежних местах жительства. В случае вторичного побега, виновных стали теперь ссылать в сибирские города. Крестьяне, жившие на владельческих землях, все более теряли свои свободные права; управление вотчинными и помещичьими крестьянами не было определено ясным законом, а подчинялось только обычаям. У некоторых владельцев были в крестьянских обществах выборные старосты, у других одни приказчики: крестьяне обрабатывали владельческое поле, называемое десятинною пашнею, ранее своего поля, и, кроме того, были обложены разными мелкими поборами. Из отдельных актов того времени видно, что крестьяне делились между наследниками, как всякое другое имущество, и не имели права продавать в чужую вотчину своих дворов, лавок и угодий. Владельцы вместо себя стали посылать на правож своих крестьян: и ничем неповинных крестьян били, вымучивая с них долги их господ. Беспрестанные побеги показывают, что крестьяне владельческие были недовольны своим положением, особенно у небогатых владельцев. Они во множестве уходили под покровительство монастырей или сильных господ. Дворяне и дети боярские жаловались, что их крестьяне и холопы, убегая от них в монастырские имения, приходят назад и подговаривают других крестьян и холопей к побегу, а иногда и сжигают владельческие усадьбы. Разбои усиливались. Для доставления казенных денег или товаров с места на место оказывалось необходимым посылать, для сопровождения, ратных людей. Несколько раз правительство делало особые распоряжения против разбойничьих шаек. В окрестностях Шуи, Суздаля, Костромы свирепствовал атаман Толстой с товарищами: губным старостам приказано было набирать людей с ратным боем и идти против разбойников; Толстой был пойман, но товарищи его еще долго бушевали, и в 1637 году преступников по разбойным делам, содержащихся в тюрьмах, было так много, что потребовалось особого денежного сбора на их содержание. С этого времени разбойников стали ссылать в Сибирь. В этом же году распространилось делание фальшивой монеты. До того времени «денежных воров» били кнутом, а с 1637 года возобновили старый обычай заливать горло растопленным оловом, хотя по царской воле эта казнь иногда заменялась ссылкой на казенные работы. Пьянство, покровительствуемое правительством, как источник доходов, способствовало шатанию с места на место, умножению преступлений и вредно действовало на народное хозяйство. Как только случалась засуха, так народ, пропивавший все, что у него оставалось за ежедневными потребностями, не думавший заранее приготовить себе запасы, терпел голод. Такое бедствие, вместе со скотским падежом, постигло Россию в 1643 году, и правительство предпринимало только одну меру – всеобщее молебствие о дожде.

---

<sup>29</sup> Как Спасо-Евфимиевский монастырь откупил в Коврове таможенную ярмарочную пошлину.

Злоупотребления со стороны воевод продолжались по-прежнему; а жалобы на них со стороны народа были часто не безопасны и навлекали на народ новые бедствия. Поступит на воеводу к царю челобитная, пошлется по этой челобитной следователь: он запутает жителей в дело; начнутся правежи, сажание в тюрьмы и всякого рода притеснения.<sup>30</sup>

Строже всяких злоупотреблений по управлению, верховная власть наказывала малейший, хотя бы непреднамеренный, недостаток уважения к царской особе. В 1641 году кузнецкий подьячий, в отписке от имени воеводы о посылке мехов, сделал какую-то незначительную опisku в царском титуле. Подьячего за это велено было высечь батогами, заключить на неделю в тюрьму и отставить от службы, а сам воевода за недосмотр получил строгий выговор.

В видах защиты государства правительство старалось удержать служилых людей в своем звании, чтобы всегда иметь готовую силу. С этою целью в 1640 году запрещено вступать в холопы не только дворянам и детям боярским, находившимся на службе, но и родственникам их, еще не верстанным на службу, и таким образом этому сословию пресечен был путь терять свои права по рождению и поступать в рабское состояние. Убегая от тяжести военной службы, служилые люди женились на крепостных женщинах, но теперь таких ведено было возвращать в служилое сословие и давать им поместья. Так уничтожился древнейший русский обычай, по которому женившийся на рабе сам становился рабом.

Опасность набегов татар вызывала необходимость постройки новых городов на юге России и укрепления старых. Деятельность этого рода заметно усиливается с 1635 года. В этом году был построен Тамбов (Танбов). По царскому приказанию велено было набрать служилых людей на житье в этот город из Москвы, а также из некоторых южных городов. Самые деятельные меры к обороне юга происходили в 1637—38 гг. В предшествовавшие годы татары делали несколько набегов, с одной стороны на рязские, рязанские и шацкие, а с другой – на ливенские, елецкие, чернские, новосильские и мценские места, перебили многих людей, жгли селения и подгородные слободы, погнали множество пленного обою пола и всякого возраста. От этого край терял население; служилые не имели средств к пропитанию себя и лошадей; бедствие это вызвало потребность постройки городов. Для этой цели еще в 1636 году построен город Козлов; велено копать земляной вал от этого города, а на валу ставить земляные городки с «подлазами» (земляными потаенными ходами). Два городка были поставлены на реке Сосне. В 1637 году поставлены были Верхний и Нижний Ломов. Всего более обращено было внимания на устройство городков и острогов в западной части украинских земель, по рекам Сосне, Осколу, по соседству с Белгородом и Курском. Там пролегало три пути в Крым: один восточный (через нынешнюю Воронежскую губернию), называемый «калмиуским шляхом» или «калмиускою сакмою»; другой – западный, называемый «изюмскою сакмою»; третий – «муравский шлях», лежал еще западнее, через реку Ворсклу. Положили устроить на этих путях жилые города и «стоялые» острожки (т.е. такие, где не было постоянных жителей, а куда отправлялись по очереди на временное пребывание служилые люди). Наибольшее внимание обращено было на реку Сосну. От новопостроенных городков копали валы, укрепляли их в разных местах стоялыми острожками; а на реках, где были броды и перелазы и где обыкновенно переходили набегавшие на Русь татары, поделали засеки, вбивали сваи и дубовый «честик» (для порчи лошадиных ног). На издержки для устройства этих городов правительство назначило особый побор со всех тяглых, дворцовых, вотчинных и поместных земель по 10 алтын с чети пашенной земли, а с некоторых по 20 алтын, исключая тех городов, которые числились в казанском приказе и приказе большого дворца. Начали поправлять и восстанавливать прежде существовавшие украинные города, копать рвы, делать лесные засеки; для этого учредили особых «засечных» голов и приказчиков, заправлявших работами. На работу посылали ратных людей, а также и сошных, собранных из сел и деревень (с трех дворов по человеку с ближних, а с пяти дворов по человеку с дальних).

<sup>30</sup> Так было в Чердыни в 1639 году по поводу челобитной на воеводу Христофора Рыльского.

Донцы убили ехавшего в Москву турецкого посланника Кантакузина, а 18 июня 1637 года взяли у турок Азов. Они известили об этом царя и объявили, что начали войну для освобождения множества христианских пленных. Царь сделал выговор, однако не велел отдавать Азова и приказал казакам охранять границу от татарских набегов, которые должны были последовать за казацким нападением. Как ожидали, так и случилось: крымский царевич Сафа-Гирей сделал набег в украинные места; он известил царя, что это – мщение за взятие Азова казаками, и угрожал новым нашествием весной. Тогда, в видах защиты отечества, царь созвал собор всех чинов людей, и этот собор приговорил взять даточных людей с монастырских имений с 10 дворов по человеку, а с вотчин и поместий с 20 дворов по человеку. (На следующий год с церковных имений поставка даточных людей была заменена деньгами.)

Набеги повторялись. Однако татары встречали отпор и сами попадались в плен: царь приказывал содержать пленных по монастырям в оковах и гонять на работы. Но все-таки русских попадалось гораздо больше в плен татарам: их содержали в Крыму «в муках и тесноте» и угрожали распродать в разные земли, так что в начале 1641 года царь назначил особый сбор пожертвований по всему государству на выкуп русских пленных. Азов оставался за казаками. В июне того же года явились турки на кораблях со множеством стенобитных пушек. С ними были татарские полчища и сам крымский хан. Ни пушечные выстрелы, ни подземные подкопы, ни копанье рвов с целью засыпать осажденных землею не помогли туркам. Они думали взять город изменою и пускали в Азов записки с предложением больших денег за измену – и это не удалось. Казаки сидели в осаде с 7 июня по 26 сентября. Турки почти разрушили Азов своими выстрелами, но с казаками не могли ничего поделаться и удалились. Царь послал донскому атаману Осипу Петрову и всему войску похвальную грамоту.

Теперь предстоял важный вопрос: донцы просили государя принять под свою власть Азов. Но принять его значило отважиться на войну с турками и татарами. В случае успеха, выгоды от этой войны были бы очень велики. Можно было бы оградить южные области государства от татарских набегов; можно было бы и возобновить предприятие овладеть Крымом, некогда начатое при Грозном по внушению Вишневецкого и не доведенное до конца.

В январе 1642 года был опять созван собор. Члены его были выбраны из «лучших, средних и младших» людей всех чинов, «добрых и умных, с кем о том деле говорить можно».<sup>31</sup> Собор собрался в Столовой Избе. Думный дьяк Лихачев изложил дело об Азове, известил, что идет в Москву посол турецкий и нужно дать ему ответ; наконец, задал собору такие вопросы: «Воевать ли с султаном или мириться и отдать Азов? Если воевать, то война протянется не один год: нужны будут деньги и люди не один год. Где их взять?» Эти вопросы были записаны и розданы выборным людям: и они должны были отвечать письменно.

Духовные отвечали, что ратное дело подлежит рассмотрению царя, бояр и думных людей; их же дело Бога молить, а помогать будут по мере сил, если настанет война.

Стольники отвечали, что государь волен разрывать мир или не разрывать с турками, но их мысль, чтобы государь велел донцам быть в Азове и дать им в прибавку ратных людей из охочих и вольных людей, а запасы и деньги следует взять там, где царь укажет. Московские дворяне отвечали то же, что и стольники, и советовали только взять охочих людей из украинских городов, так как последним этого рода служба за обычай.

Никита Беклемишев и Тимофей Желябужский подали особое, обстоятельно изложенное мнение. Они напомнили, что крымский царь всегда обманывал русских и нарушал договоры, крымцы делают нападения и уводят людей в плен; во время войны с поляками, крымский хан послал царевичей разорять украинные города, а от этого украинные люди из-под Смоленска отъехали; поэтому лучше, чем платить крымскому царю, употребить

---

<sup>31</sup> Выбор сделан был неравно: из больших статей от двадцати до семи человек, а из немногих людей от пяти до двух.

деньги на ратных людей. По их мнению, на подмогу казакам должно послать охочих вольных людей, которым быть в Азове под начальством атаманов, а московских воевод туда не посылать, потому что казаки – люди своевольные и слушать их не станут. В украинные же города-послать для береженья даточных людей. Если у государя денег не станет, то сделать сбор со всех, кроме служилых, в войске находящихся, и поручить это дело добрым людям всяких чинов, выбрав человека по два и по три, которые бы всем людям правду оказали и наблюдали разницу между многоземельными и малоземельными, так как последним за первыми «не стянути». Они указывали на важность Азова в том отношении, что когда Азов будет за Россию, то соседние татарские орды и кавказские горцы станут служить государю.

Стрелецкие головы и сотенные во всем положились на государеву волю. Так же отнеслись к этому делу дворяне и дети боярские нижегородские, муромские, лушане (из Луха). Владимирские дворяне и дети боярские заметили, что государю и боярам известна бедность их города. Дворяне и дети боярские других городов заявляли себя за войну. Они видели указание Божье в том, что казаки отсиделись от турок. «Если не изволишь, государь, – говорили они, принять Азова, и Азов будет у басурман и образ великого крестителя Господня, – не навесь бы через то на всероссийское государство гнева Божия и великого светильника и вышнего в пророцех крестителя Господня Иоанна Предтечи и великого святителя Николы!»

Дворяне и дети боярские северных уездов (Суздаля, Юрьева Польского, Переяславля-Залесского, Белой, Костромы, Смоленска, Галича, Арзамаса, В. – Новгорода, Ржева, Зубцова, Торопца, Ростова, Пошехонья, Нового-Торга, Гороховца) между прочим указывали на бояр и ближних людей, наделенных поместьями и вотчинами, и разразились обличительными замечаниями насчет дьяков, церковных властей и богатых дворян их же братии, указывая на их богатство, как на источник доходов для ведения славной войны. «Твои государевы дьяки и подьячие пожалованы твоим государевым денежным жалованьем, поместьями, вотчинами; будучи беспрестанно у твоих государевых дел, они обогатели многим неправедным богатством, собранным мздоимством, покупали себе вотчины, состроили каменные неудобосказаемые палаты, каких при прежних государях не бывало. Вели, государь, взять с их поместий и вотчин ратных конных и пеших людей и обложить их дома и пожитки деньгами на жалованье ратным людям...» Они указывали на владычные и монастырские имения, говорили, что нужно собрать с них даточных людей, и прибавили, что если кто утаит число принадлежащих им крестьян, то с теми за то поступить по закону, а утаенных крестьян отобрать на государя. Не пощадили дворяне и дети боярские северных городов и своих братьев, служивших в разных должностях. «Некоторые наши братья, – говорили они, – не хотя тебе, государю, служить, записывались в московский список и в разные государевы чины, будучи в городах у твоих государевых дел, ожирели и обогатели, и на свое богатство накупили себе вотчин; а дворовые твои государевы люди всяких чинов пожалованы поместьями и вотчинами, получают ежегодно денежное жалованье, через год и через два посылаются приказчиками в дворцовые села, наживают себе большие пожитки, а полковой службы не служат. Вели, государь, с них со всех взять даточных людей, а с их пожитков деньги». Они советовали набрать стрельцов и солдат во всем государстве из охочих людей, но только не из крепостных и старинных холопей, принадлежащих им, дворянам, и себя самих выставляли разоренными, беспомощными, беспоместными, пустоместными и малопоместными. В заключение они советовали взять для такого важного дела лежащую домовую казну у патриарха, митрополитов, архиереев и монастырей и обложить всех торговых и промышленных людей, смотря по их состоянию. «Вели, государь, – прибавляли они, – счесть по приходным книгам всех приказных государевых и людей, дьяков, подьячих и таможенных голов, в Москве и в городах, чтобы твоя государева казна без ведомости у тебя не терялась; а деньги на жалованье ратным людям вели собирать гостям и земским людям. Вели, государь, быть на службе против нечестивых басурман всем тем, которые сидят в городах на воеводствах и у приказных дел: чтобы вся твоя государева земля была готова против нашествия нечестивых басурман. Вот наша, холопей твоих, мысль и сказка».

Дворяне южных городов (Мещеры, Коломны, Рязани, Тулы, Каширы, Алексина, Тарусы, Серпухова, Калуги, Белева, Козельска, Лихвина, Серпейска, Мещовска, Воротынска, Медыни, Малоярославца, Боровска, Волхова, Мценска, Рязска, Карачева) подали сказку почти в том же духе, как и предыдущая, но советовали брать подати на войну не по писцовым книгам, а по числу крестьянских дворов: у кого из служащих более пятидесяти крестьян, – с тех брать деньги и запасы, а кто имеет пятьдесят крестьян, – тот сам должен идти. Что касается до них самих, то они выразились так: «Мы холопы твои пуще, чем от туркских и крымских басурманов, разорены от московской волокиты, неправд и несправедливых судов...» За всем тем, эти дворяне находили, что Азов нужно непременно взять и стоять за него крепко, потому что нагаи, кочующие недалеко от Азова, будут служить тому, за кем будет Азов.

Служилые люди стояли за войну; но сказка гостей и торговых людей не выражала этого желания. Ответ их носит обличительный характер и составляет важный современный источник для истории быта и положения торгового класса. Полагаясь на волю государя, они говорили так: «Судить об устройстве ратных людей и о запасах есть дело служилых, за которыми твое государево жалованье вотчины и поместья, а мы, торговые людишки, питаемся в городах своими промыслишками; за нами вотчин и поместий нет. Службы твои государевы мы служим на Москве и в городах беспрестанно, и от этих служб, да от пятинных денег, что мы давали в смоленскую службу ратным и служилым людям на подмогу, много оскудели и обнищали до конца. Мы, будучи на твоих государевых службах в Москве и городах, собирали твою государеву казну за крестным целованием с большою прибылью: где при прежних государях, да и при тебе, государе, собиралось сот по пяти, по шести, там собирается ныне с нас и со всей земли нами же тысяч по пяти и по шести и более. Торжишки наши, государь, стали гораздо худы: отняли их у нас в Москве и городах иноземцы, немцы и кизильбашцы (персияне), которые приезжают в Москву и в другие города с большими торгами и торгуют всякими товарами. В городах всякие люди оскудели и обнищали до конца от твоих государевых воевод; а торговые людишки, которые ездят по городам для своих промыслишек, от воеводских насильств и задержания в проездах потеряли торги свои. При прежних государях в городах ведали губные старосты, и посадские люди судились промеж себя сами, а воеводы посылались с ратными людьми только в украинные города для бережения от татар. Мы, холопы твои и сироты, просим милости твоей, государь, пожаловать твою государеву вотчину, воззреть на нашу бедность». Затем они изъявляли готовность умереть за святую веру и за многолетнее здоровье своего государя.

Наконец последовал ответ людей низшего чина: черных сотен и слобод, сотских и старост от имени всех тяглых людей. И они предоставляли государю судить о военном деле, как ему Бог известит, но описывали свое плачевное положение в таком виде: «Мы, сироты твои, тяглые людишки, по грехам своим оскудели и обнищали от великих пожаров, от пятинных денег, от поставки даточных людей, от подвод, что мы, сироты твои, давали тебе, государю, в смоленскую службу, от поворотных денег, от городского земляного дела, от великих государевых податей и от разных служб в целовальниках, которые мы служим в Москве вместе с гостями, и кроме гостей. Всякий год с нас, сирот твоих, берут в государевы приказы по ста сорока пяти человек в целовальники, да с нас же берут человек семьдесят пять ярыжных, да извозчиков с лошадьми, стоять без съезда беспрестанно на земском дворе для пожарного случая, а мы платим тем целовальникам, ярыжным и извозчикам каждый месяц подможные кормовые деньги. И от великой бедности многие тяглые людишки из сотен и слобод разбрелись розно и покидали свои дворишки».

Здесь как нельзя резче выразилось различие и противоположность между интересами и взглядами двух половин, на которые в государственном отношении разбивался русский народ – служилых и неслужилых или «государевых холопей» и «государевых сирот», как они титуловались. Первые были за войну и сознавали важность ее для государственных целей; вторые, не высказываясь явно против войны, представили только скудость средств



для ее ведения. Но в последних была вся сила народного голоса. Правительству после этого собора не оставалось ничего, как только поспешить помириться с турками.

В Москву приехал турецкий посол Чилибей; его приняли дружелюбно. обещали сделать все угодное султану, и 30 апреля 1642 года царь послал Желябужского и Башмакова с приказанием казакам, чтоб они возвратили Азов туркам, а сами вернулись в свои курени. В следующем 1643 году царь отправил в Турцию послов: Илью Даниловича Милославского и дьяка Лазаревского, с уверениями в дружеском расположении и с мехами для подарков. Посол, по царскому наказу, говорил визирю о казаках так: «Если государь ваш велит в один час всех этих воров казаков побить, то царскому величеству это не будет досадно...» Казаки были очень раздражены, несмотря на то, что русский посол, проезжая в Турцию, привез им 2000 рублей царского жалованья и, кроме того, сукон, вина и разных запасов. Казаки перехватили царскую грамоту, в которой они названы ворами. После этого они грозили уйти с Дона на Яик, а оттуда ходить на море и беспокоить персиян. Вследствие таких слухов, царь приказал астраханским воеводам поставить в Яицком городке ратных людей и промышлять против казаков оружием.

Под конец царствования Михаила Федоровича происходило событие с женихом царской дочери, очень любопытное по отношению к тогдашним нравам и понятиям. Царю Михаилу Федоровичу пришла мысль выдать свою дочь за какого-нибудь иностранного принца, пригласив его в Россию. Попытка в таком роде была не первая, как показывает судьба Магнуса при царе Иване Васильевиче и датского королевича Иоанна, умершего при Борисе в Москве. Царь Михаил Федорович призвал к себе доверенного голландца Петра Марселеса, расспрашивал его и узнал от него, что у датского короля есть сын, принц Вольдемар, 22 лет. По рассказам Петра Марселеса, он показался царю подходящим женихом. Царь отправил в Данию Ивана Фомина навести о женихе точные справки и подкупить живописца, чтобы снял с королевича портрет, а чтобы скрыть главную цель, приказал снять портреты с самого короля Христиана и его сыновей. Поручение было странное. О нем узнали при дворе, и один вельможа сказал Фомину: «Ты подкупаешь снять портреты с короля и королевичей; это дело невозможное, потому что живописец должен стоять перед королем и королевичами и глядеть на них; но государь наш приказал снять с себя и с королевичей портреты и послать царю». Однако в Дании смекнули в чем дело и попытались, нельзя ли извлечь пользу из такого расположения царя к датскому владетельному дому. Летом 1641 года узнали в Москве, что едет чрезвычайное датское посольство, а в нем принц Вольдемар.<sup>32</sup> Посольству этому, однако, не оказали особого внимания в Москве. Оно добивалось для датской торговли важных выгод против иных иноземцев и, не получивши их, в октябре того же года вернулось домой. В Москве посмотрели на принца.

Весною следующего года царь отправил в Данию послом окольникы Проестева с товарищем с предложением брака королевича Вольдемара с царской дочерью Ириною.<sup>33</sup> Посол этот, объявивши о предложении царя, не мог дать никакого ответа на вопрос: «Какие города и земли даст царь своему зятю», а со своей стороны заявил о необходимости королевичу креститься в христианскую веру, на что последовал отказ. Сам королевич виделся с послами, обошелся с ними очень любезно и говорил, что поступит так, как велит

---

<sup>32</sup> Белено было приставам на дороге приглядываться и доносить, как обращаются члены посольства с Вольдемаром и с таким ли почтением, как с царским сыном: а между тем ему с посольством отведено было помещение в доме думного дьяка Ивана Грамотина. Чтобы сделать дом думного дьяка сколько-нибудь приличным для помещения иноземцев, ведено было со двора свезти навоз и щепы и насыпать песком, а дом убрать и произвести в нем починки.

<sup>33</sup> Так как царь прежде нуждался в портрете жениха, то предполагали, что в Дании царь будет нуждаться в портрете невесты, но снимать портреты с особ женского пола и рассылать их было не в обычае, потому что боялись порчи и колдовства; и посол Проестев получил приказание, в случае, если заговорят о портрете будущей невесты, отвечать, что царских дочерей никто не видит, кроме самых близких бояр, и портрета с них не снимают «для остереганья их государского здоровья». Но портрета не потребовали.

ему отец.

Царь был очень недоволен своими послами, которые, не смея отступить от буквы наказа, не сумели найтись, что им отвечать на заданный вопрос. В декабре юго же года царь выбрал для посылки в Копенгаген того же иноземца Марселиса, который ему дал первое известие о Вольдемаре. Он поехал с обещанием от царя дать будущему царскому зятю Суздаль. Ростов и другие города и предоставить ему свободу вероисповедания, как равно и всем приехавших с ним людям.

Московская земля на западе Европы представлялась дикою страной и внушала страх. «Если, – говорили датские вельможи Марселису, – наш королевич туда поедет, то сделается холопом навеки, и что обещают, того не исполнят. Как нашему королевичу ехать к диким людям!»

Ловкий Марселис принялся расхваливать Московское государство, уверял, что в нем отличный порядок, и в доказательство, что там можно жить, приводил в пример самого себя.

Сам королевич неохотно ехал в московскую землю, тем более, что первый прием, испытанный им в этой земле, не понравился ему. Но король-отец хотел сбыть и пристроить своего сына. Марселис успокаивал принца, ручался своею головою, что ему будет хорошо. «А какая мне польза в твоей голове, если мне будет дурно?» – отвечал ему королевич и соглашался ехать только по воле отца.

Марселиса отправили назад к царю и поручили передать условия, на которых королевич может приехать в Москву. Требовалось, чтоб королевичу не было никакого принуждения в вере, чтобы он зависел от одного только царя, чтобы удел, назначенный ему тестем, был наследственным, чтобы государь дополнял ему содержание денежным пособием, если доходов с удела будет мало.

Царь на все дал согласие, уступал на вечные времена зятю Суздаль и Ярославль и вдобавок обещал дочери приданого 300 000 рублей.

Королевич, встречаемый на своем пути в Московском государстве хлебом-солью и дарами, прибыл в Москву 21 января 1644 года и был принят с чрезвычайным почетом. Стройные ряды служилых и приказных людей в праздничных одеждах сопровождали его до Кремля, а по улицам на пути его были расставлены стрельцы без оружия: то был особый почет, которого не оказывали никому другому. Это означало, что царь считает принца не гостем, а членом своего царского дома, который, находясь в безопасности посреди верных подданных, не нуждается в оружии. По прибытии принца в назначенное для него помещение, поднесли ему от всех городов Московского государства хлеб-соль и разные дары, состоявшие из золотых, серебряных вещей, соболей и дорогих тканей. Английские и голландские купцы также поднесли ему богатые дары.

Через четыре дня царь первый посетил нареченного зятя и обласкал. 28 января ему сделан был торжественный прием при дворе; царь, одетый в свое царственное облачение, обнимал, целовал его и посадил рядом с собою по правую руку: по левую сидел царевич Алексей Михайлович. В тот же день был торжественный обед, и принц опять сидел рядом с царем. После обеда принца одарили богатыми подарками от царя и царевича, а через два дня царица прислала ему две дюжины полотенец, имевших символическое значение свадебного подарка.

Все шло, казалось, как нельзя лучше, как неожиданно 6 февраля царь прислал сказать принцу, чтоб он принял греческую веру и тогда уже может жениться.

Принц был поражен таким требованием и сначала думал, не испытывают ли его. Он отвечал, что не примет греческой веры, и ссылаясь на договор; уверял, что не приехал бы, если бы знал, что подымется речь о вере, и заметил, что брак уже некоторым образом заключен; если расторгнуть его, то от этого датской короне будет нанесено оскорбление, а про царя пойдет дурная слава.

Вслед за тем 13 февраля царь, пригласивши к себе королевича, сказал: «Король, твой отец, велел тебе быть у меня в послушании; мне угодно, чтобы ты принял православную веру».

– Якровь свою готов пролить за тебя, – отвечал королевич, – но веры не перемену. В наших государствах ведется так, что муж держит свою веру, а жена свою.

– А у нас, – сказал царь, – муж с женою разной веры быть не могут.

Королевич просил отпустить его домой, но царь отвечал, что отпустить его «непригоже и нечестно, не соверша доброго дела».

С тех пор несколько раз Вольдемар письменно обращался к царю, уличал его первую грамотою, в которой сказано было прямо и положительно, что его не будут неволить в вере. Царь на это отвечал, что ему и теперь нет неволи; но в грамоте, посланной к датскому королю, не сказано, чтобы королевича не призывать к соединению в вере. Королевич повторил свою просьбу отпустить его, но его не отпускали и продолжали уговаривать принять православие.

Приходили к нему бояре, уверяли, что невеста его хороша собою, умна и, если он увидит ее, то непременно полюбит: она не напивается пьяною, подобно московским женщинам; для такой красавицы можно переменить веру.

Прислал к королевичу патриарх, предлагал устроить диспут о вере и убеждал Вольдемара принять православие. Королевич соглашался на диспут, заметивши, что он лучше всякого попа знает Библию. Потом патриарх прислал ему длинное увещание, чуть не в 48 сажен, по замечанию датчан; но королевич, между прочим, отвечал ему: «Если я буду не верен Богу, то как можно полагаться на мою верность царскому величеству?»

Датские послы просили себе отпуска и требовали, чтобы вместе с ними отпустили королевича. Но им сказали, что королевича не отпустят, потому что король отдал его царю на всю волю. Чтобы принц не убежал, стали надзирать за ним и держать как будто под стражею.

Ночью, 9 мая, королевич действительно сделал попытку к бегству, но его остановили стрельцы у тверских ворот; с тех пор стали еще строже присматривать за ним и за его людьми и по-прежнему уговаривали принять православие.

После неудачной попытки к бегству, принц решился на диспут и поручил его вести за себя своему придворному пастору Матфею Фильхаберу. Диспуты происходили несколько раз в доме принявшего православие немца Францбекова. С русской стороны был ключарь Наседка, несколько греков и один перекрещенный славянин, князь Димитрий Альбертович Далмацкий. Споры вращались главным образом около вопроса о способе крещения. «Я, – сказал пастор своим противникам, – прочитал немецких, латинских, греческих и еврейских книг более, чем вы видели их и будете видеть; только я никого хулить не хочу и имею надежду, что когда его царское величество заведет в своем государстве школы и академию, тогда вы узнаете, что значит быть ученым и неученым...» Диспуты не привели ни к чему. В конце июня объявили королевичу, что царь отправит к датскому королю одного из датских послов и когда получит от короля письмо, тогда царь отпустит принца. Но потом снова стали уговаривать Вольдемара принять православие; он дал решительный отказ.

С тех пор, однако, долго не тревожили принца увещаниями. С ним обращались очень почтительно. Царь приглашал его к столу; устраивали для него охоту. 17 сентября царь вместе с царевичем был у него на обеде, проводили время весело, и когда дворецкий Морозов вздумал было заговорить о вере, царь и царевич прогнали его. 29 ноября подано было царю письмо от датского короля. Король просил царя: если ему угодно нарушить договор, то пусть тотчас отпустит его сына в Данию. На это письмо не было дано никакого ответа; принц добивался решения своей участи: ему говорили, что царь нездоров. Между тем царевич Алексей бывал у него и обращался с ним по-дружески. Наконец, в конце декабря, царь пригласил королевича к себе и убедительно просил принять греческую веру. Королевич сказал наотрез, чтоб царь либо совершил свадьбу, либо отпустил его немедленно.

– Свадьбы совершить нельзя, – сказал царь, – пока ты останешься в своей вере, а отпустить тебя невозможно, потому что король прислал тебя состоять в нашей царской воле и быть нашим сыном. – Лучше я окрещусь в собственной крови, – отвечал королевич. В начале 1645 года королевич написал царю резкое письмо, напоминал, что он и его люди не

холопы царя; говорил, что царь поступает так, как не поступают неверные турки и татары, и что он, королевич, будет отстаивать свободу силою, хотя бы ему пришлось потерять голову. Письмо это осталось без ответа.

Ожидали приезда польского посла. Думный дьяк сообщил королевичу, как будто за тайну, что польский посол хочет сватать царевну Ирину за своего короля и поэтому ему нужно подумать, чтоб у него не отбили невесты. Королевич понял, что это уловка, засмеялся и сказал: «Так, значит, и польский король будет перекрещиваться!»

Приехал польский посол Гавриил Стемпковский. Королевич обратился к его посредству, писал и к самому польскому королю, убеждал вступить за него. Стемпковский, по приказанию своего короля, заговорил с боярами о деле королевича: но бояре стали со своей стороны просить его, чтоб он убеждал Вольдемара принять православную веру, и представляли, что королевич получит большие выгоды; царь прибавит ему еще более земель, чем обещал, даже Новгород и Псков отдаст ему. Польский посол подавал совет королевичу, что не следует отказываться от такой выгодной женитьбы, но королевич отвечал, что на перемену веры могут соглашаться только люди, которые не дорожат совестью для временных благ, а он ничего теперь не желает, кроме возвращения на родину. Стемпковский представил боярам, что королевича ничем нельзя склонить, а потому остается отпустить его. Бояре в ответ на такую просьбу стали грозить, что если королевич будет упорствовать, то от него отдалят всех его людей и окружают русскими; если же и это не пособит, то самого принца сошлют в какое-нибудь далекое место и станут помогать Швеции против Дании.

Вместе с тем, чтоб тянуть дело, предлагали еще раз религиозный диспут в присутствии царя и королевича.

Польский посол передал слышанную им угрозу королевичу, и тот дал такой ответ: «Пусть царь ссылает меня в Сибирь; я готов переносить за веру всякое горе; пусть прикажет убить меня, лучше мне умереть с чистою совестью, чем жить в почете с нечистою: а что он грозит Дании, – то пусть знает, что Дания как прежде обходилась, так и теперь может обходиться и без русской помощи!.. Пусть, одним словом, царь делает, что хочет, только поскорее». Польский посол передал все это боярам, но по просьбе их еще раз убеждал королевича исполнить желание царя и согласиться на религиозный диспут.

Предложенный русскими диспут состоялся 4 июля в присутствии польского посла, но без королевича и без царя. И на этот раз спорили более всего о крещении. Диспут ни к чему не привел, а вслед за тем кончина царя дала иной поворот этому делу.<sup>34</sup>

В те же последние годы царствования Михаила Федоровича происходило другое, не менее любопытное дело с Польшею.

Назад тому тридцать лет, когда привезли Марину Мнишек с сыном в Москву с Яика, был в Москве поляк Белинский. Он составил план спасти сына Марины от смерти, на которую был осужден ребенок. Для этого он намеревался подменить сына Марины другим мальчиком, сыном убитого прежде в Москве поляка Лубы, оставшимся сиротою в чужой стороне. Предприятие не удалось. Сына Марины повесили. Тогда Белинский вздумал назвать сыном Марины того мальчика, которого прежде готовил на погибель вместо настоящего. Он увез его с собою в Польшу, стал называть царевичем Иваном Дмитриевичем и распространил рассказ о том, как Марина, находясь еще в Калуге, поручила ему увезти ее ребенка в Польшу. По совету шляхты, Белинский донес об этом королю. Король Сигизмунд нашел, что так как с Московским государством дела еще не покончены, то не бесполезно будет на всякий случай, про запас, держать царевича, и приказал отдать его на сохранение литовскому канцлеру Льву Сапеге, назначивши на содержание мнимого Ивана Дмитриевича по шести тысяч золотых в год. Сапега отдал его в обучение игумену брестского Симеоновского монастыря Афанасию. У этого игумена мальчик пробыл семь лет, а потом проживал во дворе Сапеги, назывался царевичем и сам был уверен, что он царевич.

---

<sup>34</sup> Королевич вернулся в Данию в следующее царствование. Брак его с Ириною не состоялся.

При Владиславе, когда после новой войны с Московским государством заключен был вечный мир, король запретил называть Лубу царевичем. Разжалованный царевич обратился к Белинскому с вопросом: кто он таков и кто его родители? Белинский объявил ему истину.

Между тем Лев Сапега скончался. Бывший царевич остался без приюта и без средств: ему перестали выдавать прежнее содержание. Он определился на службу к пану Осовскому, а потом перешел к пану Осинскому и жил у него писарем в Бресте.

Воспитатель этого невольного самозванца, игумен Афанасий, вероятно, желая подслужиться московскому царю, сообщил о нем русским послам, которые в 1644 году приезжали в Польшу с целью толковать о разных недоразумениях, возникших между порубежными жителями обоих государств. Афанасий представил письмо, писанное рукою Лубы. Московские послы стали укорять канцлера Оссолинского и других сенаторов в том, что они держат и укрывают человека, затевающего зло Московскому государству. Паны объяснили, что этот человек назывался царевичем прежде, а теперь уже не называется этим именем, и объявили, что выдавать невинного человека противно всяким правилам. Показали послам Лубу. Он рассказал о себе всю правду и уверял их, что не называется более царевичем. Но московские послы подали канцлеру письмо, писанное собственной рукою Лубы: в этом письме он хотя и подписался Иваном Фавстином Лубою, но выразился, что письмо его писано на «царевичевом обеде» в «царевичевой господе». Канцлер дал послам такое объяснение:

«Слова эти не показывают преступления; есть много мест и сел, называемых „Царево или Королеве»: он не подписывается царевичем, он подписался даже латинским именем: это служит ясным доводом, что Луба себя царевичем не называет».

Наконец паны объявили, что Луба пойдет в ксендзы. Московские послы заметили, что первый вор, назвавший себя Димитрием, был пострижен, а это не мешало ему затеять воровское дело, и требовали выдачи самозванца на казнь.

Поляки решили угодить московскому государю и послали в Москву Лубу со своим послом Стемпковским: но вместе с тем польский король просил царя отпустить Лубу назад, как невинного человека.

В это время один грек из Константинополя, архимандрит Амфилохий, прислал в Москву копию с письма, писанного по-малорусски к султану человеком, который называл себя московским царевичем Иваном Димитриевичем. Амфилохий сообщал, что письмо это принесли ему какие-то турки для перевода, так как он знал по-русски. Трудно решить: был ли этот самозванец – Луба, или кто другой, или же самое письмо было выдуманное.

Начались в Москве толки о Лубе. Бояре домогались его выдачи. Польский посол защищал Лубу, уверял, что он невинен, что он намерен поступить в духовное звание и никак не может быть опасен для царя.

Среди этих переговоров смертельная болезнь поразила царя Михаила Федоровича. Еще с конца 1644 года государь по болезни не выходил из своих покоев. В апреле следующего года болезнь его усилилась. Иностранцы доктора находили, что недуг, постигший царя, произошел от многого сидения, от холодного питья и меланхолии, «сиречь кручины». По описываемым приметам, царь поражен был водяною. 12 июня 1645 года он скончался.

Ближайшим к нему лицом пред смертью был боярин Морозов, дядька наследника престола. Благословляя сына на царство, царь поручил своего юного преемника отеческой опеке этого боярина.

Преемник Михаила Федоровича приказал отпустить Лубу с тем, чтоб король и сенаторы поручились за Лубу, что он не будет иметь никаких притязаний на Московское государство и не станет называться царским именем.

## **Глава 2** **Киевский митрополит Петр Могила**

Введение церковной унии было началом великого переворота в умственной и

общественной жизни южной и западной Руси. Переворот этот имел важнейшее значение в нашей истории по силе того влияния, какое он последовательно оказал на умственное развитие всего русского мира.

Униатское нововведение пользовалось особенною любовью и покровительством короля Сигизмунда; поддерживать его горячо принялись и иезуиты, захватившие в Польше воспитание и через то овладевшие всемогущею польскою аристократиею; – а потому было вполне естественно, что униатская сторона тотчас же взяла верх над православною. План римско-католической пропаганды состоял главным образом в том, чтобы отвратить от древней веры и обратить в католичество русский высший класс, так как в Польше единственно высший класс представлял собою силу. Орудием для этого должны были служить школы или коллегии, которые одни за другими заводились иезуитами на Руси. В Вильне иезуиты завели академию при Стефане Батории. Затем явилась иезуитская коллегия в Полоцке. В конце XVI века заведены были коллегии в Ярославле галицком и во Львове. В первой четверти XVII века возникли последовательно иезуитские коллегии в Луцке, Баре, Перемышле, во многих местах Белой Руси, в 1620 году – в Киеве, в 1624 – в Остроге. Позже они возникли и на левом берегу Днепра. Иезуиты с необыкновенным искусством умели подчинять своему влиянию юношество. Родители охотно отдавали своих детей в их школы, так как никто не мог сравниться с ними в скором обучении латинскому языку, считавшемся тогда признаком учености. Богатые паны жертвовали им фундуши на содержание их монастырей и школ; но зато иезуиты давали воспитание бедным безденежно и этим поддерживали в обществе высокое мнение о своем бескорыстии и христианской любви к ближнему. Они умели привязывать к себе детей, внушать им согласные со своими целями убеждения и чувства и так глубоко укоренять их в своих питомцах, что к природе последних как будто прирастало навсегда то, что было приобретено в иезуитской школе. Главною, можно сказать, исключительною целью иезуитского воспитания в русских краях, в то время, было как можно более обратить русских людей в католичество и вместе с тем внедрить в них ненависть и презрение к православию. Для этого они употребляли не столько научные доводы и убеждения, сколько разные легкие и действующие на юношеский возраст средства, как например: показное богослужение, вымышленные чудеса, видения, знамения, откровения, устройство празднеств, игр и сценических представлений, имевших целью незаметно прилепить сердце и воображение детей к римскому католичеству. Иезуиты обращали в свою пользу свойственную молодежи склонность к шалостям и не только не обуздывали в детях дурные побуждения, но развивали их, чтобы обратить в пользу своих заветных целей. Так иезуитские наставники подстрекали своих учеников делать разные оскорбления православным людям и особенно ругаться над православным богослужением: иезуитские ученики врываются в церкви, кричали, бесчинствовали, нападали на церковные шествия и позволяли себе разные непристойности, а наставники ободряли их за это. Но чтобы не возбудить против себя православных родителей и не заградить дороги к поступлению православных детей в свои училища, иезуиты часто уверяли, что они вовсе не думают обращать русских в латинство, говорили, что восточная и западная церковь одинаково святы и равны между собою, что они заботятся только о просвещении. Иезуиты, когда находили полезным, наружно удерживали даже своих православных питомцев от принятия католичества, на том основании, что обе веры равны; но эти питомцы были подготовлены воспитанием так искусно к предпочтению всего католического и к презрению ко всему православному, что сами, как бы вопреки советам своих наставников, принимали католичество; и тогда такое обращение приписывалось наитию свыше. Воспитанные в иезуитской школе и принявшие католичество, русские оставались на всю жизнь под влиянием своих духовных отцов, которыми были те же иезуиты или же действовавшие с ними заодно католические монахи других орденов; духовные отцы поддерживали в них фанатизм на всю жизнь. Следствием того было то, что в первой половине XVII века распространение католичества и унии пошло чрезвычайно быстро. Люди шляхетских родов обыкновенно были обращаемы прямо в латинство, а уния предоставлялась, собственно, на

долю мещан и простого народа. Новообращенные, как католики, так и униаты, отличались фанатизмом и нетерпимостью. В городах, при покровительстве со стороны короля, воевод и старост, все преимущества были исключительно на стороне католиков и униатов: православных не допускали до выбора в должности; делались всевозможные стеснения для православных мещан в их промыслах, торговых и ремесленных занятиях, а православное богослужение подвергалось со стороны фанатиков поруганиям и оскорблениям. Такое положение побуждало тех, которые были послабее в благочестии, мимо своей охоты обращаться в унию. До 1620 года не было у православных митрополита, не стало и епископов, некому было посвящать священников, и во многих приходах униаты заступили место выбывших православных, а в иных местах по смерти священников церкви упразднялись и к соблазну православных обращались в шинки. В имениях панских, а также в староствах, где судьба подданных находилась в безотчетном распоряжении владетелей, по приказанию последних, изгонялись православные священники, заменялись униатскими: подданные обращаемы были в унию, а упорные подвергались всякого рода насилиям и истязаниям. Во многих местах владельцы не управляли сами своими имениями, а часто отдавали их в аренду иудеям. Подданные поступали в распоряжение арендаторов и вместе с ними к последним поступали в православные церкви. Иудеи извлекали для себя из этого новые источники доходов, брали пошлины за право богослужения, так называемые «дудки»<sup>35</sup> за крещение младенцев, за венчание, погребение и т.д. Король и католические паны признавали законною греческою верою только унию, а тех, которые не хотели принимать унию, считали и обзывали «схизматиками», т.е. отщепенцами, и не признавали за их верою никаких церковных прав. При отсутствии иерархии, число православных священников более и более уменьшалось, и православные, не хотевшие принимать унию, вырастали без крещения, не исполняли никаких христианских обрядов.

Но пока еще иезуиты не успели обратить в католичество всего русского высшего класса, у православия оставались защитники между шляхетством. За православие стояли казаки. В 1620 году совершилось важное событие, несколько задержавшее быстрые успехи католичества. Через Киев проезжал в Москву иерусалимский патриарх Феофан. Здесь казацкий гетман Петр Конашевич-Сагайдачный и русские шляхетские люди упросили его посвятить им православного митрополита. Феофан рукоположил митрополитом Иова Борецкого, игумена киевского Золотоверхо-Михайловского монастыря, и, кроме того, посвятил еще епископов: в Полоцк, Владимир, Луцк, Перемышль, Холм и Пинск. Король Сигизмунд и все ревнители католичества были сильно раздражены этим поступком. Сначала король, по жалобе униатских архиереев, хотел объявить преступниками и самозванцами новопоставленных православных духовных сановников, но должен был уступить представлениям русских панов и против своего желания терпеть возобновление иерархического порядка православной церкви, так как в Польше, по закону, все-таки признавалась свобода совести, по крайней мере для людей высшего класса. Это не мешало происходить по-прежнему самым возмутительным притеснениям там, где сила была на стороне католиков и униатов. Тогда в особенности прославился нетерпимостью к православию униатский полоцкий епископ Иосафат Кунцевич; он приказывал отдавать православные церкви на поругание и мучить священников, не хотевших приступить к унию. Ожесточение народа против него дошло до такой степени, что в 1623 году толпа растерзала его в Витебске. Папа, узнавши о таком случае, убеждал короля Сигизмунда наказывать епископов, не признающих унию, и самыми решительными мерами истреблять «гнусную, чудовищную, схизматическую ересь» (православие).

Но все старания римско-католической пропаганды, несмотря на блестящие успехи, не могли, однако, скоро достигнуть конечной цели, за православие с одной стороны ополчались казаки, с другой – поддержало его возрождавшееся русское просвещение.

Братства были главнейшим орудием такого возрождения. Братства возникали одно за

---

<sup>35</sup> Первоначальное простонародное название монеты тройного гроша, по немецки duttchen.

другим, а где появлялось братство, там появлялось и училище. Братства отправляли лучших молодых людей в западные университеты для высшего образования. С размножением училищ и типографий увеличивалось число пишущих, читающих, думающих о вопросах, касающихся умственной жизни, и способных действовать в ее кругу. Виленское троицкое братство прежде всех перестало существовать для Руси: оно приступило к унии. Но в Вильне православные, тотчас после того, образовали другое братство при церкви Св. Духа, завели училище и печатание книг в защиту православия. В Киеве братство началось, как полагают, еще в конце XVI века, но его деятельное существование оказалось во втором десятилетии XVII века; в то же время основалось братство в Луцке. Замечательно, что все русские православные братства со своими учреждениями были явлениями более или менее кратковременными, не достигавшими своей главной цели. Братства эти могли держаться только до тех пор, пока католическая пропаганда не успела обратить в латинство все русское шляхетское сословие и вместе с тем оторвать от русской народности. Это совершилось в течение XVII века: весь высший класс русский олатинился, ополячился и братства исчезли сами собой. Одно киевское имело иную судьбу в русской истории.

Киеву, некогда бывшему уже средоточием русской политической и умственной жизни, опять выпала великая доля сделаться средоточием умственного движения, которое открыло для всей Руси новый путь к научной и литературной жизни. В 1615 году некто Галшка, урожденная Гулевич, жена мозырского маршалка Стефана Лозки, подарила принадлежавшее ей дворовое место со строениями и площадью в Киеве, на Подоле, с тем, чтобы там был основан братский монастырь с училищем, который бы находился под ведомством одного только константинопольского патриарха. Условием этого дара было то, чтобы это место со своими учреждениями ни в каком случае не выходило из православного владения. Галшка оставила за своими потомками право отнять у братства подаренное ею место, если бы какими-нибудь путями оно перешло в руки неправославных, и обязывала их в таком случае отделить на своей собственной земле другое место для той же цели. Тогда многие особы духовного и светского чина вписались в члены братства и обязались дружно и согласно защищать православную веру и поддерживать училище. Братство это по церкви, построенной на дворе, подаренном ему Галшкою, назвалось Богоявленским. В 1620 году патриарх иерусалимский Феофан утвердил устав братства и благословил его, чтобы это братство со своею церковью было патриаршею ставропигиею, т.е. не подлежало никакому другому духовному начальству, кроме константинопольского патриарха. В то же время, по просьбе волынских дворян и мещан, патриарх благословил правом ставропигии Крестовоздвиженскую церковь в Луцке, при которой основано было луцкое братство со школою, а константинопольский патриарх Кирилл Лукарис дал со своей стороны грамоту, которою утвердил уставы братских школ в Луцке и Киеве. При братской церкви должны были жить иноки, члены братства, под начальством игумена, который был пастырем и благочинным всего братства, надзирал с монашествующею братиею за порядком, давал наставления и заступался за братство в разных делах перед судом. Игумен имел также надзор и за школою; из числа монахов выбирался ректор школы; но ни игумен, ни ректор, ни вообще состоявшие в братстве монашествующие лица не могли делать никаких распоряжений без согласия светских братьев. Из числа светских братьев выбирались два лица для наблюдения за школою. Школа луцкого братства носила название Еллино-словенской, потому что в ней преподавались два языка. Ученики разделялись на три разряда: в первом учились читать, во втором читали и учили наизусть разные предметы, в третьем разряде объясняли выученное и обсуждали его. В ходе учения обращалось внимание, чтобы ученик как можно более усваивал и понимал выучиваемое; для этой цели, по окончании класса, ученики должны были пересказывать уроки друг другу, списывать их и повторять перед родными и хозяевами, которым будут поверены, а на другой день, перед началом нового урока, отвечать учителю вчерашний. Предметами учения были, кроме первоначального чтения и письма, греческая и славянская грамматика с упражнениями, заучивание и толкование мест Св. Писания, отцов церкви, молитв, богослужения, церковная



пасхалия, счетная наука, а также места из философов, поэтов, историков, риторика, диалектика и философия. При этом строго запрещалось читать и держать у себя еретические и иноверческие книги. Для упражнения в языках постановлено было, чтобы ученики говорили не на «простом» языке, а на греческом или славянском. Ученики могли учиться не всем наукам разом, а только некоторым, смотря по их способностям, по совету ректора или по желанию родителей. В школу принимались дети всех сословий и состояний, начиная от зажиточных шляхтичей и мещан до бедняков, просивших милостыню на улицах; воспитателям строго постановлялось не делать между ними никаких различий, иначе как по степени их успехов: все они по очереди обязаны были исполнять должность слуг, топить печи, мести школу, сидеть у дверей и т.п. По отношению к нравственности, ученики должны были строго соблюдать правила благочестия, в каждое воскресенье и праздник собираться к богослужению и перед тем выслушивать приличные нравоучения, а после обеда слушать объяснение прочитанных в церкви мест Св. Писания. Четыре раза в год, в посты, обязаны были они говеть, а более благочестивые, кроме того, причащались и исповедывались в господские праздники. Школьное начальство следило за их поведением, как в школе, так и вне ее, и наказывало розгами. Каждую субботу после обеда учитель читал им длинные нравоучения, как они должны были вести себя, и для памяти давал им испить «школьную чашу». Неисправимых исключали. Над самими учителями имело надзор братство, и они подвергались изгнанию за дурное поведение. Из этого устава видно, что религиозное воспитание ставилось на первом плане, и это вполне естественно, так как самая потребность в школьном воспитании вызвана необходимостью защищать православную веру против иезуитов и униатов. Киевская школа в это время имела, вероятно, такой же устав, с тою только разницею, что, при греческом и славянском, там преподавался еще и латинский и польский языки, как показывает самое название киевской школы, упомянутое в грамоте Феофана: «Школа наук еллино-славянского и латино-польского письма». Кроме главных школ, находившихся при братствах, по всей южной Руси было рассеяно множество частных школ при монастырях и церквях; так об Иове Борецком есть известие, что, будучи священником в Воскресенской церкви на Подоле (в Киеве), он завел школу и отличался ревностью к воспитанию юношества. В старости и он, и жена его постриглись. Иов, в звании игумена Михайловского Златоверхого монастыря, занимался воспитанием детей и впоследствии, сделавшись митрополитом, заботился о процветании школ.

Распространение школьного учения дало южной Руси ученых людей, способных выступить на литературную борьбу с врагами православной веры, и мы видим в первой половине XVII века возрастающую полемическую литературу в защиту догматов и богослужения православной веры. Одним из ранних писателей этой эпохи был Мелетий Смотрицкий. Еще при жизни Острожского он подвизался в литературе и написал возражение против нового римского календаря, который занимал тогда умы, и «Вирши на отступников», напечатанные в Остроге в 1598 году. Этот человек приобрел обширное ученое образование, дополнил его путешествием по Европе в качестве наставника одного литовского пана и слушал лекции в разных немецких университетах. По возвращении на родину в 1610 году он под именем Феофила Орфолога напечатал в Вильне по-польски: «Плач Восточной церкви», где в живых, сильных и поэтических образах представил печальное состояние отеческой веры, жалуясь главным образом на то, что знатные шляхетские роды один за другим отступают от ней. Сочинение это вызвало со стороны униатов едкое опровержение под названием «Паригория, или Утоление плача». В 1615 году Смотрицкий сделался учителем в школе, находившейся в Литве в Евью, где была одна из знаменитых русских типографий XVII века. Здесь в 1619 году Мелетий напечатал грамматику славянского языка, замечательную по своему времени и показывающую значительное филологическое образование ее автора, который даже, вопреки всеобщему обычаю своего времени писать силлабические стихи, угадывал возможность метрического стихосложения для русского языка. Грамматика эта была принята для преподавания в школах и служила для

распространения знания старославянского языка между русскими.<sup>36</sup>

Когда Феофан восстановил русскую иерархию, Смотрицкий был посвящен им в сан архиепископа Полоцкого и написал по-польски: «Оправдание невинности», где доказывал право русского народа восстановить свою церковную иерархию и опровергал взводимые на него клеветы, будто он хочет изменить Польше и предаться туркам. Против этого сочинения тотчас же появилось на польском языке сочинение: «Двойная вина»; а вслед за тем началась на польском языке сильная полемика между обеими сторонами. Когда в 1622 году был умерщвлен униат фанатик Иосафат Кунцевич, враги православия распространяли слухи, что главным поджигателем этого убийства был Смотрицкий. Жизнь его была в опасности; он уехал на восток, странствовал три года, приехал в Рим и там принял унию. Возвратившись на родину, он написал по-русски «Апологию» своего путешествия, где оправдывал свое отступление и старался доказать, что в православной церкви существуют заблуждения. Митрополит Иов Борецкий созвал собор в 1628 году и пригласил на него Мелетия Смотрицкого. Мелетий приехал в Киев, уверял, что он хотел только подвергнуть критике некоторые неправославные мнения, вкравшиеся в сочинения православных защитников веры, как равно и злоупотребления, поддерживаемые невежеством духовенства, что игумен дубенского Преображенского монастыря Кассиан Сакович, которому он поверил печатание своей книги, прибавил туда лишнее без его ведома и что он остается по-прежнему в ведомстве православной иерархии. Вскоре, однако, после этого собора, Мелетий снова объявил себя униатом и стал распространять свою «Апологию». Это вызвало со стороны православных горячую полемику. Иов Борецкий написал против Смотрицкого опровержение под названием «Аполлия» (погибель). Протоиерей слуцкий Андрей Мужилковский написал против «Апологии» Смотрицкого дельное сочинение на польском языке, наз. «Антидот». Были и другие сочинения против Смотрицкого.

Распространившееся в Руси польское влияние было так велико, что русские люди, ратуя за свою веру, писали по-польски, и это вредило успехам русской литературной деятельности того времени; иначе русская письменность была бы гораздо богаче. Самый русский язык в ученых сочинениях, писанных по-русски, страдает более или менее примесью польского. Из более выдающихся русских писателей того времени мы укажем на Захария Копыстенского, Кирилла Транквиллиона, Исаию Копинского, Памву Берынду и др. Захарий Копыстенский, иеромонах, потом архимандрит Киево-Печерского монастыря, написал обширное сочинение под названием «Палинодия», в котором подробно рассматривал главнейшие пункты отличия восточной церкви от западной и защищал догматы и постановления первой. Это сочинение, важное по историческим известиям о церковных событиях того времени, не было напечатано и до сих пор хранится в рукописях. Копыстенский издал, кроме того, по-русски сочинение «О вере Единой»; «Беседы Златоуста на послания Апостола Павла»; того же Златоуста «Беседы на Деяния» и «Толкование на Апокалипсис Андрея Кесарийского». В своих предисловиях к этим книгам издатель выражает желание, чтобы русские, как духовные, так и светские, поболее читали и изучали Св. Писание. «Толкование на Апокалипсис», изд. в 1625 году, посвящено пану Григорию Далмату, уже отступившему от православия внуку ревностного православного Константина Далмата, которому автор посвящал прежние свои переводы. Захария убеждает Григория возвратиться к вере отцов своих и говорит, что дед его возрадовался бы такому возвращению; при этом автор не затрудняется приводить примеры из греческой мифологии: «Если, – говорит он, – между Геркулесом и Тезеем была такая любовь и дружба, что один преемственно наследовал добродетели другого и старался избавить последнего от пленения в тартаре, то еще большая любовь, неразрываемая смертью, должна существовать между вашим дедом и вами». Это может служить образчиком, как языческо-классическая мудрость внедрялась в религиозное воспитание тогдашних книжников. При «Апокалипсисе» приложено несколько переводных слов и по поводу «Слова Иоанна Златоуста на

---

<sup>36</sup> По ней учился Ломоносов.

Пятидесятницу» делается такое замысловатое объяснение известного выражения, которое католики постоянно приводили в подкрепление о папском главенстве – «Ты еси Петр, и на сем камне созижду церковь Мою»: «Видите, Христос не сказал „на Петре“, а сказал „на камне“; не на человеке, а на вере Христос построят церковь свою, так как Петр сказал с верою: „Ты еси Христос, сын Бога живого“. Не Петра, а церковь нарекут он камнем». В 1625 году Захария Копыстенский, будучи уже архимандритом, напечатал речь, произнесенную в день поминовения по своему предшественнику Плетенецком, доказывал в ней необходимость поминовения усопших и опровергал тех вольнодумцев, которые, следуя протестантским толкованиям, отвергали пользу молитв за усопших и поминовений, – из чего видно, что протестантские мнения продолжали волновать умы православных. Но здесь же проповедник считал нужным вооружиться против католического чистилища и доказывал, что учение Св. отцов о мытарствах совсем не то, что учение о чистилище. «Мытарства, – говорил он, – состоят только в разных препятствиях и беспокойствах, которые причиняют разлученной от тела душе злые воздушные духи, подобно тому, как таможенные чиновники беспокоят проезжего свободного человека на таможнях и заставах».

В русской православной церкви была ошутительная потребность в правилах, которыми должны были руководствоваться священники при исполнении своих треб и обрядов и в особенности исповеди.

При долговременном невежестве вкрались большие беспорядки. Священники отправляли требы как попало, мало заботились об удержании своих прихожан в правилах благочестия, и это давало свободу всякого рода языческим суевериям. Захарий Копыстенский в 1620 году напечатал книгу для руководства священникам, где собрал в сокращении разные правила апостольские, вселенских и поместных соборов и Св. отцов. Книга эта называется «Номоканон, или Законоправильник». Здесь, между прочим, встречаются любопытные известия о разных суевериях того времени, распространенных в народе.

Женщины надевали на детей своих и на домашних животных чародейские «шолки» или «конуры», с целью предохранить от бед и болезней; принимали внутрь чародейские снадобья, чтобы не рождалось детей; надевали на детей своих «усерязи» в великий четверток. Чаровницы употребляли в своих заговорах слова из псалмов, имена мучеников, и, написавши их, давали носить на шее, носили змею за пазухой, а потом, содравши с нее кожу, прикладывали к глазам и зубам для здравия. Другие, с целью сделать какое-нибудь зло или произвести безладицу в семье (кому зло житием жити или нежелательно ему житие сотворити) или продолжить болезнь, призывали бесов над гробами (бесов злотворных призывание окрест гроб... сиче чарования преименовашася от еже над гробы плача и вопия), поили лихим зельем или давали в пищу такое, чтобы свести человека с ума, поспорить мужа с женою или нагнать любовную тоску. Иные прорицали будущее, предсказывали счастье или несчастье, толковали счастливые и несчастливые дни рождения. Суеверные зазывали к себе цыганок и гадалщиц; гадали на воске, на олове, на бобах. Были и такие, которые славились тем, что разгоняли облака, зачаровывали бури, угадывали, где находится украденная вещь и т.п. Номоканон обличает также пляски на свадьбах, праздник русалок, совершаемый с плясками на улицах, раскладку огней, что делалось в те времена не только на Купала, но и накануне других праздников и в особенности в день Вознесения, с чем соединялось особое гадание о счастии (да от оногo счастье свое рассмотрят). Автор вооружается против тех, которые, воображая себе, что мертвец встает из гроба и ходит по земле, выкапывают тело из могилы и сжигают его. Он говорит, что мертвец не может вставать из гроба и ходить, но что дьявол принимает образ мертвого и пугает людей мечтами. Бесы, по его толкованию, пугают разными мечтательными призраками тех, которые неосторожно призывают их имя.

Кирилл Транквилион-Ставровецкий, прежде учитель в львовском братстве, а потом черниговский архимандрит, не менее Копыстенского отличался плодотворною литературною деятельностью, хотя сочинения его страдают многословием, риторством и самовосхвалениями. Около 1619 года он издал «Евангелие учительное» или «Слова на

воскресные и праздничные дни». Книга эта в Московском государстве признана была неправославною. Важнее для нас другое сочинение Кирилла «Зерцало богословия», напечатанное в Почаеве в 1618 году. Замечательно, что оба сочинения посвящены знатным панам; первое Черторижскому, а второе молодому Ермолинскому с целью служить для него учебною книгою. Эти посвящения показывают, как литераторы нуждались в знатных покровителях. «Мала тебе сдается эта книжечка, – говорит автор в своем предисловии, – но прочитай-ка ее: увидишь высокие горы небесной премудрости!»

«Зерцало богословия» разделено на три части: первая толкует, собственно, о существовании Божиим<sup>37</sup>; вторая заключает в себе космографию, третья – о зловещем мире или вообще о зле. Самая любопытная для нас вторая часть, изображающая мировоззрение тогдашних ученых людей.

Мир разделяется на видимый и невидимый. Невидимый есть мир ангелов.<sup>38</sup> Кирилл принимает древнее разделение ангелов на девять чинов (престолы, херувимы, серафимы, господства, силы, власти, начала, архангелы и ангелы), из них, собственно, только ангелы распоряжаются видимым миром и над ними старейшина архистратиг Михаил (той за всем чином своим страж и справца всего видимого мира). Одни ангелы поставлены на страже стихий и воздушных явлений: огня, молнии, воздуха, ветра, мороза и пр. Другие содержат и обращают круг звездного неба (одного из девяти небес), особые ангелы приставлены к солнцу, луне, морю; иные приставлены к земным государствам, другие находятся при верных людях. Если Бог посылает ангелов к людям, то они надевают на себя «мечтательное» тело, иногда с вооружением; но это только призрак, потому что где бы кузнецы взяли на небесах металл ковать ангелам вооружение? Дьяволы, падшие духи, темные и отвратительные, разделяются на три вида: воздушные, водяные и подземные. Воздушные делают человеку зло разными изменениями воздуха: вихрями, бурями, градом, заразою воздуха и пр. Земные искушают людей на всякое зло, но они власти не имеют не только над людьми, но и над свиньями; они только подсматривают за человеком, и если у человека обнаруживается побуждение к дурному, они подстрекают его. Они постоянные лгуны (уставичные лгареве), и если прорицают, то им верить не следует. Иногда они мечтательно принимают на себя вид зверей и чудовищ, чтобы пугать людей.

Видимый мир создан из четырех стихий, различных и занимающих одна за другою место по своей тяжести. Низшая и самая тяжелая – земля; выше ее вода; над водою воздух; а выше его – самая легчайшая стихия, огонь. Огонь и вода непримиримые враги, но между ними миротворец – воздух. Вода двух родов: одна – над твердью небесною, другая – под твердью на земле. Твердь небесная есть сухая, легкая, непроницаемая материя, сверху которой Бог разлил воду для предохранения от верхнего эфирного огня, который бы иначе зажег твердь; но, чтобы не было темно на земле, Бог сотворил на тверди солнце, луну и звезды и вложил в них части эфирного света. Воздух есть та тьма вверху бездны, о которой говорится в Библии: к земле он теплее, согреваемый солнечными лучами, середина его холодна, а верхние слои горячие. Гроза объясняется таким образом: пары подумаются с моря и достигают верхних слоев горячего воздуха; от того делается шум, подобно тому, как раскаленное железо, положенное в воду, производит шум. Кирилл слышал, что земля кругла, как яблоко, и не противоречит этому. Он думает, что земля окружена водою для

---

<sup>37</sup> Вот определение Бога у Кирилла: «Бог есть существо пресущественное, албо бытность над все бытности, сама истотная бытность през ся стоящая, простая, несложная, без початку, без конца, без ограничения, величеством своим объемлет вся видимая и невидимая».

<sup>38</sup> Вот определение ангела: «Ангел есть бестелесное, неосязаемое, огневидное, пламеноносное, самовластное... Крепостью мог бы един ангел з росказанія Божья увесь свет обвалити во мгновение ока и борзость его дивна, дух бо вем есть скороходный, яко быстрость блискавицы и помыслу нашего: во мгновение ока з неба на землю сниде и за ся от земли на небо възйде, телом не единым, неударжимым, но скрозь всякое тело без забороны приходит, не задержат его ни стены муров каменных, ни двери железные, ни печати. Местом же ангелы описаны суть: если будет ангел на небе, на земле его несть, а если на земле, в небе его несть. Языка до мовения и уха до слышания не потребуе и без голоса и зносного слова подают един другому разума своя».

предохранения от эфирного огня. Море солоно оттого, что вода в нем недвижима, и если бы не была солона, то загнилась бы и засмердела. В человеке из пяти чувств – четыре соответствуют стихиям: вкус – земле, обоняние – воде, слух – воздуху, зрение – огню, а осязание «почувательную некую, особую силу имать». Как в небе живет Бог, так в верхней части человеческого тела, в голове, в бескровном мозгу – ум, важнейшая сила души, а при нем другие силы: воля, память, доброта, мысль, разум, хитрость, мечтание, рассуждение, радость, любовь. Ум и разум у него не одно и то же. Ум – сила внутренняя, а разум приходит извне: «От кого иного научишься и разумеешь – то разум». Кирилл старается уподобить части человеческого тела стихийным явлениям: «Во главе очи яко светила, глас, яко гром, мгновение ока, яко близкавицы».

Под злосливым миром автор понимает жизнь злых людей, не следующих повелениям Божиим. Подобно миру земному, состоящему из четырех стихий, злосливый мир состоит из четырех стихийных пороков: задрости (зависти), пыхи (высокомерия), лакомства (алчности), убийства. Лакомство соответствует воде; убийство – земле; задрость и пыха – воздуху и огню. Дьявол есть творец и содержатель злосливого мира.

Мы привели эти сведения из сочинения одного из видных литературных деятелей того времени, чтобы показать, как далека была тогдашняя ученость от прямого пути в области мирских знаний. Русские ученые выступали в борьбу со своими врагами с запасом многих разных сведений по части церковной истории и богословия, но были невеждами во всем, что касалось природы и его законов, хотя, как показывают их сочинения, и чувствовали потребность этого знания. Они повторяли только старые средневековые нелепости. Ученость их поэтому носила характер крайней односторонности; с распространением такого рода просвещения развивалась страсть к риторической схоластической болтовне, к легкому и дешевому символизму. Это мы видим на том же Кирилле Транквиллионе. В главе о Вавилоне Темном он разбирает апокалипсические образы и дает полную волю всяким сопоставлениям и объяснениям, которые мог он отыскать в изобилии на всякие лады у прежних толкователей. Вавилон – это громада злых людей, дракон – дьявол, семь рогов – семь смертных грехов, воды – народы, жена, сидящая на водах – «пыха свету сего», пятно на челе – измены и обманы, чаша, кровью исполненная – замки будовные, палацы и дмахи (чертоги) спанялые (великолепные), дочь Сиона называется виноградом, вежею (башнею), на которой висят сто тарчов (щитов): это церковь с ее писаниями; она – гора «тучная, упитанная з оброков небесной премудрости» и прочее и прочее.

Как распространилась тогда риторическая словоохотливость, показывает вошедший обычай сочинять молитвы. В Вильне издана была книжка «Вертоград душевный», в которой помещаются дневные богослужения, т.е. полуночница, заутреня, часы, вечерня, павечерница, и в них вплетены пространные, сочиненные вновь молитвы.

Монашеское направление, так долго господствовавшее в православной церкви в южной Руси, и на этот раз нашло себе представителей: как на замечательнейшее в этом роде сочинение мы укажем на «Духовную лестницу» Исаии Копинского. Автор был печерским монахом, девятнадцать лет наблюдал антониевы пещеры, потом был приглашен князем Михаилом Вишневецким для устройства Густинского монастыря (близ Прилук), впоследствии был киевским митрополитом. Его «Духовная Лествица» отлична от известной книги «Лествицы» Иоанна Лествичника, бывшей в большом ходу у благочестивых людей в старину. Исходная точка суждений в сочинении Исаии очень своеобразна. Автор признает началом греха безумие, незнание, началом добродетели – разум и знание, а истинное познание достигается только путем учения и уразумения природы. Он находит, что только изучивши природу, мы можем приступить к познанию самих себя, и только изучивши свое существо, можем перейти к познанию Бога.<sup>39</sup> Никогда на Руси не раздавалось из уст

<sup>39</sup> Никто же не может познати Бога, дондеже не познает первое себе, не приидет же совершение в познание себе, дондеже первые не придет в познание твари и всех вещей в мире зримых и разумеваемых рассмотрению. Егда же приидет в познание сих, тогда возможен прийти в познание себе, тоже и Бога, и тако приходит в совершенное с Богом любовью соединение... Первые всея твари

русского монаха большего уважения к положительной науке; но после этого автор, так сказать, круто поворачивает на прежнюю торную дорогу монашеских сочинений. У него разум двоякий – внешний и божественный, двоякая мудрость внешняя и божественная, два знания – внешних и божественных предметов, и оказывается, что Бога можно познать только высшим божественным разумом. Что касается до внешней мудрости, то она делается почти ненужною. Путь к высшему разумению есть «умное делание», подобно тому, как говорил когда-то Нил Сорский, – монашеская созерцательность, воздержание, пост, сокрушение сердца. Монашество – высший образец; все плотское – гной, тлен, прах. Автор думает, что если бы Адам не согрешил, то люди бы не рождались младенцами и рождались бы не так, как теперь рождаются.<sup>40</sup> «Человек, – говорит он, – рождаясь от женщины и стремится к соединению с нею, но тем самым умирает душою; так как соль, хотя рождается от воды, но соединяясь с водою вновь, – исчезает; так и человек, хотя рождается от женщины, но как соль растаивает, „когда паки к греховному плотскому соплетению лепится“. Автор, хотя не может отрицать брака, но предоставляет его в виде снисхождения только человеческим существам низшего разряда, тогда как люди высшие, монахи, должны предпочитать безбрачную чистоту.

Далее все сочинение состоит из бесед о том, как следует монаху вести строго постную жизнь, избегать хвастовства, высокомерия, сребролюбия и других пороков.

Умственное движение, возникшее в южной Руси, получило новый толчок и новую силу с наступлением деятельности Петра Могилы.

Фамилия Могил принадлежит к древним знатным родам молдавским. В конце XVI века, при помощи польского гетмана Яна Замойского, один из Могил, Иеремия, сделался господарем молдавским, а в 1602 году брат его Симеон господарем валашским. В 1609 году Симеон стал также господарем и Молдавии, но не надолго. Сначала он уступил господарство племяннику своему Константину, а потом турки лишили эту фамилию господарства. Напрасно польские пань: Стефан Потоцкий, князья Корецкий и Вишневецкий, родственники Могил по женам, старались восстановить их на господарстве. Могилы должны были искать приюта в Польше. Сын Симеона, Петр, учился, как говорят, в Париже, потом служил в военной службе в Польше, а в 1625 году постригся в Печерской лавре, еще не достигши 30 лет от роду. Вступление в монашеское звание лица, такого знатного и притом состоявшего в родстве с могущественными польскими домами, давало поддержку православному делу. Через год скончался печерский архимандрит Захария Копыстенский. Тогда возник вопрос о том, чтобы молодому молдаванину Могиле сделаться архимандритом. Его связи и богатство представляли в будущем большие надежды для лавры: но не вся печерская братия готова была выбрать его. Многие не возлюбили его; другие соблазнились его молодостью; но за пределами монастыря у Могилы было много сильных сторонников, желавших доставить ему видное и выгодное место архимандрита печерского. Два года шли об этом толки; противникам Могилы, как видно, не давали избрать другого; наконец Могила был избран, тем более, что митрополит Иов Борецкий был за него. В 1628 году Сигизмунд III утвердил его. Новый архимандрит тотчас же заявил свою деятельность на пользу монастыря, завел надзор над священнослужителями в селах лаврских имений, незнающих из них приказывал учить, а упрямых и своевольных подвергал взысканиям; подновил церковь, не жалел издержек на украшение пещер, подчинил лавре Пустынно-Николаевский монастырь, основал Голосеевскую пустынь, построил на свой счет при лавре богадельню для нищих и задумал заводить при Печерском монастыре высшую школу. Рассчитывая, что для последней цели

---

рассмотрение от чего и чего ради сия суть, во еже ни единой вещи утаенной и недоуменной быти от него... Первис подобает долняя вся разумети, та же горняя, небо от горних на нижняя восходити должни семи.

<sup>40</sup> Прилепись же к несвойственному плотскому вожделению, сего ради по нужде подпаде тлению и смерти нетления бо и жизни отлучися, подпаде в сиевое плотское неразумное сочетанье, от совершенного разума и возраста преступлением изведе Адам естество наше в детский возраст бессловесное младоумие, во еже малыми немощесмотрящими отrotchаты в мир раждатися нам, по нужде сие раждатися и быши в мир осужденны быхам.

необходимы хорошие учителя, он прежде всего начал отправлять молодых людей за границу на собственный счет. В числе их были: Сильвестр Коссов, Исаия Трофимович, Игнатий Оксенович-Старушич, Тарасий Земка и Иннокентий Гизель. Для новой школы он избрал место с огородом и садом, близ больничной Троицкой церкви, поставленной над печерскими воротами, и дал от себя фундушевую запись, которую обязывался содержать училище на собственный счет.

В 1631 году скончался митрополит Иов Борецкий. Место его занял Исаия Копинский, бывший в то время архиепископом смоленским и черниговским. Посланные за границу молодые люди стали возвращаться на родину, но тут записанные в братство православные духовные, дворяне и казацкие старшины с гетманом Петрижицким от лица всего войска запорожского обратились к Петру Могиле с просьбою не заводить особого училища в братстве, а обратить свои пожертвования на существовавшее уже братское училище на Подоле. Просьба эта была вполне разумна: не следовало разрывать сил, полезнее было соединять их. Могила согласился. В декабре 1631 года члены братства составили акт, в котором Петр Могила назывался старшим братом, блюстителем и пожизненным опекуном киевского братства. В марте 1632 года гетман Петрижицкий от лица полковников и всего войска запорожского, обещал в случае нужды защищать оружием церковь, монастырь, школы и богадельню братства; а киевские дворяне, в лице выбранных из среды своей старост, обещали заботиться о содержании училища.

В апреле 1632 года скончался король Сигизмунд III. По польским обычаям, по смерти короля, собирался сначала сейм, называемый «конвокационным», на котором делался обзор предыдущего царствования и подавались разные мнения об улучшении порядка; потом собирался сейм «элекционный» уже для избрания нового короля. Остатки православного дворянства сплотились тогда около Петра Могилы с целью истребовать законным путем от Речи Посполитой возвращения прав и безопасности православной церкви. Главными действующими лицами с православной стороны в это время были: Адам Кисель, Лаврентий Древинский и Воронич. При их содействии, митрополит Исаия и все духовенство уполномочили ехать на сейм Петра Могилу. Православные требовали уничтожения всяких актов и привилегий, запрещавших православным строить церкви и допускавших вести против них процессы по религиозным делам с наложением секвестрации на их имения, домогались возвращения православным всех запечатанных церквей, всех епархий, требовали безусловного права заводить коллегии, типографии, возвращения отобранных униатами церковных имений и строгого наказания тем, которые будут наносить оскорбления и насилия православным людям. Вместе с просьбою дворян и духовных подали на сейм просьбу казаки в более резких выражениях, чем дворяне и духовные. «В царствование покойного короля, – писали они, – мы терпели неслыханные оскорбления... Униаты отстранили от городских должностей добродетельных мещан нашей веры и засмутили сельский народ; дети остаются некрещеными, взрослые сожительствоуют без брачного обряда, умирающие отходят на тот свет без причащения. Пусть уния будет уничтожена; тогда мы со всем русским народом будем полагать живот за целость любезного отечества. Если, сохрани Боже, и далее не будет иначе, мы должны будем искать других мер удовлетворения». Такой резкий тон сильно раздражил панов, которые вовсе не хотели давать казакам права вмешиваться в государственные дела. «Они называют себя членами тела Речи Посполитой, – говорили паны, – но они такие члены, как ногти и волосы, которые обрезают». Но голос шляхетства не мог быть оставлен без внимания. При посредстве королевича Владислава составлен был мемориал, в котором предполагалось отдать православным киевскую митрополию, кроме Софийского собора и Выдубицкого монастыря и всех митрополичьих имений, предоставить им сверх того Львовское епископство, Печерский и Жидичевский монастыри с их имениями, дать по несколько церквей в некоторых городах, позволять братствам распорядиться школами, мещанам занимать городские должности и пр. Дальнейшее решение дела о свободе православного исповедания отложено было до «элекционного» сейма. Но и на элекционном сейме казацкие послы вновь

появились с резкими требованиями. По поводу этих домогательств начались сильные и горячие прения о вере между панами. Ревностные католики не хотели утверждать даже того мемориала, на который согласился «конвокационный» сейм. Кисель и Древинский пространно и сильно защищали права греческой религии. Православные не были довольны самым мемориалом и хотели еще более широкого. Петр Могила был душою их совещаний и, наконец, вместе с православными дворянами, он лично обратился к новоизбранному королю Владиславу. Так как Польша в это время находилась в неприязненных отношениях с Москвою, то Владислав понимал, что расположение казаков и русского народа было чрезвычайно важно для короля и всей Польши; да и вообще Владислав был сторонник свободы совести. Он дал православным «диплом», которым предоставлял им более прав и выгод, чем те, какие были написаны в мемориале, составленном на конвокационном сейме. Предоставлена была полная свобода переходить как из православия в унию, так и из унии в православие. Митрополит киевский мог по-прежнему посвящаться от константинопольского патриарха. Отдавалась православным немедленно луцкая епархия; а перемышльскую положено отдать после смерти тогдашнего униатского епископа; учреждалась новая епархия во Мстиславле; снимались всякие запрещения, стеснения, запрещалось делать оскорбления православным людям. Православные дворяне, бывшие на сейме, тогда же порешили удалить от митрополии Исаию Копинского, как человека уже престарелого и болезненного, и избрали вместе с бывшими там духовными в митрополиты Петра Могилу. Король утвердил этот выбор и дал Петру Могиле привилегию на преобразование киевского братского училища в коллегию. Посланный в Константинополь ректор киевских школ, Исаия Трофимович, испросил для Петра Могилы патриаршее благословение, и тогда волошский епископ во Львове рукоположил Петра Могилу в митрополиты.

По известиям одного современника, православного, но ополяченного шляхтича Ерлича, Петр Могила, прибывши в Киев в 1633 г., обращался грубо и жестоко со своим предместником Исаиею Копинским: дряхлого и хворого старика схватили в Златоверхо-Михайловском монастыре в одной волосянице, положили на лошадь, словно мешок, и отправили в Печерский монастырь, где он скоро и скончался в нужде. По известию того же Ерлича, Петр Могила был человек жадный и жестокий, истязал бичами монахов Михайловского монастыря, допытываясь, где у них спрятаны деньги; одного печерского монаха Никодима обвинил в наклонности к унии и отослал к казакам, которые приковали его к пушке и продержали таким образом шестнадцать недель. Эти известия не могут быть признаны вполне достоверными. В 1635 году в городском оврацком суде происходил процесс между иноками Михайловского Златоверхого монастыря и Исаиею Копинским. Иноки жаловались, что Исаия Копинский в 1631 году, – опираясь на то, будто все монахи Михайловского монастыря избрали его игуменом, – выгнал, при содействии казацкого гетмана Гарбузы, игумена Филофея Кизаревича и оставался в монастыре до 10 августа 1635 года, а в этот день, уехавши из монастыря, взял с собою документы на монастырские имения и захватил также разные вещи из ризницы. Это показание противоречит известию Ерлича, относящего это событие к 1633 году, так как из показания монахов видно, что Исаия оставался в Михайловском монастыре гораздо долее 1633 года. Существует протестация самого Исаия Копинского, который показывает, будто он уехал из монастыря потому, что Могила притеснял монастырь, делал разорение монастырским местностям и после удаления его, Исаии, неправильно отдал монастырь во власть Филофея Кизаревича, окрестивши его игуменом. Но протестация Исаии включает в себе неверность. Не Могила, после удаления Исаии из Михайловского монастыря, окрестил игуменом этого монастыря Филофея Кизаревича. Кизаревич был избран михайловским игуменом еще прежде, чем Исаия овладел монастырем в 1631 году. Это несомненно из актов того времени, на которых Кизаревич подписывался игуменом Михайловского монастыря. Оказывается, что в самом монастыре было две партии, из которых одна хотела дать игуменство Кизаревичу, другая – Копинскому, и Могила, как кажется, благоприятствовал первому. После протестации, поданной Исаиею, Могила февраля 1637 года пригласил Исаию в Луцк и там, в присутствии многочисленного



духовенства, примирился с ним. Исаия дал Петру Могиле «квит», т.е. отказался от своего иска. Но вслед за тем Исаия, через своего поверенного, возобновил свой иск, заявивши, что Петр Могила насильем принудил дать ему квит. Жалоба дошла до короля. Исаия внес в градские владимирские книги королевское письмо к вольнскому воеводе о назначении комиссии для разбирательства спора между Петром Могилою и Исаиею. Из этого письма видно, что к королю поступила жалоба, будто Петр Могила не только ограбил церковное и частное достояние Копинского, но и самого Исаию бил до крови и подвергал тяжелому заключению. Так как производство дела этой комиссии до нас не дошло, то и нет возможности для истории произнести приговор по этому делу. Но у Ерлича встречается еще одно известие о Могиле, также несправедливое. Ерлич говорит, будто Могила, желая завести школу в Печерском монастыре, выгнал монахов Троицкого больничного монастыря, чтобы отдать под школу занимаемое ими место. Из актов же того времени видно, что Могила, будучи еще архимандритом, назначил под предполагаемую школу место с садом и огородом по одну сторону главных ворот, на которых находилась больничная церковь, между тем как госпиталь с больничными монахами находился на другой стороне от ворот. Таким образом, не было никакой необходимости Могиле выгонять монахов для постройки школы. Притом же, сам Могила заботился о госпитале и содержал его на свой счет.

Назначение Петра Могилы митрополитом в Киеве произвело чрезвычайный восторг. Ученики братского училища сочиняли ему гимны и панегирики. «Если бы ты вздумал, – говорилось в приветствии ему, – отправиться от Киева до Вильно и до пределов русских и литовских, с какою радостью встретили бы тебя те, которыми наполнены суды, темницы и подземелья за непорочную веру восточную?» Типографщики поднесли напечатанную ими стихотворную брошюру под названием «Евфония веселобремячая», а киевские мещане, заодно с казаками и православными духовными, в порыве восторга бросились отнимать у униатов древнюю святыню русскую – Софийский собор. Униатский митрополит Иосиф Вильямин Руцкий жил не в Киеве, а в Вильне. Софийский собор стоял пустой; богослужение в нем не отправлялось; а ключи находились у шляхтича Корсака. Место, где находится Софийский собор, было тогда за городом и отделялось от жилой части Старого города валом. Близ него расположена была небольшая софийская слободка. Там жил Корсак, страж покинутого храма. Киевляне, под предводительством Баляски, Веремиевка и слесаря Быковца, толпою в пятьсот человек бросились на дом Корсака. Пан был в отлучке; в доме оставалась его мать, у которой были в то время гости. Киевляне потребовали ключей от собора. Пани Корсакова не дала ключей. Тогда киевляне объявили, что сами найдут ключи, бросились к собору, отбили колодки, которыми запирался собор, выломали двери, отколотили тех, которые хотели помешать им, забрали ризницу и утварь и отвезли в лавру к митрополиту. Затем толпа вновь вернулась в дом Корсака и начала выгонять из дому пани Корсакову и ее родных, сидевших с доминиканами, которых она нарочно позвала, чтоб они впоследствии на суде могли быть свидетелями. Толпа ругала пани Корсакову, прицеливалась ружьями в форточку окна и кричала: «Выволочемо ее на двор и расстреляймо!» На другой день киевляне вывели пани Корсакову и ее родных из дому и обязали слобожан повиноваться православному митрополиту. Вместе с церковью Св. Софии киевляне тогда же овладели деревянною церковью Св. Николая, на месте Десятинной, и древними стенами церкви Св. Василия, построенной Св. Владимиром на Перуновом холме.

Первым делом митрополита было привести церковь Св. Софии в благолепный вид и освятить ее для богослужения; он называл ее «единственным украшением православного народа, главою и матерью всех церквей». Петр Могила старался восстановить древнюю святыню Киева и вместе с тем оживить в народе воспоминание древности. Таким образом, он возобновил церковь Св. Василия; из развалин Десятинной церкви соорудил новую каменную церковь, причем, во время производства работ, нашел в земле гроб Св. Владимира и поставил голову его в Печерском монастыре для поклонения, возобновил также древнюю церковь Спаса на Берестове. С особенною любовью относился он к Софийскому собору, хотя жил постоянно в Печерской лавре, оставаясь ее архимандритом.

Ему приписывают сооружение пристроек к ярославовой стене, укрепление их контрфорсами, закладку куполов на хорах, сооружение над ними других куполов на кровле и даже размалевку стен, которою закрыты были старые Ярославовы фрески. Но с этим нельзя согласиться. Архитектура пристроек и особенно двухглавые орлы указывают на более позднее время. Сверх того, существуют рисунки, составленные после Могилы, на которых Софийский собор не в том виде, в каком теперь. В «Триоди», изданной во Львове, в 1642 году, в посвящении Петру Могиле говорится о возобновлении Св. Софии в таком виде: «Церковь Св. Софии в богоспасаемом граде Киеве негдысь от святыя памяти княжати и самодержца всея России Ярослава сбудованую и на приклад всему свету выставленную, преосвященство ваше в руинах уже будучую знову реставровал и до першей оздобы коштом своим старанем своим привел, а до того и внутрь розмаитыми иноками святых Божиих и аппаратами церковными дивно ириоздобил».

Петр Могила обратил внимание на то, что в церковных богослужебных книгах, бывших в употреблении в южной и западной Руси, вкрались неправильности и разноречия. Они были в то время тем неуместнее, что противники православия указывали на это обстоятельство, как на слабую сторону, и утверждали, что в православном богослужении нет единообразия: в одной книге попадаются об одном и том же предмете совсем иные выражения, чем в другой, и каждый священник может употреблять тот или другой способ. Этим противники силились доказать, что церковь, не имея единого главы, не в силах удержать правильности в своих богослужебных книгах, а тем самым указывали на необходимость подчинения единому главе в образе папы. Могила постановил, чтобы вперед богослужебные книги не выходили в печать без пересмотра и сличения с греческими подлинниками и без его благословения; сам он лично трудился над их пересмотром. В 1629 году Петр Могила издал «Служебник», одобренный на киевском соборе митрополитом Иовом Борецким и южнорусскими епископами. Этот «Служебник» отличался от прежних тем, что в нем приложено догматическое и обрядовое объяснение литургии, написанное одним из учеников Могилы, Тарасием Земкою. Таким образом, русские священнослужители получили впервые единообразное руководство для совершения литургии, а вместе с тем могли понимать то, что совершали. Через десять лет, в 1639 году, Могила, уже будучи митрополитом, издал вторым изданием свой «Служебник», значительно умноженный ектениями и молитвами, сочиненными на разные случаи жизни.

Приведение в единообразии православного богослужения, надлежащее отправление священниками их обязанностей и улучшение их нравственности сильно и постоянно занимали Петра Могилу. С этими целями в 1640 году Могила назначил собор в Киеве и на этот собор приглашал не только духовных, но и светских особ, записанных в братствах; по его взгляду на состав церкви, светские люди, будучи членами церкви, как христианского общества, имели право подавать свой голос в церковных делах. «Наша церковь, – писал Могила в своем окружном послании, – оставаясь ненарушимой в догматах веры, сильно искажена в том, что касается обычаев, молитв и благочестивого жития. Многие православные, от частого посещения богослужения иноверцев и слушания их поучений, заразились ересью, так что трудно распознать: истинно ли они православные или одним только именем? Другие же, не только светские, но и духовные, прямо покинули православие и перешли к разным богомерзким сектам. Духовный и монашеский сан пришел в нестроение; нерадивые настоятели не заботятся о порядке и совсем уклонились от примера древних отцов церкви. В братствах отвергнута ревность и нравы предков; каждый делает что хочет». Могила заявлял, что он желает возвратить русскую церковь к древнему благочестию и находил, что цель эта может быть достигнута посредством собора духовных и светских людей. Деяния этого собора не дошли до нас, но, вероятно, плодом его совещаний явилось новое издание «Требника» в 1646 году. Этот «Евхологион», или «Требник», – подробнейший сборник богослужений, относящихся к священным требам и долгое время служивший

руководством во всей России, известен под именем «Требника Петра Могилы».<sup>41</sup> При составлении его руководствовались требниками греческими, древнеславянскими, великорусскими и отчасти римскими. Могила, защищая православие от католичества, не стеснялся, однако, заимствовать из западной церкви то, что не противно было духу православия и согласовалось с практикою первобытной церкви.<sup>42</sup> В своем «Требнике» Могила не ограничился одним изложением молитв и обрядов, а прибавил к нему объяснения и наставления, как поступать в отдельных случаях, так что этот требник не только служил руководством для машинального отправления треб, но имел значение научной книги для духовенства. Тем не менее, к досаде Могилы, не все довольствовались этим однообразным руководством и помимо его издавались другие требники частными лицами. Пока образовалось новое поколение пастырей из преобразованной Могилою коллегии, он обращал внимание, чтобы ставленники, по крайней мере, не были круглыми невеждами, и постановил, чтобы искатели священнических мест, до своего посвящения, оставались некоторое время в Киеве и учились у сведущих лиц. Подготовка эта продолжалась иногда и до года. Сам Могила экзаменовал их и содержал во время обучения на свой счет. Могила вскоре увидел необходимость составить полную систему православного вероучения и под своим руководством приказал составленному Исаии Трофимовичу православный катехизис. По составлении его, Могила созвал сведущих духовных лиц из всей южной и западной Руси, дал им на рассмотрение новую книгу, а потом снесся с патриархами. С целью окончательно рассмотреть и утвердить катехизис, созван был в Яссах ученый собор в 1643 году, куда Могила послал Трофимовича вместе с братским игуменом Иосифом Кононовичем и проповедником Игнатием Старушичем. Со стороны константинопольского патриарха послано было два ученых грека. Греки долго спорили с русскими, истребовали отмены кое-каких мест и наконец утвердили катехизис, затем книга была отправлена на утверждение всех патриархов; она хотя и была утверждена, но слишком долго рассматривалась, и Могила не успел ее напечатать.<sup>43</sup> Вместо нее Могила приказал напечатать в 1645 году краткий катехизис. Цель его выражена в предисловии, где говорится: «Книга эта публикуется не только для того, чтобы священники в своих приходах каждый день, в особенности в воскресные и праздничные дни, читали и объясняли его своим прихожанам; но также, чтобы мирские люди, умеющие читать, преподавали одинаковым способом христианское учение, преимущественно, чтобы родители учили по ней своих детей, а владельцы подвластных себе людей, а также, чтобы в школах все учителя заставляли своих учеников учить наизусть по этой книжечке». Катехизис этот, по способу своего изложения, послужил первообразом всех катехизисов последующего времени. Оно изложено в вопросах и ответах и состоит из трех частей: в первой рассматривается символ веры по членам, во второй – молитва Господня, в третьей – заповеди.

Могила, как человек ученый, принял деятельное участие в тогдашней горячей полемике, происходившей между православными и католиками. Некто Кассиан Сакович, прежде православный учитель киевской школы и написавший вирши по-русски на смерть Сагайдачного, отступил от православия сначала в унию, а потом в католичество и сделался

---

<sup>41</sup> «Читая эту книгу, – говорит в предисловии к ней Могила, – легко понять, что способ совершения Св. Тайн остается у нас единообразным: стоит только сличить наш „Евхологион“ с греческим. Если в требниках, изданных в Остроге, Львове, Стрятине, Вильне есть какие-нибудь описки и погрешности, то такие, которые не отменяют ни числа, ни материи, ни формы, ни силы, ни skutков (последствий) Св. Таинств; притом, отмены произошли от простоты и нерассудительности исправителей; при всеобщем невежестве и при небытности православных пастырей, издатели смотрели не на сущность материи или формы, а на одни существовавшие обычаи. И потому иное нужное опустили, а ненужное внесли».

<sup>42</sup> От времен Могилы остались до сих пор в Малороссии немногие местные отличия в богослужении, не принятые в Великой Руси, так напр. заимствованные из западной церкви «Пассии», – чтения Евангелий о страданиях Иисуса Христа с пением страстных церковных стихов на повечерии по пятницам, в первые четыре недели Великого поста, причем говорят иногда и проповеди.

<sup>43</sup> Ей суждено было уже по смерти Могилы быть напечатанной в Европе, сперва на греческом, а потом на латинском языке, заслужить уважение ученых богословов, а на славянском языке явиться уже в 1696 году в Москве и то в переводе с голландского издания на греческом языке 1662 года.

ненавистником отцовской веры. Когда Могила в 1642 году собирал собор, Сакович написал против этого собора по-польски едкую сатиру, а вслед за тем разразился обширным сочинением на польском же языке, под названием «Перспектива заблуждений, ересей и предрассудков русской церкви». Сакович в этом сочинении держится способа, введенного иезуитами и долгое время сохранявшегося в Польше во всех спорах и нападках католиков на русскую церковь. Способ этот состоял в том, что подмечались и собирались случаи всевозможнейших злоупотреблений, зависевших как от невежества, так и от дурных качеств тех или других личностей, занимавших священнические места, и такие случаи принимались как бы за нормальные признаки, присущие православной церкви. Все сочинение Саковича наполнено подобного рода обличениями. Кроме того, Сакович, как ревностный последователь римской церкви, старается осуждать все, что в православии несходно с нею. В ответ на это Могила написал обширное сочинение, явившееся в 1644 году под названием: «&#923;&#953;&#952;&#959;&#962;» (Лифос) альбо камень». Сочинение Могилы под псевдонимом Евсевия Пимена (т.е. благочестивого пастыря), было написано по-польски, так как главной целью автора было представить в глазах поляков несправедливость нападков их духовных против православия; но в то же время существовала и его русская редакция, до сих пор остающаяся в рукописи.<sup>44</sup> Лифос, кроме посвящения Максимилиану Бржозовскому и предисловия к читателям, состоит из трех отделов: в первом рассуждается о таинствах и обрядах; во втором – о церковном уставе; в третьем – о двух главнейших догматических различиях восточной церкви от западной: об исхождении Св. Духа и о главенстве папы. Автор в некоторых местах относится с бранью и резкими остротами к своему противнику, называет его прямо лжецом; или, напр., по поводу желанья Саковича ввести в русскую церковь латинские обряды, выражается так: «Неудивительно, что тебе, новообращенному рачителю римского костела, хочется весь римский чин перенести в восточную церковь! Как сам ты с одним ухом, так хочешь, чтобы все люди были одноухие и порезали бы себе уши!» Но с совершенным беспристрастием автор Лифоса признает справедливость многих злоупотреблений, указанных его противником; только он объясняет их печальным положением церкви, не имевшей долгое время пастырей и умышленно угнетаемой унией, а также невежеством и рабским положением приходских священников под властью панов. Сакович, например, обвиняет православных священников в том, что они совершали насильные и противозаконные браки. На это автор Лифоса говорит: «Это бывает; но что же делать священнику, когда пан ему говорит: или обручай, поп, или голову подставляй; поневоле поп будет все делать, когда господин города, либо села, или управляющий господина начнет устрашать бедного священника дубиною, а иногда прикажет бросить в тюрьму». Многие нападки Саковича Могила называет ложью и клеветой и прямо свидетельствует, что приводимых Саковичем признаков нет и не было в православной церкви. Вообще во взгляде на значение обрядов Могила отличает существенные главные признаки от прибавочных. Существенными он называет те, которые при всяких видоизменениях должны оставаться непоколебимо; они, по толкованиям Могилы, заключаются: а) в материи, б) форме или слове и в) интенции (намерении) совершающего священнодействие. Таким образом в таинстве крещения вода составляет материю; произнесение слов: «крещается во имя Отца, Сына и Св. Духа» – форму; наконец, внутреннее намерение или желание совершающего таинство низвести благодать Св. Духа – интенцию. Точно так же в литургии существенную часть ее составляют, кроме внутреннего намерения священнослужителя: материя, т.е. хлеб и вино, и форма, т.е. освящающие ее

---

<sup>44</sup> Полное заглавие ее следующее: «&#923;&#953;&#952;&#959;&#962; или камень с пращы истинны Церкви святые, православные российскийские, на сокрушение ложнопомраченной перспективы или безместного оболгания, от Кассиана Саковича, бывшего прежде некогда архимандрита Дубенского, унита, аки о блуждениях, ересех и самоумышлениях Церкви Русския, в Унии не сущия, тако в составлении веры, якоже в служении тайн и о иных чинех и законопреданиях обретающихся, лето Божия 1642 в Кракове типом изданного, верженный чрез смиренного отца Евсевия Пимина в монастыре св. чудотворныя Лавры Печарокиевския, лета Господня 1644».

слова Спасителя: «Приимите, ядите и пейте от нее вси». Весь чин богослужения, в который облечены или заключены существенные признаки, может видоизменяться в разных церквях. Смотри по местностям, древним обычаям и преданиям, могут существовать различные обряды, – но это не мешает вселенскому единству христовой церкви, если только при этом нет уклонения от признаваемой церковью догматики. Таким образом, к римскому обрядному чину следует относиться с равным уважением, как и к восточному, несмотря на его различие, насколько этот чин не уклоняется от учения вселенской церкви. Обряды могут в одной и в той же церкви, смотря по временным потребностям, изменяться, дополняться и сокращаться, но не иначе как на основании соборов. Каждый из священников в отдельности должен строго исполнять все постановленное принятыми в данное время богослужебными книгами. Таков был взгляд знаменитого митрополита на весь строй внешнего богослужения; он относится непримиримо к римской церкви, но никак не по причине различия богослужебного чина, а за ее догматические заблуждения, из которых признание абсолютного главы в особе римского папы занимает первое место. Замечательно, что противник Могилы, Сакович, между прочим, ставит в упрек православной русской церкви и то, что она лишена «великородных господ». Могила говорит: «Православные роксоляны (т.е. русские), уверовавши в Христа Господа, не сомневаются в том, что Христос, как мысленный глава, управляет восточную церковь по своему обещанию: „се аз с вами до скончания века“. Русь имеет всеильное предстательство своего благочестия в лице Христа Господа, правящего сердцами великих государей. Так и в псалме 145 псалмопевец написал: „Не надейтесь на князей, сынов человеческих. А что у Руси нет великородных господ, то что в этом дурного! Ведь и первоначальная церковь начала созидаться не великородными господами, а убогими рыбаками, однако Бог через них преклонил к вере во Христа и монархов, и великородных властителей. Души самых незнатных правоверных христиан также искуплены многоценною кровью Христовою, как и души великородных властителей, а потому и те и другие должны быть равноценны“. Наконец, автор Лифоса совсем не враг соединения с римскою церковью: „Восточная церковь, – говорит он Саковичу, – всегда просит Бога о соединении церквей, но не о таком соединении, какова нынешняя уния, которая гонит людей к соединению дубинами, тюрьмами, несправедливыми процессами и всякого рода насилиями. Такая уния производит не соединение, а разделение...“ Появление Лифоса вызвало в польской литературе ряд полемических сочинений, в которых авторы почти уже не касались вопроса об обрядности, а главным образом доказывали правильность признания папы главою церкви. Из них иезуит Рутка, давая произвольный смысл разным выражениям Лифоса, делал выводы, что автор его принадлежит скорее к какой-нибудь протестантской, чем восточной церкви.

Более всего Могила сосредоточил свою деятельность на киевской коллегии. Тотчас по вступлении своем в сан митрополита, Могила преобразовал киевскую братскую школу в коллегию, основал другую школу в Виннице, завел при киевском братстве монастырь и типографию и подчинил их киевскому митрополиту. Это было нарушением прежнего распоряжения патриарха Феофана, по которому киевское братство с Богоявленскою церковью подчинялось одному патриарху; но это нарушение оправдывалось сделанными переменами: основанием монастыря и преобразованием школы в коллегию, наконец и тем, что коллегия и монастырь содержались главным образом иждивением Петра Могилы. Самый монастырь учрежден был совсем на особых основаниях, чем другие монастыри; он имел тесную связь с коллегией; в нем помещались только те монахи, которые были наставниками: все они взяты были из Печерской лавры. На содержание братской коллегии и монастыря Могила приписал две лаврских волости, подарил коллегии собственное свое село Позняковку и, кроме того, постоянно давал денежные пособия на постройки и на вспомоществование учителям и ученикам. По его примеру и убеждению, записанная в братство шляхта помогала коллегии разными пожертвованиями и ежегодно выбирала старост из своей среды для надзора и содействия ее содержанию; коллегия устроена была по образцу высших тогдашних училищ в Европе и особенно в Кракове. Цель киевской коллегии была преимущественно религиозная: нужно было образовать поколение ученых и сведущих

духовных лиц, а равным образом и светских людей, которые бы могли сознательно видеть правоту восточной церкви и по своему образованию стать в уровень с теми, против которых пришлось бы им защищать права своей церкви путем закона и рассуждения. Но в Польше, как мы указывали, вопросы веры тесно связались с вопросами национальности; понятие о католике сливалось с понятием о поляке, как с другой стороны понятие о православном с понятием о русском; и потому задачей коллегии неизбежно стала поддержка и возрождение русской народности. Идеалом Могилы был такой русский человек, который, крепко сохраняя и свою веру и свой язык, в то же время по степени образования и по своим духовным средствам, стоял бы в уровень с поляками, с которыми судьба связала его в государственном отношении. К этому идеалу направлялись и способы воспитания и обучения, принятые Могилою. Киевская коллегия находилась под управлением ректора, который был вместе с тем игуменом братского монастыря, распорядился монастырскими и училищными доходами, творил суд и расправу и в то же время был профессором богословия. Его помощником был префект, один из иеромонахов, занимавший должность, подобную должности нынешнего инспектора. Кроме двух этих начальствующих лиц, выбирался на известный срок супер-интендент, имевший ближайший надзор за поведением воспитанников. Под наблюдением последнего, между самими воспитанниками устраивалась внутренняя полиция: некоторые более благонаправленные ученики обязаны были смотреть за своими товарищами и доносить супер-интенденту. Часть учеников жила на содержании коллегии в ее доме, называемом бурсою; вся эта бурса в то время содержалась на счет Петра Могилы: то были недостаточные ученики; другие жили вне здания и приходили в коллегия для учения, но и они, живя в своих квартирах, состояли под надзором коллегияльного начальства. Телесное наказание считалось необходимым. Расправа производилась главным образом по субботам.

В учебном отношении киевская коллегия разделялась на две конгрегации: высшую и низшую. Низшая в свою очередь подразделялась на шесть классов: фаза или аналогия, где обучали одновременно чтению и письму на трех языках: славянском, латинском и греческом; инфима – класс первоначальных сведений; за нею класс грамматики и класс синтаксиса: в обоих этих классах шло изучение грамматических правил трех языков – славянского, латинского и греческого, объяснялись и переводились разные сочинения, производились практические упражнения в языках, преподавались катехизис, арифметика, музыка и нотное пение. Далее – следовал класс поэзии, где главным образом преподавалась пиитика и писались всевозможные упражнения в стиходействии, как русском, так и латинском. За пиитикой следовал класс риторики, где ученики упражнялись в сочинении речей и рассуждений на разные предметы, руководствуясь особенно Квинтилианом и Цицероном. Высшая конгрегация имела два класса: философии, которая преподавалась по Аристотелю, приспособленному к преподаванию в западных латинских руководствах, и разделялась на три части: логику, физику (теоретическое рассуждение о явлениях природы) и метафизику; в этом же классе преподавались геометрия и астрономия. Другой, самый высший, был класс богословия; богословие преподавалось главным образом по системе Фомы Аквината; в том же классе преподавалась гомилетика и ученики упражнялись в писании проповедей. Преподавание всех наук, исключая славянской грамматики и православного катехизиса, шло на латинском языке. Учеников заставляли не только писать, но и постоянно говорить на этом языке, даже вне коллегии: на улице и дома. С этою целью для учеников низшей конгрегации изобретены были длинные листы, вложенные в футляр. Сказавшему что-нибудь не по-латыне давался этот лист и на нем вписывалось имя провинившегося; ученик носил этот лист до тех пор, пока не имел возможности навязать его кому-нибудь другому, проговорившему не по-латыне; а у кого этот лист оставался на ночь, тот подвергался порке. Предпочтение, оказываемое латинскому языку, скоро после основания коллегии, навлекло было на нее опасную бурю. Распространился между православными слух, что коллегия неправославна, что наставники ее, воспитанные за границею, заражены ересью, что в ней преподают науки по иноверческим руководствам, учат более всего на латинском языке, языке иноверческом, делают это для того, чтобы совратить юношество с пути отеческой веры! Подобные толки

легко усваивались толпою. Русские привыкли к той мысли, что на латинском языке совершают богослужение и говорят враги их веры, ксендзы, и потому считали самое обучение этому языку неправославным делом. У Могилы не было недостатка в недоброжелателях, таковы были неученые и недостойные своего сана попы, которых он удалил от мест в значительном количестве. Кроме того, недоброжелательствовали ему все сторонники Исаии Копинского и последний, как видно, сам говорил о неправославии сместившего его с митрополии соперника.<sup>45</sup> Дурное мнение о Могиле и его учебном заведении распространилось между казаками, всегда готовыми на суровую расправу с теми, кого считали врагами веры. И вот – дело дошло до того, что однажды толпа народа, предводительствуемая казаками, собиралась броситься на коллегия, сжечь ее и перебить наставников. «Мы, – писал потом один из наставников, Сильвестр Коссов, тогдашний префект киевской коллегии, – исповедывались и ожидали, что нами начнут кормить днепровских осетров, но, к счастью, Господь, видя нашу невинность и покровительствуя образованию народа русского, разогнал тучу предубеждений и осветил сердца наших соотечественников; они увидели в нас истинных сынов православной церкви, и с тех пор жители Киева и других мест не только перестали нас ненавидеть, но стали отдавать к нам в большом количестве своих детей и величать нас Геликоном и Парнассом». Событие, угрожавшее коллегии, происходило 1635 года; в этом же году, когда минула опасность, Сильвестр Коссов издал «Экзегезис, или Апологию Киевских школ», сочинение, в котором защищал способ преподавания, принятый в коллегии. Предпочтение, оказываемое латинскому языку, в глазах Петра Могилы и избранных им наставников оправдывалось обстоятельствами времени. Русские, учившиеся в коллегии, жили под польским правлением и готовились к жизни в обществе, проникнутом польским строем и польскими понятиями. В этом обществе господствовало и глубоко укоренилось мнение, что латинский язык есть самый главный, самый наглядный признак образованности и чем кто лучше владеет латинским языком, тем более достоин названия образованного человека. Под влиянием иезуитов, русские, уже по самой своей народности, подвергались презрению у поляков, и такой взгляд естественно содействовал тому, что русское шляхетство так торопливо стремилось избавиться от своей народности, и перешедшие в католичество с гордостью признавали себя поляками. Чтобы рассеять такое предубеждение, необходимо нужно было русским, еще сохранившим свою веру и народность, усвоить те приемы и признаки, которые, по тогдашним предрассудкам, давали право на уважение, подобающее образованному человеку. Латинский язык в тогдашнем житейском круге был необходим не только для споров о вере с католиками, не хотевшими о высоких предметах говорить иначе, как по-латыни, – латинская речь употребительна была на судах, сеймах, сеймиках и на всяких общественных сходбищах. Беглость в латинском языке и подготовка учеников к защите православной веры посредством слова достигалась в коллегии путем диспутов, классных и публичных, происходивших по-латыни. Для этого одна сторона приводила разные противные православию доводы, бывшие тогда в ходу у католиков, другая – опровергала их и защищала православие. Такие диспуты не ограничивались одним кругом веры, но распространялись и на разные философские предметы. Устройство их показывает практический ум Могилы, стремившегося во всем к главной цели: выставить против католичества ученых и ловких борцов за русскую церковь, умеющих поражать врагов их же оружием. В соответствии с этими практическими воззрениями Петра Могилы состоит и тот схоластический характер, который он дал всему научному образованию, получаемому юношеством в коллегии. Главный признак схоластического способа учения, развившегося в

---

<sup>45</sup> Так, приезжавший в Москву монах Густынского монастыря Пафнутий в расспросе сообщил, что «епископ Исаия писал в Лубенский и Густынский монастыри, что митрополит Петр Могила королю, всем панам радным и арцибискупам лядским присягал, чтобы ему христианскую веру учением своим поправить и уставить все службу церковную по повелению папы римского, римскую веру и церкви хрестьянские во всех польских и литовских городех превратить на костелы лядские и книги русские все вывести». Тоже показал игумен густынский Василий, перешедший в Москву.

Западной Европе в средние века и еще господствовавшего в XVII веке, состоял в том, что под наукою разумели не столько количество и объем предметов, подлежащих познанию, сколько форму или сумму приемов, служащих к правильному распределению, соотношению и значению изучаемого. Мало знать, но хорошо уметь пользоваться малым запасом знания, – такова была цель образования. Отсюда бесконечный ряд формул, оборотов и классификаций. Этот способ, как показали вековые последствия опыта, мало подвигал расширение круга познаваемых предметов и давал возможность так называемому ученому гордиться своею мудростию, тогда как на самом деле он оставался круглым невеждою или тратил время, труд и дарования на изучение того, что собственно приходилось впоследствии забывать, как мало применимое к жизни. Но этот способ, при всех своих крупных недостатках, имел, однако, и хорошую сторону в свое время; он приучал голову к размышлению, к обобщению, служил, так сказать, умственной гимнастикой, подготавливая человека к тому, чтобы относиться к предметам знания с научною правильностию. Нельзя сказать, чтобы в Западной Европе во времена Могилы не было уже иного рода науки, иных понятий о знании, но эти начала нового просвещения, которые так быстро и блистательно повели ум человеческий к великим открытиям в области естествознания и к более ясному взгляду на потребности духовной и материальной жизни, были далеки и почти не касались тогдашней Польши, несмотря на то, что еще сто лет назад она была родиною Коперника. Вполне естественно было Петру Могиле остановиться на том способе учения, какой господствовал в стране, где он жил и для которой приготавливал своих русских питомцев, тем более, что способ этот, в его воззрении, удовлетворял его ближайшей цели образовать поколение защитников русской веры и русской народности в польском обществе. С нашим взглядом на просвещение, образование, получаемое в коллегии Могилы, должно показаться крайне односторонним: студенты, окончившие курс в коллегии, не знали законов природы настолько, насколько они были открыты и исследованы тогдашними передовыми учеными на западе; мало сведущи были они в географии, истории, правоведении; но довольно было того, что они могли быть не ниже образованных поляков своего времени. Сверх того, чтобы оценить важность преобразования, сделанного Могилою в умственной жизни южнорусского народа, стоит взглянуть на то состояние, в каком эта умственная жизнь находилась на Руси до него, и тогда-то его заслуга окажется очень значительною, а успех его предприятия чрезвычайно важным по своим последствиям. В стране, где в продолжение веков господствовала умственная лень, где масса народа пребывала по своим понятиям почти в первобытном язычестве, где духовные, единственные проводники какого-нибудь умственного света, машинально и небрежно исполняли обрядовые формы, не понимая их смысла, не имея понятия о сущности религии, где только слабые зачатки просвещения, брошенные эпохою Острожского, кое-как прозябали, подавляемые неравною борьбою с чужеродным и враждебным строем образования; в стране, где русский язык, русская вера и даже русское происхождение клеймились печатью невежества, грубости и отвержения со стороны господствующего племени – в этой стране вдруг являются сотни русских юношей с приемами тогдашней образованности, и они, не краснея, называют себя русскими; с принятыми средствами науки они выступают на защиту своей веры и народности! Правда, в Польше, где только высший класс пользовался правом гражданства, а масса простого народа была подавлена гнетом самого бесчеловечного порабощения, высший русский класс так неудержимо изменял своей вере и народности, что его не могла уже остановить никакая коллегия. Польская образованность, направляемая иезуитами, разрушила бы рано или поздно все планы Петра Могилы, если бы вслед за тем не поднялся южнорусский народ против Польши под знаменами Хмельницкого. Киевскую коллегия с ее братством, без сомнения, постигла бы та же участь, какая стерла с лица земли львовские, луцкие, виленские и другие школы; но семя, брошенное Могилою в Киеве, роскошно возросло не для одного Киева, не для одной Малороссии, а для всего русского мира: это совершилось через перенесение начал киевского образования в Москву, как скажем впоследствии. И в этом-то важнейшая и великая заслуга киевской коллегии и ее бессмертного основателя.



Несмотря на господство латинского языка, к сожалению, в ущерб греческого, киевская коллегия, однако, работала над развитием русского языка и словесности. Студенты сочиняли проповеди по-русски; выходившие из коллегии в священники были в состоянии говорить поучения народу, а в Братском монастыре не проходило ни одной праздничной обедни, когда бы многочисленному, собравшемуся в храме, народу не говорились проповеди или не изъяснялся катехизис православной веры. Проповедничество с тех пор стало обычным явлением в малорусских церквях, тогда как в Великой Руси проповедь была тогда явлением еще почти неслыханным. Студенты киевской коллегии занимались также стихотворною литературою и получили к ней особое пристрастие, но, к сожалению, писали по польскому образцу силлабическим размером, совсем несвойственным, как оказалось, природе русского языка по свойству его ударений; главный же недостаток тогдашних стиходеев был тот, что они разумели под поэзиею только форму, а не содержание. Стихотворцы щеголяли разными затейливыми формами мелких стихотворений (как наприм. акrostихи, раковидные или раки, которые можно было читать с левой руки к правой и обратно, эпиграммы в форме яйца, куба, бокала, секиры, пирамиды и т.п.). В ходу были стихотворения, называемые поэмы и оды; то были панегирические стихотворения к значительным лицам по разным случаям, поздравления с именинами, с бракосочетанием, погребальные, воспевание герба, посвящения и пр. Они по предписанным правилам отличались крайнею лестью к воспеваемому лицу и самоунижением автора. Часто стихотворения имели религиозное содержание, и образчиком таких могут служить многие стихотворения, помещенные в изданной в 1646 г. книге: «Перло многоценное», написанное Кириллом Транквилионом; во вкусе того времени были стихотворения нравственно-поучительные, в которых олицетворялись разные добродетели, пороки и вообще отвлеченные понятия. Несмотря на сильную страсть к стихоплетству, киевская коллегия не произвела ничего замечательного в области поэзии, и это тем более поразительно, что в тот же самый век в малорусской народной поэзии, не ведавшей никаких школьных правил и пиитики, творились истинно поэтические произведения, полные вдохновения и жизни: таковы напр. казацкие думы, явно принадлежащие XVII веку. Ученики слагали праздничные вирши преимущественно на Рождество Христово и пели, расхаживая по домам жителей; вирши этого рода перенимались и обращались даже в народе, но они резко отличаются от народных праздничных песен своею неуклюжестью, вычурностью и отсутствием поэзии. В области драматической поэзии опыты воспитанников киевской коллегии имели более всего значения по своим последствиям, так как они, хотя в отдаленности, стали зародышем русского театра. Начало драматической поэзии в Киеве положено «вертепами». Так назывались маленькие переносные театры, которые ученики носили с собою, переходя из дому в дом на праздник Рождества Христова. На этих театрах действовали куклы, а ученики говорили за них речи. Предметами представлений были разные события из истории рождения и младенчества Христова. Такие вертепы существовали до позднейшего времени, и, вероятно, в древние времена они мало чем отличались от позднейших. Кроме представлений религиозных, в вертепах (как можно заключить по примерам позднейших времен) для развлечения зрителей представлялись разные сцены из народной обыденной жизни.

За эту первобытную форму следовали «действия» или представления, взятые из священной истории, где являлись олицетворенными разные отвлеченные понятия. Такого рода представления были в большой моде у иезуитов и в подражание им перешли в киевскую коллегию.

Язык, на котором писались опыты воспитанников киевской коллегии того времени, удален от живой народной речи и представляет смесь славянского языка с малорусским и польским, со множеством высокопарных слов. Достоинно замечания, что после Могилы русский книжный язык стал мало-помалу очищаться от полонизмов и вырабатывалась новая книжная речь, которая послужила основанием настоящему русскому языку. В комических произведениях южной Руси язык книжный приближался к народному малорусскому.

Враги православия, при всяком случае, старались делать коллегии всякое зло. В 1640

году Могила в своем универсале жаловался, что «наместник киевского замка, потакая злобе врагов коллегии, нарочно подослал своего поверенного, который, стакнувшись в корчме с некоторыми другими лицами, напал на студента Гоголевского, обвинил его в каком-то бесчинстве, а наместник без дальнего рассмотрения казнил его». Это было сделано с тем намерением, чтобы студенты, испугавшись дальнейшего преследования, разбежались. Событие это было так важно, что Могила должен был ехать на сейм и просить от польского правительства законной защиты своему училищу.

Уже в это время Могила, как он сам писал, потратил большую часть своего состояния на устройство училища и церкви. Вотчины, как его собственные, так и Печерского монастыря, с трудом могли доставлять средства на поддержку коллегии, по причине разорений, понесенных ими то от татарских набегов, то от междоусобных войн с казаками, и митрополит принужден был просить пособия от разных братств. Несмотря на все это, он напрягал все свои силы для поддержки своего любимого детища. В своем духовном завещании, написанном им, как видно, в то время, когда он чувствовал приближение смерти, он говорит: «Видя, что упадок святого благочестия в народе русском происходит не от чего иного, как от совершенного недостатка образования и учения, я дал обет Богу моему – все мое имущество, доставшееся от родителей, и все, что ни оставалось бы здесь от доходов, приобретаемых с порученных мне святых мест, с имений, на то назначенных, обращать частью на восстановление разрушенных храмов Божиих, от которых оставались плачевные развалины, частью на основание школ в Киеве...» Коллегию свою он называет в завещании своим единственным залогом, и желая «оставить ее укорененною в потомственные времена», в виде посмертного дара завещает ей 81 000 польских золотых, всю свою библиотеку, четвертую часть своего серебра, некоторые ценные вещи и, на вечное воспоминание о себе, свой серебряный митрополичий крест и саккос.

Петр Могила скончался 1-го января 1647 года на пятидесятом году своей жизни, с небольшим за год до народного взрыва, иным путем отстоявшего русскую веру и народность.

### Глава 3 Царь Алексей Михайлович

Тридцатилетнее царствование Алексея Михайловича принадлежит далеко не к светлым эпохам русской истории, как по внутренним нестроениям, так и по неудачам во внешних сношениях. Между тем причиною того и другого были не какие-нибудь потрясения, наносимые государству извне, а неумение правительства впору отклонять и прекращать невзгоды и пользоваться кстати стечением обстоятельств, которые именно в эту эпоху были самыми счастливыми.

Царь Алексей Михайлович имел наружность довольно привлекательную: белый, румяный, с красивою окладистою бородою, хотя с низким лбом, крепкого телосложения и с кротким выражением глаз. От природы он отличался самыми достохвальными личными свойствами, был добродушен в такой степени, что заслужил прозвище «тишайшего», хотя по вспыльчивости нрава позволял себе грубые выходки с придворными, сообразно веку и своему воспитанию, и однажды собственноручно отгаскал за бороду своего тестя Милославского. Впрочем, при тогдашней сравнительной простоте нравов при московском дворе, царь вообще довольно бесцеремонно обращался со своими придворными. Будучи от природы веселого нрава, царь Алексей Михайлович давал своим приближенным разные клички и в виде развлечения купал стольников в пруду в селе Коломенском.<sup>46</sup> Он был

---

<sup>46</sup> Сам он говорит об этом в одном своем письме к стольнику Матюшкину: «Извещаю тебе, што тем утешаюся, што стольников купаю еже утр в пруде, Иордань хороша сделана, человека по четыре и по пяти и по двенадцати человек, зато: кто не поспеет к моему смотру, так того и купаю; да после купания жалую, зову их ежеден, у меня купальщики те ядят вдоволь, а иные говорят: мы де нароком не поспеем, так де и нас выкупают да и за стол посадят: многие нароком не попевают...»

чрезвычайно благочестив, любил читать священные книги, ссылаться на них и руководиться ими; никто не мог превзойти его в соблюдении постов: в великую четырехдесятницу этот государь стоял каждый день часов по пяти в церкви и клал тысячами поклоны, а по понедельникам, средам и пятницам ел один ржаной хлеб. Даже в прочие дни года, когда церковный устав разрешал мясо или рыбу, царь отличался трезвостью и умеренностью, хотя к столу его и подавалось до семидесяти блюд, которые он приказывал рассылать в виде царской подачи другим. Каждый день посещал он богослужение, хотя в этом случае и не был вовсе чужд ханжества, которое неизбежно проявится при сильной преданности букве благочестия; так, считая большим грехом пропустить обедню, царь, однако, во время богослужения разговаривал о мирских делах со своими боярами. Чистота нравов его была безупречна: самый заклятый враг не смел бы заподозрить его в распущенности: он был примерный семьянин. Вместе с тем он был превосходный хозяин, любил природу и был проникнут поэтическим чувством, которое проглядывает как в многочисленных письмах его, так и в некоторых поступках. Оттого-то он полюбил село Коломенское, которое отличается живописным местоположением, хотя далеко не величественным и не поражающим взор, а из таких, – свойственных русской природе, – которые порождают в душе ощущение спокойствия. Там проводил он обыкновенно лето, занимаясь то хозяйственными распоряжениями, то соколиной охотой, к которой имел особенную страсть; там почти во все свое царствование он строил и перестраивал себе деревянный дворец, стараясь сделать его как можно изящнее и наряднее. Алексей Михайлович принадлежал к тем благодушным натурам, которые более всего хотят, чтоб у них на душе и вокруг них было светло; он неспособен был к затаенной злобе, продолжительной ненависти и потому, рассердившись на кого-нибудь, по вспыльчивости мог легко наделать ему оскорблений, но скоро успокаивался и старался примириться с тем, кого оскорбил в припадке гнева. Поэтическое чувство, постоянно присущее его душе и не находившее иного выхода, прирастило его к церковной и придворной обрядности. Многообразный чин царских выходов, богомолий, приемов, посольств, царских лицезрений, торжественных продолжительных обедов и т.п. чин, издавна соблюдаемый в Москве, рядом со множеством таких же церковных обрядов, получил тогда более живой характер, потому что сам царь одухотворял букву обряда своею любовью и поэтическим чувством. Никогда еще обряды не отправлялись с такою точностью и торжественностью; вся жизнь царя была подчинена обряду, не только потому, что так установилось в обычае, но и потому, что царь любил обряд: он удовлетворял его натуре, искавшей изящества, художественной красоты, нравственного идеала, который, при его воспитании, только и мог состоять для него в образе строгого, но вместе с тем любящего исполнителя приемов православного благочестия. Незначительные подробности обряда занимали его как важные государственные дела.<sup>47</sup> Все время его жизни было размерено по чину обрядности, столько же церковной, сколько и дворцовой. В четыре часа утра он был на ногах, и тотчас начиналось моление, чтение полунощницы, утренних молитв, поклонение иконе того святого, чья память праздновалась в тот день, чтение из какого-нибудь рукописного сборника назидательного слова, потом церемонное свидание с царицею, шествие к заутрени. После заутрени сходились бояре, били челом пред государем; время для такого челобитья нужно было достаточное, потому что чем более боярин клал пред государем земных поклонов, тем сильнее выражал свою рабскую преданность. Начинался разговор о делах; царь сидит в шапке; бояре стоят перед ним; потом – все за царем идут к обедне; все равно, в будний день или в праздник, всегда идет царь к обедне, с тою только разницею, что в праздник царский выход был пышнее и с признаками, соответствующими празднику; на всякий праздник были свои обряды для царского выхода: в такой-то праздник, сообразно относительной важности этого праздника, царь должен был одеться так-то,

---

<sup>47</sup> Так, в письме к Никону в 1652 году царь спрашивает: «Да будет тебе, великому святителю, ведомо: многолетны у нас поют вместо Патриарха: Спаси, Господи, вселенских патриархов и митрополитов и архиепископов наших и вся христиане, Господи, спаси: и ты отпиши к нам, великий святителю, так ли подобает нет, или как инак петь надобно, и как у тебя, святитель, поют, и то отпиши к нам...»

например, в золотное платье, в другой – в бархатное и т.п. Точно также и сопровождавшие его бояре соблюдали праздничные правила в одежде. На обедню в будний день проходило времени около двух часов, в праздники – долее. После обедни в будни царь занимался делами: бояре, начальствовавшие приказами, читали свои доклады; затем дьяки читали челобитные. В известные дни, по царскому приказанию, собиралась боярская дума с приличными обрядами; здесь бояре уже сидели. По полудни дела оканчивались. Бояре разъезжались; начинался царский обед, всегда более или менее продолжительный; после обеда царь, как всякий русский человек того времени, должен был спать до вечерни: этот сон входил как бы в чин благочестивой, честной жизни. После сна царь шел к вечерне, а после вечерни проводил время в своем семейном или дружеском кругу, забавлялся игрою в шахматы или слушал кого-нибудь из дряхлых, бывалых стариков, которых нарочно держали при дворце для царского утешения. Тот рассказывал царю о далеком востоке, о кизильбашской земле; другой – о бедствиях, какие испытывать довелось ему от неверных в плену; третий, свидетель давно минувших смут, описывал литовское разорение, когда, как говорили, десятый человек остался на всей Руси. В это-то время дня, посвящаемого, по обрядному чину, отдыху, под конец своего царствования, Алексей Михайлович любовался сценическими действиями, игрою драматических произведений: западно-русские книжники с этими нововведениями нашли доступ к тому поэтическому чувству царя, которое так привлекало его к богослужебным действиям. Алексей Михайлович особенно являлся во всем своем царственном великолепии в большие праздники православной церкви, блиставшие в то время пышностью и своеобразием обрядов, соответствующих каждому празднику; они доставляли царю возможность на разные лады выказать свое наружное благочестие и свое монаршее величие. В рождественский вечер царский терем оглашался пением славельщиков, приходивших одни за другими из разных церквей и обителей; в крещение царь в своей диадиме (наплечное кружево) и царском платье, унизанном жемчугом и осыпанном дорогими камнями, шествовал на Иордань, сопровождаемый всех чинов людьми, одетыми сообразно своему званию, как можно наряднее (плохо одетых отгоняли подальше); в вербное воскресенье царь всенародно вел под патриархом коня, изображавшего осла; на Пасху он раздавал яйца и принимал червонцы в значении великоденских даров, которые, по тогдашним обычаям, подданные обязаны были давать своему государю в праздник Пасхи. Перед большими праздниками царь, по обряду, должен был совершать дела христианского милосердия, – ходил по богадельням, раздавал милостыню, посещал тюрьмы, выкупал должников, прощал преступников. В Московском государстве люди чванились родом и богатством; достоинство человека измерялось количеством золота и ценностью мехов на его одежде, и богач смотрел с презрением на бедняка; но рядом с этим нищий, по церковному взгляду, пользовался некоторого рода обрядовым уважением. Надменный боярин, богатый гость, разжившийся посулами дьяк, ожиревший от монастырских доходов игумен – все заискивали в нищем; всем нищий был нужен; все давали ему крохи своих богатств; нищий за эти крохи молил Бога за богачей; нищий своими молитвами ограждал сильных и гордых от праведной кары за их неправды. Они сознавали, что бездомный, хромой или слепой калека в своих лохмотьях сильнее их самих, облеченных в золотные кафтаны. Подобно тому, царь, возведенный на такую высоту, что все повергалось перед ним ниц, никто не смел сесть в его присутствии и всяк считал себе за великую благодать зреть его пресветлые очи, царь не только собственноручно раздавал милостыню нищей братии, но в неделю мясопустную приглашал толпу нищих в столовую палату, угощал их и сам с ними обедал. Это делалось в тот день, когда в церкви читается Евангелие о страшном суде, и делалось как бы для того, чтобы получить благословение, обещанное в Евангелии тем, которые накормят Христа в образе голодных. То был обряд, такой же обряд, какими были: умовение ног, ведение осла, раздача красных яиц и т.п. Величие царское не умалялось от этого соприкосновения с нищетою, как равно и нищета не переставала быть тем же, чем была по своей сущности. То был только обряд.

Приветливый, ласковый царь Алексей Михайлович дорожил величием своей

царственной власти, своим самодержавным достоинством; оно пленяло и насыщало его. Он тешился своими громкими титулами и за них готов был проливать кровь. Малейшее случайное несоблюдение правильности титулов считалось важным уголовным преступлением. Все иноземцы, посещавшие Москву, поражались величием двора и восточным раболепством, господствовавшим при дворе «тишайшего государя». «Двор московского государя, – говорил посещавший Москву англичанин Карлейль, – так красив и держится в таком порядке, что между всеми христианскими монархами едва ли есть один, который бы превосходил в этом московский. Все сосредоточивается около двора. Подданные, ослепленные его блеском, приучаются тем более благоговеть пред царем и чествуют его почти наравне с Богом». Царь Алексей Михайлович являлся народу не иначе, как торжественно. Вот, например, едет он в широких санях: двое бояр стоят с обеих сторон в этих санях, двое на запятках; сани провожают отряды стрельцов. Перед царем метут по улице путь и разгоняют народ. Москвичи, встречаясь с едущим государем, прижимаются к заборам и падают ниц. Всадники слезали с коней и также падали ниц. Москвичи считали благоразумным прятаться в дом, когда проезжал царь. По свидетельству современника Котошихина, царь Алексей сделался гораздо более самодержавным, чем был его родитель. Действительно, мы не встречаем при этом царе так часто земских соборов, как это бывало при Михаиле. Земство поглощается государством. Царь делается олицетворением нации. Все для царя. Алексей Михайлович стремился к тому же идеалу, как и Грозный царь, и, подобно последнему, был, как увидим, напуган в юности народными бунтами; но разница между тем и другим была та, что Иван, одаренный такою же, как и Алексей, склонностью к образности и нарядности, к зрелищам, к торжествам, к упоению собственным величием, был от природы злого, а царь Алексей – доброго сердца. Иван в служилом классе видел себе тайных врагов и душил его самым нещадным образом, но в то же время, сознавая необходимость его службы, разъединял его, опирался на тех, которых выбирал в данное время, не давая им зазнаваться, и держал их всех в повиновении постоянным страхом; царь же Алексей, напротив, соединял свои самодержавные интересы с интересами служилых людей. Тот же англичанин Карлейль метко заметил, что царь держит в повиновении народ и упрочивает свою безмерную самодержавную власть, между прочим, тем, что дает много власти своим чиновникам – высшему (т.е. служилому) сословию над народом. Сюда должны быть отнесены, главным образом, начальники приказов, дьяки и воеводы, а затем вообще все те, которые стояли на степени какого-нибудь начальства. Служилым и приказным людям было так хорошо под самодержавною властью государя, что собственная их выгода заставляла горю стоять за нее. С другой стороны, однако, это подавало повод к крайним насилиям над народом. Злоупотребления насильствующих лиц и прежде тягостные не только не прекратились, но еще более усилились в царствование Алексея, что и подавало повод к беспрестанным бунтам. Кроме правительствующих и приказных людей, царская власть находила себе опору в стрельцах, военном, как бы привилегированном сословии. При Алексее Михайловиче они пользовались царскими милостями, льготами, были охранителями царской особы и царского дворца. Последующее время показало, чего можно было ожидать от таких защитников. Иностранцы очень верно замечали, что в почтении, какое оказывали тогдашние московские люди верховной власти, было не сыновнее чувство, не сознание законности, а более всего рабский страх, который легко проходил, как только представлялся случай, и оттого, если по первому взгляду можно было сказать, что не было народа более преданного своим властям и терпеливо готового сносить от них всякие утеснения, как русский народ, то, с другой стороны, этот народ скорее, чем всякий другой, способен был к восстанию и отчаянному бунту. Многообразные события такого рода вполне подтверждают справедливость этого взгляда. При господстве страха в отношениях подданных к власти, естественно, законы и распоряжения, установленные этою властью, исполнялись настолько, насколько было слишком опасно их не исполнять, а при всякой возможности их обойти, при всякой надежде остаться без наказания за их неисполнение, они пренебрегались повсюду, и оттого верховная власть, считая себя всеильною, была на самом деле часто бессильна.

Так и было при Алексее Михайловиче. Несмотря на превосходные качества этого государя, как человека, он был неспособен к управлению: всегда питал самые добрые чувствования к своему народу, всем желал счастья, везде хотел видеть порядок, благоустройство, но для этих целей не мог ничего вымыслить иного, как только положиться во всем на существующий механизм приказного управления. Сам считая себя самодержавным и ни от кого независимым, он был всегда под влиянием то тех, то других; но безукоризненно честных людей около него было мало, а просвещенных и дальновидных еще менее. И оттого царствование его представляет в истории печальный пример, когда, под властью вполне хорошей личности, строй государственных дел шел во всех отношениях как нельзя хуже.

Сначала, в первые годы по своем вступлении на престол, Алексей Михайлович находился под влиянием своего воспитателя, боярина Бориса Морозова, который, руководя государем, собственно был правителем всего государства и раздавал места преданным ему лицам.

На первых порах правительство нового царя обратило внимание на давнее неисполнение законов, клонившихся к укреплению людей на своих местах. Во все царствование Михаила, как было уже говорено, хлопотали о том, чтобы тяглые люди не выбывали из тягла и через то не происходило неурядицы во взимании платежей и отправлении повинностей. Цель правительства не достигалась. Тяглые люди, несмотря на распоряжение тысячу шестьсот двадцатых годов, беспрестанно бегали или самовольно записывались в другие сословия. Так, посадские люди записывались для вида в казаки или стрельцы, закладывались за частных лиц, поступали в число монастырских крестьян и слуг, а сами, однако, оставались жить на прежних местах, занимались торговлею и промыслами, но, переставши быть на бумаге посадскими, не хотели нести тягла, которое падало исключительно на оставшихся в посадском звании. Последние досаждали правительство теми жалобами, которые беспрестанно раздавались из посадков и в прошлое царствование: они, отягощенные всякими поборами и повинностями, погибают от правей, тогда как другие их братья пользуются незаконно льготою. Было на посадах и другое злоупотребление: люди, по рождению не принадлежавшие к посадским, – дети священно- и церковнослужителей, казаки, стрельцы, крестьяне, жили на посадах, приобретши там, то посредством браков и наследства, то покупкою, места и не несли тягла. В тяглых волостях, в селах и деревнях крестьяне, которые были побогаче, давши воеводам взятки, отписывались от сошного письма, так что в сохе (единице, с которой брались налоги) оставались только менее зажиточные люди, так называемые «средние и младшие». Вотчинные и помещичьи крестьяне повсюду оставляли свои земли и бегали с места на место; богатые землевладельцы переманивали крестьян от небогатых помещиков; последние жаловались, что их имения пустеют и им не с чего отправлять службы. В виду прекращения беспорядков, как в посадах, так и волостях, правительство подтверждало прежние распоряжения, но они не исполнялись как и прежде; и долго после того приходилось власти принимать меры для той же цели. По отношению к вотчинным крестьянам велено было сделать новую перепись; запрещено принимать беглых из крестьян; обещано было наказание тем землевладельцам, которые станут подавать писцам лживые сказки, но как только сделана была эта перепись, тотчас же явилось много челобитчиков на помещиков и вотчинников в том, что они присваивали чужих крестьян, из двух и трех дворов переводили их в своих сказках в один двор, показывали крестьянские дворы людскими, т.е. холопскими, жилые дворы писали пустыми и т.п. В 1647 году оказалось, что перепись сделана неверно; последовал указ, чтобы сделать поверку, и у тех землевладельцев, которые окажутся виновными в несправедливых показаниях о своих владениях, отнимать по пятидесяти четей земли и отдавать тем, которые на них донесут. Само собою разумеется, эта мера оказала развратительное влияние, приучая служилых стремиться к наживе несчастием своих собратий. Одновременно с этим же установлен был, вместо десятилетнего, пятнадцатилетний срок для возвращения беглых.

И в служилом сословии безурядица продолжалась. Служилые, поверстанные в

украинные города: Воронеж, Шацк, Белгород и др., убегали со службы; иные поступали в крестьяне, в кабалу, шатались по северным областям в захребетниках, т.е. поденщиках, иные занимались воровством и грабежами. Их приказано ловить, бить кнутом и сажать в тюрьмы. Распространилась фальшивая монета; ходили медные и оловянные деньги и поступали в казну, нанося ей убыток. Торговые люди тяготились льготами, дарованными иноземцам, особенно англичанам, и в 1646 году подали царю челобитную за множеством подписей торговцев разных городов, представляли, что иноземцы в прошедшее царствование наводнили собою все государство, построили в столице и во многих городах свои дворы, торговали беспошлинно, рассылали своих агентов закупать из первых рук русские произведения, не хотели покупать их от русских торговцев, сговариваясь, назначали на свои товары какую хотели цену и вдобавок насмехались над русскими купцами, говоря: «Мы их заставим торговать одними лаптями». Когда один русский торговый человек, ярославец Лаптев, вздумал было сам поехать за границу с мехами в Амстердам, то у него не купили там ни на один рубль товару. Русские торговцы умоляли царя «не дать им, природным государевым холопам и сиротам, быть от иноверцев в вечной нищете и скудости», запретить всем иноземцам торговать в Московском государстве, кроме одного Архангельска, и также не давать иноземцам на откуп промыслов... Челобитная эта до некоторого времени не имела успеха, что и было одной из причин недовольства против правительства.

Вскоре по вступлении на престол Алексея Михайловича, в марте 1646 года введена была новая пошлина на соль. Этой пошлиной хотели заменить разные старые мелкие поборы: проезжие мыты, стрелецкие и ямские деньги и т.п. Новую пошлину следовало собирать на местах добывания соли гостям и торговым людям, которые туда приезжали, а за ней потом уже этим гостям и вообще всем торговым людям можно было торговать по всему государству солью беспошлинно. По-видимому, мера эта, упрощая сборы, должна была служить облегчением; но вышло не так: народу пришлось платить за необходимый жизненный предмет двумя гривнами на пуд более, чем он платил в прежние годы; народ был очень недоволен этим. По причине дороговизны соли, рыбные торговцы стали недосаливать рыбу, а так как соленая рыба составляла главнейшую пищу тогдашних русских, то, с одной стороны, потребители не стали покупать дурной рыбы, а с другой – у торговцев попортился товар, и они понесли большие убытки: соленая рыба чрезмерно поднялась в цене. Вместе с пошлиной на соль, разрешено было употребление табака (нам известно, впрочем, такое разрешение по отношению к Сибири, с тем, чтобы продажа табака была собственностью казны). Еще недавно за употребление табака при Михаиле Федоровиче резали носы: новое распоряжение обличало склонность боярина Морозова к иноземным обычаям и сильно раздражало благочестивых людей, которые составили уже себе понятие об этом растении, как о «богомерзкой траве».

В начале 1647 года государь задумал жениться. Собрали до двухсот девиц; из них отобрали шесть и представили царю. Царь выбрал Евфимию Федоровну Всеволожскую, дочь касимовского помещика, но когда ее в первый раз одели в царскую одежду, то женщины затянули ей волосы так крепко, что она, явившись перед царем, упала в обморок. Это приписали падучей болезнью. Опала постигла отца невесты за то, что он, как обвиняли его, скрыл болезнь дочери. Его сослали со всею семьею в Тюмень. Впоследствии он был возвращен в свое имение, откуда не имел права куда-либо выезжать.

Происшествие с невестою так подействовало на царя, что он несколько дней не ел ничего и тосковал, а боярин Морозов стал развлекать его охотою за медведями и волками. Молва, однако, приписывала несчастья Всеволожской козням этого боярина, который боялся, чтобы родня будущей царицы не захватила власти и не оттеснила его от царя. Морозов всеми силами старался занять царя забавами, чтобы самому со своими подручниками править государством, и удалял от двора всякого, кто не был ему покорен. Одних посылали подалее на воеводства, а других и в ссылку. Последнего рода участь постигла тогда одного из самых близких людей к царю, его родного дядю по матери, Стрешнева. Его обвинили в волшебстве и сослали в Вологду.

Более всею нужно было Морозову, для упрочения своей власти, женить царя так, чтобы новая родня была с ним заодно. Морозов нашел этот способ. Был у него верный подручник, дворянин Илья Данилович Милославский, у которого были две красивые дочери. Морозов составил план выдать одну из них за царя, а на другой жениться самому. Боярин расхвалил царю дочерей Милославского и прежде всего дал царю случай увидеть их в Успенском соборе. Царь засмотрелся на одну из них, пока она молилась. Вслед за тем царь велел позвать ее с сестрою к царским сестрам, явился туда сам и, разглядевши поближе, нарек ее своею невестою. 16 января 1648 года Алексей Михайлович сочетался браком с Мариєю Ильинишною Милославскою. Свадьба эта, сообразно набожным наклонностям царя, отличалась тем, что, вместо игры на трубах и органах, вместо битья в накры (литавры), как это допускалось прежде на царских свадьбах, певчие дьяки распевали стихи из праздников и триодий. Брак этот был счастлив; Алексей Михайлович нежно любил свою жену. Когда впоследствии она была беременна, царь просил митрополита Никона молиться, чтобы ее «разнес Бог с ребеночком», и выражался в своем письме такими словами: «А какой грех станетца, и мне, ей-ей, пропасть с кручины; Бога ради, моли за нее». Но не таким оказался брак Морозова, который, через десять дней после царского венчания, женился на сестре царицы, несмотря на неравенство лет; Морозов был женат в первый раз еще в 1617. Поэтому неудивительно, что у этой брачной четы, по выражению англичанина Коллинса, вместо детей, родилась ревность, которая познакомила молодую жену старого боярина с кожаную плетью в палец толщиной.

Боярин Морозов думал, что теперь-то он сделается всеильным, и обманулся. Ненавистная народу соляная пошлина была отменена, как бы в знак милости по поводу царского бракосочетания, но у московского народа и без того уже накопилось сильное неудовольствие. Брак царя увеличил это неудовольствие. Морозов стал выдвигать родственников молодой царицы, а они все были люди небогатые, отличались жадностью и стали брать взятки. Сам царский тесть увидел возможность воспользоваться своим положением для своего обогащения. Но никто так не опротивел народу, как двое подручников Морозова, состоявшие в родстве с Милославскими: Леонтий Степанович Плещеев и Петр Тихонович Траханиотов. Первый заведывал земским приказом, а второй – пушкарским. Плещеев обыкновенно обирал тех, которые приходили к нему судиться, и, кроме того, завел у себя целую шайку доносчиков, которые подавали на людей ложные обвинения в разных преступлениях. Обвиняемых сажали в тюрьму и вымучивали у них взятки за освобождение. Траханиотов поступал жестоко с подначальными служилыми людьми и удерживал следуемое им жалованье. Торговые люди были озлоблены против Морозова за потачку иностранцам и за разные новые поборы, кроме соляной пошлины; так, например, для умножения царских доходов выдуман был казенный аршин с клеймом орла, который все должны были покупать, платя в десять раз более против его стоимости. Никакие просьбы не доходили до царя; всякое челобитье решал Морозов или его подручники. Наконец, толпы народа стали собираться у церквей на сходки, положили остановить царя силой на улице и потребовать у него расправы над его лихими слугами.

25 мая 1648 года царь возвращался от Троицы: толпа остановила его, некоторые схватили за узду его коня; поднялся крик, требовали, чтобы царь выслушал народ: жаловались на Плещеева, просили сменить его и назначить на его место другого. Мольбы сопровождалась, по обычаю, замечаниями, что «иначе народ погибнет вконец». Молодой царь испугался такой неожиданности, не сердился, но ласково просил народ разойтись, обещал разведать все дело и учинить правый суд. Народ отвечал ему громкими изъявлениями благодарности и провожал желаньями многолетнего здравия.

Может быть, дело этим бы и кончилось, но тут некоторые из подручников Морозова, благоприятелей Плещеева, бросились на толпу с ругательствами и начали кнутьями бить по головам тех, которые, как они заметили, выступали вперед к царю с жалобами.

Толпа пришла в неистовство и начала метать камнями. Приятели Плещеева бросились опроретью в Кремль. Народ с криком – за ними. Они едва успели пробраться во дворец.



Стрельцы, стоявшие на карауле в Кремле, с трудом могли удержать толпу от вторжения во дворец.

Толпа все более и более разъярялась и кричала, чтобы ей выдали Плещеева на казнь.

Тогда попытался выйти на крыльцо всемогущий боярин Морозов, но вид его только более озлобил народ. Его не слушали, ему не давали говорить и вопили: «Мы и тебя хотим взять!» Морозов поспешно удалился во дворец. Неистовая толпа бросилась на дом Морозова, в котором оставалась его жена. Народ разломал ворота и двери, ворвался в дом; все в нем было перебито, изломано; из сундуков вытаскивали золотные ткани, меха, жемчуг; все было поделено; сорвали с икон богатые оклады и выбрасывали на площадь; один из верных слуг Морозова осмелился сказать что-то противное народу: он был немедленно выброшен за окно и зашибся до смерти. Боярыню Морозову не тронули, но сказали ей: «Если бы ты не была сестра царицы, то мы бы тебя изрубили в куски!» Ограбивши дом, москвичи ограбили все боярские службы, разбили богатую карету, окованную серебром, подаренную царем на свадьбу Морозову, добрались и до погребов, где стояли бочки с медом и винами, разбили их, разлили, так что по колено ходили в вине, и перепились до того, что многие тут же умерли.

Расправившись с домом Морозова, толпа бросилась на дворы разных его благоприятелей, разнесла дом Плещеева и Траханиотова, которых, однако, не нашли. Ограблены были также дворы бояр-князей: Одоевского, Львова и др. Досталось и думному дьяку Назару Чистову: народ злился на него за прежнюю, уже отмененную, соляную пошлину. Незадолго перед тем он расшибся, упавши с лошади, и лежал больной; услышавши, что народ ломится к нему на двор, он заполз под кучу веников и приказал слуге наложить еще сверху свиных окороков, но слуга, захвативши в доме несколько сот червонцев, выдал его народу, а сам бежал. Народ вытащил Чистова из-под веников и заколотил палками до смерти.

Кремль между тем затворили, а народ, учинивши свою расправу, опять бросился к Кремлю требовать выдачи своих лиходеев. Царь выслал к мятежникам своего двоюродного дядю Никиту Ивановича Романова, которого народ любил; но на все его увещания толпа твердила одно: выдать на казнь Морозова, Плещеева и Траханиотова. Романов обещал доложить об этом царю, но заметил народу, что Морозова и Траханиотова нет в Кремле. Тогда во дворце решили пожертвовать Плещеевым и вывели его из Кремля в сопровождении палача. Народ не дал палачу исполнить казни, вырвал у него из рук Плещеева и заколотил палками до смерти. Его голова была разбита, так что мозг брызнул некоторым в лицо. «Вот как угощают плутов и воров!» – кричал народ.

На другой день толпа снова бросилась к Кремлю требовать Морозова и Траханиотова. Морозов хотел было перед тем спастись бегством, ускользнул из Кремля, но его узнали ямщики, и он едва успел уйти от них и пробраться обратно в Кремль. Царь, чтобы спасти Морозова, решился пожертвовать и Траханиотовым. Его в Кремле действительно не было. Царь выслал князя Пожарского к народу с приказом отыскать Траханиотова и казнить. Траханиотов между тем успел уже уйти из Москвы и был схвачен близ Троицы. По царскому приказанию, в угодность народу, его водили с колодкой на шее по городу, а потом отрубили ему голову.

Было уже за полдень. Доходила очередь до Морозова. Вдруг на Дмитровке вспыхнул пожар и быстро распространился по Тверской, Петровке, дошел до реки Неглинной; наконец загорелся большой кружечный двор или кабак. Толпа в неистовстве бросилась на даровую водку; спешили разбивать бочки, черпали шапками, рукавицами, сапогами и перепились до того, что многие тут же задохлись от дыму. Пожар потух только к вечеру. Народ говорил, что он прекратился только тогда, когда догадались бросить в огонь тело Плещеева.

Пожар несколько отвлек народ от мятежа: многим пришлось думать о собственной беде, вместо общественной. Между тем правительство старалось дружелюбными средствами примириться с народом и охранить себя от дальнейшего мятежа. Царь угощал вином и медом стрельцов и немцев, охранявших дворец и Кремль, а царский тесть Илья Данилович

каждый день делал пиры и приглашал то тех, то других влиятельнейших лиц из гостиной и суконной сотен.

Духовные, по приказанию патриарха Иосифа, своими увещаниями успокаивали народ, уверяли, что с этих пор все пойдет хорошо. В угоду народу некоторые лица, навлекшие на себя народное недоброжелательство, были смещены со своих мест и заменены другими, более угодными в то время народу.

Наконец, когда явилась надежда, что гроза утихла, царь воспользовался одним из праздничных дней, когда совершался крестный ход, и велел заранее объявить народу, что хочет говорить с ним. В назначенный день царь явился на площади и произнес народу речь: он не только не укорял народ за мятеж, но как бы оправдывал его, сказал, что Плещеев и Траханиотов получили достойную кару, обещал народу правосудие, льготы, уничтожение монополий и царское милосердие. Все это клонилось к тому, чтобы спасти Морозова. Царь не оправдывал и его, но выразился в таком смысле: «Пусть народ уважит мою первую просьбу и простит Морозову то, что он сделал недоброго; мы, великий государь, обещаем, что отныне Морозов будет оказывать вам любовь, верность и доброе расположение, и если народ желает, чтобы Морозов не был ближним советником, то мы его отставим; лишь бы только нам, великому государю, не выдавать его головою народу, потому что он нам как второй отец: воспитал и возрастил нас. Мое сердце не вынесет этого!» Из глаз царя полились слезы. Народ был тронут, поклонился царю и воскликнул: «Многие лета великому государю! Как угодно Богу и царю, пусть так и будет!»

Морозова, для большей безопасности, отправили на время в Кирилло-Белозерский монастырь, где он, впрочем, пробыл недолго и, по возвращении своем, хотя уже не играл прежней роли, но оставался одним из влиятельных лиц, старался как можно более угождать народу и казаться защитником его нужд.

После обещания, данного народу о введении правосудия, 16-го июля 1648 года, царь, вместе с духовенством, боярами, окольныхчыми и думными людьми, постановил привести в порядок законодательство: положили выписать из правил апостол и Св. отец и гражданских законов греческих царей (т.е. из Кормчей книги) статьи, которые окажутся пристойными государским земским делам, собрать указы прежних государей и боярские приговоры, справить их с прежними судебниками, написать и изложить общим советом такие статьи, на какие нет указов и боярских приговоров, чтобы «Московского государства всяких чинов людям, от большего до меньшего чина, суд и расправа была во всяких делах всем равна». Поручение это было возложено на бояр: князя Никиту Ивановича Одоевского, князя Семена Васильевича Прозоровского, на окольныхчьего князя Федора Федоровича Волконского и на дьяков: Гаврилу Леонтьева и Федора Грибоедова. Положено было по составлении Уложения, для его утверждения, собрать земский собор из выборных людей всех чинов. Вслед за тем продажа табака, соблазнявшая благочестивых людей, была прекращена, и табак, приготовленный для продажи от казны, велено было сжечь.

Между тем мятеж в Москве, кончившийся так удачно для мятежников, подал пример народу и в других городах. В отдаленном Сольвычегодске посадские люди дали взятку Федору Приклонскому, приезжавшему туда для сбора денег на жалованье ратным людям, а когда в июле дошли до них вести о том, что произошло в Москве, отняли назад то, что сами дали; вдобавок ограбили Приклонского, изодрали у него бумаги и самого чуть не убили. В то же время в Устюге произошло подобное: дали подьячему взятку, потом, услышавши о московских происшествиях, отняли и убили самого подьячего, ограбили воеводу Милославского и хотели убить. Мятежники, по этому поводу, передрались между собою и ограбили своих зажиточных посадников, которые мирволили начальству. Посланный туда для розыску князь Иван Ромодановский перевешал нескольких зачинщиков, но при этом, по московскому обычаю, брал с устюжан взятки. В самой Москве начинались в январе 1649 года новые попытки взволновать народ, чтобы убить Морозова и царского тестя, которого считали всесильным человеком и обвиняли в корыстолюбии; но возмутители были в пору схвачены и казнены.

В октябре 1648 года созванный собор утвердил Уложение, состоявшее из 25 глав, заключающее уголовные законы, дела об обидах, полицейские распоряжения, правила судопроизводства, законы о вотчинах, поместьях, холопах и крестьянах, устройство и права посадских, права всех сословий вообще, определяемые размером бесчестия. Уложение в первый раз узаконило права государевой власти, обративши в постановление то, что прежде существовало только по обычаю и по произволу. Таким образом, во второй и третьей главе «О государственной чести и о государевом дворе» указаны разные случаи измены, заговоров против государя, а также и бесчинств, которые могли быть совершены на государевом дворе.

С этих пор узаконивается страшное государево «дело и слово». Доносивший на кого-нибудь в измене или в каком-нибудь злоумышлении объявлял, что за ним есть «государево дело и слово». Тогда начинался розыск «всякими сыски» и по обычаю употребляли при этом пытку. Но и тот, кто доносил, в случае упорства ответчика, также мог подвергнуться беде, если не докажет своего доноса: его постигало то наказание, какое постигло бы обвиняемого. Страх казни за неправый и неудачный донос подрывался другою угрозою: за недонесение о каком-нибудь злоумышлении против царя обещана была смертная казнь; даже жена и дети царского недруга подвергались смертной казни, если не доносили на него. Понятно, что всякому, слышавшему что-нибудь похожее на оскорбление царской особы, приходила мысль сделать донос, чтобы другой не предупредил его, потому что в последнем случае он мог подвергнуться каре за недонесение. Выборные люди, бывшие на соборе, особенно хлопотали о том, чтоб установить уравнение между тяглыми людьми, чтобы торговля и промысл находились исключительно в руках посадских и торговых людей. Тогда последовало новое подтверждение правила, чтобы на посадах не было других дворов, кроме посадских; постановлено, чтобы все посадские, которые вступили в другое звание или заложились за владельцев, возвращались снова в тягло; положено было отобрать у владельцев все слободы, заведенные на городских землях, и записать их в тягло, а кабальных людей, живших в этих слободах, вывести прочь. Уложение еще более закрепило крестьян: урочные годы были уничтожены; принимать чужих крестьян было запрещено; крестьянин, сбежавший от своего владельца, возвращался к нему по закону во всякое время, так же, как и бежавшие из дворцовых сел и черных волостей крестьяне возвращались на прежние места жительства без урочных лет; наконец, если крестьянин женился на беглой крестьянской или посадской девушке, то его отдавали вместе с женою, в первом случае, ее прежнему владельцу, а во втором – в посадское тягло. Прежние законы об отдаче крестьянина одного владельца другому, у которого убит крестьянин односельцем или господином отдаваемого, вошли в Уложение. Во всех делах, кроме уголовных, владелец отвечал за своего крестьянина. Тем не менее крестьяне и по Уложению все-таки еще отличались несколько от рабов или холопей: владелец не мог насильно обращать своего крестьянина в холопы, а крестьянин мог добровольно давать на себя кабалу на холопство своему владельцу, но не чужому.

Частное землевладение было тогда достоянием служилого класса. Не все имели право покупать вотчины, а только служилые высших разрядов или те, которым дозволит царь. Вотчина была признаком знатности или царской милости. Вотчины были трех родов: родовые, купленные и жалованные. Вотчины родовые и жалованные переходили из рода в род по определенным правилам наследства. Купленной вотчиной распоряжался на случай смерти вотчинник совершенно по своему усмотрению. Раздел был поровну между сыновьями; дочери не наследовали при братьях, но братья обязаны были выдавать их замуж с приданым. Поместья в это время уже приближались к родовым именьям: хотя еще они не подлежали праву наследства, но, по смерти помещика, поместный приказ уже по закону отдавал (справлял) поместья за его детьми, а за неимением детей преимущественно за его родными. Вдовы и дочери получали из поместий умерших мужей и отцов так называемые «прожиточные поместья».

В родовой и служебной лестнице сословий первое место по породе занимали царевичи, потомки разных мусульманских владетелей, принявших христианство, а за ними князья; но по служебному порядку выше всех стояли бояре, за ними окольные, думные дворяне,

составлявшие все вместе сословие думных людей; к ним присоединялись думные дьяки. Они не подвергались, по Уложению, торговой казни в тех случаях, когда подвергались другие. За бесчестие, нанесенное им, по Уложению наказывали кнутом и тюрьмою. Прочие служилые: стольники, стряпчие, московские дворяне, жильцы, городовые дворяне и дети боярские, дьяки, подьячие, стрельцы и других наименований служилые люди, за нанесенные им оскорбления, получали за бесчестие сумму их жалованья. Соответственно этому за оскорбление духовных лиц, носивших святительский сан, назначалась телесная казнь и тюремное заключение, соразмерно достоинству святителя, а за оскорбление прочих духовных лиц различное бесчестье. Достоинство неслужилых лиц измерялось особою таксою в различном размере, так что даже в одном сословии люди трех статей: большой, средней и меньшей получали различную плату за бесчестье; самая большая сумма бесчестия (за исключением Строгоновых, получавших 100 рублей за бесчестие) была 50 рублей. Жены получали вдвое, а девицы вчетверо против мужчин. Самая меньшая сумма бесчестья была рубль. Бесчестье полагалось вдвое, если кто кого обзывал незаконным сыном. Холоп не получал никакого бесчестья и сам ценился по закону в 50 рублей. Холопы по-прежнему были под произволом господ и освобождались от рабства в нескольких случаях: по желанию господина, в случае измены господина, по возвращении холопа из плена или же когда господин не кормил холопа, но в последнем случае нужно было признание господина. Кабальные были крепки только до смерти господина. Кроме кабал, в это время вошли в обычай «живые записи». Кое-где отцы и матери отдавали в работу детей на урочные годы, а иные по «живым записям» отдавались на прокорм в голодные годы.

Суд в это время перешел почти исключительно в руки приказов. Значение губных старост с этих пор более упадает, чем прежде, и скоро оно дошло почти до ничтожества; во всем берет верх приказный порядок, в городах делаются могучими воеводы и дьяки, непосредственно зависящие от московских приказов. Люди со своими тяжбами ездят в Москву судиться в приказах и сильно тяготея этим, потому что им приходится давать большие посулы и проживаться в Москве. Выражение «московская волокита», означавшее печальную необходимость тягаться в приказе и проживаться в столице, вошло в поговорку. Последующая жизнь русского народа показывает, что Уложение не только не ввело правосудия, но, со времени его введения, жалобы народа на неправосудие, на худое управление раздавались еще громче, чем когда-нибудь, и народ, как мы увидим, беспрестанно терял терпение и порывался к мятежам.

Относительно церковного ведомства, Уложение узаконило, чтобы все дела и иски, возникающие между духовными, а также мирскими людьми, принадлежавшими к церковному ведомству, с одной стороны, и лицами гражданского ведомства, с другой, – судимы были в приказах большого дворца и монастырском. В последний собирались подати и повинности с монастырских имений. Это установление возбуждало недовольство ревнителей старинной независимости церкви.

В 1649 году исполнилось давнее желание торговых людей: английской компании поставили в вину, что купцы ее тайно провозили чужие товары за свои, привозили свои дурные товары и «заговором» возвышали на них цены, а русским за их товары ставивались платить менее, чем следовало. За все это права компании уничтожались, всем англичанам велено было уехать в отечество; приезжать с товарами могли они вперед не иначе, как в Архангельск, и платить за свои товары пошлины. Вдобавок было сказано, что государь прежде позволял им торговать беспошлинно «ради братской дружбы и любви короля Карлуса, но так как англичане всею землею своего короля Карлуса убили до смерти, то за такое злое дело англичанам не довелось быть в Московском государстве».

Удача московского мятежа искушала народ к восстаниям в других местах. Стало укореняться мнение, что царь Алексей Михайлович государствует только по имени, на самом же деле правление находится в руках бояр, особенно Морозова, царского тестя Милославского и их подручников. Несправедливости и обирательства воевод и дьяков усиливали и раздували народную злобу. Переставши верить, что все исходит от царя, считая

верховную власть в руках бояр, народ естественно пришел к убеждению, что и народ – такие же подданные, как и бояре – имеет право судить о государственных делах. Такой дух пробудился тогда в двух северных городах: Новгороде и Пскове. Началось во Пскове.

По Столбовскому договору со шведами постановлено было выдавать перебежчиков из обоих государств. К Швеции, как известно, отошли новгородские земли, населенные русскими. Из этих земель многие бежали в русские пределы. Выдавать их казалось заторным, тем более, когда они говорили, что убегали оттого, что их хотели обратить в лютеранскую веру. Московское правительство договорилось со шведским заплатить за перебежчиков частью деньгами, а частью хлебом. Но в это время был хлебный недород. С целью выдать шведам хлеб по договору, правительство поручило скупку хлеба во Пскове гостю Емельянову. Этот гость увидел возможность воспользоваться данным ему поручением для своей корысти и, под предлогом соблюдения царской выгоды, не позволял покупать хлеба для вывоза из города иначе, как только у него. Хлеб, и без того вздорожавший от неурожая, еще более поднялся в цене. Псковичи естественно стали роптать на такую монополию; черные люди собирались по кабакам и толковали о том, что государством правят бояре и главный из них Морозов, что бояре дружат иноземцам, выдают казну шведской королеве, вывозят хлеб за рубеж, хотят «оголодать» русскую землю.

В это время до псковичей дошел слух, что едет швед и везет из Москвы деньги.

27 февраля 1650 года человек тридцать псковичей из бедного люда (из меньших людей) пришли к своему архиепископу Макарию толковать, что не надобно пропускать за рубеж хлеба. Архиепископ позвал воеводу Собакина. Воевода пригрозил «кликунам», как называли тогда смелых хулителей начальственных повелений. Но кликуны не испугались воеводы и на другой день, 28 февраля, подобрали себе уже значительную толпу. Они собрались у всенародной избы и стали кричать, что не надобно вывозить хлеба. Вдруг раздался крик: «Немец едет! Везет казну из Москвы!»

Действительно, в это время ехал шведский агент Нумменс и вез до двадцати тысяч рублей из тех денег, которые были назначены для уплаты шведам за перебежчиков. Нумменс ехал к Завеличью, где тогда стоял гостинный двор для иноземцев. Народ бросился на него. Его потащили ко всенародной избе, подняли на два, поставленные один на другой, чана, показали народу, отняли у него казну и бумаги и посадили под стражу. Потом толпа бросилась к дому ненавистного ей гостя Емельянова. Гость успел убежать. У жены его взяли царский указ, в котором было сказано, «чтобы этого указа никто не ведал». Псковичи кричали, что грамота писана боярами без ведома царя. Мятежники выбрали свое особое правление из посадских, не хотели знать воеводы и отправили в Москву от себя челобитчиков. Псковичи жаловались, что воевода берет в лавках насильно товары, заставляет ремесленников на себя работать, у служилых людей удерживает жалованье; его сыновья оскорбляют псковских женщин; воеводские писцы неправильно составили писцовые книги, так что посадским тяжелее, чем крестьянам. Что касается до поступка с Нумменсом, то псковичи говорили, будто швед им грозил войною. Кроме этой челобитной, псковичи послали особую челобитную к боярину Никите Ивановичу Романову, просили его походатайствовать, чтобы вперед воеводы и дьяки судили вместе с выборными старостами и целовальниками и чтобы псковичей не судили в Москве.

Весть о псковском восстании быстро достигла Новгорода, а между тем и там уже народ роптал, когда царские биричи кликали по торгам, чтобы новгородские люди не покупали хлеба для себя иначе, как в небольшом количестве. Стали и новгородцы кричать, что царь ничего не знает, всем управляют бояре, отпускают за море казну и хлеб в ущерб русской земле.

Умы уже были достаточно возбуждены, когда 15 марта случайно прибыл в Новгород проездом датский посланник Граб. Посадский человек Елисей Лисица на площади, перед земскою избою, взволновал народ, уверивши его, что приехал швед с царскою казною. Он возбуждал толпу и на гостей и богатых людей, которые имели поручение закупать для казны хлеб. Ударили в набат, началась «гиль», как говорилось тогда в Новгороде и в Пскове. Толпа

бросилась на датского посланника, избивала его, изувечила, потом разграбила дворы новгородских богачей.

Митрополит Никон и воевода князь Федор Хилков пытались укротить мятеж, но силы у них было мало; а некоторые из служилых – стрельцы и дети боярские – перешли на сторону мятежа. Толпа освободила посаженного Никоном под стражу митрополичьего приказного Ивана Жеглова, и 16 марта составилось народное правительство из девяти человек (кроме посадских, в числе их был один стрелецкий пятидесятник и один подьячий). Жеглов был поставлен во главе этого народного правительства. По его принуждению, новгородцы составили приговор и целовали крест на том, «чтобы всем стать заодно, если государь пошлет на них рать и велит казнить смертью, а денежной казны и хлеба не пропускать за рубеж». Служилые люди, не желавшие приступать к ним, должны были поневоле прилагать руки к такому приговору. Никон пытался смирить мятежников духовным оружием и изрек над ними проклятие. Но это только более озлобило их.

Они отправили к царю челобитчиков и в своей челобитной сочиняли, будто сам датский посланник Граб, со своими людьми, сделал нападение на новгородцев. Они просили, чтоб государь не велел отпускать за рубеж денежной казны и хлеба, потому что слух ходил такой, что шведы хотят, взявши государеву казну, нанять на нее войско и идти войной на Новгород и Псков.

В Москве пришли в раздумье, когда узнали о мятежах в двух важнейших северных городах; московское правительство прибегло к полумерам: хотели в одно и то же время стращать мятежников и усмирить их ласкою. Отправили князя Ивана Хованского с небольшим войском, а между тем, в ответ на новгородскую челобитную, царь хотя и укорял новгородцев за мятеж и насилия, хотя и замечал, что «он с Божьей помощью знает, как править своим государством», но в то же время удостаивал мятежников объяснений: зачем нужно было отпускать хлеб, доказывал, что невозможно, по их просьбе, запретить продажу хлеба за границу, потому что тогда и шведы не повезут в Московское государство товаров и будет тогда Московскому государству оскудение. В угоду новгородцам, по их жалобам на воеводу Хилкова, царь объявлял им, что сменяет его и назначает вместо него князя Юрия Буйносова-Ростовского.

Новгородцы объявили, что не пустят Хованского в город с военными силами: впрочем, и сам Хованский получил от царя наказ стоять у Хутынского монастыря, не пропускать никого в город и уговаривать новгородцев покориться царю.

Но между самими новгородцами происходило уже раздвоение. Число удалых, готовых на крайнее сопротивление, редело; люди зажиточные были за правительство. Из самых ярых крикунов и зачинщиков находились такие, что готовы были отстать от общего дела ради целостности собственной кожи. Таким образом, один из товарищей Жеглова, Негодяев, передался Хованскому, отправился в Москву и, получивши прощение, старался там, хотя безуспешно, обвинить митрополита Никона.

В конце апреля Хованский вошел в город. Прежде всего он приказал отрубить голову одному посадскому человеку, Волку, обесчестившему датского посла, а народных правителей с толпою посадских, числом 218, посадил под стражу. Сначала из Москвы вышел было приговор казнить смертью зачинщиков, находившихся в составе народного правительства, и в том числе Жеглова, но потом приговор этот был отменен. Страшным казалось раздражать народ, тем более, что в то время Псков не так скоро и не так легко успокаивался, как Новгород.

Во главе народного правительства в Пскове стоял земский староста Гаврило Демидов, человек крепкий волею; он долго удерживал своих товарищей и черный народ в упорстве. В конце марта царь прислал в Псков на смену Собакину другого воеводу князя Василия Львова, но псковичи не отпускали от себя Собакина, до тех пор, пока возвратятся из Москвы их челобитчики; а 28 марта, услышавши, что из Москвы посылается на них войско, пришли к новому воеводе, стали требовать от него выдачи им пороха и свинца; когда воевода не дал им, то они отняли силою то и другое и громко объявили, что те, которые придут на них из

Москвы, «будут для них все равно, что немцы: псковичи станут с ними биться».

Через день после того, 30 марта, явился в Псков от царя производить обыск князь Федор Волконский. Псковичи обругали его, нанесли ему несколько ударов и отняли у него грамоту, в которой приказано было ему казнить виновных. Псковичи, прочитавши эту грамоту, закричали: «Мы скорее казним здесь того, кто будет прислан из Москвы казнить нас».

Ходили в народе слухи, что управлявшие государством бояре – в соумышлении с немцами, что царь от них убежал, находится в Литве и придет в Псков с литовским войском. Мятеж распространился на псковские пригороды. В псковской земле крестьяне и беглые холопы начали жечь помещичьи усадьбы, убивать помещиков.

12 марта явились обратно из Москвы псковские челобитчики. Царский ответ, который они привезли с собою, был неблагоприятен, особенно насчет той просьбы, которая была обращена к боярину Романову. «Боярин Романов, – сказано было в царской грамоте, – служит нам так, как и другие бояре: между ними нет розни; при наших предках никогда не бывало, чтобы мужики сидели у расправных дел вместе с боярами, окольными и воеводами, и вперед этого не будет».

Через несколько дней в конце мая прибыл князь Хованский с войском под Псков. За ним, как обещал сам царь в своем ответе, должен был идти князь Алексей Трубецкой с большим войском – наказывать псковичей, если они не покорятся.

Хованский, ставши близ города на Снятной горе, пытался увещаниями склонить псковичей к повиновению и послал дворянина Бестужева с товарищами. Псковичи убили Бестужева и дали Хованскому ответ, что они не сдадутся, хоть бы какое большое войско ни пришло на них. С тех пор два месяца стоял Хованский под Псковом. Происходило несколько стычек; эти стычки были неудачны для псковичей и по необходимости охладили жар мятежников.

Как бы то ни было, псковичи, однако, долго еще не сдавались. Дело с ними имело вид междоусобной войны. Московское правительство опасалось, чтобы пример Пскова не подействовал на другие города, и прибегнуло к содействию русского народа.

26 июля созван был земский собор (впрочем, едва ли по тому способу выбора, какой бывал прежде). К сожалению, нет актов этого собора, но из последующих событий видно, что на этом соборе постановлено было употребить еще раз кроткие меры против мятежного Пскова. Отправлен был в Псков коломенский епископ Рафаил с несколькими духовными сановниками, а с ними выборные люди из разных сословий. Предлагалось псковичам прощение, если они прекратят мятеж, угрожали им, что в противном случае сам царь пойдет на них с войском. Со своей стороны новгородский митрополит Никон советовал царю дать полное прощение всем мятежникам, потому что этим способом скорее можно было добиться утишения смуты.

Действительно, с одной стороны, неудачные вылазки охладили горячность псковичей; с другой – в Пскове люди зажиточные, так называемые лучшие, были решительно против восстания; каждый из них трепетал за свое достояние и страшился разорения, которое должно было постигнуть всех без разбора.

Увещания Рафаила и пришедших с ним выборных людей имели значение голоса всей русской земли, изрекающей свой приговор над псковским делом. Псковичи покорились этому голосу. Мятежников не преследовало начальство; им дана была царская милость. Но свои «лучшие люди», псковские посадские, не хотели простить меньшим людям, которые во время своего господства поживились богатствами лучших людей; лучшие люди сами похватили бывших народных правителей и посадили в тюрьму: их обвинили в попытке произвести новый мятеж, увезли из Пскова и казнили.

Все эти мятежи неизбежно должны были подействовать на правительство. Царь Алексей Михайлович не изменился в своем обычном добродушии, но стал недоверчивее, реже появлялся народу и принимал меры предосторожности: от этого, куда он ни ездил во все свое царствование, его сопровождали стрельцы. Его царское жилище постоянно было

охраняемо вооруженными воинами, и никто не смел приблизиться к решетке, окружавшей дворец, никто не смел подать лично просьбу государю, а подавал всегда через кого-нибудь из его приближенных. Один англичанин рассказывает, что однажды царь Алексей Михайлович в порыве страха собственноручно умертвил просителя, который теснился к царской повозке, желая подать прошение, и потом очень жалел об этом. В последующие за мятежами годы появился новый приказ – Приказ Тайных Дел, начало тайной полиции. Этот приказ поручен был ведению особого дьяка; бояре и думные люди не имели к нему никакого отношения. Подьячие этого приказа посылались надсматривать над послами, над воеводами и тайно доносили царю; от этого все начальствующие люди почитали выше меры этих царских наблюдателей. По всему государству были у царя шпионы из дворян и подьячих; они проникали на сходбища, на свадьбы, на похороны, подслушивали и доносили правительству обо всем, что имело вид злоумышления. Доносы были в большом ходу, хотя доносчикам всегда грозила пытка; но стоило выдержать пытку, донос признавался несомненно справедливым.<sup>48</sup>

Тяжелее для народа стало управление в городах и уездах. В важнейших городах начальники назывались наместниками, например в Пскове, Новгороде, Казани и т.д., и назначались из знатных людей: бояр и окольных; в менее важных начальники назывались воеводами и назначались из стольников и дворян. При воеводах были товарищи и всегда дьяк и подьячие. Наместники и воеводы со своими приказными людьми надзирали за порядком, имели в своем ведении военную защиту города, пушечные и хлебные запасы, все денежные и другие сборы, взимаемые с жителей посада и уезда, ведали всех служилых людей, состоящих в городе и уезде; они надзирали за благочинием; преследовали и наказывали корчемство, игру в зернь, табачную продажу; отыскивали, пытали и казнили воров и разбойников; принимали меры против пожаров; им подавались челобитные на имя царское и они творили суд и расправу. Воеводы в это время назначались обыкновенно на три года и не получали жалованья, а, напротив, должны были еще давать взятки в приказах, чтобы получить место, потому – смотрели на свою должность, как на средство к поживе, и не останавливались ни перед какими злоупотреблениями; хотя в наказах им и предписывалось не утеснять людей, но так как им нужно было вернуть данные в приказах поминки, добыть средства к существованию и вдобавок нажиться, то они, по выражению современников, «чуть не сдирали живьем кожи с подвластного им народа, будучи уверены, что жалобы обиженных не дойдут до государя, а в приказах можно будет отделаться теми деньгами, которые они награбят во время своего управления». Суд их был до крайности продажен: кто давал им посулы и поминки, тот был и прав; не было преступления, которое не могло бы остаться без наказания за деньги, а с другой стороны нельзя было самому невинному человеку быть избавленным от страха попасть в беду. Воевода должен был, по своей обязанности, наблюдать, чтобы подвластные ему не начинали «кругов», бунтов и «заводов», и это давало им страшное орудие ко всяким придирам. Раздавались повсеместно жалобы, что воеводы бьют посадских людей без сыску и вины, сажают в тюрьмы, мучат на правежах, задерживают проезжих торговых людей, придираются к ним под разными предлогами, обирают их, сами научают ябедников заводить тяжбы, чтобы содрать с ответчиков. Было тогда у воевод обычное средство обдирательства: они делали у себя пиры и приглашали к себе зажиточных посадских людей; каждый, по обычаю, должен был в этом случае нести воеводе поминки. Земские старосты и целовальники, существовавшие в посадах и волостях, не только не могли останавливать злоупотреблений воевод, а еще самим

---

<sup>48</sup> Пытки были разных родов; самая простая состояла в простом сечении; более жестокие были такого рода: преступнику завязывали назад руки и подымали вверх веревкою на перекладину, а ноги связывали вместе и привязывали бревно, на которое вскакивал палач и «оттягивал» пытаемого; иногда же другой палач сзади бил его кнутом по спине. Иногда, привязавши человека за руки к перекладине, под ногами раскладывали огонь, иногда клали несчастного на горящие уголья спиною и топтали его ногами по груди и по животу. Пытки над преступниками повторялись до трех раз; наиболее сильною пыткой было рвание тела раскаленными клещами; водили также по телу, иссеченному кнутом, раскаленным железом, выбривали темя и капали холодной водою и т.п.



воеводам вменялось в обязанность охранять людей «от мужиков горланов». Выборные лица, заведывавшие делами более значительными, были, обыкновенно, из так называемых «лучших людей», а бедняков выбирали только на второстепенные должности, где они отвлекались от собственных дел и принимали ответственность за казенный интерес (напр., в целовальники при соблюдении каких-нибудь царских доходов). На них обыкновенно взваливали всякие расходы и убытки. Земские старосты из лучших людей старались жить в мире с воеводами и доставлять им возможность наживаться; притом, раз выбранные, они не могли быть сменены иначе, как по челобитной, а между тем, в случае ущерба казне, нанесенного от выборных лиц, вся община отвечала за них. Правительство не одобряло произвола и нахальства воевод и приказных людей и наказывало их, если они попадались; так мы имеем пример, как гороховский воевода князь Кропоткин и дьяк Семенов были биты кнутом за взятки и грабительства, но такие отдельные меры не могли исправить порчи, господствовавшей во всем механизме управления. Важнейший доход казны – продажа напитков, отдавался обыкновенно на откуп. Правительство, главным образом, как кажется, по совету патриарха Никона, признало, что такой порядок тягостен для народа и притом вредно отзывается на его нравственности: откупщики, заплативши вперед в казну, старались всеми возможными видами выбрать свое и обогатиться, содержа кабаки, делали их разорительными притонами пьянства, плутовства и всякого беззакония. Притом же казалось, что выгода, которая предоставляется откупщикам, может сделаться достоянием казны, если продажа будет прямо от казны. В 1652 году кабаки были заменены кружечными дворами, которые уже не отдавались на откуп, а содержались выборными людьми «из лучших» посадских и волостных людей, называемых «верными головами»; при них были выборные целовальники, занимавшиеся и курением вина. Курение вина дозволялось всем, но только по уговору с доставкой вина на кружечный двор. Мера эта предпринята была как бы для уменьшения пьянства, потому что во все посты и в недельные дни запрещалась торговля вином, а дозволялось, как общее правило, продавать не более чарки (в три чарки) на человека; «питухам» на кружечном дворе и поблизости его не позволялось пить. Но до какой степени непоследовательны были в то время постановления, показывает то, что в том же акте вменяется в обязанность головам, чтобы у них «питухи на кружечном дворе пили смирно». По-прежнему воеводы имели право разрешать лучшим посадским людям производство горячих напитков на свой обиход по поводу праздников и семейных торжеств. Эти правила, однако, недолго были в силе, и правительство, нуждаясь в деньгах, начало требовать, чтобы на кружечных дворах было собираемо побольше доходов, и угрожало верным головам и целовальникам наказанием в случае недобора против прежних лет. Так как боярам, гостям и вообще вотчинникам дозволялось для себя свободное винокурение, то во всем государстве, кроме казенного вина, было очень много вольного, и надобно было преследовать корчемство: от этого народу происходили большие утеснения, а воеводам и их служилым людям, гонявшимся за корчемниками, был удобный повод к придирам, насилиям и злоупотреблениям.

В 1653 году, по челобитью торговых людей, во всем государстве заведена однообразная, так называемая, рублевая пошлина по десяти денег с рубля. Каждый купец, покупая товар на продажу, платил пять денег с рубля, мог везти товар куда угодно с выписью и платил остальные пять денег там, где продавал. Взамен этого отменялись разные мелкие пошлины, хотя далеко не все. В следующем, 1654 г., уничтожены были, очевидно с совета Никона, откупы на множество разных пошлин (напр., с речных перевозов, с телег, саней, с рыбы, кваса, масла, сена и т.п.), которые заводились не только в посадах и волостях, но и в частных владениях владельцами. Царская грамота называла такие откупы «злодейством».

Еще в половине 1653 года предвиделось, что война с Польшею неизбежна. Приготовления к ней подали повод к разным торжествам, проводам, встречам, обрядам, которые так любил царь. Царь собрал на Девичьем поле войско и приказал произнести в своем присутствии думному дьяку речь к ратным людям, уговаривал их, в надежде царства

небесного на небе и милости царской на земле, оказать храбрость на войне, если придется с кем-нибудь вести ее. 1 октября того же года земский собор приговорил вести войну с Польшей, а 23 числа того же месяца царь в Успенском соборе объявил всем начальным людям, что в предстоящую войну они будут без мест. В январе заключен был боярином Бутурлиным переяславский договор, по которому совершилось присоединение Малороссии: боярину Бутурлину, по этому поводу, делались несчетные встречи и торжественное объявление царской благодарности; но всего пышнее и торжественнее было отправление боярина Алексея Никитича Трубецкого с войском в Польшу. То делалось 23 апреля, в воскресенье. В Успенском соборе патриарх читал всему собранному войску молитву на рать идущим, поминал воевод по именам. Царь поднес патриарху воеводский наказ; патриарх положил эту бумагу в киот Владимирской Богородицы, проговорил высокопарную речь и подал наказ главному военачальнику Трубецкому – наказ как бы от лица Пресвятой Богородицы. Царь во всем царском облачении, поддерживаемый под руки боярами, позвал бояр и воевод на обед, и когда все сели за стол, царь, вставши со своего места, произнес Трубецкому речь с разными нравоучениями и передал ему списки ратных людей, потом обратился с речью к подначальным лицам, увещевал их соблюдать Божьи заповеди и царские повеления, во всем слушаться начальников, не шадить и не покрывать врагов и сохранять чистоту и целомудрие. По окончании обеда принесли Богородицын хлеб на панагии при пении священных песнопений; царь потребил хлеб, потом взял Богородицыну чашу, трижды отпил и подавал по чину боярам и воеводам. Отпустивши духовенство с панагиею, царь сел, потом опять встал, приказал угощать бояр и ратных людей медом (начальников – красным, а простых воинов белым медом) и по окончании угощения произнес еще речь Трубецкому: царь в ней приказывал всем ратным людям исповедываться и причащаться на первой неделе Петрова поста. Трубецкой отвечал царю также речью и выражался, «что если пророком Моисеем дана была израильтянам манна, то они, русские люди, не только напитались телесною снедью, но обвеселились душевною пищею премудрых и пресладких глаголов, исходящих из царских уст». Потом совершалась церемония «отпуска». Трубецкой первый подошел к царю; Алексей Михайлович взял его обеими руками за голову и прижал к груди, а Трубецкой тридцать раз сряду поклонился царю в землю. За Трубецким подходили другие воеводы и кланялись в землю по несколько раз. Царь отпустил начальных людей и вышел в сени. Там стояли разные дворяне и дети боярские; царь давал им из своих рук ковши с белым медом и опять говорил речь. «На соборах, – сказал царь, – были выборные люди по два человека от всех городов; мы говорили им о неправдах польского короля, вы все это слышали от ваших выборных; так стойте же за злое гонение на православную веру и за всякую обиду на Московское государство: а мы сами идем вскоре и будем с радостью принимать раны за православных христиан...» – «Если ты, государь, – отвечали ратные люди, – хочешь кровью обагриться, так нам и говорить после того нечего; готовы положить головы наши за православную веру, за государей наших и за все православное христианство». Через три дня после того совершалась новая церемония: все войско проходило мимо дворца; патриарх Никон кропил его св. водой; бояре и воеводы, сошедши с лошадей, подходили к переходам, где находился царь; он спрашивал их о здоровье, а они кланялись ему в землю. Никон произнес речь, призывал на них благословение Божье и всех святых. Трубецкой с воеводами, поклонясь патриарху в землю, также отвечал речью, наполненною цветистыми выражениями, обещал от лица всего войска «слушаться учительных словес государя патриарха».

Положено было в мае отправиться на войну самому государю. Прежде всего Алексей Михайлович счел нужным посетить разные русские святыни, отправил вперед себя икону Иверской Божьей Матери, а 18 числа выступил в сопровождении дворовых воевод. В воротах, через которые шел государь из Москвы, устроены были возвышения, обитые красным сукном (рундуки), с которых духовенство кропило св. водою государя и проходивших с ним ратных людей.

Главная масса войска по-прежнему все еще состояла тогда из дворян и детей боярских,

которых наследственно верстали в службу, наделяя поместным окладом и денежным жалованьем и оставляя из двух сыновей одного в семье. За ними следовали стрельцы (пешее войско), тогда получавшие, как мы сказали выше, все более и более значения. Царь Алексей Михайлович особенно ласкал их, давал им право на беспошлинные промыслы, жаловал землю, сукнами и пр. Стрельцы разделялись на приказы от 800 до 1000 человек в каждом приказе (всех приказов было 20). Приказы находились под начальством голов, полковников, полуголов, сотников, пятидесятников и десятников. Кроме жалованья, собираемого со всего государства деньгами, им доставлялись хлебные запасы, особый подбор под названием стрелецкого хлеба. За стрельцами следовали казаки (конное войско), которым давали дворовые места и пахотные земли, свободные от всяких налогов. Они состояли под управлением атаманов, сотников и эсаулов и расселены были по украинным городам казачьими слободами. Находившиеся при орудиях назывались пушкарями. Тогда появились особые конные отделы войск, под названием рейтаров и драгунов, которые набирались из разного рода еще неслуживших людей, преимущественно служилого сословия. Они разделялись на полки; иные имели поместья, а другие получали по 30 руб. в год, в мирное время они должны были иметь собственную лошадь и вооружены были карабинами и пистолетами. Они подвергались правильному обучению, которым занимались иноземцы, носившие чины полковников, полуполковников, майоров и ротмистров; между последними начали появляться русские незнатные люди. В это время был устроен новый отдел войска под названием «солдат». В 1649 году были заведены солдатские полки в заонежских погостах и в Старорусском уезде. Они набирались из жителей со двора по человеку, а с больших семей и более (от двадцати до пятидесяти лет от роду), и за то волости, из которых они набирались, освобождались от платежа данных и оброчных денег. Солдаты получали содержание и денежное жалование и разделялись на полки, а полки на роты пешие и конные, вооружены были шпагами и мушкетами, состояли под начальством иноземных офицеров, которые обучали их ратному строю. Перед началом войны в 1653 году приказано усилить солдатское войско, записывая в солдаты разных родственников, служивших у стрельцов, казаков, посадских, а также разных захребетников, гулящих людей. Всем таким людям велено сделать списки и половину их зачислить в солдаты. Затем обращаемы были в солдаты дети, братья и племянники дворян и детей боярских, еще не служившие нигде. Им предоставлялось или идти в солдаты или быть выключенными из служилого сословия. Старые солдаты отпускаемы были на земледельческие занятия, но не исключались вовсе из службы. Это устройство было зародышем регулярного войска в России. Вначале в нем встречался разный сброд, и татары, и немцы, и пр.

Война 1654 года шла так успешно, как ни одна из прежде бывших войн с Польшею и Литвою; но благодушная натура Алексея Михайловича неприятно сталкивалась с обычным лукавством, присущим московскому характеру окружавших его лиц. Сам царь сознавал это и писал Трубецкому: «С нами едут не единодушием, наипаче двоедушием как есть оболочка: овогда благопотребным воздухом и благонадежным и уповательным явятся, овогда паче же зноем и яростью и ненастьем всяким злохитренным обычаем московским явятся... Мне уже Бог свидетель, каково ставится двоедушие, того отнюдь упования нет... все врознь, а сверх того сами знаете обычаи их». Но более всего смущало царя то, что, пока он находился в войске, осенью распространилась по Московскому государству зараза. Царица с детьми бежала из Москвы в Калязин монастырь. В Москве свирепствовала страшная смертность. Зараза уничтожила большую часть жителей во многих городах.<sup>49</sup> Люди от страху

<sup>49</sup> В истории Соловьева, т. X, стр. 371—372, сообщены любопытные числа умерших от заразы в то время. До какой степени она свирепствовала в Москве, можно видеть из того, что в Чудове монастыре умерло 182 монаха, осталось 26; в Вознесенском умерло 90 монахинь, осталось 38... в боярских дворах у Бориса Морозова умерло 343 человека, осталось 19; у князя Трубецкого умерло 270 человек, осталось 8... В Кузнецкой черной сотне умерло 173 чел., осталось 32; в Новгородской сотне умерло 438, осталось 72 чел. В Калуге умерло посадских людей 1836 чел., осталось 777; в Кашинском уезде умерло 1839 чел., осталось 908; в Переяславле-Рязанском 2583 чел., осталось 434; в Переяславле-Залесском умерло 3627 чел., осталось 939; в Туле умерло 1808 чел., осталось 760 (муж. пола); в Торжке,

разбегались куда попало, а другие, пользуясь общим переполохом, пустились на воровство и грабежи. Бедствия этим не кончились. Зараза появлялась и в следующие два года; правительство приказывало устраивать на дорогах заставы с тем, чтобы не пропускать едущих из зараженных мест, но это мало помогало, так как всякого пропускали на веру, хотя за обман положена была в этом случае смертная казнь, как равно и за сообщение с зачумленными. По смерти зачумленных, сжигали их платье и постели; дворы, где случалась смертность, оставляли на морозе, а через две недели велели топить можжевельником и полынью, думая, что этим разгоняется зараза.

Война продолжалась успешно и в следующие годы. Польше, по-видимому, приходил конец. Вся Литва покорилась царю; Алексей Михайлович титуловался великим князем литовским; непрощеный союзник, шведский король Карл-Густав, завоевал все коронные польские земли. Вековая распря Руси с Польшею тогда разрешалась.

Польшу спасти можно было только перессоривши ее врагов между собою и склонивши одного из них к примирению с поляками. За это дело взялась Австрия, которая, как католическая держава, вовсе не хотела, чтобы католическая Польша сделалась добычею протестантов и схизматиков. Между царем и Швецией возникали уже недоразумения, и, еще до начала войны, московское правительство не могло быть довольно поведением шведского по отношению к самозванцу Тимошке Анкудинову.

Этот искатель приключений, родом из Вологды, московский подьячий, вздумал повторить старую историю самозванцев; вместе с товарищем своим Конюховским убежал он из Москвы в Литву, а оттуда в Константинополь и назвался Иваном, небывалым сыном царя Василия Шуйского. Не найдя помощи у турок, Тимошка ушел в Италию, был в Риме, прикидывался ревностным католиком. Но и в Италии ему не было удачи. Пошатавшись по разным землям, Тимошка Анкудинов пристал к Хмельницкому, проживал сначала в Чигирине, а потом в лубенском Мгарском монастыре, пользуясь тем покровительством, какое казаки оказывали всегда бродягам. В 1651 году Тимошка, из опасения, чтобы Хмельницкий его не выдал, оставил Малороссию и очутился в Стокгольме. Московское правительство узнало об этом и требовало от шведского выдачи самозванца, но безуспешно. Русский посланник Головин, посредством русских торговых людей, захватил было товарища Тимошки, Конюховского; но королева Христина приказала его выпустить. Через несколько времени другому русскому гонцу Чилищеву удалось поймать Конюховского в Ревеле и привезти в Москву, но Тимошку шведы укрыли; Тимошка ушел в Голштинию, и только тамошний герцог Фридрих приказал его выдать. Его четвертовали в Москве в конце 1653 года.

Другого рода недоразумения между Москвой и Швецией, поважнее прежних, возникли при Карле-Густаве, преемнике Христины. В то время, когда Алексей Михайлович считал себя полным обладателем Литвы и титуловался великим князем литовским, гетман литовский Януш Радзивилл отдался шведскому королю в подданство, а шведский король обещал возвратить ему и другим панам литовским их владения, уже занятые московскими войсками. Это сочтено было за покушение отнять у русских их достояние, приобретенное оружием, покушение, которое могло, как тогда казалось, повториться и в будущем. Кроме того, шведский полководец Делагарди, призывая литовцев к подданству шведскому королю, отзывался неуважительно о царе. В конце 1655 года в Москву приехал императорский посланник Алегретти, человек очень ловкий, родом рагузский славянин, знавший по-русски, прибыл, как видно, с придуманною заранее целью произвести раздор между Россией и Швецией.

В то время, в ноябре, царь возвратился из похода. Его въезд в Москву и на этот раз послужил поводом к торжеству. Патриарх, в сопровождении двух гостей: александрийского и антиохийского патриархов, с собором духовенства, со множеством образов, встречали царя, который шел пешком по городу в собольей шубе, с белою покрывкою без шапки, с

---

Звенигороде, Угличе, Суздале, Твери число умерших было менее оставшихся; в Костроме, Нижнем зараза свирепствовала также сильно.

одной стороны сопровождаемый сибирским царевичем, а с другой – боярином Ртищевым и предшествуемый множеством юношей, которые держали в руках листы бумаги и пели. Так государь, при колокольном звоне и выстрелах из пушек, отнятых у неприятеля, достиг лобного места и приказал спросить весь мир о здоровье. Вся густая толпа народа закричала «многие лета» государю и поверглась на землю.

В эти-то дни царского торжества ловкий императорский посланник подействовал на бояр и раздражил их против Швеции. Он представлял, что шведский король уже и тем показал свое нерасположение к царю, что напал на поляков в то время, когда царь воевал с ними. Алегретти вооружал русских бояр и против Хмельницкого, намекал, что рано или поздно Хмельницкий изменит и отдастся Швеции, потому что и теперь уже находится в приязни с шведским королем. От имени своего государя Алегретти предлагал свое посредничество в примирении с Польшею и, вместе с тем, делал замечание, что папа, цезарь, французский и испанский короли и все государи католической веры вступятся за единоверную Польшу, если придется спасти ее существование. Представившись государю 15 декабря, Алегретти, между прочими дарами, поднес ему миро Св. чудотворца Николая.

Наущения и советы Алегретти оказали действие: окольный Хитров и думный дьяк Алмаз Иванов, в переговорах с приехавшим польским послом Петром Галинским, дали обязательство, из уважения к просьбе императора Фердинанда, прекратить войну с Польшей, назначить съезд для мирных переговоров и объявить войну Швеции, если шведский король будет нарушать мирный договор. Шведский посол Густав Бельке с товарищами с конца 1655 по 1656 год жил в Москве безвыездно, стараясь устранить недоразумения; но бояре с своей стороны придирались к нему всеми способами, с явным намерением довести дело до войны, упрекали короля за принятие литовских городов, доставшихся царю, за сношения с казаками будто с целью отвлечь их от царя и привлечь в подданство Швеции и пр. В мае 1656 года в Москве стали умышленно стеснять шведское посольство и держать как в плену, а наконец 17 числа объявили, что мирное докончание нарушено с шведской стороны. Царя Алексея Михайловича более всего расположило к войне с Швецией то, что и патриарх Никон был за эту войну из вражды к протестантству.

Война с Швецией началась удачно в Ливонии; русские взяли Динабург, переименовавши его в Борисоглебов, взяли Кокенгаузен и переименовали его в Царевичев-Димитриев; взяли, наконец, Дерпт, но не могли взять Риги, потерпели поражение и после двухмесячной осады, при которой находился сам царь, удалились из Ливонии. Между тем в Вильне еще с июня начались переговоры с Польшей. Московские политики думали, что теперь путем переговоров можно с Польшей сделать все, что угодно; от царского имени велено было разослать по Литве грамоту о собрании сеймиков, на которых, при рассуждении о делах, иметь в виду, что царь не уступит великого княжества литовского, и стараться непременно, чтобы, после Яна Казимира, избран был польским королем московский государь или его сын. С такими требованиями явились на виленский съезд московские послы – князь Никита Иванович Одоевский с товарищами. Цезарский посланник Алегретти был на этом съезде в качестве посредника и оказался совершенно на стороне Польши; он отклонял поляков от избрания царя. Поляки со своей стороны стали смелее, когда увидели, что их враги поссорились между собою. Наконец, в октябре, виленская комиссия постановила договор, по которому поляки обещали добровольно избрать Алексея Михайловича на польский престол, а царь обещал возвратить земли, отлученные от Речи Посполитой, кроме тех, которые прежде принадлежали московским государям. Ничто не могло быть неразумнее этого договора: Московское государство разом лишало себя того, что уже было в его руках. Поляки никогда не думали искренно избирать московского государя на свой престол: московский государь и шведский король перестали быть им страшны в той мере, как прежде; вдобавок виленский договор произвел разлад между Москвою и Малороссиею. Сам Хмельницкий, хотя не отпал совершенно от царя, но был так сильно огорчен и раздражен, что умер от огорчения. В Малороссии распространилось недоверие к московскому правительству. Виленский договор не мог иметь силы: прежде чем он был утвержден

сеймом, поляки умышленно тянули окончание этого дела, пока наконец в сентябре 1659 года преемник Хмельницкого, Выговский, заключил договор с Польшей в ущерб Москве. Надеясь теперь снова прибрать казаков в руки, поляки перестали уже манить московского царя лестными обещаниями. Комиссары с обеих сторон снова съехались в Вильне, толковали о мире, но соглашались мириться с Москвою не иначе, как только на основании поляновского договора, и в то же время польские войска начали неприязненные отношения против русских.

В литовских областях эта война сначала пошла неудачно для поляков. Князь Юрий Долгорукий победил и взял литовского гетмана Гонсевского. Затем и в Малороссии дела пошли не «на пользу полякам». Выговскому хотя и удалось было, при помощи крымцев, разбить московское войско под Конотопом, но народ малорусский не разделял планов Выговского и его соумышленников, прогнал Выговского и избрал нового гетмана Юрия Хмельницкого на условиях повиновения московскому государю. То было в 1659 году, но с 1660 года начались несчастья для Московского государства с двух сторон. В Литве московский военачальник, князь Иван Хованский, 18 июня был поражен наголову, потерял весь обоз и множество пленных. Литовские города, находившиеся уже в руках московских воевод, один за другим сдавались королю. Сам Ян Казимир осадил Вильну: тамошний царский воевода князь Данило Мышецкий решил лучше погибнуть, чем сдать, но был выдан своими и казнен королем за жестокости, как повествуют поляки. Еще хуже шли дела в Малороссии: в октябре боярин Василий Васильевич Шереметьев был разбит, взят в плен поляками и изменнически отдан татарам. Современники поляки заявляли, что если бы тогда в польском войске была дисциплина и, вообще, если бы поляки действовали дружно, то не только отняли бы все завоеванное русскими, но покорили бы самую Москву.

Нелепая война с Швецией приостановилась еще в 1657 году. Сам Карл-Густав, через своих послов, задержанных в Москве перед объявлением войны, предлагал Алексею Михайловичу мир и соглашался титуловать его великим князем литовским, волынским и подольским. Московское правительство приостановило военные действия против шведов, но не вступало в переговоры с ними до весны 1658 года; наконец оно назначило для этой цели боярина князя Ивана Прозоровского и думного дворянина Афанасия Лаврентьевича Ордын-Нащокина. Последний был официально товарищем Прозоровского, но пользовался особенным доверием государя. Царь поручал ему лично вести все дело и сообщаться с ним тайно через приказ тайных дел. Русские послы более двух лет тянули дело. Они то спорили со шведскими послами о месте переговоров, то ссорились между собою. Нащокина не терпели ни его главный товарищ Прозоровский, ни воевода Хованский, которому надлежало с войском охранять посольский съезд: шведы также не любили Нащокина, потому что не надеялись от него уступчивости и считали его приверженцем поляков. Между тем шведский король Карл-Густав умер, а преемник его, Король Карл XI, в мае 1660 года поспешил заключить мир с Польшей в Оливе, по которому Польша уступила Швеции Ливонию. Понятно, что после того шведы стали неуступчивее, а военные дела Москвы с Польшей пошли как нельзя хуже для первой. Нащокин, по царской милости, уже не занимал второстепенного места в посольстве, но получил звание великого посла и начального воеводы. Он, однако, уклонился от дела, которое не могло быть окончено с пользою для государства, и боярин князь Иван Прозоровский, назначенный вновь главным послом, заключил в июне 1661 года вечный мир в Кардиссе (между Дерптом и Ревелем), по которому уступил Швеции взятые Московским государством города в Ливонии; затем отношения Москвы к Швеции возвратились к условиям Столбовского мира.

Война со Швецией не принесла никакой выгоды и, напротив, сбила Московское государство с того пути, по которому оно так удачно пошло было в деле векового спора за русские земли, захваченные Польшей.

Затруднения московского правительства не ограничивались одними военными неудачами. Внутри государства господствовало расстройство и истощение. Война требовала беспрестанного пополнения ратных сил; служилых людей то и дело собирали и отправляли

на войну; они разбегались; сельские жители разных ведомств постоянно поставляли даточных людей, и через то край лишался рабочих рук; народ был отягощаем налогами и повинностями; поселяне должны были возить для продовольствия ратным людям толокно, сухари, масло; торговые и промышленные люди были обложены десятою деньгою, а в 1662 году наложена на них пятая деньга. Налоги эти производились таким образом: в посадах воеводы собирали сходку, которая избирала из своей среды своих окладчиков; эти окладчики окладывали прежде самих себя, потом всех посадских по их промыслам, сообразно сказкам, подаваемым самими окладываемыми лицами; причем происходили нескончаемые споры и доносы друг на друга. Тяжела была эта пятая деньга, но финансовая проделка, к которой прибегло правительство, думая поправить денежные дела, произвела окончательное расстройство. Правительство, желая скопить как можно более серебра для военных издержек, приказало всеми силами собирать в казну ходячие серебряные деньги и выпустить на место их медные копейки, денюжки, грошовики и полтинники. Чтобы привлечь к себе все серебро, велено было собирать недоимки прошлых лет, а равно десятую и потом пятую деньгу, не иначе, как серебряными деньгами, ратным же людям платить медью. Вместе с тем правительство издало распоряжение, чтобы никто не смел подымать цену на товары и чтобы медные деньги ходили по той же цене, как и серебряные. Но это оказалось невозможным. Стали на медные деньги скупать серебряные и прятать их; этим подняли цену серебра, а затем поднялась цена и на все товары. Служилые люди, получая жалованье медью, должны были покупать себе продовольствие по дорогой цене. Кроме того, легкость производства медной монеты тотчас искусила многих: головы и целовальники из торговых людей, которым был поручен надзор за производством денег, привозили на денежный двор свою собственную медь и делали из нее деньги; сверх того, денежные мастера, служившие на денежном дворе, всякие оловянщики, серебряники, медники, делали тайно деньги у себя в погребах и выпускали в народ; таким образом медных денег делалось больше, чем было нужно. В одной Москве было выпущено поддельной монеты на 620000 рублей. Медные деньги были пущены в ход в 1658 году, и по первое марта 1660 года дошли до того, что на рубль серебряных денег нужно было прибавить десять алтын; к концу этого года прибавочная цена дошла до 26 алтын 4 деньги; в марте 1661 года за рубль серебряных денег давали два рубля медью, а летом 1662 возвысилась ценность серебряного рубля до 8 рублей медных. Правительство казнило нескольких делателей медной монеты: им отсекали руки и прибавали к стене денежного двора, заливали расплавленным оловом горло. Но тут распространился слух, что царский тесть Милославский и любимец Матюшкин брали взятки с преступников и выпускали их на волю. По Москве стали ходить подметные письма; их прибавали к воротам и стенам. 25-го июля, когда царь был в Коломенском селе, в Москве в этот день на лобном месте собралось тысяч пять народу. Стали читать во всеуслышание подметные письма. Толпа закричала: «Идти к царю требовать, чтобы царь выдал виновных бояр на убиение!» Бывшие в Москве бояре поспешно дали знать царю. Одна часть народа бросилась грабить в Москве дома ненавистных для них людей, другая еще большею толпою двинулась в село Коломенское, но без всякого оружия. Царь был у обедни. Когда к нему пришла весть о московской смуте, он приказал Милославскому и Матюшкину спрятаться у царицы, а сам оставался на богослужении до конца. Выходя из церкви, он встретил толпу, которая бежала к нему с криком и требовала выдачи тестя и любимца. Царь ласково стал уговаривать москвичей и обещал учинить сыск. «А чему нам верить?» – кричали мятежники и хватили царя за пуговицы. Царь обещался им Богом и дал им на своем слове руку. Тогда один из толпы ударил с царем по рукам, и все спокойно вернулись обратно в Москву. Немедленно царь отправил в столицу князя Ивана Андреевича Хованского, велел уговаривать народ и обещал приехать в тот же день в Москву для розыска. В это время москвичи ограбили дом гостя Шорина, который тогда собирал со всего Московского государства пятую деньгу на жалованье ратным людям и через то опротивел народу. Гостя не было тогда в Москве: мятежники схватили его пятнадцатилетнего сына, который оделся было в крестьянское платье и хотел убежать. Приехал Хованский, стал уговаривать толпу.

Москвичи закричали: «Ты, Хованский, человек добрый, нам до тебя дела нет! Пусть царь выдаст изменников своих бояр». Хованский отправился назад к царю, а вслед за ним толпа, подхвативши молодого Шорина, бросилась из города в Коломенское. Мятежники страхом принудили молодого Шорина говорить на своего отца, будто он уехал в Польшу с боярскими письмами. Бояре Федор Федорович Куракин с товарищами, которым была поручена Москва, выпустивши из города эту толпу, приказали запереть Москву со всех сторон, послали стрельцов останавливать грабеж и наловили до 200 человек грабителей, а потом отправили в Коломенское до трех тысяч стрельцов и солдат для охранения царя.

Толпа, вышедшая из Москвы с Шориным, встретилась с той толпою, которая возвращалась от царя, и уговорила последнюю снова идти к царю. Мятежники ворвались на царский двор; царица с детьми сидела запершись и была в большом страхе. Царь в это время садился на лошадь, собираясь ехать в Москву. Нахлынувшая в царский двор толпа поставила перед царем Шорина, и несчастный мальчик из страха начал наговаривать на своего отца и на бояр. Царь, в угождение народу, приказал взять его под стражу и сказал, что тотчас едет в Москву для сыску. Мятежники сердито закричали: «Если нам добром не отдашь бояр, то мы сами их возьмем по своему обычаю!» Но в это время царь, видя, что к нему на помощь идут стрельцы из Москвы, закричал окружавшим его придворным и стрельцам: «Ловите и бейте этих бунтовщиков!» У москвичей не было в руках никакого оружия. Они все разбежались. Человек до ста в поспешном бегстве утонуло в Москве-реке; много было перебито. Московские жители всяких чинов, как служилые, так и торговые, не приставшие к этому мятежу, отправили к царю челобитную, чтобы воров переловить и казнить. Царь в тот же день приказал повесить до 150 человек близ Коломенского села; других подвергли пытке, а потом отсекали им руки и ноги. Менее виновных били кнутом и клеймили разженным железом буквою «б» (т.е. бунтовщик). Последних сослали на вечное жительство с семьями в Сибирь, Астрахань и Терк (город, уже не существующий на реке Тереке). На другой день прибыл царь в Москву и приказал по всей Москве на воротах повесить тех воров, которые грабили дома. По розыску оказалось, что толпа мятежников состояла из мелких торгашей, боярских холопов, разного рода гулящих людей и отчасти служилых, именно рейтар. В числе виновных пострадали и невинные. Медные деньги продолжали еще быть в обращении целый год, пока наконец дошло до того, что за рубль серебряный давали 15 рублей медных. Тогда правительство уничтожило медные деньги и опять были пущены в ход серебряные.

Понятно, что при таких настроениях, охватывавших все стороны общественной жизни, желанием правительства было помириться с Польшею во что бы то ни стало. Первая попытка к этому была сделана еще в марте 1662 года; но польские сенаторы надменно отвечали, что мира не может быть иначе, как на основании Поляновского договора. Тяжело было на это решиться, – потерять плоды многолетних усилий, отдать снова в рабство Польше Малороссию и потерпеть крайнее унижение. Но и противной стороне не во всем была удача. В 1664 г. король Ян-Казимир попытался было отвоевать Малороссию левого берега Днепра, и не успел, потерпевши поражение под Глуховым. В Малороссии происходили междоусобия и неурядица, но полякам все-таки было мало на нее надежды. Московские ратные люди, правда, успели своими насилиями и бесчинством поселить раздражение против великоруссов, а безрассудное поведение московского правительства заставляло все более и более терять к нему доверие, но тем не менее малороссийский народ считал польское владычество самым ужасным для себя бедствием и отвращался от него с ожесточением. Поляки не в силах были сладить с казаками одни, и если бы московское правительство уступило всю Малороссию Польше, то последней удержать ее за собою не было бы возможности. Это-то обстоятельство заставляло поляков, несмотря на упоение своими успехами, быть податливее на московские предложения. Королевский посланник Венцлавский договорился в Москве с Ордын-Нащокиным устроить съезд послов. С московской стороны были назначены: князь Никита Иванович Одоевский, князя боярин Юрий и окольный Димитрий Алексеевич Долгорукий; к ним приданы были думные дворяне, в числе которых были Афанасий Лаврентьевич Ордын-Нащокин и дьяк Алмаз



Иванов. С польской стороны были комиссары; коронный канцлер Пражмовский и гетман Потоцкий. Душою этого важного начинавшегося дела был Ордын-Нащокин.

Этот человек еще прежде был расположен к Польше, он отчасти проникся польским духом, с увлечением смотрел на превосходство Запада и с презрением отзывался о московских обычаях. Был у него сын Воин. Отец поручил его воспитание польским пленникам, и плодом такого воспитания было то, что молодой Ордын-Нащокин, получивши от царя поручение к отцу с важными бумагами и деньгами, ушел в Польшу, а оттуда во Францию. Поступок был ужасный по духу того времени: отец мог ожидать для себя жестокой опалы, но Алексей Михайлович сам написал ему дружеское письмо, всячески утешал в постигшем его горе и даже к самому преступнику, сыну его, относился снисходительно: «Он человек молодой, – писал царь, – хочет создание Владычне и руку его видеть на сем свете, яко же и птица летает семо и овамо и, полетав довольно, паки к гнезду своему прилетит. Так и сын ваш воспомянет гнездо свое телесное, наипаче же душевное привязание ко св. купели, и к вам скоро возвратится». Афанасий Нащокин был столько же привязан к Польше, сколько предубежден против Швеции. Он считал шведов естественными, закоренелыми врагами Руси и, напротив, союз с Польшею самым спасительным делом. Явно находясь под влиянием поляков, он повторял царю то, что много раз высказывали поляки: что Московское государство, в союзе с Польшей, может сделаться страшным для басурман. Нащокин не терпел казаков и советовал прямо возвратить Малороссию Польше. На первый раз благочестивый царь возмущился мыслью об отдаче Польше казаков и, отправляя посольство из Москвы, только в крайнем случае соглашался сделать Днепр границею между Польшею и Московским государством.

Начались съезды уполномоченных; они то прерывались, то опять возобновлялись. Московские послы предлагали то одно, то другое; польские стояли на одном, чтобы не уступать ни пяди земли. Заключили только перемирие до июня 1665 года. По истечении его, переговоры были отложены до мая 1666 года и начались в это время в деревне Андрусове над рекою Городнею. На этот раз Нащокин был уже главным послом. Сын его Воин возвратился из-за границы, и, по просьбе отца, царь простил его: так любил царь Афанасия Нащокина. Оказалось, что заключить так называемый вечный мир, как сперва предполагалось, было слишком трудно. Мешали этому главным образом казаки, потому что не хотели ни за что идти под власть Польши, не прекращали военных действий против поляков и, по заключении мира, скоро втянули бы в войну обе державы. Притом же Московскому государству, после недавних успехов, было слишком тяжело отречься на вечные времена от прав на русские земли. Царь решительно был против этого.

В конце переговоров сильно спорили за Киев; Нащокин убеждал царя уступить и Киев. Он смотрел на него не более, как на порубежный город, указывал, что в данное время в Московском государстве уменьшились доходы, нечем давать жалованье ратным людям; денег мало; турки и татары угрожают овладеть Малороссиею, а на верность казаков нельзя полагаться. Когда наконец в исходе 1666 года Нащокин известил, что если не будет заключено перемирие, то польские войска войдут в смоленский уезд, царь согласился на уступки. В это время заднепровский казацкий гетман Дорошенко, напрасно хлопотавший перед царем, чтобы не допустить русских до примирения с Польшею, призвал татар и начал ожесточенную борьбу с поляками. Татары разорили польские области и увели до 100000 пленных. Это событие было признано польскими комиссарами за главное препятствие к вечному миру. Они боялись, что если будет заключен вечный мир, то это озлобит турок и татар. 12 января 1667 г. заключено было перемирие на 13 лет до июня 1680 года. Днепр назначен был границею между русскими и польскими владениями; Киев оставлен за Россиею только на два года, а на удовлетворение шляхте, разоренной казаками, царь обещал миллион злотых. Когда потом в Москве утверждалось это перемирие, Нащокин и польские послы пришли обоюдно к сознанию необходимости обоим государям, русскому и польскому, общими силами усмирить казаков. Нащокин ненавидел их потому, что считал их беспокойными мятежниками. Такой взгляд совпадал с теми понятиями, какие человек этот

составил себе о государственных порядках. Он с презрением отзывался о голландцах, называл их мужиками и, услышавши, что французский и датский короли соединились с голландцами против Англии, называл их безрассудными, именно за то, что вступают в союз с республиканцами. «Надобно бы, говорил он, – соединиться всем европейским государям, чтобы уничтожить все республики, которые есть не что иное, как матери ересей и бунтов».

Андрусовский мир считался в свое время успехом. Действительно, Россия приобрела то, чем владела до смутного времени, и даже несколько более; но эти приобретения были слишком ничтожны, сравнительно с потерей нравственного значения государства. Достигши цели стремления многих веков, овладевши почти добровольно теми древними областями, где начиналась и развивалась русская жизнь, потерять все это – было большою утратою и унижением. Андрусовский договор носил в себе зародыш тяжелых бедствий, кровопролитий и народных страданий на будущие времена. Несчастливая Малороссия испытала прежде всего его пагубное влияние. Эта страна, выбившись с такими усилиями из-под чуждой власти, соединившись добровольно с другой половиною Руси и, несмотря на жестокую борьбу с поляками, стоившую ей много крови, еще довольно населенная и в некоторых местностях цветущая, ни за что не желала возвращаться под власть поляков и потерпела такое опустошение, что через несколько лет плодоносные поля ее, начиная от Днепра до Днестра, представлялись совершенно безлюдною пустынею, где только развалины людских поселений да человеческие кости указывали, что она была обитаема. Сама Польша только временно и по наружности выигрывала, а не на самом деле, как показали события. Все это, однако, было последствием не столько самого Андрусовского договора, сколько тех прежних ошибок, которые привели к необходимости заключить Андрусовский договор. В истории, как в жизни, раз сделанный промах влечет за собою ряд других и испорченное в несколько месяцев и годов исправляется целыми веками. Богдан Хмельницкий предвидел это, сходя в могилу, когда московская политика не хотела слушать его советов.

Война отразилась многими изменениями во внутреннем порядке. Это время было замечательно, между прочим, тем, что тогда умножилось число вотчин и земля более и более стала делаться наследственной частною собственностью. Обыкновенная царская награда служилым людям за их воинские заслуги состояла в обращении их поместной земли в вотчинную; впрочем, это делалось так, что в награду обращалась в вотчину только часть поместной земли.<sup>50</sup>

Скудость средств для ведения войны заставила прибегать к усиленным и ненавистным путям приобретения. В 1663 году возобновлены были снова винные откупы. Горячие напитки продавались в государстве двумя способами: на веру и с откупа. Дело винной продажи чаще всего соединялось с таможенным делом, и там, где продажа вина и таможенные сборы были «на веру» – то и другое поверялось назначаемым от правительства таможенным и кружечным головам и выборным целовальникам при них. Должности эти были до крайности затруднительны и разорительны для тех, на кого возлагались, потому что головы и целовальники, находя таможеню и кружечный двор в расстройстве, должны были заводить на свой счет всякого рода материал. Правительство требовало, чтобы как можно более доставлялось доходов, и, в случае недобора, им приходилось доплачивать в казну и из собственного состояния. Для увеличения доходов от вина, правительство приказывало смешивать плохое вино с хорошим, «лишь бы казне было прибыльнее», и стараться, чтобы к концу года был выпит весь наличный запас вина. Кроме того, таможенным головам и целовальникам запрещалась всякая другая торговля во время исполнения своей должности. Неудивительно, что эти блюстители царской выгоды пополняли свои убытки всевозможными злоупотреблениями. Таможенные и кружечные сборы отдавались на откуп в приказах «с наддачею», т.е. тому, кто больше дает, иногда компании торговых людей, а иногда целому посаду. Кружечные дворы были, собственно, в посадах, а в селах и деревнях учреждались временные «торжки», куда таможенные головы посылали особых

---

<sup>50</sup> Боярам по 500, окольных по 300, думным боярам по 250, думным дьякам по 200, а прочим со 100 четей по 20 четей, а в дву потому ж.

целовальников для торговли. В 1666 году начали появляться и в селах постоянные кабаки. Они утаивали в свою пользу все, что получали сверх оклада, занимались тайно торговлею, вопреки запрещению пропускали беспошлинно одних торговых людей по свойству, по дружбе, а более всего за посулы, другим же торговцам причиняли ущерб и разорения своими придирами. В особенности предлогом к придирам и задержкам служило подозрение в торговле заповедными товарами, как, например, табаком. За покушение торговать табаком и даже за следы существования этого зелья бралась в это время огромная пеня.

Стараясь ухватиться за всякую меру увеличения казенного дохода, правительство осталось глухо к убеждениям посланника английского короля Карла II, графа Карлейля, который от имени своего государя просил о возобновлении привилегий английской компании и расточал множество доводов в подтверждение мысли, что беспошлинная торговля принесет обогащение и московской казне и народу; Карлейль уехал ни с чем: англичане были сравнены с прочими иноземцами. В этом случае правительство делало угодное московским гостям и вообще крупным торговцам, которые и прежде не терпели привилегий, даваемых иноземцам, тогда как, напротив, мелким торговцам эти привилегии были выгодны, потому что доставляли возможность непосредственно торговать с иноземцами и тем освобождали их от зависимости, в которой иначе они находились бы у русских крупных торговцев. Правительство, нуждаясь в деньгах, в это время до того мирволило интересам крупных торговцев, доставлявших ему деньги, что во Пскове согласилось было даже на возобновление выборного самоуправления, устроенного в выгодах крупных торговцев. С 1665 года, по ходатайству бывшего тогда во Пскове воеводою Афанасия Ордын-Нащокина (который по своей любви к иноземщине склонен был к порядкам, смахивавшим на магдебургское право), правительство положило учредить выборное начальство из пятнадцати членов, из которых пять управляли бы погодно; с этим вместе вводилась свободная продажа питей, с платежом в казну оброка, и беспошлинная торговля с иноземцами на два двухнедельных срока в год. Хотя мера эта, как говорилось, предпринималась с целью оградить маломочных людей от сильных, но такая цель не только не могла быть достигнута, а была противоположна смыслу устава, по которому правление сосредотачивалось в руках этих сильных людей, маломочным же людям не дозволялось вступать в прямые сношения с иноземцами: им оставлялось только право служить комиссионерами у русских крупных торговцев для скупки русских товаров, которые будут переходить в руки иноземцев не иначе, как от крупных торговцев. Вскоре место Нащокина во Пскове занял враг его, Хованский; маломочные люди подали последнему челобитную, доказывая, что новое правление, выдуманное при Нащокине, будет выгодно только для лучших людей и не принесет пользы казне. Все затеи псковских лучших людей, покровительствуемых Нащокиным, были уничтожены; продажу вина велено производить с откупа; все управление осталось опять в руках воевод и дьяков, со всеми вопиющими злоупотреблениями, свойственными тогда этого рода управлению в России.

Скудость казны побуждала правительство к стеснению торговли. В 1666 году прежняя рублевая пошлина заменена двойною (по 20 денег с рубля), но в 1667 издан был новый торговый устав, по которому возобновлена прежняя десятая пошлина с разными видоизменениями.<sup>51</sup> Тогда, по челобитью торговых людей, установлены в Москве и в порубежных городах особые головы и целовальники по торговым делам, независимые от таможенных голов. Понятно, что торговля стеснялась тем, что купцы, разъезжая с товарами, много раз подвергались задержанию, осмотру и разным платежам. Правительство старалось как можно более привлечь в казну золотой и серебряной монеты и приказывало собирать с иноземных купцов пошлину золотыми, считая каждый золотой в рубль, и ефимками

---

<sup>51</sup> Так, русские и иноземцы в Архангельске платили с весомых товаров 10 денег, а с невесомых и с монеты 8 денег. За продажу соли везде брали 20 денег. Сахар и вино подлежали особой возвышенной пошлине. Иноземцы, торговавшие внутри России, платили 12 денег, да, кроме того, проезжих пошлин 20 денег. Иноземцы, под страхом отобрания товаров, не смели торговать с иноземцами русскими товарами и, приезжая в русский город, могли вести торговлю только с купцами этого города.

(серебряные монеты), считая ефимок в полтину, а потом приказывало прикладывать к ефимкам штемпели и пускало их в обращение по рублю. С тех иноземцев, которые покупали русские товары на чистые деньги, не бралось вовсе пошлин. В видах скопления в казенное достояние всякого рода драгоценных металлов, запрещалось людям низкого состояния покупать золотые вещи, под благовидным предлогом, чтобы не дать им промотаться.

Правительство обращало тогда внимание на торговлю с Персией, главным образом оттого, что через эту страну можно было получать из Индии драгоценные камни, жемчуг, золото и разные редкости, так называемые узорочные товары; но торговля эта для русских купцов была очень затруднительна, так как на пути они подвергались грабёжам, в особенности в Шемахе и Тарках. В 1667 году армянин Григорий Усиков, член армянской компании в Персии, при посредстве Ордын-Нащокина, заключил договор, по которому компании, с платежом пошлин пяти денег с рубля, было дано право торговать в Астрахани, Москве, Архангельске и ездить за границу. Договор этот важен был потому, что повлек за собою постройку первого русского корабля с целью плавания по Каспийскому морю.<sup>52</sup> Постройка его производилась в селе Дедилове Яковом Полуектовым с большими препятствиями: Полуектов с трудом мог найти рабочих, жаловался на их неисправность, а они жаловались на то, что он их бьет и морит голодом. Корабль, однако, был изготовлен, назван Орлом и спущен в 1669 году на Оку, а потом на Волгу. Одновременно с Орлом построена была яхта, два шенска и бот. Постройка Орла обошлась в 2021 рубль, а капитаном его назначен голландец Давид Бутлер. Все матросы на нем были иноземцы. Этим не ограничивались: хотели построить еще суда с целью плавания по морю. Но Стенька Разин сжег первый русский корабль.

Планы армянской компании после того пошатнулись. Между тем гости и торговые люди, у которых правительство просило совета, были против дозволения торговать армянам с иностранцами. Армянам дозволили только продавать шелк в казну. Русским не позволяли ездить в Персию, а персиянам дозволили торговать только в одной Астрахани.

Одновременно с собиранием в казну серебряной и золотой монеты правительство старалось об отыскании в своем государстве всякого рода руды, особенно серебряной. В 1659 году приказано было в Сибири кликать через биричей, чтобы всяк, кто ведает где-нибудь по рекам золотую, серебряную и медную руды и слюдные горы, приходил бы в съезжую избу и доносил об этом воеводе. По этим кликам было несколько заявлений, которые, однако, не привели к важным последствиям. Сибирским удальцам, отправлявшимся для отыскания новых земель, давался наказ высматривать: нет ли где серебряной и золотой руды. Правительство также думало найти ее на северо-востоке европейской России в Пустозерском уезде. Тамошние жители обязаны были искать руду, и это было для них до крайности затруднительно, потому что они должны были бороться с большими препятствиями, а добиться чего-либо не могли, потому что были неискусны и несведущи в этом деле.<sup>53</sup>

Медь добывалась близ Соликамска и доставлялась в казну по два и по три рубля за пуд, а продавалась из казны на месте добывания частным лицам по четыре с полтиною, но, по своему малому количеству, не приносила большого дохода. В конце царствования Алексея Михайловича найдена была медная руда около Олонца и на реках, впадающих в Мезень.<sup>54</sup> Обработка железа производилась на юг от Москвы, близ Тулы и Каширы. Один из самых

---

<sup>52</sup> Русские хотели было прежде завести флот на Балтийском море, в курляндской земле, для торговых целей; но курляндцы отклонили русских от этого намерения.

<sup>53</sup> Сам царь Алексей Михайлович очень любил золотые и серебряные вещи и часто проводил время в рассматривании работ серебряников и ювелиров. Обычай наших предков украшать образа окладами развил серебряное мастерство в разных видах, но в это время царь приказал лучших из мастеров выбирать в приказ золотого и серебряного дела на вечную службу, и вообще старался скупать в казну такого рода работы. За неимением своих драгоценных металлов, золото и драгоценные камни привозили в Россию из-за границы, между прочим, с востока греки, персияне и армяне.

<sup>54</sup> Правительство давало на обработку этой руды привилегии: нидерландцу Иовису и Петру Марселису с условием выписать мастеров из Дании.

больших заводов принадлежал Петру Марселису: его работы производились на тридцати верстах между Серпуховым и Тулою. Другой завод на реке Протве за 90 верст от Москвы по калужской дороге находился в заведывании Акемы. Заводчики имели свои привилегии и приписные села. На заводах выделялось полосовое, листовое и прутовое железо, якори, гвозди, мельничные снаряды, двери, ставни, ступы, ядра. У Марселиса делались и пушки. Величайшее затруднение этих заводчиков состояло в том, что трудно было достать мастеровых, и вообще работники обходились очень дорого.<sup>55</sup>

Крестьяне во времена войн Алексея Михайловича находились в утесненном положении, так как владельцы, нуждаясь в издержках по поводу военной службы, старались доставлять себе через их работу более доходов. Тогда крестьяне еще более потеряли свои права и уравнивались с холопами. Прежде запрещено было брать крестьян во двор, но теперь вошли в обычай такие случаи. Когда помещик уклонялся от службы и не могли его отыскать, то брали его крестьян и держали в тюрьме. Когда давалась вотчина, то вотчинник ничем не был связан по отношению к крестьянам: не было постановлено никаких твердых правил, ограничивающих произвол владельцев; напротив того, крестьянам вменялось в долг делать все, что прикажет помещик, и платить все, чем он их изоборчит.<sup>56</sup> В боярских вотчинах еще существовали в это время выборные старосты и целовальники по давнему обычаю, но над ними выше стоял приказчик, назначенный от владельца. Находясь в полном повиновении у владельца, крестьяне должны были иногда исполнять, по их повелению, и незаконные дела; так вотчинные и помещичьи крестьяне, по приказанию господина, нападали на крестьян другого владельца, с которым их господин был в ссоре.

Эти явления совпадали с произволом, господствовавшим во всем и повсюду. Сильнейший давил слабейшего; низший исполнял незаконные приказания высшего. Служилые люди, по повелению воевод, делали всевозможные насилия посадским и крестьянам.

Неудивительно, что при такой неурядице разбои были постоянным явлением. В 1655 году правительство, не в силах будучи справиться со множеством воров и разбойников, решилось объявить им всем прощение, если они принесут покаяние и перестанут совершать преступления. Эта кроткая мера, естественно, не могла привести к желаемому успеху, так как не прекращались причины, побуждавшие к побегам и разбоям. Через два года, в 1657 году, грабежи, убийства, поджоги усилились до такой степени, что правительство разослало сыщиков из дворян ловить разбойников, которые были большею частью из беглых крестьян и прежде всего обращали свои злодеяния на господ. Сыщики, гонявшиеся за беглыми с отрядами стрельцов, пушкарей и собранных волостных людей, были вместе и судьями, казнили смертью обвиненных и тут же пользовались своею властью для обдирательства народа. Не говоря уже о том, что они отягощали жителей доставкой себе лошадей, пищи, питья, сторожей, они, подобно воеводам, нередко научали ябедников или пойманных ими преступников клеветать то на того, то на другого в участии в разбоях или в пристанодержательстве разбойников, чтобы потом притянуть оклеветанных к делу и обирать их. Само собою разумеется, от такого обращения только усиливалось бродяжничество,

---

<sup>55</sup> Надзиратель за работами получал 300 рублей в год, мастер с пуда алтын, простой рабочий две копейки с пуда, а кочегар деньгу. Дрова обходились по 14 к. за квадратную сажень.

<sup>56</sup> Крестьяне, бывшие на издельной работе, по-прежнему разделялись на выти, полагая обыкновенно в выти по две десятины в каждом поле. Эту господскую землю должны были они обработать, убрать хлеб, связать в снопы, собрать в копны, которые назывались сотницами и записывались приказщиками в ужинные книги. В других местах вместо господской работы брали в пользу господина выдельный хлеб пятый, шестой или четвертый сноп. Кроме того, владелец облагал крестьян многими мелкими поборами. Иные обрабатывали у помещиков землю на условиях половины, четверти и т.п. Такие условия заключались обыкновенно с нетяглыми гулящими людьми. До какой степени было скудно население, видно из того, что в 44 деревнях и 23 починках на северо-востоке России было сто крестьянских дворов и 106 чел. крестьян. Это, однако, не было повсеместным правилом. Напр., в Хлыновском уезде: 53 деревни и 44 починка, дворов 133, людей 714 или: 103 деревни, 209 дворов, 1055 чел. крест.

которое правительство хотело искоренить. Военные обстоятельства тысяча шестьсот шестидесятых годов прибавляли к числу беглых людей множество ратных, ушедших со службы. Поимка беглых и борьба с разбойниками усиливалась с каждым годом; правительство то и дело, что посылало то в тот, то в другой край сыщиков ловить посадских, черносозных, вотчинных крестьян, служилых людей, наказывать их и отправлять на места жительства, а разбойников вешать. За всяким таким сыском следовали новые беспорядки. Разбойничьи шайки становились все многочисленнее и смелее; народ делался все недовольнее, и таким образом подготавливалась почва для страшного бунта Стеньки Разина, нанесшего такое потрясение в конце царствования Алексея Михайловича.

Это событие, возмущившее государство, стоило много крови; произведено было много бесчеловечных казней. Правительство, – силу которого составляли бояре, воеводы, дьяки служилые и приказные люди, – вышло с победою из борьбы с черным народом, потерявшим терпение. Но оно не воспользовалось этим уроком для народной пользы. Только служилые и приказные люди получили свои выгоды и награды за службу во время мятежа. Управление по-прежнему оставалось в руках воевод и приказных людей: они могли брать посулы и поминки, делать всякого рода насилия и ускользать от наказания. Соблюдалась более всего форма, особенно, когда дело касалось имени государя.<sup>57</sup> Страх за царскую безопасность или честь стал еще более предметом заботливости, и в это время последовало запрещение ездить в Кремль мимо царского дворца. Ужасное «государево слово и дело» получало более силы после каждого народного волнения.

Польский король Ян Казимир отказался от престола еще в 1668 году. В Польше образовалась партия, желавшая избрания сына Алексея Михайловича, царевича Алексея Алексеевича. Нащокин, имевший по-прежнему большое влияние на государя, отговорил его посылать в Польшу послов для этой цели, представивши, что русский государь потратит напрасно много денег, а избрание не состоится. На польский престол избрали Михаила Корибута Вишневецкого. Малороссия никак не могла успокоиться; гетман Дорошенко всеми силами сопротивлялся Андрусовскому договору 1667 года, делившему Малороссию на две половины между Россией и Польшею: Киев не мог быть отдан России вовремя Польше. Это повлекло к новым переговорам в 1670 году. После нескольких предварительных съездов Нащокин подтвердил Андрусовский договор в Мигновичах. Вопрос о сдаче Киева Польше оставили нерешенным. В конце 1671 года договор этот был подтвержден польскими послами в Москве: здесь уже главную роль играл боярин Артамон Сергеевич Матвеев. Нащокин уже сошел со сцены.<sup>58</sup> Русский государь обещал давать помощь полякам против турок, и гетман Дорошенко, не желая оставаться под властью Польши, готовился поднять силы турок и татар за Малороссию. Московское правительство заключило мирный договор и с Крымом: крымский хан обещался отпустить всех пленников, но бедный Шереметев был задержан и оставался в плену до уплаты большого выкупа в 30000 червонцев. Надеюсь, как видно, на

---

<sup>57</sup> Дьяк мог безнаказанно грабить и утеснять «сирот государевых», как назывались на деловом языке все неслужилые люди, но за малейшую ошибку или опisku в государевом титуле приказному человеку еще строже прежнего грозили батоги или, по крайней мере, выговор вроде следующего: «Ты, дьячишко, страдник, страднический сын и плутишко, ты не смотришь, что к нам, великому государю, в отписке писано непристойно; знатно пьешь и бражничает, и довелся ты жестокого наказания».

<sup>58</sup> После Андрусовского договора Нащокин вошел в чрезвычайную силу. Царь дал ему небывалый еще титул «Царственные большие печати и государственных великих посольских дел обергегателя». Самолюбивый до чрезвычайности, желчный и неуживчивый, Нащокин постоянно выставял себя перед царем единственно умным и способным человеком в государстве, бранил и унижал бояр и дьяков, вооружал против них царя и был всеми ненавидим. Он явно добивался, чтобы царь во всем слушал его одного, и постоянно играл роль сироты гонимого и обижаемого врагами, а между тем ворочал по своему усмотрению. Но такое могущество, при всеобщем раздражении против него других, близких к царю людей, не могло быть продолжительно. Царь сблизился с Матвеевым. Нащокин в 1671 году потерял место начальника посольского приказа, на которое назначен был Матвеев. Ближайшие причины этой перемены неизвестны, но, без сомнения, удаление Нащокина показывает, что он потерял доверие царя. Нащокин не помирился со своим падением и постригся в Кривецком монастыре близ Пскова, под именем Антоний.

мир с Крымом, правительство обратило внимание на заселение южной части государства, и в 1672 году состоялось замечательное постановление о раздаче духовным лицам и служилым людям «диких полей» в украинских областях. Но примирение с Крымом, дававшее надежду на спокойствие украинских земель, было непродолжительно. Смуты в Малороссии скоро привели Россию к военным действиям против турок и татар, когда Дорошенко призвал тех и других для противодействия разделу Малороссии, учиненному Польшею и Россиию.

Совокупные действия против турок и Дорошенка сдружили московское правительство с Польшею. В Варшаве стал жить постоянный русский посланник, резидент. Из Польши прислали в Москву такого же резидента. В конце 1673 года скончался польский король Михаил, и в Польше опять образовалась партия, состоявшая преимущественно из литовских панов (гетмана Паца, Огинского, Бростовского и др.), которая желала избрать на польский престол сына Алексея Михайловича – царевича Федора с условиями: принять католичество, вступить в брак со вдовою покойного Михаила, возвратить Польше все завоеванные земли и давать деньги Польше на войну против турок. Ближние царские бояре, Матвеев и Юрий Долгорукий, отвечали на это, что царь сам желает быть избранным в польские короли, но от принятия католичества отказывается. Такой ответ уничтожал планы соединения польской короны с московскою; и 8 мая 1674 года польский сейм выбрал в короли коронного гетмана Яна Собеского. Московское государство, связанное по договору обещанием войны против турок, продолжало и при этом короле оставаться в приязненных отношениях с Польшею.

Царь Алексей Михайлович, как мы уже не раз говорили, любивший всякий блеск, парадность, дорожил как своей славою, так и славою своего государства в чужих землях. Прием иноземных послов был для него большим праздником; любил он рассылать и своих послов в иноземные государства. В его царствование мы встречаем несколько посольств, отправляемых без особенной нужды и потому не имевших важных последствий. Так, еще в 1656 году стольник Чемоданов, отправленный в Венецию с целью попытаться занять денег, после многих приключений на море, испытанных на пути от Архангельска до Италии, прибыл случайно в Ливорно и вместо Венеции попал во Флоренцию. Тосканский герцог Фердинанд Медичи так отлично принял московское посольство, что царь посылал туда одно за другим еще два посольства (Лихачева и Желябужского). В 1667 году посылаем был в Испанию, а в следующем году во Францию стольник Петр Потемкин. Московский государь искал дружбы и союза с государями этих стран. Со своей стороны в Испании и Франции московскому посланнику делали мирные предложения, которые он не мог принять, не имея наказа. Таким образом, из этих посольств ровно ничего не вышло, кроме разве того, что царь Алексей Михайлович из рассказов посланников узнавал о порядках и обычаях далеких иноземных государств и само русское царство становилось известнее на западе.

Также бесплодно было и посольство к папе майора Менезиуса в 1674 году, отправленного для переговоров по поводу войны с турками. Папа Климент X ни за что не хотел дать Алексею Михайловичу царского титула, не зная, что этот титул, собственно, означает по смыслу западной дипломатии. С Персией Алексей Михайлович был постоянно в мирных и частых сношениях, хотя грузинские дела, набеги казаков на персидские берега и задержки русских купцов на пути в Персию возбуждали между двумя дворами некоторые недоразумения. В 1675 году царь отправлял посольство в отдаленную Индию искать дружбы одного из тамошних государей. В тот же год отправлен был переводчик посольского приказа, волох Николай Спафари, в Китай. Русские в Сибири, двигаясь к востоку, дошли наконец до пределов китайской империи. Возникли столкновения по поводу власти над берегами Амура, они повели к враждебным действиям с обеих сторон. Для прекращения столкновений, царь Алексей Михайлович отправил посольство в Китай, в надежде заключить договор. Спафари с большим трудом, при посредстве иезуитов, добился представления богдыхану, но выехал из Пекина ни с чем, даже без грамоты, и привез в Москву такое мнение о китайцах, «что в целом свете нет таких плутов, как китайцы».

1669 год был замечательно несчастлив для царского семейства. 2 марта скончалась царица Марья Ильинишна, родивши дочь, которая умерла через два дня после рождения.

Марья Ильинишна была очень любима за свой добрый нрав и готовность помогать людям во всякой беде. Вслед за ней через три месяца умер царевич Симеон, а через несколько месяцев другой царевич – Алексей. В это время царь, требовавший себе дружеского утешения, особенно сблизился с Матвеевым, который и прежде пользовался его благорасположением. Артамон Сергеевич был из немногих русских людей нового покроя, сознававший пользу просвещения, любивший чтение, ценивший искусство. Начальствуя посольским приказом, он обратил его некоторым образом в ученое учреждение. Под его руководством там переводились и составлялись книги: Василиологион – история древних царей, Мусы (музы), или семь свободных учений. Написана была также русская история под названием «Государственной большой книги» с приложением портретов государей и патриархов. При своей любознательности, чаще всякого другого находясь в обращении то с иноземцами, то с малороссиянами, Матвеев познакомился с иноземными обычаями, начал признавать превосходство их. К этому способствовала его семейная жизнь. Он был женат на иностранке из немецкой слободы, Гамильтон, шотландке по происхождению, принявшей при переходе в православную веру имя Авдотьи (Григорьевны). Матвеев служил в иноземных полках и сделан был рейтарским полковником. Он находился по жене в родстве с родом Нарышкиным: это были старинные рязанские дворяне, происходившие от одного крымского выходца в XV столетии. В XVII веке Нарышкины были наделены поместьями в Тарусе. Один из них, Федор Полуектович, был женат на племяннице жены Матвеева, также из рода Гамильтон и также в крещении названной Авдотьей (по отцу Петровной). Брат Федора, Кирилл Полуектович, стрелецкий голова, потом пожалованный в стольники (женатый на Анне Леонтьевне Леонтьевой), кроме сыновей, имел дочь Наталью, которая с одиннадцати или двенадцати лет воспитывалась в доме Матвеева и познакомилась с иноземными обычаями.

В конце 1669 года царь Алексей Михайлович возымел намерение вступить во второй брак и, по обычаю, велел собрать девиц на смотр. Много привозили их и увозили. В начале февраля 1670 года царю понравилась более всех Наталья Нарышкина, но царь продолжал смотреть девиц, в надежде найти еще покрасивее. В апреле, как видно, он колебался между Нарышкиной и Авдотьей Беляевой. Между тем против Нарышкиной и, главное, против Матвеева начались козни; боялись, чтобы брак с Нарышкиной не сделал всемогущим Матвеева, уже без того пользовавшегося доверием и любовью царя Алексея Михайловича. Подкинута была подметные письма с целью отклонить царя от брака. Подозрение в составлении этих писем пало на дядю Беляевой, Шихарева. Его обыскали, но не нашли ничего, кроме травы зверобоя, которою он лечился. В то время трав очень боялись, потому что с ними соединяли разные суеверия. Найденной травы было достаточно, чтобы подвергнуть несчастного ее хозяина пытке; от него не добились ничего. Выбор царя остановился на Нарышкиной; но свадьба почему-то была отложена. Так как у Алексея Михайловича были уже взрослые дочери почти одних лет с Натальей, то у них явилось нерасположение к будущей мачехе; притом же тетки царя, пожилые девы, богомольные хранительницы старых порядков, не терпели Матвеева и его родню за преданность иноземным обычаям. Это обстоятельство, вероятно, также способствовало замедлению брака, но не могло предотвратить его. 22 января 1671 года Алексей Михайлович сочетался с Натальей.

Опасения ревнителей старины были не напрасны. Алексей Михайлович, как натура увлекающаяся, способная вполне отдаться тем, кто в данное время был близок его сердцу, подчинился влиянию жены и Матвеева. Он называл Матвеева не иначе, как «другом», писал к нему такого рода письма: «Приезжай скорее, дети мои и я без тебя осиротели. За детьми присмотреть некому, а мне посоветовать без тебя не с кем». Матвеев, однако, вел себя с необыкновенным благоразумием и хотя официально управлял разом и посольским и малороссийским приказами, однако носил только звание думного дворянина. По желанию царя, Матвеев построил себе большие палаты у Никиты на Столпах и, сообразно своему вкусу, украсил их по-европейски картинами иностранных мастеров и мебелью в европейском



вкусе; даже в домово́й его церкви иконостас был сделан на итальянский образец. Он не держал взаперти ни своей жены, ни своих родственниц и воспитанниц. В его доме введена была музыка и даже устроен домашний театр, в котором играли немцы и его дворовые люди.

30 мая 1672 г. родился царевич Петр, будущий русский император. Матвеев и отец царицы Натальи были возведены в звание окольничьих. Царица Наталья получила еще более силы над царем. В противность прежним обычаям, она позволяла себе ездить в открытой карете и показывалась народу, к соблазну ревнителей старины, видевших в подобных явлениях приближение Антихриста. Алексей Михайлович до такой степени изменился, что допускал то, о чем и не смел бы подумать назад тому несколько лет, когда церковные ходы и царские выходы доставляли единственную пищу его врожденной страсти к художественности. Теперь, под влиянием Матвеева и жены, у царя заведен был театр: вызвана была в Москву странствующая немецкая труппа Ягана Готфрида Григори, устроена в Преображенском селе «комедийная хоромина», а потом «комедийная палата» в кремлевском дворце. Это была сцена в виде полукружия, с декорациями, занавесом, оркестром, состоявшим из органа, труб, флейт, скрипки, барабанов и литавров. Царское место было на возвышении, обитое красным сукном; за ним была галерея с решеткой для царского семейства и места в виде полукружия для бояр, а боковые места назначались для прочих зрителей. Директор театра, по царскому приказанию, набирал детей из Новомещанской слободы, заселенной преимущественно малоруссами, и обучал их в особой театральной школе, устроенной в немецкой слободе. Сначала представлялись такие пьесы, которых содержание было взято из Священного Писания. Таковы были: «История Олоферна и Юдифи», комедия о «Навуходоносоре», комедия о «Блудном сыне», о «Грехопадении Адама», об «Иосифе», о «Давиде и Соломоне», «Товия», об «Артаксерксе и Амане», «Алексей Божий человек» и прочие. Комедии эти писались силлабическими виршами; две из них о «Навуходоносоре» и «Блудном сыне» принадлежат перу Симеона Полоцкого, бывшего, так сказать, придворным поэтом и проповедником Алексея Михайловича. Остальные комедии были сочинены малоруссами, как показывает язык. Совесть Алексея Михайловича успокаивалась тем, что его духовник объяснил ему, что и византийские императоры допускали при своем дворе такие увеселения. Мало-помалу молодое театральное искусство стало переходить и к мирским предметам. Так, в числе иггранных у Алексея Михайловича пьес, была пьеса «Баязет», которой содержанием была борьба Баязета с Тамерланом. Гордый и самоуверенный Баязет насмехается над своим противником, на сцене происходит сражение. Баязет побежден, заключен в клетку и представлен победителю, сидящему на коне. В отчаянии Баязет разбивает себе голову. Трагический элемент смешан здесь с комическим: на сцену выводится шут, потешающий публику веселыми песнями. В 1675 году театральное искусство развилось уже до того, что на сцене давался на масленице балет, главным лицом которого был мифологический Орфей. Царь несколько смущался, когда пришлось допустить пляску с музыкой, да еще с мифологическим сюжетом: плясовая музыка соблазняла его еще более самой пляски, но он потом успокоился, когда ему представили, что при дворах европейских государей употребительны такого рода увеселения. Шаг был важный, если вспомним, что названный Димитрий, между прочими отступлениями от русских обычаев, за музыку и танцы потерял и корону и жизнь.

Таким образом, именно в то время, когда родился человек, которому суждено было двинуть русскую жизнь на европейскую дорогу, в Москве уже занималась заря этой новой жизни. Ее веяние чувствовалось во всем. Матвеев, возведенный, наконец, в сан боярина, был так же могуч, как некогда Борис Морозов. Сколько нам известно, он не только не возбуждал против себя зависти и ненависти, но, напротив, пользовался всеобщою любовью. Его приверженность к иноземщине не умаляла его в глазах народа, тем более, что, при склонности к иноземному просвещению, он был человек благочестивый, готовый на всякое христианское дело и совершенно чуждый спеси и корыстолюбивых целей. Это уже одно показывает, что русский человек мог бы ужиться с новым направлением, лишь бы оно

было благоразумно ведено.<sup>59</sup> Увлекаясь театральными представлениями, царь устраивал и другого рода «действия», имевшие государственное значение. 1 сентября 1674 года, в Успенском соборе, с возвышенного места, устланного персидскими коврами, царь «объявлял» народу своим наследником достигшего совершеннолетия царевича Феодора; для этого составлен был особый обрядный чин с приличными событию чтениями из Евангелия, Апостола, Пророчеств, с водоосвящением и кроплением святою водою, с произнесением речей от патриарха к царю, от царя и царевича к патриарху, с поздравлениями от духовных и мирских людей, обращенными к царю и царевичу и с обратным поздравлением от последних к освященному собору, синклиту и ко всем православным христианам; в заключение был царский пир. В ознаменование этого торжественного события царь пожаловал всем служилым людям придачу к их окладам.

Через несколько дней народ смотрел на другое зрелище. В Москву привезли из Малороссии человека, который задумал было повторить давно избитую и потерявшую силу комедию «самозванства». То был один малороссиянин из Лохвицы, назвавший себя, по наущению какого-то Миюски, царевичем Симеоном Алексеевичем, покойным сыном царя от царицы Марьи Ильинишны. Но кошевой атаман Сирко, несколько времени покровительствовавший самозванцу, наконец схватил его и препроводил в Москву. Его казнили всенародно с теми же муками, какие испытал Стенька Разин.

Еще царь Алексей Михайлович был не стар. Он долго пользовался хорошим здоровьем; только чрезмерная тучность расстроила его организм и подготовила ему преждевременную смерть. В январе 1676 года он почувствовал упадок сил. 28 января он благословил на царство сына Феодора, поручил царевича Петра деду его Кириллу Нарышкину вместе с князем Петром Прозоровским, Федором Алексеевичем Головиным и Гаврилою Ивановичем Головкиным. Затем он приказал выпустить из тюрем всех узников, освободить из ссылки всех сосланных, простить все казенные долги и заплатить за тех, которые содержались за долги частные, причастился Св. Тайн, соборовался и спокойно ожидал кончины.

На другой день, 29 января, в 9 часов вечера, три удара в колокол Успенского собора возвестили народу о смерти тишайшего царя, самого доброго из русских царей, но вместе с тем лишенного тех качеств, какие были необходимы для царя того времени.

## **Глава 4** **Патриарх Никон**

В XVII столетии достижение важного значения в обществе лиц простого происхождения было редкостью. Порода и богатство ценились выше личных достоинств; одна только церковь, безразлично для всех по происхождению, открывала путь и к высшим должностям и ко всеобщему уважению.

Патриарх Никон, один из самых крупных, могучих деятелей русской истории, родился в мае 1605 года, в селе Вельеманове, близ Нижнего Новгорода, от крестьянина, именем Мины, и наречен в крещении Никитою. Мать умерла вскоре после его рождения. Отец Никиты женился на другой жене, которая ввела к нему в дом детей от первого мужа. Злоба мачехи в древней Руси вошла в поговорку; но жена Мины была женщина особенно злого нрава. Стараясь кормить своих детей как можно лучше, она ничего не давала своему бедному пасынку, кроме черствого хлеба, беспрестанно бранила его, нередко колачивала до

---

<sup>59</sup> О Матвееве сохранилось такое предание: когда разнесся в народе слух, что Матвеев хочет себе строить дом, но не находит камня для фундамента, то народ пришел к нему толпою и «поклонился ему камнем на целый дом», т.е. подарил ему камень. «Я подарков ваших не хочу, – сказал Матвеев, – но если у вас есть лишний камень, то продайте мне, я могу купить». – «Ни за что не продадим, ни за какие деньги», – сказали москвичи. На другой день они привезли ему камень, собранный с могил, и говорили: «Вот камни с гробов отцов и дедов наших, для того-то мы их ни за какие деньги продать не могли, а дарим тебе, нашему благодетелю». Матвеев уведомил о том царя. «Прими, друг мой, – сказал Алексей, – видно, они тебя любят; я бы охотно принял такой подарок». Если этот случай и выдуман, то в самом подобном вымысле все-таки нельзя не видеть доказательства большой любви к нему народа.

крови, и однажды, когда голодный Никита хотел было забраться в погреб, чтобы достать себе пищи, мачеха, поймавши его, так сильно ударила в спину, что он упал в погреб и чуть не умер. За такое обращение отец Никиты нередко бранился с женою, а когда слова не действовали, то и бил ее. Но это не помогало несчастному: мачеха отомстила мужнины побои на пасынке и даже, как говорят, замышляла извести его.<sup>60</sup> Когда мальчик подрос, отец отдал его учиться грамоте. Книги увлекли Никиту. Выучившись читать, он захотел изведать всю мудрость божественного писания, которое, по тогдашнему строю понятий, было важнейшим предметом, привлекавшим любознательную натуру. Он взял из дома отца несколько денег, удалился в монастырь Макария Желтоводского, нашел какого-то ученого старца и прилежно занялся чтением священных книг. Здесь с ним случилось событие, глубоко запавшее в его душу. Однажды отправился он с монастырскими служками гулять и зашел с ними к какому-то татарину, который во всем околodge славился тем, что искусно гадал и предсказывал будущее. Гадатель, посмотревши на Никона, спросил: «Какого ты роду?» – «Я простолюдин», – отвечал Никита. «Ты будешь великим государем над царством российским!» – сказал ему татарин.

Через несколько времени отец Никиты, вероятно, уже вдовый в то время, узнавши, где находится его сын, послал к нему своего приятеля звать домой и сказать, что бабушка его лежит при смерти. Никита воротился домой и вскоре лишился не только бабки, но и отца.<sup>61</sup>

Оставшись единственным хозяином в доме, Никита женился, но его неудержимо влекли к себе церковь и богослужение. Будучи человеком грамотным и начитанным, он начал искать себе места и вскоре посвящен был в приходские священники одного села. Ему было тогда не более 20 лет от роду.

Никита перешел в Москву по просьбе московских купцов, узнавших об его начитанности. Он имел от жены троих детей, но все они померли в малолетстве один за другим. Это обстоятельство сильно потрясло впечатлительного Никиту. Смерть детей принял он за небесное указание, повелевающее ему отрешиться от мира, и решился удалиться в монастырь. Никита уговорил жену постричься в Московском Алексеевском монастыре, дал за нею вклад, оставил ей денег на содержание, а сам ушел на Белое море и постригся в Анзерском ските, под именем Никона. Ему было тогда 30 лет.

Житие в Анзерском ските было трудное. Братия, которой было не более двенадцати человек, жила в отдельных избах, раскинутых по острову, и только в субботу вечером ходила в церковь. Богослужение продолжалось целую ночь; сидя в церкви, братия выслушивала весь псалтырь; с наступлением дня совершалась литургия; потом все расходились по своим избам. Царь ежегодно давал в Анзерский скит «руги» (царское жалованье хлебом и деньгами) по три четверти хлеба на брата, а рыбаки снабжали братию рыбою, в виде подаяния. Над всеми был начальным старец по имени Елеазар.

Спустя несколько времени, Елеазар отправился в Москву за сбором милостыни на построение церкви и взял с собою Никона. В Москве анзерских монахов наделили щедро; они собрали до пятисот рублей и возвратились в свой скит. Но деньги нарушили доброе согласие, которое до того времени существовало между начальным старцем и Никоном. Первый держал деньги в ризнице; последний боялся, чтоб их не отняли лихие люди. Ссора дошла до того, что Елеазар не мог равнодушно смотреть на Никона, а Никон, сойдясь с каким-то богомольцем, посещавшим Анзерский скит, отправился вместе с ним на судне. Чуть было не погибнувши на пути от бури, Никон прибыл в Кожеозерскую пустынь, находившуюся на островах Кожеозера, и по своей бедности отдал в монастырь, – куда не принимали без вклада, – свои последние богослужебные две книги. Никон по своему характеру не любил жить с братиею и предпочитал свободное уединение; он поселился на

---

<sup>60</sup> В житии Никона, написанном Шушерою, сохранился такой рассказ: однажды бедный мальчик, плохо одетый, от зимнего холода залез погреться в печь. Мачеха наложила туда дров и затопила печь. Мальчик начал отчаянно кричать: прибежала его бабка, вытащила дрова из печи и, таким образом, спасла его от смерти.

<sup>61</sup> Это был обыкновенный прием гадателей и гадальщиц – предсказывать знатность и величие.

особом острове и занимался там рыбной ловлей. Спустя немного времени, по кончине тамошнего игумена, братия пригласила Никона быть игуменом. На третий год после своего поставления, именно в 1646 году, он отправился в Москву и здесь явился с поклоном молодому царю Алексею Михайловичу, как вообще в то время являлись с поклоном к царям настоятели монастырей. Царю до такой степени понравился кожеозерский игумен, что он тотчас же велел ему остаться в Москве, и, по царскому желанию, патриарх Иосиф посвятил его в сан архимандрита Новоспасского монастыря. Место это было особенно важно, и архимандрит этого монастыря скорее, чем многие другие, мог приблизиться к государю: в Новоспасском монастыре была родовая усыпальница Романовых; набожный царь часто ездил туда молившись за упокой своих предков и давал на монастырь щедрое жалованье. Чем более беседовал царь с Никоном, тем более чувствовал к нему расположение. Алексей Михайлович был из таких сердечных людей, которые не могут жить без дружбы, легко привязываются к людям, которые им нравятся по своему складу, и всею душою к ним пристращаются. Алексей Михайлович приказал Никону ездить к нему во дворец каждую пятницу. Беседы с Никоном западали ему в душу. Никон, пользуясь расположением государя, стал просить его за утесненных и обиженных; это было по нраву царя. Алексей Михайлович еще более пристрастился к Никону и сам дал ему поручение принимать просьбы от всех тех, которые искали царского милосердия и управы на неправду судей; и Никона беспрестанно осаждали такие просители не только в его монастыре, но даже на дороге, когда он ездил из монастыря к царю. Всякая правая просьба скоро исполнялась.

Никон приобрел славу доброго защитника, ходатая и всеобщую любовь в Москве. Никон, как близкий человек к царю, стал уже большим человеком.

Вскоре в судьбе его произошла новая перемена. В 1648 г. скончался новгородский митрополит Афанасий. Царь всем предпочел своего любимца, и бывший тогда в Москве иерусалимский патриарх Паисий, по царскому желанию, рукоположил новоспасского архимандрита в сан новгородского митрополита. Этот сан был вторым по значению в русской иерархии.

Алексей Михайлович был доверчив к тем, которых особенно любил. Помимо всех официальных властей, он возложил на Никона наблюдать не только над церковными делами, но и над мирским управлением, доносить ему обо всем и давать советы. Это приучило Никона и на будущее время заниматься мирскими делами. Подвиги нищелюбия, совершаемые митрополитом в Новгороде, увеличивали любовь и уважение к нему государя. Когда в новгородской земле начался голод, бедствие, как известно, очень часто поразившее этот край, Никон отвел у себя на владычном дворе особую палату, так называемую «погребную», и приказал ежедневно кормить в ней нищих. Дело это возложено было на одного блаженного, ходившего босиком летом и зимою; кроме того, этот блаженный каждое утро раздавал нищим по куску хлеба и каждое воскресенье от имени митрополита раздавал старым по 2 деньги, взрослым по деньге, а малым по полденьге. Митрополит устраивал также богадельни для постоянного призрения убогих и испросил у царя средства на их содержание.

Всеми этими подвигами благочестивого нищепитательства Никон никому не становился на дороге, но вместе с тем он совершал иного рода подвиги, такие, которые тогда уже навлекли на него врагов: по царскому приказанию он посещал тюрьмы, расспрашивал обвиненных, принимал жалобы, доносил царю, вмешивался в управление, давал советы, и царь всегда слушал его. В письмах своих к Никону царь величал его «великим солнцем сияющим», «избранным крепкостоятельным пастырем», «наставником душ и телес», «милостивым, кротким, милосердным», «возлюбленным своим и содружebником» и т.п.; царь поверял ему тайное свое мнение о том или другом боярине. От этого уже тогда в Москве бояре не терпели Никона, как царского временщика, и некоторые говорили, что лучше им погибать в Новой Земле за Сибирью, чем быть с новгородским митрополитом. Не любили его подначальные духовные за чрезмерную строгость и взыскательность, да и мирские люди в Новгороде не питали к нему расположения за крутой властолюбивый нрав,

несмотря на его нищелюбие, которое в сущности было таким же делом обрядового благочестия, как и заботы о богослужении. Будучи новгородским митрополитом, Никон начал совершать богослужение с большею точностью, правильностью и торжественностью. Несмотря на наружную набожность, в те времена, по старому заведенному обычаю, богослужение отправлялось нелепо: боялись греха пропустить что-нибудь, но для скорости, разом читали и пели разное, так что слушающим ничего нельзя было понять. Никон старался прекратить этот обычай, но его распоряжения не нравились ни духовным, ни мирянам, потому что через это удлинялось богослужение, а многие русские того века хотя и считали необходимостью бывать в церкви, но не любили оставаться там долго. Для благочиния Никон заимствовал киевское пение, да еще, кроме того, ввел в богослужение пение на греческом языке пополам со славянским. Каждую зиму ездил митрополит из Новгорода в Москву со своими певчими, и царь был в восторге, услышавши это пение, но многим – и в том числе патриарху Иосифу – не понравились эти нововведения.

В 1650 году вспыхнул новгородский бунт. Никон, и без того уже мало любимый, на первых же порах раздражил народ своею энергическою мерою: он сразу наложил на всех проклятие. Если бы это проклятие было наложено только на некоторых, то могло бы подействовать на остальных, но проклятие, наложенное без разбора на всех, только ожесточило и сплотило новгородцев.<sup>62</sup> Ненависть к митрополиту выразилась уже тем, что мятежники поставили одним из главных начальников Жеглова, митрополичьего приказного, бывшего у него в опале. Сам Никон в письме своем к государю рассказывает, что когда он вышел уговаривать мятежников, то они его ударили в грудь, били кулаками и камнями: «И ныне, – писал он, – лежу в конце живота, харкаю кровью и живот весь распух; чаю скорой смерти, маслом соборовался»; но относительно того, в какой степени можно вполне доверять этому письму, следует заметить, что в том же письме Никон сообщает, что перед этим ему было видение: увидел он на воздухе царский золотой венец, сперва над головой Спасителя на образе, а потом на своей собственной. Новгородцы, напротив, жаловались царю, что Никон жестоко мучил всяких чинов людей и чернецов на правеже, вымучивая у них деньги; что он делает в мире великие неистовства и смуты. Царь во всем поверил Никону, хвалил его за крепкое стояние и страдание и еще более стал благоговеть перед ним; наконец, Никон, увидевши, что строгостью нельзя потушить мятежа, начал сам советовать царю простить виновным.

В 1651 году Никон, приехавши в Москву, подал царю совет перенести мощи митрополита Филиппа из Соловецкого монастыря в Москву. Дело было важное: оно должно было внушить в народе мысль о первенстве церкви и о правоте ее, а вместе с тем обличить неправду светской власти, произвольно посягнувшей на власть церковную. В видах царского самодержавия этот совет должен был бы встретить противоречие; но царь сильно подчинился своему любимцу; притом же Никон представлял ему пример греческого царя Феодосия, который перенес мощи Иоанна Златоустого, изгнанного матерью царя Евдокией; Феодосий этим поступком исходатайствовал для грешной матери прощение у Бога. Царь не только согласился на предложение Никона, но еще сказал, что ему во сне явился Святой Филипп и велел перенести его мощи туда, где почивают прочие митрополиты. 20 марта 1652 года духовный собор, в угоду царю, одобрил это благочестивое желание, а вместе с тем царь, также по совету Никона, велел перенести в Успенский собор гробы патриарха Иова из Старицы и патриарха Гермогена из Чудова монастыря. Воображение царя пленялось торжественностью церемоний, сопровождавших эти религиозные события.<sup>63</sup>

<sup>62</sup> Здесь уже мы видим проявление того же крутого и неподатливого характера, который виден в деле раскола.

<sup>63</sup> «8 апреля, встретили (власти и бояре), – писал царь Никону, – честные мощи патриарха Иова в селе Тушине; а оттуда несли их стрельцы на головах до самой Москвы, а я, многогрешный царь, с патриархом и с освященным собором и со всем государством, от мала до велика, встречал его; и так многолюдно было, что не вместились от Тверских ворот по Неглинские. По кровлям и по переулкам яблоку негде было упасть, нельзя ни пройти, ни проехать, а Кремль велел запереть; и так на злую силу пронесли в собор. Такая теснота была; старые люди говорят, лет за семьдесят не помнят такой

В то время, когда Никон ездил в Соловки за мощами, скончался патриарх Иосиф. Это было вскоре после перенесения праха Иова, в четверг на страстной неделе. Царь извещал об этом Никона в очень пространным письме, в котором подробно описывал последние минуты умершего патриарха, а в заключение просил Никона, вместе с Василием юродивым, иначе Вавилом (тем самым блаженным, который у Никона распоряжался питанием нищих), молить Бога, чтоб дал нового пастыря и отца; царь при этом делает намек, что преемник Иосифу есть уже на примете и говорит: «Ожидаем тебя, великого святителя, к выбору; того мужа три человека знают, я, да казанский митрополит, да мой духовный отец, сказывают: святой муж!»

Письмо это составляет драгоценный памятник, как для характера царя и его отношений к Никону, так и вообще для духа того времени. Царь, посещавший умирающего патриарха, так уважал его сан, что кланялся ему в землю и целовал в ногу, но забыл спросить его о духовной, вменил себе это в грех и за то просил прощения у Никона. «Великий святитель, – писал царь, – равноапостольный богомолец наш, преосвященная глава, прости меня за то грешного; обманулся я тем, что думал так себе с ним, трясовица, а оно впрямь смертная; по языку можно было признать, что худо говорит и сквозь зубы; и помышлял я в себе, что знобит его больно, оттого он и без памяти, и пришло мне на ум великое сомнение: стану я ему говорить про духовную, а он скажет „вот меня и сбывают!“ да станет сердечно гневаться; и думаю я себе: утро еще я побываю у него. Прости меня, Христа ради, великий святитель, за такое согрешение, что я не вспомнил о духовной. Не с хитрости я это сделал, ей-ей не с хитрости это сделалось; сатана помешал такое дело совершить. У тебя, великого святителя, прошу согрешениям моим прощения и благословения и разрешения...» Но вот к царю прибежали сказать, что патриарха не стало, царь так описывает впечатление, произведенное этим событием: «В ту пору ударил царь-колокол три кратно, а на нас такой страх и ужас нашел, и в соборе у певчих и у властей от страха и ужаса ноги подломились, потому что кто преставился, да к таким дням великим кого мы грешные отбыли...» Когда тело усопшего патриарха было одето и положено, царь любовался им: «Лежит, – выражался он, – как есть, жив, и борода расчесана, как у живого, и сам немерно хорош... таков хорош во гробе лежит, только что не говорит...» Но в ночь с пятницы на субботу умерший патриарх уже не был так хорош и напугал царя Алексея Михайловича: тело его, разлагаясь, начало вздываться, священник, читавший псалтырь, услышал шум от трупа и, когда царь вошел в церковь, где лежал труп, сказал царю: «Меня такой страх взял, думал, что ожил! Я двери отворил, хотел бежать». – «Прости, владыка святой, – писал царь Никону, – от этих речей меня такой страх взял, что я чуть с ног не свалился... и пришло мне такое помышление от врага: побеги ты вон, тотчас вскочит, да тебя ударит! А нас только я, да священник, что псалтырь говорит. Я перекрестился, да взял за руку его света, и стал целовать, а в уме держу такое слово: от земли создан и в землю идет; чего бояться...» В Великую субботу хоронили патриарха, и митрополит казанский Корнилий положил ему в гроб разрешительную грамоту; царь писал об этом так: «Все мы надседались плачучи; не было человека, который не плакал, на него смотря, потому что вчера с нами, а ныне безгласен лежит, а се к таким великим дням стало!» Но после похорон царю были нового рода хлопоты: покойный патриарх был большой стяжатель, копил деньги, собираясь купить себе вотчину и дать по душе в собор. Много было у него дорогих материй и серебряной посуды; все было заботливо вычищено, обернуто бумагою, на чердаке лежало оружие: пищали, сабли, и все смазано; но очень немного было записано: патриарх знал на память все, что у него есть, а келейники не заведывали его вещами. Сам царь ходил описывать достояние умершего патриарха. «Прости, – пишет он Никону, – владыка святой, и половины не по чем отыскать, потому что все без записки; не осталось бы ничего, все бы разокрали, да и в том меня, владыка святой, прости, немного и я не покусился иным сосудам, да милостью Божиею воздержался и вашими молитвами святыми. Ей-ей, владыка святой, ни маленькому ничему неточен...»

---

многочисленной встречи, и патриарх наш отец, плачучи, говорил: вот смотри, государь, каково хорошо за правду стоять!»

Многое из казны патриарха царь раздал на милостыню, на окуп пленных, по тюрьмам, по монастырям, созвал всю патриаршую прислугу и всем давал по десяти рублей; тут оказалось, что «свет-патриарх» не по-христиански обращался со своими подначальными. «Все вконец бедны; и он, свет, жалованья у них гораздо убавил», – сообщает царь Никону. Раздавая это жалованье слугам, царь произнес им такое знаменательное в духе своего времени нравоучение: «Есть ли из вас кто-нибудь, кто бы раба своего или рабыни без дела не оскорбил? Иной раз за дело, а иной раз, пьян напившись, оскорбит и напрасно побьет; а он, великий святитель и отец наш, если кого и напрасно оскорбил, от него можно потерпеть, да уж что бы ни было, так теперь пора всякую злобу покинуть. Молите и поминайте с радостью его, света, елико сила может».

Этот святой муж, втайне предназначенный царем, был не кто иной, как его любимец Никон. Ему готовил царь неожиданное величие.

Между тем Никон 3 июня прибыл в Соловки с грамотою от царя Алексея Михайловича к митрополиту Филиппу. Живущий на земле царь обращался к «небесному жителю, Христову подражателю, вышестественному и бесплотному ангелу, преизящному и премудрому духовному учителю», просил простить грех «прадеда» своего, царя Ивана, – чтобы, по выражению Святого Писания, «не было оскомины детям за то, что отцы ели терпкое», – и просил возвратиться с миром восвосяси. Царь своею рукою приписал: «О, священная глава, святой владыка Филипп, пастырь, молим тебя, не презри нашего грешного моления и приди к нам с миром! Царь Алексей. Желая видеть тебя и поклониться святым мощам твоим!»

Это послание было прочитано у гроба Филиппа. Подняты были мощи страдальца. 9 июля привезены они были в Москву и торжественно положены в Успенском соборе.

Блюстителем патриаршего престола, до избрания нового патриарха, был назначен ростовский митрополит Варлаам. По прибытии Никона созван был духовный собор. Все знали, что царь желал избрания Никона. Боярам очень не хотелось видеть его на патриаршем престоле. «Царь выдал нас митрополиту, – говорили они, – никогда нам такого бесчестья не было». Для соблюдения буквы устава выбрали двух кандидатов: Никона и иеромонаха Антония, того самого, который некогда был учителем Никона в Макарьевском монастыре. Жребий, как будто назло царю, пал на Антония. Последний, вероятно, в угоду царю, отказался. Тогда стали просить Никона. Никон отрекался, пока наконец 22 июля царь Алексей Михайлович, окруженный боярами и бесчисленным народом, в Успенском соборе, перед мощами Святого Филиппа, стал кланяться Никону в ноги и со слезами умолял принять патриарший сан.

«Будут ли меня почитать как архипастыря и отца верховнейшего, и дадут ли мне устроить церковь?» – спросил Никон. Царь, а за ним власти духовные и бояре поклялись в этом. 25 июля Никон сделался патриархом.

Первым делом его было основать для себя монастырь и прославить его новою святынею. То было давним церковным обычаем. Иерархи всегда почти старались положить начало какому-нибудь монастырю и, по возможности, дать ему высокий почет. Никон выбрал для этого место близ Валдайского озера и назвал свой монастырь Иверским, в честь Иверской иконы Богородицы, находящейся на Афоне. В то же время он отправил на Афон сделать список Иверской иконы, и когда каменная церковь была построена, поставил в ней эту икону, украсивши ее золотом и драгоценными камнями.<sup>64</sup> Вместе с тем он перенес туда мощи Иакова Боровицкого. Таким образом, новооснованный монастырь сделался предметом двойного поклонения. Пошли слухи о совершающихся в нем чудесах и исцелениях.<sup>65</sup>

<sup>64</sup> Царь в угоду своему любимцу приписал к Иверскому монастырю пригород Холм, с крестьянами, деревнями и угодьями.

<sup>65</sup> Никон завел, или лучше сказать, перенес из Хутынского монастыря типографию (которая заведена им была еще во времена пребывания его в Новгороде) в свой любимый Иверский монастырь. В этой типографии напечатаны были: «Учебный Часослов», «Мысленный Рай» Стефана Святогорца, самого Никона: «Сказание об

Но гораздо важнейшее дело предпринял Никон в церковном строе богослужения. Давно уже, еще со времен Максима Грека, замечались разноречия в богослужебных книгах; естественно, отсюда возникала мысль о вкравшихся в этих книгах искажениях, о необходимости найти и узаконить единообразный правильный текст. Эта потребность усиливалась ощутительнее со введением книгопечатания, так как книгопечатание вообще, распространяя сочинения и расширяя круг читателей, давало последним побуждение доискиваться правильной передачи сочинений и возможность удобнее замечать и сравнивать разноречия. Печатное внушало к себе более доверия, чем писаное, так как предполагалось, что приступавшие к печатанию старались изыскивать средства передать издаваемое правильно. Введение книгопечатания сильно подвинуло и поставило на вид вопрос об исправлении богослужебных книг; при всяком печатании разноречие списков вызывало необходимость справщиков, которые должны были из многих различных списков выбирать то, что, по их убеждениям, надлежало признать правильным. Вопрос этот занимал умы возрастающим образом по мере умножения печатных книг церковного содержания.

Уже при патриархе Филарете сильно сознавалась потребность правильности текстов и необходимость обличать и уничтожать ошибки и искажения. В 1610 году уставщик Логгин напечатал устав, который Филарет приказал сжечь, потому что там статьи были напечатаны «не по апостольскому и отеческому преданию, а своим самовольством». По повелению Филарета, был исправлен и напечатан несколько раз Потребник и Служебник и, кроме того, Минеи, Октоих, Шестоднев, Псалтырь, Апостол, Часослов, Триодь цветная и постная и Евангелие на престольное и учительное. В предисловии к Минеи выражено сознание, что хотя издавна богослужебные книги переведены были с греческого языка на славянский, но многие переводчики и переписчики иное выбросили, другое смешали. Филарет, как говорится в его Требнике 1633 года, приказывал собирать по всем городам древние харатейные списки разных переводов, по ним исправлять те погрешности, которые вошли туда по неисправности переписчиков и вследствие многолетних обычаев, дабы сочетать «во единогласие» все потребности и чины церковного священноначалия. Сам Филарет приказывал приносить к себе эти списки и просматривал их. Хотя он был человек умный и любознательный, но не имел той ученой подготовки, которая необходима была для такого дела, да и никто в то время не имел ее, потому что нужно было сличать переводы с греческими подлинниками и, следовательно, обладать основательными сведениями в греческом языке, литературе, церковной истории и древностях. Сознавая необходимость науки, Филарет основал при Чудовом монастыре еллино-славянскую школу, вероятно, по образцу западно-русских, и поставил там учителем грека иеромонаха Арсения. Преемник Филарета патриарх Иосиф также занимался печатанием богослужебных книг и также приказывал собирать из городов пергаментные списки, сличать их и издавать по исправлению, но сам лично не занимался этим. До какой степени были подготовлены к своему делу тогдашние московские справщики – показывает суждение о них грека Арсения: «Иные из этих справщиков едва азбуке умеют, а уж, наверное, не знают, что такое буквы согласные, дwoегласные и гласные, а чтоб разуместь восемь частей речи и тому подобное, как то: род, число, времена, лица, наклонения и залoги, то этого им и на ум не приходило!»<sup>66</sup> После него, при патриархе Иосифе, выбрана была, так сказать, особая комиссия справщиков.<sup>67</sup> Они напечатали целый ряд богослужебных книг; сам Иосиф, человек

---

Иверской иконе», о Создании Онежского Крестного монастыря, Поучение к духовным и мирским, Канон о соединении веры и пр.

<sup>66</sup> Невежество тогдашних справщиков действительно отразилось в изданных ими книгах, куда вошли разные освященные временем нелепости, напр., в молитвах на рождение младенца упоминается, как достоверный факт, басня о бабе Соломии, которая, в качестве повивальной бабки, принимала Иисуса Христа и свидетельствовала: не нарушено ли девство Богородицы, а в отпусках говорится о праздниках, как о лицах, наравне со святыми: напр. молитвами Пречистыя твоея матери, честного ея Благовещения или честного Успения и т.п.

<sup>67</sup> Это были протопопы, москвичи: Степан Вонифатьев, царский духовник; Иван Неронов, протопоп Казанского собора; дьякон Благовещенского собора Федор; приглашенные из городов протопопы: Аввакум из



неученый, вовсе не прикасался к этому делу и во всем положился на них. Увидя перед собою множество разнородных списков и не имея нужных сведений, чтобы сладить с ними, они руководствовались только наиболее распространенным обычаем; полагаясь на свою начитанность, они думали, что исполняют свое дело в совершенстве. Но вот в 1649 году приехал в Москву иерусалимский патриарх Паисий.<sup>68</sup> Он заметил, что в московской церкви есть разные нововведения, которых нет в греческой церкви, и особенно стал порицать двуперстное сложение при крестном знамении. Царь Алексей Михайлович очень встревожился этими замечаниями и отправил троицкого келаря Арсения Суханова на восток за сведениями. Но пока Арсений странствовал на востоке, Москву успели посетить другие греческие духовные особы и также делали замечания о несходстве русских церковных обрядов с греческими, а на Афоне монахи даже сожгли богослужебные книги московской печати, как противные православному чину богослужения.<sup>69</sup> Патриарх Иосиф был сильно озабочен и даже боялся, чтобы его не лишили сана. Смерть избавила его от дальнейших тревог. Никон заступил его место, уже вполне задавшись мыслью о необходимости сделать такого рода исправления в богослужебных книгах и обрядах, которые бы привели русскую церковь к полному единству с греческой.

Чрезмерно сильная воля и жажда деятельности этого человека требовала себе пищи. Никон был не из таких натур, которые удовольствуются старою колею. Ему нужно было что-нибудь необычайное. Он хотел быть творцом, строителем, но воспитание, полученное Никоном, осудило его на слишком узкий кругозор: любимец Алексея Михайловича не мог вполне сделаться московским Петром Могилою. Ему негде было приобрести и усвоить ясных и сильных убеждений о необходимости просвещения, о научном образовании. Он не учился за границею, подобно Могиле, и в среде, в которой он жил, не было ничего, что бы могло возбуждать его к высокому призванию сделаться просветителем своего народа. Он получил воспитание у желтоводского монаха, ограничивался чтением кое-каких церковных книг в плохих переводах, часто непонятных. Пробывши десять лет приходским священником, Никон поневоле усвоил себе всю грубость окружавшей его среды и перенес ее с собою даже на патриарший престол. В этом отношении он был вполне русский человек своего времени, и если был истинно благочестивым, то в старом русском смысле. Благочестие русского человека состояло в возможно точном исполнении внешних приемов, которым приписывалась символическая сила, дарующая Божью благодать; и у Никона благочестие не шло далеко за пределы обрядности. Буква богослужения приводит к спасению; следовательно, необходимо, чтобы эта буква была выражена как можно правильнее. Таков был идеал церкви по Никону. Буква обряда давно уже камнем лежала на русской духовной жизни; эта буква подавляла богатую натуру Никона. Никон, как человек со светлым природным умом, начал говорить проповеди, которые с давних времен уже не говорились, но все-таки, подчиняясь духу своего времени и воспитания, он более или менее был буквалист, как называли его противники, в продолжение целых веков упорно стоявших и до сих пор стоящих за свою букву. Но горячо любя и уважая церковь, Никон заботился не только о приведении внешней ее стороны в надлежащее состояние; нужно было, чтобы и власть, которая наблюдала над церковью, была высоко поставлена. Задачею Никона было правильное однообразие церковной практики. Из этой задачи прямо истекала потребность и единой церковной власти, а эту власть находил он в себе, в своем патриаршем сане; и вот Никон, ревностно взявшись за дело достижения единообразия в церковной обрядности, логически должен был сделаться борцом за независимость и верховность своей патриаршей

---

Юрьевца Повольского, Логин из Муромы, Лазарь из Романова, Никита Пустосвят из Суздаля и Даниил из Костромы.

<sup>68</sup> Он обратил особое внимание на Никона, который в это время из новоспаских архимандритов был посвящен в новгородские митрополиты. Паисий дал ему грамоту, в которой восхвалял его достоинства и предоставил ему в знак отличия право носить мантию с красными «источниками» (пришивками).

<sup>69</sup> Между прочими константинопольский патриарх Афанасий, умерший на возвратном пути в Лубнах и чтимый в Лубенском Мгарском монастыре, под именем Афанасия сидящего.

власти.

Подготовленный замечаниями восточных духовных, по своем вступлении в сан патриарха, Никон начал рыться в рукописях патриаршего книгохранилища. И вот – как рассказывается в предисловии к изданному при Никоне служебнику – патриарх, рассматривая грамоту вселенских патриархов на учреждение патриаршества в Московском государстве, обратил внимание на то, что в ней говорилось: «Православная церковь приняла свое совершение не только по богоразумию и благочестию догматов, но и по священному уставу церковных вещей; праведно есть нам истреблять всякую новизну ради церковных ограждений, ибо мы видим, что новины всегда были виною смятений и разлучений в церкви; надлежит последовать уставам святых отец и принимать то, чему мы от них научились, без всякого приложения или убавления. Все святые озарились от единого Духа и уставили полезное; что они анафеме предают, то и мы проклинаяем; что они подвергли низложению, то и мы низлагаем; что они отлучили, то и мы отлучаем: пусть православная великая Россия во всем будет согласна со вселенскими патриархами».

В то же время Никон обратил внимание на символ веры, вышитый на саккосе митрополита Фотия; этот символ разнился с символом в том виде, в каком пели его во времена Никона: в старом символе не было прибавления слова «истинного» о Св. Духе; против этого прибавления еще вооружался Дионисий; равным образом, в старом символе написано было: «его же царствию не будет конца», тогда как при Никоне проносили: «его же царствию несть конца». Пересматривая богослужебные книги, Никон убедился, что в них есть значительные отмены против греческого текста. В это время Никон находился под влиянием Арсения грека, который, по подозрению в латинстве, был сослан в Соловки при патриархе Иосифе и возвращен Никоном. Не меньше влияния оказывал Епифаний Славинецкий, который с другими киевскими монахами был призван боярином Ртищевым в Москву. С Востока воротился Арсений Суханов и 26 июля 1653 года подал царю и патриарху свой отчет о путешествии по греческим островам, о пребывании в Александрии, Иерусалиме и Грузии. Записки его носят название: «Проскинитарий» (Поклонник). Арсений остался приверженцем русской старины и описал черными красками поведение восточных духовных, недостаток благоговения при богослужении; однако он не скрыл и того, что везде на Востоке употребляется троеперстное крестное знамение и соблюдаются те приемы, по поводу которых греческие духовные укоряли русскую церковь.

По этим-то побуждениям Никон убедил царя созвать собор русских иерархов, архимандритов, игуменов и протопопов. Всех духовных было 34 человека. Царь со своими боярами присутствовал на этом соборе. Никон произнес на нем речь и тогда же высказал в ней свой взгляд на равенство церковной власти со светскою. «Два великих дара даны человеком от Вышнего по Божьему человеколюбию – священство и царство. Одно служит божественным делам, другое владеет человеческими делами и печется о них. Оба происходят от одного и того же начала и украшают человеческое житие; ничто не делает столько успеха царству, как почтение к святителям (святительская честь); все молитвы к Богу постоянно возносятся о той и другой власти... Если будет согласие между обоими властями, то настанет всякое добро человеческой жизни». Никон указал на слова грамоты вселенских патриархов, поразившие его, и сказал: «Надлежит нам исправить как можно лучше все нововведения в церковных чинах, расходящиеся с древними славянскими книгами. Я прошу решения, как поступать: последовать ли новым московским печатным книгам, в которых от неискусных переводчиков и переписчиков находятся разные несходства и несогласия с древними греческими и славянскими списками, а прямее сказать, ошибки, или же руководствоваться древним, греческим и славянским (текстом), так как они оба представляют один и тот же чин и устав?» На этот вопрос собор дал в ответ такое же решение, какое высказываемо было не раз при прежних патриархах. «Достоинно и праведно исправлять, сообразно старым харатейным и греческим спискам».

Вслед за этим Никон отставил всех прежних справщиков и передал как типографию, так и дело исправления книг Епифанию Славинецкому с его киевскою братией и греку

Арсению. Никон и царь дали приказание усиленно собирать по всем монастырям старые харатейные списки и присылать в Москву. Никон снова отправил Арсения Суханова на Афон просить греческих книг. Между тем у Никона явились враги: то были отставленные справщики, которых самолюбие было сильно задето. Они кричали против Никона, что он поддается наущениям киевлян, зараженных латинской ересью. Горячими его противниками сделались тогда протопоп Иван Неронов и друг Неронова юрьевский протопоп Аввакум, живший в доме его, во время своего пребывания в столице.<sup>70</sup> К ним присоединились епископ коломенский Павел и несколько архимандритов и протопопов, присутствовавших на соборе и не подписавших его приговора.

Чтобы придать более освящения начатому делу, Никон отправил, через одного грека, по имени Мануила, к константинопольскому патриарху Паисию двадцать шесть «вопрошений», которые касались разных вопросов богослужения и в том числе спорных пунктов; вместе с тем Никон жаловался на коломенского епископа Павла, на протоиерея Неронова и на их сообщников. Московский патриарх спрашивал совета константинопольского: как поступить с непослушными.

Началась у московского государства война за Малороссию; Никон с особенным рвением благословлял царя на эту войну своим советом, вероятно, побуждаемый к тому же своими киевскими справщиками, хлопотавшими в Москве о помощи своему отечеству. Отправляясь в поход, царь доверил патриарху, как своим ближайшему другу, свою семью, свою столицу и поручил ему наблюдение за правосудием и ходом дел в приказах. Все боялись Никона: ничего важного не делалось без его совета и благословения. Он не только, по примеру Филарета, стал называть себя «великим государем», но, во время отсутствия Алексея Михайловича, как верховный правитель государства, писал грамоты (напр. о высылке подвод на службу под Смоленск), в которых выражался так; «Указал государь, царь, великий князь всея Руси, Алексей Михайлович и мы, великий государь...» Во время постигшей Москву заразы, Никон сделал распоряжение поставить в разных местах заставы, чтобы, на время заразы, пресечь сообщение с войском, в котором был государь, приказал в Москве заложить кирпичом царские кладовые и не выпускать никого из тех дворов, где появится зараза, а сам выехал вместе с царским семейством в Вязьму. Тогда враги, в его отсутствие, начали возмущать народ и толковать, что бедствие постигает православный народ за еретического патриарха. Толпа принесла на сходку к Успенскому собору образ Спасителя, на котором стерлось изображение; некто Софрон Лапотников говорил, что этот образ выскоблен был по приказанию патриарха, и ему, Софрону, было от этого образа видение: велено показать образ мирским людям, чтобы все восстали за поругание икон. Народ сердился за то, что Никон дал волю еретикам печатать книги; какая-то женщина из Калуги кричала всенародно, что ей было видение, запрещающее печатать книги. Никону ставили в вину, что он покинул столицу, а за ним разбежались и приходские священники. Патриарх в своем управлении был до чрезвычайности строг, и множество попов находилось у него под запрещением; они-то и были повсеместными возмутителями толпы. Оставленный в столице князь Пронский с большим трудом успокаивал народное волнение, и вопрос о состоявшихся под запрещением полах был до того важен, что старосты и сотские московских сотен и слобод, не пристававшие к мятежникам, ради всеобщего успокоения, били челом патриарху, чтоб он разрешил опальных священников, потому что много церквей остается без богослужения, некому напутствовать умирающих и погребать мертвых.

По возвращении царя в Москву, Никон опять занялся церковным преобразованием. Арсений Суханов, не жалея издержек, достал с Афона до пятисот рукописей, из которых

---

<sup>70</sup> Неронов пока оставлял в тени вопрос об исправлении и нападал на Никона за его жестокость. «Патриарх, – писал он к своим друзьям, – мучитель, терзает свою братию, членов церкви, творит над ними поругание, одних расстригает, других проклиняет. Беззаконное дело будет быть у него в послушании без прекословия. Он хочет, чтоб мы просили у него прощения; пусть он у нас просит! Государь всю свою душу и всю Русь положил на патриархову душу; не хорошо так мудрствовать государю!..»

некоторым приписывали глубокую древность. Славинецкий и грек Арсений с братией ревностно трудились над исправлением богослужебных книг, а между тем пришел ответ от константинопольского патриарха Паисия. Паисий извещал, что он созывал собор в Константинополе и на этом соборе составлены ответы на присланные Никоном «вопрошения». «Вижу, – писал Паисий, – в грамотах преблаженства твоего, что ты жалеешь о несогласиях, возникших по поводу некоторых церковных чинов, и думаешь, что это различие чинов растлевает веру нашу. Хвалим твою мысль: кто бережется малого преступления, тот соблюдается от великого. Еретиков и раздорников следует убегать, если они соглашаются в самых важных предметах, но не вполне согласны с православием и придерживаются чего-нибудь своего, чуждого церковной и соборной мысли. Но если случится, что какая-нибудь церковь различествует от другой в некоторых не особенно важных и несущественных вещах, т.е. не прикасающихся „свойственным составам веры“, – напр., во времени отправления богослужения и т.п., то это не должно быть поводом к разлучению, лишь бы только непреложно сохранялась та же вера. Церковь наша не сначала приняла на себя тот образ и последование, какое держит ныне; не сразу, а помалу». Паисий ссылается на Епифания кипрского в том, что церковь в разных местах принимала различные степени поста и мясоядения, ссылается на Василия Великого, из которого видно, что неокесарийская церковь не принимала того, что принималось в других местах. «Не следует, – продолжает Паисий, – и ныне думать, будто наша православная вера развращается оттого, если один говорит свое последование немного различно от другого в несущественных вещах, лишь бы только согласовался в важнейших, свойственных соборной церкви». Ответ довольно уклончивый: можно было давать по произволу то более широкий, то более узкий смысл тому, что признавать несущественным. Сам Паисий, представивший в «Ответях» на «Вопрошения» Никона подробное объяснение литургии, говорит: «Именем Иисуса Христа молим твое преблаженство, утоли эти распри твоим разумом; не подобает ссориться рабам Господним, а наипаче в вещах неважных и несущественных; увещевай их принять сей чин, который мы пишем вам, которого держится вся восточная церковь. Изначала у нас, по преданию, он сохраняется; ни в единой вещи не было изменения; за это нам хвала, потому что прочие церкви, отделившись от нас, приняли многие нововведения, а мы – ничем не растлеваемся». Таким образом, предоставляя свободу в неважных приемах богослужения, константинопольский патриарх, однако, требовал точного единства с восточной церковью в литургии и вообще в богослужении. О коломенском епископе и протопопе Неронове Паисий дал такое решение: «Все это знамение ереси и раздора, и кто так говорит и верует, как они, тот чужд православной нашей веры»; Паисий советует их отлучить, если они не примут нелицемерно все так, как «держит и догматствует церковь»; он сравнивает их с арианами, кальвинистами, лютеранами, которые, под видом исправления, покинули «недвижное и истинное» в церкви. «Их молитвы, – говорит патриарх, – хулы, потому что они полагают в сомнение моление наших святых и затевают вводить новые чины, которым мы никогда не научились от наших отцов, предавших нам веру». В «Ответях» Паисия много излагается и такого, что уже в русской церкви было согласно с греческою; но относительно крестного знамения Паисий указывает на сложение трех первых перстов, как на древний обычай поклонения, и различает молебное перстосложение от благословящего, которое должно изображать имя Иисуса Христа в четырех буквах (IC XC). «До нас дошло, – замечает Паисий, – что в ваших церковных чинах есть еще кое-какие различия, несогласные с нашей восточной церковью; удивляемся, что ты о них не спрашиваешь. Желаем, чтобы все это исправилось». Между прочим, патриарх порицал русскую церковь за то, что в русских храмах женщины и мужчины сходятся вместе и во время богослужения не стоят отдельно: «Женщине следует безмолвствовать, а тут невозможно сохранять безмолвие, когда сойдется с женщинами много мужчин разного возраста».

По этому ответу, Никон собрал снова собор, на котором, кроме русских архиереев, был антиохийский патриарх Макарий, сербский Михаил и митрополиты никейский и молдаванский. Сам Никон называл себя «великий государь, старейший Никон, архиепископ

московский и всея Великие, Малые и Белые России и многих епархий, земли же и моря сея земли патриарх».

Этот собор положил держаться того, что решено было на предшествовавшем московском соборе и как велит константинопольский патриарх. Голос антиохийского патриарха Макария энергичически решал правильность троеперстия. Замечательный ответ его был выражен так: «Мы приняли предание изначала веры от Св. апостол и Св. отец и семи соборов творить знамение честного креста тремя первыми перстами десной руки, и кто из христиан православных не творит крестного знамения по преданию восточной церкви, сохраняемого от начала веры до сих пор, тот еретик и подражатель арменов: того ради, мы считаем такового отлученным от Отца и Сына и Св. Духа и проклятым». Никейский митрополит прибавил: «На том, кто не крестится тремя перстами, пребудет проклятие трехсот восьмидесяти Св. отец, собиравшихся в Никее и прочих соборов».

Таким образом, собор этот объявил решительную войну двуперстному сложению. Дело было до крайности необдуманное. Если троеперстное сложение, как повсеместное у восточных православных народов, действительно имело за собою все признаки древности и правильности, то не надобно было забывать, что вся Русь давно уже крестилась двуперстным сложением и уважала многих святых, которые несомненно осеняли себя таким же крестным знамением. Возложить проклятие на двуперстие, в глазах противников Никона, значило предать проклятию святых русской церкви, отрешиться разом от священных преданий. Восточные архиереи, чуждые России, могли отнестись, не зная ни духа русского народа, ни склада его понятий, так легко к этому вопросу, не сообразивши всех условий; Никон, природный русский человек, мог поступить так круто и легкомысленно в этом деле, только по тому безмерному властолюбию, которое очень часто бывает свойством людей с твердым характером, горячо принимающихся за важное дело своего убеждения. При более благоразумном и осторожном способе действий исправление буквы в русской церкви совершилось бы тихо, без больших потрясений. Никон своим упорством и горячностью дал зародыш печальных событий на будущее время, тем более, что его ошибка неизбежно повлекла за собою другие; так всегда в истории мы замечаем, что стоит только историческому деятелю в важную минуту стать на ложную дорогу, то уже трудно бывает сойти с нее, и ему самому, и его преемникам и последователям.

Никон издал новый служебник с текстом, исправленным против прежних печатных изданий и сверенным с греческим. В предисловии к этому служебнику он изложил поводы, побудившие его к исправлению богослужебных книг, и деяния первого собора в Москве, одобрявшего его предприятие. Он приказывал повсюду рассылать и вводить в употребление при богослужении новый служебник. Затем, по его приказанию, грек Арсений перевел с греческого книгу «Скрижаль», заключающую в себе порядок и объяснение литургии и таинств. В эту Скрижаль внесено изложение бывших при Никоне соборов об исправлении книг, ответ константинопольского патриарха Паисия и статьи, относящиеся к вопросу о крестном знамении в защиту троеперстного сложения. Статья «О еже коими персты десные руки изображается крест» вооружается против разных способов неправильного исполнения крестного знамения. Были такие, которые крестились, полагая руку сначала на лоб, а потом – не на живот, а на правое плечо. «Такие, – говорит статья, – должны быть отлучаемы и проклинаемы. Это – поругание крестного знамения, а не знамение его. Это значит – исповедать вознесение сына Божия на небеса, не творя его соития на землю». Люди, таким образом полагавшие крестное знамение, составляли, вероятно, незначительное исключение; зато двуперстников было очень много. «Скажите, – говорится в этом сочинении, – вы, соединяющие великий перст с двумя малыми последними, имеющими между собою неравенство и местный разлад, как можете вы исповедывать таинство Пресвятой Троицы, соприсущной и равнославной? Поистине, неприличен ваш способ изображения того первообразного, в котором нет ни первенства, ни последовательности, ни большинства, ни меньшинства!» Защитники двуперстия объясняли свое крестное знамение, будто оно изображает божественную и человеческую природу Спасителя. Им на это делается такое

замечание: «Смотрите, чтоб вы не впади в мудрование о двух ипостасях в Иисусе Христе, подобно Несторию, говорившему, что иной Сын Бог Слово, а иной – Иисус из Назарета, простой человек. Так и вы, в трех пальцах, изображающих Св. Троицу, уже указываете сыновнюю ипостась, а потом, особо отделивши, указываете еще иную ипостась в указательном и среднем пальцах». Двуперстники говорили, что некогда антиохийский патриарх Мелетий спорил с арианами; желая убедить их в силе крестного знамения, он показал им три перста, и от этого не произошло никакого знамения, а как сложил два перста и один пригнул, то «бысть знамение – огонь изыде». Никон доказывал им, что они здесь не понимают смысла того, что читают: Мелетий показал три перста отдельно и не было знамения, а как сложил указательный и средний вместе, да к ним пригнул большой перст, так и сотворилось тогда знамение. Вот оно и значит – троеперстное знамение! Двуперстники ссылались на ходившее в разных сборниках слово Феодорита; Никон возражал, что не знает, о каком Феодорите идет дело.<sup>71</sup> Наконец, двуперстники ссылались на Максима Грека; им на это замечали, что Максим Грек, хотя был человек ученый, но, снисходя к русскому обычаю и много пострадавши, мог писать и неправильно от страха наветов.

Снова, в апреле 1656 года, собран был собор, на котором Никон представил свою скрижаль. Собор утвердил ее и еще раз произнес проклятие над двуперстниками. По мудрствованию этого собора, соединение двух последних пальцев с большим выражало неравенство Св. Троицы, а два простертые пальца, средний и указательный, означали последование Несториевой ереси. Вместе с тем предано проклятию (мнимое) слово Феодоритово, на которое ссылались двуперстники. Никон подвинул этим еще далее разрыв с прошедшим. Противники его с ужасом толковали, что Никон и согласные с ним духовные, таким образом, признали еретиками всех святых русской церкви, которые, без сомнения, употребляли двуперстное знамение.

По совету, данному константинопольским патриархом, Никон начал поступать решительно со своими противниками: Павел Коломенский был лишен сана и сослан; Неронов был отправлен в заточение в Вологодский монастырь. Вонифатьев покорился и скоро сам ходатайствовал за Неронова; Никон простил последнего; Неронов постригся в монахи под именем Григория. Аввакум, самый задорнейший противник нововведения, был сослан в Даурию с женою и семьею. Протопопы Логгин и Данило заключены в тюрьмы и там скоро умерли. Но этими ссылками и заточениями нельзя было утишить волнения. Когда патриарх разослал свои новые богослужебные книги и приказывал служить по ним и креститься тремя перстами, ропот поднялся разом во многих местах. Оставшиеся пока нетронутыми, бывшие справщики: Никита Пустосвят в Суздале и Лазарь в Романове, возбуждали народ к неповиновению. Соловецкий монастырь, исключая немногих старцев, воспротивился вместе со своим архимандритом. Новые учителя восстали, – говорили там, – они отвращают нас от истинной веры, велят служить на ляцких крыжах по новым служебникам; не будем принимать латинской службы и еретического чина. Пример такого уважаемого монастыря, как Соловецкий, придал много силы противодействию Никоновым намерениям. Кроме крестного знамения, поднялись старые толки о сугубом и трегубом аллилуия; защитники старины видели ересь в написании имени Иисус, вместо Исус, как писали и печатали прежде по невежеству. Начались толки об осьмиконечном и четвероконечном кресте. Распространились мистические предсказания о скором появлении Антихриста, которое, по апокалипсическим вычислениям, приходилось на 1666 год. Пошли ходить по рукам грамотеев книги «О Вере» и «Орел», где тогдашние мудрецы излагали свои прорицания о последних временах мира. Всего более помогло развитию противодействия то, что было много не любивших Никона. Бояре, за исключением немногих, не терпели его за постоянное вмешательство в мирские дела и за резкие выходки. Духовенство было озлоблено против него за надменность, строгость и притеснения, которые терпело оно от его

---

<sup>71</sup> Антиохийский ли или Кирский, или какой иной; и если Кирский, то перевода его на славянском языке нет; если же где и есть, то нельзя принимать на веру всего, что он писал, потому что он был противник Кирилла Александрийского.

приказных. Никон требовал от священников трезвой жизни, точного исполнения треб и, сверх того, заставлял их читать в церкви поучения народу – новость, которая не нравилась невежественному духовенству. Для Никона ничего не стоило священника, за небрежность в исполнении своих обязанностей, посадить на цепь, мучить в тюрьме и сослать куда-нибудь на нищенскую жизнь. Патриарх был суров в обращении: «У него, – говорили духовные, – устроено подобно адову подписанию; страшно к воротам приблизиться». Нельзя было явиться перед ним без трепета: «Знаете ли, кто он, – говорили священники, – зверь лютый, медведь или волк?» Ставленники проживали в Москве по нескольку месяцев, стесняемые разными формальностями, давали взятки патриаршим дякам, по нескольку часов должны были они выстаивать на морозе, тогда как прежде их пускали дожидаться в доме. Никон имел привычку часто переводить священников из церкви в церковь. Это было разорительно не только от неизбежных расходов при перемещении с места на место, но еще и потому, что такие переводимые попы должны были брать в Москве «перехожие» грамоты, а пока их достанут – проживаться в столице, между тем как их семейства бедствовали без всяких средств. Патриарший дяк Иван Кокошилов, известный своим взяточничеством еще при патриархе Иосифе, бесцеремонно брал взятки со священников, имевших дело в патриаршем приказе, не только сам, но через жену свою и людей. По всем городам патриарх обложил данью двory священно- и церковнослужителей и просвирен, брал с каждой четверти земли, с копны сена; у него даже нищие были обложены данью. Так, по крайней мере, говорили о нем. В челобитной, поданной государю на Никона, говорилось: «Видишь ли, свет премилостивый, он возлюбил стоять высоко и ездить широко». Указывая на его вмешательство в мирские дела, духовные выражались: «Он принял власть строить, вместо Евангелия – бердыши, вместо креста – топорки на помощь государю, на бранные потребности». Народ осуждал его за бегство из Москвы во время моровой язвы, которая и потом повторялась в России, и приписывал это бедствие правлению и поступкам своего патриарха. Пророки и сновидцы возмущали умы своими ложными откровениями против Никона. Патриарх в 1656 году написал всенародную грамоту, где убеждал не верить лжепрорицателям, и доказывал Священным Писанием, что убежать от моровой язвы и вообще от бедствия – не составляет греха. Но народ, привыкши к прежнему крестному знамению, увидя внезапное изменение церковных обычаев, более расположен был верить врагам Никона, убеждавших русских людей хранить древнее благочестие, чем голосу патриарха, ненавидимого духовенством. Русские архиереи, участвовавшие вместе с Никоном в преобразованиях, также не терпели его за гордое обращение. Была у Никона одна сильная подпора в царе, но скоро он потерял и ее.

До сих пор мы не знаем в подробностях, как произошло охлаждение царя Алексея Михайловича, считавшего прежде патриарха своим лучшим другом. В 1656 году Никон был еще в силе, и его влиянию, между прочим, принадлежит несчастная война, предпринятая против Швеции. В 1657 году, по-видимому, также отношения между царем и патриархом еще были хороши. В это время патриарх занимался постройкой нового монастыря. Верстах в сорока от Москвы понравилось ему место, принадлежавшее Роману Боборыкину, на реке Истре. Никон купил у владельца часть его земли с селом и начал основывать там монастырь. Сперва он построил деревянную ограду с башнями, а в середине деревянную церковь и пригласил на освящение церкви царя Алексея Михайловича. «Какое прекрасное место, – сказал царь, – как Иерусалим!» Никону понравилось это замечание, и он задумал создать подобие настоящего Иерусалима: послал Арсения Суханова снова на Восток с целью достать и привезти точный снимок с иерусалимского храма Воскресения. Между тем он дал палестинские названия окрестностям своей начинающейся обители: явился Назарет, явилось село Скудельничье и т.п.; гору, с которой любовался царь, назвал Никон Елеоном, а реку Истру – Иорданом. Но потом, мало-помалу, на Алексея Михайловича начали оказывать влияние враги Никона, бояре: Стрешнев, Никита Одоевский, Трубецкой и другие. Бояре, как видно, задели чувствительную струну в сердце царя; бояре указали ему, что он не один самодержец, что, кроме него, есть еще другой великий государь. Алексей Михайлович был

из таких натур, которые не могут жить без друзей и всегда поддаются их влиянию, но когда спохватятся и увидят свою зависимость – им делается стыдно, досадно и прежняя дружба начинает тяготить их. Царь, не ссорясь с Никоном, стал отдаляться от него. Никон понял это и не искал объяснений с царем, но вельможи, заметивши, что патриарх уже не имеет прежней силы, не утерпели, чтобы не дать ему этого почувствовать.

Сам царь развил в этом человеке властолюбие; он приучил его вмешиваться в государственные дела, и патриарху трудно было держаться в стороне от них. Зависимость церкви от государственной власти казалась ему нестерпимой, по мере того, как он терял прежнюю силу и влияние на дела государственные. С этих пор у него естественно, если не в первый раз явилось, то сильнее развилось стремление поставить духовную власть независимо от светской и церковь – выше государства. Это ясно видно из его критики на Уложение, которое подчинило духовных лиц суду приказов: монастырского и дворцового. «Ответ» Никона, хотя написан позже, но в нем отразился тот взгляд патриарха, который неминуемо должен был привести его в столкновение с верховною светскою властью.

Он называл ложью слова Уложения, будто бы бояре, составлявшие его, выписывали статьи из правил Св. апостол, Св. отец, вселенских соборов и законов греческих царей. В Уложении говорится: «Суд государя царя». – «Нет, – возражает Никон, – суд Божий есть, а не царев, не человека суд, а Богом дан человекам. Цари только слуги Божии». В Уложении запрещено судить в приказах, кроме великих царственных дел, в большие праздники и в дни рождения государя и членов его семейства. Никон возмущается сопоставлением царских дней с господскими праздниками: «Что это за праздники? Что это за таинство? Все любово-страстно и по-человечески! Не только уподобил человек Богу, но и предпочел Богу!» По поводу денежного бесчестия и телесных наказаний, положенных за оскорбление духовных, Никон восклицает: «Откуда ты, беззаконник, выдумал, в противность божественных заповедей и уставов Св. апостол и Св. отец, возмерять против зла злом, побоями и платою серебра по качеству и количеству!» Его возмущало то, что какое бы то ни было дело, касающееся патриарха и духовенства, может разбираться и судиться светскою властью. 83 и 84 ст. гл. X Уложения говорят о бесчестии, положенном на духовных лиц, за оскорбление бояр, окольных и других лиц: «Не дьявольский ли это закон? – спрашивает Никон. – Ей-ей, самого Антихриста; выдуман для того, чтобы никто не смел от страха проповедывать правды Божией, по написанному: не обличай безумных, да не возненавидят тя. В X гл. в 1 статье написано: суд один от мала до велика, без различия чина и достоинства стало быть, и казни одинаковые, как простым людям, так и священному чину! Хорошо сделал бы всякий человек священного чина от патриарха до последних причетников, если бы не послушал и не пошел на твое беззаконное судище, но наплевал на закон и на судьбу беззаконного, как поступали отроки по повелению цареву. Вот, в книге Прологе пишется, как святые мученики и исповедники, влекомые на судище, не только не повиновались, но оплевали и прокляли их беззакония. Так и теперь, если кто хочет мужественно подвигнуться за заповеди Христовы и за каноны Св. апостол и Св. отец, тот пусть не только судьи не послушает, но оплюет и проклянет его повеление и закон. И если кто у пристава отнимет наказную или приставную память (за что в 142 ст. X гл. положено наказание кнутом), и издерет ее, и оплюет ее и потопчет, тот не погрешит, как и первые мученики... О богоборче, князь Никита, что ты это говоришь про слободы патриаршие, владычьи и монастырские? Не все ли Божии и мы все Божии, кроме тебя и подобных тебе? Священническая часть – Божья часть и достояние. Не должно рассуждать об управлении епископом церковного имения: он имеет власть управлять им, как перед лицом Бога. Если епископам поручены человеческие души, то тем паче следует им поручить имения, чтобы они устанавливали в них все власти и через руки честных пресвитеров и дьяконов подавали требуемое убогим... Где написано, чтобы парям и князьям, и боярам, и дьякам судить духовных? Перечти все правила не только христианские, но и мучительские: нигде не найдешь, чтобы можно было судить патриарха! Епископов и митрополита, по 9 правилу четвертого вселенского и карфагенского соборов, могут судить только епископы всей области, если их будет не менее двенадцати. Пресвитера



судят шесть епископов, дьяка три причетника вместе с епископом. По каким же ты законам вымыслил судить в монастырском приказе простым людям митрополитов, епископов, архимандритов, игуменов, попов, дьяконов, причетников?» Так относился Никон к Уложению, книге законов государства, которая была утверждена приговором выборных людей всей русской земли. Никон не давал значения этому приговору: «Всем ведомо, – говорил он, – что сбор был не по воле, от боязни междоусобия всех черных людей, а не ради истинной правды». О дьяках и приказных людях, в руках которых было Уложение, Никон отзывался так: «Это – ведомые враги Божии и дневные разбойники: без всякой боязни днем людей Божиих губят!»

Выходки подобного рода, без сомнения, Никон позволял себе и в то время, когда его могущество уже пошатнулось, но еще не доходило до явной размолвки. Никон говорит в письме к константинопольскому патриарху Дионисию: «У его царского величества составлена книга, противная Евангелию и правилам Св. апостолов и Св. отец. По ней судят, ее почитают выше Евангелия Христова. В той книге указано судить духовных архиереев и их стряпчих, детей боярских, крестьян, архимандритов, и игуменов, и монахов, и монастырских слуг, и крестьян, и попов, и церковных причетников в монастырских приказах мирским людям, где духовного чина нет вовсе. Много и других пребеззаконий в этой книге! Мы об этой проклятой книге много раз говорили его царскому величеству, но за это я терпел унижение и много раз меня хотели убить. Царь был прежде благоговеен и милостив, во всем искал Божиих заповедей, и тогда милостию Божиею и нашим благословением победил Литву. С тех пор он начал гордиться и возвышаться, а мы ему говорили: перестань! Он же в архиерейские дела начал вступаться, судами нашими овладел: сам ли собою он так захотел поступать, или же злые люди его изменили, – он уподобился Ровоаму, царю израильскому, который отложил совет старых мужей и слушал совета тех, которые с ним воспитывались».

Летом 1658 наступила явная размолвка. Приехал в Москву грузинский царевич Теймураз; по этому поводу был во дворце большой обед. Никона не пригласили, хотя прежде в подобных случаях ему оказывали первую честь. Патриарх послал своего боярина, князя, по имени Дмитрий, за каким-то церковным делом, как он сам говорил, или для того, чтобы высмотреть, что там делалось, как говорили другие. Окольничий Богдан Матвеевич Хитрово, расчищавший в толпе путь для грузинского царевича, ударил по голове палкой патриаршего боярина.

– Напрасно бьешь меня, Богдан Матвеевич, – сказал патриарший боярин, – мы пришли сюда не просто, а за делом. – А ты кто таков? – спросил окольничий. – Я патриарший человек, за делом послан, – отвечал Дмитрий.

– Не дорожись! – сказал Хитрово и еще раз ударил Дмитрия по лбу.

Патриарший боярин Дмитрий с плачем вернулся к Никону и жаловался на обиду.

Никон написал царю письмо и просил суда за оскорбление своего боярина.

Царь отвечал ему собственноручно: «Сыщу и по времени сам с тобою видеться буду».

Однако прошел день, другой: царь не повидался с Никоном и не учинил расправы за оскорбление его боярина.

Наступило 8-е июля, праздник иконы Казанской Богородицы. В этот праздник патриарх обыкновенно служил со всем собором в храме Казанской Божией Матери. Царь с боярами присутствовал на богослужении. Накануне, когда пришло время собираться к вечерне, патриарх послал к царю священника с вестью, что патриарх идет в церковь. Царь не пришел; не было его в церкви и в самый день праздника. Никон понял, что царь озлобился на него. 10-го июля был праздник ризы Господней. Тогда, по обычаю, царь присутствовал при патриаршем богослужении в Успенском соборе. Никон посылал к царю перед вечернею, а потом и перед заутренею. Царь не пришел и послал к Никону своего спальника, князя Юрия Ромодановского, который сказал: «Царское величество на тебя гневен: оттого он не пришел к заутрени и повелел не ждать его к святой литургии». Никон спросил: за что царь на него гневается? Юрий Ромодановский отвечал: «Ты пренебрег его царским величеством и пишешься великим государем, а у нас один великий государь – царь».

Никон возразил на это: «Я называюсь великим государем не собою. Так восхотел и повелел его величество. На это у меня и грамоты есть, писанные рукою его царского величества».

Ромодановский сказал: «Царское величество почтил тебя, яко отца и пастыря, и ты этого не уразумел; а ныне царское величество велел тебе сказать: отныне не пишишь и не называйся великим государем; почитать тебя впредь не будет».

Самолюбие Никона было уязвлено до крайней степени. Стал он думать и решился произнести торжественно отречение от патриаршей кафедры, вероятно, рассчитывая, что кроткий и набожный царь испугается и поспешит помириться с первосвятителем. В тот же день, после посещения Ромодановского, он сказал о своем намерении патриаршему дьяку Каликину. Каликин уговаривал Никона не делать этого; Никон стоял на своем. Каликин сообщил боярину Зюзину, другу Никона. Зюзин велел передать Никону, чтобы он не гневил государя; иначе – захочет воротиться назад, да будет поздно. Никон несколько призадумался, стал было писать, но потом разорвал написанное, сказал: «Иду!» Он приказал купить себе простую палку, какую носили попы.

В тот же день патриарх отслужил в Успенском соборе литургию, а во время причастия дал приказание, чтобы никого не выпускали из церкви, потому что он намерен говорить поучение. При конце обедни Никон стал говорить поучение. Прочитавши сначала слово из Златоуста, Никон повернул речь о себе: «Ленив я стал, – сказал он, – не гожусь быть патриархом, окоростевел от лени, и вы окоростевели от моего неучения. Называли меня еретиком, иконоборцем, что я новые книги завел, камнями хотели меня побить; с этих пор я вам не патриарх...»

От такой неожиданной речи в церкви поднялся шум; трудно было расслышать, что далее говорил Никон. Одни после того показывали, будто он сказал: «Будь я анафема, если захочу быть патриархом!» Другие отрицали это. Как бы то ни было, кончивши свою речь, Никон разоблачился, ушел в ризницу, написал царю письмо, надел мантию и черный клобук, вышел к народу и сел на последней ступени амвона, на котором облачаются архиереи. Встревоженный народ кричал, что не выпустит его без государева указа. Между тем царь уже узнал о том, что происходит в Успенском соборе. «Я будто сплю с открытыми глазами!» – сказал он и отправил в собор князя Трубецкого и Родиона Стрешнева.

– Для чего ты патриаршество оставляешь? – спросил Трубецкой. – Кто тебя гонит?

– Я оставляю патриаршество сам собою, – сказал Никон и послал письмо царю.

В другой раз пришел к нему от царя Трубецкой с товарищем сказать, чтобы он не оставлял патриаршества. – Даю место гневу царского величества, – сказал Никон. – Бояре и всякие люди церковному чину обиды творят, а царское величество управы не дает и на нас гневает, когда мы жалуемся. А нет ничего хуже, как царский гнев носить.

– Ты сам, – сказал боярин Трубецкой, – называешь себя великим государем и вступаешься в государевы дела.

– Мы, – сказал Никон, – великим государем не сами назвались и в царские дела не вступаемся, а разве о правде какой говорили или от беды кого-нибудь избавляли, так мы архиереи, – на то заповедь приняли от Господа, который сказал: «Слушая заповедь Мене слушает».

Вдобавок он просил у государя себе келью; ему отвечали, что келей на патриаршем дворе много: может жить в любой.<sup>72</sup> Затем Никон снял с себя мантию, вышел из церкви и

<sup>72</sup> Вся эта беседа Никона с Трубецким основана на собственном письме Никона к константинопольскому патриарху. По другим известиям, Никон в это время говорил только, что сходит с патриаршества по своей воле. Ничто не подает повода сомневаться в известии, сообщаемом письмом Никона. Всему церковному ведомству нанесена была жестокая обида после того, как оскорбление, сделанное патриаршему боярину, оставлено самим государем без внимания. Притом патриарху было объявлено, что царь на него гневается. Московскому патриарху приходилось, естественно, говорить присланным боярам именно те слова, какие он сообщает в письме константинопольскому патриарху. Это согласно и с характером Никона, который в это время должен был находиться в сильно раздраженном состоянии. Он, конечно, надеялся, что, после заявленного

ушел пешком на подворье Воскресенского монастыря.

Он пробыл там два дня, быть может, дожидаясь, что царь, по крайней мере теперь, позовет его и захочет с ним объясниться, но царь не звал его. Никон отправился в Воскресенский монастырь на двух плетеных повозках, которые тогда назывались киевскими, написавши царю письмо в таком смысле: «По отшествии боярина вашего Алексея Никитича с товарищами, ждал я от вас, великого государя, милостивого указа по моему прошению; не дождался, – и многих ради болезней велел отвезти себя в Воскресенский монастырь».

Вслед за Никоном приехал в Воскресенский монастырь боярин Трубецкой, но не с мировой, не с просьбой о возвращении в столицу. Боярин сказал ему: «Поддай великому государю, государыне царице и их детям свое благословение, благослови того, кому Бог изволит быть на твоём месте патриархом, а пока патриарха нет, благослови ведать церковь крутицкому митрополиту». Никон дал на все согласие; просил, чтоб государь, царица и их дети также его простили, бил челом о скорейшем избрании преемника, чтобы церковь не вдовствовала, не была беспастырною и, в заключение, подтвердил, что он сам не хочет быть патриархом.

Казалось, дело было совершенно покончено. Правитель церкви сам отрекся от управления ею, – случай не редкий в церковной истории, – оставалось избрать на его место другого законным порядком. Но царь начал колебаться: с одной стороны, в нём говорило прежнее дружеское чувство к Никону, с другой – бояре настраивали его против патриарха, представляя ему, что Никон умалял самодержавную власть государя. Царь боялся раздражить бояр, не принимал явно стороны ненавидимого ими патриарха, но отправил через Афанасия Матюшкина Никону свое прощение; потом – посылал к нему какого-то князя Юрия, приказывал передать, что все бояре на него злобствуют, – один только царь и посланный князь Юрий к нему добры. Между тем царь не посмел тогда просить его о возвращении на патриаршество. Никон, как будто забывши о патриаршестве, деятельно занимался каменными постройками в Воскресенском монастыре, копал возле монастыря пруды, разводил рыбу, строил мельницы, рассаживал сады, расчищал леса, всегда показывал пример рабочим, трудясь наравне с ними. Царь не раз жаловал ему щедрую милостыню на создание монастыря, на прокормление нищих и, в знак особого внимания, в большие праздники и свои семейные торжества, посылал ему лакомства, которые он отдавал на трапезу всей братии.

Но потом вмешательство Никона в церковные дела опять вооружило против него царя, и царь, по наговору бояр, запретил сноситься с Никоном, приказал сделать обыск в его бумагах и перестал оказывать ему прежние знаки внимания.<sup>73</sup>

---

отречения, царь так или иначе сам захочет с ним объясниться. Но Алексей Михайлович как будто назло прислал к нему недоброжелателей. Со своей стороны и боярам вполне естественно было сделать ему упрек о вмешательстве в государственные дела, за что они и прежде на него злобствовали.

<sup>73</sup> Весною 1659 года Никон, услышавши, что крутицкий митрополит в Москве совершал обряд шествия на осле в день вербного воскресенья, написал государю письмо, в котором осуждал этот поступок, считаемый им исключительно принадлежностью патриаршего звания. «Некто, – писал он царю, – дерзнул олюбодействовать седалище великого архиерея. Пишу это – не желая возвращения к любоначалию и ко власти. Если хотите избирать патриарха благозаконно и правильно, то начните избрание соборно, и кого божественная благодать изберет, того и мы благословим. Если это совершилось по твоей воле, государь, Бог тебя прости, только вперед воздержись брать на себя то, что не в твоей власти!» Царь отправил к Никону приближенных лиц объяснить, что уж издавна в России митрополиты совершали это действие. Никон возразил, что это прежде делалось неведением. Вероятно, во время Никонова патриаршества, уже прежде сделано было распоряжение о том, что означенное действие должно принадлежать только патриарху. Ему заметили, чтобы он более не вмешивался в этого рода дела. Никон отвечал, что он паству свою оставил, но не оставлял попечения об истине. «И простые пустынные, – сказал он, – говорили царям греческим об исправлении духовных дел». – «Но ведь ты от патриаршества отрекся, – сказали ему, – и дал благословение на избрание себе преемника». – «Да, отрекся, – отвечал Никон, – не думаю о возвращении на святительский престол, и теперь даю благословение на избрание преемника; но я не отрицаюсь называться патриархом».

В июле 1659 года Никон, узнавши о том, что делается в Москве с его бумагами, написал царю резкое письмо: «Ты, великий государь, – писал он, – через стольника своего Афанасия Матюшкина прислал свое милостивое прощение: теперь же слышу, поступаешь со мной не как с прощенным, а как с последним злодеем. Ты повелел взять мои вещи, оставшиеся в кельи, и письма, в которых много тайного, чего не следует знать мирянам. Божьим попущением, вашим государским советом и всем освященным собором я был избран первым святителем, и много ваших государевых тайн было у меня; кроме того, многие, требуя прощения своих грехов, написывали их собственноручно и, запечатавши, подавали мне, потому что я, как святитель, имел власть, по благодати Божией, разрешать им грехи, которые разрешать и ведать никому не подобало, да и тебе, великому государю. Удивляюсь, как ты дошел до такого дерзновения: ты прежде страшился судить простых церковных причетников, потому что этого святые законы не повелевают, а теперь захотел ведать грехи и тайны бывшего пастыря, и не только сам, да еще попустил и мирским людям: пусть Бог не поставит им во грех этой дерзости, если покаются! Если тебе, великий государь, чего нужно было от нас, то мы бы для тебя сделали все, что тебе подобает. Все это делается, как мы слышали, лишь для того, чтобы у нас не осталось писания руки твоей, где ты называл нас великим государем. От тебя, великий государь, положено было этому начало. Так писал ты во всех твоих государевых грамотах; так писано было и в отписках всех полков к тебе и во всяких делах. Этого невозможно уничтожить. Пусть истребится оное злое, горделивое, проклятое проименование, происшедшее не по моей воле. Надеюсь на Господа: нигде не найдется моего хотения или веления на это, разве кроме лживых сплетен лжебраций, от которых я много пострадал и страдаю. Все, что нами сказано смиренно, – перетолковано, будто сказано было гордо; что было благохвально, то пересказано тебе хульно, и от таких-то лживых словес поднялся против меня гнев твой! Думаю, и тебе памятно, великий государь, как, по нашему приказанию, велели кликать нас по трисвятом великим господином, а не великим государем. Если тебе это не памятно, изволь допросить церковников и соборных дьяков, и они тебе тоже скажут, если не солгут. Прежде я был у твоей милости единотрапезен с тобою: ты меня кормил тучными брашнями; а теперь, июня в 25 день, когда торжествовалось рождение благоверной царевны Анны Михайловны, все веселились от твоей трапезы; один я, как пёс, лишен богатой трапезы вашей! Если бы ты не считал меня врагом, то не лишил бы меня малого кусочка хлеба от богатой вашей трапезы. Это пишу я не потому, что хлеба лишаюсь, а потому, что желаю милости и любви от тебя, великого государя. Перестань, молю тебя, Господа ради, на меня гневаться. Не попускай истязать мои худые вещи. Угодно ли было бы тебе, чтобы люди дерзали ведать твои тайны, помимо твоей воли? Не один я, но многие ради меня страдают. Еще недавно, ты, государь, приказывал мне сказать с князем Юрием, что только ты, да князь Юрий ко мне добры; а теперь вижу, что ты не только сам стал немилостив ко мне, убогому своему богомольцу, а еще возбраняешь другим миловать меня: всем положен крепкий заказ не приходиться ко мне! Ради Господа молю, перестань так поступать! Хотя ты и царь великий, но от Господа поставлен правды ради! В чем моя неправда перед тобою? В том ли, что, ради церкви, просил суда на обидящего? Что же? Не только не получил я праведного суда, но и ответы были исполнены немилосердия. Теперь слышу, что, противно церковным законам, ты сам изволишь судить священные чины, которых не поверено тебе судить. Помнишь Мануила, царя греческого, как хотел он судить священников, а ему Христос явился: в соборной, апостольской церкви есть образ, где святая десница Христова указывает указательным перстом, повелевая ангелам показать царя, за то, чтоб не отваживался судить рабов Божиих прежде общего суда! Умились, Господа ради, и из-за меня грешного не озлобляй тех, которые жалеют обо мне. Все люди – твои и в твоей руке, того ради паче милуй их и заступай, как и божественный апостол учит: ты слуга Божий, в отомщение злодеям и в похвалу добрым; суди праведно, а на лица не смотри; тех же, которые озлоблены и заточены по малым винам или по оболганию, тех, ради Бога, освободи и возврати; тогда и Бог святыи оставит многие твои согрешения». В заключение Никон уверял царя, что он не забирал с собой патриаршей казны

и ризницы, как на него говорили.<sup>74</sup>

Письмо это не понравилось государю, а бояре намеренно усиливали в нем досаду против бывшего друга. Под предлогом небезопасности от нашествия врагов, его хотели удалить от Москвы и от имени царя предложили переехать в крепкий монастырь Макария Колязинского. «У меня, – сказал Никон, – есть свои крепкие монастыри: Иверский и Крестный, а в Колязин я не пойду; лучше уже мне идти в Зачатейский монастырь в Китай-городе, в углу». – «Какой это Зачатейский монастырь?» – спросил его посланный. «Тот, – сказал Никон, – что на Варварском кресте, под горою». – «Там тюрьма», – заметил посланный. «Это и есть Зачатейский монастырь», – сказал Никон. Его не услали в Колязинский монастырь. С царского разрешения Никон приезжал в Москву, давал всем разрешение и прощение, а через три дня, по царскому повелению, отправился в Крестный монастырь, построенный им на Белом море, в память своего избавления от кораблекрушения, когда он был еще простым иеромонахом.

Никона удалили с тем, чтобы, во время его отдаления, решить его судьбу. В феврале 1660 года в Москве собран был собор, который положил не только избрать другого патриарха, но лишить Никона чести архиерейства и священства. Государь смутился утвердить такой приговор и поручил просмотреть его греческим архиереям, случайно бывшим в Москве. Греки, сообразивши, что против Никона вооружены сильные мира сего, не только одобрили приговор русских духовных, но еще нашли, в подтверждение справедливости этого приговора, какое-то сомнительного свойства объяснение правил Номоканона. Тогда энергически поднялся за Никона ученый киевский старец Епифаний Славинецкий. Он, в поданной царю записке, на основании церковного права, ясно доказал несостоятельность применения указанных греками мест к приговору над Никоном. Епифаний признавал, что собор имеет полное право избрать другого патриарха, но не может лишить Никона чести патриаршего сана и архиерейского служения, так как добровольно отрекающиеся архиереи не могут, без вины и суда, лишаться права носить сан и служить по архиерейскому чину. Доказательства Славинецкого оказались так сильны, что царь остался в недоумении. Он решился снова обратиться к Никону с лаской и просить его, чтоб он дал свое благословение на избрание нового патриарха. Никон отвечал, что если его позовут в Москву, то он даст свое благословение новоизбранному патриарху, а сам удалится в монастырь. Но Никона не решались призвать в Москву на собор; ему только дозволили воротиться в Воскресенский монастырь. Туда прибыл снова Никон и жаловался, что когда он находился в Крестном монастыре, то его хотел отравить черный дьякон Феодосий, подосланный крутицким митрополитом, его заклятым врагом. Феодосий со своими соумышленниками был в Москве подвергнут пытке; но темное дело осталось неразъясненным.

В Воскресенском монастыре Никона ожидала другая неприятность: окольный Роман Боборыкин завладел угодьями, принадлежащими Воскресенскому монастырю. Монастырский приказ утвердил за ним эту землю. Между крестьянами Боборыкина и монастырскими произошли, по обычаю, споры и драки. Боборыкин подал жалобу в монастырский приказ, а приказ притянул к ответу монастырских крестьян. Тогда Никон написал царю длинное и резкое письмо, называл церковь гонимую, сравнивал ее с апокалипсической женою, преследуемой змием. «Откуда, – спрашивал он царя в своем письме, – взял ты такую дерзость, чтобы делать сыски о нас и судить нас? Какие законы Божии повелели тебе обладать нами, Божиими рабами? Не довольно ли тебе судить

---

<sup>74</sup> «Говорят, будто я много ризницы и казны взял с собою – я взял один только саккос, и то недорогой, а омофор прислал мне халкидонский митрополит. Казны я с собой не взял, а удержал немного, сколько нужно было на церковное строение, чтобы расплатиться с работниками. Где другая казна, то всем явно, куда она пошла: двор московский стоит тысяч десять, на постройку насадов истрачено тысяч десять, а этим, тебе государь, я челом ударил на подъем ратный; да лошадей куплено прошлым летом тысячи на три, да тысяч десять есть в казне. Шапка архиерейская тысяч в пять-шесть стала».

правильно людей царствия мира сего? Но ты и об этом не стараешься... Мало ли тебе нашего бегства? Мало ли тебе, что мы оставили все на волю твоего благородия, отрясая прах ног своих ко свидетельству в день судный! Рука твоя обладает всем архиерейским судом и достоянием. По твоему указу – страшно молвить – владык посвящают, архимандритов, игуменов и попов поставляют, а в ставильных грамотах дают тебе равную честь со Святым Духом, пишут: „По благодати Св. Духа и по указу великого государя“. Как, будто Святой Дух не волен посвятить и без твоего указа! Как много Бог тебе терпит, когда написано: „Аще кто на Св. Духа хулит, не имать оставления, ни в сий век, ни в будущий“. Если тебя и это не устрасило, то что может устрасить! Уже ты стал недостойным прощения за свою дерзость. Повсюду твоим насилием отнимаются у митрополий, епископий и монастырей движимые и недвижимые вещи. Ты обратил ни во что установления и законы Св. отец, благочестивых царей греческих, великих царей русских и даже грамоты и уставы твоего отца и твои собственные. Прежде, по крайней мере, хотя и написано было по страсти, ради народного смущения, но все-таки сказано: в монастырском приказе сидеть архимандритам, игуменам, священникам и честным старцам; а ты все это упразднил: судят церковный чин мирские судьи; ты обесчестил Св. Духа, признавши его силу и благодать недостаточной без твоего указа; обесчестил святых апостолов, дерзая поступать противно их правилам; – лики святых, вселенские соборы, Св. отец, благочестивых царей, великих князей, укрепивших православные законы. Ордынские цари восстанут против тебя в день судный с их ярлыками; и они, неверные, не судили сами церковных судов, не вступались ни во что церковное, не оскорбляли архиереев, не отнимали Божия возложения, а сами давали грамоты, которые всюду по митрополиям, монастырям и соборным церквам соблюдались до твоего царствования. Того ради, Божия благодать исполняла царские обиходы и мир был весь строен, а в твое царствие все грамоты упразднены и отняты у церкви Божией многие недвижимые вещи; за это Бог оставил тебя и вперед оставит, если не покаешься...» Никон в том же письме рассказывал, что ему было видение во время дремоты в церкви на заутрени: являлся ему митрополит Петр и повелел сказать царю, что за обиды, нанесенные церкви, был два раза мор в стране и царское войско терпело поражение. Вслед за тем Никону, как он уверял, представился царский дворец, и некий седой муж сказал: «Псы будут в этом дворе щенят своих родить, и радость настанет бесам от гибели многих людей».

Само собою разумеется, после этого письма примирение царя с патриархом стало еще труднее. Между тем монастырский приказ, назло Никону, особенно ненавидевшему этот приказ, решил дело спорное в пользу Боборыкина. Никон, раздраженный этим до крайности, отслужил в Воскресенском монастыре молебен и, за этим молебном, велел прочитать жалованную грамоту царя на землю Воскресенского монастыря, в доказательство того, что монастырский приказ решил дело неправильно, а потом произнес проклятие, выбирая пригодные слова из 108 псалма.<sup>75</sup>

Боборыкин донес, что эти проклятия относились к государю. Набожный царь пришел в ужас, собрал к себе архиереев, плакал и говорил: «Пусть я грешен; но чем виновата жена моя и любезные дети мои и весь двор мой, чтобы подвергаться такой клятве?»

В это время стал приближен к царю грек митрополит газский, Паисий Лигарид, человек ученый, получивший образование в Италии: впоследствии, он был в Палестине посвящен в архиерейский сан, но подвергся запрещению от иерусалимского патриарха Нектария за латинумудрствование. Никон, еще до своего отречения, по ходатайству грека Арсения, пригласил его в Москву. Паисий приехал уже в 1662 году, когда патриарх находился в Воскресенском монастыре. Никон надеялся найти себе защитника в этом ученом греке. Паисий сперва пытался примирить патриарха с царем и письменно убеждал его смириться и

---

<sup>75</sup> «Молитва его да будет грехом; да будут дни его кратки; достоинство его да получит другой; дети его да будут сиротами, жена его вдовою; пусть заимодавец захватит все, что у него есть, и чужие люди разграбят труды его; пусть дети его скитаются и ищут хлеба вне своих опустошенных жилищ... Пусть облечется проклятием, как одеждою, и оно проникнет, как вода, во внутренности его, и, яко елей, в кости его» и пр...

отдать кесарево кесареви, но увидел, что выходки Никона до того раздражили царя и бояр, что на примирение надежды нет – и открыто стал на сторону врагов патриарха. Этот приезжий грек подал царю совет обратиться ко вселенским патриархам. Царь Алексей Михайлович, по своей натуре, всегда готов был прибегнуть к полумерам, именно тогда, когда нужно было действовать прямо и решительно. И в этом случае было так поступлено. Составили и порешили отправить ко всем вселенским патриархам двадцать пять вопросов, относящихся к делу Никона, но не упоминая его имени: представлены были на обсуждение патриархов случаи, какие происходили в России, но представлены так, как будто неизвестно: когда и с кем они происходили; казалось даже, что они не происходили вовсе, а приводились только для того, чтобы знать, как следует поступить, если бы они произошли. Доставить эти вопросы патриархам царь доверил одному греку, по имени Мелетий, которого Паисий Лигарид поручил вниманию государя.

Затем, в ожидании ответов от вселенских патриархов на посланные вопросы, царь отправил в Воскресенский монастырь к Никону того же Паисия Лигарида с астраханским архиепископом Иосифом; вместе с ними поехали к Никону давние недоброжелатели патриарха: боярин князь Никита Иванович Одоевский, окольный Родион Стрешнев и думный дьяк Алмаз Иванов.

Никон был озлоблен против Паисия, которого еще не видал в глаза: он надеялся, что приглашенный им грек будет за него; теперь до Никона дошло, что Паисий не только дает советы царю ко вреду Никона, но даже толкует, будто Никон неправильно носит звание патриарха, два раза получивши архиерейское рукоположение: как митрополит новгородский и потом, как патриарх московский. Как только явился к нему на глаза этот грек на челе посольства, Никон обругал его самоставником, вором, собакой. «Привыкли вы тыкаться по государствам, да мутить – и у нас того же хотите!» – сказал он, обращаясь уже, по смыслу своей речи, не к одному лицу Паисия, а вообще к грекам.

– Отвечай мне по-евангельски, – сказал Паисий по-латыни, – проклинал ли ты царя?

– Я служу за царя молебны, – сказал Никон, когда ему перевели слова Паисия, – а ты зачем говоришь со мной на проклятом латинском языке?

– Языки не прокляты, – сказал Паисий, – когда огненный дух сошел в виде языков; не говорю с тобой по-еллински, потому что ты невежда и не знаешь этого золотого языка. Ты сам услышишь латинский язык из уст папы, когда поедешь в Рим для оправдания. Ведь ты ищешь у него апелляции.

Это было, по всему видно, злостолкование слов, произнесенных Никоном о древнем праве суда римских первосвященников.

– Ты, – продолжал Паисий, – выписывал правила о папском суде, бывшем в то время, как папы еще сохраняли благочестие, а не написал, что после них суд перешел ко вселенским патриархам.

Никон, обратившись к товарищу Паисия Иосифу, сказал:

– И ты, бедный, туда же! А помнишь ли свое обещание? Говорил, что и Царя слушать не станешь! Что? видно, тебе что-нибудь дали, бедняку?

Вступили в разговор бояре и стали допрашивать патриарха насчет читанного им проклятия со сто восьмым псалмом.

– Клятву я произносил на Романа Боборыкина, а не на государя, – сказал Никон. Он вышел и возвратился снова с тетрадкой. – Вот что я читал! – сказал он.

– Вольно тебе, – сказали бояре, – показать нам и совсем иное!

Никон выходил из себя, стучал посохом, перебивал речи бояр и, в порыве досады, как уверяют, сказал:

«Да если б я и к лицу государя говорил такие слова... я и теперь за его обиды стану молить: приложи зла, Господи, сильным земли!»

Сыпались взаимные укоры. Никон роптал, что царь вступает в святительские суды и в церковные порядки, а бояре упрекали Никона за то, что патриарх вступался в государственные дела.

Среди жаркого спора с боярами, Никон обратился к Паисию и сказал:

– Зачем против правила ты надел красную мантию?

– Затем, – отвечал Паисий, – что я из настоящего Иерусалима, где пролита пречистая кровь Спасителя, а не из твоего лжеименного Иерусалима, который есть ни старый, ни новый, а третий – антихристов!

Никон опять вступил в спор с боярами:

– Какой это там у вас собор затевается? – сказал он.

– Собор собирается по царскому велению для твоего неистовства, а тебе до него нет дела. Ты уже более не патриарх! – сказали бояре.

– Я вам не патриарх, – сказал Никон, – но патриаршеского сана не оставлял.

Спор становился горячее. Никон закричал:

– Вы на меня пришли, как жида на Христа!

От него потребовали его подначальных для допроса по делу о проклятии со сто восьмым псалмом.

– Я не пошлю никого из своих людей, – сказал Никон. – Берите сами, кого вам надобно.

Около монастыря поставили стражу, чтоб никто не убежал. Начались допросы. Все, бывшие в церкви во время обряда, совершенного Никоном над царской грамотой, не показали ничего обличающего, чтобы Никон относил свое проклятие к особе царя; все, кроме того, показывали, что в этот день читалось на ектениях царское имя.

Бояре еще принялись спорить с Никоном. Разгоряченный патриарх грозил, что он «оточтет» царя от христианства, а бояре сказали: «Поразит тебя Бог за такие дерзкие речи против государя; если бы ты был не такого чина, – мы бы тебя за такие речи живого не отпустили».<sup>76</sup>

После таких бесед, которых содержание сообщено было царю, быть может и с прибавлениями, примирение сделалось невозможнее.

– Видел Никона? – спросил царь Алексей Михайлович Паисия.

– Лучше было бы мне не видеть такого чудовища, сказал грек, – лучше оглохнуть, чем слушать его циклопские крики! Если бы кто его увидел, то почел бы за бешеного волка!

На следующий 1664 год получены ответы четырех патриархов, привезенные Мелетием. Ответы эти были как нельзя более против Никона, хотя в них, сообразно вопросам, не упоминалось его имя. Главная суть состояла в том, что, по мнению вселенских патриархов, московский патриарх и все духовенство обязаны повиноваться царю, не должны вмешиваться в мирские дела; архиерей, хотя бы носящий и патриарший титул, если оставит свой престол, то может быть судим епископами, но имеет право подать апелляцию константинопольскому патриарху, как самой верховной духовной власти, а лишившись архиерейства, хотя бы добровольно, лишается тем самым вообще священства. Здесь именно оправдывалось то, что хотел постановить собор в 1660 году и что было задержано возражениями Славинецкого. Но тут возникли сомнения. Греки, наплывшие тогда в Москву и допускаемые царем вмешиваться в церковную смуту, возникшую в русском государстве, ссорились между собою и доносили друг на друга. Явился какой-то иконийский митрополит Афанасий, называл себя (неправильно, как после объяснилось) экзархом и вместе родственником константинопольского патриарха: он заступался за Никона; явился другой грек Стефан, также как будто от константинопольского патриарха с грамотой, где патриарх назначал своим экзархом Лигарида Паисия. Этот Стефан был против Никона. Афанасий иконийский уверял, что патриаршие подписи на ответах, привезенных Мелетием, подложные. Царь, бояре, духовные власти сбились с толку и отправили в Константинополь монаха Савву за справками о наехавших в Москву греках и с просьбой к константинопольскому патриарху прибыть в Москву и решить дело Никона своею властью.

<sup>76</sup> Замечательно, что для Никона ничего не значило изречь церковное проклятие по собственным делам. У одного купца, Щепоткина, взял он в долг 500 пуд. меди на отливку колокола. Щепоткин в уплату этого долга роздал товары, которые патриарх поручил ему продать. Никон нашел счет Щепоткина неправильным и вместо судебного иска поразил его проклятием.



Патриарх Дионисий отказался ехать в Москву, советовал царю или простить Никона или поставить, вместо него, иного патриарха, а о греках, озадачивших царя и его синклит своими противоречиями, дал самый невыгодный отзыв. Ни Афанасию Иконийскому (которого вовсе не признавал за своего родственника), ни Стефану он не давал никаких полномочий; о Паисии Лигариде сказал, что, по многим слухам, он – папешник и лукавый человек; наконец, о самом Мелетии, которого царь посылал к патриархам с вопросами, отозвался неодобрительно. Таким образом, хотя ответы, привезенные Мелетием от четырех патриархов, не оказались фальшивыми, однако, важно было то, что сам константинопольский патриарх, которого суд ценился выше всего в этих ответах, изъявлял мнение, что Никона можно простить, следовательно, не признавал его виновным до такой степени, чтобы низвержение его было неизбежно. Еще сильнее заявил себя в этом смысле иерусалимский патриарх Нектарий. Хотя он и подписался на ответах, которые могли служить руководством для осуждения Никона, но, вслед за тем, прислал к царю грамоту, и в ней убедительно и положительно советовал царю, для избежания соблазна, помириться с Никоном, оказать ему должное повиновение, как к строителю благодати и как предписывают божественные законы. Патриарх изъявлял, кроме того, полное недоверие к тем обвинениям против московского патриарха, какие слышал от присланного к нему из Москвы Мелетия. Отзывы константинопольского и иерусалимского патриарха задержали дело.

Собирать собор и осудить Никона после этого казалось уже зазорно, тем более, когда ответы патриархов не относились положительно к лицу Никона; осужденный, сообразно тем же ответам, мог подать апелляцию к константинопольскому патриарху и даже ко всем четырем патриархам. Дело затянулось бы еще далее; русская церковь на долгое время предана была бы раздору и смутам, так как, судя по отзывам двух патриархов, могло быть между этими вселенскими судьями разноречие и даже можно было опасаться, что дело повернулось бы в пользу Никона.

Однако патриаршие отзывы не поколебали вполне доверия царя к врагам Никона, Паисию и Мелетию. После рассуждений и толков, царь, бояре и власти решили отправить того же Мелетия к трем патриархам (кроме константинопольского) и просить их прибыть в Москву на собор для решения дела московского патриарха, а в случае, если нельзя будет приехать им всем, то настаивать, чтобы, по крайней мере, приехали двое.

Никон, узнавши, что враги его собирают над ним грозу суда вселенских патриархов, попытался снова сблизиться с царем и написал к нему в таком смысле: мы не отменяем собора и хвалим твое желание предать все рассуждению патриархов по божественным заповедям евангельским, апостольским и правилам святых отец. Но вспомни, твое благородие: когда ты был с нами в добром совете и любви, мы, однажды, ради людской ненависти, писали к тебе, что нельзя нам предстательствовать во святой великой церкви; а какой был твой ответ и написание? Это письмо спрятано в тайном месте в одной церкви, и этого никто, кроме нас, не знает. Смотри, благочестивый царь, не было бы тебе суда перед Богом и созываемым тобою вселенским собором! Епископы обвиняют нас одним правилом первого и второго собора, которое не о нас написано, а как о них предложится множество правил, от которых никому нельзя будет избыть, тогда, думаю, ни один архиерей, ни один пресвитер не останется достойным своего сана; пастыри усмотрят свои деяния, смущающие твое преблаженство... крутицкий митрополит с Иваном Нероновым и прочими советниками!.. Ты посылал к патриархам Мелетия, а он злой человек, на все руки подписывается и печати подделывает... Есть у тебя, великого государя, и своих много, кроме такого воришки».

Это ли письмо, для нас не вполне понятное, или обычное благодушие тишайшего государя побудило его в кругу бояр выразиться так, что из слов его можно было вывести, что он и теперь не прочь помириться с Никоном. Этим воспользовался друг и почитатель Никона Зюзин и написал к Никону, будто царь желает, чтобы патриарх неожиданно явился в Москву, не показывая, однако, вида, что царь его звал; а чтоб ему не было на пути задержки, он у ворот городских должен был скрыть себя и сказать, будто едет архимандрит

Саввинского монастыря. Никон доверился Зюзину, который заверял патриарха, что царь милостиво его примет. Никона к тому же успокаивало сновидение: ему приснилось, что в Успенском соборе встают из гробов святители и митрополит Иона собирает их подписи для призвания Никона на патриарший престол.

Согласно подробным наставлениям Зюзина, 19-го декабря 1664 года, Никон со свитой, состоявшей из монахов Воскресенского монастыря, ночью приехал в Кремль и неожиданно вошел в Успенский собор в то время, когда там служилась заутреня и читались кафизмы. Блюстителем патриаршего престола был тогда уже не Питирим, переведенный в Новгород митрополитом, а ростовский митрополит Иона: он находился в церкви. Никон приказал остановить чтение кафизм, приказал дьякону прочесть ектению, взял посох Петра митрополита, прикладывался к мощам, потом стал на своем патриаршем месте.

Духовные растерялись, не знали, что им начать. Народ оторопел. Патриарх подозвал к себе Иону, благословил его, потом подходили к нему прочие, бывшие в храме, духовные. Они недоумевали, что это значит, и не смели ослушаться патриарха, думая, что, быть может, он явился с царского согласия. За ними народ стал толпиться и принимать благословение архипастыря. Наконец, Никон приказал ростовскому митрополиту идти к государю и доложить ему о прибытии патриарха. Иона с трепетом, опасаясь себе чего-нибудь недоброго, отправился. Царь, слушавший заутреню в своей домово́й церкви, немедленно послал звать властей и бояр.

И духовные сановники и бояре собрались к царю в большом волнении. Явился Паисий Лигарид и более всех начал вопить против Никона. «Как смел он, яко разбойник и хищник, наскочить на верховный патриарший престол, когда он должен ожидать суда вселенских патриархов?» Так говорил грек, русские духовные потакали ему. Бояре, давние враги Никона, представляли поступок патриарха преступным. Зюзина между ними не было. Зюзин, сидя дома, ожидал развязки смелой козни, устроенной им в надежде на кроткий нрав царя, на пробуждение в царском сердце прежней любви к патриарху.

Совещание царя происходило с лицами, которые имели причины всеми силами препятствовать, ради собственной целостности, примирению с царем человека, которому они успели насолить. Его примирение с царем было бы ударом для них. Неудивительно, что царь, уже без того сильно огорченный Никоном, поддался их влиянию. В Успенский собор посланы были те же лица, которые бранились с ним в Воскресенском монастыре (Одоевский, Стрешнев и Алмаз Иванов), и сказали ему:

– Ты самовольно покинул патриарший престол и обещался вперед не быть патриархом; уже об этом написано ко вселенским патриархам: зачем же ты опять приехал в Москву и вошел в соборную церковь без воли государя, без совета освященного собора? Ступай в свой монастырь!

– Я сошел с патриаршества никем не гонимый, – сказал Никон, – и пришел никем не званный, чтоб государь кровь утолил и мир учинил. Я от суда вселенских патриархов не бегаю. Сюда пришел я по явлению.

Он отдал им письмо к государю.

В письме описано было явление святителей, бывшее Никону в сновидении. Но если в те времена охотно верили всяким видениям и откровениям, когда они были полезны, то умели давать им дурной смысл, когда они вели ко вреду. Первый Лигарид сказал пред государем: «Ангел сатаны преобразился в святого ангела! Пусть скорее удалится этот лжевидец, чтоб не произошло смуты в народе или даже кровопролития!» Все были согласны с греком.

В Успенский собор отправилось трое архиереев и в числе их Паисий.

– Уезжай из соборной церкви туда, откуда приехал! – сказали патриарху.

Таков был последний ответ Никону. Ему ничего не оставалось. Он видел ясно, что его подвели, обманули. Он приложился к образам и вышел из церкви.

– Оставь посох Петра митрополита! – сказали ему бояре.

– Разве силой отнимете, – сказал Никон.

Он садился уже в сани; подле саней стоял стрелецкий полковник, которому приказано было провожать его.

Никон отряс прах от ног и произнес известный евангельский текст по этому случаю.

– Мы этот прах подметим! – сказал стрелецкий полковник.

– Разметет вас вон та метла, что на небе – хвостатая звезда! – сказал Никон, указывая на видимую тогда комету.

Вслед за Никоном послали требовать от него посоха. Он уже не упрямился и отдал посох. От него требовали отдать письмо, по которому он приезжал в Москву. Никон отослал и это письмо государю.

Тогда Зюзин был подвергнут допросу и пытке. Он указывал на соумышление с Нащокиным и Артамоном Матвеевым. Оба заперлись. По всему видно, однако, Нащокин действительно своими рассказами о том, что царь не гневается на патриарха, побудил Зюзина на смелое дело. Зюзина приговорили бояре к смертной казни, но царь заменил казнь ссылкой в Казань. Досталось немного и митрополиту Ионе. Царь поставил ему в вину, что он брал благословение от Никона; впрочем, ему не сделали большого зла; его только отрешили от должности блюстителя патриаршего престола.

Никон был жестоко посрамлен. До сих пор он стоял твердо на своем; он говорил, что не хочет править патриаршим престолом, будучи, однако, всегда в душе согласным возвратиться на этот престол, если его станут сильно просить и пообещают, что все будет по его желанию, – одним словом, если обойдутся с ним так, как обошлись в 1652 г. при его посвящении на патриаршее достоинство. Теперь – после стольких заявлений своего нежелания, он сам явился на свое патриаршее место в Москву – и был изгнан с этого места! Понятно, как должна была озлобить его неловкая услуга Зюзина. Никон еще раз попытался, если уже не быть на патриаршестве, то, по крайней мере, покончить дело без вселенских патриархов, сколько-нибудь сносно для своего будущего существования. Никон благословлял избрать другого патриарха, отрекался от всякого вмешательства в дела, просил только оставить за ним патриарший титул, монастыри, им настроенные, со всеми их вотчинами, с тем, чтобы новый патриарх не касался их и, равным образом, с тем, чтобы эти монастыри не подлежали мирским судам. Никон затем прощал и разрешал всех, кого прежде проклинал. Предложение его было предметом предварительного рассуждения, с целью обсудить его на предстоявшем соборе, но потом оставлено без внимания.

Никон, видя, что не удастся ему покончить дела без восточных патриархов, послал одного родственника своего, жившего в Воскресенском монастыре, пробраться в Турцию и доставить письмо к константинопольскому патриарху. В этом письме Никон изложил всю свою распрю с царем и боярами, порицал Уложение (как мы привели выше), осуждал поступки царя, замечал, что царь Алексей весь род христианский отягчил данями сугубо и трегубо, и более всего жаловался на Паисия Лигарида; указывал, что он верует по-римски, принял от папы рукоположение, в Польше служил в костеле римско-католическую обедню; а между тем царь его приблизил к себе, слушается его и сделал председателем на соборе; на этом соборе перевели крутицкого митрополита в Новгород, противно закону, запрещающему переводить архиереев с одного места на другое.

Не дошло это письмо к Дионисию. За Никоном и всеми его поступками зорко следили его противники. Посланный был схвачен; письмо Никона доставлено царю и окончательно вооружило против него Алексея Михайловича.

Чувствовалась и сознавалась потребность скорейшего прекращения смут в церкви. Удаление патриарха и долгое отсутствие верховной церковной власти развязали противников преобразования, начатого Никоном. У них неожиданно явилось общее с сильными земли, с самим царем, со всем, что тогда было не в ладах с патриархом, главным виновником ненавистных изменений церковной буквы и обряда. Расколотители подняли головы; сильно раздавался их голос. Аввакум был возвращен из Сибири, жил в Москве, был вхож в знатные дома, и если верить ему, сам царь видел его и обращался с ним ласково. Этот человек, вкрадчивый, умевший озадачивать слушателей беззастенчивой ложью о своих

чудесах и страданиях, приобретал сторонников; он совратил двух знатных госпож, урожденных сестер Соковниных: княгиню Урусову и боярыню Морозову, которые, как женщины влиятельные и богатые, способствовали распространению раскола. Слишком горячая проповедь не дала Аввакуму долго проживать в Москве: он был сослан в Мезень. Но, видно, он имел сильных покровителей; его скоро воротили, а потом – опять принуждены были сослать в Пафнутьевский монастырь. Никита Пустосвят и Лазарь муромский написали сочинения против новшеств, как называли тогда церковное преобразование противники; они подавали к царю свои сочинения в виде челобитных и распространяли их списки в народе. Тогда же архимандрит Покровского монастыря Спиридон написал сочинение «О правой вере», а дьякон Федор – другое, в котором обвинял всю восточную церковь в отступлении от православия. Кроме Москвы, в разных пределах государства появились рьяные расколоучители. В Костромском уезде успешным распространителем раскола был старец Капитон, крестьянин дворцового села Даниловского; за свое строгое постничество он приобрел в народе славу святого и увлекал толпы своей проповедью; его влияние было так велико, что некоторое время всех раскольников вообще называли капитонами. Во Владимирском уезде проповедывал раскол бывший наборщик печатного двора Иван; в Нижегородском, Ветлужском, Балахонском уездах проповедывали Ефрем Потемкин и иеромонах Авраамий; в Смоленске – протопоп Серапион; на севере скитались и проповедывали раскол монахи Кирилло-Белозерского монастыря Иосаф и Кожеозерского Боголеп; в Соловецком – Герасим Фирсов, Елифаний и другие; монахи Досифей и Корнилий странствовали по Дону и возмущали монахов и народ против церковного нововведения, а монахи Иоасаф Истомина волновал народ в Сибири. В разных местах появились святоши, отшельники, странники, постники, блаженные, которые возвещали народу, что приходят последние времена, наступает царство Антихриста, искажается древняя праведная вера, страшали, что кто примет трехперстное сложение, трегубое аллилуйя, произношение и начертание имени Христа Иисус, вместо Исус, четвероконечный крест и другие отмены в богослужебных обрядах и богослужебных книгах, того ожидает вечная погибель, а кто не покорится и претерпит до конца – тот спасется.

Невозможным более казалось ждать; надобно было принимать меры; с этою целью положили открыть собор: необходимо было рассеять нелепые толки о том, что в 1666 году будет что-то страшное, роковое. Наконец, в ожидании прибытия вселенских патриархов, хотели показать пред этими патриархами, что русская церковь деятельно борется со лжеучениями и осуждает их.

Собор этот, под председательством новгородского митрополита Питирима, открылся в начале 1666 года и продолжался около полугода. Заседания его происходили в патриаршей крестовой палате.

Члены собора рассматривали те и другие раскольничьи сочинения, призывали авторов и других распространителей мнений, противных церкви; обличали их, а в заключение предлагали им или отречься от своих заблуждений или подвергнуться наказанию. Большинство их принесло покаяние, хотя вообще неискренно.<sup>77</sup> Никита Пустосвят отрекся от своего учения, получил прощение, но с тайным намерением опять действовать в пользу раскола, и был отправлен в монастырь Николая на Угреше. Все другие покаявшиеся были разосланы по монастырям. Аввакум был непоколебим и не только не покорился никаким убеждениям, но еще называл неправославным весь собор, ПОЭТОМУ 13 мая 1666 года в Успенском соборе он был лишен сана, предан проклятию, отдан мирскому суду и отправлен в Пустозерский острог. Лазарь был еще задорнее; ему дали несколько месяцев на размышление, но никакие убеждения на него не действовали. Впоследствии его предали анафеме, но он и после того так нестерпимо ругался, что, наконец, ему отрезали язык и отправили в Пустозерск. Дьякон Федор сначала притворился, будто кается и отрекается от

---

<sup>77</sup> Ефрем Потемкин, инок Григорий, бывший протопоп Миронов, игумен Златоустовского монастыря Феоктист, Герасим Фирсов, иеромонах Сергей, Серапион смоленский, Антоний муромский, иеромонах Авраамий, игумен Сергей.

своих заблуждений, и был послан в Угрешский монастырь, а потом ушел оттуда, хотел увезти свою жену и детей и бежать, но был схвачен и начал открыто хулить собор и никоновские новшества. За это он отдан был мирскому суду, лишен языка и отправлен вместе с Лазарем в заточение. В заключение собор подтвердил все прежние постановления собора, бывшего по поводу исправления книг.

Этот собор 1666 г. был все еще как бы предуготовительным. Его постановления о расколе предполагалось предать суду и обсуждению вселенских патриархов.

Из четырех вселенских патриархов только двое: антиохийский Макарий, еще прежде бывавший в Москве, и александрийский Паисий отправились в Москву по приглашению царя; остальные два дали им свое полномочие. Путь ехавших в Россию лежал через Малую Азию, Персию и Грузию до Астрахани; от Астрахани до Москвы они ехали с большою торжественностью. Царь приказал доставлять им всевозможные удобства и даже устраивать мосты для проезда. По близости к столице, к ним, по обычаю, высылали несколько почетных встреч, одна за другою. У городских ворот встречала их часть духовенства, и они шли до Успенского собора крестным ходом при звоне колоколов, среди огромного стечения народа. Это было 2 ноября 1666 года.

После первых церемоний и угощений, патриархи предварительно занялись исследованием дела, которое им предстояло решить. Царь назначил для этого занятия с ними двух архиереев, Павла крутицкого и Илариона рязанского, а к ним присоединил одноязычного с патриархами Паисия Лигарида. «Имейте его отныне при себе, – сказал царь. – Он знаком с делом; от него все подробно узнаете».

Собственно, Лигарид был докладчиком по делу Никона перед вселенскими патриархами. Он составил обвинительную записку против московского патриарха, которая заранее настроила судей против обвиняемого. Достоинно замечания, что Паисий в своей записке старался вооружить патриархов тем, как будто Никон посягал на право и власть вселенских патриархов, и доказывал это с разными натяжками, указывая, главным образом на то, что Никон из высокомерия вымышлял себе разные титулы.

Наконец, 29 ноября, отправлены были псковский архиепископ Арсений, ярославский архимандрит Сергей и суздальский Павел звать Никона на собор. Никон сказал им:

«Откуда святейшие патриархи и собор взяли такое бесчиние, что присылают за мною архимандритов и игуменов, когда по правилам следует послать двух или трех архиереев?»

Ярославский архимандрит на это сказал:

«Мы к тебе не по правилам пришли, а по государеву указу. Отвечай нам: идешь или не идешь?»

«Я с вами говорить не хочу, – сказал Никон, – а буду говорить с архиереями. Александрийский и антиохийский патриархи сами не имеют древних престолов и скитаются; я же поставление святительское имею от константинопольского». Затем, обратившись к Арсению, он продолжал: «Если эти патриархи прибыли по согласию с константинопольским и иерусалимским, то я поеду».

На другой день, 30 ноября, Никон отслужил заутреню с елеосвящением, потом литургию в архиерейском облачении, поучал братию о терпении, а к вечеру выехал в санях. Посланные за ним успели, однако, дать знать в Москву, что Никон принял их нечестно, не идет и не сказал, когда поедет.

Тогда в столовой избе, в присутствии государя и бояр, собравшиеся вселенские патриархи и русские духовные лица послали другой вызов Никону, с упреком за непослушание, с приказанием прибыть в Москву 2 декабря, во втором или в третьем часу ночи, не более как с десятью человеками и остановиться в кремле на Архангельском подворье. Никон был уже в дороге, когда его встретило это второе посольство. Никон остановился в селе Чернове, так как ему велено было ждать до ночи 2 декабря, а 1 декабря к нему послали третье приглашение: оно было не нужно, так как Никон ехал туда, куда его звали, но, видно, враги хотели усугубить его вину и дать делу такой ход, как будто бы Никон

не слушался соборного призыва.<sup>78</sup>

«Некому на вас жаловаться, – сказал Никон, – разве только единому Богу! Как же я не еду? И для чего велите въезжать ночью с немногими людьми? Хотите, верно, удавить, как митрополита Филиппа удавили!» Никон приехал около полуночи, и только что въехал в Никольские ворота кремля, как за ним заперли ворота; стрелецкий полковник произнес: «Великого государя дело». За Никоном ехал его клирик Шушера с патриаршим крестом. У него хотели отнять крест, но Шушера передал его патриарху. Шушеру повели к царю, который его допрашивал о чем-то втайне и приказал отдать под стражу.

Дом, где поместили Никона, находился у самых Никольских ворот, в углу кремля. Его окружили стражею; самые Никольские ворота не отпирались: разобрали даже мост у этих ворот.

В 9 часов утра весь собор собрался в столовой избе, и за Никоном отправили Мстиславского епископа, блюстителя киевской митрополии, Мефодия, прославившегося своими кознями в Малороссии.

Мефодий объявил Никону, чтобы он шел смиренно, без креста, который обыкновенно носили перед патриархом. Никон уперся и ни за что не хотел идти без креста. Ему наконец дозволили идти с крестом.

Никон вошел в столовую избу торжественно, как патриарх, прочитал молитву, поклонился царю, патриархам и всем присутствующим.

Все встали и царь должен был встать, потому что перед Никоном несли крест. Царь указал ему место между архиереями.

– Благочестивый царь, – сказал Никон, – я не принес с собою места: буду говорить стоя!

Он стоял, опершись на свой посох. Перед ним держали крест. Никон сказал: «Зачем я призван на это собрание?» Тогда царь, которому приходилось говорить, сам встал со своего места. Дело получило такой вид, как будто собор должен произнести приговор между двумя тяжущимися. Царь излагал все прежнее дело: жаловался, что Никон оставил церковь на девятилетнее вдовство, восстали раскольники и мятежники, начали терзать церковь; царь предложил сделать по этому поводу допрос Никону. Речь царя была переведена по-гречески, и патриархи через толмача спросили Никона:

– Зачем ты оставил патриарший престол? «Я ушел от государева гнева, – сказал Никон, – и прежние святые отцы, Афанасий александрийский и Григорий Богослов, бегали от царского гнева». – Никон рассказал дело об обиде, нанесенной окольниковым Хитрово патриаршему боярину.

Царь сказал:

«У меня обедал тогда грузинский царь; в ту пору мне некогда было разыскивать и давать оборону. Он говорит, будто присылал своего человека для строения церковных вещей, а в ту пору нечего было строить на Красном крыльце. Хитрово зашиб его человека за невежество, потому что пришел не вовремя и учинил смуту. Это Никона не касается».

Патриархи заметили Никону, что ему можно было бы и потерпеть. «Я царский чин исполнял, – сказал при этом Хитрово, – а его человек пришел и учинил мятеж. Я его зашиб не знаячи. Я у Никона просил прощения, и он меня простил».

– Ты отрекался от патриаршества и говорил, что будешь анафема, если станешь снова патриархом?

– Я никогда не говорил этого, – отвечал Никон.

Тогда царь сказал: «Он написал на меня многие бесчестия и укоризны». – Царь велел прочесть перехваченное письмо Никона к константинопольскому патриарху Дионисию. Оно послужило нитью для целого допроса.

Когда в письме дочитались до слов: «Нас посылали в Соловецкий монастырь за мощами святого Филиппа, которого царь Иван замучил неправедно за правду», Алексей

---

<sup>78</sup> По древним правилам, если призываемый на собор ослушивается, его приглашали три раза и после третьего приглашения обвиняли.

Михайлович сказал:

«Для чего Никон такое бесчестие и укоризну царю Ивану написал, а о себе утаил: как он низверг без собора коломенского епископа Павла и сослал в Хутын, где тот безвестно пропал!»

Никон отвечал: «Не помню и не знаю, где он; о нем есть на патриаршем дворе дело».

Письмо к Дионисию перебирали пункт за пунктом, спрашивали Никона о разных мелочах и подробностях. Он отвечал коротко и большею частью отрицательно. Дочитали до того места, где Никон говорил, что царь приказал посадить в Симонов монастырь иконийского митрополита Афанасия. Царь прервал чтение и спросил Никона: «Знаешь ты в лицо этого Афанасия?»

– Не знаю! – сказал Никон.

Царь позвал к себе одного из среды архиереев и, указывая на него, сказал:

– Вот Афанасий!

Наконец дочитали до самого важного, до тех обвинений, которые щедро расточал в своем письме Никон на Лигарида. Никон прямо обвинял Паисия в латинстве перед Дионисием, находил незаконным собор, на котором Паисий был председателем, и писал так: «С этого беззаконного собора прекратилось соединение святой восточной церкви, и мы от благословения вашего отлучились, а начаток волями своими приняли от римских костелов». За это место особенно уцепились, потому что оно подавало повод обвинить Никона в самой тяжелой вине: в хуле на православную церковь. Царь сказал:

«Никон отчел нас от благочестивой веры и благословения святых патриархов, причел к католической вере и назвал нас всех еретиками. Если бы Никоново письмо дошло до вселенских патриархов, то всем православным христианам быть бы под клятвою; за такое ложное и затейное письмо нам нужно всем стать и умирать, а от этого очиститься».

– Чем Россия отступила от соборной церкви? – спросили Никона патриархи.

– Тем, – сказал смело Никон, – что Паисий перевел Питирима из одной митрополии в другую и на его место посадил иного митрополита; да и других архиереев переводили с места на место. Ему того делать не довелось, потому что он от иерусалимского патриарха отлучен и проклят. Да если бы он и не был еретик, то все-таки ему не для чего долго быть на Москве. Я его митрополитом не почитаю. У него нет ставленной грамоты. Этак всякий мужик наденет на себя мантию, так он и митрополит! Я писал о нем, а не о всех православных христианах!

Это и обратили враги Никона особенно ему во вред. И духовные и светские, все закричали:

– Он назвал еретиками всех нас! Надобно об этом указ учинить по правилам! – Сарский митрополит Павел, рязанский Иларион и Мефодий задорнее других горячились тогда против Никона.

– Если б ты Бога боялся, – сказал Никон царю, – то не делал бы так надо мною.

Продолжали читать письмо, по-прежнему останавливаясь на мелочах. По окончании чтения Никон сказал царю:

– Бог тебя судит: я узнал на своем избрании, что ты будешь ко мне добр шесть лет, а потом я буду возненавидим и мучим!

– Допросите его, – сказал царь, – как он это узнал?

Никон не отвечал.

На второе заседание, как только Никон вошел, царь встал со своего места и сказал:

– Никон! Поссорясь с газским митрополитом, ты писал, будто все православное христианство отложилось от восточной церкви к западному костелу, тогда как наша соборная церковь имеет спасительную ризу Господа нашего Бога и многих московских чудотворцев мощи, и никакого отлучения не бывало. Мы все держим и веруем по преданию апостолов и Св. отец, истинно; бьем челом, чтобы патриархи от такого названия православных христиан очистили!

С этими словами царь поклонился патриархам до земли; то же сделали все

присутствующие на соборе.

– Дело великое, – сказали патриархи, – за него надобно стоять крепко. Когда Никон всех православных христиан назвал еретиками, то он назвал еретиками и нас, будто мы пришли еретиков рассуждать; а мы в Московском государстве видим православных христиан. Станем за это патриарха Никона судить и православных христиан оборонять по правилам.

Затем Никона старались уличить во лжи и найти противоречие в том, что он отказывался от патриаршества, а потом называл себя патриархом. Вспомнивши снова о Хитрово, прибывшем Никонова боярина, патриархи произнесли такое суждение: «Никон посылал своего человека, чтобы учинить смуту, а в законах написано: кто между царем учинит смуту, тот достоин смерти; и кто Никонова человека ударил, того Бог простит: так тому и подобало быть».

С этими словами антиохийский патриарх, назло Никону, благословил Хитрово.

Никон, воротясь из заседания в свое помещение, находился в затруднительном положении: все его запасы отправлены были на Воскресенское подворье; его людей не пускали за ними. Царь послал ему запасов от своего стола, но Никон не принял их; царь дозволил его людям взять патриаршие запасы с подворья, но был сильно огорчен и жаловался на Никона патриархам.

5 декабря опять собрался собор. У Никона на этот раз отняли крест, который прежде носили перед ним. Никона спрашивали в перебивку то о том, то о другом, а более всего старались его уличить в том, что он будто бы сказал: «Будь я анафема, если захочу патриаршества!» На него показывали новгородский митрополит Питирим, тверской архиепископ Иосиф и Родион Стрешнев. Никон по-прежнему уверял, что не произносил такого слова и, наконец, объявил, что нечего более говорить о патриаршестве; в этом волен царь и вселенские патриархи.

Никона опять допрашивали отрывочно о других случаях. Он давал короткие ответы и, наконец, сказал:

– Не буду с патриархами говорить, пока не приедут патриархи константинопольский и иерусалимский.

Ему тогда показали подписи полномочия других патриархов и стали читать правила, по которым епископ, оставивши свою кафедру, лишается ее.

– Я этих правил не принимаю, – сказал Никон. – Это правило не апостольское и не вселенских и не поместных соборов. Их нет в русской Кормчей, а греческие правила печатали еретики!

После этого опять отклонились, начали спорить о разных прежних случаях. Никон (как сообщает по дошедшим слухам посаженный под стражу его крестonosитель Шушера) сострил тогда и над царскими боярами: «Ты, царское величество, девять лет вразумлял и учил предстоящих тебе в сем сонмище, и они все-таки не умеют ничего сказать. Вели им лучше бросить на меня камни; это они сумеют; а учить их будешь хоть еще девять лет – ничего от них не добьешься!»

Когда Никона укоряли за то, что им оставлено самовольно патриаршество, то он сказал царю:

– Я, испугавшись, ушел от твоего гнева; и ты, царское величество, неправду свидетельствовал, когда на Москве учинился бунт!

– Ты непристойные речи говоришь и бесчестишь меня, – сказал царь. – На меня никто бунтом не прихаживал, а приходили земские люди не на меня, но ко мне бить челом об обидах.

– Как ты не боишься Бога говорить непристойные речи и бесчестить великого государя!.. – стали кричать со всех сторон.

Наконец поднялся с места антиохийский патриарх и сказал: «Ясно ли всякому из присутствующих, что александрийский патриарх есть судия вселенной?»

– Знаем и признаем, что он есть и именуется судия вселенной.



– Там себе и суди, – сказал Никон. – В Александрии и Антиохии ныне патриархов нет: александрийский живет в Египте, антиохийский в Дамаске.

– А где они жили, когда благословили на патриаршество Иова? – возразили патриархи.

– Я в то время невелик был, – сказал Никон.

Александрийский патриарх сказал: «Хоть я и судия вселенной, но буду судить Никона по Номоканону. Подайте Номоканон».

Прочитали 12-е правило антиохийского собора: «Кто потревожит царя и смутит его царствие, тот не имеет оправдания».

– Греческие правила не прямые, – сказал Никон, – печатали их еретики. – Патриархи вознесли похвалами греческий Номоканон и поцеловали книгу. Потом спросили греческих духовных: «Принимаем ли эту книгу яко праведную и нелестную?»

Греки объясняли, что хотя их церковные книги за неимением типографий и печатаются в Венеции, но все они принимают их.

Принесли русский Номоканон.

Никон сказал:

– Он неисправно издан при патриархе Иосифе.

– Как это ты Бога не боишься, закричали со всех сторон, – бесчестишь государя, вселенских патриархов, всю истину во лжу ставишь!

Александрийский патриарх сделал запрос греческим духовным: «Чего достоин Никон?»

– Да будет отлучен и лишен священнодействия, – отвечали греки.

– Хорошо сказано, – произнес патриарх. – Пусть теперь будут спрошены русские архиереи.

Русские архиереи повторили то же, что и греческие. Тогда оба патриарха встали, и александрийский, в звании судии вселенной, произнес приговор, в котором было сказано, что, по изволению Святого Духа и по власти, данной патриархам, вязать и решить, они, с согласия других патриархов, постановляют, что отселе Никон за свои преступления более не патриарх и не имеет права священнодействовать, но именуется простым иноком, старцем Никоном.

Никон возвращался на Архангельское подворье, уже не смея благословлять народ.

Тогда по рассказу Шушеры найден был человек, переводивший на греческий язык грамоту Никона к константинопольскому патриарху. Это был грек по имени Димитрий, живший у Никона в Воскресенском монастыре. Когда его повели к царю, он до того впал в отчаяние, ожидая для себя ужасных мук, что вонзил себе нож в сердце.

12 декабря собрались вселенские патриархи и все духовные члены собора в небольшой церкви Благовещения, в Чудовом монастыре. Все были в мантиях, в митрах, с омофорами. Царь не пришел; из бояр были только присланы царем: князя Никита Одоевский, Юрий Долгорукий, Воротынский и другие.

Привели Никона. На нем была мантия и черный клобук с жемчужным крестом. Сначала прочитан был приговор по-гречески, потом рязанским митрополитом Иларионом по-русски. В приговоре обвинили бывшего московского патриарха, главным образом за то, что он произносил хулы: на государя, называя его латиномудренником, мучителем, обидчиком; на всех бояр; на всю русскую церковь – говоря, будто она впала в латинские догматы; а в особенности – хулы на газского митрополита Паисия, к которому питал злобу за то, что он говорил всесветлейшему синклиту о некоторых гражданских делах Никона. Ему поставили в вину низвержение коломенского епископа Павла, обвиняли сверх того в жестокости над подчиненными, которых он наказывал кнутом, палками, а иногда и пытал огнем. «Призванный на собор Никон, – говорилось в приговоре, – явился не смиренным образом, как мы ему братски предписали, но осуждал нас; говорил, будто у нас нет древних престолов, и наши патриаршие рассуждения называл блядословиями и баснями...»

– Если я достоин осуждения, – сказал Никон, – то зачем вы, как воры, привели меня тайно в эту церковку; зачем здесь нет его царского величества и всех его бояр? Зачем нет

всенародного множества людей российской земли? Разве я в этой церкви принял пастырский жезл? Нет, я принял патриаршество в соборной церкви перед всенародным множеством, не по моему желанию и старанию, но по прилежным и слезным молениям царя. Туда меня ведите и там делайте со мною, что хотите!

– Там ли, здесь ли, все равно, – отвечали ему. – Дело совершается советом царя и всех благочестивых архиереев. А что здесь нет его царского величества, – на то его воля.

С Никона сняли клобук и панагию.

– Возьмите это себе, – сказал Никон, разделите жемчуг между собою: достанется каждому золотников по пяти, по шести, сгодится вам на пропитание на некоторое время. Вы бродяги, турецкие невольники, шатаетесь всюду за милостыней, чтоб было чем дань заплатить султану!

С присутствовавшего тут греческого монаха сняли клобук и надели на Никона.

Когда его вывели, то, садясь в сани, Никон громко произнес:

– Никон! Никон! Все это тебе случилось за то: не говори правды, не теряй дружбы! Если бы ты устраивал дорогие трапезы, да вечерял с ними, то этого бы тебе не случилось!

Его повезли, в сопровождении стрельцов, на земский двор. За санями шли приставленные к нему архимандриты: Павел и Сергей. Последний (из Спасо-Ярославского монастыря) тешился падением патриарха:

– Молчи, молчи, Никон! – кричал он ему.

Воскресенский эконоом Феодосий по приказанию Никона обратился к нему с таким словом: «Патриарх велел тебе сказать: если тебе дана власть, то приди и зажми ему рот».

– Как ты смеешь называть патриархом простого монаха! – закричал Сергей. Но кто-то из толпы, следовавшей за Никоном, сказал:

– Патриаршее наименование дано ему свыше, а не от тебя гордого.

Стрельцы по приказанию Сергея тотчас схватили сказавшего это слово и увели.

– Блаженни изгнанные правды ради! – сказал тогда Никон.

Когда его привезли на двор, Сергей нарочно сел, развалившись перед ним, снял с себя камилавку и начал его в насмешку утешать.

На другой день утром царь прислал к Никону Родиона Стрешнева с запасом денег и разных мехов и одежд.

– Его царское величество прислал тебе это, – сказал Стрешнев, – потому что ты шествуешь в путь дальний.

– Возврати все это пославшему тебя и скажи, что Никон ничего не требует! – сказал Никон.

Стрешнев сказал, что царь просит прощения и благословения.

– Будем ждать суда Божия! – сказал Никон.

13 декабря толпы народа стали собираться, чтобы поглазеть, как повезут низверженного патриарха. Но, во избежание соблазна, народу сказали, что Никона повезут через Спасские ворота по Стретенке, и народ устремился в Китай-город, а Никона повезли через противоположные ворота. Его провожало 200 стрельцов. На пути одна вдова поднесла Никону теплую одежду и двадцать рублей денег. Он принял это, как милостыню, ни за что не хотевши взять подачки от царя.

В Ферапонтовом монастыре (находившемся недалеко от Кирилло-Белозерского монастыря) Никон содержался под надзором присланного архимандрита Новоспасского монастыря. Ему запрещено было писать и получать письма. Никон долго не хотел принимать никаких государевых запасов. Обаяние его было так велико, что и ферапонтовский игумен и архимандрит, приставленный к Никону, и, наконец, сам царский пристав Наумов величали его патриархом и принимали от него благословение. Царь снова через пристава заговорил с прежним своим другом о примирении. Никон написал царю: «Ты боишься греха, просишь у меня благословения, примирения, но я тебя прощу только тогда, когда возвратишь меня из заточения».

В сентябре 1667 года царь повторил свою просьбу, и Никон отвечал, что благословляет

царя и все его семейство, но когда царь возвратит его из заточения, то он тогда простит и разрешит его совершенно.

Но царь не возвращал Никона. Приставленный к Никону архимандрит Иосиф в 1668 году сделал донос, что к нему приходили воровские донские казаки и намеревались освободить его из заточения. Никона стали содержать строже. Перед его кельей стояло всегда двадцать стрельцов с дубинами; много несчастных, по подозрению в сношениях с опальным патриархом, было схвачено и подвергнуто пыткам.

Вскоре царь опять сжалился над ним: умерла царица Марья Ильинишна, и он отправил к Никону Стрешнева с деньгами. Никон не принял денег.

Но долгие страдания стали надламывать волю Никона. В конце 1671 года он написал царю примирительное письмо и просил прощения за все, в чем был виноват перед царем. «Я болен, наг и бос, – писал Никон, – сижу в келье затворен четвертый год. От нужды цинга напала, руки больны, ноги пухнут, из зубов кровь идет, глаза болят от чада и дыму. Приставы не дают ничего ни продать, ни купить. Никто ко мне не ходит и милостыни не у кого просить. Ослабь меня хоть немного!»

На Никоне лежало важное подозрение в сношениях со Стенькой Разиным. Сам Стенька показывал, что к нему приезжал старец от Никона. Никон уверял царя, что этого никогда не было. Царь поверил, и хотя не перевел Никона, по его желанию, ни в Иверский, ни в Воскресенский монастырь, но приказал содержать его в Ферапонтовом без всякого стеснения. Тогда Никон отчасти примирился со своей судьбой, принимал от царя содержание и подарки, завел собственное хозяйство, читал книги, лечил больных и любил ездить верхом. Стол его в это время не только был обильный, но и роскошный. Кирилловскому монастырю велено было доставлять ему все потребное. Никон заметно слабел умом и телом от старости и болезни; его стали занимать мелкие дразги; он ссорился с монахами, постоянно был недоволен, ругался без толку и писал царю странные доносы, как, например, на кирилловского архимандрита, что он ему в келью напускает чертей.

Но в то время как низложенный патриарх таял в заточении, дело, начатое им, продолжало волновать русское общество и вызывать усиленную деятельность власти. Собор русских архиереев избрал по жребию из трех кандидатов, преемников Никону, троцкого архимандрита Иосафа, и во главе с избранным передал обсуждению вселенских патриархов вопросы, касающиеся исправлений в русской церкви. Главнейшим из этих вопросов был вопрос о расколе. Вселенские патриархи вполне утвердили приговор русского собора 1666 года, и новый собор, уже с участием вселенских патриархов и греческих архиереев, произнес анафему на раскольников в самых сильных выражениях.

«Сие наше соборное повеление и завещание ко всем вышереченным чином православным предаем и повелеваем всем неизменно хранить и покоряться святей Восточней церкви. Аще ли же кто не послушает повелеваемых от нас и не покорится святей Восточней церкви и сему освященному собору, или начнет преклословити и противлятися нам: и мы такового противника, данною нам властью от всесвятаго и животворящаго Духа, аще будет от освященного чина, извергаем и обнажаем его всякаго священнодействия и благодати, и проклятию предаем; аще же от мирскаго чина, отлучаем и чужда сотворяем от Отца и Сына и Святаго Духа, и проклятию и анафеме предаем, яко еретика и непокорника, и от православнаго всесочленения и стада и от церкви Божия отсекаем яко гнил и непотребен уд, дондеже вразумится и возвратится в правду покаянием. Аще ли кто не вразумится и не возвратится в правду покаянием, и пребудет в упрямстве своем до скончания своего: да будет и по смерти отлучен и непощен, и часть его и душа со Иудою предателем, и с распятыми Христа Жидовы, и со Арием и с прочими проклятыми еретиками, железо, камение и дерева да разрушатся и да растлятся, а той да будет неразрешен и неразрушен и яко тимпан, во веки веков аминь. Сие соборное наше узаконение и изречение подписахом и утвердихом нашими руками, и положихом в дому Пресвятыя Богородицы честнаго и славнаго ея Успения, в патриархии богохранимаго царствующаго великаго града Москвы и всея России, в вечное утверждение и в присное воспоминание, в лето от сотворения мира

7175, от воплощения же Бога слова 1667, индикта 5, месяца мая в 13 день».

Этот приговор имел чрезвычайную важность в последующей истории раскола; он утвердил непримиримую вражду между господствующею церковью и несогласными с нею противниками никоновских исправлений. С одной стороны, православная русская церковь с трудом могла снисходительно относиться к заблуждениям и невежеству раскольников, после того, как над ними состоялось такое страшное проклятие, утвержденное вселенскими патриархами; а с другой – раскольники лишены были уже права и возможности надеяться на какую-нибудь сделку с церковной властью и становились непримиримыми врагами существующего церковного строя, а вместе с тем и государственной власти, стоявшей на стороне церкви. Такое положение дел выказалось тотчас же после собора в бунте Соловецкого монастыря.

Этот монастырь, с самого же начала, показал себя против исправлений и все более и более делался пристанищем недовольных. В 1666 году там был архимандрит Варфоломей. Братия не любила его. Царь пригласил его на собор и после собора назначил ему другой монастырь, а в Соловки отправил архимандритом иного, по имени Иосиф. Прежний архимандрит поехал в Соловки вместе с новым, чтобы сдать последнему монастырь. Тут вспыхнул мятеж. Братия не хотела принимать нового архимандрита и прогнала его вместе с прежним. Царь, по окончании собора, отправил в Соловецкий монастырь для увещания спасо-ярославского архимандрита Сергия, того самого, который был приставом у Никона после его осуждения. Его также прогнали. Зачинщиками противодействия были тогда келарь Азарий, казначей Геронтий, а в особенности живший на покое архимандрит Никанор. Этот последний был прежде архимандритом в Саввином монастыре, пользовался расположением царя Алексея Михайловича, воспротивился было исправлению книг, на соборе принес покаяние, но, будучи отпущен в Соловки на покой, показал себя самым заклятым раскольников. «Не принимаем новоизданных книг, – кричали Соловецкие мятежники, – не хотим знать троеперстного сложения, имени Иисусе, трегубого аллилуйя! Все это латинское предание, антихристово учение; хотим оставаться в старой вере и умирать за нее!..»

Но прежде открытого сопротивления, соловецкие раскольники отправили к царю челобитную (одно из наиболее распространенных и любимых раскольничьих сочинений). Они просили дозволить им отправлять богослужение по старым книгам. Царь требовал послушания, а за противность и своеволие указывал отобрать у монастыря все вотчины и не пропускать в монастырь никаких запасов. Раскольники отвечали, что они ни за что не согласны на принятие новопечатных книг, предоставляли на волю царя послать на них свой царский меч и «переселить от сего мятежного жития в безмятежное, вечное».

Царь послал войско под начальством Волохова. Раскольники заперлись в монастыре, надеясь отсидеться и отбиться. Стены монастыря, построенные Филиппом, были крепки, на стенах было 90 пушек; запасов было собрано на многие годы. В монастырь набежало до 500 человек разного непокорного люда и в том числе воровских казаков с Дона.

Волохов вел осаду самым нелепым образом. Он сидел в Сумском остроге и беспрестанно ссорился с находившимся близ него архимандритом Иосифом: они друг на друга писали царю доносы, а между тем мятежники спокойно провозили в монастырь для себя все нужное. Наконец, ссора Волохова с архимандритом дошла до того, что они подрались, и царь в 1672 году удалил Волохова, а на место его послал стрелецкого голову Иевлева.

Иевлев действовал не лучше своего предшественника, и в 1673 году царь, недовольный им, сменил его, а на его место назначил воеводу Ивана Мещеринова.

Осада Соловецкого монастыря не могла быть ведена быстро, потому что военные действия возможны были только во время короткого лета. Летом 1674 года подошел Мещеринов к монастырю и стал палить в него из пушек. Между раскольниками сделалось раздвоение, замечательное потому, что оно, так сказать, наметило будущее раздробление раскола. Геронтий, ярый противник новых книг, находил, что хотя не следует соглашаться на принятие новой веры, но не должно сопротивляться царю. К нему пристали священники.

Никанор, напротив, возбуждал мятежников к битве, ходил по стене, кадил, кропил святою водою пушки и говорил: «Матушки наши, галаночки, надежда у нас на вас, вы нас обороните!» Спор между двумя партиями дошел до того, что Никанор засадил в тюрьму Геронтия и его соумышленников священников. Келарь Наонаил Тугин и сотники: Исачко Воронин и Самко, были главными сообщниками Никанора; они положили не молиться за царя, говорили об его особе так, что, по общеупотребительному выражению их противников, «не только написать, но и помыслить страшно», и положили защищаться до последней степени. Продержавши несколько дней в тюрьме Геронтия и его сообщников, Никанор выгнал их из монастыря и стал учить, что можно жить и без священников, можно самим говорить часы и прочее. Этим положен был зародыш «беспоповщины», одного из важнейших видов, на которые разделился раскол.

Приступ не удался Мещеринову. Летом 1675 года он начал опять палить в монастырь и также неудачно.

Наступала зима. Мещеринов на этот раз не ушел в Сумский острог, а остался под монастырем, несмотря на все трудности. 22 января 1676 года при помощи перебежчика Феоктиста Мещеринов через отверстие в стене, заложное камнями, вошел в монастырь со стрельцами. Никанор и главные его соумышленники были схвачены и казнены. Упорнейшие из раскольников сосланы в Пустозерск и Колу, а прочие, которые обещали повиноваться церкви и государю, получили прощение и оставлены на месте.

Но это укрощенное возмущение было только сигналом для множества других, кончавшихся более кровавым образом. Раскол, по-видимому, подавленный в Соловецком монастыре, быстро, как пожар, распространялся по всей Руси. К нему примыкало, как к знамени, все, что было в русском народе недовольного властями и светскими и духовными. Смело можно сказать, что половина Великой Руси отпала тогда от церкви и стояла враждебно к мирской власти, защищавшей церковь земным оружием. Соловецкие раскольники получили славу святых страдальцев и служили примером для своих последователей на долгие времена. Их жития перечитывались и пересказывались в народе со всевозможными баснями и чудесами. Преследуемые властями, раскольники бежали в леса, пустыни и готовились умирать за старую веру. Распространился страшный и своеобразный способ противодействия. Власти, преследуя раскольников, приняли древний способ казни – сожжение, но раскольники составили себе убеждение, что этого рода мученическая смерть ведет в царствие небесное, а потому не только не устрасались ее, но сами искали.<sup>79</sup> Так, когда правительство посылало отыскивать сопротивлявшихся церкви, то они, собираясь большими толпами, по приближении военной силы, сами сжигали себя, нередко тысячами. Эти самосожжения начались вскоре после Соловецкой осады в семидесятых годах XVII века и шли, возрастая. Один пример порождает другие. Самосожжения сделались обычным делом; фанатики учили, что это вернейший путь к царствию небесному. Православие в глазах народа, не хотевшего подчиняться церкви, носило название «никонианства». Имя Никона произносилось с проклятиями и ругательствами. Между тем сам виновник продолжал находиться в изгнании, и положение его, облегченное царем Алексеем Михайловичем, опять стало хуже на некоторое время.

Преемник Никона, патриарх Иосиф, скончался в 1672 году. После него стал патриархом Питирим, заклятый враг Никона, но власть его была бессильна над ферапонтовским изгнанником, находившимся под защитою царя. Питирим скончался.

Был избран в патриархи Иоаким. Некогда он был ратным человеком и участвовал в войне с Польшей, постригся в Киеве в монахи, был выписан Никоном в Москву и назначен келарем Чудова монастыря. По удалении Никона, он пристал к врагам его и, в звании

---

<sup>79</sup> Так, 1681 года 1 апреля, в Пустозерске сожжены были в срубе, за хулы на церковь, протопоп Аввакум, бывший поп Лазарь, дьякон Феодор и инок Епифаний, сосланные в Пустозерск 14 лет назад. По преданию, сохранившемуся у раскольников, Аввакум перед смертью показал народу двуперстное крестное знамение и сказал: «Коли будете таким крестом молиться, во век не погибнете, а покинете этот крест, и город ваш песок занесет и свету конец настанет!»

чудовского архимандрита, открыто осуждал поведение Никона; и Никон был за это озлоблен против него. Этот новый патриарх сильно не желал возвращения Никона из далекого изгнания и удерживал царя, который, по своему добродушию, был способен приблизить к себе своего бывшего друга. В последнее время своей жизни царь особенно был милостив к Никону и щедро посылал к нему подарки и лакомства. В 1676 году умер Алексей Михайлович; преемник его отправил к Никону с дарами и с вестью Федора Лопухина, а вместе с тем приказал просить прощения и разрешения покойному царю на бумаге. Никон сказал: «Бог его простит, но в страшное пришествие Христово мы будем с ним судиться: я не дам ему прощения на письме!» Это естественно огорчило и молодого царя, и подало врагам Никона орудие, чтобы сделать худшим положение изгнанника. На Никона посыпались доносы. Находившийся при нем писарь Шайсупов и старец Иона, бывший прежде келейником у Никона, писали, что «он называет себя по-прежнему патриархом, занимается стрельбою; застрелил птицу баклана за то, что птица поела у него рыбу, дает монахам целовать руку, называет вселенских патриархов ворами, лечит людей, которые от его лекарства умирают, напивается пьян, рассердившись, дерется сам и другим приказывает бить монахов». Доносы эти, без сомнения, написаны были в уверенности, что, при изменившихся обстоятельствах, их примут на веру. Патриарх Иоаким подействовал на молодого государя, и Никона приказали перевести в Кирилло-Белозерский монастырь под надзор двух старцев, которые должны были постоянно жить с ним в келье и никого к нему не пускать: Никон отвергал взводимые на него обвинения, но сознавался, что вместе с игуменом бил кого-то за воровство.

За Никона, однако, при дворе молодого Федора явилась заступница; то была сестра покойного царя Татьяна Михайловна. Она издавна уважала Никона. Со своей стороны, учитель Федора, Симеон Полоцкий, также хлопотал за сверженного патриарха. Царь опять облегчил положение Никона, не велел его стеснять и предложил патриарху перевести изгнанника в Воскресенский монастырь. Со своей стороны, иноки Воскресенского монастыря подали царю челобитную и умоляли возвратить им Никона «как пастыря к стаду, как кормчего к кораблю, как главу к телу». Патриарх Иоаким заупрямился. «Дело учинилось не нами, – говорил он царю, – а великим собором и волею святейших вселенских патриархов; не снесясь с ними, мы не можем этого сделать». Царь, несколько раз повторивши такую просьбу, собрал собор; но и собор, руководимый патриархом Иоакимом, не исполнил желания царя. Царь только написал к Никону утешительное послание. Так проходило время; наконец, кирилловский архимандрит известил Иоакима, что Никон болен, принял схиму и близок к смерти, и спрашивал разрешения: как и где похоронить Никона? Тогда царь снова молил патриарха и собор сжалиться над заточником и, по крайней мере, перед смертью порадовать его свободой. На этот раз патриарх и освященный собор благословили царя возвратить Никона из заточения.

Немедленно царь послал дьяка Чепелева привезти Никона в Воскресенский монастырь. То было в 1681 году. Никон от болезни и старости едва уже двигал ноги. Его привезли на берег Шексны, посадили в струг и поплыли по его желанию, на Ярославль. Везде по берегу стекался народ, просил благословения и приносил все потребное Никону. Его сопровождал кирилловский архимандрит Никита. 16-го августа утром достигли они Толгского монастыря, близ Ярославля. Никон причастился Св. Тайн и готовился переплыть на другую сторону Волги к Ярославлю. Здесь явился к нему архимандрит Сергей, тот самый, который издевался над ним во время его низложения. Сергей кланялся ему в ноги, просил прощения за прежнее и говорил, что оскорблял его поневоле, творя угодное собору. Никон простил его.

На другой день, 17-го августа, Никона повезли на другой берег реки. Сергей сопровождал его в струге. Народ из города и сел встречал его на берегу реки Которости, куда вошел струг с Волги. Толпа бросилась в воду и тащила струг на берег. Никон был в совершенном изнеможении и ничего уже не мог говорить. Народ целовал ему руки и ноги. День склонялся к вечеру; начали благовестить к вечерне. Никон в это время немного ободрился, оглянулся вокруг себя и начал оправлять себе волосы, бороду, одежду, как будто

готовясь в путь. Архимандрит Никита понял, что настает последний час его и начал читать отходную. Никон протянулся на постели, сложил руки на груди и скончался.

Дьяк поспешил в Москву известить о смерти бывшего патриарха. Ему встретила царская карета, посланная за Никоном.

Царь приказал привезти тело Никона в Воскресенский монастырь и отправил к патриарху Иоакиму приглашение ехать на погребение со всем освященным собором.

– Воля государева, – сказал Иоаким, – я на погребение поеду, а именовать Никона патриархом не буду и назову его просто монахом. Так собор повелел. Если царь захочет, чтобы я его именовал патриархом, я не поеду.

– Я, сказал царь, – все беру на себя и сам буду просить вселенских патриархов, чтобы дали разрешение и прощение покойному патриарху.

Патриарх Иоаким был неумолим, но отпустил новгородского митрополита Корнилия, позволивши ему поминать Никона так, как царь ему прикажет.

Погребение было совершено Корнилием с несколькими архимандритами; других архиереев не было. Никона при погребении помянули патриархом. Царь целовал мертвому руки. Тело Никона было погребено в церкви Святого Иоанна Предтечи, на том месте, где он некогда завещал себя похоронить.

По возвращении в Москву, царь послал патриарху Иоакиму митру Никона и просил поминать покойного. Но патриарх не принял этого дара и ни за что не хотел поминать Никона патриархом.

Тогда царь написал ко вселенским патриархам, и в ответ были получены грамоты, которыми вселенские патриархи разрешали причесть Никона к лику прочих московских патриархов и поминать его вечно под этим званием. Грамоты эти уже не застали царя Федора в живых. Патриарх Иоаким волею-неволею должен был поминать Никона патриархом, а за ним и вся русская церковь поминала его и поминает в этом сане.

## **Выпуск пятый: XVII столетие**

### **Глава 5 Малороссийский гетман Зиновий-Богдан Хмельницкий**

Древняя киевская земля, находившаяся под управлением князей Владимирово дома, ограничивалась на юг рекою Росью. Пространство южнее Роси, начиная от Днестра на запад к Днестру, ускользает из наших исторических источников. Наш древний летописец, пересчитывая ветви славянорусского народа, указывает на угличей и тиверцев, которых жилища простирались до самого моря. Угличи представляются народом многочисленным, имевшим значительное количество городов. Бесчисленное множество городищ, валов и могил, покрывающих юго-западную Россию, свидетельствует о древней населенности этого края. Почти непонятно, каким образом киевские, волынские и галицкие князья, владея множеством городов, возникавших один за другим в их княжениях, занимавших северную половину нынешней Киевской губернии, Волынь и Галицию, упустили плодороднейшие соседние земли. Из нашей летописи мы узнаем, что языческие князья вели упорную войну с угличами. После сильного сопротивления, князья одолевали их, брали с них дань, а потом, со времен Владимира, угличи со своим краем как будто исчезают куда-то. Только в XIII веке во время Данила, в краю между Бугом и Днестром, являются какие-то загадочные бологовские князья, владевшие городами и поладившие с покорившими их татарами. В так называемой литовской летописи мы находим смутное известие, что в XIV веке Ольгерд, покоривши Подол, нашел там местное население, живущее под начальством атаманов. Из польских и литовско-русских источников узнаем, что в XV столетии нынешний край юго-западной России был уже значительно населен сплошь до самого моря, в южных его пределах были

обширные владения знатных родов: Буцацких, Язловецких, Сенявских, Лянскоронских и пр. Плодородные земли изобиловали хлебопашеством и скотоводством; велась постоянная торговля с Грецией и Востоком; ходили купеческие караваны в Киев.

Но после разрушения греческой империи и после основания в Крыму хищнического царства Гиреев, беспрестанные грабежи и набеги татар не допустили свободного мирного развития жизни в этом крае и вызвали в нем необходимость населения с чисто воинственным характером. В конце XV века введен был в Руси польский обычай отдавать города с поселениями под управление лиц знатного рода, под названием старост. В начале XVI века являются староства: черкасское и каневское, а в них военное сословие под названием казаков. Самая страна, занимаемая этими староствами, названа «Украиной»; название это переходит на все пространство до Днестра, именно на землю древних угличей и тиверцев, а потом, по мере расширения казачества, распространяется и на киевскую землю и на левый берег Днепра.<sup>80</sup>

Мы уже объясняли происхождение слова «казак» в жизнеописании Ермака. Положение южной Руси было таково, что здесь казак, чем бы он ни был, вначале должен был сделаться воином. Черкасские и каневские старосты, а за ними и другие старосты в южнорусском крае, например, хмельницкие и брацлавские, для безопасности своих земель, по необходимости должны были учредить из местных жителей военное сословие, всегда готовое для отражения татарских набегов. Необходимо было, вместе с тем, дать этому сословию права и привилегии вольных людей, так как, по понятиям того века, воин должен был пользоваться сословными привилегиями перед земледельцами. Организаторами казацкого сословия в начале XVI века являются преимущественно два лица: черкасский и каневский староста Евстафий Дашкович и Хмельницкий староста Предислав Лянскоронский.

Но в то время, когда, собственно, в Украине образовывалось местное военное сословие под названием казаков и состояло под начальством старост, началось и в других местах южной Руси стремление народа в казаки. Таким образом, из Киева плавали вниз по Днепру за рыбою промышленники и также называли себя казаками. Они, будучи промышленниками, были вместе с тем и военными людьми, потому что пребывание их в низовьях Днепра для своего промысла было небезопасно и требовало с их стороны умения владеть оружием для своей защиты от внезапного нападения татар.

Развитию казачества более всего содействовал предприимчивый и талантливый преемник Дашковича, черкасский и каневский староста Димитрий Вишневецкий. Он увеличивал число казаков приемом всякого рода охотников, прославился со своими казаками геройскими подвигами против крымцев и поставил себя по отношению к польскому королю почти в независимое положение. Его широкие планы уничтожить крымскую орду и подчинить черноморские края Московской державе разбились об ограниченное упрямство царя Ивана Грозного. В 1563 году Вишневецкий со своими казаками овладел было Молдавией, но затем изменнически был схвачен турками и замучен.<sup>81</sup> Поход Вишневецкого на Молдавию проложил путь другим казацким походам в эту страну под начальством Сверчовского и Подковы. Польские паны Потоцкие и Корецкие также покушались овладеть Молдавией при помощи казаков. Походы эти усиливали и развивали казачество. Еще более поднимали его начавшиеся со второй половины XVI века казацкие морские походы, предпринимаемые из Запорожской Сечи на турецкие владения.

Еще в 1533 году Евстафий Дашкович на польском сейме в Пиотркове представлял необходимость держать от правительства казацкую сторожу на днепровских островах. Но на

---

<sup>80</sup> Слово угличи от слова «угол», вероятно, однозначительно со словом украиня, «у края». «Украина» слово древнее, встречается в XII веке.

<sup>81</sup> О нем сохранилась такая легенда, что султан приказал его повесить ребром на крюк, и Вишневецкий, повиснув на крюке, славил Иисуса Христа и проклинал Мугаммеда. В одной малорусской думе он является под именем казака Байды. Он висит на крюке, а султан предлагает ему принять мугаммеданскую веру и жениться на его дочери. Байда просит себе пук стрел убить голубя на ужин своей невесте и поражает стрелю царскую дочь в голову, проклиная неверных.



сейме не последовало по этому поводу решения. В пятидесятых годах XVI века Димитрий Вишневецкий построил укрепление на острове Хортице и поместил там казаков. Появление казацкой селитьбы поблизости к татарским пределам не понравилось татарам, и сам хан Девлет-Гирей приходил выгонять казаков оттуда. Вишневецкий отразил хана, но, покинутый в своих предприятиях царем Иваном, покорился воле Сигизмунда-Августа и затем вывел казаков с низовья Днепра. Тем не менее казаки не оставили пути, намеченного Дашковичем и Вишневецким, и через несколько лет после того явилась Запорожская Сеча.<sup>82</sup>

Река Днепр, хотя и своенравная в своем течении, представляет, однако, возможность безопасного плавания вплоть до порогов; но вслед за тем плавание на протяжении 70 верст делается очень опасным, иногда и совершенно невозможным. Русло Днепра в разных местах пересекается грядою скал и камней, через которые прорывается вода с различной силою падения.<sup>83</sup> По окончании порогов Днепр проходит через гористое ущелье, называемое «Волчьим Горлом» (Кичкас), а потом разливается шире и делается уже, хотя судоходен до самого устья, но по всему своему течению разбивается на множество извилистых рукавов, образующих бесчисленные острова и плавни (острова и луга, заливаемые в полноводье и покрытые лесом, кустарником и камышом). Первый из островов, вслед за Волчьим Горлом, есть возвышенный и длинный остров Хортица. За ним – следуют другие острова различной величины и высоты. Острова эти представляли привольное жительство для удальцов того времени по чрезвычайному изобилию рыбы, дичины и отличных пастбищ. И вот с половины XVI века этот край, называемый тогда вообще «Низом», стал более и более делаться приютом всех, кому только почему-нибудь было немилым жительство на родине, и всех тех, кому по широкой натуре были по вкусу опасности и удалые набеги. Запорожская Сеча установилась прежде всего на острове Томаковке, близ впадения в Днепр реки Конки. Против этого острова, на левом берегу рос огромный лес, называемый «Великий Луг». Через несколько времени Сеча переносилась ниже на Микитин Рог (близ нынешнего Никополя), а потом еще несколько ниже и надолго основалась близ нынешнего села Капуловки. Главный центр ее был на одном из островов, до сих пор называемом Сечею. Казаки, поселившиеся в Сечи, носили название «запорожцев»; а весь состав их назывался «кошем». Они выбирали вольными голосами на «раде» (сходке) главного начальника, называемого «кошевым атаманом». Кош разделялся на «курени», и каждый курень состоял под начальством выбранного «куренного атамана». Поселения низовых казаков не ограничивались одною Сечею. В разных местах на днепровских островах и на берегах образовывались казацкие селитьбы и хутора. Таким образом, за порогами слагалось новое людское общество с военным характером, населенное выходцами и беглецами из южной Руси, совершенно независимыми от властей, управлявших южной Русью: пороги препятствовали этим властям добраться до поселенцев. Сначала жители Запорожья состояли из одних только мужчин, так как война была главною целью переселения за пороги; притом же значительная часть людей, прибывавших туда, не имела намерения оставаться там навсегда; побывавши на Запорожье, повоевавши с татарами в степи или совершивши какой-нибудь морской поход, они возвращались на родину. Другие же по-прежнему отправлялись на Запорожье, не с целью войны, но для звериной охоты и рыбной ловли и, следовательно, также на время. Только мало-помалу стали переселяться туда с семьями и заводить хутора. В самую Сечу никогда не дозволено было допускать женщин.

Таким образом казаки разделились на два рода: городовых, или украинских, и запорожских, или сечевых. Первые, по месту своего жительства, должны были над собою признавать польские власти; вторые были совершенно независимы. Между теми и другими

<sup>82</sup> Т.е. засека. В 1568 году она уже существовала.

<sup>83</sup> Всех порогов на Днепре считается до десяти: Койдацкий, Сурский, Лоханский, Звонецкий, Тягинский, Ненасытицкий (самый значительный и опасный), Волнигский, Будило, Лишний и Гадючий или Вильный и, кроме того, несколько «забор»: так называются камни, которых гряда не доходит от одного берега до другого, не идущие поперек всей реки. Из них самая значительная Воронова забора в 6 верстах от Ненасытицкого порога.

была тесная связь; очень многие из городских казаков проводили несколько лет в Сечи и вменяли это себе в особую доблесть и славу. Польские паны своими поступками содействовали расширению казачества, не предвидя губительного влияния, какое оно, при тогдашних условиях, носило в себе для строя польского общества. Один из знатнейших польских панов, Самуил Зборовский, был казацким предводителем. Паны приглашали казаков в своих походах; так Мнишки и Вишневецкие с их помощью водили в Московское государство самозванцев. Польские короли не раз пользовались их услугами. Еще Сигизмунд-Август изъял украинских казаков из-под власти старост и поставил над ними особого «старшого». При Стефане Батории заведены были реестры, или списки, куда записывались казаки; и только вписанные в эти реестры должны были называться казаками. Старшой над казаками, назначенный королем, назывался гетманом. Вероятно, в это же время последовало разделение казаков на полки (которое, собственно, известно нам в несколько позднее время). Полков было шесть: Черкасский, Каневский, Белоцерковский, Корсунский, Чигиринский, Переяславский (последний на левой стороне Днепра); каждый полк находился под начальством полковника и его помощника есаула; полк делился на десять сотен. Каждая сотня была под начальством сотника и его помощника сотенного есаула. Гетману или старшому дан был для местопребывания город Трехтемиров. При гетмане были чины: есаул, судья, писарь, составлявшие генеральную старшину. Всех реестровых казаков было только шесть тысяч. Они пользовались свободным правом владения своими землями, не несли никаких податей и повинностей и получали жалованья по червонцу на каждого простого казака и по тулупу. Кроме этих реестровых казаков, польское правительство долго не хотело знать никаких других казаков. По закону только реестровые были казаками. Но такой взгляд шел вразрез с народным стремлением. В южной Руси, напротив, все хотели быть казаками, т.е. вольными людьми; все искали путей и средств обратиться в казаков. Одним из таких путей была Запорожская Сеча. Жители, бывшие по закону панскими холопами в имениях наследственных или коронных, бегали на Запорожье, возвращаясь оттуда, не хотели уже служить своим панам, называли себя казаками и, как вольные люди, считали своею собственностью ту землю, на которой жили и которую обрабатывали, тогда как владелец признавал эту землю своею. Владельцы и их управители ловили таких беглецов и казнили смертью, но не всегда можно было это исполнить. Многие землевладельцы заводили тогда слободы и приглашали к себе всякого, давая льготы. В такие слободы убегали те, которых преследовали на их прежнем жительстве. Между самими владельцами возникали за это ссоры, часто происходили наезды друг на друга. Иногда и сами паны приглашали к себе своевольных чужих холопов, называли их казаками и с их помощью бесчинствовали против своей же братии. Такие казаки, при первом неудовольствии, готовы были поступать со своими новыми панам, как с прежними. Реестровые казаки мало имели охоты замыкать свое сословие и охотно принимали в него новых братий, так что количество реестровых было на деле гораздо больше, чем на бумаге. Иногда такие польские подданные, назвав себя казаками, не пытались ни вступить в реестр, ни примыкать к панам, а собирались вооруженными толпами и выбирали себе предводителя, которого называли гетманом. Так поступали в особенности те, которые бывали на Сечи, воевали против турок и татар и приобретали себе там – как выражались тогда – «рыцарскую славу». Эти так называемые «своевольные купы» (шайки) уже в конце XVI века стали страшны для Польши и возбуждали против себя строгие постановления сейма. На деле эти постановления не исполнялись, тем более, что и польский король, и польские паны, объявивши шайки самозванных казаков противозаконными скопищами, сами употребляли их в войнах с Москвой, Швецией и Турцией. Таким образом, кроме казаков городских, записываемых в реестры, и казаков сичевых, беспрестанно то пополняемых беглецами из Украины, то убавляемых уходившими назад в Украину, было еще множество казаков своевольных, состоявших из панских холопов, выбиравших себе гетманов. Правительство делало пересмотры реестрам; из них исключались лишние казаки; эти лишние носили название «выписчиков»; но выключенные из реестра продолжали называть себя казаками.

Понятно, что при таких условиях южнорусского общества того времени у польского правительства, а главное, у польских панов, явилось среди простого народа много врагов; эти враги становились тем ожесточеннее и опаснее, чем сильнее выказывалось с польской стороны стремление удержать наплыв народа в казачество. Польское право предавало хлопа в безусловное распоряжение его пана. Понятно, что такое положение не могло быть приятным нигде; но там, где народу не было никакой возможности вырваться из неволи, он терпел, из поколения в поколение привыкал к своей участи до такой степени, что перестал помышлять о лучшей. В Украине было не то. Здесь для народа было много искушений к приобретению свободы. Перед глазами у него было вольное сословие, составленное из его же братьев; по соседству с ним были днепровские острова, куда можно было убежать от тяжелой власти; наконец, близость татар и опасность татарских набегов приучали украинского жителя к оружию; сами паны не могли запретить своим украинским хлопам носить оружие. Таким образом в народе южнорусском поддерживался бодрый воинственный дух, несовместный с рабским состоянием, на которое осуждал его польский общественный строй. Между тем, как способы панского управления в Украине, так и свойство отношений, в какие поставлен был высший класс к низшему, никак не мирили русского хлопа с паном и не располагали его к добровольной зависимости.

Стремление народа к оказаченью, или, так называемое поляками, «украинское своевольство», начало принимать религиозный оттенок и получать в собственных глазах русского народа нравственное освящение. Уже восстания Наливайка и Лободы прикрывались до некоторой степени защитой религии. Вслед за введением унии последовало быстрое отступление русского высшего класса от своей религии, а вместе с тем и от своей народности. Русские паны стали для русского народа вполне чужими и власть их получила вид как бы иноземного и иноверного порабощения. Мещане и хлопы только от страха, а не по убеждению, принимали унию и, пока не свыклись с нею в течение многих поколений, долго были готовы отпасть от нее. В Украине, где народ был бодрее и менее подвергался рабскому страху, уния трудно пускала свои корни. Реестровые казаки не принимали ее вовсе, потому что не боялись панов; знакомство с войною делало их отважными. Самовольные казаки еще более возненавидели унию, как один из признаков панского насилия над собою. Таким образом, православная религия сделалась для русского народа знаменем свободы и противодействия панскому гнету.

Согласное свидетельство современных источников показывает, что в конце XVI и первой половине XVII века безусловное господство панов над хлопами привело последних к самому горькому быту. Иезуит Скарга, фанатический враг православия и русской народности, говорил, что на всем земном шаре не найдется государства, где бы так обходились с земледельцами как в Польше. «Владелец или королевский староста не только отнимает у бедного хлопа все, что он зарабатывает, но и убивает его самого, когда захочет и как захочет, и никто не скажет ему за это дурного слова». Между панамы в это время распространилась страсть к непомерной роскоши и мотовство, требующее больших издержек. Один француз, живший тогда в Польше, заметил, что повседневный обед польского пана стоит больше, чем званый во Франции. Тогдашний польский обличитель нравов Старовольский говорит: «В прежние времена короли хаживали в бараньих тулупах, а теперь кучер покрывает себе тулуп красной материей, чтобы отличиться от простолюдина. Прежде шляхтич ездил на простом возе, а теперь катит шестерней в коляске, обитой шелковой тканью с серебряными украшениями. Прежде пивали доброе домашнее пиво, а теперь и конюшни пропахли венгерским. Все наши деньги идут на заморские вина и на сласти, а на выкуп пленных и на охранение отечества у нас денег нет. От сенатора до последнего ремесленника все проедают и пропивают свое достояние и входят в неоплатные долги. Никто не хочет жить трудом, а всякий норовит захватить чужое; легко достается оно, и легко спускается. Заработки убогих подданных, содранные иногда с их слезами, а иногда со шкурой, потребляются господами, как гарпиями. Одна особа в один день пожирает столько, сколько зарабатывает много бедняков в долгое время. Все идет в один дырявый

мешок – брюхо. Верно пух у поляков имеет такое свойство, что они могут на нем спать спокойно, не мучась совестью». Знатный пан считал обязанностью держать при своем дворе толпу ничего не делающих шляхтичей, а жена его такую же толпу шляхтянок. Все это падало на рабочий крестьянский класс. Кроме обыкновенной панщины, зависевшей от произвола владельцев, они были обременены множеством разных мелких поборов. Каждый улей был обложен налогом под именем «очкового»; за вола платил крестьянин роговое; за право ловить рыбу – ставщину; за право пасти скот – спасное; за измол муки – сухомельщину. Крестьянам не позволялось ни готовить себе напитков, ни покупать их иначе, как у жида, которым пан отдает корчму в аренду. Едет ли пан на сейм, или на богомолье, или на свадьбу, – на подданных налагается какая-нибудь новая тягость. В королевских имениях, управляемых старостами или же управителями, положение хлопков было еще хуже, хотя закон предоставлял им право жаловаться на злоупотребления; никто не смел жаловаться, – по замечанию Старовольского, – потому что обвиняемый будет всегда прав, а хлоп виноват. «В судах у нас, – говорит тот же писатель, завелись неслыханные поборы, подкупы; наши войты, лавники, бурмистры – все подкупны, а о доносчиках, которые подводят невинных людей в беду, и говорить нечего. Поймают богатого, запутают и засадят в тюрьму, да и тянут с него подарки и взятки». Кроме безграничного произвола старосты или его дозорцы, в коронных имениях свирепствовали жолнеры (солдаты), которые тогда отличались буйствами и своеволием. «Много, – замечает Старовольский, – толкуют у нас о турецком рабстве: но это касается только военнопленных, а не тех, которые, живя под турецкой властью, занимаются земледелием или торговлей. Они, заплативши годовую дань, свободны, как у нас не свободен ни один шляхтич. В Турции никакой паша не может последнему мужику сделать того, что делается в наших местечках и селениях. У нас в том только и свобода, что вольно делать всякому, что вздумается; и от этого выходит, что бедный и слабый делается невольником богатого и сильного. Любой азиатский деспот не замучит во всю жизнь столько людей, сколько их замучат в один год в свободной Речи Посполитой».

Но ничто так не тяготило и не оскорбляло русского народа, как власть иудеев. Паны, лентясь управлять имениями сами, отдавали их в аренды иудеям с полным правом панского господства над хлопами. И тут-то не было предела истязаниям над рабочей силой и духовной жизнью хлопа. Кроме всевозможнейших проявлений произвола, иудеи, пользуясь унижением православной религии, брали в аренды церкви, налагали пошлыны за крещение младенцев («дудки»), за венчание («поемщина»), за погребение и, наконец, вообще за всякое богослужение; кроме того, и умышленно ругались над религией. Отдавать имения на аренды казалось так выгодным, что число иудеев-арендаторов увеличивалось все более и более, и южная Русь очутилась под их властью. Жалобы народа на иудейские насильства до сих пор раздаются в народных песнях. «Если, – говорится в одной думе, – родится у бедного мужика или казака ребенок, или казаки либо мужики задумают сочетать браком своих детей, – то не иди к попу за благословением, а иди к жиду и кланяйся ему, чтобы позволил отпереть церковь, окрестить ребенка или обвенчать молодых». Даже римско-католические священники, при всей своей нетерпимости к ненавистной для них «схизме», вопияли против передачи русского народа во власть иудеев. Так, в одной проповеди – сказанной уже тогда, когда Хмельницкий разбудил дремавшую совесть панов – говорится: «Наши паны вывели из терпения своих бедных подданных в Украине тем, что, отдавая жидам в аренды имения, продали схизматиков в тяжелую работу. Иудеи не позволяли бедным подданным крестить младенцев или вступать в брак, не заплатив им особых налогов».

Понятно, что народ, находясь в таком положении, бросался в казачество, убежал толпами на Запорожье и оттуда появлялся вооруженными шайками, которые тотчас же разрастались. Восстания следовали за восстаниями. Паны жаловались на буйство и своеволие украинского народа. Вместе с этим шли непрерывные набеги на Турцию. Толпы удалцов, освободившись бегством от тяжелого панского и иудейского гнета, убежали на Запорожье, а оттуда на чайках (длинных лодках) пускались в море грабить турецкие прибрежные города. Жизнь на родине представляла так мало ценного, что они не боялись

подвергаться никаким опасностям; а нападать на неверных, по понятиям того времени, считалось богоугодным делом, тем более, что целью этих набегов было столько же освобождение пленных христиан, сколько и приобретение добычи от неверных. Турецкие послы постоянно жаловались польскому правительству на казаков. Поляки, при возможности, ловили виновных и казнили их, но когда сами ссорились с турками или татарами, то давали волю тем же украинским удалцам. Эти походы были особенно важны тем, что послужили дальнейшей военной школой для украинского народа и способствовали ему дружно и решительно подниматься против поляков; на это не отваживался в других местах русский народ, страдавший под таким же гнетом.

Частные местные восстания народа были многочисленны и не все нам известны. Правительство то и дело что производило новые реестры, желая ограничить число казаков. Но после каждого реестрования, число казаков удваивалось, утраивалось: лишних снова исключали из списков, а эти лишние не повиновались и увеличивали число свое силами охотников. По временам хлопы возмущались против владельцев, собирались в шайки, нападали на владельческие усадьбы. Жестокие казни следовали за каждым укрощением; но мятежи вспыхивали снова. Все хотели быть казаками; невозможно было разобрать: кто настоящий казак и кто только называет себя казаком. В 1614 году коронный гетман Жолкевский разогнал в Брацлавщине большую шайку, называвшую себя казаками, а 15 октября под Житомиром заключил с реестровыми казаками договор, по которому они обязались не принимать в свое товарищество своевольных шаек, называвших себя казаками и нападавших на шляхетские имения, не собирать народа на рады; всем тем, которые самовольно называли себя казаками, велено оставаться под властью панов. Этот договор тотчас же был нарушен. Шляхта жаловалась королю; король писал универсалы; но в этих универсалах уже проглядывало сознание бессилия. «Несмотря на все прежние наши меры, – писал король в 1617 году, – казацкое своеволие дошло до ужасающих крайностей; громады казаков не дают Речи Посполитой покою; шляхта не может безопасно проживать в своих имениях». Впрочем, в первой четверти XVII века, казацкая удаль находила себе поле деятельности то в Московском государстве, то на Черном море, то в Турции и Молдавии. Под начальством Сагайдачного казаки помогали полякам в войне с Турцией. Но когда кончилась эта война, казацкие восстания стали принимать значительно более широкий размер. В 1625 году казаки отправили своих депутатов на сейм с требованием признать законными духовных, посвященных иерусалимским патриархом, удалить унитов от церквей и церковных имений, уничтожить всякие стеснительные постановления против казаков и не ограничивать их числа. Они, при своей просьбе, послали перечень разных утеснений, которые терпели русские в Польше и Литве, указывали, что повсюду отнимают у православных церкви, тянут в суды православных под разными предлогами, отдаляют их от цеховых ремесл, сажают в тюрьмы и бьют священников; жаловались, что православные дети вырастают без крещения, люди живут без венчания и отходят от мира без исповеди и св. причащения. Просьба эта не имела никаких последствий, и казаки, под начальством гетмана Жмайла, стали расправляться сами собой: ворвались в Киев, убили киевского войта Федора Ходьку за ревность к унии, ограбили католический монастырь, убили в нем священника и отправили к московскому царю посольство с просьбой принять казаков под свое покровительство. Этому не хотели им простить поляки, и коронный гетман Станислав Конецпольский получил повеление укротить казаков оружием. Казаков было тысяч до двадцати; но между ними происходили несогласия, так что часть их разошлась. Конецпольский прижал их к Днепру, недалеко от Крылова; реестровые казаки решились мириться: сменили Жмайла, выбрали гетманом Михайла Дорошенка и заключили с польским гетманом, на урочище «Медвежьи Лозы», договор, по которому казаки должны были оставаться в числе шести тысяч и находиться под властью коронного гетмана; затем все, называвшие себя казаками, должны были подчиняться своим старостам и панам; все земли, которые они себе присвоили и считали казацкими, должны быть возвращены владельцам. Договор этот не мог разрешить спорных вопросов по желанию поляков. Число

исключенных из казацкого звания значительно превышало число реестровых и еще увеличивалось вновь составляемыми шайками. Непокорные хлопы бежали толпами в Сечу. По смерти Дорошенка, убитого в битве с татарами, поляки назначили над реестровыми казаками предводителем Грицка Черного, человека преданного полякам; но самовольные казаки, собравшись в Сечи, избрали гетманом Тараса и двинулись на Украину. Реестровые казаки выдали Грицка Черного Тарасу; запорожцы совершили над ним жестокую казнь за то, что он принял унию. Тарас, признанный реестровыми, распустил по Украине универсал и убеждал весь народ подняться и идти на поляков во имя веры. Многие духовные возбуждали русских к защите веры и жизни, потому что в те времена раздраженные поляки кричали, что надобно уничтожить схизму и истребить весь мятежный народ, а Украину заселить поляками. Польские историки уверяют, будто и Петр Могила, будучи еще печерским архимандритом, возбуждал народ к восстанию.

Поляки совершали тогда ужаснейшие варварства. Самуил Лащ, коронный стражник (блюститель пограничных областей) обрезаал людям носы и уши, отдавал девиц и женщин на поругание своим солдатам, и в первый день Пасхи 1639 г. в местечке Лысянке вырезал поголовно всех жителей, не разбирая ни пола, ни возраста: многие из них были побиты в церкви. Для внушения народу страха, и в других местах делалось то же. Тарас сосредоточил свои силы на левой стороне Днепра, у Переяславля. Конецпольский вступил с ним в битву, которая была так неудачна для поляков, что, по свидетельству их самих, у Конецпольского в один день пропало более войска, чем за три года войны со шведами. К сожалению, исход этой войны для нас остался неизвестным. Тарас каким-то образом попал в руки поляков и был казнен.

Через два года умер Сигизмунд III. Реестровые казаки, при сыне его Владиславе, участвовали в походе против Москвы, но зато другие казаки самовольно спустились в Черное море, делали нападения на турецкие владения и собирались на днепровских островах, чтобы снова идти войной на поляков. Чтобы пресечь бегство народа за пороги, гетман Конецпольский заложил на Днепре перед самыми порогами крепость Кодак и оставил там гарнизон под начальством француза Мариона. Но в августе 1635 года предводитель самовольных казаков Сулима разорил эту крепость, перебил гарнизон и стал призывать народ к восстанию. Ему не удалось предприятие. Подосланные Конецпольским реестровые казаки схватили Сулиму, еще не успевшего собрать большого ополчения. Ему отрубили голову в Варшаве.

Вслед за тем объявлено снова строгое приказание самовольным казакам повиноваться своим панам, а чтобы привести эту меру в исполнение, расставили в Украине польские войска, которые тотчас же начали делать народу всякие насилия. Это вынудило реестровых казаков в 1636 году обратиться с жалобой к королю; они избрали своими послами двух сотников: черкасского Ивана Барабаша и чигиринского Зиновия Богдана Хмельницкого.

Зиновий Богдан был сын казацкого сотника Михайла Хмельницкого. В юности он учился в Ярославле (галицком) у иезуитов и получил по своему времени хорошее образование. Отец его был убит в Цоцорской битве, несчастной для поляков, где пал их гетман Жолкевский. Зиновий, участвовавший в битве вместе с отцом, был взят турками в плен; он пробыл два года в Константинополе, научился там турецкому языку и восточным обычаям, что ему впоследствии пригодилось. После примирения Польши с Турцией, Зиновий возвратился в отечество, служил в казацкой службе и получил чин сотника. Есть известие, что он был под Смоленском в 1632 году и получил от Владислава саблю за храбрость.<sup>84</sup>

Для рассмотрения казацких жалоб назначен был сенатор и воевода брацлавский Адам Кисель, православный пан, считавший себя отличным оратором и искусным дипломатом. Он начал хитрить с казаками и водить их, стараясь успокоить реестровых обещаниями денег, а главное добиваясь исключения из реестра лишних казаков и возвращений их под власть

---

<sup>84</sup> Так говорит одна малорусская летопись, прибавляя, что через двадцать два года, когда он сделался подданным Алексея Михайловича, то говорит: «Сабля эта порочит Богдана».

своих панов. Старшим над реестровыми казаками был тогда Василий Томиленко, человек старый, нерешительный, но тем не менее сердечно преданный казацкому делу. В то время как он в Украине толковал с Киселем, новый предводитель самовольных казаков Павлюк ворвался из Сечи в Украину с 200 человек, захватил в Черкасах всю казацкую артиллерию и ушел обратно в Сечь, а оттуда писал убеждение к реестровым казакам соединиться с «выписчиками» и дружно защищаться против поляков. Томиленко колебался, а Кисель, который, по собственному его признанию, производил между казаками раздоры, подобрал кружок реестровых казаков и составил из них раду на реке Русаве. Эта рада низложила Томиленка и выбрала в гетманы переяславского полковника Савву Кононовича, родом великорусса, преданного панским видам. Вместе с Томиленком отрешили других старшин, и только лукавый писарь Онушкевич остался в своем звании. Павлюк, узнавши о таком перевороте, послал своего друга, чигиринского полковника Карпа Скидана, с отрядом в Переяславль, а сам стал с войском у Крылова. Скидан вошел ночью в Переяславль, схватил Кононовича, писаря Онушкевича, новопоставленных старшин и привез их в Крылов. Казаки осудили их и расстреляли. Гетманом выбрали Павлюка. Томиленко, добровольно уступая ему первенство, остался его товарищем и другом.

Павлюк разослал универсал по всем городам, местечкам и селам и призывал весь русский народ к восстанию: «Повелеваем вам и убеждаем вас, чтобы вы все единодушно, от мала до велика, покинувши все свои занятия, немедленно собирались ко мне».

На призыв Павлюка прежде всего отозвались, на левой стороне Днепра, так называемые новые слободы, а потом и на правой раздался, говорит современник, крик: «На свободу! на свободу!» Одни бежали к Павлюку; другие составляли шайки, бросались на панские дворы и забирали там запасы, лошадей, оружие... Сам Павлюк, разославши универсал, уехал в Сечь собирать запорожцев, а начальство в Украине поручил Скидану.

Все реестровые полки, один за другим, перешли на сторону восстания. Скидан заложил свой стан в Мошнах (черкасского уезда). Конецпольский послал против казаков своего товарища Потоцкого.

6 декабря 1637 года произошла битва близ деревни Кумейки. Русские бились отчаянно; но сильный холодный ветер дул им в лицо; они были разбиты, ушли к Днепру и стали в местечке Боровицах. Прибыл Павлюк; но казаки возмутились против него за то, что он не в пору ушел в Сечь и пропустил удобное время. Кисель, находившийся с Потоцким, уговорил казаков выдать Павлюка с товарищами, поручившись, что король дарует им прощение. Реестровые казаки низложили Павлюка с гетманства, провозгласили было гетманом одного из старшин Дмитра Томашевича-Гуню, но Гуня не согласился на старшинство ценой выдачи своих товарищей. Тогда реестровые казаки схватили Павлюка, Томиленка и какого-то Ивана Злого и привели к Потоцкому. Заключен был с польским военачальником договор: казаки обещали повиноваться польскому правительству. Договор этот был подписан Зиновием Богданом Хмельницким, носившим уже звание генерального писаря. Потоцкий назначил над казаками старшим Ильяша Караимовича. Гуня, Скидан и другие убежали.

Павлюка, Томиленка и Злого привезли в Варшаву. Напрасно Кисель перед сеймом умолял даровать им жизнь, ссылаясь на свое поручительство. Его протеста не уважили. Казацким предводителям отрубили головы.

Потоцкий между тем, покончивши в Украине, начал безжалостно казнить мятежников. Вся дорога от Днепра до Нежина уставлена была посаженными на кол хлопами. Но в то время, когда Потоцкий казнил сотнями мятежников и кричал: «Я из вас восковых сделаю!», русские смело говорили ему: «Если ты, пан гетман, хочешь казнить виновных, то посади на кол разом всю правую и всю левую сторону Днепра».

Как только началась весна 1638 года, по всей Украине разнеслась весть, что с Запорожья идет новое ополчение. Там выбрали гетманом полтавца Острина. С ним шел Скидан. Толпы народа бросились к ним со всех сторон. Потоцкий выступил против них и потерпел поражение под Голтвою. Но между казацкими предводителями не было ладу. Поляки, поправившись от поражения, атаковали Острина под Жовнином, близ Днепра.

Остранин убежал из войска в Московское государство. Казаки избрали старшим Дмитра Томашевича-Гуню. Реестровые тогда не пристали к восстанию, потому что находились с польским войском под начальством чиновников, назначенных поляками. Гуня, с половины июня до половины августа, упорно стоял против поляков, соглашался мириться, но не иначе, как на сколько-нибудь выгодных условиях. Наконец казаки положили оружие. Гуня ушел в Московское государство. Скидан, еще прежде отправившийся за Днепр для собрания новых сил, попался в плен.

С этих пор поляки, хотя оставили реестровых казаков в прежнем числе, но давали им начальников из лиц шляхетского звания. Вместо гетмана у них был назначен комиссар, некто Петр Комаровский; генеральный писарь Зиновий Богдан Хмельницкий лишился своей должности и остался по-прежнему чигиринским сотником. Чтобы преградить побегу народа за пороги, возобновлен был Кодак. Рассказывают, что Конецпольский, приехавши осматривать восстановленную крепость, созвал к себе казацких старшин и насмешливо спросил их: «Как вам кажется Кодак?» – «Manu facta, manu de-struo» (что человеческими руками создается, то и человеческими руками разрушается), – отвечал ему Хмельницкий.

Поляки пришли к убеждению, что, для укрощения страсти к мятежам, овладевшей русским народом, надобно принимать самые строгие меры; за малейшую попытку к восстанию казнили самым варварским образом. «И мучительство фараоново, говорит малорусская летопись, – ничего не значит против ляшского тиранства. Ляхи детей в котлах варили, женщинам выдавливали груди деревом и творили иные неисповедимые мучительства».<sup>85</sup>

Казакам уже трудно было начинать восстание. Сами реестровые казаки были почти обращены в хлопов и работали панщину на своих начальников шляхетского звания. Иной поворот всему русскому делу дан был во дворце короля Владислава.

Этот король, от природы умный и деятельный, тяготился своим положением, осуждавшим его на бездействие; тяжела была ему анархия, господствовавшая в его королевстве. Его самолюбие постоянно терпело унижение от надменных панов. Королю хотелось начать войну с Турцией. По всеобщему мнению современников, за этим желанием укрывалось другое: усилить посредством войны свою королевскую власть. Хотя нет никаких письменных признаний с его стороны в этом умысле, но все шляхетство от мала до велика было в этом уверено и считало соумышленником короля канцлера Оссолинского. Впрочем, последний, если и потакал замыслам короля, то вовсе не был надежным человеком для того, чтобы их исполнить. Это был роскошный, изнеженный, суетный, малодушный аристократ, умел красно говорить, но не в состоянии был бороться против неудач и, более всего заботясь о самом себе, в виду опасности всегда готов был перейти на противную сторону.

В 1645 году прибыл в Польшу венецианский посланник Тьеполо побуждать Польшу вступить с Венецией в союз против турок; он обещал с венецианской стороны большие суммы денег и более всего домогался, чтобы польское правительство дозволило казакам начать свои морские походы на турецкие берега. Папский нунций также побуждал польского короля к войне. Надеялись на соучастие господарей молдавского и валашского, на седмиградского князя и на московского царя. В начале 1646 года польский король заключил с Венецией договор; Тьеполо выдал королю 20000 талеров на постройку казацких чаек; король пригласил в Варшаву четырех казацких старшин: Ильяша Караимовича, Барабаша, Богдана Хмельницкого и Нестеренка. Хмельницкий незадолго был во Франции, где совещался с графом Дебрежи, назначенным посланником в Польшу, насчет доставки казаков во французское войско. Затем 2400 охочих казаков отправилась во Францию и в 1646 году участвовали при взятии Дюнкерка у испанцев.

Король виделся с казацкими старшинами ночью, обласкал их, обещал увеличить число казаков до 20000 кроме реестровых, отдал приказание построить чайки и дал им 6000

---

<sup>85</sup> Достоверность этих известий подтверждается и современными великорусскими известиями: «Польские и литовские люди их христианскую веру нарушили и церкви их, людей собирая в хоромы, пожигали, и пищальное зелье, насыпав им в пазуху, зажигают и сосцы у жен их резали...»



талеров, обещая заплатить в течение двух лет 60000.

Все это делалось втайне, но не могло долго сохраняться в тайне. Король выдал так называемые приповедные листы для вербовки войска за границей. Вербовка пошла сначала быстро. В Польшу стали прибывать немецкие солдаты, участвовавшие в тридцатилетней войне и не привыкшие сдерживать своего произвола. Шляхта, зорко смотревшая за неприкосновенностью своих привилегий, стала кричать против короля. Сенаторы также подняли ропот. Королю ничего не оставалось, как предать свои замыслы на обсуждение сейма.

В сентябре 1646 года открылись предварительные сеймики по воеводствам. Шляхта повсюду оказалась нерасположенной к войне и толковала в самую дурную сторону королевские замыслы. «Король, – кричали на сеймиках, – затевает войну, чтобы составить войско, взять его себе под начальство и посредством его укоротить шляхетские вольности. Он хочет обратить хлопов в шляхту, а шляхту в хлопов». Возникали самые чудовищные выдумки; болтали, что король хочет устроить резню вроде Варфоломеевской ночи; Оссолинского обзывали изменником отечества.

В ноябре собрался сейм в Варшаве. Все единогласно закричали против войны. Королю оставалось покориться воле сейма и приказать распустить на вербованное войско, а казакам запретить строить чайки. Короля обязали вперед не собирать войск и не входить в союзы с иностранными державами без воли Речи Посполитой.<sup>86</sup>

Казацкие чиновники, Караимович и Барабаш, видя, что предприятие короля не удастся, припрятали королевскую привилегию на увеличение казацкого сословия и на постройку чаек. Хмельницкий хитростью достал эту привилегию в свои руки. Рассказывают, что он пригласил в свой хутор Субботово казацкого старшего (неизвестно, Караимовича или Барабаша), и, напоивши его допьяна, взял у него шапку и платок и отправил слугу своего к жене старшего за привилегией. Признав вещи своего мужа, жена выдала важную бумагу.

Вслед за тем с Хмельницким произошло событие, вероятно, имевшее связь с похищением привилегии. Его хутор Субботово (в 8 верстах от Чигирина) был подарен отцу его прежним чигиринским старостой Даниловичем. В Чигирине был уже другой староста Александр Конецпольский, а у него подстаростой (управителем) шляхтич Чаплинский. Последний выпросил себе у Конецпольского Субботово, так как у Хмельницкого не было документов на владение. Получивши согласие старосты Конецпольского, Чаплинский, по польскому обычаю, сделал наезд на Субботово в то время, когда Хмельницкий был в отсутствии; и когда десятилетний мальчик сын Хмельницкого ему сказал что-то грубое, то он приказал его высечь. Слуги так немилосердно исполнили это приказание, что дитя умерло на другой день. По некоторым известиям, кроме того, Чаплинский обвенчался по уставу римско-католической церкви со второй женой Хмельницкого, которую Хмельницкий взял после смерти первой своей супруги, Анны Сомко.<sup>87</sup> Впрочем, это известие о жене может подвергаться сомнению.

Хмельницкий искал судом на Чаплинского, но не мог ничего сделать, потому что не имел письменных документов. В польском суде того времени трудно было казаку тягаться с шляхтичем, покровительствуемым важным паном.<sup>88</sup>

Тогда Хмельницкий собрал сходку до тридцати человек казаков и стал с ними советоваться, как бы воспользоваться привилегией, данной королем, восстановить силу казачества, вернуть свободу православной вере и оградить русский народ от своеволия польских панов. Один сотник, бывший на этой сходке, сделал донос на Хмельницкого.

---

<sup>86</sup> По замечанию Тьеполо, королю стоило только подкупить нескольких послов, чтобы созвать сейм, так как в Польше голос одного посла уничтожал решение целого сейма. Но король не решился на эту меру, потому что боялся междоусобий. Притом он старался поддерживать к себе расположение нации, в надежде, что поляки выберут его сына.

<sup>87</sup> Матери сыновей Хмельницкого, Тимофея и Юрия, и дочерей: Стефаниды и Екатерины.

<sup>88</sup> Осталось предание, записанное в современных летописях, за достоверность которого поручиться нельзя. Рассказывается, будто Хмельницкий обращался к королю, и Владислав сказал ему: «Вы воины и носите сабли; кто вам за себя стать запрещает?»

Коронный гетман Потоцкий приказал арестовать Хмельницкого. Но переяславский полковник Кречовский, которому был отдан Хмельницкий под надзор, освободил арестованного. Хмельницкий верхом убежал степью в Запорожскую Сечь, которая была тогда на «Микитином Роге».

Здесь застал Хмельницкий не более трехсот удальцов, но они кликнули клич и стали собирать с разных днепровских островов и берегов проживавших там беглецов. Сам Хмельницкий отправился в Крым. Он показал привилегию короля Владислава хану. Хан Ислам-Гирей увидел ясные доказательства, что польский король затевал против Крыма и против Турции войну; кроме того, хан был уже зол на короля за то, что уже несколько лет не получал из Польши обычных денег, которые поляки называли подарками, а татары считали данью. Представился татарам отличный и благовидный повод к приобретению добычи. Однако хан сам не двинулся на Польшу, хотя обещал сделать это со временем, но дозволил Хмельницкому пригласить с собой кого-нибудь из мурз. Хмельницкий позвал Тугай-бея, перекопского мурзу, славного своими наездами: у Тугай-бея было до четырех тысяч ногаев.

Это делалось зимой с 1647 по 1648 год. Коронный гетман Николай Потоцкий и польный (его помощник) Мартин Калиновский собирали войско, приглашали панов являться к ним на помощь со своими отрядами, которые, по тогдашнему обычаю, паны держали у себя под названием надворных команд. Между тем Потоцкий пытался как-нибудь хитростью выманить Хмельницкого из Сечи, отправлял к нему письма в Сечу. Но попытки его в этом роде не удались.

Между тем русский народ готовился к восстанию. Казаки, переодетые то нищими, то богомольцами, ходили по городам и селам и уговаривали жителей то отворить казакам Хмельницкого ворота города, то насыпать песку в польские пушки, то бежать в степь в ряды воинов запорожских. Поляки принимали строгие меры: запрещали ходить толпами по улицам, собираться в домах, забирали у жителей оружие или отвинчивали у их ружей замки, жестоко мучили и казнили тех, кого подозревали в соумышлении с Хмельницким. Потоцкий объявил своим универсалом, что всякий убежавший в Запорожье отвечает жизнью своей жены и детей. Такие меры обратились во вред полякам и раздражили уж и без того ненавидевший их русский народ. С левой стороны Днепра убежать было удобнее, и толпы спешили оттуда к Хмельницкому. Весной у него образовалось тысяч до восьми. В апреле до предводителей польского войска дошел слух, что их враг выступает из Сечи; вместо того, чтоб идти на него всем своим войском, они отправили против него реестровых казаков с их начальниками по Днепру на байдаках (больших судах), а берегом небольшой отряд конницы, под начальством молодого сына коронного гетмана Стефана с казацким комиссаром Шембергом. «Стыдно, – говорил тогда коронный гетман, – посылать большое войско против какой-нибудь презренной шайки подлых хлопов».

Казаки, плывшие на байдаках по Днепру, достигли 2-го мая урочища, называемого «Каменным Затеком», и остановились, ожидая идущего берегом польского отряда. Часть казаков вышла на берег. Ночью с 3-го на 4-е мая явился к ним посланец Хмельницкого, казак Ганжа, и смелой речью воодушевил их, уже и без того расположенных к восстанию. Полковник Кречовский, находившийся в высланном реестровом войске, со своей стороны, возбуждал за Хмельницкого казаков. Реестровые утопили своих шляхетских начальников, угодников панской власти; в числе их погибли Караимович и Барабаш. Утром все присоединились к Хмельницкому.

Усиливши реестровыми казаками свое войско, Хмельницкий разбил 5-го мая польский отряд у протока, называемого «Желтые Воды». Сын коронного гетмана Стефан умер от ран; других панов взяли в плен; в числе пленных было тогда два знаменитых впоследствии человека: первый был Стефан Чарнецкий, которому суждено было сделаться искусным польским полководцем и свирепым мучителем русского народа, второй был Иван Выговский, русский шляхтич: попавшись в плен, этот человек до того сумел поддаться к Хмельницкому, что в короткое время стал генеральным писарем и важнейшим советником гетмана.

Главное польское войско стояло близ Черкас, когда один раненый поляк принес туда известие о поражении высланного в степь отряда. Потоцкий и Калиновский не ладили друг с другом, делали распоряжения наперекор один другому, согласились, однако, на том, что надобно им отступить поближе к польским границам. Они двинулись от Черкас и достигли города Корсуна, на реке Роси; здесь они услышали, что Хмельницкий уже недалеко, и решили остановиться и дать сражение; но 15-го мая появился Хмельницкий под Корсуном: пойманные поляками казаки насажали им много преувеличенных известий о количестве и силе войска Хмельницкого. Калиновский готов был дать битву; Потоцкий не дозволил и велел уходить по такому пути, по которому удобно было бы ускользнуть от неприятеля. Поляки взяли себе в проводники одного русского хлопа, который, как видно, с намерением был подослан Хмельницким. Между тем, рассчитывая наперед, куда поляки пойдут, казачий предводитель заранее услали своих казаков и приказал им при спуске с горы в долину, называемую «Крутая Балка», обрезать гору и сделать обрыв, преграждающий путь возам и лошадям. План удался как нельзя лучше. Поляки со всем своим обозом наткнулись прямо на это роковое место, кругом поросшее тогда лесом, и в то же время на них ударили со всех сторон казаки и татары: их постигло полное поражение. Оба предводителя попались в плен: вся артиллерия, все запасы и пожитки достались победителям. Шляхтичи, составлявшие войско, не спасли себя бегством. Хлопы ловили их, убивали или приводили к казакам. Хмельницкий отдал польских предводителей в плен татарам, с тем, чтобы заохотить их к дальнейшей помощи казакам.

Корсунская победа была чрезвычайно важным, еще небывалым в своем роде событием; русскому народу как бы разом открылись глаза: он увидал и понял, что его поработители не так могучи и непобедимы; панская гордыня пала под дружными ударами рабов, решившихся наконец сбросить с себя ярмо неволи.

После этой первой победы Хмельницкий приостановился и отправил в Варшаву казачьих послов с жалобами и объяснениями, но в это самое время короля Владислава постигла смерть в Мерече, подавшая повод к толкам об отраве. В Польше наступило безкорольевье, предстоял новый выбор короля.

По усиленной просьбе брацлавского воеводы Адама Киселя, хотевшего как-нибудь протянуть время, Хмельницкий согласился вступить в переговоры и до сентября не шел с войском далее на Польшу, но мало доверяя возможности примирения с поляками, написал грамоту к царю Алексею Михайловичу, в которой изъявлял желание поступить под власть единого русского государя, чтоб исполнилось, как он выражался, «из давних лет глаголемое пророчество». Он убеждал царя пользоваться временем и наступить на Польшу и Литву в то время, когда казаки будут напирать на ляхов с другой стороны. Московский царь не воспользовался тогда удобным случаем, а сам Хмельницкий напрасно потерял несколько месяцев в бесполезных переговорах с Киселем и его товарищами, облеченными званием комиссаров.

Южнорусский народ смотрел совсем не так на обстоятельства, постигшие его. Как только разошлась весть о победе над польским войском, во всех пределах русской земли, находившейся под властью Польши, даже и в Белоруссии, более свыкшейся с порабощением, чем южная Русь, вспыхнуло восстание. Хлопы собирались в шайки, называемые тогда загонами, нападали на панские усадьбы, разоряли их, убивали владельцев и их дозорцев, истребляли католических духовных; доставалось и униатам и всякому, кто только был подозреваем в расположении к полякам. «Тогда, – по замечанию современника-летописца, – гибли православные ремесленники и торговцы за то единственно, что носили польское платье, и не один щеголь заплатил жизнью за то, что, по польскому обычаю, подбривал себе голову». Убийства сопровождалась варварскими истязаниями: сдирали с живых кожи, распиливали пополам, забивали до смерти палками, жарили на углях, обливали кипятком, обматывали голову по переносице тетивой лука, повертывали голову и потом спускали лук, так что у жертвы выскакивали глаза; не было пощады грудным младенцам. Самое ужасное остервенение показывал народ к иудеям: они осуждены были на конечное истребление, и

всякая жалость к ним считалась изменой. Свитки закона были извлекаемы из синагог: казаки плясали на них и пили водку, потом клали на них иудеев и резали без милосердия; тысячи иудейских младенцев были бросаемы в колодцы и засыпаемы землей.<sup>89</sup> По сказанию современников, в Украине их погибло тогда до ста тысяч, не считая тех, которые померли от голода и жажды в лесах, болотах, подземельях и потонули в воде во время бесполезного бегства. «Везде: по полям, по горам – лежали тела наших братий, – говорит современный иудейский раввин, – не было им спасения, потому что гонители их были быстры, как орлы небесные». Только те спасли себя, которые, из страха за жизнь, приняли христианство: таким русские прощали все прежнее и оставляли их живыми с их имуществами; но перекресты скоро объявили себя снова иудеями, как только миновала опасность и они могли выбраться из Украины.

Все польское, все шляхетское в южной Руси несколько времени поражено было каким-то безумным страхом, не защищалось и бежало. Паны, имевшие у себя вооруженные команды, не в силах были и не решались противостоять народному восстанию. Только один из панов не потерял тогда присутствия духа: то был Иеремия Вишневецкий, сын Михаила и молдавской княжны из дома Могил. Он родился в православной вере, но соvrащен был иезуитами в католичество и сделался жестоким ненавистником и гонителем всего русского. При начале восстания, Вишневецкий жил в Лубнах, на левой стороне Днепра, где у него, как и на правой, были обширные владения; он принужден был со своей командой, состоявшей из шляхты, содержимой на его счет, перейти на правый берег и начал в своих имениях казнить мятежников с таким же зверством, какое выказывали ожесточенные хлопы над поляками и иудеями, выдумывал самые затейливые казни, наслаждался муками, совершаемыми перед его глазами, и приговаривал: «Мучьте их так, чтобы они чувствовали, что умирают!» Своим примером увлек он за собой нескольких панов и вместе с ними начал давать отпор народу, сражался несколько раз с многочисленным отрядом русских хлопов и казаков, бывших под начальством полковника Кривоноса, несмотря на всю свою горячность, не мог сломить его и уехал в Польшу. Хмельницкий считал его своим первейшим врагом и жестокости, совершенные Вишневецким над русским народом, ставил поводом к разорванию начатых переговоров.

Паны, заправлявшие делами во время безкорольевья, составили ополчение из шляхты; начальства над этим ополчением добивался себе Вишневецкий, но вместо него назначены были три полководца: князь Доминик Засловский, Александр Конецпольский (сын недавно умершего гетмана Станислава) и Остророг. Хмельницкий, пропустивши лето, в сентябре отправился против них.

Всего войска, выставленного против Хмельницкого, было тридцать шесть тысяч. Польское шляхетство в это время не отличалось воинственностью, проводило в своих имениях спокойную и веселую жизнь, пользуясь изобилием, которое доставляли ему труды порабощенного народа: в войске, выставленном против Хмельницкого, большая часть была таких, которые только в первый раз выходили на войну. Привычка считать хлопов полускотами побуждала поляков смотреть легкомысленно на войну. «Против такой сволочи, – говорили паны, – не стоит тратить пуль: мы их плетьюми разгоним по полю!» Другие были до того самонадеянны, что произносили такую молитву: «Господи, не помогай ни нам, ни им, а только смотри, как мы разделаемся с этим негодным мужичьем!» Польский военный лагерь сделался сборным местом, куда поляки ехали не драться с неприятелем, а

---

<sup>89</sup> В Ладыжине, по известию современника, казаки положили несколько тысяч связанных иудеев на лугу, сначала предложили им принять христианство и обещали пощаду, но иудеи отвергли эти предложения; тогда казаки сказали: так вы сами виноваты; мы перебьем вас за то, что вы ругались над нашею верою. И потом всех истребили, не щадя ни пола, ни возраста. Страшное избиение постигло иудеев в Полонном, где так много их перерезали, что кровь лилась потоками через окошки домов. В другом месте казаки резали иудейских младенцев и перед глазами их родителей рассматривали внутренности зарезанных, насмехаясь над обычным у евреев разделением мяса на кошер (что можно есть) и трэф (чего нельзя есть), и об одних говорили: это кошер – ешьте! а о других: это трэф – бросайте собакам!

повеселиться и пощеголять. Друг перед другом они старались выказать ценность своих коней, богатство упряжи, красоту собственных нарядов, позолоченные луки на седлах, сабли с серебряной насечкой, чепраки, вышитые золотом, бархатные кунтуши, подбитые дорогими мехами, на шапках кисти, усеянные драгоценными камнями, сапоги с серебряными и золотыми шпорами, – но более всего паны силились отличиться, один перед другим, роскошью стола и кухни. За ними в лагерь везли огромные склады посуды; ехали толпы слуг; в богато украшенных панских шатрах блистали чеканные кубки, чарки, тарелки, даже умывальники и тазы были серебряные; и было в этом лагере, по замечанию современников, больше серебра, чем свинца. Привезли паны с собой бочки с венгерским вином, старым медом, пивом, запасы варенья, конфет, разных лакомств, везли за ними богатые постели и ванны; одним словом, это был увеселительный съезд панов. С утра до вечера отправлялись пиры с музыкой и танцы. Между тем многочисленная прислуга, прибывшая с панами для служения их затеям, и наемные солдаты, которые, получив жалованье вперед, истратили его, бесчинствовали над окрестными жителями, грабили их, и жители говорили, что защитники, какими выставляли себя эти военные люди, хуже их разоряют, чем казаки, которых поляки старались выставить неприятелями и разорителями народа.

20 сентября приблизился Хмельницкий к этому роскошному польскому стану; маленькая речка Пилявка отделяла казаков от поляков. После незначительной схватки русские пленники напугали поляков, что у Хмельницкого шло огромное войско и он с часу на час дожидается хана с ордой. Это произвело такой всеобщий и внезапный страх, что ночью все побежали из лагеря, покинув свое имущество на волю неприятеля. Утром рано Хмельницкий ударил на бегущих: тогда смятение усилилось, поляки кидали оружие, каждый кричал: стойте! а сам бежал; покидали раненых и пленных; иные погибли в толпе от давки. Победителям почти без выстрела досталось сто двадцать тысяч возов с лошадьми; знамена, щиты, шлемы, серебряная посуда, собольи шубы, персидские ткани, рукомойники, постели, кушанья, сласти – все лежало в беспорядке; вина и водки было так много, что, при обыкновенном употреблении, стало бы их для всего войска на месяц... Хлопы набросились на драгоценности, лакомства, вина – и это дало возможность убежать полякам. Хмельницкий двинулся ко Львову, не стал добывать этого города приступом, а только истребовал с жителей окуп в двести тысяч злотых, для заплаты татарам, помогавшим казакам 1. 24 октября из-под Львова двинулся Хмельницкий к Замостью в глубину уже настоящей Польши. Под Замостью стоял он до половины ноября.

В Варшаве между тем происходило избрание нового короля. На этот раз близость казаков не позволила панам тянуть избрания целые месяцы, как прежде случалось: потребность главы государства слишком была очевидна. Хмельницкий со своей стороны отправил на сейм депутатов от казаков.

Было тогда три кандидата на польский престол: седмиградский князь Ракочи и двое сыновей покойного короля Сигизмунда III, Карл и Ян-Казимир. Седмиградский был устранен прежде всех; из двух братьев взяла верх партия Яна-Казимира; казацкие депутаты стояли также за него; Оссолинский склонил многих на сторону Яна-Казимира, уверяя, что иначе Хмельницкий будет воевать за этого королевича. Дело между двумя братьями уладилось тем, что Карл добровольно отказался от соискательства в пользу брата. Ян-Казимир был избран, несмотря на то, что был прежде иезуитом и получил от папы кардинальскую шапку. Что располагало Хмельницкого быть на стороне этого государя – неизвестно, как равным образом трудно теперь определить, в какой степени участвовало желание Хмельницкого в этом избрании. Тем не менее Хмельницкий показывал большое довольство, когда услышал о выборе Яна-Казимира. 19 ноября ему привезли от короля письмо с приказанием прекратить войну и ожидать королевских комиссаров. Хмельницкий тотчас потянулся от Замостья со всем войском назад в Украину.

Город, который был только что перед тем порядочно обобран панами, бежавшими из-под Константинова, не мог дать чистою монетою более, как на шестнадцать тысяч злотых, а все остальное доплатил товарами и вещами по раскладке между жителями, причем

приходилось бедняку расставаться с последнею дорогою вещицею, которую он берег про черный день.

Хмельницкий в последнее время действовал противно всеобщему народному желанию. Восставший народ требовал, чтобы он вел его на Польшу. Хмельницкий уже из-под Львова думал было воротиться и только, уступая народному крику, ходил к Замостью. Хмельницкий мог идти прямо на Варшаву, навести страх на всю Речь Посполитую, заставить панов согласиться на самые крайние уступки; он мог бы совершить коренной переворот в Польше, разрушить в ней аристократический порядок, положить начало новому порядку, как государственному, так и общественному. Но Хмельницкий на это не отважился. Он не был ни рожден, ни подготовлен к такому великому подвигу. Начавши восстание в крайности, спасая собственную жизнь и отомщая за свое достояние, он, как сам потом сознавался, очутился на такой высоте, о которой не мечтал, и потому не в состоянии был вести дело так, как указывала ему судьба. Эпоха Хмельницкого в этом отношении представляет один из тех случаев в истории, когда народная масса по инстинкту видит, что следует в данное время делать, но ее вожаки не в состоянии облечь в дело того, что народ чувствует, чего народ требует. Хмельницкий был сын своего века, усвоил польские понятия, польские общественные привычки, и они-то в нем сказались в решительную минуту. Хмельницкий начал дело превосходно, но не повел его в пору далее, как нужно было. На первых порах совершил он историческую ошибку, за которой последовал ряд других, и, таким образом, восстание южной Руси пошло по другому пути, а не по тому, куда вели его вначале обстоятельства. Увидим, как Хмельницкий стал вразрез с народом и в отношении общественного идеала, созданного народной жизнью в его время.

Хмельницкий, возвратившись из-под Замостья, прибыл прежде всего в Киев. При звоне колоколов и громе пушек он въехал в полуразрушенные Ярославовы Золотые ворота и у стен Св. Софии был приветствуем митрополитом Сильвестром Коссовым, духовенством и киевскими гражданами. Бурсаки пели ему русские и латинские песни, величали его спасителем народа, русским Моисеем. Здесь дождал его дорогой гость, Паисий, иерусалимский патриарх, ехавший в Москву. Он от лица православного мира на Востоке приносил Хмельницкому поздравление с победами, дал ему отпущение грехов, возбуждал на новую войну против латинства. Гетман был в это время почему-то грустен. В его характере начало проявляться что-то странное: он то постился и молился, то предавался пьяному разгулу и пел думы своего сочинения; то был ласков и равен в обращении со всеми, то вдруг делался суров и надменен; то молился Богу, то советовался с чаровницами.

Из Киева он уехал в Переяславль и там женился. Женой его, как говорят, сделалась Чаплинская, о прежнем муже ее разноречат источники: по одним, он был еще жив, по другим, убит. Прибавляют к этому, что Чаплинская была Хмельницкому кума и что патриарх Паисий разрешил ему такой недозволенный брак. Но есть также известие одного из современников, что подлинно неизвестно: действительно ли эта Чаплинская была жена того, который отнял у Хмельницкого Субботово, или другая, сходная с ней по фамилии?

В Переяславле съехались к Хмельницкому послы соседних государств, искавших своих выгод в связи с начинавшимся могуществом казаков. Из Турции прибыл посол от визиря, управлявшего государством за малолетством султана, и предлагал Хмельницкому союз против Польши. Тогда заключен был договор, по которому казакам предоставлялось свободное плаванье по Черному морю и Архипелагу с правом беспошлинной торговли на сто лет. Казаки обязывались не нападать на турецкие города и защищать их. Седмиградский князь Юрий Ракочи предлагал Хмельницкому вступить в союз и двинуться вместе на Польшу, чтобы доставить корону Юрию; за это Юрий обещал во всех польских областях свободу православной веры, а самому Хмельницкому удельное государство в Украине с Киевом. Прислали к Хмельницкому послов господари: молдавский и валашский, также с предложением дружбы. Хмельницкий, узнавши, что у молдавского господаря есть дочь, просил руки ее для своего сына. Прибыл посланник царя Алексея Михайловича, Унковский, привез по обычаю в подарок меха и ласковое слово от царя; но царь уклонялся от разрыва с

Польшей и желал успеха казакам только в том случае, когда поводом к восстанию у них действительно была одна только вера. Наконец, в феврале прибыли в Переяславль обещанные от нового короля комиссары: сенатор Адам Кисель, его племянник, новгород-северский хорунжий Кисель, Захарий, князь Четвертинский, и Андрей Мясковский с их свитой. Последний оставил очень любопытное описание свидания с Хмельницким.

Комиссары привезли Хмельницкому от короля грамоту на гетманство, булаву, осыпанную сапфирами, и красное знамя с изображением белого орла. Хмельницкий назначил им аудиенцию на площади, собрал казацкую раду; здесь-то высказался народный взгляд, не хотевший никаких сделок, стремившийся к решительному разрешению вопроса между Русью и Польшей.

«Зачем вы, ляхи, принесли нам эти детские игрушки, – закричала толпа, – вы хотите нас подманить, чтобы мы, скинувши панское ярмо, опять его надели! Пусть пропадут ваши льстивые дары! Не словами, а саблями расправимся. Владейте себе своей Польшей, а Украина пускай нам, казакам, остается».

Хмельницкий с сердцем останавливал народный говор; но потом, за обедом, в разговорах с Адамом Киселем и его товарищами, подпивши, выразил такие же задушевные чувства:

«Что толковать, – говорил он, – ничего не будет из вашей комиссии. Война должна начаться недели через две или четыре. Переверну я вас, ляхов, вверх ногами, а потом отдам вас в неволю турецкому царю. Пусть бы король был королем: чтоб король казнил шляхту, и дуков, и князей ваших. Учинит преступление князь, отруби ему голову; а учинит преступление казак – и ему то же сделай. Вот будет правда! Я хоть себе небольшой человек, да вот Бог мне так дал, что я теперь единовластный самодержец русский! Если король не хочет быть вольным королем, ну как ему угодно».

Адам Кисель источал пред казацким вождем все свое красноречие, обещал увеличение казацкого войска до пятнадцати и даже до двадцати тысяч, наделение его новыми землями, давал позволение казакам идти на неверных; но Хмельницкий на все это сказал ему:

«Напрасные речи! Было бы прежде со мной об этом говорить: теперь я уже сделал то, о чем не думал. Сделаю то, что замыслил. Выбью из ляцкой неволи весь русский народ! Прежде я воевал за свою собственную обиду; теперь буду воевать за православную веру. Весь черный народ поможет мне по Люблин и по Краков, а я от него не отступлю. У меня будет двести тысяч, триста тысяч войска. Орда уже стоит наготове. Не пойду войной за границу; не подыму сабли на турок и татар; будет с меня Украины, Подоли, Волыни; довольно достаточно нашего русского княжества по Холм, Львов, Галич. Стану над Вислой и скажу тамошним ляхам: „Сидите, ляхи! молчите, ляхи! Всех тузов ваших, князей туда загоню, а станут за Вислой кричать – я их и там найду! Не останется ни одного князя, ни шляхтишки на Украине; а кто из вас с нами хочет хлеб есть, тот пусть войску запорожскому будет послушен и не брыкает на короля“.

Слушая эту речь, паны, как сами потом говорили, подеревенели от страха.

Окружавшие Хмельницкого полковники при этом говорили: «Уже прошли те времена, когда ляхи были нам страшны; мы под Пилявцами испытали, что это уже не те ляхи, что прежде бывали. Это уже не Жолкевские, не Ходкевичи, это какие-то Тхоржевские, да Заенчковские (Хорьковские от хорька – tchurz и Зайцовские от зайца – zajac), дети, нарядившиеся в железо! Померли от страху, как только нас увидели».

Однако, по усиленной просьбе польских комиссаров, Хмельницкий подал Адаму Киселю условия мира в таком смысле: во всей Руси уничтожить память и след унии; униатским церквам не быть вовсе, а римским костелам оставаться только до времени; киевскому митрополиту дать первое место в сенате после примаса польского; все чины и должности в Руси должны быть замещены православными; казацкий гетман должен зависеть только от одного короля; жидам не позволять жительствовавать в Украине. Наконец, в условия было включено, чтобы Иеремия Вишневецкий не получал начальства над польским войском.

Комиссары отказались подписать эти условия, в сущности довольно умеренные, и

уехали. Предложения Хмельницкого возбудили негодование в польском сенате. В те времена поляки, по фанатизму, ни за что не решались на уничтожение унии. Кроме того, требования Хмельницкого угрожали панам в будущем лишением их имений и владельческих прав на Руси.

Поляки выставили войско под начальством трех предводителей: Лянскоронского, Фирлея и Иеремии Вишневецкого. Сверх того, королю дали право на собрание посполитого рушения, т.е. Всеобщего ополчения шляхты: мера эта предпринималась только тогда, когда отечеству угрожала крайняя опасность.

В Украине происходил сбор целого народа на войну. Пустели хутора, села, города. Поселянин бросал свой плуг, надеясь пожить на счет панов, на которых прежде работал; ремесленники покидали свои мастерские, купцы свои лавки; сапожники, портные, плотники, винокуры, пивовары, могильники (копатели сторожевых курганов), банники бежали в казаки. В тех городах, где было магдебургское право, почтенные бургомистры, райцы, войты и канцеляристы побросали свои уряды и пошли в казаки, обривши себе бороды (по обычаю того времени военные брили себе бороды). «Так-то, – замечает современник, – дьявол учинил себе смех из почтенных людей». Презрение и насмешки ожидали людей, не участвовавших в восстании; только калеки, старики, женщины и дети оставались дома, да и то по большей части больной человек или бездетный старик, стыдясь оставаться безучастным в деле освобождения отечества, ставил за себя наемщика. Хмельницкий разделял их на полки, которых тогда составилось двенадцать на правой стороне Днепра<sup>90</sup> и двенадцать на левой.<sup>91</sup> Но не все войско было с Хмельницким; он отправил часть его в Литву возмущать белорусских хлопков.

Хмельницкий выступил из Чигирина в мае и шел медленно, ожидая крымского хана. Ислам-Гирей соединился с ним в июне на Черном шляху. В его ополчении были крымские горцы, отличные стрельцы из лука, степные нагаи в вывороченных шерстью вверх тулупах, питавшиеся кониной, согретой под седлом; буджацкие татары, сносившие с удивительным терпением жар и холод, изумлявшие своим знанием бесприметной степи, способные, как говорили о них, подолгу оставаться в воде; были с ханом черкесы с бритыми головами и длинными чубами. Явились по зову Хмельницкого удальцы с Дона. Никто не просил жалованья вперед; каждый без торга шел на войну, надеясь разгромить богатую Речь Посполитую.

Хмельницкий со своим полчищем осадил польское войско под Збаражем 30 июня (10 июля нового стиля) и держал его в осаде, надеясь принудить к сдаче голодом и беспрестанной пальбой. Поляки заготовили себе так мало запасов, что через несколько недель у них сделался голод. Роскошные паны принуждены были питаться конским мясом; простые жолнеры пожирали кошек, мышей, собак, а когда этих животных не хватало, то срывали кожу с возов и обуви и ели, разваривая в воде. Много умирало их; казаки нарочно

---

<sup>90</sup> Чигиринский, черкасский, корсунский, лысянский, белоцерковский, наволоцкий, уманский, калницкий, каневский, животовский (иначе брацлавский), полесенский и могилевский. Пространство, занимаемое этими полками, составляло нынешние губернии: Киевскую, Волынскую по р. Горынь, Подольскую, часть Червоной Руси и часть Минской губернии. Каменец, твердая, неприступная крепость, оставался еще в руках поляков.

<sup>91</sup> Переяславский, нежинский, черниговский, прилуцкий, ичанский, лубенский, ирклеевский, миргородский, кропивянский, галицкий, полтавский и зенковский. Они занимали нынешние Полтавскую и Черниговскую губернии и часть Могилевской по Гомель. Полки разделялись на сотни; сотня заключала в себе села и города и носила название по имени какого-нибудь значительного местечка. Иная сотня заключала в себе до тысячи человек; сотня делилась на курени. Верховное место управления называлось войсковою канцеляриею; там, вместе с гетманом, заседала генеральная или войсковая старшина: обозный (начальник артиллерии и лагерной постройки), есаул, писарь, судья и хорунжий (главный знаменосец). В каждом полку была полковая канцелярия и полковая старшина: полковник, обозный, писарь, судья и хорунжий. В сотне была сотенная канцелярия и сотенная старшина. Куренями начальствовали атаманы. Чиновники избирались на радах и утверждались гетманами. Этот порядок в сущности издавна велся в казацком войске, но на этот раз распространился на целый народ, так что слово «казак» перенеслось на всю массу восставшего южнорусского населения.



бросали в воду трупы, чтобы испортить ее. Поляки доходили до такого положения, в каком были их отцы в Москве. Русские хлопы насмеялись над ними и кричали:

«Скоро ли вы, господа, будете оброк собирать с нас? Вот уже целый год, как мы вам ничего не платим; а может быть, вздумаете заказать нам какую-нибудь барщину?.. Сдавайтесь-ка лучше! а то напрасно кунтуши свои испачкали, лазаячи по шанцам! Ведь это все наше, да и сами вы попадете в добычу голодным татарам! Вот что наделали вам: очковые, да панцины, да пересуды, да сухомельщины! Хороша вам была тогда музыка, а теперь так славно вам в дудку заиграли казаки!»

Несколько раз уже распространялось между жолнерами намерение разбежаться, хотя это значило идти всем на явную смерть, потому что хлопы не оставили бы в живых никого; но весь обоз удерживал тогда воинственный князь Иеремия Вишневецкий. По его совету, один шляхтич, по имени Стомпковский, причесавшись по-мужицки, взял с собой письмо к королю; ночью он перелез окопы, бросился в пруд, примыкавший с одной стороны к польскому обозу, переплыл пруд, прополз среди спящих неприятелей, к свету пробрался до болотистого места, где просидел целый день; следующую ночь опять полз среди спящих неприятелей, при малейшем шуме припадая к земле и затаивая дыхание, как делают охотники за медведем. Минувши неприятельский стан, он пустился бежать, выдавая себя за русского хлопа, потом взял почтовых лошадей и прискакал в местечко Топоров, где застал Яна-Казимира.

Король, получивши от папы благословение, освещенное знамя и меч, выехал из столицы и следовал медленно, ожидая прибытия из разных воеводств ополчений посполитого рушения. У него было регулярного войска тысяч двадцать (а может быть, несколько более). Посполитое рушенье беспрестанно прибывало по частям. Получивши письмо от осажденных и расспросивши Стомпковского о положении войска, король двинулся на выручку осажденным; но путь его был труден по причине дождей, испортивших дороги. Поляки потом жаловались, что никак не могли добыть точных сведений о неприятеле: «Эта Русь – все наголо мятежники, – говорили они, – хоть жги их, а они правды не скажут!» Хмельницкий, напротив, знал о всех движениях своего неприятеля. Русские хлопы, привозившие припасы в королевское войско, отправлялись после того к своим братьям казакам рассказывать о положении неприятельского войска. Много слуг перебежало от своих панов к казакам.

Король прибыл наконец к местечку Зборову, уже недалеко от Збаража. Зборовские мещане тотчас же дали знать Хмельницкому о королевском приходе и обещали помогать ему. Оставивши пешее войско под Збаражем, Хмельницкий взял с собой конницу и, в сопровождении крымского хана и татар, отправился к Зборову.

В воскресенье, 5 августа (15 нов. ст.), поляки стали переправляться через реку Стрипу. День был пасмурный и дождливый. Казаки из леса видели, что делается у неприятеля. Когда половина посполитого рушения успела переправиться, а другая оставалась на противоположном берегу и шляхтичи, не ожидая нападения, расположились обедать, – казаки и татары ударили на них и истребили всех до последнего из бывших на одной стороне реки. Вслед за тем началось сражение на противоположном берегу. Король выказал большую деятельность и подвергал себя опасности; но в сумерки поляки сбились в свой обоз и неприятель окружил их со всех сторон.

Ночью паны хотели было каким-нибудь способом вывести короля тайно из обоза, но Ян-Казимир отвергнул это постыдное предложение. По совету канцлера Оссолинского, король написал крымскому хану письмо, предлагая ему дружбу, с тем, чтобы отвлечь его от Хмельницкого.

С солнечным восходом битва возобновилась. Казаки ударили на польский лагерь с двух сторон. Сражение было кровопролитное. Казаки ворвались в польский стан и достигали было уже до короля. Вдруг все изменилось. Из казацкого стана раздался крик: «Згода!» Победители отступили. Нужно было, однако, еще много времени, чтобы унять рассвирепевших воинов.

Вслед за тем явился в польский обоз татарин с письмом от крымского государя. Ислам-Гирей желал польскому королю счастья и здоровья, изъявлял огорчение за то, что король не известил его о своем вступлении на престол, и выразился так: «Ты мое царство ни во что поставил и меня человеком не счел; поэтому мы пришли зимовать в твои улусы и по воле Господа Бога останемся у тебя в гостях. Если угодно тебе потолковать с нами, то вышли своего канцлера, а я вышлю своего». Прислал королю письмо и Хмельницкий, уверял, что он вовсе не мятежник и только прибегнул к великому хану крымскому, чтобы возвратить себе милость короля. «Вашему величеству, – писал Хмельницкий, – угодно было назначить вместо меня гетманом казацким пана Забусского; извольте прислать его в войско; я тотчас отдам ему булаву и знамя. Я с войском запорожским, при избрании вашем, желал и теперь желаю, чтобы вы были более могущественным королем, чем был блаженной памяти брат ваш».

Трудно решить, что было причиной этого внезапного прекращения сражения. Украинский летописец того времени говорит, что Хмельницкий не хотел отдавать христианского государя в басурманскую неволю; поляки приписывают это дело главным образом хану. Прежде заключен был договор с ханом. По этому договору польский король обязался платить крымскому хану 90 000 злотых ежегодно и сверх того дать 200 000 злотых единовременно. Татары называли это данью; поляки оскорблялись и говорили, что это «не дань, а подарок». Татары отвечали: «Все равно, как ни называйте, данью или даром, лишь бы деньги были».

Затем был заключен договор с казаками. Войска казацкого положено быть 40000, с правом записывать их из королевских и шляхетских имений на пространстве, занимаемом Киевским, Брацлавским и Черниговским воеводствами (нынешними губерниями: Киевской, Полтавской, Черниговской и частью Подольской). В черте, где будут жить казаки, не позволяется квартировать коронному войску и проживать иудеям: все должности и чины в означенных воеводствах будут даваться только православным; иезуитам не дозволяется жить в Киеве и других местах, где будут русские школы; киевский митрополит будет заседать в сенате; а относительно уничтожения унии как в королевстве Польском, так и в Великом княжестве Литовском будет сделано сеймовое постановление. Обещана всем полная амнистия за все прошлое.

После заключения договора, Хмельницкий 10 августа (20 н.с.) был допущен к королю (взявши, однако, заложников на то время, когда отправится в польский лагерь). Он держал себя с достоинством, говорил хотя почтительно, но смело, изложил в кратком виде насилия и оскорбления, которые были делаемы польскими панами и довели народ до восстания. «Терпение наше потерялось, – выразился Хмельницкий, – мы принуждены были призвать чужеземцев против шляхетства. Нельзя осуждать нас за то, что мы защищали нашу жизнь и наше достояние! И скот бодается, если его мучат!»

Литовский подканцлер Сапега, от имени короля, тут же присутствовавшего, объявил ему забвение всего прошлого.

Мирный договор избавил остаток войска, погибавшего от голода под Збаражем. Вслед за тем дано было приказание прекратить войну и в Белоруссии. Восстание приняло было в этой стране уже значительный размер, когда туда явились с казаками два предводителя, Подобойло и Кречовский. Они успели поднять несколько десятков тысяч хлопков, но польский литовский гетман Радзивилл, после упорного с их стороны сопротивления, уничтожил их скопище близ Речицы. Раненый Кречовский попался в плен и, чтобы не доставаться на поругание победителю, разбил себе голову о воз, на котором его везли взявшие в плен неприятели.

Первое время после заключения мира было временем всеобщего восторга, эпохой небывалой народной славы. Скоро осмотрелись русские, опомнились от упоения победы; настали для них опять скорби, заботы и беды. Весь прошлый год поселяне не пахали полей, находясь в рядах казацкого войска; много набрали они добычи, но все это продавалось дешево московским и турецким купцам; хлеб поднялся в цене; тяжело стало бедным. Но то

было начало скорбей; – только цветики, как говорится. Оказалось, что Хмельницкий не так-то благодетельно для народа устроил его дело и что Зборовский договор, по своему содержанию, представлял решительную невозможность как для русских, так и для поляков соблюдать его; обе стороны должны были его нарушить.

По силе Зборовского договора, митрополит Сильвестр Коссов явился в Варшаву занять свое почетное место в сенате. Но римско-католические духовные подняли ропот и объявили, что они сами оставят сенат, если рядом с ними будет допущен схизматик, враг апостольской столицы. Митрополит должен был удалиться. Еще менее возможно было уничтожение унии. Король 12 января дал грамоту, утверждающую права православной церкви и неприкосновенность церковных и монастырских имений; ведомству киевского митрополита возвращались епархии: луцкая, холмская и витебская, соединенная с мстиславской. Дозволялось возобновлять православные церкви: предоставлялись надзору русского духовенства школы, типографии и цензура духовных книг. Эта грамота короля Яна-Казимира мало могла иметь силы, как и те, которыми наделял православную церковь король Владислав. Пока существовала уния, православная церковь не могла быть свободной.

Права, предоставленные русскому народу Зборовским договором, не могли удовлетворить народа. Можно сказать, что договор этот был бы уместен, если бы заключен был лет двадцать назад; но условия, в которые поставила русский парод сцена недавних бурных событий, не соответствовали статьям этого договора. Сообразно Зборовскому договору, Хмельницкий занялся составлением реестра казацкого войска; нужно было записать в него сорок тысяч казаков. Хмельницкий записал туда несколькими тысячами более чем следовало. Каждый казак поступал в казачество со своею семьею. Гетман набирал казаков преимущественно из имений Вишневецкого и Конецпольского. Вместе с казаком отходил от пана и земельный участок, занимаемый и обрабатываемый казаком. Хмельницкий отбирал у панов целые волости под предлогом, что паны захватили казенные владения, и отдавал их генеральной старшине и полковым чиновникам. Таким образом, на будущее время образовался класс ранговых поместий, таких, которыми владели казацкие чиновники, пока носили свой чин. Для гетманского чина – на булаву, как говорилось, – отдано было королем чигиринское староство. Кроме него, Хмельницкий захватил в свою пользу богатое местечко Млиев, доставлявшее бывшему своему владельцу Конецпольскому до двухсот тысяч талеров дохода. Каждый казак был самостоятельный владелец своего участка, обязан был за то нести военную службу и был освобожден от всяких других тягостей и поборов. Казаки разделены были по полкам: всех полков в 1650 году было устроено шестнадцать, и каждый полк означал край с полковым городом и сотенными городами и селами. В городах (Брацлаве, Виннице, Черкасах, Василькове, Овруче, Киеве, Переяславле, Остре, Нежине, Мглине, Чернигове, Почепе, Козельце, Новгород-Северске, Стародубе) оставлено было прежнее магдебургское право для мещан, с общинным самоуправлением и самосудом, с разделением ремесленников по их занятиям на цеха, с предоставлением цехам права иметь свои гербы и печати. 1) Брацлавский, под начальством Данила Нечая, в нынешних уездах Могилевском, Ямпольском, значительной части Винницкого и Брацлавского уезда. В нем заключалась двадцать одна сотня. 2) Уманьский, под начальством Иосифа Глуха, в нынешнем уезде Уманьском, в восточной части Гайсинского и Липовецкого и западной части Звенигородского. Эта земля носила название Уманьщины. В нем было тринадцать сотен. Умань был его полковой город. 3) Кальницкий, под начальством Ивана Федоренка, в нынешнем уезде Липовецком, в северной части Брацлавского, в северовосточной Винницкого, в западной части Таращанскою и в южной половине Махновского. Всех сотен было в нем восемнадцать. 4) Чигиринский, под начальством Федора Якубовича-Вешняка, в нынешних уездах: Чигиринском, Звенигородском и в западной части Кременчугского. В нем было восемнадцать сотен. 5) Корсунский, под начальством Лукьяна Мозыры, в нынешних уездах Таращанском и Каневском. Его главным городом был Корсунь, возобновленный от пожара. В этом полку было девятнадцать сотен. 6) Черкасский, под начальством Яська Воронченка, в нынешнем Черкасском уезде и в западной части Золотоношского. В нем было

девятнадцать сотен с полковым городом Черкасы. 7) Каневский, под начальством Семена Савича, занимал правый берег Днепра, уезд Каневский и южную часть Киевского, с полковым городом Каневом: в нем было пятнадцать сотен. 8) Киевский, под начальством Антона Ждановича, занимал большую часть Киевского уезда, восточную часть Васильковского, Радомысльский, Овручский уезд и западную часть Остерского. Его полковым городом был Киев. Всех сотен было семнадцать. 9) Белоцерковский, под начальством Михайла Громыки, в уездах: Сквирском, в западной части Васильковского и в северной Тарашинского. Местечко Белая-Церковь было его полковым юродом. 10) Кропивинский, под начальством Филона Джеджалыка, занимал земли в восточной части Золотоношского уезда, в западной части Лубенского, в восточной части Пирятинского. Полковой его город был Кропивна. Всех сотен было в нем одиннадцать. 11) Переяславский, под начальством Федора Лободы, на левой стороне вдоль Днепра, в нынешних уездах: Переяславском, Остерском и южной половине Козелецкого. Всех сотен было восемнадцать; полковой город был Переяславль. 12) Прилуцкий, под начальством Тимофея Посача, в нынешнем Прилуцком уезде, захватывал небольшую часть Нежинского. В нем было девятнадцать сотен. 13) Миргородский, под начальством Матвея Гладкого, в нынешних уездах: Миргородском, восточной части Лубенского, в Лохвицком, Роменском, Хорольском. В нем было шестнадцать сотен. 14) Полтавский, под начальством Мартына Пушкаренко, в нынешних уездах: Полтавском, Годяцком, Зеньковском и Кобыляцком. В нем считалось семнадцать сотен. 15) Нежинский, под начальством Прокопа Шумейки, в нынешних уездах: Нежинском и Козелецком. Всех сотен было в нем девять. 16) Черниговский, под начальством Мартына Небабы, в уездах: Черниговском, Борзнянском, Сосницком, Конотопском. Сотен было шесть. В нынешней же Черниговской губернии, в уездах: Стародубском, Мглинском, Городнецком, Новгород-Северском, Глуховском, Суражском, казаков тогда не было. Эта часть южнорусской земли обращена в казачество уже после Хмельницкого.]

Все остальное народонаселение, под именем «посполства», должно было поступать снова под власть панов. В этом была вопиющая несправедливость. Все народонаселение было призвано к борьбе за общую свободу; все равно участвовали в этой борьбе, а теперь оказалось, что они боролись и проливали кровь только для каких-нибудь сорока тысяч избранных, сами же должны были поступать в прежнюю неволю. По окончании реестрования, Хмельницкий позволял владельцам возвращаться в свои имения и приказывал всем, не вошедшим в реестр, повинаться господам под опасением смертной казни. Вместе с этим и король издал универсал ко всем жителям Украины, в котором извещал, что, в случае бунтов хлопов против владельцев, коронное войско вместе с запорожским будет укрощать их. Как только об этом услышал народ, вспыхнуло всеобщее волнение. «Как, – кричал народ, – где обещание гетмана? Разве мы не все были казаками!» Владельцы, едва вступивши в свои владения, должны были снова бежать из них, а иным пришлось поплатиться жизнью. Беглецы столпились в Киеве, под покровительство Адама Киселя, сделанного киевским воеводой, и чуть не пропадали с голода, достигшего ужасающих размеров. Богатые паны стали приезжать в свои имения с командами, отыскивать зачинщиков прежнего мятежа и казнить их. Где только паны чувствовали силу, там поступали жестоко с непокорными хлопами: отрезали им уши, вырывали ноздри, выкалывали глаза и т.п. Хмельницкий, по жалобе владельцев, вешал, сажал на кол непослушных. Хлопы, со своей стороны, где только было возможно, жгли панские усадьбы, убивали и мучили владельцев. Жители берегов Буга и Днестра отличались перед всеми буйством и отвагой.<sup>92</sup>

Сами реестровые казаки недовольны были исключительностью своих привилегий. Когда Хмельницкий, в первых числах марта 1650 г., собрал в Переяславле генеральную раду для утверждения реестра, то, по собственным его словам, претерпевал большие затруднения.

<sup>92</sup> По известиям малороссийской летописи, брацлавский полковник Нечай отличался смелостью и заступился за народ. «Разве ты ослеп, – говорил он гетману, – не видишь, что ляхи обманывают тебя и хотят поссорить с верным народом?»

После этой рады Хмельницкий отправился в Киев для совета с Киселем и готовился у него обедать в замке, как вдруг вооруженная толпа поспольства бросилась с яростными криками на замок и кричала, что пора расправиться с Киселем. Хмельницкий бесстрашно вышел к народу, клялся, что за Киселем нет никакой измены, и обещал не пускать панов в их имения. Толпа на этот раз послушалась, но Хмельницкий, после того, говорил Киселю так: «Паны поддели меня; по их просьбе я согласился на такой договор, какого не могу исполнить никаким образом. Сами посудите: сорок тысяч казаков, – а с остальным народом что я буду делать? Они меня убьют, а на поляков все-таки подымутся». Уступая народному волнению, Хмельницкий позволил идти в казаки всякому, под тем предлогом, что, кроме реестровых, могут быть еще охочие казаки, а между тем отправил посольство к королю: напоминал, что следует уничтожить унию и просить, чтобы паны являлись в свои украинские поместья не иначе, как без военных команд.

Землевладельцы, которые были победнее, решались покориться судьбе. Хлопы собирались на сходки и рассуждали, как им жить с панами. В Немирове, на подобной сходке, какой-то атаман Куйка подал такой совет: «Дадим своему пану плуг, волов, да четыре меры солода. Довольно с него, лишь бы не умер с голоду!» В других местах хлопы уговаривались давать панам «поклоны» по большим праздникам и отказывались от всякой барщины. Самые богатые паны не получали ни гроша с огромных имений. Шляхтичи принялись сами за полевые работы. «Не было деревни, – говорит современный польский историк-стихотворец Твардовский, – где бы бедный шляхтич мог зевнуть свободно. Чуть мало кто погорячится – тотчас бунт: а сорок тысяч реестровых, словно горох из мешка, рассыпавшись по Украине, производили страшный для нас шорох».

Гетману очень хотелось затянуть Московское государство в войну с Польшей. После Зборовского договора, он был огорчен отказом царя помочь ему. Когда приехал к нему гонец толковать о пограничных делах, Хмельницкий, по своему обычаю, сдержанный в трезвом виде и откровенный в пьяном, бывши тогда навеселе, произнес ему такие речи:

«Что вы мне все про дубье и про пасеки толкуете? Вот я пойду, изломаю Москву и все Московское государство; да и тот, кто у вас на Москве сидит, от меня не отсидится: зачем не дал он нам помощи на поляков ратными людьми?» Казаки говорили великорусским гонцам так: «Мы пойдем на вас с крымцами. Будет у нас с вами, москали, большая война за то, что нам от вас на поляков помощи не было».

Московское правительство поняло, что если оно не будет заодно с Хмельницким, то наживет себе в Хмельницком врага, и начало, по выражению того времени, «задирать Польшу». В июле 1650 года приехал в Варшаву послом Гаврило Пушкин с жалобой на то, что, во-первых, в некоторых официальных бумагах неточно был написан царский титул, а во-вторых, на то, что в Польше печатались «бесчестные книги», в которых с неуважением отзывались о царе и московском народе. Так, например, между прочим, в латинской истории Владислава IV, написанной Вассенбергом, было сказано: «Москвитяне только по одному имени христиане, а по делам и обычаям хуже всяких варваров: мы их часто одолевали, побивали и лучшую часть их земли покорили своей власти». Московский посол требовал, чтобы все «бесчестные книги» были собраны и сожжены; чтобы не только слагатели их, но и содержатели типографий, где они были напечатаны, наборщики и печатальщики и самые владельцы имений, где находятся типографии, были казнены смертью. «Из таких требований, – сказали сенаторы послу, – мы видим, что его царское величество ищет предлога к войне; несколько строк, которыми погрешали литераторы, не дают повода к разрыву мира. Стоит ли из-за того проливать кровь!»

Московское посольство настаивало на своем. Несколько книг было сожжено в их присутствии; но это их не удовлетворило. Они уехали, сказав последнее слово, что только наказание слагателей «бесчестных книг» и людей, писавших царский титул с пропусками, может отклонить Польшу от разрыва с Московским государством.

Хмельницкий между тем, сдружившись с крымским ханом, отправил казаков с татарами на Молдавию мстить молдавскому господарю Василию Лупуле за то, что

последний не хотел исполнять своего обещания отдать дочь свою за сына Хмельницкого. Казаки и татары навели такой страх на молдавского господаря, что он просил мира и союза. Во время этого похода коронный гетман Потоцкий, воротившись из крымского плена, расположился на Подоли. Он не решался помогать молдавскому господарю, но занимался укромением подольских хлопов, которые образовали тогда шайки под названием «левенцов» и открыто вели войну с коронными жолнерами. Польский отряд, под начальством Кондратского, разбил их и привел к Потоцкому главного их предводителя Мудренка с двадцатью другими атаманами. Потоцкий приказал их изуродовать и распустить, чтобы они наводили страх на всякого, кто не захочет повиноваться панам. Этим изуродованных привели к Хмельницкому. Хмельницкий отправил к Потоцкому полковника Кравченко.

– Или ты еще не напился крови нашей, пан гетман, – сказал Потоцкому Кравченко. – Зачем нарушаешь договор? Зачем переходишь за черту на казацкую землю, когда не слышно неприятеля?

– Земля никогда не была казацкой! – гневно закричал Потоцкий, схватившись даже за саблю. – Земля принадлежит Речи Посполитой. Имею право стоять и на черте и за чертой.

– Речь Посполитая, – сказал Кравченко, – может положиться на казаков; мы защищаем отечество.

– Какие вы защитники, – сказал Потоцкий, – когда вы делаете насилие шляхетству и вынуждаете владельцев бежать из своих имений?

– А зачем паны мучат и утесняют народ? – сказал Кравченко. – Владельцы должны ласково и кротко обращаться с поселянами, потому что они, хотя и подданные ваши, а в ярмо шею класть не станут.

После этого крупного разговора коронный гетман Потоцкий доносил королю, что Хмельницкий обманывает поляков и полякам остается напасть на Хмельницкого и уничтожить казачество.

Предвидя, что война неизбежна, Хмельницкий начал подготавливать себе союзников: сносятся с Турцией, с седмиградским князем Ракочи, убеждал их действовать вместе против Польши, наконец, завел сношения и с Швецией.

Эти сношения сделались известны в Варшаве. Король в конце 1650 года издал универсал для предварительных сеймиков; король извещал в нем все польское шляхетство, что Хмельницкий строит козни против Речи Посполитой; что в Украине чернь неистовствует против шляхетства; что на будущую весну надобно ожидать войны с казаками.

В декабре собрался сейм. Хмельницкий прислал на него депутатов: Марковича, Гурского и Дорошенка. Они привезли требование: во-первых, уничтожить унию; во-вторых, чтобы знатнейшие чины Польского государства утвердили присягой Зборовский договор; в-третьих, чтобы четыре знатнейших пана: Вишневецкий, Конецпольский, Любомирский и коронный обозный Калиновский, оставались заложниками мира и жили в своих украинских имениях без дворни и ассистенции; в-четвертых, чтобы русский народ не терпел никаких стеснений от панов духовных и светских.

Это требование произвело чрезвычайное волнение как в сенате, так и между послами. Адам Кисель стал было доказывать, что поляки действительно обязаны уничтожить унию, представляя, что тогда и сами православные будут поддерживать Речь Посполитую. Но заявление Киселя еще сильнее взволновало поляков. Они закричали: «Как козел не станет бараном, так и схизматик не будет искренним защитником католиков и шляхетских вольностей, будучи одной веры с бунтовщиками хлопами. Как! для схизматиков, для глупого хлопства не позволять шляхте верить, как повелевает Дух Святой, а пусть верит, – как предписывает пьяная, сумасшедшая голова Хмельницкого! Вот какой проявился доктор чертовской академии, хлоп, недавно выпущенный на волю! Хочет отнять у поляков веру святую! Им не нравится слово „уния“, а нам не нравится слово „схизма“. Пусть отрекутся от своего безумного схизматического учения. Пусть соединятся с западной церковью и назовутся правоверными».

Таков был голос всей католической и шляхетской Польши того времени.

Домогательство русских уничтожить унию затронуло религиозную струну польского сердца. 24 декабря война была решена единогласно. Положили собрать посполитое рушение и сделать временный налог для платы регулярному войску.

Тем не менее казацкие депутаты получили шляхетское достоинство.

Неприятные действия начались в феврале 1651 года, неудачные для казаков.<sup>93</sup>

Между тем вся Польша вооружилась. Папский легат привез королю первосвященническое благословение, мантию и освященный меч, а королеве золотую розу. Этим не совсем был доволен король, потому что папа не прислал ему денег, которых он просил; но когда король обнаружил, что святой отец благословляет отправлявшихся на брань и посылает отпущение грехов, то это сильно воодушевило поляков. Король назначил сборное место под Соколом и прибыл туда в мае.

У казаков было также религиозное побуждение. Приехал к ним из Греции коринфский митрополит Иоасаф. Он препоясал Хмельницкого мечом, который был освящен на самом гробе Господнем. Сам константинопольский патриарх прислал Хмельницкому грамоту, в которой одобрял войну, предпринятую против врагов православия. Но войска в этом году у Хмельницкого было меньше, чем прежде. За ним уже меньше было той нравственной силы, какую он прежде имел в глазах народа; хлопы стали не доверять ему за потачку панам, за казнь мятежников. Союз с татарами не по душе был народу, потому что эти союзники, вступая в русскую землю, под видом дружбы, уводили в плен женщин и детей. Многие реестровые казаки, пользуясь своими правами, охотнее бы хотели идти на турок. Находились даже такие, хотя в небольшом количестве, которые предложили свои услуги полякам. Притом Хмельницкий имел повод опасаться вторжения литовского войска и должен был оставить часть войска на северной границе, чем развлекал свои силы. Хмельницкий долго дожидался хана и дал время своим неприятелям собраться. Двинувшись на Волынь, он стоял под Збаражем, не отваживаясь один напасть на короля; а между тем в его стане распространились повальные болезни, так что казаки в одно время вывезли из своего стана двести шестьдесят возов с больными и умершими.

Простоявши несколько недель под Соколом, поляки перенесли свой стан на реку Стырь и избрали обширное поле под Берестечком. Хмельницкий, все еще ожидая хана, упустил удобное время напасть на неприятеля, когда поляки проходили по болотистым местам и переправлялись через реку Стырь. Ислам-Гирей прибыл, наконец, со своей ордой; но на этот раз крымский хан шел на войну поневоле и только по приказанию турецкого султана. Ему невыгодно было нарушать Зборовский договор; ему хотелось, напротив, идти войной на Москву, с которой Хмельницкий, к досаде его, дружил. Между татарскими беями были враги, недоброжелатели Хмельницкого.<sup>94</sup> 19 июня (29 нов. стиля) появились казаки и татары в виду польского войска. 20 июня, в два часа пополудни, началось сражение; и вдруг хан стремительно бросился в бегство; за ним побежали все его мурзы и беи. Это бегство до того поразило всех татар, что они, не будучи никем преследуемы, побросали в беспамятстве свои арбы с женами и детьми, больных и даже мертвых, в противность алькорану, запрещающему оставлять правоверных без погребения. Хмельницкий поручил начальство полковнику Джеджалыку, а сам погнался за ханом, думая остановить его. Хан, остановившись в трех верстах от поля битвы, сказал Хмельницкому: «На нас на всех страх напал. Татары биться не будут. Останься со мной, подумаем. Завтра я пошлю своих людей помогать казакам». Но вместо того, на другой день он двинулся к Вишневу и потащил за собой Хмельницкого. Писарь Выговский поехал просить хана освободить Хмельницкого; хан и его задержал.

<sup>93</sup> Коронный обозный гетман Калиновский в местечке Красном напал внезапно на полковника Данила Нечая и разбил его. Сам Нечай погиб в битве. Вслед за тем Калиновский разорил несколько подольских городов, но сам потерпел неудачу под Винницею против полковника Богуна, который приказал сделать на льду реки Буга проруби и покрыть их соломой. Поляки бросились на лед и во множестве потонули.

<sup>94</sup> Прежде своего соединения с Хмельницким Ислам-Гирей посылал к польскому королю тайное посольство; неизвестно содержание его: впоследствии подозревали, что тогда дано было обещание изменить казакам.

Таким образом, гетман с писарем очутились в плену у хана.

Поляки заняли все поле, где стояли татары, и начали теснить казаков. Джеджалык храбро отбивал натиски и отступил к реке Пляшовой. Здесь казаки сбили свои возы в четвероугольник: с трех сторон сделали окопы, а с четвертой большое болото защищало их лагерь. Десять дней выдерживали они неприятельскую пальбу, вступали с поляками в переговоры, но соглашались мириться с ними не иначе, как только на условиях Зборовского договора. Поляки знать этого не хотели, требовали совершенной покорности. Между тем в русском стане началась безурядица и смятение. Начальство перешло от Джеджалыка к полковнику Богуну. Между хлопями на сходках стали ходить такие речи: татары разоряют край наш; выдадим королю старшину и будем свободны. Богун, услышавши эти толки, составил план устроить наскоро плотину и уйти с казаками. Ночью с 28 на 29 июня казаки свозили на болото возы, кожухи, шатры, кунтуши, мешки, седла, устроили три плотины и стали уходить отрядами один за другим, незаметно ни для поляков, ни для толпы хлопьев в своем стане. Утром, 29 июня, когда русские стали завтракать, вдруг кто-то закричал: «Братцы, все полковники ушли!» По всей массе пробежал внезапный страх; все бросились врассыпную; плотины не выдержали, и люди начали тонуть. Хлопы металась в разные стороны и впопыхах стремглав бросались в реку. Поляки долго не понимали, в чем дело, и только спустя несколько времени бросились в казацкий лагерь и стали добивать бегущих. Митрополит Иоасаф удерживал бегущих и был убит каким-то польским шляхтичем. Королю принесли его облачение и освященный меч.

После разгрома казацкого лагеря, король распустил посполитое рушение и уехал в столицу, а регулярное (иначе кварцанное) войско двинулось в Украину уничтожать казачество, как поляки надеялись.

Хан продержал Хмельницкого до конца июля под Вишневецом и отпустил, вероятно, взявши с него деньги в виде окупа, как сообщают о том польские источники. Хмельницкий, по своем освобождении, поехал прямо в Украину и, прибывши в местечко Наволочь, три дня и три ночи пил без просыпу. Тут начали сходиться к нему полковники с остатками растрепанных своих полков. Но никогда не показал Хмельницкий такого присутствия духа, такого мужества, неутомимой деятельности и силы воли, как в это ужасное время. Народ волновался, обвинял его. В народе было много недовольных за прежнюю потачку панам; сердились на него и за союз с татарами, которые разоряли край. В разных местах были мятежные сходбища, на которых думали выбирать иного гетмана. Хмельницкий на Масловом броде явился перед народным сборищем, успокоил толпу, уверял ее, что не все еще потеряно, что дела поправятся; собирал, одушевлял народ, пополнял полки, сносился снова с ханом, который опять обещал Украине помощь. В то же время Хмельницкий продолжал сноситься с московским правительством; к нему беспрестанно ездили разные подьячие и дети боярские; всем он говорил одно и то же о желании своем поступить под высокую руку православного государя. Но разом он и угрожал Москве, говоря, что если царь не примет его под свою руку, то казаки, поневоле, пойдут с поляками и крымцами на Московское государство. В минуты, когда гетман, любивший выпить, был навеселе, он говорил резко: «Я к москалям с искренним сердцем, а они надо мной насмеются. Пойду и разорю Москву, хуже Польши!» В эти дни, к удивлению поляков, Хмельницкий вновь женился: третья жена его была Анна Золотаренко; брат ее сделан был нежинским полковником.<sup>95</sup>

Народ южнорусский, несмотря на понесенный удар и на новые усилия врагов покорить его, казался готовым лучше погибнуть, чем поступить в прежнее порабощение. Казацкие полки быстро наполнялись новыми охотниками; жители поголовно вооружались, за недостатком оружия, косами и ножами.

Польское войско вступило в Украину и встретило сильное и единодушное сопротивление. Жители истребляли запасы, жгли собственные дома, беспрестанно нападали

---

<sup>95</sup> По одним известиям, вторая была убита его сыном Тимофеем, по другим – им самим, по третьим – он услышал о ее смерти в мае 1651 г. и тосковал.



на поляков отдельными шайками, отнимали у них возы, лошадей, портили дороги, ломали мосты. Польское войско стало терпеть недостаток продовольствия. Лишившись в Наволочи, скоропостижно умершего, лучшего из польских военачальников Иеремии Вишневецкого, поляки 13 августа пришли к местечку Трилисы. Казаки, засевшие там под начальством храброго сотника Александренка, вместе с жителями местечка, защищались до последнего и все погибли: женщины дрались наряду с мужчинами, и одна женщина убила косою полковника Штрауса. Поляки, за это сопротивление, пришли в такое неистовство, что, рассеявшись по окрестным хуторам, истребляли всех русских, не щадя даже грудных младенцев. Зато, со своей стороны, русские с особенным зверством мучили попавшихся к ним поляков и служивших в польском войске немцев. Приведя пленников куда-нибудь в лес или в ущелье, они сначала, для поругания, угощали их вином и медом, вели с ними приятельскую беседу, а потом прокалывали их рожнами, сдирали с живых кожи и тому подобное.

С северной стороны нахлынула на Украину другая военная сила: предводитель литовского войска Радзивилл послал отряд против черниговского полка, которому Хмельницкий поручил беречь границу. По причине оплошности черниговского полковника Небабы, казаки потерпели поражение. Радзивилл занял Чернигов, а потом, в последних числах июля, подступил к Киеву. Киевский полковник Жданович вышел из города в надежде напасть на литовцев, когда последние будут находиться в Киеве. Город был занят литовцами 6 августа; казаки с двух сторон: сухопутьем от Лыбеди и на судах по Днепру, стали приближаться к городу. Тут киевские мещане сами зажгли город, чтобы произвести в литовском войске замешательство и тем пособить нападавшим на него казакам. Но корсунский полковник Мозыра не послушался Ждановича, начал давать не в пору огнем сигналы плывшим по Днепру и тем испортил план Ждановича. Литовцы не могли быть застигнутыми врасплох и отбили нападение. Киев сильно пострадал от пожара. После этого Радзивилл снесся с Потоцким, и оба войска, по состоявшемуся между их предводителями договору, с двух противоположных концов, в конце августа сошлись под Белой Церковью, близ которой находился Хмельницкий со своим войском.

Хмельницкий предложил мир. Положение казаков было печально. Но поляки, с одной стороны, видели отчаяние русского народа, способного вести борьбу на жизнь и на смерть, с другой, затруднялись добывать продовольствие. Поэтому польские предводители согласились мириться и выслали для переговоров с гетманом и старшиной комиссаром Адама Киселя с товарищами в белоцерковский замок.

Народ узнал, что идет дело о сокращении казачества и о сужении границ казацкой земли. Толпа собралась под замком. Раздались яростные крики: «Ты, гетман, ведешь трактаты с ляхами и нас покидаешь, себя самого и старшину спасаешь, а нас знать не хочешь, отдаешь нас под палки, батоги, на колы да на виселицы! Нет, прежде чем до этого дойдешь – и ты положишь голову, и ни один лях отсюда живым не уйдет!» Они хотели схватить и убить комиссаров. Хмельницкий не устранился, вышел к толпе, которая грозила ему саблями и дубинами, уговаривал ее, представлял, что послов трогать нельзя, и, наконец, собственноручно положил своей булавой нескольких смельчаков, выдвинувшихся вперед.<sup>96</sup>

Решительность Хмельницкого и влияние, которым он все еще пользовался, несмотря на разлад с народными требованиями, удержали на время народ от дальнейшего взрыва. Переговоры тянулись не один день. Хмельницкий посылал то одно, то другое добавление; между тем казаки делали нападения на польское войско: гетман отговаривался, что это происходит не по его желанию. Хмельницкому опасность угрожала с обеих сторон. Он не решался вступить в решительную отчаянную битву, не надеясь выиграть победы, не решался и заключить мир, потому что народная толпа, по-видимому, готова была растерзать его за это. Так прошло время до 16-го сентября. В это время появилось моровое поветрие как в

---

<sup>96</sup> Кисель, едуци с товарищами чрез ряды русского полчища, кричал: «Друзья мои, мы не ляхи; я русский, мои кости такие же русские, как и ваши!» – «Твои русские кости обросли польским мясом!» – отвечали ему казаки.

польском, так и в казацком войске. Обстоятельство это ускорило заключение мира. По договору, называемому в истории, от места его составления, Белоцерковским, у Хмельницкого, вместо трех воеводств, в пределах казацкой черты, осталось одно Киевское воеводство, и, в силу этого сужения границ, число реестрового войска было уменьшено до двадцати тысяч. Шляхетство вступало в свои владения с прежним правом; жидаы тоже могли жить везде.

По окончании договора, Хмельницкий посетил своих победителей и, по сознанию самих польских историков, его хотели было отравить, но он догадался, не пил предложенного вина и ускакал в свой стан.

Само собой разумеется, что такой мир не мог продержаться долго. Жители южной Руси, не желая быть в порабощении у панов, во множестве бежали в Московское государство на слободы. Уже в прежние годы совершались такие переселения и появились слободы около Рыльска, Путивля, Белгорода. В этот год переселение произошло в несравненно большем размере. Первый пример показали волынцы. Казаки возникшего было острожского полка, под предводительством Ивана Дзинковского, основали, с царского дозволения, на берегу реки Тихой Сосны Острожск и перенесли с собой все казацкое устройство. Таким образом, явился первый слободской полк. За ними – малоруссы начали переселяться в огромном количестве в привольные южные степи Московского государства с берегов Днестра, Буга и других мест. Они сжигали свои хаты и гумна, чтобы не доставались врагам, складывали на возы свои пожитки и отправлялись огромными ватагами искать новой Украины, где бы не было ни ляхов, ни жидов. Отряды польского войска заступали им дорогу; украинцы пробивались с ружьями и даже пушками на новое жительство. Тогда менее, чем в полгода, появились в пограничных областях многие малорусские слободы, из которых некоторые дали начало значительным городам: так основаны были Сумы, Короча, Белополье, Ахтырка, Лебедин, Харьков и другие. Поселенцы выбирали места, по возможности, безопасные, и потому большей частью вблизи болот, мешавших татарским внезапным нападениям.

По окончании реестрования, литовское войско вошло в Черниговское воеводство, а часть коронного пришла на левый берег Днепра, с тем, чтобы не пропускать переселенцев в Московское государство. Сам Хмельницкий своим универсалом запрещал народу дальнейшие выселения и строго приказывал не вошедшим в реестр повиноваться панам.

Но русский народ не думал повиноваться панам. Весной 1652 года вся Украина была уже в огне. По Бугу и Днестру жители бросали свои жилища, скрывались в ущельях и лесах, составляли шайки, нападали на поляков. На правой стороне русский шляхтич Хмелецкий собирал и возбуждал недовольных как против поляков, так и против своего гетмана. На левой – составлял ополчение бывший корсунский полковник Мозыра, смененный Хмельницким. В миргородском полку полковник Гладкий пристал к народному заговору против расставленных польских жолнеров, и в день Святого Воскресенья все они были перебиты. Такую же резню произвели над литовцами около Мглина и Стародуба. Около Лубен мятежные хлопы низлагали с гетманства Хмельницкого и выбрали какого-то Бугая своим предводителем.

Хмельницкий не был безопасен в собственном Чигирине. Пришедшая в отчаяние народная громада готова была нагрянуть на него и убить. Гетмана повсюду стали называть изменником, продавшим ляхам Украину. В таком положении Хмельницкий дозволил записываться в реестр более определенного числа. Польский военачальник Калиновский упрекал его за это. Хмельницкий объяснял, что сделал это распоряжение для пользы самих поляков, потому что иначе усмирить народ невозможно.

По требованию короля, Хмельницкий, однако, подписал смертный приговор Гладкому, Хмелецкому и Мозыре; им отрубили головы. Кроме этих жертв, было совершено еще несколько смертных казней. Но скоро после того обстоятельства повернулись так, что Хмельницкий снова стал заодно с народом.

Молдавский господарь Василий Лупула обещал в 1650 году дочь свою Домну

Локсандру в жены Тимофею Хмельницкому, но, извиняясь молодостью невесты, просил отсрочки на год. Потом он не только не хотел исполнять данного обещания, а еще и тайно вредил Хмельницкому во время второй войны последнего с поляками. В 1652 году Хмельницкий напомнил господарю его обещание и выслал своего сына с казаками к границам Молдавии, давая знать этим, что если господарь не захочет исполнить данного слова добровольно, то принужден будет исполнить его поневоле.

По уверению польских историков, Лупула известил об угрожающем ему насилии предводителя польского войска Калиновского, а Калиновский, расположивший свое войско над рекой Бугом, вздумал пресечь путь сыну Хмельницкого, идущему в Молдавию.

Гетман Хмельницкий предупредил Калиновского письмом, просил не трогать Тимофея и отступить с дороги, так как Тимофей идет себе жениться и не имеет никаких враждебных намерений против поляков, иначе не ручался, чтоб казаки, которых он называл свадебными боярами, не завели ссоры и не вышло бы нарушения мира. Но Калиновский, назло Хмельницкому, нарочно поступил против его предостережения и сам напал на Тимофея Хмельницкого, который шел не только с сильным казацким отрядом, но еще и в сопровождении татарского Карача-мурзы с его ордой. Во время нападения, русские хлопы, бывшие на работе в польском обозе, умышленно зажгли сено, распространился пожар. Казаки и татары стеснили поляков и совершенно разбили. Калиновский пал в битве. Поляки бежали во все стороны, казаки и окрестные хлопы гонялись за ними, не слушали никаких молений о пощаде и без сострадания убивали, приговаривая: «Вот вам за унию! вот вам за Берестечко! вот вам за ваши поборы!» и т.п. Все польское войско в числе двадцати тысяч погибло в этой знаменитой битве, прозванной, по урочищу, где она происходила, батогскою. Удар, нанесенный Польше, был не легче корсунского. Тимофей Хмельницкий благополучно достиг пределов Молдавии, по просьбе господаря, оставил свое войско на границе, сам приехал в Яссы и сочетался браком с молдавской принцессой.

Таким образом, недавно заключенный мир, тяжелый для Хмельницкого, был нарушен самими поляками. Жолнеры, стоявшие в других местах, были немедленно изгнаны.

Хмельницкий известил короля о случившемся под Батогом, доказывал, что виной всему Калиновский, а о своих казаках выразился так: «Простите их, ваше величество, если они, как люди веселые, далеко простерли свою дерзость». В Польше это приняли за насмешку. Польша не имела войска и поневоле должна была отложить военные действия до следующего года. Весной 1653 года польский военачальник Чарнецкий, ворвавшись в Брацлавщину по берегу Буга, истреблял села и местечки: поляки резали жителей без разбора. По выражению их же соотечественника, не щадили ни красивой девушки, ни беременной женщины, ни грудного младенца. Храбрый винницкий полковник Богун остановил этот варварский набег и обратил Чарнецкого в бегство.

Вслед за тем собралось большое польское войско под Глинянами, с намерением идти в Украину и предавать ее окончательному разорению; между тем война разыгрывалась и в другом краю, в Молдавии. Там, между Лупулою, тестем Тимофея Хмельницкого, и Стефаном Бурдуцом, купившим себе в Константинополе право на господарство, происходила борьба. Тимофей с казаками защищал тестя; венгерцы и поляки подали помощь врагу его из нежелания, чтоб родственник и союзник Хмельницкого владел Молдавией.

Гетман Хмельницкий обратился опять к царю Алексею Михайловичу, умолял принять его с казаками под свою руку. Царь на этот раз хотя все еще не дал согласия, но отвечал, что принимает на себя посредничество примирить польского короля с Хмельницким.

20 июля явился в Польшу царский посланник боярин Репнин-Оболенский с товарищами, припомнил прежнее требование о наказании лиц, делавших ошибки в царском титуле, и объявил, что царь простит виновных в этом, если поляки, со своей стороны, помирятся с Хмельницким на основании Зборовского договора и уничтожат унию.

Паны на это отвечали, что уничтожить унию невозможно, что это требование равняется тому, если бы поляки потребовали уничтожить в Московском государстве греческую веру, что греческая вера никогда не была гонима в Польше, а с Хмельницким они не станут

мириться не только по Зборовскому, но даже и по Белоцерковскому договору, а приведут казаков к тому положению, в каком они находились до начала междоусобия.

Тогда московский посол сказал, что если так, то царь не будет более посылать в Польшу послов, а велит писать о неправдах польских и нарушении поляками мирного договора во все окрестные государства и будет стоять за православную веру, за святые Божие церкви, и за свою честь, как ему Бог поможет!

Поляки, соображая, что Хмельницкий пойдет с войском на помощь к сыну, который находился в стесненном положении в Молдавии, двинулись с войском на Подол к Каменцу. Король предводительствовал войском. Поляки надеялись перерезать путь Хмельницкому, который собирался идти в Молдавию на выручку сына, отправляясь в поход, он известил царя, что поляки идут на поругание веры и святых церквей, и прибавил: «Турецкий царь прислал к ним в обоз в Борки своего посланца и приглашает к себе в подданство. Если, ваше царское величество, не сжалишься над православными христианами и не примешь нас под свою высокую руку, то иноверцы подобьют нас и мы будем чинить их волю. А с польским королем у нас мира не будет ни за что».

Тесть Тимофея, Лупула, ушел из Молдавии, а Тимофей с тещей заперся в сочавском замке. С Тимофеем были казаки. Огромное войско, состоявшее из волохов, молдаван, сторонников Стефана Бурдуца, венгерцев и поляков осадило Сочаву. Осажденные храбро отбивались, ожидая выручки от Хмельницкого. Но однажды осколок разбитого ядром дерева ранил в ногу Тимофея; рана превратилась в антонов огонь; Тимофей умер. Казацкий полковник Федоренко продолжал несколько времени отбиваться, но голод принудил его сдать крепость. 9-го октября казаки вышли из сочавской крепости, выговорив себе свободный проход в Украину с телом Тимофея Хмельницкого. Богдан Хмельницкий встретил на дороге тело сына, приказал везти его на погребение в Чигирин, а сам пошел на поляков.

К нему пристал тогда крымский хан. Поляки, считая себя победителями татар под Берестечком, перестали ему платить сумму, постановленную под Зборовом. Хану захотелось возвратить себе этот доход.

Враги встретились на берегу Днестра под Жванцем, в пятнадцати верстах от Каменца, против Хотина. Была уже поздняя осень. Положение поляков было печальное. Войско их, составленное из непривычных к ратному делу воинов, разбежалось. Но хан наблюдал только одну свою выгоду и предложил полякам мир, с условием, если ему заплатят единовременно сто тысяч червонных, а потом станут платить ежегодно на основании Зборовского договора, и, вдобавок, дадут татарам право на возвратном пути брать, сколько угодно, пленников в польских областях.

Как ни диким казалось последнее требование, но поляки согласились и на него, выговоривши себе только то условие, чтобы татары брали в плен в продолжение сорока дней одних русских и не трогали поляков.

Ханский визирь договорился с поляками и в том, что с этих пор хан отступит от казаков, но в настоящее время просил для вида обещать им утвердить Зборовский договор, чтоб не раздражить казацкую толпу; впоследствии же хан сам обещал помогать полякам укротить казаков.

Хмельницкий узнал об этом тайном условии, умолял хана не покидать его – все было напрасно. Союз с поляками, по расчету хана, был выгоднее, чем с казаками. Хмельницкому невозможно было отважиться в данную минуту на борьбу разом и с поляками и с татарами. Он принужден был молчать. Одна надежда у него осталась тогда на царя московского. 16 декабря ушел король; за ним разошлось польское войско. Вслед за тем татары, по условию, страшно опустошили южную Русь до самого Люблина. Однако и поляки не остались без наказания за постыдный договор с ханом, которым они, всегда гордившиеся званием свободной нации, избавили себя от печальной для них необходимости предоставить свободу русскому народу: татары, не разбирая своих жертв, сжигали шляхетские дома и увели в плен множество шляхты обоего пола.

Между тем после решительного ответа, данного панам московскому послу боярину князю Репнину-Оболенскому, московское правительство приступило наконец к решительному шагу. Оставаться зрителями того, что делалось по соседству, далее было невозможно; предстояла опасность, что казаки отдадутся Турции и, вместе с крымскими татарами, начнут делать опустошения в пределах Московского государства.

Дело было первой важности, и царь Алексей Михайлович 1 октября 1653 года созвал земский собор всех чинов Московского государства в Грановитой палате.

Думный дьяк изложил все дело о пропусках в титуле, о бесчестных книгах, о том, как гетман Богдан Хмельницкий много лет просил государя принять его под державную руку, о том, как царь предлагал полякам прощение виновных в оскорблении царской чести, с тем, чтоб поляки уничтожили унию и перестали преследовать православную веру, и как поляки отвергли это предложение. Извещалось, наконец, что турецкий царь зовет казаков под свою власть.

Потом отбирался ответ на вопрос; принимать ли гетмана Богдана Хмельницкого со всем войском запорожским под царскую руку?

Бояре дали такое мнение: Ян-Казимир, при избрании на королевство, присягал остерегать и защищать всех христиан, которых исповедание отлично от римско-католического, не притеснять никого за веру и другим не дозволять, а если своей присяги не сдержит, то в таком случае подданные его освобождаются от верности ему и послушания. Король Ян-Казимир присяги своей не сдержал: восстал на православную христианскую веру, разорил многие церкви, обратил в униатские. Стало быть, гетман Хмельницкий и все войско запорожское, после нарушения королевской присяги – вольные люди: от своей присяги свободны. А потому, чтобы не допустить их отдаться в подданство турецкому султану или крымскому хану, следует принять гетмана Богдана Хмельницкого, со всем войском запорожским, со всеми городами и землями, под высокую государеву руку.

Гости и торговые люди вызвались участвовать вспоможениями в предстоявшей войне; служилые люди обещались биться против польского короля, не щадя голов своих, и умирать за честь своего государя. Патриарх и все духовенство благословили государя и всю его державу и сказали, что они будут молить Бога, Пресвятую Богородицу и всех святых о пособии и одолении.

После такого земского приговора, царь послал в Переяславль боярина Бутурлина, окольного Алферьева и думного дьяка Лопухина принять Украину под высокую руку государя. Послы эти прибыли на место 31 декабря 1653 года. Гостей с достою почестью принял переяславский полковник Павел Тетеря.

1 января прибыл в Переяславль гетман. Съехались все полковники, старшина и множество казаков. 8 января, после предварительного тайного совещания со старшиной, в одиннадцать часов утра, гетман вышел на площадь, где была собрана генеральная рада. Гетман говорил:

«Господа полковники, есаулы, сотники, все войско запорожское! Бог освободил нас из рук врагов нашего восточного православия, хотевших искоренить нас так, чтоб и имя русское не упоминалось в нашей земле. Но нам нельзя более жить без государя. Мы собрали сегодня явную всему народу раду, чтоб вы избрали из четырех государей себе государя. Первый – царь турецкий, который много раз призывал нас под свою власть; второй – хан крымский; третий – король польский, четвертый – православный Великой Руси, царь восточный. Турецкий царь басурман, и сами знаете: какое утеснение терпят братия наша христиане от неверных. Крымский хан тоже басурман. Мы по нужде свели было с ним дружбу и через то приняли нестерпимые беды, пленение и нещадное пролитие христианской крови. Об утеснениях от польских панов и вспоминать не надобно; сами знаете, что они почитали жида и собаку лучше нашего брата-христианина. А православный христианский царь восточный одного с нами греческого благочестия: мы с православием Великой Руси единое тело церкви, имущее главою Иисуса Христа. Этот великий царь христианский, сжалившись над нестерпимым озлоблением православной церкви в Малой Руси, не презрел

наших шестилетних молений, склонил к нам милостивое свое царское сердце и прислал к нам ближних людей с царской милостью. Возлюбим его с усердием. Кроме царской высокой руки, мы не найдем благодетнейшего пристанища; а буде кто с нами теперь не в совете, тот куда хочет: вольная дорога».

Раздались восклицания:

«Волим под царя восточного! лучше нам умереть в нашей благочестивой вере, нежели доставаться ненавистнику Христову, поганому».

Тогда переяславский полковник начал обходить казаков и спрашивал: – Все ли тако соизволяете? – Все! – отвечали казаки.

«Боже утверди, Боже укрепи, чтоб мы навеки были едино!» Прочитаны были условия нового договора. Смысл его был таков: вся Украина, казацкая земля (приблизительно в границах Зборовского договора, занимавшая нынешние губернии: Полтавскую, Киевскую, Черниговскую, большую часть Волынской и Подольской), присоединялась под именем Малой России к Московскому государству, с правом сохранять особый свой суд, управление, выбор гетмана вольными людьми, право последнего принимать послов и сношаться с иноземными государствами, неприкосновенность прав шляхетского, духовного и мещанского сословий. Дань (налоги) государю должна платиться без вмешательства московских сборщиков. Число реестровых увеличивалось до шестидесяти тысяч, но дозволялось иметь и более охочих казаков.

Когда приходилось присягать, гетман и казацкие старшины домогались, чтобы московские послы присягнули за своего государя так, как всегда делали польские короли при избрании своем на престол. Но московские послы уперлись, приводя, что «польские короли неверные, несамодержавные, не хранят своей присяги, а слово государево не бывает переменным», и не присягнули. Когда, после того, послы и приехавшие с ними стольники и стряпчие поехали по городам для приведения к присяге жителей, малороссийское духовенство неохотно соглашалось поступать под власть московского государя. Сам митрополит Сильвестр Коссов, хотя и встречал за городом московских послов, но внутренне не был расположен к Москве. Духовенство не только не присягнуло, но и не согласилось посылать к присяге шляхтичей, служивших при митрополите и других духовных особах, монастырских слуг и, вообще, людей из всех имений, принадлежащих церквам и монастырям. Духовенство смотрело на московских русских, как на народ грубый, и даже насчет тождества своей веры с московской происходило у них сомнение. Некоторым даже приходило в мысль, что москали велят перекрещиваться. Народ присягал без сопротивления, однако и не без недоверия: малоруссы боялись, что москали станут принуждать их к усвоению московских обычаев, запретят носить сапоги и черевики, а заставят надевать лапти. Что касается до казацкой старшины и приставших к казакам русских шляхтичей, то они вообще, скрепя сердце, только по крайней нужде отдавались под власть московского государя; в их голове составилась идеал независимого государства из Малороссии. Хмельницкий отправил своих послов, которые были приняты с большим почетом. Царь утвердил Переяславский договор и, на основании его, выдали жалованную грамоту.<sup>97</sup>

Московское правительство формально объявило Польше войну. Она вспыхнула разом и в Украине и в Литве. Весной 1654 года польское войско вступило в Подол и начало производить убийственную резню. Город Немиров был истреблен до основания. 3000 жителей столпились в большом каменном погребке; поляки стали выкуривать их оттуда дымом, предлагали пощаду, если выдадут старших. Никто не был выдан, и все задохлись в дыму. Отсюда поляки разошлись по разным путям отрядами и где только встречали местечко, деревню, истребляли там и старого и малого, а жилища сжигали. Везде русские защищались отчаянно косами, дубьем, колодами; все решались лучше погибнуть, чем покориться ляхам. На первый день пасхи поляки вырезали 5000 русского народа в местечке Мушировке: и там русские не слушались никаких увещаний и погибали, защищаясь до

---

<sup>97</sup> В это время вообще малорусских послов принимали с большим почетом, потому что малороссиян, как недавно поступивших в подданство, хотели расположить к себе ласковым обхождением.

последней капли крови. Но казаки отбили поляков от крепких городов Брацлавля и Умани, и они до времени вышли из Украины.

В Литве дела пошли счастливо для русских. Царь разослал грамоту ко всем православным польского королевства и великого княжества литовского, убеждал отделиться от поляков, обещая сохранить их дома и достояние от воинского разорения. В грамоте уговаривали православных постричь на головах хохлы, которые носили по польскому обычаю: так много придавали в Москве значения внешним признакам. Едва ли эта грамота имела большое влияние; гораздо более помогало успехам царя чувство единства веры и сознание русской единородности. Могилев, Полоцк, Витебск сами добровольно отворили ворота и признали власть царя. Смоленск держался упорнее; но князь Радзивилл, шедши на выручку Смоленска, 12 августа был разбит наголову князем Трубецким и казацким полковником Золотаренком. Смоленск держался еще до конца сентября, наконец воевода Филипп Обухович, видя, что ему нет ниоткуда помощи, сдал город, выговоривши себе с гарнизоном свободный пропуск; царь вступил в Смоленск и приказал обратить в православные церкви костелы, которые были поделаны поляками из церквей.

Между тем поляки нашли себе союзников в крымцах. Ислама-Гирея уже не было на свете: одна малороссиянка, взятая в его гарем, отравила его в отомщение за измену ее отечеству. Новый хан Махмет-Гирей, ненавистник Москвы, заключил договор с поляками. Зимой, в ожидании вспомогательных татарских сил, поляки опять ворвались в Подол и начали резать русских. Местечко Буша первое испытало их месть. В этом местечке, расположенном на высокой горе и хорошо укрепленном, столпилось до 12000 жителей обоюбого пола. Никакие убеждения польских военачальников Чарнецкого и Лянскоронского не подействовали на них, и когда, наконец, поляки отвели воду из пруда и напали на слабое место, русские, видя, что ничего не сделают против них, сами зажгли свои дома и начали убивать друг друга. Женщины кидали в колодцы своих детей и сами бросались за ними. Жена убитого сотника Завистного села на бочку пороха, сказавши: «Не хочу после милого мужа достаться игрушкой польским жолнерам», и взлетела на воздух. Семьдесят женщин укрылись с ружьями недалеко от местечка в пещере, закрытой густым терновником. Полковник Целарий обещал им жизнь и целостность имущества, если они выйдут из пещеры; но женщины отвечали ему выстрелами. Целарий велел отвести воду из источника в пещеру. Женщины все потонули; ни одна не сдалась. После разорения Буши, поляки отправились по другим местечкам и селам; везде русские обоюбого пола защищались до последней возможности: везде поляки вырезали их, не давая пощады ни старикам, ни младенцам. В местечке Демовке происходила ужаснейшая резня: там погибло 14000 русского народа. Коронный гетман писал королю: «Горько будет вашему величеству слышать о разорении вашего государства; но иными средствами не может усмириться неукротимая хлопская злоба, которая до сих пор только возрастает».

Вслед за тем прибыла к полякам на помощь Крымская орда, и они вместе с татарами двинулись далее в глубь Украины. Полковник Богун отбил их от Умани. Поляки с татарами пошли на Хмельницкого, который с боярами Бутурлиным и Шереметевым стоял под Белой Церковью. Взявши с собой Шереметева, Хмельницкий пошел навстречу неприятелю. Близ деревни Бавы встретились неприязненные войска: оказалось, что у Хмельницкого и Шереметева войска было меньше. Русские отступили, но чрезвычайно храбро и стойко отбились от преследовавших их поляков и татар.<sup>98</sup> Не отваживаясь нападать на русский обоз под Белой Церковью, поляки опять пустились разорять украинские села и местечки.

Но вслед за тем, в 1655 году, московские русские получили чрезвычайный успех в Литве. Они взяли Минск, Ковно, наконец Вильно. Алексей Михайлович въехал в столицу Ягеллонов и повелел наименовать себя великим князем литовским. Города сдавались за городами, большей частью без всякого сопротивления. Мещане и шляхтичи, сохранившие православие, а еще более угнетенные владычеством панов поселяне, принимали московских

---

<sup>98</sup> Поле, где происходило это дело, получило название Дрожи поле (поле дрожи в воспоминание бывшей тогда жестокой стужи).

людей как освободителей. Успех был бы еще действительнее, если бы московские люди вели войну с большим воздержанием и не делали бесчинств и насилий над жителями.

В то время, когда уже вся Литва была в руках Московского государя, Польшу наводнили шведы. Уже несколько лет Хмельницкий сносился со шведами и побуждал их к союзу против поляков. В 1652 году, вместе с Хмельницким, действовал с этой же целью изменник польский подканцлер Радзиевский; но пока царствовала королева Христина, предпочитавшая классическую литературу и словесность военной славе, трудно было впутать шведов в войну. В 1654 году она отреклась от престола: племянник и преемник ее Карл X объявил Польше войну за присвоение польским королем титула шведского короля. Летом 1655 года он вступил в Польшу. Познань, а потом Варшава – сдались без боя. Краков, защищаемый Чарнецким, держался до 7 октября и все-таки сдался. Король Ян-Казимир убежал в Силезию. В это время Хмельницкий с Бутурлиным двинулись в Червоную Русь, разбили польское войско под Гродеком, осадили Львов; но этот город, несмотря ни на какие убеждения, не хотел нарушить верности Яну-Казимиру и присягнуть Алексею Михайловичу. Между казацкими вождями и московскими боярами тогда уже происходили недоразумения. Хмельницкий ни за что не позволял брать штурмом Львов.

Здесь явился к Хмельницкому, 29 октября, посланец от Яна-Казимира Станислав Любовицкий, давний знакомый Хмельницкого, и привез от своего короля письмо, исполненное самых лестных и даже униженных комплиментов, хотя у Любовицкого было в это время другое письмо к татарскому хану, враждебное Хмельницкому. Беседа с Любовицким в высшей степени замечательна как по отношению к характеру Хмельницкого, так и по духу времени.

«Любезный кум, – сказал ему Хмельницкий, – вспомните, что вы нам обещали и что мы от вас получили? Все обещания ваши давались по науке иезуитов, которые говорят: не следует держать слова, данного схизматикам. Вы называли нас холопами, били нагайками, отнимали наше достояние, и когда мы, не терпя ваших насилий, убегали и покидали жен наших и детей, вы насиловали жен наших и сжигали бедные наши хаты иногда вместе с детьми, сажали на колья, в мешках бросали в воду, показывали ненависть к русским и презрение к их бессилию; но что всего оскорбительнее, – вы ругались над верой нашей, мучили священников наших. Столько претерпевши от вас, столько раз бывши вами обмануты, мы принуждены были искать, для облегчения нашей участи, такого средства, какого никаким образом нельзя оставить. Поздно искать помощи нашей! Поздно думать о примирении казаков с поляками!»

Любовицкий, подделываясь к Хмельницкому, стал бранить польское шляхетство за то, что оно оставило короля своего в беде, и сказал: «Теперь король будет признавать благородными не тех, которые ведут длинный ряд генеалогии от дедов, а тех, которые окажут помощь отечеству. Забудьте все прошедшее, помогите помазаннику Божьему. Вы будете не казаками, а друзьями короля. Вам будут даны достоинства, коронные имения; король уже не позволит нарушать спокойствия этим собакам, которые теперь разбежались и покинули своего господина».

«Господин посол, – сказал Хмельницкий, поговоривши с казацкой старшиной, – садитесь и слушайте; я вам скажу побасенку. В старину жил у нас поселянин, такой зажиточный, что все завидовали ему. У него был домашний уж, который никого не кусал. Хозяйка ставили ему молоко, и он часто ползал между семьей. Однажды хозяйскому сыну дали молока; приполз уж и стал хлебать молоко; мальчик ударил ужа ложкой по голове, а уж укусил мальчика. Хозяин хотел убить ужа; но уж всунул голову в нору, и хозяин отрубил только хвост. Мальчик умер от укушения. Уж не выходил после того из норы. С этих пор хозяин начал беднеть и обратился к знахарям узнать причину этого. Ему отвечали: в прошлые годы ты хорошо обходился с ужом и уж принимал на себя все грозившие тебе несчастья, а тебя оставлял свободным от них. Теперь, когда между вами стала вражда, все бедствия обрушились на тебя; если хочешь прежнего благополучия, примиришься с ужом. Хозяин стал приглашать ужа заключить с ним прежнюю дружбу, а уж сказал ему: напрасно



хлопочешь, чтобы между нами была такая дружба, как прежде. Как только я посмотрю на свой хвост, тотчас ко мне возвращается досада; а ты, как только вспомнишь сына – тотчас закипит в тебе отцовское негодование, и ты готов разможить мне голову. Поэтому, достаточно будет дружбы между нами, если ты будешь жить в твоём доме, как тебе угодно, а я в своей норе, и будем помогать друг другу. То же самое, господин посол, произошло между поляками и русскими. Было время, когда мы вместе наслаждались счастьем, радовались общим успехам. Казаки отклоняли от королевства грозящие ему опасности и сами принимали на себя удары варваров. Тогда никто не брал добычи из Польского королевства. Польские войска совокупно с казацкими везде торжествовали. Но поляки, называвшие себя детьми королевства Польского, начали нарушать свободу русских, а русские, когда им сделалось больно, стали кусаться. Случилось, что и русских большая часть отсечена и сынов королевства немало пропало. С тех пор, как этим народам придут на память бедствия, нанесенные друг другу, тотчас возникает досада, и хотя начнут мириться, а дела не доведут до конца! Мудрейший из смертных не может восстановить между нами твердого и прочного мира, как только вот как: пусть королевство Польское откажется от всего, что принадлежало княжествам земли русской, пусть уступит казакам всю Русь до Владимира, Львов, Ярославль, Перемышль, а мы, сидя себе в своей Руси, будем отклонять врагов от королевства Польского. Но я знаю: если бы в целом королевстве осталось только сто панов, и тогда бы они не согласились на это. А казаки, пока станут владеть оружием, также не отстанут от этих условий. Поэтому – прощайте».

Любовицкий передал Хмельницкому украшение с драгоценным камнем, подарок жене Хмельницкого от польской королевы Марии-Людовики. «Боже Всемогущий, – воскликнул Хмельницкий, – что я значу перед лицом твоим, но вот как возвысила меня милость твоя, что к моей Ганне наияснейшая королева польская пишет письма и просит у ней заступничества перед мной!» Однако, обратившись к Любовицкому, Хмельницкий сказал: «Не могу исполнить желания ее величества; не могу нарушить тесного договора с русскими и шведами».

Взявши со Львова небольшую сумму в 60000 зл., Хмельницкий отступил от этого города, под предлогом, что татары разоряют Украину; но, кажется, к отступлению расположило его тайное посольство шведского короля, который обещал ему русские земли, когда утвердится в Польше. Московские войска, вместе с казацкими, взяли Люблин. Этот город присягнул Алексею Михайловичу, вскоре потом присягнул шведскому королю, а затем – прежнему своему государю Яну-Казимиру.

Весной 1656 года поляки снова попытались примириться с Хмельницким и просили помощи против шведов. С этой целью приехал к Хмельницкому пан Лянскоронский.

Хмельницкий отвечал: «Полно, господа, обманывать нас и считать глупцами; полякам за их всегдашнее вероломство никто в мире не верит; было время, мы соглашались на мир в угождение королю; а король таил в душе противное тому, что показывал на вид. Мы не войдем с Польшей ни в какие договоры, пока она не откажется от целой Руси. Пусть поляки формально объявят русских свободными, подобно тому, как испанский король признал свободными голландцев. Тогда мы будем жить с вами, как друзья и соседи, а не как подданные и рабы ваши; тогда напишем договор на вечных скрижалях; но этому не бывать, пока в Польше властвуют паны. Не быть же и миру между русскими и поляками».

Поляки успешнее обделали свои дела в Москве, чем в Чигирине. Посланник немецкого императора Алегретти, природный славянин, знавший по-русски, прибывши в Москву, умел расположить к миру с Польшей бояр и духовных, указывал надежду обратить оружие всех христианских государей против неверных. Патриарх Никон убеждал царя помириться с поляками и обратить оружие на шведов, чтобы отнять у них земли, принадлежащие Великому Новгороду. Царь прельстился возможностью сделаться королем польским мирным образом; царь отправил своих уполномоченных в Вильну, где, после многих споров и толков с уполномоченными Речи Посполитой, в октябре 1656 года заключен был договор, по которому поляки обязывались, после смерти Яна-Казимира, избрать на польский престол

Алексея Михайловича; Алексей Михайлович, со своей стороны, обещал защищать Польшу против ее врагов и обратить оружие на шведов. Хмельницкий, узнавши, что в Вильне собираются уполномоченные для восстановления мира, отправил туда своих посланников; но московские послы напомнили им, что Хмельницкий и казаки – подданные, а потому не должны подавать голоса там, где решают их судьбу послы государей. Казацкие посланники, воротившись в Украину, в присутствии всей старшины, говорили гетману: «Царские послы нас в посольский шатер не пустили; мало того: до шатра издалека не пускали, словно псов в церковь Божию. А ляхи нам по совести сказывали, что у них учинен мир на том, чтобы всей Украине быть по-прежнему во власти у ляхов. Если же войско запорожское со всей Украиной не будет у ляхов в послушании, то царское величество будет помогать ляхам ратью своей бить казаков».

Хмельницкий, услышав это, пришел в умоизумление: «Дитки, – сказал он, – треба отступить от царя, пойдём туда, куда велит Вышний Владыка! Будем под басурманским государем, не то что под христианским!»

Успокоившись от первого волнения, Хмельницкий написал царю письмо и высказывал ему правду так: «Ляхи этого договора никогда не сдержат; они его заключили только для того, чтобы, немного отдохнув, уговориться с султаном турецким, татарами и другими и опять воевать против царского величества. Если они в самом деле искренно выбирали ваше царское величество на престол, то зачем они посылали послов к цезарю римскому просить на престол его родного брата? Мы ляхам верить ни в чем не можем. Мы подлинно знаем, что они добра нашему русскому народу не хотят. Великий государь, единый православный царь в подсолнечной! вторично молим тебя: не доверяй ляхам, не отдавай православного русского народа на поругание!»

Но Москва была глуха к этим советам. Хмельницкий видел, что пропускается удобный случай освободить русские земли из-под польской власти; а между тем не только одна Москва, но и другие соседи мешали его намерениям. Немецкий император с угрозами требовал от Хмельницкого мира с Польшей. Крымский хан и турецкий султан были в союзе с Польшей и не боялись ее трактатов с Москвой, зная, что со стороны поляков это не более как обман; напротив, им страшнее были успехи Хмельницкого, которые вели к объединению и усилению русской державы. Хмельницкий впал в тоску, в уныние и, наконец, в болезнь. Он видел в будущем прежнее порабощение Украины ляхами и прибегал к последним мерам, чтобы предупредить его. В начале 1657 года Хмельницкий заключил тайный договор со шведским королем Карлом X и седмиградским князем Ракочи о разделе Польши. По этому договору, королю шведскому должна была достаться Великая Польша, Ливония и Гданск с приморскими окрестностями; Ракочи – Малая Польша, Великое княжество Литовское, княжество Мазовецкое и часть Червоной Руси; Украина же с остальными южнорусскими землями должна быть признана навсегда отделенной от Польши.

Сообразно с этим договором, Хмельницкий послал на помощь Ракочи 12000 казаков под главным начальством киевского полковника Ждановича. Ян-Казимир дал знать о кознях Хмельницкого московскому государю. Договор, заключенный гетманом с венграми и шведами, стал подлинно известен в Москве, и царь снарядил в посольство окольник Федора Бутурлина и дьяка Василия Михайлова со строгим выговором Хмельницкому.

Прежде чем это посольство достигло Чигирина, Хмельницкий, чувствуя, что его здоровье день ото дня слабеет, собрал раду и предложил казакам избрать себе преемника. Казаки, из любви к гетману и притом желая сделать ему угодное, избрали его шестнадцатилетнего сына Юрия. Хмельницкий, хотя сначала и отговаривал их, указывая на его молодость, но потом согласился. Это была величайшая ошибка Хмельницкого.

В начале июля прибыли царские послы с выговором и застали гетмана до того ослабевшим, что он едва мог вставать с постели. Послы, по царскому приказанию, сказали ему, что он забыл страх Божий и присягу, дружась со шведами и Ракочи. Хмельницкий отвечал в таком смысле: «У нас давняя дружба со шведами, и я никогда не нарушу ее. Шведы – люди правдивые: держат свое слово; а царское величество помирился с поляками,

хотел нас отдать им в руки; и теперь до нас слух доходит, что он послал свое войско на помощь полякам против нас, шведского короля и Ракочи. Мы еще не были в подданстве у царского величества, а ему служили и добра хотели. Я девять лет не допускал крымского хана разорять украинные города царские. И ныне мы не отступаем от высокой руки его, как верные подданные, и пойдём на царских неприятелей басурманов, хотя бы мне в нынешней болезни дорогой и смерть приключилась – и гроб повезу с собой! Его царскому величеству во всем воля; только мне дивно то, что бояре ему ничего доброго не посоветуют: короной польской не овладели, мира не довершили, а с другим государством, со Швецией, войну начали!»

Выслушав новые упреки от царского посла, Хмельницкий не стал отвечать, извиняясь болезнью; а в другой день, 13 июня, Хмельницкий, призвавши к себе послов, сказал: «Пусть его царское величество непременно помиритя со шведами; следует привести к концу начатое дело с ляхами. Наступим на них с двух сторон: с одной стороны войска его царского величества, с другой – войска шведского короля. Будем бить ляхов, чтобы их до конца искоренить и не дать им соединиться с посторонними государствами против нас. Хотя они и выбирали нашего государя на Польское королевство, но это только на словах, а на деле того никогда не будет. Они это затеяли по лукавому умыслу для своего успокоения. Есть свидетельства, обличающие их лукавство. Я перехватил их письмо к турецкому цезарю и отправил его к царскому величеству со своим посланцем».

Тем не менее Хмельницкий, по требованию царских послов, выдал приказ Ждановичу оставить Ракочи; это повредило последнему: успевши уже завоевать Краков и Варшаву, Ракочи был побежден поляками и отказался от своих притязаний.

Ян-Казимир попытался еще раз сойтись с Хмельницким и отправил к нему пана Беневского.

– Что мешает вам, гетман, – говорил Хмельницкому польский посланник, – сбросить московскую протекцию? Московский царь никогда не будет польским королем. Соединитесь с нами, старыми соотечественниками, как равные с равными, вольные с вольными.

– Я одной ногой стою в могиле, – отвечал Хмельницкий, – и на закате дней не прогневолю Бога нарушением обета царю московскому. Раз я поклялся ему в верности, сохраню ее до последней минуты. Если мой сын Юрий будет гетманом, никто не помешает ему заслужить военными подвигами и преданностью благосклонность его величества, но только без вреда московскому царю, потому что как мы, так и вы, избравши его публично своим государем, обязаны ему сохранять постоянную верность!

Скоро после того скончался Хмельницкий. В письме писаря Выговского день его смерти означен 27 июля. Летопись Самовидца говорит, что он умер «о Успении Св. Богородицы».

23 августа тело Хмельницкого было погребено, по его завещанию, в Субботове, в церкви им построенной. Церковь эта, с замечательно толстыми каменными стенами, существует до сих пор, но путешественник не найдет в ней могилы Хмельницкого: польский полководец Чарнецкий в 1664 году, захвативши Субботово, приказал выбросить на поругание кости человека, так упорно боровшегося против шляхетского своеволия.

Несмотря на важные промахи и ошибки, Хмельницкий принадлежит к самым крупным двигателям русской истории. В многовековой борьбе Руси с Польшей, он дал решительный поворот на сторону Руси и нанес аристократическому строю Польши такой удар, после которого этот строй не мог уже держаться в нравственной силе. Хмельницкий в половине XVII века наметил то освобождение русского народа от панства, которое окончательно совершилось в наше время. Этого мало; его старанием западная и южная Русь были уже фактически под единой властью с восточной Русью. Не его вина, что близорукая, невежественная политика боярская не поняла его, свела преждевременно в гроб, испортила плоды его десятилетней деятельности и на многие поколения отсрочила дело, которое совершилось бы с несравненно меньшими усилиями, если бы в Москве понимали смысл стремлений Хмельницкого и слушали его советы.

## Глава 6 Преемники Богдана Хмельницкого

Два важных вопроса волновали Малороссию по смерти Богдана Хмельницкого: один политический, другой социальный. Первый возбужден был московским правительством, второй ошибками самого Хмельницкого в первые годы восстания против Польши. Внезапное прекращение войны Московского государства с Польским, согласие Москвы на сделку с Польшею в то время, когда вся западная Русь уже была во власти царя, – произвели в умах малороссиян сомнения и тревожные опасения за будущую судьбу, а вместе с тем колебания и смуты. Народные вожди не видели под ногами своими никакой почвы, не знали: по какому пути им идти, и метались то в ту, то в другую сторону, увлекаясь то временными обстоятельствами, то эгоистическими видами, которые, по свойству человеческой природы, всегда берут верх, когда в представлении нет определенного политического и общественного идеала.

С другой стороны, еще Зборовский мир, как мы уже заметили, положил начало внутреннему раздвоению народа. Под знаменами Хмельницкого единодушно поднялся весь малороссийский народ: все хотели быть казаками, т.е. вольными обывателями и защитниками своей земли; вместо того из массы этого народа стали выделяться десятки тысяч привилегированных под исключительным именем казаков. В этом было собственно возвращение к прежнему польскому строю, с тою только разницею, что прежде записывали в казаки несколькими тысячами, а теперь десятками тысяч. Мы видели, что невозможность удержать народ от стремления в казачество была одною из причин новых войн Хмельницкого с Польшею. По присоединении Малороссии к Московскому государству число казаков было определено только в 60 000. Это было привилегированное служилое сословие, не платившее податей, пользовавшееся свободным землевладением и получавшее жалованье. Остальной народ, за исключением духовенства, состоял из мещан, которым давались прежние магдебургские права, и посполитых – земледельческого класса, не имевшего казацких прав. И те, и другие должны были платить подати и исправлять разные повинности. В договоре Богдана Хмельницкого выразительно сказано: «Мы сами смотр меж себя имети будем; кто казак, тот будет вольность казацкую иметь, а кто пашенный крестьянин, тот будет дань обыкшую его царскому величеству отдавать, как и прежде сего». Казацкие старшины, заключавшие договор, заботились только о «вольностях» казацких; посполитый народ оставлялся на их произвол, а между тем в народе осталось убеждение, что раздвоение на казаков и посполитых произошло случайно: «Можнейшие (богатые и значительные) попали в казаки, а подлейшие (беднейшие) остались в мужиках». Польские понятия неизбежно перешли к казацким вождям; свобода понималась по-польски; быть свободным – значило иметь такие права, каких не имели другие; до способов устроить свободу, равную для всех, никто не пытался додуматься, а между тем каждый из народа также хотел сделаться свободным в упомянутом смысле, не желая свободы для своих собратьев. При русском владычестве, положение посполитых, конечно, должно было улучшиться в том отношении, что они не были уже в порабощении у панов; но это положение было до крайности непрочное при казацком управлении страной. Земли главным образом были в руках казаков и шляхты, приставшей к казакам. Всякий, когда была возможность, «займовал» (занимал) земли, присваивал их себе, на основании первого завладения, или выпрашивал их у казацкого начальства; посполитые хотя имели свои участки (грунты), но вся земля была войсковою и право посполитых на владение землей стало зависеть от «войска». Казацкие чиновники и простые казаки с разрешения своих начальников присваивали себе власть над мужичьими «грунтами», так, напр., сделавшись «державцею» над «маетностью», т.е. над известным округом земли, такой державца оказывал притязание на «послушенство» тех посполитых, которых грунты были в округе его маетности. Заводились так называемые «державские слободы», т.е. владельцы, имевшие

пустые пространства земель, приманивали к себе посполитых дарованием льгот, а потом последние оказывались живущими на чужой земле в тяжелой зависимости от землевладельцев. В самом казацком привилегированном сословии не могло установиться равенства. Казацкие старшины и те из казаков, которым они покровительствовали, захватили себе более земель и угодий и скоро возвысились над остальными своими собратьями так, что между казаками стали обозначаться два вида: казаки «значные» (знатные) и чернь. Интересы последних совпадали с интересами посполитых. Такой порядок установился окончательно не вдруг, но начался уже во времена Хмельницкого и, после его смерти, вызывал не раз сильную внутреннюю борьбу, которая совпадала и с политическими вопросами. Старшины и значные казаки стремились к тому, чтобы упрочить свои привилегии и управлять всей страной. Их идеал был польско-шляхетский, что соответствовало и тогдашней культуре Малороссии, выработанной под польским влиянием. По мере того как они встречали своим стремлениям сопротивление в действиях и привычках московских властей, они, при первой возможности, готовы были изменить Москве. Простые казаки и посполитые, напротив, обращали к московской власти свои надежды и много раз показывали склонность к тому, чтобы в Малороссии московские порядки заменили казацко-польские, но при ближайшем столкновении с московскими воеводами и великорусскими служилыми людьми, они возмущались их обращением, поступками и понятиями, и все готовы были также увлечься подушениями к отторжению от московской власти. Таким образом, во всю половину XVII века мы видим в Малороссии крайнее непостоянство, непрерывные волнения, смуты, междоусобия, вмешательство соседей: все это вело край к разорению, упадку; народ в своих воспоминаниях прозвал эту эпоху «руиною». Богдан Хмельницкий назначил своим преемником своего сына, совершенно неспособного юношу. Только из угождения к нему, да из привычки повиноваться его воле, казаки ему не перечили в этом. Но такое избрание было новостью в казацком обществе: у них в гетманы выбирали людей, прежде чем-нибудь заслуживших уважение. Тогда между казацкими старшинами первое место занимал писарь Хмельницкого, Выговский; он находился в родстве с Хмельницким, так как брат его, Данило, был женат на дочери Хмельницкого. Казацкие старшины и полковники уговорили несовершеннолетнего Юрия отказаться от гетманства до времени и выбрали гетманом Выговского. Но против Выговского поднялся соперник, полтавский полковник Мартын Пушкарь, потому что ему самому хотелось захватить булаву. С одной стороны, он посылал в Москву доносы на Выговского, а с другой – собирал против него ополчение из посполитых, обещая им казачество. Предшествовавшие войны накопили много бедного народа, жившего из-за куска хлеба на винокурнях и пивоварнях у богатых; они бросились под знамена Пушкаря в надежде попасть в казаки. Московское правительство колебалось, не знало кому верить, а между тем своими поступками возбуждало между старшиной боязнь за ее права. По казацкому духу желательно было, чтоб казачество расширялось; оно тогда распространялось в Литве; но московские воеводы, по царскому приказанию, препятствовали этому расширению, возвращали самовольно называвшихся казаками в посполитых, били их кнутом и батогами. Тогда наступал выбор митрополита, и царский посланник Бутурлин заявил желание, чтобы новый киевский митрополит был подчинен московскому патриарху. Не понравилось Выговскому, когда он, в своем письме к царю назвавши казаков «вольными» подданными, получил за это выговор и приказание называть казаков «вечными», а не вольными подданными. Наконец, московское правительство, под предлогом обороны, хотело, кроме Киева, посадить своих воевод по другим городам и оставить самоуправление одним казакам и мещанам, а весь остальной народ подчинить суду воевод и дьяков. Все это раздражало Выговского и волновало умы. Противники московской власти рассеивали в народе тревожные слухи, будто Москва хочет оставить самое незначительное число казаков и ввести свое управление, но, когда эта весть производила волнение между знатными казаками, посполитые, а с ними и черные казаки, кричали, что будет хорошо, если введутся воеводы, и будут все равны, хотя вместе с тем и они боялись, чтобы воеводы не нарушали обычаев и не погнали людей насильно в Московщину. В это

время начал действовать человек, достигший впоследствии важного значения. Это был нежинский протопоп Филимонов. Он тайно писал в Москву доносы на старшин, выставлял свою преданность государю, советовал поскорее прислать воевод и захватить все управление края. Московское правительство не отважилось на такую решительную меру. Между Выговским и Пушкарем произошла открытая междоусобная война. Московские гонцы ездили и к Выговскому и к Пушкарю, стараясь помирить их; Пушкарь, чтобы подделаться к Москве, сам заявлял желание о присылке воевод. Выговский просил помощи ратных людей для усмирения Пушкаря, не получал ее и жаловался, что Москва мирволит его врагу. Наконец в июне 1658 года Выговский сам, без пособия царского войска, уничтожил Пушкаря. Последний пал в битве под Полтавой. Посполитые, составлявшие войско Пушкаря, толпами убегали на поселения в украинные земли Московского государства и на Запорожье.

С этих пор возникли у гетмана Выговского нескончаемые пререкания с московским правительством. Выговский в разговоре с московскими гонцами упрекал Москву, будто она тайно поджигала против него Пушкаря и снова поддерживает волнение между посполитыми, кричал, вместе со своими полковниками, что ни за что не допустит введения воевод, и прямо выразился, что под польским королем казакам было лучше. Между тем в Киев, вместо Бутурлина, прибыл другой воевода, Василий Борисович Шереметев, человек подозрительный, склонный видеть во всем измену; он начал сажать в тюрьму киевских казаков и мещан. Это подало новый повод к ропоту. Поляки, увидевши, что между казаками неладно, подослали к Выговскому ловкого пана Беневского, который всеми способами вооружал казаков против Москвы и сулил им большие блага, если они соединятся с Польшей. Ему помог тогда живший в Украине человек, приобретший большое влияние и над гетманом Выговским и над старшиной – Юрий Немирич. Он принадлежал к древней русской фамилии и был хорошо образован. В молодости он написал сочинение, за которое его обвинили в арианстве, ушел за границу и лет десять пробыл в Голландии. Возвратившись в отечество во время восстания Хмельницкого, он пристал к казакам, сблизился с Богданом, а теперь, после его смерти, стал руководить Выговским. В бытность свою в Голландии, Немирич усвоил тамошние республиканские понятия, составил себе идеал федеративного союза республик и хотел применить его к своему отечеству. Под его влиянием, у Выговского и у старшин составилась план соединить Украину с Польшей на федеративных основаниях, сохранивши для Украины права собственного управления. К этому шагу побуждали тогдашние отношения между Польшей и Московским государством.

Вопрос о соединении Польши с Москвой оставался еще нерешенным. Так или иначе, обе стороны думали покончить соединением. В июле 1658 года собирали в Польше сейм с решительным намерением утвердить дружественную связь с московским народом. Король, призывая чины Речи Посполитой на этот сейм, писал заранее в своем универсале, что предстоит важный вопрос: «Образовать вечный мир, связь и союз непоколебимого единства между поляками и московитянами, двумя соседними народами, происходящими от одного источника славянской крови и мало различными по вере, языку и нравам». В виду такого великого предприятия, Украине предстояла важная задача; так или иначе – для нее близка была возможность быть соединенной с Польшей, а потому всего лучше казалось заранее предупредить грядущее соединение Польши с Московским государством и соединиться с Польшей на правах свободного государства, так что, если Польша устроит свое соединение с Московским государством, Украина войдет в этот союз особым государственным телом. Выговский дал тайно согласие принять королевских комиссаров, которые придут в Украину для переговоров; но прежде чем они прибыли, в августе Выговский уже начал неприязненные действия против московских людей. Он послал брата своего, Данила, выгнать Шереметева из Киева. Предприятие это не удалось; казаки были отбиты, Шереметев начал казнить виновных и подозрительных.

Между тем восстание посполитых, поднятое Пушкарем, вспыхнуло против Выговского снова около Гадяча. Выговский отправился усмирять его и здесь, 8 сентября, собрал раду из казацких старшин, полковников, сотников и значных казаков. Явились польские комиссары:

Беневский и Евлашевский. Беневский говорил казакам речь, бранил Москву, уверял, что у москалей другая вера, чем у казаков, что москали не позволят им свободно готовить водку, мед и пиво, прикажут надевать московские зипуны и лапти, запретят носить сапоги и впоследствии станут переселять казаков за Белоозеро; а с другой стороны, обещал им счастье в союзе с Польшей. Теперь, – говорил он, – не будет более рабства: строгий закон не допустит панам своевольствовать над подданными. После такой речи, был составлен договор, известный в истории под названием «Гадяцкого». Украина (нынешние губернии: Полтавская, Черниговская, Киевская, восточная часть Волынской и южная – Подольской) добровольно соединялась с Польшей на правах самобытного государства под названием «Великого княжества русского». Верховная исполнительная власть должна была находиться в руках гетмана, избранного пожизненно и утвержденного королем. Великое княжество русское должно было иметь свой верховный трибунал с делопроизводством на русском языке, своих государственных сановников, свое казначейство, свою монету, свое войско, состоящее из 30000 казаков и 10000 регулярных. Унию уничтожить окончательно обещали. Положено было завести две академии с университетскими правами – в Киеве и в другом месте, где окажется удобным; кроме того, в разных местах – училища без ограничения числом; объявлялось совершенно вольное книгопечатание. Наконец, гетман мог представлять ежегодно королю казаков для возведения их в шляхетское достоинство, с тем, чтобы число их из каждого полка не было выше 100 человек. Но относительно прав владельцев насчет тех посполитых, которые будут жить на их землях, не постановлено было никаких правил, кроме того, что владельцам не позволялось держать дворовой команды.

Вслед за тем Выговский готовился нападать снова на Шереметева, но вместе с тем посылал в Москву письма, в которых уверял царя в своей верности.

Но ему более не верили. В ноябре Ромодановский вступил в Малороссию с войском. Посполитые, хотевшие быть казаками, ополчились и приставали к нему. Ромодановский выбрал другого гетмана, Безпалого. На левой стороне Днепра началось междоусобие, продолжалось все лето и весну следующего 1659 года. На помощь Ромодановскому весною прибыло новое войско под начальством Трубецкого и целых два месяца осаждало в Конотопском замке нежинского полковника, Гуляницкого. Тем временем Выговский пригласил крымского хана, с его помощью напал 28 июня на Трубецкого и разбил его наголову. Трубецкой ушел, а другой воевода, Семен Пожарский, потерявши все свое войско, был взят в плен, приведен к хану, бесстрашно обругал хана по-московски и плюнул ему в глаза. Хан приказал изрубить его. Таким образом, Выговский выгнал великороссиян из Малороссии; остался только Шереметев, который, в отомщение, приказал варварски истреблять местечки и села около Киева, не щадя ни старого, ни малого. Трубецкой несколько времени после своего поражения не мог двинуться в Малороссию: в войске его сделался бунт, насилиу укрощенный при содействии Артамона Матвеева.

Дело Выговского оказалось непрочным не от московских войск, а от народного несочувствия.

Еще в мае 1659 года, в Варшаве на сейме, король и все чины Речи Посполитой утвердили присягою Гадяцкий договор, а казацкие посланники, приехавшие для этого дела, были возведены в шляхетское достоинство. В какой степени тогдашние чины Речи Посполитой, под влиянием иезуитского учения, не стеснялись произнесением ложной присяги, – показывает то, что, по известию польских историков, Беневский, заключивший Гадяцкий договор, уговорил сенаторов согласиться, в видах крайней необходимости, с намерением его нарушить, как только Польша оправится от понесенных ударов и приберет Украину к рукам. Украинский народ не прельстился этим договором: всякое соединение с Польшею, под каким бы то ни было видом, стало для него омерзительным. Вспыхнуло восстание в Нежине под руководством протопопа Филимонова и полковника Золотаренка, потом – в Переяславле под начальством полковника Тимофея Цыпуры и Сомка, затем – в Остре, в Чернигове и в других городах. Юрий Немирич принял было начальство над регулярным войском, состоявшим из поляков, немцев и казаков: взволнованный народ

перебил все его войско; Немирича догнали и изрубили в куски. В Сечи атаман Сирко поднял всех запорожцев и провозгласил атаманом Юрия Хмельницкого. В самом Чигирине, где находился Выговский, вспыхнуло восстание; Выговский едва убежал оттуда.

Выговский назначил генеральную раду под местечком Германовкою; туда же его противники привели Юрия Хмельницкого. Выговский приказал было на этой раде читать гадяцкий договор, но казаки подняли шум, крик; старшины увидели, что им несдобровать, и пристали к большинству; чтецов договора изрубили в куски; Выговский бежал, а потом, по требованию казаков, прислал свою булаву. Казаки выбрали гетманом Юрия Хмельницкого. В октябре собрана была новая рада в Переяславле, и прибывший туда с царским наказом князь Трубецкой утвердил Юрия в сане гетмана, но с некоторыми важными ограничениями против прежнего договора с Богданом Хмельницким: гетман не имел права принимать иноземных послов, вступать с кем-либо в войну без воли государя, не мог назначать в полковники иначе, как с совета всей казацкой черни. Казацкие старшины всеми силами старались избежать этих прибавок, но не могли преодолеть настойчивости московского военачальника и его товарищей. Казацкие старшины сильно домогались, чтобы никому из малороссиян не позволять сноситься с Москвою помимо гетмана; и на это не согласились; право же сноситься прямо с Москвою давало возможность недругам гетмана и старшин прямо посылать доносы в московские приказы, а московское правительство чрез то могло иметь тайный надзор за делами Малороссии. Московские воеводы были посажены в нескольких малорусских городах: Киеве, Переяславле, Нежине, Чернигове, Брацлавле и Умани. Для посполитого народа, который так усердно противодействовал козням Выговского в пользу Москвы, не сделали ничего; напротив, освободивши казаков от постоя и подвод, наложили эти повинности на посполитых и лишали их права производства напитков, которое предоставлялось казакам.

Этот новый договор с Москвою естественно не был по сердцу старшине и значным казакам, которые видели, что Москва прибирает их к рукам, не мог он довольствоваться и массу народа, который опять увидел свои надежды на уравнивание прав разрушенными. Договор этот был приятен только для отдельных лиц, которые могли обращаться прямо в Москву и выпрашивать себе разные льготы и пожалования: кто на грунт, кто на дом или мельницу. Ездили в Москву полковники со своей полковою старшиною, ездили духовные, ездили войты с мещанами; все получали разные милости и подачки: соболи, кубки и пр. Приезжих малороссиян в Москве обыкновенно расспрашивали и записывали их расспросные речи. Сметнувши, что таким путем можно получать выгоды, малоруссы повадились писать в Москву друг на друга доносы: себя выхваляли, других чернили.

Польша оправилась. Война с Московским государством опять возобновилась. Московское войско уже потерпело поражение в Литве. Поляки шли отбирать от Москвы Украину. Главный предводитель московских войск в Украине Шереметев, по совету переяславского полковника Цыцуры, задумал предупредить поляков и решился идти на Волынь в польские владения, с ним же должен был идти Юрий Хмельницкий с казаками. Шереметев, человек высокомерный и суровый, успел раздражить против себя и казаков, и духовных, и наконец самого Хмельницкого своими резкими выходками и спесивостью: «Этому гетманишке, – сказал о Хмельницком Шереметев, – идет лучше гусей пасти, чем гетмановать».

Во второй половине сентября 1660 г. двинулось по направлению к Волыни московское войско. Хмельницкий с казаками шел по другой дороге. Поляки, под начальством Любомирского и Чарнецкого, напали на московское войско, нанесли ему поражение и осадили под местечком Чудновом; потом поляки вместе с татарами, 7 октября, напали на казацкий обоз под местечком Слободищем за несколько верст от Чуднова. Юрий Хмельницкий пришел в такой страх, что тогда же дал обещание пойти в чернецы. В казацком обозе произошла безладица. Многие старшины сердились за стеснение их прав по договору, заключенному в Переяславле: не хотели служить Москве, злились на Шереметева и говорили, что лучше помириться с поляками. В польский лагерь отправился послом от



войска Петр Дорошенко, который замечательно умел сохранить тогда свое достоинство перед поляками. Предлагая Любомирскому мир, он не позволил польскому пану кричать на себя и сказал: «Мы добровольно предлагаем вам мир, забудьте старую ненависть, а не то – у нас есть самопалы и сабли». 18 октября казаки с поляками постановили договор на условиях гадяцкого тракта, но только за исключением одного пункта, касающегося великого княжества русского, самого главного в этом договоре.

Покончивши с казаками, поляки осадили московское войско. Время было дождливое; боевых и съестных припасов у русских не доставало. Переяславский полковник Цыцура со своими казаками изменил и передался полякам. Эти обстоятельства принудили Шереметева положить оружие. Поляки заключили с ними договор, подобный тому, какой некогда заключили с Шеиным. Московское войско выпускалось с условием положить оружие и знамена к ногам польских панов, а потом – ручное оружие им возвращалось; сверх того, Шереметев обязался вывести русские войска из всех малороссийских городов. Но когда русские положили оружие, поляки отдали их на разграбление и на резню татарам; самого Шереметева выдали татарскому предводителю султану Нуреддину в плен, а других великорусских предводителей увели в Польшу.

Таким образом, вся казацкая страна правого берега Днепра опять подчинилась Польше. На левой стороне полтавский, прилуцкий и миргородский полки также не хотели подчиняться Москве; но полковники переяславский Сомко и нежинский Золотаренко (оба были шурыя Богдана Хмельницкого) стояли за царя и в короткое время привели к послушанию всю левобережную Украину. Юрий Хмельницкий несколько раз пытался проникнуть на левый берег, но был отбиваем Сомком, который сделался наказным гетманом.

С этих пор на обеих сторонах Днепра происходили долго смуты. На правой народ ненавидел поляков и склонялся к подданству царю; старшина и полковники колебались; молодой гетман не в состоянии был ладить с подчиненными; наконец, чувствуя и сознавая свою неспособность, он созвал казаков на раду под Корсуном и объявил, что не в силах управлять казаками, что Бог ему не дал отцовского счастья, и он поэтому хочет удалиться от мира: 6 января 1663 года он постригся. Вместо него получил гетманство, путем интриг и подкупа, Павел Тетеря, бывший при Хмельницком переяславским полковником, двоедушный эгоист, думавший только о своей наживе, прежде в Москве выставивший свою верность царю, а теперь ставший сторонником поляков, потому что увидел силу на их стороне. Он женился на дочери Хмельницкого, Стефаниде, вдове Данила Выговского. Этот брак дал ему значение и вместе с тем большие денежные средства.

На левой стороне Днепра Сомко добивался гетманства. Золотаренко хотел его достать себе. Друг на друга писали они в Москву доносы, и в Москве не знали, кому верить. У Золотаренка явился тогда ловкий и сильный помощник. Протопоп Максим Филимонов много раз уже писал в Москву донесения о малороссийских делах и приобрел у бояр доверие; наконец, лично прибыл в Москву и так умел подделаться к боярину Ртищеву, что, принявши монашество, был посвящен, при содействии этого боярина, в сан епископа мстиславского и оршинского, под именем Мефодия, и даже назначен был блюстителем митрополичьего престола, несмотря на то, что тогда еще жив был митрополит Дионисий Балабан. Московское правительство не хотело признавать Дионисия в его сане за то, что Дионисий, в сане митрополита киевского, не хотел принимать благословение от московского патриарха.

Вслед за тем в Малороссии явился третий искатель гетманства: то был Иван Мартынович Брюховецкий, некогда бывший слугою у Хмельницкого и сделавшийся кошевым атаманом в Запорожской Сечи. Он приобрел большую любовь запорожцев и получил новый, еще небывалый, чин кошевого гетмана. Этот ловкий и пронырливый человек избрал самые удачные пути для достижения первенства. С одной стороны, он писал в Москву самые униженные письма и подавал надежду, что если он сделается гетманом, то подчинит Малороссию теснее московской власти; вместе с тем он расположил к себе и Мефодия. С другой стороны, Брюховецкий показывал себя сторонником простых бедных

казаков и посполитого народа. Ему была вполне сподручна такая роль, потому что Запорожье, после смерти Пушкаря, сделалось притоном тех, которые, не будучи записанными в казацкий реестр, хотели быть казаками. Его запорожские агенты рассеялись по Малороссии, настраивали народ в его пользу, уверяли, что с его гетманством настанет всеобщее казачество, возбуждали чернь против значных. У народа возникло стремление грабить богатых и значных: их достояние считали плодом обдирательства народа. Явилось требование, чтобы нового гетмана выбрали на так называемой «черной раде», т.е. на такой, где бы участвовала вся громада народа. Мефодий, прежде друживший с Золотаренком, открыто перешел на сторону Брюховецкого и старался за него перед московскими боярами. Тогда Золотаренко, видя, что ему не быть гетманом, примирился с Сомком и начал, заодно с другими полковниками, стараться о том, чтобы на предстоящей раде был выбран Сомко. Но было уже поздно. Примирение это не помогло партии значных. Мефодий усиленно действовал в Москве за Брюховецкого, представлял Сомка и Золотаренка тайными сторонниками поляков и уверял, что если выберут Сомка, то последует измена. Притом же сам Сомко не полюбился Москве, потому что постоянно жаловался на обиды, причиняемые великорусскими ратными людьми малоруссам, и вообще перед царскими посланцами держал себя вольным человеком. Московское правительство решило собрать всенародную или черную раду и утвердить гетманом того, кого на ней выберут. С этой целью отправлен был в Малороссию князь Великогагин.

Рада назначена была в июне, в Нежине. Брюховецкий, через своих запорожцев, нагнал туда огромные толпы черного народа, шедшего с ненавистью к богатым и значным и с надеждою их грабить. Мефодий находился неотлучно при царском посланнике. Московское войско, состоявшее главным образом из иноземцев, прибыло также на раду. 17 июня, на восходе солнца, открылась рада чтением царской грамоты. Не успел князь Великогагин окончить чтения, как поднялось смятение: одни провозглашали гетманом Сомка, другие – Брюховецкого. Дело дошло до драки. Тогда московский полковник, немец Страсбург, разогнал дерущихся, пустивши в них ручные гранаты. За Брюховецкого было большинство. Сомко убежал. Народ бросился на возы старшин и значных казаков и ограбил их. Сомко и другие полковники и старшины, числом до пятидесяти человек, спаслись от народной злобы тем, что прибегли к помощи князя Великогагина, и московский боярин отправил их под стражею в нежинский замок.

На другой день князь Великогагин утвердил Брюховецкого гетманом. Три дня, с ведома Брюховецкого, продолжались насилия, безобразное пьянство, грабежи. Худо приходилось всякому, кто только носил красный кармазинный жупан; многие только тем и спаслись, что оделись в сермяги. По истечении трех льготных дней, Брюховецкий приказал прекратить бесчинства, но они еще долго проявлялись по разным местам.

С утверждением Брюховецкого в гетманском достоинстве, все старшины и полковники были новые, поставленные из запорожцев; каждому полковнику дана была особая стража. На Украине настало господство людей прежде бедных, ничтожных: теперь они вдруг сделались господами и, упоенные непривычным достоинством, не знали меры своим прихотям и самоуправству. Народ, обольщенный мечтою казацкого равенства, был жестоко обманут; те, которые кричали против значных и богатых, сделавшись сами значными и богатыми, налегли на громаду народа еще с большею тягостью, чем прежние значные.

Новый гетман представил правительству своих низверженных противников царскими изменниками. Их приказано судить войсковым судом. Но судьями были враги подсудимых.

18 сентября, в Борзне, отрубили голову Сомку, Золотаренку и еще нескольким человекам; других отправили в оковах в Москву, а оттуда в Сибирь. Это были первые малоруссы, сосланные в Сибирь.

С этих пор в Малороссии сделалось распадение на два гетманства, продолжавшееся до падения казачества на правой стороне Днепра. Оно временно отразилось и на церковном строе. Дионисий Балабан умер в Чигирине, где была столица гетманства правой стороны Днепра; на место его был избран Иосиф Нелюбович-Тукальский, епископ Могилевский.

Московское правительство не признавало его, продолжало именовать блюстителем митрополии Мефодия и хлопотало о возведении последнего в сан митрополита, но константинопольский патриарх не соглашался на это.

Успехи поляков в войне с Московским государством побудили короля Яна-Казимира сделать покушение на подчинение себе и Украины левого берега Днепра. В январе 1664 года он двинулся через Днепр. С ним должны были идти и казаки под начальством своего гетмана Тетери, и союзные татары. Города сдавались на левой стороне. Только местечко Салтыкова Девица оборонялось отчаянно, и все жители были истреблены. Король дошел до Глухова, стоял под ним пять недель и не мог взять его. Здесь в польском лагере был расстрелян, по подозрению в измене, казачий полковник Иван Богун, один из храбрейших сподвижников Богдана Хмельницкого. Между тем запорожцы, под начальством Сирка и Сулемы, бывшие в тылу короля, начали отбирать казацкие города на правой стороне Днепра. Это побудило короля удалиться на правый берег Днепра.

Польский полководец Чарнецкий разбил Сулему, а польский полковник Маховский схватил бывшего гетмана Выговского, носившего звание киевского воеводы, и расстрелял его, по наущению Тетери, обвинявшего Выговского в намерении передаться Москве. По всему видно, что Выговский действительно был в соумышлении с Сирком: раздраженный против Москвы, страшась от ней порабощения для Малороссии, он примирился с поляками в надежде дать своей родине независимость и свободу в том виде, в каком она была доступна его понятиям, но был жестоко обманут; собственное возвышение не удовлетворяло его; и вот он еще раз отважился на восстание и преждевременно погиб, не успевши ничего сделать.

Не ограничиваясь этим, Тетеря обвинил в измене митрополита Иосифа Тукальского и своего шурина Юрия Хмельницкого, носившего в пострижении имя Гедеона. Король приказал отправить обоих в Мариенбургскую крепость, где они просидели два года.

Брюховецкий по уходе короля сам перешел за Днепр, взял Канев, Черкасы, но потом отступил назад, а Чарнецкий опять принудил к повиновению отпавшие от Польши города и местечки, вошел в Субботово и выбросил из могилы кости Богдана Хмельницкого. Вскоре сам Чарнецкий был опасно ранен в одной стычке и сошел с поля действия.

Гетман Тетеря скоро убедился, что ему не сладить с казаками и не удержать Украины под властью Польши. Он поспешил забрать войсковую казну и бежал с женою в Польшу, но дорогою Сирко отбил у него казну.<sup>99</sup> На его место в Украине одна партия, при помощи Орды, избрала Стефана Опару, а другая, также с помощью татар, низвергла Опару и посадила гетманом Петра Дорошенка: это произошло в 1665 году.

С этих пор до 1677 года история южнорусского казачества, главным образом, вращается около этой личности. Постоянною целью стремлений Дорошенка было соединить Украину под единою властью и сплотить казацкие силы; он не терпел поляков, ни за что не хотел, чтобы Украина оставалась под их властью; всегда изъявлял готовность находиться под властью Москвы, но не иначе, как с соблюдением прав самобытности для Малороссии, с тем, чтобы московское правительство не посылало туда своих воевод, не мешалось во внутренние дела и обращалось с казаками, как с народом вольным. Обстоятельства препятствовали ему со всех сторон к достижению такого политического идеала, и он должен был вести тяжелую напрасную борьбу с ними.

Осенью 1665 года Брюховецкий отправился в Москву, там был принят с большим почетом, пожалован боярином, женился на боярской дочери и получил богатую вотчину от царя, близ Стародуба, сотню Шептаковскую, занимавшую много сел и деревень, а приехавшие с ним полковники пожалованы в дворяне. Желая угодить Москве, Брюховецкий сам изъявлял желание уничтожить местные привилегии края: так, например, он подавал совет уничтожить привилегии малороссийских городов, уверял, что мещане тянут на польскую сторону, что между ними бедные истощаются от поборов и подвод, а купцы и богатые на счет бедных наживаются; предложил умножить великорусских воевод, ввести

---

<sup>99</sup> У Тетери в Польше выманили все деньги, какие он привез из Украины; он удалился в Турцию, где умер в бедности.

кабацкую продажу вина, сделать перепись народу, установить на великороссийский образец целовальников и прислать митрополита из Москвы, вместо выборного вольными голосами. Через все это, по возвращении в Украину, в начале 1666 года, Брюховецкий очутился в неприязненном отношении ко всей Малороссии. Казакам не нравилось производство его в бояре. «У нас прежде бояр не бывало, – говорили они, – через него у нас все вольности отходят». Полковники, пожалованные в дворяне, боялись показать перед казаками, что дорожат своим новоприобретенным званием. Один из них говорил: «Мне дворянство не надобно; я по-старому казак!» Епископ Мефодий был раздражен предположением посылать митрополита из Москвы; малороссийское духовенство разделяло его неудовольствие. Раздражение усилилось, когда приехали новые московские воеводы во все значительнейшие города<sup>100</sup>, и с ними ратные люди; Брюховецкий хлопотал, чтобы их было поболее; приехали переписчики, стали переписывать всех людей по городам и селам и облагать данью. В городах из мещан установили целовальников для сбора царских доходов. Великороссияне начали дурно обращаться с жителями: «Полтавский воевода, – жаловались казаки, – бранит нас скверными словами (что особенно раздражало малороссиян); когда кто придет к нему – плюет на того, велит денщикам выталкивать взашею...» Во многих местах жаловались на большие поборы, на наглость и грабеж, на оскорбление женщин и девиц и т.п. Сам гетман был чрезвычайно корыстолюбив, жесток и, надеясь на покровительство Москвы, не знал пределов своему произволу; его полковники также отличались наглостью и грабительствами. Терпение народа было непродолжительно; вспыхнуло возмущение разом в нескольких городах, начали убивать московских ратных людей. В Переяславле убили казацкого полковника Ермоленка, сожгли город, перебили ратных людей; сам царский воевода едва спасся. Брюховецкий возбуждал к себе общее омерзение; распространилось желание поступить под власть Дорошенка.

В 1667 году заключено было Андрусовское перемирие и стало новою, сильнейшею причиною волнения. Нащокина признавали малороссияне главнейшим врагом своим, толковали, что, по его наущению, московский царь с польским королем примиряется для того, чтобы истребить казаков; запорожцы, более других отважные и решительные, поймали царского посланника Ладыженского, ехавшего в Крым, и убили.

С самого приезда Брюховецкого народ не хотел платить податей и разных пошлин, введенных на великороссийский образец. Казаки грабили и били сборщиков; но в то же время и между малоруссами была безлadyца: мещане и крестьяне дрались с казаками, которые, по приказанию гетмана и полковников, собирали для последних поборы. Все, тем не менее, сходились в том, что не терпели гетмана.

Мефодий, прежде главный виновник возвышения Брюховецкого, сделался его врагом и наговаривал на Брюховецкого в своих письмах к московским боярам. Брюховецкий, со своей стороны, писал в Москву доносы на Мефодия. Находясь на соборе, осудившем Никона, Мефодий заметил, что с ним в Москве обращаются уже не так милостиво, как прежде, и воротившись в Малороссию, предложил мировую гетману и стал подуцать его к измене царю. Брюховецкий увидел, что зашел далеко, что казаки, раздраженные против Москвы, считают его главным виновником насилий, которые терпит Малороссия от московских людей: поправить дело, казалось, возможно только скорейшей изменой Москве. Брюховецкий прежде всего сослался с Дорошенком. Последний, вместе с митрополитом Тукальским, польстил Брюховецкого надеждою, что он останется гетманом, если станет действовать с ними заодно и отступится от Москвы. Брюховецкий собрал на совет своих полковников: все порешили отторгнуться от Москвы и поддаться турецкому султану, чтобы, с помощью турок, избавиться от московской власти. 8 февраля, в Гадяче, Брюховецкий объявил воеводе Огареву, чтобы он выбирался с ратными людьми вон. У Огарева было всего человек 200 с небольшим; оставалось уходить; но казаки бросились на великороссиян, половину вырезали, остальных поколотили и взяли в плен. Брюховецкий оповестил своим

---

<sup>100</sup> Кроме Киева, Переяславля и Нежина, где были московские воеводы – в Прилуки, Лубны, Гадяч, Миргород, Полтаву, Батурин, Глухов, Сосницу, Новгород-Северский и Стародуб.

универсалом, что московские послы с польскими послами постановили разорить всю Украину и истребить всех жителей от мала до велика. Таковую же грамоту послал он донским казакам, уговаривая их с «господином Стенькою» действовать заодно.<sup>101</sup> Народ, уже и без того волновавшийся повсеместно, стал истреблять всех великороссиян в своем крае.

Измена Брюховецкого сильно поразила московское правительство; оно этого не ожидало. В Киеве, Переяславле, Нежине и Остре воеводы с трудом отбились от казаков и сидели в осаде, терпя во всем недостаток; в других – они погибли, вместе с ратными людьми, под ножами и дубинами расвирепешшего народа. Когда узнали об этом в Польше – то поляки говорили великорусским посланцам: «Надобно нашим государям послать войска – выжечь и перебить этих изменников-казаков, чтоб места их были пусты, потому что они и вам и нам изменяют, и добра от них не будет!»

Весною князь Ромодановский начал военные действия осадю города Котельвы. К Брюховецкому пришли на помощь татары. Из-за Днепра шел с казацким войском Дорошенко; Брюховецкий вышел к нему навстречу из Гадяча. Близ Опочни явились к нему десять сотников с требованием отдать булаву, знамя и пушки. Брюховецкий прибил этих сотников и отправил их скованными в Гадяч. Но тут возмутилась против него громада казаков, ворвалась в шатер, схватила и потащила к Дорошенке. Дорошенко только дал знак рукою: казаки сорвали с Брюховецкого платье и заколотили до смерти ружьями, рогатинами и дубьем. Смятение в народе было так велико, что вслед за тем раздавались крики: убить Дорошенка. Но заднепровский гетман утишил толпу, выкатив ей несколько бочек горилки. Дорошенко собрал всенародную раду и спрашивал: «Что теперь делать? Мириться ли с Москвою? Отдаваться ли Польше или султану?» Народ слышать не хотел о Польше, бранил москалей за их насилия и изъявил предпочтение турецкой власти. Дорошенко двинулся против Ромодановского, который тотчас отступил от Котельвы. Теперь вся Малороссия была в руках Дорошенка; ему оставалось упрочить власть свою, но тут на беду пришла к нему весть из Чигирина об измене жены: он ушел за Днепр, забравши с собою пленных великорусских начальных людей и епископа Мефодия, а начальство над левою стороною Днепра поручил своему генеральному есаулу, Демьяну Многогришному. Вслед за уходом Дорошенка, Ромодановский двинулся в Малороссию и занял Нежин; Многогришный, вместо того, чтобы биться с ним, изъявил желание покориться царю, надеясь, что его сделают гетманом. Тогда ходатаем за казаков явился черниговский архиепископ Лазарь Баранович; он просил письменно у царя прощения народу, но умолял, чтобы в Малороссию не посылать воевод: о том же просил Многогришный и представлял, что вся беда сделалась от насилия со стороны воевод да от козней епископа Мефодия. Толки об избрании нового гетмана шли несколько месяцев, а тем временем московское правительство сносилось с Дорошенком. Царские посланцы уговаривали Дорошенка отлучиться от басурман и быть покорным Польше. Дорошенко стоял на одном: что он со своими казаками ни за что не хочет быть под властью Польши, потому что с поляками, по их непостоянству, нельзя заключить никакого крепкого договора, уверял, что он вовсе не враг Москвы, что желает со всею Украиною быть под властью великого государя, однако не иначе, как тогда, когда государь примет под свою власть обе стороны Днепра, не будет посылать воевод и не станет нарушать казацких прав, одним словом, чтобы все было так, как постановлено по первому договору, заключенному с Богданом Хмельницким: иначе Дорошенко ни за что не захотел покидать мысли о подданстве Турции. Само собою разумеется, что московское правительство, находясь в перемирии с Польшей, не могло прибегнуть к такому шагу, какого требовал Дорошенко.

В марте 1669 года, в городе Глухове, была собрана рада, и на ней был избран в гетманы левого берега Днепра Демьян Многогришный. Все старания нового гетмана, архиепископа Лазаря и старшин об освобождении Малороссии от воеводского управления остались напрасны, тем более, что и теперь, как прежде, между малороссиянами были искатели

---

<sup>101</sup> Достоинно замечания, что в числе обвинений против Москвы самым гнусным делом москалей названо то, что «они свергли святейшего отца патриарха, который учил их иметь милость и любовь к ближнему». Никон вообще пользовался уважением в Малороссии.

собственной карьеры, которые писали в Москву противное тому, что просило малороссийское начальство, и уверяли, что народ более желает воеводского, чем казацкого управления. Первым из таких был Семен Адамович, нежинский протопоп, думавший, как видно, идти по следам Мефодия. По договору, заключенному в это время, воеводы были оставлены только в некоторых городах.<sup>102</sup> Реестровых казаков положено только 30 000, которые должны были содержаться поборами со всяких местностей, кроме монастырских и церковных. Разоренным городам дана льгота на десять лет; гетманы будут избираться вперед на раде и утверждаться царем и не должны сношаться с иностранными государями. Тогда было замечено на раде казаками, что все междоусобия в Малороссии происходят от того, что пахотные мужики самовольно хотят называться казаками и поднимают смуты, а тем самым – прямым казакам чинят бесчестие. Для предотвращения этого, положено устроить особый казачий полк в 1000 человек, которого обязанность будет состоять в том, чтоб замечать, где начинаются бунты, и укрощать их в начале. Этот полк назван компанейским. Таким образом, важнейший социальный вопрос, волновавший Малороссию с самого начала восстания против Польши, московское правительство решало теперь в видах возвышения исключительного привилегированного сословия, в ущерб стремлению народа к уравниванию своих прав.

Новый гетман левобережной Украины Многогришный не отличался дарованием, не был любим в народе, притом был предан пьянству и в пьяном виде делал всякие бесчинства. Его родной брат, Василий, названный черниговским полковником, был также человек буйный, необузданный, известный тем, что загнал свою жену в гроб побоями, за что носил на себе церковное запрещение. Власть гетмана Демьяна не простиралась на все края Украины, долженствовавшей состоять под его начальством. Полки: лубенский, гадяцкий, прилуцкий упорно стояли за Дорошенку; переяславльский полк также был с ними заодно, но потом – полковник Дмитрашка Райча, молдаванский выходец, пристал со своим полком к Многогришному. Дорошенко силился во что бы то ни стало удержать всю Украину под своею властью, писал беспрестанно универсалы, убеждал малороссию прекратить всякие ссоры и стать заодно для погибающего отечества. Между тем он продолжал относиться дружелюбно к Москве, освободил, по царской просьбе, великорусских пленников, беспрестанно сносился то с Москвою посредством посланцев, то с киевским воеводою. Постоянно была у него одна и та же речь, хотя и в разных видах; смысл ее был таков: пусть московский государь возьмет всю Украину под свою верховную власть, выведет своих воевод и оставит казаков обеих сторон Днепра под начальством одного гетмана; вместе с тем Дорошенко прямо высказывал перед царскими посланцами, что он по необходимости отдастся султану и приведет турецкие силы на поляков. Московское правительство, соблюдая договор с Польшей, уговаривало Дорошенку оставаться в верности Польше; таким образом, оно поддерживало то самое раздвоение Украины, против которого так ополчался Дорошенко. Обстоятельства поставили Дорошенку в трагическое положение: желая, подобно Хмельницкому, своему отечеству целости и самостоятельности, и в то же время сознавая, что нельзя обойтись, не признавши над собою власти какого-нибудь государя, он предпочитал власть московского государя, но поневоле должен был действовать неприязненно против Москвы и считаться ее злейшим врагом. Ему приходилось бороться разом и с Польшею и с Россиею; этого мало: ему предстояла еще борьба и со своими. Запорожье не хотело повиноваться ни Дорошенку, ни Многогрешному; там выбрали иного гетмана Суховиенку, который пригласил татар и вступил во владения Дорошенки. Шесть полков<sup>103</sup> покорились ему. Дорошенко был на краю своего падения и тогда отправил в Турцию своих послов с решительным предложением подданства. Это спасло его на время. В то время как Суховиенку осадил Дорошенку в Каневе, явился турецкий чауш (гонимец) и приказал Суховиенку отступить. Суховиенку не мог не послушаться, так как его главная сила состояла из татар, турецких подданных. Суховиенку отказался от гетманства; но вслед

<sup>102</sup> В Киеве, Переяславле, Нежине, Чернигове и Остре.

<sup>103</sup> Уманский, белоцерковский, корсунский, паволоцкий, брацлавский и могилевский.

за тем уманский полковник Ханенко провозгласил себя гетманом. С ним предстояла борьба. Дорошенко, подступивши под Умань, сначала постановил с Ханенком договор, чтобы обоим соперникам ехать в Чигирин: пусть там рада решит между ними спор и признает одного из них гетманом; но Ханенко, вместо того, чтобы ехать на раду, пригласил Крымскую Орду и пошел войною на Дорошенка. У обоих соперников войско состояло, главным образом, из татар. У Дорошенка была орда белгородская, находившаяся под властью силистрийского паши. К Ханенку присоединился Юрий Хмельницкий, который сбросил тогда свое монашеское платье. Под местечком Стебловым Дорошенко одержал победу, прогнал Ханенка на Запорожье, а Юрий Хмельницкий был пойман и отправлен Дорошенко в Турцию, где содержался в Семибашенном замке.

Ханенко не успокоился, отправил посольство к польскому королю и получил от него грамоту на гетманство на условиях Гадяцкого договора. При помощи коронного гетмана Яна Собеского, Ханенко утвердился в Ладыжине. Поляки заняли города Немиров, Брацлав, Могилев, Рашков, Бар и другие и отдали под управление Ханенку. Таким образом, в Малороссии явилось разом три гетмана: двое на правой, один на левой стороне Днепра.

В церкви также было раздвоение. Мефодий, взятый в плен Дорошенко, убежал в Киев; но тамошний воевода препроводил его в Москву. Дорошенко прислал в Москву собственноручное письмо Мефодия, доказывающее его несомненное участие в замыслах Брюховецкого. Мефодия заточили в Новоспасский монастырь, где он скоро умер. Вместо него, Москва назначила другого блюстителя митрополичьего престола, черниговского архиепископа Лазаря Барановича. Между тем на правом берегу Днепра проживал, освободившийся из мариенбургского заключения, митрополит Иосиф Тукальский, посвященный и признаваемый константинопольским патриархом; в Москве не доверяли ему, как доброприятелю Дорошенка и стороннику целостности и независимости Малороссии. Митрополит Иосиф, живя в Чигирине, близ Дорошенка, исходатайствовал у константинопольского патриарха наложение проклятия на Демьяна Многогришного, за его измену Дорошенку. Это сильно тревожило Многогришного, особенно когда он, поскользнувшись, упал и расшибся. Многогришный считал это для себя знаком Божьего наказания и убедительно просил царя исходатайствовать ему разрешение от патриарха. Царь отправил к патриарху Мефодию просьбу о Многогришном. Патриарх был в затруднении: ему хотелось исполнить просьбу царя, но он боялся турецкого правительства, которое покровительствовало Дорошенку и Иосифу; патриарх наконец дал разрешение, но с тем, чтобы оно было тайное.

Скоро, однако, после того, обстоятельства поставили Многогришного в недружелюбные отношения с Москвою, Воеводское управление было до крайности несносно для малороссиян. Посполитые по-прежнему порывались казаковать; компанейцы, усмиряя их, причиняли им всякого рода обиды: вспышки народного негодования начали проявляться. Многогришный, подобно своему предшественнику, ожидал всеобщего бунта, который был тем возможнее, что Дорошенко то и дело, что рассылал своих агентов увещевать левобережных малороссиян – действовать заодно с ним при турецкой помощи, для возвращения свободы и целостности своему отечеству. Некоторые полки открыто стояли за Дорошенка. Малороссиян раздражало, кроме всего этого, и то, что, во время переговоров, бывших между Нащокиным и комиссарами о подтверждении Андрусовского договора, малороссийских посланцев не допустили до участия в этих переговорах. Ожидаемая отдача Польше Киева со всею его святынею оскорбляла народное чувство. Многогришный, в своих письмах к Артамону Сергеевичу Матвееву, убеждал московское правительство избавить Малороссию от воеводского управления и суда; об этом же просил и Лазарь Баранович. Но в Москву приходили письма и нежинского протопопа, Семена Адамовича, который то и дело, что оговаривал Барановича и Многогришного, хотя в то же время прикидывался другом последнего; в своих письмах, посылаемых в Москву, он уверял, что Малороссия только и держится присутствием воевод и ратных людей, и немедленно взбунтуется, как только их выведут. Московское правительство, настраиваемое такими доносами, не выводило воевод, и

над самим гетманом приказывало наблюдать; в гетманской столице Батурине находился стрелецкий голова Григорий Неелов, сообщавший в Москву о поступках гетмана. Напиваясь пьян, Многогришный отпускал оскорбительные замечания и похвалки над Москвою. Дорошенко вступил с ним в сношения и убеждал его действовать заодно с ним. Неизвестно, до какой степени Многогришный решился быть союзником Дорошенка и начать неприязненные действия против Москвы, но Многогришный высказал сам великорусскому гонцу, Танееву, намерение ни за что не отдавать Киева полякам и, вместе с Дорошенком, воевать Польшу.<sup>104</sup>

Прежде чем московское правительство решило, как поступать с доносами на Многогришного, против последнего составилась заговор; руководителем его был обозный Петр Забела. Он склонил на свою сторону писаря Мокриевича, судей: Домонтовича, Самойловича и переяславского полковника Дмитрашка Райча. 13 марта, в ночь, заговорщики схватили Многогришного и отправили в Москву с писарем Мокриевичем. В Москве Матвеев подверг Многогришного допросу и пытке. Демьян отвергал обвинения в измене, но сознался, что в пьяном виде говорил «неистовые речи». Старшины от имени всего малороссийского народа просили казнить смертью бывшего гетмана и его брата, Василия. 28 мая 1672 года осужденных вывели на казнь в Москве; но царь выслал гонца с объявлением, что он, «по упрощению своих детей, заменяет смертную казнь ссылкой в Сибирь». Демьян сослан был в Тобольск с женою Анастасией, детьми, братом Василием и племянником. Сослали в Сибирь и друзей его: нежинского полковника Гвинтовку и есаула Грибовича. Последний убежал из Сибири, а остальные сосланные, по этой причине, содержались несколько времени в оковах, отправлены в Селенгинск и поверстаны на службу. Вслед за ними был схвачен и отправлен в Сибирь, по доносу, запорожский атаман Сирко, но вскоре признан невинным и возвращен.

17 июня, того же года, недалеко от Конотопа, в Казачьей Дуброве, по распоряжению князя Ромодановского, в присутствии архиепископа Лазаря, избран был на раде новый гетман, бывший генеральный судья Иван Самойлович. Избрание это совершилось, главным образом, по желанию и козням войсковой старшины. Новоизбранный вождь был сын священника, прежде жившего на правом берегу Днепра, а потом перешедшего на левую, в местечко Старый Колядин. Иван Самойлович был человек ученый, но малоспособный, низкопоклонный перед сильными, гордый и надменный с подчиненными и притом корыстолюбивый. Поприще свое он начал в звании сотенного писаря; при Брюховецком подделался к генеральному писарю Гречаному, сделан сотником, а потом в Чернигове наказным полковником. Он не пристал к измене Брюховецкого, сблизился с Многогришным, вошел к нему в доверенность и получил звание генерального судьи, а потом, вместе с другими, погубил Многогришного, заслужил расположение старшин чрезвычайною услужливостью и ласковым обращением: они выбрали его в надежде иметь в нем покорное себе орудие.

Переворот на левой стороне Днепра происходил в то время, когда на правой Дорошенко прибегнул к отчаянному и решительному средству. 300000 турецкого войска двинулось к нему на помощь; сам падишах Магомет IV предводительствовал этими силами. При урочище Батогге разбит был Ханенко и предводитель польского войска, Лужецкий. Турки и татары бросились на Каменец, где в то время был незначительный польский гарнизон. Осажденные вступили в переговоры и сдали город, с условием выпустить из города гарнизон и жителей, по их желанию, а остальным жителям, которые захотят остаться, предоставить безопасность жизни их, достояние и несколько церквей для свободного богослужения. Турки приказали обратить в мечети церкви и в том числе собор, оставивши для христиан, православных, католиков и армян по одной церкви. 19 сентября Магомет IV с торжеством въехал в город прямо к главной мечети, бывшей соборною церковью; и, как рассказывают турки, в знак победы ислама над христианством, клали образа святых на

---

<sup>104</sup> По донесению Танеева, Многогришный говорил ему, между прочим, так: «Государь нас не саблею взял; мы ему добровольно поддались ради единой веры. Если Киев и другие малороссийские города ему не надобны и он их отдает королю, то мы сыщем другого государя».



грязных местах улиц, когда проезжал султан. Жителей пощадили; однако взяли в гаремы падишаха и его пашей красивейших девиц. Поляки были до крайности поражены этим событием, и слабый польский король Михаил поспешил просить у турецкого императора мира. Мир был заключен под Бучачем в Галиции. Поляки уступали туркам Подол и Украину и, кроме того, обязались платить ежегодно 22000 червонцев.

Жестоко промахнулся Дорошенко. Турки не думали восстанавливать единство в Украине, а между тем Дорошенко, сделавшись турецким подданным, возбуждал против себя и свой народ и христианских соседей. Мир Польши с Турцией не мог быть продолжителен; заодно с Польшею готовилась действовать против нее Москва: Дорошенко, союзник турок, должен был первый принять на себя удары врагов ислама. Между тем силы его умахались; народ, как и прежде переходивший с правой стороны Днепра на левую, теперь бежал туда большими толпами; значительная часть перебежчиков двигалась на восток, в привольные степи южных пределов Московского государства (нынешних: Воронежской, Курской и Екатеринославской губерний). Правая сторона Днепра все более и более безлюдела. Дорошенку и Ханенку приходилось властвовать над бедными остатками каждый день уменьшавшегося народонаселения, бороться чужими силами за опустелую родную землю. Снова обращался Дорошенко к Москве, опять уверял в своей преданности государю, просил его принять в подданство, но все-таки не иначе, как на тех же условиях, какие предлагал прежде: чтоб Украина была едина и свободна. «У меня детей нет, – говорил он; – я о себе не хлопочу, но дело идет о всех людях наших». Московское правительство ласкало Дорошенка обещаниями. После того, как поляки, сами уступивши Турции Украину, отказались от господства над этою землею, удобнее было соглашаться с Дорошенком насчет единства обеих сторон Днепра. Но Самойлович боялся, чтоб его не лишили гетманства, передавши Дорошенку, а потому старался вооружить Москву против Дорошенка и советовал не доверять ему. Вместо примирения с Дорошенком, послано было против него казацкое и московское войско под начальством Ромодановского. Это войско не сделало ничего важного, но Ханенко, а с ним и несколько полковников, прислали просить милости царского величества. 17 марта, 1674 года, Ханенко и несколько полковников<sup>105</sup> правого берега Днепра явились на раду в Переяславль. Ханенко положил гетманскую булаву, и бывшие с ним правобережные полковники избрали гетманом Самойловича.

Значительная часть южной Руси правого берега Днепра переходила снова под власть русского государства. Оставалось только покориться самому Дорошенку. Действительно, чигиринский гетман отправил к Ромодановскому генерального писаря Мазепу и объявлял, как он делал это много раз прежде, что желает быть в подданстве великого государя. Но Дорошенко ни за что не хотел, чтобы ненавистный и презираемый им поповский сын, Самойлович, был гетманом над обеими сторонами Днепра, тем более, что сам Дорошенко боялся за собственную жизнь, и ожидал, что если он сдастся, то Самойлович казнит его, как Брюховецкий казнил Сомка. Притом оставшиеся ему верными старшины и полковники боялись того же и предпочли еще раз попытаться удержать независимость при турецкой помощи. Дорошенко колебался и, уверившись, что враг его Самойлович крепок и пользуется царскою милостью, еще раз пригласил на помощь турок и татар. Это значило, как говорится, поставить на карту последнее достояние. В августе 1674 года турецкое и татарское полчища опустошительно прошли по Украине. Город Ладыжин был взят приступом. Уманцы, принявши сначала турецкий гарнизон, перерезали его, и за это турки взорвали город и истребили всех жителей. Кровь текла реками, по известию современников. С другой стороны, Самойлович и Ромодановский с царскими войсками нанесли опустошение Украине, идучи к Чигирину. Крымцы отбили их от гетманской столицы; Ромодановский и Самойлович отступили, сожгли Черкасы и ушли за Днепр. Турки удалились. Тогда Дорошенко совершенно уже потерял к себе расположение народа. Остатки правобережного населения толпами стремились на левую сторону Днепра. Черкасы, Лысянка, Мошны,

---

<sup>105</sup> Канаевский, корсунский, белоцерковский, уманский, тарговицкий, брацлавский и паволоцкий.

Богуслав, Корсунь совершенно опустели. Пример одних увлекал других; переселенцы частью оставались в землях левобережных полков; но несравненно большее число их удалялось на слободы, далее к востоку.

На турок надежды уже не было: два раза приходили они на помощь Дорошенку и не принесли никакой пользы, а только разорили край. В следующем, 1675 году, и русские и поляки собирались совместными силами наказать Дорошенка, но не сошлись между собою. Все еще думая удержать за собою казаков, польский король, вместо передавшегося России Ханенка, назначил гетманом бывшего подольского полковника Гоголя. С малою горстью казаков этот предводитель держался на Полесье. Гетман Самойлович отклонял московское правительство от посылки военных сил вместе с польскими в Украину, представляя, что, как только казаки будут вместе с поляками, – тотчас задерутся между собою.

Дорошенко, готовый отдаться Москве, попытался сделать это так, чтобы миновать Самойловича; он пригласил на раду кошевого Сирка с запорожцами. Сюда же прибыли и донцы под начальством Фрола Минаева. Дорошенко, в присутствии духовенства, присягнул на Евангелии на вечное подданство царю, просил запорожцев и донцов ходатайствовать, чтоб царь оставил его со всем «товариществом» в своей милости и оборонял своими войсками от татар, турок и ляхов, чтобы правая сторона Днепра, находясь под рукою царскою, опять была населена людьми. Сирко дал знать об этом в Москву; но Самойлович и теперь боялся, чтобы, таким образом, не составила сильная партия и не лишила его гетманства в пользу Дорошенка. При помощи Ромодановского, он успешно действовал в Москве, оговаривал Дорошенка и Сирка и представлял, что такой поступок – нарушение его прав как гетмана. Царь приказал объявить выговор Сирку за то, что устраивает такие дела мимо гетмана Самойловича, потому что ему, гетману, а не кому-нибудь иному поручено уладить с Дорошенком. В январе 1676 года, в последние дни жизни Алексея Михайловича, прибыл в Москву тесть Дорошенка, Павел Яненко-Хмельницкий, и привез турецкие «санжаки»: бунчук и два знамени (означавшие прежнее подданство Дорошенка Турции, от которого он теперь совершенно отрекался); чрез него Дорошенко изъявлял покорность московскому царю и просил только дозволить ему, всем его сродникам и всему народу оставаться на правой стороне Днепра и не переводить народа на левую сторону, так как разнеслась весть, будто правительство хочет сжечь все города и выселить с правой стороны Днепра весь народ. В Москве Дорошенко похвалили за его готовность покориться царю, но требовали от него такого дела, от которого он хотел всячески увернуться – произнесения присяги перед Самойловичем.

Царь Алексей Михайлович умер; прошел еще год. Самойлович старался всеми силами очернить перед московским правительством Дорошенка и Сирка. Он чувствовал, что в Малороссии не любили его за высокомерие и алчность, он боялся, что полковники составят против него заговор. Самойлович домогался всеми силами, чтобы Дорошенко был в немилости у Москвы и не мог бы стать ему на дороге.

В 1677 году Самойлович писал в Москву, что, по призыву Дорошенка, снова идут турки на Киев. В ответ на это письмо ему приказано было идти вместе с Ромодановским войною на Дорошенка. После небольшой стычки под Чигирином, Дорошенко вышел с духовенством, старшиною и народом из Чигирина, и в трех верстах от города, на реке Янчарке сложил булаву, знамя и бунчук и принес присягу московскому царю. Его сначала поместили в Соснице.

В это время в Малороссии открылся заговор против Самойловича. Руководителями его были стародубский полковник Рославец и известный уже нам своими доносами протопоп Адамович. Рославец склонил некоторых смещенных Самойловичем полковников<sup>106</sup> к мысли низложить Самойловича и признать гетманом Дорошенка. Тогда Дорошенка потребовали в Москву будто бы для того, что царь хочет держать его при себе для совета о важных делах. Самойлович был очень этим недоволен, потому что боялся, чтобы Дорошенко не вошел в

---

<sup>106</sup> Переяславского Дмитрашку Райча, прилуцкого Горленка и генерального писаря Карпа Мокриевича.

Москве в милость и не повредил бы ему; несмотря на свои старания, Самойлович никак не мог помешать вызову своего соперника. Рославец и Адамович были присуждены войсковым судом к смертной казни, Мокриевич к изгнанию, а прочим сделано было только внушение, чтобы они присягнули в верности гетману. Царь Федор помиловал осужденных на смерть. Адамович постригся, но Самойлович все-таки настоял, чтобы Рославец с Адамовичем были сосланы в Сибирь. Дорошенко, как не участвовавший в заговоре, не подвергался за него гонению и был принят в Москве очень милостиво. Но ему было слишком тяжело туда переселяться: по его словам, он ехал в Москву, как на смертную казнь. Он уже не вернулся в Малороссию. Московское правительство решило держать его в Великороссии и потребовало присылки из Малороссии его жены и дочери. Жена Дорошенка, дочь Яненка-Хмельницкого, была женщина развратная и склонная к пьянству. Муж, вместе с тестем, засадил было ее в монастырь, но потом примирился с нею, и она обещала ему никогда не брать более в рот хмельного, но, по отъезде мужа в Москву, опять принялась за прежнюю безобразную жизнь, и когда ей объявили, что она должна ехать к мужу, то сказала: «Если меня пошлют насильно в Москву, то Петру не быть живу». Дорошенко не стал домогаться ее призыва и кажется был даже рад, что от нее избавился. Оставаясь в Великороссии, Дорошенко был назначен воеводою и получил в вотчину тысячу дворов в селе Ярополче, Волоколамского уезда. С тех пор он исчез для истории.<sup>107</sup>

Турки сильно досадовали, узнавши, что Дорошенко, считаемый турецким подданным, отдался Москве. С целью удержать власть над Украиною, султан велел освободить из заточения Юрия Хмельницкого, провозгласил его гетманом и князем малороссийской Украины и отправил с турецким войском добывать отцовское наследие.

В Чигирине, после удаления Дорошенка, московским воеводою поставлен был немец Трауернихт. В августе 1677 года турки и татары осадили Чигирин, но на помощь осажденным подоспели Ромодановский и Самойлович и прогнали турок. На следующий 1678 год, в июле, снова явилось турецкое войско с самим визирем и Юрием Хмельницким под Чигирином, где уже был другой московский воевода – Иван Ржевский. На этот раз турки и татары повели упорную осаду. Ржевский был убит на городской стене неприятельскою гранатою. Турки взорвали подкопами нижний городок, находившийся на берегу Тясмина: осажденные бросились на мост; но мост был зажжен турками; многие потонули. Турки стали приступать к верхнему городу, расположенному на высокой горе, над нижним. Русские отбивались отчаянно; наконец, по приказанию Ромодановского, стоявшего неподалеку с войском, зажгли верхний город и ушли к Ромодановскому, безуспешно преследуемые неприятелем. Малороссияне говорили, будто Ромодановский нарочно не подоспел впору на выручку Чигирина, потому что сын его был в плену у турок, будто ему дали знать турки, что сына его освободят, если он допустит турок взять Чигирин, в противном случае пошлют ему, вместо сына, кожу его, набитую сеном. Как бы то ни было, Ромодановский не вступил в битву с турками и ушел на левый берег Днепра.<sup>108</sup> Юрий Хмельницкий захватил и подчинил своей власти Жаботин, Черкасы, Корсунь, Канев и другие городки, в то время уже очень малолюдные.<sup>109</sup> Юрий потом утвердил свое местопребывание в Немирове и принял небывалый титул князя сарматского. Юрий подписывался Гедеон-Георгий-Венжик Хмельницкий, князь сарматский и гетман запорожский. Силу его составляли турки и татары. В начале 1679 года он покусился было напасть на левый берег Украины, но ему помешали большие снега; весною он повторил нападение, но безуспешно; Самойлович, вслед за ним, перешел на левый берег и отобрал городки, недавно покоренные Юрием. Тогда Самойлович приказывал умышленно сжигать все города и села на правой стороне Днепра и заставлял

<sup>107</sup> Он умер в преклонной старости в своем имени, и верный данному слову, не вмешивался более в малороссийские дела.

<sup>108</sup> И в Москве ставили Ромодановскому в вину это бездействие; сдачу Чигирина припомнили ему и тогда, когда он погиб жертвою народной злобы во время стрелецкого бунта в 1682 году.

<sup>109</sup> В Каневе, как рассказывают, жители заперлись в каменной церкви; турки обложили ее соломой и зажгли: все задохлись в дыму.

всех оставшихся там жителей переселяться на левую сторону.

Между тем Россия продолжила перемирие с Польшей еще на 13 лет, уступивши Польше Невель, Себеж, Велиж, и, сверх того, заплатила 200 000 рублей вместо уступки ей Киева. Шли переговоры о совместных военных действиях против турок. Малороссия была в тревоге; ожидали нового нашествия турок с Юрием Хмельницким; носился слух, что нападение будет направлено на Киев; принялись наскоро укреплять Киев на всех пунктах; Самойлович положил основание крепости около Печерского монастыря; но турки не явились.

В то время, когда в Киеве шли горячие работы, а московские ратные силы стягивались к югу, валахский господарь, Иоанн Дука, взялся быть посредником между Турцией и Россией. Самойлович, со своей стороны, настаивал на примирении с Турцией и Крымом, потому что не терпел поляков, и всеми силами старался не допустить русских до союза с ними против неверных. Переговоры тянулись более года. В августе 1680 года отправился в Крым бывший несколько лет в Варшаве резидентом стольник Тяпкин вместе с малороссийским генеральным писарем Раковичем (с ними был учитель Петра Великого, Никита Зотов). Тяпкин упорно не хотел отдавать хану всей правобережной Украины; дело дошло было до того, что хан грозил засадить русских послов в земную яму, и это принудило Тяпкина уступить и согласиться на унижительное перемирие сроком на 20 лет, по которому Россия обязалась вносить хану ежегодный платеж. Киев со своим старым уездом<sup>110</sup> оставался за Россией, но вся правобережная Украина от реки Буга до Днепра должна была оставаться вполне безлюдною. Положено было, с обеих сторон не строить там ни городов, ни сел и не заводить никакого поселения. По заключении этого перемирия, получили свободу русские пленники и в числе их несчастный Василий Борисович Шереметев, томившийся двадцать два года в неволе. В 1681 году договор этот был утвержден в Константинополе. Вопрос о том, кому должно принадлежать Запорожье, оставался нерешенным; хотя русские и выговорили себе Запорожье у крымского хана, но турки не согласились признать окончательно Запорожье вотчиною царя.

О дальнейшей судьбе Юрия Хмельницкого сохранились разноречивые известия, которые, впрочем, сходны в том, что он был вскоре убит.<sup>111</sup> Память этого человека подверглась проклятию в малороссийском народе: об нем составила легенда, будто земля его не принимает и он скитается по земле до скончания века!

С тех пор пало господство казачества на правой стороне Днепра. По смерти Хмельницкого, турецкое правительство назначило гетманом со своей стороны валахского господаря, Иоанна Дуку; Дука, приехавши в свое новое владение, застал там совершенную пустыню и начал призывать поселенцев, обещая им льготы, что нарушало договор, заключенный с Турцией. Дуку поймали поляки и посадили под стражу. В 1683 году Польша, защищавшая Австрию против Турции, вступила с последнею в войну. 12 сентября Ян Собеский разбил турок под Веною и нанес после того еще несколько поражений. Тогда, в видах войны с Турцией, Польша намеревалась было воскресить казачество и назначала своих гетманов одного за другим. Но в Украине уже не доставало для казачества почвы; оно, видимо, отживало свою историю. Попытки восстановить его на правой стороне прошли бесследно.

Воюя с турками, поляки сильно добивались втянуть в эту войну Россию, но Россия долго не поддавалась их советам, благодаря настойчивости Самойловича, который неустанно представлял, что полякам ни в чем нельзя верить, что они искони вероломные враги русского народа, что гораздо полезнее быть в дружбе с турками. Несмотря, однако, на все старания,

---

<sup>110</sup> Васильков, Триполье, Стайки с селами, и выше Киева, Дедовщина и Радомысль.

<sup>111</sup> Малороссийский летописец, Величко, писавший в начале XVIII века, сообщает, вероятно, по доходившим до него слухам, что Юрий Хмельницкий содрал кожу с живой жидовки; муж ее пожаловался турецкому паше, находившемуся в Каменец-Подольске; последний, снесшись с Константинополем, потребовал Юрия к себе на суд и, признавши виновным, приговорил к смерти: Хмельницкого, по турецкому обычаю, удавили снурком.

Самойлович, живший вдалеке от Москвы, не мог следить за тамошними делами. Могучий в то время боярин, друг Софьи, Василий Васильевич Голицын, поддался убеждениям польских послов, ходатайству папы и Австрии, и 21 апреля 1686 года был заключен в Москве польскими послами Гримултовским и князем Огинским вечный мир между Россией и Польшей. Киев, с Васильковым, Трипольем и Стайками, был уступлен России навеки, а Россия обязалась заплатить за это 146000 рублей. Обе державы обязались вместе воевать против турок и татар. Важным для будущих времен условием этого мира было то, что Польша обязалась предоставить полную свободу совести православным.

Самойлович был до крайности недоволен этим миром, но еще более раздражился, когда ему приказали готовиться в поход против татар. Он продолжал посылать в Москву свои представления против союза с Польшею и войны с турками, пока наконец получил выговор за свое «противенство». Гетмана многие не любили в Малороссии, а он, между тем, своими смелыми суждениями подавал повод врагам к обвинению в недоброжелательстве к Москве: «Купила себе Москва лиха за свои гроши, ляхам данные. Жалели малой дачи татарам давать, будут большую казну давать, какую похотят татары», – так говорил он в кругу своих приближенных. Ему приходилось выступать в поле, а он называл предпринимаемую войну «чертовскою, гнусною», величал Москву глупою: «Хочет дурна Москва покорить государство крымское, а сама себя оборонить не может». Враги Самойловича с жадностью ловили и подмечали такие выражения.

Правительство московское затевало большое дело. Мысль покорить Крым блеснула было при Грозном и окончилась маловажными походами, блеснула при Михаиле Федоровиче и была оставлена по бедности средств. Теперь предприняли идти с большим войском великорусским и малорусским через степь и уничтожить Крымское царство.

Осенью 1686 году издан был к служилым людям царский указ, призывающий их к важному начинанию. «Злочестивые, богоненавистные басурманы, – было сказано в указе, – ни из какой другой веры не брали столько невольников, как из украинских городов нашего царствия и из Малороссии, распродавая их из Крыма, словно скот, повсюду в вечную басурманскую неволю. Наше государство донныне терпит от всех иных стран посмеяние и укорение за то, что мы каждый год давали басурманам казну, чего никакого государство не творит, а они, басурманы, над нашими посланниками, которые возили им деньги, соболей и мягкую рухлядь, творили насилие; иные наши посланники и гонцы от многого задержания и мучения в Крыму и помирали». Все это была всем тогда известная правда. Ближайшею причиною разрыва договора, постановленного с Крымом при царе Федоре Алексеевиче, приводили то обстоятельство, что после этого договора татары делали набеги на русские области, а в Крыму задержали и оскорбляли отправленного туда посланника Тараканова.

Весною 1687 года сто тысяч великорусского войска двинулось в южные степи; предводительствовал им князь Василий Васильевич Голицын, друг царевны Софьи, носивший чин дворового воеводы большого полка и большие печати и государственных великих дел посольских сберегателя; к нему присоединился на Самаре гетман Самойлович со всеми своими полками; казаков было до пятидесяти тысяч. 14 июня перешло войско через Конку, прошло Великий луг и, дошедши до речки Карачакрана, встретилось с неожиданным препятствием. Вся степь была выжжена; травы не было; продовольствия для лошадей не везли с собою; не было дров; русские лошади стали падать; люди страдали от недостатка пищи и безводья: слышно было, что впереди до самого полуострова все таким образом выжжено. Идти далее оказалось невозможным. Военный совет предводителей решил отправить берегом вниз по Днепру отряд тысяч в двадцать: к ним Самойлович присоединил три казацких полка под начальством своего сына. Этот отряд должен был прикрывать отступление остальной армии, а если будет можно, то сделать нападение на турецкие крепости, построенные на Днепре. Затем – все остальное войско двинулось назад.

Тогда сильное подозрение у великороссиян пало на гетмана и вообще на казаков: не по их ли предостережению и наущению татары сожгли степи, чтобы помешать успехам русского войска? Один из служивших в московских войсках иностранцев (Гордон) уверяет, что

подозрение имело на своей стороне вероятность. Казаки – говорит он – сами вооруженною рукою освободились от польского ига и просили у москвитян только помощи: они называли себя подданными, а не холопами царскими. Мир с поляками, уступившими Москве свои права над казаками, страшил их; они опасались, чтобы Москва не стала обращаться с ними, как с природными подданными, и не ограничила их привилегий и вольности. Гетман и другие благоразумные люди предвидели, что выйдет для них из того, если Москве удастся покорить Крым. Татары считали себя также вольным народом; падишах имел над их ханом слабую власть и относился к нему более с просьбою, чем с повелениями. Естественный инстинкт сближал казаков с татарами, и благоразумие побуждало тех и других понимать, что порабощение одного из двух народов будет пагубным для другого.

Как бы ни было, только враги Самойловича воспользовались неудачею похода; они поняли, что Голицыну будет приятно свернуть на гетмана стыд неудавшегося предприятия. Возвращаясь назад, Самойлович, как видно, не сдерживал своего языка и отпускал едкие замечания насчет тогдашних дел. «Не сказывал ли я, – говорил он, – что Москва ничего Крыму не сделает. Се ныне так и есть; и надобно будет вперед гораздо им от крымцев отдыматься».

Войско, возвратившись из похода, стало станом над рекою Коломаком. Здесь старшина, составивши заговор, написала донос на своего гетмана.

В этом доносе передавались разные выражения недовольства, произнесенные гетманом против московского правительства по поводу примирения с Польшею; указывалось на поступки, вредные для успехов в войне с татарами. Он дозволял возить в Крым всякие запасы и гонять скот на продажу. Здесь, между прочим, замечалось, что он не посылал вперед языков и караулов для сведения о состоянии поля, видя около таборов пылающие поля, не посылал гасить их. Дошедши до Конки, не проведал, как далеко выгорела степь, и двинулся вперед на сожженное поле; его нежелание к ведению этой войны и нерадение давали повод заключить, что гетман был причиною и повелителем в деле сожжения полей. Сверх того, в доносе излагались жалобы на дурное управление гетмана: он все один делал, никого не призывая в совет; без суда и следствия отнимал должности, унижал старинных казаков и возвышал мелких людей, грубо обращался со старшиною, а больше всего был невыносим своим корыстолюбием: за полковничьи должности брал взятки, и допускал делать людям всякое утеснение: что у кого полюбится, то у того и берет, а чего он сам не возьмет – то дети его возьмут. Наконец, просили от имени всего войска запорожского сменить его с гетманства.

Этот донос был подан Голицыну 7 июля. Могучий боярин не любил уже прежде Самойловича: Голицын был в ссоре с Ромодановским, а Самойлович находился в дружелюбных отношениях с последним. Донос был отправлен в Москву, и в Москве поступили по нем так, как хотел Голицын.

22 июля гонец из Москвы привез царскую грамоту. Голицыну поручалось объявить старшине, что если Самойлович не угоден казакам, то они могут избрать себе другого, а от Самойловича велено отобрать знаки гетманского достоинства и самого препроводить в Великороссию, поступая так, как Господь Бог вразумит и наставит боярина.

Голицын знал, что казаки не терпели Самойловича, и боялся, чтоб они, как узнают, что гетман сменяется, не начали своевольствовать и расправляться с теми, которые возбудили против себя их злобу. Он призвал к себе своих московских полковников, приказал им объявить старшине о содержании царского указа и самим распорядиться, чтоб Самойлович мог быть схвачен без всякого шума; для этого приказано было вечером запереть обоз; шатер гетмана и его пожитки находились внутри обоза: велено было незаметно для гетмана окружить его со всех сторон возами. Как ни тихо все это делалось, но некоторые благоприяты гетмана смекнули, что затевается недоброе, и известили Самойловича. Самойлович был уверен, что обвинить его в измене нельзя, и не надеялся, чтобы кто-нибудь решился на это; он подозревал, что если последовала на него жалоба, то за его управление, которое, как он хорошо сознавал, было для многих несносно, но в этом он надеялся

отговориться и оправдаться, тем более, что никак не мог допустить, чтобы московское правительство, зная его верную многолетнюю службу, лишило его гетманства. Запершись в своем шатре, ночью гетман писал оправдание своих поступков и отправил написанное к полковникам. Ему не отвечали. Кругом его ставки на некотором расстоянии был поставлен караул. В полночь генеральный писарь Василий Кочубей явился к Голицыну, известил, что все готово, все сделано тихо, гетман под караулом, и просил приказания, что делать далее. Голицын приказал на рассвете привести к нему гетмана вместе с его сыном, а между тем держать под караулом расположенных к гетману лиц, чтобы не дали в пору знать другому его сыну, которого ждали из похода к днепровским низовьям.

Но на рассвете Самойлович отправился в церковь к заутрене; старшины не решались входить в церковь и нарушить богослужения; они дожидались его у входа в церковь. Как только, отслушавши заутреню, гетман вышел из церкви, бывший полковник переяславский, Дмитрашка Райча, схватил его за руку и сказал: «Иди другой дорогою!» Гетман не показал ни малейшего удивления и сказал: «Я хочу говорить с московскими полковниками». Тут подошли полковники и вели арестованного гетманского сына Якова, который на рассвете хотел прорваться сквозь обоз и был схвачен. С гетманом не стали говорить, посадили его на дрянной воз, а сына его на клячу без седла, и повезли обоих в ставку Голицына.

Голицын и с ним военачальники и полковники московского войска сидели на стульях, на открытом месте. Гетмана с сыном поставили подле приказного шатра; старшина, обвинители, по требованию Голицына, явились перед советом военачальников и в короткой речи повторили сущность тех обвинений, которые изложили в своей челобитной, а в заключение просили оказать правосудие над гетманом. Все сидевшие встали. Голицын сказал: «Не подали ли вы на гетмана жалобу по недружбе, по злобе или по какому-нибудь оскорблению, которое можно удовлетворить иным образом?»

Казаки отвечали: «Велики были оскорбления, нанесенные гетманом всему народу, а многим из нас наипаче; но мы бы не наложили рук на его особу, если б не его измена: об этом нельзя было нам молчать; гетман всеми ненавидим; и так много труда стоило удерживать народ: он бы разорвал его на клочки!» Голицын велел позвать гетмана.

Самойлович пришел, опираясь на палку с серебряным набалдашником; его голова была обвязана мокрым платком: он страдал головными и глазными болями.

Боярин изложил ему коротко, в чем его обвиняли. Самойлович отвергал все взводимое на него и стал оправдываться. Но тут на него накиннулись полковники: Солонина, Дмитрашка Райча, Гамалия. Завязался горячий спор; полковники рассвирепели до того, что готовы были поколотить гетмана, но Голицын не допустил их до этого и велел увести обвиненного.

Голицын объявил, что теперь они могут выбирать нового гетмана, а для этого нужно созвать духовенство и знатнейших казаков со всех полков. Немедленно был отправлен гонец к окольникшему Неплюеву, начальствовавшему над отрядом, посланным в днепровские низовья. Неплюеву приказывали арестовать сына гетманова Григория, его друга переяславского полковника Леонтия Полуботка и других, и препроводить их к Голицыну.

Однако чего боялись, того не избежали. Казаки, услышавши о том, что случилось с гетманом, начали своевольничать. В гадяцком полку убили полковника Киашку и с ним несколько начальных лиц; казаки собирались шайками, уходили и распространяли мятеж по стране. Гетман до крайности был всем ненавистен; вместе с ним ненавидели его сыновей и благоприятелей. Самойлович завел отяготительные монополии на вино, мед, деготь и другие предметы, выдумывал разные нововведения для своего обогащения. Приобретение богатства для себя и для своей родни было у него целью жизни. Он окружал себя компанейцами и сердюками (пехотное войско), устроенными для приведения к послушанию народ, все еще не потерявший своего заветного стремления оказачиться; гетман опирался, сверх того, на московские силы и вел себя как деспот. С самыми старшинами он обращался надменно; никто не смел сесть в его присутствии или накрыть голову; сам происходя из духовного звания, он презрительно обходился со священниками. Понятно, что его падение возбудило не жалость к нему, а ожесточение ко всем тем, кто верно служил ему, кто потакал его

алчности и чванству, кто сам, под его покровительством, позволял себе самоуправство и насилия. Московское войско принуждено было укрощать вспыхнувший бунт. Это побудило Голицына немедленно приступить к избранию нового гетмана.

На другой же день после низложения Самойловича, Голицыну подали статьи, по которым должен быть избран новый гетман. Они были в смысле прежних статей. Казаки на этот раз пытались расширить права отдельного самоуправления Малороссии и просили, чтобы гетману дозволено было сношаться с иноземными державами; это не было принято. Владельцы местностей выговорили себе право судить подданных и заставлять их давать себе положенные приносы, возить сено и дрова. Маестности генеральной старшины, заслуженных знатных особ, а также имения архиепископские, митрополичьи и монастырские, освобождались от всяких войсковых поборов. Таким образом, утверждалось господство нового панства, грозившее устроить порабощение народа. С московской стороны включена статья, показывающая стремление к сближению двух народов: гетману и старшине вменялось в обязанность соединять малороссийский народ с великороссийским как посредством супружеств, так и другими путями, чтобы никто не говорил, что малороссийский народ гетманского регименту (правления), и чтобы единогласно все считали малороссиян с великороссиянами за единый народ.

Старшины, постановляя статьи, дали понять Голицыну, что они выберут в гетманы из своей среды того, на кого он укажет. Боярин назвал Мазепу, который умел ему понравиться.

На другой день, 25 июля, открылась рада. Совершено было молебствие в походной церкви, находившейся в шатре. Вынесли знаки гетманского достоинства и положили на стол, покрытый ковром. Боярин спросил собравшихся казаков: кого желают они выбрать в гетманы? Закричали: «Мазепу!»

Несколько голосов, не знавших, что дело об избрании уже заранее решено сильнейшими людьми, произнесли было имя обозного Борковского, но сторонники Мазепы тотчас заглушили их.

Мазепа был избран и утвержден, а Голицын получил от него десять тысяч рублей в поминок. Бывший гетман с сыном Яковом отправлен в Сибирь. Другой сын Григорий казнен в Севске. Жены Самойловичей оставлены были в Малороссии на скудном содержании, уделенном им по царской милости из богатства их мужей.

Имущество Самойловича было описано: половина взята на государя, половина отдана на войсковую казну.

## **Глава 7** **Стенька Разин**

В жизнеописании царя Алексея Михайловича мы уже показали, что его царствование, особенно в шестидесятых годах XVII века, было чрезвычайно тяжелым временем для России. Кроме тягостей, налагаемых правительством, кроме произвола всякого рода начальствующих и обирающих народ лиц, русские несли на себе следствия обременительной и дурно веденной войны с Польшею. Побег — давнее, обычное средство русских избавляться от общественной тяготы — увеличивались, несмотря на строгие распоряжения к удержанию людей на прежних местах; умножались разбои, несмотря на то, что ловля разбойников стала одной из главнейших забот правительства. Ненависть к боярам, воеводам, приказным людям и богачам, доставлявшим выгоды казне и самим себе, приводила к тому, что жители перестали смотреть на разбойников, как на врагов своей страны, лишь бы только разбойники грабили знатных и богатых, но не трогали бедняков и простых людей: разбойник стал представляться образцом удали, молодечества, даже покровителем и мстителем страждущих и угнетенных. При таком взгляде, оставался уже только один шаг, чтобы разбойник сделался главою народного восстания. Толпы беглецов укрывались на Дону и там усваивали себе понятия о казацком устройстве, при котором не было ни тягла, ни обременительных поборов, ни ненавистных воевод и дьяков, где все считались равными, где



власти были выборные; казацкая вольность представлялась им самым желанным образцом общественного строя. По давнему казацкому обычаю всем давался приют на тихом, вольном Дону. Беглецы стали там называть себя казаками. Природные казаки не мешали им в этом, хотя гордились перед ними и считали себя выше их; «старых» природных казаков признавало в этом звании и правительство, беглецов же именовало не иначе как «воровскими казаками». Сами природные казаки, по отношению к своему состоянию, различались на людей домовитых или богатых и на более бедных или простых. Домовитые расположены были держаться исключительно своего старого казацкого братства, по возможности, ладить с московским правительством, чтобы при его покровительстве сохранять свои вольности, и чуждались бездомных беглецов, которых презрительно называли «голытьбою»; те же, которые были победнее, готовы были ради поживы брататься с этой «голытьбою», или «воровскими казаками». Но для голытьбы было мало средств к жизни на Дону; естественно должно было явиться у нее желание вырваться куда-нибудь для поживы; государство русское было для нее враждебно: там были ее заклятые лиходеи – служилые, приказные и богатые люди; туда рвались воровские казаки не только для грабежа, но и для мщения; простой же русский народ был все-таки для них родным; и вот естественно возникла мысль: как было бы хорошо, если бы на Руси истребить все, что давило простой народ, и устроить казацкую вольницу. Нужно было только человека, который бы соединил около себя всю донскую голытьбу и поднял ее на исполнение заветной думы, засевавшей во многих головах. Такой человек явился.

В 1665 году часть донских казаков с атаманом Разиным участвовала в походе князя Юрия Долгорукого против поляков. Атаман Разин стал просить князя отпустить его домой. Князь Долгорукий отказал наотрез. Атаман, считая, что служит белому царю по своему хотению, а не по долгу, ушел самовольно со своей станицей. Его догнали и, по приказанию князя Долгорукого, казнили. Было у этого казненного атамана два брата: Степан, или Стенька, и Фролка.

Неизвестно, ушел ли тогда Стенька из войска князя Долгорукого или дождался конца похода, но в следующем затем году он задумал не только отомстить за брата, но и задать страха всем боярам и знатным людям Московского государства. Стенька Разин был человек крепкого сложения, необыкновенно предприимчивый и деятельный, человек непреодолимой воли, которая уже одна могла заставить преклоняться перед ним толпу; своенравный и непостоянный, и вместе с тем неуклонный в принятом намерении, то мрачный и суровый, то разгульный до бешенства, то преданный пьянству и кутежу, то способный с нечеловеческим терпением переносить всякие лишения, – то некогда ходивший на богомолье в далекий Соловецкий монастырь, то, впоследствии, пренебрегавший посты и не хотевший знать ни таинств, ни священников. В его речах было что-то обаятельное. Толпа чуяла в нем какую-то небывалую силу, перед которой нельзя было устоять, и называла его колдуном. Жестокий и кровожадный, он забавлялся как чужими, так и своими собственными страданиями. Закон, общество, церковь, – все, что стесняет личные побуждения человека, – стали ему ненавистны. Сострадание, честь, великодушие – были ему незнакомы. Это был выродец неудачного склада общества; мстостью и ненавистью к этому обществу было проникнуто все его существо.

Этот человек, как говорит о нем народная песня, «не хаживал в казацкий круг, не думал думушки со старыми казаками, а стал думать крепкую думушку с голытьбою...» Люди, лишенные крова, зачастую голодные, готовые на всякий бунт и разбой, нашли в нем своего «батюшку». Стенька, собравши около себя удалую ватагу, в апреле 1667 года, посадил ее на четыре струга и поплыл с нею вверх по Дону, туда, где Дон сближается с Волгой и где всегда был сборный пункт воровских казаков.

Ватага Стеньки, состоявшая тогда из двух тысяч человек, имела казацкое устройство: была разделена на сотни и десятки; над сотнею начальствовал сотник, над десятком десятский. Стенька был атаманом; есаулом у него был Ивашка Черноярец. Они стояли на высоком бугре на берегу Волги – где именно, неизвестно. (Выше и ниже Камышина есть

несколько мест, которые называются буграми Стеньки Разина.) Стенька напал на весенний караван с хлебом, идущий в Москву. Тут были казенные суда, патриаршие и струги частных лиц. На одном из них везли ссыльных в Астрахань. Начальника стрелецкого отряда изрубили; приказчика, отправленного при судах, повесили с тремя человеками. Ссыльные были освобождены. Стенька сказал простым рабочим и стрельцам:

«Вам всем воля; идите себе, куда хотите; силою не стану принуждать быть у себя; а кто хочет идти со мною, будет вольный казак. Я пришел бить бояр да богатых господ, а с бедными и простыми готов, как брат, всем поделиться». Все рабочие и простые стрельцы пристали к нему. Стенька завладел судами и всем имуществом, какое было на них, и поплыл вниз уже на тридцати стругах; проплыл под стенами Царицына, с которых стреляли по воровским казакам, но не сделали им никакого вреда: это было приписано ведовству Стеньки.

Под Черным Яром три астраханских струга со стрельцами пристало к ватаге Разина. Отсюда Стенька направился к северным берегам Каспийского моря, достиг устья Яика, оставил свою ватагу не доходя Яицкого городка, а сам с тремя товарищами подошел к городу и попросился пустить их «Богу помолиться». Яицкий стрелецкий голова пустил их, а гости затем, пользуясь оплошностью этого головы, отворили ворота всей своей ватаге. Стрелецкому голове, начальным людям и многим стрельцам отрубили головы, а остальным стрельцам и простым людям сказал Степан:

«Даю всем волю и вас не насилую; хотите – за мною идите в казаки, не хотите – ступайте себе в Астрахань».

Говорил он это для того, чтобы расположить к себе чернь, и в полной уверенности, что все последуют за ним; но когда некоторые вздумали воспользоваться позволением Стеньки и действительно отправились в Астрахань, то Стенька послал за ними погоню с приказом рубить их и бросать в воду.

Стенька пробыл лето в Яике, а в сентябре отправился к устью Волги, разгромил кочевых татар, ограбил какое-то турецкое судно и вернулся в Яик на зиму.

Астраханский воевода, князь Хилков, послал в Яик казаков и просил отпустить астраханских и яицких стрельцов и улусных людей, взятых в полон.

Стенька от имени всего своего казачьего круга отвечал: «Когда придет великого государя милостивая грамота ко мне, тогда мы все свою вину принесем великому государю и стрельцов отпустим, а теперь не пустим никого».

Новый астраханский воевода, сменивший Хилкова, князь Прозоровский попытался в свою очередь подействовать на Разина увещаниями и послал к нему для этой цели двух пятидесятников; но один из них вернулся в Астрахань с известием, что Разин убил его товарища.

В 1668 году Стенька вышел в море, и более года не знали, где он обретается, а между тем к нему отправлялись одна за другой разные ватаги удалцов со своими атаманами.<sup>112</sup>

Казаки Стеньки по всему берегу Каспийского моря от Дербента до Баку сжигали деревни, замучивали жителей, дуванили между собой их имущества. В июле они достигли Гилянского залива. Тут они узнали, что на них готовится персидская военная сила. Стенька пустился на хитрости, вступил в переговоры с персиянами и объявил, будто бежал со своими людьми от московского государя и желает с казаками поступить в подданство персидского шаха. Хитрость удалась: казакам дозволили, взявши от персиян заложников, послать трех своих удалцов в Испагань предлагать подданство шаху; но сами казаки вслед за тем отправились к Фарабату, взяли этот город, разграбили, сожгли до основания, разорили увеселительные шаховы дворцы, выстроенные на берегу моря, перебили много жителей, набрали множество пленных. Стенька на полуострове против Фарабата заложил деревянный

<sup>112</sup> Некто Сережка Кривой пробрался на Волгу со своею шайкою, а оттуда в море, и нагнал Стеньку близ персидского города Раша или Решта. Вслед за тем составлялись и другие шайки. Терские воеводы доносили, что появился какой-то Алешка Протакин с двумя тысячами конных, и запорожец Боба с четырьмястами запорожских казаков.

городок, остался зимовать. Он объявил персиянам, чтобы они приводили к нему христианских невольников для обмена. Отсюда казаки делали по временам набеги на соседние острова.

Между тем посланные Стеньки достигли Испагани и были сначала приняты с честью: шах поручил своему первому министру выслушать их. Но мало-помалу до персидского правительства доходили слухи о казацких разорениях на каспийском побережье; вдобавок, в Испогань приехал московский посол и объяснил, что прибывшие в Испогань казаки – мятежники и разбойники. Персидское правительство стало снаряжать против Стеньки войско, но Стенька, не дожидаясь исхода своей проделки, перебрался уже со своими казаками на восточный берег Каспийского моря. Казаки уселись на Свином острове и делали оттуда набеги на берег. В июле напало на них войско, высланное шахом на семидесяти судах. Начальствовал астаранский Менеды-хан. С ним был сын и красавица дочь. После кровопролитной битвы казаки одолели. Хан бежал с остатками войска. Сын и дочь его достались казакам. Стенька взял персиянку себе в наложницы.

Однако казаки довольно дорого заплатились за эту победу. Они потеряли до пятисот человек; кроме того, много их погибало от болезни, потому что часто они вынуждены были пить соленую воду и, несмотря на награбленные богатства, нередко оставались без хлеба. Казаки по этой причине поворотили домой и недалеко от устья Волги ограбили купеческую бусу (судно), которая везла поминки персидского шаха русскому царю. Казаки захватили в полон хозяйского сына Сехамбета и требовали за него выкуп в пять тысяч рублей. Отец его с этой вестью прибежал в Астрахань.

Астраханский воевода Прозоровский тотчас отправил против казаков на стругах своего товарища, князя Львова, с отрядом вооруженных стрельцов. Утомившись погоней за казаками по морю, Львов отправил к ним посланца сказать, что они могут спокойно идти на Дон, если согласятся возвратить захваченные на Волге пушки и струги, отпустят забранных ими служилых людей, а с ними купеческого сына Сехамбета и других пленников.

Казакам было на руку такое предложение. Число их со дня на день уменьшалось от болезней. Стенька согласился на предложение Львова, но купеческого сына отдавал не иначе, как за выкуп в пять тысяч рублей. Львов привел Стеньку к присяге и поплыл к Астрахани, а за ним плыл туда и Стенька со своею ватагою.

Стенька отдал князю Львову купеческого сына за выкуп, который князь должен был выдать ему из приказной палаты. Сам он, прибывши в город с главными казаками, положил в приказной палате свой бунчук в знак покорности. Казаки отдали пять медных и шестнадцать железных пушек и несколько человек пленных персиян, а суда свои обещались отдать по окончании плавания по Волге.

Воеводы поспорили со Стенькой, домогались отдачи всех пушек и пленных, удержанных казаками, но Стенька поднес воеводам поминки из дорогих персидских тканей, и они не перечили ему больше.

Напрасно родственники и знакомые пленных персиян обратились к астраханским властям с просьбою о возвращении своих земляков, родных и имуществ. Воеводы отказали персиянам под разными благовидными предлогами: сами они подружились со Стенькой, ели, пили, прохлаждались с ним; то они приходили к нему, то он к ним.

Казаки провели под Астраханью десять дней и каждый день ходили по городу, шеголяя перед пестрым астраханским населением шелковыми и бархатными одеждами, жемчугом и драгоценными камнями. Они величали своего атамана «батюшкой» и не только снимали перед ним шапки, но кланялись ему в землю. Расхаживая между народом, Стенька со всеми говорил ласково и приветливо, щедро сыпал золото и серебро, помогал нуждающимся и тем заранее приобрел себе расположение астраханской черни. На берегу Волги между казаками и астраханцами завязалась торговля, очень выгодная для астраханцев.

Однажды атаман кутил со своими товарищами на своем богато украшенном струге.

Возле Стеньки сидела его любовница, пленная персидская княжна. Великолепное платье, вышитое золотом и серебром, жемчуг и драгоценные камни более придавали блеску

ее ослепительной красоте. Поговаривали, что она уже начинала приобретать силу над суровым сердцем атамана.

Стенька тогда сильно выпил и пришел в ярость, как это с ним часто бывало. Вдруг он вскакивает со своего места, быстро подходит к краю струга и говорит:

«Ах ты, Волга-матушка, река великая! Много ты дала мне золота и серебра и всего доброго; как отец и мать славою и честью меня наделила, а я тебя еще ничем не поблагодарил; на ж тебе, возьми!»

Он схватил княжну одной рукой за горло, другой за ноги и бросил в волны.

Этот варварский поступок не был только пьяным порывом буйной головы. Стенька, как видно, завел у себя запорожский обычай – считать сношения казака с женщиною поступком, достойным смерти. Его увлечение красивой персиянкой естественно должно было возбудить негодование и ропот тех, которым Стенька не позволял того, что позволял себе, и, быть может, желая показать, что не в состоянии привязаться к женщине, он пожертвовал красивой персиянкою своему влиянию на товарищей.<sup>113</sup>

Из Астрахани Стенька с товарищами отправился на Дон, 4 сентября, на речных стругах, данных воеводами вместо морских, и на десяти морских, которые Стенька удержал за собою, вопреки обещанию отдать их.

По дороге к Царицыну, к Стеньке опять пристало несколько служилых беглых людей. Жилец Плохово, сопровождавший казаков из Астрахани, советовал Стеньке не принимать их; но Стенька отделался своей обычной фразой, что «никого не насилует», и добавил, что у них, казаков, никогда не водилось, чтобы беглых выдавать.

Под Царицыным к Стеньке пришла толпа донских казаков с разными жалобами на притеснения воеводы Унковского.

Взбешенный Стенька побегал в город к воеводе в приказную избу с угрозами и требовал, чтобы воевода вознаградил обиженных казаков. Унковский заплатил все, чего требовал Стенька.

«Смотри же ты, воевода, – сказал тогда Стенька, – если услышу я, что ты будешь обирать и притеснять казаков, когда они приедут сюда за солью, начнешь отнимать у них лошадей и ружья, да с подвод деньги брать, – я тебя живого не оставлю!» Воевода выслушал это нравоучение молча.

Затем Стеньке донесли, что Унковский, ожидая его прибытия, приказал на кружечном дворе продавать вино вдвое дороже из боязни, чтоб казаки не перепились и не стали буйствовать. Стенька с казаками опять прибежал на воеводский двор. Воевода, чуя беду, заперся в приказной избе. «Выбивайте бревном дверь!» – кричал Стенька. Унковский скрылся было в задней избе, но когда начали и туда ломиться казаки, он выскочил в окно. Стенька всюду искал его, бегал даже в церковь, кричал: «Зарежу!», но не мог отыскать Унковского. Тогда Стенька с досады велел выпустить из тюрьмы колодников, а казаки хвалились, что пустят «красного петуха» и перебьют всех приказных и начальных людей. Однако на этот раз они только поугали.

Из Царицына Стенька пробрался на Дон, основался на острове, устроил городок Кагальник и обнес земляным валом. Сюда стала стекаться к нему гольтыба с Хопра, Волги и Украины; вскоре число его людей дошло до 2700 человек. Стенька щедро наделял всех имуществом, а сам жил, как и все, в земляной избе, показывая этим, что не на одних словах проповедует равенство. Жена Стеньки и брат его Фролка, находившиеся в Черкасске, тайно бежали оттуда в Кагальник.

Московское правительство было недовольно Прозоровским за то, что он выпустил из рук Стеньку Разина; хотя ему прежде и послана была милостивая грамота о казаках, но это делалось для вида: Прозоровский должен был сам догадаться и принять более крепкие меры к предупреждению дальнейшего «воровства». Из Москвы послан был жилец Евдокимов с

---

<sup>113</sup> Что касается обращения Стеньки к Волге, то здесь, по-видимому, он следовал народному поверью – бросить что-нибудь в реку из благодарности, после водного пути, – поверье языческих времен, когда реки считались одушевленными существами.

царскою грамотою к донским казакам, а на самом деле, чтобы узнать, что затевается у казаков Разина. Донской атаман Корнило Яковлев собрал круг и прочел милостивую царскую грамоту. Казаки поблагодарили и решили послать с ответом к великому государю свою станицу. Но на другой же день в Черкасск явился Стенька со своею ватагою и начал кричать, что московские бояре подстрекают царя нарушать казацкие вольности, собрал свой особый круг из преданных себе казаков и велел привести к себе Евдокимова.

«Зачем ты приехал сюда?» – спросил Стенька. Евдокимов отвечал: «Приехал с царскою милостивою грамотою!» «Не с грамотою ты приехал, а лазутчиком за мною подсматривать и про нас узнавать», – закричал Стенька и ударил Евдокимова, а за ним казаки принялись отмеривать ему удары. «В воду, в воду его! посадить в воду!» – кричал Стенька. Избитого Евдокимова бросили в воду, а товарищей его посадили под стражу. Последние были потом тайно освобождены Яковлевым.

После этого смелого поступка Стеньки донские казаки толпами стали переходить к нему. Он громко объявлял, что пора идти на бояр, и созывал молодежь на Волгу.

Зная его щедрость, некоторые обратились к нему с просьбою восстановить храмы, незадолго перед тем сгоревшие в Черкасске. «На что церкви? К чему попы? – сказал им на это Стенька. – Венчать что ли? Да не все ли равно: станьте в паре под деревом, да пропляшите вокруг, вот и повенчались». (Вероятно, Стенька взял это из древней народной песни, где говорится о подобном венчании вокруг ракитова куста.)

В мае Стенька собрался в поход и направился прямо к Царицыну. По дороге к нему пристал известный вор Васька Ус. Четыре года перед тем прославился он тем, что с шайкою беглых крестьян разорял помещиков и вотчинников по воронежским и тульским украинным местам. Стенька сделал его своим есаулом.

В Царицыне уже все было готово к приходу Стеньки. Он заранее расположил к себе жителей, распустив через своих посланцев слух, будто к ним идет царское войско с тем, чтобы погубить их, а он, Стенька, станет оборонять их. Часть войска Стеньки подъехала на судах; другая половина подошла сухим путем и окружила город конницею и пехотою. Сменивший Унковского царицынский воевода Тургенев запер городские ворота и приготовился к защите. Но царицынцы впустили казаков в город. Тургенев заперся в башне с племянником, боярскими людьми, десятью стрельцами и тремя царицынцами. Стенька был принят с почетом некоторыми духовными, царицынцы устроили ему попойку. Покутивши с ними, Стенька принялся добывать башню, где засел воевода. Бывшие с Тургеньевым люди погибли в свалке, а сам Тургенев был взят живьем. Его повели на веревке к Волге, кололи, ругались над ним, а потом бросили в воду.

Тут донесли Стеньке, что сверху плывут московские стрельцы, посланные на защиту низовых городов.

Стенька вышел из города со своими казаками и застиг московский отряд в семи верстах от Царицына. Московские стрельцы, не зная, что делается в Царицыне, спешили к городу на судах; но их приняли в два огня: с города били из пушек, а с берега палили на них казаки. До пятисот человек погибло; триста сдались Стеньке. Начальников утопили, а простых стрельцов Стенька обласкал и посадил на свои суда гребцами.

Стенька провел в Царицыне около месяца и ввел там казацкое устройство: он разделил жителей на десятки и сотни и вместо воеводы назначил городского атамана. Отсюда рассылал он во все стороны своих людей с возмутительными письмами к простому народу, а казаки его пограбили несколько судов на Волге и взяли Камышин.

Весть о неожиданном взятии Царицына произвела в Астрахани сильный переполох. Воеводы наскоро снарядили до сорока судов, снабдили пушками, посадили на них около трех тысяч человек и отправили против Стеньки под начальством князя Семена Ивановича Львова.

Стенька тотчас же узнал, что из Астрахани послана на него военная сила. Он собрал круг и, по приговору круга, оставил в Царицыне по человеку с десятка для охраны города, а сам с остальною силою, состоявшею из восьми или десяти тысяч человек, двинулся к

Астрахани. Часть казаков с самим Стенькою плыла по Волге навстречу Львову; отряд конницы, под начальством Васьки Уса и Еремеева, шел по берегу. Под Черным Яром увидели они суда Львова. В войске последнего находилось несколько посланцев Стеньки. Они нашептывали стрельцам, что Стенька идет за народ и что если они передадутся ему, то учинят добро и себе и всему народу, и так успели настроить простых служилых, что как только подошел Стенька, так они приветствовали его в один голос.

«Здравствуй, наш батюшка, смиритель всех наших лиходеев!» Начальников связали и выдали казакам.

«Теперь, – сказал Стенька служилым, – мстите вашим мучителям, что хуже татар и турок держали вас в неволе: я пришел даровать вам льготы и свободу! Вы мне братья и дети, и будете вы так же богаты, как я, если останетесь мне верны и храбры!»

Стрелецких голов, сотников и дворян, по обычаю, перебили. Львов оставлен в живых.

Стенька стал наводить справки: как примут его в Астрахани. Ему отвечали, что там все свои люди и сдадут город, как только он придет туда.

В Астрахани уже ждали прихода Разина. Воевода Прозоровский и митрополит Иосиф сознавали опасность своего положения. В Астрахани не было недостатка в оружии и запасах, но нельзя было рассчитывать на верность стрельцов и жителей. Еще могла бы спасти их помощь из Москвы, но послать туда гонца с вестью не предвиделось никакой возможности: по Волге шли струги Стеньки; в степи резались между собою калмыки...

Разные предзнаменования еще более усиливали их тревогу: тряслась земля; шли проливные дожди с градом: на небе радужными цветами играли три столпа...

18 июня услышали в Астрахани, что Стенька уже недалеко. Митрополит с духовенством устроил вокруг города крестный ход. Впереди несли икону Божьей Матери; у каждого ворот совершалось молебствие. Воевода с городовым приказчиком обошел все городские стены, осмотрел орудия, расставил стрельцов, пушкарей, затинщиков и воротников. Чтобы прекратить всякое сообщение, все ворота завалили кирпичом. Приготовлены были кучи камней и кипяток.

21 июня под вечер вдруг зазвонили колокола на астраханских башнях. Тревога была не напрасная. Стенька и его казаки с лестницами шли на приступ Астрахани.

Воевода выехал со двора с братом своим. Затрубили в трубы на сигнал к сражению. Воевода со стрелецкими головами, дворянами, детьми боярскими и подьячими направился к Вознесенским воротам, так как казаки показывали вид, что хотят оттуда сделать приступ: но на самом деле Стенька, пользуясь наступавшею темнотою, велел подставлять лестницы в другом месте, где осажденные сами подавали казакам руки и пересаживали через стены. Воевода тогда заметил свою оплошность, как услышал пять выстрелов: то был роковой сигнал на сдачу города.

Чернь и бедняки бросились на детей боярских, дворян и людей боярских. Кто-то ударил воеводу копьём в живот. Он упал с лошади; один старый холоп снес его в соборную церковь и положил на ковер. Брат воеводы был убит наповал. Стрельцы изменили вместе с астраханскими посадскими. Фрол Дура, пятидесятник конных стрельцов, последовал за раненым Прозоровским в церковь и стал в дверях с обнаженным ножом, решившись не иначе пустить казаков в храм, как через свое мертвое тело.

Начали сбегаться в церковь все, кому грозила беда от рабов, подначальных и бедняков. Спешили туда женщины с детьми. Прибежал и митрополит. Он был в большой дружбе с воеводою. С плачем припадал старик к груди раненого, утешал, исповедывал и причастил. Двери храма были заперты железной решеткой. Занималась заря. Казаки с двух сторон входили в город. Толпа их бросилась на соборную паперть. Фрол Дура был изрублен на куски: казаки изломали решетку и ворвались в церковь. Прозоровского вынесли и положили под «раскатом»; затем стали хватать всех бывших в церкви, вязали назад руки и сажали рядом под стенами колокольни в ожидании суда Стеньки.

В восемь часов явился Стенька на суд. Он начал с Прозоровского, приподнял его за руку и вывел на раскат. Все видели, как Стенька сказал что-то воеводе на ухо, а тот

отрицательно покачал головой; вслед за тем Стенька столкнул воеводу с раската головой вниз. Дошла очередь и до связанных, которых было около четырехста пятидесяти человек. Всех приказал перебить Стенька. Чернь исполнила приговор атамана; по его приказанию, тела были свезены в Троицкий монастырь и погребены в одной общей могиле. Тут было и тело Прозоровского.

Вслед за этой расправой Стенька, не терпевший ничего писанного, приказал вытащить из приказной палаты все бумаги и сжечь на площади. «Вот, – говорил он, – я сожгу так все дела наверху у государя!»

Имущество убитых было подувано между казаками и приставшими к ним стрельцами и астраханскими жителями. Ограблены были церкви и торговые дворы: товар также делили.

Астрахань была обращена в казачество. Стенька пробыл в этом городе три недели и почти каждый день бывал пьян. Он обрекал на мучения и смерть всякого, кто имел несчастье не угодить народу. Тех резали, тех топили, иным рубили руки и ноги, пускали ползать и истекать кровью. Жены казачьи и посадские неистовствовали над вдовами дворян<sup>114</sup>, детей боярских и приказных. Тех, кто выказывал сострадание к жертвам, заколачивали до смерти. Астраханцы в подражание Стеньке стали в постные дни есть мясо и молоко; кто не хотел, того принуждали силою.

Перед уходом из Астрахани, Стенька потребовал к себе двух сыновей князя Прозоровского, которые скрывались с матерью в палатах митрополита, и приказал повесить за ноги. Потом – снявши старшего, Стенька велел сбросить со стены, а младшего, восьмилетнего, чуть живого, высечь розгами и возвратит матери.

Оставивши в Астрахани атаманом Ваську Уса, Стенька выступил из Астрахани, с войском в десять тысяч человек, и поплыл вверх по Волге на двухстах судах; по берегу шла конница.

После Царицына первым городом на пути был Саратов, за ним Самара. Стенька взял оба города один за другим, повесил тамошних воевод, перебил дворян и приказных людей. В обоих городах было введено казацкое устройство.

Между тем посланцы Стеньки разошлись по всему Московскому государству до отдаленных берегов Белого моря, пробирались и в самую столицу, распространяли в народе «прелестные» письма Стеньки, в которых он извещал, что идет истреблять бояр, дворян и приказных людей, искоренять всякое чиновничество и власть, установить казачество и учинить так, чтобы всяк всякому был равен. «Я не хочу быть царем, – говорил и писал Стенька, – хочу жить с вами как брат». Он знал, что крепко насолили народу бояре, дворяне и приказные люди, и удачно направлял свои удары; но знал он также, что крепко в народе уважение к царской особе, и решился прикрыться личиной этого уважения. Он распустил слух, будто с ним находится царевич Алексей<sup>115</sup> и низверженный патриарх Никон. Посланцы Стеньки толковали народу, что царевич убежал от суровости отца и злобы бояр, и Стенька идет возводить его на престол, а царевич обещает льготы и волю. Они ополчали православных за гонимого патриарха и в то же время разжигали вражду старообрядцев против новшества, введенных этим патриархом; инородцев возбуждали против русских, язычников и магометан на христиан и обратно, рабов на господ, служилых против начальников... Все партии, все верования, все страсти затрагивал Стенька, лишь бы произвести смуту и беспорядок и свергнуть ненавистный ему порядок; что будет после, куда идти – над этим вряд ли задумывался Стенька... Стенька сносился с крымским ханом и пытался призвать на Русь его орды; он отправил даже, как говорят, посольство к персидскому шаху, но в этом потерпел неудачу.

Из Самары Стенька направился к Симбирску и прибыл туда 5 сентября. Жители тотчас

<sup>114</sup> Некоторых из этих несчастных казаки взяли себе в жены, и Стенька насильно заставлял священников венчать их, а тех священников, которые не слушались, бросали в воду.

<sup>115</sup> Настоящий царевич тогда уже умер. Какой-то черкесский князек, взятый казаками в плен, должен был поневоле играть роль царевича.

впустили его в посад, где находился острог, но взять самый город или кремль было дело нелегкое, так как он был хорошо укреплен; его защищал тогда довольно значительный гарнизон под начальством боярина Ивана Милославского. Около месяца пробыл тут Стенька и не мог взять города, несмотря на то, что к нему ежедневно прибывали новые толпы. Положение осажденных становилось все затруднительнее. Еще немного – и город, вероятно, сдался бы ворами, если бы к нему вовремя не подоспела на выручку помощь: из Казани шел по сухопутью князь Юрий Борятинский с войском. Заслышав о его приближении, Стенька вышел к нему навстречу. Произошла жаркая схватка. Нестройные воровские шайки не могли сладить с войском Борятинского, где были солдаты, обученные по-европейски. Долее других держались донцы. Стенька дрался отчаянно; его хватили по голове саблей и прострелили ногу. Наконец, видя, что держаться доле нельзя, он отступил. Ночь прекратила бойню, продолжавшуюся целый день.

3 октября Борятинский подошел к кремлю и высвободил Милославского из осады. Казаки пошли на приступ, пытались было зажечь кремль, и – опять неудача. Стенька, видя, что не одолеть ему врага, бежал тайно ночью со своими донцами и покинул остальных своих сообщников на произвол судьбы.

Утром оставленные под Симбирском мятежники увидели, что казаки их покинули, и сами бросились к Волге, чтобы захватить оставшиеся суда и убежать на них. Но Борятинский послал на воров ратных людей: припертые к Волге и поражаемые выстрелами, они падали в воду. Более шестисот человек было взято в плен. Их казнили. Весь окрестный берег был покрыт рядом виселиц.

Жители подгородных слобод, приставшие к Стеньке, являлись к воеводам с повинною.

Победа эта была до чрезвычайности важна. Если бы успех был на стороне Стеньки, то мятеж принял бы, вероятно, ужасающие размеры. Уже все пространство между Окою и Волгою на юг до саратовских степей и на запад до Рязани и Воронежа было в огне. Возмутители бродили шайками и поднимали народ; в некоторых местах они сами обращали в пепел селения, а потом возбуждали к мятежу лишенных крова и имущества. Мужики помещичьи и вотчинные, монастырские, дворцовые и тяглые стали умерщвлять своих господ, приказчиков и начальных людей, выказывая при этом замечательную изобретательность в жестокостях, как всегда бывает при народных восстаниях. Имя батюшки Степана Тимофеевича несло все далее и далее: уже в самой Москве начали поговаривать, что Стенька вовсе не вор. На север от Симбирска, по всему протяжению нагорной стороны, поднялись язычники, инородцы, мордва, чуваша, черемисы, сами не зная, кажется, за что бунтуют. В Алатырском уезде собралось мятежное ополчение из пятнадцати тысяч человек. Вслед за тем началось волнение в богатом и большом селе Лыскове и охватило нижегородскую землю. Шайки мятежников овладели монастырем Макария Желтоводского, осаждали Нижний, но были рассеяны.

Восстание разлилось по всей полосе, занимающей нынешние губернии: Симбирскую, Пензенскую и Тамбовскую. Поднялись Темниковский, Кадомский и Тамбовский уезды. Темниковские крестьяне, под предводительством какого-то попа Саввы, грабили господские дома, чинили поругание над женщинами. Вместе с ними ходила старица (монахиня) Алена, переодетая в мужское платье. Ее считали ведьмой; она носила с собой заговорные письма и коренья и посредством их приобретала победу. Шайка эта была рассеяна князем Долгоруким, и старица Алена сожжена в срубе. Города Корсунь, Саранск, оба Ломова: Верхний и Нижний, Пенза попались в руки мятежников; везде убивали воевод и приказных людей, сжигали бумаги, устраивали казачество, провозглашали всем равную свободу. Простой народ большей частью приставал к мятежникам. Но везде торжество их было не долговременное. Отряды ратных людей разбивали нестройные толпы; восставшие поселяне покорялись, обыкновенно уверяли, что пристали к мятежу по неволе, и выдавали зачинщиков и предводителей. Круто распоряжались московские воеводы с более виновными мятежниками: одних вешали, других сажали на кол, некоторых драли крючьями, засекали до смерти на страх прочим... менее виновных воеводы били кнутом, и всех приводили к



присяге, а магометан и язычников к шерти. По свидетельству современника, главное место казней было в Арзамасе – главной стоянке князя Долгорукова.<sup>116</sup>

В то самое время, когда волновалась восточная половина Московского государства, брат Стеньки, Фролка, поплыл вверх по Дону и напал на Коротояк, но был разбит Ромодановским.

Восстание отозвалось и в слободских полках, населенных малороссиянами: в Острогжске, потом в Чугуеве, но было укрощено самими же слобожанами, не приставшими к мятежникам.

На севере за Волгой восстание вспыхнуло в Галицком уезде под начальством воровского казака Ильюшки, но было скоро усмирено.

И в других местах русской земли народ готов был откликнуться на призыв Стеньки. Ожидали только дальнейших успехов предводителя, обещавшего всем русским людям казацкую волю. «Разнесется весть, – говорит современник, – что воры государевых людей побили, и люди этому радуются; а скажут, что ратные государевы люди воров побили, – станут люди унылы и печалются о гибели воров». Рассказывают, что в эту ужасную зиму царские воеводы без жалости сжигали села и деревни, укрощая возмущение, и что вообще погибло тогда до ста тысяч народу.

Чтобы подействовать на возбужденные умы народа религиозным страхом, по царскому повелению, патриарх Иосиф с освященным собором, на первой неделе поста, предал анафеме вора и богоотступника и обругателя святой церкви Стеньку Разина со всеми его единомышленниками.

После симбирского поражения, Стенька убежал на Дон и делал приготовления к новому походу, но атаман Корнило Яковлев настроил против него донцов. Неудача лишила Стеньку прежнего обаяния на Дону. Напрасно старался Стенька варварскими казнями своих противников, попадавших ему в руки, навести страх и заставить себе снова повиноваться; напрасно приступал он к Черкасску и хотел взять его. Он удалился в свой городок Кагальник, не унывал и все еще скликал народ к себе, но донцы весною напали на него и взяли его в плен вместе с его братом, Фролкой. Кагальник был разорен.

Неизвестны подробности взятия Стеньки, но современные иностранцы и малороссийская летопись говорят, что он был взят обманом. Обоих братьев привезли сначала в Черкасск, где Стеньку содержали в церковном притворе на цепи, в надежде, что сила святыни уничтожит его волшебство и ему не удастся бежать. В конце апреля их обоих повезли в Москву. Сам Корнило Яковлев провожал их. Фролка был от природы тихого нрава и затосковал: «Вот, брат, это ты виною нашим бедам!» – говорил он с огорчением.

«Никакой беды нет! – отвечал Стенька. – Нас примут почестно; самые большие господа выйдут навстречу посмотреть на нас!»

4 июня прошла по Москве весть, что казаки везут Стеньку. Народ высыпал за город смотреть на человека, одно имя которого многих приводило в трепет. За несколько верст от Москвы поезд остановился. С Разина сняли его богатое платье и одели в лохмотья.

Из Москвы привезли большую телегу с виселицей. Стеньку поставили на телегу и привязали цепью за шею к перекладине виселицы, а руки и ноги прикрепили цепями к телеге. За телегой должен был бежать Фролка, привязанный цепью за шею к краю телеги.

Так въехал в столицу Московского государства атаман воровских казаков. Он следовал с равнодушным видом и опустил глаза. Одни смотрели на него с ненавистью; другие – с состраданием и сочувствием.

Братьев привезли в земский приказ, и тотчас начался допрос. Стенька молчал.

Его повели к пытке. Первая пытка была кнут – толстая ременная полоса, толщиной в палец и в пять локтей длиной. Ему связали назад руки и поднимали вверх, потом связывали

---

<sup>116</sup> «Страшно было смотреть, – говорит этот современник, – на Арзамас: его предместья казались совершенным адом; стояли виселицы, и на каждой висело по сорока и по пятидесяти трупов, валялись разбросанные головы и дымились свежую кровью; торчали колья, на которых мучились преступники и часто были живы по три дня, испытывая неописанные страдания...»

ремнем ноги; палач садился на ремень и вытягивал тело так, что руки выходили из суставов, а другой палач бил по спине кнутом. Стенька получил таких ударов около сотни, но не испустил ни одного стога. Все, стоявшие тут, дивились.

Его положили на горящие уголья. Стенька молчал. По его избитому, обожженному телу начали водить раскаленным железом; и тут молчал Стенька.

Ему дали отдохнуть и принялись за Фролку. Фролка начал кричать и вопить от боли.

«Экая ты баба! – сказал Стенька. – Вспомни наше прежнее житье; мы проживали со славой, повелевали тысячами людей; надобно же теперь переносить бодро несчастье. Разве это больно? Словно баба иглоу уколола!»

Стеньке стали брить макушку. «Вот как! – сказал он. – Мы слышали, что ученых людей в попы постригают; мы же с тобой, брат, простаки, а нас постригли!»

Ему начали лить на темя по капле холодную воду. Это было такое адское мучение, которого никто не мог вынести. Стенька его вытерпел.

Все тело его представляло безобразную окровавленную, опухшую массу. С досады, что его ничто не понимает, стали Стеньку еще бить палками по ногам. Стенька молчал.

6 июня 1670 года вывели Стеньку на лобное место вместе с братом Фролкою. Собралось множество народа. Прочитали длинный приговор, где излагались все преступления осужденных. Стенька слушал спокойно. Палач взял его под руки. Стенька обратился к церкви, перекрестился, поклонился на все четыре стороны и сказал: «Простите!»

Его положили между двух досок. Палач отрубил ему сперва правую руку по локоть, потом левую ногу по колено. Стенька не показал даже знака, что чувствует боль. Между тем Фролка, в виду мучений брата, которые ожидали его самого, растерялся и закричал: «Я знаю дело и слово государево!»

«Молчи, собака!» – сказал Стенька. Это были последние слова Стеньки. Палач отрубил ему голову. Его туловище рассекли на части и воткнули на копья; воткнули также на кол и голову; внутренности бросили собакам.

Казнь Фролки была отсрочена, потому что он объявил о каком-то кладе, которого, однако, не нашли. Фролку оставили в вечном тюремном заключении.

В Астрахани несколько времени держались приверженцы казненного Стеньки. Сначала атаманом там был Васька Ус. Астраханский митрополит Иосиф уговаривал жителей принести повинную и до того раздражил казаков, что его подвергли пытке огнем и потом 11 мая сбросили с раската. Васька Ус не долго жил после него. Атаманом по смерти Васьки сделался Федька Шелудяк. В Астрахань прибежали с Дону остатки Стенькиной шайки под начальством Алешки Каторжного. Силы мятежников увеличились. Федька попытался еще раз двинуться вверх по Волге к Симбирску, но после двух неудачных приступов был разбит и бежал обратно в Астрахань.

Вслед за тем прибыл к Астрахани с войском посланный от царя боярин Милославский и старался склонить астраханцев к покорности убеждениями, обещая царское милосердие виновным. Федька долго упрямылся; но в Астрахани истощились съестные запасы, сделался голод; он наконец должен был, по требованию астраханцев, согласиться на сдачу, выговоривши от боярина полное и всеобщее прощение. 27 ноября 1670 года вошел боярин в город и поставил в соборной церкви икону Богородицы, называемой «Живоносный Источник в чудесах», на память о совершившемся событии «грядущим родам».

Никто не был казнен, не было никакого сыска. Самые важные преступники, и в числе их Федька Шелудяк, жили на свободе; но за такую милость награбленные богатства переходили в руки боярина и его подначальных, служилых и приказных людей. Милосердие, дарованное боярином Милославским, было дано от имени царя, предоставившего боярину это право: сначала правительство и не действовало вопреки ему; оно позволяло боярину отпускать в разные места покаявшихся мятежников. Некоторых боярин брал себе во двор в услужение. Вдруг, летом 1671 года, приехал в Астрахань князь Яков Одоевский для сыска и расправы. Начались допросы, пытки и казни. Федька Шелудяк, Алешка Грузинов – убийца астраханского митрополита, и другие задорнейшие мятежники были повешены. Остальные

отправлены на службу в верховые города.

Так окончилась кровавая драма, имевшая значение попытки ниспровергнуть правление бояр и приказных людей, со всяким тяглом, с поборами и службами, и заменить старый порядок иным – казацким, вольным, для всех равным, выборным, общенародным. Попытка эта была задушена в пору; дух мятежа не успел еще охватить большей части Московского государства; нестройные толпы поселян и посадских не в состоянии были выдерживать борьбу с войском, уже отчасти знакомым с европейским военным обучением. Известно, что правильно обученное войско, составляющее притом отдельное от народа сословное тело, везде было лучшей опорой властей против народных волнений. Если, при сильном распространении духа восстания, и оно может, наконец, проникнуться тем же духом, то прежде чем дойдет до этого, оно, – имея возможность осилить первые попытки облечь замыслы в дело, – способствует бессилию самих замыслов. Так было и при Стеньке. Быть может, мятеж не был бы так скоро задушен, если бы Стенька явился под Симбирском победителем: и Русь испытала бы тяжелые потрясения, хотя, конечно, все-таки возвратилась бы к старому порядку. Малороссия служит наглядным образчиком того, к чему могло привести стремление распространить на весь народ казацкое устройство, составлявшее идеал восстания Стеньки.

## **Глава 8**

### **Сибирские землеискатели XVII века**

В продолжение царствования двух первых Романовых, русские подчинили себе почти все пространство северо-восточной Азии. С необыкновенно малыми военными силами и с ничтожными затратами от государства, это дело было совершено вольными удалцами, носившими вообще название казаков. По мере движения русских к востоку, правительство строило остроги, которые, смотря по удобству сбора ясака с окрестных жителей и при увеличении русского населения, переименовывались в города, а в городах назначались воеводы. Воеводы из своих городов отправляли охотников казаков «проводывать новые земли» и подчинять их царской власти. Как скоро казакам удавалось открыть такую новую землю, воевода приказывал строить в ней острог и посылал туда служилых людей с боевыми и со съестными запасами, под начальством казачьих пятидесятников. Сибирские туземцы не имели огнестрельного оружия, жили вразбивку, и потому не могли противостоять казакам. Воеводы и подведомственные им начальники острогов имели приказание приглашать к себе туземных князьков, ласкать их, поить вином, которое чрезвычайно нравилось сибирским туземцам, и давать подарки разными безделицами, особенно металлическими вещами, чтобы заохотить их вступать в подданство царю и платить ясак, состоявший в мехах. Для ручательства в своей верности, туземные князья, подчиняясь царю, оставляли русским заложников или аманатов, своих братьев и детей, а иногда и сами оставались заложниками. Тех, которые сопротивлялись, принуждали к покорности силою. Покоряясь по необходимости, сибирские туземцы обыкновенно при первой же возможности бунтовали, не хотели платить ясака и часто нападали на русские остроги, иногда даже задавали немалый страх русским, но вообще не могли сладить с ними и прогнать их. Правительство постоянно напоминало воеводам, чтобы они не делали никаких насилий над туземцами, не брали с них лишнего, не обращали их против воли в христианство. Но эти увещания мало приводились в исполнение, и русские постоянно раздражали туземцев своим жестоким обращением. Беспрестанные, однообразные стычки с инородцами наполняют всю историю Сибири.

С начала царствования Михаила русские построили Енисейск, и с этого времени усилилось и шло неустанно движение к востоку и югу Сибири. Русские вступили тогда в борьбу с тунгусами. Мало-помалу тунгусские князья, видя невозможность устоять, покорялись одни за другими, сами приходили в Енисейск и приносили соболей. В 1621 году воевода Дубенский основал Красноярск и утвердился там с тремястами человек. Туземные

жители, качские татары, при помощи киргизов сопротивлялись, осаждали Красноярск, но были разбиты и обязались платить ясак. В 1629 году Дубенский выслал казаков на реку Кан; они покорили и подчинили платежу ясака камашей, один из древних народов Сибири, положили основание городу Канску. Потом – покорен был народ тубинцы. До какой степени было легко справляться с ними, показывает то, что высланный из Енисейска атаман Галкин с сорока человеками мог принудить их к повиновению. Между тем, в том же 1629 году, высланный из Енисейска сотник Бекетов проплыл по реке Тунгуске и Илим и дошел до бурятов, а по следам его Хрипунов на берегах Ангары первый имел с бурятами стычку. Тогда распространились слухи о многочисленности, богатстве и силе народа бурятского, которого русские называли «братским». В 1631 году атаман Порфирьев построил Братский острог на Ангаре в земле бурятов, и с тех пор начались попытки подчинить этот народ, не поддававшийся русским более десяти лет. Проникши на реку Илим (впадающую в Ангару), где построен был Илимский острог, русские двинулись на Лену. Атаман Галкин, по следам высланных им еще прежде казаков, переправился волоком от реки Илима до реки Муки, впадающей в Куту, и достиг Лены. За ним – Бекетов в 1632 году отправился вниз по Лене и заложил Якутский отрог (нынешний город Якутск). Там встретился он с якутами, которые сначала приняли было дружелюбно русских и вступили с ними в торговлю. Русские проникли на берега Вилюя (впадающего в Лену) и подчинили тамошних тунгусов. Преемник Бекетова в Якутске, атаман Галкин, стал посылать по окрестностям партии для подчинения якутов. Это до такой степени возмутило последних, что они поднялись и пытались взять или зажечь Якутск, но не сумели и, не желая ни за что покоряться русским, собрались все бежать из своей земли. Галкину удалось едва удержать из них половину. В 1635 году выше Якутска поставлен был на Лене Олекминск.

В Енисейск доходили темные слухи о существовании большого озера Ламы (Байкала), края богатого, где есть серебряная и золотая руда. Но русские не знали, в какой стороне искать его; думали, что Лама изливается в море. В 1636 году отправлена была экспедиция из Енисейска для отыскания этого озера. Дело было поручено какому-то Елисею Юрьеву, который, взявши в Олекминске служилого, Прошку Лазаря, с десятью человеками, да сорок промышленных охотников, отправился вниз по Лене, выплыл в Ледовитое море, завернул налево в устье реки Оленки и остался там зимовать. Весною он прошел сухопутьем до Лены при устье реки Молоди. Удальцы сделали два коча (лодки) и снова отправились вниз по Лене, поплыли на восток по морю и через пять суток достигли реки Яны, плыли в продолжение трех недель по Яне и брали ясак с жителей. Прозимовавши в этих местах, они весною построили четыре коча и поплыли вниз по реке Яне до ее устья. Елисей Юрьев остался там и положил основание Устьянску, а пятерых человек отправил в Енисейск с ясаком.

Подобные подвиги изумительны, если принять во внимание крайнюю суровость климата, перемены ветра при плавании, необходимость строить кочи, проходить сухопутьем по неизвестным странам и таскать на себе тяжести, зимовать в дикой пустыне, при морозе не менее сорока градусов, при недостатке средств и с малым числом людей, среди диких неизвестных племен.

В 1638 году из Якутского острога для приискания «новых земель» отправился на восток служилый человек Постник Иванов с тридцатью удальцами и лошадьми. Они достигли реки Янги, где нашли тунгусское племя, называемое ламутами. Несмотря на то, что это племя не хотело платить ясака, Постник двинулся вниз по Янге, набрал шесть сороков соборей и отправил в Якутск, а сам остался зимовать. Весною неустрашимый Постник Иванов перешел через горы среди враждебных ламутов, достиг Индигирки и проник в землю юкагиров, где захватил одного туземца. Оставивши шестнадцать человек в юкагирской земле и трех человек для сбора ясака, Постник Иванов с пятнадцатью товарищами вернулся в Якутский острог и доносил, что надобно обратить внимание на землю юкагиров, что она богата зверьми и рыбою, и притом он видел у юкагиров серебро, но не мог узнать: откуда они его получали, потому что не понимает юкагирского языка. Из Якутска опять отправили

на Индигирку Постника для сбора ясака, и с тех пор русские начали брать ясак с юкагиров. Из Якутска же стали затем посылать партии служилых людей в разные стороны, с тем, чтобы навести справки о землях и реках: откуда они вытекают и куда впадают? как там люди живут? чем питаются? есть ли у них в стране зверь и рыба? как они управляют, как воюют?.. На продовольствие этим служилым полагалось на год по две четверти с осьминой ржаной муки и по осьмине круп на человека. Они должны были стараться захватить в свои руки важных людей из туземцев и страшать местных жителей тем, что царь прислал на Лену большое войско с огнестрельным оружием, и если они не покорятся, то им будет дурно. Вместе с тем приказано было давать им разные побрякушки, но отнюдь не показывать огнестрельного оружия, чтобы оно наводило на них страх неизвестностью. Бывали нередко случаи, когда посланные партии ссорились между собою и доходили даже до драк. Появление русских служилых на Лене тотчас повлекло туда промышленников, и правительство устроило на Ленском волоке (в пункте перехода с енисейской системы на ленскую) таможеню. Там завелось поселение, и в 1639 году назначены на Лену воеводы: сначала они жили в Устькутске, потом в Якутске. В 1640 году воеводы стали наклеивать гулящих людей на Лену на пашню с разными льготами.

Русские землеискатели проникли далеко на север и зашли уже к Индигирке, но на юг, ниже Устькутского острога и ниже Олекминска на Лене, страна им была неизвестна. Они называли ее вообще «Братскою землею» и узнавали о ней от тунгусов, которые представляли ее какою-то богатою, обетованною землею. От тунгусов доходили до них слухи о мугальской (монгольской) земле, о Китае и о множестве серебра в тех странах. Эти слухи о серебре были побудительными причинами движения русских к югу. В 1640 году ленский воевода послал партию служилых людей по реке Чае, и они привезли вымененный у тунгусов серебряный круг, который носили тунгусы на головах для украшения. В 1641 году отправился вниз по Лене казачий пятидесятник Мартын Васильев с казаками для прииска новых земель и серебряной руды. Они дошли до устья Куленги, поставили острожок в десять печатных сажен длиной и в девять шириною, укрепили рвом, надолбами, и оттуда посылали к тунгусам собирать ясак.

Через два года после того, в 1643 году, отправились на поиски пятидесятник Курбат и атаман Василий Колесников. Курбат с семьюдесятью четырьмя казаками, двинувшись к югу из Верхоленского острога, первый из русских дошел до Байкала, между тем как Колесников поставил острог на устье Осы, впадающей в Ангару. Жители берегов Ангары и ее притоков стали платить ясак государю. Колесников жестоко обращался с бурятами и противодействовал Курбату тем, что теснил тех бурят, которые уже обязались платить ясак в Верхоленский острог. Оставивши свой острожок, Колесников первый проник за Байкал до устья Селенги, но не утвердил там русской власти. Его жестокости произвели возмущение бурят; вслед за служилыми начали приходить русские охотники и поступали в пашенные крестьяне; теперь некоторые из этих новоприбылых заплатили жизнью. Возмущение было укрошено. Колесников пропал без вести.

Почти одновременно, когда русские проникли за Байкал, совершены были две замечательные экспедиции на Восток.

В 1643 году отправился приискивать новые земли и расспрашивать про серебряную руду Василий Поярков: с ним было сто двенадцать человек служилых, пятнадцать охотников, два целовальника для оценки ясака, два кузнеца и два толмача. Все были с ружьями. Пороху взяли с собою восемь пудов шестнадцать фунтов; взяли и хлебные запасы в установленном количестве. 15 июля поплыли они вниз по Лене, через двое суток повернули в реку Алдан и, плывя по этой реке, в четыре недели достигли устья Учфура; затем, следуя по Учфуру, через десять дней вошли в реку Гоном и плыли по ней вверх пять недель с большим трудом, потому что им пришлось перейти двадцать два порога. Здесь захватила их зима: было начало сентября. Еще не кончилась продолжительная зима, а Пояркову надоело сидеть в устроенном им зимовье; он оставил сорок человек на месте и велел им весною переправиться на реку Зию, о которой имел сведения от туземцев; сам же с девяноста

человеками пошел по льду по реке Ньюемке, а потом переволокся в Зию. Здесь он поймал какого-то даурского князька и собрал вести о землях, которые ему предстояли на пути. Ему описали амурский край чрезвычайно богатым. Построивши острожок на Зии, Поярков послал сорок человек служилых для покорения двух туземных острожков, но предприятие не удалось. Туземцы сначала приняли русских, как гостей, но когда предводитель отряда Юрий Петров начал требовать покорности и домогался, чтобы его с людьми впустили в острог, туземцы напали на них и десятерых человек ранили. Посланцы поворотили назад, а между тем небольшое количество запасов их истощилось; они начали голодать; травы еще не было; они питались сосною, ели трупы туземцев, захваченных в плен; сорок человек погибло от голода. Впоследствии на Пояркова принесена была жалоба, что он не пустил воротившихся в свой острожок, рассердившись на них за то, что они ничего не сделали и воротились с пустыми руками, не давал им хлеба, сам указывал, что они могут есть мертвых туземцев, и говорил: «Не дороги служилые люди; вся цена десятнику десять денег, а рядовому два гроша...» Когда, наконец, прибыли к нему те, которых он оставил на Гономе, Поярков отправился по Зии, вошел в Шилку, где застал народ дючеров; он плыл по Амуру (называемому у него в донесении Шилкою) три недели до впадения в него реки Шунгалы (Сунгурсула), а потом шесть суток до реки Усури (которую он собственно называл Амуром). Затем четверо суток плыли они по Амуру все еще на земле дючеров, потом вступили в землю натков, через две недели вошли в землю гиляков и еще через две недели достигли Восточного океана. На устье Амура Поярков захватил трех гиляков, и они рассказали о разных улусах и народах приморского края. Народы эти были малочисленны, находились под властью князьков, у которых было вооруженной силы человек триста, двести, сто, а у иного и менее; не мудрено, что русские с огнестрельным оружием, наводившим ужас на туземцев, никогда не выдавших его, могли плавать, брать в плен туземцев и собирать ясак в неведомой стране. Перезимовавши на устье Амура, Поярков с наступлением лета поплыл по морю и через двенадцать недель достиг устья реки Ульи. Здесь он остановился, поставил острожок, взял у туземцев заложников, собрал соболей и остался зимовать. Весною, оставивши двадцать человек в новопостроенном острожке, отважный землеискатель перешел волоком в течение двух недель до реки Май; здесь он со своими людьми сделал судно и поплыл на нем по Мае, достиг Алдана, затем вступил в Лену и прибыл в Якутск 18 июня 1646 года с небольшим остатком служилых, но с захваченными в плен жителями далеких стран, которые он открыл для России.

Другой подвиг этого рода было открытие Анадыря. В 1648 году, июня 20, служилый человек Семен Дежнев с двадцатью пятью служилыми и промышленными людьми отправился морем на приискание новых земель. Буря принесла их в Восточный океан и выбросила на берег ниже реки Анадыря. Землеискатели пошли оттуда по неведомой стране до реки Анадыря. Они очутились в краю диком и безлесном; хлебные запасы их истощились; настала зима; не из чего было построить хижины, и они копали себе в сугробах ямы и жили в них. Из двадцати пяти человек осталось в живых только двенадцать. Эти удалыцы шли вверх по Анадыру, пришли на землю анаулов, бились с ними, и хотя сам Дежнев был ранен, но принудил их платить ясак; однако платить им было нечем, потому что в этом краю не было соболей. Зато русские нашли там иного рода добычу – моржовые зубы. Дежнев с товарищами устроил себе зимовье на Анадыре, а вслед за ним, по слухам, ходившим о реке Анадыре, отправилась другая партия через горы, под начальством Семена Моторы и Никиты Семенова, нашла Дежнева с товарищами и соединилась с ним. За ними пришла туда третья партия казачьего десятника Михаила Стадухина; но Дежнев и Мотора поссорились со Стадухиным за то, что он неприязненно относился к тем туземцам, которые уже заключили мирный договор с Дежневым. Дежнев несколько лет оставался на Анадыре, и с тех пор русские начали ездить туда сухопутьем для собирания моржовых костей. Стадухин же отправился сухопутьем на юг от Анадыря к реке Аклею, вошел на землю коряков, с которыми воевал, и добывал там лес для постройки судна с опасностью жизни. От коряков узнал он о существовании реки Изиги, где было много соболей, поделал с товарищами кочи

и выплыл в море, по тут буря носила его три дня: одно судно погибло. После многих приключений, Стадухин достиг Изиги и поставил там острожок; русские схватили одного корякского князька и тем заставили коряков платить ясак мехами черных лисиц. Но малолюдность не позволила Стадухину оставаться долго на Изиге. Он поплыл к реке Тавую, а отсюда на землю тунгусов, и здесь дела его пошли успешно. Русские грабили тунгусские юрты, брали аманатов и заставляли их платить ясак. Странствования Стадухина продолжались до 1658 года. Стадухину принадлежит честь открытия северной части Охотского моря. За ним другие партии начали ходить в землю коряков; собирали черных лисиц и моржовые кости, так называемый рыбий зуб. На берегах Восточного океана построены были остроги на устьях рек Ульи и Охоты, но тамошние туземцы, довольно многочисленные, не покорялись русскому владычеству, и хотя были укрощаемы, но продолжали снова возмущаться против русских.

Русские землеискатели, вслед за Поярковым, стали вскоре отправляться партиями на Амур в землю дауров. Это были вольные охотники, избравшие из своей среды начальников. Они подавали царю челобитные, получали разрешение от воевод и отправлялись искать новых земель. Так, в 1649 году отправился в даурскую землю Ларка Барабанщиков с товарищами, плывал по Амуру, измерял реку и собирал сведения о народах. Но более всех прославился на Амуре своими подвигами Иерофей Хабаров. Он отправился в Даурию в 1648 году с сотнею человек вольницы, покорил пять городов, набрал всякого запаса и воротился в Якутск; а в 1650 году, усиливши себя новыми охотниками, он опять пустился на Амур, взял город Албазин, потом в 1651 спустился вниз по Амуру и утвердился на Комарском остроге. По следам Хабарова двинулись на Амур другие охочие русские люди, и по реке образовался целый ряд русских острожков. В 1653 году Хабарова потребовали в Москву, а вместо него «на великую реку Амур» назначили приказного человека Онуфрия Степанова. Амурский край со всей Даурией в 1659 году поступил в ведение города Нерчинска. Покорение Амура привело русских в столкновение с Китаем, так как китайский император считал себя владыкою этого края. В 1654 году отправился в Пекин, по царскому приказанию, боярский сын Федор Байков, с мирными предложениями, но был принят дурно, потому что не хотел соблюдать китайских церемоний, и его посольство ничем не кончилось. Китайцы, чтобы заставить удалиться русских, приказывали жителям выселяться с берегов Амура, в тех видах, что русские, лишась средств к жизни, сами уйдут оттуда. Однако русские долго еще держались на Амуре. Китайские войска нападали на них. Сам Степанов был убит в одной стычке с ними. Тамошние русские остроги разорялись китайцами и возникали снова. В 1660 году на Амуре опять явился Хабаров и накликнул туда несколько сот охотников. Мало-помалу начали заводиться там и пашенные крестьяне.

Между тем другие землеискатели проникли в Забайкалье. Бекетов построил остроги на реках Селенге и Хилке. За ним другие подчиняли бурят и заставляли их платить ясак. Главным пунктом в этом крае был Иргенский острог, а с 1666 г. Селенгинск. В 1670 году возник у русских важный спор с Китаем по тому поводу, что тунгусский князек Гантимир с сорока человеками своих улусников перешел на русскую сторону. Китайцы сочли это поводом к войне и начали снова нападать на русские остроги. По этому делу в 1675 году ездил посланником от царя переводчик Спафари, но воротился безуспешно. На обратном пути из Пекина, он приказывал нерчинскому воеводе не тревожить больше Амура; но этот приказ не исполнялся. На берегах Амура появлялись новые служилые люди и строили новые остроги. Племена, обитавшие на Амуре, натки и гиляки, подушаемые китайцами, не хотели платить ясака и беспрестанно тревожили русские остроги. Война шла несколько лет. Наконец, в 1685 году, уже все остроги были разорены; оставался только Албазин, город, состоявший под начальством храброго воеводы Толбузина. Осажденный многочисленным китайским войском, Толбузин должен был уйти. Албазин был разорен; но в следующем году Толбузин явился снова и возобновил его. Китайское войско не замедлило явиться опять под Албазином. Толбузин был убит; место его заступил казачий атаман Бейтон и храбро отстаивал город против осаждавших, но китайцы получили приказание прекратить

неприятные действия, потому что из России опять ехал посол, окольный Федор Алексеевич Головин с большою свитою более двух тысяч человек. Китайский император со своей стороны выслал в Нерчинск посольство, в котором важное место занимали одетые по-китайски двое иезуитов: испанец Перейра и француз Жербильон. Их сопровождало войско из 15000 человек. В августе 1689 года открылись переговоры между послами под Нерчинском в шатрах. Разбивкою этих шатров занимался бывший гетман малороссийский Демьян Многогришный, в то время бывший в звании сына боярского. Переговоры велись на латинском языке через иезуитов. Русский посол старался всеми силами оттянуть от китайцев побольше «землиц», но китайцы начали возмущать против русских окрестное население: бурят и онкотов, придвинули прибывшее с ними войско и грозили войною. Это принудило Головина к уступкам. Русские отказались от Амура. Рубежом назначена была река Горбица, впадающая в Шилку, река Аргунь от истоков ее до слияния с Шилкою и каменный хребет, известный под именем Яблонового, вплоть до Охотского моря. Полковник Бейтон, державшийся в Албазине, по приказанию Головина, разорил этот город и ушел со всеми русскими в Нерчинск.

Таким образом, Амурский край, крайний предел русских землеоткрытий, находившийся тридцать лет в русских руках, был потерян для России до царствования Александра II.

## **Глава 9**

### **Галятовский, Радивилловский и Лазарь Баранович**

В истории схоластической литературы, возникшей в южной и западной Руси, после толчка, данного Петром Могилою умственному движению, особенно возбуждает внимание историка Иоанникий Галятовский по своему живому и сообразному с духом своего века и общества участию к вопросам, касавшимся важных сторон тогдашней политической и общественной жизни. Насколько нам известно, жизнь этого человека, как большею частью жизнь монахов, протекала довольно однообразно. Он родился на Волыни, учился в Киеве, слушая, между прочим, чтения Лазаря Барановича, постригся в монахи, был игуменом Купятицкого монастыря на Полесье; с 1659 года несколько лет занимал должность ректора киевских школ, потом жил в Москве и, наконец, в Малороссии, где был архимандритом, сначала Новгород-Северского, потом Черниговского, Елецкого монастырей. Он скончался в 1688 году. Галятовский находился под покровительством бывшего своего наставника Лазаря Барановича, архиепископа черниговского, и с его рекомендацией отправился в Москву, где был принят радушно. Как видно, это был человек неискательный, скромный, но вместе с тем более, чем многие его современники, неспособный вращаться в одних отвлеченностях и постоянно обращавшийся к жизненным вопросам.

Оценивая Галятовского, нужно сравнивать его с другими писателями его времени, и тогда, при всех недостатках его, он представит для нас значительный интерес. Сочинения его могут без скуки читаться даже теперь. Слог его менее страдает напыщенностью; изложение у Галятовского везде толково, язык приближается к народной малорусской речи, хотя он употребляет такие польские слова, которые теперь забыты, но, вероятно, тогда были в ходу. Тогда самый польский язык не переставал еще быть для малоруссов культурным языком и занимал такое почти место, какое впоследствии занял книжный русский, а потому Галятовский написал несколько сочинений по-польски. Как монах, Галятовский вращается в области церковной и находится под влиянием тех взглядов, которые им были усвоены по воспитанию, но его живая, даже поэтическая натура везде проглядывает из-под гнета мертвящей схоластики. Сочинения его показывают большую, хотя одностороннюю начитанность, знакомство со многими византийскими и средневековыми богословскими и церковно-историческими писателями; он любил особенно ссылаться на Барония. Для придания силы своим доводам, он приводит отовсюду примеры и свидетельства, однако относится к ним без критики и вообще до наивности доверчив. Галятовский отличается



сильным воображением, любит образы, рассказы, анекдоты, хватается за них при первой возможности и увлекается их художественною стороною, а потому явный вымысел нередко принимает за истину.

В то время, когда жил и писал Галятовский, мыслящего малорусса духовного звания естественно могли и должны были занимать отношения его церкви и народа к римскому католицизму, к иудейству и к магометанству, так как Малороссии приходилось неизбежно сталкиваться со всем этим.

Защита православия против римско-католической пропаганды, как мы сказали, легла в основу всех целей Петра Могилы при устройстве киевской коллегии. Правду сказать, скоро после смерти знаменитого иерарха, ученая война на перьях и на словах должна была отойти на задний план, а вслед за тем должны были выступить вперед иные задачи для просвещения в русском крае. За веру наступила борьба другого рода. Народ стал за нее и за себя с дубьем и кольями, затем – успехи соединенных русских сил отвоевали у Польши почти все древние русские области. Если бы московская политика не отодвинула разрешение векового спора еще на столетие, то православие в областях южной и западной Руси, поступившей под власть московских государей, мало нуждалось бы в диспутах и диссертациях за свою неприкосновенность. Киевские ученые должны были бы заниматься преимущественно чем-нибудь другим. Но вышло иначе. Поляки одерживали верх над русскими. Русские земли, только что отпавшие от Польши, опять возвращались под ее власть. Православию пришлось уживаться с господствующим католицизмом в едином государственном теле; православным духовным опять предстояло стараться не ударить лицом в грязь перед римско-католическим духовенством и выступить против них с оружием учености и красноречия на защиту своей веры. Религиозные диспуты о вопросах, составляющих сущность различия между западною и восточною церковью, делались самыми жизненными современными вопросами.

Иудеи еще в недавнее время были признаны народом южнорусским его врагами и утеснителями. Таково было народное убеждение.

Иудей, панский арендатор, иудей-монополист, иудей-откупщик, бравший от пана на откуп достояние, жизнь и совесть русского хлопа – был для последнего тяжелее, чем сам пан. Решившись сбросить с себя вековые цепи, русский возненавидел иудея, который, как ловкий промышленник, пользовался слабыми сторонами общества, в котором жил: десятки тысяч израильского народа погибло во время восстания. До какой степени господствовало у малоруссов омерзение к этому племени, конечно, поддерживаемое и невежественным фанатизмом, показывает то, что Хмельницкий, в числе условий, на которых готов был примириться с поляками, требовал недопущения иудеев в Украину. Но как только народное волнение утихло в русских областях, оставшихся за Польшою, иудеи опять принялись там за свои промыслы и опять готовились стать для русских тем, чем уже были прежде. Этого мало. У иудеев распространилось верование, что является на землю Мессия, что приходит, наконец, давно желанное время величия израильского народа и порабощения ему народов других вер. Естественно было в это самое время русскому писателю вступить в литературу с такой речью, в которой выражалась народная вражда.

Наконец, южнорусский народ находился то в постоянных сближениях, то в столкновениях с магометанским миром, казаки то пускались на чайках грабить приморские турецкие города, то призывали татар и турок к себе на помощь против поляков. Тогда еще не исчезла старая надежда на союз держав против магометанства с целью изгнания турок из Европы, освобождения православных греков и славян. Русским, как исповедующим одну веру с христианами восточными, эта мысль была ближе к сердцу, чем какому бы то ни было другому народу.

Во второй половине XVII века сложились обстоятельства, придававшие более живости надеждам на исполнение великого предприятия. Московское государство вело войну против мусульман заодно с Польшою, вместо того, чтобы, как делалось издавна, вооружать татар на Польшу или терпеть татарские набеги, предпринятые с подущения поляков. Тогда само собой пришло в головы многим, что если кому, то московскому государю предстоит великое

призвание стать во главе христианского дела освобождения единоверцев и единоплеменников от тяжелой неволи.

Галятковский в своих сочинениях затронул все эти три современные ему вопроса: римско-католический, иудейский и мусульманский. В 1663—64 годах король польский Ян-Казимир шел с войском отбирать под свою власть левый берег Днепра. Наученные опытом, поляки стали теперь для вида ласковее обходиться с православным духовенством, стараясь расположить его к себе с тою целью, чтоб оно не возбуждало против них народа. Это было для поляков в то время тем удобнее, что многим из малороссийского духовенства не совсем нравились приемы московской власти, и они не слишком остались довольны делом Богдана Хмельницкого. Со своей стороны, православные духовные, ввиду ожидаемого соединения Малороссии с Польшей, должны были стараться поставить и свою церковь и свое сословие в положение, менее унижительное по отношению к католичеству.

Король Ян-Казимир остановился в Белой Церкви. Здесь коронный канцлер епископ Пражмовский пригласил к себе на пир некоторых важнейших русских духовных и с ними вместе Галятковского. Хозяин свел ученого православного с ученым иезуитом Пекарским, королевским проповедником; между последними произошел диспут, который был потом опубликован Галятковским в особой брошюре на польском языке. Спор вращался около вопроса о первенстве папы. Галятковский показал на этом диспуте знание церковной истории, знакомство с отцами церкви и с сочинениями западных богословов и историков. Доказательства Галятковского вески, изложение кратко, ясно: нет лишней риторики. Православный духовный старался побить иезуита свидетельствами самих же западных соборов: констанцкого и базельского. В противность паписту, хотевшему, по общепринятому на Западе обычаю, выводить из текстов Нового Завета, будто апостол Петр был выше других апостолов Христовых, – Галятковский доказывает, что все апостолы были равны между собою, что глава церкви есть один только Христос, что каждый патриарх в своей епархии может созывать соборы, сноситься с другими патриархами и, таким образом, созвать вселенский собор, что приговор церкви, а не приговор одного папы или патриарха, может быть незыблемым авторитетом. Между прочим, Галятковский так уличал папистов, говоривших, что папа необходим для созвания собора: «У вашего Беллярмина, – говорит Галятковский, – в сочинении о соборах сказано, что кардиналы и епископы могут сами созывать соборы, если папа впадет в ересь, или умрет, или сойдет с ума, или потеряет свободу. Стало быть, у вас без папы могут епископы собрать вселенский собор. Поэтому папа не может назваться верховным властителем церкви. Вспомните, что написано в 8 гл. кн. Царств. Когда израильтяне собрались к пророку Самуилу и стали просить у него царя, Господь сказал Самуилу: „Не тебя они отвергли, а меня, – не хотят, чтобы я царствовал над ними! Видите: Бог разгневался на израильтян за то, что они, отвергнувши Бога, своего царя, избрали себе царем и владыкою человека. И теперь Бог гневается на римлян за то, что они, отвергнувши Царя и Господа своего Иисуса Христа, выбрали себе смертного человека, папу, господином и монархом“. – „Если, – возразил Галятковскому противник, – вы не хотите признать главою церкви своей римского папу, то должны будете иметь главою мирского государя“. – „Вот прекрасное заключение, – воскликнул Галятковский, – я вам говорил и говорю: Христос, Христос, Христос, а не кто-нибудь другой, есть глава святой церкви“.

Короткие, сжатые доводы Галятковского имели в свое время более силы, чем иные длинные рассуждения. Впоследствии Галятковский, в дополнение к своей «Розмове», написал еще одно сочинение по-польски: об исхождении Св. Духа, направленное против западно-римского учения, защищаемого тогда иезуитом Боймою, написавшим книгу «Старая Вера». Сочинение Галятковского носит название «Старая западная церковь – (т.е. говорит) новой». В этом сочинении, главным образом, доказывается, что догмат об исхождении Св. Духа от Сына, проповедуемый папистами, не есть достояние древней западной церкви, а более позднее нововведение.

Против иудейства Галятковский выступил с пространною книгою на южнорусском языке под названием «Мессия Правдивый». «Я написал эту книгу, – говорит он в

предисловии, – потому что на Волыни, на Подоли, в Литве и в Польше жидовское нечестие слишком высоко подняло рога свои, явился на Востоке, в Смирне, какой-то плут Сабефа и назвался жидовским Мессиею, прельстив жидов ложными чудесами; он обещал им восстановить Иерусалим и израильское царство, возвратить им их отечество и вывести из неволи. Глупые жида торжествовали, веселились, надеялись, что Мессия возьмет их на облака и перенесет всех их в Иерусалим... Некоторые покидали свои дома и имущества, ничего не хотели делать и говорили, что вот скоро Мессия их перенесет на облаке в Иерусалим. Иные по целым дням постились, не давали есть даже малым детям и во время суровой зимы купались в прорубях, читая какую-то вновь сочиненную молитву. Тогда жида смотрели на христиан высокомерно, угрожали им своим Мессиею и говорили: вот мы будем вашими господами. Ваши короли, князья, гетманы, воеводы, сенаторы будут нашими пастухами, пахарями, жнецами: будут дрова рубить, печи нам топить и делать все, что жида им прикажут; вы должны будете принять иудейскую веру и поклониться нашему Мессии. В то время некоторые малодушные и бедные христиане, слыша рассказы о чудесах ложного Мессии и видя крайнее высокомерие жидов, начали сомневаться о Христе: точно ли он был действительный Мессия, стали склоняться к вере в ложного Мессию, напуганные угрозами о его строгости. Для того, чтобы христиане не тревожились вестями о ложном Мессии и, не сомневаясь, верили, что Иисус Христос был истинный Мессия, – я написал книгу эту. Я написал ее также для того, чтобы сбить спесь и высокомерие жидов, на стыд им и на поношение, так как они уже не раз позволяли себя обманывать ложным Мессиям. Меня побудили к этому и нечестивые поступки жидов, которые, живучи в христианских государствах, относятся с презрением и поношением ко Христу Богу нашему и ко всему христианскому народу».

Сочинение Галятовского изложено в форме разговора христианина с иудеем – форма старая. Образцом русскому ученому послужило, вероятно, «Состязание христианина с иудеем», написанное писателем II века Юстином Философом. Христианин Галятовского доказывает, опираясь на Священное Писание Ветхого и Нового Завета, на сочинения отцов церкви, на разных историков церкви, что истинный Мессия не мог быть никто иной, как только Иисус Христос, опровергает те возражения, какие обыкновенно делали против христианства ветхозаконовики, защищает против иудейских нападок христианские догматы и обряды, наконец, в свою очередь обличает иудейские заблуждения и суеверия. Такая книга, как «Мессия Правдивый» имела живой современный интерес. При возрастающей силе иудейства, читающему русскому человеку надобно было приобрести понятие о том, что такое иудейство в его столкновении с христианством; надобно было знать, что говорят и как говорят против христиан иудеи, и как должны отвечать им христиане. Современное значение этих вопросов подтверждается известием Галятовского о том, что в его время иудеи отвращали христиан от христианства. «Мессия Правдивый» посвящен царю Алексею Михайловичу, и это обстоятельство не лишено современного смысла. В XVII веке, несмотря на неизменную неохоту великоруссов допускать в свою землю иудеев, последние, для разных целей, проникали в Москву, обыкновенно выдавая себя за людей другого племени, и книга Галятовского имела задачу познакомить царя и московских книжников с иудейским вопросом, чтобы принять надлежащие меры против иудейских козней.

Для нас, в историческом значении, важна в особенности последняя часть этого сочинения, где автор пересчитывает разные преступления, совершенные, по его мнению, иудеями против христиан и служившие тогда оправданием ненависти к иудеям. На основании этих данных, Галятовский, в духе своего века, проповедует жестокое, можно сказать, бесчеловечное гонение на иудеев. Все его обвинения, расточаемые против них, сводятся к тому, что иудеи заклятые враги христиан и делают им величайшее зло.

«Жида, – говорит христианин иудею, – называют нас гоями, т.е. погаными; они избегают приятельских отношений с христианином, гнушаются нами. И нам следует, когда так, называть вас погаными и гнушаться вами. Вы не хотите принимать от христиан пищи; и христианам должно сделаться гадким и богомерзким принимать от иудеев пищу. Жида

называют христиан нечистыми: стало быть, христиане унижают себя перед жидами, когда не гнушаются принимать от жидов пищу».

«Ты, жид, – продолжает христианин, – готов присягнуть христианину ложно: у вас такая присяга ничего не значит; я, поэтому, не поверю тебе, хоть бы ты мне присягнул сто раз, тысячу раз, будто бы вы, жида, не делаете зла христианам. Наши христианские государи не должны допускать вас, жидов, к присяге против христиан, а напротив, должны по справедливости карать вас за каждое преступление, зная, что вы не считаете дурным делом ложно присягнуть пред христианином. Ваш царь Саул присягнул гаваонитам не воевать против них, а потом нарушил присягу; за это Бог в продолжение трех лет карал его землю. И теперь, следуя примеру вашего царя Саула, вы, жида, ни во что ставите присягу, вопреки заповеди Божией, и Бог за то самое карает земли и государства христианские голодом и разными смертоносными язвами. Бог перестал карать иудеев за преступление Саула тогда, когда Давид приказал прибить ко кресту (?) и истребить с лица земли сыновей Сауловых; теперь надобно нам, христианам, вас жидов, за клятвенарушения ваши, убивать и истреблять; тогда Бог перестанет нас, христиан, карать голодом, войною, моровым поветрием и другими бедствиями».

Иудей требует от своего противника доказательств, что иудеи причиняют зло христианам. Христианин приводит несколько случаев, взятых из разных церковных писателей из Симеона Метафраста, Никифора, Барония, наконец останавливается на том, что иудеи крадут и убивают христианских детей, вытаскивая из них кровь. По этому обвинению, он приводит более десятка примеров из хроники Райнольда, из какого-то Сирения и из других, в особенности из польской книги: «Зеркало Польского Королевства». По известиям, сообщаемым этими писателями, иудеи совершали такого рода варварства в Швейцарии, Германии, Венгрии, Италии, Англии, Польше и Литве. Иудеи похищали христианских детей, искалывали их иглами и таким образом добывали из них кровь; некоторые описывали истязания над детьми, совершаемые в виде пародии над страданиями Иисуса Христа: ребенку клали на голову терновый венец, прибавали ко кресту, прокалывали копьем бок и выпускали кровь. Самым ближайшим, по времени и местности, приводится событие, будто бы случившееся на Волыни в селе Возниках в 1598 году. Найдено было исколотое тело мальчика, как оказалось, замученного иудейскими раввинами в день иудейской Пасхи. Каждый год, заключает христианин Галятовского, жида должны умерщвлять, по крайней мере, одного христианского ребенка.

На замечание иудея, что иудейский закон велит иудеям беречься крови, соперник его возражает ему, что Моисеев закон уже существовал, а это, однако, не мешало иудеям приносить в жертву бесам сыновей и дочерей своих и проливать невинную кровь, как говорится в одном из псалмов. Но когда иудей задал ему вопрос: зачем иудеям нужна эта кровь? противник его оказался слаб. Книги, из которых он черпал данные для этого вопроса, давали разноречивые объяснения. В одних говорилось, что иудеи дают кровь замученных ими детей христианам в пищу и питье, думая тем приобрести расположение христиан к своему племени; другие, напротив, показывали, что иудеи сами употребляют эту кровь в своих опресноках, дабы избавиться от того особого запаха, который иудей всюду носит с собою; третьи объясняли, что это у иудеев такая тайна, которую знают только немногие передовые раввины, и они дают эту кровь больным своим единоверцам в крайних случаях, произнося при этом такие слова: «Если распятый Христос есть истинный Мессия, то пусть кровь невинного человека, веровавшего в него, поможет тебе от грехов твоих и приведет тебя в вечную жизнь!» Некоторые, наконец, говорили, что детская кровь нужна иудеям для волшебных снадобий и дается с орехами, яблоками и другими лакомствами. Из всего этого очевидно, что автор «Мессии Правдивого» не составил себе определенного понятия: зачем иудеи совершают страшный таинственный обряд, в котором обвиняли их? Тем не менее, христианин Галятовского, ведущий диспут с иудеем, остается в полной уверенности, что иудеи похищают христианских детей, убивают их мучительным образом и вытаскивают из них кровь; а из этого он выводит такое заключение, что христиане, во избежание Божией

кары над собою, должны убивать иудеев и проливать их кровь.

Христианин переходит к другим обвинениям. Говорили, что иудеи занимаются чародейством с целью наносить вред христианам. В этом отношении, книга «Зеркало Польского Королевства» доставила ему затейливый рассказ. В Польше один иудей добивался от женщины-христианки молока ее груди и обещал большие деньги. Женщина, посоветовавшись с мужем, дала иудею коровьего молока, уверивши, что это молоко ее груди. Иудеи творили над молоком заклинания, потом отправились к виселице, где висел труп казненного преступника, влили ему в ухо молока и спросили: что он слышит? «Мычание скота», – произнес труп. Иудеи поняли, что женщина обманула их. Тогда по всей Польше стал падать скот; было бы тоже с христианами, если бы женщина действительно продала иудею молоко от ее груди, вместо коровьего... Христианин приводит из Барония еще несколько примеров, показывающих, что иудеи занимаются волшебством. К области чародейства относили и отравление; в этом также оказывались виновными иудеи; автор приводит из Кромера известие, будто иудеи заражали ядом воду в прудах и источниках и распространяли через то моровое поветрие.

Христианин упрекает иудеев в том, что они обманщики, составляют фальшивые документы, продают медь и железо за золото или подмешивают к золоту и серебру металлы низшего достоинства, принимают от воров для сбыта краденые вещи, делают тайно фальшивую монету. «Вы, – говорит христианин, – всеми способами стараетесь обмануть, обобрать христианина, вы считаете это добрым делом. Ваш талмуд учит вас этому. Вы опираетесь на тот пример, как ваши предки когда-то взяли в Египте серебро и золото, дорогие одежды и убежали; им это не вменилось в грех; вы, жиды, нас, христиан, считаете, наравне с египтянами, погаными и потому обираете нас, как предки ваши обирали египтян. Божеский закон не позволяет вам брать лихву со своих единоплеменников, а позволяет брать ее с язычников: моавитов, аммонитов... Вы считаете нас, христиан, за таких же язычников, какими были моавиты и аммониты, и потому берете с христиан чрезмерные проценты. Со своими иудеями вы этого не делаете. Есть у иудеев общественная казна, куда собираются деньги, приобретенные лихоимством и всяческим плутовством; каждый иудей должен приносить туда плоды своих трудов такого рода. При окончании года, собранная сумма делится на части: одна часть возвращается вкладчикам, другая идет на бедных иудеев, третья на уплату податей, четвертая остается в казне. Вы платите государям подати теми деньгами, которые вы содрали с подданных тех же государей; вы откупаете себе города, села, места, аренды; обогащаетесь, чванитесь нарядными одеждами, строите себе богатые дома и божницы. Вы, жиды, алчете обладать христианами, властвовать над нами и поэтому-то вы, обманывая нас, забираете себе наши деньги и имущества; вам хочется сделать христиан своими слугами и подданными. За это следует вас или выгнать из государства, или обременять работой и трудом; следует нашим христианским императорам, князьям и всем панам брать из жидовской казнохранительницы деньги на постройку церквей и убежищ для больных и убогих: пусть эти деньги пойдут в уплату бедным христианам, чтоб они служили не жидам, а христианским господам. Справедливо будет обратить деньги, собранные жидами, на пользу государству, потому что ведь эти деньги христианские. Не следует позволять вам, жидам, строить свои божницы, а, напротив, надобно их разорять, потому что в ваших божницах вы произносите желания христианам того, что постигло несчастного Амана».

«Зачем же, – спрашивает иудей, – вам разорять наши синагоги, когда мы не делаем ничего худого вашим церквам?»

Здесь, казалось, было бы кстати христианину Галятовского припомнить иудею тот способ обращения иудеев, арендаторов панских имений, с православными церквами: это в числе других причин и довело народ до варварского избиения иудеев в Малороссии, в эпоху Хмельницкого; Галятовский должен был знать эту эпоху. Сомнений в справедливости известий о поругании иудеями церквей быть не может, так как не только русские, но и польские историки повествуют о том же: даже римско-католические священники, при всей

своей ненависти к схизме, находили неприличными поступки панов, отдававших в распоряжение иудеев православные церкви. Отчего же Галятовский об этом не говорит ни слова? Быть может, он не хотел об этом упоминать, чтоб не раздражить поляков, так как оскорбление церковей падало более на них, чем на иудеев, только пользовавшихся тем, что им дозволялось. Как бы то ни было, не касаясь в своей книге этого важного обстоятельства, Галятовский довольствуется тем, что почерпнул из чужеземных источников, и повторяет свой жестокий приговор над иудейским племенем в таких выражениях: «Мы, христиане, должны ниспровергать и сжигать жидовские божницы, в которых вы хулите Бога; мы должны у вас отнимать синагоги и обращать их в церкви: мы должны вас, как врагов Христа и христиан, изгонять из наших городов, из всех государств, убивать вас мечом, топить в реках и губить различными родами смерти».

Галятовский оставил против магометан два сочинения: оба написаны в эпоху войны против турок, которая предпринята была совокупными силами России и Польши. Война эта сильно занимала нашего автора. Первое из упомянутых сочинений «Лебедь с перием своим» посвящено в 1683 году гетману Ивану Самойловичу. По склонности к символизму, господствовавшей в тогдашних литературных приемах, Галятовский под именем Лебеда понимает христианство или даже самого Спасителя; противоположный ему символ магометанства орел. В посвящении своем автор говорит, что Лебедь своим голосом и пером возбуждает христиан на ратоборство против мусульман. Сочинение это написано польски, так как польский язык был еще в большом употреблении между высшим классом в Малороссии; но существует современный русский перевод, писанный по-славянски церковной речью и нигде не напечатанный. Автор задается целью изложить учение, вымыслы и способы, как христиане могут на войне победить басурман и истребить их гнусное имя с лица земли.

Автор хочет разрешить себе вопрос: почему магометанство так долго держится на свете? Как человек благочестивый, привыкший во всех событиях ссылаться на волю Божию, он прежде всего становится на точку нравственно-богословскую: «Господь благ; еще не исполнилась мера беззаконий мусульманских; Бог ожидает обращения с другой стороны; Бог, руководящий нравственным усовершенствованием христиан, находит нужным для нас же держать над нами этот бич; Бог хочет испытать постоянство христиан в вере: будут ли они служить ему, находясь в неволе, и так ли послужат, когда станут свободными? Как некогда держал Он ассириан вместо жезла над Израилем, так теперь держит ересь магометанскую жезлом над христианами, чтобы христиане, терпя от неверных озлобление, прибегали в страхе к своему Творцу с покаянием, ибо, живучи в прохладе, просторе и „властопитании“, люди забывают о Боге». Но, кроме этих причин, Галятовский находит еще, что христианские государи, не только не могут согласиться между собою и стать единодушно против врагов Христа, но еще «ханов, атаманов, царей басурманских, мурз их и прочих живых и здравых снабжают».

Галятовский вспоминает из Ветхого Завета божескую заповедь об избиении хананейских народов и сравнивает с непослушными израильтянами христианских государей, милостиво обращающихся с мусульманами: «Того ради, – заключает он, – Бог на самодержцев и государей зело гневен есть». Здесь повторяется то же учение кровавой нетерпимости, которое такими резкими чертами изложено в «Мессии» против иудеев. Московскому государству должно было достаться при этом, хотя Галятовский об нем не упоминает: в Московском государстве было более магометан, чем в какой бы то ни было иной христианской земле, и их не преследовали, не убивали.

«Орел» в споре с «Лебедем» указывает ему, что магометанство не только держится на свете, но еще расширяется, и многие народы приняли его. «Какие же этому причины?» – спрашивает автор. «Лебедь» дает объяснение, что магометане мечом распространяют свою веру, а «смерть от меча люта страшна человеком, приневоляет их к принятию алкорана». Много помогает мусульманству и то, что Магомет дозволяет плотские наслаждения и обещает их своим последователям в небесном царствии: «Понеже к греху телесному все

человецы от прирождения склонны зело». В магометанстве, замечает Лебедь, все понятно, все близко чувственному человеку: закон же Христа «непостижимыя разуму вещи скажет». Число магометан, по словам того же «Лебеда», умножается и оттого, что их цари имеют обыкновение, вместо податей, собирать детей христианских и отдавать их «учиться прелести магометовой»; последние остаются на всю жизнь ей преданными; наконец, люди, совершившие преступления в христианских государствах, убегая к басурманам, находят у них приют и охранение, если примут их веру. Но если магометан и много, что пользы из того? Ведь и в аде будет более душ, чем в Небесном Царствии, а все магометане пойдут в геенну огненную. Бог дает неверным временное счастье; зато их ожидает по смерти вечное мучение, а у христиан хотя здесь и отнимается временное благополучие, зато дается по смерти вечное блаженство.

Но и на земле не долго уже господствовать мусульманству. Еще мученик Мефодий изрек над ними пророчество: «И восстанет христианское колено и будет ратоборствовать с мусульманы, и мечом своим погубит их и в неволю загонит, и погибнут чада их, и пойдут сынове Измаиловы под меч в пленение и невольное утеснение; отдаст убо им Господь злобу их, яко же они христианом сотвориша». Бароний и кармелит Фома Брукселенский доставляют нашему автору еще пророчества о падении магометанства; наконец, вот что он сам устами своего «Лебеда» извещает в утешение христианам своего века, ведущим борьбу с исламом:

«Есть у муринов пророчество до сих пор сохраняемое, что полунощный самодержец мечом своим покорит и подчинит своей державе святой град Иерусалим и все турецкое царство. Этот полунощный самодержец есть царь и великий князь московский. Он-то истребит басурманскую скверную ересь и до конца погубит. Ты сам, проклятый Магомет, вдохновенный Богом или демоном, ты сам пророчествовал, что твое скверное и противное учение будет пребывать тысячу лет; но вот уже тысяча лет минула, даже „с навершенем“; в малом времени погибнет твой богопротивный закон и скверная ересь!»

«Лебедь» объясняет слова Апокалипсиса (гл. 20): «ожиша и царствоваша со Христом тысящу лет». «Здесь, – говорит он, – разумеются мученики, убитые от магометан: их души со Христом царствуют».

Затем Галятовский рассказывает историю магометанства, описывает нравы магометан.<sup>117</sup>

Магометане обвиняются в чародействах, также как иудеи в «Мессии Правдивом»; один магометанский воевода начертал на земле круг, чародейственными заклинаниями накликал в этот круг змей и намазал змеиным ядом оружие, которое действовало губительно; татары вынимали сердца из тел христианских, мочили их в яде, ставили на рожнах в реках и озерах, заражали воду, и пившие ее, отравлялись... Галятовский готов был, как кажется, обвинять в чародействе всех неверующих во Христа: то же, мы видели, сделал он с иудеями. Но с мусульманами он обращается беспристрастнее; за иудеями он не признал ни одной светлой черты. Говоря о магометанах, он ссылается, напротив, на свидетельство какого-то Варфоломея Юрьевича, бывшего четырнадцать лет в плену у турок, и отзывается о своих религиозных врагах в таких выражениях: «Они любят правду; кривды, обмана у них отнюдь не обретаются, ни в жительстве, ни в походе: турки покрывают свое нечестие исполнением правды; не найдешь у них ни юриста, ни прокурора; сегодня отдавай то, что обещал вчера. В большой чести у них ты, святая царица-правда, всем чинам равная благотворительница! Ей-ей, от всех народов турки отличали себя правдою: и малых детей к этому приучают и воспитывают так, чтобы они были правдивы...»

Но от таких превосходных нравственных качеств мало пользы неверным: по мнению Галятовского, они, как некрещенные, все-таки все пойдут в ад: с ними надобно воевать, чтоб избавить из-под их власти наших братьев христиан, которым хуже, чем было иудеям в Египте

---

<sup>117</sup> Он руководствовался известиями византийцев: Феофана, Кедрина, Евфимия Зигабена, Евлогия мученика, также Барония, важнейшего для него источника сведений при описании нравов мусульманских, хроникой Гвагнини и путешествием на восток Христофора Радзивилла Сиротки.

и в вавилонском пленении, или чем было римлянам при готфах; им так худо, что их жизнь может разве сравниться с положением умирающего, который мучится перед смертью и долгое время не может испустить последнего вздоха. Не в силах заплатить положенной на них тяжелой дани – бедные христиане, закованные по рукам и по ногам, ходят от двора до двора и просят, ради «проклятого Магомета», милостыни на уплату за них податей: их бьют по подошвам большими палками, берут у них детей и продают в рабство. С особенным участием распространяется автор «Лебеда» о страданиях пленников: «Всех тяжелее, – замечает он, – попавшимся в плен духовным и ученым, непривыкшим к телесной работе».

Наконец, в «Лебеде» приводятся какие-то непонятные слова, которые в переводе означают пророчество, сохраняемое самими мусульманами о падении их царства. «Явится какой-то турецкий царь, возьмет царство, примет в свою державу красное яблоко и будет господствовать, и будут мусульмане соизидать себе дома, насаждать виноград, строить твердыни, плодить чад, но через двенадцать лет после того, как царь примет в свою державу красное яблоко, христианский меч поразит турка и погубит имя его. Дай же Бог, чтобы при державе великого и непреодолимого царя Федора Алексеевича все христианские народы обратили свое оружие против мусульман, губителей нашей веры; этого и бедствующие братия наши христиане всеусердно ожидают и помогут нам на общего нашего лютого врага! Азия при смерти, Африка мертвеет, золотое яблоко от моря Балтийского до озера Меотийского, очнувшись от сна, не мало дает помощи; Греция с Фракиєю ожидают избавления от христианского оружия: за грехи свои они, подобно Израилю, повержены в неволю; но познали они свои беззакония и приносят вины свои пред Богом: Бог пошлет к ним избавителя и возвратит их к прежней свободе скоро».

Другое, напечатанное по-польски, сочинение Галятовского против мусульман (*Alkoran machometuw, nauka heretycka u zydowska u rogacska papelniony, 1687*) составлено в форме диспута между алкораном и когелефом (борцом), и разделено на двенадцать частей. Здесь излагается история Магомета, говорится об его законе, о магометовом мече, о чудесах лжепророка и пр. Когелеф опровергает алкоран и бьет его на всех пунктах, хотя делает достаточно промахов, показывающих, что Галятовский читал без критики то, откуда черпал свои познания. Всего интереснее для нас то, что здесь, как в Лебеде, Галятовский говорит о существовании пророчества о том, что некогда полуночный монарх покорит Турецкое государство; затем последует падение мусульманства и обращение мусульман ко Христу! Этот славный, предсказанный издавна подвиг – предлежит совершить московскому государю. Галятовский вспоминает, как Тамерлан бежал из России со своими полчищами, устрешенный Божиею Матерью, как Димитрий (которого он называет Семешка?) разбил татар, как русские покорили Казань и Астрахань... Надлежит довершить то, что делалось прежде. Галятовский желает, чтобы царь покорил Турцию, освободил Гроб Господень, четырех патриархов вселенских и поработенные христианские народы из-под мусульманской власти. Галятовский, таким образом, в литературе содействовал развитию мысли о том, что на России лежит избрание судьбы, что ее назначение – освободить восточных христиан и подчинить владычеству христианской веры мусульманский восток; одним словом, чего не dokonчили в свое время крестовые походы, то суждено dokonчить России! Мысль эта обратилась в народное верование и у турецких христиан и у русского народа. Ее поведали московским государям с запада папы, укрывавшие за этими надеждами намерение подчинить себе русскую церковь; но та же мысль развивалась в народе и в литературе своим независимым путем.

Галятовский был проповедником. Проповедь сделалась тогда необходимостью; духовный, сознавший в себе охоту к писанию, скорее всего брался за проповедь. Галятовский издал том проповедей под названием: «Ключ Разумения»; проповеди сочинены на Господские и Богородичные праздники. Галятовский смотрел на эту книгу, как на руководство: в предисловии к ней он предлагает священникам читать из нее поучения народу. Проповеди его имеют характер более догматический и объяснительный, чем нравственно-поучительный. Толкуются народу догматы веры, объясняются значения



таинств, обрядов, и новозаветных и ветхозаветных. Проповедник чрезвычайно любит смелые и затейливые сравнения. Говоря, напр., о двух естествах Иисуса Христа, Галятовский, для объяснения, указывает на человека, который знает и богословие и философию: «Вот, – говорит он, – и подобие соединения божественного с человеческим». Другое сравнение двух еств – с луком, связанным с тетивой; лук означает божественную, а тетива человеческую природу. В проповеди на Воскресение Христово он сравнивает Христа с ихнеуמוном. Крокодил проглотит ихнеумона, а ихнеумон крокодилу разъест внутренности; так Христос поступил со смертью, которой подвергся. Галятовский любит приводить в проповедях примеры и анекдоты; встречаются у него примеры из древней истории: о Демокрите, Птолеме, об Аннибале, берутся данные из мифологии в смешении с христианскими образами: являются аргонавты; дельфийский оракул приказывает устроить божницу Деве Марии; от глубокой древности проповедник переходит в более близкий ему мир, рассказывает анекдот о князе литовском Витовте, который приказал зашить живого человека в медвежью шкуру. Эти-то примеры, сравнения, анекдоты придавали проповедям Галятовского большую занимательность, и «Ключ Разумения» был одною из самых читаемых книг в Малороссии даже в близкое к нам время.

При своих проповедях Галятовский приложил правила о составлении проповедей. «Старайся, – говорит он, – чтобы все люди поднимали то, что ты им говоришь в своем поучении; какой мудрый был проповедник Иоанн Златоуст, но и его порицала женщина за трудно понимаемую проповедь!» Галятовский в своих собственных проповедях верен своему правилу: они написаны по-малорусски и были удобопонятны в той среде, где говорились. Не все последовали его примеру впоследствии, когда вместо языка, близкого к народному, стали употреблять славяно-церковный, искусственный и понятный только для тех, которые ему учились предварительно.

Согласно духу схоластической мудрости, почерпнутой в школе, Галятовский в своем руководстве учил проповедников словоизвитию, построению поучений на словах, именах и вообще на внешних признаках: находит, что неожиданные обороты привлекают любопытство слушателей. «Можешь, – говорит он, – занять внимание людей, толкуя им какое-нибудь имя, и всю проповедь построить на имени; например, в неделю (воскресенье) говори: неделя называется оттого, что в этот день ничего не делают, а только Богу молятся; или – на день Владимира скажи, что Владимир оттого так называется, что владеет миром; на Василия скажи, что Василий значит царь, ибо Василий Святой царствовал над своим телом». Галятовский учит озадачивать слушателей каким-нибудь не сразу понятным для них заявлением; например: «На Вербное воскресенье, сказавши: „Православные христиане! Прошу вас и заявляю вам, чтобы вы непременно ходили в церковь и молились Богу; на этой седмице будет страшный суд“, – сойди прочь с кафедры. Это значит, что на Страстной неделе будет читаться о суде над Иисусом Христом: вот оно и есть суд страшный». Замечательны его наставления, как следует говорить над умершими. Галятовский велит проповеднику рассказывать, как покойник творил добро, хранил православную веру, помогал бедным милостыню, давал пособие церквам и монастырям, принимал в свой дом странников, выкупал пленных из неволи и пр., хотя бы за покойником и не ведомы были такие добродетели. «Можешь, – говорит он, – кроме того припомнить его фамилию, сказать, что она древняя, существует сто лет или, пожалуй, тысячу лет на свете, что она находилась в родственной связи со знатными домами; можешь взять прозвище покойного; напр., если он назывался Броницкий, ты говори: он так назывался оттого, что боронил отчизну; или, напр., умерший назывался Любомирским; ты говори: это он оттого Любомирский, что мир возлюбил. Можешь взять то же крестное имя. Умершего звали Стефаном, ты говори: Стефан значит венец, и тут скажи, что покойник приобрел себе венец как бы из цветов или драгоценных камней; или, напр., умершего звали Дорофеем; ты обратись к слушателям и скажи: Православные христиане! Дорофей значит дар Божий. И наш Дорофей, которого видите на гробовых носилках, был истинным даром для отчизны и для католической церкви. Можешь также взять герб покойного: если в гербе у него была стрела, ты припомни текст:

покажи мя, яко стрелу избранну; если у него в гербе башня – скажи текст: бысть упование мое столб крепости» и пр.

Можно подозревать, что тут проповедник с юмором говорит о проповедях своего времени. То же можно было бы сказать относительно наставления, как следует говорить проповеди на дни святых. Галятовский говорит: «Проповедь, которую ты произносил в день какого-нибудь святого, напр. Николая, можешь произнести на день другого святого, напр. Василия; только в тех местах, где ты говорил „Николая архиепископа Мирликийского“, восхваляй Василия Великого или Григория Богослова и т.п. Можно даже то, что ты говорил об Иоанне Крестителе, перенести на архистратига Михаила...»

Замечательно, как Галятовский шадит своих слушателей и боится огорчить их своими пастырскими угрозами. В проповеди на день Св. Георгия он коснулся ада, но ему стало жаль посылать туда грешных слушателей, и он советует им не отчаиваться, не унывать. Правда, из Св. Писания следует, что в аде будет более душ, чем на небе, и так надобно же, чтобы ад кем-нибудь наполнился – и вот проповедник утешает на этот счет слушателей, напоминая им, что ведь на свете много неверных жидов, магометан, есть довольно всяких еретиков, ариан, несториан, адамитов, монофизитов: будет кому наполнить ад; а мы, православные христиане, говорит он, будем надеяться, что все достигнем вечного спасения. Точно так же в проповеди на день Св. Илии он разразился против богачей, и как бы забыл, что в день Георгия всем обещал рай; «Не могут, – сказал он теперь, – восхищены быть на небо люди богатые; их души отягощены богатствами, сокровищами, маетностями; богачи за своими богатствами забывают о Боге; они злоупотребляют своими благами; они только едят, пьют, веселятся, а бедных людей забывают; не кормят их, в дом к себе не пускают...» Но потом проповедник сжалился над богачами и решил, что и богатым можно достигнуть неба, если только они станут давать милостыню, помогать церквам и монастырям и пр.

В числе сочинений Галятовского есть одно, писанное по-русски: «Души людей умерлых». Здесь автор ведет нас на тот свет, показывает нам жилища праведников и места мучений грешников – небо и ад. Души праведных размещаются по числу девяти ангельских хоров небесной иерархии, сообразно тем обязанностям, которые возложены на эти ангельские хоры по отношению к нашей временной жизни. В низшем хоре, собственно в хоре *ангелов*, – которым поручено надзирать над душами человеческими во время земного шествия, – обитают крещенные дети, убогие, сироты, вдовы и жившие честно в супружеском союзе; во втором, более высоком хоре, *архангелов* (которые до великих людей от Бога посольства справляют), священники и церковные учителя; в третьем, называемом им *князствами*, обязанном наблюдать над государствами, нациями и провинциями, будут пребывать цари, цесари, князья, гетманы, воеводы и всякая старшина, если они чинили подначальным людям правосудие и не делали им обид: четвертый хор называется *влады*, воюющие со злыми духами – с ними пребывают рыцари, которые сопротивлялись злым духам и побеждали грех; в пятом хоре, называемом *моцарства* – чудотворцы; шестой хор, *панства* – есть обитель девственников, пустынников, иноков; седьмой, *фроны* – там справедливые судьи, в осьмом – между херувимами – апостолы, епископы, митрополиты и пр.; девятый, высший хор, *серафимы*, которые возбуждают любовь к Богу – там мученики.

Противоположное небесам обиталище грешных, пекло, разделяется на два отдела; первый называется *одхлань пекельная* (бездна), другой – *огненная геенна*. В первом сидели до Христа ветхозаветные праведники; они мук не терпели, но были удалены от Бога и ожидали Христа. Спаситель вывел их из ада; они пребывали с ним сорок дней на земле, а по вознесении его пребывают на небесах. Но Спаситель не вывел из ада египтян, моавитян и всяких язычников, которые не ожидали Христа. Они теперь в аду. Другое отделение ада – геенна огненная, изобилует разными муками: неугасимый огонь будет уделом развратников, прелюбодеев и гневных людей. Лютая зима достанется на долю высокомерных богачей, безжалостных к страданиям нищеты; червь совести будет грызть похитителей чужой собственности и клеветников, похищающих у ближних доброе имя. Нестерпимый смрад будет досажать изнеженным щеголям, которые любили благовония (кохаются в пахучих

перфумах), а те, которые обжираются и не держат постов – осуждены будут на голод. В аде будет большая теснота: все пекло – говорит нам богослов – будет битком набито грешниками, одни на самом дне, другие посередине, третьи наверху: словно кто наложит в бочку рыбы, заткнет бочку чопом (зашпунтует). Затем автор описывает мытарства, которые должна переходить душа человеческая по освобождении от тела.

Другие сочинения Галятовского, хотя менее предыдущих, но заключают любопытные черты для истории понятий и взглядов того времени. Книжечка, под названием: «Небо новое, новыми звездами сотворенное», напечатанная в 1665 г., во Львове, есть собрание рассказов о чудесах Пресвятой Богородицы, выписанных из разных западных писателей с присовокуплением того, что представляется происходившим в Польше, Литве и Малороссии. Здесь замечательно посвящение Потоцкой, сестре митрополита Петра Могилы, образчик той, забавной для нашего времени, лести, с какою писатели XVII века обращались к знатным особам, чая падения крупниц от щедрот их на свою долю.

Галятовский производит дом Могил от Муция Сцеволы, «валечного и отважного и горливого (ревностного) к отчизне своей рыцаря римского», и называет дом Могил – «небом, усеянным новыми звездами». «Бог, – выражается наш автор, – праотцу нашему Адаму сказал: земля еси и в землю пойдешь, а я скажу Пресвятой Деве Марии: ты небо и пойдешь в небо могилянское!» Другая брошюра Галятовского: «Скарбница пожитечная» – (Полезная Сокровищница) – заключает в себе описание чудес иконы Пресвятой Богородицы, чествуемой под именем Елецкой в Черниговском монастыре того же имени, где Галятовский был архимандритом. Во вступлении к этой книжечке Галятовский пускается в объяснение слова казак и следует мнению, по его выражению, мудрых людей, которые производят слово казак от козерога, небесного зодиака, потому что казаки ходят с рогами, в которых насыпан порох, и как на высоком небе поднимается козерог, так казаки, проходя поля и море, поднимаются на стены и валы басурман и насыпают из своих рогов порох в самопалы, из которых стреляют в неприятеля. Трудно найти более подходящий образчик натянутых и придуманных объяснений, на которые падка была схоластическая наука. Главный предмет внимания автора – Елецкий монастырь; его очень интересуется прошедшая судьба этого монастыря. Но где взять источников? Малороссия бедна древними письменными памятниками: Великая Россия богаче; в Москве, – говорит он, – есть и русские летописцы, и патерики знаменитых русских монастырей. Князья Одоевские и Воротынские сообщили ему сведения, переходившие у них в роде о том, как образ Елецкой Богородицы (названной так оттого, что найден на еловом дереве) найден при предке их Святославе Ярославиче: но Галятовский нашел еще у себя источник: «Старые люди, – говорит он, – суть хроники живые». Чернигов испытал большие перемены: прежде жительствовавшие в нем московские люди; но с присоединением его к Польше, после смутного времени, наплыло туда другое население, нужно было отыскать старожилов из прежнего населения. Галятовский отыскал их: одному из них было сто десять лет, другому полтора года, а третьему около двухсот лет – старость сомнительная. Трудно, не обидевши память Галятовского, решить: кто солгал, тот ли, кто говорил о своих летах Галятовскому, или сам Галятовский. Схоластическое образование заставляло при соблюдении правил относительно формы смотреть очень легкомысленно на фактическую правду и сочинять не считалось слишком постыдным. В 1696 г. напечатана была в Чернигове брошюра Галятовского: «Боги поганские». Она посвящена царевне Софии. В своем предисловии автор снова показал образчик лести, свойственной своему времени, прославлял Софию, находил соответствие ее крестного имени с названием премудрости и выразился о царском доме в таких выражениях: «В дому найяснейших царей русских каждый царь есть солнцем, царица есть месяцем, царевичом и царевны суть звездами: бо светят добрыми учинками» (поступками). По учению Галятовского, идолы языческих богов были не болванами, статуями, простою вещью, как об них отзывался некогда Ветхий Завет, но жилищем злых духов, и ссылается, в подтверждение своего взгляда, на многих церковных и светских писателей. Бесы, сидевшие в идолах, говорили иногда правду и предсказывали появление христианства; но они же часто

обманывали и подводили в беду людей, употребляя в своих прорицаниях двусмысленные выражения, так что человек понимал прорицание совсем не в том смысле, какой оно имело на самом деле. Нигде не меньше Галятовского отличать вымысел от фактической правды не высказалось так выпукло, как в этом сочинении: взявши из освобожденного Иерусалима в польском переводе Кохановского рассказы о поступках чародея Исмена, Галятовский не поколебался принять их за несомненно достоверные исторические события. Языческие божества для Галятовского не только предмет истории и археологии; они имеют живой, современный интерес. Деятельность их продолжается и поныне. «И теперь, – говорит он, – дьяволы чрез посредство чародеев дают ответы и прорицания; злые духи, обитавшие в идолах, и теперь разным образом соприкасаются с людьми: они то принимают личину умерших людей, то создают себе воздушное тело из облаков, показывают разные вещи в зеркале, дают ответы чрез огонь, воду, чрез перстни» и т.п. Для Галятовского борьба с языческими божествами такая же, какую была борьба против иудейства и мусульманства. Но ратоборство нашего автора с языческими божествами вообще слабее того, которое он вел с иудеями и мусульманами: сочинение «Боги поганские» напечатано уже в старости Галятовского, за два года до его кончины.

Можно упомянуть еще об одном польском сочинении Галятовского: «Алфавит еретиков». Автор приводит в азбучном порядке всех, кого причисляет к еретикам, показывает при этом значительную начитанность, но, вместе с тем, смешение понятий: к разряду еретиков он относит не только философов древности, но даже таких лиц, которые не ознаменовали себя никакими признаками умственной деятельности, напр., в число еретиков попал Ксеркс, потому только, что ему снился сон, а это подало Галятовскому повод толковать, что сны бывают от Бога, но бывают и от дьявола.

Со всем своим ученым невежеством, с простонародными суевериями, привитыми во младенчестве и не выбитыми школой (которая и не старалась об их искоренении), с легковерием ко всему печатному, с раболепством ко всему, что только носит на себе притязание православной церковности, с диким изуверством, готовым жечь, топить в воде, резать всех, кто верует не так, как следует, но вместе с тем с несомненным дарованием, которое видимо в стройности изложения, в ясности слога, в удободоступности речи и, главное, в той живости, которая всегда бывает признаком дарования и которой никак и ничем не может себе усвоить бездарность, Галятовский, более всякого другого, может назваться представителем своего века в южнорусской литературе.

Из других малорусских писателей XVII столетия более всех приближается к Галятовскому, но только с одной стороны, как проповедник, Антоний Радивилловский, игумен Пустынно-Николаевского монастыря в Киеве. В 1676 году он напечатал сборник своих проповедей под названием «Сада Марии Богородицы», а в 1688 году под другим затейливым названием: «Венец Христов, с проповедей недельных аки с цветов рожаных (розовых) на украшение православно-кафолической церкви исплетенный». Эти проповеди расположены по церковному кругу недель, захватывающему переходные праздники. Прежде всего автор делает посвящение Христу. За посвящением Христу следует посвящение царевне Софии, которая сравнивается с греческою царевною Пульхериєю, управлявшею делами при своем царствовавшем брате. За обращением к Софии, следует обращение ко всякому читателю книги; автор объясняет, зачем книга называется венцом розовым. Между прочим, он сделал это для того, чтобы книгу его читали охотнее, подобно тому как врачи подправляют сахаром свои лекарства. Автор простодушно воображает, что за его книгу охотнее примутся читатели, когда увидят заглавие, напоминающее розовые цветы. В своих проповедях Радивилловский употребляет ту же, близкую к народной речи, удобопонятную речь, как и Галятовский, но уступает ему в даровитости, и проповеди его представляют менее занимательности: Радивилловский бывает часто растянут и вдаётся в мелочи, в пустые толки о словах; напр., одна из его проповедей на Фомину неделю основана вся на толковании: зачем Христос, явившись к ученикам после воскресения, стал посреди их, и по этому поводу сопоставляются разные случаи, когда в Св. Писании упоминается выражение

«посреди». Радивилловский изобилует сравнениями, приводит нередко свидетельства древних языческих писателей: Тацита, Плутарха, Цицерона, Плиния и других, примеры из древней истории<sup>118</sup>, образы из мифологии<sup>119</sup>, разные анекдоты<sup>120</sup>, случаи из повседневной жизни<sup>121</sup>, особенно щеголяет баснями, которые применяет к религиозным предметам, своеобразным и странным способом.<sup>122</sup> В проповеди на день «Жен мироносиц» Радивилловский ставит в большую заслугу мироносицам то, что они пошли на гроб Христа ночью, и при этом высказывает тот же суеверный страх пред мертвецом, который господствовал в народе. «Дом смерти, – говорит он, – есть дом страха. Пусть мать любит, Бог знает как, своего сына (или сестра брата или друг друга и т.п.), а умри у нее дитя: едва ли бы нашлась такая мать, которая бы решилась пойти ночью к мертвому сыну!» Нравственно-поучительная сторона проповедей Радивилловского очень слаба и ограничивается общими словами, за немногими не важными исключениями, где как бы случайно он касается черт обычаев того общества, которому читает свои проповеди.

К таким местам принадлежит одна из его проповедей на святой неделе: он порицает греховное прохождение христианских праздников: когда же больше бывает ссор, нечистоты, прельщения, пьянства, как не в праздник? В первый день Воскресения Христова празднуется Богу-Отцу, во второй Богу-Сыну, в третий Духу Святому, придет день четвертый, или совсем минут праздники, – мы, как и прежде бывало, остаемся холодными к богослужению, не хотим смириться и покаяться в грехах своих пред духовным отцом.

Иной тон встречаем мы у третьего малорусского писателя и, главное, проповедника – Лазаря Барановича. На жизненном пути он был не таков, как Галятковский и Радивилловский, которые не шагали далее скромного звания монастырских настоятелей. Лазарь достиг звания архиепископа черниговского и, после попавшегося в плутнях Мефодия, был много лет блюстителем митрополичьего престола. Он участвовал в политических делах своей родины и в особенности играл важную роль после измены Брюховецкого в 1668—1669 г. Под его настрением был избран в гетманы Многогришный и постановлены были глуховские статьи.

Лазарь, сам малоросс, очень соболезновал о неправосудии и утеснениях, которые причиняло малороссиянам воеводское управление, и хлопотал о том, чтоб избавить малороссов от суда и расправы великорусских воевод, но не мог успеть, так как проекты его, при всем их красноречии, оказывались противными стремлению московской политики, хотевшей как можно теснее привязать к себе поступившую под ее власть страну. Лазарь был человек с житейским благоразумием, позволял себе говорить насколько было для него безопасно, умел и молчать и старался ладить с сильными и угождать им. Патриарх константинопольский, признавая Иосифа Нелюбовича Тукальского митрополитом, поручил Лазарю в духовное управление левобережную Малороссию и почтил его отличием, позволивши носить саккос, тогда как в то время архиереи, кроме митрополита, надевали при

---

<sup>118</sup> Например, вспоминает, как гладиаторы намазывали себе маслом тело и один обсыпал своего противника песком, чтоб можно было ухватиться: он сравнивает его с дьяволом, который ухищряется схватить нас, намазанных елеем благодати.

<sup>119</sup> Напр., что древние изображали мир в виде девицы в белой одежде, попирающей ногами всякого рода оружие, или сравнивает Сына Божия, Христа, победившего дьявола, с сыном Юпитера, Персеом, победителем Медузы.

<sup>120</sup> Напр., о жиде, давшем христианину деньги с условием, в случае неуплаты, вырезать из его тела кусок мяса, или, напр., о девице, которая влюбилась в молодца и не могла исцелиться от своей любви, пока не явился ей Христос и не сказал: люби меня!

<sup>121</sup> Напр., раз двое поспорили между собою за кирпич, и один из них уступил другому, из чего выводится, что большею частью ссоры бывают за твое и мое и прекращаться могут легко, когда кто скажет – твое.

<sup>122</sup> Напр., лев, осел и лисица условились охотиться за добычей. Поймавши добычу, стали делить. Лев поручил лежать ослу. Осел, не обративши должного внимания на то, что лев есть царь и ему подобает уважение, счел себя равным льву и разделил добычу на три равные части. Лев за то растерзал осла и приказал делить добычу лисице. Лисица уступила льву большую часть. «Кто тебя научил так поступить?» – спросил лев. «Случай с ослом», – отвечала лисица. Отсюда вытекает, что так и Христос не вытерпит, когда кто в гордости равняет себя ему и, получивши блага мира сего: славу, почести, богатства, приписывает чести столько же себе, сколько Христу.

богослужении фелони, наравне со священниками, отличая себя от последних только омофором. Лазарь посвящал и посылал царю Алексею Михайловичу свои проповеди, украшая их заголовки затейливыми символическими рисунками, выражающими славу московской державы, и прилагая при них объяснительные вступления, преисполненные самой изысканной лести. Проповедник, отсылая в Москву таким образом свой сборник «Трубы словес», добивался, чтобы казна у него купила все издание; царь не согласился на это, приказавши только продавать его книгу обычным порядком; но все-таки ее навязывали по монастырям. Отношения Лазаря Барановича к гетману Многогришному скоро охладились; когда на этого гетмана сделан был донос, Лазарь не защищал его, и когда, после ссылки Многогришного в Сибирь, в 1672 году казацкая рада выбрала иного гетмана Самойловича, Лазарь находился на этой раде, приводил казаков к присяге и сблизился было с новым гетманом. Но прошло несколько лет, Самойлович невзлюбил Лазаря.

В Батурии к гетману приехал луцкий епископ Гедеон, князь Четвертинский. Самойлович, тайно от Лазаря, ходатайствовал за Гедеона в Москве, добивался, чтобы последний стал митрополитом, а на Лазаря старался вообще набросить тень. В Москве тогда более всего хотели, чтобы новый митрополит подчинился московскому патриарху. Четвертинский был готов на это, тогда как Лазарь, по-прежнему своему поведению, казался менее надежным, как защитник малороссийских прав. Правительство предоставило Малороссии вольное избрание митрополита: избран был Четвертинский в 1686 году. Лазарь, старейший из архиереев, был обойден; опираясь на грамоту, он не хотел повиноваться Гедеону; его оставили, но митрополит всячески унижал его, изъясил из его управления несколько протопопий и называл его только епископом. Самойлович делал ему разные неприятности. После падения Самойловича, Лазарь как бы ожил и отправил в Москву со своей стороны жалобу на поступки низверженного гетмана. В 1691 году скончался и другой недоброжелатель его, Гедеон; опять произошел выбор, но и на этот раз обошли Лазаря, а избрали печерского архимандрита Ясинского. Лазарь, уже престарелый, испросил себе от патриарха помощника, в лице черниговского архимандрита Феодосия Углицкого, которого в Москве и посвятили в сан архиепископа с тем, чтобы, по смерти Лазаря, он занял его место. Лазарь скончался в 1694 году.

Участие Лазаря в литературе выразилось преимущественно проповедями. Он сам поставлял себе это в заслугу и дорожил славой проповедника. Его проповеди изданы в двух огромных сборниках, in folio. Первый, напечатанный в Печерской Лавре в 1666 году, под названием: «Меч Духовный, еже есть глагол Божий», заключает в себе слова и поучения на дни воскресные и переходящие праздники, начиная от Пасхи и кончая Великою субботою. Другой сборник, напечатанный там же в 1674 году, носит название: «Трубы Словес», и заключает проповеди на дни святых и непеременимые праздники. Баранович отступил от способа, принятого Галятковским и Радивиловским, – писать проповеди языком близким к народной речи. Он пишет на славяно-церковном языке. Вычурность, напыщенность, – при скудости мысли, бедности воображения и отсутствии неподдельного чувства, составляют отличительные черты проповедей Лазаря. Все они, можно сказать, состоят из трескучих фраз и до чрезвычайности скучны. В свое время они могли нравиться разве книжникам, гонявшимся за словами и выражениями, но едва ли могли быть понятны народу. Впрочем, Лазарь, как кажется, и писал их, имея в виду более всего понравиться Алексею Михайловичу, любившему изысканность и напыщенность речи. Оба сборника посвящены царю.<sup>123</sup> В своих проповедях Лазарь любит обыкновенно вращаться на значении слов и

<sup>123</sup> На заглавном листе «Меча Духовного» представлены символические изображения всадников, едущих восхитать Царствие Божие, образы царей Давида, Константина, наконец царя Алексея Михайловича, царицы, трех царевичей, родословное Царское дерево и пр. Самое видное место занимает здесь над царем и его семейством изображение двуглавого орла с тремя венцами. В предисловии автор делает объяснение, что этот орел есть символ двух естеств Христовых; венец посредине – «Христос посреди», под ногами у орла луна – знамение варваров, которое орел сотрет силою крестною. Орел парит по воздуху, он царь всех птиц и покоряет их своею властью.

разных внешних признаков, щеголяет сближениями и противопоставлениями, растягивает до уродливости тексты Св. Писания, ни мало их не объясняя. Одно какое-нибудь слово побуждает Барановича искать соответствия в другом предмете, по поводу которого можно найти и употребить подобное же слово; напр., Христос исцеляет расслабленного в овчей купели: – Христос есть агнец с золотым руном; в овчей купели пять притворов, – проповедник вспоминает пять ран Христовых, пять чувств человеческих, и распространяется об этом. Еще затейливее встречаем мы такое сближение слов в проповеди на день Св. Георгия в «Трубах Словес». Великомученик Георгий был колесован. Колесо тотчас приводит проповедника к образу кольца обручального и венца – и вот, Георгий, яко дева чистая, обручен был Христу, а вместо венца принял колесо. Это колесо напоминает небесный звездный круг; «ради небес Георгий творил круг на колесе»: но это же колесо напоминает проповеднику мирской грешный предмет – пляску, отправляемую колесом, хороводом, и проповедник замечает, что такое колесо ведет в геенну огненную. Лазарь любит употреблять в проповедях молитвы, исполненные вычурности и пустословия. Вот как обращается он к Пресвятой Богородице: «Аще были быхом центипедес стоножны (стоножки), все мы бы к Богородице прилежно притекали яко грешныи. Аще быхом были арги (аргусы) стоочныи, все мы бы на Тебя смотрели, яже милосердии двери нам отверзаеши. Аще быхом были центимани сторучныи, все мы бы Твоей ризе посвященной прикасалися».

Несколько слов были писаны Барановичем царю Алексею Михайловичу по разным случаям в жизни последнего. По смерти царицы Марьи Ильинишны, Лазарь написал ему утешительное слово, наполненное разными избитыми фразами. Когда царь женился на второй жене, Лазарь прислал ему поздравительное слово. Когда царь совершал обряд явления Федора царевича народу, Лазарь, по этому поводу, написал слово, отличающееся крайним воскурением: проповедник сравнивает царя Алексея Михайловича с Богом, показавшим над водами иорданскими возлюбленного сына своего, а царевичу Федору влагает в уста слова Христа: «Отче! прослави Сына Своего» и пр. Смерть Алексея Михайловича подала Лазарю повод написать стихами и напечатать «Плач о преставлении царя и приветствие новому», а по смерти Федора, когда возведены были на престол два царя, Лазарь сочинил книгу: «Благодать и Истина Христова». Это – риторическое восхваление царей, перебитое стихами, вроде следующих:

«Иисус и Мария по пять литер мают,  
Иже пять пальцев мают, да ти складают,  
Пять источник на кресте от Христа исплыли,  
Бы писаню тех имен пять литер служили» и пр.<sup>124</sup>

Кроме русских сочинений, Лазарь написал и напечатал несколько сочинений на польском. Таковые: «Жития святых», «Стихотворное сочинение о случае человеческой жизни» и «Новая мера старой вере». Последнее – сочинение полемическое, написанное в защиту православия и вызванное нападками на восточную церковь иезуита Бойми. В нем, между прочим, Лазарь указывает нам на одну из важных причин перехода из православия в католичество – на то, что везде кричали, что православная вера есть вера хлопская.

## **Глава 10**

### **Епифаний Славинецкий, Симеон Полоцкий и их преемники**

Перенесение киевской учености в Москву было важнейшим событием в истории русской образованности XVII века. Событие это, чрезвычайно плодотворное по своим

---

<sup>124</sup> При этой книге приложена большая символическая гравюра, где изображается Христос, благословляющий царей, женщина с крыльями, ангел с громовыми стрелами и копьями, храм премудрости на семи столбах, с изображением на нем орла с сердцами на груди, изображение царей, архиереев и пр. Эта гравюра замечательна по своему мастерскому исполнению.

последствиям, началось постепенно, едва заметно, не сопровождалось никакими новыми учреждениями и ничем торжественным. Из московских бояр выдавался тогда Федор Михайлович Ртищев. Это был человек старой Руси, но лучший человек, какого могла выработать старая Русь. Ревностно благочестивый, хранитель священных преданий и обычаев старины, он не довольствовался, как другие, одним соблюдением внешних приемов набожности; он был из тех, которые ищут внутреннего смысла наружных признаков; учение Христа увлекало его к подвигам христианской добродетели. Ртищев тратил значительные суммы на выкуп пленных, которых тогда было чрезвычайное множество в мусульманских землях, помогал нуждающимся, построил и содержал больницу для убогих. Во время войны с Польшею, сопровождая царя, Ртищев взял на себя попечение о раненых и изнемогавших от зимнего холода, приказывал подбирать их и отвозить для приюта в нанятые для них помещения, пользовал и содержал на свой счет, а по выходу их давал им вспоможение. Ртищев очень любил читать книги духовного содержания и посещать богослужение. Но ни то, ни другое не могло удовлетворять его в своем тогдашнем виде. Не все сочинения святых были ему доступны в славянском переводе, да и списки тех, которые он мог читать, не отличались правильностью и однообразием смысла. Ртищев видел, что нужны новые, более правильные переводы; чтение самого Священного Писания возбуждало в нем желание проверить, правильно ли оно переведено в том виде, в каком было доступно для русских. Печатных изданий, кроме Острожского, не было; в рукописных были разноречия.

Ртищев пришел к тому, что было бы необходимо в Москве заняться переводами благочестивых книг. Богослужение совершалось в то время, как искони в Москве, небрежно, невежественно, неблагочинно. Ртищев настаивал на том, что надобно привести его в достойный вид и произвести пересмотр богослужбных книг. Царь Алексей Михайлович полюбил Ртищева. Характер этого боярина пришелся по душе тишайшему царю. Бояре же смотрели на Федора Михайловича не совсем дружелюбно, даже с насмешкою; при тогдашнем господстве внешности, тот, кто слишком задумывался о внутреннем смысле внешнего благочестия, казался для многих чудаком.

Ртищев знал, что в Киеве уже делается то, о чем он помышлял, и, преданный всецело своей мысли, обратился туда.

Сношения Малороссии с Москвою были частые. Игумены малороссийских монастырей просили у царей милостыни; за тем же обращалось еще к царю Михаилу Федоровичу и киевское братство. В 1640 году Петр Могила уговаривал царя устроить в своей столице монастырь, в котором бы старцы и братья киевского братского монастыря «детей боярских и простого сана людей грамоте греческой и славянской учили». Таким образом, сам преобразователь воспитания в южной Руси первый обратился в Москву и просил там сделать то, в чем нуждалась Великая Русь. Достоинно замечания, что, в своем письме к царю, Петр Могила выразился, что он об этом бьет челом государю паче всяких своих прошений. Так занимала киевского архипастыря мысль распространить начатое им дело на весь русский мир. В 1646 году Петр Могила прислал преемнику Михаила царю Алексею в подарок несколько лошадей и разные вещи, что показывает его постоянное желание связи с Москвою. Но, при дружелюбных отношениях православной Малороссии к православной Москве, у москвичей, однако, образовалось предубеждение против малорусской образованности и заподозревалась чистота правоверия киевских духовных писателей и наставников. Отчасти сами малоруссы возбуждали эти подозрения. При жизни патриарха Филарета, один киевлянин, званием игумен, доносил на учительное евангелие своего земляка Кирилла Транквиллиона Ставровецкого. Оценка этого сочинения поручена была двум московским книжникам: богоявленскому игумену Илье и соборному ключарю Ивану Шевелю. Не зная языка, на котором было написано произведение южнорусского писателя, они находили еретический смысл там, где встречались грамматические особенности и непонятное для них значение слов.<sup>125</sup> Москвичи считали себя одним только истинно

<sup>125</sup> Так, напр., у Транквиллиона о распятии Христа было выражение: «Пригвоздили до креста». Московские книжники возмущались этим, увидели здесь ересь, говорили, что следует писать: «ко



православным народом в целом свете; греки, давшие России крещение, потеряли над ними прежнее свое обаяние; москвичи не доверяли греческим книгам, потому что греки, живя под властью неверных, воспитывались и печатали свои книги на Западе. Москвичи считали свои старые переводы более правильными, чем греческие подлинники в том виде, в каком последние были напечатаны; такой взгляд особенно утвердили справщики книг при патриархе Иосифе. Сам Никон вначале разделял этот взгляд и говорил, что как «малороссияне, так и греки потеряли веру и крепость добрых нравов; покой и честь их прельстили, они своему чреву работают и нет у них постоянства...»

Появление киевских ученых в Москве, очевидно, должно было встретить против себя много враждебного, но боярин Ртищев, поддерживаемый царем, в виде частного предприятия, принял на свой счет пригласить и содержать нескольких киевских ученых, «ради обучения словенороссийского народа детей еллинскому наказанию».

Нам, к сожалению, неизвестны первоначальные сношения Ртищева с Киевом по этому поводу, но, по его просьбе, несколько ученых монахов решились оставить родину и служить делу духовного просвещения в Московском государстве, осуществляя, таким образом, одну из заветных мыслей покойного Петра Могилы. Главным из этих приезжих ученых был иеромонах Братского монастыря Епифаний Славинецкий.<sup>126</sup>

Воспитанник киевомогилянской коллегии, Епифаний окончил свое образование за границей, а потом был преподавателем в той же киевской коллегии, где учился сам. Трудно было найти человека, более годного для того, чтобы открыть собою в Москве ряд ученых. Епифаний обладал большою, по своему веку, ученостью: отлично знал греческий и латинский языки, имел сведения в еврейском языке; он изучил писания Св. отец и всю духовную, греческую и латинскую литературу, знал хорошо историю и церковную археологию. Он был характера кроткого, сосредоточенного, предпочитал уединенную жизнь кабинетного ученого всяким искательством почестей, не терпел никаких житейских дрызг, был всем сердцем предан науке, но это не мешало ему применять свою науку к самым насущным потребностям своего времени. Славинецкий был, словом, одним из тех ученых, которые, живя кабинетными затворниками, работают, однако, небесплодно для современных нужд своего общества. Славинецкий умел уживаться со всеми, никого не раздражал заявлением о своем умственном превосходстве и своею безукоризненною честностью приобрел всеобщее уважение. Никон, познакомившись с ним, полюбил его, изменил свое предубеждение против малоруссов и во всем положился на него в важном деле исправления книг.

Первые труды Славинецкого состояли в переводах разных сочинений Св. отец. Ртищев поместил его с братиею в новопостроенном Андреевском Преображенском монастыре на берегу Москвы-реки (между Калужскими воротами и Воробьевыми горами, где теперь дом Общественного Призрения). Кроме переводов книг, обязанностью киевских монахов было обучение юношей: в том же монастыре было основано училище.

Но не долго пришлось Славинецкому проживать в этом уединении. Царь назначил его справщиком типографии и перевел в Чудов монастырь, где также было училище, переведенное туда из здания типографии. Славинецкому, главным образом, поручили важное дело исправления книг. В постоянных ученых занятиях, Епифаний пробыл в Москве 26 лет, проживая со своими сотрудниками также в архиерейском доме, в Крутицах, где был прекрасный сад, изобильно снабженный водою. Он постоянно оставался в том же звании иеромонаха, в котором прибыл из Киева, и только однажды принял участие в общественном

---

кресту», не понимая того, что «до креста» по-малорусски и значило ко кресту: или, нашедши слово речь – в смысле вещи (по латыни *res = rzecz*) они приняли это слово в том смысле, в каком оно употреблялось в Великороссии, и приписали автору такие мнения, каких он вовсе не имел. Густыньские монахи, как мы уже заметили, именем Исаии Копинского уверяли москвичей, что Могила изменник православию.

<sup>126</sup> Подлинно неизвестно число всех прибывших с ним монахов. Впоследствии кружок ученых тружеников, работавших под руководством Епифания, простирался до 30 чел., но в число их входили уже и великоруссы.

деле, именно тогда, когда хотели судить Никона. Заявивши свое мнение, строго подкрепленное церковными законоположениями, верный своему скромному монашескому сану, не стал он спорить с сановитыми противниками Никона и воротился к своему ученому уединению. Жизнь Епифания, как вообще жизнь ученого труженика, протекала однообразно. Он весь отразился только в своих ученых трудах.

Исправление богослужебных книг начал Славинецкий неторопливо, с надлежащею обдуманностью. Для этой цели был отправлен на Восток Арсений Суханов за разными старыми рукописями. Только окруживши себя громадным количеством греческих и славянских списков, принялся Епифаний за исправление книг. Помощниками ему были приехавшие с ним земляки: Арсений Сатановский и Данило Птицкий, Арсений грек, затем несколько великороссиян: справщиков и книгописцев печатного дела.<sup>127</sup>

Под руководством Епифания были напечатаны богослужебные книги в исправленном виде, в том виде, в каком до сих пор остались они в употреблении по церквам во всей России и даже в православных краях славянского мира. То были: Служебник с предисловием, составленным Епифанием, Часослов, две Триоди: постная и цветная, Следованная псалтирь, Общая Миня, Ирмолог. К тому же разряду богослужебной литературы, как объяснительную книгу, можно отнести Новую Скрижаль, переведенную с греческого и напечатанную в 1656 году. Здесь объясняется литургия и другие обряды восточной церкви. К этой книге Епифаний приложил историю начала исправления книг в России, поводы, побудившие к этому предприятию, деяния собора, состоявшегося в Москве по этому поводу, и опровержения против нападков врагов исправления книг. Богослужебная реформа обыкновенно считается делом Никона, как вообще приписываются важные перемены, учреждения, устройства тем лицам, которые занимали правительственные должности, между тем как собственно всю работу исполняли подначальные им труженики, иногда мало известные и незаметные. Противники богослужебной реформы окрестили ее последователей именем Никониан. Но если и справедливо принадлежит она патриарху Никону, сознавшему важность и необходимость предпринятых исправлений, то еще с большим правом надобно признать эту реформу делом Славинецкого и работавших под его руководством тружеников, тем более, что Никон, человек хотя умный, но мало ученый, на самом деле во всем должен был полагаться на добросовестность и знания Епифания.

Вместе с исправленными богослужебными книгами, необходимо было также издание церковных законоположений в исправленном виде. Епифаний перевел Правила Св. Апостол, Правила вселенских и поместных соборов, Фотиев Номоканон с толкованиями византийских юристов Вальсамона и Властаря и Собрание церковных правил и византийских гражданских законов, составленное по-гречески Константином Арменопулом.

Переводная деятельность Епифания обратилась на писания Св. отец. Он перевел много сочинений, из которых некоторые были уже давно известны и любимы в славянских переводах, но тем нужнее было издать их в более правильном виде.<sup>128</sup> Переведено было им еще несколько житий святых: Алексея Божия человека, Феодора Стратилата, великомученицы Екатерины. Жития этих святых были уже прежде в ходу у читателей и искажались вымыслами, а потому особенно полезным казалось издать их вновь как следует.

Одними религиозными сочинениями не ограничился Епифаний в своих переводах. Он перевел с латинского несколько светских книг по части педагогики, истории, географии и даже анатомии<sup>129</sup>: нельзя, однако, сказать, чтобы литературное достоинство переводов Епифания могло привлекать к ним много читателей. Переводчик, большой буквалист, хотел

<sup>127</sup> То были: священник Никифор, иеродиакон Моисей, бывший игумен Сергей, Михаил Родостамов, Фрол Герасимов и чудовский монах Евфимий, особенно привязанный к Славинецкому.

<sup>128</sup> Несколько сочинений Афанасия Александрийского (четыре слова), Пятьдесят слов Григория Богослова, Беседа Иоанна Златоустого на пятидесятницу, Иоанна Дамаскина О православной вере, Слово о поклонении иконам. Они были печатаемы.

<sup>129</sup> Уставы граждано-правительственные; от Фукидидовы истории книга первая; о убиении краля аггельского; Гражданство и обучение нравов детских; Географии две части Европа и Азия; Книга врачевская, Анатомия, с латинского от книги Андрея Вессалия Брукселенска.

переводить как можно ближе к подлиннику, и, вместо того, чтобы передать смысл подлинника оборотами, свойственными языку, на который переводится, он кует произвольно славянские слова на греческий лад, дает славянской речи греческую конструкцию, вообще слог его переводов тяжел, темен, иногда непонятен.<sup>130</sup> В самом его переводе богослужебных книг также встречаются тяжелые и неудобопонятные обороты.

Главнейшей мыслью, занимавшей Славинецкого всю жизнь, был новый ученый перевод библии; к сожалению, эта мысль не осуществилась. Вместо нового перевода, в 1663 году, напечатана была библия с острожского издания с некоторыми небольшими поправками явных ошибок (например, вместо: «изыдоша седьм крав – изыдоша седьм крав», и т.п.). В предисловии к этой библии, вероятно написанном самим Славинецким, как главным справщиком типографии, приводятся две главных причины, воспрепятствовавших более ученому изданию библии. Первая была – господствовавший в то время предрассудок, что у греков повредилось благочестие, что их книги испорчены, и самый правильный текст заключается в старых славянских переводах; вторая причина, по выражению предисловия, еще более важная – «неудобоносимое время, настоятельство браней, вещей в мире оскудение», т.е. неудачные военные обстоятельства и вследствие их скудость средств, которые необходимы были в значительном количестве для этого предприятия. «Всякому легко понять, – продолжает предисловие, – что никак невозможно было начинать и доводить до конца этого предприятия». Но одно уже печатное издание библии в Москве было новым явлением для своего времени; Славинецкий же не оставил мысли о лучшем издании; и после того как прекратились тяжелые войны, он стал неотступно просить царя, владык и бояр разрешить новый перевод Священного Писания. «Мы, – говорил он, – не имеем хорошо переведенной библии; даже в евангелии есть погрешности; и мы за это терпим укоризну и крайнее бесчестие от иноземных народов». В 1674 году собор, состоявшийся при участии царя Алексея Михайловича, поручил Славинецкому сделать новый перевод библии под наблюдением Павла Сарского, исправлявшего должность патриарха. Под рукою у Епифания было две печатных греческих библии и, сверх того, множество рукописей как греческих, так и славянских, из которых многие были привезены Сухановым с Востока. Но Епифаний успел перевести только Новый Завет и Пятикнижие. Смерть прекратила его труды.

Славинецкий применил к делу свои филологические знания и издал два лексикона: один филологический, для объяснения слов, встречаемых в церковных книгах и церковном богослужении; другой – греко-славяно-латинский, где помещено до 7000 слов. Оба эти лексикона остались неизданными.

Епифаний писал проповеди и поучения. Эта деятельность также соответствовала требованиям времени. Проповедь была тогда в Великой Руси новостью. С XV века там никто не говорил проповедей, никто даже не считал полезным делом говорить их, напротив, там думали, что они могут подавать повод к вольнодумству и ересям. Патриарх Никон, первый из русских иерархов, ввел в богослужение проповеди и поручил читать для народа поучения Епифанию, вполне доверяясь как его правоте, так и учености. Переведенные Епифанием с греческого «Поучения Отцов Церкви» имели практическое применение и читались им в храмах. Кроме переводных проповедей, он написал около 50 слов собственного сочинения, которые до сих пор остаются в рукописях. Проповеди Епифания походят более на диссертации, чем на поучения народу. Епифаний объясняет догматы и символы церкви, значение праздников и разбирает ученым способом разные стороны христианского учения. Проповеди его испещрены множеством выписок из церковных писателей; эти выписки приводятся в рукописях даже не в переводе, так что в таком виде они могли читаться разве только ученым. Впрочем, как думают, проповедник переводил эти места во время

---

<sup>130</sup> В виде образчика переводов выпишем, напр., объяснение, что такое икона: «Всяка икона изъяснительна есть и показательна, яко что глаголю, понеже человек ниже виднаго, нагое имать знание телом покровенной души, ниже по нем будущих, ниже местом разстоящих и отсутствующих, яко местом и летом описанный к наставлению знания и явление и народствование сокровенных промыслися икона всяко же к пользе и благоденнию и спасению, яко да столествуем и являемым вещем разнаем сокровенная» и пр.

произнесения проповеди. Нередко Епифаний приводил места из греческих философов и даже поэтов (но гораздо с большей критикой, чем другие малорусские проповедники). Слог его проповедей, – хотя значительно лучше слога переводов, изданных под его руководством, – страдает, однако, вычурностью и напыщенными метафорами.<sup>131</sup> Есть несколько проповедей, где Славинецкий захватывает вопросы современной жизни. В одной из таких проповедей, которая начинается словами: «Людие, сидящие во тьме», проповедник говорит о пользе знакомства с греческим языком и вооружается против тогдашних ревнителей невежества с негодованием, для примера вспоминает о Марке Катоне, не хотевшем распространения греческого просвещения в Риме. «В нынешние времена, – говорит он, – много видим мы ослепленных людей, которые возлюбили мрак неведения, ненавидят свет учения, завидуют тем, которые хотят озарять ими других, вредят им клеветами, лицемерием, обманом, подобно тому, как совы, по своей природе, любят мрак и скрываются, когда засияет солнечная заря, так и эти мысленные совы, ненавистники науки, скроются в любимый ими мрак, когда ясная благодать пресветлого царского величества захочет разрушить тьму, прогнать темный обман и благоизволит воссиять свету науки и просвещать природный человеческий разум». Эта же любовь к просвещению выражается у него в поучении к иереям, где он дает священнику такое наставление: «Пекись и промышленай всем сердцем и душою, сколько твоей силы станет, увещевай царя и всех могучих людей везде устраивать училища для малых детей, и за это, паче всех добродетелей, ты получишь прощение грехов своих!» Поучение к иереям замечательно также и в других современных отношениях, так как проповедник дает наставление священникам: что они должны говорить своим духовным детям. Здесь касается Славинецкий ложного благочестия, приказывает не думать спастись молитвами святых угодников, пребывая самому во грехах, повелевает почитать иконы, но помнить, что это только изображения, чувствовать святых, но только как рабов и служителей Божиих: «Те же, – прибавляет проповедник, – которые хотят поклоняться иконам, как богам, достойны вечного огня». Замечательно то наставление, которое он вменяет в обязанность священнику делать господам относительно их рабов и подвластных. «Будь для рабов твоих таков, каким хочешь, чтобы был для тебя владыка. Не налагай на земледельцев работ паче их силы, не озлобляй их, дабы вопль и стенанье их не дошли до Господа. Пусть они имеют праведное уравнение в работе и в дани. Лучше получить мало пользы с правдою, чем много с неправдою. Посмотри, как тяжело приобретают они потребное для себя: те отправляются в дальнее путешествие по суше и по воде, приобретают себе достояние долговременною разлукою с домом, другие несут ярмо вседневного страдания в тяжелых земледельческих работах и, собирая земные плоды, дорожат каждым зернышком».

В слове о милостыне проповедник в живых красках рисует разные положения людского страдания, требующего поддержки и пособия. Он не слишком любит просящих милостыни и сердечнее относится к тем, которые стыдятся или не могут просить, не хотят валяться и шататься по улицам, а между тем горько страдают. Таковы вдовы, оставшиеся без мужей в нищете с малыми детьми, с возрастными девицами: «Дети хотят хлеба, служители – платы, девицы – одежды, сыновья – ученья или рукоделья, а между тем заимодавцы требуют долгов, заводят тяжбы, берут залого; они же стыдятся просить». Затем проповедник изображает страдания сирот в разных положениях: «Вот покинутый младенец, он плачет; как его не помирить? Кто может быть достойнее милосердия, как не глупое существо, не знающее своей беды? Вот дети, оставшиеся без родителей; попечителей у них нет, или же попечители не радуют о них; вот возрастные девицы без одежды, без научения, в гладе, в

---

<sup>131</sup> Он увещевает своих слушателей «изсечь душевредное стволие неправды богоизошрненным сечивом покаяния, искоренить из сердец пагубный волчец лукавства, сожечь умовредное терние ненависти божественным пламенем любви, одождить мысленную землю душ небесным дождем евангельского учения, наводнить ее слезными водами, возрастить на ней благопотребные былые кротости, воздержания, целомудрия, милосердия, братолюбия, украсить благовонными цветами всяких добродетелей и воздать благой плод правды».

нужде... А вот бедные крестьяне: у тех скот пал, у того господин все взял, у другого воин все ограбил, а тут царь дани требует, господин оброку... работать бы ему, да нечем...» К числу достойных сострадания проповедник причисляет странника и пришельца: «Не о том пришельце говорим, который идет в чужую страну для обогащения, а о том, который пойдет туда по какой-нибудь нужде, напр., ищет себе службы у доброго государя, или женится на чужеземке, и вдруг от разбоя, недуга или какого иного несчастья погубит все свое достояние; нет у него приятелей, нет знакомых, и языка страны он не знает. Такого надобно пожалеть». Но касаясь раздачи милостыни всякому встречному, проповедник опровергает господствовавшее тогда (и теперь оно существует) на Руси мнение, что следует давать всякому, кто попросит именем Христа. «Если ты видишь просителя здорового и не состарившегося и даешь ему милостыню – то сам делаешься общником греха. Стыдно смотреть, как размножились у нас скитающиеся гуляки, обманщики, как много таскается по улицам здоровых женщин с малыми детьми, а еще более девиц. Иные за деньги нанимают малых детей и через них собирают милостыню, а ночи проводят во всяком бесчинстве». Он вооружается также против шатающихся монахов и монахинь, но вместе указывает и на причины этого шатания. «Настоятели тратят монастырское имение на свое сластопитание, угощают у себя вельмож, содержат откормленных лошадей, готовят себе вкусные и дорогие снеди, а бедной братии дают негодную, суровую и гнилую пищу». Он требует, чтобы архиереи старались прекращать это бесчинство, а мирское правительство, по его мнению, должно устраивать богадельни для престарелых и больных, обеспечивать их и смотреть, чтобы призреваемые не бегали оттуда и не шатались по миру. Наконец, Епифаний предлагает, для призрения бедных и для устранения бесчинства, составить братство или общество милосердия. Кто будет давать деньги, а кто помогать своим трудом. Каждое воскресенье будут братья сходиться для рассуждения между собою и выберут из среды своей десять распорядителей. Посторонние посетители будут приходить и извещать братию о человеческих нуждах. Братия будет обсуждать: кому, чем и сколько помочь, смотря по надобности: иным бедным можно давать временное пособие, другим постоянное до самой смерти. Женщины могут составить свое общество милосердия и, собравши пожертвования, еженедельно отсылать в главное всеприютельще; наконец, Епифаний предлагает устроить кассу и давать из нее бедным займы, а если много будет денег в кассе, то можно давать и имущим, но в обоих случаях без лихвы.

Мысль эта, по-видимому, внушена была Славинецкому примером юго-западных братств с тою значительною разницею, что общество, предлагаемое Славинецким, было чисто благотворительное, тогда как юго-западные братства имели целью защиту православия и обучение детей.

Одна из проповедей Епифания направлена против раскольников, которых он называет непокорниками, и обличает не от лица своего, а от лица церкви, касаясь преимущественно тех писателей, которые рассеивали в народе сочинения против исправления книг. Новоявленные учителя тайно составляют ложные писания и тем в народе производят толки и смятения. Они сами стыдятся или боятся показать лицо свое. А кто призвал их на дело тайного учения, или, лучше сказать, народовозмущения? Не Бог, не архиереи; своим гордым самомнением и тщеславным умом дошли они до этого. Уже не то что мужчины, даже и женщины, которым Апостол учить не повелевает, пустились на это. Слепые невежды, едва привыкшие читать по складам, не имеющие понятия о грамматике, не то что о риторике, философии и богословии, люди, даже не отведавшие учения, дерзают толковать божественное писание, или, лучше сказать, извращать его, оговаривают и осуждают благоискусных мужей в славянском и греческом языке. Не видят невежды, что у нас исправлялись не догматы веры, а только кое-какие выражения, измененные недомыслием и описками невежественных писцов или невежеством типографских справщиков.

Кроме всех упомянутых трудов, Славинецкий написал еще несколько канонов, похвальных слов, утешительное послание к княгине Радивилловой, сочинение об отшествии с престола Никона патриарха, сочинение «о псалмах, превращенных от Аполлинария» и т.п.

Еще не вполне известны и не исследованы все его сочинения.

Славинецкий скончался 19 ноября 1675 года, завещавши киевскому братству свою библиотеку, которая, впрочем, была не велика. Кроме книг, после него осталось восемьдесят червонцев и серебряные часы с цепочкою ценою в 20 рублей. Червонцы были разосланы по разным южнорусским монастырям, а большая часть книг оставлена в Москве, кроме 31, отправленных на киевское братство; за остальное выплачены деньги.

Епифаний Славинецкий погребен в московском Чудовом монастыре.

[На гробе его следующая надпись:

«Преходяй человек! Зде став да взираеши,  
Дондеже в мире сем обитаеши;  
Зде бо лежит мудрейший отец Епифаний,  
Претолковник изящный Священных Писаний,  
Философ и Иерей в монасах честный,  
Его же да вселит Господь и в рай небесный  
За множайшии его труды в писаниих  
Тщанно-мудрословные в претолкованиих  
На память ему да будет  
Вечно и не отбудет».]

За Епифанием Славинецким из западнорусских пришельцев в Москве никто не имел такого важного влияния, как Симеон Петровский-Ситиянович; по месту, откуда прибыл в столицу, он обыкновенно называется Симеоном Полоцким.

Жизнь этого человека до переселения его в Москву нам совершенно неизвестна. Есть основание думать, что он родился в 1628 году, учился в киевской коллегии, потом в заграничных учебных заведениях и, по возвращении своем в свое отечество, Белоруссию, поступил в монахи. Алексей Михайлович познакомился с ним в Полоцке. В 1664 году Симеон прибыл в Москву и был помещен в Спасском монастыре за иконным рядом. С ним приехали его служители. Ему приказано было давать из дворца содержание; но остались его письма к царю – любопытные не столько для характера Полоцкого, сколько по чертам тогдашнего порядка вещей – из которых видно, что, несмотря на то, что Симеону от самого государя назначено было содержание, Симеон принужден был несколько раз обращаться к царю с письмами и просить, чтобы ему выдавали то, что было положено. Таким образом, кроме содержания для себя и для своей прислуги, он просил, чтобы ему, согласно обещанию, выдавали дрова во время зимней стужи и корм его лошадям. Характер этого человека не был похож на характер Епифания. Он не довольствовался скромными келейными учеными трудами; он беспрестанно напоминал о себе при дворе, кланялся государю, писал поздравительные стихи, восхваления всякого рода и вошел в такую милость, что сделался учителем царевича Федора, а пред концом царствования Алексея Михайловича увеселял царя и его двор комедиями своего произведения.

Сочинения Полоцкого не показывают в нем большой учености; он вовсе не знал гречески; Епифаний Славинецкий недолюбливал его, как часто не любят добросовестные труженики науки верхоглядов, и когда Симеон набивался к нему в сотрудники по исправлению книг, Епифаний отделался от Симеона, хотя, по своему добродушию, охотно отвечал ему на разные вопросы, с которыми обращался к нему Симеон, гораздо меньше его ученый. Зато, не успевши приобрести значения у строгого ученого, Симеон попевал везде и прославлялся как защитник православия против раскола, как богослов, как проповедник, как стихотворец. Замечательного таланта у него не было ни на одно из этих призваний, но его сочинения занимательны, так как касаются современных вопросов жизни и представляют много своеобразного в духе своего времени.

В 1667 году, в разгар борьбы против раскольников, патриарх Иосиф приказал напечатать составленную Симеоном книгу под названием: «Жезл Православия». В длинном

предисловии, исполненном болтовни, автор обращается с сильными воскурениями к архиереям вообще, восхваляя их великое значение. Само сочинение разделяется на две части. Первая часть есть обличение челобитной попа Никиты Пустосвята, поданной царю против новоисправленных книг и главным образом против книги «Новая Скрижаль»; вторая часть сочинения Полоцкого направлена против челобитной попа Лазаря. Никита Пустосвят старается, на основании произвольно приданного смысла отрывочно взятых фраз, обличать Никона и исправителей книг в ересь. Симеон уличает Никиту, что он не знает грамматики, а потому не понимает того, что читает. Таким образом, взявши одно место перевода, где изображается человек, носящий крест, Никита понял это место так, что там говорится о Христе, тогда как шла речь не о Христе, а о преступнике, осужденном на казнь.<sup>132</sup> К такому же разряду промахов принадлежит обличение Никиты против молитвы при крещении. Никита доказывал, будто выходит такой смысл, что призывается нечистый дух (несмотря на нелепость этого замечания, опровергнутого еще Симеоном Полоцким, он до сих пор повторяется раскольниками в числе важных укоров), тогда как все произошло от того, что не ведающий хорошо славянской грамматики ревнитель староверства не знал различия звательного падежа от именительного.<sup>133</sup>

Спор Симеона с Никитою заходит в богословские тонкости, напр. – о способе воплощения Христова. Но тут Симеон, пустившись в умствования, невольно выказал влияние католичества, которое отразилось на нем со времени посещения римско-католических училищ. Он, между прочим, признает временем пресуществления святых даров на литургии произнесение священником слов Спасителя: «Примите и проч.», тогда как (что и поставлено было впоследствии Симеоу в вину) восточная церковь мудрствовала иначе.

Спор Симеона с Никитою касался также вопросов о двуперстии, о четвероконечном кресте (называемом раскольниками латинским крестом), о сугубом аллилуйи и пр. Тон, с которым Симеон вооружается против своего противника, переходит в ругательство: Симеон называет его буесловцем, нечестивым, окаянным, смрадным козлицем, свиньею, изрывающей вертоград церкви, разбойником, удом согнившим и проч.

Спор с Лазарем вращается более, чем спор с Никитою, в области приемов внешнего богослужения, либо же касается придинок Лазаря к словам и выражениям в переводах, которыми, для буквальной близости к подлиннику или для грамматической правильности речи<sup>134</sup>, в новоисправленных книгах заменены были прежние однозначные выражения. В разных обрядах, принятых и установленных тогда церковью, Лазарь усматривает влияние то латинства, то армянства: зачем, например, плащаницу ставят головою на полдень, зачем на Пасху читают диаконы Евангелие в разных местах церкви; зачем поп сидит на исповеди, зачем архиереи благословляют обеими руками, зачем введено пение, напоминающее органы и проч., и проч.; на все отвечает Симеон объяснительным тоном, но примешивает иногда и ругательства. В особенности озлобился он за то, что Лазарь в своей челобитной представлял царю, что неприлично делают, поминая его «тишайшим и кротчайшим», и слова в ектениях «о всей палате и воинстве» толковал так, как будто здесь говорится не о здравии и спасении

---

<sup>132</sup> «Видевши сие, господствует в Никите, иже дерзав во богословские глубины ум свой пущати, се на брезу грамматического разума и в мелкости ея утопает, солнце хотевый соглядати, стези не видит. Приидите семо и малейшии отроцы грамматические хитрости рачителие, виждьте и судите о Христе. Дамаскин монах написал сия, виждьте, колико умен буесловец Никита, не о Христе Господе сие есть писано, но о тате и разбойнице или за иной который грех осужденном на смерть крестную человеце».

<sup>133</sup> «Да не снидет со крещающимся, молимся Тебе Господи, дух лукавый, помрачение помыслов и мятеж мыслей наводяй».

<sup>134</sup> Напр., вместо «смертию на смерть наступи» – смертию смерть поправ; вместо: «его же величающе Тебе, Дева, ублажаем» – его же величающе Деву ублажаем, вместо «яко воистину блажителия, Богородице» – яко воистину блажителия, Богородицу; вместо: «Христос воскресый из мертвых, истинный Бог наш, молитвами пречистыя его Матере» – молитвами пречистыя своя матере; – и тому подобное. Верх детскости взглядов и понятий выразился в том, что в известной песне на литургии «един свят, един Господь Иисус Христос» в слове Иисус Лазарь читает союз соединительный и видит разделение лица Христова.

царя, не о его боярах и воинах, а о каких-то каменных палатах и палатном воинстве. «О, клеветник Лазарь, – возражает ему Симеон, – как это ты Бога не боишься и людей не стыдишься; будто мы, называя государя тишайшим и кротчайшим, ругаемся над именем великого государя нашего. Невежда! Безумный злобник!.. А что ты клеветнешь, будто мы не творим молитв о боярах, но молимся о каменных палатах и о палатном воинстве, так такое обличение, вместо ответа, лучше оплевать и обругать и тебе уста заградить жезлом, как псу лаящему!..» Затем объясняет ему Симеон, что слово «палата» заменяет бояр и воинство «через образ грамматический и риторский, именуемый синекдохе, еже различными образы бывает, егда едино из другого коим-либо обычаем познавается».

В 1670 году Симеон написал большое богословское сочинение под названием: «Венец веры кафолическия». Он берет так называемый большой апостольский символ веры и по членам его распределяет разные богословские предметы, излагая их в форме вопросов и ответов.<sup>135</sup> Такой способ дает ему повод, наподобие средневековых схоластиков, задавать самые затейливые и мелочные вопросы, сообщает различные мнения об этих вопросах, почерпаемые то из восточных, то из западных писателей, а нередко из апокрифических сочинений. Зачем, например, Христос родился в декабре? В какой час дня совершилось благовещение и рождество? Мог ли Христос говорить тотчас после своего рождения? Зачем Христа пригвоздили к кресту четырьмя, а не тремя гвоздями? Всю ли свою кровь, излившуюся на кресте, восприял Христос при воскресении или частицы ее остались и смешались с землею? и пр. и пр. Следуя за апостольским символом, когда пришлось говорить о Творце и творении, Симеон изложил своеобразную и уродливую систему космографии, показывающую его знакомство с западными астрологическими бреднями: результаты современных ему научных исследований мало до него прикасались. Существует трое небес: эмпирейское, неподвижное, самое высшее, кристальное, движущееся с неизреченною скоростью и – твердь, разделяющаяся на два пояса, первый – звезд неподвижных, а второй – планет. Планетное небо разделяется на семь кругов или поясов по числу планет, известных тогда: Крон, Дей, Ар, солнце, Афродита, Ермий, луна. Симеон приводит баснословные расстояния от каждой планеты до другой. От земли до тверди восемьдесят тем миль (т.е. 800000), а от верха земли до эмпирейского неба так далеко, что если ехать туда со скоростью восьмидесяти миль в час, то времени понадобится бы 50 000 лет. Звезды описываются так: «Веществом чисты, образом круглы, количеством велики, явлением малы, качеством светлы, дольних вещей родительны (имеют влияние на перемены в воздухе). Планеты по местоположению ниже звезд; иногда они ходят по одному пути со звездами, а иногда по противоположному. Самая малейшая звезда в восемьдесят раз больше земли, а следующая по величине звезда превосходит пространство земли в 170 раз. Солнце в 166 раз больше земли; луна же в 30 раз меньше. Всякий час солнце совершает 7160 миль, из которых каждая требует человеческой ходьбы два часа. Земля представляется круглою, черною, тяжелою, холодною; она кентр (центр) всего мира, мрачна и содержит в себе ад. Землетрясение происходит от терзания заключенных в ее недре духов.

Симеон останавливается с большим вниманием над созданием и грехопадением человека, приводит разные мнения о том, сколько времени пробыл Адам в раю, и более склоняется к тем, которые полагали, что первобытная чета пробыла только три часа и согрешила в шестой час дня, почему и Христос, искупляя человечество от прародительского греха, был распят в шестой час дня. Разбирая вопрос о чадородии, Симеон приходит к такому мнению, что если бы люди не согрешили, то зачинались и рождались бы обыкновенным способом, как теперь, но только с тою разницею, что зачинались бы без необузданной страсти, а рождались без смрада, без болезни. Родители, проживши в земном раю, уступали бы свое место детям, а сами были бы возносимы на небеса, и таким образом умножение человеческого рода восполняло бы число падших ангелов, так как человек для того и был создан, чтоб заместить отпавших от Бога духов. Злые ангелы, возмутившиеся

---

<sup>135</sup> Три первые главы составляют как бы вступление: здесь говорится о том, что такое христиане, откуда их вера, о ересях, а затем четырнадцать глав посвящены членам апостольского символа.



против Бога, не принадлежали к одному какому-нибудь чину, который всю свою корпорацией пал и лишился блаженства: они были увлечены сатаной из разных ангельских чинов, сам же сатана состоял в числе самых высоких и самых близких к Богу духов небесных. В главе о воскресении мертвых автору приходят на мысль самые странные вопросы, например, воскреснут ли мертвые с волосами и ногтями, так как у человека, который их в течение своей жизни обрезывал, могло накопиться их очень много? Этот вопрос разрешается так: воскреснут, но настолько, насколько нужно для украшения плоти. Воскреснут ли кишки? «Воскреснут, – отвечает Симеон, – но будут наполнены не смрадным калом, а презрительными влагами». Семени в человеке не будет, так как Христос сказал: в воскресении не женятся, не посягают. Но вот еще вопросы. Все тело человека истлело, но все его части должны воскреснуть. Как они в то время соединятся между собою? Могут ли различные части соединиться, например, кость с костью, жилы с кровью? и т.п. «Нет, – отвечает наш мудрец, – только персть одновидных частей может соединиться; то, что было в руке, может очутиться в ноге, ибо это не изменит тождества лица человеческого, но персть различных частей не может быть смешана, и то, что составляло жилы, не может образовать крови, или то, что составляло мясо, не может войти в состав крови или костей, иначе – все равно: если бы кто разрушил серебряный сосуд с золотой крышкой, потом из крышки сделал сосуд, из сосуда крышку; разве мог бы сосуд назван быть прежним сосудом?»

Конец мира возбуждает особенное внимание, и здесь появляются на сцену более всего кстати разные вековые вымыслы религиозной фантазии. Антихрист очень занимает Симеона; автор приводит разные мнения об этом лице; одни признавали его воплощенным дьяволом, другие – человеком, слугою дьявола или, лучше сказать, каким-то полудьяволом, потому что выдумывали рассказы о его чудном происхождении на свет, и при этом дьявол играет важную роль. Симеон думает, что Антихрист будет человек и подобно всем людям, будет иметь у себя ангела-хранителя, но предастся злу, отступит от Бога и ангел-хранитель покинет его. Антихрист – человек с необыкновенными умственными способностями, он будет сведущ, как никто, но вместе с тем он чревычайный лицемер и свою могучую духовную силу обратит на пагубу, а не на пользу человеческого рода: он весь зло, хотя по наружности будет казаться образцом всех добродетелей. Ему будет помогать какой-то жрец из христианского полка. Антихрист введет поклонение богу Маозею (божество силы и успеха). У него будут лжепророки и лжеапостолы, которых он разошлет по земле привлекать к своей вере. Антихрист достигнет могущества, он сделается царем; столицей его будет Вавилон. Всяк, кто подчинится ему, получит знамение на челе и на руке, а у кого такого знамения не будет, тот не может ничего ни купить, ни продать. Царствуя в Вавилоне, Антихрист будет вести войны и победит трех царей: египетского, африйского и эфиопского; Аравия ему не покорится. Гог и Магог восстанут, но наш богослов сам подлинно, кажется, не знает, что такое эти Гог и Магог. Он приводит только мнение (наиболее распространенное), что под этими именами разумеются народы заклятые и замкнутые в каспийских горах, но, по другим толкованиям, это названия антихристовых ратных людей: Гог – действующие тайно, а Магог – действующие открыто. Но явятся Энох и Илия и станут проповедывать против Антихриста; проповедь их будет (сообразно апокалипсису) длиться тысячу двести шестьдесят дней. Антихрист убьет их в Иерусалиме. Они воскреснут из мертвых, но вслед за тем постигнет конец и Антихриста. Все царство его продолжится только три с половиною года. После смерти и воскресения Эноха и Илии придется ему сидеть на престоле только пятнадцать дней. Антихрист притворится умершим, потом будто бы воскресшим, взойдет на гору Елеонскую и действием дьявола поднимется на воздух, но архистратиг Михаил поразит его. Через сорок пять дней потом начнется страшный суд.

Загорится земля и будет гореть до половины своей атмосферы; моря не будет, но это не значит, чтоб оно более не существовало: оно не будет только солоно и бурно; явится знамение сына человеческого, вострубят ангелы, воскреснут мертвые.

Наш тайновидец задает вопрос: в какое время дня и в какое время года будет

воскресение мертвых, и решает, что это событие произойдет весной в апреле, во время праздника Пасхи, ровно в полночь, тогда, когда и Христос воскрес; некоторые говорят напротив, что это должно последовать утром на заре, как и Христос, по их мнению, воскрес с появлением денницы. Симеон соглашает искусно два эти мнения. Христос воскрес в полночь, но в то время солнце нарочно тремя часами ранее обыкновенного восходило, а потому правы и те, которые говорят о заре и солнечном восходе; в день воскресения всех умерших, вероятно, будет так же, как было в день воскресения Господня. Некоторые толковали, будто воскресение произойдет так: прежде ангелы соберут в кучу персть добрых, и демоны в другую кучу персть злых, которых они искушали, и Господь воскресит тех и других, но Симеон не доверяет этому: Христос ясно говорит, что отделятся оживленные праведные от неправедных, и, вероятно, по соображениям Симеона, собранием персти и воскресением умерших займутся нарочно для того поставленные ангелы.

Страшный суд будет происходить в Иосафатовой долине близ Иерусалима под Елеонской горою. Но опять представляется вопрос: как же могут поместиться так много воскресших людей на таком малом пространстве. Автор решает и этот вопрос: часть судимых будет стоять на воздухе ярусами одни над другими, а низшие на земле – вот и поместятся. Суд свой Господь будет производить вместе со святыми угодниками, и все воскресшие будут разделяться на четыре разряда: одни будут судить со Христом, другие будут судимы, оправданы и войдут во царствие Божие, третьи будут ввержены в ад, без суда: то язычники, иудеи, мусульмане и вообще не получившие крещения; они незаконно согрешили, незаконно и погибнут, к ним отнесены будут и некрещенные дети. Четвертый разряд – грешники, осужденные за их деяния праведным судом в геенну огненную на вечную муку. Страшный суд будет продолжаться три часа с шестого часа дня до девятого, в те часы, когда Христос висел на кресте.

Солнце перестанет двигаться; земля обновится, станет прозрачна, как стекло; она уже не будет производить ни зверей, ни деревьев, она будет испещрена цветами, но эти цветы следует принимать не в буквальном смысле, а в духовном.

Кроме этого пространного сочинения о вере, Симеон Ситиянович написал еще: «Книги кратких вопросов и ответов катихистических».<sup>136</sup> Это катихизис, расположенный в таком порядке: сперва излагается символ веры; здесь отчасти сокращение Венца с затейливыми вопросами; далее следует о Молитве Господней, о поклонении Деве Марии, о евангельских блаженствах, о трех богословских добродетелях; затем следует десять заповедей, потом – о таинствах (о евхаристии говорится относительно времени пресуществления то, что признано несогласным с учением православной церкви), затем – примеры вопросов, какие могут задавать исповедующие священники, применяясь к случаям, встречавшимся в то время в обыденной жизни, и подводя их под ту или другую из заповедей Божьих. Вопросы и ответы очень коротки.

Это сочинение, в свое время напечатанное, по смерти автора подверглось осуждению церковной власти, а для нас оно составляет один из любопытных памятников XVII века как по тем случаям житейским, которые вспоминаются в качестве черт общества, среди которого жил автор, так и по взглядам, господствовавшим тогда между людьми книжными. По поводу первой заповеди автор касается замеченного им у русских неправильного мнения, будто всякий человек может спастись по своей вере, лишь бы он был добр и не делал зла своим ближним. «Это грех зело тяжкий, – говорит автор, и зело част есть не только между невеждами, но и между теми, которые считаются знающими (иже вежды водятся быти): никто не может спастись вне соборной православной кафолической единой церкви». Добродушная натура невежественного русского человека по своему свойству менее, чем чья-

---

<sup>136</sup> Напр., зачем Христос начал свои страдания в ограде? – В ограде зачася болезнь и смерть чрез перваго Адама, в ограде вторый Адам восхоте врачевство начати, да вдаст живот. – Или: сколько язв бысть на теле Господа? – Вящше пяти тысящ! – Или: потребно ли было присутствовать бабе при рождении Спасителя. – На это дается ответ отрицательный, ибо Дева Святая родила без болезни, в веселии и без всякой скверны.

нибудь, была склонна к нетерпимости, нужно было грамотное невежество, чтобы возбуждать в нем фанатизм. Затем автор сделал замечание также о признаке своего времени, о чтении Св. Писания; возникшая борьба между церковью и расколом распространяла грамотность пуще школы: вкус к чтению и толкам о религиозных предметах стал входить в народ, и вот Симеон, который в других своих произведениях так горячо говорит о необходимости заведения училищ – здесь хотя и признает полезным чтение Св. Писания, но позволяет его только тем, которые имеют грамматическое знание, и притом с тем, чтоб они не отваживались сами излагать библейские места по-своему, а спрашивали бы об этом у лиц, более их сведущих; но он запрещает читать Библию невеждам и замечает, что, к его сожалению, невежды-то более всего бросаются на чтения такого рода, хотят быть учителями, высоко думают о своем собственном уме и стыдятся испрашивать советов у других. Наконец, по поводу первой заповеди, Симеон говорит о разных суевериях, которые представляются также грехом, оскорбляющим веру в Бога. Русские держали у себя и носили на себе разные записки, как врачевство против горячки и разных болезней или же как предохранительное средство против уязвлений. Дозволительно ли (задаются вопросы) через решето хотеть узнать тая похищенной вещи? Можно ли снам верить? Первое называется дьявольским, второе суетнейшим делом. Называется суеверием господствовавший обычай по встречам с людьми и с животными гадать о счастье или несчастье, об успехе или неуспехе в предприятии. Осуждаются всякие волхования, как то: по церковному ключу, по псалтири. Мы узнаем, что русские современники Симеона для отыскания воров и похищенных ими предметов давали есть сыр, на котором чертили *незнаемые* (тарабарские) словеса, в день усекновения главы Иоанна Предтечи искали зелья, сообщающего большую телесную силу: все это признается грехом. Меньшим грехом считает Симеон, если кто, например, по невежеству отдает почтение одинаким церковным вещам пред другими, сообразно их цвету, величине, помещению, напр., говорят: пусть чтутся такие-то молитвы, а не другие, пусть будут такой величины свечи, а не более, воск будет пусть белый, а не желтый и т.п. Проходя вторую заповедь, катихизатор заметил, что невежды поклоняются иконам в большей степени, чем такое поклонение предписано церковью (невежды не возводят ума своего на первообразное), однако не вменяет им этого в грех идолопоклонства, надеясь, что так как они составляют часть церкви, то честь, творимая ими неправильно, делается правильно (возводится к первообразному) через общее церковное намерение. По поводу третьей заповеди автор коснулся русского обычая божиться и клясться, который, по его замечанию, был особенно распространен у купцов, говоривших, что им если не побожиться, то не продать, нападает также на привычки русских произносить такие поговорки: «Чтоб меня черт взял, коли я не говорю правду», или «Это истина как Бог!» «Ни с кем нельзя равнять Бога», – говорит Симеон.

Касаясь четвертой заповеди, автор обличает недостойное препровождение времени в праздничные дни, господствовавшее в его время во всех слоях русского общества. «Люди благороднейшие целые дни тратят на ловление (охоту). Их жены и девицы употребляют все утро на суетное украшение своего тела. Ремесленники проводят праздничные дни в пьянстве.<sup>137</sup> Особенно негодует Симеон на хороводы, обычное праздничное препровождение времени у простого народа. «От демона или от змия приняли начало эти ликования, ибо он привык вертеться кругом (яко же он круговождение обычае творити)». Симеон не одобряет даже тех, которые проводят праздничные дни в чтении и «словоположении» (беседах), нападает на господ, которые заставляют своих рабов в праздник работать: это грех смертный; менее грешат те, которые, как вошло в обычай, ходят в лес собирать орехи, грибы, ягоды, но все-таки грешат. Впрочем, автор позволяет и в праздничный день работу в случае крайней нужды: напр., собирание плодов, когда дожди или другие воздушные перемены требуют поспешности, заклятие животных и торг съестными припасами, когда случатся

---

<sup>137</sup> Замечательно, как автор определяет, что значит быть пьяным: «Тот истинно пьян, кто на другой день не помнит, что он делал и что говорил, с кем шел, как домой добрался и как спать лег, а тот еще не совсем пьян, кто хотя и шатается, но все помнит».

сряду несколько праздников, но он позволяет такое занятие в праздник не более трех часов.

Наибольшее число случаев приводится у Симеона по восьмой заповеди. «Против этой заповеди, – говорит он, – грешат у нас все: и большие, и малые, и убогие, и богатые. Грешат князи, отягощающие неправедно низший народ различными даяниями, грешат правители, которые дурно распоряжаются народным достоянием и обращают в свою корысть; грешат начальники, которые бывают обыкновенно хищники и народные кровопийцы; грешат судьи и “законословцы”, искажающие смысл закона и часто требующие неправедной “мзды”». Далее катехизатор переходит к людям, посвятившим себя низшего рода занятиям, и нападает прежде всего на купцов, как они расхваливают продаваемые вещи, скрывая их дурные свойства, как иногда их приятели притворно покупают товары, чтобы поднять цену и заставить настоящего покупателя заплатить дороже, как на торжищах умышленно хулят товар, для того чтобы отбить других от покупки, а самим или своим родичам купить подешевле и т.п. Грешат против восьмой заповеди и ремесленники, обманчиво исполняющие свои работы, грешат стяжатели земли, плутовски захватывающие пределы нив, грешат, наконец, толпы нищих, которые тогда особенно промышляли кражею.

Проповеди Симеона Ситияновича изданы в двух огромных книгах *in folio*. В одной из них, под названием «Обед Духовный», помещены поучения на все воскресные дни года и на переходящие праздники, а в другом «Вечеря Духовная» – поучения на праздники непереходящие, господские, богородичные, дни некоторых святых, особенно чтимых, а также поучения на разные случаи. Проповеди Симеона проникнуты схоластическим пустословием сообразно риторическим требованиям своего времени.<sup>138</sup> Он приводит нередко древних авторов, сообщает из них анекдоты (как напр. о Мидасе фригийском, о Фазтоне и т.п.), черпает без разбора сведения, как из Св. отцов церкви, так из апокрифических сочинений. Симеон очень любит сравнения, но не многие у него удачны.<sup>139</sup> Симеон сильно старается сделать свои проповеди живыми и поэтическими, а они наперекор ему отзываются сухостью; автор мало обладал способностью творить образы и в этом отношении стоит ниже Галаятовского. Зато едва ли кто из его современников держался в своих проповедях более нравственно-поучительного направления и притом не в одних только общих чертах. Симеон в своих проповедях, как и в своем катехизисе, заглядывал в подробности и особенности современной ему жизни.

Подобно Епифанию Славинецкому, Симеон сознавал и необходимость книжного просвещения в московской земле. В одной из своих проповедей на Рождество Христово, он от лица вселенских патриархов, съехавшихся тогда в Москву, обращается к царю с молением взыскать премудрость, заводить училища греческие, славянские и другие, умножать спудеов (учащихся), отыскивать благоискусных учителей и всех «честью поощрять на трудолюбие». Как монах, он выше всех знаний ставит богословие; он помнит известное выражение апостола Павла, в котором многие видели роковой приговор всякой науке: «Премудрость людская – буйство (глупость) есть у Бога». Но Симеон хочет дать этому выражению

---

<sup>138</sup> Вот для примера до каких крайностей доходит у него страсть видеть во всем символы и объяснять их: напр., по поводу Рождества Христова развивается в проповеди такое положение: слово стало плотию, а плоть трава, ибо сказано: человек яко трава. Следовательно, Христос, родившись и ставши человеком, стал травой, «да мы скоти ту траву, то сено духовное ядуще от внутрь таимаго в нем слова восприимем слово совершенное или разум». Или, напр., в слове о блудном сыне, Симеон вещественным предметам, упоминаемым в евангельской притче, насильно дает аллегорический смысл: «Свиньи, которых принужден пасти промотавшийся блудный сын – скверные и нечистые помыслы; сапоги, которые сыну дает отец – это сапоги крепости для путешествия к бесконечной жизни».

<sup>139</sup> К числу самых удачных, по-нашему мнению, можно отнести (Поучение в неделю 9 по пятидесятнице) сравнение житейского пути с плаванием по рекам: люди благоденствующие в мире словно сидят на покойном корабле и плывут; им кажется, что мимо их бегут горы, леса, города, а они сидят себе недвижимо; они видят, как одни богатеют, другие беднеют, одни рождаются и возрастают, другие стареются и умирают; здоровье и недуги, слезы и веселость сменяют одно другое, и кажется им, что сами они стоят выше меры, прилагаемой к другим, далеки от того, что постигает других, спокойны, беззаботны – как вдруг все исчезает, и корабль их доходит до пристанища гробного, и приходится душе грешной сходить с покойного корабля.

примиряющий смысл: «Следует знать, – говорит он, – что этими словами не охуждаются свободные искусства: грамматика, риторика, философия и пр., они очень полезны в гражданском быту и споспешествуют духовной премудрости; здесь охуждается непокорство божьим словам естественного разума, изощренного хитростью этих искусств; если кто, опираясь на естественные причины, не хочет повиноваться божьему слову – вот мудрость мира сего! – вот буйство перед Богом! Величайшее заблуждение пытаться измерять мерою человеческого разума божественное, слишком превосходящее ум человеческий. Как может сова рассуждать о солнечном свете, когда этот свет превосходит силу ее зрения?» Потребность школьного учения в значительной степени возбуждалась в Симеоне явлением раскола, который он также громит в своих поучениях. Он хотел, чтобы люди правильно рассуждали о предметах веры, а раскол являл пример – чего можно ждать, если возьмутся за эти предметы круглые невежды. «Многие еретики, – говорит он, – потонули в глубине Священного Писания от неискусного плавания; и наши нынешние лжемудрецы, неискусные в плавании, дерзко ворвались в пучину писаний, думая добывать оттуда жемчуг премудрости... Лучше было бы им стоять на берегу и помалу утолять жажду этой животворной водою... Нет, захотели они славы мира сего и, словно слепцы, пустились рассуждать о шарах, которых никогда не видали. Ныне у нас многие хотят именоваться учителями Св. Писания, а не учениками. Других учат тому, чему сами никогда не учились. В мирских науках этого не бывает: там прежде сами учатся, а потом других учат; только Священное Писание таково, что все себе приписывают право учения, и как только человек что-нибудь складно скажет, другие думают, что это божий закон. Что у нас делается: о богословии разглагольствуют и взрослые, и отроки; и в лесах дикие люди беседуют, и на торжищах скотопродавцы, и в корчмах пьяные, и „буяя женища“ (глупое бабье) *словопрение бьют безумное*, наперекор мужьям своим и церкви. Конечно, чтение Св. Писания полезно всякому: и мужчине, и женщине. Но оно прилично только тому, у кого есть ключ разумения, а на это дает право одно учение». Мысль о воспитании юношества сильно его занимала, и он много раз возвращается к ней в своих проповедях. Качества родителей, по его мнению, не переходят на детей по крови, все зависит от первых укоренившихся привычек: «Но отчего, – задает он себе вопрос, – у несомненно добрых и честных родителей бывают дурные дети?» Симеон приписывает это явление излишеству родительской любви, иначе, говоря нашим языком, баловству: «Если добрые родители не дают своим чадам подобающего наказания, а пускают их вести себя по воле их юности, если не оскорбляют их словом увещания, не налагают на них язв, то от благих родителей произойдет злой плод!» В другой проповеди (неделя расслабленного) Симеон раздражается чрезвычайно суровым наставлением и грозит лишением царства Божья тем родителям, которые не возлагают ран на плечи злонравных детей своих: «Кто довольствуется одним словесным увещанием, тот неприятен Богу. Не щадите, родители, жезлов ваших, угощайте детей ваших не душевредным лобзанием, а нравоисправительным биением».

Такая суровость в понятиях о воспитании соответствует строго монашескому взгляду, который отражается у Симеона и относительно других явлений жизни. Требуя любви между людьми, он, однако, боится, чтобы любовь эта не была мягкая, не основывалась на приятных беседах, на совместном ядении и питии, на участии в развлечениях (егда собираются на игральщища и баснословия). Монашеский аскетизм – для него высший образец нравственного совершенства; женского сообщества надобно избегать, «пол женск – тля... Одно зрение на женщину заражает человека ядом аспида». В одной проповеди (на 27 неделю по пятидесятнице) он сравнивает грешную душу с женщиной: «Как у женщины, – говорит он, – тонкий голос, так и у грешной души голос тонкий и скудный к хвалению Бога. Жена скороглаголива, коснодвижима, скорогневлива, завистлива, нелюботрудна, малонадежна – такова и грешная душа!» Он не смеет не уважать супружеского союза, но, вспомнив евангельскую притчу о том, который не пошел на званый пир, потому что только что женился, говорит (на 28 неделю по пятидесятнице): «Видите, не только незаконное, но и законное сочетание иногда отклоняет нас от Бога излишеством любви к жене... Кто паче

меры ревнитель жене, тот блудник; видите ли – и законные супруги иногда блудодействуют!..» Симеон нападает на пристрастие к богатству, замечает, что страсть к обогащению ведет к жестокосердию и к лени, однако боится слишком нападать на богачей, среди которых ему приходилось обращаться, и потому вместе с тем он оправдывает богатство, так как оно доставляет возможность давать милостыню. Пост, которому давало такое важное значение благочестие русских, вызвал также обличения Симеона (Поучения в нед. сыр.): «У нас, – говорит он, – многие господа во время поста ходят печальные, мрачные, а между тем в домах своих делают особенно злыми: тогда то у них прямое кажется кривым, сладкое горьким, жена опротивеет, дети им досаждают, слуги станут негодными и без вины виноватыми. В пост они постятся, а перед постом и разговляясь, безмерно наедаются». Он напоминает, что прежде всего нужно поститься от дурных дел<sup>140</sup>, вооружается также против лицемерного смирения, которое особенно часто встречалось в приемах знатных лиц при набожном Алексее Михайловиче. «Мы, – говорит он, – беспрестанно слышим, как иные сами называют себя грешниками, блудниками, а если кто другой в чем-нибудь обличит их, то кричат, что это неправда, а иногда и дланью согбенной уста заградят». Подробнее всего распространяется Симеон против пороков своего века в тех проповедях, которые писаны не по поводу праздников и составляют особое приложение к «Вечере Духовной». Из них более всех замечательны «Поучения к иереям» и «Поучения против суеверий». Симеон соблазняется разными народными играми, в которых видит остатки древнего язычества и идолопоклонения: таковы скакание через огонь и качели, называемые в то время «рели» – повсеместная народная праздничная забава по городам и селам. Симеон с презрением называет их виселицами и говорит, что в языческие времена, кто падал с качель и убивался, тот считался принесенным в жертву богу, т.е. бесу. И теперь, по мнению проповедника, эта потеха была совершаема в честь бесам. Его возмущали суеверные способы врачевания, как, напр., ношение детей в баню и мазание их грязью с разными причитаниями, с целью предохранить от дурного глаза, ношение наузов (узлов), записок с заговорами, струтионовых костей (?), шептания, духовения, напевания, произнесения непонятных слов и т.п. «Христос изгоняется, а баба пустословная вводится, – говорит Симеон, – тайна св. крещения попирается, дьявол ликует». Он вооружается против гаданий, примет, против народной веры в предвещательное значение встреч волка, кривого или косоного человека, монаха, женщины и пр. «Случится, – говорит Симеон, – человеку, обуваясь, кашлянуть или, выходя из дому, споткнуться, он возвращается и не делает своего дела. Съедят ли мыши платье, суевер боится грядущей беды и заранее оплакивает свою судьбу, не жалея действительного убытка, причиненного ему мышами. Идут двое друзей – на пути встретят камень, пса или ребенка и думают, что эти предметы расстроят их дружбу, топчат камень, колотят пса, бьют по щеке ребенка... Подобных суеверий тысячи», – замечает Симеон. К ним причисляет он легковерное признание истинными всяких чудес, которые тогда беспрестанно появлялись и обыкновенно оказывались ложными, вооружается против появления ложных мощей и т.п.

В проповедях Симеона ощутительно подражание Славинецкому, по крайней мере там, где оба проповедника касались одного и того же предмета, как напр. заведения училищ и обличений раскола: есть одинаковые сравнения, одинаковые выражения. Если Симеон и не списывал с того, что говорил Славинецкий, то, должно быть, находился под его влиянием.

Стихотворные произведения Симеона Ситиановича писаны силлабическими рифмованными стихами и лишены поэтического достоинства. Можно сказать, что к этому роду литературы Симеон меньше имел природных самобытных дарований, чем к проповедничеству и богословствованию. Важнейшее из его стихотворных сочинений – перевод Псалтыря. Мысль к этому подал Симеону пример польского поэта Яна Кохановского, что, разумеется, умаляло значение труда Симеона в глазах строгих

<sup>140</sup> Здесь он приводит басню, ходившую в его время, будто если постящийся человек наступит на змия, то змий издохнет. Не опровергая этой басни, он предоставляет рассуждать о ней «естествословцам».

московских ревнителей православия. Псалтырь Симеона, как известно, был, однако, любимым чтением Ломоносова и не остался без значения в нашей словесности.<sup>141</sup>

Кроме Псалтыря Симеон написал: «Вертоград многоценный» – собрание мест Св. Писания и разных описаний, отвлеченных понятий и качеств, «Рифмологион» – собрание разных стихотворений, писанных на торжественные случаи (в том числе высокопарное восхваление России – «Орел Российский в солнце представленный»). По смерти царя Алексея Михайловича Симеон написал «Глас» – разговор умершего Алексея Михайловича с Богом и своим наследником. Им потом сложена была «Гусль доброгласная» – поздравление Федору Алексеевичу со вступлением на престол и пр. Из произведений, имеющих притязание на поэзию, заслуживают внимание, – если не по внутреннему достоинству, то по значению для своего века, – драматические сочинения Симеона. Таковы комедии: «О блудном сыне», «О Навуходопосоре царе», «О теле злате и триех отроцех в печи сожженных».

Комедия «О блудном сыне» имеет пролог; затем она разделяется на шесть частей и кончается эпилогом. В восемнадцати стихах пролога объявляется предмет пьесы; слушатели приглашаются ко вниманию и обнадеживаются получить велию пользу. Части пьесы – то же что сцены или явления.

В первой части отец говорит двум сыновьям своим, что по божьей благодати у него много богатства, серебра, золота, рабов, красная палата; все он вручает своим детям и дает им приличное нравоучение. Старший сын по природе домосед, он желает остаться жить с отцом и служить ему; тронутый этим, отец дает ему благословение; но меньшего томит тесная домашняя жизнь; он предоставляет брату изживать лета красной юности при отеческой старости; у него на уме другое: он ищет славы...

Вящая мой ум пользу промышляет,  
Славу ти в мир весь простерта желает,  
Иде же восток и где запад солнца;  
Славен явлюся во вся мира конца.

...свободы...

Заклучен видит ми си быти,  
В отчинной стране юность погубити.  
Бог волю дал есть: се птицы летают,  
Зверье в лесах вольно пребывают.  
И ты мне, отче! Изволь волю дати,  
Разумну сущу весь мир посещати.

---

<sup>141</sup> Приводим образчики из этого перевода:

«Иже в помощи вышняго вручится,  
В крове небеснаго Бога водворится;  
Господу речет: заступник мой еси,  
Ты ми надежда, живый на небеси,  
Он мя из сети ловащих избавит,  
Слово мятежно далече отставит,  
Плещма своими будит осеняти,  
Крилы своими от бед защищати» и пр.

Или:

– «Помилуй мя, Боже, по твоей милости,  
По множеству щедрот сотри неправости,  
От беззакония изволи омыти,  
От греха моего мене очисти» и пр.

...знаний.

Что стяжу в дому? Чему изучюся?  
Лучше в странствии умом обогащусь,  
Юньших от мене отцы посылают  
В чюждья страны, потом ся не хают.

Отец хотя скорбит о таких наклонностях сына, но не хочет удерживать его, приказывает рабам приготовить возы и коней, дать сыну в дорогу одежд, серебра, золота; велит оседлать турецких коней и благословляет сына в путь.

Во второй части блудный сын в чужой стране со слугами. Он богат, на свободе; он вырвался из отеческого дома, как птенец из клетки,

Бех у отца моего, яко раб плененный,  
Во пределех домовых, як в тюрьме заминенный.  
Не что бяще свободно по воли творити;  
Ждах обеда, вечери, хотяй ясти, пити,  
Не свободно играти, в гости не пуцано,  
А на красная лица зрети запрещено.  
Во всяком деле указ, без того ничто же,  
Ах! Колика неволя, о мой Святый Боже!  
Отец, яко мучитель, сына си томляше,  
Ничесо же творити по воли даяше.  
Ныне, слава Богови! От уз освободихся,  
Егда в чюждую страну едва отмолихся.  
Яко птенец из клетки на свет испущенный,  
Желаю погуляти, тем быти блаженный.

и приказывает привести к нему поболее таких слуг, которые бы с ним ели, пили и тешили его пением. Приводят к нему такого рода слуг. Блудный сын приказывает дать им по сто рублей; одного из них сажает с собою играть в зернь (кости), других заставляет играть между собою в карты и тавлеи (шашки), обещая платить за того, кто проигрывает, и, сверх того, награждать выигравшего.

Аще кто проиграется, та мне утрата;  
А кто добре выиграет, за труд гривна злата.

Подобные забавы, вероятно, на самом деле позволяли себе тогдашние богачи-кутилы, которые, при скудости развлечений, со скуки заставляли своих служителей тешить себя. Начинается на сцене игра. Зернщик, игравший с блудным сыном, обыграл его; блудный сын, сверх выигрыша, дарит ему сто рублей. В заключение блудный сын напивается и идет спать, пошатываясь; слуги ведут его на постель.

В третьей части блудный сын, после вчерашней игры и пьянства, на похмелье, жалуется на головную боль. Слуга советует ему выпить. Другой слуга советует призвать «сладкоигрателей и певцов». Начинается музыка и песни. Здесь, в пьесе, можно было, по желанию, включать какую угодно музыку и песни; это разнообразило самую пьесу. По окончании игры и песен, блудный сын приказывает заплатить слугам, но слуга-казначей объявляет, что вся сокровищница господина истощилась и едва у него остается столько, чтобы купить утром хлеба. «Не скорби, – отвечает ему блудный сын, – мои слуги дадут мне займы». Но слуги, один за другим, отступаются от него, смеются над ним,



Господь и мешок, то приятель правый,  
Людная приязнь токмо для забавы.

....

Государь наш! Челом бьем тебе  
За хлеб и за соль, а слуг ищи себе.

наконец, расхищают остатки его имущества за недоплату обещанного жалованья и говорят, что еще делают ему милость, оставляя его в живых. Блудный сын в отчаянии плачет.

Поразительна скудость поэтического вымысла у автора. Он не мог изобрести никаких искушений, доведших блудного сына до печальной нищеты, как только заставить его напиться и проигратся с нанятыми слугами.

В четвертой части блудный сын без крова, без помощи, никем незнаемый на чужой стороне, терпит голод, у него осталась последняя одежда, – то было единственное средство еще хоть на раз иметь кусок хлеба. Встречается купчик, спрашивает юношу: что за беда ему? «Вчера был богат, – отвечает юноша, – сегодня погибаю от голода». – «У меня есть хлеб, – говорит купчик, – я продам. Отдай мне за хлеб свое платье, а я тебе на придачу свое отдам!» Блудный сын соглашается. Купчик оказывает ему еще одну услугу. Идет богатый человек; купчик рекомендует ему несчастного юношу. Господин берет блудного сына к себе на работу, но, посмотревши на его руки, находит их слишком мягкими для тяжелой работы и говорит, что такому неженке всего приличнее поручить пасти свиней; с этой целью господин передает блудного сына своему приказчику.

Посмотрев на руке и пощупав, и паки глаголет:

О! Несть мозолей, зело мягки длани,  
Бодрствуй отселе, лености престани.  
Слышишь, приказчик, на село возьмите,  
А свиньи пасти ему прикажите.

Свинопасы гонят поросят; приказчик велит им делать свое дело, а сам удаляется. Тогда один пастух приказывает блудному сыну принести корыто с рожками и поставить перед свиньями; блудный сын, томясь голодом, сам начинает есть рожки; свиньи подбегают к корыту; блудный сын ударил одну свинью; пастухи подняли шум. Явился приказчик: пастух доносит, что новый их товарищ не друг, а враг свиней, ест у них рожки, обижает свиней, бьет их, разогнал свиней. Приказчик велит бить нового пастуха плетью; за сценой раздаётся его жалобный крик; потом его приводят на сцену избитого; приказывают отыскать разбежавшихся свиней и грозят убить до смерти, если он их не найдет. Все удаляются; блудный сын остается один, говорит монолог, составляющий распространение известных слов, произносимых блудным сыном в евангельской притче.

В пятой части отец грустит о сыне, не зная, где он и что с ним, как вдруг являются один за другим вестники, извещают, что сын приближается к его дому, но в нищенском виде. Входит сын. Повторяется евангельская сцена прощения в распространенном виде. Отец с сыном уходят, играют органы и пр., на сцене поют. Здесь опять предоставлено на непродолжительное время вставить по желанию музыку и песню. Является старший брат. Разговор его с отцом не более как распространение евангельской притчи.

В шестой части блудный сын, разодетый уже как следует, рассказывает свою историю и благодарит Бога. Затем следует эпилог, где излагается нравоучительная цель – представления этой притчи,

Юным се образ старейших слушати,  
На младый разум свой не уповати,  
Старым – да юных добре наставляють,

Ничто на волю молодых не спускают.

а в заключение говорится, что никого не хотели огорчить и на всякий случай просят прощения. Пьеса кончается музыкою.

Комедия «О Навуходоносоре царе» не разделяется на части. Начало ее называется «предисловиец», он состоит из обращения к царю Алексею Михайловичу. Восхваляются добродетели царя, а в противоположность им делается указание на неверие и гордость Навуходоносора, объявившего себя богом и повелевшего бросить трех отроков в печь за непослушание. Затем объявляется, что это событие явится «комедийно» перед царем и боярами.

То комидийно мы хоцем явити,  
И ако само дело представи  
Светлости твоей и всем предстоящим  
Князем, бояром, верно ти служащим.  
В утеху сердец здрави убо зрите,  
А нас в милости своей сохраните.

Навуходоносор со своими боярами, с шестью слугами и шестью вооруженными воинами выходит на сцену, садится на царское место, величает собственное могущество, называет себя богом богов и приказывает казначею выдать золото на изготовление его статуи, которой, по его повелению, должны поклоняться все народы. Казначей уходит исполнять царское приказание, а царь повелевает другому боярину, Зардану, устроить близ статуи печь, в которую должен быть брошен всякий, кто не захочет поклоняться царскому изображению. В глубине сцены две завесы. Пока за ними готовят статую и печь, царь приказывает позвать музыкантов, – нужно чем-нибудь наполнить пьесу. Автор оставляет здесь место для так называемых «ликовствований» («здесь будут ликовствования»). Публику занимали ими сколько угодно и как угодно.

Затем поднимается одна завеса, показывается статуя, поднимается другая завеса – показывается печь. Боярин Амир докладывает царю, что уже все люди стоят на поле Деире. Царь обращается к «гудцам» и приказывает играть. Начинают «трубить и пискать». Все люди падают ниц, но три отрока не кланяются; Амир велит их изловить. Затем представляется то, что рассказано у Даниила пророка. Разъяренный царь требует поклонения, и отроки не повинуются, их бросают в печь. Является ангел, отроки поют свою песнь теми словами, как в библии. Царь, видя такое чудо, раскаивается, поклоняется истинному Богу и приказывает почитать уцелевших отроков. Комедия кончается эпилогом, с обращением к царю – с благодарностью за выслушание действия.

Благодарим тя о сей благодати,  
Яко изволил действия послушати,  
Светлое око твое созерцаше  
Комидийное сие дело наше.

В заключение, желают царю мирного царствования, побед, многолетия и небесного венца.

Значение Симеона Ситиановича в русской истории, помимо его ученых трудов, имеет важность тем, что с его именем соединяется зародыш московской духовной Академии – первого высшего учебного заведения в северной Руси. Ему приписывают составление проекта, или «привилегии», на основание духовной Академии; этот проект был написан при царе Федоре Алексеевиче от царского имени; но осуществиться ему было суждено уже по смерти царя.

До сих пор еще вполне не доказано, что действительно Симеон был автором этого

проекта, тем более, что проект был подписан Федором уже по смерти Симеона. Но в доказательство, что проект этот был еще ранее составлен Симеоном, можно привести то, что в этом проекте есть целиком места из Симеоновых проповедей, заключающиеся в его книге «Вечеря Духовная»; кроме того, в проекте предполагается поместить Академию в Заиконоспасском монастыре, где постоянно жил Симеон. (См. Ист. М. Ак. Смирнова, стр. 16). Во всяком случае, если бы даже не Симеон писал этот проект при его жизни (писать помимо его было некому, потому что ближе Симеона никто не был к царю), то влияние Симеона на этот проект несомненно уже и потому, что он был учителем царя Федора, наконец весь проект пропитан нетерпимостью, свойственною духу западной церкви, а во влиянии католичества современники не напрасно обвиняли Симеона.

В этом проекте государь, – вспоминая благословение, данное святейшими патриархами восточными, бывшими в Москве при отце его Алексее Михайловиче, на заведение училищ, – соизволяет на заведение Академии, в которой преподаваться должны науки гражданские и духовные, начиная «от грамматики, пиитики, риторики, диалектики, философии разумительной, естественной и нравной даже до богословии, учащей вещей божественных». Место для новой Академии отводилось в монастыре Заиконо-спасском в Китай-городе, и на содержание ее приписывалось несколько монастырей<sup>142</sup> и пустынь. Кроме того, не возбранялось частным благодетелям давать пожертвования на пропитание и на одежду учеников. Начальник заведения должен был называться «блюститель». Как блюститель, так и учителя должны быть из православных русских или же греков, но греки допускались не иначе, как по свидетельству о своей непоколебимости в православии, подписанному вселенскими патриархами. Ученых из Малороссии и Литвы дозволялось допускать в звание блюстителя и учителей не иначе, как с большой осторожностью, сделавши о них строгое исследование, а отнюдь не доверять их словесным и письменным удостоверениям. Новообращенных из других вер в православную полагалось вовсе не допускать в эти звания. Лица, вступавшие в должности блюстителя и учителя, должны были приносить присягу в том, что они неизменно пребудут в православной вере. Все, принадлежавшие к Академии, как блюститель с учителями, так и ученики, получали изъятие от обычного для всех суда в приказах. Учеников во всех делах, исключая уголовных, судил блюститель с учителями и даже по уголовным делам нельзя было их требовать в приказ без ведома блюстителя. Блюститель и учителя во всех делах были судимы собственным судом, в присутствии уполномоченных от царя и патриарха. Учителя без разрешения блюстителя и своих товарищей не могли переходить в другую службу, а после долгой службы в Академии они награждались особым жалованьем. Лучшим ученикам обещана по окончании курса от царя награда, а для поощрения обещано «неучившихся свободным учениям лиц», кроме только «благородных детей», не возводить в значительные должности. Затем, кроме новозаводимого училища в Москве, никому не дозволялось, без ведома блюстителя и учителей, держать в своих домах домашних наставников для обучения греческому, латинскому, польскому и другим иностранным языкам.

Учреждаемая Академия не была, однако, одним только учебным заведением. По проекту, она долженствовала быть чем-то вроде инквизиции или тайной полиции по религиозным делам. Блюстители и учителя должны были наблюдать, чтобы не являлись неправомудрствующие в вере, не заводили распрей и раздоров, а если такие люди явятся, то доносить о них царю. Царь с совета патриарха, по одному только свидетельству блюстителя и учителей, не принимая никаких «словес и рассуждений», обещал судить обвиненных без всякого помилования. Равным образом, блюститель и учителя наблюдали, чтобы никто не держал у себя польских и латинских, лютерских, кальвинских, еретических книг, а также волшебных, чародейных, гадательных и всех вообще возбраняемых церковью писаний. По доносу, сделанному блюстителем и учителями, виновный подвергался сожжению без всякого милосердия. В числе возбраняемых церковью учений, особенно боялись так

---

<sup>142</sup> Андреевский (где заводил прежде училище Ртищев), Данилов, Строминский, Несножский, Борисоглебский и Медведева пустынь со всеми крестьянскими и бобыльскими дворами и угожьями.

называемой «естественной магии». Блюстителю и учителям должны были наблюдать, чтобы где-нибудь не проявились преподаватели этой науки, и, по их доносу, такие преподаватели, вместе со своими слушателями, предавались сожжению. Все переходящие из других вер в православную состояли под надзором блюстителя с учителями и записывались в особые книги. Стоило только донести на них, что они не вполне хранят православную веру и церковные предания – их ссылали на Терек или в Сибирь, а если бы оказывалось, что они держатся своей старой веры, из которой перешли в православие, то они осуждались на сожжение. Равным образом, чужеземцы, пришедшие из других государств, будучи прежде православной веры, за принятие в России какой-нибудь другой веры осуждались на сожжение. Если кто из русских или чужеземцев произнесет какое-нибудь укоризненное слово против православной веры или церковных преданий или, напр., скажет что-нибудь против призывания святых, поклонения иконам, почитания мощей, тот предавался суду блюстителя и учителей и осуждался на сожжение. Наконец, все иностранцы иных вер, приезжавшие в Россию, так называемые тогда «ученые свободных наук люди», состояли под надзором блюстителя и учителей Академии, подвергались их испытанию, получали от них свидетельство на право свободно проживать, поступать на службу, получать царское жалованье, достигать почестей; и если блюститель с учителями находили их негодными пребывать в России, то их высылали за границу. Таков был проект первого высшего училища в Московском государстве, такова была заря ученого образования, которое грозило худшим мраком, чем прежнее невежество.

Симеон Петровский-Ситиянович скончался 25 августа 1680 года на пятьдесят втором году от рождения и погребен в Заиконо-спасском монастыре. Если при жизни он пользовался царскою милостью и почетом, то вскоре после смерти имя его подверглось гонению. Вопрос, касавшийся его личности и сочинений, был вместе вопросом о судьбе и значении западнорусских, преимущественно киевских ученых в Москве, а вместе с ними шло дело и о принесенной ими с собою науке. Как ни слабыми могут нам теперь казаться их научные средства, но в московской Руси и они произвели потрясение. Уже важно то, что богослужбная реформа была делом тесно связанным с их прибытием; но не одна она восстановила против них целую массу народа, отпавшего от церкви в недрах православной церкви, принявшей сделанные трудом этих пришельцев исправления; многие их не любили. Их знания, их ученость отзывались чем-то чуждым, не истинно православным, и притом явное превосходство их сведений задевало гордость московских книжных людей: тайное нерасположение гнезилось в сердце многих, и сам патриарх Иоаким, живший долго в Киеве и вообще знавший малороссийских ученых на их родине, относился к ним недружелюбно. В Москве возникала такая мысль: уж если, по недостатку ученых великоруссов, заменять их иноземцами, то лучше приглашать греков, чем киевлян. Беспрестанные смуты и измены и без того бросали в глазах великоруссов дурную тень на малороссию вообще: их привыкли считать народом двоедушным, непостоянным и ненадежным. Такой взгляд невольно переносился и на прибывавших в Москву ученых. При Алексее, а еще больше при Федоре, они пользовались поддержкою царей, но после смерти Федора они лишились ее, когда в церковных делах стал их недруг Иоаким. Нужен был с их стороны какой-нибудь повод к явному обличению их в неправославии, чтобы поднялась против них буря.

У Симеона был между учениками Семен Медведев, подьячий приказа тайных дел. Это был человек от природы способный и горячий. Жизнь с книгами увлекала его. Он постригся в монахи и по смерти Симеона Ситияновича получил важное в то время место в Заиконо-спасском монастыре. Оно было особенно важно потому, что, как мы говорили, существовало уже предположение основать Академию и поместить ее в Заиконо-спасском монастыре. Семен Медведев, получивший в монашестве имя Сильвестра, во всем верный своему учителю, подобно ему выказывался при дворе своим умением стиходействовать. Когда царь Федор женился на Апраксиной, Медведев явился с брачным приветствием (напеч. 1682), а когда, скоро после того, царь отошел в вечность, Сильвестр написал «Плач и утешение» – длинное стихосплетение, состоящее из многих «плачей» и многих соответствующих им

утешений. Начал прежде всего плакать сугубоглавый орел российский, за плачем следует двенадцать стихов утешения орлу, затем воин – тот воин, который начертан в российском орле, излил двадцать стихов плача; за это воину следует шестнадцать стихов утешения; за воином уже следует плач царицы; ей огромное утешение в сорок восемь виршей; за царицею заплакали царевны, но они плачут немного, им не каждой особо, а разом всем одно длинное утешение; затем плачут все России одна за другою. Великая, Малая, Белая, каждая плачет особо и каждой особое свое утешение.

Сильвестру очень хотелось быть начальником новой Академии. Но патриарх Иоаким, не терпевший Симеона Ситиановича, недолюбливал и ученика его Сильвестра. Патриарх уже отправил Прокопия Возницына в Турцию искать просветителей российского юношества между греками, более, по его мнению, надежными, чем были малоруссы и их питомцы.

В Константинополе в 1683 году патриарх Дионисий указал русскому посланцу на двух ученых греков, братьев, которые были, по убеждению патриарха, способны положить основание школьному просвещению в Московском государстве. Случайно повторялось древнее событие IX века: подобным образом константинопольский патриарх указал на двух братьев, греков солунских, способных ввести между славянами крещение и с ним вместе книжную грамотность. Братья, на которых указал тогда патриарх Дионисий, назывались Лихудами. Если верить показаниям их самих, они происходили из очень древнего, знатного рода: предок их, по имени Константин, в XI веке был зятем императора Константина Мономаха; тесть хотел сделать его даже своим преемником. Но тогда счастливее повезло Комненам, чем Лихудам. Лихуды, не получивши престола, продолжали быть знатным родом византийской империи. В 1453 году Лихуды, не желая подчиняться неверным завоевателям, ушли и поселились в Кефалонии. На этом-то острове родились и упомянутые два брата: старший (род. в 1633 г.) назывался Иоанн, второй (девятнадцатью годами моложе брата) Спиридон. По обычаю, которому тогда следовали многие богатые греки, Лихуды после первого образования, полученного на родине от священника, учились в Венеции, потом в Падуе и пробыли долго в Италии. Иоанн, по возвращении на родину, был посвящен в сан иерейский; Спиридон почувствовал склонность к монашеской жизни и постригся под именем Софрония. За ним вскоре овдовел старший брат его и также постригся под именем Иоанникия, оставивши миру двух сыновей.

Старший брат получил важное место начальника школ, в двух городах, меньшей в одном, временно удаляясь из родного острова. Если верить им, они имели огромную власть и значение. В 1683 году они отправились в Константинополь, как видно, показать перед патриархом свои знания. Патриарх заставлял их говорить поучения. В это-то время он представил их русскому посланцу.

В июле 1683 года они отправились в Россию; они были на пути задержаны в Польше. Король Ян Собесский принял их отлично, но иезуиты, смекнувши, что эти греки готовятся быть водворителями книжного высшего воспитания в той Московии, куда сами иезуиты так напрасно хотели пробраться под тем же предлогом, упростили короля задержать Лихудов под какими-нибудь благовидными предложениями. Кажется, иезуитам хотелось попытаться склонить ученых греков на свою сторону. Король возил Лихудов с собой в поход против турок и заставлял их вести диспуты с иезуитами. Когда наконец братьям Лихудам надоело это праздное препровождение времени, они тайно ушли из Польши, добрались до Киева, оттуда прибыли к гетману Самойловичу и, при содействии последнего, благополучно явились в Москву 6 марта 1685 года. Приезд этих ученых иностранцев был не по сердцу Сильвестру Медведеву. В конце того же года он подал царевне Софии тот самый составленный при Федоре Алексеевиче проект, или привилегию, на основание Академии, о содержании которого мы изложили выше. Надежды Сильвестра не сбывались. София была благосклонна к Сильвестру; но глава духовенства не променял бы Лихудов на десяток учеников Ситиановича. Лихудов поместили в Богоявленский монастырь. Там Лихуды тотчас открыли школу, им дали учеников; вслед за тем на деньги, две тысячи рублей, пожертвованные одним греком Мелетием, начали строить большое здание для Академии в Заиконо-спасском

монастыре; могучий тогда любимец царевны Софии, Василий Голицын, давал на это дело пожертвования. В 1686 году, по окончании постройки здания, Лихуды перешли в Заиконоспасский монастырь. Так открылась московская духовная Академия, названная греко-латино-славянскою. Кроме прежних учеников, которые поступили к Лихудам с самого их приезда, в Академию были переведены все ученики прежней типографской школы и, сверх того, по царскому повелению, поручено Лихудам учить «до сорока детей знатных родов, а затем немало из детей всяких чинов» поступало к ним. Больших успехов можно было на будущее время ожидать от преподавания новопривыкших наставников: ученики чрезвычайно скоро научались объясняться по-гречески и по-латыни.

Теперь уже киевляне и их ученики должны были ожидать, что ученые греки не только подорвут их вес и значение в Москве, но и постараются представить неправославным их воспитание, опиравшееся более на латинских книгах, чем на греческих. Уже один из западнорусских пришельцев, Бялободский, написавший сочинение о безразличии церквей, в присутствии обоих царей Ивана и Петра, держал диспут с Лихудами и потерпел поражение. Вслед за тем Сильвестр Медведев, ненавидевший приезжих греков за то, что ему через них не удалось быть начальником Академии, вздумал обвинить Лихудов в неправославии. Были у Сильвестра друзья и сообщники и между ними окольный Шакловитый, находившийся в милости у царевны Софии. Медведев написал книгу под названием «Манна»; в ней доказывалось, что в таинстве евхаристии хлеб и вино претворяются в тело и кровь в момент произнесения священником слов Христа: «Приимите и ядите...» Лихуды отвечали на это сочинение опровержением, которое названо «Акось, или врачевание, противоположаемое ядовитым угрызениям змиевым». В этом сочинении, написанном с большою ученостью, Лихуды доказывали, что, по учению православной церкви, одного произнесения Христовых слов недостаточно для такого великого действия, и Св. Дары прилагаются в момент последующего затем призывания Св. Духа и произнесения слов: «Преложи я Духом Твоим Святым». После этих двух сочинений открылась жаркая полемика по поводу вышеозначенного вопроса. Медведев и его сторонники пустили в ход сочинение киевского игумена Феодосия Сафоновича: «Выклад о церкви святой», и от себя написали «Тетрадь на Иоанникия и Софрония Лихудов», а монах Евфимий, бывший ученик Славинецкого, приставший к Лихудам, разразился против Медведева ругательным сочинением под названием «Неистовное Брехание». Затем Лихуды написали «Мечец Духовный», сочинение, в котором изложили в форме диалогов свой спор, происходивший во Львове с иезуитом Руткою, о всех различиях между православною и римско-католическою церквами. Толки о времени пресуществления из монашеских келий перешли в мирские дома и даже на улицу. Люди, мало понимавшие суть богословских тонкостей, увлекались этим вопросом; торгаши, ремесленники и даже женщины стали спорить о времени пресуществления. Церкви грозил новый раскол. Патриарх Иоаким принял сторону Лихудов. Нужно было заставить малороссийских духовных заявить со своей стороны голос в пользу Лихудов. Иоаким отнесся с этим к киевскому митрополиту Гедеону и к Лазарю Барановичу. Малороссийские архиереи были этим вопросом поставлены в весьма неловкое положение: в киевской коллегии давно уже учили о пресуществлении так, как писал Медведев; в «Лифосе» Петра Могилы изложено то же учение. Гедеон и Лазарь сперва было уклонялись от прямого ответа, но патриарх пригрозил им собором и приговором четырех прочих вселенских патриархов. Тогда оба архипастыря дали ответ в смысле учения, проповедуемого Лихудами.

Заручившись таким заявлением, патриарх Иоаким созвал собор. В это время началось дело Шакловитого, повлекшее за собою падение Софии. Медведев также запутан в это дело. Он бежал с намерением укрыться в Польше, но был схвачен на пути, привезен в Москву, принес перед собором покаяние и, отрекшись от своих мнений, сам переименовал свою книгу вместо «Манна» – «Обмана». В январе 1690 года Медведева сослали в Троицкий монастырь, но через год, по доносу одного из соучастников казненного уже Шакловитого, он обвинен был в соумышлении с Шакловитым и, после страшных пыток огнем, обезглавлен 11 февраля 1691 года.

Патриарх Иоаким, осудивши Медведева и киевское учение о пресуществлении, велел составить от своего имени книгу, под названием «Остен». Книга эта написана Евфимием. В ней изложена вся история происходившего спора. В добавление к ней патриарх иерусалимский Досифей прислал собрание свидетельств, доказывающих справедливость учения Лихудов. Киевская партия потерпела жестокое поражение. Московский собор признал неправославными не только сочинения Медведева, но и писания Симеона Полоцкого, Галятовского, Радивиловского, Барановича, Транквиллиона, Петра Могилы и др. О Требнике Петра Могилы сказано, что эта книга преисполнена латинского зломудренного учения и вообще о всех сочинениях малорусских ученых замечено, «что их книги новотворенные и сами с собою не согласуются, и хотя многие из них названы сладостными именами, но все, даже и лучшие, заключают в себе душетлительную отраву латинского зломудрия и новшества». В Москве утвердилось было мнение, что приходящие из Малороссии и Белороссии ученые заражены латинскою ересью, что, путешествуя за границу и довершая там свое образование, они усваивают иноземные понятия и обычаи, что не следует слушать их и ездить к ним учиться. Говорили, что «вместо благословенного еллино-славянского учения, они преподают латинское учение, от которого ничего доброго нельзя надеяться, кроме противности и рати на святую церковь. В давние времена в Малороссии процветало восточное благочестие, как и у нас великороссиян, оно благодатию Божию, яко солнце, сияет, а когда вошли туда злохитрые иезуиты и принесли туда учение латинское, что случилось? Куда девались тамошние князья великие, православные: Острожские, Чарторийские, Четвертинские и иные?»

Через несколько времени сила Лихудов поколебалась. Патриарх иерусалимский, Досифей, прежде благоволивший к ним, не получивши от них требуемой суммы в пользу Гроба Господня, в 1693 году написал к обоим царям и к патриарху Адриану, заступившему место умершего Иоакима, что Лихуды – обманщики, тайные латинники, что они, получивши от патриарха благословение на обучение греческому языку, учат латинскому и, вместо богословских наук, «забавляются» физикою и философию; доносил на них, что они фальшиво называют себя князьями, что на самом деле они люди незнатного происхождения, убогие, ремесленные и пр. Справедливость патриаршего донесения поддерживали проживавшие тогда в Москве греки, завидовавшие Лихудам. По этим наветам Лихуды, в 1694 году, были удалены от заведывания Академией и от преподавания.

Вместо них стали управлять Академией двое из их учеников<sup>143</sup>, а в 1699 году назначен был первый «ректор» Академии Палладий Роговский. Лихуды оставались несколько лет в Москве и учили латинскому и итальянскому языкам. Царь Петр нашел, что они могут быть ему полезными, назначил им жалованье и приказал родителям отдавать Лихудам детей для обучения итальянскому языку, но греки не оставили их в покое: они вооружили против них патриарха Адриана и обвиняли их уже в политических преступлениях. Адриан донес царю, что Лихуды пересылают в Константинополь сведения о Московском государстве. Враги Лихудов добились таки, что, в 1701 году, они были удалены в Ипатиевский костромской монастырь.

Удаление Лихудов из Академии ободрило киевскую партию. В числе переселившихся в Москву малороссов был некто Гавриил Домецкий. Он был архимандритом Симонова монастыря и составил для своей обители устав под названием «Киновион, или изображение иноческого жития». Устав этот соблазнял строгих великорусских ревнителей древнего аскетизма. В этом уставе монахам вменялись в обязанность опрятность и чистота; больным и недужным монахам позволялось вкушать какую угодно пищу, хотя бы даже и в пост, потому что для нездорового человека не должно быть поста, да и самый пост, по уставу Домецкого, должен состоять более в количестве, чем в качестве принимаемой пищи и питья, а потому братии подавалось вино, пиво, мед, только не крепкие и в умеренном количестве. Трапеза братии полагалась здоровая и вкусная; признавались необходимым даже для иноков

<sup>143</sup> Николай Семенов и Федор Поликарпов.

развлечения, только приличные и не безнравственные. Такая снисходительность не мешала Домецкому вооружаться против пьянства, о чем от него осталась даже проповедь. «Что это за монашество, – говорили про этот устав великороссияне, – когда в монастыре ставят ушаты с пивом и медом, а монахи между собою в шахарду играют. Латинские штуки! Польский закон!»

На соборе, поразившем анафемою Медведева, во время общего гонения на киевлян, Домецкий лишился звания архимандрита, но в 1694 году новгородский митрополит Иов пригласил его в Новгород и дал в управление Юрьевский монастырь. Тогда Домецкий попытался выступить на защиту своих земляков и написал опровержение против книги «Остен». «Можно ли давать такое название книге, – выражался он. – Остен значит кол прободающий, как будто церковь может так сурово поступать! Неприлично обращаться к архиереям неведомо от кого и говорить словно к малым детям: бей! коли! Несправедлив „Остен“ к ученым киевским: они первые и лучшие защитники православной церкви. Патриарх Никон хорошо сознавал это, когда вызывал их из Киева, и все делал при их помощи». Затем Домецкий снова доказывал, что латинская церковь всегда была согласна с греческою по вопросу о пресуществлении и подтверждал свою мысль свидетельством многих отцов церкви, особенно Златоуста.

Против Домецкого поднялся инок Дамаскин, земляк и давний приятель митрополита Иова; он напал на киевских ученых вообще. «Почему можно познать киевлянина? – говорит он. – Потому, что слышим от него хулу на четырёхпрестольных патриархов, на греческие монастыри и на всех греков; он читает польские и литовские книги и подражает обычаям и нравам, которые, по нашему разумению, не восточной части... Он Киев паче меры хвалит, а в великой России „книг не сказывает“ (т.е. не признает, чтоб были книги), учения греческого не любит, а латинское принимает; сам собою как сатана стоять хочет». Обращая речь к малорусским ученым, он говорит: «Вы, новые мудрецы, выучите по-латыни в, с, d или немного поболее этого, да и величаетесь; других унижаете, всякий сан, и архиерейский и священнический, ни во что вменяете, людей искусных в Св. Писании обзываете неучами и невеждами. Мы уважаем свободные науки, но пусть они передаются нам такими людьми, которые со страхом слушают и исполняют божественные повеления, а кто в бесстрашии пребывает и в сластях, тому схоластические науки не только не приносят пользы, но вредны. У такого помысел свирепеет, обращается на то, что свыше меры; такой схоластик скорее, чем всякий неученый, сделается пакостником церковным и ересеизобретателем».

Но этим не ограничился Дамаскин: он писал Иову послание за посланием, убеждал прогнать Домецкого, не знаться с малороссами. «Призови, – говорил он, – лучше людей греческого воспитания, изволь поискать оного красносодланного монастырского благочиния, которое ныне обретается на Афонской горе, а не в польских, литовских и малороссийских странах; киевляне все древнее благочестие изменили, перешли от смиренного на гордое, от скромного на пышное; и в одеждах, и в поступках, и в нравах – все у них латиноподобно. Если хочешь насладиться божественными книгами, вызови греческих переводителей и писцов и увидишь чудо преславное, а в этих латинниках нам нет никакой нужды. Можно, очень можно, обойтись без киевлян: не Бог посылает их на нас, а сатана на прельщение...» Наветы Дамаскина наконец подействовали: Иов удалил Домецкого. Домецкий уехал в Киев, где оставался до смерти.

Но киевской науке этим не был нанесен удар. Дамаскин мог вытеснить Домецкого из Новгорода, а между тем, в Москве, с наступлением XVIII века, окончательно восторжествовали киевляне. Малоросс Стефан Яворский, назначенный местоблюстителем патриаршего престола после умершего Адриана, внушил царю Петру, что киевские ученые могут быть всего полезнее для русского просвещения, и царь, задавшись мыслью пересадить в Россию западное просвещение, увидел в малорусских духовных превосходное орудие для своих целей; с тех пор малоруссы заняли места преподавателей в московской Академии; преподавание шло по киевскому образцу; даже большинство учеников в Москве было из



малороссиян<sup>144</sup>, наконец, на все важнейшие духовные места возводимы были малороссияне. Так не бесплодным осталось для русского просвещения перенесение киевской образованности в Москву в половине XVII века.<sup>145</sup>

## Глава 11 Юрий Крижанич

В то время, когда киевские монахи приносили с собой в Москву свою исключительно церковную ученость, с узкими схоластическими взглядами и отживавшими свое время предрассудками, в области умственного труда в России явился человек со светлой головою, превосходивший современников широтой взгляда, основательностью образования и многосторонними сведениями. Это был Юрий Крижанич. Он был родом хорват, происходил из старинной, но обедневшей фамилии, родился в 1617 году от Гаспара Крижанича, небогатого землевладельца. Лишившись отца на шестнадцатом году возраста, Юрий стал готовить себя к духовному званию. Он учился сначала на родине, в Загребе, потом в Венской семинарии, а вслед за тем перешел в Болонию, где занимался кроме богословских наук юридическими. Владея в совершенстве, кроме своего родного языка, немецким, латинским и итальянским, он, в 1640 году, поселился в Риме и вступил в греческий коллегиум Св. Анастасия, специально учрежденный папами для распространения унии между последователями греческой веры. В это время Крижанич был посвящен в сан Загребского каноника. Он изучил тогда греческий язык, приобрел большие сведения в византийской литературе и сделался горячим сторонником унии. Его целью было собрать все важнейшие сочинения так называемых схизматиков, т.е. писавших против догматов папизма. Плодом этого было несколько сочинений на латинском языке, а в особенности «Всеобщая библиотека схизматиков». Это предприятие повело его к ознакомлению с русским языком, так как ему нужно было знать и сочинения, писанные по-русски против унии. Оставивши коллегиум, Юрий был привязан к Риму до 1656 года, состоя членом иллирского общества Св. Иеронима. В этот период времени он, однако, не оставался постоянно в Риме, был и в других местах Европы и, между прочим, в Константинополе, где еще основательнее познакомился с греческой письменностью. Пребывание его в Константинополе оставило в нем самое враждебное чувство к тогдашним грекам, в особенности за их невежество, высокомерие и лживость. При всех своих ученых работах Крижанич постоянно оставался славянином, любил горячо свой народ и самым вопросом об унии, занимавшим его специально, интересовался главным образом по отношению к своему отечеству. Изучая долгое время историю церкви и много думая над ней, он пришел, наконец, ко взглядам, которые по своей высоте расходились с узкими воззрениями как сторонников римской пропаганды, так и их противников. Его любовь к славянству не могла помириться с тем печальным положением славянского племени, какое оно занимало в истории европейской образованности. Церковные распри разделяли славян; откуда бы ни исходили причины разъединения церквей, они одинаково были губительны для славянства, они были чужды ему. Крижанич уразумел, что вековой спор между восточной и западной церковью истекает не из самой религии, а из мирских политических причин, из соперничества двух древних народов – греков и римлян за земную власть, за титулы; римский папа хотел властвовать над церковью по преданию о Римской империи, которая уже исчезла и никогда не могла быть

---

<sup>144</sup> Напр., в 1764 году в классе философии из 34 учеников только было три великороссиянина.

<sup>145</sup> Лихуды в 1706 году, прибывши в Новгород, заменили Домецкого для митрополита Иова и завели, по его повелению, два училища: одно – греко-латинское, другое – славянское для детей всех званий и, кроме того, четырнадцать так наз. грамматических школ в уездах новгородской епархии. В 1709 году Софроний поступил на должность префекта московской духовной Академии. Иоанникий проживал в Новгороде до 1716 года, когда умер митрополит Иов; затем он перешел в Москву и в следующем году скончался. В 1722 году Софроний был назначен архимандритом в Рязань и прожил там до своей смерти, случившейся в 1730 году. У Иоанникия осталось двое сыновей, за которыми признано княжеское достоинство.

восстановлена, по мнению Крижанича: «Пусть, – говорил он, – австрийские государи называются римскими императорами, могут носить это имя, но это будет суэта и обман; того, что разорено, нельзя уже поставить на ноги». С другой стороны, и греки стали против Рима за свою земную власть. И в Царьграде, новом Риме, царство их погибло. Таким образом, вопрос о разделении церквей есть исключительно вопрос греков и римлян, а к славянам не должен относиться. Нечего им мешаться в чужую распрю. Пусть себе выдумывают церковное главенство и в Риме и в Царьграде, пусть патриарх с папой спорят за первенство, – славяне не должны из-за них чинить раздора между собой и защищать чужие привилегии, чужую верховную власть, а должны знать единое царство духовное, единую церковь, не имеющую рубежей, распространенную во всем свете. Крижанич пришел к убеждению, что весь славянский мир должен сделаться единым обществом, единым народом. При таком взгляде он естественно сосредоточил внимание на России, как на самой обширной стране, населенной славянским племенем. Не знаем, по какой причине Крижанич был в Вене в 1658 году. В это время туда приехал московский посланник Яков Лихарев с товарищами. Русские послы, как и прежде бывало, набирали иноземцев, желавших поступить на царскую службу, обещая им царское жалованье, «какого у них и на уме нет». К ним в гостиницу «Золотого Быка», где они остановились, явился Юрий Крижанич с предложением своей службы царю. Первое впечатление, какое на него произвели русские, было тяжелое; он сам после сознавался, что его возмутило неряшливое и зловоние помещения русских послов. Тем не менее, однако, мысль служить всеславянскому делу преодолела в нем все, и он, человек ученый и образованный, отправился искать отечества в земле, считаемой на Западе варварскою и дикою.

Следуя из Вены в Москву, Крижанич в первых месяцах 1659 года, проезжая через Малороссию и уже приближаясь к границам Великой Руси, наткнулся на войско царское, шедшее против Выговского. Крижанич повернул назад и пробыл в Малороссии до октября, проживая в Нежине у Василия Золотаренко, бывшего тогда нежинским полковником. Вероятно, он посещал и другие места, как можно видеть из того, что он познакомился с тамошними учеными, наблюдал состояние страны и народа, замечал беспорядки и пороки тамошнего общества и коснулся тогдашних событий.<sup>146</sup>

Наконец Крижанич прибыл в Москву, к единому славянскому государю, но недолго пришлось, однако, ученому мужу в славянской стране трудиться для своей любимой идеи всеславянства. Его воззрения на единую, независимую от земных споров церковь Христову столько же были ложны с точки зрения защитников обрядного православия, как и латинствующего католичества. 20-го января 1661 года Крижанича сослали в Тобольск.

Причины и подробности этого события нам неизвестны. Из намеков, встречаемых в его сочинениях, можно догадываться, что он открыто признавал себя принадлежавшим в одно и то же время и римско-католической, и греческой церкви, готов был причащаться и в русском храме, но не хотел принимать вторичного крещения, а по московским понятиям того времени, всякий, принимающий православие, должен был вторично креститься. Впрочем, это только был один из многих поводов, не дававших ему поладить с Москвою. Указ о ссылке его выдан был из приказа лифляндских дел, которым тогда заведовал Нащокин. Быть может, его почему-нибудь заподозревали в недоброжелательстве к России по поводу тогдашних шведских и польских дел. Во всяком случае несомненно, что его удалили не за какую-нибудь вину, а по подозрению. Ссылка его благовидно обставлена. Он отправлен в Тобольск не в качестве опального, а с тем, чтоб быть у государевых дел, у каких пристойно. Ему положили жалованья семь рублей с полтиной в месяц. Крижанич пробыл в ссылке шестнадцать лет, не терял присутствия духа и написал там самые замечательные свои сочинения. После смерти Царя Алексея Михайловича, 5-го марта 1676 года, Крижанич,

---

<sup>146</sup> Существуют два сочинения Крижанича, относящиеся до Малороссии: одно – «Путно описание», описание пути от Львова до Москвы; другое – «Беседа с черкасом в особе черкаса». В последнем сочинении, от имени малоросса, он увещевает жителей Малороссии оставаться в верности царю и не входить в союз с поляками.

получивши царское прощение, возвратился в Москву. Дальнейшая судьба его неизвестна.

Не все сочинения этого замечательного человека являлись в печати и не все известны ученым по рукописям. Крижанич, между прочим, оставил после себя грамматику под названием: «Грамматично изказание». Эта грамматика, по его мнению, русского или славянского языка, но это скорее какой-то особый им созданный всеславянский язык. Он называет его «русским» потому, что Русь есть корень всего славянства. «Всем единоплеменным народам глава – народ русский, и русское имя потому, что все словяне вышли из русской земли, двинулись в державу Римской империи, основали три государства и прозвались: болгары, сербы и хорваты; другие из той же русской земли двинулись на запад и основали государства ляшское и моравское или чешское. Те, которые воевали с греками или римлянами, назывались словинцы, и потому это имя у греков стало известнее, чем имя русское, а от греков и наши летописцы вообразили, будто нашему народу начало идет от словинцев, будто и русские, и ляхи, и чехи произошли от них. Это неправда, русский народ испокон века живет на своей родине, а остальные, вышедшие из Руси, появились, как гости, в странах, где до сих пор пребывают. Поэтому, когда мы хотим называть себя общим именем, то не должны называть себя новым словянским, а стародавним и коренным русским именем. Не русская отрасль плод словенской, а словенская, чешская, ляшская отрасль – отродки русского языка. Наипаче тот язык, которым пишем книги, не может поистине называться словенским, но должен называться русским или древним книжным языком. Этот книжный язык более подобен нынешнему общенародному русскому языку, чем какому-нибудь другому словянскому. У болгаров нечего заимствовать, потому что там язык до того потерян, что едва остаются от него следы; у поляков половина слов заимствована из чужих языков; чешский язык чище ляшского, но также немало испорчен; сербы и хорваты способны говорить на своем языке только о домашних делах, и кто-то написал, что они говорят на всех языках и никак не говорят. Одно речение у них русское, другое венгерское, третье немецкое, четвертое турецкое, пятое греческое или валашское, или альбанское, только между горами, где нет проезда для торговцев и инородных людей, уцелела чистота первобытного языка, как я помню из моего детства». Книжный язык западной Руси Крижанич считает страшно испорченным, как по причине множества чужих слов, так и по заимствованию оборотов, чуждых духу славянской речи. «Я не могу читать киевских книг, – говорит он, – без омерзения и тошноты. Только в Великой Руси сохранилась речь, пригодная и свойственная нашему языку, какой нет ни у хорватов и ни у кого другого из словян. Это оттого, что на Руси все бумаги государственные, приказные, законодательные и касающиеся народного устройства писались своим домашним языком. Только там, где есть государственное дело и народное законодательство на своем языке, только там язык может быть обильным и день ото дня устраиваться». Но с русским языком Крижанич хочет слить сербско-хорватское наречие и таким образом составить новый книжный славянский язык – мысль, чрезвычайно смелая и естественно невозможная для одного лица. Сам Крижанич сознает это. «Не может, – говорит он, – один человек всего знать без испытания и совета иных, как мне грешному случилось работать над этим делом. Живя в отлучении от человеческого общества и совета, я не мог и не могу составить такой книги, в которой по алфавитному порядку были бы расставлены и истолкованы все слова. Что касается до этой грамматики, то пусть последующие трудолюбцы обличат, прибавят и исправят то, что я пропустил и в чем ошибся...»

Несмотря на все недостатки этой грамматики, опытный филолог славянских наречий О. М. Бодянский замечает, что Крижанич, которого он называет отцом сравнительной славянской филологии, «строго и систематически стройно провел свою основную идею, сделал много остроумных глубоко верных и поразительных замечаний о словянском языке и о разных наречиях; первый подметил такие правила и особенности, которые только в новейшее время обнародовали лучшие европейские и словянские филологи, опираясь на все пособия и богатства научных средств».

Самый важный памятник литературной деятельности Крижанича – его политические

думы, так называемые «Разговоры о владетьстве». Это – сборник замечаний и размышлений о всевозможнейших предметах общественной жизни, государственного устройства, безопасности страны, благосостояния и воспитания народа. Автор обличает недостатки и пороки, встречаемые в России, приводит для сравнения то, что видел он у других народов или вычитал о них в книгах, и подает советы относительно разных улучшений, по его мнению, пригодных для России. Сочинение это написано языком изобретенным, составляющим смесь славяноцерковного, русского и сербского с примесью других славянских наречий; часть его изложена по-латыни. Автор иногда принимается за форму диалога между лицами, которых он назвал Борнеом и Хервоем.

Сперва автор рассуждает о главных экономических сторонах жизни – о торговле, о ремеслах, о земледелии и ископаемых богатствах.

Крижанич полагает, что Россия – страна, небогатая средствами для торговли: ее природа скудна и географическое положение не представляет удобств. Всего более препятствует торговле неспособность русских и вообще славян к торговым занятиям, и поэтому они всегда проигрывают в торговых сношениях с иностранцами; к тому же русские купцы не знают арифметики. Лучшее средство поднять торговлю – захватить оптовую торговлю с иноземцами в царские руки, однако так, чтоб это служило не отягощением для народа, а, напротив, облегчением. Казна должна быть только посредницею между русскими и иностранцами. Казна не должна вмешиваться во внутреннюю торговлю. Казна будет покупать у русских товары, стараясь платить за них подороже, и сбывать иноземцам, а получаемые от последних товары сбывать русским с наименьшею прибылью. Не следует допускать монополий (самотерства), исключая разве такого случая, когда откупщик взялся бы продавать товар дешевле ходячей цены. Не должно допускать иноземцев к торговле внутри страны, позволять им держать лавки или склады, иметь в Москве наместников, ходатаев или консулов... «Если бы немцев на Руси не было, – говорит наш мыслитель, – торговля этого царства была бы в лучшем положении. Это настоящая саранча, скнипы, пагубная зараза земли». Предлагая несколько средств для улучшения торговли, Крижанич считает полезным, чтобы правительство не позволяло никому открывать лавки с товарами, пока не выучатся письму и счету. В отделе о ремеслах Крижанич предлагает, в числе средств к улучшению ремесел в России, ввести, между прочим, такое правило, чтобы каждый раб, имеющий более одного сына, заявивши о себе в приказе, отдавал одного из детей учиться ремеслу с тем, чтобы хорошо выучившийся получал свободу. Целым городам, которые у себя заведут какое-нибудь ремесло, следует давать льготы от податей. Заметивши, что русские женщины ничего не умеют, Крижанич для распространения рукоделий советует заводить школы для девочек, которых учили бы разным рукоделиям и хозяйственным занятиям. При выходе замуж такие воспитанницы должны будут показывать свидетельства о своем обучении и успехах. «Земледелие, – по выражению Крижанича, – всему богатству корень и основание; земледелец кормит и обогащает и ремесленника и торговца, и боярина и государя». Эта часть знакома Крижаничу хорошо; он, как видно, с детства пригляделся к жизни поселянина и подробно распространяется о видах растений, которые, по его мнению, годятся для возделывания в России, о земледельческих и домашних орудиях и т.п. По его мнению, полезно было бы также разводить табак: он доказывает, что в умеренном употреблении табака нет никакого греха, все равно, как в умеренном употреблении вина. Касаясь вопроса добывания руды, Крижанич не думает, чтобы Россия была очень богата рудами, вопреки всеобщему стремлению к отысканию металлов, и надеется на приобретение этого рода богатств путем торговли. В главе о силе Крижанич распространяется об оружии, об одеждах воинов, о военных приемах; находит, между прочим, русское военное платье того времени неудобным и некрасивым. «Наши воины, – говорит он, – ходят в тесном платье, будто зашитые в мешок, головы у них голые, как у тельцов, а нечесаные бороды делают их скорее подобными дикарям, чем храбрым ратникам».

Третий отдел сочинения, самый обширнейший, носит заглавие «О мудрости», и здесь то автор проявляется всем своим существом. «Мудрость, – говорит Крижанич, – переходит

от народа к народу. Народы, в древности отличавшиеся всякой умелостью, в наше время впали в невежество. Другие, некогда грубые и дикие, теперь славятся мудростью, таковы: немцы, французы, итальянцы. В последние века они произвели много полезных изобретений: компас, многогласное пение, книгопечатание, часы, пушки, гравирование и пр. Только о нас, славянах, говорят, как будто нам судьба во всем отказала и мы не можем ничему выучиться. Но ведь и остальные народы не в один день и не в один год выучивались друг от друга; и мы можем научиться, если только будем иметь охоту и прилежание. Теперь пришло время для нашего народа учиться; Бог возвысил на Руси такое славянское государство, какому подобного не было в нашем народе в прежних веках; а мы видим и у других народов: когда государство возрастет до высокой степени величия, тогда и науки начинают процветать в народе». Но прежде оказывается «необходимым разогнать предрассудки, господствовавшие на Руси против науки. Монахи были главными врагами учения; они-то мешали, по выражению Крижанича, стереть с себя плесень старинной дикости, „они боятся, чтобы молодежь, научившись наукам, не приобрела у людей большего почета, чем старики“. Главный довод врагов науки заключался в том, что учение приносит с собой ересь. „Но разве, – возражал Крижанич, – на Руси поднялся раскол не от глупых безграмотных мужиков и не от глупых причин? Ради того, что срачица переменена в саван, или при аллилуйе приписано: слава тебе, Господи! и т.п.; не говорю уже о суеверии, которое немногим лучше ереси. Что же такое знание? – спрашивает Крижанич. – Знание, говорит он, – есть познание причин вещей: кто не знает причин, тот и самой вещи не знает. Возьмем в пример солнечное и лунное затмение. Кто видит, что солнце или месяц померкает, и не знает отчего это происходит, тот ничего не знает и не понимает, и боится беды от этого явления, а кто знает, что все это происходит по обыкновенному течению небесных тел, а не по какому-нибудь чуду, тот понимает самую вещь и ничего не боится“. Затем Крижанич правильно объясняет законы затмения и в этом стоит гораздо выше киевских и западнорусских ученых. Между всеми мирскими науками самую благородною наукою считает Крижанич политику, науку общественного и государственного строения. Начало политической мудрости есть познание самих себя, познание природы своей страны, народной жизни, собственной силы и слабости законов и обычаев своего народа и средств благосостояния его, так как, с другой стороны, незнание самих себя есть корень общественного зла. Исходя из такой точки зрения, Крижанич подвергает беспощадной критике все стороны жизни русских и славян, которых он всегда старается поставить в одну категорию народностей с русскими. Язык – „самое совершенное оружие мудрости“, у славян, по мнению Крижанича, не отличается высокими достоинствами в ряду других европейских языков. Он, по своей сущности, уступает немецкому, и потому неудивительно, что немцы превосходят другие народы. „Наш язык убог, неприятен для уха, искажен, необработан, ко всему недостаточен. Он самый неспособный к песням, музыке, к поэтической речи, а в переводе церковных книг вконец извращен и выдвинут из своего места. Мы, славяне, между другими народностями являемся как будто немой человек на пиру. Мы не в силах составить какой-нибудь благородный замысел, вести беседы о государственных предметах или какого-нибудь иного мудрого разговора. Люди нашего народа, живучи на чуждой земле и научась чужому языку, таят свое происхождение и прикидываются не славянами. Ляхи много хвастают своей вольностью, а я сам видел таких, которые ложно выдавали себя за пруссаков“. Русская одежда, помимо своей не изящности и неудобства, порицается им за бесполезную роскошь и яркость цветов. „Чужие народы, – говорит он, – ходят в черных и серых одеждах без золота и камней, без шнурков и бисерных нашивок; цветные ткани идут только на церковные да на женские одежды, а у нас на Руси один боярин тратит на свою одежду столько, сколько бы у других стало на трех князей. Даже простолюдины обшивают себе рубахи золотом, чего в других местах не делают и короли. Немцы в жестокие морозы ходят без шуб, а мы не можем жить без того, чтоб не закутаться в шубу от темени до пят. Иноземцы укоряют нас за грубость и нечистоту. Деньги мы прячем в рот. Мужик держит полную братину вина и запустит туда оба пальца, и так гостю пить подает. Квас продают мерзко. У многих посуда никогда не моется. Датский посол

о наших послах сказал: „Если эти люди еще раз ко мне придут, то я велю им огородить свиной хлев, потому что где они постоят, там полгода нельзя жить без смрада“. Постройки наши неудобны, окна низки, мало воздуха, люди слепнут от дыма. К лавкам прибиты доски, а под досками вечный сор“. Сознываясь в дурных качествах славянского племени, Крижанич скорбит о том, что иноплеменники презирают славян и сами славяне уничижают себя, свой язык, свой народ, отдают во всем предпочтение иноземцам, а последние, пользуясь этим, поживляются на счет славян. „Ксеномания, т.е. чужебесие, – это смертоносная немощь, заразившая наш народ... Ни один народ под солнцем не был искони так обижен и осрамлен от иноплеменников, как мы, славяне, от немцев, а между тем нигде иноплеменники не пользуются тем почетом и выгодами, как у нас на Руси, да у ляхов. Откуда голод, притеснения, мятежи, всякая нужда народа русского, как не от иноплеменников? Куда идут слезы, пот, невольный пост и подати, награбленные с народа русского? Все это проповидают немцы, торговцы, да полковники, да разных народов послы, да крымские разбойники“. Автор очень подробно распространяется о том зле, какое, по его мнению, наносят всякие иноземцы славянскому племени, приводит многие примеры печальных последствий для народов от потачки чужеземцам, сознает, что общение с иноземцами может принести много доброго, но говорит, что надобно различать добро от зла, тем более, что иноплеменники ничего нам не дают даром, а всегда хотят, чтобы мы заплатились им с лишком. „Они приносят к нам добрые науки, но не думают о нашем благе; иноземные духовные разоряют наше церковное устройство, обращают святыню в товар. За деньги посвящают недостойных пастырей, разрешают браки, дозволяют одному мужу переменить пять-шесть жен; за деньги, без исповеди, отпускают грехи, скитаясь между нами, выпрашивают милостыню. Так поступают на Руси восточные пастыри, а западные, приходя из Рима к ляхам, выдумывали юбилеи, милостивые годы, объявляли прощение грехов за милостыню, посылаемую в Рим, приходят к нам под видом торговли и приводят нас к крайнему убожеству. У ляхов немцы, шотландцы, армяне, жидаы обладают всеми благами, упитывают свои желудки, а туземцам оставляют земледельческий труд, воевание, да сеймовые крики, да судебные хлопоты. На Руси везде нищета, и народные торговцы, да воры изъедают весь тук земли нашей, а мы только глядим. Те, под видом знатоков, приходят к нам со врачеством, заводят рудокопни, делают стекла, оружие, порох и пр., а никогда не научат нас делать то же, чтобы им навеки от нас корытоваться. Те обещают выучить нас военному искусству, но так, чтобы всегда остаться нашими учителями. Иные говорят нам, будто у них есть какая-то тайная наука, невиданная на Руси, но не надобно верить им; у них ничего нет... Залили и затопили иноплеменники наши земли, немцы выжили нас из целых держав: из Моравии, из Поморья, из Силезии, из Пруссии; в чешских городах уже мало славянского рода. У ляхов все города набиты немцами, жидами, армянами, шотландцами, итальянцами, а мы у них холопы, землю для них пашем, да войны ведем для их пользы: они бы сидели себе в каменных домах, а нас обзывали бы свиньями и псами! А на Руси что делается! Инородные торговцы везде держат товарные склады и откупы и всякие промыслы; вольно им ходить по нашей земле и покупать наши товары дешевой ценой, а к нам привозить дорогою и бесполезные... Где только есть пригожие места для торговли – все это отняли у нас немцы, отогнали нас от моря, от судоходных рек, загнали в широкое поле землю орать... Иные обольщают нас суетными именами академий и высших училищ, степенями докторов, магистров, но все это пустяки: земля наполняется множеством бездельных писак и книжников. Лучше было бы им в молодости учиться полезным и потребным для народа ремеслам, а то мудрые учителя учат их грамматике, а не другим более корыстным знаниям: я еще не видал из нашего народа ни одного знаменитого врача, математика, музыканта или архитектора...“ Замечательно, что, при всей нищете, какую видит Крижанич у русских, он находит, что простой народ на Руси все еще живет зажиточнее, чем во многих других землях, богаче одаренных природою, где все обилие достается только на долю достаточного класса. „На Руси, – говорит он, – убогие люди, как и богатые, все еще едят ржаной хлеб, рыбу и мясо, а в других землях мясо и рыба очень дороги, да и дрова на вес покупают... Смеются немцы над тем, что русские едят такую

соленую рыбу, которую прежде почувешь носом, чем увидишь глазом, а о том фарисеи не пишут, как у них принесут на стол сыр с червями...“

Переходя к образу правления, Крижанич является, с одной стороны, защитником самодержавия. Превосходство этого образа правления для него выказывается из того, что самодержавный государь может удобнее исправлять пороки и дурные обычаи, вкравшиеся в его государство: «Государь созовет всех нас, и все мы „ядрено“ будем помогать ему, всякий по своей силе, как устроить и обособить то, что полезно и добро для общества и всего народа». В противоположность, автор указывает на ляхов: «На Руси, по крайней мере, один господин имеет власть живота и смерти, а у ляхов сколько владетелей, столько королей и тиранов, сколько бояр, столько судей и палачей. Всякий может уморить своего клиента, никто его об этом не спросит и не накажет».

Тем не менее, однако, Крижанич посвятил целый отдел «О крутом владанию», где преподал довольно жестокий урок русскому управлению: «Некоторые люди думают, – говорит он, – что тиранство в том состоит, чтобы мучить невинных людей лютыми муками, а не в дурных, отяготительных для народа уставах, но дурные законы на самом деле еще хуже лютых мук. Если какой-нибудь государь установит дурные тяжелые для народа законы, наложит несправедливые дани, поборы, монополии, кабаки, тот и сам будет тираном и преемников своих сделает тиранами. Если кто из преемников его будет щедр, милосерд, любитель правды, но не отменит прежних отяготительных законов, тот все-таки тиран. Мы видим этому пример и на Руси. Царь Иван Васильевич был нещадный „людодерек и безбожный мясник, кровопийца и мучитель“. В наказание ему Бог попустил так, что из трех сыновей одного он сам убил, у другого Бог ум отнял, третьего Борис Федорович малым убил; и так все царство отпало от рода царя Ивана. Борис возвысил „самодержие“ (монополии) и всякое народное обдирательство, созидал города и церкви на народное ограбленное добро, но Бог вставил против него не боярина, не именитого человека, а бродягу и расстригу. Расстрига лишил Бориса царства, уничтожил его племя и сам за свою глупую наглость сгинул. Но на этом не престал бич Божий над нашим народом до тех пор, пока „оная кровавая, плававшая в сиротских слезах казна“, вся не была разграблена иноплеменниками; пожар, истребивший Москву, искоренил прежнее богомерзкое „людодержество“, и города, построенные на крови земледельцев, достались в руки иным властителям. Но посмотрите, что в наше время случилось в этом, преславном русском государстве! Вот все поколения державы русского народа, Малороссия и Белоруссия обратились к своему русскому государству, от которого за несколько веков были отторгнуты. Что же потом случилось! То же, что некогда в Израиле при Иеровоаме. Тогда некоторые люди верно советовали и говорили: не отягощайте новых подданных, не гоняйтесь за великой казной и приходом; пусть лучше царь-государь имеет большое войско, всегда готовое на его повеление, пусть он им будет огражден, как стеной, и с его помощью истребит крымских разбойников. Но думе, привыкшей к старым законам царя Ивана и царя Бориса, полюбились иное: сейчас же установлены были проклятые кабаки. И вот, мои украинцы, новые подданные, как только отведали закон этой власти, сейчас раскаялись и опять к ляхам обратились. А отчего это? От обдирательства народа. Эти думники, советующие заводить монополии, кабаки и всячески угнетать бедных подданных, имеют в виду только ту корысть, которая у них перед глазами, а на будущее не смотрят, думают приобрести своему государю большую казну, а приносят великое убожество и неисповедимую потерю. Таким-то путем идут дела в этом государстве, начиная с царя Ивана Васильевича, который положил начало жестокому правлению. Если б можно было собрать вместе все деньги, несправедливым и безбожным способом содранные с народа со времен означенного царя Ивана Васильевича, то они бы не вознаградили десятой части тех потерь, которые понесло это государство от жестокого образа правления. Недаром Сирахов сын сказал, что нет ничего хуже алчности. За неправильные обиды народу и за алчное обдирательство не только отнимается царство от одного рода и дается другому, но даже от целого народа и передается другому народу. Пример мы видим в римской империи: чужие

народы разорвали между собой римское царство. Ближайший пример нам представляют ляхи. От излишней расточительности ляшское государство прибегло к обдирательству народа, дошло до крайней неурядицы и попало в чужую власть. Ляхи, не в силах будучи удовлетворить своей расточительности, поневоле сделались жестокими и безжалостными тиранами над своими подданными: тиранство идет рядом с расточительностью; всякий расточитель делается тираном, если есть ему кого обдирать. И царь Иван, и царь Борис пошли по тому же пути, и до сих пор государство их идет тем же путем; но видите, к какому концу готово прийти польское королевство, и оно непременно придет к нему, если вовремя не опомнится... Не хочу быть пророком, но пока свет и человеческий род не изменятся, я крепко уверен, что и этому царству придет время, когда весь народ восстанет на ниспровержение безбожных, жестоких законов царя Ивана и царя Бориса».

Далее Крижанич подробно разбирает дурные стороны тогдашнего государственного и законодательного строя. «В прелютых, тиранских законах царя Ивана, – говорит он, – все приказные, начальствующие и должностные лица должны присягать государю всеми способами приносить государевой казне прибыль и не опускать никакого способа к умножению ее. Вот незаконный закон! Вот проклятая присяга! Из этого необходимо вытекает, что приказные от царского имени, как для царя, так и для самих себя, всяким возможным способом томят, мучат, обдирают несчастных подданных. А вот другой тиранский закон: высокие советники, связанные вышесказанной клятвой, приказным людям в уездах не дают никакого жалования или дают малое, а между тем велят носить им цветное и дорогое платье и крепко запрещают им брать посулы. Какой же промысел остается бедным людям на прожитье? Одно воровство. Правители областей, целовальники и всякие должностные лица привыкли продавать правду и заключать сделки с ворами для своей частной выгоды. Один правитель, приехавши в свою область, показал всему народу свою милость тем, что обещал никого не казнить смертью. Это значило: воруйте, братцы, свободно разбойничайте, крадите да мне приносите. И за четыре года воры верно исполняли приказание. То и дело, что носились вести – там людей зарезали, там обобрали; дошло до того, что люди не могли спать спокойно в своих избах: никто не был казнен смертью – на то царское милосердие! Но что этому причиной? Бедный подьячий сидит в приказе по целым дням, а иногда и ночам, а ему дают алтын в день или двенадцать рублей в год, а в праздники велят ему показываться в цветном платье, которое одно стоит более двенадцати рублей. Чем же ему кормить и себя, и жену, и челядь? Чем же они живут? Легко понять: продажей правды. Неудивительно, что в Москве много воров и разбойников. Удивительно, как могут честные люди в Москве жить!.. Что может быть несправеднее, как брать от суда в казну всякие пересуды и десятины. Послам также не дается достаточно на их обиход. Отсюда происходит крайнее неуважение и холодность к делу, и многие придавленные нуждой забывают пользу своего народа и за подарки входят с иноземцами во всякие неприличные сделки. Хвастается Олеарий, что за деньги можно добыть из приказов какие угодно тайные дела... Все европейцы называют это преславное государство тиранским; говорят, что русские ничего не делают иначе, как только принуждаемы бывают палками и батогами. Правда, русские люди делают все не из чувства чести, а из страха казни, но этому причиной жестокое правление, и если бы немецкий или какой-либо другой народ был под таким правлением, то усвоил бы еще хуже нравы. Русские всеми народами считаются лживыми, неверными, жестокосердыми, склонными к краже и убийству, невежливыми в беседе, нечистоплотными в жизни. А отчего это? Оттого, что везде кабаки, монополии, запрещения, откупы, обыски, тайные соглядатаи; везде люди связаны, ничего не могут свободно делать, не могут свободно употреблять труда рук и пота лица своего. Все делается втайне, со страхом, с трепетом, с обманом, везде приходится укрываться от множества „оправников“ (чиновников), обдирателей, доносчиков или, лучше сказать, палачей. Привыкши всякое дело делать скрытно, потакать ворами, всегда находиться под страхом и обманом, русские забывают всякую честь, делаются трусами на войне и отличаются всяческой невежливостью, нескромностью и неопрятностью... Если нужна им чья-нибудь милость, тут они сами себя



унижают, молятся, бьют челом до отвращения... Нет нигде на свете такого мерзкого, отвратительного, страшного пьянства, как на Руси, а всему причиной кабаки. Нигде нельзя выпить пива или вина, как только в царском кабаке. А там посуда такая, что годится в свинной хлев. Питье премерзкое, и продается по бесовской цене. Самые кабаки не везде под рукой у людей; только в большом городе по нескольку кабаков; иные мелкие люди чуть не всю жизнь лишены вина, а как придется им выпить, то они бросаются без стыда, как бешеные, думают, что исполняют Божью и царскую заповедь...»

Крижанич коснулся дозволения, даваемого некоторым лицам готовить напитки по особым торжественным случаям, и видит в этом средство приучения народа к пьянству, порицает даже царские пиры, на которых нельзя бывает не пить под страхом прегрешить против Бога и царя. Автор оставил нам некоторые черты тогдашнего пира: «Хозяин, – говорит он, – только о том и хлопочет, чтобы поскорее напоить гостей и обратить их в свиней. Посадит гостей около пустого стола, сидят три-четыре часа без хлеба и без всякой пищи, а между тем чарка идет кругом и многие, выпивши натошак, опьянеют и уже не думают о пище. Нигде ни у немцев, ни у других славян нет такого гадкого пьянства, нигде не видно, чтобы в грязи, по улицам, валялись мужчины и женщины и умирали от пьянства. В Малороссии люди также порядочно напиваются, но здешнее пьянство несравненно сильнее и отвратительнее тамошнего, а что всего глупее – это то, что у нас сами правители – причина, заводчики и повелители этому злу». Но в чем же средство к улучшению? Как исправить такое общество, где правители явно дружат с ворами? Как исправить алчных должностных лиц, привыкших к грабежам и коварной изобретательности? «Пусть государь будет архангел, – говорит Крижанич, – все-таки он не в силах запретить грабежи, обиды и людские обидательства». Одно есть средство – народная свобода, но автор не допускает такой свободы, как у ляхов, где никто никого не слушает и где столько же тиранов, сколько властителей. Такая свобода прямо ведет к тирании. «Пусть царь даст людям всех сословий пристойную, умеренную, сообразную со всякою правдою свободу, чтобы на царских чиновников всегда была надета узда, чтоб они не могли исполнять своих худых намерений и раздражать людей до отчаяния. Свобода есть единственный щит, которым подданные могут прикрывать себя против злобы чиновников, единственный способ, посредством которого может в государстве держаться правда. Никакие запрещения, никакие казни не в силах удержать чиновников от худых дел, а думных людей от алчных, разорительных для народа, советов, если не будет свободы».

Затем Крижанич представляет царя говорящим к своему народу и обещающим ему улучшение государственного строя и исправление законодательства. Царь остается самодержавен: он дает народу свободу, права, льготы, но дает добровольно, непринужденно и может отнять данное, если с противной стороны будут даны к этому важные поводы. Между тем тот же царь допускает такие правила, которые кладут контроль на его власть. Он и его преемники обязаны при вступлении на престол давать присягу в сохранении народной свободы, и только после этой присяги народ присягает царю. Он теряет право на престол, если изменит вере, если отдаст дочь за иноземца, если будет отчуждать части государства, если введет в государство иноземное войско, исключая случаев войны с внешними неприятелями. Царь не мог жениться иначе, как на природной русской или на славянке. Женщины не могут быть возводимы на престол. После смерти каждого царя народный сейм делает пересмотр и оценку его правления и требует от преемника исправления тех уставов, которые бы оказались противными народному благу. Жителям, исключая духовных, оставлено прежнее разделение на служилых и на платящих дань. Духовные будут изъяты от всяких поборов и повинностей и должны судиться собственным судом. Высший служилый класс разделяется на три вида: князья, бояре и «племяне» (слово, которым Крижанич хочет заменить выражение «дети боярские»). Считается полезным утвердить в государстве высший аристократический класс, в предотвращение того, чтобы цари не подпали под власть стрельцов, подобно тому как римские императоры под власть преторианцев или султаны под власть янычар. Но привилегии, даваемые высшему классу, никак не должны доходить до

того, чтобы сильные люди держали у себя войско, творили суд или расправу, собирали самовольно сеймы или закупали себе земли. Видно старание удержать земли в общественном владении, а потому одни бояре могут иметь поместья. Людям высшего класса присваиваются разные почетные знаки, напр. гербы, высокие шапки, перья и т.п. Весь остальной народ должен был платить поборы, но не иначе как в случае нужды государственной. Без нужды царь обязывался не брать никаких поборов. Не должно быть никаких кабаков и никаких монополий и пошлин. Города присылают своих послов на сейм и, по их желанию, устанавливается у них порядок и власти, как высшие, так и меньшие. У городов свои судьи, но высшие судьи из боярского рода. Иноземцам запрещается торговать внутри государства. Ненависть к иноземцам простирается до того, что законом не дозволяется никому путешествовать за границей и принимать иностранцев на службу, кроме славян, которым во всем даются равные права с русскими. Относительно просвещения предлагается странное правило: только дети высших классов и то не все, а самые богатые, могут учиться греческому и латинскому языкам, истории, философии и политике, а люди низшие и убогие должны заниматься полезными науками, так наз. «трудовыми», математикой, астрономией, медициной и пр. «Философия, – говорит он в другом месте, – если станет общим достоянием народа, то повлечет за собой многие вопросы и волнения, будет отвращать людей от труда к праздности, что мы и видим у немцев. Не должно все кушанья подправлять медом, потому что мед производит тошноту; точно также и философию не следует передавать всему народу, а только сословию благородному и некоторым из черни, для того призванным, насколько это нужно для службы государю, иначе достойнейший предмет пошлеет, и жемчуг мечется перед свиньями».

Эти основы улучшений, развитые пространно у автора, показывают, что Крижанич был способнее подвергать критике тот общественный строй, какой он нашел на Руси, чем изобретать меры к водворению нового порядка вещей. Возвышение аристократического класса, запрещение ездить за границу, разделение наук, из которых одни предоставлялись одному, а другие другому классу, наконец, крайняя нетерпимость к иноземцам, особенно немцам, служили бы препятствием к тому преуспеянию, которого хотел достичь автор для русского народа. Ненависть к иноземцам у Крижанича делается понятной, как у славянина, которого задушевной целью было поднять свое униженное племя и обратить громадные силы Руси на освобождение славян от чужеземцев, на восстановление их и на устройство племенного союза между ними. Это ясно видно в отделе «Об ширению господства». «Ты единый царь, – говорит он, обращаясь к Алексею Михайловичу, – ты нам дан от Бога, чтобы пособить и задунайцам, и ляхам, и чехам, дабы они познали свое угнетение и унижение, помыслили о своем просветлении и сбросили с шеи немецкое ярмо». По мнению Крижанича, немцы и России готовят это ярмо. «Ненасытима алчность немецкая; всего им мало, хотелось бы им весь народ и всю державу нашу пожрать одним глотком. Не удалось им учинить в России того, что у них было в мысли, т.е. захватить господство над народом, так как они уже захватили царственное величие в уграх, чехах, ляхах, Литве и в других странах, гневаются, скрежещут, рвутся от злости, как бы русское государство подчинить своей власти. Несколько раз они уже подходили близко к исполнению своего намерения, да только Бог уничтожил их высокомерные думы и освободил от прелютного ярма немецкого. А все-таки немцы не отступаются от своей думы... Болгары, сербы, хорваты давно уже потеряли не только свое государство, но всю свою силу, язык, разум. Не понимают они, что такое честь и достоинство, не могут сами себе помочь, нужна им внешняя сила, чтоб стать на ноги и занять место в числе народов. Ты, царь, если не можешь в настоящее тяжелое время пособить им поправиться совершенно и привести к прежнему бытию их государства, то, по крайней мере, можешь исправить их славянский язык и открыть им умственные очи природные своими книгами, чтобы они познали свое достоинство и стали бы думать о своем восстановлении. Чехи, а за ними недавно и ляхи, подверглись такой же печальной участи, как и задунайцы; ляхи хотя и хвастают тенью независимого королевства и своей беспутною свободою, но они, сами по себе, не могут выбиться из своего срама; нужна помощь извне, чтобы поставить их

на ноги и возратить к прежнему достоинству. Эту помощь, это народное просветление смысла только ты, царь, с Божьей помощью, можешь даровать ляхам...»

Крижаничу не нравится расширение русских пределов на север и на восток. Он не разделяет мнения тех, которые советуют идти все далее и далее на восток Сибири и закладывать новые остроги. По его мнению, надобно ограничиться частью Сибири, а с дальнейшими народами заключить мир. Какой-то немец в Сибири пророчил, что царь овладеет Китаем. Крижанич по этому поводу говорит: «Это враг хочет отвлечь нас от возможных дел и обратить на невозможное, чтобы русский народ пошел на глупое завоевание Китая, а русским государством завладели бы немцы и татары». Не следует, по его мнению, также думать о берегах Варяжского моря. Лучше обратиться к Черному морю: «Берега его и пристани будут более выгодны и потребны, чем берега Варяжского моря. Крымские татары много веков уже обижают окрестные народы. Пора уничтожить их наглость и разбои. Русскому государству надлежит проживать в мире со всеми северными, восточными и западными народами, а воевать с одними татарами. Дауры, калмыки и другие восточные народы нас не знают, если мы их не ищем; шведы медлительны, тяжелы и немногочисленны; ляхи и литовцы ни на кого не идут войной, если их не затронут. Одни крымцы всегда требуют откупа и дани и никогда не перестанут нападать на нас. Покуда же мы будем откупаться от них дарами и терпеть беспрестанные разбои и опустошения, отдавать безбожному врагу чуть ли не доходы всей земли нашей, а свой народ осуждать на голод и отчаяние?.. Крымская держава более всех земель подручна России. Там превосходные приморские пристани. Туда будут доставляться из разных стран близким путем товары, которые теперь немцы чуть ли не за полсвета возят в Архангельск. Крымская страна богата, может производить вино, хлеб, масло, мед, годных к военному делу лошадей, каких мало на Руси. Там есть мрамор, разный камень, много строевого дерева, годного на постройку; не знаю, есть ли серебряная и медная руда... Если только от Бога суждено русскому народу когда-нибудь обладать крымскою державою, то не без важных причин мог бы преславный царь или кто-нибудь из твоих преемников перенести туда твою царскую столицу...» Для успеха против татар он считает нужным пригласить ляхов, а по покорении Крыма советует изгнать из страны всех мусульман, которые не захотят принять крещение.

Столько же, как немцев, ненавидит Крижанич и греков. Он указывает на них, как на слуг турецкого владычества, укоряет за плутовство в торговле; приводит в пример, как они стекольца продают за драгоценные камни и жемчуг, как торгуют священными предметами. Греки льстят русским и сочиняют нелепые басни, будто бы для возвеличения России, а между этим злословят вообще всех славян, называют их рабами, варварами, говорят, что русских надобно вразумлять ударами кнута. Вопрос о греках приводит автора к вопросу о соединении церквей. Хотя Крижанич, как мы сказали, в исходной своей точке относится беспристрастно к древнему церковному спору, положившему начало разделения церквей, и видит причину его во временных и мирских вопросах, а не в сущности религий, но берет под свою защиту римскую церковь; доказывает, что она не может быть признана ересью, как того хотят греки, опровергает разные басни, выдуманные греками на римско-католическую церковь и на западных христиан. Остаться чуждыми этого спора, считать в основании обе церкви святыми, устранивши от себя спорные пункты – вот, по его мнению, положение, которое должны принять славяне. «Мы, – говорит он, – приняли святую веру от греков, ляхи от римлян. Мы должны хранить то, что приняли, но до ссор греческих и римских нам дела нет; пусть патриарх и папа хоть в бороды вцепятся за свое первенство, а мы не должны из-за них вести между собой раздоры. Мы, напротив, должны мирить римлян с греками. Постараемся выслушивать их обоих по-приятельски. От нашего народа, от болгар, начался раздор; наш народ был причиной зла, пусть же наш народ станет причиной добра...»

Кроме этого сочинения, Крижанич написал еще по латыни сочинение «О промысле», которое, как кажется, предназначал для наследника престола, но, должно быть, оставил свое намерение и посвятил его князю Ивану Борисовичу Репнину. Сочинение это изложено в форме диалога между двумя лицами, из которых одно называется Валерием, другое

Августином. Главная цель этого сочинения указать действие промысла Божия над царством и царями; оно представляет менее интереса, чем предыдущее, заключает в себе до известной степени повторение на иной лад того, что сказано в последнем, но содержит также любопытные черты, касающиеся современных порядков и взгляда автора на них. В приписке к предисловию автор указывает недостатки правителей, и в этом указании нельзя не видеть ясного намека на тогдашнего русского царя. «Есть люди, – говорит он, – облеченные властью, с хорошими намерениями и с желанием добра для всех, с готовностью управлять народом справедливо, но они не знают силы вещей, они невежды, не учились тому, что нужно знать им; они неопытны в искусстве управлять, самом тонком и трудном для изучения искусством; они соращены ложными понятиями; их окружают льстецы, невежественные советники, лицемеры-архиереи, лжепророки, астрологи, алхимики, и Бог отнимает у них благодать, наказывая как их самих, так и целый народ, которым они управляют, за грехи их». Замечательна обличительная выходка Крижанича против господствовавшего тогда преследования людей, обвиняемых в думе государя – против страшного *слова и дела*: «Злобно толкуют (подслушанные) чужие слова и обвиняют человека в хуле на государя, когда на самом деле не было никакой хулы; за невинные слова людей тащат к допросам, к пыткам, замучивают их беспощадным образом. Судьи же стараются угодить царю, а при этом и в свою пользу выжимают деньги с обиженных». С горечью касается он того обычая ссылки без суда и ясного осуждения, которому подвергался он, сидя в Тобольске. «Ни в чем, – говорит он, – не высказываются так свойственные тиранам изобретательность, коварство, неправда и жестокость, как тогда, когда они ссылают людей или удаляют из столицы (*ab urbe*). Тиран прикидывается милостивым и, под личиною милосердия, мучит людей, сокрушает (*destruit*) их и тем самым держит всех остальных в каком-то паническом страхе, так что никто не может считать свое положение безопасным ни на один час; все ждут с часу на час громового удара над собой... Такого рода жестокости были обычны греческим императорам, отличавшимся вообще тиранствами; у них брат брата, сын отца ослепляли, оскопляли, ссылали...»

Но тот же Крижанич, так сильно вопиющий против тирании и правительственного произвола, требует немилосердного наказания за человеческие преступления и блудодеяния. Он негодует на русских, зачем они дозволяют жить посреди себя еретикам, зачем строго не преследуют волшебников и виновных в содомском грехе. Он указывает на сожжение такого рода преступников на Западе, как на пример, достойный подражания... Как католик, он желал бы, чтоб русская церковь относилась дружелюбно и братски к западной, устраняя только спорные пункты, главным образом о папе; он хотел бы, чтоб католики славяне (иноплеменникам он вообще не дает места) были принимаемы в России, как свои, но относится нетерпимо к лютеранству и кальвинству: эти веры у него, как у истого католика, не более, как проклятые ереси.

Кроме этих сочинений Крижанича, известно написанное им рассуждение о св. крещении и обличение Соловецкой челобитной.

Сочинение о крещении опять-таки изложено в форме диалога между лицами, из которых одно называется Богданом, другое – Милошем. Богдан изображает собою тогдашнего русского; Милош – самого Крижанича. Цель сочинения показать неправильность перекрещивания римских католиков, присоединявшихся к восточной церкви; вопрос – очень близкий Крижаничу; в его сочинении ясно видно, что он терпел от того, что не хотел подвергаться обряду перекрещивания.

– Если ты, – говорит Богдан Милошу, – умрешь не перекрестившись, то погибнешь от голода, наготы и срамоты и будешь погребен, как скотина, а если перекрестишься, будешь сыт и одет; теперь тебя называют еретиком, а тогда будешь для всех честен и дорог. Не перекрестишься – умирать тебе в ссылке, а перекрестишься – возвратят тебя в Москву, будешь жить спокойно, денег наживешь...

– Лучше мне, – говорит на это Милош, – умереть без иерейского прощения, чем оскверниться вторым крещением и отступить от Христа.

Видно, что Крижанич огорчился и тем, что его не хотели признавать в сане священника. «Здесь архiereи, – говорит он, – рессвящают римско-католических священников и расстригают иноков...» Еще сильнее томило его щедро наделенную деятельную натуру то бездействие, на которое поневоле обрекала его ссылка в дикий край. «Я никому не нужен, – говорит он, – никто не спрашивает дел рук моим, не требуют от меня ни услуг, ни помощи, ни работы, питают меня по царской милости, как будто какую скотину в хлеву».

В обличении, которое обращено к составителям Соловецкой челобитной, Крижанич, – предвидя, что первое возражение, какое против него сделают, будет упрек в том, что он латинист, – счел нужным заявить, что он хотел присоединиться к восточной церкви, но от него потребовали второго крещения, а на это он не мог согласиться. Он объясняет, что «уважает русские книги и проклинает латинские, сущие ереси, а не вымышленные. Какие же это сущие ереси? Лютерова, Кальвинова, Гусова и т.п. Они латинские, потому что затеяны были в латинском народе, т.е. в таком народе, который принял латинское богослужение. Но дело идет не о том, что считается ересью в некоторых русских церковных книгах. В них взводятся на латинский народ сущие клеветы, видят ересь там, где нет ее вовсе, клеветают на латин, будто они веруют и делают так, как они не веруют и не делают; говорят, что они проклинают то, чего без нечестия проклинать нельзя».

И здесь Крижанич верен самому себе в церковном вопросе; он католик, он защитник римско-католической церкви, но это не мешает ему принадлежать всей душой, всем сердцем православной вере. Он пишет, что у него даже было желание водвориться в Соловецкой обители. «Много раз, – пишет он, – я просил об этом, да не мог достать человека, который бы доставил мое слезное челобитье его царскому величеству».

Раскол был довольно знаком Крижаничу; живучи в Тобольске, он часто беседовал с сосланным туда Лазарем, видел там и Аввакума.<sup>147</sup> Но как человек образованный, усвоивший взгляд шире русских богословов того времени, Крижанич не мог придавать важности тем мелочам, за которые так спорили раскольники с православными. Он вспоминает, что когда его везли в Тобольск вместе с подьяком Федором в ссылку, то Федор умывался из одного ковша с ним, а когда он зачерпнул воды у татарина, Федор не хотел более умываться из этого ковша, считая его поганым. Крижанич видит в этом не более, как пустосвятство. Он не вдается в вопрос о перстосложении, об изменениях в словах, именах и т.п. «Все это, – говорит он, – с вашей стороны фарисейская святость, излишнее и ненужное благочестие или, лучше сказать, нечестие...» Сугубое аллилуйя несколько остановило его внимание, но и то не в смысле благочестия, а по отношению к истории богослужения, тем более, что об этом предмете у него были изустные состязания с Лазарем. Он признает житие Евфросина, сочинение, на которое опирались раскольники, положительно подложным, и по поводу вопроса о том, сколько раз следует произносить аллилуйя, приводит пример западной церкви, где произносят аллилуйя в разное время богослужения и три раза, и два, и один раз. Вообще Крижанич советует различать молитвословие от веры: молитвословие подвергается изменениям, а вера остается единой, неизменной; так, в последующие времена введены были различные виды богослужения, посты, обряды, которых не было прежде, а вера от этого не изменилась. Напрасно раскольники твердят, будто новоисправленные книги неправильны и будто греческие книги, с которых сделан был перевод, искажены. Есть множество старых рукописей греческих в библиотеках в Париже, Флоренции, Венеции; в них можно видеть, что греческие печатные богослужебные книги не заключают ничего еретического. Крижанич укоряет своих противников в непоследовательности: они уважают память Максима Грека, а

<sup>147</sup> Встреча эта была довольно характерная: Аввакум, возвращаясь из Даурии в Москву через Тобольск, хотел видеть Крижанича. Крижанич, войдя к нему, сказал: «Благослови, отче!» Аввакум закричал ему: «Не подходи, скажи: какой ты веры?» Крижанич отвечал: «Я верую во все то, во что верует св. апостольская церковь, и священническое благословение принимаю в честь. О вере готов объясняться перед архiereем, а перед тобою, который сам подвергся сомнению в вере, мне широко говорить нечего. Если не хочешь благословить, благословит Бог, а ты оставайся с Богом».

между тем именно Максим Грек первый заявил о необходимости исправления книг по греческим подлинникам и сам исправлял некоторые явные ошибки. Наконец, не придавая большой важности всем раскольническим приемам по их отношению к истинному благочестию, автор видит в поступках своих противников тот великий грех, что они отрываются от церкви, не хотят слушать ее приказаний, и тем нарушают любовь, которая должна господствовать в Христовой церкви. По отношению к расколу, он смотрит так, что собственно раскольники не виноваты в том, что предпочитают старые книги и соблюдают такие обряды, которые были изменены церковью. В предисловии к своей грамматике он высказал яснее этот взгляд. «Мое мнение таково, – говорит он. – Ошибки языка не могут вести к осуждению, а исправление книг никого не спасает: спасение дает нам благочестивое сердце, неутомимое в добродетелях. Поэтому, если бы церковные книги и в десять раз были хуже переведены по отношению к речи (не говоря о смысле), то все-таки неисправление их никому не препятствовало бы спасаться. Не стоит из-за малых причин поднимать церковный раздор, не следует соблазняться грамматическими ошибками и разорять духовную любовь». Такого взгляда на раскол еще не было у тех, которые спорили с непокорными; Крижанич думал так, как стали думать о расколе наши духовные уже в более позднее время, когда просвещение отрешило их от узкого буквализма. В то время, когда писал Крижанич, православные, как и их противники, придавали одинаковую важность внешности.<sup>148</sup>

Крижанич представляет собою выходящее из ряда явление. В его сочинениях встречаются такие суждения, которые опередили тогдашние ходячие понятия. Правда, Крижанич не был чужд предрассудков, свойственных своему кругу и веку; его увлечения переходят за пределы благоразумия и правды; но с теми же предрассудками и увлечениями переплетаются и признаки проницательности и замечательно ясного взгляда на предметы: Крижанич признает существование волшебств, но уже не верит предсказаниям о падении турецкой империи, которым так верил Галятовский в силу своего киевского воспитания. Крижанич презирает астрологию, но уважает астрономию и, как видно, имеет в ней сведения. Нам теперь может показаться чудовищным исключительное право родовитых и зажиточных людей учиться древним языкам и философии и оставление реальных наук на долю прочего народа; но нельзя вместе с тем не заметить, что Крижанич видит бесплодие и односторонность схоластического образования, и хочет, чтоб наука прямо служила пользе человеческого общества и содействовала улучшению его быта. Крижанич достаточно видел в своей жизни докторов и магистров, чванившихся своими дипломами, надутых своими сведениями в так называемых свободных науках, но не знавших куда приложить набор формул, заученных в школе. Эти люди при всех своих знаниях ни на что не оказывались способными в общественной жизни. Крижаничу не желательно было видеть умножение таких ученых в России, где еще не было никакой науки, но где уже грамотеи показывали стремление ломать головы над предметами, отнюдь не содействующими ни расширению духовной деятельности, ни увеличению материального благосостояния народа. Крижанич хочет просвещения, но еще более хочет он народного благосостояния: ведь только сытый, одетый и укрытый от непогоды может сознать потребность учения; стало быть, и учение должно быть таково, чтоб оно способствовало и главным образом направлялось к тому, чтоб все были сыты, одеты и укрыты. Для блага русского народа Крижанич прежде всего и паче всего требует отмены господствовавшего в России правила, по которому в государстве все должно быть устроено как можно прибыльнее для государевой казны, да кроме того для воров, служивших государю за жалкие крохи и, по скудости явного вознаграждения за

---

<sup>148</sup> Крижанич в своем «Обличении» касается отчасти и римского католичества. Так, он находит правильным, что на Западе читают три символа веры: апостольский, афанасьевский и никейский, а русская церковь знает один никейский. Он упоминает, что в западной церкви говорят поучения и проповедуется слово Божие, а греки давно уже перестали учить народ в Великой Руси и никогда не говорят проповеди, что прежде была принята литургия Св. Иакова, а потом, вместо нее, составили литургию Василия и Иоанн Златоуст; на Западе же в употреблении литургия Св. Петра, но теперь она изменилась. Замечая, что прежде были священники и женатые, и холостые, он не одобряет преграждения холостым людям пути к священству.

службу, обиравших всепоглощающую казну. От Крижанича не ускользает нищета, грубость и безнравственность русского народа, но он видит причину этих зол в законодательстве, духе и способе управления. Он прежде всего требует такого преобразования, которое бы принесло с собою иное коренное правило государственного строя, правило, совершенно противоположное тому, которое до сих пор господствовало, правило, чтоб как можно прибыльнее было для народа во всех отношениях. С превосходным критическим взглядом на существовавший в то время на Руси порядок, Крижанич соединяет и замечательно верное понимание смысла русской истории предшествовавшего времени.<sup>149</sup>

Нет сомнения, что вражда Крижанича к иноземцам, особенно к немцам, переходит в крайность, но и здесь, при всех увлечениях, нельзя не отдать чести дальновидности Крижанича. Как западный славянин, Крижанич хорошо знает что сделали для его соотечичей и соплеменников немцы; он страшится, чтобы того же не было и с Россией. Он сознает превосходство немцев во многом, что касается улучшения быта и расширения знаний (впрочем, помимо той мишуры, которая для более слабых умов, чем ум Крижанича, представлялась чистым золотом). Но какая польза от этого превосходства будет для славян, если они отдадутся неосмотрительно на волю немцев. Ничего – кроме порабощения. В славянской стране, куда наплывут немцы, действительно явится по наружности много лучшего, чего в этой стране прежде не было; но это лучшее будет служить к пользе тех же немцев, а славяне станут у них рабочей силою. Крижанич не видел и видеть не мог нигде примера, чтобы немцы заботились о просвещении и благосостоянии славян; напротив, где только они соприкасались со славянами, там всегда старались сделать славян так или иначе своими работниками и покорить их себе духовно и материально. Обезьянническое перенимание приемов чуждой образованности мало может содействовать самобытному развитию духовных сил народного творчества, а еще менее благосостоянию народной массы, которой более всего добивался Крижанич. Последующая история это и доказала; русский человек не сделался менее груб, менее невежествен, беден и угнетен оттого, что Россия наводнилась иноземцами, занимавшими государственные и служебные должности, академические кресла и профессорские кафедры, державшими в России ремесленные мастерские, фабрики, заводы и магазины с товарами. Курная изба крестьянина нимало не улучшилась, как равно и узкий горизонт крестьянских понятий и сведений не расширился оттого, что владелец сделался полурусским человеком, убирал свой дом на европейский образец, изъяснялся чисто по-немецки и по-французски и давал возможность иноземцам наживаться в русских столицах за счет крестьянского труда. Русский дух не приобрел способности самостоятельного творчества в области науки, литературы, искусств оттого, что в России были иноземцы и обыноземившиеся русские, писавшие на иноземных языках для иноземцев, а не для русских; напротив, если эта самостоятельность когда-либо проявлялась, то единственно тогда, когда русский дух сколько-нибудь освобождался от иноземного давления. Только тогда и русская мысль могла творить что-нибудь имевшее цену самобытного проявления человеческого достоинства. Духовное и материальное самоподчинение иноземному влиянию не может содействовать ни развитию народного образования, ни увеличению народного благосостояния. С другой стороны, надобно также признать, что общество, долго стоящее на низкой степени образованности, не может иначе двинуться вперед по пути улучшений, как только сближаясь и знакомясь с другими обществами, которые уже стали выше его. Таким образом, если, с одной стороны, для благосостояния России и ее самобытного движения вперед, ей нужно было избегать

---

<sup>149</sup> Нельзя не обратить внимания на то, что критический ум Крижанича, в половине XVII века, признал прямо за чистую басню призвание трех братьев, Рюрика, Синеуса и Трувора, басню, которую и до сих пор некоторые ученые упорно выдают за истину. «Когда, – говорит Крижанич, – великий богатырь Владимир сделался славен побороением своих сопровотивников, а еще славнее принятием христианской веры, то люди, желая его восхвалить, выдумали эту сказку, чтобы придать древность его племени». Склад имени Гостомысла не укрылся от проничательности Крижанича: «Выдумали, что некто умыслил призвать гостей на Руси; и вот сказочник дал призывателю соответственное имя: Гостомысл».

духовного и материального порабощения от иноземцев, то, с другой стороны, для той же цели ей необходимо было сближаться с иноземцами, знакомиться с приемами их быта, потому что только это знакомство могло пробудить в русских потребность воспитания и выбора средств для достижения этой потребности. Предстояла довольно скользкая середина; удержаться на ней составляло сущность мудрости. Крижанич как мыслитель не удержался на ней. Крижанич впал в односторонность, в крайность, скажем более, в нелепость; но Крижанич был прав в тех опасениях, которые привели его к этой нелепости.

Взгляд Крижанича на старый вопрос о разделении церковей стоит – по крайней мере, с одной стороны – выше обычного в его время отношения к этому вопросу. До тех пор написаны были громадные кучи книг в защиту той и другой церкви, были принимаемы попытки примирить и согласить давние недоумения: все было напрасно. Крижанич требует того, чего бы потребовал просвещенный христианин нашего времени. Он не разбирает предметов спора, а подходит прямо к истинной причине его. Эта причина – древнее соперничество духовных властей, унаследованное еще от более древнего соперничества греков и римлян, а впоследствии сплетшееся с разными политическими явлениями, давно уже исчезнувшими. Единственный путь к тому, чтобы эта, чуждая славянам в своем источнике, причина не породила раздора – без всяких попыток к формальному соединению церковей, всегда приводивших только к противоположному, – уважать обе церкви, как равно христианские, не поднимать спорных вопросов, забыть их, обратив внимание на более существенное, общее как той, так и другой церкви. И в наше время едва ли можно сказать что-нибудь более благоразумного по этому предмету. Тем не менее, однако, Крижанич не мог стать на точку вполне безразличного отношения к христианским вероисповеданиям: он все-таки более всего католик, и это в особенности заметно в его взгляде на протестантство, к которому он не может относиться с равной любовью, как к православию.

Что касается до всеславянской идеи, то ни у кого она не была выражена с такою любовью и полнотою. Крижанич первый искал будущего центра славянской взаимности в России, но вместе с тем он не впадает в политические утопии, не мечтает о всеславянском царстве под московским скипетром, не подвигает царя к нелепой мысли о завоевании славян, напротив, хочет достигнуть этого желанного единства путем сближения духовного, поставивши племенное начало руководящею нитью, требуя предпочтения славян другим иноземцам, хочет, чтобы все славяне признаваемы были за единый народ помимо всяких различий, условливаемых церковными и государственными связями. Само собою разумеется, нужна была работа веков, чтобы перевести во всеобщее сознание и приблизить к осуществлению эту великую идею. Она была еще в зародыше; ее заглушили надолго печальные судьбы славянских народов, подвергнувшихся, после Крижанича, еще большему порабощению от иноплеменников. Идея эта стала входить в историческую жизнь только в XIX веке и скоро уклонилась в различные пути, как неизбежно бывает со всеми историческими задачами. Но как бы ни расходились между собою идущие по этим различным путям – обратясь назад, они увидят в Крижаниче своего общего патриарха и найдут в его думах источник для своего примирения. То, что заявил Крижанич, остается в главной своей мысли неизменною истиною: только Россия – одна Россия может быть центром славянской взаимности и орудием самобытности и целостности всех славян от иноплеменников, но Россия просвещенная, свободная от национальных предрассудков, Россия – сознающая законность племенного разнообразия в единстве, твердо уверенная в своем высоком призвании и без опасения с равной любовью предоставляющая право свободного развития всем особенностям славянского мира, Россия предпочитающая жизненный дух единения народов мертвящей букве их насильственного, временного сцепления.

## **Глава 12**

### **Царь Федор Алексеевич**



Два царствования первых государей Романова дома были периодом господства приказного люда, расширения письмоводства, бессилия закона, пустосвятства, повсеместного обдирательства работающего народа, всеобщего обмана, побегов, разбоев и бунтов. Самодержавная власть была на самом деле малосамодержавная: все исходило от бояр и дьяков, ставших во главе управления и в приближении к царю; царь часто делал в угоду другим то, чего не хотел, чем объясняется то явление, что при государях, несомненно честных и добродушных, народ вовсе не благоденствовал.

Еще менее можно было ожидать действительной силы от особы, носившей титул самодержавного государя по смерти Алексея Михайловича. Старший сын его Федор, мальчик четырнадцати лет, был уже поражен неизлечимую болезнью и едва мог ходить. Само собою разумеется, что власть была у него в руках только по имени. В царской семье господствовал раздор. Шестеро сестер нового государя ненавидели мачеху Наталью Кирилловну; с ними заодно были и тетки, старые девы, дочери царя Михаила; около них естественно собрался кружок бояр; ненависть к Наталье Кирилловне распространялась на родственников и на сторонников последней. Прежде всех и более всех должен был потерпеть Артамон Сергеевич Матвеев, как воспитатель царицы Натальи и самый сильный человек в последние годы прошлого царствования. Его главными врагами, – кроме царевен, в особенности Софьи, самой видной по уму и силе характера, и женщин, окружавших царевен, – были Милославские, родственники царя с материнской стороны, из которых главный был боярин Иван Михайлович Милославский, злобившийся на Матвеева за то, что Артамон Сергеевич обличал перед царем его злоупотребления и довел до того, что царь удалил его в Астрахань на воеводство. С Милославскими заодно был сильный боярин оружничий Богдан Матвеевич Хитрово; и у этого человека ненависть к Матвееву возникла оттого, что последний указывал, как Хитрово, начальствуя Приказом Большого Дворца, вместе со своим племянником Александром обогащался незаконным образом за счет дворцовых имений, похищал в свою пользу находившиеся у него в заведывании дворцовые запасы и брал взятки с дворцовых подрядчиков. Царь Алексей Михайлович был такой человек, что, открывая ему правду насчет бояр, Матвеев не мог подвергнуть виновных достойному наказанию, а только подготовил себе непримиримых врагов на будущее время. У Хитрово была родственница, боярыня Анна Петровна; она славилась своим постничеством, но была женщина злая и хитрая: она действовала на слабого и больного царя вместе с царевнами и вооружала его против Матвеева, сверх того врагом Матвеева был окольный Василий Волынский, поставленный в Посольский приказ, человек малограмотный, но богатый, щеголявший хлебосольством и роскошью. Созывая к себе на пиры вельмож, он всеми силами старался восстановить их против Матвеева. Наконец, могущественные бояре: князь Юрий Долгорукий, государев дядька Федор Федорович Куракин, Родион Стрешнев также были нерасположены к Матвееву.

Гонение на Матвеева началось с того, что по жалобе датского резидента Монса Гея, будто Матвеев не заплатил ему 500 рублей за вино, Матвеева 4 июля 1676 года удалили от Посольского приказа и объявили ему, что он должен ехать в Верхотурье воеводою. Но это был только один предлог. Матвеев, доехавши до Лаишева, получил приказание там остаться, и здесь начался ряд придирок к нему. Сперва потребовали от него какую-то книгу, лечбник, писанный цифрами, которого у него не оказалось. В конце декабря сделали у него обыск и привезли за караулом в Казань. Его обвиняли в том, что, заведую государевою аптекою и подавая царю лекарство, он не допивал после царя остатков лекарства. Лекарь Давид Берлов доносил на него, что он вместе с другим доктором, по имени Стефаном, и с переводчиком Спафари читал «черную книгу» и призывал нечистых духов. Его донос подтверждал под пыткой холоп Матвеева, карлик Захарка, и показывал, что он сам видел, как, по призыву Матвеева, в комнату приходили нечистые духи и Матвеев с досады, что карлик видел эту тайну, прибил его.

11 июня 1677 года боярин Иван Богданович Милославский, призвавши Матвеева с сыном в съезжую избу, объявил ему, что царь приказал лишить его боярства, отписать все

поместья и вотчины к дворцовым селам, отпустить на волю всех его людей и людей его сына и сослать Артамона Сергеевича, вместе с сыном, в Пустозерск. Вслед за тем отправлены были в ссылку двое братьев царицы Натальи Кирилловны, Иван и Афанасий Нарышкины. Первого обвинили в том, что он говорил человеку, по фамилии Орлу, такие двусмысленные речи: «Ты Орел старый, а молодой Орел на заводи летает: убей его из пищали, так увидишь милость царицы Натальи Кирилловны». Эти слова были объяснены так, будто они относились к царю. Нарышкина присудили бить кнутом, жечь огнем, рвать клещами и казнить смертью, но царь заменил это наказание вечною ссылкой в Рязск.

В первые годы своего царствования Федор Алексеевич находился в руках бояр, врагов Матвеева. Наталья Кирилловна с сыном жила в удалении в селе Преображенском и находилась постоянно под страхом и в загоне. В церковных делах самовольно управлял всем патриарх Иоаким, и царь не в силах был воспрепятствовать ему притеснять низложенного Никона и отправить в ссылку царского духовника Савинова. Патриарх Иоаким заметил, что этот близкий к особе царя человек настраивает молодого государя против патриарха, созвал собор, обвинил Савинова в безнравственных поступках, и Савинов был сослан в Кожеезерский монастырь; царь должен был покориться.

Политика Москвы в первых годах Федорова царствования обращалась главным образом на малороссийские дела, которые впутали Московское государство в неприязненные отношения к Турции. Чигиринские походы, страх, внушаемый ожиданием нападения хана в 1679 г., требовали напряженных мер, отзывавшихся тягостно на народе. Целые три года все вотчины были обложены особым налогом по полтине со двора на военные издержки; служилые люди не только сами должны были быть готовы на службу, но их родственники и свойственники, а с каждых двадцати пяти дворов их имений они должны были поставлять по одному конному человеку. На юго-востоке происходили столкновения с кочевыми народами. Еще с начала царствования Алексея Михайловича, калмыки, под начальством своих тайшей, то делали набеги на русские области, то отдавались под власть русского государя и помогали России против крымских татар. В 1677 году вспыхнула ссора между калмыками и донскими казаками; правительство приняло сторону калмыков и запрещало казакам беспокоить их; тогда главный калмыцкий тайша, или хан, Аюка, с другими подначальными ему тайшами под Астраханью дал русскому царю шертную грамоту, по которой обещался от имени всех калмыков находиться навсегда в подданстве московского государя и воевать против его недругов. Но такие договоры не могли иметь надолго силы: донские казаки не слушали правительства и нападали на калмыков, отговариваясь тем, что калмыки первые нападали на казачьи городки, брали в плен людей, угоняли скот. Калмыки, со своей стороны, представляли, что мир нарушен казаками, царскими людьми, а потому и шерт, данная царю, уже потеряла силу, и отказывались служить царю. Аюка стал переговариваться и дружить с крымским ханом, а его подчиненные нападали на русские поселения. Пределы Западной Сибири беспокоили башкиры, а далее, около Томска, делали набеги киргизы. В Восточной Сибири возмутились якуты и тунгусы, платившие ясак, выведенные из терпения грабительствами и насилиями воевод и служилых людей, но были укрошены.

Во внутренних делах сначала происходило мало нового<sup>150</sup>, подтверждались или расширялись распоряжения предыдущего царствования.<sup>151</sup> В народе не утихало волнение, возбужденное расколом, напротив, все более и более принимало широкий размер и мрачный

---

<sup>150</sup> Так, между прочим издано было несколько распоряжений относительно вотчин; запрещено было давать вотчины и поместья церквям в 1671 году.

<sup>151</sup> Еще до ссылки Матвеева расширена была привилегия, данная при Алексее Михайловиче серебряных дел мастеру Кожевникову на искание серебряной, золотой и медной руды. Кожевников с товарищами несколько лет уже скитался по северным краям и не нашел руды. Теперь ему дозволено было искать руду, дорогие камни и всякие ископаемые богатства на Волге, Каме и Оке. Видно, что правительство очень занимала мысль отыскания металлов. Нелишним считаем также упомянуть о подтверждении указа царя Алексея Михайловича, чтобы не посылать в Москву рыбу, меньше указанной меры, а мелкую недорослую рыбу велено бросать обратно в реку, чтобы не «перевести заводу». Распоряжение это замечательно тем, что показывает заботливость правительства о сбережении рыбы, важной отрасли хозяйства.

характер. Фанатики заводили пустыни, завлекали туда толпы народа, поучали его не ходить в церковь, не креститься тремя перстами, толковали, что приближаются последние времена, наступает царство Антихриста, скоро затем мир сей постигнет конец, и теперь благочестивым христианам ничего не остается, как отречься от всех прелестей мира и добровольно идти на страдание за истинную веру. Такие пустыни появлялись во многих местах на севере, на Дону, но особенно в Сибири. Воеводы посылали разгонять их, но фанатики сами сжигались, не допуская к себе гонителей, и в этом случае оправдывали себя примером мучеников, особенно Св. Манефы, которая сожглась, чтоб не поклониться идолам.<sup>152</sup>

В 1679 году царь Федор Алексеевич, уже достигший семнадцатилетнего возраста, приблизил к себе двух любимцев: Ивана Максимовича Языкова и Алексея Тимофеевича Лихачева. Это были люди ловкие, способные и, сколько можно заключить по известным нам событиям, добросовестные. Языков был назначен постельничим. Молодой царь, воспитанный Симеоном Полоцким, был любознателен, посещал типографию и типографскую школу, любил читать и поддавался мысли своего учителя Симеона образовать высшее училище в Москве. Мало-помалу становится заметнее усиление правительственной деятельности. Издан ряд распоряжений, прекращавших злоупотребления и запутанность в делах по владению вотчинами и поместьями. Так, напр., вошло в обычай, что владелец вотчины продавал или передавал другому – родственнику или же чужому по крови, после себя свое имение, с условием, чтобы тот содержал его вдову и детей или родственников – обыкновенно лиц женского пола, напр. дочерей или племянниц; получивший вотчину обязан был выдавать замуж таких девиц как бы родных сестер своих. Но такие условия не исполнялись, и по этому поводу состоялся закон отбирать такие вотчины, если владелец не исполнит условия, на котором получил вотчину, – и отдавать их прямым обойденным наследникам. Бывали еще такие злоупотребления: мужья насилиями и побоями принуждали жен своих продавать и закладывать их собственные вотчины, полученные в приданое при выходе замуж. Постановлено было не записывать в поместном приказе, как делалось до того времени, таких актов, которые совершались мужьями от имени жен без их добровольного согласия. Ограждены были также вдовы и дочери, получавшие после мужьев и отцов прожиточные имения, которые у них нередко отнимали наследники. В это время вообще заметно желание, чтобы вотчины не выходили из рода владельцев, и потому запрещалось впредь отдавать по духовным вотчины прямых наследников, а также и дарить их в чужие руки. Самые поместья подчинялись тому же родовому началу: было постановлено, чтобы выморочные поместья давались только родственникам, хотя бы и дальним, прежних владельцев. Родственник имел право законно искать возвращения себе поместьев, поступивших в чужой род. Таким образом поместное право почти исчезало и переходило в вотчинное. Сын считал себя вправе просить правительство дать ему поместье или какую-нибудь награду, следовавшую его отцу за службу, если отец не успел ее получить.

В ноябре того же 1679 года уничтожилось некогда важное звание губных старост и целовальников. Повсеместно велено было сломать губные избы, и все уголовные дела передавались ведению воевод; вместе с тем уничтожались разные мелкие подати на содержание губных изб, тюрем, сторожей, палачей, издержка на бумагу, чернила, дрова и пр. Тогда же были уничтожены особые сыщики, присылаемые из Москвы по уголовным делам, сборщики, также приезжавшие из Москвы, горододельцы и приказчики разных наименований: ямские, пушкарские, засечные, осадные, у житниц головы и пр. Все их

---

<sup>152</sup> В Тобольском уезде, напр., чернец Данило с единомышленниками завел пустынь, куда набралось до трехсот душ обоого пола. Две черницы и две девки всенародно бесновались, бились о землю, кричали, что видят Пресвятую Богородицу, которая повелевает им убеждать людей, чтоб не крестились тремя перстами, не ходили в церковь, не поклонялись четырехконечному кресту, который есть не что иное, как Антихристова печать. Данило всех входящих и старых и малых постригал в монашество и убеждал не допускать к себе ратных людей, но самим предать себя сожжению; с этою целью они заранее приготовили смолы, пеньки, бересту и, услышавши, что тобольский воевода послал против них отряд, сожглись в своих избах. Их пример увлек других к такому же изумверскому подвигу.

обязанности сосредоточивались в руках воевод. Правительство, вероятно, имело целью упростить управление и избавить народ от содержания многих должностных лиц.

В марте 1680 года предпринято было межевание вотчинных и помещичьих земель – важное предприятие, которое вызывалось желанием прекратить споры по поводу рубежей, доходившие очень часто до драк между крестьянами споривших сторон, а иногда и до смертоубийства. Всем помещикам и вотчинникам предписано объявить о числе имеющихся у них крестьянских дворов. Относительно самих крестьян не было сделано важных изменений в законодательстве, но из дел того времени видно, что крестьяне почти уже окончательно сравнялись с холопами по своему положению, хотя все-таки юридически отличались от последних тем, что в крестьяне поступали по судной, а в холопы по кабальной записи. Тем не менее, владелец не только брал своих крестьян в дворовые, но даже бывали случаи, когда продавал вотчинных крестьян без земли.

Летом 1680 года царь Федор Алексеевич увидел на крестном ходе девицу, которая ему понравилась. Он поручил Языкову узнать: кто она, и Языков сообщил ему, что она дочь Семена Федоровича Грушецкого, по имени Агафья. Царь, не нарушая дедовских обычаев, приказал созвать толпу девиц и выбрал из них Агафью. Боярин Милославский пытался расстроить этот брак, чернил царскую невесту, но не достиг цели и сам потерял влияние при дворе. 18 июля 1680 года царь сочетался с нею браком. Новая царица была незнатного рода и, как говорят, по происхождению полька. При дворе московском стали входить польские обычаи, начали носить кунтуши, стричь волосы по-польски и учиться польскому языку. Сам царь, воспитанный Симеоном Ситияновичем, знал по-польски и читал польские книги. Языков после царского брака получил сан окольникяго, а Лихачев заступил его место в звании постельничьяго. Кроме того, приблизился к царю и молодой князь Василий Васильевич Голицын, впоследствии игравший важнейшую роль в Московском государстве.

Заклученный в это время мир с Турцией и Крымом хотя и не был блистателен, но по крайней мере облегчал народ от тех усилий, которых требовала продолжительная война, и потому был принят с большою радостью. Правительство обратилось к внутренним распоряжениям и преобразованиям, которые показывают уже некоторое смягчение нравов. Так, еще в 1679 году был составлен, но потом повторен в 1680 и, вероятно, приведен в исполнение закон, прекращавший варварские казни отсечения рук и ног и заменявший их ссылкой в Сибирь. В некоторых случаях позорное наказание кнутом заменилось пенею, как, например, за порчу межевых знаков или за корчемство. В челобитных, подаваемых царю, запрещалось раболопное выражение: чтобы царь умилосердился «как Бог»; запрещалось простым людям при встрече с боярами вставать с лошадей и кланяться в землю. Для распространения христианства между магометанами в мае 1681 года постановлено было отобрать крестьян христианской веры от татарских мурз, но оставлять им по-прежнему власть над ними, если они примут христианство; да сверх того положено поощрять принимавших крещение инородцев деньгами.

Межевание земель, предпринятое в прошлом году, не только не достигало цели прекращения драк по поводу границ владений, но еще усиливало их, потому что пока оно еще не было окончено, то возбуждало новые вопросы о границах; до правительства доходили слухи о бесчинствах, которые делали вотчинники и помещики, о нападениях их друг на друга и убийствах. В мае 1681 года издан был закон об отнятии спорных земель у тех владельцев, которые начнут самоуправства и будут посылать своих крестьян на драку, и о строгом наказании крестьян, если они без ведома владельцев станут драться между собою за границы; велено было также ускорить дело размежевания и умножить число межевщиков, выбираемых из дворян и называемых писцами. Вместо того, чтобы по старому обычаю предоставить им брать так называемые кормы с обывателей, им назначено было денежное жалованье, деньга с четверти земли, а другая деньга давалась подьячему с теми, которые с ним были для подмоги.

В июле того же года вышло два важных распоряжения: были уничтожены откупа на винную продажу и на таможенные сборы. Поводом к этому изменению было то, что порядок

отдачи на откуп вел за собою беспорядки и убытки казне; откупщики винной продажи перебывали друг у друга барыши и пускали дешевле свое вино, стараясь один другого подорвать. Вместо откупов опять введены были верные головы и целовальники, выбранные из торговых и промышленных людей. Для избежания беспорядков запрещались вообще изъятия и особые права на домашнее производство хмельных напитков, исключая помещиков и вотчинников, которым позволялось готовить их, но только внутри своих дворов и никак не на продажу.

Среди всех этих забот правительства умерла царица Агафья (14 июля, 1681 года) от родов, а за нею и новорожденный младенец, крещенный под именем Ильи.

Не знаем, как подействовало на болезненного царя это семейное несчастье, но деятельность законодательная и учредительная не приостанавливалась. Важное дело межевания встречало большие затруднения: помещики и вотчинники жаловались на писцов, которым было поручено межевание, а писцы, которые были также из помещиков, на землевладельцев; таким образом правительство должно было отправлять еще особых сыщиков для разбирательства споров между владельцами земель и межевщиками и грозило тем и другим потерю половины их поместий; другая половина отдавалась жене и детям виновного. Сделаны были изменения в порядке приказного делопроизводства: все уголовные дела, которые производились частью в Земском приказе, а иногда и в других, велено было соединить в одном Разбойном приказе; Холопий приказ был уничтожен вовсе, и все дела из него перенесены были в Судный приказ. Наконец затевалось важное дело составления дополнений к Уложению, и по всем приказам велено было написать статьи по таким случаям, которые не были приняты во внимание Уложением.

В церковном быту совершались важные преобразования. Был созван церковный собор, один из важных в русской истории. На этом соборе (как на Стоглавом и других) от имени царя делались предложения или вопросы, на которые следовали соборные приговоры. Возникла потребность основания новых епархий, особенно в виду того, что везде умножались «церковные противники». Правительство предлагало завести у митрополитов подначальных им епископов, но собор нашел такой порядок неуместным, опасаясь, что от этого между архиереями будут происходить распри о сравнительной их «высости». Собор предпочел другую меру: учредить в некоторых городах особые независимые епархии. Таким образом были основаны архиепископства в Севске<sup>153</sup>, в Холмогорах<sup>154</sup>, в Устюге<sup>155</sup>, в Енисейске; вятская епископия возвышена была в архиепископию; назначены были епископы: в Галиче, Арзамасе, Уфе, Тамбове (Тамбове)<sup>156</sup>, Воронеже<sup>157</sup>, Волхове<sup>158</sup> и в Курске. На содержание новых архиерейств отводились разные монастыри с их вотчинными крестьянами и со всеми угодьями. Со стороны царя было сделано указание на отдаленные страны Сибири, где пространства так велики, что от епархиального города надобно ехать целый год и даже полтора, и эти страны легко делаются убежищем противников церкви; но собор не решился там учреждать епархий «малолюдства ради христианского народа», а ограничился постановлением посылать туда архимандритов и священников для научения в вере.

По вопросу о противодействии расколу собор, не имея в руках материальной силы, главным образом предавал это дело светской власти; вотчинники и помещики должны извещать архиереев и воевод о раскольничьих сходбищах и мольбищах, а воеводы и приказные люди будут посылать служилых людей против тех раскольников, которые окажутся непослушными архиереям. Сверх того, собор просил государя, чтоб не давались никакие грамоты на основание новых пустынь, в которых обыкновенно служили по старым

<sup>153</sup> Города: Севск, Трубчевск, Путивль, Рыльск.

<sup>154</sup> Холмогоры, Архангельск, Мезень, Кевроль, Пустозерск, Пинега, Вага с пригородами.

<sup>155</sup> Устюга, Сольвычегодск, Тотьма с пригородами.

<sup>156</sup> Тамбов, Козлов, Доброе Городище с пригородами.

<sup>157</sup> Воронеж, Елец, Романов, Орлов, Костянск, Коротояк, Усмань и пр. Сюда был назначен епископом Св. Митрофан.

<sup>158</sup> Волхов, Мценск, Карачев, Кромы, Орел, Новосиль.

книгам; вместе с тем велено уничтожить в Москве палатки и анбары с иконами, называемые часовнями, в которых священники совершали молебны по старым книгам, а народ стекался туда толпами, вместо того, чтобы ходить в церкви и служить литургию; наконец постановлено было устроить надзор, чтоб не продавались старопечатные книги и разные писанные тетрадки и листочки с выписками из Св. Писания, которые были направлены против господствующей церкви в защиту старообрядства и сильно поддерживали раскол.

На этом же церковном соборе было обращено внимание на давние бесчинства, против которых напрасно вооружались прежние соборы: запрещалось монахам шататься по улицам, в монастырях держать крепкие напитки, разносить по кельям пищу, устраивать пиры. Замечено было, что черницы во множестве по домам сидели, по перекресткам и просили милостыню; большая часть их даже никогда не жила в монастырях, их постригали в домах, и они оставались в миру, нося черное платье. Таких черниц велено было собрать и устроить для них монастыри из некоторых, бывших прежде мужескими. Монахиням запрещалось самим управлять монастырскими вотчинами, а это дело поручалось назначенным от правительства старикам, дворянам. Запрещалось в домовых церквах держать вдов и священников, потому что, как замечено было, они вели себя бесчинно. Обращено было внимание на нищих, которых тогда накопилось повсюду чрезвычайное множество; они не только не давали никому проходу по улицам, но с криками просили подаяния в церквах во время богослужения. Их велено было разобрать и тех, которые окажутся больными, содержать за счет царской казны, «со всяким довольством», а ленивых и здоровых принудить к работе. Дозволено было посвящать священников в православные приходы, находившиеся во владениях Польши и Швеции, но только с тем, если последует об этом просьба от прихожан с надлежащими документами и с грамотами от своего правительства. Это правило было важно в том отношении, что подавало повод русской церкви вмешиваться в духовные дела соседей.<sup>159</sup>

В том же ноябре 1681 года состоялся указ о созвании собора служилых людей для «устроения и управления ратного дела». В самом указе было обращено внимание на то, что в прошедшие войны неприятели Московского государства показали «новые в ратных делах вымыслы», посредством которых одерживали верх над московскими ратными людьми; надлежало рассмотреть эти «нововымышленные неприятельские хитрости» и устроить войско так, чтобы в военное время оно могло вести борьбу против неприятеля.

Собор собрался в январе 1682 года. Выборные люди с первого же раза выразили сознание необходимости ввести европейское разделение войска на роты, вместо сотен, под начальством ротмистров и поручиков, вместо сотенных голов. Вслед за тем выборные люди подали мысль уничтожить местничество, чтобы все, как в приказах, так и в полках и в городах, не считались местами, и поэтому все так называемые «разрядные случаи» искоренить, дабы они не служили поводом к помехе в делах.

Мы не знаем, наверно, сами ли выборные люди по своему усмотрению сделали это предложение или мысль эта была внушена им от правительства, во всяком случае, мысль эта достаточно созрела в то время, потому что во все продолжение предшествовавших войн, по царскому повелению, все были без мест, а в посольских делах местничество уже давно было устранено. За два года перед тем состоялся указ, которым постановлялось устранить всякое местничанье в крестных ходах: в этом указе было сказано, что уже и прежде в таких случаях между служилыми людьми не наблюдалось местничество, но в последнее время стали являться челобитные с указанием разных прежних случаев; поэтому-то на будущее время сочтено было необходимым поставить правилом, чтобы таких челобитных более не было под

---

<sup>159</sup> На соборе этом было замечено, что Риза Господня, присланная при патриархе Филарете из Персии, была разрезана на кусочки, которые хранились в разных местах в ковчегах: велено было все эти кусочки собрать и держать в одном ковчеге в Успенской церкви. В Благовещенском соборе было много частиц мощей в небрежении: велено было большую часть их раздать по монастырям и церквам, остальные же хранить за царскою печатью, а в Великую пятницу, как прежде и делалось, приносить для омовения в Успенский собор.

страхом наказания. Таким образом, обычай считаться местами сам собою уже выходил из употребления; служилые люди привыкли обходиться без местничества; только немногие приверженцы старых предрассудков хватались за разрядные случаи для удовлетворения своего тщеславия и докучали этим правительству. Оставалось только юридически уничтожить местничество, чтобы на будущее время оно не вошло опять в силу. Царь представил этот вопрос на обсуждение патриарха с духовенством и бояр с думными людьми. Духовенство признало местнический обычай, противный христианству, Божьей заповеди о любви, источником зла и вреда для царственных дел; бояре и думные люди прибавили, что следует все разрядные случаи искоренить совершенно. На основании такого приговора царь приказал сжечь все разрядные книги, дабы вперед никто не мог считаться прежними случаями, возноситься службою своих предков и унижать других. Книги были преданы огню в сенях царской передней палаты, в присутствии присланных от патриарха митрополитов и епископов и назначенного для этого дела от царя боярина Михаила Долгорукова и думного дьяка Семенова. Все, у кого в домах были списки с этих книг и всякие письма, относившиеся к местническим случаям, должны были доставлять в разряд, под страхом царского гнева и духовного запрещения. Затем вместо разрядных местнических книг велено было в разряде держать родословную книгу и составить новую для таких родов, которые не записаны были в прежней родословной книге, по которым члены значились в разной царской службе; всем позволено было держать у себя родословные книги, но уже они не имели значения при отправлении служебных обязанностей.<sup>160</sup> Несмотря на уничтожение местничества, тогдашнее правительство не думало, однако, лишать служилых людей отличий по знатности их положения. Таким образом устанавливались правила, как следует каждому сообразно своему чину ездить по городу: бояре, окольниковы и думные люди могли, напр., ездить в каретах и санях в обыкновенные дни на двух лошадях, в праздники на четырех, а на свадьбах на шести; другим же ниже их чином (спальникам, стольникам, стряпчим, дворянам) дозволялось зимою ездить в санях на одной лошади, а летом верхами. Подобно тому же являться ко двору дозволено было сообразно чину. Предстояло еще одно важное преобразование: в декабре 1681 года последовал указ прислать в Москву выборных людей торгового сословия со всех городов (кроме сибирских), а также из государевых слобод и сел «для уравнивания людей всякого чина в платеже податей и в отправлении выборной службы». Но этот собор, сколько нам известно, не состоялся.

Царь между тем день ото дня ослабевал, но ближние его поддерживали в нем надежду на выздоровление, и он вступил в новый брак с Марфой Матвеевной Апраксиной, родственницей Языкова. Первым последствием этого союза было прощение Матвеева.

Сосланный боярин несколько раз писал царю из ссылки челобитные, оправдывая себя от ложно взведенных на него обвинений, просил ходатайства патриарха, обращался к разным боярам и даже к своим врагам; так, напр., он писал к злейшему из своих врагов Богдану Матвеевичу Хитрову, убеждал вспомнить прежнюю милость его к нему и «работишку его», Матвеева, поручал просить о том же боярыню Анну Петровну, которая, как мы сказали, постоянно клеветала на Матвеева: «Я, – писал он из Пустозерска, – в такое место послан, что и имя его настоящее *Пустозерск* : ни мяса, ни калача купить нельзя; хлеба на две денежки не добудешь; один борщ едят да муки ржаной по горсточке прибавляют, и так делают только достаточные люди; не то, что купить, именем Божиим милостыни выпросить не у кого, да и

---

<sup>160</sup> Тогда же был, вероятно, составлен проект, по которому бояре, окольниковы и думные люди разделялись на степени, не по роду, а по занимаемым ими местам. Таким образом боярам давались разные названия: одним по городам, над которыми их назначили наместниками (напр., наместник астраханский занимал между наместниками четвертое место по важности города, а между боярами вообще одиннадцатую степень; псковский между наместниками пятое место, между боярами тринадцатую степень; смоленский между наместниками шестое место, между боярами одиннадцатую степень и т.д.), другим чины, переведенные с греческого языка и заимствованные из византийской придворной жизни, напр., боярин над пехотою, боярин над конною ратью, боярин и дворецкий и т.д. В этом проекте, не приведенном в исполнение, вероятно, за смертью царя Федора, виден зародыш той чиновничьей лестницы, которую создал Петр таблицью о рангах.

нечего. А у меня, что по милости государя не было отнято, то все водами, горами и переволоками потоплено, растеряно, раскрадено, рассыпано, выточено...» В 1680 году после бракосочетания царя с Грушецкою, Матвеева в виде облегчения перевели в Мезень с сыном, с учителем сына шляхтичем Поборским и прислугою, всего до 30 человек, и давали ему 156 рублей жалованья, и, кроме того, отпускали хлебного зерна, ржи, овса, ячменя. Но это мало облегчило его участь. Умоляя снова государя даровать ему свободу, Матвеев писал, что таким образом «будет на день нам холопом твоим и сиротам нашим по три денежки...» «Церковные противники, – писал Матвеев в том же письме, – Аввакумова жена и дети получают по грошу на человека, а малые по три денежки, а мы, холопы твои, не противники ни церкви, ни вашему царскому повелению». Впрочем, мезенский воевода Тухачевский любил Матвеева и старался чем только мог облегчить судьбу сосланного боярина. Главный недостаток состоял в том, что в Мезени трудно было доставать хлеба. Жители питались дичью и рыбою, которые были там в большом изобилии, но от недостатка хлеба свирепствовала там цинга.

В январе 1682 года, как только царь объявил своей невестой Марфу Апраксину, отправлен был капитан стремяного полка Иван Лишуков в Мезень с указом объявить боярину Артамону Сергеевичу Матвееву и сыну его, что государь, признав их невинность, приказал вернуть их из ссылки, возратить им двор в Москве, подмосковные и другие вотчины и пожитки, оставшиеся за раздачею и продажею; пожаловал им в вотчину из дворцовых сел Верхний Ландех с деревнями (в Суздальском уезде) и приказал свободно отпустить боярина с сыном в город Лух, давши им подорожную и ямские подводы, а в Лухе дожидаться нового царского указа. Этой милостью Матвеев был обязан просьбе царской невесты, которая была его крестница. Хотя царь и объявил, что признает Матвеева совершенно невинным и ложно оклеветанным, хотя перед освобождением Матвеева велел отправить в ссылку одного из его клеветников, врача Давида Берлова, но не решился, однако, возратить боярина в Москву – очевидно, препятствовали царские сестры, ненавидевшие Матвеева, и молодая царица не имела еще настолько силы, чтобы привести царя к такому поступку, который бы до крайности раздражил царевен. Тем не менее, однако, молодая царица в короткое время приобрела столько силы, что примирила царя с Натальей Кирилловной и царевичем Петром, с которыми, по выражению современника, у него были «неукротимые несогласия». Но недолго пришлось царю жить с молодою женою. Через два месяца с небольшим после своей свадьбы, 27 апреля 1682 года, он скончался, не достигши 21 года от рождения.

## **Глава 13** **Царевна Софья**

События, последовавшие по смерти царя Федора, резко бросаются в глаза своим несходством с прежними явлениями исторической жизни в России. В главе правления стала девица; событие небывалое до того времени на Руси. Но не следует видеть в нем признака коренного изменения понятий, господствовавших в России; событие это совершилось само собою вследствие того, что царская семья очутилась в таких условиях, в каких не была прежде. Царские дочери до тех пор жили затворницами, никем не видимые, кроме близких родственников, и не смели даже появляться публично. Это зависело, главным образом, от того монашеского взгляда, который господствовал при московском дворе и дошел до высшей степени силы при Романовых. Боязнь греха, соблазна, искушения, суеверный страх порчи, изглаза – все это заставляло держать царевен взаперти. Величие их происхождения не допускало отдачи их в замужество за подданных, а отдавать их за иностранных принцев было трудно, потому что тогдашнее благочестие приходило в соблазн при мысли о брачном союзе с неправославными. Надобно заметить, что вообще уединение женщин, а в особенности девиц, господствовавшее в высшем классе московских людей, исходило не из народных обычаев и не было тем гаремным положением женского пола, на которое он



осужден на Востоке; оно происходило из опасения греха и соблазна, истекало из того благочестия, которое считало монашество высшим богоугодным образцом жизни и признавало нравственным долгом каждой христианской души приближаться к этому образцу.<sup>161</sup> Теремное удаление женщин от общества могло быть то строже, то слабее, смотря по тому, в какой степени круг, в котором они жили, подчинялся такому монашескому взгляду. Где более было желания, чтоб дом походил на монастырь, там от женщины, ради сохранения ее целомудрия, не только телесного, но и душевного, требовали строгого затворничества, где, напротив того, меньше к этому стремились, там и женщина была менее связана. Притом же ум всегда очень уважался на Руси; и умной личности женского пола не трудно было заявить себя, если только в том семейном кругу, в котором она находилась, ослабнут связывавшие ее пути монашеских приличий. Дочери царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича, людей крайне набожных и строго соблюдавших всякую мелочную обрядность благочестия, естественно, были осуждены на теремное заключение при жизни своих отцов и выходили только в церковь. Постоянный строгий надзор тяготел над ними. Но со смертью Алексея Михайловича этот надзор прекратился. Мачехи они не терпели и притом не считали себя нравственно обязанными повиноваться еще слишком молодой женщине. Старший брат Федор был в таком состоянии, что не только не мог присматривать над сестрами, а сам нуждался в присмотре и уходе; другой брат, Иван, был молод и слабоумен, о Петре и говорить нечего, потому что он был еще ребенок. Шестеро царевен очутились на полной свободе, могли вести себя, как угодно; по их сану никто из подданных не смел им перечить. Некоторые из них воспользовались своей свободой только для того, чтобы нарядиться в польское платье или же для того, чтобы заводить любовные связи; но третья из них по возрасту, Софья, хотя также вела далеко не постную жизнь, но отличалась от других замечательным умом и способностями. Она более своих сестер приблизилась к Федору и почти не отходила от него, когда он страдал своими недугами; таким образом она приучила бояр, являвшихся к царю, к своему присутствию, сама привыкла прислушиваться к разговорам о государственных делах и, вероятно, до известной степени уже участвовала в них при своем передовом уме. Ей было тогда за 25 лет. Иностранцам она казалась вовсе не красивою и отличалась тучностью; но последняя на Руси считалась красотою в женщине.

Смерть царя Федора с первого же разу возбудила важный вопрос: кто будет царем? Положение было почти такое же, как по смерти Грозного. Из двух царевичей, старший Иван был слабоумен, болезнен и вдобавок подслеповат, младший Петр был десяти лет, но выказывал уже необычайные способности. Возведение Ивана на престол повлекло бы за собою на все время его царствования необходимость передать правление в чужие руки и, естественно, прежде всего усилило бы значение власти Софьи, как самой умной из особ царской фамилии. Избрание Петра потребовало бы также боярской опеки на непродолжительное время. Нужно было решить вопрос тотчас же, и вот, в самый день смерти Федора, как только удар колокола возвестил Москве о кончине царя, бояре съехались в Кремль. Между ними большинство уже было на стороне Петра; главными руководителями его партии были два брата Голицыных, Борис и Иван, и четверо Долгоруких (Яков, Лука, Борис и Григорий), Одоевские, Шереметевы, Куракин, Урусов и др. Бояре эти прибыли на совет даже в панцирях, опасаясь смятения. Бывший любимец царский, Языков, не выказывал явного расположения ни к той, ни к другой стороне.

Патриарх Иоаким, как самое почетное лицо после царя, председательствовал в этом совете духовных и светских сановников и держал к ним речь о необходимости немедленного выбора между двумя братьями умершего бездетного царя – «скорбным главою» Иоанном и отроком Петром. Он спрашивал: кого желают избрать царем? Совет разделился; большинство было за Петра, некоторые поддерживали право первородства царевича Ивана. Чтобы прекратить недоумение, патриарх предложил совершить избрание царя согласием всех чинов Московского государства.

---

<sup>161</sup> От этого женщина пожилая свободно обращалась в обществе, и если была умна, то пользовалась даже некоторым значением.

Немедленно созваны были на Кремлевскую площадь служилые, всякого звания гости, торговые, тяглые и всяких чинов выборные люди.

За несколько месяцев перед тем, в декабре 1681 года, царь Федор указал созвать земский собор «для уравниения людей всякого чина в платеже податей и в отправлении выборной службы». Выборные люди были тогда налицо в Москве и могли явиться по зову патриарха для выбора царя немедленно в Кремль именно потому, что уже находились в Москве по другому делу.

Выборные люди были спрошены с Красного крыльца патриархом в таком смысле:

«Изволением и судьбами Божиими, великий государь царь Федор Алексеевич всея Великия, и Малыя, и Белья России, оставя земное царствие, переселился в вечный покой. Остались по нем братия его, государевы чада: великие князья Петр Алексеевич и Иоанн Алексеевич. Кому из них быть преемником? Или обоим вместе царствовать? Объявите единодушным согласием намерение свое перед всем ликом святительским, и синклитом царским, и всеми чиновными людьми».

Неудивительно, что все чины Московского государства высказались в пользу Петра. Слабоумие Ивана было всем известно. Вероятно, многим также известны были и проблески необыкновенных способностей младшего царевича. Выборные закричали:

«Да будет единый царь и самодержец всея Великия, и Малыя, и Белья России царевич Петр Алексеевич!»

Но раздалась и противные голоса. Главным крикуном был дворянин Максим Исаевич Сумбулов. Он начал доказывать, что первенство принадлежит Ивану Алексеевичу.<sup>162</sup> Его поддерживали немногие, особенно из стрельцов. Патриарх снова сделал вопрос: «Кому на престоле Российского царства быть государем?»

Раздалась было снова голоса в пользу Ивана, но их покрыл громкий крик:

«Да будет по избранию всех чинов Московского государства великим государем царем Петр Алексеевич».

Новоизбранный царь находился в это время в хоромах, где лежало тело Федора. Патриарх и святители отправились к нему, нарекли царем и благословили крестом, а потом посадили на престоле, и все бояре, дворяне, гости, торговые, тяглые и всяких чинов люди принесли ему присягу, поздравляли его с восшествием на престол и подходили к царской руке.

Тяжело это было царевне Софье, но и она, вместе с сестрами, должна была подходить к Петру и поздравлять с избранием на царство сына ненавистной мачехи.

Во все концы Московского государства отправлены были гонцы приводить к присяге народ. Послали звать Матвеева в Москву.

На другой день отправлялось погребение Федора. Труп царя несли стольники в санях, а за ним в других санях несли молодую вдову Марфу Матвеевну. Софья только одна из царевен, в противность обычаю, шла за гробом, рядом с Петром, которому одному, как царю, следовало присутствовать при погребении по тогдашнему церемониалу. Софья так громко голосила, что покрывала вопль целой толпы черниц, которые по обряду должны были причитывать над умершим. По окончании погребения Софья, возвращаясь домой, всенародно вопила и причитывала: «Брат наш, царь Федор, нечаянно отошел со света отравою от врагов. Умилосердитесь, добрые люди, над нами, сиротами. Нет у нас ни батюшки, ни матушки, ни брата царя. Иван, наш брат, не избран на царство. Если мы чем перед вами или боярами провинились, отпустите нас живых в чужую землю к христианским королям...»

Народ был сильно встревожен словами Софьи; и особенно озадачен был обвинением кого-то в отравлении царя.

В тот же день начались пререкания у Софьи с царицею Натальею. Петр, не дождавшись конца длинного обряда погребения царя, простился с мертвым братом и ушел. Софья,

---

<sup>162</sup> Впоследствии Сумбулов был за это пожалован Софьей думным дворянином; но когда Петр взял верх, Сумбулов удалился в Чудов монастырь.

вернувшись во дворец, послала от имени всех сестер-монахинь упрекать царицу Наталью: зачем молодой царь ушел до окончания погребения. «Дитя долго не ело», – отвечала Наталья Кирилловна: брат ее Иван Нарышкин при этом сказал: «Кто умер, тот пусть лежит, а царь не умер».

Нарышкины тотчас подняли голову, особенно этот самый молодой Иван Кириллович, недавно вернувшийся из ссылки; он начал высокомерно обращаться с боярами и хотел разыгрывать роль правителя государства за малолетством царя. Все видели и замечали, что, по молодости лет, это ему вовсе не пристало.

Казалось, трудно было оспорить законность царствования Петра, царского сына, избранного волею земли. Нарушение народной воли могло совершиться только путем бунта, и для этого в Москве нашелся готовый, горючий материал. В царствование Алексея Михайловича, как мы уже говорили, во времена беспрестанных бунтов, стрельцы были верными охранителями царской особы. Царь ласкал их преимущественно перед другими служилыми людьми. Они получали лучшее против других жалованье, не участвуя в тягле, могли свободно заниматься торговлею и промыслами, даже богатый наряд их показывал особую благосклонность к ним царя: их кафтаны украшались разноцветными, шитыми золотом перевязями, на ногах были у них цветные сафьянные сапоги, а на головах бархатные шапки с собольими опушками. Царские милости и отличия привели их, однако, скоро к тому, что они начали зазнаваться и неохотно терпели то, что безропотно сносили все русские люди того времени. Их начальники обращались с ними так, как вообще в то время обращались начальники с подчиненными: посылали их работать на себя, заставляли покупать на собственный счет нарядную одежду, которая должна была им идти от казны, удерживали их жалованье в свою пользу, били батогами, переводили против воли из города в город и т.п. Еще зимою, при жизни Федора, стрельцы подали жалобу на своих начальников, но Иван Максимович Языков, который разбирает эту жалобу, приказал перепороть кнутом челобитчиков. В апреле, за несколько дней перед смертью царя, целый полк бил челом на своего полковника Семена Грибоедова, что он своих подчиненных обирает, бьет, посылает на себя работать и т.п. На этот раз Языков, разобрав дело, приказал Грибоедова посадить в тюрьму, а вслед за тем Грибоедов, по царскому указу, лишен полковничьего чина, вотчин и сослан в Тотьму. По воцарении Петра, стрельцы смекнули, что теперь на «верху» будут в них нуждаться, и 30 апреля подали челобитную разом на всех своих полковников, числом шестнадцать, кроме того, на одного генерал-майора солдатского Бутырского полка; вместе с тем они грозили, что расправятся сами, если им не учинят правосудия. Бояре, заправлявшие тогда делами, боялись раздражить выходящую из терпения вооруженную толпу и думали привязать к себе стрельцов уступчивостью: они дали челобитчикам обещание отставить полковников и тотчас велели посадить этих полковников под стражу в Рейтарском приказе, но стрельцы требовали выдачи их головою для расправы им самим и не довольствовались обещанием наказать виновных по розыску. Патриарх хотел во что бы то ни стало предупредить самовольную расправу стрельцов над своими начальниками, так как она могла послужить примером и поводом всеобщего неуважения к власти; патриарх отправил по всем полкам духовных лиц уговаривать, чтобы стрельцы ничего не делали своим полковникам и ожидали царской расправы. Стрельцы соглашались предоставить расправу правительству, но единогласно требовали, чтобы с виновных взысканы были взятые ими неправильно поборы и чтобы, кроме того, они были наказаны батогами.

На следующий день, первого мая, удалены были из дворца Языков с сыном и Лихачевы с их друзьями. Это было сделано, с одной стороны, в угоду стрельцам, с другой – оттого, что Нарышкины не любили их. Вместо отставленных стрелецких полковников, назначены были другие, угодные стрелецкому кругу, а обвиненных вывели перед Рейтарским приказом для наказания и правежа. Стрельцы подавали на них счеты. Им верили на слово без всякого исследования. Сначала полковников одного за другим, раздевши, «клали на землю», и в присутствии целой толпы стрельцов двое палачей били их батогами до тех пор, пока стрельцы не закричат «довольно». Тех, на которых особенно были злы стрельцы, клали по

два и по три раза; другим досталось меньше. Это было собственно наказание; затем следовал правед, продолжавшийся целых восемь дней. Несчастных полковников били ежедневно два часа по ногам до тех пор, пока они не заплатили того, что на них насчитывали; в заключение их выслали из Москвы.

Нарышкины и их сторонники потачкою, данную стрельцам, сами, так сказать, разлакомили их к самоуправству и заохотили к бунтам. Теперь стрельцам все стало нипочем. Они толпами ходили по улицам, грозили боярам, дерзко обращались со своими начальниками, а некоторых даже сбросили с каланчи. Тут-то сторонники Софьи нашли удобный случай обратить разнузданное войско для перемены правительства. Выборные люди, избравшие Петра на царство, 6 мая, были распущены; собор об уравнивании податей и служб был отсрочен. Быть может, это сделалось по козням тех, которые замыслили переворот. Трудно решить, в какой степени сама Софья заправляла этим делом, но она, без сомнения, знала о замысле поднять стрельцов, составленном ее благоприятелями. Главными зачинщиками были: боярин Иван Михайлович Милославский, двое Толстых и князь Иван Хованский, прозванный «тараруем». Хованский, призвав к себе одного за другим влиятельных стрельцов, говорил им: «Видите, в каком вы теперь ярме у бояр; а кого царем выбрали? Стрелецкого сына по матери; теперь уже не дают вам ни платья, ни корму, а что дальше будет? Станут отправлять вас и сынов ваших на тяжелые работы, отдадут вас в неволю постороннему государю. Москва пропадет; веру православную искоренят. С королем польским вечный мир постановили по Поляновскому договору! От Смоленска отреклись... Теперь пусть Бог наш благословит защищать отечество наше: не то что саблями и ножами, зубами надобно кусаться...» Такие подушения начали распространяться между стрельцами; какая-то малороссиянка, Федора Родимица, шаталась между ними и раздавала деньги от имени Софьи. Из новопоставленных стрелецких начальников некоторые ходили тайно к боярину Милославскому, который тогда притворился больным и никуда не выходил из дому, и сделались горячими сторонниками предполагаемого переворота. Из этих стрелецких начальников более всех действовал тогда подполковник Циклер. Возмутители волновали стрельцов рассказами о том, будто бы Нарышкины намерены произвести розыск над стрельцами, которые силою истребовали наказание своим начальникам; будто бы зачинщиков хотят казнить, других рассылать по городам и вообще забрать стрельцов в крепкие руки.

День ото дня возрастало между стрельцами волнение, при помощи распространяемых всякого рода слухов и сплетен. 11 мая приехал в Москву Артамон Сергеевич Матвеев. Зная, какая роль ожидает его при новом царе, все спешили к нему с поздравлением, и сами стрельцы поднесли ему хлеб-соль. Артамон Сергеевич с первого же разу высказал неодобрение последних действий правительства. Он был недоволен уже и тем, что братьев царицы Натальи слишком рано по их летам возвели в высшее достоинство: один из них, Иван, был сделан боярином и оружничим, достигнувши едва 23-летнего возраста. Но еще более порицал Матвеев крайнюю слабость, выказанную по отношению к стрельцам, и говорил: «Они таковы, что если им хоть немного попустить узду, то они дойдут до крайнего бесчинства...» Слова эти тотчас стали известны между стрельцами, и Матвеев сделался у них врагом. Два дня спустя, 14 мая, стала ходить между стрельцами такая сплетня: брат царицы Натальи, Иван, надевал на себя царский наряд, садился на трон, примеривал на свою голову царский венец и говорил, что он ему идет лучше, чем кому-нибудь другому; вдова царя Федора Марфа Матвеевна, царевна София и царевич Иван стали его за это укорять, а он бросился на царевича и, верно, задушил бы его, если бы царица и царевич не закричали и на крик их не прибежали караульные и не отняли царевича из рук Нарышкина. Эта сплетня пущена была только предварительно, чтобы приготовить стрельцов к другому слуху, который сильнее должен был их взволновать. 15 мая, во вторник, в полдень, когда бояре собрались на совет, между стрельцами раздался крик: «Иван Нарышкин задушил царевича Ивана Алексеевича!» Самый день был выбран как бы преднамеренно, чтобы напомнить об убиении Димитрия царевича, совершенном именно 15 мая. Поднялась тревога: стрельцы

схватились за оружие, ударили в набат во многих церквях; огромная толпа со знаменами и барабанным боем бросилась с криками в Кремль. Затворить от них ворот не успели. В Кремле стояло много боярских карет. Стрельцы напали на кучеров, побили их, перерубили лошадям ноги и бросились на дворец. Бояре метались, не зная, что им делать: немногие из них успели выскочить из Кремля; другие в страхе прятались по углам во дворце. Стрельцы вопили. «Давайте сюда губителей царских, Нарышкиных! Они задушили царевича Ивана Алексеевича! А не дадите – всех предадим смерти!» Тогда, по совету Матвеева и патриарха, царица Наталья, взявши за руки царевичей Петра и Ивана, в сопровождении патриарха и бояр вышла на Красное крыльцо. Стрельцы, уверенные, что царевича Ивана нет на свете, были поражены его появлением и спрашивали: «Точно ли ты прямой царевич Иван Алексеевич?» Иван отвечал, что «он жив, никто не думал его изводить, ни на кого не имеет злобы и ни на кого не жалуется». Но стрельцы, настроенные возмутителями, закричали: «Пусть молодой царь отдаст корону старшему брату! Выдайте нам всех изменников! Выдайте Нарышкиных; мы весь их корень истребим! Царица Наталья пусть идет в монастырь!»

Патриарх сошел было с лестницы и стал уговаривать мятежников, но они закричали ему: «Не требуем совета ни от кого; пришло нам время разобрать: кто нам надобен!» Между стрельцами было много раскольников, и потому понятно, что увещания патриарха не подействовали. Стрельцы мимо патриарха вломились на крыльцо. Большинство бояр в ужасе убежали с крыльца во дворец, но не убежали с ними начальник Стрелецкого приказа Михаил Юрьевич Долгорукий, Артамон Сергеевич Матвеев и Михаил Алегукович Черкасский. Долгорукий прикрикнул было на стрельцов, пригрозил им виселицею и колом. Но стрельцы за это сбросили его с крыльца на расставленные копыя и изрубили в куски; потом стрельцы бросились на Матвеева. Матвеев отодвинулся от них к царице, взял за руку Петра. Стрельцы оттащили его от царя. Князь Черкасский стал отбивать Матвеева у стрельцов, повалил его на землю, лег на него, закрывал его собою. Стрельцы избили Черкасского, разорвали на нем платье, вытащили из-под него Матвеева и сбросили на копыя. Царица в ужасе убежала с сыном и царевичем в Грановитую палату.

Стрельцы ворвались во дворец; у них был список обреченных на смерть, составленный заранее возмутителями, числом до сорока человек. Первою жертвою их во дворце был оставленный стрелецкий начальник Горюшкин и Юренин, которые вздумали было защищать вход во дворец. Но главною целью поисков мятежников были Нарышкины. Стрельцы бегали по царским покоям, заглядывали в чуланы, шарили под кроватями, переворачивали постели, тыкали копыями в престол и жертвенники в придворных церквях, везде искали Нарышкиных, и принявши за Афанасия Нарышкина молодого стольника Федора Салтыкова, убили его, а узнавши свою ошибку, послали тело убитого с извинением к его отцу. Думный дьяк Ларионов спрятался, по одним известиям, в трубу, по другим – в сундук; его вытащили, сбросили с крыльца на копыя и рассекли на части: «Ты, – кричали они, – заведовал Стрелецким приказом и нас вешал! Вот тебе за это!» Тогда же ограбили его дом и нашли у него каракатицу, которую он держал в виде редкости. «Это змея, – кричали стрельцы, – вот этою-то змеею он отравил царя Федора». Убили затем сына Ларионова Василия, за то, что знал про змею у отца и не донес. Наконец, стрельцы добрались до Афанасия Нарышкина, брата царицы Натальи; они нашли его под престолом церкви Воскресенья на Сенях: его указал им карлик царицы Хомяк. Стрельцы вытащили Афанасия, поволокли на крыльцо и сбросили на копыя. Но Ивана Нарышкина никак не могли найти. Он запрятался в терем восьмилетней царевны Натальи, младшей сестры Петра.

Между тем другие стрельцы поймали в Кремле между Чудовым монастырем и патриаршим двором князя Григория Ромодановского с сыном Андреем. Они истязали старика, рвали ему волосы и бороду. «Помнишь, – кричали они, – какие ты нам обиды творил под Чигирином, как холодом нас морил, ты сдал Чигирин туркам изменою». Ромодановского с сыном постигла та же участь, как и других. «Любо ли? Любо ли?» – кричали убийцы, расправляясь со своими жертвами, а другие, махая шапками, кричали в

ответ: «Любо! Любо!» Изуродованные тела убитых тащили стрельцы на площадь; перед ними в поругание, как будто для почета, шли другие стрельцы и кричали: «Боярин Артамон Сергеевич Матвеев едет! Боярин Долгорукий! Боярин Ромодановский едет! Дайте дорогу!»

Выступивши из Кремля, стрельцы бросились в дом князя Юрия Долгорукова и стали извиняться, что убили его сына Михаила за угрозы им. Старик приказал отворить им погреба свои. Стрельцы ковшами напились боярского меду и вина и ушли со двора, как вдруг за ними вслед побежал холоп князя Долгорукова и донес им, что старый князь сказал своей невестке, жене убитого Михаила: «Не плачь, щуку съели, да зубы остались; скоро придется им сидеть на зубцах Белого и Земляного города». Услышавши это, стрельцы вернулись в дом Долгорукова, схватили больного старика, изрубили, выбросили за ворота на навозную кучу, а сверх трупа наложили соленой рыбы и приговаривали: «Ешь, князь, вкусно! Это тебе за то, что наше добро ел».<sup>163</sup> День был тогда ясный, но к вечеру поднялась такая буря, что москвичам казалось, что преставление света наступает. На ночь стрельцы расставили караулы в Кремле и Белом городе, чтобы никого не пропускать, в надежде на другой день продолжать свою расправу.

На другой день, часов в десять утра, опять раздался набат; стрельцы с барабанным боем и криками явились ко дворцу и требовали выдачи Ивана Нарышкина. Им ответили, что его нет. Снова стрельцы ворвались во дворец искать свою жертву, убили думного дьяка Аверкия Кириллова, убили бывшего своего полковника Дохтурова, потребовали выдачи иноземного врача Даниэля, которого обвиняли в отравлении Федора, и так как нигде не могли найти его, то в досаде убили его помощника Гутменьша и 22-летнего сына Даниэлева, Михаила; хотели было умертвить и Даниэлеву жену, но царица Марфа Матвеевна выпросила ей жизнь. Несмотря на все поиски, стрельцы все-таки не могли отыскать Ивана Нарышкина. Царицына постельница Клушина запрятала его в чулан и заложила подушками. Стрельцы шарили повсюду, тыкали копьями подушки, за которыми скрывался боярин, но не нашли его. Вместо него, по ошибке, был убит схожий с ним юноша, родственник Нарышкиных, Филимонов. Хотели было тогда стрельцы умертвить отца царицы Натальи; царица слезами вымолила ему жизнь. Стрельцы согласились пощадить его только с тем, чтобы он немедленно был сослан в Кирилло-Белозерский монастырь и постригся в монахи. Трех его несовершеннолетних сыновей приговорили также отправить в ссылку.

Не нашедши Ивана, толпа с криками и непристойными ругательствами вышла из Кремля, расставивши опять караулы у ворот. Они кричали, что не усмирятся до тех пор, пока им не выдадут Ивана Нарышкина и доктора Даниэля. По всей Москве происходило бесчинство; были и убийства. Тогда погиб и бывший любимец Федора Языков, которого нашли в доме одного священника. Ему отрубили голову на площади.

17 мая, рано утром, в Немецкой слободе поймали в одежде нищего и в лаптях несчастного Даниэля. Опять ударили набат; стрельцы, напившиеся до безобразия, в одних рубахах с бердышами и копьями, шли огромной толпой ко дворцу и вели впереди свою жертву; к ним вышла царица Марфа Матвеевна и царевны. Они уверяли разъярившихся стрельцов, что Даниэль невиновен, что они сами отведывали лекарство, которое подавали царю. Все было напрасно. Даниэля повели в застенок, пытали, а потом рассекли на части.

Но стрельцы этим не удовольствовались, настойчиво требовали выдачи Ивана Нарышкина и говорили, что не уйдут из дворца, пока им не выдадут его.

Тут царевна Софья начала говорить царице Наталье: «Никоим образом нельзя тебе избыть, чтоб не выдать Ивана Кирилловича Нарышкина. Разве нам всем пропадать из-за него?»

Царица отправилась с царевной в церковь «Спаса за Золотой Решеткою» и приказала привести туда Ивана.

Иван Нарышкин вышел из своего закоулка, причастился Св. Тайн и соборовался. Софья изъявляла сожаление о его судьбе и сама дала царице Наталье образ Богородицы, чтобы та

---

<sup>163</sup> Тогда же другие стрельцы замучили одного из Нарышкиных, по имени Иван Фомич, в его собственном доме на Замоскворечьи.

передала своему брату. «Быть может, – говорила Софья, – стрельцы устроятся этой святой иконы и отпустят Ивана Кирилловича». Бывший при этом боярин Яков Одоевский сказал царице Наталье: «Сколько тебе, государыня, ни жалеть брата, а отдать его нужно будет; и тебе, Иван, идти надобно поскорее. Не всем из-за тебя погибнуть».

Царица и царевна с Нарышкиным вышли из церкви и подошли к золотой решетке, за которую уже ждали стрельцы. Отворили решетку; стрельцы, не уважая ни иконы, которую нес Нарышкин, ни присутствия царственных женщин, бросились на Ивана с непристойной бранью, схватили за волосы, стащили вниз по лестнице и проволокли через весь Кремль в застенки, называемый Константиновским. Там подвергли его жестокой пытке, оттуда повели на Красную площадь, подняли на копьях вверх, потом изрубили на мелкие куски и втоптывали их в грязь.

Стрелецкое возмущение тотчас повлекло за собою и другие смуты: взбунтовались боярские холопы. Стрельцы им потакали и вместе с ними напали толпою на Холопий приказ, разломали суйдуки, отбили замки, разорвали кабальные книги и разные государевы грамоты. Стрельцы, присваивая себе право распоряжаться законодательством, кричали: «Даем полную волю на все четыре стороны всем слугам боярским. Все крепости на них разодраны и разбросаны». Но большая часть освобожденных холопов возвращалась к своим прежним господам, а иные воспользовались своей свободой, чтобы вновь закабалить себя другим.

Царевна Софья, как бы из желания прекратить бесчинства, призвала к себе выборных стрельцов и объявила, что назначает на каждого стрельца по десяти рублей. Эта сумма, независимо от обыкновенного жалованья, идущего стрельцам, будет собрана с крестьян, имений церковных и приказных людей. Сверх того, стрельцам предоставлено было продавать имущество убитых и сосланных ими лиц.<sup>164</sup> Наконец, по просьбе стрельцов, положено было выплатить им, пушкарям и солдатам за несколько лет назад заслуженное жалованье, что составляло 240000 рублей. Софья наименовала стрельцов «надворною пехотою» и уговаривала более никого не убивать и оставаться спокойными. Она назначила над ними главным начальником князя Хованского. Стрельцы очень любили его и постоянно величали своим «батюшкою». Кирилл Нарышкин был пострижен и отправлен в Кирилло-Белозерский монастырь.

Стрельцы составляли всю силу в Москве; стрельцы были преданы Софье, предавали ей в руки верховное правление, но ни Софья, ни стрельцы не dokonчили своего дела: на престоле все-таки оставался Петр, а за ним была русская земля, избравшая его царем. Надобно было придать делу благовидность.

И вот, по наущению Хованского, действовавшего ревностно в пользу Софьи, выборные стрельцы принесли царевне челобитную, писанную уже не только от имени стрельцов, но и «многих чинов Московского государства», в которой заявлялось желание, чтобы на престоле царствовали оба брата, а в заключение челобитной было сказано, что если кто тому воспротивится, то стрельцы опять придут с оружием и будет «немалый мятеж». Софья передала эту просьбу боярской думе. Думные люди собрались в Грановитой палате, пригласили патриарха и властей. Некоторые, посмелее, заикнулись было, что двум царям быть не приходится, но другие сообразили, что если станут противиться, то их постигнет судьба Матвеева и других думных людей, противных стрельцам, и разочли, что лучше им теперь же заслужить благосклонность Софьи и стрельцов. Они стали доказывать, что двугосударствие будет не только не вредно, но даже полезно для правления государством, и приводили примеры из византийской истории, когда разом царствовали двое государей. Для большего освящения этого нововведения нужно было утвердить его земским собором, подобно тому, как и Петр получил царство через земский собор, но выборные люди, бывшие в Москве, уже разъехались. Собрать их вновь для нового выбора было опасно: могло выйти,

<sup>164</sup> Сосланные тогда были, кроме Нарышкиных, двое Лихачевых: постельничий Алексей и казначей Михайло Тимофеевичи; двое Языковых: окольный Павел Петрович и чашник Семен Иванович; сын Матвеева Андрей; двое думных дьяков, один думный дворянин, трое стольников и прежние сменные стрелецкие начальники.

что они стали бы упорно за свой прежний выбор, и служилые люди, дворяне и дети боярские, по приговору собора, принялись бы укрощать возникшее в Москве стрелецкое своеволие и посягательство произвести самовольно переворот в государстве. Прибегнули к обману: созвали разного звания людей, находившихся в Москве, готовых говорить то, что прикажут им стрельцы, и дали этому сборищу вид земского собора. Это сборище 26 мая единогласно приговорило быть на престоле двум царям и старшинство предоставить Ивану Алексеевичу. Через три дня, 29 мая, стрельцы подали боярам новую челобитную, чтобы, по молодости обоих государей, правление было вручено царевне Софье Алексеевне. Вслед за тем в разосланной во все концы государства грамоте извещалась вся Россия, что, по челобитию всех чинов Московского государства, царевич Иван Алексеевич, прежде добровольно уступивший царство брату своему Петру, согласился, после долгого отказа со своей стороны, вступить на царство вместе с братом, а по малолетству государей царевна Софья Алексеевна, «по многом отрицании, согласно прошению братии своей, великих государей, склоняясь к благословию святейшего патриарха и всего священного собора, презирая милостивно на челобитие бояр, думных людей и всего всенародного множества людей всяких чинов Московского государства, изволила воспринять правление...» Затем объявлялось, что государыня царевна будет сидеть с боярами в палате, думные люди будут докладывать ей о всяких государственных делах, и ее имя будет писаться во всех указах с именами царей. Так совершалось похищение верховной власти при помощи войска, напомилавшего римских преторианцев и турецких янычар. Но образовавшееся вновь правительство находилось в необходимости потакать стрельцам, которые его создали и поддерживали.

6 июня стрельцы опять подали челобитную, написанную стрельцом Алексеем Юдиным, самым близким человеком к Хованскому. Челобитная эта подавалась от имени не одних стрельцов, но также пушкарей, солдат, гостей, посадских людей, ямщиков и жителей московских слобод. Стрельцы представляли совершенное ими убийство верной службой государям и просили, чтобы за такую службу на Красной площади был поставлен столп с написанными на нем именами «побитых злодеев» и с описанием преступлений, за которые они были убиты, чтобы стрельцам и людям других сословий, участвовавшим в убийствах, даны были похвальные жалованные грамоты за красными печатями, чтобы ни бояре и никто другой не смел обзывать их бунтовщиками и изменниками под страхом беспощадного наказания. Желая иметь на своей стороне торговых людей, стрельцы хотели угодить им и в той же челобитной домогались, чтобы во всех приказах и во всех городах, где только есть прием и расход царской казны, сидели выборные люди из торгового сословия. Зато челобитчики отказывались от всякого общения с боярскими людьми (холопами), которые стали «приобщаться к ним в совет», чтобы сделаться свободными. Правительство беспрекословно согласилось на все и издало печатную грамоту в смысле поданной челобитной. Стрелецким полковникам Циклеру и Озерову было поручено поставить столп на площади, какого хотели стрельцы.

Стрелецкий бунт возбудил надежду, что теперь можно добиться и других перемен. Поднялись раскольники, пораженные проклятием собора и преследуемые мирской властью. До сих пор самые рьяные из них бегали в леса, пустыни; другие, которых было гораздо больше, в страхе притаились и с виду казались покорными. В стрелецком звании было таких на половину; Москва и подгородные слободы были наполнены раскольниками или склонными перейти в раскол. Как только почуяли они нетвердость тяжелой руки, давившей их, тотчас подняли голову. Стали в Москве открыто расхаживать проповедники и поучали народ не ходить в оскверненную церковь, не креститься тремя перстами, не почитать четвероконечного креста. «Неучи-мужики и бабы, – говорит современник, – не знающие складов, толпами собирались тогда на Красной площади и совещались, как утвердить им старую веру, а чуть только кто противник скажет слово, на того сейчас нападут и всенародно прибьют, воображая, что этим они правую веру обороняют». Сам Хованский, и прежде втайне державшийся старообрядства, теперь заявил себя явно сторонником старой веры.



Стрельцы одного из полков, собравшись на сходку, положили составить челобитную государям против патриарха и просить восстановления старой веры, но между ними не нашлось мудреца, который бы мог хорошо сложить подобную челобитную. Такого мудреца нашли им жители Гончарной слободы, в лице монаха по имени Сергей. Когда этот монах вместе с четырьмя слобожанами сложил челобитную и дал ее прочитать перед стрельцами своему товарищу, Савве Романову, стрельцы изумились и пришли в умиление. «Мы еще не слышали, – говорили они, – такого слога, такого описания ересей. Надобно, братия, постоять нам за старую веру и кровь свою пролить за Христа. Мы за тленное дело чуть голов своих не положили, а как не умереть за веру?»

Доложили Хованскому. Привели к нему Сергия. Сергей прочитал ему свою челобитную. Выслушавши ее, Хованский похвалил сочинителей, но сказал: «Ты, отче, как я вижу, инок смирен, тих, немногословен, не будет тебя на такое великое дело; против них надобно ученому человеку ответ держать».

«Хоть я и немногословен, – ответил Сергей, – да верую словесам Сына Божия: не пещетесь, како и что возглаголите».

Но тут другие раскольники сказали, что когда придется до спора, то за это дело возьмется Никита Пустосвят, который хотя поневоле и покорился собору, но теперь крепко стоит за правую веру.

«Знал я его, – сказал Хованский, – против того им нечего говорить! Тот всем уста загородит! Никто не устоит против Никиты. Я вам во всем буду помогать, хоть сам и не искусен на это дело, а того и в уме своем не держите, чтоб вас по старому стали казнить, вешать и жечь в срубах!»

Раскольники настаивали, чтоб собор был всенародно на Лобном месте или в Кремле, в присутствии царей и патриарха, в пятницу, 23 июня, до венчания царей, которое было назначено в воскресенье. «Нам, – говорили они, – хочется, чтобы цари государи венчались в истинной православной вере христианской, а не в латино-римской». Хованский хотел было уговорить их отложить этот собор, уверяя, что цари будут венчаться по-старому, но раскольники настояли на своем, чтоб собор был в пятницу.

В назначенный день утром раскольники двинулись в Кремль стройным ходом. Никита нес крест, Сергей Евангелие, другой монах Савватий икону Страшного Суда. К ним приставали мужчины и женщины из народа, сами не понимая, что вокруг них делается. Хованский, показывая вид, что не знает, зачем пришли эти люди, вышел к ним в сопровождении приказных и спрашивал: «Коя ради вины приидосте, отцы честные?» Никита отвечал: «Приидохом великим государем челом побить о старой, православной христианской вере, чтоб велели патриарху служить по старым книгам и служили бы на семи просфорах, а не на пяти, а крест на просфорах был бы истинный, тресоставный крест, а не крыж двоечастный. Если патриарх не изволит служить по старым книгам, так пусть велят ему государи дать нам правильное свое рассмотрение: зачем он по старым книгам не служит и нам возбраняет служить? Зачем предает проклятию и засылает в дальное заточение тех, что по старым книгам читают и поют? Пусть даст нам ответ на письме: какие ереси нашел он в старых книгах? Пусть ответит нам: благочестивы или неблагочестивы были прежние цари, великие князья и святейшие патриархи, которые по старым книгам служили и пели? А мы, Богу помогающе, вконец обличим всякия затейки и ереси в новых книгах».

Хованский взял от них челобитную, пошел во дворец и, воротившись, сказал:

«Против этой челобитной будет дела недели на три; надобно книги свидетельствовать. Патриарх упросил государей до среды: в среду приходите после обедни». «А как же государей будут венчать?» – спросил Никита. «По-старому, как я вам говорил», – ответил Хованский. «Пусть патриарх служит литургию на семи просфорах, – сказал Никита, – и крест на просфорах пусть будет истинный, а не крыж».

«Вели же напечь просфор и принести сюда; я патриарху поднесу и велю служить по-старому», – отвечал Хованский. Раскольники разошлись.

В воскресенье толпы народа наполнили весь Кремль, ожидая выхода государей к

венчанию. Никита с просфорами, испеченными некоею искусною вдовицею, отправился к собору, но не мог пробраться за толпой народа и в досаде вернулся назад. Совершилось венчание по обычному чину.

Раскольники хлопотали, чтобы все стрельцы подписались под челобитной и чтобы таким образом противники их увидели на стороне раскола опасную для себя силу. Тут оказалось, что раскол между стрельцами не так был крепок, как думали фанатики. Не все стрельцы и пушкарки приложили руки к челобитной. Многие говорили: «Это дело не наше, а патриаршее. Если нам руки прикладывать, так и ответ надобно давать против патриарха и властей. Мы не умеем отвечать. Да сумеют ли и старцы дать ответ против такого собора? Они только намутят и уйдут». Но не прикладывая рук к челобитной, стрельцы все-таки положили на том, чтоб не давать никого жечь и вешать за веру.

3 июля явились к Хованскому выборные стрельцы по его приказанию.

«Все ли готовы стоять за старую веру?» – спросил их Хованский. «Не только стоять, но и умереть готовы», – отвечали ему. Хованский ввел их в Крестовую палату к патриарху. Патриарх ласково уговаривал их не мешаться в духовные дела, которые не касаются их как людей военных; но книжники, пришедшие вместе со стрельцами, надеясь на Хованского, вступили с патриархом в спор о старых и новых книгах и требовали, чтобы патриарх с властями вышел на Лобное место для всенародного прения о вере.

Настала среда 5 июля. Раскольники двинулись в Кремль. Никита нес крест; другие несли Евангелие, икону Страшного Суда, образ Богородицы, множество старых книг, налои, подсвечники со свечами. За ними валила огромная толпа народу. У Архангельского собора поставили налои, разложили образа и книги, зажгли свечи. Патриарх прежде всего выслал к ним священника с печатными тетрадами, в которых обличался Никита, как он на соборе принес повинную и отрекся от старой веры. Стрельцы набросились на этого священника и, вероятно, убили бы его, если бы не спас его монах Сергей, сочинитель челобитной. Священника поставили на скамье и велели начать чтение. Его прерывали постоянно криками и бранью; наконец Сергей сказал ему:

«Всеу трудишися, никто тебя не слушает!» Вместо священника стал читать сам Сергей свое обличение против церковного «пременения». Говорил к народу и Никита, стоя на подмостках, называл православные церкви хлевами и амбарами и приправлял свою речь разными непотребными словами.

Между тем от патриарха пришли звать раскольников в Грановитую палату: «Там будут царица и царевны, а перед всем народом им быть зазорно».

Тут народ завопил: «А! Патриарх стыдится перед всем народом дать свидетельство от божественных писаний. Здесь подобает быть собору, да и как поместиться в палате такому множеству!»

Во дворце произошло смятение. Патриарх не хотел выходить на площадь, а звал раскольников в Грановитую палату. Царевна Софья собиралась идти в Грановитую палату. Хованский стал уговаривать ее не ходить, говорил, что стрельцы поднимут бунт и патриарху будет худо, а если она туда пойдет с боярами, то всех побьют. Софья поняла, в чем дело, видела, что Хованский хочет действительно поднять бунт против патриарха, и потому намеревается устроить так, чтобы присутствие царевны не стесняло буйства раскольников; с другой стороны, она была уверена в преданности к себе стрельцов. «Да будет воля Божия, – сказала Софья, – я не оставлю церкви Божией и ея пастыря!»

Вместе с Софьей решились идти в Грановитую палату царица Наталья Кирилловна и царевны: Татьяна Михайловна и Марья Алексеевна.

Хованский обратился к боярам и говорил: «Пожалуйте, попросите царевну, чтоб она не ходила в Грановитую палату с патриархом.

А если вас не послушает, то пусть будет вам известно, что нас всех побьют, как недавно нашу братью побили, и разграбят дома наши».

Приступили бояре к Софии, умоляли освободить и себя, и всех их от напрасной смуты. София отвечала: «Я готова за святую церковь положить свою голову».

Затем, обратившись к Хованскому, она сказала: «Посылай святейшего патриарха, чтобы он со всеми властями и книгами шел к нам в Грановитую палату».

Хованский исполнил приказание. Было уже около четырех часов пополудни. Патриарх, напуганный Хованским, в ужасе, со слезами, не чая себе живота, отправил вперед себя множество книг и рукописей греческих и славянских. С ними пошли: холмогорский архиепископ Афанасий, воронежский Митрофан, тамбовский Леонтий и несколько других духовных. Обилие древних книг должно было показывать противникам, что у православных есть сильные средства защиты. За ними следовал и патриарх с восемью митрополитами и четырьмя архиепископами. Звонили в колокола.

Все уселись по чину в Грановитой палате; на царском троне села Софья с теткою Татьяною, а близ них царица Наталья и царевна Марья.<sup>165</sup> Были с ними бояре и думные люди. Хованский пригласил Никиту и Сергия в Грановитую палату и поклялся, что им ничего дурного не будет.

Тогда Никита и товарищи его взяли крест, Евангелие, свечи, налои, положили книги на головы и двинулись на Красное крыльцо. Тут произошла драка. По известиям раскольников, причиной ее было то, что какой-то православный поп зацепил Никиту за волосы, а стрельцы начали тузить попов. Пришел Хованский, прекратил беспорядок и провел раскольников в Грановитую палату.

Они расставили налои, разложили на них священные вещи и книги и поставили перед образами зажженные свечи в подсвечниках, принесенных с собою.

«По какой причине пришли в царские палаты и чего требуете от нас?» – спросил патриарх.

«Пришли царям государям побить челом, чтобы дали свое царское рассмотрение с вами, новыми законодателями, чтоб служба Божия была по старым служебникам».

Патриарх сказал: «Это не ваше дело. Простолюдинам не подобает исправлять церковных дел и судить архиереев. Архиереев только архиереи и судят, а вам должно повиноваться матери своей церкви; у нас книги исправлены с греческих и с наших харатейных книг по грамматике. Вы же грамматического разума не коснулись и не знаете, какую силу он в себе содержит».

«Мы не о грамматике пришли с тобою говорить, – отвечал Никита, – а о церковных догматах. Вот я тебя спрошу, а ты отвечай: зачем на литургии вы берете крест в левую руку, а тройную свечу в правую? Разве огонь честнее креста?»

Тут начал было ему объяснять холмогорский архиепископ Афанасий, как вдруг Никита замахнулся на него рукой и закричал: «Что ты, нога, выше головы ставишься! Я не с тобою говорю, а со святейшим патриархом».

София вскочила со своего места и закричала: «Что это такое! Он при нас архиерея бьет! Без нас, наверное, убил бы его!»

«Нет, государыня, – сказали из толпы, – он не бил, а только рукою отвел».

«Помнишь ли, Никита, – сказала София, – как блаженной памяти отцу нашему, и святейшему патриарху, и всему освященному собору ты принес повинную и поклялся великою клятвою: еще вперед стану бить челом о вере, да будет на мне клятва Св. отец и семи вселенских соборов. Так говорил ты в то время, а ныне опять за то же дело принялся!»

«Что дал повинную, я в том не запираюсь, – возражал Никита. – Дал за мечом и срубом! Я подавал челобитную, а мне никто не отвечал из архиереев, только Семен Полоцкий книгу на меня сложил „Жезл“. Позволишь, государыня, я буду отвечать против „Жезла“; а останусь виноват, делайте со мной, что хотите!»

«Нет тебе дела говорить с нами; и на очах наших тебе не подобает быть!» – сказала София.

Затем София опять села на свое место и приказала думному дьяку читать раскольничью челобитную.

---

<sup>165</sup> Сын Артамона Матвеева Андрей говорит, что при этом были и цари.

Как дочитали до того места, где сказано было, что чернец Арсений, еретик и жидовский обрезанец, вместе с Никоном поколебали душу царя Алексея Михайловича, София опять вскочила со своего места и, взволнованная, сказала:

«Если Никон и Арсений были еретики, так и отец и брат наш были еретики! Значит, цари не цари, архиереи не архиереи; мы такой хулы не хотим слышать. Мы пойдем прочь из царства!»

«Как можно из царства вон идти! Мы за государей головы свои положим», – говорили думные. Но между раскольниками раздалась такие голоса: «И пора вам, государыня, давно в монастырь. Полно-да царством мутить! Нам бы здоровы были отцы наши государи, а без вас-да пусто не будет!»

София прослезилась и, обратясь к стрельцам, начала говорить: «Эти мужики на вас разве надеются? Вы были верные слуги деду нашему, отцу и брату, оборонители церкви святой, и у нас зоветесь слугами. Зачем же таким невеждам попускаете чинить крик и вопль в нашей палате?»

Выборные стрельцы успокаивали ее. София села на свое место. Челобитную дочитали. Начался спор. Патриарх и архиереи указывали на древние харатейные списки, обличали нелепые ошибки и опечатки в Филаретовом служебнике. Малоученые раскольники, не в силах будучи одолеть противников доводами, только подымали вверх руки, показывали двуперстное сложение и кричали: «Вот как! вот как!»

Уже стало вечереть. Раскольникам объявили, чтобы они расходились и что им будет указ после.

Раскольники вышли со всеми своими налоями, книгами, образами и кричали во все горло, подымая два пальца вверх: «Победихом! Победихом! Вот как веруйте!» Толпы народа следовали за ними. Расколоучители остановились на Лобном месте и стали поучать народ, а оттуда отправились в церковь «Спаса в Чигасах», отслужили со звоном благодарственный молебен и потом уже разошлись по домам.

София позвала к себе выборных стрельцов, обласкала их, приказала напоить медом и вином в таком количестве, что на десять человек было вынесено по ушату. «Не променяйте нас, – говорила им София, – и все Российское государство на каких-нибудь шестерых чернецов».

«Мы, государыня, – отвечали ей стрельцы, – не стоим за старую веру. Это дело патриарха и всего священного собора».

По приказанию царевны преданные ей стрельцы Стремянного полка схватили Никиту Пустосвята, с ним других пятерых расколоучителей и привели их в приказ. Никите отрубили голову на площади. Его товарищей разослали в ссылку. Раскольники притихли.

Раскольничье дело показало Софии, что ей необходимо избавиться от опеки тех, которые до того времени служили ей опорой. Князю Хованскому София более всего обязана своим возвышением. Этот боярин, как покровитель раскола, теперь начал явно действовать вразрез с видами Софии. Сама София даровала ему опасное могущество, назначивши начальником стрельцов. Все стрельцы были ему преданы больше, чем царевне, и готовы были на все, что бы он ни затевал. Чувствуя свою силу, Хованский зазнался, величался своим происхождением от Гедимины, начал высокомерно обращаться с прочими боярами, говорил в глаза боярам, что от них Московское государство только терпит вред, что им, Хованским, держится все царство, что, когда его не станет, в Москве будут ходить по колену в крови. Все бояре его не терпели; он поссорился с сильным боярином Иваном Михайловичем Милославским, с которым вместе заодно подготовлял переворот, установивший двоевластие.

В дни, следовавшие за казнью Никиты, стрельцы, надеясь на Хованского, беспрестанно волновались, самовольничали. Царская семья жила в постоянном страхе, ожидая нового нашествия на дворец. Бояре каждую минуту боялись за свою жизнь; духовенство опасалось раскольничьего бунта. В июле, тотчас после казни Никиты, какой-то крещеный татарский царевич Матвей распустил между стрельцами слух, будто бояре хотят известить стрельцов;

стрельцы толпой били челом царям, чтоб выдали им всех бояр. На этот раз бояре избавились от беды; схватили царевича Матвея, принудили под пыткой отказаться от своего извета, а потом приказали четвертовать. Но за Матвеем явились другие в таком же роде возмутители. Этим возмутителей также пытали и казнили. Стрельцы самовольно подвергли пытке и смерти одного своего полковника Янова. День ото дня опасность увеличивалась для царского семейства и бояр. В августе Хованский рассорился со всею царскою думою за то, что дума не одобряла предложенного им налога с дворцовых волостей в пользу стрельцов по 25 рублей на человека. Вышедши из думы к стрельцам, Хованский сказал: «Дети, знайте, мне бояре грозят за то, что я вам добра хочу! Мне стало делать нечего! Как хотите, так и промышляйте». Стрельцы заволновались еще сильнее.

19-го августа разнесся слух, будто во время крестного хода, – который бывает в этот день в Донской монастырь, – стрельцы хотят перебить всю царскую семью, всех бояр и возвести на престол Хованского. Все царское семейство не участвовало в этом крестном ходе и на другой же день перебралось в Коломенское село. Затем бояре стали разъезжаться из Москвы: часть их отправилась к царям, другие разъехались по своим вотчинам. Из всех думных людей остался в Москве один Хованский; он во всем потакал стрельцам. Около его кареты всегда шло по пятидесяти стрельцов с ружьями, а на дворе стоял стрелецкий караул, человек во сто. По Москве ходили угрожающие для стрельцов слухи; говорили, будто боярские люди, по наущению своих господ, нападут на стрелецких жен и детей в то время, когда стрельцы будут на празднике новолетия 1 сентября. Наступил этот праздник; на нем не было ни царей, ни бояр, и народу пришло мало.

На другой день, второго сентября, в Коломенском селе оказалось прилепленным к воротам подметное письмо от имени одного московского стрельца и двух посадских. В нем извещалось, что Хованский собирается убить обоих государей, царицу Наталью, царевну Софью, патриарха и архиереев; одну из царевен думает отдать за своего сына, а прочих постричь в монастыри; затевает перебить бояр, которые не любят старой веры, возмутить по городам посадских и крестьян, чтобы они перебили воевод, приказных, господ и боярских людей, а потом хочет сам взойти на престол и выбрать народом такого патриарха и архиереев, которые бы любили старые книги. «Хованский, – сказано было в этом письме, – призывал к себе несколько человек посадских и стрельцов, давал им деньги, поручая волновать народ, и обещал стрельцам отдать имущество и вотчины убитых людей».<sup>166</sup>

Софья со всем царским семейством немедленно переехала в монастырь Саввы Сторожевского и 5 сентября разослала с гонцами по разным городам грамоту ко всем служилым людям, а также и к боярским слугам. В этой грамоте извещалось все служилое сословие Московского государства, что стрельцы, по наущению Хованского, произвели мятеж и убийства 15 и 16 мая: это дело, прежде признанное царской грамотой за верную службу царям, теперь оглашалось воровством и изменой; далее рассказывалось, как, по наущению Хованского, раскольники приходили в Кремль, как Никита бил архиерея; наконец объявлялось, что боярин князь Хованский с сыном своим Андреем, при помощи воров и изменников, «мыслят зло государям»: хотят перебить без останку всех бояр, окольничьих, думных и ближних людей. «Помните Господа Бога и свое обещание, – говорилось в грамоте, – послужите нам, великим государям, для очищения от воров и изменников царствующего града Москвы. Идите к нам, великим государям, со всею своею службою и запасами тотчас, бессрочно с великим поспешением, днем и ночью, ничем не отговариваясь, чтобы скорым собранием устрашить воров и изменников и не допустить их до большого дурна и до расширения воровства...»

Проживши в Саввином монастыре до 13 сентября, царская семья переехала в село

<sup>166</sup> Доносчики в заключение говорили: «Когда Господь Бог все утишит, тогда мы вам, государям, объявимся; имен нам своих написать невозможно; а приметы у нас: у одного на правом плече бородавка черная, у другого на правой ноге, поперек берца, рубец, посечено, а третьего объявим мы потому, что у него примет никаких нет». Подписано: «Вручить государыне Царевне Софье Алексеевне».

Воздвиженское, как будто к престольному празднику, и отсюда послан был указ, чтобы к 18 сентября съехались туда к царям все бояре, окольные, думные люди, стольники, стряпчие, московские дворяне и жильцы.

Накануне назначенного срока 17 сентября, – день именин Софьи, – село Воздвиженское наполнилось огромным множеством знатных людей. Хованский с сыном Андреем еще не приехали, но уже были на пути. После обедни царевна Софья созвала думу и приказала прочитать подметное письмо.

Думные люди, уже озлобленные против Хованского, приговорили его казнить смертью. Софья отправила боярина князя Лыкова с отрядом схватить Хованских на дороге и привести в Воздвиженское.

Старый Хованский, поехавший отдельно от сына, остановился отдохнуть в патриаршем селе Пушкине и, по тогдашнему боярскому обычаю, велел себе раскинуть шатер. Лыков окружил его ставку и, узнавши, что сын Хованского, Андрей, находится в своей подмосковной вотчине, послал взять его.

Взяли Хованского отца, связали и повезли, а за ним вслед отправили и Хованского сына. Когда Лыков подвез Хованских к царскому двору, вышли посланные и сказали, чтобы он не въезжал с ними во двор, а остановился у ворот. Из двора вышли все думные люди и сели на скамьях перед воротами. Думный дьяк Шакловитый читал приговор: Хованских обвиняли в неправильном распоряжении денежною казною в пользу стрельцов, в потачке наглому невежеству стрельцов, в неправом суде, в дерзких речах, в подущении раскольников, в неповиновении царским указам и прочее. Затем прочитано было подметное письмо; дьяк произнес: «Воровские дела ваши с этим письмом сходны. Злохитрый замысел ваш обличился. Государи приказали вас казнить смертью».

«Господа бояре, – сказал старик Хованский, – извольте выслушать: кто был настоящий заводчик бунта стрельцкого. От кого он умышлен и учинен. Донесите их царским величествам, чтобы нам с ними дали очные ставки, а так скоро и безвинно нас бы не казнили. Если же мой сын так делал, как написано в сказке (приговоре), то я предаю его проклятию».

Допустить Хованского до такого рода оправдания – значило раскрывать много такого, что хотели утаить. Боярин Милославский более всех этого боялся и дал знать царевне Софье о словах Хованского. Софья выслала приказание немедленно исполнить приговор.

Стрелец Стремяного полка отрубил головы – сначала отцу, потом сыну. Казнь исполнялась перед дворцовыми воротами у московской большой дороги.

Совершивши такое дело, Софья боялась мщения стрельцов за их «батюшку» и тотчас разослала думных людей по городам торопить служилых, чтобы они как можно скорее шли к Троице, а сама вслед за тем отправилась туда же с царскою семьею и заперлась в монастыре. Там было безопаснее, стены крепки, на стенах пушки; оборону Троицкой лавры взял на себя ближний боярин, любимец Софьи, князь Василий Васильевич Голицын.

Опасения Софьи оказались не напрасны; у Хованского был еще меньший сын Иван, занимавший должность комнатного стольника при царе Петре. Он убежал в Москву, принес известие о смерти отца, говорил, что бояре идут на Москву с тем, чтоб истребить всех стрельцов и сжечь их дворы. Стрельцы заволновались, захватили в свои руки Кремль, овладели пушечным двором, забрали орудия и порох, расставили караулы у всех московских ворот, ожидали, что на них нападут боярские люди, по приказанию своих господ. Патриарх был в опасном положении. Он уговаривал стрельцов покориться, а они за то грозили убить его, как только бояре пошлют против них своих людей.

Прошло несколько дней: на Москву нападения не было. Стрельцы узнавши, что царская семья у Троицы, убедили патриарха послать туда чудовского архимандрита Адриана звать царей в Москву.

Но Софья уже не боялась стрельцов. В крепкий монастырь не так легко было им проникнуть, как в кремлевский дворец; притом же туда беспрестанно отовсюду собирались служилые. Она потребовала, чтоб стрельцы прислали по двадцати человек лучшей братии от каждого полка.

Самонадеянность и наглость стрельцов сменилась малодушием. Те, которым приходилось идти в числе выборных, считали себя обреченными на смерть. Все стрельцы думали, что им теперь будет «конечный перевод». Московские люди, которые прежде так боялись их, теперь подсмеивались над ними и говорили: «Куда вам, мужикам, владеть разумными людьми и государям указывать». Стрельцы с покорностью упросили патриарха, чтобы он отправил с их выборными какого-нибудь архиерея.

Выборные отправились к Троице и с ужасом поминутно встречались на дороге с разными людьми, созванными для укрощения стрельцов. Явившись перед Софьей, выбранные пали ниц, во всем повинились! Царевна, проговоривши им приличное нравоучение, сказала, чтобы немедленно все полки надворной пехоты (стрельцов) подали повинную челобитную за общим рукоприкладством. Выборные воротились в Москву с этим приказанием. При участии патриарха, стрельцы составили требуемую челобитную, обещались вперед не самовольствовать и не мешаться в чужие дела. Софья объявила им, что если кто вперед станет хвалить прежние дела стрельцов, тот будет казнен смертью; тому же подвергается и всякий, кто будет слышать о таких похвалах и не донесет. Сами стрельцы, конечно по внушению Софьи, били челом о том, чтобы сломать столп, поставленный в оправдание их злодеяний. Софья с царским семейством вступила в Москву. Новоприбывшие служилые люди заняли все караулы в Кремле. Всем боярским людям объявлена похвала за верность своим господам; но стрелецкие смуты не остались без последствий: множество холопов и крестьян во время этих смут покинули своих прежних владельцев, и в следующие годы правительство издавало распоряжения, чтобы ловить беглых, наказывать и препровождать к прежним господам. Начальство над стрельцами поверено было Шакловитому. Это был человек решительный. Стрельцы попытались было начать прежние буйства, но Шакловитый тотчас же казнил пятерых из них, а потом со всех полков удалил из Москвы в украинные города наиболее задорных и беспокойных.

С этих пор Софья именем двух царей беспрекословно семь лет управляла государством. Во внутренних делах не происходило никаких важных изменений, кроме кое-каких перемен в делопроизводстве.<sup>167</sup> Правительство по-прежнему противодействовало обычному шатанию народа и делало распоряжение об удержании жителей на старых местах. Разбои усиливались; даже люди знатных родов выезжали на дорогу с разбойничьими шайками.<sup>168</sup> Помещики дрались между собой, наезжали друг на друга со своими людьми, жгли друг у друга усадьбы; их крестьяне, по их приказанию, делали нападения одни на других, истребляли хлеб на полях и производили пожары. Межевание, начатое при Федоре, продолжаясь при Софье, приводило к самым крайним беспорядкам. Помещики, недовольные межеванием, посылали своих крестьян на межевщиков с оружием, не давали им мерить земли, рвали веревки, а некоторых межевщиков поколотили и изувечили. За такие самоуправства правительство определило наказывать кнутом и ссылать в Сибирь; но бесчинства от этого не прекращались. Небогатые помещики находились под произволом богатых, владевших многими крестьянами; кто был сильнее, тот у соседа отнимал землю. И бедняку трудно было тягаться с богачом. В самой Москве происходили в то время беспрестанные бесчинства, воровство и убийства. Правительство делало распоряжение под строгим наказанием, чтобы в городе не стреляли из ружей, не дрались на кулачках, не сшибали с ног людей и не били полицейских служилых (капитанов и стрельцов). Но самой важной причиной смут был раскол, который не только не прекращался от преследований, но возрастал в страшных размерах. В 1682 году после казни Никиты Пустосвята разослана была грамота ко всем архиереям, чтоб они сыскивали раскольников и предавали их казни. Еще строже был указ конца 1684 года. Велено было хватать всякого, кто не ходил в церковь, не исповедывался, не пускал к себе священника в дом; таких приказано было подвергать пытке; если обвиненный под пыткой обвинял кого-нибудь в соучастии, и того велено хватать,

<sup>167</sup> Как, напр., замена Разбойного приказа Сыскным.

<sup>168</sup> Таковы были: князь Лобанов-Ростовский и Иван Микулин; они разбивали людей на Троицкой дороге под Москвою; их наказали кнутом.

давать ему очные ставки, производить об нем обыск и, в случае сомнения, пытаться. Покаявшиеся были отправлены для исправления к духовному начальству, а непокорных велено было сжигать живьем. За укрывательство раскольников и за недонесение положено было бить кнутом. Но напрасно правительство думало испугать раскольников огнем: они сами сжигались, воображая себе, что тем приносят жертву Богу. Такие ужасающие явления беспрестанно повторялись повсюду и выказались в самом чудовищном виде в Олонецкой земле. В 1687 году некто расколоучитель Емельян Иванов из Повенца сошелся с другим фанатиком Игнатием, который завел себе пустынь близ Каргополя, считаем был за святого мужа и совратил многих каргопольцев. Они с толпою последователей захватили Палеостровский монастырь на Онежском озере. Когда против них послано было войско под начальством Мишенского, раскольники зажгли монастырь; ратные люди потушили пожар; часть раскольников с Игнатием сгорела<sup>169</sup>, а Емельян с остальными убежал. Два года его отыскивали, он скрывался со своими товарищами в непроходимых лесах. Ратные люди, не поймавши Емельяна, свирепствовали над другими раскольниками и без жалости разоряли пристанища поселян, где жители упорствовали в расколе. В 1689 году Емельян опять очутился в Палеостровском монастыре вместе с соловецким монахом Германом; с ними было до 500 человек. Девять недель сидели они запершись в монастыре. На все убеждения сдаться они отвечали ругательствами против церкви, отстреливались от ратных людей и наконец, когда увидели невозможность держаться долее, зажгли монастырь и все сгорели. Везде, где собирались толпы раскольников, припасались ими горючие вещества, чтобы прибегнуть к этому средству спасения, когда придут гонители. Являлись учителя, проповедывавшие, что даже и без гонения самое богоугодное дело сжечься, и уговаривали целые толпы мужчин, женщин и детей предавать себя «крещению огнем», Царствия ради Небесного.

Из внешних дел правления Софьи самым важным событием было заключение в 1680 году с Польшею мира, прекратившего долговременную тяжелую распрю за Малороссию. Как следствие этого мира был поход в Крым Василия Васильевича Голицына, погубивший гетмана Самойловича<sup>170</sup>. Через два года был предпринят другой поход, к которому, так же как и к первому, склонили Россию Австрия и Польша. Кроме того, бывший константинопольский патриарх Дионисий, низложенный турецким правительством за расположение к России, убеждал русских воспользоваться удобным случаем для освобождения христиан от турецкого ига, потому что между самими турками тогда происходили междоусобия (султан Магомет IV был низвержен войском, и на его место посажен брат его Сулиман II), а австрийцы и венецианцы одерживали верх над турками. Молдавский господарь Щербан со своей стороны убеждал московское правительство послать войско на турок и уверял, что все христиане, находящиеся под турецкой властью, восстанут, при появлении русского войска. При таких блестящих надеждах московское правительство двинуло весной 1689 года 112000 войска на Крым, с которым было до 350 пушек. Начальство взял на себя любимец Софьи Голицын. К нему примкнул малороссийский гетман Мазепа со своими казаками. Русское войско прошло через степь, одержало верх в битве с ханом и дошло до Перекопа. Но Голицын не решился перейти на полуостров. Его испугал недостаток воды, особенно чувствительный при сильном майском зное. Остановившись под Перекопом, Голицын завел переговоры с ханом и, не дождав их окончания, поспешно отступил, убегая от преследовавших его татар.

Этот неудачный поход совершенно уронил Голицына. На него стали смотреть как на неспособного труса, но Софья силилась представить и этот поход геройским делом. Не только сам Голицын получил в награду вотчину, 300 рублей денежной прибавки к жалованью и разные подарки, но и все участники похода были щедро награждены. Софья до слепой страсти была предана этому человеку. В письмах своих она называла его: «светом

<sup>169</sup> По известиям раскольников, их сгорело 2700 человек.

<sup>170</sup> См. биограф. «Преемники Богдана Хмельницкого».



батюшкою, душою своею, сердцем своим» и т.п.<sup>171</sup> Любовь Софьи не спасла Голицына, а его неудачный поход в Крым сделался ближайшим поводом к падению самой царевны. Давняя вражда Софьи с царицей Натальей и Нарышкиными, ее нелюбовь к Петру не прекращались с годами. Софья была правительницей государства только при малолетстве царей. Оба царя пришли в совершенный возраст. Иван Алексеевич еще в 1684 году сочетался браком с Прасковьей, дочерью боярина Федора Борисовича Салтыкова. По своему малоумию он не угрожал Софье потерей власти. Но вот и Петр достиг шестнадцати лет, окружил себя «потешными» – молодежью, собранной вначале из товарищей детских игр царя, а потом из охотников разного звания. Петр проводил с ними время в воинских упражнениях, строил земляные крепости и брал их, а в 1688 году, увидя однажды старое заброшенное судно, получил страстное желание строить суда, плавать по морю и начал свои первые опыты на Переяславском озере. Царица Наталья, страшась козней Софьи, боялась отлучек сына и его горячности, а потому поспешила его женить. 27 января 1689 года Петр сочетался браком с Евдокией Федоровной Лопухиной, дочерью окольного. Событие было важное и даже можно сказать роковое для Софьи, так как по русским понятиям женатый человек считался совершеннолетним и Петр в глазах своего народа получил полное нравственное право избавить себя от опеки сестры.

Еще ранее этого времени в 1687 году Софья, предупреждая ожидаемую опасность со стороны Петра, затевала венчаться царским венцом. Для этого ей нужна была опора стрельцов. Шакловитый, преданный ей всей душой, подготовил челобитную как будто от всех чинов Московского государства и начал склонять стрельцов содействовать своему плану. Вместе с тем он чернил перед ними царицу Наталью и Нарышкиных, уверял, что они имеют злые умыслы на Софью, при этом делал намеки на возможность избиения Нарышкиных и даже на убийство самого Петра; козни его не удавались: нашлось только всего пять человек, готовых на какое угодно смелое дело. Мысль о венчании на царство Софьи была оставлена. В 1689 году, июля 8, был крестный ход в Казанский собор. Софья прежде всегда участвовала в подобных крестных ходах, вместе с обоими царями, как правительница государства. Петр на этот раз послал ей сказать, чтобы она не ходила: это имело такой смысл, что Петр уже не считал ее правительницей, Софья не послушалась и пошла за крестами, а Петр через то сам не пошел в крестный ход и уехал из Москвы.

Возвратился Голицын из своего вторичного крымского похода. Петр не соглашался назначать ему и его товарищам награды, и хотя на этот раз не стал спорить с сестрой, но когда Голицын и другие участники крымского похода, получившие награды, явились к Петру с благодарностью за награды, то Петр не пустил их к себе на глаза. Тут Софья увидела, что ее власти скоро будет конец. Оставалось или покориться своей судьбе или отважиться на попытку сделать переворот. Шакловитый хотел было взволновать стрельцов таким же порядком, как делалось прежде, – ударить в набат и поднять тревогу, как будто царевне угрожает опасность, но стрельцы, за исключением очень немногих, сказали, что они по набату дела не станут начинать. Софья ухватилась было за средство, которое ей так

---

<sup>171</sup> Приводим для образчика одно из этих писем: «Свет мой братец Васенка, здравствуй батюшка мой на многие лета и паки здравствуй, Божию и Пресветыя Богородицы и твоим разумом и счастием победив агаряны, подай тебе Господи и впредь враги побеждати, а мне, свет мой, веры не имеется што ты к нам возвратитца, тогда веры поиму, как увижу во объятиях своих тебя, света моего. А что, свет мой, пишешь, чтобы я помолилась, будто я верна грешная перед Богом и недостойна, однако же дерзаю, надеясь на его благоутробие, аще и грешная. Ей всегда того прошу, чтобы света моего в радости видеть. Посем здравствуй, свет мой, о Христе на веки неизчетные. Аминь». В другом своем письме, писанном в Крым, Софья высказывает ту же горячую любовь к своему любимцу: «Батюшка мой платить за такие твои труды неисчетные радость моя, свет очей моих, мне веры не иметца, сердце мое, что тебя, свет мой, видеть. Велик бы мне день той был, когда ты, душа моя, ко мне будешь; если бы мне возможно было, я бы единым днем тебя поставила перед собою. Письма твои, врученны Богу, к нам все дошли в целости из под Перекопу... Я брела пеша из Воздвиженскова, толко подхожу к монастырю Сергия Чудотворца, к самым святым воротам, а от вас отписки о боях: я не помню, как взошла, чла идучи, не ведаю, чем его света благодарить за такую милость его и мать его, Пресвятую Богородицу, и преподобного Сергия, чудотворца милостиваго...»

удалось в былые времена с Хованским. В царских хоробах «на верху» появилось подмётное письмо, в котором предостерегали царевну, что ночью с 7-го на 8-е августа явятся из Преображенского «потешные» царя для убиения царя Ивана Алексеевича и всех его сестер. Шакловитый вечером 7-го августа призвал четыреста стрельцов с заряженными ружьями в Кремль, а триста поставил на Лубянке. Его подручники<sup>172</sup> начали наущать стрельцов, что надобно убить «медведицу», старую царицу, а «если сын станет заступаться за мать, то и ему спускать нечего». Но и это не удалось. Пятисотный стрелецкого Стремянного полка Ларион Елизарьев с семью другими стрельцами составил замысел предупредить Петра. Двое из товарищей, Мельнов и Ладогин, отправились ночью в Преображенское известить царя, что против него затевается недоброе.

Пробужденный от сна Петр выскочил в одной сорочке, босой, бросился в конюшню, сел на коня и ускакал в ближайший лес. Туда принесли ему платье. Он оделся и вместе с Гаврилом Головкиным во весь дух пустился в Троицкую лавру, куда поспел через пять часов. К нему на другой же день прибыла туда мать, жена, преданные бояре, потешные и стрельцы Сухарева полка. Утром с ужасом узнала Софья и ее приверженцы о бегстве Петра. Елизарьев со своими товарищами и полковник Циклер, прежде самый ревностный сторонник Софьи, тотчас уехали к Петру и откровенно объявили ему, что давно уже Шакловитый старается подвинуть стрельцов на умерщвление царицы Натальи и приверженных Петру бояр. Петр приказал написать грамоты во все стрелецкие полки, чтобы к 18 августа к нему явились в Троицу все полковники и начальники с десятью рядовыми стрельцами от каждого полка для важного государева дела.

Софья принимала свои меры: расставляла караулы по Земляному городу и приказывала все грамоты, какие будут от Петра, доставлять к ней. Созвав к себе полковников, она грозила им отрубить головы, если они пойдут к Троице. Сама, между тем, видя неудачу своих замыслов, Софья думала примириться на время с Петром и посылала к нему одного за другим двух бояр, Троекурова и Прозоровского, и убеждала брата возвратиться в Москву для примирения. Эти бояре вернулись без успеха. Софья отправила к Троице патриарха Иоакима, но тот сделал еще хуже для Софьи; он остался у Троицы. Патриарх, тотчас после смерти Федора, был сторонником Петра; он только по необходимости согласился на двуцарствие и в душе не был расположен к Софье, тем более, что Софья оказывала благосклонность к врагу патриарха Сильвестру Медведеву и приверженцы царевны поговаривали о свержении Иоакима с патриаршества и о поставлении вместо него Сильвестра.

Царь Петр, не дождавшись стрельцов, которых требовал к Троице, послал в другой раз грамоту в Москву с прежним приказанием явиться к нему всем полковникам и начальным людям с десятью рядовыми из каждого полка, да, сверх того, приказывал явиться из всех московских сотен и слобод всем старостам с десятью тяглецами; на этот раз за послушание обещалась смертная казнь. Пять полковников, много урядников и рядовых стрельцов отправились к Троице. Софья, видя, что борьба с Петром неравна, устроить с ним мировую через других не удастся, сама поехала к Петру, но ее не пустили и приказали воротиться назад из села Воздвиженского.

Вслед за ней прибыл 1-го сентября недавно отъехавший из Москвы к Троице стрелецкий полковник Нечаев с требованием выдать Шакловитого, Медведева и других сообщников, на которых указали стрельцы.

Софья до того была раздражена этим требованием, что приказала было отрубить Нечаеву голову, но опомнилась, рассудив, что этим поступком в ее положении она скорее проиграет, чем выиграет. Она собрала стрельцов и говорила им в таком смысле:

«Письма, что привезли из Троицы, составлены ворами. Как можно выдавать людей? Они под пыткой оговарят других, людей добрых; девять человек девятьсот оговарят. Злые люди рассорили меня с братом, выдумали какой-то заговор на жизнь младшего царя; из

---

<sup>172</sup> Никита Гладкий, Кузьма Чермный, Стрижев, Петров и Кондратьев.

зависти к верной службе Федора Шакловитого, за то, что он день и ночь трудится для безопасности и добра государства, они очернили его зачинщиком заговора. Я сама хотела уладить дело, узнать причину козни и приехать к Троице, а брат, по наущению злых советников, не допустил меня к себе и не велел туда ехать, и я воротилась со стыдом. Сами знаете, как я управляла государством семь лет, приняв правление в смутное время; под моим правлением заключен честный и твердый мир с нашими соседями христианскими государями, враги веры христианской приведены в ужас и страх нашим оружием. Вы, стрельцы, за вашу службу получили важные награды, и я к вам всегда была милостива. Не могу поверить, чтобы вы стали мне неверны и поверили измышлениям врагов мира и добра! Они ищут головы не Шакловитого, а моей и моего брата Ивана. Я обещаю вам награду, если останетесь мне верны и не будете мешаться в это дело, а те, которые будут не послушны и начнут творить смуту, будут наказаны. Помните: если пойдете к Троице, здесь останутся ваши жены и дети...»

Потом Софья позвала к себе толпу посадских и говорила им речь в том же духе. Стрельцов и служилых иноземцев поили вином, даже Нечаеву поднесли водки.

Между тем Петр, не получая ответа от Нечаева, послал снова требование выдать Шакловитого со всеми сообщниками и приказывал служилым иноземцам прибыть к нему к Троице. Генерал Гордон, начальник иноземцев, по поводу этого царского приказа обратился к заведывавшему иноземным приказом, князю Василью Васильевичу Голицыну. «Я доложу об этом старшему царю», – сказал Голицын Гордону. Но Гордон не считал нужным ждать доклада, – он понимал, что Голицын только тянет время, выжидая, не обратятся ли обстоятельства к пользе Софьи. Гордон отправился 5 сентября к Троице со служилыми иноземцами и был принят очень ласково. Петр допустил иноземцев к своей руке и велел им дать по чарке водки.

Переход иноземцев привел дело Софьи еще ближе к печальной развязке. На стрельцов не было надежды. Они похватили подручников Шакловитого, через которых он прежде пытался взволновать стрельцов, и отвезли их к Троице. В числе схваченных главнейший был Обросим Петров, который перед тем уже несколько дней скрывался у пономаря, и чуть только попытался выйти, – тотчас был схвачен. Он во всем сознался еще до пытки.

Ясно, что отозвались Софье и смерть Хованского, и сбор служилых для укрощения стрелецкого своеволия, и грамота, в которой стрельцам поставили в воровство переворот, произведенный ими в пользу Софьи. Не было теперь у стрельцов большого желания отважиться на чересчур смелое дело за ту, которая уже показала им, как она благодарит за услуги и как можно положиться на ее обещания. На московские сотни и слободы еще менее можно было надеяться Софье, когда стрельцы, люди военные, не шли за ней. Софья с Шакловитым решились попытаться поднять за себя Россию: это уже значило, как говорится, все поставить на карту разом.

Шакловитый изготовил грамоту к людям всех чинов Московского государства от имени Софьи. Правительница приносила жалобу всему народу не на Петра, а на его родственников Нарышкиных: «Они ни во что ставят старшего царя Ивана, забросали его комнату поленьями, изломали его царский венец; потешные Петровы делают людям насилия, а царь Петр никаких челобитных не слушает и пр.». Но этой грамоте не суждено было быть разосланной.

6 сентября, уже вечером, толпа стрельцов явилась перед дворцом и требовала выдачи Шакловитого. Софья думала подействовать на них твердостью и угрозами и сказала повелительно, что не выдаст и что они не должны мешаться в ее дела. «Если нам не выдадут Шакловитого, – закричали стрельцы, – то мы ударим в набат!» Бояре, окружавшие Софью, испугались. «Государыня-царевна, – сказали они, – нельзя им перечить, нельзя спасти Шакловитого; будет бунт; тогда мы все пропадем; лучше его выдать». Софье оставалось послушаться. Шакловитый был выдан и на другой день около часа пополудни привезен к Троице.

Вечером, около пяти часов, в тот же день, прибыл к Троице Василий Васильевич

Голицын с несколькими думными людьми.<sup>173</sup> Царь не допустил их к себе. Им велено было ждать решения.

Начались допросы и пытки. Шакловитый сначала во всем заперся, но после первой пытки стал виниться наполовину, а когда его повели пытать в другой раз, то, не допустив до пытки, сознался, что разговаривал со стрельцами о том, как бы произвести пожар в Преображенском селе и убить царицу, однако упорно отрицал умысел на жизнь царя Петра. Шакловитый обвинял в соучастии и Василия Васильевича Голицына.

У Василия Голицына был двоюродный брат Борис, ревностнейший приверженец Петра, любимец его и главный распорядитель, как оказалось, по следствию над заговорщиками. Обвинение в измене ложилось пятном на весь род Голицыных. Заступлению Бориса обязан был Василий Голицын тем, что его хотя наказали, но за другие вины. 9 сентября он был призван во дворец вместе с сыном Алексеем. Думный дьяк прочитал ему приговор, по которому он лишался боярства и вместе с сыном и семьей сослан в Каргополь: это постигало его за то, что он мимо царей подавал доклады царевне Софье и, сверх того, за дурные распоряжения во время крымского похода, причинившие разорение государству и отягощение народу.<sup>174</sup> Боярина Неплюева осудили на ссылку в Пустозерск за дурное управление в Севске, где он прежде был наместником; Змеев удален в свои костромские вотчины; прочих простили. Напрасно Василий Голицын написал в свое оправдание длинное объяснение в семнадцати пунктах: царь не читал его.

11 сентября, в 10 часов вечера, против Лавры, у большой дороги, вывели преступников на смертную казнь при большом стечении народа. Шакловитому отрубили голову топором. То же сделали стрельцам: Обросиму Петрову и Кузьме Черному. Полковнику Семену Рязанцеву велели положить голову на плаху, потом велели ему встать, дали несколько ударов кнутом и отрезали кусок языка. Такому же наказанию подвергли еще двоих.<sup>175</sup>

Наконец Петр отправил к старшему брату письмо, в котором представлял, что им обоим, будучи в совершенном возрасте, пора править государством самим, а не позволять третьему лицу, сестре, вмешиваться в правление. Со своей стороны Петр обещался почитать, как отца, старшего брата. Слабоумный Иван не прекословил.

Вслед за письмом Петра отправлен был в Москву боярин Троекуров с приказанием Софье переселиться в Новодевичий монастырь. Софья несколько дней упрячилась и успела еще переслать письмо и деньги своему другу, Василию Голицыну. Наконец в конце сентября она поневоле должна была ехать в монастырь. Ей дали просторное помещение окнами на Девичье поле, позволили держать при себе свою кормилицу, престарелую Вяземскую, двух казначей и девять постельниц. Из дворца отпускалось ей ежедневно определенное количество разной рыбы, пирогов, саек, караваев, хлеба, меду, пива, браги, водки и лакомств. Царицам и царевнам позволено было посещать ее во всякое время. Она могла свободно ходить внутри монастыря, участвовать в храмовых праздниках, но у ворот постоянно стояли караулы из солдат полков Семеновского и Преображенского. Вдова царя Федора, Марфа Матвеевна, и супруга царя Ивана, Прасковья Федоровна, очень редко посещали Софью, но сестры были с нею по-прежнему дружны и вместе втихомолку ругали Петра и жаловались на свою судьбу.

С падением Софьи началась самобытная деятельность Петра, и вместе с тем наступал и новый период в истории России. Внимание Петра, как известно, обратилось на юг: была построена корабельная верфь в Воронеже, и начаты походы на Азов. В январе 1696 года

---

<sup>173</sup> С боярином Леонтием Романовичем Неплюевым, окольниким Венедиктом Андреевичем Змеевым, думным дворянином Григорием Ивановичем Калачовым и думным дьяком Емельяном Игнатьевичем Украинцевым.

<sup>174</sup> Генерал Гордон в своих записках рассказывает, что Борис Голицын, принявши от Шакловитого последнее признание, не показал его тотчас Петру, чтоб уничтожить из признания то, что касалось Василия Голицына; но Нарышкины донесли об этом царю. Борис извинялся перед царем, что было уже поздно и он по этой причине не показал бумаги тотчас. Петр не лишил его милости и доверия, но царица Наталья и Нарышкины питали к нему за это злобу.

<sup>175</sup> Пятидесятника Муромцева и стрельца Лаврентьева; наказанных сослали в Сибирь.

скончался болезненный, слабоумный Иван. Двоевластие кончилось. Азов был взят. Петр начал десятками отправлять своих подданных учиться за границу, а в начале 1697 года решил ехать туда сам инкогнито, под именем урядника Преображенского полка Петра Михайлова, т.е. в том чине, в каком он состоял тогда, начав, для примера другим, военную службу с низшего чина. Его неутомимая деятельность, его недовольство старыми порядками, посылка людей за границу и, наконец, неслыханное до того времени намерение самому ехать учиться у иностранцев, уже возбудили против него злые умыслы. 23 февраля, когда царь, готовясь к отъезду, веселился на прощании с боярами у своего любимца, иностранца Лефорта, ему дали знать, что пришел с доносом пятисотенный стрелец Ларион Елизарьев (тот самый, который предупредил Петра о замыслах Шакловитого) с десятником Силиным. Их позвали к царю, и они объявили, что Иван Циклер, уже пожалованный в думные дворяне, собирается убить царя. Циклер перед тем только получил от царя назначение построить Таганрог и был этим недоволен. Оказав важную услугу Петру в деле Шакловитого, он ожидал, что будет важным человеком у царя, и обманулся, так что он сделался врагом царя, которому так услужил в прежние годы.

Циклер был схвачен и под пыткой показал на окольного Соковнина, заклятого старовера, брата боярыни Морозовой и княгини Урусовой (признаваемых раскольниками до сих пор за мучениц). Соковнин под пыткой сознался, что действительно говорил о возможности убить государя, так как государь ездит или один или с малым числом людей. Соковнин при этом оговорил зятя своего, Федора Пушкина, и сына его Василия. Вражда к Петру происходила, по их показанию, оттого, что царь начал посылать людей за море учиться неведомо чему. Обвиненные притянули к делу двух стрелецких пятидесятников. Всех их присудили к смертной казни. Циклер перед казнью объявил, что в прежние годы, во время правления Софьи, царевна и покойный боярин Иван Милославский уговаривали его убить царя Петра. Петр приказал вырыть из земли гроб Милославского и привезти в Преображенское село на свиньях. Гроб открыли: Соковнину и Циклеру рубили прежде руки и ноги, потом отрубили головы; кровь их лилась в гроб Милославского. Пушкину и другим отрубили головы. На Красной площади был поставлен столп с железными спицами, на которых были воткнуты головы казненных.

Вслед за тем Петр усилил караул у ворот Новодевичьего монастыря, а сам уехал за границу. В то время, как Петр в Голландии учился строить корабли, а потом ездил по Европе присматриваться к иностранным обычаям, в Москве управляли бояре, согласно начертаниям царя. Московским стрельцам пришла тяжелая пора. Прежде они спокойно проживали себе в столице, занимаясь промыслами, величались значением царских охранителей, всегда готовые, как мы видели, обратиться в мятежников. Теперь их выслали в отдаленные города на тяжелую службу и притом на скудном содержании. Четыре полка (Чубарова, Колзакова, Черного и Гундертмерка) были отправлены в Азов. Через несколько времени, на смену им, послали другие шесть полков. Прежние четыре полка думали было, что им позволят из Азова возвратиться в Москву, как вдруг им приказали идти в Великие Луки, на Литовскую границу, в войско князя Ромодановского. Они повиновались, но в марте 1698 года многим стало невыносимо: сто пятьдесят пять человек самовольно ушли из Великих Лук в Москву бить челом от лица всех товарищей, чтобы их отпустили по домам. В прежние времена случаи самовольного побега со службы были не редкостью и сходили с рук, но на этот раз начальник Стрелецкого приказа, боярин Троекуров, велел им немедленно идти назад, а четырех выборных, которые к нему пришли объясняться, за дерзкие слова приказал сейчас же засадить в тюрьму. Стрельцы отбили своих товарищей, буянили и не хотели идти из Москвы. Бояре двинули на них солдат Семеновского полка и выгнали из Москвы силой.

Стрельцы воротились к посланным им товарищам. Ромодановский в это время, по указу, пришедшему из Москвы, должен был распустить всех своих служилых людей, но такое распоряжение не простиралось на стрельцов; их четыре полка велено было расставить по западным пограничным городам, а тех, которые самовольно ходили с челобитной в Москву, сослать в Малороссию на вечные времена. Стрельцы заволновались и не выдали

Ромодановскому своих товарищей, ходивших в Москву: Ромодановский, распустив перед тем служилых, не имел возможности схватить виновных стрельцов. Стрельцы, пошумев, ушли, как будто повинувшись приказанию идти в назначенные им города, и на дороге, на берегу Двины, 16 июня устроили круг. Тут один из ходивших в Москву, стрелец Маслов, стоя на телеге, начал читать письмо от царевны Софьи, в котором она убеждала стрельцов прийти к Москве, стать табором под Новодевичьим монастырем и просить ее снова на державство, а если солдаты станут не пускать их в Москву, то биться с ними.

Стрельцы порешили идти на Москву. Раздавались голоса о том, что надобно перебить всех немцев, бояр, самого царя не пускать в Москву и даже убить его за то, что «сложился с немцами». Впрочем, это были только одни толки, а не приговор всего круга.

Когда в Москве слышали, что идут к столице стрельцы, то на многих жителей напал такой страх, что они с имуществом разъезжались по деревням. Бояре, не допуская стрельцов до столицы, выслали против них навстречу войско в числе 3700 человек с 25 пушками. Начальство над этим войском взял боярин Шеин с двумя генералами: Гордоном и князем Кольцо-Мосальским. Высланное боярами московское войско встретилось со стрельцами 17 июня близ Воскресенского монастыря. Сначала Шеин отправил к ним в стан генерала Гордона. Гордон потребовал, чтобы стрельцы немедленно ушли в назначенные им места и выдали бы сто сорок человек из тех, которые ходили перед тем только в Москву: их считали главными зачинщиками бунта.

«Мы, – отвечали стрельцы, – или умрем, или непременно будем в Москве хоть на три дня, а там пойдем, куда царь прикажет».

«Вас к Москве не пропустят. Об этом не помышляйте», – сказал им Гордон.

«Разве все помрем, тогда в Москве не будем», – отвечали стрельцы.

Двое старых стрельцов начали объяснять Гордону свои нужды, как стрельцы терпят и голод и холод, как строили крепости, тянули суда, с пушечной и оружейной казной, вверх Доном, от Азова до Воронежа; как им дают месячного жалованья столько, что едва достает на две недели, говорили, что теперь они хотят только повидаться с женами и детьми своими. Толпа стрельцов подтверждала справедливость сказанного двумя их товарищами.

«Я советую вам, – сказал Гордон, – чтобы каждый полк особо обдумал и посоветовался о том, что вы делаете». «Мы все заодно», – возражали ему стрельцы. «Так знайте же, – сказал Гордон, – если вы теперь не примете милости его царского величества и мы принуждены будем силой привести вас к повиновению, тогда уже не будет вам пощады. Даю вам сроку четверть часа».

Гордон отъехал в сторону и через четверть часа опять послал к ним за ответом. Но стрельцы стояли на своем.

Шеин отправил к стрельцам Кольцо-Мосальского. Тогда из толпы стрельцов вышел десятник Зорин с челобитной, где, между прочим, говорилось, будто воевода Ромодановский хотел их рубить, неизвестно за что, а в заключение объяснилось, что стрельцы затем пришли к Москве, что в Москве «великое страхование, город затворяют рано вечером и поздно утром отворяют, всему народу чинится наглость; они слышали, что идут к Москве немцы и то знатно последуя брадобритию и табаку во всеосвершенное благочестия исповержение».

И в стрелецком стане и в стане Шеина отслужили молебны, приготовились к бою.

Шеин послал против стрельцов Гордона с 25 пушками, а между тем кавалерия стала окружать их стан.

Поставивши свои пушки, Гордон два раза высылал к стрельцам дворян с советом опомниться и покориться.

«Мы вас не боимся, – сказали стрельцы, – у нас самих есть сила».

Тогда Гордон приказал дать залп, но так, что ядра пролетели над головами стрельцов.

Стрельцы подняли крик, замахали шапками и произносили имя Святого Сергия. То был их условленный знак.

Тогда Гордон приказал выстрелить по ним из пушек и положил многих на месте. Стрельцы смешались. Гордон дал другой, третий, четвертый залп; стрельцы бросились

врассыпную. Оставалось только ловить и вязать их. Убито у них было 29 человек и ранено 40.

Тотчас дали знать в Москву; бояре приказали Шеину произвести розыск. Начались пытки кнутом и огнем. Стрельцы повинились, что было у них намерение захватить Москву и бить бояр, но никто из них не показал на царевну Софью. Шеин самых виновных приказал повесить на месте, а других разослать по тюрьмам и монастырям под стражу.<sup>176</sup>

Бояре полагали, что суд тем и кончился, но не так посмотрел на это дело Петр, когда к нему в Вену пришло известие о бунте стрельцов. «Это, – писал он Ромодановскому, – семя Ивана Милославского растет...» и тотчас поскакал в Москву.

Царь прибыл в столицу 25 августа, а на другой день 26 в Преображенском селе начал делать то, что так возмущало стрельцов; Петр начал собственноручно обрезать бороды боярам и приказал им одеться в европейское платье, как будто желая сразу нанести решительный удар русской старине, подвигнувшей на бунт стрельцов.

С половины сентября начался новый розыск. Из разных монастырей велено было свезти стрельцов; затем иных разместили по московским монастырям, а других содержали в подмосковных селах под крепким караулом. Число всех содержащихся стрельцов было 1714 человек 2.

Допрос происходил в Преображенском селе под руководством князя Федора Юрьевича Ромодановского, заведывавшего Преображенским приказом. Устроено было четырнадцать застенков, и каждым застенком заведывал один из думных людей и ближних бояр Петра. Признания добывались пытками. Подсудимых сначала пороли кнутом до крови на виске (т.е. его привязывали к перекладине за связанные назад руки); если стрелец не давал желаемого ответа, его клали на раскаленные угли. По свидетельству современников, в Преображенском селе ежедневно курилось до тридцати костров с угольями для поджаривания стрельцов. Сам царь с видимым удовольствием присутствовал при этих варварских истязаниях. Если пытаемый ослабевал, а между тем нужен был для дальнейших показаний, то призывали медика и лечили несчастного, чтобы подвергнуть новым мучениям. Под такими пытками стрельцы сперва сознались, что у них было намерение поручить правление царевне Софье и истребить немцев, но никто из них не показывал, чтобы царевна сама подушала их к этому замыслу! Петр подозревал сестру и приказал пытать стрельцов сильнее, чтобы вынудить у них показания, обвиняющие Софью. Тогда некоторые стрельцы показали, что один из их товарищей (который в розыске не оказывался) Васька Тума привез из Москвы письмо от имени Софьи, получивши его через какую-то нищую. Это письмо передано было пятидесятнику Обросимову, а тот передал его стрельцу Маслову, последний читал это письмо перед полками на Двине. Следуя этим показаниям, нашли нищую; но она ни в чем не созналась и умерла в мучениях под пыткой. Взяли кормилицу Софьи Вяземскую и четырех ее постельниц, подвергли их жестоким пыткам. Показания этих женщин были таковы, что из них можно было только, при сильных натяжках, обвинить Софью. Сама Софья, допрошенная Петром, объявила, что никогда не посылала никаких писем в стрелецкие полки. Сестра ее Марфа сказала только, что слышала от своей служительницы Жуковой о желании стрельцов прийти в Москву и возвести на царство Софью. Жукову подвергли пытке; она наговорила на одного полуполковника. Этому в свою очередь подвергли пытке, а Жукова потом сказала, что она его оговорила напрасно. Когда же ее снова стали пытать, она опять обвинила его: это может служить образчиком, какого рода были отбираемые тогда показания.

30 сентября у всех ворот московского Белого города расставлены были виселицы. Несметная толпа народа собралась смотреть, как повезут преступников. В это время патриарх Адриан, исполняя предковской обычай, наблюдаемый архиереями, просить милости опальным, приехал к Петру с иконою Богородицы. Но Петр был еще до этого нерасположен к патриарху за то, что последний повторял старое нравоучение против брэдобрития; Петр принял его гневно. «Зачем пришел сюда с иконою? – сказал ему Петр. –

---

<sup>176</sup> По показанию Гордона, казнено было до 130 чел., а по монастырям разослано 1845 чел. Из отправленных Шеиным убежало из монастырей 109 чел.

Убирайся скорее, поставь икону на место и не мешайся не в свои дела. Я побольше тебя почитаю Бога и Пресвятую Богородицу. Моя обязанность и долг перед Богом охранять народ и казнить злодеев, которые посягают на его благосостояние». Патриарх удалился. Петр, как говорят, собственноручно отрубил головы пятерым стрельцам в селе Преображенском. Затем длинный ряд телег потянулся из Преображенского села в Москву; на каждой телеге сидело по два стрельца; у каждого из них было в руке по зажженной восковой свече. За ними бежали их жены и дети с раздирающими криками и воплями. В этот день перевешано было у разных московских ворот 201 человек.

Снова потом происходили пытки, мучили, между прочим, разных стрелецких жен, а с 11 октября до 21 в Москве ежедневно были казни; четверым на Красной площади ломали руки и ноги колесами, другим рубили головы; большинство вешали. Так погибло 772 человека, из них 17 октября 109-ти человекам отрубили головы в Преображенском селе. Этим занимались, по приказанию царя, бояре и думные люди, а сам царь, сидя на лошади, смотрел на это зрелище. В разные дни под Новодевичьим монастырем повесили 195 человек прямо перед кельями царевны Софьи, а троим из них, висевшим под самыми окнами, дали в руки бумагу в виде челобитных. Последние казни над стрельцами совершены были в феврале 1699 года. Тогда в Москве казнено было разными казнями 177 человек.

Тела казненных лежали неприбранные до весны, и только тогда велено было зарыть их в ямы близ разных дорог в окрестностях столицы, а над их могилами велено было поставить каменные столпы с чугунными досками, на которых были написаны их вины; на столпах были спицы с воткнутыми головами.

Софья, по приказанию Петра, была пострижена под именем Сусанны в том же Новодевичьем монастыре, в котором жила прежде. Сестра ее, Марфа, пострижена под именем Маргариты и отправлена в Александровскую слободу в Успенский монастырь. Прочим сестрам запрещено было ездить к Софье, кроме Пасхи и храмового праздника Новодевичьего монастыря.

Несчастливая Софья в своем заключении томилась еще пять лет под самым строгим надзором и умерла в 1704 году.

## **Глава 14** **Ростовский митрополит Димитрий Туптало**

Говоря о важных русских исторических деятелях XVII века, нельзя умолчать о духовном лице, действовавшем преимущественно в конце XVII столетия; оно имеет важное значение не только для своего времени, но и для последующих времен по тому благочестивому уважению, какое к его памяти оказывает русский народ.

Св. Димитрий (по происхождению малороссиянин) занимает одно из самых блестящих мест в кругу киевских ученых, распространявших по русской земле начатое Петром Могилою дело русского просвещения. Он родился в местечке Макарове, верстах в пятидесяти от Киева, на правой стороне Днепра, в декабре 1651 года. Отец его был казацкий сотник по имени Савва Григорьевич Туптало, мать называлась Марья, ребенок назван был в крещении Даниилом.<sup>177</sup> Когда он достиг отроческого возраста, родители отдали его учиться в Киев. Отец Данила был ктитором Кирилловскою монастыря и, вероятно, проживал в самом Киеве. Одаренный от природы живым воображением и глубиною чувства, Данило предался религиозной созерцательности и решил постричься. Печальная судьба Малороссии, как видно, содействовала такому настроению: кругом себя он видел кровь, слезы, нищету; одна беда влекла за собой другую беду, и не предвиделось исхода плачевному состоянию края. В Киеве даже учение не могло идти своим обычным порядком. Естественно было предаться мысли о непрочности земных благ и искать пристанища в иноческой жизни. В 1668 году

---

<sup>177</sup> Говоря о своем рождении в дневнике, он сказал: «И в тот час воеводина Радзивилова и крещением святым просвещен». Вероятно, она была его восприемницей: это была, должно быть, жена Януша Радзивила, молдавская княжна, сестра жены Тимофея Хмельницкого.



Данило был пострижен в Киевском Кирилловском монастыре игуменом Мелетием Дзиков<sup>178</sup> и наречен Димитрием. Несмотря на молодость, он скоро обратил на себя внимание своим необыкновенным даром слова; 25-ти лет от роду, в 1675 году, он был посвящен в Густынский монастырь Лазарем Барановичем в иеромонахи. С этих пор начались странствования Димитрия из монастыря в монастырь, из края в край. Где только он не поселялся, там начинал говорить поучения, и к нему стекались толпы народа; слава о новооявившемся знаменитом проповеднике переходила из города в город. Архиепископ Лазарь Баранович перевел его из Густынского монастыря к себе в Чернигов, и Димитрий пробыл около двух лет проповедником при Лазаре Барановиче. Отправившись в Литву, для поклонения чудотворной иконе, находившейся в Новодворском монастыре, Димитрий был сначала приглашен на короткое время для проповедничества в Вильно, а потом белорусский епископ Феодосий Василевич убедил его переселиться в Слуцк; Димитрий проповедывал там в Преображенском монастыре. Но в конце 1679 года скончался его покровитель Феодосий, а вслед за ним окончил жизнь другой его благодетель, ктитор Преображенского монастыря Скоцкевич. Проговоривши над последним надгробное слово<sup>179</sup>, Димитрий через месяц уехал из Слуцка на родину. Молодого проповедника наперерыв приглашали из разных мест Малороссии. Гетман Самойлович убедил его поселиться в Батурине, а затем, по его ходатайству, Лазарь Баранович, в 1681 г., назначил Димитрия игуменом Максаковского монастыря. Лазарь, любивший, как известно, играть словами, сказал Димитрию при этом такую любезность: «Вы называетесь Димитрием, и потому я желаю вам не только игумена, но и митры. Пусть Димитрий получит митру». На следующий год Димитрий был сделан Батуринским игуменом. Но пребывание в Батурине было ему не совсем по душе; в следующем же году он оставил игуменство и удалился в Киево-Печерскую Лавру, где был принят радушно архимандритом Варлаамом Ясинским. Здесь Димитрий начал составлять сборник житий святых – Чети и Минеи. Труд этот был намечен еще Петром Могилою, но остался без исполнения. Через два года мы застаем Димитрия снова в Батурине игуменом Николаевского монастыря. Не знаем, как отнесся Димитрий к падению Самойловича, но оно не имело на него дурного влияния. Преемник Самойловича, Мазепа был также благосклонен к Димитрию. Окончивши половину своих Миней, Димитрий возвратил в Москву бывшие у него Макарьевские Минеи<sup>180</sup>, извещал об окончании своего труда и просил благословения патриарха Иоакима на печатание, но так как благословение долго не получалось, то Димитрий, не дожидаясь его, отдал свои Минеи в печать в Киево-Печерскую Лавру, под надзором архимандрита Варлаама. Патриарх, узнавши об этом, был очень недоволен, придирался, требовал перепечатки некоторых мест, запрещал печатать далее без своего разрешения; однако Димитрий отклонил от себя дальнейшие преследования. Он, вместе с Мазепой, побывал в Москве в самое смутное время падения Софьи (в 1689 г.) и успел понравиться Иоакиму, который дал ему благословение продолжать свой труд. По возвращении на родину, Димитрий проживал в Батурине и трудился над своими Минеями. Преемник Иоакима, патриарх Адриан, не только не придирался к печатанию, но, поставивши на киевскую митрополию печерского архимандрита Варлаама, особенно просил его содействовать печатанию Димитриевых Миней.

В 1692 году Димитрий опять оставил игуменство, чтобы исключительно заняться Минеями; но в 1694 году его заставили принять игуменство в Глуховском монастыре, а в 1697 году преемник Лазаря Барановича, Иоанн Максимович, вызвал его в Чернигов и сделал архимандритом Елецкого монастыря. Занимаясь Минеями, Димитрий не переставал писать и говорить проповеди. Через два года его перевели в Новгород-Северский Спасский монастырь, и здесь в 1700 году он окончил три чети (четверти) своих Миней и напечатал в

---

<sup>178</sup> В Ростове в келии Димитрия сохраняется современная картина, изображающая, как молодой Данило, кланяясь в ноги отцу и матери, спрашивает их родительского благословения на поступление в монастырь. Члены семьи в малороссийских одеждах того времени.

<sup>179</sup> За которое получил, по его словам, шесть локтей доброго голландского полотна.

<sup>180</sup> Их выписал из Москвы Гизель, который думал писать Минеи, но не успел.

Лавре; вслед за тем судьба неожиданно призвала его в далекий край.

Петр Великий искал достойное духовное лицо для замещения кафедры сибирского митрополита и приказал киевскому митрополиту Варлааму прислать к нему в Москву такого архимандрита, который бы годился на это место. Варлаам указал на Димитрия. В феврале 1701 года Димитрий, по царскому приказанию, приехал в Москву, а марта 23-го был рукоположен в архиерейский сан.

Но Димитрий, достигши уже 50 лет от роду, был слаб здоровьем; тяжело было бы ему ехать в далекую неведомую и притом суровую страну. Он впал в недуг. Петр, узнавши об этом, сам приехал к нему и заметил, что Димитрий более печален, чем болен, и приказал сказать ему откровенно причину своей тоски. «Меня, – сказал Димитрий, – посылают в суровый край, вредный для моего здоровья, а на мне лежит послушание – окончить “Жития Святых”». – «Оставайся в Москве», – сказал ему на это Петр.

Димитрий остался в Москве, сблизился и подружился со своим земляком Стефаном Яворским, занимавшим тогда место блюстителя патриаршего престола, и продолжал заниматься своими Минеями.

В январе 1702 года, по смерти ростовского митрополита Иосафа, Петр назначил Димитрия в Ростов. Это было последнее местопребывание Димитрия. Приехавши в свою епархию, он тотчас же указал в соборной церкви место для своего погребения и сказал: «Се покой мой, zde вселюся во век века».

Здесь окончил он свой многолетний труд «Жития Святых», которые были напечатаны вполне в 1705 году в типографии Киево-Печерской Лавры. По своему обыкновению, Димитрий и в Ростове говорил постоянно проповеди: в Ростове, как и в Малороссии, полюбили его и стекались к нему слушатели. Но в великорусском крае потребовалась от него еще иного рода деятельность. Димитрий, познакомившись с великорусским духовенством, ужаснулся крайнего невежества и отсутствия внутреннего благочестия. «Нерадивые иереи, – говорит он в своем увещании к священникам, – ленятся ходить к убогим больным для исповеди и причастия, а ходят только к богатым, и многие бедняки умирают без Св. Тайн... Случилось нам на пути в Ярославль заехать в одну деревню и спросить тамошнего попа: „Где у тебя животворящие Христовы тайны?“ – Поп не разумел моего слова. Я спросил: „Где тело Христово?“ – Поп опять не понял моего слова. Тогда один из бывших со мною священников спросил его: „Где запас?“ – Тогда поп взял „неопрятный“ (зело гнусный) сосудец и показал в нем хранимую в небрежении великую святыню... Удивясь о сем, неба и земли ужаснитесь концы. Пречистые Христовы тайны держит священник не в церкви на престоле, а у себя между клопами, тараканами и сверчками, с которыми и он сам и домашние его живут и почивают». Чтобы пресечь такие злоупотребления, Димитрий писал несколько увещаний духовным с наставлением, как вести себя, и видел необходимость положить начало книжному просвещению. Он завел в Ростове духовное училище или семинарию, которая разделялась на три класса и имела при Димитрие до 200 учеников. Он содержал это училище из собственных доходов, занимался им с большой любовью, сам поверял успехи учеников, наблюдал за их нравственностью и благочестием, а летом собирал их у себя в загородной своей даче, объяснял им сам лично места из Св. Писания, обращался с ними чрезвычайно кротко, по-отечески, и был очень любим ими. Это был первый образчик великорусских семинарий. Кроме общего невежества, над великорусским краем тяготело еще другое зло – раскол; и против этого зла счел обязанностью выступить Димитрий. Он написал большое сочинение против раскола – «Розыск о раскольничьей брынской вере», а когда от Петра последовал указ о том, чтобы все обрили бороды, то Димитрий написал сочинение о брадобритии, в котором доказывал, что бритье бород не составляет греха. Сам Димитрий рассказывает, как двое нестарые великорусса остановили архиерея при выходе из церкви после литургии и спрашивали его: как он думает? Они готовы лучше положить голову на плаху для отсечения, чем бороды. «А что отрастет, – спросил Димитрий – борода или голова?» – «Борода», – сказали ему. «Так лучше вам отдать бороду, чем голову, борода будет отрастать столько раз, сколько ее будут брить, а отсеченная голова не пристанет к

телу, разве – в воскресение мертвых!» Дмитрий говорил боролюбцам, что напрасно они боятся брить бороду, воображая себе, будто этим исказят образ и подобие Божие; доказывал, что образ и подобие Божие совсем не в теле, не в зримом образе человека, а в его душе. Петр нашел в ростовском митрополите поддержку своим преобразовательным планам в этом отношении. Дмитрий, при своем строгом благочестии, не мог разделять уважения великоруссов к бородам, так как родился в Малороссии, где казаки давно уже брили бороды и где этот обычай делался всенародным.

Дмитрий был большой постник и, как рассказывают, едал в великую четырехдесятницу только раз в неделю. Он вообще отличался умеренностью в жизни, был кроток, простодушен и охотно помогал беднякам. В своем духовном завещании, написанном за два года до смерти, Дмитрий выразился о себе так: «С восемнадцатилетнего возраста до приближения моего к гробу я не собирал ничего, кроме книг: у меня не было ни золота, ни серебра, ни излишних одежд... Пусть никто не трудится искать после меня каких-нибудь складов». Качества Дмитрия еще при жизни возвышали его в глазах благочестивых людей.

Недаром боялся Дмитрий Сибири; и менее суровый климат Ростовского края зловредно подействовал на его здоровье, ослабленное многолетними трудами и строгим постничеством. Уже в 1708 году Дмитрий жаловался, что не в состоянии работать: глаза ослабели, очки уже не могли ему помогать, рука при писании дрожала... В 1709 году Дмитрий стал страдать удушливым кашлем и 27-го ноября скончался. Его нашли в келье мертвым, стоящим на коленях для молитвы. Друг Дмитрия, Стефан Яворский, похоронил его в месте, указанном самим Дмитрием по приезде в Ростов. После покойного Стефан взял его многочисленные книги, перешедшие в библиотеку московской синодальной типографии.

Литературные труды Дмитрия имеют важное значение именно потому, что были сильно распространены в русском обществе до последнего времени. Едва ли какой другой духовный писатель имел такой обширный круг читателей. Самым распространенным сочинением Дмитрия были, без сомнения, его Четию Минею, имевшие несколько изданий. Составляя их, он пользовался Макарьевскими Минеями, рукописью Симеона Метафраста, доставленную ему с Афона, русскими прологами, патериками и разными западными сборниками. Хотя составитель сознавал, что не все бывшее у него в руках имело одинаковую степень достоверности в качестве источников, и потому многое не вносил в свой сборник, тем не менее, однако, нельзя сказать, чтобы Дмитрий подвергал строгой критике сказания, которыми пользовался.

Проповеди Дмитрия (которых осталось множество и из которых не все еще известны) представляют собственно мало черт, важных для истории своего времени, как по своему складу, так и по содержанию: это такие проповеди, которые могли быть применимы ко всякой стране и во всякое время. Но они не остались без значения в истории русского просвещения по тем внутренним достоинствам, которые сделали их любимую книгою русских людей на долгое время. Влияние киевской схоластики отразилось во многом и на них, – это заметно в стремлении пускаться в символизм. Так, напр., в своей проповеди на Вербное Воскресение Дмитрий задает вопрос: зачем Христос въехал в Иерусалим, сидя на осле? – и выводит, что это совершилось по подобию осла с грешником.<sup>181</sup> В другой проповеди он приглашает все деревья преклонить верхи свои пред терном и деревьям дает символизацию святых: финик – это праведник; маслина – учителя церковные; виноград – это вообще люди, жительствующие по Бозе; а терн знаменует страдание... Подобно киевским проповедникам, он приводит в своих проповедях разные анекдоты из древней истории и басни, которым простодушно верит; например, рассказывая известную басню о птице Фениксе, которая, проживши одним воздухом, без пищи и питья, пятьсот лет, сама себя сжигает, чтобы из ее пепла образовался зародыш новой птицы – он допускает

---

<sup>181</sup> «Ленив – осел, ленив и грешник: многим биением едва убедиши осла в ярем, а развращенного грешника и наказаньями многими неудобь обратити можеша ко исправлению: осел, аще и биемый, не скоро грядет, в пути едва волочится, а бегати скоро никогда же весть: и грешник не спешит ко спасению, аще иногда и биемый бывает различными от Бога пощеньми...»

действительное существование такой птицы, живущей будто бы в Аравии и Индии... Или, напр., говоря о Дельфийском оракуле, он готов его прорицание признать истинным.<sup>182</sup> Но если Димитрий во многих чертах своих проповедей и в схоластическом построении многих из них отдал дань тому кругу, в котором воспитан, зато проповеди его стоят гораздо выше проповедей всех его предшественников настолько, насколько они были плодом не упражнения на заданную тему, а истинного вдохновения, которым была преисполнена даровитая и любящая натура проповедника. Проповеди Димитрия отличаются живостью образов и в особенности глубиной чувства: в последнем едва ли кто из русских проповедников и после Димитрия превосходил его. Они писаны на языке церковнославянском, с примесью русской речи. Такой язык даже в то время, когда эти проповеди писались, был слишком книжным и удаленным от обыкновенного разговорного языка. В последующие времена при дальнейшем развитии литературного языка он казался устарелым, а между тем проповеди Димитрия долго читались с большою охотою, чем сочинения других, более новых проповедников. Проповеди его имеют ту замечательную особенность, что при книжном языке, при несвойственных русской речи оборотах они отличаются ясностью и как-то легко читаются. Некоторые из проповедей Димитрия, прочитанные в церкви, и теперь могут произвести то же потрясающее впечатление на слушателей. Такова между прочим его превосходная проповедь на день жен мироносиц, замечательная и тем, что в ней встречаем применительность к своему времени, чего у Димитрия вообще мало. Проповедник припоминает слова, произнесенные Ангелом к женам мироносицам при гробе воскресшего Спасителя: «Возста, несть zde!» «Где же Христос по своем воскресении? Конечно везде, как Бог, но не везде своею благодатью, и вот проповедник ищет его. Не в храмах ли он, воздвигнутых в его честь? Нет, его дом святой сделался разбойничьим вертепом. Соберутся люди в церковь, будто на молитву, а между тем празднословят о купле, о войне, о пиршествах, осуждают других, ругаются над ближними, разбивают хульными словами их доброе имя; иные, стоя в храме, будто и молятся устами, а в уме своем помышляют о семье, о богатстве, о сундуках, о деньгах, иной дремлет, стоя в церкви, а иной помышляет о воровстве, убийстве, прелюбодеянии или замышляет месть своему ближнему. Случается вдобавок, что духовные лица пьяные бранятся между собою, сквернословят и дерутся в алтаре. Нет, не храм это божий, а вертеп разбойников: благодать Божия отгоняется от оскверненного св. места, как пчела, гонимая дымом. Некогда Господь бичом от вервий изгнал продающих и купующих из церкви. А что, если бы он теперь видимо пришел в святой свой храм с этим бичом? Но, нет Господи, уже то время прошло, когда ты изгонял бесчинников из храма, ныне наше окаянное время настало; уже мы тебя изгоняем; теперь можно сказать о храме Господнем: несть zde Бога, был, да пошел прочь. Возста, несть zde...» Но ведь писание учит, что всякий человек есть храм Божий. Стало быть, во всяком человеке можно искать Христа. Но что же? «Многие, – говорит Димитрий, – крещены и просвещены истинною верою, но мало таких, в которых бы Господь обитал, как в своем храме: и вор крещен, и тать, и разбойник, и прелюбодей, и всякий злодей просвещен правоверием, но Христа в нем не спрашивай: несть zde. Разве давно когда-то был Христос в этом воре в младенческие годы, а когда он пришел в возраст, отошел от него Христос! Возста, несть zde! Иной на вид кажется добродетельным, благочестивым, он богомолец, постник, нищелюбец, подвижник... Но все это лицемерие... Не ищи в нем Христа. Несть zde! Трудно сыскать драгоценный жемчуг в морской глубине, золото, серебро в недрах земли; а еще труднее – Христа, обитающего в людях. Многие из нас только по имени христиане, а живут по-скотски, по-свински. Крестом Христовым ограждаемся, а Христа на кресте распинаем своими мерзкими делами...» Проповедник начинает искать Христа в людях разных званий. «Посмотрим, – говорит он, – на духовного сановника и спросим его: с каким намерением и желанием достиг ты своего сана? Ради славы и чести Божией или для своей славы и чести? Ради ли приобретения душ человеческих во спасение или для приобретения

---

<sup>182</sup> «Знать, по повелению Божию, в научение человеком, паче естества своего, камень проглаголал чудесне...»

собственных богатств? Поистине, не один бы нашелся, который достиг этого сана не для пользы людей, а для своей корысти. Не служить пришел спасению человеческих душ, а для того, чтобы ему служили подначальные...»<sup>183</sup> «Посмотрим, – продолжает он, – на низшие духовные власти, на иереев и дьяконов, и спросим каждого: что тебя привело в священный чин? Желание ли спасти себя и иных? Нет, ты пошел сюда для того, чтобы прокормить себя, жену и детей. Поискал Иисуса не для Иисуса, но для хлеба куска. Иной, взявши ключ разума, и сам не входит и входящих не пускает, а иной и ключа разума не брал. Сам ничего не понимает: слепец слепцов водит, и купно в яму впадают. Не скоро здесь сыщешь Христа: несть zde! Может быть, в монастырях поискать Христа? Но и в них все испортилось. Ничего не стало... Не в народе ли поискать Христа? Но где же более воровства, как не в народе? Если есть в народе какие-нибудь добрые люди, так и те за своими делами и утеснениями забыли Бога и от молитвы отступили. Не в людях ли великих, боярах и судиях искать Христа? Но к ним нет доступа. Скажут: не пора, иным временем придешь; да незачем и ходить к ним. В них едва ли когда и бывал Христос: в наши злые времена и правда скудна и милосердия нет; а где ни правды, ни милосердия, там не ищи Христа: несть zde!

Где же обрести его? Придется сетовать с Магдалиною, говорящую: «Взяша Господа моего от гроба и не вем, где положиша его». Грехи наши взяли от нас Господа нашего и не знаем, где искать его. Иной кто-нибудь скажет: Господь со мною и я с ним, я верую в него, молюсь ему и поклоняюсь ему. А что из того, что ты поклоняешься? Поклонялись ему и те, которые во время его вольного страдания прегибали перед ним колена, а потом били по голове тростью. Ты кланяешься Христу и бьешь Христа, потому что озлобляешь и мучишь своего ближнего, насилуешь его и грабишь, отнимаешь у него неправильно достояние; ты молишься Христу и плюешь ему в лицо, испуская из уст твоих скверные слова, укоряя и осуждая своего ближнего...»

В этой проповеди Димитрий задел и раскольников. «Наша церковь так умалилась от раскола, что с трудом можно найти истинного сына церкви: чуть не в каждом городе выдумывается новая, особая вера. Простые мужики и бабы догматизуют о сложении трех перстов, да о том, какой крест неправый и новый, а иные хотя и остаются в церкви, но притворно: у них нет Христа, нет Бога. Несть zde!..»

Кроме множества проповедей, более или менее талантливо написанных, Димитрий оставил по себе много благочестивых размышлений и наставлений<sup>184</sup>, написал катехизис в вопросах и ответах, «Зерцало православного исповедания веры», «Летопись» – священная история с нравоучительными размышлениями; сочинение неоконченное.

По значению для истории своего века самое важнейшее сочинение Димитрия есть бесспорно «Розыск о брынской вере» (брынскою назвал он раскольничью веру оттого, что раскольники гнездились в Брянских или Брынских лесах), разделенный на три части: 1) о раскольничьей вере, 2) о раскольничьем учении и 3) о раскольничьих делах. В первой части, доказавши несправедливость раскольничьих обвинений на православную церковь, Димитрий обличает раскольничьих учителей в том, что они по своему невежеству писали так, что из их слов невольно выходят еретические мнения. Замечательно, что раскол во времена Димитрия раздробился до того, что насчитывали до 22 толков. Во второй части «Розыска» автор критически доказывает ложность разных учений. Главное зло, по мнению Димитрия, в том, что раскольники «чуть только умеют читать и писать, тотчас считают себя великими богословами и учителями веры». Димитрий подробно распространяется о брадобритии, доказывает, что борода не имеет никакого значения в деле религии, и даже те правила, какие существовали о небритии бороды, считает происходящими от времен господства иконоборства. Димитрий отвергает раскольничьи бредни об антихристе, о приближении

<sup>183</sup> При этом, как бы боясь раздражить духовные власти, он делает оговорку: «Простите меня, превысочайшие духовные; я не о всех говорю, а только о некоторых и в том числе о себе».

<sup>184</sup> Напр.: «Врачевство Духовное», «Внутренний человек в клети сердца своего уединен», «Боговдохновенное наставление христианское», «Апология во утоление печали человека»; несколько размышлений под разными названиями, относящимися к страстям Христовым и пр.

последних времен, когда храмы должны сделаться хлевами и истинные христиане будут спасаться в пустынях, доказывает неправильное применение раскольниками слов Св. Писания о нерукотворенных храмах, которые раскольники приводили для того, чтобы не ходить в церковь. Димитрий вооружается при этом против иконоборцев и отвергающих поклонение св. мощам и, по-видимому, имеет здесь в виду уже не старообрядцев, а таких отщепенцев от церкви, которые не стояли подобно старообрядцам за букву, а, напротив, думали оторваться от буквы. Отщепенцы этого рода, как оказывается, не переставали существовать в России с XVI века, а может быть, и с более раннего времени. Таким образом, мы узнаем, что в Ростове один посадский человек по имени Трофим, призванный Димитрием, по доносу одного попа, не только не стал кланяться иконам, но начал приводить против иконопоклонения такие доводы, которые обыкновенно приводились лютеранами и кальвинистами. Подобное говорит Димитрий и относительно поклонения мощам: «Я слышал недавно об одном лжеучителе и развратителе людей Божиих, который тайно учил не почитать мощей». В опровержение таких учений, противных православной церкви, Димитрий в своем «Розыске» подробно распространяется о законности почитания того и другого. Замечательно, что Димитрий встречал таких раскольников, которые историю евангельскую считали только притчею, а не действительно происходившим событием, и всему хотели давать только аллегорическое значение: «Никогда не происходило того, – говорили они, – чтобы Христос пятью хлебами и двумя рыбами накормил пять тысяч народа в пустыне. Это одна притча. Пустыня – это жилище язычников, к которым Христос пришел, оставивши иудеев. Пять хлебов – пять чувств, две рыбы – две книги: Евангелие и Апостол. Лазарево воскрешение не было на деле; это одна притча. Болящий Лазарь – это ум, побеждаемый немощью человеческою; смерть Лазаря – грехи; сестры Лазаревы, Марфа – плоть, Мария – душа; гроб – житейские заботы; камень на гробе – сердечная окаменелость; воскресение Лазарево – раскаяние во грехах. Вход Христа в Иерусалим тоже одна притча. Ослица – жидовский род; жеребенок – язычники; Христос оставляет жидов и переходит к язычникам и пр». – «И другие чудесные Христовы деяния, – говорит Димитрий, – описанные в евангельской истории, безумные раскольничьи мудрецы считают притчею, а не действительными событиями; они рассеивают между простым народом свои плевелы и облыгают евангельскую повесть». Все это едва ли может относиться к старообрядчеству, а напротив, свидетельствует, что рядом со старообрядством развивались в русском народе гораздо ранее возникшие рациональные умствования, приведшие к явлению таких сект, как молокане, духоборцы и пр.

Третья часть «Розыска» в особенности замечательна тем, что в ней собраны разные известия из истории раскола и, между прочим, о раскольничьих самосожжениях. Некоторые события были известны Димитрию ближайшим образом. «Доносил мне, – пишет Димитрий, – один старый иеромонах Игнатий, что в Пошехонском уезде, где он был прежде попом, сожглось разом 1920 чел., по научению боярского крестьянина Ивана Десятины. Сожигатели устраивают в лесах большие избы и засадят в них душ по сту, по двести, а маленьким детям прибьют гвоздями одежду к лавке, на которой их усадят; потом обложат избу соломой, хворостом и зажгут. Другая подобная страшная секта называется морильщики; сожигатели подговаривают людей к самосожжению, а морильщики проповедуют такое учение: Какая польза оставаться в этой жизни? Веры правой на земле уже нет. Отцов духовных нет. Архиереи и священники – волки, церкви – хлевы; антихрист уже царствует в мире; страшный суд наступает. Кто хочет истинно спастись, тот должен подражать мученикам и исповедникам и скончаться от голода и жажды, чтобы, избавившись от вечных мук, воцариться со Христом. Пострадаем же здесь недолго, чтобы не приобщиться к тем, которые, оставивши истинную веру, гонят и мучат нас за нее. Есть у этих морильщиков в лесах избы с маленькими дверцами, а иногда и вовсе без дверей, и землянки; уговорят простаков и засадят иногда одного, а иногда двух или трех и более, на голодную смерть. Бедняки посидят два-три дня, потом кричат, умоляют, чтобы их выпустили, но никто их не слушает; они в безумии бросаются друг на друга, и кто кого одолеет, тот того

загрызает».

Во времена Димитрия существовало главное разветвление раскола на поповщину и беспоповщину: поповщина – последователи Аввакума; они принимали только тех священников, которые или были посвящены до исправления книг, или, будучи священниками, отвергались в поповщине православной церкви; перекрещивали тех, которые к ним приставали; беспоповщина – уже и тогда разделявшаяся на разные оттенки (волосатовщина, андреевщина, иларионовщина, стефановщина, козминищина, серапионовщина и пр.). Все беспоповцы соглашались в том, что не считали возможным какое-нибудь священство на земле после исправления книг, предоставляя мирянам самим совершать такие обряды и богослужения, какие по кормчей позволялись в крайнем случае мирским лицам. Они отвергали брак и учили, что лучше жить без венчанья, чем венчаться по-еретически. Из них-то 1 являлись сожигатели. Замечательным толком по своей уродливости является так называемая христовщина, возникшая на Оке в селе Павлове-Перевозе: некто назвал себя Христом, подобрал красивую девицу из села Ландюха, назвал ее Богородицею и ходил с нею по селам и деревням. Один монах Пахомий видел его и рассказывал Димитрию, как в селе Работки на Волге, сорок верст ниже Нижнего-Новгорода, собралось множество народа в пустой и ветхой церкви. Мнимый Христос вышел из алтаря к людям; на голове у него было обверчено что-то наподобие венца, как пишут на иконах, а к венцу прицеплены клочки бумаги с изображением херувимов («а быть может, – замечает простодушно Димитрий, – это были бесы»). Люди падали перед ним на землю и вопили: «Господи! помилуй нас! Создатель наш, помилуй!» «Недавно, – говорит далее Димитрий, – появились какие-то *рогожники* или *рубщицники*, шатавшиеся по миру в рогожах и выдававшие себя за святых... Наконец, – замечает Димитрий, – есть такие толки, которые не пристаю к ни к поповщине, ни к беспоповщине и не принимают никакого крещения; живут без венчания и чужды христианства: какое уже там христианство, когда крещения нет!» Кроме них, по словам Димитрия, существовали еще и субботники, постившиеся в субботу. Димитрий приводит, как догадку, что это возобновление секты жидовствующих, открытых в Новгороде при великом князе Иване Васильевиче.

«Знайτε, правоверные, – говорит Димитрий в заключении „Розыска“, – что всякий, ведущий дружбу с раскольниками и дающий им подавание, есть враг самому Христу... Сын, любящий врага отца своего, не любит самого отца и за то недостоин, чтобы отец любил его. Так и христианин, если любит врагов Христовых, раскольников и еретиков, то значит не любит истинно Христа и сам Христос его не любит... Если ты Христа истинно любишь, удаляйся от тех, которые хулят церковь, лают на нее, как псы, воют, как волки и на части терзают ее...»

По свидетельству современников, Димитрий писал и драматические сочинения, заимствуя сюжеты из священной истории. Ему приписывают шесть драм, из которых издана (Лет. рус. лит, т. IV) так называемая «Рождественская драма или комедия». Как кажется, она более прочих была распространена и, вообще, может служить образчиком рождественских виршей в форме действий и разговоров. Здесь перемешаны символические олицетворения разных отвлеченных понятий с евангельскими событиями Рождества Иисуса Христа. Самой драме предшествуют антипролог и пролог. В антипрологе Человеческая натура скорбит о своем падении, о затемнении своих душевных способностей, об ожидающей ее смерти. Надежда утешает ее, обещая восстановление золотого века, а с Надеждою вместе являются Любовь, Кротость, Незлобие, Радость; но против Надежды восстает Рассуждение и говорит, что Человеческую Натуру ожидает не золотой, а железный век, и вместе с Рассуждением заговорили Брань, Ненависть, Ярость, Злоба, Плач. Натура в отчаянии призывает Смерть. Является смерть и величается своим владычеством над родом человеческим. Смерть хочет воссесть на престол, но Жизнь не допускает ее, обещает Человеческой натуре бессмертие.<sup>185</sup> Самая драма начинается также символическим разговором Земли с Небом. Земля скорбит о

<sup>185</sup> Короткий пролог заключается в одном рассуждении о кратковременности.

своем горе: «Увы! Увы! за грех Адама и Евы я осуждена производить волчец, вместо прекрасных цветов. Я была прекрасна, доброплодна, рождала не оранная, а теперя я тощая, полита потом. Никогда не возвратиться мне к первому состоянию, не освятиться по проклятию». – «Не сетуй, Земля, – говорит ей Небо, – тебя ожидает честь больше прежней». Милость Божия подтверждает обещание Неба.

Возвещается Земле пришествие Спасителя, раздаётся ангельское пение: «Слава вышних Богу», а между тем из ада является Вражда, призывает Вулкана и циклопов: «Куйте, – восклицает Вражда, – копыя, стрелы, цепи, сотворю пролитие крови...»

Затем драма переходит в мир действительности. Вот три пастыря: двое ушли за покупками в город, третий, Борис, остался при овцах и беспокоится за товарищей. Они приходят. Один из них горбатый старичок, кривой на один глаз, по имени Аврам; другой молоденький Афоня. Аврам сознаётся, что зашел на «кружало за алтынец выпить винишка». Борис спрашивает его: «А мне-то не купил?»

Аврам:

Никак купил и тебе: как ведь не купить?  
– Малец, вынь ми с кошеля. Не зволишь ли испить?

Борис:

Ну-тка сядьте ж и сами пораз напьемся.  
– Хлеба купили ли?..

Афоня:

Есть.

Борис:

Гораздо подкрепимся.

Афоня:

Вот тебе хлеб, вот тебе соль, вот и калачи!  
Кушай, старичок, здоров, а нас не ворчи.

Аврам:

Да кушаймо ж поскорее, пора идти к стаду,  
Чтоб иногда какой волк не влез в ограду.

В это время раздаётся хор ангелов. Пастухи с кусками во рту смотрят друг на друга и не понимают, что делается вокруг них. Наконец, Афоня глядит на небо и говорит, что видит высоко птичек; но Аврам, подняв голову к небу, говорит: «Брат, кажется, робятка стоят невелички?»

На это Афоня говорит:

Сударь! и хто видал робята с крылами?  
Птицы-то залетели меж облаками?..

Пастыри успокоились, продолжали свой ужин, собираясь идти к овцам, как к ним является ангел и возвещает им, что близ Вифлеема, в вертепе, между волом и ослом, в яслях



лежит новорожденный Спаситель человеческого рода, презнаменитый царь. Но Аврам говорит ему:

Чаю тебе, государь, к князям послали,  
Штоб они великому царю поклон дали,  
Не к нам, нищим пастухам. Что, ты заблудил?  
Или не вслухал? вестник к нам такой не ходил!

Но ангел объявил им, что именно их, нищих пастухов, призывает к себе царь царей, пастырь пастырей. «Государь, – говорит ему Борис, – надобно же что-нибудь нести ему на поклон, чтоб не велел, как наш князь, выпроводить вон в шею!»

Ангел отвечает ему: «Господь не требует вашего добра, не хочет себе даров. Он всем дарит! Несите ему в дар чистое сердце».

Ангел стал невидим, пастыри одевают новые лапти и чулки и идут к вертепу.  
Вот как выражают пастыри свое впечатление при виде младенца Христа:

...«И подушечки нету, одеяльца нету,  
Чим бы тебе нашему согреться свету!  
На небе, як сказуют, в тебе полат много;  
А здесь, что в вертепишку лежиши убого,  
В яслех, на остром сене, между буи скоты,  
Нища себя сотворив, всем даяй щедроты?  
Это нам деревенским zde лежать прилично,  
А тебе, Спасителю, этак необычно...»

За поклонением пастырей следует история поклонения волхвов. Олицетворенное «Любопытство Звездочетское» видит на небе новую звезду и не может понять: что это за звезда? Оно пересчитывает все известные ему звезды и созвездия. Новая звезда ни к чему не подходит. Любопытство вызывает из гроба мудрого Валаама. Валаам возвещает, что это та самая звезда, о которой он некогда пророчествовал, – звезда, долженствующая явиться в последние века от Иакова. Любопытство говорит, что хочет увериться в истине слов его и пошлет за этой звездой волхвов; затем закрывает гроб Валаама, произнося: «Почивай с миром!»

Сцена изменяется. Ирод на престоле, окруженный вельможами, восхваляет их верную службу, а они прославляют его величие. В упоении счастья, Ирод приказывает потешать себя песнями. Певцы воспевают Аполлона и муз. В это время приходит посланник от трех волхвов, названных тремя царями, и ломанным языком<sup>186</sup> просит пропустить их для поклонения новому царю иудейскому. Ирод приходит в ярость: кто смеет называться царем иудейским, когда он еще жив. Вельможи советуют ему притвориться, принять милостиво царей и выведать от них: что это за загадочный царь? Ирод соглашается с ними. Перед ним три волхва – цари рассказывают о явлении звезды, о дарах, которые они несут новорожденному. Ирод отпускает их с тем, чтоб они зашли к нему на возвратном пути, и он сам тогда пойдет поклониться новому царю. Следует сцена поклонения волхвов. Затем – 8-е явление пьесы: Ирод, не дождавшись волхвов, понял, что они его обманули, собирает раввинов, которые объяснили ему, что, по пророчествам, в Вифлееме должен родиться муж, который будет обладать всеми народами. Тогда, прогнавши раввинов, Ирод обращается за советом к своим сенаторам, и один из сенаторов подает ему мысль перебить в вифлеемской земле всех младенцев до двухлетнего возраста. 9-е, 10-е и 11-е явления представляют избивание младенцев и «длинный плач и рыдание подобием плачевной Рахили». В 12-м явлении Ироду приносят головы убитых детей. Ирод в восторге приказывает певцам петь

<sup>186</sup> Твою землю Вифлеем пошел, поклонился Нову царю иудейску, да дом воротился и проч.

торжественные песни, плескать в длани, а сам в упоении засыпает на своем троне.

Между тем слышится голос невинности. Это голос крови младенцев, вопиющей к Богу об отомщении, голос проклятия кровопийце: «Отвори несытую змеиную гортань свою, пей кровь, которой ты жаждешь... Пей пролитые слезы матерей, пей выплаканные с ними глаза, смотревшие на лютую десницу воинов, избивавших нас, агнцев, для твоей трапезы! Из крови нашей ты уготовил нам порфиру, упестрил ее жемчугом материнских слез». На голос невинности Истина произносит грозный приговор вечной муки тирану.

Ирод просыпается от сна и ощущает страшную болезнь в теле. Призывают врача, а между тем ужасный смрад распространяется от больного. «Готовьте ему гробовое ложе, – говорит врач, – асами бегите; смрад, исходящий от него, смертелен». Все покидают Ирода. Тиран умирает в страшных муках.

16-е явление: Ирод в аду. «О какие муки! – говорит Ирод. – Горю, горю. Зачем я рождался на свет! Проклят родитель! Проклята мать! Проклят день, час, когда я был рожден! Прокляты дни, часы, годы, прожитые мной! Прокляты вельможи, советовавшие мне убийство! Прокляты воины, не пощадившие незлобных младенцев! Но паче всех проклят я, терпящий здесь муку. Ах мука великая, мука бесконечная, мука во веки веков! Смотрите на меня гордые и не гордитесь, а то будете со мной в этой пропасти!...»

Следует разговор Смерти с Жизнью. «Торжествую, – говорит Смерть, – я победила, напоила кровью Вифлеемскую землю, покосила, как траву под росой, четырнадцать тысяч и, наконец, повергла царя Ирода в гортань Цербера! Я властвую над человеком; я сильна и буду обладать им во все веки. Сяду на престоле. Возложу венец на главу мою...»

«Не торжествуй, – говорит ей Жизнь, – разве меня, Жизни, нет на земле? Не умрет естество человеческое, во веки живо будет! Я сяду на престоле навеки и возведу с собой человеческое естество. Славой и честью его увенчаю...»

Человеческое Естество преклоняется перед Жизнью, и Жизнь возлагает на него венец.

В последнем, 18-м явлении (коротком), Крепость Божия произносит нравоучение о каре злодеев и о награде кротким сердцем, а затем в эпилоге ко всем слушателям обращается поздравление и просьба простить «согрешивших в действе» (несовершенство исполнения).

Несмотря на схоластическое построение этой драмы, нельзя не признать, при сравнении с произведениями Симеона Полоцкого и других, за ее автором несомненное поэтическое дарование.

## **Выпуск шестой: XVIII столетие**

### **Глава 15 Петр Великий**

#### **I. Детство и юность Петра, до начала шведской войны**

Петр Великий родился в Москве 30-го мая 1672 года, ночью, и был крещен 29-го июня того же года в Чудовом монастыре. Его появление на свет было приветствуемо родителем с особенною радостью. Три дня сряду служили благодарственные молебны, стреляли из пушек. Благодушный царь, по своему обычаю, жаловал своих ближних людей, прощал казенные долги, отменял и смягчал наказание преступникам, а после крестин угощал дважды в своем дворце сановников и выборных людей из Москвы и других городов, приезжавших с дарами. Даже в народных великорусских песнях осталось воспоминание о всеобщей радости и торжестве при рождении царевича, которому впоследствии суждено было стать первым русским императором. Быть может, царь Алексей Михайлович придавал такое значение рождению младшего сына потому, что из оставшихся у него двух сыновей от первой жены один был больной, другой малоумный, и сам царь, будучи еще не стар, мог дожидаться, что

новорожденный сын от второй жены, возрастая, покажет большие способности, чем другие его сыновья.

Первое воспитание царевича началось по обычному придворному чину, но как только дитя вступило в тот возраст, когда его стали занимать игры, в нем начала проявляться редкая восприимчивость, живость и склонность к забавам, носившим военный характер. Любимые игрушки, на которые он бросался, были: знамена, топоры, пистолеты, карабины, сабли, барабаны. Царевича, по обычаю, окружили так называемыми «робятками» из ровесников, набранных из детей знатных родов; они составляли около него полк. Петр, будучи трех лет от роду, играл с ними в «воинское дело», а обучением и дисциплиной этого детского полка, по царскому поручению, назначен был иноземец Павел Гаврилович Менезиус. Родом он был шотландец, искатель приключений; в молодости шатался он по Европе, убил в Польше на дуэли мужа одной пани, с которой был в связи, был взят в плен русскими, обласкан царем Алексеем Михайловичем и женился на вдове известного Марселиса, основателя железных заводов в России. Царь Алексей Михайлович любил Менезиуса, человека ловкого, бывалого, говорившего на многих языках, и посылал его по важным дипломатическим сношениям послом к папе. Менезиус получил свое место при царевиче по возвращении из Рима. Мы не знаем подробностей обращения Менезиуса с царевичем, но ему принадлежит зародыш той горячей любви к иноземщине, которая начала проявляться у восприимчивого Петра еще с детских лет.

По смерти Алексея Михайловича, со ссылкой Матвеева, Менезиус был отдален от Петра и послан в Смоленск, но потехи, имевшие военный характер, продолжались; товарищи детских игр вырастали вместе с царевичем, и с годами их потехи принимали прямо характер воинского обучения: деревянные ружья и пушки заменялись настоящими; царевич строил с ними городки, брал их штурмом, возводил окопы, упражнялся в военных приемах. Между тем его начали учить грамоте. Учителем был ему назначен, 12 марта 1677 года, дьяк Никита Моисеевич Зотов. Петр учился быстро читать и писать, выказывая необычайную понятливость. Зотов знакомил его с русской историей, рассказывая о деяниях Владимира Св., Александра Невского, царя Ивана Грозного и Алексея Михайловича, объяснял ему, сколько сам умел, какие есть на свете разные науки, полезные для государей. Расширению знаний царевича содействовали, бывшие в то время в ходу, потешные книги и картинки, составляемые с целью забавы, но заключающие в себе много разнообразных предметов, с которыми дитя могло знакомиться, например, знаменитые здания, города, корабли, исторические события, а также астрономические явления. С жадностью бросался царевич на все новое, все желал узнать и тогда уже порывался видеть в действительности то, о чем ему сообщали книги и картинки; сам хотел созидать города, прекрасные здания, брать крепости, водить полки и плавать по морю. Обыкновенное местопребывание Петра, вместе с матерью, было село Преображенское.

Десяти лет от роду царевич был вырван судьбою из своего уединения: его посадили на престол; а вслед за тем восприимчивый отрок был свидетелем кровавых сцен, убийства дяди и Матвеева, унижения матери и всех ее родных, наконец, должен был по воле подученной стрелецкой толпы разделить с полоумным братом венец, возложенный на него выбором всей русской земли: правление перешло в руки сестры, не терпевшей его матери. В эти ужасные минуты молодой Петр показал необыкновенную для его лет твердость и бесстрашие. Но эти минуты оказали печальное влияние на его характер: они, без сомнения, положили в эту гениальную, гигантскую натуру зародыш жестокости, свирепости.

Во время правления Софии Петр продолжал проживать с матерью в Преображенском селе. Его воспитание было совершенно заброшено. Учителя, Никиту Моисеевича Зотова, от него удалили: другого ему не дали; он проводил время в потехах, окруженный ровесниками без всяких дельных занятий: такая жизнь, конечно, испортила бы и изуродовала всякую другую натуру, менее даровитую. На Петра она положила только тот отпечаток, что он, как сам после сознавался, не получил в отроческих годах тех сведений, которые необходимы для прочного образования. Через это небрежение Петру приходилось учиться многому уже в

зрелом возрасте. Сверх того, проведенное таким образом отрочество лишило его той выдержки характера в обращении с людьми, которая составляет признак образованного человека. Петр с отроческих лет усвоил грубые привычки окружавшего его общества, крайнюю несдержанность, безобразный разгул.

Однако необыкновенно даровитая натура не могла измельчать в том отсутствии всяких умственных интересов, на которое она была осуждена; собственною силою пробила она себе выход. Петра ничему не учили, но не могли убить в нем врожденной любознательности. Впоследствии Петр сам сообщал о тех случаях, которые направили его на избранную дорогу. Будучи четырнадцати лет от роду, он услышал от князя Якова Долгорукого, что у последнего был такой инструмент, «которым можно брать дистанции или расстояния, не доходя до того места». Молодой царь пожелал видеть инструмент, но Долгорукий ответил, что он украден. Царь поручил купить себе такой инструмент во Франции, куда Долгорукий ехал послом. В 1688 году Долгорукий привез из Франции астролябию и готовальню с математическими инструментами. Вокруг царя не было ни одного человека, кто бы имел понятие, что это такое. Царь обратился к немцу доктору, но и тот не умел владеть инструментами, а отыскал голландца Франца Тиммермана, который объяснил царю значение привезенных вещей. Царь приблизил к себе Тиммермана и начал учиться у него арифметике, геометрии и фортификации. Учитель был небольшой знаток своего дела, но ему достаточно было сделать Петру указания: талантливый ученик сам до всего добирался. До какой степени предшествовавшее воспитание Петра было запущено, показывает то, что, учась на шестнадцатом году четырем правилам арифметики, он не умел правильно написать ни одной строки и даже не знал, как отделить одно слово от другого, а писал три-четыре слова вместе, с беспрестанными описками и недописками.

Спустя несколько времени, Петр в селе Измайлове, на Льяном дворе, гуляя по амбарам, рассматривал старые вещи, принадлежавшие двоюродному брату царя Михаила Федоровича, Никите Ивановичу Романову, отличавшемуся в свое время замечательною любознательностью. Здесь он увидел иностранное судно и спросил о нем Франца Тиммермана. Тот мог сказать ему только то, что это английский бот, который употребляется при кораблях и имеет то преимущество перед русскими судами, что ходит на парусах не только за ветром, но и против ветра. Петр спросил: есть ли такой человек, который бы починил и показал ему ход судна? Тиммерман сказал, что есть такой человек, и нашел Петру голландца Христиана Бранта (Карштен Бранта, как называет его Петр). Царь Алексей Михайлович задумал построить корабль и спустить в Астрахани; для этого призваны были из Голландии мастера. Построенный и спущенный в Астрахани корабль был уничтожен Стенькою Разиным. Мастеровые рассеялись, а один из них – корабельный плотник, этот самый Карштен Брант, проживал в Москве и кормился столярною работою.

Брант, по приказанию царя, починил бот, приделал мачту и паруса и в присутствии Петра лавировал на реке Яузе. Петр дивился такому искусству, и сам несколько раз вместе с Брантом повторял этот опыт, но не всегда удачно: бот с трудом поворачивался и упирался в берега, потому что русло было слишком узко. Петр приказал перевезти бот на Просяной пруд в селе Измайлове, но и там плавание оказалось не совсем удобным. Тогда Петр узнал, что озеро под Переяславлем будет для его цели подходящим. Оно имело в окружности тридцать верст, а глубина его достигала шести сажений. Петр выпросился у матери на богомолье к Троице, съездил в Переяславль, осмотрел озеро, и оно очень ему понравилось. По возвращении в Москву он упросил мать отпустить его снова в Переяславль, чтобы там заводить суда. Царица не могла отказать горячо любимому сыну, хотя сильно была против таких затей из боязни за его жизнь. Петр, вместе с Брантом, заложил верфь при устье реки Трубежа, впадающего в Переяславльское озеро, и тем положил начало своему кораблестроению.

В то же время потехи Петра с ровесниками начинали принимать нешуточный характер. Петр набирал в число потешных охотников всякого звания, и в 1687 году из них составилось два правильных полка, названных по имени двух царских подмосковных сел:

Преображенским и Семеновским. Нравилось Петру плавание на судах по воде; любил он и военные упражнения, и с помощью потешных соорудил он на Яузе земляную крепость с орудиями и дал ей иностранное название Пресбурга.

София и ее сторонники старались представить эти потехи молодого царя сумасбродными дурачествами; сама мать Наталья Кирилловна не видела в них ничего, кроме забавы пылкого юноши, и думала остепенить его женитьбою: она нашла ему невесту, молодую и красивую девицу Евдокию Лопухину. Отец ее, окольный Ларион, был переименован в Федора. Свадьба совершилась 27 января 1689 года. Петр не имел никакого сердечного влечения к своей супруге и женился из угождения матери, женился так, как женилась большая часть людей того времени. Мать надеялась, что молодой человек, женившись, начнет вести ту жизнь, которая считалась приличною для царя и важных особ. Но Петр вскоре после женитьбы, как только начали вскрываться реки, поскакал в Переяславль и там занялся постройкою судов. Мать хотела отвлечь его и требовала его возвращения в Москву под предлогом панихиды по царе Федоре: «Изволила мне приказывать быть к Москве, – писал Петр матери, – и я быть готов, только, ей-ей, дело есть». Мать настойчиво требовала, чтоб он ехал в столицу. Петр повиновался, приехал в Москву, но через месяц опять ускакал на Переяславльское озеро. Любя свою мать, он в письмах своих делился с нею удовольствием, какое испытывал от успеха своего дела. «У нас, – писал он, – все молитвами твоими здорово, и суды удались все зело хороши». Но царица Наталия не понимала порывов своего сына и притом боялась враждебных замыслов Софьи. Она звала его снова в Москву. Молодая супруга также скучала о нем, писала к нему, называла его «своей радостью», «светом», «лапушкой», просила приезжать или позволить ей приехать к нему. Петр, вызванный настоятельными требованиями матери, летом с неохотою вернулся в Москву. Вслед за тем осенью был открыт заговор стрельцов. Петру уже было не до кораблей; спасаясь от явной смерти, он бежал к Троице и оттуда, при помощи русских служилых людей, уничтожил правление Софьи и стал на самом деле самодержавным государем. С этих пор началась его непрерывная самобытная деятельность.

В числе разных иностранцев, приехавших с Гордоном к Петру во время его пребывания у Троицы, был и Франц Яковлевич Лефорт. Он был родом женевец, сын зажиточного гражданина, занимавшегося торговлей. В молодости он отправился в Голландию, оттуда в Данию, учился военному искусству и с датским посланником прибыл в Архангельск искать счастья в Московском государстве. То было еще при Алексее Михайловиче, в 1675 году. Лефорт скоро выучился по-русски, женился в России на иноземке, дочери богатой вдовы Core; подобно другим иноземцам, служил в войске, получая за службу чины, пользовался расположением временщика князя Василия Васильевича Голицына, перед которым ходатайствовал за Лефорта женецкий сенат, но, впрочем, не выдался ничем особенным. Любопытный Петр вообще естественно привязывался к иностранцам, так как от них только мог получать ответы на свои расспросы и так как они более русских могли сочувствовать его страсти к нововведениям, которая в нем уже проявлялась. Но никто из иноземцев до такой степени не понравился Петру, как Лефорт. По свидетельству знавших его лично, это был человек малосведущий, но зато умевший обо всем хорошо говорить, человек веселого нрава и необыкновенно приятный собеседник. В этом качестве, столько сродном племени, к которому принадлежал Лефорт, и заключается причина, почему Петр привязался к этому человеку. Лефорт обладал редким житейским тактом. Пользуясь благосклонностью и привязанностью царя, он никому не вредил, не имел тою высокомерия, которым вообще вооружали против себя русских живущие среди них иностранцы: Лефорт, знакомя Петра своими рассказами с культурным ходом европейской жизни, отнюдь не старался своим влиянием выводить вперед иностранцев перед русскими; напротив, советовал Петру приближать к себе русских, возвышать их, и сам постоянно казался преданным пользе страны, в которой нашел себе новое отечество. Если Лефорт мало имел основательных сведений в военном устройстве и в кораблестроении, зато с жаром и с восторгом говорил об этом перед Петром и располагал Петра к усвоению наружных

признаков иноземного строя. Таким образом, под его влиянием Петр пристрастился к иноземному платью. Рассказывают, что Лефорт сам лично являлся перед Петром то в той, то в другой военной форме, с позволения Петра передел русских солдат в иноземные мундиры, обучал их в глазах царя военным эволюциям и приводил его в восторг. Царь сам нарядился в иноземное военное платье и вздумал пройти всю военную службу, начиная с малых чинов, сам учился всяким приемам военного искусства, и, при необыкновенной своей восприимчивости, скоро приобретал навык владеть огнестрельным оружием, устраивать понтоны, мины, копать шанцы и пр. Вскоре по своем сближении с Лефортом, Петр произвел его в генерал-майоры, устраивал с ним примерные битвы, которые были разом и потехами, и средством обучения. Эти потехи не обходились, однако, даром; на одном из подобных примерных сражений лопнувшая ручная граната опалила лицо царю и ранила многих офицеров. На другом таком сражении, происходившем 4 сентября 1690 года, было много раненых, и сам генерал Гордон, с поврежденной ногой и обожженным лицом после того, пролежал с неделю в постели. На следующий год, осенью, потехи этого рода приняли еще большие размеры. Царь приказал построить близ села Преображенского земляное укрепление, названное им Пресбургом, разделил войска на две половины: одна должна была защищать укрепление, другая взять его. На этой примерной битве было еще более раненых, чем прежде, а один из ближних людей царя, Иван Долгорукий, лишился жизни. За такими потехами следовали шумные пиры. Лефорт по этой части был дорогой человек для царя: никто не умел лучше его устраивать пиры. Он ввел Петра в иноземное общество в немецкой слободе, где царь нашел полную непринужденность обращения, противоположную русской старинной чопорности. Там господствовал самый широкий разгул: пили вино до безобразия, плясали до упаду. Иногда по два, по три дня пировали без усталости, не ложась спать. Женщины участвовали в этих кутежах, придавая им своим присутствием живость и разнообразие. Петр пил без меры, но при своей необычайно крепкой натуре скоро протрезвлялся и принимался с большим жаром за работу, в то время когда другие после подобного пира долго не могли оправиться. Вместе с иноземцами пировали с царем и русские. Пирьы эти происходили главным образом в доме Лефорта, иногда же у Гордона и у близких любимцев царя: Льва Нарышкина, Бориса Голицына, Петра Васильевича Шереметева. Царь со всеми обращался запросто, как равный всем другим собеседник, но иногда какое-нибудь невпопад сказанное слово приводило его в такой гнев, особенно когда его природная горячность усиливалась выпитым вином, что все умолкали и дрожали от страха. Один только Лефорт умел в эти минуты успокоить и развлечь царя. Гнев царя проходил скоро, и он снова делался веселым; кругом снова все веселилось и шумело; на дворе зажигались разноцветные потешные огни, пускались ракеты. В продолжение святок и масленицы, Петр со своей компанией ездил в дома вельмож и богатых купцов славить Христа, везде пил, веселился и получал дары по старому русскому обыкновению. В эти молодые годы своей жизни он положил начало юмористическому учреждению, которое поддерживал всю свою жизнь. Это был так называемый «всешутнейший, всепьянейший и сумасброднейший собор», состоявший из ближних к царю лиц: то была пародия на церковную иерархию. Бывший учитель Петра, Никита Моисеевич Зотов, был назван «всешутейшим патриархом или князь-папою». Князь Федор Ромодановский был назван кесарем, другие придворные получили в насмешку титулы владык равных городов, а сам Петр носил титул протодиакона. Цель этого собора состояла в усердном служении Бахусу и в частом обхождении с крепкими напитками; предаваться пьянству и обжорству на заседаниях этого собора сделалось обычным; способ выражения отличался самым грубым цинизмом.

Разгульная жизнь Петра отразилась и на его семейных отношениях. Лефорт сблизил Петра с семейством Монсов, где было две дочери; Петру сильно приглянулась одна из них – Анна. Умная, кокетливая немка умела привязать его к себе тем наружным лоском обращения, которого недоставало русским женщинам. Петр с этих пор невзлюбил жены своей, чуждался домашнего очага, но принужден был сдерживать себя, пока жива была его мать.

Дело мешалось с бездельем. С лета 1689 года Петр оставил свои переяславльские кораблестроительные работы, хотя в Переяславле мастер Карштен Брант, по царскому приказанию, продолжал строить суда и построил два малых фрегата и три яхты. Царь в это время, между прочим, упражнялся в постройке небольших гребных судов на Москве-реке. В конце лета 1691 года он снова отправился в Переяславль и заложил первый русский военный корабль, поручив постройку его Федору Юрьевичу Ромодановскому, назвавши его адмиралом еще не существовавшего флота. На другой год корабль был готов и спущен на воду в присутствии двух цариц и двора. Усиленные труды и неумеренные кутежи подорвали было здоровье Петра. Он заболел так опасно, что чуть было не умер, и близкие к нему люди собирались на случай его смерти тотчас бежать из России, зная, что София, взявши снова в свои руки правление, не пощадит их. Но сильная натура Петра взяла верх, он выздоровел и с прежним увлечением принялся за свое дело.

Переяславльское озеро было слишком тесно. Петр летом в 1693 году отправился в Архангельск, чтобы видеть море и устройство купеческих кораблей, приходивших в этот единственный русский порт. Царь с большим любопытством осматривал суда, всякие иноземные товары, привозимые из Европы, обо всем расспрашивал и тут же делал соображения о заведении русского флота и расширении торговли. При посредстве сопровождавшего его Лефорта, Петр заказал большой корабль, поручив его снаряжение амстердамскому бургомистру Витцену. Кроме того, начата была постройка двух кораблей в самом Архангельске. Совершивши небольшое плавание по Белому морю – первое морское плавание Петра, – он воротился в Москву осенью.

В январе 1694 года скончалась царица Наталья Кирилловна. Петр жалел и плакал о ней, потому что любил ее; но смерть матери совершенно развязала ему руки. Он с жаром принялся за дело кораблестроения, приказал заранее отправить в Архангельск оружие, порох, снасти, изготовить досчаники для плавания по Двине. 29-го апреля Лефорт дал у себя прощальный пир с музыкою и барабанным боем, но без танцев, по причине недавней семейной потери царя. Вслед за тем царь отправился с четырьмястами ближних людей в Архангельск. Уже плывя по Двине, Петр тешился, называя досчаники флотом, и выдумал для этого флота особый русский флаг: красный, синий и белый, оставшийся до сих пор русским флагом. К величайшему удовольствию Петра, один из строившихся в Архангельске кораблей уже был готов и спущен на Двину 20-го мая. Царь на этом корабле пировал и угощал иностранных мастеров, строивших корабль. 30-го мая царь отправился в Соловки на яхте, названной Св. Петром. На пути сделалась такая страшная буря, что все готовились к смерти и причащались Св. Тайн из рук архиерея, сопровождавшего царя; к счастью, нашелся отважный лоцман, Сумской вези крестьянин Антип Панов. Он вызвался провести судно среди подводных камней в Унскую губу и с успехом исполнил свое дело. Яхта счастливо пристала к Пертоминскому монастырю.

Опасность, испытанная Петром, не только не охладила его, но еще более пристрастила к воде. Благополучное возвращение в Архангельск послужило поводом к веселью на несколько дней. 28-го июня спущен был второй корабль, построенный в Архангельске. Петр опять пировал на радости. 21-го июля прибыл корабль, заказанный в Голландии. Это дало повод еще к большому торжеству, и Петр по этому случаю писал в Москву к Винуису, что у них «Бахус почитается и своими листьями заслоняет хотящим писати пространно». В августе Петр со своими кораблями опять пустился в море. При плохом умении управлять кораблями, царь снова подвергся опасности кораблекрушения, но счастливо избежал его и воротился в Архангельск. С этих пор Петр считал флот свой существующим и назначил адмиралом его своего любимца Лефорта. Вернувшись в Москву, Петр устроил сухопутную военную потеху, примерное сражение при деревне Кожухове. Это была самая громкая и вместе последняя потеха царя. Войско было разделено на две половины: одна – под начальством Федора Ромодановского, другая, неприятельская, под начальством Бутурлина, разыгрывавшего роль польского короля. Здесь, как на театре, изображались все приемы войны: военные советы, переговоры, копанье мин, постройка мостов, засыпание рвов. Много было побитых и

раненых. Петр участвовал в битве в чине бомбардира, под именем Петра Алексеева. Наконец, мнимый польский король был взят в плен, а потом все кончилось веселым пиром, устроенным у генералиссимуса Ромодановского за счет знатнейших купцов. Эта потешная война с походом продолжалась около месяца.

Все эти потехи были, так сказать, детским удовлетворением сильной жажды деятельности и великих подвигов, охватившей душу молодого царя. Не долго он довольствовался игрою в завоевания и кораблестроения: в 1695 году он обратился к действительно важному предприятию. Предшествовавшая история оставила царствованию Петра вопрос с Крымом нерешенным. С XVI века московская Русь вела упорную борьбу с крымскими татарами за обладание громадным южным пространством нынешней России. Русские шаг за шагом подвигались все далее и далее на юг, созидались укрепленные города, около них возникали села и деревни. Народонаселение размножалось; богатая черноземная почва южных земель открывала для России источник таких богатств, о которых нельзя было и помышлять прежним поколениям, поневоле замкнутым в северных тундрах и лесах. Но благосостоянию южных областей продолжали мешать крымские и ногайские татары, хотя уже не так страшные, как в былые времена. Для всякого политического ума было ясно, что движение России на юг необходимо должно было упереться в естественные пределы Черного и Азовского морей и присвоить русскому государству все черноморские берега, населенные тогда татарами, состоявшими под владычеством Турции. Таким образом, впереди для России было неизбежно столкновение с Турцией: оно уже последовало при Алексее Михайловиче, повторилось в правление Софьи и пресеклось только до поры до времени, по неумению найти удобные средства к ведению войны и по недостатку решимости. Петр сразу понял, что в решении вопроса об обладании морем состоит важнейшая политическая задача России того времени, и со свойственной его юношескому возрасту отвагой, не долго размышляя, решил возобновить приостановленное предприятие. В начале 1695 года он приказал объявить поход на Крым. Государство имело в распоряжении сто двадцать тысяч войска, кроме малороссийских полков. Из этого числа тридцать одна тысяча назначена была для взятия Азова, ближайшего приморского города. Половина этого войска была отправлена под начальством Головина и Лефортова водою (из Москвы 30-го апреля) по Москве-реке, Оке и Волге до Царицына, куда войско прибыло 8-го июня; оттуда оно должно было пройти к казачьему городку Паншину, куда велено было собрать продовольствие; для перехода не было заготовлено надлежащего количества лошадей, так что солдаты принуждены были на себе тащить в продолжение трех суток орудия и прочие тяжести. От Паншина войску следовало идти по Дону до Азова. С этим войском шел сам государь в звании бомбардира. Но русские, следуя старинной привычке, плохо исполняли повеления власти: подрядчики, обязавшиеся поставить запасы для войска, взявши за то деньги, не только не поставили запасов в срок, но и самих подрядчиков пришлось отыскивать по разным городам; между прочим, соли они вовсе не поставили. Преодолевая все эти трудности, русское войско, проплыв по Дону, достигло наконец Азова 29-го июня. Другой отряд его, под начальством генерала Гордона, шел до Черкаска сухопутьем: здесь военному начальству приходилось бороться с ленью, непослушанием и невежеством; так, когда нужно было построить мост через Северный Донец, стрельцы, работавшие над мостом, приводили в досаду генерала Гордона, и, вместо трех недель предполагаемого пути из Тамбова до Черкаска, ему пришлось тянуться целых два месяца.

Город Азов взять было нелегко, хотя в нем тогда, кроме жителей, было не более 8000 неприятельского гарнизона, но Азов был обведен очень крепким валом и рвом шириною в семь сажень. За валом внутри была каменная стена, вышиною в две с половиной сажени, а за нею другая стена, за которою находился дом турецкого коменданта, мечеть и помещение для гарнизона. Впереди крепости, на обоих берегах Дона построены были небольшие укрепления, называемые каланчами. Военные действия начаты были генералом Гордоном нападением на одну из каланчей. Турки, находясь там в малом числе, защищались храбро, но под конец не выдержали и покинули каланчу. Затем другая каланча, стоявшая на



противоположной стороне Дона, сдалась. Русские овладели в двух каланчах порядочным количеством боевых и съестных запасов. После того приступили к осаде самого Азова и начали пальбу по крепости. Петр, в звании бомбардира, сам заряжал пушки и стрелял из них бомбами. Но один из иностранных инженеров, голландец Яков Янсен, обласканный царем и поэтому знавший его планы, перебежал к неприятелю и рассказал, что туркам удобно можно сделать вылазку на ставку генерала Лефорта. Турки послали янычар, которые перебили многих сонных стрельцов и нанесли бы русским жестокое поражение, если бы генерал Гордон не успел впору отбить их. Бомбардирование после того продолжалось, но без особенного успеха. Главною причиною было то, что военачальники, не завися друг от друга, действовали самостоятельно, и поэтому в их распоряжениях недоставало необходимого единства. 5-го августа предприняли генеральный штурм крепости, но турки отбили его. В сентябре русские приготовились к новому штурму, а между тем начали вести подкопы, но делали их так неискусно, что когда последовал взрыв, то побито было много своих. Возобновлены были опять попытки к штурму и окончились также неудачно; наконец, 27-го сентября, решено было оставить осаду. Отступление войска сопровождалось печальным обстоятельством: немало людей потонуло в Дону от разлива реки, а когда пришлось войску идти через безлюдную степь до Валуек, первого русского города на южной оконечности русского государства, то множество людей погибло от голода и ранней зимы, захватившей плохо одетое войско.

Первая неудача не повергла Петра в уныние, напротив, только побудила его во что бы то ни стало овладеть Азовом и проложить себе путь к Черному морю. Он увидел необходимость построить на Дону гребной флот, во-первых, для удобного перевоза войска, во-вторых, для действия против турок с моря. Мысль – перенести на Дон свои судостроительные попытки с севера – естественно должна была быть внушена ему прежними событиями: для сношения с донскими казаками и доставки им хлебных запасов давно уже было в обычае строить на Дону и на берегах реки Воронежа плоскодонные суда, называемые стругами, имевшие от пятнадцати до семнадцати сажень в длину и до трех – в ширину. Постройке этих судов способствовали дремучие леса, которые, однако, и в то время чрезвычайно быстро истреблялись от крайне неправильной порубки. Петр выбрал город Воронеж для устройства верфи, отправился туда сам зимою и в течение нескольких месяцев занимался постройкою судов. В других соседних местах в то же время шла также постройка судов, которые спускались к Воронежу. Работало над этим делом двадцать шесть тысяч человек, высланных из украинских городов по наряду. Таким образом, было построено 23 галеры, 2 корабля, 4 брандера и 1300 судов старой конструкции. Постройка судов шла с большими затруднениями: работники бегали от работы, жестокая зимняя стужа мешала скорости работы, вдобавок на месте, где производились работы, происходили пожары. Царь, похоронивши своего брата Ивана, умершего скоропостижно 29-го января 1696 года, немедленно отправился в Воронеж, несмотря на то, что у него болела нога; Петр деятельно распоряжался постройкою, нередко сам принимаясь за топор. Для умножения сухопутного войска велено было еще в декабре 1695 года кликнуть клич, чтобы все охочие люди, не исключая и крепостных, записывались в солдаты и стрельцы.

С первых чисел апреля начали спускать суда на воду, а тем временем подходили собиравшиеся в Воронеж войска. 3-го мая караван судов двинулся с войском по Дону. Всего войска было до 40000. Главкомандующим назначен был генералиссимус Шеин, адмиралом флота Лефорт, а вице-адмиралом Лима. Сам царь, в звании капитана Петра Алексеева, находился на построенной им галере, названной Принципиум. Кроме войск, отправленных по Дону, назначено было действовать запорожцам и донцам. По совету Гордона сделан был около города большой земляной вал, над которым работали денно и ночью до 12000 человек, стараясь возвести его выше городских стен. Татары, покусившиеся помешать работам, были рассеяны. Город был осажден со всех сторон, а между тем русская флотилия не допускала турецкий флот подать помощь осажденным. 17-го июля малороссийские и донские казаки пошли на штурм и не могли взять города, но турки,

опасаясь возобновления штурма в большем размере, на другой же день сдались – с условием выйти из города с ручным оружием и со своими семействами. Петр выговорил себе выдачу изменника Янсена, который просил турок лучше отсечь ему голову, нежели выдавать Москве. Турки выдали его вместе с некоторыми русскими раскольниками, перебежавшими к ним.

Таким образом, Петр сделал первый шаг к овладению Черным морем – событие было чрезвычайно важным в свое время.

Петр на возвратном пути осмотрел тульские железные заводы и, прибывши в Москву, устроил там никогда еще не виданный праздник – въезд победителей через триумфальные ворота, украшенные разными символическими изображениями и надписями. В шествии вели пленных и везли изменника Янсена, на поругание одетого по-турецки, в цепях, под виселицей с петлей на шее и с надписью, гласившей об его измене и отступничестве. Янсен был бит кнутом, а потом всенародно колесован среди празднеств по поводу победы.

Для того чтобы Азов остался за Россию, недостаточно было его взять, нужно было сделать русским городом. С этой целью государь вместе с боярами указал послать туда для поселения 3000 семей из низовых городов и 400 человек конницы, кроме того, положено содержать там 3000 войска до окончательного заселения Азова. Но одно владение Азовом не имело само по себе большой важности: оно могло только открывать путь к дальнейшему движению России на юг, к обладанию черноморским берегом и Черным морем. Упорное противодействие со стороны турок и татар было неизбежно; к нему должна была готовиться Россия и готовиться поспешно, а для этой цели необходим был флот, и Петр выдумал такое средство, чтобы создать его в самое короткое время.

4 ноября 1696 года в Преображенском селе государь собрал думу, в которую приглашены были и иностранцы. Эта дума, по воле государя, постановила такой приговор: всем жителям Московского государства участвовать в постройке кораблей. Вотчинники, как духовные, так и светские, помещики, гости и торговые люди обязаны были в определенном числе строить сами корабли, а мелкопоместные помогать взносом денег. С этой целью положено было, чтобы владельцы духовные с 8000 крестьянских дворов, а светские с 10000 дворов построили по одному кораблю, а гости и торговые люди, вместо десятой деньги, которая с них собиралась, построили бы 12 кораблей; мелкопоместные же, у которых было менее ста дворов, должны были вносить по полтине со двора. Участники в постройке должны были для этого слагаться в «кумпанства»: кумпанством называлась купа владельцев, которые, сложившись вместе, представляли число крестьянских дворов, назначенное для построения корабля. Так образовались духовные, светские и гостиные кумпанства. Они носили названия по имени сановников, занимавших наиболее видное место, например: кумпанство митрополита такого-то, или: кумпанство князя такого-то. Постройка судов должна была производиться в Воронеже и в соседних пристанях.<sup>187</sup> Лес для кораблей положено было рубить в нарочно отведенных для того угодьях, а для рубки выслать жителей украинских городов. Всех судов положено построить 52, которые разделялись на четыре класса: баркалоны, которых постройка была возложена на кумпанство светских домовладельцев и с ними на двух духовных: на казанского и вологодского владык (это были большие суда в 115 футов длиною и 27 шириною, при семи футах углубления, со значительным числом больших чугунных орудий, от 26 до 44-х); барбарские суда, отличавшиеся большею шириною относительно длины, выпали на долю гостиных кумпанств; третий род судов назывался бомбардирским, разной длины (от 80 до 90 футов при 20 и 28 футах ширины); четвертый – галеры (шириною в 24 фута, а длиною от 125 до 174). Постройка последних падала на долю духовных землевладельцев. Каждое кумпанство обязано было не только выстроить корабль, но и снарядить его за свой счет. Для производства постройки судов выписаны были в 1696 году иноземные мастера. Венецианский сенат по просьбе царя прислал тринадцать судостроителей, а в начале 1697

<sup>187</sup> В селе Чертовицком, на пристанях: Романской, Ступинской, а также по Хопру и Дону.

года, по приказанию царя, Франц Тиммерман через своих агентов выписал пятьдесят мастеров из голландцев, шведов и датчан. Этим мастерам отправляли в Воронеж и распределяли по кумпанствам на срок. Если из них кто умирал или после срока удалялся, то кумпанства сами должны были приискывать мастеров. Большая часть кумпанств, не в силах будучи сама вести этого дела, отдавала постройку возложенных на них судов в подряд иноземным мастерам. Второстепенные рабочие, как-то: плотники, кузнецы, столяры – были из русских. Общий надзор над постройкой судов поручен был окольниковому Протасьеву, со званием «адмиралтейца». На Азовском море в то же время строили гавань, избравши местом для этого Таганрог. Наконец, Петр, в связи с делом судостроения, предпринял прорыть канал между Доном и Волгою посредством рек: Иловли и Камышенки.

Дело судостроения шло довольно успешно. В 1698 году были построены требуемые суда, но Петру приходилось сильно бороться с разными препятствиями: рабочие беспрестанно бегали, иноземные мастера ссорились между собою, а иные брали деньги, а от дела уклонялись.

Любимая до страсти Петром мысль о кораблестроении последовательно увлекала его к теснейшему сближению с западной Европой. Постройка судов таким образом, как она совершалась в Воронеже, не могла быть прочным делом на будущее время. Кумпанства, поневоле обязанные давать средства на постройку судов, не могли сделать шага без иностранных мастеров. Петр не мог быть доволен последними: многие из них были искатели счастья, думавшие, что они пришли в такую страну, где и плохая работа может показаться отличною. Сверх того, подобный способ судостроения поставлял Россию в постоянную необходимость пробавляться искусством иностранцев и тем самым зависеть от них. Надобно было приготовить знающих русских мастеров. С тою целью Петр отправил за границу пятьдесят молодых людей стольников и при каждом по солдату. Целью посылки было специальное обучение корабельному искусству и архитектуре, а поэтому они отправлены в такие страны, где в то время процветало мореплавание: в Голландию, Англию и Италию, преимущественно в Венецию. Мера эта возбудила сильный ропот: в России, жившей столько веков в отчуждении от Запада, постоянно господствовала боязнь, чтобы русские, усваивая знания от иноверных народов, не потеряли чистоты своей веры; духовенство толковало, что русским православным людям, новому Израилю, не следует сообщаться с иноплеменниками, подобно тому, как это было запрещено Богом в Ветхом Завете израильскому народу. В начале 1697 года некто монах Авраамий смело подал самому Петру обличение поступков царя. Авраамия пытали; он показал на многих лиц, которые осуждали поступки царя и его правление; между прочим, жаловались, что царь ничьих советов слышать не хочет и сам в Преображенском приказе пытается людей и жестоко казнит. Оказавшихся виновными в таких толках наказали кнутом и сослали, но неудовольствие не прекращалось. Даже намерение прорыть канал между Волгою и Доном считали неугодным Богу: «Нельзя, – говорили русские люди, – обращать потоки в одну сторону, когда уже Бог обратил их в другую». Отцы, отправляя за границу юношей, скорбели о разлуке с ними и проклинали судостроение, которым так увлекался их государь. Сами молодые люди с неохотою оставляли отечество – тем более, что некоторые имели жен и должны были покинуть их. Петр не смотрел ни на что; преданный до страсти своему делу, он решился ободрить и увлечь подданных собственным примером. Он сознавался перед боярами, что, не получив надлежащего образования, не способен еще совершать дела, которые считал полезными для своего государства, и не видит иного средства, как, сложивши на время для видимости корону, отправиться в просвещенные европейские страны учиться. Подобного примера еще не было в истории русских царей. Приверженцы неподвижной старины с негодованием встретили это намерение. Петр не смотрел на них, учредил правительство из бояр под председательством князя Ромодановского, которому прежде дал титул князя-кесаря, и снарядил великими полномочными послами в Вену, Голландию и Англию Лефорта, в звании адмирала и новгородского наместника, сибирского наместника Федора Алексеича Головина и белевского наместника думного дьяка Прокопия Возницына. При послах было более

двадцати дворян, тридцать пять волонтеров, которые собственно назначались для изучения корабельного искусства, и, сверх того, большое число служителей и мастеровых, между прочим много иностранцев, обжившихся в России. Петр был в свите посольства, под именем капитана Петра Михайлова. Посольство отправилось в марте 1697 года к шведскому рубежу в Лифляндию, и первым иноземным городом, где ему пришлось остановиться, была Рига. Петр хотел оставаться совершенно незамеченным: все почести предоставлены были послам; строго запрещено было русским говорить, что между ними находится их царь. Шведский губернатор Риги Дальберг принял русское посольство с официальной честью, но, однако, без особенной предупредительности, и не позволял себе ни малейшего отступления от своей обязанности. Дальберг хотя и знал, что в свите находится царь, но показывал вид, что даже не подозревает этого, исполняя тем самым буквально желание Петра находиться инкогнито. Когда Петр захотел осмотреть в зрительную трубу укрепления Риги, Дальберг тотчас обратился к Лефорту и потребовал, чтобы люди его свиты не смели позволять себе таких вольностей. Этот поступок сильно раздражил Петра: он не забыл его и тогда, когда впоследствии завоевал Ригу; и тогда, вспоминая о суровости Дальберга, он называл Ригу проклятым местом. В сущности Дальберг исполнял только честно свою обязанность.

В Митаве курляндский герцог принял русское посольство радушнее. Петр, которого больше всего занимало море, оставил послов следовать до Кенигсберга сухим путем, а сам в Либаве сел на купеческий корабль с волонтерами и отправился морем. 2-го мая пристал он в прусский порт Пиллау, а оттуда приехал в Кенигсберг. Прусский герцог курфюрст бранденбургский принял его отлично и приготовил приличное помещение в двух домах. Посольство прибыло после и было принято с пышностью. Здесь Петр пробыл до 10-го июня. Посольство ожидало окончания выбора короля в Польше. Пребывая в Пруссии, Петр усердно занимался артиллерийским делом у инженерного подполковника Штернфельда и привел его в изумление необыкновенною своею понятливостью.

Выехавши из Кенигсберга на пути в Голландию, Петр на дороге получил приятное для него известие из Польши, что курфюрст саксонский, Фридрих Август, получил перевес над соперником своим принцем де Конти и признан польским королем под именем Августа II. Избрание этого короля имело важное значение в истории отношений России к Польше. Август получил корону главным образом потому, что Россия его поддерживала, и русский резидент Никитин напугал поляков, что если они выберут французского принца, то Россия, вместе с римским императором, из опасения дружбы французского короля с Турцией, поставит себя в неприязненные отношения к Польше. Россия решила выбор польского короля и с тех пор, вмешиваясь во внешние и внутренние дела Польши, стала распоряжаться судьбою Речи Посполитой все больше и больше, до самого ее падения.

Путешествие русского царя инкогнито не помешало повсюду распространяться о нем вести в Германии. Две принцессы курфюрстины: ганноверская София и дочь ее, бранденбургская София-Шарлотта, – щеголявшие в Германии в то время ученостью, покровительством наукам и знакомством с Лейбницем, знаменитостью своего века – полюбопытствовали видеть государя дикой Московии, ехавшего в Европу; они встретили Петра во владениях герцога цельского с тремя принцами ганноверского семейства и толпою придворных, в местечке Конненбурге. Петр сначала дичился и не хотел идти к ним, но, преодолевши свою застенчивость, явился к принцессам с тем условием, что там не было придворных. Ловкие курфюрстины своей любезностью ободрили его и довели до такой развязности, что он позволил войти всем придворным, заставляя их пить вино большими стаканами по московскому обычаю и для потехи принцессам со своими приближенными пустился плясать по-русски. Замечательно, что когда принцессы для всеобщего увеселения призвали итальянских певцов, Петр откровенно сознался, что не имеет склонности к музыке. Принцессы спросили его: любит ли он охоту? Петр дал такой замечательный ответ: «Отец мой очень любил ее, но я больше люблю плавать по морю и пускать фейерверки». Русский царь показал принцессам свои руки, огрубелые от работы. Принцессы после этого свидания оценили его необыкновенный ум и любознательность, но на них неприятно подействовали

грубость его приемов, неумение есть опрятно, беспрестанное трясение головой и нервные гримасы на лице. Принцессы выразились о нем, что «это человек очень хороший и очень дурной!»

Петру нетерпеливо хотелось в Голландию, страну кораблей и всякого мастерства: для него это была настоящая обетованная земля. Оставивши позади себя посольство, он поплыл по Рейну и каналам с несколькими волонтерами и немногочисленной прислугой. Петр много слышал о Голландии от голландцев, которых было очень много в России, и узнал от них о том, что недалеко от Амстердама, в прибрежном местечке Саардаме, есть большая корабельная верфь. Не останавливаясь в Амстердаме, Петр оставил там большую часть своих спутников, взял с собою только шесть волонтеров, и в том числе Александра Меншикова, и приехал в Саардам 7-го августа, в одежде голландского плотника, – в красной фризовой куртке, в белых парусинных штанах и лакированной шляпе. Там нашел он знакомого кузнеца, работавшего некогда в Москве, Геррита Киста, приютился в его доме, упросивши хозяина никому не говорить, кто он таков, и выдавал себя за простого русского плотника. Здесь царь принялся работать топором вместе с другими работниками, ходил с ними в трактир пить пиво, посещал разные заводы и мельницы, которых было много в окрестностях Саардама. Вскоре, однако, саардамцы смекнули по приемам чужеземного плотника, что это должен быть важный человек, а жена кузнеца Киста проговорила, и все узнали, что плотник царь; тогда за ним начала ходить толпа любопытных. Однажды он раздражил уличных мальчишек: он дал нарочно одним из них слив, а другим не дал, и они на него за то кидали грязью. Царь принужден был жаловаться бургомистру. Бургомистр для охранения царя устроил на мосту стражу, чтоб не давать толпе собираться перед домом, где жил царь. Но это не помогало. Сам Петр не привык сдерживать себя и однажды, когда его окружила непрошенная толпа, бесцеремонно ударил по щеке одного из зевак, которого голландцы в шутку прозвали после этого «рыцарем». Эти обстоятельства заставили Петра удалиться из Саардама, где он прожил всего восемь дней. 15-го августа приехал он в Амстердам, куда вслед за тем прибыло и русское посольство. В Амстердаме прожил он четыре месяца. Здесь, при посредстве бургомистра Витсена, который был некогда в России, Петр определился простым рабочим на ост-индскую верфь и с чрезвычайным увлечением, для собственного изучения кораблестроительного искусства, трудился над постройкою фрегата, заставляя и своих русских волонтеров работать вместе с собою. Но голландский способ кораблестроения не вполне удовлетворял его: голландцы были только практики, теоретическая часть у них была в небрежении; Петр проведал, что в этом отношении англичане стоят выше голландцев, и задумал ехать в Англию с целью дальнейшего своего усовершенствования в кораблестроении. Петр занимался не одним кораблестроением; его также занимало все другое: и фабрики, и анатомия, и естествознание; он ездил в Лейден наблюдать над вскрытием трупов, изучать разные аппараты и микроскопы, занимался также гравированием и в то же время не терял из виду внутренних и внешних дел своего отечества, следил за делами в Польше, Турции, за своими кумпанствами, продолжавшими строить корабли в России, договаривал и нанимал мастеров для отправления в Россию и не оставлял без внимания хода политических событий в Европе. С замечательною проницательностью предсказал он тогда разрыв с Францией после Ризвикского мира, которому радовались голландцы, названные царем за такую недалекость дураками. В Утрехте царь познакомился с английским королем Вильгельмом III, был принят им отлично, и это утвердило его в намерении ехать в Англию. Он взял в Голландии от корабельного мастера, у которого работал, аттестат на имя Петра Михайлова и в январе 1698 года прибыл в Англию.

Принятый в Лондоне радушно королем, осмотрев наскоро достопримечательности Лондона, Петр поспешил к своему любимому делу, поселился в трех верстах от Лондона, в городке Дептфорде, на королевской верфи, принялся за работу под руководством мистера Эвелина, начал прилежно изучать теорию кораблестроения и заниматься математикою, ездил оттуда в Вульвич осматривать литейный завод и арсенал, обозревал госпитали, монетный двор, где наблюдал производство работ с целью применить к России виденные им способы,

посещал парламент, побывал в Оксфордском университете, толковал с англиканскими епископами о различии вер, заходил даже в квакерскую общину, посещал разные мастерские, и не было, говорили англичане, такого искусства или ремесла, с которым не ознакомился бы русский царь, но потом он все-таки возвратился опять к своему любимому кораблестроению. Все его интересовало, но корабельное дело было ему всего милее. «Английский адмирал, – говорил он тогда в порыве восторга, – счастливее московского царя». Салисбурыйский епископ Бёрнет, которому было поручено показывать царю достопримечательности и объяснять их, сделал несколько оригинальных замечаний насчет личности Петра. «Это был человек, по мнению Бёрнета, с необыкновенными способностями и с такими познаниями, которых нельзя было ожидать при его небрежном воспитании, проявлявшемся на каждом шагу; он очень горяч, порывист, страстен и крайне груб; постоянное излишнее употребление вина развило в нем еще сильнее эти качества». Страстная любовь Петра к кораблестроению побудила Бёрнета сделать заключение, что он считает его более рожденным быть корабельным мастером, чем царем. Все его своеобразные приемы до такой степени поражали Бёрнета, что он считал его почти помешанным. К этому, вероятно, побуждало английского епископа и то, что голова царя постоянно тряслась и все тело было подвержено конвульсивным движениям.

Англия произвела на Петра самое благоприятное впечатление; он признал преимущество английского кораблестроения перед голландским, решил, что у него вперед будет принят английский способ постройки и он будет приглашать преимущественно английских мастеров. Здесь, по рекомендации лорда маркиза Кармартена, Петр пригласил несколько мастеров и инженеров, в том числе Джона Перри – специально для прорытия канала между Волгой и Доном, и математика Фергэрсона – для преподавания математических наук в России. Лорд Кармартен был сам страстный любитель мореплавания, и потому Петр с ним особенно сошелся. Через посредство Кармартена Петр заключил с английскими купцами договор о свободном ввозе табака. Хозяин этой компании заметил Петру, что русские, особенно духовные, питают отвращение к этому зелью и считают его употребление грехом. Петр ответил: «Я их переделаю на свой лад, когда вернусь домой». Самая забота о ввозе табака в Россию имела тот смысл, чтоб заставить русских отречься от одного из многих предрассудков, которым решился объявить царь ожесточенную войну после побывки своей в Европе.

Король Вильгельм английский подарил своему гостю прекрасную яхту. Петр со своей стороны оставил английскому королю превосходный портрет, писанный учеником Рембрандта, Кнелером. Сознывая пользу, полученную им от пребывания в Англии, Петр на прощание сказал: «Если б я не поучился у англичан, то навсегда остался бы не более как плохим работником». 18 апреля Петр простился с королем и отплыл на подаренной им яхте в Голландию. 17-го мая отправился он из Голландии в Вену и в ожидании разрешения вопросов о разных обрядностях, касавшихся приема русского посольства, испросил у императора согласия на свидание с ним и с его семейством частным образом, без церемоний. Это дало ему возможность, не стесняя себя придворным этикетом, осмотреть все достопримечательное в Вене. Здесь Петру предстояло решить важное политическое дело – отклонить императора от мира с Турцией, потому что Петр в то время даже свои кораблестроительные планы связывал с мыслью об утверждении русской власти на черноморских берегах. Петр не достиг своей цели: казна императора была недостаточна для новых военных предприятий. Император утешал русского царя только тем, что обещал на переговорах с Турцией поддерживать желание России удержать за собою новоприобретенные места на Дону и Днепре и домогательство овладеть еще одним пунктом в Крыму, именно Керчью. Среди толков о политических вопросах, отправлялись разные празднества в честь приезжих гостей. Русское посольство, в день именин государя, давало вечер для высшего венского общества, а император веселил своего гостя великолепным маскарадом, где знатные особы представляли своими костюмами разные народы и разные общественные звания; русский царь, как приехавший из Голландии, явился в виде

фрисландского крестьянина. Надобно заметить, что эти увеселения были также своего рода школою для молодого царя, с жадностью перенимавшего не только европейские знания, но и европейские увеселения.

Петр из Вены хотел ехать в Венецию; она своим значением морской державы сильно привлекала Петра, но тут пришло к нему известие о бунте стрельцов. Петр, 19-го июля, поспешил в Россию. Он был сильно встревожен. На дороге его успокоила весть, что бунт усмирен. Петр поехал тише, осматривал величковские соляные копи, три дня пировал с польским королем Августом II в местечке Раве, очень полюбил короля и тайно заключил с ним условие начать войну со Швецией. Едучи далее, царь принимал угощение от польских панов, через маестности которых проезжал, и 25-го августа 1698 года прибыл в Москву.

В жизнеописании царевны Софии мы уже изложили расправу Петра со стрельцами.

Путешествие Петра было великим событием, с которого началась преобразовательная деятельность государя, и русское общество пошло безвозвратно по новому пути сближения с Европой. С этих пор открывается кипучая, неутомимая деятельность Петра и во внешних, и во внутренних делах. Началом преобразований было изменение внешних признаков, рознивших русскую жизнь от европейской. Петр, на другой же день после прибытия своего в Москву, 26-го августа, в Преображенском дворце, собственноручно начал отрезать бороды; дана была пощада при дворе только двум старикам: Стрешневу и Черкасскому. Всем близким к царю людям велено одеться в европейские кафтаны. Все войско велено нарядить в форменную одежду по европейскому образцу. Бородобритие и перемена одежды с первого раза возбуждали ужас и показывали, что Петр не будет оказывать снисхождения обычаям древней русской жизни, принявшим религиозное значение. Исстари в русской литературе существовали, приписываемые святым мужам, поучения о сохранении бороды; борода у мужчин считалась признаком не только достоинства, но и нравственности; бритье бороды называлось еллинским, блудным, гнусным делом. Бритый человек, если он не был иноземец, возбуждал к себе презрение; и вдруг сам царь приказывает русским людям учинять над собою «развратное, скарредное дело». Что касается до иноземцев, то русские признавали за ними знание разных хитростей и готовы были пользоваться их службою России, но считали их еретиками, а свой народ избранным Божиим народом. В глазах русских согласные с уставами православной церкви обычаи почитались святыми, богоугодными, наравне с самою церковью.

При таком взгляде естественно, что преобразовательные приемы Петра, начавшиеся с внешних признаков, должны были возбудить соблазн, вражду, отвращение и противодействие. Русский народ видел в своем царе противника благочестия и доброй нравственности; русский царь досадовал на свой народ, но настойчиво хотел заставить его силою идти по указанной им дороге. Одно давало ему надежду на успех: старинная покорность царской власти, рабский страх и терпение, изумлявшее всех иноземцев, то терпение, с которым русский народ в прошедшие века выносил и татарское иго, и произвол всяких деспотов. Петр понимал это и говорил: «С другими европейскими народами можно достигать цели человеколюбивыми способами, а с русскими не так: если б я не употреблял строгости, то бы уже давно не владел русским государством и никогда не сделал бы его таковым, каково оно теперь. Я имею дело не с людьми, а с животными, которых хочу переделать в людей». Он пренебрегал не только религиозными предрассудками, но и более существенными нравственными понятиями: церковное благочестие признавало неразрывность брачной связи, а Петр, невлюбивший своей жены, не только отвергнул ее от себя, но и употребил над нею насилие. Жена его, царица Евдокия, воспиталась в обычаях старины и строго их хранила; Петр же с увлечением бросился перенимать все иноземное. Этого одного уже было достаточно произвести между супругами разлад. Была, кроме того, другая причина: Петр, как мы выше сказали, пристрастился к Анне Монс. Не любя жены, Петр возненавидел ее родню и перед отъездом за границу удалил из Москвы ее отца, дядей и братьев. Желая соблюсти приличия законности, Петр из-за границы поручал Льву Нарышкину и духовнику Евдокии уговорить ее добровольно постричься. Но Евдокия ни за

что не хотела. По возвращении из-за границы Петр уговаривал ее лично постричься. Царица не хотела. Тогда царь, не терпевший никаких противоречий своей власти, к соблазну всех православных христиан, приказал 23 сентября 1698 года отвезти Евдокию в Суздальский Покровский монастырь и там постричь ее. Пострижение, однако, совершилось не ранее как в июне следующего года: архимандрит и священники этого монастыря не хотели творить незаконного дела и за то взяты были в Преображенский приказ на расправу.

После страшной казни мятежных стрельцов Петр отправился в Воронеж, осматривал там построенные кумпанствами суда, – вообще был доволен; но некоторые суда – по замечанию адмирала Крейса – велел переделать. У Петра все еще было намерение вести войну с Турцией, и он все еще надеялся, что римский император будет поддерживать его стремления к утверждению русского владычества на Черном море. Вышло, однако, не так. Открылись переговоры о мире между Турцией и Австрией в Карловице; там на съезде участвовали послы: венецианский, польский и русский – думный дьяк Возницын. Посредничество о заключении мира взяли на себя Англия и Голландия и послали на съезд своих представителей. Возницын хлопотал, чтобы Турция, кроме недавно завоеванных Россией мест, уступила еще один пункт в Крыму, именно Керчь, но австрийские уполномоченные не стали поддерживать требования русского посла и заключили с турками особый мир. Польский посол также объявил, что Речь Посполитая не в силах продолжать войну с турками. Возницыну ничего не оставалось со своей стороны, как также предложить мир, но турки не хотели мириться иначе, как на условии уступки им завоеванных городов. Возницын заключил с турками перемирие на два года.

Тогда Петр решил отправить посольство в Константинополь для заключения по возможности выгодного мира, а сам между тем готовил войско и намеревался двинуть на следующий год свой воронежский флот в Азовское море для устрашения турок.

Воротившись из Воронежа, Петр приступил к внутренним преобразованиям в управлении, которыми началась ломка всего старого и введение новых порядков на европейский лад. 30 января 1699 года последовал указ об учреждении бурмистерской палаты. До сих пор торговые и промышленные люди находились в ведении приказов и воевод; по новому указу, они были изъяты от прежних ведомств и, вместо того, должны были в Москве выбирать погодно бурмистров, составлявших бурмистерскую палату, иначе называемую ратушею. Это учреждение ведало суд и расправу между купцами и управляло сбором всех окладных доходов и разных собираемых пошлин. Один из выбранных бурмистров в течение месяца по очереди был председателем. Затем во всех городах, посадах и слободах торговые и промышленные люди также не подлежали суду воевод, а должны были выбрать из своей среды, для суда, расправы и сбора неокладных доходов, выборных земских бурмистров; таможенные и кабацкие доходы поступили в заведование других выборных же бурмистров, называемых таможенными и кабацкими бурмистрами, которые вместе с земскими составляли земскую избу. Земские избы находились в зависимости от одной московской бурмистерской палаты, или ратуши. Новое учреждение ратуши с бурмистрами устраняло по закону воевод от заведования торговыми людьми, но они все еще, по старине, притесняли приезжих торговцев. Так делалось в разных городах, и за это воевод велено было судить в ратуше. Из ведения воевод изъяли всякие преследования за корчемство, составлявшие только повод к притеснениям людей. Образец такого самоуправления в торговом и промышленном сословии Петр нашел в старом европейском муниципальном городском строе, который уже прежде его перешел в Малороссию в виде магдебургского права, с тою разницей, что Петр сосредоточил и связал крепче этот строй посредством подчинения всех земских изб в государстве центральному, такому же по существу своему, месту, находившемуся в столице. Это учреждение предпринято было с тем, чтобы избавить торговое и промышленное сословие от тех утеснений, какие оно терпело от приказов и воевод, но главным образом в надежде на умножение дохода, потому что при прежнем управлении были постоянные недоборы. Затевая великие дела, Петр, естественно, нуждался в средствах, и потому умножение государственных доходов сделалось у него



главнейшей целью, которую он преследовал во все свое царствование со свойственной ему страстностью.

Тогда поднялся и стал в приближении у царя некто Алексей Курбатов, бывший дворецкий у боярина Бориса Петровича Шереметева. Он путешествовал с ним за границу и узнал, что в западных государствах употребляется в делопроизводстве особая бумага с клеймом, продаваемая от казны. Курбатов подал царю безыменный проект о введении подобной бумаги в России. Петру понравился этот проект. Составитель проекта объявил о себе, получил в награду от царя недвижимое имение и звание обер-инспектора ратушного правления. В России введена была гербовая или в то время называемая орленая бумага. Курбатов открыл собою ряд так называемых прибыльщиков, которые отыскивали и доставляли казне разные средства обогащения.

С весною 1699 года Петр готовился выступить со своим флотом в Азовское море для провожания уполномоченного посла своего в Турцию. 2-го марта скончался носивший звание адмирала русского флота Франц Яковлевич Лефорпт. Петр, сердечно любивший его, как лучшего своего веселого собеседника, громко рыдал над его телом. 10 марта Петр учредил орден Андрея Первозванного и тотчас возложил его на Головина, а через два дня уехал в Воронеж. В мае он выступил со флотом по Дону к Азову и до половины августа усердно занимался корабельным делом, сам показывая другим пример, конопатил и мазал суда и в то же время занимался государственными делами по всем частям. Оставленный союзниками, Петр снарядил в Константинополь послом думного дьяка Емельяна Игнатъевича Украинцева, давши ему наказ домогаться с Турцией мира на таких условиях, чтоб за Россией непременно остался Азов и другие завоеванные города и чтобы Россия отнюдь не платила годовой дани крымскому хану. Посол должен был плыть в Константинополь на русском сорокапушечном корабле: то был первый русский военный корабль, предназначенный плавать по иностранным морям. Петр опасался, что турки не пропустят русский корабль через Керченский пролив, и потому решил провожать его сам с сильной эскадрою. Действительно, турецкий адмирал, стоявший в Керчи, и керченский паша не хотели пропускать русский корабль, а предлагали посольству выйти на берег и следовать сухим путем, но потом, когда посол наотрез отказался, дозволили русскому кораблю дойти до Константинополя морем, но только под конвоем турецких кораблей. Русский корабль пришел в Константинополь 28 августа 1699 года и стал на якорю прямо против султанского серая. Не только турки, но и посольства западных держав приходили смотреть на него как на диво. Переговоры тянулись несколько месяцев. Турки домогались возвращения новозавоеванных городов и срытия тех, которые построил Петр на Азовском море (Таганрога, Павловска и Миуса), домогались, чтобы царь посылал хану поминки. Иностранные послы не только не поддерживали России, но старались утверждать турок в их домогательствах, считая опасным для своих видов, если Россия усилится и сделается морской державой. Наконец, после долгих споров пришли к такому соглашению, чтобы городки на Днепре все срыть и пространство от Запорожской Сечи вдоль Днепра до устья оставить пустым, а за то царю уступался Азов и городки, вновь построенные на Азовском море. Россия не приняла на себя обязательства давать определенные поминки хану. Украинцев, по наказу своего государя, ходатайствовал о преимуществах православных греков, относительно святых мест. Это был первый шаг к тому заступничеству за турецких христиан, которое потом так часто повторялось в русской истории и служило поводом к столкновениям с Турцией. На этот раз турки отклонили вмешательство России, объяснивши, что вопрос этот относится к внутренним делам, до которых нет чужим дела, но дозволили русским богомольцам посещать священные места. В этом смысле заключено перемирие на тридцать лет.

## **II. Внутренние и политические события от начала Северной войны до Альтранштадтского мира**

До сих пор стремления Петра приобрести себе море и сделать Россию морской державой клонились на юг; он надеялся действовать против турок в союзе с Польшей, Австрией и Венецией и приобрести от падения Турции выгоды на долю России, но последние события показали ему, как мало может он полагаться на союзников. Сама Россия не в силах была одна бороться с оттоманской империей, тем более что на сторону последней готовы были пристать европейские державы. Турки понимали опасность, которая грозила их государству, если они позволят России завести флот на Черном море. Посол Петра, Украинцев, пытался выхлопотать, по крайней мере, дозволение торговым русским кораблям плавать по Черному морю; турецкие государственные люди на это отвечали: мы бережем Черное море, как чистую непорочную девицу, и разве тогда дозволим плавать по нем чужим кораблям, когда вся оттоманская держава повернется вверх ногами. Но у Петра уже подготавливалась мысль о перенесении своей морской деятельности на Балтийское море, возникшая еще при свидании с Августом в Раве. Мысль эта принесена была в Польшу из ливонских провинций. Ливония поступила в XVI веке в состав польско-литовской Речи Посполитой, а в 1660 году, по Оливскому миру, досталась Швеции и с этих пор находилась в ее владении вместе с Эстляндиею и уступленною по Столбовскому и Кардисскому договорам Водскою пятиною, носившую у шведов название Ингерманландии. Ливонское дворянство, после поступления под власть Швеции, имело важные причины быть недовольным шведским владычеством. Король Карл XI учредил пересмотр земель, находившихся в дворянском владении, и приказал отобрать те из них, которые, во время существования ливонского ордена, не составляли частных владений, а принадлежали или вообще орденскому капитулу или же считались за духовными и светскими должностями. Все такие имения, обращенные без всякого права, только силой захвата, в потомственные владения, король шведский приказал отобрать из частного ведомства в государственное. Само собою разумеется, что дворянство было этим недовольно, и один из среды его, Рейнгольд Паткуль, человек горячий и предприимчивый, до того задорно начал протестовать против действий правительства и возбуждать других к противодействию, что шведское правительство обвинило его в измене. Паткуль бежал, скитался по разным землям, наконец приютился в Польше и начал внушать Августу II мысль овладеть Лифляндией, а для этой цели заключить договор с московским царем; однако он советовал обращаться с царем так осторожно, чтоб не дать ему возможности присвоить себе из принадлежавших Швеции земель, более того, чем прежде владела Россия, т.е. Ингерманландии и Корелии. После продолжительных соображений, Август вошел в союз против Швеции с Данией и отправил посольство в Москву для той же цели. Датский король Христиан V был во вражде с Фридрихом VI, герцогом Голштейн-Готторпским, женатым на сестре молодого шведского короля Карла XII. На московского государя можно было рассчитывать, указавши ему возможность приобрести Балтийское море и завести там флот. В Москву прибыл послом от Августа Карловиц, а вместе с ним приехал под чужим именем и Паткуль. Это было в сентябре 1699 года. В ноябре того же года заключен был тайный договор против Швеции. Август обязывался сделать нападение на Ливонию с саксонскими войсками, а между тем склонить и Польшу к этой войне; но царь обещал двинуть свои войска в Ингерманландию и Корелию не иначе, как после заключения мира с Турцией, и если этот мир почему-нибудь не состоится, то обязывался помирить Августа со шведским королем, потому что сам Август не в состоянии был вести войну один.

Союзники рассчитывали, что при таком короле, какой был тогда в Швеции, легко будет отобрать земли на южном берегу Балтийского моря. В самом деле, молодой шестнадцатилетний Карл XII своим поведением мало подавал надежды самим шведам. Он не занимался делами, проводил время, то безобразничая самым школьническим образом, то устраивая балы, маскарады и разные увеселения.

Первые неприязненные действия против Швеции начались со стороны Дании. Датские войска выгнали голштинского герцога; он убежал в Стокгольм. Христиан V овладел Голштинией. Вслед за тем Август двинулся с саксонскими войсками в Ливонию. С ним был

Паткуль. Но здесь дела пошли не так успешно, как в Голштинии. Ливонское дворянство не поддавалось лживым убеждениям Паткуля. Август осадил Ригу и не мог взять ее при малочисленности своих орудий, а граждане Риги, как и дворяне ливонские, боялись изменять Швеции, не надеясь на выигрыш. Август отправил посла к Петру требовать, чтоб он, по условию, начал войну со шведами. Но Петр, положивши до тех пор не начинать войны, пока не заключит мира с Турцией, старался показывать миролюбивые отношения к Швеции, послал в Стокгольм резидентом князя Хилкова, а жившего в Москве шведского резидента Книперкроона уверял, что не начнет несправедливой войны против Швеции, не нарушит мира, который сам подтвердил недавно, и даже обещал отнять у Августа Ригу, если тот завоюет ее у шведов. В ожидании мира с Турцией, который должен был развязать ему руки для новой войны, Петр продолжал свои преобразования. В декабре 1699 года объявлено, что вперед летоисчисление будет введено не от сотворения мира, а от Рождества Христова, и Новый год будет праздноваться не 1-го сентября, а 1-го января, по образцу всей Европы. Новый 1700-ый год праздновался в Москве по царскому приказанию целых семь дней; домовладельцы должны были ставить перед домами и воротами, для украшения, хвойные деревья, и каждый вечер зажигались смоляные бочки, пускались ракеты, палили из двухсот пушек перед Кремлем и в частных дворах из маленьких орудий. Все это делалось на заграничный образец. Вслед за тем издан был указ, чтобы все, исключая духовенства, брили бороду и одевались в иностранную одежду: зимою – в меховую венгерского покроя, а летом – в немецкую. И женщинам велено одеваться в одежду иностранного покроя. Царь приказал, чтоб на свадьбах и всяких общественных увеселениях женщины находились вместе с мужчинами, а не особо, как делалось прежде, и чтобы также на подобных сборищах была музыка и танцы. Для примера подданным царь в эту зиму беспрестанно ездил сам на свадьбы, устраивал разные забавы, заохочивал особ обою пола к свободному обращению между собой. Те, которые добровольно не хотели веселиться на иноземный образец, должны были исполнять волю царя; упрямые наказывались пенею. Петр отменил древний обычай – совершать браки по воле родителей, без всякого участия их детей, вступавших в брачный союз. Петр постановил, чтобы родители не имели права принуждать к браку, и венчание не могло происходить без заявления желания со стороны жениха и невесты. Женскому полу нравилось это, и вообще женщины скорее мужчин поддавались признакам преобразования, без ропота надевали на себя иностранные одежды, находя их красивее старых русских, и охотнее бросались на увеселения нового рода. Понятно, что женщины видели в этом свое освобождение от тяжелого рабства, в котором их держал чин старой московской домашней жизни. Как продолжение тех же мер преобразования в семейной жизни, явилось уничтожение силы заручных записей, которые давались со стороны жениха или его родни родителям невесты. Царь должен был бороться со многими чертами дикости нравов своего времени: так, в феврале было запрещено продавать остроконечные ножи, которые обыкновенно русские носили при себе и нередко дрались ими до смерти; постигло наказание невежд, которые, не зная медицинских наук, брались лечить больных и делали вред; для примера отправлен был в ссылку в Азов на каторгу дворовый человек боярина Петра Салтыкова, который принес своему боярину, страдавшему бессонницей, такого лекарства, от которого боярин заснул навеки; на будущее время было объявлено, что всякий лекарь, который уморит больного, будет казнен смертью. В Московском государстве тогда шаталось очень много праздного народа: то были вольноотпущенные, которые обыкновенно, получив отпускную, опять поступали в холопы. Приказано было таких людей, если окажутся годными, брать в солдаты. Распоряжение это распространилось и на бродяжных крестьян. Монетное дело получило преобразование. В это время, за неимением мелких денег, произвольно рассекали серебряные деньги на несколько частей, и от этого происходила путаница. В иных городах, вместо мелкой монеты, стали употреблять кусочки кожи. И то, и другое было запрещено. Приказано пустить в оборот медные деньги – полушки и полуполушки, а после делать серебряные полтинники, полуполтинники, гривенники и золотые червонцы. Новые серебряные и золотые монеты появились уже в следующем году.

Для прекращения плутовства в металлических изделиях установлена проба золоту и серебру в четыре разряда, по разному достоинству, а для наблюдения за порядком велено выбрать из мастеров трех старост, которые должны были налагать клейма на изделия. Но царский указ о пробе, по обычаю, плохо исполнялся, так что через несколько времени велено было ломать неправильно сделанные вещи и брать пошрины в первый раз втрое, во второй раз вшестеро. Повсеместно приказано было искать металлической руды; учрежден был особый приказ рудосыскных дел. Для прекращения проволочек в делах, запрещено в челобитных примешивать лишние предметы, не относящиеся прямо к делу, и приказано делать немедленно допрос по возникающим искам. Запрещено принимать пустые жалобы о нанесенном бесчестии вроде того, как некто жаловался на другого, что тот смотрит на него зверообразно. 15-го июля 1700 года неоплатных и злостных должников велено бить кнутом и ссылать на каторгу в Азов.

Царь в этот год сделал несколько важных начатков для просвещения. 10 февраля он дал привилегию амстердамскому жителю Иоганну Тессингу завести в Амстердаме русскую типографию и печатать в ней на славянском и голландском языках, а также на славянском с латинским вместе, географические карты, чертежи, портреты и книги по части математики и архитектуры, художеств, военного искусства, но отнюдь не печатать церковных книг, как славянских, так и греческих. Тессинг имел исключительное право в течение пятнадцати лет продавать свои книги в России. Петр ставил условием, чтобы в напечатанных таким образом книгах и чертежах не было понижения превысокой чести царского величества и государства, а чтобы все клонилось к славе и похвале. Составлением и редакцией этих книг занимался малоросс Копиевский. Предприятие это показало более доброго желания, чем принесло пользы. Тессинг был человек мало ученый и вскоре поссорился с Копиевским. Копиевский в тот же год выхлопотал привилегию для себя, составил и напечатал несколько книг, имевших целью знакомить русских с иностранными языками и научными сведениями. Таковы его Грамматика славянская и латинская; Разговоры на трех языках: латинском, русском и немецком; «Книга, учащая морского плавания» – перевод с одного голландского учебника; «Руководение во арифметику», «Введение во всякую историю», в котором автор знакомит читателя с разными историческими событиями и с географическими сведениями, но вместе с тем сообщает, что славяно-российский народ славнее всех народов своим благоразумием; наконец, Копиевский издал по-латыни и по-русски басни Эзопа. Деятельность его за границей продолжалась до 1707 года, когда он возвратился в Россию. Петр в Москве положил основание математической и навигаторской школам. Первая разделялась на три класса и имела целью приготовить молодых людей, годных в военную и морскую службу и вообще сведущих в реальных, практических науках; в ней через несколько лет ежегодно получали воспитание до 700 юношей. В навигаторской школе преподавались науки, относящиеся исключительно к мореплаванию. В конце 1702 года положено было печатать куранты «о всяких делах Московского государства и окрестных государств». Таким образом началась русская периодическая пресса.

Занимаясь внутренними преобразованиями, Петр готовился к шведской войне и с этой целью увеличивал войско и учредил чин провиантмейстера; окольный Языков был первым в этом чине. С этих пор введено было правильное снабжение войска жизненными припасами. В ожидании мира с Турцией, не разрывая мирных отношений со Швецией, Петр пустил в ход придирки, которые должны были в свое время послужить благовидным поводом к началу войны. Петр жаловался на рижского губернатора Дальберга, а Карл XII, приказавши исследовать эту жалобу, защищал перед царем поступки Дальберга. Обе стороны, однако, уверяли друг друга во взаимном добром расположении. Но как только 18 августа 1700 г. получено было известие о заключении 30-летнего перемирия с Турцией, на другой же день объявлена война Швеции под предлогом отмщения за обиду, оказанную царю в Риге, с замечанием, что и вообще русским подданным делались от шведов обиды. Первым следствием этого разрыва было то, что русский резидент князь Хилков в Швеции, а шведский резидент в России Книперкроон подверглись утеснительному заключению.

Петр пока предоставлял своим союзникам вести войну со шведами без своего участия, и Карл XII успел разделаться с одним из этих союзников. Достоин замечания, что этот молодой король, подававший своими шалостями врагам большие надежды на успех, получивши известие о посягательстве врагов на его владения, вдруг как бы преобразился и сделался на всю жизнь необыкновенно деятельным и неутомимым: с тех пор его образ жизни составлял совершенную противоположность с образом жизни его врагов, датского и польского королей. Последние страстно предавались неге, забавам, пирам, фавориткам и придворной суетности; Карл во всю жизнь свою не пил вина; не будучи женат, не держал любовниц, не терпел никакой роскошной обстановки, вел самый простой образ жизни и притом был чужд всякого коварства, действовал прямо, решительно. Если он уступал своему сопернику Петру в широте ума и разнообразии деятельности, то превосходил его, как и всех государей своего времени, честностью и безукоризненной нравственностью. Быстро собрал он 15000 войска, высадился с ними под самым Копенгагеном. Датский король Фридрих IV не имел сил защищаться и в загородном замке Травендале, 8 августа 1700 года, подписал мир, которым обязался признать зятя шведского короля, герцога голштинского, самостоятельным герцогом Голштинии, и, сверх того, заплатил последнему значительную контрибуцию. Расправившись с Даниею, Карл собирался расправиться с другим своим врагом, Августом, которого не только ненавидел, но глубоко презирал, как вдруг последовало объявление войны от России. Карл обратился против русских.

По объявлении войны, Петр двинул свое войско на осаду Нарвы, которым Петру хотелось прежде всего завладеть, чтоб иметь пункт на Балтийском море. Всего войска было у него до 35000; сам Петр под именем капитана бомбардирской роты Петра Михайлова шел с Преображенским полком. Начальство над войском Петр поручил герцогу фон Круи, приехавшему к нему на службу по рекомендации короля Августа. Петр надеялся на опытность и знания этого иноземца более, чем на способности своих русских. Прибывши под Нарву в конце сентября, царь при пособии саксонского инженера Галларта занялся укреплением русского лагеря и устройством осады. 20-го октября началось бомбардирование, но русские действовали неискусно, а назначение иноземца главнокомандующим возбуждало у них неудовольствие. Верность иноземцев казалась сомнительною, особливо когда один из них, Гуммерт, обласканный Петром, убежал к неприятелю в Нарву, а находясь там, вероятно, недовольный приемом шведского коменданта Нарвы Горна, завел снова тайные сношения с русским царем. 17-го ноября боярин Борис Петрович Шереметев, посланный к Везенбергу, неожиданно вернулся с известием, что шведский король идет отбивать Нарву. Петр в ту же ночь оставил свое войско, надеясь, вероятно, что дела пойдут лучше, когда герцог ФОн Круи останется полновластным распорядителем и не будет стесняться присутствием царя. Кроме того, царь досадовал, что войска собираются медленно, и думал, как он сам объяснял, побудить остальные полки скорее идти к Нарве, наконец, ему хотелось видеться с Августом и поторопить его к совместному действию против Карла. У Карла было около 8500 войска: силы очевидно неравномерные с русскими. Но укрепленный русский лагерь был растянут с лишком на семь верст, и солдаты, во время нападения, с трудом могли подкреплять друг друга; притом же значительная часть русских сил состояла из новобранцев. Вдобавок, когда Карл сделал нападение, сильный снег бил прямо в лицо русским. Шведы овладели русскими укреплениями, и русские пустились в бегство. Шереметев был из первых. Множество русских потонуло в воде при переправе. Главнокомандующий герцог фон Круи и другие иноземцы побежали в шведское войско и сдались. Только Преображенский и Семеновский полки, да генерал Адам Вейде, немец русской службы, защищались несколько времени. Тогда русские генералы: князь Яков Долгорукий, князь Иван Юрьевич Трубецкой, имеретийский царевич Александр, Автоном Михайлович Головин, оставшись почти без войска, сдались на условиях свободного выхода; но, под предлогом утайки и отправления вперед казны, они были объявлены военнопленными вместе с офицерами, которых число простиралось до 79 человек. Вся артиллерия досталась победителю. Русские гибли тогда не

только от неприятельского оружия, но еще и от голода, и холода. Из числа бежавших до 6000 погибло на пути к Новгороду. Карл не понял Петра: он презирал русских, судил о них по нарвским беглецам и не пошел далее войной против России, как некоторые ему советовали, а составил план разделаться со своим главным врагом – Августом.

Петр, получив известие о поражении, не упал духом, а напротив, сознавал, что иначе быть не могло, приписывал несчастье недостатку обучения и порядка в войске и с большей кипучей деятельностью принялся за меры улучшений. В ожидании нападения неприятеля, в близких к границе городах: в Новгороде, Пскове, Псково-Печерском монастыре Петр приказал наскоро делать укрепления, высылал на работу не только солдат и жителей мужского пола, но даже женщин, священников и причетников, так что несколько времени в церквях, кроме соборов, не было богослужения. Приказано к весне набирать новые полки, а думному дьяку Винусу, который прежде заведовал почтовым делом, приготовить новые орудия и при этом отбирать у церквей и монастырей колокола для переливки на пушки. Обычная русская лень много мешала скорому производству работы, зато Петр жестоко наказывал всякое неповиновение и уклонение от его воли: приказывал бить кнутом за неявку к работам, вешать взяточников и грозил смертью бурмистрам за медленное исполнение требований Винуса – надзирателя артиллерии. При таких мерах, в течение года после нарвской битвы, царь имел уже более трехсот новых приготовленных орудий.

С этих пор, сознавая важность войны и преследуя свою любимую мысль – заведение флота, которая могла осуществиться только при успехе в войне со шведами, царь во внутренних делах обращал главнейшее внимание на достижение как можно более денежных средств для ведения войны. В этих видах Петр предпринимал коренные изменения в церковном и, главное – в монастырском быте. Патриарх Адриан скончался 16-го октября 1700 года. По заведенному порядку следовало избирать нового, но Петр рассчитал, что для его самодержавной власти неудобно допускать в церковном управлении существование такого высокого сановника, тем более что пример Никона показывал, как может высоко поднять голову энергичический человек, облеченный саном патриарха. Петр решил не иметь более патриархов. 16-го декабря 1700 года он уничтожил Патриарший приказ, все производившиеся в нем мирские дела приказал распределить по другим ведомствам, а духовные дела поручил временно назначенному от государя блюстителю. Таким блюстителем Петр назначил митрополита рязанского, Стефана Яворского, давши ему титул – «экзарха патриаршего престола». Стефан был родом малоросс, из Волыни, киевский воспитанник, в этом же году приехавший в Москву и недавно посвященный в митрополиты. Это был человек замечательно ученый и вовсе не честолюбивый: он отбивался всеми силами не только от такого высокого положения, но даже и от архиерейства; любимым желанием его было вернуться в Малороссию и жить там в уединении, но Петр дорожил им. В январе 1701 г. дом патриарха, все архиерейские и монастырские дела переданы были боярину Ивану Алексеевичу Мусину-Пушкину и восстановлен был под его председательством Монастырский приказ, некогда учрежденный по уложению, но уничтоженный Федором Алексеевичем. Этот приказ должен был заведовать монастырскими вотчинами и творить в них суд. С марта занялись перепискою всех архиерейских и монастырских вотчин. Царь велел выгнать из монастырей всех непостриженных, и в женских монастырях келейницам быть только людям старого возраста; всех девиц, проживавших в монастырях, под именем родственниц, велено выдавать замуж, а вперед постригать в монахини не ранее сорока лет. Запрещено в монастырские имения посылать для дел монахов, а так как оказалось, что монахи возбуждали недовольство против царя, то монахам запретили в кельях писать и давать им чернила и бумагу, позволяя им только писать в трапезах, с разрешения начальства. В конце 1701 года состоялось решительное запрещение монахам и монахиням совершенно вмешиваться в управление монастырских вотчин; все доходы с этих вотчин должны были идти в Монастырский приказ, и на содержание монахов и монахинь – выдавать в год по 10 рублей, по десяти четвертей хлеба и доставлять им дрова. В беднейшие монастыри велено уделять доходы богатых монастырей, все лишнее из монастырских доходов отдавать на

богадельни для призрения нищих. Еще ранее того, в июне, велено было устраивать богадельни с тем, чтобы на десять человек больных был один здоровый и смотрел за ними. Если мы примем во внимание, что во владении монастырей было 130000 дворов и один троицкий монастырь владел 58 000 душ, то ясным покажется, как важна была для финансовых целей Петра эта мера, передававшая в его руки столько доходов.

В феврале следующего 1702 года отняты были в вотчинах церковного ведомства и пустоши и розданы в потомственное владение разным лицам, с платежом вдвое и втрое против прежнего. Против своих преобразований Петр видел важнейшее противодействие в духовенстве и с этой целью положил замещать архиерейские места малороссами, которые, как люди несравненно более образованные, не имели тех предрассудков и той закоснелости, какой отличались великорусские духовные, и эта мера, как показали события, явилась одной из самых плодотворных для целей Петра. Таким образом, в 1701 году посвящен был ростовским митрополитом знаменитый Димитрий, а сибирским – Филофей Лещинский. Из великорусских архиереев один только Митрофан воронежский действовал в духе преобразователя, находил планы Петра о заведении флота спасительными для русского государства и все деньги, какие у него накоплялись, жертвовал на дело кораблестроения. Зато и Петр любил его чрезвычайно, жаловал воронежскому архиерейскому дому крестьян не в пример другим и извинял Митрофану то, чего не извинил бы другому; так, когда Митрофан соблазнился поставленными у входа царского дома в Воронеже статуями и не хотел идти по этому поводу к государю, объявивши, что скорее примет смерть, царь приказал снять статуи. Когда же Митрофан умер, сам Петр со своими приближенными нес его гроб и опустил его в землю.

Митрофан, однако, составлял исключение. Большинство великорусских духовных и вообще благочестивых людей ненавидело Петра с его нововведениями и любовью к иностранному. Еще в 1700 году открыто было, что некто книгописец Григорий Талицкий составил сочинение, в котором доказывал, что наступают последние времена, пришел в мир антихрист, и этот антихрист есть не кто иной, как царь Петр. Следствие по этому делу велось до ноября 1701 года; к нему притянуто было много людей: подвергаемые пыткам, они доносили друг на друга; замешан был тамбовский архиерей Игнатий и князь Хованский, который умер в тюрьме, вероятно, от пыток. Наконец, Талицкий, с пятью соумышленниками, был осужден на смертную казнь; жены казненных сосланы в Сибирь; Игнатия, лишивши сана, заточили навеки в тюрьму, а семь человек наказали кнутом и сослали в Сибирь за то, что слышали возмутительные речи и не доносили. Это был только проблеск того всеобщего негодования, которое, все более и более расширяясь, готово было вспыхнуть всеобщим бунтом. Но Петр не отступал ни на шаг, не делал уступки народной неприязни к брадобритию и немецкому платью и в декабре 1701 года с большей строгостью подтвердил прежний указ, чтобы все, кроме духовенства и пашенных крестьян, носили немецкое платье и ездили на немецких седлах. Из женского пола даже жены священнослужителей и причетников не увольнялись от ношения чужеземной одежды. Затем запрещалось делать и продавать в рядах русское платье – всякого рода тулупы, азямы, штаны, сапоги, башмаки и шапки русского покроя. У ворот города Москвы поставлены были целовальники; они останавливали всякого едущего и идущего в русском платье и брали пени: с пешего по 13 алтын, 4 деньги, а с конного по два рубля за непослушание в этом роде. Приказывая своим подданным одеваться, как ему было угодно, Петр стал требовать, чтобы русские оставили старинный способ постройки домов своих и строились на европейский образец. После случившегося в Москве пожара, царь запрещал строить деревянные дома и приказывал непременно строить каменные как дома, так и надворные постройки. (Это распоряжение после того лишь раз было изменено и опять возобновлено.) Если же кто не мог строить кирпичных домов – глиняные мазанки, по образцу, который царь дал в селе Покровском. За несоблюдение назначалась пени. Вместе с тем во всех монастырях, где будет производиться постройка, приказано непременно строить из камня и из кирпича, а не из дерева.

Заметим, что все распоряжения тогдашнего времени, касавшиеся внешней стороны

жизни, столько же раздражали современников Петра, сколько принесли вреда России в последующее время. Они-то приучили русских бросаться на внешние признаки образованности, часто с ущербом и невниманием к внутреннему содержанию. Русский, одевшись по-европейски, перенявши кое-какие приемы европейской жизни, считал себя уже образованным человеком, смотрел с пренебрежением на свою народность: между усвоившими европейскую наружность и остальным народом образовалась пропасть, а между тем в русском человеке, покрытом европейским лоском, долго удерживались все внутренние признаки невежества, грубости и лени; русские стремились более казаться европейски образованными, чем на самом деле быть ими. Это печальное свойство укоренилось в русском обществе и продолжает господствовать до сих пор; его внедрил в русские нравы Петр Великий своим желанием поскорее видеть в России подобие того, что он видел за границей; с другой стороны, его деспотические меры, внушая омерзение в массе народа ко всему иностранному, только способствовали упорству, с которым защитники старины противились всякому просвещению. Некоторые находят, что Петр действовал в этом случае мудро, стремясь сразу переломить русскую закоснелость в предрассудках против всего иноземного, с которым неизбежно было введение просвещения. Мы не можем согласиться с этим и думаем, что русский народ вовсе не так был неприязнен к знакомству со знаниями, как к чужеземным приемам жизни, которые ему навязывали насильно. Можно было, вовсе не заботясь о внешности, вести дело внутреннего преобразования и народного просвещения, а внешность изменилась бы сама собою.

После нарвского поражения Карл XII распределил свои войска в Ливонии и готовился нападать с весной не на Россию, а на Польшу, с целью низложить Августа. Между тем Август в феврале 1701 года увиделся с Петром в Биржах (Динабургского уезда), и оба государя провели несколько дней в пиршествах, стараясь перепить друг друга; но при забавах и кутежах заключили договор, по которому Петр обещал поддерживать Августа, давать ему от 15000 до 20000 войска и платить в течение трех лет по сто тысяч рублей, с тем, что король будет воевать в Ливонии. Тогда условились, что Россия завоюет себе Ингерманландию и Корелию, а Ливония уступлена будет Речи Посполитой. Здесь Август договаривался только от своего лица. Речь Посполитая не принимала прямого участия в войне, хотя Петр старался склонить к этому бывших с Августом панов. Достоин замечания, что один из них, Щука, делал попытки выговорить у Петра возвращение Киева и заднепровских городков, уступленных России по последнему миру; но Петр сразу осек его, объявивши, что с Польши достаточно будет и Ливонии: и ту, на самом деле, не думал он отдавать, лишь бы только она досталась в его руки.

Карл XII вслед за тем повел дело так, что Петру не нужно было прямой помощи Августа для приобретения приморья – главной цели, с которою он предпринял войну. Карл XII более чем кто-нибудь помог Петру в этом предприятии тем, что в следующем 1701 году лично, с лучшими силами своими пошел войною на Августа, а в Ливонии и Ингерманландии оставил плохих генералов и незначительные военные силы, с которыми русские могли сладить. Дело шло таким образом.

Простоявши зиму и весну в Ливонии, Карл XII 8 июля разбил наголову саксонские войска, бывшие под начальством Штейнау, потом вступил в Курляндию, расположил там свои войска и прозимовал в этой стране за счет ее жителей, обложивши их тяжелою контрибуциею, а весною готовился идти во владения Речи Посполитой в надежде без труда низвергнуть Августа. В Польше в это время происходили междоусобия. Партии двух знатных панов Сапеги и Огинского вели междоусобную войну в Литве. Сверх того, у короля Августа было много недоброжелателей в польском крае. Саксонцы, которых он привел с собою в Польшу, высокомерным обращением оскорбляли национальное самолюбие поляков, и тем возбуждали в них неудовольствие к королю, а кардинал-примас, верховное лицо в польском духовенстве, был личный враг Августа, и во вред королю начал сноситься с Карлом XII. Шведский король требовал низложения Августа и избрания другого короля на его место. Август видел мало помощи от России, для которой собственно было тогда



выгодно, что шведский король ушел воевать в чужую землю. Август пытался склонить на свою сторону прусского короля, но неудачно. Он решился просить у Карла XII мира и нарочно послал вместе со своим камергером Фицтумом в Либаву, где находился тогда Карл, свою любовницу Аврору Кенигсек, думая, что она прельстит своим кокетством и красотой молодого шведского короля; но Карл, всегда строго нравственный, не захотел даже и видеть красавицы, задержал Фицтума, не давши через него ответа, и двинулся в Польшу. Шведский король вошел в Польшу в мае и занял Варшаву; половина Польши стала против Августа; другая была за него; составилось две конфедерации: сандомирская – из шляхты южных воеводств в пользу Августа, и шродская – из северных за Карла. Шведы вербовали в Польше и в Силезии людей в свое войско. 9 июля 1702 года Карл разбил наголову соединенные войска саксонцев и поляков, сторонников Августа, взял Краков и расположился с войском в Польше, наложив на жителей ее большую контрибуцию. Шведы, загостившись в Польше, скоро стали озлоблять против себя жителей главным образом тем, что, будучи протестантами, не оказывали уважения римско-католической святыне. Несчастливая Польша попала, так сказать, между двух огней: ее разоряли и шведы, и саксонцы, и самые сыны ее. Август бегал от Карла; Карл гонялся за Августом, разбил снова саксонское войско при Пултуске, осадил Торун и стоял перед ним целых полгода, пока наконец взял его в конце сентября 1703 года. При посредстве Паткуля, который был принят в русскую службу и находился теперь при Августе уже в качестве царского уполномоченного, Август заключил договор с русским царем, по которому русский царь обязался дать польскому королю 12000 войска и 300000 рублей. Достоинно замечания, что сам Паткуль, понимавший планы Петра и старавшийся подделаться к нему, выражался тогда, что этот договор был заключаем только для вида и что в интересах царя, да и самого короля, было не допускать поляков прийти в силу. 14 января 1704 года кардинал-примас, по приказанию Карла XII, созвал сейм в Варшаве. Шведские войска окружали сеймовую избу. Послы, по требованию примаса, объявили 5 февраля Августа лишенным престола и провозгласили междуцарствие, а выбор нового короля назначен был на 19 июня. Карл XII хотел доставить корону Якову Собескому, сыну покойного короля Яна; но Август, проведав про такое желание, приказал схватить этого претендента. 21 февраля 1704 года, на чужой земле, в Силезии, Яков Собеский вместе с братом Константином были схвачены на дороге и посажены в крепость Кёнигштейн. Карл проходил по Польше и приказывал разорять имения панов, приставших к сандомирской конфедерации. Примас располагал умы в пользу князя Любомирского, краковского воеводы, но Карл стал поддерживать другого претендента, познанского воеводу Станислава Лещинского, и послал на сейм своего генерала Горна. 12 июля, под страхом шведских войск, сейм избрал Станислава королем. Раздосадованный примас Радзиевский перешел на сторону Августа.

По избрании нового короля, Карл продолжал ходить по Польше с места на место и принуждал признать навязанного им Польше короля. 6 сентября он взял Львов; 15-го, наоборот, Паткуль с русско-польским войском отнял у шведов Варшаву; но вскоре поляки и союзные с ними русские, находившиеся под командою Герца, были разбиты шведами.

На следующий 1705 год шведы одерживали победы за победами над Августом. Варшава была снова в их руках; Станислав Лещинский 23 сентября был коронован и от имени Речи Посполитой заключил с Карлом договор против Августа и Петра. Но партия Августа собралась в Тыкочине, 1 ноября, и положила защищать Августа, а король Август, в память этого события, учредил первый орден в Польше – орден Белого орла.

Пользуясь тем, что шведский король был отвлечен делами в Польше, Петр одерживал успех за успехом над шведами и овладел балтийским поморьем. Рассказывают, что граф Дальберг, напрасно старавшийся удержать Карла в Ливонии, говорил при этом: «Кажется, наш король нарочно оставил нас здесь с малыми силами, чтобы научить русских бить нас». Шереметев еще в 1701 году вступил войною в Ливонию и потом, в продолжение четырех лет, воевал ее очень успешно. 29 декабря 1701 года Шереметев разбил у мызы Эресфера генерала Шлиппенбаха. Эта первая победа над шведами была поводом к большой радости и

торжеству в Москве и разгоняла то уныние, которое возбудила в умах русских Нарвская битва. В следующем году, 18 июля, Шереметев разбил в другой раз того же Шлиппенбаха при Гуммельсгофе. Русские после этой победы опустошали Ливонию с таким зверством, которое напоминало поступки их предков в этой же стране при Иване Грозном. Города и деревни сжигали дотла, опустошали поля, истребляли домашний скот, жителей уводили в плен, а иногда целыми толпами сжигали в ригах и сараях.<sup>188</sup> По одной рижской дороге русские сожгли более 600 деревень и, кроме того, ходили в стороны отрядами и везде, куда только ни приходили, вели себя чрезвычайно жестоко. Шереметев стер с лица земли города Каркус, Гельмет, Смильтен, Вольмар, Везенберг, покушался было взять Дерпт, но не мог, по причине сильных укреплений, и приступил к Мариенбургу. Начальствовавший в Мариенбурге подполковник Тильо фон Тилау сдался на капитуляцию, выговоривши свободный выход гарнизону; но, как только русские на следующий день стали входить в город, артиллерийский капитан Вульф взорвал пороховой магазин, с целью погибнуть самому с товарищами и погубить вошедших врагов. За это Шереметев не выпустил никого из оставшихся в живых и всех жителей взял в плен, около 400 человек. Между ними был некто пастор – пробст Глюк с женою, сыном, четырьмя дочерьми, их учителем, двумя служителями и двумя служанками. Этот Глюк был человек, выходивший из ряда: уроженец саксонский, он приобрел большую ученость на родине, знал восточные языки и, будучи еще 22 лет от роду, прибыл в Ливонию с целью посвятить себя распространению слова Божия, для чего основательно выучился русскому и латышскому языкам. Призвавши к себе какого-то русского священника, он предпринял труд перевести славянское Св. Писание на простой русский язык. Такой человек был клад для начинавшегося русского просвещения; но более всего судьба этого человека важна для нашей истории потому, что связана была с судьбою одной из служанок Глюка. Это была дочь ливонского обывателя из местечка Вышкиозеро, Самуила Скавронского.

Есть известие, будто бы она накануне взятия Мариенбурга вышла замуж за одного ливонца, с которым ей не суждено было жить. После плена ее взял полковник Бальк, и она, наравне с другими рабочими женщинами, занималась стиркою белья для солдат; в этом положении увидел ее Меншиков, взял ее к себе, а у него увидел ее царь. Впоследствии мы скажем, на какую высоту вознесла ее странная судьба.

Ливонию продолжали разорять русские и в следующем 1703 году, а в 1704 г. Шереметев доносил царю в таких выражениях: «Больше того чинить разорения нельзя и всего описать невозможно; от Нарвы до границы считают восемьдесят миль, а русскою мерою будет с лишком 400 верст, и Бог знает, чем неприятель нынешнюю зиму остальные свои войска прокормит, можете ваше величество рассудить; только остались целыми Колывань, Рига и Пернов, да местечко за болотами, меж Риги и Пернова, Реймеза (Лемзаль)». Петр похвалял за это Шереметева и приказывал разорять край до последней степени.

Когда таким образом Шереметев опустошал шведскую провинцию Ливонию, сам царь делал завоевания в другой шведской провинции – Ингрии, бывшей некогда новгородскою землею; и здесь завоевание сопровождалось таким же варварским опустошением, как и в Ливонии; там – Шереметев, здесь свирепствовал Апраксин. Последний прошел вдоль Невы до Тосны: «все разорил и развоевал», от рубежа до р. Лавы верст на сто. Но Петр не был доволен разорением ингрийского края, подобно ливонскому, так как у Петра была уже мысль утвердиться при устье Невы. В октябре 1702 года Петр приступил к крепости Нотебургу и после семидневного бомбардирования, а потом, после сильного штурма, нотебургский комендант Густав Шлиппенбах, 11-го октября, сдал крепость на капитуляцию со всеми орудиями и запасами. Эта крепость была древний русский город Орешек, уступленный

---

<sup>188</sup> Сам Шереметев писал государю в конце 1702 года: «Послал я во все стороны пленить и жечь, не осталось целого ничего, все разорено и сожжено, и взяли твои ратные государевы люди в полон мужеска и женска пола и робят несколько тысяч, также и работных лошадей, а скота с 20000 или больше... и чего не могли поднять покололи и порубили».

Швеции по столбовскому миру, но Петр, пристрастный к иноземчине, не возвратил ему древнего русского названия, а назвал Шлиссельбургом (т.е. Ключом-городом). Меншиков был назван губернатором новозавоеванного города. Петр, любивший вообще праздновать свои победы несколько на классический образец, торжествовал покорение Орешка триумфальным шествием в Москву через трое ворот, построенных нарочно по этому случаю. Неутомимый царь после этого празднества отправился из Москвы в Воронеж, осмотрел на дороге работы канала между верховьем Дона и р. Шатью, впадающею в Упу, заложил в имени Меншикова у верховья р. Воронежа город Ораниенбург, осмотрел воронежские корабли, сделал распоряжения о присылке туда рабочих людей и железа и в то же время был, по его собственным словам, «зело доволен бахусовым даром», а весною уже был снова на Неве в Шлиссельбурге и так рассердился на Виниуса за неаккуратность в доставке артиллерийских снарядов и лекарств в Шлиссельбург, что отставил его от службы и наложил на него большое взыскание.

25 апреля 1703 г. Петр вместе с Шереметевым, с 25000 войска подступил к крепости Ниеншанцу, построенной при устье р. Охты, впадающей в р. Неву.<sup>189</sup> После сильной пушечной пальбы комендант полковник Опалев, человек старый и болезненный, сдал город, выговоривши себе свободный выход. Между тем шведы, не зная о взятии Ниеншанца, плыли с моря по Неве для спасения крепости. Петр выслал Меншикова с гвардиєю на тридцати лодках к деревне Калинкиной, а сам с остальными лодками тихо поплыл вдоль Васильевского острова, под прикрытием леса, и отрезал от моря вошедшие в Неву суда от прочей эскадры, стоявшей еще в море. Русские напали на два шведские судна с двух сторон. Шведы были застигнуты врасплох так, что из семидесяти семи человек осталось в живых только девятнадцать. Русские убивали неприятеля, даже просившего пощады, и взяли два большие судна. Событие это, по-видимому незначительное, чрезвычайно ценилось в свое время: то была первая морская победа русских, и Петр, носивший звание бомбардирского капитана, вместе с Меншиковым, пожалован был от адмирала Головина орденом Андрея Первозванного. 16 мая того же года на острове, который назывался Янни-Саари и переименован был Петром Люст-Эйландом (т.е. Веселым островом), в день Св. Троицы Петр заложил город, дав ему название С.-Петербурга. Первою постройкою его была деревянная крепость с шестью бастионами; вместе с тем царь приказал построить для себя домик, сохраняемый до сих пор, также на берегу Большой Невки дом для Меншикова, нареченного Санкт-петербургским губернатором, и дома для других близких к царю сановников. В ноябре 1703 года прибыл в только что заложенный Петром город первый голландский купеческий корабль. Петр лично провел его в гавань и щедро одарил весь экипаж корабля. В том же году осенью Петр поплыл на остров Котлин, вымерял сам фарватер между островом и находившеюся против него мелью и заложил крепость, назвавши ее Кроншлотом. Все это были события, оказавшиеся громадной важности по своим последствиям в русской истории. Близ возвращенного России древнего новгородского Нового-Острога, переименованного шведами в иностранное название Ниеншанца, суждено было явиться новому, также с иностранным именем, городу и сделаться столицею новой русской империи.

Настала зима. Петр отправился в Воронеж и сделал распоряжение о постройке шести больших военных кораблей не в самом Воронеже, а в построенном им тогда нарочно городе Таврове; из Воронежа государь отправился в Олонец: и там у него также устроена была корабельная верфь. Он основал в Олонце железные заводы и в своем присутствии приказывал лить пушки, а весною, в марте, Петр опять уже был в Петербурге и деятельно занимался его постройкою. Ему до чрезвычайности понравилось это место, и он стал называть его своим раем (парадизом).

1704-й год был замечательно счастлив в войне со шведами. Шереметев опустошил Эстонию таким же жестоким способом, как в прежнее время Ливонию, а потом осадил Дерпт. 3-го июля сам царь прибыл к городу; 13-го русские сделали приступ, разбили ворота,

---

<sup>189</sup> Слово Ниеншанц есть буквальный шведский перевод слова Новый-Острог, которым назывался русский город, бывший на этом месте или около него.

и комендант Скитте сдал город со 132 орудиями, выговоривши себе свободный выход. Царь тотчас же утвердил все привилегии города, призывал жителей оставаться на своих местах и обнадеживал своею милостью. Тогда 1388 чел. шведов, положивших оружие, вступили в русскую службу. 9-го августа взята была Нарва, но здесь не так милостиво русские разделались с побежденными, как в Дерпте: комендант Горн не хотел сдаваться, и русские солдаты ворвались силою в город, истребляли и старого и малого. Петр, усиливаясь остановить напрасное кровопролитие, собственноручно заколол несколько солдат, но храброму коменданту за его упорство дал пощечину. Вслед за тем сдался Иван-город, расположенный на другом берегу реки Наровы. Осенью Петр опять занимался постройкою кораблей на Олонецкой верфи, потом заложил в Петербурге адмиралтейство, осмотрел новозавоеванные города, Нарву и Дерпт, а в декабре праздновал в Москве свои победы и возвращение России ее древних земель. Было устроено семь триумфальных ворот, через которые проезжал государь; за ним вели пленных шведских офицеров и везли взятые у неприятеля пушки и знамена.

В 1705 году Петр хотел выгнать шведов из Курляндии, сам с войском приехал в Полоцк и отправил фельдмаршала Шереметева к Митаве; другою частью войска начальствовал другой фельдмаршал, иностранец Огильви, возведенный Петром в этот сан к досаде его русских полководцев. Находясь в Полоцке, русский царь имел столкновения с униатскими монахами: посетивши униатский монастырь, он с неудовольствием увидел богато украшенный образ Иосафата Кунцевича, жестокого врага православной веры, некогда убитого народом и признаваемого униатами священиком. Раздосадованный ответом монаха, отозвавшегося с почтением об Иосафате, Петр приказал схватить нескольких монахов. Монахи и послушники стали сопротивляться: русские четырех убили, а одного из них, который славился своими фанатическими проповедями против православных, Петр приказал повесить. Этот поступок наделал в свое время много шума в католическом мире. Петр не слишком смотрел на это; расправившись таким образом с униатскими монахами, он выехал в Вильно и здесь получил известие о поражении Шереметева.

15-го июля этот полководец, до сих пор так удачно воевавший, столкнулся со шведским генералом Левенгауптом при Гемауертгофе, был разбит наголову и сам был ранен. Петр не только не ставил ему этого в вину, но письменно утешал его в несчастии и замечал, что постоянная удача часто портит людей. Поражение Шереметева не произвело, однако, большой беды. Левенгаупт не воспользовался своею победою, ушел в Ригу, а Петр выступил из Вильно в Курляндию, 2-го сентября взял столицу Курляндии, и вся страна покорилась ему.

Отсюда Петр положил идти в Литву на выручку Августа, но выслал Шереметева в Астрахань для усмирения возникшего там бунта, а главнокомандующим у себя назначил иностранца Огильви, не ладившего, однако, с любимцем царя Меншиковым. Под его начальством русское войско вступило в Литву. Главная квартира его устроена была в Гродно. В октябре прибыл туда царь и свиделся там с Августом; потом, предоставивши ведение войны фельдмаршалу Огильви, он уехал в декабре в Москву.

Кроме вспомогательного русского войска под начальством Огильви, у Августа, по заключенному прежде договору, был русский отряд, состоявший из солдат и украинских казаков; он находился под командою Паткуля, который, как мы сказали, в это время носил звание доверенного царя при польском короле. Паткуль не ладил с саксонскими министрами Августа, и сам Август не любил его. С одной стороны, Август раздражен был против него за сношение с берлинским кабинетом; прусский король был дурно расположен к Августу и склонялся даже к тому, чтобы признать соперником его Станислава Лещинского, а Паткуль не только имел друзей в Берлине, но в своих письмах, отправляемых туда, отзывался дурно о саксонских министрах и порицал поступки Августа. С другой стороны, Паткуль беспрестанно жаловался царю, что порученное ему русское войско очень дурно содержится в Саксонии, что саксонские министры нарочно отвели квартиры этому войску в разоренном крае, где оно терпит большие лишения. Паткуль указывал, что в крайней нужде, в какую

поставлено русское войско, служившее Августу, он истратил собственные деньги на прокормление русских. Наконец, Паткуль представлял, что для спасения русских от голодной смерти в Саксонии, лучше всего отдать русский отряд внаймы императору. Петр дал Паткулю полномочие на передачу русского войска императору, но только в крайнем случае. Пользуясь этим дозволением, Паткуль заключил договор с имперским генералом Штратманом о передаче русского отряда в имперскую службу на один год. Саксонский государственный совет, правивший страной в отсутствие короля, был до чрезвычайности раздражен этим поступком и после напрасных увещаний, обращенных к Паткулю, не делая того, что он затевает, совет, по предложению фельдмаршала Штейнау, приказал арестовать Паткуля и отправить в крепость Зонненштейн. Петр протестовал против такого поступка, требовал отпуска Паткуля, необходимого для него уже и потому, что Паткуль обязан был отдать отчет русскому царю в своих действиях. Но протестации Петра остались бесплодными.

Между тем Карл XII, простоявши несколько месяцев в Блоне, в январе 1706 года, несмотря на суровую зиму, бросился на Гродно, думая захватить там Августа; Август хотя и не достался в руки Карла, успевши ранее выйти из Гродно с четырьмя русскими полками и соединиться со своим генералом Шилленбергом, но 2-го февраля, вместе с этим своим генералом, был разбит наголову шведским генералом Реншильдом. Карл простоял под Гродно до конца марта, пытаясь взять этот город, защищаемый Огильви; наконец, по приказанию Петра, Огильви вырвался из осады и ушел, потерявши значительное число русского войска от болезней и недостатка в припасах. Карл из-под Гродно не преследовал его, а ушел на Волынь и расположил там свое войско, пользуясь изобилием, господствовавшим в стране, и облагал тяжелыми контрибуциями имения панов, придерживавшихся стороны Августа. Пребывание Карла на Волыни заставляло Петра опасаться, чтобы шведский король не ворвался в Украину, и, в предупреждение этого, Петр сначала отправил в Киев Меншикова, а 4-го июля сам прибыл туда в первый раз в жизни и, пробывши там полтора месяца, заложил нынешнюю Печерскую крепость. Он оставил Украину только тогда, когда получил известие, что Карл вышел из Волыни в противоположную сторону. Петр поскакал в Петербург, а в Польшу отправил войско под начальством Меншикова; фельдмаршал Огильви был уволен.

Карл XII на этот раз решился нанести вред своему врагу в его наследственных владениях; оставивши генерала Мардефельда в Польше, он вступил в Саксонию и начал, по своему обычаю, налагать на жителей тяжелую контрибуцию. Тут Август, испугавшись за свои наследственные земли, отправил к шведскому королю своего министра Пффингтена просить мира, и этот уполномоченный от имени своего короля заключил со Швециею, в замке Альтранштадте, близ Лейпцига, договор, по которому Август отрекался от польской короны в пользу Станислава Лещинского, разрывал союз с русским царем, обязывался отпустить всех пленных и выдать изменников, в ряду которых Паткуль занимал первое место. Пффингтен привез своему королю этот договор для утверждения 4-го октября в Пиотроков, где был и Меншиков со своими войсками. Король тайно утвердил договор, но Меншикову об этом не сказал, так что Меншиков, вместе с русскими и саксонскими войсками, продолжал воевать со шведами в качестве союзника Августа. Не подавая Меншикову вида о состоявшемся примирении, Август, однако, дал сам об этом тихонько знать шведскому генералу Мардефельду, но Мардефельд, не получая еще о том же известия от своего короля, не поверил Августу и вступил в битву с Меншиковым у Калиша. С Мардефельдом, кроме шведов, были и поляки (по русским известиям до 20000). 18-го октября произошла битва, кончившаяся полною победою русских. Победа эта произвела большое торжество в России; Август продолжал таиться перед Меншиковым, вместе с ним совершал благодарственные молебствия о победе, отпустил Меншикова с войском на Волынь и продолжал скрывать от русского посла Василия Долгорукова заключенный со шведами мир, пока нельзя было долее скрывать тайны. Карл обнародовал Альтранштадтский мир; тогда Август уверял Долгорукова, что он заключил мир только видимый, чтобы спасти

Саксонию от разорения, а как только Карл выйдет из его владений, так он тотчас нарушит этот мир и заключит опять союз с царем. Следствием Альтранштадтского мира была выдача Паткуля.<sup>190</sup> Военные обстоятельства были поводом, что главнейшая деятельность Петра во внутреннем устройении государства клонилась к возможно большему обогащению казны и к доставке средств для ведения войны. Этой цели соответствовали почти все нововведения того времени, получившие впоследствии самобытный характер в сфере преобразований. Таким образом для правильного и полного взимания поборов необходимо было привести в известность количество жителей в государстве, и для того учреждены, в 1702 году, метрические книги для записки крещенных, умерших и сочетавшихся браком.

В 1705 году велено было переписать всех торговых людей с показанием их промыслов. Промыслы на Северном море (китовые, тресковые и моржевые), производившиеся до сих пор вольными людьми, отданы исключительно компании, во главе которой был Меншиков. С тою же целью – умножения казны – сделаны были важные перемены в делопроизводстве. Еще в 1701 году устроены были в городах крепостные избы и установлены надсмотрщики, которые должны были записывать всякую передачу имуществ, всякие договоры и условия. В 1703 году не только в городах, но и в селах велено было заключать всякие условия с рабочими, извозчиками, промышленниками не иначе, как с записью и платежом пошлин. Потребность в солдатах повела к самым крайним средствам привлечения народа в военную службу. В январе 1703 года всех кабальных, оставшихся после смерти помещиков и вотчинников, велено сгонять и записывать в солдаты и матросы, а в октябре того же года у всех служилых и торговых людей велено взять в солдаты из их дворовых людей пятого, а из деловых (т.е. рабочих) седьмого, не моложе двадцати и не старше тридцати лет. Такое же распоряжение коснулось бельцов, клирошан и монашеских детей. Ямщики обязаны были давать с двух дворов по человеку в солдаты. Со всей России велено взять в военную службу воров, содержавшихся под судом. В 1704 году, под угрозой жестокого наказания, велено собраться в Москве детям и свойственникам служилых людей и выбирать из них годных в драгуны и солдаты. Последовал ряд посягательств на всякую собственность. В ноябре 1703 года во всех городах и уездах приказано описать леса на пространстве пятидесяти верст от больших рек и двадцати от малых, а затем вовсе запрещалось во всем государстве рубить большие деревья под опасением десятирублевой пени, а за порубку луба – под страхом смертной казни. Через несколько времени (января 1705 года) сделано было исключение для рубки леса на сани, телеги и мельничные потребности, но отнюдь не на строения, а зато за рубку в заповедных лесах каких бы то ни было деревьев назначена смертная казнь. Страсть царя к кораблестроению вынудила эту строгую меру. Январь 1704 года особенно ознаменовался стеснением собственности. Все рыбные ловли, пожалованные на оброк или в вотчину и поместье, приказано отобрать на государя и отдавать с торгов на оброк: для этого была учреждена особая Ижорская канцелярия рыбных дел, под управлением Меншикова. Потребовались повсюду сказки о способе ловли рыбы, об ее качестве, о ценах и пр. Все эти рыбные ловли сдавались в откуп, а затем всякая тайная ловля рыбы вела за собою жестокие пытки и наказания. Описаны были и взяты в казну постоянные дворы, торговые пристани, мельницы, мосты, перевозки, торговые площади и отданы с торгу на оброк. На всяких мастеровых: каменщиков, плотников, портных, хлебников, калачников, разносчиков, – мелочных торговцев и пр., наложены были годовые подати по две гривны с человека, а на чернорабочих по четыре алтына. Хлеб можно было молотить не иначе, как на мельницах, отданных на оброк или откуп, с платежом помола. Оставлены мельницы только помещикам с платежом в казну четвертой доли дохода. Все бани в государстве сдавались на откуп с

---

<sup>190</sup> Его перед тем перевезли из Зонненштейна в Кёнигштейн. 28-го марта 1707 года Паткуля вывезли из Кёнигштейна и передали шведским комиссарам. Его повезли в Калишское воеводство в местечко Казимерж и отдали под суд, продолжавшийся несколько месяцев. 10-го октября Паткуль на площади близ Казимержа был колесован самым мучительным образом, потому что выбрали палачом неопытного в этом деле поляка. Несчастный с воплем молил, чтобы ему поскорее отрубили голову. Растерзанные части его были выставлены на пяти колесах по варшавской дороге.

торгов; запрещалось частным домохозяевам держать у себя бани под страхом пени и ломки строения. Во всем государстве положено было описать все пчельники и обложить оброком. Для всех этих сборов были устроены новые приказы и канцелярии, находившиеся под управлением Меншикова. Через несколько времени банная пошлина была изменена: позволено иметь домовые бани, но платить за них от пяти алтын до трех рублей; а в июне с бань крестьянских и рабочих людей назначена однообразная пошлина по три алтына и две деньги по всему государству. Также в январе 1705 года дозволено частным лицам иметь постоянные дворы, с обязательством платить четвертую часть дохода в казну. Для определения правильного сбора требовались беспрестанно сведения или сказки, что служило поводом к беспрестанным придиркам и наказаниям. Соль во всей России продавалась от казны вдвое против подрядной цены. Табак, с апреля 1705 года, стал продаваться не иначе, как от казны, кабацкими бурмистрами и целовальниками; за продажу табака контрабандою отбирали все имущество и ссылали в Азов: доносчики получали четвертую часть, а тем, которые знали, да не донесли, угрожала потеря половины имущества. В январе того же года учрежден был своеобразный налог: во всем государстве приказано переписать дубовые гробы, отобрать их у гробовщиков, свезти в монастыри и к поповским старостам и продавать вчетверо против покупной цены. Каждый, привозивший покойника, должен был являться с ярлыком, а кто привозил мертвеца без ярлыка, против того священники должны были начинать иск. В этом же месяце введен был налог на бороды: со служилых и приказных людей, а также с торговых и посадских по 60 рублей в год с человека. С гостей и богатых торговцев гостиной сотни по 100 рублей, а с людей низшего звания: боярских людей, ямщиков-извозчиков, по 30 рублей; заплатившие должны были брать из приказа особые знаки, которые постоянно имели при себе, а с крестьян брали за бороды по две деньги всякий раз, как они проходили в ворота из города или в город: для этого были устроены особые караульные, и бурмистры должны были смотреть за этим под страхом конечного разорения. Также подверглось пени русское платье. У городских ворот приставленные целовальники брали за него с пешего 13 алтын 2 деньги, с конного по 2 рубля.

Несмотря на строгие меры и угрозы, повсеместно происходила противозаконная беспошлинная торговля, и царь, чтобы пресечь ее, поощрял доносчиков и подвергал телесному наказанию и лишению половины имущества тех, которые знали и не доносили, хотя бы они были близкие сродники. За всякое корчемство отвечали целые волости и платили огромные пени, для чего и были учреждены особенные выемные головы, которые должны были ездить от города до города по селам и ловить корчемников. Беспрестанно открывалось, что в разных местах продолжали, вопреки царским указам, производить свободно разные промыслы, а в особенности рыбные ловли. И те лица, которые должны были смотреть за казенным интересом, сами делались ослушниками. Кроме всякого рода платежей, несносною тягостью для жителей были разные доставки и казенные поручения, и в этом отношении остались поразительные примеры грубости нравов. Царские чиновники, под предлогом сбора казенного дохода, притесняли и мучили жителей, пользовались случаем брать с них лишнее: удобным средством для этого служил правож. Со своей стороны, ожесточенные жители открыто сопротивлялись царским указам, собираясь толпами, били дубьем чиновников и солдат. Старая привычка обходить и не исполнять закон, постоянно проявляясь, ставила преграды предприятиям Петра. Так, например, несмотря на введение гербовой бумаги, каждый год следовали одно за другим подтверждения о том, чтобы во всех актах и условиях не употреблялась простая бумага. И вообще за всеми распоряжениями правительства следовали уклонения от их исполнения. Торговля, издавна стесняемая в Московском государстве в пользу казны, в это время подверглась множеству новых монополий. Так, торговля дегтем, коломазью, рыбным жиром, мелом, ворванью, салом и смолою отдавалась на откуп, а с 1707 года начала производиться непосредственно от казны через выборных целовальников, с воспрещением кому бы то ни было торговать этими товарами. К разным стеснениям экономического быта присоединялось еще в Москве запрещение строить в одной части Москвы (Китай-городе) деревянные строения, а в других

частях – каменные, и приказание делать мостовые из дикого камня. Гости и посадские люди должны были за свой счет возить камень, а крестьяне, приходя в Москву, должны были принести с собою не менее трех камней и отдать у городских ворот городским целовальникам.

Между тем наборы людей в войско шли возрастающим образом: в январе 1705 года с разных городов, посадов и волостей взято было с двадцати дворов по человеку в артиллерию, возрастом от 20 до 30 лет. В феврале положено взять у дьяков подробные сведения об их родственниках и выбрать из них драгун.

В том же феврале со всего государства определено с двадцати дворов взять по рекруту, от 15 до 20 лет возраста холостых, а там, где меньше двадцати дворов – складываться. Этим новобранцам должны были сдать обувь, шубы, кушаки, чулки и шапки; если кто из этих рекрут убежал или умирал, то на его место брали другого. Затем встречаем мы последовательно наборы рекрут в войско. В декабре 1705 года назначен набор по человеку с 20 дв., то же повторилось в марте 1706, потом в 1707 и 1708 годах. Кроме того, из боярских людей в 1706 г. взято в боярских вотчинах с 300 дворов, а в других вотчинах со 100 по человеку, а в декабре 1706 г. взято в полки 6000 извозчиков. При поставке рекрут помещики обязаны были давать на них по полтора рубля на каждого; торговые люди обложены были на военные издержки восьмью деньгою с рубля, а те, которые должны были сами служить, но оказывались неспособными к службе, платили пятнадцать рублей. Дьяки и приказные люди в 1707 году были поверстаны в военную службу и должны были из себя составить на собственное иждивение особый полк. Со всех священников и дьяконов наложен сбор драгунских лошадей, с 200 двор. по лошади, а в Москве со 150 дворов. Кроме набора рекрут, царь велел брать рабочих, преимущественно в северных областях, и отсылать их на Олонецкую верфь в Шлиссельбург, а более всего в Петербург. Народ постоянно всеми способами убежал от службы, и царь издавал один за другим строгие указы для преследования беглых; за побег угрожали смертною казнью не только самим беглым, но и тем, которые будут их передерживать, не станут доносить о них и не будут способствовать их поимке. Но беглых солдат было так много, что не было возможности всех казнить, и было принято за правило из трех пойманных одного повесить, а двух бить кнутом и сослать на каторгу. С неменьшею суровостью преследовали беглых крестьян и людей. Передерживавшие беглых такого рода подвергались смертной казни. Беглецы составляли разбойничьи шайки и занимались воровством и грабежом. Принято было за правило казнить из пойманных беглых крестьян и холопов только тех, которые уличены будут в убийстве и разбое, а других наказывать кнутами, налагать клейма, вырезывать ноздри. Последний способ казни был особенно любим Петром. В его бумагах остались собственноручные заметки о том, чтобы инструмент для вырезывания ноздрей устроить так, чтобы он вырывал мясо до костей. Неудовольствие было повсеместное, везде слышался ропот; но везде бродили шпионы, наушники, подглядывали, подслушивали и доносили; за одно неосторожное слово людей хватили, тащили в Преображенский приказ, подвергали неслыханным мукам. «С тех пор, как Бог этого царя на царство послал, – говорил народ русский, – так и светлых дней мы не видим: все рубли, да полтины, да подводы, нет отдыха крестьянину. Это мироед, а не царь – весь мир переел, переводит добрые головы, а на его кутилку и перевода нет!» Множество взятых в солдаты было убито на войне; они оставили жен и детей, и те, скитаясь по России, жаловались на судьбу свою и проклинали царя, с его нововведениями и воинственными затеями. Ревнителю старины вопияли против бранобрития и немецкого платья, но их ропот сам по себе не имел бы большой силы без других важных поводов, возбуждавших всеобщее негодование: бритье бород, немецкое платье в эпоху Петра тесно связывались с разорительными поборами и тяжелою войною, истощавшею все силы народа. Ненависть к иностранцам происходила оттого, что иностранцы пользовались и преимуществами, и милостями царя, более природных русских, и позволяли себе презрительно обращаться с русскими.

Народ, естественно, был склонен к бунту; но в середине государства, где было войско и



где высший класс был за царя, взрыву явиться было неудобно. Бунты начали вспыхивать на окраинах, как то и прежде не раз делалось в истории Московского государства. Летом 1705 года началось волнение в Астрахани; заводчиками бунта были съехавшиеся туда торговцы из разных городов, астраханские земские бурмистры и стрелецкие пятидесятники. Начали толковать, что Петр вовсе не сын царя Алексея и царицы Натальи: царица родила девочку, а ее подменили чужим мальчиком, и этот мальчик – теперешний царь. Ходили и другого рода слухи: что государь взят в плен и сидит в Стокгольме, а начальные люди изменили христианской вере. Астраханский воевода Ржевский успел сильно раздражить народ ревностным исполнением воли Петра: людей не пускали в церковь в русском платье, обрезывали им полы перед церковными дверьми, насильно брили и на поругание вырывали усы и бороды с мясом, народ отягощали поборами и пошлинами. «С нас, – вопили люди в Астрахани, – берут банные деньги по рублю, с погребов, со всякой сажени по гривне, завели причальные и отвальные пошлыны. Привези хворосту хоть на шесть денег в лодке, а привального заплати гривну. В Казани и других городах поставлены немцы, по два, по три человека на дворы, и творят всякие поругательства над женами и детьми». Распространилась молва, что из Казани пришлют в Астрахань немцев и будут за них насильно выдавать девиц. Эта весть до того перепугала астраханцев, что отцы спешили отдавать дочерей замуж, чтоб, оставаясь незамужними, они не достались против воли, как собственной, так и воли их родителей, «некрещеным» немцам: в июле 1705 года было сыграно в один день до ста свадеб, а свадьбы, как следовало, сопровождалась попойками, и народ под постоянным влиянием винных паров стал смелее. Ночью толпа ворвалась в Кремль, убила воеводу Ржевского и с ним нескольких человек, в том числе иностранцев: полковника Девиня и капитана Мейера. Мятежники устроили казацкое правление и выбрали главным старшиною ярославского гостя Якова Носова. За астраханцами взбунтовались жители Красного и Черного Яра и, по примеру астраханцев, устроили у себя выборное казацкое правление; но усилия мятежников взволновать донских казаков не имели успеха. Хотя на Дону было слишком много недовольных, но донское правительство, бывшее в руках значных, или так называемых старых казаков, в пору не допустило распоряжаться по-своему гольтѣбе, состоявшей из беглецов, сбравшихся на Дон со всей Руси. Государь, узнавши в Митаве о бунте на восточных окраинах, давал ему больше значения, нежели он имел. Петр опасался, чтобы мятеж не охватил всей России, не проник бы и в Москву. Для укрощения его Петр отправил самого фельдмаршала Шереметева и в то же время написал боярину Стрешневу, что нужно бы вывезти из московских приказов казенные деньги, а также и оружие. Шереметеву дан был наказ: отнюдь не делать жестокостей, но объявлять мятежникам прощение, если они покорятся. Шереметев, явившись на Волгу, без всякого затруднения усмирил Черный Яр и, приехавши к Астрахани, послал сызранского посадского Бородулина уговаривать мятежников. Выбранный астраханскими мятежниками старшина Носов не поддавался увещаниям, называл царя обменным царем, говорил, что царь нарушил христианскую веру, что с ними, астраханцами, заодно многие люди в Московском государстве и что они пойдут весною выводить бояр и воевод, доберутся «до царской родни, до немецкой слободы и выведут весь его корень». Они злились особенно на Меншикова, которого звали еретиком. Несмотря, однако, на такие смелые заявления, как только Шереметев, подступивши к Астрахани, ударил из пушек, тотчас мятежники стали сдаваться, и сам Яков Носов вышел с повинною к боярину. Вместо обещанного прощения, мятежников начали отправлять в Москву и там, после продолжительных и мучительных пыток, предали колесованию. Так погибло 365 человек. Но из армии самого Шереметева множество солдат бежало в то время, как он возвращался из Астрахани.

Невыносимые поборы и жестокие истязания, которые повсюду совершались над народом при взимании налогов и повинностей, приводили народ в ожесточение. Народ бежал на Дон и в украинные земли; по рекам: Бузулуку, Медведице, Битюгу, Хопру, Донцу завелись так называемые верховые казачьи городки, населенные сплошь беглецами. Эти верховые городки не хотели знать никаких податей, ни работ, ненавидели Петра и его

правление, готовы были сопротивляться вооруженною рукою царской ратной силе. В 1707 году царь отправил на Дон полковника, князя Юрия Долгорукова, требовать, чтобы донские казаки выдали всех беглых, скрывавшихся на Дону; старшины показали вид покорности, но между простыми казаками поднялся сильный ропот, тем более, когда в то же время объявлено было казакам приказание царя брить бороды. Донские казаки считали своею давнею привилегиею давать убежище всем беглым. Когда полковник князь Долгорукий со своим отрядом и с пятью казаками, данными старшиною, отправился для отыскания беглых, атаман Кондратий Булавин, из Трехизбянской станицы на Донце, напал на него 9-го октября 1707 года на реке Айдаре, в Ульгинском городке, убил его, перебил всех людей и начал возмущать донецкие городки, населенные беглыми. В этих городках встречали его с хлебом и медом. Булавин составил план взбунтовать все украинные городки, произвести мятеж в донском казачестве, потом взять Азов и Таганрог, освободить всех каторжных и ссыльных и, усиливши ими свое казацкое войско, идти на Воронеж, а потом и на самую Москву. Но прежде чем Булавин успел возмутить городки придонского края, донской атаман Лукьян Максимов быстро пошел на Булавина, разбил и прогнал, а взятых в плен его сотоварищей перевешал за ноги. Булавин бежал в Запорожье, провел там зиму, весною явился опять в верхних казачьих городках с толпою удалых и начал рассылать грамоты; в них он рассказывал, будто Долгорукий, им убитый, производил со своими людьми в казачьих городках разные неистовства: вешал по деревьям младенцев, кнутом бил взрослых, резал им носы и уши, выжег часовни со святынею. Булавин, в своих воззваниях, убеждал и начальных лиц, и простых посадских, и черных людей стать единодушно за святую веру и друг за друга против князей, бояр, прибыльщиков и немцев. Он давал повеление выпускать всех заключенных из тюрем и грозил смертною казнью всякому, кто будет обижать или бить своего брата. Донской атаман Максимов пошел на него снова, но значительная часть его казаков перешла к Булавину. В руки воровского атамана досталось 8000 р. денег, присланных из Москвы казакам. Сам Максимов едва бежал в Черкассы. Эта победа подняла значение Булавина. За нею поднялись двенадцать городков на северном Донце, двадцать шесть – на Хопре, шестнадцать – на Бузулуке, четырнадцать – на Медведице. Восстание отозвалось даже в окрестностях Тамбова: и там в селах крестьяне волновались и самовольно учреждали у себя казацкое устройство.

В Пристанном городке на Хопре Булавин собрал сходку из обитателей разных городков и разослал по сторонам «прелестные» письма. Он требовал, чтобы отовсюду половина жителей шла в сход за веру и за царя (!) для того, что злые бояре и немцы злоумышляют, жгут и казнят народ, вводят русских людей а еллинскую веру. «Ведаете сами, молодцы, – писал Булавин, – как деды ваши и отцы положили и в чем вы породились; прежде сего старое поле крепко было и держалось, а ныне те злые люди старое поле перевели, ни во что почли, и чтоб вам старое поле не истерять, а мне, Булавину, запорожские казаки слово дали, и белгородская орда и иные орды, чтоб быть с вами заодно. А буде кто или которая станица тому войсковому письму будут противны, пополам верстаться не станут, или кто в десятки не поверстается, и тому казаку будет смертная казнь».

Задачею мятежа, как и при Стеньке Разине, было расширить область казачества. Средоточием его признавался Дон и донское казачье войско, которое на поэтическом русском народном языке носило название, как наименование своего отечества, Тихий Дон. Те города и поселения, которые пристанут к мятежу и введут у себя казачье устройство, тем самым присоединялись к Дону или казачьему войску. В украинских городах жители, состоявшие из беглых, самовольно назывались казаками; из таких-то Булавин составил отряды под начальством предводителей, нареченных, по казацкому обычаю, атаманами: то были Хохлач, Дранный, Голый, Строка. Булавин отправил их по украинным городкам, а сам бросился на Черкасск. 1 мая в Черкасске казаки взбунтовались и выдали Булавину верного царю атамана Лукьяна Максимова и с ним старшину. 6 числа того же месяца круг, собранный в Скородумовской станице, их всех в числе шести человек осудил на смерть. Им отрубили головы; Булавин провозглашен был атаманом всех рек. Булавин не приказал в

церквах молиться за царя и разослал во все стороны прелестные письма, уверял, что поднялся за всех маломочных людей, за благочестие, за предания седми соборов, за старую истинную веру; извещал, что казаки намерены отложиться от царя за то, что царь перевел христианскую веру в своем царстве, бреет бороды и тайные уды у мужчин и у женщин, и потому казаки, вместо русского царя, хотят признать над собою власть царя турецкого. И Булавин, вслед за тем, через кубанских мурз послал письмо к турецкому султану. «Нашему государю, – писал он, – отнюдь не верь, потому что он многие земли разорил за мирным состоянием, и теперь разоряет, и готовит суда и войско на турецкую державу».

Булавин прежде всего надеялся на украинные городки, но дело восстания пошло там плохо. Для усмирения мятежа Петр послал майора гвардии князя Василия Владимировича Долгорукого и дал ему приказание истреблять городки, основанные в глухих местах и населенные беглыми. Петр полагал, что эти-то городки составляют зерно мятежа. Царь приказывал Василию Долгорукому руководствоваться записанными в книгах поступками князя Юрия Долгорукого, прекращавшего мятеж в восточных областях России, возбужденный Стенькою Разиным. Князь Василий Долгорукий должен был все жечь, людей рубить без разбора, а наиболее виноватых – колесовать, четвертовать, сажать на колья. Кроме Долгорукого, действовать против мятежников должны были: стольник Бахметев и слободские малороссийские полки. Воровской атаман Голый успел было напасть на речке Уразовой (Валуйского уезда) на Сумской слободской полк, разбил его в пух и убил сумского полковника; но Бахметев разбил на речке Курлаке Хохлача, пробиравшегося к Воронежу с намерением освободить там тюремных сидельцев, перебить начальных людей и иноземцев. Атаман Дранный был разбит и убит в битве на реке Горе бригадиром Шидловским; тысяча пятьсот запорожцев, помогавших Драному, сдались, и все были истреблены. Наконец, посланный Булавиным к Азову отряд в числе пяти тысяч был отбит с большим уроном. Эти неудачи сразу лишили Булавина доверия. Донские казаки, как показывает вся их история, не отличались постоянством: они склонны были начинать мятежи, но упорно вести их не были способны; всегда между ними находилось много таких, которые искушались случаем выдавать свою возмущившуюся братию, показать перед верховною властью свое раскаяние и через то остаться в выигрыше. Против Булавина составил заговор, как только счастье изменяло Булавиному в его предприятии. Руководителем заговора был товарищ Булавина, Илья Зерщиков. 7 июля напали заговорщики на своего главного атамана. Булавин отстреливался, убил двоих казаков, но потом, увидав, что врагов много и ему не сладить с ними, убежал в курень и застрелился из пистолета. Зерщиков, избранный атаманом, от имени всего войска принес царю повинную. Долгорукий занял Черкасск и обошелся милостиво, чтоб не раздражить казаков. Украинные городки, носившие название верховых, осуждены были на истребление, а потому бунт, прекратившись в земле донских казаков, не прекратился в великорусской Украине. Беглые, населявшие опальные городки, не ожидали себе никакого милосердия и поневоле в отчаянии должны были резаться до последней степени. Атаман Некрасов, с шайкою самозванных казаков, бросился было на восток и хотел взять Саратов, от которого был отбит калмыками, а тем временем Долгорукий взял его постоянное местопребывание – Асаулов городок на Дону; главных заводчиков, там найденных, приказал четвертовать, а множество других повесить: тогда несколько сот виселиц, с повешенными на них мятежниками, было поставлено на плотках и пущено по Дону. Некрасов, услышавши о разорении своего городка, убежал на Кубань с двухтысячною шайкою и отдался под власть крымского хана. По его следам пошли другие из донских станиц, преданных расколу, и так положено было начало казаков некрасовцев, которые поселились на берегу Черного моря между Темрюком и Таманью, а в 1778 году ушли в Турцию.

Из всех атаманов упорнее показал себя Никита Голый. Он хотел продолжать дело Булавина и рассылал прелестные письма. «Идите, – писал он, – идите, голытьба, идите со всех городов, нагие, босые: будут у вас и кони, и оружие, и денежное жалованье». Мятеж длился несколько времени в южной части воронежской губернии и в харьковской, но удачи мятежникам не было. Острогожского слободского полка полковник Тевяшов и

подполковник Рикман 26 июля разбили при урочище Сальцова Яруга воровское полчище и взяли в плен атамана Семена Карпова, потом побрали и поразорjali городки: Ревеньки, Закатный, Билянский, Айдарский. Голый не унывал, собирал последние силы и укрепился в Донецком городке с другим атаманом, Колычевым. 26 октября Долгорукий с Тевяшовым взяли и этот городок, сожгли его, многих захваченных истребили, но Голый с Колычевым убежал. Долгорукий догнал его на Дону у Решетовой станицы. У Голого было восемь тысяч. Он вступил в битву. Вся его шайка погибла; множество мятежников потонуло; попавшиеся в плен были казнены. Но Голый еще раз спасся бегством. По царскому приказанию были сожжены все городки по берегам рек Хопра, Медведицы до Устьмедведицкой станицы, Донца до Лугани, и по всему протяжению рек: Айдара, Бузулука, Деркула, Черной Калитвы. Все обитатели этих городков, те, на которых падало обвинение в участии в мятеже, истреблены, прочих перевели в другие местности, где с них удобнее было требовать платежа налогов и отправления повинностей.

### **III. От Альтранштадтского мира до Прутского мира России с Турцией**

Народное восстание беспокоило Петра на востоке государства, а с запада готовилось вторжение шведов. После примирения Августа с Карлом и отказа польского короля от короны, Польша оставалась в неопределенном положении. Приходилось полякам: или признать королем Станислава, навязанного им чужеземною силою, или выбрать нового. Если бы у них доставало политического смысла и гражданского мужества, то, конечно, они бы стремились устроить у себя правительство, не угождая ни Петру, ни Карлу. Но тут открылось, что польские паны, заправлявшие тогда своим государством, повели уже Речь Посполитую на дорогу к разложению. Влиятельные паны, бывшие сторонники Августа и противники Станислава, составлявшие генеральную конфедерацию, без зазрения совести просили от русского царя подачек за то, что будут держать Речь Посполитую в союзе с Россией и в войне с Карлом. Таким образом, куявский бискуп примас Шенбек, люблинский и мазовецкий воеводы, коронный подканцлер, маршалок конфедерации тайно взяли из рук русского посла Украинцева по несколько тысяч. Кроме того, Петр дал конфедерации 20000 рублей на войско. Петр успел настолько, что генеральная конфедерация, собравшись во Львове, заключила договор с Россией действовать против Карла. Со своей стороны Август, посредством своих благоприятелей, уверял поляков, что он не хочет отказываться от короны. Петр в эту пору ему не доверял и пытался было предложить корону сыну покойного короля Собеского, Якову. Тот отказался. Петр предлагал польскую корону трансильванскому князю Ракочи. Последний не прочь был сделаться польским королем, но не успел составить в Польше себе партии. Наконец Петр предлагал польскую корону знаменитому имперскому полководцу Евгению Савойскому, но тот, так же как и Собеский, не прельстился на опасную корону. Между тем, соображая, что теперь приходилось вести войну с Карлом без союзников, Петр делал попытки примириться с Карлом и для этого искал посредничества в Англии, Австрии, у голландских штатов и даже у Людовика XIV. Но дело не могло пойти на лад, потому что Карл XII не хотел мириться иначе, как на условии, чтобы Россия возвратила все сделанные ею завоевания, а Петр ни за что не хотел мириться иначе, как оставив за собою Петербург. Притом же в Европе вообще господствовало такое мнение, что не следует давать России усиливаться и допускать ее в систему европейских государств. Французский кабинет прямо указывал Турции опасность от усиления России, которая начнет волновать единоплеменные и единоверные народы, находившиеся под властью Оттоманской Порты. В Австрии боялись вредного для нее влияния России на подвластных славян, и особенно православных. Шведские министры настраивали и Англию, и Голландию в таком же враждебном духе, поддерживая мнение, что если Россия усилится, то сделает варварское скифское нашествие на Европу. Одним словом, все стремления Петра сделать Россию европейским государством не только не находили сочувствия в Европе, но возбуждали зависть и боязнь. Вместе с тем на русских продолжали смотреть с высокомерным

презрением. В таких-то обстоятельствах Петру оставалось бороться с Карлом один на один. К счастью русского государя, упрямый и своенравный король шведский, не слушаясь советов ни государственных людей, ни опытных полководцев, повел свои действия как можно лучше для России.

Задумавши поход в русские владения, Карл пропустил все лето и осень, простоявши лето в Саксонии, а осень в Польше, и двинулся в поход в Литву зимою, подвергая свое войско и стуже, и недостатку продовольствия; вдобавок он раздражал поляков, не скрывая явного к ним презрения, и без всякой пощады их обирал. Гродно было в руках русских; Карл неожиданно явился под этим городом, думая захватить в нем Петра: русский царь едва двумя часами успел уехать оттуда. Защищавший Гродно бригадир русской армии Мюлендорф, после недолгого сопротивления, впустил в город шведов, а потом, страшась наказания, передался неприятелю. Петр, узнавши, что враг его собирается чрез Белоруссию идти в московские пределы, приказал опустошать Белоруссию, чтоб шведы на пути не находили продовольствия, а сам убежал в Петербург, с горячностью деятельностью занялся укреплением его, приказывал в то же время укреплять Москву, велел даже, при первом опасном случае, вывозить все казенные и церковные сокровища на Белоозеро, делал распоряжения об укреплении других городов: Серпухова, Можайска, Твери, дал повеление жителям, под смертною казнию, не выходить из своих мест жительства и быть готовыми к осаде, приказывал гнать народ на работы для укрепления городов. Петр думал, что с весною придется отчаянным образом защищаться от неприятельского вторжения в пределы государства. Но Карл, вступивши в Литву, стал в местечке Радошковичах и простоял там четыре месяца. Не ранее июня выступил он по пути в Россию на Березину. Там русские, под командой Шереметева и Меншикова, берегли переправу, и 3-го июля в местечке Головчине произошла битва. Русские дрались упорно, но отступили. Шведы могли хвалиться победою, но им она стоила дорого. Положение русских, однако, становилось затруднительным потому, что они не знали, по какому направлению пойдет Карл: на север или на юг, в Смоленск или в Украину? Карл прибыл в Могилев, простоял там около месяца, дожидаясь генерала Левенгаупта с его корпусом в 16000 чел. из Лифляндии. В августе, не дождавшись Левенгаупта, шведский король выступил, перешел Днепр и двинулся к р. Соже. Русские думали, что он идет на Смоленск. Действительно, Карл шел на север ко Мстиславлю и 29-го августа встретился с русским войском у местечка Доброго. Сам царь участвовал в битве; русские и здесь остались в потере. Карл пошел за ними вслед, имел еще одну стычку с русскими и остановился. Ему оставалось подождать Левенгаупта, который был уже у Шклова, и потом действовать против русских, усиливши свое войско; но Карл 14-го сентября внезапно повернул назад и направился к Украине. Русские не преследовали его и обратили все силы на Левенгаупта. При местечке Лесном, 28-го сентября, русское войско под предводительством Меншикова, в присутствии царя, вступило в кровопролитную битву ночью. Левенгаупт был разбит наголову (до 8000 тысяч шведов было убито; 2673 чел. взято в плен с пушками и знаменами); Левенгаупт успел привести к королю только 6700 человек, и то без всяких запасов.

Карл шел в Украину с большими надеждами. Малороссийский гетман Иван Мазепа вступил с ним в тайный договор, и его тайная присылка к королю с просьбою идти скорее была, как говорили, причиною внезапного поворота королевского. Ни Петр, ни его государственные люди никак не ожидали измены тогдашнего малороссийского гетмана, бывшего одним из самых любимых и доверенных людей у русского государя. Петр ценил его ум, образованность, преданность видам своего государя, наделял его богатствами и отличиями. Мазепа был второй из получивших учрежденный Петром орден Андрея. Но тогдашнее положение Малороссии делало естественным такое явление. С самого Богдана Хмельницкого эта страна находилась в постоянном колебании.

Уступая тяжелым обстоятельствам, малорусс поневоле клонил голову то перед ляхом, то перед «москалем», то перед турком, а в душе не любил никого из них: его заветным желанием было прогнать их всех от себя и жить дома на своей воле. Это между тем было

невозможно не только по обстоятельствам, извне влиявшим на Малороссию, но по причине внутренней безладицы, мешавшей всем помыслам и стремлениям направиться к одной цели. Казацкие старшины и вообще люди, у которых горизонт политических воззрений был шире, чем у простолюдинов, пропитаны были совсем иными понятиями, чем какие господствовали у великоруссов. Они чуяли, что русская самодержавная власть посягнет на то, что в Малороссии называлось казацкою вольностью. Уже со стороны великорусских важных лиц делались зловещие намеки на необходимость поставить Малороссию на великорусский образец. По поводу постройки Печерской крепости в Киеве, стали отрывать казаков от хозяйственных занятий и гонять на земляные работы, а великорусские служилые люди, наводнявшие Украину, обращались с туземцами нагло и свирепо. Мазепа был человек своего времени; для него, поставленного на челе власти в своем крае, независимость Малороссии не могла не быть идеалом. При невозможности достигнуть этого идеала он, наравне со своими соотечественниками, мог только втайне вздыхать, а перед великоруссами казался верным слугою царя. Но вдруг явилось искушение и надежда достичь желанной цели. Уже не раз польские сторонники шведского короля делали Мазепе соблазнительные предложения; он их отвергал, потому что не надеялся на успех. Но когда противник Карла и союзник Петра лишился короны, и Петру приходилось теперь одному без союзников бороться с победоносным соперником, когда Петр готовился уже не расширять пределы своего государства, а защищать его средину от неприятельского вторжения, – Мазепа увлекся предположением, что в предстоявшем повороте военных обстоятельств победа останется за шведским королем, и если Малороссия будет упорно стоять за Россию, то Карл отнимет ее у России и отдаст Польше, а потому казалось делом благоразумия заранее стать на сторону Карла, с тем чтобы, после расправы с Петром, Малороссия признана была самостоятельным независимым государством. В этом смысле Мазепа стал вести тайные переговоры, но все еще колебался и не открывал своего замысла никому, кроме самых близких; когда же Карл приблизился к Украине, а Меншиков потребовал гетмана к себе на соединение с великорусскими военными силами для совместного действия против Карла, – Мазепа очутился в роковой необходимости выбирать либо то, либо другое: 24 октября 1708 года он присоединился к шведскому войску с несколькими лицами из казацкой старшины, с четырьмя полковниками и отрядом казаков; но те, которые пошли за ним, стали потом уходить от него, когда узнали, куда он их ведет.

Петр, никак не ожидавший такого события, узнал о нем 27 октября в Погребках на Десне, где наблюдал за движениями неприятеля. Он приказал Меншикову истребить дотла Батурын, столицу гетмана. Русские взяли Батурын, 1 ноября, и перебили в нем все живое с такою жестокостью, какою отличались в Ливонии и в собственной земле во время укрощения булавинского бунта. Вслед за тем Петр приказал съехаться в город Глухов, к 4 ноября, малороссийскому духовенству и старшине. Там избран был новым гетманом стародубский полковник Иван Скоропадский, а потом, угождая царю, малороссийское духовенство совершило обряд предания анафеме Мазепы с его соучастниками. После того между Карлом и Мазепою, с одной стороны, и Петром со Скоропадским – с другой, началась полемика манифестами и универсалами, обращаемыми к малороссийскому народу. Карл и Мазепа старались вооружить народ против Москвы, пугая его тем, что царь хочет уничтожить казацкие вольности, а Петр и Скоропадский уверяли малоруссов, что Мазепа имеет намерение отдать Малороссию в прежнее порабощение Польше и ввести унию. Петр приказал сложить с народа поборы, установленные гетманом Мазепою, и в своем манифесте выразился так: «Ни один народ под солнцем такими свободами и привилегиями и легкостью похвалиться не может, как народ малороссийский, ибо ни единого пенязя в казну нашу во всем малороссийском крае с них брать мы не повелеваем».

Малороссия не пошла за своим старым гетманом: интересы простонародной массы были противоположны интересам старшин и вообще богатых и значных людей казацкого сословия. Последние понимали вольность в таком смысле, чтобы привилегированный класс, вроде польской шляхты, управлял всею странюю и пользовался ее экономическими силами за

счет остального народа – так называемой черни, а простонародная громада хотела полного равенства, всеобщего казачества. Едва только пошла по Малороссии весть, что чужестранцы приблизились к пределам малороссийского края и гетман со старшиною переходят на их сторону, народ заволновался, стали составляться шайки – нападать на чиновных людей, на помещиков, грабить богатых торговцев, убивать иудеев, и Мазепа, задумавший со старшиною доставить Малороссии независимость и свободу, должен был сознаться, что народ не хочет такой независимости и свободы, а желает иной свободы, к которой стремление начинается грабежом и расправою над знатными и богатыми людьми. Те, которые носили казацкое звание и были отличены по правам личным и имущественным от посполитых людей или черни, быть может, пошли бы за своим предводителем, если бы у Карла были большие силы, а у Петра было их мало. Вышло наоборот: казаки увидели, что Карл пришел с малочисленным войском и трудно было ему дополнять его из далекого своего отечества, а Петр явился с ратью, вдвое превосходившею силы его соперника; войско Петра беспрестанно увеличивалось и готово было безжалостно разорять малороссийский край, если казаки станут заявлять расположение к шведам.

Царь стал в Лебедине. Карл занял Ромны, взял Гадяч, потом потерял Ромны. Наступили такие суровые морозы, каких не помнили в Малороссии деды и прадеды. Птицы замерзали, летая по воздуху. Воины отмораживали себе руки и ноги. Шведы терпели более русских, потому что одеты были легче; это уменьшило силы Карла, а силы Петра увеличивались прибывавшими рекрутами.

В начале января 1709 г. шведы взяли местечко Веприк, и тем ограничились их успехи. Петр услышал, что Карл возбуждает турок идти на Россию и сам намеревается двинуться на Воронеж. Это побудило Петра оставить войско и ехать в Воронеж, чтоб распорядиться там относительно своих кораблей. Он поехал в начале февраля и осматривал в Воронеже и Таврове корабельные работы; вместе с мастеровыми собственноручно сам работал, в то же время занимался внутренними делами и даже поправлял печатаемые в то время ведомости, календари и учебные книги. Со вскрытием рек царь спустил в Таврове на воду новопостроенные корабли и, несмотря на нездоровье, отправился вниз по Дону в Новочеркасск, где приказал казнить Илью Зерщикова, напрасно думавшего избавиться выдачею Булавина, посетил Азов, осмотрел Троицкую крепость, несколько раз плавал по Азовскому морю, производя морские эволюции, а в мае возвратился к войску степью, через Харьков.

Между тем в отсутствие Петра продолжались военные действия со шведами; две стычки под Красным Кутом и Рашевкою, хотя довольно кровопролитные, не имели важных последствий, но очень важным делом была расправа с запорожцами. Кошевой Костя Гордиенко, приставши к Мазепе, увлек все товарищество; запорожцы обесчестили присланных к ним царских стольников, которые привезли милостивую царскую грамоту, денег на войско и в подарок старшинам. Замечательно, что запорожцы, всегда державшиеся интересов черни в борьбе с казацкою старшиною, и на этот раз заявили такое требование, которое было противно как Петру, так и Мазепе: чтобы в Малороссии не было старшины и чтобы весь народ был вольными казаками как в Сечи. Гордиенко отправился затем с запорожцами в Малороссию; к нему начала приставать чернь из Переяславльского полка; Гордиенко провозглашал всеобщую казачину и приказывал народу на обеих сторонах Днепра собираться и бить старшин. Тогда, по приказанию Петра, полковник Яковлев из Киева двинулся на судах вниз по Днепру, разбил полчища, собравшиеся у Переволочны, доплыл до Сечи и после упорного сопротивления взял ее приступом. Большая часть из находившихся в Сече запорожцев пала в битве; до трехсот человек взято в плен и казнено по приказанию государя. Но в Сече оставалась тогда небольшая часть всего запорожского коша; остальные с Гордиенком и со всею старшиною успели пробраться через Малороссию, разбили русский отряд полковника Кампеля и соединились с Карлом.

Когда, 31 мая, Петр возвратился к войску, Карл, устроивши свою главную квартиру в Опошне, уже около двух месяцев занимался осадю Полтавы: он надеялся в ней найти

большие запасы. Полтавский комендант Келин не только отвергал всякие предложения к сдаче, но делал смелые вылазки и наносил урон неприятелю. Царь, явившись из путешествия в свое войско, расположенное под Полтавой на другой стороне Ворсклы, известил о своем прибытии коменданта письмом, брошенным в пустой бомбе: Петр принял намерение переправить войско на другую сторону и дать генеральную битву, чтобы освободить Полтаву от осады. Переход через реку совершался несколько дней; 20 июня русские были уже на другой стороне реки и расположились лагерем, который стали укреплять шанцами. Шведы попытались в последний раз взять Полтаву приступом, но были отбиты, и Полтава освободилась от осады. Готовясь к битве, Петр откладывал ее со дня на день до прибытия 20000 калмыков, но Карл, узнавши об этом, приказал двинуть войско в битву, 27 июня, на рассвете. Шведскою армиею предводительствовал Реншильд. Сам Карл XII получил перед тем рану в ногу и, сидя в качалке, велел возить себя по полю битвы. Всею русскою армиею командовал фельдмаршал Шереметев, артиллерию – Брюс, правым крылом – генерал Ренне, а левым – Меншиков. Сам Петр участвовал в битве, не избегая опасности: одна пуля прострелила ему шляпу, другая попала в седло, а третья повредила золотой крест, висевший у него на груди. В это-то время, ободряя своих воинов, он сказал знаменитые слова: «Вы сражаетесь не за Петра, а за государство, Петру врученное... а о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога, только бы жила Россия, слава, честь и благосостояние ее!» Через два часа участь битвы была решена. Шведы были разбиты наголову и бежали, оставивши более 9000 на поле битвы. Бежавшим шведским войском командовал Левенгаупт. Сам фельдмаршал Реншильд с тремя генералами и тысячей воинов взяты в плен. Карла едва спасли от плена: его качалка досталась русским. Главный министр шведского короля, граф Пиппер, со всею королевскою канцеляриею явился в Полтаву и сдался русским. На поле битвы в тот же день Петр устроил пир, пригласил к нему шведских военнопленных генералов, возвратил им шпаги, обласкал, хвалил за верность своему государю и, наливши кубок вина, сказал: «Пью за здоровье вас, моих учителей в военном искусстве». – «Хорошо же отблагодарили ученики своих учителей!» – ответил Реншильд.<sup>191</sup>

На другой день после Полтавской битвы Петр послал Меншикова в погоню за бежавшим неприятелем, а сам приказал в присутствии своем похоронить убитых русских и собственноручно засыпал их землею.<sup>192</sup> Меншиков догнал шведское войско на устье Ворсклы у Переволочны. Население все разбежалось; войску не на чем было переправляться через Днепр; запорожцы едва успели переправить на лодках Карла и Мазепу. Левенгаупт и товарищ его Крейц были застигнуты Меншиковым, не сопротивлялись, не имея ни пороху, ни артиллерии, и сдались военнопленными с 16000 войска. Петр отправил за Днепр два драгунских полка под начальством генерала Волконского за Карлом и Мазепою, давши приказание, «если поймут Карла, то обходиться с ним честно и почтительно, а если поймут Мазепу, то вести его за крепким караулом и смотреть, чтобы он каким-нибудь способом не умертвил себя». Запорожцы успели провезти Карла с несколькими генералами и Мазепу с его приверженцами на татарских телегах через степь до Очакова. Отряд Волконского, догнавши их при переправе через Буг, захватил в плен нескольких шведов и казаков.

Петр приказал разослать пленных шведов по городам, назначив им жалованье по их чинам, но приказавши простых шведов употреблять на казенные работы, наградил русских генералов, участвовавших в битве, орденами, высшими чинами и вотчинами, офицеров – своими золотыми портретами и медалями, солдат – серебряными медалями и деньгами, а сам

---

<sup>191</sup> Это не помешало, однако, обласкавши пленников, разослать их в Сибирь, а к графу Пипперу, который сдался добровольно и не мог быть причтен к числу военнопленных, Петр придрался за то, что, еще находясь при короле своем, он оказывал себя враждебным к России. Петр обязывал его заплатить 50000 руб. за сожженные русскими голландские корабли ошибкою вместо шведских. Пиппер дал царю вексель на требуемую сумму, но как по этому векселю не были получены деньги, то Петр держал его в тюрьме.

<sup>192</sup> До сих пор существует под Полтавою высокий холм, называемый «шведскою могилою», куда ежегодно отправляется крестная процессия в годовщину Полтавской битвы.



получил чин генерал-лейтенанта. В Москве на радостях восемь дней сряду звонили без усталости и палили из пушек; по улицам кормили и поили народ, угощая вместе с тем и шведских пленников, по вечерам зажигали потешные огни. Сам царь отправился с Меншиковым в Польшу.

Август, услышавши о несчастье Карла, увидел возможность нарушить Альтранштадтский мир и, собравши 14000 саксонского войска, двинулся в Польшу, обнаружил манифест, в котором доказывал справедливость разрыва вынужденного мира со шведским королем, взваливал вину своих министров и представлял свои права на польский престол, ссылаясь на то, что папа не утвердил Станислава королем. Петр приехал в Варшаву. Паны, противники Лещинского, величали Петра спасителем своей вольности, тем более что русский отряд, посланный перед тем в Польшу под начальством Гольца, вместе с гетманом Синявским, одержал победу над войсками Станислава. 26 сентября Петр приехал в Торунь и там свиделся с Августом; все прежнее казалось забытым; Петр простил ему изменнический мир со шведами и выдачу Паткуля. Август все сваливал на своих министров. Друзья снова заключили оборонительный договор против Швеции; Август уступал Эстляндию России; царь обещал польскому королю, в вознаграждение издержек, Ливонию, но тут же проговорился, сказавши саксонскому министру Флемингу, что приобретенное Россией на войне без участия союзников будет принадлежать России. Из Торуня Петр отправился по Висле в Мариенвердер и там виделся с прусским королем; с ним также заключил он договор против Швеции. Царь оттуда прибыл в Курляндию, а Шереметев с 40000-ным войском, в начале октября, подошел к Риге. Сам Петр прибыл к войску, сделал осмотр окрестностей Риги и 14 ноября собственноручно пустил в Ригу три бомбы; затем он оставил 7000 войска держать в блокаде город до весны, а остальное войско приказал расположить по квартирам в Ливонии и Курляндии. Из-под Риги Петр через Петербург отправился в Москву и в декабре устроил себе и своим генералам торжественное вшествие в Москву через семь триумфальных ворот, украшенных всевозможными символическими знаками. Церемонии, речи, потешные огни и пиры продолжались в течение нескольких дней.

Полтавская битва получила в русской истории такое значение, какого не имела перед тем никакая другая. Шведская сила была надломлена; Швеция со времен Густава-Адольфа, занимавшая первоклассное место в ряду европейских держав, потеряла его навсегда, уступивши России. Унизительный Столбовский мир, лишивший Россию выхода в море, теперь невозвратно уничтожился. Берега Балтийского моря, завоеванные Петром, невозможно было уже отнять от России. В глазах всей Европы Россия, до сих пор презираемая, показала, что она уже в состоянии, по своим средствам и военному образованию, бороться с европейскими державами и, следовательно, имела право, чтобы другие державы обращались с нею, как с равною. Наконец, с этого времени деятельность Петра, до сих пор поглощаемая войною и сбором средств для войны, гораздо больше обратилась на внутреннее устройство страны.

Еще в конце 1708 года состоялось важное распоряжение о разделении всей России на губернии. Учреждено было восемь губерний: Ингерманландская, Архангельская, Московская, Смоленская, Киевская, Азовская, Казанская и Сибирская.<sup>193</sup>

---

<sup>193</sup> Ингерманландская, обнимавшая вновь приобретенное Балтийское Поморье, прежние земли: Новгородскую, Псковскую, Белозерскую и верхнюю Волгу до Романова; Архангельская, заключавшая Северное Поморье, Вологду и часть нынешней Костромской губернии; Московская, обнимавшая середину государства (нынешние губернии: Московскую, Тульскую, часть Калужской, Рязанскую, Владимирскую и часть Ярославской); Смоленская, в которую входила нынешняя Смоленская и часть Калужской губернии; Киевская, обнимавшая гетманщину и большую часть нынешних губерний: Харьковской, Курской и Орловской; Азовская, куда причислялись берега Дона с его притоками в губерниях: Тульской и Рязанской, вся Воронежская, часть Харьковской, Курской, Тамбовской и Пензенской; Казанская, в которой заключалось все Поволжье от Юрьевца вплоть до Астрахани и Терека, а также восточная полоса до Яика, а на западе Пенза с прилежащими городами; наконец, Сибирская, в которую входила вся Сибирь, а также Пермь и Вятка с их городами. Первыми губернаторами были назначены в Петербургской – князь Меншиков; в Архангельской – князь Петр

Всех городов в восьми губерниях было в то время 339, а из них 25 приписанных к корабельным воронежским делам в Азовской губернии.

В 1709 году все внимание Петра было поглощено войною. Внутренние распоряжения клонились исключительно к доставлению средств, которые, однако, при всех усиленных мерах, оказывались недействительными. На деле совершалось не то, что на бумаге. Откупщики, бравшие на откуп казенные доходы, объявляли себя несостоятельными. Пчелиные промыслы, обложенные с 1704 года налогом, не приносили доходов, потому что владельцы пасек не представляли о них отписей и не платили в казну ничего: поэтому велено было сделать новый пересмотр пасек и бортных урожаев и обложить их по 1-му рублю 3 алтына и 2 деньги за пуд меду, тогда как прежде в казну брали только по два фунта с улья и по 8 денег. Несмотря на все меры, недоимки по всем статьям оставались за несколько лет невнесенными, не было возможности их собрать, и, наконец, правительство должно было в ноябре 1709 года скинуть все прежние недоимки и взыскивать только за два последние года. Впрочем, последующие указы противоречили предыдущим; после скидки старых недоимок, осенью 1711 года, велено было взыскивать недоплаченные деньги с 1705 года.

После победы над шведами, Петр, считая свой любимый Петербург уже крепким за Россией, принялся за устройство его более энергическим образом, а это послужило поводом к такому отягощению народа, с каким едва могли сравниться все другие меры. В 1708 году выслано было в Петербург сорок тысяч рабочих. В декабре 1709 года со всех посадов и уездов, с дворцовых, церковных, монастырских и частных имений велено было собрать, кроме каменщиков и кирпичников, такое же число – 40000 человек и пригнать на работу в Петербург. На хлеб и на жалованье рабочим, по полтине в месяц, назначено собрать с тех дворов, с которых не было взято рабочих, что составило сумму 100000 рублей. В 1710 году из Московской губернии велено было взять в Петербург 3000 рабочих, распределив их по десяткам, так что в каждой десятке был плотник с инструментами, и жалованье назначено ему по рублю в месяц; в том же году велено выслать к следующему 1711 году на две перемены по 6075 человек, приставивши к ним приказчиков из тех селений, из которых будут выбраны работники. Независимо от этого отправляли таким же образом рабочих в Азов 13-го июня 1710 года; на сто верст кругом Москвы велено было набрать молодых людей от пятнадцати до двадцати лет и отправить в матросы в Петербург. В 1711 году опять потребовали в Петербург новых 40000 рабочих и приказали собрать на них 100000 рублей. Но полное число требуемых работников не высылалось, потому что много дворов, значившихся по книгам, оставались на деле пустыми. Хлебный провиант, для продовольствия этих рабочих людей, собирался со всего государства по числу дворов, и каждый год оставались недоимки, которых сумма все более и более возрастала против прежних лет. Так, например, из 60589 четвертей, следуемых к сбору в казну на провиант из дворцовых и помещичьих имений, в 1708 году не доплачено 22729; в 1709 – 32692; в 1710 – 36331; то же с имений церковного ведомства: из 34127 четвертей в недоимке было: в 1707 году – 7000 четвертей; в 1708 – 8586; в 1709 – 14251; в 1710 – 19308 четвертей.

Судостроительные работы не ограничивались одним Петербургом: строились шнявы в Олонце, где начальствовал над работами голландец Дефогельдедам. В Архангельске строились суда под наблюдением голландца Вреверса, построившего там большой фрегат. В Московской губернии, на Дубенской и Нерльской пристанях, строились суда, называемые «тялками», для спуска с казенными запасами. В Казани устроена была верфь и строились суда, называемые «семяками» и «тялками»; там на верфи работала толпа голландцев и русских рабочих, под наблюдением мастера Тромпа; государь послал к нему учиться молодых дворянских детей. Близ Воронежа продолжалось кораблестроительное дело в Таврове и Усерде, и для того в сентябре 1711 года велено выслать туда 1400 плотников.

Рекрутские наборы шли своим чередом; возникшая тогда война с Турцией потребовала

---

Алексеевич Голицын; в Московской – Тихон Никитич Стрешнев; в Смоленской – Петр Самойлович Салтыков; в Киевской – князь Дмитрий Михайлович Голицын; в Азовской – адмирал Федор Матвеевич Апраксин; в Казанской – Петр Матвеевич Апраксин; в Сибирской – князь Петр Матвеевич Гагарин.

усиления рекрутчины. В 1711 году собрано со всех губерний, кроме Петербургской, 20000 рекрут и, кроме того, деньги на обмундирование их и на провиант для продовольствия, а также 7000 лошадей с фуражом или деньгами за овес и сено в течение восьми месяцев: приходилось с 26 дворов по одному рекруту, а с 74 дворов по одной лошади. С имений церковного ведомства собирался провиант на войско в размере хлеба по 5 четвериков со двора и по четверику круп с 5 дворов. По отношению к дворовому числу, все восемь губерний разделены были на доли, всех долей было 146, одних дворов было 798 256. Сбор провианта сопровождался жалобами жителей, что люди, присылаемые войсковыми командирами, причиняют крестьянам убытки и разорения; но на такие жалобы мало обращалось внимания. Настоятельные потребности содержать войско вынуждали правительство, в ответ на жалобы, строго предписывать поскорее собирать провиант и доставлять его по назначению. Губернаторам угрожали наказанием, как изменникам, за несвоевременное исполнение указов, а рекруты беспрестанно бегали со службы; чтоб предупредить побег, их обязывали круговою порукою, грозили ссылкой за побег рекрута его родителям, налагали штраф по пятнадцати рублей за передержку беглого. Но побег от этого не прекращался, а иные помещики умышленно укрывали количество своих крестьян и уклонялись от рекрутской повинности. Села пустели от многих поборов; беглецы собирались в разбойничьи шайки, состоявшие большею частью из беглых солдат. Они нападали на владельческие усадьбы и на деревни, грабили и сжигали их, истребляли лошадей, скот, рассыпали хлеб из житниц, увозили с собою женщин и девиц для поругания. По просьбе помещиков, живших в уездах около Москвы, отправляемы были нарочные сыщики, которые собирали отставных дворян, разных служилых людей и крестьян на ловлю разбойников. Около Твери и Ярославля разбойничьи шайки разгуливали совершенно безнаказанно, потому что, за отправкою дворян молодых и здоровых на службу и за взятием множества людей в Петербург на работу, некому было ловить их. Разбойники бушевали в Клинском, Волоцком, Можайском, Белозерском, Пошехонском и Старорусском уездах, останавливали партии рекрут, забирали их в свои шайки и производили пожары. Государь в октябре 1711 года отправил для розыска разбойников полковника Козина с отрядом; отставные дворяне и дети боярские обязаны были, по требованию последнего, приставать к нему и вместе с ним ловить разбойников, которых немедленно следовало судить и казнить смертию. В 1714 году повелено казнить смертию только за разбой с убийством, а за разбой, совершенные без убийства, ссылать в каторгу, с вырезкою ноздрей.

Рядом с разбойниками проявлялись фальшивые монетчики – воровские денежные мастера. Строгие меры против них были тягостны не только для самых преступников, но и для неосторожных покупателей, потому что всякого, у кого случайно находили воровские деньги, тащили на расправу. Кроме фальшивой монеты домашнего изобретения, в Архангельск привозили такую же иностранцы. Чтобы прекратить в народе обращение ее, в мае 1711 года были уничтожены старинные мелкие деньги; а вместо них начали чеканить рубли, полтинники, полуполтинники, гривенники, пятикопеечники и алтынники. Северная половина России страдала от поджогов и от случайных пожаров, которые вынуждали предупредительные меры: в мае 1711 года, по сенатскому указу, велено в городах заводить инструменты для погашения огня – крючья, щиты, трубы, ломы и т.п. и раздать по гарнизонным полкам, которые обязаны были охранять города от огня. Но эти спасительные меры были более на бумаге, чем на деле, потому что долго потом не приобретались инструменты, да и самая сумма на эти предметы, простиравшаяся до 110000 рублей, не слишком была достаточна. Города Псков, Торжок, Кашин, Ярославль и другие дошли до такого разорения, что современники находили едва возможным поправиться им в течение пятидесяти лет. Много народа вымирало, много разбегалось. В 1711 году насчитывалось в этом крае 89086 пустых дворов. К увеличению народных бед, в 1710 году появились заразительные болезни, перешедшие из Лифляндии и Польши, где они особенно свирепствовали, и для этого велено было устроить заставы, распечатывать все письма и окуривать можжевельником.

Недостаток средств, при всех усиленных мерах, высказался уже в январе 1710 г., когда государь приказал своей ближней канцелярии счесть доходы с расходами, и оказалось, что приходу 3015796 р., а расходу 3834418 рублей. Надобно было усиливать строгость сбора доходов. В Москве у всех ворот и проездов больших дорог делали шлагбаумы, где стояли солдаты и брали с каждого воза, ехавшего с какою бы то ни было кладью, мелкую пошлину. Во всем государстве запрещено было, не взирая ни на какое звание, приготавливать вино, а непременно брать из царских кабаков. То была новая тягость для народа; только малороссияне были избавлены от нее; не только в самой гетманщине, но и в великорусских краях, где они поселились, дозволялось им свободное винокурение. Петр ласкал малороссийский народ и освобождал его от поборов, таким гнетом падавших на великороссиян. Марта 11-го 1710 года манифестом царь строго запретил великорусским людям делать оскорбления малоруссам, попрекать их изменою Мазепы, угрожая, в противном случае, жестоким наказанием и даже смертною казнию за важные обиды; но это были только ласки до времени: и за Малороссию Петр готовился приняться.

Самою важною мерою, с целью привести в порядок государственное управление и получать правильно доходы, было учреждение высшего центрального места, под именем сената. Указ об учреждении его последовал в первый раз 22 февраля 1711 года. Сенат был род думы, состоявшей из лиц, назначенных царем, вначале в числе восьми. Сенат, по словам указа, учреждался по причине беспрестанных отлучек самого царя. Он имел право издавать указы, которых все обязаны были слушаться под страхом наказания и даже смертной казни. Сенат ведал суды, наказывал неправильных судей, должен был заботиться о торговле, смотреть за всеми расходами, но главная цель его была собирать деньги, «понеже деньги суть артерия войны», говорит указ. Все сенаторы имели равные голоса. Сенату подведомы были губернаторы, и для каждой губернии в самом сенате учреждались так называемые повытыя с подьячими. Канцелярия сената, кроме повытей, имела три стола: секретный, приказный и разрядный; последний заменял упраздненный древний разряд. В канцелярии правительствующего сената должны были находиться неотлучно комиссары из губерний для принятия царских указов, следуемых в губернии и для сообщения сенату сведений по вопросу о нуждах губернии; они вели сношения со своими губерниями через нарочных или через почту.

Вместе с учреждением сената последовало учреждение фискалов. Главный фискал на все государство назывался обер-фискалом. Он должен был надсматривать тайно и проводить: нет ли упущений и злоупотреблений в сборе казны, не делается ли где неправый суд, и за кем заметит неправду, хотя бы и за знатным лицом, должен объявить перед сенатом; если донос окажется справедливым, то одна половина штрафа, взыскиваемого с виновного, шла в казну, а другая поступала в пользу обер-фискала за открытие злоупотребления. Если даже обер-фискал не докажет справедливость своего доноса, то он за то не отвечал, и никто, под страхом жестокого наказания, не смел выказывать против него досаду. Под ведомством обер-фискала были провинциал-фискалы, с такими же обязанностями и правами в провинциях как и обер-фискал в целом государстве, с тою разницею, что без обер-фискала они не могли призывать в суд важных лиц. Под властью последних состояли городские фискалы. Собственно по духу своему это не было нововведение, потому что доносничество и прежде служило одним из главных средств поддержания государственной власти, но в первый раз оно получило здесь правильную организацию и самое широкое применение. Фискалы должны были над всеми надсматривать; все должны были всячески им содействовать – все, ради собственной пользы, приглашались к доносничеству. Объявлено было в народе, что если кто, например, донесет на укрывавшегося от службы служилого человека, тот получит в полную собственность деревни того, кто укрывался; или кто донесет на корчемников, торговавших в ущерб казне вином или табаком, тот получит четвертую долю из пожитков виновного. Доносчики освобождались от наказания, хотя бы и не доказали справедливости своего доноса. Опыт скоро показал, что такая мера не прекращала злоупотреблений; напротив, фискалы,

пользуясь своим положением, сами позволяли себе злоупотребления и попадались. Система доносов только способствовала дальнейшей деморализации народа; подобными мерами можно скрепить взаимную государственную связь, но всегда в ущерб связи общественной.

С учреждением сената ратуша хотя не была уничтожена, но потеряла свое прежнее значение, и власть губернаторов стала простираться на торговое сословие. Губернаторам было отдано ямское дело, а ямской приказ был упразднен. На них же возложено было отыскание металлических руд, и особый существовавший до сих пор приказ рудных дел был уничтожен. С целью преобразования монетной системы учреждено особое место, так называемая купецкая палата. Все, у кого были старые деньги, должны были сносить их в купецкую палату и обменивать их на новые.

В купецкой палате сидело двое поставленных на монетном дворе, а к ним присоединялись выборные из гостиной сотни по одному человеку, обязанные клеймить все серебряные и золотые изделия и преследовать тех, которые станут продавать эти изделия без пробы. За первый раз была назначена легкая пеня в 5 рублей, за второй – пеня в 25 рублей и телесное наказание, а за третий – кнут, ссылка и отобрание всего имущества в казну, «чтобы всеконечно истребить воровской вымысел в серебряных и золотых делех». Новая серебряная проба разделялась на 3 разряда: первое – чистое серебро, без всякой лигатуры, второе – 82 пробы и третье – 64. Купецкая палата имела поручение продавать желающим серебро и золото и для приобретения того и другого получала от казны готовые суммы; так, в мае 1711 года с этой целью отпущено было туда 50000 рублей. Купецкая палата для покупки серебра и золота посылала по ярмаркам доверенных купцов, и тогда кроме таких доверенных лиц никто не смел покупать. Покупка и продажа золота и серебра также очень скоро послужила поводом к злоупотреблениям и наказаниям за эти злоупотребления со стороны правительства: в 1711 году нескольких купцов велено бить батогами за незаконную торговлю золотом и серебром.

Купецкие люди имели право надзора над разными фабриками и заводами, учреждаемыми правительством; таким образом, заведены были в Москве полотняные, скатертные и салфетные фабрики: их отдали купецким людям с тем, чтобы они умножили этот промысел, но с угрозой, что если они не умножат его, то с них возьмется штраф по тысяче рублей с человека. Петр даровал всем без исключения дозволение торговать, под своим, а не под чужим именем, с платежом обыкновенных пошлин, но не переставал ставить промыслы и торговлю в такое положение, чтоб они обогащали казну. Пошлины не уменьшались, напротив – увеличивались, и многие статьи отдавались на откуп с наддачею, т.е. тем, которые преимущественно перед прежними откупщиками давали казне большую откупную сумму; так, хомутная пошлина, взимаемая с извозчиков, а также пошлина с судов – переходили из рук в руки с наддачею. В Архангельске многие статьи вывоза продолжали быть исключительным достоянием казны, таковы были: икра, клей, сало, нефть, смола, лен, поташ, моржовая кость, ворвань, рыба, особенно треска и палтусина, корабельный и пильной лес, доски и юфть. Никто не смел в ущерб казне отпускать за границу этих товаров, а продавать их по мелочи производители могли только доверенным от царя купчинам. Из привозных вещей алмаз, жемчуг и разные драгоценные камни, по указу 1711 г., освобождались от пошлин для того, чтоб заохотить иноземцев привозить их в Россию.

Военные дела, после поражения шведов под Полтавою, несколько времени представляли ряд блестящих успехов, имевших последствием расширение пределов государства. Адмирал Апраксин осадил Выборг; сам царь, в звании контр-адмирала, участвовал в этой осаде, доставляя на кораблях запасы осаждающим. Шведский комендант, приведенный в стесненное положение непрерывным бомбардированием, 12 июля 1710 г. сдался на капитуляцию, выговорив себе свободный проезд в Швецию. Но Петр, давши слово, нарушил его под тем предлогом, что шведы задерживают в Стокгольме русского резидента Хилкова, и приказал увести в Россию военнопленным гарнизон, а многих жителей перевести в Петербург. Рига, осажденная еще осенью 1709 г. Шереметевым, держалась упорно более полугода. Рижский генерал-губернатор Штрэнберг был человек храбрый и искусный; с

чрезвычайным спокойствием он заставлял осажденных выдерживать сильнейшую бомбардировку и недостаток жизненных средств. Но в Риге распространилась заразительная болезнь, и люди умирали в громадном количестве, так что оставалась в живых едва третья часть всех жителей, а всего гарнизону с небольшим тысяча человек. Штрэнберг сдался на капитуляцию. Шереметев не позволил уйти природным немцам, принуждая их присягнуть царю на подданство; шведам дали слово отпустить их на родину, но нарушили слово, так же как и под Выборгом, и Штрэнберг был удержан военнопленным. За Ригою сдался Динамюнде, где также зараза страшно истребила население. 14 августа генерал Боур взял Пернов, таким же образом, как Шереметев Ригу, потом переправился на остров Эзель и овладел Арнсбургом, а 29 сентября сдался Меншикову на капитуляцию Ревель; шведский гарнизон был выпущен. За Ревелем покорилась вся Эстония; таким образом балтийское побережье, которого Петр так добивался, досталось России, и с этих пор навсегда. По выражению одного современника, зараза более самого оружия способствовала Петру овладеть ливонским краем. Около того же времени покорен был генералом Брюсом Кексгольм, древняя Корела. Петр, в память этих приобретений, основал близ Петербурга монастырь Александра Невского, чтобы в глазах народа освящать свои завоевания благословением причисленного к лику святых князя, одержавшего победы над теми же немцами и шведами, которых теперь поражал Петр. Царь понял, что с подчинением прибалтийского края не нужны более суровые приемы, что надлежит, напротив, приласкать новых подданных, уцелевших в разоренном и сильно обезлюдившем крае. Не только дал он этой стране временные льготы, в которых она нуждалась, но и утвердил навсегда старые права дворянства и гражданства прибалтийского края, обещал неприкосновенность лютеранского исповедания, судов и немецкого языка. Одни туземцы могли быть избираемы в должности и владеть в крае имениями, которые не могли облагаться личными налогами, кроме постановленных местным земским сеймом. Университету в Пернове царь обещал свое покровительство и объявил, что будет посылать туда русских для обучения. Петр уничтожил все редукции, выдуманные шведским правительством, и утвердил за дворянами те земли, какими они в данное время владели, что сильно успокоило дворянство. Курляндия не была еще покорена и оставалась польским леном, но на деле в то же время подпала иным способом под русскую власть. Петр выдал племянницу свою Анну Ивановну за молодого герцога курляндского, но этот герцог вскоре после брака (10 января 1711 г.) умер, а вдовствующая супруга осталась правительницею Курляндии и жила в Митаве. Петр распорядился в этой стране по своему произволу, не допустивши до престолонаследия брата покойного герцога Фердинанда. В самой Польше дела складывались так, что русский царь мог распорядиться этой страной и пролагать России дорогу к ее подчинению. Под видом защиты короля Августа, своего союзника, Петр продолжал держать свои войска в Польше к большой досаде жителей края. На содержание чужеземного войска, по известию современника Отвиновского, приходилось тогда по 38 талеров в месяц с дома. Постой назначен был только в земских или шляхетских имениях: все коронные имения были освобождены от постоя, а из земских имений гетманы и благоприятели гетманов постарались освободить свои собственные имения, расставивши русских солдат по чужим имениям и подвергая последние большей тяжести, чем какую несли их собственные. Военные люди, по обычаю того времени, позволяли себе насилия и бесчинства над жителями. Польские паны жаловались русскому послу князю Григорию Долгорукову, а посол водил их обещаниями; между тем, по царскому приказанию, русские вербовали людей в Польше, иных даже насильно хватали и препровождали в Россию; царь хотел этими на вербованными заселить кое-где опустевшие русские местности. Русские отняли у шведов польский город Эльбинг, но Петр не выпускал его из рук и не отдавал Польше. По всему видно, Петр, по отношению к Польше, вступил уже в такую роль союзника, какую обыкновенно в истории разыгрывали сильные и ловкие над слабыми и простоватыми, мало-помалу превращаясь из союзников и друзей в господ и владык. Отношения к западным державам если не представляли для Петра блестящих надежд, то все-таки становились для него благоприятнее, после того как военные успехи

заставили Запад уважать Россию. Дания снова вошла с Россией в союз против Швеции, хотя собственно своими военными действиями не приносила России никакой пользы; так, попытка датчан сделать нападение на южные области Швеции окончилась жестоким поражением датского войска. Австрийский дом готовился вступить в свойство с русским домом: Петр сговаривался женить сына на сестре императора Карла, тогда получавшего престол. Голландские Соединенные Штаты и германские владетели провозгласили нейтралитет германских земель для всех вообще участников Северной войны, и если этот нейтралитет ограничивал действия Петра, то еще более был направлен против Карла, который с такою нестесняемостью распоряжался в Саксонии. С Англией у России произошло было неудовольствие: русский посол Матвеев был задержан за долги английскими купцами и подвергся оскорблениям, но вслед за тем прибывший в Россию посол английской королевы Анны извинился пред царем и даже, к удовольствию царя, английская королева, в своих сношениях с Петром, дала ему императорский титул; видимое согласие восстановилось, и в Лондон отправился русский посол князь Куракин. Хотя Англия не слишком дружелюбно смотрела на стремление Петра создать из своего государства морскую державу, но, по крайней мере, не предпринимала ничего враждебного. Со стороны Турции, вначале казалось, нечего было опасаться. Русский посланник в Константинополе Петр Толстой после полтавской победы заключил с Турцией договор, по которому Турция обещала удалить Карла XII из турецких владений, а русский отряд должен был проводить его через Польшу. Но вслед за тем Карл XII, через своего сторонника киевского воеводу Понятовского, сильно старался об уничтожении этого договора и возбуждал турок к войне с Россией. Двое турецких главных визирей, один за другим, были низвержены, и место главного визиря получил паша Балтаджи-Мугамед. Быть может, и при этом визире дело обошлось бы, но Петр сам сделал неосторожность: надеясь на свои силы, он стал угрожать Турции войною, если, согласно заключенному договору, турецкое правительство не спровадит из своих владений шведского короля. Царя раздражало еще и то, что, по смерти Мазепы, бежавшего в Турцию, его сторонники, с позволения султана, избрали себе новым гетманом бывшего при Мазепе генеральным писарем Орлика. Угрозы Петра так раздражили султана и диван его, что 20 ноября 1710 года объявлена была война России, и, по обычаю турецкому, посол русский Толстой заключен был в Едикул (Семибашенный замок). Получивши объявление войны, Петр отправил войска свои к турецким границам и 6 марта 1711 г. выехал сам к войску из Москвы вместе с Екатериною Алексеевною, которая с этого времени стала в близком к царю кругу называться царскою женою и царицею.

Эта Екатерина Алексеевна была та самая бедная мариенбургская пленница Марта Скавронская, которую взял Шереметев вместе с пастором Глюком. Бывшая возлюбленная Петра Анна Монс, для которой он заключил свою жену, Евдокию, изменила ему. Еще в 1702 году, при взятии Шлиссельбурга, нечаянно утонул провожавший Петра в походе саксонский посланник Кенигсек. Из кармана утопленника вынуты были любовные письма к нему царской возлюбленной. Анна за это содержалась в заключении три года; потом, уже выпущенная на свободу, сошлась с прусским посланником Кайзерлингом. Петр жил со Скавронской, и она время от времени все более и более овладевала его чувством. Путь Петра лежал через Польшу, куда, к неудовольствию многих поляков, стянулось русское войско. В Ярославле (галицком) Петр свиделся с Августом; они (30 мая) заключили новый договор на таком условии: Петр будет воевать с турками, Август с польскими войсками и вспомогательным отрядом русских от 8000 до 10000 в Померании со шведами. Поляки, соображая, что русский царь теперь в них нуждается, домогались: отдачи им Ливонии, права заселять Украину правого берега Днепра, остававшуюся впусе; домогались свободы католического вероисповедания в России, требовали вывода русских войск из Польши и вознаграждения за взятые насильно контрибуции. Петр на все давал двусмысленные обещания, отлагая их исполнение до окончания войны. Тут явились у Петра еще союзники: христиане, находившиеся в порабощении турок. Еще до разрыва с Турциею, единоверные и единоплеменные России сербы присылали к царю предлагать свои услуги в случае войны с

басурманом, и это, без сомнения, в числе других причин, побуждало Петра не бояться раздражить турок угрозами и вызвать их на объявление войны. Зимой серб полковник Милорадович начал от царского имени возбуждать к восстанию черногорцев. По приезде царя в Польшу заявили к нему свое расположение и готовность помогать в борьбе с турками господами валахский и молдавский. Во время бегства Карла XII в турецкие владения молдавским господарем был Михаил Раковица, расположенный к России и обещавший Петру свое содействие. Но прежде чем он мог показать на деле свое расположение к России, Турция свергла его с господарства, назначив вместо него Маврокордато, а потом, по настоянию крымского хана, лишила господарства и Маврокордато, назначив на место его Димитрия Кантемира. Ему покровительствовал крымский хан, а Турция, оказывая Кантемиру доверие, обещала ему еще и валахское господарство, если он поймает и доставит в турецкие руки бывшего тогда господарем Валахии Бранкована, своего давнего врага. Бранкован первый обратился к Петру через своего посланца Давыда и обещал русскому войску свое содействие, когда оно вступит в турецкие владения. Вслед за тем обратился к Петру и новопоступивший на молдавское господарство Кантемир, недовольный турецкими поборами и вымогательствами. Надеясь на силу России и желая доставить своему роду наследственную власть, он через грека Паликолу заключил с царем (13 апреля 1711 г. в Луцке) договор: отдать Молдавию России с тем, что он и его потомки будут там вассальными владетелями; затем, если предприятие не удастся, он выговаривал себе два дома в Москве и поместья в России. Государь, узнавши, что между Кантемиром и Бранкованом существует вражда и соперничество, старался помирить их. По настоянию Петра, и тот и другой обослались между собою посольствами, но искренности между ними не было. И тот и другой имели в виду свои частные выгоды. Кантемир, входя в союз с русским царем, в то же время притворялся пред турецким правительством и уверял, что сносится дружелюбно с неприятелем с целью удобнее выведать об его намерениях и силах.

Царь прежде всего выслал с половиною войска Шереметева, приказывая ему идти за Дунай, а сам следовал за ним к Днепру. Петр воображал, что как только русское войско явится в турецких пределах, – все христиане: и валахи, и сербы и болгары, поднимутся против мусульман. Но Шереметев, перешедши Днепр, нашел, что идти прямо на Дунай опасно: у него недоставало провианта, а путь до Дуная требовал многих дней, и страна была опустошена; он соображал, что если он и пройдет до Дуная, то союзника русских Кантемира может подвергнуть опасности, турки тем временем ударят на Молдавию; сверх того, он рассчитывал, что в Молдавии войско не будет нуждаться в пропитании. Шереметев направился в Молдавию и прибыл в Яссы; за ним следовал Петр по тем же соображениям о средствах содержания войска. Кантемир до сих пор вел сношения с Россиею тайно от совета своих бояр; но тогда, когда Шереметев с русским войском вступил в Молдавию, надобно было открыть тайну. Кантемир созвал всех бояр и объявил, что пристаёт к Петру. Некоторые с радостью объявили, что разделяют его чувствования; но не все так показали себя, потому что не все надеялись на успех. 5 июня Кантемир сам прибыл к Шереметеву в обоз его. После того прибыл к своему войску Петр и 24 июня посетил Яссы, вместе с Екатериною. На другой день русскому государю Кантемир устроил в своем дворце торжественный обед с приличною попойкою, а жена Кантемира особо угощала Екатерину. Царь несколько дней осматривал Яссы и 27 числа праздновал день Полтавской битвы. Молдавский народ с любопытством бегал за ним и радовался, увидя в первый раз в стенах своей столицы сильного государя православной веры. Петр поражал всех своею простотою и подвижностью. Он оказывал Кантемиру публично знаки любви, обнимал и целовал его. Кантемир воспользовался этим, чтобы очернить перед государем своего давнего соперника Бранкована, к нему в этом присоединился двоюродный брат Бранкована Кантакузин, замышлявший свергнуть своего господаря, чтобы самому сесть на его место. От этого случилось следующее: Бранкован присылал предложение примириться с Турциею; сам султан, узнавши о вступлении русских сил, поручил ему сношение с Петром; но Петр, настроенный против Бранкована, отверг предложение. Тогда валахский господарь рассчитал,



что на русскую помощь надежды мало: враги успеют вооружить против него Петра; гораздо безопаснее оставаться на турецкой стороне. Русским пока мало было пользы от вступления в Молдавию. Кантемир издал манифест о вооружении молдавского народа, и народ по религиозному побуждению откликнулся сочувственно на такое воззвание, но невоинственные и плохо вооруженные поселяне не великие силы могли внести в общее дело. Русское войско в Молдавии не нашло обильного продовольствия, какое думало было там найти, потому что край был опустошен саранчой, и царь послал отряд под начальством Ренне к Браилову добыть сложенные там, как ему доносили, турецкие запасы. В это время вдруг пришло неожиданное известие, что сильное турецкое войско идет на русских, а с ним и хан крымский со своею ордою. У русских было всего 38 276 человек, у визиря 119 665, а у хана до 70000, – силы чересчур неравные. Петр поспешно двинулся назад, но неприятели догнали русских и осадили. Петр помышлял уйти из стана вместе с Екатериною и пробраться в отечество через Венгрию; предложено было предводителю молдавского войска Никульче взять на себя обязанность проводника царских особ. Никульче не взялся за это, находя невозможным избегнуть турецких сил, окружавших стан.

Турки сделали нападение; русские отразили его. Но это не могло подавать больших надежд Петру. У него не было провианта; турки могли переморить русских осадой.

В таком отчаянном положении министры Петра увидели единственное средство попытаться склонить визиря к миру подарками, так как турки были на них чрезвычайно падки. Шереметев написал визирю письмо и предлагал устроить взаимными силами примирение между воюющими государствами: Россиею и Турциею. Визирь несколько времени не отвечал. Он видел слишком много надежд на выигрыш; и другие турецкие военачальники разделяли его взгляды. Но когда визирь двинул свои силы в бой, янычары заволновались. «У нас, – кричали они, – и так перебито много товарищей, и многие из оставшихся в живых покрыты ранами. Султан хочет мира, а визирь против его воли шлет нас на убой». Такой ропот подчиненных сделал визиря уступчивее. Он отправил в русский стан с ответом Шереметеву Черкес-Мехемед-пашу. Визирь писал, что он не прочь от мира, честного и выгодного для Турции. Когда, после получения такого ответа, Петр собрал на совет приближенных, Екатерина оказала тогда не бесполезное участие. Об этом свидетельствовал сам Петр, когда, короновавши ее императрицей спустя уже двенадцать лет, вспоминал о важных услугах, оказанных ею при Пруте. Иностранцы исторически объясняли эти услуги, говоря, что Екатерина предложила отдать визирю все свои вещи и деньги.

Как бы то ни было, послан был к визирю подканцлер Шафиров с обещаниями визирю 150 т. рублей, а другим турецким чинам обещаны меньшие суммы. Шафирову дано было полномочие заключить условия мира. Визирь и турецкие чиновники сообразили, что хотя бы они могли уничтожить русское войско, но все-таки не иначе как с большою потерей собственных воинов. Мир постановлен был при Пруте на таких условиях: Петр уступал Азов со всем побережьем, обязываясь срыть основанные там русские городки, и обещал не мешаться в польские дела, а шведскому королю предоставлял свободный проход в его отечество.

Карлу XII не по сердцу был этот мир, и он, оставаясь в турецких владениях, успел вооружить султана против визиря: последнего отрешили и сослали, а потом, как говорят, удавили. В пользу шведского короля действовал при цареградском дворе французский посол.

Послы английские и голландские стояли тогда за Россию, потому что их государства находились сами в ожесточенной войне с Францией. В конце 1712 г., главным образом по наущению Карла XII, султан потребовал от России, чтоб ему была уступлена вся казацкая Украина, и так как, очевидно, такое требование не могло быть удовлетворено, то русских уполномоченных, Шафирова, Толстого и Шереметева (сына), заключили в Семибашенный замок и вновь объявили войну России. Но при турецком дворе все делалось интригами и подкупам. У султана был в большом приближении любимец Али-Кумурджи, настраивавший его в пользу мира с Россией против шведского короля. По наущению этого любимца скоро султан освободил русских послов и опять дозволил вступить с ними в

переговоры. Шафиров подкупил великого муфтия, чтобы в качестве верховного толкователя корана он признал в султанском диване войну с Россией незаконным делом. Не менее важно было то, что русские послы расположили в свою пользу мать султана богатыми подарками, превосходившими те, какие обещал ей Карл XII. Сверх того, Карл XII своим высокомерным поведением раздражил султана. Когда уже все при дворе турецкого императора склонялось в пользу возобновления мира с Россией, султан отправил крымского хана к шведскому королю уговаривать его ехать под прикрытием хана в отечество через Польшу. Карл воспротивился и даже обнажил шпагу против приехавшего к нему султанского конюшего. Услыхавши об этом, султан дал приказание взять шведского короля силою и привезти в Адрианополь, где сам находился в то время. Карл не привык кому бы то ни было повиноваться: приказание султана раздражило его. Карл велел сделать около своего двора, в окрестностях Бендер, окопы и решился защищаться против турок и татар, хотя бы их пришло несколько тысяч; у него самого был тогда небольшой отряд и всего две пушки. Карл защищался так упорно, что турки принуждены были привезти несколько пушек из Бендер, разметали сделанные королем окопы, положили в битве многих защищавших короля шведов и поляков, и наконец его самого, вместе с не разлучным с ним киевским воеводой Потоцким, взяли в плен. После этого события султан велел приехать к себе в Адрианополь русскому посольству. Послы обещались именем царя, что в Польше уже не будет русских войск, но ни за что не соглашались дать обещание платить крымскому хану постоянную дань, как настаивал было султан. Подкупленный Шафировым, муфтий стал толковать в султанском диване, что, по корану, грешно будет теперь начинать войну, и таким образом в июне 1713 г. заключен был окончательно мир на 25 лет. Граница между Турцией и Россией проведена была промеж рек Самары и Орели. Карл XII обязан был немедленно удалиться из турецких владений. Однако он пробыл в Турции после того еще с год, напрасно стараясь поправить потерянное дело и снова произвести разрыв Турции с Россией. Не ранее как летом 1714 года, потерявши уже всякую надежду, он уехал из Турции через Трансильванию, не в сопровождении хана, как предполагалось прежде, а переодетый, в виде частного путешественника, и 22-го сентября прибыл в свой город Штральзунд, находившийся в Померании.

#### **IV. Внутренние дела после Прутского договора до Ништадтского мира со Швецией**

Несколько лет, следовавших за учреждением сената и окончанием турецкой войны, составляют самую богатую событиями эпоху в истории внутренних преобразований, совершенных Петром Великим. Прибалтийский край был, так сказать, обетованным углом для Петра между всеми его обширными владениями, потому что здесь возникал и возрастал его флот, здесь стоял его любезный город, им созданный и лелеемый с сердечною нежностью. Спуск на воду всякого новопостроенного корабля был для Петра большим праздником, и однажды, по известию немца Вебера, на подобном празднике царь говорил своим вельможам замечательную речь, которой смысл был таков: «Никому из вас, братцы, и во сне не снилось, лет тридцать тому назад, что мы будем здесь плотничать, носить немецкую одежду, воздвигнем город в завоеванной нами стране, доживем до того, что увидим и русских храбрых солдат и матросов, и множество иноземных художников, и своих сынов, воротившихся из чужих краев смышленными, доживем до того, что меня и вас станут уважать чужие государи. История полагает колыбель всех наук в Греции, оттуда они перешли в Италию, а из Италии распространились по остальной Европе, но, по невежеству наших предков, не проникли до нас. Теперь очередь наступает и нам; мне кажется, что со временем науки оставят свое местопребывание в Англии, Франции и Германии, перейдут к нам и наконец воротятся в прежнее свое отечество, в Грецию. Будем надеяться, что, может быть, на нашем веку мы пристыдим другие образованные страны и вознесем русское имя на высшую степень славы».

Такой взгляд имел Петр на будущую судьбу России, и, по его предположению,

Петербург был основанием новой России. Любимым эпитетом своему творению у Петра было слово «парадиз». Вся Россия должна была работать для строения и населения этого парадиза. В начале 1712 года потребовано туда сорок тысяч работников, положено было на содержание каждого по рублю в месяц, и для этого велено собрать со всех губерний 120000 рублей; сверх того, понадобилось 22 000 рублей на выделку кирпича как материала для сооружения строений в Петербурге, а 30700 рублей на судовое строение и на разные починки. В 1714 году велено собрать с народа в Петербург 34 000 тысячи человек рабочих и денег им на человека по рублю в месяц. Города с уездами: Олонец с его железными заводами, Каргополь, Белоозеро, Устюжна, волости Новгородского уезда и в Архангельской провинции – Чаронда, всего 24000 дворов – по отправлению этой повинности были приписаны к адмиралтейству. Кроме громадного числа рабочих, в Петербург высылались и мастерские люди. Так, в 1712 году выслано было их для водворения в Петербурге на прибавку к прежним 2500, преимущественно каменщиков и плотников. Каждый из них получал по шести рублей в год на семью.

В июне 1714 года указано было разного звания людям строиться в Петербурге дворами: царедворцам, находящимся в военной и гражданской службе, вдовам с детьми, владевшим не менее ста дворов (в числе 350 лиц), торговцам (в числе 300 ч.), мастерским (в таком же числе), выбранным из разных городов. Они должны были построиться в течение лета и осени 1714 года. Но повеление о высылке людей торговых и ремесленных в Петербург на жительство в точности не исполнялось, да и присланными царь не оставался доволен; губернские начальства старались сбывать из своего края людей бедных, старых и одиноких, которым переселение не представляло большой тягости. 26 ноября 1717 года царь указал земским людям во всех городах выбирать из своей среды для высылки в новый город непременно первостатейных и среднего состояния людей, а отнюдь не бедных, не старых и не одиноких, как до того делалось. Петр хотел привлечь и водворить в Петербурге все, что было лучшего, а остальной России оставлял то, что было похуже. Так, например, осенью 1719 года кожевенных мастеров, обучавшихся у немцев, велено было подвергать испытанию, и тех, которые окажутся более знающими, удерживать в Петербурге, а остальных, которые были похуже, отправить назад по городам.

Правительство заботилось, чтобы сделать населенным вообще и край, прилегавший к Петербургу, называвшийся тогда Ингерманландией. В Петергофе много лет работали иностранные мастера над постройкою увеселительного царского дворца и разведением великолепного сада: в их распоряжении были тысячи русских чернорабочих. В июле 1712 года велено было расписать всю землю в Ингерманландии на части и отвести участки под дворы и огороды в местах, назначенных для заведения жилых местностей. Переводились насильно всяких чинов служилые люди отовсюду и получали в Ингерманландии землю с крестьянскими и бобыльскими дворами. Новые поселенцы, по количеству дворов, делились на шесть статей.<sup>194</sup> Некоторые служилые помещались и обзаводились дворами на острове Котлине. Расселяли по видам правительства жителей и в других местах государства. В начале 1718 года потребовано из Казанской и Нижегородской губерний из Симбирского уезда несколько сот плотников, кузнецов и пильщиков и приказано поселить их на удобнейших местах в Казанской губернии и обязать рубкою леса. Одних расселяли, других посылали временно на работы. Строились крепости в областях Киевской, Воронежской, Нижегородской, Азовской; рабочих для таких построек сгоняли только со своей области, тогда как на постройку Петербурга сгоняли их со всей России. Рабочие, определяемые к постройкам областных крепостей, брались на полгода и на этот срок давалось им продовольствие, но многие не возвращались домой; рабочая повинность была, по замечанию одного современника, бездна, в которой погибало бесчисленное множество русского народа: одна таганрогская поглотила более 30 000 рабочих, но это число было незначительно в сравнении с тем, сколько народа погибло на работах в Петербурге и Кроншлоте.

<sup>194</sup> Первая статья до 700 дворов и выше, вторая от 500—700, третья от 200—500, четвертая от 100—200, пятая от 50—100, шестая – менее 50.

К концу 1717 года правительство нашло, что работы нарядом, т.е. присылкою людей из губерний, неудобны. Князь Алексей Черкасский сообщал сведения, что в числе взятых подворно работников (с четырнадцати дворов по работнику, что составляло всего тридцать две тысячи человек) – было множество беглых, больных и умерших, а иные, взявши от казны подмогу и хлебное жалованье, не шли на казенную работу. Князь Черкасский представлял, что гораздо удобнее были бы работы наймом, с обложением жителей суммою на жалованье рабочим. Это казалось выгоднее и потому, что многие силы, отрываемые на казенные работы, обратятся тогда к крестьянскому земледельческому труду. Царю понравился этот проект, и с этих пор начала господствовать система работы наймом, по подрядам, а на издержки по работам облагался народ налогами.

В 1714 году в Петербурге произведена была перепись домов, и оказалось, что всех было уже 34 500. По желанию Петра в Петербурге должны были господствовать каменные здания. В апреле 1714 года указано на Городском и Адмиралтейском островах и везде по Большой Неве и большим протокам не строить деревянных строений, а ставить каменные; печи делать непременно с большими трубами, а строения крыть дерном или черепицею; на Выборгской стороне, по берегу Невы следовало строить непременно каменные здания, а далее от Невы – мазанки в два жилья, но на каменном фундаменте. Повсюду в Петербурге запрещено было строить конюшни и сараи на улицу, как делалось прежде на всей Руси, а велено непременно устраивать их внутри дворов, так чтобы на улицы и переулки обращено было жилье. Деревянные постройки, в тех местах, где они дозволялись, должны быть брусяные, обитые тесом, окрашенные червленью или расписанные под кирпич. В декабре 1715 г. объявили обывателям Петербурга, чтоб они строили себе дома, имея в виду жить в них самим, а не отдавать другим, и те, которые не имели настолько состояния, чтобы строиться за собственный счет, должны были складываться для постройки дома с другими. Петр около этого времени, видимо, желал заселить прежде всего Васильевский остров. Тем, которым уже прежде были отведены места для поселения на Васильевском острове, в 1719 г. запрещено было селиться в других частях Петербурга, а те, у которых находились места на Васильевском острове, близко берега Невы, должны были строиться понаряднее и при своих домах делать гавани, выходящие на Неву. В 1720 году людям, которым назначено строиться на Васильевском острове, определено для пространства под каменные дома число сажений, смотря по числу крестьянских дворов, числящихся за владельцами в их вотчинах и поместьях. Но тем, у которых было не более трехсот дворов, дозволялось строить мазанки и деревянные домики, без обозначения числа сажений. Каждый дворовладелец должен был вымостить за свой счет улицу перед своим двором и засадить ее липами. При всем старании Петра заселить и застроить каменными домами Васильевский остров, в самых постройках не соблюдалась верность утвержденному правительством образцу, по которому следовало строиться под один горизонт, и в 1721 г. Петр приказал ломать все здания, возведенные не по форме, а с виновных брать по сто рублей штрафа. По мере отдаления от Васильевского острова, в Петербурге не требовалось такой нарядности постройки, и по берегу реки Фонтанки строились деревянные дома.

Петр намеревался приучить новопоселенных жителей Петербурга к умению строить суда и к охоте плавать на них по воде, и в 1718 году приказал жителям Петербурга раздать безденежно парусные и гребные суда, с обязательством сделать новое судно, когда старое испортится. Для делания и починки судов устраивался двор на Малой Неве, под ведением комиссара Потемкина; всякий желающий мог обращаться туда по судовому делу. Составлены и опубликованы были подробные правила для управления судами, а за малейшее отступление от этих правил полагались штрафы. Для поощрения иностранцев, желающих водвориться в Петербурге, Петр давал различные привилегии; например, в апреле 1716 г. одному данцигскому жителю дано право гражданства в Петербурге, с увольнением от податей и с дозволением торговать на общих основаниях.

В течение трех лет, с 1718—1721 г., правительство обращало большое внимание на благоустройство и благочиние нового города. Предписывалось улицы и переулки сохранять

в чистоте и сухости, на проезжих дорогах и у мостов не устраивать шалашей, торговцам съестными припасами не подымать самовольно цен и не продавать ничего вредного для здоровья под опасением за первый раз – кнута, за второй – каторги, за третий – смертной казни. Для предупреждения пожаров следовало всякую четверть года у жителей осматривать печи и бани: в летнее время топить избы и бани дозволялось только раз в неделю. На каждом острове заведено было по одной пожарной заливной трубе; всех было четыре, каждая обходилась в четыреста рублей. Привозившим сено, дрова и прочие сельские произведения велено отводить на рынках места, а не позволять становиться где попало, как везде на Руси делалось. Шибкая езда по улицам запрещалась, а у кого была охота бегать взапуски или держать заклады, те могли упражняться в Ямской слободе или на льду зимою. Царь приказывал: не допускать на улицах и рынках драк, уничтожать подозрительные дома – притоны пьянства, карточной игры и разврата, забирать «гулящих и слоняющихся» людей, которые гнездились по кабакам, торговым баням, харчевням, а ночью производили буйства и драки. По старым обычаям и в Петербурге, как в других русских городах, жители не спешили на помощь, когда слышали крик «караул», и не торопились разнимать драку, а если вмешивались в нее, то для того, чтобы помогать той или другой стороне. Царь приказал устроить по улицам шлагбаумы с караулами, которые должны были с одиннадцати часов вечера до утренней зари никого не пускать через шлагбаум, кроме священника, доктора или повивальной бабки. Для знатных людей, которые не ходили иначе, как с фонарями, делалась льгота; но так называемых подлых людей пускали не иначе, как по одному, а чуть шел кружок, наводивший подозрение, – всех брали под караул. 20 июня 1718 г. указано брать под караул всех нищих, шатавшихся в Петербурге, и допрашивать – откуда они и зачем бродят; пойманных в первый раз – били батогами и отсылали в дворцовые волости, к старостам и сотским, или прямо к тем хозяевам, у которых жили они прежде, до своего бродяжничества, взявши с хозяев расписку в том, что будут смотреть за этими людьми и кормить их. Пойманных в другой раз били кнутом и посылали мужчин – в каторжную работу, женский пол – в шпингауз или прядильный дом, а малолетних, по наказанию батогами, – на суконный двор в работу; с хозяев, у которых эти нищие прежде проживали, брали штраф по 5 рублей за каждого нищего. В феврале 1719 г. компания полотняного дела выпросила дозволение посылать к ним взятых за нищенство женщин на работу, а указом 26 июля 1721 года такое распоряжение было распространено вообще на все заводы, учрежденные компанейцами. Петр, не терпя нищенства во всей России, особенно хотел, чтоб его не было в любезном его Петербурге: запрещал давать милостыню и с ослушников этого правила велел брать на госпитали по 5 рублей за каждую подачку.

В 1719 году полиция Петербурга отличалась необычайною строгостью. Генерал-полицеймейстер ежедневно сек кнутом человек по шести и более обою пола, а одну распутную женщину гоняли, подстегивая кнутом, за то, что она, отправляя ремесло свое, заразила много солдат лейб-гвардии Преображенского полка. В 1721 г. полиция стоила 27923 рубля и содержалась за счет всего государства, из нарочно собранного подворного налога. По этому поводу в указе замечалось: «что здешнее место (т.е. Петербург) дороговизною, провиантом, харчем и квартирою отягчено, а другие места такой тягости не имеют». Обращено было внимание на опрятность в новом городе. Мясники завели было бойни на Адмиралтейском острове и бросали внутренности животных в речку Мью (Мойку), так что от вони нельзя было проехать через нее, – указано бить скотину подальше от жилья, за пильными мельницами, а за метание в реку всякой нечистоты и сора служителям, жившим в домах, хотя бы и высокими персон, угрожали кнутом и ссылкой в каторжную работу. По малым речкам и каналам зимою позволялось только ходить пешком, но воспрещалось ездить на санях, верхом, чтоб не засорить рек и каналов навозом; не дозволялось выпускать на улицу скот, который портил дороги и деревья. Все такие правительственные распоряжения о соблюдении чистоты и порядка, как и всякие другие, исполнялись плохо. На улицах продолжали наваливать всякую гадость и мертвые тела животных, пока царь, в апреле 1721 года, не приказал для вывоза нечистот завести лошадей и при них рабочих из рекрут и

взятых гулящих людей. Город начали освещать с 1721 г.: на Васильевском острове велено устроить 595 фонарей. С увеличением населения в Петербурге ощутительно стали свирепствовать болезни. Зимой 1717—1718 г. много болело и умирало людей от горячки. Петр приказал, чтобы везде, где во дворе окажутся больные этою болезнию, доносили о них в канцелярию полицеймейстерских дел.

Одним из признаков общественной жизни в новом городе было учреждение ассамблей. 26 ноября 1718 года Петр дал об этом указ с.-петербургскому генерал-полицеймейстеру. «Ассамблея», по толкованию этого указа, «есть слово французское, которое на русском языке одним словом выразить невозможно, но обстоятельно сказать – вольное, где собрание или съезд делается не только для забавы, но и для дела, где можно друг друга видеть и переговорить или слышать, что делается». Правила, начертанные Петром для ассамблей, были таковы: хозяин дома, где делается ассамблея, должен письменно объявить, что всякому вольно приезжать как мужчинам, так и женщинам. Вход в ассамблеи открыт всем чиновным людям, дворянам, купцам, начальным мастеровым людям и знатым приказным, а также их женам и детям. Ассамблея начинается не ранее 4-х или 5-ти часов и продолжается не позже 10-ти часов. Лакеи и служители должны были находиться в сенях, по распоряжению хозяина. Хозяин не обязан ни встречать, ни угощать, ни провожать гостей, должен только поставить свои свечи, питье для жаждущих и приготовить употребительные игры на столах. Но хозяева, устраивавшие ассамблею, обыкновенно угощали гостей водкою, вином и закусками, тем более что знатные и богатые вельможи все, по обязанности, один за другим устраивая у себя ассамблеи, щеголяли роскошью угощения, так что многие на ассамблеях напивались допьяна. Для ассамблей отводилось обыкновенно четыре покоя: в одном – танцевали, в другом – играли в карты и шахматы, в третьем – курили и вели беседы, в четвертом дамы играли в фанты. Всякий мог приехать и уехать, когда хотел, не нарушая правил, установленных для ассамблей, под штрафом кубка Великого Орла. (Так назывался огромный сосуд, из которого заставляли пить вино за нарушение установленных приличий.) Такие же меры должны были соблюдаться в австериях (ресторанах) и в местах, где будут балы и банкеты. Старые русские обычаи в обращении с людьми до чрезвычайности не сходились с европейскими и соблазняли иностранцев своею грубостью и угловатостью, даже и в кругу, близком ко двору царя. Иностранец, вздумавши приехать с визитом к русскому господину, рисковал мерзнуть на дворе и дожидаться, пока хозяин выйдет по своим делам на свой двор, а на приветствие гостя скажет: чего тебе нужно, я от тебя ничего не желаю, или, спросивши у гостя об его отечестве, скажет ему: такой земли я не знаю; ступай себе к тем, к кому послан. Только тогда, когда они замечали, что царь к тем или другим из иноземцев ласков, изменяли в отношении последних свой тон и начинали обращаться с ними унижительным образом.

Петр, занимаясь с любовью Петербургом, не оставлял без внимания и другие русские города. В марте 1714 г. всем губернаторам было объявлено, чтоб с будущего за тем года начали строиться каменные дома повсюду. В Москве исстари городские дома состояли большею частью из незатейливых деревянных изб, которые продавались на рынке в Китай-городе. Покупщик, приобретая за деньги такой дом, приказывал разобрать его и везти на место, где намеревался его поставить; там приказывал наскоро его сложить, законопатить мхом щели, образующиеся между бревнами, и покрыть тесом. Такие дома беспрестанно подвергались пожарам, но легко и возобновлялись. Чтобы избавить жителей от лишних расходов при беспрестанных покупках новых домов, царь, в январе 1718 года, предписал в Кремле и Китай-городе Москвы строить каменные дома, с фасадом на улицу, а перед домом на улице должна быть вымощена мостовая из дикого камня. В Белом и Земляном городе можно было строить деревянные строения, но непременно с глиняным потолком, чтоб печи были поставлены на земле, а не на мостках, и устроены так, чтоб огонь не доходил до стены; вместо заборов около дворов приказано ставить тыны, предохраняющие от воров. Велено было в мясных рядах не допускать продавать мяса большой скотины; мясники не смели производить своего промысла тайно. Под страхом пени запрещалось сваливать нечистоты по улицам.

По всем губерниям в городах велено было устроить госпитали для увечных и престарелых и дома для приема незаконнорожденных детей. В Москве, для последней цели, приказано строить мазанки, а в прочих городах – деревянные строения. Для ухода за младенцами следовало приискать искусных женщин и давать им по три рубля и по полуосмине хлеба на месяц; на содержание же самих младенцев полагалось три деньги в день. Было предоставлено матерям приносить младенцев в приюты для незаконнорожденных тайно и класть через закрытое окно. На содержание больных и раненых, в июне 1714 года, положено обратить одну статью церковных доходов, – сбор с венечных памятней (собираемых с венчания), а в мае 1715 года указано с пожалованных в дьяки взysкивать на этот же предмет по сто рублей. В том же году госпитали велено содержать из неокладных доходов в губерниях, а 28 февраля 1721 г. обращены были на содержание богаделен и больниц выручаемые от продажи свечей в церквях деньги, и 12-го декабря того же года на тот же предмет установлено со всех служащих, кроме солдат, вычитать по копейке с рубля в год.

И в этот период своего царствования, как прежде, Петр старался оградить леса от напрасного истребления. Все леса Петербургской губернии состояли в полном ведении адмиралтейства; от сената назначались за ними надсмотрщики из дворян. По челобитьям крестьян раздавались около Петербурга места под мызы, но с тем, чтоб мызники не рубили у себя заповедных деревьев – дуба, клена, лип, ясени и вяза. Между Петергофом и Лиговой запрещено было рубить лес даже и владельцам в собственных дачах, а если кто хотел расчищать свой лес «для своего плезира», тот должен был соблюдать указанные царем правила и истреблять только сухие деревья. Леса, покрывавшие острова около Петербурга, были также заповедными: туда, между прочим, запрещалось пускать скот, под страхом отнятия его на госпиталь. За нарушение царского указа о лесах били кнутом, шпицрутенами, кошками и линьками. Не для всей Ингерманландии были такие строгие правила: 11-го декабря 1718 года дозволено всем рубить лес во всех дачах, чьих бы то ни было, находившихся по обеим сторонам Невы, от Словянки до Шлиссельбурга. Землевладельцы на этом пространстве стали было не допускать чужих до рубки своих лесов или пускали их не иначе, как взявши большие деньги, и от этого стала дороговизна дров в Петербурге, но царь объявил владельцам лесов, что они будут лишены своих земель и сосланы, если станут препятствовать рубке леса в своих лесных дачах; а когда после того, в 1720 году, продавцы дров опять подняли цену, жалуясь, что рубка лесов сопряжена с большими неприятностями и оскорблениями со стороны землевладельцев, тогда царь указал, для рубки лесов, ездить в помещичьи дачи не иначе как компаниями, не менее двадцати человек.

И для других краев России издавались узаконения, клонившиеся к сохранению лесов. Когда в 1716 г. казанский вице-губернатор донес, что дубовые леса, годные на кораблестроение, рубят и подсушивают, царь послал майора на розыск и велел виновным учинить жестокое наказание и разорение – отнятием всех их имений. В июне 1719 г. издан был указ для всей России, чтобы считать заповедными лесами – годные к корабельной постройке леса из дуба, клена, вяза и сосны, если последняя заключает в отрубе двенадцать верхков, в том же расстоянии от больших и малых рек, какое определено было указом 1703 года. В заповедных лесах запрещалось не только рубить большие деревья, но и собирать валежник. В лесах же, отстоящих на более далекое пространство от рек, запрещалось рубить только дубовые деревья, и если кому понадобится хотя один дуб, – тот должен подавать просьбу о дозволении ему срубить это дерево. Приказано было в селах и деревнях выбрать добрых людей, не менее как с пятисот дворов, и дать им особые клейма (пятна) с гербами своих провинций: этими гербами они должны были пятнать заповедный лес. За незаконную порубку бралась большая пеня, за повторенную несколько раз и за сделанную в большом размере, хотя бы и в первый раз, царь приказывал вырезать ноздри и ссылать на каторгу, а в некоторых местностях Новгородской губернии за порубку дубового леса ожидала виновного смертная казнь. В противоположность такой строгости, в губерниях Сибирской и Астраханской и в Уфимской провинции разрешалось рубить дубовые леса. При всем том,

что Петр так дорожил лесами, трудно было ему получить подробные описи лесов в государстве. Он многократно приказывал это, но еще в 1721 году, как видно, это сделано не было.

Постоянные войны, которые вела Россия, требовали строгих мер к пополнению войска и его продовольствию. В конце 1712 г. велено было собрать с пятидесяти дворов по конному, а на военные издержки обратить таможенные и питейные сборы, находившиеся у откупщиков из купеческого звания. В мае 1713 года приказано было собрать со всех губерний немедленно запасных рекрут и обучать их; так как в войске ощущалась потребность в грамотных, то царь велел переписать всех подьячих и оставить из них для производства дел только необходимое число, а остальных обратить в военную службу, где они занимали бы должность писарей. В конце 1713 года указано было опять собрать с 50-ти дворов по человеку. Предполагавшаяся в то время война с Турцией не состоялась, и все меры правительства обратились на военные действия на севере, в Померании и Финляндии. В этом случае всех более терпела Петербургская губерния, так что на фураж и провиант должна была истратить до 129000 рублей, когда во всех других губерниях сумма на этот предмет простиралась до 45 000, кроме дворового сбора по три алтына и 1 1/2 деньги со двора. В 1715 году с побережья Северного моря указано доставить опытных матросов, ходивших в море за китоловством и рыбными промыслами, и, кроме того, брать владельческих крестьян в матросы. В октябре того же года, для той же цели, велено собрать в матросы до тысячи человек, от 15 до 20-летнего возраста. В 1719 году в августе велено собрать для комплектования войск десять тысяч человек, а в Сибири четыре тысячи человек, и пригнать их зимою в Петербург для обучения. В мае 1721 года, для той же цели, велено собрать 15-ть тысяч рекрут.

Относительно продовольствия войска важным установлением было в 1713 году назначение комиссаров для раздачи провианта. В следующем году на содержание армейских полков, расположенных в Петербургской губернии, определено доставлять провиант вольным порядком, с подрядов, водою или сухопутьем, но непременно в бочках, а не в рогожных кулях, как делалось прежде; вместо доставки натурою, позволялось вносить деньгами, считая за четверть муки 1 рубль 16 алтын 4 деньги и два рубля за четверть крупы. Но важнейшим делом было учреждение в 1720 году запасных магазинов в Нижнем Новгороде, Орле, Гжате, Смоленске, Брянске и, кроме того, в других городах, на пристанях, предпринятое в тех видах, что подрядчики на поставку казенного провианта, во время хлебного недорода, стали возвышать цены на хлеб. Предположено собрать в эти магазины, со всего государства, со двора по четвертику ржи; осенью того же года царь, узнавши, что везде были урожаи, приказал собрать еще по другому четвертику с двора. Для флота собирался особый провиант, состоявший, кроме хлебных запасов, из мяса, соленого сала, вина, гороха и крупы: этот провиант доставлялся из одних провинций в Петербург, а из других – в Ревель.

При наборе рекрут происходили злоупотребления. Рекрут приводили в города скованными и держали, как преступников, долгое время по тюрьмам и острогам. Изнуряли их и теснотою помещения, и плохую пищу. По донесению фискалов, при отправке как рекрут, так и рабочих, в губерниях удерживали следуемые на их продовольствие кормовые деньги и провиант, не давали им одежды и обуви; вместо подвод, на которые следовало сажать отправляемых на казенную службу, их гнали пешими, нисколько не обращая внимания ни на дальность пути, ни на плохие дороги и распутицу, или же отнимали у частных проезжих подводы и сажали на них рекрут. Рекрут могло быть до тысячи, а провожал их какой-нибудь офицер, да и тот старый и нездоровый; пропитание им давали самое скудное; от этого между ними свирепствовали болезни, и многие безвременно умирали на дороге, без церковного покаяния; другие же, от всевозможных лишений потеряв терпение, разбежались, но, боясь появиться в своих домах, приставали к воровским станицам. Итак, крестьяне, отданные в рекруты с тем, чтобы, ставши солдатами, защищать отечество, становились не защитниками, а разорителями своего государства. Всякая казенная служба до крайности



омерзела в глазах русского народа. Иные, чтоб избавиться от нее, уродовали себя, отсекая себе пальцы на руках и на ногах. Побегии получили небывалые размеры. После многих строгих узаконений, царь принужден был объявить беглым надежду на прощение, если они возвратятся до апреля 1714 г. Когда этот срок минул, им дана новая льгота по сентябрь того же года, а потом дана была им еще отсрочка до 1-го января 1715 года. В январе этого года указано пойманным беглым рекрутам класть знак пороховом – крест на левой руке; а дававших им притон ссылать на галеры. Ландраты должны были смотреть, чтоб не было беглых, и в чьем ведомстве отыщется беглец, ландрату того ведомства угрожало наказание. Всех подрядчиков кирпичных дел обязали, под опасением смертной казни, не принимать беглых в работники. Несмотря на все меры, и слишком строгие и слишком снисходительные, в начале 1715 г. убежавших со станции из Москвы и с дороги было до двадцати тысяч. В Петербурге и Котлине беспрестанно умножались побегии из гарнизонов. Множество беглых толпилось в Малороссии; указано было в 1715 г. отыскивать их там и возвращать, а с передержателей брать по пяти рублей с семьи. Иные находили себе приют у раскольников, поселившихся в Стародубском уезде. Велено было осмотреть села и деревни в Белгородском и Севском уездах, и в слободских полках, разузнать, по каким документам проживают там крестьяне, и всех, которые окажутся беглыми, высылать прочь: чужих крестьян вести к их владельцам, а беглых с казенной службы на место отправления этой службы. Многие бежали на Дон, где, несмотря ни на какие строгие меры, по старинному извечному обычаю, принимали беглых, откуда бы они ни пришли, и не только русских, но калмыков и перебежчиков из турецкой империи. В 1715 году дана была беглым отсрочка, для добровольной явки, по январь 1716 года; в 1716 году – по 1-е января 1717 г.; в декабре 1717 г. снова объявлена беглым отсрочка на год, с обещанием каторги и всеконечного разорения, если они не явятся в назначенный срок. Такую же отсрочку мы встречаем 29 октября 1719 г. по июль 1720 г.; в 1721 г. 29 ноября объявлялось прощение всем беглым из военной службы, если они явятся добровольно к марту следующего года, а за ослушание грозили жестоким наказанием; каждому, кто поймает беглеца, государь обещал по пяти р. награждения, а доносителю, указавшему на пристанодержательство, обещано было две трети имущества, принадлежавшего пристанодержателю. Давалось повеление никого не пропускать никуда без паспорта или пропускного вида, всякого беспаспортного считать прямым вором, не слишком доверяя, однако, письменным видам, которые часто были поддельные. Открылось, что многие беглые приставали к монастырям и особам духовного чина, под именем казаков, ханжей и трудников; царь угрожал духовным лишением сана, если будут давать притон беглым. В числе беглых были владельческие крестьяне, часто после побега от своего владельца проживавшие у другого. Царь назначил полуторагодичный срок для отдачи их прежним владельцам, по крепостям. Это не распространялось на таких беглых, которые, бежавши от своих господ, вступили в военную службу, а затем царь подтвердил прежний указ, позволявший из господской службы каждому вступать в военную, исключая таких, которых господа, живя в Петербурге, обучили матросскому плаванию для своего обихода.

И в этот период Петрова царствования, как и в прежний, повсюду появлялись разбойничьи шайки, человек в 200 и более, с исправным вооружением; они нападали на помещичьи усадьбы, сжигали их, убивали людей и крестьян. Близ города Мещовска разбойники напали на Георгиевский монастырь, ограбили его, а потом вступили, не встречая сопротивления, в город Мещовск, освободили преступников, содержащихся в тюрьмах, и присоединили их к своей шайке. В 1718 году разбойников, находившихся в шайках, велено казнить колесованием и повешением, а беременных женщин оставлять в живых до разрешения от бремени и потом отсекал им голову. В начале 1719 года государь приказал разослать по всем губерниям печатный указ, прибить его в пристойных местах и прочитать в церквах, жители, через своих старост и приказчиков, должны были давать властям сказки о том, что им неизвестно о пребывании у них воров, беглых и становщиков (пристанодержателей), а если узнают, то обязываются немедленно объявить начальству. Тем приказчикам и старостам, которые в своих сказках солгут и утаят пребывание у них

преступников, угрожала смертная казнь, а помещикам отнятие имений. В марте того же 1719 года царь в своем указе заметил, что, при стараниях искоренить воров и разбойников, повсюду совершались дневные и ночные кражи, по дорогам разбой и убийства. Много раз, по царскому милосердию, объявлялось разбойникам прощение, если они принесут повинную, и ничто не помогало, а многие заведомо давали у себя приют злодеям и через то содействовали сокрытию преступлений. По тюрьмам сидело множество преступников, а дела о них затягивались по несколько лет.

Долговременное истощение народных сил, после бывших продолжительных войн и тяжелых поборов, привело к тому, что обезлюдели многие края. Крестьяне, оказавшись несостоятельными в уплате податей, разбегались, но их владельцы не освобождались от казенных недоимок, числившихся за беглыми, и часто, не в состоянии будучи получать доходов со своих разоренных имений и вносить требуемые в казну платежи, сами покидали свои жилища и пускались в бега. Но ничто так не усиливало побегов, как злоупотребления со стороны всяких начальствующих лиц. В царствование Петра каждый, кому по служебной обязанности предоставлялось брать что-нибудь в казну с обывателей, полагал, по выражению современника, что он теперь и для себя может высасывать бедных людей до костей и на их разорении устраивать себе выгоды. Замечали современники, что из 100 рублей, собранных с обывательских дворов, не более 30 рублей шло действительно в казну; остальное незаконно собиралось и доставлялось чиновникам. Какой-нибудь писец, существовавший на 5—6 рублей жалованья в год, получивши от своего ближайшего начальника поручение собирать казенные налоги, в четыре или пять лет разживался так, что строил себе каменные палаты. Эти черты нравов размножили до чрезвычайности побегов и разбой. В городских гарнизонах недоставало офицеров для преследования преступников. Сенат указал в тех губерниях, где стояли на квартирах армейские полки, командирам тех полков, по заявлению губернаторов и других властей, посылать драгун и солдат для поимки разбойников: командирам угрожало жестокое взыскание за неисполнение сенатского указа. Но, вместе с тем, сенат нашел нужным сделать и оговорку, чтобы посылаемые за этим делом офицеры, драгуны и солдаты не чинили оскорблений обывателям. Пойманных разбойников велено было допрашивать как можно скорее; тех из них, которые делали смертоубийства и истязания над людьми, — вешать за ребра или колесовать. Помещиков и помещичьих крестьян, которые давали притон разбойникам, велено вешать, а старост и приказчиков тех селений, откуда были разбойники, бить кнутом, за то, что не смотрели за своими крестьянами.

Ужасом для всех разбойников, как и для всяких нарушителей царской воли и закона, был князь Федор Юрьевич Ромодановский, начальник Преображенского приказа в Москве. Этот человек соединял в себе насмешливость с мрачною кровожадностью: участник Петровых оргий, неизменный член сумасброднейшего собора, представлявший, по воле государя, из себя шутовское звание царя-кесаря, он держал у себя выученного медведя, который подавал приходившему в гости большую чарку крепкой перцовки, и в случае отказа пить хватал гостя за платье, срывал с него парик или шапку. Шутник большой был Федор Юрьевич. Но если кто попадался серьезному суду Федора Юрьевича, тот заранее должен был почитать себя погибшим. Ромодановский подвергал обвиняемых самым безжалостным пыткам и приговаривал преступников к мучительным казням: кроме обыкновенного повешения, он вешал их за ребра и сжигал. Его одно имя наводило трепет; сам Петр называл его зверем, зато любил Ромодановского, зная, что никакие сокровища не в силах подкупить его и возбудить малейшее сострадание к попавшейся жертве. Все процессы по поводу «государева слова и дела» велись им; какая-нибудь неосторожная болтовня влекла несчастного к неумолимому розыску, в душную или сырую тюрьму, к бесчеловечным истязаниям.

Ромодановский с любовью занимался своим адским делом, и его Преображенский приказ у русского народа носил прозвище «бедности».

Преследуя беглых и разбойников, как и своих политических недоброжелателей, Петр

принимал строгие меры против бродяг и нищих. В феврале 1718 года царь узнал, что в Москве по рядам и по улицам шаталось множество монахов и нищих; они пользовались благочестивым обычаем русских людей наделять нищих милостыней. Эти нищие были нередко скрытные разбойники, которые по ночам в темных и узких улицах убивали кистенями прохожих людей и обирали их тела. Подобный разбой в продолжение святок и масленицы был делом совершенно обычным в древней столице: по несколько десятков убитых подбирали на улицах и свозили в убогий дом, где сваливали их в одну глубокую могилу без церковных обрядов, и уже в субботу Пятидесятницы священник отпевал их всех. Для искоренения нищенства, Петр приказал учредить из московского гарнизона особых поимщиков, хватать шатавшихся монахов и нищую братию и вести в Монастырский приказ. Изданное сначала для Петербурга запрещение раздавать милостыню распространилось на всю Россию; кто желал помогать нищим, тот мог отсылать милостыню в богадельни. За раздачу нищим милостыни назначался штраф: в первый раз пять, а во второй десять рублей.

Государя приводила в гнев неаккуратность губернаторов и других органов областного управления в присылке рабочих людей, рекрут и денег. Царь указал, за трехкратное неисполнение сенатского предписания, брать с губернаторов большой штраф и их подвергать аресту. Всем губернаторам ставилась в пример деятельность петербургского губернатора, как образцовая, потому что, сверх окладных сборов, он сумел собрать в 1713 году 72000 рублей. По его примеру предписывалось поступать и всем другим, но делать это так, чтобы сборы не влекли за собою отягощение народа. Это условие приводило губернаторов в затруднение. За отягощение народа грозили губернаторам военным судом и между тем требовали от них как можно более денег в казну, а фискалы, надзиравшие над ними беспрестанно, посылали на них доносы в Петербург. В феврале 1714 года указано не давать приказным людям жалованья прежде, чем не будут высланы все казенные недоборы. Но в следующие за тем годы недоимки накоплялись по всем частям: в 1720 году недоимок рекрутских за прежние годы, считая по 20-ти рублей на рекрута, за уплатою 197870 руб., оставалось еще получить 809690 рублей. Губернаторы объясняли, что, за опустением городов и сел, нет возможности собрать недоимки и недостает людей для отсылки в казенную службу.<sup>195</sup> Между тем все повинности правились по прежним переписным книгам. Требовались деньги, провиант, рабочие для отправки в Петербург; требовались подводы, и все это требовалось по тому числу дворов, какое значилось в прежних переписных книгах, тогда как в наличности и половины прежнего числа жителей не находилось на месте.

Обыватели несли, в самом деле, гораздо более тягостей, чем сколько требовало с них правительство по своим соображениям, основанным на прежних устарелых списках. Неоплатных казенных должников с 1718 г. стали отправлять с женами и детьми в Петербург в адмиралтейство, оттуда годных мужчин рассылали на галерные работы, а женщин в прядильные дома, детей же и стариков на сообразную с их силами работу: все они должны были отрабатывать свой долг казне, считая по рублю в месяц на человека заработной платы. Их кормили наравне с каторжниками, а после отработки долга, – выпускали на волю; если же за кого-нибудь из них находились поручители – тех выпускали ранее, но давая им срок уплаты не далее полугода. Случалось, однако, что таких отрабатывающих свои долги удерживали и после срока, против чего издан был указ в 1721 году, и в том же году разрешено платить недоимки по срокам: на три года в суммах от пяти до десяти тысяч и более; на два года – в суммах от одной до пяти тысяч, и на год – от ста рублей до тысячи, и те платить по годовым третям.

Помощниками губернаторов в отправлении их многочисленных обязанностей были ландраты и ландрихтеры (ландратов в больших губерниях было по 12-ти, в средних по 10-ти, в меньших по 8-ми). Ландраты начальствовали над провинциями, на которые делились губернии. По два человека ландратов, с помесечною переменою, должны были находиться

---

<sup>195</sup> Известия об опустошении разных краев являются последовательно с 1710 года из разных мест. Например, в Ярославском уезде: где было прежде крестьянских дворов 52, там осталось 16; где было 104, оставалось 51.

при губернаторах в качестве их постоянных товарищей или советников; прочие оставались в своих провинциях; те из них, которые находились при губернаторах, должны были подписывать всякие дела, но не были своими мнениями подчинены ему. В наказе об их учреждении выражено было, что губернатор над ними «не яко властитель, но яко президент» и имел перед ними то преимущество, что пользовался двумя голосами, тогда как каждый из товарищей его ландратов владел одним только голосом. За должностью ландратов, вскоре после их введения, оказались большие злоупотребления. Так, под разными предлогами, разъезжали они по селам и деревням на даровых подводах и проживали в одном месте по неделям и более, требуя от жителей припасов и для себя, и для своих людей; более других сел обирали ландраты архиерейские и монастырские вотчины, особенно при сборе провианта, пользуясь тем, что насчет этого всегда получались ими строгие предписания. В июне 1716 года Петр, узнавши о наглости ландратов, велел устроить в разных селлах, дворцовых и монастырских, для приезжающих ландратов хоромы, с приказною избой и тюрьмою на деньги, собранные с крестьян, в сумме 200 рублей на строимый двор. Подводы ландратам запрещено брать даром вовсе, так как они получали царское жалованье. Что касается до ландрихтеров, то они посылались губернаторами для розыска преимущественно в поземельных делах, например, в межевых.

В украинских городах были установлены коменданты, между которыми различались обер-коменданты и вице-коменданты; под ведением их были гарнизоны, составленные из ландмилиции.

Эти коменданты, как и вообще всякие слуги государства, и пребывающие в местных административных должностях и посылаемые от правительства с разными поручениями, позволяли себе всякого рода насилия и утеснения. Средства, какие употребляли взяточники, были до того разнообразны и затейливы, что, по выражению современника, исследовать их было так же трудно, как исчерпать море. Захочет, например, комендант или ландрат поживиться за счет обывателей какого-нибудь округа, и вот он посылает своего писца удостовериться, точно ли крестьяне заплатили свои подати. Писец ездит по селам и деревням и требует от крестьян квитанций в уплате. Иной крестьянин сразу не найдет квитанции, и писец кричит на него, торопит его, требует с него уплаты вновь или берет с него взятку за то, чтобы подождать, пока крестьянин отыщет свою затерянную квитанцию и представит куда следует, но если крестьянин и не затерял своей квитанции, если представит ее тотчас по требованию, то все-таки писец, кроме того, что у крестьянина съест и выпьет, возьмет еще с него деньги, как бы за свой труд, и поделится ими со своим начальником. Привлекаемые к законной ответственности плуты, желая увернуться от силы закона, старались поставить вопрос так, чтобы, ссылаясь на буквальный смысл редакции закона, можно было сделать отговорку, что в законе сказано не так, чтобы их можно было по этому закону обвинить. Это было замечено Петром; в указе 24-го декабря 1713 г. он запрещал лицам всех званий, и великим и малым, брать посулы и пользоваться с народа собираемыми деньгами, под предлогом торга, подряда и т.п. Виновному угрожали, что он «жестоко на теле наказан, шельмован, всего имения лишен и из числа добрых людей извержен и смертью казнен будет». Все под опасением того же должны были доносить о таких преступниках, «не выкручиваясь тем, что страха ради сильных лиц или что его служитель». Позже через печатные объявления, оповещенные народу чтением в церквах, приглашали всех без опасения обращаться к правительству с доносами на взяточников и казнокрадов. В современных тогдашних делах можно отыскать много образчиков злоупотреблений со стороны областных властей. Вот, например, в 1712 году посланный в Псковскую волость от Меншикова вице-комендант Алимов, приехавши на кружечный двор, начал у посадских брать для себя вино, сахар, калачи, а одного помещика, призвавши во Псков, держал в неволе и крестьян его в рабочую пору забирал к себе, и только когда через его подьячего дали ему пять рублей, выпустил помещика из-под караула. Наехавши на Псково-Печерский монастырь, Алимов избил стряпчего, приказывая высылать крестьян возить глину на постройку светлиц в монастыре и принуждая кормить всех работников за монастырский

счет. Он приказывал крестьянам возить в Сомерскую волость сено, высылая их нарочно в дурную погоду, самого игумена сажал под караул в толпе набранного народа мужского и женского пола, а монастырских служек приказывал бить батогами. В Каргополе поднялась жалоба на коменданта Борковского. Он брал в свою пользу деньги, которые собирались рекрутам на подмогу, заставлял посадских и уездных людей и рекрут делать хоромные и мельничные строения в своих вотчинах, да вдобавок бил их жестоко, а его шурья, племянники и подьячие ездили по волостям и вымучивали у людей то то, то другое от имени коменданта. Уездные старосты, по комендантскому распоряжению, правили с крестьян деньги, а отписей в получении денег им не давали, потому что комендант боялся быть уличенным в излишних сборах с народа. Борковский собирал на прокормление людей, отправленных на работы государевы, по 35 алтын на человека, а рабочим тех денег не давал, и рабочие за недостатком чуть не помирали с голода, – с крестьян брал неволею несколько сот подвод и, сверх того, на эти подводы в подмогу – деньгами по рублю; наконец, со всякого крестьянского двора правил в свою пользу по гривне, что составило до 600 р., а желая утаить свои злоупотребления, принуждал земских бурмистров и старост написать поддельные книги, в которых бы его взятки не значились. Но этот комендант отписался и оправдался. На пошехонского коменданта Веревкина была жалоба, что, собирая провиант и рекрут, он завел неправильную меру и принимал от крестьян хлебное зерно с верхом, а выдавал рекрутам в трус и под гребло, отчего от каждого человека пришлось ему по полуторы четверти, и это лишнее он приказывал отвозить в свою усадьбу. В Устюге был комиссар Акишев, покровительствуемый архангельским губернатором Курбатовым. Надеясь на своего покровителя, пользовавшегося царскою милостию, этот комиссар, с подначальными ему подьячими, собирая с крестьян пошрины, сажал их в дыбы, бил на козле и на санях свинцовыми плетьюми, пек огнем, ломал им руки и ноги, девиц и женщин раздевал донага и водил всенародно. Так доносил на него фискал. Крестьяне жаловались, со своей стороны, что они разорены, стали наги и босы, измучились на правежах. Акишев был взят и отправлен к царю, а потом подвергнут пытке в застенке.

Самые крупные дела по злоупотреблениям в этот период были: дело сибирского губернатора князя Гагарина и архангельского вице-губернатора Курбатова. Гагарин был более десяти лет губернатором Сибири и приобрел там самую отличную репутацию: его не только любили, но, можно сказать, боготворили за щедрость и доброту. Он, между прочим, облегчал печальную судьбу шведских пленников, которых в Сибири было до 9000, оставленных без всякого пособия от правительства; в числе их было до 800 офицеров, питавшихся поденною работою у русских. Гагарин был так к ним внимателен, что за три первых года своего губернаторства истратил на их содержание более 15000 рублей собственных средств, заохочивал их к разным выгодным трудам и доставлял их изделия государю. При его помощи пленники завели себе шведскую церковь. Гагарин долго умел заслуживать благосклонность царя к себе и был первый из сибирских правителей, отыскавший в Сибири золотой песок: при содействии горного инженера иноземца Блюгера, он привез царю образчик этого песку, и Блюгер, в присутствии Петра, делал пробу, показавши, что из фунта такого песку выходит 28 лотов чистого золота. Но, живя вдали от государя и управляя огромнейшим пространством, Гагарин невольно стал в Сибири как бы независимым владетелем и позволял себе делать многое, не справляясь, понравится ли это государю. Он жил очень роскошно, употреблял при столе серебряную посуду, имел осыпанную брильянтами икону, стоившую 130000 рублей. Обер-фискал Алексей Нестеров, человек чрезвычайно ловкий, донес царю, что Гагарин расхищает казну, берет взятки с купца Карамышева, торговавшего с Китаем, и дозволяет купцам Евреиновым вести незаконный торг табаком в Сибири. Купец Евреинов показал на допросе, что Гагарин, по своему выбору, посылал купцов в Китай и делился с ними барышами в ущерб казне. Посланный по этому делу гвардии майор Лихарев обнаружил, что Гагарин брал с купцов Гусятникова и Карамышева, торговавших с Китаем, подарки и товары, за которые платил не своими, а казенными деньгами, сверх того, брал взятки с содержавших на откупе винную продажу и

утаивал в свою пользу вещи, купленные на казенные деньги для царицы. Гагарин во всем повинился и умолял царя оказать ему милосердие, – отпустить его в монастырь на вечное покаяние, – но Петр приказал его повесить в Петербурге. Курбатов, прежде бывший в ратуше в Москве, называясь царским прибыльщиком, в 1711 г. послан был в Архангельск вице-губернатором и в следующем же году поссорился с архангельским обер-комиссаром Соловьевым, с которым вместе должен был заведовать таможенными пошлинными делами. Весною 1713 года сенат, чтоб развести ссорившихся, устранил Курбатова от заведования продажей казенных товаров и предоставил это дело одному Соловьеву. Тогда Курбатов стал доносить на Соловьева, что он противозаконно отпускает за границу собственное хлебное зерно, вместо того чтоб продавать казенное. Ссора с Соловьевым поссорила Курбатова и с Меншиковым, так как Соловьев с двумя братьями пользовался покровительством Меншикова. Соловьев, со своей стороны, писал доносы на Курбатова. Разом с Соловьевым приносили жалобы на поступки Курбатова иностранные торговцы и голландский резидент, для охранения своих единоземцев постоянно пребывавший в России. Петр по этим доносам и жалобам посылал в Архангельскую губернию на следствие разных лиц, одного за другим. Происходили допросы и розыски. Против Курбатова действовал Меншиков, и сам запутался в этом деле. Любивший Меншикова до слабости, Петр уже прежде несколько раз заявлял к нему неудовольствие. Меншиков раздражал царя тем, что представлял ему, по собственным словам царя: «честных людей плутами, а плутов честными людьми», и, управляя Петербургскою губерниею, хотя доставлял казне много доходов, но позволял себе распорядиться казною в свою пользу, хотя и собственное состояние доставляло ему большие доходы. Тогда пострадали некоторые лица, державшиеся покровительством Меншикова и в надежде на него позволявшие себе злоупотребления. Помощник Меншикова по управлению губерниею, вице-губернатор Корсаков, в 1715 году был публично наказан кнутом, а двум сенаторам, князю Волхонскому и Опухтину, жгли языки раскаленным железом. Осужден был Синявин, надзиравший за петербургскими постройками, а управлявший адмиралтейством Александр Кикин, один из близких людей Петра, спасся только тем, что заплатил большой денежный штраф и был временно удален от дел. В 1718 году братья Соловьевы, покровительствуемые по делу Курбатова с Меншиковым, подверглись громадному начету в пользу казны, который не мог быть покрыт всеми их именьями; на Меншикове оказался начет в несколько сот тысяч. Меншиков просил у царя помилования, по крайней мере в уважение того, что во все годы своего прошедшего управления он доставил казне очень много пользы. Царь, безжалостно строгий ко всем другим, был до того милостив и снисходителен к своему давнему любимцу, что приказал зачесть большую часть долга Меншикова на разные повинности с его имений. Курбатов был присужден к относительно небольшой уплате в казну, но не дождался решения своего дела: он скончался в 1721 году.

Фискальное устройство в 1714 году получило большее расширение против прежнего. Кроме наблюдения за казенным интересом, фискалам дано право вмешиваться во всякие такие дела, по которым не было или быть не могло челобитчиков. Например, умрет ли кто-нибудь последним из своего рода, не оставивши после себя никакого духовного завещания, или неизвестный проезжий человек будет убит на пути, – фискал в таких случаях мог разведывать и начинать судебный иск. Указами 17-го марта 1717 года и 19 июня 1718 года повелено во всех городах учредить из купечества по одному или по два фискала, но не из первостатейных купцов, чтоб не отвлек их от важных торговых предприятий. Провинциал-фискал объезжал каждый год свою губернию и поверял городских фискалов, имея право их переменять и отставлять. В сенате обер-фискал имел значение государственного фискала, тогда как прочие были земские; но за неимением в сенате обер-фискала его должность в 1721 году исполняли два штаб-офицера гвардии и смотрели за порядком и благочинием в сенате, а тех, кто будет вести себя неприлично, могли арестовывать и отводить в крепость. По инструкции, данной фискалам 31-го декабря 1719 года, они должны были смотреть, чтобы служащие исправляли свои должности не ко вреду царя и не к отягчению подчиненных. «Однако, – замечалось, – по одному разглашению и без основания верного и доброго

служителя Его Величества в чести, животе и имении по своему произволению не повреждать». Земский фискал разыскивал и доносил также о всяких видах безнравственности, прелюбодейства, содомского греха, чародейства, обмана, богохульства, заповедной продажи и т.п.; фискалы должны были также наблюдать: не дерзает ли кто из владельцев подданных своих отягощать, или не будут ли чинимы уездным людям обиды при проходе войска или при отправлении повинностей. Он должен был смотреть: не испортились ли дороги, целы ли верстовые столбы, не развалились ли мосты, не стоят ли пусты царские мельницы и всякие заведения, не шляются ли гулящие люди, способные сделаться ворами и разбойниками. В пограничных провинциях фискалы, сверх того, должны были надсматривать и проведывать: не прокрадывается ли в государство шпион, не привозятся ли заповедные товары, не намерен ли русский уйти за границу без проезжих писем. Обо всем этом он должен был проведывать, узнавать и в пору доносить губернатору, и со всех штрафных денег, наложенных за преступление, за открытие преступления, получал одну треть. В июне 1720 года обер-фискал Нестеров доносил царю, что подано множество жалоб на губернаторов, вице-губернаторов и прочих властей. Из жалоб видно было, что во всех губерниях губернские и провинциальные власти не производили дел по фискальским доносам, а в надворных судах судьи оскорбляли фискалов, выражаясь, что «фискальство ничего не стоит». Царь, по этому донесению, приказал, чтоб дела по доносам фискалов решались «без волокиты и с самими фискалами обращались приятно, без укоризны и поношения». Сознывая, что земского фискала сан тяжел и ненавидим, царь угрожал наказанием тем, которые станут наносить фискалам обиды и побои.

Фискалов не любили: народ от них отвращался, а власти не спешили приниматься за дела, ими вчиняемые; однако вкус к доносничеству очень распространился в эту эпоху. Еще в конце 1713 года последовало уничтожение «слова и дела государева»: было постановлено, чтоб никто не сказывал за собою «слова и дела» под страхом разорения и ссылки в каторгу. Но изменение было только в форме: указом царским было скоро после того объявлено, что кто ведает о замыслах против государя или о повреждении государственного интереса, тот может смело объявлять самому царскому величеству, и если донос окажется справедливым, то движимое и недвижимое имущество будет отдано доносителю. Зато щадившие таких преступников и недоносившие на них подвергались смертной казни. Старались подавать доносы лично царю не только о важных, но даже и о пустых делах, и это Петру до того надоело, что в январе 1718 года запрещено было подавать доносы царю; только извещения о злоумышлении на жизнь государя или об измене государству позволялось подавать, но не лично самому царю, а караульному офицеру, находившемуся у дома его величества. О прочих делах следовало подавать челобитные в надлежащие судебные места. Челобитчики и доносчики все-таки, и после такого указа, не давали государю нигде покоя, и 22-го декабря 1718 года последовал новый указ, где было сказано: «Хотя всякому своя обида горька и несносна, но притом всякому рассудить надлежит, что какое их множество, а кому бьют челом, одна персона есть, и та всякими войнами и прочими несносными трудами объята, и хотя бы тех трудов не было, возможно ли одному человеку за таким множеством усмотреть? воистину не точию человеку, ниже ангелу». Далее Петр объясняет, что прежде он был занят приведением войска в порядок, теперь же трудится над земским управлением и потому подтверждал пол страхом наказания, чтоб его не беспокоили и не подавали просьб и доносов. Находились охотники волновать власть, которые подбрасывали анонимные письма с доносами. В одном из таких писем сочинитель его извещал, что он откроет себя, если получит на то дозволение, а в знак дозволения просил положить деньги в городском фонаре. Царь велел положить 500 рублей; деньги лежали более недели, и никто за ними не явился. Тогда царь издал указ, что всякий, кто подобное письмо найдет, не должен его распечатывать, а, объявивши посторонним свидетелям, обязан сжечь его на том месте, где нашел. Вслед за тем в августе 1718 года Петр приказал объявить, что, кроме церковных учителей, всем запрещается, запершись у себя, писать письма, и если кто, зная о таком писательстве, не донесет, и из того выйдет что-нибудь дурное, тот отвечает перед законом

наравне с возмутителями.

Малороссия по-прежнему управлялась своим гетманским строем, но гетман Скоропадский, избранный по воле Петра после измены Мазепы, находился в большем подчинении у верховной власти, чем были прежние гетманы. Нередко, мимо гетмана и народного выбора, полковые старшины приобретали места по воле царя. Тогда ни во что ставили гетманскую власть и позволяли себе много произвола. Жители малороссийского края были отягощаемы квартированием драгунских полков, так как правительство уже не слишком доверяло верности малороссиян после измены Мазепы и хотело даже держать наготове военные силы для укрощения возмутительных попыток. Кроме гетманщины, слободские казацкие полки пользовались до некоторой степени отдельною самостоятельностью против остальной России. Они «по своей прежней обычности» выбирали должностных лиц или полкового старшину: полковника, судью, есаула, городничего, полкового писаря и сотников; все эти чины владели маестностями, доставлявшими им доходы. В каждом полку была казна, в которую сборами и из которой расходами заведовали сами казаки в своих сходках. Просьбы их показывают, что казаки более всего дорожили правом выбора старшин и просили правительство, чтоб у них не переменялись без их ведома выборные старшины.

Чтобы привязать к России Остзейский край, Петр в 1712 году дал жалованные грамоты шляхетству и земству Лифляндии и Эстляндии, утверждал их прежние порядки в крае: администрацию и судоустройство, но отказал дворянству в таких требованиях, которые были противны интересу граждан. Так, например, дворяне просили, чтоб только лицам их сословия предоставлено было право брать на аренды государственные маестности. Петр на это отвечал, что и других граждан нельзя обидеть. Не согласился Петр на просьбу остзейского дворянства отнять безденежно у залогодателей те дворянские имения, которые шведская корона прежде отдавала мимо воли владельцев в залог. Вообще в столкновениях, которые возникали между дворянским и городским сословиями, Петр напоминал, что горожане такие же его подданные, как и дворяне. Суровее относился в это время Петр к мусульманским владельцам имений Казанской и Азовской губерний. 3 ноября 1713 года царским указом предписывалось всем таким владельцам в течение полугода креститься, а в случае их несогласия принять крещение царь угрожал отобрать у них поместья и вотчины с крестьянами. Но 3 июля 1719 г. состоялся указ, которым запрещалось насильно крестить татар и других иноверцев в восточной России. Принявшим православие давалась льгота на 3 года от всех податей, но это не должно было простирается на их семьи, если они останутся в иноверии до 1720 года.

Коренное русское дворянство как служилое сословие предназначено было на всю жизнь для службы и пользовалось такими исключениями перед другими сословиями, которые представляли не столько привилегии, сколько обязанности. Тяжелым бременем ложилась государственная служба на дворян, но плохо исполнялись ими правительственные распоряжения. Например, в октябре 1714 года велено было всем дворянам собраться в Петербург, на смотр, с детьми и сродниками; никто не явился. Отложили смотр до марта 1715 года, и в марте явились немногие. Срок отложили до сентября с угрозами. Но и после того много было непослушных царскому указу, так что велено у неявившихся на смотр отбирать имения и отдавать ближним их сродникам.

Между тем в марте 1714 года состоялась важная перемена в порядке приобретения дворянской собственности по наследству. Петр заметил, как и сказано в указе, что разделением недвижимых имуществ после умерших родителей между детьми «великий есть вред, как интересам государственным, так подданным и самым фамилиям падение. Если у кого отец имел тысячу дворов, а одному из его пяти сыновей достанется двести, и, помня своего отца, сын хочет жить, как отец, то уже с бедных подданных будет пять столов, а не один. Подданных двести, служа господину, будут нести то, что несли тысяча, и государственные подати не могут исправно платиться, и оттого государственной казне вред и людям подлым разорение, и знатные фамилии могут обеднеть до того, что сами



однодворцами останутся. Наконец, каждый, имея свой даровой хлеб, хотя и малый, ни в какую пользу государству, без принуждения служить и простираться не будет, но ищет всякий уклоняться и жить праздностью, которая, по Священному Писанию, мать всех пороков». Для исправления такого замеченного недостатка, царь указал: с этих пор не продавать и не закладывать всех недвижимых имений и дворов родовых, выслуженных и купленных. Владелец может предоставить их в наследство одному из своих сыновей, а прочих наделить движимостью; то же касалось и дочерей. Бездетный может отдать свое недвижимое имение одному из своего рода, кому захочет, а движимое предоставить, по усмотрению, хотя бы и постороннему. Получающий по наследству после родителей недвижимое имение должен сохранить движимость своих братьев и сестер до их совершеннолетия – мужского пола до 17-ти лет, женского до 16-ти, – и учить всех грамоте, а мужского пола родных, сверх грамоты, – и цифири. По окончании их обучения он должен каждому дать часть, не зачитая в свою пользу издержек, употребленных на их воспитание и содержание. Девица, достигшая 18-ти лет, может отойти от брата; вступая в брак, она передает мужу обязанность принять фамилию жены, если в ее роде не останется лиц мужского пола. При вторичных браках дети, рожденные от них, наследуют имущество только своих родителей. Постановлено: дворянам, по этому закону, не получившим от родителей недвижимого имения, не ставить в бесчестие занятия каким-нибудь ремеслом, торговлею или вступление в духовное звание.

Нельзя не признать, что побуждения, руководившие царем при издании этого закона, клонились, главным образом, не к распространению барского дармоедства, а скорее к тому, чтобы заставить людей дворянского происхождения жить честным трудом и посвящать себя полезным занятиям. Дворяне издавна имели обычай, по примеру крестьян, прятать свои деньги и сокровища, а иные даже – зарывать в землю; только в последнее время, когда посылки дворян за границу начали знакомить их с европейскими обычаями, иные дворяне стали помещать свои деньги в иностранных банках. Капиталы, таким образом, оставались совсем непроизводительными или малопродуктивными. Петр хотел доставить возможность обращения этих капиталов и для того пересоздать дворянство: кроме старших сыновей, наследовавших отцовское имение, другие, получивши, вместо недвижимых имуществ, капиталы, должны были, ради средств к жизни, пуститься на какие-нибудь деятельные предприятия. Но опыт скоро показал, что нельзя легко изменять того, что укоренено в народных нравах и освящено многовековыми привычками. Майоратство, несмотря на старание Петра ввести его, не привилось к русской жизни.

Петру не по сердцу был укоренившийся в русском дворянстве обычай – продавать своих крепостных людей, как скотов, разрознивая семейства, разлучая детей с родителями, братьев и сестер друг от друга, «отчего не малый вопль бывает». Государь еще не домыслился до того, чтобы уничтожить совершенно куплю и продажу людей в своем государстве, но, по крайней мере, постановил не разрознивать семейств продажей.

Некоторые, пользуясь своим дворянским происхождением, ограничивались службою в низшем солдатском чине только несколько месяцев или даже недель, а потом проходили службу в офицерских чинах; у дворян возник такой взгляд, что, по своему происхождению, они должны исправлять на службе только начальнические должности. В 1714 году Петр указал отнюдь не производить в офицерские чины тех лиц, которые, опираясь на свою дворянскую породу, вовсе не служили солдатами; то же подтверждено указом 1 января 1719 г. В конце 1720 года обер-офицерам, происходящим не из дворян, велено выдать патенты на дворянское достоинство и считать дворянами их детей и все их потомство. Таким образом, хотя дворянское происхождение не теряло признаваемого за ним достоинства, но достижение дворянского звания службою становилось открытым. В служебных отношениях Петр, предоставляя дворянам, как родившимся в этом звании, так и приобретшим его службою, начальнические должности, ограждал подначальных от их произвола. Штаб- и обер-офицерам запрещалось брать рядовых в услужение, исключая денщиков, но и тех следовало брать в ограниченном числе и не обращаться с ними жестоко. В видах ограждения

мирных обывателей от своевольтва военных людей, запрещалось военным чинам занимать самовольно квартиры, насильно оставаться у хозяев и переходить со двора на двор.

Петр заботился дать образование дворянам больше, чем другим сословиям. Так, в 1712 г. положено было, чтоб в инженерской школе, в которой предписывалось учить геометрии и фортификации настолько, насколько нужно было для инженеров, две трети учащихся было из дворянских детей. В 1714 году велено разослать во все губернии по несколько человек из математических школ учить дворянских детей цифири и геометрии. Архиереи не должны были давать венечные памяти дворянам, желающим вступить в брак, если они не выучатся. Любя до страсти мореплавание, Петр предложил завести морскую академию, также преимущественно для дворянских детей, – и в октябре 1715 г. начертал для нее инструкцию. В этой академии положено было учить: арифметике, геометрии, фортификации, навигации, артиллерии, географии, рисованию, живописи, воинскому обучению, фехтованию и некоторым сведениям из астрономии. Для этого царь велел прибрать способных учителей для обучения таким наукам, которые окажутся нужными. Для надзора над учителями и школьниками выбиралось особое лицо, а для перевода книг, необходимых для морских наук, назначался переводчик. По известию одного иностранца, не было в России ни одной знатной фамилии, из которой не находилось бы юношей от 16—18 лет в этой академии. Вслед за тем, в декабре того же года, именным указом, велено мальчиков дворянского звания, от десяти лет и выше, посылать в Петербург для обучения морскому делу, а в чужие края более не посылать. Но в следующем 1716 году государю сделалось известно, что в Венеции и во Франции желают принять русских людей в морскую службу: Петр приказал собрать мальчиков дворянского звания и послать в Ревель, а оттуда отправить их партиями – в 20 человек, морем или сухопутьем, в Венецию, Францию и Англию, чтоб эти молодые люди ознакомились и освоились с морским делом.

9-го декабря 1720 года Петр командировал, для составления ландкарт, из своей морской академии по несколько человек в губернии, с жалованием по шести рублей в месяц.

Сознавая пользу знания немецкого языка для России, в январе 1716 года царь приказал отправить в Кенигсберг от 30 до 40 молодых подьячих, 15—20 лет возраста, для изучения немецкого языка, с надзирателями, которые должны были наблюдать, чтобы посланные действительно учились, а не гуляли. Государь сознавал потребность иметь людей, сведущих и в восточных языках, а потому, в том же году и месяце, приказал из московских школ выбрать пять способных юношей и отправить их в Астрахань, к губернатору Волынскому, для обучения их турецкому, персидскому и арабским языкам.

Давая дворянскому званию преимущество перед прочими сословиями в деле образования, Петр, однако, показывал желание, чтоб и во всех слоях общества распространялось учение, и, сообразно своему характеру, прибегал для этого к принудительным мерам. Еще в 1714 и 1716 годах именными царскими указами велено было детей всякого чина людей, кроме дворян, от 10 до 15 лет, учить грамоте, цифири и несколько геометрии. Для этой цели из математических школ послано было по два человека в губернии. Им велено отвести помещение в архиерейских домах и монастырях. Учение полагалось бесплатным, но, по окончании учения, при выдаче свидетельств, учитель имел право брать по рублю за каждого ученика. Без такого учительского свидетельства нельзя было жениться. Но прошло около трех лет. Заведовавшие школами писали донесения, что, вопреки царскому указу, родители не присылают детей для обучения. Новые указы царь писал о высылке учеников. В 1720 году поступила к царю челобитная от посадских людей: каргопольцев, устюжан, вологжан и калужан. Они жаловались, что у них насильно берут детей, везут в города и держат в тюрьмах за караулом. Дети ничему не учатся и только теряют время. «А дети у нас, – говорили они, – дома смолоду приучаются сидеть за прилавком и посылаются со старшими по купеческим делам. Если у нас будут забирать детей, то промыслы упадут и в казенных поборах будет остановка; обучать же детей мы можем и дома». Царь, рассудивши, что, в самом деле, при такой мере станут его подданные находить благовидную отговорку в невозможности платить казенные налоги, запретил

забирать у посадских людей детей для их обучения.

На звание государя, касавшиеся народного воспитания и перестройки России на западноевропейский лад, имело влияние знакомство со знаменитыми в Германии учеными Лейбницем и Христианом Вольфом. С Лейбницем Петр познакомился в 1711 году в Торгау и с тех пор до самой смерти немецкого ученого вел с ним письменные сношения. Пожалованный Петром в звание тайного советника, с жалованием 1000 рейхсталеров в год, Лейбниц присылал Петру и разным его любимцам всякого рода преобразовательные проекты. Этот ученый первый подал Петру мысль ввести в России коллегияльное управление для всех отраслей государственного управления, с тою разницей, что в числе коллегий Лейбниц предполагал завести ученую коллегию, которая не была учреждена. Лейбницу принадлежит также мысль о введении в России чиновной лестницы, осуществленной Петром впоследствии в табели о рангах. Лейбниц подал царю совет собирать и сохранять письменные и вещественные памятники древности, послать экспедицию для открытия пролива между Азией и Америкой, устроить постоянные сношения России с Китаем, снаряжать ученые путешествия для географических и физических открытий, учредить в России высшее учебное заведение или университет, под названием академии. Хотя это предположение не осуществилось, но без сомнения оказало свое влияние тем, что впоследствии Петр, уже перед концом своей жизни, учредил академию в смысле ученого сонмища. Галльский, а потом марбургский, профессор Христиан Вольф, известный в свое время математик, начал сношения с Петром через Петрова врача Блуменроста в 1718 году, по поводу одного шарлатана, обратившегося к Петру с заявлением, что он выдумал вечно движущуюся машину (perpetuum mobile). Оставив вопрос о машине в сторону, Петр, при посредстве Блуменроста, до своей смерти находился в сношениях с Вольфом по поводу проекта об основании академии и убеждал Вольфа поступить на русскую службу, но последнее не состоялось.

В 1720 году Петр положил начало и русской археологии. Во всех епархиях приказал он из монастырей и церквей собрать старинные грамоты, исторические рукописи и старопечатные книги. Губернаторам, вице-губернаторам и провинциальным властям велено все это осмотреть, разобрать и списать. Мера эта не оказалась удачною, и впоследствии Петр, как увидим, изменил ее.

Торговля и промыслы по-прежнему направлялись так, чтобы сделаться источником для казенной прибыли. В 1713 году людям всяких чинов дозволено было свободно вести торговлю; только крестьяне, торговавшие в Москве, платя десятую деньгу и неся налоги наравне с прочими московскими посадскими, занимавшимися торговлею, не были изъяты от платежа налогов, платимых крестьянами волостей, где они были приписаны.

Царь хотел, во что бы то ни стало, направить главный торговый путь на Петербург, и в октябре 1713 года указал: всем торговым людям возить пеньку, юфть, икру, клей, смолу, щетину, ремень, следуемые за границу, не в Вологду и не в Архангельск, а в Петербург. Для всеобщего сведения, велено было это объявление прибить во всех церквах. Такое распоряжение отозвалось тягостью на торговых людях, и они, в поданной царю челобитной, умоляли отменить этот закон и дозволить по-прежнему возить товары в Архангельск; у них, представляли они, с иноземцами были там прежние долговые обязательства, которых нельзя было иначе покончить, как выручкой с товара; в Вологде жили три иноземные купца, занимавшиеся очищением привозимой в Архангельск пеньки, и содержали для этой цели до 25000 русских рабочих, которые должны были остаться без работы, если торговый путь для пеньки изменится. Притом пенька, шедшая за границу, родилась преимущественно в областях, более близких к Архангельску, чем к Петербургу; вдобавок местность Петербурга была такого свойства, что пенька, пролежавши там несколько месяцев, легко подвергалась порче. По этим представлениям, в марте 1714 г. царь дозволил возить из Твери пеньку в Архангельск, а в 1715 году из всех товаров, показанных прежде для отвоза в Петербург, дозволил половину везти в Архангельск, а другую непременно в Петербург, и продавать иноземцам за их деньги, а русских денег от них не брать, потому что тогда стали

распространять по России привезенную из-за границы фальшивую мелкую русскую монету.

Десятого декабря 1718 года уничтожена была казенная продажа товаров, исключая поташа и смольчуга, оставленных ради сбережения лесов; все же остальные товары, прежде исключительно казенные, могли продаваться свободно, с уплатою обыкновенных пошлин, а в октябре опубликован был тариф всем товарам. Ради развития торговли, государь 10 ноября 1720 года отменил прежнюю 5% пошлину с товаров и установил 3% для петербургского порта; в других же портах, с русских торговцев, при отпуске товаров за границу, по-прежнему взималась половинная пошлина против той, которая была установлена с иноземцев – по 30-ти алтын за ефимок и непременно иностранными деньгами, как платили иноземцы. Если у торговых людей привозного товара было на такую же сумму денег, на какую в отпуске, то они освобождались от всякой пошлины. Русский торговец под опасением штрафа не должен был отпускать за границу иноземных товаров и вывозить их в одну из российских пристаней. Закон угрожал потерю всего имущества тому, кто бы дозволил под своим именем торговать другому лицу, а иностранцам, которые бы стали вести в России торговлю под именем какого-нибудь русского торговца, сверх того, – потерю его кораблей и немедленную высылку за границу. Иноземные торговцы должны были жить в России непременно по паспортам, и получившие паспорта на выезд из России обязаны были уезжать в определенный законом срок. В 1721 году сделано было распоряжение о том, чтобы отпускать товары через Ригу и Архангельск только из близких по местоположению к этим портам краев, а из всех прочих непременно в один Петербург. Совершение контрактов между русскими и иностранными торговцами дозволялось только для петербургского порта, а для других портов запрещалось.

Торговля с Малороссиею, производившаяся сухопутьем или по рекам, оставалась в прежнем положении. Белгородский воевода получил царское приказание не стеснять торговых людей и покровительствовать им, но обязывать их не сноситься с Запорожьем. У греков и армян, ездивших с товарами и для покупки русских товаров через южную Россию, отбиралось все иностранное серебро и золото и выдавались им русские деньги, но ввозить русские деньги вместе с иностранными запрещалось. Малороссиянам запрещалось привозить в Великороссию вино и табак, если только то и другое не привозилось по казенным подрядам. Таможенные пошлины отдавались в Малороссии, как и в Великороссии, на откуп охочим людям, с предоставлением в пользу их всего утаенного на таможе и воспрещаемого законом ко ввозу в Россию.

Для развития торговли в России учреждались ярмарки. Так, в 1717 году учреждена была в Киевской губернии знаменитая Свинская ярмарка и, около того же времени, установлена должность гоф-маклера, обязанного на ярмарке надзирать за покупкой и продажей казенных товаров, для соблюдения казенного интереса. В марте 1720 г. была возобновлена в Риге ярмарка, прекратившаяся во время войны; она отправлялась с десятого июня по июль.

Торговля с Персией, важная в XVII веке, ослабевала по мере того, как царь стремился направить деятельность торговых людей на запад. Притом, при поездках в Персию, русские купцы подвергались беспрестанно неприятностям и разорениям. В России на пути их беспокоили воров и разбойники, в Персии они терпели от персидских начальников, которые брали у них насильно товары даром или назначая малую цену. Русские люди обращались к персидскому суду, а персидские местные судьи брали с них взятки. Было и то неудобство, что иные персияне покупали у русских товары в долг и, продержавши значительное время, возвращали их назад. Торговля русских с Персией была меновая, главным образом на шелк-сырец, и по своему свойству подавала частые поводы к недоразумениям. В июле 1717 года русский посол Волынский заключил с персидским министром договор, ограждавший купцов от подобных злоупотреблений. В случае крушения какого-нибудь русского судна на Каспийском море персияне, по этому договору, обязаны были возвратить найденный груз хозяину судна. В декабре 1720 года, для покровительства русской торговли с Персией, учреждены: в Испагани – главный русский консул, а в Шемахе – подведомственный ему

вице-консул. Они должны были собирать разные сведения, относящиеся к торговле, выдавать паспорта русским, свидетельствовать их обязательства, завещания и всякие сделки между собою, в случае смерти русского торгового человека в Персии описывать и сохранять его достояние, для передачи наследникам, а главное – чинить русским торговым людям вспоможение советом и делом.

Хлеб в зерне и муке при Петре, как издавна в России, в ряду сырых продуктов, был одною из главных статей туземного производства и торговли. Вывоз его за границу то допускался во все порты, то воспрещался, смотря по относительному урожаю или неурожаю; так, напр., в 1713 году цена его в России упала ниже рубля за четверть ржи, и правительство не только дозволяло, но побуждало отправлять его за границу, а весною 1717 г. запретило вывоз, когда цена его поднялась до двух рублей за четверть; но в июне того же года, когда блеснула надежда на урожай, оно снова дозволило вывоз. Петр думал и об улучшении земледельческого производства в своем государстве. В 1721 году, узнавши, что в Остзейском крае и в Пруссии поселяне, вместо серпов, снимают хлеб с полей косами, с прикрепленными к ним граблями, царь приказал разослать по губерниям образцы таких кос и предписал губернаторам находить смысленных поселян и рассылать их по местам, где лучше родится хлеб, чтобы приучать народ к иноземному способу уборки хлеба. «Сами знаете, – писал Петр в своем указе, – что добро и надобно, а новое дело-то наши люди без принуждения не сделают».

Пенька, отпускаемая за границу, составляла до декабря 1718 г. казенное достояние. Доверенные от правительства люди скупали ее по России, для отправки в чужие края; напр., в 1712 г. одно такое доверенное лицо скупало пеньку в украинских городах, платя по 2 р. за берковец, а продана была эта пенька иностранцам по 6 р. за берковец. На размножение льняных и пеньковых промыслов в России царь обратил внимание в конце 1715 г. Замечено было, что льном промышляли главным образом во Пскове и Вязниках, а пенькою в Брянске. Сделано распоряжение, чтобы те хозяева, которые сеяли четверть льна и пеньки, присевали еще четверть, а где не было обычая сеять эти растения, там приказано было обучать крестьян и объявить о том всенародно, объясняя, что это делается для всеобщей пользы и для благосостояния жителей. Пенька по изобилию вывоза составляла одну из главных статей вывозной торговли, но в 1716 году от англичан последовала жалоба на русских купцов, что последние, при продаже пеньки, мешают с хорошою пенькою худую, и это побудило царя всенародно объявить, что вперед за такое воровство виновных постигнет смертная казнь. В 1718 году устроены так называемые браковщики (т.е. поверщики) по торговле льном, пенькою, салом, воском и юфтью и учреждены правила для проверки. Табак в торговле принадлежал к казенным товарам, исключая турецкого курительного и всякого нюхательного; и тот и другой продавались свободно. Туземный табак главным образом производился в Малороссии и подвергался строгому надзору, однако его все-таки развозили повсюду и куривали; на одну копейку табака в Малороссии можно было продать его в Москве на 8 копеек.

Об огородничестве и хозяйственном садоводстве встречаются распоряжения только относительно Астрахани. В 1720 году царь указал завести в Астрахани аптекарские огороды и привозить из Персии разные деревья и травы, а из виноградных садов, существовавших в Астрахани, делать вино. Один французский выходец, посланный Петром в Астрахань, развел там 7 сортов французского винограда и предлагал проект завести в астраханском крае шелковичное производство. Но страшные засухи, которыми страдает постоянно астраханский край, препятствовали разведению в нем всякой садовой растительности. Только в те годы, когда Волга широко разливалась и затопляла побережье, доставлялись оттуда всякого рода садовые плоды и бахчевые овощи.

В видах доставки в войско лошадей, приказано было заводить конские заводы в губерниях Азовской, Казанской и Киевской и для этой цели выписывать жеребцов из Пруссии и Силезии. Всех доморощенных лошадей по России велено было переписать и брать с каждой лошади, кроме крестьянских, по гривне в казну. Желая иметь собственные

шерстяные изделия, Петр в 1716 году выписал из-за границы 20 овцеводов и послал их в Казань, чтоб ознакомить русских со стрижкою овец и с обработкою шерсти. Рыбные промыслы производились на Каспийском и на Белом море; царь указал ловить в Астрахани осетров и стерлядей и отпускать за море; китовый, моржевой и тресковый промыслы на Белом море были отданы в компанию (октября 30-го 1721 г.) гостиной сотни Матвеем Еврейнову и его потомкам на 30 лет.

Соляная продажа была в ведомстве казны, и для этого из разных городов, где было достаточно купеческого сословия, велено было высылать по два человека для казенной торговли солью. Замечали, что прежде в русском государстве было более соляных промыслов, чем при Петре. В последнее время оставались соляные промыслы в трех местах: строгоновские, доставлявшие казне с пошлин, взимаемых по 1 коп. с пуда – 20000 рублей, сибирские – вообще для казенного дохода мало значительные, и бахмутские, доставлявшие казне до 30000 годового дохода с пошлин. Возка соли составляла повинность, часто отяготительную для народа. В 1721 году один ландрат с капитаном, прибывши в Харьков, сделал наряд привести 24092 пуда бахмутской соли. Принуждали жителей ездить за этой солью. Хлеб не убирался, сено оставалось нескошенным, а начальство, под предлогом отправки людей для провожания соли, привозимой с завода, употребляло их на свои работы. Привезенная соль продавалась в Харькове назначенными для этого головами и целовальниками по 8 грив. за пуд, тогда как в других слободских полках ее продавали за пуд по три алт. 2 деньги. Царский указ оградил жителей Харьковского полка, указавши им покупать соль на бахмутских и певаковских заводах, по указной цене. В 1718 году по соляной продаже происходило дело князя Мосальского; он был обвинен в утайке 80000 рублей. Его приговорили к смерти; но князь, не дождавшись дня казни, умер сам и был наскоро погребен. Петр, узнавши об этом, приказал отрыть его тело и повесить на виселице.

К исключительному достоянию царской торговли принадлежали товары, носившие название сибирских; это были: меха всякого рода, рыба, кость и произведения Китая, как естественные, так и фабричные, между прочим и китайское золото. Между Сибирью и областями европейской России устраивались караулы с тем, чтобы не допускать тайно привозивших из Сибири эти товары, но при огромном протяжении контрабанда была неизбежна. Путешественники запрягивали товары, особенно золото, в колесные шины, в санные подрезы, во внутренности рыб, привозимых из Сибири, а другие получали от губернатора паспорта на право отъезда из Сибири без права осмотра, и этим, между прочим, отличался князь Гагарин в числе других, допущенных им, злоупотреблений.

Кожевенное и особенно юфтяное производство издавна были в ходу на Руси. Заграничный отпуск до конца 1718 г. принадлежал казне. Посылали доверенных лиц скупать юфть по России: в 1716 году, например, из сената отправили купчину по всем городам купить сто тысяч пудов юфти, заплатив по четыре рубля за пуд, и свезти ее в Архангельск, где продать иноземным купцам на векселя. Петр заметил, что русская юфть делается с дегтем и расплзается от мокроты. Он приказал выслать из Ревеля в Москву иноземных мастеров, умевших делать юфть с ворваньим салом. Затем из разных городов приказано выслать в Москву русских кожевников, для обучения искусству выделывать юфть на иностранный образец. Назначен двухгодичный срок до 1718 года, и если кто после этого срока станет продавать юфть, выделанную по старинному русскому способу, того велено сылать на каторгу и конфисковать его имущество; указ о том же повторен в 1718 году. В мае 1717 года из разных городов велено было прислать в Москву мастеровых людей для обучения их кожевенному ремеслу, в видах распространения и улучшения его в России. С этою же целью царь предписал отправить по два человека иноземных мастеров в Киевскую и Азовскую губернии. Узнавши, что Астраханский край производит в изобилии рогатый скот, Петр приказал тамошних быков не продавать на сторону, но резать и, снимая с них кожи, отправлять в Казань для выделки.

Поташные заводы были отданы на откуп Савве Грузинскому и Карлу Гутфелю, для исключительной продажи в Архангельск иностранцам в пользу казны. Достоянием казны

была также и селитра, которая выделялась главным образом в Малороссии, куда посылались купцы заводить селитренные заводы, с обязанностью никуда не поставлять селитры, кроме казны. С таким же условием в июне 1714 года дан был указ о распространении селитренного промысла в Малороссии.

Винокурение объявлено было в 1716 году свободным для людей всяких чинов с платежом пошлин в казну. Каждый мог приготавливать вино для себя и в подряд, но объявляя губернаторам, вице-губернаторам и ландратам: сколько кубов и казанцев хочет выкурить. Кубы и казанцы приказано привозить в город, измеривать в 8-мивершковое ведро и налагать на них клейма; со всякого ведра взималась пошлина, по полуполтине в год. Годичный доход, доставляемый в казну, простирался до миллиона: тогда помещики и их приказчики, имея право курить вино, не должны были дозволять этого своим крепостным крестьянам и не давать последним господского вина ни за деньги, ни даром под опасением штрафа 50 рублей.

Петр дал в марте 1718 г. десятилетнюю привилегию московскому купцу Вестову на устройство сахарного завода, с правом учредить компанию и набирать в нее, кого хочет. Ему давалась на три года льгота беспошлинно привозить сахарный сырец из-за границы и беспошлинно торговать своим сахаром в головах. Кроме того, дано было обещание: если завод умножится, то вовсе запретить привоз сахара из-за границы. И действительно, 20-го апреля 1721 г. ввоз сахара из-за границы совсем был запрещен.

Рудокопство и обработка металлов ведались в приказе рудных дел, находившемся в Петербурге, куда марта 1716 года потребованы были из губерний все мастера и ученики, кроме определенных при делах в губерниях; губернаторам вменено в обязанность содействовать к отысканию руд в управляемых ими губерниях. В С.-Петербургской губернии искать руд, жемчуга и красок поручено было Вельяшеву с правом нанимать рабочих, и если они не шли, то брать их неволею, давая по три рубля в сутки. При Петре в первый раз обращено было внимание на золотой песок в Сибири, по донесению сибирского губернатора князя Гагарина (на реке Гае, близ калмыцкого городка Еркета). Царь велел употребить в дело шведских пленных инженеров для искания и промывания золотого песка.

Швеция славилась процветанием кузнечного ремесла. Знал это Петр и указал выбрать из пленных шведов и выслать по два человека в губернии для обучения кузнечному делу русских. Из русских людей, отличившихся в этой области труда и замеченных Петром, первое место занимает тулянин Никита Демидов. В апреле 1715 г. подрядился он ставить в Петербург железо из сибирских заводов – полосное по 15-ть алтын за пуд, а восьмигранное, тонкое в дюйм, по 16-ти алтын. Царь предписал выслать ему мастеров с Олонца. Во время провоза в Петербург железа Демидов освобождался от всяких провозных пошлин и, за поставкою в казну, имел право продавать свое железо во всех русских городах, только не татарам и не уездным инородцам.

Царь по всей России приказывал обучать молодых людей ружейному, замочному и седельному мастерствам. По усмотрению губернаторов, этих молодых людей отправляли на заводы, собирая с жителей деньги на провиант и одежду им, и по обучении рассылали их по полкам. Но через год с небольшим, по издании этого указа, оказалось, что большая часть рабочих разбегалась.

В 1716 году, в январе, сделано распоряжение об искании во всех губерниях красок, причем разосланы были реестры и цены существующим краскам, получавшимся из-за границы. Июля 23-го 1718 года дана привилегия Садовой слободы жителю Павлу Васильеву – делать и доставлять в адмиралтейство, в числе 20-ти пудов в год, краски бакана; привоз из-за границы того же материала был воспрещен. В том же году дана была привилегия Соловьеву и купцам Томиловым на заводе купоросного масла и острой водки.

Для выделки бумаги, в апреле 1714 года, Петр приказал доставлять в Петербург сухопутьем и водою негодный холст и лоскутья, за которые велел платить по восьми денег за пуд. В 1719 году бумага разных родов делалась на бумажной Дудоровской мельнице и доставлялась в адмиралтейство, откуда и продавалась на книжное печатание в типографии и на письменное производство во все коллегии, канцелярии и аптеки. В реестре, подписанном

самим государем, высший сорт рисовальной бумаги оценен в шесть рублей шестнадцать алтын четыре деньги за стопу. Затем хорошие сорта белой бумаги, измеряемой картузами и патронами, ценились за стопу от пяти до двух рублей восьми алтын четыре деньги в картузах. Писчая бумага продавалась в стопах, от рубля до рубля шести алтын за стопу. Большие толстые листы продавались дестями: от шести алтын четыре деньги до шестнадцати алтын четыре деньги за десть.

Полотняный промысел в России Петр застал в крайне первобытном состоянии, хотя изобилие пеньки и льна указывало, что если где, то в этой стране, при трудолюбии и умении жителей, этот промысел мог процветать. В июне 1714 года дозволено было завести полотняную фабрику иностранцу Тиммерману, с правом продажи своих полотен как в России, так и за морем, но с платежом пошлин. В 1718 году, 26-го января, заведена компания (Алексей Нестеров, Борис Карамышев, Иван Зубков, Аникиев, Цимбальников и Турчанинов) для выделки полотен, скатертей и салфеток. Царь велел отвести учредителям двор, позволял набирать в компанию желающих и отдал им завод на 30 лет. Учредители просили, чтобы царь запретил другим лицам торговать этими товарами, которые они будут производить. Царь обещал, но с условием, если они через год подадут ему записку, что у них есть чем содержать завод. Другая полотняная фабрика в 1720 году была отдана, с привилегией на 30 лет, в компанию, директором которой был голландец Томес. Каждый компанейщик при поступлении давал от себя вклад в общий капитал тысячу рублей и, состоя в компании, освобождался от выбора в службу. Компания имела право приглашать заграничных мастеров, заключать с ними контракты, выписывать из-за границы все нужные материалы, но с платежом пошлин. Компании давалось право беспошлинной продажи своих товаров, сроком на пять лет, но оптом, а не врозь. Для распространения искусства делать полотна компания имела право брать из русских в ученики и работники, но с тем, что взятый ученик должен был пробыть на фабрике сначала в качестве ученика три года, а потом уже подмастерьем. 24 мая 1720 года в Москве поручена была иностранцу Тиммерману парусная фабрика. Он получал из казны двадцать тысяч рублей, с обязанностью доставлять в адмиралтейство по три тысячи кусков парусины в год, а остальную парусину, выделяемую у себя, мог продавать в народ и деньги, взятые с продажи, доставлять в фабричную казну, как царское достояние: себе же за труд получал он 10%. Июня 18-го того же года запрещено из-за границы привозить коломенки и другие полотняные ткани низших сортов, а высшие позволено в тех видах, что в России в то время выделялись только низшие сорта. 16-го ноября 1720 г. повелено отпускать за границу русский холст и полотна, но не узкие, а широкие. По свидетельству иностранца Вебера, посетившего Россию в царствование Петра, приготовляемое в России полотно из туземного льна не уступало в достоинстве голландскому полотну.

Суконные заводы поощрялись преимущественно с целью обмундирования войск, и потому запрещено было покупать заморское сукно на мундиры. Для успешного производства этого промысла еще в 1712 году велено собрать компанию из торговых лиц, а в случае несогласия вступить в компанию положено тащить в нее неволю. В 1719 году существовавший казенный суконный завод в Москве, у Каменного моста, приказано было отдать в компанию купцу Щеголину с товарищами, с обязательством расширить производство сукна до того, чтоб не только удовлетворялась потребность в обмундировании войска, но сукно шло бы и в продажу; компания эта получила в ссуду 30000 рублей, на три года, без процентов; позволено ей выплачивать свой долг в казну сукнами, с привилегией в течение пяти лет продавать сукно беспошлинно. Вступившие в компанию освобождались от обязательной государственной или общественной службы. Компания могла принимать в ученики лиц свободного звания, выписывать иноземных мастеров и инструменты. Вывоз за границу шерсти из России был запрещен, ради того, чтоб эта компания имела возможность удобно покупать себе материал, зато компания эта не могла возвышать цены на сукно.

В июне 1717 года поручено было подканцлеру Шафирову и тайному советнику Толстому учредить в России фабрику всяких шелковых материй и парчой, которые они



должны были обрабатывать через нанятых во Франции мастеров. Им позволялось, в виде привилегии, набирать по желанию как русских, так и иностранцев в ученики, работать золотные, серебряные, шелковые и шерстяные материи, парчи, штофы, бархаты, атласы, камки, тафты и всякого рода ленты, галуны, чулки и проч. На вспоможение себе они получили от казны безденежно готовые дворы в Москве, в Петербурге и других городах, а тем лицам, которые у них будут работать, обещаны места под жилища на вечные времена. Компания эта могла пятьдесят лет беспошлинно торговать по русским городам и селам, а заграничную торговлю вести на общих основаниях, с уплатою пошлин. Компания подчинена была сенату; местные власти не должны были вступаться в ее дела. Наконец, в обеспечение ее прибытка, запрещалось не принадлежащим к ней лицам производить такие товары, какие производила компания, кроме лент, чулок и галунов, а из-за границы запрещался ввоз иностранных шелковых изделий; но в 1719 году члены компании донесли царю, что их мануфактуры не в состоянии удовлетворить парчами все государство, и потому сами просили разрешить ввоз парчей из европейских государств. Царь дозволил, в продолжение двух лет, привозить ежегодно на 100000 рублей шелковых штофов и продавать их в петербургских лавках, по торговому уставу. В июле того же года этой компании дозволено было беспошлинно покупать в Китае тонкий шелк. Кроме фабрики барона Шафирова и К<sup>о</sup>, заведена была другая шелковая фабрика в Москве Алексеем Милютиним. В марте 1718 г. дана была ему привилегия работать шелковые ленты, нанимать свободно мастеров, брать учеников и не платить никаких податей, пока не утвердится начатый им промысел. 14-го марта 1721 года дозволено было всем людям заводить шелковые фабрики. Учредители пользовались привилегиями на 50 лет, а вступавшие к ним в компанию – от 10 до 15 лет, со времени своего вступления.

Указом февраля 1-го 1720 г. определено завести в Киеве фабрику зеркал и хрустальной посуды.

Для усиления всякой заводской, промышленной и мануфактурной деятельности, Петр (января 17-го 1721 г.) освободил всяких основателей заводов и их товарищей от службы на полтора года после учреждения завода, а на следующий день после того (января 18-го того же года) дозволил купцам и заводчикам покупать населенные имения.

Петр всячески старался привлекать наибольшую массу золота и серебра в Россию и запрещал вывоз того и другого в другие государства.

В 1719 году царь приказал у торговцев, ездивших за границу из Малороссии, отбирать червонцы и ефимки, а выдавать им русские деньги, оставляя им на платеж пошлин на границе только небольшое количество иностранной монеты. Все купцы, которые вели заграничную торговлю, должны были платить пошлину иностранною монетою, а прусский талер принимался в казну от купцов по 50 коп., тогда как в текущем обращении эта монета ходила по 90 коп. и выше. Казна имела тут свои выгоды. Была при этом еще другая выгода казне: получаемые от купцов в уплату, иностранные монеты переделывались на денежных дворах в русскую монету, а при переделке казна оставалась в прибыли, по крайней мере, 7%. Сохранились от описываемого периода царствования Петра памятники, на основании которых можно составить себе понятие о денежном достоянии русского государства того времени. В 1721 году на всех денежных дворах было денег на сумму 559 355 рублей. Сверх того, следовало получить по подряду ефимков и меди на 141835 рублей, и в недоимке с разных чиновных людей было 225546 рублей 32 алтына три деньги, а всего 882315 рублей 28 алтын. К уплате же в разные места следовало в итоге 1536884 руб. 6 алтын. Таким образом, даже и в таком случае, когда бы взысканы были все недоимки, оказывалась недостача в 388022 рубля. Все золото и серебро, получаемое с пошлин, взимаемых за привозные в Россию товары, а также конфискованное золото и серебро и получаемое в качестве штрафов указано было доставлять на денежный двор. Правительство нашло, что доставка и возка их была стеснительна, а во время пожаров медных денег много погибало; по этой причине, вместо алтынников, велено было делать серебряные пятикопеечники 70-й пробы. Из медных денег оставались в ходу одни только полушки, и то в небольшом количестве.

Главное управление церковью в эти годы находилось в руках рязанского архиерея Стефана Яворского, блюстителя патриаршего престола. Стефан Яворский, несмотря на высокий свой пост, тяготился своим положением, жаловался царю на неудобство жизни в Петербурге и просил милостивого отпуска, но не получил его. Ни Петр не чувствовал к Стефану большого расположения, ни Стефан к Петру, но Петр считал Стефана честным и полезным человеком, а потому и удерживал его, вопреки давнему желанию рязанского архиерея удалиться от дел и уехать на родину в Малороссию. При своей недоверчивости к великорусскому духовенству, Петр медлил постановкой архиереев; и в 1718 году Стефан доносил ему, что из епархий киевской, тобольской, новгородской, смоленской, коломенской к нему присылаются старые залежалые дела, которые он решить затрудняется; ставленников много, а ставить их некому: без архиереев быть невозможно. Государь приказал выбрать кандидатов и подать себе список их, а вперед для таких избраний присылать добрых монахов в Невский монастырь, чтобы «таких не наставить, как тамбовский и ростовский». Затем велено архиереям поочередно приезжать в Петербург и проживать там, «начиная свое бытие с января».

Им отводились места, на которых они сами могли себе выстроить подворья. Петр ввел эту меру, чтобы самому ближе и даже лично знать всех архиереев в своем государстве. Архиереи с этого времени уже не могли более вмешиваться в какие бы то ни было светские дела, если не получали на то особого царского повеления. Уже давно лишили их права управлять самим имениями. Они могли пользоваться только с них доходами, получая их из Монастырского приказа. Только по особенной милости право распоряжения своими вотчинами получил в 1713 году вологодский архиерей. Монастырские же вотчины, взятые прежде от монастырей в заведование Монастырского приказа, 16-го октября 1720 г. были возвращены вновь в управление архимандритам и игуменам.

Царь показал некоторую заботу об улучшении материального и духовного состояния белого духовенства. В феврале 1718 года указано готовить заранее кандидатов на священнические места для того, чтоб места не оставались праздными; а как по большей части духовное звание было наследственным, то велено поповских и причетнических детей заранее обучать, чтоб они были годны со временем получить сан священника. При церквях надлежало иметь старосту, который обязан был выстроить священнический дом, поступавший преемственно от одного священника к другому. Приходскому духовенству запрещалось иметь собственные дома в своем приходе, а если окажется у какого-нибудь священника собственный дом при церкви, то следовало выплатить ему из церковных денег стоимость дома, а после его смерти отдать этот дом его преемнику на священстве. Домовые церкви должны были быть все упразднены.

Забота о благочестии повлекла к целому ряду полицейских правил. В конце 1714 года указано, чтобы все люди обоего пола ежегодно исповедовались. Священники должны были доносить архиереям об уклоняющихся от исповеди, архиереи же отправляли список их к губернаторам и ландратам. Светские власти накладывали на виновных штрафы, сообразно их состоянию: такого рода штрафы составляли особую статью государственного дохода. По воскресным и праздничным дням запрещалось торговать. Посты до такой степени строго соблюдались, что сам царь, хотя и недолго любил их, но не решался есть мясо в посты иначе, как испросивши на то разрешение константинопольского патриарха. В 1718 году, по ходатайству царя, константинопольский патриарх разрешил не только лично ему, но и всему православному российскому войску употреблять мясо в посты за границей, во время походов, кроме семи дней, предшествующих причащению Св. Тайн.

По отношению к инородцам, обитавшим в восточных пределах России, прилагались заботы о распространении христианской веры. В декабре 1714 г. указано сибирскому митрополиту ездить по инородческим землям, сжигать языческие мольбища и приводить жителей в христианскую веру, обещая новокрещенным льготу в ясаке и давая им в подарок холст на рубахи. Иезуитская пропаганда закидывала было свои сети в Россию, но неудачно. В одной из московских слобод иезуиты основали свой монастырь и успели совратить

несколько поступивших к ним в обучение учеников; но в апреле 1719 года царь приказал майору Румянцеву выпроводить иезуитов за границу, а тех из них, у которых в письмах окажется что-нибудь подозрительное, не выпускать и арестовать. Многие из шведов, находившихся в плену, и иностранцы, поступавшие на русскую службу, принимали православие, и на разрешение константинопольского патриарха Иеремии предложен был 4 августа 1717 года вопрос: следует ли переходящих в православие лютеран и кальвинистов перекрещивать? Иеремия сослался на решение своего предшественника Киприяна, отвечавшего на такой вопрос, что их перекрещивать не следует, а надлежит только помазать миром. В феврале 1719 года состоялось подтверждение не перекрещивать лютеран.

Раскольники облагались двойным окладом против всех других подданных, а женщины – вполовину против мужчин. Но этот закон породил большие злоупотребления со стороны священников: они с корыстной целью записывали раскольников православными, взявши с них взятки, а раскольников избавляли этим способом от платежа двойного оклада. От царя не укрылись эти уловки: указом 16-го марта 1718 года он поручил произвести следствие одному архимандриту. За открывшуюся в первый раз вину объявлялось заранее прощение с угрозой ссылки в каторгу, если вперед будет делаться то же. Но трудно было уличить священников, потому что раскольники сами притворно обращались в православие для вида; поэтому издан был указ (14 марта 1720 года), объяснявший, что все раскольники могут чистосердечно придерживаться раскола, только платя двойной оклад, и затем не должны страшиться уже какого-либо другого наказания. Чтобы по возможности лишить раскольников старых книг, на которых держались их уклонения от господствующего строя церкви, царь приказал (17 мая 1721 г.) доставлять на печатный двор все харатейные и старопечатные книги, находившиеся в лавках для продажи и в частных домах для собственного употребления, и получать, вместо них, новопечатные в таком виде, в каком принимает их церковь. В 1721 году обнаружилось, что в Москве продавались разные изображения, иконы и молитвы, с чертами раскольническими. Велено было все это описать и забрать, а вперед ничего подобного не продавать. Петр обращал внимание не только на раскольничьи книги, но и на такие, в которых замечалось в ином смысле что-нибудь не сходное с признанным православною церковью учением. 31 октября 1720 года государь узнал, что такие книги выходили в Киеве и Чернигове. Так, в черниговской ильинской типографии издана книга «Богомыслие», где заметны были «лютерские противности». В месяцеслове, изданном в Киеве, Киево-Печерский монастырь назван ставропигией константинопольского вселенского патриарха, тогда как ему следовало называться ставропигией всероссийских патриархов, а не константинопольского. В этом виделось старое желание малороссиян не подчиняться московской церковной власти. Царь постановил правилом каждую духовную книгу, прежде напечатания, давать на просмотр высшего духовного начальства.

Не благоволя к раскольникам, Петр не оставлял в то же время гонения на русское платье и бороды и издал в конце декабря 1714 г. указ, угрожавший за торговлю русским платьем и за ношение русского платья и бороды ссылкой в каторгу и лишением всего движимого и недвижимого имущества. В сентябре 1715 года в Петербурге даже запрещено, под страхом лишения имущества и ссылки в каторгу, торговать скобами и гвоздями, которыми подбивались сапоги и башмаки старого образца.

По-прежнему Петр вел войну с суевением, прикрывавшимся личиною религии, и в особенности не давал внедряться ему в новопостроенном городе Петербурге. 7 мая 1715 года объявлялось по всей России, что в церкви Исакия Далматского, во время литургии, плотничья жена Варвара Лонгинова кричала, что она испорчена, а когда ее потащили к допросу, созналась, что она это затеяла по злобе на плотника, который поколотил ее деверя. По этому поводу царь велел приводить в приказы всех кликуш, к которым в старой Руси чувствовали суевенный страх. В 1718 году в Петербурге один священник распространил слух, что у иконы, стоявшей у него в церкви, творятся чудеса. Петр призвал его во дворец с иконою и приказал сотворить чудо, а как чуда не случилось, то Петр приказал отправить

обманщика в крепость, наказать кнутом, а потом лишить сана. Архиереям по всей России приказано смотреть, чтоб в их епархиях не было потачки кликушам и беснующимся, чтоб невежды не почитали за святые мощи неведомых и не освидетельствованных церковью умерших, не боготворили бы икон, а ханжи не вымышляли ложных чудес. Так же точно Петр в 1718 году приказал по всей России губернаторам и комендантам собирать родившихся уродов, вроде, например, двухголового животного или двух сросшихся животных.<sup>196</sup> Мертвых уродов приказано класть в спирт или двойное вино, а народу внушать, что уроды рождаются не от дьявольского наваждения, как думали в старой Руси, но от повреждений в организме матери, например, от испуга и т.п.

Показывая вражду и презрение к старинным суевериям, Петр смотрел таким образом даже на многое, что вошло в существенные признаки русской православной церкви с давних времен. Нет сомнения, что такое недружелюбное отношение к отечественным верованиям развилось у Петра после его знакомства с Западною Европою, начавшегося в Москве в Немецкой слободе и усвоенного после путешествия в протестантских странах. Одною из самых резких черт, так сказать, размолвки Петра со старинным православием были его забавы со всешутейшим и всепьянейшим собором, о котором мы уже упоминали выше. Составив под этим названием из своих любимцев целый кружок пьяниц, Петр не слишком щадил чувствования своих приближенных; волею или неволею в забавах его должны были участвовать и такие особы, которым совсем не под стать было шутовство: к ним можно причислить Никиту Моисеевича Зотова, носившего звание шутовского патриарха, и Петра Ивановича Бутурлина, в 1706 году нареченного петербургским шутовским митрополитом. Всешутейший собор собирался часто, смотря по тому, как приходила государю мысль созвать в виде развлечения от трудных занятий. В 1713 году Петру вздумалось женить своего шутовского патриарха, несмотря на то, что последнему было уже 70 лет. Зотов с рабскою покорностью не устыдился потешать царя, просил только, чтоб ему дозволили «в Москве супружество принять неразглашательное и от разбивки злых человек петербургским жителям сокровенное». Но не так отнесся старший сын Зотова, Конон Никитич. «Предвари, – писал он к царю, – искушению дьявольскому... таким ли венцом пристойит короновать конец своей жизни, яко ныне приведен отец мой через искушение? Смело называю искушением, понеже премудрость Соломонова таковыми гнушается, написавши, яко трех вещей возсмерде его совесть, из них же гнуснейшее быть перед ним старых прелюбодейство, суще умаленных смыслу. По сей пункт отдаю последний мой сыновский долг, душевным плачем моля Ваше Величество, дабы изволение ваше причинствовало его совести умному о себе расположению». Сын Зотова беспокоился тогда не по поводу одного соблазна видеть своего старика-отца делающим дурачества по царской прихоти; он боялся и будущей своей мачехи, которая, как он справедливо предполагал, для того пойдет в замужество: «чтоб здесь нас, детей его, лишить от Бога и от Вас государя достойного нам наследства... Изволит говорить нам отец наш: я бы и рад отречься моей женитьбы, но не смею Царское Величество прогневать, столько-де стариков собрано для меня и платья наделано. Все сие рассудя помилуй и его старость, и нас, сирот, которых ты так долгое время изволил иметь под своим кровом... помилуй и яко богоподражательный царь». Но эта слезная просьба осталась не услышанною: Зотова женили для смеха на вдове Стремоуховой и справили шутовскую свадьбу в Москве. Новобрачных венчал Архангельского собора девяностолетний священник. Сам Петр занялся устройством свадебного торжества, продолжавшегося весь январь 1715 года. На свадьбе присутствовали разные государственные сановники, царица Екатерина, вдовствующие царицы с дочерьми, все знатные придворные дамы, в которых одна боярыня Ржевская носила шутовской титул князя-игумении. Все это было разодето по распределению Петра в разные шутовские

<sup>196</sup> Царь определил плату доставщикам за мертвого урода человеческого по десяти рублей, скотского – по пяти рублей, птичьего – по три рубля, а за живых: за человеческого – сто рублей, скотского – пятнадцать, птичьего – семь; ежели будет «гораздо чудное», то обещано больше, а за утайку положен был штраф вдесятеро против обещанной платы.

наряды, все шло в сопровождении грома музыкальных инструментов, медных тарелок, свистков, трещоток, производивших дикий и нестройный шум, с колокольным звоном всех московских церквей, с пьяными криками московской черни, которую царь приказывал поить вином и пивом, с возгласами: «Да здравствует патриарх с патриаршей!» Опасения сына Зотова были недаром: у детей шутовского патриарха с мачехой действительно вышел разлад. Старик Зотов жил недолго: в 1717 году его уже не стало, а в декабре того же года произведен был шутовский выбор ему преемника, нового князь-папы. Замечательно, что это совершалось в то время, когда Петр с нетерпением дожидал привезения в Россию своего несчастного сына, готовясь дать волю своей подозрительности и производить ряд пыток и казней, о которых повествование наводит дрожь. Петр сам начертал устав или чин избрания, пародируя совершавшийся прежде церковный чин избрания патриарха. Вместо себя, Петр предоставил играть роль царя новому сценичному царю, князь-кесарю Ивану Федоровичу Ромодановскому, сыну прежде носившего это комическое звание князя Федора. В написанном Петром чине избрания шутовского патриарха так пародируется церковный чин избрания действительного патриарха: «Собравшимся на старом дворе папы и седшим архиереям начинают оные петь песнь Бахусову, потом восходит князь, великий оратор, на высокое место и чинит предикю, увещевая, дабы прилежно просили Бахуса и не по каким факциям, но ревностным по оным сердцем избирали и потом итить всем в каменный дом, по учрежденной конклавии». Здесь, в шутовском виде, были певчие, попы, дьяконы, архимандриты, суфраганы, архиереи, князь-папины служители. Пародировалось несение образа, как делалось при избрании патриарха, – такую роль играл здесь «Бахус, несомый монахами великой обители». В каменном доме театральный государь, князь-кесарь, говорил членам всешутейшего собора речь, напоминающую речи, некогда произносимые царями при избрании патриархов. Потом происходил выбор из трех кандидатов. Перед избранием совершалось осязательное освидетельствование нового князь-папы, посаженного на прорезном стуле и закрытого покрывалом. Это была насмешка над обрядом, совершавшимся некогда, как говорили, при избрании римских пап, когда кардиналы удостоверялись, что новый первосвященник есть действительно мужчина. Обряд этот, если только он, в самом деле, совершался, возник оттого, что в IX веке по Р. Х. обманом была избрана в папы женщина под видом мужчины. По окончании баллотировки, совершаемой яйцами, новоизбранного поздравляли, величали многолетием, потом сажали в громадный ковш и несли в собственный его дом, где опускали в чан с вином. За избранием следовало поставление. Чин поставления, начертанный Петром, был пародией поставления архиереев. Поставляющий, возглашая: «Пьянство Бахусово да будет с тобой», намекал на священные слова: «Благодать Св. Духа да будет с тобою». Подобно тому, как архиереев заставляют произносить исповедание веры, шутовской князь-папа исповедовал поклонение уродливому пьянству. Описывая свое пьянство, новопоставляемый говорил: «Вином яко лучшим и любезнейшим Бахусовым чрево свое яко бочку добре наполняю, так что иногда и ядем, мимо рта моего носимым, от дрожания моей десницы и предстоящей очесех моих мгле, не вижу, и тако всегда творю и учти мне врученных обещаюсь, инако же мудрствующие отвергаю, и яко чуждых творю и... маствую всех пьяноборцев, но яко же вышерек творити обещаюсь до скончания моей жизни, с помощью отца нашего Бахуса, в нем же живем, а иногда и с места не двигаемся, и есть ли мы, или нет не ведаем (пародия на слова Священного Писания: „о нем же живем, движемся и есмь“), еже желаю тебе отцу моему, и всему нашему собору получить. Аминь». Следовало рукоположение: во имя разных принадлежностей пьянства, пересчитываемых одна за другою: пьяниц, скляниц, шутов, сумасбродов, водок, вин, пив, бочек, ведер, кружек, стаканов, чарок, карт, табачков, кабаков и прочее. Потом следовало облачение новопоставленного с произнесением символических выражений, напоминающих облачение первосвященников. Например: «Облачается в ризу неведения своего»; флягу возлагая, произносилось: «Сердце исполнено вина да будет в тебе»; нарукавники возлагая: «Да будут дрожащи руке твои», отдавая жезл: «Дубина Дидана вручается тебе, да разгоняеши люди своя». Первый жрец помазывал крепким вином голову новопоставленного

и делал образ круга около его глаз, произнося такое выражение: «Тако да будет кружиться ум твой». Наконец, на него надевали подобие первосвященнической шапки, с возгласом: «Венец мглы Бахусовой возлагаю на главу твою, да не познаеши десницы твоей, во пьянстве твоём». Все хором пели: «Аксиос». Новопоставленный садился на бочку, игравшую роль первосвященнического седалища. Он испивал Великого Орла – как назывался огромный кубок – и давал пить из него же всем другим. Пением многолетия оканчивался чин поставления. Новым князь-папою, или шутовским вселенским патриархом, был Петр Бутурлин, до того времени состоявший в звании петербургского шутовского владыки. Его избрание производилось 28 декабря 1717 года, а поставление 10 января следующего года. С тех пор мы находим известия о довольно частых празднествах, устраиваемых Петром со своею всепьянейшею коллегиею. Люди, близкие к царю, носили, по воле его, в звании членов этой коллегии, непристойные клички. Преследуя старорусские обычаи и насмехаясь даже над тем, что в старину входило в область благочестия, царь не уничтожал старинного славения в праздники; напротив, в рождественские Святки сам со своими приближенными и с духовенством разъезжал от двора ко двору при громе литавр и бубен. Гости ели и пили у каждого хозяина и получали денежные подарки. Кроме таких способов забавляться, любимым увеселением Петра было катание по воде. Это увеселение Петр отправлял часто в Петербурге на Неве. Его вельможи должны были разделять с ним такую забаву и брали с собою музыкантов, которых держать у себя в доме было в обиходе домашней жизни знатных особ. Нередко царь плыл по Неве на острова или в Екатерингоф, в устроенный им для Екатерины сад. Там приготовлялся завтрак или закуска, причем собеседники пили венгерское вино. Но самыми веселыми для царя празднествами были спуски на воду новоотстроенных кораблей. Прежде всего совершался церковный обряд освящения. Когда корабль снимался и пускался по воде, гремели литавры и трубы, палили из пушек в крепости и в адмиралтействе, потом следовали поздравления от всех приближенных, наконец, происходил завтрак в каюте новоспущенного корабля, и всегда при этом была самая обильная попойка. В этих случаях этикет не наблюдался; царские корабельные мастера обедали рядом с царем, и он пил за их здоровье. Всегда в таких торжествах берег Невы усеивался множеством народа; иногда царь угощал народ на воздухе.

По временам царь устраивал примерные морские битвы; обыкновенно одною стороною командовал сам царь, противною – кто-нибудь из вельмож, чаще Меншиков или адмирал Апраксин. По окончании маневров шло пиршество с попойкою. Главное, что поглощало внимание Петра и составляло постоянный предмет его забот, это было развитие русской морской силы, образование русских мореходцев.

В 1712 году велено было построить три корабля в 60 пушек, 20 полугалер и 150 бригантинов, для чего потребно было 11000 человек рабочих и 24555 служителей. Смета издержек на постройку составляла 170777 руб. и на провиант для содержания рабочих 220580 руб. На петербургской верфи происходили неустанные кораблестроительные работы под наблюдением голландских мастеров, которых Петр ласкал и любил. Не жалея средств для создания русского флота, царь скоро поставил его на такую ногу, что в 1717 году было 28 военных линейных кораблей, с количеством пушек на самых больших кораблях 90, на самых меньших 52; на них было 13280 человек, но еще ощущался недостаток в 7671 человеке, для составления полного экипажа для всех кораблей. В этом же году сделано было распоряжение учить матросов грамоте, цифири, навигации, артиллерии, плотничьему и кузнечному мастерствам.

Издержки на флот в 1712 году простирались до 434000, в 1714 сумма эта возросла до 651316 руб., в 1715 г. до 800000, а в 1721 расход на все морское дело, с включением содержания приписанных к нему заводов, достигал до 1 142977 руб.

Желая привить на Руси судостроение по западным образцам, Петр объявил войну древнему русскому судостроению. Указом 28 декабря 1714 года он запретил ходить в море на судах прежнего строя – на ладьях и кочах, а вместо них приказал делать галиоты и другие суда иностранного пошиба, с иностранными названиями; срок для существования судов

старой формы он назначил два года, а по нужде три года; после чего все старые подлежали уничтожению. В ноябре 1715 г. состоялся подобный же указ: запрещалось делать суда со скобками по старому обычаю, а велено непременно конопатить доски с досками. Приказано разослать конопатчиков в те места, где делались суда, а все старые суда заклеить. Если, вопреки этому указу, будет продолжаться постройка судов со скобками, то виновные в том за первый раз подвергались штрафу, а за повторение своей вины – ссылке в каторжную работу. Весною 1716 года из судов, которые везли в Петербург провиант, велено допускать только суда, выстроенные по новому чертежу. Строгие указы против судов старого покроя повторились в 1717 и 1718 гг. Затем 18 ноября 1718 года в Ладогу и по рекам Волхову, Мете, до Вышнего Волочка, в места, где издавна строились суда, отправлен был подпоручик Румянцев объявлять повсюду, чтоб наперед работались суда по установленному царем способу. Посланный должен был внушать жителям, что это делается для их пользы, ставить им на вид: какой вред произошел за четыре последних года на Ладожском озере. Румянцев должен был все суда старого устройства перестроить и отправить в Петербург с кладями, с тем чтобы уже оттуда им не возвращаться, а все начатые, но недостроенные суда старого покроя при себе изломать. Но осенью, в том же году, установлено с «новоманерных» судов брать обыкновенную пошлину, а с судов старого покроя в будущем 1719 году – вдвое, в 1720 же году – втрое, и так далее по годам прибавлять; затем задержанные в Петербурге старые суда велено было освободить. Правительство стало держаться точно такой же политики со старыми судами, какой держалось в отношении старообрядцев: прежде хотели их совершенно уничтожить, а потом стали позволять им существовать, но с платою огромного налога. В виде привилегии, в 1719 году царь дозволил крестьянам Соловецкого монастыря ходить на судах старого покроя до тех пор, пока эти суда не сделаются негодными к плаванию, но вместе с тем запретил им строить вновь староманерные суда, под опасением ссылки в каторгу. В июне того же года отправлен был корабельный мастер в Ярославль осмотреть тамошние лодки, называемые романовками, и все лодки старого манера переделать по утвержденному образцу, наблюдая, чтоб отнюдь не было судов со скобками, под опасением штрафа 300 рублей за каждое судно. Для постройки и починки судов по разным северным рекам: Волхову, Сквири и по Онежскому озеру приказано завести верфи.

После строгого гонения против староманерных судов, 28 марта 1720 года, на пути сообщений Вологды с Архангельском, дозволено строить суда по старинному образцу, а 9 апреля того же года на Двине и на Сухоне повелено строить непременно по-старому, а не по-новому. Но в Новгородской провинции осталось в силе прежнее распоряжение – строить суда не иначе, как новой конструкции. В этот же год июня 26-го составлен был устав о новоманерных судах, под названием «эверсы», о том, как ими управлять и как с ними обращаться. В следующем 1721 году опять дан указ уничтожить все суда, карбасы и барки староманерной постройки, но судам, приходящим с Волги, дозволялось быть построенными по какому угодно способу, лишь бы они были без скобок и хорошо проконопачены.

В 1717 году сделан был первый шаг к устройению каналов. Сильные бури, тревожившие суда, плавающие по Ладожскому озеру, побудили Петра прорыть для обхода этого озера канал из Волхова в Неву. Царь смотрел на это предприятие как на главную нужду своего государства. Сначала на работу предположили обратить те войска, которые, возвратившись тогда из Польши и оставаясь без дела, получали жалованье даром; потом – думали посылать работников давним способом по наряду, назначая данное количество работников с определенного количества дворов. Но 26-го ноября 1718 года царь, как сказано в указе, «милосердя о народе, дабы в сборе работников и на них провианта и всяких припасов, уездные и купеческие люди каких бы излишних тягостей и убытков не понесли, указал оное канальное дело делать подрядом». Со всех уездных людей положено было собрать деньгами с дворового числа по 23 алтына две деньги на двор, с купечества – десятую деньгу с рубля, с однодворцев же Киевской и Азовской губерний – по рублю двенадцать алтын две деньги и прислать эти деньги в Шлиссельбург к марту 1719 г., не отговариваясь ничем, не исключая даже опустения дворов. В декабре 1718 г. разосланы лейб-гвардии офицеры по губерниям

побуждать губернаторов к скорейшему сбору денег на постройку каналов. Петру хотелось, чтоб это дело шло как можно скорее. 1-го февраля 1720 г. извещал он в своем указе, что не было прислано до тех пор ничего из следуемых сборов, и снова повторял прежнее требование в срок на октябрь текущего года. Подрядчики Ладожского канала назначили подрядную цену по одному рублю двенадцать алтын и две деньги за кубическую сажень. Им дозволялось привозить в год по десяти тысяч ведер вина и пива и по три тысячи пудов табака, но с платежом пошлин и с обязанностью не продавать никому, кроме рабочих. Но если постройка Ладожского канала производилась уже не в смысле народной повинности, а свободным наймом, то другие предприятия, касавшиеся торговых путей, все-таки по-старому ложились тягостью на местное народонаселение. В 1719 году по Волхову и Мете до пристани, которая была ниже Боровицких порогов, велено устроить бечевник, чтобы взводить суда вверх по течению лошадьми. Устройство этого бечевника было разложено на 11499 дворов. В половине следующего года до сведения правительства дошло, что это дело подало повод к разного рода злоупотреблениям и притеснениям народа. Народ был так запуган, что ничему не верил: когда предположили было копать канал из реки Гжати в гжатскую пристань, работая охочими наемными людьми, то люди боялись идти на работу, думая, что им будут делать насилия и не заплатят денег по договору.

На юге России, в степных местностях, производились постройки дорог по-прежнему казенными людьми, а не наймом. Так, например, для постройки пути от Паньшина до Царицына употреблялись полки Казанской и Азовской губерний, слободских полков компанейщики и донские казаки. На них собирался годичный провиант. Малороссийские казаки, находившиеся под начальством гетмана, в 1720 году, по царскому указу, уволены были от работ в этой местности, зато обращены на работы Киево-Печерской крепости и других укреплений в малороссийских городах.

В декабре 1717 года положено учредить коллегии. Наши коллегии при Петре были ближайшим образом скопированы с тогдашних шведских коллегий; только государь, в одном из своих указов об их составлении, велел заменить те пункты шведского устава, которые не подходили к основным порядкам русского государства. Коллегии имели смысл верховных правительственных мест, по разным частям государственного управления. Этих коллегий предположено было числом восемь: коллегия иностранных дел, где должны были вестись все сношения с чужими государствами; камер-коллегия, заведовавшая финансами государства; юстиц-коллегия, ведавшая суды и судопроизводство; ревизион-коллегия, сводившая и проверявшая государственные денежные счета; штатс-контора, ведавшая собственно расход; берг- и мануфактур-коллегия, наблюдавшая над горным делом, фабриками и заводами; коммерц-коллегия, ведавшая торговлю, внутреннюю и внешнюю; наконец, военная и адмиралтейств-коллегия: из них первая заведовала сухопутными военными силами, а вторая – флотом и мореплаванием. Каждая коллегия находилась под председательством президента и вице-президента. Вице-президенты были не во всех коллегиях, и там, где они были, все принадлежали к иноземцам, исключая коллегии иностранных дел.<sup>197</sup> За президентом и вице-президентом в каждой коллегии следовали: четыре советника коллегий, четыре ассессора коллегий и по одному секретарю, нотарию, актуарию, регистратору и переводчику, а ниже их всех подьячие, делившиеся на три статьи. Советников и ассессоров положено выбирать баллотировкой, но с тем, чтобы они не были сродниками или свойственниками президента или вице-президента.

Петр сообразил, что шведы могли быть подходящими людьми по производству дел,

---

<sup>197</sup> В коллегии иностранных дел – канцлер граф Головкин; вице-президент коллегии, иначе подканцлер, – барон Шафиров. В камер-коллегии – князь Дмитрий Голицын, вице-президент – барон Нирод. В юстиц-коллегии – Андрей Артемьевич Матвеев, вице-президент – Бревер. В ревизион-коллегии – президент Андрей Яковлевич Долгорукий, носивший в то же время звание пленипотенциар-кригс-комиссара; в штатс-конторе – президент граф Мусин-Пушкин. В берг-коллегии – президент генерал-фельдцейхмейстер Брюс. В коммерц-коллегии президент Петр Толстой, вице-президент – Шмит. В воинской – президент кн. Менишков, вице-президент – генерал Вейде, в адмиралтейств-коллегии – генерал-адмирал Федор Матвеевич Апраксин, вице-президент – вице-адмирал Крейс.



сообразно новому строю, заимствованному из их края, и приказал приглашать пленных шведов на службу в учреждаемые коллегии. «Они, – писал Петр, – шведскому штаты и языку искусны; один из них может быть потребнее, чем два человека немцев». Но охотников набралось немного; тем не менее предпочтение шведскому строю до того овладело Петром, что он в одном своем указе (26-го ноября 1718) выразил намерение ввести с 1720 года шведское управление, начиная с Петербурга как образца для остальной России.<sup>198</sup> Впрочем, это предпочтение не мешало ему иметь мысль пригласить в чиновники будущих коллегий и славян из австрийских земель, потому что, по соображениям Петра, им легче было, чем всяким другим иноземцам, усвоить русский язык и не затрудняться употреблением его в делопроизводстве. Петр об этом писал своему резиденту в Вене Веселовскому, но такое предположение не осуществилось.

Вновь устроенные коллегии должны были начать действовать с 1719 года. Между тем, по обычной русской медленности, всегда волновавшей Петра, начатое дело не приготавливалось в такой степени, чтобы коллегии могли начать производство в указанный государем срок. В приготовлениях к открытию коллегий прошел весь 1718 год. Государь приказывал назначенным в президенты будущих коллегий подавать себе рапорты, чтоб видеть, насколько подвигается дело устройства коллегий, и сделал замечание сенату за нерадение к исполнению его указов.

Еще до открытия коллегий, в 1716 году составлен и издан был воинский устав – кодекс военных законоположений, которыми должна была руководиться будущая военная коллегия и который надолго остался основой военного законодательства. Побуждением к составлению этого устава было желание, «дабы всякий чин знал свою должность и обязан был своим знанием, а неведением не отговаривался». Имя «солдат», по смыслу и выражениям воинского устава, «просто содержит в себе всех людей, которые в войске есть от генерала до последнего мушкетера, конного и пешего». Офицеры разделялись на унтер-офицеров, обер-офицеров, начиная от прапорщика до майора и штаб-офицеров, – от майора до полковника включительно; выше полковника следуют генеральские чины. Верховный из всех военных чинов был чин генералиссимуса, предоставляемый только коронованным особам, но действительное начальство армиею поручалось генерал-фельдмаршалу или аншефу, который, ведая все военные дела, не должен был ничего чинить иначе, как с совета генералов, закреплявших все распоряжения своими подписями, кроме случаев внезапного нападения со стороны неприятелей, требующего скорого и неотлагательнейшего действия. Генерал-аншеф имел верховный надзор над военными судами. Из числа генералов, составлявших совет около аншефа, главным был генерал-фельдмаршал-лейтенант, помощник главнокомандующего, всегда при нем находившийся. За ним – три генерала командовали войском: генерал-фельдцейхмейстер, или начальник артиллерии, и генералы – от кавалерии и от инфантерии. Генерал-кригскомиссар был хозяин войска. Воинский устав вменял ему в обязанность быть совершенным экономом и знать хорошо арифметику, «понеже он имеет расход деньгам на жалованье и на содержание войска». Под его начальством, при кавалерии и при инфантерии, было по одному оберштерккомиссару, во всякой дивизии по одному обер-комиссару и при каждом полку по комиссару с деньгами. Высшие комиссары-чиновники надзирали за низшими и смотрели, чтобы не удерживалось следуемое войску жалованье или предметы на обмундирование; они состояли под начальством главного комиссариата, которому подведомы были и провиантмейстеры, обязанные доставлять продовольствие войску с подлежащими им служителями. При генералах-от-инфантерии и кавалерии были генерал-лейтенанты, получавшие от полных генералов приказы и раздававшие их генерал-майорам, которые, в свою очередь, раздавали

---

<sup>198</sup> По этому устройству предположены были такие земские чины: ландсгевдинг – земский голова, обер-ландрихтер – высший земский судья, ландссекретарь – земский дьяк, бухгалтер – земский надзиратель сборов, ландрехтмейстер – земский казначей, ландфискал – земский фискал, ландмессер – межевщик, профос – тюремный староста, ландкомиссар – сельский комиссар, ландрихтер – земский судья, ландтшрейбер – земский подьячий, кирхшпильсфохт – приходский войт.

их бригадирам, заведовавшим каждый несколькими полками. Учреждать лагеря, походы, надзирать за фортификацией – было обязанностью генерал-квартирмейстера; «он должен быть человек разумный и искусный в географии и фортификации и уметь рисовать ландкарты». Он находился под непосредственным начальством главнокомандующего. Чиновники его ведомства были: генерал-квартирмейстер-лейтенант, обер-квартирмейстеры по дивизиям, генерал-штабс-фурьеры и вагенмейстер, надзиравший за состоянием дорог и провозом войскового багажа. Дивизии делились на бригады: бригады заключали в себе несколько полков; полки пехотные делились на роты. Пехотные полки были: фузильеров, пикинеров и гренадеров. Каждая рота заключала в себе 144 человека. Чиновными людьми в роте были: капитан или начальник роты, поручик, подпоручик, прапорщик или фендрих, два сержанта, каптенармус, подпрапорщик, 6 капралов, ротный писарь и 2 барабанщика, а в гренадерских ротах один флейтщик. Капитан – глава роты в походе. Для конницы существовали правила о фураже. Конные полки делились на эскадроны. Артиллерия, находясь под начальством генерал-фельдцейхмейстера, имела чины: полковник, подполковник, обер-комиссар, обер-гауптман (майор), штык-гауптман (капитан), шанц-гауптман, квартирмейстер, аудитор, фельдцейхвахтер, обер-фейерверкмейстер, обер- и унтер-вагенмейстеры, и под их ведением состояли чины, которых обязанности условливались свойством артиллерийской службы.<sup>199</sup> Затем следовали мастера и подмастерья: кузнечные, плотничьи, замочные, веревочные, мясники, хлебники, коновалы, шорники и просто служители. Инженеры, находившиеся при войске, имели стан свой при артиллерии и шли в поход вместе с нею. Порядок чинов в инженерной службе был такой: полковник, подполковник, майор, капитан, поручик, прапорщик, квартирмейстер, фельдфебель, лекарь, капрал, ефрейтор и рядовые. К артиллерийскому штабу принадлежали: подкопщики и петардиеры. Орудия артиллерийские, употреблявшиеся в то время, были: пушки, гаубицы, мортиры; снаряды – железные ядра, свинцовые пули, гранаты, петарды и картечи. Медицинская часть устроена была так, что при каждой дивизии находился доктор и штаб-лекарь; при полку – полковой лекарь; в каждой роте ротный лекарь или цирюльник. При инфантерии устроены были две аптеки. При высшем генералитете был полевой доктор, который должен был иметь в медицине особенно хорошие познания и практику. Все лекари должны были лечить бесплатно, исключая таких больных, которые страдали сифилитической болезнью, называвшеюся в Уставе французскою. Для рядовых устраивались полевые лазареты под начальством инспектора. При 10 больных определялся в услужение один солдат и несколько женщин, мывших на больных белье. Людьями, заведовавшими пищею, были: повар, хлебник и полевые маркитанты. Военное духовенство состояло под ведением обер-полевого священника, находившегося при главнокомандующем; обер-полевой священник начальствовал над полковыми священниками и мирил их, если возникали у них ссоры.

Военное судоустройство расположено было так: в числе лиц войскового генералитета был верховный судья – генерал-аудитор, он же был правитель войсковой канцелярии, – человек, сведущий в правах, изъяснявший генералитету сомнительные юридические вопросы. Он же утверждал приговоры, заведовал разменом пленных и договорами, постановляемыми с неприятельскими войсками. Его помощник назывался генерал-аудитор-лейтенант, и под ведением его находились обер-аудиторы и полковые аудиторы. Было два военных суда: высший и низший; в высшем суде присутствовали генералы и бригадиры. Низший суд производился над обер-офицерами и рядовыми, отправлялся обыкновенно в крепости у губернатора или коменданта, а во время кампании – у полковника, который был и председатель этого суда, присутствуя в нем с лицами, по два числом, состоявшими в чинах капитана, поручика, прапорщика, сержанта и капрала, но, кроме офицеров, на этом суде присутствовало двое или четверо рядовых. Аудитор находился там, как толкователь закона и ассессор. Подсудимого, допросивши, высылали из суда, потом обсуждали его дела и решали

---

<sup>199</sup> Обер-шорный мастер, лекарь, лекарское подмастерье, цейгдинер, провиантмейстер, фейерверкер, брукенмейстер, векгберейтор, фурьер, цейгшрейбер и провиантписарь.

голосованием. Осужденный на смерть, какого бы ранга подсудимый ни был, немедленно сковывался, в предупреждение побега. Кроме постоянного обыкновенного суда, в походное время учреждался по мере надобности суд «скорорешительный»: кто таковым судом будет приговорен к смерти, тот немедленно предается вешанию или расстрелянию.

Наказания, определяемые военным судом, носили свойственный веку характер суровости; назначались мучительные казни, например, за чародейство – сожжение; за поругание икон – прожигание языка раскаленным железом, а потом отрубление головы. За убийство назначалась обыкновенная смертная казнь, но за убийство отца, матери, малого дитяти или офицера – колесовали, равно и за церковное воровство. За поругание матери назначалось отсечение сустава или смертная казнь, смотря по вине. Зажигательство влекло за собою сожжение преступника, если оно не произошло в неприятельской земле. За фальшивую монету определялось также сожжение. За хульное слово, произнесенное хотя бы и по легкомыслию, в первый раз – заключение в оковы, за второй раз – наказание шпицрутенами, а в третий – расстреляние. Битье шпицрутенами отправлялось целым полком; совершившего преступление в первый раз водили 6 раз через полк, во второй – 12, а в третий – вместо битья шпицрутенами, за то же преступление рубили уши и нос и ссылали в каторгу. За злоумышление против государя – четвертовали; за дерзость против генерала, смотря по степени вины, назначалась смерть или телесное наказание, а за дерзость против меньшего начальства – шпицрутены. Кто против караула обнажал оружие, тот подвергался расстрелянию. За леность и нерадение офицеров – разжалование в рядовые; тому же взысканию подвергались за всякое искажение начальнического приказа. Виновные исключались из службы за свидетельством всех офицеров полка, данным под присягою. Приказания начальства нельзя было изменить хотя бы явно с доброю целью; всякому дозволялось заявить свое мнение командиру или самому генералу, а все-таки следовало исполнять данное приказание. Офицерам запрещалось употреблять солдат на свою работу. При всей суровости в военных законах к своим, совершившим преступление, замечательна относительная гуманность к неприятелям. С пленником ни в каком случае нельзя было обходиться как с врагом, как прежде делалось; запрещалось наносить побои сдавшимся неприятелям. При взятии городов штурмом, под опасением смертной казни, запрещалось грабить церкви, духовные школы и госпитали. За сдачу русской крепости коменданту ее грозило наказание как за измену, исключая случаев крайнего голода, недостатка амуниции или большой потери людей из гарнизона. За самовольное сношение с неприятелями четвертовали или даже рвали тело клещами, смотря по вине. Запрещалось переписываться сыну с отцом, если последний находился у неприятелей. Вообще не дозволялось, под опасением смертной казни, переписываться ни с кем о военных делах, о состоянии войска или крепостей.

Воинская корреспонденция находилась в заведовании полевого почтмейстера, в распоряжении которого состояли почтовые лошади; а в важных и спешных делах посылались курьеры; для посылок назначались ординарцы от каждого полка и батальона, долженствовавшие находиться в генеральских квартирах или на гауптвахте. Войсковая полиция во время похода находилась в верховном заведовании генерал-гевальдигера. Он имел право не только брать под арест, но даже повесить виновного, почему имел при себе полкового священника и палача. В каждом полку был фискал; над полковыми фискалами начальствовал обер-фискал дивизии, а над ними, для целого войска, был генерал-фискал. Фискалы обязаны были доносить о замеченных ими злоупотреблениях и упущениях, не отвечая за справедливость доноса, исключая только, когда донос был затеян со злою целью. Фискалы получали часть вознаграждения из штрафных денег. Над арестантами надзирал генерал-профос: под его же ведением находились в той же должности полковые профосы. При повышении чинами во всем войске постановлено было вычитать жалованье за месяц. Кроме рядовых, в войске дозволено было находиться волонтерам, которым предоставлялось учиться и присматриваться к воинскому делу. Волонтеры из иностранцев могли получать офицерские чины, а природные русские лишены были этого права. Офицеров, служивших в

войске и получавших за ранами или за старостью чистую отставку, положено было употреблять в гарнизоны или по каким-нибудь делам в губернии. Из них назначались также ландраты, выбираемые всеми дворянами. Проектированные еще в 1717 году коллегии вступили в отправление своей должности в 1719 году. Тогда во всем государстве начались новые административные и юридические порядки: судебная часть отнималась у губернаторов, и земские приказы уже были изъяты из ведомства администрации. В провинциях введены были, вместо ландратов, воеводы. Они надзирали за отправлением правосудия, но не участвовали в решении судебных дел, – ограждали жителей от обид со стороны всякого начальства, солдат и посторонних людей, наблюдали, чтоб не было воровства, подлогов, фальшивых денег, мер и весов, смотрели за дорогами, хватали гуляющих людей, нищих, надзирали, чтоб помещики не утесняли крестьян, а крестьяне бы оттого не разбежались. Они доносили в сенат о помещиках, злоупотреблявших своею властью, брали по сенатскому решению виновных на исправление и делали распоряжения о передаче имений их родственникам в управление. В апреле 1720 года учреждены по провинциям земские канцелярии, под управлением земских дьяков, состоявших под начальством воевод. Фискалы надзирали за производством дел в земских канцеляриях. Сбор доходов возлагался на земских комиссаров; они не могли их тратить, а отдавали в земскую казенную. Земские комиссары наблюдали за приемом казенного хлеба и казенных вещей, за всякими казенными продажами, за отпуском провианта на войско, за соблюдением договоров по откупам, находились при переписи дворов, не допускали солдат делать насилия над жителями и должны были наблюдать, чтоб жители отдавали детей своих на обучение чтению и письму. Состоя под ведением губернаторов, воевод и земских контор, земские комиссары жили в своих уездах вместе с земскими писарями и несколькими подчиненными или комиссарами, исполнявшими их поручения. Губернаторам и воеводам запрещалось поносить их и бесчестить их бранью.

Финансовая часть находилась в руках земских камериров и земских рентмейстеров, или казначеев. Земские камериры, вместе с губернаторами и воеводами, наблюдали за сбором доходов в губерниях и провинциях, соображаясь с окладными книгами, получаемыми из камер-коллегии. Деньги, приходившие в руки камериру, он сам не смел тратить, а отсылал их в земскую рентерею. Земский камерир жил при губернаторе и, находясь под его надзором, заведовал земскою конторою, которая разделялась на два отделения: одно – рентерея, другое – казенная. Сам камерир обязан был посещать ежедневно, кроме праздников, земскую контору и оставаться там шесть часов, под опасением штрафа двух рублей в день. Фискал секретно наблюдал за исправлением его обязанностей. Казна находилась на сохранении у рентмейстера, подчиненного губернатору и земскому камериру. Но, в свою очередь, рентмейстер, хотя и подчинен был последнему, мог, однако, делать ему замечания. Рентмейстеры, или земские казначеи, вели счета по статьям и выдавали деньги за ассигновками от губернаторов, воевод и камериров. По окончании года они все книги отдавали земским камерирам для проверки и для отсылки в штатс-контору и камер-коллегию. В каждой губернии должно было учинить переписную книгу землям и копию с нее отослать в камер-коллегию. Вот в каком виде представлялись областные учреждения, поставленные в соответствии с коллегиальным строем государственного механизма. Для предупреждения взяточничества, казнокрадства и всяких других злоупотреблений, Петр держался такой политики, чтобы размещать в областях таких правительственных лиц, которые бы не только не были связаны между собою родством и дружбою, но находились друг с другом во враждебных отношениях. Средство это не всегда могло оказаться удачно избранным, потому что враги силились один другому сделать неприятность и вредили через то механизму общего управления.

Камер-коллегия, получая из губерний переписные книги окладных и неокладных податей, рассматривала и утверждала все статьи приходов. Она испрашивала у сената дозволения наложить на то или другое новый налог. При раскладке податей, камер-коллегия должна была принимать во внимание цену полевых трудов, разные текущие обстоятельства

и «соблюдать равенство между богатыми и бедными, чтоб никто не был ни отягчен, ни уволен более других. В противном случае, – замечалось в царском указе, – убогие станут разбегаться, и вопль бедных привлечет гнев Божий на государство». Камер-коллегия налагала все мелкие земские и городские пошлины, но ведению ее не подлежали раскладка и взимание пошлин с купеческих товаров, так как этим заведовали коммерц-коллегия, а также берг– и мануфактур-коллегия.

Штатс-контора состояла из президента, двух штатс-комиссаров, двух секретарей, двух камериров и одного рентмейстера, или казначея. Штатс-контора не имела права вмешиваться в хранимые казначеем наличные деньги, а только давала ему ассигновки для выдачи кому следовало. Каждый год штатс-контора составляла государю бюджет по статьям, и если находила какую-нибудь статью ненужной, то представляла о том правительствующему сенату или государю, а о выдаче суммы, выходящей из пределов утвержденной годовой росписи, предварительно докладывала только самому государю. Она должна была постоянно сноситься с камер-коллегией, чтобы доходы сообразовались с расходами. Рентмейстер при штатс-конторе выбирался самим государем, а в провинциях их назначала штатс-контора, и все они от нее зависели. Рентмейстер, состоящий при штатс-конторе, заведовал государственною казною, которая помещалась в крепости, в каменном строении со сводами. Помогали рентмейстеру: бухгалтер и писарь.

Коммерц-коллегия, состоявшая из президента, вице-президента, советников, ассессоров, комиссаров и канцелярских служителей, ведала всю торговлю в России, торговое мореплавание, таможи, суд в купеческих тяжбах, городские привилегии и ярмарочные права, денежные дворы, переведенные в 1719 году из Москвы в Петербург, смотрела за ведением дел в магистратах и за полицией в городах, решала вексельные дела, давала облегчения от пошлин, надзидала над шлюзами, охраняла права торговых иностранцев, собирала сведения о ценах и пошлинах и о состоянии торговли за границу, для применения к России.

Юстиц-коллегия ведала окончательно всеми судными, розыскными, земскими и поместными делами и всем судоустройством в государстве.

Воинская коллегия сообразовалась с изданным ранее воинским уставом. Судные дела, по которым будет следовать смертная казнь, отсылались корпусными генералами в воинскую коллегию, а коллегия должна представлять их на решение государю. В то время война с Швецией уже подходила к концу; поэтому воинская коллегия занялась вопросами о содержании и размещении армии в государстве в мирное время и об отношениях граждан и военных людей друг к другу. Окончание продолжительной войны давало возможность отпустить с действительной службы часть воинов: престарелых и раненых велено отсылать в монастыри для содержания из монастырских доходов; унтер-офицерам и рядовым, происходящим из шляхетства, дозволено за ранами и старостью отправляться на родину и вступать по желанию в гарнизоны. В начале 1720 году отпущена была, за исключением Финляндского корпуса, до 1 марта 1721 г., треть всех офицеров и рядовых, но так, чтобы из каждого полка было в отпуску драгун не более 50, а солдат не более 40 человек. В начале 1721 года вводилась по России постоянная повинность, не исключая и Малороссии. Велено было расставить драгун и пехотные полки так, чтоб на определенное число жителей приходилось по солдату. Со стороны обывателей этим делом заведовали земские комиссары, выбираемые помещиками на один год: со всякой души помещики должны были давать на содержание солдат известные пропорции денег в два, три или в четыре срока в течение года, смотря по тому, как им будет удобнее. Определено, вместо размещения солдат на квартирах у крестьян, устроить слободы, так чтобы приходилось по избе на два человека солдат и на одного урядника. Каждого полка рота от роты должна была помещаться: драгун в десяти верстном расстоянии, а солдат – в пятиверстном. В середине помещения роты предположено сделать офицерам двор с избами для жилья им и их людям. Каждый полк от полка должен был отстоять: пехотный на 50 верст, а драгунский на 100 верст. Для полкового штаба надлежало сделать двор с восемью избами и сараями для помещения телег и полковых

ящичков. Но там, где дворяне не пожелали бы выстроить таких слобод, солдат следовало ставить у крестьян по дворам. В спорах между крестьянами и солдатами суд должен был производиться пополам: полковым комиссаром из офицеров и земским комиссаром из местных дворян. Земский комиссар обязан был собирать в своем уезде деньги на войско и отдавать полковому при всех офицерах. Приказано было сделать расписание: на сколько душ крестьян придется содержание рядового солдата, и затем более уже никаких податей и работ для войска не требовать, разве в случае неприятельского нападения или внутреннего междоусобия.

Адмиралтейская коллегия должна была установить единство и правильность в управлении военным флотом и всеми морскими делами. До тех пор высшим административным местом по этой части была «военная морских дел канцелярия», заменившая приказ адмиралтейских дел, находившийся прежде в Москве; но все распоряжения, главным образом, исходили от лица адмирала, которым был Федор Матвеевич Апраксин. Хозяйственную часть заведовал морской комиссариат под управлением обер-кригс-комиссара. В состав адмиралтейской коллегии входили: адмирал, вице-адмирал, обер-кригс-комиссар и несколько шаубенахтов. Под ее начальством были все прежние морские канцелярии и конторы, которых было тринадцать, сообразно разным видам морского управления. Для руководства этой коллегии составлен был в 1720 г. морской устав с предисловием, излагавшим предыдущую историю морского дела в России. Текст устава заключал в себе устройство морской службы, корабельную полицию и морское судопроизводство. Уголовные морские законы отличались еще большею суровостью, чем воинский устав, служивший руководством для армии. Матросы за легкие проступки подвергались битью шпицрутенами и кошками, за более тяжкие преступления – кнуту, вырезанию ноздрей и ссылке в каторжную работу и смертной казни, которая могла постигать и состоящих в офицерских чинах. Кроме повешения и отрубления головы, употреблялись: колесование, четвертование, прожжение языка и сожжение.

Адмиралтейская коллегия вступила в полную свою деятельность не ранее 1722 года, когда составлен был адмиралтейский регламент, где изложены были правила об управлении флота, содержании портов и верфей, указаны подробно обязанности начальствующих лиц и матросов и способ морского делопроизводства.

Горное дело Петр соединил в одном ведомстве с мануфактурным, так как обе отрасли государственного хозяйства были им равно особенно любимы, и в обеих отраслях необходимо было распространение специальных знаний и искусства. Тем и другим заведовала берг- и мануфактур-коллегия. Всем дозволялось, как на собственных, так и на чужих землях, искать металлов, минералов, красок и камней. Кто пожелает устроить завод, должен явиться в С.-Петербурге в берг-коллегию, а в Москве и других городах к берг-офицерам, определенным от берг-коллегии. Когда, после такого заявления, офицеры, посланные от берг-коллегии, произведут разведку, тогда хозяин может просить о дозволении открыть завод и получить жалованную грамоту. На разработку руды полагалось место в 250 сажен длиной и 250 шириной. Помещик без дозволения не мог строить заводов на собственной земле. Если же он не просил о разрешении самому устраивать завод, то должен был не препятствовать, когда другие в его землях будут искать руду и минералы и испросят дозволение строить заводы; в таком случае учредители обязаны платить владельцу земли одну треть прибыли, получаемой с каждого металла или минерала. Владелец завода обязан был продавать золото, серебро, медь и селитру в казну по ценам, установленным берг-коллегией, а железо, свинец, олово и другие металлы и минералы мог продавать свободно, кому хотел. Рабочие на заводах освобождались от солдатской и матросской службы и от всех денежных поборов, налагаемых повально на народонаселение. Кто, зная о существовании где-нибудь руды, утаивал ее перед казною, тот подвергался телесному наказанию и даже, смотря по важности вины, смертной казни.

Указ о порядке производства дел в иностранной коллегии мы застаем только в 1720 году, от 13-го февраля. В важных случаях президент и вице-президент должны были

созывать на обсуждение дел всех или нескольких действительных тайных советников, из которых первенствующее значение имели советники тайной канцелярии (Остерман и Степанов). Они должны были сочинять грамоты к иностранным государям, важнейшие рескрипты, резолюции и декларации, требующие великого секрета, а прочие, не так важные, поручать составлять своим секретарям, которые значились по экспедициям: на российском, польском, турецком и других иностранных языках.

28 февраля 1720 года составлен был генеральный регламент о порядке занятий и движении дел во всех коллегиях. Заседания происходили в каждой коллегии по понедельникам, вторникам, средам и пятницам, а по четвергам президенты всех коллегий должны были съезжаться в сенатскую палату, где им положено было находиться пять часов. По особенно важным делам они обязаны были съезжаться, несмотря ни на дни, ни на часы. За неприбытие в должность член коллегии наказывался за каждый просроченный час вычетом из жалованья, следуемого ему за неделю. Царский указ должен исполняться немедленно, не далее как через неделю, исключая случаев, когда необходимыми окажутся справки с губерниями и провинциями, но и тут было рассчитано время и пространство: положено было считать по два дня на 100 верст, и во всяком случае более шести недель не протягивать справки. Дела челобитчиков следовало вершить по реестру не более шести месяцев, под опасением штрафа 30-ти рублей за день. Дела казенные разбирались прежде частных. Все дела решались большинством голосов, а когда голоса разделялись поровну, то голос президента давал перевес. Отсутствие члена, хотя бы самого президента, не останавливало дела. Коллегиям давалось вакационное время: среди лета на четыре недели, зимние Святки, начиная с праздника Рождества Христова до праздника Богоявления, первая и последняя недели Великого Поста, неделя сырная и неделя пасхальная. Но все члены не могли отлучаться разом. В другое время, по мере надобности, президенты и вице-президенты получали отпуска более чем на восемь дней от государя, другие же служащие в коллегиях – от президента. Хозяином всего делопроизводства в коллегии был секретарь или начальник канцелярии, но при решении дел он голоса не имел. Нотариус вел протоколы, актуариус заведовал корреспонденцией, регистратор вел реестры входящих и исходящих дел, и при коллегии был еще особый переводчик. Канцелярские служители занимались письмоводством по указанию секретаря. У президента каждой коллегии была своя особая комната и свой особый секретарь, зависевший только от президента. Все коллегии находились под ведением сената, без его одобрения не могли печатать своих приговоров и указов, а если полагали, что сенат требовал исполнения чего-нибудь противного интересам царского величества, то должны были учинить письменное представление самому государю. В случае смерти или выбытия члена, место его замещалось баллотировкою в сенате. Служащие в коллегиях за преступления, содеянные ими, судились в тех же коллегиях. Каждая коллегия имела свою собственную печать, а в коллегии иностранных дел хранилась государственная печать, которою печатались грамоты к иностранным государям и малороссийским гетманам. При каждой коллегии устраивались две прихожих камеры для посетителей, но так, чтоб «люди знатного характера от подлых различены были». Прощение следовало подавать непременно в здании коллегии, а не на домах у президентов. Над каждой коллегией наблюдал особо назначенный фискал, сообщавший свои доносы генеральному фискалу.

Коллегии и канцелярии, учрежденные Петром на иностранный образец и даже с иностранными названиями, оказались до того дикими и чуждыми русскому народу, что он долго не мог понять хитрого и сложного механизма их. Челобитчики, нуждавшиеся в подаче просьб, становились в тупик – в какую коллегия или в какое место следовало подавать. Это побудило Петра 13-го мая 1720 года определить «знатную особу», а с нею секретаря, для приема челобитных, которые после принятия надлежало рассылать по коллегиям и канцеляриям. Вообще коллегии были плодом того взгляда, что все чужое, европейское, лучше русского. Первый, навеявший Петру мысль о коллегиях, был Лейбниц, который выражался, что хорошее управление государством, подобное божескому управлению вселенной, может существовать только при коллегиях, которых внутреннее строение

напоминало бы устройство часов, где колеса взаимно приводят в движение одно другое. Петру глубоко запали в ум наставления немецкого мудреца, и, через многие годы после бесед с ним, Петр устроил коллегии, приблизительно в тех основных формах, в каких наметил Лейбниц. Но вскоре оказалось, что не все удается сразу на практике, что кажется хорошим в предположениях.

Учредивши коллегии, государь скоро стал выражать недовольство на старинную медленность в делах. Иногда предписание высшего начальства оставалось и без исполнения, и без ответа. Царь повелел немедленно отвечать на другой день после получения бумаги, и только в важных делах давался недельный срок для ответа. За неисполнение указа царь угрожал разорением, ссылкой и даже лишением живота. Несмотря на такую угрозу, Петру беспрестанно приходилось слышать жалобы на неисполнение предписаний. Так, например, тотчас же по своем открытии, камер-коллегия и штатс-контора жаловались, что, после неоднократных требований, из губерний не присылаются к ним ведомости окладных и неокладных податей о приходах и расходах. По этому поводу за понуждением посланы были нарочные. За неисполнение требований коллегии губернаторы обязаны были виновных сковать по ногам, а на шею положить им цепи и до тех пор их не освобождать, пока они не исполнят своей обязанности. В 1720 году камер-коллегия и штатс-контора опять жаловались на неприсылку тех же ведомостей и сообщали, что в тех местах, откуда они были присланы, составляли их неверно. Опять посланы были нарочные с понуждением; их не слушали. Местные власти между собой не ладили; камериры жаловались на воевод, что они полагают им всякие препятствия, мешают отправлению их обязанностей и не отвечают на их требования. Юстиц-коллегия замечала, что в подведомственных ей местах в поместном приказе и расправной палате происходят медленность в ведении дел и упущения. На такие заявления трех коллегий Петр 23-го сентября пригрозил губернским и провинциальным властям жестоким наказанием за неисправность. Но такие угрозы были явлением чересчур обычным, чтобы иметь большое влияние. От губернаторов и воевод «не только слабое отправление идет, но и весьма многое ослушание чинится и якобы ни во что оное вменяются только восстановить надлежащий в коллегиях порядок, а фискалы о том не доносят... один суд другой суд ни во что вменяет и не только исполнять, но с яростью поносить хочет», такую картину современного порядка изображал государь в своем указе. Все делалось как будто в насмешку над изданным недавно генеральным регламентом, по которому все правительственные и судебные места должны были оказывать друг другу взаимное вспоможение. В самом составе коллегии происходили раздоры. Членам юстиц-коллегии Петр должен был замечать, чтоб они не считались местами и не ссорились из-за мест, и припомнил им, что старые разряды давно уже навеки оставлены и до конца искоренены. При злоупотреблениях тогдашних русских судебных и административных мест, при неразвитости народа, царская воля толковалась чрезвычайно произвольно. Чтобы положить пределы беззакониям, в начале 1720 года царь указал вперед посылать не письменные, как прежде бывало, а печатные указы и прочитывать их народу в церквях.

29 мая 1719 года был издан важный сенатский указ об устройстве губерний. Теперь все губернии разделялись на провинции, провинции имели уезды. В С.-Петербургской губернии было 12 провинций: С.-Петербургская, Выборгская, Нарвская, Ревельская (которую предположено обратить в губернию), Великолуцкая, Новгородская, Псковская, Тверская, Ярославская, Углицкая и Белоозерская. Московская губерния имела 9 провинций: Московскую, Переяславльско-Рязанскую, Костромскую, Суздальскую, Юрьевопольскую, Владимирскую, Переяславль-Залесскую, Тульскую и Калужскую. Киевская губерния разделялась на 4 провинции: Белгородскую, Севскую, Орловскую и Киевскую. Азовская – на 5, а именно: Воронежскую, Елецкую, Тамбовскую, Шацкую и Бахмутскую. Рижская – на 2 провинции: Рижскую и Смоленскую. В Архангелогородской было 4 провинции: Двинская, Вологодская, Тотемская, Устюжская и Галицкая. В Сибирской 3 провинции: Вятская, Соликамская и сибирские города; всего их было 19, начиная от Тобольска и кончая Якутском. Казанская – 4 провинции: Казанская, Свияжская, Пензенская и Уфимская.



Нижегородская заключала в себе 3 провинции: Нижегородскую, Самарскую и Алатырскую. Астраханская не значится разделенной на провинции; к ней относились все города по нижней Волге, от Симбирска до Астрахани.

Для отправления из коллегий указов и для получения донесений из губерний и провинций с конца апреля 1719 года устроены были почты, от С.-Петербурга до всех значительных городов, где были губернаторы или провинциальные воеводы. Дозволено было на этих почтах ездить по собственной надобности и выдавать подорожные, но за двойные прогоны. За письма по весу положено было брать 1 1/2 деньги за золотник. Купеческие письма на эти почты не принимались, потому что для торговых дел существовала почта от иностранной коллегии. В феврале 1721 года правила о подорожных распространены были и на Малороссию. Почтовому порядку долго мешало то, что офицеры и курьеры, ездившие по казенным делам, причиняли ямщикам насилия, и от этого ямщики, поселенные еще в 1714 году на пути от Петербурга до Волхова, в 1720 году все почти разбежались.

Давно уже у Петра была мысль преобразовать русские города и поставить их в новом виде, по европейскому образу. Эта мысль нашла себе осуществление 16 января 1721 г. в издании регламента главного магистрата. Еще в 1720 г. предприняты были предварительные работы под начальством князя Трубецкого. Все русские города приводились в зависимость от центрального места, называемого главным магистратом, где председательствовал обер-президент с членами. Главный магистрат обязан был учредить во всех русских городах магистраты, снабдить их добрыми уставами, доброй полицией и управлять ими. Города разделялись на 5 разрядов: 1-го разряда – главнейшие, в которых было от 2 до 3 тысяч дворов; к таким принадлежали, между прочим: Москва, Петербург, Новгород, Рига, Ревель, Архангельск, Ярославль, Вологда, Нижний Новгород, Казань и Астрахань; 2-го разряда – города как внутренние, так и приморские, имевшие от 1 до 1 1/2 тысяч дворов; 3-го разряда – внутренние и приморские, имевшие дворов от 500 до 1000; 4-го – от 250 до 500 дворов; 5-го – маленькие городки и слободы. Велено было губернаторам и подначальным им лицам доставлять подробные ведомости о состоянии городов с чертежами, по которым можно было понять местоположение их. Город, по понятию законодателя, собственно состоял из торговых людей и ремесленников; это были настоящие граждане, для которых существовал магистрат. Они разделялись на 2 гильдии. К 1-й гильдии принадлежали: банкиры и знатные купцы, доктора, аптекари, шкиперы купеческих кораблей, мастера золотых и серебряных дел, живописцы, иконники и другие, производящие свое искусство в большом размере. Ко 2-й гильдии принадлежали торговавшие мелкими и харчевыми припасами и менее значительные ремесленники. Каждое ремесло или художество должно было иметь свой цех, под начальством ольдерменов, которые вели книги, где записывались права и правила цехов. Люди, так называемые подлые, проживавшие наймами и черными работами, не причислялись к гильдиям; не принадлежали к последним и не зависели от магистрата все жительствовавшие в городе люди шляхетного достоинства и духовного сана, не торговавшие и не занимавшиеся ремеслом. Указано было собрать в городах гостей, гостиной сотни людей, гостиных детей и вообще первостатейных, зажиточных и умных граждан, из них составить магистрат, а в магистрате выбрать президента, в других же менее важных городах – бургомистра. Выбор президентов, а в других городах бургомистров совершался так: главный магистрат посылал указ о выборах. Губернатор, получивши этот указ, собирал граждан для производства выбора. Выбор исполнялся по большинству голосов. Губернатор посылал выборы вместе с 3 или 4 искусными людьми в С.-Петербург, в главный магистрат, для уразумения инструкции. Когда главный магистрат находил выбранных достойными, то посылал о них указы и по тем указам созывались уже все граждане: им объявлялось, чтобы они были послушны выбранным властям. Затем произносилась присяга выборными членами. В городах первой статьи были: президент и с ним 4 бургомистра, в городах 2-го разряда – президент с 3 бургомистрами, в городах 3 и 4 разрядов – по 2 бургомистра, а в прочих, т.е. маленьких, – по одному бургомистру. Ко всякому бургомистру придавалось ратманов в

больших городах по 2 человека, а в средних и меньших неопределенное число по рассмотрению. В случае преступления, обеднения или кончины одного из членов магистрата, на его место выбирался другой, тем же способом. Могли быть выбираемы в члены магистрата и иностранные купцы, но записавшись в гражданство того города, где их выбирали. Члены магистрата освобождались от всяких других гражданских служб. Главный магистрат был судебное место на всю Россию для купцов и ремесленных людей, по всяким уголовным делам. По его распоряжению в городах, где было по несколько бургомистров, один из них занимался розысками по уголовным делам и имел право подписывать решения по всем делам, кроме государственных; но когда следовала смертная казнь, то исполнение приговора задерживалось до подтверждения главным магистратом. На бургомистров в малых городах апелляции подавались в магистраты с президентами, находившиеся в тех городах, где помещалось провинциальное начальство. Недовольные этим судом могли жаловаться в высший магистратский суд. В случае тяжбы гражданина с негражданином, дело производилось в надворном суде, но сообщая с президентом магистрата, а когда же происходило разногласие между надворным судом и президентом, то решал дело главный магистрат. Обязанностью главного магистрата было стараться, чтобы новоучрежденные магистраты везде были содержаны «и в такую знатность и почтение приведены, как в иных государствах обыкновенно есть». Главный магистрат, по образцу чужих государств, должен был, по своему усмотрению: заводить большие и малые ярмарки, в приморских знатных купеческих городах устраивать биржи, где бы купечество сходилось для своих торговых дел, постановлений и векселей, при бирже учреждать присяжных маклеров, которых бы записки имели силу судебных протоколов, выбирать в городах квартирмейстеров для размещения военного поста. Велено было устроить цухтгаузы (смирительные дома) для исправления непослушных родителям детей, расточителей своих имений, лентяев, нищих, гуляк; для исправления же дурного поведения женщин – шпингаузы или прядильные дома; для призрения увечных, престарелых и сирых – госпитали; а для научения чтению, письму и арифметике – школы.

В каждом большом и среднем городе повелено строить ратушу, помещавшуюся в каменном доме на площади, в два жилья; верхнее назначалось для магистрата, а нижнее отдавалось под лавки. Кроме членов магистрата, в нем должен быть секретарь и некоторое число приказных. Каждый год все магистраты обязаны были посылать в главный магистрат генеральные рапорты, по установленной форме, о состоянии своего города. Магистраты не подчинены были губернаторам и воеводам в делах городского суда и экономии, и, в случае несогласия магистрата с гражданами, судил главный магистрат. В преобразовании городов видно то же стремление Петра переделать по наружному виду Россию на иностранный лад. Законодатель сознавал, что купеческие и ремесленные люди в России «от всяких обид, нападков и отягощений несносны, едва они не разорены, отчего оных весьма умалилось, что есть не без важного государственного вреда». Он думал для процветания в России промыслов и торговли сделать русский город подобием немецкого, пересадив в него некоторые немецкие признаки устройства с чуждыми русскому уху названиями, которые неудобно складывались в русской речи. Впрочем, царь сознавал, что невозможно всего сделать сразу, и потому предоставил главному магистрату подавать в коллегии свои предложения о переменах уставов, касающихся торговли и мануфактуры. Обер-президент главного магистрата присутствовал в коллежских совещаниях по этим предметам и мог делать предложения камер-коллегии, заведовавшей поборами и налогами, если находил какие-нибудь меры обременительными для граждан.

Через несколько дней после издания магистратского регламента, 25 января того же года, явилось другое, еще более важное преобразовательное законоположение – регламент духовной коллегии. После основания коллегий, обнимавших различные отрасли общественного строя, оставалось только ввести коллегиальный порядок и в церкви. В предисловии к духовному регламенту выражена мысль о логическом переходе идеи коллегиальности от мирской области в церковную. «Хотя, – говорится в нем, – власть

монархов самодержавна, но ради лучшего взыскания истины и чтоб не клеветали непокорные люди, что монарх имеет своих советников, тем более это необходимо в церковном правлении, где правительство не монаршеское есть и правителем заповедуется да не господствуют клиру». Коллегиальный порядок признавался самым удобным и пристойным для церкви, и потому-то учреждалась для всех церковных дел духовная коллегия. Под духовными делами разумелись два рода дел: одни касались вообще всех принадлежащих к церкви лиц, как духовного, так и мирского чина, от мала до велика; ко второму разряду причислялись собственно дела, касавшиеся лиц духовного звания. Сообразно духу Петра, духовный регламент начинается с преследования того, что по невежеству боготворила старина, не допуская никакой здоровой критики. В благочестивой письменности русского народа уже чересчур много накопилось историй и житий святых, из которых многие явно были вымышленными; о них сделал замечание регламент, указавши для примера только на подложность одного жития, именно жития Евфросина Псковского с его сугубо аллилуйею, послужившею старообрядству одним из нагляднейших пунктов отпадения от церкви. Разом с житиями, регламент зацепил акафисты и разные молитвословия, распространявшиеся из Малороссии. Регламент причислял к ним и те, которые, не заключая ничего противного церковной истине, все-таки могли быть не обязательны для всех и не должны были читаться в церкви, «дабы по времени не вошли в закон и совести человеческой не отягощали». Предполагалось искоренять разные суеверия, вошедшие в народ, например: не делать дела по пятницам, чтоб пятница не разгневалась; поститься 12 пятниц, надеясь оттого разных духовных и телесных приобретений; признавать богослужение некоторых дней в году святее прочих, напр., обедню Благовещения, утреню Пасхи и вечерню Пятидесятницы; верования, что будто погребенный в Киево-Печерской обители будет спасен, хотя бы умер без покаяния. Вера в чудотворные иконы вела к тому, что архиереи, желая оказать помощь убогим церквам, повелевали подыскивать явленные иконы в пустынях или при источниках, возводили их в чудотворные, и таким образом распространялись в народе суеверия, выгодные для духовенства. Регламент вооружился против этих злоупотреблений, как и против некоторых народных обрядов, которым потакали духовные особы вопреки правилам церкви. Например, дошел до составителей регламента слух, что в Малороссии водили с распущенными волосами женщину, называя ее пятницею, а духовенство позволяло такие церемонии в церковном ходе и раздачу этой пятнице даров от народа перед церковью. В другом же месте попы, потакая народным суевериям, молебствовали перед дубом и раздавали на благословенье присутствующим ветви от дуба. Замечалось в совершении церковного богослужения уклонение от благочиния: например, отправлялись разом в одно время два и три молебна различными певцами и чтецами. Все это были замечания такого же рода, какие делались еще при царе Иване, перед написанием Стоглава, но затем следовали указания, свойственные времени большего образования: «Бесконечная нужда иметь некоторые краткие и простым человекам вразумительные и ясные книжицы, в которых заключится все, что к народному наставлению довольно есть и тыя книжицы прочитав по частям в недельные и праздничные дни в церкви пред народом». Законодатели сознавали, что таких благочестивых книг существует довольно, но они написаны или переведены с греческого на славянский не просторечно «и с трудностью разумеются от человек и обученных, а простым невежам отнюдь непостижаемо». Предположено было сочинить три небольших книжицы: первая о догматах веры и божьих заповедях, вторая о собственных каждого чина должностях; обе эти книжицы должны доводы свои почерпнуть из самого Священного Писания кратко и всем понятно, третья книжица должна была заключать в себе собранные от разных святых учителей нравоучительные проповеди. Все три книжицы, которые удобно будет переплести в одну, должны быть читаны в церквах в течение трех месяцев раз, так что народ будет иметь возможность услышать их четыре раза в год. Архиереи поставлялись по указанию царя из двух представленных на его утверждение выбранных лиц. На случай болезни или временного своего удаления из епархии, епископ должен был иметь в виду заранее, для

заступления своего места, надежного архимандрита или игумена. Для наблюдения за своей епархией епископ должен был установить законщиков, иначе благочинных, т.е. духовных фискалов, которые бы доводили до его сведения обо всем, что будет требовать исправления. В своем доме или в другом, по своему усмотрению, епископ должен содержать школу для первоначального обучения священнических детей. Здесь он будет в состоянии видеть, кто по способностям может со временем быть произведен в священники и кто должен быть заранее отпущен из школы, с отнятием надежды на получение священства когда бы то ни было. На содержание такой школы постановлено брать от знатнейших монастырей и церковных земель известную долю хлеба. Епископ не должен держать у себя лишней прислуги, строить для своей прихоти лишние здания, заказывать лишнее облачение и домашнее платье ради роскоши. У архиерея при трапезе должны читаться церковные законоположения. Хотя у него в руках дело великое, но в Священном Писании не определено ему никакой чести, и регламент не позволял, ради почета, водить его под руки и кланяться ему в ноги. Не должен он злоупотреблять своим правом отлучения от церкви, но следует ему употреблять прежде легкие меры наставления, для приведения грешников в покаяние, а потом уже, когда такие средства не будут действовать, – отлучать их временно от святого причащения; предавать анафеме можно было только явно нераскаивающихся грешников, либо таких, которые станут открыто хулить имя Божие, Священное Писание или церковь, но и то приступать к анафеме не иначе как с разрешения духовной коллегии. Самая анафема могла налагаться только на одно согрешившее лицо, а не распространяться на его семейных без их сознательного участия в вине. Епископ должен был объезжать свою епархию всего удобнее в летнее время, но, приезжая в убогие места жительства, он, чтобы не затруднить священнослужителей и обывателей, мог устраивать себе временное пребывание на поле. По приезде в город или село, епископ должен служить литургию и соборное молебствие, а потом говорить слово, обращенное к духовенству и народу. Затем епископ должен был наводить справки об образе жизни и поведении духовенства и творить надлежащую по этому поводу управу; не покончивши всей управы в месте, куда приехал, он не должен был ни сам звать к себе гостей, не идти к кому-нибудь по приглашению в гости. Между прочим, епископу вменялось в обязанность особенно наводить справки: нет ли каких суеверий, не шатаются ли беспутно монахи, не являются ли кликуши, не расходится ли весть о ложных чудесах, мощах, иконах, колодцах и т.п. Епископские служители не должны домогаться от монахов и священников кушанья, питья и лишнего конского корма, «ибо слуги архиерейские, – гласит регламент, – обычно бывают лакомые и где видят власть святого владыки, там с великою гордостью и бесстудием, как татары, на похищение устремляются». На суд епископский предоставлялось подавать апелляцию в духовную коллегию.

По предмету учения и заведения школ, регламент распространяется сначала о вреде от невежества, потом о вреде от лжеучения, наконец вменяет в обязанность духовному начальству допускать в звание учителей не иначе как по экзамену и выбирать хорошие руководства к преподаванию по всяким предметам. При школах надлежало быть открытой во все дни и часы библиотеке, какую полагалось возможным в то время купить за две тысячи рублей. Предполагалось завести академии и при них семинарии: последними назывались собственно помещения для жилья учеников. Преподавались: 1) грамматика, разом с географией и историей; 2) арифметика и геометрия; 3) логика; 4) риторика и стихотворное учение; 5) физика с краткой метафизикой; 6) политика Пуффендорфова; 7) богословие. Всех лет учения полагалось восемь, и два года из них отделялись на богословие. Языки греческий и еврейский следовало преподавать в таком только случае, если найдутся учителя и свободное для преподавания время. Начальствовать над академией должны были: ректор и префекты. В их заведовании находились низшие школы, которые они обязаны были посещать в неделю по два раза. Все протопопы и богатейшие священники должны были присылать детей в академию. Для заведения академий следовало выбирать места не в середине города, а в стороне. Семинарию предполагалось устроить наподобие монастыря, где бы жилье, одеяние и содержание давалось известному числу воспитанников от 50 до 70 и

более. Принимать в семинариум можно было детей от 10 до 15-летнего возраста и помещать по восьми и по девяти особ в одном покое, под присмотром префекта или надсмотрщика, имевшего право наказывать малых розгами, а средних и больших выговором. Ректор мог всякого наказывать по своему рассуждению, но удалять вовсе из заведения – только с ведома духовной коллегии. Семинаристы в течение дня должны были все делать по звонку, «как солдаты по барабанному бою». По поступлении в семинариум первые три года позволялось ученикам ходить в гости к родителям или родным, не более как на 7 дней и под наблюдением инспектора, который должен быть при семинаристе везде. Родственников и гостей, посещающих семинариумы, можно было принимать с ведома ректора в трапезе или в саду, а в присутствии ректора дозволялось угощать гостей кушаньем и питьем. Каждый день давалось семинаристам два часа на прогулки и развлечение; однажды или дважды в месяц они отправлялись на острова, поля и вообще веселые места. В трапезе происходило чтение из военной и церковной истории, а в начале каждого месяца, в продолжение двух-трех дней, читались повествования о мужах, прославившихся наукою, о церковных великих учителях, о древних и новейших философах, астрономах, риторках, историках и проч. В большие праздники допускалась в трапезе при столе музыка, а по два раза в год или более можно было устраивать «некие акции, диспуты, комедии и риторские экзерциции». Убогим семинаристам предоставлялись пропитание и одежда от щедрот царского величества, а дети богатых отцов должны были платить за свое содержание по установленной один раз цене. Но предполагалось за пределами семинариума построить еще жилья и отдавать внаем студентам.

Проповедником мог быть только учившийся в академии и подвергнутый освидетельствованию духовной коллегии. Проповедник должен убеждать своих слушателей доводами из Священного Писания: твердить им о покаянии и исправлении житья, наипаче о почитании высочайшей власти. Говоря о грехах, он не должен был делать намеков на лица, и если бы о ком-нибудь пронесся недобрый слух, проповедник не должен был в присутствии такого лица говорить слова о таком грехе, в каком это лицо обвиняли. Регламент замечает, что проповедник не должен, как некоторые делают, подымать брови, двигать плечами, «отчего можно познать, что они сами себе удивляются», покачиваться на сторону, руками вскидывать, в бока упираться, подскакивать, смеяться и рыдать, не должен в проповедях своих порицать мир в таком смысле, что мирской человек спастись не может, как некоторые монахи наговаривают: оставить жену, детей, родителей и ненавидеть их, понеже рече заповедь: не любите мира, ни яже суть в мире.

Всякий христианин обязан слушать от своих пастырей православное учение и хотя бы единожды в год причащаться Святых Тайн. Удаление от причащения обличает принадлежность к расколу: «несть лучшего знаменья, почему познать раскольщика». И потому приходские священники ежегодно должны доносить епископам о тех, кто у них в приходе не причащался год, два или никогда. Епископы должны разыскивать о потворщиках расколу, сообщать о них в духовную коллегию, которая будет налагать анафему на виновных. Никого из раскольников не следует допускать к должностям, не только к духовным, но и гражданским. Если на кого-нибудь будет подозрение в склонности к расколу, тот обязан дать присягу с подпискою в непринадлежности к расколу. Духовной коллегии, названной Святейшим Синодом, вверен был надзор и суд над раскольниками, но в то же время государь счел нужным предохранять раскольников от таких притеснений, которые естественно могли возникнуть при расширении фанатизма духовных. Осенью 1721 г. Синод жаловался, что лицам, посылаемым от духовенства для поимки раскольничьих учителей, не оказывается беспрекословного послушания, требуют у них указов от светского начальства. Государь дал такое решение: духовные не должны затевать никакой напраслины, и потому духовный приставник, задержавши по обвинению в расколе какое-нибудь лицо, должен приводить его к светскому начальству; последнее может отдать его снова духовному приставнику, но в то же время написать о нем в Синод или сенат, и дело окончательно решится уже в Синоде, при двух членах сената.

По духовному регламенту воспрещалось кому бы то ни было, кроме царской фамилии, устраивать церкви и держать крестовых попов. «Все господа могли ходить в приходские церкви, и нечего им стыдиться считать своею братиею таких же христиан, как они сами, хотя бы то были и их подданные». Запрещалось понуждать священников идти в дома для крещения младенцев, исключая сильной болезни младенцев или какой-нибудь крайней нужды их родителей. Венчание должно происходить в том приходе, где жительствоует либо жених, либо невеста, а не в чужом и в особенности не в чужой епархии. В случае какого-нибудь сомнения насчет правильности предполагаемого брака, священники должны испрашивать разрешение у епископа. Ставимый в приходские священники должен представлять одобрительное свидетельство от прихожан или от владельцев вотчины, а последние должны при этом обозначать, какая дается священнику руга или земля; священник же перед своим поставлением в сан, дает подписку, что будет доволен тою ругою или землею и не отойдет до своей смерти от церкви, куда посвящается. Отлученного священника никому не следует принимать в духовники и считать его в священном чине.

Духовная коллегия должна была состоять из правительствующих лиц, числом не менее двенадцати, из которых трое должны носить архиерейский сан, а прочие могут быть архимандриты, игумены и протопопы, но с тем, чтобы не были подручны никому из архиереев, находящихся в том же собрании. Духовная коллегия предварительно цензировала представляемые к печати богословские сочинения, производила дознание о явлении нетленных мощей, о разных слухах, видениях и чудесах, творила суд над изобретателями раскола или новых учений, разрешала недоумения, вопросы совести, рассматривала дела о неправильном завладении церковными имуществами, о насилиях, творимых сильными мирскими господами духовенству, и разом с юстиц-коллегией разрешала сомнительные пункты относительно завещаний.

Отвращение царя Петра к нищенству высказалось и в духовном регламенте. Духовная коллегия должна была сочинить наставление о том, как подавать милостыню. «Многие бездельники, – говорится в регламенте, – при совершенном здравии, за леностью, пускаются на прошение милостыни и по миру ходят бесстыдно, иные с притворным стенанием перед народом поют и простых невежд еще вяще обезумливают, приемля за то вознаграждение себе... по дорогам, где угодно видят, разбивают, зажигатели суть, на шпионство от бунтовщиков и изменников подражаются, клеветуют на властей высоких и самую власть верховную обносят... и что еще меру превосходит бессовестие и бесчеловечье оных, младенцам своим очи ослепляют, руки скорчивают и иные члены развращают, чтоб были прямые нищие и милосердия достойны...» Вменялось духовной коллегии изыскать способы отвратить духовенство от алчности и бесстыдного нахальства, с каким оно обирало прихожан за разные требы и молитвословия. Надлежало устроить так, чтобы священники, имея довольные средства, не вымогали ничего за венчание, крещение, погребение и прочее, хотя не возбранялось священникам, как вообще всяким другим, принимать добровольное подаяние. Духовные судились в синоде, а если духовное лицо совершало уголовное преступление, то его сперва лишали сана и потом уже предавали мирскому суду; в делах же гражданских духовные ведались в коллегиях, наравне со всякими другими российскими подданными. Указом 14-го февраля 1721 года Монастырский приказ уничтожался, и все патриаршие и архиерейские имения повелено ведать Синоду.

Медицинская часть в России была издавна оставлена совершенно без внимания. При Петре полагался зачаток некоторого правильного устройства ее. К этому побуждали царя моровые поветрия, которые, как известно, с древних времен опустошали русские края и посещали их при Петре. В 1718 году показалась моровая язва в Старооскольской и Белгородской провинциях; Петр, указом 24-го октября этого года, велел отправить туда сведущих и надежных врачей, для задержания едущих с тех сторон, где была моровая язва. В 1720 году последовал указ о повсеместном введении таких охранительных мер. Губернатор, получив известие о моровом поветрии, тотчас должен был устроить в пристойных местах заставы, где бы поддерживались постоянно огни, всех едущих из зараженных мест

расспрашивать и по надобности задерживать на шесть недель, не позволяя ни с кем сообщаться. Письма, шедшие чрез такую заставу, переписывались в двух списках: оригинал оставался на заставе, а копия отправлялась по назначению. Если зараза прорывалась куда-нибудь, зараженное место запиралось и укреплялось караулами, которые не выпускали никого из жилого места и не пускали внутрь его. Дома, где были больные заразительною болезнью, сжигались, а обитатели выводились с домашним скотом и рухлядью. Для большей острастки жителям, велено ставить виселицы, назначенные для тех, которые бы стали тайком прокрадываться мимо заставы.

14-го августа 1721 года было учреждено центральное место, управлявшее всю медицинскую часть: то была медицинская контора, отданная под управление доктора Блюментроста; ей подведомы были все врачи и аптекари, с их аптеками во всей России. Но дело медицинское не могло удачно идти при Петре, когда до него не было в России ни одного учебного заведения для приготовления врачей; все врачи в этой стране издавна были только иностранцы и не всегда искусные, так как их оценивать было некому в России. Царь, во всех своих преобразованиях показывавший желание, чтоб у него в государстве было то, что он видел за границею, побывавши несколько раз на минеральных водах в Германии, хотел, чтоб и в России были минеральные воды. Нашлись такие воды – олонекские. Петр оказал к ним большое доверие, но русская публика, от своих предков усвоившая недоверие к медицинским средствам, не относилась к этим водам так, как царь, и тогда Петр издал грозный указ, запрещающий порочить воды.

Перестраивалось государственное управление и суды; Петр видел необходимость составить новое уложение законов. В его царствование так много было введено нового, что действовавшее еще уложение Алексея Михайловича не обнимало всех сторон народной жизни и не давало ответов на возникавшие юридические вопросы. Петр, нигде почти не бывший самостоятельным творцом, но везде переносивший чужое на русскую почву, и в этом важном деле остался верен себе. Он принял за образец, для составления нового русского уложения, готовое шведское и указом 8-го августа 1720 года приказал учредить комиссию, в которой главным образом заправляли делами иноземцы, сидевшие в коллегиях: Нирод, фон Бревер и Вольф.<sup>200</sup> Кроме шведского уложения, они должны были руководствоваться правами лифляндскими и эстляндскими. Это предначертание осталось неприведенным в исполнение, как и многое в числе планов и намерений государя.

## **V. Политические события от Прутского до Ништадтского мира**

По окончании военных действий против турок, театр Северной войны некоторое время сосредоточивался в Померании и Финляндии. Русский царь действовал со своими первоначальными союзниками, датским и польским королями, а король прусский колебался между двумя враждебными сторонами, впрочем, стараясь показывать наиболее дружеское расположение к царю. Шведское войско в Померании и вообще на южном побережье Балтийского моря состояло под главной командой генерала Штейнбока. Сам царь лично предводительствовал против него своим войском, 12 февраля 1713 года напал на шведов при Фредерикштадте, нанес им поражение и взял этот город. Штейнбок двинулся в Голштинию, которая находилась тогда во владении несовершеннолетнего Карла Фридриха, сына герцога, убитого в Клисовской битве в 1702 году. Этот молодой герцог состоял под опекой своего дяди, любекского епископа, который носил титул администратора Голштинского герцогства. Штейнбок заключил с этим администратором договор, которым администратор давал право шведскому войску укрыться в замке Тонингене, а Штейнбок от имени своего короля обязывался вознаградить герцога за всякие потери, которые причинил бы Голштинии датский король, когда бы последний открыл военные действия.

---

<sup>200</sup> К ним приданы русские судьи: Клокачев и Короваев, обер-комиссар Зыбин, советник ревизион-коллегии Наумов, ландрихтер петербургской губернской канцелярии Мануков и еще несколько секретарей, подьячих и переводчиков.

После отхода Штейнбока к Тонингену, Петр поручил вести войну датскому королю, дав ему в помощь русский отряд под командой Меншикова, а сам намеревался воевать против шведов в Финляндии. Возвращаясь в Россию, Петр заехал сначала к ганноверскому курфюрсту, а потом к молодому прусскому королю, только что вступившему на престол после смерти своего отца. Петру не удалось втянуть в Северную войну прусского короля; последний следовал политике своего родителя, уверял Петра в дружбе к нему, но не хотел явно становиться во вражду с Швецией и наблюдал, чтобы обстоятельства доставили ему случай извлечь пользу из этой войны, без больших усилий с его стороны. Вернувшись в Петербург, царь летом 1713 года, с 12000 войска, поплыл к берегам Финляндии, пристал к Гельсингфорсу, прогнал оттуда шведского генерала Любекера и поручил, вместо себя, вице-адмиралу Апраксину продолжать войну в Финляндии. В конце августа русские овладели столицей Финляндии Або, покинутой и шведским войском и жителями, а в октябре того же года Апраксин и генерал Голицын разбили шведского генерала Армфельда близ Тамерфорса, и вся почти Финляндия до самой Каянии очутилась в руках русских.

Между тем князь Меншиков, оставленный Петром на южном побережье Балтийского моря с русским войском в помощь датскому королю, сошелся с голштинским министром Герцом, которому суждено было играть важную роль в дипломатии по вопросу об окончании Северной войны. Герц представил Меншикову проект о тесном союзе голштейн-готторпского дома с Россией. Этот союз, по его предположению, должен был утвердиться браком молодого герцога с царевною Анною, дочерью царя Петра. Вместе с тем Герц подал план склонить шведских комендантов, начальствовавших над городами Померании, отдать их в секвестр прусскому королю и голштинскому администратору. Последний план понравился Петру, потому что давал ему надежду втянуть прусского короля в войну против Швеции, чего давно уже хотелось русскому царю. Штейнбок сдался союзникам военнопленным в Тонингене, а Меншиков взял контрибуции с Гамбурга и Любека за то, что эти города не прерывали во время войны сношений со шведами; потом принялся осаждать Штетин, где шведским комендантом был генерал Мейерфельд. Прусский король охотно готов был овладеть Штетинском под видом отдачи ему этого города в секвестр, по мысли, брошенной Герцом, но помогать явно Меншикову своей артиллерией он не решался. 19-го сентября 1713 года Мейерфельд сдал Штетин, а Меншиков передал этот город, вместе с другими доставшимися городами, в секвестр прусскому королю и голштинскому администратору, как условлено было с Герцом. Датский король был очень недоволен этим, главное за то, что взятые у шведов города отдавались под секвестр не одному прусскому королю, а еще и голштинскому администратору; датский же король считал голштинский двор, по его родственной близости с шведским королем, на шведской стороне. Но если русский царь рассчитывал на отдачу в секвестр померанских городов Пруссии, в видах затянуть Пруссию в войну против шведов, то явные и тайные враги России рассчитывали на то же обстоятельство, чтоб искутить прусского короля возможностью, помимо России, приобрести Померию себе в вечное владение и надеялись вооружить его против Петра. Франция прямо подушала прусского короля против русского царя; Англия собственно имела в виду то же, но действовала по наружности миролюбивее, предлагая посредничество для прекращения Северной войны. Герц между тем, через посредство другого голштинского министра Бассевича, старался расположить царя Петра к своим видам и предлагал, кроме брака молодого герцога с царской дочерью, еще доставить этому герцогу шведскую корону, по смерти Карла XII, а чтобы расположить царя к этой мысли, соглашался на важные уступки России от Швеции. Ближайшая цель Герца была поскорее рассорить Петра с датским королем, с которым, как он замечал, уже не ладилось у русского царя; но это намерение никак не удавалось на первых порах голштинскому дипломату. Царь действительно был очень недоволен датским королем за медленные действия в войне, но не хотел с ним решительно ссориться, а грозил издалека Дании для того только, чтоб заставить ее помогать ему живее против шведов, и потому предлагал датскому королю деньги и провиант на войско, если он поторопится двинуть свой флот против шведов. Датский король



не двигался весь 1714 год, а прусский думал только забирать под свою власть шведские города без войны. Такое желание заявлял и курфюрст ганноверский, ставши по смерти королевы Анны английским королем: он возымел притязание присвоить себе Бремен и Верден. Таким образом, много было охотников ловить в мутной воде рыбу и делать приобретения за счет Швеции, но вести войну со Швецией приходилось одному Петру. И Петр вел ее всю весну и лето 1714 года. Генерал князь Голицын снова разбил Армфельда, затем Выборгский губернатор, полковник Шувалов, в июне покорил крепость Нишлот. Но самым блестящим делом русских была морская победа при Гангуте: одержанная под начальством самого Петра, там шведы потеряли 936 человек убитыми, 577 пленными; шведские корабли со 116 пушек были взяты и привезены в Ревель. Вслед за этой победой царь, с 16 т. войска, пристал к Аландским островам и овладел тамошними укреплениями и портом; оттуда недалеко уже было до Стокгольма; в шведской столице распространился всеобщий страх: адмирал Ватранг готовился защищать вход в стокгольмский порт. Наступившая осень не позволила Петру отважиться сделать на шведскую столицу нападение. Русский царь возвратился в Петербург, устроил себе торжественный въезд, принимал от своих сенаторов и иностранных министров поздравления с победами, получил чин вице-адмирала и пировал во дворце Меншикова. Петр оказывал большие знаки почтения пленному шведскому адмиралу Эрншильду: «Вот, – говорил царь своим русским, – верный и храбрый слуга своего государя, достойный величайшей награды от его рук и теперь приобретший мое благоволение до тех пор, пока он будет со мною; хотя он перебил у меня много храбрых русских, что я им (шведам) всем прощаю, пока они теперь все в моей воле». Эрншильд отвечал: «Хотя я поступал честно, служа моему государю, но я исполнил не более как свой долг; я искал смерти, но смерть не встретила меня, а теперь, в моем несчастье, мне остается немалое утешение быть пленником вашего величества и пользоваться таким вниманием великого мореходца, достойного вице-адмирала».

Между тем, в ноябре того же 1714 г., Карл XII, убежавший из турецких владений, явился в Штральзунде, в Померании. Явление Карла подогрело упавший в его отсутствие дух шведского войска, но вместе с тем не содействовало ходу дел к примирению. Карл не хотел утверждать договора об отдаче Штетина прусскому королю в секвестр, не хотел воздерживаться от враждебных действий против датчан и саксонцев внутри немецкой империи, не хотел признавать уступки Бремена ганноверскому курфюрсту; Карл, наконец, возбуждал смятение в Германии, впутывая в союз с собой ландграфа гессен-кассельского, которого сын был женат на сестре Карла XII, Ульрике Елеоноре. Прусский король, уклонявшийся до сих пор от войны, увидал, что не получит желаемых приобретений одним дипломатическим путем без войны: он вступил тогда в открытый союз против шведов и отправился с войском осаждать Штральзунд, куда также прибыл датский король. Прусский король показывал вид, что защищает нейтральность Немецкой империи и всех принадлежащих к ней владений; дело секвестрации представлял так, как будто он соглашался на нее единственно из желания сохранить мир в немецкой империи, а шведского короля выставлял врагом всеобщего мира, вносившего войну в недра империи. В заключение всего, прусский король по этому делу изъявлял согласие бескорыстно подчиниться приговору, какой положит император и соединенные чины империи. И Англия стала было в угрожающее положение к Швеции: она отправила свой флот в Балтийское море, хотя с поручением охранять английские купеческие корабли, а не действовать враждебно против шведского флота. Датский и прусский короли, приступив к Штральзунду, добивались присылки русского войска: однако осада Штральзунда шла целое лето и осень 1715 года, а русское войско не подходило к союзникам и стояло тогда в Польше под начальством фельдмаршала Шереметева, готовое вступить в дело для защиты польского короля Августа II против его подданных.

Уже несколько лет в Польше происходила недомолвка между королем и магнатами. Поляки, прежде недовольные присутствием русских войск в своей стране, стали потом оказывать еще более неудовольствия своему королю за то, что он расставил в Польше войска

саксонские. В видах России было поддерживать нелад между королем и поляками; на искренность Августа полагаться было нельзя: самым безопасным и выгодным делом было держать его так, чтоб его особа нуждалась в помощи России. Это было не трудно при легкомысленной продажности польских панов. Они брали от русского посла подачки, обещаясь вести дело так, как было бы выгоднее для России. Польский сейм никак не мог установить какого-нибудь закона при существовании *liberum veto*, когда каждый посол имел право прервать все течение дел на сейме, заявивши свое несогласие на предлагаемый закон. Русские посланники пользовались этим и, когда замечали, что готовится какое-нибудь распоряжение, не полезное видам России, – тотчас подкупали нескольких сеймовых послов, и сейм «срывался». На эту пору русским послом в Польше был князь Григорий Федорович Долгорукий, человек ловкий и умевший пользоваться обстоятельствами. Поляки, домогаясь изгнания из Польши саксонского войска, обратились к посредству русского посланника; тогда Долгорукий нарочно задерживал русское войско, предполагая, что вооруженная русская сила пригодится в Польше; и от того-то под Штральзундом не было русских, хотя царь этим не был доволен.

12 декабря Штральзунд сдался. Тогда Карл XII едва спасся в маленькой лодке с 10 человеками и убежал в Карлскрону, где всю зиму занимался набором свежих сил для продолжения войны.

6 февраля 1716 года Петр отправился за границу вместе с Екатериною и, достигши Данцига, остановился там до конца апреля. Здесь он получил приятную весть о сдаче Каэнобурга в Финляндии, последнего города, находившегося еще в этой стране в руках шведов. В Данциге 19 апреля русский царь совершил бракосочетание своей племянницы Екатерины Иоанновны с мекленбургским герцогом. К этой свадьбе прибыл и польский король, некогда бывший задушевным другом Петра, но со времени Альтранштадтского мира находившийся с ним в натянутых отношениях. С Августом в Данциг прибыли: его неразлучный друг и слуга саксонец генерал Флеминг и несколько польских магнатов. С Петром были: граф Головкин, вице-канцлер Шафиров и Толстой; сюда же приехал и русский посол при Августе, князь Григорий Долгорукий. Устроилась конференция с целью уладить несогласия. Русская сторона выставляла Августу на вид: его тайные попытки примириться с Швецией при посредстве французского посла в Константинополе, сношения Флеминга со шведским генералом Штейнбоком, сношения самого Августа с зятем Карла XII гессен-кассельским ландграфом, интриги, клонившиеся к тому, чтобы поссорить прусского короля с датским. Явились тогда к Петру послы от враждебной польскому королю конфедерации; они жаловались, что король наводняет польские области саксонскими войсками и просили царя взять на себя посредничество между ними и их королем. Петр доверил вместо себя это последнее дело послу своему Долгорукому, с тем чтобы для этого был собран нарочно съезд в одном из польских городов. Петр наружно помирился с Августом; по случаю свадебных торжеств, оба государя давали друг другу пиршества; но уже прежней дружбы между ними не было, потому что не стало взаимной доверчивости.

В начале мая царь выехал из Данцига, повидался сначала с прусским королем в Штетине, съехался с датским в Альтоне: тут между русским и датским государями было условлено сделать высадку в шведскую провинцию Шонию и тем принудить выступить Карла XII из принадлежавшей датской короне Норвегии, куда он тогда проник, приближаясь к столице этой страны, Христиании. Место соединения сухопутных и морских сил обоих государей назначили в Копенгагене. После свидания в Альтоне, Петр уехал в Пирмонт лечиться тамошними водами, а к июлю явился в Мекленбурге в Росток, куда прибыло сорок пять русских галер. Фельдмаршал Шереметев пришел из Польши с восемью тысячами войска, еще вступило в Мекленбургские владения другое русское войско под начальством генералов Репнина и Боура. Взявши под личную команду свой галерный флот, 17-го июля царь прибыл к Копенгагену, встречен был на рейде датским королем и вместе с ним вступил в его столицу. Через несколько дней туда же прибыла царица Екатерина. В ожидании приготовлений к высадке, Петр пробыл в Копенгагене три месяца, почти каждый день

катался по морю, осматривал берега Дании и Швеции, измерял глубину моря и чертил морские карты. Это не препятствовало ему уделять время на посещения академии, учебных заведений и на беседу с учеными людьми. Прибыла между тем английская эскадра для взаимного действия с Данией. Все лето прошло понапрасну к большей досаде Петра. Мекленбургский герцог, зять Петра, находился тогда во вражде с дворянами своего государства; последние съехались в Копенгаген и восстанавливали датского короля против Петра; они объясняли поступки русского царя хитростью, бросали подозрение, что Петр сносится со Швецией. Уже датчане готовились нападать на русские галеры; но до междоусобной войны у союзников не дошло. Ничего не сделавши, в половине октября царь уехал из Копенгагена в Мекленбург. Между тем мекленбургские дворяне, стараясь вредить Петру, где только можно было, настроили против него ганноверского курфюрста. Была у них попытка подействовать и на прусского короля, но тот не поддавался никаким подозрениям: свидевшись с царем в Гавельсберге, он снова заключил с ним союз и обязался, в случае нападения на Россию с целью отнять завоеванные ею области, помогать России или присылкой войска, или нападением на землю воюющего с Россией государства.

В Польше тем временем, после данцигского свидания Петра с Августом, Григорий Долгорукий, по царскому приказанию, принял на себя важное дело умиротворения спора между королем и конфедератами. Съезд по этому поводу собрался в Люблине, в июне месяце. Как нелегко было Долгорукому играть роль миротворца – показывает его отзыв к Петру о характере съезда. «Съехалось много депутатов, – писал он, – между ними мало таких, которые смыслили бы дело, только своевольно кричат, а те, которые потолковее, не смеют говорить при них. У наших донских казаков в кругу дела идут лучше, чем здесь. Часто с 7 часов до 4 часов пополудни мы кричим и ничего сделать не можем». Конфедераты, хлопоча об изгнании саксонского войска, добивались вывода и русского из Польши. Но Долгорукий, по царскому приказанию, писал, напротив, к русскому генералу Ренну, чтоб он вступил в Польшу с угрозами действовать неприятельски против той стороны, которая будет упрямиться. Между тем конфедераты продолжали драться с саксонцами, несмотря на установленное перемирие на время съезда. Прошло все лето, дело умиротворения не двигалось, пока наконец генерал Ренн с русским войском не вступил в Польшу, а Долгорукий не припугнул конфедератов, что прикажет усмирить их русским оружием. Наконец 24 октября 1716 года стараниями Долгорукого состоялось примирение. Саксонские войска должны были оставить Польшу в течение месяца, а король имел право удержать из них тысячу двести человек гвардии и содержать их на своем иждивении. Но примирение было пока только на бумаге, на деле все еще лада не было до 21 января 1717 года, когда собранный чрезвычайный сейм подтвердил постановление съезда и дал приказ саксонским войскам выйти из Польши в течение двух недель. Генерал Ренн, вошедший в Польшу, в это время умер. Преемник его генерал Вейсбах, по приказанию Долгорукого, выступил из Польши, но вместо него тотчас же вступило туда новое русское войско, под начальством Шереметева, и расположилось на неопределенное время. Видно, что Петр не слишком давал вес жалобам и домогательствам поляков о выводе русских войск из Польши. Так окончилась и развязалась тарногородская конфедерация, имевшая то важное значение в польской истории, что послужила новой ступенью к ограничению монархической власти и вместе к усилению русского влияния на внутренние дела Польши.

Зимой Петр отправился в Голландию, прожил несколько времени в Амстердаме, занялся там осмотром всего, что относилось к мореходству и торговле, обозревал с любопытством корабельную мастерскую, адмиралтейство, запасные магазины Ост-Индской компании и заведения знатнейших негоциантов. Царь съездил в Саардам и с особенным удовольствием посетил домик, где он жил во время первого своего путешествия по Европе. Из Амстердама в марте царь с царицею прибыл в Гаагу, остановился в помещении русского посла князя Куракина: там ему оказан был почет от представителей Соединенных Нидерландских Штатов, но тут же, в начале апреля 1717 года, ему пришло неприятное известие. В Англии открыли заговор, тайно руководимый голштинским министром бароном

Герцог и граф Гилленборгом, находившимся в Лондоне в качестве чрезвычайного посла шведского короля. Датский двор прислал в Англию письма Гилленборга, отысканные на взятом в Норвегии шведском корабле. Гилленборг был арестован в Лондоне, захвачены были все его бумаги, и, по требованию английского короля, голландские штаты арестовали находившегося в Голландии барона Герца и молодого сына Гилленборгова. Бумаги их были не только захвачены, но немедленно опубликованы; оказывалось, что у них было тайное намерение произвести в Англии возмущение, с целью низвергнуть ганноверскую династию с английского престола и возвести претендента из дома Стюартов: Карл XII готовился сделать высадку в Англию с 10000 пехоты, 4000 конницы и со значительным запасом артиллерии. Из тех же бумаг видно было, что заговорщики рассчитывали на русского царя и старались подействовать на него через его домашнего медика, шотландца Эрскина. Последний, как доискались англичане, писал к английскому лорду Мару, что царь готов помириться с шведским королем и желает помогать ему в предприятии возвести претендента на престол. Петр, узнавши о том, что говорят о нем в Англии, приказал своему посланнику Веселовскому подать английскому королю и напечатать от имени царя мемориал: в нем русский государь оправдывался от взводимого на него обвинения, указывал на очевидную нелепость такого вымысла, приводил, что России не может быть никакой выгоды вступить в союз со шведским королем против английского, сообщал, что доктор Эрскин, находясь 13 лет в службе, не употреблялся ни к каким государственным советам, а знал только свою специальность. Сам Эрскин послал от себя английскому правительству письменное оправдание. Веселовскому отвечали на его мемориал, что доверяют объяснению русского государя, однако требовали, чтобы царь вывел свои войска из Мекленбургского герцогства. Тем на время и пресеклось это недоразумение с Англией, оставившее, однако, глубокое влияние в последующие годы.

В начале апреля 1717 года Петр выехал из Гааги и, оставив Екатерину в Амстердаме, отправился через Брюссель и Гент во Францию. Вечером 26 апреля прибыл он в Париж, где его давно уже ждали: несколько месяцев тому назад велись сношения о желании русского царя посетить французский двор. Царя поместили сначала в Лувре, но помещение показалось ему слишком великолепным; Петр любил показать свою любовь к простоте и к отсутствию всякой пышности и роскоши. По своему желанию, царь на другой же день перешел в Hxtel de Lesdiguieres и тотчас получил визит от регента Франции герцога Орлеанского, управлявшего Францией при малолетстве короля Людовика XV. 29 апреля (10 мая нового стиля) приехал к русскому царю с визитом маленький французский король, провожаемый дядькой своим герцогом Вильроа. Царь, просидевши с ним некоторое время, взял его на руки и с нежностью поцеловал. «Здесьний король, – писал Петр царице, – пальца на два выше нашего карлика Луки, но дитя изрядное образом и станом и по возрасту своему довольно разумное». На следующий день царь приехал с визитом к королю в присланной за ним королевской карете. Маленький король вышел к царю навстречу. Петр, выскочивши из кареты, взял короля на руки и понес по лестнице во дворец, посреди расставленной и вооруженной гвардии из швейцарцев и французов. В тот же день купеческий голова и старосты (echevins) в сопровождении маркиза де Дреля, великого церемониймейстера, поднесли царю подарки от имени города. В следующие за тем дни царь осматривал: городские площади, арсенал, гобеленовую фабрику ковров, королевскую гвардию, обсерваторию, а 14 (нового стиля) царь посетил Пале-рояль, заплативши визит регенту, герцогу Орлеанскому. Регент стал было показывать гостю картинную галерею; но русский государь, как заметили французы, мало пленялся предметами искусства, как и роскоши. В тот же день герцог Орлеанский пригласил его в оперу, и Петр не в состоянии был высидеть до конца спектакля; зато с жадностью бросался он на обзор вещей, относившихся к мореплаванию, торговле и разным ремеслам. С большим вниманием осматривал он механические кабинеты и зоологический сад и много нашел для себя примечательного в Инвалидном доме, который посетил 5 мая (16 нового стиля); все осматривал он здесь до мельчайших подробностей, в столовой попросил себе рюмку вина, выпил ее за здоровье

инвалидов, которых назвал своими товарищами. Несколько дней спустя после того Петр ездил в Фонтенебло, где ночевал, а на другой день был приглашен к нарочно устроенной охоте с королевскими собаками и во время охоты обедал в павильоне. 1 июня (нового стиля) он ворочался на гондоле в Париж и завернул по дороге к принцессе Конти, которая показывала ему свои великолепные сады и покои. Прибывши в Париж, Петр проплыл под всеми парижскими мостами, потом, севши в свою карету, обогнул укрепления города, заехал в один склад оружия и накупил большой запас ружей и ракет: последние он истратил на фейерверки в своем саду при том отеле, где помещался. 2 июня (нового стиля) Петр посетил королевское аббатство Св. Дионисия, осматривал церковь, ризницу и новые постройки, в которых бенедиктинцы приготовили ему отличный ужин, выбравши келью, откуда открывался пленительный вид. 3 июня царь со всюю свитою отправился в Версаль. Из Версаля Петр ездил в Трианон, осматривал большой водопровод, оттуда проехал в Марли, где королевский дворецкий Девертон приготовил для царя блистательный фейерверк, сопровождаемый музыкальным концертом, а ночью дан был бал. Царю оказали в этот вечер большую любезность, и он пробыл на бале долее того времени, в какое обыкновенно уходил спать. 1 июня (нового стиля) царь посетил сенсирскую женскую школу, устроенную г-жою де Ментенон и остался очень доволен как удобным и великолепным помещением, так и способом воспитания девиц. Царь после того пожелал видеть самую престарелую г-жу де Ментенон, которая приняла его в постели, чувствуя себя в то время больной. Наконец, 12-го июня (нового стиля), Петр вернулся в Версаль и осмотрел его со всеми достопримечательностями. Отсюда он съездил в Шальо и сделал визит английской королеве, вдове Иакова II. Затем, воротившись в Париж 14 (нового стиля), Петр посетил королевский типографский дом, коллегию четырех народов, основанную кардиналом Мазарини, и там долго беседовал со знаменитым тогдашним математиком Варильоном. Потом Петр посетил дом Пижона, устроившего движущуюся планетную сферу, по системе Коперника; его изобретение так понравилось Петру, что он сторговал его за две тысячи крон. Посетивши Сорбонну, Петр был принят с большими почестями докторами этого учреждения и любовался красивым надгробным памятником кардинала Ришелье. В следующие дни царь опять посетил фабрику ковров Гобелена, где очень похвалил вышитую историю дон Кихота, которую и получил в подарок от имени короля. Потом он осматривал в сопровождении регента помещение жандармов, шеволежеров, мушкетеров и королевских телохранителей, которые нарочно были выстроены в линию на Елисейских полях. 17 июня (нового стиля) царь провел два часа в обсерватории, а на другой день (18) послал пригласить к себе знаменитого географа того времени Делиля, долго разговаривал с ним через переводчика о положении и пространстве своего государства, рассказывал ему о расположении новой крепости, которую устраивал в татарских пределах. С любопытством царь смотрел на разные химические опыты, произведенные для него ученым Жоффруа, и пожелал видеть одну из операций, делаемых знаменитым английским окулистом Уолессом: больного, шестидесятилетнего инвалида, нарочно привезли в отель, где жил Петр, чтоб показать русскому царю образец европейского врачебного искусства. Сначала, когда окулист запустил иглу в глаз больного, царь невольно отвернул голову, но любопытство взяло над ним верх, и он смотрел до конца на операцию, а потом поднес к глазам инвалида свою руку и с удовольствием заметил, что тот увидал ее, тогда как до операции не мог ничего видеть. Похваливши окулиста, царь обещал прислать к нему ученика, чтобы тот мог приобрести подобное искусство под руководством такого великого оператора. 19-го июня (нового стиля) царь посетил заседание парламента, бывшего тогда верховным судебным местом. Все члены были одеты в парадные платья красного цвета, а президент – в меховом одеянии, что составляло, по местным обычаям, особую почесть, оказываемую высокому гостю по поводу его посещения. В тот же день посетил царь академию наук; члены разговаривали с ним о новых машинах и о разных ученых опытах. Петру здесь понравилось все, что он видел и о чем говорил, и впоследствии, по возвращении в Петербург, он поручил своему доктору Эрскину изъяснить президенту академии аббату Биньону желание быть записанным в число

членов этого ученого общества. Академия изъявила согласие и прислала царю диплом на звание члена и благодарность за предложенную честь. С тех пор, до самой своей смерти, Петр как член французской академии получал издания ее трудов. 21-го июня (нового стиля), отслушавши в греческой церкви литургию, по случаю наступившего в этот день по старому календарю праздника Пятидесятницы, Петр уехал в Спа, где намеревался пользоваться водами. Перед отъездом из Парижа, Петр щедро одарил сопровождавших его придворных и служившую ему королевскую прислугу.<sup>201</sup> Король при прощании поднес своему высокому гостю в дар меч, усыпанный бриллиантами, но Петр не хотел брать в подарок ни золота, ни драгоценных камней, а попросил четыре ковра превосходной работы из королевского гардероба. Во все продолжение своего пребывания в Париже русский царь удивлял французов своей простотой в одежде и своими привычками, не сходящимися с тогдашним французским этикетом. Так, например, он обедал в 11 часов утра, ужинал в 8 часов вечера и не любил стеснять себя ни в чем: во время беседы уходил прочь, не дослушивая речей, когда они мало представляли для него любопытного; с чрезвычайной подвижностью приказывал вести себя то туда, то сюда, так что правительство распорядилось расставлять в разных местах экипажи, чтоб гость имел возможность ехать повсюду, куда ему вздумается. Зато при всем соблазне, который делал русский царь несоблюдением обычаев местного этикета, он поражал французов своим умом, знаниями и находчивостью; они изумлялись, видя, что уроженец страны, считаемой ими самой дикой и невежественной в мире, по ясности взгляда на предметы, касавшиеся знаний и наук, превосходил государей, имевших счастье быть рожденными в образованных странах. Будучи в Париже, царь заключил дружественный договор с Францией, включивши в этот договор и прусского короля, и в угоду Франции дал обещание вызвать свои войска из Мекленбурга.

Петр ехал из Парижа, через Суассон, Реймс, Шарлевиль, Живе и Бовин, до Намюра, куда прибыл 25 июня (нового стиля) и был там отлично принят администратором провинции; царь осматривал укрепления города; его угощали; Петр пил здоровье всех присутствовавших и с увлечением рассказывал о всех сражениях и осадах, в которых сам лично участвовал. Оттуда Петр проехал через Льеж (Люттих), где его угощали от имени кельнского курфюрста, потом прибыл в Спа. Там он месяц пользовался водами, а 2 августа (нового стиля) приехал в Амстердам, где царица Екатерина с нетерпением ожидала его возврата.

Барон Герц освободился из-под ареста и в Амстердаме начал переговоры с царем при посредстве Понятовского. Герц обещал, что шведский король пошлет своих уполномоченных в Финляндию, а по заключении договора сам пожелает видеться с царем. И царь желал уже прекращения войны с Карлом: война эта ставила ему препятствия к занятиям внутренними делами государства; Петр объявил Герцу через Куракина, что съезд уполномоченных должен начаться через два или три месяца на Аландских островах; Герц с этим ответом уехал в Швецию. По его убеждениям и Карл склонился к мысли о мире и союзе с Россией. Шведский король ненавидел и презирал остальных своих врагов; но Петра как личность он не мог презирать и потому с ним одним способен был вступать в переговоры, как равный с равным. Петр имел причину быть так же мало довольным своими союзниками, датским и польским королями, и готов был предпочесть отдельный мир с давним врагом вялому союзу с союзниками, всегда способными изменить ему.

19-го сентября (нового стиля) царь прибыл в Берлин, за ним через три дня явилась туда Екатерина; пробывши в Берлине три дня, царственная чета через Данциг вернулась в Петербург, куда прибыла 9-го октября 1717 г., после шестнадцатимесячного путешествия за границей. Царь через своих министров сообщил прусскому королю, что он намерен сноситься с Швецией о мире, но будет сохранять интерес своего союзника, прусского короля, и не заключит мира до тех пор, пока Пруссия не получит Штетина с округом.

---

<sup>201</sup> Маркизу Деливри, Тессе и герцогу Дантену каждому свой портрет, осыпанный бриллиантами, стоящий 40 тысяч ливров, 10 тыс. роздано было прислуге, а 15 тыс. подарено садовникам в Версале и в других королевских садах.

В ноябре Герц, возвратившийся из Швеции, дал знать в Петербург, что Карл XII вышлет своих уполномоченных, как скоро получит известие, что царские уполномоченные уже находятся в Финляндии. Петр назначил от себя уполномоченными: генерал-фельдцейхмейстера Брюса и тайного советника Остермана. Государь велел Брюсу объявить министрам союзников – прусскому, польскому, ганноверскому и датскому, что, по предложению шведского короля, царь со своей стороны посылает уполномоченных, но не вступит в окончательный договор без согласия с союзниками.

В мае начались конференции на одном из Аландских островов, по имени Ло. Россия требовала уступки Ингрии, Ливонии, Эстляндии, также города Выборга в Финляндии, остальное же Великое княжество Финляндское до реки Кюмени уступала шведскому королю, предлагая между Швецией и Россией свободу торговли и мореплавания. Для своих союзников царь ставил такие условия: оставить короля Августа в полном обладании польским престолом, а прусскому королю уступить Штетин с его округом; Дании и Англии Петр предоставлял только право приступить к трактату, замечая, что датский король должен возвратить все завоевания, доставшиеся ему в последнее время от Швеции, и приобрести в ином месте земли. Шведские уполномоченные требовали возвращения всего завоеванного. Потом начали говорить об эквиваленте, т.е. о вознаграждении иными способами уступленного Швецией России. Остерман, по приказанию Петра, заявил, что Россия не может давать никакого эквивалента из принадлежащих ей земель, но не откажет в помощи Швеции, если последняя начнет искать себе эквивалента в чужих землях. Петр соглашался даже помочь и английскому претенденту, если шведский король будет стараться возвести его на английский престол. Герц, оставивши конференцию, летом 1718 года ездил в Стокгольм для сношения со своим королем и, возвратившись на Аландские острова, стал податливее к уступкам, но объявил о неперменном желании своего короля утвердить Станислава Лещинского на польском престоле, а для вознаграждения Швеции за уступаемые России земли Герц предполагал присоединить к Швеции мекленбургские земли, давши мекленбургскому герцогу какое-нибудь иное владение; он предлагал послать шведские и русские силы в Мекленбург в помощь намерениям этого герцога. Петр готов был пожертвовать Августом, который в своих прежних отношениях к своему союзнику показал достаточно вероломства. В сентябре русские уполномоченные узнали, что в Стокгольме существует сильная партия, удерживающая короля от уступок, партия, чернившая Герца обвинениями в продажности во вред королевским интересам. Герц, чтобы рассеять сомнения против себя и доказать свою преданность Швеции, просил Петра освободить пленного шведского генерала Реншильда. Петр согласился с тем, чтобы шведы освободили двух пленных русских генералов – Головина и князя Трубецкого. Остерман, человек хитрый, понимал слабые стороны врагов, с которыми вел переговоры, понимал и всех соседей, которых дела соприкасались с Северной войной. «Король шведский, – писал он Петру, – человек, по-видимому, в несовершенном разуме; ему – лишь бы с кем-нибудь драться. Швеция вся разорена, и народ хочет мира. Королю придется с войском куда-нибудь выступить, чтоб за чужой счет его кормить; он собирается в Норвегию. Ничто так не принудит Швецию к миру, как разорение, которое причинило бы русское войско около Стокгольма. Король шведский, судя по его отваге, должен быть скоро убит; детей у него нет, престол делается спорным между партиями двух германских принцев: гессен-кассельского и голштинского; чья бы сторона ни одержала верх, она будет искать мира с вашим величеством, потому что ни та, ни другая не захочет ради Лифляндии или Эстляндии потерять своих немецких владений».

Зимой Герц опять уехал в Стокгольм; к концу декабря ждали его возвращения на Аланд, но вместо него прискакал курьер с известием, что Карл XII 30-го ноября убит при осаде Фридрихсгаля в Норвегии. Предсказание Остермана сбылось: в Швеции тотчас же возникло две партии – одна желала дать престол младшей сестре Карла XII Ульрике Элеоноре, бывшей в замужестве за гессен-кассельским принцем; другая держалась молодого герцога голштинского. Первая взяла верх: Герц и его земляки голштинцы, в последнее время

получившие сильное влияние на Карла XII, были арестованы. Но возникла еще и третья партия, дворянско-либеральная; она хотела воспользоваться неясностью прав на престол и находила удобное время для ограничения королевского самодержавия в Швеции. Эта партия готова была отдать престол тому, кто больше сделает уступок. Нерешительный и неопытный голштинский герцог не воспользовался временем; тотчас после смерти Карла XII он мог бы привлечь на свою сторону войско и заставить провозгласить себя королем, но не сделал этого. Тетка предупредила его: она дала сенату обещание ограничить королевскую власть и получила корону в марте 1719 года. Голштинский герцог уехал из Швеции. Либералы, ненавидевшие Герца как чужеземца, постарались погубить голштинского дипломата. Он был казнен отрублением головы в Стокгольме.

Ульрика Элеонора, однако, не отказалась продолжать переговоры с царем и отправила новых уполномоченных: Лилиенстедта и прежнего товарища Герца-Гилленборга. Шведские уполномоченные изменили тон и начали поугубить русских уполномоченных возможностью приступить к более выгодным для Швеции соглашениям с другими соперничающими державами. Но проницательный Остерман не поддался на эти запугивания: он понимал хорошо состояние дел в Швеции. «Швеция, – писал он царю, – дошла до такого состояния, что ей более всего необходим мир и особенно с царским величеством, как сильнейшим неприятелем; с кем бы другим шведы ни заключали мира – это не спасет их от войны с Россией, а другие державы, войдя со шведами в союз, при всем недоброжелательстве к России, не станут проливать крови своих подданных и губить свою торговлю ради того, чтобы Швеции возвращена была Лифляндия. Если бы теперь царь нанес пущее разорение обнищавшей Швеции, то этим бы принудил шведское правительство к миру». Остерман в переговорах со шведскими уполномоченными стоял твердо на уступке России Эстляндии, Лифляндии, Ингерманландии, Выборга и части Корелии со включением крепости Кексгольма, соглашаясь со стороны России заплатить в продолжение двух лет миллион рублей. Швеция между тем примирилась с курфюрстом ганноверским, уступивши ему Бремен и Верден, пыталась склонить к особому миру и прусского короля.

Так дотянулось до июля 1719 года. Тогда, по настоянию Остермана, царь снарядил флот, под начальством адмирала Апраксина, из 30 военных кораблей, 130 галер и значительного числа малых судов; он послал на нем войско под начальством генерал-майора Ласси, для высадки в Швецию. Между тем в Балтийское море вошла английская эскадра, командуемая адмиралом Норрисом, под видимым предлогом охранять английскую торговлю, но на самом деле, как справедливо подозревал Петр, в помощь Швеции в случае нужды против России. Петр прямо написал об этом Норрису, стоявшему со своею эскадрою на копенгагенском рейде. Английский адмирал в своем ответе русскому царю изъявлял удивление, что царь имеет такие подозрения. Петр остался при своем подозрении, но не показал страха перед английским королем, твердый в намерении принудить Швецию к миру своими военными действиями. Петр издал манифест, в котором главною причиною войны России со Швецией выставлялось событие в Риге, когда шведский губернатор, граф Дальберг, оскорбил русского царя, не допустив его осматривать городские укрепления. Петр указывал на свое миролюбие, с которым он в последнее время согласился начать переговоры с Карлом XII, но жаловался, что, по смерти Карла XII, шведская корона не показывает прежней склонности к миру, напротив, желает войны, нарочно предъявляет такие требования, на которые Россия не может согласиться, и в то же время ищет враждебных для России союзов с другими государствами; это обстоятельство побуждает царя с Божьей помощью внести войну в сердце шведского королевства.

Война началась и велась очень опустошительным образом. Русские плавали по шкерам вдоль шведского берега, нападали в разных местах на города и селения, не щадили ни государственного, ни частного достояния, а более всего старались разорять шведские рудники и заводы, составлявшие важнейшее богатство Швеции. Так, на северном берегу разорили они Фурстенар и Ортулу, а 7-го августа 5000 русских напали на важнейший шведский завод в Лоште, захватили там 13 000 тонн железа на свои суда, а все заведения и



постройки уничтожили. На всех шведских заводах русские находили такое множество железа, что не в силах были наполнить им свои суда и бросали в море. Они истребляли повсюду хлебное зерно, убивали и угоняли скот и лошадей, уводили пленников, перебили множество безоружного народа, не успевшего спастись бегством. Апраксин истребил шесть больших городов, более сотни дворянских усадеб, 826 деревень, три мельницы и десять магазинов, разорил два медных и пять железных заводов. Генерал-майор Ласси, со своей стороны, сжег два города, двадцать одну владельческую усадьбу, 535 сел и деревень, сорок мельниц, шестнадцать магазинов и девять железных заводов, в числе которых были такие богатые, что шведы предлагали 300 тысяч рейхсталеров за спасение их от разорения. Знаменитый мануфактурный город Норчопинг предан был пламени самими жителями, лишь бы не доставался неприятелю. Самому Стокгольму угрожала опасность: 27-го июля казаки достигали до Вестергалинга, в 4-х милях от столицы. Муж королевы выступал против русских, но не сделал им никакого зла; они разоряли шведские берега налетом, появляясь и исчезая то в том, то в другом месте.

В сентябре прекратились нападения; у шведов вся надежда была на английскую помощь адмирала Норриса, но он, не имея повеления своего короля, не решался начинать неприязненных действий против русских. После ухода русских, английский уполномоченный при шведском дворе лорд Картерет прислал царю депешу, извещая, что, по распоряжению английского короля, адмирал Норрис не только покровительствует торговле английских подданных, но и поддерживает посредничество английского короля к окончанию войны, так долго нарушающей спокойствие северных стран. Со своей стороны, Норрис доводил до сведения царя, что английский король принимает на себя посредничество, убеждал царя прекратить все враждебные действия и показать свое искреннее расположение к миру. Петр из этого понял, что он, в особе английского короля, помирившегося со Швецией в звании ганноверского курфюрста, наживал себе нового врага; он написал королю Георгу письмо, поручив своему посланнику Веселовскому подать его. Петр указывал на древнюю дружбу, существовавшую издавна между Россией и Англией, на пользу, какую извлекала Англия от этой дружбы, напоминал, что предшественники короля Георга всегда дорожили союзом с Россией, и жаловался на последние заявления Картерета и Норриса, доказывающие, что Англия по отношению к России становится во враждебное положение. На это письмо 11-го февраля 1720 года государственный секретарь Стенгоп подал Веселовскому от имени английского короля ответ. Английский король указывал русскому государю на то, что до сих пор предложения союза и дружбы давались со стороны России как бы с непременным условием, чтобы Англия действовала враждебно против шведов, тогда как в то же время царь заводил тайные интриги во вред английскому королю и в пользу претендента из дома Стюартов. Королю Георгу, говорилось в ответе, неизвестны были по этому поводу сношения английских противников царствующей династии, между прочим Фернегана, Гуго, Петерсона, герцога Ормонда, проживавшего инкогнито в Митаве, наконец, известна была королю корреспонденция, которую царь через посредство Фернегана завел с Испанией по вопросу о предполагаемом вторжении в Шотландию претендента, не говоря уже об интригах барона Герца, которого намерения явно открылись из захваченных у него бумаг. В другом ответе короля Георга, данном собственно по его званию ганноверского курфюрста, Петру выставлялось на вид, что царь не допускал чужих послов к участию в аландских переговорах и делал это затем, что у царя был втайне план соединить свои силы с силами шведского короля, внести войну в германские владения и устроить нашествие на Шотландию. В заключение всего король Георг заявлял желание установить мир, но если бы все его старания, по причине царского отказа, остались бесплодны, то предоставлял себе право, по силе договора со Швецией, принять меры не совсем приятные для царя.

После военной прогулки русского флота по шведским берегам, царь послал в Стокгольм под белым флагом Остермана, надеясь, что, испытавши разорения, Швеция станет податливее. Шведская королева, ее супруг и шведские аристократы показали тогда вид раздражения, говорили, что теперь, после нанесенных русскими опустошений, мир

заклучить труднее, чем прежде. Остерман этим не обманулся и сказал одному шведскому аристократу: «Если у нас с вами будет война, то настоящая ваша форма правления не долго простоит, и дело окончится народным восстанием». Его уверяли, что весь народ не хочет мира. «Сегодня не хочет, завтра горячо захочет, – сказал Остерман, – народ непостоянен». Королева, подвигаемая дворянством, рассерженным на Россию, приказала Лилиенстедту уехать с Аландских островов. Итак, конгресс был порван в сентябре 1719 года.

Во время аландского конгресса с польским королем у Петра не ладилось. Август поддавался внушениям императора и французскому влиянию, так как его ласкали надеждой сделать польский престол наследственным в его доме. В самой Польше между панями образовалась партия, хотевшая полного освобождения польских земель от русского войска; с этой партией сблизился король. Петр приказывал своему послу Долгорукому внушать полякам, что русские войска посылаются в Польшу для охранения от коварных намерений короля Августа, который, при пособии венского двора, думает установить наследственное правление в Польше и ограничить шляхетскую свободу в пользу самодержавной королевской власти. Чтоб не дать полякам сойтись с королем и постановить что-нибудь противное русским видам, из России присылались соболи и камки, для раздачи сеймовым послам Речи Посполитой за то, чтобы они, служа видам России, не доводили сеймов до конца: так, на гродненском сейме, начавшемся в октябре 1718 года, король Август начинал было приобретать влияние, но подкупленный Россией посол сорвал этот сейм. В Польше происходили между тем религиозные недоразумения, подававшие повод России вмешиваться в ее внутренние дела. Варшавский сейм, окончивший смуту по поводу спора между королем и Тарногородскою конфедерациею, постановил под видом утверждения древних прав уничтожать все не католические церкви, в последнее время построенные, и дал запрещение всем иноверцам заводить сходбища, где бы в них говорились проповеди или пелись духовные песни; за несоблюдение этого запрещения угрожали судом, пенями, тюремным заключением и, наконец, изгнанием из отечества. В январе 1718 года все мужские и женские православные монастыри принесли царю жалобу на притеснения со стороны католиков. Петр, в марте 1718 года, обратился с ходатайством о православных к Августу, и Долгорукий, от имени своего государя, объявлял, что Россия не может долее сносить, чтобы вопреки мирному договору была гонима и искореняема православная вера в Польше. Русские представления и протесты не расположили поляков к веротерпимости. В сентябре того же года с такой же просьбой обратились к Петру польские протестанты, носившие в Польше название диссидентов, а вопрос о свободе православной веры поднят был между Россией и Польшею в 1720 году. Польский король заключил прелиминарный договор со Швециею, и полномочный посол Августа, мазовецкий воевода Хоментовский, приехал в Россию требовать от царя возвращения Лифляндии и уплаты обещанных по договору субсидий. Насчет субсидий Петр отвечал, что такие субсидии обещаны были только на войска, действующие против общего неприятеля – шведов, но король Август со своими войсками против него не действовал. Что же касается до Ливонии, то царь не отрекался от того, что прежде обещал возвратить этот край королю и Речи Посполитой, но не может теперь исполнить своего обещания потому, что Ливония будет Августом возвращена Швеции, так как прелиминарный договор, заключенный между Польшею и Швециею, постановлен на основании Оливского мирного трактата, а по этому трактату Ливония уступлена была Швеции. Тут подали Хоментовскому многозначительный мемориал, где излагался целый ряд оскорблений, нанесенных в Польше православной церкви и ее последователям. Царь требовал, чтобы вперед дозволено было православным строить новые церкви и монастыри, и все те епископии, монастыри и приходские церкви, которых духовенство приняло и вперед примет унию или католичество, должны оставаться в православном ведомстве. Православные епископы должны заседать в сенате, и мирские люди православной веры должны пользоваться наравне с католиками одинаковым правом вступать в государственную службу. Наконец, Петр требовал установления закона о наказании тем, которые начнут делать препятствия к отправлению православного

богослужения. Сейм, собравшийся в Варшаве и долженствовавший по видам царя утвердить его требования, сразу стал подпадать под влияние врагов России, английского и шведского посланников, хотевших вооружить поляков против Петра. Сам Долгорукий увидел тогда необходимость постараться, чтоб этот сейм разошелся, не окончив своего дела.

После прерывания аландских трактатов, несколько времени Англия, своими дипломатическими интригами, препятствовала примирению Швеции с Россией. Она успела примирить со Швецией прусского короля, гарантировать для него обладание Штетином. В июне 1720 года, также по ходатайству Англии, подписан был мирный договор Швеции с Данией. Опасение насчет согласия Петра с планами Герца – низвергнуть короля Георга и возвести на его место претендента из дома Стюартов – заставило английского короля смотреть на Петра, как на своего тайного врага, и в 1720 году на балтийских водах опять появился английский флот. Петр не испугался этой эскадры и в виду ее снова готовился разорять шведские берега.

В это время в Швеции Ульрика Элеонора уступила престол своему супругу, герцогу гессен-кассельскому. Новый король прислал в Петербург своего адъютанта Виртенберга известить о своем вступлении на престол и изъявить надежду на будущий мир и союз. Петр показывал этому посланцу свое адмиралтейство и познакомил его со всеми приготовлениями к предполагаемому новому походу русских на Швецию. В августе царь выслал эскадру под начальством князя Голицына, который счастливо привел в Петербург четыре шведских фрегата, взятых в плен со значительным числом людей. Постоянный любитель всяких торжеств, Петр и по этому поводу устроил в Петербурге праздник, одарил щедро участвовавших в войне русских моряков и самому Голицыну дал саблю, осыпанную бриллиантами; потом царь отправил в Стокгольм своего генерал-адъютанта Румянцева с предложением: разменять пленных и заключить перемирие на зимнее время. Шведские министры не сошлись в этом с Румянцевым, хотя и приняли его почтительно и радушно. В начале 1721 года явился в Петербург французский посланник Кампредон, бывший до того времени посланником в Стокгольме. Он привез в Россию предложение посредничества Франции между Россией и Швецией. Царь согласился. Французский посредник сначала попытался было предлагать годовичное перемирие. Петр сразу отверг его предложение и сказал, что ни за что не отступит от прежних требований, заявленных при переговорах на Аландских островах, а потому, если Швеция искренно хочет мира, то может, вместо кратковременного перемирия, постановить с Россией полный вечный мир. Петр понял, что перемирие может быть полезно для Швеции и вредно для России: шведы будут иметь время поправиться, сойтись с союзниками и приготовиться к новой войне против России. Упорство Петра повело к тому, что французский посредник отказался от мысли о перемирии; положено было прямо начать переговоры о мире, но военных действий во время этих переговоров не прекращать. Петр, чтобы понудить шведов к податливости, отправил генерала Ласси опустошать шведские берега Ботнического залива. У русских было до 5000 регулярного войска и 360 казаков. Они взяли и сожгли шесть шведских галер, 27 купеческих судов, где нашли значительный запас оружия, овладели оружейным магазином, разорили несколько кузниц и мельниц, разграбили и сожгли четыре города, несколько сот селений и дворов.

Между тем, ввиду возобновленных переговоров со Швецией, голштинский герцог, через своего посланника Штамкена, хлопотал о том, чтоб Россия, при мирном договоре, стояла за его наследственные права на шведский престол. Петр благосклонно отнесся к домогательству голштинского герцога, пригласил его в Петербург и принял очень радушно. Два обстоятельства: разорение, причиненное русскими на шведских берегах, и покровительство, оказываемое голштинскому герцогу как претенденту на шведский престол, сделали шведов уступчивее. 30 августа 1721 года заключен был царскими послами окончательный Ништадтский мирный договор, прекративший долготлетнюю Северную войну. Швеция уступила России в вечное владение Лифляндию, Эстляндию, острова Эзель, Даго и Мен, Ингерманландию, часть Корелии и Выборг в Финляндии, а остальная

Финляндия, завоеванная Россией, возвращена была Швеции. Со своей стороны, Россия выплачивала два миллиона ефимков по срокам, обязывалась не вмешиваться в домашние дела шведского королевства и не помогать никому в достижении наследственных прав, вопреки воле чинов государства; все военнопленные освобождались без выкупа, кроме добровольно принявших в России православную веру. Трактат подписан был с русской стороны Брюсом и Остерманом, а с шведской – графом Лилиенстедтом и бароном Стрельфельдом. Молодой герцог голштинский должен был отказаться от надежды получить шведскую корону при пособии России. Находясь в то время в Петербурге, он должен был удовольствоваться доводами, сообщенными ему от имени царя Шафировым, о невозможности Петру вести далее его дело. Герцог должен был участвовать во всеобщем торжестве России, показывая удовольствие об окончании пролития крови как русской, так и шведской.

22 октября в Петербурге в соборной церкви Св. Троицы отправлялось торжество мира, окончившего долголетнюю и тяжелую Северную войну. Сначала прочитан был мирный трактат, потом архиепископ псковский изрек поучение, вслед за тем канцлер Головкин проговорил государю речь, после которой все бывшие тут сенаторы воскликнули: «Виват, виват, Петр Великий, отец отечества, император Всероссийский!» Обильная пальба из петербургской крепости, адмиралтейства, судов, стрельба из ружей, производимая 23 полками, все возвещало всеобщую радость. Петр говорил: «Зело желаю, чтоб наш весь народ прямо узнал, что Господь прошедшею войною и заключением мира нам сделал. Надлежит Бога всей крепостью благодарить; однако, надеясь на мир, не ослабевать в воинском деле, дабы с нами не так случилось, как с монархией греческой. Надлежит трудиться о пользе и прибытке общем, который нам Бог кладет перед очами как внутрь, так и во вне, отчего облегчен будет народ». Торжественный праздничный обед устроен был в здании сената; к обеду приглашенных было до тысячи персон. По окончании стола был бал, продолжавшийся до ночи, а ночью фейерверк, изображавший храм Януса, из которого появился бог Янус с лавровым венком и масличной ветвью; из крепости дана была тысяча выстрелов, и вся Нева иллюминирована была потешными огнями. Царский пир окончился в три часа ночи «обношением всех гостей преизрядным токайским». Для простого народа устроены были два фонтана, из которых лилось белое и красное вино. Меншиков и два архиерея, от имени сената и синода, за все попечения и старания о благополучии государства, за то, что государь «изволил привести Всероссийское государство и народ в такую славу через единое свое руководство», просили царя принять титул «Отца Отечества, Императора Всероссийского, Петра Великого». Государь отрекался от этой чести и принял ее как бы по усиленному прошению сенаторов. Вслед за тем от сената установлена была форма титула: «Божьей милостью, мы Петр Первый, император и самодержец Всероссийский», а в челобитных: «Всепресветлейший, державнейший император, самодержец Всероссийский, отец отечества, государь всемилостивейший». Несколько дней после того продолжались веселые празднества. Царь устроил шумный маскарад, на который приглашено было более пятисот особ обоего пола. Сам царь со своей семьей участвовал в этом маскараде и был одет голландским матросом-барабанщиком, а Екатерина была одета голландской крестьянкой с корзиной в руке. Ее придворные дамы изображали нимф, пастушек, арапок, монахинь и шутов. Шутовской князь-кесарь был одет в горностаевой мантии и окружен служителями в старорусской боярской одежде, а его жена явилась в красном, вышитом золотом, летнике, с толпой женщин в одежде старых боярынь. Князь-папа был на этом маскараде со всем своим всепьянейшим собором. Веселое многодневное празднество в Петербурге было прервано 4 ноября большим наводнением Невы. Вода снесла мосты, опустошила с корнем деревья в садах, выбросила на сушу суда и шлюпки, затопила погреба и нанесла большие убытки купцам. Наводнения повторялись потом несколько раз, но уже не были так сильны, как в первый раз. Неизвестно, скольким человекам стоили жизни эти наводнения, но после них при дворе опять возобновились празднества, пиры, балы, концерты и великолепные разезды по городу. Так было до самого отъезда царя в Москву.

По силе договора, всех шведских военнопленных приказано препроводить как можно скорее в военную коллегия, кроме поступивших на царскую службу или принявших православие. Шведов, женившихся на русских, но не принявших православия, приказано было отпустить в отечество без жен, давши им, однако, срок на год или на два одуматься и возвратиться в Россию.<sup>202</sup> По всей России приказано было праздновать торжество заключения мира молебствиями. В ознаменование своей радости 4 ноября император высочайшим указом объявил генеральное прощение всем осужденным, а также сидящим в тюрьмах за государственные долги, амнистия не простиралась только на осужденных за неоднократные разбои. Все каторжники, у которых не были вырваны ноздри, могли определяться на службу и жить где угодно в России; прочие оставались в Сибири, но на свободе; тех, которые тайною канцеляриею были сосланы в дальние города, приказано перевести в ближайшие. Попов и дьяконов, осужденных по суздальскому делу, соприкосновенному к процессу царевича Алексея, велено поставить у церквей в новопостроенных городах. Раскольников положено было оставить на прежнем основании, пока не обратятся в православие. В начале декабря царь со всем двором отправился в Москву, для чего велено было заготавливать подводы по дороге, а в самой Москве к царскому приезду построить трое триумфальных ворот: на Тверской, в Китай-городе у Казанского собора и на Мясницкой. Восемь дней шло празднество; устроено было катанье на санях, на которых поставлены были изображения разных морских судов. Весь поезд начинался колесницею, на которой сидел Бахус; за эту колесницею ехали одни за другими сани в шутовской обстановке: те запряжены были медведями, другие – свиньями, третьи – собаками. Шутовской патриарх сидел на подобии трона и раздавал направо и налево благословения, а перед ним сидел отец Силен на бочке. Около колесницы патриарха ехали в кардинальских одеждах члены сумасброднейшего собора, сидя верхом на оседланных быках, а за ними следовал князь-кесарь в комическом виде, представлявший московского царя прежних времен. Сам царь Петр, одетый моряком, сидел на изображении двухпалубного фрегата, уставленного на санях, запряженных шестью лошадьми. За ним – 24 саней, связанных одни с другими, нагруженные людьми, представляли огромную змею. Далее ехала государыня в одежде фрисландской крестьянки, в сопровождении придворных, разодетых африканцами. Затем следовали сани за санями, на которых поставлены были изображения судов, и на них сидели вельможи и иностранные посланники, приглашенные гостями на праздничное торжество. Все были одеты в маскарадное платье китайцами, персиянами, черкесами, индейцами, сибирскими инородцами, турками и разными европейскими народами, всякого звания и сословия. Весь этот поезд отправился к Меншикову – во дворец Лефорта, и гости прогуляли так целую ночь. После этого праздника недели две сряду отправлялись подобные гулянья. Кроме царя, угощали гостей пирами, балами, маскарадами и фейерверками Меншиков и голштинский герцог, ухаживавший в то время за дочерью царя.

---

<sup>202</sup> Надобно заметить, что во все продолжение многолетней Северной войны положение шведских пленников было неутрадным. Русское правительство заботилось только о том, чтоб их держать построже, но не принимало никаких мер к поддержанию их существования в плену. По старым русским понятиям, военнопленный был рабом того, кто его пленил. Русские так и смотрели на шведских пленников. Иные пленники уходили от господ, женились на русских женщинах; господа, поймавши их, разлучали с семьями: иных за самовольный уход тащили к суду, сажали в тюрьмы, держали в кандалах, морили голодом; иных господа насильно крестили в православную веру и женили на своих крепостных. Много раз подавались царю жалобы, но все без пользы. Между тем, по сознанию самого царя, шведы были полезными людьми для России. Многие принимались за разные рукоделия и искусства: из них были кузнецы, золотых и серебряных дел мастера, сапожники, портные, токари, столяры, делатели игральных карт, живописцы, музыканты; иные завели гостиницы, а некоторые, получившие на родине образование, заводили в России школы и обучали детей своих единоземцев, – в эти школы стали отдавать и русские своих детей. Простые солдаты занимались черною работою. Шведские пленники рассеяны были по всей России, но более всего было их в Сибири, где им вообще было лучше, благодаря добродушию Гагарина. В Сибири занялись они, между прочим, рудокопством, и посланный туда по рудокопным делам капитан Татищев доносил Петру, что без этих иноземцев горнозаводские работы не могут двигаться.

Все дела остановились во время всеобщего гулянья.

23 декабря сенат с Синодом порешили именовать царицу Екатерину – императрицей, а царских дочерей цесаревнами.

## **VI. Внутренние события после Ништадтского мира**

После Ништадтского мира Петр последние годы своего царствования занимался с прежней энергией делами внутреннего устройства. 5-го февраля 1722 года был издан новый закон о престолонаследии, который, можно сказать, уничтожал в этом вопросе всякое значение родового права. Всякий царствующий государь, сообразно этому закону, мог, по своему произволу, назначить себе преемника. «Кому оный хочет, тому и определит наследство, и определенному, видя какое непотребство, паки отменить».

Почти одновременно (24-го января) издан был знаменитый указ, заключающий табель о рангах, послуживший основанием новому порядку государственной службы. И здесь видно было желание поставить верховную царскую волю выше всяких прав и предрассудков породы. Местничество давно уже уничтожилось; повышение личностей в служебной лестнице оставалось на произволе власти. Новый указ был дальнейшим развитием этого принципа, Петр не уничтожил преимуществ рождения вовсе, но выше их ставил достоинство государственной службы. Заслуги, оказанные в государственной службе, сообщали недворянину потомственное дворянское звание. Всем, считавшимся до того времени дворянами, вменялось в обязанность в полуторагодовой срок доказать, когда и от кого пожалована им дворянская честь; те, которые докажут, что их род пользовался дворянством не менее ста лет, получали дворянские гербы. Герольдмейстер должен был вести списки дворян, по именам и чинам, и вносить в эти списки их детей. Таким образом положено начало родословным книгам и герольдии. Царь предоставлял себе право жаловать недворян за службу дворянством и лишать его за преступление. По закону 24-го января 1722 года, вся государственная служба разделялась на воинскую, статскую и придворную, и в каждом таком разряде устанавливалась лестница из 14-ти ступеней. Воинская служба разделялась на 4 отдела: сухопутная – армейская, гвардейская, артиллерийская и морская. Верховный чин или первый класс для всей армии, гвардии и артиллерии был генерал-фельдмаршал, для морских – генерал-адмирал. Ко второму классу принадлежали, как в армейской, так и в гвардейской службе, полные генералы от инфантерии и от кавалерии; в артиллерийской службе – генерал-фельдцейхмейстер, в морской – адмиралы прочих флагов. В третьем классе, в армии, гвардии и артиллерии, числились генерал-лейтенанты, генерал-кригскомиссар и кавалеры Св. Андрея, а в морской – вице-адмиралы. В четвертом, как в армии, так и в артиллерии – генерал-майоры; а в гвардии с этого класса начинается преимущество над армией: армейскому генерал-майору равнялся гвардейский полковник, в морской службе шаутбенахты и обер-цейхмейстер. В пятом – армейские бригадиры, оберштер-кригс-комиссар, генерал-привиантмейстер, в артиллерии полковник, в гвардии подполковник, а в морской – капитаны, командир над портом кроншлотским и некоторые хозяйственные должности. В шестом: в армии – полковники, в гвардии – майоры, в артиллерии – подполковники, в морской – капитаны 1-го ранга. В седьмом: в армии – подполковники, генерал-аудиторы и некоторые другие должности, в гвардии – капитаны, в артиллерии – майоры, в морской – капитаны 2-го ранга. В восьмом: в армии – майоры, генеральские адъютанты; в гвардии – капитан-лейтенанты, в артиллерии – инженер-майоры, в морской – капитаны 3-го ранга. В девятом: в армии – капитаны, в гвардии – лейтенанты, в артиллерии и в морской – капитан-лейтенанты. В десятом: в армии – капитан-лейтенанты, в гвардии – унтер-лейтенанты, в артиллерии и в морской – лейтенанты. Одиннадцатого класса не было, исключая для морской службы – секретари корабельные. Двенадцатого: в армии – лейтенанты, в гвардии – фендрики, в артиллерии – унтер-лейтенанты, в морской – унтер-лейтенанты и шкиперы 1-го ранга. Тринадцатого: в армии – унтер-лейтенанты, в артиллерии – штык-юнкеры, в гвардии и в морской не было этого класса. Наконец, четырнадцатого: в

армии – фендрики, в артиллерии – инженер-фендрики, в морской – шкиперы 2-го ранга и констапели. В статской службе: 1-го класса был один только канцлер, 2-го – действительные тайные советники, 3-го – генерал-прокурор, 4-го – президенты коллегий и тайные советники. Затем остальные классы, за исключением 11-го, которого вовсе не было, выражали разные должности гражданской служебной деятельности, и в этом отношении табель Петра имела несколько другой смысл, чем та, которая удержалась до нашего времени и представляет сходство с современной только по принадлежности должностей, размещенных в их достоинстве по лестнице классов. Придворные должности, начиная со 2-го класса, к которому принадлежал обер-маршал, шли также на 14 степеней, но, за исключением 10-го и 13-го, выражали собой придворные обязанности, в иных случаях постоянные, как, например, тайный кабинет-секретарь, лейб-медик, в других – относившиеся только к придворным церемониям, например, обер-шенк, камергеры. «Ранг» при Петре означал право на известную почесть, и всякий, кто самовольно займет место, дающее ему право на почесть выше его ранга, подвергался вычету двухмесячного жалованья или же уплате той суммы, которая равнялась жалованью, получаемому другими, равными ему по рангу, лицами. «Сие осмотрение каждого ранга не в таких оказиях требуется, когда некоторые яко добрые друзья и соседи съедутся или при публичных ассамблеях, но токмо в церквях при службе Божьей, при дворовых церемониях, при аудиенциях послов, в торжественных столах, в чиновных съездах, при браках, погребениях и тому подобное». Так пояснял значение рангов государев указ. И женский пол пользовался подобным отличием по рангам. Замужние женщины считались в рангах сообразно своим мужьям, а девицы сообразно своим отцам, но между замужними и девицами устанавливалось отношение, дававшее преимущество первых перед последними. Например, девицы, дочери отцов 1-го ранга, до своего замужества, считались выше тех замужних, которых мужья состояли в 5-м ранге, дочери отцов 2-го ранга считались выше жен чиновников 6-го ранга. У фискалов теперь явилась новая обязанность – наблюдать, чтобы все пользовались почетом сообразно своему рангу и не присваивали себе высшего почета. В статской службе потомственное дворянство давали первые 8 классов, а в военной – все (как штаб и обер) офицерские чины.

Каждый должен был иметь свой убор, ливрею для служителей и экипаж сообразно своему рангу. «Понеже знатность и достоинство какой особы часто умаляется, когда убор и прочий поступок чем не сходствует».

Этот новый закон устанавливал порядок должностей, но предоставлением разных почетов по чинам вводил в общественную жизнь пустое чванство и самопредпочтение, тем более достойное порицания, когда, по общечеловеческой слабости, чины не всегда могли достигаться по достоинству и заслугам, а часто могли добиваться в силу связей, пролазничества и низкопоклонства младших перед старшими.

Так как Петр желал поставить государственную службу выше предрассудков породы, то и другие, следовавшие затем, узаконения Петра носили тот же характер. 27-го апреля 1722 г. состоялся указ о цехах, приводивший в порядок ремесленных людей. Закон этот заимствован, как и все учреждения и нововведения Петра, из чужеземных образцов. Ремесло или занятие собирало всех, занимающихся им, в одну корпорацию, называемую цехом (польское слово, с немецкого *Zunft*). Все могли свободно вступать в цех: не запрещалось это и крепостным. Цехи находились под управлением выборных ольдерменов или старшин из настоящих мастеров. Всяк, занимавшийся каким-нибудь мастерством, должен был являться к ольдермену, подвергнуться от него испытанию и получать свидетельство на звание мастера. Только мастерам, получившим такие свидетельства, дозволялось выпускать в продажу свои произведения с наложением своего клейма. За продажу без наложения клейма брались большие штрафы, а старшина за неправильную выдачу свидетельства или за неправильное клеймение, после двухкратного штрафа подвергался ссылке на галеры. Старшина имел право приказывать вновь переделывать представляемое ему для одобрения произведение мастера или же уничтожать его вовсе, когда находил негодным. В цехи принимались и иностранцы, но те из них, которые приняли православную веру, лишались права отъезда за границу.

Царь ограничивал до некоторой степени произвол старейших над меньшими, родителей над детьми и владельцев над рабами. Узнавши, что родители принуждают к браку своих детей, а господа рабов, он (5-го января 1724 года) постановил, чтобы перед венчанием родители и господа вступающих в брак давали присягу, что они не неволят к браку, первые – детей, а последние рабов. Царю стало известно, что сыновья помещиков делались их наследниками по правам рождения, хотя бы по своим умственным качествам представляли полную неспособность пользоваться родительским достоянием. Несмотря на глупость таких богатых людей, многие, ради их богатства, отдавали за них дочерей: глупцы расточали свое богатство и управляли жестоко своими подданными. Царь приказал всем, у кого есть такие «дураки» в семье, подавать о них сведения в сенат. Сенат обязан был их свидетельствовать, и если находил негодными ни к учению, ни к службе, то запрещал жениться, а девицам выходить замуж, самых же «дураков и дур» отдавал ближним родственникам для прокормления.

Для устройства быта сельского сословия в этот период Петровой деятельности не видим ничего важного. На крестьян смотрели как на рабочую силу, годную государству для снабжения войска рекрутами и для содержания размещенных по империи войск; с последней целью и была учреждена ревизия и подушная подать. Установилась паспортная система (указом 26 июня 1724 года). Крестьяне могли брать отпуска для своего прокормления за рукой помещика или приказчика только в своем уезде и не далее 30 верст; если же отлучались в другой уезд, то должны были от земского комиссара брать вид вместе за подписью начальника полка, постоянно квартировавшего в том уезде, или от офицера, которому начальство этого полка поручало такие дела.

С учреждением Синода явился ряд замечательных узаконений по устройству церкви.

Указом от 22 февраля 1722 года священнические убылые места велено замещать по выбору прихожан, а кандидатов представлять архиереям. Последние должны были давать ставленникам книжицы о вере и христианском законе, а перед посвящением заставлять их проклинать все раскольничьи секты и согласия, и давать присягу, что они не будут укрывать таких раскольников, которые обнаружат свое отщепенство от веры удалением от исповеди и св. причащения. Обыкновенно ставились на священнические места дети духовных, но 4 апреля 1722 г. Синодом указано всех детей церковно- и священнослужителей, если они не будут ходить в школы, записывать в оклад наравне с прочими крепостными крестьянами того села, где они жили. В старину было принято, что вдовы попы и дьяконы не могли сдаваться на приходах, но шли непременно в монахи; царь (указ 30 апреля 1724 года) побуждал тех из них, которые сами учились в школах, вступать во вторичный брак и быть учителями духовных училищ. Священники обязаны были надзирать, чтоб их прихожане посещали церкви в воскресные дни, в двенадцатые праздники, в дни рождения и именин государя и государыни, в день полтавской победы и в Новый год 1 января. С этого времени священник делался слугою государственной власти и должен был ставить интересы ее выше церковных правил. Указом 17 мая 1722 года вменено в обязанность всем духовным отцам доносить о тех лицах, которые на исповеди сознаются, что они имели злой умысел против государя. Те, на кого последовал такой донос, отсылались в тайную канцелярию, но и доносителей требовали туда же, только под «честным арестом». Кто отступал от православия или детей своих крестил в иную веру, тот от Синода подвергался увещанию, если же увещания не действовали, то отдавался суду сената, а сенат предавал его воле государя. Еще прежде велено было упразднить все домашние церкви, но в 1722 г. дозволено было престарелым персонам иметь в домах церкви, однако не иначе как с особого синодального позволения и с тем, что после смерти этих особ антимины будут взяты в Синод и самые церкви уничтожатся. Петру не нравилось, что в России много церквей, особенно их изобилием славилась Москва; и он приказал там переписать их, обозначить время их основания, показать число дворов, состоявших в каждом приходе, и расстояние одной церкви от другой, а затем все лишние церкви упразднить. Постановлено было, чтобы вообще в приходе было от двухсот до трехсот дворов, и где было только двести дворов, там



полагался один священник, а где было дворов более – там два священника. Указ 30 апреля 1722 года запрещал строить церкви во имя икон Богородицы, например Владимирской, Казанской и т.п.; можно было основывать храмы Богородицы только в честь какого-нибудь богородичного праздника, например, Благовещения, Рождества и т.д. Изданы были разные правила о благочинии в храмах. Издавна по обычаю благочестивые люди приносили в церковь собственные иконы и там молились перед ними. 31 января 1723 года Синод запретил такой принос в церковь домашних икон и велел все находившиеся уже в церквях возвратить хозяевам. Запрещено также привешивать разные вещи к образам в церквях, как-то: монеты и т.п., а где такие вещи найдутся, то следовало продать их, и вырученные за них деньги употребить на покупку чистой пшеничной муки для просфор и на церковное вино; но если в числе привесок найдутся старые монеты и разные старинные вещи, то доставлять их в Синод. Богатые люди держались обычая приглашать духовенство служить в своих домах вечерни и заутрени. И этот обычай Петр велел Синоду запретить, находя, что он происходил от суеверия и тщеславия богатых, которые «хотят разниться от прочей христианской братии». 29 июля 1723 года Синод указал во время богослужения в церквях сбор подаваний собирать в два кошелька: в один – на церковные нужды, а в другой – на содержание больных и неимущих в госпиталях.<sup>203</sup> Духовные часто вели себя неприлично: неблагочинно отправляли богослужение, напивались пьяными до того, что валялись по улицам, сошедшись где-нибудь на обеде или поминках, ссорились между собою по-мужичьи, таскались по кабакам в безобразном виде и показывали свою храбрость в кулачных боях. Все это строго воспрещалось. Царь заметил (18 апреля 1724 года) Синоду, что русские всю надежду кладут на церковное пение, пост, поклоны и на приношение в церковь свеч, ладана и проч. Он приказал написать книгу, где бы изъяснялось различие между непременным законом Божиим и тем, что составляет предания отеческие и что учреждено только для обряда. Написать эту книгу следовало двояким способом: для поселян и для горожан. Царь хотел ознакомить русских с другими вероисповеданиями и иными верами и приказал в начале 1723 г. перевести лютеранский и кальвинский катехизисы на русский язык. В то же время прилагалось старание о размножении православных. Иноверцев Казанской губернии, изъявивших желание креститься, не велено брать в солдаты. В 1724 году сибирский архиерей доносил, что в Сибири новокрещенных татар отдали в холопство; царь приказал немедленно их объявить свободными, а сибирскому губернатору, вместе с тобольским архиереем, – учинить розыск о том, кто этих татар обратил в неволю. Октября 10-го 1723 года состоялся важный указ, сохранивший свою силу и до настоящего времени: не погребать умерших при церквях, а погребать их только на кладбищах или в монастырях.

В течение 1722 и 1723 годов давались распоряжения о монастырях, служившие как бы предварительными узаконениями к полному преобразованию иноческого чина, предпринятому позже. Запрещено были заводить новые скиты и монастыри. Запрещалось постригать военных людей без увольнения их начальства, крепостных без отпускного письма их господ, лиц, состоящих в брачном союзе, когда другое лицо еще находилось в живых, детей – без воли родителей, или по обещанию, данному заранее родителями, посвятить детей своих в иноческий чин, наконец, вообще всех недостигших тридцатилетнего возраста. Женские монастыри становились совершенно ни для кого непроницаемыми заведениями. В некоторых женских монастырях были св. мощи и чудотворные иконы, привлекавшие туда народные толпы: теперь приказано было помещать их в церквях, построенных на монастырских воротах с крыльцами, выходящими за пределы монастырской ограды. Богомольцы лишены были, таким образом, всякого предлога вступить во внутренность женского монастыря.

Новые подробные правила о монастырях были начертаны 31 января 1724 г. За основу взято такое положение: в древности монастыри насыщались не чужими трудами, а собственными, но потом ленивые монахи и ханжи стали ложно толковать слова Христовы.

---

<sup>203</sup> На госпитали отдавались, сверх того, имущества духовных особ, осужденных по делам тайной канцелярии; туда же обращалась и выручка с проданного имущества осужденных раскольников.

Иные из них подделались к греческим императорам, а более всего к их женам, и стали заводить монастыри не в пустынях, а в многолюдных городах, и много имений перешло в их руки. На Руси делалось то же. Но у нас климат не позволяет оставаться без труда, и монастырей нельзя содержать так, как в теплых краях. В настоящее время большая часть монахов тунеядцы и только по наружности как будто хотят угождать только Богу, отрекаясь от мира; на самом же деле они уходят в монастыри ради доброго и привольного житья. Большая часть монахов – из поселян, которые, постригаясь в монашество, избегали тройных повинностей: государству, помещику и своему дому, и находили в монастыре все готовое. Они бежали от труда, чтоб даром хлеб есть. Но монашество нельзя уничтожить; во 1-х, для удовлетворения совести желающих монашеского житья; во 2-х, ради посвящения архиереев, потому что давно уже вошло в обычай, чтоб архиереи были из монахов, хотя 300 лет после Христа и не так было. С таким основным взглядом на иночество положено расписать по монастырям отставных солдат и всяких убогих, не могущих работать; монахи должны им служить, а тем из монахов, которые окажутся лишними за числом служащих, отвести монастырские земли для обработки. В женских монастырях велено воспитывать подкидышей или сирот, остающихся без призрения – мужского пола до 7 лет, после чего отдавать в школы, а девочек оставлять в монастырях и там обучать грамоте и разного рода рукодельям, сделав, однако, для мальчиков и девочек особые помещения с особыми ходами.

С целью подготовки из монашеского звания архиереев, предположено устроить в Петербурге и в Москве семинарии, где могли они сначала обучаться, а потом заниматься обучением других до 30 лет своего возраста. Затем желающие могли вступать в Невский монастырь на испытание, а через три года быть пострижены. Постриженные должны были находиться там в виде упражнения, проповедовать в Невском монастыре и в соборных церквях и переводить книги. Каждый день они должны были находиться четыре часа в библиотеке, для изучения учителей церкви. Они жили под начальством архимандрита и директора, с лучшим содержанием против обыкновенных монахов, а за дурное поведение отсылались в простые монастыри, в больничные служители. Из этих-то привилегированных иноков выбирали архиереев и архимандритов, но не иначе как с утверждением государя по синодскому докладу. Для заведования монастырями и их имениями в 1724 году 18 сентября учреждена была камер-контора, которая обязана была делать раскладку, сколько в каждом монастыре можно было содержать нищих, сирот и монахов. Монастырские доходы положено было разделить на 5 частей: одна часть предназначалась монастырским чиновным людям; две – на церковные потребности и на починки; третья разделялась на 3 части – две трети шло на больницу, одна треть прислуживавшим монахам; затем четвертая часть доходов – на содержание постелей, белья и больных, а пятая – на престарелых, сирот и младенцев.

Петр, с обычною своею жестокостью, и теперь продолжал вести борьбу со множеством суеверий, укоренившихся издавна под покровом святости. В 1722 году, за распространение всякого нового суеверия или вымышленного чуда, государь велел ссылать в вечную каторжную работу, с вырыванием ноздрей. 17-го мая того же года было вменено в обязанность священникам доносить о том, кто у них сознался на исповеди, что вымыслил чудо, принятое народом за истину. В указе 11-го июля того же года Синод обличал глубоко укоренившееся в русском благочестии мнение, что страдания приятны Богу. Это учение, как известно, поддерживало в народе ревность к расколу, и по этому-то поводу, главным образом, Синод счел нужным опубликовать свое увещание, в котором объяснял, что, по слову Христа, страдания могут быть приятны Богу только тогда, когда совершаются правды ради, т.е. за догматы и закон Божий, но «такового правды ради гонения в российском государстве опасаться не подобает». Синодальный указ замечал, что являются люди, считающие богоугодным делом злословить власти и славиться своим мнимым мужеством. Указывался на свежий тогда пример монаха Варлаама Левина с его товарищами. Левин был полоумный изувер, страдавший меланхолией и падучею болезнью. Он служил прежде в военной службе, потом шатался странником; признанным раскольником он не был, но

отличался некоторыми старообрядческими чертами благочестия. Он постригся на своей родине в Пензе, а потом, из желания пострадать за правду, вышел на площадь в Пензе и всенародно кричал, что Петр антихрист и скоро начнет налагать на всех клейма между указательным и большим пальцем руки, а после того последует преставление света. Несчастливого сумасброда, по доносу одного из посадских, потащили в тайную канцелярию, привлекли к его делу нескольких попов, бывших его духовными отцами, и в том числе духовника князя Александра Даниловича Меншикова, Никифора Лебедку. Обвиняемых предали жестоким пыткам и в июле 1722 года приговорили к смертной казни.

Мысль о богоугодности страдания не искоренялась в русском народе от синодских увещаний, напротив, чудовищно проявлялась множеством случаев добровольного сожжения раскольников, застигнутых преследованием правительственных властей. Таких примеров в те времена было очень много, а особенно в Сибири, и они тем более располагали Петра к суровым мерам против раскола, в котором он видел выражение народного противодействия своим намерениям. Правительство не хотело знать раскольнического крещения, и обращающиеся из раскола в православие, хотя бы они были крещены, но от простого мужика, а не от духовного лица, вновь подвергались обряду крещения. Крестить детей у раскольников приказано не иначе как православным обычаем. При совершении браков раскольников с православными, с первых прежде брали обещание под присягою об отречении от раскола, а если женатые заявляли себя уже состоящими в раскольничьем браке, то их допрашивали, кто их венчал, и в случае записательства брали в розыск. Кроме двойного оклада в казну, раскольники обязаны были еще платить приходскому священнику по гривне с души, да, сверх того, по гривне от рождения, по гривне от брака и по гривне от погребения, хотя бы по нежеланию раскольников не были над ними исполняемы эти обряды; раскольниками государь приказал считать не только тех, которые откровенно объявляли себя состоящими в расколе, но записывать в число раскольников и тех, которые, посещая церкви и не уклоняясь от исповеди и причащения, клали на себе двухперстное крестное знамение. Обвиненные по суду раскольники наказывались ссылкой в каторжные работы в Рогервик. Зато самый заклятый раскольник, принимая православие, освобождался от двойного оклада и от всяких поборов, взимаемых с раскольников, хотя бы за ним числились этого рода недоимки за многие годы. Синод преследовал раскольничью литературу и октября 15-го 1724 года указал раскольничьи книги и тетради доставлять духовным властям, которые, в свою очередь, должны отсылать их в Синод.

В 1722 году опять повторилось преследование бород. Все бородачи должны были носить особый зипун, со стоячим клееным козырем, или однорядку с лежащим ожерельем. Раскольники, для отличия от обыкновенных бородачей, должны были носить козырь красный. За бороду следовало платить 50 рублей. Если кто придет в судебное место с бородою, не в указном платье, от того не принимали челобитных и тотчас с него взимался штраф 50 рублей, хотя бы он уже заплатил прежнюю годовую плату. Всякий, увидавши бородача не в указном платье, мог задержать его и вести к коменданту или воеводе для взятия с него штрафа, из которого половина давалась приводившему бородача. Только пашенные крестьяне не преследовались за бороды, когда не занимались постоянно промыслами. Если бородачу нечем было заплатить штраф, виновного ссылали на работу в Рогервик (Балтийский порт), а сибиряков на сибирские заводы, но сосланный отпускался на свободу, как скоро давал подписку, что обреет бороду и вперед не будет носить ее. Некоторые, с намерением избегнуть пени, назначенной за ношение бороды, подрезывали себе бороды, но не обривали совершенно (указ 12-го июня 1722 года). Однако этою уловкою не провели государя. Таких велено считать за бородачей и одеваться им в указное платье, а караульным урядникам и солдатам приказывалось ловить их и представлять начальству в губернии и провинции; фискалам велено наблюдать за ними. В июне 1723 года оказалось множество бородачей из купеческого и мещанского звания, сидевших под караулом, потому что по бедности они не могли заплатить требуемого штрафа. Царь велел им всем выбрить бороды и освободить на поруки. В 1724 году, для отличия бородачей, придумали обязать их

носить медные знаки, а женам опашни и шапки со старинными рогами.

Не ослабевали в последние годы царствования Петра его заботы о народном образовании. В 1724 году в инструкции, данной магистратам, этим городским учреждениям вменено в обязанность учить читать, писать и считать детей не только зажиточных, но и бедных родителей и с этою целью устроить при городских церквях школы. Но это оставалось только в предположении. Школ не заводили. В Голландию были посланы, для изучения архитектуры, несколько молодых людей. Осенью 1724 года по их донесению, что им нечего было делать, велено было собрать их вместе и учить разведению, содержанию и украшению огородов, а по мере надобности и железному делу. После поездки Петра в Париж и знакомства с французскими учеными, у него родилась мысль составлять ученые описания, касающиеся своего отечества, и он разослал учеников Петербургской морской академии по губерниям, для составления географических карт, а губернаторам и воеводам предписал надзирать за ними и оконченные работы присылать в сенат и камер-коллегию. Плоды этого дела вышли в свет уже после кончины императора, когда был издан первый русский атлас. Двух навигаторов Евреинова и Лужина царь отправил в отдаленные места Сибири, между прочим, для решения вопроса: соединяется ли Америка с Азией. При содействии одного из поселившихся в Сибири шведского пленного, голландца Буша, эти царские посланные посетили Камчатку, Охотск и плавали между Курильскими островами, но вопроса о соединении Америки с Азией они не решили, и Петр, незадолго до своей кончины, отправил с этою же целью другую экспедицию – знаменитого Беринга, совершившего свое путешествие через пролив, оставшийся в географии под его именем, и вернувшегося из своего путешествия уже при преемниках Петра. Петр в это же время отправил в Сибирь доктора Мессершмидта «для изыскания всяких „раритетов“, вещей, зверей, трав, руд и прочее». Этот ученый немец не знал ни слова по-русски, объяснялся только через переводчика и потому встречал большие затруднения. «Кого ни спрошу, – доносил он, – всяк отговаривается неведением». Тем не менее этот путешественник нашел «удивительного зверя»: мамонтову голову, два рога, часть его зуба и кость ноги и привез в Петербург, со многими естественными достопримечательностями, монгольские, тунгусские и китайские рукописи.

Петр давно уже сознавал необходимость переводов с иностранных языков книг, касавшихся разных наук и искусств, нередко поверял эти переводы духовным лицам, получившим воспитание в киевской коллегии. Но оказалось, что иные из них брались за перевод, не зная или языка, с которого переводили, или самого художества, о котором шла речь; царь приказывал таких переводчиков отдавать учить либо языку, либо художеству, смотря по тому, в чем переводчик оказывался слаб. Из замечательных переводов, появившихся в конце царствования Петра, следует упомянуть: «Введение во всеобщую историю Самуила Пуффендорфа», переведенное с латинского Гавриилом Бужинским. Тем же Бужинским переведено сочинение «Theatrum historicum», под названием «Феатрон, или Позор исторический». Сочинение это в подлиннике написано было в протестантском духе и потому переведено на русский язык с некоторыми замечаниями. Еще прежде в 1719 году в молодой русской литературе явился перевод церковных летописей Барония, с католическим направлением. По царскому повелению переведена была в 1723 году и напечатана «История о разорении Иерусалима Титом и о взятии Константинополя турками». Кантемиром составлена была книга: «Система или состояние магометанской религии», а для руководства в математико-навигационных школах переведены были с голландского языка «Горизонтальные северные и южные широты». Более важное значение имел для современников перевод с написанной по-итальянски рагузинским архимандритом Мавро Урбином «Историографии початие имене, славе и расширения народа славянского». Перевод этот, как думают, сделан был Саввою Владиславичем Рагузинским. С польского языка переведено было собрание образцов древнего красноречия, под названием «Апофегмата». Одной из характеристических особенностей тогдашней литературы были календари или месяцесловы, в которых, кроме астрономических сведений, были известные астрологические бредни,

которым в те времена верили. Заботясь о введении между русскими приемами европейского обращения, Петр приказал в 1719, а потом в 1723 году, напечатать книгу: «Юности честное зерцало, или показание житейского хождения». Это был переводный сборник разных правил о благопристойности в обращении с людьми.

16 февраля 1722 года государь повторил прежнее предписание о собрании и доставке в столицу старых русских летописей и хронографов. Только на этот раз царь обращался уже не к светским властям как прежде, а к духовным, и приказывал посылать уже не списки, а самые оригиналы, не в сенат, но в синод, и там переписать их. По окончании шведской войны, государю пришла мысль составить ее историческое описание, не без того, что Петром руководило самолюбивое желание увековечить в потомстве славу своих деяний. Сам государь каждую субботу посвящал утро этому делу, вписывая в хронологическом порядке известия о сражениях, победах и потерях русских войск и о разных внутренних учреждениях, начатых в его царствование. В 1723 году государь поручил ведение этого дела барону Гюйсену, изъявляя желание, чтоб «история эта при жизни государя в совершение пришла». Тем же занимались Шафиров и Феофан Прокопович, обращая внимание, по воле Петра, преимущественно на войну со Швецией. Театра Петр не любил, хотя и не преследовал его, зная, что его допускают и покровительствуют в европейских государствах. Театр при Петре существовал в Москве в самом жалком виде. Из переводных драматических произведений того времени указать можно на перевод дон Жуана с польской переделки и на перевод Мольеровой комедии «Régisieuses ridicules», названной по-русски «Драгия смеянная». Оба плохи. Но Петр, равнодушный к театру, любил всякие торжества, празднества и восхваления собственных подвигов. От этого в его царствование печатались разные слова, поздравительные речи и песнословия, прославлявшие подвиги великого государя.

Указом января 27-го 1724 года повелено устроить академию наук, «где бы учились языкам, наукам и знатным художествам». Академия предполагалась таким заведением, где бы ученые люди публично обучали молодых людей наукам, а некоторых из них воспитывали бы особо при себе с тем, чтоб те, в свою очередь, могли обучать молодых людей первым основам знаний, стараясь, чтоб от этого имели пользу вольные художества и мануфактуры. Академия разделялась на три класса. В первом преподавали бы 4 персоны: одна математику, другая – астрономию, географию и навигацию, третья и четвертая – механику. Второй класс, физический – с 4 персонами – преподавателями анатомии, химии, физики теоретической и экспериментальной и ботаники. Третий класс – с 3 персонами, которые преподавали: элоквенцию, древности, древнюю и новую историю, натуральное и публичное право, политику и этику; полезным считалось преподавание экономии. Академики должны были изучать авторов по своей науке, рассматривать новые изобретения и открытия. Каждый академик должен был написать курс своей науки по-латыни с переводом на русский. При академии следовало завести библиотеку и натуральных вещей камеру, иметь своего живописца и гравировального мастера. Три раза в год в академии должны происходить публичные ассамблеи, на которых один из членов должен читать речь по своей науке. На содержание академии определены доходы с городов Нарвы, Дерпта, Пернова и Аренсбурга, всего 24912 рублей. Но академикам, в видах улучшения их обстановки, предоставлялось читать еще и партикулярные лекции. Петр заметил, что ученые люди, занятые своей наукой, мало заботятся о жизненных средствах, поэтому предполагал необходимость таких лиц, которые пеклись бы о материальных нуждах ученых: с этою целью он положил учредить директора, двух товарищей и одного комиссара, заведывавшего денежной казною. Самостоятельный университет, в смысле высшего учебного заведения, признавался невозможным в России, пока в ней не существовало еще среднеучебных заведений: гимназий и семинарий. Петр, однако, тогда же объявил о намерении учредить со временем университет с тремя факультетами: юридическим, медицинским и философским, а при университете – гимназию.

Ревизская перепись, начатая в 1718 году, была совершенно окончена к 1722 году. Оказалось, что во всех 10 губерниях и 48 провинциях было дворов 888244. Самая населенная

губерния была Московская – 259281 двор. В дополнение велено было, указом 10 мая 1722 года, сделать перепись малороссиянам слободских полков, поселенным на помещичьих землях, но объявивши им, что они переписываются только для сведений, а не для поборов. Иностранцев – астраханских и уфимских татар, как равно и сибирских ясачных и лопарей, ревизская перепись не касалась вовсе.

По окончании ревизии введена была подушная подать (11 января 1722 года) по 80 копеек с души на 500000 крестьян и деловых людей. Все, которые были не за помещиками, но входили по ревизии в подушный оклад, обязаны были платить еще прибавочных 4 гривны с души; дворовые люди не принимались в раскладку по сборам. 26 июня 1724 года были установлены правила, которыми надлежало руководствоваться при взимании подушной подати. Подушные деньги собирались выборными от местного дворянства в три срока в течение года; в первые два срока по 25 коп., а в третий срок по 24 коп. Комиссары, собиравшие подати, брали по одной деньге с души на себя за свой труд. С крестьян, вышедших в подушный оклад, положено не править недоимок (ук. янв. 25-го 1725 г.).

Лица, посланные по государеву повелению в губернии, должны были созвать дворян и расписать поставленных по селам и деревням солдат, разместивши их сообразно количеству крестьянских душ, так, чтоб на каждого пешего приходилось крестьянских 35 1/2 душ, а на конного – 50 1/4 душ. Дворянам объявлено, что они будут платить со всякой души мужского пола на содержание войска 8 гривен.

Затем повторены прежние распоряжения о постройке слобод на известном расстоянии одна от другой для избежания постоев солдат в крестьянских дворах. Составлены были более подробные правила об отношениях к помещикам и крестьянам войсковых команд, стоявших на квартирах. Военные не должны были вмешиваться в помещичьи работы, могли пасти лошадей и рубить дрова только там, где помещик укажет. Офицерам и рядовым позволялось держать свой скот, но они не должны были требовать от помещиков фуража. Полковник и офицеры должны наблюдать, чтобы крестьяне, приписанные к их полкам, не бегали, а если проведуют о намерении бежать, то должны посылать в погоню и пойманных передавать помещикам для наказания; военные должны были также в тех округах, где квартировали, ловить разбойников и воров. Поставленных на вечные квартиры военных полагалось брать на канальные работы по мере близости их постоя, впрочем, выбирая для этого преимущественно из гарнизонов, а для пополнения гарнизонов определяя в то же время из армейских полков на место взятых. Кроме двухсот тысяч регулярного войска, таким способом размещаемого, царь в 1722 году велел из однодворцев южных провинций составить отряд конных гусар с карабинами и пиками, а в 1724 году из тех же однодворцев образовать 5187 человек ландмилиции (одного из 16-ти), ландмилиция эта распускалась по мере ненадобности в ней и собиралась вновь по востребованию. Это была мера охранения русских пределов от вторжения крымцев, и в тех же видах устраивалась на юге линия пирамид, вышиною в три сажени, на таком расстоянии одна от другой, чтоб можно было видеть с одной пирамиды все, что делается близ другой. На этих пирамидах ставились смоляные бочки и зажигались в случае тревоги, и таким образом на расстоянии нескольких сот верст мог сделаться известным татарский набег.

Рекрутская повинность, ложившаяся таким тяжким бременем на тогдашнее народонаселение, в конце царствования Петра расширилась: в 1722 году татары, мордва, черемисы, прежде освобождавшиеся от рекрутчины, сравнены были в этом отношении с другими жителями государства. Татар велено брать малолетних в гарнизоны и употреблять в денщики. В 1722 году был отменен закон, дозволявший крепостным людям определяться в солдаты помимо воли помещиков, но в том же году опять возобновлен, однако с тем различием, что поступивших таким образом в службу велено засчитывать за рекрут их господам. Солдатские дети брались в рекруты, если оказывались годными (ук. янв. 19-го 1723 г.). Купечество не несло рекрутской повинности натурою, но платило 100 рублей за рекрута. Система подушного оклада, тесно связанная с установлением ревизии и новоучрежденным порядком воинского постоя, вместо облегчения народа, как обещалось,

послужила источником большего отягощения для крестьянского сословия. Русские крестьяне попали под зависимость множества командиров и начальников, часто не зная, кому из них повиноваться. Каждый военный, начиная от солдата до генерала, помыкал бедным крестьянином; тормошили его фискалы, комиссары, вельдмейстеры, а воеводы правили народом так, что, по выражению одного указа, изданного уже по смерти Петра, «не пастырями, но волками, в стадо ворвавшимися, называться могут». Наконец, тяготела над крестьянством власть их помещиков, ничем почти не сдерживаемая и особенно тяжело отзывавшаяся там, где помещики не находились в своих имениях, а вместо них управляли крестьянами приказчики; «Можно всякому легко рассудить, – говорится в том же вышеприведенном нами указе, делающем обзор учреждений Петровского времени, – какая народу оттого тягость происходит, что вместо того, что прежде к одному управителю адресоваться имели во всех делах, а ныне к десяти и может быть больше. Все те разные управители имеют свои особливые канцелярии и канцелярских служителей, и особливый свой суд, и каждый по своим делам бедный народ волочит, и все те управители, так и их канцелярии и канцелярские служители, жить и пропитания своего хотят, умалчивая о других беспорядках, которые от бессовестных людей, к вящей народной тягости, ежедневно происходят».

Продолжительные войны и всякие преобразования в государстве требовали денег более, чем сколько могло платить тогдашнее бедное народонаселение России. При всем усиленном старании увеличить государственные доходы, Россия получала пред концом царствования Петра от девяти до десяти миллионов ежегодного дохода. Недоимки прогрессивно возрастали, и в 1723 году они представляли следующие цифры: недоимка таможенных сборов доходила до суммы 402523 рубля, канцелярских и оброчных по смете назначалось собрать 714756, недобрано 309322 руб.; пчелиного налога, вместо следовавших 35414 руб., собрано только 15330 рублей; с мельниц, вместо 71704 рублей собрано 33696; с рыбных ловель, вместо 89083 рублей – 43942 руб.; с пашенных земель и сенных покосов, вместо следуемых по окладу 18812, собрано 7637 руб.; с мостов и перевозов, вместо 40469 руб. – 23598 рублей.<sup>204</sup>

Самые разнообразные окладные и неокладные налоги, существовавшие при Петре, не были поставлены в соответствие с действительною платежною способностью; оттого во все царствование Петра не переводились неоплатные должники казне. Еще прежде приказано было отправлять их на казенные работы, но закон этот не исполнялся: подьячие за взятки выпускали их на волю, а властям показывали, будто колодники ушли из тюрьмы; взыскание падало потом на тюремных сторожей. Государь (4 апреля 1722 года) указал предавать виновных подьячих смертной казни, если окажется, что они делали потачку колодникам. Подтверждалось, под опасением денежного штрафа, должников не держать в тюрьмах, а немедленно отправлять на галеры.

---

<sup>204</sup> В 1724 году составлена была камер-коллегией табель разным оброчным статьям, кроме подушного сбора. Самую крупную цифру из всех налогов представляли таможенные – 982722 рубля и кабачные – 973292 руб., соляной сбор (за три года дал) 662118 руб., денежные дворы – 216808 руб., с рыбных ловель – 89197, с мельниц – 73261, с приезжих возов в Москве положенного сбору – 58018, с инородцев – 56969, с дворцовых волостей – 94490, с Лифляндии и Эстляндии контрибутивных и арендных – 87 032, с письма крепостей неокладной сбор – 45438, с дел пошлин – 44940, с домовых бань разночинцев – 40293, с церковников – 40254, конских пошлин – 40841, мелких канцелярских и харчевых сборов – 30273, с пчелиных ульев – 29110, с крестьянских бань – 26609, с имений синодального ведомства – 29443, с найма извозчиков – 29926, с попов за драгунские лошади – 27523, с оброчных земель – 26263, с церковей данных – 22780, печатных пошлин от запечатывания указов – 21832, с гербовой бумаги – 17134, почтового сбора – 16261, с венечных памятей – 9409 и другие налоги. Всего таких сборов 4040090 руб. Государь, выслушав в сенате 12 августа 1724 года окладную табель всех сборов, постановил отставить следующие виды налогов: 1) с церковников и монастырских слуг (40254 руб.), 2) с пчелиных ульев и с бортей; 3) с попов за драгунские лошади; 4) с приказных людей (12546 руб.); 5) с крестьянских бань; 6) поземельный сбор (5967 руб.); 7) с мастеровых и работных людей, с лавочных сидельцев и с ходячих продавцов (5329 руб.); 8) с клеймения платья, шапок, сапогов (389 руб.), – что составляло всего 146631 руб.

В последние годы царствования Петра в разных городах учреждены были (6 апреля 1722 года) вальдмейстеры для сбережения лесов. Главное внимание обращено было, как и прежде, на окрестности больших рек и озер, в особенности на линии от устья Оки вниз по Волге и по рекам, впадающим в Волгу; во всех дачах, чьи бы они ни были, запрещалось владельцам рубить лес даже для собственных нужд. После тяжелых пеней за две последовательные порубки лесов, за третью следовало наказание кнутом и ссылка на галеры на 20 лет.

В 1722 году к предшествовавшим коллегиям прибавлено еще две: малороссийская и вотчинная. Первая была в Глухове и выражала собою орган центральной власти в крае, которому предоставлялись еще права отдельного самоуправления. Во вторую – стекались все дела о поземельных владениях, которые ведались до того времени в упраздненном тогда Поместном приказе.

С учреждением юстиц-коллегии по городам были определены зависевшие от этого учреждения судьи, и тем был положен как бы зачаток разделения власти административной от судебной. Но 12-го марта 1722 года такие судьи были отменены и правосудие в провинциях по-прежнему вверено было воеводам, творившим суд, вместе с двумя асессорами из отставных офицеров или дворян. Там, где города отстояли верст на 200 и более один от другого, воеводы могли иметь еще лишних асессоров и посылать их вместо себя, с правом судить до 20 рублей, а потом сумма была возвышена до 50. Надворные суды, где такие находились, не подчинялись ни губернаторам, ни воеводам. При всех беспрестанных нравоучениях Петра и угрозах за несоблюдение правосудия, продолжали совершаться дела, возбуждавшие гнев государя. И в 1722 году он приказал напечатать и выставить в сенате и во всех присутственных местах наставление о том, как следует обращаться с законами. «Всуе законы писать, – говорится в том указе, – когда их не хранить или ими играть как в карты, прибирая масть к масти». Но предусматривая, что могут быть замедления и упущения и от малого понимания смысла законов и нововведенных учреждений, Петр в том же своем наставлении (17-го апреля 1722 г.) прибавил: «Буде же в тех регламентах что покажется темно или такое дело, что на оное ясного решения не положено: такие дела не вершить, ниже определять, но приносить в сенат выписки о том». Сенат обязан был «собрать все коллегии и об оном мыслить и толковать под присягою, однако ж не определять, но, положив например свое мнение, объявлять государю». Вместо двух штаб-офицеров, находившихся прежде в сенате, наблюдателем над ходом дел в сенате назначался генерал-прокурор. Он должен был смотреть, чтоб все исполняли свое дело, протестовал, делал замечания и наставления, получал от фискалов донесения, предлагал их сенату и должен был смотреть за самими фискалами. Генерал-прокурор имел под ведением своим обер-прокуроров и прокуроров в областях. Это учреждение не подлежало никакому суду, кроме самого государя. Генерал-прокурор имел право арестовать сенаторов, поверять производимые ими дела иным лицам, но не имел права ни пытаться их, ни наказывать. «Сей чин, – говорится в указе 27-го апреля 1722 г., – яко око наше и стряпчий в делах государственных и на нем первом взыскано будет, если в чем поманит». Впрочем, генерал-прокурор не отвечал за ошибки, «понеже лучше дополнением ошибиться, нежели молчанием». Институт прокуроров сплетался с институцией фискалов. В коллегиях и надворных судах фискалы доносили прокурорам, а в случае медленности прокурора по этим доношениям фискал через своего обер-фискала доносил генерал-прокурору. Последнему каждый фискал мог подавать донос и на своего обер-фискала.

По-прежнему важнейшими делами считались те, которые прямо относились к оскорблению чести государя. Кроме фискалов и прокуроров, всякому дозволялось подавать доносы о таких делах, надеясь за то царской милости, а за сокрытие чего-нибудь вредного государевой чести обещалась смертная казнь и отобрание в казну всего имущества. Поощряя доношничество, Петр, однако, в указе января 22-го 1724 г. заметил, что иные делали доносы, находясь сами под розыском, и положил таким доносчикам, в уважение к сделанному ими доносу, не облегчать наказания, следуемого за собственные их преступления, а приниматься



за их донос, уже покончивши с ними самими. После указа о сжигании подметных писем, охотники к ним приискали другие способы их распространять; они разносили эти письма сами или передавали через прислугу. 9-го ноября 1724 года Петр отменил прежний свой указ об истреблении подметных писем без их прочтения, а велено разносителей их представлять в полицейскую канцелярию.

В начале 1724 года состоялось новое положение, до этого времени не существовавшее: никто из служащих не мог отговариваться неведением закона. Военные люди должны были знать воинский артикул, а статские – генеральный регламент (25-го сентября 1724 г.). Никто не имел права отговариваться неведением, в какой суд обратиться по своему делу (13-го ноября 1724 г.).

Дела о злоупотреблениях должностных лиц по-прежнему влекли за собою мрачные и кровавые зрелища казней. В 1722 году производилось дело воронежского вице-губернатора Колычева: за ним открылись большие злоупотребления и лихоимства, начет на него доходил до 700000 рублей. Его наказали кнутом. Громче было дело о подканцлере Шафирове, человеке, давно уже пользовавшемся доверием государя. Возникло дело о том, что Меншиков, владея в Малороссии местечком Почепом, населил у себя много лишних людей и захватил в свое владение лишние земли. Шафиров в сенате был против Меншикова, вместе с Голицыным и Долгоруким. Обер-прокурор сената Скорняков-Писарев был за Меншикова против Шафирова. Вскоре этот человек, злобясь на Шафирова, придрался к нему по другому делу, в котором Шафиров покушался учинить незаконное постановление ради своих интересов: Шафиров хотел, чтобы брату его Михайлу, при переходе с одной службы на другую, выдали лишнее жалованье, и подводил его под закон об иноземцах. Скорняков-Писарев колко заметил ему, что Шафировы не иноземцы, а жидовской породы, и дед их был в Орше «шафором» (домоправителем), отчего и произошло их фамильное прозвище. Колкое замечание раздражило Шафирова, а враг его, озлобившись пуще, через несколько дней опять зацепил его. В сенате слушалось дело о почте, – почтою управлял Шафиров. Обер-прокурор потребовал, чтобы Шафиров вышел из сенатского присутствия, потому что царский указ предписывал судьям выходить прочь из присутствия, когда слушаются дела, касающиеся до них самих или до их родственников. Шафиров не послушался, обругал Скорнякова-Писарева вором, а потом наговорил колкостей канцлеру Головкину и Меншикову. Тогда оскорбленные сенаторы вышли из заседания сами и затем подали мнение, что Шафиров, за свои противозаконные поступки, должен быть отрешен от сената. Царя в то время не было; он находился в персидском походе, а возвратившись в январе 1723 года, назначил в селе Преображенском высший суд из сенаторов и нескольких высших военных начальников. Суд этот приговорил Шафирова к смертной казни. 15-го февраля 1723 года приговор должен был совершиться в Москве в Кремле. Когда в назначенный день осужденный положил голову на плаху, тайный кабинет-секретарь Макаров провозгласил, что государь, в уважение прежних заслуг Шафирова, дарует ему жизнь и заменяет смертную казнь ссылкой в Сибирь. Позор эшафота расстроил Шафирова до такой степени, что хирург должен был пустить ему кровь. «Лучше было бы, – сказал тогда Шафиров, – если бы пустил мне кровь палач и с кровью истекла моя жизнь». Потом самую ссылку в Сибирь царь заменил Шафирову отправкою на жительство в Новгород, вместе с его семейством. Шафиров, лишенный своего достоинства, жил там в крайней бедности и под строгим надзором; русские вельможи и даже иностранные министры посылали ему милостыню. Императрица Екатерина просила государя помиловать его. Петр был неумолим.

Но и Скорнякова-Писарева Петр тогда же отрешил от должности обер-прокурора, отобрал у него пожалованные деревни, однако в следующем году назначил его смотрителем работ на Ладожском канале. Двух сенаторов, державших сторону Шафирова, князя Долгорукого и Дмитрия Голицына, Петр наказал денежным штрафом и шестимесячным тюремным заключением, но через четыре дня простил их, по просьбе императрицы. Соблазнительная ссора Скорнякова-Писарева с Шафировым повлекла к новому закону о наложении штрафов за неприличное поведение в присутственном месте.

Обер-фискал Нестеров, который много лет отличался ревностным преследованием всяких злоупотреблений, наконец и сам попался. Его оговорил ярославский провинциал-фискал Попцов, обвиненный в нарушении инструкции, данной фискалам, и за это после казненной смерти. Но после казни Попцова государь велел нарядить суд над Нестеровым; этот суд, состоявший под председательством генерал-прокурора Ягужинского, подверг Нестерова пытке и нашел, что Нестеров брал с Попцова взятки деньгами и вещами, брал взятки с других лиц по поводу определения их на воеводские места, наконец, брал и по кабачным откупам. На Нестерова начли 300000 рублей. Нестеров был приговорен к смерти и казнен в январе 1724 года на площади против коллегий. Петр, любивший зрелища подобного рода, стоял у окна камер-коллегии. Старик Нестеров, взойдя на эшафот, увидел государя, поклонился и закричал: «Виноват». Но помилования ему не было оказано; палачи тотчас начали его колесовать – ломали сперва одну руку, потом ногу, потом другую руку и другую ногу; истерзанный еще был жив в страшных страданиях. Майор Мамонов, от имени государя, подошедши к нему, сказал, что ему отрубят голову и прекратят его мучения, если он все покажет. Нестеров отвечал, что он уже все показал. Его потащили к плахе и положили лицом в кровь, вытекшую из голов двух казненных перед ним товарищей, а потом отрубили голову. Головы казненных были воткнуты на железные колья; обезглавленные тела их навязали на колеса. Тогда с Нестеровым было казнено девять человек, еще несколько наказаны кнутом и сосланы на галерные работы, а четверем из них вырвали ноздри. Петр приказал согнать на эту казнь всех подьячих, дабы они видели, что бывает за злоупотребления по должности. Вслед за тем Меншиков, бывший до того сильным, что сенаторы, вздумавшие сопротивляться его воле, подвергались опасности потерять жизнь, принужден был, по делу о незаконном присвоении земель и людей к своему владению в Малороссии, повиниться перед Петром и просить «милостивого прощения и отеческого рассуждения». «Он в беззакониях зачат, во грехах родился и в плутовстве скончает живот свой», – сказал о Меншикове Петр, однако простил его и опять ездил к нему обедать и пировать.

В 1723 году возникло знаменательное дело о малороссийском наказном гетмане Полуботке и малороссийской старшине. Учрежденная в 1722 г. малороссийская коллегия, состоявшая из шести штаб-офицеров, под председательством бригадира Вельяминова, очень не понравилась малороссам, и гетман Скоропадский, находившийся временно в Петербурге, представлял царю, что таким поступком нарушается смысл договора с Хмельницким, по которому Малороссия соединилась с Россией. Петр не внял этой жалобе, а Скоропадский уехал на родину и скончался в июле 1722 года. До избрания нового гетмана, по старым малорусским обычаям, следовало назначить наказного гетмана из полковников, и таким наказным гетманом сделан был черниговский полковник Павел Полуботок. Петр недолго любил его и не хотел, чтоб он был гетманом, а намеревался устроить в Малороссии другое правительственное учреждение, вместо гетманства. Не решивши вопроса о малороссийском правительстве, государь уехал в персидский поход. В его отсутствие старшина жаловалась в сенат на малороссийскую коллегия за то, что она, помимо старшины, рассылала по малороссийским полкам универсалы, в которых предоставляла черни, т.е. простым казакам и посполитому народу, приносить в коллегия жалобы на несправедливость и утеснения, причиняемые первым от казацких чиновников, а второму от их помещиков. Эти универсалы, как и надобно было ожидать, стали тотчас сигналом к беспорядкам. Крестьяне не повиновались помещикам, буйствовали, и одному из казацких старшин и помещиков Забеле нанесли побои. Полуботок со старшиною, в видах сохранения спокойствия, выдал со своей стороны универсалы, внушавшие крестьянам долг повиновения к владельцам тех земель, на которых крестьяне проживали. Этот поступок наказного гетмана и старшины был формально противен царскому указу, запрещавшему посылать универсалы без согласия с малороссийскою коллегиею, и тем более казался недозволительным, когда универсалы, разосланные Полуботком, по своему содержанию, прямо были направлены против универсалов коллегии.

По возвращении Петра в Москву из похода, прислана была из Малороссии царю просьба об избрании настоящего гетмана. Петр не исполнил желания малороссов, но издал указ о назначении в малороссийские казачьи полки, вместо выборных полковников, как было прежде, новых полковников из великороссов, а сенат по царскому приказанию секретно поручил Вельяминову побудить малороссиян просить у царя, как милости, чтобы суд в Малороссии производился по великорусскому Уложению и по царским указам. Затем Полуботка с генеральным писарем Савичем и генеральным судьей Чарнышем потребовали в Петербург к ответу. Здесь в тайной канцелярии сделан был им придирчивый допрос. Малороссияне оправдывали свою рассылку универсалов о повиновении подданных владельцам тем, что посольство, возбуждаемое дозволением жаловаться на властей, начало уже волноваться: необходимо было остановить своеволие простонародия и не допустить до всеобщего мятежа. Кроме того, в тайной канцелярии Полуботку и старшинам показали разные жалобы, последовавшие на них от разных малороссов. Жалобы эти, лишенные улики, были совершенно бездоказательны; однако 10 ноября 1723 года государь приказал препроводить в крепость Полуботка, Савича и Чарныша с толпой казаков и служителей, приехавших с ними в Петербург. Петру, по политическим соображениям, как видно, хотелось обвинить малороссийских старшин в государственном преступлении: он был ими недоволен за то, что они добивались выбора гетмана и сохранения прав малороссийского края. Явилось письмо от черниговского епископа Иродиана к епископу псковскому Феофану. Иродиан писал, что слышал от какого-то Борковского о сношениях Полуботка с изменником Орликом, приходившим с ордою в Украину. Но розыск, сделанный об этом киевским губернатором князем Трубецким, по указу из тайной канцелярии, не привел дела в ясность: «понеже за страхом от Полуботка не объявляют правды». Петр отправил в Малороссию майора Румянцева, приказал ему собирать казаков и всяких людей и сказать им, чтоб они без всякой опасности для себя ехали обличать Полуботка; вместе с тем Румянцев должен был заручиться от малороссийских казаков заявлением, что ни они, ни малороссийское посольство вовсе не желают избрания гетмана, что челобитная об этом государю составлена без их ведома старшиною, что они желают, чтоб у них полковниками были велико-россияне. Румянцев, оказавший уже Петру вместе с Толстым важную услугу доставкою из Неаполя беглого царевича, и теперь в Малороссии исполнил царское поручение так, как только мог угодить Петру. Он извещал, что в разных малороссийских городах он собирал сходки и везде слышал отзывы, что простые казаки не знают о челобитной, гетманства не хотят вовсе и очень довольны тем, что им назначают в полковники великороссов, вместо природных малороссиян. Заключение в крепость малороссияне, Полуботок с товарищами, не были уже освобождены Петром. Полуботок умер в тюрьме, а товарищи его получили свободу уже при Екатерине.<sup>205</sup> Наши историки представляют это дело в таком виде, как будто Петр заступался здесь за многих обижаемых и утесняемых в Малороссии Полуботком и старшиною; но из дела не видно ни малейших доказательств виновности в чем бы то ни было этих лиц, и они представляются скорее жертвами государственных соображений правительства, желавшего всеми средствами уничтожить отдельную самостоятельность Малороссии и теснее соединить ее с другими частями империи.

Побеги в этот период времени не уменьшались, и распоряжения о беглых следовали прежним порядком. В 1722 году давался беглым срок добровольной явки на год, с объявлением помилования, если они воспользуются сроком. Однако охотников воспользоваться милосердием государя было немного. Народ толпами уходил за границу, и по указу 26-го июня 1723 года устроены были по границе заставы; польскому правительству написано было, чтоб оно, со своей стороны, назначило комиссаров для поимки и отсылки в

---

<sup>205</sup> О смерти Полуботка (17 дек. 1724 г.) в Малороссии сохранилось предание, что Петр, услышавши об его безнадежной болезни, сам посетил его в заключении, и Полуботок, сознавая скорую смерть свою, предрек государю и его кончину, сказавши: «Скоро Петр и Павел предстанут перед судом Божиим!»

Россию бежавшего в Польшу русского народа. Расставленные на границах драгунские полки не могли совладать с беглыми, которые уходили за рубеж с ружьями, рогатинами, и, встречая на рубеже драгунов, готовы были биться с ними, как с неприятелями; другие же толпами успевали проходить мимо застав. Государь велел стрелять в упрямых беглецов. Беглые селились в Польше, а потом переходили за рубеж вооруженными шайками, били, мучили и грабили людей по дорогам; особенно во Псковской провинции они навели большой страх, тем более, что там была недостача военных команд. Строгий для беглых во всех краях Руси, Петр делал в этом отношении послабление для Ингерманландии, которую хотел заселить русскими. Беглые крестьяне, поселившиеся в этом крае из других русских областей, не отдавались своим прежним помещикам. Если у владельцев были собственные земли в Ингерманландии, то беглые приписывались на эти земли, а если не было, то владельцам их позволялось продавать бывших в бегах тем помещикам, за которыми числились земли в Ингерманландии, или получать от казны за мужчину по 10 рублей, а за женщину по 5 рублей. Беглые всякого рода толпились во множестве в Пензенской, Тамбовской провинциях и на юге России – в Киевской губернии и на Дону. Многие из них показывали себя непомнящими родства; царь приказал таких отправлять в Петербург для поселения на ингерманландских землях, принадлежавших государю. Стараясь о развитии горного промысла, Петр дозволил на заводах принимать беглых крестьян, без отдачи прежним владельцам, с тем, чтоб эта льгота не простиралась на уклоняющихся от военной службы.

Побеги умножались тогда по причине голода, свирепствовавшего в России. Летом 1722 года был большой хлебный недород; люди стали умирать от голода, и царь, указом 16-го февраля 1723 года, приказал рассчитать, сколько нужно на год или на полтора каждому помещику для себя и для крестьян на обсеменение полей, а затем весь хлеб – отобрать и раздать неимущим на пропитание, однако с условием, чтобы последние после возвращали без всякой отговорки. Велено было отбирать хлеб у купцов и промышленников, которые скупали его для продажи по высокой цене; царь приказал этот хлеб продавать народу в Петербурге и в Москве так, чтобы, сверх покупной цены и пошлин, приходилось купцам, у которых отобрали этот хлеб, прибыли не более одной гривны на рубль. Придумали и другую меру для облегчения народного бедствия: со всех служащих, исключая военных иностранцев, из получаемого ими жалования, вычиталась одна четверть. У губернаторов, вице-губернаторов и комендантов, владевших деревнями, велено было на время неурожая отобрать все их хлебное жалованье; упразднено было, сверх того, всякое двойное и прибавочное жалованье, хотя бы получаемое в виде наград сверх действительных окладов по чину. Но в августе того же года оказалось, что служащие в канцеляриях и коллегиях, не получая полного своего жалованья, пришли в крайнюю нужду, и потому сенат приказал выдавать им, за недостатком денег, сибирскими и прочими товарами, а вместо муки – рожью. По случаю голода, дозволено было привозить хлеб из-за границы, сначала за половинную пошлину, а затем совсем беспошлинно (указы июня 1723 г., 13-го января и 28-го августа 1724 года), и в силу такого дозволения в апреле 1724 года привезено было заграничного хлеба на 200000 рублей; русские купцы могли продавать повсюду, но брать прибыль для себя не более гривны с рубля за зерно и не более двух – за муку. Дороговизна хлеба продолжалась до конца царствования Петра и побудила устроить при камер-коллегии особую контору для принятия мер на будущее в случаях неурожая. Уже за две недели до своей кончины, Петр установил правила против повышения цен съестных припасов, охранявшие покупателей от стычек между алчными торговцами.

Между тем голод и побеги приводили к размножению разбоев. Летом 1722 года дошло до царя, что на Оке и на Волге разбойники убивают хозяев, грабят товары, а наемные работники на купеческих судах не только не обороняют своих хозяев, но еще сами подговаривают разбойников. Около самого Петербурга не было проезда за разбойничьими шайками, а одна из этих шаек, доходившая, как говорят, до 9000, под командою отставного полковника, помышляла напасть на столицу, сжечь адмиралтейство и все военные склады и

перебить всех иностранцев. Тридцать шесть разбойников были схвачены, посажены на кол и повешены за ребра.

Государь продолжал заботиться о заселении любимого Петербурга. В марте 1722 года приказано взять на житье в Петербург из разных северных городов и уездов 350 плотников с их семьями; потом, для той же цели в 1724 году, приказано в Архангельске набрать 1000 семей плотников. 5-го января 1724 года царь указывал поселяться на Васильевском острове помещикам: они обязаны были строить себе дома, занимая разные пространства, сообразно количеству числящихся за ними по ревизии душ. Те, у кого было 5000 душ, должны были строить каменные дома на 10 саженьях, у кого было от 2500 душ – на 8 саженьях, у кого 1500 – на 5 саженьях, а те, у кого было от 500 душ, должны были строить мазанки или деревянные дома. Все они обязаны были приехать к будущей зиме и, под страхом лишения всего движимого и недвижимого, начать постройку. Каждый дом должен быть готов к 1726 году, под страхом конфискации половины имения. Вменялось в обязанность строящимся делать кирпич за собственный счет; каждый обязывался выработать не менее миллиона кирпичей, под опасением штрафа, равного цене полумиллиона кирпичей. Те, у которых были уже дома на Московской стороне и на Петербургском острове, должны были их продать или сделать загородными дачами, а сами перебраться на Васильевский остров. Жители Петербурга были стеснены в своем образе жизни, – не смели пускать к себе приезжих постояльцев, обязанных останавливаться в новопостроенных нарочно постоянных дворах, а владельцы пригородных дач должны были для прорубки и просек испрашивать дозволения.

Петр возымел желание дать своему Петербургу местного патрона и избрал для этой цели святого князя Александра Невского. 4 июня 1723 года государь приказал перевезти его мощи из Владимира в Александро-Невский монастырь. За счет монастырских доходов положено построить раку в ковчеге с балдахинном, везти ее на переменных лошадях, от города до города, посадским, ямщикам и всяким крестьянам, и прибыть в Петербург к 25 августа. Воеводы в городах и сельские начальства должны были встречать с подобающею честью эти мощи во время провоза их в Петербург. Мощи были встречены за несколько верст от Петербурга самим царем и доставлены на судне в Александро-Невский монастырь, где положены были в позолоченной раке, наглухо запертой. По этому поводу новгородский епископ делал пиршество для всего двора в монастыре, потом князь Меншиков делал вечер, ужин, а адмирал Апраксин – маскарад, на котором присутствовал государь.

Обращалось внимание и на другие города. В старой столице началась усиленная деятельность по благоустройству города. 19 января 1722 года учреждена была должность московского обер-полицеймейстера. В 1722 году велено московским обывателям в продолжение четырех лет выстроить каменные дома и покрыть их гонтом; для того приказано собрать в Москву из Малороссии мастеров, умеющих делать гонтовые крыши; они должны были бесплатно обучать крестьян, которых помещики пожелают отдать в учение. Черных изб без труб или с деревянными трубами отнюдь не дозволялось более строить, а существующие велено сломать; приказано мостить Москву камнем, вместо прежней деревянной мостовой, непрочной, неудобной для езды и опасной во время пожаров. Запрещалось бросать на улицу падаль и помет, заваливать реки нечистотою, на рынках торговцам продавать вонючее мясо и рыбу; продавцам съестного приказано покрывать свои шалаши рогожами и полки холстом, а хлебников обязали для опрятности носить балахоны.

Для предупреждения опасности от пожаров, постоянно опустошавших русские города, издавались правила, касавшиеся постройки во всей России. В 1722 году в Новгороде, после бывшего там пожара, приказано строить хоромные строения регулярно, как в Петербурге, и улицы разбить по плану, стараясь сделать их широкими и прямыми. В том же году по России погорело множество сел; государь приказал отстроить погоревшие села не иначе как по прежде изданным правилам о сельских постройках, оставляя между дворами пустое место в 5 сажень. Но указ царский не исполнялся; крестьяне строились по-прежнему, как попало, и 3 апреля 1724 года издан подтвердительный указ, чтобы помещики непременно принуждали крестьян строиться по плану.

В 1722 году учреждена была почт-дирекция, которой отдавался весь Ямской приказ, иностранные купеческие почтамты и все почтовые станы. Дорожная повинность пала на всех обывателей по целой России. Государь указал, для починки и проложения дорог, обложить особым налогом купечество и все обывательские двory. Для первого примера приказано проложить перспективную дорогу от Волхова до Москвы и сгонять к этой работе помещичьих и дворцовых крестьян, живущих в стороне на 50 верст. Готовясь в поход в Персию, государь приказал устроить дорогу от Москвы до волжского Царицына и поставить верстовые столбы, а во время зимы вымерить по льду реки весь речной путь от Москвы до Астрахани, и от одного города с пристанью до другого такого же поставить столбы, по которым можно было знать между ними расстояние. Намерение устроить пути сообщения занимало Петра в конце жизни; он думал и в этом отношении принимать за образец Швецию. Но государь с жалостью замечал, что все делалось не так, как он хотел и предписывал.

Постройка Ладожского канала не была совершенно окончена до конца царствования Петра. В феврале 1723 года на работы по Ладожскому каналу начали высылать малороссиян, и сразу их было послано пять тысяч человек. Со всей России на тот же предмет велено было назначить по две гривны с двора, а с купечества по десяти денег с рубля. Предположено прорыть канал от Нази до Волхова. Это дело поручено Миниху, с жалованьем по 100 рублей в месяц; ему велено дать для работ 16000 солдат и драгун, а 28 августа 1724 года из армейских полков прибавлено еще 4000 человек. В зимнее время они отпусались на зимние квартиры, часть их оставалась при канале, и для тех строились избы.

В 1722 году Петр обратил внимание на то, что в России количество фальшивых денег не уменьшалось, а все увеличивалось. Чтобы прекратить их обращение в народе, приказано делать монету по новому рисунку, а старые деньги приносить для переделки на монетный двор до апреля 1724 года. Но никто не спешил исполнять это предписание, напротив, прятали старую монету, надеясь со временем получить за нее барыши, и в самом деле, уже в конце февраля 1724 года за один старый рубль давали пять новых; дозволялось приносить на денежные дворы золото и серебро и получать за него определенную плату.<sup>206</sup> Гербовая бумага, по важности, считалась наравне с монетою, и за подделку ее казнили смертью.

Торговля с Европою шла сухопутьем через Малороссию и Польшу, а морем через балтийские и архангельские порты. В Малороссии по-прежнему производилась торговля товарами, которые опять причислены были к заповедным: пенькою, юфтью, поташем, смольчугом, салом, воском, льняным семенем, щетиною, икрою, золотом и серебром. 10 марта 1723 года дан указ, чтобы на Васильковской заставе, близ Киева, осматривать и арестовывать купцов с этими товарами; кроме того, к товарам, недозволенным к отпуску за границу, причислены овечья шерсть, пеньковые веревки, узкие холсты, овчины и хлеб, а из-за границы запрещалось ввозить игральные карты, коломенки, полуколоменки, полотна ниже рубля за аршин и стамед. В самой Малороссии начал тогда производиться табак, составлявший предмет вывоза в великорусские области и доставлявший казне доход, так как с него бралось 1/10 часть натурой. 31 января 1724 года издан был морской торговый устав, где были начертаны правила: о приходе иностранных торговых судов, о способе их выгрузки, о нагрузке на них русских товаров и о платеже казенных пошлин.

По тогдашним понятиям, наибольшее благосостояние страны измерялось наибольшим приливом денег, поэтому Петр, 8-го ноября 1723 года, дал указ камер-коллегии, чтоб товары, шедшие за границу, продавались более на чистые деньги, чем менялись на товары.

В том же году, 20 декабря, указано с купцов, приезжающих из Китая, не брать пошлины за привозимое золото и серебро; привозить то и другое можно было сколько угодно, но под страхом смертной казни запрещалось продавать где бы то ни было, кроме денежного двора.

Русского государя занимала тогда особенно торговля с Францией. Главный продукт этой страны, желаемый Петром для ввоза в Россию, было вино, так как, по его взгляду,

---

<sup>206</sup> За фунт золота самого высшего достоинства, 96 пробы – 243 руб., а 75 пробы – 195 рублей; за пуд серебра низшей, 70 пробы – 560 руб., а высшей, 96 пробы – 768 руб.

французское вино было лучше вин других стран. Дозволено было иноземцам продавать французское вино оптом, с платежом обыкновенных пошлин и с уплатой 2 рублей акциза за анкер. Но 16 июля 1723 года этот двухрублевый акциз отменен и позволено продавать враздробь. В ноябре того же года назначен русский консул в Бордо, главным образом для надзора за виноторговлею. 20 августа 1723 года назначен был русский консул в Кадикс. Русские товары, туда привозимые, приказано продавать на золото и серебро или менять на шерсть, кошениль, сандал и деревянное масло. Занимала Петра также и торговля с Испанией и Португалией. Для развития духа торговой предприимчивости, Петр 8 ноября того же года предписал коммерц-коллегии: посылать в чужие края детей купеческих, группами не менее 15 человек, и по 20 человек в Ревель и Ригу. Объявлялось: если кто выдумает новый источник прибыли без народного отягощения, тому давать 1/3 или 1/4 прибыли ежегодно.

Когда в 1723 году Россия получила в свое владение от Персии новые области, Петр тотчас приказал собирать сведения, где можно добывать сахар, мед, разводить плодовые деревья, завести шелководство, и для этого хотел выписывать итальянских мастеров, предполагал из персидских провинций сбывать в Польшу шафран и фрукты, рассчитывая, что поляки будут их употреблять в кушанья. Правительство обратилось к армянской компании и побуждало ее привозить в Россию шелк, открыв для нее свободную торговлю между Астраханью и Гилянью.

Для суконных фабрик, которыми так дорожил Петр во все свое царствование, до сих пор выписывалась шерсть из-за границы. Петр, с целью развести домашнее овцеводство, указал в мае 1722 года: многовотчинным помещикам раздать овец, обязав их принимать, хотя бы не хотели, и содержать овчаров, а шерсть продавать на суконные заводы компанейщикам. Русского сукна было мало до самой смерти Петра: в 1724 г. выписано было из Англии 300000 арш., а прусский посланник предложил привозить прусское сукно, которое оказалось уже, но добротнее английского. Высший сорт продавался по 66 к., а низший по 48 за аршин. Шерсть, получаемая с русских заводов тонкорунных овец, продавалась по 2 р. 20 коп. за пуд и должна была идти на русские фабрики. В Малороссии, где лучше всего могло идти овцеводство, распоряжение Петра исполнялось дурно.

В декабре 1723 года составлен был регламент мануфактур-коллегии. Всем дозволялось заводить фабрики с ведома мануфактур-коллегии. Этому учреждению вменялось в руководство не выключать других в пользу одних и иметь в виду, что от соперничества между заводчиками зависели не только размножение мануфактур, но также достоинство и дешевизна произведений. Заводчикам давалось право беспошлинной торговли на несколько лет, предоставлялось приобретать населенные имения к заводам, с тем, чтоб они не продавали людей от завода, а самые заводы могли продавать только с разрешения мануфактур-коллегии. В начале каждого года мануфактуристы должны были представлять образчики своих изделий. Вместе с тем Петр находил полезною мерою повышение пошлин с привозимых из-за границы предметов, которые уже производились в России, хотя бы и в небольшом размере. Петр пришел тогда к убеждению в невыгодности казенных фабрик, поэтому рекомендовал коллегии отдавать их частным лицам, хотя постоянно жаловался, что фабрик заводится мало и указы его, относящиеся к фабричному делу, исполняются дурно. «Наш народ, – говорит государь в своем указе, – яко дети неучения ради, которые никогда за азбуку не примутся, когда от мастера не приневолены бывают, которым сперва досадно кажется, но, когда выучатся, потом благодарят, что явно из всех нынешних дел». По-прежнему Петр старался привлекать в свое государство чужеземных мастеров, но приказывал их немедленно свидетельствовать: знают ли они свое дело; если окажется, что не знают, то отпускать их без всякого оскорбления, а если окажутся годными, то содержать их в довольстве, предоставляя им право беспошлинной торговли своими изделиями, свободу от поборов, служб и разных повинностей и всегда, когда пожелают, отпускать их за границу, чтоб не было на Россию жалоб. Мануфактур-коллегия должна была, однако, иметь в виду, что полезнее посылать русских людей для обучения за границу, давая им содержание и обеспечивая их семейства во время отлучки их в чужие края.

Продажа соли продолжала производиться от казны выборными целовальниками, с прежними злоупотреблениями. Если кто покупал соль пудами, с тех брали взятки, а бедных, покупавших на малые суммы, целовальники, желая от них отделаться, отсылали к своим товарищам, и случалось, что бедняки нигде не могли достать соли на какие-нибудь 10 коп. Узнавши об этом, 11 мая 1722 года государь велел продавать соль на всякую сумму, на какую кто может купить, а воров-целовальников, обличенных в бездельничестве, казнить смертью.

При постоянной заботе Петра о горных промыслах, к концу царствования его учреждено правительством еще несколько горных заводов. В апреле 1722 года царь поручил генерал-майору Генингу осмотреть, исправить и привести в хорошее состояние медные и железные заводы в уездах Кунгурском, Верхотурском и Тобольском. Он должен был определить количество деревень и сел, нужных для приписки к заводу, и требовать на обзаведение людей от губернаторов и воевод. Освобожденных от каторжной работы и поселенных в дальних местах Сибири, велено было отправить в Даурию на тамошние серебряные заводы. Туда же пересылали, по назначению от сибирского губернатора, и пашенных крестьян. В 1723 году положено завести заводы в Усольском уезде и на работы высылать туда людей, собранных из Соликамской провинции и явившихся из бегов рекрут, а к заводу приписать деревню Строгоновых, вместо которой дать последним другую из дворцовых волостей. Осенью 1723 года окончена Генингом постройка екатеринбургского медного завода. Кроме екатеринбургского, основаны были тогда медные заводы в Кунгуре, на реке Ягужихе, близ Верхотурья на реке Ламе и при Пыскорском монастыре. Железо выделывалось на ултуйских, алопаевских и каменных заводах: там лились пушки, но фузей и другого ручного оружия не делали. В январе 1724 года открыт был сестрорецкий литейный завод, и туда приказано было присылать из Сибири годное железо. Игольный промысел производился в большом изобилии в Рязанском уезде, на сумму 330000 рублей: выделывалось столько иголок, что не только доставало их на Россию, но отправлялось еще за границу; владельцы завода получили право на беспошлинную торговлю в течение 18 лет.

При относительном развитии заводской и фабричной деятельности, государь, желавший сохранить леса в России, стал заботиться о добывании другого топлива, кроме дров. По донесению подъячего Капустина, Петр велел отправить людей на Дон в казачьи городки, в Синие-Горы и Белогорье, для раскопки каменного угля на трехсаженной глубине и более. Указом сентября 11-го 1723 года приказано делать разведки каменного угля по Днепру и его притокам. В том же году дана десятилетняя привилегия Фонармусу на добывание торфа, с воспрещением другим лицам добывать его и продавать.

До конца своего царствования Петр не покидал преследования судов древней русской постройки. В сентябре 1722 года посланы на озеро Ильмень и на берега соединяющихся с ним рек «эверсного дела ученики», для постройки торговых судов новым способом, и на каждое новопостроенное судно велено налагать клейма. Но в то же время государь издавал и распоряжения, дозволявшие временное существование староманерных судов, при некоторых условиях. В 1724 году на староманерных судах позволено было привозить в Ладожский канал бревна и доски.

## **VIII. Политические события после Ништадтского мира до кончины Петра Великого**

Ништадтский мир прекратил военные отношения России к Западу. Главная цель была достигнута: в руках России были берега Балтийского моря, и земля, на которой поставлен был любезный Петрову сердцу Петербург, признана вечною принадлежностью России. Теперь деятельность Петра могла уже совершенно свободно обратиться в иную сторону. Внутренние учреждения, которыми так, можно сказать, лихорадочно занялся Петр в последние перед тем годы, не могли наполнить его предприимчивой натуры: у него была потребность во внешней деятельности, потребность войны и приобретений. Счастливое



окончание шведской войны, после многолетних усилий и беспрестанных утрат и потрясений, возбуждало его к воинственным предприятиям в другую сторону. Уже прежде обращал он внимание на Восток: он чувствовал и понимал, что, по отношению к Востоку, созданная им военная русская сила и русская политика имеют нравственное и материальное предпочтение. Дела с Востоком не угрожали опасностью России, особенно после того, как Россия успела выйти победоносно из борьбы с европейской державой, даже при множестве затруднений, которые делала ей остальная Европа. Течение обстоятельств влекло Петра к намерению поживиться для России за счет Персии.

Петр мог явиться не завоевателем, нападающим на соседа с хищническими целями, а добрым соседом, оказывающим помощь законной власти, и потом потребовать себе уступки земель, как бы в вознаграждение за оказанную помощь. На персидском престоле сидел шах Гуссейн IV, занявший престол еще в 1694 году. Он был одним из таких государей, которые как будто судьбою посылаются для того, чтобы привести в расстройство и разрушение свое государство. Сам он проводил дни в гареме, управление государством предоставлял визирям и питал полнейшее отвращение ко всяким заботам, а тем более к войне. Все восточные государства, с незапамятных времен древности, подчинялись одному неизменному закону: сильный и деятельный государь легко завоевывал своих соседей, присоединял край за краем к своим владениям и так образовывал обширное государство. Но части его соединялись между собою только механической связью династий: обитатели держались в повиновении только рабским страхом; никакой нравственной связи не могло возникнуть между ними. У наследников счастливого завоевателя естественно ослабевала военная предприимчивость их предка, когда более воевать было не с кем или становилось неудобным. Они начинали пользоваться плодами, собранными их прародителями – завоевателями, отдавались мирному житию, которое выражалось не в каких-нибудь заботах о внутреннем устройстве и о благосостоянии подвластных, а в преданности чувственным утехам, и последствиями этого всегда бывали лень и нерассудительность. Плохо сплоченные части государства начинают расплзаться: подвластные, почувявши, что над ними нет тяжелого бича, поднимают бунт за бунтом; ловкие и смелые правители провинций провозглашают себя независимыми, государство распадается, и если в пору не явятся сильные руки, умеющие остановить на время его окончательное разложение, оно легко становится добычей какого-нибудь предприимчивого соседа, который на его развалинах создает иное государство. Такой процесс беспрестанно повторялся на Востоке и в отдаленный период язычества, и по распространении магометанства, которое, в этом отношении, мало изменило судьбу Востока, потому что не заключало в себе никаких стихий для нравственной переработки народов, принявших эту религию. То же грозило Персии в эпоху царствования Петра Великого в России.

Распадение Персии начиналось уже с ее восточных пределов. Поднялись против власти персидского шаха авганы, данники Персии, управляемые наместниками шаха. Некто Миривес, бывший в этой земле собирателем даней, следуемых персидскому государю с покоренного народа, в 1710 году покусился сделаться независимым. Он умертвил грузинского князя Георгихана, посланного от шаха наместником в Авганистан и утвердился в авганской столице Кандагаре. Персия не в состоянии была принудить его к повиновению. Он умер в 1717 году независимым властителем. Его сын Мир-Махмуд наследовал отцу, умертвивши своего дядю. Он захватил провинцию Кирман и привлек на свою сторону всех последователей секты суннитов в Персии, враждебной шиитскому толку магометанства, которого держался двор и исстари исповедовали все персидские шахи, включительно до Гуссейна IV. Началось в государстве всеобщее междоусобие под знаменем двух магометанских вероисповеданий. Гуссейн поручил свое войско Луфти-Али-хану, брату своего визиря Атемат-Булета. Этот полководец действовал удачно против мятежников, но враги нашли способ очернить перед малоумным шахом и визиря и его брата полководца. Шах Гуссейн приказал своему визирю выколоть глаза, а Луфти-Али-хана посадить в тюрьму. Тогда Мир-Махмуд, не имея против себя опытного и даровитого врага, повел свои дела так

удачно, что собрал более 60000 войска, двинулся на столицу Персии Испагань и принудил шаха Гуссейна признать себя великим визирем, начальником всего персидского войска и настоящим правителем государства. Униженный таким образом, Гуссейн отрекся от престола, назначивши своим преемником одного из сыновей своих Тохмас-мирзу.

Из Кандагара подан был сигнал: за Мир-Махмудом начали возмущаться правители других провинций. Взбунтовались лезгины, народ, живший в Кавказских горах и плативший ежегодную дань Персии. Лезгинский владелец Даудбек напал на Шемаху; лезгины и их союзники казы-кумыки разорили и разграбили город, перебили и обобрали торговавших там русских купцов, награбили у них товаров ценою на полмиллиона. Богатейший русский купец Евреинов разорился тогда вконец. В то же время грузинский князь Вахтанг, незадолго перед тем принявший магометанство в угоду шаху, затевал также освободиться от персидской власти и искал содействия России. Он обращался к астраханскому губернатору Волынскому, уверял, что отрекся от Христа поневоле, притворно, и теперь снова желает обратиться к христианству, поступивши под власть русского царя. Вахтанг уговаривал русское правительство воспользоваться крайним положением Персии и, со своей стороны, обещал русским 40000 войска, для содействия против Персии. Кроме обиды, нанесенной русским купцам в Шемахе, Петр был недоволен тем, что караван русских купцов, возвращавшийся из Китая, был разграблен на дороге хивинскими татарами, которые находились в союзе с Мир-Махмудом.

Петр увидел, таким образом, превосходный случай вмешаться в персидское дело, под предлогом защищать законную верховную власть, потрясенную Мир-Махмудом, и спасти Персию от совершенного распада, так как, после отречения Гуссейна, молодой и неопытный Тохмас-шах был государем только по имени. Авганы и их союзники курды опустошали государство. Вдобавок Турция имела виды овладеть Персиею. Самой даже государственной религии в Персии грозила беда: лезгины и авганы были сунниты, курды – огнепоклонники.

После сильных понуждений со стороны астраханского губернатора Волынского, решившись идти в поход, русский государь хотел предупредить Турцию, чтобы она не воспользовалась разложением персидского государства и не овладела персидскими областями: это было бы страшным для России событием; оно усилило бы издавна враждебную России державу, всегда готовую ей вредить. В начале 1722 года Петр прибыл в Москву и оттуда приказал снаряжать на Волге суда, для перевозки войска к Каспийскому морю. В мае государь, вместе с Екатериною, отправился в путь водою по Москве-реке и Оке. В Нижнем праздновал он день своего рождения (30 мая), был великолепно угощаем богатейшим из русских промышленников Строгоновым, а потом из Нижнего отправился вплоть до Астрахани, останавливаясь на короткое время в поволжских городках для их осмотра. Между тем турецкий двор, узнав о намерении русского государя, предусмотрел со стороны его умысел завоевать и присоединить к своим владениям области шаха и прислал к Петру в Астрахань грамоту, с увещанием оставить предприятие. Петр отвечал, что идет в Персию не завоевателем, а союзником шаха, чтобы избавить его от мятежников и принудить Мир-Махмуда покориться законному своему государю. 18 июля Петр, с пехотою в числе 22000 и с 6000 матросов, пустился на судах по Каспийскому морю, по направлению к Дербенту, а конница шла туда же сухопутьем (регулярной русской конницы было 9000, кроме того, 40000 казаков и калмыков и 30000 татар).

Петр разослал по сторонам манифест ко всем, считающимся подданными шаха, называл себя союзником их повелителя и требовал от них мирного подчинения, объявляя в то же время, что он строго запретил русскому войску всякие неприязненные поступки над персидскими подданными, покорными своему государю. 12 августа Петр прибыл в Тарки. Тамашний владелец, или шевкал, как он титуловался, по имени Адель-Гирей, считавшийся данником шаха, принимал Петра и Екатерину униженным образом, хотя внутренне был очень недоволен прибытием непрощенных союзников. Хуже поступил другой данник шаха, утимишский султан Мугаммед. Петр отправил к нему трех донских казаков – требовать

покорности; султан приказал побить их и со своими силами ударил на русское войско, но русские отбили его, разорили его столицу Утимиш, пожгли и пограбили его владения; сам Петр, в возмездие за убитых трех своих казаков, приказал побить 21 пленника, затем целую толпу других пленников отправил к утимишскому султану с обрезанными носами и ушами.

23 августа царь подошел к Дербенту; комендант его, называемый по-персидски наиб, вышел навстречу к царю с серебряными городскими ключами и сдал город. Петр простоял здесь до сентября; приближалась осень; подвоз припасов по Каспийскому морю становился затруднительным; сообразивши это, Петр оставил в Дербенте гарнизон под начальством полковника Юнкера, а сам повернул назад к Астрахани, и на возвратном пути, на реке Сулаке, заложил крепость, наименовавши ее крепостью Св. Креста. Из Астрахани Петр выслал для дальнейших военных действий в Персии генерал-майора Матюшкина в Баку, а полковника Шипова к Рящу, сам же, пробывши некоторое время в Астрахани, уехал в Москву. 13 декабря он имел торжественный въезд в старую русскую столицу. Его склонность к торжественным праздникам и к риторическим восхвалениям своих подвигов находила себе желанную пищу в том представлении, что он завоевал город, построение которого приписывали Александру Македонскому. В Москве царь пробыл до весны, и накануне своего отъезда в Петербург, собственноручно сжег свой деревянный дворец в Преображенском. Он сказал бывшему при этом голштинскому герцогу: «Здесь задумал я впервые войну против Швеции; пусть вместе с этим домом исчезнет всякая мысль о вражде с нею; пусть она будет вернейшею союзницею моей империи!»

Отряды, которым Петр поручил окончание военных действий в Персии, исполнили свое поручение хорошо. Шипов утвердился в Ряще. Персидские власти не рады были чужеземцам и именем шаха требовали, чтобы русские выходили из города; Шипов не уходил под разными предлогами и достоял до весны 1723 года. За это время туземцы до того невзлюбили пришельцев, что в марте, когда Шипов, отправивши часть своего отряда на судах, остался с малочисленными силами, напали на него с оружием в караван-сараях. Русские отбили персиян, несмотря на то, что последних было, может быть, в десять раз более. И другой посланный с отрядом в персидские владения, Матюшкин, прибывши в Баку летом 1723 года, встретил совершенное нежелание принимать русских. Персияне хотели воспрепятствовать высадке русского войска на берег, но Матюшкин отбил их и принудил город к сдаче. Впрочем, действия Матюшкина и Шипова не имели важных последствий, потому что и без этих дел, 12-го сентября 1723 г., присланный от Тохмас-шаха посол Измаил-бек в Петербурге заключил от имени своего государя с русским императором союзный договор: русский государь обещал со стороны России оказывать шаху помощь против бунтовщиков, а шах, для возможности содержать войско, которое император пошлет ему против мятежников, уступил России города Дербент и Баку, с побережьем Каспийского моря, заключающим провинции Гилян, Мазандеран и Астрабад. Договор этот был ратифицирован русскими послами, отправленными в Персию в апреле 1724 г. Таким образом, почти без войны, воспользовавшись обстоятельствами, Петр приобрел для России полосу южного края, богатого различными произведениями; и тогда же русский государь начал делать соображения о приглашении христианских поселенцев в новоприобретенный край. Этими поселенцами, по предположениям Петра, должны были быть армяне, которые давно уже побуждали русского государя к овладению Прикавказским краем. В начале 1724 года началось переселение армян из турецких владений, но оно шло довольно медленно, потому что турки неохотно выпускали их из своих областей. Приобретение Прикаспийского края не осталось без неудовольствия со стороны Турции. Сначала великий визирь, в сношениях с русским резидентом Неплюевым, долго твердил, что Порта одна имеет полное право овладеть Персиею, тем более, что Мир-Махмуд и лезгинский владетель Дауд-бек признали над собою верховное первенство турецкого падишаха. Турки между тем успели овладеть Тифлисом. Английский посланник старался вооружить Турцию против России, а французский, Дебонак, держал сторону России и пытался не допустить до войны. В январе 1724 года дело повернулось так, что можно было со дня на день ожидать объявления России

войны, и Неплюеву приходилось уезжать из Константинополя. Но французский посол настроил визиря так, что тот сам предложил французскому послу быть посредником в переговорах с русским резидентом. Дело, однако, потянулось еще на полгода. Пошли споры, толки. По известию Неплюева, французский посол начал было склоняться на сторону Турции; но 12-го июня 1724 года все уладилось в пользу России: порешили оставить Шемаху под владением турецкого данника, лезгинского князя Дауд-бека, а пространство от Шемахи до Каспийского моря разделить между Россией и Дауд-беком, так что последнему отдавалась меньшая часть этого пространства, чем России. Петр домогался, чтобы Турция не воспрещала своим христианским подданным, армянам и грузинам, переходить в новоприобретенные от Персии провинции, обещая зато не воспрещать и магометанам перехода в Турцию. Несчастный грузинский царь Вахтанг, бывший поневоле и по слабыхарактерности мусульманином, возвратился к христианству, но его начали теснить в одно время и турки и персияне: явился претендентом ему другой грузинский князь, владетель Кахетии. Вахтанг принужден был покинуть свое царство и уехать в Россию на вечное житье.

Экспедиция Петра в Персию имела важное значение в русской истории. Она была начальным шагом к тому движению России на юго-восток, которое, то останавливаясь, то снова возобновляясь, привело Россию впоследствии к приобретению закавказских грузинских земель и всего кавказского хребта. Петр, думая сделать из России морскую державу и открыть ей путь к занятию подобающего ей места в ряду европейских держав, в то же время понимал, что как география, так и история наметили ей и другую дорогу, – дорогу на Восток, где Россия, получая от Запада плоды европейской цивилизации, могла в собственной переработке сообщать их восточным народам, стоявшим в сравнении с нею на меньшей степени культурного развития.

В отношениях к западным державам важнейшее дело этого времени было заключение в феврале 1724 г. оборонительного союза со Швецией. После продолжительной войны, оба государства вступили в самую искреннюю дружбу между собою. Это важное дело совершено старанием русского посла в Стокгольме, Бестужева, и отчасти министра голштинского, Бассевича, поставившего своего герцога снова в добрые отношения к Швеции. Перед этим временем Петр, с целью сделать шведского короля уступчивее, вознамерился поугаждать его и пустить свой флот в Балтийское море, но герцог написал к Бассевичу, своему послу, бывшему тогда в Стокгольме, письмо, в котором выражался, что лучше откажется от всяких прав на шведскую корону, чем купит ее ценою шведской крови. Бассевич показал это письмо шведскому министру Горну, главному недоброжелателю герцога, и тронул Горна до того, что тот изменил свои чувствования к племяннику Карла XII. Состоялся такой договор Швеции с Россией: обе державы обязывались поддерживать друг друга военною силою, сухопутною и морскою, и не заключать ни с кем договоров, противных этому союзу. Голштинский герцог отказывался от всяких притязаний на шведский престол при жизни тогдашнего короля и его прямых потомков, а Швеция, вместе с Россией, обещалась помогать утверждению за ним его герцогских наследственных владений. Обе державы постановляли, кроме того, не допускать внутренних беспорядков в Польше, а поддерживать ее старинную вольность и избирательное правление. Это последнее условие определило на долгое время взгляд на политику, какую должны были соблюдать соседи в отношении к Польской республике: соседям выгодно было поддерживать старинную польскую шляхетскую вольность, потому что такой государственный строй вел Польшу, рано или поздно, к гибели и давал надежды на возможность сделать приобретение в эпоху неизбежного падения Польской республики. С французским двором Петр, последние годы своего царствования, находился в дружелюбных отношениях: у Петра было даже намерение отдать одну из дочерей своих за малолетнего французского короля, но этот план не удался, потому что регент Франции постарался дать королю другую невесту, малолетнюю испанскую инфантину, которой, однако, не суждено было стать французской королевой. С Францией соединяло Россию еще обоюдное участие к судьбе проживавшего во Франции претендента на английский престол Иакова Стюарта, к которому Петр благоволил, тем более

что с тогдашним английским королем Георгом у него уже несколько лет сряду были натянутые отношения. Но дело претендента не довело Россию ни до каких предприятий в его пользу, главным образом оттого, что его постоянная союзница и покровительница, Франция, сочла за лучшее примириться с королем Георгом, ограничивши свои отношения к претенденту только одними любезностями. При посредстве Франции, Петр был уже готов помириться и подружиться с английским королем, однако не успел этого сделать при своей жизни. Летом 1723 года Петр, в сопровождении своих вельмож, ездил морским путем в Рогервик и положил там основание длинного мола, с закрытою дорогою наверху и с батареей. У государя тогда рождалось желание перенести туда и свой военный порт, так как в Кроншлоте замечалась большая примесь пресной воды, способствовавшая скорой порче кораблей. В Рогервике море образует большую бухту, окруженную отвесными скалами, и до того широкою, что в ней могло вместиться до 1000 больших судов. Она была очень глубока и не принимала в себя отнюдь пресных вод. По возвращении из Рогервика в августе 1723 г., Петр обозревал в Кронштадте флот и любовался своим делом, совершенным им с любовью в течение всей своей жизни. Весь флот в 1723 году состоял из 24 кораблей и 5 фрегатов, на нем было 1730 орудий и до 12500 человек экипажа. В это время вспомнил Петр о том небольшом ботике, на котором в молодости начал он учиться плаванию по Яузе и по северным русским озерам. Петр приказал привести его в Петербург, поставил его в Кронштадте между кораблями, нарек Дедушкой русского флота и потом с торжеством перевез в Петербургскую крепость, где назначил для хранения как национальную святыню. Это событие послужило поводом к торжественному многодневному празднеству, сопровождавшемуся и пальбою из пушек, и фейерверками, и обильными попойками.

Государь чувствовал, что силы его крепкой природы подламывались, он постепенно опускался; сыновей у него не было, да если бы и были, – объявленный им манифест о будущем порядке престолонаследия разрушал всякие права рождения и давал царствующему государю право назначать себе кого угодно преемником. Внука своего, сына несчастного царевича Алексея, Петр явно недолюбливал: вероятно, ему входило в мысль и то, что если со временем этот внук станет царем, то, по родительской связи, его окружат сторонники старых русских порядков, и партия, враждебная преобразованиям, поднимет голову. Кажется, тогда уже у Петра блеснула мысль передать после себя престол жене своей Екатерине. Правда, этого нигде не высказал Петр прямо, но такое предположение можно удобно вывести из его тогдашних поступков. Весною 1724 года Петр задумал короновать ее; она носила уже титул императрицы, но только по мужу, как законная супруга императора. Петр захотел дать этот титул ее особе, независимо от брака. В манифесте, изданном по этому поводу, Петр извещал целый свет, что Екатерина была его постоянной помощницей в государственных делах и признавал за ней какие-то особенно важные услуги, оказанные во время прутского похода. Коронование Екатерины должно было происходить не в Петербурге, но в Москве, не перестававшей в глазах русского народа быть законною столицею и центром национального единства.

7 мая 1724 года совершилось в московском Успенском соборе это коронование государыни с большим торжеством. Обряд совершал новгородский митрополит, а псковский епископ Феофан Прокопович, самый близкий к Петру из духовных сановников, произнес тогда речь, понравившуюся государю. Петр собственноручно возложил на Екатерину корону. Несколько дней после того поили и угощали народ, а потом продолжительное время отпраздновали при дворе праздники, маскарады и попойки. Событие было новое для России: до сих пор ни одна из русских цариц не удостоилась такой публичной чести, кроме Марины Мнишек, о которой в памяти народной осталось не отрадное воспоминание. Как бы в свидетельство того, что Петр готовил Екатерине власть, равную своей собственной, он поручил ей, вместо себя, пожаловать графское достоинство Петру Андреевичу Толстому.

Коронование Екатерины порождало разные предположения о престолонаследии. Одни думали, что, короновавши свою супругу, Петр намеревается объявить ее после себя преемницею, другие делали предположения, что Петр предоставит престол одной из

дочерей, за неимением от Екатерины детей мужского пола. Большинство русских расположено было в пользу внука Петра, малолетнего сына царевича Алексея. Сам Петр, как видно, колебался; он то оказывал расположение к внуку, то как будто не хотел знать его. Замечали тогда, что характер Петра менялся. Он постоянно имел задумчивый вид, часто искал уединения, с ним боялись заговаривать о делах, когда он оказывался угрюмым. Иногда он требовал к себе священника, иногда доктора, а иногда вдруг, по-старому, предавался разгулу и окружал себя шутами и членами всепьянейшего собора. Среди праздников и веселья, господствовавшего при дворе после коронавания Екатерины, Россия представляла совсем не праздничный вид. Повсюду раздавались жалобы на бедность; недавние неурожаи произвели большую скудость необходимых средств к жизни; хлебные магазины, которые давно уже приказал устроить царь по всей России, существовали только на бумаге: на самом деле никто не спешил исполнять в этом повеление своего государя. По улицам городов и по большим дорогам сновали толпы нищих, хотя государь много раз уже приказывал, чтобы в его царстве не было нищих, и, под угрозами пеней и суровых наказаний, запрещал своим подданным раздавать милостыню. Голодные пускались на грабежи и убийства; около самого Петербурга бродили разбойничьи шайки. Казенные недоимки все более и более возрастали; в военной коллегии и в адмиралтейств-коллегии совсем недоставало денег на содержание войска и флота. Между тем тягости народу не облегчались; продолжали переселять русских людей в ненавистный для них Петербург, а множество неоплатных должников казне отправляемо было на тяжелую работу в Рогервик и Кронштадт. В то время, когда при дворе отправляли маскарады и веселились, в народе слышны были проклятия, за которые неосторожных тащили в тайную канцелярию и предавали варварским мукам.

Петр с Екатериною возвратился из Москвы в Петербург; готовились устраивать новое торжество, долженствовавшее совершиться через полгода, – обручение молодого голштинского герцога, родного племянника Карла XII с дочерью Петра и Екатерины, цесаревною Анною Петровною. Петр между тем неусыпно занимался своими обычными разнообразными делами, переходя от усиленных работ к обычным своим забавам. Так, в конце августа он присутствовал при торжестве освящения церкви в Царском Селе. Пиршество, после того, продолжалось несколько дней, выпито было до трех тысяч бутылок вина. После этого пира государь заболел, пролежал в постели шесть дней, и едва только оправился, – как уехал в Шлиссельбург и там снова устроил пиршество, празднуя годовщину взятия этой крепости. Из Шлиссельбурга Петр поехал на олонекские железные заводы, выковал там собственноручно полосу железа в три пуда весом, оттуда поехал в Новгород, а из Новгорода в Старую Русу, осматривал в этом городе соляное производство. Из Старой Русы государь повернул к Ладожскому каналу; Петр был очень доволен работами, происходившими тогда под начальством Миниха. В предыдущих пяти годах едва вырыто было только на 12 верст канала и число рабочих простиралось до 20000 человек, при Минихе же вырыто было в течение одного года уже 5 верст; Миних надеялся до следующей зимы вырыть еще 7 верст, у него было, кроме 2900 человек солдат, вольнонаемных рабочих только до 5000. Рытье кубической сажени земли при Минихе стоило 60 коп., тогда как прежде оно обходилось в один рубль 50 коп.; вообще, по расчету Миниха, верста канала с деревянными постройками, которыми укреплялись стены канала, должна была обходиться в 7500 рублей, тогда как прежде одни земляные насыпи по смете, представленной государю, обходились в 10000. В конце октября Петр возвращался в Петербург водою, но потом, раздумавши, намеревался плыть в Систербек, чтоб осмотреть учрежденный там сестрорецкий литейный завод. Приближаясь в своем плаваньи к селению Лахте, недалеко от устья Невы, увидел государь судно с солдатами и матросами, плывшее из Кронштадта и носимое во все стороны ветром и непоудою. В глазах государя это судно стало на мель. Петр не утерпел, велел плыть к судну, бросился по пояс в воду и помогал вытаскивать судно с мели, чтобы спасти находившихся на нем людей. В глазах Петра несколько человек, вместе с ним работавших, были унесены водою. Царь проработал целую ночь в воде и успел спасти жизнь двадцати человекам. Но утром он почувствовал лихорадку, отложил свое намерение посещать

систербекские заводы, а поплыл в Петербург.

Тогда совершилось событие, которое способствовало нравственному потрясению Петра. Был у Екатерины любимец и правитель канцелярии, заведовавший ее вотчинами, – Виллиам Монс, брат той самой Анны Монс, которая некогда была любовницей Петра. Он находился в большой доверенности, а его сестра Матрена Балк была любимой фрейлиной у Екатерины. Пользуясь такою близостью к государыне, брат и сестра зазнались и вообразили, что они через то стали могущественными особами. Виллиам Монс надменно принимал всяких просителей, хвастал, что он своим ходатайством у государыни может всякому сделать многое. Петр стал обвинять и брата, и сестру в том, что, управляя доходами Екатерины, они ее обкрадывают; но то был только предлог: на самом деле, Петр приревновал Монса к императрице. Скоро после своего возвращения в Петербург, Петр проводил вечер с Монсом, и в 9 часов вечера отпустил его и других бывших с ним придворных, сказавши, что идет в свою спальню. Ничего не подозревая для себя худого, Монс прибыл домой, разделся и стал курить трубку: вдруг к нему входит страшный генерал-майор Андрей Иванович Ушаков, начальник тайной канцелярии, требует от него шпагу и ключи, потом опечатывает его бумаги и приказывает ехать с собою. Ушаков привез его в свой дом. Монс увидел там Петра. «И ты здесь», – сказал Петр, бросив на него презрительный взгляд. Монса арестовали и на другой день подвергли допросу в канцелярии собственного императорского кабинета. Монс увидел здесь опять государя и пришел в такое ослабление сил, что лишился чувств; ему принуждены были пустить кровь. На следующий день повели его снова к допросу и стали угрожать пыткой. Монс, чтобы не допустить себя до мучений, сознался, что обращал в свою пользу оброки с некоторых вотчин императрицы и взял с крестьянина взятку, обещая сделать его стремянным конюхом императрицы. Монса препроводили в крепость (26 октября), а потом высший суд 14 ноября приговорил его к смертной казни. Рассказывают, что царь сам приехал к нему проститься. «Жаль тебя мне, очень жаль, да делать нечего, надобно тебя казнить», – говорил ему Петр. Императрица осмелилась было ходатайствовать перед Петром о пощаде виновных, но Петр пришел тогда в такую ярость, что на глазах государыни разбил дорогое зеркало. «Видишь ли, сказал он многозначительно, – вот прекраснейшее украшение моего дворца. Хочу – и уничтожу его!» Екатерина поняла, что эти слова заключали намек на ее собственную личность, но с принужденною сдержанностью сказала государю: «Разве от этого твой дворец стал лучше?» Петр все-таки не исполнил просьбы жены. 16 ноября в 10 часов утра Монса вывезли с сестрою в сани, в сопровождении приготавливавшего его к смерти пастора. Монс бодро кланялся на обе стороны, замечая своих знакомых в огромной толпе народа, отовсюду согнанного смотреть казнь. Монс смело взшел на эшафот, снял шубу и выслушал прочитанный секретарем суда приговор, которым обвиняли его во взятках, поклонился народу и положил голову на плаху под удар топора. Его сестру Матрену Балк наказали одиннадцатью ударами кнута и сослали в Тобольск. Домашний секретарь Столетов, после четырнадцати ударов кнутом, был отправлен на десятилетнюю каторжную работу в Рогервик; пострадал тогда и дворцовый служитель Иван Балакирев, потешавший Петра и весь двор остроумными шутками. Ему дали шестьдесят ударов батогами и сослали в Рогервик на три года, поставивши ему в вину, что он, «отбывши инженерного учения», при посредстве Монса втерся во дворец и занимался там, вместо дела, шутковством. На другой день после казни Монса, Петр катался с Екатериною в коляске. Он приказал проехать мимо столба, на котором воткнута была голова казненного. Екатерина не показала никакого вида смущения и, как говорят, посмотревши прямо в глаза царю, произнесла: «Как грустно, что у придворных может быть столько испорченности!»

Вслед за Монсом раздражили Петра Меншиков, а потом кабинет-секретарь Макаров: на последнего донесли, что он не доводил до сведения государя о многих важных делах, возникших по фискальским доношениям, и представлял несправедливые доклады по челобитным о деревнях, взявши с просителей взятки. Царь отрешил Меншикова от должности президента военной коллегии. Эти неприятности усиливали болезненное состояние здоровья Петра, которое уже пострадало после приключения на Лахте. Между тем

24 ноября, в день именин государыни, совершено было обручение голштинского герцога с цесаревною Анною. Цесаревна при обручении отказалась за себя и за свое потомство от всяких притязаний на русский престол. У Петра, видно, были насчет преемства какие-то свои предположения, которых он не открывал. Но отказ Анны законно сходилась с прежним указом Петра, которым государь предоставлял право всякому царствующему государю назначать по себе преемника. Судьба устроила наперекор отказу, подписанному тогда цесаревною: именно ее потомству, а не потомству кого-либо другого, суждено было утвердиться на русском престоле, который Петр так странно предавал произволу всякой царствующей особы.

Здоровье государя после того не поправлялось, но становилось со дня на день все хуже: у него открылись признаки каменной болезни. Петр преодолевал себя, бодрился, занимался государственными делами, уделял время и на свои обычные забавы. В конце декабря он творил выбор нового князя-папы, главы шутовского собора. Бутурлина не было уже в живых; несколько месяцев тому назад он окончил свою жизнь вполне достойно своему званию: он умер вследствие своего обжорства и пьянства. День для избрания назначен был 20 декабря. Избрание происходило в доме умершего князя-папы. В избирательной зале был поставлен трон, обитый пестрою материей о шести ступенях, на котором стояла бочка с двумя кранами и на бочке сидел Бахус. По бокам поставлены были места для членов всепьянейшего собора. В другой комнате, где собирался избирательный конклав, было устроено четырнадцать лож, посредине комнаты стоял стол с изображениями медведя и обезьяны, на полу стояла бочка с вином и посуда с кушаньем. После торжественного церемониального шествия в этот дом государь запер кардиналов в комнате конклава и приложил к дверям ее свою печать. Кардиналы не смели выходить оттуда, прежде чем не выберут нового папу, и должны были, через каждую четверть часа, хлебать по большой деревянной ложке водки. Петр на другой день утром в 6 часов явился выпустить их. Оказалось, что кардиналы долго спорили между собою о выборе и не могли согласиться, наконец решились покончить дело баллотировкою. Жребий пал на одного провиантского комиссара (Строгоста?), который был посажен на троне, и все должны были целовать ему туфлю. После этого производились над ним церемонии по установленному прежде чину. На пиршестве, которое в этот день последовало, подавали кушанья из волчьего, лисьего, кошачьего, медвежьего и мышиноного мяса.

Настал 1725 год; царь захворал, но пересиливал себя и занимался делами до 16 числа января; в этот день его болезнь усилилась; он слег в постель. Государя лечил доктор Блюментрост. 22 января Петр исповедовался и причащался Св. Тайн, 26-го подписал манифест, освобождавший всех сосланных в каторжные работы, объявил всем осужденным прощение, исключая тех, которые судились по первым двум пунктам или уличались в смертоубийстве. Екатерина выпросила прощение Меншикову.

27-го января Петр изъявил желание написать распоряжение о преемстве престола. Ему подали бумаги; государь стал писать и успел написать только два слова: «отдайте все» – и более писать был не в силах, а велел позвать дочь свою Анну Петровну, с тем, чтобы она писала с его слов, но когда явилась молодая цесаревна, Петр уже не мог произнести ни одного слова. На следующие сутки, в четвертом часу пополуночи, Петр скончался. 2-го февраля его тело было выставлено на бархатной, расшитой золотом, постели в дворцовой зале, обитой теми самыми коврами, которые он получил в подарок от Людовика XV во время своего пребывания в Париже.

Петр, как историческая личность, представляет своеобразное явление не только в истории России, но в истории всего человечества всех веков и народов. Великий Шекспир своим художественным гением создал в Гамлете неподражаемый тип человека, у которого размышление берет верх над волею и не допускает осуществляться на деле желаниям и намерениям. В Петре не гений художника, понимающий смысл человеческой природы, а сама природа создала обратный тип – человека с неудержимою и неутомимою волею, у которого всякая мысль тотчас обращалась в дело. «Я так хочу, потому что так считаю хорошим, а чего



я хочу, то непременно должно быть», – таков был девиз всей деятельности этого человека. Он отличался непостижимой для обыкновенных смертных переимчивостью. Не получив ни в чем правильного образования, он желал все знать и принужден был многому учиться не вовремя; однако русский царь был одарен такими богатыми способностями, что, при своей недолговременной подготовке, приводил в изумление знатоков, проводивших всю свою жизнь за тем, что Петр изучал только мимоходом. Все, что он ни узнавал, стремился применить к России, с тем, чтобы преобразовать ее в сильное европейское государство. Эту мысль лелеял он искренно и всецело в продолжение всей своей жизни. Петр жил в такое время, когда России невозможно было оставаться на прежней избитой дороге и надобно было вступить на путь обновления. Как человек, одаренный умственным ясновидением, Петр сознал эту потребность своего отечества и принялся за нее со всею своею гигантскою волею. Петр был самодержавен, а в такой момент истории, в какой тогда вступила Россия, только самодержавие и могло быть пригодным. Свободный республиканский строй никуда не годится в то время, когда нужно бывает изменять судьбу страны и дух ее народа, вырывать с корнем вон старое и насаждать новое. Понятно, что, привыкши к старому порядку вещей, участники правления не расстанутся с тем, что считают добрым и выгодным. Подобный пример наглядно высказался в Польше: страна эта никак не могла выбиться из-под нравственной плесени, потому что ее полноправные граждане, люди, решавшие судьбу своего края, дорожили стариною и не могли спеться между собою, когда приходилось для общей пользы жертвовать выгодами, в которых многие лично были заинтересованы. И современная Англия оттого так консервативна и туго податлива к переменам, что ее судьба зависит не от воли одного лица, а от согласия многих: страна эта только по форме монархия, а по духу более – республика. Только там, где самодержавие безгранично, смелый владыка может отважиться на ломку и перестройку всего государственного и общественного здания.

Петру помогло более всего его самодержавие, унаследованное им от предков. Он создает войско и флот, хотя для этого требуется бесчисленное множество человеческих жертв и плодов многолетнего народного труда, – все приносится народом для этой цели, хотя собственно народ этого ясно не понимает и потому не желает; все приносится оттого, что так хочет царь. Налагаются невероятные налоги, высылаются на войну и на тяжелые работы сотни тысяч молодого здорового поколения для того, чтоб уже не возвратиться домой. Народ разоряется, нищает, зато Россия приобретает море, расширяются пределы государства, организуется войско, способное меряться с соседями. Русские издавна привыкли к своим старинным приемам жизни, они ненавидели все иноземное; погруженные в свое внешнее благочестие, они оказывали отвращение к наукам. Самодержавный царь заставляет их одеваться по-иноземному, учиться иноземным знаниям, пренебрегать своими дедовскими обычаями, и так сказать, плевать на то, что прежде имело для всех ореол святости. И русские пересиливают себя, повинуются, потому что так хочет их самодержавный государь.

Но здесь и предел самодержавной власти Петра. Много новых учреждений и жизненных приемов внес преобразователь в Россию; новой души он не мог в нее вдохнуть; здесь его могущество оказалось столько же бессильно, каким было бы оно и тогда, когда бы у него явилось намерение превратить дно моря в пахотную землю или плавать на корабле по степи. Нового человека в России могло создать только духовное воспитание общества, и если этот новый духовный человек где-нибудь замечен в деяниях и стремлениях русского человека настоящего времени, то этим мы обязаны уж никак не Петру.

Во все продолжение своего царствования Петр боролся с предрассудками и злонравием своих подвластных, преследовал казнокрадов, взяточников, обманщиков, скорбел, что в России совершается не так, как бы ему хотелось. Сторонники его искали и теперь еще ищут всему этому причину в закоснелых пороках и недостатках старого русского человека. Но, приглядевшись к делу беспристрастнее, придется многое приписать и самому характеру действий Петра. Нельзя человека делать счастливым против собственной его воли и, так сказать, насиловать его природу. История показывает нам, что в обществе, управляемом

деспотически, чаще и сильнее проявляются пороки, мешающие исполнению самых похвальных и спасительных предначертаний власти. Какие же меры употреблял Петр для приведения в исполнение своих великих преобразований? пытки Преображенского приказа и тайной канцелярии, мучительные смертные казни, тюрьмы, каторги, кнуты, рвание ноздрей, шпионство, поощрение наградами за доношничество. Понятно, что Петр такими путями не мог привить в России ни гражданского мужества, ни чувства долга, ни той любви к своим ближним, которые выше всяких материальных и умственных сил и могущественнее самого знания; одним словом, натворивши множество учреждений, создавая новый политический строй для Руси, Петр все-таки не мог создать живой, новой Руси.

Задавшись отвлеченной идеею государства и принося ей в жертву временное благосостояние народа, Петр не относился к этому народу сердечно. Для него народ существовал только как сумма цифр, как материал, годный для построения государства. Он ценил русских людей настолько, насколько они были ему нужны для того, чтобы иметь солдат, каменщиков, землекопов, матросов или своею трудовую копейкою доставлять царю средства к содержанию государственного механизма. Сам Петр своею личностью мог быть образцом для управляемого и преобразуемого народа только по своему безмерному неутомимому трудолюбию, но никак не по нравственным качествам своего характера. Он не старался удерживать своих страстей, нередко приводивших его к бешеным и кровавым поступкам, хотя за подобные поступки он жестоко казнил тех, над которыми властвовал. Петр дозволял себе пьянство и лукавство и, однако, преследовал эти же самые пороки в своих подвластных. Много совершено им возмутительных деяний, оправдываемых софизмами политической необходимости. До какой степени он был свиреп и кровожаден, показывает то, что он не побоялся унижить свое царское достоинство, взявши на себя обязанность палача во время дикой казни стрельцов; во все его царствование кровавый царь замученных и казненных в Преображенском приказе заражал воздух Руси, но, как видно, не тревожил покойного сна ее государя; несчастный Алексей Петрович замучен родным отцом после того, как этот отец выманил его из безопасного убежища царским обещанием прощения; затем вспомним страдания царицы Евдокии и множества жертв, погибших большею частью невинно по делу ее сына; вспомним поступок с Полуботком и малороссийскими старшинами, бывшими жертвою политических целей; вспомним дело Монса, которого государь обвинил совсем не за то, за что на самом деле на него сердился! Сам Петр оправдывал свои жестокие казни потребностью правосудия, но факты показывают, что не для всех он был одинаково неумолим в правосудии и не в пример другим делал поблажки Меншикову, своему любимцу, которому сходили с рук такие беззакония, за которые другие расплачивались жизнью. Самые его дела внешней политики не отличаются безукоризненною честностью и прямою. Северная война никак не может быть оправдана с точки справедливости. Нельзя назвать честными уловки Петра перед английским королем Георгом, когда он, вопреки явным уликам, уверял его в своей преданности и непричастности к замыслам претендента. До какой степени Петр уважал права чужих соседних наций, когда только не имел повода их бояться, показывает его дикий поступок с униатскими монахами в Полоцке, поступок, за который, вероятно, он сам казнил бы смертью всякого из своих подданных, осмелившегося сделать такое самоуправство на чужой земле.

Все темные стороны характера Петра, конечно, легко извинять чертами века; справедливо могут указать нам, что подобных сторон еще в большей степени найдется в характере других современников Петровых. Несомненным останется, что Петр превосходил современных ему земных владык обширностью ума и неутомимым трудолюбием, но в нравственном отношении не лучше был многих из них; зато и общество, которое он хотел пересоздать, возникло не лучшим в сравнении с теми обществами, которыми управляли прочие Петровы современники. До Петра Россия погружена была в невежество и, хвастаясь своим ханжеским обрядовым благочестием, величала себя «новым Израилем», а на самом деле никаким «новым Израилем» не была. Петр посредством своих деспотических мер создал из нее государство, грозное для чужеземцев войском и флотом, сообщил высшему

классу ее народа наружные признаки европейского просвещения, но Россия после Петра все-таки в сущности не сделалась «новым Израилем», чего ей так хотелось до времен Петра. Все Петровы воспитанники, люди новой России, пережившие Петра, запутались в собственные козни, преследуя свои личные эгоистические виды, погибли на плахах или в ссылках, а русский общественный человек усваивал в своей совести правило, что можно делать все, что полезно, хотя бы оно было и безнравственно, оправдываясь тем, что и другие народы то же делают.

При всем этом Петр, как исторический государственный деятель, сохранил для нас в своей личности такую высоконравственную черту, которая невольно привлекает к нему сердце: эта черта – преданность той идее, которой он всецело посвятил свою душу в течение своей жизни. Он любил Россию, любил русский народ, любил его не в смысле массы современных и подвластных ему русских людей, а в смысле того идеала, до какого желал довести этот народ; и вот эта-то любовь составляет в нем то высокое качество, которое побуждает нас, мимо нашей собственной воли, любить его личность, оставляя в стороне и его кровавые расправы, и весь его деморализующий деспотизм, отразившийся зловредным влиянием и на потомстве. За любовь Петра к идеалу русского народа, русский человек будет любить Петра до тех пор, пока сам не утратит для себя народного идеала, и ради этой любви простит ему все, что тяжелым бременем легло на его памяти.

## **Глава 16**

### **Гетман Иван Степанович Мазепа**

Мазепа родом был шляхтич православной веры, из западной Малороссии, и служил при польском короле Иоанне Казимире комнатным дворянином. Это было, вероятно, после того, как победы казаков заставили поляков несколько времени уважать малорусскую народность и православную веру и в знак такого уважения допустить в число дворян королевских (т.е. придворных) молодых особ шляхетского происхождения из православных русских. Не очень вкусно было этим особам в польском обществе, при тогдашнем господстве католического фанатизма. Мазепа испытал это. Сверстники и товарищи его, придворные католической веры, издеваясь над ним, додразнили его до того, что против одного из них Мазепа в горячности обнажил шпагу, а обнажение оружия в королевском дворце считалось преступлением, достойным смерти. Но король Иоанн Казимир рассудил, что Мазепа поступил неумышленно, и не стал казнить его, а только удалил от двора. Мазепа уехал в имение своей матери, на Волынь. Он был молод, красив, ловок и хорошо образован. Рядом с имением его матери жил в своем имении некто пан Фальбовский, человек пожилых лет; у него была молодая жена. Познакомившись в доме этого господина, Мазепа завел связь с его женою. Слуги шепнули об этом старому мужу. Один раз, выехавши из дома, пан Фальбовский увидел за собою едущего своего слугителя, остановил его и узнал, что слугитель везет от своей госпожи к Мазепе письмо, в котором Фальбовская извещала Мазепу, что мужа нет дома, и приглашала приехать к ней. Фальбовский велел слугителю ехать с этим письмом к Мазепе, отдать письмо по назначению, получить ответ и с этим ответом явиться к нему на дороге. Сам Фальбовский расположился тут же ожидать возвращения слуги. Через несколько времени возвратившийся слуга отдал господину ответ, писанный Мазепою к Фальбовской, которую извещал, что едет к ней тотчас. Фальбовский дождался Мазепы. Когда Мазепа поравнялся с Фальбовским, последний бросился к Мазепе, остановил его верховую лошадь и показал ему ответ к своей жене. «Я в первый раз еду», – сказал Мазепа. «Много ли раз, – спросил Фальбовский у своего слуги, – был этот пан без меня?» Слуга отвечал: «Сколько у меня волос на голове». Тогда Фальбовский приказал раздеть Мазепу донага и в таком виде привязал на его же лошади лицом к хвосту, потом велел дать лошади несколько ударов кнутом и несколько раз выстрелить у нее над ушами. Лошадь понеслась во всю прыть домой через кустарники, и ветви сильно хлестали Мазепу

по обнаженной спине. Собственная прислуга насилу признала своего исцарапанного и окровавленного господина, когда лошадь донеслась во двор его матери. После этого приключения Мазепа ушел к казакам, служил сначала у гетмана Тетери, а потом у Дорошенка. Мазепа, кроме польского и русского языков, знал по-немецки и по-латыни, проходил прежде где-то в польском училище курс учения и, будучи по своему времени достаточно образован, теперь мог найти себе хорошую карьеру в казачестве. Здесь он женился. При Дорошенке Мазепа дослужился до важного звания генерального писаря и в 1674 году был отправлен на казацкую раду в Переяславль, где пред гетманом левой стороны Украины Самойловичем предлагал от имени Дорошенка мировую и заявлял желание Дорошенка находиться в подданстве у московского государя. Через несколько месяцев по окончании этого поручения, Дорошенко отправил Мазепу в Константинополь к султану просить помощи у Турции, но кошевой атаман Иван Сирко поймал Мазепу на дороге, отобрал у него грамоты Дорошенка и самого посланца отослал в Москву. Мазепу повели к допросу в Малороссийский приказ, которым тогда заведовал знаменитый боярин Артамон Сергеевич Матвеев. Мазепа, своим показанием на допросе, сумел понравиться боярину Матвееву: представился лично расположенным к России, старался оправдать и выгородить перед московским правительством самого Дорошенка, был допущен к государю Алексею Михайловичу и потом отпущен из Москвы с призывными грамотами к Дорошенку и к чигиринским казакам. Мазепа не поехал к Дорошенку, а остался у гетмана Самойловича, получивши позволение жить на восточной стороне Днепра, вместе со своей семьей. Вскоре после того он лишился жены.

Самойлович поручил Мазепе воспитание детей своих, а через несколько лет пожаловал его чином генерального есаула, важнейшим чином после гетманского.

В этом звании, по поручению Самойловича, Мазепа ездил в Москву еще несколько раз, и, смекнувши, что в правление царевны Софьи вся власть находилась в руках ее любимца Голицына, подделался к временщику и расположил его к себе. И перед ним, как прежде перед Матвеевым, вероятно, помогали Мазепе его воспитание, ловкость и любезность в обращении. Голицын и Матвеев оба принадлежали к передовым московским людям своего времени и сочувствовали польско-малорусским приемам образованности, которыми отличался и блистал Мазепа. Когда, после неудачного крымского похода, нужно было свалить вину на кого-нибудь, Голицын свалил ее на гетмана Самойловича: его лишили гетманства, сослали в Сибирь с толпою родных и сторонников, сыну его Григорию отрубили голову, а Мазепу избрали в гетманы, главным образом оттого, что так хотелось любимшему его Голицыну. Обыкновенно обвиняют самого Мазепу в том, что он копал яму под Самойловичем и готовил гибель человеку, которого должен был считать своим благодетелем. Мы не знаем степени участия Мазепы в интриге, которая велась против гетмана Самойловича, должны довольствоваться только предположениями, и потому не вправе произносить приговора по этому вопросу.

Уже давно в Малороссии происходила социальная борьба между «значными» казаками и чернью; к первым принадлежали зажиточные люди, имевшие притязание на родовитость и отличие от прочей массы народа; чернь составляли простые казаки, но к последним, по общим симпатиям, примыкала вся масса посполства, т.е. простого народа, не входившего в сословие казаков, но стремившегося к равенству с казаками. Все старшины, владея доходами с имений, приписанных в Малороссии к должностям или чинам, были сравнительно богаты и необходимо считались в классе значных; тем более причисляли себя к значным и держались их интересов лица, которые получили польское воспитание и облечены были, по своему рождению или пожалованью, шляхетским достоинством. Гетман, проведший молодость в Польше при дворе польского короля, был именно из таких. Он естественно должен был принести в казацкое общество, куда поступил, то польско-шляхетское направление, к которому так враждебно относилась малорусская народная масса. Скоро выказал Мазепа свои панские замашки и стал вразрез с народными стремлениями. Это тем более было для него неизбежно, что, действуя в польско-шляхетском духе, он одинаким образом должен был

поступать для того, чтобы заслужить расположение московского правительства и удержаться на приобретенном гетманстве. Через несколько времени (в 1696 году), видевшие близко состояние Малороссии сообщали в Москву, что Мазепа окружил себя поляками, составил из них, в качестве своей гвардии, особые компанейские сердюцкие полки, что он мирволит старшинам, что он позволил старшинам обращать казаков к себе в подданство и отнимал у них земли. Мазепа первый ввел в Малороссии панщину (барщину) или обязательную работу, в прибавку к дани, платимой земледельцами землевладельцам, у которых на землях проживали. Мазепа строго запрещал посполитым людям поступать в число казаков, и этим столько же вооружал против себя малорусскую простонародную массу, сколько угождал видам московского правительства, которое не хотело, чтобы тяглые люди, принуждаемые правительством к платежу налогов и отправлению всяких повинностей, выбывали из своего звания и переходили в казацкое сословие, пользовавшееся, в качестве военного, льготами и привилегиями. Как только установился Мазепа на гетманстве, тотчас приблизил к себе свою родню. С ним было двое племянников, сыновей мазепиных сестер: Обидовский и Войнаровский. Мать Мазепы, инокиня Магдалина, сделалась настоятельницей киевского Фроловского монастыря. Московское правительство не только не поставило Мазепе в вину его поступков, но, для большего охранения его личности от народа, послало к нему полк стрельцов. «Гетман, – извещает один путешественник, посещавший тогда Малороссию, – стрельцами крепок, без них хохлы давно бы его уходили, да стрельцов боятся, от того он их жалует, беспрестанно кормит и без них шагу не ступит».

Рассчитывая на могущество Голицына, Мазепа всеми способами старался угождать ему до тех пор, пока Петр в 1689 году не разделался с правлением Софьи и не отправил Голицына в ссылку. Мазепа, во время случившегося в Москве переворота, приехал случайно в столицу, разумеется, с намерением кланяться временщику, но, увидавши, что власть переменилась, постарался скорее разорвать связь с прежним правительством и примкнуть к новому. Это ему удалось. Мазепа стал просить у правительства того, чего именно русское правительство и домогалось в Малороссии, например, прибавки ратных людей, переписи казаков и стеснительных мер против народного буйства. И к Петру лично сумел поддаться Мазепа. Молодой царь полюбил его, и с тех пор считал его искренне преданным своим слугою.

Во все двадцатилетнее время гетманства Мазепы в Малороссии проявлялась ненависть к нему подчиненных, выражаясь то теми, то другими попытками лишить его гетманства. Чем долее держал Мазепа гетманскую булаву, тем более привыкал малорусский народ считать его человеком польского духа, врагом закоренелых казацких стремлений к равенству и ко всеобщей свободе; нелюбовь к Мазепе стала прежде всего выражаться, по малорусским привычкам, доносами и кознями. В конце 1689 года явился в Польшу к королю Яну Собескому русский монах Соломон с письмом от Мазепы, в котором малороссийский гетман изъявлял польскому королю желание присоединить Малороссию снова к Польше и побуждал к открытию вражды против России. Вслед за тем из Запорожья приехали к тому же королю посланцы с предложением принять Запорожье в подданство Польше. Благодаря одному православному придворному, жившему во дворце короля, о том и о другом узнал московский резидент, живший в Варшаве, Волков, а от Волкова узнали об этом и в Москве. Король послал Соломона в Украину, к гетману, без всякого письма, со словесным обнадеживанием своей милости, а между тем дал тайное поручение львовскому православному епископу Иосифу Шумлянскому войти в сношение с Мазепой. Шумлянский отправил к Мазепе шляхтича Домарацкого с письмом и просил через посланного объявить, на каких условиях желает гетман Малороссии вступить в подданство польской державе. Мазепа, получивши письмо Шумлянского, отправил это письмо и привезшего его шляхтича в Москву; Соломон же узнал об этом заранее и не решился уже являться к гетману, а воротился в Варшаву, но чтобы, как говорится, не ударить перед поляками лицом в грязь, нанял на дороге в корчме какого-то студента и подговорил написать ему фальшивое письмо от имени Мазепы. Переписанное набело, это письмо Соломон подписал сам, подделываясь

под почерк Мазепы, и поехал в Варшаву, а черновые отпуски письма позабыл взять у студента. Случилось, что прежде чем Соломон доехал до Варшавы, студент, раскутившись в корчме на полученные от Соломона два талера за свое искусство, открыл тайну случившейся там пьяной компании, а затем был арестован и приведен к королю. Студент во всем сознался и представил остававшиеся у него черновые отпуски сочиненного от имени Мазепы письма. Когда Соломон, явившись к королю, подал ему письмо от гетмана Мазепы, король, зная уже все, велел позвать студента и уличить Соломона в обмане. Черновые отпуски были налицо; запирается было невозможно. Соломон во всем сознался и был посажен в тюрьму, а потом, по требованию русского резидента, выдан московскому правительству. В 1691 году его привезли в Москву, расстригли и под прежним его мирским именем Семена Дротского отправили к гетману в Батурин. Там его казнили смертью. По всему видно, этот Соломон был орудием тайной партии, хотевшей навести подозрение на Мазепу в Москве и подготовить ему гибель.

Но еще когда московское правительство не имело в своих руках Соломона, а требовало его выдачи, в Киеве подкинута было анонимное письмо, которым остерегали русское правительство «от злого и прелестного Мазепы». Киевский воевода отправил письмо это в Москву, а из Москвы оно послано было прямо в руки Мазепы с тем, чтобы гетман сообщил: не может ли, по своим соображениям, догадаться, кто бы мог составить это письмо? Мазепа указал, как на главных своих врагов, на бывшего гадячского полковника Самойловича, на зятя гетмана Самойловича, князя Юрия Четвертинского, на бывшего переяславльского полковника Дмитрашку Райча и на тогдашнего переяславльского полковника Леонтия Полуботка. По домогательству гетмана, оставленного гадячского полковника вывезли из его имения, находившегося в Лебединском уезде, привезли в Москву, а потом сослали в Сибирь; туда же сослан был и Райча; Юрия Четвертинского с женою и тещею переселили в Москву, а Леонтий Полуботок лишился должности полковника.

В Малороссии явился после того новый, более деятельный враг Мазепы и всей панской партии. Это был канцелярист Петрик, женатый на племяннице генерального писаря Василия Кочубея, человек предприимчивый, горячий и деятельный, по крайней мере, на первых порах. В 1691 году он убежал в Сечь с важными бумагами, украденными из войсковой канцелярии, и вооружал сечевых казаков разом и против гетмана, и против московской власти. В следующем 1692 году он ушел в Крым и писал оттуда в Запорожье, что намерен, по примеру Хмельницкого, привести крымцев в Украину, поднять весь малорусский народ и истреблять жидов-арендаторов, всех панов и богатых людей. Весть о таком замысле, проникая в Украину, тотчас нашла себе сочувствие; удалцы пустились к Петрику; кто полем, а кто водою. Мазепа отправил в Запорожье казака Горбаченка с подарками к тогдашнему кошевому Гусаку – убеждать его, чтоб он не допускал запорожцев приставать к Петрику; между тем волнение готово было открыться не в Запорожье, а между городским казачеством в малороссийских полках. «Мы думали, – говорили тогда малороссияне, – что после Богдана Хмельницкого народ христианский не будет уже в подданстве; видим, что, напротив, теперь бедным людям хуже стало, чем при ляхах было. Прежде подданных держала у себя только старшина, а теперь и такие, у которых отцы не держали подданных, а ели свой трудовой хлеб, принуждают людей возить себе сено и дрова, топить печи да чистить конюшни; москали же наших людей бьют, крадут малых детей и увозят в Москву». Более всего казались несносными для народа «оранды» – продажа вина, отданная в руки жидам, с платежом за то в войсковую казну. Горбаченко достал в Сечи и потом, по гетманскому приказанию, привез в Москву договор, заключенный Петриком с крымским ханом. Из этого договора видна была у Петрика мысль освободить от чужеземцев Украину обеих сторон Днепра (называемую им княжеством Киевским и Черниговским) и образовать из нее одно государство, под именем княжества малороссийского. Предоставлялось обывателям установить у себя такое правление, какое окажется им сродным. В своем универсале, обращенном главным образом к сечевым казакам, Петрик вспоминал варварства, причиненные некогда малороссийскому народу поляками: «Не сажали ли они братьев наших

на колья, не топили ли в прорубях, не обливали ли водою на морозе, не принуждали ли казацких жен варить в кипятке своих детей?» Но упрекая в таких жестокостях одних соседей Малороссии, владевших краем прежде, не лучше относился Петрик к другим соседям: «Ненавистные монархи, среди которых мы живем, – писал он, – как львы лютые, пасти свои разинув, хотят нас поглотить, т.е. учинить своими невольниками». Он указывал, что малороссийский народ, отдавая неприятелю на сожжение свои города и села, защищает собою Московское государство как стеною, а Москва, в благодарность за то, хочет взять всех малоруссов в вечную неволю: «Позволили нынешнему гетману раздавать старшинам маетности, старшины позаписывали себе и детям своим в вечное владение нашу братью и только что в плуги их не запрягают, а уж как хотят, так и ворочают ими точно невольниками своими: Москва для того нашим старшинам это позволила, чтоб наши люди таким тяжким подданством оплошились и замыслам их не противились. Когда наши люди от таких тяжестей замужичают, тогда Москва берега Днепра и Самары осадит своими людьми». Очевидно, Петрик хотел повторить почти буквально историю Богдана Хмельницкого. Но события буквально не повторяются. Хмельницкому действительно удалось начать свое дело с Запорожья, а потом перенести его в страну городских казаков. Петрику же это нимало не удалось, хотя Петрик пошел было по тому же пути. Запорожцы к нему не пристали, кроме толпы отчаянных головорезов. В украинских селах заволновался было простой народ, посполитая чернь. «Пусть только придет Петрик с запорожцами, – говорили мужики, – мы все к нему пристанем, перебьем и старшин, и всех жидов-арендаторов, и всех своих панов, чтоб не было панов в Украине, а чтобы все были казаками». Так, быть может, и случилось бы, если бы с Петриком явилась, как с Хмельницким, порядочная запорожская военная сила. Но Петрик, не склонивши запорожцев, вступил в Украину с одними только татарами, да и те помогали ему не слишком охотно. Когда Петрик прибыл к пограничным украинским городам по реке Орели, бывшие с ним татары услышали, что гетман собирает полки и идет против них; они оставили Петрика и ушли: за ними последовал и Петрик в Крым; а Мазепа, так дешево отделавшись от угрожавшей бури, получил из Москвы благодарность и богатую соболью шубу, стоившую 800 рублей. Петрик продолжал еще несколько времени беспокоить Мазепу своими возмутительными универсалами к малорусскому народу, указывая, между прочим, на оранды как на важнейшую тягость для народа. Мазепа, соображая это, собрал в Батурине раду, пригласил на нее, кроме полковников, множество казаков и мещан и спрашивал: можно ли уничтожить оранды. После многих споров рада порешила, в виде опыта, на один год упразднить оранды и заменить доход от них сбором с тех людей, которые, на основании всем равно предоставленного права, станут курить вино и содержать шинки.

Весною 1694 года съехались вновь на раду полковые старшины и знатные казацкие товарищи; они приговорили собрать по городам и селам сходки и на них предложить всему народу вопрос: быть ли орандам или не быть? Такой всеобщий народный совет был повсеместно устроен, и народ приговорил: ради доходов, оставить оранды по-прежнему, потому что в последнее время, когда оранды были упразднены и деньги собирались с винокурень и шинков, происходили большие споры, а в войсковой казне оказался против прежнего большой недобор.

Петрик был не страшен Мазепе; Петрик более похвалялся и более собирался делать, чем делал; был у гетмана еще один противник, самый деятельный и популярный, враг всех, связанных панским духом с Мазепиным гетманством. Это был предводитель казаков на правой стороне Днепра, Семен Палий, носивший звание хвостовского полковника.

Казачество на правой стороне Днепра разложилось и уничтожилось после перевода жителей на левый берег, совершенного по приказанию московского правительства вслед за падением Дорошенка. Правобережная Украина осталась пустою и такую должна была оставаться по мирному договору, заключенному между Польшею и Россиюю. Но при короле Яне Собеском возникла у самих поляков мысль восстановить казачество, с тою же целью, с какою оно первоначально когда-то возникло: для защиты пределов Речи Посполитой от

турок. Король, вступивши в войну с Турцией, начал рассылать офицеров с поручениями набирать всякого рода бродячую вольницу и организовать из них казаков. Ян Собеский в 1683 году назначил для возобновляемых казаков и гетмана, шляхтича Куницкого. У этого Куницкого оказалось казацкого войска уже до восьми тысяч. В начале 1684 года казацкая вольница казнила своего предводителя и выбрала другого – Могилу, но тогда значительная часть казаков с правого берега Днепра отошла на левый берег под власть Самойловича, и Могила принял под свою гетманскую власть не более двух тысяч человек. Тем не менее, в 1685 году король, приобретший большую популярность своею венскою победою над турками, убедил польский сейм признать законным образом восстановление казацкого сословия. Но едва только новый закон состоялся, как в Полесье и на Волыни он произвел суматоху и беспорядок. Одни шляхтичи и паны набирали людей в казаки, другие жаловались и кричали, что новые казаки производят буйства и разорения в панских имениях. В 1686 году Могилы уже не было, зато вместо него появилась целая толпа всяких начальников отрядов, с названиями полковников. Между ними были люди и из шляхетства, и из простого народа: в числе последних был белоцерковский полковник Семен Иванович Палий, уроженец города Борзны с левой стороны Днепра. Сначала он убежал из своей родины в Запорожье, а потом, с толпою удальцов, пришел из Запорожья в правобережную Украину, уступленную Россией полякам. Местопребыванием своим Палий сделал местечко Хвастов. Немногочисленное тогдашнее поселение правобережной Украины, состоявшее, главным образом, из приходивших с левого берега Днепра, сильно было проникнуто казацким духом, хотело всеобщей казацкой вольности, ненавидело поляков и жидов; Палий, более всякого другого, сочувствовал этому направлению и потому приобрел в себе любовь народа. Его задушевная мысль была освободить правобережную Украину от Польши и соединить ее с остальным малороссийским краем, находившимся под властью России. С этой целью Палий несколько раз через посредство Мазепы обращался к царю и просил принять его в подданство. Московское правительство не хотело заводить ссоры с Польшею и потому не стало потакать видам Палия. Оно предложило Палию сначала уйти на Запорожье, как в край, не принадлежавший ни России, ни Польше, и оттуда уже, по своему желанию, прийти в русские владения на жительство; но Палию не того хотелось: не сам он лично желал служить московскому царю, а хотел он отдать под власть царя весь тот край, который прежде был отдан России Хмельницким. Поляки каким-то образом успели схватить Палия и посадить под стражу в Немирове. Но Палий скоро освободился и прибыл в свой Хвастов; тут он увидел, что во время его заключения в Немирове киевский католический епископ, ссылаясь на давнюю принадлежность Хвастова сану католического епископа, овладел этим местечком и навел туда своих ксендзов. Палий перебил всех этих ксендзов и с тех пор стал в непримиримо-враждебные отношения к полякам. Хвастов сделался гнездом беглецов, затевавших восстание по всей южной Руси против польских владельцев, пристанищем всех бездомных, бедных и вместе беспокойных; таких собирал около себя Палий с 1701 года и поджигал их против поляков. Между тем над правобережными казаками продолжали существовать гетманы, утверждаемые властью короля. В первых годах XVIII в. был таким гетманом Самусь; он был друг Палия и со всеми своими казаками стал во враждебное отношение к полякам. Они объявили крестьянам вечную свободу от панов; все крестьяне призывались к оружию. Началась снова в Украине отчаянная борьба господ с их подданными. Шляхта составила ополчение и потерпела поражение. 16 октября 1702 года казаки овладели Бердичевым и произвели там кровопролитие над польскими солдатами, шляхтою и евреями; начальники ополчения бежали. После этого события народное восстание распространилось на Волыни и Подоле. На Волыни оно было скоро укрощено деятельностью волынского кастеляна Ледоховского, но на Подоле оно не могло так скоро и легко улечься, – там предводительствовал восставшим народом сам гетман Самусь. Он взял крепость Немиров. Казаки перебили мучительно там всех шляхтичей и евреев. Палий в это же время овладел Белою Церковью. Восстание по берегам Буга и Днестра росло на страх полякам. Сжигались усадьбы владельцев, истреблялось их достояние; где только могли



встретить поляка или иудея – тотчас мучили до смерти; мещане и крестьяне составляли шайки, называя себя казаками, а своих атаманов – полковниками. Поляки и иудеи спасались бегством толпами; нашлись и такие шляхтичи, что приставали к казакам и вместе с ними делались врагами своей же братьи. Польша была тогда занята войной со Швецией; трудно ей было сосредоточить свои силы для прекращения беспорядков. Поляки стали просить царя Петра содействовать к усмирению малоруссов, и Петр приказал послать от себя увещательные грамоты Самусю и Палию. Грамоты эти не оказали влияния: Самусь и Палий указывали русскому правительству, что не казаки, а поляки подали первые повод к беспорядкам, потому что польские паны делают несносные притеснения своим русским подданным. Тогдашний великий коронный гетман Иероним Любомирский начал советовать панам прибегнуть к мирным средствам и составить комиссию, которая бы выслушала жалобы казаков, и то, что в этих жалобах найдется справедливым, получило бы удовлетворение. Но многие другие паны хотели, напротив, крутых мер к подавлению народного мятежа: они советовали, за неимением готовых польских сил, прибегнуть к помощи крымского хана. На самого Любомирского брошено было подозрение в измене за его миролюбивые советы. Дело кончилось тем, что начальником ополчения, которое должно было усмирить народное волнение, назначен был, вместо Любомирского, постоянно интриговавший против него польский гетман Синявский. Этот предводитель собрал дворовые отряды разных панов и присоединил их к польскому войску, которое вообще было у него тогда невелико. Казаки, наделавши зла панам и иудеям в продолжение лета 1702 года, разошлись на зиму по домам и не могли скоро сплотиться: разрозненные их отряды были рассеяны без труда; Самусь был разбит в Немирове, потерял эту крепость и убежал. Товарищ Самуся, полковник Абазин, упорно отбивался от поляков в Ладыжине, но был взят и посажен на кол. Вся Подоль была скоро укрощена; всех, взятых в плен с оружием, сажали на кол; все городки и села, где только поляки встречали сопротивление, сжигались дотла; жителей перерезывали поголовно. Это навело такой страх на остальных русских подолян, что они стали уходить из своей родины: кто бежал в Молдавию, а кто к Палию, в Украину. Начался потом суд господ над непокорными подданными; участвовавших в восстании оказалось до двенадцати тысяч, но число таких, на которых могло падать подозрение в участии, было впятеро или вшестеро больше. По предложению Иосифа Потоцкого, киевского воеводы, всякому из таких подозрительных отрезывали ухо. Некоторые паны, пользуясь своим правом судить подданных, сами казнили их, но были и такие господа, которые сами защищали своих крестьян перед судом правительства, не допускали до расправы и говорили в извинение своих крестьян, что они были увлечены в мятеж посредством обмана другими крестьянами: народонаселение в южнорусском крае, подвластном Польше, было тогда невелико, и потому-то землевладельцы дорожили рабочею силою. Сам Синявский, совершивши несколько казней, оповестил амнистию всем, которые, по его приглашению, возвратятся в свои жительства и по-прежнему начнут повиноваться законным панам своим. Окончивши усмирение народа на Подоле, Синявский со своим войском отошел в Польшу, но дух восстания не был сразу совершенно погашен: Самусь держался еще в Богуславе, хотя был уже для поляков мало опасен, потому что неудачными своими действиями и печальным исходом своей борьбы с поляками потерял популярность в народе; зато Палий, укрепившийся в Белой Церкви и владевший, сверх того, всем киевским Полесьем (северною частью нынешней Киевской губернии), стал теперь настоящим предводителем народа. И поляки, и русский государь через Мазепу обратились к нему и требовали от него сдачи Белой Церкви полякам; Палий отговаривался под разными предложениями, а между тем продолжал докучать России просьбами принять его в подданство. Сам Мазепа подавал царю совет принять Палия. Но Петр не хотел ссориться с Польшею, нуждаясь в содействии Августа против шведов, и продолжал требовать, чтобы Палий сдал Белую Церковь полякам. Палий упрямылся.

Тогда Мазепа, по царскому приказанию, выступил на правую сторону Днепра, как бы следуя против шведов, и начал звать к себе казацких начальников. Явился к нему Самусь и

положил перед ним свои гетманские знаки. Явился и Палий, надеявшийся, что теперь, наконец-то, русский царь примет его в подданство и исполнится давнее его желание. Мазепа задержал Палия в своем лагере, по-видимому, дружелюбно, а между тем сносился с Головиным и спрашивал, что следует делать с Палием, который, как доносил Мазепа, пребывая в гетманском лагере, постоянно пьянствовал. Головин приказал предложить Палию ехать в Москву, а если он откажется, то узнать – не расположен ли он к врагам России, и, в случае улик в таком расположении, арестовать его. Обличители Палия тотчас нашлись: какой-то хвостовский иудей показал, что Палий сносился с гетманом Любомирским, принявшим тогда сторону Карла XII, и Любомирский обещал Палию прислать денег от шведского короля. Показания арендатора-еврея подтвердил священник Гриц Карасевич. Мазепа, простоявши несколько дней лагерем в местечке Паволочи, в конце июля 1704 года перешел в Бердичев и там, пригласивши к себе Палия, напоил его допьяна, потом приказал заковать и отправил в Батурин, где караульные сдали Палия, вместе с его пасынком, русским властям. По царскому приказанию его отправили на вечную ссылку в Енисейск.

Так, в согласии с русским правительством расправлялся Мазепа с народными элементами в южной Руси, враждебными польско-шляхетскому направлению. Русский государь все более и более благоволил к Мазепе и считал его единственным из всех бывших малороссийских гетманов, на которого смело могло положиться русское правительство. Во время взятия Азова, Мазепа охранял у Коломака русские границы от татар, а пятнадцать тысяч его казаков, под начальством черниговского полковника Лизогуба, отличались под Азовом. За это более всех награжден был царем сам Мазепа. Еще в 1696 году, после взятия Азова, царь виделся с ним в полковом городе слободских полков Острогжске и получил от него в подарок турецкую саблю с драгоценною оправой и щит на золотой цепи, а гетмана отдал шелковыми материями и собольими мехами. В 1700 году государь сделал Мазепу кавалером учрежденного ордена Андрея Первозванного. В 1703 году Петр подарил ему Крупицкую волость в Севском уезде. В шведской войне участвовали казаки без Мазепы, под предводительством других начальников, а царскую признательность за их подвиги получал малороссийский гетман. Стараясь более поддаться в милость к государю, Мазепа в своих донесениях то и дело жаловался на беспокойный дух подчиненных себе малоруссов, особенно бранил запорожцев. В одном только расходился гетман с царем: гетман постоянно считал возможным и полезным возвратить в подданство России, уступленную Польше, правобережную Малороссию; Петр не поддавался таким советам, не желал ссориться с Польшею, но не сердился и на Мазепу за его советы, будучи уверен, что гетман дает их от преданности русским интересам. В 1705 и 1706 годах Мазепа ходил с войском в польские пределы, не сделал там ничего важного, но имел еще случай расположить к себе царя, предложивши ему в дар 1000 лошадей, именно в то время, когда Петр нуждался в них для войска. В 1707 году царь велел Мазепе возвратиться из Польши.

Трудно было кому-нибудь вооружать царя против любимого гетмана. По укоренившейся у малоруссов охоте к доносам, много было желавших подготовить Мазепе путь Многогрешного и Самойловича. Но из боязни за собственную голову, мало находилось охотников сунуться с доносом к царю, который так верил гетману. В 1699 г. вздумал было бунчуковый товарищ Данило Забела, опираясь на покровительство боярина Бориса Петровича Шереметева, явиться в Москву обвинять Мазепу в тайных сношениях с ханом; дело кончилось тем, что доносителя самого отправили в Батурин к Мазепе: там Забела предан был генеральному суду и под пыткой показал, что говорил о гетманской измене в пьяном виде без разума и памяти. Его приговорили к смертной казни, но Мазепа даровал ему жизнь, заменивши смертную казнь тяжелым пожизненным заключением. В 1705 году Мазепа имел случай показать Петру несомненный довод своей верности. Избранный Карлом XII в польские короли, Станислав Лещинский попытался было отправить к Мазепе какого-то Вольского с подущениями – склонить гетмана на свою сторону. Но Мазепа прислал письмо Станислава к царю и жаловался, что враги оскорбляют его, считая способным к измене

своему государю. После этого события еще труднее было кому-нибудь отважиться на донос, пока в 1707 году нашелся новый доноситель на Мазепу: то был один из членов генеральной старшины, генеральный судья Василий Леонтьевич Кочубей.

Между гетманом и Кочубеем существовала семейная вражда. У Кочубея было две дочери: одна – Анна, вышедшая за Мазепина племянника Обидовского и скоро овдовевшая, другая – Матрена, Мазепина крестница. Мазепа, будучи вдовцом, вздумал сделать предложение Матрене. Родители воспротивились такому браку, который ни в каком случае не мог быть дозволенным по церковным правилам. Мать Матрены, женщина гордая и вздорная, начала после того обращаться сурово со своей дочерью и довела ее до того, что ей не стало терпения жить в родительском доме, находившемся в Батурине, где ее отец должен был постоянно проживать по званию генерального судьи. Матрена убежала к гетману. Мазепа, не желая срамить девушку, отослал ее обратно к родителям, хотя писал ей потом: «Никого еще на свете я так не любил, как вас, и для меня было бы счастье и радость, если бы вы приехали и жили бы у меня, но я сообразил, какой конец из того может выйти, особенно при такой злобе и ехидстве ваших родных: пришло бы от церкви неблагословение, чтоб вместе не жить, и где бы я тогда вас дел. Мне вас было жаль, чтоб вы потом на меня не плакали». Но положение возвращенной в родительский дом Матрены стало еще хуже: мать мучила ее жестоким обращением; отец, находясь под сильным влиянием жены, поступал во всем так, как она хотела. Родители Матрены жаловались в кругу своих знакомых, что гетман обольстил их дочь и обесславил их семью. Матрена тайно переписывалась с Мазепой, жаловалась на мать, называя ее мучительницей. Мазепа утешал ее, уверял в своей любви, но советовал ей в крайнем случае идти в монастырь. Кочубей писал к Мазепе упреки, а Мазепа отвечал ему: «Ты упоминаешь о каком-то блюде; я не знаю и не понимаю ничего; сам ты, видно, блудишь, слушаясь своей гордой, болтливой жены, которую, как вижу, не умеешь сдерживать. Справедлива народная пословица: где всем правит хвост, там, наверно, голова блудит. Жена твоя, а не кто другой причиной твоей домашней печали. Святая Варвара убежала от своего отца, да и не в гетманский дом, а к пастухам в каменные расщелины».

По наущению жены своей, Кочубей искал возможности тем или другим способом сделать гетману зло и пришел к мысли: составить донос и обвинить гетмана в измене. Сначала посредником для представления доноса выбран был какой-то великорусский монах из Севска, шатавшийся за милостыней по Малороссии. Он был принят у Кочубея в Батурине, накормлен, одарен, и выслушал от Кочубея и от его жены жалобный рассказ о том, как гетман, зазвавши к себе в гости дочь Кочубея, свою крестницу, изнасиловал ее. Когда этот монах посетил Кочубеев в другой раз, супруги сперва заставили монаха целовать крест в том, что будет хранить в тайне то, что услышит от них, потом Кочубей сказал: «Гетман хочет отложиться от Москвы и пристать к ляхам; ступай в Москву и донеси об этом боярину Мусину-Пушкину». Монах исполнил поручение. Монаха допросили в Преображенском приказе, но никакого дела об измене малороссийского гетмана не начинали. Прошло несколько месяцев. Кочубеи, видя, что попытка не удалась, стали искать других путей; они согласились с бывшим полтавским полковником Искрой, свояком Кочубея. Не решаясь сам начинать дело, Искра услужил Кочубею только тем, что отправил полтавского попа Спасской церкви, Ивана Святайла, к своему приятелю, ахтырскому полковнику Федору Осипову, просить у него свидания по важному государеву делу. Ахтырский полковник съехался с Искрой в своей пасеке. «Я слышал от Кочубея, – сказал ему Искра, – что Мазепа, соединившись с Лещинским, намерен изменить царю и даже злоумышлял на жизнь государя, думая, что государь приедет к нему в Батурин».

Ахтырский полковник известил о слышанном киевского воеводу и в то же время отправил в Москву от себя письма о предполагаемой измене гетмана, между прочим письмо к царевичу Алексею. Царь узнал обо всем 10 марта 1708 года и в собственноручном письме к Мазепе обо всем известил гетмана, сам уверял, что ничему не верит, считает все слышанное произведением неприятельской интриги, и заподозревал миргородского полковника Апостола, который, как царю было ведомо, недружелюбно относился к гетману. Царь

заранее предоставлял гетману схватить и сковать своих недоброжелателей. Между тем сам Кочубей, по совету попа Святайла, отправил в Москву к царевичу еще один донос с перекрестом Янценком. Привезенный этим посланцем донос, доставлен был в руки государя. Но и этому доносу Петр не поверил и снова известил гетмана. Тогда гетман просил царя через канцлера Головкина повелеть взять доносчиков и прислать в Киев, чтоб судить их в глазах малороссийского народа. Царь на это согласился. Кочубей находился в своем имении Диканьке, близ Полтавы. Гетман отправил туда казаков взять его и Искру. Но Кочубей и Искра узнали об этом заранее, убежали в Ахтырский полк и спрятались в местечке Красный Кут под защиту ахтырского полковника. Гетман известил об этом канцлера Головкина, а Головкин отправил капитана Дубянского отыскать Кочубея, Искру и Осипова, благодарить их от имени государя за верность и пригласить их, для объяснения, ехать в Смоленск, надеясь на царскую милость и награждение. В то же время Петр, отпуская к Мазепе его генерального есаула Скоропадского, обнадеживал гетмана, что доносчикам, как клеветникам, не будет оказано никакого доверия и они примут достойную казнь.

Доносчики доверились Головкину и поехали. С Кочубеем и Искрой отправились ахтырский полковник Федор Осипов, поп Святайло, сотник Петр Кованько, племянник Искры, двое писарей и восемь слуг Кочубея и Искры. С Белгорода их сопровождал сильный конвой, но так, чтобы им не казалось, что они едут под караулом. 18 апреля 1708 года прибыли они в Витебск, где находилась главная квартира государя.

На другой день после прибытия доносчиков, начали допрашивать их царские министры. Прежде всех спрашивали ахтырского полковника Осипова. Он был только передатчик того, что сообщили ему, и не мог сказать ничего важного и нового по самому делу. Затем, приступили к Кочубею, и тот подал на письме 33 статьи<sup>207</sup> доноса о разных признаках, обличавших, как думал доноситель, гетмана Мазепу в измене:

1) В 1706 году в Минске говорил ему гетман наедине, что княгиня Дольская, мать Вишневецких, родственница Станислава Лещинского, уверяла его, что король Станислав желает сделать Мазепу князем черниговским и даровать запорожскому войску желанную волю.

2) В том же году Мазепа дурно отзывался о гетмане польном литовском Огинском, который держался стороны русского государя.

3) Услыхавши, что король Август, оставив Польшу, уехал в Саксонию к шведскому королю, Мазепа сказал: «Вот чего боялись, того не убоились».

4) В 1707 году, услышавши, что у Пропойска побиты царские ратные люди, встретившись на дороге с Кочубеем, гетман спрашивал у него «тихим гласом»: справедлива ли эта ведомость?

5) В том же году у себя в Батурине, за обедом, сказавши, что получил ведомость о поражении царских людей, смеялся и говорил: «Судья плачет об этом, но у него слезы текут (!)», а потом пил за здоровье княгини Дольской.

6) Через неделю после того гетман объявлял Кочубею, что от достоверных людей слышал, будто король шведский хочет идти на Москву и учинить там иного царя, а на Киев пойдет король Станислав; Мазепа сказал при этом: «Я просил у государя войска оборонять Киев и Украину, а он отказал, и нам придется поневоле пристать к королю Станиславу».

7) 17 мая того же года я просил дозволения отдать свою дочь за сына Чуйкевича и в следующее воскресенье устроить сватовство, а Мазепа сказал: «Как будем с ляхами в соединении, тогда для твоей дочери найдется жених знатный шляхтич, потому что хотя бы мы добровольно ляхам не покорились, то они нас завоюют». И мы с Чуйкевичем на другой после того день порешили обвенчать наших детей поскорее.

8) 28 мая сербский епископ Рувим говорил, что гетман печалился и жаловался, что государь обременяет его требованием доставки лошадей.

9) 29 мая гетман пригласил недавно обвенчанную дочь мою в Гончаровку крестить с

---

<sup>207</sup> Мы сократили их в двадцать шесть, так как остальные по смыслу относятся к разным, здесь излагаемым, в числе двадцати шести.

ним девочку жидовку и за обедом сказал ей: «Москва хочет взять в крепкую работу всю малороссийскую Украину».

10) Один канцелярист писал записку, что в Киеве иезуит ксендз Заленский говорил ему и другим: «Вы, господа казаки, не бойтесь шведов, которые не на вас готовятся, а на Москву. Никто не знает, где огонь кроется и тлеет, а все узнают тогда, когда вспыхнет пожар: только тот пожар не скоро угаснет». Мазепа в Киеве веселился, гулял с музыкой, вместе с полковниками, и всех заохочивал к веселости, а на другой день послан был казак с гетманскими письмами ко ксендзу Заленскому. С какой бы стати ему сноситься письменно с этим ксендзом, если бы у него не было злого намерения?

11) Писарь полтавский говорил своему племяннику, что в Печерском монастыре он приходил к гетману, а у гетмана были заперты двери, и гетманский служитель сказал: «Гетман с полковниками читает гадяцкий договор гетмана с поляками».

12) В декабре 1707 года приезжал в Батурин Кикин, и Мазепа собрал около себя 300 человек вооруженных сердюков. Вероятно, это он сделал, услышавши, что за Кикиным хочет приехать в Батурин сам государь, и Мазепа намеревался обороняться и отстреливаться от государя.

13) На праздник Рождества приезжал к гетману в Батурин ксендз Заленский, и писарь гетманский Орлик проводил его тайно в гетманский хутор близ села Бахмача, а ксендз ночью приезжал на свидание с Мазепой в Гончаровку.

14) Мазепа говорил, что кто бы из старшин или полковников ни пристал к нему, того он засадит в тюрьму на смерть безо всякой пощады: видно из этого, что он имеет намерение отложиться от царя и соединиться со Станиславом.

15) Есть в Полтаве казак Кондаченко; гетман многократно посылал его к разным крымским султанам и к самому хану со словесными поручениями. Видно, это он делал для того, чтоб со временем иметь татар для своей услуги. И другого человека, по прозванию Быевского, посылал Мазепа в Крым и к белгородским татарам, но неизвестно зачем.

16) Один раз, бывши в моем доме и подгулявши, когда я стал пить за его здоровье, Мазепа вздохнул и сказал: «Что мне за утеха, когда я живу, не имея никакого ручательства в своей целости и жду как вол обуха?» Потом, обратившись к жене моей, он начал хвалить изменников Выговского и Брюховецкого: «Они, – говорил он, – хотели выбиться из неволи, да злые люди их до того не допустили, и мы хотели бы промышлять далее о своей цельности и вольности, да еще способов к тому не имеем, а главное, что у наших нет единомыслия; вот я и твоему мужу много раз заговаривал о том, как бы нам на будущие времена обеспечить и себя и тех, которые после нас будут жить, а муж твой молчит, никаким словом мне не поможет: и ни от кого мне нет помощи, и никому я не могу довериться».

17) Один раз гетман говорил полковникам так: «Может быть, вы думаете, что я намереваюсь возложить гетманство на Войнаровского; я этого не желаю: вольно вам будет избрать себе в гетманы кого хотите, а Войнаровский и без того в своем отцовском углу может себе проживать; я же гетманский уряд и теперь вам готов уступить». Ему на это сказали: «Не дай Бог, чтобы мы этого желали». Тогда он повторил: «Если между вами есть кто-нибудь такой, кто бы мог отчизну свою спасти, я тому уступлю; если вы на мне хотите оставить эту тягость, то извольте меня слушать и смотреть на мое руководство: я уже пробовал ханской дружбы; был расположен ко мне бывший хан Казын-Гирей; но его отставили; а теперешний сначала было дружелюбно отвечал мне на мои письма, но потом посылал я в Крым своего посыльщика, да не получал уже никакой надежды оттуда: кажется, надобно дело наше начинать с другого бока и придется, уговорившись и постановивши свое намерение, братья за сабли».

18) Мазепа держит при себе слуг ляшской породы и употребляет их для посылок без указа государя, а это не годилось бы.

19) Государь запретил выводить людей с левой стороны на правую, а гетман указа не исполняет. Из всех городов и сел люди уходят на правую сторону, и мать гетмана, умершая игуменья, перевела много людей в основанные ею на другой стороне Днепра слободы; от

этого люди на левой стороне Днепра принуждены, с большим против прежнего отягощением, кормить конные и пехотные полки и думают также уходить на Заднепровье.

20) На Коломакской раде поставлено, чтобы малороссияне с великороссиянами вступали в родство и свойство, а гетман до того не допускает и между малороссиянами и великороссиянами увеличивается удаление и незнакомство.

21) Все города малороссийские не укрепляются, и самый Батурин 20 лет стоит без починки. Люди говорят, что так делается с той целью, чтобы города не в силах были защищаться.

22) Гетман предостерегает запорожцев, что государь хочет их уничтожить, а когда пришла ведомость, что запорожцы, согласившись с татарами, собираются идти на слободские полки, Мазепа сказал тогда: «Пусть бы эти негодяи делали то, что собираются делать, а то они только дразнят!»

23) Одна близкая Мазепе особа выразилась о татарах: «Эти люди скоро будут нам нужны».

24) Львовский мещанин Русинович говорил, что возил к Мазепе письма от разных польских панов. Тот же Русинович рассказывал, что польский коронный гетман Синявский поручил ему сказать Мазепе, что государь не удержится против шведов, и казаки, если с ним будут заодно, погибнут, а если будут за поляками, то останутся в целости при своих вольностях. «Я, – говорил Русинович, – передал это гетману, а гетман отвечал: „Лишь бы Бог дал мне силы и здоровье, которое ослабело; я расположен к господам полякам; я бы не был шляхтичем и сыном коронной земли, если бы не желал добра польской короне. Вижу, государь оскорбил Польшу, но и Украину он очень обременил; сам я не знаю, что делать с собой; если до чего придется, не в силах буду удержать казаков, когда они захотят куда-нибудь склониться“. Тот же Русинович говорил, что приезжал в Киев для размена денег мещанин львовский Гордон, шведский партизан, и Мазепа велел ему выдать из войсковой казны в размен 20000 р. Он же, Русинович, говорил, что все ляхи любят гетмана Мазепу, и когда в Люблине был выбор короля, то Синявский и другие паны подавали свои голоса, вероятно, с надеждой, что Мазепа пособит деньгами Речи Посполитой. Наконец, передавшийся на шведскую сторону пан Яблоновский часто говаривал: „Мы надеемся на Украину, потому что там есть шляхта, наша братья“.

25) Гетман распоряжается самовольно войсковой казной, берет сколько хочет и дарит кому хочет. Было бы довольно с него десяти городов гадяцкого полка, с которых идут ему все доходы, кроме того, у него во власти есть волости и села значительные, а он берет себе доходы с порукавичных и арендовых с большим умножением, и оттого арендаторы стали продавать дороже горилку. Прежде, бывало, полковников избирали вольными голосами, а теперь гетман за полковничьи места берет взятки. Умер киевский полковник Солонина, оставивши внуков и племянников. Гетман отобрал у них села и отдал своей матери, и после смерти генерального обозного Борковского Мазепа отнял у жены его и у малолетних детей имение и присвоил себе.

26) Наконец, Кочубей представил малороссийскую думу, сочиненную Мазепой и полученную Кочубеем от какого-то архимандрита, лет десять тому назад. Дума эта, по указанию Кочубея, была доводом непостоянства гетмана в верности царю.

Из этих пунктов ясно можно видеть, что Кочубей явился без всяких юридических улик, и донос его беспристрастным людям не мог показаться нисколько основательным. Неудивительно, если после таких показаний Кочубей и его товарищ были взяты под стражу, а 21 апреля приведены к пытке.

Искре сделали допрос: не был ли донос по наущению неприятеля? Искра показал, что неприятельского наущения не было, и он за гетманом никакой измены не знает, а подушал его подавать донос Кочубей в течение двух лет, и когда Искра уговаривал Кочубея отстать от своего намерения, то Кочубей отвечал, что готов умереть, лишь бы обличить Мазепу. Искре дали 10 ударов кнутом. Потом приведен был к пытке Кочубей и, не дожидаясь мук, сказал: «Я на гетмана написал донос, затеяв ложь по злобе, надеясь, что мне поверят без дальнего

розыска; и на всех особ, о которых писал в доношении, писал ложно». Ему дано было 5 ударов кнутом.

Искру еще раз подвергли пытке и дали 8 ударов. Он еще раз показал, что не знает за гетманом ничего, кроме верности царю.

Допрашивали сотника Кованька с пыткой два раза; на него Кочубей в своем доносе ссылался как на свидетеля относительно речей ксендза Заленского. Кованько показал, что Кочубей научил его, обнадеживая милостью государя, а сам он, Кованько, ничего не знает об измене гетмана.

27 апреля Кочубей написал письмо государю и изложил в своем письме истинную причину своей злобы к Мазепе. Тут Кочубей рассказал о том, что Мазепа, после неудачного сватовства на его дочери, похитил ее ночью тайно, а потом возвратил ее родителям с Григорием Анненковым, приказавши передать Кочубею такие слова: «Не только дочь твою силой может взять гетман, но и жену твою отнять может». После того прельщал Мазепа дочь Кочубея письмами и чародейским действием довел ее до исступления: «Еще дочери моей возбесится и бегати, на отца и мать плевати». Кочубей представил пук любовных писем Мазепы к Матрене.

Поп Святайло, писавший донос и теперь подвергнутый пытке, показал, что действовал по приказанию Кочубея, а сам ничего не знает за Мазепой.

30 апреля, по царскому указу, всех доносчиков препроводили за крепким караулом в Смоленск и велели держать их скованными, не позволяя сообщаться между собой, но 28 мая снова приказано привести их в Витебск.

Тогда Кочубея опять подвергли пытке и допрашивали: не было ли к нему какой-нибудь подсылки от шведов, поляков партии Лешинского, запорожцев или крымских татар? Ему дано было три удара кнутом; Кочубей показал, что ни о чем не знает, ни с кем у него не было совета и все против Мазепы он затеял по своей злобе. Искре на пытке дали 6 ударов, допрашивая о том же; Искра по-прежнему показал, что ни от кого, кроме Кочубея, не слышал дурного о Мазепе.

С такими же вопросами пытали снова Святайла и Кованька; первому дали 20, последнему 14 ударов. Осталось переходившее из уст в уста предание, что когда сотник и поп, испытавши пытку, лежали на полу под рогожами, сотник сказал попу: «Что, отче, сладок московский кнут, не купить ли его домой женам на гостинец?» Вероятно, он намекал на жену Кочубея, которая была главной заправщицей во всей этой затее. Святайло отвечал: «О, чтоб тебя, Петр... или мало тебе спину исписали?»

В заключение допросили Кочубея и Искру об их имуществе. Кочубей описал все имевшиеся у него деньги, долги, числившиеся на разных лицах, лошадей и скот в своих имениях.

Государь приказал Кочубея и Искру препроводить к Мазепе и казнить обоих смертью перед всем запорожским войском, попа Святайло и присланного прежде от Кочубея с доносом монаха запереть в Соловецкий монастырь, а сотника Кованька, писарей и служителей Кочубея и Искры отправить в Архангельск и поверстать в солдаты.

Стольник Иван Вельяминов-Зернов в сопровождении солдат повез Кочубея и Искру в Киев. Путь их лежал водой от Смоленска по Днепру. Преступники были скованы. 29 июня Вельяминов-Зернов прибыл в Киев и поместил осужденных в Ново-Печерской крепости, а сам тотчас послал известить об этом гетмана. 7 июля гетман находился в обозе, расположенном за Белой Церковью, в местечке Борщаговке; он послал оттуда в Киев бунчукового товарища Максимовича с сотней казаков и с ним драгунского поручика Алымова с сотней драгун. Вельяминов-Зернов прибавил к этому присланному от Мазепы отряду еще солдат, взявши их у киевского воеводы, и повез осужденных в гетманский обоз. 12 июля, в присутствии всей генеральной старшины, он выдал преступников гетману и подал ему царскую грамоту. Кочубея снова подвергли допросу об его имуществе, и он к прежним показаниям прибавил еще известие о нескольких ценных вещах, бывших у него.

14 июля, рано утром, при многочисленном собрании казаков и малороссийского

народа, Кочубею и Искре отрубили головы. Тела их лежали напоказ народу, пока не окончилась обедня, а потом были положены в гробы и отвезены в Киев. Там похоронили их июля 17, во дворе Печерского монастыря, близ трапезной церкви.

Жена Кочубея еще раньше, когда Кочубей был в Витебске, была взята посланцем Мазепы гадячским полковником Трощинским, вместе с детьми и невесткой, женой сына ее Василия, в Диканьке, и привезена в Батурин в старый двор своего мужа, а невестку, по приказанию Мазепы, отпустили к ее родителям, у которых в то время находился и муж ее.

Жену Кочубея несколько времени держали под строгим караулом; после казни мужа она была отпущена.

Петр был глубоко убежден в верности к себе Мазепы и думал, конечно, что совершил строгое, но вполне справедливое дело, предавши казни доносчиков, покушавшихся оклеветать перед царем его верного и испытанного слугу.

Прошло лето; приближалась осень. Государь услышал, что Карл XII поворотил к югу и приближается к Малороссии. По этому слуху, Петр дал распоряжение, чтобы гетман шел к великороссийскому войску на соединение, а казацкая конница преследовала неприятеля сзади и нападала на его обоз. Самого гетмана царь желал видеть начальником этой конницы во время ее военных действий. Мазепа хотел уклониться от такого поручения и, в письме своем к государю, жаловался «на подагричные и хирагричные припадки»; страшные боли мешают ему ехать верхом. Но Мазепа, сверх того, написал царю такое соображение: «Если я особой моей гетманской, оставя Украину, удалюсь, то вельми опасуюсь, дабы по сие время внутреннее между здешним непостоянным и малодушным народом не произошло возмущение». Мазепа давал царю такой отзыв о всем малороссийском народе: «Я у здешних не только мало, но и никого так верного не имею, который бы сердцем и душой, вернее и радательнее вашему царскому величеству по сей случай служил». Это было сказано в такт с тогдашними воззрениями Петра, который и сам опасался, чтобы прокламации Карла XII, расходясь по Малороссии, не возволновали там умов. В октябре Карл уже подходил к пределам Малороссии; Шереметев и Меншиков с русским войском находились близ Стародуба, готовые встречать идущего в Малороссию неприятеля. Сам Петр, после победы под Лесным, готовился лично идти к своей армии. Головкин, по царскому приказанию, торопил гетмана письмами, побуждая идти к Стародубу со своими казаками на соединение с царскими силами. Мазепа еще раз хотел отделаться «хирагричной и головной болезнью и многодельствием», а более всего указывал на опасность беспокойств в Малороссии. «Уже теперь, – писал он к Меншикову, – по городам великими толпами ходят пьяницы, мужики по корчмам с ружьями вино насильно берут, бочки рубят и людей побивают. Из Лубен пишут, что там гуляки, напившись насильно взятым вином, убили до смерти арендатора и старшину чуть не убили. Мятеж разливается в Полтавском, Гадячском, Лубенском, Миргородском, Прилукском, Переяславльском полках... Стародубский полковник пишет, что в Стародубе сапожники и портные и весь черный народ напали на дом тамошнего войта с дубьем, отбили погреб, забрали закопанные в земле вина и в иных дворах побрали бочки с вином и, перепившись, побили до смерти пятьдесят жидов. В Мглине сотника до смерти приколотили и три дня в тюрьме держали: если бы товарищи, казаки его сотни, не освободили его, то он бы жив не остался; арендаторов хотели перебить, да они в лес ушли. В Черниговском полку сын генерального есаула насилу ушел от своевольников ночью со своим имуществом... В Гадяче гуляки и пьяницы учинили нападение на мой замок и хотели убить моего управителя и разграбить мои пожитки, но мещане не допустили. Отовсюду пишет ко мне городова старшина и просит помощи против бунтовщиков. По берегу Днепра снуют шайки, одна в 800, другая человек в 1000, – все это русские люди, а главное, донцы. Над одной шайкой атаманом Перебий Нос, а над другой Молодец. Бродяги как вода плывут к ним отовсюду, и если я с войском удалюсь в Стародубский полк, то надобно опасаться, чтоб эти негодяи не сделали нечаянно нападения на города. Да и со стороны Сечи нельзя сказать, чтоб было безопасно. По этой-то причине полковники и старшина полковая с сотниками не желают похода к Стародубу и хоть явно мне в глаза не противятся монаршему указу, но заочно



ропшут на меня, что я веду их в Стародубовщину, на крайнюю погибель их жен, детей и достояний. Если и теперь, когда я внутри Украины с войском, бродяги и чернь затевают бунты, то что ж тогда, когда я с войском удалюсь? Начнут честных и богатых людей и пожитки их грабить. Будет ли это полезно интересам его царского величества?»

Получивши такое письмо Мазепы, генералы и министры составили консилиум и порешили, чтобы гетман назначил вместо себя наказного гетмана для оберегания внутренности Украины, а сам бы все-таки шел к главной армии.

Мазепе надобно было на что-нибудь решаться: или, оставаясь верным царю, примкнуть к великороссийскому войску, или перейти на сторону шведского короля. В Малороссии относительно измены были несколько другие понятия от тех, какие образовались впоследствии, когда эта страна теснее примкнула к России. Край присоединился сравнительно еще недавно, малороссияне еще не привыкли считать Великороссию таким же отечеством, как и свою Малороссию. Простой народ – посполство, правда, примыкал к монархической власти, но это потому, что надеялся в ней найти опору против старшины и вообще значного казачества. При господстве в народе старого стремления всем поступать в казачество чувствовалось в монархической власти уравнивающее всех начало; оттого всегда, как только в Малороссии старшины начинали помышлять что-нибудь вразрез с монархической властью, можно было надеяться, что посполство станет на сторону последней. У всех значных укоренился такой взгляд, что малороссийский народ сам по себе, а московский тоже сам по себе, и при всяких обстоятельствах малорусс должен идти туда, где ему лучше, хотя бы оттого «москалю» было и хуже. Уже давно существовала боязнь, что рано или поздно Москва искоренит казачество, нарушит все так называемые малороссийские права и вольности и постарается уравнять Малороссию со своими великорусскими областями. Железная рука Петра уже начиналась чувствоваться в Малороссии, хотя преобразовательные намерения государя явно не налегали на этот край. Вопрос о том, что именно побудило Мазепу перейти на сторону Карла, много раз был предметом исследования историков, и в наше время образовалась мысль, что переход Мазепы произошел внезапно, в силу такого положения, в котором гетману приходилось выбирать то или другое. Если и прежде, в порывах негодования к Москве, бродила в его голове, как и в головах старшин, мысль о союзе с Карлом, то мысль эта едва ли бы осуществилась, когда бы сам Карл, своим движением в Малороссию, не дал ей хода. До сих пор Мазепа отделялся от требований русского правительства своими «хирагрическими и подагрическими» припадками, но дальше отвертываться нельзя было, особенно после того, когда, вслед за сообщенным гетману решением консилиума, Меншиков написал ему, что нуждается с ним видеться для совещаний. Мазепа пригласил на совет обозного Ломиковского, генерального писаря Орлика и других старшин и полковников и спрашивал, что ему делать. «Не ездите, – сказал ему Ломиковский, – иначе ты и себя, и нас, и всю Украину погубишь! Мы уже сколько раз просили тебя: посылай к Карлу, а ты все медлил и словно спал; теперь – вот войска великороссийские вошли в Украину на всенародное разорение и кровопролитие, и шведы уже под носом. Неведомо, для чего медлишь». – «Вы мне не советуете, а только обо мне переговариваете. Черт вас побери! – сказал Мазепа, вспыхивши. – Вот я возьму Орлика и поеду с ним ко двору его царского величества, а вы себе тут хоть пропадите!» Однако через минуту Мазепа смягчился и ласково спросил старшину: «Посылать к королю или нет?» – «Как не посылать, давно пора!» – отвечали ему. Тогда Мазепа поручил Орлику написать полатыни инструкцию посольства к шведскому министру графу Пиперу. Мазепа в этой инструкции изъявлял радость о прибытии Карла XII к Украине, просил помощи и освобождения всего малороссийского народа от тяжкого московского ига и обещал для шведского войска приготовить паромы на Десне, у Макошинской пристани. Эту инструкцию повез, по приказанию Мазепы, управитель его Шептаковской волости Быстрицкий, свойственник Мазепы, отправившись в шведскую армию вместе с пленным шведом, посланным при нем в качестве переводчика. Между тем к Меншикову Мазепа послал своего племянника Войнаровского известить царского любимца, что находится в болезни при

смерти и отъезжает из Батурина в Борзну, где намерен собороваться маслом от киевского архиерея. Меншиков, получивши такое известие, уведомил об этом царя. «Жаль такого доброго человека; если от болезни его Бог не облегчит, – писал он, – а о болезни своей пишет, что от хирагрической и подагрической болезни приключилась ему эпилепсия». Между тем Меншиков сам решился ехать к гетману в Борзну.

Мазепа был в Борзне. 21 октября Быстрицкий возвратился из шведского обоза и прибыл к гетману известить, что за ним вслед на другой день должно прибыть к Десне шведское войско. За Быстрицким явился в Борзне Войнаровский, убежавший ночью от Меншикова: он уведомил гетмана, что Меншиков едет в Борзну для свидания с умирающим гетманом. Мазепа, не дожидаясь Меншикова, поздно вечером поскакал в Батурин. На другой день Мазепа из Батурина пустился в Короб, а на третий, 24 октября, рано утром, переправился за Десну и поехал к королю с отрядом в 1500 человек; с ним были старшины, несколько полковников, сотников и значного товарищества. В селе Бахмаче Мазепа присягнул перед ними, что принял протекцию шведского короля не ради какой-нибудь приватной своей пользы, а для добра всей малороссийской отчины и всего казачества. Со своей стороны, старшины и все бывшие там значные казаки присягнули, что принимают протекцию шведского короля и будут верны и послушны воле гетмана.

Меншиков не успел доехать до Борзны, как встретил на дороге великорусского полковника Анненкова, находившегося при гетмане, и узнал от него, что Мазепа уехал в Батурин. Меншиков повернул в Батурин и увидел, что по стенам Батурина стояли вооруженные люди; мост был разведен. Меншиков посылает в Батурин Анненкова за объяснениями; но Анненкова не пускают. Меншиков едет в Короб, думает застать там гетмана, но на дороге узнает, что Мазепа уехал за Десну. Тут только Меншикову начала открываться тайна, и он понял, зачем ночью убежал от него Войнаровский; тайна эта стала делаться яснее, когда к Меншикову приехали из ближних мест сотники и просили защищать их от Мазепы, передавшегося неприятелю.

26-го октября из Макошина, где была переправа на Десне, Меншиков о поступке Мазепы известил государя, находившегося с армией в селе Погребках, также на Десне. Роковое известие об измене чрезвычайно поразило Петра своей неожиданностью. Государь тотчас послал к Меншикову приказание укреплять войском переправу на Десне, чтоб не допускать казаков идти за Мазепой, и 28-го октября написал ко всему малороссийскому народу манифест, извещавший об измене гетмана, предпринятой, как сказано в манифесте, для того, «дабы малороссийскую землю поработить под владение польское и церкви Божьи и святые монастыри отдать в унию»; давалось повеление генеральной и полковой старшине съезжаться в город Глухов для избрания вольными голосами нового гетмана. В заключение манифест извещал, что Петр уничтожает все поборы, наложенные бывшим гетманом на малороссийский народ.

Но и Мазепа, со своей стороны, старался подействовать на малоруссов. 30 октября он отправил к стародубскому полковнику Скоропадскому грамоту с изложением причин, побудивших его к переходу на сторону Карла XII. «Московская потенция уже давно имеет всезлюбные намерения против нас, а в последнее время начала отбирать в свою область малороссийские города, выгонять из них ограбленных и доведенных до нищеты жителей и заселять своими войсками. Я имел от приятелей тайное предостережение, да и сам ясно вижу, что враг хочет нас, гетмана, всю старшину, полковников и все войсковое начальство прибрать к рукам в свою тиранскую неволю, искоренить имя запорожское и обратить всех в драгуны и солдаты, а весь малороссийский народ подвергнуть вечному рабству. По таким-то намерениям Меншиков и Голицын поспешали со своим войском и приглашали старшину в московские обозы. Я узнал об этом и понял, что бессильная и невоинственная московская потенция, спасаясь всегда бегством от непреборимых шведских войск, вступила к нам не ради того, чтоб нас защищать от шведов, а чтобы огнем, грабежом и убийством истреблять нас. И вот, с согласия всей старшины, мы решились отдаться в протекцию шведского короля в надежде, что он оборонит нас от московского тиранского ига и не только возвратит нам

права нашей вольности, но еще умножит и расширит; в этом его величество уверил нас своим неотменным королевским словом и данной на письме ассекурацией». В заключение, Мазепа приглашал Скоропадского действовать с собой заодно, искоренить московский гарнизон в Стародубе, а если бы это невозможно было, то уходить в Батури, чтобы не попасться в московские руки.

Немедленно после разослания царского манифеста об избрании нового гетмана, Меншиков отправился с корпусом войска к Батурину, Мазепиной столице, где заперлись самые ярые сторонники Мазепы. Начальствовали над батуринским гарнизоном: полковник над сердюками Чечел, есаул Кенигсек, полтавский полковник Герцик и какой-то сотник Дмитрий. Меншиков, подступивши к Батурину, отправил в город сотника Марковича с увещанием сдаться. Чечел, к которому привели Марковича, сказал, что они сдаваться не будут без указа своего гетмана; Чечел при этом показал вид, как будто не знает ничего об измене Мазепы. Вслед за Марковичем, на лодке по реке Сейму выплыл киевский воевода, князь Дмитрий Голицын. Чечел выслал к нему посланцев, и, когда Голицын стал их уговаривать, задорные мазепинцы начали со стен ругаться и стрелять из ружей. Тогда Меншиков велел войску переправляться и наводить мосты. Ночью осажденные прислали к Меншикову опять посольство; оно уверяло русского предводителя, что осажденные остаются верными царскому величеству и готовы пустить его войска в замок, но просят три дня срока. Меншиков понял, что это хитрость. Изменники рассчитывали, что к ним придут шведы на помощь. Меншиков дал им сроку только до утра. В 6 часов другого утра Меншиков сделал приступ и приказал истреблять в замке всех без различия, не исключая и младенцев, но оставлять в живых начальников, для предания их казни. Все имущество батуринцев отдавалось заранее солдатам, только орудия должны были сделаться казенным достоянием. В продолжение двух часов все было окончено: гетманский дворец, службы и дворы старшин – все было превращено в пепел. Все живое было истреблено. Кенигсек взят в плен жестоко раненым; Чечел бежал, но пойман был в ближнем селе казаками и доставлен Меншикову.

6 ноября съехалось в Глухов духовенство, в том числе киевский митрополит и два архиерея: черниговский Иоанн Максимович и переяславльский Захарий Корнилович; было четыре полковника, оставшихся верными: стародубский – Иван Скоропадский, черниговский – Павел Полуботок, переяславльский – Томара и нежинский – Жураховский; они прибыли с сотниками и казаками своих полков. После предварительного молебствия, ближний боярин князь Григорий Федорович Долгорукий открыл выбор гетмана по старинным обычаям, наблюдавшимся со времени присоединения малорусского края к России. Бывшая здесь старшина предложила в гетманы Скоропадского, зная, что государю угодно его сделать гетманом. Скоропадский, соблюдая давний казачий обычай, отказывался, признавал себя недостойным такой чести, отговаривался своей старостью и советовал выбрать в гетманы молодого и заслуженного человека. Многие казаки тогда же указали на Полуботка, но вслед за тем должны были оставить намерение избрать этого человека, потому что Петр не утвердил бы его, отозвавшись перед тем о личности Полуботка такими словами: «Он очень хитр и может уравниваться Мазепе». Итак, избран был Скоропадский. По избрании, он присягнул в церкви, а потом получал поздравления от царя и ближних вельмож. Через несколько дней после избрания, 12 ноября, в соборной Троицкой церкви после литургии и соборного молебна совершен был обряд проклятия Мазепы, сочиненный, вероятно, самим Петром. Духовенство пропело над портретом Мазепы, украшенным орденом Андрея Первозванного, трижды анафему его имени. По совершении проклятия, палач потащил портрет по улице веревкой и повесил на виселице. На другой день после того совершена была казнь над Чечелом и другими мазепинцами, взятыми в Батурине. Духовенство распорядилось, чтобы по всей Малороссии на церковных дверях прибито было объявление, извещавшее, что Мазепа со всеми своими единомышленниками, приставшими ко врагам, отвержен от церкви и проклят. Малороссийские архиереи грозили таким же отлучением от церкви и от причащения Святых Тайн всем тем, которые окажут сочувствие к измене или

пристанут к неприятелю.

Из приставших к Мазепе полковников, миргородский полковник Данило Павлович Апостол и компанейский полковник Игнатий Галаган отстали от шведов в конце ноября. Апостол был издавна в недружелюбных отношениях к Мазепе; перед изменой, он, как видно, помирился с гетманом, вместе с ним перешел к шведам, а теперь явился к царю Петру со словесным предложением от Мазепы послужить царю, пользуясь своим настоящим положением. Судя по сохранившемуся ответу Головкина, Апостол от Мазепы привез даже предложение о доставлении в русские руки «известной, главнейшей особы», вероятно, разумея под этой особой Карла XII. Неизвестно, точно ли посылал Мазепа такое предложение; быть может, Апостол и сам выдумал это. Вслед за Апостолом, и Галаган явился с таким же словесным предложением. Он был представлен лично Петру в Лебедине, куда перенесена была главная квартира. «Как, и ты с Мазепой изменил мне и убежал?» – спросил его Петр. «Я не бежал, – ответил Галаган, – но виноват тем, что допустил Мазепу обмануть себя. Я по приказанию шел со своим полком, думая, что веду его против неприятеля, и уже в виду неприятельского войска узнал, куда меня ведут. Меня принудили присягнуть на верную службу шведскому королю, но присяга невольная только на словах: как только неприятель перестал наблюдать над нами, так я и убежал служить своему государю! Твоя воля; прости и дозвожь умереть на твоей службе». – «Прощаю, – сказал Петр, – смотри только, не сделай со мной такой шутки, как с Карлом».

Малорусский народ решительно не пристал к замыслу гетмана и нимало не сочувствовал ему. За Мазепой перешли к неприятелям только старшины, но и из тех многие бежали от него, лишь узнали, что надежда на шведского короля плоха и что Карл, если бы даже и хотел, не мог доставить Малороссии независимости. Таким образом, в 1709 году убежали от Мазепы: генеральный судья Чуйкевич, генеральный есаул Дмитрий Максимович, лубенский полковник Зеленский, Кожуховский, Андрияш, Покотило, Гамалия, Невинчанный, Лизогуб, Григорович, Сулима. Хотя они явились уже после срока, назначенного Петром для амнистии, и ясно было, что отвернулись от шведского короля только тогда, когда увидели, что дело его проигрывается, но Петр не казнил их смертью, заменив ее ссылкой в Сибирь. Зато Петр вспомнил о Палии и велел его привезти из Сибири. Палий участвовал в Полтавской битве, хотя старость и тяжелая ссылка сделали его до такой степени дряхлым, что он без помощи других не мог садиться на лошадь. Последовала милость вдове и детям казненного Кочубея. 15 декабря 1708 года новый гетман Иван Скоропадский приказывал возвратить вдове Кочубеевой Любове, урожденной Жук, и детям ее все села, числившиеся в полках Полтавском, Нежинском и Стародубском, и один хутор на правой стороне Днепра, принадлежавшие в собственность покойному генеральному судье.<sup>208</sup>

Мазепе было не совсем хорошо у шведского короля: малоруссы, вместо того чтобы встречать шведов как избавителей от московской неволи, на каждом шагу сопротивлялись им; не только казаки, составлявшие военное сословие, но и посполитые люди собирались шайками, нападали на шведские отряды, ловили и представляли царю посланцев, ездивших по краю с возмутительными воззваниями Карла XII и Мазепы. Шведы поставляли это на вид Мазепе, начинали подозревать, что и сам гетман при случае уйдет от них и попытается получить царское прощение. Мазепа содержался у них как бы под незаметным для него самого караулом, тогда как увлеченные им малоруссы один за другим то и дело уходили из шведского обоза. Только запорожцы составляли исключение; они явились к Карлу в числе 3000, под начальством своего кошевого, Кости Гордиенко, и с первого же раза поразили шведов своим буйством и дикостью: когда в первый раз они были приглашены в палатку Мазепы к обеду, то перепились до безобразия и начали тащить со стола посуду. Кто-то заметил им, что не годится так грабить. Запорожцы за это замечание тотчас же зарезали неловкого правоучителя.

---

<sup>208</sup> Вдове и детям Искры не последовало тогда никакой милости: о нем как будто забыли. Спустя столетие, потомки Искры роптали на правительство, наградившее щедро одного только Кочубея и оставившее без внимания другую личность, одинаково с Кочубеем пострадавшую за верность царю.

Мало выгод ощущали для себя шведы от перехода на их сторону Мазепы. Всю зиму и весну, пребывая в Малороссии, они претерпевали ряд неудач; только местечко Веприк и город Ромны удалось им взять, да и то с большими потерями. Совершилась знаменитая Полтавская битва. Карл бежал, с ним бежал Мазепа. Они очутились в турецких владениях. Петру очень хотелось достать изменника в свои руки, и он досадовал, когда при переправе через Днепр у Переволочной не удалось русскому войску захватить Мазепу. Желание казнить своего врага было так велико у Петра, что, вопреки своей обычной бережливости, государь предлагал турецкому великому муфтию 300000 талеров, если он силой своего духовного значения убедит султана выдать изменника. Попытка Петра не удалась, и едва ли могла удалиться, так как и в своем изгнании Мазепа был еще богат. Во все время своего гетманства, щедро строивши и украшавши церкви, он успел собрать большие сокровища: из них многое хранилось в Киево-Печерском монастыре и в Белой Церкви и досталось царю; Петр побуждал всех малоруссов отыскивать еще и сообщать правительству о всяком достоянии гетмана, обещая доносителю половину указанного им имущества, принадлежавшего изменнику. И все-таки Мазепа успел захватить с собой огромные, по тому времени, денежные суммы. Он имел возможность уже в своем изгнании дать Карлу XII взаймы 240000 талеров, а после смерти Мазепы, как говорят, найдено было с ним 160000 червонцев, кроме серебряной утвари и разных украшений.

Мазепа скончался 18 марта 1710 года, от старческого истощения, в селе Варнице, близ Бендер. Его тело, отпетое в сельской церкви, в присутствии шведского короля, отвезено было и погребено в древнем монастыре Св. Георгия, расположенном на самом берегу Дуная, близ Галаца.<sup>209</sup>

Мазепа, как историческая личность, во многих отношениях представляет собой замечательный, выдающийся из ряда, тип своего времени и того общества, в котором он воспитался и действовал политически. Прекрасная характеристика его, сделанная современником архиепископом Феофаном Прокоповичем, и многие черты, выказавшиеся в различных случаях его жизни, дают нам возможность до известной степени понять, что такое был это за человек. Едва ли мы ошибемся, если скажем, что это был человек чрезвычайно лживый. Под наружным видом правдивости он был способен представиться не тем, чем он был на самом деле, не только в глазах людей простодушных и легко поддающихся обману, но и пред самыми проницательными. При таком-то качестве он мог прельстить Петра Великого и в продолжение многих лет заставить признавать себя человеком самым преданным русскому престолу и русскому государству. Мазепа носил постоянно на себе отпечаток того простосердечия, который лежит в характере и приемах малоруссов, показывал всегда отвращение к хитрости и коварству, часто отличался добродушной веселостью, всех любил угощать и казалось, будто у него все сердце нараспашку; через то он располагал к откровенности своих гостей и приятелей и выводывал от них все, что ему нужно было. Он был очень щедр для всякого, с кем имел дело, но в то же время не стеснялся ни перед какими средствами и путями для приобретения себе богатств, которые так же легко растрчивал, как бесцеремонно собирал: одних обобрать, других наделить – то была черта его, общая более или менее польским панам. Он был чрезвычайно набожен, благодетельствовал церквям, покровительствовал духовенству, раздавал милостыню; большая часть первоклассных церквей в Киеве и в других местах Малороссии принуждена до сих пор поминать, в числе рачительных благодетелей, Мазепу, хотя и не смея произнести его заклеянного анафемой имени. Едва ли можно согласиться с теми, которые впоследствии толковали, будто Мазепа делал это для того, чтоб укрыть свое расположение к католичеству; в его православности нет повода сомневаться: но его религиозность, ограничиваясь наружными подвигами благочестия, носила на себе характер той же внутренней лжи, которая заметна во всех поступках Мазепы: с такими чертами он является и

---

<sup>209</sup> Обломки надгробного камня, положенного на его могиле, с надписью и с изображением одноглавого орла, сохранились до сих пор в музее Михаила Гики, брата бывшего валахского господаря.

в своей трагикомедии с Фальбовским, и в отношениях к Самойловичу, и в деле с Палием, и в деле с Кочубеем и его дочерью, и в угодливости Голицыну, и в отношениях к Петру, и в своих приемах, предшествовавших его измене. Мазепа часто казался болезненным, часто советовался с врачами, часто лежал в постели по нескольку дней, весь обложенный пластырями, тяжело стонал и охал; даже говорил, что приказывает делать себе гроб, и другие, глядя на него, были в то время уверены, что не сегодня-завтра гетман скончается, когда на самом деле гетман был здоров. Перед царем, выхваляя свою верность, он лгал на малорусский народ и особенно чернил запорожцев, советовал искоренить и разорить дотла Запорожскую Сечь, а между тем перед малоруссами охал и жаловался на суровые московские порядки, двусмысленно пугал их опасением чего-то рокового, а запорожцам сообщал тайными путями, что государь их ненавидит и уже искоренил бы их, если бы гетман не стоял за них и не укрощал царского гнева. Его переход на шведскую сторону, по всем соображениям, едва ли можно признать следствием давнего умысла или, как иные объясняли – личной привязанности к Польше и тайному намерению подвести народ малорусский под польскую власть. Мазепа, по воспитанию и нравственным понятиям, действительно был поляк до костей, но чтобы он был предан политическим видам Польши, до готовности жертвовать им своим отечеством, на это нет никаких данных, и напротив, все показывает, что Мазепа, как малорусс, питал и лелеял в себе желание политической независимости своей родины, и это всего нагляднее проявляется в той думе, которую Кочубей представил как свидетельство неблагонамеренных чувствований Мазепы. В этом желании Мазепа не расходился ни с прежними гетманами, ни со своими современниками, насколько их занимали политические обстоятельства. Мазепа увидел возможность осуществить давнее душевное желание и ухватился за него. Многие могли давать ему надежду, что не Петр над Карлом, а Карл над Петром одержит верх в продолжительной борьбе, которую вели между собой два государя. Мазепе казалось, что в то время сама судьба посылала Малороссии такой случай, которого нелегко и нескоро можно было дожидаться. Владения шведского короля были далеко от Малороссии, и Карл XII, имея повод, для собственной выгоды, стараться освободить Малороссию от России и образовать из нее независимое государство, не мог, если бы и хотел, простираť на нее честолюбивый замысел; присоединять же Малороссию к Польше для шведского короля было не только невыгодно, но и опасно, после того как предшественники Карла принуждены были вести войны с Польшей и стараться обессилить Речь Посполитую отнятием у нее областей. Многие, таким образом, побуждало Мазепу, в критических обстоятельствах борьбы между двумя соседями Малороссии, пристать к Карлу XII. Но Мазепа плохо рассчитал как на способности Петра, которому он делался соперником, так еще более на расположение подчиненных ему малоруссов. Он не обратил достодолжного внимания на давнюю вражду, существовавшую в Малороссии между значными и посполством, между всякого рода старшиной, как генеральной, так и полковой, и простыми казаками, между помещиками и рабочим людом, между казачеством и всем тем, что оставалось за пределами казачества и искало равных и одинаких прав для всех туземных обитателей края, одним словом, – между всем, что выдвигалось из уровня массы, и всей остальной массой народа. Все, что исходило от первых, непременно находило себе противодействие в народной массе; от этого, тогда как люди, способные к политическим замыслам, готовы были хвататься за всякое средство, чтобы освободиться из-под власти русского правительства над Малороссией, – вся масса малоруссов готова была держаться русского правительства уже потому, что враждебная для нее партия хотела избавиться от власти этого правительства. Малорусские политики, воспитанные в духе польской культуры, не могли пленить народ никакой идеей политической независимости, так как у народа составились свои собственные социальные идеалы, никак не вязавшиеся с тем, что могли дать народу люди с польскими понятиями. Если эти политики и не думали возвращать Малороссию в рабство польских панов, а мечтали о независимом малорусском государстве, то все-таки такое государство, созданное ими под влиянием усвоенных ими понятий, было бы в сущности подобием польской Речи Посполитой. Не желая отдавать Малороссию

Польше, они бы невольно создали из нее другую Польшу, а этого народ малорусский не хотел, хотя бы при какой угодно политической независимости.

## Глава 17 Царевич Алексей Петрович

Преобразовательные намерения Петра Великого возбуждали множество недовольных, готовых противодействовать царю всеми мерами внутри России; но из всех противников его духа первое место, по достоинству породы, занимал его родной сын, царевич Алексей. Он был рожден от первой супруги Петра, Евдокии Лопухиной, 18 февраля 1690 года. Петр никогда не любил вполне своей жены, а сошедшись в немецкой слободе с Анной Монс, почувствовал отвращение к своей супруге. Это неприязненное чувство развивалось по мере пристрастия государя к иноземщине, которая увлекала его к решительным мерам против старинных русских порядков и обычаев. Евдокия не только не сочувствовала в этом Петру, но, как бы назло ему, была ревностной поклонницей старины, заодно со своей близкой родней – Лопухиными. Петр пытался сначала убедить жену свою добровольно вступить в монастырь, но все старания его достигнуть этой цели оказались безуспешными. Тогда Петр приказал Евдокию, против ее воли, отправить в Суздальский Покровский девичий монастырь, и там она была насильно пострижена под именем Елены. Восемилетний сын ее, Алексей, был разлучен с матерью; воспитание его поручено было сначала Никифору Вяземскому, потом – немцу Нейгебауеру, а когда этого немца, за дерзость и высокомерие, царь удалил, учителем царевича стал другой немец, Гюйсен. Он выучил царевича по-французски и преподавал ему научные предметы на французском языке. В 1705 году Петр отозвал Гюйсена к дипломатическим поручениям. Царевич остался без учителя, с одним своим воспитателем Никифором Вяземским, а сверх того, наблюдение над ходом учения поручено было Меншикову, которому, однако, некогда было следить за царевичем, постоянно жившим в Москве, тогда как Меншиков пребывал в Петербурге и часто был отвлекаем разными военными морскими и административными предприятиями.

Москва, старая столица России, естественно стала тогда важнейшим средоточием врагов преобразований, начатых Петром. Царевич, по чувству сердечной памяти о матери, не питал нежных чувств к родителю, а суровое и грозное обращение отца с сыном еще более охладило Алексея к Петру. Редко он мог видеть родителя, постоянно занятого военными делами. Царевича окружили люди, недружелюбно относившиеся к затеям государя. Это были: четверо Нарышкиных, пять князей Вяземских, домоправитель царевича Еварлаков, сын кормилицы царевичевой Колычев, крутицкий архиерей Илларион и несколько протопопов, из которых один, – Яков Игнатьев, был духовником царевича и имел на него громадное нравственное влияние. Однажды в Преображенском селе, в своей спальне, предлежащим на столыце евангелием, царевич дал своему духовнику клятвенное обещание слушать его во всем, как ангела Божия и Христова апостола, считать его судьей всех своих дел и покоряться во всем его советам. Царевич проводил время сообразно старинным приемам русской жизни: то слушая богослужение и занимаясь душеспасительными беседами, то учреждая пиры, постоянным участником которых был и его духовник. Подобно тому, как родитель царевича устроил ради потехи всепьянейший собор и раздавал разные клички членам этого собора, царевич Алексей составил около себя такой же кружок друзей и всех их наделил насмешливыми прозвищами (отец Корова, Ад, Жибанда, Засыпка, Захлюста, Молох, Бритый, Грач и пр.). Они хвастались своим пьянством. «Мы вчера повеселились изрядно, – писал однажды царевич к своему духовнику, – отец духовный Чиж чуть жив отошел до дому, поддержим сыном»; а в письме царевича один из собеседников его, Алексей Нарышкин, приписал: «Мы здесь зело в молитвенных подвигах пребываем, я уже третий день не маливался, и главный наш не умножает».

Но забавы царевича не походили на забавы его родителя в том, что царевич всегда относился с сердечным уважением ко всему церковному и не позволял себе делать таких

кошунских выходок, какие замечаются в чиноположении Петрова всепьянейшего собора. Зато не менее родителя царевич, при случае, показывал жестокость и грубость в обращении со своими собеседниками; самого духовника своего, которого называл своим первейшим другом, царевич не раз пугал и за бороду драл. «И другие, – писал ему этот духовник, – от милостивого наказания твоего и побой изувечены и хрычат кровью». Своего наставника Вяземского царевич также драл за волосы и бил палкой. Несмотря на такие грубые вспышки, царевич Алексей, будучи по природе бесхарактерен, находился под влиянием своих друзей и особенно Якова Игнатьева, который служил ему тайным посредником по отношению к заточенной матери. При его посредстве, царевич однажды съездил к ней в Суздаль, но царевна Наталья, любимая сестра Петрова, провела об этом и донесла брату. Царь сильно разгневался и потребовал сына к себе в Польшу, где сам в то время находился. Царевич обратился к Екатерине и только ее ходатайству обязан был тем, что получил от родителя прощение.

В 1709 году царевич, по воле родителя, был оторван от московского круга друзей, отправлен в Дрезден учиться геометрии и фортификации, а через два года женился на сестре супруги немецкого императора Карла VI, вольфенбюттельской принцессе Шарлотте. Брак совершен был в Торгау 14 октября 1711 года, в присутствии Петра. Алексей не чувствовал никакой любви к этой особе и женился на ней единственно из угождения воле родителя, не смея ему противиться по трусости и слабости характера. Супруга его была совсем не такая женщина, чтобы впоследствии расположить к себе сердце мужа и оказать на него доброе нравственное влияние. Это была немка до костей, до глубины души: она окружила себя исключительно единоземцами, не терпела русских и всей России. Молодая чета поселилась в Петербурге, в особом дворце, но жила не роскошно, и кронпринцесса, как титуловали в то время жену царевича, беспрестанно жаловалась, что ей дают мало средств. Петр пытался приучить своего сына любить то, что сам любил, и посылал его по разным поручениям, например, наблюдать за постройкой судов в Ладоге: но царевич повиновался нехотя, из-под палки, и не показывал ни малейшего расположения следовать туда, куда направлял его отец. Алексей боялся родителя: сам родитель впоследствии объявлял, что, желая приучить сына к делу, не только бранил его, но и бивал палкой. Однажды Петр хотел проэкзаменовать сына из геометрии и фортификации. Царевич боялся, что царь заставит его при себе чертить планы, и чтобы избавиться от такого неприятного испытания, выстрелил себе из пистолета в ладонь; пуля не попала в руку, но рука была обожжена. Отец увидел обожженную руку сына и допрашивал его, что это значит. Алексей чем-то отолгался, но избавился от угрожавшего ему испытания. Все в нем составляло противоположность отцу; Петра занимало кораблестроение, военное искусство, всякого рода ремесла и промыслы; царевич с любовью углублялся в чтение благочестивых книг, в рассказы о чудесах и видениях, которым Петр не верил. Чем более Петр всматривался в поведение своего сына, тем более приходил к убеждению, что он не годится быть его преемником на престоле, к чему готовило Алексея право рождения. Петр перестал им заниматься и в продолжение многих месяцев не говорил с ним ни слова, но не решался отстранить его от престолонаследия, потому что некем было его заместить.

В 1714 году Екатерина стала беременной, но в то же время была уже во второй раз беременной и супруга Алексея, Шарлотта. Кронпринцесса разрешилась от бремени 12-го октября сыном Петром, а через десять дней скончалась. Тогда Петр, в самый день погребения невестки, вручил сыну письмо, в котором укорял его за то, что он не показывал никакой охоты к занятиям делами правления, а наиболее за то, что царевич «ниже слышать хочет о воинском деле, чем мы от тьмы к свету вышли». Царь убеждал его исправиться, а в случае неисpravления грозил отрешить от наследства. Письмо это подписано было задним числом, за 16 дней до его отдачи, а на другой день после отдачи Екатерина родила Петру сына, Петра. Царевич советовался с близкими лицами, Вяземским и Александром Кикиным, обращался также к людям сильным: адмиралу Апраксину и князю Василию Владимировичу Долгорукому. Кикин и Вяземский прямо советовали ему удалиться на покой, а князь



Василий Долгорукий говорил ему двусмысленные слова: «давай писем хоть тысячу, еще когда-то будет; старая поговорка: „улитка едет, когда-то будет“; это не запись с неустойкой, как мы прежде меж себя давали». Хитрый боярин дал царевичу понять, что по его соображениям, как он ни вывертывайся, а ему не сдобровать. Царевич, через три дня после получения письма, послал царю ответ, в котором сознавался, что «памяти весьма лишен и всеми силами умными и телесными от различных болезней ослабел и непотребен стал к толикого народа правлению». Он отрекался от наследства, предоставляя его своему новорожденному брату и призывал в свидетели Бога, что не станет более претендовать на корону.

Петр после того заболел так тяжело, что даже исповедовался и причащался в чаянии кончины. По выздоровлении, уже в 1716 году, царь написал царевичу письмо, служившее как бы ответом на то, которое царевич писал до болезни родителя. Петр написал сыну, что не верит клятве, и привел изречение Давида: «всяк человек ложь». «Да наконец, – выражался Петр, – если бы ты и истинно хотел хранить клятву, то возмозгут тебя склонить и принудить большие бороды, которые, ради тунейства своего, не в аванже обретаются, к которым ты и ныне склонен зело». Затем Петр дал ему на выбор: или изменить свой нрав и сделаться достойным наследником престола, или постричься в монахи. «Иначе, – кончал свое письмо Петр, – я с тобой, как со злодеем поступлю».

Испуганный царевич обратился опять за советом к Вяземскому и Кикину. Оба советовали ему идти в монастырь. Кикин прибавил при этом: «Ведь клобук не гвоздем к голове прибит, можно его и снять, а вперед что будет – кто знает!» Сообразно этому совету, царевич написал Петру: «Желаю монашеского чина и прошу о сем милостивого позволения».

Но Петр через неделю посетил сына и сказал ему: «Это молодому человеку нелегко, одумайся, не спеши, подожди полгода».

Вскоре Петр уехал за границу. Алексей остался в Петербурге в томительной нерешительности. Его приятель Кикин уехал за границу высмотреть для царевича какое-нибудь убежище в случае крайней опасности.

В августе 1717 года Петр из-за границы прислал сыну письмо и требовал: или ехать к нему, не мешкая более недели, или постричься и уведомить отца, в каком монастыре и в какое время он пострижен. Это до того испугало царевича, что он решился бежать. «Я вижу, – говорил он, – что мне сам Бог путь правит. Мне снилось, что я церкви строю».

Занявши у Меншикова и у некоторых других лиц несколько тысяч червонцев, Алексей поехал как будто к отцу, по его приказанию, а на самом деле – с намерением укрыться от его гнева и найти защиту у кого-нибудь из иноземных государей. На дороге в Либаве Алексей свиделся с Кикиным, возвращавшимся в отечество. Кикин советовал ему ехать в Вену и отдаться под покровительство цезаря. Так царевич и поступил. Он поехал в Вену под вымышленным именем польского шляхтича Коханского.

21 ноября старого стиля, в 9 часов вечера, царевич, оставивши свой багаж и прислугу в гостинице, находившейся в Леопольдштадте, сам поехал во Внутренний город<sup>210</sup>, остановился на площади в трактире «Bei Klapperer» и отправил оттуда своего служителя к вице-канцлеру Шенборну с просьбой допустить его по важному делу. Шенборн был уже раздет и объявил посланному, что он оденется и пойдет к царевичу сам; но не успел Шенборн одеться, как царевич явился к нему, и первым его делом было попросить удалиться всех и выслушать его наедине.

– Я пришел искать протекции у императора, моего свояка; пусть он спасет жизнь мою; меня хотят погубить и моих бедных детей – лишит короны.

– Успокойтесь, – сказал ему Шенборн, – вы здесь в совершенной безопасности. Расскажите спокойно, в чем ваше несчастье и чего вы желаете.

Царевич продолжал:

<sup>210</sup> Так называются части города Вены.

– Отец хочет меня погубить, а я ничем не виноват. Я не раздражал его, я слабый человек. Меня Меншиков так нарочно воспитал; меня споили, умышленно расстроили мое здоровье; теперь отец говорит, что я не гожусь ни к войне, ни к правлению, хочет меня постричь и посадить в монастырь, чтоб отнять наследство... Я не хочу в монастырь... Пусть император охраняет мою жизнь.

Царевич, говоря эти слова, не мог стоять на одном месте, бегал по комнате, перевернул кресло, потом остановился и попросил пива; но пива близко не было – ему подали мозельвейну. Царевич выпил и сказал:

– Ведите меня сейчас к императору.

Шенборн сказал ему:

– Теперь поздно, прежде надобно представить его величеству правдивое и основательное изложение вашего дела, тем более, что мы ничего не слышали подобного относительно такого мудрого монарха, как ваш родитель.

– Отец был ко мне добр, – сказал царевич, – пока не родились у жены моей дети и она умерла... с тех пор пошло все хуже и хуже, особенно после того, как новая царица родила сына... Она с Меншиковым раздражила против меня отца: у них нет ни Бога, ни совести; я ничего отцу не сделал, люблю и почитаю его, как велят заповеди Божии; но не хочу постригаться и тем делать вред моим бедным малюткам. Я никогда не имел охоты к солдатчине, сидел дома тихо, вдруг прошлого года отец стал принуждать меня отказаться от наследства и постричься, а недавно прислал с курьером приказание, чтобы я или постригался, или ехал к отцу: я постригаться не хочу, а ехать к отцу – значит ехать на муки; так, я написал отцу, что приеду, а сам, по совету добрых друзей, приехал к императору: он государь великий и великодушный, притом же он мне свояк. Я знаю, говорили, будто я дурно обращался с моей женой, сестрой ее величества императрицы. Это неправда; не я, а отец мой и царица обращались с ней, как с девкой. Я предаю себя и своих детей в защиту императору и умоляю не выдавать меня отцу; он окружен злыми людьми и сам – человек жестокий и свирепый: много пролил невинной крови, даже собственноручно казнит осужденных, он гневен и мстителен, думает, что имеет над людьми такое же право, как сам Бог. Если император меня выдаст ему, то это все равно, что на смерть.

Шенборн сказал ему:

– Неудовольствие между отцом и сыном – вопрос щекотливый; я нахожу, что вы поступите благоразумнее, если, для избежания толков в свете, не будете требовать свидания с их величествами, а предоставите оказать вам явную или тайную помощь и найти средства примирить вас с отцом.

– Примирить меня с отцом нет никакой надежды, – сказал царевич, – если отец будет ко мне и добр, то мачеха и Меншиков уморят меня оскорблениями или опоят ядом. Пусть император позволит мне жить у него либо открыто, либо тайно.

Вице-канцлер уговорил его подождать ответа до завтрашнего дня и царевич ушел на свою квартиру.

На другой день, после секретного разговора с императором, вечером, вице-канцлер сообщил царевичу, что император будет стараться примирить его с родителем, а до того времени признает за лучшее содержать его втайне.

Царевич согласился и был отправлен в Тирол, под видом государственного преступника. Его поместили в крепости Эренберге, лежащей посреди гор, на высокой скале. Коменданту приказали содержать его прилично, на сумму от 250 до 300 гульденов в месяц, и чтобы сохранить тайно его пребывание, запретили солдатам и их женам выходить за ворота крепости, а караульным – вести с кем бы то ни было разговоры о том, кто привезен в крепость; на всякие вопросы приказано им отзывать неведением.

Между тем Петр, находившийся в Амстердаме и не дождавшись сына, смекнул, что царевич убежал, и сразу догадался, куда он направил свой путь. Петр вызвал из Вены своего резидента Веселовского, дал указ разведывать о царевиче и написал императору Карлу VI письмо, в котором просил императора: «Если бы непослушный сын русского царя оказался

явно или тайно в его владениях – выслать его под караулом для отеческого исправления».

Веселовский подал императору письмо Петра, но ни император, ни его министры не объявили тайны Веселовскому. Зато Веселовский сам напал на след царевича и известил Петра, что он находится в Тироле. Об этом узнал император и послал к царевичу совет переехать подальше – в Неаполь. У царевича была любовница, уехавшая с ним из России, крепостная девушка Вяземского – по имени Евфросиния. Оставивши прислугу свою в Эренберге, царевич с ней отправился в Неаполь и 17 мая н.с. 1717 года был помещен в замке Сент-Альмо, господствующем на холме над городом.

Недолго пришлось проживать ему в этом убежище. Когда царевича везли туда, за ним следом ехал капитан Румянцев и потом сообщил все царю. Петр, вместе с этим Румянцевым, отправил в Вену своего приближенного Петра Толстого домогаться у императора выдачи царевича, обещая от имени отца ему прощение; если же император не согласится на выдачу, то, по крайней мере, добиться свидания с царевичем и убедить последнего воротиться в отечество. Император не согласился на выдачу, но дозволил Толстому и Румянцеву уговаривать Алексея вернуться на родину. Много способствовала этому теща императора, мать умершей жены царевича, которая не хотела доводить до крайности раздор между отцом и сыном, чтобы это не повредило ее внукам. Отпустивши доверенных Петра в Неаполь, император поручил управлявшему его южноитальянскими владениями в звании вице-короля Дауну содействовать, чтобы царевич добровольно согласился воротиться к отцу; но если царевич не поддастся никаким убеждениям, то уверить его, что он может оставаться в безопасности в императорских владениях.

Толстой с Румянцевым приехали в Неаполь 24 сентября 1717 года. Вице-король Даун тотчас пригласил царевича к себе, чтобы доставить возможность посланцам Петра видеть его. Толстой передал царевичу письмо отца. Петр писал: «Обнадеживаю тебя и обещаю Богом и судом Его, что никакого наказания тебе не будет, но лучшую любовь покажу тебе, если ты воли моей послушаешься и возвратишься».

Царевич не поддавался ни на что. Через два дня Даун опять устроил у себя свидание царевича с присланными русскими. Толстой начал пугать царевича. Трусливый Алексей обратился к Дауну и спрашивал его, будет ли защищать его император, если отец станет требовать его вооруженной рукой. Даун отвечал:

– Император очень желает, чтобы вы примирились с родителем; но если вы считаете небезопасным для себя возвращение на родину, то извольте оставаться: император настолько силен, что может охранить тех, которые отдаются под его протекцию.

Ободренный царевич опять не поддавался на увещания Толстого, но, по своей слабыхарактерности, прибегнул к уловкам: сказал, что повременит, подумает, и после того уже не поехал в третий раз на разговор с Толстым и Румянцевым в дом вице-короля.

Тогда Толстой подкупил за 60 червонцев секретаря Даунова, Вейнгардта, с тем, чтобы тот, лично от себя, попугал царевича и тем убедил его к возвращению. Вейнгардт поехал к Алексею в замок и стал ему говорить: «Императорская протекция не совсем для вас надежна: царь объявляет, что прощает сына, а сын не едет; если царь вздумает вести войну, то император, нехотя, выдаст сына отцу». Слова Вейнгардта так растревожили царевича, что он сам написал записку к Толстому и просил приехать к нему, только без Румянцева, которого он особенно боялся. Толстой приехал к нему и сказал:

– Вот я получил от государя письмо; он собирает войско, хочет его вести в Силезию и доставать оружием своего сына, а сам собирается ехать в Италию. Не думай, что он тебя видеть здесь не может: кто ему запретит?

Царевич поколебался и сказал: «Я бы поехал к отцу, если бы у меня не отняли Евфросинью и дозволили жить с ней в деревне».

Затем он обещал еще подумать. Толстой приступил к Дауну и начал просить попугать царевича разлукой с Евфросиньей. Даун на самом деле не смел отнять Евфросинью у царевича, но попугать его разлукой с ней счел дозволенным, потому что царевичу, от лица императора, было уже заявлено, что если отец сердится на него за то, что он возит с

собой какую-то женщину, то царевич должен знать, что императору неприличным кажется заступаться за поступки, достойные порицания. Вице-король велел сказать царевичу, что прикажет отлучить от него женщину, которая ездит с ним в мужской одежде. Испуганный царевич посоветовался с Евфросиньей, а Евфросинья сказала ему, что лучше всего покориться отцовской воле и просить у отца прощения. Это обстоятельство решило все. Царевич на другой день объявил Толстому, что согласен ехать в отечество, если ему позволят жениться на Евфросинье и жить с ней в деревне. Толстой, как царский уполномоченный, дал от имени царя согласие. Царевич прежде поехал в Бар на поклонение мощам Св. Николая; Толстой и Румянцев последовали за ним неотступно, а по возвращении с богомолья, 14 октября, царевич выехал из Неаполя, по дороге на Рим, со своими неразлучными дядьками. Толстой и Румянцев очень боялись, чтобы царевич, под какими-нибудь впечатлениями, не изменил своего решения, пока не выедет из императорских владений, а потому не стали останавливаться в Вене, проехали ее ночью и спешили поскорее убраться за пределы императорских владений; но в Брюнне они были задержаны генерал-губернатором Моравии, графом Колоредо, который получил от императора приказание не пропускать путешественников, прежде чем узнает от царевича причину, почему он не представился императору в Вене, и пока не удостоверится, что царевича везут не поневоле. 23 декабря Колоредо виделся с царевичем и получил от него ответ, что он не явился к императору единственно по причине дорожных обстоятельств, не имея приличной обстановки. В это время Толстой сообщил царевичу новое письмо отца, в котором Петр изъявлял согласие на брак Алексея с Евфросиньей и проживание с ней в деревне. Это обещание вполне успокоило царевича. Колоредо отпустил его. За ним медленно следовала беременная Евфросинья другой дорогой, вместо Вены, на Нюрнберг и Берлин. Царевич со своими дядьками направлялся прямо в Москву и во время проезда по России видел в народе знаки расположения к себе. «Благослови, Господи, будущего государя нашего», – кричал народ. 31 января царевича привезли в Москву. 3 февраля было первое свидание Алексея с родителем. Царь приказал собраться в ответной палате Кремлевского дворца духовным сановникам, сенаторам, всяких чинов людям, «кроме подлого народа», и сам стоял в этом собрании. Вошел царевич, вместе с Толстым, и, как только увидел государя, повалился к нему в ноги и с плачем просил прощения в своей вине. «Встань, – сказал царь, – объявляю тебе свою родительскую милость». Петр начал припоминать, как он обучал его, готовя сделать своим наследником, но сын презрел это и не хотел обучаться тому, что было нужно для его будущего сана; потом выговаривал его последнее преступление – бегство из отечества и обращение к иноземному государю. Царевич не мог приносить никакого оправдания, просил только простить его и даровать жизнь, а от наследства отказывался.

«Я покажу тебе милость, – сказал Петр, – но только с тем, чтобы ты показал самую истину и объявил о своих согласниках, которые тебе присоветовали бежать к цезарю».

Алексей Петрович хотел было что-то говорить, но царь перебил его и приказал стоявшему близ него Думашеву во всеуслышание читать приготовленный печатный манифест. По окончании чтения царь сказал: «Прощаю, а наследия лишаю».

После этих слов царь вышел, и за ним последовали все присутствовавшие в Успенский собор. Здесь царевич Алексей произнес присягу перед евангелием в том, что никогда, ни в какое время не будет искать, желать и под каким бы то ни было предлогом принимать престола, а признает своим истинным наследником брата своего Петра Петровича. Царевич подписался на присяжном листе. За ним присягали и также подписались все присутствовавшие.

Из собора царь, вместе с царевичем, отправились в Преображенское село на обед. В 3 часа пополудни туда съехались министры и сенаторы, пили и веселились. В этот же день был опубликован манифест, обращенный ко всему русскому народу, уже прежде прочитанный во дворце Думашевым. В этом манифесте объявлялось о давней и постоянной неохоте царевича к воинским и гражданским делам, о его безнравственности, о том, что он еще при жизни своей жены «взял некую бездельную и работную девку» и с оной жил явно беззаконно, что

это способствовало смерти его жены; потом излагалась история его побега, сообщалось, между прочим, что императорский наместник в Неаполе объявил царевичу, что цезарь не станет держать его в своих владениях<sup>211</sup>, наконец объявлялось, что царь «отеческим сердцем о нем соболезнуя», прощает его и от всякого наказания освобождает, но лишает наследства после себя, «хотя бы ни единой персоны царской фамилии не оставалось», а вместо отрешенного от наследства, назначает своим наследником другого своего сына, Петра, которого все подданные должны признать в качестве наследника престола посредством целования креста. Затем все, которые станут признавать Алексея наследником престола, объявлялись изменниками.

На другой день после объявления манифеста царевичу задали вопросные пункты, требовали от него показаний не только о действиях, но и о словах, какие он произносил сам и какие он слышал от других в разное время. Вопросные пункты оканчивались такими зловещими словами: «Ежели что укроешь, а потом явно будет, то на меня не пеняй, понеже вчерась пред всем народом объявлено, что за сие пардон не в пардон».

Мелкая, эгоистическая натура Алексея проявилась во всей силе. Царевич настроил показание, в котором прежде всего очернил Александра Кикина, как главного советника к побегу, показал, что говорил своему камердинеру Ивану Большому Афанасьеву о своем намерении бежать, но не получил одобрения; показал на Дубровского, которому передавал деньги для своей матери; показал на своего учителя Вяземского, на сибирского царевича, на Ивана Кикина, на Семена Нарышкина, на князя Василия Долгорукого и на свою тетку, царевну Марию Алексеевну; оговорил Кейля, секретаря имперского канцлера Шенборна, будто он принуждал его писать письма сенаторам и архиереям, хотя эти письма и не были им посланы. Показание царевича не заключало, однако, полной искренности: он раскрывался только вполтину, так что его показания могли притянуть других в беду, а о себе всего не сказал.

Александра Кикина, вместе с Большим Афанасьевым, схватили в Петербурге, привезли в Москву и подвергли страшным истязаниям в Преображенском приказе. Его пытали четыре раза. Кикин упорно запирался, отрицал справедливость показаний царевича, наконец, после новых, невыносимых мучений, сказал: «Я побег царевичу делал и место сыскал в такую меру – когда бы царевич был на царстве, чтоб был ко мне милостив». Его приговорили к колесованию.

На другой день после казни, истерзанный Александр Кикин лежал на колесе еще живой; царь подъехал к нему, слушал, как он стонал, вопил и молил отпустить душу его на покаяние в монастырь. Петр приказал отрубить ему голову и воткнуть на кол.

Камердинер Иван Большой Афанасьев оговорил многих, но не спас себя: и его приговорили к смерти, но приговор отложили. То же сделали и с Дубровским, сообразно показаниям царевича.

Сенатора князя Василия Долгорукого привезли из Петербурга скованным в Москву. Этого человека никак не могли обвинить в соучастии с царевичем, которого он хорошо понимал, но ему поставили в вину некоторые остроты, произнесенные им неосторожно. Так, например, когда начали говорить, что царевич возвращается в Россию, князь Василий сказал: «Вот, дурак, поверил, что отец посулил ему жениться на Афросинье! Желв ему, а не женитьба, черт его несет; его, дурака, обманывают нарочно». Василия Долгорукова отправили в Петропавловскую крепость, а потом сослали в Соликамск. Учитель Вяземский отписался, показавши, что ничего не знал об умыслах царевича, который давно уже не любит его и теперь наговорил на него по злобе. Вслед за тем в Петербурге арестовали человек двадцать и отправили в ножных кандалах в Москву. Всем жителям Петербурга объявлено было запрещение выезжать из города по московской дороге под опасением смертной казни.

В тот же день Петр послал Григория Скорнякова-Писарева за бывшею своею женою Евдокией. Скорняков-Писарев привез ее в Москву и донес, что нашел ее не в монашеском, а

---

<sup>211</sup> Против этого известия впоследствии протестовал Даун.

в мирском платье. Этот человек, впоследствии сам испытавший горькую участь от Петра, угождая царю, давал советы хватать того и другого, чтоб открывать «воровство». По его совету, вслед за несчастною царицей, потащили в Преображенский приказ целую толпу мужчин и женщин духовного и мирского чина.

Тогда открылось, что отверженная царица, после долгого томления в монастыре, завела любовную связь с майором Степаном Глебовым – человеком женатым, уже немолодым и имевшим взрослого сына. Попались ее письма к этому человеку. Царица на допросе созналась в связи с ним. Сознался в том же и Глебов, но не хотел сознаться ни в писании, ни в произнесении хульных слов на Петра и Екатерину, чего от него домогались. Улик не было. Сознания от него не добились ни посредством кнута, ни жжения горячими углями и раскаленным железом, и все-таки посадили на кол на Красной площади. Испытывая невыразимые мучения, он был жив целый день, затем ночь, и умер перед рассветом, испросивши причащение Св. Тайн у одного иеромонаха. Говорят, что Петр подъезжал к нему и потешался его страданиями. Тогда же колесован был ростовский епископ Досифей за то, что поминал Евдокию царицею, утешал ее разными вымышленными откровениями, гласами от образов, чудесными видениями и тому подобными суевериями, пророчил ей, между прочим, что она станет снова царицею и Петр опять сойдется с нею. Казнили смертью духовника Евдокии, который был у ней посредником в сношениях с Глебовым; наказали кнутом нескольких монахинь, угождавших Евдокии. Саму Евдокию царь сослал в Староладожский женский монастырь, а сестру свою Марию Алексеевну приказал заточить в Шлиссельбург: спустя несколько времени она была переведена в Петербург и оставлена в особом доме под надзором.

Во время страшного розыска по этому делу, происходившего в Преображенском приказе, государь, 2 марта, в сборное воскресенье, был у обедни. Здесь подошел к нему неизвестный человек и подал бумагу, в которой было написано следующее:

«За неповинное отлучение и изгнание от всероссийского престола царского Богом хранимого государя царевича Алексея Петровича христианскою совестью и судом Божиим и пресвятым евангелием не клянусь и на том Животворящего Креста Христова не целую и собственною рукою не подписуюсь; еще к тому и прилагаю малоизбранное от богословской книги Назианзина могущим внять в свидетельство изрядное, хотя за то и царский гнев на мя произметя, буди в том воля Господа Бога моего Иисуса Христа, по воле Его святой, за истину, аз раб Христов Илларион Докукин страдати готов. Аминь, аминь, аминь».

Бумага, на которой подписаны были эти слова, была присяжным листом на верность новообъявленному наследнику престола царевичу Петру Петровичу. Этот присяжный лист раздавали во множестве экземпляров, приводя русских к присяге. Человек, подавший Петру эту бумагу, был подьячий Докукин. Его три раза подвергли жесточайшей пытке. Он никого не выдал, хулил Петра и Екатерину и кричал, что пришел добровольно пострадать за правду и имя Христово. Его колесовали. Но Петр понял, что между сторонниками его сына есть люди, о которых можно было сказать, что они не чета жалкому, ничтожному царевичу и что они гораздо опаснее самого Алексея. «О, бородачи, бородачи! – восклицал тогда Петр в разговоре с Толстым. – Всему злу корень – старцы да попы! Отец мой имел дело с одним бородачом, а я – с тысячами!»

В избылиии лилась человеческая кровь за этого царевича, а он сам тешился уверенностью, что страданиями преданных ему людей купит себе спокойствие и безмятежную жизнь со своей дорогой Евфросинией. «Батюшка, – писал он к Евфросинии, – поступает со мною милостиво; слава Богу, что от наследства отлучили! Дай Бог благополучно пожить с тобою в деревне».

18 марта Петр уехал в Петербург. С ним отправился и царевич. 12 апреля была Пасха. Царевич, явившись к мачехе с поздравлением, валялся у нее в ногах и умолял ее ходатайствовать о дозволении ему жениться на Евфросинии. И это делалось после того, как его родная мать, публично опозоренная, была осуждена на увеличенное, тяжкое страдание!

Давножданная Евфросиния наконец приехала в Петербург 20 апреля; но царевич не

встретил ее и не обнял при свидании. Ее, беременную, засадили в Петропавловскую крепость и там задали ей вопросные пункты: кто писал царевичу во время его пребывания за границею, кого хвалил царевич, кого бранил, что о ком говорил. Испуганная Евфросиния дала такое показание: «Царевич писал не раз цезарю жалобы на отца, писал письма к русским архиереям, с тем, чтобы эти письма подметывать в народе, постоянно жаловался на родителя, очень прилежно желал наследства, изъявлял радость, когда читал в курантах, что брат его, Петр Петрович, болен, и говорил такие слова: „Хотя батюшка и делает то, что хочет, только, чаю, сенаты не сделают того, чего хочет батюшка“. Когда слышал о видениях и читал в курантах, что в Петербурге тихо и спокойно, то говорил: „Тишина недаром, может быть, отец мой умрет, либо бунт будет. Отец надеется, что по смерти его, вместо малолетнего Петра, будет управлять мачеха; тогда бабье царство будет, и произойдет смятение: иные станут за брата, а иные за меня. Я, когда стану царем, то всех старых переведу, а новых наберу себе по своей воле. Буду жить зиму в Москве, а летом в Ярославле. Петербург будет простым городом; я кораблей держать не стану и войны ни с кем вести не буду; буду довольствоваться старым владением“. Когда услышал царевич, будто в Мекленбурге бунтует русское войско, то очень обрадовался».

Евфросиния показала также, что царевич из Неаполя хотел бежать в Рим к папе; но она его удержала.

Когда царевичу предъявлено было показание Евфросинии, он запирался. Но отец подверг его тайной пытке. Уже после смерти царевича осуждены были на казнь трое крестьян за то, что были свидетелями, как на мызе повели царевича под сарай и оттуда были слышны его стоны и крики. После таких мер царевич написал показание, в котором наговорил на себя столько, сколько даже не был вынужден говорить, например: «Когда я слышал о мекленбургском бунте русского войска, как писали в иностранных газетах, то радовался и говорил, что Бог не так делает, как отец мой хочет, и когда бы так было и бунтовщики прислали бы за мною, то я бы к ним поехал». Он наговорил на многих государственных людей, притянул к делу киевского митрополита, заявивши, что он ему друг, что писал к этому архипастырю и просил всем сказывать, что царевич убежал от принуждения вступить в монастырь. Петр, по этому показанию, отправил Скорнякова-Писарева в Киев сделать у митрополита обыск и самого его препроводить в Петербург. Престарелый митрополит Иосиф Кроковский был отправлен в Петербург, но не доехал и умер на пути в Твери. Предание говорило, что его отравили.

Вынужденное пытками сознание царевича в том, что он готов был пристать к бунтовщикам, дало Петру повод не стесняться своим прежним обещанием помилования, данным виновному сыну. 13 июня Петр приказал нарядить суд из духовных и светских лиц и объявлял печатно, чтобы судьи вершили это дело «не флатируя и не похлебуя ему государю: не рассуждайте того, что тот суд ваш надлежит вам учинить на сына вашего государя, но, несмотря на лицо, сделайте правду и не погубите душ своих и моей души, чтоб совести наши остались чисты в день страшного испытания и отечество наше безбедно».

14 июня царевич был посажен в Петропавловскую крепость, а 17-го потребован в суд к допросу. Царевич оговорил своего дядю Авраама Лопухина и своего духовника Якова Игнатьева, будто последний, узнавши от царевича на исповеди, что царевич желает отцу смерти, сказал: «Бог тебя простит, и мы все желаем ему смерти». Пытали Лопухина, расстригли и пытали три раза протопопа Якова. 19 июня пытали самого царевича и дали ему 25 ударов кнутом.

22 июня Толстой взял с царевича показание, в котором излагались причины его непослушания отцу. Показание это явно было написано так, как от него требовали. Он приписывал все своему обращению с попами, чернецами и ханжами, а в конце оговорил императора, будто тот обещал ему вооруженную помощь: «И ежели бы цезарь начал то производить в дело, как мне обещал, то я бы, не жалея ничего, достигал наследства, дал бы цезарю великие суммы денег, а министрам и генералам его великие подарки. Войска его, которые бы он мне дал в помощь, чтобы достигать короны российской, взял бы на свое

иждивение и, одним словом сказать, ничего бы не пожалел, только чтобы исполнить в том свою волю».

24 июня царевича снова подвергли пытке и дали ему 15 ударов кнутом. В этот самый день решился суд над ним. Духовенство дало уклончивый, но замечательно мудрый приговор. Выписав разные места из Священного Писания об обязанностях детей повиноваться родителям, оно предоставило на волю государя действовать или по Ветхому, или по Новому Завету: хочет руководствоваться Ветхим Заветом – может казнить сына, а если хочет предпочесть учение Нового Завета – может простить его, по образцу, указанному в евангельской притче о блудном сыне, и в поступке самого Спасителя с женою прелюбодейницею. «Сердце царевы в руке Божией есть; да избрет тую часть, амо же рука Божия того преклоняет!» Так сказано было в конце приговора духовных.

Церковь, в лице своих представителей, исполнила свое дело; она указала дух, в каком должна действовать мирская власть, признающая себя христианскою; более ничего не могла сделать церковь, не имевшая никакого оружия, кроме слова, никаких побудительных мер, кроме указаний на слова и пример Спасителя.

Светский суд не сохранил своего достоинства в равной степени, в какой сохранило его духовенство. Светские судьи могли бы напомнить государю, что он дал свое царское обещание сыну, через Толстого в Неаполе: что ему наказания не будет, если он возвратится. Сын поверил слову царя-родителя, и теперь его можно было судить только в таком случае, когда бы он сделал что-либо преступное уже после своего возвращения в отечество. Но светские судьи так не сделали, во-первых, потому, что во главе их находился Меншиков, личный враг царевича, во-вторых, потому, что они желали угодить Петру и ясно видели, какого решения ему хочется. Царевичу был подписан смертный приговор 120-ю членами суда.

26 июня в 6 часов пополудни царевич скончался. Царь опубликовал об его смерти, что он, выслушавши смертный приговор, пришел в ужас, заболел недугом вроде апоплексии, исповедался, причастился, потребовал к себе отца, испросил у него прощения и по-христиански скончался. Этому описанию не все верили; пошли слухи, что царевич умер насильственною смертью, но какую – неизвестно. Из книг «Гарнизона», то есть Петропавловской крепости, видно, что в день смерти царевича, утром, Петр с девятью сановниками ездил в крепость и там «учинен был застенок», т.е. производилась пытка, но над кем – о том не говорится.

На другой день, 27 июня, была годовщина Полтавской битвы. Царь обедал на почтовом дворе, в саду, и вечером веселился. 29 июня государь праздновал свои именины, обедал в летнем дворце, присутствовал на спуске корабля, а вечером был фейерверк и веселый пир до глубокой ночи. Тело царевича, перенесенное из Петропавловской крепости, лежало в церкви Св. Троицы. 30 июня, вечером, в присутствии царя и царицы, оно было предано земле в Петропавловском соборе, рядом с гробом покойной кронпринцессы. Траура не было. Царевич гнил в земле, а дело его все еще продолжалось, и 8 декабря были казнены смертью обвиненные показаниями царевича: духовник его Яков Игнатьев, дядя его Авраам Лопухин, камердинер Иван Большой Афанасьев, Дубровский и Воронов. Других били кнутом и вырезали им ноздри.

Безусловные почитатели Петра видели в поступке с сыном великий подвиг принесения в жертву отечеству своего родного сына и оправдывали царя крайнею необходимостью. В самом деле, царевич Алексей был такою личностью, которая непременно, по своей бесхарактерности, сделалась бы орудием врагов Петра и всех его преобразований. Его отречение от наследства ни в каком случае не имело бы силы после смерти Петра, как бы государь ни распорядился престолом. Всегда бы нашлась могущественная партия, которая подвинула бы Алексея возвратить себе потерянные права, и тогда гибель грозила бы всем Петровым сподвижникам и всему тому, что Петр готовил для русского государства. Но нельзя не видеть, что Петром руководили не только государственные виды, но и семейные побуждения. Он не любил Алексея, как сына ненавистной, отверженной им жены, и хотел



доставить престол потомству Екатерины; от этого-то он стал налегать на Алексея настойчивее тогда, когда родился сын от Екатерины. Если бы у Петра не было такого побуждения, то, отрешивши Алексея от наследства, он мог бы назначить, по праву первородства, своим наследником внука, Алексева сына, который был так же мал, как и рожденный через несколько дней после внука сын Петра, царевич Петр Петрович. Петр мог воспитать себе достойного преемника и в малолетнем внуке, как в малолетнем сыне. Чтобы оправдать свой поступок и придать ему законный вид, Петр установил закон, по которому царствующий государь может отдавать после себя престол кому угодно, мимо всякого права рождения. Несостоятельность и неудобоприменимость такого порядка вещей показала в истории самого Петра: ему пришлось умереть, не воспользовавшись изданным им же законом, не указавши после себя преемника престола.

## **Глава 18**

### **Князь Александр Данилович Меншиков**

Из всех современников Петра, окружавших его, не было никого ближе к государю, как Меншиков; не было другой личности, которая возбуждала бы до такой степени всеобщее внимание Европы странными поворотами своей судьбы. По общему мнению, составившемуся еще при жизни Меншикова, он происходил из простолюдинов, и в этом отношении составлял в ряду государственных русских лиц замечательное исключение, олицетворявшее стремление Петра создать новых деятелей, не связанных с общественными преданиями старой Руси. По одним сказаниям, отец его был православный пришелец из Литвы, поселившийся в Москве, по другим – он был уроженец берегов Волги, но и в том и в другом случае простолюдин. В 1686 году двенадцатилетний Александр Меншиков, отданный отцом к московскому пирожнику, продавал в столице пироги. Мальчишка отличался остроумными выходками и балагурством, что долго было в обычае у русских разносчиков; этим он заманивал к себе покупателей. Случилось ему проходить мимо дворца знаменитого и сильного в то время Лефорта; увидя забавного мальчика, Лефорт позвал его к себе в комнату и спросил: «Что возьмешь за всю свою коробку с пирогами?» – «Пироги извольте купить, а коробки без позволения хозяина я продать не смею», – отвечал Алексашка, так звали уличного мальчика. «Хочешь у меня служить?» – спросил его Лефорт. «Очень рад, – отвечал Алексашка, – только надобно отойти от хозяина». Лефорт купил у него все пирожки и сказал: «Когда отойдешь от пирожника, тотчас приходи ко мне».

С неохотою отпустил пирожник Алексашку и сделал это только потому, что важный господин брал его в свою прислугу. Меншиков поступил к Лефорту и надел его ливрею. Он показывал большую сметливость, замечательную верность интересам своего хозяина и умел угодить Лефорту. Веселый и шутливый нрав Алексашки очень пришелся по вкусу Лефорту, который, как француз, отличался всегдашнею добродушною веселостью, любезностью и уживчивостью. Лефорт часто шутил с Алексашкой и восхищался его остроумными выходками, хотя, при всей своей природной способности, Алексашка был тогда круглый невежда и не умел порядочно подписать собственного имени.

Между тем значение Лефорта все более и более возрастало, и он сделался душевным другом и постоянным собеседником молодого царя Петра. Часто проводя веселые вечера в доме Лефорта, царь увидел там Алексашку. Сразу ему понравился бывший пирожник, а Лефорт описал Петру в самом пленительном виде сметливость, живость и служебную верность Алексашки. Царь пожелал взять Алексашку к себе в прислугу.

Так рассказывали современники о ранней судьбе этой замечательнейшей личности русской истории. В последнее время опровергали это сказание главнейшим образом тем, что в то время, когда Меншиков уже был в большой милости у царя, Петр, ходатайствуя у императора немецкого грамоту Меншикову на сан князя римской империи, именовал его происходящим из шляхетской литовской фамилии. Но этот довод, для опровержения целого ряда современных сказаний, довольно слаб, тем более, что прямые потомки Меншикова не

могли представить никаких объяснений о темном происхождении своего предка, отзываясь пропажей фамильных документов во время московского пожара 1812 года.

Поступивши в царскую прислугу, сначала Алексашка был простым лакеем, а потом царь записал его в число своих потешных, где юноши были почти все из дворянского сословия. Это был первый шаг к возвышению Меншикова, но важно было для него то, что, считаясь потешным, Меншиков несколько лет продолжал исполнять близ царской особы должность камердинера: Петр, ложась спать, клал его у своих ног на полу. Тогда-то чрезвычайная понятливость, любознательность и большая исполнительность Меншикова расположили к нему царя. Меншиков как будто заранее угадывал, чего царю нужно, и во всем спешил угодить его желанию. Случалось, запальчивый царь ругал его и даже бивал, – Меншиков все переносил безропотно и терпеливо. И Петр привязался к Меншикову до такой степени, что чувствовал потребность в постоянной близости его. Скоро многие, заметивши, что Меншиков делается царским любимцем, стали обращаться к нему о ходатайстве и заступничестве перед царскою особою. Меншиков сопровождал царя в азовский поход и получил офицерский чин, хотя не ознаменовал себя ничем в военных действиях. Петр нашел в нем большого поклонника любимой царской мысли – преобразовать русское государство на иноземный лад: Меншиков во всем казался Петру ненавистником старых русских жизненных приемов и обычаев и с жадностью готов был походить на западного европейца, а это было в такую пору, когда Петр встречал ропот и суровые лица своих князей и бояр, боявшихся грозившего России господства иноземщины. Понятно, как этот простолудин по породе казался Петру достойнее многих потомков воевод и наместников.

Когда, собираясь в путешествие за границу, царь пировал в доме Лефорта, и в это время тайные враги готовили ему внезапную гибель, человек, узнавший о заговоре, был Меншиков; он получил, как говорят, сведения о тайных замыслах через посредство одной девушки, дочери участника в заговоре.

Наступило первое путешествие Петра за границу под именем Петра Михайлова. Меншиков был неразлучен с Петром; с ним он работал на амстердамской верфи, с ним посещал университетские кабинеты и мастерские художников. Меншиков заранее еще в России подучился по-голландски и по-немецки, а находясь за границею, в глазах Петра быстро освоился с этими языками. Везде и во всем умел он нравиться властелину, разделял с ним и трудные работы по кораблестроению, и буйные попойки, и оргии. Когда из трудолюбивой мещанской Голландии Петр переехал в аристократическую Англию, Меншиков с удивительною понятливостью присмотрелся к приемам придворной и дипломатической жизни. На возвратном пути через Вену, Меншиков присутствовал с царем на блестящем придворном маскараде, устроенном для Петра императором в своем дворце, и осваивался с приемами большого европейского света. По возвращении в отечество началась страшная расправа с мятежными стрельцами; Меншиков был постоянно с государем, и в угоду ему собственноручно рубил преступникам головы. В это время царь разошелся со своею женою Евдокиєю и заточил ее в монастырь; она чрезвычайно не терпела Меншикова, и все сторонники старых порядков Руси разделяли отвращение к любимцу, имевшему, по их понятиям, зловерное на царя влияние. Началось бритье бород и переодевание русских в иноземное платье; Меншиков был самым ревностным хвалителем царских затей, и этим глубже входил в душу царя; не было ничего, в чем бы Петр отказал своему другу Александру Даниловичу, или просто Данилычу, как он называл его. В это время Меншиков имел уже чин генерал-майора и начальствовал над целым драгунским полком, носившим его имя.

В 1700 году, при самом начале шведской войны, Меншиков женился на девице Дарье Арсеньевой.

Во всех переменах счастливых и несчастных, сопровождавших шведскую войну, Меншиков постоянно находился при царской особе и не мог самостоятельно проявить собственной личности без участия самого царя. Где был царь, там был и Меншиков. Когда немец Нейгебауер, бывший воспитатель молодого царевича Алексея, потерял свое место, главным руководителем образования своего сына Петр назначил Меншикова; но это

руководительство могло быть только номинальным, потому что Меншиков не переставал сопровождать царя в его подвижной жизни. 24 августа 1702 года фельдмаршал Шереметев взял город Мариенбург, и в числе пленных, сдавшихся жестокому полководцу на милость, был пастор Глюк, со своею воспитанницей или служанкой Мартою; последнюю Шереметев передал жене полковника Балька, а у нее взял ее к себе Меншиков и подарил своей жене, у которой в услужении было уже несколько ливонских и шведских пленниц. Марта, переименованная свое имя на Екатерину, сразу сумела понравиться Меншиковой.

После взятия Шлиссельбурга Меншиков был возведен в звание губернатора Ингерманландии, Корелии, Эстляндии и всего края, доставшегося России оружием от Швеции. В 1703 году в глазах Меншикова была взята и уничтожена крепость Ниеншанц. Когда шведы выслали против русских по Неве суда свои, а Петр счастливо отбил покушения и овладел двумя фрегатами, Меншиков был участником этого дела и награжден от царя орденом Андрея Первозванного. 27 мая 1703 г. в Троицын день совершена была закладка Петербурга, и Меншиков, как уже нареченный царем губернатором края, назначен был надзирать за делом постройки. Во все царствование Петра Меншиков был главнейшим исполнителем задушевных замыслов Петра, касавшихся основания, построения и заселения Петербурга. Новая столица обязана своим созданием столько же творческой мысли государя, сколько деятельности, сметливости и уменью Меншикова. Он наблюдал и над привозом строительных материалов, и над приводом рабочих, отправляемых беспрестанно со всех краев России, и над доставкой провианта для их содержания. Царь, оставивши Меншикова строить новый русский город, уезжал в Москву и устраивал празднества по поводу своих побед и завоеваний. Ему без Меншикова чего-то недоставало, и он вызывал его быть участником в торжествах. В один из таких вызовов, проводя время за веселыми пирушками в московском доме своего любимца, Петр увидел Екатерину. Она понравилась государю: в это время он уже разошелся со своей любовницей Анной Монс, изменившей Петру. Петр взял Екатерину к себе; она тогда уже порядочно освоилась с русским языком и изъявила охоту принять православную веру. Ее крестным отцом был молодой Алексей, сын Петра. Екатерина овладела сердцем Петра, и этим обязана была своему кроткому, веселому нраву и своей безропотной покорности не только перед волей, но и перед своенравными выходками Петра; сознавая свое положение, как бы рабы, она не показывала ни малейших признаков ревности, когда Петр позволял себе в виде развлечения сходиться с другими женщинами. Зато у Петра развлечения эти случались без участия сердца, а потом, с летами, совершенно прекратились; Екатерина осталась единственным предметом его сердечной привязанности, и можно сказать, что, за исключением одного Меншикова, никто никогда не был так близок сердцу государя во всю его жизнь, как Екатерина. Передавши своему государю Екатерину, Меншиков опять обратился к наблюдениям за постройкой Петербурга; его вниманию предоставлено было также построение Кроншлота и Кронштадта, на острове Ретузари, назначенного Петром быть местопребыванием создаваемого военного флота.

Занимаясь неустанно делом построения Петербурга, Меншиков не забывал и себя, воздвигал себе в Петербурге красивый дворец, стараясь сделать его удобным для веселой жизни и приема гостей, а в 50 верстах от Петербурга заложил себе дачу, назвав ее «Ораниенбаум». В Москве у него оставался прежний, подаренный ему царем, дом, красиво убранный; при доме было множество прислуги и музыкальная капелла: в этом доме проживала жена Меншикова, не любившая Петербурга.

Наблюдение над постройкой Петербурга и Кронштадта, порученное ингерманландскому губернатору, прерывалось самим царем, который брал с собой Меншикова повсюду, куда сам направлялся в своей подвижной жизни. Меншиков принужден был участвовать и при осадах и штурмах ливонских городов, и в конференциях с польскими панами, и наблюдать над воспитанием царевича, ездившего в походах за царем со своим воспитателем Гюйсенем. В Полоцке, по мановению царя, Меншиков приказывал в его присутствии убивать униатских монахов.

В конце 1705 года он вместе с царем приехал в Москву; там они устроили себе

победные празднества и торжественный въезд через триумфальные арки: царский любимец носил тогда титул графа римской империи, губернатора Эстляндии и Ингерманландии, кавалера ордена Св. Андрея Первозванного, кавалера польского ордена Белого Орла, капитана гвардейских бомбардиров, полкового командира двух ингерманландских полков и обер-гофмейстера при царевиче. Поляки удивлялись тесным дружеским отношениям, существовавшим между царем и его подданным. Когда в Гродно Меншиков праздновал свои именины, у него присутствовали царь и король Август; царь хотел еще более возвысить своего любимца и отправил в Вену царевичева наставника, Гюйсена, хлопотать у цезаря для Меншикова титул светлейшего князя Римской империи. Гюйсен исполнил это поручение счастливо для высокомерного временщика, хотя, как говорят, отсутствие Гюйсена вредно отразилось на воспитании царевича, остававшегося тогда без наставника.

В 1706 году Меншиков был командиром целого корпуса войск от 12000 до 15000, посланных на помощь Августу в Польшу и Саксонию, одержал над шведами победу, но был близким свидетелем измены Августа общему с царем делу войны против шведов, когда Август постановил со шведским королем особый Альтранштадтский мир.

Потом Меншиков опять был постоянным спутником царя и был отправлен с важными военными поручениями. В 1708 году он командовал в несчастной битве при Головчине. После того царь узнал, что Карл двинулся с частью войска вперед, а позади себя оставил корпус Левенгаупта. Петр предпринял напасть на последнего. Меншикову поручено было вести передовой отряд. 28 сентября произошло сражение под Лесным. Левенгаупт потерпел совершенное поражение и потерял почти половину своего войска. Царь приписывал Меншикову важное содействие в одержанной победе.

Затем последовало вторжение Карла в Малороссию и измена Мазепы. Меншиков, по царскому приказанию, разорил Батурын, потом находился с царем в Лебедине, съездил с ним в Воронеж и присутствовал там при спуске построенных судов. В Полтавской битве Меншиков, по распоряжению государя, не допустил неприятеля овладеть Полтавой и в самое время сражения сопутствовал царю, а после бегства Карла XII с шведским войском преследовал его до Переволочны и, одержав там другую победу, взял в плен генерала Левенгаупта. Когда после того Меншиков возвратился к Полтаве, царь дал ему чин генерал-фельдмаршала, а сам принял чин генерал-майора. От Полтавы Меншиков сопровождал царя в Киев, а в следующую зиму присутствовал в Москве при торжестве, устроенном Петром в честь Полтавской победы.

В 1710 году Меншиков получил поручение окончить покорение Ливонии и исполнил его счастливо, благодаря печальному положению края, терявшего, по случаю свирепствовавшей заразы, значительнейшую часть своего народонаселения. В ноябре этого года Меншиков был в Петербурге, и там, в его дворце, совершилось бракосочетание царевны Анны Ивановны с герцогом курляндским, удивлявшее современников пышностью обстановки. По этому поводу Меншиков давал бал с разными вычурами: например, подан был большой пирог, из середины которого выскочила карлица и начала танцевать менуэт на столе. Через несколько дней после этого торжества для забавы устраивалась свадьба карликов, и для этой цели с разных сторон привезены были 72 карлика, отличавшихся крайним безобразием. Неожиданная кончина сына Меншикова нарушила веселость этого торжества, а через 12 дней постигла двор новая печаль: курляндский герцог, молодой супруг Анны Ивановны, скончался по дороге в Курляндию, в местечке Дудергоф, от горячки.

В 1711 году, когда Петр отправился в Молдавию, Меншиков оставался в Петербурге, занимаясь постройками города и делами по управлению своей губернии. В это время (в мае) сгорел великолепный его дворец в Москве. Когда Петр после этого ездил за границу, где совершил бракосочетание сына своего Алексея с принцессой Шарлоттой, Меншиков оставался в Петербурге, и в честь сочетавшегося браком за границей царевича устроил великолепное празднество, пригласив на него всех высокочиновных лиц, живших в Петербурге. Но, вслед за тем, Дания и Саксония открыли военные действия в Померании; Меншиков получил команду над русскими войсками, назначенными в тот край для

вспоможения союзникам. В апреле 1712 года Меншиков явился к войску и на дороге чуть было не потерял свою, сопровождавшую его, жену: она едва было не попала в плен шведам близ Штетина и была спасена ловкостью генерала Бауера. В июле Меншиков съехался с государем, который сам принял команду над войском. В начале 1713 года Петр оставил войну, поручивши Меншикову добывать шведского генерала Штейнбока в Шлезвиге, вместе с датчанами. Осада Штейнбока продолжалась почти год, после чего Штейнбок сдался датчанам. Летом 1714 года Меншиков занят был осадой Штетина, вместе с саксонцами, и не ранее сентября принудил шведского коменданта к капитуляции. Меншиков воротился в Петербург, и с этих пор приостановилась его военная карьера.

Он занимался управлением своей огромной губернии. Но в это время на Меншикова начали наступать тучи, грозившие затмить его необыкновенное счастье, и только чрезвычайной привязанности к нему царя должен был он тем, что избежал судьбы, постигшей многих государственных деятелей в царствование Петра, навлекших на себя гнев и нерасположение царя. По делу вице-губернатора Курбатова открылись за Меншиковым злоупотребления в управлении губернией. В январе 1715 года царь назначил розыск. Меншиков, Апраксин и Брюс были обвиняемы в произвольном обращении с казенным интересом. Дело тянулось несколько лет; на Меншикове оказалось большое взыскание; но государь, неумолимо строгий ко всяким преступлениям подобного рода, был так милостив к свежнему любимцу, что велел счесть с него большие казенные суммы. Меншиков, со своей стороны, нашел удобный случай понравиться царю и расположить его к снисходительности. Русское войско в Финляндии терпело большой недостаток, а провиант, следуемый к доставке из Казани и прилегавшего к ней восточного края, не поспел; у Меншикова в его имениях был большой запас муки, крупы: Меншиков поспешил все это в пору пожертвовать для нуждавшегося войска и заслужил от царя благодарность. Но главным образом розыск над Меншиковым приостановился через возникшее дело о царевиче Алексее. В какой степени и какую роль занимал Меншиков в трагической судьбе Алексея, можно видеть из жизнеописания царевича. После смерти царевича, Меншиков был у государя в милости, и в 1719 году, с чином контр-адмирала белого флага, был назначен президентом военной коллегии. Доверие государя к нему было так велико, что в том же году он поручил ему находиться в верховном суде для открытия и преследования всякого рода злоупотреблений по управлению. Председателем суда был генерал Вейде, находившийся по коллегиальному управлению товарищем Меншикова. Виновными в злоупотреблениях снова оказались важнейшие государственные люди, и в их числе сам Меншиков. Меншиков испросил прощение у государя, и царь ограничился только наложением на него большого штрафа, 100000 червонцев, а потом пригласил его по-прежнему к дружеской попойке. Много помогало Меншикову заступничество перед царем Екатерины, сохранявшей уважение и привязанность к человеку, бывшему некогда, во времена ее ничтожества, ее господином. 5 сентября 1721 года Меншиков в своем петербургском дворце отпраздновал обручение молодого польского пана, Петра Сапеги, со своей девятилетней дочерью Марией, которой судьба, как увидим, предназначила другой жребий. Скоро после того праздновала вся Россия Ништадтский мир и окончание тяжелой Северной войны; несколько дней ликовал Петербург: Меншиков не пощадил издержек, чтобы принять в этом празднестве блестящее участие. Когда Петр, по окончании празднеств в Петербурге, отправился праздновать тот же мир в Москву, Меншиков сопровождал государя и, во время торжественного въезда в столицу, шествовал о бок государя по правую руку. В феврале 1722 года государь издал закон о новом способе престолонаследия, предоставляя воле всякого царствующего государя назначать себе преемника. Меншиков был первый, присягнувший этому закону, и тем показал пример всем гражданским и военным чиновникам. Издание этого закона сопровождалось большим праздником в Москве; оно состояло в катанье на санях с поставленными на них фигурами морских судов. В том же году Петр отправился с государыней в персидский поход, а Меншиков оставлен был в Петербурге во главе правительства, вместе с другими вельможами. По возвращении из похода, Петр застал

соблазнительный спор Скорнякова-Писарева с Шафировым, спор, возникший из такого дела, которое близко касалось Меншикова: Шафиров был давний враг Меншикова и теперь очень нерассудительно пошел против царского любимца. До какой степени силен был этот любимец показывает то, что голова Шафирова уже лежала на плахе и чуть было не слетела: он обязан был жизнью только влиянию Екатерины, испросившей ему помилование государя. Вскоре, однако, Меншиков опять навлек на себя немилость государя. В продолжение многих лет он до крайности бесцеремонно употреблял казенное достояние в свою пользу, покупал за казенный счет в свой Васильевско-Островский дворец мебель, всякую домашнюю рухлядь, содержал за казенный счет своих лошадей и прислугу и позволял своим клеветам разные злоупотребления, прикрываемые его покровительством. Открылись за ним какие-то противозаконные поступки по управлению Кроншлотом. Петр отнял у него выгодный табачный откуп, звание псковского наместника, подаренные ему в Малороссии имения Мазепы, и, кроме того, Меншиков заплатил 200000 рублей штрафа. Современники говорят, что Петр, вдобавок, отколотил его собственноручно палкой и несколько времени после того не допускал к себе на глаза; но влияние Екатерины опять пособило временщику, и в сентябре того же 1723 года Меншиков был снова в приближении у царя. Говорят, что Петр, приехавши к нему, увидал в доме на стенах, вместо прежних великолепных обоев плохие и дешевые. На вопрос царя о такой перемене Меншиков сказал: «Я должен был продать свои богатые обои, чтоб расплатиться с казной». Но Петр, зная, что у Меншикова еще осталось большое состояние, взглянул на него строго и сказал: «Мне здесь не нравится; если я приеду к тебе на первую ассамблею и не найду твой дом убраным прилично твоему сану, ты у меня заплатишь еще больший штраф». Когда Петр, по своему обещанию, приехал снова к Меншикову, нашел в его доме все по-прежнему, был очень весел и ласков и не вспоминал уже о прошлом. Так возобновились между ними добрые отношения. Меншиков участвовал на пире, данном государем персидскому послу, прибывшему для заключения мира. В марте 1724 г. Меншиков отправился с царем в Москву, где в мае государь совершил коронацию своей жены в сан императрицы. Во время церемонии Меншиков шел по правую руку царя и, по старому русскому обычаю, раскидывал народу золотые и серебряные монеты. По возвращении в Петербург, Меншиков опять подвергся царской немилости: Петр лишил его губернаторской должности, передавши ее Апраксину. С точностью неизвестно, что было причиной такой перемены, но Петр, постоянно болевший и приближавшийся к смерти, сделался тогда чрезвычайно раздражителен и вспыльчив: он нередко собственноручно бивал палкой приближенных и всякого встречного, на кого имел причину рассердиться; в Петергофе, например, разводился у него сад, и Петр то и дело бил палкой офицеров, надзиравших над рабочими. Перед смертью, в начале 1725 года, Петр опять помирился с Меншиковым и допустил своего старого друга к своей смертной постели.

В истории мы видим частые примеры, что со смертью государей меркнет счастье их любимцев, но с Меншиковым случилось не так. Петр скончался, не выразивши ни на письме, ни на словах своей воли о престолонаследии. Его новый закон, предоставлявший царствующей особе право назначить себе преемника, не мог быть исполнен самим учредителем этого закона. Еще тело усопшего императора лежало не погребенным, а уже вельможи толковали о том, кто будет над ними царствовать. Меншиков, Толстой и Апраксин указали на Екатерину, как на личность, по самой воле покойного царя носившую уже императорскую корону. Толстой рассыпался перед вельможами во всевозможнейших похвалах добродетелям и доблестям императрицы. Спор мог быть продолжительным, так как люди, все еще дорожившие древними обычаями, заявляли о правах первородства, принадлежавших сыну покойного царевича Алексея, малолетнему Петру. Но приверженцы Екатерины заранее распорядились наводнить дворец гвардейскими офицерами, а около дворца поставить два гвардейские полка, пугавшие барабанным боем уши собравших во дворце сенаторов. Это обстоятельство было поводом к тому, что спор прекратился, и собравшие во дворце сенаторы провозгласили Екатерину императрицей и самодержицей. Вслед за тем издан был манифест от имени правительствующего сената, Святейшего Синода

и всего генералитета, гласивший, что, сообразно с объявленным в 1722 г. законом, подтвержденным присягой всех чинов государства российского, все люди духовного, воинского и гражданского чина – должны верно служить государыне императрице Екатерине Алексеевне, так как сам покойный государь короновал ее императорской короной. В Петербурге все присягнули безропотно. В Москве и в других городах явились ослушники, которых за то подвергали пытке кнутом и огнем. Но как ни много, казалось, должно было находиться в России недовольных мерами Петра и его перестройкою государства на иноземный образец, кончина государя, если верить официальным донесениям, везде возбуждала такую же скорбь, какая показывалась около его гроба в Петербурге. Председатель сенатской конторы в Москве граф Матвеев писал, будто при панихиде, которую служили по покойном государе, был такой в Москве «воплъ, вой, крик, какого я от рождения моего не слыхал». Самый протест по поводу присяги Екатерины проявлялся везде как явление исключительное. Русский народ, в продолжительное царствование покойного государя, был так запуган его жестокими мерами, что не смел отзываться со своими чувствованиями, если они шли вразрез с видами и приказаниями верховной власти.

Правление Екатерины было только по одному имени ее правлением. Всем заправлял Меншиков и с ним те вельможи, которые старались ему угождать; те, которые ненавидели его, таились, надеясь дожить до такого времени, когда можно будет учинить с ним расправу. Одним из важнейших врагов его был генерал-прокурор Ягужинский; сначала он пошел было открыто против Меншикова, но потом, при содействии голштинского герцога, испросил у него прощение за свою вспыльчивость и притворно помирился с ним. Герцог голштинский выпросил прощение Шафирову и детям казненного Гагарина. Недовольные Меншиковым вельможи задумали было возвести на престол великого князя Петра с ограничением монархической власти. Но Меншиков и Толстой, со своими приверженцами, противодействовали им проектом учреждения нового государственного места – верховного тайного совета, который должен был состоять под председательством самой государыни. Указ о таком учреждении состоялся в феврале 1726 года. Членами его были тайные действительные советники: генерал-фельдмаршал Меншиков, генерал-адмирал граф Апраксин, государственный канцлер граф Головкин, вице-канцлер барон Остерман, граф Толстой и князь Дмитрий Голицын. Немного времени спустя после утверждения верховного тайного совета, по воле государыни, в число членов его был допущен и герцог голштинский. Сенат и Синод потеряли значение верховных правительствующих мест; на них можно было подавать апелляцию в верховный тайный совет. Под непосредственным ведением последнего находились три коллегии: иностранная, воинская и морская.

Важнейшим делом верховного тайного совета было облегчение крестьян в способе платежа податей, почему были преданы суду и казни в разных местах чиновники, провинившиеся в притеснениях крестьян. Но вообще, хотя в верховном тайном совете и затрагивались всякие стороны государственного и экономического быта, однако он не произвел никаких радикальных преобразований, кроме некоторых бюрократических, как, например: изменен порядок воинского постоа, постановлено полковым дворам быть в городах, упразднена мануфактур-коллегия, а вместо нее учреждался совет фабрикантов, подчиненных коммерц-коллегии; установлена доимочная коллегия для сбора накопившихся недоимок и проч.

Меншиков, опираясь на силу, которую имел при Екатерине, затевал проект сделаться курляндским герцогом, с тем, чтобы Курляндия, находившаяся в отношении ленной зависимости от польской короны, поступивши во власть Меншикова, перешла в ленную зависимость России. Еще прежде, при жизни Петра, он заявлял эту мысль и даже хотел подкупить польского короля и его придворных, чтоб они помогали его предприятию. Теперь курляндский герцогский престол оставался вакантным. Весною 1726 года польский король Август начал проводить на курляндское герцогство своего побочного сына принца Морица (знаменитого впоследствии полководца, известного под именем Морица Саксонского). Мориц хотел утвердиться в Курляндии, во-первых – через избрание курляндских чинов, во-

вторых – через вступление в брак со вдовой покойного герцога, вдовствующей герцогиней Анной Ивановной. Мориц имел большой успех: он понравился Анне Ивановне и скоро приобрел расположение курляндцев, и был уже избран герцогом. Меншиков всеми силами старался устранить эту опасную для него кандидатуру, против которой восставали разом из политических видов и прусский король и чины польской Речи Посполитой, не хотевшие допускать своего короля до усиления монархической власти. Русский посланник в Польше князь Василий Лукич Долгорукий старался за Меншикова в Польше, располагая подарками корыстолюбивых панов. Сам Меншиков 8 июля 1726 г., пригласивши в Ригу Анну Ивановну, пытался убедить ее отказаться от планов, проводимых Морицом, но не успел в этом. После того Меншиков приехал в Митаву и, прикрываясь государственными интересами России, начал обращаться высокомерно и с Морицом, и с курляндскими членами. От имени своей государыни он угрожал курляндцам военным принуждением, если они не произведут нового выбора. Но его высокомерный тон только повредил ему: курляндское дворянство ни за что не хотело изменять прежнего решения, а Меншиков, не отваживаясь приступить па деле к сильным мерам, которыми угрожал на словах, уехал из Митавы. Польский сейм не утвердил Морица в герцогском достоинстве; но и Меншиков принужден был расстаться с высокомерным желанием сделаться курляндским герцогом. Императрица Екатерина охладела к нему и не стала поддерживать его видов. Анна Ивановна, ненавидевшая Меншикова, приехавши в Петербург, была принята Екатериной очень любезно и отпущена в Митаву; ее сопровождала почетная гвардия из 300 человек, долженствовавшая оставаться постоянно в Митаве.

После неудачи в Курляндии, Меншиков начал помышлять устроить себе величие в собственном отечестве. В России чувствовалось, что Екатерина не прочна на престоле. Был жив несовершеннолетний внук Петра, сын царевича Алексея Петровича, и общественное мнение в народе признавало за ним право престолонаследия. Меншиков, как известно было всем, не только не принадлежал к сторонникам несчастного царевича Алексея, но признавался даже одним из виновников его несчастья: говорили, что Меншиков возбуждал против царевича отца его. Как только малолетний Петр вырастет, тотчас станет добывать своих прав, а если их добудет так или иначе, то Меншикову грозило падение и, может быть, эшафот. Так думали и надеялись враги и недоброжелатели Меншикова. Положение его в это время походило на положение Годунова, и Меншикову, ради спасения собственной жизни, надобно было или извести великого князя Петра, как изведен был, по желанию Годунова, царевич Дмитрий, или – расположить к себе молодого Петра и сделать его для себя своим человеком. Меншиков избрал последний, очень скользкий путь. В соумышлении с цезарским посланником Рабутином, он составил план отдать за великого князя Петра дочь свою Марию: она прежде была сговорена с Сапегой, но императрица расстроила это сватовство, устроивши дело так, что Сапега вознамерился вступить в брак с племянницей императрицы Скавронской. Меншиков обратился со своим проектом о браке Петра со своею дочерью к Екатерине и получил ее согласие. Напрасно две дочери Екатерины – голштинская герцогиня Анна и посватанная за другого голштинского герцога Карла великая княжна Елисавета – просили мать отказать Меншикову, так как обе царевны имели честолюбивые планы на наследство; к ним присоединился и Толстой, державшийся прежде стороны Меншикова, а потом изменивший ему. Меншиков взял перевес у Екатерины. Он помирился и сошелся с князем Дмитрием Михайловичем Голицыным, бывшим киевским губернатором, умным и энергическим человеком, на которого особенно надеялись все недоброжелатели Меншикова. За Меншикова был вице-канцлер Остерман. Меншиков был обставлен хорошо. Но его новый враг Толстой составил заговор против Меншикова с Бутурлиным, графом Девиером, Григорием Скорняковым-Писаревым, Александром Львовичем Нарышкиным, князем Иваном Алексеевичем Долгоруким и генералом Андреем Ушаковым. Герцог голштинский благоприятствовал видам заговорщиков, добивался, чтоб ему отдали в управление военную коллегия и сделали главнокомандующим над войском. Цель заговора была: во что бы то ни стало помешать браку великого князя с дочерью Меншикова. Заговорщики думали, под



предлогом воспитания, спровадить великого князя за границу, а тем временем склонить императрицу Екатерину назначить наследницей престола цесаревну Елисавету. Быть может, этот заговор протянулся бы на долгое время, но вдруг в апреле 1727 года императрица заболела опасной горячкой. В виду ее кончины, которую все тогда считали возможной, члены верховного тайного совета, сената, Синода, президенты коллегий и штаб-офицеры гвардии собраны были во дворец для совещания о престолонаследии. Враги Меншикова заговорили было о возведении на престол одной из цесаревен, но большинство высказалось за великого князя Петра, который должен был до 16-летнего возраста находиться под опекой верховного тайного совета и обязаться присягой не мстить во все свое царствование никому из подписавших смертный приговор его родителю. Это происходило 16 апреля. Меншиков увидел тогда, кто его недоброжелатели, и тотчас именем больной императрицы приказал назначить следственную комиссию над генерал-лейтенантом Девиером, подавшим к этому повод неосторожным поведением во дворце. Девиера предали пытке, и он открыл всех своих соучастников. Их всех разослали: Девиера и Толстого с лишением дворянства и имений, первого, по наказании кнутом, – в Сибирь, второго – в Соловки; Скорнякова-Писарева, лишив чинов, дворянства и имущества и наказав кнутом, отправили также в ссылку, Нарышкина и Бутурлина, лишив чинов, послали на безвыездное житье в деревни, Долгорукова и Ушакова понизили чинами и определили в полевые полки. Голштинский герцог, увидя, что его дело проигрывается, постарался заранее сойтись с Меншиковым через посредство своего министра Бассевича. Меншиков поставил условие, что голштинский герцог и обе цесаревны не станут препятствовать вступлению на престол великого князя Петра, а Меншиков соглашался выдать на каждую цесаревну по миллиону рублей, из которых герцог давал Меншикову взятку по 80 000 с каждого миллиона. Здоровье императрицы стало было несколько лучше, но потом у ней сделалось воспаление легких, и 6 мая в 9 часу вечера Екатерина скончалась. В тот же день состоялся ее именем указ о наказании Девиера и его соумышленников. На другой день во дворце, при членах верховного тайного совета, Синода, сената и генералитета, прочтено было завещание, будто бы подписанное скончавшейся государыней. Престол, по этому завещанию, предоставлялся великому князю Петру, а цесаревнам отдавалось то, что обещано было Меншиковым голштинскому герцогу, и, сверх того, предоставлялось им по старшинству со своим потомством право на престолонаследие только в случае, если после великого князя Петра не останется потомства.

После смерти Екатерины Меншиков, нареченный тесть императора, стал всемогущим человеком на Руси. Петру II было всего 11 лет. Меншиков, под предлогом надзора за его воспитанием, перевез малолетнего императора в свой дом на Васильевском острове. 13-го числа мая Меншиков получил сан генералиссимуса и через то сделался полноправным главой всего русского войска. 25 мая совершено было обручение императора с княжной Марией Меншиковой, которой отец назначил 34000 на содержание особого двора и приказал поминать ее в церквах, вместе с императором, в качестве нареченной невесты, и с титулом великой княжны.

Меншиков поручил воспитание императора Петра вице-канцлеру Остерману, давши ему звание обер-гофмейстера. Меншиков не проник в глубину души этого человека и считал его самым преданным себе и послушным своим видам и желаниям. Меншиков продолжал показывать дружбу к Дмитрию Голицыну и ласкался к знатной и влиятельной фамилии Долгоруких, думая обезопасить свою особу на их счет. Алексей Григорьевич Долгорукий сделан гофмейстером императорской сестры, великой княжны Натальи Алексеевны. Сын его Иван Алексеевич, удаленный от двора по делу Девиера, приближен был снова ко двору; братья Владимировичи Долгорукие, Михаил и Василий, люди уже пожилые, были также обласканы. Василий унижался перед Меншиковым, Михаил сделан был сенатором. Герцога голштинского, вместе с женой, удалили из Петербурга; они уехали в Голштинию. Меньшой брат герцога, Карл, жених Елисаветы, до отъезда брата с невесткой, скончался в Петербурге. Меншиков, чтобы не вызвать впоследствии неприязненных чувств в императоре, приказал

освободить бабу императора, бывшую царицу Евдокию, содержавшуюся по воле Петра Великого в Шлиссельбурге, и назначил ей местопребывание в Новодевичьем Московском монастыре. В Петербург допустить ее Меншиков опасался, чтоб она не оказала на царя влияния; с той же целью старался он удалить от государя и тетку, принцессу Елисавету. Курляндской герцогине Анне Ивановне Меншиков не позволял приезжать в Петербург.

26-го июля состоялся указ верховного тайного совета об отобрании и уничтожении манифестов по делу царевича Алексея и Петровскую указа о престолонаследии 1722 года.

Одним из видных дел, совершенных Меншиковым во время его кратковременного правления государством, было восстановление гетманства в Малороссии. Малороссийская коллегия, с самого своего основания, возбуждала ненависть в малорусском крае; жалобы на ее президента Вельяминова и на всех ее членов не прекращались. Меншикова малоруссы не любили при Петре Великом и считали главным наушником государя во вред Малороссии. Теперь он расчел, что ему будет выгодно приобрести себе благодарность и расположение малороссиян, и в этих-то видах, именем государя, приказал уничтожить малороссийскую коллегию. Дан был указ выбрать гетмана и всю генеральную и полковую старшину, дозволялось и наперед выбирать их вольными голосами из малорусских жителей, только никак не из жидов. Все доходы велено собирать в Малороссии не иначе как на основании договора, по которому малороссийский край присоединился при Богдане Хмельницком. Все дела, касавшиеся Малороссии, по уничтожении малороссийской коллегии, переданы были по-прежнему в ведомство иностранной коллегии.

Меншиков был вполне самодержавен: верховный тайный совет и сенат должны были исполнять его волю; никто не смел ему противоречить; все страшилось его, у всех в памяти был грозный пример Девиера и его соумышленников. Но так продолжалось только четыре месяца – не более.

Меншиков, воспитанный в школе Петра Великого, был умен, но недостаточно проницателен: он не умел в пору узнавать ловких и хитрых людей. Он доверился Остерману более чем кому-нибудь, и не подозревал, что от этого человека, более чем от кого-нибудь, угрожала ему гибель.

Случилось, что Меншиков заболел лихорадкой и кровохарканьем. Во время своей болезни не мог он следить за своим нареченным зятем и во всем положился на Остермана.

Молодой император был мальчик ленивый, любивший более гулять, играть и ездить на охоту, чем учиться и заниматься делом, и притом чрезвычайно своенравный. Ему исполнилось только 12 лет, а он уже почувствовал, что рожден самодержавным монархом, и при первом представившемся случае показал сознание своего царственного происхождения над самим Меншиковым. Петербургские каменщики поднесли малолетнему государю в подарок 9000 червонцев. Государь отправил эти деньги в подарок своей сестре, великой княжне Наталье, но Меншиков, встретивши идущего с деньгами служителя, взял у него деньги и сказал: «Государь слишком молод и не знает, как употреблять деньги». Утром на другой день, узнавши от сестры, что она денег не получала, Петр спросил о них придворного, который объявил, что деньги у него взял Меншиков. Государь приказал позвать князя Меншикова и гневно закричал: «Как вы смели помешать моему придворному исполнить мой приказ?» – «Наша казна истощена, – сказал Меншиков, – государство нуждается, и я намерен дать этим деньгам более полезное назначение; впрочем, если вашему величеству угодно, я не только возвращу эти деньги, но дам вам из своих денег целый миллион». – «Я император, – сказал Петр, топнув ногой, – надобно мне повиноваться». Когда после того Меншиков заболел, в это время Остерман сговорился с Долгорукими, отцом и сыном, и внушил им честолюбивое желание устранить Меншикова от государя, разорвать предполагаемый брак с дочерью Меншикова и свести Петра с княжной Долгорукой. Пользуясь тем, что Петр имел тогда летнее пребывание свое в Петергофе и не видался с Меншиковым, Остерман сблизил Петра с Иваном Долгоруким, заметивши, что молодой государь уже оказывал большое сердечное расположение к этому человеку. Вскоре Остерман довел свое дело до того, что Петр II не иначе ложился спать в Петергофе, как

вместе с князем Иваном Долгоруким, а дни проводил с ним и со своей теткой, великой княжной Елисаветой, молодой и веселой 17-ти летней девицей. Вместо того чтобы, сообразно воле Меншикова, понуждать молодого государя учиться, Остерман потакал его праздности, склонности ко всяким развлечениям и особенно к охоте, на которую молодой государь часто ездил в окрестностях Петергофа. И Долгорукий, и тетка государя Елисавета постоянно вооружали Петра против Меншикова, представляя ему, что Меншиков зазнается и не оказывает своему государю должной почтительности. Около государя в числе сверстников был сын Меншикова, Петр, в досаде против его отца, мстил сыну и бил до того, что тот кричал и молил о пощаде. По выздоровлении, у Меншикова опять возникли несогласия с государем. Меншиков давал служителю Петра деньги на мелкие расходы государя и требовал от служителя отчета. Узнав, что служитель давал эти деньги в руки государя, Меншиков обругал служителя и прогнал, а государь поднял из-за этого шум и, наперекор Меншикову, принял к себе обратно в службу прогнанного служителя. Через несколько времени государь послал взять у Меншикова 500 червонцев для подарка сестре; тот дал деньги, а потом, разгорячившись, отнял их у великой княжны. Наконец, в день именин великой княжны, государь стал обращаться с Меншиковым презрительно, не отвечал на его вопросы, поворачивался к нему спиной и сказал своим любимцам: «Подождите, вот я его образумлю!» Меншиков выговорил царю, что он не ласков со своей невестой, а государь сказал: «Я в душе люблю ее, но ласки излишни; Меншиков знает, что я не имею намерений жениться ранее 25 лет». Меншиков все это перенес. Вскоре после того он приглашал государя к себе на освящение церкви в Ораниенбаум. Петр сначала обещал приехать, а потом сказал, что у него явились дела, не позволяющие ему отлучиться из Петергофа, где двор имел тогда летнее пребывание. Меншиков, не заманивши к себе государя в Ораниенбаум, 7 сентября сам приехал в Петергоф, но Петр не хотел его видеть и уехал на охоту, а сестра его Наталья, чтоб избавиться от неприятности видеться с Меншиковым, выпрыгнула из окна. Тогда Меншиков обратился к тетке государя Елисавете и начал перед ней лукавить: он распространился о своих прежних заслугах, жаловался на неблагодарность государя и говорил, что теперь ему при дворе нечего делать, что он хочет уехать на Украину и начальствовать там над войском. Вечером в тот же день государь послал, собственноручно им подписанное, предписание верховному тайному совету перевезти из дома Меншикова все его вещи в Петергофский дворец и сделать распоряжение, чтобы казенные деньги никому не выдавались без указа, подписанного самим государем. «Я покажу, – кричал Петр, – кто из нас император – я или Меншиков!»

Остерман показывал вид, что старается успокоить Петра, хотя собственно сам же и довел его до такого состояния. Меншиков попробовал было послать к государю свою дочь, его невесту, с ее сестрой, но государь принял их дурно, и они должны были удалиться. На другой день, в пятницу 8 сентября, Петр послал генерал-лейтенанта Салтыкова к Меншикову, с приказанием оставаться дома как бы под арестом; с его жилища велено снять почетный караул, который давался ему сообразно чину генералиссимуса. Сам Петр, давши такой приказ, отправился в церковь. По возвращении из церкви в свой дворец, он встретил княгиню Меншикову с сыном и с сестрой ее Арсеньевой. Княгиня пала на колени и умоляла пощадить ее мужа. Отрок-государь, настроенный врагами Меншикова, не хотел слушать. Княгиня обратилась к Елисавете, потом к великой княжне Наталье; и те отворотились от нее. Княгиня бросилась к Остерману и целые три четверги часа валялась в ногах у коварного барона, так что ее с трудом могли поднять. Царь отправился обедать с членами верховного совета, Сапегой и князем Долгоруким. После обеда государь приказал публиковать указ не слушать ни в чем Меншикова, и в то же время послал приказ гвардейским полкам повиноваться исключительно его повелениям, которые будут передаваемы через майоров гвардии Юсупова и Салтыкова. В заключение государь отправил курьера воротить высланного из Петербурга Ягужинского, врага Меншикова. Воспоминания о страданиях родителя, возбужденные в государе врагами Меншикова, вступили ему в душу, и он сказал: «Меншиков хочет обращаться со мной, как обращался с моим отцом, но этого ему не

удастся; он не будет давать мне пощечин, как давал». Приказано во дворец не допускать ни семейства, ни прислуги Меншикова. Меншиков попробовал было написать к царю письмо и просил позволения уехать на Украину. В ответ на это письмо Меншикову сообщено, что он лишается дворянства и орденов, а у царской невесты отбираются экипажи и придворная прислуга. 11 сентября (22 нового стиля) Меншикову дано приказание ехать со всем семейством под конвоем в свое поместье Раненбург.

12 сентября отправился Меншиков в обозе, состоявшем из четырех карет и сорока двух повозок, с женой, свояченицей, сыном, двумя дочерьми и братом княгини, Арсеньевым. С ним была толпа прислуги; провожал его отряд в 120 человек гвардии под начальством капитана. Громадная толпа народа собралась глазеть на падшего князя, который за день перед тем был самодержавным властителем всей России.

Едва Меншиков отъехал несколько верст от Петербурга, как его догнал курьер с царским приказанием отобрать все иностранные ордена; русские отобраны были у него в Петербурге. Меншиков отдал их все, со шкатулкой, в которой они хранились. Когда Меншиков достиг Твери, его догнал новый курьер с приказанием высадить его и всю семью из экипажей и везти в простых телегах. «Я готов ко всему, – сказал Меншиков, – и чем больше вы у меня отнимете, тем менее оставляете мне беспокойств. Сожалею только о тех, которые будут пользоваться моим падением». И его, и всех его семейных повезли из Твери в Раненбург в простых телегах. Он старался казаться спокойным, и где приходилось ему, при перемене лошадей, говорить со своими семейными, он ободрял их и убеждал с христианским терпением покориться воле Божьей. Но, пересиливая свое душевное горе, Меншиков с трудом мог охранять свое тело от припадков болезни – возобновившегося кровохаркания.

Враги Меншикова не давали ему покоя в изгнании. В Петербурге пошли ходить о нем разные обвинения, отчасти справедливые, отчасти измышленные злобой. Рассказывали, что он сносился с прусским двором и просил дать себе 10 миллионов взаймы, обещая отдать вдвое, когда достигнет престола. Уверяли, что, пользуясь своим могуществом, он, с честолюбивыми целями захвата верховной власти, хотел удалить гвардейских офицеров и заменить их своими любимцами. Толковали, что от имени покойной императрицы он составил фальшивое завещание, подписанное великой княжной Елисаветой, которая, по неграмотности матери, всегда за нее подписывалась. Ставили ему в вину, что он ограбил своего малолетнего государя и, заведя монетным делом, приказал выпускать плохого достоинства деньги, обращая в свою пользу не включенную в них долю чистого металла. Припоминали и прежние его грехи, как, пользуясь доверием Петра Великого, он обкрадывал казну и через то нажил несметное богатство. Говорили, что вещи, которые он взял с собой, стоили, по мнению одних, пять миллионов, по мнению других – двадцать. Обвиняли Меншикова в недавних тайных сношениях со Швецией в ущерб интересам России: еще при жизни императрицы Екатерины I он, будто бы, писал к шведскому сенатору Дикеру, что у него в руках военная сила и он не допустит ни до чего вредного для Швеции, причем просил, чтобы шведский король не забыл его за такое приятельское предупреждение, а шведскому посланнику Зюдеркрейцу Меншиков сообщал о том, что происходило в России, и за то взял с него взятку в количестве пяти тысяч английских червонцев. Арестованные секретари Меншикова, спрошенные по этому делу, не показали ничего во вред Меншикову. Падший временщик обвинялся еще в том, что, выдавая голштинскому герцогу пожалованные последнему 390000 р., взял с него для себя взятку – 60000 р. Это подтвердил и герцог. Верховный тайный совет послал к Меншикову в Раненбург 120 вопросных пунктов, а в марте 1728 года в Москве, у Спасских ворот, найдено подметное письмо, составленное в оправдание Меншикова: это письмо окончательно ему повредило, потому что сочтено было делом самого Меншикова, прибегавшего таким образом к средствам непозволительным для своего спасения. Решено было конфисковать его достояние, тем более, что тогда из разных коллегий и канцелярий поступали требования о возвращении денег и материалов, незаконно захваченных Меншиковым. Верховный тайный совет указал отправить Меншикова с семейством в Березов, давая всем членам его семейства и их прислуге по шести рублей

кормовых денег в день, а свояченицу Меншикова, Варвару Арсеньеву, приказано было постричь в женском Сорском монастыре в Белозерском уезде. У Меншикова было конфисковано: 90000 душ крестьян и города: Ораниенбаум, Ямбург, Копорье, Раненбург, два города в Малороссии: Почеп и Батурин, капиталу до 13000000 р., из которых 9000000 находились на хранении в иностранных банках, да, сверх того, на миллион всякой движимости и бриллиантов: и одной золотой и серебряной посуды – более 200 пудов.

Собираясь, по этому указу, отправлять в заточение павшего временщика, у него отняли все приличное платье, одели в сермягу и простой тулуп, а голову его прикрыли бараньей шапкой. Такое же переодевание постигло и членов его семьи, и в таком виде повезли их всех в далекий путь. Княгиня Меншикова, женщина слабого здоровья и с молодости изнеженная, с самых первых дней постигшего их несчастья беспрестанно плакала и теперь не вынесла последнего горя и унижения. Она ослепла и, не доехав до Казани, умерла. Меншиков сам похоронил ее, но ему не позволили слишком долго плакать над ее могилой и торопили следовать в дальнейший путь. В Тобольске губернатор дал ему 500 рублей, – то было царское жалованье на скудное содержание изгнанника. На эти деньги Меншиков приказал закупить разных запасов – хлебного зерна, вяленого мяса, разных орудий, как, например, пил, лопат, рыболовных сетей, также всяких необходимых вещей для своих детей, а лишнее, что затем оказалось из этой суммы, велел раздать бедным. Из Тобольска изгнанников повезли в открытых телегах, подвергая всяким неудобствам сибирского климата. С ним было восемь слуг, согласившихся разделять изгнание своего господина. Они служили ему при постройке дома, впрочем, сам старик господин помогал им: недаром Петр Великий приучил его владеть топором и молотком. Построенный в Березове дом Меншикова состоял из четырех покоев: в одном жил он сам с сыном, во втором – его дочери, в третьем – прислуга, четвертый – служил кладовой. Из его дочерей старшая, бывшая невеста императора, занималась стиркой в кухне, а вторая мытьем белья; им помогали в работе две прислужницы. Меншиков – кроме дома, построил еще деревянную церковь. Из вельможи, избалованного долгим счастьем и изобилием, Меншиков преобразился в крепкого духом чернорабочего русского человека и переносил с примерной твердостью лишения ссылки и свое унижение. Через шесть месяцев заточения его постигло новое горе: старшая дочь его, бывшая невеста императора, скончалась от оспы. Меншиков сохранял присутствие духа, сам читал над покойницей псалтырь и пел над ней погребальный канон. Ее похоронили в церкви, построенной отцом и недавно перед тем освященной. Тогда старик указал детям место, на котором и сам желал быть погребенным близ своей дочери.

После этого удара чуть было не пришлось Меншикову потерять двух других детей, заболевших также оспой. Заботы родителя спасли их: они выздоровели; но сам Меншиков заболел. Он скончался 22 ноября 1729 года приливом крови: в Березове не было никого, кто бы умел сделать кровопускание.

Оставшиеся в сиротстве его дети, по восшествии на престол Анны Ивановны, были возвращены из ссылки и вступили во все права русского дворянства.

## **Глава 19**

### **Архиепископ Феофан Прокопович**

В XVIII веке из лиц духовного звания не было никого, кто бы имел такое важное значение, не только в сфере церкви, но и во всем политическом строе государства, как Феофан Прокопович. С его именем тесно соединяются: важнейшее дело – основание Святейшего Синода и первая история этого учреждения.

Феофан Прокопович родился в Киеве, в 1681 году, от бедного местного купца, который умер, оставивши жену и малолетнего сына Елеазара в крайней нищете. Вдова его скоро за ним последовала в могилу. Елеазар, оставшись круглым сиротой, был принят на попечение дяди, ректора киевской коллегии, Феофана Прокоповича, а после кончины дяди его прютил у себя какой-то киевский мещанин. Елеазар учился в киевской коллегии и, отличаясь

счастливою памятью и живую понятливостью, стал лучшим учеником. Когда ему исполнилось семнадцать лет, он отправился для окончания своего учения в польское училище; там он скоро был совращен с православия, принял унию и постригся в монахи, под именем Елисея. Униатский владимирский епископ Заленский увидел в нем необыкновенные способности, и, при его покровительстве, молодой монах Елисей Прокопович был отправлен в Рим, в коллегію Св. Афанасія, учрежденную со специальною целью распространять католичество между последователями восточного православия в Греции и в славянских землях. В Риме Елисей, находясь под влиянием наставника иезуита, познакомился со всюю мудростью схоластического богословия, но изучал с большим прилежанием и древних классиков, как греческих, так и латинских. Здесь он присмотрелся к строю римской церкви, однако не усвоил папистической нетерпимости и, как после сам сознавался, уже тогда внутренне насмехался над проклятиями, которые папа Инокентий XII публично сыпал на всех, не принадлежащих к западной церкви и не признающих верховной папской власти. В 1702 году Елисей возвращался уже в отечество через Швейцарию. Прибыв в Почаевский монастырь, а по другим известиям в Киев, он постригся в православное монашество, отрекся от папизма и переименовал имя, назвавшись из Елисея Феофаном в память покойного дяди. Сделавшись православным, Феофан как будто хотел загладить свое прежнее отступничество неприязненным отношением к католичеству, в особенности меткими обличениями лукавства и фальшивости иезуитов. В 1705 году он получил место преподавателя пиитики в киевской академии, а в следующем году перешел на кафедру риторики. Преподавая то и другое, Феофан составил курсы пиитики и риторики и написал трагикомедию «Владимир», которая, несмотря на тяжелый стих и нечистый польско-русский язык, не лишена положительных поэтических достоинств и в особенности замечательна по свободомыслию и присутствию таких идей, которые были выше своего века. Феофан писал и говорил проповеди, отличавшиеся тем, что в них не было ни тогдашней школьной рутины, ни утомительной длинноты. Одну из таких проповедей сказал он 5 июня 1706 года в Печерском монастыре в присутствии приехавшего в Киев Петра Великого. Государь тогда заметил проповедника, но так как был сильно занят военными и политическими делами, то и не сделал никакого распоряжения об изменении скромной судьбы киевского профессора. Феофан оставался еще три года в академии, преподавая философию, физику и математику, и сделался известным киевскому губернатору князю Дмитрию Голицыну. После полтавской победы Петр прибыл в Киев, и Феофан опять произносил в присутствии царя проповедь в Софийском соборе, рассыпая в этой проповеди восхваления Петру по поводу одержанной победы; однако и на этот раз Петр не показал к нему особой милости. Более выиграл Феофан перед царским любимцем Меншиковым, когда в декабре 1709 же года произнес при нем в церкви Братского монастыря речь, в которой просил светлейшего князя не отказать в покровительстве академии. Меншиков вспомнил Феофана, вероятно, по его настоянию, вспомнил о нем Петр и во время турецкого похода потребовал к себе в Молдавию; когда Петр находился в Яссах и праздновал там воспоминание полтавской победы, Феофан говорил проповедь, которая понравилась государю. По окончании несчастной прутской войны, Феофан был отпущен в Киев, назначен, по желанию государя, ректором академии и профессором богословия. В этом звании пробыл он до 1715 года и оставил по себе память полезными преобразованиями, а в преподавание богословия ввел более живой метод. В это время сблизился он с богатой малорусской фамилией Марковичей и подружился с одним из них, Яковом Андреевичем, бывшим своим воспитанником в академии, вскоре женившимся на дочери черниговского полковника Павла Полуботка. Феофан много лет поддерживал с этим человеком дружбу и вел с ним постоянную переписку, сообщая ему о своих ученых работах. В 1715 году Петр вызвал Феофана в Петербург, но болезнь задержала его до осени 1716 года. Призыв государя заранее сочтен был знаком скорого посвящения Феофана в епископы. Собираясь в Петербург, Феофан писал своему другу Марковичу: «Говорят, что меня вызывают для епископства; эта почесть привлекает меня так, как бы меня приговорили бросить на съедение зверям. Завидую митрам, саккосам, посохам, свечам и другим украшениям! Прибавьте к

этому больших и вкусных рыб! Если я интересуюсь этим, если ищущего, то пусть Бог покарает меня чем-нибудь еще худшим... Употреблю все усилия, чтоб отклонить от себя эту честь и поскорее возвратиться к вам!» Приехавши в Петербург в конце 1716 года, Феофан не застал там государя, бывшего за границей, но был ласково принят Меншиковым, оставлен в Петербурге и занимался произнесением проповедей, которые печатались и отсылались государю. В этих проповедях Феофан разъяснял современные политические дела, стараясь угождать точке зрения Петра, и составил родословную таблицу русских государей, которая была послана царю, а потом напечатана на отдельном листе с лицевыми изображениями царствовавших в России лиц. По возвращении государя из-за границы, 10 октября 1717 года, Феофан составил от лица маленьких царских детей поздравительную речь на день именин Екатерины, сказал в честь ее похвальное слово, и это очень понравилось государю. В начале 1718 года Петр назначил Феофана псковским архиереем. Уже в это время Петр отметил этого человека как незаменимого в деле церковных преобразований и народного просвещения. Петр нашел в нем давно желанного работника для исполнения своих планов: поставить государственную власть выше церковной и совершенно подчинить себе церковь наравне с другими ветвями государственного строя. Петр знал, что духовенство не расположено к нему, что центр церковного противодействия находился главным образом в Москве, притом Петр знал, что не только в ряду приверженцев старины, но и между более образованными духовными царь мог встретить недоброжелателей своим видам. Стефан Яворский, блюститель патриаршего престола, главный духовный сановник в государстве, при всей своей кротости и покорности, при всем уважении, которое к нему оказывал государь, не вполне расположен был слепо идти за Петром и не раз заявлял, где только можно было, такое нерасположение. Между прочим, Яворский еще в 1712 году в своих проповедях осмелился критиковать учреждение фискалов. При своем несомненном православии, Стефан был несколько наклонен к духу римского католичества, по крайней мере, по отношению к идее самостоятельности церкви и независимости ее от светского произвола; то же направление видно было и в других сановниках церкви, воспитанниках киевской академии, перешедших в Москву; таковы были, между прочими, Феофилакт Лопатинский, Стефан Прибылович, Гедеон Вишневский. Все они, наравне со Стефаном Яворским, были противники протестантских идей, которые вторгались тогда понемногу в Россию. В 1713 году возникло знаменитое дело об Иване Максимове и Дмитрие Тверитинове; первый был ученик славяно-латинской школы в Москве и распространял между своими товарищами протестантское учение о непочитании святых мощей и икон, не признавал пресуществления в таинстве евхаристии и проч. Преданный пытке в московском Патриаршем приказе, он оговорил лекаря Дмитрия Тверитинова, его двоюродного брата, цирюльника Фому Иванова, фискала Михаила Андреева и двух торговых людей, Никиту Мартынова и Михаила Минина. Всех взяли в Петербург: допрошенные в сенате, эти лица не были признаны еретиками и в июне 1714 года отправлены в Москву, к Стефану, чтобы освидетельствовать их духовно и принудить принести публичное исповедание веры. Но Стефан, пользуясь тем, что ему дали право духовно освидетельствовать присланных, старался, при помощи разных доносителей, обвинять их, а главным образом Тверитинова, у которого найдены были составленные им сочинения в духе, противном православию. Обвиненные сидели в окопах, но пускались в церковь. В одно из таких посещений церкви, 5 октября 1714 года, Фома Иванов перерубил ножом по лицу образ святого Алексея митрополита, чтобы всенародно показать свой еретический дух. Дело кончилось не ранее февраля 1716 года. Фанатик Фома Иванов был казнен, а прочие, принесшие покаяние, были разосланы под надзор архиереев. Вслед за ересью Тверитинова, в 1717 году, судим был в Преображенском приказе другой кружок вольнодумцев мужского и женского пола, обвиненных в проповедовании противных православию толков о непоклонении иконам и всяким священным вещам и об отрицании церковных преданий. Главными лицами в этом кружке был Иван Зима, с женой своей Настасьей. Всех прикосновенных к этому делу подвергали пытке кнутом, заставили повиниться и покаяться. Царь признавал необходимым,

для прочности и спокойствия государства, охранять единство официальной религии, но лично питал склонность к протестантству и много раз выражал ее непочтением к старорусским суевериям и предрассудкам, глубоко вошедшим во внутренность русской церкви; более всего, что нравилось государю в протестантстве, – было учение о верховности государственной власти над церковью. Московским духовным, получившим киевское образование, не по душе было расположение государя к протестантству, и тем сильнее примыкали они к началам римского католичества; их, кроме того, соблазняли разгульные выходки Петра и его кощунские насмешки над духовенством, выражаемые в вакхических празднествах всепьянейшего собора. Феофан с первого же раза поставил себя иначе и, готовясь к посвящению в епископы, сумел поддаться к Петру, произнеся проповедь о власти и чести царской. В этой проповеди он делал явные намеки на московских духовных, укорявших Петра за разгульную жизнь и проповедовавших самостоятельность духовного класса. «Есть люди, – говорил Феофан, – которым кажется все грешным и скверным, что только чудно, весело, велико и славно: они самого счастья не любят; кого увидят здорового и хорошо живущего, тот у них не свят; хотели бы они, чтобы все люди были злообразны, горбаты, темны, неблагополучны... Многие думают, что не все люди обязаны одинаким долгом, что священники и монахи от этого исключаются, – вот поистине змеиное жало, папешский дух, не знаю каким путем достигший и коснувшийся нас!» Петру пришлось очень по душе такое направление, но духовные не простили его Феофану и подняли против него целую бурю; они старались обвинить Феофана в неправославии и не допустить до епископства; к ним пристали и знаменитые своей ученостью братья греки, Лихуды. Стефан Яворский, вместе с Лопатинским и Вишневым, подбивали других епископов протестовать против посвящения Феофана и просить государя отложить его рукоположение, пока Феофан не отречется от своих неправославных мнений. Но они ничего не могли сделать против воли Петра: царь удовольствовался письменным ответом Феофана, в котором последний опровергал воздвигнутые против него толкования; в доказательство своего расположения Петр обедал у Феофана со своим любимцем Меншиковым, а потом, вызванный в Петербург, Стефан Яворский принужден был отказаться от обвинения и просить у Феофана прощения. Оба соперника облобызались, и дело сложилось так, как будто между ними наступило братское примирение, но на самом деле осталось у них друг к другу взаимное нерасположение.

Феофан сделался епископом, и с тех пор, при всяком удобном случае, старался нравиться Петру; так, говоря проповедь в день Александра Невского, он очень ловко восхвалил царя: «Ты един показал еси дело превысокого сана царского быти собрание всех трудов и попечений... ты являеши нам в царе и простого воина, и многодельнаго мастера, и многоимянитаго делателя, и где бы довлело повелевати подданным должное, ты повеление твое собственными трудами твоими предваряешь и утверждаешь... Аще бы всех князей наших и царей целая к нам пришла история, была бы то малая книжица против повести о тебе едином». Благодаря своей большой начитанности и учености, Феофан, по воле государя, написал «Апостольскую географию», «Краткую книгу для учения отрокам» и знаменитый «Духовный регламент». Его книга для учения отроков вооружила против себя молдавского господаря Дмитрия Кантемира, написавшего без своего имени возражения, в которых указывалась неправославность некоторых выражений Феофана. Таким образом, Кантемир нашел, что Феофан, изъясняя вторую заповедь, причисляет почитание икон к идолослужению, выразившись, что тот есть идолослужитель, кто поклоняется какому-нибудь изображению, боится его и надеется на него, как на имеющего некоторую удивительную силу. Не понравился возражателю намек Феофана и на то, что нередко, под покровом святости, обманщики, ради прибытка, утверждают простых людей в почитании ложных мощей, млека Пресвятыя Богородицы, крови Иисуса Христа и волос бороды Его. Но никакие возражения подобного рода не могли иметь силы, когда все, что ставили в вину Феофану, до чрезвычайности было согласно со взглядами и намерениями государя. Не менее в духе Петра было тогда же написано сочинение Феофана «О мученичестве», где автор



обличал тех фанатиков, которые, будучи недовольны государем за введение иностранной одежды и за бритье бород, сами добровольно отваживались на поступки, которые влекли за собой царский гнев, а нередко и казнь. Из всех русских архиереев, Феофану мог быть один только соперник – Феодосий Яновский, архимандрит Невского монастыря, потом возведенный Петром в сан новгородского епископа. Он был близок к государю, совершал с ним и с Екатериной путешествие за границу почти в продолжение трех лет и, не менее Феофана, усвоил искусство подделываться к Петру; он при всяком удобном случае служил видам царя, и за это его недолго любили духовные. Феофан, впоследствии погубивший этого человека, при Петре старался оказывать ему уважение как старшему, и во всем отдавал ему наружное преимущество. В январе 1721 года учреждена была духовная коллегия, вскоре в том же году переименованная в Святейший правительствующий Синод. Это учреждение руководилось регламентом, сочиненным Феофаном. Председателем Синода по старшинству, с титулом президента, назначен был Стефан Яворский, но на деле более влиятельными были два вице-президента: первым был Феодосий, вторым – Феофан; последний был всех учнее и искуснее в умении угадывать волю государя, а потому он собственно и заправлял всеми важными делами. На первых же порах своего существования Синод посылал распоряжения за распоряжениями: они клонились к уничтожению всех тех обычаев, какие только можно было отменять без нарушения сущности православной веры. Стефан внутренне на многое смотрел иначе, но должен был соглашаться, не отваживаясь идти против воли государя. Только по поводу вопроса «о возношении имени восточных патриархов в церковном богослужении» Стефан заявил было протест. По проекту, написанному Феофаном, Синод определил не упоминать в богослужении имен восточных патриархов, так как после учреждения Святейшего Синода русская церковь в иерархическом отношении обособилась от греческой. Стефан, желая сохранить единство вселенской церкви и независимость ее от всяких национальных видов, сочинил против этого распоряжения вопросы-ответы; но государь не терпел нигде и никогда противоречий своим воззрениям: он приказал Синоду отвергнуть эти вопросы-ответы «яко зело вредные и возмутительные» и послать к Стефану указ, чтоб он никому их не сообщал и не объявлял, «опасаясь не без трудного перед его царского величества ответа». Стефан проглотил эту неприятную пилюлю и, зная, что всему виною Феофан, хотел во что бы то ни стало удалить его из Синода. Упразднилось место киевского митрополита; Стефан предлагал Святейшему Синоду назначить на это место Феофана, но Петр не поддался на эту уловку. Стефан видел, что ему ничто не удастся: еще со времени смелой проповеди против фискальства Петр невзлюбил его, и хотя не делал ему решительного зла, но всегда почти обращался с ним холодно, отвергал всякие его заявления и делал все наперекор ему. В июле 1722 года Стефан письмом к царю просил прощения за все, в чем царь считал его виновным, и по-прежнему желал, чтоб его уволили на покой. Ему не отвечали. Осенью в том же году Стефан скончался. Синод остался без президента с двумя вице-президентами.

Значение Феофана все более и более усиливалось; ловкий архиерей всегда умел кстати представлять перо свое к услугам государя, сообразно текущим обстоятельствам. Когда Петр издал знаменитый указ 5 февраля 1722 года о престолонаследии, Феофан взялся, по царской воле, защищать, всю силою научных доводов, справедливость и полезность такого закона и напечатал книгу «Правда воли монаршей». Потакая давнему и постоянному стремлению Петра быть фактическим господином и правителем русской церкви, Феофан написал и напечатал «Розыск исторический», в котором доказывал, что христианский государь имеет право управлять делами церкви, хотя ему неприлично отправлять богослужение. Петра, по соответствию с событиями его собственной жизни, занимал вопрос о браках; Феофан написал два рассуждения: одно – «О браках правоверных с иноверными», другое – «О правильном разводе мужа с женою». В последнем – Феофан полагает, что в случае развода, совершившегося по вине одного из супругов, можно дозволить вступать в новый брак не только невинному лицу, но и виновному, потому что супруг прелюбодейный в первом супружестве может быть верным во втором. Феофан, по воле государя, составлял небольшие

увещания к раскольникам, которые публиковались в виде указов от Святейшего Синода; между прочим, им были написаны: увещание о том, чтобы раскольники безбоязненно являлись в Синод для рассуждений о своих сомнениях, сочинение: «О продерзателях, нерассудно на мучение дерзающих», которое Святейший Синод предписал читать два раза в месяц, и сочинение: «О поливательном крещении», где доказывалось, что поливательное крещение имеет такую же силу, как и крещение с погружением. Последнее сочинение навлекло на Феофана укору не только от раскольников, но и от православного духовенства.

В своих проповедях Феофан постоянно касался современных событий и при всяком случае восхвалял деяния Петра, так что его «Слова и речи», изданные при Екатерине II, могут считаться скорее не церковными проповедями, а политическими руководящими статьями. В своих восхвалениях Петру Феофан мало пускался в праздную риторику, но всегда касался практической стороны и полезности для государства мероприятий государя. Все тогдашние уставы, касавшиеся церковного управления, писаны были Феофаном. Он составил устав семинарии или духовной академии, которую Петр предположил завести для приготовления пастырей церкви. Феофан составил духовный штат, не приведенный в исполнение при жизни Петра. Наконец, в январе 1724 года, Феофан, соображаясь с видами государя, по его приказанию, написал указ об устройении монашества, указ, которым предполагалось поставить монастыри по древнейшему образцу на такую степень, чтобы иноческое житье отнюдь не было бесполезным и монастыри не делались притоном ленивцев, но приносили бы свою пользу обществу, как и все другие общественные учреждения. Труды Феофана не ограничивались сферой церкви. Как человек, владевший хорошо пером, он, по поручению Петра, писал уставы и законоположения, относившиеся к другим сферам государственного порядка; так, им написано было предисловие к морскому регламенту. Вероятно, и в других случаях употреблял его Петр: между прочим известно, что в 1722 году Феофан получил поручение от государя пополнить историю Петра, написанную неизвестно кем, быть может, самим Петром; она в значительной степени была исправлена и выглажена Феофаном, а напечатана была уже при Екатерине II. Эта история обнимает первую половину царствования Петра до Полтавской битвы.

Несмотря на близость Феофана к государю, любимец Петра не получил материальных богатств, как бы следовало ожидать, и постоянно жаловался на скудость. Государь пожаловал ему два подмосковных села, но, по свидетельству Феофана, по причине хлебных недородов, они приносили ему на первых порах убыток вместо пользы. Его псковская епархия была бедна и не доставляла ему надлежащих средств для прожития в Петербурге; царь поддерживал его своими частными подачками.

Петр Великий скончался; псковский архиерей вместе с тверским присутствовали при его смертном одре. Возник важный вопрос о наследстве. Феофан много способствовал возведению на престол Екатерины и, со свойственной ему убедительностью, доказывал, что хотя покойный государь не оставил завещания, но достаточно указал на свою волю, короновавши императрицу Екатерину. Он припомнил, как Петр, накануне ее коронации, говорил своим верным слугам, что коронует ее с тою целью, дабы она по смерти его стала во главе государства. По предложению Феофана, акт провозглашения Екатерины императрицею положили назвать не избранием, а только объявлением в том смысле, что еще при жизни своего супруга она была избрана править по его кончине государством, а теперь только объявляется об этом во всенародное сведение. Екатерина была признана и в значительной степени была обязана своим воцарением ловкости Феофана. При погребении Петра Феофан произнес речь, считающуюся лучшею из говоренных им в своей жизни речей.

При Петре Феофан действовал как один из вернейших исполнителей, пособников и, так сказать, угадывателей воли Петра; он действовал преимущественно в литературной сфере и старался всегда применяться к текущим событиям своего времени. После Петра Феофан вращается в государственной сфере; он – один из могучих людей своей страны и своего века, но его деятельность выразилась, главным образом, в постоянной борьбе с тайными и явными врагами и соперниками. Феофан всегда выходил победителем и безжалостно уничтожал все,

что только отваживалось заявлять против него вражду. Первою жертвою его был человек, которому некогда он старался угождать – новгородский архиепископ Феодосий. Этот сановник, зазнавшись своим значением, позволил себе неосторожные выходки, которыми тотчас воспользовались те, которые могли на его погибели устроить свое собственное возвышение. Не пропущенный во дворец через мост караульным солдатом, Феодосий, махая палкой, сказал: «Я лучше светлейшего князя!» Этим он раздражил Меншикова, которому не преминули донести о выходке архиерея. Через несколько дней после того, находясь в синодальной палате в кругу духовных, Феодосий в разговоре с ними жаловался, что в его время нет доброжелательства к духовному сословию, и по этому поводу угрожал гневом Божиим и междоусобною бранью. Многие духовные уже прежде не любили Феодосия за его высокомерие и заносчивость. Феофан и с ним трое архимандритов, заседавших в Синоде, подали императрице донос в том, что Феодосий произнес «слова противные и молчания не терпящие». Государыня 24 апреля дала повеление арестовать Феодосия и допросить. На другой день после этого ареста спрошены были другие синодальные члены. Тверской епископ Феофилакт Лопатинский показал, что преосвященный Феодосий бранил весь российский народ «безумными, нехристианами, горшими турков и всяких варваров, атеистами и идолопоклонниками, говорил, что над церковью совершаются тиранства, толковал, что болезнь государю Петру пришла смертельная от безмерного женоневежества и от Божия отмщения за его посяжку на духовный и монашеский чин», что «излишняя его охота к следованию тайных дел показывает мучительское его сердце, жаждущее крови человеческой». Другие члены также не добром помянули Феодосия в своих ответах, когда им задавали вопросы. Новгородский архиепископ просил письменно милости и прощения у государыни, винился в том, что на мосту назвал часового, не пропустившего его во дворец, дураком, но отрицал приписываемые ему речи, будто бы произнесенные в синодальной палате, и уверял государыню, что он, по верности своей к ней, прежде других учинил и подписал ей присягу. Но потом, при вторичных допросах, Феодосий сознался в некоторых неблагоприятных замечаниях, произнесенных перед тверским архиереем о том, что сенаторов пригласили ко столу во дворец, а синодальных членов не пригласили, и что теперь ухаживают за сенаторами, а когда окажется несогласие в народе, тогда начнут ухаживать и за духовенством. Феофан не остановился на первом ударе, нанесенном своему сопернику, но пользуясь тем, что последний начинает сам виниться, настоял, чтобы у Феодосия забрали всю его переписку и арестовали нескольких монахов из Невского монастыря. 11 мая составлен был Феофаном указ, подписанный государыней, о ссылке Феодосия в дальний корельский монастырь, на устье Двины. 13 мая этот приговор был публично прочитан; вслед за тем Феодосия отвезли в место заточения и поместили в келье, устроенной под церковью. Вместе с Феодосием был осужден и сослан в Соловецкий монастырь за разные неисправности синодальный обер-секретарь Варлаам Овсянников. Потом сделан был допрос другим лицам, арестованным по делу Феодосия; из них один, Григорий Семенов, думал очернить и самого Феофана, но ему не удалось, и, запутавшись в собственном доносе, доносчик был осужден на смерть за то, что, слышавши по собственному сознанию от Феодосия и Варлаама Овсянникова «злохулительные слова на царскую особу», вовремя не донес. Монахи Невского монастыря, арестованные по делу Феодосия, наговорили на своего опального владыку, что он принуждал их, как своих подчиненных, присягать на верность себе, словно царствующей особе. Тогда составлено было «объявление о Феодосии», в котором изложены были вины новгородского архиепископа. Оно было отдано на просмотр Феофану. Феофан, воспользовавшись этим, двинул дело до того, что Синод, по высочайшему повелению, приказал снять с Феодосия архиерейский и священнический сан и посадить его в тюрьму с малым оконцем, не допускать к нему близко людей и не давать ему для пропитания ничего, кроме хлеба и воды. Граф Платон Мусин-Пушкин, по царскому повелению, приехал в корельский Никольский монастырь и пригласил туда холмогорского архиерея. Последний в церкви снял с Феодосия сан, а потом Феодосий был посажен в ту же келью, где сидел прежде, но уже не в архиерейском сане, а в звании простого монаха, под именем чернеца

Федоса. В его келье заложили большое окно и оставили для света маленькое отверстие в четверть аршина; его тюрьма была с тройною дверью за замками и печатями; у двери поставлены были двое солдат. Как и чем существовал чернец Федос в своей тюрьме от половины октября до конца января 1726 года, – неизвестно, но в конце января архангельский губернатор Измайлов приехал в корельский монастырь и приказал перевести узника в другую тюрьму: Феодосий был так слаб, что не мог ходить, и его перенесли на руках, а 5 февраля караульный фендрих Григорьев рапортовал губернатору, что чернец Федос умер. Тело Федоса, по указу тайной канцелярии, вынули из земли, отвезли в Кирилловский монастырь и там похоронили 12 марта. 25 июня того же года императрица сообщила Святейшему Синоду, что она соизволила Феофана, псковского архиепископа, перевести на новгородскую архиепископию.

Тогда началось у Феофана небезопасное для него дело с бывшим архимандритом Маркеллом Родышевским, до того времени находившимся прежде в приближении у Феофана. Этот Маркелл сообщил Феофану, что какой-то солдат на улице сделал ему намек о колокольном набатном звоне, за которым должен последовать народный мятеж, с целью погубить духовных, подозреваемых в неправославии и поругании святых икон. Феофан донес об этом правительству, и так как донесенное ему Маркеллом касалось народного возмущения, то Феофан сдал Маркелла в страшный Преображенский приказ. Там Маркелл начал наговаривать на Феофана, показывая, между прочим, что он дурно отзывался об императрице. Немного спустя, Маркелл начал сыпать на Феофана в 47 пунктах обвинения в неправославии, которое, по его объяснению, высказалось во многих сочинениях Феофана; Маркелл указывал, будто из этих сочинений видно, что автор их думает, что христианин может оправдаться перед Богом верою, а не делами с верою, что он не признает, как следует, творений святых отцов, не почитает икон, называет суеверием водоосвящение, смеется над акафистами, порочит минеи, прологи и кормчую книгу, держит у себя в доме музыку, говорит, что хорошо было бы ввести ее в церквях и прочее. Тайная канцелярия взяла с Феофана подробное и письменное опровержение таких обвинений, но кто знает, как бы Феофан тогда отделался, если бы, на его счастье, не пал скоро Меншиков, находившийся уже не в дружелюбном отношении к новгородскому архиепископу, и потому мирволивший Родышевскому. С падением Меншикова, Феофан уже смелее и резче прежнего опровергал своего противника Родышевского, освобожденного из Преображенского приказа по распоряжению верховного тайного совета и проживавшего в Невском монастыре. В январе 1728 года Маркелл бежал оттуда в Москву, был пойман по распоряжению Феофана и привезен в Синод, но тут объявил за собой «государево слово» и был снова взят в Преображенский приказ, где продолжал писать на Феофана доносы; потом его отпустили в Симонов монастырь и приказали содержать под караулом, но караул этот не был строг. К этому времени двор переехал в Москву, совершилась коронация Петра II, затем – его смерть, призвание на престол Анны Ивановны. Потрясения, происходившие тогда одно за другим, многих погубили, но Феофан только пользовался ими, чтобы крепче утвердиться. Ловкий и проницательный, он смекнул, что затеи членов верховного тайного совета ограничить самодержавие со вступлением Анны на престол не осуществятся, что самодержавие слишком приросло к общественной русской жизни, и, несмотря на все свои подписки и обещания, Анна возвратит русскому престолу известную форму, от которой ее принуждали отречься. Феофан стал на сторону противников верховного совета; не смея пока открыто действовать против него, Феофан молчал, когда нужно было еще молчать, втайне смеялся над верховниками и побудил, прежде совершения присяги в смысле нового образа правительства, прочитать публично форму этой присяги. Верховники, не смея, со своей стороны, резко заявить своих намерений, создали тогда такую форму присяги, которую присягавшие не вполне, так сказать, раскусили. Феофану этого и было нужно, чтобы потом была возможность толковать, что дело понималось совсем не так, как его хотели представить сторонники ограничения царской власти.

Когда Анна была встречаема в Москве, Феофан не посмел высказать ей публично того,

что было бы ей приятно, но в своей речи, которую произносил перед нею, вставил несколько двусмысленных выражений, на которые впоследствии можно было указать, как на свидетельство его верности самодержавию. Есть известие (неизвестно – верно ли), что Феофан подарил Анне столовые часы, в которых под доскою государыня могла найти начертанное Феофаном наставление, как поступать ей. Не долго пришлось Феофану таиться и виллять. По просьбе, представленной разом несколькимистами человек из шляхетства, Анна отреклась от условий, на которых принуждена была принять престол от верховного совета, разорвала их публично, и самодержавная власть государя была восстановлена в России на прежних, стародавних основах. Феофан спешил и в речах и в стихах прославить это событие, подсмеиваясь над неудавшимися затеями и угрожая тем, которые бы когда-нибудь вздумали повторить подобные затеи:

Всяк, кто ни мыслит вводить строй отманний,  
Бойся самодержавной, прелестницы, Анны:  
Как она бумажка вси твои подлоги.  
Растерзанные, падут под царские ноги.

В наступившее царствование, Феофану опять, до самой своей смерти, пришлось бороться с кознями своих врагов.

Родышевский, проживая в Симоновом монастыре, сошелся с духовником государыни, троицким архимандритом Варлаамом, с бывшим директором типографии Аврамовым, занимавшимся при Петре писанием истории, и с другими лицами. Было намерение повредить Феофану через посредство духовника государыни. Но все козни не удались. Родышевский написал житие Феофана, стараясь выставить в самом дурном свете своего противника, а главное – обвинить его в неправославии. Тот же неугомонный Родышевский составил огромную критику на духовный регламент и на объявление о монашестве; Родышевский силился разбить взгляд Петра на монашество, выраженный в указе, в котором излагался проект нового преобразования монастырей. Маркелл прямо называл эти документы сочинением Феофана. Феофан, со своей стороны, написал ответ, защищая новый взгляд на монашество, но Маркелл не расчел того, что, поражая Феофана за такие сочинения, которые были изданы не от его имени, а как правительственные документы, он вызывал на борьбу с собой уже не Феофана, а правительство, и потому в январе 1732 года ему поставили это в вину и, по высочайшему повелению, сослали в заточение в Кирилло-Белозерский монастырь, разом с ним отправили Аврамова и еще двоих лиц в монастыри. Варлаам успел в пору увернуться.

Зато в 1732 году Феофан низложил своего злейшего врага Дашкова, который, будучи членом Синода и энергическим приверженцем старины, давно уже думал сделать вред Феофану, тем более, что у него были в душе честолюбивые мечты сделаться патриархом. Случилось, что Синод должен был судить воронежского архиерея Льва Юрлова за то, что, уже после вступления на престол Анны Ивановны, этот архиерей, вместо нее, поминал при богослужении мать Петра II, Евдокию Феодоровну, объясняя это впоследствии тем, что не получил указа от Синода о вступлении на престол новой государыни. Когда в Синоде собирались составить указ о том, чтобы воронежского архиерея арестовать и везти в Петербург, Георгий Дашков советовал помедлить, подождать нового доношения от воронежского губернатора по этому делу, а когда привезли Льва в Петербург, то последний показал, что он просил заступничества у Георгия Дашкова. Льва лишили сана и предали гражданскому суду, но и Георгия, как уличенного заступника его, удалили из синода в монастырь. Тогда Феофан поднял против Георгия дело о взятках в ростовской епархии; это дело решилось не в пользу Георгия, и Феофан испросил у государыни построже наказания виновному: его лишили сана и сослали в Каменный вологодский монастырь.

Пользуясь большим почетом у императрицы Анны, Феофан употреблял свое положение для того, чтобы вредить своим врагам и преследовать даже тогда, когда они

находились в совершенном падении; Феофан был безжалостен не только к своим врагам, но не прощал и тем, которые оказывали сострадание к его бессильным врагам. Бывший некогда коломенским митрополитом, Игнатий Смола, сторонник Дашкова и давний недоброжелатель Феофана, был сослан в Свяжский монастырь за нерешительность в деле осуждения Льва. Его принял радушно казанский митрополит Сильвестр Холмский. За это, по настоянию Феофана, Игнатия выслали подалее на берег Северного моря, в Никольский корельский монастырь, для содержания под крепким караулом, а Сильвестра, у которого при обыске в бумагах нашли доказательства, что и он не менее Игнатия и Георгия питал злобу к Феофану, сослали в Крипецкий монастырь близ Пскова. Сильвестр объявил за собою «слово и дело» и привезен был в Москву; там он запутался в показаниях: тогда его лишили сана и сослали в заточение в Выборг. Дашков, сосланный в вологодский Каменный монастырь, принял схиму под именем Гедеона, но Феофан узнал, что его держат в монастыре с послаблением, и отправил секретно синодского обер-секретаря Дудина узнать об этом подробно. Оказалось, что монастырское начальство действительно обращалось с заточенным ласково. По этому поводу взяли под арест каменского архимандрита и казначея, привезли обоих в Петербург к суду Синода. Архимандрит, страшась пытки, умер в тюрьме; по показанию казначея, притянули к делу вологодского архиерея Афанасия Кондоиди, за то, что он переменял у Георгия Дашкова караульных служителей. Афанасий как-то отделался от беды и, воротившись в свою епархию, начал содержать Дашкова уже с такою строгостью, что даже сам Синод приказал сделать послабление осужденному. Дашков от тоски заявил, что у него есть «государево слово и дело», но Синод, руководимый Феофаном, не обратил внимания на это заявление низложенного архиерея и приказал сослать его в Нерчинский монастырь в той надежде, что, находясь в такой дали, он уже не будет беспокоить правительство.

Еще Стефан Яворский написал книгу «Камень веры», направленную, главным образом, против лютеранства; она была издана уже после смерти автора, в 1728 году, под наблюдением тверского архиепископа Феофилакта Лопатинского. Вслед за тем в Лейпциге явилось на латинском языке опровержение этой книги, сочиненное Буддеем, человеком в свое время знаменитым по учености. Рецензент обвинял Яворского в угодничестве католичеству и предостерегал русских от его книги. Тогда в России появилось сочинение в защиту Яворского, составленное доминиканцем Рибейра, находившемся при испанском посланнике герцоге Делирия, а потом сам Феофилакт написал «Возражение на письмо Буддея», но не добился у правительства дозволения издать свое сочинение. Тогда как Феофилакту не позволили писать сочинение в защиту Яворского, книга Рибейры была переведена на русский язык двумя духовными лицами, архимандритами и членами Синода: Евфимием Коллети и Платоном Малиновским. Против «Камня веры» написан был «Молоток на Камень веры», сочинение в протестантском духе. Феофан, и прежде расположенный к протестантству, увидел, что открыто стать на протестантскую сторону теперь будет выгодно, потому что, с могуществом любимца императрицы Анны, Бирона, немцы-лютеране подняли голову и получили первенствующее значение в России. Феофан притянул в тайную канцелярию переводчиков книги Рибейры и написал кабинетным министрам записку, в которой старался льстить протестантам, наводившим тогда служебные сферы в России. «Иностранных в России мужей, – выражался Феофан о Рибейре, – ругательно нарицает человечками или людишками и предает, что русское государство их питает, а церковный закон оным гнушается... презуса петербургской академии, злодейством опорочив, предает сию речь: и то не дивно понеже вси лютеране суть, что таковая их правда и вера в делах гражданских. Всех сплошь протестантов, из которых многое число честные особы и при дворе, и в воинском и в гражданском чинах рангами высокими почтены служат, неправдою и неверностью помарал, из чего великопочтенным особам не малое учинил огорчение».

Противники Феофана не позволяли ему торжествовать, и, при невозможности ратовать против него открыто, стали писать подметные письма. В одном из таких писем обвиняли Феофана даже в наклонности к папизму. Автор укрылся, но Феофану хотелось во что бы то ни стало сыскать его, и подозрение упало прежде всего на одного из давних его врагов,

Аврамова, содержащегося в Иверском монастыре. По настоянию Феофана, произведено было над Аврамовым следствие, но оно ничего не открыло. Тогда Феофан принялся за Евфимия Коллетти и Платона Малиновского, принимавших участие в переводе книги Рибейры на русский язык; с ними были арестованы еще несколько лиц духовного звания. Феофан старался представлять императрице, что в этой полемике, поднятой против него в защиту Стефанова сочинения, видны иностранные, враждебные России, происки. И Евфимий, и Платон в 1734 году были исключены из числа членов Синода; у них отняты были монастыри, которыми они управляли, а в июне 1735 года Евфимий Коллетти был лишен священства и монашества и переименован в прежнее мирское имя Елевферия. После расстрижения, его подвергли допросам и пыткам. К делу привлекли директора московской синодальной типографии Барсова и с ним типографских рабочих: было подозрение, что самая книга Рибейры в подлиннике печаталась тайно не за границею, а где-нибудь в России. Но розыск по этому вопросу не привел ни к чему, кроме догадок. Отыскивая составителя подметного письма, Феофан ухватился, между прочим, за секретаря придворной конторы Яковлева, сосланного по делу Алексея Петровича в Сибирь и возвращенного Екатериной I. Яковлев, под страшной пыткой, наговорил на другого Яковлева, учителя греческого языка; у последнего нашли проповеди, с приписками в виде примечаний, давнего Феофанова врага Маркелла Родышевского, жившего в заточении в Кирилловском монастыре. Феофан приказал привезти Маркелла в Петербург, – но на след сочинителя подметного письма не попали. Феофан возбудил подозрение на Иосифа Решилова, который, бывши прежде в расколе, по принятии православия употреблялся Синодом в разных поручениях по раскольничьим делам и находился в связи с Феофилактом Лопатинским. Взятый в тайную канцелярию, Решилов в своих показаниях притянул к делу калязинского архимандрита Иоасафа Маевского. За ним начали таскать в тайную канцелярию других духовных, и наконец тверского архиерея Феофилакта Лопатинского. Допрашивая Феофилакта, старались запутать его в дело о произнесении разных сомнительных слов о престолонаследии и держали под стражей. Участь его была решена уже по смерти Феофана.

Но в то время, когда Феофан беспощадно старался отыскать автора подметного письма, сильно раздражившего его, появился другой пасквиль на Феофана и вместе на государыню, пасквиль, присланный, вместо доношения, из новгородской губернской канцелярии. Подьячие этой канцелярии были наказаны кнутом, виновника же не нашли. Много лиц притянуто было к делу о подметных письмах; много людей сидело в тюрьмах и подверглось страшным пыткам. Шли месяцы за месяцами, пошел новый 1736 год; наконец 8 сентября этого года, в половине пятого часа пополудни, Феофан скончался. О смерти его сохранилось известие, что, чувствуя приближение кончины, он приставил ко лбу указательный палец и сказал: «О главо, главо, разуму упившись, куда ся приклонишь». Тело его отправлено было водяным путем в Новгород и погребено в Софийском соборе. Из завещания его видно, что, кроме деревень, приписанных к его сану, которые после его смерти были взяты в казну государыни, у него было несколько деревянных и каменных домов в Петербурге и Москве, библиотека, стоившая 4500 рублей, и много ценных вещей, между прочим 149 картин, писанных масляными красками.

Феофан был одним из самых ученых и развитых людей своего времени, но вместе с тем резко носил на себе все пороки своего века. Пока жив был Петр, Феофан был деятельным, энергичным и полезным его сотрудником: где только нужна была умственная жизнь, ученый труд и свежая мысль, обращенная к практическим потребностям времени, там Феофан являлся понятливым и трудолюбивым исполнителем предположений и видов Петра, преимущественно в сфере церкви и народного воспитания. Умевши приобрести доверие и расположение государя, он, в то же время, умел соблюдать со всеми окружающими доброе согласие и отличался характером благодушия, украшающего ученого человека. Но после кончины своего покровителя, Феофан неожиданно очутился в страшном омуте интриг, козней и лукавства. Ему приходилось: или подвергнуться опасности быть выкинутым из общества, в котором жил, сохранивши за собою память честного человека, – или,

предупреждая угрожавшие ему опасности, начать без зазрения совести выкидывать всех тех, которые становились ему на дороге и даже могли, по его соображению, сделать ему какое-нибудь зло. Феофан, сообразно своей природе, выбрал последний путь, и из мирного ученого времен Петра стал, после его кончины, ужасным тираном, не разбиравшим никаких средств, когда приходилось толкать других, мешавших ему на пути, – стал бессердечным эгоистом, безжалостным мучителем, который тешился страданиями своих жертв даже и тогда, когда они переставали быть для него опасными.

## Выпуск седьмой: XVIII столетие

### Глава 20

#### Фельдмаршал Миних и его значение в русской истории

У людей с громадным умом и сильной волей, людей, способных к разносторонней деятельности, бывают, однако, предметы, которым они предаются более чем другим и, так сказать, *показывают* к ним пристрастие. У Петра Великого было такое пристрастие к воде. Плавать по воде, направлять воду так, чтоб она приносила человеку пользу и не причиняла вреда – то были излюбленные занятия Петра. Водоплавание до того занимало его существо, что он вздумал основывать посередине материка в Воронеже гавань и не глубоководный Дон хотел сделать прямым путем в Черное море. Многоводный Петербург, его создание, был его избранным «парадизом», куда он волей и неволей тянул обитателей со всего своего широкого государства, и никто не смел ему жаловаться на сырой и нездоровый воздух этого парадиза. Устройство доков, прорытие каналов, постройка и спуск на воду суден – все это было приятно сердцу Петра и доставляло ему поводы проявлять праздничные удовольствия. Понятно, что при такой любви к воде государь русский и на Руси, и за границей искал людей, которые бы, подобно ему, любили те же водяные упражнения и могли быть верными и способными исполнителями его начертаний. И никто в этом отношении не был великому государю до такой степени подходящим человеком как Миних, так же, как Петр, разносторонний, ко всему способный, подвижный, неутомимый и так же до страсти лелеявший водяное дело. Миних был уроженец края, лежащего при Немецком море. Край этот в приморье, между Везером и Бременской областью с востока, епископством Мюнстерским и графством Остфрисландским с запада и Брауншвейгского курфюршества владениями с юга, с XII века заключал в себе два отдельных графства – Ольденбургское и Дельменгорстское, которые в начале XIV века соединились в одно владение, но потом не раз снова разделялись и снова соединялись. В половине XV века сын графа ольденбургского Дитриха, Христиан, был избран датским королем, и с тех пор судьба этого края тесно связывалась с судьбою Дании, хотя по временам там являлись отдельные владетели, а с половины XVII века оба графства прочно вошли в датские владения. Вообще край этот, по своему топографическому положению, был чрезвычайно обилен водой и подвергался частым наводнениям, а одна из волостей, на которые разделялся этот край, Вюстелянд (Die Vogtey Wüsteland), где родился Миних, была совершенным болотом; проведение каналов и устройство плотин, шлюзов и мостов было делом первой необходимости для обитателей; без этого там и жить было невозможно.

Род Минихов принадлежал к крестьянскому сословию, и члены этого рода из поколения в поколение занимались делом построения плотин и вообще водяным делом: прадед и дед нашего Миниха были главными плотиностроителями в своей маленькой вюстеляндской волости, а отец его, Антон-Гюнтер Миних, служил в датской службе с чином подполковника, и потом получил от датского короля звание главного надзирателя над плотинами и всеми водяными работами в графствах Ольденбургском и Дельменгорстском. Он получил дворянское достоинство, которое утверждено было впоследствии императором



Леопольдом в 1702 году. Будучи на датской службе в означенной выше должности, Антон-Гюнтер Миних проживал со своим семейством в своем имении в деревне Нейнгунтторфе, и там у него, от брака с Софией-Катериной, урожденной фон Эткен, родился 9-го мая 1683 г. второй сын, Бурхард-Христоф, герой настоящего жизнеописания.

Еще в нежном детстве и потом в отрочестве он показывал необыкновенные способности, всему скоро выучивался, все легко перенимал. Будучи девяти лет, он срисовывал чертежи и планы, сопровождал родителя в его поездках по служебной обязанности и переписал составленную отцом его книгу о водяных работах в Ольденбургском графстве. Мальчик для своих чертежей не имел других инструментов, кроме купленных им на сбережение, оставшееся от путевых издержек в Курляндию, куда он провожал сестру свою, вышедшую там замуж. В 1699 году Антон-Гюнтер оставил датскую службу и получил должность в соседнем Остфрисландском княжестве. Молодой Бурхард-Христоф продолжал учиться, приобрел основательные математические познания, выучился по-французски. Когда ему исполнилось шестнадцать лет, отец отпустил его во Францию, где молодой человек вступил в военную службу по инженерной части, но вскоре оставил ее, услышавши, что между Францией и Германией будет война: ему пришлось бы воевать против соотечественников и участвовать в пролитии немецкой крови. Покинув Францию, он определился в Германии в гессен-дармштадтский корпус, готовившийся воевать с французами. В то время у немецкой молодежи разгорался патриотический фанатизм. Со слов манифеста, обращенного ко всем вообще немцам, они кричали, что французы – наследственные враги немецкого племени, что они постоянно злословят и унижают немецкий народ; не забытые еще свирепства, допущенные французами при покорении Эльзаса, придавали этой вражде оправдание необходимости возмездия. Такой дух господствовал тогда между всеми немцами, исключая баварцев, которые одни были тогда союзниками Франции. Миних, получивши чин капитана, данный ему потому, что в нем заметили необыкновенные по летам сведения в военном деле, участвовал в осаде и покорении города Ландау, где гессен-дармштадтское войско трудилось вместе с баденцами. Но скоро после того гессен-дармштадтское войско отступило; отец Миниха пригласил сына к себе и убедил его занять должность главного инженера в Остфрисландском княжестве. Это случилось в 1702 году, именно в тот год, когда Антон-Гюнтер получил от императора утверждение в дворянском достоинстве, пожалованном ему датским королем. Молодой Миних не долго жил у остфрисландского князя Эбергарда, служа по инженерной части. Его манила в Дармштадт сердечная любовь. Там приглянулась ему двора гессен-дармштадтского фрейлина Христина-Лукреция Вицлебен, красивая особа двадцати лет от роду. Миниху было двадцать два года. Это произошло в 1705 году. Он вступил в брачный союз с этой особой, которая стала его подругой в истинном значении этого слова, преданной ему до своей кончины и разделявшей с ним все его труды и опасности.

В то время гессен-кассельский корпус выступил на военное поприще против Франции, на англо-голландском жалованье. Миних определился в этот корпус и скоро получил майорский чин. Он был в походах, предпринятых под предводительством Евгения Савойского и герцога Марльборо, и имел возможность присмотреться к воинским приемам этих величайших своего века полководцев. Под начальством Евгения Миних участвовал при очищении от французов верхней Италии, и хотя гессенцы потерпели было поражение при Кастильоне, но скоро Евгений поправил дело, поразивши французов при Турине, и предпринял вторжение в Прованс, окончившееся единственно покорением Сузы. Но потом, когда французы совсем оставили Италию, Евгений перенес оружие в Нидерланды, где воевал уже Марльборо, и гессен-кассельский корпус направился туда же; в нем продолжал служить Миних. В 1708 году он находился в битве при Уденаре: то была первая генеральная битва, в которой пришлось быть нашему герою; он находился также при долговременной осаде и взятии Лилля, при взятии Брюгге и Гента. После того открылись мирные переговоры, и гессен-кассельский корпус отступил на зимовку в Германию. Следовавшая за тем зима была необыкновенно суровая и жестокая: это – та зима, которая у нас в Малороссии истребила

значительную часть шведских сил, заведенных туда Карлом XII. Мирные попытки не имели успеха, и с весны 1709 года опять начались военные действия между немцами и французами. Миних с гессен-кассельцами участвовал во взятии Турнэ и в битве при Мальплакэ, кровопролитнейшей из всех битв в XVIII веке (31 августа, или 11 сентября н.с., 1709 г.). В следующих годах, 1710 и 1711, немецкие войска почти не принимали участия в войне, а в 1712, когда уже в Утрехте происходили переговоры между враждовавшими сторонами и все в Европе клонилось к миру, служивший под знаменами принца Евгения голландец генерал Абермерль получил приказание от своего главного командира охранять устроенные для войска магазины с запасами. Но Англия вела переговоры с Францией о мире, и вследствие этого английские войска внезапно отступили от Евгения; отброшенный Евгений не мог подать помощь отряду, охранявшему магазины; Абермерль был взят в плен со множеством генералов и штаб-офицеров. В этот день и служивший в гессен-кассельском войске подполковник Миних был проколот в нижнюю часть живота, лишился чувств и был взят в плен французами. С ним обращались очень человеколюбиво и внимательно, перевязали ему рану, ухаживали за ним и, когда он стал подниматься с постели, отправили в качестве военнопленного куда-то во Францию (в Париж или в Камбре?). Там продолжали ему оказывать врачебное пособие, а между тем, он познакомился с знаменитым архиепископом Фенелоном. О беседах с этим человеком Миних любил вспоминать уже в старости как о приятнейших минутах в жизни, проведенных в сообществе с таким светлым умом.<sup>212</sup>

Миних оправился и получил свободу. Война за испанское наследство прекратилась. Миних прибыл в Кассель, получил чин полковника и, находясь еще два года в гессен-кассельской службе, занимался своим, любимым с детства, водяным делом – он наблюдал за устройством канала и шлюз в Карльсгагене. Но его чрезвычайно живой нрав и потребность сильных ощущений увлекали туда, где могла открыться ему военная деятельность. Запад Европы умиротворился; на востоке еще не кончилась великая Северная война. В 1716 году Миних поступил в службу курфюрста саксонского и короля польского Августа. Он устроил польскую коронную гвардию, произведен был в чин генерал-майора и получал четырнадцать тысяч рейхсталеров годового жалованья. Ему было там недурно. Но он не поладил с некоторыми особами и, главное, не ужился с гр. Флеммингом, любимцем короля Августа. Уже прежде многие генералы через этого человека оставляли польскую службу. И Миниху пришлось то же испытать. Миних с 1719 г. стал себе выискивать иного отечества. Он колебался, к кому ему пристать из двух соперников: к Карлу XII или к Петру I. Карл положил свою буйную голову под Фридрихсгамом, и Миних остановился на Петре. Он познакомился с его посланником в Варшаве, князем Григорием Долгоруким, передал ему для сообщения царю свое сочинение о фортификации. Этим путем Петру стал известен Миних, и в следующем 1720 году кн. Григорий Долгорукий предложил Миниху ехать в Россию и там служить в должности генерал-инженера, обещая немедленное повышение в чин генерал-поручика. Миних, как видно, уважал Петра, и очень хотелось ему попасть в службу к такому государю, о преобразовательных подвигах которого трубили тогда в Европе. Миних согласился тотчас и не сделал даже с российским послом никаких письменных условий: впоследствии, поближе увидевши Россию, он счел уместным ограничить свою излишнюю доверчивость. Миних не открыл королю Августу своего намерения поступить в русскую службу, а сказал, будто едет к старому отцу на свою родину. Выехавши из Варшавы, он через Кенигсберг и Ригу проехал в Петербург, куда прибыл в феврале 1721 года.

С этого времени Миних стал всецело принадлежать России, и его имя вступило в ряд

---

<sup>212</sup> Между прочим, оставались долго у Миниха воспоминания о том, как Фенелон, по случаю какого-то богородичного праздника, говорил в церкви, что не следует Богородице воздавать почести как божеству и посреднице между Богом и людьми: за такие слова, по замечанию Миниха, проповедник в соседнем крае, в австрийских Нидерландах, подвергся бы обвинению в ереси и посрамлению. По поводу ранней смерти наследника французского престола, герцога Бургонского (родителя Людовика XV), Фенелон выразился, что, верно, Бог не жалуется Францию, когда отнимает у нее принца, который был бы хорошим королем.

имен знаменитых деятелей в русской истории. Ему было 37 лет от роду. Он был высок ростом, чрезвычайно статно сложен, красив лицом; его высокий открытый лоб и быстрые пронизательные глаза с первого раза выказывали то величие духа, которое заставляет любить, уважать и во всем повиноваться. Но вместе с тем он показался очень моложавым по своим летам. Многие в русской службе, отличавшиеся в войне против шведов, были старше нового пришельца летами и временем службы и оставались в генерал-майорском чине. Особенное предпочтение новопоступившего было бы для них оскорбительно. Притом, Петру самому хотелось испытать новичка. Царь приказал ему сопровождать его в разных поездках, показал ему сам адмиралтейскую верфь в Петербурге, съездил с ним вместе в Кронштадт, потом в Ригу, обзирал разные укрепления и со вниманием слушал замечания Миниха, делал при его глазах смотр войскам, и также по этому поводу выслушивал его речи, а между тем, в чин его не производил, как надеялся Миних, получив обещание от кн. Долгорукого. Неожиданный случай порешил этот вопрос в пользу Миниха. Царь с кружком приближенных находился в Риге. Миних с ними был также. Вдруг удар молнии зажег колокольню церкви Св. Петра. Государь хотел исправить разрушенное и возобновить в прежнем виде, и потребовал от рижского магистрата рисунок бывшего здания. В магистрате рисунка не сохранилось. На счастье Миниха, он в отведенном ему помещении прямо против церкви Св. Петра, сидя у окна, от нечего делать срисовал для себя колокольню. Об этом знал некто барон Вальдекер, командир ордена Иоаннитов, выдававший себя за посланника трирского курфюрста, а на самом деле бывший агентом претендента на английский престол, Стюарта, и приехавший в Россию проведать: нельзя ли расположить к претенденту царя Петра. Когда в магистрате не оказалось рисунка колокольни, Вальдекер сказал Ягужинскому, что такой рисунок есть у Миниха. Ягужинский вытребовал его у Миниха и представил царю, а царь, вспомнив о том, что Миниху обещано повышение в чине, приказал выдать ему патент на чин генерал-лейтенанта. Но патент был подписан годом вперед – 22 мая 1722 года, и Миниху все-таки пришлось прослужить еще целый год в чине генерал-майора. Миних должен был принять с благодарностью эту царскую милость. Тут Миних сообразил, что если кн. Долгорукий обещал ему повышение чином немедленно, а оно не последовало так скоро, как можно было надеяться, то, значит, нельзя доверять русскому правительству безусловно. Теперь только он представил кондиции, на которых он обязывался служить России в течение пяти или шести лет – наблюдать над гидравлическими работами, но только на балтийском побережье, с тем, чтобы ему выдавалось по его востребованию все необходимое.

В то же время в Риге получил Миних печальное известие о кончине своих обоих родителей, одного за другим, и для устройства своих дел отпросился в Ольденбург. Он посетил свою родину, и то было последний раз в его жизни, хотя его постоянным желанием было под старость воротиться туда. Его старший брат (главный смотритель водяного дела, назначенный датским королем) оспаривал отцовское завещание, которым оставлялось все отцовское имение не ему, а второму сыну. Христоф Миних уладил спор с братом, примирился с ним и воротился в Россию.

Забываясь о Петербурге, своем любимейшем произведении, Петр беспокоился о том, что водяное сообщение новопостроенного города с внутренними странами России затрудняется порогами на реке Тосне при ее впадении в Неву. Царь хотел устроить шлюз, провести обводный канал и проложить дорогу по берегу Невы от Шлиссельбурга до Петербурга. Все это исполнил Миних. Петр поручил ему начертать план рогервикской гавани, которую царь намеревался строить. Миних представил его царю.

В 1723 году Миниха ожидала другая, более важная и сложная гидравлическая работа. Еще с 1710 года начат был Ладожский канал с целью дать возможность плавающим судам избежать Ладожского озера, чрезвычайно беспокойного и бурного в осеннее время, где каждый год пропадало множество судов. Работы шли под надзором генерал-майора Писарева и шли чрезвычайно медленно. Когда в 1723 году Петр возвращался из персидского похода и остановился в Москве, он обратил внимание на то, что Ладожского канала сделано

было за такое продолжительное время едва только на двенадцать верст. Петр находил, что нужно поручить надзор за канальными работами другому лицу. Генерал-фельдцейгмейстер Брюс указал царю на Миниха. Царь виделся с Минихом, слушал его соображения и поручил посетить канал и удостовериться, точно ли вода в Ладожском озере то возвышается, то понижается, и нужно ли, сообразно с этими изменениями уровня воды в озере, проводить канал. Миних совершил эту поездку. Жители берегов Ладожского озера уверяли, будто вода в озере в течение семи лет возвышается на семь футов, а в течение следующих семи лет на столько же опускается; но Миних, опытный и сведущий в законах гидравлики, нашел, что в такой степени различие в повышении и понижении уровня воды невозможно, и хотя оно, собственно, и существует, но не достигает более трех футов. По возвращении Миниха из поездки, между инженерами возникло разногласие по вопросу о направлении, какое следует избрать для канала, и царь Петр назначил комиссию из сведущих людей, которая должна была рассмотреть и решить этот вопрос. Генерал-майор Писарев, заведовавший до того времени канальной работою, был в числе членов этой комиссии. Он доказывал, что прорытые двенадцать верст следует оставить в их настоящем виде, а остальные 92 версты (протяжение всего канала должно было составлять 104 версты) – рыть канал, для сокращения издержек возвысивши двумя аршинами над обычною водою и только одним аршином глубже воды в озере, заключив эти 92 версты между двумя шлюзами, чтобы воду поднять выше уровня. Большинство членов комиссии одобрили мнение Писарева потому единственно, что Писареву покровительствовал всесильный Меншиков. Только инженер Лен предлагал некоторое изменение. Миних опровергал обоих и доказывал, что маленькие речки, о которых думали, что они будут наполнять канал своею водою, так мелководны, что канал в течение лета может оставаться безводным. Петр, слыша такое разноречие, передал дело на обсуждение сената, но сенаторы, кроме того, что мало смыслили в гидравлике, смотрели главным делом на то, как бы угодить Меншикову. Меншиков же не любил Миниха и говорил: быть может, Миних генерал хороший, но в канальном деле не много смыслит. Князь Григорий Долгорукий, тот самый, который пригласил Миниха в Россию из Варшавы, теперь сообщил Миниху, что Писарев оговаривает его перед царем, будто он, Миних, хочет царя обмануть и провести. Миних, человек самолюбивый и горячий, сказал: «Если канал поведется так, как хочет Писарев, то он никогда не будет окончен. Пусть государь посмотрит собственными глазами – и тогда скажет, что Миних прав». Об этом передали государю, и Петр пожелал разом с Минихом и другими обозреть канал. Осенью 1723 года Петр отправился в путь. Пришлось пробираться верхом по болотистому бездорожью. Лошади с трудом ступали по топкой почве. Миних, следуя за царем, показывал ему, что невозможно по болоту вести канал от семи до девяти футов выше обычного уровня воды. «Я вижу, что вы достойный человек!» – сказал ему Петр по-голландски. Вечером доехали до деревни Черной. По причине обилия тараканов в избах, царь не решился ночевать в людском жилье и приказал раскинуть для себя шатер, где провел ночь при большом осеннем холоде. Тут Писарев употребил все усилия, как бы не допустить государя ехать далее, чтоб государь не увидал его дурной работы при деревне Дубне. Сторону Писарева держал царский лейб-медик Блюментрост: он представлял царю, что дальнейшая езда повредит его здоровью. Блюментрост обратился и к Миниху и говорил ему: «Вы отваживаетесь на опасное дело. Вы тащите государя в путь, когда он слаб, а путь этот совершать можно только верхом, и то с большим трудом. Ну, если он найдет не так, как вы ему докладывали, то для вас произойдет большое огорчение!» «Пойдемте вместе со мною к государю!» – сказал Миних. Царь тогда одевался. «Благодарение Богу, – сказал царю Миних, – что ваше величество приняли на себя труд лично обозреть этот канал! Ваше величество еще ничего не видали. Извольте проехать до Дубны, чтобы дать сообразное повеление о продолжении канала». «Для чего это?» – спросил Петр. Миних отвечал: «Вся начатая работа на двенадцать верст до Белозерска должна измениться! Это потребует много денежных издержек, и если ваше величество того не увидите сами, то партия Писарева будет уверять, что перемены сделаны напрасно, деньги потрачены, и тот, кто будет заведовать работами – пропадет». Петр был очень утомлен,

однако велел подать себе лошадь и произнес: «Едем до Дубны». Еще не достигши Дубны, царь обозрел часть работ Писарева на пятнадцать верст. Они ему очень не понравились. Петр соскочил с лошади, лег животом на землю и показывал рукою Писареву, что берег канала идет не по одной линии, что дно его не везде равной глубины, что без всякой нужды сделаны кривизны, что не построено плотины и так далее. «Григорий, – сказал ему царь, – есть два рода ошибок: одни происходят от незнания, другие от того, что не следуют собственному зрению и прочим чувствам. Последние непростительны». Писарев вздумал было оправдывать себя и стал доказывать, что почва холмистая. Но Петр встал на ноги, оглядел кругом себя и спросил: «Где же холмы? Ты, я вижу, настоящий негодяй!» Все тогда думали, что Петр отколотит Писарева дубинкою, и сам Писарев был бы доволен, если бы так случилось, потому что тогда мог бы он скорее получить себе прощение. Но царь сдержал себя.

Это была полная победа Миниха над своими противниками; царь поручил ему строение канала. За то Миних с тех пор нажил себе врага в Меншикове.

Через год, осенью 1724 года, Петр по данному заранее обещанию прибыл на канал осмотреть работы Миниха. Сошедшись с Минихом, он приказал спустить воду и собственноручно, взявши заступ, стал прокапывать плотину, ее удерживавшую. Вода ринулась в канал с быстротою. Вблизи стоял маленький ботик. Петр вошел в него и приказал Миниху садиться. Ботик понесло по течению канала, прорытого Минихом, по одному известию<sup>213</sup>, на четыре версты, а по другому<sup>214</sup> – на десять или двенадцать. Петр, всегда и везде до страсти любивший плавать, пришел в восторг, беспрестанно скидал с головы шляпу, махал ею и кричал: «Ура! ура!» Совершивши пробное плавание, Петр обнял и расцеловал Миниха. «Этот канал, – произнес царь, – будет иметь важное значение. Он будет доставлять средства пропитания Петербургу, Кронштадту, а равно и строительные материалы, и окажет содействие торговле России с остальною Европою». Возвращаясь в Петербург, царь приказал ехать туда же и Миниху. Прибывши в Петербург, Петр сказал Екатерине: «Труды моего Миниха радуют меня и подкрепляют мое здоровье. Недалеко то время, когда мы с ним сядем в шлюпку в Петербурге и выйдем на берег в Москве, в Головинском саду». На другой день Петр вместе с Минихом явился в сенат и пред всеми сенаторами произнес: «Я нашел человека, который мне окончит Ладожский канал. Еще в службе у меня не было такого иностранца, который бы так умел приводить в исполнение великие планы, как Миних! Вы должны все делать по его желанию!» После ухода царя Ягужинский сказал Миниху: «Генерал! мы будем ожидать ваших приказаний». Петр тогда поручил Миниху дирекцию над постройкою канала. Сначала работало над ним шестнадцать тысяч человек, теперь Петр назначил двадцать пять тысяч. Царь дал Миниху обещание, по выходе в отставку старого Якова Васильевича Брюса, дать Миниху должность генерал-фельдцейгмейстера и директора над всеми казенными и частными постройками. Петр не дожил до окончания Минихом Ладожского канала.

Настало новое царствование. Миних понял, что он попал в такую страну, где нет ничего прочного, и постарался обеспечить себя новыми кондициями. Он представил для утверждения императрицею проект, которым обрекал себя на службу России еще на десять лет, после которых оставлял за собою право уехать. В течение этих десяти лет он мог воспитывать детей своих за границую. Миних просил себе обещанного Петром чина фельдцейгмейстера с теми выгодами, которыми пользовался его предшественник Брюс. Он просил себе в дар несколько предметов недвижимой собственности: островок на Неве близ Шлиссельбурга, деревню Ледневу, лежащую посреди устроенного им канала, старый дворец в Ладоге и дом в Петербурге. На случай войны с Данией и Англией Россия должна была гарантировать его имущества, находящиеся во владении этих держав, или вместо тех имуществ отвести ему соответствующие поместья в России. Ему отданы в диспозицию все таможенные и кабацкие сборы на Ладожском канале. Екатерина не успела утвердить

<sup>213</sup> Вьschings Magaz. III, 402.

<sup>214</sup> Записки Миниха-сына, изд. 1817 г.

договора с Минихом. Он утвержден был при ее преемнике Петре II, но и то не вполне, потому что Миних получил звание главного директора над фортификациями, а не чин генерал-фельдцейгмэйстера, которого он желал, опираясь на обещание, данное Петром Великим. Падение Меншикова, не любившего Миниха, проложило последнему дальнейший путь к возвышению. С Долгорукими, заменившими во влиянии над царем Меншикова, Миних скорее сошелся, чем с Меншиковым. Когда в январе 1728 года Петра увезли в Москву, Миниха оставили в Петербурге и поручили ему управление Ингерманландиею, Карелиею и Финляндиею с главной командой над войсками, там расположенными, а 25 февраля того же года в день коронации государя пожаловали ему графское достоинство. Одно внимание к нему верховной власти следовало за другим. В этом же году окончен был совершенно Ладожский канал, и по нему открылось судоходство: по этому поводу верховный тайный совет прислал ему благодарственный адрес за совершение такого важного предприятия. Значение Миниха в государстве увеличилось с дарованием ему должности генерал-губернатора в Петербурге. Это произошло оттого, что в качестве главного командира над войсками он имел право производства в чины и переводов лиц, служивших под его командою, а из таких лиц было много, находившихся в родственных и покровительственных связях с представителями знатных родов, и последние, ходатайствуя за своих клиентов, обращались к Миниху с просьбами. В числе высоких особ, нуждавшихся тогда в Минихе, была цесаревна Елисавета, ходатайствовавшая о каком-то подпоручике.

Одним из важных дел, совершенных Минихом в это время, был проект учреждения инженерного корпуса и миной роты (саперов) и заведения специальной школы для приготовления сведущих офицеров по этой части.<sup>215</sup> В следующем, 1729 году, по кончине генерал-фельдцейгмэйстера Гинтера, Миних сделан главным начальником и артиллерии.<sup>216</sup>

Осенью 1728 года Миних вторично вступил в брак. Первой жены его не стало в живых еще в 1727 году. Новая супруга Миниха называлась Варвара-Елеонора, она была вдова обер-гофмаршала Салтыкова, урожденная баронесса Мальцан, природная немка. На счастье Миниха, и вторая подруга жизни, как и первая, оказалась добродетельною женщиною, искренне была предана ему и вместе с ним разделяла все колдовратности судьбы, его постигавшие.

Наступило новое царствование Анны Ивановны. Миних, благоразумный человек и притом сознававший, что он в России – иностранец, не вмешивался в политические затеи верховников, пытавшихся ограничить самодержавную власть, и не склонялся ни на ту, ни на другую сторону. Когда Анна объявила себя самодержицею, Миних сблизился с Остерманом, и тот представил его новой государыне и ее любимцу Бирону. Обоим он понравился и с новым царствованием стал приобретать более значения. Он получил давно желанный чин генерал-фельдцейгмэйстера, а по смерти старого князя Трубецкого – должность президента военной коллегии, в которой до того времени он был вице-президентом. Пребывая постоянно в Петербурге в должности местного генерал-губернатора и оставив по себе память в летописи Петербурга очищением реки Мьи (Мойка) и устройством нескольких мостов и каналов, Миних посещал императрицу в Москве, и все более и более сблизился с Остерманом и Бироном. Остерман настроил Миниха предложить императрице учредить вместо уничтоженного верховного тайного совета кабинет, высшее правительственное место, которое служило бы посредствующим органом между высочайшею особою и правительствующим сенатом. Первоначально Миних предложил в этот кабинет трех

---

<sup>215</sup> Указ 3 июня 1728 г. П. С. 3. VIII, 5278 ст.

<sup>216</sup> Хмыров, сам будучи артиллеристом и знакомый с подробностями артиллерийского искусства, сильно порицает Минихово управление артиллерийскою частью, говорит, что Миних взялся за то, к чему не был подготовлен и, между прочим, выставляет на вид, что в царствование Петра II его артиллерийская наука служила только на устройство потешных огней, на утеху государя, еще не вышедшего из ребячества. Конечно, специалист может легко найти всякие погрешности и недостатки в управлении артиллерией Минихом, но историк не может останавливаться на этом, а должен иметь в виду конечные результаты. Такие события, как взятие Гданьска, покорение Очакова, Ставучанская победа, где успех зависел в значительной степени от Миниховой артиллерии, достаточно побуждают не принимать во внимание мелкие замечания специалистов.

сановников – Остермана, Головкина и кн. Черкасского; Анна Ивановна сама пожелала прибавить к ним самого Миниха. Миних отговаривался, находя, что он, как иностранец, недостаточно знаком с внутреннею политикою России, но императрица настояла, чтобы Миних непременно вступил в число членов кабинета по военным и внешним делам. В 1731 году Миних сделан был председателем комиссии, учрежденной с целью найти и установить меры для уничтожения беспорядков в войске и так устроить, чтобы войско содержалось в порядке без народного отягощения. В качестве начальника этой комиссии Миних совершил несколько преобразований в устройстве воинской части в России; он начертал новый порядок для гвардии, полевых и гарнизонных полков, образовал два новых гвардейских полка: Измайловский и Конной гвардии, завел тяжелую конницу, так называемых кирасиров, изменив в кирасиров три драгунских полка, дал самостоятельный вид инженерной части, прежде слитой с артиллерийскою, и учредил Сухопутный кадетский корпус, в котором шляхетских детей русских и лифляндских от 13 до 18 лет обучать следовало арифметике, геометрии, рисованию, фортификации, верховой езде, фехтованию, стрельбе и всякому воинскому строю. Кроме того, принято было во внимание, что в государстве нужно не только военное, но и политическое, и гражданское образование, и притом не все способны к военной службе, и в этих видах положено иметь учителей иностранных языков, преподавать историю, географию, юриспруденцию, танцевание, музыку и прочие науки, какие сочтутся полезными, смотря по природной способности воспитанников. Сначала число учащихся определено в двести, потом в 300 человек; на помещение их отдали на Васильевском острове дом кн. Меншикова, конфискованный после его ссылки, а на содержание всего корпуса определена была сумма, которая увеличивалась при умножении числа учащихся. Обращено также внимание и на детей военных не дворянского звания. При гарнизонных пехотных полках учреждались школы, куда собирали для обучения мальчиков от 7 до 15 лет, рожденных во время нахождения отцов их на службе, но отнюдь не тех, которые родились уже тогда, как родители их были в отставке. Это постановлялось на том принципе, что сыновья служивых должны сами быть служивыми. Этою мерою думали сократить рекрутские наборы в видах облегчения народа. Миних, хотя был по происхождению немец и до смерти оставался с привязанностью к своей национальности, но нигде не показывал того высокомерного отношения к русским, каким отличались служившие в России немцы. Петр Великий для приманки иностранных офицеров в русское воинство установил иностранцам, служащим в русском войске, производить двойное жалованье против природных русских. Так и оставалось это правило. Миних первый осознал несправедливость такого различия и уравнил тех и других в одинаковой степени. За это он приобрел навсегда любовь русских. В числе полезных учреждений по военной части, указанных Минихом в это время, были заведение провиантских магазинов для продовольствия войск, госпиталей для увечных солдат; приняты разные меры к правильному обмундированию и вооружению войск; учреждены генеральные смотры. Устроено было двадцать полков украинской ландмилиции из однодворцев Белгородского и Севского разрядов, расселивши их и наделивши пахотную землю по линии укреплений, возводимых между Днепром и Северным Донцом и по Северному Донцу до казачьих донских городов. Подобное население последовало по царицынской линии. Вместо предполагаемых при Петре Первом шести тысяч поселенцев на украинской линии теперь назначалось двадцать тысяч. Набор и устройство новоучреждаемой украинской линии возлагались на генерала Тараканова. На царицынской милиции по берегам Илавли и Медведицы последовало подобное же население из казаков под атаманством Персидского.

Миних своими советами содействовал к переезду двора из Москвы в Петербург. Как иностранец и по здравому рассудку сторонник петровской реформы, он не был расположен к пребыванию двора в Москве, где было ощутительно влияние партии, не расстававшейся с воспоминаниями старой Московской Руси и не терпевшей всякой иноземщины. После того как императрица обжилась в Петербурге, Миних упросил ее обозреть довершенный им канал и, так сказать, освятить его своим личным вниманием. Императрица прибыла в

Шлиссельбург и оттуда отправилась по всей длине канала в яхте, которую сопровождали восемьдесят судов. Так доплыли они до реки Волхова на протяжении ста четырех верст. Два огромных шлюза на обоих концах длины канала замыкали канал и держали в нем воду, которой средняя высота достигала до сажени. По шестнадцати меньших шлюзов устроено было на северной и на южной стороне канала, шедшего от запада к востоку. Эти шлюзы служили для того, чтобы накопившаяся лишняя вода выливалась в озеро, а маленькие речки: Назия, Шалдиха, Кабона и другие, принося в канал свои воды, в летнее время не заносили с собою масс песка и тины.

С Остерманом Миних, как было сказано, вначале очень сблизился, но когда государыня сделала его членом кабинета, Остерман изменился к нему в своих чувствах. Еще более внутренне стал ненавидеть Миниха Бирон. Государыня, видя в Минихе очень умного, разносторонне сведущего человека и притом преданного ее интересам, все более и более подчинялась его советам и привязывалась к нему. Бирон боялся, чтоб умный Миних не оттеснил его от высочайшей особы, так как сам Бирон не обладал ни большим умом, ни образованностью, и всечасно чувствовал свою собственную малость перед Минихом. Невзлюбили Миниха обер-шталмейстер Левенвольд и канцлер гр. Головкин. Оба они чувствовали, что Миних их даровитее и умнее; оба возбуждали, вместе с Остерманом, против Миниха любимца императрицы. Бирон и Левенвольд устроили за поведением Миниха надзор, приставили фискалов, которые должны были выведывать его намерения или побудить на какой-нибудь шаг, который мог бы ему повредить в милости императрицы. Но Миних был не таков, чтобы его можно было такими мерами подвести. Миних жил во дворце, рядом с покоями императрицы. Бирон задумал вытеснить его оттуда, чтобы, по крайней мере, такая близость помещения не возбуждала в нем опасения, что он может легко заменить для Анны Ивановны его, Бирона. Воспользовавшись чрезвычайным доверием к себе императрицы, он представил ей, что надобно очистить помещение во дворце для племянницы императрицы, прибывшей в Петербург; а на нее императрица смотрела как на свою преемницу. Миниху объявили, что ради этой причины он должен перебраться за Неву. Миних повиновался, тем более, что тут была благовидная причина: за Невую, на Васильевском острове находился кадетский корпус, которого главным начальником был Миних. Бирон так бесцеремонно распоряжался, что не оставил фельдмаршалу даже времени перевезти свою мебель. Но соперники Миниха этим не довольствовались. Они искали повода удалить его вовсе из столицы. Случай к тому представился.

Король польский Август, долговременный союзник России, скончался 11 февраля 1733 года. В Польше возникли две партии: одна хотела избрать в преемники Августу сына его, курфюрста саксонского, другая – Станислава Лещинского, уже некогда избранного в сан короля по настоянию шведского короля Карла XII. Дворы российский и венский благоприятствовали курфюрсту саксонскому, потому что он обещал, сделавшись королем, утвердить прагматическую санкцию, акт, по которому император римский Карл VI передавал свои наследственные владения дочери своей Марии-Терезии, а российскому двору – не препятствовать проведению в достоинство герцога курляндского, любимца императрицы Анны Ивановны, Бирона. Франция, напротив, поддерживала Станислава Лещинского. Фельдмаршал Ласси, отправленный с 20000 русского войска в Польшу, содействовал избранию курфюрста саксонского под именем Августа III и преследовал партию Станислава Лещинского, который засел в городе Гданьске. 22 февраля 1734 г. Ласси с 12000 войска осадил Гданьск. Но у осажденных было силы более, и война шла нерешительно, ограничиваясь стычками между осажденными, делавшими вылазки, и казаками. Тогда Бирон, с целью сбыть с глаз императрицы Миниха, убедил ее отправить в Польшу Миниха с войском против Лещинского. Миниху самому не было противно такое поручение, так как он с юности любил военное дело, а придворные интриги не могли удовлетворять его.

Миних прибыл к Гданьску 5 марта 1734 года и принял главную команду над оставшимся там российским войском, вытребовав себе еще несколько свежих сил.



Сначала Миних послал к обитателям Гданьска грозный манифест, требовал покорности королю Августу Третьему и выдачи Станислава Лещинского, в случае отказа угрожал разорить город до основания и покарать грехи отцов на чадах чад их. На такое заявление не последовало покорности. Миних принужден был отказаться от покушений приводить в исполнение свои угрозы: у него не доставало осадной артиллерии. Но вот из Саксонии прибыли мортиры, провезенные через прусские владения в телегах под видом экипажей герцога вейсенфельского, а из Польши пришла прочая русская артиллерия: тогда началось метание бомб в город. Осада Гданьска продолжалась 135 дней. Поляки партии Лещинского пытались извне подавать помощь осажденным нападениями на русских, но были разбиваемы русскими отрядами. Осажденные надеялись на прибытие французской флотилии, которая, как ожидали, привезет им свежих сил. Французские корабли привезли и высадили к ним на берег всего только 2400 человек. Затем к Миниху пришла на помощь саксонская военная сила, а 12 июня русская флотилия в числе 29 судов вошла в Гданьский рейд и привезла Миниху еще орудий. Бомбардировка усилилась. 19 июня Миних потребовал снова сдачи. Осажденные выпросили три дня на размышление. После многих переговоров французское войско вышло с тем, что их отвезут в один из нейтральных портов Балтийского моря и отправят оттуда во Францию. Они понадеялись, что их отвезут в Копенгаген, но их отвезли в Лифляндию, расставивши там на квартиры, и уже через несколько месяцев отправили во Францию.

28 июня гданьский магистрат выслал к Миниху парламентаря. Миних требовал покорности королю Августу и выдачи Станислава Лещинского с главнейшими приверженцами. На другой день магистрат известил Миниха, что Станислава невозможно выдать, потому что он убежал, переодевшись в крестьянское платье. Миних сильно рассердился, велел было опять начать бомбардирование; наконец, 30 июня принял покорность города и дозволил находившимся в городе польским панам ехать куда пожелают, приказавши арестовать только трех лиц: примаса, пана Понятовского и француза маркиза де Монти; их отвезли в Торун. Так окончилась эта осада, во время которой русские потеряли восемь тысяч солдат и двести офицеров. На город Гданьск была наложена контрибуция в два миллиона; императрица скинула прочь половину этой суммы.

Миних вернулся в Петербург с торжеством. Его недоброжелатели пытались очернить его действия, распускали подозрения, что Миних брал с неприятеля взятки и заведомо дал возможность Станиславу Лещинскому уйти. Но все это не повредило Миниху.

Вслед за тем затевалась другая война, куда также пришлось отправляться Миниху, к удовольствию как его самого, так и его врагов, которые радовались тому, что его можно под каким бы то ни было предлогом удалить из столицы. То была война с Турцией.

Турция вела войну с Персией уже несколько лет. Чтобы поразить персиян па северной стороне в то время, когда персидские силы направлялись к югу, крымские татары, данники Турецкой державы, получили повеление вторгнуться в Персию, и как ближайший путь лежал через русские владения, то они не затруднились проходить через них, нарушая тем нейтралитет России. Так, в 1732 году столкнулись они на берегу реки Терека с русским отрядом, находившимся под командою генерала принца гессен-гамбургского. Произошла битва: в ней легло до тысячи татар, до четырехсот русских. Россия дипломатическим путем жаловалась Турции на нарушение нейтралитета и не получила удовлетворения: напротив – Турция снова послала крымского хана с 70000 войска через русские владения в Персию. Турецкая сила на этот раз потерпела от персиян жестокое поражение. Тогда бывший в Константинополе российским послом Неплюев заявил своему правительству мнение, что теперь настало удобное время отплатить Турции за унижительный для чести русского имени Прутский мир. При дворе обер-шталмейстер Левенвольд поддерживал то же мнение. Остерман, всегда рассудительный и осторожный, не советовал поддаваться таким обольстительным надеждам и не отваживаться дразнить Турцию, потому что она еще сильна; по его взгляду, достаточно было ограничиться усмирением татар, так как это не поведет к разрыву с Турцией: падишах недоволен самовольством своего данника, крымского

хана, но не может удержать его в повиновении. Фельдмаршал Миних, впоследствии горячий сторонник войны с Турцией, на этот раз примыкал к Остерману. Он желал войны, но такой, которая бы началась не от прямого вызова Россией. Пробывши после гданьского дела несколько месяцев в Петербурге, Миних должен был отправиться к войску, оставленному в Польше, так как в Польше оставалось еще много противников короля Августа III. Дела с Турцией, между тем, стали обостряться. Персидский шах Кулихан соглашался было уже примириться с Турцией, но русский посланник в Персии, князь Сергей Голицын, употреблял все усилия, чтобы не допустить до такого примирения – и успел: персидский шах стал по отношению к России обязан благодарностью, потому что Россия тогда уступила Персии приобретения Петра Первого – Баку, Дербент и даже крепость св. Креста. Под влиянием России персидский шах опять возобновил войну с Турцией. Тогда и петербургский двор, заручившись союзом с Персией, открыто решился на войну, но не прямо с Турцией, а с татарами, под тем предлогом, что последние беспрестанно чинят набеги и в последнее время два раза нарушали нейтралитет России проходом своего войска через русские области. Начать неприязненные действия против татар должен был Вейсбах, киевский генерал-губернатор. Но он в то самое время умер. Преемник его, генерал-лейтенант Леонтьев, тот самый, который ездил в Митаву к Анне Ивановне депутатом от генералитета, выступил в поход. То было уже в октябре, в дурную погоду, и он воротился назад, потерявши девять тысяч воинов, погибших не от неприятельского оружия, а от болезней и лишений. В это время послано Миниху поручение перейти со своим войском из Польши в Украину и идти с ним в поход против татар.

Поручив вести за собою в Украину армию генералу принцу гессен-гамбургскому, Миних поехал в Павловск на Дону, сделал там распоряжение о нагрузке на суда артиллерии и припасов, необходимых для предположенной осады Азова, потом прибыл в Украину, осмотрел украинскую линию от Днепра до Донца, где нашел шестнадцать крепостей, каждая с земляным бруствером, с контр-эскарпом, со рвом, наполненным водою, а между укреплениями этими возведены были редуты разного размера. Миних объехал всю эту линию, охранявшуюся, как выше было сказано, ландмилицией из поселенных однодворцев, сделал нужные распоряжения о расстановке караулов и заметил, что в Бахмутской провинции линия остается открытою и на совершенное приведение ее в надлежащее положение необходимы работы. С этой целью Миних потребовал 53263 человека рабочих. Управлявший тогда малороссийским краем князь Шаховской, в ответ на такое затребование, доносил правительству, что такого рода работы будут крайне разорительны для народа. Миних со своей стороны доносил, что, обозревши тогдашнее состояние Украины, он ясно видит, что разорение народа действительно заметно, но оно происходит не от работ, а от дурного управления, во главе которого стоял Шаховской: полковниками и сотниками ставятся люди неспособные, везде стараются разбогатеть за счет подчиненных, люди богатые стараются отлынивать от службы, и только бедных посылают в походы. Казаки, недовольные несправедливостями своего начальства, убегают и пристают к владельцам земель, обещающим поселенцам льготные годы, иные же бегут к татарам, и вместе с ними идут воевать против России. От этого вообще казачество в Гетманщине умалилось: прежде, бывало, можно было собрать казаков тысяч сто, а в последнее время, когда объявлен был поход Леонтьева в Крым, их едва набралось двенадцать тысяч семьсот тридцать. Тут Миних сошелся с запорожцами, которых он нашел в воинском отношении гораздо лучше, чем малороссийских городских казаков, и с запорожскими старшинами имел совещание в Царичинке. Запорожцы дали ему совет выступить в поход в степь с ранней весны, когда еще не совершенно высохнут воды от тающих снегов, а молодая трава еще не будет сожжена. Миних нашел этот совет подходящим и в марте съездил к Азову, с которого надлежало начинать военные действия. Он поручил вести осаду Азова генералу Левашову, а сам возвратился к своему войску в Украину, снова советовался с запорожскими старшинами и десятого апреля двинулся в поход в степь. С ним было 54000 войска российского и 12000 казаков (5000 донских, 4000 украинских и 3000 запорожцев). По известию жизнеописателя

Минихова, обоз, отправлявшийся с этой военной силой, простирался до девяти тысяч возов, и на каждый полк приходилось их двести пятьдесят. Одних маркитантов было до семи тысяч. Весь обоз не пошел с войском; значительная часть его с тяжелой артиллерией поручена была князю Трубецкому, который должен был доставить боевые и съестные припасы в сопровождении оставленной для того части войска, прежде расставленной в более отдаленном крае на квартирах.

Армия двинулась в степь пятью колоннами, находившимися под командою генералов Шпигеля, принца гессен-гамбургского, Измайлова, Леонтьева и Тараканова. Сам главнокомандующий Миних шел в авангарде. Запорожцы говорили, что на пути своем русское войско найдет себе корм и фураж; Миних доверился им и не очень заботился о скорейшем подвозе запасов князем Трубецким, а этот князь так медлил, что дошел тогда уже, когда Миних окончил свой поход. Для обеспечения сообщения войску с Украиной Миних на пути через степь приказывал устраивать редуты на расстоянии пяти и десяти верст один от другого и оставлять в каждом по десяти солдат и по тридцати казаков под наблюдением обер-офицера, а на трех больших ретраншементах от 400 до 500 человек со штаб-офицером.

После незначительных стычек с неприятелем колонны Шпигеля, армия 28 мая приближалась к Перекопу. Перекопский перешеек был прокопан рвом длиною на семь верст: ров шириною доходил до двенадцати, а глубиною до семи сажен. За этим рвом был вал высотой до 70 футов от вершины до дна рва. Шесть каменных башен прикрывали всю линию вала; за этим валом была крепость Перекопская. Хан, как сообщали пленники, стоял недалеко со стотысячным войском.

Миних начал с того, что написал хану, извещая его, что пришел с войском наказывать татар, производивших набеги на русские владения, и просил хана добровольно впустить в Перекопскую крепость русский гарнизон и признать над собою первенство российской императрицы; иначе – он грозил опустошить весь Крым. Хан прислал мурзу с ответом в таком смысле: хан состоит данником турецкого государя и не хочет изменять ему; в Перекоп не может впускать русских, потому что там помещен турецкий гарнизон не от крымского хана, а от самой Турции; татары не подавали повода к войне, а если чинили набеги, то это делали ногаи, и русские войска могут с ними расправляться, как делалось и прежде: эти люди, хотя и состоят под властью хана, но не всегда послушны этой власти и позволяют себе своеволие. В довершение хан просил фельдмаршала приостановить военные действия и тогда уже вступить в объяснения.

Но Миних не затем пришел, чтобы проводить время в объяснениях. Отправивши мурзу ханского с отказом, фельдмаршал на другой день еще до рассвета послал две тысячи пятьсот человек вправо по направлению к перекопской линии, и в то же время русское войско двинулось всей массой влево. Татары, обманутые фальшивым движением двухтысячепятисотенного отряда, бросились на него, и вдруг нежданно увидели русские силы совсем на другой стороне. Русские дошли до рва и на короткое время остановились. Ров был очень широк. Но ров этот был сух. Солдаты спустились на дно, а оттуда стали карабкаться на вал. Вместо лестниц им служили пики, штыки и рогатки. Задние подсаживали передних и потом, держась за них, сами взбирались, и так добрались на вершину вала под сильным неприятельским огнем. Такая неустранимость поразила татар: они бежали. В башнях сидели турецкие янычары. По приказанию Миниха принц гессен-гамбургский послал Санкт-Петербургского гренадерского полка капитана Манштейна с шестьюдесятью человек его роты к одной из башен. Гренадеры прорубили двери: Манштейн вошел внутрь и потребовал сдачи. Янычары, безусловно, согласились и стали класть оружие, но тут между гренадерами и янычарами возник спор, а потом и драка: янычары убили шестерых и ранили шестнадцать гренадеров; гренадеры перекололи всех янычар, а их было в башне сто шестьдесят. Тогда янычары, сидевшие в прочих башнях, покинули их и бежали вслед за татарами. Миних потребовал от перекопского коменданта сдачи: обещано было проводить всех до приморской пристани для отплытия в Турцию. Комендант на все согласился. Но

когда турки положили оружие, их всех объявили военнопленными под тем предлогом, что, вопреки мирному договору, задержано было двести русских купцов, и когда им возвратят свободу, тогда и взятые в Перекопе турки будут отпущены в отечество.

Город Перекоп, заключающий в себе до 800 деревянных домов и окруженный стеной из песчаника, рассыпавшегося от пушечных выстрелов, был тотчас занят одним русским полком, а 4 июня Миних отправил генерал-лейтенанта Леонтьева с десятью тысячами к Кинбурну. С оставшимися генералами Миних держал военный совет – что делать далее. Многие были такого мнения, что не следует забиваться в глубь страны, так как продовольствия для войска оставалось не более как на двенадцать дней, а лучше укрепиться у Перекопа и подождать прибытия кн. Трубецкого с обозом. Миних противился этому и настаивал, что надобно идти вперед и нанести страх татарам; он надеялся, что обоз успеет и догонит их, а если бы и запоздал, то войско может продовольствоваться за счет неприятельского края.

И пошло войско по безводной пустыне в глубину Крымского полуострова. Татары умышленно портили воду, и без того скудную в колодцах. Их летучие отряды беспокоили войско, двигавшееся четверугольником. Когда расположилось войско на дневку в Бальчике, к нему приблизились татары. Откомандированный против них генерал-майор Гейн хотя не потерпел поражения, но не исполнил в точности поручения, данного фельдмаршалом, и за это немедленно был предан военному суду и разжалован в солдаты. Миних чрезвычайно строго относился к делу дисциплины в войске. Пошли дни за днями. Жара была нестерпимая. Солдаты пропадали от жажды и зноя. Подвоз ожидаемых запасов не приходил по медленности князя Трубецкого. Генерал принц гессен-гамбургский, уже прежде враждовавший с Минихом, а за ним и другие генералы, в числе их и близкий родственник Бирона, носивший ту же фамилию, распускали о Минихе между подчиненными упреки, что он для удовлетворения своего честолюбия губит целое войско и поступает совсем против желания и предписаний петербургского двора. К счастью Миниха, войско, все еще не дождавшись князя Трубецкого с обозом, вдруг нашло себе продовольствие. На десятый день пути от Перекопа достигло оно города Хазлейва (Козлов-Евпатория) и вошло туда без всякого сопротивления: все мусульманские обитатели этого города заранее убежали оттуда, успевши взять с собою, что возможно было на скорую руку, и зажгли за собою дома христианских купцов. Но бежавшие всего с собою забрать не были в состоянии. Русские в опустелом и полуобгорелом городе отыскивали закопанные в земле драгоценности – золото, серебро, жемчуг; меди, железа и свинцу была громада, рису и пшеницы было такое изобилие, что Миних раздал их в качестве провианта солдатам на двадцать четыре дня.

Кроме этого, русские успели захватить десять тысяч баранов и несколько сот штук рогатого скота, и это было очень кстати, так как солдаты уже две недели не ели ничего мясного.

Простоявши пять дней в Хазлейве с целью дать время хлебопекам изготовить для солдат хлеб и сухари, Миних двинулся далее. Он выбрал путь вблизи моря: татары не ожидали, что русские пойдут туда, и не делали опустошения; поэтому русские могли на этом пути доставать фураж: Миних распустил между неприятелями слух, будто возвращается к Перекопу.

Между тем, 27 июня войско приблизилось к ханской столице Бахчисараю. Миних оставил большую часть войска с багажом, поручив начальство Шпигелю, сам с другою частью обошел горы, и русские на рассвете были под самым городом. Татары не ждали этого и чрезвычайно удивились, увидавши там русских в такую пору. Они напали на донских казаков и на Владимирский пехотный полк, успели принудить податься назад, и отняли одну пушку. Но когда подоспел генерал Лесли с пятью другими полками, татары тотчас бежали. Панический страх напал на всех жителей Бахчисарая. Они покинули свои дома, хватали с собою, что могли схватить, и бежали в горы.

В Бахчисарае в то время было две тысячи домов: треть их принадлежала христианам греческого происхождения. Русские все сожгли. Красивый ханский дворец, состоявший из

многих зданий и окруженный садами, был обращен в пепел. Сгорел дом иезуитский с библиотекою. Сами иезуиты заранее ушли из города.

Расправившись с Бахчисараем, Миних 29 июня отвел свое войско на реку Альму. Туда прибыл и обоз, который шел с Минихом; на него нападали татары, но неудачно.

3 июля главнокомандующий отрядил генералов Измайлова и Магнуса Бирона с восемью тысячами солдат и двумя тысячами казаков на Акмечеть (ныне Симферополь), столицу Калги-салтана и его мурз. Русские не нашли ни души в городе: еще за два дня жители ушли оттуда. Русские ограбили все, что могли найти, и сожгли весь город, имевший тогда тысячу восьмьсот деревянных домов.

Миних намеревался идти на Кафу, самый богатый и многолюдный город на черноморском побережье. Этому воспротивились на военном совете все генералы.

Они представляли, что треть войска хворает, и многие до того ослабели, что не в состоянии далее двигаться, между тем на этом пути не представлялось впереди никаких надежд на доставку продовольствия людям и лошадям, так как татары, ожидая своих неприятелей, выжгли все окрестности Кафы на далекое пространство. Вдобавок усилилась жара. Миних должен был удержать свой воинственный задор и повернуть к Перекопу. Войско достигло Перекопа 17 июля и ко всеобщему удовольствию встретило генерала Аракчеева, который привез из Украины хлебные запасы, а с ним прибыли маркитанты и привезли большое количество вина и всякого съестного продовольствия. Итак, после многих трудов и лишений войско чувствовало изобилие. К умножению радости, пришло известие, что генерал-лейтенант Леонтьев взял Кинбурн, не потерявши ни одного человека: турки сдали его без боя и по капитуляции вышли из крепости в числе двух тысяч; двести пятьдесят христианских невольников, содержавшихся в крепости, получили свободу. Русские в Кинбурне нашли много скота и овец. Миних приказал взорвать порохом перекопские укрепления и 28 июля двинулся в Украину. Татары не беспокоили возвращавшееся русское войско. Генерал Леонтьев присоединился к главному войску.

На берегу реки Самары Миних произвел смотр своему войску. Не было ни одного полка, где бы количество служащих достигало полного комплекта: в те времена полный комплект пехотного полка простирался до 1575 человек с включением офицеров, а комплект конного полка – 1231 человек. Налицо не оказалось теперь ни одного, где было бы более 600 человек. Между тем, достоверно было известно, что число убитых неприятелем не превышало двух тысяч. Войско умалилось от болезней и лишений. Много содействовала этому медленность кн. Трубецкого и неисправность комиссариата в доставке жизненных средств в пору. Но и сам фельдмаршал Миних обвинялся за то, что не жалел солдат своих, водил их во время летнего дневного зноя, не давал отдыха и слишком легко относился к недоставлению кн. Трубецким продовольствия, надеясь кормить войско за счет неприятельской страны. Поход в Крым стоил России до тридцати тысяч человек. Противник Миниха, принц гессен-гамбургский, восстановил против него генералов, а от последних ропот на фельдмаршала переходил к штаб- и обер-офицерам и доходил даже до рядовых.

По прибытии в Украину Миних, в предупреждение татарских зимних набегов через лед днепровский в Гетманщину и Слободскую Украину, сделал распоряжение с первых заморозов рубить лед на реках и для этого употреблять солдат и сгонять народ. Это возбуждало ропот и между солдатами и жителями сел, да и не достигало цели, потому что в феврале 1737 года татары через Днепр у Келеберды ворвались в Украину; защищавший проход генерал Лесли был убит и много офицеров взято в плен.

Принц гессен-гамбургский не ограничился возбуждением против Миниха генералов его армии, а еще написал и послал на фельдмаршала донос герцогу Бирону, и хотя Бирон прислал этот донос самому Миниху, но при дворе он оставил неприятное впечатление. Этим не замедлили воспользоваться Миниховы недоброжелатели и завистники. Несмотря на то, что главный враг Миниха, обершталмейстер Левенвольд, умер, в самом кабинете желали унижить фельдмаршала: решили подвергнуть в военном совете обсуждению поступки Миниха и указать причины большой потери войска. Председательство в этом совете

принадлежало фельдмаршалу Ласси, который во время Минихова похода в Крым через Перекоп, осаждая полтора месяца Азов, принудил его к сдаче и потом шел на соединение с Минихом, но, узнавши, что Миних уже возвращается, сам повернул в Слободскую Украину. Теперь ему поручалось разбирать действия своего товарища, в последнее время приобретшего такую славу и значение, что становился выше его. Ласси отклонил от себя такое поручение. Никем другим не был он заменен, и так следствие над поступками Миниха не производилось, а императрица Анна не только не показала Миниху своего неблаговоления, но еще наградила его поместьями в Украине, находившимися в распоряжении покойного Вейсбаха.

Весною 1737 года опять предпринят был поход против турок. Петербургское правительство заключило конвенцию с венским двором о взаимном действии войск против турок, произведен новый рекрутский набор – 40000 человек, сделаны распоряжения об устройстве магазинов, а в Брянске положено было на верфи строить плоскодонные суда для спуска их на Днепр.

В конце марта 1737 года генерал-фельдмаршал Миних дал ордер, чтобы все войско, которого число простиралось от 60 до 70 тысяч человек, было готово к походу через двадцать четыре часа по получении ордера. В начале апреля все вышли с квартир, где были на зиму поставлены. С конца апреля по 6 мая (н. с.) войско переправилось через Днепр в трех пунктах: у Переволочной, у Орлика и у Кременчуга. 3 июня (н. с.) все отделы соединились на реке Омельнике; с 25 (н. с.) июня по 2 июля (н. с.) армия переправилась через Буг. Желая скрыть свои настоящие намерения, Миних всем показывал вид, что направляется к Бендерам. Он таился даже от поляков, которые казались союзниками. Когда к генерал-фельдмаршалу приехал адъютант польского коронного гетмана Потоцкого, Миних, угощая его, предложил тост за счастливый успех русского оружия под Очаковым, и в то же время, в виде особого к нему доверия, сообщил предположенный маршрут к Бендерам.

Поляк, присланный затем, чтобы проведать, куда поведет свое войско Миних, находился в недоумении и не знал, что донести тем, которые дали ему поручение. Тем труднее было узнать о планах Миниха туркам. Они на всякий случай ждали его у Бендер, но послали значительное подкрепление к Очакову.

Миних ускорил свой поход и направлялся к Очакову, желая дойти туда ранее, чем неприятель успеет там собраться с силами. Но тяжелая артиллерия, боевые и съестные запасы следовали по воде, и этим заведовал все тот же князь Трубецкой, заявивший себя в прошлый поход нераспорядительностью. И теперь произошло то же. Когда Миних со всей армией уже приближался к Очакову, князя Трубецкого там не было, хотя он должен был прийти туда ранее войска. Войско очутилось без фуража, без дров, без фашинов, и леса кругом не было близко, чтобы достать необходимые принадлежности. Современники находили странной такую доверчивость Миниха к человеку, уже показавшему свою неспособность. Злые языки того времени приписывали причины снисходительности фельдмаршала к кн. Трубецкому вниманию к жене последнего, знаменитой красавице своего века. Князь Трубецкой впоследствии оправдывал себя тем, что в то лето на Днепре воды было мало и потому при перевозке через пороги потрачено было времени больше, чем бы в обычное время требовалось.

Подошедши к Очакову ночью с 10 на 11 (нов. ст.) июля и увидавши пожар предместий, зажженных, ввиду приближения русских, самим очаковским комендантом, утром 11 числа в лагере, расположившемся между устьем Днепра и Черным морем, Миних собрал военный совет и на нем заявил, что медлить нельзя, чтобы не дать неприятелю времени подвести к Очакову свежие силы, и надобно со всевозможной скоростью брать Очаков. Миних надеялся, что флотилия кн. Трубецкого придет скоро и войско не будет надолго поставлено в затруднительное положение.

Сперва думали рыть траншеи и насыпать редуты, но земля оказалась чрезмерно твердою. К счастью русских, около города были сады с земляными оградами. Русские обратили их себе в редуты. В одном таком саду поставили тяжелую артиллерию и начали

метать бомбы, которые, лопаясь в крепости, производили там пожары. 13-го (н. с. или 2-го ст. ст.) июля за час до рассвета вспыхнуло пламя в том углу, где, как знали по плану, который заранее успел добыть себе Миних, находился пороховой магазин. Туда направили выстрелы.

Между тем, чтобы отвлечь осажденных и не дать им тушить пожар, Миних, в надежде выманить их в иную сторону, приказал начать общий приступ. На правом крыле командовали генералы Румянцев и Бирон, на левом – Кейт и Левендаль. Сам генерал-фельдмаршал подкреплял идущих на приступ, подвергая себя лично опасностям – под ним убита была лошадь. При нем неразлучно находился принц Антон-Ульрих брауншвейгский, которого уже метили в женихи племяннице императрицы. Войско достигло рва шириною в 12 футов, отважнейшие спускались в него и оттуда напрасно пытались взобраться на противоположную сторону: поражаемые неприятельскими выстрелами сверху, они падали целыми грудями. Так прошло времени около двух часов. Не в силах будучи вскарабкаться, они стали отступать. Генерал Румянцев первый заметил, что огонь, произведенный русскими бомбами, близится к пороховому магазину, и опасаясь, чтобы взрыв не повредил осаждающим, дал знак к отступлению. Левое крыло увлеклось отступлением правого. Выскочило из крепости несколько сот турок и ударило на отступавших, многих перебили турки, а раненые не в силах были поспевать за другими: дело походило на бегство. Если бы сераскир и комендант очаковской крепости догадались и ударили всей силой на бегущих, выигрыш был бы на стороне турок, а русские принуждены были бы оставить осаду. Миних пришел в страшное волнение. Артиллерия поправила дело.

С ужасающим треском взлетел на воздух пороховой магазин, а вслед за тем показалось белое знамя, и к русскому главнокомандующему явился турецкий адъютант просить перемирия на несколько часов. Миних понял, в чем дело, отверг предложение и требовал, чтобы весь турецкий гарнизон сдался военнопленным в течение одного часа, иначе грозил никому не оказать пощады. Сераскир, между тем, пославши к Миниху этого адъютанта, затевал с частью гарнизона пробраться из крепости к морю и убежать, севши на турецкие галеры в то время, когда начнут составлять статьи капитуляции. Но его с бывшими при нем турками не допустили до моря русские гусары и казаки, вогнав в крепость, а за ними и сами туда ворвались и начали избивать турок. Тогда сераскир послал к генерал-фельдмаршалу другого адъютанта объявить, что сдается безусловно. Ворота крепости отворились; гарнизон положил оружие и был отведен военнопленным в русский лагерь. Около двухсот<sup>217</sup>, а по другому известию до двух тысяч<sup>218</sup> турок успели добраться до галер, но многие не могли туда попасть, потому что кормчие, увидя, что город взят русскими, поспешно снялись с якоря и подняли паруса, а турки из Очакова, хотевшие уплыть с ними, бросились за судами вплавь и, ослабевши, потонули. Иные, прежде отвода гарнизона в плен, были заколоты ворвавшимися в крепость русскими. Семнадцать тысяч трупов турецких было погребено русскими 20 июля (н. с.). Большое число погибло их под развалинами разрушившихся стен и зданий. При взрыве порохового магазина погибло их более шести тысяч, а за этим взрывом загорелось еще два таких магазина, причем погибло немало и русских, бросившихся уже в покоренный город на грабеж. Из турецкого гарнизона, вначале состоявшего в числе двадцати тысяч, сдалось военнопленными только три тысячи пятьсот человек и в числе их – сераскир Яйя, очаковский комендант Мустафа-ага и триста офицеров. Несколько сот христианских невольников получили свободу, пятьдесят четыре грека вступили в русскую службу в гусары. У русских убито 68 офицеров и 987 рядовых с унтер-офицерами, а ранено около ста офицеров и 2703 рядовых.

Ожидая, что турки будут стараться отнять у русских Очаков, Миних приказал со всевозможнейшей скоростью исправить по возможности разрушенные стены, построить деревянные избы для жилья и снабдить город необходимыми средствами к жизни, намереваясь поместить в нем русский гарнизон. Он оставил в Очакове двенадцать пехотных

<sup>217</sup> Манштейн, русск. перев. стр. 104.

<sup>218</sup> Вьschings Magazin, III. стр. 449.

батальонов, два драгунских полка и две тысячи казаков, назначив над всеми начальником генерала Бахметева, а всю остальную армию отвел за шестьдесят верст от Очакова, где 15 (26) июля присоединился к ней генерал Леонтьев, остававшийся в резерве с тяжелым обозом. Обоз, с которым следовал князь Трубецкой, продолжал плыть и разделился на две части: передняя достигла Очакова в августе, а задняя уже в сентябре. Поход очаковский совершился без него, как и прошлый год поход крымский.

Сообразно плану и инструкциям, Миних должен был теперь идти на Бендеры, но он узнал, что на всем пути до Бендер татары выжгли поле и невозможно будет иметь фуража; сверх того и войско российское умалилось: павших в битвах было сравнительно немного, – 11 060 человек солдат и 5000 казаков умерло во время похода от болезней, особенно от поноса и скорбута. Немец приписывает эти болезни приверженности русских к постам, которая так велика, что даже разрешение св. синода употреблять в постные дни мясо на них не действовало. Гораздо вернее кажется нам, что нездоровью русских содействовало то, что в походах солдат ложился на сырой земле, и в войске недоставало врачей, хотя в каждой роте полагался хирург и подхирург, но из них очень мало сведущих; были, кроме того, фельдшера, но те умели только стричь и брить. Вообще во врачебные должности поступали по воле начальства, а не по учению. Набирали из простых рекрут людей, которые, по назначенному для них занятию, нуждались в предварительном обучении, а этого не было; начальство из рекрут определяло и в музыканты, хотя бы определяемый не имел ни подготовки, ни природных способностей к музыке. Подобный порядок был и в определении врачей. 1 (11) августа Миних перевел свое войско близ устья реки Чичаклея, впадающей в Буг, на другой берег Буга. 21 августа (1 сентября) он съездил в Очаков, осмотрел работы по укреплению Очакова и Кинбурна и, вместо Бахметева, отпросившегося по болезни в отставку, назначил комендантом генерала Штофельна, потом, воротившись к своей армии, повел ее в Малороссию, где расставил на зимних квартирах, а сам избрал своим местопребыванием Полтаву.

Во время похода Миниха к Очакову фельдмаршал Ласси с 40 000 войска совершил блистательный поход в Крым через Сиваш вброд, к удивлению и своих генералов, и неприятеля: и те, и другие почитали такое дело невозможным. Он прогнал хана, думавшего загородить ему путь, взял и разорил город Карасубазар, в котором было до 6000 домов, распустил отряды, истребившие до тысячи татарских деревень и набравшие много скота и овец, и вернулся на Молочные Воды, а оттуда в октябре перешел в Слободскую Украину, где расположил свое войско по берегам Донца и его притоков.

Взятие Очакова произвело в Константинополе волнение и страх. Сменили великого визиря, на его место назначили бывшего бендерского сераскира, а новому бендерскому сераскиру Генц-Оли-паше разом с татарским ханом велено добывать Очаков. Миних, услышавши об этом, послал туда подкрепление, но Штофельн, не дождавшись от главнокомандующего вспоможения, заставил турок снять осаду. Очаков, находясь в руках покоривших его русских, продолжал пребывать в разорении; недоставало строительных материалов; судоходный подвоз всего необходимого происходил медленно. Между людьми, составлявшими гарнизон, появились смертоносные болезни от массы гниющих трупов, и людских, и скотских. Число солдат из восьми тысяч, оставленных там генерал-фельдмаршалом, осталось только пять тысяч, да и из тех до тысячи человек было больных и неспособных к бою. С войском в таком положении пришлось Штофельну встретить турок, появившихся 29 октября (н. с.). Они беспрестанно палили и метали бомбы в крепость; русские оборонялись упорно и деятельно, терпя всевозможные лишения: большая часть их должна была постоянно находиться под открытым небом в дождливую и сырую погоду за недостатком помещений. Но и положение турок было малым легче: их мучила осенняя дождливая погода, распространялись болезни и смертность, пропадала отвага. Десять тысяч их бежало, несмотря на то, что за побегии грозили им смертью и несколькими пойманым беглецам отрубили головы на страх прочим. Наконец, 10 ноября (н. с.) они все ушли от Очакова, покинув в добычу русских свой огнестрельный запас.



При Минихе во время очаковского похода был австрийский резидент или военный агент, посланный для наблюдения за ходом войны, подобно тому, как такое же лицо находилось со стороны России при войске имперском. Австрийский агент, по прозвищу Беренклау, писал к своим донесениям с резкими суждениями о русском войске, замечая, что русские солдаты храбры и выносливы, но русские генералы таковы, что годятся быть разве капитанами. Миниху досталось в руки это донесение, и он сильно раздражился не только против Беренклау, но и вообще против Австрии, которую и раньше недолюбливал. С таким неприязненным чувством он отнесся неодобрительно к предложению Австрии послать русские военные силы в Венгрию для совместного действия с австрийскими войсками против турок. Миних находил, что России лучше вести войну отдельно от Австрии и начать взятием Хотина и Бендер и покорением Молдавии.

Миниха мнение очень уважали, в особенности после двух его блестящих победоносных походов. По его плану начался новый поход в 1738 году. Армия в 50000, включая в то число и казаков, перешла Днепр у Переволочной и направилась к пределам турецких владений. Турки думали остановить ход русского войска на переправах через речки Кодыму и Саврань, но безуспешно. Начался вслед за тем утомительный поход по безводной степи, пагубный для лошадей, скота и самих людей. С большими затруднениями дошел Миних до Днестра и в начале августа стал лицом к лицу с турецким войском, расположенным на другом берегу. Переправа была неудобна. Миних двинулся вдоль берега. Турки думали, что он ищет места для переправы, но Миних на этот раз нашел уместным приостановить дальнейшее движение; в Молдавии свирепствовала зараза: вести туда армию было бы до крайности безрассудно. Миних отступил за Буг и расположил свое войско на зимних квартирах в Малороссии.

Австрийский посол в Петербурге Ботта старался представить последний поход Миниха в неблагоприятном свете, доказывал, что Миниху было возможно продолжать военные действия, и он довел петербургское правительство до того, что Миниху послан был указ идти далее и взять Бендеры и Хотин. Миних в согласии с военным советом представлял, что идти в Молдавию и Валахию было невозможно, иначе он погубил бы все войско напрасно, и ничего теперь до следующей весны предпринимать не следует.

Также бесплодна была военная деятельность фельдмаршала Ласси; в том же году Ласси должен был взять Кафу, но не мог до нее добраться, потому что окрестный край был так опустошен, что русские не могли найти ни себе пристанища, ни фуража для лошадей. Притом флотилия, которая выступала из Азова с целью доставлять провиант сухопутному войску, была разбита бурей. Ласси в октябре воротился в Слободскую Украину, ничего не сделавши.

Зимой татары, в отместку русским, сделали набег, направляясь на придонеский край, но не успели прорвать украинской линии: только рассеянные татарские загоны сожгли несколько деревень.

В марте 1739 года Миних прибыл из Петербурга в Украину к своему войску. Он намеревался в этот год совершить поход через польские области и потому назначил сборный пункт в Киеве. Но как войско расставлено было на широком пространстве, то некоторые части его квартировали далеко и могли явиться на сборное место не ранее начала июня. Во всем войске было тогда шестьдесят пять тысяч человек, другие простирают число его (считая 13000 казаков) до 78 000. Они находились под командою генералов Румянцева, Карла и Густава Биронов, братьев любимца, Левендаля, заведовавшего артиллерией, принца Голштейна, кн. Репнина, Хрущева, Фермера, Бахметева и других. Перешедши Днепр, войско двинулось разными колоннами чрез Васильков. Польский коронный гетман учредил из местной шляхты милицию для наблюдения, чтоб не допускать русских совершать бесчинств и оскорблений жителям.

Миних, как и в предшествовавшие походы, старался поступать так, чтобы неприятели не могли узнать – каким путем он пойдет, и теперь пустил слух, что хочет идти на Бендеры. По этому слуху командир турецкой армии, сераскир Вели-паша простоял у Бендер напрасно пятнадцать дней, а потом, услышавши, что русское войско подходит к реке Збручу,

отправился туда препятствовать переходу русских через Днестр. Но Миних, объявлявший всем, что намерен там переходить Днестр и идти на Хотин, не думал на самом деле совершать перехода в этом месте по причине крутых берегов, а оставил там лагерь с частью армии; сам же с двадцатью тысячами пошел искать другой переправы, приказавши каждому солдату взять с собой хлеба на шесть дней. Он нашел удобную переправу близ польской деревни Синковцы, отстоявшей от Хотина верст на сорок. Мосты для переправы армии успели в одну ночь, и отряд, шедший с Минихом, весь перешел благополучно. Турки из-под Хотина не могли поспеть, чтобы препятствовать переправе за утесистыми горами и ущельями, находившимися на их пути. Остальная русская армия шла к той же переправе, отделяваясь от татарских нападений и замедляясь, кроме того, дождливою погодою. Она дошла до Синковец только 7 августа н.с. и нашла мосты, устроенные русскими, уже сорванными от напора воды, так что не без труда пришлось русским собирать бревна и доски, часть которых была унесена водою до самого Хотина. Только 15 августа (н.с.) переправились русские и за собою истребили мосты совершенно.

Тогда сераскир Вели-паша замыслил заманить русского военачальника с его войском внутрь турецкой страны и, окружив со всех сторон, погубить вконец. У сераскира было тридцать тысяч. Будучи уверен в превосходстве своих сил пред русскими, сераскир не задумался оставить незанятым и свободным для русского войска проход через Перекопские теснины, которые уподоблялись древним Фермопилам: говорили, что там десять человек могут остановить многотысячное войско. Но у русских были благоприятели между турецкими подданными: то были молдаване и валахи; они сообщили русским о незанятом проходе. Их так много являлось к Миниху с изъявлением готовности служить русской императрице, что генерал-фельдмаршал составил из них целый полк, назначив над ним командиром сына бывшего молдавского господаря, Кантемира. Эти-то союзники, связанные с русскими одною верою, показали им дорогу, и русские не только прошли удобно через тесный путь, но и провели туда всю тяжелую артиллерию и багаж. Войско очутилось на просторной равнине. Вели-паша не только не раскаялся в своей оплошности, напротив, был очень доволен, думая, что теперь-то может легко взять в полон всю русскую армию. 16 (27) августа русское войско стояло лицом к лицу с турецким. Впереди стоял Вели-паша на высоком месте у деревни Ставучан, в стане, укрепленном батареями. Влево от русских расположился хотинский паша Кальчак с серденгестами (т.е. беспощадными); он был прикрыт лесами и неприступными горами. Вправо стоял Енч-Али-паша с турецкой кавалерией или спагами: его войско упиралось сбоку в горы, которые тянулись до реки Прута. Позади русских стоял хан Ислам-Гирей с белгородскою ордою. Неприятели замкнули русских со всех сторон. Русские устроились тремя четвероугольниками и отбивались от нападений успешно. Но им невозможно было добывать фураж и даже выпускать лошадей и скот пастись. Положение наступало ужасное, почти такое же, как при Петре на берегах Прута. Приходилось либо сдаваться, либо отчаянно пытаться вырваться. Миних, окинув глазами неприятельский стан, заметил, что протекавшая влево от неприятельского стана болотистая речка<sup>219</sup> не так непроходима, как полагали турки, оставившие эту сторону без укреплений, в уверенности, что сама природа защищает их там достаточно; Миних сообразил, что туда возможно пройти, поместивши по болоту фашины и построивши на речке мосты. И вот, Миних дает приказ отряду (состоявшему из шести пехотных полков, двух драгунских, четырехсот пикинеров и несколько легкой кавалерии), под начальством генералов Левендаля и двух Биронов, идти вправо; там начинают возводить батареи, везут туда тридцать пушек и четыре мортиры, начинается усиленная пальба и пушечная, и ружейная, и все это делается только с тем, чтоб завлечь туда турок и отвлечь их внимание от другого конца. Между тем, в то же время влево везут фашины, бревна, доски, гатят болото, наводят мосты; турки не понимают этого движения и сосредоточивают свои усилия на том конце, где русские палят и напирают; турки допускают до того, что русские

---

<sup>219</sup> Одни называют ее Шуланец, другие Шубанец.

навели на речке двадцать семь мостов, проложили себе дорогу через болото и очутились при подошве возвышения, на котором располагался главный турецкий стан сераскира. В два часа пополудни турецкая конница сделала на них нападение, но была отбита. Русские идут все выше и выше, все ближе и ближе к неприятельскому стану. В пять часов сделали на русских нападение янычары; они порывались свирепо, но их также прогнали ружейными и пушечными выстрелами. В семь часов русские были уже на высотах, но не застали там уже никого, только пылал турецкий лагерь. Все турки обратились в бегство, покинувши сорок восемь орудий, больше тысячи разбитых шатров и большое количество запаса как боевого, так и продовольственного. На поле лежало более тысячи турецких трупов. Русские потеряли в этот день только семьдесят человек.

Победа была полная и неслыханная, так как она была первая битва русских с турками в открытом поле. На другой день утром победитель двинулся скорым маршем с тридцатью тысячами своего войска к Хотину. Туда уже успел принести роковое известие сам хотинский губернатор Кальчак-паша, растерявши свой десяти тысячный хотинский гарнизон на Ставучанском поле. Всей вооруженной силы в Хотине оставалось только девятьсот человек; Кальчак-паша считал невозможным защищаться и послал к русскому главнокомандующему предложение сдаться на капитуляцию. Миних отвечал, что не хочет знать ни о какой капитуляции, и требовал, чтоб гарнизон сдался военнопленным; он дозволял только отправить в Турцию женщин, находившихся в крепости. Кальчак-паша согласился на все. Только он один отправил свой гарем. Прочие оставили своих жен с собою и последовали с ними в плен. Генерал Хрущев сделан был комендантом Хотина, который тогда достался русским с превосходными укреплениями и со 179 орудиями.

Сентября 9 и 10 н. с. русские перешли Прут. Молдавский господарь Гика бежал перед сыном бывшего господаря Димитрия Кантемира, лишенного Турцией власти за приверженность к России. Гика убежал из Ясс так поспешно, что покинул и знамена, и орудия, и свой бунчук – знак власти, дарованный ему от султана. Миних послал вперед к Яссам Кантемира с трехтысячным отрядом волохов, драгунов и гусар, а сам следовал за ним. Депутаты от молдавских бояр явились к генерал-фельдмаршалу с покорностью и просили принять Молдавию в подданство России. Миних обнадежил их благосклонностью императрицы. После того 14 сент. н. с. он заключил с боярами договор: бояре обещали содержать двадцать тысяч российского войска. Предположили укрепить Яссы, и с этой целью Миних обозрел местность и составил план крепости: бояре обещали содержать несколько тысяч пионеров, которые возьмутся за эту работу. Генерал-фельдмаршал оставил в Яссах русский гарнизон под начальством генерал-майора Шипова, а сам отправился к своей армии.

Миних намеревался идти на Бендеры и покорить буджацких татар, затем у него был план перейти Дунай и вступить в средину Турецкой империи. В его воображении рисовалась уже надежда покорить Константинополь и разрушить владычество оттоманское в Европе. Вместе с тем, он мечтал и о собственном возвеличении. Радушный прием в Яссах, оказанный ему молдавскими боярами, ободрял его: Миниху мерещилась уже возможность сделаться господарем или князем молдавским в подданстве русской императрице, точно так как Бирон, камергер государыни, сделался уже герцогом курляндским.

Неожиданное для него событие прервало все его намерения и надежды.

Австрийские войска, воевавшие с турками, далеко не были так счастливы, как русские. Они терпели поражения за поражениями и, наконец, генерал Нейперг, имевший полномочие заключить с неприятелем мир, если найдет это необходимым, воспользовался своим правом и заключил с великим визирем договор, которым император возвращал Турции все сделанные его войсками приобретения и в числе их укрепленный Белград, где еще держался австрийский гарнизон. Известие об этом как снег на голову неожиданно смутило русского фельдмаршала, который только и помышлял, что о новых военных подвигах против турок совместно с австрийскими войсками. Миних написал сообщившему известие о мире австрийскому генералу Лобковицу письмо резкое и справедливое: он указывал в нем, что

мир, заключенный с турками среди полных успехов русского оружия, до крайности невыгоден для интересов самой Римской империи и несовместим с тем уважением к российской императрице, на которое последняя, как союзница, имела право. Действительно, австрийцы слишком мало заботились об уважении к России. Когда находившийся при австрийском войске русской службы полковник Броун спросил генерала австрийского Нейперга: «Не поставлено ли в белградском договоре условий, касающихся России?», то получил такой ответ: «Мы для России и так много сделали в настоящую войну». Это была вопиющая неправда, так как в течение всей войны русские войска одерживали блестящие победы, а имперские терпели поражения, – потому что в политике императора, как и в штабе войска, происходил беспорядок: бывший перед тем главнокомандующий Валлис должен был, по воле императора, передать свое полномочие на заключение мира генералу Нейпергу и, оскорбленный этим, старался всякими путями вредить своему сопернику, а генералы его партии – генералам партии Нейперга; Нейперг имел неблагоразумие поехать в неприятельский стан, не взявши заложников, а Валлис умышленно не допустил до него в пору императорского курьера, который вез императорское предписание не заключать мира с условием сдачи туркам Белграда. Поставивши себя заранее в невыгодное положение своей неуместной поездкой в турецкий стан и отдавшись на волю посредника, французского посла, мирволившего туркам, Нейперг, не получив нового императорского предписания, должен был уступить требованиям верховного визиря, который не хотел слышать о мире без возврата Белграда. Император Карл VI, уведомляя письмом русскую государыню о заключенном мире, выражался, что он со слезами на глазах извещает об этом мире с великим визирем, но этот мир он должен теперь сохранять ради сдержания данного слова. Нейперг получал секретные инструкции об этом мире не от императора, а от его зятя, герцога Лотарингского, будущего императора Франца I, и от главного министра Цинцендорфа; заключая с визирем договор, Нейперг говорил: «Многие подумают, что мне за такой договор, по возвращении в Вену, снимут голову, но я этого нимало не боюсь!» И действительно, сдавши туркам Белград, который мог еще долго сопротивляться, Нейперг, хотя и был арестован, но не подвергся дальнейшему преследованию благодаря протекции сильной стороны в государстве. Сам император Карл VI был им очень недоволен и выражался, что если б у него были такие полководцы, как Миних, то ему не пришлось бы заключать такого постыдного мира.

Французский посланник в Константинополе де Вильнёв также сильно и искусно хлопотал о прекращении войны между Россией и Турцией. Он казался благожелателем России, но на самом деле действовал в тайных видах своего правительства. Франция, да не только Франция, но и вся Европа смотрели с завистью на возвышение России. С таким храбрым и устойчивым войском, каким было русское войско, с таким отважным и предприимчивым полководцем, как Миних, Россия могла овладеть Константинополем, утвердить свое могущество на Балканском полуострове и захватить в свое распоряжение всю восточную торговлю. Этому не хотели допустить, а этого, однако, боялись ввиду подвигов и дарований Миниха: недаром взятый им в плен турецкий паша говорил, что если б у турок был такой генерал как Миних, то война бы для Турции кончилась иначе! По соображениям Миниха, Россия могла еще вести войну одна, без содействия Австрии; но не так решили наверху. Австрийское правительство давно уже советовало прекратить войну и положиться на посредство французского посланника в Константинополе, и эти советы имели успех еще в мае 1738 года. Остерману, по просьбе французского короля и по внушению австрийского двора, императрица повелела послать Вильнёву полномочие действовать со стороны России в случае заключения мира с Турцией. Для сношения с Вильнёвом избрали итальянца Каньони (или Канжони), бывшего в России советником в камер-коллегии: он повез от императрицы Вильнёву орден Св. Андрея, осыпанный бриллиантами, а супруге его какие-то драгоценные вещи. Миних в своих записках говорит, что Остерман не мог воспрепятствовать посылке от императрицы полномочия Вильнёву, давая тем как бы знать, что Остерман сам не был расположен к такой доверчивости; а Шлоссер в своей Истории

XVIII века говорит, что этот итальянец, пользовавшийся доверенностью императрицы, отправившись к французскому посланнику, был подкуплен последним.<sup>220</sup> Историк, написавший специальное сочинение об этой войне, замечает, что тогда с обеих сторон давались деньги и таким образом уладились все препятствия и недоразумения.<sup>221</sup>

Мирный договор составил 7 октября 1738 года. Азов уничтожался. Пустое место, где прежде был построен этот город, служило теперь барьером между русскими и турецкими границами. Русские оставили за собою право построить себе крепость на донском острове, где Черкасск, а турки – крепость на кубанской стороне в расстоянии тридцати верст от Азова. Таганрог русские обязались не возобновлять. Очаков и Хотин возвращались Турции. Однако России давалось некоторое территориальное приобретение. На западной стороне от Днепра рубеж с Турцией оставлен был по-прежнему, но на восточной стороне пограничная линия изменялась: «начав от востока или начала реки Заливы Конские Воды имеет ведена быть прямая линия до западного истока или начала реки Большой Верды и все земли и воды, лежащие внутри между помянутыми реками: Днепром, Заливою Конских Вод, помянутой линией и рекой Большой Берды, Оттоманской империи остаться имеют, а все те земли и воды, лежащие по другой стороне, то есть вне помянутых рек или линий Всероссийской Империи да останутся, изъяв... что касается до земли, лежащей между помянутой рекой Большой Берды даже до реки Миуса, границы таким образом определены да пребудут как они поставлены были мирным трактатом 1700 г.»<sup>222</sup>

Миних еще в 1738 году получил от императрицы на пергамене полномочие заключить мир с неприятелем, когда найдет нужным, но не хотел пользоваться, подобно Нейпергу, своим полномочием, хотя долго хвалился этим документом, как доказательством большого доверия к нему со стороны императрицы. Еще менее мог желать он им воспользоваться после счастливых для России военных действий 1739 г. Получивши известие о заключении в Белграде мира союзниками России, он думал, что Россия одна без союзников в силах будет продолжать войну, и хотел в том убедить верховную власть, а потому расставил свои войска в Молдавии. Но в октябре он получил предписание вывести войско в пределы российских владений. Он перевел его через Днестр и вернулся в Украину. В ноябре генерал Левендаль сдал Хотин турецкому паше, присланному от своего правительства для обратного приема крепости в турецкое владение.

Миних прибыл в Петербург накануне 14 февраля, дня, назначенного для торжества в честь заключения мира. Русское правительство не могло быть втайне довольно этим миром после недавних успехов русского оружия, но должно было показывать радость, так как мир был заключен по желанию России, заявленному в прошлом 1738 году. Утром 14 февраля отправлялся во всех столичных церквях благодарственный молебен об окончании войны. Герольды разъезжали по улицам и бросали в народ золотые и серебряные жетоны; в дворцовой галерее были принимаемы императрицей и членами царской семьи все участники войны, начиная от фельдмаршалов Миниха и Ласси и кончая обер-офицерами и унтер-офицерами; посыпались награды; всех щедрее был награжден Бирон, который не только не участвовал в войне, но, вероятно, много содействовал заключению мира, так как он имел неограниченное влияние на государыню, руководил всеми ее действиями и вместе с тем находился сам под влиянием австрийской политики: ему подарили золотой, осыпанный бриллиантами кубок, в который вложен был императорский указ в рентерею о выдаче герцогу курляндскому пятисот тысяч рублей; Миних, Ласси и все их генералы получили по золотой шпаге, сверх того Миниху дали ежегодной пенсии 5000 р., а Ласси – 3000 р., кабинет-министр Волынский получил единовременно 20000 р., Левенвольд и кн. Черкасский – перстни от 5 до 6 тысяч рублей ценой, а генерал Ушаков, начальник тайной канцелярии, портрет государыни ценой от трех до четырех тысяч рублей. В этот же день всеобщего торжества объявлено всему народу освобождение от взноса подушных денег на следующее

<sup>220</sup> Gesch. des XVIII Jahrhundert. I, 374.

<sup>221</sup> Keralio, II, 251.

<sup>222</sup> Полн. Собр. Зак. Рос. Имп., X, 915.

за тем полугодие. Многим знатным лицам, в ознаменование радости торжества, дозволено было брать из казны заимообразно деньги без процентов. На другой день императрица собственноручно раздавала знатным лицам медали, нарочно на тот случай отчеканенные, большие в 50, а меньшие в 30 червонцев; народу снова разбрасывали жетоны. Тогда все царские придворные были щедро одарены: даже слугитель, ходивший за любимой собачонкой государыни, получил три тысячи рублей. Императрица из окон своего дворца любовалась зрелищем, как народ по данному сигналу кидался на жареного быка, выставленного на площади, и черпал водку, струившуюся фонтаном в большие бассейны.

Среди всеобщего ликования одна душа не разделяла его, душа человека – виновника торжества, фельдмаршала Миниха. Он видел, что другие торжествуют то, что для него было утратой. Идея, волновавшая Европу уже третье столетие, готова была осуществиться: наступало, казалось, время разрешения задачи, брошенной Европе Азией еще в XV веке, и разрешителем ее судьба избирала его, Миниха! Сколько раз толковали европейские политики об изгнании турок из Европы, о восстановлении свободной христианской государственной жизни на Балканском полуострове! Но взаимные недоразумения христианских держав между собою препятствовали им соединиться для взаимно сознаваемой цели. Теперь, казалось, близко было разрешение задачи. В дальнейших успехах русского войска, предводимого Минихом, едва ли можно было сомневаться, как и в невозможности турецким силам бороться против русских. Кроме того, для удовлетворения личных выгод предстояли великие надежды честолюбию Миниха. Молдавия добровольно отдавалась в распоряжение русской государыни; победитель турок надеялся сделаться господарем молдавским под верховной властью России, точно так, как прежние господа признавали над собою верховную власть Оттоманской державы. Мечты Миниха внезапно разрушились. Потерял он свои честолюбивые надежды; потеряла с ним разом и Россия. Не только ускользнуло от нее чаемое господство на Востоке, но опасности угрожали ей еще с Запада. Коварные друзья и тайные недруги готовились вредить ей. Они могли тогда уразуметь, что у руководящих судьбой России нет политической проницательности, что при самых блестящих успехах русского войска русское государство всегда может остаться в проигрыше по бездарности и невежественности тех, от которых зависит ведение дипломатических сношений.

Во время своих походов Миних не оставлял военного управления, тем более, что по зимам он проводил значительную часть времени в Петербурге. Таким образом, в период его воинских действий против турок совершено было немало важного по военному ведомству.

Одним из наиболее видных явлений этого рода было устройство постоянных помещений для гвардейских солдат в Петербурге. По возвращении фельдмаршала в столицу уже после окончания войны, Миних, в видах заботливости о подчиненных ему офицерах, испросил у государыни указ, позволявший выходить в отставку прослужившим двадцать лет; но когда стали рассматривать поступившие прошения об отставке, то заметили, что многие, будучи еще молоды и здоровы, просили об увольнении от службы, как прослужившие уже определенное число лет, а это происходило оттого, что, по тогдашним обычаям, дворян записывали в военную службу еще в детстве, иных даже тогда, когда они еще лежали в колыбели. Тогда Миних сам принужден был просить об отмене этого указа, а другие кабинет-министры делали ему выговоры, что очень огорчало фельдмаршала, всегда чувствительного, когда оскорблялось его самолюбие.

Между тем, едва окончилась турецкая война, как стали возникать опасения объявления войны со стороны Швеции. В этой стране постоянно происходили раздоры между правительственными партиями. Одна из них, носившая кличку партии шляп, думала о возмездии России за недавнее поражение, нанесенное Петром Великим; другая, которую прозвали партией шапок или колпаков – хотела сохранить мир с Россией и вообще избегать войны.

На стороне мира был и сам тогдашний король. Но воинствующая партия, руководимая французскими внушениями, находившая себе опору вообще в туземной молодежи, думала,

что Швеции следует вмешаться в войну, возникшую между Россией и Турцией во вред России, и отправила в Турцию тайным агентом с депешами шведского майора Синклера.

Об этом заблаговременно проведал русский посланник в Стокгольме Бестужев и сообщил своему правительству. Русские снеслись с польским правительством и предположили задержать Синклера, когда он будет следовать через польские владения, и отнять у него депеши, с которыми он ездил в Турцию. Получившие такое поручение капитан Кутлер и поручик Левицкий напали на дороге на Синклера, ехавшего вместе с французским купцом, заманили его в лес, застрелили и отняли бумаги. В какой степени принимал участие в этом деле сам Миних – неизвестно, хотя по предписанию верховного правительства он отрядил офицеров арестовать Синклера и овладеть его бумагами, но приказывал ли убить его – на это нет доказательств. Русское правительство отсеклось от всякого участия в этом деле, а офицеры, расправившиеся с Синклером, были сосланы в Сибирь. Была у некоторых мысль – взвалить всю ответственность в этом поступке на Миниха, так как он имел от императрицы полномочие во всем действовать по своему усмотрению и у него были открытые бланки с подписом. Как бы то ни было, только после этого события шведы энергичнее стали раздувать в своем обществе вражду к России и делать приготовления к войне с нею. Об этом сообщал в Петербург русский посланник из Стокгольма, и Россия, со своей стороны, должна была заботиться об обороне. Миних сам отправился обозревать укрепления Кронштадта, Шлиссельбурга, Кексгольма. Царским указом было повелено распределить по полкам и снарядить к работам солдат, а в помощь им выписать из Ярославля каменщиков по вольным наймам. В таких работах проходило лето 1740 года.

Между тем, в октябре произошло внезапное, хотя и не совсем неожиданное событие. 5 числа этого месяца императрица, незадолго возвратившаяся в столицу из летнего пребывания в Петергофе, по своему обыкновению, в полдень обедала вместе со своим неразлучным любимцем Бироном. Вдруг с нею сделался болезненный припадок – тошнота, головокружение, рвота и, наконец, лишение всех сил: она упала без сознания; ее унесли и уложили в постель. Уже несколько лет она страдала болезнью в мочевых органах, но таких припадков, как теперь, с ней не бывало. Призваны были врачи: архиатер Фишер и придворный врач Рибейра Санхец, португалец по происхождению. Они различно отнеслись к болезни императрицы. Первый внушительно сказал, что, вероятно, Европе скоро придется надеть траур; второй, напротив, не признавал, чтобы случившийся с государыней припадок имел роковые последствия. Бирон послал своего сына известить о случившемся принцессу Анну. Принцесса не приняла его, а ее фрейлина и любимица Юлиана Менгден передала ему, что принцесса очень огорчена болезнью императрицы и постарается сама навестить свою тетку.

Тогда же Бирон позвал обер-гофмаршала, графа Левенвольда. «Императрице дурно, – сказал он, – поезжайте скорее от имени императрицы к Остерману, сообщите ему, что случилось, и спросите, что он посоветует нам делать?» – «Надобно позвать кабинет-министров», – сказал Левенвольд и уехал к Остерману.

Хитрый дипломат когда-то удачно и кстати притворялся больным, когда при воцарении Анны Ивановны шел вопрос об ограничении самодержавной власти; теперь он снова был почти в таком же щекотливом положении, но ему притворяться необходимости не предстояло: он уже пять лет действительно страдал подагрой, с трудом ступал на ноги и почти не выходил из дома.

Отправивши Левенвольда, сам Бирон пошел к государыне.

Больная пришла в себя, но была очень слаба.

– Мне дурно, герцог, – сказала она, – чуть ли не приходит мой последний час! Я покорна Божьей воле! Но что после меня станет с империей – подумать страшно! Мне поставят в вину стечение обстоятельств, в каких я оставляю Россию!

– Бог будет милостив, – сказал Бирон. – Не тревожьте себя, государыня, думами о судьбе России, потому что всякое волнение усиливает вашу болезнь. Все земное управляется волей Провидения!

– Правда, – сказала государыня, – позовите министров и слушайте, что они будут говорить!

– Они должны явиться сюда скоро в ожидании куртага, потому что сегодня воскресенье, – сказал герцог. – Как только соберутся, мы тотчас приступим к совещанию.

– Пошлите к Остерману! – сказала государыня. – Дали ли знать принцессе?

Бирон отвечал, что то и другое сделано. В это время вошла в опочивальню государыни принцесса Анна. Бирон вышел и встретил Левенвольда, воротившегося от Остермана.

Когда обер-гофмаршал сообщил Остерману о припадке с государыней, Остерман произнес: «Боже, сохрани ее величество!» Но когда вслед за тем Левенвольд спрашивал: что делать на случай смерти императрицы, Остерман отвечал: «Я думаю, ее величество не изменит своей прежней воли. Еще до брака принцессы Анны она объявляла, что желает учинить своим наследником сына, когда тот родится от принцессы Анны. Теперь этот сын рожден. Надобно составить манифест, провозглашающий Ивана Антоновича будущим императором».

– Но преемник императрицы еще в колыбели, – сказал Левенвольд... – Следует установить правительство до его совершеннолетия!

– Я не знаю, – отвечал Остерман, – какая в том будет воля ее величества. Но мне кажется, сама природа тут указывает: у малолетнего императора есть мать; она и будет правительницей, только при ней надобно будет учредить совет, а в числе членов этого верховного совета может быть герцог курляндский.

Этот ответ не понравился Бирону, когда его передал ему Левенвольд. Любимец думал, что Остерман будет подгадливей и сразу скажет, что регентом следует назначить его, Бирона. Но дипломат хотел уклониться до поры до времени и выждать, что скажут другие: ему самому не хотелось являться первым в таком предприятии, которое может и не удался.

Бирон, недовольный двусмысленным ответом Остермана, произнес: «Какой совет может быть там, где много голов? У каждой головы своя собственная мысль!»

Его снова позвали к императрице; он сообщил ей ответ Остермана, императрица похвалила Остермана и говорила:

– Я хочу все устроить, что только будет зависеть от меня. Остальное – в воле Божьей! Знаю, что оставляю императора-младенца в грустном положении. Ни он сам, ни его родители не способны совершить что-нибудь. Отец – человек без дарований и не может служить поддержкой малолетнему сыну. Мать-принцесса – не глупа, но у нее есть отец, герцог мекленбургский – тиран своих подданных. Он явится в Россию и здесь начнет поступать так, как поступал в своем мекленбургском владении. Память моя покроется позором! Нет, ни отец, ни мать не годятся, чтоб государством править!

Бирон успокаивал государыню, но что говорилось у него с императрицей по вопросу об управлении государством во время малолетства будущего императора – это остается неизвестным, потому что свидетелем их тогдашней беседы не был никто.

Вышедши из опочивальни императрицы, любимец увидался с Бестужевым, Черкасским и Минихом. Неизвестно наверно, посылал ли за ними Бирон или они сами явились к куртагу: тогда при дворе сходились вельможи к государыне на куртаги по воскресеньям и четвергам.

Любимец передал им, что императрица твердо стоит на прежней своей воле – объявить наследником своим сына принцессы Анны, но не считает обоих его родителей способными управлять государством. Бирон просил их съездить к Остерману и услышать от него мнение о том, как следует поступать в такие критические минуты.

Князь Черкасский и Бестужев поехали к Остерману, севши вместе в одной карете; Миних отправился туда же впереди их в особом экипаже. Дорогой Бестужев и Черкасский разговаривали между собой о событиях дня и оба сходились на той мысли, что надобно предложить регентство герцогу курляндскому. Приехавши к Остерману, они не скоро могли добиться от него желательного для себя ответа. О наследстве Ивана Антоновича он не пускался в рассуждения. «Государыня, – сказал он, – назначает своим преемником внука, сына своей племянницы, принцессы Анны, а воля самодержавной государыни есть закон.



Итак, необходимо составить манифест об объявлении преемником императрицы Анны Ивановны принца Ивана Антоновича и об учинении ему присяги на верность».

Но заговорили о том, кому поручить правление до совершеннолетия будущего императора, и Остерман сказал:

– Дай Господи государыне моей много лет здравствовать! Мы сейчас напишем манифест о престолонаследии, а о регентстве – это дело другое. Дело важное – надобно подумать! Этот вопрос может быть решен только природными русскими! Я иноземец, и мне такое решение не под стать!

Бестужев, видя, что Остерман отвиливает, сказал: «Странно, граф, что вы себя называете иноземцем, когда вы так долго занимали первую должность в Российском государстве и правили всеми государственными делами!.. Вы более русский, чем двадцать тысяч других, называющих себя русскими по происхождению. Мы не затем к вам приехали, чтобы навязывать вам чужое мнение, а затем, чтоб слышать ваше собственное от вас самих. Без этого нам и пользы нет от участия в наших совещаниях».

Остерман начал объяснять, что его слов не поняли и, по своему обыкновению, вывертывался так, что, по неясности способа его выражения, слушавшие не могли уразуметь, что он сказать хочет. Когда его, как говорится, уже приперли к стенке, а он должен был так или иначе высказаться, что думает о предоставлении регентства Бирону, Остерман произнес, что, по его личному убеждению, регентство не должно быть в более достойных руках, как у герцога, и его избрание в этот сан было бы самой благоразумной мерой. Но тем и ограничился Остерман, всегда в важных делах выражавшийся темно и нерешительно. Кабинет-министры уехали от него, не добившись того, за чем приезжали. Немедленно после их отъезда Остерман пригласил кабинет-секретаря Яковлева и продиктовал ему проект манифеста о престолонаследии... Еще этот манифест не был готов, как из дворца уже присылали за ним, и Остерман принужден был отослать его написанным вчерне.

Воротившись от Остермана, кабинет-министры явились к Бирону. Они известили его, что Остерман сейчас принимается за манифест, а о регентстве говорит, что с ним торопиться нечего, и следует подумать. Пришел Левенвольд. Тогда Бирон произнес перед ними такую речь:

– Великое несчастье меня постигает, господа. Я теряю государыню благодетельницу, которая почтила меня неизмеримою милостию и доверенностию. После нее чего доброго мне ждать здесь в России, кроме неблагодарности и ненависти к себе! Но я беспокоюсь не так о себе, как о Российской империи, а я долго, по мере сил своих, способствовал ее благосостоянию. Наследник престола – восьминедельный младенец в колыбели, его назначение еще не оглашено, и кто знает, как отнесется к нему народ, который в прежние времена бывал недоволен в малолетство государя! А ныне вон какие обстоятельства! Шведы не перестают вооружаться и, конечно, воспользуются худым положением России, когда в ней откроются несогласия и беспорядки. России нужно такое правительство, чтоб оно умело держать народ в порядке и обуздывать его.

– Вы слышали, граф, – сказал он, обратившись к Миниху, – думают устроить у нас правительство на польский образец, состоящее из многих лиц? – Бирон намекал на ответ Остермана, привезенный Бирону чрез Левенвольда.

– Я не слышал! – отвечал Миних.

– Это, – замечал Бестужев, – противно было бы существованию российского правительства и духу нашей нации, издавна привыкшей к единовластию. Опыт нам это показал достаточно одиннадцать лет тому назад, когда избирали на престол государыню Анну Ивановну. Это до того очевидно, что и толковать об этом нечего. Надобно регентство поручить одному лицу. Герцогу курляндскому регентом быть!

Тут кто-то, кажется, для соблюдения приличия (может быть, и сам Бестужев), произнес:

– Не беспрепятственно ли будет со стороны чужих государств, когда родители его величества будут обойдены?

Князь Черкасский стал что-то говорить Левенвольду тихонько, а Левенвольд громко сказал:

– Не шепчитесь, говорите велегласно!

Бестужев, в свою очередь, продолжал начатое:

– Родителям будущего императора правление поручать нельзя, да и государыня императрица этого не желает! Если дать власть принцу брауншвейгскому, он наделает больших хлопот России. Он племянник римского императора и шурин прусского короля. Он отдаст Россию в волю чужих государств, впутает ее в их взаимные несогласия и вооружит против нее многие имперские дворы; а нам надобно соблюдать со всеми равное согласие, отнюдь не вмешиваясь в их домашние дела, до нас не касающиеся.

– Он человек горячий, – сказал кн. Черкасский, – он будет стараться сделаться генералиссимусом, а получивши полную высшую власть над войском, всецело отдастся в диспозицию венского двора. Притом же, нрав принца брауншвейгского нам неизвестен, а нрав герцога курляндского мы давно знаем! Левенвольд повторял то же. Бестужев продолжал:

– Сама принцесса Анна – женщина своенравная, как и ее родитель; притом у нее нет достаточных познаний в делах внутренней и внешней политики, и она совершенно не подготовлена к тому, чтоб нести на себе тяжелое бремя управления государством. Нет никого, кто бы так способен был к принятию на себя должности регента, как герцог курляндский. Он благоразумен, он смел, неустрашим, он знает все интересы нашей страны! Надеюсь, почтенные господа согласятся со мною, что нам теперь остается просить императрицу поручить после себя до совершеннолетия будущего императора Ивана Антоновича регентство над империей герцогу курляндскому.

– И я тоже полагаю, – сказал кн. Черкасский. – Его личная польза в отношении собственного герцогства связана с пользою и благоденствием России. Уже ради одного опасения за свое собственное герцогское владение, находящееся в распоряжении России, он будет стараться о ее государственных делах настолько, чтоб всегда быть в состоянии дать в них безукоризненный отчет. Мы окажем великую услугу нашему отечеству, если начнем утруждать герцога нашей общей просьбой, дабы он благоволил на будущее время обратить свое внимание к попечению о нашем государстве.

Фельдмаршал Миних принял сторону товарищей: хотя внутренне он Бирона не терпел, но тут горячее прочих стал просить его принять на себя регентство. «Мы знаем, – говорил фельдмаршал, – превосходные качества характера вашего, герцог. Мы убеждены, что никто, кроме вас, до такой степени не сведущ во внутренних и внешних делах Российского государства и никто не будет принят русской нацией с таким восторгом, – как все министры наши за все время царствования императрицы Анны Ивановны привыкли к вашему образу действий и никому не станут так охотно повиноваться, как вам. А вот что говорили о принце брауншвейгском, так я скажу: был он при мне две кампании, и я все-таки не узнал, что он такое: рыба ли он или мясо!»

«Отец мой, – замечает по этому поводу сын фельдмаршала в своих записках, – находился тогда в таком щекотливом положении, в каком только честный человек когда-либо очутиться может». Уже давно все привыкли обращаться к любимцу с гнусною лестью; императрице это нравилось, напротив, всякое невнимание к нему она принимала за оскорбление самой себе. Хотя врачи мало подавали надежды на выздоровление императрицы, но из них тогда еще никто не решился бы утвердительно сказать, что ее кончина близка. Если ж бы случилось, что она оправилась от своего недуга, то через неделю гибель постигла бы того, кто бы дерзнул в то время обращаться с герцогом так, как требовала справедливость. Пример Волынского был еще свеж и всем памятен. «Кто взвесит тогдашние обстоятельства, – продолжает Миних-сын в своих записках, – тот не поставит моему родителю в вину его поступка и не назовет его несоответствующим с здравым рассудком».

Герцог, выслушавши втайне желанное для него предложение, сказал:

– То, что я слышу от вас, меня крайне бы изумило, если б я не был уверен, господа, что единственным побуждением к этому была искренняя ко мне любовь и дружественное расположение. Но сами рассудите: много ли в русской публике людей, так дружелюбно расположенных ко мне, как вы! Все только и твердят, что я иноземец; благоволение императрицы ко мне возбудило против меня завистников, и я уже не раз замечал с прискорбием, как мои чистейшие намерения обезображивались гнуснейшей клеветой. Что же последует тогда, когда я получу верховную власть? До сих пор императрица защищала меня от врагов, а кто будет стоять за меня и оборонять меня, когда не станет моей благодетельницы? Я так богато награжден милостями моей государыни, что после нее мне уже ничего не остается желать, как только, отказавшись от всяких государственных дел, удалиться на родину и жить себе там частным человеком, оставаясь, если позволите, вашим неизменным другом.

– Вы, герцог, не имеете права отвергать предлагаемое вам могущественной нацией. Это не человеческое дело; оно совершается по воле Божьей! Вы дурно заплатите за те милости, которыми так обильно почтила вас императрица, – говорили другие.

– Я лучше других знаю свою неспособность! – сказал Бирон.

– А мы думаем, герцог, – сказал Миних, – что миллионы людей, осчастливленных вашим правлением, будут за вас молить Бога! Ваша светлость, примите весла правления в ваши крепкие руки, мы же все вам искренне преданы, и я, как прежде был, так и вперед пребуду вашим вернейшим слугой!

– Если, – сказал наконец Бирон, – меня что-нибудь может принудить к принятию на себя такого непосильного бремени, то разве только признательность к великим благодеяниям императрицы, привязанность к ее высокой фамилии и усердие к славе и благоденствию Российской империи; но я не могу на это решиться, как только услышавши согласное желание всех благонамеренных патриотов. Пусть, если угодно, завтра утром соберется совет из знатнейших особ, сенаторов, генералитета и придворных чинов; прежде пусть все признают молодого принца Ивана Антоновича преемником на престол государыни Анны Ивановны, а потом установят правительство до его совершеннолетия, пусть только рассудят, согласно с графом Остерманом, и чрез него представят императрице.

Герцога тут снова позвали к больной государыне, а Бестужев пригласил с собой Бреверна и князя Трубецкого в другой покой, и там все трое стали составлять духовную об учреждении регентства и предположили подать ее к подписи императрице в следующее утро. Писал ее тот же Андрей Яковлев, который работал у Остермана. В этой духовной было постановлено: на случай кончины императрицы и впредь до совершеннолетия будущего государя будет управлять в течение семнадцати лет государством герцог курляндский и во все это время заведовать всей сухопутной и морской силой, распоряжаться государственной казной, стоять во главе над всеми государственными учреждениями, руководить всеми сношениями с иностранными державами и прилагать заботы о воспитании молодого императора. На содержание регенту определили ежегодную сумму в количестве 600000 рублей.

Когда эту духовную составляли, в другом покое, там, где оставлен был Миних, сошлись другие вельможи: кн. Куракин, адмирал Головин, гр. Головкин, генерал Ушаков. Миних всех этих господ принялся настраивать в пользу регентства Биронова. Легко было фельдмаршалу всех их расположить к этому, потому что каждый из них, не питая никакого дружелюбного сочувствия к герцогу курляндскому, руководствовался такими же соображениями, как и уговаривавший их фельдмаршал. Когда духовная была готова, сочинители вышли из того покоя, где ее составляли, и князь Трубецкой прочитал ее собравшимся господам перед дверьми царской опочивальни. Все слушали и одобряли; ближе всех к теще стоял кн. Черкасский.

Утром 6-го октября приехал во дворец Остерман. Старого дипломата внесли во дворец в креслах, потому что он с чрезвычайным трудом мог ступать на ноги. Его встретил Миних и сообщил, что уже все вельможи настойчиво упрашивали герцога принять на себя регентство,

но герцог все колеблется. Дипломат, слыша это, вдруг изменил свой вчерашний тон; вместо двусмысленных неясных выражений он, казалось, приходил в восторг от всеобщего желания избрать регентом герцога курляндского, произнес от себя совершенное согласие и прибавил, что если герцог будет еще долее упрямыться, то надлежит утруждать императрицу просьбами, чтобы она, со своей стороны, расположила его принять предлагаемое регентство. Таким образом, Андрей Иванович Остерман поступил здесь как искуснейший дипломат: он не выставился вперед рьяным сторонником Бирона, чтобы не подвергнуться нареканиям, если бы возвышение герцога почему-нибудь не состоялось, а теперь безбоязненно объявил себя в его пользу, когда был уверен, что между вельможами никто не показывает к герцогу недоброжелательства.

Остермана в креслах внесли в опочивальню императрицы. С ним были там князь Черкасский и Бирон. Остерман представил к подписи государыне два акта: один был составлен им самим, другой Бестужевым с товарищами. Первый, манифест о престолонаследии принца Ивана Антоновича, с приложением присяжного листа, был сразу подписан государынею, а другой – она положила себе под изголовье. Подписывая первый, она спросила Остермана: «Кто писал это?» и получила ответ: «Я, ваш низжайший раб!» Просмотревши другой, императрица взглянула на Бирона и произнесла: «Разве тебе это нужно?» Вельможи вышли из опочивальни в совершенном недоумении о судьбе второго акта. Относительно первого акта, императрица хотя без возражения его подписала, но ее сердце предчувствовало, что высокая судьба, которую императрица предопределяла младенцу, не будет прочной, и после подписания манифеста императрица говорила, что с меньшей тревогой подписывала мирный договор с Турцией, чем этот манифест.

Бирон горячо желал сделаться регентом, но принужден был обстоятельствами играть в смирение, а его угодники-министры, в душе его не любившие, продолжали настаивать на своих просьбах о принятии им регентства. Дни за днями проходили; императрица не показывала ни малейших надежд к выздоровлению, напротив, все более и более слабела, духовной все не подписывала. Потерявши, наконец, терпение, угодники герцога курляндского прибегнули к такому извороту. Бестужев пригласил с собою Бреверна и, при незнании последним русского языка, еще кн. Трубецкого; вместе все трое измыслили составить позитивную декларацию от имени сената, генералитета и разных высоких чинов лиц, как бы вместе изображавших собою цвет русской нации. В этом акте излагалась просьба к государыне о назначении после себя регентом герцога курляндского в таком же смысле, как было изложено в духовной. Миних и здесь подписался первым. «Истинно за тебя верно стоять и яко честный человек помощь оказывать буду», – сказал он Бирону. Устроили подписку в министерских покоях. Приглашали духовных и светских сановников первых двух рангов, вводя в комнаты по несколько лиц, как будто с целью избежать тесноты и замешательства. Предполагали распространить эту подписку и на более второстепенных чиновных лиц, надеясь, что каждый из таких, видя, что уже прежде подписались лица чинов поважнее, не задумается приложить свою руку, выражая согласие. Подписывавшиеся все руководились таким же страхом привязанности к любимцу высочайшей особы, каким руководился фельдмаршал. Бирон продолжал держать себя не участвующим во всем, что творилось, и с притворным любопытством спрашивал Бестужева: что это люди идут в кабинет? а узнавши, в чем дело, спросил: оставляется ли каждому поступать по своей воле? Бестужев ответил: да.

В то же время делались усилия побудить принцессу Анну и ее супруга присоединиться к общему желанию. Для воздействия на них избран был барон Менгден, отец Юлианы Менгден, любимой фрейлины принцессы Анны. Этот барон, немец до мозга костей, всем своим соплеменникам при дворе внушал, что непременно следует Бирона сделать регентом для поддержания власти немцев в России, иначе все немцы пропадут от злобы к ним русских. На принцессу, однако, он не оказал большого влияния. Анна Леопольдовна дала ему такой ответ: «Вы знаете, я и прежде удалялась от вмешательства в государственные дела, а теперь еще менее отважусь на какое-нибудь подобное вмешательство. Императрица,

хотя и находится в опасном положении, но, при ее еще не старых годах возраста, она еще может выздороветь при Божьей помощи. Я ни за что на свете не стану беспокоить ее чем-нибудь таким, что напоминать ей может о близкой смерти. Когда ее величеству угодно было назначить преемником своим моего сына, то, вероятно, она сама соизволит объявить свою высочайшую волю относительно управления государством во время его малолетства. Я предоставляю это благоусмотрению ее величества».

В самом деле, Анна Ивановна уже несколько месяцев сряду боялась призрака смерти и даже запретила возить мертвых мимо ее дворца. Принцесса Анна, передавая все это Менгдену, сочла нужным присовокупить, что ей, впрочем, неприятным не будет, если императрица назначит герцога регентом или вообще даст ему после себя какое-либо участие в верховном правительстве.

Бирон, всегда близкий к особе императрицы и беспрестанно посещавший больную, сколько раз ни пытался направить ее к тому, чтобы она сама изъявила ему желание окончить дело о регентстве, – не достигал своей цели.

Однажды по этому поводу императрица сказала ему: «Жаль мне тебя, Бирон, без меня тебе не будет счастья». Наконец, 16 октября, когда императрице стало очень худо и присутствовавшие ожидали скорой кончины, ему-таки удалось ввести к императрице Остермана: не знаем подлинно, сам ли Остерман явился или императрица его потребовала. Тут она вынула из-под изголовья духовную и подписала. Тогда Остерман и Бирон вышли из царской опочивальни с торжествующим видом, и Бирон воскликнул, обращаясь к своим угодникам: «Господа! Вы поступили как древние римляне!»

Что хотел сказать этим курляндский герцог – мы не знаем. Так рассказывает сын фельдмаршала Миниха.

По словам самого герцога курляндского, в его записке, посланной из места своей ссылки в Ярославле императрице Елисавете, дело было так: Бирон, вошедши в опочивальню императрицы, застал там Остермана. Государыня держала в руках духовную и готовилась ее подписывать. Бирон умолял ее не делать этого, представляя, что отказ государыни подписать этот документ будет награждением за всю многолетнюю службу его императрице. Государыня, послушав любимца, положила бумагу снова под изголовье. В течение нескольких дней после того он отклонял императрицу от исполнения этого замысла. Наконец, тринадцать знатнейших сановников вошли в ее опочивальню и подали просьбу, подписанную уже 190 лицами: из этой просьбы государыня могла уведомить о всеобщем желании видеть ее любимца регентом Российского государства, во время малолетства будущего императора Ивана Антоновича. Тогда императрица Анна Ивановна приказала позвать Остермана и подписала духовную, а подписавши, отдала постоянно находившейся при ее особе подполковнице Юшковой, которая спрятала этот важный документ в шкаф с драгоценностями.

В последующие затем часы здоровье императрицы являлось все более и более безнадежным. 17 октября, в пятницу около полудня почувствовала больная, что у нее отнялась нога. К ней вошли принцессы Анна Леопольдовна и Елисавета Петровна. Императрица, будучи еще в полном сознании, говорила, прощалась с ними. К вечеру сделались с нею такие мучительные припадки, что видевшие их не могли не пожелать, чтобы Бог скорейшей кончиной избавил страдальицу от таких мук. В девять часов явилось придворное духовенство с певчими. За ним вступила в опочивальню толпа близких к государыне вельмож. Совершался обряд соборования елеем. Императрица, проводя взорами по толпе господ, наполнивших комнату, заметила Миниха и сказала ему: «Прощай, фельдмаршал!» Потом, обводя угасавшие глаза по другим и уже не будучи в силах распознать кого-нибудь, она произнесла: «Все, прощайте!» С этими словами императрица испустила дыхание.

По кончине Анны Ивановны ее опочивальня представляла такое зрелище. На постели лежал еще не остывший труп. Кругом ходили близкие к покойной государыне особы. В углу в креслах сидела принцесса Анна и заливалась слезами. За спинкой кресла ее стоял ее супруг

с нахмуренным видом. Бирон, как иступленный, метался перед постелью, наконец обратился к присутствующим в комнате и предложил всем узнать последнюю волю императрицы. Подполковница Юшкова объявила, что покойница вручила ей бумагу, лежавшую у нее под изголовьем, приказала ее хранить в шкафу, где сберегались драгоценные уборы, а после ее кончины предъявить для всеобщего сведения. По словам императрицы, это была очень важная по своему содержанию бумага. Но Юшковой было запрещено сделать кому бы то ни было даже намек на существование этой бумаги, прежде чем императрица не скончается. Кроме Остермана и Бирона, никто не знал о подписании императрицею духовной, в которой Бирон назначался регентом. Вельможи, постоянно вращавшиеся при дворе, не ясно знали о последней воле императрицы. При входе в опочивальню кн. Куракин спросил Остермана: «Кто же после государыни будет ее преемником на престоле?» – «Принц Иван Антонович!» – отвечал Остерман, но о регентстве ни Остерман Куракину не говорил, ни кн. Куракин Остермана не спрашивал.

Открыт был указанный Юшковой шкаф с бриллиантами; достали духовную, освидетельствовали целостность печати, приложенной на конверте Остерманом; открыли конверт. Тогда Бирон учтиво и лукаво обратился к супругу принцессы Анны и сказал ему:

– Не угодно ли, принц, слушать последнюю волю усопшей императрицы?

Принц молча подошел к кружку, собравшемуся около князя Трубецкого; тот держал в руке свечу и готовился читать бумагу, которой составителем был сам вместе с двумя другими. Принц выслушал духовную, которая, по замечанию Миниха-сына, была его приговором, потом вместе с супругою удалился в свои покои, не сказавши никому ни слова.

На другой день, 18 октября в субботу, утром, съехались во дворец знатнейшие духовные и светские сановники, сенаторы, генералы; войска были расставлены под ружьем у Летнего дворца. Объявлено было завещание императрицы, назначавшее герцога курляндского правителем империи до совершеннолетия нового государя, императора Ивана Антоновича. Все присягали на верность новому императору. Бирон лично принимал поздравления со вступлением в сан верховного правителя Российской империи. Все было чрезвычайно спокойно. Англичанин, бывший тогда в Петербурге представителем своего правительства, не без удивления заметил, что все остается спокойным, как будто ничего чрезвычайного не происходило; он приписывает это всеобщему доверию русских к достоинствам герцога курляндского. Англичанин ошибался, как иностранец, обольщаясь наружною тишиною, не в силах будучи уразуметь, что то была тишина пред бурей.

Принц и принцесса переехали в Зимний дворец, куда, разумеется, перевезли и малолетнего императора. Герцог оставался в Летнем дворце, намереваясь не покидать его до погребения тела усопшей государыни. Одним из первых дел его, как регента, было назначение пенсии в 200000 р. принцессе брауншвейгской и ее супругу, а цесаревне Елисавете Петровне 50000 р. в год. Со своей стороны, сенат поднес ему титул высочества и назначил ежегодную пенсию в 500000 р. Это казалось очень много, так как родители царя получали менее, а Бирон не был в нужде: он владел доходами в четыре миллиона со своих имений в Германии.

Тут открывается ряд доносов, а за ними, естественно, пошли аресты, допросы и пытки. Герцог курляндский сразу увидел, что против него может подняться сильная партия и его положение вовсе не так прочно, как представляли ему его угодники. Сперва попались двое гвардейских офицеров, капитан Ханыков и поручик Аргамаков: они возбуждали между товарищами по службе и подчиненными недовольство – зачем герцог курляндский, а не родители императора, облечен верховной властью. За ними попался подполковник Пустошкин. Он являлся к графу Головкину и сообщал, что у шляхетства, а преимущественно у офицеров, существует желание подать челобитную о назначении регентом вместо герцога курляндского принца брауншвейгского, родителя государева. Головкин был еще при жизни императрицы в дурных отношениях к Бирону, это все знали и оттого к нему обратились. Но Головкин в это время собирался уезжать за границу, не хотел вмешиваться ни в какие государственные дела, и хотя отнесся очень дружелюбно к Пустошкину, но советовал ему

обратиться к князю Черкасскому. Князь Черкасский также любезно принял Пустошкина, но, еще не отпуская из своего дома, дал знать Бестужеву, который немедленно явился сам к князю Черкасскому и захватил Пустошкина с товарищами. Как всегда бывает в подобных случаях, когда арестуют одного или двух и начнут их спрашивать, то их ответы потянут еще новых прикосновенных, и число обвиняемых и подозреваемых увеличивается, как снеговая глыба, когда ее катят по снежному пространству. Таким образом, по показаниям взятых под караул, взяты были еще секретарь принцессы Анны Семенов, а за ним кабинет-секретарь Андрей Яковлев. Последний в допросе объявил, что, переодевшись в дурном платье, он ходил ночью по Невской Перспективе и прислушивался к народным толкам. Он услышал в народе ропот против назначения иноземца Бирона регентом государства и желание, чтоб эта важная должность была передана родителям императора. Тогда же открылось, что принц брауншвейгский с удовольствием слушал офицеров, говоривших перед ним, что его следует сделать регентом, и со своей стороны изъявлял сомнение в подлинности завещания покойной императрицы. Обвиненных посадили в крепость в дурных помещениях и подвергали в тайной канцелярии допросам и пыткам. 22 октября регент отправился лично к принцу Антону-Ульриху. «Вы, принц, – говорил ему регент, – дозволили в своем присутствии осуждать распоряжения покойной государыни и доказывать, что с меня следует снять носимый мною сан регента и передать его вам. Вы не остановили таких дерзких речей и не изъявили к ним вашего неодобрения. Знаете ли, что я вам скажу: вы хотя и родитель нашего императора, но вы все-таки его подданный и обязаны ему верностью и повиновением, наравне с прочими его подданными. Очень сожалею, что, в качестве регента, которому вверено спокойствие империи, я нахожусь в необходимости напомнить об этом вашему высочеству».

Внезапное появление регента и резкий тон, с которым он относился к принцу, поставили последнего в тупик. Он смутился и начал извиняться. «То была не более как болтовня молодежи, которая не могла иметь никакого важного значения, – сказал он, – впрочем, извините меня: на будущее время я не позволю им доводить меня до слушания от вас подобных упреков». От принца регент отправился к принцессе Анне и ей передал то же. «Я ничего не знаю, – сказала принцесса, – ничего не слыхала, но во всяком случае не оправдываю таких речей!» Она тотчас отправилась с герцогом во дворец, где он жил, и пробыла с ним часа два, стараясь смягчить неприятное впечатление, произведенное на него.

На другой день 23 октября принц приглашен был в нарочно устроенное собрание знатнейших сановников, между которыми были кабинет-министры, сенаторы и генералы. Тут принц брауншвейгский испытал над собою в некотором роде верховный суд. Герцог произнес перед собранием речь, изложил все известные обстоятельства прежнего времени, своего близкого к императрице положения, своего назначения в сан регента, и обратился к принцу с такими же упреками, какие высказывал ему вчера наедине. На принца устремились глаза вельмож, и он смутился: на глазах его заблестали слезы, но потом он усиливался сохранить свое достоинство, бодрился и случайно схватился за эфес своей шпаги. Бирон, подметивши это движение, сказал: «Извольте, принц, я готов и этим путем объясниться с вами!» Принц сначала отпирался от всех возводимых против него обвинений, но потом, вошедши в пафос, высказал, что он был бы доволен, если бы произошло восстание, и он получил бы тогда власть.

Тогда генерал Ушаков, страшный для всех, и великих, и малых, начальник тайной канцелярии, выступил вперед и сказал:

«Принц брауншвейгский! Все справедливо уважают в вас родителя нашего императора, но ваши поступки могут принудить нас всех обращаться с вами как со всяким иным подданным его величества. Вы еще молоды, принц, вам только двадцать шестой год от роду; вы неопытны и можете легко впасть в ошибку, но если б вы были в более пожилых годах и способны бы оказались предпринять и привести в исполнение намерение, которое привело бы в смятение и подвергло опасности мир, спокойствие и благосостояние этой великой империи, то я объявляю вам, что, при всем моем глубоком сожалении, я обратил бы против

вас, как виновного в измене вашему сыну и государю, преследование со всей строгостью, как против всякого другого подданного его величества».

«Я, – продолжал герцог курляндский, – имею право быть регентом государства сообразно документу, данному покойной императрицей, в подлинности которого не может быть ни малейшего сомнения; – воля ее величества поставила меня регентом, и я обязан этим возвышением столько же милостям ее, сколько и доброму мнению, и доверенности ко мне достойнейших особ этой страны, здесь присутствующих. Но ее величество, покойная государыня, не лишила меня права сложить с себя этот высокий сан, и я объявляю теперь же, что если это почтенное собрание найдет, что ваше высочество более меня способны занять эту должность, я немедленно вам ее уступаю. Если же, напротив, пожелают, чтоб я сохранил за собой регентство, то мои обязанности по отношению к покойной государыне и к России заставляют меня хранить этот залог, и я надеюсь, что с помощью советов особ, здесь присутствующих, я исполню долг свой согласно с чувствами моей признательности для пользы великой Российской Империи. Надеюсь, что эти господа, которые пред смертью ее величества пожелали возложить на меня правление, помогут мне и ныне сохранить его для пользы и благосостояния края». Герцог обратился к Остерману и сказал: «Граф! извольте заверить принца, что документ, который подвергается вопросам и в подлинности которого возникают сомнения, есть тот самый, который был поднесен покойной императрице».

Остерман сделал то, что от него требовалось, и предложил, чтобы все присутствующие – в числе которых были все, носившие генеральские чины – утвердили этот документ своими подписями и приложением своих печатей, давая тем ручательство в его подлинности и обязываясь со своей стороны поддерживать его содержание.

Все беспрекословно исполнили предлагаемое, и принц брауншвейгский был в числе приложивших свою руку.

Этим не ограничились преследования регента против принца брауншвейгского. На другое утро после допроса, сделанного принцу в собрании сановников, регент послал к нему брата фельдмаршала, действительного тайного советника Миниха, советовать ему подать в отставку от должности генерал-поручика и от чина подполковника гвардии, и это будет служить залогом, что принц не будет предпринимать ничего, что может произвести волнение. Антон-Ульрих безропотно согласился. Ему тут же подали заранее изготовленную просьбу об отставке. Он подписал ее. Между тем, герцог курляндский написал по-немецки вчерашнюю речь свою и беседу с принцем, а Бреверн перевел это по-русски, и в переводе это было читано пред тем же собранием сановников. В это время вошел принц и сказал:

– Господа! я намерен сложить с себя мои служебные должности и пришел объявить вам об этом.

Бирон отвечал:

– Не я возлагал на вас ваши должности, и не вижу, каких должностей могу лишить вас. В настоящее время не в должностях и званиях суть дела, а в спокойствии государства. Вам, принц, было бы полезно несколько дней оставаться в своем доме, никуда не показываясь: опасно, чтоб народ, раздраженный за множество из-за вас истязанных людей, не отважился бы сделать чего-нибудь непристойного вашей высокой особе.

Принц не противился, покорился приговору о своем домашнем аресте, порицал тех, кто ввел его в заблуждение, и давал обещание не делать ничего, что бы побуждало усматривать в его действиях покушения на захват верховной власти.

С тех пор ежедневно все только того и ожидали, что регент выгонит принца с принцессою за границу или – что еще хуже – зашлет их в какое-нибудь отдаленное место.

И прежде зазнавался в своей величии герцог курляндский, теперь он воображал себя на непоколебимой высоте славы и чести. И прежде высокомерный и заносчивый, теперь он уже не знал никого себе в уровень и стал обращаться неуважительно как с принцессою, так и с особами, содействовавшими его возвышению. Тогда как в завещании императрицы ему вменялось в неременную обязанность оказывать принцессе Анне и ее супругу почтительность, он позволял себе такое грубое с ними обращение, что принцесса трепетала,



как только видела, что к ней входит Бирон. Герцог, соображая, откуда может угрожать ему опасность, старался тогда поддаться к принцессе Елисавете, так как звание единственной дочери Петра Великого, для всей России незабвенного, сильно располагало умы и чувства русских в ее пользу. Герцог курляндский нередко ездил к ней в ее особый дворец, беседовал с нею, старался показывать к ней изысканные знаки внимания. Назначение этой дочери Петра Великого ежегодной пенсии в пятьдесят тысяч было всеми встречено очень одобрительно, и если являлись голоса, не хвалившие этого поступка, то разве в таком смысле, что назначено было немного. Когда баронесса Менгден сообщила герцогу, в виде предостережения, что цесаревна показывает всем портрет своего племянника, сына герцога голштинского, которого многие давно уже, как прямого внука Петра Великого, считали прямым наследником русского престола, герцог курляндский на это отвечал: «Каждый волен ценить портреты своих родных, нельзя лишать этого права одну цесаревну!», а когда фельдмаршал Миних сообщил герцогу, что, по сделанным наблюдениям, камер-юнкеры цесаревны что-то часто ходят в дом французского посланника, регент отвечал, что цесаревна не затеет ничего, сообразно всем известному своему характеру, а если б захотела, то не нужно ей содействия чужих посланников: за нее пошел бы весь народ, и знатные, и простые. – «Не знаю, – отвечал фельдмаршал, – насколько предан народ цесаревне, но войско, как никогда, предано престолу, особенно когда престолонаследие упрочено в мужской линии». По известиям современников, у Бирона роилось тогда честолюбивое помышление – изменить возведенному в особе младенца брауншвейгскому дому, женить собственного сына Петра на Елисавете, провозгласить последнюю императрицей и, таким образом, собственному потомству проложить дорогу к престолу. И прежде, при императрице Анне Ивановне, у него была мысль женить сына своего на принцессе Анне – это не удалось, потому что принцесса Анна не терпела Биронова сына; теперь он простирает виды на Елисавету, но и с ней, во всяком случае, не удалось бы ему. Тем не менее известие это, судя по безмерному честолюбию этого человека, очень правдоподобно. А принцессу Анну не терпел он именно за крайнее невнимание к его сыну в то время, когда она была еще девицей, и теперь он обращался с ней до того бесцеремонно, что, рассердившись на ее супруга, он не затруднился сказать ей, что, если оба они станут причинять ему досады, то он призовет принца голштинского. Такие же угрозы произносил он и пред другими лицами.

Однажды, 7 ноября, Миних явился к принцессе Анне и нашел ее в чрезвычайно грустном настроении духа.

– Я не в силах более терпеть беспрестанных огорчений от герцога регента, – сказала она, – мне остается уйти с мужем и с сыном за границу. Пока герцог будет регентом, ясных дней не видать нам в России. Миних отвечал:

– Ваше императорское высочество, и мне кажется, вам немного доброго ожидать можно от герцога, но вы не падайте духом, положитесь на меня. Я готов защищать вас.

– Вы, фельдмаршал, – сказала Анна, – можете употребить ваше влияние на регента, я прошу только, чтобы мне не препятствовали взять моих малюток с собой. Это избавит их от опасностей в руках человека, смертельного врага их родителей. Я знаю, какая судьба иногда постигает государей в России!

– Вы никому не говорили подобного ничего? – спросил фельдмаршал.

– Никому! – отвечала принцесса.

– Так положитесь во всем на меня, – сказал Миних, – Бирон не вас одних вооружил против себя. Вся Россия страшится, что за семнадцать лет своего регентства он успеет признать настоящего императора неспособным и отстранить его от престола, а в духовной покойной императрицы ему предоставлено, в случае кончины императора до его совершеннолетия, избрать иного сукцессора. Но если б и до того не дошло, то, распорядясь семнадцать лет сряду во время своего регентства государственной казной, он успеет разорить всю Россию, переводя ее деньги на свои курляндские владения. Я лично находился в дружеских отношениях с герцогом и обязан ему за многое признательностью, но благо государства всего выше для меня. Я заглушу в себе все дружеские чувства к герцогу и

разделаюсь с ним.

– Но если, фельдмаршал, это предприятие не удастся, вы подвергнете неприятностям ваше собственное семейство! – сказала принцесса.

– Может ли быть речь о семействе, когда идет дело о службе государю и о спокойствии отечества? – отвечал Миних.

Тогда Миних дал слово принцессе избавить ее от регента, но не открыл вполне своего плана, уверивши принцессу только, что это совершится в самом скором времени. По наставлению фельдмаршала принцесса в неясных выражениях передала его обещание супругу своему и, по ее настоянию, последний отправился к герцогу с визитом в Летний дворец. Принц вместе с герцогом съездили в Зимний дворец, посетили маленького императора; регент отдал обычный поклон принцессе Анне, потом оба, герцог и принц, поехали в манеж, находившийся от дворца неподалеку. Оттуда принц воротился к себе, а герцог заехал к своему брату Густаву, а от него поспешил в Летний дворец, так как в этот день он пригласил к себе обедать семейства Минихов и Менгденов. Воротившись домой с своей утренней поездки, регент заметил, что в тот день на улицах мало встречал он людей, и те, которые ходили по улицам, почему-то казались ему скучными, как будто они чем-то недовольны. Это высказал хозяин за обедом своим гостям. «Это, – сказал он, – видно, происходит оттого, что все недовольны поведением принца брауншвейгского!» «Нет, – возразили ему гости, – очень легко случилось, что вам показались грустными физиономии тех, которых вы встречали: это – всеобщая скорбь о недавней кончине ее императорского величества!»

Весь обед регент был как-то задумчив и молчалив; фельдмаршалу приходило невольно в голову подозрение: уж не догадывается ли он о чем-то?

Тотчас вставши из-за стола, Миних уехал, оставя у герцога свое семейство. Фельдмаршал, заехавши к себе на короткое время, отправился к вечеру к принцессе Анне.

Тут Миних, утром только намекнувши принцессе, что он как-то избавит ее от ненавистного герцога курляндского, теперь откровенно сказал, что он намерен в следующую же ночь арестовать регента и доставить его за караулом в ее распоряжение. Принцесса благодарила фельдмаршала.

– Но только чтоб офицеры и солдаты, которым я поручу это дело, шли бодро, нужно, чтоб ваше высочество лично почтили их своим присутствием, – сказал фельдмаршал.

Принцесса на это предприятие идти сама не решалась.

– Ну хорошо, – сказал фельдмаршал, – вы сами не поедете, только ночью я приеду к вашему высочеству и возьму из вашего дворцового караула команду для арестования герцога.

– Я отдаюсь в вашу волю, – сказала, наконец, принцесса, – в ваших руках судьба и моего супруга, и моего ребенка... да руководит вами Провидение и да сохранит нас всех!

Между тем жена Минихова сына, не зная ничего о том, что затевалось, сидела у герцогини курляндской, и герцог просил ее передать своему свекру, что как только совершится погребение тела императрицы, герцог сделает распоряжение о выдаче фельдмаршалу нарочитой суммы для уплаты его долгов. С этой вестью невестка воротилась домой, и думая, что ее свекор уже лег почивать, оставила до утра передачу ему порученного от герцога. Так повествует сын Миниха. По его рассказу, фельдмаршал пробыл дома до двух часов ночи и в это время поехал в Зимний дворец со своим главным адъютантом, подполковником Манштейном.

Но, по другим известиям, фельдмаршал от принцессы, вместе с Левенвольдом, отправился к Бирону, так как он обещал последнему, прощаясь с ним после обеда, приехать к нему ужинать.

Во время ужина герцог, точно так же, как и за обедом, был задумчив и как будто чем-то озабочен. Разговор вертелся около событий текущего времени. Вдруг регент, как человек рассеянный, перескакивающий в беседах с одного предмета на другой, без всякой видимой связи между этими предметами, сделал Миниху такой вопрос: «Фельдмаршал! вам случилось

во время ваших походов предпринимать что-нибудь важное ночью?» Фельдмаршал смешался; вопрос был очень неожидан и так близко содержал в себе как будто намек на то, что собирался делать фельдмаршал. Однако Миних поборол свое невольное замешательство и сказал: «Сразу теперь не вспомнишь, чтобы мне приходилось предпринимать что-нибудь необыкновенное в ночное время, но у меня постоянно было правилом пользоваться всеми обстоятельствами, когда они кажутся благоприятными».

В 11 часов друзья расстались. Фельдмаршал уехал с твердым намерением часа через два или три разделаться с Бироном и лишить его регентства, а у Бирона, по уверению современников, уже вполне созрела мысль – пожертвовать брауншвейгской династией, доставить так или иначе престол потомству Петра Великого, и через эту услугу новой царственной ветви опять утвердить свое могущество в России, некогда поднятое милостью покойной Анны Ивановны и в последнее время опускавшееся от всеобщей нелюбви к немцу-временщику. Герцог рассчитывал произвести такую перемену при похоронах императрицы; но это проведали враги его и предупредили его замыслы. Фельдмаршал Миних, по замечанию его адъютанта, был уверен, что если он не низложит регента, то последний сошлет его в Сибирь. Таким образом, Миних в этом деле спасал, как говорится, собственную шкуру.

В два часа пополуночи явился к фельдмаршалу, по его приказанию, его главный адъютант, подполковник Манштейн. Оба сели в карету и поехали в Зимний дворец. Они въехали в задние ворота, которые по приказанию принцессы оставлены были нарочно не запертыми. Оттуда был прямой путь в покои принцессы Анны. Фельдмаршал с адъютантом прошел через гардеробную и встретил любимую фрейлину принцессы, Юлиану Менгден. Принцесса легла спать, а Юлиана должна была дожидаться приезда Миниха и разбудить ее, когда тот явится. Обменявшись несколькими словами с фельдмаршalom, Юлиана пошла будить принцессу, которая спала со своим супругом. Как ни старалась Юлиана незаметно для принца поднять принцессу, но не могла этого сделать. Принц, ничего не знавший, проснулся, но принцесса сказала ему, что ей что-то занемоглось и что она тотчас воротится. Она вышла к Миниху.

– Ну вот, – произнес фельдмаршал, – пришла настоящая пора совершить задуманное дело, но я решаюсь вторично просить ваше высочество ехать вместе со мной.

– Ни за что, ни под каким видом! – возопила принцесса Анна и осталась в своем упрямстве, как ни уговаривал ее фельдмаршал.

– По крайней мере, – сказал он после долгих и напрасных убеждений ехать с ним, – позвольте позвать к вам наверх караульных офицеров, извольте лично объявить им, что это предпринимается с вашего желания! Сделайте им от себя увещание, чтоб они верно во всем поступали!

Принцесса на это согласилась. Позвали офицеров, державших тогда караул во дворце.

– Господа офицеры! – сказала принцесса Анна, – я надеюсь на вас, как на честных и верных людей; не отрекитесь оказать услугу малолетнему императору и его родителям. Всем известны насильства, чинимые надо мной и над моим супругом от герцога курляндского; мне нельзя, мне стыдно терпеть от него оскорбления. Я поручила фельдмаршалу арестовать его. Храбрые офицеры, повинуйтесь вашему генералу!

Все офицеры в один голос закричали, что готовы слушаться приказаний своего командира. Принцесса обняла Миниха, допустила каждого из офицеров поцеловать ее руку.

– Желаю вам, господа, благополучного успеха! – произнесла принцесса Анна, провожая офицеров с фельдмаршalom.

Фельдмаршал с офицерами вошел в кордегардию, отобрал себе там, по одному известию – тридцать, по другому<sup>223</sup> – восемьдесят человек, оставивши при знамени сорок, и с отобранными отправился к Летнему дворцу. Герцог, оставаясь в Летнем дворце до погребения тела императрицы, окружил себя стражей из трехсот человек гвардейцев,

<sup>223</sup> Записки Миниха-сына, стр. 205—207; записки Манштейна, стр. 199.

которые по своему количеству в состоянии были оградить его от всяких могущих быть покушений на его ненавистную для многих особу, но Миних заранее узнал, что в тот день, который он избрал для покушения, этот караул состоял из солдат Преображенского полка; Миних сам был этого полка подполковником и надеялся, что охранители герцога поступят по воле своего прямого командира. Фельдмаршал остановился со своим отрядом шагов за двести от Летнего дворца и послал Манштейна вперед к офицерам, стоявшим на карауле у Летнего дворца, объявить им предписание принцессы Анны и позвать к нему капитана с двумя офицерами. Капитан и офицеры, выслушавши речь Манштейна, явились тотчас к Миниху, как к подполковнику своего полка, и дали ему слово, что ни один караульный не пошевелится в защиту герцога, напротив, готовы сами помочь схватить его. «Вы меня знаете, – говорил им фельдмаршал, – я много раз нес жизнь свою в жертву за отечество, и вы славно следовали за мной. Теперь послужим нашему государю и уничтожим, в особе регента, вора, изменника, похитившего верховную власть!» Тогда фельдмаршал приказал Манштейну идти, по одним известиям, с двенадцатью, по другим с двадцатью гренадерами<sup>224</sup>, во дворец, взять Бирона и доставить к нему арестованным, позволяя, в случае крайнего сопротивления, и убить его.

Манштейн прошел через сад; часовые пропустили его без сопротивления, и он достиг до покоев; в передних комнатах некоторые из прислуги знали его лично и теперь узнали, но не стали останавливать, думая, что он идет зачем-нибудь по приказанию герцога. Не зная, в какой именно комнате спит герцог, Манштейн не решался спрашивать об этом ни солдат, расставленных на карауле, ни служителей, и, прошедши две или три комнаты, наткнулся на комнату, запертую на ключ; он хотел было ломать двери, догадываясь, что тут, вероятно, спальня герцога; но ломать двери не оказалось надобности. Служители забыли задвинуть верхнюю и нижнюю задвижку, – двери можно было распахнуть без особенных усилий. Манштейн очутился в большой комнате, посредине которой стояла двуспальная кровать: на ней лежали Бирон со своей супругой. Оба так крепко спали, что не услышали, как вошли к ним. Манштейн зашел с той стороны кровати, где лежала герцогиня, отдернул занавес и громко сказал, что у него есть крайне важное дело до герцога.

Пробудившиеся внезапно супруги сразу поняли, что совершается что-то недоброе, и стали кричать изо всей мочи. Герцог соскочил с постели и впопыхах, сам не зная куда уйти, хотел спрятаться под кровать, но Манштейн обежал кровать, схватил герцога, что было силы, и стал звать стоявших за дверью своих гренадеров. Явились гренадеры. Бирон, успевши стать на ноги, махал кулаками на все стороны вправо и влево, не даваясь в руки, а сам кричал во все горло, но гренадеры прикладами ружей повалили его на землю, вложили ему в рот платок, связали офицерским шарфом руки и ноги и понесли его вон из спальни полунагого, а вынеся, накрыли солдатскою шинелью и в таком виде унесли в ожидавшую уже у ворот карету фельдмаршала. Рядом с ним сел офицер.

Герцогиня в одной рубашке побежала за связанным супругом и выскочила на улицу. Один солдат схватил ее на руки и спрашивал Манштейна, что прикажет с нею делать. «Отведи ее назад, в покои», – отвечал Манштейн. Но солдат не взял на себя труда таскаться с такой ношей и бросил ее на снег. Караульный капитан, заметивший ее в таком виде, приказал принести ей платье, дать надеть и отвести обратно в покои, которые она занимала.

Герцога повезли в Зимний дворец в карете фельдмаршала. Мы не знаем, с ним ли ехал тогда сам фельдмаршал и виделся ли он с ним в это время. Манштейн, между тем, по приказанию фельдмаршала отправился арестовать брата герцога, генерала Бирона, Густава, но с ним труднее оказалось справляться. Он командовал Измайловским гвардейским полком и был любим солдатами. На карауле у него в жилище на Миллионной улице был сержант с двенадцатью солдатами Измайловского полка. Они пытались было защищать своего подполковника. Но гренадеры Манштейна заставили их смириться, угрожая всех перебить, если станут сопротивляться. Манштейн вошел в спальню Густава

---

<sup>224</sup> Там же.

Бирона, разбудил его, сказавши, что прислан объявить ему что-то очень важное. Он отвел его к окну и сказал, что явился арестовать его.

Густав Бирон пытался было отворить окно и кликнуть караул, но Манштейн сказал ему: «Это будет напрасно; герцог уже арестован, и сами вы погибнете, если задумаете противиться! – С этими словами он позвал солдат своих, остававшихся в передней комнате. – Ничего вам не остается, как только покориться!» Густав надел поданную ему шубу, сел в сани, и его повезли туда же, где уже был его брат.

Другой адъютант фельдмаршала, Кенигфельс, догнавший Миниха тогда, когда он уже возвращался с пленным Бироном, получил от него приказ арестовать Бестужева. Когда посланный явился к последнему, Бестужеву почему-то показалось, что это Бирон послал за что-то арестовать его, и спросил Кенигфельса: «Что за причина немилости ко мне герцога?» Так Бестужев, хотя долго казался другом Бирона, но доверял ему очень мало.

В то время, когда в Летнем дворце совершалось роковое событие над герцогом курляндским, в Зимнем дворце происходило следующее. Сын Миниха, бывший в звании камергера, дежурил в передней перед спальней маленького императора. Молодой Миних задремал и, проснувшись, увидел, что на кровати у него в ногах сидит принцесса Анна.

– Что с вами, принцесса? – сказал Миних, заметивши на лице принцессы беспокойство и волнение.

– Мой любезный Миних, – сказала принцесса трепещущим голосом, – знаешь ли, что предпринял твой отец? В эту ночь он отправился арестовать регента. Дай только Бог, чтоб это благополучно окончилось!

– И я того же желаю, – сказал Миних, – но вы, принцесса, не тревожьтесь: мой отец, конечно, принял надежные меры.

Тут вошла Юлиана Менгден, и принцесса Анна с ней пошла в спальню малолетнего императора, а Миних стал одеваться. Через несколько минут вошла снова принцесса со своим супругом; уже теперь, наконец, она ему открылась, а до того времени не считала нужным делать его соучастником задуманного замысла.

С невыразимым нетерпением ждали все они вести, чем кончится предприятие, постоянно колеблясь между страхом и надеждой, наконец послышался шум, стук экипажей, голоса солдат, и к принцессе с ее обществом вошел торжествующий фельдмаршал Миних.

Арестованных особ – герцога курляндского, его брата и Бестужева – посадили за караул в трех особых комнатах, расположенных одна возле другой.

Послали в Москву курьера с приказанием арестовать другого герцогова брата, Карла Бирона, а другого курьера в Ригу вытребовать оттуда герцогова зятя, генерала Бисмарка, бывшего там генерал-губернатором Лифляндии. Последний поехал было в Петербург, но по дороге его арестовали в Нарве.

Тотчас после арестования герцога был составлен манифест о случившемся и на рассвете обнародован по всей столице.

Именем императора позвали во дворец Остермана. Но Остерман объявил, что он болен и не в силах ехать. Принцесса, зная, что Остерман всегда болеет, когда совершается какой-нибудь переворот в правительстве, шутила тогда, получивши известие, что Андрей Иванович по болезни не может исполнить волю принцессы. Тогда Миних позвал Стрешнева, брата жены Остермана, и послал его к Остерману. «Сообщите ему, – поручил Стрешневу Миних, – такие признаки, которые бы заставили графа Остермана сделать над своей болезнью усилие и прибыть к нам сюда». Стрешнев передал это Остерману и присовокупил, что собственными глазами видел арестованного Бирона в караульной Зимнего дворца. Это произвело чудесное действие. Остерман немедленно явился во дворец. Недавно еще льстивший Бирону, теперь он восхвалял подвиг, совершенный Минихом, и приносил поздравления принцессе Анне с освобождением от тирании герцога курляндского. Замечательно, что многие из современников не хотели верить, чтоб Остерман заранее не знал того, что совершилось с регентом. Французский посланник в Петербурге маркиз де ля Шетарди, описавши арест Бирона, говорил в своей депеше: «Болезнь графа Остермана

сильно, если я не ошибаюсь, способствовала к лучшему сокрытию тайных мер, которые он принимал, показывая вид, что ни с кем не имеет сообщения. Так он поступал всегда, и верный и смелый прием, которым нанесен удар, может быть только плодом и следствием политики и опытности графа Остермана». Но не только иностранцы, и природные русские, особенно такие, что не находились слишком близко к совершившимся событиям, приписывали гр. Остерману главным образом свержение Бирона. Румянцев, находившийся послом в Константинополе, получивши известие о свержении Бирона, писал Остерману: «Не только я здесь, но и все в свите моей сердечное порадование возымели, ведая, что то мудрыми вашего сиятельства поступками учинено». Съехались во дворец все знатнейшие чины. Принцесса Анна без противоречий провозглашена была правительницей государства на время малолетства императора до его совершеннолетия. Это казалось всем в порядке вещей; недаром назначение регентом герцога курляндского так всеми не одобрялось и большинство русских находило, что всего приличнее, за несовершеннолетием государя, управлять его родителям, а не постороннему человеку. Посыпались награды и повышения. Принц Антон-Ульрих сделался генералиссимусом. Это звание надлежало получить Миниху; но фельдмаршал, по совету сына, уступил эту честь родителю императора, и сам получил звание первого министра; хотя оно было уже второе в империи после генералиссимуса, но Миних мог с этого места управлять всей Россией. К сожалению, в этом случае приходилось ему столкнуться с Остерманом, который, столько времени заправляя дипломатическими делами, считал, что место первого министра подобает не кому иному, как только ему. Остерману в утешение дали сан главного адмирала. Но Остерман этим не утешился: этот человек не любил совместника в управлении делами России и не мирился с мыслью быть на втором или третьем, а не на первом месте. Он чувствовал себя как бы обесчещенным и, по замечанию французского посланника, мог выйти из такого положения только посредством падения Миниха. Князь Алексей Черкасский получил сан великого канцлера, Михаил Головкин – вице-канцлера, другие вельможи были награждены денежными пособиями и Андреевским орденом. Все награды расписывал Миних со своим сыном и представил принцессе Анне, которая утвердила все без противоречия; даже любимица Анны Леопольдовны, Юлиана Менгден, не оставлена была без гостинцев по поводу счастливого события; ей подарены были кафтаны герцога курляндского и его сына Петра, расшитые золотом. Юлиана сорвала золотые позументы и отдала на выжигу, потом из этого сделано было несколько дорогой посуды. Но этим не ограничилась щедрость правительницы: Юлиане подарена была мыза подле Дерпта и несколько раз получала она в дар одновременно по несколько тысяч.

После объявления наград, в этот же день, 9 ноября, в закрытых придворных каретах, носивших название спальных (Schlafwagen), отправлены были в Шлиссельбург в заточение герцог курляндский, брат его Густав и Бестужев. Герцог ехал с полицейским служителем и с почтальоном в царской ливрее. На козлах сидели доктор и два офицера, каждый с парой заряженных пистолетов: впереди и позади кареты были размещены гвардейские солдаты с ружьями, в которых были примкнуты штыки. Герцог сидел одетый в халате, а сверх халата был плащ, подбитый горностаевым мехом. На голове у него была шапка, покрывавшая часть лица. Народ, провожая его, издевался над ним и кричал: раскройся, покажись, не прячься! – Из окон Зимнего дворца смотрела на этот поезд принцесса Анна и, видя своего врага униженным, прослезилась: «Я не то ему готовила, – произнесла она, – он понудил меня так с ним поступить! Если бы он прежде мне сам предложил правление, я бы с честью отпустила его в Курляндию». Жену герцога курляндского и сына его в то же время из Летнего дворца вывезли в Александро-Невский монастырь, а на другое утро отправили в Шлиссельбург же. Герцогиня тогда говорила, что прежде смерти себе надеялась, чем такого поступка от Миниха. Бирон пробыл в Шлиссельбурге до июня 12, находясь под судебным следствием, а 12 числа этого месяца с женою, двумя сыновьями, дочерью, пастором, лекарем и несколькими служителями отправлен на вечное житье в Пелым, где ему определено жить в доме, нарочно для него построенном по плану, начертанному Минихом.

Миних, низложивши регента, казалось, очутился на такой высоте власти, на какую только мог надеяться взойти. Но положение его вовсе не так было прочно, как можно было заключить по наружным временным признакам. Принц-генералиссимус не мог поладить с честолюбивым и умным первым министром. Будучи выше его поставлен по сану, принц тяготился зависимостью по уму от первого министра, жаловался, что Миних хочет стать чем-то вроде великого визиря Турецкой империи, обвинял Миниха в безмерном честолюбии и необузданности нрава. Но более всех вредил Миниху тогда Остерман, который никак не мог выносить, что Миних стал первым министром и тем самым взял в свои руки и внутреннюю, и внешнюю политику России. Остерман сблизился с принцем Антоном-Ульрихом и руководил его неприязнью к Миниху. Он нашептывал принцу, и потом самой принцессе-правительнице, что Миних взялся не за свое, что он не в состоянии вести дела внутренней и внешней политики, и правительница, не отнимая от Миниха сана первого министра, передала управление иностранными делами Остерману, а внутренними князю Черкасскому, так что Миниху должны были оставаться, в его непосредственном заведовании, только военные дела, которыми он управлял и прежде. Кроме того, Остерман возбуждал против Миниха и мелкое самолюбие принца брауншвейгского, указывая на несоблюдение Минихом формальностей, касавшихся почитания с его стороны принца, как высшего чином.

Между тем, случилось такое событие: в Петербург приехал от прусского короля некто Винтерфельд, женатый на падчерице Миниха. По его просьбе Миних обещал вместо 6000 человек солдат в помощь Пруссии, как было поставлено в прежнем договоре, давать 12000. Вслед за тем Миних заболел коликою и так мучительно, что явилось подозрение у врачей, не отравлен ли он. Во время его болезни, продолжавшейся весь декабрь 1740 года, приехали в Петербург венский посланник Ботта и саксонский гр. Линар. Император Карл VI уже скончался. Дочь его Мария-Терезия, королева венгерская, по силе прагматической санкции, вступила в наследственные права после своего родителя и нуждалась в союзе с Россией для ограждения прав своих против держав, не одобривших прагматической санкции, а главное, против прусского короля. С посланником ее при петербургском дворе был заодно гр. Линар. Последний еще при императрице Анне Ивановне был в Петербурге и сблизился с принцессой Анной до того, что между ними возникла любовь, но императрица, проведав об этом и желая отдать племянницу за брауншвейгского принца, удалила Линара. Теперь он являлся снова и тем легче мог возыметь силу над правительницею, что она не любила своего мужа. Принцесса на этот раз вознамерилась своего прежнего возлюбленного женить на своей верной и преданной Юлиане Менгден. Брак, впрочем, не совершился ранее августа месяца того же 1741 года; злые языки говорили, что Юлиана была только ширмою, прикрывавшею любовь между правительницею и Линаром. Как бы там ни было, но Ботта и Линар легко успели устроить дело, противное Миниху: Остерман, так сказать, на пакость противнику, заключил договор России с Австрией, по которому Россия обязывалась помогать Австрии против прусского короля, замышлявшего овладеть Силезией. Князь Черкасский, вице-канцлер Головкин пристали к Остерману. Когда договор с Австрией состоялся, оправившийся от недуга Миних явился к правительнице. Она встретила его уже совсем не с прежним доверием и сказала: «Вы, фельдмаршал, всегда расположены к прусскому королю, но мы не должны допускать его нападать на союзную нам державу. Мы не будем с ним воевать, а только остановим его: как только двинем мы войска наши с намерением защищать венгерскую королеву, дочь императора, он немедленно выведет свои войска из Силезии».

«Ваше высочество! – сказал Миних, – я нахожу отвратительным договор, направленный к тому, чтобы лишить престола и владений государя, который, подобно его предшественникам, с начала этого столетия бывшим вернейшими союзниками России, особенно Петра Великого, остается таким же. Россия в продолжение сорока лет вела тягостные войны и нуждается в мире для приведения в порядок внутренних государственных дел. Когда вступит в правление сын ваш, я и все министерство вашего высочества должны будем ему отдать отчет, если начнем новую войну с Германией, тогда как нам еще грозит война со стороны Швеции. Венский двор хочет, чтобы ему предоставили в распоряжение

тридцать тысяч русского войска, и не упоминает ни одним словом, на что будут употреблены эти силы и как будут содержаться. Я уже упоминал Ботте, что в последнюю турецкую войну в Вене не спешили оказывать России помощь согласно договору. И мне удивительно – неужели Австрия чувствует себя в крайности, когда ее противник, король прусский, действует против нее с двадцатью тысячами войска? Видно, что трудно удерживать в своем владычестве страну, которой жители сами добровольно поддаются неприятелю». Представления фельдмаршала не были приняты. Правительница обходилась с ним не только сухо, но надменно, и за каждым представлением его пред ея особу давала ему понять, что она без него может обойтись. Миних подал в отставку. И перед тем несколько раз он порывался сделать этот шаг, но останавливался, а теперь решился бесповоротно порвать с тогдашним русским правительством и, может быть, с Россией, которой так блистательно послужил. Правительница из долга вежливости еще раз просила Миниха не оставлять службы России, говоря, что его советы будут для нее полезны, а Миних, пользуясь этим, стал убеждать ее не заключать с Австрией союза против Пруссии; тогда правительница неожиданно сказала ему, что если он находит для себя нужным, ему дастся отставка, и тут Миних увидал, что его считают лишним. Затем, по приказанию правительницы, сын фельдмаршала и Левенвольд объявили ему, что правительница не желает долее откладывать его увольнение. Но отважившись на такой решительный шаг, и правительница, и ее супруг сильно боялись, чтобы Миних не воспользовался хотя бы самым коротким временем и не произвел бы переворота с помощью гвардейских полков. Уже солдаты недавними успешными поступками научились свергать существующие власти и возводить новые. К большому страху правительницы и ее супруга, Бирон, над которым в Шлиссельбурге происходило следствие, показывал, что Миних особенно понудил его, Бирона, принять регентство, а сам же потом низвергнул его. Бирон из своего заточения давал правительнице понять, что Миних может низвергнуть и ее, стоит только ей раз исполнить не так, как ему хочется – он будет мстить! Миних получил отставку; но брауншвейгские супруги не переставали его бояться, до того, что не смели ночевать в одном и том же покое несколько ночей сряду. Миних, однако, не думал предпринимать никаких переворотов; он уехал в свою дачу Гостилицы. Правительница, опасаясь мщения Миниха, в то же время думала расположить его, и милостивым вниманием она назначила ему 15000 р. годового пенсионна, подарила ему имение в Силезии Вартемберг, принадлежавшее Бирону и конфискованное у последнего, и Миних со всех своих имений получал дохода – включая сюда и данный ему годичный пенсион – до 70000 руб. Таким образом, удаливши опасного фельдмаршала, правительница думала убогаотворениями оградить себя от него. Но опасность угрожала ей совсем с другой стороны.

Есть известие, что Миних не только не затевал ничего дурного против тогдашнего русского правительства, но собирался уехать навсегда из России и поступить на службу прусского короля Фридриха II. Несомненно, что последний готов был с распростертыми объятиями принять знаменитого военачальника, прославившего Россию своими победоносными подвигами. Говорят, что Миних откладывал свою поездку, месяц за месяцем, пока, наконец, переворот, постигший Россию в ноябре 1741 года, повернул иначе судьбу фельдмаршала. Но тут происходит сомнение: искренне ли Миних думал покинуть Россию или только пугал правительницу, надеясь, что она сама станет просить его и убеждать не оставлять ее, и, наконец, помирится с ним. Нам кажется вероятнее последнее предположение. Миних уже слишком сжился с Россией, с нею была связана его слава, а он сам составлял славу России. Солдаты прозвали его соколом ясным, ему давали кличку столпа империи. Едва ли возможно, чтобы этот человек, без последней крайности, стал искать другого отечества! Мы увидим и далее, когда после двадцатилетнего заточения он получил свободу, то беспрестанно твердил, что уедет за границу кончать жизнь на своей родине и, однако, не поехал, хотя уже никто не препятствовал ему ехать. Точно так же и в 1741 году он только говорил, что уедет и будет служить прусскому королю, но не уехал, и не уехал бы, если бы ему даже не пришлось ехать в Сибирь.



Миних, уговаривавший правительницу предпочесть союз с Пруссией и с Францией союзу с римским императором и его союзниками, оказался прав, потому что был проницательнее других. Для русского правительства было в то время выгоднее и безопаснее находиться в дружбе с Пруссией и с Францией, чем подавать им повод вредить ему. Французский посланник де ля Шетарди, действуя по интересам своей державы и союзных с ней держав, сыпал золотом и устраивал заговор – возвести на престол цесаревну Елисавету и низвергнуть брауншвейгскую династию. Конечно, если бы правительница послушалась Миниха и союзом с прусским королем оградила себя от тайных покушений французского посла и вместе с ним заодно действовавшего шведского, то этих козней бы не было, и она могла бы удержать за собою власть. Но правительница и ее супруг доверились в политике посольству императорскому в лице графа Ботты д'Адорно и польско-саксонскому в особе Линара, и не хотели замечать ямы, которая рылась под ними, и притом не очень незаметно. Эта яма вырыта была удачно, и в ночь с 24 на 25 ноября совершился известный переворот, поставивший на престол Елисавету Петровну.

В эту ночь хирург Елисаветы, Лесток, отправил отряды, каждый в 25 человек, для арестования помеченных лиц. В записках Шетарди сообщается, что солдаты, прибывшие арестовать Миниха, обращались грубо с бывшим фельдмаршалом, которого в войске будто не любили. Это известие противоречит другим, сообщающим единогласно, что, напротив, его подчиненные всегда уважали и любили; во время своей власти он внушал благоговейный страх, а в эпоху своего падения – участие и сострадание, неразлучное с уважением.

Всех арестованных на другой день в 6 часов утра препроводили в крепость, и тут началось судебное следствие над ними, представляющее вопиющий образчик бесправия, рельефно выступающий своим безобразием в истории, как ни богата вообще история всех времен и стран примерами несправедливых осуждений. Из всех тогда обвиненных Миних был невиннее всех, так как уже несколько месяцев перед тем был в отставке и не занимался государственными делами. Вся вина его состояла в том, что он верно служил императрице Анне Ивановне, а по смерти ее, назначенному от нее преемнику, и не показывал расположения возвести на престол Елисавету Петровну. Кроме политических государственных преступлений, его обвиняли в преступлениях по занимаемой им должности фельдмаршала: он умышленно выводил в чины своих соотечичей немцев, не давая хода природным русским; это обвинение само собою уничтожалось, стоило только вспомнить, что не кто иной, как Миних, упразднил установленное Петром Первым правило давать служащим в войске иностранцам двойное жалованье против русских, носивших одинаковые с первыми чины. Его обвиняли также в жестокости произносимых им приговоров, когда не обращалось внимания на высокую породу обвиняемого, и люди родовитые подвергались одинаковой каре с людьми простого происхождения. Его обвиняли в казнокрадстве, а председательствующим комиссии, учрежденной для суда над государственными преступниками, был князь Никита Трубецкой, который два раза своею неисправностью в своевременном подвозе провианта и боевых запасов причинял войску большие затруднения и только благодаря дружескому расположению Миниха избежал военного суда. Миних в свое оправдание ссылался на ряд донесений, сохранявшихся в воинской коллегии, и закончил свою речь такими словами: «Пред судом Всевышнего мое оправдание будет лучше принято, чем пред вашим судом! Я в одном только внутренне себя укоряю – зачем не повесил тебя, когда ты занимал должность генерал-кригс-комиссара во время турецкой войны и был обличен в похищении казенного достояния. Вот этого я себе не прощу до самой смерти».

Императрица Елисавета сидела за ширмами, поставленными в той же комнате, где происходил допрос и, невидимо для всех, присутствовала при суде над своими павшими противниками. Услышавши то, что произнес Миних, она приказала прекратить судебное заседание и отвести Миниха в крепость.

18-го января 1742 года на Васильевском острове, против здания двенадцати коллегий (где ныне университет) был воздвигнут эшафот о шести ступенях. Кругом стояли

вооруженные гвардейцы и солдаты Астраханского полка, образуя каре и удерживая теснившуюся толпу. Множество народа обоего пола и разных возрастов спешило отовсюду глазеть на зрелище казни особ, так недавно бывших знатными и сильными. Был ясный морозный день. Осужденных доставили в 10 часов. На простых крестьянских дровнях везли Остермана, одетого в халат, – по болезни ног он не мог идти. Прочие осужденные шли пешком. Все показывали унылый вид, были неряшливо одеты и, сидя в тюрьме долгое время, обросли бородами. Один Миних имел бодрый вид, был выбрит, одет в серое платье, поверх которого накинута красная плащ. Идучи из крепости, он разговаривал с офицерами, провожавшими его, вспоминал, как часто во время войны находился близко к смерти, и говорил, что, по давней привычке, и теперь без всякой боязни встретит ее.

Прежде сняли с дровен Остермана, посадили на носилки и внесли на эшафот. Там уже ожидали его страшные орудия мучительной казни. Прочитан был длинный приговор на пяти листах; осужденный прослушал его с открытой головой и с усилием держась на ногах. Его приговаривали к колесованию, но тот же секретарь, произнесший в чтении эту жестокую участь преступнику, вслед за тем произнес, что государыня, по своей милости и состраданию, смягчает казнь эту, заменяя ее отрублением головы. Уже Остермана подвели к плахе, уже палач отстегнул ворот его шлафрока и рубахи, уже взял в руки топор, вдруг секретарь, читавший приговор, возвещает слова императрицы, что, по природному матернему милосердию и по дарованному ей от Бога великодушию, вместо смертной казни – всех осужденных сослать в заточение. Палач, по прочтении о пощаде его жертвы, с пренебрежением толкнул Остермана ногою; хворый старик повалился и был посажен на носилки солдатами. «Пожалуйте мне мой парик и колпак!» – сказал он, застегивая вороты своей рубашки и своего халата. Это были единственные слова, слышанные из его уст на эшафоте.

За ним черед приходил Миниху, и он взошел на возвышение, с которого читался приговор. Его бодрый и живой взгляд, его сияющее старческой красотой лицо, его благородная осанка всем напомнили того фельдмаршала, который являлся на челе храброго войска, воодушевляя его дух одним своим видом. Но ему нечего было там оставаться. Он сошел, других не возводили на возвышение и отправили всех в крепость. На другой день последовала отправка осужденных в места их заточения: Остермана – в Березов, Миниха – в Пелым, Головкина – в Ярманг, иначе Среднеколымск, Менгдена – в Нижнеколымск, Левенвольда – в Соликамск, Темиряева и Яковлева – в Тобольск, потом первого перевели в Мангазею. Наблюдать за этим поручено было Якову Петровичу кн. Шаховскому, оставившему любопытные записки о своем времени, представляющие некоторые черты и об этом событии. Женам осужденных дозволено было, по воле императрицы, или следовать за мужьями, или со всеми правами состояния оставаться на прежних местах жительства. Они последовали за своими супругами. Остерман, по известию Шаховского, лежал и вопил от боли в ногах, пораженных подагрой. Он с обычным своим красноречием выразил сожаление о том, что имел несчастье прогневить всемилостивейшую государыню и просил кн. Шаховского довести до императрицы его просьбу о милостивом и великодушном покровительстве его детям. Бывший министр хорошо знал, что его слова тут же запишутся и представятся высочайшей особе, что и случилось. Кн. Шаховской приказал офицеру, командируемому с ним для отвозу, чтобы солдаты его команды подняли несчастного старца с постелью и бережно положили в сани. «О жене же его, при сем случае находившейся, кроме слез и стенаний описывать не имею», – замечает кн. Шаховской.

Тут подошел к нему офицер, который должен был везти Миниха. До той казармы, где сидел разжалованный фельдмаршал, было не близкое расстояние, и кн. Шаховской имел возможность, идучи к нему, вдоволь надумать о суете земного величия. «В таких смятенных моих размышлениях пришел я к той казарме, где оной бывший герой, а ныне наизлосчастнейший находился, чая увидеть его горестью и смятением пораженного, – говорит кн. Шаховской. – Как только во оную казарму двери предо мною отворились, то он, стоя у другой стены возле окна ко входу спиною, в тот миг поворотясь, в смелом виде с

такими быстро растворенными глазами, с какими я имел случай неоднократно в опасных с неприятелем сражениях порохом окуриваемого видать, шел ко мне навстречу и, приближаясь, смело смотря на меня, ожидал, что я скажу. Сии мною примеченные сего мужа геройские и против своего злосчастия сказуемые знаки возбуждали во мне желание и в том случае оказать ему излишнее пред другими такими ж почтение, но как то было бы тогда неприлично и для меня бедственно, то я сколько возмог, не переменяя своего вида так же как и прежним двум, уже отправленным, все подлежащее ему в пристойном виде объявил и довольно приметил, что он более досаду, нежели печаль и страх на лице своем являл. По окончании моих слов, в набожном виде подняв руки и возведя взор свой к небу, громко сказал он: „Когда уже теперь мне ни желать, ни ожидать ничего иного не осталось, так я только принимаю смелость просить, дабы, для сохранения от вечной гибели души моей, отправлен был со мною пастор“, – и при том, поклонясь с учтивым видом, смело глядя на меня, ожидал дальнейшего повеления; на то я сказал ему, что о сем, где надлежит, от меня представлено будет. А как все уже к отъезду его было в готовности и супруга его, как бы в какой желаемый путь в дорожном платье и капоре, держа в руке чайник с прибором, в постоянном виде скрывая смятение своего духа, была уже готова, то немедленно таким же образом, как и прежние, в путь свой они от меня были отправлены».

Миниху назначили местом заточения Пелым, сибирский городок, куда прежде отправили сверженного регента Бирона, по указанию князя Алексея Черкасского, которому был известен сибирский край, так как, прежде поступления своего в сан кабинет-министра, он был сибирским губернатором. Миних сам начертил план дома, определенного на житье сосланному любимцу императрицы Анны Ивановны. Ему пришлось теперь ехать туда, куда он надеялся засадить на всю жизнь своего соперника. Это подало повод к легенде, будто Миниху суждено было проживать в этом самом доме; но это неверно исторически. Дом, построенный для Бирона, сгорел прежде доставления в Пелым бывшего фельдмаршала. Когда Миниха везли в ссылку, Бирон, по указу императрицы, возвращался из ссылки в Ярославль, назначенный ему для житья вместо отдаленного Пельма. Враги встретились при перемене почтовых лошадей в предместьи города Казани, сняли друг перед другом шляпы, поклонились один другому и поехали каждый в свою сторону, не обменявшись ни одним словом между собою. Миниха поместили в воеводском доме, построенном посреди деревянного острога. Положение, в каком очутился бывший фельдмаршал, недавний первый министр Российской империи, была не простая ссылка, а тяжелое тюремное заточение. Он не смел никуда выходить дальше острожной стены, которою отделено было его жилище от остального мира. Хотя с ним поехала довольно немалочисленная прислуга, пастор и врач, но только они исключительно могли ходить в город, состоявший в то время из небольшого числа обывательских домов. В 1746 году писал узник к своему брату, избегнувшему ссылки и остававшемуся при дворе с прежним чином действительного тайного советника, барону Миниху: в своем письме он оставил наглядное описание своего горемычного житья.

«Для спасения наших душ у нас, по милости ее императорского величества, господин пастор Мартенс поныне находится, с которым мы по все дни по утру и вечеру с нашими немецкими служителями Божию службу отправляем и с особливым благоговением святыи свои книги читаем, святое причастие мы принимаем, сколь скоро мы оногo душевно алчем и жаждем, и тако ж мы о высоком здравии ее императорского величества и их императорских высочеств Бога усердно молим. Наше состояние здравия мое и любезной жены моей нарочито; и состоит мой утренний и вечерний хлеб в жестком сухаре, который лучше молотом разбивать, нежели разломать можно. А из наших служителей повар Бранд почти непрестанно болен. Находится при нас здесь небезыскусный лекарь, и мы ежегодно на тридцать и на сорок рублей из катеринбургской аптеки лекарства за наши деньги берем; за болезнью же оногo повара наша кухня не очень исправна и только один мальчишка стряпает, а нас по все дни обедает с караульным офицером ordinarily четырнадцать, а частью и шестнадцать персон с робятами. Наша квартира в здешнем воеводском доме посреди высокой деревянной крепости, которая в квадрате от семидесяти до восьмидесяти шагов, а

для людей наших одна изба по прошению нашему от караульного офицера, а другая на наши деньги построены, а притом плохой погреб, в котором зимою, дабы питье не мерзло, непрестанно уголье горящее держать принуждены. Наш взгляд во все стороны на тридцать или сорок шагов – высокая деревянная стена крепости, на которую уже смотреть мы так привыкли, как напред сего на изрядные палаты в Петербурге.

Место в крепости болотное, да я уж способ нашел на трех сторонах, куда солнечные лучи падают, маленький огород с частыми балясами устроить. Такой же пастор и Якоб, служитель наш, которые позволение имеют пред ворота выходить, в состояние привели, в которых огородах мы в летнее время саждением и сеянием моцион себе делаем, сами столько пользы приобретаем, что мы, хотя многое за стужею в совершенный рост или зрелость не приходит, при рачительном разделении чрез весь год тем пробавляемся; ибо здесь в Пельме, который едва в двадцати домах состоит, у обывателей (кои стрелянием соболей и оленей питаются) ни гороху, ни бобов, ни луку, ни редьки, ни же каких трав или капусты, тако ж ни фунта мяса, масла коровья, круп или муки, ни пива, ни хлеба, или что инако к домостроюству потребно купить, достать невозможно, но офицер принужден все чрез солдат по деревням сыскивать у крестьян или из Тобольска за 700 верст отсюда не без трудности, вреда и иждивения (для того, что иное от жару или морозу портится или подмачивается) привозить. В наших огородах мы в июне или в августе небезопасны от великих ночных морозов, и потому мы, что иногда мерзнуть может, рогожами рачительно покрываем. Причем же еще и сие великое беспокойство есть, что чрез все вышереченные три месяца летний воздух заразительными мухами или так называемыми мошками, которых едва глазами видеть можно, так наполнен, что нос, глаза и уши зажимать или непрестанно отмахиваться в рукавицах быть надобно, от проглочения таких мошек дышать нельзя; которая малая ядовитая гадина рогатому скоту таким множеством в ноздри набивается, что оттого та скотина есть не может, временем умирает; так когда прохладительный ветер не веет, разгоняющий те мошки, то люди, скотина и лошади в домах быть принуждены!

Сие место так болотами и лесами окружено, что летом никакая телега сухим путем проехать не может, но только водою по реке Тавде, коя в Тоболь впадает, вверх по воде, что-либо потребное перевозить судами можно, а все хождение судов состоит в одном струге, который в июле месяце с коронною солью для здешнего воеводства ежегодно приходит и при котором случае из Тобольска нечто доставить можно. В феврале месяце, в деревне, Ирбит именуемой, расстоянием отсюда около четырехсот верст, ежегодно великая ярмарка бывает, на которую купцы со всех сторон из России и притом из китайских границ, тако ж из соседних татар и калмык съезжаются, и на сей главной ирбитской ярмарке все то, что для одежды и пищи потребно, достать можно, и офицер попечение прилагает, чтоб мы, сколько наша казна дозволяет, всем потребным всегда на целый год снабжены были.

Чрез всю долгую зиму жены моей такое упражнение есть, что она своими руками все то шьет, что нам белья на стол, постель и наше тело надобно, и старое вновь переделать она трудится; мое ж упражнение состоит в том, что я по латыни учусь, в чем я к превеликому моему удовольствию столько предупел, что я нашего пастора латинские книги, а именно библию и церковные истории читаю, и книгу, именуемую потребного общего соединения (с которой я начало учинил и тем желание по латыни в моей уже старости учиться во мне возбудилось) почти наизусть выучил. Мой моцион зимою такой есть, чтоб огородные семена вытрясывать и чистить и сети вязать, дабы тем во время лета навозные и другие огородные гряды от птиц, кур и кошек прикрывать, яко ж мышек при мышьих пастях, кои во всех углах расставлены в нарочитом числе, да в нашей собственной каморе двух содержим, чтоб нас мыши, которых мы руками о стену до смерти бьем, купно с нашим запасом не пожрали и тако полные жены моей упражнения только между молитвенными часами чинятся, следовательно же, мой сердечный брат, поистине могу вас обнадежить, что нам ныне пятый год в нашей ссылке еще ни единого часа времени долго не казалось. Что ж до экономии и казны нашей касается, то получаем мы всемилоостивейше определенные от ее императорского величества деньги для нашего содержания исправно по все месяцы наперед,

и понеже оных для нас стариков на день каждому по рублю, а каждому служителю по 3 рубля на месяц да пастору 150 рублей в год особливо дается, то чаятельно думают (когда о Сибири слышат, как тамо все так дешево, что почти даром без денег здесь жить можно), что у нас от того нечто остается; но когда, напротив того, в рассуждение приемлется, что мы нашим служителям (кои часто негодуют) для содержания их в веселости и негрущении определенные им каждому на месяц на мытье и другие потребности наличными деньгами давать приказываем и притом их сами кормим и одеваем, а за одежду весьма дорого платить принуждены, и все сие нам надобно дорогою ценою с платежом за провоз и с богатым награждением за покупку из Тобольска и Ирбита сюда доставлять принуждены; для служанкина ребенка девку держим, одному работнику, который в кухню воду носит и скотину кормит, на месяц по полтора рубля, портомоям же за печенье, варенье и доенье коров по два рубля и за каждую сажень коротких дров (которых при жестокой и долговременной зиме на кухню и шесть печей зело много исходит) по 20 коп. платим, то мы при ирбитской ежегодной крайнейше нужной покупке никак пробить не можем, чтоб от 200 до 300 рублей в кредит не взять, еже без иждивений учиниться не может; при таких наших обстоятельствах, как с нами Бог определить изволит, мы однако ж сердечно довольны.

Неприятнейшее здесь то есть, что здешние реки во все зимы так жестоко замерзают, что рыба, не имея в них никакого воздуха, множеством до смерти замерзает, которая весною при берегах до того времени лежит, пока ее вороны и галки поедят, и вода, которая и без того болотная, паки очистится, и как в сей околичности никаких родников или источников не находится, то принуждены тою водою пробавляться. Так названное здешнее пиво в горшках в обыкновенных печах черных изб солдатскими бабами варится, ибо здешние обыватели никакого пива не пьют и никакой посуды к варению не имеют, и тако одно худо, а другое еще и хуже. Но служитель наш Якоб для нас мед варит, который мы за каждым обедом три здравия, а именно ее императорского величества, обоих их императорских высочеств, и тех, кои об нас помнят, пьем, а в высокие праздники чинится оное французским вином, в которые мы и наши два рубля солдатам даем, дабы они про здравие ее императорского величества повеселиться, а равно как и мы за тот хлеб, который ее величество нам по милости своей жалует, с удовольствием их нижайшую благодарность засвидетельствовать могли. И так я на преблагого Бога твердо уповаю, что без воли Его, моего Отца Небесного, ни влас с головы моей не погибнет, и в таком моем уповании Он меня не оставит, в чем во всем я совершенно на Него и Его праведные судьбы полагаюсь».

По преданиям, собранным в Пельиме от старожилков лет пятьдесят с лишком тому назад, Миних из своего заточения занимался скотоводством, откупал окрестные луга и ставил сено своими работниками, отчасти же, приглашая тамошних обывателей на помощь: тогда в острожном дворе, где он жил с женою, происходило угощение. Миних смотрел на них и увеселялся их песнями и забавами. О жене его сохранилось предание, что хотя она дурно изъяснялась по-русски, но любила оказывать благодеяния крестьянским девушкам, выходявшим замуж, и вообще была чрезвычайно добродушна и всеми любима. Предание описывает его жилище и способ его жизни сходно с его собственными известиями, о которых было выше сказано. Двор, в котором помещался изгнанник, был обнесен высокою стеною из срубов с четырьмя башнями по углам и с пятою – над воротами. Днем ворота были отворены и обыватели могли входить туда, а Миниха тогда только и можно было видеть, когда он с женою, никогда от него не отступавшею, прогуливался по стене, имевшей в каждом фесе по 30 сажений.

Двадцатилетнее пребывание Миниха в Пельиме составило важную переломную эпоху в жизни этого человека. Сам он сознавался, что был слишком увлечен суетою жизни, в которой до тех пор вращался; удар, постигший его, обратил его сердце к Богу и он в своем несчастье и унижении нашел душевный мир и спокойствие. Он, по собственному уверению, никогда в продолжение двадцатилетнего своего заточения не унывал, но всегда был в ясном расположении духа. «Я (писал он однажды брату) от Христа удалился, гласа Его не слушал, ныне же Он, милосердный, меня от греховного сна воздвигнул; в Пельиме я научился лучше с

Лазарем в убожестве нежели с богатым мужем в славе и радости жить». Он и прежде, с самого отрочества, не чужд был лютеранского благочестия. «Я всегда, – писал он уже в последних днях своей жизни, – в продолжение семидесяти лет старался каждый день сделать что-нибудь во славу Всемогущего на пользу ближнего и, если мне это удастся, ввечеру того ж дня я чувствую истинную радость. Я не думаю сделать этим чего-нибудь, за что бы я мог ожидать награды, но единственно стараюсь, исполняя долг свой, находить в сердце мир и чистые невинные удовольствия». Теперь он преимущественно посвятил себя религиозному созерцанию. Ежедневно у него отправлялось два молитвословия: одно утреннее от 11 до 12, другое после полудня от 6 до 7 часов; его немецкие служители при этом все присутствовали. Исполнял все это пастор, а после, когда пастора не стало, сам Миних. В праздники утром читали обычное евангелие, пополудни апостольское писание, что приходилось в данный праздничный или воскресный день по уставу лютеранского богослужения. Его чрезвычайно деятельная природа не выносила духовного бездействия. Он начал составлять проекты, то военные, то строительные, но, к большому его несчастию, ему не давали ни бумаги, ни чернил. Узник заявил, что желает письменно сообщить что-то важное государыне. Это заявление пошло в сенат, представлено было императрице, и она дозволила Миниху временно дозволить писать, что он находит нужным представить правительству. Тогда Миних принялся писать и посылать в Петербург один за другим проекты, касавшиеся окончания того, чего не успел совершить Петр Великий, застигнутый среди множества предприятий преждевременною кончиною. Он писал и предположения о том, как бы возвысить Петербург, возлюбленный город Петра Великого, и его окрестности, замечая, что если б жив был Петр, то «чаятельно тогда тысячами способов споспешествовано быть могло»; но после Петра многие из этих способов забвению преданы; предлагал построить ряд селений, дворцов, зверинцев, увеселительных домиков с фонтанами, бассейнами и рощами на протяжении от Ораниенбаума до Петербурга и то же – от Петербурга до Шлиссельбурга по берегам Невы, а также заселить берег канала от Шлиссельбурга до Ладоги, прорыть начавшийся уже при Петре канал на невских порогах близ реки Тосны, начать новый канал от Невы в Царское Село, так что государыня могла бы, севши на буер у своего Летнего дворца близ Смольного двора, пристать прямо к крыльцу своего царскосельского дворца; другой проект касался более важного предмета – укрепления украинской линии и турецкой границы, еще иной – укрепления Киева, наконец, – проект о войне с Турцией (мысль эта не выходила из головы у Ставучанского героя), и о поправке русских крепостей, – проект, показывающий, в какой подробности знал бывший фельдмаршал состояние этого дела в тогдашней России. При всех проектах присоединялось моление об освобождении его из ужасного заточения. Все свои проекты он писал так, чтобы наглядно показать, что никто другой, кроме него, не в состоянии исполнить этих предприятий, необходимых для России. Он просил только освободить его, призвать в Петербург и дать возможность словесно разъяснить посылаемые предначертания. Он умолял о помиловании, ссылаясь на пример отца государыни, Петра Великого, который, хотя разгневавшись и сослал князя Василия Владимировича Долгорукого, но потом простил его. «Не прошу ни титулов, ни богатств, – писал он, – ни земель, прошу дозволить при стопах вашего императорского величества умирать, удостоверив ваше величество в своей верной и отличной службе в память Петра Великого! Если нужно, чтоб я без денег и деревень жил, я готов и солдатской порцией довольствоваться и буде мне в палатах жить не можно, я охотно буду дворником у вашего императорского величества». Не ограничиваясь молениями к императрице, изгнанник писал и к великому князю Петру Федоровичу, поздравлял его с бракосочетанием, желал ему всякого благополучия и умолял ходатайствовать у императрицы «о даровании прощения опечаленному генералу, который некогда для Петра Великого свое отечество оставил и в тысячекратных случаях живота своего и покоя для России не щадил». Вспоминал о том, как он служил России в войнах польской и турецкой, и ныне готов оказать такие же услуги. Но как ни просил, как ни молил он, как ни унижался – его хвалы, вассылаемые императрице, так же мало имели влияния, как мольбы и восхваления Овидия,

расточаемые Августу с дунайских берегов. Не более действительны были его обращения к канцлеру Бестужеву, человеку, с которым прежние отношения Миниха имели никак не дружелюбный характер.

В 1744 году Миних отправил ему на немецком языке длинное письмо, тогда же, по повелению императрицы, переведенное по-русски статским действительным советником Демидовым. В этом письме Миних подробно излагает свое прошлое – свои первые труды по устройству Ладожского канала, вспоминает, как великий государь «такую радость и удовольствие всякому человеку засвидетельствовал, и меня бы не токмо из Пелыма из ссылки, но из китайской границы для его службы к себе привел». В этом письме узник приносит раскаяние Бестужеву в своих неприязненных к нему поступках, впрочем, объясняя, что многое делал он не по собственному желанию.<sup>225</sup>

---

<sup>225</sup> «Сиятельнейший высокородный граф и кавалер, высочайше почитаемый господин вице-канцлер и статский министр! Ваше высокографское сиятельство, искусився сам по воле Божией, что есть печаль и прискорбие, утешение и радость, позволите, чтоб я, покоренный поражающею Всевышнего рукою, к прославлению имени Его, шестидесятичетырехлетний старик, вашему высокографскому сиятельству, всеми от всемилостивейшей императрицы пожалованному знатнейшими награждениями, искренно и усердно поздравить и при том действительным вседушным покаянием того, в чем я противу вашего высокографского сиятельства погрешил, удостоверить случай приемлю.

Бога правды, пред Страшным Судом которого мы все явимся, во свидетели призываю, что то еже к вашему высокографскому сиятельству писать чрез сие смелость восприемлю, правда есть:

1) Когда я бывшего герцога курляндского, Бирона, с приказу принцессы Анны и во исполнение того повеления, которое от нее словесно кордяному гвардии офицеру дано, арестовал, то я бы ваше сиятельство под арест взять не велел и ваше сиятельство, так как князь Черкасский и граф Остерман, при вашей порученной в кабинете должности остались беспрепятственно, ежели б в самое то время, когда я с арестованным герцогом во двор императорской принцессы пришел и пред караулом стоял, мой сын от помянутой принцессы, сошед, мне ваше высокографское сиятельство арестовать приказу не принес. О сей правде, что то арестование персоны вашего сиятельства не от меня произошло, может мой сын, когда еще в живых находится, ежели ее императорское величество опробовать изволит, вопрошен быть, оное же никогда мною присоветовано не было. Еще такая правда есть, да поможет мне Бог и Его святое слово!

2) От того ж часу, когда ваше высокографское сиятельство помянутым образом по повелению реченной принцессы под караул взяты были, и я в ней признал, что она к вашему сиятельству немилостива была, то я, по слабости человеческой, как в свете водится, ваше сиятельство, хотя, впрочем, мне ничего противного не оказывали, не пощадил и, как пред Богом и вашим сиятельством признаться должен, никакого истинного сожаления об вас не имел, из чего и все происходило еже при арестовании и воспоследованном потом исследовании, колико я участие в том имел, что вашему сиятельству грубого и обидного приключилось.

3) Причем, однако, и сие правда есть, что другие во время исследования неисчисленные пункты проектировали было, дабы дело пространнее и тяжелее учинить, еже я препятствовал и помянутые пункты вымарал, о которой правде тогдашний рекетмейстер Феминг, через которого те пункты ко мне присланы были, мог бы вопрошен быть.

4) Соизвольте ваше высокографское сиятельство, и то за правду принять, с которою я пред Христом на Страшном Суде стоять буду, что елико я ваше сиятельство обидел, то я между наивящих моих грехов, которые когда я содеял, считаю, и об оных душевно каюсь, а напротив того, ежели б я вашему высокографскому сиятельству в моей жизни мог моею кровию служить, дабы о сем моем преступлении, некоторым образом, покаяться, то оную охотно пролил бы, и вашему сиятельству обявану усердно быть желаю.

5) А, наименьше еще, ваше высокографское сиятельство, в сей правде сомневаться изволите, что я несчастливый Ея величества нашей ныне славнейше владеющей императрицы привлеченную на себя негодность и немилость с наигорчайшими слезами оплакал и Бога молить непрестанно за всевысочайшее ее величества благополучие молить не преминул.

6) Однако и сие правда, самому всемогущему Богу известно есть, что учинено от ее величества императрицы Анны славы достойнейшей памяти при самом начале восприятия правления (ибо ее величество ныне уже владеющую императрицу яко спасаемую суперницу к престолу признавала) мне повеление было (понеже я тогда в Санкт-Петербурге команду имел) дабы я, как к ея императорскому высочеству, так и к ея высочеству покойной герцогине мекленбургской приходящих примечал и понеделно о том ея величеству покойной императрице рапортовал.

7) Но как я к такой комиссии неспособен и сверх того положенною на меня должностью весьма отягощен был, то правда есть, что я в том таким образом поступал, что ея величество славы достойнейшая памяти императрица меня от того освободила и, сколько мне известно, майору Альбрехту поручила, при чем я Бога во свидетели призываю, что никогда ни единого слова, кое бы ея величеству нашей нынешней славы достойнейшей императрице, чем-либо малейшим предосудительным быть могло (к чему я ни малейшего случая

Это письмо замечательно еще и потому, что пелымский узник припоминает недавние обстоятельства, содействовавшие его падению, известные уже из предшествовавшего хода повествования, но любопытные потому, что передаются самим деятелем, не только участвовавшим в описываемых событиях, но заправлявшим ими. Попытка склонить Бестужева к примирению и к ходатайству перед императрицею за бывшего своего врага не могла иметь успеха. Не таков был Бестужев, чтоб он забыл то, что потерпел от Миниха; в то время, когда Миних искал от него такого христианского великодушия, Бестужев готовил падение и гибель Лестоку, который, пользуясь приближением своим у Елисаветы, поднял Бестужева из праха, куда этот хитрый министр был низвержен предыдущими бурями. Да и кроме старой неприязни к Миниху, Бестужев, вошедши в силу и ставши первым министром при Елисавете, из политических соображений никогда бы не сделался ходатаем за сосланного в Пелым фельдмаршала. Во-первых, такое ходатайство могло бы обратить на него опалу императрицы, которая не терпела Миниха, считая его опаснейшим врагом своим, и безжалостно с надругательством его преследовала; во-вторых – Бестужев, рассуждая о Минихе по самому себе, не мог довериться его искренности. Миних, будучи возвращен, мог казаться опасным для нового правительства. Миниха любило и уважало войско: Миних имел бы возможность учинить в империи такой переворот, который погубил бы и Елисавету и Бестужева. Понятно, что обращения пелымского заточника к Бестужеву были гласом вопиющего в пустыне, и можно смело сказать, что если б Елисавета, в самом деле, расчувствовалась и показала сострадание к павшему фельдмаршалу, то прежде всего удержал бы ее от оказания милости Миниху не кто другой, как этот Бестужев.

Миних писал также и к любимцу императрицы, Алексею Разумовскому, прося и его ходатайствовать за него у императрицы. И эта дорога не привела его к желанной цели.

Вероятно, слезные просьбы о помиловании надоели императрице, как равно и проекты его, к чтению которых она, конечно, не могла получить вкуса, так как вообще не любила

---

не имел) не доносил, но паче тогда ея величество, яко великую императорскую принцессу с дражайшею девоциею почитал и всепокорнейшего респекту отнюдь не пренебрегал, как то ея величество при всех случаях сама милостиво признавать изволила.

8) Как высочайшая помянутая ея величество императрица Анна из Курляндии к восприятию престола призвана была и в Москву приехала, а мне в Петербурге, где я команду имел, комиссия поручена была каждому человеку присягать велеть, то я ни россиянина, ни же кого иного не видал и не слышал, который бы в пользу ея величества, ныне благополучно государствующей императрицы, молвил, кроме одного покойного адмирала Сиверса, который публично сказал: корона-де ея императорскому высочеству цесаревне Елисавете принадлежит, но как о том по должности своей донести принужден был, и помянутый адмирал Сиверс, хотя год спустя, отставлен и в его деревни послан был, то, может быть, что оно в рассуждении ея императорского величества сочинилось и вышереченное мое доношение повод к тому подало. И потому, если б ея императорское величество наша великодушнейшая императрица соизволила Сиверсовым детям некоторые действительные милости щедрейше явить, то оно б к успокоению моей совести служило.

9) Ныне я с моей стороны основанием правды полагаю, что в ея императорском величестве, как и в вашем высокографском сиятельстве, великодушные христианские души обитают, и что я Богу и ея императорскому величеству также и вашему сиятельству чистосердечно и с сущим покаянием о прощении того, в чем я ведением или неведением погрешил и по указу либо своевольно вас озлобил, с глубочайшею покорностью прошу, тако ж надеюся и Божеского долготерпения и ея императорского величества великодушного помилования и женерозного вашего сиятельства прощения ко мне, кающемся и соболезнающему грешному, за что Бог ваше сиятельство и ваш высокографский дом небесным благословением душевно и телесно с избытием одарит.

10) В сем надеянии, адресуя к вашему высокографскому сиятельству, яко высоко поверенному ея императорского величества вице-канцлеру и статскому министру, который всемерно о высоком ея императорского величества и ея государственном интересе ревностнейше старается и паче всякой партикулярной дружбы и недружбы по имевшемуся вашему незлобию и истинности предпочитает, и потому я прошу ваше сиятельство наиприлежнейше меня вашей протекции и многомощного представительства у ея императорского величества к знатному поспешествованию ея величества службы удостоить».

Далее Миних вспоминает свои прежние услуги, налегая в особенности на построение Ладожского канала, заслужившее одобрение и самые лестные отзывы родителя императрицы, Петра Великого. Миних доказывает министру, что он может быть полезен России, как никто другой, и следовательно, в видах пользы России, следует возвратить его и даровать ему возможность заслужить благоволение императрицы.



заниматься никакими серьезными делами. Последовало запрещение позволять Миниху посылать к ней письма. Это последовало, вероятно, в 1746 г., как можно заключить из того, что ряд посылаемых из Пелыма в Петербург посланий прерывается на этот год. Но в июле 1749 года мы встречаем следующий рапорт генерал-прокурора ее императорскому величеству.

«Сего настоящего месяца 8 числа. Ваше императорское величество, на поданный сенатский доклад, всемилостивейше изустно указать мне соизволили: бывшему фельдмаршалу для написания, что он имеет представить о государственном интересном деле, бумаги и чернил дать, и оное представление при караульном обретающемся при нем офицере написать ему позволить, только при том ему объявить, дабы он о всем достаточно единожды ныне написал, ибо ему впредь на такие требования позволения дано больше не будет. И оный вашего величества указ в сенате мною записан и во исполнение оного, по приговору правительствующего сената, к обретающемся при содержании объявленного Миниха сибирского гарнизона поручику Попову указ с нарочным курьером отправлен июля 11 дня».

Следствием этого позволения было представление нового проекта: об укреплении города Киева, написанного на французском языке и подписанного 27 августа того же года. При этом Миних счел уместным выразить глубокую скорбь, произведенную чтением грозного указа, заранее угрожающего ему запрещением на дальнейшее время писать проекты и письма. Кажется, это было последнее послание его к непреклонной государыне; по крайней мере, нам уже не случилось видеть ни строчки от Миниха в последние годы его заточения. Миниху решительно запрещено было давать бумагу и позволять писать, но после кончины его пастора, Мартенса, случившейся в 1749 году, Миниху в наследство остался порядочный запас писчей бумаги, и он от скуки начал писать трактат о фортификации и составлять проект войны с турками. Случилось тогда вот что: офицер, приставленный к нему и выдававший ему деньги на содержание, не хотел дать ему столько, сколько тот просил. Миних сказал ему какую-то колкость, а офицер сказал, что донесет на него: он все что-то пишет и, верно, ко вреду императрицы и России. Миних знал, что в России значило страшное «слово и дело», и поторопился все написанные бумаги бросить в огонь. К его счастью, это произошло уже в последний год царствования Елисаветы.

Судьба определила ему участь, какой не испытали другие его сострадальцы в Сибири, с ним разом сосланные по одному делу. Он дожил до смерти Елисаветы и до вступления на престол императора Петра III, и заря освобождения блеснула для него уже на восьмидесятом году его бурной, славной и страдальческой жизни.

10 февраля (по Бюшингу, 1 февраля) 1762 года явился в Пелым курьер с сенатским указом, объявляющим свободу Миниху. Старик в это время совершал утреннюю молитву. Его супруга, узнавши, в чем дело, не прерывала его и остановила служителя, разбежавшегося с радостною вестью в ту комнату, где молился Миних. Но вот вошел офицер, приставленный к узникам. Недавно перед тем он позволял себе с Минихом обращение не совсем почтительное, как старший с меньшим, сознавая свое дворянско-офицерское величие перед тем, который прежде хоть и был фельдмаршалом, но потом стал ничто, – простой арестант, государственный преступник, лишенный навсегда прежних прав всемогущею царскою волею. Теперь этот офицер, прежде чем войти к узнику, осведомился, можно ли войти, и, вошедши, почтительно представил ему сенатский указ. Тогда Миних и его супруга оба пали ниц, залившись слезами, и с восторгом благодарили Бога. Нельзя сказать, чтоб это счастье пришло к Миниху совершенно неожиданно. Еще прежде он узнал о кончине императрицы Елисаветы и несколько недель провел в колебании между страхом, что о нем не вспомнят, и надеждою, что новый государь покажет ему свою милость в такой мере, в какой только мог желать ссыльный. Ему возвращали свободу и все прежние права состояния.

Вдруг проснулся душою узник, уже в продолжение многих лет отягченный духовным сном безнадежности. Его люди были перед тем посланы на ирбитскую ярмарку для закупки разных запасов, как делалось каждый год. Миниху хотелось скорее уехать из места своего

двадцатилетнего заточения, и он послал нарочного догнать их и заворотить назад. Спустя восемь дней после получения вести о своем освобождении он собрался в путь. Предание, сохранявшееся в Пелыме, говорит, что пред своим отъездом он три раза объехал Пелым и говорил жителям, собравшимся провожать его: «Простите, мои пелымцы, вот и старик Миних с своею старухой от вас уезжает». – «Прости, отец наш родной!» – кричал ему народ. Покинувши, наконец, Пелым, он, несмотря на свои семьдесят девять лет, через 25 дней пути, совершенного в простых саях, достиг Москвы. Это было 16 марта, ночью. Вдова фельдмаршала графа Апраксина ждала его, приготовила ему у себя помещение и в знак радости зажгла блистательную иллюминацию у своего дома. Миних пробыл в Москве недолго. 21 марта он был уже в Новгороде, а 24 приблизился к Петербургу. Путь от Москвы до Петербурга был для него триумфальным шествием: генералы, штаб-офицеры и статские чины, служившие когда-то у него под начальством, выезжали встречать и приветствовать воскресшего героя, в течение двадцати лет вычеркнутого из разряда живых. За тридцать верст от Петербурга встретила его внучка, дочь сына его, Анна, с своим супругом Фитингофом; она была красавица; дед еще не видал ее, потому что она родилась в год его заточения. Услыхавши, что деда, наконец, освободили, Фитингофы нарочно приехали из Риги, чтоб встречать его.

Миних прибыл в Петербург в жалком виде: у него не было платья, и всю дорогу одет он был в худой тулуп. Император 30 марта послал к нему своего генерал-адъютанта, гр. Гудовича, который от царского имени поднес ему шпагу и объявил возвращение генерал-фельдмаршальского достоинства со старшинством с 25 февраля 1732 года. Жизнеописатель Миниха, пастор Бюшинг, говорит, что в этот день он явился к Миниху и увидел его в первый раз в жизни. «Это был крепкий, рослый старик, отлично сложенный, сохранивший всю огненную живость своей натуры. В его глазах было что-то проникающее, в чертах лица что-то величавое, внушающее благоговейный страх и покорность его воле. Тогда Миних вел беседу с каким-то офицером и что-то рассказывал о своих походах против турок и татар. Его голос вполне соответствовал его осанке: в нем было что-то повелительное». 31 марта приехал Миних во дворец благодарить государя. Государь сделал ему вопрос: «Дозволят ли вам, фельдмаршал, ваши лета и ваши силы продолжать службу?»

Миних на это произнес такую речь: «Бог возвел ваше величество на престол империи, которой пределы неизмеримы; Бог вручил вам власть над народом многочисленным, который во многих отношениях превосходит все народы Европы. Я с победоносной русской армией совершал походы в степях, где не доставало ни воды, ни жизненных запасов; я с русским простым народом на Ладожском канале, при построении линий и крепостей, исполнял удачно такие работы, на которые бы не посмел отважиться с другим народом! Где такой народ, который мог бы пройти всю Европу без провианта, переходить через широкие реки без мостов, питаться конским мясом, дикими яблоками и тому подобными снадобьями? А таковы именно донские казаки и калмыки, у последних нет домов, живут в кибитках или шалашах, не сеют, не жнут, не косят, и к хлебу не привыкли, а между тем, воины превосходнейшие, наилучшие солдаты, соблюдающие дисциплину, и так осторожны, что не допустят неприятеля напасть на себя ни в стане, ни на походе. На рамена вашего императорского величества Бог возложил бремя тяжелое. Кто не понимает, как трудно управлять Россией, пусть вникнет в деяния Петра Великого, славы достойной памяти деда вашего величества и увидит его изумительные труды и усилия! Кто этого сам не видал, тот понять не может, а кто был наочным свидетелем его деяний, как я, тот не может не изумляться! Великий государственный человек и законодатель в правлении, великий полководец в войске, опытный во флоте адмирал и вместе с тем простой рабочий в кораблестроении, устройстве каналов, прилагающий всюду собственную руку. Чего не устроил, чего не привел в исполнение этот государь? Что есть в России великого – все то им зачато, и еще более есть такого, что осталось недоконченным или неисполненным по причине его безвременной кончины. Все это докончить оставлено мудрому правлению вашего величества, и вам необходимы верные и способные исполнители. Я, ваш

верноподданный, покинул свое отечество затем, чтоб иметь счастье служить несравненному государю, Петру Первому. Я могу похвалиться, что был его любимым и доверенным генералом, но его неожиданная смерть отняла его у меня. Ваше императорское величество извлекли меня из тьмы на свет и всемилостивейше повелели мне из Сибири явиться к вашему пресветлому престолу. Я желаю и готов принести мою кровь и жизнь службе вашего величества. Ни долговременное отдаление мое от царского трона, ни сибирские стужи не погасили в моем сердце жара к интересам Российского государства, к славе его обладателей».

Произнесши такую речь, старик склонил колена, а государь тотчас сам поднял его, обласкал и тотчас пригласил с собою на парад. В тот же вечер Миних получил приглашение быть ко двору. Государь хотел примирить его с Бироном. Последний, проживши все царствование Елисаветы в Ярославле, хотя не в заточении, как Миних, но в удалении от двора, Петром Третьим был также приглашен в столицу. Государь хотел их свести вместе и помирить; для этого назначен был именно этот самый вечер. Миних и Бирон, люди прошлого времени, явились посреди нового поколения царедворцев, как тени, восставшие из могил. Все было вокруг их чуждым, и они сами были для всего окружающего как бы чужими. Петр свел их и заявил желание, чтоб они помирились, забыли бы все прошлое и простили друг другу все наделанные огорчения. Миних и Бирон отвечали поклонами. Тогда император приказал подать три бокала – один взял сам, а два другие предложены были Миниху и Бирону. В это время придворный подошел к государю и что-то сказал ему потихоньку; как видно, это сделано было по данному заранее приказанию государя. Петр поставил свой налитый вином бокал и вышел. Миних и Бирон долго стояли на месте, держа в руках бокалы, и не смотрели друг на друга, а оба обращали взоры на дверь, куда вышел государь и откуда, по-видимому, снова должен был воротиться; потом, обмерявши взглядами друг друга с головы до ног и не сказавши ни слова, поставили свои бокалы, повернулись один к другому спиною и разошлись.

Император Петр Третий вознамерился устроить под личным своим руководством и призрением комиссию или совет из приближенных лиц. Это было что-то вроде прежнего кабинета, высшее правительственное учреждение, посредствующее между верховною особою и правительствующим сенатом. Миних был в числе членов этого совета. Миних делал предложение дать ему место или сибирского губернатора, или главноначальствующего над каналами и портами. Государь не исполнил ни того, ни другого из его желаний, отложивши это до будущего времени. Петр III, назначив ему из казны жалованье по чину фельдмаршала, подарил ему меблированный дом, купленный у Нарышкина, и послал жене Миниха в подарок двести империалов, составлявших две тысячи рублей, на излечение от болезни, на которую, как узнал государь, графиня Миних жаловалась в то время. Пребывание в Пелыме долго оставляло на ее нервы болезненное влияние; некоторое время она не могла преодолеть себя и всегда приходила невольно в волнение и беспокойство всякий раз, когда отворялись двери, где она находилась. Кроме милостей от императора, возвратившего ему и его прежние поместья, ему оказал внимание и прусский король. Бирон в 1734 году в прусских владениях купил баронство Вартемберг. После ссылки Бирона оно было конфисковано и отдано Миниху, а когда чрез год после того сослан был и Миних, прусский король велел взять его временно в казну. Но по возвращении Миниха и Бирона, оба стали добиваться возврата себе этого имения. Прусский король принял на себя в этом вопросе посредничество и решил возвратить Вартемберг прежнему владельцу Бирону, а прежний владелец, получая его обратно, должен был заплатить Миниху 25000 талеров, и сверх того, Миних от прусского правительства получил двенадцать тысяч талеров за доходы, собираемые с этого имения во время своей ссылки, и 50 000 талеров за вновь прикупленные к нему поместья.

Миних не совсем сошелся с новым государем. Во-первых, он не одобрял войны с Данией, которую замышлял вести русский государь за интересы своего голштинского дома, совершенно чуждые России. Во-вторых – он не одобрял намерения государя переодеть все

русское войско на прусский образец и вообще отнюдь не мирволил его немецким симпатиям, которые, как известно, оскорбляли русских и стали поводом к тому охлаждению русской нации, которое в критические минуты, скоро наступившие для этого государя, лишили его опоры и в войске, и в народе. Это тем более замечательно, что Миних был всегда истый немец, но как человек благоразумный и слишком знавший дух русский, видел, что немцелюбие не приведет к добру государя. За смелые возражения Петр уже стал показывать к нему холодность, и Миних совсем расхотелся уже со своим государем-благодетелем.

Но вот настало страшное для Петра III 28 июня 1762 года. Государь стоял в открытой борьбе со своею супругою. В это время он с своею голштинскою силою шел на Петергоф и узнал, что императрица уже в Петербурге, а войска русские принимают ее сторону. Слабодушный государь растерялся. Он грозил уничтожить Екатерину, и в то же время послал к ней канцлера Воронцова с мирными предложениями. А окружавшие его не могли поддержать в нем присутствие духа. Один Миних явился тогда героем. Он один дал государю спасительный совет. «Ваше величество, – говорил он, – не дождетесь посланного Воронцова: он останется при императрице. На ее стороне двадцать тысяч войска, а мы что можем ему противопоставить: каких-нибудь тысячи три голштинцев, да еще, может быть, толпу необученных мужиков, которых, быть может, удастся нам поднять из деревень на защиту государя; в Петергофе мы не можем обороняться, в Ораниенбауме – только на короткое время и слабо. Я ведь знаю русских солдат. Малейшее сопротивление подвергнет жизнь вашего величества опасности. В Кронштадте надобно искать спасения. Там найдем и многочисленный гарнизон, и флот. Овладевши Кронштадтом, мы принудим покориться и Петербург».

По совету Миниха тотчас отправили в Кронштадт верного Петру генерала Ливерса. Вслед за тем приготовили две яхты к отплытию государя и всех бывших с ним. Не успели сесть в яхты, как посланный в Кронштадт Ливерс прислал адъютанта сказать, что Кронштадт держится в верности государю и с нетерпением ожидает его прибытия. Миних торопил Петра скорее отплывать, но Петр, как ребенок, постоянно переходил от отваги к трусости, от трусости опять к отваге, и теперь, как только уверился, что в Кронштадте найдет себе надежное убежище и опору, забыл об опасности, стал горячиться, кричал, что постыдно убегать, не выдавши неприятеля; стал расставлять своих голштинцев в боевой порядок и твердил, что дождетсЯ своею соперницы и даст ей отпор. Яхты были готовы; Миних настаивал на скорейшем отплытии, а Петр все осматривал местность с целью обороны. Наконец прискакал адъютант во весь галоп с известием, что императрица с двадцатитысячным войском достигает Петергофа. Уже вечерело. Тогда Петр бросился к яхтам; Миних советовал садиться в порядке, не торопясь, но все бросились за императором к яхтам, стремглав. Государь отплыл с Гудовичем, Минихом, со своею любимицею Воронцовою и с несколькими придворными дамами и царедворцами. В десять часов причалили к Кронштадту. На берегу стояла часть кронштадтского гарнизона под ружьем. Часовые сделали оклик: кто? Был ответ: император! «У нас нет императора!» – закричали с берега. Петр выступил вперед, стоя на палубе, открыл свой плащ, показал свой орден и, собираясь вступить на твердую землю, сказал: «Это я! разве вы меня не узнаете?» – «Нет!» – был ответ. Караульный офицер грозил стрелять, если яхта не отчалит. Тогда Гудович, положив руку на перила, окружавшие гавань, советовал императору спрыгнуть на берег и уверял, что никто не осмелится выстрелить в своего государя. Но Петр не обладал такою решимостью и ушел в каюту с своею любимицею и с прочими придворными дамами.

Дело произошло оттого, что в то время, когда Петр занимался в Ораниенбауме приведением в строй своих голштинцев в надежде обороняться от Екатерины, в Кронштадт прибыл адмирал Талызин, успел расположить матросов и гарнизонных солдат к стороне Екатерины, употребил при этом кстати водку и денежные подачки и сделал все нужные распоряжения, чтоб не допустить Петра высадиться на берег. Ливерс был арестован.

Яхта отчалила. Миних стоял на палубе и глядел на звездное небо. Капитан судна вошел к государю в каюту и спрашивал, куда прикажет держать путь. Государь приказал позвать

Миниха.

– Фельдмаршал! я виноват пред вами, – сказал государь, – я не послушал вашего совета – спешить. Но что теперь делать? Вы столько раз бывали в опасностях и избавлялись от них, дайте совет, как нам поступить в теперешней крайности!

– Плыть поскорее в Ревель. Там стоит наша эскадра, – сказал Миних. – Ваше величество сядете на один из кораблей и поплывете в Померанию; там ваше войско; с ним воротитесь в Россию, и я ручаюсь, что в шесть недель покорится вам Петербург и все остальное государство ваше.

– Далеко! далеко! гребцы устанут, не дойдут до Ревеля! – кричали царедворцы и дамы.

– Мы сами с ними станем работать веслами, – сказал Миних. – Опасность еще не так велика, ваше величество: Екатерина только того и желает, чтоб с нею войти в соглашение. Лучше сговориться, чем сражаться! – говорили царедворцы. Слабодушный Петр поддался этому совету и приказал направляться к Ораниенбауму.

В четыре часа утра все вышли на берег. Государю донесли, что уже императрица недалеко с войском. Петр заперся с Воронцовой и написал к Екатерине письмо: он отрекался от престола, умолял только отпустить его за границу с Воронцовой и Гудовичем.

Голштинские войска, вернувшиеся из Петергофа в Ораниенбаум, повторили клятву верности, изъявили готовность положить жизнь за государя. Петр велел им положить оружие и разойтись. Миних еще пытался возбудить падавшего духом государя и убеждал отважиться на битву. Все было напрасно. Петр написал вторично к Екатерине и не только отрекался от престола, но клялся никогда не искать его возвращения и ни от кого не принимать помощи.

Тогда Миниху ничего не оставалось как, отдаться Екатерине. Он отправился к ней и смело предстал пред нею.

– Вы хотели против меня сражаться? – спросила его Екатерина.

– Ваше величество! – отвечал Миних, – я хотел жизнью своей пожертвовать за государя, который возвратил мне свободу. Но теперь я считаю своим долгом сражаться за вас, и вы найдете во мне вернейшего слугу вашего.

Императрица оценила поступок Миниха по его достоинству, хотя бы имела более права поступить с ним, как с врагом, чем Елисавета: Миних поднимал против Екатерины оружие, чего не делал против Елисаветы, будучи пред ней виновен только в том, что оставался покорен существовавшей преобладающей власти и не предпринимал против последней замыслов в пользу Елисаветы. Екатерина не только оценила в Минихе его верность государю Петру Теодоровичу, но дозволила ему в продолжение трех месяцев являться к ней в трауре по скончавшемся вскоре императоре.

Екатерина, вообще обладавшая редким даром узнавать людей и поручать им соответствующие их способностям должности, нашла, что Миних в своей старости способнее всего обратиться к такой области деятельности, в какой начал свою службу в России. Сам Миних, как нам кажется, направил государыню к этому. По крайней мере, он еще Петру Третьему делал предложение назначить его либо сибирским губернатором, либо начальником над каналами и портами. Екатерина назначила его главноначальствующим над портами: Рогервикским, Ревельским, Нарвским, Кронштадтским и над Ладожским каналом.

Он с энтузиазмом принялся за приведение к окончанию постройки Рогервикской гавани. Он видел в ней важное значение для безопасности Русского государства. «Рогервик, – писал он императрице из Ревеля, – оплот против шведов и всех завистников России. Непременно следует достроить там гавань, а если ваше величество не окажете внимания к этому славному и полезному предприятию, то мне останется удалиться в бедную хижину и там кончать свои дни!» Он требовал пособия, денег и людей на работы, требовал также надлежащего числа инженеров и секретарей. Работы производились осужденными преступниками, их было недостаточно; Миних домогался, чтобы ему отрядили для работ несколько полков солдат. Екатерина хоть и была постоянно внимательна к почтенному неутомимому старику, но, занятая разнообразными делами по управлению, не могла

отдаваться этим вопросам в такой степени, как Миних, и старик был этим, очевидно, недоволен. Между тем он сообщал ей в то же время о разных подмеченных злоупотреблениях. Так, например, он докладывал, что в Нарве собирают пошлину с проходящих английских и голландских торговых судов, назначаемую на содержание в порядке нарвской гавани, но собранные деньги истрачиваются совсем не на то, к чему предназначены. «Нарва, – писал он, – первый город, отнятый Петром Великим у шведов на балтийском побережье, Нарва – это ворота России к Европе. Нарва была цветущим городом, а теперь упала».

Рогервикская гавань строилась по чертежу Миниха. Мол был заложен не на том месте, где находился, когда его начинали делать шведы, и не в той величине, как прежде: он должен был протягиваться на восемьсот шагов в море, а на его оконечностях возведены были два сильных больверка. Отверстие между этими двумя больверками составляло вход с моря в гавань. По обеим сторонам несколько шанцев и батарей должны были прикрывать вход в гавань и защищать мол; за ними предположили построить два моста – один на твердой земле для купеческих судов, другой на острове для кораблей военных. Утесистые берега надлежало взорвать порохом, а камни, оставшиеся от взрыва, употребить на устройство плотины, шанцев и для выравнивания некоторых неровностей. Таков был план Миниха, по которому приступлено к работам. В сентябре 1762 года он писал императрице: «В течение сорока лет работы мол был отделан на 79 тоазов, а с 17 августа по 5 сентября при мне в продолжение восемнадцати дней прибавлено было еще на тридцать один тоаз, следовательно, более трети целого, и уже мол был отделан на 109 тоазов. Вот успехи по новому образцу работ, мною указанному. У нас же немного рабочих рук: из числа тех, которые назначены к нам, одна часть служит при казармах на малой гавани, у генерал-майора Шиллинга, другая – при выгрузке провианта из галиот. С каким бы успехом пошло наше дело, если бы мне дали человек тысяч пять, – я прошу их и все напрасно! Вот если бы делалась гавань внутри Петербурга – тогда иное дело, тогда бы все адмиралы были согласны со мной. А то – на балтийском порте, около 400 верст от столицы! Постройка здесь гавани понудит перенести сюда часть адмиралтейства. Кто-то в сенате обо мне сказал: фельдмаршал хочет в Рогервике сделать то, в чем искуснейшие люди уже находили для себя камень преткновения. Это говорит дух недеятельности и злобы! Петр Великий, поручая мне строение Ладожского канала, в сенате сказал: „Я нашел человека, который способен окончить канал по моему желанию. Я велю вам исполнять все, чего он потребует!“

В другом письме к императрице Миних так описывает свое положение: «Сон почти не смыкает глаз моих. Ем я очень мало. С разными планами я закрываю глаза и, снова проснувшись, обращаю к ним свои мысли. Меня беспокоит давняя геморроидальная болезнь, а иногда делаются лихорадочные припадки, по утрам – сильный кашель с болями в груди. Но меня беспокоит то, что мне мало оказывают помощи в моих трудах и, напротив, делают все возможное, чтоб огорчать меня, нарочно доводят до крайности, чтоб заставить меня сделать какой-нибудь ложный шаг и чрез то лишиться милости своей государыни, хотя бы это произошло со вредом для государства». Миних старался убедить императрицу совершить поездку к балтийскому порту. Она совершила ее в 1769 году. Он привел ее на новоустроенный мол, показал ей свои сооружения, уже устоявшие против зимних бурь. Императрица благодарила его и приказывала продолжать работы.

Один раз он ей написал: «Посвятите мне, всемилостивейшая государыня, в день один час или даже меньше часа и назовите это время часом фельдмаршала Миниха. Это доставит вам средства обессмертить свое имя». Императрица исполнила его желание, и он сообщил ей плоды своих долгих размышлений о разных вопросах, занимавших его в течение жизни. Любимым предметом его задушевных желаний было изгнание турок и татар из Европы и завоевание Константинополя.

В празднование дня рождения великого князя Павла Петровича приглашенный во дворец Миних сказал императрице: «Я желаю, чтобы, когда великий князь достигнет семнадцатилетнего возраста, я бы мог поздравить его генералиссимусом российских войск и

проводить в Константинополь, слушать там обедню в храме Св. Софии. Может быть, назовут это химерою, так же как называли химерою строение балтийского порта в Рогервике. Но я могу на это сказать только то, что Великий Петр с 1695 года, когда в первый раз осаждал Азов, и вплоть до своей кончины не выпускал из виду своего любимого намерения – завоевать Константинополь, изгнать турок и татар из Европы и на их место восстановить христианскую греческую империю. Я могу, всемилостивейшая государыня, предложить план этого обширного и важного предприятия. Я несколько лет над этим планом трудился в моем изгнании; к несчастью – он, уже написанный, пропал вместе с моею новою системою фортификации. Надобно несколько времени, чтоб его снова обдумать и начертить». Миних сообщал Екатерине свои предположения о войне с турками, и Екатерина с удовольствием слушала седого воина, который при этом не удерживался и проклинал Австрию за Белградский мир, остановивший победоносное движение России к общенамеченной цели.

Миних, всегда человек религиозный, еще с 1727 года состоял патроном евангелического общества при лютеранской церкви Св. Петра в Петербурге. В 1728 году он купил и подарил ей просторное место, на котором эта церковь каменная стоит до сих пор, сам начертил план и фасад ее, собрал на постройку ее деньги, присутствовал при ее заложении, и при освящении ее 14 июня 1730 года поднес пастору Назиасу церковные ключи. После его возвращения из ссылки его опять упростили принять на себя патронат. Миних ревностно старался привести в цветущее состояние церковь и основанную при ней школу (Petersschule), находившуюся тогда под надзором доктора пастора Бюшинга; испросил у императрицы пожертвование в пользу школы в количестве трех тысяч рублей, а от великого князя тысячу рублей на покрытие долга, сделанного при постройке здания для школы, а сам вносил на школу ежегодно по 300 рублей. Но в 1766 году, вследствие несогласий между членами общины, Миних лишился патронатства. Тогда оставил свою пасторскую должность и уехал за границу его приятель, доктор Бюшинг. Он, как сам объясняет, поступил так столько же из уважения к Миниху, сколько и для того, чтоб не подавать повода к дальнейшим разделениям и недоразумениям.

Миних не забывал никогда своей родины, а после своего возвращения из Сибири вел постоянную переписку с управителями своих поместьев в Ольденбургском крае. Осталось его письмо к управителю Гансу и другое к Генриху, который приходился ему родственником и занимал должность главного надзирателя над водяными путями и постройками каналов, плотин, мостов и шлюзов. Миних списал сочинение своего родителя о плотинах и послал к Генриху для напечатания: кроме того, послал собственный проект о проведении каналов в Ольденбургском графстве, назначив его на благоусмотрение датского короля, который в то время был и владетельным графом ольденбургским и дельменгорстским. На этот проект не обратили тогда большого внимания. Дания собиралась обменом Ольденбурга прекратить возникшую тогда датско-голландскую распрю. Впрочем датский король прислал Миниху благодарность и дал позволение в своих имениях свободно стрелять оленей и других зверей.

Миних приказывал перестроить по своему плану свой дом в родовом своем поместье Нейенгунторфе и купить для себя дом в Ольденбурге: он намеревался, удалившись на родину, проживать там в зимнее время, а на лето переселяться в Нейенгунторф. За год перед смертью он писал жене своего управителя: «Я живу здесь в великолепном доме, в котором комнаты богато расписаны и украшены дорогими картинами, но все это я оставлю, чтобы переселиться в Ольденбург: так сердечно я люблю свою родину. Охотно верю, что и вы, моя дорогая, пожелаете увидеть старого фельдмаршала. Если Богу угодно, это исполнится в будущем году, в мае». Уже за несколько месяцев до своей кончины он писал: «Меня задерживают здесь составление фортификационной системы и множество дел, домашних и домашних. У меня под управлением три канцелярии: русская, немецкая и французская. Я работаю в них, не исключая воскресных и праздничных дней, зимою и летом, с четырех часов утра до обеда. За столом бываю в кругу приятелей. Это мое развлечение. После обеда отдыхаю, не более получаса, а к вечеру, если работа уже окончена, стараюсь иметь необходимое для здоровья движение, посещаю кого-нибудь из знакомых или прогуливаюсь в

саду, читаю книги и газеты, чтобы не быть совсем чужим для всех на свете». Он в совершенстве владел русским и французским языками, как своим природным немецким, и, будучи уже в преклонных годах, диктовал на этих языках разные письма и замечания, и делал это с такою быстротою, что уставали от работы скорее его секретари, чем он сам. Порядок, аккуратность, правильность во всем – были его качествами, и он не выносил ни малейшего промаха в писании. До смерти он был мил и любезен в обращении с дамами. Екатерина, замечая любезный тон его писем к ней, однажды выразилась: «Вы так любезно ко мне пишете, что со стороны могло бы кому-нибудь показаться, что между нами есть сердечные отношения, если бы ваши почтенные лета не исключали всякого подозрения в этом роде».

В 1766 году императрица устроила у себя рыцарский карусель для благородных лиц российского дворянства. Участвовали знатные придворные дамы. Все участники разделены были на четыре группы или кадрили, изображавшие собой четыре нации, то были: славяне, индейцы, римляне и турки. Миних был судьей состязавшихся. Он стоял на возвышении вроде амфитеатра. По окончании рыцарских игр он сказал по-французски кавалерам и дамам: «Я – старейший фельдмаршал в Европе, я на службе шестьдесят пять лет; я водил к победам славное русское воинство, считаю настоящие минуты драгоценнейшей в моей жизни наградой, и горжусь, что избран судьей ваших блистательных подвигов, благородные дамы и кавалеры!» Он вручил первый приз графине Чернышевой и передал ей для раздачи другим лицам призы.

Этими игрушками императрица думала развлекать дворянство и отвлекать от политических волнений, которые считала возможными, вследствие своего необычайного вступления на престол.

Старый фельдмаршал надеялся еще жить долго. У него была вера в то, что его поддерживают на свете благодеяния, которые он щедро оказывал всем, верный своему правилу – непременно каждый день исполнить какое-нибудь богоугодное доброе дело, за которое вечером в тот же день одобрит его собственная совесть. «Человек благодетельный должен прожить до ста лет», – писал он Бюшингу. Но когда ему исполнилось с лишком восемьдесят пять лет, ему сильно хотелось удалиться на свою ольденбургскую родину, и он подал Екатерине просьбу об отставке; в этой просьбе сравнивал себя с Верзением, которого царь Давид неохотно отпускал от себя (Царств. II, гл. XIX, ст. 34): «Вкус мой не прельщается пиршествами, гласы певцов и певиц не пленяют уже моего слуха. Зачем раб твой будет в тягость своему царю! Дозволь, всемилостивейшая государыня, рабу своему возвратиться и умереть у гроба отца своего и матери». Но государыня, уже прежде отказывавшая ему под разными предлогами, и теперь просила его подождать немного, уверяя, что нет у нее другого, который бы мог заменить его в это время. Екатерина намеревалась созвать депутатов для уложения законов и уже разслала по России свой «Наказ»; она вручила экземпляр и сыну Миниха для передачи отцу, и желала, чтобы старец, прочитав его, сообщил ей свои мнения.

Но этот дар застал Миниха на смертном одре. Он заболел лихорадочными припадками и колотьем в боку. Через две недели он стал выздоравливать, и тут доставлен был ему от императрицы экземпляр ее «Наказа». За четыре дня до смерти он писал в Ольденбург, что был болен, но болезнь уже проходит, и он надеется, что скоро силы его совершенно восстановятся. Но после облегчения от болезни вдруг силы его стали исчезать, и Миних скончался 16 октября 1767 года, проживши 84 года, 5 месяцев и 6 дней.

Его желание – быть погребенным в ольденбургской родовой гробнице – не исполнилось. Тело его было сначала положено в церкви св. Петра в Петербурге, как строителя и благодетеля этой церкви, а потом отвезено было в Лифляндию в его маетность Лунию, недалеко от Дерпта, и там было предано земле. Его супруга пережила его. После него осталось четверо детей: сын и три дочери, все от первого брака. У каждого из детей были не только дети, но уже и внуки, так что последние дни свои освобожденный из грустного заточения старец проводил как ветхозаветный патриарх посреди юного потомства.



Личность Миниха – бесспорно одна из самых замечательных в ряду деятелей русской истории. Из всех так называемых немцев Петра Великого, включая в число их как найденных им в отечестве и поднятых его всепроницающим гением, так и приглашенных им в Россию иноземцев, едва ли можно указать на более соответствовавшего значению быть продолжателем деятельности великого преобразователя, как Миних, и недаром прозорливый государь так одобрительно отнесся к нему перед собранием своих сенаторов. Искусный водопроводитель, мудрый администратор, непобедимый полководец, он, куда только ни ставила его судьба, везде являлся достойным продолжателем Петра Великого, к памяти которого до гробовой доски сохранял благоговейное уважение. Даже по своей неутомимой деятельности и по беспредельному трудолюбию он напоминал собою великого государя. Будучи в России чужеземцем и в русской службе наемником, он, по своему обширному уму, не мог последовать общему предрассудку своих земляков-немцев, которые, вступая в Россию, считали ее варварскою страню, смотрели на русский народ, как на материал, пригодный только для их корыстолюбивых и честолюбивых планов. Миних не переставал принадлежать к той народности, в недрах которой родился, но уразумел, как немногие из природных русских, все достоинства русского народа и служил пользе и интересам России честно, открыто и неутомимо. Россия обязана ему приведением в лучший строй русского войска и многими административными учреждениями по военному устройству; в особенности заведение Сухопутного кадетского корпуса и учреждение гарнизонных школ останутся вечным памятником заботливости его о распространении просвещения в русском войске. Его неудавшиеся планы относительно Турецкой империи показывают, что он понимал истинное призвание России и что его войны были у него не так, как у многих талантливых военачальников, войнами для войны, но средством для более великих и гуманных целей. Разрушение турецкого владычества в Европе, за которым неизбежно должно было последовать освобождение и призвание к новой политической жизни подавленных оттоманским завоеванием христианских народов, было его любимую идею, не оставлявшую его и в грустном пельмском заточении: ему хотелось, чтобы это великое дело совершено было Россией и совершение было уже недалеко, но помешала тогда зависть к величию России западных держав и неспособность, а равно коварство союзника, австрийского двора; отсюда-то непримиримая ненависть его к Австрии, проявлявшаяся постоянно. В судьбе этого человека много трагического – в своих широких видах на пользу России он постоянно встречал препятствия от самой России. Узкое правительство Анны Ивановны, руководимое недалеким умом герцога курляндского, заключает некстати мир, разбивающий вдребезги все плоды военной деятельности Миниха, и празднует этот унижительный мир, как великое счастливое событие; – один Миних чувствует, что России надобно не радоваться, а сетовать, но должен, однако, скрепя сердце, молчать и зауряд с другими радоваться и торжествовать, а завистники и клеветники, всю жизнь не дававшие ему отдыха, замечая в нем недовольство, приписывают его только невозможности достигнуть своих собственных эгоистических целей! Анна при смерти; придворные льстецы, угождая ей и думая предупреждать ее тайные желания, обращаются к ее любимцу с просьбою принять по смерти императрицы регентство; Миних, ненавидевший и презиравший временщика, понимал из предшествовавших событий, что если государыня выздоровеет, то не простит ни малейшего неуважения к ее любимцу, – и должен был не только пристать к льстецам, но даже стать во главе их и просить Бирона о том, чего внутренне не хотел! Через 20 дней, по просьбе утесняемой регентом матери императора, он низверг регента, но вместо благодарности встретил от восстановленного им правительства недоверие, подозрительность и противодействие своим советам. Миних устранился, а его не переставали подозревать и не любили. Наконец, совершается новый переворот, и Миниха, ни в чем не повинного, уже совершенно отстранившегося от государственных дел, арестуют, ведут на эшафот и отправляют в тяжелое заточение. Какое опять наступает трагическое положение! Его натура в силах нести непомерные для других труды, перетерпевать лишения и оскорбления, как никто иной не в силах, но бездеятельности вынести не может; он пишет и посылает из своей

грустной темницы проект за проектом, в видах то того, то другого предприятия в пользу России, указывает на все, как на продолжение или на окончание того, что замышлял Петр Великий, просит себе свободы настолько, чтобы мог потрудиться для России – все напрасно: власть глуха к его молениям, его проектов не читает властительница, во все свое царствование избегавшая всякого серьезного чтения; ему, наконец, запрещают писать, отнимают у него бумагу, перья, чернила, грубый караульный подсматривает за ним как за опасным государственным злоумышленником... и в таком ужасном положении томится страдалец двадцать лет! И что же? «Не было дня, чтобы я не находился в светлом расположении духа», – сознавался он по выходе из заточения. Какая сверхчеловеческая сила духа! С веселым лицом шел этот человек на эшафот, не зная еще, что милость императрицы заменит для него колесо ссылкой; не унывал он и в ужасных стенах пелымского острога: везде и всегда – равен себе самому! Наконец, дожил он до освобождения. Но трагизм не покидает этой личности и после. Как не назвать трагическим, в ряду противоположных явлений, доходящих отчасти до комизма, положение, когда старый фельдмаршал выбивается из сил, чтобы спасти государя, которому обязан возвращением к жизни, и не может, по причине ничтожности души этого государя и его сателлитов! Старику остается бессмысленно смотреть на звезды, когда последний спасительный совет его был отвергнут! Он отдается Екатерине. Трогательно великодушные новой государыни! Теперь, уже в восемьдесят лет от роду, для него, казалось, наступала эпоха, когда он мог сойтись с властью – но и теперь не кончился трагизм для судьбы этого человека. Казалось бы, с кем легче мог сойтись Миних, как не с Екатериной! И что же? Мы видим, что она предоставила ему строить гавани и каналы, окружила его внешним почетом, ценила его личность, слушала со вниманием, но тут же и скучала от его старческих предположений и даже не содействовала успешному окончанию его инженерных и гидравлических работ в такой степени, как он желал и требовал. Он все-таки чувствовал, что он – уже лишний! Отсюда – его желание удалиться на родину и там дожить в безвестности. Едва ли в русской истории можно указать личность, в судьбе которой было столько трагизма, как личность Миниха!

Современники, знавшие его лично, замечали в нем признаки неудержимого честолюбия, а иногда и высокомерия; конечно, ни один смертный не может быть без недостатков и пороков, но те же современники сознавали, что эти недостатки умерялись другими высокими нравственными качествами. Притом надобно иметь в виду, что Миних, как человек, был все-таки сын своего века. Мы позволим себе заметить в нем еще противоречие, незаметное для современников. Как мирились в этом человеке два противоположных качества: жестокость и беспощадность к человеку на войне и глубокая религиозность, не такая, которая часто удовлетворяет себя видимыми обрядами благочестия вроде построения церквей и т.п., а иная, более рациональная, стремящаяся выразиться исключительно в молитве и любви к ближнему? Миних без сожаления вел войско в летний зной по степям крымским и украинским, теряя тысячи погибавших от утомления, жажды и голода, и тот же Миних поставлял себе всю жизнь обыденным правилом – сделать каждый день какое-нибудь доброе дело, чтоб успокоить свою совесть вечером, когда начнет размышлять о проведенном дне! Как согласить несогласимое – военную доблесть, истребление врагов, с последованием Тому, кто в минуту крайней опасности повелел хотевшему защищать его вложить в ножны оружие и произнес великую мировую истину: всяк, принимающийся за меч, погибнет от меча! И, однако, эта истина, произнесенная так давно, и в наше время сознается и чувствуется только очень немногими, а в те времена, когда жил Миних, чувствовалась разве одними отшельниками, отрекавшимися от всякой общественной деятельности, не только разрушительной, но и созидательной. Да и те признавали такой взгляд обязательным только для себя самих, а пребывающим за стенами их келий предоставляли руководствоваться иными нравственными убеждениями. Большинство из поколения в поколение считало призвание воина совершенно согласимым с призванием истинного христианина, и добытые на войне трофеи без зазрения совести приносились в храм, посвященный Тому, кто повелел даже злу не противиться! И у Миниха согласовалось

воинское поприще с обязательством каждый день совершить доброе дело для успокоения своей совести. Надобно только заметить, что у Миниха приличнее, чем у многих ему подобных, сочеталось это противоречие воинственности с христианским благочестием. Мы выше уже заметили, что Миних принадлежал не к тем, для которых война имела значение для самой войны; у него она была необходимым, хотя и злым средством к достижению более гуманных, культурных целей, точно так же, как и у Великого Петра, которого Миних постоянно считал для себя образцом, – и это качество, заметное во всей его жизни, возвышает в глазах наших этого человека, и делает его одним из самых почтенных лиц, двигавших нашу историю, не только по сумме пользы, сделанной им России в своей жизни, но и по нравственной высоте своего характера.

*При составлении настоящей монографии служили следующие источники:* 1) Записки фельдмаршала Миниха, 1874. 2) Записки леди Рондо. Изд. 1874. 3) *Vöschings Magazin für die neue Historie und Geographie*, ч. III, IX, XVI. 4) Арх. кн. Воронцова, т. II. 5) *Времен. общ. ист. и др.* XIX. 6) *Чтения в имп. общ. ист. и др.* 1862—1867. 7) *Русск. Арх.*, изд. Бартеневым, 1865, 1866, 1868, 1874, 1878, 1883 гг. 8) *Сборн. русск. истор. общ.* т. III, V, VI, XV, XX. 9) Маркиз Шетарди, Пекарского. 1862. 10) Записки Манштейна о России 1727—1744, изд. 1875. 11) Записки Миниха, сына фельдмаршала. 1817. 12) *La cour de la Russie il y a cent ans.* 1858. 13) *Полн. Собр. Зак.* тт. VII, VIII, IX, X, XI. 14) *Отеч. Записки Свиньина 1825 года, примечания на Записки Манштейна.* 15) Записки Нащокина. 1842 г. 16) Записки кн. Якова Шаховского, изд. 1810. 17) XVIII век, Бартенева, 4 т. 1868—1869. 18) Исторические бумаги К. К. Арсеньева, изд. Пекарским в 1872. 19) Галема, *Жизнь фельдм. Миниха*, изд. 1806. 20) *Hermanns Geschichte des Russisch. Staats.* т. IV, V. 21) Соловьева, *История России*, т. XVIII—XXI. 22) Историч. статья Хмырова, изд. 1873. 23) Keralio, *Histoire delaguerredes Russeset des imperiaux centre les Turcs en 1736, 1737, 1738, et 1739.* Vol. 1—2. Paris 1780. 24) Казнакова, *Описание Ладожского канала*, в *Ж. М. Путей Сообщ.* 1856. 25) Рукописи Государствен. Архива: письма императрицы Анны Ивановны, бумаги, реляции, приказы и письма фельдмаршала Миниха.

## Глава 21

### Императрица Анна Ивановна и ее царствование

#### I. Анна Ивановна до призвания на царство

*Семья Анны Ивановны. – Мать ее, царица Прасковья Федоровна, урожденная Салтыкова. – Предсказания. – Переезд царицы Прасковьи с дочерьми в Петербург. – Замужество Анны Ивановны. – Свадебное торжество. – Смерть ее супруга. – Вдовство и пребывание ее в Митаве. – Петр Бестужев. – Василий Салтыков, дядя Анны Ивановны. – Неудовольствия с матерью. – Немилость к Петру Бестужеву и к родным его.*

По смерти царя Федора Алексеевича осталось несколько сестер его и двое братьев: Иван и Петр. Тогда, как известно, объявлен был преемником умершему царю меньшей из царственных братьев, Петр. Старшего обошли, как «скорбного главою» (недостаточно умного). Но, по интригам сестры их Софии, в Москве произошло смятение; устранение от престола старшего из братьев приписали козням Нарышкиных, родственников с матерней стороны меньшого брата; стрельцы произвели переворот, который привел к тому, что оба брата были провозглашены вместе царями и должны были нераздельно царствовать. Несмотря на то, что их происхождение от разных матерей уже прежде возбуждало недоразумения и послужило поводом к стрелецкому восстанию, оба брата не ссорились между собою, как ни старалась поселить между ними рознь царевна София, рожденная от одной матери с Иваном. Петр скоро показал свои необыкновенные способности и вступил в

управление делами. Иван сознавал свою духовную скудость, ни во что не вмешивался, ни в чем не перечил брату и спокойно прозябал в своих кремлевских дворцах и в своем подмосковном селе Измайлове. В 1684 году 9 января он соединился браком с девицею Прасковьей Федоровной Салтыковой. Ее прадед был знаменитый в русской истории Михайло Глебович Салтыков. В Смутное Время он держался стороны поляков, горячо старался о воцарении в Московском государстве польского королевича Владислава, но не встретил сочувствия в русском народе и в 1612 году, когда дело поляков явно казалось проигранным, перебрался со всем семейством в Польшу. Его внук Александр (сын Петра Михайловича Салтыкова) во время завоевания Смоленска царем Алексеем Михайловичем присягнул московскому царю и перебрался в его владения, где оставалось немало лиц, носивших одно с ним родовое прозвище, и некоторые из них занимали в государстве важные места. Установившись на родине своих предков, Александр Петрович Салтыков служил некоторое время воеводою в Енисейске, был вызван оттуда царевной Софией Алексеевной и сделан воеводой в Киеве. Тогда он переименовал свое имя Александра на имя Федора, в честь царя Федора Алексеевича. У него был сын Василий и две дочери: Прасковья и Анастасия. Первая стала супругою царя Ивана Алексеевича.

Нам не сохранилось подробностей о совершении этого брака, но, без сомнения, он совершился так, как совершались царские браки того века: собирали со всего государства девиц дворянского звания, царь делал им смотр и выбирал из них ту, которая ему больше других нравилась. Есть предположение, что в таком выборе царя Ивана Алексеевича было участие царевны Софии: это подтверждается, во-первых, тем, что София уже прежде относилась благосклонно к родителю Прасковьи, перед тем пожалованному званием боярина; во-вторых, тем, что, по слабости своему, царь Иван Алексеевич едва ли был способен без чужого влияния решиться на важный шаг в жизни. Молодая царица оказалась плодотворною матерью семейства. В супружестве с царем Иваном Алексеевичем у нее было пять дочерей, – две из них померли в младенчестве, три достигли совершенных лет: Екатерина (род. в 1692 г.), Анна (род. в янв. 1693 г.) и Прасковья (род. в 1694 г.).

Царь Иван Алексеевич пребывал в царском сане до 1696 года, пользуясь почестями, приличными этому сану, являлся народу в торжественных случаях в царском облачении, участвовал в приемах иностранных послов, и его имя ставилось с именем брата во всех государственных актах. Но власти у него не было никакой. Всем управлял Петр, оказывая старшему брату подобающие знаки уважения. Так дожил царь Иван Алексеевич до 29 января 1696 года и в этот день, в третьем часу пополудни, скоропостижно скончался.

Петр остался единственным государем России, не только по власти, но и по титулу. Неумолимо преследовавший всякого, кто бы он ни был, если встречал от него малейшее сопротивление своей воле, Петр всегда был милостив и родственно любезен с теми из своих кровных, которые, подобно брату его Ивану, сознавали свою малость пред ним, не мешались ни в какие политические дела и даже в делах, касавшихся их домашнего быта, поступали так, как было угодно ему, заранее стараясь узнать или угадать его желание. Такова была вдова брата его Ивана Алексеевича. Петр оставил ее жить в подмосковном селе Измайлове, где она прежде жила с мужем, допустил управлять всем тамошним хозяйством, и сверх того назначил ей оклад деньгами и запасами в том размере, в каком получали другие члены царского рода. Кроме села Измайлова, царица Прасковья Федоровна владела вотчинами, находившимися в краях новгородском, псковском и нижегородском; но постоянным местом жительства ее было село Измайлово – одно из любимых летних местопребываний царя Алексея Михайловича. Родной брат царицы Прасковьи, Василий Федорович Салтыков, был ее дворецким, но через несколько лет потом Петр приставил к ней еще, в качестве близкого лица, стольника Юшкова. Царица Прасковья не была этим недовольна. У нее в Измайлове было множество прислужников, составлявших ее штат; тут были: стольники, стряпчие, ключники, подключники, подьячие, конюхи, сторожа, истопники; женский персонал был еще многочисленнее мужского. Царица Прасковья Федоровна была набожна и проявляла это качество сообразно обычаям своего века: она окружала себя ханжами, юродствующими,

калеками, гадателями и гадальщицами, – подобная челядь проживала в подклетьях кремлевского дворца и являлась по зову в село Измайлово. Передовой по мысли человек своего времени – Татищев, посещавший царицу в селе Измайлово, говорил, что двор ее походил на госпиталь, устроенный для калек и помешанных. Из юродствующих пользовался изрядною благосклонностью царицы подьячий Тимофей Архипыч, выдававший себя за пророка.

Петр, не терпевший старомосковского обихода с ханжами и юродивыми, смеялся внутренне над двором своей невестки, и, в случае его приезда в село Измайлово, все уроды прятались по чуланам, чтоб не попадаться ему на глаза; но он все-таки снисходительно смотрел на неприятный для него образ жизни царицы Прасковьи Федоровны, потому что она во всем была ему покорна и ни в чем ему не возражала. Петру хотелось, чтобы все члены его семьи показывали, подобно ему, доброе расположение к иноземцам, – и царица Прасковья Федоровна по царской воле отправлялась в Немецкую слободу и присутствовала там на двухдневном свадебном торжестве одного из Петровых приближенных. Там все было по-иностранному: устраивались танцы, и в них принимали участие дочери Прасковьи Федоровны, одетые в немецкое платье; царица, постоянно у себя водившаяся с архиереями, паломниками, иноками и юродивыми, в угоду царю преодолела в себе отвращение, какое должно было в те времена возбуждать в благочестивой душе истинно русской госпожи сближение с некрещеною иноземщиною. Живописец де Брюин по царской воле приезжал в Измайлово снимать портреты с царицы и с ее дочерей, – и она не только позволила ему беспрепятственно исполнить царское поручение, но с обычным гостеприимством угощала его вином и рыбным столом, хотя в то время был Великий пост, когда строгое православное благочестие воспрещало употребление рыбы в пищу. Но более всего оказала царица Прасковья Федоровна послушания своему деверю и государю тогда, когда царь потребовал, чтоб она перебралась из села Измайлова в Петербург на жительство. Это требование обращено было не к одной царице Прасковье, но также и к другим особам царского рода. Царица Марфа Матвеевна, вдова царя Федора Алексеевича, и царские сестры – царевны Наталья, Мария и Феодосия – должны были также отправляться в Петербург, куда царь уже волею-неволею переселял именитейших своих сановников с их семьями. В марте 1708 года двинулся из Москвы громадный поезд колымаг, карет и повозок с особами царского дома и с их многочисленною прислугою. Разом с царицами и царевнами ехал тогда из Москвы в Петербург князь Федор Юрьевич Ромодановский, заведовавший Преображенским приказом, которого одно имя наводило всеобщий страх. Этот господин, вместе с тем, играл в некотором смысле и роль забавную: царь наименовал его князем-кесарем и приказал оказывать его особе наружные царские почести, не соединяя с этим никакого серьезного значения. Он ехал с женою своею Анастасией, родною сестрою царицы Прасковьи. По царской прихоти, это путешествие особ царской семьи должно было совершаться наполовину водяным путем. Страстный любитель воды, Петр говорил тогда: «Я приучу семью свою к воде, чтобы вперед не боялись моря и чтоб им понравился Петербург, окруженный отовсюду водою. Кто хочет со мною жить, тот должен бывать часто на воде!» Петр встретил флотилию с членами своей семьи в Шлиссельбурге и 25 апреля вместе с ними прибыл в Петербург.

Несколько дней царь возил свою родню по Петербургу и его окрестностям, хвалился новыми постройками, проектированными площадями, улицами, каналами, плавал вместе с царицами и царевнами в Кроншлот, потом приказал им проехать с ним до Нарвы, откуда, по поводу военных действий против шведов, он намеревался ехать в Смоленск. Петр показал своим гостям новопостроенные городки – Копорье и Ямбург, отпраздновал вместе с ними день своих именин в Нарве и уехал в свой предназначенный путь, а царские родственницы воротились в Петербург, где приходилось им оставаться на новоселье.

Царица Прасковья Федоровна получила от царя в дар дом в полную собственность на

Петербургской Стороне, на берегу Невы, близ Петровского домика.<sup>226</sup>

Там была самая нарядная часть города; там жил государь, там были дома его ближайших сановников – Меншикова, Головкина, Шафирова, Остермана и других знатных лиц, как русских, так и иностранцев.

Три дочери царя Ивана Алексеевича удостоились родственного участия их дяди Петра I-го. Воспоминание о брате Иване, не показавшем во всю жизнь свою ни тени строптивости против младшего брата, постоянная покорность вдовы Ивана – все располагало Петра относиться к племянницам в качестве второго отца и благодетеля. Старшая из Ивановен, как их звали в Москве, Екатерина, впоследствии была выдана дядею-царем за герцога Мекленбургского, с которым, однако, не жила в согласии; третья, меньшая, Прасковья, не бывши замужем – по крайней мере, явно<sup>227</sup>, умерла в 1731 году, будучи уже не в слишком юных годах. Средней Ивановне – Анне – судьба готовила такой жребий, которого ни она сама, ни близкие к ней люди не могли ожидать. Очень часто о людях, путем слепого случая достигших, мимо собственных желаний и усилий, высокого значения в свете, сочиняются легенды, как будто им еще ранее были предсказания, предзнаменования и пророчества. Подобное сложилось, вероятно, уже впоследствии, об Анне Ивановне. Говорили, будто ей предрекал в загадочных выражениях ее будущую судьбу юродивый Тимофей Архипыч; говорили также, что когда царица Прасковья Федоровна, посещавшая с участием и любовью разных духовных сановников, приехала вместе со своими дочерьми к митрополиту суздальскому Илариону и в разговорах обнаружила беспокойство о том, что станет с ее дочерьми, – преосвященный Иларион, о котором уже ходила молва, что он обладает даром прорицания, предсказал царевне Анне Ивановне в будущем скипетр и корону.

Пока, разумеется, ничего подобного никто ожидать не мог, да и не дерзнул бы, – царь Петр хотел пристроить племянниц, выдав их в замужество за подходящих женихов, какими быть могли принцы иностранных владетельных домов. Начали не со старшей, а со средней. В 1709 году, в октябре царь Петр с прусским королем, при свидании в Мариенвердере, сговорились соединить русскую царевну с племянником прусского короля, молодым Фридрихом-Вильгельмом, герцогом курляндским. При этом брачном союзе принимались в расчет и политические соображения: и русскому царю, и прусскому королю было выгодно между собою породниться, – они были уже друг с другом политические союзники. В 1710 году прибыли от герцога курляндского в Россию послы, и 10 июля этого года заключили договор, в котором было постановлено, что русская царевна, ставши герцогиней курляндскою, будет иметь право для себя и для своей русской прислуги держать церковь, где будет отправляться богослужение по обряду греко-восточной церкви; ее будущие дочери должны быть религии материнской, но сыновья будут воспитываться в лютеранской вере, исповедуемой их родителем. При выходе в замужество царевна Анна получит в качестве приданого 200000 рублей, а если бы случилось, что герцог умрет, не оставивши по себе наследников, то вдова его получит на свое содержание ежегодно 400000 рублей и сверх того ей дастся в пожизненное владение вдове имение с замком. В августе 1710 года прибыл в Петербург сам жених в сопровождении русского фельдмаршала Шереметева. Бракосочетание совершилось 31 октября того же года в палатах князя Меншикова на Васильевском острове, в полотняной походной церкви. Совершал обряд венчания архимандрит Феодосий Яновский, будущий митрополит новгородский, и по окончании обряда произнес на латинском языке назидательное слово к жениху. Затем, несколько дней сряду, шумные пиршества происходили в двух залах Меншиковских палат, из которых главною была та, где ныне устроена церковь Павловского военного училища.<sup>228</sup> В одно из

<sup>226</sup> Другой дом, построенный впоследствии, известен был под ее именем на Васильевском острове, и по ее смерти отдан под Академию Наук.

<sup>227</sup> В книге Шмитта Физельдека: «Materialen zu der Russischen Geschichte seit dem Tode des Kaisers Peters des Grossen» есть известие, что она была тайно обвенчана с генералом и сенатором Иваном Ильичем Дмитриевым-Мамоновым.

<sup>228</sup> В то время, когда была написана настоящая монография, Павловское военное училище

таких пиршеств царь Петр устроил для гостей такой сюрприз: на стол подали два огромнейших пирога, высотой пять четвертей. Когда царь сам вскрыл эти пироги, из них выскочили две разряженные карлицы и на свадебном столе протанцевали менуэт. 14 ноября царь устроил еще новую затею – свадьбу карлика Евфима Волкова, на которую, как на особое торжество, выписано было со всей России семьдесят две особы карликов обоего пола: в те времена таких уродов не трудно было достать, потому что при дворах особ царского рода и знатных господ было в обычае, вместе с шутами, держать карликов и карлиц. Венчание происходило в церкви Петропавловской крепости; отсюда со всеми церемониями, наблюдавшимися при свадьбах, новобрачных повезли на судне по реке в палаты Меншикова и там посадили за торжественный стол, за которым уже рассажены были гости – все такие же карлики и карлицы. По окончании пира уроды увеселяли танцами сановную публику, а потом новобрачных с торжеством повели в опочивальню, куда последовал и сам царь.<sup>229</sup>

Несчастливый конец постиг брак царской племянницы. Новобрачные уехали в Курляндию, где должны были жить, но на дороге в Митаву, и даже в 40 только верстах от Петербурга, на мызе Дудергоф, герцог вдруг скончался. Причиной неожиданной смерти было неумеренное употребление спиртных напитков при отъезде из царской столицы. Так сердечно и так неосмотрительно угостили его царственные свойственники.

Из политических видов, Петр хотел, чтобы овдовевшая племянница его жила во владениях своего мужа. Этого мало. Ему хотелось даже мать ее, царицу Прасковью Федоровну, с прочими дочерьми заслать в Митаву на постоянное там пребывание, но эта мысль была им оставлена. Петр ограничился водворением в Курляндии одной Анны Ивановны, в качестве вдовствующей герцогини курляндской, и через то находил путь управлять по своей воле судьбою Курляндского края. Анна Ивановна, впрочем, много раз посещала Россию и проживала в материнском подмосковном Измайлове, но должна была возвращаться в свое герцогство. Она не была довольна своим содержанием, получаемым в Курляндии, и много раз писала об этом царю.<sup>230</sup> В 1722 году она испросила себе у царя в диспозицию на десять лет амбты (земельные участки, вроде наших оброчных статей) и обещала уплатить в казну всю сумму, истраченную казною на их покупку, внося по частям погодно. Из письма ее к дяде-царю видно, что, более чем через десять лет после своего замужества, Анна Ивановна не считала себя достаточно обеспеченною. То же усматривается из некоторых письменных памятников, касающихся более раннего времени ее пребывания в Митаве. Так, мать ее, царица Прасковья Федоровна, еще в 1714 году жаловалась царю, что ее

---

помещалось в бывшем доме кн. Меншикова. (Прим. изд.)

<sup>229</sup> Этот брак имел роковые последствия. Замужняя карлица, не разродившись, умерла.

<sup>230</sup> Описывая свое скудное житье-бытье в Курляндии, племянница пишет дяде, что «с собою она ничего не привезла в Митаву, ничего не получила и стояла некоторое время в пустом мещанском дворе, того ради, что надлежало до двора, поварни, конюшни и лошади и прочее все покупать вновь. А приходу мне с данных деревень деньгами и запасами всего 12680 талеров, и с того числа в расходе по самой крайней нужде к столу в поварню, в конюшню и на жалованье на Либерию служителям и на содержание драгунской роты всего 12254 талера, а в очистке всего только 426 талеров. С таким остатком как себя платьем, бельем, кружевами и по возможности алмазами, серебром, лошадьми и прочим в новом пустом доме, не только по своей части, но и против прежних вдовствующих герцогинь курляндских весьма содержать себя не могу, также и партикулярные шляхетские жены ювелиры и прочие уборы имеют неубогие, из чего мне в здешних краях не бесподозрительно есть. И хотя по милости Вашего Величества пожалованными мне в прошлом 1721 году деньгами управляла я некоторые самые нужные домовые на себя уборы, однако, имею еще на себя долгу за крест и складень бриллиантовый, за серебро и за обои камор и за нынешнее черное платье 10000 талеров, которых мне ни на каком образе заплатить невозможно, и впредь для всегдашних нужных потреб принуждена в долг больше входить, а не имеячи платить и кредиту нигде не буду иметь. А ныне есть в Курляндии выкупные амбты, за которых из казны Вашего Величества заплачено 87 850 талеров, которые отданы в аренду от 1722 за 14612 талеров в год, имеют окупаться в шесть лет. Я всепокорно прошу Ваше Величество сотворить милость: на оплату вышеписанных долгов пожаловать вышеписанные амбты мне в диспозицию на 10 лет, в которые годы в казну вашего Величества я заплачу все выданные за них деньги погодно, а мне будет на вышеписанные мои нужды оставаться по 5875 талеров в год». (Государственный Архив. Письма Анны Ивановны).

дочери в Курляндии «не определено, чем жить там и по обыкновению княжескому прилично себя содержать».

Но вскоре царица Прасковья Федоровна разгневалась на дочь Бестужев, которого царь Петр держал своим резидентом в Митаве, управлял всеми делами Анны Ивановны и умел своею распорядительностью и заботливостью о ней внушить к себе расположение герцогини. У Анны Ивановны явился надсмотрщик над ее поступками и доносчик на нее: то был родной ее дядя, брат царицы Прасковьи Федоровны, Василий Федорович Салтыков, посланный сестрою в Митаву. Это был человек во всех отношениях дурной. Сочетавшись вторичным браком с дочерью князя Григория Федоровича Долгорукого, бывшего царским посланником в Варшаве, он невзлюбил своей жены и стал обращаться с нею зверски. Жена его обратилась к Анне Ивановне. Герцогиня приняла в ее судьбе участие, взяла ее к себе, и, при содействии герцогини, Салтыкова уехала к отцу в Варшаву.<sup>231</sup> Отсюда-то возникла вражда Салтыкова к племяннице Анне Ивановне. Он стал доносить сестре своей царице Прасковье Федоровне на ее дочь. Мать пришла в такое негодование, что угрожала дочери даже материнским проклятием. Она писала к царю, упрашивая его отозвать из Митавы Петра Бестужева. По поручению Петра, от имени Екатерины, дан был письменный ответ царице Прасковье, «что Бестужев отправлен в Курляндию не для того только, чтоб ему находиться при дворе Анны Ивановны, но для других многих его царского величества нужнейших дел, которые гораздо того нужнее, и ежели его из Курляндии отлучить для одного только вашего дела, то другие все дела станут, и то его величеству zelo будет противно».<sup>232</sup> В самом деле, Анна Ивановна была владетельницею Курляндии только по имени; – всем управляла воля русского государя, который посылал свои указы и получал необходимые ему сведения через посредство Бестужева. Даже домашнее хозяйство герцогини находилось в распоряжении этого господина, и он обязан был во всем до мелочей отдавать отчет своему государю.

Самое дружеское взаимное участие соединяло несколько лет герцогиню с ее управляющим; никакие козни Василия Федоровича, никакие знаки неудовольствия от злой матери, настроенной против дочери, не в силах были нарушить их согласия; но пришло время – и оно рушилось иным путем, когда уже на свете не было ни суровой матери, Прасковьи Федоровны, ни грозного дяди, царя Петра I. Петр Бестужев неосторожно оказал покровительство одному немцу, по имени Эрнсту-Иоганну Бирену: это был сын одного из служителей прежних герцогов курляндских, как говорят, конюха. Бестужев представил его герцогине. Случилось, что скоро потом Бестужев поехал в Петербург по делам и там пробыл некоторое время. В его отсутствие Бирен приобрел расположение герцогини. Он был молод, ловок, красив собою и овладел сердцем Анны Ивановны. Бестужев, воротившись из России в Митаву, с ужасом увидал, что место его занято другим. На первый раз Анна Ивановна приняла Бестужева наружно вежливо, но вскоре началось от нее систематическое гонение и на него, и на его родных. В числе последних испытала гнев герцогини дочь его Аграфена Петровна, по мужу княгиня Волконская, прежде пользовавшаяся дружеским расположением Анны Ивановны. Теперь, по настоянию последней, ее обвинили в каких-то «продерзостях» и приказали жить безвыездно в деревне. Холопы ее донесли, что она ездит тайно в Москву для свидания с некоторыми лицами и ведет тайные переписки, между прочим, с отцом своим, от которого получает письма зашитыми в подушках. Аграфена Петровна подвергнута была обыску: нашли у ней письмо родителя, в котором тот жаловался, что «отменилась к нему любовь его друга Анны Ивановны», отзывался с горечью и досадою о Бирене, а сама княгиня в перехваченном письме к своему двоюродному брату Галызину называла Бирена «каналией» и просила поразгласить о нем дурно.<sup>233</sup> Бирен был чрезвычайно мстителен и,

<sup>231</sup> Князь Гр. Фед. Долгорукий заступился за дочь. Возникло дело, которое не окончилось, прежде чем царь Петр Алексеевич успел помереть. Кончилось оно только в 1730 году разведением Салтыковой с мужем и пострижением ее в Нижегородском девичьем монастыре.

<sup>232</sup> Государственный Архив. Переписка Анны Ивановны.

<sup>233</sup> «В слободе побывай и поговори о известной персоне, чтоб сколько возможно и где того каналию рекомендовал курляндца, а он уже от меня слышал и проведал бы от каналии каких происков к моему



узнавши, как о нем отзываются, настраивал Анну Ивановну против Бестужева и всей его родни.

Верховный тайный совет, управлявший Россией при царе Петре Втором, угождая герцогине – русской царевне, обвинил княгиню Волконскую и ее приятелей в том, что они при царском дворе делали интриги «и теми интригами искали для собственной своей пользы причинить при дворе беспокойство». Ее присудили сослать в монастырь на житье, а ее приятелей удалили от занимаемых ими должностей по службе. Ускользнул тогда от наказания брат княгини Волконской, Алексей Петрович Бестужев (впоследствии знаменитый канцлер); несмотря на то, что он оказался прикосновенным к делу сестры своей, он удержался на своем дипломатическом поприще. Вслед за тем Анна Ивановна обвинила бывшего своего управляющего и друга в присвоении ее доходов и насчитывала на него большие суммы.

Учреждена была в Петербурге комиссия по этому делу. Обвинял и уличал Бестужева поверенный герцогини курляндской, Корф. Дело это затянулось на несколько месяцев, а тут успел умереть Петр II – и Анна Ивановна взошла на всероссийский престол: тогда Петр Бестужев был сослан на житье в дальние деревни; дочь его, княгиня Волконская, содержалась под крепким караулом в Тихвинском монастыре.

Занявший при Анне Ивановне прочное положение, Бирен до такой степени сблизился с нею, что стал ей необходимейшим человеком. Сначала он старался как можно чаще находиться при ней и скоро достиг того, что она сама, еще более чем он, нуждалась в его сообществе. По известиям современников, привязанность Анны Ивановны к Бирену была необычная. Анна Ивановна думала и поступала сообразно тому, как влиял на нее любимец. Все, что ни делалось Анною, в сущности исходило от Бирена. Все так разумели и в Курляндии, когда она была герцогинею, и в России, когда она стала императрицею. Неограниченную власть над нею приобрел Бирен еще в Митаве. Опираясь на покровительство Анны Ивановны, Бирен, из суетного честолюбия, принял фамилию Бирона, изменив только одну гласную в своем настоящем фамильном прозвище, и стал производить себя от древнего аристократического французского рода Биронов. Действительные члены этого рода во Франции, узнавши о таком самозванстве, смеялись над ним, но не сопротивлялись и не протестовали, особенно после того, как, со вступлением на престол российский Анны Ивановны, Бирен, сын курляндского придворного служителя, под именем Бирона, стал первым человеком в могущественном европейском государстве.

## II. Избрание Анны Ивановны на престол

*Мысль об участии народа в правлении. – Князь Димитрий Михайлович Голицын. – Совет вельмож о престолонаследии по кончине императора Петра II. – Подложное завещание. – Выбор Анны Ивановны. – Ограничение самодержавной власти. – Отправление в Митаву князя Василия Лукича Долгорукого. – Интриги Левенвольда и Ягужинского. – Прибытие Анны Ивановны в Россию. – Шляхетство. – Партия за сохранение самодержавия. – Гвардейцы. – 25 февраля 1730 года. – Провозглашение Анны Ивановны самодержавной государыней.*

В России в умах, не чуждых политических и правительственных вопросов, уже не первый год ощущался важный поворот. Возникла мысль о том, что русские подданные должны иметь участие в правлении государством, в делах как внутренней, так и внешней политики. Было время, когда и сама высшая власть не казалась противной этой идее. В 1727 году, 21 марта, дан был указ князю Димитрию Голицыну об учреждении комиссии «о сухопутной армии и флоте с целью устроить их с наименьшей тягостью для народа». В эту комиссию предполагалось избрать «из знатного шляхетства и из посредственных персон

---

родителю, понеже ему четко можно знать от Александра и чтоб поразгласил об нем, где пристойно, что он за человек». (Государ. Арх. Дело Княгини Волконской).

всех чинов рассмотреть состояние всех городов и земель, и, по рассуждению, наложить на всех такую подать, чтобы было всем равно». Таким образом, само правительство признавало полезным созывать представителей Русского государства для совета о важных финансовых вопросах. Иностранцы, бывшие в то время в России представителями своих государств, замечали в этом событии начатки свободолюбия в России и возникавшее стремление положить предел произволу самодержавной власти.

Но события пошли своим чередом. Возведенная по смерти Петра I вдова его Екатерина скоро умерла. На ее место возведен был Петр II, сын казненного царем Петром I царевича Алексея. Не достигший совершеннолетия, он находился под опекою сначала князя Меншикова, потом князей Долгоруких. В январе 1730 года он заболел и умер.

С ним прекращалась мужская линия дома Романовых. Оставалась дочь Петра Первого, Елисавета; ей не решались предлагать короны. Теперь наступало удобное время произвести изменение в образе правления, чего хотели многие, и на челе этих многих был князь Дмитрий Михайлович Голицын, которому уже прежде, при Екатерине I, поручалось устроить созвание выборных людей. Теперь верховная особа могла быть только по выбору, и потому ей всего подручнее было предложить условия, при которых она могла получить престол. Тотчас по кончине императора Петра II, умершего в Лефортовском дворце в Москве, сошлись в том же дворце на совещание важнейшие сановники государства: трое членов святейшего синода<sup>234</sup>, пять членов верховного тайного совета, иначе министров<sup>235</sup>, и несколько знатнейших особ из генералитета и сената. Были ли на том совещании остальные члены генералитета и сената<sup>236</sup> – неизвестно, но, вероятно, там были многие из них, носившие, кроме того, придворные чины.

Покойный государь Петр II, находясь совершенно в руках князей Долгоруких и сблизившись дружески с князем Иваном Алексеевичем, собирался жениться на сестре своего любимца, княжне Екатерине Алексеевне. По смерти Петра Второго, князья Долгорукие составили от имени покойного государя подложное завещание. В нем значилось, будто умирающий государь отдавал после себя престол своей невесте. Это соответствовало закону Петра Первого, по которому царствующий государь имел право назначить себе преемника мимо всяких родовых наследственных прав. Благодаря этому закону, проделка Долгоруких могла бы удалась, но между членами этого княжеского рода не было тогда согласия и единства. В то время, когда одни Долгорукие хотели выставить особу своего рода с правом наследовать престол, другие Долгорукие были против этого и готовы были обличить плутню первых. Когда члены верховного тайного совета с лицами из генералитета стали рассуждать о престолонаследии и соображать, что им теперь начать, князь Дмитрий Михайлович Голицын держал перед ними такую речь:

«Преждевременная кончина государя Петра Второго есть истинное наказание, ниспосланное Богом на русских за их грехи, за то, что они восприняли много пороков от иноземцев: за то Господь лишил нас молодого государя, на которого, по всей справедливости, мы возлагали великие надежды. Ныне, господа, угасло прямое законное потомство Петра Первого, и мужская линия дома Романовых пресеклась. Есть дочери Петра Первого, рожденные до брака от Екатерины, но о них думать нечего. Завещание, оставленное Екатериною, не может иметь значения. Нам надобно подумать о новой особе на престол и о себе также».

– Покойный государь оставил завещание, – отозвался кто-то из Долгоруких.

---

<sup>234</sup> Феофан Прокопович, митрополит новгородский, Георгий Дашков, митрополит ростовский, и Феофилакт Лопатинский, архиепископ тверской.

<sup>235</sup> Канцлер граф Головкин, вице-канцлер и старший гофмейстер барон Остерман, гофмейстер князь Алексей Григорьевич Долгорукий, князь Василий Лукич Долгорукий, князь Дмитрий Михайлович Голицын. С ними заседал, но без звания министра, сибирский губернатор князь Михайла Владимирович Долгорукий.

<sup>236</sup> Три фельдмаршала: кн. Василий Владимирович Долгорукий, князь Михайла Михайлович Голицын и князь Иван Юрьевич Трубецкой; трое князей Долгоруких: сенатор Иван Григорьевич, камергер Сергей Григорьевич и обер-камергер Иван Алексеевич, любимец императора Петра Второго; генералы: Иван Иванович Дмитриев-Мамонов и Лев Васильевич Измайлов.

– Завещание подложное! – произнес князь Дим. Мих. Голицын. – Невеста покойного государя не успела еще стать его женою, и потому на нее не может переходить никакого права на престол. Император не составлял завещания, предоставляющего жене своей наследство престола, потому что и жены еще у него не было.

Князь Василий Лукич Долгорукий собрался было возражать, как вдруг фельдмаршал князь Василий Владимирович Долгорукий резким движением остановил его и энергически произнес:

– Да, да! Это завещание подложно! Никто не вправе вступать на престол, пока еще находятся в живых особы женского пола, законные члены императорского дома. Было бы всего справедливее и разумнее провозгласить государынею на престол царицу Евдокию: ведь она – бабка покойного императора!

На это кн. Дим. Мих. Голицын сказал:

– Я воздаю должную дань уважения вдовствующей царице, но она только вдова государя. Есть прямые наследницы – царские дочери. Я говорю о законных дочерях царя Ивана Алексеевича. Я бы не затруднился без дальних рассуждений указать на старшую из них, Екатерину Ивановну, если б она уже не была женою иноземного государя – герцога мекленбургского, а это неподходящее для нас обстоятельство. Но есть другая сестра ее – Анна Ивановна, вдовствующая герцогиня курляндская! Почему ей не быть нашей государыней? Она родилась среди нас, от русских родителей; она рода высокого и притом находится еще в таких летах, что может вступить вторично в брак и оставить после себя потомство. Нам всем известна доброта ее и прекрасные качества души. Говорят, будто у нее тяжелый характер: но столько лет она живет в Курляндии – и не слышно, чтобы там против нее возникали какие-либо неудовольствия.

Фельдмаршал князь Василий Владимирович Долгорукий первый подал голос согласия. Он сказал:

– Князь Димитрий Михайлович! Сам Бог тебе внушил такую мысль. Она исходит от чистосердечной любви твоей к отечеству. Виват императрица Анна Ивановна!

За ним присоединился к князю Димитрию Михайловичу и князь Василий Лукич Долгорукий. Он был когда-то близок к герцогине и теперь надеялся снова сблизиться к нею.

За Василием Лукичем и другие стали изъявлять одобрение выбора на престол Анны Ивановны.

Тогда князь Димитрий Михайлович Голицын стал так говорить:

– Выберем кого изволите, господа, только во всяком случае нам надобно себе полегчить.

– Как это – полегчить? – спросил у него кто-то, кажется, канцлер.

– А так, полегчить: воли себе прибавить! – отвечал кн. Димитрий Михайлович.

– Хоть и затеем, да не удержим этого! – произнес кн. Василий Лукич.

– Право, удержим! – ответил кн. Димитрий Михайлович. Об этом важном вопросе далее не распространялись, только все произнесли согласие вручить корону Анне Ивановне. Но князь Димитрий Михайлович опять обратился к вопросу об ограничении самодержавной власти.

– Будет во всем воля ваша, господа, – произнес он, – только нам следует сейчас же составить пункты и послать их государыне Анне Ивановне.

В это время постучались у дверей; вошел вице-канцлер барон Андрей Иванович Остерман. Все считали его необыкновенно умным государственным человеком. Прежде, когда его приглашали совещаться о престолонаследии, он отделался тем, что указал на свое иноземное происхождение и обещал принять все, что решит большинство русских сановников. Теперь, когда ему сказали, что все единодушно изъявили желание пригласить на престол герцогиню курляндскую, Остерман, без запинок, одобрил такое решение.

Было ли тогда в присутствии Остермана сказано что-нибудь князем Димитрием Михайловичем Голицыным о «прибавке воли» и если было сказано, как к этому отнесся Остерман – мы не знаем. Было уже четыре часа утра. Верховники вышли в другую залу того

же Лефортовского дворца. Там происходило другое совещание между членами генералитета и сената. Павел Иванович Ягужинский, занимавший должность генерал-прокурора и, вероятно, уже знавший мысли Дмитрия Михайловича Голицына насчет «прибавки воли», стоял поодаль от других у окна с камергером князем Сергеем Григорьевичем Долгоруким и говорил о совещании, происходившем в другой комнате у верховников.

– Мне с миром не убыток! – окончил речь свою Ягужинский. – Долго ли нам терпеть, что нам головы секут! Теперь такое время, что самодержавию не быть!

– Не мое то дело, – отвечал князь Сергей Григорьевич, – я в таковое дело не плетусь, ниже о том думаю!

Тут вошли все члены верховного тайного совета, числом восемь. Князь Дмитрий Михайлович оповестил всем бывшим в зале, что верховный тайный совет положил быть на престоле российском герцогине курляндской Анне Ивановне. Все изъявили одобрение.

Тогда Ягужинский подошел к князю Василию Лукичу Долгорукому и с чувством сказал:

– Батюшки мои! прибавьте нам как можно воли!

– Говорено уже о том было, но то не надо, – отвечал князь Василий Лукич.

Ягужинский притворно показывал себя сторонником ограничения самодержавия, чтоб закрыть от всех образовавшийся у него план повредить этому предприятию. Может быть, князь Василий Лукич понял это вполне и, желая отстраниться от Ягужинского, дал такой сухой ответ. Впрочем, с точностью мы не знаем этого.

Так как время далеко зашло за полночь, то все стали расходиться. Князь Дмитрий Михайлович бросился за толпою уходивших и стал упрашивать их вернуться для обсуждения важного дела. Несколько особ послушалось и воротилось назад. Князь Дмитрий Михайлович стал сообщать им о намерении составить условия, на которых должна принять правление новоизбираемая государыня. Мы не знаем подробностей – кто из слушавших и как заявлял свои мысли об этом, но более всех горячим сторонником предприятия князя Дмитрия Михайловича явился тогда все тот же Павел Иванович Ягужинский. Не он один, а многие, подобно ему, нашли для себя удобным, не противясь верховникам, наружно мирволить их замыслам, а мимо них оказать тайную услугу государыне и предупредить ее, будучи в уверенности, что она не примет искренне предложений, какие преподнесет ей верховный тайный совет.

Верховники, отпустивши собрание сенаторов и генералитета, отправились в другую комнату, рядом с тою, где скончался император Петр II, и усадили за маленький столик правителя дел верховного тайного совета, Василия Петровича Степанова, а сами стали диктовать ему. Но Степанов не мог записывать, потому что диктовало их несколько лиц зараз и при этом каждый говорил свое. Тогда канцлер Головкин и фельдмаршал князь Михаила Михайлович Голицын обратились к Остерману с просьбой диктовать, потому что, как говорили о нем, он лучше других знал «штиль».

Осторожный Остерман увидел себя в крайне неловком положении: приходилось стать явным участником замысла ограничить самодержавную власть. Он считал для себя это очень опасным. Конечно, немец, вестфальский уроженец, он не питал пламенной привязанности к старинному московскому самодержавию, но он хорошо изучил русское общество и был убежден, что в России не может сложиться и укрепиться иной образ правления, все попытки ввести его будут неудачны, а участники таких попыток могут потерпеть, как враги правительства. Сначала он прибегнул к прежней уловке: представлял, что он по происхождению иноземец, и по этой причине ему не под стать решать судьбы русского государства. Но министры стали его уговаривать и понуждать; он, наконец, согласился и стал словесно редактировать пункты, но не в виде диктовки. Вероятно, барон Остерман в этот раз поступил так, как он поступал не раз и прежде, и после в затруднительных обстоятельствах. По известиям знавших его близко современников, он, когда нужно было, выражался так темно, что смысл речи его трудно было сразу уразуметь и легко было давать ей какое угодно значение. Как бы то ни было, словесное редактирование Остермана

оказалось ненужным: предполагаемые пункты продиктовал Степанову князь Василий Лукич. В то время написаны были эти пункты в таком виде:

«Государыня обещает сохранить верховный тайный совет в числе восьми членов, и обязуется – без согласия с ним не начинать войны и не заключать мира, не отягощать подданных новыми налогами, не производить в знатные чины служащих как в статской, так и в военной сухопутной и морской службе выше полковничьего ранга, не определять никого к важным делам, не жаловать вотчин, не отнимать без суда живота, имущества и чести у шляхетства и не употреблять в расходы государственных доходов».

Составивши эти пункты, верховники разошлись. Они не приложили своих подписей к написанному и условились к десяти часам утра съехаться в Кремле в Мастерской палате: то было тогда обычное место заседаний верховного тайного совета. Верховники пригласили к этому времени в кремлевский дворец членов синода, сенат, генералитет и прочих военных и статских чинов, и из коллегии немалое число, до бригадира. Верховники составили с ними единое собрание. Речь к ним держал кн. Димитрий Михайлович. Он известил, что, по мнению верховного тайного совета, по кончине императора Петра Второго, никто так не достоин занять престол, как герцогиня курляндская Анна Ивановна, дочь блаженной памяти царя Ивана Алексеевича: она происходит от одного корня с прежними царями и обладает высокими качествами, необходимыми для царского сана. Если кто с этим согласен, того приглашали выразить свое согласие громким произнесением: виват!

Все собрание три или четыре раза сряду единогласно крикнуло: виват!

Верховники снова удалились в особый покой и занялись окончательным изготовлением пунктов в том виде, в каком они должны быть представлены Анне Ивановне. Ко всему, что уже было изложено в черновой редакции, прибавили слова: «а буде чего по сему обещанию не исполню и не додержу, то лишена буду короны российской!»

Тогда назначили посольство к избираемой на престол государыне. Выбраны были, по предложению кн. Димитрия Михайловича Голицына: князь Василий Лукич Долгорукий и меньшей брат князя Димитрия Михайловича – князь Михайла Михайлович Голицын. Канцлер Головкин предложил еще третьего посла от генералитета: выбор пал на генерала Леонтьева. Фельдмаршал князь Василий Владимирович Долгорукий предлагал присоединить к ним еще посла от духовного чина.

Послам вручили тогда же составленную инструкцию. Им вменялось в обязанность вручить Анне Ивановне пункты или кондиции наедине, без посторонних, объявив ей, что в них изложено желание всего русского народа. Когда государыня их подпишет, они должны быть отосланы в Москву с одним из послов. Послы должны были следить, чтоб мимо их не было ей доставлено каких-нибудь вестей из России, и настаивать, чтоб Анна Ивановна не медлила своим отъездом и непременно ехала бы вместе с послами; послы при этом должны были сообщить ей, что до ее приезда не будет объявлено в народе о кончине императора Петра Второго и о воцарении новой особы. Верховники опасались, чтоб лица, не сочувствовавшие их планам «прибавить воли», не успели предупредить государыню и настроить ее против верховного тайного совета: они дали приказание оцепить всю Москву караулами и кругом ее поставить на расстоянии тридцати верст по одному унтер-офицеру с отрядом солдат, чтоб не пропускать из Москвы никого иначе, как только с паспортом, выданным из верховного тайного совета. Всем вольнонаемным извозчикам, в продолжение нескольких дней, запрещено было подряжаться с едущими куда бы то ни было из столицы.

Изготовивши все надлежащие бумаги, верховники в тот же день вечером вручили их князю Василию Лукичу Долгорукому и князю Михайлу Михайловичу Голицыну. Остерман подписал только один из этих документов – письмо к государыне от верховного тайного совета, а прочих бумаг не стал подписывать: он извинялся болезнью. Все тогда понимали, что это болезнь притворная.

Как ни старались верховники, чтобы до поры до времени Анна Ивановна не получила каких-либо сведений из Москвы, но принятые меры оказались бесплодными. Левенвольд, живший в Москве, сообщил о всем происходящем там своему брату, проживавшему в своем

поместье в Лифляндии, а последний поехал в Митаву и лично передал Анне Ивановне, что затевают русские бояре, дабы она могла принять заранее свои меры, тем более, что, как докладывал Левенвольд, шляхетство и народ не сочувствовали затеям вельмож. Ягужинский, со своей стороны, отправил в Митаву с такими же известиями гвардейского офицера Сумарокова. Посольство это не так было успешно, как Левенвольдово. Прежде чем Сумароков явился к герцогине курляндской, его увидел и узнал князь Василий Лукич; он приказал его тотчас арестовать. Посланный из Митавы в Москву с подписанными государыней пунктами генерал Леонтьев привез с собою Сумарокова закованным. Иные говорили, будто Сумароков успел-таки сообщить Анне Ивановне все, что следовало, но государыня сама выдала его послам, чтоб убедить их в искренности, с какою принимает предлагаемые пункты.

Леонтьев воротился в Москву 1 февраля. Подписание государыней пунктов очень обрадовало верховников. 2 февраля собрали членов сената и генералитет. Прочли письмо новой государыни. Она писала: «так как во всех государствах руководствуются благими советами, то мы, пред вступлением нашим на престол, по здравом рассуждении, изобрели за потребно для пользы Российского Государства и к удовольствованию наших верных подданных, написав, какими способами мы то правление вести хотим, и подписав нашею рукою, послать в верховный тайный совет, а сами сего месяца в 29 день конечно из Митавы к Москве для вступления на престол пойдем».

Прочитали во всеуслышание всего собрания «кондиции», уже одобренные высочайшей властью и потому получившие силу закона. Кн. Дмитрий Михайлович Голицын пристально приглядывался к лицам слушателей, стараясь угадать впечатление, произведенное на них прочитанною бумагой. Никто не откликнулся с одобрительными возгласами; «те, – говорит современник<sup>237</sup>, – которые вчера от этого собрания надеялись великой пользы, теперь опустили уши, как ослики». Князю Дмитрию Михайловичу пришлось самому воздать хвалу прочитанному писанию. «Видите ли, – произнес он, – как милостива наша государыня: какового мы от нее надеялись, таковое показала она отечеству нашему благодеяние! Бог сам подвинул ее к сему писанию! Отселе счастливая и цветущая Россия будет!» И много он говорил в этом роде, но, не слыша себе никакого ответа, остановился и спросил: «Для чего никто ни единого слова не проговорит? Изволил бы сказать – кто что думает; хотя и нет ничего говорить, только благодарить той милостивой государыне». Тут кто-то тихим голосом, вероятно, затрудняясь, произнес: – Не ведаю; удивительно, отчего это государыне пришло на мысль так писать.

На это замечание от князя не последовало ответа. Неизвестно, кто был смельчак, так внезапно обливший холодною водою восторг сторонников свободы. Тогда кн. Дмитрий Михайлович обратился к Ягужинскому, как будто не зная о его проделке, хотя, конечно, хорошо знал о ней, и спросил: «Как вам кажутся кондиции?» Ягужинский замялся. Тогда князь Дмитрий Михайлович попросил его войти в другую комнату, а там фельдмаршал князь Василий Владимирович Долгорукий приказал Ягужинского арестовать и посадить в тюрьму. 10-го февраля приехала новая императрица, неотступно провожаемая князем Василием Лукичем. Она остановилась в селе Всесвятском и располагала пробыть там до дня 15-го февраля, когда назначен был торжественный въезд ее в Москву. Нужно было только в Москве сделать некоторые приготовления к этому торжеству и вместе с тем похоронить прах покойного императора. Погребение совершилось 11-го февраля. Анна Ивановна проживала в селе Всесвягском, во дворце имеретинского царевича Арчила. Верховники уже не могли держать ее в изолированном положении и должны были дозволить посещать государыню сестрам и близким особам. Сам верховный тайный совет назначил для торжественной встречи императрицы князя Алексея Михайловича Черкасского и генерал-майора Льва Васильевича Измайлова, а синод – двух архиереев, новгородского митрополита Феофана и крутицкого – Леонида, да архимандрита Чудовского монастыря Арсения.

---

<sup>237</sup> Феофан Прокопович: «Сказание».

Между тем затеи верховного тайного совета возбудили толки между шляхетством. В разных домах столицы стали по ночам собираться и толковать о текущих событиях. Возникло недовольство замыслами верховного тайного совета. «Это значит, – объясняли тогда, – что верховники станут настоящими властелинами, и вся Россия подпадет под иго временщиков». Иные доходили до такого ожесточения, что говорили: «Нам бы собраться, напасть на них с оружием и перебить их, если не оставят своих умыслов». Другие были сдержаннее и злобу свою против верховников ограничивали мнением, что следует наотрез напомнить им, что не смеют они сами переделывать государство. Такие господа, ставши противниками верховного тайного совета, собственно, не были все сторонниками древнего самодержавия, но, главное, их всех мучила досада – зачем это, мимо их воли, над ними воцаряется какое-то новое правительство; они говорили, что если власть верховная должна быть разделена и кто-то, кроме государя, будет еще представлять ее, то уж никак не кружок знатных бояр, а все шляхетство в лице своих выборных. Толки стали увеличиваться после того, как 2-го февраля подписанные государынею «кондиции» были прочитаны в собрании сената, генералитета и разных высоких чинов. Слушавших было приблизительно более пятисот особ, и все подписали свое согласие, даже сам Феофан Прокопович, который в своем повествовании сообщает, что «тогда все слушавшие содрогнулись». Но вслед за тем стали подавать в верховный тайный совет проекты и замечания. Верховный тайный совет не противился таким заявлениям, напротив – 5-го февраля положил пригласить в сенат для совещания из знатных фамилий шляхетство, «которые в рангах и без рангов». Подавались мнения коллективные и отдельных лиц, по уполномочию своих согласников. Датский посланник Вестфален, бывший свидетелем тогдашних событий, сообщал в депешах своему правительству, что двери верховного тайного совета целую неделю были открыты всем желающим высказаться за или против по поводу предполагавшегося преобразования правления Российской империи. Это право предоставлялось генералам, бригадирам и полковникам, также всем членам сената и государственных коллегий, носившим чин не ниже полковника; подавали также мнения и духовные сановники группами, состоявшими каждая из трех архиереев и трех архимандритов.<sup>238</sup> Проекты, которых насчитано в книге г. Корсакова двенадцать, мы не считаем нужным здесь излагать, так как они приняты не были и могут иметь значение только материалов для истории умственного движения русского общества того времени. Все они были подписаны более чем тысячею ста лицами из шляхетского звания, начиная от потомков Рюрика до «худородного» шляхетства, в недавнее время получившего службой свое шляхетское звание. Все проекты выражали в себе одну общую мысль – вырвать правление из рук нескольких высокородных фамилий и передать шляхетству или «общенародию», как тогда выражались, признавая полноправным народом только привилегированное сословие. Особенного внимания заслуживает план или проект князя Димитрия Михайловича Голицына, но он не сохранился вполне и известен только по депешам представителей иностранных государств. По этому проекту императрице предоставлялась полная власть только над своим двором, на расходы которого она получала бы ежегодно суммы из государственной казны, да над отрядом гвардии, назначенным для охранения ее дворца. Вся политическая власть по внутренним и иностранным делам должна была принадлежать верховному тайному совету, составленному из десяти или двенадцати членов, принадлежащих по рождению к знатным фамилиям. Этот верховный тайный совет ведал бы вопросы о войне и мире, назначал начальствующих над всеми войсками, определял по своему усмотрению государственного казначея, который обязан был отдавать отчет одному верховному тайному совету по всем финансовым делам. Кроме верховного тайного совета, предполагалось учредить: 1) сенат из тридцати шести членов, которого обязанность будет рассматривать предварительно дела, следуемые к окончательному решению в верховный тайный совет; 2) шляхетскую палату из двухсот выборных для охранения прав шляхетского сословия, и 3) палату городских представителей, для заведования торговыми

---

<sup>238</sup> Корсаков, «Воцарение Анны Ивановны». Стр. 135. Деша Вестфалена.

делами, для соблюдения интересов простого народа и для его защиты от всяких несправедливостей. Вообще прилагалось старание расширить права знатного шляхетства старинных родов, которым нарочно полагали давать преимущество в получении должностей и рангов по службе перед прочим шляхетством. Шляхетство по-прежнему не оставалось сословием герметически замкнутым, и гражданские чиновники могли приобретать шляхетское достоинство, но не иначе, как дослужившись до значительных чинов, а затем приказные люди – только за какие-нибудь особенно важные заслуги, показывавшие верность всему Шляхетскому обществу, могли быть причислены к шляхетству; люди же боярские и крестьяне не допускались ни к каким делам, пролагавшим путь к возвышению. План был чисто в боярском духе и не мог нравиться всему шляхетству, в среде которого числились и «худородные». Все должны были увидеть в этом проекте намерение сузить благородное сословие только древними родами, а прочих унижить. В самом деле, была только призрачная свобода, на вид предоставляемая этим проектом шляхетству. Недаром князь Димитрий Михайлович прожил много лет в Киеве, близко к Польше и к польскому обществу. В его проекте ощутительно влияние той современной ему Речи Посполитой, где величались свободой и шляхетским равенством и где, однако, в сущности равенства не было: управляли знатные роды, а громады шляхетства состояли из их покорных слуг и исполнителей их затей. Между тем этот проект, составленный князем Димитрием Михайловичем и разделяемый многими, был последним выражением попытки примирить стремление верховного тайного совета со стремлениями шляхетства.

В верховном тайном совете просматривались поступающие отовсюду проекты; вся Москва готовилась встречать императрицу, а во Всесвятском стали делаться шаги, подававшие для одних опасение, для других надежду, что подписанные государынею пункты не сделаются незыблемыми узаконениями. Сообразно этим пунктам, Анна Ивановна, как мы уже сказали, отнюдь не могла назначать начальствующих в войске лиц, как в гвардии, так и в армии: это право принадлежало верховному тайному совету. Вдруг Анна Ивановна 12 февраля объявляет себя полковником Преображенского полка и капитаном кавалергардской роты. И преображенцы, и кавалергарды были этим очень довольны; в публике слышались и ропот, и одобрение. Вообще шляхетство, не сочувствуя изменениям в правлении, исходившим от верховного тайного совета, сохраняло в себе качества, усвоенные от прежних поколений. Положение служилых людей в России уже издавна было таково, что каждый более думал об узких интересах своего личного быта, чем о вопросах, касавшихся всего общества. «Лишь бы я был цел, да не дурно мне было, а там – хоть волк траву ешь!» – таков девиз был у российского шляхетства. Если подчас иной в дружеском кругу отваживался рассуждать о расширении общественных прав, то не иначе, как озираясь вокруг себя, и при малейшем признаке опасности съеживался и, как улитка, вползал в свою скорлупу. Русский человек способен легко воспламениться и отважиться на подвиг истинно геройский, требующий почти нечеловеческого терпения, но он мало способен последовательно идти по пути, избранному однажды и одобренному рассудком. В старых наших судебных архивах мы встречаемся с изумительными примерами отваги и терпения лиц, которые часто не за поступки, а за неосторожно произнесенные слова выносили тяжкие муки; но мало видим случаев выносливости и терпения, когда приходилось крепко стоять за давно обдуманый план перемен в общественном строе. И теперь, при избрании Анны Ивановны, случилось то же явление. Многие из шляхетства с первого раза увлеклись идеею новизны, но, когда стали думать об этом, тотчас же стали соображать – что будет согласнее с их ближайшими личными выгодами. Нужен был только умный руководитель, который бы соединил разнovidные, но однородные побуждения и направил их к одной цели по старой дороге. Нашелся такой руководитель. Это был Остерман, притворявшийся болящим, находившийся день и ночь в постели, облепленный пластырями, обвязанный примочками. Он работал неутомимо, внушал лицам, посещавшим его, мысль, что для всего государства и для каждого лица в особенности лучше всего будет возвратиться к прежнему самодержавию. По изысканиям г. Корсакова, Остерману для воздействия на гвардию послужили тогда: молодой



Антиох Кантемир, сын изгнанного турками молдавского господаря, и граф Федор Андреевич Матвеев, внук знаменитого Артамона Матвеева, боярина, погибшего во время первого стрелецкого бунта. Им откликнулся целый ряд гвардейских офицеров; видное место из них занимали родственники царицы Салтыковы, князья Черкасские (главою всего их рода считался тогда князь Алексей Михайлович, чрезвычайный богач), Степан Апраксин (впоследствии полководец, воевавший против прусского короля Фридриха II), князья Волконские, Иван Михайлович Головин, потомок знатного рода, в молодости заслуживший внимание и милость Петра I, князь Брятинский, полковник Еропкин, приятель Василия Никитича Татищева, и сам Василий Никитич, составивший себе громкое имя государственными и учеными трудами. Сторонники самодержавия сносились с Анною Ивановною через близких государыне дам. То были: сестра императрицы Екатерина Ивановна, герцогиня мекленбургская, княгиня Черкасская, княгиня Трубецкая (урожденная Салтыкова), Ягужинская, Екатерина Ивановна Головкина, Наталья Федоровна Лопухина, находившаяся в сердечных отношениях к Левенвольду. На этот кружок имел влияние новгородский митрополит Феофан Прокопович. Говорят, что он прислал тогда государыне в подарок столовые часы с потайною доскою, на которой был начертан план действий в пользу самодержавия. В гвардии с каждым часом возрастало неудовольствие против верховников, в особенности против Долгоруких, которых считали главными зачинщиками преднамеренного переворота. Толковали так: Долгорукие взяли верх при покойном государе, и теперь им не хочется потерять своей силы; вот они и выдумывают, чтоб новая царица была государынею только по имени, а власть бы вся у них была в руках. Фельдмаршал князь Василий Владимирович предложил было Преображенскому полку присягнуть государыне и разом с нею верховному тайному совету. На это преобразенцы закричали, что они ему изломают ноги, если он еще раз осмелится заикнуться с этим. Князь Алексей Григорьевич, нареченный тесть императора Петра II, удаляясь от всеобщего ропота против своего рода, уехал с своим семейством в подмосковную вотчину Горенки. Шляхетство почти все разделяло с гвардейцами ненависть к роду Долгоруких. Говорили, что, по смерти императора Петра Второго, Долгорукие ограбили дворец, перевезли к себе драгоценную мебель, экипажи и охотничьи принадлежности. Распускали заранее слух, что князя Алексея Григорьевича сошлют в Сибирь, а сына его Ивана, бывшего фаворита, – в Дербент. Эти слухи выражали общее желание гибели Долгоруких и предупреждали их роковую судьбу.

14-го февраля во Всесвятском представлялись новой императрице члены верховного тайного совета. Анна Ивановна приняла их вежливо, но сухо, и когда Головкин поднес ей орден св. Андрея Первозванного, Анна Ивановна сказала: «Ах, правда, я позабыла его надеть!»

Она приказала надеть на нее этот орден постороннему лицу, а не одному из членов верховного тайного совета. Государыня этим хотела показать, что она считает за собою право носить этот знак высшего достоинства по своему рождению, а не по чьей-либо милости, так же точно, как и корону получает по рождению, а не по вине верховников. На другой день, 15-го февраля, она переехала в Москву. Все чины присягали ей на верность в Успенском соборе.

Вступивши в Москву, императрица сразу не избавилась от докучливой опеки верховников. По выражению современника, князь Василий Лукич продолжал еще и здесь стеречь ее, как дракон. Между тем, в обществе продолжалось умственное волнение по поводу вопроса – самодержавное или ограниченное правление должно быть в России. До нас дошли характеристические письма сторонников того и другого направления. Вот письмо сторонника свободы бригадира Козлова казанскому губернатору:

«Теперь у нас прямое правление государства стало порядочное, какого нигде не бывало, и ныне уже прямое течение делам будет, и уже больше Бога не надобно просить... чтоб только между главными согласие было. А если будет между ними согласие так, как положено, то, конечно, сего никто опровергнуть не может. Есть некоторые бездельники, которые трудятся и мешают, однако ж ничего не сделают; а больше всех мудрствует с своею

партией князь Алексей Михайлович (Черкасский)... однако ж, ничего не успевают. И о государыне так положено, что хотя в малом чем не так будет поступать, как ей определено, то ее, конечно, вышлют назад в Курляндию; и для того – будь она довольна тем, что она государыня российская, – полно и того! Ей же определяют на год сто тысяч, и тем ей можно довольной быть, понеже дядя ее император и с теткою довольствовался только шестьюдесятью тысячами в год; да сверх того неповинна она себе брать ничего, разве с позволения верховного тайного совета, также деревень никаких, ни денег неповинна давать никому, и не токмо того, – ни последней табакерки из государевых сокровищ не может себе взять, не только отдавать кому, а что надобно ей будет, то будут давать ей с расписками. А всего лучше положено, чтоб ей при дворе свойственников своих не держать и других ко двору никого не брать, кроме разве кого ей позволит верховный тайный совет; и теперь Салтыковых и духу нет, а впредь никого не допустят. И что она сделана государынею – и то только на малое время помазка по губам».

До иностранных послов доходили толки русских в то время, осуждавших вредоносное для народа мотовство самодержавных лиц, которые самовольно распоряжались народным достоянием и не обращали внимания на вопиющие нужды народа. О Екатерине I говорили, что за короткое ее царствование (два года с небольшим) истрчено семьсот тысяч рублей на венгерское вино и сто шестьдесят тысяч рублей на гданьскую водку, тогда как при неурожае многие тысячи подданных питались сухим хлебом и только им кормили своих детей.<sup>239</sup>

Сторонники самодержавия от той эпохи оставили также письменные памятники, где выражалась тогдашняя их точка зрения. Замечательна записка, ходившая тогда по рукам у шляхетства; автор ее, не подписавший своего имени, неизвестен.

«Слышно здесь, – пишет он, – что делается или уже и сделано, чтобы быть у нас республике... Боже сохрани, чтобы не сделалось вместо одного самодержавного государя десяти самовластных и сильных фамилий; и так мы, шляхетство, совсем пропадем и принуждены будем, горше прежнего, идолопоклонничать и милости у всех искать, да еще и сыскать будет трудно, понеже ныне между главными людьми (родословными), как бы согласно ни было, однако ж впредь, конечно, у них без раздоров не будет, и так один будет миловать, а другие, на того злобствуя, вредить и губить станут. В то время потребно будет расположить обществом или рекрутский набор, или прочий какой сбор для пользы и обороны государства; для того надлежит тогда всякому понести самому на себе для общей пользы некоторую тягость: в том голосов сообразить никак невозможно будет, и что надобно будет вперед сделать и расположить в неделю, того в полгода не сделают».

Автор записки вступает в полемику со своими противниками по поводу обязательной службы шляхетства, которую последние не одобряли. «Народ наш, – говорится в записке, – не вовсе честолюбив, но паче ленив и нетрудолюбив, и для того, если некоторого принуждения не будет, то, конечно, и такие, которые в своем доме один ржаной хлеб едят, не похотят получать через свой труд ни чести, ни довольной пищи, кроме, что всяк захочет лежать в своем доме; разве останутся одни холопы и крестьяне наши, которых принуждены будем производить и своей чести надлежащие места отдавать им, и таких на свою шею произведем и насажаем непотребных, от которых самим нам впредь места не будет, и весь воинский порядок у себя, конечно, потеряем; притом же, под властью таких командиров, Боже сохрани, так испотворены будут солдаты, что злее стрельцов будут». По мнению автора записки, можно дозволить выходить в отставку после определенного числа лет службы только таким шляхтичам, у которых «не менее от тридцати до пятидесяти дворов крестьянских».<sup>240</sup>

Нам теперь трудно определить, куда в то время клонилось большинство умов шляхетства: к ограничению ли самодержавной власти, или к ее удержанию в прежней силе. Собственно за самодержавие ясно и положительно стояли гвардейцы: они были обласканы императрицей и могли надеяться еще большего к себе внимания, после того как послужат ей

<sup>239</sup> Корсаков, «Воцарение Анны Ивановны». Приложение 6, стр. 75—76. Депеша Вестфалена.

<sup>240</sup> Корсаков, «Воцарение Анны Ивановны». стр. 264—265.

теперь в трудных обстоятельствах. Остальное все шляхетство, строго говоря, колебалось. Оно собиралось в разных местах Москвы на совещания, и на этих совещаниях не додумались ни до чего более, как только до того, чтобы подать государыне челобитную о дозволении составить из генералитета и шляхетства комиссию для пересмотра условий, предложенных от верховного тайного совета государыне. На этом порешили две сходки, собиравшиеся 23 и 24 февраля в двух местах Москвы: одна в доме князя Черкасского на Никитской улице, другая в доме князя Борятинского на Мясницкой. Обе сходки сносились между собою и на вышесказанном взаимно остановились.

Утром 25 февраля явилась во дворец толпа из шляхетства. По одним известиям, число явившихся простиралось до восьмисот человек<sup>241</sup>, по другим – до ста пятидесяти<sup>242</sup>. На челе их был князь Алексей Михайлович Черкасский. Он подал государыне челобитную; в ней сначала изъяслялась благодарность за высокую милость ко всему государству, выраженную в подписанных ею пунктах, а далее сообщалось, что «в некоторых обстоятельствах тех пунктов находятся сумнительства такие, что большая часть народа состоит в страхе предбудущего беспокойства, хотя они, с благорассудным рассмотрением, написав свои мнения, представляли верховному тайному совету, прося безопасную государственного правления форму учредить; однако ж, об этом не рассуждено, а от многих и мнений подписанных не принято и объявлено, что без воли императорского величества того учинить невозможно». На этом основании челобитчики просили, «дабы всемилостивейше, по поданным от нас и от прочих мнениям, соизволили собраться всему генералитету, офицерам и шляхетству по одному или по два из фамилий: рассмотреть и все обстоятельства исследовать, согласным мнением по большим голосам форму правления сочинить и вашему величеству к утверждению представить». Челобитная эта была подписана восьмьюдесятью семью лицами. В конце ее было оговорено так: «хотя к сему прошению не многие подписались, понеже собою собраться для подписи опасны, а согласуют большая часть, чему свидетельствуют подписанные от многих мнения, о которых выше показано было, что иные еще не приняты».

Когда эта челобитная была подана<sup>243</sup>, в зале произошло волнение. Гвардейские офицеры стали громко кричать о восстановлении самодержавия; со стороны шляхетства послышались возражения. Князь Черкасский, по прочтении челобитной, произнес краткую, приличную случаю, речь.

Тогда Василий Лукич приглашал собрание успокоиться и, обратившись к князю Черкасскому, спросил: – Кто позволил вам, князь, присвоить себе право законодателя?

Князь Черкасский отвечал:

– Вы вовлекли государыню в обман; вы уверили ее величество, что кондиции, подписанные ею в Митаве, составлены с согласия всех чинов государства. Это неправда. Они составлены без нашего ведома и участия.

Князь Василий Лукич стал советовать Анне Ивановне удалиться в другой покой и там на досуге обсудить шляхетскую челобитную. Анна Ивановна уже было согласилась. Но тут подошла к ней сестра ее Екатерина Ивановна, держа чернильницу с пером, и сказала:

– Нет, государыня, нечего теперь рассуждать! Вот перо – извольте подписать!

Императрица на челобитной подписала: «Учинить по сему».<sup>244</sup> Потом, возвративши князю Черкасскому челобитную, она поручила шляхетству обсудить предмет своего прошения немедленно и в тот же день сообщить ей результат своих совещаний. В это время расходившиеся гвардейцы стали кричать: «Мы не дозволим, чтобы государыне предписывались законы. Она должна быть такою же самодержавною, как были ее предки!»

Государыня, стараясь укротить волнение, стала даже грозить, но гвардейцы не

<sup>241</sup> Лефорт. Деша 13 марта, в «Сборнике Русского Исторического Общества», т. V.

<sup>242</sup> Корсаков, «Воцарение Анны Ивановны». Приложение № 13, деша Вестфалена, стр. 82—83.

<sup>243</sup> По другому известию, чтение челобитной исполнить должен был кн. Трубецкой, но как он заикался, то исполнил это, вместо него, Татищев (Pierre Dolgorouki: Mmoires, I, 325).

<sup>244</sup> Tourgueneff, «La Russie et les russes», III, 278. Деша Маньяна.

переставали волноваться, кланялись в ноги императрице и вопили:

«Государыня! Мы верные рабы вашего величества. Мы служили верно вашим предшественникам и теперь готовы пожертвовать жизнью, служа вашему величеству. Мы не потерпим ваших злодеев. Повелите только – и мы к вашим ногам сложим их головы!»

Анна Ивановна, оглядываясь кругом себя, произнесла: «Я здесь не безопасна. – Потом, обратясь к капитану Преображенского полка, она сказала: – Повинуйтесь генералу Салтыкову, ему одному только повинуйтесь!»

До сих пор начальствовал над гвардией фельдмаршал кн. Василий Владимирович Долгорукий; назначение Салтыкова было отрешением князя Долгорукого.<sup>245</sup>

Шляхетство, сообразно повелению императрицы, удалилось в другую комнату для совещания; Анна Ивановна отправилась обедать с членами верховного тайного совета.

Совещалось шляхетство недолго. Не время было совещаться, да уж и не было о чем. Весь дворец наполнен был гвардейцами, которые продолжали кричать, шуметь и провозглашали Анну Ивановну самодержавной государыней, а всем противникам самодержавия грозили, что всех их повыбрасывают за окна. Слишком явно было, что собрание, которому поручили совещаться как будто свободно о своих делах, находится под стражею. Оно напоминало собою басню, в которой кот пойманного соловья убеждает запеть и показать свое искусство. В четвертом часу пополудни шляхетство, окончив свое дело, вошло снова в аудиенц-зал. Императрица, окончив обед, вошла туда; за нею вошли обедавшие с нею верховники. Князь Никита Трубецкой подал ей новую челобитную: на этот раз она была подписана ста шестьюдесятью шестью лицами. Прочел ее кн. Антиох Кантемир, ее составитель, так как на сходке, происходившей у князя Черкасского, сторонники самодержавия ему поручили составить ее. И эта челобитная, как и прежняя, начиналась благодарностью императрице за подписание кондиций, поданных верховным тайным советом, но потом она гласила так:

«Усердие верных подданных побуждает нас по возможности не показаться неблагодарными; для того, в знак нашего благодарства, всеподданнейше приносим и всепокорно просим всемилостивейше принять самодержавство таково, каково ваши славные и достохвальные предки имели, а присланные к вашему императорскому величеству от верховного тайного совета пункты и подписанные вашего величества рукою уничтожить». Затем далее в челобитной излагалась просьба о восстановлении сената в том значении, какое дал ему основатель Петр Великий, дополнив число сенаторов двадцать одной особой, а на будущее время в звание сенаторов, губернаторов и президентов коллегий должно определять по баллотировке от шляхетства. В заключение в челобитной говорилось: «Мы, напоследок, вашего императорского величества всепокорнейшие рабы, надеемся, что в благорассудном правлении государства, в правосудии и облегчении податей по природному вашего величества благоутробию презрены не будем, но во всяком благополучии и довольстве тихо и безопасно житие свое препровождать имеем. Вашего императорского величества всенижайшие рабы...»

Выслушавши эту челобитную, государыня произнесла такие слова:

– Мое постоянное желание было управлять моими подданными мирно и справедливо, но я подписала пункты и должна знать: согласны ли члены верховного тайного совета, чтобы я приняла то, что теперь предлагается народом?

Члены верховного тайного совета молча склонили головы и тем выразили свое согласие.<sup>246</sup>

«Счастье их, – замечает современник, – что они тогда не двинулись с места; если б они показали хоть малейшее неодобрение приговору шляхетства, гвардейцы побросали бы их за окно».<sup>247</sup>

– Стало быть, – продолжала императрица, – пункты, поднесенные мне в Митаве, были

<sup>245</sup> Корсаков, «Воцар. АН. Ив.». 273—274. – «La cour de la Russie il y a cent ans». 36.

<sup>246</sup> Корсаков, «Воцарение Анны Ивановны», стр. 276. Деша Мардефельда.

<sup>247</sup> «La cour de la Russie il y a cent ans», 37. Деша Маньяна.

составлены не по желанию народа!

– Нет! – крикнуло несколько голосов.

– Стало быть, ты меня обманул, князь Василий Лукич? – сказала государыня, обратившись к стоявшему близ нее князю.<sup>248</sup>

Затем императрица приказала одному из правителей дел верховного тайного совета, Маслову, доставить ей подписанные ею в Митаве кондиции и письмо, писанное ею к верховному тайному совету. По приказанию, переданному Масловым от имени императрицы, граф Головкин, который, как великий канцлер, хранил важные государственные документы, принес государыне требуемое. Императрица изодрала оба документа в присутствии всего шляхетства и объявила, что желает быть истинною матерью отечества и доставить своим подданным всевозможные милости.<sup>249</sup>

Шляхетство вереницею подходило целовать руку государыни. Члены верховного тайного совета должны были, скрепя сердце, делать то же, хотя событие дня их всех как громом ошеломило.<sup>250</sup>

Наконец Анна Ивановна дала приказание немедленно освободить Ягужинского и пригласить его во дворец.

Ягужинский явился. Императрица приказала фельдмаршалу князю Василию Владимировичу Долгорукому встретить его с почетом у дверей; потом, при полном собрании шляхетства, возвратила ему шпагу и орден св. Андрея Первозванного. Вдобавок императрица публично объявила ему похвалу за верность и защиту самодержавных прав царских.<sup>251</sup>

Обрадованный Ягужинский преклонил колена. Государыня нарекла его генерал-прокурором восстанавливаемого сената.<sup>252</sup>

Вечером того же дня видимо стало на небе северное сияние. Не чуждый суеверий народ пустился по этому поводу в толки о предзнаменованиях. Впоследствии, когда в царствование Анны Ивановны совершилось немало жестокостей, которые главным образом приписывали русские – справедливо и несправедливо – любимцу ее Бирону, вспоминали об этом небесном явлении, происходившем в день, когда императрица приняла самодержавное правление, и говорили: «недаром тогда весь край неба казался залитым кровью: много крови пролилось в царствование, начавшееся в этот день». В этот же самый день Анна Ивановна дала повеление доставить к ней любимца Бирона, хотя при подписании условий верховный тайный совет вынудил у нее обязательство не приглашать в Россию этого человека.<sup>253</sup>

В тот же вечер князь Дмитрий Михайлович Голицын в кругу своих приятелей произнес такие знаменательные и пророческие слова:

«Пир был готов, но гости стали недостойны пира! Я знаю, что стану жертвою неудачи этого дела. Так и быть! Пострадаю за отечество. Я уже и по летам близок к концу жизни. Но те, которые заставляют меня плакать, будут проливать слезы долее, чем я».

### III. Анна Ивановна в домашней жизни

*Характер государыни. – Забавы. – Куртаги. – Шуты. – Ледяной дом. – Переписка Анны Ивановны.*

Со дня объявления самодержавия начинается царствование Анны Ивановны. Возведенная на степень такого могущества, какого никогда себе не ожидала, она оказалась вовсе не подготовленною ни обстоятельствами, ни воспитанием к своему великому

<sup>248</sup> Протоколы верховного тайного совета, «Чтения Моск. Общ. Истор. и Др.» 1858 г., № 3.

<sup>249</sup> Корсаков, «Воцар. АН. Ив.», стр. 277.

<sup>250</sup> «La cour de la Russie il a y cent ans», 39.

<sup>251</sup> Ibidem, 40.

<sup>252</sup> Корсаков, «Воцар. АН. Ив.», стр. 277.

<sup>253</sup> «Записки Манштейна», 333.

поприщу. На престоле она представляла собою образец русской барыни старинного покроя, каких в то время можно было встречать повсюду на Руси. Ленивая, неряшливая, с неповоротливым умом, и вместе с тем надменная, чванная, злобная, не прощающая другим ни малейшего шага, который почему-либо ей был противен, – Анна Ивановна не развила в себе ни способности, ни привычки заниматься делом и особенно мыслить, что было так необходимо в ее сане. Однообразие ее повседневной жизни нарушали только забавы, которые вымышляли прислужники, но забавы те были такого рода, что не требовали ни большой изобретательности, ни изящества. Анна Ивановна любила лошадей и верховую езду, заимствовавши эту склонность от своего любимца Бирона, который издавна был большой охотник до лошадей. Ей нравилось также забавляться стрельбою, и это делалось внутри дворца, из окон которого она часто стреляла птиц. Ей привозили также во дворец зверей и птиц для примерной охоты. Газеты того времени сообщали публике об охотничьих подвигах ее величества во дворце: то она убила дикую свинью, то – оленя, то – медведя или волка, то такую или иную птицу. Для того, чтобы для царской потехи не оказалось недостатка в животных, запрещалось подданным на расстоянии ста верст от столицы охотиться за всякой дичью, даже за зайцами и куропатками, под страхом жестокого наказания. Анна Ивановна любила наряды и, следуя вкусу Бирона, предпочитала яркие краски, так что никто не смел являться во дворец в черном платье. Сама государыня в будни одевалась в длинное, широкое одеяние небесно-голубого или зеленого цвета, а голова у нее была повязана красным платком, таким способом, каким обыкновенно повязывались мещанки. По воскресеньям и четвергам во дворце отправлялись так называемые куртаги, куда съезжались вельможи, разодетые в цветные одежды, танцевать или играть в карты и в другие игры, и где каждый должен был корчить улыбающуюся и довольную собой физиономию. Иногда давались спектакли, играли немецкие и итальянские пьесы, и в 1736 году императрица ввела первый раз в России итальянскую оперу. Но более всего она любила шутов и шутих. В числе придворных привилегированных шутов государыни известны: Балакирев, исполнявший эту обязанность еще при Петре Великом, португальский жид Лякоста и итальянец Педрилло, прибывший в Россию в качестве скрипача и нашедший для себя выгодным занять должность царского шута. Кроме этих специальных царских шутов, были еще трое шутов, принадлежавших к аристократическим родам: князь Михаил Алексеевич Голицын, князь Никита Федорович Волконский и Алексей Петрович Апраксин. Волконского обратила императрица в шуты по давнишней злобе к жене его Аграфене Петровне, дочери Петра Бестужева. Князь Михаил Алексеевич Голицын за границу женился на итальянке и принял римско-католическую веру: за это, по возвращении его в Россию, императрица приказала разрушить его брак, а его самого заставила исполнять должность шута в ее дворце. В последний год своего царствования Анна Ивановна женила его на калмычке Анне Бужениновой, одной из шутих своих, женщине очень некрасивой, а свадьбу приказала устроить в нарочно выстроенном на Неве ледяном доме, где стены, двери, окна, вся внутренняя мебель и посуда были сделаны из льда. В таком-то ледяном доме отправлялся свадебный праздник, горело множество свечей в ледяных подсвечниках, и брачное ложе для новобрачных было устроено на ледяной кровати. На этот праздник выписаны были участники из разных краев России: из Москвы и ее окрестностей доставили деревенских женщин и парней, умеющих плясать; из восточной России повелено было прислать инородцев по три пары мужского и женского пола – татар, черемис, мордвы и чувашей, «с тем, чтобы они были собою не гнусны и одеты в свою национальную одежду, со своим оружием и со своей национальной музыкою».

Алексей Петрович Апраксин был зять Михаила Голицына и, под влиянием своего тестя, так же, как и он, принял римско-католическую веру: в наказание за этот поступок императрица и его обратила в шуты.

Все три сиятельные шута каждое воскресенье забавляли ее величество: когда государыня в одиннадцать часов шла из церкви, они представляли перед нею из себя курнаседок и кудахтали. Иногда государыня приказывала им барахтаться между собою,

сидеться один на другого верхом и бить кулаками друг друга до крови, а сама со своим любимцем Бироном потешалась таким зрелищем. Обыкновенно стрельбищные и шутоломные забавы происходили перед обедом; после обеда императрица ложилась отдыхать, а вставши, собирала своих фрейлин и заставляла их петь песни, произнося повелительным голосом: «Ну, девки, пойте!» А если какая из них не умела угодить своей государыне, за то получала от нее пощечину.

Осталась довольно обширная переписка Анны Ивановны с разными лицами, преимущественно с ее родственником Семеном Андреевичем Салтыковым, который, после переезда двора из Москвы в Петербург, остался в Москве генерал-губернатором и начальником тайной конторы. Переписка эта превосходно выказывает личность государыни. Выше было замечено, что Анна Ивановна представляла собою образчик русской барыни-помещицы старого времени. Одною из черт такого рода была склонность государыни к сплетням. Это много раз видно в ее письмах. Вот несколько писем к Семену Андреевичу, касающихся вмешательства в чужие семейные дела: «...Отпиши женился ли камергер Юсупов; здесь слышно, что у них расходится и будто у него невест много было, об этом я тебе пишу тайно, чтоб он не знал». Или: «Когда ты сие письмо получишь, то чтоб тайно было и никому не сказывай, только мне отпиши – когда свадьба Белозерского была, и где, и как отправлялась, и княгиня Мария Федоровна Куракина как их принимала, весела ли была? обо всем о том отпиши». Или: «января 24-го 1734 г... По приложенной при сем записке вели сыскать Давыдову невесту и пришли ее сюда одну по почте с солдатом, а родни ее никого не посылай, и матери ее также с нею не посылай; а как ее одну по почте с солдатом сюда привезут, то тому солдату, который с нею поедет, приказать, чтобы он ее прежде привез к моему секретарю Полубояринову, где бывала старая полиция, а сам бы явился ему, чтоб Давыдов не ведал, куда ему не скажут. Что ей надобно, то вели все взять, только отправь ее в один день, чтоб она не могла Давыдову никакой вести дать, а в дороге вели везти бережно без всякого страху». Императрицу занимала семейная распря супругов Щербатовых, и по этому поводу она писала тому же Салтыкову: «...Осведомься, возьмет ли князь Федор Щербатов свою жену с собою добровольно; ежели он взять ее не похочет, то ты объяви ему, чтоб он без отговорок ее взял». В другом письме, к тому же Салтыкову, государыня уполномочивает его проведать о поведении жены шута своего Апраксина: «...Осведомься, как можно тайно, о жене Алексея Петровича Апраксина: смирно ли она живет; а здесь слух носится, что будто она пьет и князь Алексей Долгорукий непрестанно у нее; только б никто, кроме тебя и того, кому осведомиться прикажешь, не ведал, а как осведомишься подлинно, о том к нам отпиши».

Анна Ивановна собирала вокруг себя всякого рода болтушек, забавниц, которые потешали ее. Этот женский персонал служил дополнением к мужскому персоналу шутов. В переписке императрицы есть несколько писем, относящихся к этому предмету. Вот императрица пишет Семену Андреевичу Салтыкову: «...живет в Москве у вдовы Загряжской Авдотьи Ивановны княжна Пелагея Афанасьевна Вяземская девка, и ты прежде спроси о ней у Степана Грекова, а потом ее сыщи и отправь сюда ко мне, так, чтоб она не испужалась, то объяви ей, что я ее беру из милости, и в дороге вели ее беречь. А я ее беру для своей забавы: как сказывают, она много говорит. Только ты ей того не объявляй. Да здесь, играючи, женила я князя Никиту Волконского на Голицыной и при сем прилагается письмо его к человеку его, в котором написано, что он женился вправду; ты оно сошли к нему в дом стороною, чтоб тот человек не дознался, а о том ему ничего сказывать не вели, а отдать так, что будто прямо от него писано». Другой особе Анна Ивановна поручала найти для себя забавницу в Переяславе: «Авдотья Ивановна! Поищи в Переяславе у бедных дворянских девок или из посадских, которые бы похожи были на Новокшенову; хотя, как мы чаем, уже скоро умрет, то чтоб годны были ей на перемену. Ты знаешь наш нрав, что мы таких жалуем, которые были бы лет по сороку и так же говорливы, как та Новокшенова, или как были княгини Настасия и Анисья, и буде сыщешь хоть девки четыре, то прежде о них отпиши к нам и опиши, в чем они на них походить будут».

А вот чрезвычайно интересное и оригинальное поручение в письме императрицы к Семену Андреевичу Салтыкову от 10 октября 1734 года: «Прилагается шелковинка, которую пошли в Персию к Левашову, чтобы он по ней из тамошнего народа из персиянок или грузинок, или лезгинок сыскал мне двух девочек таких ростом, как она есть, только бы были чисты, хороши и не глупы, а как сыщешь, вели прислать к себе в Москву».

Тому же Семену Андреевичу Салтыкову Анна Ивановна поручала приобретать в Москве разные предметы нарядов и проч., например: «объярей старинных у купцов поищи, которые, чаю вы помните, что бывали крепкие, а не такие, как ныне, а также чернобурых лисиц и позументов». Она также поручала узнавать, где есть персидские лошади, и приказывала отбирать их у владельцев с обещанием уплаты. Узнавши, что у Василия Аврамовича Лопухина есть гусли, императрица поручает Семену Андреевичу взять их и доставить ей в Петербург... «и ты их возьми, и буде можно, ныне сюда пришли, увязав хорошенько, чтоб не разбились, а буде их довести ныне немочно, то по первому зимнему пути пришли».

В числе собственноручных писаний Анны Ивановны остались записки относительно мытья белья. Заметна старинная боязнь порчи через белье, входившая в круг старинных московских суеверий. Императрица стала недовольна, узнавши, что у кастелянши прачки в тех же посудах, где «моют наши и принцессы сорочки и прочее белье – и других посторонних лиц белье моют». Государыня порицает за это кастеляншу и на будущее время дает такое правило: «...Для мытья нашего и принцессина белья иметь особливую палату и держать ее всегда под замком, и отмыкать только тогда, когда мытье будет; и для того мытья иметь особливых прачек, человек семь или сколько будет потребно, и смотреть, чтоб те прачки ни на придворных, ни на посторонних, ни на кого отнюдь ничего не мыли, также в упомянутых судах ни вместе, ни после нашего белья ничьих не мыли, и во время мытья в ту палату никого не пушали, кому тут дела не будет, чего накрепко смотреть и исправлять по сему, только в тех судах после нашего белья мыть рубашки матери безножки».

Масса таких писем рисует нам госпожу, всем сердцем и душою погруженную в узкий мирок своего домашнего угла. Никак нельзя подумать, что этим всем так прилежно, так сердечно занимается властительница огромнейшей империи. Много пошлости найдется в письмах Анны Ивановны, но иногда просвечивает в них и природное остроумие. Вот, для примера, письмо к казанскому архиерею: «Письмо ваше из Казани мы получили, в котором пишешь, что ты приехал туда в самый Благовещеньев день, и даешь знать, что то есть марта 25 числа. За то мы благодарствуем, что научили нас здесь в Петербурге знать, в котором числе оный день бывает, а мы до сих пор еще не знали, однако, уповали, что как в Казани, так и здесь в одно время прилучается. Впрочем, пребываем к вам в нашей милости».

Это письмо перепугало казанского архиерея. И было отчего. Страшно было навлечь на себя не только немилость, но даже одно невнимание высочайшей особы. Судьба киевского митрополита Ванатовича, упустившего отслужить молебен в царский день и за то протомившегося в заточении все царствование Анны Ивановны, судьба духовных сановников Георгия Дашкова, Юрлова и других, пострадавших по злобе Феофана Прокоповича, пользовавшегося при дворе милостью, достаточно показывают, что сан архиерейский не слишком служил защитой от царской опалы в царствование Анны Ивановны. Но теперь, по отношению к казанскому архиерею, государыня показала доброту и снисходительность; узнавши, что письмо ее произвело на архиерея тревожное впечатление, она писала Салтыкову: «Из приложенного при сем письма казанского архиерея можете усмотреть, что он очень печалится. Того ради отпишите к нему от меня, что я тогда к нему нарочно писала без всякого гнева и чтобы он больше не сумлевался. Обнадежьте его нашею милостью и, написав письмо, пришлите к нам, которое мы, подписав, велим послать к нему по почте».

#### **IV. Ход государственной жизни при Анне Ивановне**



*Государственное управление. – Кабинет министров. – Сенат. – Тайная канцелярия. – Ушаков. – Тайная контора в Москве. – Салтыков. – Дело Долгоруких. – Дело смоленского губернатора князя Александра Черкасского. – Дело кабинет-министра Волынского. – Характер дел, производившихся в тайной канцелярии над лицами, менее знатными.*

При большом количестве писем Анны Ивановны чрезвычайно мало таких, которых содержание относилось бы к важным предметам; судя по оставшейся переписке этой государыни, приходится признать справедливость приговора современников, что она проводила время в пустых забавах и вовсе не занималась делами. Верховное управление государством предоставлено было кабинету министров, состоявшему из четырех главных руководителей: канцлера графа Головкина, князя Алексея Черкасского, барона Андрея Ивановича Остермана и графа Миниха.

Из них мы можем яснее определить деятельность только последнего, – во-первых, потому, что он был талантливее других, во-вторых, потому, что он заведовал военной частью и был вместе главнокомандующим российских военных сил, а такого рода деятельность представляется сама собою выпуклее всякой другой. О прочих кабинет-министрах трудно указать, какие законоположения и распоряжения исходили от того или от другого: все издавалось от имени императрицы, но так же точно, как если бы вместо нее сидел на престоле младенец. Все, что происходит в области государственной внутренней и внешней политики, везде представляется исходящим от царствующей особы, и часто настоящие заправщики дел ускользают от наблюдения истории.

Тотчас по вступлении Анны Ивановны на престол с самодержавною властью, был уничтожен верховный тайный совет и восстановлен сенат в том значении, в каком учредил его Петр Первый. Он разделился теперь на пять департаментов: 1) духовных дел, соприкасающихся с мирскими, 2) военных сухопутных и морских сил, 3) доходов и расходов, 4) юстиции и 5) мануфактур и торговли. Сенат был верховным местом над всеми коллегиями и канцеляриями и посылал инструкции должностным лицам. Восстановлены должности генерал-прокурора и обер-прокуроров, хотя не упраздненные, но позабытые после Петра Первого. В Москве учреждены приказы судный и сыскной – последний для уголовных дел, которых нерешенными накопилось тысяч до двадцати. Вместо уничтоженного при Петре Втором Преображенского приказа, в марте 1730 года учреждена была тайных розыскных дел канцелярия, отданная под управление генерала Андрея Ивановича Ушакова, который своею суровостью приобрел такую же славу, как и Ромодановский. Впрочем, в законодательстве Анны Ивановны являются правила, свидетельствующие о сравнительно большей внимательности к судьбе несчастных жертв доносов; так, при Петре I доносчик отвечал жизнью только за такой донос, который был затеян ложно по злобе, а при Анне Ивановне – за всякий донос, если он оказывался ложным, по какому бы побуждению он ни возникал; таким образом, здесь как будто видно желание уменьшить доносничество. Но это была мера только кажущаяся: в том же указе, где говорится о каре за лживые доносы, угрожают смертною казнью всякому, кто, услышав слова, произнесенные неуважительно о царской особе, не донесет о них. Притом способы допросов, производившихся секретно с неизбежными пытками, зависели от произвола судей.

Нам осталось несколько дел, производившихся в тайной канцелярии над важными государственными лицами. Как только государыня укрепилась в самодержавии, опала от нее прежде всех и паче всех постигла род Долгоруких и отчасти Голицыных: то было мщение за попытку ограничить самодержавие. Долгоруких преследовали с какой-то утонченною злобою, сначала как будто при наказании показывая и снисхождение, а потом постепенно увеличивая над ними жестокость кары. 8 апреля 1730 года постиг этот род первый удар, сравнительно с последующими еще незначительный; фельдмаршалов Василия и Михаила Владимировичей предназначали удалить губернаторами, первого в Сибирь, второго в Астрахань, князя Ивана Григорьевича – воеводой в Вологду, Алексею же Григорьевичу и брату его Сергею, со всеми членами их семейств, повелевалось безвыездно жить в своих

родовых имениях. Но через несколько дней, 14 апреля, последовал иной указ: в нем князя Алексея Григорьевича с сыном Иваном и с братьями обвиняли в том, что они «покойного государя Петра Второго под предлогом забав и увеселений отлучали от честного и доброго обхождения и привели на сговор супружества с дочерью Алексея Григорьевича, княжной Екатериной, мало заботились о здоровье молодого государя, сверх того, скарб царский в дорогих вещах ценою в несколько сот тысяч себе забрали». За это, хотя их признавали «подлежащими жестокому истязанию», но государыня, милуя их, наказывает их так: князьям Алексею и Сергею Григорьевичам повелевает с женами и с детьми жить безвыездно в дальних деревнях, братьев их Ивана и Александра – определить в отдаленные города воеводами. У всех у них повелено отобрать чины и кавалерии. О князе Василии Лукиче в царском указе сказано: «За многие к нам самой и государству нашему бессовестные противные поступки, за то, что дерзнул нас весьма вымышленными и от себя самого составными делами безбожно облыгать, лишить чинов и орденов, сослать в дальнюю его деревню и там жить ему безвыездно за крепким караулом». Это был второй шаг. В исходе лета того же 1730 года последовал третий шаг: князя Алексея Григорьевича с детьми повелено сослать в Березов, князя Василия Лукича – в Соловки, князя Сергея Григорьевича – в Ораниенбург, вместе с его матерью, а князя Ивана Григорьевича – в Пустозерск.

Фельдмаршала Василия Владимировича, который не вступил в предполагавшуюся для него губернаторскую должность, тогда не тронули и оставили при его прежнем сане; только государыня при каждом удобном случае показывала к нему свое невнимание, а в конце 1731 года обнаружен указ, который от имени императрицы сообщал во всеобщее сведение, что «фельдмаршал Василий Долгорукий дерзнул не токмо наши полезные государству учреждения непристойным образом толковать, но и собственную нашу императорскую персону поносительными словами оскорблять». Собранными на тот конец министрами и генералами он был осужден на смертную казнь, разом с гвардии капитаном князем Юрием Долгоруким, прапорщиком князем Алексеем Борятинским и Егором Столетовым, которые все «явились в некоторых жестоких государственных преступлениях». Государыня смягчила такой приговор: фельдмаршала Долгорукого повелела она заточить в Шлиссельбургскую крепость, а прочих – сослать «вечно» в каторжную работу. Велено при этом лишить их всех чинов, орденов и всего движимого имущества. Фельдмаршал был потом перемещен из Шлиссельбурга в другое место заточения – в Иван-город, а из сосланных в то время в Сибирь – Столетов, по доносу, был снова привлечен в тайную канцелярию, обвинен в произнесении непристойных слов против высочайшей особы, пытан и обезглавлен.

Бывший сотоварищ Долгоруких, по замыслу об ограничении самодержавия, князь Дмитрий Михайлович Голицын был долго щадим, считался в звании сенатора, но редко посещал сенат и проживал постоянно в своем подмосковном имении в селе Архангельском, где у него была многотомная библиотека. Но наверху, у государыни, не забыли его дел, совершенных при вступлении на престол Анны Ивановны. Несколько лет его не трогали, а в 1736 году придрались по поводу прикосновенности его к тяжбе, которая велась между зятем его, князем Кантемиром, и родственниками последнего об имении. Князю Дмитрию Михайловичу поставили в вину, что он отговаривался болезнью, не хотя императрице и государству служить, уклонялся от возлагаемых на него поручений и настроил чиновника Перова, чтоб он, получая из казны жалованье, занимался не делами службы, а делом зятя его Кантемира, а когда Перов сказал ему: «Надобно по совести рассуждать», – князь Дмитрий Михайлович на это ответил: «Совесть подлежит суду Божескому, а не человеческому»; когда же князя Дмитрия Голицына призвали в высший суд, он там произнес такое выражение: «Если б сатана из ада говорил мне что-нибудь полезное, я бы и его послушал!» Все такие выражения признаны выходками, противными Богу и государыне. Князя Дмитрия Михайловича отправили в Шлиссельбургскую крепость для содержания там за крепким караулом. Это произошло в начале 1737 года, а в апреле 1738 он скончался в заточении.

Казалось, участь тех Долгоруких, которым для житья был назначен Березов, была окончательно решена. Помучивши постепенным усилением кары, их, наконец, сослали в

ледяные пустыни, где они должны были истаять, забытые всем миром – и друзьями, и врагами. Вышло не так.

Их повезли в Березов в июле 1730 года. Позволили взять им с собою пятнадцать человек прислуги. Капитан Максимов с отрядом солдат в 24 человека провожал их до Тобольска. Вдруг на дороге догоняет их посланный вслед за ними прапорщик Любовников для описи их пожитков. Оказалось, что князь Алексей Григорьевич взял с собою три образа в золотых окладах, два золотых креста с алмазами и золотую чашу, подаренную отцу его в Польше. Бывшая невеста Петра II везла с собою много разных драгоценностей и новых платьев, сделанных в ожидании свадьбы. У всех Долгоруких был запас дореформенного платья старинного покроя, так как в домашнем быту бояре еще продолжали в нем ходить, хотя официально одевались в иноземную одежду, введенную Петром I. Все это отобрали. Из Тобольска доставил сосланных Долгоруких в Березов с двадцатью четырьмя солдатами капитан Шарыгин. В Березове сосланных поместили на житье в остроге и выпускали их только в церковь. Ради унижения их обязали есть деревянными ложками и пить из оловянных стаканов, как бы простолудинов. Князя Долгорукие, с первых дней поселения своего в Березове, жили между собою несогласно. Князь Алексей Григорьевич упрекал сына Ивана, зачем он не дал Петру Второму подписать духовную. «Разрушенная» (как называли ее) невеста царская, гордая и надменная, никак не могла снести судьбы своей, капризничала и производила смуту между своею роднею. Уже привезший в Березов Долгоруких капитан Шарыгин послал на них донос об утайке пожитков против описи, но последствием такого доноса на первый раз был только царский указ о том, чтобы Долгорукие вели себя смиренно и непристойных слов никаких не произносили. Жена Алексея Григорьевича жила недолго в ссылке; в ноябре 1730 года ее не стало. Князь Алексей Григорьевич скончался в 1734 году, и сын его Иван, бывший фаворит Петра II, остался главою семьи. Супруга Ивана, обрученная с ним еще во дни его величия, Наталия Борисовна, урожденная Шереметева, дочь знаменитого фельдмаршала Петровских времен, уже после опалы жениха своего сдержала данное прежде слово, обвенчалась с ним и последовала в ссылку, несмотря на недовольство всей родни своей и, между прочим, своего брата Петра, который, при своем огромном богатстве, показывал мало участия к несчастной сестре. Женщина эта была нравственно выше своего супруга, который во время своего величия вел рассеянный и даже безнравственный образ жизни, и хотя на время был приведен в чувство бедствиями всего своего рода, но, будучи в ссылке, скоро снова показал прежнюю ничтожность души. Спознавшись с окружавшею его средой, он заводил приятельские беседы с офицерами местного гарнизона, с местными священниками и обывателями, и от скуки вместе с ними пьянствовал, а этому пороку он и прежде был причастен. Он особенно подружился с флотским поручиком Овцыным, постоянно становился с ним рядом в церкви и ходил вместе с ним в баню. Молва сделала Овцына любовником бывшей царской невесты. Майор Петров, в качестве пристава при Долгоруких, вместо строгого надзирательства над ссыльными, стал приятелем князя Ивана Алексеевича. Березовский воевода Бобровский сблизился с Долгорукими, из участия к их печальной судьбе посылал им от себя съестное и дарил песцовыми мехами, а Наталия Борисовна подарила ему сукна на одежду и золотые часы. Все это само по себе было бы безвредно; но Иван Алексеевич, под влиянием вина, не умел сдерживать языка своего и в кругу своих березовских знакомых рассказывал о разных придворных событиях. Замечательно, что хотя вообще принято полагать, будто Бирон преследовал Долгоруких, но Иван Алексеевич, жалуясь, что Анна Ивановна погубила весь род их, никаким намеком не обвинил в этом Бирона. Напротив, он в числе врагов своих указывал на цесаревну Елисавету, которая впоследствии, занявши престол, восстановила падшую знатность рода Долгоруких. Между тем, находясь в ссылке в Березове, Иван Алексеевич приписывал свое несчастье, между прочим, наговорам на него Елисаветы, которая будто бы мстила ему за то, что при Петре Втором он проводил мысль заточить ее в монастырь за легкомысленное поведение.

Иван Алексеевич возымел было надежду на облегчение участи всего своего рода. Один из братьев князя Алексея Григорьевича, Сергей, был зятем барона Шафирова, бывшего тогда

в силе при дворе. По особенному ходатайству тестя ему позволили переселиться в свое имение Замоторино в Касимовском уезде, а вслед за тем Шафиров ходатайствовал перед императрицею о допущении своего зятя служить по дипломатической части. Но у рода Долгоруких при дворе было немало врагов, которые боялись, чтоб этот род, поднявшись на прежнюю высоту, не стал вредить им. Такими противниками Долгоруких были: Андрей Иванович Остерман, начальник тайной канцелярии генерал Ушаков и обер-егермейстер Волынский, недавно входивший в силу. Они подействовали на Бирона и внушили ему мысль, что Долгоруким опасно давать свободу и значение. Всех враждебнее к Долгоруким относился Ушаков, и он-то взялся найти путь погубить их окончательно и сделать навсегда безвредными. Это было нетрудно при неосторожности и болтливости Ивана Алексеевича. Уже были на них доносы. В 1737 году последовал донос офицера Муравьева об утайке вещей против описи, произведенной над имуществом ссыльных. Долгорукие, извещалось в доносе, припрятали два патента за подписом императора Петра II и книгу о коронации того же императора. Сообщалось, кроме того, что майор Петров, поставленный над ними приставом, дает им послабление: у них много лишних вещей, они пожертвовали в церковь парчу, они свободно посещают березовских обывателей, и к ним допускают последних. По этому доносу присланный капитан Рагозин произвел новую опись их имущества: над ссыльными усилили караул. Но вскоре за тем приехал в Березов, как будто по делам службы, тобольский подьячий Тишин. Подозревали, не без основания, что это был нарочно подосланный шпион. Тишин подделался к Долгоруким и стал бывать у них в сообществе с другими знакомыми. Ему приглянулась княжна Екатерина, и раз, пьяный, он стал выказывать любовь свою к ней в слишком грубых формах. Екатерина отвернулась от него и сказала о его назойливости другу брата своего, Овцыну. Овцын, согласившись с казачьим атаманом Лихачевым и сыном боярским Кашперовым, отколотили Тишина. Тогда последний, из мщения за свою обиду, послал на Ивана Алексеевича донос о его болтовне; доносил также на майора Петрова и на воеводу Бобровского, что они мирволили Долгоруким. Вслед за тем, в мае 1738 года, приехал в Березов тобольского гарнизона капитан Ушаков, родственник генерала Андрея Ивановича. Ему поручено было стороною разузнать о поведении сосланных Долгоруких, а им самим ласково объявить, что государыня желает улучшить их положение. Ушаков познакомился с березовскими обывателями и узнал многое, что ему было нужно. Он уехал из Березова, а вслед за тем пришел царский указ – отделить Ивана Алексеевича от прочих членов его рода. Его заперли в землянке. Наталия Борисовна выпросила у майора Петрова дозволение приносить мужу и подавать через окно пищу, потому что его стали содержать на казенном хлебе скудно и грубо.

В сентябре того же 1738 года, в бурную ночь приплыла по реке Сосве лодка с солдатами и с царским указом. Всех ссыльных Долгоруких велено было отправить в Тобольск. Разом с ними туда же препроводили оговоренных Тишиным и Ушаковым лиц: майора Петрова, воеводу Бобровского, Овцына, Лихачева, Кашперова, пять священников и одного диакона. В Тобольске их всех засадили в тюрьму и подвергли допросам. Иван Алексеевич упорно молчал, и несколько дней от него не могли добиться ни слова. Его засадили в темное, сырое подземелье; надели на него ручные и ножные кандалы и приковали к стене. Тогда он впал в нервное расстройство, близкое к умопомешательству, и стал наговаривать на себя то, о чем его даже не спрашивали. Он рассказал неизвестные правительству подробности составления фальшивой духовной от имени императора Петра II в пользу преемства по нем на престоле его невесты. Излагая эту историю, он обвинил дядей своих Сергея и Ивана Григорьевичей, князя Василия Лукича и фельдмаршалов князей Василия и Михаила Владимировичей. Производили следствие капитан Ушаков, бывший доносчик на него, и Суворов (отец знаменитого Александра Васильевича). Они предложили обвиненным 16 пунктов: «О вредительных и злых словах в поношении чести ее императорского величества и цесаревны Елисаветы, о разговорах, веденных с Тишиным, о майоре Петрове, об Овцыне, о Бобровском и других, и о книге, будто бы напечатанной в Киеве, где изображалось уже совершившимся бракосочетание Петра Второго с княжною

Екатериною Долгорукою». Иван Алексеевич и себя самого, и других оговорил, но уверял только, что книги киевской печати о бракосочетании Петра Второго не видал, а была у него книга о коронации этого императора, но брат его Николай эту книгу сжег. Несколько раз водили его к дыбе и подвергали жесточайшим истязаниям; наконец Ивана Алексеевича отправили из Тобольска в Шлиссельбург, а меньших братьев его Николая и Александра – в Вологду. Указом 31 января 1739 года в Шлиссельбург были собраны все оговоренные Иваном Алексеевичем князья Долгорукие.

Между тем, с отправкою Ивана Алексеевича, следствие в Тобольске не прекратилось над лицами, прикосновенными к делу о Долгоруких. Таких набралось до пятидесяти особ. Тут были офицеры, солдаты, подьячие, отставные дворяне, дети боярские, священники, дворовые боярские люди и разного звания обыватели березовские. Девятнадцать из них потерпели казнь. Майору Петрову отрубили голову; священников били кнутом и разослали по дальним сибирским городам; одному из них, Федору Кузнецову, бывшему духовником Ивана Алексеевича, после наказания кнутом вырезали ноздри. Офицеры и дворовые люди Ивана Алексеевича и некоторые из березовских обывателей записаны были рядовыми в сибирские полки. Березовский воевода Бобровский неизвестно каким образом ускользнул от кары.

В Шлиссельбурге следствие над Долгорукими производили Остерман, Ушаков и Волинский. Следствие это, начавшись с октября 1738 г., тянулось целый год; наконец, по царскому повелению, Долгоруких отвезли в Новгород и 8 ноября 1739 года за городом на Торговой стороне, близ Скудельничьего кладбища, их казнили. Князя Ивана Алексеевича колесовали, потом отрубили ему голову; князьям Сергею и Ивану Григорьевичам прямо отрубили головы; меньшому брату Ивана Алексеевича Николаю отрезали язык; двух других братьев, Алексея и Александра, высекли кнутом и заслали в Камчатку. Иван Алексеевич, как бы думая загладить свое прежнее мелкодушие, перенес мучительную казнь с поразительным геройством. Бывшая невеста Петра II-го сослана была в Горицкий монастырь, на берегу реки Шексны, и там была подвергнута строжайшему заключению. Надменность и там ее не оставляла. Игуменья, происходившая из простонародья, вздумала показывать над ней начальническое первенство. Княжна Екатерина сказала ей: «Ты должна уважать свет и во тьме: я все-таки княжна, а ты холопка, не забывай этого!» Судьба ее облегчилась уже по вступлении на престол Елисаветы, когда восстановлено было достоинство князей Долгоруких. Освобожденная из заточения, она выдана была замуж за графа Александра Брюса, но после свадьбы жила недолго и умерла в Новгороде, куда приезжала поклониться праху казненных родичей. Потомки казненных в Новгороде Долгоруких построили близ церкви Рождества Христова церковь Св. Николая и там поместили гробы злополучных предков, покрытые на верхней крышке слоем извести.

В числе дел тайной канцелярии не лишено интереса также дело смоленского губернатора князя Черкасского. Некто молодой человек, служивший прежде у недавно скончавшейся цесаревны Екатерины Ивановны, герцогини мекленбургской, смоленский помещик Милашевич-Красный 29 сентября 1733 года явился в Гамбурге к российскому резиденту Алексею Петровичу Бестужеву и подал донос, что смоленский губернатор дал ему совет ехать в Голштинию и служить голштинскому герцогу, которого сын есть истинный наследник российского престола, будучи по матери единственным внуком великого Петра. Доносчик присовокуплял, что многие местные дворяне расположены признать царем голштинского принца, а смоленский губернатор при первом удобном случае употребит для его воцарения все средства, какие представляет для этого управление краем. По этому доносу генерал Ушаков сам поехал в Смоленск, арестовал губернатора и привез в тайную канцелярию. Донос Милашевича-Красного был очень неискусен: он оговорил в соумышлении с Черкасским таких лиц, о которых тотчас оказалось, что они не могли быть соучастниками, и от многого сам доносчик отказался. Тем не менее в тайной канцелярии страхом привели Черкасского к тому, что он сам оговорил себя, был осужден на смертную казнь, но, в виде милости и внимания к его родственнику кабинет-министру князю Алексею

Михайловичу Черкасскому, смертная казнь заменена была для виновного вечной ссылкой в Камчатке в Жиганском зимовье. Но в 1739 году тот же Милашевич-Красный, попавшись в преступлении, объявил, что прежде на Черкасского доносил ложно, что князь Черкасский никаких писем через него герцогу голштинскому не давал, никаких поручений не сообщал, а только искал предлога удалить его куда-нибудь подальше, потому что боялся, чтобы Милашевич-Красный не помешал ему в его ухаживании за девицею Корсак. Сосланный князь Черкасский освобожден был уже по смерти Анны Ивановны, а при Елисавете Петровне занимал очень видное место по службе.

Самое последнее в царствование Анны Ивановны и самое громкое политическое дело, производившееся в тайной канцелярии, было дело кабинет-министра Артемия Петровича Волынского. При вступлении Анны Ивановны на престол он губернаторствовал в Казани, считался по справедливости замечательно умным и способным человеком своего времени, но также прославился взяточничеством, всякого рода грабительствами и озорничеством. Это был один из таких господ, у которых, по выражению одного архиерея того времени, «от их чрезвычайных забав люди Божии лишаются сего света безвременно». После Волынский в Москве был председателем комиссии для устройства конских заводов; ревностным исполнением по занимаемой им должности он успел понравиться Бирону. В 1734 году он находился в действующей армии в Польше, где постигла его продолжительная болезнь. По возвращении в отечество ему поручили ехать в Немиров и быть там уполномоченным со стороны России на конгрессе, собравшемся для улаживания политических недоразумений на севере Европы. По прибытии назад он, носивший уже звание обер-егермейстера, получил, по случаю кончины Ягужинского, место кабинет-министра. Важное это место он получил по воле всемогущего любимца государыни Бирона, который, не доверяя дружелюбию к себе Остермана, хотел ввести в кабинет нового члена, чтобы тот в делах оказывал противовес Остерману. Бирон думал найти в Волынском покорную себе креатуру, но ошибся. Будучи по званию кабинет-министра часто входящим с докладом к государыне, Волынский успел ей понравиться и, как умный, сведущий в делах человек, становился ей так необходимым, что Бирон опасался, как бы Волынский не оттеснил его самого от государыни. Притом скорое возвышение вскружило голову самому Волынскому: он стал невнимателен к своему благодетелю Бирону и перессорился со многими важными и влиятельными лицами. Так он стал непримиримым врагом Остермана, князя Куракина, адмирала Головина; вступил в неприязнь с Минихом и самою императрицею стал недоволен. «Правду говорят о женском поле, – произносил он на ее счет в кругу друзей, – что нрав имеют изменчив, и когда женщина веселое лицо показывает, тут-то и бойся! Вот и наша государыня: гневается, иногда сам не знаю за что; резолюции от нее никакой не добьешься, герцог что захочет, то и делает!»

Зазнавшийся Волынский, ставши кабинет-министром и ощущая милости к себе императрицы, перестал считать свою судьбу зависящей от благорасположения Бирона. По воле сильной российской императрицы, с прекращением мужской линии наследственных герцогов династии Кетлеров, курляндское дворянство избрало своим герцогом Бирона. Насколько тут было искреннего желания видеть его своим властителем, показывает то, что во время происходивших выборов русское войско под командою Биронова свояка, генерала Бисмарка, вступило в Курляндию, и курляндское дворянство, из угождения повелительнице обширного государства, решилось признать верховным главою своего края такого человека, которого несколько лет тому назад не считало достойным ввести в среду дворянского сословия. Ставши герцогом курляндским и оставаясь по-прежнему обер-камергером двора российской императрицы, Бирон хотел, чтобы Россия соображала свою политику с выгодами его герцогства. Курляндия считалась в ленной зависимости от польской Речи Посполитой, и курляндскому герцогу был расчет находиться с Речью Посполитой в дружелюбных отношениях, тем более, что польский посол в Курляндии Кайзерлинг от имени своего короля ходатайствовал перед курляндским дворянством о выборе в герцоги Бирона. Теперь поляки домогались от России удовлетворения за убытки, причиненные русскими войсками во время

прохода их через польские владения, когда велась война России с Турцией. Бирон настаивал, чтоб Россия заплатила Польше по ее требованию, а Волынский в кабинете министров доказывал, что платить не следует, и по этому поводу произнес, что он, не будучи ни польским паном, ни вассалом Польши, не имеет причины задабривать народ, издавна враждебный России. Напоминание о вассале пущено по адресу Бирона не в бровь, а прямо в глаз: герцог был взбешен и тогда же решил во что бы то ни стало отомстить за это Волынскому. Тут присоединилось еще обстоятельство, усиливавшее вражду между герцогом и Волынским. Бирон задумывал женить сына своего Петра на племяннице императрицы Анне Леопольдовне, будущим детям которой Анна Ивановна заранее назначала преемство российского престола. Бирон хотел воспользоваться беспредельною привязанностью к нему императрицы и проложить своему потомству путь к царской короне. Много встречал при дворе недоброжелателей Бирон своему проекту – и главным из них был Волынский. Собственно, ни Волынский, ни иной кто-либо не могли помешать видам Бирона, потому что сама принцесса Анна Леопольдовна не терпела сына его, Петра. Но для злопамятного, не прощавшего своим врагам Бирона было достаточно, что Волынский изъявлял нежелание успеха его плану. Между тем Волынский, зазнаваясь все более и более, отважился подать императрице «генеральное рассуждение о поправлении внутренних государственных дел», где излагались разные предположения, касавшиеся укрепления границ, церковного устройства, правосудия и торговли. К своему проекту Волынский приложил записку о том, что государыня окружает себя лицами недостойными и отдаляет достойных. Императрица спросила: кого он считает недостойным? Волынский назвал Остермана, князя Куракина и адмирала Головина. «Ты даешь мне советы, как будто молодому государю», – сказала Анна Ивановна. Из этих слов Волынский должен был заключить, что ему может быть худо.

Была еще более свежая причина несогласия между Волынским и Бироном. В феврале 1740 года устраивался ледяной дом, о котором выше было упомянуто. Приготовлялись ко всеобщей потехе; главным распорядителем ее был Волынский. Он послал одного кадета привезти к нему Василия Кирилловича Тредьяковского, академика, впоследствии носившего звание «профессора элоквенции и хитростей пиитических», за тем, чтоб заставить его написать и на празднике прочитать стихотворение, приличное событию. Кадет, явившись к Тредьяковскому, объявил, что его требуют в кабинет, а потом повез его на «слоновыи» двор, где находился тогда Волынский. Тредьяковский жаловался Волынскому на кадета, что он его перепугал, сказавши, что требуют его в кабинет; а кадет, со своей стороны, жаловался на Тредьяковского, что тот дорогою бранил его. Тогда Волынский, не слушая оправданий и объяснений Тредьяковского, начал бить его по щекам и велел при себе делать с ним то же и кадету. Наконец Тредьяковский спросил – что ему далее делать; Волынский приказал спросить об этом у архитектора и полковника Еропкина. Последний, спрошенный Тредьяковским, указал ему писать стихи на предстоящий праздник. Тредьяковский, избитый по щекам, умытый собственной кровью, отправился домой и всю ночь сочинял стихи. Но свежие воспоминания обиды не давали ему покоя, и, дождавшись утра, он, наскоро одевшись, отправился к герцогу курляндскому просить милости и обороны. На беду его, прежде чем дождался он появления герцога, чтобы припасть к его ногам, вдруг вошел в переднюю Волынский, сам приехавший с утренним визитом к любимцу. Увидев Тредьяковского, он сразу понял, что тот пришел на него жаловаться; но, скрыв это, спросил: «Ты зачем здесь?» Тредьяковский собирался с духом – что ему ответить, но Волынский, не допустивши его произнести ни слова, ударил его в щеку, потом вытолкнул вон и передал ездому, приказав отвезти его в комиссию под караул. Через несколько минут прибыл туда и сам Волынский, приказал снять с Тредьяковского шпагу, разложить на земле и, обнажив спину, бить палкою. Тредьяковский получил 70 ударов. После того Волынский приказал поднять его и о чем-то его спросил. Тредьяковский, как сам после говорил, не помнил, что тогда отвечал ему, а помнил только, что Волынский опять приказал положить его и закатить еще 30 ударов палкою.

Его не отпустили домой, а оставили в комиссии под арестом до утра. Тредьяковский,

под караулом, всю ночь твердил стихи, которые должен был читать перед публикою «в потешной зале», «хотя мне, – замечает Тредьяковский в своем рассказе об этом событии, – уж не до стихов тогда было». Вечером повезли его в маскарадном платье под маскою в потешную залу; там он прочитал наизусть перед публикою свои стихи и тотчас отведен был под караулом опять в комиссию, где ночевал и другую ночь, а на следующий день в 10 часов утра его привезли опять к Волынскому. Вельможа сказал ему: «Я не хочу с тобой расстаться, еще раз на прощанье не побивши тебя». Бедный пиит плакал, умолял не бить его, потому что он и так уж изувечен, но, по выражению Тредьяковского, «не преклонил сердца его на милость». Волынский приказал вывести пиита в переднюю и велел там караульному офицеру отсчитать ему еще 10 ударов палкою. «Жалуйся на меня теперь кому хочешь, – сказал он Тредьяковскому, – а я свое уже взял с тебя; если вперед станешь сочинять песни, то тебе и паче того достанется!» Из этих слов видно, что Волынский был уже сердит на Тредьяковского за сочинение какой-то песни, оскорблявшей вельможу.

Это вопиющее поругание человеческого достоинства осталось бы для Волынского без последствий, потому что, по тогдашним понятиям, академик Тредьяковский был чересчур ничтожная личность в сравнении с кабинет-министром. Но лицо, которое стояло выше всех кабинет-министров, любимец императрицы, нашел в этом предлог насолить своему сопернику. Бирон подал государыне жалобу, вменяя себе в личное оскорбление поступок, который дозволил себе Волынский с Тредьяковским в приемной герцога. Он при этом припомнил, как Волынский еще в прошлом году подавал государыне записку, в которой хотел привести в подозрение приближенных к ее величеству особ. Пусть Волынский разъяснит то, что он в своей записке изложил в темных и двусмысленных выражениях, иначе он, Волынский, должен быть признан виновным в поступке, крайне непристойном и предезостном, так как он осмелился наставления, годные для малолетних, давать мудрой государыне, которой великие качества и добродетели весь свет превозносит. Так выражался герцог и требовал, чтобы Волынский немедленно был предан суду. Императрица уважала Волынского и отнюдь не расположена была губить его; отдать же Волынского под суд – значило наверно погубить его, потому что все судьи поступят так, как желательно любимцу. Анна Ивановна отказала в просьбе своего любимца. Тогда Бирон категорически заявил государыне: «Либо он, либо я! Если Волынский не будет предан суду, я принужден буду навсегда выехать из России. Уже при всех иностранных дворах стало известно, что Волынский сделал с Тредьяковским в покоях курляндского герцога. Если он не будет судим, то на мне останется вечно бесчестие». Государыня слишком свыклась с Бироном, слишком любила его, чтоб не пожертвовать для него кем бы то ни было. После усиленных просьб Бирона, сопровождавшихся то коленапреклонениями, то порывами досады, она согласилась на все и приказала нарядить суд над Волынским.

В апреле 1740 года составила судная комиссия. 12-го числа этого месяца объявлен был Волынскому домашний арест, а 15-го потребовали его к суду. Членами судной комиссии были: генерал Григорий Чернышов, генерал Андрей Ушаков, Александр Румянцев, князь Иван Трубецкой, князь Репнин, Михайло Хрущов, Василий Новосильцев, Иван Неплюев и Петр Шипов. Потребовали, чтобы Волынский назвал поименно тех лиц, о которых в поданной императрице записке только намекал, называя их опасными. Волынский указал на Остермана, князя Куракина, адмирала Головина, прибавил к ним также уже подвергшихся царской опале Долгоруких и Голицыных. Потом 17 апреля он дал отзыв, что «все прежнее он написал по злобе на Остермана, князя Куракина, Ягужинского и Головина»; сознавался о себе самом, что, получивши место кабинет-министра, он «возомнил, что стал очень умен, а ныне видит, что от глупости он все врал со злобы». Волынский совершенно потерялся, становился на колени, кланялся в землю, просил пощады. Председательствующий в комиссии Чернышов сказал: «Вот как в плутовстве тебя обличили, так ты и повинную принес». Волынский на это произнес: «Не поступаю со мной сурово: ты так же горяч, как и я; но у тебя есть дети, воздаст Бог детям твоим!» Относительно поступка с Тредьяковским Волынский без всякого оправдания признал себя виновным. Вместе с прочим он сознавался,



что позволял себе дерзкие отзывы об императрице, хотя и уверял, что при этом злого намерения сделать что-нибудь худое у него на уме никогда не было. Этим сознанием Волынский себя погубил. Сознавшись в предезростных отзывах о высочайшей особе, он стал уже преступником пред законом. «Ты сам знаешь, – говорили ему, – как ты мучил жестокими побоями полицейских служителей за то, что, идучи мимо твоего двора, не сняли шапок! И нам за твои злодейственные слова и рассуждения про ее императорское величество тебя без наижесточайшего наказания оставить невозможно». Его потащили на дыбу, дали сперва восемь, потом шестнадцать ударов кнутом. Он под пыткой ничего нового на себя не показал, но открыл несколько своих прежних дурных дел; так, он признавался, что брал взятки с купцов товарами и деньгами, что, бывши еще в Казани губернатором, он наживался взятками и нахватал таким способом тысяч на шесть или на семь. Двое членов судной комиссии, враги Волынского – адмирал Головин и князь Куракин – вышли из комиссии. В числе оставшихся всем делом заправляли Ушаков и Неплюев.

Назначен был верховный суд из сенаторов и пятнадцати особ, по указанию императрицы. Ушаков и Неплюев, производившие следствие над подсудимыми, были в числе судей, хотя это было противно основным, везде господствующим правилам юриспруденции.

Этот суд приговорил Волынского к смертной казни через посажение на кол. Прикосновенные к его делу друзья, которым он читал свой проект, поданный потом государыне, и слышал от них одобрения, приговорены: президент коммерц-коллегии Мусин-Пушкин к лишению языка и ссылке в Соловки, архитектор Еропкин и Хрущов – к отрублению головы, Соймонов, секретарь кабинета Эйхлер и де ля Суда – к наказанию кнутом и к ссылке в каторжную работу. Когда пришлось подписывать смертный приговор, у Анны Ивановны проснулось чувство жалости к человеку, которого так недавно она любила и уважала, но Бирон опять заявил, что если Волынский останется жив, то его, Бирона, не будет в России. Анна Ивановна снова поддалась любви и привычке к Бирону, – она подписала приговор.

27-го июня совершился жестокий приговор. Эшафот для казни был устроен под распоряжением Ушакова и Неплюева на Сытном рынке близ крепости. Прежде всего в тюрьмах отрезали языки Волынскому и Мусин-Пушкину. Последний, будучи другом Волынского, призванный на суд, начал порицать слабость императрицы и ее пристрастие к немцам, а когда от него требовали указания таких черт в поступках Волынского, которые послужили бы к его обвинению, Мусин-Пушкин сказал: «Я вам не доносчик!» По совершении этих операций, Ушаков и Неплюев повели Волынского на казнь. Кровь лилась ручьем из отрезанного языка. Ему устроили повязку – род намордника, чтобы остановить течение крови; но, не находя исхода через рот, кровь хлынула в горло. Волынский стал лишаться чувств, так что двое служителей втащили его под руки на эшафот. При виде ужасных орудий казни, ожидавшей его, он задрожал; но тут прочитан был указ, в котором было сказано, что государыня смягчает ему казнь, заменяя посажение на кол отрублением головы. Это приободрило несчастного в последние минуты.

После совершения казни над Волынским, Еропкиным и Хрущовым, тела казненных оставлены были в продолжение часа на эшафоте для зрелища всему народу, потом отвезены были во двор церкви Сампсона Странноприимца и там погребены в одной могиле. Соймонова, Эйхлера и де ля Суду, после наказания кнутом на том же эшафоте, отправили в тот же день в Сибирь. Через три дня после того сын казненного Волынского и две дочери его были отправлены в Сибирь; дочери были насильно пострижены. Брат Волынского без всякого повода был посажен в крепость. Уже по смерти Анны Ивановны правительница Анна Леопольдовна освободила их всех и приказала признать пострижение девиц незаконным и недействительным. При императрице Елисавете обе дочери Волынского вышли за знатных особ. Кроме этих лиц, пострадавших по суду вместе с Волынским, было обвинено еще несколько – и между ними Бланк и Смирнов – за то, что рассказывали, как Бирон на коленях просил у Анны Ивановны о казни Волынского. Их засадили в тюрьму.

Правительница Анна Леопольдовна их освободила.

В числе жертв тайной канцелярии при Анне Ивановне был также Макаров, бывший при Петре Первом начальником «кабинета». Было время, когда этот человек был в приближении к государю, а потому в силе; многие тогда заискивали его расположения, и в числе таких была и Анна Ивановна, не смеявшая тогда и подумать о том, чтобы когда-нибудь достичь верховного сана. Тогда ее и сестру ее Екатерину в Москве звали неуважительно Ивановнами; тогда и она обращалась к сильному Макарову с разными просьбами. Но время изменилось. Анна Ивановна стала императрицей и потребовала от Макарова свои прежние письма. Естественно, Анна Ивановна недолго любила этого человека, свидетеля ее прежнего унижения. Его затянули в какое-то дело по отчетности и подозревали в каких-то злоупотреблениях. Его содержали под арестом в Москве два года и девять месяцев. За это время домашние дела его пришли в беспорядок. Заключение письменно умолял государыню о милости. По этому прошению от ареста его совершенно не освободили, а только дозволили посещать церковь и заниматься некоторыми домашними делами. Но ему запрещено было ездить «по компаниям» и съезжать из Москвы: в этом обязали его подпискою.

В числе политических дел, которые решала тогда тайная канцелярия, бросается в глаза дело самозванца, принявшего имя царевича Алексея Петровича. Это был польский шляхтич Миницкий; двадцать лет назад он прибыл в Россию, то служил в солдатах, то проживал по монастырям, преимущественно в Малороссии; потом пристал к ватаге рабочих дровосеков, которые проходили через село Ярославец, близ Басани в Киевском полку. Здесь он объявил, что он – царевич Алексей и уже многие годы ходит нищим. Ему поверили – священник этого села, как видно, по глупости, и несколько солдат, стоявших на почтовом стане по пути, устроенному для сообщения столицы с действующей армией. Священник допустил его в церковь, приказал зажечь свечи и звонить; народ подходил, самозванец стоял в царских дверях и держал крест. Но тут вдруг вбежал в церковь сотник с казаками, приказал самозванца вытащить вон из церкви, а оттуда в кандалах отправил в полковую канцелярию в Переяслав. Переяславский полковник препроводил его в кандалах в Москву в тайную контору. Самозванца и священника, признавшего его царевичем, посадили на кол, некоторых из солдат четвертовали, другим головы порубили.<sup>254</sup>

Кроме дел, более или менее с политическим смыслом, в тайной канцелярии и в ее московской конторе производилось множество дел совершенно ничтожных и, тем не менее, по способу их производства, ужасных. Довольно было того, если кто подслушал, как две бабы торговли болтали между собою и пересказывали одна другой ходившие в народе сплетни, в которые замешивалось имя императрицы или ее любимца: слушавшему стоило закричать «слово и дело» – его тащили в «тайную», за ним тянули оговоренных им баб; бабы наговаривали сперва одна на другую, потом наименовывали разных лиц; – отыскивали указанных бабами лиц, подвергали допросу и чаще всего тут же жесточайшим пыткам, – дыбе, кнутам, вождению по спицам, жжению огнем. Обыкновенно дело не представляло той важности, какой от него ожидали, но попавшийся в тайную канцелярию редко выходил из нее, а обвиненный почти никогда не возвращался домой: при страшных пытках всегда находились виновные, потому что один вид орудий, терзающих человеческое тело, способен был побудить большинство людей принять на себя какие угодно преступления и оговорить хоть родного отца. Зачастую случалось, что суд тайной канцелярии признавал злоумышленниками против высочайшей особы таких лиц, которые годились только для больницы умалишенных. Впрочем, эти ужасные черты следует приписать веку, а не характеру Анны Ивановны и вообще не характеру ее царствования, так как эти же черты встречались и прежде нее, особенно при Петре Первом, и немалое время после нее.

## **V. Внутренняя политика при Анне Ивановне**

---

<sup>254</sup> Соловьев XX, стр. 418.

*Уничтожение майоратов. – Законы о поземельных владениях. – Недоимки. – Ход колонизации государства. – Окраины. – Юго-восток европейской России. – Сибирь. – Остзейский край. – Малороссия. – Почтовое устройство. – Учреждение полиции в городах. – Пожары в Петербурге и в Москве. – Суровые меры против поджигателей. – Нищенство. – Беглые. – Разбойники. – Сухопутное войско на вечных квартирах. – Морское дело при Анне Ивановне.*

С восстановлением сената приказано было выбрать из шляхетства, духовенства и купечества доверенных лиц для составления нового Уложения, чем предполагали окончить дело, начатое Петром Первым. Но это намерение отложено было в долгий ящик, и вместо составления нового Уложения перепечатали старое – царя Алексея Михайловича, и велели им руководствоваться в судебной практике. Однако в тогдашней жизни возникло много явлений, где Уложение старого Московского государства было неудовлетворительно. Уже Петр I изменил многое. Но не во всем нужно было продолжать и начатое Петром. Иное теперь приходилось изменять из того, что великий преобразователь вводил у себя, увлекшись тем, что замечал на Западе Европы. Многие шло вразрез с вековыми понятиями и обычаями русского народа. Таков был закон 1714 года о майоратах. Со смерти Петра Первого, правительство за много лет могло присмотреться к вредным последствиям этого закона. Родители, желая наделить поровну всех сыновей своих, отягощали крестьян, чтоб извлечь более дохода из своих имений, или прибегали к разным изворотам: иные написывали на себя небывалые долги и обязывали старшего сына, своего преемника по владению, выплачивать своим меньшим братьям и сестрам, откуда возникали злоба и семейные ссоры; другие оставляли по закону все недвижимое имение старшему сыну, а всю движимость отдавали меньшим сыновьям; – и выходило так, что одна сторона со скотом и с земледельческими орудиями не знала, что делать без земли, а другая затруднялась с землею без скота и без орудий. Такие-то явления и подобные им побудили правительство Анны Ивановны отменить майоратство. В марте 1731 года уничтожено было давнее различие, существовавшее между поместьями и вотчинами; и те, и другие слились в одно понятие о дворянском недвижимом имении.

Обязательная дворянская служба не была упразднена, как того хотел верховный тайный совет; только дворянам, у которых было несколько взрослых сыновей, дозволялось оставлять одного из них в имении для экономии, однако, непременно обучая его грамоте. Собственно, право владения населенными недвижимыми имениями издавна составляло принадлежность дворянского сословия, но в последнее время стали владеть такими имениями боярские люди, монастырские слуги и вообще люди «подлого» происхождения. Велено было всем таким продать незаконно приобретенную собственность в течение полугода и вперед ничего подобного не приобретать. В отдаленных местах, например, в Сибири, люди «холопского» происхождения, отданные в солдаты и дослужившиеся до офицерского чина, получали должности воевод, – и это было запрещено при Анне Ивановне, а на будущее время указано назначать в воеводы только людей, происходивших из знатного шляхетства: надеялись, что такие лица менее будут падки к незаконной наживе и покажут более рвения в собирании государственных доходов. Но правительство здесь ошиблось. При таком новом порядке немало было случаев злоупотреблений по должности, и, между прочим, один губернатор за взятки был казнен смертью. В делопроизводстве была также путаница: приказные позволяли себе делать подчистки, прибавки и убавления в приходо-расходных и крепостных книгах, в народе ходили даже фальшивые высочайшие указы; при повальной безграмотности во всех слоях общества нетрудно было грамотным плутам обманывать темный народ.

В видах охранения общества от таких обманов, в 1735 году указано было считать подлинными высочайшими указами только такие, на которых окажется подпись императрицы и трех ее кабинет-министров.

На всем народе накопилось еще от прежних царствований много недоимок всякого рода, а в царствование Анны Ивановны они все более увеличивались; правительство не могло добиться не только уплат, но даже возможности точно узнать, сколько в государстве недоимок и по какой части: на беспрестанные требования губернские и провинциальные начальства медлили доставлением сведений. В 1739 г. из девяноста четырех городов ведомостей о недоимках не прислано вовсе, а в ведомостях, доставленных тогда из ста девятнадцати городов и уездов в камер-коллегию, недоимка составляла в итоге сумму 1 692 908 р. Между тем, правительство Анны Ивановны оказывало народу большие льготы в этом отношении. По вступлении на престол императрицы сложена была в государстве недоимка всего подушного оклада, доходившая до четырех миллионов рублей; в 1735 г., по поводу большого неурожая, сложена была во всем государстве полугодичная недоимка всего подушного оклада, а в тех краях, где ощутительнее чувствовался голод, указано давать крестьянам заимообразно хлебное зерно. Но в предпоследний год царствования Анны Ивановны пришли к такому убеждению, что не следует слагать недоимок, потому что чрез такие милости выигрывали только те, которые не спешили платить податей; те же, которые были исправны, не могли воспользоваться этими милостями. Так было выражено в указе 1739 г. Многие помещики запустили в своих имениях недоимки; из таких помещиков, не состоящих в государственной службе, обязали внести недоимки в течение шести недель, а служащих – в течение трех месяцев, под страхом двойного штрафа. На торговом классе накопилось тогда недоимок 800 070 р., и замечено было, что здесь убогие были отягощены платежами, а богатые, владевшие промышленными заведениями, увертывались от платежа; поэтому постановили вперед разложить недоимки так, чтобы большая часть платежей приходилась на богатых купцов. Все недоимки собирались в канцелярию конфискаций, учрежденную еще ранее, но в 1730 г. получившую от Анны Ивановны инструкцию. Эта канцелярия, кроме недоимок, заведовала всеми конфискованными по всякому поводу движимыми и недвижимыми имуществами, а также и выморочными имениями.

В царствование Анны Ивановны постоянно была нужда в деньгах. Россия впуталась в войны – и одна из них, турецкая, была продолжительна. Расходы государственные простирались до суммы около восьми миллионов в год. Скудость средств побуждала правительство прибегать к таким чрезвычайным мерам, как, например, в 1736 г. гражданским чиновникам вместо наличных денег выплачивали жалованье сибирскими мехами и китайскими товарами, а в 1739 г. чиновникам, служащим в Москве и в городах (в губерниях и провинциях), платили половинное жалованье против петербургских.<sup>255</sup>

В ходе колонизации России в это время произошло несколько замечательных явлений. Последовало заселение пространства между Днепром и Донцом, где поселено было двадцать полков ланд-милиции.<sup>256</sup>

В 1737 г. пожаловано было генерал-майору Тараканову 4000 десятин<sup>257</sup> земли между Доном и Донцом, в пространстве, которое запустело после укрощения Булавинского бунта. Тараканов мог владеть этою землею потомственно и заселить ее пришлыми людьми, но исключительно малороссиянами. Восточнее – предпринято было заселить нижние берега Волги и берега рек: Иловли, Хопра и Медведицы – донскими казаками и малороссиянами. Тогда положено было из таких переселенцев основание казацкому волжскому войску под начальством атамана Персидского. Приказано было составить опись землям юго-восточной России, начиная от Саратова вдоль Волги до Царицына и до Дона, а от Дона по Хопру вверх до Саратова. Явно было намерение наполнить жителями этот плодородный край. В Сибири с 1730 г. велено всех ссыльных, туда отправляемых, записывать в подушный оклад со льготами на два года.

Остзейский край во время господства Бирона, любимца государыни, пользовался

<sup>255</sup> Соловьев, т. XX, стр. 195.

<sup>256</sup> Об этом излагается в нашем сочинении «Фельдмаршал граф Миних», так как эта колонизация предпринята была со стратегическими целями по его инициативе.

<sup>257</sup> Вероятно, с обычною прибавкою в два потомуж, что составляло 12000 десятин.

особым вниманием и благорасположением правительства. Тамошнему дворянству подтверждены прежние привилегии, а городам даны жалованные грамоты.

Малороссия, окраинная область Российской империи, все еще в принципе сохраняла ту автономию, с какою поступила некогда в круг владений Московского государства, хотя после неудавшегося покушения Мазепы отделиться от московской власти там почувствовалось сильное давление центрального управления. Петр I, по смерти гетмана Скоропадского, жестокою расправою с Полуботком и его товарищами, приезжавшими просить о новом выборе гетмана, показал уже, что ему не хотелось допускать в Малороссии местное выборное правление; но Петр не решился еще высказать прямо окончательное уничтожение гетманского достоинства. При Петре II избран был в гетманы миргородский полковник Апостол, человек старый и скоро затем умерший, в 1733 году. С тех пор в виде временной, но бессрочной меры учреждено в Малороссии правление, состоявшее из главного правителя с двумя великороссийскими и тремя малороссийскими товарищами. Князь Шаховской был назначен этим главным правителем края. Все полковые и сотенные суды оставлены на прежнем основании; выше их был войсковой суд, а выше его – канцелярия гетманского уряда, на которую апелляция могла подаваться в правительствующий сенат. Доходы собирались двумя подскарбиями: один был из великороссиян, другой из туземцев. В июле 1734 г. велено было собрать со всей Малороссии депутатов в Москву с целью привести в порядок существующие в Малороссии права и законоположить новые, но наблюдение над их работами поручалось одному из великороссиян. Вообще правительство, помня эпоху Мазепы, не слишком доверяло преданности малороссийских старшин и секретно приказывало князю Шаховскому строго смотреть за кандидатами в малороссийские должности, дабы не определить какого-нибудь беспокойного человека. Ему поручалось отрешать от должностей тех особ, которых он признает недостойными, и наказывать «являющихся в непристойных словах, касающихся императорской чести». По укоренившемуся прежде обычаю малороссийского народа то и дело появлялись жалобы казаков и мещан на старшин, что они разными путями захватили в свое владение казацкие и мещанские угодья и самих казаков подчиняли себе в подданство. В видах предупреждения этого, в 1739 году запрещено было малороссийским казакам отчуждать свои земли и грунты (усадебные земли): с них они должны были служить казацкую службу, выставляя по надобности со всей Малороссии 20000 конных вооруженных воинов.

Винокурение было постоянно свободно в Малороссии, и только во время войны с турками постигало его кратковременное стеснение, в тех видах, чтобы для армии возможно было достать провиант по умеренной цене. Евреям еще прежде запрещено было держать корчмы в Малороссии, и Меншиков хотел их всех выслать из края; при Анне Ивановне не решались на такую меру из опасения, что высланные станут шпионами в неприятельском войске. По заключении мира с турками в 1740 году решено было выслать их, но тут государыня скоро скончалась. Всем иностранцам вообще запрещалось, без особого высочайшего дозволения, приобретать земельную собственность в Малороссии. В 1740 г., незадолго до своей кончины, государыня повелела расселить там выехавших в Россию грузинских князей и дворян, пожаловавши их деревнями и снабдивши пособиями для обзаведения. Хотя Малороссия освобождалась от военного постоя, но, как пограничная страна, подвергалась беспрестанному проходу войск во время турецкой войны, а это бывало для жителей тяжелее постоянного пребывания у них войск. Проходившие забирали у них бесплатно подводы и съестные припасы, присваивали себе даже грунты, сады и угодья на будущее время, вымучивая у вдов и сирот документы себе на владение. Два важных нововведения последовали в Малороссии в царствование Анны Ивановны: учреждение почт и употребление гербовой бумаги.

Почтовое устройство в царствование Анны Ивановны во всех русских краях получило широкое развитие, вызванное обстоятельствами. В начале крымско-турецкой войны указано было устроить от Москвы до тех мест, где будет находиться действующая армия, почтовые

станы; таким образом, это было как бы временною мерою для удовлетворения временной необходимости; потом по тому же пути учреждена была постоянная правильная почта от Москвы до Киева через Калугу, Севск и Глухов. Станции располагались расстоянием одна от другой около 25-ти верст; на каждой станции следовало содержать по 25 лошадей. Но это распоряжение не вполне соблюдалось; там и сям оказывались недостатки: там – станционного дома не выстроили, в другом месте – затруднялись довести количество лошадей до узаконенного числа. В 1740 году последовал указ о заведении почт по всей империи между губерниями и провинциями. Турецкая война окончилась тогда уже и, ввиду наступающего мирного времени, сочтено достаточным содержать по пути от Москвы до Киева на каждой станции по пяти лошадей, а по пути воронежскому – только по четыре лошади. На первых порах почтовому делу препятствовали два обстоятельства: первое – плохие дороги, которые исправлять правительство возлагало на владельцев земель, куда шла дорога, второе – наглость и своеволие ездивших по казенным делам, загонявших до смерти почтовых лошадей, наносивших побои и увечья ямщикам и почтовым комиссарам.

Важным явлением в царствование Анны Ивановны было учреждение полиции в городах, состоявшееся по указу 1733 года. Оно последовало по докладу генерала князя гессен-гамбургского: бывши в Астрахани, он был поражен тяжелым воздухом, смрадом и всякою нечистотою, валявшеюся по улицам; после того он представил проект о принятии мер для сохранения здоровья и безопасности обывателей русских городов. Сообразно этому проекту указано было завести полицейские управления в двадцати трех больших городах. До того времени полицейские управления существовали только в столицах.

Обстройка Петербурга и заселение новой царской столицы, так усиленно проводимые Петром Первым, по смерти его оставались в небрежении, и так продолжалось в первые годы царствования Анны Ивановны, когда царица жила в Москве и там пребывал весь двор. Выселенные Петром Первым в Петербург помещики покинули отведенные им в столице места жительства и разъехались по своим имениям. На Васильевском острове торчали то фундаменты, то полувозведенные каменные стены без окон и крыш; иные дома были уже отстроены, но их хозяева, выехавши сами из Петербурга, в домах оставили прислугу без всяких способов содержания, и правительству приходилось понуждать этих господ давать своим людям содержание. Когда Анна Ивановна перебралась из Москвы в Петербург, северная столица стала опять люднеть, и цены на квартиры, пред тем значительно упавшие, вдруг поднялись так высоко, что правительство своими указами должно было сдерживать произвол домовладельцев. Но тут скоро Петербург, начинавший снова приходить в нарядный вид, постигли пожары, возникавшие от поджогов; они начались в 1735 году и продолжались и следующие года. В 1736 году был сильнейший пожар в Петербурге. Тогда толпа народа, под предлогом тушения огня, производила грабежи и похищения. Обличенные поджигатели были казнены сожжением на месте преступления, а грабители и воры – жестоко наказаны кнутом и сосланы в каторжную работу. В 1737 году, в предупреждение пожаров, устроены были во всем городе караулы и патрули, а при полиции стали содержать печников и трубочистов; и те, и другие обязаны были смотреть за исправностью печей и чистить раз в месяц дымовые трубы во всяком доме. Чтоб у всех всегда наготове была вода для гашения огня, повелено во всяком дворе устроить колодезь. Для бедных, разоренных пожаром и лишенных приюта, отводились бесплатно казенные здания и конфискованные дома. В 1738 году повелено все каменные строения крыть не иначе, как черепицею или железом, а гзымзы и карнизы делать непременно из камня или кирпича. Все удобовозгораемые вещества указано содержать только в нарочно устроенных для того сараях на Петровском острове, а на судах, стоявших на Неве, запрещалось зажигать свечи, курить табак и готовить кушанье; вообще разводить огонь, в случае нужды, можно было только на особых назначенных для того судах. Петербургские пожары, впрочем, возбуждали к лучшей постройке города. В 1737 году Петербург был разделен на пять городских частей, сделано несколько новых мостов, открыты новые площади, посажены на пустых местах деревья и построен новый гостиный двор на Адмиралтейском острове.

Не в одном Петербурге – и в других городах происходили пожары от злоумышленных поджогов. В Москве был сильный пожар в июне 1736 года, потом еще сильнейший 23 мая 1737 года, погубивший в один день 50 церквей и более 2500 домов. После этих истребительных пожаров положили расширить московские улицы, и в обывательских дворах, по примеру Петербурга, завести колодцы. Нескольких человек, обличенных в поджогах, сожгли живьем всенародно. И по всей России свирепствовавшие поджоги вызывали такие же строгости. Даже таких, которые сами не поджигали, а только легкомысленно болтали о пожарах, жестоко наказывали кнутом. В 1740 году опубликован был указ, угрожавший смертной казнью всякому, кто, хотя сам не участвовал в поджоге, но заведомо продавал вещи, украденные с пожара.

Распоряжения против скорой езды в городах повторялись при Анне Ивановне так же безуспешно, как при Петре Первом: в декабре 1737 года на улице, дышлом, чуть было не убили фельдмаршала Миниха.

В видах сохранения народного здоровья, обывателям городов строго предписывалось не бросать трупов падшей скотины по улицам, а зарывать в землю, отнюдь не снимая кожи. В 1738 году повсюду были разосланы офицеры с лекарями, чтобы там, где торговали мясом, не продавали бедным людям худого и нездорового мяса.

Медицинская часть во всей России состояла под ведением медицинской канцелярии, где учреждена была из пяти докторов коллегия, заведовавшая всеми аптеками в России. В 1737 году указано было в городах: Пскове, Новгороде, Твери, Ярославле и в других значительных городах завести врачей из старых военных лекарей, а обыватели должны были давать им свободную квартиру и платить жалованья по 12 рублей в месяц. Учреждались также в этих городах аптеки, где можно было за плату получать медикаменты. Но, к сожалению, этот благодетельный указ долго исполнялся на Руси нерадиво. В 1738—1739 годах опасность вторжения эпидемических болезней побудила к устройству застав по границам Персии и Польши, что тогда останавливало ход торговых сношений с этими странами.

Несмотря на строгие указы Петра I против нищенства, при его преемниках, и в том числе при Анне Ивановне, по всей Руси шаталось множество нищих. Некоторые из них лукавством выманивали себе приют в богадельнях и оттуда все-таки уходили просить подаяния по улицам. Указы за указами следовали против нищенства – все было напрасно. В 1734—1736 годах шатались по дорогам толпы помещичьих людей и выманивали у проезжающих на дневное пропитание, рассказывая, будто господа не кормят их; а в городах по улицам сновали колодники, посаженные в тюрьму за казенные и частные долги. Уже издавна велось на Руси так, что, посадивши неисправного должника в тюрьму и понуждая уплатить долг, его не кормили, а посылали по миру просить подаяния; тем же способом пропитывались и уголовные преступники, которых водили в кандалах на цепях просить подаяния. Это были тощие фигуры, одетые в отрепья, с кровавыми следами правежа и пыток на теле. Чрезвычайное накопление такого рода нищенствующих колодников подало правительству повод издать указ – отдавать их в работы частным лицам с платой им по 24 рубля в год, а если таких частных охотников пользоваться их трудом не найдется, то на казенные работы за 12 рублей в год. Вслед за тем, однако, нищенство увеличилось до такой степени, что от шатающихся повсюду попрошаек не было ни проезда, ни прохода; и тогда издан был новый указ – ловить нищенствующих, из них молодых и здоровых отдавать в солдаты и в матросы, а негодных отсылать в каторжные работы; тех же, которые сидели в заключении за частные долги, по иску челобитчиков, кормить за счет последних, но не пускать просить милостыни.

Разом с нищенством преследовалось бродяжничество. Оно увеличивалось при каждом рекрутском наборе, так как значительное количество бродяг состояло из убежавших от военной службы. Часто рекруты, еще до привода их в прием, учиняли себе членовредительство в надежде, что сочтены будут негодными к службе. Если заранее открывалась такая хитрость, то их наказывали шпицрутенами; но иные успевали провести

начальство и в приеме признаны были действительно калеками; такие, после того, просили милостыню и сочиняли про себя небывалые приключения, чтобы разжалобить сострадательных. Во время войны в Польше многие русские солдаты бежали из армии и селились в польских владениях; кроме солдат, бежало туда же немало помещичьих людей и крестьян, из краев сопредельных с польскими владениями, – таких нередко сманивали к себе польские помещики, обещая им в своем отечестве всякие блага. Из таких беглецов иные скоро соскучивались на чужой стороне и находили, что в Польше положение их не лучше, чем в России; они ворочались в Россию и думали найти себе безопасный притон в Ингерманландии, так как прежде смотрели сквозь пальцы на поселение там беглого народа; но при Анне Ивановне стали их оттуда высылать в места прежнего жительства. И теперь, как при Петре Первом, давались беглым милостивые сроки, в которые дозволялось воротиться с побега и остаться без наказания. Но охотников на такие милости и при Анне Ивановне, как и при прежних государях, являлось немного.

Более смелые и отважные из беглых всякого рода составляли разбойничьи шайки. При самом вступлении Анны Ивановны на престол замечали уже, что разбойничьи шайки в России растут не по дням, а по часам, и жители способствуют этому злу, давая пристанище всякого рода бродягам. Когда двор пребывал в Москве, в окрестностях столицы происходили разбои и грабежи; удалые как будто вовсе не стеснялись близости верховной особы. После переезда двора в Петербург Семену Андреевичу Салтыкову, московскому губернатору, то и дело присылались указы о принятии мер против разбоев в подмосковном крае. Разбойники, однако, были так смелы, что посылали знатым лицам письменные требования положить им в назначенном месте деньги и делали угрозы на случай отказа. Около самого Петербурга до того умножились разбойничьи шайки, что правительство принуждено было отправлять отряды солдат вырублять леса на расстоянии тридцати сажень по обе стороны дороги из Петербурга в Москву. В 1735 году, после двухлетних неурожаев, обеднел везде народ и повсюду умножились разбойничьи шайки. Составлялись из отставных солдат команды для преследования и поимки разбойников, но главный начальник этих команд подполковник Редкин задерживал не столько виновных в разбоях, сколько невинных, с целью брать у них взятки. Ему дали выговор – тем дело кончилось, а разбойники в следующем 1738 году самым безобразным способом давали о себе знать на Волге и на Оке: они грабили плававших по этим рекам торговцев, нападали на помещичьи усадьбы и мучили жестокими истязаниями владельцев и их дворовых, не давали спуска также и казенным таможням и кабакам, убивали целовальников и голов и забирали казенные сборы. Они как будто не сознавали большого греха в своих поступках: жертвовали в церкви материи, награбленные у купцов, покупали колокола и нанимали священников служить панихиды по умерщвленным на разбоях. На низовьях Волги обязанность ловить разбойников, плававших в лодках и грабивших встречные купеческие суда, возложена была на волжское казачье войско, а ограбленные купцы обязаны были платить казакам по три процента со ста за возвращенные товары. И в других краях империи велась борьба с разбойниками. В 1739 году появились их шайки в уездах Кексгольмском и Олонецком; указано было преследовать их оружием и пойманных отсылать в Выборг, где казнить смертью. В том же году дозналось правительство, что толпы русского народа убежали в Польшу из провинций Великолуцкой, Псковской и Новгородской, с намерением составить в чужой земле разбойничью шайку и явиться в российских пределах: отправлен был в Великие Луки полк – не пропускать из-за границы русских беглецов. Но в 1740 году, уже перед кончиною императрицы, в самом Петербурге распространились кражи, грабежи и убийства, – в Петропавловской крепости убили часового и похитили несколько сот казенных денег.

Сухопутное войско, расставленное на так называемых вечных квартирах, служило для водворения гражданского порядка и безопасности жителей края. Военные, по распоряжению местных начальств, тушили пожары, преследовали разбойников и отправляли казенные работы; но строго воспрещалось употреблять их, под каким бы то ни было предлогом, на работы частные. Однако пребывание войск на вечных квартирах не обходилось без



беспорядков и недоразумений между военными чинами и обывателями городов и сел; всего чаще они возникали по поводу постоянной повинности и временного передвижения войск. Расположенное на вечных квартирах сухопутное войско не состояло в своем надлежащем комплекте: постоянно в бегах считалось тысяч до двадцати и более.

Морское дело при Анне Ивановне совершенно приостановилось и, так сказать, было забыто. Кораблестроение, которым с таким жаром занимался Петр Великий, было покинуто, хотя и назначали отпускать из казны в год на морское дело немалые суммы и определяли строить число кораблей разных размеров. Но это все оставалось только на бумаге. О мореплавании мало помышляли государственные мужи России, и Миних, занимаясь укреплением Кронштадта, докладывал, что в кронштадтской гавани лежат кучами ветхие военные суда, которые остается выкинуть и истребить, как ни к чему не годные, но для этого потребуется чрезвычайное множество рабочих рук. Достоин замечания, что Миних, приобретший себе историческую славу, как полководец, едва ли не более русских людей признавал важность кораблестроения для величия и безопасности Русского государства.

## VI. Образованность, промышленность и торговля

*Обучение юношества. – Кадетский корпус. – Училище в Сенате. – Академия наук. – Ученые экспедиции. – Литературные труды. – Другие училища. – Лесоразведение. – Хлебное производство. – Конские заводы. – Рыбные промыслы. – Селитра. – Потаи. – Ревень. – Пенька. – Черепица. – Металлы. – Кожевенное производство. – Суконные и шелковые фабрики. – Купечество. – Меры правительства по отношению к торговле. – Монетное дело.*

В деле народного образования в век, описываемый нами, обращалось внимание на образованность одного дворянского класса. С целью доставить воспитание дворянскому юношеству учрежден был сухопутный кадетский корпус. Хотя специальное назначение его было выпускать годных к военному званию людей, но допускалось, что государству нужны и люди, посвящающие себя гражданской деятельности, поэтому кадетский корпус, будучи заведением специально учебным, был в то же время и общеобразовательным.<sup>258</sup> Приготовлявшиеся к морской службе получали образование в морской академии. Правительство покровительствовало грамотности и между низшими воинскими чинами. При гарнизонных полках заведены были школы, где на казенном иждивении обучали солдатских детей, но туда принимали также и мелких дворян. Неграмотных солдат не производили в унтер-офицеры. Что касается дворянства, то рождение в этом звании служило уже обязательством быть грамотным человеком. Лица шляхетского звания, по указу 1737 года, должны были своих, достигших семи лет, сыновей привозить в столицах к герольдмейстеру в сенат, а в губерниях к губернатору, для отдачи их в обучение, и в 16 лет возраста юноши сами должны были являться в сенат в Петербург или Москву для экзамена из арифметики и геометрии. Тех недорослей, которые, будучи представлены в сенат, не оказывали ни охоты, ни способности к военной службе и не могли быть приняты ни в кадетский корпус, ни в морскую академию, оставляли при сенате для приготовления к гражданской службе. Они два дня в неделю являлись в сенатскую камеру для обучения арифметике, геодезии, геометрии, географии и грамматике; они не должны были посещать «вольных домов» (трактиров) и играть в карты и кости; каждый день обязаны они были пудрить голову и в известные праздники, вместе с кадетами, ходить ко Двору. Если у кого из них не оказывалось никакой охоты к учению – того отдавали в солдаты. Вообще охоты к образованию у всего российского дворянства было очень мало: несмотря ни на какие царские указы, дворяне не хотели отдавать детей в учение, – и на смотр их возить уклонялись, и дома их ничему не обучали.

Высшим образовательным заведением была академия наук, при которой с 1735 года

<sup>258</sup> О кадетском корпусе подробнее излагается в жизнеописании фельдмаршала Миниха.

заведен был семинарий для тридцати пяти юношей шляхетского звания и, кроме того, велено было из московского училищного монастыря присылать туда молодых людей для обучения наукам. Академия наук руководила учеными экспедициями. Так, в 1732 году снаряжена была вторая экспедиция к камчатским берегам; она имела и административное значение, потому что ей поручали заселение Охотска и всего вообще восточного берега. Беринг должен был посылать сухим путем и водою к Северному морю сметливых людей для узнания края, а самому Берингу поручалось проведывать, какие земли находятся между полуостровом Камчаткой и Америкой, и отысканные земли подчинять России, не касаясь, однако, прав европейских государств, а также прав Китая и Японии; но с этими последними государствами он должен был завести торговые сношения. В 1736 году отправлена была от академии наук другая экспедиция под начальством Муравьева и Овцына, для отыскания путей по Ледовитому морю от Архангельска до устья Оби, а в 1740 году отправлен был от той же академии профессор Делиль для астрономических наблюдений в Обдорск.

Внимание академии наук обращено было и на отечественную историю. По докладу академии, в июне 1736 года указано было по всей России собирать рукописи и документы, относящиеся к царствованию Ивана Васильевича Грозного, Михаила Федоровича и Алексея Михайловича, и отсылать их в сенат, а сенат должен был, что в них относилось собственно до истории, посылать в академию наук; то же, что, по соображениям сената, еще подлежало тайне, отправлять в Кабинет. Тогда-то появились первые труды Миллера, иностранца, прибывшего в Россию в 1720 году и оказавшего бесценные услуги русской истории и вообще русскому просвещению. Еще не зная основательно русского языка, он начал собирать материалы по русской истории и издал по-немецки «Сборник статей по русской истории» (*Sammlung der russischen Geschichte*), который до сих пор не потерял своей цены. В 1732 году Миллер был командирован от академии наук в Сибирь для изучения тамошнего края и пробыл в этой командировке десять лет, а по возвращении много лет, до конца своей жизни приводил в порядок собранные им материалы, относящиеся к географии, истории, этнографии и естествознанию России. Это собрание до сих пор хранится в московском Архиве Иностранных Дел, известное в ученом мире под названием Портфелей Миллера, и представляет такую неисчерпаемую сокровищницу для науки, что ее станет еще на целое столетие, несмотря на то, что редкий, занимавшийся русскою историей, не пользовался этим собранием.

При первом насаждении ростков знания в России, понятно, что хотя по мысли преобразователя-царя и основана была российская академия наук, но она была наполнена иностранцами. Впрочем, скоро уже стали появляться и чистокровные русские люди, работавшие в области знания и литературы. По русской истории старейшее место из них принадлежит Василию Никитичу Татищеву. Его специальностью было собственно горное дело, и для изучения его Петр отправил Татищева за границу, где тот пробыл много времени и потом всю свою жизнь в России посвящал этого рода деятельности. Но в то же время он полюбил отечественную историю и первый написал по-русски обширную историю России, к сожалению, оставшуюся неоконченною.

В числе русских писателей той эпохи нельзя без уважения привести имен Ададунова (физика), Манкиева, сатирика Кантемира, Тредьяковского и знаменитого Михаила Васильевича Ломоносова, творца нового книжного русского языка. Эпоха царствования Анны Ивановны в отношении русского просвещения представляла подобие того времени дня, когда утренняя заря разгоняет темень, остававшуюся от ночи, и готовит выход на горизонт дневному светилу. Для нас теперь сочинения того времени представляются далеко не в том значении, какое имели в свое время. Сатиры Кантемира и оды Ломоносова кажутся нам чересчур тяжелыми, а сочинения Тредьяковского – образцом бездарности. Между тем и последний был одним из передовых людей своего века: в подтверждение этого достаточно указать, что он ранее всех понял превосходство тонического размера перед силлабическим для русского языка и первый стал писать этим размером стихи, открывая путь грядущим русским поэтам.

Нельзя сказать, чтобы в царствование Анны Ивановны правительство вовсе не думало о просвещении в России. Оно, бесспорно, желало, чтобы в ней существовало и процветало высшее ученое заведение, хотя бы члены этого заведения писали не по-русски, за неготовностью русского языка к выражению предметов высших наук. Правительство не отказывало этому учреждению посильно и в материальных средствах, и в привилегиях. В 1735 г. академия наук, по повелению назначить себе штат, проектировала на свое содержание 64086 рублей в год; сенат уменьшил эту сумму до 53298 р., но во все царствование Анны Ивановны она с трудом могла достаться академии: ограничивались единовременными пособиями, из которых самое крупное в 20000 руб. выдано было в 1739 году. Специальной привилегией академии наук было издание календаря, а в Киеве и во всей Малороссии приказано было отбирать и жечь календари, привозимые из Польши, потому что правительство замечало в них «зловымышленные и непристойные пассажи». Академии наук дано было исключительное право печатать книги религиозного содержания и церковно-служебные на языках грузинском и калмыцком, и посылать их предварительно, до выпуска в свет, на проверку сведущим в этих языках лицам, которых нарочно держали при Синоде.

Академия наук была не только ученое, но и учебное заведение, где русские могли получить литературное или энциклопедическое образование. Такое же образование можно было получать в московской славяно-греко-латинской академии и в славяно-греко-латинских школах, основанных по инициативе белгородского епископа Епифания в Харькове, при Покровском монастыре.

Об образованности простонародия заботились мало. Существовал даже такой взгляд, что простой народ незачем учить грамоте, чтоб не отвлекать от черных работ; в таком именно смысле выразился указ декабря 12-го 1735 года, состоявшийся по просьбе заводчика Демидова, хлопотавшего, чтобы обывательских детей не принуждали к учению. Только в видах распространения христианства, в Астрахани в 1732 году заведено было училище для новокрещеных, а в 1735 году с тою же целью в четырех городах Казанской губернии основано по школе, и в каждую назначалось по два учителя и комплект в 30 человек учеников. В малороссийские школы, существовавшие издавна в Малороссии по приходам, правительство не вступалось вовсе; но в сентябре 1738 года оно указало учредить в Малороссии школу для пения, и в этой школе следовало, рядом с пением, обучать струнной музыке, игре на скрипке и на малороссийской бандуре. Из этой школы ежегодно посылалось десять лиц ко Двору и, по отсылке, их заменяли в школе другими десятью.

В области хозяйства, промышленности и торговли царствование Анны Ивановны было продолжением царствования Петра Великого. Такие же распоряжения, какие издавались Петром Первым о сбережении лесов, появлялись и при Анне Ивановне, хотя с меньшею суровостью. Их повторение казалось тем необходимее, что русские люди, со смертью Петра I, перестали бояться взыскания за невнимание к сбережению лесов и начали истреблять их. Кроме произвольной, хищнической порубки, леса истреблялись от пожаров на широкие пространства. Около самого Петербурга лесные пожары свирепствовали в таком размере, что императрица принуждена была писать к генералу Ушакову, начальнику тайной полиции, чтоб он принял меры к избавлению ее величества от дыма и копоти в ее дворцах петербургском и петергофском, и сенат выслал отряды солдат тушить пылавшие леса. Что касается до прекращения самовольной рубки лесов, то в 1730 году составлена была опись всем заповедным лесам в государстве, которые предположено было сберегать для казенных построек. Положено было считать заповедными леса, растущие вдоль Волги, вниз от Нижнего Новгорода на обе стороны от берегов расстоянием на сто верст, а также и в других местах около больших рек и озер. По селам и деревням возобновлены надсмотрщики, состоявшие под начальством вальдмейстеров, дававшие разрешения обывателям на рубку для домашних нужд. Были деревья заповедные: дуб, ясень, клен, вяз, илим, лиственница и сосна, имеющая в диаметре 12 вершков; прочие деревья не причислялись к заповедным; можно было рубить их, хотя бы и в заповедном лесу. За самовольную рубку наказывали большими денежными штрафами за два раза, а за третий – виновный подвергался кнута и

ссылке в каторгу. Там, где замечалось оскудение лесов или где нуждались в их изобилии, там полагалось отводить помещикам участки, обязывая засеять их лесами.

Хлебное производство подчинено было таким же правилам, как и при Петре Первом. Торговля хлебом была то стесняема, то расширяема, смотря по урожаям. В 1734 году постиг Россию страшный неурожай; тогда у всех купцов, торговавших хлебным зерном, велено было отбирать товар и продавать без платежа пошлин в казну, так, чтобы хозяину доставалось не более десяти процентов барыша. Губернским и провинциальным властям, а также штаб-офицерам войск, расположенных на вечных квартирах, поручено было наблюдать, чтобы помещики продавали хлеб только лишний, остающийся у них от продовольствия людей и крестьян. Из провинций, страдавших от неурожая, запрещалось возить хлеб для продажи в столицы, а Петербург должен был снабжаться хлебом из той полосы империи, которая не терпела тогда от неурожая. В 1737 году, после пожаров, вздорожали строительные материалы, а вслед за ними поднялись цены на жизненные потребности и в том числе на хлеб: правительство издало указ, запрещающий дальнейшее повышение цен. Много хлебного зерна истрачивалось на винокурение помещиками, получившими привилегию свободного производства вина в своих имениях и провозившими это вино повсюду под предлогом, что то делается для своего обихода. Для массы простого или «подлого», как тогда говорилось, народа, хлебное вино продавалось в кружечных дворах, в кабаках и в вольных домах, составляя казенный доход. Продажа виноградного вина, кваса, пива, укуса и сусла отдавалась на откуп, а с 1735 года откупа были сняты, и торговля этими произведениями стала вольною. В Малороссии и в Слободской Украине, как уже было выше сказано, винное производство было вольное.

Заботливость о разведении конских заводов была своеобразною чертою царствования Анны Ивановны, под влиянием ее любимца Бирона. В 1731 году учреждена была конюшенная канцелярия или конюшенный приказ: он получил в 1733 году особый регламент, где были означены разные должности – шталмейстер, провиантмейстер, фуражмейстер, экипажмейстер, рейтанеи и конюхи. В ведомство этого нового учреждения был отдан город Скопин, а потом город Раненбург с несколькими волостями и селами; в последующие годы в губерниях Нижегородской, Казанской, Воронежской и в провинциях Алатырской, Тамбовской, Севской и Курской положено отвести пустопорожние земли для основания конских заводов; в дворцовых волостях, лежавших более всего около Москвы, велено выписывать немецких и датских лошадей и обучать конюхов и коновалов. Всем остзейским обывателям вменено в обязанность разводить у себя в крае лошадей и дозволялось беспошлинно торговать ими на двух конских ярмарках, учрежденных в Риге и в Киеве. В 1739 году положено завести конские заводы в Малороссии и в Слободской Украине – раздать по полкам маток и выписывать для них немецких заводчиков. В том же году указано то же сделать во всех имениях церковного ведомства. До самой своей кончины Анна Ивановна оказывала большое попечение к успеху коннозаводства в России.

Рыбный промысел, процветавший тогда преимущественно в низовьях Волги, составлял государственное достояние и отдавался на откуп за 3500 рублей в год. Достоянием казны при Анне Ивановне, как и в предшествовавшие ей времена, были: селитренное и поташное производства, ремень и пенька. В 1736 году заведены были близ Саратова на старом Увекском городище селитренные заводы, и с этою целью туда отправлялись офицеры с солдатами для производства казенных работ. Но потом правительство стало недовольно тамошним ходом работ и в 1740 году предоставило всем желающим частным людям заниматься селитренным производством, а выработанную ими селитру обязало представлять в казну по установленной цене. Порох в вольной продаже не был допущен; его можно было покупать только из артиллерийского ведомства и притом в количестве не более десяти фунтов в одни руки, но знатым особам давалось дозволение покупать пуда по два и по три. Закон, стеснявший продажу пороха обычным путем торговли, не мог воспрепятствовать, однако, доставать его разбойникам.

Казенные поташные заводы были в уездах Нижегородском, Арзамасском, Саранском,

Кадомском, Шацком, Верхнеломовском и Нижнеломовском. Всех их было восемнадцать; к ним были приписаны крестьяне, которые все происходили из мордвы и ведались в Починковской конторе. Поташ с места производства доставляли в Петербург в бочках, обшитых рогожами, и там его сбывали английским купцам в присутствии русского браковщика. Казна всегда высоко ценила торговлю этим произведением.

Ревень доставлялся в Петербург из Сибири. Каждый год привозили его до тысячи пудов. Его продавали английским купцам не ниже ста рублей за пуд. Никто из частных лиц не смел привозить ревеню из Сибири под страхом смертной казни. Пеньку привозили в Петербург из разных мест, а с 1737 года из Малороссии. Соляная продажа всегда была свободна, но ограничивалась назначением таксы, выше которой продавец не должен получать барышей.

Обращено было внимание на выделку черепицы, которую сочли лучшим материалом для кровли церквей, дворцов и домов, для безопасности от пожаров. В 1737 году черепичное дело в России отдано было голландцу Дикоту, с обязанностью продавать черепицу в частные руки по той цене, по которой она будет продаваться в казну. Выделывалось два сорта черепицы: красная выгибная для кровли домов и зеленая для кровли церквей.

Металлическое производство в царствование Анны Ивановны стало переходить из исключительно казенного достояния в общедоступное. В 1731 году было замечено, что в Вятской провинции отыскивается так много железной руды, что нет возможности казне обрабатывать ее, за недостатком капитала. Поэтому дозволено было частным людям основывать железные заводы: таким обещано давать из царских волостей по сто и по сто пятьдесят дворов к каждой домне с тем, чтобы каждая домна, по миновании своих льготных лет, вырабатывала ежегодно до 35000 пудов чугуна. В 1735 году в Сибири оказалось чрезвычайное множество разных руд, отысканных 7 частными лицами, и тогда было дозволено каждому по желанию основывать рудокопное заведение с разрешения сената. В 1738 году все казенные горные заводы, исключая Гороблагодатских на Урале и медных в Лапландии, отдали компании, составленной как из русских, так и из иностранцев. Затем всем дозволено было составлять такие компании, основывать новые заводы и брать от казны пособие. Золото и серебро за границу не отпускались, равно как и свинец, который шел на приготовление боевых запасов для русского войска. Золото и серебро добыватели должны были доставлять в казну, получая за золотник золота два рубля тридцать копеек, а за золотник серебра четырнадцать копеек. Прочие металлы можно было продавать всякому, но с продаваемой меди отдавать в казну две трети по ходячей цене, а с других металлов и минералов по десять процентов. Хозяевам заводов дозволено было выписывать из-за границы мастеров. Гороблагодатские и лапландские медные заводы, составляя казенное достояние, отдавались на откуп. Оружейные заводы, сестрорецкие и тульские, находились в казенном ведомстве и в 1737 году были соединены в одно управление. При них в Туле и Сестрорецке устроены были фабрики зеленой меди с тем, чтобы прекратить барышничество подрядчиков на вещи, потребные на мундирное строение. Тульских оружейных мастеров было налицо 2158 человек, но около Тулы крестьяне в кузницах стали заниматься железными изделиями: правительство нашло эти изделия плохими и запретило этот вольный промысел.

Еще Петр I обратил внимание на производство кожевенных вещей. При обилии кожаного материала, русские не обрабатывали его сами, а продавали в сыром виде иностранцам и покупали у последних изделия из русской кожи по высокой цене. Петр запретил вывоз кож в сыром виде за границу, но этот указ после Петра плохо соблюдался, хотя несколько раз повторялся снова. В 1736 году учреждена была компания владельцев новоманерной кожевенной фабрики и получила привилегию на поставку для армии своих изделий по установленным ценам.

Производство шерстяных тканей, так покровительствуемое Петром I, равным образом пользовалось вниманием и при Анне Ивановне. В 1733 году дали привилегию фабриканту Полуярославцеву, владевшему фабриками в Москве и в Путивле и овчарным заводом. Из

Малороссии запретили вывозить овчины за границу и обязали доставлять их ему на фабрики. Он поставлял сукно в казну на солдатскую обмундировку. В 1736 году купец Евреинов с компаниею из купцов выхлопотал привилегию на открытие в Москве суконной фабрики; дано было этой компании заимообразно из казны 10000 рублей без процентов, с обязательством выплатить их в течение трех лет мундирными сукнами. Дано было право беспошлинного привоза материала на десять лет и освобождение домов, принадлежащих членам компании, от военного постоя навсегда. В том же году двум астраханским купцам-армянам дана была привилегия на открытие суконной фабрики и овчарного завода за собственный их счет, с правом привозить беспошлинно материалы в течение пятнадцати лет.

Производство шелковых тканей сосредоточивалось отчасти в руках того же купца Евреинова с компанией. Для успеха своего предприятия он в 1737 году выхлопотал привилегию ежегодно покупать на 10000 рублей китайского шелка, выплачивая за него сибирскими меховыми товарами. Кроме него, в 1740 году астраханские армяне, владевшие собственными плантациями, испросили право на заведение в Астрахани и Кизляре шелковых и бумажно-хлопчатых фабрик, с правом привозить из Персии материалы беспошлинно.

Нельзя сказать, чтобы правительство Анны Ивановны показывало мало желания к расширению промыслов и торговли в Российском государстве. Ряд узаконений в пользу хозяев промышленных заведений и купцов показывает, что эти господа находили себе опору у правительства. Так, в 1736 году указано было всех, обучавшихся какому бы то ни было мастерству и поступивших на фабрики, оставлять при них навсегда, выписывая их из подушного оклада, а всех бродяг, объявивших себя не помнящими родства, приписывать на жительство к фабрикам и заводам. Таким образом, эти люди делались крепостными фабрикантов и заводчиков. Купечеству давалось важное право покупать людей и крестьян для отдачи их в рекруты. Все торговые люди ведались в ратуше; губернаторы и воеводы не смели вмешиваться в их управу и в их сборы. Сами купцы несли выборную службу в ратушах и в таможах; но те из них, которые владели фабриками и заводами или входили в договоры с казною, освобождались от выборной службы.

Пользуясь ласками правительства, купцы, однако, были связаны тем, что должны были торговать непременно в гостиных дворах и в лавках, а не в собственных жилых дворах, и в розницу могли торговать только в своих городах, а в чужие города дозволялось им ездить с товарами для оптовой торговли. Иноземцы с 1731 года получили от правительства право торговать по всей России, продавая свои товары только оптом, а не враздробь. Таким же правом пользовались евреи в Малороссии и Смоленщине. Английские купцы перед всеми другими иноземцами пользовались предпочтением и вниманием правительства: их дворы в Петербурге были освобождены от военного постоя. Некоторым лицам, не принадлежащим по званию к торговому классу, давали торговые привилегии. Так, граф Гаврило Владиславлев в 1735 году приобрел право торговать по всей России беспошлинно, а в 1737 году, по челобитью цесаревны Елисаветы Петровны, крестьянам ее волостей даровано было право торговать без записания в купеческое звание. Это был исключительный случай: правительство того времени не поощряло простолюдинов к торговым занятиям; напротив, в 1739 году в Петербурге запрещено было здоровым и годным к черной работе людям заниматься продажей плодов и овощей по улицам.

По устройству монетного дела, царствование Анны Ивановны богато правительственными распоряжениями. В 1730 году указана постоянная цена русскому червонцу – два рубля 20 коп. В 1731 году уничтожены мелкие серебряные деньги, и владельцам их предоставили право представлять их для переделки в монетную контору и получать из казны по 18 коп. за золотник чистого серебра. Вместо прежней мелкой денежной монеты стали чеканить более крупную в размере рублевиков, полтинников и гривенников – 77-й пробы. В том же году уничтожена была вовсе медная монета, но бывшая уже прежде в обращении продолжала ходить в народе до 1737 года, когда всем дозволили, по желанию, переливать ее в медную посуду.

Важным узаконением в царствование Анны Ивановны было учреждение ссудной казны

при монетной конторе, откуда желающим выдавали деньги под залог серебра по восемь процентов в год. Это учреждение последовало во внимание к тому, что частные лица, нуждаясь в наличных деньгах, делали займы и платили обыкновенно по двадцати процентов в год. Таким образом, правительство пресекало вредную деятельность ростовщиков и соблюдало пользу своих финансов.

## VII. Церковь

*Политика правительства по отношению к церкви. – Влияние немцев. – Дело Феофилакты Лопатинского. – Попытки иноверцев. – Отступничество. – Раскол. – Рационально-мистические секты. – Суеверия. – Меры к образованию духовенства. – Монастыри. – Управление монастырскими имуществами.*

Дух Петра Великого продолжал руководить политикою правительства Анны Ивановны и по отношению к вере. Оно издавало распоряжения, клонившиеся к распространению христианской веры и к охранению господствующей православной церкви от иноверия, но разом издавало и такие, которыми хотело оградить православную церковь от ханжества.

Еще Петр I повелевал отбирать поместья у татарских мурз, не хотевших креститься. 6 марта 1730 года Анна Ивановна подтвердила этот указ своего дяди, указавши при этом – отобранные уже прежде у татарских мурз поместья передавать тем из их родственников, которые согласятся креститься, или же самим прежним владельцам, если они перестанут упорствовать и примут крещение. При таких мерах сразу накопилось множество новых христиан, но, оставаясь в сообществе со своими некрещеными соотечественниками, они только по имени считались христианами, а на самом деле держались приемов своей прежней религии; иные же открыто отрекались от христианства и возвращались к магометанству или к язычеству, смотря по тому, какую веру исповедовали прежде крещения. В конце царствования Анны Ивановны отправлен был в Казань учитель иноверцев – московской духовной академии архимандрит Димитрий Сеченов, с пятью духовными лицами, знавшими языки тамошних инородцев. Они должны были новокрещенцам излагать основания христианской веры, учить их главнейшим молитвам и отвращать от языческих и мусульманских обычаев, отнюдь не делая принуждений тем, которые еще не изъявляли желанья креститься. Чтобы утвердить новокрещенцов в принятом ими вероисповедании, сочли нужным отделить их от некрещеных и положили отвести крещеным удобные для поселения земли поблизости к Саратову и к Царицыну, так, чтобы при каждых 250 дворах построить деревянную церковь и определить в нее по два священника, по одному диакону и по три церковника, назначив им денежное и хлебное жалованье.<sup>259</sup> Каждый новокрещен, по совершении над ним крестного обряда, получал в дар крест, белье, кафтан и несколько денег. На новоселье новокрещенцам давалась льгота на три года, а повинности за них в эти льготные годы должны были отбывать их некрещеные братья. Новокрещенцам дозволялось поступать внаймы и заниматься торговлей. Для них учредили специальное ведомство – новокрещенскую контору. Для обучения инородческих детей указано было завести четыре школы: в Казани, Елабуге, Цивильске и Царевококшайске; там надлежало обучать русскому чтению и письму, десятисловию, часослову, псалтири и катехизису, но вместе с тем предписывалось наблюдать, чтоб ученики отнюдь не забывали своих природных языков.

Иностранцам других христианских вероисповеданий предоставлена была свобода строить свои церкви и в них отправлять богослужение. В Петербурге были церкви лютеранская и армянская. В некоторых местах по украинской линии, где было много иностранцев рабочих из немцев, велено было построить лютеранские церкви. Правительство узнало, что иностранные духовные, не довольствовавшиеся свободой своего богослужения,

---

<sup>259</sup> Священнику – 60 рублей в год, диакону – 40, причетникам по 30 и по числу четвертей хлеба, соразмерно с числом жалуемых рублей. Это выселение и отделение крещеных от некрещеных впоследствии не удержалось.

начинали совращать в свою веру православных; издан был манифест, строго запрещающий такие совращения... Эпоху царствования Анны Ивановны считают обыкновенно эпохой господства немцев-протестантов в России. Такой взгляд не лишен основания, но преувеличено мнение тех, которые замечали со стороны немцев стеснение православной веры, издавна здесь господствующей. В этом отношении немцы, занимавшие в России высокие места, были благоразумны и сдержанны, да и сама императрица, как ни тесно сблизилась с немцами, оставалась все-таки приверженною к отеческой вере. Обыкновенно ставят на вид историю Феофилакты Лопатинского, архиеерея, потерпевшего за то, что вступил в неприязненные отношения к протестантству. Он издал книгу покойного Стефана Яворского «Камень веры», – книгу, направленную против протестантского учения вообще. За границу, в Лейпциге, некто Буддей напечатал опровержение на эту книгу; автор восхвалил новгородского архиепископа Феофана Прокоповича и порицал Феофилакты Лопатинского. Феофилакт изъявил подозрение, что Буддей выставлен как псевдоним, а настоящий автор опровержения на «Камень Веры» – не кто иной, как сам Феофан Прокопович, а последнего давно уже обвиняли в расположении к протестантству. Феофилакт спрашивал у Двора разрешения писать возражение на книгу Буддея и не получил его по интригам князя Алексея Черкасского, благоприятеля Феофанова.

В это время другой какой-то протестант написал другое сочинение против Феофилакты, под названием «Молоток на Камень веры», и этого «Молотка» опровергать Феофилакту не позволили; только архимандриты, члены Святейшего Синода, перевели книгу иезуита Рибейры против протестантства: в этой книге резко укоряли Феофана Прокоповича за пристрастие к протестантству в предосуждение православию. Феофан был человек злой и мстительный; он всегда преследовал своих противников, пользуясь влиянием, какое получил и сохранял при Дворе со вступления на престол Анны Ивановны. И теперь, по его стараниям, переводчики книги Рибейры засажены были в крепость, а Феофилакты вытребовали в Синод к ответу. Феофан умер прежде, чем это дело кончилось, но соперник его, Феофилакт, и по смерти своего врага потерпел не меньше, как бы мог потерпеть и при его жизни. Его лишили сана и подвергли жестокому тюремному заключению в Выборгском замке. Это событие произошло как бы в угоду протестантам; его приписывали силе немцев, заправлявших тогда делами в России. Скорее, однако, тут следует видеть известную злобу Феофана Прокоповича, который уже не одного из тех, кого считал своими врагами, замучил без сострадания, и в том числе своего предшественника в сане архиепископа, Феодосия Яновского. Что касается правительства с немцами во главе, так жестоко поступившего с Феофилактом уже после смерти Феофана, то и оно, кажется, здесь руководствовалось намерением показать политическое благоразумие, не допускаясь разыгрываться страстям под возбуждением религиозных прений.

По соседству России с Польшею, католики делали попытки своей пропаганды в России. При Анне Ивановне правительство указало прибывавших в Россию из Польши католических духовных прогонять обратно в польские владения, если существовало подозрение, что они ехали в Россию с целью совращать православных в свою веру; напротив – принимать являвшихся из польских владений православных обывателей как духовного, так и мирского звания, искавших убежища и новоселья в России, по поводу возникшего гонения на православие и насильственного понуждения народа к унии. Прибывших таким образом православных обязывали произносить присягу на верность императрице, после чего позволяли им водворяться и избирать род жизни по своему желанию, а пришельцев духовного сана повелено было по возможности определять на вакантные места.

Сурово преследовали тех русских, которые отрекались от православной веры и принимали чужую. Так, в 1738 году сожгли живьем флота капитана Возницына разом с иудеем Борухом Лейбовичем, совратившим его в иудейскую веру, а в 1740 году казнен смертью сибирский казак Исаев за принятие магометанства. С переменившими православное исповедание на другое христианское поступали не так сурово, но все-таки и это считалось большим преступлением. Были подобные примеры с людьми высшего класса; мы уже знаем,



что за свое отступничество они подвергались нравственному унижению от высочайшей особы.

Правительство Анны Ивановны по отношению к расколу старообрядства держалось основной политики Петра I: не преследовали раскол по религиозному убеждению, а не терпели его из-за политических соображений, находя бесполезным для государства, если жители станут отпадать от господствующей церкви и составлять свои особые вероучения. Старообрядство, жестоко гонимое в середине государства со времени своего появления, давно уже искало спасения в отдаленных окраинах. Верное древнему преданию, оно поставляло высшим нравственным идеалом иночество. Где поселялись гонимые старообрядцы, там тотчас возникали пустыни и скиты с иноками и инокинями, хранившими старинные дониконовские обряды. Множество старообрядцев селилось в сибирских дебрях и тундрах, и в этих негостеприимных странах появились раскольничьи монастыри, около которых селились и семейные их единоверцы. Много таких монашеских обителей было около Екатеринбурга и около заводов Демидова. Приказано было разорять эти обители, и отысканных в них монахов отсылать к тобольскому архиерею для размещения по монастырям. Но тобольский архиерей доносил, что многие из таких иноков и инокинь разбежались, и по этому донесению правительство нашло более сообразным посылать таких монашествующих раскольников, вместо монастырей, на казенные заводы в работу, а тех, которые прежде приписались на частные заводы – обложить двойным подушным окладом, как уже прежде при Петре I все раскольники были обложены таким окладом. Такая судьба постигла раскольников, поселившихся в Сибири. Другой приют нашли себе раскольники в другом конце государства – у подножия Кавказа, в астраханской епархии: в 1738 году синод получил сведение, что гребенские казаки, по примеру отцов своих, держатся двоеперстного крестного знамения, не хотят знать церкви и не слушают никаких увещаний. По всей империи, кроме двойного оклада, раскольники старообрядцы стеснены были лишением права брать плакатные паспорта; тех же из них, которые дерзали совращать православных в свое вероучение, указано ссылать вечно на галеры. Таким же наказанием угрожали помещикам, старостам и бурмистрам за укрывательство противозаконных покушений совращать православных. Не доверяя вовсе безопасности в пределах Русского государства, многие раскольники уходили в Польшу и там поселялись, но русское войско, вступивши в эту страну в 1733—1734 годах, забирало этих беглецов и гнало назад в Россию. Сперва их поселили было в Малороссии, а потом с 1735 года стали возвращать на первые места жительства, из которых они ушли за границу; объявивших же себя монахами указано было отсылать в монастыри внутри государства и там содержать их скуднее против обыкновенных монахов, давая двоим из них по одной монашеской порции. Иные раскольники, чтоб избежать гонения за свою веру, оставаясь на своих местах жительства, притворно посещали православные храмы, крестили и венчали детей своих по православному обряду, а на самом деле оставались раскольниками. В 1736 году указано было таких, которые исполняли православные обряды, но придерживались раскольничьего вероучения, наказывать строго, наравне с теми, которые вновь совратятся из православия в раскол.

Кроме старообрядческого раскола, при Анне Ивановне возникали и рационально-мистические секты. В Москве и около Москвы появлялись сборища людей обоего пола, сходящихся вместе с молитвенною целью; из них находились такие, которые заявляли, что чувствуют на себе наитие Духа Святого, – они дрожали, кривлялись, вертелись, говорили странные речи, а слушатели искали в этих речах пророческого смысла. Такие сборища назывались согласиями. На этих согласиях показывались признаки склонности к старообрядству, потому что на одном из них, в качестве пророческого вдохновения, говорили, что надобно креститься двумя перстами. Они почитали грехом половое совокупление, хотя бы и между состоящими в браке, наравне с пьянством, матернею бранью и лганьем, что в одинаковой степени признавалось противным Богу. Одно такое сборище было открыто в Москве в доме мастера парусной фабрики Ипполитова, где, между прочим, какой-то монах раздавал присутствующим кусочки хлеба, а какая-то монахиня давала

запивать это квасом из ковша, и это вменялось как бы в причастие. На других сборищах проповедовали, что Христос не единожды только должен являться на земле, а может снова воплощаться в человеческом образе: находились такие, что сами себя выдавали за пришедшего вновь на землю Христа. Таких христов появлялось несколько в разных краях: в Москве какой-то отставной стрелец Лубкин выдавал себя за Христа, учеников своих называл апостолами и причащал их разрезанными ломтиками калачей; на Дону казак Мирон выдавал себя за Христа-Бога, а в Ярославском уезде, в селе Ивановском, поп Иван Федоров говорил своему отцу: «Ты мне не отец, я зачат в чреве матернем от Св. Духа, благовестил о мне ангел, я рода царского».<sup>260</sup> По открытии таких сборищ некоторые участники их были казнены смертью, другие – биты кнутом и сосланы в Сибирь. Мы еще подлинно не знаем – были ли это давние народные суеверия, случайно ставшие известными при Анне Ивановне, или они порождены были сравнительно в недавнее время; равным образом, не можем сказать – есть ли это произведение чисто русского фанатизма или плод чужеземного влияния.

Разом с нарушением православного благочестия путем отречения от господствующей церкви правительство преследовало всякие суеверия, хотя бы и прикрывавшиеся личиною православной религии. Следуя политике Петра I, оно не терпело появления юродивых, пророков, трудников, паломников и всякого рода ханжей, а равно и тех, которые им потворствовали. По городам и селам бродили нищие в безобразном виде, с колтунами на головах, и выдавали себя за одержимых бесами. Таких приказано было ловить и отсылать к суду. В 1739 году близ Новгорода появилось двое трудников, живших в шалашах подле городской стены. Народ считал их святыми, получившими от Бога дар пророчества, и ходил к ним за советами. Правительство приказало взять их без огласки и, не подвергая истязаниям, заслать в монастыри, а вперед, если где явятся подобные пророки, то стариков из них отправлять в монастыри, а молодых отдавать в солдаты, женщин же и девиц препровождать на места их прежнего жительства и отдавать под надзор местных начальств. Особенно строго наказывали тех, которые выдавали себя за волшебников, умеющих причинять зло людям и портить их. Несколько таких плутов было сожжено живьем, а тех, которые приглашали их портить людей, били кнутом и, вырвавши ноздри, ссылали в каторжную работу.

Как ни сурово относилось правительство Анны Ивановны к расколу и к религиозным заблуждениям, но оно все-таки было мягче и снисходительнее, чем того желали некоторые ревностные духовные сановники. Так, например, в 1737 году рязанский архиерей доносил синоду, что ему, при его старости, трудно разглагольствовать с раскольниками, и находил, что лучше бы смирать их постом и плетью. На это он получил такой ответ: «Надобно раскольников наставлять по-пастырски, словом учительским, и за трудность оно не почитать, ибо всякое дело труду есть подлежательно, а кольми паче надлежит приложить труд свой о человеке, гиблющем душою, к чему его преосвященство призван и таковым характером почтен».<sup>261</sup>

У правительства ранее, чем у русского народа, наступило сознание той простой истины, что недостаточно ограничиваться полицейскими способами устрашения, чтоб удержать народ в верности православной церкви. Оказывалась настоятельная нужда в умных, ученых и высоконравственных священниках, которые были бы способны внушать уважение к своей личности и доверие к своим речам. Выступило на очередь важное предприятие завести семинарии и училища со специальною целью подготовки к духовному званию. При новгородском архиерейском доме, с самого вступления на престол Анны Ивановны, существовала школа для образования духовных, основанная Феофаном Прокоповичем и за его счет содержимая. По кончине этого иерарха в 1736 году указано было эту школу содержать по-прежнему в таком довольстве, в каком находилась она при покойном архиерее. В Казани существовала семинария, основанная архиепископом Сильвестром, который в 1731 году попал в опалу и был отправлен в заточение. Он заранее

<sup>260</sup> Соловьев «Ист. России», т. XX, стр. 307—308.

<sup>261</sup> Соловьев, *ibidem*, 305.

назначил доходы с некоторых архиерейских вотчин на эту школу, и преемник Сильвестра Иларион продолжал давать эти доходы на школу, платя исправно жалованье преподавателям; но со вступлением на архиерейскую кафедру Гавриила школа эта расстроилась. К счастью, скоро прибыл в Казань Димитрий Сеченов с миссионерами для обращения в христианство языческих инородцев и оживил вообще дело духовного обучения в казанской епархии. При Троицко-Сергиевском монастыре положили основать в 1738 году духовную семинарию для обучения языкам латинскому, греческому и, если возможно, еврейскому, и наукам, начавши от грамматики, чрез риторику и философию, до богословия; для того предположили набрать учеников, числом двести. Разом с этим при Троицко-Сергиевском монастыре указано учредить сиротский дом для воспитания сирот и для приема «засорнорожденных» младенцев. В 1739 году последовал важный указ – основать во всех епархиях духовные семинарии. Но этот указ долго не мог быть приведен в исполнение: из архиереев не нашлось никого, кто бы показал об этом деле старание. «Все, – выражается современный документ, – отважно и нечувственно пребывали, как бы собственного их долга в том нисколько не зависит». На первых порах дело ограничилось тем, что положили разослать по всем епархиям «учительных священников», с целью подготавливать детей духовных лиц к духовному званию. Было желание удерживать детей духовных лиц в звании отцов их, хотя не воспрещалось окончившим учение детям священно- и церковнослужителей вступать в гражданскую службу и записываться в цехи и в посады. Только празднующих из них брали в военную службу. Дети лиц духовного звания не были вовсе изъяты от воинской повинности, но могли вместо себя ставить наемных рекрут. Доступ к духовному званию лицам, не происходящим из духовенства, был очень труден; только в Малороссии, по старому обычаю, возводили в духовный сан лиц всякого происхождения. Впрочем, подобное является и на противоположном пределе Русского государства: в Сибири, в иркутской епархии, по недостатку лиц по происхождению из духовенства, дозволено было посвящать и мирян, свободных от гражданской службы, а в 1740 году прислано в синод 45 юношей из инородцев с целью дать им образование и подготовить к званию пастырей своего народа.

Все монастыри в духовном отношении зависели от местных епархиальных начальств. Исключение составляли монастыри ставропигиальные, зависевшие непосредственно от синода: их было числом четыре – Киево-Печерский, Межигорский, Троицко-Сергиев и Александро-Невский. Все монастыри были приютами овдовевших священно- и церковнослужителей, неимущих отставных офицеров и чиновников, солдат, безродных и увечных; монахи должны были заботиться о содержании помещенных у них лиц и ухаживать за недужными. Отчасти монахи занимались и делом воспитания: по крайней мере, по прошению киево-печерского архимандрита в 1738 году дозволили принять в монастырь приходящих из польских владений православных духовных, сведущих в латинском языке, и поручать им воспитание юношей. Прежний указ Петра Первого, воспрещавший без царского указа постригать в монахи кого бы то ни было, был подтвержден в царствование Анны Ивановны; дозволялось безусловно, не испрашивая царского указа, постригать только вдовых священнослужителей и бессемейных отставных офицеров и солдат; за пострижение же всякого иного лица полагался штраф 500 рублей. Повелено было по всей империи возобновлять обветшалые храмы и учреждать при них богадельни и школы, а на содержание тех и других определен был сбор с вечных памятней. Указ о построении богаделен и школ был несколько раз повторяем, но плохо исполнялся: богаделен было мало, а школ еще меньше.

Главным доходом на содержание церквей и монастырей были добротные даяния, совершавшиеся как наличными деньгами, так и вкладами, состоящими в капиталах и недвижимой собственности. Доход с продажи восковых свеч также предоставлялся в пользу церквей. Все духовные вотчины ведались в одном правительственном месте, называвшемся «коллегия экономии». Сначала она находилась в Москве, потом в Петербурге, но в 1739 году была переведена снова в Москву, так как большая часть монастырских вотчин находилась в середине государства, ближе к Москве, чем к Петербургу. При коллегии экономии

существовала раскольничья контора: самое название ее показывает, какими делами она заведовала. Число мужских монастырей простиралось до семисот восьми, а в них монашествующих считалось 7829 человек. Женских монастырей было 240, а в них монашествующих 6452 особы.

### **VIII. Внешняя политика России при Анне Ивановне**

*Отношения европейских государств к России при вступлении на престол Анны Ивановны: Австрия, Пруссия, Дания, Швейцария, Англия, Франция. – Польское дело – Интриги французов против России в Константинополе. – Персидские дела. – Спор России с Турцией. – Крымцы. – Турецкая война. – Белградский мир. – Недовольство Миниха. – Возобновление сношений Франции с Россией. – Маркиз де ля Шетарди.*

При вступлении Анны Ивановны на престол обстоятельства подавали надежду, что в грядущее царствование Россия найдет себе союзников между иностранными государствами. Вступление на престол государыни приветствовали соседи дружелюбными заявлениями. Император немецкий заявил русскому посланнику, что он с новою царицею будет соблюдать те же обязательства, в каких находился с ее покойными предшественниками. Прусский король, узнавши о восстановлении самодержавия в России, пил за столом здоровье новой русской государыни, восхвалял ее решимость и заявил, между прочим, что теперь она свободно будет распоряжаться в делах курляндских, не ожидая одобрения от Польши. В Дании радовались восшествию на престол Анны Ивановны, потому что не желали утверждения в России голштинской династии, которая могла бы там воцариться в особе сына Петровой дочери. Дания давно уже спорила с Голштиниею за Шлезвиг. Король шведский также сразу изъявил желание усилить дружбу с русским престолом. Англия, находившаяся в союзе с Австрией и во вражде с Франциею, также отнеслась дружелюбно к перемене правления в России. С Франциею уже не было дружбы с тех пор, как разрушился план соединить браком русскую принцессу Елисавету с французским королем Людовиком XV. Враждебная по старинной традиции с Австрией, Франция не могла смотреть одобрительно на союз, заключенный еще Екатериной Первой с императором, готова была при всяком удобном случае вредить России, но пока еще соблюдала наружное согласие.

Надобно сказать, что все государства не питали уважения к России, но боялись возраставшей материальной ее силы, а в особенности после удара, нанесенного Россией Швеции. Никто не верил в политический ум русского правительства: каждое государство надеялось обмануть русских и сделать их державу орудием для своих целей; но союз с ней давал всем большую приманку, чтоб иметь возможность располагать ее большими военными силами и вести, так сказать, ее на буксире за собой. Это желание проявили сразу Австрия и Франция. При русском дворе было два государственных человека, склонные к союзу с тою и другою. Сторонником союза с Австрией и вообще с Немецкою империей был Остерман, а сторонником союза с Франциею – фельдмаршал Миних, питавший любовь к французам со времен юности, когда, взятый в плен, он испытал на себе великодушие, приветливость и любезность французов. Предстоял вопрос, когда России приходилось выбирать союз или с Австрией, или с Франциею. Это случилось по поводу польского преемства. Король польский Август, долговременный союзник Петра Великого, склонялся к могиле и в начале 1733 года скончался. Франция хотела возвести на польский престол Станислава Лещинского, посаженного там некогда Карлом XII и принужденного уступить корону Августу. Австрия, вместе с Россией, сначала хотела, чтоб избран был кто-нибудь из природных поляков рода Пястов; но так как увидали, что при выборе произойдут несогласия и борьба партий, то предпочли посадить на польский престол иностранного принца. Австрия выставила курфюрста саксонского, сына бывшего польского короля Августа. Россия несколько времени колебалась. Остерман взял верх над Минихом, и Россия пристала к Австрии. Русское войско вступило в Польшу под начальством фельдмаршала Ласси, и под давлением силы русского

войска избран был Август саксонский. Но другая партия провозгласила Станислава, надеясь на покровительство Франции. Возникла война, которая подробно описана нами в жизнеописании Миниха. Станислав ушел в Гданьск и заперся там с поляками своей партии и со вспомогательным отрядом французов. Миних, хотя и не сочувствовавший делу, должен был взять команду над русским войском, осаждавшим Гданьск, и принудил его к сдаче. Взятые в плен французы отосланы были в Россию; императрица приняла их ласково и великодушно и отпустила в отечество.

Эта любезность, однако, не изменила хода политики в отношении к Франции: последняя все-таки продолжала действовать против России. Сначала она поддерживала Станислава до тех пор, пока он сам не отрекся от притязаний на польскую корону и не удовольствовался владением в Лотарингии, данным ему Францией, по родству его с французским королем; дочь его Мария была французскою королевою, женою Людовика XV. Потом Франция стала вредить России и союзной с нею Австрии с другой стороны, именно со стороны Турции. У Немецкой империи с Турцией была уже давняя вражда. И Россия не в состоянии была забыть унижения, нанесенного ей Прутским миром, и всегда искала случая отомстить Турции. Повод к этому представился России через посредство Персии. Два претендента на персидский престол спорили между собою: Тахмасиб и Эшреф. Последний поддерживаем был турками, Тахмасибу помогала Россия. Не уладивши примирения с турками мирным путем, Россия побуждала Тахмасиба к войне с турками, обещала со своей стороны помощь, заключила с ним 25 января 1732 года дружественный договор и уступила Персии полосу земли, завоеванной Петром Великим. Между тем, у России с Турцией был еще и свой предлог к вражде. Турция считала, что страна, называемая Кабарда, истари принадлежит Крыму, зависимому от Турции; русские ссылались, что этот край по договору был объявлен независимым, и князья кабардинские отделись России. Сверх того, калмыцкий хан Дундук-Омбо, находившийся под властью России, отпал от нее и отдался под покровительство крымского хана.

Отношения Персии к Турции все более и более обострялись. Персидский визирь Тахмас-Кулыхан свергнул Тахмасиба, возвел на престол его сына, но с Турцией пришел еще в большую вражду. Крымский хан Каплан-Гирей, как турецкий данник, двинулся со своею ордою на войну против Персии, и не только захватил Кабарду, но провел свои военные силы через русские владения – Кумыцкую землю. Татары встретили поставленные там русские войска, бывшие под главным начальством генерала принца гессен-гамбургского, вступили с ними в бой, и хотя были побеждены, но успели прорваться через Кавказские горы, возмутили тамошних туземцев против русских, соединились с турками и с ними вместе пошли на Персию; в то же время один крымский султан вступил с войсками в Кабарду и там тоже сражался с русскими. Эти события сочтены были поводом объявления формальной войны Турцией.

Россия вела эту войну в союзе с Австрией. Но когда русские войска под предводительством Миниха разорили Крым, завоевали Молдавию, одержали блестящую, еще небывалую, победу над турками при Ставучанах<sup>262</sup>, союзники их австрийцы ввели у себя на Дунае войну неудачно. Между тем французский посол в Константинополе Вильнёв постарался устроить примирение Турции с немецким императором. Австрия, при своих военных неудачах, могла для себя почитать счастьем возможность помириться с Турцией; но она склонила и Россию также разом с нею заключить мир с Турцией при посредстве того же французского посла, хотя России заключать такой мир было вовсе не под стать. 18 сентября 1739 года состоялся Белградский мир, не только невыгодный, но даже постыдный для России: истративши много людей в битвах, она не получила никакой выгоды для себя и воевала только в пользу Австрии. Когда французский парламентар приезжал к Миниху от имени своего начальства требовать выступления русского войска из Молдавии, Миних сказал ему: «Я давно уже пытался соединить союзом Россию с Францией. Я всегда был того

---

<sup>262</sup> Подробности тогдашней войны с Турцией изложены в жизнеописании Миниха.

мнения, что император более нас имеет повода вести войну, а мы, ставши его союзниками, останемся в убытке. Я уже представлял, что император всегда привык обращаться со своими союзниками, как с вассалами: свидетели тому англичане и голландцы, которые вовремя узнали весь вред от этого союза и удалились от него, как умные политики. Мои представления не приняты! но теперь они оправдались событиями, после того как император, с которым мы вошли в союз, совершенно покинул нас, может быть, по вероломству, а может быть, по слабости: во всяком случае, плохое дело союз с вероломными и малосильными. Вот теперь настало время возобновить первый наш проект союза России с Францией».

Миних был чрезвычайно раздражен Белградским миром, но делать было нечего: всемогущий любимец императрицы Бирон был совершенно на стороне Австрии, а с ним и императрица. Французская политика на этот раз должна была по крайней мере уразуметь, что нельзя презирать Россию, как страну варварскую. Пусть она с европейской точки зрения была и варварской, но опыт последней войны показал, что она – страна сильная, ее многочисленное войско способно совершать дела истинно великие, которые не под стать было совершать западным державам, давно уже привыкшим трепетать перед страшною мусульманскою силою, водворившеюся в Европе. Французские политики избрали теперь несколько иной путь – показывать России дружелюбие, льстить ей, а между тем, в уверенности в ее простоте и недостатке смекалки, обманывать ее. Нужно было только выбрать подходящего человека в посланники. Управлявший тогда делами во Франции кардинал Флери поручил это маркизу де ля Шетарди, который был назначен в Россию в исходе 1739 года в звании уполномоченного Франции. Трудно было выбрать человека более способного занять эту важную, трудную должность. Это был француз в полном значении этого слова, со всеми достоинствами и пороками, отличавшими французского дипломата XVIII века. Необыкновенно любезный в обращении, с необыкновенною способностью вкрадываться в душу, всегда веселый, неистощимо-остроумный и вместе с тем умевший всегда кстати и сказать, и смолчать, – он был именно таков, что мог очаровать молодое высшее общество в России, недавно еще начавшее усваивать пленительные признаки европейского обхождения и способное увлекаться всяким наружным блеском. До того времени он был посланником своей нации при берлинском дворе, и молодой наследный принц, будущий король Фридрих Великий, называл его конфектою за его любезность, нередко доходившую до слащавости. Де ля Шетарди прибыл в Петербург с таким огромным количеством посольской свиты и прислуги, что подобной пышности русские еще не видали ни с одним иностранным послом. Все это рассчитано было, чтобы внушить уважение и удивление к величию Франции. Французский посол представлялся Анне Ивановне в тронной зале и с первого раза очаровал императрицу и все окружающее своею любезностью. После представления императрице со всею свитою он представился ее племяннице, а потом цесаревне Елисавете Петровне. Это было самое важное его представление. Во Франции уже знали, что императрица не любит цесаревны, цесаревна не любит императрицы, и многие русские смотрят на Елисавету, как на законную наследницу, несправедливо удаленную от трона. Елисавете в то время было 28 лет; она была в расцвете красоты своей; ее голубые глаза с поволокою давали ей невыразимую прелесть. Она превосходно говорила по-французски, и в самом ее живом и легкомысленном характере было что-то французское. «Казалось, – выражался о ней польский посланник Лефорт, – она родилась не в России, а во Франции». Она составляла в те поры совершенный контраст с императрицей, а еще более с Анной Леопольдовной, столько же ленивою и апатичною, как была жива и подвижна Елисавета. В тайной инструкции, с которою прибыл де ля Шетарди, вменялось ему в обязанность узнать наверное, справедливы ли вести насчет желания русских видеть Елисавету государыней. После блестящих приемов де ля Шетарди жаловался на томительную скуку в России, постигшую его. Он увидел себя посреди чопорного немецко-русского общества, отзывавшегося парадом. Ничего похожего не было на светское французское общество, с которым свыкся посол в своей юности и которое для француза

было необходимо как свежий воздух для птицы и вода для рыбы. Каждый день у него накрывали обеденный стол для званых и незваных гостей, и посланник замечал, что русские чуждаются его хлеба-соли, а если и посещают, то трудно бывает вести с ними душевную беседу, потому что все как-то не доверяли ему, зная, что при дворе властвующие немцы недолюбливают французов. Внезапная кончина Анны Ивановны дала возможность показать французскому послу свою необыкновенную деятельность и сделаться решителем судьбы русского престола.

## **IX. Окончание царствования Анны Ивановны**

*Принцесса мекленбургская Анна Леопольдовна. – Жених для нее. – Брак с Антоном-Ульрихом принцем брауншвейг-беве́рнским. – Неудавшиеся планы Бирона. – Бирон сходит с Бестужевым. – Рождение принца Ивана Антоновича. – Недуги императрицы. – Припадок 5 октября 1740 г. – Вопрос о престолонаследии. – Объявление принца Ивана Антоновича наследником престола. – Вопрос о регентстве. – Уловки Бестужева в пользу Бирона. – Позитивная декларация. – Кончина Анны Ивановны. – Оценка ее царствования.*

Еще в 1732 году Анна Ивановна гласно объявила, что наследство престола после нее должно перейти в мужское потомство племянницы ее, дочери старшей сестры императрицы, Екатерины Ивановны, герцогини мекленбургской. Муж последней, Карл Леопольд, в свое время приобрел репутацию тирана, был прогнан выведенными из терпения своими мекленбургскими подданными и осужден имперским сеймом. Он был таким же плохим семьянином, как и правителем. Первая жена не вынесла его дурного нрава и начала процесс о разводе с ним. Еще не был покончен этот процесс, как герцог посватался к русской царевне. Находясь в зависимости от дяди, царя Петра I, царевна Екатерина Ивановна по его воле вышла за мекленбургского герцога, но скоро не ужилась с ним, как и первая его супруга. В 1719 году она от него удалась в Россию вместе с малолетнею дочерью Елисаветою-Екатериною-Христиною. Дочь эта, принужденная проводить в России свое детство, в 1733 году, за месяц до кончины своей матери, была принята в лоно православной церкви и наречена Анною Леопольдовною. Лишившись матери, принцесса осталась на попечении своей тетки, императрицы Анны Ивановны, которая любила ее как родную дочь до тех пор, пока принцесса, достигнув совершеннолетия, не стала выказывать в своем характере такие черты, которые не совсем нравились тетке. Принцесса не обладала ослепительной красотой, но была миловидная блондинка, добродушная и кроткая, вместе – сонливая и ленивая; она не любила никакого дела и проводила праздные часы со своей любимой фрейлиной Юлианией фон-Менгден, к которой питала чувство редкой дружбы. Императрица, хотя не переставала любить свою племянницу, стала отзываться о ней неодобрительно. Но так как другой ближайшей родни у императрицы не было, и в случае ее смерти престол мог достаться цесаревне Елисавете Петровне, которую Анна Ивановна не терпела, то государыня торопилась найти племяннице жениха, чтоб доставить ее потомству и своему роду наследство престола. Немецкая империя заключала в себе богатый запас принцев и принцесс для брачных связей в России. Отыскивать подходящего жениха для принцессы Анны Леопольдовны отправлен был шталмейстер Левенвольд. В Вене он подпал под влияние императорского дома и по указанию, полученным оттуда, остановил внимание на принце брауншвейг-беве́рнском, сыне сестры супруги императора Карла VI. Это был молодой человек, едва вступивший на жизненное поприще. Его родные – император и императрица – уговорили его согласиться на предложение Левенвольда, и он дал слово прибыть в Россию и поступить в русскую службу. Он явился в Петербург, был обласкан императрицей Анной Ивановной, определился в русское войско и участвовал с Минихом в турецкой войне. Несколько лет сряду в столице обращались с ним, как с будущим женихом племянницы Анны Ивановны, но браком медлили, считая принцессу не совсем достигшею зрелого возраста. Между тем, у Бирона возникла мысль женить на принцессе Анне

Леопольдовне своего старшего сына Петра, еще очень молодого, и тем проложить своему потомству путь к российскому престолу. Бирон так привык встречать безграничную к себе преданность императрицы, что, казалось, нельзя было сомневаться в ее согласии; но императрица уже несколько раз заявляла, что предоставляет племяннице полную свободу располагать своим замужеством. Всем при дворе стало заметно, что принцесса Анна Леопольдовна не слишком-то любила намеченного ей в женихи принца, и это придавало Бирону смелость подставить на его место своего сына. Он начал показывать любезное внимание к принцессе и старался сводить с нею своего сына. Но, если принцессе мало нравился навязываемый ей теткою жених, то к Петру Бирону она чувствовала полнейшее равнодушие, которое вскоре превратилось в отвращение, по мере того, как Петр Бирон надоедал ей своим ухаживанием. Бирон не смел противодействовать резко принцу Антону-Ульриху брауншвейгскому, потому что боялся раздражить против себя австрийский императорский дом. Он полагал для себя надежду в том, что сама принцесса покажет нежелание выходить за принца, и он, таким образом, избавится от соперника своему сыну. Государыня вовсе не знала о намерениях своего любимца и поручила ему выведать от принцессы – расположена ли она выходить за принца Антона-Ульриха. Исполняя волю своей государыни, Бирон говорил об этом с принцессою и услышал такой ответ – что она не терпит брауншвейгского принца и лучше ей положить голову на плаху, чем выходить за него. Такой ответ очень обрадовал Бирона, но он на первых порах должен был перед государынею показывать вид, что так же, как и она, недоволен упрямством принцессы. Затем Бирон обратился к придворной даме и любимице императрицы, Чернышовой, урожденной Ушаковой, дочери начальника тайной канцелярии. Бирон сообщил ей о своем желании женить сына на принцессе и поручил ей расположить к этому принцессу. Чернышова начала об этом речь принцессе и услышала такой ответ, какого уж никак не хотелось услышать Бирону. Принцесса с негодованием выслушала Чернышову и сделала ей упрек, как могла она предлагать ей такой брак. Принцесса напомнила о низком происхождении Бирона и дала понять, что ее достоинство оскорбляется подобным предложением. Чтоб избавиться навсегда от притязаний царицына любимца и его сына, принцесса категорически объявила Чернышовой: «Я много думала и испытывала себя. Во всем готова слушаться императрицу и соглашаюсь выходить за брауншвейгского принца, если ей так угодно».

Чернышова сообщила такой ответ императрице, не сказавши ей, что ходатайствовала за Биронова сына. Императрица обрадовалась, а Бирон поневоле должен был притаяться со своими желаниями и притворяться перед императрицей, что разделяет ее удовольствие. Брак принцессы с брауншвейгским принцем состоялся в июле 1739 года. С тех пор Бирон возненавидел новобрачную чету и при всяком удобном случае рад был ей делать неприятности, хотя и должен был скрывать свои чувства, чтоб не раздражить императрицы. Что касается до принцессы, то, ставши женою нелюбимого человека, она продолжала оказывать к нему холодность. Впоследствии принцесса укоряла кабинет-министров, устроивших этот брак в политических видах, и говорила Волынскому: «Вы, министры проклятые, на то привели, что за того пошла, за кого не думала, и все вы для своих интересов к тому привели». Волынский ответил ей, что «действительно, принц Антон-Ульрих очень тих и несмел в своих поступках: это его недостаток; но это может послужить ей же к пользе: он будет ей послушен; а хуже было бы, если б она вышла за Петра Бирона и находилась вместе с мужем под несносным гнетом его отца, любимца государыни. И сам Петр Бирон, – человек запальчивый и сердитый не менее как родитель его». Зная, что между супругами нет любви, Бирон, может быть, из чувства мщенья, хотел раздуть между ними несогласие, чтоб насолить им обоим. Желая избавиться от постоянного надоедливого наблюдения над собою любимца императрицы, принцесса испросила у тетки-государыни назначить 80000 рублей для устройства особого двора для нее и ее супруга. Но Бирон убедил принца брауншвейгского отказаться от такого намерения, представляя ему, что тогда он будет находиться в зависимости от своей жены, которая его не любит; а в доказательство того, что она его не любит, Бирон открыл принцу Антону-Ульриху, что принцесса отвечала



ему, Бирону, когда он, по поручению императрицы, говорил о браке с принцем.

Бирон в это время начал расходиться с Остерманом. До того времени, хотя полной искренности между ними никогда не было, но Остерман дорожил благосклонностью такого могучего лица, каким был Бирон, и долгое время старался угождать ему. В последнее время Бирон в разговорах с приятелями обвинял Остермана в двуличности и хитрости; иными словами – Бирон раскусил, наконец, Остермана и стал остерегаться его, хотя и был уверен, что в том высоком положении, в каком сам находился, Остерман не в силах повредить ему. Удаляясь мало-помалу от Остермана, Бирон сошелся с другим человеком, недавно возведенным на высокую ступень. Это был Алексей Петрович Бестужев, заступивший в кабинете министров оставшееся праздным место казенного Волынского. Алексей Петрович был сын Петра Михайловича Бестужева, бывшего некогда управителем двора в Курляндии и любимцем Анны Ивановны, впоследствии потерпевшим от нее опалу. Алексей Петрович посвятил себя дипломатическому поприщу, но в царствование Анны Ивановны несколько лет сряду держали его в тени. Когда он находился резидентом в Гамбурге, донос, поданный ему Милашевичем-Красным на смоленского губернатора, дал ему возможность выдвинуться и повыситься. В 1734 году Алексей Петрович был переведен из Гамбурга в Данию. Кабинет-министр князь Алексей Михайлович Черкасский негодовал на Бестужева, который дал ход доносу Милашевича-Красного, и вследствие этого родственник кабинет-министра – смоленский губернатор был сослан в Камчатку. Бестужев, впрочем, ничуть не был виновен в опале смоленского губернатора, потому что не сделал ничего более, как только переслал поданный ему донос в тайную канцелярию. Негодование кабинет-министра князя Черкасского против Бестужева должно было смолкнуть после того, как Милашевич-Красный в 1739 году сам сознался, что оклеветал напрасно смоленского губернатора. После падения Волынского, Алексея Петровича перевели в Петербург. Тонкий и искусный дипломат, зная могущество герцога курляндского, он подделался к нему и вскоре сблизился с ним самым тесным образом. При всесильном покровительстве Бирона, Бестужев получил место в кабинете министров. Бирон думал иметь в нем противовес Остермановым хитростям, иными словами – надеялся найти в нем именно то, чего искал и не нашел в Волынском.

В августе 1740 года принцесса Анна Леопольдовна разрешилась от бремени сыном, который при крещении был наречен Иваном. Событие это для многих показалось неожиданным, так как при дворе знали, что принцесса удалялась от своего нелюбимого супруга. Рождение этого младенца доставило радость императрице, но на ее любимца навело такое уныние, что он несколько дней никого не допускал к себе и ни с кем не говорил.

Вскоре за тем произошло другое важное и роковое событие. Уже давно императрица страдала недугом; как кажется, у ней была каменная болезнь. Предшествовавшее лето она провела в Петергофе, и к концу лета ей становилось хуже. По возвращении в Петербург, 5 октября, в воскресенье в 2 часа императрица по обычаю села обедать со своим любимцем. Вдруг ей стало дурно, и она упала без чувств. Ее подняли и уложили в постель.

Первым делом окружавших государыню сановников было подумать о престолонаследии. Воля государыни была известна: она уже объявляла, что желает назначить себе преемником сына принцессы Анны Леопольдовны, двухмесячного ребенка – Ивана Антоновича. Но вопрос был в том – кто будет в качестве регента управлять государством до совершеннолетия нового государя, еще лежавшего в колыбели. Первый Бестужев заявил, что всего подручнее эту важную обязанность возложить на герцога курляндского. Несколько дней прошло в размышлениях и толках: приходилось повозиться с Остерманом, а тот уклонился прямо заявить свое мнение об этом и только тогда, когда увидал, что большинство сановников склоняется на сторону Бирона, – сам подал голос за него. Миних, хотя не терпел курляндского герцога, не только объявил себя в пользу его назначения, а еще сам упрашивал его принять на себя этот сан. Больная государыня удержала у себя представленный ей манифест о престолонаследии и проект о регентстве Бирона. Она давно уже страшилась смерти и отклоняла от себя все, что могло ей напоминать о смертном часе; таким образом, давно уже было запрещено провозить и проносить

покойников мимо дворца, чтоб не беспокоить государыни видом, возбуждающим в ней мысль о собственной кончине. Тогда Бестужев составил так называемую «позитивную декларацию», в согласии с другими сановниками, и положил ее в кабинете министров: в ней выражено было, будто вся нация желает, чтоб не иной кто, а непременно герцог курляндский, в случае преждевременной кончины императрицы, стал регентом государства впредь до совершеннолетия будущего императора. Стали приглашать к чтению и к подписи этой декларации всех наличных особ первых четырех классов. Набралось таким образом 197 подписей. Не должно думать, чтоб число это состояло из искренних приверженцев герцога курляндского. Большинство подписывалось, следуя примеру подписавшихся прежде их; те же, которые подписались, не повинаясь примеру других, делали это из страха: нельзя было положительно сказать – умрет ли государыня или выздоровеет. Врачи находили ее болезнь очень опасною, но и не уничтожали надежды на возможность ей поправиться; все соображали, что если Анна Ивановна выздоровеет, то не простит тем, которые не показали любви и доверия к ее любимцу: судьба Волынского представляла тому свежий пример. Фельдмаршал Миних поступил по такому же соображению, как о том свидетельствует сын его в своих записках.

Впоследствии Бирон в своей записке, писанной с места своего заточения в Ярославле императрице Елисавете Петровне, уверял, будто он вовсе не думал и не хотел принимать на себя регентства, будто на коленях просил государыню освободить его от такого бремени; но источники современные говорят совсем иное, именно – что Бирон, хотя наружно и отказывался от предлагаемой ему чести, но прежде тайно направлял Бестужева, который первый произнес о том слово в собрании сановников; да и сам герцог курляндский в этом собрании доказывал, что нельзя давать регентства ни матери, ни родителю будущего императора. По всему видно, между Бироном и Анной Ивановной происходил разговор о регентстве, но Бирон не представил его в своей записке в настоящем виде. Есть основание полагать, что Анна Ивановна сама не хотела давать регентства принцессе Анне Леопольдовне и ее супругу, из опасения, что они подпадут под влияние отца принцессы, герцога мекленбургского, и даже допустят его водвориться в России, а судя по тому, что случилось с ним в его немецкой земле, можно было справедливо опасаться, что появление его в России не будет полезно для Российского государства.

16 октября с больною, уже не встававшей с постели императрицею сделался припадок, подавший опасение скоронаступающей кончины. Анна Ивановна приказала позвать Остермана и Бирона, и в их присутствии подписала обе бумаги – о наследстве после нее Ивана Антоновича и о регентстве Бирона. Первую бумагу она вручила Остерману, последнюю – отдала своей придворной даме Юшковой, постоянно находившейся при ней во время болезни, приказавши открыть ее после ее смерти. Юшкова спрятала эту бумагу в шкаф с драгоценностями. Императрица, отпуская Остермана, приказала объявить всем сановникам, что теперь все уже окончено.

Настал другой день – 17 октября. Истощались последние силы императрицы. Она приказала пригласить к своей постели принцессу Анну Леопольдовну с супругом, цесаревну Елисавету, кабинет-министров и всех важнейших сановников. В 9 часов вечера, среди такого собрания, Анна Ивановна отошла в вечность.

Общий голос современных источников единомысленно утверждает, что Анна Ивановна во все свое царствование находилась не только под влиянием, но даже, так сказать, под властью своего любимца. Основываясь на таких известиях, вошло в обычай приписывать Бирону и группировавшимся возле него немцам весь жестокий и крутой характер ее царствования. Эпоха этого царствования издавна уже носит наименование бироновщины. Но если подвергнуть этот вопрос беспристрастной и строгой критике, то окажется, что к такому обвинению Бирона и с ним всех вообще правительствовавших немцев недостает твердых оснований. Невозможно приписывать весь характер царствования огулом немцам уже потому, что стоявшие на челе правительства немцы не составляли согласной корпорации и каждый из них преследовал свои личные интересы, один другому завидовал, один к другому

враждовал. Сам Бирон не управлял делами ни по какой части в государственном механизме, и притом он вовсе не показывал склонности заниматься делами, так же точно как и императрица; он не любил России и вообще мало интересовался тем, что в ней делалось: Бирон был эгоист довольно узкий, не успевший расположить к себе никакого кружка; сила его опиралась исключительно на личной милости императрицы, и оттого, как только Анна Ивановна закрыла навеки глаза, ее бывший любимец остался совершенно без почвы, и как ни обеспечила его положение покойница, он без нее не продержался и месяца. Нет никакого современного указания, чтоб масса тех жестокостей, какие ознаменовали царствование Анны Ивановны, исходили от Бирона и совершались по его инициативе. Единственный пример, где показывается прямое участие Бирона, представляет дело Волынского. Здесь видимо ясно, что мстительный Бирон преследовал Волынского неумолимо, потому что обер-егермейстер становился поперек дороги любимцу и покушался занять его место в милости у императрицы. Что касается до множества других лиц, подвергшихся опале при Анне Ивановне, то приписывать бедствие, постигшее того или другого из них, всеильному любимцу государыни можно только гадательно, основываясь на известиях, что все доходившее до государыни и исходившее от нее проходило через ее любимца. Но, допустивши, что Анна Ивановна ничего не делала без участия своего любимца, все-таки нельзя наверное сказать, чтобы всякий, потерпевший от правительства именем Анны Ивановны, действительно терпел прямо от высочайшей власти. Высочайшая власть часто делает приговоры на основании доверия к тем, которые докладывают ей дело: иначе и быть не может при разнородных делах, доходящих до единого центра. Есть еще более важное соображение: жестокости и вообще крутые меры, которыми отличалась эпоха царствования Анны Ивановны, не были исключительными свойствами этой эпохи; не с нею начали они появляться в России, не с нею и прекратились. Правление Петра Великого ознаменовалось еще более жестокими, крутыми преследованиями всего противного высочайшей власти. Поступки князя Ромодановского в Преображенском Приказе ничуть не мягче и не человечнее поступков Андрея Ивановича Ушакова в тайной канцелярии. С другой стороны, те же черты жестокости и презрения к человеческому достоинству являются и после Анны Ивановны, при Елисавете Петровне. Поэтому мы не затруднимся сказать, что приписывать все, что возмущает нас в царствовании Анны Ивановны, следует не самой императрице, не любимцу ее, герцогу курляндскому, а всему веку, в котором происходили излагаемые здесь события. Напротив, если из того, что принадлежит веку, мы отделим то, где с большим правом можем усматривать деятельность самой императрицы и государственных лиц ее эпохи, то придем к заключениям более в пользу и в похвалу правительству той эпохи, чем в его осуждение. Мы уже представили перечень всего, что было сделано в области внутренней политики. Много распоряжений тогдашнего правительства были совершенно в духе Петра I, и недаром Анна Ивановна поручала государственные дела умным и даровитым «птенцам» Петровым. Благодаря им, во многих отношениях царствование Анны Ивановны может назваться продолжением славного царствования ее великого дяди: вообще жизнь русская двигалась вперед и не была в застое. Русский народ в это царствование терпел от неурожая, кроме того, от разных случайных бедствий, как, например, от пожаров и от разбойников; в этом во всем, конечно, нельзя прямо винить тогдашнее правительство: несомненно, оно принимало зависевшие от него меры к облегчению народа. В делах внешней политики правительство Анны Ивановны, если не во всем удачно, то во всяком случае старалось поддерживать честь и значение Русского государства. Война с Турцией при Анне Ивановне имела важный, всемирно-исторический смысл. От собственного неискусства молодой еще русской дипломатии и коварства союзников Россия не окончила этой войны таким выгодным для себя миром, на какой бы имела право. Белградский договор, которого, конечно, ни за что бы не утвердил Петр Великий, был плодом податливости Анны Ивановны своему любимцу. Но все-таки блестящие победы Миниха дали Русской державе то высокое политическое значение, которое заключало в себе зародыши дальнейших ее успехов в вековой борьбе христианства с магометанством, Европы с Азией. Миних с русским войском первый показал

миру пример, что возможно с военными силами вступить в пределы грозной Оттоманской Империи и там одержать над нею победу. Мусульманская сила, до тех пор представлявшаяся ужасною и непобедимою, сразу лишилась своего всеустрашающего престижа.

*При составлении настоящей монографии служили главными источниками:*

1. Полное Собрание Законов Российской Империи, тома VII—XI.
2. Сборник Императорского Русского Исторического Общества, тома: III, V, VI, XV, XX (Депеши иностранных министров, находившихся при русском дворе).
3. *Vorschings Magazin für die neue Histoire und Geographie*. Т. III, VI, IX, XVI.
4. Архив князя Воронцова. 1870, 1871 гг., тома I, II.
5. Исторические бумаги К. Арсеньева, изданные Пекарским. 1872.
6. Записки Манштейна о России, изд. 1875 г.
7. Записки фельдмаршала Миниха, изд. 1874 г.
8. Записки Миниха, сына фельдмаршала, изд. 1817 г.
9. Записки Леди Рондо, супруги английского посланника, изд. 1874 г.
10. Записки Якова Шаховского, изд. 1810 г.
11. Записки Нащокина, изд. 1842 г.
12. «XVIII век», Бартенева, 4 т. изд. 1862—1869 г.
13. «Отечественные Записки», 1825 г. Примечания на Записки Манштейна.
14. *Hermanns, Geschichte des Russischen Staats*, том V, изд. 1853 г.
15. Соловьева «История России», тома XVIII—XXII, изд. 1868—1872.
16. «Воцарение Анны Ивановны» Корсакова, изд. 1880 г.
17. Чтения Имп. Моск. Общества Истории и Древностей, годы: 1858, тома II-й (Записки о Волынском) и III-й (Протоколы Верховн. Тайного Совета); 1862, тома I-й и IV-й (Дело Бирона и материалы, относящиеся до жизни его); 1864, том I-й (показание кн. Долгорукого и дело о Столетове и других); 1867, том III-й (рапорты Миниха).
18. «Маркиз де ля Шетарди», Пекарского, изд. 1862 г.
19. «Русская Старина», ежемесячное историческое издание 1870—1884 г. В нем помещены: в 1870 г. «Записки бриллианщика Позье» и «О повреждении нравов» кн. Щербатова; в 1872 году – 1) «Из истории Тайной канцелярии», 2) «Сказания иноземцев – герцога де Лирия и леди Рондо о России», 3) «Императрицы Анна Ивановна и Елисавета Петровна»; в 1873: «Императрица Анна Ивановна, ее придворный быт и забавы»; в 1875 г.: «Карл Леопольд герцог Мекленбургский»; в 1878: 1) Императрица Анна Ивановна и ее современники, примечания к Запискам леди Рондо»; 2) «Убийство Синклера»; в 1879: – «Замечания графа Панина на Записки Манштейна».
20. «Русский Архив», издаваемый Бартевым, годы 1866, 1867, 1871, 1878 и 1883 гг.
21. Исторические статьи Хмырова, изд. 1873 г.
22. «Царица Прасковья», М. Семева, изд. 1883 г.
23. Вейдемейра «Обзор главнейших происшествий с кончины Петра Великого до вступления на престол Елисаветы Петровны», изд. 1848 г.
24. Бумаги Государственного Архива, в числе которых были собственные письма Анны Ивановны к разным лицам, письма Бирона, Миниха, Головкина, Шаховского и других современников, приказы и распоряжения.

## **Глава 22** **Императрица Елисавета Петровна**

### **I. Цесаревна Елисавета**

*Детство Елисаветы. – Красота ее. – Воспитание. – Планы выдать ее в замужество*

*за французского короля или за французского принца крови. – Епископ Любский. – Отношения Елисаветы к Петру Второму. – Елисавета при избрании Анны Ивановны. – Жизнь цесаревны в царствование Анны Ивановны. – Елисавета во время регентства Бирона и правительницы Анны Леопольдовны. – Приготовления к перевороту. – Маркиз де ля Штарди и доктор Лесток.*

Елисавета родилась в селе Коломенском 18 декабря 1709 г. День этот был днем торжественным: Петр въезжал в Москву; за ним везли шведских пленных. Государь намеревался тотчас праздновать полтавскую победу, но, при вступлении в столицу, его известили о рождении дочери. «Отложим празднество о победе и поспешим поздравить с восшествием в мир дочь мою, яко со счастливым предзнаменованием вождеденного мира», – сказал он. В Успенском соборе отслужено было благодарственное молебствие; прослушавши его, царь отправился в село Коломенское, где находилось его семейство. Он нашел Екатерину и новорожденного младенца здоровыми, и на радостях устроил пир. Коломенский дворец, хотя деревянный, был очень обширен и заключал в себе 270 покоев с тремя тысячами окон: было где собраться большому стечению гостей. К пиру приглашены были привезенные царем шведские пленники. Вне дворца угощали нижних чинов и народ; им выкатили несколько бочек с вином и поставили на столах закуски.

Будучи только восьми лет от роду, принцесса Елисавета уже обращала на себя общее внимание своею красотою. В октябре 1717 года царь Петр возвращался из путешествия за границу и въезжал в Москву. Обе царевны – Анна и Елисавета – встречали родителя, одетые в испанских нарядах. Тогда французский посол заметил, что меньшая дочь государя казалась в этом наряде необыкновенно прекрасною.

В следующем, 1718 году, введены были ассамблеи, и обе царевны являлись туда в платьях разных цветов, вышитых золотом и серебром, в головных уборах, блиставших бриллиантами. Уже тогда принцесса Елисавета обратила на себя внимание в танцах. В то время в ассамблеях в ходу были танцы: английский кадрили, менуэт и польские танцы. Елисавета, кроме легкости в движениях, отличалась находчивостью и изобретательностью, беспрестанно выдумывая новые фигуры. Наряду с нею славились в танцах ее сверстницы по летам, девочки: Головкина, княжны – Черкасская, Кантемир и Долгорукая – будущая невеста Петра II-го. Но из них преимущество все отдавали Елисавете: так решали шведские офицеры, учившие танцевальному искусству; так говорил французский посланник Леви, заметивший, что Елисавета могла бы назваться совершенною красавицею, если бы у нее волосы не были рыжеваты. По обычаям того века, танцы начинались в 3 часа пополудни и продолжались до ночи. В ассамблеях посетители не стеснялись присутствием дам и девиц; в тех же покоях, где танцевали, пожилые люди играли в карты и в шахматы, курили табак, пили вино, закусывали, шумели, а иногда и бранились между собою. В следующие за тем годы обе царевны являлись в публике на прогулках, зимою в санях, а летом – на Неве, в лодках, одетые в наряд сардинских корабельщиков – в канифасных кофтах, красных юбочках и небольших круглых шляпах. У обеих на спине были крылышки: так в обычае было одевать девочек до их совершеннолетия.

Воспитание царевны Елисаветы не могло быть особенно удачным, тем более, что мать ее была совершенно безграмотная. Но ее учили по-французски, и мать ей твердила, что есть важные причины на то, чтоб она лучше других предметов обучения знала французский язык. Рассказывают, что однажды, заставши дочь свою за чтением французских книг, Петр сказал: «Вы счастливы, дети; вас в молодых летах приучают к чтению полезных книг, а я в своей молодости лишен был и книг, и наставников». Царю Петру пришла мысль и засела в голове на многие годы – отдать дочь Елисавету за французского короля. Мысль эта зародилась у него в 1717 году, когда он посещал Францию и видел малолетнего Людовика XV-го. Он тогда уже сообщал близким к себе людям предположение, как было бы кстати отдать за французского короля свою среднюю дочь. Первый раз русский царь, через посредство князя Куракина, заявил об этом французскому посланнику в Гааге, Шатонёву; но тогдашний

регент королевства французского, руководимый своим первым министром Дюбоа, искал союза с Англиею и опасался родственным союзом с Россиею причинить неудовольствие английскому королю. В последующие затем годы, когда шведский министр Герц хотел устроить примирение двух ожесточенных врагов – Петра I-го и Карла XII-го – с планами, клонившимися к ущербу Англии и Австрии, регент Франции еще более сблизился с английским королем и уклонился от союза с Россиею. После Ништадтского мира, заключенного Россиею со Швециею в 1721 году, Петр снова занялся мыслью отдать Елисавету за французского короля, но тут узнал, что Людовика XV-го собралось сочетать браком с испанскою принцессою; тогда у Петра возникла мысль сочетать Елисавету с каким-нибудь другим лицом французского королевского дома, и сначала он предлагал посланнику французскому, Кампредону, отдать ее за герцога шартрского, сына герцога орлеанского, а по случившейся скоро кончине самого этого герцога – за герцога бурбонского Кондэ, который, по смерти регента, герцога орлеанского, стал первым министром во Франции. В намерении навязать Елисавету французскому королю укрепляло Петра то, что испанская принцесса, намеченная в жены Людовику XV-му, была удалена в Испанию. Но Петр умер в январе 1725 года – и Елисавета, достигавшая шестнадцатилетнего возраста, провожала прах родителя в могилу.

Мысль отдать Елисавету за французского короля преследовалась и преемницею Петра, Екатериною Первою, и Меншиков, от имени своей государыни, заявил об этом желании Кампредону. Он указывал на старинный пример родственной связи французских королей с русскими государями, когда король Генрих I-й сочетался браком с дочерью великого князя Ярослава киевского; Меншиков представлял важные выгоды, какие получит Франция от союза с Россиею, указывал, что, женивши короля на русской принцессе, можно будет дочь Станислава Лещинского отдать за герцога бурбонского и, при содействии России, посадить его на польском престоле; наконец, Меншиков обещал, в силу союза с Франциею, военную помощь со стороны России во всяком деле, касающемся Франции. Кампредон, со своей стороны, посылал в своих депешах из Петербурга известия, клонившиеся в пользу союза с Россиею. Но в предположении, что выдать Елисавету за Людовика XV-го не удастся и король обратится в другую страну за невестою, Екатерина, между прочим, изъявляла заранее согласие отдать Елисавету за герцога бурбонского и доставить ему польскую корону. Все эти предположения развеялись как по ветру. Герцог бурбонский вежливо отклонил от себя родственные связи с Россиею, а французский король вступил в брак с дочерью Станислава Лещинского, проживавшего изгнанником в Германии. Таким образом, прекратились попытки выдать Елисавету за французского короля или за какого-нибудь принца французской королевской крови. Пришлось искать для нее женихов в других странах.

В октябре 1726 года прибыл в Петербург принц Карл-Август, носивший титул епископа Любского, двоюродный брат герцога голштинского, только что женившегося на старшей дочери Петра I-го, царевне Анне Петровне. Императрица Екатерина стала прочить этого приезжего принца в женихи своей второй дочери, Елисавете. Между тем Остерман составил смелый, и, можно сказать, дикий план иначе устроить судьбу Петровой дочери. Он заявил членам верховного тайного совета мысль сочетать принцессу Елисавету с племянником ее, Петром Алексеевичем. Но, сознавая, что такая мысль противна православной церкви, Остерман прибегнул к такому извороту: «Супружеское сие обязательство, предпринимаемое между близко сродными персонами, может касаться только до одних подданных, живущих под правительством, но не до высоких государей и самовластной державы, которая не обязана исполнять во всей строгости свои и предков своих законы, но оные по своему изволению и воле отменять свободную власть и силу имеют, особенно когда от того зависит благополучие толь многих миллионов людей».<sup>263</sup> Государыня приказала узнать мнение Святейшего Синода: может ли племянник вступить в брак с теткою? Синод отвечал, что это не может быть дозволено ни божескими, ни человеческими законами. Для успокоения

<sup>263</sup> Бантыш-Каменский, Словарь достоп. людей Рус. земли, ч. IV. стр. 68.

совести думали было отнестись с таким вопросом ко вселенским патриархам, но тут Екатерина умерла. После ее смерти открыто было ее (сомнительное) завещание, в котором она, оставляя престол сыну казненного царевича Алексея, Петру, и назначая правителем государства, во время его малолетства, Меншикова, обеим дочерям, кроме приданого в триста тысяч рублей и единовременной выдачи по миллиону рублей, определила во все время их пребывания в России выдавать им ежегодно на содержание по сто тысяч рублей, а Елисавета, по воле матери, должна была сочетаться браком с принцем епископом Любским.

Но епископ Любский умер в Петербурге в июне 1727 г., а в следующем году скончалась старшая дочь Петра I-го, герцогиня голштинская Анна Петровна, и Елисавета Петровна осталась одна, без близких родных и руководителей; – ей было 18 лет. Двое знатных женихов искали руки ее – Мориц, принц саксонский, и Фердинанд, герцог курляндский, человек уже очень старый для такой женитьбы. Елисавета отказала им обоим.

Молодой Петр II некоторое время был дружески расположен к своей тетке, и Елисавета было совершенно овладела его сердцем. Английский посол Рондо писал, что Елисавета умела показать любовь ко всему, что нравилось царю; таким образом, Петр пристрастился к псовой охоте – и Елисавета также интересовалась этого рода забавою. Но скоро князь Алексей Долгорукий и сын его, Иван, успели охладить взаимную привязанность между теткой и племянником. Молодой камергер Бутурлин приобрел особенное расположение Елисаветы. Сначала Петр сам полюбил его и пожаловал ему орден св. Александра Невского и чин генерал-майора, но потом ему представили в дурном свете отношения Бутурлина к принцессе, и Петр возненавидел его. Он стал обращаться с Елисаветою холодно. Когда, в сентябре 1728 года, Елисавета праздновала свои именины, царь не прибыл к обеду, не дождался бала и уехал прочь. Тогда все заметили, что царь сердит; но Елисавета, казалось, не обращала на это внимания, весь вечер танцевала и была отменно весела. В следующем месяце того же года прусский посол Вратиславский предложил Елисавете брак с Карлом, маркграфом бранденбургским. Петр отказал ему, не сносясь даже с теткою. Весною следующего 1729 года Петр покончил с Бутурлиным, отправивши последнего на Украину с полками.

Елисавета проживала в селе Покровском, теперь уже вошедшем в черту города Москвы, но по временам ездила в село Измайлово к царевне Екатерине Ивановне, которая там усердно занималась женским хозяйством: под ее наблюдением ткались холсты, вышивались церковные облачения. Что касается до Елисаветы, то ее любимым занятием было собирать сельских девушек, заставлять их петь песни, водить хороводы, и сама она принимала в них участие со своими придворными фрейлинами; зимою она каталась по пруду на коньках и ездила в поле охотиться за зайцами. Она ездила часто также в Александровскую слободу и полюбила это место, известное в русской истории тем, что там Иван Васильевич Грозный совершал большую часть своих мучительств. Елисавета приказала там себе построить два деревянных дворца на каменном фундаменте, один зимний, другой летний; близ летнего у ворот была построена церковь во имя Захария и Елисаветы, где Елисавета Петровна часто слушала богослужение. Проживая в Александровской слободе, она занималась соколиною охотою и ездила в пригородное село Курганиху, где был большой лес; там производили ей в забаву травлю волков. О маслянице собирались к ней слободские девушки кататься в салазках, связанных между собою ремнями; Елисавета заставляла их петь песни и угощала цареградскими стручками, орехами и маковой собоною. У некоторых жителей она воспринимала детей от св. купели, и были такие, что ей в угоду переменяли свои родовые прозвища. Елисавета развела там фруктовый сад, и то место, где был этот сад, теперь уже застроенное домами, до сих пор носит название Садовни. За пять верст кругом слободы царевна потешалась охотой на лосей и оленей, и долго глубокие старики вспоминали о ее житье-бытье в этом тихом приюте.

В эпоху воцарения на русском престоле Анны Ивановны Елисавета Петровна, по словам иностранных источников, жила в совершенном отчуждении от современных политических дел. Но в ту самую ночь, когда умер Петр II-й, ей было искушение предъявить

свои права на корону. Был у нее придворным врачом Лесток. Он был уроженец из Ганновера, вступил в русскую службу при Петре I-м и был им за что-то сослан в Казань, а при Екатерине I-й возвращен и определен к ее дочери, Елисавете. Как врачу, по его специальности, ему был всегда открыт доступ к особе цесаревны. И вот, в два часа ночи, вошел он к ней в спальню, разбудил и советовал ехать в Москву, показаться там народу и заявить о своих правах на престол. Елисавета знать ничего не хотела; по-видимому, ее тогда не увлекало еще обаяние царствовать, а между тем у нее тогда уже была большая партия. Правда, знатные вельможи не слишком ее уважали, припоминали увлечения и, кроме того, считали ее незаконною дочерью, не имевшею права ни на какое наследство после того, кого почитала она своим родителем. Но многие гвардейские офицеры не смотрели на это, видели в ней плоть и кровь Петра Великого и толковали, как было бы кстати возвести Елисавету на престол, устранивши Анну Ивановну с ее курляндскими друзьями. Елисавета считалась русскою по душе и по сердцу, – и все, которые ненавидели иноземщину и стояли за русский дух, находили в ней своего идола. Если б Елисавета послушалась этого голоса ее сторонников, то, конечно, Анне Ивановне не пришлось бы царствовать. Но цесаревна не сделала тогда ни малейшего шага в свою пользу, и Анна Ивановна воцарилась. Эта государыня не терпела Елисаветы; Елисавета это знала и первые годы царствования Анны Ивановны продолжала удаляться от двора и проживала в своей подмосковной. Только по воле императрицы она должна была переселиться в Петербург, где у нее было два дворца – один летний загородный, близ Смольного, другой зимний, в середине города.<sup>264</sup> Она должна была являться на балы и куртаги императрицы, и там блистала она, как необыкновенная красавица. Когда китайскому послу, первый раз прибывшему во дворец, сделали вопрос – кого он находит прелестнее всех женщин, он прямо указал на Елисавету. По описанию видевшей ее часто жены английского посланника, леди Рондо, у нее были превосходные каштановые волосы, выразительные голубые глаза, здоровые зубы, очаровательные уста. Говорили, правда, что ее воспитание отзывалось небрежением, но, тем не менее, она обладала наружными признаками хорошего воспитания: она превосходно говорила по-французски, знала также итальянский язык и немного по-немецки, изящно танцевала, всегда была весела, жива и занимательна в разговорах. Как в своем отрочестве, так и в зрелом возрасте, она, при первом своем появлении, поражала всех красотою, особенно когда одета была в цветной «робе» с накрахмаленным газовым чехлом, усеянным вышитыми серебром цветами. Ее роскошные волосы не обезображивались пудрою по тогдашней моде, а распускались по плечам локонами, перевитыми цветами. Когда императрица угощала у себя пленных французов, которые были привезены из Гданьска, Елисавета Петровна очаровала их всех своею любезностью, непринужденною веселостью и знанием французского языка. Решительно неподражаема была цесаревна в русской пляске, когда, в веселые часы, забавлялась императрица со своими шутами и шутихами в отечественном пошибе. Императрица всегда обращалась с цесаревною вежливо и любезно, но от Елисаветы не укрывалось, что Анна Ивановна не терпит ее, как своего тайного врага. Приближенные Елисаветы, в особенности ее лейб-хирург Лесток, постоянно твердили о ее правах на престол, и хотя она уклонялась от всяких заявлений со своей стороны в этом роде, но ею невольно должна была усваиваться мысль, что Анна Ивановна царствует неправильно, и корону следовало бы возложить на голову дочери Петра I-го. Притом обращение с нею императрицы Анны стало отзываться высокомерием, так что Елисавета уже неохотно являлась во дворец ее, и когда хотела туда ехать, то прежде посылала справиться, пожелают ли принять ее. Когда у императрицыной племянницы, Анны Леопольдовны, родился сын, принц Иван Антонович, еще прежде своего рождения предназначенный быть наследником престола, с Елисаветою случилось событие, которое должно было утвердить ее в мысли, что русские люди ее любят более своего правительства. Елисавета, по обычаю, должна была сделать подарок родильнице. Она послала своих придворных в гостиный двор купить вазу

---

<sup>264</sup> По одним источникам, он находился на Царицыном Лугу, близ Павловских казарм, по другим – на Садовой, где ныне пажеский корпус.



для этого подарка. Купцы, узнавши, что ваза покупается для цесаревны, не взяли денег и предложили от себя ей в подарок требуемую вазу: Елисавету считали руководительницей русской национальной партии и полагали на нее надежду возрождения Руси.<sup>265</sup>

В последнее время царствования Анны Ивановны наступило для России сближение с Францией. Долгое время эти державы находились в неприязненных друг к другу отношениях. Но после того, как французский посланник в Турции, Вильнёв, принял на себя посредство заключения мира Турции с Австрией и Россией, императрица Анна Ивановна возобновила дипломатические сношения с Францией и отправила в Париж посланником князя Кантемира, а Франция назначила своим посланником в Петербург маркиза де ля Шетарди. Это был тип французского аристократа XVIII века, как бы самой природой созданный быть посланником в России. Врожденная французам любезность в обращении была в нем развита воспитанием и, с детских лет, салонами высших кругов; остроумный, щедрый до расточительности, всегда изящно одетый, напудренный – куда только он ни являлся, везде оставлял по себе самое приятное впечатление. Он особенно годился для тогдашнего высшего русского общества, которое легкомысленно увлекалось наружностью и способно было сразу принять ее за внутреннее содержание. Он был отправлен не столько официальным послом, сколько агентом и наблюдателем; во Францию доходили слухи, что в России существует национальная партия, недовольная управлением Россией в руках немцев; де ля Шетарди должен был узнать о ней в точности, сблизиться с ее главными вожаками и настраивать их к произведению переворота, который бы свергнул немецкое господство и установил другое, благоприятное для Франции. Де ля Шетарди в январе 1740 года в первый раз представился императрице Анне Ивановне, а затем цесаревне. При свидании с последнею, оба произвели друг на друга приятное впечатление. Французский посланник открыл у себя в отеле самое широкое гостеприимство. Но немцы, везде не любившие французов, как чуждую и по характеру противоположную им расу, старались внушить недоверие русским сановникам; те, зная, что при царском дворе недолюбливают вообще французов, держали себя осторожно по отношению к де ля Шетарди, и немало труда и терпения стоило ловкому дипломату победить такую к себе недоверчивость. Он успел, однако, настолько, что в последние месяцы своего царствования уже сама Анна Ивановна лично склонялась на сторону Франции.

Но умерла Анна Ивановна, с которою, в день смерти ее, Елисавета просталась как сестра. Наступило короткое время регентства Бирона. Регент назначил принцессе Елисавете на содержание по пятидесяти тысяч в год. Он часто к ней ездил и беседовал с нею. Однажды, в присутствии других, Бирон произнес, что если принцесса Анна Леопольдовна сделает какую-нибудь попытку к перевороту правления – он вышлет ее вон из России вместе с мужем и сыном и пригласит голштинского принца, внука Петра Великого. Толковали тогда, будто у Бирона в голове вертелась иная мысль – женить сына своего Петра на Елисавете и доставить ей престол.

Но Бирон был низвергнут; правление перешло в руки Анны Леопольдовны и ее супруга, и не перестало по-прежнему быть немецким. Гвардейцы не любили принца Антона; офицеры кричали: «Когда низвержен был Бирон, мы думали – немецкому господству приходит конец, а оно и до сих пор продолжается, хотя с другими особами». Составлялись и расходились соблазнительные анекдоты о правительнице насчет ее дружбы с саксонским посланником Линаром; рассказывались также анекдоты о высокомерном обращении немецких начальников с подчиненными-русскими, сожалели об унижении России, вспоминали с сочувствием времена Петра Великого и обращались сердцем к дочери его, лаская свое воображение надеждою, что с ее воцарением настанут иные, лучшие времена. И войско, и народ забывали на время тягости Петрова царствования и любили дочь сурового, но умного царя; а Елисавета вела себя так, чтобы заставить любить себя и надеяться от нее всякого добра. Она не пряталась в глубину царских палат, как Анна Леопольдовна; она то и дело

---

<sup>265</sup> Вейдемейер: «Обзор», т. II, 96. – Царствование Елис. Петр., т. I, 127—128. – «Русская Беседа», 1857 г., т. I, стр. 6. – Записки Желябужского, стр. 213.

каталась по городу в санях и верхом и повсюду встречала знаки восторженной, непритворной любви к себе. В ее дворце был открыт доступ не только гвардейским офицерам, но и рядовым; она сама ездила в казармы, воспринимала у солдат детей при крещении, при этом щедро их обдаривала, хотя такая щедрость была для нее нелегким делом, и она входила в долги. Лесток продолжал трубить ей в уши свою одну и ту же многолетнюю песню, что следует ей заявить свое право на наследственный престол. Этот ревностный сторонник цесаревны явился в дом французского посольства, выпросил свидание с де ля Шетарди, открыл ему, что гвардия и народ расположены к цесаревне и есть возможность возвести ее на престол, а браун-швейгскую династию со всеми преданными ей немцами прогнать; цесаревна, ставши императрицей, войдет в союз с Францией и всегда будет готова к услугам этой державы, тем более что она сохранила сердечное воспоминание о том детском времени, когда родители готовили ее быть супругою французского короля; хотя она никогда не видала в глаза Людовика XV, но тяготеет к нему душою, как к давнему другу юности. Узнавши об этом от Лестока, де ля Шетарди сообразил, что для него теперь сам собою открывается путь осуществить переворот, о котором ему сделан был намек в инструкции в общих, неопределенных чертах. Надобно во что бы то ни стало посадить Елисавету на престол, и тогда легко можно будет французскому королю заключить с нею дружеский союз, и, таким образом, оторвать Россию от политического союза с прирожденным врагом Франции – Австриею и образовать новый союз Франции с Россиею, Пруссиею и Швециею против ненавистного Габсбургского дома.

Не смея идти далее в своих замыслах без указания свыше, де ля Шетарди говорил, что посланник без инструкции походит на незаведенные часы. Он отнесся к своему министру иностранных дел, сообщил о слышанном от Лестока и о подмеченном им самим в России и просил более точных указаний своему делу. В ответ на свое представление он получил поручение уверить принцессу Елисавету в готовности французского короля помочь ей. Тогда Франция задумала втянуть Швецию в предприятие в пользу Елисаветы. Швеция была уже накануне разрыва с Россиею, управляемою брауншвейгской династиею. В России образовалась партия, желавшая низвергнуть брауншвейгскую династию и возвести на престол Елисавету Петровну; поэтому не было ничего естественнее, как Швеции объявить войну с целью доставить престол Елисавете Петровне, а Елисавета Петровна должна будет за то уступить Швеции часть земель, завоеванных отцом ее. Такой проект, от имени Франции, тогда был представлен цесаревне, но она отвергла его: «Лучше, – сказала она, – я не буду никогда царствовать, чем куплю корону такой ценой». Услышав такую речь, французский посланник не настаивал более, оставляя времени и обстоятельствам содействовать разрешению этого вопроса.

Вскоре после того де ля Шетарди получил от своего правительства две тысячи червонцев (22423 франка), при посредстве дяди, служившего при французском посольстве в Петербурге, некоего Маня (Magne). Из этой суммы Лесток выдал двум немцам, Грюнштейну и Шварцу, часть для раздачи гвардейским солдатам от имени цесаревны.<sup>266</sup> Первый из них служил солдатом в гренадерской роте Преображенского полка, второй был прежде придворным музыкантом, а теперь занимал какую-то должность в Академии наук за небольшое жалованье. Они сразу набрали тридцать Преображенских гренадеров, готовых хоть в огонь, хоть в воду «за матушку цесаревну Елисавету Петровну». Обо всем этом сообщил Лесток французскому посланнику при свиданиях, устраиваемых в роще, соседней с дачею, на каком-то из петербургских островов, где посланник нанимал себе летнее помещение.

Слух об этих затеях преждевременно дошел, однако, до Зимнего дворца. Польско-саксонский посланник Линар, которого тогда правительница собиралась женить на своей любимице Юлиании фон Менгден, советовал правительнице не церемониться с Елисаветою, арестовать и заточить в монастырь. «Никакой пользы из этого не произойдет, – сказала Анна

<sup>266</sup> Вандаль: Louis XV et Elisabeth de la Russie, стр.145.

Леопольдовна, – разве не останется чертенок, который нам не будет давать покоя?» Она разумела принца голштинского, сына Анны Петровны, старшей дочери Петра Первого. Тогда Линар советовал арестовать и выслать из России французского посланника, который заводит все пружины против брауншвейгского дома. И на это не согласилась Анна Леопольдовна. Кто-то из прислуги подслушал этот разговор, его передали Елисавете Петровне, а Елисавета Петровна, разумеется, предупредила маркиза де ля Шетарди. Тогда французский посланник вооружил всю свою посольскую прислугу, пожег бумаги, какие могли повредить ему при обыске, и готовился выдерживать ночное нападение. Никто, однако, к нему не являлся. Утром он был у Елисаветы, от нее поехал в Зимний дворец, весь вечер там веселился, любезничал, шутил и уехал на новое ночное свидание с Лестоком и Воронцовым.

Лесток, мало сдержанный на язык, где-то проболтался и высказал ожидание, что скоро цесаревна делается императрицей. Весть об этом дошла до Остермана. Остерман поехал объясняться с правительницею; но Анна Леопольдовна, желая устранить толки о грядущих опасностях, сказала: «Все это сплетни, мне давно уже известные». Тотчас она стала показывать Остерману платица, сшитые для малолетнего императора.

Не более внимания у правительницы имели представления от супруга ее, который советовал арестовать Лестока и заметил при этом, что гвардейские офицеры смотрят на него, принца, как-то исподлобья, а между тем оказывают уважение и любовь к Елисавете, и солдаты величают ее «матушкой». И на эти предостережения Анна Леопольдовна махнула рукой. Тогда последовало еще одно предостережение. Граф Левенвольд, собираясь ужинать, получил от кого-то сведения о замыслах цесаревны и ее приверженцев, записал полученные сведения на бумаге и, хотя было уже поздно, поспешил в Зимний дворец. Правительница уже легла спать. Левенвольд передал записку ее камер-юнгфере и поручил довести ее до сведения правительницы. Камер-юнгфера вошла в спальню со свечою и подала записку. Полусонная Анна Леопольдовна пробежала ее и произнесла: «Спросите графа Левенвольда, не сошел ли он с ума?» Левенвольд воротился домой в отчаянии, а наутро поехал к правительнице и стал уговаривать не пренебрегать грозящею опасностью. «Все это пустые сплетни, – сказала правительница, – мне самой лучше, чем кому-нибудь другому, известно, что цесаревны бояться нам нечего».<sup>267</sup>

В самом деле, между правительницею и цесаревною господствовало полное согласие и нежнейшая родственная дружба. В день рождения цесаревны, в декабре 1740 года, правительница послала ей в подарок дорогой браслет, а от лица малолетнего императора – осыпанную камнями золотую табакерку с гербом, и тогда же, к довершению внимания к делам цесаревны, указано было из соляной конторы выдать сорок тысяч рублей на уплату долгов цесаревны. Когда у правительницы родилась дочь, восприемницею ее при св. крещении была цесаревна, вместе с герцогом мекленбургским, отцом правительницы, которого особу, за отсутствием, представлял при совершении обряда князь Алексей Михайлович Черкасский.

Между тем, открылись в Финляндии военные действия между русскими и шведами. Вначале выгоды были на русской стороне: фельдмаршал Ласси одержал над шведами победу и овладел крепостью Вильманстрандом. Но де ля Шетарди, услышав об этом, послал курьера к шведскому главнокомандующему, Левенгаупту, с проектом манифеста в таком смысле, что Швеция предприняла войну с целью освободить Россию от господства ненавистных для нее немцев и доставить престол дочери Петра Первого. Левенгаупт издал такой манифест. Правительница читала его – и все-таки придавала более веры наружному дружелюбию Елисаветы, чем явно угрожающим ей обстоятельствам. Этого мало. Граф Головкин уговорил правительницу на смелый и опасный шаг – объявить себя императрицей. Анна Леопольдовна легкомысленно приняла этот совет и стала готовиться к торжеству, которое было назначено на день именин правительницы, 9-го декабря. Но и сама Елисавета не слишком торопилась в

<sup>267</sup> Вейдемейер: «Обзор», т. II, стр. 50.

своем предприятии и отложила его до 6-го января будущего 1742 года. Тогда предполагала она явиться перед гвардейцами во время крещенского парада на льду Невы-реки и там заявить свои права.

Французский посланник, узнавши о таком колебании и откладываниях, понял, что если люди, затевая что-нибудь важное, начнут откладывать свое предприятие на дальние сроки, то могут, охладев к своему предприятию, покинуть его вовсе. Де ля Шетарди спешил объясниться с цесаревной. Он приехал к ней во дворец в то время, когда она воротилась с прогулки в санях. Это было 22-го ноября.

– Я, – сказал французский посланник, – приехал вас предупредить об опасности. Я узнал из верного источника, что вас хотят упрятать в монастырь. Пока это намерение отложили, но ненадолго. Теперь же наступает пора действовать нам решительно. Положим, что успеха не будет вашему предприятию. Вы, в таком случае, рискуете подвергнуться ранее той участи, какая неизбежно вас постигнет месяцем или двумя позже. Разница в том, что если вы теперь ни на что не решитесь, то лишите смелости друзей ваших на будущее время, а если теперь покажете со своей стороны решимость, то сохраните к себе расположение друзей, и, в случае первой неудачи, они отомстят за нее и могут поправить дело.

– Если так, – произнесла Елисавета Петровна, – если уж ничего не остается, как приступить к крайним и последним мерам, то я покажу всему свету, что я – дочь Петра Великого.

## II. Достижение престола

*Вечернее свидание цесаревны с Анной Леопольдовной. – Предостережение принца Антона-Ульриха. – Лесток в трактире. – Осмотр окон в Зимнем дворце и в палатах вельмож. – Сборы приверженцев Елисаветы в ее дворце. – Поезд к Спасским казармам. – Шествие к Зимнему дворцу. – Арестование брауншвейгской фамилии. – Арестование вельмож. – Признание Елисаветы императрицей. – Милости новой государыни. – Суд и расправа над Остерманом, Минихом и другими приверженцами брауншвейгской династии.*

23-го ноября цесаревна отправилась в Зимний дворец в гости к правительнице. Был куртаг. Вечером гости уселись за карточные столы; цесаревна тоже стала играть в карты. Вдруг Анна Леопольдовна вызвала Елисавету Петровну из-за карточного стола, пригласила в другую комнату, сказала, что получила из Бреславля письмо: ее предостерегают, извещая, что цесаревна со своим лейб-хирургом Лестоком, при содействии французского посланника, замышляет произвести переворот; ей советуют немедленно арестовать Лестока. Цесаревна показывает вид изумления, уверяет, что ей в голову не приходило ничего подобного, что она ни за что не нарушит клятвы в верности, данной малолетнему императору, что Лесток ни разу не бывал у французского посланника, что, если угодно, могут его арестовать, и через то уяснится только ее невинность. Цесаревна расплакалась, бросилась к правительнице в объятия; Анна Леопольдовна, по своему добродушию, расплакалась сама и рассталась с цесаревною при взаимных уверениях любви и преданности.<sup>268</sup>

Утром 24-го ноября, в 10 часов, явился Лесток к Елисавете Петровне и застал ее за туалетом. Он показал ей два сделанных им карандашом рисунка; на одном представлена была цесаревна с короною на голове, на другом – та же цесаревна в монашеской рясе, а кругом нее – орудия казни. «Желаете ли, – спросил он, – быть на престоле самодержавною императрицею, или сидеть в монашеской келье, а друзей и приверженцев ваших видеть на плахах?»

В Зимнем дворце принц Антон-Ульрих возобновил, в последний раз, свои предостережения супруге и просил ее приказать расставить во дворце и около дворца усиленные караулы, а по городу разослать патрули, одним словом, принять меры насчет

<sup>268</sup> La Cour de la Russie il y a cent ans, стр. 85. – Вейдемейер: «Обзор» т. III, 51. – Записки Манштейна, стр.251. – Пекарский: «Маркиз де ля Шетарди», стр.398.

опасных замыслов Елисаветы. «Опасности нет, – отвечала Анна Леопольдовна, – Елисавета ни в чем не винна; на нее напрасно наговаривают, лишь бы со мною поссорить. Я вчера с нею говорила; она поклялась мне, что ничего не замышляет, и когда уверяла меня в этом, то даже плакала. Я вижу ясно, что она не виновна против нас ни в чем».

В тот же день, вечером, Лесток собрал своих единомышленников на сходку, назначив трактир савояра Берлина, находившийся неподалеку от дворца цесаревны, а между тем дал приказание въехать во двор ее дворца двум саням. В трактире Лесток встретил какого-то подозрительного человека, зазвал его играть на бильярде, чтобы занять время, пока соберутся его единомышленники. Когда один из последних вошел, Лесток переглянулся с ним, оставил своего партнера и вышел из трактира с пришедшим; кажется, то был де Вальденкур, секретарь маркиза де ля Шетарди, передававший Лестоку червонцы для раздачи гвардейцам.<sup>269</sup> На улице встретили они еще двоих господ своего кружка, и Лесток отправил одного к дому Остермана, другого к дому Миниха – осмотреть, что там делается, а сам пошел к Зимнему дворцу, осмотрел с улицы окна, где, по его соображениям, должны были находиться опочивальни правительницы и принца, нашел, что везде уже темно, встретил на площади возвращавшихся из домов Остермана и Миниха, и узнал от них, что в этих домах также все темно, и все там спят покойно.

Тогда Лесток отправился к цесаревне – объявить, что никто в городе не предвидит настоящей тревоги и пришло время действовать. Елисавета не ложилась. Было два часа ночи. Она молилась на коленях перед образом Богоматери, прося благословения своему предприятию, и тут-то, как говорят, дала обет уничтожить смертную казнь в России, если достигнет престола. В ее дворце собрались уже все главные приверженцы и знать: любимец Разумовский, камер-юнкеры Шуваловы – Петр, Александр и Иван, камергер Михайло Иларионович Воронцов, принц гессен-гамбургский с женою, Василий Федорович Салтыков, дядя покойной Анны Ивановны и тем самым близкий к ее роду, но в числе первых перешедший на сторону Елисаветы. Были здесь и другие особы, знавшие о заговоре, и в том числе родственники Елисаветы, попавшие из крестьян в графы – Скавронские, Ефимовские, Гендриковы. Лесток, явившись к цесаревне, заметил, что она как-то опускается духом, стал ободрять ее и подал ей орден Св. Екатерины и серебряный крест; она возложила на себя то и другое и вышла из дворца. У подъезда стояли приготовленные для нее сани. Елисавета Петровна села в сани; с нею поместился Лесток; на запятках стали Воронцов и Шуваловы. В других санях поместились Алексей Разумовский и Василий Федорович Салтыков; три гренадера Преображенского полка стали у них на запятках. Сани пустились по пустынным улицам Петербурга к съезжей Преображенского полка, где ныне церковь Спаса Преображения. Там были казармы, которые строились не так, как теперь: тогда это были деревянные домики, исключительно назначенные для помещения рядовых; офицеры жили не в казармах, а в обывательских домах, по квартирам.

Когда сани подкатили к съезжей, стоявший там на карауле солдат ударил в барабан тревогу, увидя неизвестных приезжих; но Лесток соскочил с саней и распорол кинжалом кожу на барабане. Тридцать гренадеров, знавших заранее о заговоре, бросились в казармы скликать товарищей именем Елисаветы. На этот зов многие бежали к съезжей избе, сами не зная, в чем дело. Елисавета, выступив к ним из саней, произнесла:

– Знаете ли, чья дочь я? Меня хотят выдать насильно замуж или постричь в монастырь! Хотите ли идти за мною?

Солдаты закричали:

– Готовы, матушка! всех их перебьем!

Елисавета произнесла:

– Если вы так намерены поступать, то я с вами и не иду!

Это охолодило порыв солдат. Елисавета подняла крест и произнесла:

– Клянусь умирать за вас, и вы присягните за меня умирать, но не проливать напрасно

<sup>269</sup> Позье, Записки, «Русская Старина» 1870 года, т. I, стр. 87.

крови.

– На том присягаем! – завопили солдаты.

Арестовали дежурного офицера, иностранца Гревса. Все солдаты подходили к Елисавете Петровне и целовали крест, который она держала в руке; наконец она произнесла:

– Так пойдете же!

Все двинулись за ней в числе трехсот шестидесяти человек через Невский проспект на Зимний дворец. Лесток отделил четыре отряда, каждый в 25 человек, и приказал арестовать Миниха, Остермана, Левенвольда и Головкина. Шествие тянулось через Невский проспект, а в конце этой улицы, уже у Адмиралтейской площади, Елисавета почему-то вышла из саней и решила остальную дорогу до Зимнего дворца пройти пешком, но не поспела за гренадерами. Тогда ее взяли на руки и донесли до Зимнего дворца.<sup>270</sup>

Прибывши ко дворцу, Елисавета неожиданно вошла в караульную и сказала:

– И я, и вы все много натерпелись от немцев, и народ наш много терпит от них; освободимся от наших мучителей! Послужите мне, как служили отцу моему!

– Матушка! – закричали караульные, – что велишь – все сделаем!

По одним известиям<sup>271</sup>, Елисавета вошла во внутренние покои дворца, прямо в спальню правительницы, и громко сказала ей:

– Сестрица! пора вставать!

По другим известиям, цесаревна не входила сама к правительнице, а послала гренадеров: те разбудили правительницу и ее супруга, потом вошли в комнату малолетнего императора. Он спал в колыбельке. Гренадеры остановились перед ним, потому что цесаревна не приказала его будить прежде, чем он сам не проснется. Но ребенок скоро проснулся; кормилица понесла его в караульную. Елисавета Петровна взяла младенца на руки, ласкала и говорила: «Бедное дитя! ты ни в чем не винно; виноваты родители твои!» И она понесла его к саням. В одни сани села цесаревна с ребенком; в другие сани посадили правительницу и ее супруга. Антон-Ульрих, несколько времени после того как его разбудили, был как ошеломленный, а потом стал приходить в себя и начал выговаривать супруге – зачем не слушала его предостережений.

Елисавета возвращалась в свой дворец Невским проспектом. Народ толпами бежал за новой государыней и кричал «ура». Ребенок, которого Елисавета Петровна держала на руках, услышав веселые крики, развеселился сам, подпрыгивал на руках у Елисаветы и махал ручонками. «Бедняжка! – сказала государыня, – ты не знаешь, зачем это кричит народ: он радуется, что ты лишился короны!»<sup>272</sup>

В то же время арестовали в своих домах и помещениях: Остермана, фельдмаршала Миниха, его сына, Левенвольда, Головкина, Менгдена, Темирязева, Стрешневых, принца Людвига брауншвейгского – брата Антона (которого прочили в мужья цесаревне), камергера Лопухина, генерал-майора Альбрехта и еще некоторых других.<sup>273</sup> Остерман потерпел от арестовавших его солдат оскорбления за то, что стал было обороняться и позволил себе неуважительно отозваться о цесаревне Елисавете. Говорили также, что с Минихом обошлись грубо, а также с Менгденом и его женою. Всех их привезли во дворец Елисаветы Петровны, а в 7 часов утра отправили в крепость. Людвига брауншвейгского не сажали в крепость, предположивши заранее выслать его за границу.

Тотчас по возвращении Елисаветы Петровны к себе во дворец, Воронцов и Лесток распорядились собрать знатнейших военных и гражданских чинов, и с рассветом стала являться тогдашняя знать на поклонение восходящему светилу; показались – генерал-прокурор князь Трубецкой, адмирал Головин, князь Алексей Михайлович Черкасский, кабинет-секретарь Бреверн, Алексей Петрович Бестужев, начальник тайной канцелярии Ушаков... О фельдмаршале Ласси сохранилось такое известие: на рассвете разбудил его

<sup>270</sup> Вандаль, Louis XV et Elisabeth de Russie, 157.

<sup>271</sup> Записки фельдмаршала Миниха, стр. 82.

<sup>272</sup> Chantreau. Voyage fait en Russie, 1794 г., т. II, стр. 75—76.

<sup>273</sup> Пекарский. Маркиз де ля Шетарди, стр. 401.

посланный от цесаревны и спрашивал: «К какой партии вы принадлежите?» – «К ныне царствующей», – был ответ. Такой благоразумный ответ избавил его от всяких преследований, и он тотчас отправился к новой императрице. Он поступил, как прилично было поступить иностранцу в чужой земле. Другой иностранец, генерал принц гессен-гамбургский, как уже выше было сказано, примкнувший к заговорщикам заранее, до такой степени приобрел доверие новой императрицы, что она поручила ему заведовать военными силами столицы и охранять в ней порядок. Не так поступил тогда Петр Семенович Салтыков, бывший дежурным генерал-адъютантом в ночь переворота. Он знал о замыслах Елисаветы, но не был уверен в успехе и потому не пристал открыто, а сохранил видимую верность правительнице. Его арестовали и доставили во дворец Елисаветы: он упал пред нею на колени. Его родственник, Василий Федорович, уже прежде заявивший свою верность новой государыне и сидевший в санях с Разумовским во время похода к Зимнему дворцу, сказал ему: «Вот ты теперь на коленях, а вчера глядеть бы не захотел на нас и всякое зло готов был нам сделать». Елисавета Петровна приказала замолчать Василию Федоровичу; она не намерена была делать попреков за медленность тем, которые, хотя не так рано, как другие, покорились ей. Тогда граф Бестужев занялся составлением манифеста от имени государыни и присяжного листа. Сенат, синод, генералитет в полном составе собрались во дворце цесаревны и принесли по этому листу присягу на верность. Новая государыня, надев на себя андреевский орден, вышла на балкон. Внизу, перед дворцом, толпился народ, горели костры, возле которых грелись люди. Тут Елисавета Петровна приняла присягу от конногвардейцев и других гвардейских полков. Воротившись в свои внутренние покои, государыня принимала приехавших к ней с поздравлением знатных дам и на принцессу гессен-гамбургскую собственноручно возложила орден Св. Екатерины.

В начале третьего часа пополудни Елисавета Петровна села в сани и поехала в Зимний дворец. Кругом ее саней бежали, как и прежде, толпы народа с радостными восклицаниями. В придворной церкви дворца отправлено было благодарственное молебствие при пушечных выстрелах, а потом прочитан был, составленный наскоро Бестужевым, манифест, отпечатанный на шести листах довольно серой бумаги. Это был, так сказать, манифест предварительный, за которым должен был последовать другой, полнейший. В нем от имени новой императрицы объявлялось во всеобщее сведение, что «все духовные и мирские чины, верные подданные, особливо лейб-гвардии полки, для пресечения всех происходивших и вперед спасаемых беспокойств и беспорядков, просили нас, дабы мы, яко по крови ближняя, отеческий престол восприять изволили».

Тогда гренадеры Преображенского полка просили императрицу принять на свою особу сан капитана их роты. Елисавета Петровна не только соизволила на это, но даровала дворянское достоинство всем состоящим в ее роте и вдобавок обещала наделить всех их населенными имениями. Вся эта рота, состоявшая тогда в числе трехсот шестидесяти человек, наименована лейб-компаниею.

Сенат сделал распоряжение о приводе к присяге всех чинов людей во всей империи и о переделке во всех присутственных местах печатей. По всем городам империи приказано было в церквях, с утра до вечера, приводить к присяге народ всех сословий, кроме пашенных крестьян. Над совершением обряда присяги посланы были наблюдать штаб и обер-офицеры гвардии; им вменялось в особенную обязанность смотреть, чтобы духовного чина люди непременно были приведены к присяге, а о неприсягнувших, какого бы они звания ни были, приказано было доносить.

Тогда последовали разные награды. На одних были возложены ордена, иные были повышены в чинах. Вызваны были на свободу пред новую государыню опальные прежнего царствования Анна Ивановны, князя Долгорукие – фельдмаршалы Василий и Михайло Владимировичи; томившиеся долго в шлиссельбургских казематах, потом отправленные в Соловки, они привезены были в Петербург еще по повелению Анны Леопольдовны, а явившись к Елисавете, по ее воцарении, получили прежние ордена и почести. Тогда повелела императрица возвратить из ссылки и восстановить в их правах князей Долгоруких: Николая,

лишенного языка, Алексея и Александра, сосланных в Камчатку и Березов; кроме того, приглашены были ко двору: бывшая невеста Петра II-го княжна Екатерина Долгорукая и Наталья Борисовна, вдова казненного Ивана Алексеевича князя Долгорукого. Первая выдана была за генерала Брюса; последняя отеклась от чести быть при дворе и воспользовалась освобождением только для того, чтобы удалиться в Киев и поступить там в монастырь. Императрица освободила из заточения несчастного киевского митрополита Ванатовича, томившегося десять лет в Кирилло-Белозерском монастыре за то, что, по незнанию, не отслужил молебствия в годовщину вступления на престол Анны Ивановны. Тогда же освободили Скорнякова-Писарева, графа Девиера, сосланных в Охотск Меншиковым в 1727 году; Девиер снова сделан был генерал-полицеймейстером. Возвращены были также Сиверс и Флэк, сосланные в Сибирь за то, что не пили за здоровье Анны Ивановны, не получивши верного сведения о ее вступлении на престол; возвратили свободу также и Соймонову, бывшему обер-прокурору сената, пострадавшему по делу Волынского и сосланному в Охотск. Не без труда нашли одного опального времен Анны Ивановны – человека очень близкого новой императрице. То был Алексей Яковлевич Шубин, сержант гвардии, цальмейстер Елисаветы Петровны в те годы, когда она была цесаревной. При дворе Анны Ивановны стали говорить, будто он был любимцем цесаревны, и Анна Ивановна приказала сослать его в Сибирь. По кончине Анны Ивановны, Елисавета, будучи еще цесаревной, стала стараться о его освобождении, и по ее настоянию последовало о том два указа – один от курляндского герцога, в короткое время его регентства, другой – от правительницы. Но долго не могли отыскать, где Шубин находился; наконец, по приказу, подписанному Минихом, его нашли где-то в Камчатке. Надобно было промерять 15 000 верст, пока Шубин успел бы воспользоваться своим освобождением и прибыть в столицу. Но тогда уже совершился переворот: императрицею стала Елисавета. Он был принят приветливо, назначен майором гвардейского Семеновского полка и генерал-майором по армии. Лесток был очень недоволен появлением этого человека при дворе, потому что Лесток не был безгрешен по отношению к Шубину в ту пору, когда Анна Ивановна наводила справки о Шубине с намерением отправить его в ссылку. Но теперь Елисавета не могла относиться к Шубину, как прежде. Притом и Шубин был уже не прежний: он одичал за несколько лет житья в камчатской пустыне, хотя и сохранил еще следы прежней красоты. Украшенный орденом Александра Невского, награжденный пожалованными ему именьями в Нижегородской губернии, он уехал туда на покой, уразумевши, что ему нечего больше ждать при царском дворе.<sup>274</sup> В конце 1741 года послано предписание возвратить из ссылки герцога курляндского Бирона; императрица назначила ему жить, вместо Пелыма, в Ярославле, определив ему содержание в 8000 рублей в год; было приказано возвратить ему право на владение именьями в Силезии, отобранными у него во время ссылки и отданными Миниху. Братья герцога курляндского, Густав и Карл, сначала помещены были с ним вместе на житье, но вскоре потом Густав получил дозволение вступить на службу, а Карл – жить в своих именьях в Курляндии.

Сыпались милости на изгнанников и опальных прежних царствований, но на смену им последовало осуждение других опальных, бывших сторонников и деятелей царствования Анны Ивановны. Брауншвейгской фамилии – Антону-Ульриху, супруге его, Анне Леопольдовне, и детям их, в числе которых находился и бывший малолетний император Иван Антонович, обещана была полная свобода и отпуск за границу. Так, по крайней мере, было объявлено в царском манифесте 28 ноября. В этом манифесте слагались все вины – как на главного козла отпущения – на Остермана: он сочинил определение о престолонаследии и поднес подписать императрице Анне Ивановне, бывшей уже в крайней слабости; он, вместе с Минихом, Головкиным и другими, побудил мекленбургскую принцессу взять незаконно в свои руки правительство, и ей внушаемо было намерение, при жизни сына своего, сделаться императрицею всероссийскою. Императрица Елисавета, «не хотя причинять принцессе и ее

<sup>274</sup> Helbig. Russische Gunstlinge. 221—222.



семейству никаких огорчений, по своей природной милости, с надлежащею им честью, предав все их предосудительные поступки крайнему забвению – всех их в их отечество отправить всемилостивейше повелела». Провожать отъезжающих до границы должен был Василий Федорович Салтыков. Ему секретно приказано ехать медленно, и он привез брауншвейгских принцев только 9 марта в Ригу. Здесь неожиданно получено было новое распоряжение: открылось сведение, что принцесса Анна Леопольдовна, будучи правительницею, хотела заключить в монастырь принцессу Елисавету – и за это велено было задержать их за караулом. Затем из Риги прислали донесение императрице, будто принцесса Анна Леопольдовна собиралась из Риги убежать в крестьянском платье; тогда императрица послала приказание всех их посадить в крепость и никуда не выпускать оттуда.

После того опала постигла Остермана, Миниха, Левенвольда, Головкина, Менгдена и второстепенных лиц, арестованных в одно время с первыми. Остерман, арестованный в своем доме у Исаакиевского собора, по отвозе в крепость, был помещен там очень дурно: бедный хилый старик, постоянно страдавший болью в ногах, заболел еще чем-то вроде горячки. Императрица, как бы сжалившись над ним, приказала перевезти его в Зимний дворец и содержать там под строжайшим караулом. Над ними над всеми учреждена была следственная комиссия под председательством князя Никиты Трубецкого. Остермана обвинили в целом ряде преступлений. Важнейшими из них были: зачем, по кончине Петра Второго, содействовал вступлению на престол герцогини курляндской Анны Ивановны, а не цесаревны Елисаветы Петровны; зачем был главным виновником казни Долгоруких в Новгороде; зачем подал проект учинить правительницею государства герцогиню мекленбургскую, а нынешнюю императрицу предлагал засадить в монастырь и устранить от наследства молодого герцога голштинского. Остерман на все это отвечал только одно, что он был связан долгом и присягою соблюдать интересы существовавшего правительства и предпочитать их всему на свете. Князь Трубецкой обвинял Миниха и, между прочим, ставил ему в вину большую трату людей во время веденных им войн; Миних приводил в свое оправдание свои донесения, сохранившиеся в военной коллегии, и укорял себя только в том, что не повесил за казнокрадство Трубецкого, бывшего во время турецкой войны главным кригс-комиссаром и уличенного в похищении казенного достояния. Императрица Елисавета присутствовала на допросе, сидя за ширмами, и, услышавши слова Миниха, приказала тотчас отвести его в крепость и прекратить заседание.

Остермана и Миниха присудили к жестокой каре: Остермана – колесовать, Миниха – четвертовать; прочих осудили на вечное заточение в разных местах Сибири. Когда Остерману поднесли обвинительный акт, он сказал: «Я ничего не стану представлять в свое оправдание. Несправедливо было бы требовать изменения приговора над собою: повинуюсь воле государыни».

В день, назначенный для исполнения приговора, 18 января 1742 года, на Васильевском острове, близ здания двенадцати коллегий (где ныне университет), устроен был эшафот. Шесть тысяч солдат гвардии и армейский астраханский полк составили каре для удержания толпы. Привезли на крестьянских дровнях больного Остермана. Позади его шли пешком восемнадцать осужденных; при каждом из них – по солдату со штыком. Все они имели печальный вид; один Миних между ними шел бодро, щеголем, был выбрит, напудрен; на нем был серый кафтан, а сверху красный фельдмаршальский плащ, в котором его видели не раз в походах.

Четыре солдата внесли Остермана на эшафот и положили его наземь. Сенатский секретарь прочитал приговор; палачи подтащили осужденного к плахе, как вдруг тот же секретарь вынул из кармана другую бумагу и громко произнес: «Бог и великая государыня даруют тебе жизнь». Палач грубо оттолкнул Остермана ногой. Старик упал; солдаты снесли его с эшафота и посадили в извозчичьи сани.

За Остерманом Миниха взвели на возвышение. Готовясь к смерти, он отдал провожавшему его унтер-офицеру кошелек с червонцами. Но и ему объявили пощаду, и он, вместе с прочими, возвращался с места казни в крепость так же спокойно и беззаботно, как

шел на казнь.

Остермана сослали в Березов – место заточения Меншикова. Он прожил до 1747 года. Его сыновья, Федор и Иван, бывшие при отце подполковниками гвардии, были удалены Елисаветою капитанами в армию. Впоследствии, при Екатерине II, один был сенатором, другой получил должность канцлера. Дочь сосланного Остермана была выдана Елисаветою за подполковника Толстого, и их дети положили начало фамилии Остерманов-Толстых.

Левенвольда сослали в Соликамск, оттуда в 1752 году перевели в Ярославль, где он и умер. О нем сохранились противоречивые известия: по одним – он показал себя трусом, по другим – он переносил свое несчастье со стоическим терпением. Также и о нравственных качествах этой личности говорят различно. Дюк де Лириа называет его коварным и корыстолюбивым, Манштейн – человеком честным.

Михайло Головкин сослан в Германк (?) – так сказано в манифесте; но как такого места нет, то одни полагают, что это – Горынская слобода, Туринского уезда, в шестидесяти верстах от Пельма. По другому толкованию<sup>275</sup>, его сослали в Собачий Острог, Якутской области (ныне Среднеколымск). Менгдена увезли в место, которое у Галема и у Бюшинга названо Алимю. Объясняют, что это должен быть Нижнеколымск. Там и умер Менгден; там умерли его жена и дочь, а сын был возвращен и явился в Петербург уже в царствование Екатерины II. О других осужденных известно, что Темирязева послали в Сибирь, без обозначения места, куда именно; бывшего секретаря кабинета, Яковлева, разжаловали в гарнизон, в писаря. Миниху судьба благоприятствовала более прочих. Протомившись двадцать лет в чрезвычайно тяжелом заточении, он, будучи уже глубоким стариком, с восшествием на престол преемника Елисаветы, был возвращен к прежнему почету и прожил несколько лет на свободе.

Кроме сосланных в Сибирь, были еще лица, потерпевшие вследствие близости с обвиненными. Так, капитан гвардии Остен-Сакен был разжалован рядовым в ревельский батальон и там, через тринадцать лет, умер без повышения на службе, – за то, что пользовался расположением Миниха. Иван Иванович Неплюев, известный при Петре Великом своим посольством в Константинополе, во время случившегося переворота управлял Малороссиею, и был вызван за то, что находился в дружественных отношениях с Остерманом. Князь Никита Юрьевич Трубецкой хотел было спровадить его в Сибирь, в ссылку, но Елисавета Петровна отправила его в Оренбургский край, где он потом сделан был правителем.

### III. Эпоха силы и влияния Лестока

*Приезд в Россию голштинского принца, будущего наследника престола. – Поездка государыни в Москву. – Коронование императрицы. – Пребывание двора в Москве. – Шведская война. – Вмешательство Дании. – Абовский мир. – Пребывание ангальт-цербтской принцессы с дочерью. – Лопухинское дело. – Лесток и Бестужев. – Высылка деля Шетарди из России. – Высылка принцессы ангальт-цербтской.*

Тотчас по вступлении своем на престол, Елисавета пригласила из Голштинии молодого племянника, Карла-Ульриха, сына герцогини голштинской, царевны Анны Петровны. В день его приезда в Петербург на него возложили орден Св. Андрея Первозванного: императрица подарила ему дворец в Ораниенбауме и несколько богатых поместий в России. Преподавание закона Божия и приготовление к принятию православия поручено было отцу Симеону Тодоровскому; обучение русскому языку – Ивану Петровичу Веселовскому, исправлявшему при Петре I разные секретные поручения; а профессор академии Штелин назначен был преподавать принцу математику и историю. 15-го февраля нареченного наследника престола возили в академию, где Ломоносов поднес ему оду в 340 стихов,

<sup>275</sup> Хмыров. Исторические статьи. Примечания, стр. 398.

написанную по случаю дня его рождения.

Объявлено было во всенародное сведение, что в будущем апреле в Москве будет отправлено священное коронование государыни – и 23-го февраля императрица со всем двором выехала из Петербурга в Москву. Начальства городов и сел высылали рабочих людей на дорогу, по которой должна была следовать государыня, и эти рабочие расставляли по обеим сторонам пути елки, а в некоторых местах устраивали из них подобие проезжих ворот. На ночь зажигались смоляные бочки. В Новгороде, Валдае, Торжке, Твери и Клине расставляли по пути императрицы обывателей – по правую сторону мужского, по левую – женского пола. С приближением государыни, проезжавшей через эти города, они должны были падать ниц. В таком торжественном шествии Елисавета доехала 26-го февраля до Всесвятского, а 28-го февраля был ее торжественный въезд в старую столицу прародителей; устроили пять триумфальных ворот: у Земляного города, на Тверской, на Мясницкой, в Китай-городе и на Яузе, у дворца императрицы. Государыня ехала в карете, запряженной восемью породистыми лошадьми; по бокам кареты следовали ее верные лейб-компанцы, и за ними – вереница камергеров, камер-юнкеров, служителей и гайдуков. За государыней вслед ехал наследник престола, за ним – придворный штат.

Приходилось до Кремля ехать посреди еще свежих следов пожара, нанесшего Москве страшное опустошение в 1737 году: еще много домов и церквей стояли без крыш. У кремлевской решетки встретил государыню преосвященный архиепископ Амвросий с духовенством; в приветственной речи он восхвалял Елисавету Петровну, как восстановительницу попорченного православного благочестия, и напомнил, что до ее вступления на престол «не токмо учителей, но и учение и книги их вязали, ковали и в темницы затворяли, и уже к тому приходило, что в своем православном государстве о вере своей и отворить уста было опасно». После обычного хождения высочайшей особы по церквам и поклонения кремлевской святыне государыня уехала в свой яузский дворец, где наступили балы, куртаги, маскарады, а по вечерам зажигались потешные огни.

Скоро за тем наступил Великий пост. Прекратились веселости. Запрещено было даже быстро ездить, и если у кого замечали слишком горячих лошадей, то их отбирали на царскую конюшню. Государыня проживала не в одном яузском дворце, но иногда в кремлевском, а иногда в своем селе Покровском. В продолжение великого поста она посещала то одну, то другую церковь. Праздник Пасхи встретила государыня в Покровском селе, в новой церкви, только что оконченной постройкою. 23-го апреля переехала императрица в кремлевский дворец, а 25-го совершилось коронование по общепринятому чину. Тогда последовало множество производств в чины, пожалований орденами, а родственники императрицы по матери – графским достоинством. При покойной государыне Анне Ивановне они были в большом загоне: им запрещалось даже владеть имениями. Двоюродный брат Елисаветы, Скавронский, человек без малейшего воспитания, назначен ею в камергеры; двоюродная племянница государыни, Гендрикова, выдана была за Чоглокова, и этим браком сразу подняла фамилию мужа. Бутурлин, бывший еще при жизни Петра II-го любимцем Елисаветы, произведен в полные генералы и послан управлять Малороссию, хотя, кроме внешности, в нем никто не замечал никаких достоинств. 29-го апреля императрица поместилась в яузском дворце, и с того дня пошли там ежедневно парадные балы и маскарады. Гости являлись туда по билетам, и выдавалось каждый день по девятьсот входных билетов.

В Москве праздник Пасхи прошел спокойно и весело, но в Петербурге произошел беспорядок. Гвардейские солдаты за что-то повздорили на улице с армейскими; офицеры стали их разнимать, и один унтер-офицер из немцев толкнул гвардейца; тот начал скликать товарищей. Узнавши, что толкнувший гвардейца был немец, ожесточенные солдаты ворвались в дом, куда скрылся унтер-офицер, застали там собравшихся офицеров-немцев и ни за что избили их. Начальствовавший столицей, в отсутствие верховной власти, фельдмаршал Ласси усмирив волнение и послал донесение императрице; она дала приказание наказать своевольников, но очень слабо; от этого своеволие гвардейцев

усилилось, и Ласси принужден был, для удержания порядка в Петербурге, расставить по городу пикеты из армейских солдат. Жители Петербурга несколько дней были в большом страхе – боялись отпирать свои дворы, а иные стали даже покидать свои дома и выбираться из Петербурга. К гвардейцам и особенно гренадерам Преображенского полка благоволила государыня, потому что им обязана была своим вступлением на престол; и когда Лесток стал было говорить императрице о крайней необходимости обуздать лейб-компанцев, Елисавета Петровна раздосадовалась даже на Лестока.<sup>276</sup> Скоро, однако, своеволие отозвалось злою выходкою, направленною против личности самой государыни. В июле 1742 г. камер-лакей Турчанинов, Преображенского полка прапорщик Ивашкин и Измайловского полка сержант Сновидов составили заговор умертвить Елисавету Петровну, а с нею и наследника престола, голштинского принца, и возвести снова на престол Ивана Антоновича. Дело странное, тем более, что заговорщики были русские, а между тем в низвержении брауншвейгской династии русское национальное самолюбие играло главную роль. По делу, производившемуся над ними в декабре, оказалось, что они признавали Елисавету Петровну незаконнорожденною и, следовательно, неправильно овладевшею престолом. Их наказали кнутом с вырезанием ноздрей, а у Турчанинова, кроме ноздрей, отрезали еще и язык, и всех сослали в Сибирь.<sup>277</sup>

Весь 1742-й год императрица проживала в Москве, которая была ей ближе к сердцу, чем кому-либо из царствовавших особ, потому что там она провела лучшие годы своей молодости. Между тем в Финляндии велась война со шведами. В марте этого года, посылая туда свои войска, Елисавета Петровна обнародовала манифест, в котором оправдывала себя в настоящей войне и обещала финляндцам относиться к ним дружелюбно, если они, со своей стороны, не будут показывать вражды к русскому войску. Кроме того, если финляндцы пожелают освободиться от владычества шведов и организовать в независимое государство, то Россия будет этому содействовать и охранять их своими военными силами; если же финляндцы не примут такого мирного предложения русской государыни и станут помогать шведскому войску против русских, то императрица прикажет разорять страну их огнем и мечом. Шведским войском командовал Левенгаупт, сын известного сподвижника Карла XII-го, воевавшего в России, человек вполне бездарный. 28-го июня (1742 г.) русские взяли город Фридрихсгам. Шведы бежали. Из некоторых финляндских волостей к русскому главнокомандующему явились депутаты с просьбою принять их в подданство России.<sup>278</sup> Но то были единичные случаи. В большинстве финляндцы оставались верны Швеции и в конце 1742 года затевали учинить резню над русскими войсками, разместившимися в их крае. Между тем в Швеции, где государство раздиралось враждебными друг другу политическими партиями, возникла мысль заключить мир с Россией, предоставив, после недавно умершей королевы Ульрики-Елеоноры, престол ее мужу, а наследником ему избрать на шведский престол голштинского принца, племянника русской императрицы. Предложение это сделано было первый раз шведским генералом Лагеркраною, приезжавшим для этого нарочно в Москву, а по возвращении двора в Петербург снова с этою целью отправлена была туда шведская депутация; но голштинский принц, в качестве наследника русского престола, 7-го ноября 1742 года принял православие и наречен великим князем Петром Федоровичем, а тем самым лишился своего права на шведский престол, так как, по коренным шведским законам, шведский король должен был исповедовать лютеранскую веру. Впрочем, самое соединение русской короны со шведскою, в видах европейской политики, ни для кого не было желательно. Таким образом, шведское посольство уехало, не достигши своей цели, а Елисавета Петровна предложила в короли шведские другого принца голштинского, Адольфа-Фридриха, носившего титул любского епископа, брата того, который умер в России, бывши женихом Елисаветы Петровны. За этого принца в Швеции образовалась многочисленная партия; но там явился и другой кандидат на шведскую корону – сын датского короля Христиана VI-го, Фридрих, датский кронпринц (наследник). И у него в

<sup>276</sup> Hermann, т. V, стр. 185.

<sup>277</sup> Hermann, т. V, стр. 23. – Соловьев, т. XXI, стр. 200.

<sup>278</sup> «Петербургские Ведомости», 1742 г.

Швеции явилось немало сторонников, особенно в Далекарлии, где за него было крестьянское население. Партия голштинского принца, покровительствуемая Россией, взяла верх, потому что в случае выбора принца голштинского императрица обещала Швеции возвратить часть Финляндии, захваченной русским оружием. 27-го июня 1743 года принц Адольф-Фридрих избран был наследником шведского престола, а в августе того же года в городе Або заключен был мир с Россией, по которому Россия приобрела в Финляндии крепости: Фридрихсгам, Вильманstrand, Нислот с провинциею Кименегердскою, приход Пильтен и все места при устье реки Кимене, с островами к югу и западу от этой реки. Затем, во всем остальном, с обеих сторон положено хранить условия Ништадтского мира.<sup>279</sup>

Датский двор долго еще не оставлял своих притязаний. Датский кронпринц опирался на довольно значительную партию в Швеции. Поэтому русская императрица, охраняя права избранного по ее желанию кронпринца Адольфа-Фридриха, отправила флотилию с десантом, вверенную генералу Кейту. Русские войска вступили на шведский берег и расположились в Зюдерманландии и Остроботнии, занявши самый Стокгольм. Так стояло русское войско, готовое действовать оружием против датчан и против шведов, не покорившихся новоизбранному будущему королю, пока, наконец, в феврале 1744 года датский кронпринц отказался от притязаний на шведскую корону, и Дания признала права Адольфа-Фридриха.

Торжество принца голштинского, получившего шведскую корону, было противно намерениям вице-канцлера Бестужева, который держался датской стороны и старался о предпочтении датского кронпринца голштинскому. Но он не мог победить родственного расположения Елисаветы Петровны, находившейся в делах политики под сильным влиянием Лестока. Мир со Швециею на абовском конгрессе заключен был по стараниям Лестока, который хотя лично там не был, но заправлял всем делом из России. Лесток прежде находился в самых дружелюбных отношениях с Бестужевым; рекомендации Лестока Бестужев был обязан своим вторичным возвышением при Елисавете; но дружба их скоро охлаждалась, чему содействовали различные их направления по отношению к внешней политике. Первый раз столкнулись они в датско-шведском вопросе. Еще более разъединило их то, что Лесток был сторонником Франции и, как домашний врач, имел всегда доступ к государыне; пользуясь этим, он постоянно твердил ей о выгоде союза России с Франциею, – это не мешало, однако, тому же Лестоку получать пенсион от Англии, находившейся в то время в войне с Франциею. Бестужев был сторонником Австрии и Англии, ненавидел прусского короля, ненавидел и Францию, и, ссылаясь на депешу русского посланника при французском дворе, князя Кантемира, старался уверить императрицу, что Франции доверять ни в чем не следует. Бестужев вооружал против Лестока любимца государыни, Разумовского, Воронцова и некоторых духовных сановников. Лесток, со своей стороны, выискивал случая насолить Бестужеву и его родным. Такой случай Лестоку скоро представился.

Кирасирский поручик Бергер, родом курляндец, получил назначение находиться в качестве пристава над Левенвольдом, пребывавшим в ссылке в Соликамске. Узнавши об этом, придворная дама Лопухина, бывшая некогда в близких отношениях с Левенвольдом, поручила своему сыну, бывшему камер-юнкером при правительнице Анне Леопольдовне, передать через Бергера, что граф Левенвольд не забыт своими друзьями и не должен терять надежды, что не замедлят наступить для него лучшие времена. Бергер сообщил об этом Лестоку, а от последнего получил приказание изведать подробнее, на чем это Лопухины основывают надежды, что участь Левенвольда переменится к лучшему. Тогда Бергер вместе с другим офицером, капитаном Фалькенбергом, зазвали молодого Лопухина в трактир, напоили – и у Лопухина развязался язык. Он начал говорить о государыне: «Она ездит в Царское Село и берет с собой дурных людей... любит она чрезвычайно английское пиво. Ей не следовало быть наследницею на престоле; она ведь незаконнорожденная – родилась за три года до венчания своих родителей. Нынешние правители государственные – все дрянь, не то

<sup>279</sup> Hermann, т. V, стр. 62. – Соловьев, т. XXI, стр. 273.

что прежние – Остерман и Левенвольд; один Лесток только проворная каналия у государыни. Императору Иоанну прусский король пособит, а рижский гарнизон, что стережет императора и мать его, очень расположен к императору Ивану Антоновичу. Нынешней государыне с тремястами каналиями лейб-компанцев что сделать? Скоро, скоро будет перемена! Отец мой писал к моей матери, чтоб я никакой милости у нынешней государыни не искал».

– Нет ли тут кого побольше? – спросил Фалькенберг.

– Австрийский посол, маркиз Ботта, императору Иоанну верный слуга и доброжелатель, – отвечал Лопухин.

Поставленный к допросу пред генералов Ушакова, Трубецкого и Лестока, Лопухин во всем повинился. Он оговорил мать свою, что к ней в Москве приезжал маркиз Ботта и сказывал, что будет оказана помощь принцессе Анне, и король прусский также обещался.

Приведенная к допросу Наталья Федоровна Лопухина оговорила Анну Гавриловну, жену Михаила Бестужева, урожденную Головкину, бывшую прежде вдовою Ягужинского. Бестужева во всем повинилась, что на нее наговорили Лопухина и сын последней, Иван. Призвали к допросу отца Иванова, Степана Лопухина; он показал, что маркиз Ботта говорил: «Было бы лучше и покойнее, если бы принцесса Анна Леопольдовна властвовала». Сознался и сам Степан Лопухин, что и ему самому было желательно, чтобы принцесса по-прежнему была правительницею, потому что он недоволен государынею за то, что оставлен без награждения чином; он сознался и в том, что говорил: «государыня-де рождена до брака», и прочие непристойные слова произносил.

Подвергли пытке на дыбе Степана Лопухина, жену его, сына их Ивана и Бестужеву. К этому делу привлечено было еще несколько лиц, обвиненных в том, что слышали непристойные речи и не доносили.

Учрежденное в сенате генеральное собрание с участием трех духовных сановников постановило такое решение: всех троих Лопухиных колесовать, предварительно вырезавши им языки. «Лиц, слышавших и не доносивших – Машкова, Зыбина, князя Путятина и жену камергера Софию Лилиенфельд – казнить отсечением головы; некоторых же, менее виновных – сослать в деревни». Императрица смягчила тягость кары, определив – главных виновных, Лопухиных и Бестужеву, высечь кнутом и, урезав языки, сослать в ссылку, других – также высечь и сослать, а все их имущество конфисковать. София Лилиенфельд была беременна. Государыня приказала дать ей время разрешиться от бремени, а потом высечь плетями и сослать. По поводу Софии Лилиенфельд Елисавета Петровна собственноручно написала: «Плутоф наипаче желеть не для чего, лучше чтоб и век их не слышать, нежели еще от них плодоф ждать».<sup>280</sup>

Но так как в это дело вмешали иностранного посла, то приходилось обвинять его перед иностранною державою. Императрица поручила своему послу Лончинскому представить венгерской королеве о непозволительном поведении ее посла и просить учинить над ним взыскание. Мария-Терезия несколько времени защищала Ботту, указывая на его прежнюю, верную и добросовестную службу, но потом, в угоду российской императрице, нуждаясь притом в добром согласии с нею, приказала отправить Ботту в Грац и держать там под караулом. Спустя год после того российская императрица сообщила венгерской королеве, что совершенно довольна правосудием, учиненным над Боттою, и не желает для него строжайшего наказания, предоставляя воле венгерской королевы прекратить его заточение, когда ей то будет угодно. Прусский король Фридрих II, у которого Ботта был посланником от венгерской королевы, узнавши, что русская императрица обвиняет Ботту в коварных против России замыслах, дал Ботте совет самому оставить свой пост в Берлине, а чрез бывшего при нем российского посла Чернышова приказать сообщить императрице Елисавете дружеский соседский совет: для предотвращения на будущее время зловердных затей удалить из Риги куда-нибудь подальше в глубь империи низложенного императора

<sup>280</sup> Соловьев, т. XXI, стр. 290. – «Лопухинское дело», см. «Русская Старина», т. XII, год 1874, сент., стр. 1—42. – Hermann, т. V, стр. 66, 72.

Ивана Антоновича и всю его фамилию. По этому совету последовало высочайшее повеление перевести брауншвейгскую фамилию в Ораниенбург, город, принадлежавший тогда к Воронежской губернии, а несколько времени спустя, в 1744 году, летом, указано было отправить ее в Холмогоры и там содержать Ивана Антоновича отдельно от прочих членов семьи. Через два года после того скончалась бывшая правительница Анна Леопольдовна; тело ее привезено было в Петербург и погребено в Александро-Невской лавре. Императрица присутствовала при ее погребении и плакала.

Причины, побудившие Фридриха II-го так отнестись к брауншвейгской фамилии, связанной с ним родственными узами, состояли в том, что Фридрих хотел отвратить от себя опасность союза России с Марией-Терезией и, напротив, предупредить это и войти самому в союз с российской государыней; он думал укрепить этот союз браком какой-нибудь преданной ему принцессы с наследником русского престола. Фридрих через своего посланника в Петербурге, Мардефельда, подкупил бывшего при великом князе в качестве воспитателя Брюммера и лейб-медика Елисаветы Петровны, Лестока, чтобы они старались отклонить брак великого князя с саксонскою принцессою Марианною, что хотел тогда устроить Алексей Петрович Бестужев. Фридрих II-й предложил тогда в супруги преемнику Елисаветы дочь находившегося у него на службе в качестве коменданта города Штетина, князя ангальт-цербстского, пятнадцатилетнюю принцессу Софию-Августу-Фридрику. Кстати, мать этой принцессы, Иоанна-Елисавета, была урожденная голштинская принцесса, сестра шведского кронпринца, которому покровительствовала Елисавета Петровна, и другого принца, умершего некогда в России женихом цесаревны. Эта родственная близость служила одним из побудительных средств расположить Елисавету к этому брачному союзу. Третий брат принцессы ангальт-цербстской, Фридрих-Август, приехал в Россию по рекомендации прусского короля и привез портрет своей племянницы. Изображение очень понравилось Елисавете, и, когда Бестужев все еще думал расположить ее к мысли женить наследника на саксонской принцессе, она объявила ему, что находит лучшим избрать для наследника российского престола невесту не из знатного владетельного дома: тогда с невестою приехало бы в Россию много иностранцев, которых недолюбливают русские. Императрица говорила, что не знает более подходящей невесты своему племяннику, как дочь принцессы ангальт-цербстской. Так сумел настроить Елисавету Лесток. Бестужев должен был замолчать. В феврале 1744 г. прибыла в Россию принцесса ангальт-цербстская с дочерью и получила приглашение ехать в Москву, куда в начале 1744 г. переехала императрица с двором своим. Приехал в Россию снова и де ля Шетарди, пробравшись в Петербург через Швецию и Финляндию.

Принятая любезно, по-родственному, императрицею, молодая невеста будущего ее преемника отдана была для приготовления к принятию православной веры отцу Симеону Тодоровскому, а учить ее русскому языку приглашен был профессор академии Одадулов. Де ля Шетарди, приглашенный в Москву, был принят так же ласково, как и прежде. С ним были документы, подававшие ему право объявить себя уполномоченным послом Франции; но ему дана была секретная инструкция поудержаться с выступлением на официальное поприще и некоторое время оставаться простым посетителем России, чтобы, пользуясь расположением императрицы, выведать пути, какими можно было бы сломить противника союза с Франциею, вице-канцлера Бестужева. По-видимому, Лесток успел подготовить для французского посланника поле действия. Лопухинское дело, в которое замешана была невестка вице-канцлера, направлено было во вред обоим Бестужевым: вице-канцлеру Алексею Петровичу и его брату Михаилу. Однако вышло не так, как бы хотелось Лестоку. Императрица не усомнилась в верности братьев Бестужевых и считала их обоих людьми умными и в дипломатической сфере незаменимыми. Притом, когда против Бестужева был влиятельный у императрицы ее лейб-медик, за вице-канцлера стояли горою любимец государыни Разумовский и Михайло Иларионович Воронцов, которому государыня оказывала все более и более доверенности. Проницательный дипломат Алексей Петрович Бестужев расчел, что главный его враг – де ля Шетарди, и потому на него должен быть

направлен главный удар. Легкомысленность и неосторожность француза помогли интриге вице-канцлера. В России вошло тогда в обычай, занятый от прусского короля, перехвачивать на почте и просматривать корреспонденции, делая это так ловко, чтоб не навлекать никакого подозрения. На официальном языке это носило название «перлюстрации». Вице-канцлер прибегнул к такому средству; он вскрыл депеши, отправляемые де ля Шетарди из России во Францию, и в них нашел, что французский посланник отзывается неуважительно об императрице и обо всех ее правителях. «Мы здесь, – писал де ля Шетарди, – имеем дело с женщиною, на которую ни в чем нельзя положиться. Еще будучи принцессою, она не желала ни о чем бы то ни было мыслить, ни что-нибудь знать, а сделавшись государынею – только за то хватается, что, при ее власти, может доставить ей приятность. Каждый день занята она различными шалостями: то сидит перед зеркалом, то по нескольку раз в день переодевается, – одно платье скинет, другое наденет, и на такие ребяческие пустяки тратит время. По целым часам способна она болтать о понюшке табаку или о мухе, а если кто с нею заговорит о чем-нибудь важном, она тотчас прочь бежит, не терпит ни малейшего усилия над собою и хочет поступать во всем необузданно; она старательно избегает общения с образованными и благовоспитанными людьми; ее лучшее удовольствие – быть на даче или в купальне, в кругу своей прислуги. Лесток, пользуясь своим многолетним на нее влиянием, много раз силился пробудить в ней сознание своего долга, но все оказалось напрасно: – что в одно ухо к ней влетит, то в другое прочь вылетает. Ее беззаботность так велика, что если сегодня она как будто станет на правильный путь, то завтра опять с него свихнется, и с теми, которые у нее вчера считались опасными врагами – сегодня обращается дружески, как со своими давними советниками». Из тех же депеш оказывалось, что прусский посол Мардефельд сообщил ему, де ля Шетарди, внушение своего короля работать для свержения Бестужева, вместе с принцессою цербстскою, которая дала в том обещание Фридриху II перед отъездом своим из Берлина в Россию. Де ля Шетарди в своей депеше писал, что Лесток предан ему душою, и для того, чтобы Лестока более подогреть, он выпросил у Дальона (французского официального посла в России) сделать Лестоку прибавку в 2000 руб. к годовичному пенсиону, получаемому от Франции. Еще, писал де ля Шетарди, что во внимание к госпоже Румянцевой, преданной принцессе ангальт-цербстской, нужно давать ей пенсион в 1200 рублей, а кроме нее – госпоже Шуваловой, в 600 рублей. Де ля Шетарди находил, что полезно было бы подкупить знатнейших духовных сановников и духовника императрицы. Доставши эти депеши, Бестужев представил копии с них на воззрение государыни. Елисавета сначала не поверила и произнесла: «Это ложь, это выдумка врагов его, из них же вы первый». Но Бестужев тут же показал ей подлинники, – и государыня ничего не могла возразить. Бестужев подал ей совет поступить с де ля Шетарди как с простым иностранцем, совершившим преступление, а отнюдь не так, как с полномочным лицом от французского короля, потому что он не предъявлял своих доверительных писем. Воронцов, случившийся тут же, принял мнение Бестужева. Государыня, взволнованная и оскорбленная, ничего не сказала, отошла прочь, но через сутки дала приказание выпроводить де ля Шетарди из России в 24 часа. По приказанию императрицы, 6-го июня в 6 часов утра явился к де ля Шетарди генерал Ушаков с несколькими другими особами и объявил ему высочайший приговор. Де ля Шетарди стал было объясняться, но ему показали экстракт из его депеш. Тут он смешался и не знал, что отвечать. Его немедленно увезли, к большой радости Бестужева и английского посланника Тироули, которому внимание российской императрицы к французскому дипломату стояло костью в горле.<sup>281</sup>

К делу о де ля Шетарди явилась прикосновенною принцесса ангальт-цербстская. Ее невзлюбила с первого приезда императрица, не полюбили ее вообще русские люди, да, как кажется, и собственная дочь ее не очень нежно ее любила. После высылки де ля Шетарди из России Елисавета вела с нею наедине крупный разговор, после которого принцесса вышла от императрицы с заплаканными глазами, и все подумали тогда, что ей придется теперь

<sup>281</sup> Vandal, Louis XV et Elisabeth de Russie, стр. 191—196. – Соловьев, т. XXI, стр. 334.



убираться из России; подозревали даже, как бы такая же участь не постигла ее дочь-невесту, и тем более, когда заметили, что нареченный жених ее, великий князь, относится к ней довольно холодно. Однако этого не случилось. 21-го августа 1745 года совершена была свадьба великого князя Петра Федоровича с необыкновенным великолепием и роскошью. Торжество продолжалось десять дней; но после свадьбы, в сентябре того же года, принцессу цербстскую попросили уехать за границу. Последний случай, побудивший к ее высылке из России, было несогласие между ее братьями. Один из них был кронпринц шведский; он жил в Швеции, но не оставался без участия в делах, хотя еще жив был король, которого он считался преемником. Под влиянием жены своей, сестры прусского короля, он перешел к партии, не расположенной к России и искавшей союза с Францией и Пруссией. Другой его брат, Август, приехал в Россию искать места администратора в Голштинии. Дать это место ему или кому другому зависело от наследника русского престола – настоящего герцога и владетеля Голштинии. А это место до сих пор временно занимал брат Августа, шведский кронпринц. Принцесса ангальт-цербстская, расположенная более к брату-кронпринцу, чем к Августу, приняла последнего худо, а между тем Бестужев перехватил переписку между принцессою и кронпринцем; из нее видно было, что принцесса выражала недовольство милостями российской императрицы и ее дарами. 20-го сентября того же 1745 года выпроводили принцессу ангальт-цербстскую, давши ей на дорогу 50000 рублей и два сундука с разными драгоценностями, а великий князь от себя послал подарки тестю. Вслед за тем Бестужев удалил многих голштинцев, приехавших в Россию вслед за великим князем. Удален был (в 1746 году) и принц Август, впрочем, добившись своего и получивший место администратора в Голштинии, ради чего он и приезжал в Россию.

#### **IV. Могущество Бестужева**

*Бестужев – великий канцлер. – Вице-канцлер Воронцов. – Причины доверия императрицы к Бестужеву. – Великий князь и великая княгиня. – Два двора в России – старый и молодой. – Два направления тогдашней политики. – Договор России с Австриею и Англиею. – Поход русского войска в Европу. – Заключение Ахенского мира. – Удаление Воронцова. – Бестужев действует против Лестока. – Охлаждение Елисаветы к Лестоку. – Неосторожный поступок Лестока. – Арест, пытка и ссылка Лестока. – Сила Шуваловых.*

Бестужев просил об определении Воронцова в прежнее свое звание вице-канцлера, сам получивши от государыни звание великого канцлера. Бестужев надеялся найти в нем полезного сотоварища, так как Воронцов, издавна близкий к государыне, как камергер двора ее и содействовавший вступлению ее на престол, мог с нею чаще видаться и подавать ей доклады. Но Воронцов, давно уже расположенный к Франции, которую Бестужев ненавидел, должен был на дипломатическом поле, рано или поздно, стать противником Бестужева; однако видимая размолвка между ними еще не наступила. Бестужев достиг полного могущества в России. Нельзя сказать, чтоб императрица любила этого человека и находила приятность в беседе с ним. Он держался в силе при Елисавете единственно только тем, что государыня, преданная забавам и удовольствиям, была довольна, что находился человек, способный взять на себя всю тяготу долго думать о важных делах и тем самым освободить ее от этого бремени. Знавшие близко тогдашний двор и образ жизни государыни сообщают согласно, что проходили целые месяцы, пока министр мог быть допущен к докладу; но и тогда государыня, бросаясь на иностранные депеши, искала, нет ли в них чего-нибудь любопытного или интересного; иногда оставляла важные бумаги у себя и обещала повнимательнее прочитать их, – на самом же деле никогда не читала и даже забывала про них. Каждый вторник устраивался во дворце маскарад, в котором для забавы мужчины наряжались женщинами, а женщины – мужчинами; в другие же дни игрались спектакли: императрица очень любила французские комедии и итальянские оперы. Все имевшие доступ ко двору, хотя бы и не занимавшие должностей по военной и гражданской службе, обязаны

были являться в маскарадные вторники, и когда однажды государыня заметила, что гостей у нее что-то мало, то разослала гоф-фурьеров – узнать, что за причина такого отсутствия, и приказала заметить, что за подобное невнимание виновные будут обложены пеней 50 рублей с персоны.

Если в ком Бестужев мог встретить себе опасное соперничество, то разве в молодой великой княгине, которая отличалась необыкновенным умом, неподражаемым искусством со всеми уживаться и всем вокруг себя управлять. Ее супруг, великий князь, наследник русского престола, капризный до наивности и человек ума чрезвычайно мелкого, принужден был, сам того не сознавая и не желая, находиться во власти жены своей. С детства воспитанный в лютеранской религии, он принял православие по крайней необходимости, в качестве преемника российской императрицы на престоле, но в своей наивной откровенности не удерживал перед другими своих мыслей и чувствований, и позволял себе часто отзываться с пренебрежением об обрядах православной церкви; сверх того, кстати и некстати, твердил о превосходстве немцев перед русскими. Когда он услышал о кончине старого шведского короля, которого престол должен был занять кронпринц Адольф-Фридрих, он перед русскими с соболезнованием вспоминал, как шведские чины хотели было избрать будущим королем его, Петра Федоровича, и громко жалел, что не удалось ему быть королем в цивилизованной стране, вместо того чтобы изнывать в России, где он постоянно чувствует себя как бы в неволе. Совсем не такова была его супруга. Принявши православие, конечно, также по необходимости, она вела себя так, что никто не осмеливался говорить, что она приняла его неискренне. Она не только не показывала, подобно своему супругу, презрения к русской народности – напротив, основательно выучилась русскому языку, любила говорить и писать на этом языке; все русское ее занимало; все, что было хорошего в России, было для нее мило и любезно. Она как будто вся переродилась в русскую женщину, и уже в ту пору просвечивалась в ней та могущественная Екатерина, которой стала она впоследствии в глазах всего мира.

Образовалось в России два царских двора: один – императрицы, носивший название старого или большого, другой – называемый малым или молодым – двор наследника престола, а на самом деле – его супруги. Бестужев сначала принадлежал к большому двору и был как бы противником великой княгини. Но Екатерина была так умна и так хитра, что способна была провести десять Бестужевых, при всей их дипломатической тонкости. Никто, подобно ей, с такою сдержанностью и самообладанием не умел, когда нужно, скрывать свои чувствования и находить удобное время, когда можно проявить их. Со временем, как мы увидим, Екатерина совершенно овладела старым канцлером и сделала его своим покорным слугой.

Два направления тогдашней политики разделяли государственных людей на две стороны; одни желали союза России с Австриею и Англиею; другие наклонны были к союзу с Франциею, и даже с Пруссиею, находившеюся тогда с Франциею в союзе. Бестужев принадлежал к первой стороне; Воронцов и Лесток – к последней. Бестужев в ту пору подружился с австрийским посланником и в то же время находился в приятных отношениях ко всем представителям Англии, которые в Петербурге сменяли быстро один другого. Бестужев представлял императрице о выгодах предпочесть всяким другим союзам союз с Австриею и Англиею, и на ту пору взял верх: Россия в 1747 году заключила оборонительный договор с Австриею и Англиею, и российская императрица обязалась отправить тридцать тысяч вспомогательного войска на помощь венгерской королеве против прусского короля, Франции и Испании. Это войско снаряжено было в Лифляндии и вступило в Германию под главною командою князя Репнина. Поход этот не ознаменовался военными подвигами, но имел то важное значение, что содействовал скорейшему заключению Ахенского мира, прекратившего в Европе войну за австрийское наследство, которая широко уже разыгралась не только в Европе, но и в отдаленных краях Нового Света.

Бестужев, поставивши на своем в делах внешней политики, стал всемогущим человеком в России и захотел удалить от государыни и от влияния на дела Воронцова и

Лестока. Воронцова устранили на время очень деликатно: он получил дозволение путешествовать по Европе с целью совершить свое образование; то было давнее его собственное желание. С Лестоком у Бестужева расправа была резче: Бестужев не забыл, какие неприятности учинил Лесток близким родным канцлера по лопухинскому делу. Сначала Бестужев сумел подействовать на императрицу так, что она, вообще очень изменчивая в своих симпатиях и антипатиях к людям, стала обращаться с Лестоком холоднее прежнего и так мало ценить его, что, когда Бестужев доложил ей, что Лесток получает пенсион от Франции, Елисавета Петровна насмешливо сказала: «Вольно французам тратить деньги по-пустому; Лестока я совсем не слушаю, да и говорить себе слишком много не позволяю». Когда же ей донесли, что Лесток часто видится с прусским посланником и получает от него пенсион, императрица приказала надзирать за Лестоком, но все-таки не решалась придрататься к нему без явных улик. Тогда Бестужев прибегнул к другой уловке: он представил государыне, что считает небезопасным оставлять при высочайшей особе, в качестве врача, человека, способного сделать ей вред. Императрица не рассердилась за это на канцлера, но не придала ему и полной веры, а только сказала ему, что будет с большою осторожностью принимать лекарства от Лестока. К более решительным мерам против Лестока канцлер все еще не мог побудить императрицу: видно, воспоминание о прежних услугах Лестока останавливало ее. Наконец, сам Лесток неожиданно подал против себя повод.

20-го декабря 1748 года Лесток вместе с третьею своею женою, Анною Менгден (сестрою Юлианы Менгден), был в гостях у одного прусского купца. Там же были гостями: секретарь Лестока капитан Шапюзо, шведские послы при петербургском дворе, Волькенстиерна и Гепкен, и жена прусского посла графиня Финкенштейн. После обеда, в наступающие зимние сумерки, Шапюзо вышел из дома и заметил одетого дурно, в ливрее, неизвестного ему человека; уже несколько дней Шапюзо замечал, что этот человек постоянно бродит около дома. Шапюзо, угрожая ему шпагою, принудил его войти с собою в дом того купца, где находился Лесток с другими гостями. Лесток предложил неизвестному 50 рублей, если он откровенно скажет, кто он такой и кто его посылает шпионить. Неизвестный упорствовал и уверял, что ни от кого не получал поручения шпионить. Лесток приказал позвать из своего караула унтер-офицера и гренадера и хотел заставить батогамы неизвестного открыть – кто он такой. Тогда неизвестный объявил, что он – человек какого-то гвардейского офицера, который поручил ему наблюдать за каждым шагом Лестока и Шапюзо. Лесток тотчас поехал во дворец, упал к ногам императрицы, уверял в своей всегдашней верности и преданности и просил удовлетворения за оскорбление. Елисавета выслушала его ласково, просила потерпеть и обещала исследовать дело. Успокоенный Лесток отправился от государыни в дом того же прусского купца, где оставил других собеседников, и пробыл там до полуночи.

Между тем Елисавета дала приказание арестовать и отвезти в крепость Шапюзо и четырех слугителей Лестока, о которых предполагалось, что они могут сообщить сведения о поведении Лестока. Императрица говорила своим приближенным, будто считает преступным уже то, что эти господа взяли на себя роль судей над чужим человеком, и если они совершенно невинны, то нечего им страшиться шпионства над собой. 22-го декабря Лесток попытался еще раз явиться к государыне, но его не допустили, а 24-го декабря, в 11 часов утра, генерал Апраксин со ста пятьюдесятью солдатами явился в дом Лестока и объявил ему арест в его доме, причем удалили от него употребление ножа и всякого острого орудия. Жена Лестока была в церкви и в тот день причащалась: по возвращении домой и она получила приказание оставаться в своем доме под арестом. В этот самый день при дворе устраивалась помолвка фрейлины Салтыковой; государыня была отменно весела, а сам Лесток был назначен в числе шаферов невесты, но, разумеется, теперь не явился. Наконец, 26-го декабря, императрица оставила столицу и перебралась в Царское Село, а Лесток, того же дня вечером, вместе с женою был отвезен в крепость. Александр Шувалов, заменивший недавно умершего Ушакова в начальстве тайною канцелярией, вел допрос над Лестоком и

его участниками. К Шувалову придан был граф Апраксин, большой приятель Бестужева. Лесток с необычайным терпением несколько дней отказывался от пищи, позволяя себе глотать только немного минеральной воды; на делаемые ему вопросы – не отвечал ничего. Но Шапюзо, ввиду пыток, которыми его стали пугать, объявил, что Лесток получал от прусского короля пенсия и вел ночные беседы с посланниками прусским и шведским; назвал, кроме того, приятелями Лестока вице-канцлера графа Воронцова, генерал-прокурора князя Трубецкого и генерала Румянцева, но о смысле бесед их между собою отозвался незнанием, говоря, что Лесток давно уже не показывает к нему откровенности. Елисавета, не допросившись ничего от Лестока и Шапюзо, приказала прибегнуть к пыткам, как к неизбежному в те времена средству доискаться правды, в случае заперательства обвиняемого. Лестока вздернули на дыбу. Этот человек, уже одиннадцать дней не принимавший никакой пищи, с равным присутствием духа вынес мучение на дыбе и показал столько духовной крепости, что, снятый с дыбы, сам пошел в свой каземат. Он отрицал все, в чем думали обличить его, и клялся, что ни в чем не погрешил против государыни. «Все мое несчастье, – говорил он, – случилось по злобе великого канцлера. Но придет время – правда всплывет наверх, и государыня начнет сожалеть, что оказывала доверенность этому человеку».

К нему подослали жену его, научивши ее убеждать мужа сознаться, и обещали пощаду и возвращение милости государыни. «Кто раз побывал в катовских (палача) руках, тот уже не может желать никакой к себе милости», – отвечал Лесток.

Лестоку не трудно было заператься. После того, как арестовали Шапюзо, у Лестока оставалось еще четыре свободных дня; в это время он успел передать все компрометировавшие его бумаги шведскому послу Волькенштиерну, а тот с ними уехал тотчас в Стокгольм, и во время процесса, производившегося над Лестоком, невозможно было отыскать никаких письменных доказательств к его обвинению. Тем не менее, процесс над ним затянулся более чем на год и окончился уже в 1750 году. Все имущество его было конфисковано; из него взято на судебные издержки так много, что на одни письменные материалы выставлена была невероятная сумма – 800 рублей. Его дом в Петербурге подарен был графу Апраксину, производившему над ним следствие вместе с Шуваловым. Лестока сослали в Углич и там содержали очень строго и скудно, а в 1753 году, в виде облегчения, перевели в Устюг-Великий и дозволили жить с ним его жене. Там пробыл он до кончины Елисаветы.

В конце сороковых годов прошлого века (приблизительно в 1747 году), в жизни императрицы произошла перемена, отразившаяся на делах внутренней и внешней политики. До сих пор влиятельнейшим лицом при Елисавете Петровне был Алексей Григорьевич Разумовский. Он был сын простого казака в селе Лемешах, Киевского полка, близ города Козельца. Убежавши мальчиком от пьяного и драчливого отца в село Чемеры, он проживал там у дьячка, учился грамоте и пел на клиросе. Проезжавший полковник Вишневский, по дороге в Венгрию покупать для двора вина, заехал в церковь, услышал прекрасный голос Алексея и взял его с собою в Петербург для придворного хора певчих. Это было в 1730 году. В том же году цесаревна Елисавета, посетивши церковь в Зимнем дворце, упростила обергофмейстера Левенвольда уступить Алексея для ее придворной церкви. Чрезвычайно красивый и статный, Алексей Разумовский понравился цесаревне. По восшествии своем на престол, Елисавета Петровна, по убеждениям духовника своего Дубянского, сочеталась тайно браком с Разумовским в селе Перове, близ Москвы, и вслед за тем немедленно осыпала его богатствами и почетом. Из ничтожного казака, до того бедного, что мать его собиралась просить подаяния под окнами, Разумовский, по знатности положения своего и по громадному богатству, стал первым вельможею в России и принимал льстивые поклонения от родовитых особ. Из благоволения к нему императрица вывела в знать всю близкую родню его; матери его оказывала она большое почтение; меньшого брата, Кирилла, отправила для образования за границу, а по возвращении – назначила президентом академии, и потом приказала избрать гетманом в Малороссии. Елисавета ревниво оберегала честь этого

возвышенного ею рода. В архивах сохранилось множество дел, производившихся в тайной канцелярии по распространению отзывов, оскорбительных для любимца государыни и для его родичей. Все разбирательства по этим делам оканчивались трагически – застенком, дыбю, кнутом, плетью, батогами, шпицрутенами и, наконец, ссылкой на каторгу.<sup>282</sup> Но сам Алексей Разумовский ничему этому не был причастен. По единогласным известиям современников, это был человек в высшей степени добросердечный, прямодушный, хотя подчас и вспыльчивый, но никак не заносчивый, не спесивый, и потому всеми любимый, несмотря на то, что его низкое происхождение должно было возбуждать у одних зависть, а у других – досаду. Много лет провела императрица в невозмутимом согласии с Разумовским. Но вот государыня приблизила к себе новое лицо – то был молодой и лучше воспитанный, чем Разумовский, Иван Иванович Шувалов. Вся семья Шуваловых принадлежала к родовому русскому дворянству и возвысилась только при вступлении на престол Елисаветы Петровны. Один из Шуваловых, Петр Иванович, женился на Мавре Егоровне Шепелевой, большой любимице Елисаветы Петровны – и это был первый шаг к подъему фамилии Шуваловых. Брат Петра, Александр, сделан был начальником тайной канцелярии по кончине генерала Ушакова. Рекомендация и ходатайство той же Мавры Егоровны возвысили родственника Петра и Александра Шуваловых, Ивана Ивановича: он получил при дворе сначала звание камер-пажа, потом камер-юнкера, наконец, камергера. Разумовский не утратил милости государыни и не только не показывал огорчения, но относился дружелюбно к Шувалову. Возвышение, или, как тогда говорилось, «случай» Шувалова возымел то важное последствие, что с этих пор он сам, а с ним и прочие Шуваловы, составили при дворе партию с большим влиянием на дела империи, тогда как прежде скромный, мало развитой Алексей Григорьевич и вся его родня, на которой слишком резко выказывались признаки простонародного происхождения, почти никаких дел не касались, исключая брата Алексея, Кирилла, получившего образование за границей.

## **V. Эпоха событий, подготовлявших Семилетнюю войну**

*Франция и Россия. – Франция сближается с Австрией. – Усилия Бестужева удержать Россию в союзе с Англией. – Прибытие в Россию Дугласа и кавалера д'Эона. – Ненависть Елисаветы к прусскому королю. – История Зубарева. – Дипломатические неудачи Бестужева. – Союз Англии с Пруссией. – Союз Франции с Россией.*

Между Францией и Россией много лет существовало охлаждение. Россия смотрела на Францию как на державу, которая во всяком предприятии готова была России, как говорится, подставить ногу, – и в самом деле Франция всегда благоприятствовала тому, что было враждебно России. В Швеции, в Турции и в Польше наиболее высказывался дипломатический антагонизм двух этих держав. Французские послы везде старались сойтись с партией, неприязненною почему-нибудь России, и везде, где только могли, возбуждали против нее правительственные власти других держав. Между тем с обеих сторон оставались воспоминания прежних добрых отношений. Не говоря уже о том, что у Елисаветы осталось в памяти ее детство, когда ее готовили в жены тогда еще малолетнему Людовику XV, – не могла у нее изгладиться из памяти более действительная услуга, оказанная Францией содействием при вступлении ее на престол, хотя последняя размолвка с де ля Шетарди и стирала у нее с сердца прежнее приятное впечатление. И во Франции, при всем политическом антагонизме французской дипломатии к России, просвечивала мысль о дружбе с этою странюю. После того, как предположения о браке Елисаветы с Людовиком совершенно испарились, родственник его, принц Конти, в 1742 году сделал попытку предложить руку Елисавете, уже ставшей всероссийской императрицей. На его предложение отвечала Елисавета Петровна, что не намерена выходить замуж. Тогда принц Конти стал

<sup>282</sup> Васильчиков. Семейство Разумовских, т. I, стр. 106.

доискиваться пути получить по смерти польского короля Августа польскую корону. Некоторые польские паны являлись в Тампль, во дворец, где жил тогда Конти, с изъявлением готовности содействовать его кандидатуре в свое время. Но такой выбор в короли, если бы он и наступил, то зависел бы не от одних этих панов, но также и от большого числа таких господ, которые не думали тогда обращаться к французскому претенденту и, может быть, при избрании не подали бы за него своего голоса. Притом такая кандидатура встретила бы противодействие со стороны Австрии, России и даже Пруссии, союзной тогда с Францией. Не удавалось французам и в Турции, где французское посольство силилось поссорить Турцию с Россией, но успело единственно настолько, что турецкий визирь подал ноту, заявлявшую нерасположение Турции к занятию русскими Финляндии. Эта нота не имела дальнейших последствий. После неудачных попыток вредить России то здесь, то там, французская политика начала склоняться к мысли вступить в союз с Россией, в надежде, что этот путь будет полезнее для Франции.

В это время совершался в Европе крутой переворот в дипломатической сфере. Франция была с Немецкою империею в вековой вражде, и такое направление перешло и на Австрию, так как австрийские владетели преемственно были избираемы в немецкие императоры. Недавно еще Франция вела против Марии-Терезии упорную войну, оспаривая наследственность ее владений. Тогда Франция, будучи враждебна Австрии, находилась в союзе с прусским королем. Мир, окончивший войну за австрийское наследство, лишил Австрию Силезии и передал эту богатую область во власть Пруссии. Австрия не казалась уже теперь опасною и сильною, как прежде. Напротив, возвышение Пруссии стало внушать опасность, особенно когда воинственный и талантливый Фридрих II показывал целому свету, что стремится к территориальным захватам и не остановится ни перед какими путями. Поэтому Франция стала сближаться с Австрией. Со своей стороны императрица-королева Мария-Терезия желала отомстить прусскому королю за поражения и возвратить своей державе утраченную Силезию, что повело бы к возвращению прежнего политического значения австрийской короны. Австрия первая обратилась с предложением союза против Пруссии к Франции. Первое предложение было сделано Кауницем, бывшим посланником во Франции, потом получившим должность австрийского канцлера. Предложение это было неудачно; оставалось после того опасение, что если откроется война между Пруссией и Австриею, Франция, как и в предшествовавшую войну, явится снова союзницею Пруссии. Австрия по-прежнему стала готовиться к союзу с Англиею, но на этот раз не сошлась с нею, и Кауниц поручил своему преемнику на посту посланника во Франции – Штаренбергу обратиться к фаворитке короля, маркизе Помпадур, и к аббату Берни, руководившему тогда внешнею политикою. Сама императрица-королева Мария-Терезия обратилась с собственноручным письмом к маркизе Помпадур. Дело пошло на лад.

Англия с Франциею находилась уже в войне за американские владения. Как только возникала вражда между Пруссией и Австриею, то происходившая в Америке война Франции с Англиею должна была перенестись на почву Старого Света. В этих видах Англия предложила субсидный союз с Россией: Россия, в ограждение интересов английского короля, должна была выставить войска 55000, Англия же – внести России субсидную сумму в 500000 фунтов за диверсию российского войска и, сверх того, доставлять ежегодное содержание на это войско. Относительно размера последней суммы происходили споры: Россия хотела 200000 фунтов; Англия думала сократить эту сумму до пятидесяти тысяч. Долго шли споры. Два английские посланника переменились после того. Задержки главным образом происходили, по известиям англичан, от крайнего бездействия русских властей: императрица будто бы показывала более и более охлаждения к государственным занятиям; Бестужев никогда почти не видал государыни и передавал свои доклады через Ивана Ивановича Шувалова, да и тогда эти доклады лежали у государыни целые месяцы забытыми. Такое отчуждение великого канцлера от государыни испортило и обленило его самого. Он перестал быть деятельным, каким был прежде, и по утрам до двенадцати часов оставался в постели. Английский посланник Чарльз Генбюри Вилиамс изображал тогдашнее высшее

общество чрезвычайно подкупным. Сам Бестужев выпрашивал у английского короля годичный пенсион в 2500 фунтов и обязывался работать в пользу Англии, представляя императрице о выгодах для России союзного договора с Англиею. «Надобно дать ему, – писал Вилиамс, – так как он чистосердечно служит в пользу нашего короля». Олсуфьев, друг Воронцова, имевший на него влияние, получал от Англии 500 червонцев наличною монетою и в таком же размере пенсион. Англичане жаловались на то, будто бы из сумм, которые выданы были Англиею на содержание вспомогательного войска, употребили часть на постройку дворцов. Спорный вопрос о размере содержания на войско решили на половину суммы – во сто тысяч фунтов. Бестужев подал государыне записку, в которой доказывал, как выгодно будет во многих отношениях заключение оборонительного союза с Великобританиею.<sup>283</sup>

Но Бестужев, несмотря на то, что всегда славился своею проницательностью, не заметил, как попался впросак. Он не спохватился, как против него составила враждебная партия в лице канцлера Воронцова и Шуваловых. К ним примкнул немалочисленный кружок сановников. Тогда как Бестужев с давнею неприязнью к прусскому королю соединял давнюю же неприязнь к Франции, противники его, хотя в равной степени, как и он, не любили прусского короля, но склонялись к дружбе с Франциею, особенно после того, как Франция начала сближаться с Австриею и становиться во враждебное положение к прусскому королю. Тогда партия русских любителей всего французского (а этим отличались Шуваловы и Воронцов) рада была с распростертыми объятиями встретить дружбу с Франциею; к этому настраивали императрицу. В это время Франция, испытавши столько неудач в своих планах вредить России, приняла решительное намерение подружиться с нею. Король, в соумышлении с принцем Конти, решил отправить в Россию тайного агента для узнания политической почвы: выбор пал на шотландского эмигранта Мэкензи Дугласа – сторонника Стюартов, товарища последнего претендента, и, в качестве гонимого английским правительством, проживавшего во Франции. Этот господин в 1755 году отправился в путь под видом английского туриста, под предлогом изучения в разных странах рудокопного производства, проехал через австрийские владения и Польшу и прибыл в Петербург. Чтобы получить разные необходимые сведения о России, он, в качестве англичанина, обратился к английскому посланнику Вильямсу, но тот сразу разгадал, какая птица прилетела к нему, и Дуглас поспешил поскорее убраться из России, опасаясь быть засаженным в Шлиссельбургскую крепость по подозрению в шпионстве, как уже недавно случилось с другим французским проходимцем. Современные рассказы повествуют, что Дуглас успел тогда через посредство Воронцова ввести к императрице секретаря своего, кавалера д'Эона: женоподобное лицо последнего дозволило будто бы одеть его в женское платье и поместить в качестве фрейлины близ императрицы. Устроивши свою проделку, Дуглас возвратился во Францию с тем, чтобы явиться снова в Россию при лучших условиях. Он недолго был во Франции и прибыл снова в Петербург 26-го апреля 1756 года, и в этот раз получил совсем иной, более радушный прием. Этому он обязан был искусству д'Эона, который, отлично играя роль женщины, вошел в доверенность к Елисавете и, наконец, открыл ей свой пол. Елисавета простила эту проделку и поручила сказать королю Людовику XV, что рада находиться с ним в дружеском союзе. Д'Эон тотчас воротился в отечество и вскоре опять приехал в Петербург уже не простым туристом, а в качестве секретаря при Дугласе, который теперь явился официальным лицом, уполномоченным от короля. Сказка о мужчине, помещенном у Елисаветы в виде девицы, составляла долго предмет романических рассказов, а в последнее время опровергнута историческими исследованиями. На самом деле кавалер д'Эон первый раз явился в России только во второе прибытие туда Дугласа и был таким новичком в чужой земле, что не знал, как ему и повернуться. Дуглас и д'Эон приютились у своего соотечественника Мишеля, богатого негоцианта, близко известного Воронцову и уже два раза ездившего, с согласия последнего, во Францию с политическими соображениями.<sup>284</sup>

<sup>283</sup> Архив Воронцова, т. IV, 69—85.

<sup>284</sup> Vandal: «Louis XV et Elisabeth de Russie», стр. 261—271.

Императрица Елисавета давно уже ненавидела прусского короля. «Этот государь, – говорила она о нем, – Бога не боится, в Бога не верит, кощунствует над святыми, в церковь никогда не ходит и с женою по закону не живет». Когда русские гренадеры, служившие в Пруссии, воротились в отечество, они рассказывали слышанное ими от королевских прислужников в Потсдаме, что Фридрих с пренебрежением отзывался о русской государыне и порицал ее. Это огорчало Елисавету. Но были причины, затронувшие еще за более живое место сердце государыни. По внешним признакам могло всем казаться, что корона досталась Елисавете легко. Стоило только вывезти из Зимнего дворца брауншвейгскую чету, а самой взять на руки и увезти с собою младенца-императора – и все пойдет спокойно. И в самом деле, по наружности все могло и должно было казаться, будто все обстоит благополучно и престол дочери Петра Первого стоит так же твердо и незыблемо, как престол ее предков. На самом же деле катастрофа, доставившая Елисавете корону, отразилась тяжелым бременем на все правление Елисаветы. Император, так легко сведенный с престола, так заботливо заключенный и для всего мира неведомый, во всю жизнь Елисаветы стоял перед ней привидением до ее кончины. Это привидение не давало ей надолго забыться в своем величии. То здесь, то там появлялся страшный призрак и появлялся в разных видах, при различной обстановке. То внутренние заговоры грозили Елисавете Петровне возвращением на свет низверженного императора, то из-за границы пугало ее опасение, что враждебные ей государи поднимут против нее знамя с именем императора Иоанна, с тем, чтобы в самое роковое время отклонить от нее русский народ, так скоро и так покорно признавший власть ее над собою. И такое привидение стал выставлять Елисавете Фридрих II-й, который несколько лет тому назад так обязательно давал русской государыне советы припрятать подальше брауншвейгскую фамилию. Теперь времена были не те. Елисавета не ценила союза с Фридрихом, предпочла ему союз с его соперницею Мариєю-Терезиею. И он не простил этого Елисавете; он стал относиться иначе к ней и к России.

Попался в то время в тайной канцелярии какой-то проходимец, пробиравшийся в Пруссию через русские раскольничьи слободы, заселившиеся в Польше. Это оказался тобольский посадский человек Иван Зубарев. Он был уже известен русскому правительству плутовскими проделками и еще ранее заявлял, что будто нашел он золотые прииски и серебряные руды, но потом сознался, что лгал, в надежде обмануть правительство и выпросить себе привилегию на устройство заводов: Зубарева соблазняла эта привилегия тем, что влекла за собою право владеть населенным имением. В 1754 году Зубарева отослали в сыскной приказ, но оттуда он успел бежать. В январе 1756 года этот Зубарев, вместе с другими лицами, был задержан в малороссийском селе Милушках по обвинению в краже лошадей, сказал за собою государево «слово и дело» и был доставлен в тайную канцелярию. Здесь он рассказал целую повесть о своих приключениях в Пруссии и о свидании с самим прусским королем. В его повествовании правда перепуталась с ложью. Он рассказывал, что в начале 1755 года находился извозчиком у русских беглых купцов для отвоза товаров в прусский город Королевец (Кенигсберг). Там пригласили его в трактир и стали вербовать в прусское войско. Он рассказывал далее, как он был у фельдмаршала прусского Левальда (перекрещенного рассказчиком в Ливонта), как потом с прусским офицером поехал, под крепким присмотром, в Берлин, а оттуда в Потсдам, в королевскую резиденцию, и там увидел двух генералов. Из них один назвался дядюшкой бывшего императора Ивана Антоновича, а другой – генералом Манштейном, бывшим когда-то в русской службе с чином полковника и находившимся адъютантом при фельдмаршале Минихе. Сам Зубарев перед ними выдавал себя за бывшего гвардейца, который хочет скрыть себя и представиться купцом. Манштейн ввел его к королю, а король дал поручение ехать сперва в раскольничьи слободы и расположить раскольников признать государем Ивана Антоновича, когда тот будет освобожден. В благодарность раскольникам за сочувствие, он должен был обещать им в царствование Ивана Антоновича полную свободу вероисповедания, а до того времени сообщить им от короля прусского обещание выхлопотать у патриарха посвящение раскольничьего епископа. Затем поручалось Зубареву из раскольничьих слобод съездить в



Холмогоры и подать весть принцу Антону-Ульриху, что весной 1756 года явятся к Архангельску прусские корабли под видом купеческих, чтобы освободить принца с сыном, низверженным императором. Тут Зубареву показали капитана корабля, которому будет поручено взять Ивана Антоновича с отцом. Зубарев прибавлял (вероятно, прилыгая), будто его пожаловали полковником прусской службы и вручили тысячу червонных и две золотые медали, которые велели зашить в сапог под подошву. Манштейн давал Зубареву совет – перешедши русскую границу, добыть себе фальшивый паспорт, под видом крестьянина или купца пробраться в Холмогоры, там подкупить какую-нибудь бабу портомойку или солдата, и таким путем увидаться с Антоном-Ульрихом, вручить ему медали и сказать, что прислан от прусского короля и от братьев Антона-Ульриха: пусть Антон-Ульрих с сыном готовится к уходу из России на корабле, который будет дожидаться его у города Архангельска, а сам Зубарев, передавши все это Антону-Ульриху и осмотревши место, где он содержится с семейством, должен идти к Архангельску, встретить там знакомое ему лицо – капитана с командой, и с ним уговориться, как увезти Антона-Ульриха с сыном. Если окажется, что караульные стерегут пленников слабо, то подкупить их деньгами, либо напоить пьяными, а если караул окажется строгим, то подкупить каких-нибудь бурлаков и при их содействии провести капитана с командой в Холмогоры, разбить караул, освободить Антона-Ульриха с сыном и доставить их на корабле в Пруссию. Снаряженный таким образом Зубарев сообщил обо всем в Польше монахам раскольников монастыря – Лаврентьевского, а оттуда, отправившись в Россию с намерением следовать в Холмогоры, был задержан и препровожден в тайную канцелярию.

В пояснение этого сознания Зубарева, некто дворовый человек помещика Загряжского, Василий Иларионов, шатавшийся по раскольниковым скитам, основанным в Польше беглыми русскими раскольниками, заявил, что видел лично этого Зубарева в Лаврентьевском монастыре и потом слышал, что он ездил извозчиком с товарами в прусский город Королевец, в одном обозе с другими беглыми людьми, под именем Ивана Васильева, и, приехавши в Королевец, спрашивал у прусских солдат, где у них ратуша, и когда ему ратушу показали, то, обратясь к своим товарищам, сказал: «Прощайте, братцы! Я буду просить, чтобы меня повезли к прусскому королю: мне до прусского короля нужда!» С этими словами пошел он с прусскими солдатами в ратушу, и с тех пор никто из бывших с ним в обозе его не видал.<sup>285</sup>

Несмотря на ложь, впутанную в правду, из этих известий можно заключить, что Зубарев ездил действительно в Пруссию, к королю Фридриху II агентом от поселившихся в Польше раскольников, которые уже не в первый раз обращались к прусскому королю хлопотать, чтобы через его посредство добыть себе от патриарха собственного раскольников епископа: сам Зубарев в своем показании говорит, что уже прежде приезжал к королю от раскольников какой-то поп, но пруссаки почему-то не поверили ему. В показании Зубарева, данном в тайной канцелярии и, конечно, вынужденном страхом, не совсем точно рассказаны приключения его в Пруссии, как всегда бывало в показаниях попавшихся в тайную канцелярию. Плуты, к каким, без сомнения, принадлежал Зубарев, обыкновенно уже сознаваясь, все-таки до последней возможности лгали, даже и тогда, когда ложь их нимало не могла доставить им спасения. История этого Зубарева в свое время имела немаловажное значение в ряду причин, решивших тогдашнюю политику России по отношению к Пруссии, а еще более по отношению к судьбе несчастного Ивана Антоновича. Фридрих II ухватился за самое чувствительное место для своей соперницы – Елисаветы Петровны. Он увидел в расколе слабую сторону России и хотел явиться при случае покровителем гонимых Елисаветою раскольников, соединив их дело с делом брауншвейгского принца. Вот почему, тотчас после зубаревской истории, последовало секретное распоряжение переместить Ивана Антоновича из Холмогор в Шлиссельбургскую темницу. И тогда же Елисавета Петровна, не колеблясь более, дала обещание Дугласу

<sup>285</sup> Исторические бумаги, собранные Арсеньевым, изданные академиком Пекарским, стр. 380—399.

послать во Францию своего уполномоченного посла, принять у себя французского посланника и ввести Россию в союз Франции с Австриею против Фридриха II.

Бестужев был посрамлен. Ему ничего более не оставалось, как притворяться, что разделяет мнение тех, которые, без совета с ним, нашли выгодным для России союз с Франциею. Бестужев сознавал свое бессилие перед любимцем Елисаветы. «Наше несчастье, – говорил Бестужев английскому послу, – состоит в том, что он говорит по-французски и любит французские моды. Ему страх как хочется иметь при дворе французского посланника. Власть его так велика, что нам тут невозможно ничего поделать».<sup>286</sup>

Между тем Англия, в добром расположении которой Бестужев так уверял императрицу, вдруг, неожиданно для России, 19-го января 1757 года заключила союзный договор с Пруссиею. Вилиамс старался перед Бестужевым доказывать, что такой договор Англии с Пруссиею не должен нарушать дружеских отношений между Англиею и Россиею; однако Бестужев тут же сообщил ему, что императрица, услышавши о таком договоре, очень раздражена и недовольна. Как бы в отместку за то Англии, Елисавета, не отказываясь ратифицировать составленный уже прежде договор Англии с Россиею, приписала оговорку, что обещаемые в пособие Англии русские войска обязаны будут действовать только против прусского, а отнюдь не против каких-либо иных неприятелей английского короля. В договоре с Франциею обеим сторонам пришлось также употребить подобные предостережения друг против друга. Французский король был недоволен Дугласом за слишком широкий смысл помощи, обещаемый Франциею России, и при ратификации договора писал к Елисавете, прося освободить его от обязательства оказывать России содействие в случае войны ее с Турциею. Елисавета согласилась, но выговорила для себя условие никак не вмешиваться в войну между Франциею и Англиею. 1-го мая 1757 года в Версале заключен был окончательный оборонительный договор между Франциею, Австриею и Россиею, направленный прямо против прусского короля, а 22-го сентября того же года к этому договору присоединилась и Швеция.

## VI. Эпоха Семилетней войны

*Вступление российского войска в Пруссию. – Главнокомандующий Априксин. – Неловкое положение Апраксина и Бестужева. – Покорение Мемеля. – Жестокий характер войны с обеих сторон. – Гросс-Эгерсдорфская битва. – Победа русских и отступление. – Арестование и смерть Апраксина. – Проект Бестужева. – Болезни императрицы. – Опала, постигшая Бестужева. – Неудовольствия между императрицею и великою княгинею. – Ночное свидание между ними. – Главнокомандующий Фермор. – Курляндское дело. – Цорндорфская битва. – Главнокомандующий Салтыков. – Куннерсдорфская битва. – Поражение Фридриха. – Покушение русских на Берлин. – Завоевание и оставление Берлина. – Неудачные попытки к миру. – Генерал Румянцев. – Осада и взятие приморского города Кольберга.*

Летом 1757 года русское войско было отправлено на войну против Пруссии. Начальство над ним поручено было генерал-аншефу Степану Федоровичу Апраксину. Этот человек в военном деле не ознаменовал себя ничем блестящим в предшествовавшее время, кроме разве того, что, бывши еще не в слишком высоких чинах, участвовал в войнах Миниха против турок. Это был тщеславный, изнеженный, обленившийся боярин, хотя не без природных способностей. Английский посол Вилиамс, знавший его лично, сообщает, что он был большой щеголь и, отправляясь в поход, послал своего адъютанта в свой дом привезти ему двенадцать полных костюмов, точно так, как будто он собирался не воевать, а рисоваться перед дамами. По приговору другого англичанина, Мичеля, Апраксин, несмотря на свои огромные богатства, был очень расточителен и способен на подкуп, что и подавало

<sup>286</sup> «La cour de la Russie il y a cent ans», 144.

прусскому королю повод говорить, что стоит послать ему значительную сумму денег, чтоб побудить его замедлить свой марш под какими-нибудь предложениями.<sup>287</sup> Его обоз везли более пятисот лошадей; а когда приходилось стоять, тут добывались и ставились великолепные, обширные палатки, где отправлялись шумные пиршества с музыкою и пальбою.<sup>288</sup> Подчиненные говорили о нем, что он привык более пировать за сытными обедами, валяться в пуховиках, чем довольствоваться походною пищею и неприветливым ночлегом под дождем. Положение, в котором очутился Апраксин, будучи призван волею императрицы к начальству над войском, было критическое, и это сознавали как он, так и Бестужев. Императрица ненавидела прусского короля, но малый двор с великим князем и великою княгинею во главе относился совсем иначе к Пруссии и Англии. Великий князь постоянно восторгался прусским королем и старался копировать его, а великая княгиня казалась более расположенною к Англии, чем к Франции. Случись смерть императрицы, – а при ее частых припадках болезни этого можно было ожидать, – и вся политика России изменилась бы. Вместо союза против Пруссии образовался бы в Европе союз за Пруссию, и Россия, управляемая новым государем, приняла бы в таком союзе первенствующее значение. Нужно было Апраксину искусно лавировать – идти вперед на войну, исполняя волю государыни, и в то же время оглядываться – что делается позади, в Петербурге.

Русское войско, вступившее в Пруссию, по одним известиям, состояло из ста тысяч<sup>289</sup>, по другим<sup>290</sup>, – число его доходило до ста тридцати четырех тысяч. Русские вступили в Пруссию 22-го июля. Прусский король лично был занят войною в Саксонии и Богемии, а на русской границе оставил корпус под начальством фельдмаршала Левальда. Количество войска, бывшего под его начальством, пруссаки простирают до двадцати четырех тысяч; из русских источников одни полагают его в 28300 человек<sup>291</sup>, другие – в 40000<sup>292</sup>. Как только русские вошли в Пруссию, так стали сдаваться города отдельным их отрядам. Генерал Фермор покорила Мемель; хотя мемельский гарнизон сдался на капитуляцию с правом беспрепятственного выхода, но русские многих из прусских солдат завербовали в свою службу, употребляя и принуждения, что, впрочем, было повсеместно в обычае в тот век.<sup>293</sup> Кроме солдат, русские забрали тогда многих мирных обывателей, промышленников и земледельцев, и отправили их в Россию для заселения пустых мест.

Простой народ при вступлении неприятеля во владения прусского короля не остался равнодушным и стал оказывать пособие своим войскам. Русский фельдмаршал издал манифест, в котором убеждал прусских подданных не оказывать неприязненных действий, и со своей стороны обещал не дозволять своим подчиненным делать вред мирному населению. Несмотря на этот манифест, поселяне стреляли по русским солдатам из-за кустов и лесных деревьев. Апраксин отправил нарочного к прусскому главнокомандующему, просил запретить такие нападения и, в противном случае, угрожал наказывать поступающих с русскими по-неприятельски. Но Левальд не издал такого запрещения, и русский фельдмаршал дал своим войскам дозволение поступать как с неприятелями с теми селениями, где обыватели начнут нападать на русских. Как только проведали о таком дозволении иррегулярные войска – казаки и калмыки, – тотчас без разбора, кто прав, кто виноват, стали обращаться с поселянами самым варварским образом. Они не только грабили крестьянские пожитки, кололи для своего прокормления и угоняли для продажи своему войску крестьянский скот, но самих людей подвергали страшным, бесчеловечным мукам: одних удавливали петлей, других живьем потрошили, похищали у матерей малых детей и убивали, – сжигали дотла крестьянские жилища, и те поселяне, которые успевали спастись

<sup>287</sup> «La cour de la Russie il a y cent ans», 154.

<sup>288</sup> Щербатов. О повреждении нравов, 102.

<sup>289</sup> Военная история, кн. Голицына, стр. 141.

<sup>290</sup> Русс. Старина, 1870 г. Приложение: Записки Болотова, т. I, стр. 481.

<sup>291</sup> Военная История, кн. Голицына, стр. 141.

<sup>292</sup> Записки Болотова, т. I, стр. 461.

<sup>293</sup> Hermann, т. V, стр. 142.

от их зверства, лишившись своих домов, прятались в лесах, а выходя из своих убежищ, просили своих земляков давать им вместо милостыни ружья, порох и свинец, чтобы мстить врагам. Регулярные войска не одобряли такого способа ведения войны с мирными жителями, но и они сами во время похода не держались дорог, а шли по полям, засеянным хлебом, и это озлобляло жителей; они продолжали вести партизанскую войну, нападая на русских отдельными партиями; а русские за это, поймав в таком деле поселян, отрубивали им на руках пальцы и потом пускали.<sup>294</sup> Так показали себя, тотчас по вступлении в Пруссию, с одной стороны, русские, с другой – мирные обыватели прусских владений, большею частью литовцы по происхождению.

После нескольких стычек, кончавшихся то с пользой, то с вредом для русских, русские перешли реку Прегель и на Гросс-Эгерсдорфском поле (близ деревень Гросс- и Клейн-Эгерсдорф) встретились с прусскою армиею под командой Левальда. Здесь произошло первое генеральное сражение. Сначала пруссаки одолевали и приперли русских к лесу, но за этим лесом стояло остальное русское войско; из него отряд под начальством генерала Румянцева пробрался через лесные заросли на выручку стесненному пруссаками русскому отряду. Пруссаки попятились, и вскоре их отступление превратилось в настоящее бегство. Русские потеряли в этой битве до пяти тысяч убитыми и ранеными, и в числе их генерала Василия Абрамовича Лопухина, которого чрезвычайно любили все подчиненные и разнесли о нем такую громкую славу, что имя его до сих пор осталось в народной песне, несмотря на множество последующих войн и геройских подвигов русских полководцев. Смерть его очень напоминает смерть древнего греческого героя Эпаминонда. Раненый смертельно и схваченный в плен, он был отбит своими уже полуживым и спокойно испустил дыхание, когда узнал, что русские побеждают. Пруссаки в Гросс-Эгерсдорфской битве потеряли до трех тысяч убитыми и ранеными.<sup>295</sup>

До 22-го августа войско стояло на поле победы и праздновало свое торжество над неприятелем. Когда, наконец, в вышеозначенный день на заре забили генеральный марш, все были уверены, что фельдмаршал двигается для овладения Кенигсбергом. Фельдмаршал хотя и двинулся, но чрезвычайно медленно, беспрестанно останавливался и напрасно мучил солдат невыносимою жарою, господствовавшею в ту пору года. Русские проходили в сутки не более как от четырех до пяти верст. Дошедши до речки Ааля, фельдмаршал созвал на военный совет генералов и представил им, что за скудостью провианта и фуража нельзя идти далее в неприятельской стране – и остается вернуться назад в Россию. Против этого сильно протестовал командир союзного саксонского войска Сибильский; недовольны были офицеры и в русском войске, но не смели противоречить воле начальника, предполагая, что он руководствуется высочайшим приказанием. 13, 14 и 15-го сентября русские переправились обратно через Неман. Возвратный путь их по неприятельской земле ознаменован был разорениями. «Мы, – говорит очевидец, – поступали как сущие варвары<sup>296</sup>: жгли повсюду села, дворянские усадьбы и деревни; по нашим следам днем курился везде дым, а ночью повсюду виднелись пожарные зарева. И все это ради того, что два эскадрона неприятельской конницы следовали за нами для примечания наших движений, а наш фельдмаршал не мог того рассудить, что нам они ничего важного сделать не могут, и вместо того, чтобы послать часть войска и прогнать их, он рассудил за лучшее опустошать огнем и мечом все остающиеся позади нас места».

Фельдмаршал получил от государыни строгий приказ не возвращаться в Россию, а продолжать воинственный поход в Пруссию. В таком же смысле писали к нему Бестужев и великая княгиня. Тем не менее, Апраксин снова доносил о невозможности немедленно продолжать поход. Его потребовали к отчету в Петербург, но на половине дороги, когда он доехал до Нарвы, ему послали приказание оставаться в этом городе. Туда прислана была комиссия для производства над ним следствия. Через несколько времени его потребовали в

<sup>294</sup> Записки Болотова, т. I, стр. 479, 491—492.

<sup>295</sup> Военная История, кн. Голицына, 145.

<sup>296</sup> Записки Болотова, т. I, стр. 602.

Петербург, но на дороге опять остановили, пославши приказание жить в селении Четыре-Руки – небольшом царском летнем доме. Там он и умер от апоплексического удара.

Общее мнение за границею о поступках Апраксина было таково, что он совершил свое отступление в соумышлении с канцлером Бестужевым. Некоторые обвиняли их обоих прямо в подкупе. Иностранные источники<sup>297</sup> прямо говорят, что английский посланник Вилиамс убедил Апраксина принять от Фридриха II сто тысяч талеров. Было в ходу и другое объяснение его поступков. Бестужев и Апраксин знали, что великий князь слишком расположен к прусскому королю, и если государыня умрет, а наследник ее станет императором, то немедленно объявит себя на стороне прусского короля; о великой княгине также было можно надеяться, что и она не расположена враждебно к Пруссии и к Англии. Между тем Елисавета Петровна беспрестанно хворала; ее припадки угрожали возможностью внезапной смерти. Поэтому Бестужев и Апраксин рассчитывали действовать так, чтобы, в случае перемены, не оставаться пред новым правительством заклятыми врагами прусского короля, который тогда станет союзником русского государя.

Такое толкование поступков Бестужева и Апраксина имело несколько оснований, но не было в точности верно, потому что европейские политики не вполне знали, что делается в России. Дело было вот в чем. Молодая высокая чета – великий князь и великая княгиня жили между собою в крайнем несогласии. Екатерина старалась обратить к делу своего супруга, – но ей это решительно не удавалось. Он грубо оскорблял жену и часто доводил ее до заявления, что она покинет и его, и Россию. Что касается до Елисаветы, то она хотя вполне понимала характер своего преемника, но горячо любила его, и к Екатерине относилась также с видимою любовью и желала, чтобы между этими супругами утвердилось согласие. Влияние тетки не переделало племянника. Екатерина в своих записках представляет странное обычное времяпрепровождение великого князя в ту эпоху.

Понятно, что такой преемник Елисаветы на престоле не мог подавать хороших надежд. По свидетельству Екатерины, Елисавета и четверти часа не могла пробыть с ним наедине и часто жаловалась, что считает себе великим несчастьем, что Бог послал ей такого преемника. Она даже подчас из презрения к нему давала ему различные прозвища. Тем не менее, однако, как подчас ни сердилась на него тетка, а все ему прощала, потому что никак не могла побороть в себе любви к нему, как к сыну умершей, любимой сестры своей. Никого столько не беспокоило такое положение дел в России, как Бестужева, человека с таким же государственным умом, как и с безмерным самолюбием. Болести императрицы с каждым месяцем все более и более усиливались; после каждого припадка она дня два находилась в таком истощении сил, что не могла не только говорить, но и слышать говорящих в ее присутствии. Об одном из таких припадков, случившемся в сентябре, уведомили Апраксина – по одним известиям, Бестужев<sup>298</sup>, по другим – дочь Апраксина, Куракина, и Апраксин, опасаясь, что императрица может внезапно умереть и война примет иной оборот, решился отступить под благовидными предлогами. Бестужев думал поправить ошибку Апраксина и упросил великую княгиню написать к фельдмаршалу письмо, убеждающее, сообразно воле императрицы, идти с войском вперед для уничтожения неблагоприятных слухов, которые распускали о нем его недоброжелатели. Австрийский посол Эстергази, думая, что все это делается по желанию великого князя, советовал последнему просить у тетки прощения и сознаться, что действовал по внушению дурных советников, разумея под такими советниками главным образом Бестужева. Великий князь так и поступил. Елисавета приняла племянника очень ласково и, слушая его обвинения, озлобилась на последнего.<sup>299</sup>

Из опасения, что с внезапною кончиною императрицы престол достанется в обладание

<sup>297</sup> Raumer. «König Friedrich II und seine Zeit», стр. 398, 399. – Hermann, т. V, стр. 133.

<sup>298</sup> Пекарский. Военный Сборник 1858 г. Статья – «Поход русских в Пруссию», стр. 289—350 – защищает Бестужева очень основательно: если б канцлер сделал это, угождая наследнику престола, то Петр III, тотчас по вступлении своем на престол, награждал бы Бестужева; а Петр в течение полугода не подумал даже облегчить заточения, в котором он находился.

<sup>299</sup> Делеша Эстергази у Шефера: Geschichte des Siebenjährigen Krieges, т. II, стр. 545.

Петру, Бестужев составил проект, по одним известиям – объявить преемником Елисаветы ее внука, трехлетнего великого князя Павла Петровича, поручив на время его малолетства регентство его матери<sup>300</sup>, по другим известиям, – оставя подобающий Петру Федоровичу императорский титул, – устранить его от действительной власти и предоставить публичное участие в правительстве великой княгине.<sup>301</sup> Вместе с тем, Бестужев знал, что Петр Федорович не терпит его и, ставши императором, непременно так или иначе постарается удалить его. Поэтому Бестужев в своем проекте написал, чтобы при таком предполагаемом по кончине Елисаветы образе правления все сановники оставались на своих местах, и сам он, Бестужев, был бы назначен подполковником четырех гвардейских полков и председателем трех коллегий: военной, адмиралтейской и иностранных дел. Видно было, что ограждая самого себя, канцлер ясно предвидел будущее и хотел, в наиболее легком для великого князя компромиссе, заранее учинить то, что действительно случилось в России по смерти Елисаветы, но не так удобно для великого князя. Бестужев признавал тогда уже, что при том положении, в каком стояли дела в русской правительственной сфере, было единственное лицо, способное, по уму и по талантам, захватив в свои руки власть, укрепить расшатанную с кончиною Петра Великого Россию: – таким лицом была Екатерина. Проект свой канцлер предполагал при удобном случае, выбрав подходящее время, поднести Елисавете Петровне; но императрица беспрестанно болела, а канцлера к себе не допускала, и не мог он долго найти удобного времени и средства сделать это, тем более, что тут была сторона щекотливая: Елисавете Петровне беспокойно было слышать о мерах в случае ее смерти, да и умирать ей вовсе не хотелось. Бестужев сообщал свой проект Екатерине через посредство лица, близкого тогда к ее особе, польского уполномоченного графа Понятовского (будущего польского короля Станислава-Августа). Екатерина на словах поручила передать канцлеру благодарность, но объявила, что считает этот проект пока трудноисполнимым. Бестужев несколько раз переписывал свой проект: то сжигал, то снова составлял, пока, наконец, 26-го февраля 1758 года не страхлась над ним беда.

Елисавета, как мы уже говорили, никогда не любившая канцлера, безгранично доверяла ему все важные государственные дела, хотя она несколько лет и в глаза его не видела, и все доклады от канцлера доставлялись ей через Шуваловых или через вице-канцлера Воронцова. Но мало-помалу все стали замечать, что и заглазно императрица не терпела Бестужева, и слышать о нем было ей противно. В сентябре 1757 года французский посланник де Лопиталь доносил своему правительству, что Бестужев едва-едва держится только потому, что императрица не найдет еще человека, который так, как он, был бы знаком с политическими делами.<sup>302</sup>

25-го февраля 1758 года Бестужева потребовали во дворец, в конференцию. Сначала он стал отговариваться болезнью, но тут последовало вторичное повеление государыни – без всяких отговорок прибыть немедленно. Бестужев поехал, но едва у крыльца дворцового подъезда вышел из коляски, как ему была объявлена немилость государыни; у него отняли шпагу и препроводили в собственный дом, где он должен был оставаться под строгим караулом. Назначили следственную комиссию из фельдмаршалов – князя Никиты Трубецкого и Бутурлина, и графа Александра Шувалова, начальника тайной канцелярии; секретарем этой комиссии был Волков, человек, долго покровительствуемый Бестужевым и пользовавшийся его доверием. Разом с Бестужевым арестовали Одадунова, бывшего наставника великой княгини в русском языке, Елагина, бывшего адъютантом у графа Алексея Разумовского, большого приятеля Понятовскому, и бриллианщика Бернарди, ловкого итальянца, постоянно бегавшего по знатым домам с поручениями. На другой же день после своего ареста, через управлявшего голштинскими делами великого князя Штамбке, Бестужев дал знать Екатерине, чтоб она ничего не опасалась – что все сожжено: он разумел проект свой. Действительно, в пересмотренных его бумагах этот проект не был

<sup>300</sup> Hermann, V, 139. – Васильчиков. «Семейство Разумовских», т. I, стр. 178—179.

<sup>301</sup> Записки имп. Екатерины II, русский перевод, стр. 227. – Вейдемейера. «История Елисаветы», т. II, стр. 17.

<sup>302</sup> Stuhr, «Forschungen über Hauptpunkte des Siebenjährigen Krieges», стр. 303—304.

найден, хотя все, и даже сама императрица, знали о том, что канцлер составлял его. Бестужев условился с Штамбке вперед вести переписку, а записки класть в груды кирпичей, находившуюся возле дома, где содержался арестованный Бестужев. Но вскоре переписка была открыта: схвачен был музыкант, приходивший класть записку в кирпичи.

Бестужеву в комиссии задавали такие вопросы: зачем он искал предпочтительно милости у великой княгини, а не у великого князя? Зачем скрывал от императрицы переписку, которую вела великая княгиня с Апраксиным? Допрашивали, кроме того – что значит написанный им и открытый в груды кирпичей совет великой княгине «поступать смело и бодро с твердостью и помнить, что подозрениями ничего доказать нельзя». Бестужев отвечал, что он особой милости у великой княгини не искал, – напротив, пока великая княгиня была предана прусскому королю, он вскрывал ее письма, но потом это оказалось излишним, потому что великая княгиня возненавидела прусского короля; в письмах ее к Апраксину предосудительного ничего не было, и в таком смысле он писал к великой княгине, что одними подозрениями ничего доказать нельзя. Проекта о престолонаследии никак не отыскивали, и, не имея в руках этого документа, который мог служить доказательством государственной измены, старались изыскать окольные пути к его обвинению; допрашивали, например: какие тайные конференции были у Бестужева со Штамбке и с Понятовским; были ли другие письма великой княгини к Апраксину, кроме уже открытых. О сношениях с Понятовским Бестужев объявил, что он думал через него оградить себя от интриг австрийского посланника Эстергази и французского – маркиза де Лопиталья. «Я хотел, – говорил Бестужев, – найти в Понятовском хотя одного к себе расположенного иностранного министра, который бы меня уведомлял о их кознях». Волков явился врагом Бестужева и обличителем: он высказывал в комиссии разные подробности, которыми пользовались враждебные Бестужеву следователи, но, за неимением в руках проекта, все-таки не могли Бестужева погубить окончательно. Продержали Бестужева под арестом 14 месяцев; сидел он безвыходно в своем доме, постоянно стесняемый караульными солдатами. Через полтора месяца по его заточении приезжал к нему личный враг его князь Трубецкой, председатель учрежденной над Бестужевым комиссии, осведомляться – строго ли содержат арестанта, и дал приказание не отлучаться из его покоев сержанту и часовым, не давать ему ножей, никого к нему не допускать, кроме его служителя Редкина. Жена его беспрестанно плакала, сын сердился, а старик Алексей Петрович только стонал и воображал, что вот скоро наступит его последний час. Наконец, в апреле 1759 года состоялся над ним приговор; его обвинили в том, что он старался вооружить великого князя и великую княгиню против императрицы, не исполнял письменных высочайших указов, а своими противодейственными происками мешал их исполнению; знал, что Апраксин не хочет идти против неприятеля, – не доносил о том государыне, а вместо донесения хотел все исправить собою «при влечении в непозволенную переписку такой персоны, которая не должна была принимать участия, и тем нечувствительно в самодержавное государство вводил соправителей и сам соправителем делался». Наконец и в том его обвинили, что, «будучи под арестом, открыл письменно такие тайны, о которых и говорить под смертною казнию запрещалось».<sup>303</sup> За все эти вины комиссия приговорила его к смертной казни, но Елисавета Петровна смягчила судьбу своего бывшего великого канцлера и определила сослать его в одну из деревень его в Можайском уезде, по имени Горетово, с оставлением ему в собственность недвижимого имущества, с тем, однако, чтобы с него взысканы были все казенные долги. Там в уединении прожил этот государственный человек, читая библию и совершенствуя изобретенные им капли, которые он рассылал соседям против недугов. Впоследствии Екатерина, помня, что он, собственно, за нее потерпел, освободила его с большим почетом, отправивши к нему курьера в первый же

<sup>303</sup> В приговоре, вероятно, сочиненном Волковым, глухо и неясно говорится: «между взятыми его письмами найдены проекты, писанные собственною его рукою и содержащие в себе такие дальновидные замыслы, которыми он явно показывает свое недоброжелательство к нашей особе и к нашему здоровью, но о том и о других его тайных преступлениях и найденных вредных замыслах пространно изображать было бы излишне». Мы не понимаем, о чем, собственно, здесь говорится.

день своего воцарения. Признанных его соучастниками – Штамбке выслали за границу, Бернарди сослали в Казань на житье, Елагина – в его казанскую деревню. Одадунова наказали почетною ссылкой, назначив товарищем губернатора в Оренбурге.

Во время продолжительного нахождения Бестужева за караулом, Екатерина оставалась в самом ложном положении. Великий князь обращался с нею холодно и даже презрительно. Императрица также сердилась на нее и не видалась с нею. Наконец Екатерина решилась написать к императрице письмо по-русски, в котором благодарила за милости, оказанные ей с ее приезда в Россию, но сожалела, что навлекла на себя ненависть великого князя и явное нерасположение императрицы, а потому просила положить конец ее несчастьям и отослать ее к ее родственникам. Она просила продолжать попечения об остающихся ее детях, которых и без того она не видит, несмотря на то, что живет с ними под одною крышей: все равно для них, если она будет жить от них на расстоянии многих сот верст. Письмо это вручено было для передачи государыне Александру Шувалову, который потом словесно сообщил Екатерине, что императрица назначит личное свидание с великою княгиней.

Обещание свидания было дано; но дни за днями проходили, а оно не исполнялось. Наконец одна из служительниц Екатерины, Шаргородская, посоветовала обратиться к духовнику императрицы, а также и великой княгини. По поручению последней, Шаргородская отправилась к этому священнику, который приходился ей дядею. Духовник посоветовал Екатерине сказать больною и позвать его для напутствия. Она так и поступила. Духовник явился; великая княгиня рассказала ему о своем положении, жаловалась на любимцев императрицы Шуваловых, которые восстанавляют против нее государыню, сказала о письме, посланном ею к императрице, и просила священника содействовать к получению желаемого решения. Священник отправился от нее к императрице. Он сумел так заговорить к сердцу Елисаветы Петровны, что та послала к великой княгине Александра Шувалова сказать, что в следующую же ночь хочет говорить с нею. В эту назначенную ночь опять явился к Екатерине Шувалов и проводил ее к императрице. Входя в покои государыни, они встретили идущего туда же великого князя.

Вошли в длинную комнату о трех окнах; в простенках стояли столы с золотыми туалетами императрицы. В комнате были: императрица, великий князь, Александр Шувалов и великая княгиня. Екатерина подозревала, что за занавесками спрятались Шуваловы – Иван и его двоюродный брат Петр. Впоследствии Екатерина узнала, что в своих догадках ошиблась только наполовину: там не было Петра, но был Иван Шувалов.

Великая княгиня, увидя императрицу, припала к ее ногам и со слезами стала просить отпустить ее из России.

– Как мне отпустить тебя, – сказала Елисавета Петровна, и при этом слезы блеснули у нее на глазах, – у тебя ведь здесь есть дети!

– Дети мои у вас на руках – и им нигде не может быть лучше, – отвечала Екатерина, – я надеюсь, что вы их не оставите.

– Что же сказать обществу, по какой причине я тебя удалила? – возразила императрица.

– Ваше императорское величество объявите, если найдете приличным, чем я навлекла на себя вашу немилость и ненависть великою князя, – отвечала Екатерина.

– Чем же ты будешь жить? – спросила Елисавета.

– Тем же, чем жила прежде, пока не имела чести быть здесь, – был ответ.

– Твоя мать в бегах; она принуждена была удалиться из дома и отправилась в Париж, – говорила государыня.

– Король прусский преследует ее за излишнюю приверженность к русским интересам, – сказала Екатерина.

Императрица велела ей встать, подошла к ней и говорила:

– Бог мне свидетель, как я о тебе плакала, когда ты была при смерти больна вскоре по приезде твоём в Россию; если б я тебя не любила, я тогда же отпустила бы тебя.

Екатерина, в ответ на это, снова рассыпала благодарности и сожалела о том, что навлекла на себя немилость государыни.



В то время, как императрица говорила с великой княгиней, великий князь переговаривал с Шуваловым. Государыня подошла к ним и вмешалась в их беседу. Екатерина не могла ничего расслышать до тех пор, пока супруг ее не возвысил голоса. Она услышала такие его слова:

– Она зла и чересчур много о себе думает.

Екатерина подошла и произнесла:

– Если вы говорите обо мне, то я очень рада сказать вам в присутствии ее величества, что я действительно зла против тех, которые советуют вам делать несправедливости, и стала к вам высокомерна, потому что ласковым обращением с вами ничего не сделаешь, а только пуще навлекла на себя вашу неприязнь.

Елисавета заметила племяннику, что слыхала от Екатерины о его дурных советчиках по голштинским делам; а когда тот выразил свое негодование на жену, императрица прервала его и завела речь о сношениях Штамбке с Бестужевым и, подошедши ближе к великой княгине, сказала:

– Ты мешаешься во многие дела, которые тебя не касаются; я не смела этого делать во время императрицы Анны. Как, например, осмеливалась ты посылать приказания фельдмаршалу Апраксину?

– Никогда мне в голову не приходило посылать свои приказания, – возразила Екатерина.

– Как ты можешь запереться в переписке с ним! – сказала Елисавета. – Твои письма вон там на туалете! – Она указала на туалет и прибавила: – Тебе запрещено было писать.

– Правда, – сказала Екатерина, – я писала без позволения, и за это прошу простить меня; но так как мои письма здесь, то из этих трех писем ваше величество можете видеть, что я никогда не посылала ему приказаний, но в одном письме передавала ему то, что здесь говорили о его поступках.

– Зачем же ты писала ему об этом? – прервала ее Елисавета.

Затем, – отвечала Екатерина, – что принимала в нем участие. В этом письме я просила его исполнять ваши приказания. Из двух остальных писем, в одном – я поздравляю его с рождением дочери, в другом – с Новым годом.

Императрица заметила:

– Бестужев говорит, что было много еще писем.

– Если Бестужев это говорит, – отвечала Екатерина, – то он лжет!

– Хорошо же, – сказала тогда Елисавета, – так как он обличает тебя, то я велю его пытаться.

Екатерина поняла эту угрозу в смысле желания напугать ее, и сказала:

– По самодержавной своей власти ваше величество можете делать все, что найдете нужным, а я все-таки утверждаю, что писала к Апраксину только три письма.

Императрица ничего не сказала, стала прохаживаться по комнате, обращаясь то к великой княгине, то к племяннику, то к Шувалову; в чертах лица и в голосе государыни Екатерина заметила более озабоченности, нежели гнева.

Екатерина повернула опять на просьбу отпустить ее из России, – она не будет, со своей стороны, препятствовать великому князю взять себе иную жену. По замечанию Екатерины, великому князю этого очень хотелось, чтобы посадить на место ее Воронцову; но императрица не могла бы согласиться на это, да и не допустили бы до этого и Шуваловы, которые ни за что бы не пожелали очутиться со временем под властью Воронцовых.

В заключение всего государыня сказала Екатерине вполголоса:

– У меня много еще о чем поговорить с тобой, но теперь не могу, потому что не хочу, чтоб вы еще больше рассорились. Идите к себе: уже поздно – три часа!<sup>304</sup>.

Вышли великий князь и великая княгиня. Государыня позвала к себе Шувалова.

Когда Екатерина пришла в свои покои, к ней вошел Шувалов и сказал, что государыня

<sup>304</sup> Записки имп. Екатерины II, русск. перевод, 243—249. – La Cour de la Russie il y a cent ans, 176. – Соловьев, История России, т. XXIV, стр. 187—200.

будет иметь с ней еще один разговор наедине. Это ночное свидание Елисаветы с Екатериною происходило 23-го апреля 1758 года.<sup>305</sup>

На другой день Екатеринина прислужница Шарогородская доставила ей сведения, полученные от ее дяди, духовника императрицы. Государыня сказала священнику, что ее племянник не умен, а великая княгиня очень умная женщина и любит истину и справедливость.<sup>306</sup>

Екатерина дождалась обещанного второго свидания, однако не считала нужным показывать перед другими, что оставила мысль об отъезде из России. 29-го мая она опять написала императрице письмо, в котором изъявляла желание прежде своего отъезда «иметь благополучие увидеть очи ее императорского величества и повергнуть себя к ножкам государыни с крайнейшею благодарностью».<sup>307</sup> Великая княгиня в то же время сносила с изгнанным по делу Бестужева в казанские деревни Елагиным, послала ему триста червонцев и утешала его надеждою на друзей, между прочим на Разумовского и на Понятовского, которых в письмах своих означала загадочными именами.

Новый главнокомандующий российскими военными силами, заменивший Апраксина, был генерал-аншеф Фермор, человек очень скрытный; он говорил о своих планах один раз то, другой – иное, и двигался к Бранденбургии на соединение против пруссаков с австрийскими и шведскими союзными силами, хотя, по замечанию современников, плоха была надежда на прочность дружелюбия русских с австрийцами и шведами.<sup>308</sup>

В Петербурге между тем разрешался вопрос о Курляндии. Эта страна считалась по государственному праву ленным владением Польши, но после Анны Ивановны попала в зависимость от России, и судьба ее не могла уже решаться без участия последней державы. Герцог Бирон не лишился ни своего права на герцогское достоинство, ни титула, но содержался в ссылке в Ярославле: его не отрешали от власти над Курляндией, но и не пускали править своим герцогством. Курляндия отдана была во временное управление выбранному от местного дворянства комитету главных советников, которые должны были слушаться российского резидента, а к нему в помощь, на случай, придавалось расставленное в Курляндии русское войско. Россия действовала там неограниченно еще и потому, что Курляндия, с того времени, как герцогинею была Анна Ивановна, задолжала России значительную сумму, по русскому счету 2532016 рублей.<sup>309</sup> Так как русская государыня ни за что не думала восстанавливать власть Бирона и отпускать его в Курляндию, то Август III, король польский и курфюрст саксонский, задумал отдать Курляндию своему сыну, принцу Карлу, и с этою целью отправил его представиться русской императрице. Прибывши в Петербург весною 1758 года, принц Карл очень понравился Елисавете Петровне, хотя не приобрел того же расположения от великого князя и его супруги, бывших под влиянием Понятовского – противника короля Августа. Елисавета Петровна обещала помогать вступлению на Курляндское герцогство принца Карла русскими военными силами, если только избрет его в герцоги курляндское дворянство; кроме того, она повелела своим уполномоченным в Польше Гроссу и Симолину стараться, чтобы сейм Речи Посполитой отнесся благосклонно к таковому избранию. Но собравшийся в Гродно польский сейм был сорван, и русские уполномоченные, за невозможностью собрать сейм вновь, настояли, чтобы курляндский вопрос разрешен был без сейма в сенате. Шестнадцать сенаторских голосов из двадцати решили его в пользу Карла, и Август III дал сыну инвеституру на герцогство Курляндское.<sup>310</sup>

Принц Карл, оставив Петербург 31-го июля 1758 года, поспешил к русской армии, чтоб находиться там в качестве союзника при главнокомандующем Ферморе. В августе 1758 года

<sup>305</sup> Сборник Русск. Истор. Общ., т. VII, стр. 74.

<sup>306</sup> Записки имп. Екатерины II, 250.

<sup>307</sup> Сборник Историч. Общ., т. VII, стр. 74.

<sup>308</sup> Stuhr, «Forschungen», т. II, стр. 153—157.

<sup>309</sup> Hermann, т. V, стр. 151.

<sup>310</sup> Соловьев, т. XXIV, стр. 230—232. Hermann, т. V, стр. 153—154.

Фермор осадил крепость Кюстрин, жестоким и упорным бомбардированием истребил весь прилежавший к крепости город, но комендант крепости на требование русского главнокомандующего не сдавался, ожидая с часу на час выручки. Фридрих II, находившийся тогда с войском в Богемии, услышав о критическом положении Кюстрина, поспешил на выручку. Когда весть дошла до Фермора, что король приближается, русский главнокомандующий оставил осаду Кюстрина и выступил навстречу королю. Неприязненные войска сошлись 14 августа при деревне Цорндорфе, верстах в шести или семи от Кюстрина. Произошло сражение чрезвычайно кровопролитное. Фермор устроил свое войско продолговатым четверугольником, в середине которого расположил обоз и конницу. Такой способ устройства войска был, кстати, в войнах Миниха против турок и татар, у которых вся военная сила состояла в коннице, но он не годился против дисциплинированной прусской пехоты. Фермор заметил слабость левого крыла прусского войска и выпустил на него из четверугольника свою конницу, чтобы она врубилась в прусские ряды. Но прежде чем конница эта достигла неприятельского войска, она подняла такую пыль, что русские ничего не видали, и стали палить в собственную конницу. Пруссаки, заметив смятение в русском войске, ударили всею силою на его правое крыло, прорвали четверугольник и стали овладевать русским обозом. Тут на беду русские солдаты, в полурастрепанном своем обозе, напали на бочки с вином и перепились. Все правое крыло русского войска было смято и уничтожено. Но на левом крыле русские не были пьяны; там защищались они с отчаянным мужеством и прогнали в болото атаковавшую их прусскую пехоту. Обе стороны дрались с равным ожесточением; растративши весь порох, работали шпагами и штыками; доходило дело до рукопашной; по окончании битвы и уборки тел нашли одного русского солдата, смертельно раненного: он лежал на умиравшем от ран пруссаке и грыз его зубами. Ночь прекратила битву. Войска так перемешались, что половина прусских пушек очутилась у русских, а половина русских – у пруссаков, и на первых порах трудно было решить – какая сторона одолела; обе себе приписывали победу, пока наконец число погибших в бою не решило вопроса в пользу пруссаков. Русские потеряли более двадцати тысяч человек убитыми; взято было в плен несколько русских генералов, немало штаб- и обер-офицеров, более ста пушек и тридцать знамен. Пруссаки потеряли двенадцать тысяч человек и двадцать пушек. Бывший в битве сын польского короля принц Карл прислал в Петербург к Воронцову донесение, в котором выставлял ошибки Фермора.<sup>311</sup> Согласно с ним и другие отзывались об этой битве.<sup>312</sup>

Дальнейшие движения Фермора с войском до конца 1758 года были безуспешны. Правительство было им недовольно, и в начале 1759 года он был вызван в Петербург и сменен, хотя и оставлен при своем новом преемнике в войске, а в марте того же года назначен был другой главнокомандующий – генерал-аншеф Петр Семенович Салтыков, начальствовавший украинскою ландмилициею, человек уже немолодой и до сих пор нигде не показавший ничем своих военных талантов. Он был, так сказать, в загоне, потому что считался сторонником брауншвейгской династии в прежнее время. Когда он прибыл к армии в Пруссию, то русские смеялись над ним и прозвали его курочкою: это был седенький, низкорослый старичок, ходивший всегда в белом ландмилиционном мундире без украшений и чуждый всякой пышности и церемонности, что русские привыкли тогда видеть у своих главнокомандующих. В июле он соединился с австрийским отрядом Лаудона. Русские выгнали пруссаков из Польши и достигли Франкфурта-на-Одере. Салтыков хотел соединиться с австрийскою главною армиею под начальством Дауна, но прусский король не допустил до соединения союзных войск и напал на русское войско, расположенное близ Франкфурта-на-Одере, при деревне Кунерсдорфе.

Утром рано Фридрих II переправился через Одер, думал окружить русское войско с трех сторон и прижать его к реке, но по причине лесов и буераков не мог поспеть ранее

<sup>311</sup> Архив Воронцова, т. IV, стр. 113—124.

<sup>312</sup> Записки Болотова, т. I, стр. 783—790. – Соловьев, т. XXIV, стр. 206—221. – Записки Болотова, т. I, стр. 871—872.

полудня. Заметив, что слабее других сторон русского войска было его левое крыло, он направил на него все силы, а его артиллерия, уставленная на близлежащих высотах, метала туда же свои заряды. Пруссаки легко овладели русскими батареями; а русские, выстраиваясь маленькими рядами, отстреливались, пригибаясь к земле, и все пятились назад, уступая место победоносному неприятелю, так что деревня Кунерсдорф, бывшая сначала в середине русского войска, очутилась позади пруссаков. В 6 часов вечера пруссаки овладели уже всеми русскими батареями; захватили 180 пушек и несколько тысяч пленных. Победа прусского короля казалась несомненною, и Фридрих отправил об этом радостное известие в Берлин и в Силезию, а между тем думал окончательно доконать русских. Напрасно прусские генералы предостерегали его, что войско изнемогает от продолжительного боя при утомительном зное. Король слушал только одного генерала Веделя, который старался говорить королю то, что последнему нравилось.

Битва возобновилась на этот раз за русскую батарею, построенную на еврейском кладбище и покинутую. Пруссаки хотели овладеть ею, но Лаудон с австрийцами поспел ранее занять ее. Не удалось пруссакам взобраться на высоту, называемую Шпицберген, очень крутую, опоясанную оврагом, через который пруссакам приходилось перелезть. Несколько раз они повторяли приступы, но были отгоняемы градом пуль и картечей. Прусские генералы были переранены, сам король был на волос от смерти, и только золотая «готовальня», бывшая у него в кармане, не допустила пули просадить ему грудь. В это время на ослабевших уже пруссаков напал с двух сторон Лаудон с конницей. Это решило победу над пруссаками. Все их войско побежало в лес и на мосты, где произошла давка и смятение. Пруссаки потеряли не только все взятые у русских орудия, но покинули и собственных шестьдесят пять. Фридрих II чуть сам не попался в плен и был одожен своим спасением ротмистру Притвицу, который с отрядом гусар вступил в бой с русскою погонею, задержал ее и тем дал время Фридриху II ускользнуть от опасности. Фридрих, за несколько часов перед тем веривший в свое торжество и рассылавший курьеров с вестью о победе над русскими, пришел в такую скорбь, что желал себе смерти. «Из сорока восьми тысяч воинов у меня осталось не более трех тысяч, – писал он тогда Финкенштейну, своему министру в Берлине, – все бежит; нет у меня власти остановить войско; пусть в Берлине думают о своей безопасности. Последствия битвы будут еще ужаснее самой битвы. Все потеряно. Я не переживу гибели моего отечества!» В России, напротив, известие о победе принесло великую радость и торжество. В церкви Зимнего дворца отправлялся благодарственный молебен, звонили в колокола, палили из орудий. Салтыков произведен был в фельдмаршалы, прочие генералы повышены в чинах и получили земли в Лифляндии; Мария-Терезия, со своей стороны, прислала Салтыкову и другим русским генералам подарки, состоявшие в дорогих вещах и червонцах. Русским стоила эта победа 2614 человек убитыми, 10 863 ранеными; неприятельских тел похоронено на месте битвы 7627; взято в плен 4542, дезертиров прусских было 2055; у Лаудона убито было 893 человека, ранено 1398. Победители взяли 28 знамен и 172 пушки.<sup>313</sup>

После победы Салтыков несколько времени не предпринимал движений ни вперед, ни назад, ни в сторону. Его недоверие к Дауну простиралось до того, что он говорил французскому агенту, бывшему в русском войске: «Австрийцы за тем призвали русское войско, чтоб его сгубить. Дауну хочется, чтоб русские дрались, а он со своим войском делал бы только диверсии».<sup>314</sup> Недоверие между полководцами перешло на неприятные отношения и между их правительствами; тогда из Петербурга посылались в Вену жалобы на Кауница и на Дауна, а по Европе стало распространяться мнение, что медлительность Салтыкова после кунерсдорфской битвы есть плод тайных предписаний петербургского правительства, которое будто бы поддавало под сильное влияние новопривывшего английского посланника

<sup>313</sup> Соловьев, т. XXIV, стр. 264. – Hermann, т. V, стр. 163—164. – Записки Болотова, т. I, стр. 911—923. – Schuffler. Geschichte des Siebenjdhrigen Krieges, т. I, 309—314.

<sup>314</sup> Stuhr. «Forschungen», т. II, стр. 258.

Кейта и стало действовать не в пользу своих союзников австрийцев.<sup>315</sup> На самом деле, между австрийскою политикою и русскою ощутительно выказалось различие принципов, с которыми обе стороны смотрели на союз между собою. Австрийцы представляли русскому правительству, что русское войско в Пруссии должно действовать только как вспомогательная сила для Австрии, но императрица Елисавета Петровна отвечала, что это неверно, и сам Фридрих II давно объявил, что считает Россию главнейшим из своих неприятелей.<sup>316</sup>

В 1760 году Салтыков отступил в Польшу и расположил свое войско там на квартирах. Продолжались переговоры с австрийскими генералами о способах ведения войны, но из этого ровно ничего важного не выходило. Салтыков был болен: он подвергнулся припадкам ипохондрии и, кроме того, страдал часто лихорадкой. 12-го сентября он подал в отставку и сдал команду генералу Фермору. Фермор и Даун продолжали спорить между собою насчет движения военной силы. Наконец, 15-го сентября получено из Петербурга предписание послать отряд на Берлин, о чем уже прежде представлял Фермор. В то же время предпринята была вместе со шведами осада прусского города в Померании, Кольберга, но пошла неудачно. Русские, высадившись на берег, услышали, что на выручку Кольбергу идет прусское войско, наскоро посадили на суда свои силы и отплыли.<sup>317</sup>

Предприятие Тотлебена и Чернышова, отправленных на Берлин, было удачное: 22-го сентября Тотлебен стал перед берлинскими воротами. Фермор с главною армиею отошел к Франкфурту-на-Одере. Берлин, на левой стороне Шпре, огражден был стеною, на правой – палисадом и охранялся гарнизоном в три батальона. Комендант генерал Рохов находил невозможным чинить отпор и готов был сдаться на великодушие победителей, но приглашенные на военный совет генералы Левальд, Зейдлиц и принц Виртембергский уговорили его защищаться. Устроили у ворот шанцы, забрали в службу инвалидов и выздоравливающих солдат. Тотлебен приблизился к воротам Котбусским и Галльским и в 2 часа пополудни открыл огонь. Пруссаки дали отпор. Тотлебен увидел, что Берлина скоро взять нельзя, и отступил, оставивши у города казаков с двумя орудиями, а сам овладел замком Кепеником, но после сильного сопротивления. В это время в Берлин вошло еще девять батальонов пехоты. Услыхавши о таком усилении гарнизона в Берлине, дано было знать Фермору, с тем, чтоб просить подмоги. Фермор прислал отряд конницы и пехоты с частью артиллерии. 26-го октября Тотлебен и Чернышов снова явились под Берлином, один на левой, другой на правой стороне реки Шпре. Тотлебен начал нападение с юга; против него защищался генерал Зейдлиц. Тут казаки узнали, что на подмогу Берлину из Потсдама идет прусский генерал Гюльзен. Тотлебен выслал против него отряд, но Гюльзен пробился сквозь него и расположился у Галльских ворот. Тотлебен отступил в Юстенгауз.

Ввиду усиления прусских сил в Берлине, Чернышов был того мнения, что придется оставить покушение овладеть Берлином, как получилось известие, что в содействие к русским подходит австрийский фельдцейхмейстер Ласси с осмнадцатью тысячами войска. И так под Берлином вдруг очутилось сорок тысяч неприятельского войска. По этой причине в ночь с 8-го на 9-е октября н.с. (27—28 сент. стар. ст.) в Берлине решили сдать город и гарнизон перевести в Шпандау.

В 4 часа утра комендант Рохов вручил капитуляцию Тотлебену. Последний принял ее, не сносясь с Ласси и даже с Чернышовым, на условиях, чтобы гарнизон объявлен был военнопленным; все воинские запасы и государственное имущество поступали в распоряжение победителей, а частная собственность объявлялась неприкосновенною и всем обывателям Берлина предоставлялась личная безопасность.

Тотлебен вошел в Берлин с тремя полками, назначил комендантом Берлина бригадира Бахмана и тотчас вступил в продолжительные толки с местными властями о контрибуции. Тотлебен запросил четыре миллиона талеров, но к вечеру сошлись на полтора миллионах

<sup>315</sup> Ibidem, 274.

<sup>316</sup> Raumer, «König Friedrich II und seine Zeit», 462.

<sup>317</sup> Schuffler. Gesch. des Siebenjühr. Krieges, III, 27.

талеров. Часть этой контрибуции должна быть уплачена в течение восьми дней, а другая – в течение двух месяцев. Город, сверх того, дал войску подарок, так называемые *douceur-Gelden*. Квартир в городе не положено; торговля должна была невозбранно идти своим порядком. Русские взяли из королевской кассы 60000 талеров – более не было. Из цейхгауза взято 143 орудия, 18000 штук огнестрельного оружия и достаточное количество боевого запаса. В Потсдаме разорена была королевская оружейная фабрика, взорвана пороховая мельница, разрушен литейный двор; вся запасная амуниция брошена была в реку Шпре, но королевские дворцы остались неразграбленными; только одну картину взял себе граф Эстергази. Фермор дал приказание истребить все королевское, но купцу Гацковскому удалось спасти лагергауз, золотые и серебряные мануфактуры, и вообще постараться, чтобы посещение неприятелей обошлось Берлину наименьшим вредом. Русские, в числе пленных с гарнизоном, взяли 2152 человека и кадетов со служителями 265 человек. Найдено в Берлине пленных австрийцев, немцев и шведов 4501 человек – все они получили свободу.<sup>318</sup>

Русские генералы мало показывали внимательности к австрийским, которые и не принимали участия в капитуляции. Тем не менее Ласси настоял у Чернышова, чтобы караулы у Потсдамских и Бранденбургских ворот были поручены австрийцам. Им досталось из добычи только 12 орудий, да и то бывших их же собственных, и одна четвертая часть *douceur-Gelden*, другая четверть досталась Чернышову, а половина – Тотлебену с его отрядом.

Но Ласси взял Потсдам и Шарлоттенбург; первый заплатил 60000 талеров контрибуции, частью наличною монетою, частью же векселями на Гамбург; другой – 15000 талеров; Ласси взял, кроме того, 5427 талеров *douceur-Gelden*. Ласси не обуздывал своих воинов, и только по ходатайству голландского посланника не дошло до полного разграбления. Услышавши, что король прусский приближается с войском, русские 12-го октября н.с. (1-го октября стар. ст.) ушли к Франкфурту-на-Одере, а австрийцы – в Торгау.<sup>319</sup>

Уже всем воюющим сторонам война стала тяжела и несносна. И Франция, и Австрия, и Россия тратили громады людей и большие суммы денег, а дело их мало подвигалось. Не достигалась цель, с какою война была предпринята – ослабить и унижить прусского короля. При всех неудачах он, казалось, чем был несчастливее, тем выше вырастал в глазах не только своих подданных, но и тех наций, с которыми воевал. Во Франции сочувствие французской публики склонялось к Фридриху, внушавшему уважение своим необычайным геройством, и величайший писатель Франции – идол своего века, Вольтер, в своих произведениях восхвалял не французского короля и его полководца, а Фридриха II, врага Франции и своего личного друга. В России, как ни упорно держалась императрица Елисавета ненависти к прусскому королю, но русский молодой двор относился к нему иначе: наследник престола Петр Федорович благоговел перед Фридрихом, а великая княгиня, если и не разделяла приверженности своего супруга к прусскому королю, не была, однако, так неприязненно настроена, как императрица; по ее воззрениям, России лучше всего было не мешаться в прусские дела. Господствующим побуждением великой княгини было собственное властолюбие; ее идеалом было достижение верховной власти, которую впоследствии она и приобрела, но Семилетняя война ни в каком случае не входила в расчет ее целей. Нельзя сказать, чтобы русские вообще желали этой войны, даже и те, которые находились тогда в войске и бились против Пруссии. Современники говорят, что все желали мира и возвращения в свое отечество; когда разнесся слух о проезде через Данциг какого-то курьера с мирными предложениями, слух этот произвел моментальную радость в войске. Россия вытягивала все скудные и без того экономические силы своего народа на содержание войск. Хотя Елисавета Петровна, показывая упорную ненависть к прусскому королю, говорила, что будет продолжать войну, если бы ей даже пришлось продать половину своего гардероба и своих бриллиантов<sup>320</sup>, но она не могла не чувствовать и не знать всей тяжести войны для

<sup>318</sup> «С.-Петербургские Ведомости» 1760 года.

<sup>319</sup> Schuffler. «Gesch. des Siebenjhdhr. Krieges», III, 80—86.

<sup>320</sup> Делеша Кейта в «La cour de la Russie il y a cent ans», 1-го января 1760 г., стр. 163. – Raumer, «Friedrich

подвластного ей народа. О финансовой тягости для России этой войны можно судить уже по тому, что каждый год не досылалось по несколько сот тысяч рублей до суммы, необходимой на содержание войска. Война, происходившая в середине Европы, ни для кого из европейцев не могла быть приятна: она задерживала торговлю и всякое мирное обращение людей между собою, а потому желание мира стало повсеместным.

Первые шаги к желанию примирения сделаны были Францией. Французская дипломатия стала входить с правительством австрийским в соглашение, как устроить мир, откровенно сознавая, что для ее государства война делается нестерпимой. Австрия, в благодарность за пособие, оказанное Францией к возвращению Силезии, уступила Франции часть Фландрии, состоявшей до того в австрийском владении: это постановлялось секретною статьею, которую хотели скрыть от России.<sup>321</sup> Между тем, с Россией у Франции велись довольно странные сношения: мимо собственного официального посланника де Лопиталья, Людовик XV в продолжение целого года вел с Елисаветою Петровною тайную дружескую переписку через посредство секретаря своего посольства, кавалера д'Эона. Предметами этой переписки отнюдь не были политические вопросы, да и вообще она не заключала в себе ничего важного. Половина всего написанного друг к другу высокими особами состоит из комплиментов и уверений в искренне-дружеском расположении. Императрица жаловалась на свою болезнь, и Людовик XV послал ей своего придворного врача Поассонье; но этот врач не сошелся с бывшим уже при императрице врачом, греком Кондоиди, который не хотел с французом советоваться, потому что последний был чином ниже его. Елисавета Петровна просила своего венчанного друга прислать к ней для развлечения двух знаменитых тогда во Франции артистов театра Французской Комедии – Лекэна и госпожу Клерон, но Людовик XV отказал в этой просьбе под предлогом невозможности лишить французскую публику ее любимцев. Елисавета Петровна просила французского короля быть вместе с нею восприемником ребенка, которого рождения ожидали тогда от великой княгини; и на это последовал отказ, под тем предлогом, что так как этот ребенок будет воспитан в греко-восточной религии, то король-католик не в состоянии будет брать на себя обязанность крестного отца, который, по церковному праву, делается наставником своего крестника.<sup>322</sup> Таким образом, эта переписка была в свое время какою-то игрою высоких особ в интимность. Между тем, узнавши о секретных переговорах Франции с Австриею, императрица высказала де Лопиталю свое неудовольствие на то, что Франция сносится с Австриею, устраняя Россию.

Но во Франции произошла перемена главного министра: вместо Берни сделался министром Шоазель, который продолжал в принципе ту же мирожелательную политику, как и его предшественник, но был отважнее. Он находил, что роль России в вопросе о европейском мире очень важна, и поручил де Лопиталю в июле 1759 передать Воронцову, что Россия заслужит благодарность всей Европы, если примет на себя посредничество к примирению Австрии с Пруссиею, а это не так трудно, потому что обе державы в равной степени истощены войною. Вслед за тем последовала кунерсдорфская победа – и это событие дало России право, с своей стороны, заговорить более высоким голосом. 26-го октября того же года подана была от канцлера Воронцова записка, а 1-го декабря последовала в таком же смысле другая: их содержание было таково, что если Австрия приобретет Силезию, а Франции уступит часть Фландрии, то Россия, как союзная с ними держава, за участие в войне имеет также право на вознаграждение и желает приобрести Восточную Пруссию вдоль балтийского побережья от Мемеля до устья Вислы, в видах разменяться этою терририею с Польшею, от которой за то Россия желает получить правобережную Украину, уступленную Польше после присоединения Малороссии к России. Такое заявление не понравилось Франции, которая явно желала, чтобы Россия, посылая свои военные силы и истрачивая свои финансы, осталась в конце концов с пустыми руками, тогда

---

und seine Zeit», 469.

<sup>321</sup> Vandal. Louis XV et Elisabeth de Russie, 336.

<sup>322</sup> Ibidem, 335.

как союзники ее будут получать выгоды.<sup>323</sup> Версальский двор не доверял России; впрочем, такое недоверие в Европе было всеобщее. Уже не один год привыкли в Европе находить в действиях России жадность к территориальным захватам. Англия, также как и ее соперница Франция, неодобрительно отнеслась к желанию России приобрести Восточную Пруссию, хотя бы и временно, с целью промена ее на правобережную Украину. Когда Иван Иванович Шувалов заговорил об этом с английским посланником в России, Кейтом, англичанин отвечал, что с таким требованием нельзя мыслить о прекращении войны: король прусский скорее погребет себя под развалинами своего государства, чем согласится на такое унижительное условие; и все другие государства до этого не допустят, потому что ясно увидят намерение России овладеть всею торговлею Севера. Дания и Швеция также не соглашались на проект России; даже Австрия, нуждавшаяся в союзе с Россией и потому не смеявшая слишком резко отказывать ей, соглашалась очень уклончиво, чтобы о вознаграждении России было условлено с Австриею секретно, в общих выражениях, и притом только тогда, когда Австрия получит уже то, чего желает.<sup>324</sup>

Де Лопиталь, слишком старый и притом казавшийся расточительным, был уволен с почетом, а посланником в Петербург назначен двадцатисемилетний барон Бретель, красивый, любезный, годный для дамского общества, хотя уже женатый и горячо любивший жену свою. Ему дали секретное поручение склонить на сторону Франции великую княгиню, которой стали приписывать важное влияние на политические дела. Все знали, что до сих пор Екатерина была не расположена к Франции, но приписывали это тому, что по французским интригам в Польше был отозван из Петербурга Понятовский, которого великая княгиня желала видеть при русском дворе. Бретель тут-то и ошибся. Если великая княгиня благоволила к Понятовскому, то императрица не терпела этого человека и написала о том к Людовику XV, а король французский, ей в угоду, отправил в Варшаву своему посольству приказание стараться, чтобы в Петербург Понятовского не посылали.<sup>325</sup>

Между тем у французского министра Шоазеля с английскими дипломатами возникли переговоры, на которых заявлена была мысль решить вопрос о мире посредством созвания вместо одного конгресса, как хотели прежде англичане, двух конгрессов: один бы занялся спорными вопросами, породившими войну между Англиею и Франциею, и всецело относился бы к американским владениям, второй – посвящен был установлению мира между прусским королем, с одной стороны, и между Австриею, Россией и Саксониею – с другой; тем временем предположили заключить всеобщее перемирие. Такое предложение послано было Бретелю для представления российскому правительству. Предложение, поданное Бретелем в январе 1761 года, рассматривалось в конференции Воронцовым и камергером Шуваловым, которого голос должен был считаться голосом самой государыни, уже не занимавшейся по болезни никакими делами. Великий князь, которого сильно обвиняли в пристрастии к прусскому королю, не был допущен. Мысль о двух конгрессах была одобрена, но перемирие допускалось Россией только на короткое время. Императрице-королеве предоставлялось получить Силезию, – увеличить владения короля польского и курфюрста саксонского, Швеции отдать часть Померании, а Россия, хотя имеет право на Восточную Пруссию, уже завоеванную у такого государя, который первый объявил войну, но так как России главная цель – ослабление и усмирение прусского короля, то Россия жертвует своими правами, лишь бы улучшены были мирные условия для ее союзников, особенно для Франции; поэтому государыня объявит английскому правительству, что если она ради всеобщего мира сделает уступку своих прав, то надеется, что взаимно и Англия окажет пожертвование в своих претензиях на французские владения. О такой своей умеренности сообщила императрица французскому королю и просила секретно поддерживать на польском сейме запросы России касательно исправления украинских границ.<sup>326</sup> Не было

<sup>323</sup> Vandal. Louis XV et Elisabeth de Russie, 362.

<sup>324</sup> Соловьев, т. XXIV, стр. 333—340.

<sup>325</sup> Vandal, «Louis XV et Elisabeth de Russie», 380.

<sup>326</sup> Vandal, 392—393. – Соловьев, т. XXIV, 371—374.



ничего неблагоразумнее со стороны России такого неуместного великодушия: этим воспользовались в Европе и растолковали такое великодушие бессилием России.

Шоазель, воодушевляемый патриотической идеей сохранения за Францией ее заморских владений, вполне одобрил русский проект и писал Бретелю, что следует воспользоваться выгодами, которые предоставляет петербургский двор, оставляя Пруссию, и убедить венский двор, что земли, завоеванные французами у прусского короля, должны остаться в вознаграждение Франции. 13-го мая того же года Шоазель прислал Бретелю ноту иного содержания: «Теперь не время распространяться о видах России на польскую Украину; можете ограничиться общими уверениями, что король, насколько возможно, покажет свое доброе расположение к интересам России». Это произошло оттого, что, во-первых, Людовик XV стал мало ценить силу России, во-вторых, не хотел огорчить поляков допущением русских завладеть Украиной. В июне того же года сам король написал Бретелю: «Русские годятся быть союзниками только ради того, чтобы не приставали к нашим врагам; они делаются заносчивы, когда видят, что у них чего-нибудь ищут. Если я стану одобрять намерение русских овладеть Украиной, я могу возбудить к себе охлаждение со стороны турок. Слишком дорого придется мне заплатить за союз с государством, где интрига день ото дня берет более и более верх, где остаются неисполняемыми повеления высочайшей власти и где непрочность преемства лишает доверия к самым торжественным обязательствам». Следуя инструкции, присланной от короля, Бретель в разговорах с Воронцовым тщательно избегал всего, что касалось Польши и Украины, а когда Воронцов заговорил о дружественном союзе с Францией, который тотчас после конференции предлагала государыня в частном письме к Людовику XV, то Бретель представился ничего не понимающим и стал распространяться о союзе торговом. Тогда Россия, видя, что ее добрые предположения не ценятся, покинула обещанное свое посредничество в примирении Франции с Англией. Правда, посол русский в Лондоне, князь Голицын, раз заикнулся об этом вопросе, но уже более не повторял ничего о нем, а первый тогдашний министр английский Питт, враг Франции, объявил французам категорически, что Англия иначе не приступит к миру, как удержавши в своем владении все свои завоевания в Америке и в Индустане.<sup>327</sup>

Положение Фридриха II-го не улучшалось. Истративши в боях столько войска, он не видал, чтобы враги его от равного истощения уменьшили против него злобу, – напротив, желал мира он сам, а императрица-королева оттягивала собрание конгресса в Аугсбурге, с явным намерением продолжать войну, в надежде еще более унижить своего соперника. Англия стала медлить в присылке ему субсидий по смерти английского короля Георга II; французские, австрийские и русские войска не выходили из Германии. Россия с таким упорством, казалось, хотела вести войну, что не ладила с Австрией по поводу перемирия, которое допускала Австрия, а Россия долго его не хотела и согласилась только на короткий срок до 1-го июля. По миновании этого срока война открылась со всех сторон. В Вестфалии, то есть в прирейнских прусских владениях, явились французские военные силы под начальством Субиза и Броглио (на счастье Фридриху II не ладивших между собою). На восточной стороне из прусских областей не выходили русские и австрийские войска. Уже Фридрих II перестал вести наступательную войну и ограничился оборонительною, избегал больших сражений и расположил свои войска в разных сторонах своего государства, откуда ждал нападения: против французов отправил он родственника своего, принца Фердинанда и наследного принца брауншвейгского; против Дауна, стоявшего с имперскими войсками в Саксонии, отрядил брата своего Генриха, а сам с наилучшими силами стал в Силезии и намеревался отражать русских.<sup>328</sup> В то же время узнал Фридрих, что между русскими распространилось недовольство войною, и это подало ему повод попытаться – нельзя ли склонить Россию к отдельному миру. Но его надежды скоро рассеялись, когда он услышал, что Елисавета Петровна отзывается самым неприязненным тоном о прусском короле и

<sup>327</sup> Vandal. 394—401.

<sup>328</sup> Vandal. 402. – Записки Болотова, II, 97—98.

изъявляет охоту воевать против него до крайней возможности.<sup>329</sup>

Главнокомандующий русским войском Бутурлин отрядил 27 000 человек под командою генерала Румянцева в Померанию, для покорения приморского укрепленного города Кольберга, а сам с четырьмя дивизиями (Фермора, кн. Голицына, кн. Долгорукова и Чернышова), расположился в Познани. Современник свидетельствует, что Бутурлин предан был «куликанью»<sup>330</sup> и забавлял себя разным безобразиями, например, пьяных гренадеров производил в офицерские чины, а потом снимал с них чины. Наконец он двинулся в Силезию к Бреславию, куда и Лаудон должен был со своим отрядом спешить на соединение с ним. Но прусский король, выступивши из Бреслави, не допустил соединиться русских с имперцами. Бутурлин подступил к Бреславию, промедлил несколько дней в бесполезных приготовлениях к осаде, потом у Стригау соединился с Лаудоном и вместе пошли к Швейдницу, куда отступил прусский король. Фридрих, расположившись под Швейдницем, в короткое время так укрепил свой стан батареями, что он имел вид постоянной крепости. Полководцы собирались напасть на королевский стан, но провели двадцать дней в бесполезных спорах и толках; наконец Бутурлин оставил при Лаудоне отряд Чернышова в двадцать тысяч, а сам со своим войском отошел в Польшу. Прусский король, простояв еще две недели под Швейдницем, хотел принудить Лаудона вступить с ним в битву или удалиться в Богемию, но Лаудон не решался ни на то, ни на другое, и наконец, прусский король, ввиду наступавшей для его войска скудости в продовольствии, двинулся к Нейсу, где у него были запасные магазины. Тогда Лаудон в совете с Чернышовым решился сделать нападение на Швейдниц. Они выбрали для этого темную ночь: русских было послано только четыре гренадерских роты. На счастье русским и австрийцам, комендант Швейдница давал по какому-то поводу бал: русские и австрийцы ворвались в Швейдниц в два часа пополуночи; переходя по фашинам через ров, многие попадали в глубину, а в самом городе прусский артиллерист зажег пороховой магазин, взорвал на воздух триста русских солдат, но вместе с ними погубил немало и своих пруссаков. Лаудон запретил своим подчиненным грабить, однако не в силах был остановить рассвирепевших солдат. Русские вели себя там умереннее и воздержаннее, чем австрийцы.

На севере, в Померании, воевал с отдельным корпусом генерал Румянцев. Уже два раза в эту войну русские пытались покорить город Кольберг, но безуспешно. На этот раз русский флот, состоявший из сорока больших и малых судов, в соединении со шведским, действовал против кольбергской крепости с моря, а Румянцев – с сухого пути. Под самым Кольбергом расположились защищать город пруссаки под командой генерала принца Виртембергского и укрепили свой стан окопами и батареями; местоположение, избранное ими, было выгодно: с одной стороны речка, с другой – болото, позади – город, откуда можно было доставать съестные и боевые запасы. Начались драки и схватки с переменною удачею то для тех, то для других. В один день русские взяли в плен храброго прусского генерала Вернера; зато на другой день в кровопролитной пятичасовой битве они потеряли до трех тысяч убитыми и в том числе генерал-майора князя Долгорукого. Но ретраншемент, ограждавший стан принца Виртембергского, не сдавался ни против каких решительных русских приступов, и русские чувствовали, что с наступлением глубокой осени станет им еще труднее. Правда, Румянцеву была прислана помощь от Бутурлина, но и прусский король, со своей стороны, прислал в подмогу принцу Виртембергскому генерала Платена, и русские, при всех усилиях, не могли помешать ему.

Наступил месяц ноябрь; началась стужа. В войске принца Виртембергского был такой недостаток топлива, что прусские солдаты сламывали в городе деревянные дома для своего обогрева. Недостаток фуража был так велик, что у конницы лошади получали только по полуфунту соломы в сутки; город был так стеснен, что нельзя было провезти туда ни одного воза с продовольствием. Зная такое положение неприятелей, Румянцев несколько раз посылал к принцу Виртембергскому предложение сдаться; принц отвергал такие

<sup>329</sup> Raumer, «Friedrich II und seine Zeit», 468—469.

<sup>330</sup> Болотов. Записки, II, 99—101.

предложения и, наконец, отважился на смелое и, можно сказать, отчаянное дело: позади города было обширное плесо, которое соединялось с морем узким, но глубоким протоком; русские не предприняли там никаких предосторожностей, кроме того только, что истребили суда, стоявшие близ берега. Принц Виртембергский приказал построить на козлах мост, а мужик, знавший местность, указал места, где в плесе вода была не так глубока; сделали наскоро мост, провели через него пехоту, а конница переправилась вплавь. Этот подвиг совершен был 14-го ноября в темную ночь, и притом так тихо и удачно, что русские узнали о том, что их неприятель ускользнул, когда уже прусское войско совершенно переправилось через воду. Принц Виртембергский и Платен думали снабдить крепость продовольствием, но его взять было неоткуда; между тем сделался такой жестокий мороз, что замерзло более сотни пруссаков. Тогда Румянцев послал к коль-бергскому коменданту Гейдену убеждение сдаться, но комендант отказал – и повелел облить водою крепостные валы и стены, чтоб они, обледенев, стали неприступны на случай штурма. И действительно, несколько попыток приступа окончились неудачно. Между тем и русским пришлось также чрезвычайно круто: солдаты помещались в палатках и землянках под снегом, покрывшим землю уже более, чем на целый аршин. Обе стороны выжидали, чтобы их противники склонились под неудобствами зимы и всяких лишений; пруссаки надеялись, что русские прежде изнемогут и отойдут; русские ожидали, что холод и голод таки принудят Кольберг сдаться. Промедлили еще до 6-го декабря. Русские взяли верх в этом взаимном ожидании беды противникам. Кольберг сдался.<sup>331</sup> Русские взяли в покоренной крепости 2903 человека военнопленных и 146 орудий. Комендант хотел было выговорить более снисходительные условия – выйти гарнизону с оружием и с запасами, но Румянцев настоял, чтобы все положили оружие, а запасу дозволил взять столько, сколько каждый солдат может поместить у себя в сумке на три дня. Офицерам дозволено ехать в экипажах с семьями в определенные места в сопровождении русских обер-офицеров. Оставивши оружие, прусский гарнизон удалился в Штетин.<sup>332</sup> Но когда донесение Румянцева о победе прибыло в Петербург – уже императрица Елисавета Петровна лежала мертвою.

## **VII. Государственное управление при императрице Елисавете Петровне**

*Сенат. – Его деятельность для водворения порядка в империи. – Ревизии. – Губернаторы. – Окраины. – Южная Русь. – Переселение сербов в российские владения. – Крепостное право в России. – Побег. – Крестьянские бунты и волнения. – Разбои. – Тайная канцелярия. – Управление городов. – Благодичиние. – Пожары. – Войско.*

В управлении государством с воцарением Елисаветы Петровны не стало уже кабинета высшей власти, посредствующей между Высочайшею особою и сенатом. Но около государыни всегда были близкие люди, чаще других видевшие и слышавшие ее, а потому имевшие большую власть пред другими, и хотя кабинет по форме был уничтожен, но, в сущности, он продолжал быть при государыне, не имея, впрочем, прежнего названия. В первые годы своего царствования императрица сама часто посещала сенат и обращала внимание на дела; но год от году такие посещения становились реже, и мало-помалу императрица стала утомляться, так что, исключая близких людей, редко кто удостоивался ее видеть.

Одною из первых обязанностей восстановленного в своей силе сената было – пересмотреть все до того бывшие указы и отметить из них те, которые признаются противными государственной пользе.<sup>333</sup> Итак, с первых дней царствования Елисаветы Петровны сенат получил как бы власть законодательную. Высочайшая особа составляла главу этого законодательного органа; государыня была тогда для всех доступна: в январе

<sup>331</sup> Записки Болотова, II, 122.

<sup>332</sup> «Петербургские Ведомости» 1761 г., декабря 25-го дня.

<sup>333</sup> Указ 12-го декабря 1741 г.

1742 года всем и каждому было дозволено подавать лично государыне челобитные, и для этого назначался определенный в неделю день. Но это продолжалось недолго, и 28-го числа мая того же года указано было подавать челобитные не иначе, как в соответственное присутственное место. Сенат имел, кроме того, высшую судебную власть: никто без утверждения сената не мог быть приговорен к политической смерти.<sup>334</sup> До 1753 года, хотя смертной казни и не было, но преступникам, осужденным на политическую смерть, отсекали правую руку, а с вышеприведенного года ограничили наказание – кнутом и рванием ноздрей. В это же время последовало облегчение для женского пола: жен преступников не приневоливали идти с мужьями в ссылку; им позволяли жить в своих приданных имениях и домах, либо выделяли им на содержание часть мужнего движимого имущества, а в 1757 году женщины, приговоренные к телесному наказанию, освобождаются от рвания ноздрей и наложения клейм.

Бывшая при Анне Ивановне доимочная канцелярия возбудила к себе всеобщую ненависть, и ввиду этого была уничтожена тотчас по вступлении на престол Елисаветы Петровны. Но недоимки от этого не уменьшились, а в сентябре следующего года возросли в государстве до пяти миллионов. Тогда сенат, для искоренения беспорядков, подал в доклад проект – через каждые пятнадцать лет возобновлять ревизию. Этою мерою думали пресечь повсеместные побегы и пристанодержательство беглых, а также облегчить судьбу помещиков, которые часто за недоимки содержались под караулом. Государыня утвердила поданный проект только в следующем году, и тогда же было указано всем разночинцам и боярским людям, находящимся в отлучке, явиться к своим местам к 1-му июня 1744 года для записки в ревизию. Для производства ревизии посылались по губерниям генералы со штаб- и обер-офицерами, которые прежде всего должны были собрать сказки, а потом на них же возлагалась обязанность ездить самим для поверки беглых и отсылки живущих у чужих помещиков к своим законным владельцам. У помещиков безземельных оставляли их крепостных, но обязывали платить за них подати. Малороссияне, если оказывались у помещиков записанными в крепостных, получали все без изъятия полную свободу. Неслужащих лиц духовного звания, незаконнорожденных и вольноотпущенных, если окажутся годными в солдаты, велено отсылать в военную коллегию, иначе – записывать в посады или цехи, либо же – по их желанию – за помещиками; прежних служб служилых людей – однодворцев, рейтар, копейщиков, затынщиков, пушкарей – переписать особо и отвозить на украинскую линию. Из этого видно, что ревизия имела последствием большое перемещение народа с места на место. Высший класс – шляхетство – в подушный оклад не включалось, но для порядка велено было и его переписать, а несовершеннолетних отсылать в столицу на смотр. Поступившие в оклад по ревизии крестьяне платили подати различно, смотря по ведомствам, но в 1760 году (указ 12 окт.) сравняли чернососных (впоследствии казенных) с дворцовыми и синодальными, прибавя к прежнему четырехгривенному окладу еще 60 копеек, и ввели общий для всех – рублевый оклад.

Под властью сената в губерниях управляли губернаторы, жившие в губернских городах. В 1749 году указано строить им за казенный счет дома о восьми покоях с хозяйственными пристройками и, кроме того, губернскую канцелярию с конторою для сбора подушных. В провинциях, на которые делились губернии, правили воеводы; для них также строились в провинциальных городах дома о пяти покоях с хозяйственными пристройками и, кроме того, дом для провинциальной канцелярии. В 1744 году (указ 14-го января) учреждены две новые губернии: Финляндская – из завоеванных от Швеции земель, и Оренбургская, которая делилась на провинции: Исетскую, Уфимскую и Зауральскую землю башкиров. Оренбургская губерния заселена была в большинстве инородцами мусульманской веры. Русские, считая и малороссиян, которых приглашали тогда по охоте селиться, составляли меньшинство. Туземцы, хотя были почти одной веры между собою, но различны по языку: тут были мещеряки, татары, каракалпаки, черемисы, чуваша, мордва, вотяки, башкирцы.

---

<sup>334</sup> Указ 6-го августа 1746 г.

Число последних простиралось до 106 176 человек.<sup>335</sup> Кроме них, по временам из-за Яика прикочевывали киргиз-кайсаки, и сверх того, поселялись там преимущественно с торговыми целями хивинцы, бухарцы, ташкентцы, туркмены, персияне и арабы в небольшом размере. Русские вообще не ладили с некрещеным населением края. Давнее стремление распространить христианство делалось таким неумелым и притом таким нехристианским способом, что возбудило повсюду ненависть к русским. В Оренбургском крае, управляемом тогда Неплюевым, явился между башкирцами некто Батырша, фанатик мусульманства и ожесточенный ненавистник всего христианства. Это был человек умный, с железною волею, с неутомимою деятельностью, обладавший врожденною способностью увлекать за собою толпы. Странствуя по башкирской земле, он успел поднять через мусульманских духовных массу своих единоверцев и возбудить к восстанию. Губернатор сначала думал укротить башкирцев суровыми, жестокими мерами, но только озлобил их более: всякого, попавшегося в их руки русского они изрубивали в куски. Неплюев прибегнул тогда к такой мере: зная о том, что киргиз-кайсаки, хотя и единоверцы башкирцам, но издавна враги между собою, он вооружил киргиз-кайсаков и настроил их перебить бежавших к ним башкирцев. Таким образом погибло от киргизов, как сказывают, до пятидесяти тысяч человек. Потом Неплюев уговаривал башкирцев мстить киргизам. Неплюев писал, что это событие надолго положит вражду между этими народами и облегчит Россию. Батырша, после долгих странствований и разных покушений, сам отправился в Петербург объясняться за свой народ в Тайной канцелярии. Его посадили в Шлиссельбургскую крепость, и там он погиб во время покушения убежать оттуда, успев даже убить одного из своих сторожей.<sup>336</sup>

К малороссийскому народу правительство Елисаветы Петровны относилось особенно милостиво, и это следует приписать влиянию Алексея Разумовского. Сложены были с малороссийского народа все недоимки в войсковую казну в числе трехсот тысяч, отпущены были по домам казаки, наряжаемые на посты по украинской линии. В Запорожье стали отпускать денежное и хлебное жалованье, как делалось в старину; в слободских полках уволили малороссию от посылки в Бахмут на соляные работы и от всякой рядовой службы, кроме поставки конных казаков в числе пяти тысяч; все таможи, мосты и перевозки отдавались им на откуп без перекупки; упраздняясь бывшая канцелярия над слободскими полками; возвращался свободный суд полковым канцеляриям, а над бывшею комиссиею о слободских полках, возбуждившею недовольство маллороссию, назначено строгое следствие. Всем малороссийским посполитым людям дозволялось переселяться куда хотят: от этого в слободских полках много казаков и подсоседков, а еще более посполитых, стало двигаться к востоку на переселение, и Ахтырский полк чуть не обезлюдел; желающим ехать за границу, для собственного образования, малороссиянам велено было из иностранной коллегии выдавать беспрепятственно паспорта.<sup>337</sup> Самым наглядным изменением порядка в Малороссии было возобновление гетманства. Указ об этом дан был в 1747 году, но выбор гетмана по всем давним правам совершился не ранее января 1750 года. Собственно говоря, это был вольный выбор только по форме. Казаки были довольны, что у них восстанавливается старинный образ правления, но выбирать им довелось того, кого им сверху указывали – Кирилла Разумовского, брата Алексея. Казаки утешали себя по крайней мере тем, что с таким гетманом будут иметь защиту и покровительство перед царским престолом, так как все знали о чрезвычайной силе брата Кириллова и о его сердечной привязанности к родине и любви ко всем землякам.

В следующих за тем годах в южной Руси произошло важное событие переселения туда сербов. Служивший в австрийской службе полковник Хорват-Одкуркич от имени своих соплеменников просил дозволения сербам вступить в русскую службу и для этого получить выгодные для поселения земли. Хорват сначала обещал набрать из сербов два полка: один – в 1000 человек, конный гусарский; другой – в 2000 человек, пехотный пандурский, а потом,

<sup>335</sup> Дубровин, «Пугачев и его сообщники», т. I, стр. 251.

<sup>336</sup> Дубровин, *Ibid.*, т. I, стр. 270. – Соловьев, т. XXIV, стр. 110.

<sup>337</sup> Указы 1742, 1743 и 1745 годов.

прибывши в Киев с 218 офицерами и их семьями – четыре полка, обещая служить с той земли, какая сербам пожалуется для водворения. Он не просил для своих сербов никаких особых привилегий, кроме свободной торговли внутри всей России и свободных поездок для торговых целей в Польшу, Крым и в Молдавию. Им отвели землю для водворения от фортеции Каменки вдоль польской границы, а с другой стороны – вдоль владений Запорожской Сечи до границ татарских и турецких. Генерал-майору Глебову поручено было водворить там сербов и построить в крае, который с тех пор будет называться Новою Сербиею, крепость Св. Елисаветы (нынешний Елисаветград).<sup>338</sup> Новопоселенные сербы составляли полки, из которых каждый делился на двадцать рот, и подчинялись военной коллегии. В 1753 году, по следам Хорвата, явились в Россию полковники Шевич и Депрерадович с иными сербами, и они получили для поселения край между Бахмутом и Луганью. Шевич был уже знаком русским: он оказал услуги Петру Первому при Пруте, и теперь легко приобрел милостивое внимание царствовавшей в России дочери Петра. Сначала в отведенном для сербов крае не было никого, кроме природных сербов, но в 1761 году (ук. 14-го авг.) дозволено было в Новой Сербии водворяться малороссиянам из польских пределов и волохам, прибывающим из Молдавии, и приписываться к крепости Елисаветы под именем казаков, но при этом было оговорено, что малороссиянам из Русского государства там селиться не дозволялось. В церковном отношении поселенцы Новой Сербии причислены были к переяславской епархии.<sup>339</sup>

В Малороссии правительство энергически не допускало крепостного права и даже устраняло то, что могло вести к нему. Но в Великой России крепостничество укоренилось вполне, и правительственные распоряжения систематически клонились исключительно к пользам дворянского сословия. Так, допускались случаи, когда закон обращал в крепостного человека легально свободного: если вольноотпущенный поступал к кому-нибудь в услужение, то, по желанию последнего, мог быть обращен в его крепостные. У правительства была мысль, чтобы никто не уклонялся от взноса подушных денег, и крепостное право признавалось лучшим к тому способом; от этого у дворян, не имеющих никакой недвижимой собственности, оставляли поступающих к ним каким бы то ни было способом крепостных людей, лишь бы владельцы обязались платить за них подушное. Но владение крепостными составляло исключительную привилегию только дворянского сословия, и в 1746 году издан был указ, по которому следовало всех записанных за лицами не дворянского сословия крепостных людей отобрать и отдать помещикам из дворян, если пожелают их принять и платить за них подушное. Дворяне, следовательно, имели возможность совершенно без всяких расходов приобретать крепостных людей даже целыми деревнями и селами. Злоупотребление этим способом приобретения ощутительно оказалось в Сибири: там губернаторы записывали в дворяне разночинцев всякого рода. Но как ни старалось правительство оставить исключительно за дворянами крепостное право – его старания и усилия встречали противодействие в жизни и привычках общества. После строгого запрещения лицам недворянского звания владеть людьми, в 1749 году сенат дознался, что многие посадские, лишенные своих крепостных, которыми владели неправильно, прибегнули к такой проделке: продали своих крепостных дворянам, а потом на этих самых крепостных людей побрали от дворян закладные письма. Сенат подтвердил запрещение, а заложенных посадским крестьян признал государственными. Но и в этот раз не установилось ничего прочного. В 1758 году оказалось, что многие не дворяне, произведенные в обер-офицерские чины – протоколисты, регистраторы, бухгалтеры, актуариусы – не получа дворянского достоинства, владеют населенными имениями; опять последовал указ: продать незаконновладельцев в течение полугода, а вперед никаким приказным служителям, не имеющим дворянского звания, не владеть крепостными людьми под страхом конфискации. Были, однако, примеры, когда сама власть отступала от общего правила: например, в 1746 году (ук. 11-го сент.), на основании прежних старинных царских

<sup>338</sup> Указ 29-го дек. 1751 г.

<sup>339</sup> Указ 17-го янв. 1760 г.

грамот дозволено было смоленским мещанам держать крепостных, а в 1751 году, также на основании старинных жалованных грамот, дозволили устюжским купцам владеть землями, с содержанием живущих на этих землях половников.

Во все царствование Елисаветы Петровны по всей империи происходили крестьянские бунты и возмущения, как в помещичьих, так и в монастырских владениях. Распространился дух своевольтва между крестьянами всех ведомств: крестьяне не повиновались властям, не шли на работы по приказу помещиков, вмешивались в назначение управителей и приказчиков, нередко отделяваясь тем, что платили после того взятки воеводам; но случалось, что для усмирения их являлись военные команды, и если крестьяне чувствовали, что у них хватает силы, то прогоняли и команды. Если же приходилось им уступать, то они изъявляли готовность во всем слушаться властей своих.<sup>340</sup> Вместе с этими крестьянскими возмущениями шли крестьянские побегы, дела о которых до того накопились, что правительство принуждено было устанавливать сроки, ранее которых не принимать исков о беглых, и всеми средствами сократить бесконечные дела о побегах. С крестьянскими бунтами и побегамы связывались разбои, так как замечалось повсюду, что разбойнические шайки состояли в тесной органической связи с крестьянскими бунтами. Аrenoю разбойничьих шаек были, как и прежде, реки, и нападения разбойников происходили чаще всего на прибрежные поселения трех самых больших рек великорусского края: Волги, Камы и Оки. Удалые жгли помещичьи усадьбы, не щадили и крестьянских дворов более зажиточных, истребляли даже церкви, вымучивали у людей всякого звания деньги и что ни попадалось, подвергая жертвы свои варварским истязаниям. В Сибири образовывались разбойничьи шайки из колодников, которых везли в ссылку по рекам. Везде замечалось одно и то же явление: появление разбойничьих шаек и крестьянские бунты умножались тогда, когда военные обстоятельства обращали деятельность войска от внутренних губерний к границам империи. В 1747-м и 1748-м годах проявилось сильное своевольтво в разных краях России. Близ Олонца, на севере, в уездах Новгородском и Порховском, и в середине государства, в уездах Калужском и Белевском, разом закипели разбойничьи шайки, составленные из разных беглых, преимущественно из помещичьих крестьян. Они так были дерзки, что не останавливались перед святынею храмов, хватали священнослужителей в облачении и мучительно били.<sup>341</sup> Атаманом разбойников в Брянском уезде явился помещик Зиновьев: он ловил купцов по дорогам, завозил к себе в имение и держал на цепи, а когда после того обиженные подавали на него иск, Зиновьев, по родству своему с обер-президентом главного магистрата, был оправдан и после находил способ мстить своим противникам.<sup>342</sup> В 1749 году появилось множество мелких шаек в пограничных областях, а также близ Москвы, по большим дорогам, и в муромских лесах: были шайки человек в 20, 30, 50; на севере, в Каргопольском уезде, в этом году отыскана была шайка, жившая в избах, построенных в дремучих лесах. В следующем, 1750 году, в Белогородской губернии захвачена была шайка разбойников, состоявшая под покровительством отставного прапорщика Сабельникова, который держал разбойничий притон, отпускал своих удальцов на разбои, делился с ними добычею, а иногда и сам с ними ездил. В Новгородском уезде около этого же времени прославилась знаменитая Катерина Дирина, дворянка и помещица: вместе со своим братом и с родственниками Дириными она, собрав шайку из своих и чужих беглых людей и крестьян, нападала на помещичьи усадьбы, производила убийства и грабежи.<sup>343</sup> В делах, касающихся усмирения бунтующих крестьян, сенат предписывал не только не подвергать виновных пыткам, но и не устраивать ими<sup>344</sup>; местным властям вменялось в обязанность доносить в сенат о каждом из виновных, подлежащих розыску, и ожидать решения. В 1759 году, в разгар Семилетней войны, замечено было, что в числе

<sup>340</sup> Соловьев, т. XXI, стр. 313—314.

<sup>341</sup> Указ 9-го марта 1748 г.

<sup>342</sup> Соловьев, т. XXIII, стр. 21—22.

<sup>343</sup> Ibidem, 18—20.

<sup>344</sup> Ibidem, 213.

солдат, находившихся в войске, были беглые, и тогда постановили не преследовать их и не наказывать, равно как и тех, которые неправильно сдавали рекрут. Такое послабление отозвалось тотчас в восточной России: там увеличилось число беглых, а из них появились разбойничьи шайки в уездах Пензенском, Петровском и Шацком; разбивали помещичьи усадьбы, жгли и резали людей; а около Нижнего Новгорода явились плававшие по Оке лодки с разбойниками, у которых были и пушки. Провинциальные города оставались с малым числом солдат в гарнизоне, да и те были часто дряхлы и увечны; пороха и свинца не доставало; огнестрельное оружие было ветхое и плохое. Понятно, что при таких средствах поддерживать благоустройство не трудно было разбойникам врывать в города и брать себе казенные деньги, сколько их найдется в правительственных местах. И крестьянские бунты в эпоху Семилетней войны приняли более отважный характер. В Шацком уезде взбунтовались монастырские крестьяне. Прибыл усмирять их драгунский капитан с командой; крестьяне, собравшись в числе около тысячи человек, избili дубьем драгунов, а капитана, за то, что выстрелом убил одного крестьянина, избili без милости и привязали к телу убитого им мужика. Там даже деревенские бабы отличались жестокостью и, подхитивши к попавшимся уже в плен и скованным драгунам, били их по щекам.

В 1760 году к духовным начальствам поступило множество жалоб от крестьян разных монастырей уездов Кашинского, Белевского, Шацкого, Муромского на дурное управление монастырских властей, а крестьяне Саввина-Сторожевского монастыря подачею таких жалоб не ограничились, а отважились сами чинить расправу: они собрались сначала в числе трехсот, стали ломиться в монастырь и требовали выдачи лиц, на которых злобствовали; их им не выдали; тогда толпа, увеличиваясь, дошла тысяч до двух человек и пошла на приступ к монастырю. Подоспевший на защиту монастыря капитан с командою приказал было стрелять по мятежникам, но крестьяне бросились на солдат и человек тридцать из команды ранили.<sup>345</sup>

Как между помещиками происходили усобицы, в которых принимали участие их крестьяне, так и между монастырями происходило подобное. Проживавший в Новоспасском монастыре, в Москве отставной поручик приносил жалобу от имени своего монастыря, что наместник соседнего Андреева монастыря, с монастырскими служителями и крестьянами, напал на служителей и крестьян Новоспасского монастыря; некоторым из последних проломили головы. Прощения этого не приняли, так как уже давно между этими монастырями происходила обоюдная вражда за угоды, подававшая поводы к беспрестанным дракам. Крестьянские волнения появлялись даже в отдаленной Сибири: в Ялуторовском уезде крестьяне отказывались от казенной пахоты; а когда для их усмирения послана была команда, то крестьяне поколотили дубьем прапорщика, начальствовавшего этой командой. Сенат приказал заводчиков бунта сослать в Нерчинск на работы.

Все такие дела, касавшиеся благочиния в государстве, решались сенатом. Существовало одно учреждение, совершенно не подведомственное сенату – тайная канцелярия. Она наводила ужас в царствование Анны Ивановны под управлением Андрея Ивановича Ушакова; при Елисавете Петровне она находилась в его же управлении до его смерти в 1746 году, после чего перешла в ведение Александра Шувалова. Государыня, по восшествии своем на престол, ограничила деятельность тайной канцелярии тем, что не велела отсылать туда виновных в ошибках по написанию императорского титула<sup>346</sup>, но зато самое производство дел в этой канцелярии облеклось еще более, чем прежде, непроницаемой тайной. Запрещалось давать куда бы то ни было, хотя бы в Синод или в сенат, какие-либо справки из тайной канцелярии, без собственноручного указа государыни. Из дел, производившихся в тайной канцелярии, кроме таких крупных дел, как, например, дело лопухинское, дело Лестока, дело Алексея Бестужева, производилось множество дел, которые до сих пор остались неизвестными по незнанию лиц, причастных к этим делам. Дела в тайной канцелярии производились преимущественно по оскорблению императорского

<sup>345</sup> Соловьев, XXIV, 361.

<sup>346</sup> Указ 7-го марта 1742 г.



величества или по поводу заговоров. Елисавета, как мы уже заметили, все свое царствование оставалась под страхом брауншвейгской фамилии. Ей хотелось, если бы то было возможно, уничтожить самую память о прежнем времени, когда она, будучи цесаревною, не смела предъявлять своих родовых прав; но в особенности ненавистны были ей времена правительницы Анны Леопольдовны и регента Бирона. Все указы и распоряжения, состоявшиеся в этот период, были признаны не имеющими легальной силы.<sup>347</sup> Однако, несмотря на все то, вблизи самой Высочайшей особы обнаруживались намерения восстановить брауншвейгскую фамилию. В июле 1742 года, как уже было сказано, составилась заговор убить императрицу и наследника престола, выписанного ею из Голштинии, и вручить правление Анне Леопольдовне. Заговорщиками были: камер-лакей Турчанинов и два гвардейских офицера. Тайная канцелярия, где производилось это дело до декабря того же года, осудила виновных к наказанию кнутом; сверх того, Турчанинову урезали язык, а прочим вырвали ноздри<sup>348</sup> и сослали навечно в Сибирь. Весною 1743 года, как узнаем мы из депеши польско-саксонского уполномоченного в Петербурге, Петцольда, происходило следующее: четырнадцать лейбкампанцев, с досады, что перестали их так ласкать, как то вначале было, замыслили умертвить Лестока, камергера Шувалова и обер-шталмейстера князя Куракина, которых они тогда возненавидели, затем – устранить от престола императрицу и ее племянника и снова призвать на престол низверженный брауншвейгский дом. К заговорщикам пристали комнатный тафельдекер государыни и один придворный лакей. Но заговорщики неосторожно открыли свои замыслы жене Грюнштейна, а та сделала донос. Не успели совершить заговорщики ничего важного, были наказаны и сосланы, – но навели при дворе великий страх. Князь Куракин несколько ночей сряду не решался ночевать у себя в доме, а императрица не ложилась до пяти часов утра, окружала себя обществом, а днем отдыхала, отчего, по замечанию Петцольда, происходили беспорядки в делах.<sup>349</sup>

Кроме громкого дела Зубарева, которого содержание было изложено выше, было несколько других дел, относящихся к брауншвейгскому дому, но неважных, ограничивавшихся болтовнею. Так, крестьянин Каргопольского уезда Иван Михайлов был судим за то, что болтал, будто сверженный император Иван Антонович проживает в «негреной» пустыни казначеем и со временем свергнет Елисавету Петровну с ее наследником. Поручик канцелярии от строений Зимнинский и магазин-вахтер Седестром обвинялись в тайной канцелярии за то, что порицали Елисавету Петровну за пристрастие к малороссиянам, бранили малороссийских архиереев за их немонашеский образ жизни и изъявляли надежду, что короли – датский, английский, прусский и венгерская королева, по родству их с брауншвейгским домом, помогут Ивану Антоновичу снова взойти на престол: за Ивана Антоновича – князь Никита Трубецкой, многие знатные господа и все старое дворянство. «Дай Бог, – говорил Седестром, – чтобы Иван Антонович стал императором: его мать и отец были к народу милостивы, и челобитные от всех принимали, и резолюции были скорые, а нынешняя государыня и челобитных не принимает, и скорых резолюций нет. О, если бы у меня было много вина! – прибавлял Седестром: – я бы много добра наделал! Наш народ российский слаб, – только его вином напой, так он Бог знает что сделает!» – За такие беседы Зимнинский и Седестром были наказаны кнутом и сосланы в сибирские дальние города.<sup>350</sup>

В тайной канцелярии производилось множество дел, касавшихся оскорбления Алексея Разумовского и даже родни его.<sup>351</sup> Целый ряд дел производился в тайной канцелярии по поводу непочтительных и непристойных отзывов о Высочайшей особе и о близких к ней лицах. Очень часто кричавшие по такому поводу: «слово и дело» – были простолюдины,

<sup>347</sup> Указ окт. 15-го 1742 года и февр. 13-го 1745 г.

<sup>348</sup> Hermann, V, 23—24, Anmerkungen 11.

<sup>349</sup> Hermann, V, 188.

<sup>350</sup> «Русская старина», 1875 г., март, т. XII, стр. 534—537.

<sup>351</sup> Эти дела пересчитаны в книге Васильчикова: «Семейство Разумовских», т. I, стр. 107.

беглые солдаты и матросы и разных ведомств колодники; желая как-нибудь отдалить срок ожидавшей их кары за какое-нибудь совершенное прежде преступление, они начинали клеветать то на того, то на другого. Оговоренного ими в оскорблении величества, хотя бы одним только словом, тотчас хватили в тайную канцелярию и предавали розыску. Розыски всегда сопровождалась пытками: вели человека в застенки, за ним шел кат (палач) со своими инструментами. Два столба с перекалиною сверху составляли то, что называлось дыбою; палач клал преступнику руки в шерстяной хомут, выворачивал назад руки, а к хомуту привязывал длинную веревку. Эту веревку перекидывали через перекалину и поднимали ею вверх преступника, так что он, не касаясь земли, висел на руках; потом связывали ему ремнем ноги и били кнутом, а сидевший тут подъячий делал вопросы и записывал речи преступника. Это была хотя и самая убийственная, но простая пытка; были еще и другие, считавшиеся более жестокими: клали ручные и ножные пальцы в железные тиски и винтили до тех пор, пока боль не заставит преступника повиниться, или же, наложивши на голову веревку, вертели висящего на дыбе так, что он лишался сознания («изумленным бывает»), и тогда говорил такое, чего и сам не понимал. К такому же состоянию приводила и третьего рода пытка: простирали или пробивали макушку и пускали на лишенную волос голову холодную воду по капле. Когда этими пытками не могли ничего допроситься, тогда прибегали к пытке огнем, водили по телу висящего на дыбе веником зажженным или водили босиком по раскаленным угольям.<sup>352</sup>

Бывали случаи, когда в тайной канцелярии судили за суеверия, считавшиеся опасными для Высочайшей особы: так, один солдат показывал, что какой-то польский ксендз дал ему порошок, с тем, чтобы для повреждения здоровья императрицы он насыпал по пути ей, когда она будет идти. Солдат, как он сам показывал, побоялся сделать такое дурное дело, а посыпал порошок курам, и как скоро куры на этот порошок наступили, тотчас у них оторвало ножки. Солдата наказали кнутом и сослали в каторжную работу в Рогервик до смерти.<sup>353</sup> Были также доносы крепостных людей на помещиков, что они, в разговорах своих оскорбляли Елисавету Петровну. И за это расправа была коротка: оговоренных дворян били кнутом и отправляли в каторжную работу. Такому же наказанию подвергались люди, обвиняемые в неуважительном отношении к портретам государыни и даже к ее изображениям на монетах. Попадались люди в неосторожных разговорах о великом князе: иные заявляли ожидание, что великий князь, вступивши на престол, уничтожит и искоренит всех временщиков; но производились также дела об умыслах сделать великому князю зло: на одного иеромонаха Свяжского монастыря был донос, что он хвалился отравить великого князя, когда тот придет в их монастырь; другие болтали, что великий князь – незаконный наследник, что он «добыт гайдуком», и проч. Битье кнутом, рванье ноздрей и ссылка в каторгу были обычными последствиями такой болтовни. В 1753 году в народе распространился слух, что Разумовские ненавидят великого князя и делают ему вред посредством волшебников, призываемых из Малороссии, которая почему-то во всей России считалась краем всяких волшебств; а между раскольниками, терпевшими во все царствование Елисаветы Петровны жесточайшее гонение, составились толки, будто великий князь – сторонник древнего благочестия, что он желал бы царствовать, но приближенные императрицы не допускают его. Такими толками воспользовался подпоручик Бутырского полка Батурин: подобрал себе людей из войска и из придворной царской прислуги, через царских егерей испросил у великого князя дозволение представиться ему на охоте. Петр Федорович согласился, но когда Батурин, встретивши великого князя в лесу без свиты, упал перед ним на колени и стал клясться, что желает одного его признавать своим государем, великий князь, сидевший верхом, стремительно ускакал от него, а Батурина схватили и отдали в тайную канцелярию; там Батурин выдал своих соумышленников, сознался, что хотел взбунтовать московских суконщиков, думал убить Разумовского и принудить

<sup>352</sup> «Русская Старина», 1875 г. март, XII, 523, статья: «Тайная канцелярия в царствование Елисаветы Петровны». Также «Русск. Старина», 1873, VIII, 58—59.

<sup>353</sup> «Русская Старина», 1875 г., XII, 524.

архиереев силой венчать на царство Петра Федоровича. Батурина засадили в Шлиссельбург, других сослали в Рогервик и в Сибирь.<sup>354</sup>

О благочинном содержании городов в царствование Елисаветы Петровны сохранилось несколько указов, сообщающих, однако, отрывочные сведения. О Петербурге мы знаем, что в 1751 году произведена была чистка реки Фонтанки и обделаны камнем ее берега, и также берега реки Кривуши или Глухой – протока, соединяющего Фонтанку с Мойкою. В 1753 году устроены были мосты – Тучков, с Васильевского острова на Петербургскую Сторону, Самсоньевский с Петербургской Стороны на Выборгскую, и еще два моста – один с Петербургской Стороны на Аптекарский остров, а другой с Аптекарского на Каменный остров. В 1755 году стали перестраивать Зимний дворец<sup>355</sup>, и на это предприятие взято из кабинетских доходов 859 553 рубля; тогда же вытребованы были по наряду для такого дела из разных краев России каменщики, плотники, столяры, слесари, кузнецы, литейщики, а через канцелярию строений командировано было в Петербург на работы 3000 солдат из разных полков с переменными штаб- и обер-офицерами. Наблюдение над постройками поручено было генерал-аншефу Фермору. В видах благочиния и благоприличия последовал ряд указов, как для Петербурга, так и для других городов. Подтверждены были прежние указы ходить непременно в немецком платье: русское и малороссийское платье, как и борода, считались непристойным явлением, и только раскольникам указывалось ходить в присвоенном им наряде и платить за ношение бород.<sup>356</sup> Повторялось много уже раз издававшееся правило – не ездить по улицам слишком шибко, держаться правой стороны, не бить встречных, не петь, не свистать, не стрелять на улицах<sup>357</sup>, не браниться публично непристойными словами<sup>358</sup>, не париться вместе обоим полам в банях. Ездить цугом и четверкою запрещалось всем, исключая чужестранных послов или помещиков, уезжающих к себе в имения. Запрещалось не только в трактирах, но и в частных домах играть в карты на большие суммы.<sup>359</sup> По улицам петербургским запрещалось бродить нищим и увечным, а велено было содержать их в богадельнях, устроенных на Васильевском острове, и никак не на больших улицах. Но колодников из острога, по прежним обычаям, водили на сворах по улицам просить подаяния, а в Москве происходили прежние вековые безобразия: нищие и бесноватые валялись и шатались по улицам около церквей, а выпущенные для прошения милостыни колодники показывали возмутительные следы пыток на своем теле, желая разжалобить человеколюбцев. Относясь вообще неодобрительно к нищенству, правительство, однако, в виде исключения давало право просить по всей России милостыню грузинам на выкуп родных своих из плена у черкесов.<sup>360</sup> Преследуя нищенство, правительство не одобряло и излишнюю роскошь. Под благовидным предлогом приучить знатное дворянство к бережливости запрещено было при погребениях обивать дома черным сукном и убирать таким же сукном экипаж и лошадей, а гербы, знамена и траурные флэры допускались только в день погребения покойника. Во всяких нарядах не одобрялось излишество; только по поводу бракосочетания наследника престола дозволялось, в виде исключения, золотое и серебряное убранство, но и то для первых только четырех классов, и с этой целью служащим из них выдавалось годовое жалованье.<sup>361</sup>

Москва продолжительное время оставалась в прежнем неряшливом виде. Уже в первый приезд туда государыни, в 1742—43 годах, было замечено, что московская полицеймейстерская канцелярия не заботится о порядке: по улицам происходят драки и бесчинства, везде накидана нечистота, не починиваются мосты, слабо содержатся караулы и в городе расширилось воровство. В 1753 году, когда двор вознамерился пребывать в Москве,

<sup>354</sup> Соловьев, XXIII, стр. 208—211.

<sup>355</sup> Указ 7-го марта 1755 г.

<sup>356</sup> Ук. 19-го февр. 1743 г.

<sup>357</sup> Ук. 25-го янв. 1744 г.; 27-го декабря 1752; 20-го дек. 1759 г.

<sup>358</sup> Ук. 17-го дек. 1745 г. и 31-го авг. 1746 г.

<sup>359</sup> Ук. 18-го апр. 1752 г.

<sup>360</sup> Ук. 1757 г., янв. 29.

<sup>361</sup> 1745 г., марта 16.

дано было распоряжение сделать некоторые перестройки и перемещения в Кремле, где в те времена, кроме царских палат, находились разные правительственные ведомства. Сломаны были палаты, пристроенные к столовой палате для сенатской конторы; вотчинная коллегия, контора главного комиссариата и судный приказ были перемещены в другие места, хотя в том же Кремле, а сыскной приказ с острогом, в котором содержались судимые колодники, выведен был к Калужским воротам; конторы же ямская и раскольничья переведены в Охотный ряд.<sup>362</sup>

Кремль находился уже несколько лет в крайнем небрежении: возле соборов и у Красного крыльца навалены были груды щебня и сора, так что не только проезжать, но и проходить было затруднительно. И на этот раз императрица поместилась, как прежде, не в Кремлевском, а в Головинском дворце. В Кремле осмотрели дворец архитекторы и нашли, что в нем нужно сломать до основания некоторые покои. Приказано было сломать все деревянные здания в Кремле и Китай-городе, и новых не строить; особенно налегали тогда на снятие деревянных построек около церкви Казанской Богородицы, где обыкновенно гнездились воры. В этих видах сенат решил усилить производство кирпича на московских заводах, а за недостатком кирпича стали употреблять кирпич из разобранных стен Белого города. Приняты были меры к очищению Москвы от грязи; приказано было сломать каменные лавки и ступени, загромождавшие проезд к Спасскому монастырю, а также обветшалые каменные лавки в других местах, и сломать старое каменное и деревянное строение, которое во многих местах безобразно выдавалось на улицу. Императрица заметила, что Покровский собор (Василия Блаженного) содержится крайне неопрятно, и дала повеление Синоду – во всех московских церквях поновить иконостасы и иконы.

В то время, когда собирались перестраивать и обновлять Кремлевский дворец, деревянный Головинский дворец, где поместилась государыня с двором своим, сгорел в течение трех часов, и императрица переехала во дворец Покровский. Для возобновления Головинского дворца собрали в Москве плотников, а каменщиков, печников и штукатуров выписали из Ярославля, Костромы и Владимира.

Страшные пожары свирепствовали тогда в Москве и разом в других городах. В Москве 10-го мая сделался большой пожар, истребивший 1202 дома и 25 церквей; от огня погибло 96 человек. Затем, в том же месяце, пожары повторились 15 числа за Яузой, 23-го мая в Покровском селе и в Новонемецкой слободе, где сгорело 196 домов; 24-го мая на Остоженке и на Пречистенке сгорело 72 дома и три церкви, а 25 мая сгорела вся Покровка, и оттуда пожар пошел за Земляной Город, – сгорело 62 дома, триумфальные ворота и Комедиальный дом. Такие каждодневные пожары подали подозрение, что существуют поджигатели; но когда чиновники стали чинить сыск, то народ чуть не избил их. Пожары не ограничивались Москвою: в тот же день, когда в Москве свирепствовал пожар, 10-го мая, в Воронеже истреблен был пожаром 681 дом; из всего города уцелели только соборная Благовещенская церковь, две приходские церкви, архиерейский дом и небольшое количество обывательских домов. 24-го мая в Глухове истреблено было пожаром 275 дворов, а в июне сильные пожары свирепствовали в Можайске, в Мценске, где сгорело 205 дворов и найден был в соломе с пухом и хлопьями зажженный трут, что произвело между жителями всеобщий страх. Затем происходили ужасные пожары в Ярославле, в Бахмуте, в Михайлове, в Сапожке и в Волхове, где было истреблено разом 1500 дворов. Переяслав Южный в Малороссии и Венден в Остзейском крае истреблены были огнем вовсе. Кроме того, в городах Рыльске, Костроме, Севске, Орле и Нижнем были пожары. Вероятно, подобная участь постигла бы и Петербург, если бы там не предпринято было нужной предосторожности и не расставили по площадям и улицам пикетов. Эта страшная пожарная эпидемия побудила правительство учредить комиссию для исследования причин пожара. Комиссия эта послана была в Москву под председательством Федора Ушакова, а по другим городам с той же целью разосланы были гвардейские офицеры.

---

<sup>362</sup> Соловьев, XXIII, 202.

Во всех городах хозяйственной частью заведовал главный магистрат, а благочинием в городе – полицейское управление. Между этими учреждениями происходили частые пререкания, отзывавшиеся дурно на порядке в городе. Из разных городов от полицейских контор поступали в главную полицеймейстерскую канцелярию донесения, что магистраты не доставляют по своей обязанности сотских и десятских по выбору в полицейские должности, не содержат караулов, а между тем сами вступают в неподлежащее им заведование полицией, и полицейским конторам чинят препятствия. Такие жалобы поступили из Нижнего Новгорода, из Архангельска, из Калуги, из Одоева, из Белева, из Порхова и других новгородских городов; отовсюду доносили, что при слабости и недостаточности караулов в городах не прекращаются грабежи и убийства. Из Киева присылались сведения, что там на Подоле скот бьют в рядах, а не в бойнях, мясо продают тухлое, невыносимый смрад господствует в воздухе по всему городу; у полиции мало команды, а магистрат решительно не хочет ни в чем ей помогать. Но если полиция жаловалась на магистраты, то и магистраты не оставались в долгу и обличали полицию: так, московский главный магистрат доносил сенату, что присутствующий в московской полиции Воейков берет взятки и делает обиды купечеству, – купца Тимофеева так избил плетью, что тот через два часа умер.<sup>363</sup> В Орле ссора полицеймейстера Бакеева с президентом магистрата Уткиным произвела в городе беспорядок: жители, настроенные Уткиным, отбивали силою пойманных полицией в драке людей, а стоящие по наряду от магистрата при рогатках на караулах торговцы нарочно не ловили озорников, чтобы не водить их в полицию; беспрестанно днем и ночью по городу происходили драки и раздавались неистовые крики.<sup>364</sup> Взглянем теперь на состояние военной части при императрице Елисавете Петровне.

Военная часть во всей империи находилась, как и в прежние царствования, под верховным управлением военной коллегии. Важнейшим нововведением в этой сфере было учреждение лейб-кампании, где все рядовые получили дворянское достоинство и имена с крепостными людьми, так что средним числом на каждого нового дворянина приходилось 29 душ, а офицеры лейб-кампании, бывшие дворянами по своему рождению, получили их по несколько сот.<sup>365</sup> Всем пожалованным в чины в прежнее царствование сначала дозволили носить эти чины, но отобрали от них пожалованные им деревни, а потом и оставление за ними чинов отменилось.<sup>366</sup> В мирное время войско занималось преследованием разбойнических скопищ и усмирением крестьянских бунтов, и поэтому, как только начиналась внешняя война, отвлекавшая войско к границам империи, так усиливались разбои и бунты. В 1750 году военная сила умножилась учреждением конного полка в Астрахани, составленного из казачьих сыновей и из новокрещенцов, а в 1753 году войско увеличилось еще тем, что тогда велено брать всех праздновающихся в военную службу, если только они хотя мало окажутся способными. В 1756 году, ввиду начинавшейся войны, поручено было Петру Шувалову сформировать новый корпус войск числом в тридцать тысяч человек. Главный способ восполнения военных сил был рекрутские наборы, определяемые по одному рекруту на различное число душ, смотря по надобности в войске. В 1757 году, по представлению Петра Шувалова, введен был новый порядок в отправлении рекрутской повинности. Все десять великороссийских губерний разделены были на пять частей, и эти части по очереди должны были укомплектовывать войско, а губерния Архангельская с провинциями Вологодскою, Устюжскою и Галицкою – флот и адмиралтейство. Рекрут набирали из записанных в подушный оклад возрастом от 25 до 30 лет, а ростом в 2 аршина 6 вершков; для флота же двумя вершками менее. Для предупреждения побегов введен был обычай, надолго вошедший в употребление: брить лоб принятым в военную службу. Помещики могли по своему произволу сдавать своих крепостных в рекруты с зачетом и без зачета, а беглых предоставлялось помещику или сдавать в рекруты, или ссылать в Нерчинск.

<sup>363</sup> Соловьев, XXII. 235—239.

<sup>364</sup> Ibid. XXIII. 134—135.

<sup>365</sup> Указ 1741 г. 31-го дек. и 1742 г. 25-го ноября.

<sup>366</sup> Указ 1741 г. 31-го дек. и 1742 г. 8-го января.

Отдача рекрут в других крестьянских ведомствах подчинялась правилам, и если оказывалось, что рекрут отдан неправильно, то увольнялся. После беспорочной восьмилетней службы рядовой, по своему желанию, отпускался на прежнее место жительства. Унтер-офицеры из дворян после десятилетней беспорочной службы производились в прапорщики и определялись к статским делам. Наказанных шпицрутенами рядовых ссылали на работу в Нерчинск.<sup>367</sup> О строгости наказания можно судить по такому случаю, что в 1757 году за оскорбление священника драгун подвергся шестикратному прогнанию сквозь строй в 1000 человек. Солдатские дети, рожденные после отдачи отцов их в военную службу, до десяти лет содержались при матерях, а потом отдавались в училища; впрочем, помещик мог оставлять их у себя до четырнадцатилетнего возраста, обязавшись подпискою, что не обратит их в крепостных крестьян. Солдатские дети пятнадцати лет должны были поступать на службу, и те, которые будут проживать вне службы долее, признавались за беглых. Принятым рекрутам выдавалось жалованье по 50 копеек в месяц, по два четверика муки, по одному гарнцу круп и по два фунта соли, что вначале доставлялось на счет отдатчиков, а потом уже на казенный счет. Определено было в городах обучать рекрут военным упражнениям, но не в стужу и не в ненастье. Вести рекрут в хорошую погоду полагалось от двадцати до тридцати верст в день, а в дурную – от десяти до пятнадцати, и третий день пути посвящать отдыху. Все начальства на пути обязаны были давать марширующим рекрутам провиант. На случай болезни полагались на тысячу человек рекрут один подлекарь и три фельдшера. Полковые командиры распределяли их на роты, а ротные – на артели, перемешивая старых солдат с молодыми, но должны были наблюдать, чтобы старые у молодых не выманивали денег и не водили их в кабаки.<sup>368</sup>

Для раненых, вместо прежней отсылки в монастыри, в 1758 году устроен в Казани инвалидный дом, а в 1760 учреждены богадельни в губерниях Казанской, Воронежской, Нижегородской и Белгородской, так как в этих губерниях вообще находили избыток мяса и рыбы. В этих богадельнях предполагалось помещать отставных и раненых с их женами и детьми в особых избах, по десяти человек в избе, а для надзора за ними определять надежных обер-офицеров. В том же 1760 году в пользу этого предприятия учреждалась лотерея в 50000 билетов, из которых выигрышных полагалось 37500; весь капитал определялся в 550 000 рублей, самый крупный выигрыш был 25000 рублей, самый меньший – 6 рублей.<sup>369</sup>

### VIII. Церковь и просвещение

*Меры к распространению христианства между восточными народами. – Димитрий Сеченов. – Новокрещены и некрещеные. – Недоразумения с мордвой и чувашами. – Монастыри. – Преследование раскола. – Хлыстовщина. – Недостатки духовного воспитания. – Академия наук; ее члены. – Сухопутный кадетский корпус и морская академия. – Основание московского университета.*

Императрица Елисавета Петровна с самого вступления на престол показывала большую набожность, и все ее распоряжения клонились более или менее к расширению между ее подданными православной веры и к унижению иноверства. Посланный еще при Анне Ивановне для обращения восточных инородцев Димитрий Сеченов доносил, что новокрещены не хотят выселяться на новые места, отдельно от некрещеных своих единоплеменников, остаются на прежних местах и даже ропщут, говоря, что как будто их за крещение наказывают, выгоняя из тех дворов, где жили их деды и предки. На такое представление последовал указ – не понуждать новокрещеных к переселениям, а объявить им другие милости, например, трехлетнюю льготу от всяких податей и повинностей, которые за

<sup>367</sup> Указ июля 7-го 1757 г. и дек. 7-го 1760 года.

<sup>368</sup> Указ 1757 г. дек. 23-го.

<sup>369</sup> Указ 10 янв. 1758, 15-го июня 1760 и ноября 6-го того же года.

них повелено собрать с некрестившихся, сверх того, крепостной магометанин делался свободным, приняв св. крещение; но если мурза, его помещик, принимал крещение, то подданные снова поступали к нему в зависимость. Трудно было выдумать закон более неудобный, потому что нет ничего несправедливее и опаснее, как объявить рабам свободу и тут же ставить их в возможность потерять ее снова. К числу льгот для новокрещеных была и такая, что арестованный по уголовному делу магометанин мог избавиться от наказания принятием христианства.<sup>370</sup>

Новокрещены не ладили с некрещеными, да и русские военные команды не всегда соблюдали привилегии новокрещеных. Некрещеная мордва сильно была недовольна ревностною деятельностью Димитрия Сеченова: в Терюшевской волости избили священника, приехавшего их крестить, а команду, посланную для собрания недоимок, которые приходилось платить некрещеным за крещеных, настращали до того, что она находилась некоторое время в уверенности близкой смерти. Так доносило духовенство; мордва же, напротив, жаловалась, что Димитрий Сеченов принуждает креститься силою, держит непокорных в кандалах и колодках и подвергает побоям; крестят их, погружая связанными в купель; архиерей пожег их кладбище, и многие, спасаясь от таких разорений, скитаются по лесам, отчего нечем платить им казенных доходов и помещичьих оброков. Подобные жалобы последовали от чувашей Ядринского и Курмышского уездов на игумена, протопопа, дьячков и монастырских крестьян.<sup>371</sup>

Легче шло распространение христианства между калмыками, потому что между ними одна ханша, вдова Дундука-Омбо, с детьми приняла св. крещение; от нее происходит фамилия князей Дондуковых. При ставропольской крепости поселены были крещеные калмыки, и у них были поставлены священники, отправлявшие православное богослужение по-калмыцки. Еще при Анне Ивановне заведенные калмыцкие школы имели от 20 до 30 учеников каждая. Все крещеные калмыки состояли по гражданской части под ближайшим управлением ставропольского командира, подчиненного оренбургскому губернатору, и могли заниматься земледелием, ремеслами и торговлей, а некоторые, наравне с некрещеными, вели и кочевой образ жизни. Калмыкам дозволялось кочевать в своих кибитках только до левой стороны Волги, а на правый берег не переходить. Каждый калмык, принимавший крещение, если был зайсанг, т.е. господин, получал по пяти рублей с семьею, а рядовой – по 2 р. 50 коп., холостой же – только половину этой суммы.<sup>372</sup>

Сенат, по жалобам инородцев, несколько раз подтверждал распоряжение, чтоб их не крестили насильно, но, как видно, такие распоряжения не исполнялись в точности, потому что в 1750 году татары Казанской губернии опять подавали жалобы, что их крестят насильно. В губерниях Казанской, Астраханской и Воронежской запрещено было строить новые мечети, хотя в этих губерниях было много исповедовавших мусульманство. В Сибири такое запрещение последовало в 1744 году относительно селений, где некрещеные были перемешаны с новокрещеными, но потом дозволили строить мечети в полуверсте от жилых мест. Не только мечети, но и неправославные христианские церкви подвергались такому же гонению: так, по всей России указано было уничтожить армянские церкви, кроме Астрахани.

Постройка православных церквей везде и всячески поощрялась. Дозволялось помещикам созидать в своих вотчинах новые храмы, починивать и обновлять обветшалые, но с тем, чтобы храмостроители снабжали эти церкви серебряными сосудами, алтарными принадлежностями и священно-служительскими облачениями, по крайней мере шелковыми, и отводили в пользу клира пропорцию пахотной земли и покосов. Дворы духовных лиц, находившиеся при церквях, освобождались от постоя и полицейских повинностей. Петр I запретил носить иконы из монастырей и церквей в частные дома. Елисавета Петровна сняла это запрещение, но с тем, чтоб священнослужители, принося в дом икону, не оставались там обедать и не брали в рот ничего опьяняющего. В числе милостей духовному сану было

<sup>370</sup> Указ 1743 года, сент. 28-го.

<sup>371</sup> Соловьев, XXII, стр. 28—29.

<sup>372</sup> Указ 1-го июля 1746 г.

дозволение записывать в подушный оклад за священно– и церковнослужителями незаконных детей и подкидышей. К числу признаваемых непристойными отнесены были привозимые из-за границы изображения страстей Господних и Св. угодников Божиих на фарфоре. Преследовались также в частных домах забавы с кощунским пошибом, как, например, наряживания на святках в одежды духовного сана. Во время богослужения, в воскресные и праздничные дни, запрещено было отворять кабаки и вести торговлю; запрещены были также кулачные бои.

Монастыри пользовались особым уважением императрицы. Более всех милость государыни была оказана Троицко-Сергиевскому, возведенному тогда в почетное наименование Лавры. Все его многочисленные подворья освобождались от постоя и полицейских повинностей, но эта привилегия давалась с оговоркою, что она пожалована не в образец другим монастырям. За монастырями признавалась правоспособность исправлять нравственность несовершеннолетних, впавших в преступление. Уголовного преступника, не достигшего семнадцатилетнего возраста, по наказании батогами или плетью отдавали на исправление в монастырь на 15 лет.<sup>373</sup> При Елисавете Петровне в Петербурге основано было два женских монастыря – Смольный, на месте при царском Смольном дворце, и Воскресенский или Новодевичий; в Москве возобновлен был Ивановский монастырь, назначаемый для содержания вдов и дочерей заслуженных людей. Закон Петра Великого о непострижении в иноческий сан молодых людей при Елисавете Петровне соблюдался долго, исключая Малороссии, где по старине допускалось постригаться каждому лицу, достигшему 17 лет возраста. Но в 1761 году всем без изъятия безбрачным мужчинам, вдовам и девицам дозволено постригаться по желанию.

Набожность императрицы высказывалась и в повелениях читать в церквях, во время литургии, молитвы об отвращении постигающих край естественных бедствий. Так в 1649 году делалось по поводу скотского падежа, а потом, когда в некоторых местах России появлялись насекомые, истреблявшие цветы и листья в садах и огородах, указано было Святейшему Синоду составить подходящие молитвы об избавлении от такого зла. Самым благочестивым подвигом императрицы было печатное издание Библии, которое стоило многолетних трудов ученым духовным и поступило в продажу по пяти рублей за экземпляр.<sup>374</sup>

Особенно важный в кругу церковного устройства указ Елисаветы Петровны был дан в 1753 году. Крестьянам архиерейских и монастырских вотчин, находившимся долго перед тем в ведомстве монастырского приказа, а потом коллегии экономии, было повелено пребывать в послушании у архиереев и монастырских начальств, куда они вначале были приписаны, а в 1757 году издан был новый указ: в монастырских имениях отправлять хозяйственные должности не монастырским служкам, а отставным штаб– и обер-офицерам, которые должны будут с этих имений собирать доходы и из них употреблять в расход столько, сколько положено по штатам, остальное же хранить особыми суммами; из этих сумм государыня оставляла за собою раздачу пособий на строения в монастырях и на учреждение инвалидных домов.

В XVIII веке ни одно царствование в России не ознаменовалось такой нетерпимостью к раскольникам, как описываемое. Религиозное настроение императрицы побуждало ее поддаваться известным влияниям, и она дошла в своей ненависти к расколу до полной нетерпимости. Со своей стороны, гонимые раскольники впали в такое безумное отчаяние, что начали возводить самоубийство в религиозный догмат. Гонение на раскольников старообрядческого толка является уже в первый год царствования Елисаветы Петровны. Дозналось духовенство, что в отдаленной окраине, близ Ледовитого моря, в Мезенском уезде завелись скиты, куда приютились раскольники не только из простолюдинов, но из купечества и из шляхетства. Правительство послало туда военные команды забрать расколоучителей и разогнать их последователей. С тех пор раскольники прогрессивно

<sup>373</sup> Указ 23-го авг. 1742 г.

<sup>374</sup> Указ 27-го февр. 1752 г.



возбуждали против себя мирскую власть, потому что их скиты стали обычным убежищем беглых. В 1745 году всем вообще раскольникам запрещалось именовать себя староверцами, скитскими, общежительными; обязывали их платить двойной оклад, не совращать в свои толки православных и не придерживать беспаспортных. Тогда же думали действовать против раскола и путем убеждения: Синод напечатал книги Димитрия Ростовского и Феофилакта Лопатинского, обличавшие заблуждения раскольников. Но посылки военных команд для разорения раскольничьих скитов не вязались с мирными средствами убеждения и довели раскольников до ужасного и дикого явления – самосожжения, которое происходило иногда и прежде, но теперь получило, так сказать, эпидемический характер. Слыша о приближении войска, раскольники запирались в избах, где устроены были у них свои молельни, подкладывали огонь и погибали, в чаянии сохранить истинную веру и добровольным самопожертвованием достигнуть Царствия Небесного. Так, в окрестностях Каргополя сожглось разом 240 человек, потом в другой раз 400 человек. В Олонецком уезде добровольно сожглась толпа в 3000 человек, в Нижегородских пределах – 600 человек, затем на реке Умбе сожглось еще 38 человек с учителем своим Филиппом, который учил не молиться за царей и был основателем толка филиппонов. Правительство, слыша об этом обо всем, думало уничтожить изуверство строгостью и учредило комиссию для отыскания и жестокого наказания расколуучителей на севере; но гонение возбудило такой страшный фанатизм, что там до шести тысяч человек в один раз добровольно погибло в огне, и, по известию раскольничьего историка, чуть не сожглась сама Выгореция – скит, служивший главным рассадником поморской секты беспоповцев.<sup>375</sup>

Никакие строгости не истребляли фанатизма сектантов. Случаи самосожжения повторялись то в том, то в другом углу России. Так, в Устюжской провинции, в Белослудском стане сожглось 70 человек, а тотемский воевода доносил, что в девяти избах сожгли себя разом 172 человека, желая пострадать за веру Христову и за двоеперстное сложение. Пожитки сгоревших продавались с публичного торга, а их скот отдавался на продовольствие преследовавшим их военным командам. В 1760 году из Сибири снова донесено было в Синод, что раскольники составляют сборища, запираются в пустых избах и сожигаются. Поэтому строго предписано было отыскивать такие сборища и виновных в подстрекательстве к самосжиганию наказывать без всякого милосердия.

Остатки хлыстовской ереси, открытой в царствование Анны Ивановны в Москве и ее окрестностях, преследовались и при Елисавете Петровне. В шестидесяти верстах от древней столицы, у строителя Богословской пустыни, в пустой избе, выстроенной в саду, происходило сборище мужчин и женщин. На лавках с одной стороны сидели мужчины, с другой – женщины, и между ними находилась княжна Дарья Хованская. Все пели, призывая имя Иисуса Христа. Потом купец Иван Дмитриев затрясся всем телом, стал вертеться и кричал: «Верьте, что во мне Дух Святой, и что я говорю, то говорю не от своего ума, а от Духа Святого». Он подходил то к тому, то к другому и произносил такие слова: «Братец (или сестрица)! Бог тебе помочь! как ты живешь? Молись Богу по ночам, а блуда не твори, на свадьбы и крестины не ходи, вина и пива не пей, где песни поют – не слушай, а где драки случатся, тут не стой!» – Если кого он не знал по имени, тому говорил: «Велмушка, велмушка, помолись за меня!» – а отходя от каждого, говорил: «Прости, мой друг, не прогневил ли я в чем тебя?» – Тот же Иван Дмитриев резал в кусочки хлеб, клал на тарелку с солью и наливал воды в стакан, подавал хлеб, приказывая есть ломтики на руке и прихлебывать воду из стакана, а потом, творя крестное знамение, прикладываясь к стакану. Наконец, все, взявшись за руки, вертелись кругом посолонь, подпрыгивая, и при этом били друг друга обухами и ядрами, объясняя, что это означает сокрушение плоти. Эта пляска носила у них название: «корабль». Княжна Хованская испугалась и уехала, а прочие продолжали вертеться, бить друг друга, и уже на рассвете разошлись. Схваченный строитель Богословской пустыни Димитрий показал на участие некоторых лиц, а один из последних,

<sup>375</sup> См. Павла Любопытного. Историч. Моногр. Костомарова, т. XII, 390.

ученик штофной фабрики Голубцов, показал, что он научился этому еще в 1732 году в Андрониевском монастыре. Голубцов говорил, что первое крещение было водою, а теперь совершается второе крещение, и кто вторым крещением не крестится, тот не войдет в Царствие Божие. Строитель Димитрий сознался, что во время действий они бились между собою не только обухами, но даже ножами, вставленными в палки. Еретики учили, что брак – дело противное спасению души, грех, начавшийся от грехопадения Адамова; однако учитель Сапожников жил в связи с согласницею сборища Федосьей Яковлевой. Эта Федосья Яковлева говорила: «Слыхала я от согласников наших, что есть у нас в Ярославле государь батюшка, крестьянин Степан Васильев, который содержит небо и землю, и мы его называем Христом, а жену его Евфросинью – госпожею Богородицею; учителем же того Степана и жены его был крестьянин Астафий Онуфриев».<sup>376</sup>

Что-то подобное этой «хлыстовщине» или «христовщине» упоминается в царствование Елисаветы Петровны под названием квакерской ереси.<sup>377</sup> Ересь эта возникла еще в 1734 году; некоторые из упорных последователей ее казнены были смертью, другие же притворно воспользовались позволением покаяться. Таких явилось 112 человек; но в 1745 году в Москве открылось существование этой секты снова: захватили 416 человек. Они почти все были наказаны кнутом и сосланы на работы; 216 оставлены до времени на прежних местах жительства, а 167 человек известных по именам, как участников, не отысканы. Всяк, вступавший в эту секту, давал клятву не открывать о ней, под страхом наказания в будущей жизни, ни родителям, ни родным, ни духовному отцу, ни пред судом. Сектанты крестились двумя перстами, называли троеперстное крестное знамение антихристовой печатью, переменяли себе имена, не возбраняли для вида исповедоваться и причащаться, но брачное сожитие называли блудом, толкуя, что по апокалипсису только девственники войдут «в Царствие Небесное агнца». Что эта секта была видоизмененная хлыстовщина, доказывает уже то, что главный учитель ее был вышеупомянутый Григорий Сапожников, состоявший в сожительстве с Федосьей Яковлевой, которая и донесла на него и на его соучастников. Сенат публиковал, чтобы скрывшиеся последователи этой ереси в течение полугода явились с повинною, – иначе с ними поступят как с волшебниками.

Просвещение мало-помалу переставало быть тогда исключительной привилегией духовного класса и становилось из церковного светским. Это было важнейшим явлением русской жизни в царствование Елисаветы Петровны, и этого нельзя приписывать ни деятельности тех или других лиц, ни тем или иным мероприятиям правительства, а главное – духу времени. Образование, получаемое в заведениях церковного ведомства, было крайне недостаточным уже и потому, что учебных заведений было мало; духовные, которых можно было назвать учеными, составляли незначительный процент в многочисленном сословии духовенства, осужденном на безысходное невежество и способном, вместо всякого вероучения, проповедовать народу одни суеверия и предрассудки. Грубость духовных того времени превосходила всякую меру: в церкви они ни о чем не считали нужным заботиться, как только о соблюдении наружных обрядов и вымогательств за них вознаграждения от прихожан. Каждое утро в Москве на Крестце можно было встретить толпу священнослужителей, нанимавшихся служить обедни, панихиды и молебны и торговавшихся самым бесстыдным образом. Немногие, получившие какое-нибудь образование в школах, стояли на высоте своего сана; их учили тому, что ни для них самих, ни для других не было нужно: все научное воспитание состояло в пустой схоластике и в риторических упражнениях, которые никого из них не делали проповедниками и витиями. Обращение с духовными было также самое грубое и жестокое: не только архиереи сажали их на цепь, били плетью, посылали на унижительные работы, но и светские особы, чувствовавшие за собою силу, били их по щекам, рвали им бороды, секли их и надругались над ними, как хотели. Единственный способ поднять русское общество, которого руководителями были долго духовные, было распространение научного, а не схоластического образования; но для

<sup>376</sup> Соловьев, т. XXI, 316—318.

<sup>377</sup> Указ 1756 г. дек. 9.

этого нужно было образование не церковное, каким оно было спокон века в России, – а светское, мирское. Петр Великий понял эту необходимость и завел разные специальные училища и академию наук, долженствовавшую быть главным светилом научной образованности в России. Мы указали ее деятельность при Анне Ивановне. Первые годы царствования Елисаветы Петровны ознаменовались в ней спорами библиотекаря и академика Шумахера с профессором Делилем и с Андр. Конст. Нартовым – вторым советником академии, начальником механической экспедиции, учрежденной при академии. Споры эти были более чиновнического, чем ученого характера. К ним заодно примкнули против Шумахера недовольные деспотизмом последнего студенты, канцеляристы и мастеровые. На Шумахера подана была в сенат коллективная жалоба, направленная не против одного Шумахера, но и против немцев вообще. Жалобщики надеялись, что после низложения немецкого господства с брауншвейгскою династиею не трудно будет выиграть при русском национальном направлении правительства. Императрица сначала арестовала Шумахера и назначила комиссию для рассмотрения возникших на него жалоб, но Шумахер приобрел покровительство сильных господ, составлявших комиссию, и комиссия оправдала Шумахера. В конце 1743 года императрица приказала освободить его и дозволила занять прежнее место в академии наук, о бок с его соперником Нартовым. Профессор Делиль был так недоволен решением в пользу Шумахера, что собирался покинуть Россию, но Елисавета Петровна уговорила его остаться из уважения к памяти родителя, выписавшего Делиля в Россию. Тогда Делиль подал императрице проект регламента академии, по которому академия подразделялась на департаменты по наукам с тем, чтобы директор каждого департамента был из профессоров, и главный президент был бы также из профессоров и вступал в должность президента по выбору товарищей. Императрица одобрила этот проект, кроме выбора в президенты, потому что уже наметила на это место не ученого профессора, а брата своего любимца, Кирилла Разумовского, в детстве бывшего пастухом в своем селе, а потом отправленного за границу для образования. Этот Кирилл Разумовский воротился из-за границы в 1745 году, а в следующем, 1746 г., сделан был президентом академии наук: ему было только 19 лет от роду. Ему представили дело Шумахера. Находясь под влиянием своего наставника, Теплова, Разумовский «усмотрел, что советник Шумахер прав перед профессорами, и ненависть от них только тем заслужил, что по ревности своей к пользе и славе государственной принуждал профессоров к отправлению должности и к показанию действительных трудов, за которые им столь важное жалованье определено». Новый президент дал огульную аттестацию о профессорах, что «между ними ничего не усматривается, как желание одно стараться всегда о прибавке своего жалованья, как бы получить разными происками ранги великие, ничего за то не делать и не быть ни у кого в команде, а делать собою все, что кому вздумается, под тем прикрытием, что науки не терпят принуждения и любят свободу». В 1747 году издан был регламент академии наук, соединенной тогда с академией художеств и с университетом. По этому регламенту академия наук, как собрание ученых, разделялась на три класса. Первый – астрономов и географов, от которых предполагалась та польза государству, что из них будут мореплаватели, которые станут описывать земли, открывать до сих пор неизвестные страны и подчинять их Российской державе. Второй класс – физический, из которого должны были выходить физики, химики, ботаники, геологи и приносить пользу государству, отыскивая новые руды, камни и растения. Третий класс – физико-математический: польза от него государству ожидалась та, что выйдут люди, которые станут изобретать мануфактурные искусства, машины, полезные для армии и флота, для архитектуры, для очистки рек и каналов, для земледелия, садоводства и прочего. Из этого видно, что правительство смотрело на академию преимущественно с утилитарной точки зрения. Собственно академики занимались учеными работами; академики же профессора читали лекции студентам и подготавливали из них будущее ученое общество. Таким образом, еще до основания университета в нынешнем смысле это имя было уже известно в качестве составной части академии наук. Профессоры обучали студентов только наукам, а студенты должны были поступать в университет с

достаточным знанием латинского языка. В студенты допускались лица всякого происхождения, исключая записанных в подушный оклад: в университете они получали содержание и квартиру в одном доме для всех. При университете полагалось учредить гимназию, из учеников которой отбирать двадцать человек, – более годных из них определять в университет, а менее годных отправлять в академию художеств. Профессоры должны были преподавать бесплатно. Они могли быть всякого вероисповедания, как и студенты, но при университете полагался духовник из ученых иеромонахов, который каждую субботу должен был преподавать катехизис. При особе президента полагалась канцелярия в видах управления всем академическим корпусом. Члены этой канцелярии должны были быть сведущи в науках и иностранных языках настолько, чтобы разуместь, о чем будут идти речи. При академии устроена была кунсткамера для хранения редкостей и музей древностей, так как со всей России еще со времен Петра I-го все местные власти обязаны были отысканные старинные вещи и монеты доставлять в сенат, а сенат препровождал их в академию наук. В 1747 году сгорели академические здания, где помещались кунсткамера с музеем и библиотека, но самонужнейшие вещи были спасены, и государыня повелела под кунсткамеру и библиотеку дать две кладовых, до указа.

В 1746 году академия наук в число своих членов приобрела в тот век важнейшую европейскую знаменитость – Вольтера; он сам, через посредство Делиля, заявил желание поступить в члены академии и выпросил себе поручение писать историю Петра Великого. В те времена вообще в петербургской академии оригинальных сочинений писалось мало, а больше переводилось на русский язык с иностранных языков; так, с французского языка переводились фортификационные сочинения Вобана и сочинения других французских писателей по военной науке и по истории. От академии последовала публикация, чтобы желающие переводили с разных языков книги и доставляли свои переводы в академию: за это переводчик, в вознаграждение своего труда, получал сто экземпляров своего перевода, отпечатанного на иждивение академии. По мысли асессора академии Теплова, положено было основать в Москве книгопродавческую палату, где надлежало продавать книги, ландкарты и газеты российские и немецкие.

Двое деятелей академии занимали тогда видное место по своим талантам и по деятельности: Ломоносов и Миллер. О трудах Ломоносова мы будем говорить в его отдельном жизнеописании.<sup>378</sup> Миллер заявил свою ученую деятельность еще при Анне Ивановне. Отправленный в сибирскую экспедицию, он пробыл в Сибири десять лет, привез оттуда громаду записанных им сведений по русской географии и истории, определен был при академии наук историографом и обязался, вместе с Фишером, составить и издать сибирскую историю, а по окончании этой работы заняться составлением российской истории. Но как только он с Фишером представил свою сибирскую историю на рассмотрение академического собрания, так тотчас стал получать неприятные замечания. Ломоносов оскорбился за честь Ермака, о котором Миллер сообщил исторические сведения, что тот до своего похода в Сибирь разбойничал. Теплов придирался за родословные, называя их неверными и сочиненными. Шумахер находил, что прилагать к сибирской истории предисловие и печатать при ней жалованные грамоты вовсе не нужно. Академическая канцелярия упрекала Миллера за то, что в его историю внесено много ложных басен, чудес и церковных сказаний, недостойных доверия, хотя Миллер признавал все это нужным в качестве образчиков народного мирозерцания. Ему воспретили на будущее время прилагать выписки на старом языке, который стал уже неудобопонятен. Еще тяжелее обрушилась на него неприятность по поводу его латинской речи о происхождении Варягов Руси, где он разделял мнение Байера о скандинавском происхождении этого народа и наших первых князей. Комиссар Крекшин первый стал распускать слух, что в речи Миллера есть унижительные для России выходки. Шумахер поручил членам академии рассмотреть эту речь. Тредьяковский, прочитавши ее, объявил, что в сочинении Миллера не находит он

---

<sup>378</sup> Н. И. Костомаров не успел написать жизнеописания Ломоносова. – Изд.

ровно ничего предосудительного для чести России, но Ломоносов обратил на нее внимание не с ученой, а с псевдопатриотической точки зрения: он ставил Миллеру в осуждение, что тот пропустил удобный случай похвалить славянский народ, не признает славянами скифов, очень поздно определяет прибытие славян в здешние места; что полагает расселение славян в России гораздо позже времен апостольских, тогда как церковь ежегодно вспоминает прибытие апостола Андрея в Новгород, где и крест был им поставлен; что такое мнение недалеко до критики и на орден св. Андрея Первозванного; что первых русских князей Миллер производит от безвестных скандинавов противно свидетельству Нестора летописца, о котором он позволил себе отозваться неуважительно, выразившись: «ошибся Нестор»; что Миллер производит имя Российского государства от чухонцев и дает предпочтение готическим басням пред повествованием преподобного Нестора – и, наконец, приводимые им описания частых побед скандинавов над россиянами – «досадительны». Канцелярия академии, по таким отзывам, определила уничтожить диссертацию Миллера.

Затем Теплов всячески преследовал Миллера. Его заставили читать лишние лекции, грозя вычетом из жалованья. Миллер жаловался на Теплова президенту, но президент принял сторону Теплова и заявил в канцелярии, что некоторые члены академии препятствуют его стараниям на пользу учреждения. Делиля и Крузиуса Разумовский уже удалил, – оставался Миллер; Теплов представлял президенту, что Миллер, пробыв десять лет в Сибири, ничего не привез оттуда, кроме кое-каких летописей, грамот и старых канцелярских бумаг, что все это можно было добыть с меньшими затратами. Теплов обвинял Миллера, что он бил студента Крашенинникова, что он клеветал на него, Теплова, и самого президента осмеливался осуждать в неосмотрительности. Миллера разжаловали из профессоров в адъюнкты, но скоро возвратили ему прежнее звание, вынудивши признание, что он был наказан достойно. Президент и Теплов знали, однако, что Миллер по своей учености и трудолюбию никем не заменим, и потому ему было поручено издание академического журнала. В декабре 1753 года Миллер в академическом собрании прочитал предисловие к первой книжке журнала, которому он предположил дать название: «С.-Петербургские Академические Примечания». Возражений в то время не последовало, но через месяц Ломоносов заявил, что название журнала и предисловие к нему, написанное Миллером, не понравились при дворе, и потому их надобно переменить. Вместо первого названия дано было журналу другое: «Ежемесячные сочинения». В первом номере Миллер поместил свою статью о Несторе, где обличал собственные ошибки, допущенные им прежде, при недостаточном еще знании русского языка. Во всяком случае Миллер, в ряду деятелей науки в России, остается звездой первой величины, несмотря на то, что, к сожалению, с противниками его связалось имя человека, которого Россия привыкла уважать, как патриарха русского просвещения.

Академия наук не оставляла также российской географии и археологии. В 1755 году она потребовала присылки подробного описания монастырей и церквей с их историческим значением, но Святейший Синод, к которому было обращено это требование, отвечал, что в его ведомстве нет людей, способных к составлению таких описаний, а в 1760 году состоялся указ, которым предписывалось из всех городов доставлять в академию наук географические сведения в виде ответов на вопросы, присылаемые от академии. Были, впрочем, и добровольные географические экспедиции, предпринимаемые частными лицами; таким образом, устюжские купцы, Быков и Шалауров, спросили себе дозволение на собственных судах совершить морское плаванье для открытия пути от устья Лены вдоль Чукотского Носа до Камчатки.

Академия художеств составляла, как мы уже сказали, часть академии наук. Но в 1759 году она была преобразована в отдельное учреждение и получила свой особый регламент и штат. Впрочем, на содержание ее положено было отпускать в год из штатс-конторы умеренную сумму – 6000 рублей.

Сухопутный кадетский корпус после ссылки Миниха находился под ведением принца гессен-гамбургского, а потом князя Репнина. Из учеников этого заведения некоторые были

представляемы в сенат, а сенат препровождал их для экзамена в академию наук, и когда там они по экзамену оказывались достойными, сенат определял их в секретарские должности.

Из морской академии посылались в Англию молодые люди для ознакомления с английским языком, который считался нужным для моряков.

В эти два заведения поступали лица исключительно дворянского происхождения; но кроме них воспитание юношества в дворянском классе в царствование Елисаветы Петровны, особенно в первых годах, шло замечательно дурно. Множество учителей, прежде живших в дворянских домах, уже несколько лет сряду вело праздную жизнь за невозможностью учить кого бы то ни было, потому что в благородном сословии внедрялось отвращение ко всякой образованности и даже какое-то презрение к людям воспитанным. Во всех школах империи было учащихся только 709 человек, а из посадских людей не было в них ни одной души. Существовавшие с Петра Великого арифметические школы закрылись по недостатку учеников. Оставались еще гарнизонные школы специально для солдатских детей, куда допускались учиться и дети дворян на собственном иждивении; но и эти школы, по большей части, находились в запустении. В школу, учрежденную при сенате для молодых дворян, предназначавших себя к гражданской службе, никто уже не ходил, хотя в 1750 году был дан подтвердительный указ, обязывающий записанных туда ходить в определенные дни для ученья. Из новоучрежденных при Елисавете Петровне школ основалась одна в Оренбурге в 1748 году по инициативе губернатора Неплюева, а в 1752 году положено учредить школы для ландмилиции, поселенной на украинской линии.

Покровительствуя вообще книжному и письменному образованию в России, правительство, вместе с тем, ограждало свою власть от таких плодов книжного просвещения, какие для него были нежелательны. Так, в видах ограждения православного благочестия, запрещено было, без дозволения Синода, издавать книги духовного содержания, а также привозить из-за границы всякие русские книги без присмотра синодского; в 1750 году запрещено было привозить в Россию и книги на иностранных языках, где упоминались имена лиц предшествовавших царствований. По невежеству этот указ повел к тому, что в Синод стали представлять книги исторические и географические, не заключавшие в себе вовсе ничего противного правительству. Поэтому указано было такие книги возвратить, а вперед считать предосудительными только те книги, которые были «дедикованы» на имена известных особ прошедшего царствования, а также молитвенники на немецком языке, где упоминались имена особ, которых правительство хотело заставить позабыть в России.

В 1755 году в истории образованности в России произошло важное явление – основание первого российского университета; он был назначен в Москве, и при нем полагались две гимназии пригготовительного характера. В указе говорилось, что «Петр Великий погруженную в глубину невежества Россию к познанию истинного благополучия приводил, и по тому же пути желает следовать дочь его, императрица Елисавета Петровна». В тех видах, что дворянство российское лишено средств к воспитанию своего юношества и часто приглашает в дома к себе учителей из иностранцев, вовсе не пригготовленных к своему высокому призванию, по докладу камергера Шувалова, учреждался в Москве университет для дворян и разночинцев и при университете две гимназии: одна для дворян, другая для разночинцев. Государыня желала, чтобы главное начальство над университетом поручалось двум кураторам: один будет учредитель камергер Шувалов, другой – лейб-медик Блюментрост. Проект утвержден был государынею 12-го января 1755 года. Сенат определил на содержание университета и двух гимназий 15000 рублей в год и, сверх того, на покупку книг и прочих ученых пособий единовременно 5000 рублей. Университет, хотя и подчинялся сенату, но находился под протекцией императрицы. Ему предоставлялся собственный суд. Все принадлежащие к университету освобождались от постоя, сборов и всяких полицейских тягостей. Университет разделялся на три факультета. Первый – юридический, в котором полагались профессора: натуральной юриспруденции, народных прав и узаконений и политики, излагающей прошедшее и настоящее положение отношений государств между собою. Второй факультет – медицинский, где полагались

профессора: химии физической и аптекарской, натуральной истории, которые будут показывать на лекциях травы и животных, – и анатомии, которые будут показывать строение человеческого тела в анатомическом театре. Третий факультет – философский, т.е. логики, метафизики и нравоучения, физики экспериментальной и теоретической, красноречия, т.е. ораторства и стихотворства и истории универсальной и российской. Каждый профессор обязан каждодневно, исключая воскресных и праздничных дней, читать в университете публичные лекции по своему предмету, не требуя от слушателей платы; но дозволяется профессору читать и приватные лекции за умеренную плату. Лекции читаются по-латыни и по-русски, согласно с авторами, которые будут указаны в профессорском собрании и кураторами. По субботам должны в присутствии директора отправляться собрания профессоров для совета о всяких распорядках, касающихся наук и студентов. При окончании месяца, в субботу, профессора устраивают диспуты для студентов, и за три дня вперед к дверям университета прибывает тезис, а в конце академического года устраиваются диспуты публичные, на которые приглашаются любители наук. В апреле раздаются золотые и серебряные медали, числом восемь, за лучшие сочинения, написанные по-латыни и по-русски. Назначаются две вакансии: одна зимняя – от 15-го декабря по 6-е января, другая летняя – от 10-го июня по 1-е июля. Курс студентов определяется трехлетний. В университет студенты вступают по экзамену из всех сословий, кроме крепостных, «понеже науки не терпят принуждения и между благороднейшими упражнениями считаются»; однако дворянин мог обучать своего крепостного в университете на своем иждивении, но уволивши его от крепостной зависимости; если же такой студент будет уличен в дурных поступках, то возвращается снова под прежнюю власть господина. Во время курса студенты находятся под исключительным ведением университетского суда.

В гимназиях, учреждаемых при университете, предположено было четыре трехклассных школы: первая – российская, вторая – латинская, третья – оснований наук, и четвертая – главнейших европейских языков, которыми считались немецкий и французский; каждому ученику предоставлялось учиться обоим этим языкам вместе или одному из двух. Родители, заранее желавшие определить со временем своих сыновей в купечество, в художество или в военную службу, должны были объявлять об этом предварительно, дабы можно было при воспитании руководить детьми сообразно родительским желаниям. Каждый класс подвергался полугодичному экзамену, а в конце курса производился экзамен публичный, после чего достойные производились в студенты университета. При этом директор раздавал ученикам в виде награды книг рублей на пятнадцать или на двадцать. Учиться греческому языку считалось нужным, а восточные языки предположено было преподавать тогда, когда увеличатся университетские доходы и найдутся достойные преподаватели. Дворянам дозволено было записывать своих недорослей в университет, а по достижении семи лет возраста возить на первый смотр. Обучаться в университете предполагалось до шестнадцати лет возраста; но тем, которые показывали особую большую склонность к наукам, дозволялось оставаться и до двадцати лет. Все окончившие курс в университете и получившие об окончании свидетельство, при поступлении в гражданскую или военную службу пользовались старшинством.

Московскому университету, как и петербургской «де сианс академии» дано право состоящих учителями иностранцев подвергать экзамену и выдавать им свидетельства на право учительствовать; а без этого свидетельства никто не должен был держать домашнего учителя, под страхом уплаты пени ста рублей.<sup>379</sup>

В 1758 году (июля 21) указано учредить в Казани такие же гимназии для дворян и разночинцев, какие были учреждены при московском университете; в 1760 году Иван Ив. Шувалов представлял о необходимости завести такие же гимназии во всех «знатных» городах Российской империи, разделив учеников на казеннокоштных и своекоштных, а в городах меньших учредить школы, где бы обучали арифметике и первым основаниям других

---

<sup>379</sup> Указ 7 мая 1757 года.

наук; из этих школ, по окончании там курса, поступали бы в гимназии, из гимназий – в университет, в кадетский корпус и в академию наук, а из этих трех мест поступали бы уже в службу.

Медицинская часть находилась в заведовании медицинской канцелярии. В 1754 году указано было сделать набор врачей из малороссийских семинарий, находившихся в Киеве, Переяславе и Чернигове. Они являлись в медицинскую канцелярию или в медицинскую контору с аттестатами, подписанными их ректорами и префектами. Их определяли в госпитали в Петербурге или в Кронштадте для практического обучения врачебной науке, а других – в аптеки, чтобы впоследствии приготовить из них аптекарей. И те, и другие учились, состоя на казенном содержании; по окончании ученья получавшим в госпиталях звание лекаря давали жалованья от 10-ти до 25-ти рублей в месяц. Учившиеся же в аптеках по окончании курса получали от трехсот до шестисот рублей в год. Аптекари состояли под ведением докторов. В Москве было два доктора: один для дворян, с жалованьем 600 рублей в год; другой – для разночинцев и купечества, с годовым окладом жалованья в 500 рублей.<sup>380</sup> Повивальные бабки свидетельствовались в познаниях в Петербурге и Москве докторами и лекарями и получали аттестаты, дававшие право на практику. Лучшие из бабок оставлялись в Петербурге и Москве и назывались присяжными; для Москвы полагался им комплект пятнадцать, для Петербурга – десять; прочие рассылались по губерниям. Для образования повивальных бабок существовали в Петербурге и Москве специальные школы, на содержание которых назначалось в год по три тысячи рублей. Каждая роженица, сообразно своему рангу и достатку, обязана была платить в узаконенном размере повивальной бабке, оказывающей ей помощь.

Приезжие в Россию из-за границы врачи определялись по госпиталям с годовичным жалованьем по семисот рублей на их содержание и находились под наблюдением определенных при госпиталях докторов. Не получивши свидетельства на право лечения от медицинской канцелярии, никакой чужеземец в Русском государстве не мог заниматься врачевством.<sup>381</sup> Когда в 1755 году в Петербурге свирепствовали эпидемические сыпные болезни – оспа, корь и лопуха, то чрез посредство Святейшего Синода было опубликовано, чтобы больные не общались со здоровыми и для этого не носили бы детей причащаться в церкви, исключая особенно для того отведенных церквей, а мимо Зимнего дворца запрещено было провозить мертвых.

В 1756 году явилось в России еще новое просветительное учреждение: указано завести русский театр для представления трагедий и комедий; для этого учреждения пожертвован был конфискованный каменный дом Головкина, находившийся на Васильевском острове близ Сухопутного кадетского корпуса. Актеров положили набирать из певчих и обучавшихся в кадетском корпусе ярославцев, а дополнять их число охотниками из неслужащих людей. На содержание театра положено отпускать в год 5000 рублей. Директором театра назначен бригадир Сумароков.

## **IX. Внутренний быт при Елисавете Петровне. Хозяйство, ремесла и торговля**

*Лесное и соляное богатство. – Селитра. – Китоловный промысел. – Звериные и рыбные промыслы. – Хлебное производство. – Винокурение. – Металлическое производство. – Фабрики: суконные, шелковые, кружевные, шляпные, красочные, шпалерные. – Необходимость образования в купечестве. – Препятствия торговле. – Торговые иноземцы. – Права купеческие. – Уничтожение внутренних пошлин. – Новый торговый устав. – Ввозная и вывозная торговля. – Банк для купечества. – Контрабанда.*

Правительству преемников Петра Великого приходилось только повторять его узаконения о лесах. В царствование его дочери мы встречаем ряд распоряжений в этом

<sup>380</sup> Указы 1754 г. марта 14-го и 1756 г. марта 11-го.

<sup>381</sup> Указ 1758 г. марта 16.



смысле. В видах сбережения лесов запрещено было в 1744 году в Москве строить вновь деревянные дома, а в 1748 и 1755 годах около Москвы на двести верст кругом изгоняли стеклянные и железные заводы и даже винокурни, содействовавшие уменьшению лесов. Выделка смолы, хотя издавна приносила немалый доход казне, но признаваемая вредною для лесов, допускалась только в Малороссии, около Чернигова и Стародуба, и в северной земле, в брянских лесах. Она составляла исключительное казенное достояние, а торговля смолою, производившаяся у Архангельска, отдана была на откуп обер-егермейстеру Нарышкину, с обязательством отпускать за границу не менее трех тысяч бочек смолы.<sup>382</sup> Для сбережения лесов уничтожили соляные промыслы в Балахне и Соль-Галиче, оставили только тотемскую и элтонскую соль. Элтонская соль пошла тогда в ход, и промыслы на Элтонском озере день ото дня получали большее развитие. Для складов элтонской соли положено было построить городки: на Элтонском озере, на Камышенке, близ Димитриевска и против Саратова на Волге, и в них соляные амбары; в городе же Саратове учреждено соляное правление.<sup>383</sup> Привозом соли с места нахождения к местам хранения занимались солевозы, которые все были из малороссиян, и они-то, поселившись на берегу Волги (большей частью, на левом), дали начало существующим там и теперь многолюдным малороссийским слободам. Строгановская соль, до сих пор главным образом снабжавшая всю Россию, принуждена была выдержать большую конкуренцию. Большое затруднение для успеха элтонской соли состояло в том, что на солевозов нападали калмыки, и на защиту солеводства приходилось держать воинские команды, провожавшие партии соли. Немало беспокоили солепроизводство отыскиватели беглых; кроме того, немало вредило успешному производству промыслов то, что соль добывалась подрядчиками, нанимавшими рабочих, а эти рабочие, взявши вперед деньги, убегали прочь, хотя, по жалобам подрядчиков, за такие побеги угрожали виновным каторжной работой. Сначала цена элтонской соли колебалась, а с 1749 года установлена была везде цена соли 35 копеек за пуд: в Астрахани же и в Красном Яру – 17 1/2 копеек. Дозволялось возить соль по деревням, но не брать барыша более двух копеек с пуда. В 1750 году управляющий соляными складами в Саратове Чемадунов стал отправлять элтонскую соль по Волге во все низовые и верховые города. В год добывалось элтонской соли 1 064 859 пудов. Строгановская соль решительно уступила элтонской, а старорусское производство соли, снабжавшее солью северо-западную Россию, было закрыто в 1753 году вовсе. Для всей Сибири вырабатывалась соль на собственных промыслах, а в гор. Тобольске учреждено было главное соляное комиссариатство.<sup>384</sup>

Селитренные казенные заводы были на реке Ахтубе и отдавались на откуп разным лицам, с обязательством доставлять в казну за пуд по 3 руб. 20 копеек; излишек дозволялось продавать заграничным купцам. Порох разрешено было продавать каждому в неопределенном количестве.

Звериные промыслы, оскудевая в Сибири по мере распространения народонаселения, процветали еще в восточной окраине и к островах Восточного океана. Купец Югов с товарищами получил в 1748 году право ловить зверей на пустых островах близ Камчатского побережья, с платежом одной трети дохода в казну.

По скотоводству сделаны были распоряжения, чтобы рогатый скот стараться сбывать за границу, а овец не выпускать, потому что их шерсть нужна для русских фабрик.

Весь китоловный и тюлений промысел отдан был на откуп Петру Ив. Шувалову, и мимо его конторы промышленники не смели добывать и продавать ворвани и тюленьего сала. Астраханские рыбные ловли (осетровые и белужьи) со вступлением на престол Елисаветы Петровны взяты были в казенное содержание, и работы производились служилыми людьми; но так как это побудило многих недовольных, лишившихся заработков, бежать за границу, за Яик и в Бухару, то в 1745 году эти промыслы по-прежнему стали отдавать в откуп, а откупщики производили работы вольнонаемными. На протяжении от

---

<sup>382</sup> Указ 1748 г. марта 31.

<sup>383</sup> Указ 1749 г. апреля 9.

<sup>384</sup> Указы 1750 г., дек. 21 и 1759, окт. 25.

Саратова до Астрахани определенные бурмистры, ларечные и целовальники собирали прибыль в казну, которой ежегодно должно было доставляться не менее пятидесяти тысяч рублей. Они же смотрели за приготовлением икры и за солением рыбы. Все рыбные промыслы на Волге состояли под ведением астраханской рыбной конторы, и под ее начальством состояли конторы в Саратове и в Гурьеве-городке на Яике. Но в 1760 году яицкому казачьему войску пожаловано было право добывать у себя и продавать по всей империи икру, не подчиняясь астраханскому откупу.

Производство хлебного зерна и торговля им принимали более широкие размеры во время урожая и стеснялись при неурожаях. Так, в 1744 году, по случаю плохого урожая во всей России, запрещен был вывоз хлеба за границу. В 1749 и 1750 годах произошли неурожай в губерниях Белгородской, Смоленской, а отчасти и Московской. Тогда предписывалось на семена и на прокормление крестьянам выдавать ссуду из казенных магазинов, а потом приказано было переписать у помещиков наличный хлеб и, по свидетельству приставленных к этому делу штаб- и обер-офицеров, выдавать нуждающимся займы без процентов. В 1761 году указано было владельцам частных имений с начальством дворцовых и синодальных властей содержать у себя хлебные запасные магазины на случай необходимости для продовольствия крестьян.

Много выработанного хлебного зерна шло на винокурни. Казенное производство хлебного вина отдавалось на откуп с подрядов: откупщики, взявшие подряд, курили вино или на казенных, или на собственных заводах. Помещики-дворяне имели право курить у себя вино и доставлять его в казну либо оставлять у себя для домашнего обихода, платя за то в казну по три копейки с ведра простого и по шести копеек с ведра двойного вина. Казенное вино при Елисавете Петровне продавалось ведрами по 1 рублю 88 коп., а кружками – по 1 р. 92 к. за ведро.<sup>385</sup> Малороссия и войско донское пользовались по старине правом свободного винокурения; в 1750 году то же право дано и яицкому войску. Малороссияне могли повсюду провозить с собою свое вино, но только для собственного обихода, а не для продажи. Варение пива и меда для своего обихода не подлежало никаким поборам. В большей части империи казенное вино отдавалось на откуп в срок 1-го ноября. Корчемство строго преследовалось и наказывалось большими штрафами; кроме того, «подлых людей» подвергали еще и телесному наказанию. Корчемные дела ведались в корчемной канцелярии, находившейся под управлением камер-коллегии, а в губернских городах, кроме губерний Остзейской, Сибирской и Киевской, устраивались корчемные конторы. В Петербурге и в Москве устраивались «герберги» или трактирные дома, где, кроме вин, можно было требовать чай, кофе, шоколад, курительный табак и комнаты с постелями. За право содержать такой «герберг» платилось в казну от пятисот до тысячи рублей в год.<sup>386</sup> С 1758 года откупщики обязаны были при каждом взносе откупной суммы давать еще пожертвования на университет. Иностранные напитки не подчинялись налогам. Туземного виноградного вина в России не было; только в Киеве была сделана проба заведения виноградников; это казалось новизной, но тогда уже позабыли, что в XVII-м столетии там были виноградники в изобилии, и Печерская Лавра угощала гостей своим собственным виноградным вином. Тутовые деревья, с надеждой завести со временем шелководство, насаживались также в Киеве, но без большого успеха.

Табачное производство отдавалось в откуп при Елисавете Петровне на четыре года. Первым откупщиком был купец Матвеев за 428 р. 91 коп. Черкасский, т.е. малороссийский табак позволялось возить в Великороссию и Сибирь беспошлинно, но не променивать сибирским инородцам на рухлядь. Табачное производство в короткое время так поднялось, что уже в 1753 году курительный картузный табак отдан был на шесть лет на откуп за 63662 рубля. Иностранным табаком можно было торговать свободно.

О металлическом производстве есть сведения от начала царствования Елисаветы Петровны. При Анне Ивановне все заводы были отданы в частное владение, за исключением

<sup>385</sup> Указ 1755 г., февр. 15.

<sup>386</sup> Указ 1751 г., сент. 17.

Гороблагодатских, которые были оставлены в собственность казны и сдаваемы на откуп; но в 1744 году один из казенных заводов в Уфимской провинции был отдан в подряд купцу Твердышеву, с припискою к заводу крестьянских дворов. На других заводах, сданных при Анне Ивановне с казенного содержания в частные руки, происходили нестроения, частые бунты крестьян, приписанных к заводам. Казенные оружейные заводы: сестрорецкие, чернорецкие и тульские – зависели от оружейной канцелярии, находившейся в ведении военной коллегии.

В 1745 году главный магистрат обратил внимание на возобновление серебряного черневого и финифтяного дела, которое некогда процветало, но теперь пришло в упадок. За это дело взялся содержатель Троицких медных заводов Турчанинов, и выдумал делать металлические вещи цветов голубого, малинового, пурпурового и зеленого. Стальных изделий фабрика заведена была в 1758 году, и ее основателям внушено было, чтобы их произведения были не хуже штирийских, за которые Россия переплачивала Австрии большие деньги. Церковную утварь дозволено было делать исключительно московскому купцу Кункину, а прочим золотых и серебряных дел мастерам таких вещей отнюдь не делать. Единственную фабрикою золотых изделий заведовал сначала купец Ган, а потом приглашенный из Вены мастер Рейнгольд; заниматься золотыми и серебряными изделиями вне фабрики, по домам, запрещалось под опасением наказания плетью.<sup>387</sup> В 1753 году составила компания выработки листового и сусального золота и серебра. Ее основателем был некто Федотов с товарищами; основной капитал ее простирался до 30000 рублей. Этой компании дозволялось купить себе к фабрике 200 душ крестьян.

Затем, всякие фабрики можно было заводить с разрешения мануфактур-коллегии, а без такого разрешения основанная фабрика подвергалась со всеми своими инструментами конфискации. Суконное производство при Елисавете Петровне стало процветать в Воронеже. Тамошний купец Постовалов получил привилегию на заведение суконной фабрики, а потом и на заведение бумажной. Ему давалась в Воронеже казенная каменная палата, передавалась бывшая уже суконная фабрика со всеми инструментами, дозволялось купить 50 крестьянских дворов для употребления на фабричные работы, ведать своих крестьян и рабочих, кроме уголовных дел, рубить казенный лес по указанию вальдмейстеров, и в течение десяти лет привозить из-за границы материал беспошлинно. Он и его наследники освобождались от всяких податей. За это он был обязан давать ежегодно на армию сукон не менее как на 30000 рублей и вперед с прибавкой. Дана привилегия всем в России, занимающимся суконным производством: вместо следуемых с их крестьян рекрут – платить сукнами на армию, оценивая каждого рекрута во сто рублей.<sup>388</sup> Но на суконных фабриках не обходилось без важных столкновений между хозяевами и наемными рабочими. Первые жаловались, что рабочие от них убегают, последние – что хозяева их дурно содержат и притесняют. В таких недоразумениях виноватыми чаще признавались рабочие: их били плетью и ссылали в Рогервик; но фабриканты от этого не выигрывали, а лишившись рабочих, не скоро находили новых, и дело их останавливалось.

Полотняное производство имело свой центр в Новгороде у некоего Шаблыкина; его ученики по всей России работали для шляхетства скатерти, салфетки и другие вещи. Еще Петр Великий приказывал делать полотна шире тех, какие делались в России, но ни он, ни его преемники, повторявшие его указы, не могли этого добиться, и принимали узкие полотна, потому что большее количество русского полотна выделялось не фабричным, а кустарным способом, и правительство крайне в нем нуждалось для армии.<sup>389</sup>

Брюссельская уроженка Тереза завела в Москве фабрику нитяных кружев; ей дозволили ввозить беспошлинно инструменты и купить в России до пятисот душ женского и до двухсот мужского пола, и, сверх того, она получала из казны заимообразно 10000 рублей

<sup>387</sup> Указ 1751 г., сент. 20.

<sup>388</sup> Указы 1743 г. февр. 3, и 1759 г. апр. 20.

<sup>389</sup> Соловьев, История России, т. XXII, стр. 36, и т. XXIII, стр. 139.

без процентов.<sup>390</sup>

Производство шелковых тканей было любимым желанием императрицы. Посланные Петром Великим за границу дворяне Ивков и Водиллов с целью изучения шелководства, по возвращении в отечество, при воцарении Елисаветы Петровны, начали делать бархаты, штофы и тафты. Астраханские купцы-армяне Ширванов с товарищами получили в 1742 году привилегию на содержание в Астрахани и Кизляре фабрик шелковых и бумажных тканей с правом беспошлинно торговать по всей России своими изделиями тридцать лет, а в 1744 году мануфактур-коллегия опубликовала, чтобы желающие заводили в России фабрики для выделки бархатов, штофов и других шелковых тканей, потому что такова воля государыни. Затем француз Антоний Гамбетта получил дозволение построить близ Киева за свой счет шелковичный завод с правом суда и расправы над рабочими в течение восьми лет. Купец Шемякин получил привилегию привозить из-за границы шелк-сырец и обдeldывать его в разные цвета, а платить за это дозволено сибирскими бобрами и мерлушками, которых вывоз за границу был до сих пор запрещен.<sup>391</sup>

При Елисавете Петровне началось в России шляпное производство. Сначала дали привилегию на устройство шляпной фабрики и на доставку шляп для армии московскому купцу Гусятникову, а потом оказано было покровительство двум другим мастерам, Черникову и Сафьянникову, и кроме этих означенных фабрикантов не дозволялось никому в России выпускать своего изделия пуховых и шерстяных шляп.

Около того же времени завелись в России фабрики для выделки красок. Первый получил право на заведение такой фабрики купец Тавлеев с компаниею. Ему дали заимообразно из казны десять тысяч на десять лет и позволили торговать без пошлины в продолжение десяти лет по всей России, а в 1757 г. заведены были красочные фабрики в Астрахани и Кизляре, с воспрещением другим лицам заниматься этой промышленностью в течение двадцати лет.

Шпалерная фабрика заведена была сначала в Москве англичанином Ботлером, а потом саксонцем Леманом, который обязался в течение семи лет обучать присылаемых ему учеников из гарнизонных школ.

Знаменитый Ломоносов в 1752 году получил привилегию на основание фабрики разноцветных стекол, бисера и стекляруса. Он основал завод в Копорском уезде; к заводу было приписано 200 душ и дано ему заимообразно 40 000 рублей на пять лет без процентов, а в 1760 году купцу Мальцову дано дозволение на основание стеклянных заводов на расстоянии двухсот верст от Москвы и не ближе Ямбургского уезда от Петербурга. Ему дозволялось купить 50 душ без земли, а его фабричные дома по всей России освобождались от постоя.

Сообразно взглядам Петра Великого, и при императрице Елисавете также признавалось необходимым для преуспeyания торговли расширение образованности в купечестве. В этих видах коммерц-коллегия поручила секретарю академии наук Волчкову перевести с французского языка экстракт из лексикона о коммерции, чтобы доставить купечеству полезное чтение по своей специальности. Торговля везде привлекает в край иностранцев; и в России то же было. Иностранцы толпились в ней. Греки, как единовeрцы русским, пользовались вниманием перед другими; их нежинская колония пользовалась правом самосуда и неприкосновенности их национальных обычаев. Сенат докладывал о допущении евреев торговать на ярмарках, но Елисавета Петровна дала ответ, что не желает выгод от врагов Христовых.<sup>392</sup> Такое строго православное отношение не касалось прочих восточных иноверцев. Дозволено было персидским торговцам жить временно в России для торговли, соблюдать свои обычаи и свои религиозные обряды. В Астрахани разные восточные народы жили особыми слободами, не записываясь в купечество, и отправляли свои богослужебные обряды, будучи свободны от постоя и всяких служб: тут были и армяне, и персияне,

<sup>390</sup> Указ 1757 года, авг. 25.

<sup>391</sup> Соловьев, ХХІІ, 36. – Указ 1760 г., янв. 20.

<sup>392</sup> Указы 1742 г., 3 нояб., и 1743 г., дек. 16.

индийцы, хивинцы, грузины. Всем иностранцам запрещалась розничная торговля в России, но купцу армянину Макарову дано было право торговать в розницу, и дворы его в Москве, Петербурге, Астрахани и Кизляре были свободны от всяких повинностей. Торговля с азиатами считалась очень выгодной, и в 1747 году основана была компания для отправки в Константинополь мягкой рухляди, железа, полотен, канатов, юфти и холста. Учредителем был купец, составивший компанию на акциях; каждая акция в 500 рублей. Главные конторы этой компании были в Москве и в Темерниковском порте (ныне Ростов-на-Дону). В 1758 году учредилась другая компания, армянина Соханова, в 400 акций, каждая в 150 рублей, а в 1760 году – третья компания, графа Воронцова, для торговли с Хивой и Бухарой, с привилегиями на тридцать лет.

Купечеству и крестьянству дозволялось торговать – первому, представляя для торговли собственный капитал не менее как от 300 до 500 рублей, а последнему – вести мелочную торговлю предметами крестьянского быта в ближайших городах. Петербургским купцам дозволялось держать собственные мореходные суда для перевозки товаров из Кронштадта в Петербург. Владеть крепостными крестьянами купечеству запрещалось, исключая фабрикантов, но, относительно права владеть холопами, которые в то время еще различались от крепостных крестьян, спрошенный об этом сенат в 1744 году отвечал, что это право, на основании старых узаконений, предоставляется не только купцам, но также посадским и мастеровым.

В первые годы царствования Елисаветы Петровны торговля стеснялась стремлением правительства уменьшить роскошь, которая непомерно развилась в одежде и домашней обстановке знатных особ при Анне Ивановне. Сообразно прежним распоряжениям Петра Великого, состоялся в 1743 году указ о ношении платья по чинам и по классам; так, шелковой парчи платье, в четыре рубля аршин, могли носить только особы первых пяти классов; лицам же VI, VII и VIII-го классов дозволялось носить парчу только в три рубля за аршин; прочим, ниже классом – только в два рубля, а не имеющие рангов не смели носить даже бархата и класть шелковых подкладок под свои одежды; их жены и дочери подчинялись тому же правилу в своих нарядах. На русских фабриках указано уменьшить производство золотных и серебряных материй, а иностранцам и русским купцам не дозволялось ввозить на продажу тканей и сукон дороже семи рублей за аршин. За несоблюдение этого указа – конфисковать у русских купцов товары, а с покупателей брать штраф на госпиталь. Но в 1745 году дозволено было как русским, так и иностранным купцам привозить на продажу золотные материи, бахромы и позументы, – только, по привозе в Петербург, объявлять о них царскому гардеробмейстеру, для выбора из них того, что будет признано годным для двора. В 1761 году опять последовало запрещение ввоза некоторых предметов роскоши, как, например, блонд и галантерейных товаров. Но как мало достигали своей цели такие распоряжения против роскоши, показывает то, что когда потребовались для армии железные вещи, то их не доставало, а между тем предметов роскоши изготовлялось немало. Замечено было, что умножалась контрабанда такими товарами, и в Петербурге стали ходить по домам с лотереями, предлагая для выигрыша разные контрабандные вещи. Сенат запретил такие разносы, но, несмотря на все строгие меры, до конца царствования Елисаветы контрабанда находила себе лазейки.

Торговать купцы должны были в гостиных дворах. В Петербурге в 1748 году воздвигнут был каменный новый гостиный двор с погребами и внутренними галереями, с железными дверями и ставнями. В Москве гостиный каменный двор был построен в 1754 и 1755 годах, вследствие чего предварительно были сломаны деревянные лавки, шалаши и харчевни, наполнявшие во множестве торговую площадь.

Торговля в России издавна стеснялась множеством мелких внутренних пошлин, но при императрице Елисавете Петровне настала эпоха ее освобождения. Уже тотчас по вступлении на престол Елисаветы камер-коллегия представила проект – все казенные сборы отдать на откуп или в компанию, а в 1753 году, по проекту Петра Шувалова, уничтожался ряд мелких пошлин, а именно: с найма извозчиков, со сплавных судов, с клеймения хомутов, валечные,

подвижные пошлины, пошлины с лошадиных и яловичных кож, с пригонной скотины, привальные, отвальные, с яйцкой рыбы, десятый сбор с мостов и перевозов, с ледокола, с водопоая, с померных четвериков, с продажи дегтя, с мелких товаров, с жернового камня, с горшечной глины, с проезжих грамот, с объявления выписей торговых людей, вычетные у винных подрядчиков и у обывателей при выдаче денег за поставленное ими вино. Учредилась комиссия для рассмотрения пошлинных сборов, а января 23-го 1754 года вышел повторительный указ, которым уничтожались все статьи, исчисленные в указе 1753 года, и вместо них вводилась однообразная внутренняя пошлина – 13 копеек с рубля. Шувалов рассчитал, что весь доход прежних внутренних мелких пошлин составлял в итоге 903537 рублей, а с пограничных таможен привозилось и вывозилось товаров на 8 911 981 рубль, и если сумму 903 537 рублей разложить на означенный товар, то придется на рубль положить по 10 коп. с дробями, а если со всех привозных и отвозных товаров брать по 13 коп. с рубля, то сверх желаемой суммы получится еще излишек 255020 рублей.<sup>393</sup>

Вслед за тем последовало распоряжение относительно торговли с Малороссиєю и с заграничными краями через Малороссию. Ту же внутреннюю пошлину – 13 коп. с рубля – велено брать с доставляемых из Малороссии товаров – рогатого скота, овец, щетины, конопляного масла, а также и с привозимых из польских областей в Малороссию пеньки, воска, сырых воловьих кож и всякого зернового хлеба. Для расширения внутренней русской торговли указом 1755 года прекращен был вывоз за границу из России пеньки, вина, юфти и сала.

В том же году издан был таможенный устав, где изложены были основания торговли на новых началах и определены доходы казны с торговли. Мы укажем на некоторые важнейшие правила этого устава. Русским дворянам предоставлялась полная свобода возить свои произведения на продажу во все русские города и за границу. Купцы-хозяева могли посылать своих приказчиков по торговым делам с доверительными письмами, засвидетельствованными в магистрате. Ездить с товарами можно было только по большим дорогам, а не по проселочным. Жалобы и доносы приказчиков и сидельцев на хозяев не принимались. Суд между купцами и их рабочими производился даже и тогда, когда между ними не было никаких записей. Иностранцам, не записанным в купечество, не дозволялось торговать между собою внутри России. Все купцы должны были продавать свои товары в лавках, а не в домах, но дозволялось хранить в своем доме, не продавая, такие товары, которые подвергались скорой порче. В случае утайки пошлин и всякого неправильного способа торговли товар подвергался конфискации, а доноситель получал половину; но если донос оказывался неправым, то доноситель подвергался штрафу в 200 рублей. Для разбора дел между купцами учреждались особые словесные суды. Для охранения торговцев от грабительств по дорогам снаряжались команды из близко расположенных полков. Купцы могли ездить за границу с аттестатами о своем добропорядочном поведении и, уезжая за границу, оставлять эти аттестаты в пограничных таможах, чтобы обратно получать их по возвращении. Их обязывали в чужих краях не переменять веры. При Елисавете Петровне числилось в России всего 28 пограничных таможен.

Важным делом для оживления торговых оборотов в России, в царствование Елисаветы, было учреждение банков – дворянского и купеческого. Еще при Анне Ивановне обратили внимание, что ростовщики берут неимоверно высокие проценты. Тогда открыли кредит в монетной конторе, откуда, при обеспечении залогами, выдавались желающим займы суммы на срок; потом, кроме монетной конторы, стали выдавать ссуды из других правительственных учреждений: из адмиралтейской коллегии, из главного комиссариата, из канцелярии главной артиллерии и фортификации. В 1753 г. правительство по инициативе Петра Шувалова решило учредить банк для дворянства, приняв все предосторожности, чтобы выданные в ссуду деньги были надежны к возвращению, а в марте 1754 года учрежден был другой банк для купечества. Дворянский банк образовался вначале из суммы 750000

<sup>393</sup> Указ янв. 23, 1754 г. – Соловьев, Ист. России XXIII, стр. 220.

рублей, собираемых с вина, а купеческий – из капитальных сумм, находившихся в монетных дворах в количестве пятисот тысяч. Из первого могли получать ссуды только русские дворяне, владельцы недвижимых имуществ, из второго – русские купцы, торговавшие при петербургском порте.<sup>394</sup> Но купеческий банк вначале шел неудачно, хотя процент с купцов, по шести в год, был невысок; купцов стесняло то, что они должны были давать в залог товаров на четвертую долю более занимаемой суммы. В первый год от марта до августа не обращался в банк никто. Спрошенные об этом купцы объяснили, что опасаются оставлять в залоге в банках свои товары; это возбуждает сомнение у иностранных купцов насчет их кредита; притом же, даваемый им полугодичный срок слишком короток, и они не могут справиться. Они просили, чтобы вместо оставления в хранении банка залогов им позволили представлять надежные поруки, и срок бы им давался годичный. Сенат, рассмотревши их просьбу, нашел ее основательной, и установил правила по их желанию.

## **Х. Болезнь и кончина императрицы Елисаветы Петровны**

Императрица Елисавета Петровна уже несколько лет страдала тяжкими болезненными припадками. Такие припадки происходили в неопределенное время, сперва были редки, потом стали учащаться. Это обстоятельство долго от всех скрывалось, и мы не знаем года, когда началась болезнь. Известно только, что она стала всем явной в 1757 году, когда весть о припадке с нею, случившемся в Царском Селе, как бы предвещала близкую кончину государыни и несомненную перемену в политике ее наследника, и побудила генерала Апраксина воротиться из похода в Пруссию к русским границам. В 1758 году был у государыни другой припадок в том же Царском Селе; впрочем, остается еще сомнительным – происходило ли это в этот или в предыдущий год. В «Записках Екатерины Второй»<sup>395</sup> указывается, что произошло это после того, как в Россию пришло известие о цорндорфском сражении, – и это заставляет нас отнести припадок болезни, о котором будет речь, к 1758 году. Как бы то ни было, имп. Екатерина рассказывает, что 8-го сентября, в день Рождества Богородицы, государыня пошла из царскосельского дворца пешком к обедне в приходскую церковь, находившуюся в нескольких шагах от ворот дворца. Только что началась обедня, императрица почувствовала себя дурно, сошла по крыльцу и, дошедши до угла церкви, упала без чувств на траву. В церкви было много народа, который сходил туда на праздники из окрестных деревень. С государыней не было никого из ее свиты. Императрица лежала без движения; толпа, окружив ее, смотрела на нее, но никто не смел к ней прикоснуться. Наконец, дали знать во дворец: явились придворные дамы, прибыли и два доктора. Ее покрыли белым платком. Она была велика ростом, тяжела, и, падая на землю, ушиблась. Хирург, тут же на траве, пустил ей кровь, но государыня не приходила в чувство. Ей пришлось пролежать таким образом около двух часов, по прошествии которых ее привели немного в чувство и унесли во дворец. Весь двор и видевший это народ пришли в смятение и ужас, тем более, что о болезни императрицы мало кто и знал. С тех пор припадки стали повторяться чаще, и после припадков государыня в течение нескольких дней чувствовала себя больною и до такой степени слабою, что не могла внятно говорить.

Уже давно Елисавета Петровна была в раздумье относительно своего наследника, и только чрезвычайная, материнская любовь к нему останавливала ее и не допускала к решительным мерам. В исходе 1760 или в начале 1761 г. Иван Иванович Шувалов, в соумышлении с другими лицами, задумал подействовать на императрицу и убедить ее изменить распоряжение о престолонаследии. Некоторые из тех, с которыми он советовался, думали выслать из России и Петра Федоровича, и супругу его, и объявить наследником шестилетнего Павла Петровича; другие находили, что невозможно разлучать малолетнего сына с матерью, и подавали совет выслать из России одного великого князя Петра Федоровича. Иван Ив. Шувалов сообщил об этом Никите Ив. Панину, занимавшему уже

<sup>394</sup> Соловьев, Ист. России, XXIII, стр. 246.

<sup>395</sup> Русский перевод, стр. 215.

должность воспитателя при великом князе Павле Петровиче. Никита Ив. Панин, выслушавши это, дал такой ответ: «Все сии проекты суть способы к междоусобной гибели; не можно ничего переменять без мятежа и бедственных средств из того, что двадцать лет всеми клятвами утверждено. Впрочем, – прибавил Панин, – если бы больной императрице представили, чтобы мать с сыном оставить, а отца выслать, то большая в том вероятность, что она на то склониться может». Но придворные скоро изменили свои намерения и, напротив, стали заискивать расположения и милости у будущего императора. Сам же он никогда и не узнал об этом намерении.<sup>396</sup>

В 1761 году здоровье Елисаветы Петровны становилось день ото дня хуже. Она почти постоянно была в постели, но заставляла читать себе доклады. Ей очень хотелось переселиться в новый Зимний дворец, который тогда отстраивался, но архитектор Растрелли для окончательной отделки его запросил большую сумму, а казна в тогдашних обстоятельствах затруднялась выдавать ее. Во-первых, много издержек шло на продолжавшуюся войну; во-вторых, в Петербурге произошло домашнее несчастье: на Малой Неве сгорели амбары с пенькой и вином, а на реке – много судов, так что купечество понесло убытка с лишком на миллион рублей. Надобно было придумать средство помочь погоревшим; обратились к купеческому банку, но в нем недоставало столько суммы, сколько было нужно, так что сенат решил сделать добавку из других средств.<sup>397</sup>

В конце ноября Елисавете Петровне стало лучше; она начала заниматься делами, и объявляла сенату свое неудовольствие за медленность в решении дел. Но 12-го декабря с императрицею сделалась жестокая рвота с кровью и кашлем; медики заметили зловещие признаки скорой смерти. По примеру предков, которые всегда, предчувствуя близкую кончину, делали разные милости подданным, императрица 17-го декабря через Олсуфьева объявила сенату именной указ – освободить всех содержавшихся во всем государстве людей по корчемству, уничтожить следствия, возвратить ссыльных и изыскать способ заменить другими средствами соляной доход, собиравшийся с великим разорением народа. 20-го декабря Елисавета Петровна чувствовала себя особенно хорошо, а 22-го числа, в 10 часов вечера, сделалась опять жестокая рвота с кровью и кашлем, и врачи прямо объявили, что здоровье государыни в крайней опасности. Выслушавши такое объявление, императрица 23-го декабря исповедовалась и причастилась Св. Тайн, а 24-го изъявила желание собороваться. Вечером, накануне праздника Рождества Христова, Елисавета Петровна приказала читать над собою отходные молитвы и сама повторяла их за духовником. Вся ночь после того и все утро следующего дня прошли в агонии. Великий князь и великая княгиня находились неотступно при постели умирающей. В приемной, перед спальнею, собрались высшие сановники и придворные. В начале четвертого часа пополудни вышел из спальни старший сенатор, кн. Никита Юрьевич Трубецкой, и объявил, что «императрица Елисавета Петровна скончалась и государствует в Российской империи его величество император Петр III-й».<sup>398</sup>

Обозревая царствование императрицы Елисаветы Петровны, нельзя не отметить двух важных дел этого царствования в области внутреннего управления: распространения просвещения, которому много содействовало учреждение университета и гимназий и уничтожение внутренних таможен, сильно парализовавших русскую торговлю в продолжение долгого времени. И то, и другое дело, как мы видели, устраивалось представлениями и трудами Шуваловых. Что касается до внешней политики, то вмешательство России в Семилетнюю войну ничего не принесло ей, кроме истощения, и возбуждало всеобщее неудовольствие даже в войске.

Обыкновенно ставят в заслугу Елисавете Петровне уничтожение смертной казни и некоторое смягчающее движение в законодательстве относительно употребления пыток при расследованиях; но мы не видим тут смягчения нравов и проявления человеколюбия, потому что в рассматриваемую эпоху продолжались страшные пытки – рвание ноздрей, битье

<sup>396</sup> Письмо Екатерины, напеч. в «Русском Архиве», 1863 г.

<sup>397</sup> Соловьев, Ист. России, XXIV, стр. 416.

<sup>398</sup> Соловьев, Ист. России, т. XXIV, стр. 418.



кнутом, урезанье языка и тяжелые ссылки, часто даже людей совершенно невинных. Народные массы не наслаждались довольством, спокойствием и безопасностью: несомненным свидетельством этому служат разбойничьи шайки, препятствовавшие не только торговле и промыслам, но даже мирному состоянию обывателей, – а крестьянские возмущения, постоянно требовавшие укрощения воинскими командами, разразились народными волнениями в близкое этому царствованию время императрицы Екатерины Второй.